АНТОН ИВАНОВИЧ

ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

Крушение власти и армии
Февраль – сентябрь 1917

Воспоминания
Мемуары

МИНСК
ХАРВЕСТ
2002

УДК 947
ББК 63.3(2)
Д 33

Серия основана в 2000 году

Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.05.02.
Формат 84×108[1]/32. Печать высокая с ФПФ. Бумага типографская. Усл. печ. л. 24,36. Тираж 7000 экз.
Заказ 3176.

Деникин А. И.

Д 33 Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. Февраль — сентябрь 1917.— Мн.: Харвест, 2002.— 464 с. (Воспоминания. Мемуары).

ISBN 985-13-1146-4.

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872—1947), занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения.

В данной книге автор рассказывает о событиях, происходивших в России в феврале — сентябре 1917 года: предреволюционная смута, военные реформы Временного правительства, потеря армией управления и, как следствие,— ее развал.

Для широкого круга читателей.

УДК 947
ББК 63.3(2)

ISBN 985-13-1146-4

В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реальные грани исторических событий.

Поэтому, невзирая на трудность и неполноту работы в беженской обстановке — без архивов, без материалов и без возможности обмена живым словом с участниками событий, — я решил издать свои очерки.

В первой книге говорится, главным образом, о русской армии, с которой неразрывно связана моя жизнь. Вопросы политические, социальные, экономические затронуты лишь в той мере, в какой необходимо очертить их влияние на ход борьбы.

Армия в 1917 году сыграла решающую роль в судьбах России. Ее участие в ходе революции, ее жизнь, растление и гибель должны послужить большим и предостерегающим уроком для новых строителей русской жизни.

И не только в борьбе с нынешними поработителями страны. После свержения большевизма, наряду с огромной работой в области возрождения моральных и материальных сил русского народа, перед последним с небывалой еще в отечественной истории остротой встанет вопрос о сохранении его державного бытия.

Ибо за рубежами русской земли стучат уже заступами могильщики и скалят зубы шакалы в ожидании ее кончины.

Не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и физической встанет русский народ в силе и в разуме.

А. Деникин.
Брюссель, 1921 год

ГЛАВА I
УСТОИ СТАРОЙ ВЛАСТИ: ВЕРА, ЦАРЬ И ОТЕЧЕСТВО

Неизбежный исторический процесс, завершившийся февральской революцией, привел к крушению русской государственности. Но если философы, историки, социологи, изучая течение русской жизни, могли предвидеть грядущие потрясения, никто не ожидал, что народная стихия с такой легкостью и быстротой сметет все те устои, на которых покоилась жизнь: верховную власть и правящие классы — без всякой борьбы ушедшие в сторону; интеллигенцию — одаренную, но слабую, беспочвенную, безвольную, вначале среди беспощадной борьбы сопротивлявшуюся одними словами, потом покорно подставившую шею под нож победителей; наконец — сильную, с огромным историческим прошлым, десятимиллионную армию, развалившуюся в течение 3—4 месяцев.

Последнее явление, впрочем, не было столь неожиданным, имея страшным и предостерегающим прообразом эпилог манчжурской войны и последующие события в Москве, Кронштадте и Севастополе... Прожив недели две в Харбине в конце ноября 1905 года и проехав по Сибирскому пути в течение 31 дня (декабрь 1907 года) через целый ряд «республик» от Харбина до Петрограда, я составил себе ясное понятие о том, чего можно ожидать от разнузданной, лишенной сдерживающих начал солдатской черни. И все тогдашние митинги, резолюции, советы и, вообще, все проявления военного бунта — с большей силой, в несравненно более широком масштабе, но с фотографической точностью повторились в 1917 году.

Следует отметить, что возможность столь быстрого психологического перерождения отнюдь не была присуща одной русской армии. Несомненно, усталость от трехлетней войны сыграла во всех этих явлениях не последнюю роль, в

той или другой степени коснувшись всех армий мира и сделав их более восприимчивыми к разлагающим влияниям крайних социалистических учений. Осенью 1918 года германские корпуса, оккупировавшие Дон и Малороссию, разложились в одну неделю, повторив до известной степени пройденную нами историю митингов, советов, комитетов, свержения офицерского состава, а в некоторых частях — распродажи военного имущества, лошадей и оружия... Только тогда немцы поняли трагедию русского офицерства. И нашим добровольцам приходилось видеть не раз унижение и горькие слезы немецких офицеров — некогда надменных и бесстрастных.

— Ведь с нами, с русскими, это же самое сделали вы — собственными руками...

— Нет, не мы — наше правительство, — отвечали они.

Зимою 1918 года я, как командующий Добровольческой армией, получил предложение от группы германских офицеров, желавших поступить в нашу армию рядовыми добровольцами...

Нельзя также объяснить развал психологией неудач и поражения. Брожение армии испытали и победители: во французских войсках, оккупировавших в начале 1918 года Румынию и Одесский район, во французском флоте, плавающем в Черном море, в английских войсках, прибывших в район Константинополя и в Закавказье, и даже в могучем английском флоте в дни его наивысшего нравственного удовлетворения победой, в дни пленения германского флота — было не совсем благополучно. Войска начали выходить из повиновения начальникам, и только быстрая демобилизация и пополнение свежими, отчасти добровольческими элементами, изменили положение.

Каково было состояние русской армии к началу революции?

Испокон века вся военная идеология наша заключалась в известной формуле: *За веру, царя и Отечество.*

На ней выросли, воспитались и воспитывали других десятки поколений. Но в народную массу, в солдатскую толщу эти понятия достаточно глубоко не проникали.

Религиозность русского народа, установившаяся за ним веками, к началу XX столетия несколько пошатнулась. Как

народ-богоносец, народ вселенского душевного склада, великий в своей простоте, правде, смирении, всепрощении, народ поистине *христианский*, он терял постепенно свой облик, подпадая под власть утробных, материальных интересов, в которых сам ли учился, или другие учили его видеть единственную цель и смысл жизни... Так постепенно терялась связь между народом и его духовными руководителями, в свою очередь оторвавшимися от него и поступившими на службу к правительственной власти, разделяя отчасти ее недуги. Весь этот процесс духовного перерождения русского народа слишком глубок и значителен, чтобы его можно было охватить в рамках этих очерков. Я исхожу лишь из того несомненного факта, что поступавшая в военные ряды молодежь к вопросам веры и церкви относилась довольно равнодушно. Казарма же, отрывая людей от привычных условий быта, от более уравновешенной и устойчивой среды с ее верою и суевериями, не давала взамен духовно-нравственного воспитания. В ней этот вопрос занимал совершенно второстепенное место, заслоняясь всецело заботами и требованиями чисто материального, прикладного порядка. Казарменный режим, где все — и христианская мораль, и религиозные беседы, и исполнение обрядов — имело характер официальный, обязательный, часто принудительный, не мог создать надлежащего настроения. Командовавшие частями знают, как трудно бывало разрешение вопроса даже об исправном посещении церкви.

Война ввела в духовную жизнь воинов два новых элемента: с одной стороны, моральное огрубение и ожесточение, с другой — как будто несколько углубленное чувство веры, навеянное постоянной смертельной опасностью. Оба эти антипода как-то уживались друг с другом, ибо оба исходили из чисто материальных предпосылок.

Я не хочу обвинять огульно православное военное духовенство. Много представителей его проявили подвиги высокой доблести, мужества и самоотвержения. Но надо признать, что духовенству не удалось вызвать религиозного подъема среди войск. В этом, конечно, оно нисколько не виновато, ибо в мировой войне, в которую была вовлечена Россия, играли роль чрезвычайно сложные политические

и экономические причины, и не было вовсе места для религиозного экстаза. Но, вместе с тем, духовенству не удалось создать и более прочную связь с войсками. Если офицерский корпус все же долгое время боролся за свою командную власть и военный авторитет, то голос пастырей с первых же дней революции замолк, и всякое участие их в жизни войск прекратилось[1].

Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма характерный для тогдашнего настроения военной среды. Один из полков 4-й стрелковой дивизии искусно, любовно, с большим старанием построил возле позиций походную церковь. Первые недели революции... Демагог-поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм — это предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для...

Я не удивляюсь, что в полку нашелся негодяй-офицер, что начальство было терроризовано и молчало. Но почему 2—3 тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни?

Как бы то ни было, в числе моральных элементов, поддерживающих дух русских войск, вера не стала началом, побуждающим их на подвиг или сдерживающим от развития впоследствии звериных инстинктов.

В общероссийском масштабе православное духовенство также осталось за бортом разбушевавшейся жизни, разделив участь с теми социальными классами, к которым примыкало: высшее было причастно, к сожалению, некоторыми именами (митрополиты Питирим и Макарий, архиепископ Варнава и др.) к распутинскому периоду петроградской истории — с правившей бюрократией; низшее — со средней русской интеллигенцией.

Для успокоения религиозной совести русского народа Святейший Синод впоследствии посланием от 9 марта санкционировал совершившийся переворот и призвал «довериться Временному правительству, чтобы трудами и подви-

[1] Съезды духовенства в Ставке и в штабах армий не имели никакого реального значения.

гами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни». Но когда жизнь эта стала принимать донельзя уродливые, аморальные формы, духовенство оказалось совершенно бессильным для борьбы: русская революция в первой стадии своей не создала ни одного сколько-нибудь заметного народно-религиозного движения, хотя бы в таком масштабе, как некогда у лжеучителей Иллиодора и Иннокентия, не выдвинула ни одного яркого имени поборника поруганной правды и христианской морали. Я не берусь судить о действенном начале в русской православной церкви после пленения ее большевиками. Жизнь церкви в советской России покрыта пока непроницаемой для нас завесой. Но процесс духовного возрождения ширится несомненно, а мученический подвиг сотен, тысяч служителей церкви, по-видимому, бороздит уснувшую народную совесть и входит в сознание народное творимой легендой.

* * *

Царь?

Едва ли нужно доказывать, что громадное большинство командного состава было совершенно лояльно по отношению к идее монархизма и к личности Государя. Позднейшие эволюции старших военачальников-монархистов вызывались чаще карьерными соображениями, малодушием или желанием, надев «личину», удержаться у власти для проведения своих планов; реже — крушением идеалов, переменой мировоззрения или мотивами государственной целесообразности. Наивно было, например, верить заявлениям генерала Брусилова, что он с молодых лет «социалист и республиканец». Он — воспитанный в традициях старой гвардии, близкий к придворным кругам, проникнутый насквозь их мировоззрением, — «барин» по привычкам, вкусам, симпатиям и окружению. Нельзя всю долгую жизнь так лгать себе и другим.

Русское кадровое офицерство в большинстве разделяло монархические убеждения и в массе своей было, во всяком случае, лояльно.

Несмотря на это, после японской войны, как следствие первой революции, офицерский корпус почему-то был взят

под особый надзор департамента полиции, и командирам полков периодически присылались черные списки, весь трагизм которых заключался в том, что оспаривать «неблагонадежность» было почти бесполезно, а производить свое, хотя бы негласное расследование не разрешалось. Мне лично пришлось вести длительную борьбу с киевским штабом по поводу маленьких назначений (командира роты и начальника пулеметной команды) двух офицеров 17-го Архангелогородского полка, которым я командовал до последней войны. Явная несправедливость их обхода легла бы тяжелым бременем на совесть и авторитет командира полка, а объяснить ее не представлялось возможным. С большим трудом удалось отстоять этих офицеров, и впоследствии оба они пали славною смертью в бою. Эта система сыска создавала нездоровую атмосферу в армии.

Не ограничиваясь этим, Сухомлинов создал еще свою сеть шпионажа (контрразведки), возглавлявшуюся неофициально полковником Мясоедовым, казненным впоследствии за шпионаж в пользу Германии. В каждом штабе округа учрежден был орган, во главе которого стоял переодетый в штабную форму жандармский офицер. Круг деятельности его официально определялся борьбою с иностранным шпионажем — целью весьма полезной; неофициально же это было типичное воспроизведение аракчеевских «профостов». Покойный Духонин до войны, будучи еще начальником разведывательного отделения киевского штаба, горько жаловался мне на тяжелую атмосферу, внесенную в штабную службу новым органом, который, официально подчиняясь генерал-квартирмейстеру, фактически держал под подозрением и следил не только за штабом, но и за своими начальниками.

Действительно, жизнь как будто толкала офицерство на протест в той или другой форме против «существующего строя». Среди служилых людей с давних пор не было элемента настолько обездоленного, настолько необеспеченного и бесправного, как рядовое русское офицерство. Буквально нищенская жизнь, попрание сверху прав и самолюбия; венец карьеры для большинства — подполковничий чин и болезненная, полуголодная старость. Офицерский корпус с половины XIX века совершенно утратил свой сословно-кастовый

характер. Со времени введения общеобязательной воинской повинности и обнищания дворянства, военные училища широко распахнули свои двери для «разночинцев» и юношей, вышедших из народа, окончивших гражданские учебные заведения. Таких в армии было большинство. Мобилизации, в свою очередь, влили в офицерский состав большое число лиц свободных профессий, принесших с собою новое мировоззрение. Наконец, громадная убыль кадрового офицерства заставила командование поступиться несколько требованиями военного воспитания и образования, введя широкое производство в офицеры солдат — как за боевые отличия, так и путем проведения их через школы прапорщиков с низким образовательным цензом.

Последние два обстоятельства, неизбежно присущие народным армиям, вызвали два явления: несомненно понизили боевую ценность офицерского корпуса и внесли некоторую дифференциацию в его политический облик, приблизив еще более к средней массе русской интеллигенции и *демократии*. Этого не поняли или, вернее, не хотели понять вожди *революционной демократии* в дни революции.

Везде в дальнейшем изложении я противополагаю «революционную демократию» — конгломерат социалистических партий — истинной русской демократии, к составу которой, без сомнения, принадлежит средняя интеллигенция и служилый элемент.

Но и кадровое офицерство постепенно изменяло свой облик. Японская война, вскрывшая глубокие болезни, которыми страдала страна и армия, Государственная Дума и несколько более свободная после 1905 года печать сыграли особенно серьезную роль в политическом воспитании офицерства. Мистическое «обожание» монарха начало постепенно меркнуть. Среди младшего генералитета и офицерства появлялось все больше людей, умевших отличать идею монархизма от личностей, счастье родины — от формы правления. Среди широких кругов офицерства явился анализ, критика, иногда суровое осуждение. Появились слухи — и не совсем безосновательные — о тайных офицерских организациях. Правда, подобные организации, как чуждые всей структуре армии, не имели и не могли приобрести ни особого влияния, ни значения. Однако они сильно беспокоили военное министерство, и Сухомлинов в 1908 или в 1909 году секретно сообщал начальникам о необходимости принятия мер против тайного общества, образовавшегося из офицеров, недовольных медленным и бессистемным ходом реорганизации армии и желавших якобы насильственными мерами ускорить ее.

Настроения в офицерском корпусе, вызванные многообразными причинами, не прошли мимо сознания высшей военной власти. В 1907 году вопросы об улучшении боевой подготовки армии и удовлетворении насущных ее потребностей, в том числе и офицерский вопрос, обсуждались в «Особой подготовительной комиссии при Совете государственной обороны», в которую входили, между прочим, такие крупные генералы старой школы, как Н.И. Иванов, Эверт, Мышлаевский, Газенкампф и др. Интересно их отношение к данному вопросу[1].

Генерал Иванов говорил: «Упрекнуть наших офицеров в готовности умереть нельзя, но подготовка их в общем слаба, и в большинстве они недостаточно развиты; кроме того, наличный офицерский состав так мал, что наблюдается как обычное явление, когда в роте налицо всего один ротный командир. Старшие начальники мало руководят делом обучения; их роль сводится, по преимуществу, к контролю и критике. За последнее время приходится констатировать почти повальное бегство офицеров из строя, причем уходят, главным образом, лучшие и наиболее развитые офицеры».

О повальном бегстве из строя «всего наиболее энергичного и способного» говорил и генерал Эверт. А генерал Мышлаевский добавил: «С полным основанием можно сказать, что наши военные училища пополняют не столько войска, сколько пограничную стражу, главные управления и даже в значительной мере гражданские учреждения». Мышлаевский, имевший в качестве начальника Главного штаба постоянное соприкосновение с бытом войск, указывал на новые явления: на «недоумение и беспокойство в верхних и средних слоях офицерского состава», вызванных, по его мнению, непопу-

[1] Из секретного журнала заседаний.

лярностью вновь введенного аттестационного порядка, принудительным увольнением по предельному возрасту и «неопределенностью новых требований»; на пропаганду среди «самого молодого офицерского состава», которая уже «достигла некоторых успехов».

Все они — Иванов, Эверт, Мышлаевский и другие — видели главную, некоторые — исключительную причину ослабления офицерского корпуса в вопиющей материальной необеспеченности его, а в устранении этого положения — надежнейшее средство разрешения офицерского вопроса. Не отрицая большого значения этого материального фактора, нельзя, однако, ограничиться таким элементарным объяснением перелома в жизни офицерской среды. В его возникновении играли роль и другие причины, более глубокие: и суженные тяжелыми внешними условиями духовные запросы и интересы военной среды; и те обстоятельства, которые, вероятно, впервые в таком высоком собрании умудренных жизнью и опытом военных сановников изложил молодой подполковник генерального штаба князь Волконский: «Что важно и что не важно — определяют теперь, прежде всего, соображения политические. Действительно неотложны теперь лишь меры, могущие оградить армию от революционирования. Возможен ли бунт в армии? Пропаганда не прекратилась, а стала умнее. Здесь говорили: «Офицеры преданы царю». Морские офицеры были не менее преданы. Говорят: «Морские бунты совпали с разгаром революции». Но революция может вновь разгореться; аграрный вопрос может поставить армию перед таким искушением, которого не было во флоте. Офицерство волнуется. Кроме волнений, оставляющих след в официальных документах, есть течения другого рода: офицеры, преданные присяге, смущены происходящим в армии; иные подозревают верхи армии в тайном желании ее дезорганизовать. Такое недоверие к власти — тоже материал для революционного брожения, но уже справа. Вообще, непрерывное напряжение, травля газет, ответственность за каждую похищенную революционерами винтовку, недохват офицеров и бедность истрепали нервы, то есть создали ту почву, на которой вспыхивает революционное брожение, нередко даже наперекор убеждениям».

При этих условиях можно только удивляться, насколько все-таки сохранилось наше офицерство и насколько твердо противостояло оно левым противогосударственным течениям. Процент деятелей, ушедших в подполье или изобличенных властью, был ничтожен.

Что касается отношения к трону, то, как явление общее, в офицерском корпусе было стремление отделить особу Государя от той придворной грязи, которая его окружала, от политических ошибок и преступлений царского правительства, которое явно и неуклонно вело к разрушению страну и к поражению армию. Государю прощали, его старались оправдать. Как увидим ниже, к 1917 году и это отношение в известной части офицерства поколебалось, вызвав то явление, которое князь Волконский называл «революцией справа», но уже на почве чисто политической.

Несколько в стороне от общих условий офицерской жизни стояли офицеры гвардии. С давних пор существовала рознь между армейским и гвардейским офицерством, вызванная целым рядом привилегий последних по службе — привилегий, тормозивших сильно и без того нелегкое служебное движение армейского офицерства[1]. Явная несправедливость такого положения, обоснованного на исторической традиции, а не на личных достоинствах, была больным местом армейской жизни и вызывала не раз и в военной печати страстную полемику. Я лично неоднократно поднимал этот вопрос в печати. Один из военных писателей — полковник Залесский (ныне генерал) — тот даже лекцию о применении в бою технических средств связи заканчивал катоновской формулой: «Кроме того, полагаю, что необходимо упразднить привилегии гвардии».

Заметьте — только привилегии, так как никто не посягал на существование старых испытанных частей, многие из которых имели выдающуюся боевую историю.

Замкнутый в кастовых рамках и устаревших традициях корпус офицеров гвардии комплектовался исключительно

[1] Быстрое чинопроизводство, перевод в армию высшим чином, несоразмерный процент назначений гвардейцев командирами армейских полков и т.д.

лицами дворянского сословия, а часть гвардейской кавалерии — и плутократией. Эта замкнутость поставила войска гвардии в очень тяжелое положение во время мировой войны, которая опустошила ее ряды. Страшный некомплект в офицерском составе гвардейской пехоты вызвал такое, например, уродливое явление: ряды ее временно пополняли офицерами-добровольцами гвардейской кавалерии, но не допускали армейских пехотных офицеров. Помню, когда в сентябре 1916 года после жестоких боев на фронте Особой и 8-й армий генерал Каледин настоял на укомплектовании гвардейских полков несколькими выпусками юнкерских училищ, офицеры эти, неся наравне с гвардейцами тяжелую боевую службу, оказались в полках совершенно чужеродным элементом и не были допущены по-настоящему в полковую среду.

Нет сомнения, что гвардейские офицеры, за редкими исключениями, были монархистами par excellence и пронесли свою идею нерушимо через все перевороты, испытания, эволюции, борьбу, падение, большевизм и добровольчество. Иногда скрытно, иногда явно. Я не желаю ни возносить, ни хулить. Они только члены своей касты, своего класса и разделяют с ним его пороки и достоинства. И если в минувшую войну в гвардейских корпусах было больше крови, чем успеха, то виною этому отнюдь не офицерство, а крайне неудачные назначения старших начальников, проведенные в порядке придворного фаворитизма. Особенно ярко это сказалось на Стоходе. Офицерство же дралось и гибло с высоким мужеством. Но наряду с доблестью, иногда рыцарством, в большинстве своем в военной и гражданской жизни оно сохраняло кастовую нетерпимость, архаическую классовую отчужденность и глубокий консерватизм — иногда с признаками государственности, чаще же с сильным уклоном в сторону реакции.

В солдатской толще, вопреки сложившемуся убеждению, идея монархизма глубоких мистических корней не имела. Еще менее, конечно, эта малокультурная масса отдавала себе тогда отчет в других формах правления, проповедуемых социалистами разных оттенков. Известный консерватизм, привычка жить, как «испокон века», внушение церкви — все

это создавало определенное отношение к существующему строю, как к чему-то вполне естественному и неизбежному.

В уме и сердце солдата идея монарха, если можно так выразиться, находилась в потенциальном состоянии, то поднимаясь иногда до высокой экзальтации при непосредственном общении с царем (смотры, объезды, случайные обращения), то падая до безразличия.

Как бы то ни было, настроение армии являлось достаточно благоприятным и для идеи монархии и для династии. Его легко было поддерживать.

Но в Петрограде, в Царском Селе ткалась липкая паутина грязи, распутства, преступлений. Правда, переплетенная с вымыслом, проникала в самые отдаленные уголки страны и армии, вызывая где боль, где злорадство. Члены Романовской династии не оберегли «идею», которую ортодоксальные монархисты хотели окружить ореолом величия, благородства и поклонения.

Война не изменила обстановки. Создание ненужных, дорого стоивших должностей для лиц императорской фамилии (верховный санитарный инспектор, инспектор войск гвардии, походный атаман казачьих войск и т.д.), назначение их на строевые должности, на которых без надлежащей подготовки они или приносили вред, или служили игрушкой в руках штабов, — все это было хорошо известно армии, комментировалось, осуждалось.

Маленькая деталь: войска чрезвычайно чутко относятся ко всякому проявлению внимания к ним, к признанию их заслуг. Ко мне в дивизию и в корпус четыре раза приезжали великие князья награждать от имени Государя георгиевскими крестами. Эти приезды всегда вызывали подъем настроения и кончались полным разочарованием. После славного и тяжкого боя так много у всех накопилось переживаний, так хотелось поделиться своими горестями и радостями, хотелось, по крайней мере, чтобы тот, кто приехал награждать, немножко поинтересовался жизнью, бытом, подвигами их. В ответ — полное обидное безразличие: приехал, роздал и уехал, как будто исполняя скучную формальность.

Помню впечатление одного думского заседания, на которое я попал случайно.

Первый раз с думской трибуны раздалось предостерегающее слово Гучкова о Распутине:

— В стране нашей неблагополучно.

Думский зал, до тех пор шумный, затих, и каждое слово, тихо сказанное, отчетливо было слышно в отдаленных углах. Нависало что-то темное, катастрофическое над мерным ходом русской истории.

Я не стану копаться в той грязи, которая покрыла и министерские палаты и интимные царские покои, куда имел доступ грязный, циничный «возжигатель лампад», который «доспевал» министров, правителей и владык.

Рассказывали, что попытки Распутина попасть в Ставку вызвали угрозу Николая Николаевича повесить его. Так же резко отрицательно относился к нему Алексеев. Этим двум лицам мы обязаны всецело тем обстоятельством, что гибельное влияние Распутина не коснулось старой армии.

Всевозможные варианты по поводу распутинского влияния проникали на фронт, и цензура собирала на эту тему громадный материал даже в солдатских письмах из действующей армии.

Но наиболее потрясающее впечатление произвело роковое слово: «Измена».

Оно относилось к императрице.

В армии громко, не стесняясь ни местом ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицей сепаратного мира, о предательстве ее в отношении фельдмаршала Китченера, о поездке которого она якобы сообщила немцам, и т.д.

Переживая памятью минувшее, учитывая то впечатление, которое произвел в армии *слух* об измене императрицы, я считаю, что это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в ее отношении и к династии, и к революции.

Генерал Алексеев, которому я задал этот мучительный вопрос весною 1917 года, ответил мне как-то неопределенно и нехотя:

— При разборе бумаг императрицы нашли у нее карту с подробным обозначением войск всего фронта, которая изготовлялась только в двух экземплярах — для меня и для Государя. Это произвело на меня удручающее впечатление. Мало ли кто мог воспользоваться ею.

Больше ни слова. Переменил разговор...

История выяснит, несомненно, то исключительно отрицательное влияние, которое оказывала императрица Александра Федоровна на управление русским государством в период, предшествовавший революции. Что же касается вопроса об «измене», то этот злосчастный слух не был подтвержден ни одним фактом и впоследствии был опровергнут расследованием специально назначенной Временным правительством комиссии Муравьева, с участием представителей от Совета рабочих и солдатских депутатов.

•••

Наконец, третий устой — *Отечество.* Увы, затуманенные громом и треском привычных патриотических фраз, расточаемых без конца по всему лицу земли русской, мы проглядели внутренний органический недостаток русского народа — недостаток патриотизма.

Теперь незачем уже ломиться в открытую дверь, доказывая это положение после Брест-Литовского договора, не вызвавшего сокрушительного народного гнева; после инертного отношения русского общества к отторжению окраин, даже русских по духу или крови, мало того — оправдания его; после польско-петлюровского договора и польско-советского мира; после распродажи русских территориальных и материальных ценностей международным политическим ростовщикам.

Нет сомнения, что явление распада русской государственности, известное под именем «самостийности», во многих случаях имело целью только отгородиться временно от того бедлама, который представляет собой «советская республика». Но жизнь, к сожалению, не останавливается на практическом осуществлении такого в своем роде санитарного кордона, а поражает саму идею государственности. Даже в землях крепких, как, например, казачьи области; правда, не в толще, а в верхах. Так в Екатеринодаре в 1920 году на Верховном Круге трех казачьих войск после горячего спора из предложенной формулы присяги было изъято упоминание о России.

Или распятую Россию любить не стоит?

Какую же роль в сознании старой армии играл стимул «Отечества»? Если верхи русской интеллигенции отдавали себе ясный отчет о *причинах* разгоравшегося мирового пожара — борьбы государств за гегемонию политическую и, главным образом, экономическую, за свободные пути, проходы, за рынки и колонии, борьбы, в которой России принадлежала роль лишь самозащиты, то средняя русская интеллигенция, в том числе и офицерство, удовлетворялись зачастую только *поводами* — более яркими, доступными и понятными. Войны не хотели, за исключением разве пылкой военной молодежи, жаждавшей подвига; верили, что власть примет все возможные меры к предотвращению столкновения. Мало-помалу, однако, приходили к сознанию роковой неизбежности его. Поводы были чужды какой-либо агрессивности или заинтересованности с нашей стороны, вызывали искреннее сочувствие к слабым, угнетаемым, находились в полном соответствии с традиционной ролью России. Наконец, ведь не мы, а на нас подняли меч. И потому, когда началась война, стих голос и тех, в ком таился страх, что уровень культуры и экономического состояния нашей страны не даст ей победы в борьбе с сильным и культурным противником. Войну приняли с большим подъемом, местами с энтузиазмом.

Офицерский корпус, как и большинство средней интеллигенции, не слишком интересовался сакраментальным вопросом о целях войны. Война началась. Поражение принесло бы непомерные бедствия нашему Отечеству во всех областях его жизни. Поражение повело бы к территориальным потерям, политическому упадку и экономическому рабству страны. Необходима была победа. Все прочие вопросы уходили на задний план, могли быть спорными, пересматриваться и видоизменяться. Это упрощенное, но полное глубокого жизненного смысла и национального самосознания отношение к войне не было понято левым крылом русской общественности и привело ее в Циммервальд и Киенталь. Неудивительно поэтому, что когда у анонимных и русских вождей революционной демократии перед сознательным разрушением ими армии в феврале 1917 года предстала дилемма «Спасение страны или революции?..», они избрали последнее.

Еще менее идея национальной самозащиты была понята темным народом. Народ шел на войну покорно, но без всякого воодушевления и без ясного сознания необходимости великой жертвы. Его психология не поднималась до восприятия отвлеченных национальных догматов. «Вооруженный народ», каким была по существу армия, воодушевлялся победой, падал духом при поражении; плохо уяснял себе необходимость перехода Карпат, несколько больше — борьбу на Стыри и Припяти. Но все же утешал себя надеждой: «Мы тамбовские, до нас немец не дойдет».

Мне приходится повторять эту довольно избитую фразу, ибо в ней глубокая психология русского человека.

Сообразно с таким преобладанием материальных ценностей в мировоззрении «вооруженного народа», в его сознание легче проникали упрощенные, реальные доводы за необходимость упорства в борьбе и достижения победы, за недопустимость поражения: чужая немецкая власть, разорение страны и хозяйств, тягость предстоящих в случае поражения податей и налогов, обесценение хлеба, проходящего через чужие проливы, и т.д. Кроме того, было все же некоторое доверие к власти, что она делает то что нужно. Тем более что ближайшие представители этой власти — офицеры шли рядом, даже впереди, и умирали так же безотказно и безропотно, по велению свыше или по внутреннему убеждению.

И солдаты шли мужественно на подвиг и на смерть.

Потом, когда это доверие рухнуло, сознание солдатской массы затуманилось окончательно. Формулы «без аннексий и контрибуций», «самоопределение народов» и прочее оказались более абстрактными и непонятными, чем старая, отметаемая, заглохшая, но не вырванная из подсознания идея Родины.

И для удержания солдат на фронте с подмостков, осененных красными флагами, послышались вновь и преимущественно знакомые мотивы материального порядка — немецкое рабство, разорение хозяйств, тяжесть налогов и т.д. Раздавались они уже из уст социалистов-оборонцев.

Итак, три начала, на которых покоился фундамент армии, были несколько подорваны.

Указывая на внутренние противоречия и духовные недочеты русской армии, я далек от желания поставить ее ниже других: они в той или иной степени свойственны *всем народным армиям*, получившим почти милиционный характер, и не мешали ни им, ни нам одерживать победы и продолжать войну. Но выяснение облика армии необходимо для уразумения ее последующей судьбы.

ГЛАВА II

СОСТОЯНИЕ СТАРОЙ АРМИИ ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ

Огромное значение в истории развития русской армии имела японская война.

Горечь поражения, ясное сознание своей ужасной отсталости вызвали большой подъем среди военной молодежи и заставили понемногу или переменить направление, или уйти в сторону элемент устаревший и косный. Невзирая на пассивное противодействие ряда лиц, стоявших во главе военного министерства и генерального штаба, — лиц неспособных или донельзя безразлично и легкомысленно относившихся к интересам армии, работа кипела. В течение десяти лет русская армия, далеко не достигнув, конечно, идеалов, все же сделала огромные успехи. Можно сказать с уверенностью, что, не будь тяжкого манчжурского урока, Россия была бы раздавлена в первые же месяцы отечественной войны.

Но чистка командного состава шла все же слишком медленно. Наша мягкотелость («жаль человека», «надо его устроить»), протекционизм, влияния, наконец, слишком ригористически проводимая линия старшинства — все это засорило списки командующего генералитета вредным элементом.

Высшая аттестационная комиссия, собиравшаяся раз в год в Петрограде, почти никого из аттестуемых не знала.

Этими обстоятельствами объясняется ошибочность первоначальных назначений: пришлось впоследствии удалить



четырех главнокомандующих (из них один, правда, временный, оказался с параличом мозга), нескольких командующих армиями, много командиров корпусов и начальников дивизий.

Генерал Брусилов в первые же дни сосредоточения 8-й армии (июль 1914 года) отрешил от командования трех начальников дивизий и корпусного командира.

Бездарности все же оставались на своих местах, губили и войска и операции. У того же Брусилова генерал Д., последовательно отрешаемый, переменил одну кавалерийскую и три пехотные дивизии, пока, наконец, не успокоился в немецком плену.

И обиднее всего, что вся армия знала несостоятельность многих из этих начальников и изумлялась их назначению.

Неудивительно поэтому, что стратегия за всю кампанию не отличалась ни особенным полетом, ни смелостью. Таковы операции Северо-западного фронта в Восточной Пруссии[1], в частности — позорный маневр Ренненкампфа; таково упорное форсирование Карпат, о которые разбились войска Юго-западного фронта в 1915 году, и, наконец, наше весеннее наступление 1916 года.

Последний эпизод настолько характерен для высшего командования и настолько серьезен по своим последствиям, что на нем следует остановиться.

Когда армии Юго-западного фронта в мае перешли в наступление, увенчавшееся огромным успехом — разгромом нескольких австрийских армий; когда после взятия Луцка моя дивизия большими переходами шла к Владимир-Волынску, я, да и все мы считали, что в нашем маневре воплощается вся идея наступления, что наш фронт наносит главный удар.

Впоследствии оказалось, что нанесение главного удара предназначено было Западному фронту, а армии Брусилова производили лишь демонстрацию. Штаб хорошо сохранил тайну. Там, в направлении на Вильну, собраны были большие силы, небывалая еще у нас по количеству артилле-

---

[1] Вызваны были, впрочем, исключительно желанием Ставки выручить французскую армию из отчаянного положения.

рия и технические средства. Несколько месяцев войска готовили плацдармы для наступления. Наконец все было готово, а успех южных армий, отвлекая внимание и резервы противника, сулил удачу и западным.

И вот, почти накануне предполагавшегося наступления между главнокомандующим Западным фронтом генералом Эвертом и начальником штаба Верховного главнокомандующего генералом Алексеевым происходит исторический разговор по аппарату, сущность которого заключается приблизительно в следующем:

А.: Обстановка требует немедленного решения. Вы готовы к наступлению, уверены в успехе?

Э.: В успехе не уверен, позиции противника очень сильны. Нашим войскам придется наступать на те позиции, на которых они терпели раньше неудачи...

А.: В таком случае делайте немедленно распоряжение о переброске войск на Юго-западный фронт. Я доложу Государю.

И операция, так долго ожидаемая, с таким методичным упорством подготовлявшаяся, рухнула. Западные корпуса к нам опоздали. Наше наступление захлебнулось. Началась бессмысленная бойня на болотистых берегах Стохода, где, между прочим, прибывшая гвардия потеряла весь цвет своего состава.

А Восточный германский фронт переживал тогда дни смертельной тревоги. «Это было критическое время; мы израсходовали все наши средства и мы хорошо знали, что никто не придет к нам на помощь, если русские пожелают нас атаковать[1]».

Впрочем, и с Брусиловым случился однажды эпизод, мало распространенный и могущий послужить интересным дополнением к общеизвестной характеристике этого генерала — одного из главных деятелей кампании. После блестящей операции 8-й армии, завершившейся переходом через Карпаты и вторжением в Венгрию, в декабре 1914 года наступил какой-то психологический надрыв в настроении командующего армией генерала Брусилова: под влиянием частной неудачи одного из корпусов, он отдал приказ об общем

[1] *Людендорф.* «Mes souvenirs de guerre».

отступлении, и армия быстро покатилась назад. Всюду мерещились прорывы, окружения и налеты неприятельской конницы, угрожавшей якобы самому штабу армии. Дважды генерал Брусилов снимал свой штаб с необыкновенной поспешностью, носившей характер панического бегства, уходя далеко от войск и теряя с ними всякую связь.

Мы отходили изо дня в день, совершая большие, утомительные марши, в полном недоумении: австрийцы не превосходили нас ни численно, ни морально и не слишком теснили. Каждый день мои стрелки и соседние полки Корнилова переходили в короткие контратаки, брали много пленных и пулеметы.

Генерал-квартирмейстерская часть штаба армии недоумевала еще более. Ежедневные доклады ее о неосновательности отступления сначала оставлялись Брусиловым без внимания, потом приводили его в гнев. Наконец генеральный штаб обратился к иному способу воздействия: пригласили друга Брусилова — старика генерала Панчулидзева[1] и внушили ему, что если так пойдет дальше, то в армии может возникнуть мысль об измене и дело окончится очень печально...

Панчулидзев пошел к Брусилову. Между ними произошла потрясающая сцена, в результате которой Брусилова застали в слезах, а Панчулидзева в глубоком обмороке. В тот же день был подписан приказ о наступлении, и армия с быстротой и легкостью двинулась вперед, гоня перед собой австрийцев, восстановив стратегическое положение и репутацию своего командующего.

Нужно сказать, что не только войска, но и начальники, получая редко и мало сведений о действиях на фронте, плохо разбирались в общих стратегических комбинациях. Войска же относились к ним критически только тогда, когда явно приходилось расплачиваться своею кровью. Так было в Карпатских горах, на Стоходе, во время второго Перемышля (весна 1917 года) и т.д.

Нет нужды прибавлять, что технические, профессиональные знания командного состава, в силу неправильной системы высших назначений и сильнейшего расслоения офи-

[1] Начальник санитарной части армии.

церского корпуса мобилизациями, не находились на должной высоте.

Наиболее угнетающее влияние на психику войск имело великое галицийское отступление и безрадостный ход войны (без побед) Северного и Западного фронтов, а затем нудное сидение их на опостылевших позициях в течение более года.

* * *

Об офицерском корпусе я уже говорил. Большие и малые недочеты его увеличивались по мере расслоения кадрового состава. Не ожидали такой длительности кампании, и потому организация армии не берегла надлежаще ни офицерских, ни унтер-офицерских кадров, влив их в ряды действующих частей всех сразу в начале войны.

Я живо помню один разговор в период мобилизации (первоначально имевшей в виду одну Австрию) в квартире В.М. Драгомирова — одного из авторитетных генералов армии. Подали телеграмму: объявление войны Германией. Наступило серьезное молчание. Все сосредоточились, задумались.

— Как вы думаете, сколько времени будет продолжаться война? — спросил кто-то Драгомирова.

— Четыре месяца...

Роты выступали в поход иногда с 5—6-ю офицерами. Так как неизменно, при всех обстоятельствах кадровое офицерство (потом и большая часть прочих офицеров) в массе своей служило личным примером доблести, бесстрашия и самоотвержения[1], то, естественно, оно было в большинстве перебито. Так же нерасчетливо был использован другой прочный элемент — запасные унтер-офицеры, число которых в первый период войны на должностях простых рядовых достигало иногда до 50% состава роты.

Отношения между офицерами и солдатами старой армии не везде были построены на здоровых началах. Нельзя отрицать известного отчуждения между ними, вызванного не-

---

[1] В этом отношении нельзя поставить упрека и большинству старшего командного состава. Личная храбрость, часто безрассудная, явление далеко не редкое.

достаточно внимательным отношением офицерства к духовным запросам солдат. Но, по мере постепенного падения кастовых и сословных перегородок, эти отношения заметно улучшались. Война сблизила офицера и солдата еще более, установив во многих, по преимуществу армейских частях подлинное боевое братство. Здесь необходимо, однако, оговориться: на внешних отношениях лежала печать всеобщей русской некультурности, составлявшей свойство далеко не одних лишь народных масс, но и русской интеллигенции. Оттого наряду с сердечным попечением, трогательной заботливостью о нуждах солдата, простотой и доступностью офицера, по целым месяцам лежавшего вместе с солдатом в мокрых, грязных окопах, евшего с ним из одного котла и тихо, без жалоб ложившегося с ним в одну братскую могилу, — наряду с этим были нередко грубость, ругня, иногда самодурство и заушение.

Несомненно такого же рода взаимоотношения существовали и в самой солдатской среде, с тою лишь разницей, что свой брат взводный или фельдфебель бывал и грубее и жестче. Вся эта неприглядная сторона отношений, в связи с нудностью и бестолковостью казарменного режима и мелкими ограничениями внутренним уставом солдатского быта, давала всегда обильную пищу для подпольных прокламаций, изображавших солдата «жертвой произвола золотопогонников».

Здоровой сущности не замечали: она умышленно затемнялась неприглядной внешностью.

А между тем все мотивы обвинений, исходящих от печальников солдата, были хорошо известны. Они излагались в наводнивших армию в 1905 году листовках, повторялись заученными фразами на всех митингах, перепечатывались с некоторыми вариантами и в 1917 году. Кажется, кроме пресловутой формулы «без аннексий и контрибуций», солдатская революционная литература не обогатилась ни одним новым понятием. Если бы власть своевременно отнеслась внимательнее к психологии солдатской среды, изъяла из уставов все несущественные для сохранения дисциплины ограничения и некоторые смешные или казавшиеся унизительными требования, то потом не пришлось бы отменять их под давлением, не вовремя и в расширенных размерах.

Все эти обстоятельства имели тем большее значение, что закрепление внутренней связи во время войны и без того встречало большие затруднения: с течением времени, неся огромные потери и меняя 10—12 раз свой состав, войсковые части, по преимуществу пехотные, превращались в какие-то этапы, через которые текла непрерывно человеческая струя, задерживаясь недолго и не успевая приобщиться духовно к военным традициям части. Одной из причин сохранения относительной прочности артиллерии и отчасти других специальных родов оружия было то обстоятельство, что в них процент потерь в сравнении с пехотой составлял не более $^1/_{20}$—$^1/_{10}$.

Два фактора имели несомненное значение в создании неблагоприятного настроения в войсках. По крайней мере впоследствии, во время «словесной кампании» министров и военных начальников солдатские ораторы очень часто касались этих двух тем: введенное с 1915 года официально дисциплинарное наказание розгами и смертная казнь «палечникам».[1] Насколько необходимость борьбы с дезертирством путем саморанения не возбуждала ни малейшего сомнения и требовала лишь более тщательного технического обследования для избежания возможных судебных ошибок, настолько же крайне нежелательным и опасным, независимо от этической стороны вопроса, являлось телесное наказание, применяемое властью начальника. Военные юристы не сумели разрешить иначе этого вопроса. Между тем, судебные уставы не обладают в военное время решительно никакими реальными методами репрессий, кроме смертной казни. Ибо для преступного элемента праволишения не имеют никакого значения, а всякое наказание, сопряженное с уходом из рядов, является только поощрением. Революционная демократия этого вопроса также не разрешила.

Впрочем, после полной демократизации, после завоевания всех свобод и даже самостийности, войсковой круг Донского казачьего войска, весьма демократического состава, ввел в свою армию в 1919 году наказание розгами за ряд воинских преступлений. Такова непонятная психология русского человека!

[1] «Палечники» — явление не русское. Наши солдаты выучились этому способу у австрийцев, которые первыми начали практиковать его массами еще летом 1914 года.

Значительно сложнее вопрос о взаимоотношениях во флоте. Сословные и кастовые перегородки, замкнутость офицерского корпуса, консерватизм и неподвижность устарелых форм быта и взаимоотношений, большая отчужденность от матросской среды — все это не могло не повлиять впоследствии на значительно большую обостренность борьбы этих двух элементов. Кронштадт, Свеаборг, Гельсингфорс, Севастополь, Новороссийск — все эти кровавые этапы несчастного морского офицерства, нещадно избивавшегося, приводят в ужас и содрогание своим бессмысленным жестоким зверством и вместе с тем требуют глубокого и внимательного изучения.

В конечном итоге все эти обстоятельства создавали не совсем здоровую атмосферу в армии и на флоте и разъединяли — где в большей, где в меньшей степени — два их составных элемента. В этом несомненный грех и русского офицерства, разделяемый им всецело с русской интеллигенцией. Грех, вызвавший противоположение «барина» мужику, офицера солдату и создавший впоследствии благоприятную почву для работы разрушительных сил.

В стране не было преобладания анархических элементов. В особенности в армии, которая отражает в себе все недостатки и достоинства народа. Народ — крестьянская и казачья массы — страдал другими пороками: невежеством, инертностью и слабой волей к сопротивлению, к борьбе с порабощением, откуда бы оно ни исходило — от вековой традиционной власти или от внезапно появившихся псевдонимов. Не надо забывать, что наиболее яркий представитель чистого русского анархизма — Махно недолго смог продержаться на Юге России со своим первоначальным лозунгом: «Долой всякую власть, свободное соглашение между собой деревень и городов. Вся земля и все буржуйское добро — ваше». Дважды разбитый, весною 1920 года он уже сам приступил к организации гражданского управления и произнес слово «порядок».

Правда, лозунг этот не получил реального осуществления, но уже сама потребность в нем знаменательна.

В армии отнюдь не было преобладаиия анархических элементов. И потребовались потрясение слегка подгнивших основ, целый ряд ошибок и преступлений новой власти, огромная работа сторонних влияний, чтобы инерция покоя перешла наконец в инерцию движения, кровавый призрак которого долго еще будет висеть над несчастной русской землей.

Сторонним разрушительным влияниям в армии не противополагалось разумное воспитание — отчасти по крайней неподготовленности в политическом отношении офицерского корпуса, отчасти из-за инстинктивной боязни старого режима внести в казармы элементы «политики», хотя бы с целью критики противогосударственных учений. Этот страх относился, впрочем, не только к социальным и внутренним проблемам русской жизни, но и к вопросам внешней политики. Так, например, незадолго до войны был издан высочайший приказ, строго воспрещавший воинским чинам где бы то ни было вести разговор на современную политическую тему (Балканский вопрос, австро-сербская распря и т.д.). Накануне неизбежно предстоявшей отечественной войны старательно избегали возбуждения здорового патриотизма, разъяснения целей и задач войны, ознакомления со славянским вопросом и вековой борьбой нашей с германизмом.

Признаться, я, как и многие другие, не исполнил приказа и подготовлял соответственно настроение Архангелогородского полка, которым командовал. А в военной печати выступил против приказа с горячей статьей на тему «Не угашайте духа». Ибо для меня нет сомнений, что обвитая траурным флером статуя Страсбурга на площади Согласия сыграла огромную роль в воспитании героической армии Франции.

Пропаганда проникала и в старую армию с разных сторон. Нет сомнения, что судорожные потуги быстро сменявшихся правительств Горемыкина, Штюрмера, Трепова остановить нормальный ход русской жизни сами по себе давали достаточно материала, возбуждая все больше нараставший народный гнев, переливавшийся и в армию. Его использовала социалистическая и пораженческая литература. Ленин нашел первоначальный путь в Россию своему учению через социал-демократическую фракцию Государственной Думы. Еще более интенсивно работали немцы. Об этих вопросах говорится подробно далее.

Должен, однако, отметить, что вся эта пропаганда извне и изнутри, оказывая воздействие главным образом на тыловые части, гарнизоны и запасные батальоны крупных центров, и в особенности Петрограда, до революции имела сравнительно небольшое влияние на войсковые части фронта. И сбитые с толку пополнения, придя на фронт и попадая в тяжелую, но более здоровую боевую атмосферу, зачастую быстро меняли к лучшему свой облик.

Тем не менее местами влияние разрушительной пропаганды находило подготовленную почву, и до революции еще были один-два случая, когда целые части оказали неповиновение, сурово подавленное.

Наконец, перед главной массой армии — крестьянской — вставал один практический вопрос, который *заставлял ее инстинктивно не торопиться с социальной революцией:*

— Без нас поделят землю? Нет уж! Когда вернемся, тогда и будем делить!..

* * *

Своего рода естественной пропагандой служило неустройство тыла и дикая вакханалия хищений, дороговизны, наживы и роскоши, создаваемая на костях и крови фронта. Но особенно тяжко отозвался на армии недостаток техники и главным образом — боевых припасов.

Только в 1917 году процесс Сухомлинова вскрыл перед русским обществом и армией главные причины, вызвавшие военную катастрофу 1915 года. Еще в 1907 году был разработан план пополнения запасов нашей армии и отпущены кредиты. Кредиты эти возрастали, как это ни странно, часто по инициативе комиссии государственной обороны, а не военного ведомства. Вообще же ни Государственная Дума, ни министерство финансов никогда не отказывали и не урезывали военные кредиты. В течение управления Сухомлинова ведомство получило особый кредит в 450 миллионов рублей и не израсходовало из них 300 миллионов! До войны вопрос

о способах усиленного питания армии боевыми припасами, после израсходования запасов мирного времени, даже не поднимался. Если действительно напряжение огневого боя с самого начала войны достигло неожиданных и небывалых размеров, опрокинув все теоретические расчеты и нашей и западноевропейской военной науки, то тем более героические меры нужны были для выхода из трагического положения.

Между тем уже к октябрю 1914 года иссякли запасы для вооружения пополнений, которые мы стали получать на фронте сначала вооруженными на $^{1}/_{10}$, потом и вовсе без ружей. Главнокомандующий Юго-западным фронтом телеграфировал в Ставку: «Источники пополнения боевых припасов иссякли совершенно. При отсутствии пополнения придется прекратить бой и выводить войска в самых тяжелых условиях»...

А в то же время (конец сентября) на вопрос Жофра, «достаточно ли снабжена российская императорская армия артиллерийским снаряжением для беспрепятственного продолжения военных действий», военный министр Сухомлинов отвечал: «Настоящее положение вещей относительно снаряжения российской армии не внушает серьезного опасения». Иностранных заказов не делалось, от японских и американских ружей, «для избежания неудобств от разнообразия калибров», отказывались.

Когда в августе 1917 года на скамью подсудимых сел виновник военной катастрофы, личность его произвела только жалкое впечатление. Гораздо серьезнее, болезненнее встал вопрос, как этот легкомысленный, невежественный в военном деле, быть может, сознательно преступный человек мог продержаться у кормила власти 6 лет? Какая среда военной бюрократии — «к добру и злу постыдно равнодушная» — должна была окружать его, чтобы сделать возможным и действия и бездействия, шедшие неуклонно и методично ко вреду государства?!

Катастрофа разразилась окончательно в 1915 году.

Весна 1915 года останется у меня в памяти навсегда. Великая трагедия русской армии — отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость — физическая и моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть.

Помню сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя 4-й стрелковой дивизии. Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали — нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой — штыками или стрельбой в упор; лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы. Два полка почти уничтожены — одним огнем.

Господа французы и англичане! Вы, достигшие невероятных высот техники! Вам небезынтересно будет услышать такой нелепый факт из русской действительности. Когда после трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой батареи ей подвезли *пятьдесят снарядов*, об этом сообщено было по телефону немедленно всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением.

И какой тогда тяжелой, обидной иронией звучало для нас циркулярное послание Брусилова, в котором он, не имея возможности дать снаряды, с целью подбодрить, «поднять дух войск», убеждал нас не придавать такого исключительного значения преобладанию немецкой артиллерии, ибо были неоднократно случаи, что тяжелая артиллерия, выпустив по нашим участкам позиции огромное число снарядов, не наносила им почти никаких потерь.

21 марта генерал Янушкевич[1] сообщил военному министру: «Свершился факт очищения Перемышля. Брусилов ссылается на недостаток патронов — эту «bête-noire» вашу и мою... Из всех армий вопль — дайте патронов»...

* * *

Я не склонен идеализировать нашу армию. Много горьких истин мне приходится высказывать о ней. Но лгут фарисеи — вожди российской революционной демократии, — когда, пытаясь оправдать учиненный, главным

[1] Начальник штаба Верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича. В 1918 году убит большевиками.

образом, их руками развал армии, уверяют, что она и без того близка была к разложению.

Я не отрицаю крупных недостатков в системе назначений и комплектовании высшего командного состава, ошибок нашей стратегии, тактики и организации, технической отсталости нашей армии, несовершенства офицерского корпуса, невежества солдатской среды, пороков казармы. Знаю размеры дезертирства и уклонения от военной службы, в чем наша интеллигенция повинна едва ли не больше, чем темный народ. Но ведь не эти серьезные болезни армейского организма привлекали впоследствии особливое внимание революционной демократии. Она не умела и не могла ничего сделать для их уврачевания, да и не боролась с ними вовсе. Я, по крайней мере, не знаю ни одной больной стороны армейской жизни, которую она исцелила бы или, по крайней мере, за которую взялась бы серьезно и практически. Пресловутое «раскрепощение» личности солдата? Отбрасывая все преувеличения, связанные с этим понятием, можно сказать, что сам факт революции внес известную перемену в отношения между офицером и солдатом, и это явление обещало при нормальных условиях, без грубого и злонамеренного вмешательства извне, претвориться в источник большой моральной силы, а не в зияющую пропасть. Но революционная демократия именно в эту рану влила яд. Она поражала беспощадно саму сущность военного строя, его вечные, неизменные основы, оставшиеся еще непоколебленными: дисциплину, единоначалие и аполитичность. Это было и этого не стало. А между тем падение старой власти как будто открывало новые широчайшие горизонты для оздоровления и поднятия в моральном, командном, техническом отношениях народной русской армии.

Каков народ, такова и армия. И как бы то ни было, старая русская армия, страдая пороками русского народа, вместе с тем в своей основной массе обладала его достоинствами и прежде всего — необычайным долготерпением в перенесении ужасов войны. Она дралась безропотно почти 3 года; часто шла с голыми руками против убийственной высокой техники врагов, проявляя высокое мужество и самоотверже-

ние; и своей обильной кровью[1] искупала грехи верховной власти, правительства, народа и свои.

Наши союзники не смеют забывать ни на минуту, что к середине января 1917 года эта армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, т.е. 49% всех сил противника, действовавших на европейских и азиатских фронтах.

Старая русская армия заключала в себе еще достаточно сил, чтобы продолжать войну и одержать победу.

ГЛАВА III
СТАРАЯ АРМИЯ И ГОСУДАРЬ

В августе 1915 года Государь, под влиянием кругов императрицы и Распутина, решил принять на себя верховное командование армией. Этому предшествовали безрезультатные представления восьми министров и некоторых политических деятелей, предостерегавших Государя от опасного шага. Официальными мотивами выставлялись, с одной стороны трудность совмещения работы управления и командования, с другой — риск брать на себя ответственность за армию в тяжкий период ее неудач и отступления. Но истинной побудительной причиной этих представлений был страх, что отсутствие знаний и опыта у нового Верховного главнокомандующего осложнит и без того трудное положение армии, а немецко-распутинское окружение, вызвавшее паралич правительства и разрыв его с Государственной Думой и страной, поведет к разложению армии.

Ходила, между прочим, молва, впоследствии оправдавшаяся, что решение Государя вызвано отчасти и боязнью кругов императрицы перед все более возраставшей, невзирая на неудачи армии, популярностью великого князя Николая Николаевича...

[1] Французский депутат Луи Мартен исчисляет потери армий *одними убитыми* следующими цифрами (в миллионах): Россия — 2,5; Германия — 2; Австрия — 1,5; Франция — 1,4; Англия — 0,8; Италия — 0,6 и т.д. На долю России приходится 40% мартиролога всех союзных армий.

23 августа армии и флоту был отдан приказ, в котором после официального текста Государь собственноручно приписал: «С твердою верою в милость Божию и с непоколебимою уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посрамим земли Русской».

Этот значителный по существу акт не произвел в армии большого впечатления. Генералитет и офицерство отдавало себе ясный отчет в том, что личное участие Государя в командовании будет лишь внешнее, и потому всех интересовал более вопрос, кто будет начальником штаба. Назначение генерала Алексеева успокоило офицерство.

Что касается солдатской массы, то она не вникала в технику управления, для нее царь и раньше был верховным вождем армии, и ее смущало несколько одно лишь обстоятельство: издавна укоренившееся в народе убеждение, что царь несчастлив.

Фактически в командование Вооруженными силами России вступил генерал Михаил Васильевич Алексеев. На фоне русской военной истории и русской смуты фигура генерала Алексеева занимает такое большое место, что нельзя в кратких словах очертить его значение. Для этого необходимо специальное историческое исследование жизненного пути человека, вызвавшего различное отношение — и положительное и отрицательное — к своей военной и политической деятельности, но никогда не дававшего повода сомневаться в том, что «крестный путь его озарен кристаллической честностью и горячей любовью к Родине — и великой и растоптанной[1]».

Не всегда достаточно твердый в проведении своих требований, в вопросе о независимости Ставки от сторонних влияний Алексеев проявил гражданское мужество, которого так не хватало жадно державшимся за власть сановникам старого режима.

Однажды, после официалного обеда в Могилеве, императрица взяла под руку Алексеева и, гуляя с ним по саду, завела разговор о Распутине.

[1] Слова из приказа по Добровольческой армии.

Несколько волнуясь, она горячо убеждала Михаила Васильевича, что он не прав в своих отношениях к Распутину, что «старец — чудный и святой человек», что на него клевещут, что он горячо привязан к их семье, а главное — что его посещение Ставки принесет счастье.

Алексеев сухо ответил, что для него это вопрос давно решенный. И что если Распутин появится в Ставке, он немедленно оставит пост начальника штаба.

— Это ваше окончательное решение?

— Да, несомненно.

Императрица резко оборвала разговор и ушла не простившись с Алексеевым.

Этот разговор, по словам Михаила Васильевича, повлиял на ухудшение отношений к нему Государя. Вопреки установившемуся мнению, отношения эти, по внешним проявлениям не оставлявшие желать ничего лучшего, не носили характера ни интимной близости, ни дружбы, ни даже исключительного доверия.

Государь никого не любил, разве только сына. В этом был трагизм его жизни — человека и правителя.

Несколько раз Михаил Васильевич, удрученный нараставшим народным неудовольствием против режима и трона, пытался выйти из рамок военного доклада и представить царю истинное освещение событий. Но когда он касался вопроса о Распутине и об ответственном министерстве, то встречал хорошо знакомый многим непроницаемый взгляд и сухой ответ:

— Я это знаю.

Больше ни слова.

Но в вопросах управления армией Государь всецело доверялся Алексееву, выслушивая долгие, слишком, быть может, обстоятельные доклады его. Выслушивал терпеливо и внимательно, хотя, по-видимому, эта область не захватывала его. Некоторое расхождение случалось лишь в вопросах второстепенных — о назначениях приближенных, о создании им должностей и т.п.

Полное безучастие Государя к вопросам высшей стратегии определилось для меня совершенно ясно после прочтения одного важного акта — записи суждений Военного совета, собранного в Ставке в конце 1916 года под председательством

Государя из всех главнокомандующих и высших чинов Ставки для обсуждения плана кампании 1917 года и общего наступления.

Подробная запись каждой произнесенной фразы создавала впечатление о властности и руководящей роли временного заместителя начальника штаба генерала Гурко, о несколько эгоистических устремлениях главнокомандующих, подгонявших стратегические аксиомы к специальным интересам своего фронта, и наконец — о полном безучастии Верховного главнокомандующего.

Такие же взаимоотношения между Государем и начальником штаба существовали во время исполнения последней должности генералом Гурко. Алексеев осенью 1916 года тяжко заболел и лечился в Севастополе, не прекращая, однако, связи со Ставкой, с которой он сносился по прямому проводу.

• • •

Между тем борьба Государственной Думы (прогрессивного блока) с правительством, находившая несомненно сочувствие у Алексеева и у командного состава, принимала все более резкие формы. Запрещенный для печати отчет о заседании 1 ноября 1916 года[1] с историческими речами Шульгина, Милюкова и др. в рукописном виде распространен был повсеместно в армии. Настроение настолько созрело, что подобные рукописи не таились уже под спудом, а читались и резко обсуждались в офицерских собраниях.

— Я был крайне поражен, — говорил мне один видный социалист и деятель городского союза, побывав впервые в армии в 1916 году, — с какой свободой всюду — в воинских частях, в офицерских собраниях, в присутствии командиров, в штабах и т.д. — говорят о негодности правительства, о придворной грязи. И это в нашей стране «слова и дела»! Вначале мне казалось, что меня просто провоцируют.

Связь Думы с офицерством существовала давно. Работа комиссии государственной обороны в период воссоздания флота и реорганизации армии после японской войны протекала при деятельном негласном участии офицерской молодежи.

[1] Появился в газетах в урезанном виде только в начале января 1917 года.

А.И. Гучков образовал кружок, в состав которого вошли Савич, Крупенский, граф Бобринский и представители офицерства во главе с генералом Гурко. По-видимому, к кружку примыкал и генерал Поливанов, сыгравший впоследствии такую крупную роль в развале армии (Поливановская комиссия). Там не было ни малейшего стремления к «потрясению основ», а лишь желание подтолкнуть тяжелый бюрократический воз, дать импульс работе и инициативу инертным военным управлениям.

По словам Гучкова, кружок работал совершенно открыто, и военное ведомство первое время снабжало его даже материалами. Но затем отношение Сухомлинова круто изменилось, кружок был взят под подозрение, пошли разговоры о «младотурках».

Как бы то ни было, осведомленность комиссии государственной обороны была очень большая. Генерал Лукомский, бывший начальником мобилизационного отдела, потом помощником военного министра, рассказывал мне, как серьезно надо было готовиться к докладам и какое жалкое впечатление производил во время своих редких выступлений легкомысленный и несведущий министр Сухомлинов, терзаемый со всех сторон членами комиссии.

Во время процесса сам Сухомлинов рассказал эпизод, как однажды он явился на заседание комиссии, в которой рассматривались два больших военных вопроса, и как его остановил Родзянко:

— Уходите, уходите... Вы для нас красное сукно: как только вы приезжаете, дела ваши проваливаются.

После галицийского отступления Государственной Думе удалось, наконец, добиться постоянного участия своих членов в деле правильной постановки военных заказов, а земским и городским союзам — образования «Главного комитета по снабжению армий».

Кровавый опыт привел, наконец, к простой идее мобилизации русской промышленности. И дело, вырвавшееся из мертвящей обстановки военных канцелярий, пошло широким ходом. По официальным данным, в армию посылалось в июле 1915 года по 33 парка вместо затребованных 50, а в сентябре, благодаря привлечению к работе частных заводов, — 78. Я по непосредственному опыту, а не только по

цифрам имею полное основание утверждать, что уже к концу 1916 года армия наша, не достигнув, конечно, тех высоких норм, которые практиковались в армиях союзников, обладала все же вполне достаточными боевыми средствами, чтобы начать планомерную и широкую операцию на всем своем фронте.

Это обстоятельство также было учтено надлежаще в войсках, укрепляя доверие к Государственной Думе и общественным организациям.

Но в области внутренней политики положение не улучшалось. И к началу 1917 года крайне напряженная атмосфера политической борьбы выдвинула новое средство — переворот!

* * *

В Севастополь к больному Алексееву приехали представители некоторых думских и общественных кругов. Они совершенно откровенно заявили, что назревает переворот. Как отнесется к этому страна, они знают. Но какое впечатление произведет переворот на фронте, они учесть не могут. Просили совета.

Алексеев в самой категорической форме указал на недопустимость каких бы то ни было государственных потрясений во время войны, на смертельную угрозу фронту, который, по его пессимистическому определению, «и так не слишком прочно держится», и просил во имя сохранения армии не делать этого шага.

Представители уехали, обещав принять меры к предотвращению готовившегося переворота.

Не знаю, какие данные имел Михаил Васильевич, но он уверял впоследствии, что те же представители вслед за ним посетили Брусилова и Рузского и, получив от них ответ противоположного свойства, изменили свое первоначальное решение и стали продолжать подготовку переворота.

Пока трудно выяснить детали этого дела. Участники молчат, материалов нет, а все дело велось в глубокой тайне, не проникая в широкие армейские круги. Тем не менее некоторые обстоятельства стали известны.

Целый ряд лиц обращались к Государю с предостережением об опасности, грозившей стране и династии; в их числе Алексеев, Гурко, протопресвитер Шавельский, Пуришкевич, великие князья Николай и Александр Михайловичи и сама вдовствующая императрица.

После приезда в армию осенью 1916 года председателя Государственной Думы Родзянко у нас распространилось письмо его к Государю. Оно предостерегало царя о той огромной опасности, которая угрожает трону и династии из-за гибельного участия в управлении государством Александры Федоровны.

Одно из подобных «вмешательств» Родзянко вызвало высочайший выговор, переданный письменно председателю Государственной Думы по приказанию Государя генералом Алексеевым. Это обстоятельство, между прочим, весьма существенно отразилось на последующих отношениях этих двух государственных деятелей.

Великий князь Николай Михайлович в своем письме, прочтенном Государю 1 ноября, после указания на недопустимость сделавшегося известным «всем слоям общества» порядка назначения министров при посредстве ужасной среды, окружающей императрицу, говорит:

«Если бы Тебе удалось устранить это постоянное вторгательство темных сил, сразу началось бы возрождение России и вернулось бы утраченное Тобой доверие громадного большинства Твоих подданных... Когда время настанет, а оно уже не за горами, Ты сам с высоты престола сможешь даровать желанную ответственность перед Тобою и законодательными учреждениями. Это сделается просто, само собой, без напора извне и не так, как совершился достопамятный акт 17 октября 1905 года. Я долго колебался открыть Тебе истину, но после того как Твоя матушка и Твои обе сестры меня убедили это сделать, я решился. Ты находишься накануне эры новых волнений; скажу больше — новых покушений. Поверь мне: если я так напираю на Твое собственное *освобождение* от создавшихся оков, то я это делаю не из личных побуждений, а только ради надежды спасти Тебя, Твой престол и нашу дорогую родину от самых тяжких и непоправимых последствий».

Но никакие представления не действовали.

В состав образовавшихся кружков входили некоторые члены правых и либеральных кругов Государственной Думы,

прогрессивного блока, члены императорской фамилии и офицерство. Активным действиям должно было предшествовать последнее обращение к Государю одного из великих князей. В случае неуспеха в первой половине марта предполагалось вооруженной силой остановить императорский поезд во время следования его из Ставки в Петроград. Далее должно было последовать предложение Государю отречься от престола, а в случае несогласия — физическое его устранение. Наследником предполагался законный правопреемник Алексей, а регентом — Михаил Александрович.

В то же время большая группа прогрессивного блока, земских и городских деятелей, причастная или осведомленная о целях кружка, имела ряд заседаний для выяснения вопроса, «какую роль должна сыграть после переворота Государственная Дума»[1]. Тогда же был намечен и первый состав кабинета, причем выбор главы его, после обсуждения кандидатур М. Родзянко и князя Львова, остановился на последнем.

Но судьба распорядилась иначе.

Раньше предполагавшегося переворота началась, по определению Альбера Тома, «самая солнечная, самая праздничная, самая бескровная русская революция»...

ГЛАВА IV
РЕВОЛЮЦИЯ В ПЕТРОГРАДЕ

С событиями в Петрограде и Ставке я ознакомился только впоследствии. Для последовательности изложения коснусь их вкратце. В телеграмме царю членов Государственного совета в ночь на 28 февраля положение определялось следующим образом:

«Вследствие полного расстройства транспорта и отсутствия подвоза необходимых материалов остановились заводы и фабрики. Вынужденная безработица и крайнее обострение продовольственного кризиса, вызванного тем же расстройством транспорта, довели народные массы до пол-

---

[1] *Милюков.* «История второй русской революции».

ного отчаяния. Это чувство еще обострилось той ненавистью к правительству и теми тяжкими подозрениями против власти, которые глубоко запали в народную душу.

Все это вылилось в народную смуту стихийной силы, а к этому движению присоединяются теперь и войска. Правительство, никогда не пользовавшееся доверием в России, окончательно дискредитировано и совершенно бессильно справиться с грозным положением»...

Находившая благоприятную почву в общих условиях жизни страны подготовка к революции прямо или косвенно велась давно. В ней приняли участие самые разнородные элементы: германское правительство, не жалевшее средств на социалистическую и пораженческую пропаганду в России, в особенности среди петроградских рабочих; социалистические партии, организовавшие свои ячейки среди рабочих и воинских частей; несомненно и протопоповское министерство, как говорили, провоцировавшее уличные выступления, чтобы вооруженной силой подавить его и тем разрядить невыносимо сгущенную атмосферу. Как будто все силы — по диаметрально противоположным побуждениям, разными путями, различными средствами — шли к одной конечной цели.

Вместе с тем прогрессивный блок и общественные организации, учитывая неизбежность больших событий, начали готовиться к ним, а некоторые круги, идейно или персонально близкие к указанным организациям, как я уже говорил, приступили к подготовке дворцового переворота, видя в нем последнее средство предотвратить надвигающуюся революцию. Тем не менее восстание все же вспыхнуло стихийно, застав всех врасплох. В исполнительном комитете Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов впоследствии, около 10 марта[1], видными членами его по частному поводу были даны разъяснения, что «восстание солдат произошло независимо от рабочих, с которыми солдаты еще накануне переворота никакой связи не имели», и что «восстание подготовлено не было, почему и не оказалось соответствующего органа управления».

---

[1] При посещении его генералом Корниловым.

Что касается думских и общественных кругов, то они подготовлены были к перевороту, а не к революции, и в ее бушующем пламени не могли сохранить душевное равновесие и холодный расчет.

Первые вспышки начались 23 февраля, когда толпы народа запрудили улицы; собирались митинги, и ораторы призывали к борьбе против ненавистной власти. Так продолжалось до 26-го, когда народное движение приняло грандиозные размеры и начались кровавые столкновения с полицией, с применением ею пулеметов.

26-го получен был указ об отсрочке сессии Государственной Думы, а 27-го утром в заседании Думы решено было не разъезжаться из Петрограда.

Между тем в тот же день утром обстановка в корне изменилась, так как на сторону восставших перешли запасные батальоны Литовского, Волынского, Преображенского и саперного гвардейских полков. Именно запасные батальоны, так как настоящие гвардейские полки находились тогда на Юго-западном фронте. Эти батальоны не отличались ни дисциплиной, ни настроением от прочих имперских запасных частей.

Командный состав многих частей растерялся, не определил сразу основной линии своего поведения, и эта двойственность послужила отчасти причиной устранения его влияния и власти.

Войска вышли на улицу без офицеров, слились с толпой и восприняли ее психологию.

Вооруженная толпа, возбужденная до последней степени, опьяненная свободой, подогреваемая уличными ораторами, текла по улицам, сметая баррикады, присоединяя к себе все новые толпы еще колебавшихся.

Беспощадно избивались полицейские отряды. Встречавшихся офицеров обезоруживали, иногда убивали. Вооруженный народ овладел арсеналом, Петропавловской крепостью, Крестами (тюрьма).

В этот решительный день вождей не было, была одна стихия. В ее грозном течении не виделось тогда ни цели, ни плана, ни лозунгов. Единственным общим выражением настроения был клич «Да здравствует свобода!»

Кто-то должен был овладеть движением. И после горячих споров, после проявления некоторой растерянности и нерешительности эту роль приняла на себя Государственная Дума, выделив из своей среды «Комитет Государственной Думы[1]», который в таких осторожных выражениях объявил 27 февраля о существе своего назначения:

«Временный комитет членов Государственной Думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка... Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием».

Центром политической жизни страны стала Дума, которая, несомненно, к тому времени, после патриотической и национальной борьбы ее против ненавистного народу правительства, после большой и плодотворной работы в интересах армии, пользовалась широким признанием во всей стране и в армии. Никто другой не мог стать во главе движения. Никто другой не мог получить такое доверие страны и такое быстрое и полное признание верховной властью, как власть, исходившая из недр Государственной Думы. Это обстоятельство отлично было учтено Петроградским советом рабочих депутатов, который тогда еще не претендовал на официальное возглавление российского правительства. Такое отношение тогда к Государственной Думе породило иллюзию «всенародности» Временного правительства, ею созданного.

Поэтому, наряду с частями, смешавшимися с вооруженной толпой и громившими все, что слишком резко напоминало старую власть, наряду с отрядами, оставшимися ей верными и оказавшими сопротивление, к Таврическому дворцу

---

[1] М.В. Родзянко, Н.В. Некрасов, А.И. Коновалов, И.И. Дмитрюков, А.Ф. Керенский, В.В. Шульгин, С.И. Шидловский, П.Н. Милюков, М.А. Караулов, В.Н. Львов, В.А. Ржевский, М.С. Чхеидзе, который отказался, предпочитая председательствование в совете рабочих депутатов. Потом вступил Б. Энгельгардт.

стали подходить войсковые части с командирами и офицерами, с музыкой и знаменами и по всем правилам старого ритуала приветствовали новую власть в лице председателя Государственной Думы Родзянко.

Таврический дворец представлял собой необыкновенную картину: законодатели, сановники, солдаты, рабочие, женщины... Палата, военный бивак, тюрьма, штаб, министерства... Сюда стекалось все, искавшее защиты и спасения, жаждавшее руководства и ответа на вставшие вдруг недоуменные вопросы.

Но в тот же день 27 февраля из стен Таврического дворца вышло объявление:

«Граждане! Заседающие в Государственной Думе представители рабочих, солдат и населения Петрограда объявляют, что первое заседание их представителей состоится сегодня в 7 часов вечера в помещении Государственной Думы. Всем перешедшим на сторону народа войскам немедленно избрать своих представителей по одному из каждой роты. Заводам избрать своих депутатов по одному на каждую тысячу. Заводы, имеющие менее тысячи рабочих, избирают по одному депутату».

Этот факт имел чрезвычайное и роковое влияние на весь ход последующих событий: 1) создал параллельно Временному правительству орган неофициальной, но, несомненно, более сильной власти Совета рабочих и солдатских депутатов, борьба с которым оказалась не под силу правительству; 2) придал политическому перевороту и буржуазной революции организованные формы и характер революции социальной, которая была немыслима при современном состоянии страны и не могла пройти без страшных потрясений в период тяжелой внешней войны; 3) установил тесную связь между тяготевшим к большевизму и к пораженчеству Советом и армией, что внесло в нее постоянно бродящий фермент, приведший к разложению.

И когда войска стройными рядами, с командирами и офицерами, дефилировали мимо Таврического дворца, это была лишь показная внешность. Связь между офицерством и солдатами была уже в корне нарушена, дисциплина подорвана, и с тех пор войска Петроградского округа до последних своих дней представляли опричнину, тяготевшую своей грубой и темной силой над Временным правительством. Впоследствии все усилия Гучкова, Корнилова и Ставки повлиять на них или вывести на фронт остались тщетными, встречая резкое сопротивление Совета.

Временами среди войсковых частей вспыхивало вновь сильное брожение, иногда форменный военный бунт. Члены Думы разъезжали по казармам успокаивать войска. Попытка Гучкова совместно с генералом Потаповым и князем Вяземским водворить порядок в Измайловском полку завершилась печально: измайловцы и петроградцы открыли огонь, князь Вяземский был смертельно ранен, а спутники его пробились с большим трудом. По свидетельству Потапова, бывшего председателя военной комиссии, ведавшей внешней обороной Петрограда, к 3 марта полки пришли в полное расстройство. «Только 176-й полк сохранял еще порядок и занял Царскосельский вокзал; Балтийский же и Варшавский вокзалы и впереди лежащие позиции в ожидании подходивших с фронта эшелонов были заняты почти исключительно офицерскими командами. Те же офицеры пробивались навстречу направленным войскам и смело среди них разъясняли происходившие события, чем много содействовали общему успеху и предотвратили кровопролитие».

Фактически к Петрограду подходили, главным образом по собственной инициативе, войсковые части из его окрестностей, вливавшиеся затем в состав гарнизона.

Офицерство несомненно переживало тяжелую драму, оказавшись между верностью присяге, недоверием и враждебностью солдат и велением целесообразности. Часть офицеров, очень небольшая, оказала вооруженное противодействие восстанию и в большинстве погибла; часть уклонилась от фактического участия в событиях; но большая часть в рядах полков, сохранивших относительный порядок, в лице Государственной Думы искала разрешения вопросов мятущейся совести.

Большое собрание офицеров, находившихся в Петрограде, 1 марта вынесло постановление: «Идя рука об руку с народом, признавая, что для победоносного окончания войны необходима скорейшая организация порядка и дружная

работа в тылу, единогласно постановили признать власть исполнительного комитета Государственной Думы впредь до созыва Учредительного собрания».

* * *

Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, который проявляли сменявшиеся один за другим правители распутинского назначения, к началу 1917 года привели к тому, что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло бы опереться царское правительство. Врагом народа его считали все: Пуришкевич и Чхеидзе, объединенное дворянство и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные солдаты.

В мои намерения не входит исследование деятельности правительства, приведшей к революции, борьбы его с народом и представительными учреждениями. Я суммирую лишь те обвинения, которые справедливо предъявлены были ему накануне падения Государственной Думой.

Все государственные, сословные и общественные учреждения — Государственный совет, Государственная Дума, дворянство, земство, городское самоуправление и объединение — подозревались в неблагонадежности, и правительство вело с ними формальную борьбу, парализуя всякую их государственную и общественную работу.

Бесправие и сыск достигли небывалой еще степени. Русский независимый суд подчинен был «требованиям политического момента».

В то время как в союзных государствах вся общественность приняла горячее участие в работе на оборону своих стран, у нас эта помощь презрительно отверглась, и работа велась неумелыми, иногда преступными руками, вызвав фатальные явления сухомлиновщины и протопоповщины. Военно-промышленный комитет, оказавший делу снабжения армии большие услуги, систематически разрушался. Незадолго до революции рабочая группа его была без причины арестована, что едва не вызвало кровавые беспорядки в столице.

Правительственными мероприятиями, при отсутствии общественной организации, расстраивалась промышленная

жизнь страны, транспорт, исчезало топливо. Правительство оказалось бессильным и неумелым в борьбе с этой разрухой, одной из причин которой были, несомненно, и эгоистические, иногда хищнические устремления торгово-промышленных кругов.

Деревня была обездолена. Ряд тяжких мобилизаций без каких-либо льгот и изъятий, которые предоставлялись другим классам, работавшим на оборону, отняли у нее рабочие руки. А неустойчивость твердых цен, с поправками, внесенными в пользу крупного землевладения — вначале, а затем злоупотребление в системе разверстки хлебной повинности, при отсутствии товарообмена с городом, привели к прекращению подвоза хлеба, к голоду в городе и репрессиям в деревне.

Служилый класс, вследствие огромного поднятия цен и необеспеченности, бедствовал и роптал.

Назначения министров поражали своей неожиданностью и казались издевательством. Страна устами Государственной Думы и лучших людей требовала ответственного министерства. Этот минимум политических чаяний русского общества еще утром 27 февраля считался Государственной Думой достаточным, чтобы задержать «последний час, когда решалась судьба Родины и династии»[1]...

Общественная мысль и печать были задушены. Широко раздвинувшая пределы своего ведения военная цензура внутренних округов (в том числе Московского и Петроградского) была неуязвимой, скрываясь за военное положение, в котором находились эти округа, и за статьи 93 и 441 Положения о полевом управлении войск, в силу которых от командующих и главнокомандующих «никакое правительственное место, учреждение или лицо в империи не могут требовать отчетов». Общая цензура не уступала в удушении. В одном из заседаний Думы обсуждался такой поразительный факт. Когда в феврале 1917 года не без участия немецкой руки начало распространяться по заводам забастовочное движение, члены рабочей группы военно-промышленного комитета составили воззвание:

[1] Телеграмма Родзянко Государю.

«Товарищи рабочие Петрограда! Считаем своим долгом обратиться к вам с настоящим предложением немедленно приступить к работам. Рабочий класс, в сознании своей ответственности переживаемого момента, не должен ослаблять своих сил затягиванием забастовки. Интересы рабочего класса зовут вас к станкам».

Это воззвание, невзирая на обращение Гучкова[1] к министру внутренних дел и к главному цензору, дважды было снято с печатных станков и пропущено не было.

Если в государственной деятельности павшего правительства в области хозяйственно-экономической еще подлежит исследованию и выяснению вопрос, что должно быть отнесено на счет деятелей и системы, а что на счет непреодолимых условий потрясенного мировой войной организма страны, то удушение совести, мысли, духа народного и общественной инициативы не найдет никакого оправдания.

Неудивительно поэтому, что Москва и провинция присоединились почти без борьбы к перевороту. Вне Петрограда, где, за немногими исключениями, не было той жути от кровавых столкновений и бесчинства опьянелой толпы, переворот был встречен еще с большим удовлетворением, даже с ликованием. И не только революционной демократией, но и просто демократией, буржуазией и служилым элементом. Небывалое оживление, тысячные толпы народа, возбужденные лица, возбужденные речи, радость освобождения от висевшего над всеми тяжелого маразма, светлые надежды на будущее России и, наконец, повисшее в воздухе, воспроизводимое в речи, в начертаниях, в образах, музыке, пении, волнующее — тогда еще не забрызганное пошлостью, грязью и кровью — слово «Свобода!»

«Эта революция — единственная в своем роде, — писал князь Евгений Трубецкой. — Бывали революции буржуазные, бывали и пролетарские, но революции национальной в таком широком значении слова, как нынешняя русская, доселе не было на свете. Все участвовали в этой революции, все ее делали — и пролетариат, и войска, и буржуазия, даже

[1] Председатель комитета.

дворянство; все вообще живые общественные силы страны... Только бы это объединение сохранилось».

В этих словах отразились чаяния и тревоги русской интеллигенции, но не печальная русская действительность. И кровавые бунты в Гельсингфорсе, Кронштадте, Ревеле, гибель адмирала Непенина и многих офицеров служили первым предостережением для оптимистов.

* * *

Жертвы первых дней революции в столице были невелики: регистрация Всероссийского союза городов определила их для Петрограда общим числом убитых и раненых в 1443, в том числе воинских чинов — 869 (офицеров 60). Конечно, много раненых избегло учета.

Однако положение Петрограда, выбитого из колеи, насыщенного горючим материалом и вооруженными людьми, долго еще было крайне неопределенным и напряженным.

От членов Государственной Думы и правительства впоследствии я слышал, что весы сильно колебались, и они все время чувствовали себя сидящими на бочке с порохом, который ежеминутно мог вспыхнуть и уничтожить их всех и создаваемое ими государственное здание.

Товарищ председателя Совета рабочих и солдатских депутатов Скобелев говорил журналистам: «Должен сознаться: когда я в начале революции вышел на крыльцо Таврического дворца, чтобы встретить кучку солдат, пришедших первыми в Государственную Думу, и обратился к ним с речью, я был почти убежден, что говорю одну из своих последних речей, что пройдет несколько дней и я буду расстрелян или повешен».

А несколько офицеров — участников событий — уверяли меня, что растерянность и всеобщее непонимание положения в столице были так велики, что *один твердый батальон* во главе с начальником, понимающим чего он хочет, мог повернуть вверх дном всю обстановку.

Как бы то ни было, 2 марта Временный комитет членов Государственной Думы объявил о создании Временного правительства[1], которое, после длительных переговоров с парал-

[1] Князь Львов, Милюков, Гучков, Коновалов, Мануилов, Терещенко, Львов, Шингарев, Годнев, Керенский.

лельным органом «демократической власти» — Советом рабочих депутатов, — издало декларацию:

1) «Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе — террористическим покушениям, военным восстаниям, аграрным преступлениям и т.д.

2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями.

3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.

4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны.

5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.

6) Выборы в органы местного самоуправления на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

7) Не разоружение и не вывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении.

8) При сохранении воинской дисциплины в строю и при несении военной службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.

Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий».

Эта декларация носила слишком явные следы давления «параллельной» власти. Последняя, в свою очередь, издала воззвание, в котором, между прочим, говорилось: «В той мере, в какой зарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обязательств и решительной борьбы со старой властью, демократия должна оказать ей свою поддержку»; и далее: «Ради успеха революционной борьбы надо проявить терпимость и забвение несущественных проступков против демократии тех офицеров, которые присоединились к решительной и окончательной борьбе со старым режимом».

Как известно, той же демократической властью накануне был издан приказ №1.

«Я часто мечтал об этой революции, которая должна была облегчить тяготы нашей войны, — говорит Людендорф[1]. — Вечная химера! Но сегодня мечта вдруг исполнилась непредвиденно. Я почувствовал, что с меня спала очень большая тяжесть. Но я не мог предположить, что она станет могилой для нашего могущества».

Важнейший деятель Германии — страны, так много поработавшей для отравления души русского народа, — пришел к позднему осознанию того, что «наше моральное падение началось с началом русской революции».

ГЛАВА V
РЕВОЛЮЦИЯ И ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ

Государь — одинокий, без семьи, без близких, не имея возле себя ни одного человека, которому мог или хотел довериться, переживал свою тяжелую драму в старом губернаторском доме в Могилеве.

Вначале Протопопов и правительство представляли положение серьезным, но не угрожающим: народные волнения, которые надо подавить «решительными мерами». Несколько сот пулеметов были предоставлены в распоряжение командовавшего войсками Петроградского округа генерала Хабалова; ему и председателю Совета министров князю Голицыну были расширены значительно права в области подавления беспорядков; наконец, утром 27-го с небольшим отрядом был двинут генерал Иванов с секретными полномочиями — полноты военной и гражданской власти, о чем он должен был объявить по занятии Царского села. Трудно себе представить более неподходящее лицо для выполнения поручения столь огромной важности — установления, по

[1] «Mes souvenirs de Guerre».

существу, военной диктатуры. Дряхлый старик, честный солдат, плохо разбиравшийся в политической обстановке, не обладавший уже ни силами, ни энергией, ни волей, ни суровостью... Вероятно, вспомнили удачное усмирение им Кронштадта в 1906 году.

Просматривая впоследствии последние донесения Хабалова и Беляева[1], я убедился в полной их растерянности, малодушии и боязни ответственности.

Тучи сгущались.

26 февраля императрица телеграфировала Государю: «Я очень встревожена положением в городе». В этот же день Родзянко прислал историческую телеграмму: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». Эта телеграмма послана была Родзянко и всем главнокомандующим с просьбой поддержать его...

27-го утром председатель Думы обратился к Государю с новой телеграммой: «Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии».

Трудно думать, что и в этот день Государь не отдавал себе ясного отчета в катастрофическом положении; вернее, он — слабовольный и нерешительный человек — искал малейшего предлога, чтобы отдалить час принятия решения, фаталистически предоставляя судьбе творить неведомую волю.

Во всяком случае, новое внушительное представление генерала Алексеева, поддержанное ответными телеграммами главнокомандующих на призыв Родзянко, не имело успеха, и Государь, обеспокоенный участью своей семьи, утром 28 февраля поехал в Царское Село, не приняв никакого определенного решения по вопросу об уступках русскому народу.

---

[1] Военный министр.

Генерал Алексеев — этот мудрый и честный патриот — не обладал достаточной твердостью, властностью и влиянием, чтобы заставить Государя решиться на тот шаг, необходимость которого сознавалась тогда даже императрицей, телеграфировавшей 27-го: «Уступки необходимы».

Два дня бесцельной поездки. Два дня без надлежащей связи, осведомленности о нараставших и изменявшихся ежеминутно событиях. Императорский поезд, следуя кружным путем, распоряжением из Петрограда дальше Вишеры пропущен не был, и, после получения ряда сведений о признании гарнизоном Петрограда власти Временного комитета Государственной Думы, о присоединении к революции царскосельских войск, Государь велел повернуть на Псков.

Вечер 1 марта в Пскове. Разговор с генералом Рузским; Государь ознакомился с положением, но решения не принял. Только в 2 часа ночи 2-го, вызвав Рузского вновь, он вручил ему указ об ответственном министерстве. «Я знал, что этот компромисс запоздал, — рассказывал Рузский корреспонденту. — Но я не имел права высказать свое мнение, не получив указаний от исполнительного комитета Государственной Думы, и предложил переговорить с Родзянко[1]».

Всю ночь телеграфные провода передавали разговоры, полные жуткого глубокого интереса и решавшие судьбы страны: Рузский — с Родзянко и Алексеевым, Ставка — с главнокомандующими, Лукомский[2] — с Даниловым[3].

Во всех разговорах — ясно сознаваемая неизбежность отречения.

Утром 2-го Рузский представил Государю мнения Родзянко и военных вождей. Император выслушал совершенно спокойно, не меняя выражения своего, как будто застывшего лица. В 3 часа дня он заявил Рузскому, что акт об отречении в пользу своего сына им уже подписан[4], и передал телеграмму об отречении.

---

[1] *Chessin.* «La revolution russe».

[2] Генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего.

[3] Начальник штаба Северного фронта.

[4] Акт был составлен в Ставке и прислан Государю.

Если верить в закономерность общего исторического процесса, то все же приходится задуматься над фаталистическим влиянием случайных эпизодов — обыденно житейских, простых и предотвратимых. Тридцать минут, протекшие вслед за сим, изменили в корне ход событий: не успели разослать телеграммы, как пришло сообщение, что в Псков едут делегаты комитета Государственной Думы Гучков и Шульгин. Этого обстоятельства, доложенного Рузским государю, было достаточно, чтобы он вновь отложил решение и задержал опубликование акта.

Вечером прибыли делегаты.

Среди глубокого молчания присутствующих[1] Гучков нарисовал картину той бездны, к которой подошла страна, и указал на единственный выход — отречение.

— Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола, — ответил государь. — До 3 часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что расстаться со своим сыном я неспособен. Вы это, надеюсь, поймете? Поэтому я решил отречься в пользу моего брата.

Делегаты, застигнутые врасплох такой неожиданной постановкой вопроса, не протестовали. Гучков — по мотивам сердца, «не чувствуя себя в силах вмешиваться в отцовские чувства и считая невозможным оказывать в этой области какое-нибудь давление»[2]. Шульгин — по мотивам политическим: «быть может, в душе маленького царя будут расти недобрые чувства по отношению к людям, разлучившим его с отцом и матерью. Кроме того, большой вопрос, может ли регент принести присягу на верность конституции за малолетнего императора!»

«Чувства» маленького царя — это был вопрос отдаленного будущего. Что касается юридических обоснований, то само существо революции отрицает юридическую законность ее последствий; слишком шатко было юридическое обоснование всех трех актов: *вынужденного* отречения императора Николая II, отказа его от наследственных прав за

[1] Фредерикс, Нарышкин, Рузский, Гучков, Шульгин.

[2] Рассказ В.В. Шульгина.

несовершеннолетнего сына и, наконец, передача впоследствии верховной власти Михаилом Александровичем — лицом, не воспринявшим ее, — Временному правительству подписанием акта, в котором великий князь «просил» всех российских граждан подчиниться этому правительству.

Неудивительно, что «в общем сознании современников этого первого момента, — как говорит Милюков, — новая власть, созданная революцией, вела свое преемство не от актов 2 и 3 марта, а от событий 27 февраля».

Я могу прибавить, что и впоследствии в сознании многих лиц высшего командного состава, ставивших на первый план спасение родины, в этом вопросе соображения юридического, партийно-политического и династического характера не играли никакой роли. Это обстоятельство имеет большое значение для уяснения многих последующих явлений.

Около 12 часов ночи на 3 марта, после некоторых поправок, Государь вручил делегатам и Рузскому два экземпляра манифеста об отречении.

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее нашего дорогого Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского.

Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои ими будут установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины.

Призываю всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним — повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.

Да поможет Господь Бог России. Николай».

Поздно ночью поезд уносил отрекшегося императора в Могилев. Мертвая тишина, опущенные шторы и тяжкие, тяжкие думы. Никто никогда не узнает, какие чувства боролись в душе Николая II — отца, монарха и просто человека, когда в Могилеве, при свидании с Алексеевым, он, глядя на него усталыми, ласковыми глазами, как-то нерешительно сказал:

— *Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму в Петроград.*

На листке бумаги отчетливым почерком Государь писал собственноручно о своем согласии на вступление на престол сына своего Алексея...

Алексеев унес телеграмму и... не послал. Было слишком поздно: стране и армии объявили уже два манифеста.

Телеграмму эту Алексеев, «чтобы не смущать умы», никому не показывал, держал в своем бумажнике и передал мне в конце мая, оставляя верховное командование. Этот интересный для будущих биографов Николая II документ хранился затем в секретном пакете в генерал-квартирмейстерской части Ставки.

* * *

Между тем около полудня 3 марта у великого князя Михаила Александровича, который с 27 февраля не имел связи со Ставкой и Государем, собрались члены правительства и Временного комитета[1]. В сущности вопрос был предрешен и тем

[1] Князь Львов, Милюков, Керенский, Некрасов, Терещенко, Годнев, Львов, Гучков, Родзянко, Шульгин, Ефремов, Караулов.

настроением, которое царило в Совете рабочих депутатов по получении известия о манифесте, и вынесенной исполнительным комитетом Совета резолюцией протеста, доведенной до сведения правительства, и непримиримой позицией Керенского, и общим соотношением сил: кроме Милюкова и Гучкова, все прочие лица, «отнюдь не имея никакого намерения оказывать на великого князя какое-либо давление», в страстных тонах советовали ему отречься. Милюков предостерегал, что «сильная власть... нуждается в опоре привычного для масс символа», что «Временное правительство одно может потонуть в океане народных волнений и до Учредительного собрания не доживет»[1]...

Переговорив еще раз с председателем Государственной Думы Родзянко, великий князь заявил о своем окончательном решении отречься.

В тот же день было обнародовано заявление великого князя Михаила Александровича:

«Тяжкое бремя возложено на меня волей брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народа.

Одушевленный со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского.

Призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.

Михаил».

[1] *Милюков.* «История второй русской революции».

После отречения великий князь поселился возле Гатчины, не принимал решительно никакого участия в политической жизни страны и жил там до середины марта 1918 года, когда по инициативе местного большевистского комитета был арестован, препровожден в Петроград и затем вскоре сослан в Пермскую губернию.

Первоначально ходили слухи, что около половины июля 1918 года ему вместе с преданным секретарем-англичанином удалось бежать от большевиков; с тех пор об участи его никто ничего определенного не знает. Все розыски, произведенные органами Южного и Сибирского правительств и по инициативе вдовствующей императрицы, не привели к достоверным результатам. И со стороны большевиков не было дано никаких официальных разъяснений. Позднейшие исследования, однако, заставляют думать, что «освобождение» явилось провокацией, а на самом деле великий князь был тайно увезен большевиками, убит недалеко от Перми и тело его спущено под лед.

Эта таинственность исчезновения великого князя родила много легенд и вызвала даже появление в Сибири самозванцев. Летом 1918 года, ко времени первых успехов Сибирской армии, распространился широко по советской России и Югу слух о том, что сибирские войска ведет против большевиков великий князь Михаил Александрович. Газеты печатали его манифест. Периодически эти слухи и печатание апокрифических манифестов в провинциальной печати, преимущественно крайне правой, возобновлялись даже в 20-м году (в Крыму).

Нужно заметить, впрочем, что когда летом 1918 года киевские монархисты вели сильную кампанию за придание антибольшевистскому военному движению монархического характера, они отказались от легитимного принципа, как, по некоторым соображениям, персонального свойства кандидатов, так — в отношении Михаила Александровича — и потому, что он «связал себя» торжественным обещанием перед Учредительным собранием.

Учитывая всю создавшуюся к марту 1917 года обстановку, я прихожу к убеждению, что борьба за оставление власти в руках императора Николая II вызвала бы анархию, падение фронта и окончилась бы неблагополучно и для него, и для страны; поддержка регентства Михаила Александровича была бы проведена с некоторой борьбой, но без потрясений и с безусловным успехом. Несколько более трудным, но все же возможным представлялось утверждение на престоле Михаила Александровича, при условии введения им широкой конституции.

Члены Временного правительства и Временного комитета, за исключением Милюкова и Гучкова, терроризованные Советом рабочих депутатов и переоценивавшие силу и значение возбужденной солдатской и рабочей массы Петрограда, взяли на себя большую историческую ответственность — убедить великого князя отказаться от немедленного восприятия верховной власти.

Дело не в монархизме и не в династии. Это вопросы совершенно второстепенные. Я говорю только о России.

Трудно, конечно, сказать, насколько прочна и длительна была бы эта власть, какие метаморфозы испытала бы она впоследствии, но если бы она даже только на время войны сберегла от распада армию, весь ход дальнейшей истории русской державы мог бы стать на путь эволюции и избежать тех небывалых потрясений, которые ныне ставят под вопрос дальнейшее ее существование.

***

7 марта Временное правительство постановило «признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в Царское Село». Выполнение этого постановления в отношении императрицы возложено было на генерала Корнилова, чего впоследствии не могли ему простить ортодоксальные монархисты. Как странно: Александра Федоровна после объявления ей об аресте высказала удовлетворение, что это было сделано славным генералом Корниловым, а не кем-либо из членов нового правительства...

В отношении государя исполнение правительственного распоряжения возложено было на четырех членов Государственной Думы.

8 марта, простившись со Ставкой, Государь уехал из Могилева при гробовом молчании собравшегося на вокзале на-

рода; последний раз его провожали полные горючих слез глаза матери.

Чтобы понять казавшееся странным отношение правительства к государевой семье во время пребывания ее и в Царском Селе и в Тобольске, нужно напомнить следующее обстоятельство: невзирая на то что за все семь с половиной месяцев власти Временного правительства не было ни одной серьезной попытки к освобождению арестованных, они пользовались исключительным вниманием Совета рабочих и солдатских депутатов; и в заседании Совета 10 марта товарищ председателя Соколов при полном одобрении собрания докладывал: «Вчера стало известно, что Временное правительство изъявило согласие на отъезд Николая II в Англию и даже вступило об этом в переговоры с британскими властями без согласия и без ведома исполнительного комитета совета рабочих депутатов. Мы мобилизовали все находящиеся под нашим влиянием воинские части и поставили дело так, чтобы Николай II фактически не мог уехать из Царского Села без нашего согласия. По линиям железных дорог были разосланы соответствующие телеграммы... задержать поезд с Николаем II, буде таковой уедет... Мы командировали своих комиссаров, отрядив соответствующее количество воинской силы с броневыми автомобилями, и окружили Александровский дворец плотным кольцом. Затем мы вступили в переговоры с Временным правительством, которое санкционировало все наши мероприятия. В настоящее время бывший царь находится не только под надзором Временного правительства, но и под нашим надзором»...

1 августа 1917 года царская семья была отправлена в Тобольск, а после утверждения в Сибири советской власти император с семьей был перевезен в Екатеринбург и там, подвергаясь невероятному глумлению черни, мучениями и смертью своею и своей семьи[1] заплатил за все вольные и невольные прегрешения против русского народа.

Когда во время второго Кубанского похода, получив на станции Тихорецкой известие о смерти императора, я приказал Добровольческой армии отслужить панихиды, этот факт вызвал жестокое осуждение в демократических кругах и печати.

[1] Убийство произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Забыли мудрое слово: «Мне отмщение и аз воздам»...

ГЛАВА VI
РЕВОЛЮЦИЯ И АРМИЯ. ПРИКАЗ №1

События застали меня далеко от столицы, в Румынии, где я командовал 8-м армейским корпусом. Оторванные от родины, мы если и чувствовали известную напряженность политической атмосферы, то не были подготовлены вовсе ни к такой неожиданно скорой развязке, ни к тем формам, которые она приняла.

Фронт был поглощен своими частными интересами и заботами. Готовились к зимнему наступлению, которое вызывало совершенно отрицательное отношение к себе у всего командного состава нашей 4-й армии; употребляли все усилия, чтобы ослабить хотя бы до некоторой степени ужасную хозяйственную разруху, созданную нам румынскими путями сообщения. Где-то в Новороссии на нашей базе всего было достаточно, но до нас ничего не доходило. Лошади дохли от бескормицы, люди мерзли без сапог и теплого белья и заболевали тысячами; из нетопленных румынских вагонов, не приспособленных для больных и раненых, вынимали окоченелые трупы и складывали, как дрова, на станционных платформах. Молва катилась, преувеличивая отдельные эпизоды, волновала, искала виновных.

Местами, в особенности на фронте 9-й армии, на высоких горах в жестокую стужу в холодных землянках по неделям жили на позиции люди — замерзавшие, полуголодные; с огромным трудом по козьим тропам доставляли им хлеб и консервы.

Потом с большим трудом жизнь как будто немного наладилась. Во всяком случае, едва ли когда-нибудь в течение отечественной войны войскам приходилось жить в таких тяжких условиях, как на Румынском фронте зимою 1916—1917 года. Я подчеркиваю это обстоятельство, принимая во вни-

мание, что войска Румынского фронта сохранили большую боеспособность и развалились впоследствии позже всех. Этот факт свидетельствует о том, что со времен Суворовского швейцарского похода и Севастополя не изменилась необыкновенная выносливость русской армии, что тяжесть боевой жизни не имела значения для ее морального состояния, а растление шло в строгой последовательности от центра (Петрограда) к периферии.

Утром 3 марта мне подали телеграмму из штаба армии «для личного сведения» о том, что в Петрограде вспыхнуло восстание, что власть перешла к Государственной Думе и что ожидается опубликование важных государственных актов. Через несколько часов телеграф передал и манифесты императора Николая II и великого князя Михаила Александровича. Сначала было приказано распространить их; потом, к немалому моему смущению (телефоны разнесли уже весть), задержать; потом, наконец, снова распространить. Эти колебания, по-видимому, были вызваны переговорами Временного комитета Государственной Думы и штаба Северного фронта о задержке опубликования актов, ввиду неожиданного изменения Государем основной их идеи: наследование престола не Алексеем Николаевичем, а Михаилом Александровичем. Задержать, однако, уже не удалось.

Войска были ошеломлены — трудно определить другим словом первое впечатление, которое произвело опубликование манифестов. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчание. Так встретили полки 14-й и 15-й дивизий весть об отречении своего императора. И только местами в строю непроизвольно колыхались ружья, взятые на караул, и по щекам старых солдат катились слезы.

Спустя некоторое время, когда улеглось первое впечатление, я два раза собирал старших начальников обеих дивизий с целью выяснить настроение войск и беседовал с частями. Эти доклады, личные впечатления, донесения соседних корпусов, которые я читал потом в штабе армии, дают мне возможность оценить объективно это настроение. Главным образом, конечно, офицерской среды, ибо солдатская масса — слишком темная, чтобы разобраться в событиях, и

слишком инертная, чтобы тотчас реагировать на них, — тогда еще не вполне определилась.

Чтобы передать точно тогдашнее настроение, не преломленное сквозь призму времени, я приведу выдержки из своего письма к близким от 8 марта.

«Перевернулась страница истории. Первое впечатление ошеломляющее, благодаря своей полной неожиданности и грандиозности. Но в общем войска отнеслись ко всем событиям совершенно спокойно. Высказываются осторожно, но в настроении массы можно уловить совершенно определенные течения:

1) Возврат к прежнему немыслим.

2) Страна получит государственное устройство, достойное великого народа; вероятно, конституционную ограниченную монархию.

3) Конец немецкому засилью и победное продолжение войны».

Отречение Государя сочли неизбежным следствием всей нашей внутренней политики последних лет. Но никакого озлобления лично против него и против царской семьи не было. Все было прощено и забыто. Наоборот, все интересовались их судьбой и опасались за нее.

Назначение Верховным главнокомандующим Николая Николаевича и его начальником штаба генерала Алексеева было встречено и в офицерской и в солдатской среде вполне благоприятно.

Интересовались, будет ли армия представлена в Учредительном собрании.

К составу Временного правительства отнеслись довольно безучастно, к назначению военным министром штатского человека отрицательно, и только участие его в работах по государственной обороне и близость к офицерским кругам сглаживали впечатление.

Многим кажется удивительным и непонятным тот факт, что крушение векового монархического строя не вызвало среди армии, воспитанной в его традициях, не только борьбы, но даже отдельных вспышек. Что армия не создала своей Вандеи.

Мне известны только три эпизода резкого протеста: движение отряда генерала Иванова на Царское Село, организо-

ванное Ставкой в первые дни волнений в Петрограде, но выполненное весьма неумело и вскоре отмененное, и две телеграммы, посланные Государю командирами 3-го конного и гвардейского конного корпусов — графом Келлером[1] и ханом Нахичеванским. Оба они предлагали себя и свои войска в распоряжение Государя для «подавления мятежа»...

Было бы ошибочно думать, что армия являлась вполне подготовленной для восприятия временной «демократической республики», что в ней не было «верных частей» и «верных начальников», которые решились бы вступить в борьбу. Несомненно были. Но сдерживающим началом для всех них являлись два обстоятельства: первое — видимая легальность обоих актов отречения, причем второй из них, призывая подчиниться Временному правительству, «облеченному всей полнотой власти», выбивал из рук монархистов всякое оружие; и второе — боязнь междоусобной войной открыть фронт. Армия тогда была послушна своим вождям. А они — генерал Алексеев, все главнокомандующие — признали новую власть. Вновь назначенный Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич в первом приказе своем говорил: «Установлена власть в лице нового правительства. Для пользы нашей родины я, Верховный главнокомандующий, признал ее, показав тем пример нашего воинского долга. Повелеваю всем чинам славной нашей армии и флота неуклонно повиноваться установленному правительству через своих прямых начальников. Только тогда Бог нам даст победу».

• • •

Время шло.

От частей корпуса стало поступать ко мне множество крупных и мелких недоуменных вопросов.

Кто же у нас представляет верховную власть: Временный комитет, создавший Временное правительство, или это последнее? Запросил — не получил ответа. Само Временное правительство, по-видимому, не отдавало себе ясного отчета о существе своей власти.

Кого поминать на богослужении?

[1] Убит в Киеве в 1918 году петлюровцами.

Петь ли народный гимн и «Спаси, Господи, люди Твоя»?..

Эти кажущиеся мелочи вносили, однако, некоторое смущение в умы и нарушали установившийся военный обиход.

Начальники просили скорее установить присягу.

Был и такой вопрос: имел ли право император Николай Александрович отказаться от прав престолонаследия за своего несовершеннолетнего сына?..

Скоро, однако, другие вопросы стали занимать войска: получен был первый приказ военного министра Гучкова с изменениями устава внутренней службы в пользу «демократизации армии»[1]. Этим приказом, на первый взгляд довольно безобидным, отменялось титулование офицеров, обращение к солдатам на «ты» и целый ряд мелких ограничений для солдат, установленных уставом: воспрещение курить на улицах и в других общественных местах, посещать клубы и собрания, играть в карты и т.д.

Последствия были совершенно неожиданные для лиц, не знавших солдатской психологии. Строевые же начальники понимали, что если необходимо устранить некоторые отжившие формы, то делать это надо исподволь, осторожно, а главное — отнюдь не придавая этому характера «завоеваний революции».

Солдатская масса, не вдумавшись нисколько в смысл этих мелких изменений устава, приняла их просто как освобождение от стеснительного регламента службы, быта и чинопочитания.

— Свобода, и кончено!

Впоследствии военному министру в приказе 24 марта пришлось разъяснять такие, например, положения: «Воинским чинам предоставлено право свободного посещения, наравне со всеми гражданами, всех общественных мест, театров, собраний, концертов и проч., а также и право проезда по железным дорогам в вагонах всех классов. Однако право свободы посещения этих мест отнюдь не означает права бесплатного пользования ими, как то, по-видимому, понято некоторыми солдатами».

[1] От 5 марта.

Нарушение дисциплины и неуважительное отношение к начальникам усилились. В частях, и особенно в тыловых, начала сильно развиваться карточная игра с дурными последствиями для солдат, имевших на руках казенные деньги или причастных к хозяйству. Командующий 4-й армией для прекращения этого явления принял весьма демократическую меру, запретив на время войны карточную игру всем — генералам, офицерам и солдатам. Временное правительство только 22 августа 1917 года, обеспокоенное последствиями этого, казалось, мелкого изменения устава в пользу демократизации, сочло необходимым особым постановлением «воспретить военнослужащим всякую игру в карты на театре военных действий, а также в казармах, дворах, военных помещениях и вне театра войны».

Но если все эти мелкие изменения устава, толкуемые солдатами распространительно, отражались только в большей или меньшей степени на воинской дисциплине, то разрешение военным лицам во время войны и революции «участвовать в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью», представляло уже угрозу самому существованию армии.

Ставка, обеспокоенная этим обстоятельством, прибегнула тогда к небывалому еще в армии способу плебисцита: всем начальникам, до командира полка включительно, предложено было высказаться по поводу новых приказов в телеграммах, адресованных непосредственно военному министру. Я не знаю, справился ли телеграф со своей задачей, достигла ли назначения эта огромная масса телеграмм, но все те, которые стали мне известны, были полны осуждения, во всех сквозил страх за будущее армии.

А в то же время в Петрограде Военный совет, состоявший из старших генералов — якобы хранителей опыта и традиции армии, — на заседании своем 10 марта постановил доложить Временному правительству:

«Военный совет считает своим долгом засвидетельствовать полную свою солидарность с теми энергичными мерами, которые Временное правительство принимает в отношении реформ наших вооруженных сил соответственно новому укладу жизни в государстве и армии, в убеждении, что эти реформы наилучшим образом будут способствовать скорейшей победе нашего оружия и освобождению Европы от гнета прусского милитаризма».

Я не могу после этого не войти в положение штатского военного министра.

Нам трудно было понять, какими мотивами руководствовалось военное министерство, издавая свои приказы. Мы не знали тогда о безудержном оппортунизме лиц, окружавших военного министра, о том, что Временное правительство находится в плену у Совета рабочих и солдатских депутатов и вступило с ним на путь соглашательства, являясь всегда страдательной стороной[1].

* * *

1 марта Советом рабочих и солдатских депутатов был отдан приказ №1, приведший к переходу фактической военной власти к солдатским комитетам, к выборному началу и смене солдатами начальников, — приказ, имеющий такую широкую и печальную известность и давший первый и главный толчок к развалу армии.

ПРИКАЗ №1

1 марта 1917 года.

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:

1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письмен-

[1] На съезде советов (30 марта) Церетели признал, что в контактной комиссии не было случая, чтобы в важных вопросах Временное правительство не шло на соглашение.

ными удостоверениями в здание Государственной Думы к 10 часам утра, 2-го сего марта.

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам.

4) Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в каком случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане.

В частности, вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяется.

7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т.п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т.д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов, и в частности обращение к ним на «ты», воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.

Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов.

Генерал Монкевиц уверяет, что приказ такого же содержания он читал в 1905 году в Красноярске, изданный советом депутатов 3-го железнодорожного батальона[1]. Несомненно, приказ этот — штамп социалистической мысли, не поднявшейся до понимания законов бытия армии или, вернее, наоборот — сознательно ниспровергавшей их. Редактирование приказа приписывают присяжному поверенному Н.Д. Соколову, который извлек якобы образец его из своего архива, как бывший защитник по делу совета 1905 года. Генерал Потапов называет имена составителей приказа №2, дополнявшего первый, в предположении, что та же комиссия редактировала и №1[1].

Милюков упоминает, будто 4 марта решено было расклеить заявление Керенского и Чхеидзе о том, что приказ №1 не исходит от Совета рабочих и солдатских депутатов. Такое заявление не попало ни в печать, ни на фронт и совершенно не соответствовало истине, ибо выпуск приказа Советом не подлежит никакому сомнению и подтверждается его руководителями.

Результаты приказа №1 отлично были поняты вождями революционной демократии. Говорят, будто Керенский впоследствии патетически заявлял, что отдал бы десять лет жизни, чтобы приказ не был подписан. Произведенное военными властями расследование «не обнаружило» авторов его. Чхеидзе и прочие столпы Совета рабочих и солдатских депутатов впоследствии отвергали участие свое личное и членов комитета в редактировании приказа.

Пилаты! Они умывали руки, отвергая начертание своего же символа веры. Ибо в отчете о секретном заседании правительства, главнокомандующих и исполнительного комитета рабочих и солдатских депутатов 4 мая 1917 года записаны их слова.

Церетели: «Вам, может быть, был бы понятен приказ №1, если бы вы знали обстановку, в которой он был издан. Перед нами была неорганизованная толпа и ее надо было организовать».

Скобелев: «Я считаю необходимым разъяснить ту обстановку, при которой был издан приказ №1. В войсках, которые свергли старый режим, командный состав не присоединился к восставшим, и чтобы лишить его значения, мы были вынуждены издать приказ №1. У нас была скрытая тревога насчет того, как отнесется к революции фронт. Отдаваемые

[1] *Монкевиц*. «La décomposition de l'armée russe».

[1] Соколов, Доброницкий, Борисов, Кудрявцев, Филипповский, Падергин, Заас, Чекалин, Кремков.

распоряжения внушали опасения. Сегодня мы убедились, что основания для этого были».

Еще более искренним был Иосиф Гольденберг — член Совета рабочих и солдатских депутатов и редактор «Новой жизни». Он говорил французскому писателю Claude Anet[1]:

«Приказ №1 — не ошибка, а необходимость. Его редактировал не Соколов; он является единодушным выражением воли Совета. В день, когда мы «сделали революцию», мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили — я смело утверждаю это — надлежащее средство».

5 марта Совет рабочих и солдатских депутатов отдал приказ №2 «В разъяснение и дополнение №1». Приказ этот, оставляя в силе все основные положения, установленные №1, добавлял: приказ №1 установил комитеты, но не выборное начальство; тем не менее все произведенные уже выборы офицеров должны остаться в силе; комитеты имеют право возражать против назначения начальников; все петроградские солдаты должны подчиняться политическому руководству исключительно Совета рабочих и солдатских депутатов, а в вопросах, относящихся к военной службе, — военным властям. Этот приказ, весьма несущественно отличавшийся от №1, был уже скреплен председателем военной комиссии Временного правительства.

Генерал Потапов, именовавшийся «председателем военной комиссии Государственной Думы», так говорит о создавшихся взаимоотношениях между Советом рабочих и солдатских депутатов и военным министром: «6 марта вечером на квартиру Гучкова пришла делегация Совдепа в составе Соколова, Нахамкеса и Филипповского (ст. лейтенанта), Скобелева, Гвоздева, солдат Падергина и Кудрявцева (инженера) по вопросу о реформах в армии... Происходившее заседание было очень бурным. Требования делегации Гучков признал для себя невозможными и несколько раз выходил, заявляя о сложении с себя звания министра. С его уходом я принимал председательствование, вырабатывались соглашения, снова приглашался Гучков, и заседание закончилось воззванием, которое было подписано от Совдепа Скобелевым, от комитета Государственной Думы — мною, от правительства — Гучковым. Воззвание аннулировало приказы №1 и №2, но военный министр дал обещание провести в армии более реальные, чем он предполагал, реформы по введению новых правил взаимоотношений командного состава и солдат». Эти реформы должна была разработать комиссия генерала Поливанова.

[1] «La révolution russe».

Единственным компетентным военным человеком в этом своеобразном «военном совете» являлся генерал Потапов, который и должен нести свою долю нравственной ответственности за «более реальные реформы».

В действительности же воззвание, опубликованное в газетах 8 марта, вовсе не аннулировало приказов №1 и №2, а лишь разъяснило, что они относятся только к войскам Петроградского военного округа. «Что же касается армий фронта, то военный министр обещал незамедлительно выработать, в согласии с исполнительным комитетом Совета рабочих и солдатских депутатов, новые правила отношений солдат и командного состава». Как приказ №2, так и это воззвание не получили никакого распространения в войсках и ни в малейшей степени не повлияли на ход событий, вызванных к жизни приказом №1.

Быстрое и повсеместное, по всему фронту и тылу, распространение приказа №1 обусловливалось тем обстоятельством, что идеи, проведенные в нем, зрели и культивировались много лет — одинаково в подпольях Петрограда и Владивостока, — как заученные прописи проповедовались всеми местными армейскими демагогами, всеми наводнившими фронт делегатами, снабженными печатью неприкосновенности от Совета рабочих и солдатских депутатов.

Были и такие факты: в самом начале революции, когда еще никакие советские приказы не проникли на Румынский фронт, командующий 6-й армией генерал Цуриков по требованию местных демагогов ввел у себя комитеты и даже пространной телеграммой, заключавшей доказательства пользы нововведения, сообщил об этом и нам — командирам корпусов чужой армии.

С другой стороны, некоторые солдатские организации отнеслись отрицательно к приказу, считая его провокацией. Так, нижегородский совет солдатских депутатов 4 марта постановил не принимать к исполнению полученную «прокламацию» и призвать войска «повиноваться Временному правительству, его органам и командному составу».

* * *

Мало-помалу солдатская масса зашевелилась. Началось с тылов, всегда более развращенных, чем строевые части, причем среди военной полуинтеллигенции — писарей, фельдшеров, в технических командах. Ко второй половине марта, когда в наших частях только усилились несколько дисциплинарные проступки, командующий 4-й армией в своей главной квартире ожидал с часу на час, что его арестуют распущенные нестроевые банды.

Прислали, наконец, текст присяги «на верность службы Российскому государству». Идея верховной власти была выражена словами:

«Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему российское государство, впредь до установления воли народа при посредстве Учредительного собрания».

Приведение войск к присяге повсюду прошло спокойно, но идиллических ожиданий начальников не оправдало: ни подъема, ни успокоения в смятенные умы это не внесло. Могу отметить лишь два характерных эпизода. Командир одного из корпусов на Румынском фронте во время церемонии присяги умер от разрыва сердца. Граф Келлер заявил, что приводить к присяге свой корпус не станет, так как не понимает существа и юридического обоснования[1] верховной власти Временного правительства; не понимает, как можно присягать повиноваться Львову, Керенскому и прочим определенным лицам, которые могут ведь быть удалены или оставить свои посты... Князь Репнин XX века после судебной волокиты ушел на покой, и до самой смерти своей не одел машкеры.

Было ли действительно принесение присяги машкерой? Думаю, что для многих лиц, которые не считали присягу простой формальностью, — далеко не одних монархистов, — это, во всяком случае, была большая внутренняя драма, тяжело переживаемая; это была тяжелая жертва, приносимая во спасение Родины и для сохранения армии...

[1] На вопрос толпы, кто выбрал Временное правительство, Милюков ответил: «Нас выбрала русская революция».

В половине марта я был вызван на совещание к командующему 4-й армией генералу Рогозе. Участвовали генералы Гаврилов, Сычевский и начальник штаба Юнаков[1]. Отсутствовал граф Келлер, не признавший новой власти.

Нам прочли длинную телеграмму генерала Алексеева, полную беспросветного пессимизма, о начинающейся дезорганизации правительственного аппарата и развале армии; о демагогической деятельности Совета рабочих и солдатских депутатов, тяготевшего над волей и совестью Временного правительства; о полном бессилии последнего; о вмешательстве обоих органов в управление армией. В качестве противодействующего средства против развала армии намечалась посылка государственно мыслящих делегатов из состава Думы и Совета рабочих и солдатских депутатов на фронт для убеждения.

На всех телеграмма произвела одинаковое впечатление: *Ставка выпустила из своих рук управление армией.*

Между тем грозный окрик верховного командования, поддержанный армией, сохранившей в первые две недели дисциплину и повиновение, быть может, мог поставить на место переоценивавший свое значение Совет, не допустить «демократизации» армии и оказать соответственное давление на весь ход политических событий, не нося характера ни контрреволюции, ни военной диктатуры. Лояльность командного состава и полное отсутствие с его стороны активного противодействия разрушительной политике Петрограда превзошли все ожидания революционной демократии.

Корниловское выступление запоздало.

Мы составили сообща ответную телеграмму, предлагая решительные меры против чужого вмешательства в военное управление.

В штабе я ознакомился с телеграммами Родзянко и Алексеева, адресованными главнокомандующим и от них Госу-

[1] Впоследствии — начальник штаба Петлюры.

дарю. Как известно, все главнокомандующие[1] присоединились к просьбе Родзянко. Но Западный фронт долго задерживал ответ; Румынский также долго уклонялся от прямого ответа и все добивался по аппарату у соседних штабов, какой ответ дали другие. Наконец, от Румынского фронта послана была телеграмма, в первой части которой высказывалось глубокое возмущение «дерзким предложением председателя Государственной Думы», а во второй, принимая во внимание сложившуюся обстановку, как единственный выход указывалось принятие предложения.

18 марта я получил приказание немедленно отправиться в Петроград к военному министру. Быстро собравшись, я выехал в ту же ночь и, пользуясь сложной комбинацией повозок, автомобилей и железных дорог, на 6-й день прибыл в столицу.

По пути, проезжая через штабы Лечицкого, Каледина, Брусилова, встречая много лиц военных и причастных к армии, я слышал все одни и те же горькие жалобы, все одну и ту же просьбу:

— Скажите им, что они губят армию.

Телеграмма не давала никакого намека на цель моего вызова. Полная, волнующая неизвестность, всевозможные догадки и предположения.

Только в Киеве слова пробегавшего мимо газетчика поразили меня своей полной неожиданностью:

— Последние новости... Назначение генерала Деникина начальником штаба Верховного главнокомандующего...

ГЛАВА VII
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПЕТРОГРАДА В КОНЦЕ МАРТА 1917 ГОДА

Перед своим отречением император подписал два указа — о назначении председателем Совета министров князя Львова и Верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. «В связи с общим отношением к

[1] Великий князь Николай Николаевич, Рузский, Эверт, Брусилов, Сахаров.

династии Романовых», как говорили петроградские официозы, а в действительности — из опасения Совета рабочих и солдатских депутатов попыток военного переворота, великому князю Николаю Николаевичу 9 марта было сообщено Временным правительством о нежелательности его оставления в должности Верховного главнокомандующего.

Министр-председатель князь Львов писал: «Создавшееся положение делает неизбежным оставление Вами этого поста. Народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых каких-либо государственных должностей. Временное правительство не считает себя вправе оставаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым могло бы привести к самым серьезным осложнениям. Временное правительство убеждено, что Вы, во имя блага родины, пойдете навстречу требованиям положения и сложите с себя еще до приезда Вашего в Ставку звание Верховного главнокомандующего».

Письмо это застало великого князя уже в Ставке, и он, глубоко обиженный, немедленно сдал командование генералу Алексееву, ответив правительству: «Рад вновь доказать мою любовь к Родине, в чем Россия *до сих пор* не сомневалась».

Возник огромной важности вопрос о заместителе. Ставка волновалась, ходили всевозможные слухи, но ко дню моего проезда через Могилев ничего определенного еще не было известно.

23-го я явился к военному министру Гучкову, с которым раньше никогда не приходилось встречаться.

От него я узнал, что правительство решило назначить Верховным главнокомандующим генерала М.В. Алексеева. Вначале вышло разногласие: Родзянко и другие были против него. Родзянко предлагал Брусилова. Теперь окончательно решили вопрос в пользу Алексеева. Но, считая его человеком мягкого характера, правительство сочло необходимым подпереть Верховного главнокомандующего боевым генералом в роли начальника штаба. Остановились на мне, с тем чтобы, пока я не войду в курс работы, временно оставался в долж-

ности начальника штаба генерал Клембовский, бывший тогда помощником Алексеева[1].

Несколько подготовленный к такому предложению отделом «Вести и слухи» киевской газетки, я все же был и взволнован, и несколько даже подавлен теми широчайшими перспективами работы, которые открылись так неожиданно, и той огромной нравственной ответственностью, которая была сопряжена с назначением. Долго и искренне я отказывался от него, приводя достаточно серьезные мотивы: вся служба моя прошла в строю и в строевых штабах; всю войну я командовал дивизией и корпусом и к этой боевой и строевой деятельности чувствовал призвание и большое влечение; с вопросами политики, государственной обороны и администрации — в таком огромном, государственном масштабе — не сталкивался никогда. Назначение имело еще одну не совсем приятную сторону: как оказывается, Гучков объяснил генералу Алексееву откровенно мотивы моего назначения и от имени Временного правительства поставил вопрос об этом назначении до некоторой степени ультимативно. Создалось большое осложнение: навязанный начальник штаба, да еще с такой не слишком приятной мотивировкой.

Но возражения мои не подействовали. Я выговорил себе, однако, право: прежде чем принять окончательное решение, переговорить откровенно с генералом Алексеевым.

Между прочим, военный министр во время моего посещения вручил мне длинные списки командующего генералитета до начальников дивизий включительно, предложив сделать отметки против фамилии каждого известного мне генерала об его годности или негодности к командованию. Таких листов с пометками, сделанными неизвестными мне лицами, пользовавшимися, очевидно, доверием министра, было у него несколько экземпляров. А позднее, после объезда Гучковым фронта, я видел эти списки, превратившиеся в широкие простыни с 1012 графами.

---

[1] Генерал Клембовский был назначен на эту должность генералом Гурко во время исправления им должности начальника штаба Верховного главнокомандующего, когда Алексеев был болен.

В служебном кабинете министра я встретил своего товарища — генерала Крымова[1] и вместе с ним присутствовал при докладе помощников военного министра[2]. Вопросы текущие, неинтересные. Ушли с Крымовым в соседнюю пустую комнату. Разговорились откровенно.

— Ради Бога, Антон Иванович, не отказывайся от должности — это совершенно необходимо.

Он поделился со мною впечатлениями, рассказывая своими отрывочными фразами, оригинальным, несколько грубоватым языком и всегда искренним тоном.

Приехал он 14 марта, вызванный Гучковым, с которым раньше еще был в хороших отношениях и вместе работал. Предложили ему ряд высоких должностей; он попросил осмотреться, потом от всех отказался. «Вижу — нечего мне тут делать в Петрограде, не по душе все». Не понравилось ему очень окружение Гучкова. «Оставляю ему полковника генерального штаба Самарина для связи — пусть хоть один живой человек будет». Ирония судьбы: этот, пользовавшийся таким доверием Крымова офицер, впоследствии сыграл роковую роль, послужив косвенно причиной его самоубийства.

К политическому положению Крымов отнесся крайне пессимистически:

— Ничего ровно из этого не выйдет. Разве можно при таких условиях вести дело, когда правительству шагу не дают ступить совдеп и разнузданная солдатня. Я предлагал им в два дня расчистить Петроград одной дивизией — конечно, не без кровопролития. Ни за что: Гучков не согласен, Львов за голову хватается: «Помилуйте, это вызвало бы такие потрясения!» Будет хуже. На днях уезжаю к своему корпусу: не стоит терять связи с войсками, только на них и надежда. До сих пор корпус сохранился в полном порядке; может быть, удастся поддержать это настроение.

---

[1] Генерал Крымов — начальник Уссурийской дивизии, потом командир 3-го конного корпуса, сыгравший такую видную роль в корниловском выступлении. До революции — один из инициаторов предполагавшегося дворцового переворота.

[2] Филатьев, Новицкий, Маниковский и сенатор Гарин.

* * *

Четыре года я не видел Петрограда. Но теперь странное и тягостное чувство вызывала столица, начиная с разгромленной гостиницы «Астория», где я остановился и где в вестибюле дежурил караул из грубых и распущенных гвардейских матросов. Улицы такие же суетливые, но грязные и переполненные новыми господами положения — в защитных шинелях, но далекими от боевой страды, а углубляющими и спасающими революцию. От кого?.. Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и не нашел его. Нигде. Министры и правители, с бледными лицами, вялыми движениями, измученные бессонными ночами и бесконечными речами в заседаниях, советах, комитетах, а также перед делегациями, представителями, толпой. Искусственный подъем; бодрящие, взвинчивающие настроение, но опостылевшие, вероятно, самому себе фразы; и тревога, глубокая тревога в сердце. И никакой практической работы: министры по существу не имели ни времени, ни возможности хоть несколько сосредоточиться и заняться текущими делами своих ведомств; и заведенная бюрократическая машина, скрипя и хромая, продолжала кое-как работать старыми частями и с новым приводом.

Рядовые офицеры, несколько растерянные и подавленные, чувствовали себя пасынками революции и никак не могли найти надлежащий тон в общении с солдатской массой. А на верхах, в особенности среди генерального штаба, появился уже новый тип оппортуниста, слегка демагога, игравшего на слабых струнках Совета и нового правящего рабоче-солдатского класса и старавшегося угождением инстинктам толпы стать ей близким, нужным и на фоне революционного безвременья открыть себе неограниченные возможности военно-общественной карьеры.

Следует, однако, признать, что в то время военная среда оказалась еще достаточно здоровой, ибо, невзирая на все разрушающие эксперименты, которые над ней производили, не дала пищи этим росткам. Все лица подобного типа, как, например, молодые помощники военного министра Керенского, а также генералы Брусилов, Черемисов, Бонч-Бруевич, Верховский, адмирал Максимов и др. не смогли укрепить своего влияния и положения среди офицерства.

Наконец, петроградский гражданин — в самом широком смысле этого слова — отнюдь не ликовал. Первый пыл остыл и на смену явились некоторая озабоченность и неуверенность.

Не могу не отметить одного общего явления тогдашней петроградской жизни: люди перестали быть сами собой. Многие как будто играли заученную роль на сцене жизни, обновленной дыханием революции. Начиная с заседаний Временного правительства, где, как мне говорили, присутствие «заложника демократии» Керенского придавало не совсем искренний характер обмену мнениями. Побуждения тактические, партийные, карьерные, осторожность, чувство самосохранения, психоз и не знаю еще какие дурные и хорошие чувства заставляли людей надевать шоры и ходить в них в роли апологетов или, по крайней мере, бесстрастных зрителей «завоеваний революции» — таких завоеваний, от которых явно пахло смертью и тлением.

Отсюда и лживый пафос бесконечных митинговых речей. Отсюда эти странные на вид противоречия: князь Львов, говоривший с трибуны, что «процесс великой революции еще не закончен, но каждый прожитый день укрепляет веру в неиссякаемые творческие силы русского народа, в его государственный разум, в величие его души»; и тот же Львов, горько жалующийся в беседе с Алексеевым на невозможные условия работы Временного правительства, создаваемые все более растущей в Совете и в стране демагогией.

Или Керенский — идеолог солдатских комитетов с трибуны, и Керенский — в своем вагоне нервно бросающий адъютанту: «Гоните вы эти проклятые комитеты в шею!»

Чхеидзе и Скобелев — на заседании с правительством и главнокомандующими горячо отстаивающие полную демократизацию армии, и они же — в перерыве заседания, признающие в частном разговоре за стаканом чая необходимость суровой военной дисциплины и свое бессилие провести эту идею через Совет...

Повторяю, что и тогда уже, в конце марта, в Петрограде чувствовалось, что слишком долго идет пасхальный пере-

звон, вместо того чтобы сразу ударить в набат. Только два человека из всех, с которыми мне пришлось беседовать, не делали себе никаких иллюзий — это Крымов и Корнилов.

* * *

С Корниловым я встретился первый раз на полях Галиции, возле Галича, в конце августа 1914 года, когда он принял 48-ю пехотную дивизию, а я — 4-ю стрелковую (железную) бригаду. С тех пор, в течение 4 месяцев непрерывных, славных и тяжких боев, наши части шли рядом в составе 24-го корпуса, разбивая врага, перейдя Карпаты[1], вторгаясь в Венгрию. Из-за крайне растянутых фронтов мы редко виделись, но это не препятствовало нам хорошо знать друг друга. Тогда уже совершенно ясно определились для меня главные черты Корнилова как военачальника: большое умение воспитывать войска (из второсортной части Казанского округа он в несколько недель сделал отличнейшую боевую дивизию); решимость и крайнее упорство в ведении самой тяжелой, казалось, обреченной операции; необычайная личная храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность; наконец, высокое соблюдение военной этики в отношении соседних частей и соратников — свойство, против которого часто грешили и начальники и войсковые части.

После изумившего всех бегства из австрийского плена, в который Корнилов попал тяжелораненым, прикрывая отступление Брусилова из-за Карпат, к началу революции он командовал 25-м корпусом.

Все, хоть немного знавшие Корнилова, чувствовали, что он должен сыграть большую роль в русской революции.

2 марта Родзянко телеграфировал непосредственно Корнилову: «Временный комитет Государственной Думы, образовавшийся для восстановления порядка в столице, принужден был взять в свои руки власть, ввиду того, что под давлением войск и народа старая власть никаких мер для успокоения населения не предприняла и совершенно устранена. В настоящее время власть будет передана временным комитетом Государственной Думы Временному правительству, образованному под председательством князя Львова. Войска подчинились новому правительству, не исключая состоящих в войске, а также в Петрограде лиц императорской фамилии, и все слои населения признают только новую власть. Необходимо для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии назначение на должность главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной Думы признает таким лицом ваше превосходительство, как известного всей России героя. Временный комитет просит вас, во имя спасения родины, не отказать принять на себя должность главнокомандующего в Петрограде и прибыть незамедлительно в Петроград. Ни минуты не сомневаемся, что вы не откажетесь вступить в эту должность и тем оказать неоцениимую услугу родине. №159. Родзянко».

[1] Корнилов — у Гуменного, я — у Мезоляборча.

Все построение этой телеграммы и такой «революционный» путь назначения, минуя военное командование, очевидно не понравились Ставке: на телеграмме, проходившей через Ставку, имеется пометка «не отправлена», но в тот же день генерал Алексеев отдал свой приказ (№334): «Допускаю ко временному главнокомандованию войсками Петроградского военного округа... генерал-лейтенанта Корнилова».

Я подчеркнул этот маленький эпизод для уяснения, как путем целого ряда мелких личных трений возникли впоследствии не совсем нормальные отношения между двумя крупными историческими деятелями...

С Корниловым я беседовал в доме военного министра за обедом — единственное время его отдыха в течение дня. Корнилов — усталый, угрюмый и довольно пессимистически настроенный, рассказывал много о состоянии Петроградского гарнизона и своих взаимоотношениях с Советом. То обаяние, которым он пользовался в армии, здесь — в нездоровой атмосфере столицы, среди деморализованных войск — поблекло. Они митинговали, дезертировали, торговали за прилавком и на улице, нанимались дворниками, телохранителями, участвовали в налетах и самочинных обысках, но не несли службы. Подойти к их психологии боевому генералу было трудно. И если часто ему удавалось лич-

ным презрением опасности, смелостью, метким, образным словом овладеть толпой во образе воинской части, то бывали случаи и другие, когда войска не выходили из казарм для встречи своего главнокомандующего, поднимали свист, срывали георгиевский флажок с его автомобиля (финляндский гвардейский полк).

Общее политическое положение Корнилов определял так же, как и Крымов: отсутствие власти у правительства и неизбежность жестокой расчистки Петрограда. В одном они расходились: Корнилов еще упрямо надеялся, что ему удастся подчинить своему влиянию большую часть петроградского гарнизона, — надежда, как известно, не сбывшаяся.

ГЛАВА VIII
СТАВКА; ЕЕ РОЛЬ И ПОЛОЖЕНИЕ

25 марта я приехал в Ставку и тотчас был принят Алексеевым.

Алексеев, конечно, обиделся.

— Ну что же, раз приказано...

Я снова, как и в министерстве, указал ряд мотивов против своего назначения и в том числе — отсутствие всякого влечения к штабной работе. Просил генерала Алексеева совершенно откровенно, не стесняясь никакими условностями, как своего старого профессора, высказать свой взгляд, ибо без его желания я ни в каком случае этой должности не приму.

Алексеев говорил вежливо, сухо, обиженно и уклончиво: масштаб широкий, дело трудное, нужна подготовка. «Ну что же, будем вместе работать»...

Я, за всю свою долгую службу не привыкший к подобной роли, не мог, конечно, примириться с такой постановкой вопроса.

— При таких условиях я категорически отказываюсь от должности. И чтобы не создавать ни малейших трений между вами и правительством, заявлю, что это исключительно мое личное решение.

Алексеев вдруг переменил тон.

— Нет, я прошу вас не отказываться. Будем работать вместе, я помогу вам; наконец, ничто не мешает месяца через два, если почувствуете, что дело не нравится, уйти в первую же открающуюся армию. Надо вот только поговорить с Клембовским: он, конечно, помощником не останется.

Простились уже не так холодно.

Но прошел день, два — результатов никаких. Я жил в вагоне-гостинице, не ходил ни в Ставку, ни в собрание[1] и, не желая долее переносить такое нелепое и незаслуженное положение, собрался уже вернуться в Петроград. Но 28 марта приехал в Ставку военный министр и разрубил узел: Клембовскому было предложено назначение командующим армией или членом Военного совета; он выбрал последнее. Я же 5 апреля вступил в должность начальника штаба.

Тем не менее такой полупринудительный способ назначения Верховному главнокомандующему ближайшего помощника не прошел бесследно: между генералом Алексеевым и мною легла некоторая тень и только к концу его командования она рассеялась. Генерал Алексеев в моем назначении увидел опеку правительства. Вынужденный с первых же шагов вступить в оппозицию Петрограду, служа исключительно делу, оберегая Верховного (часто без его ведома) от многих трений и столкновений своим личным участием в них, я со временем установил с генералом Алексеевым отношения, полные внутренней теплоты и доверия, которые не порывались до самой его смерти.

2 апреля генерал Алексеев получил телеграмму: «Временное правительство назначает Вас Верховным главнокомандующим. Оно верит, что армия и флот под Вашим твердым руководством исполнят свой долг перед родиной до конца». Числа 10-го состоялся приказ и о моем назначении.

Итак, я начальник штаба Верховного главнокомандующего. Множество поздравительных телеграмм и писем — и искренних и с расчетом. Действительно огромный масштаб и такой навал работы, которого ранее никогда в жизни я не испытывал и который вначале буквально придавил меня фи-

[1] «Сел в бест», как острили в Ставке, которую очень волновал ход переговоров.

зически и духовно. Установился невозможный режим: два раза в день в собрание и обратно — завтракать и обедать, вот и вся прогулка; прочее время — текущая переписка, изучение истории возникавших вопросов, доклады, приемы; и так до глубокой ночи. Запас здоровья, приобретенный за три года полевой боевой жизни, оказался весьма кстати. Без него было бы худо. Постепенно, однако, создавалась некоторая преемственность в работе и укреплялась почва под ногами в смысле определенности решений и осведомленности.

Оба ближайших помощника начальника штаба ушли: генерал-квартирмейстер Лукомский, не ладивший с Алексеевым и, может быть, не хотевший подчиниться младшему, был назначен командиром первого армейского корпуса; дежурный генерал Кондзеровский обиделся на Гучкова, сказавшего ему, что «Дежурство»[1] Ставки вызывает всеобщую ненависть в армии, и также ушел, получив назначение членом Военного совета, сохранив со мной прекрасные отношения. Здесь крылось глубокое недоразумение и личные счеты каких-то осведомителей, ибо в Кондзеровском я встретил редкую доброту и отзывчивость к интересам самых маленьких чинов армии.

Их уход также несколько осложнил положение. Первого заменил приглашенный ранее Алексеевым генерал Юзефович, второго — Минут. Ушел еще со своего поста по политическим мотивам генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович. Его заменил генерал Ханжин, впоследствии командовавший армией в войсках адмирала Колчака. Два доклада Сергея Михайловича нарисовали мне такую отчетливую картину состояния русской артиллерии, подчеркнули такое изумительное знание им личного состава, что я искренно пожалел об уходе такого сотрудника.

* * *

Ставка вообще не пользовалась расположением. В кругах революционной демократии ее считали гнездом контрреволюции, хотя она решительно ничем не оправдывала это название: при Алексееве — высоколояльная борьба против

[1] «Дежурство» — административно-организационный отдел Ставки.

развала армии, без всякого вмешательства в общую политику; при Брусилове — оппортунизм с уклоном даже в сторону заискивания перед революционной демократией. Что касается корниловского движения, то оно, не будучи в своей основе контрреволюционным, как увидим ниже, действительно имело целью борьбу против полубольшевистских советов. Но и тогда лояльность чинов Ставки определилась достаточно наглядно: в корниловском выступлении активно участвовало из них лишь несколько человек; после ликвидации института верховных главнокомандующих и введения нового института «главковерхов» почти вся Ставка (при Керенском) или довольно большая часть ее (при Крыленко) продолжала текущую работу.

Армия также не любила Ставку — и за дело, и по недоразумению, так как там плохо разбирались в определении служебных функций, и многие недочеты снабжения, быта, прохождения службы, наград и т.д. относили на Ставку, тогда как эти вопросы составляли всецело компетенцию военного министерства и подчиненных ему органов. Ставка всегда стояла несколько вдали от армии. И если при сравнительно нормальных, налаженных взаимоотношениях дореволюционного периода это обстоятельство не отражалось слишком резко на действиях правящего механизма, то теперь, когда жизнь армии не шла, а кипела в водовороте событий, Ставка поневоле отставала от жизни.

Правительство также относилось к Ставке отрицательно. Министры, посетившие ее 18—19 марта, вынесли впечатление о «громоздкости Ставки, невозможности определения ответственности, о смешении прав и обязанностей, особенно в отношении великих князей, занявших созданные для них посты инспекторов кавалерии, авиации, казачьих войск, гвардии и т.д. Назначения начальников делались по связям. Система учета живых и материальных сил неудовлетворительна: ошибка в оценке боевых сил допускалась до трех миллионов (!), оценка снабжения делалась с огромными допусками[1]» и т.д. Не оспаривая известные недочеты Ставки, о которых говорится ниже, считаю преувеличенным обвине-

[1] В передаче генерала Потапова.

ние в «назначениях по связям», возводимых в общее правило. Несомненно, эта слабость человеческая имела место в старой Ставке, но никогда не доходила до той вакханалии, какая проявилась в революционный период, когда были опрокинуты всякие стажи знания, опыта, заслуг под пленительным лозунгом «Дорогу талантам!»

Но беда в том, что таланты зачастую определялись под большим давлением столь компетентных учреждений, как войсковые комитеты.

Помню, как самому мне пришлось выдержать большую борьбу с генеральным штабом по поводу моего требования не считаться со старшинством чинов, а предоставлять все же высшие командные должности только офицерам, прошедшим практическую школу полкового командира. В частности, я навлек на себя большое неудовольствие будущего военного министра полковника Верховского, не допустив его назначения начальником дивизии с должности начальника штаба дивизии.

Наконец, в отношениях правительства к Ставке не могли не возникнуть некоторые трения, вследствие постоянного протеста против целого ряда правительственных мероприятий, разрушавших армию. Никаких других серьезных причин к разногласию не существовало, так как вопросы внутренней политики ни в малейшей степени не затрагивались ни генералом Алексеевым, ни мною, ни отделами Ставки. Ставка была, в полном смысле этого слова, аполитична, и Временное правительство в первые месяцы революции имело в ней совершенно надежный технический аппарат. Ставка оберегала лишь высшие интересы армии и в пределах ведения войны и армии добивалась полной мощи Верховного главнокомандующего. Я скажу более: личный состав Ставки казался мне бюрократическим, слишком погруженным в сферу чисто специальных интересов и — плохо ли, хорошо ли — мало интересующимся общими политическими и социальными вопросами, выдвигаемыми жизнью.

Штаты Ставки были поистине велики. Они росли и непрестанно развивались, обусловливаясь иногда устройством в штат определенного лица или приданием ему определенного антуража. Особенно отличались «военные сообщения» и «пути сообщения», функции которых, зачастую одноименные, переплетались и перемешивались. В течение войны дважды изменялась система управления сообщениями и, сообразно с этим, функционировала еще ликвидационная комиссия с полными штатами и окладами главных управлений. Это учреждение каждые три месяца (при мне, кажется, в пятый раз) возобновляло ходатайство о продлении своей деятельности.

Но едва ли не в самых худших условиях, и уже по причинам от него не зависевшим, находился Главный полевой интендант. Представляя только орган надзора, статистики и высшего распределения, он оперировал цифрами заведомо ложными, доставляемыми с фронтов, особенно ввиду полного отсутствия общего учета людского и конского составов. Затруднения в снабжении, боязнь перемещать запасы с более обеспеченного фронта на менее обеспеченный и общее отсутствие превалирования государственных интересов над местными создали грандиозную ложь, сокрытие от учета и преуменьшение цифр всюду — начиная с полкового обоза и кончая фронтом.

Характерной чертой Ставки, для меня очень тягостной, была легкость обращения с миллионами, безотказно извлекаемыми из военного фонда. Не хищение, отнюдь, а именно легкость. Сомнительной пользы предприятия, проведение новых железных и шоссейных дорог, стратегическая необходимость которых была весьма условна, и т.д. Управление путей, например, было настолько предусмотрительно, что представило мне раз на утверждение заказ в несколько десятков миллионов рублей на возобновление в будущем оборудования Варшавско-Венской железной дороги, находившейся на польской территории, оккупированной немцами!

И когда я мучительно изучал вопрос военной целесообразности представленного мне однажды проекта какой-то новой ветки, начальник управления, генерал Кисляков[1] — человек большого ума и таланта — положительно недоумевал:

— Ведь всего на 8 миллионов. Неужели вам жалко их?

[1] Растерзан большевиками на улицах Полтавы в 1919 году.

Со времени революции эта легкость обращения с народными деньгами нашла и другое применение: многие начальники и на фронте и в Ставке, уступая напору всяких комитетов и делегаций, отчасти желая снискать известную популярность, возбуждали неосновательные ходатайства о значительной прибавке содержания, преимущественно тыловым, нестроевым элементам. Иногда напор помимо меня велся на доброго и стеснявшегося отказать Михаила Васильевича. И мне больших усилий стоило поставить вопрос этот в общегосударственные рамки, указывая, что нельзя благодетельствовать некоторым разрядам служилых людей, а необходимо планомерно улучшать материальное положение всех чинов армии и прежде всего — находящегося в худших и более тяжелых условиях боевого элемента.

Как известно, к маю правительство довело солдатские оклады по разным званиям в армии до 7,5—17 рублей, во флоте 15—50 рублей. Что касается офицерского состава, то все наши усилия остались тщетными: ему даже убавили содержание путем упразднения добавочных выдач, существовавших под архаическими названиями «на представительство» и «фуражные».

К моему вступлению в должность все «великокняжеские инспектуры» были упразднены, артиллерийскую сократили при мне. Но упрощения и сокращения всей системы мы не достигли. Ибо тотчас же снизу, в стремлении к самоорганизации и верховному возглавлению, начался жесточайший напор на правительство, военное министерство и командование. Постепенно возрождались инспектуры — санитарная, инженерная, авиационная; задержано расформирование казачьей. Общественные организации — Красного Креста, земства и городов — также выбивались всеми силами из фронтового военного управления и требовали для себя верховного возглавления в Ставке. Приходилось вести борьбу против этих индивидуальных стремлений, грозивших затопить *полевой* штаб волною небоевых интересов. Помню, как какой-то фронтовой или всероссийский ветеринарный съезд на этой почве выразил мне «недоверие» за недостаток культурности и непонимание высокого научно-общественного значения ветеринарии.

Но едва ли не наибольшее нетерпение и бурное стремление к абсолютной самостоятельности проявил военно-медицинский мир. Состоявшийся в начале апреля съезд врачей армии и флота требовал полной автономии, изъятия полевого санитарного инспектора из-под власти военного начальства и реорганизации ведомства снизу доверху на выборных коллективных началах[1]. Фактически, захватным правом эта автономность начала осуществляться на фронтах в чрезвычайно разнообразных, иногда уродливых формах, далеко выходя за пределы компетенции и специальности. Как одно из ее проявлений, во многих армиях к числу прочих коллективов, расхищавших власть командира полка, прибавился еще один — санитарно-гигиенический, в составе командира полка, врача и выборного солдата, и с большим кругом ведения и прав.

Все это грозило большим расстройством организации. Новый главный полевой санитарный инспектор профессор Вельяминов был совершенно терроризован съездом, выразившим ему «недоверие, ввиду несоответствия требованиям момента», и своими подчиненными, отказывавшими ему в послушании. Он то слал покаянные телеграммы на фронт, обещая «освободить русское врачебное сословие от вмешательства в его деятельность некомпетентных лиц, раскрепостить русского врача», то приходил ко мне просить защиты от своеволия низших инстанций, требовавших его самоупразднения и нарушавших общие директивы и планы военно-медицинской и санитарной работы. Характерно, что проект реорганизации ведомства, представленный Вельяминовым, наряду с мерами действительно необходимыми и своевременными, представлявшими врачам полную свободу по специальности, заключал в себе все самые вредные и чуждые армии положения, вложенные в основание «демократизации армии»: выборное начало, комитеты, коллегиальную безответственную власть, вмешательство и расхищение власти начальника. Болезнь, очевидно, имела весьма распространенный характер.

---

[1] Вместе с тем, съездом был послан привет «русской демократии в лице Советов, как оплоту решительной и полной демократизации страны против попыток контрреволюции».

Как бы то ни было, технический аппарат Ставки, как в отношении служебного элемента, так и конструкции своей, все-таки был достаточно приспособлен для управления и командования.

* * *

Наконец о стратегии...

Когда говорят о русской стратегии в отечественную войну с августа 1915 года, надлежит помнить, что это стратегия — исключительно личная Михаила Васильевича Алексеева. Он один несет историческую ответственность за ее направление, успехи и неудачи.

Необыкновенно трудолюбивый, добросовестный, самоотверженный работник, он обладал в этом отношении одним крупным недостатком: всю жизнь делал работу за других. Так было в должности генерал-квартирмейстера генерального штаба, начальника штаба Киевского округа, потом Юго-западного фронта и, наконец, начальника штаба Верховного главнокомандующего. Никто не имел влияния на стратегические решения[1], и зачастую готовые директивы, написанные мелким бисерным почерком Алексеева, появлялись совершенно неожиданно на столе генерал-квартирмейстера, на которого законом возложена была и обязанность, и огромная ответственность в этой области. И если такой порядок мог иметь до некоторой степени оправдание при безличном или обезличенном условиями службы генерале Пустовойтенко, то являлся совершенно ненормальным в отношении позднейших генерал-квартирмейстеров — Лукомского и Юзефовича. Примириться с этим они не могли.

Генерал Лукомский выражал обыкновенно свой протест подачей записок с изложением своего мнения, не согласного с планом операции. Конечно, этот протест имел чисто академическое значение, но гарантировал, во всяком случае, от суда истории. Генерал Клембовский, исполнявший должность начальника штаба Верховного главнокомандующего

[1] Некоторые придают преувеличенное значение сотрудничеству в этом отношении состоявшего при генерале Алексееве генерала Борисова. Борисов впоследствии поступил на службу к большевикам.

до меня, вынужден был поставить условием своего пребывания в должности невмешательство в законный круг его ведения.

Ранее Михаил Васильевич держал в своих руках все отрасли управления. Со значительным расширением их объема, это оказалось физически невыполнимым, и мне уже предоставлена была вся полнота обязанностей во всем, кроме... стратегии.

Опять пошли собственноручные телеграммы стратегического характера, распоряжения, директивы, обоснование которых иногда не было понятно мне и генерал-квартирмейстеру (Юзефовичу). Много раз втроем (я, Юзефович, Марков[1], мы обсуждали этот вопрос; экспансивный Юзефович волновался и нервно просил назначения в дивизию: «Не могу я быть писарем. Зачем Ставке квартирмейстер, когда любой писарь может перепечатывать директивы».

И я и он стали поговаривать об уходе. Марков заявил, что без нас и он не останется ни одного дня. Наконец я решил поговорить откровенно с Михаилом Васильевичем. Оба взволновались, расстались друзьями, но вопроса не разрешили.

— Разве я не предоставляю вам самого широкого участия в работе. Что вы, Антон Иванович? — совершенно искренне удивился Алексеев, в течение всей войны привыкший к определенному служебному режиму, казавшемуся ему совершенно нормальным.

Опять «конференция» втроем. После долгих дебатов решили, что общий план кампании 1917-го года разработан давно, и подготовка ее находится уже в такой стадии, что существенные перемены невозможны, что детали сосредоточивания и развертывания войск при современном состоянии их — вопрос спорный и трудно учитываемый; что некоторые изменения плана нам удастся провести; наконец, что наш уход in corpore мог бы повредить делу и пошатнуть и без того непрочное положение Верховного. И поэтому решили потерпеть.

Терпеть пришлось недолго, так как в конце мая генерал Алексеев, а за ним вскоре и мы трое оставили Ставку.

[1] 2-й генерал-квартирмейстер.

* * *

Что же представляла собой Ставка в ряду военно-политических факторов революционного периода?

Значение Ставки пало.

Ставка императорских времен занимала положение главенствующее, по крайней мере, в отношении военном. Ни одно лицо и учреждение в государстве не имело права давать указаний или требовать отчета от Верховного главнокомандующего, каким фактически являлся не царь, а Алексеев. Ни одно мероприятие военного министерства, хоть несколько затрагивающее интересы армии, не могло быть проведено без санкции Ставки. Ставка давала императивные указания военному министру и подчиненным ему органам по вопросам, касавшимся удовлетворения потребностей армии. Голос ее, вне общего направления внутренней политики, имел известный вес и значение и в практической области управления на театре военных действий. Такая власть, если и не осуществлялась в надлежащей мере, то давала принципиальную возможность вести дело защиты страны при широком полуподчиненном сотрудничестве других органов ее управления.

С началом революции обстановка резко изменилась. Ставка, вопреки историческим примерам и велению военной науки, стала органом, фактически подчиненным военному министру. Эти взаимоотношения не основывались на каком-либо правительственком акте[1], а вытекали из смешения в коллективном лице Временного правительства верховной и исполнительной власти и из сочетания характеров более сильного Гучкова и уступчивого Алексеева. Ставка не могла уже предъявлять законных требований довольствующим органам министерства — она вела длительную переписку и просила. Военный министр, подписывавший прежние высочайшие приказы, оказывал сильное давление на назначение и смещение высшего командного состава; иногда назначения проходили его приказом по соглашению с фронтами, минуя Ставку. Важнейшие военные законы, в корне изменявшие условия комплектования, жизни и службы войск, издавались министерством без всякого участия верховного командования, которое узнавало о выходе их только из газет. Впрочем, это участие было бы действительно бесполезным. Два произведения поливановской комиссии, — о новом суде и о комитетах, — данные мне *случайно* на просмотр Гучковым, были мною возвращены с целым рядом существенных возражений, и Гучков тщетно отстаивал их перед советскими представителями. Приняты были только редакционные поправки.

Гражданское управление прифронтового района частью захватным правом местных комитетов, частью санкцией правительства вышло из рук военного управления. Все права в этом отношении военных начальников, основанные на положении о полевом управлении войск, остались неотмененными, непрактикуемыми и никому не переданными.

Все эти обстоятельства несомненно подорвали авторитет Ставки в глазах армий, а среди высшего командующего генералитета вызвали стремление к непосредственным отношениям, минуя Ставку, с более властными центральными правительственными органами, с одной стороны, и проявление чрезмерной частной инициативы в принципиальных военно-государственных вопросах, с другой. Так, в мае Северный фронт, вместо определенного процента старослужащих, уволил всех, создав огромные затруднения соседям; Юго-западный начал формирование украинских частей; командующий Балтийским флотом снял погоны с офицеров и т.д.

Ставка потеряла силу и власть и не могла уже играть довлеющей роли — объединяющего командного и морального центра. И это произошло в самый грозный период мировой войны, на фоне разлагающейся армии, когда требовалось не только страшное напряжение всех народных сил, но и проявление исключительной по силе и объему власти. Между тем вопрос был ясен: если Алексеев и Деникин не пользовались доверием и не удовлетворяли условиям, требуемым от верховного командования и управления, их следовало сменить, назначить новых людей и дать им и доверие, и полноту власти. Фактически дважды эта смена была произведена. Но смена только людей, а не принципов командования. Ибо при со-

[1] По смыслу «Положения о полевом управлении войск» Верховный Главнокомандующий подчинялся Временному правительству как верховной власти, но отнюдь не военному министру.

здавшихся взаимоотношениях и безвластии никто не имел центра военной власти в своих руках: ни вожди, пользовавшиеся репутацией исключительно бескорыстного и лояльного служения родине, как Алексеев, ни впоследствии «железные полководцы», каким был Корнилов и считался Брусилов, ни все те хамелеоны, которые шли на поводу у социалистических реформаторов армии. На фронте высший командный состав был более или менее однороден и приблизительно с одинаковой, если не политической, то военной идеологией. Быть может, это обстоятельство препятствовало сохранению власти и авторитета? Но ведь кроме армий фронта у нас были едва ли не более многочисленные армии тыловые, находившиеся в подчинении командующих военными округами. На эти должности правительство зачастую назначало и людей совершенно другой среды — весьма мало или никакого отношения не имевших к строю, но зато с революционным формуляром. Во главе этих тыловых армий стояли такие разнородного характера люди: в Петроградском округе — генерал Корнилов, полководец; в Московском — подполковник Грузинов — председатель московской губернской управы, октябрист; в Киевском — полковник Оберучев — социалист-революционер, бывший политический ссыльный; в Казанском — подполковник Коровиченко — присяжный поверенный, социалист. Как известно, войска всех этих округов не особенно отличались друг от друга быстротой темпа, которым шли к развалу, и глубиной этого развала.

Вся военная иерархия была потрясена до основания, наружно сохраняя атрибуты власти и привычный порядок сношений: директивы, которые не могли сдвинуть армии с места, приказы, которые не исполнялись, судебные приговоры, над которыми смеялись. Пресс принуждения всей своей тяжестью лег по линии наименьшего сопротивления — исключительно на лояльный командный состав, который безропотно подчинялся гонению и сверху и снизу. А правительство и военное министерство, отбросив репрессии, прибегли к новому способу воздействия на массы: *воззваниям*. Воззвания к народу, к армии, к казакам — ко всем, всем, всем — наводняли страну, приглашая к исполнению долга;

к несчастью, успех имели только те воззвания, которые, потворствуя низким инстинктам толпы, приглашали ее к нарушению долга.

В результате не контрреволюция, не авантюризм, не бонапартизм, а стихийное стремление государственных элементов восстановить нарушенные законы ведения войны выдвинуло впоследствии новое течение: «*Взять* военную власть!»

Эта задача была не по характеру ни Алексееву, ни Брусилову. Попытку ее разрешения принял на себя впоследствии Корнилов, начав проводить самостоятельно ряд важных военных мероприятий и обращаясь к правительству с ультимативными требованиями по военным вопросам[1].

Крайне интересно сопоставить это положение с тем, в котором находилось командование армиями нашего могущественного тогда врага. Людендорф — 1-й генерал-квартирмейстер германской армии — говорит[2]: «В мирное время имперское правительство обладало полною властью над своими ведомствами... С началом войны министрам трудно было привыкнуть видеть в главной квартире власть, которую грандиозность дела заставляла действовать с тем большей силой, чем ее меньше было в Берлине. Я бы хотел, чтобы правительство отдало себе отчет в этом, настолько простом положении... Правительство шло своим собственным путем и для удовлетворения пожеланий главной квартиры не поступилось никогда ни одним своим намерением. Наоборот, оно пренебрегало многим, что мы считали необходимым в интересах ведения войны».

Если к этому прибавить, что в марте 1918 года с трибуны рейхстага Гаазе с большим основанием говорил: «Канцлер — это не более как вывеска, прикрывающая военную партию. Фактически правит страной Людендорф», то станет понятным, какой огромной властью считало необходимым обладать немецкое командование для выигрыша мировой войны.

---

[1] Первоначально вопрос ставился только о «полной мощи» верховного командования в пределах его компетенции.

[2] «Souvenirs de guerre».

Я нарисовал общую картину Ставки ко времени вступления моего в должность начальника штаба. Учтя всю создавшуюся обстановку, я поставил себе главными целями: для сохранения в русской армии способности хотя бы к удержанию восточного фронта мировой борьбы, препятствовать всемерно разрушающим ее течениям и поддержать права, власть и авторитет Верховного главнокомандующего.

Предстояла лояльная борьба. В этой борьбе, продолжавшейся всего два месяца, вместе со мной приняли участие почти все отделы Ставки.

ГЛАВА IX
МЕЛОЧИ ЖИЗНИ В СТАВКЕ

Я приведу несколько мелких, но характерных штрихов из жизни и быта Ставки, чтобы более к ним не возвращаться.

Губернский город Могилев — небольшой, тихий, наполовину еврейский — стал средоточием военной жизни страны. И в Ставке и в обществе с первых же дней полушутя-полусерьезно говорили о провиденциальном наименовании города: *Могилев — могила.* Императорский двор, поместившийся в небольшом губернаторском доме, был обставлен чрезвычайно скромно, и присутствие его выдавали разве только усиленная охрана и паспортные затруднения. Со времени вступления генерала Алексеева на пост Верховного эта патриархальная простота достигла еще больших размеров: всякий церемониал отменен, наружная тайная охрана была снята; у входа в губернаторский дом стояли парные часовые, в вестибюле — дежурный жандарм, а далее зачастую до самой спальни Верховного главнокомандующего можно было пройти, не встретив ни одной живой души.

Вообще, в связи с общим тревожным положением — солдатскими бунтами в Орше, Брянске и на ближайших железнодорожных станциях, беспорядками в проходивших через Могилев эшелонах и аграрными волнениями в уездах — положение Ставки было по меньшей мере оригинальным. В Могилеве не было решительно никакой вооруженной силы для защиты Ставки. Единственная строевая часть — Георгиевский батальон — в силу своего особенного прошлого[1] старался подчеркнуть свою «революционность» будированием, иногда неповиновением. Генерал Алексеев имел возможность вызвать в Ставку какую-либо сохранившуюся часть, но не хотел этого делать ввиду подозрительности Петрограда. Все прочие команды, главным образом технические, были недисциплинированны, распущенны и представляли прямые очаги брожения.

В Могилеве еще до моего приезда образовались два комитета: солдатский комитет Могилевского гарнизона из представителей мелких частей, не причисленных к Ставке, и всякого рода дезертиров, и второй — солдатско-офицерский комитет Ставки. Первый, к которому потом примкнули самозванные рабочие и крестьянские представители, при главном участии еврея-дезертира, именовавшего себя прапорщиком Гольманом, терроризовал губернские, уездные власти и городское самоуправление, которое покорно подчинялось его нелепым демагогическим требованиям, предоставляя даже в его распоряжение городские суммы. Губернский комиссар и прокурор не решались противодействовать комитету. Ставка выслала Гольмана, но скоро он вернулся с мандатом Петроградского совета и при молчаливом одобрении министерства внутренних дел продолжал свою деятельность — сравнительно скромно при нас, с большой наглостью при оказывавшем ему всякие знаки внимания Брусилове, пока, наконец, перед корниловским выступлением не был посажен в тюрьму.

Солдатский комитет Ставки возник вскоре после переворота, и с согласия Алексеева к нему примкнули офицеры, чтобы своим участием дать надлежащий тон и сдерживать солдатские настроения в определенных рамках. Вначале это как будто удавалось. И стоявшие во главе комитета полковники Значко-Яворский и Сергиевский, с которыми я беседовал еще по пути в Ставку, были полны иллюзий о возможности «плодотворной работы комитета». Скоро надежды рухнули, оба полковника вышли из состава президиума, а комитет стал трибуной для агитации против начальства, вмешиваясь в

[1] Участие в карательном отряде генерала Иванова.

вопросы местных ставочных назначений, службы, быта, вынося и публикуя свои постановления — подчас вызывающие, оскорбительные, деморализующие. Даже прислуга офицерского собрания Ставки, поддержанная комитетом, сместила эконома и ввела некоторые ограничения во времени, в распорядке и в меню и без того неважного офицерского стола. Правда, разгон части будирующей прислуги, вызвавший протесты и осложнения, несколько исправил дело.

Это солдатское засилье не встречало сколько-нибудь сильного противодействия. Комитет вынес, например, постановление, чтобы шоферы не смели возить начальствующих лиц на прогулку, а возили только по службе. Алексеев сказал мне как-то:

— Хорошо бы поехать за город, отдохнуть, погулять в лесу — там есть чудная аллея. Да *противно* с этими господами.

Он мог, конечно, ехать куда угодно, но ему действительно было противно, и Верховный главнокомандующий лишал себя столь заслуженного и столь необходимого отдыха под влиянием комитетского постановления.

Комитет постановил удалить с должности коменданта главной квартиры, генерала С. Я категорически отказал, и комитет решил применить в отношении его вооруженную силу. Генерал Алексеев, узнав об этом, пришел в негодование, в каком мне редко приходилось его видеть.

— Пусть попробуют. Я сам пойду туда. Возьму взвод полевых жандармов и перестреляю этих...

Провести испытание верности полевой жандармерии не пришлось. С. сам умолял не оставлять его в должности и отпустить: «Бог знает, чем это все кончится».

К сожалению, в комитетской практике были, хотя и редко, случаи, когда офицеры Ставки не оказывались на высоте своего положения, и постановления комитета, недопустимые юридически, по существу были правильны. Это обстоятельство осложняло мою позицию: кара виновных истолковывалась не как признание факта преступления, а как признание авторитета комитета.

Непротивление было всеобщее. Тяжело было видеть офицерские делегации Ставки во главе с несколькими генералами, плетущиеся в колонне манифестантов, праздновавших 1 Мая, — в колонне, среди которой реяли и большевистские знамена и из которой временами раздавались звуки Интернационала. Зачем? Во спасение Родины или живота своего?

Не лучше обстояло дело сношений с центром. На целый ряд обращений министерства, особенно внутренних дел и юстиции, не давали вовсе ответа. Военное министерство оказало такое, например, удивительное невнимание: я трижды просил об установлении содержания Верховному главнокомандующему, так как в законе оно определялось лишь формулой «по особому Высочайшему повелению». А они так и не ответили, и генералу Алексееву мы выдавали содержание по прежней должности начальника штаба до самого его ухода. И только через два месяца после ухода, уже в конце июля, правительство соблаговолило назначить ему содержание в размере... 17 тысяч рублей в год.

Быть может, все это многим покажется неинтересным, мелочным. Но мне необходимо было коснуться этих мелочей, чтобы показать, какая тягостная, пошлая, принижающая атмосфера царила в повседневной жизни Ставки — этого центра мозга, воли и работы великой армии.

Более или менее в одинаковом со Ставкой положении были штабы фронтов и армий.

Я ни на одну минуту не верил в чудодейственную силу солдатских коллективов и потому принял систему полного их игнорирования. Думаю, что это было правильно, ибо оба могилевских комитета начали понемногу хиреть и терять интерес в среде, вызвавшей их к жизни.

Так шли дни за днями.

К часу мы с Михаилом Васильевичем ходили в собрание завтракать, к семи — обедать. В собрании вечная толчея. Благодаря гучковским проскрипционным спискам, деятельности комитетов и «голосу народа», в Ставку хлынула масса генералов — уволенных, смещенных, получивших «недоверие». Много таких, которые при старом режиме были отставлены или оставались в тени и теперь надеялись пробить себе дорогу. У всех наболело в душе, все требовали исключительного внимания к своим переживаниям — быть может, за-

служенного, но безбожно отнимавшего время у Верховного и у меня и парализовавшего нашу работу.

Петроградский совет получал, очевидно, сведения об этом «контрреволюционном съезде» и волновался. Мне было и смешно и грустно: в том огромном калейдоскопе «бывших», который прошел тогда перед моими глазами, я видел самые разнородные чувства и желания, но очень мало стремления к действенному протесту и борьбе.

Приезжало много прожектеров с планами спасения России. Был у меня, между прочим, и нынешний большевистский «главком», тогда генерал, Павел Сытин. Предложил для укрепления фронта такую меру: объявить, что земля — помещичья, государственная, церковная — отдается бесплатно в собственность крестьянам, но исключительно тем, которые сражаются на фронте.

— Я обратился, — говорил Сытин, — со своим проектом к Каледину, но он за голову схватился: «Что вы проповедуете, ведь это чистая демагогия!»

Уехал Сытин без земли и без... дивизии. Легко примирился впоследствии с большевистской теорией коммунистического землепользования.

Начало съезжаться также множество рядового офицерства, изгоняемого товарищами-солдатами из частей. Они приносили с собой подлинное горе, беспросветную и жуткую картину страданий, на которые народ обрек своих детей, безумно расточая кровь и распыляя силы тех, кто охранял его благополучие.

ГЛАВА X
ГЕНЕРАЛ МАРКОВ

Обязанности генерал-квартирмейстера Ставки были настолько разносторонни и сложны, что пришлось создать по примеру иностранных армий должность второго генерал-квартирмейстера, выделив первому лишь ту область, которая непосредственно касалась ведения операций.

На новую должность я пригласил генерала С.Л. Маркова, который связал свою судьбу неразрывно с моею до самой

своей славной смерти во главе добровольческой дивизии; дивизия эта с честью носила потом его имя, ставшее в Добровольческой армии легендарным.

Война застала его преподавателем академии генерального штаба; на войну он пошел в составе штаба генерала Алексеева, потом был в 19-й дивизии и, наконец, попал ко мне в декабре 1914 года в качестве начальника штаба 4-й стрелковой бригады, которой я тогда командовал.

Приехал он к нам тогда в бригаду, никому не известный и нежданный: я просил штаб армии о назначении другого. Приехал и с места заявил, что только что перенес небольшую операцию, пока нездоров, ездить верхом не может и поэтому на позицию не поедет. Я поморщился, штабные переглянулись. К нашей «запорожской сечи», очевидно, не подойдет — «профессор»[1].

Выехал я со штабом к стрелкам, которые вели горячий бой впереди города Фриштака. Сближение с противником большое, сильный огонь. Вдруг нас накрыло несколько очередей шрапнели.

Что такое? К цепи совершенно открыто подъезжает в огромной колымаге, запряженной парой лошадей, Марков — веселый, задорно смеющийся.

— Скучно стало дома. Приехал посмотреть, что тут делается.

С этого дня лед растаял, и Марков занял настоящее место в семье «железной» дивизии.

Мне редко приходилось встречать человека, с таким увлечением и любовью относившегося к военному делу. Молодой[2], увлекающийся, общительный, обладавший даром слова, он умел подойти близко ко всякой среде — офицерской, солдатской, к толпе, иногда далеко не расположенной, — и внушать им свой воинский символ веры — прямой, ясный и неоспоримый. Он прекрасно разбирался в боевой обстановке и очень облегчал мне работу.

У Маркова была одна особенность — прямота, откровенность и резкость в обращении, с которыми он обрушивался

[1] Так мы часто потом шутливо звали его по-дружески.

[2] Убит в бою летом 1918 года 39 лет от роду.

на тех, кто, по его мнению, не проявлял достаточно знания, энергии или мужества. Отсюда двойственность отношений: пока он был в штабе, войска относились к нему или сдержанно (в бригаде) или даже нетерпимо (в ростовский период Добровольческой армии). Но стоило Маркову уйти в строй, и отношение к нему становилось любовным (у стрелков) и даже восторженным (у «добровольцев»). Войска обладали своей особенной психологией: они не допускали резкости и осуждения со стороны Маркова — штабного офицера; но свой Марков — в обычной короткой меховой куртке, с закинутой на затылок фуражкой, помахивающий неизменной нагайкой, в стрелковой цепи, под жарким огнем противника — мог быть сколько угодно резок, мог кричать, ругать; его слова возбуждали в одних радость, в других горечь, но всегда искреннее желание быть достойными признания своего начальника.

Вспоминаю тяжелое для бригады время — февраль 1915 года в Карпатах[1]. Бригада, выдвинутая далеко вперед, полукольцом окружена командующими высотами противника, с которых ведут огонь даже по одиночным людям. Положение невыносимое, тяжкие потери, нет никаких выгод в оставлении нас на этих позициях. Но соседняя 14-я пехотная дивизия доносит в высший штаб: «Кровь стынет в жилах, когда подумаешь, что мы можем оставить позицию и впоследствии придется брать вновь те высоты, которые стоили нам потоков крови». И я остаюсь. Положение, однако, настолько серьезное, что требует большой близости к войскам; полевой штаб переношу на позицию — в деревню Творильню.

Приезжает, потратив одиннадцать часов на дорогу по непролазной грязи и горным тропам, граф Келлер — начальник нашего отряда. Отдохнул у нас.

— Ну, теперь поедем осматривать позицию.

Мы засмеялись.

— Как «поедем»? Пожалуйте на крыльцо, если только неприятельские пулеметы позволят.

Келлер уехал с твердым намерением убрать бригаду из западни.

[1] Позиция у горы Одриль.

Бригада тает. А в тылу — один плохонький мостик через Сан. Все в руках судьбы: вздуется бурный Сан или нет. Если вздуется — снесет мост, и нет выхода.

В такую трудную минуту был тяжело ранен ружейной пулей командир 13-го стрелкового полка полковник Гамбурцев, входя на крыльцо штабного дома. Все штаб-офицеры выбиты, некому заменить. Я хожу мрачный из угла в угол маленькой хаты. Поднялся Марков.

— Ваше Превосходительство, дайте мне 13-й полк.

— Голубчик, пожалуйста, очень рад!

У меня самого мелькала эта мысль. Но стеснялся предложить Маркову, чтобы он не подумал, что я хочу устранить его от штаба. С тех пор со своим славным полком Марков шел от одной победы к другой. Заслужил уже и георгиевский крест, и георгиевское оружие, а Ставка 9 месяцев не утверждала его в должности — не подошла мертвая линия старшинства.

Помню дни тяжкого отступления из Галиции, когда за войсками стихийно двигалась, сжигая свои дома и деревни, обезумевшая толпа народа — с женщинами, детьми, скотом и скарбом. Марков шел в арьергарде и должен был немедленно взорвать мост, кажется через Стырь, у которого столпилось живое человеческое море. Но горе людское его тронуло, и он шесть часов еще вел бой за переправу, рискуя быть отрезанным, пока не прошла последняя повозка беженцев.

Он не жил, а горел в сплошном порыве.

Однажды я потерял совсем надежду увидеться с ним. В начале сентября 1915 года, во время славной для дивизии первой Луцкой операции между Олыкой и Клеванью левая колонна, которою командовал Марков, прорвала фронт австрийцев и исчезла. Австрийцы замкнули линию. Целый день не было никаких известий. Наступил вечер. Встревоженный участью 13-го полка, я выехал к высокому обрыву, наблюдая цепи противника и безмолвную даль. Вдруг издалека, из густого леса, в глубоком тылу австрийцев раздались бравурные звуки полкового марша 13-го стрелкового полка. Отлегло от сердца.

— В такую кашу попал, — говорил потом Марков, — что сам черт не разберет, где мои стрелки, где австрийцы; а тут

еще ночь подходит. Решил подбодрить и собрать стрелков музыкой.

Колонна его разбила тогда противника, взяла тысячи две пленных и орудия и гнала австрийцев, в беспорядке бежавших к Луцку.

Человек порыва, он в своем настроении иногда переходил из одной крайности в другую. Но когда обстановка слагалась действительно отчаянно, он немедленно овладевал собою. В октябре 1915 года 4-я стрелковая дивизия вела известную свою Чарторийскую операцию, прорвав фронт противника на протяжении 18 верст и на 20 с лишним верст вглубь. Брусилов, не имевший резервов, не решался снять войска с другого фронта, чтобы использовать этот прорыв. Время шло. Немцы бросили против меня свои резервы со всех сторон. Приходилось тяжко. А Марков, бывший в авангарде, докладывал по телефону:

— Очень оригинальное положение. Веду бой на все четыре стороны света. Так трудно, что даже весело стало.

Только один раз я видел его совершенно подавленным, когда весною 1915 года под Перемышлем он выводил из боя остатки своих рот, весь залитый кровью, хлынувшей из тела стоявшего рядом командира 14-го полка, которому осколком снаряда оторвало голову.

Никогда не берег себя. В сентябре 1915 года дивизия вела бой в Ковельском направлении. Правее работала наша конница, подвигавшаяся нерешительно и сбивавшая всех нас с толку маловероятными сведениями о появлении значительных сил противника против ее фронта на нашем берегу Стыри. Маркову надоела эта неопределенность. Получаю донесение:

«Съездил вдвоем с ординарцем попоить лошадей в Стыри; вплоть до Стыри нет никого — ни нашей конницы, ни противника».

Представил его за ряд боев в чин генерала — не пропустили: «молодой». Какой большой порок молодость!

Весною 1916 года дивизия лихорадочно готовилась к Луцкому прорыву. Сергей Леонидович не скрывал своего заветного желания:

— Одно из двух: деревянный крест или Георгий 3-й степени.

Но Ставка после многократных отказов заставила его принять «повышение» — повторную должность начальника штаба дивизии[1].

Я простился с Марковым следующими словами приказа:

«В тяжелые дни Творильни полковник Марков принял 13-й стрелковый полк.

С тех пор, сроднившись с ним, в течение более года с высокой доблестью, самоотверженно и славно провел его через Журавин, Зубовецкий лес, Мыслятычи, по крестному пути отхода армий, через Дюксин, Олешву, Новоселки, Должицу и Будки.

Нам всем и памятны, и дороги эти имена.

С чувством искреннего сожаления расставаясь со своим сотрудником по штабу, соратником и другом, желаю ему на новом фронте признания, счастья и удачи».

Пробыв несколько месяцев на Кавказском фронте, где Марков томился от безделья, и затем лектором в открывшейся тогда Академии, он вновь вернулся в армию, и революция застала его в должности генерала для поручений при командующем 10-й армией.

* * *

Интересны отрывочные заметки, сделанные им в это время в дневнике.

В них отражаются те внутренние переживания и то постепенное изменение настроения, которые во многом переживало одинаково с ним русское офицерство.

1 марта. Был у Горбатовского[2]. Говорили о событиях в Питере. Дай Бог успеха тем, кто действительно любит Россию. Любопытна миссия Иванова[3]...

2, 3, 4 марта. Все отодвинулось на второй план, даже война замерла. Телеграмма за телеграммой рисуют ход событий.

---

[1] Эта общая мера вызвана была огромным недостатком офицеров генерального штаба, ввиду прекращения нормальной деятельности академии. Полковников и генералов перед получением дивизии заставляли нести повторно, на особых основаниях, должность начальника дивизионного штаба.

[2] Командующий 10-й армией.

[3] Карательный отряд генерала Иванова, направленный на Петроград.

Сначала все передавалось под сурдинку, затем громче и громче. Эверт[1] проявил свою обычную нерешительность, задержав ответ Родзянке. Мое настроение выжидательное, я боюсь за армию, меня злит заигрывание с солдатами, ведь это разврат и в этом поражение. Будущее трудно угадать, оно трезво может разрешиться, (если лишь) когда умолкнут страсти. Я счастлив буду, если Россия получит конституционно-монархический строй и пока не представляю себе Россию республикой.

5 марта. «Написал статью для «Армейского вестника», а ее приняли как приказ по армии. Все думы, разговоры и интересы свелись к современным событиям. Наша поездка на вокзал; говорил с толпой на дебаркадере; все мирно, хорошо.

6 марта. Все ходят с одной лишь думой — что-то будет? Минувшее все порицали, а настоящего не ожидали. Россия лежит над пропастью, и вопрос еще очень большой — хватит ли сил достигнуть противоположного берега.

7, 9 марта. Все то же. Руки опускаются работать. История идет логически последовательно. Многое подлое ушло, но и всплыло много накипи. Уже в №8 от 7 марта «Известий Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов» появились постановления за немедленное окончание войны. Погубят армию эти депутаты и советы, а вместе с ней и Россию.

10 марта. Получено приказание выехать в Минск для поездки в Брянск. Мое первое выступление перед толпой.

11 марта. В Брянске волнуется гарнизон, требуют от меня привести его в порядок.

12 марта. Еду вместе с Большаковым, он член Петербургского совета рабочих и солдатских депутатов.

В Брянске вспыхнул военный бунт среди многочисленного гарнизона, сопровождавшийся погромами и арестами офицеров. Настроение в городе было крайне возбужденное. Марков многократно выступал в многочисленном совете военных депутатов и после бурных, страстных и иногда крайне острых прений ему удалось добиться постановления о восстановлении дисциплины и освобождении 20 арестованных. Однако после полуночи несколько вооруженных рот двинулись на вокзал для расправы с Марковым, Большаковым и арестованными. Толпа бесновалась. Положение грозило гибелью. Но находчивость Маркова спасла всех. Он, стараясь перекричать гул толпы, обратился к ней с горячим словом. Сорвалась такая фраза:

— Если бы тут был кто-нибудь из моих железных стрелков, он сказал бы вам, кто такой генерал Марков!

— Я служил в 13-м полку, — отозвался какой-то солдат из толпы.

— Ты?..

Марков с силой оттолкнул несколько окружавших его людей, быстро подошел к солдату и схватил его за ворот шинели:

— Ты? Ну так коли! Неприятельская пуля пощадила в боях, так пусть покончит со мной рука моего стрелка...

Толпа заволновалась еще больше, но уже от восторга. И Марков с арестованными уехал в Минск при бурных криках «ура» и аплодисментах толпы.

Возвращаюсь к его дневнику.

18 марта. Приняли все радушно[1]. Я, оказывается, уже избран почти единогласно в наш офицерский комитет.

19 марта. Организуем офицерско-солдатский комитет штаба 10-й армии и местного гарнизона. После обеда первое собрание совета, в который я попал в числе шести единогласно.

Далее говорится о непрестанной работе во всяких советах и комитетах.

24 марта. Приезд полковника Кабалова, которому вместе с князем Кропоткиным было выражено недоверие 133-й дивизией. Возвращение членов Думы с позиций к нам. Отказ двух эшелонов 445-го полка ехать на позицию: «Воевать хотим, а на позицию не желаем: дайте отдых месяц-два». До двух часов ночи уговаривал и разговаривал.

26 марта. События во 2-м кавказском корпусе, отказ 2-й кавказской гренадерской дивизии стать на позицию, сме-

[1] Главнокомандующий Западным фронтом.

[1] По возвращении в свой штаб.

щение Мехмандарова, начальника дивизии, и его начштадива[1].

30 марта. Спокойное плодотворное заседание армейского съезда до глубокой ночи. В перерыве до обеда я собрал лишь председателей всех наших комитетов и мы выслушали доклад офицеров, приехавших или бежавших из частей 2-й кавказской гренадерской дивизии. Возмутительная история; вера колеблется, это начало разложения армии.

31 марта. Вместо Минска, куда меня приглашали на митинг в качестве оратора, поехал по приказанию командарма во 2-й кавказский корпус. Видел Бенескула, принявшего управление корпусом из рук прапорщика Ремнева[2]. Затем отправился в Залесье, где был собран корпусный комитет 2-го кавказского корпуса. Получил от него полное осуждение роли Ремнева и 2-й кавказской гренадерской дивизии. Ушел при криках и овации по моему адресу.

2 апреля. Утром узнал о самоубийстве генерала Бенескула. Днем Головинский сказал мне, что офицеры штаба 2-го кавказского корпуса обвиняют меня в этом и что они решили написать три письма одинакового содержания генералу Мехмандарову, мне и г-же Бенескул, давая последней право напечатать письмо в газетах. Мне первый раз в жизни сказали, что я убийца. Не выдержал, сделалось дурно, самосознание говорит, что и я виновен. Не надо мне было говорить Бенескулу о некорректности его принятия корпуса из рук прапорщика Ремнева. Я должен был знать его слабость духа, воли, его мягкость. Вечером собрались все наши комитеты и многочисленная публика; я пришел и, заявив, что я убийца, просил судить меня. Через несколько времени за мной прибежали офицеры и солдаты с просьбой выслушать их постановление. Мое появление, чтение постановления, в котором говорилось, что я поступил, как честный солдат и генерал, и мой уход — сплошная овация всего собрания. И все же это великий урок на будущее.

---

[1] Начальник штаба дивизии.

[2] Известный демагог прапорщик Ремнев с толпой солдат арестовал и сместил командира корпуса генерала Мехмандарова и вручил командование генералу Бенескулу. Марков очень горячо обрушился по этому поводу на генерала Бенескула.

3 апреля. Продолжаю чувствовать физическую слабость и моральную подавленность.

10 апреля. Утром подал заявления в оба комитета о своем отказе. Устал я, да вероятно скоро получу наконец назначение.

13 апреля. Я верю, что все будет хорошо, но боюсь — какой ценой. Мало говорить — война до победы, но надо и хотеть этого.

Как знакомы русскому офицерству эти переходы от радостного настроения к подавленному, от надежды к отчаянию, от лихорадочной работы в комитетах, советах, съездах к сознанию, что они «погубят армию и Россию». Сколько драм, подобных смерти Бенескула, разыгралось на темном фоне великой русской драмы.

Маркова захватила волна нараставших событий, и он ушел с головой в борьбу, не думая о себе и семье, то веря, то отчаиваясь, любя Родину, жалея армию, которая в его сердце и мыслях никогда не переставала занимать большое место.

Не раз еще на протяжении своих очерков я буду останавливаться на личности Сергея Леонидовича Маркова.

Но я не мог отказать себе в душевной потребности теперь же вплести еще несколько скромных листков в его венок.

Венок, который в июле 1918 года два верных друга положили на его могилу.

И написали:

«И жизнь, и смерть за счастье Родины».

ГЛАВА XI

ВЛАСТЬ: ДУМА, ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОМАНДОВАНИЕ, СОВЕТ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

То исключительное положение, в котором оказалась русская держава из-за мировой войны и революции, повелительно требовало установления в ней *сильной власти.*

Государственная Дума, которая, как я уже говорил, пользовалась несомненным авторитетом в стране, после долгих и горячих обсуждений отказалась от возглавления со-

бою революционной власти. Временно распущенная Высочайшим указом 27 февраля, она сохранила лояльность и «не пыталась открыть формальное заседание», исходя из взгляда на себя, как на «законодательное учреждение старого порядка, координированное основными законами с остатками самодержавной власти, явно обреченной теперь на слом»[1]. Последующие акты исходили уже от «частного совещания членов Государственной Думы». Это же частное заседание избрало *Временный комитет Государственной Думы*, осуществлявший в первые дни верховную власть. При комитете существовала еще *военная комиссия комитета Государственной Думы*, возглавляемая генералом Потаповым[2]. Она пыталась оказать влияние на управление армией, но встретила решительный отпор со стороны Ставки. Сам генерал Потапов так претенциозно определял ее значение: «Я состоял председателем военной комиссии, в которой, с арестом членов царского правительства, сосредоточивалась вся власть в стране... Я настаивал на скорейшем принятии от меня всех функций образовавшимся Временным правительством». Это оригинальное самодовлеющее учреждение, находившееся в оживленной связи с Советом рабочих и солдатских депутатов, «являясь посредником между совдепом, комитетом и правительством», существовало, однако, до 17 мая, когда на запрос Родзянко военный министр Керенский уведомил его, что «военная комиссия блестяще исполнила все поручения и задачи в первые два месяца после переворота», но что «в продолжении деятельности комиссии надобности нет».

С передачей власти *Временному правительству*, Государственная Дума и Комитет ушли в сторону, но не прекращали своего существования, пытаясь давать моральное обоснование и поддержку первым трем составам правительства. Но если 2 мая во время первого правительственного кризиса комитет боролся еще за право *назначать* членов правительства, то позднее он ограничивал ее уже только требованием *участия* в составлении правительства. Так, 7 июля комитет

[1] *Милюков*. «История второй русской революции».

[2] Впоследствии жил в Японии, противодействовал адмиралу Колчаку. В 1921 году поступил на службу к советскому правительству.

Государственной Думы протестовал против устранения своего от участия в образовании Керенским нового состава Временного правительства, считая это явление «юридически недопустимым и политически пагубным». Между тем Государственная Дума имела неотъемлемое право на участие в руководстве жизнью страны, ибо даже в лагере ее противников признавалась огромная услуга, оказанная революции Думой, «покорившей ей сразу весь фронт и все офицерство»[1]. Несомненно, революция, возглавленная Советом, встретила бы кровавое противодействие и была бы раздавлена. И, может быть, дав тогда победу либеральной демократии, привела бы страну к нормальному эволюционному развитию? Кто знает тайны бытия!

Сами члены Госдумы, тяготясь своим вначале добровольным, потом вынужденным бездействием, начали проявлять некоторый абсентеизм, с которым пришлось бороться председателю. Тем не менее и Дума и Комитет горячо отзывались на все выдающиеся события русской жизни, выносили постановления осуждающие, предостерегающие, взывающие к разуму, сердцу и патриотизму народа, армии и правительства. Но Дума была отметена уже революционной стихией. Ее обращения, полные ясного сознания грядущей опасности и несомненно государственные, не пользовались уже никаким влиянием в стране и игнорировались правительством. Впрочем, и такая мирная, не борющаяся за власть Дума вызывала опасения в среде революционной демократии, и советы вели яростный поход за упразднение Госдумы и Госсовета. В августе декларативная деятельность Думы стала замирать, и когда 6 октября Керенский, по требованию Совета, распустил Думу[2], это известие не произвело уже в стране сколько-нибудь заметного впечатления.

Потом долго еще идею 4-й Государственной Думы или собрания Дум всех созывов, как опоры власти, гальванизировал М.В. Родзянко, пронеся ее через Кубанские походы и «Екатеринодарский добровольческий» период антибольшевистской борьбы.

[1] *Станкевич*. «Воспоминания».

[2] Законный 5-летний срок оканчивался 25 октября.

Но Дума умерла.

Трудно сказать, был ли неизбежным отказ от власти Государственной Думы в мартовские дни? Вызывался ли он реальным соотношением сил, боровшихся за власть? Могла ли «цензовая» Дума удержать социалистические элементы, в нее входившие, и сохранить то влияние в стране, которое она приобрела в результате борьбы с самодержавием? Одно несомненно, что в годы русского безвременья, когда невозможно было нормальное народное представительство, во все периоды и все правительства чувствовали потребность в каком-либо суррогате его, хотя бы для создания себе трибуны для выхода накопившимся настроениям, для опоры и разделения нравственной ответственности. Таковы и «Временный совет Российской республики» в Петрограде (октябрь 1917 года), инициатива которого исходила, впрочем, от революционной демократии, видевшей в нем противовес предложенному большевиками второму съезду советов; и осколок учредительного собрания 1917 года на Волге (лето 1918 года); и подготовлявшийся созыв Высшего совета и Земского собора на юге России и в Сибири (1919 год). Даже наивысшее проявление коллективной диктатуры, каким является «Совет народных комиссаров», дойдя до небывалого еще в истории деспотизма и подавления общественности и всех живых сил страны, обратив ее в кладбище, все же считает необходимым создать театральный декорум такого представительства, периодически собирая «всероссийский съезд советов».

Власть Временного правительства в самой себе носила признаки бессилия. Эта власть, как говорил Милюков, не имела привычного для масс «символа». Власть подчинилась давлению Совета, систематически искажавшего и подчинявшего все государственные начинания классовым и партийным интересам.

В составе ее находился и «заложник демократии» Керенский, который так определял свою роль: «Я являюсь представителем демократии, и Временное правительство должно смотреть на меня, как на выразителя требований демократии, и должно особенно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать»[1]. Наконец, что едва ли не самое главное, в

[1] Речь в Совете.

состав правительства входили элементы русской передовой интеллигенции, разделявшие всецело ее хорошие и дурные свойства и в том числе полное отсутствие волевых импульсов — той силы, безграничной в своем дерзании, жестокой в устранении противодействий и настойчивой в достижении цели, которая дает победу в борьбе за самосохранение классу, сословию, нации. Все четыре года смуты для русской интеллигенции и буржуазии прошли под знаком бессилия, непротивления и потери всех позиций, мало того — физического истребления и вымирания. По-видимому, только на двух крайних флангах общественного строя была настоящая сильная воля; к сожалению, — воля к разрушению, а не к созиданию. Один фланг дал уже Ленина, Бронштейна, Апфельбаума, Урицкого, Дзержинского, Петерса. Другой, разбитый в февральские дни, быть может, не сказал еще последнего слова.

Русская революция в своем зарождении и начале была явлением, без сомнения, национальным, как результат всеобщего протеста против старого строя. Но когда пришло время нового строительства, столкнулись две силы, вступившие в борьбу; две силы, возглавлявшие различные течения общественной мысли, различное мировоззрение. По установившейся терминологии, это была борьба буржуазии с демократией, хотя правильнее было бы назвать борьбой буржуазной демократии с социалистической. Обе стороны черпали свои руководящие силы из одного источника — немногочисленной русской интеллигенции, различаясь между собой не столько классовыми, корпоративными, имущественными особенностями, сколько политической идеологией и приемами борьбы. Обе стороны не отражали в надлежащей мере настроения народной массы, от имени которой говорили, и которая, изображая первоначально зрительный зал, рукоплескала лицедеям, затрагивавшим ее наиболее жгучие, хотя и не совсем идеальные чувства. Только после такой психологической обработки инертный ранее народ, в частности армия, обратились «в стихию расплавленных революцией масс... со страшной силой давления, которую испытывал весь государственный организм»[1]. Не соглашаться с этим взаимодействием, — значит,

[1] Слова Керенского.

по толстовскому учению, отрицать всякое влияние вождей на жизнь народов. А это теория, в корне опровергнутая большевизмом, покорившим надолго чуждую ему и враждебную народную стихию.

В результате борьбы, с первых же недель правления новой власти обнаружилось то явление, которое позднее, в середине июля, комитет Государственной Думы в своем обращении к правительству охарактеризовал следующими словами: «Захват безответственными организациями прав государственной власти, создание ими двоевластия в центре и безвластия в стране».

* * *

Власть Совета была также весьма условна.

Невзирая на ряд кризисов правительства, на возможность взять при этом власть в свои руки безраздельно и безотказно[1], революционная демократия, представленная Советом, категорически уклонилась от этой роли, прекрасно сознавая, что в ней недостаточно ни силы, ни знания, ни умения вести страну, ни надлежащей в ней опоры.

Устами одного из своих вождей Церетели она говорила: «Не настал еще момент для осуществления конечных задач пролетариата, классовых задач... Мы поняли, что совершается буржуазная революция... И не имея возможности полностью осуществить светлые идеалы... *не захотели взять на себя ответственность за крушение движения*, если бы в отчаянной попытке решились навязать событиям свою волю в данный момент. Они предпочитали путем постоянного организованного давления заставлять правительство исполнять их требования» (Нахамкес).

Член исполнительного комитета Станкевич в своих «Воспоминаниях», отражающих неисправимую идеологию сбившегося с пути социалиста, дошедшего ныне до оправдания большевизма, но вместе с тем производящих впечатление искренности, дает такую характеристику Совету: «Совет — это собрание полуграмотных солдат — оказался руководителем потому, что он ничего не требовал, потому что он был только ширмой, услужливо прикрывавшей полное безначалие». Две тысячи тыловых солдат и восемьсот рабочих Петрограда образовали учреждение, претендовавшее на руководство всей политической, военной, экономической и социальной жизнью огромной страны! Газетные отчеты о заседаниях Совета свидетельствовали об удивительном невежестве и бестолочи, которые царили в них. Становилось невыразимо больно и грустно за такое «представительство» России.

[1] Я говорю только о несопротивлении этому со стороны Временного правительства.

Мало-помалу в кругах интеллигенции, демократической буржуазии, в офицерской среде накипала глухая и бессильная злоба против Совета; на нем сосредоточивался весь одиум, его поносили в этих кругах самыми грубыми, унизительными словами. Эту ненависть против Совета, проявлявшуюся зачастую открыто, революционная демократия совершенно неправильно относила к самой *идее демократического представительства.*

С течением времени приоритет Петроградского совета, приписывавшего выдвинувшей его среде исключительную заслугу свержения старой власти, стал заметно падать. Огромная сеть комитетов, советов, наводнивших страну и армию, требовала участия в правительственной работе. В результате в апреле состоялся съезд делегатов советов рабочих и солдатских депутатов. Петроградский совет был реорганизован на началах более равномерного представительства, а в июне открылся Всероссийский съезд представителей советов рабочих и солдатских депутатов. Интересен состав этого, уже более полного демократического представительства.

Социалистов-революционеров	285
Социал-демократов меньшевиков	248
Социал-демократов большевиков	105
Интернационалистов	32
Внефракционных социалистов	73
Объединенных социал-демократов	10
Бундовцев	10
Группы «Единство»	3
Народных социалистов	3
Трудовиков	5
Анархо-коммунистов	1

Таким образом, подавляющие массы *несоциалистической* России не были представлены ни одним человеком. Даже те, чуждые политике или принадлежавшие к более правым группировкам элементы, которые прошли от советов и армейских комитетов под рубрикой «внепартийных», по побуждениям далеко не государственным, поспешили нацепить на себя социалистический ярлык и растворились в партийном составе. Чисто социалистическими были и все составы исполнительного комитета совета. При этих условиях невозможно было рассчитывать на самоограничение революционной демократии и надеяться на удержание народного движения в рамках буржуазной революции. Фактически у полусгнившего кормила власти стал блок из социалистов-революционеров и социал-демократов меньшевиков с явным преобладанием вначале первых, потом последних. В сущности, этот узкопартийный блок, тяготевший над волей правительства, и несет на себе главную тяжесть ответственности за последующий ход русской революции.

Состав Совета был крайне разнороден: интеллигенты, мелкая буржуазия, рабочие, солдаты, много дезертиров. По существу, Совет и съезды, в особенности первый, представляли собой довольно аморфную массу, совершенно не воспитанную в политическом отношении; центр тяжести всей работы руководства и влияния перешел поэтому в исполнительные комитеты, представленные почти исключительно социалистическим интеллигентским элементом. Самую уничтожающую критику Исполнительного комитета совета вынес из недр самого учреждения член его В.Б. Станкевич. Хаотичность заседаний, политическая дезорганизованность, неопределенность, торопливость и случайность в решении вопросов, полное отсутствие административного опыта и, наконец, демагогия членов комитета: один призывает в «Известиях» к анархии, другой рассылает разрешительные грамоты на экспроприацию помещичьих земель, третий разъясняет пришедшей военной делегации, пожаловавшейся на военное начальство, что необходимо его сместить, арестовать и т.д.

«Поражающей чертой в личном составе комитета является значительное количество инородческого элемента, — пишет Станкевич. Евреи, грузины, латыши, поляки, литовцы были представлены совершенно несоразмерно их численности и в Петрограде, и в стране».

Я приведу список первого президиума Всероссийского центрального комитета советов рабочих и солдатских депутатов:

Чхеидзе — грузин
Гурвич (Дан) — еврей
Гольдман (Либер) — еврей
Гоц — еврей
Гендельман — еврей
Розенфельд (Каменев) — еврей
Саакян — армянин
Крушинский — поляк
Никольский — если не псевдоним, то, вероятно, русский.

Это исключительное преобладание инородческого элемента, чуждого русской национальной идее, не могло, конечно, не повлиять в свою очередь на все направление деятельности Совета в духе, гибельном для русской государственности.

Правительство с первых же шагов своих попало в плен к Совету, значение, влияние и силу которого оно переоценивало и которому само не могло противопоставить ни силы, ни твердой воли к сопротивлению и борьбе. Правительство не надеялось на успех этой борьбы, так как, охраняя русскую государственность, оно не могло провозглашать такие пленительные для взбаламученного народного моря лозунги, какие выходили из Совета. Правительство говорило больше об обязанностях, Совет — о правах. Первое «запрещало», второй «позволял». Правительство было связано со старой властью преемственностью всей государственной идеологии, организации, даже внешних приемов управления, тогда как Совет, рожденный из бунта и подполья, являлся прямым отрицанием всего старого строя.

Если до сих пор еще среди небольшой части умеренной демократии сохранилось убеждение в «сдерживающей народную стихию» роли Совета, то это результат прямого недоразумения.

Совет, в действительности, не прямо разрушал русскую государственность. Он ее расшатывал и расшатал до крушения армии и приятия большевизма. Отсюда двойственность и неискренность направления его деятельности.

Не желая и не имея возможности принять власть, Совет вместе с тем не допускал укрепления этой власти в руках правительства. Наряду с призывом революционной демократии «оказывать поддержку Временному правительству, поскольку оно будет неуклонно идти в направлении к упрочению и расширению завоеваний революции и поскольку свою внешнюю политику оно строит на почве отказа от захватных стремлений», недоверием и прямой угрозой звучит дальнейший призыв: «Организуясь и сплачивая свои силы вокруг советов рабочих и солдатских депутатов, быть готовым дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии или уклониться от выполнения принятых на себя обязательств». (Резолюция первого съезда 4 апреля 1917 года.)

Но помимо декларативных выступлений, в повседневной жизни Совета и Исполнительного комитета все речи, все разговоры, разъяснения, выступления, печатные материалы пленума, отдельных групп, отдельных лиц, рассылаемые по стране и фронту, — все они клонили к разрушению авторитета правительства. «Не нарочно, но постоянно, — говорит Станкевич, — комитет наносил смертельные удары правительству».

Сознательно разрушая дисциплину в армии приказом №1, декларацией прав солдата и постоянным воздействием на военное законодательство и войсковые организации, унизив и обезличив командный состав, Совет одновременно возвещал, что «армия сильна лишь союзом солдат и офицерства», что «командному составу должна быть предоставлена полная самостоятельность в области оперативной и боевой деятельности, решающее значение в области строевой и боевой подготовки».

Любопытно, кто же направлял военное законодательство по пути демократизации, ломая все устои армии, вдохновляя поливановскую комиссию, связывая по рукам двух военных министров? Состав лиц, выбранных в начале апреля от солдатской части Совета в исполнительный комитет, определяется так[1]:

[1] Ранее состояло в комитете три офицера военного времени и несколько солдат.

Офицеров воен. времени	Чиновников	Юнкеров	СОЛДАТ	
			Тыловых частей	Писарей и нестроевых
1	2	2	9	5

Характеристику же их предоставляю Станкевичу: «Вначале попали истерические, крикливые и неуравновешенные натуры, которые в результате ничего не давали комитету». Потом вошли новые с «Завадьей и Бинасиком во главе. Последние добросовестно, насколько в силах, старались справиться с морем военных дел. Но оба были, кажется, мирными писарями в запасных батальонах, никогда не интересовавшимися ни войной, ни армией, ни политическим переворотом».

Наиболее ярко двойственность и неискренность Совета выражались в вопросе о войне. Левые интеллигентские круги и революционная демократия в большей части своей исповедовали идеи Циммервальда и интернационализма. Естественно поэтому, что первое слово, с которым Совет обратился «к народам всего мира» (14 марта 1917 года), было «Мир!»

Но мировые проблемы, бесконечно сложные в сплетении национальных, политических, экономических интересов народов, расходящихся в понимании предвечной мировой правды, не могли быть разрешены таким элементарным путем. Бетман-Гольвег ответил презрительным молчанием. Рейхстаг 17 марта 1917 года большинством голосов против голосов обеих социал-демократических фракций отклонил предложение о заключении мира без аннексий. Немецкая демократия устами Носке сказала: «Нам из-за границы предлагают устроить революцию. Если мы последуем этому совету, то рабочие классы постигнет несчастье». В стане союзников и среди союзной демократии советский манифест вызвал лишь недоумение, тревогу и неудовольствие, особенно ярко выраженные в речах прибывших в Россию Тома, Гендерсона, Вандервельде и даже нынешнего французского большевика Кашена.

В дальнейшем к слову «мир» Совет прибавил новое определение: «без аннексий и контрибуций, на основе самоопре-

деления народов». Теоретичность этой формулы немедленно же столкнулась с реальным вопросом об оккупированной немцами Западной и Южной России, о Польше, о разоренных немцами странах — Румынии, Бельгии и Сербии, об Эльзас-Лотарингии и Познани, наконец, о том рабстве, экспроприациях и принудительном труде для войны, которым были подвергнуты немцами все страны, подпавшие под их власть. Ибо согласно программе немецких социал-демократов, опубликованной наконец в Стокгольме, — для французов в Эльзасе и Лотарингии, поляков в Познани и датчан в Шлезвиге предназначалась только культурно-национальная автономия под скипетром германского императора.

В то же время всемерно поощрялась идея самостоятельности Финляндии, русской Польши, Ирландии. Требование возвращения немецких колоний находилось в каком-то трогательном единении с обещаниями самостоятельности Индии, Сиаму, Корее.

Chanteclair не вызвал солнца. Протянутая рука стыдливо повисла в воздухе. Совет вынужден был признать, что «нужно время, чтобы народы всех стран восстали и железною рукою принудили своих царей и капиталистов к миру». А пока «товарищи солдаты, поклявшись защищать русскую свободу», не должны «отказываться от наступательных действий, которых может потребовать боевая обстановка». В среде революционной демократии наступила растерянность, ярко выраженная в словах Чхеидзе: «Мы все время говорили против войны, как же я могу теперь призывать солдат к продолжению войны, к стоянию на фронте!»[1]

Но слова «война» и «наступление» были все-таки произнесены. Они разделили советских социалистов на два лагеря — «оборонцев» и «пораженцев». Теоретически к первым принадлежали только правые группы социалистов-революционеров, народные социалисты, «Единство» и трудовики. Прочие социалисты исповедовали немедленную ликвидацию войны и углубление революции путем внутренней классовой борьбы. Практически же, при голосовании вопроса о войне, к оборонцам присоединялась большая часть

[1] *Станкевич.* «Воспоминания».

социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократов меньшевиков. Но выносимые формулы носили на себе печать этой двойственности — ни мира, ни войны. Церетели призывал «пробудить движение против войны во всех странах — как союзных, так и враждебных». Съезд делегатов советов рабочих и солдатских депутатов в конце марта вынес не совсем определенное постановление, в котором, после требования отказа от «аннексий и контрибуций», предъявленного всем воюющим державам, указывалось все же, что «пока война продолжается, крушение армии, ослабление ее устойчивости, крепости и способности к *активным* операциям было бы величайшим ударом для дела свободы и для жизненных интересов страны». В начале июня 2-й съезд вынес новую резолюцию, которая наряду с определенным заявлением, что «вопрос о наступлении должен быть решаем исключительно с точки зрения чисто военных и стратегических соображений», вместе с тем внушала явно пораженческую идею: «Окончание войны путем разгрома одной из групп воюющих сторон послужило бы источником новых войн, еще более усилило бы рознь между народами и довело бы их до полного истощения, голода и гибели». Революционная демократия, очевидно, смешала два понятия: *стратегическую победу,* знаменующую окончание войны, и *условия мирного договора*, которые могут быть человечны и бесчеловечны, справедливы и несправедливы, дальновидны и близоруки.

Итак, следовательно, — война, наступление, но *без победы.*

Небезынтересно указать, что такую же формулу произнес еще в 1915 году прусский депутат и редактор «Vorwaerts» Стребель: «Я исповедую открыто, что полная победа империи не послужит на пользу социал-демократии».

Не было той области государственного управления, в которую бы не вмешивались Совет и Исполнительный комитет с той же двойственностью и той же неискренностью, которые вызывались, с одной стороны, боязнью нарушить основные догмы своих учений, а с другой — явной невозможностью претворения их в жизнь. В государственном строительстве творческой работы его не было и не могло быть. В области экономической жизни страны, в аграрном

и рабочем вопросе эта деятельность ограничивалась публикацией широковещательных партийных социалистических программ, осуществление которых даже в глазах министров-социалистов в обстановке анархии, войны и экономической разрухи было невыполнимо. Тем не менее эти резолюции и воззвания принимались в народе, на фабрике и в деревне как «разрешение», возбуждали страсти, вызывали желание к немедленному и самочинному проведению их в жизнь. А вслед за такой подготовкой народных устремлений тут же следовали сдерживающие воззвания: «Потребовать немедленного и беспрекословного исполнения всех предписаний Временного правительства, которые оно сочтет необходимым издать в интересах революции и внешней безопасности страны»[1].

Но декларативная литература далеко еще не определяет характер деятельности Совета.

Главной чертой Совета и Комитета было полное отсутствие дисциплины среди их членов. Говоря о взаимоотношениях особой делегации Комитета (контактной) с Временным правительством, Станкевич прибавляет: «Но что могла сделать эта делегация, если в то время как она беседовала и приходила к полному единодушию с министрами, десятки Александровских[2] рассылали письма, печатали статьи в «Известиях», разъезжали от имени Комитета делегатами по провинции и в армии, принимали ходоков в Таврическом дворце, каждый выступая по-своему, не считаясь ни с какими разговорами, инструкциями или постановлениями и решениями».

Обладал ли действительной властью Совет (Центральный комитет)?

Я отвечу словами обращения организационного комитета рабочей социал-демократической партии (июль 1917 года):

«И тот лозунг, за которым идут многие рабочие — «вся власть советам», — есть опасный лозунг. *Ибо за советами идет меньшинство населения*, и мы должны всеми силами добиваться, чтобы те буржуазные элементы, которые еще могут и хотят вместе с нами отстаивать завоевания революции, вместе с нами взяли бы на себя и то тяжкое наследство,

[1] Кронштадтцам, 26 мая 1917 года.

[2] Член комитета, выдававший разрешения на захваты земель.

какое досталось нам от старого режима, и ту огромную ответственность за исход революции, какая ложится на нас перед лицом всего народа».

Но Совет (позднее и Всероссийский Центральный Комитет), в силу своего состава и политической идеологии, не мог и не хотел оказывать в полной мере хотя бы сдерживающего влияния на народную стихию, вырвавшуюся из оков, мятущуюся и бушующую, ибо члены его были вдохновителями этого движения, и все значение, влияние и авторитет Совета находились в строгой зависимости от степени потворствования инстинктам народных масс. А эти массы, как говорит даже сторонний наблюдатель из марксистского лагеря Карл Каутский[1], «как только революция втянула их в свое движение, знали лишь о своих нуждах, о своих стремлениях и плевали на то, осуществимы ли и общественно полезны или нет их требования». И сколько-нибудь твердое и решительное противодействие их давлению грозило смести бытие Совета.

К тому же день за днем, шаг за шагом Совет подпадал все больше и больше под влияние анархо-большевистских идей.

ГЛАВА XII

ВЛАСТЬ: БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ БОЛЬШЕВИКОВ, ВЛАСТЬ АРМИИ, ИДЕЯ ДИКТАТУРЫ

Первый период деятельности большевиков — от начала революции до октябрьского переворота — заключался в борьбе за власть путем упразднения всего буржуазного строя страны и дезорганизации армии, чтобы подготовить тем самым почву для пришествия большевизма (L'avénement, как торжественно называет это Бронштейн-Троцкий).

На другой день после своего приезда в Россию Ленин опубликовал свои «тезисы», которые я привожу в извлечении:

1. Война, которую вело «капиталистическое правительство», остается грабительской, империалистической, и потому недопустимы ни малейшие уступки «революционному оборончеству».

[1] Терроризм и коммунизм.

Представителям революционного оборончества и действующей армии разъяснять, что кончить войну истинным демократическим, ненасильническим миром *нельзя* без свержения капитала.

Братанье.

2. Переход от первого этапа революции, давшего власть буржуазии, ко *второму*, который должен дать власть пролетариату и беднейшим слоям крестьянства.

3. Никакой поддержки Временному правительству; разъяснение полной лживости его обещаний.

4. Признание факта, что в большинстве советов рабочих депутатов партия большевиков в меньшинстве и поэтому пока нужно вести работу по критике и выяснению ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к Совету рабочих депутатов.

5. Россия не парламентарная республика — это было бы шагом назад, — а республика советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху.

Устранение полиции (милиции?), армии, чиновничества.

6. В аграрной программе — перенесение центра тяжести на *советы батрацких депутатов*. Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стране; распоряжение землей *местными* советами батрацких и крестьянских депутатов. *Выделение* советских депутатов от беднейших крестьян.

7. Немедленное слияние всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов.

8. Пока — не *введение социализма*, а только переход к контролю со стороны Совета рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов.

9. Требование *государства-коммуны* и перемена названия партии социал-демократов большевиков на *коммунистическую* партию.

Я не буду останавливаться на этой программе, проведение которой в жизнь началось с конца октября с известными отступлениями. Для первого периода деятельности большевиков важнее тактика их, исходившая из следующих конкретных положений:

1) свержение правительства и разложение армии;

2) возбуждение классовой борьбы в стране и даже внутриклассовой в деревне;

3) отрицание демократических форм государственного строя и переход власти к меньшинству (к партии ссоциал-демократов большевиков) — «меньшинству хорошо организованному, вооруженному и централизованному» (Ленин).

Но идеология партии была недоступна пониманию не только темных масс русского народа, но и второстепенных работников большевизма, которые были рассеяны по стране. Массам нужны были лозунги простые, ясные, *немедленно* проводимые в жизнь и отвечающие их желаниям и требованиям, чрезмерно возросшим в бурной атмосфере революции. Этот упрощенный большевизм — с типичными чертами русского бунта — проводить было тем легче, что он отрешился от всяких сдерживающих моральных начал, поставив целью первоначальной своей деятельности одно чистое разрушение, не останавливаясь при этом перед угрозой военного разгрома и разорения страны.

Первым объектом борьбы было Временное правительство. Во всей большевистской печати, в словесной агитации, в выступлениях советов, съездов, даже в дискуссиях с членами Временного правительства главари большевиков проводили резко и настойчиво идею его устранения, как «орудия контрреволюции и международной реакции».

Но переходить к решительным действиям большевики все же воздерживались, опасаясь «отсталой в политическом отношении провинции». Начался ряд действий, имевших, по военной терминологии, характер усиленной разведки: захват особняков в Петрограде[1] и демонстрация 20—21 апреля. Это был первый «смотр» пролетариату и подсчет большевистских сил. Демонстрация, в которой приняли участие рабочие и войска, имела внешним поводом[2] ноту Милюкова по международной политике и следствием — волнение в

---

[1] Дача Дурново, дача Кшесинской и т.д.

[2] Внутренние причины лежали несомненно в том основном расхождении двух течений, о котором я говорил раньше. *Все остальное* — только *поводы*.

столице и вооруженное столкновение, с убитыми и ранеными. Толпа носила плакаты с надписями «Долой захватную политику Милюкова», «Долой Временное правительство».

«Смотр» не удался. И хотя в прениях по этому поводу в Совете большевики требовали свержения правительства, в речах их звучала, однако, нота некоторой неуверенности: «Но прежде чем пойти на это, пролетариат должен обсудить существующее положение и подсчитать свои силы». Совет вынес осуждение и захватной политике правительства, и выступлению большевиков, и вместе с тем «горячо приветствовал революционную демократию Петрограда, своими митингами, резолюциями и демонстрациями засвидетельствовавшую свое напряженное внимание к вопросам внешней политики!» (Из воззвания Совета.)

10 июня, во время съезда советов, Ленин готовил новую крупную вооруженную демонстрацию, но, ввиду совершенно отрицательного отношения к ней огромного большинства съезда, ее пришлось отменить. Демонстрация имела своей целью также переход власти к советам. Весьма оригинальна была эта борьба внутри самой революционной демократии, между двумя ее крыльями, ставшими в непримиримые отношения друг к другу. Левое крыло всеми силами предлагало оборонческому блоку (так как за ним было большинство) порвать с буржуазией и взять в свои руки власть. Блок также всеми силами открещивался от этой власти. В среде советов шла некоторая дифференциация, выражавшаяся в сближении по частным вопросам с большевиками левых социалистов-революционеров и социал-демократов интернационалистов; но тем не менее до сентября большевики не имели еще абсолютного большинства как в Петроградском совете, так и во многих провинциальных. Только 25 сентября место председателя в Петроградском совете занял Бронштейн (Троцкий), сменивший Чхеидзе. Формула «Вся власть Советам» казалась поэтому в их устах или самопожертвованием, или провокацией. Бронштейн (Троцкий) разъясняет это недоразумение. По его словам[1], «благодаря постоянным перевыборам, механизм советов мог отражать правильное(?) настроение рабочих и солдатских масс, все время уклоняющееся влево; а после порыва с буржуазией крайние тенденции должны были возобладать в советах».

По мере выяснения истинной физиономии большевизма, это расхождение принимало более глубокие формы, не ограничиваясь рамками социал-демократической программы (максимум и минимум) и партийной тактики. Это была борьба демократии с пролетариатом; борьба большинства с меньшинством — интеллектуально наиболее отсталым, но сильным своим бунтарским дерзанием и возглавляемым людьми сильными и абсолютно беспринципными; борьба демократических принципов — всеобщего избирательного права, политических свобод, равенства и т.д. — с диктатурой привилегированного класса, с безумием и грядущим рабством.

2 июля произошел второй министерский кризис по внешнему поводу несогласия либеральных министров с актом об украинской автономии. А 3—5 июля большевики подняли опять мятеж в столице, произведенный вооруженными толпами рабочих, солдат и матросов, — на этот раз в широких размерах, вызвавший грабежи, убийства, много жертв и поставивший правительство в тяжелое положение. Керенский был в это время у меня на Западном фронте, и переговоры его по прямому проводу с Петроградом свидетельствовали о крайне подавленном состоянии председателя князя Львова и членов правительства. Князь Львов вызывал Керенского немедленно в Петроград, но предупреждал, что не ручается за безопасность его жизни.

Восставшие требовали от Совета рабочих и солдатских депутатов и Центрального комитета съезда взять власть в свои руки. Органы революционной демократии вновь категорически отказались.

Провинция не поддержала. Восстание было подавлено, главным образом, благодаря Владимирскому военному училищу и казачьим полкам; приняли участие на стороне правительства и несколько рот гарнизона. Бронштейн (Троцкий) пишет по этому поводу, что выступление оказалось явно преждевременным, в гарнизоне было еще слишком много элементов пассивных и нерешительных. Но оно доказало все же, что «за исключением юнкеров никто не был расположен

[1] «L'avénement du bolchevisme».

сражаться против большевиков *за правительство или за руководящие партии Совета».*

В этом заключался весь трагизм положения правительства Керенского и Совета. Толпа не шла за отвлеченными лозунгами. Она оказалась одинаково равнодушной и к родине, и к революции, и к интернационалу и не собиралась ни за одну из этих ценностей проливать свою кровь и жертвовать своей жизнью. Толпа шла за реальными обещаниями тех людей, которые потворствовали ее инстинктам.

* * *

Исследуя понятие «власть» по отношению ко всему доктябрьскому периоду русской революции, мы, в сущности, говорим лишь о внешних *формах ее.* Ибо в исключительных условиях мировой войны небывалого в истории масштаба, когда 12% всего мужского населения было под ружьем, вся власть находилась в руках *Армии.*

Армии, сбитой с толку, развращенной ложными учениями, потерявшей сознание долга и страх перед силой принуждения. А главное — потерявшей «вождя». Ни правительство, ни Керенский, ни командный состав, ни Совет, ни войсковые комитеты, по причинам весьма разнообразным и взаимно исключающим друг друга, не могли претендовать на эту роль. Их взаимоотношения и столкновения, болезненно преломлявшиеся в сознании солдатской массы, еще более усиливали ее развал. Бесполезно делать предположения, которые нельзя обосновать воплощением их в жизнь, тем более при отсутствии исторической перспективы. Но вопрос этот настолько жгучий и мучительный, что невольно будет привлекать к себе внимание всегда: можно ли было поставить плотину, которая в состоянии была бы сдержать напор народной стихии и удержать в повиновении армию? Я думаю, что можно было. Вначале могло и верховное командование, и правительство, но настолько решительное, чтобы раздавить советы, или настолько сильное и мудрое, чтобы привлечь их в орбиту государственности и истинно демократического строительства.

С другой стороны, армия представляла собой плоть от плоти и кровь от крови русского народа. А этот народ в течение многих веков того режима, который не давал ему ни просвещения, ни свободного политического и социального развития, не сумел воспитать в себе чувство государственности и не мог создать лучшего демократического правительства, чем то, которое говорило от его имени в дни революции.

* * *

В начале революции Временное правительство несомненно пользовалось широким признанием всех здоровых слоев населения. Весь старший командный состав, все офицерство, многие войсковые части, буржуазия и демократические элементы, не сбитые с толку воинствующим социализмом, были на стороне правительства. Газеты того времени полны огромным количеством телеграмм, адресов, обращений, поступавших со всех концов России от самых разнообразных общественных, сословных, военных групп, организаций, учреждений, конечно, и таких, демократизм которых был вне всякого сомнения. Это доверие, по мере обезличения, обессиления правительства и перехода его последовательно к двум коалициям, в таких кругах все более падало и взамен не компенсировалось большим признанием революционной демократии, ибо в ее среде все более росли течения анархического характера, отрицавшие всякую власть.

К началу мая, после вооруженного выступления на улицах Петрограда, происшедшего без ведома Совета, но при участии его членов, после ухода Гучкова и Милюкова полное бессилие Временного правительства стало настолько очевидным, что князь Львов, в согласии с комитетом Государственной Думы и кадетской партией, обратился к Совету, приглашая «к непосредственному участию в управлении государством... те активные творческие силы страны, которые доселе не принимали прямого и непосредственного в нем участия». Совет после некоторой борьбы счел вынужденным согласиться на вступление в состав правительства своих членов[1] и тем возложить на себя прямую ответственность за судьбы революции. Совет не пожелал взять всю власть, так

[1] Вошли: Скобелев (министр труда), Чернов (министр земледелия), Пешехонов (министр продовольствия), Церетели (министр почты и телеграфа).

как «переход всей власти к Советам рабочих и солдатских депутатов в переживаемый период русской революции значительно ослабил бы ее силы, *преждевременно* оттолкнув от нее элементы, способные еще ей служить, и грозил бы крушением революции»[1]. Легко можно представить себе то впечатление, которое производили подобные резолюции на буржуазию и ее «заложников» в коалиционном министерстве.

И хотя Совет выражал новому правительству свое полное доверие и призывал демократию «оказать ему деятельную поддержку, обеспечивающую ему всю полноту власти»[2], эта «власть» была уже окончательно и безнадежно дискредитирована и потеряна. Социалистическая среда, давшая своих представителей в правительство, нисколько не изменила и не усилила этим его интеллектуальных качеств. Наоборот — ослабила еще более, увеличив ту зияющую трещину, которая образовалась между двумя политическими группировками, представленными в нем. Совет, выражая официально доверие правительству, продолжал фактически расшатывать его власть, охладев вместе с тем к министрам-социалистам, вынужденным несколько уклониться от прямолинейного выполнения партийных социалистических программ под влиянием реальных условий жизни. А народ и армия отнеслись к факту совершенно равнодушно, утрачивая постепенно сознание существования власти, не проявлявшейся сколько-нибудь заметно в области их повседневной жизни.

Кровавое восстание в Петрограде, поднятое 3—5 июля левым крылом Совета (анархо-большевистским), уход князя Львова и новое коалиционное министерство, в котором представители социалистических партий, проведенные Советом, получили окончательное преобладание[3], явились не более как этапами, приближающими к окончательному падению государственной власти. Поводы, вызвавшие и первый и второй правительственные кризисы (декларация прав солдата, международная политика Совета, отделение Украины, аграрные реформы Чернова и т.д.), при всей их государственной важности были все же только поводами. Коалиция, в которой демократической буржуазии предоставлялась пассивная роль, когда ее «временное» участие требовалось только для разделения ответственности, а все дела решались за кулисами правительства, в кругах, близких к Совету, такая коалиция не была жизненной и не могла примирить с революционной демократией даже наиболее оппортунистически настроенную буржуазию.

[1] Резолюция Всероссийского съезда; июнь 1917 года.

[2] Резолюция Совета 5 мая.

[3] Керенский (эсер), Некрасов (р.-д.), (Авксентьев (эсер), Терещенко (бесп.), Скобелев (социал-демократ), Пешехонов (национал-социалист), Чернов (эсер), Ольденбург (кадет), Зарудный (эсер), Ефремов (р.-д.), Юренев (кадет), Прокопович (социал-демократ), Никитин (социал-демократ), Кокошкин (кадет), Карташов (кадет).

В соотношении сил, независимо от политических и социальных признаков, несомненно играли большую роль факты чисто объективные: неудовлетворенность широких народных масс, в силу общего положения страны, деятельностью правительства.

Народные массы воспринимали революцию не как тяжкий переходный этап, связанный тысячью нитей с прошлым и настоящим русского и мирового государственного развития, а как самодовлеющее реальное явление сегодняшнего дня, с такими же реальными бедствиями — войной, бандитизмом, бесправием, бессудностью, дефицитом товаров, холодом и голодом. Народные массы не разбирались вовсе в чрезвычайно сложной обстановке происходящих событий, не отделяли причин непредотвратимых, космических, неизбежно сопровождавших пришествие революции, от доброй или злой воли тех или других органов власти, организаций и лиц. Они ощущали ясно и напряженно невыносимость создавшегося положения и искали выход.

В результате всеобщего признания несостоятельности установившейся власти в общественном сознании возникла мысль о *диктатуре*.

Я категорически утверждаю, что в известных мне общественных и военных кругах, в которых возникло течение в пользу диктатуры, оно было вызвано высоким патриотизмом и ясным, жгучим сознанием той бездонной пропасти, в которую бешено катился русский народ. *Но ни в малейшей степени не вызывалось стремлением к реакции и контррево-*

люции. Несомненно к этому движению примыкали люди и такого направления, и просто авантюристы, но они составляли привходящий, наносный элемент. Керенский так объясняет начало движения или, как он выражается, «заговорщической волны»: «Военный разгром (Тарнополь) создал на почве оскорбленного национального самолюбия сочувствующую заговорам среду, а большевистское восстание (3—5 июля) вскрыло для непосвященных *глубину распада демократии, бессилие революции против анархии* и силу меньшинства, действующего организованно и внезапно»[1]. Вряд ли можно дать лучшее оправдание начавшемуся движению. Действительно, в обстановке глубокого разочарования народных масс, всеобщего развала и надвигавшейся анархии, в силу неизбежного исторического и психологического процесса, жизнь *должна была* создать попытки диктатуры; и русская жизнь действительно создала их — как мучительное искание *сильной национальной, демократической власти, но не реакции.*

Вообще революционная демократия жила в атмосфере, отравленной беспокойным ожиданием контрреволюции. Начиная с разрушения армии и кончая упразднением сельской полиции, все ее заботы, мероприятия, резолюции, воззвания так или иначе клонили к борьбе с этим воображаемым врагом, грозившим якобы завоеваниям революции. Насколько искренне было это убеждение среди сознательных руководителей Совета и не было ли разжигание беспричинного опасения просто тактическим приемом, оправдывавшим разрушительный характер деятельности его? Я склонен остановиться на последнем выводе — до того ясно, очевидно не только для меня, но и для Совета, должен был, казалось, определиться оппозиционный, а не контрреволюционный характер действий демократической буржуазии. Тем не менее и в русской партийной литературе, и в широких зарубежных кругах именно в этом последнем освещении представляют себе дооктябрьский период революции.

Временное правительство, объявившее в первые дни своего создания широкодемократическую программу, даже в

[1] *Керенский.* «Дело Корнилова».

правых кругах встречало критику этой программы и неудовольствие, но не активное противодействие[1]. В первые четыре-пять месяцев после начала революции во всей стране не было ни одной хоть сколько-нибудь серьезной контрреволюционной организации. Оживление деятельности одних и появление других тайных кружков, преимущественно офицерских, относится к июлю, в связи с предположениями о возможности диктатуры. В состав этих кружков входило, несомненно, немало лиц и с ярко выраженными реставрационными тенденциями, но целью своею и они ставили, по преимуществу, борьбу с фактом существования классового неофициального правительства и с личным составом Совета и Исполнительного комитета, членам которых действительно грозило бы физическое истребление, если бы эти кружки не распались преждевременно из-за своей слабости, малочисленности и неорганизованности.

А наряду с постоянным противодействием такой контрреволюции справа Совет обеспечивал полную возможность подготовки подлинной контрреволюции, исходившей из недр его со стороны большевиков.

Помню, что первые разговоры на тему о диктатуре (в виде легкого зондирования почвы) начали со мной различные лица, приезжавшие в Ставку, приблизительно в начале июня. Все эти разговоры настолько стереотипны, что я могу кратко обобщить их.

— Россия неизбежно идет к гибели. Правительство совершенно бессильно. Необходима твердая власть. Раньше или позже нам нужно перейти к диктатуре.

Но никто не говорил о реставрации или о перемене политического курса в сторону реакции. Называли имена Корнилова, Брусилова.

Я предостерегал от поспешного решения этого вопроса. Должен сознаться, что тогда была еще некоторая иллюзорная надежда, что правительство путем внутренней эволюции, под влиянием нового вооруженного выступления опекаемых им крайних антигосударственных элементов или от созна-

[1] Неприемлемым был лишь пункт, предрешавший декларацию прав солдата.

ния бесцельности и безнадежности своего дальнейшего управления страной, само придет к убеждению о необходимости создания единоличной власти, придав известную закономерность ее появлению. Вне этой закономерности будущее представлялось чреватым грозными потрясениями. Я указывал, что в данное время нет военных вождей, которые пользовались бы достаточным авторитетом среди развращенной солдатской массы, но если назреет государственная необходимость и возможность проведения военной диктатуры, то нужно учесть, что Корнилов и теперь уже пользуется большим удельным весом, по крайней мере в глазах офицерства, тогда как репутация Брусилова сильно подорвана его оппортунизмом.

Интересно, что и в самом правительстве однажды возник вопрос о диктатуре. По сведениям «Русского слова», министр путей сообщения Некрасов в Киеве, на кадетском заседании рассказал следующее: «Вы не знаете, как не знает того и вся Россия, какая колоссальная опасность грозила России! В ночь на 3 мая, когда было достигнуто соглашение о коалиционном министерстве[1], вдруг оказалось, что на одно место (портфель) предъявлено два ультимативных требования. Мы, желая сохранить преемственность власти, остановились на возможном исходе — создать личную диктатуру. Мы решили передать всю власть в руки одного человека. Были даже созваны знатоки государственного права, чтобы оформить новый порядок правления в виде указа Временного правительства сенату. Но удалось достигнуть полного соглашения».

Сам Керенский в своей книге говорит, что ему неоднократно делали предложения заменить бессильное правительство личной диктатурой «казачьи круги и некоторые общественные деятели»[2]. И только когда «общественность» разочаровалась в нем «как в возможном организаторе и главном деятеле изменения системы управления в сторону сильной власти», тогда уже «начались поиски другого человека».

---

[1] Первое коалиционное министерство Львова.

[2] *Керенский.* «Дело Корнилова».

Нет никакого сомнения, что те лица и общественные круги, которые обращались к Керенскому по вопросу о диктатуре, не были его апологетами и не принадлежали к составу «революционной демократии». Но одно уже это обращение именно к нему доказывает, что они не могли руководствоваться стремлениями к реакции, отражая лишь патриотическое желание всей русской общественности видеть сильную власть у руля русского государственного корабля, отданного на произвол стихии.

Впрочем, может быть, и другой мотив побуждал их к этому обращению. Был несомненно такой краткий, но довольно яркий период в жизни Керенского как военного министра (я его отношу приблизительно к июню), когда не только широкие круги населения, но и русское офицерство подчинилось обаянию его экзальтированной фразы, его истерического пафоса. Русское офицерство, преданное на заклание, тогда все забыло, все простило и мучительно ждало от него спасения армии. И уже не фразой звучало их обещание умереть в первых рядах.

И больно становилось много раз, когда во время объездов Керенского у этих обреченных разгорались глаза, а в сердце светлая надежда, которая скоро, очень скоро была безжалостно и грубо растоптана.

Замечательно, что несколько раньше в той же книге Керенский, оправдывая временную «концентрацию власти», перешедшей 27 августа[1] единолично к нему, говорит: «В борьбе с заговором, руководимым единоличной волей, государство должно противопоставить этой воле власть, способную к быстрым и решительным действиям. *Такой властью не может быть никакая коллегия, тем более коалиционная».*

Полагаю, что внутреннее состояние русской державы перед лицом чудовищного коллективного заговора немецкого генерального штаба и антигосударственных и антинациональных элементов русской демократии было в достаточной степени грозно и давно уже требовало власти, «способной к быстрым и решительным действиям».

---

[1] День Корниловского выступления.

ГЛАВА XIII
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА, ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ; ГОРОД И ДЕРЕВНЯ, АГРАРНЫЙ ВОПРОС

В этой и следующей главах я приведу краткий схематический очерк внутреннего состояния России в первый период революции, но лишь в той мере, в какой оно отражалось на ведении мировой войны.

Я уже говорил о двоевластии в верховном управлении страной и о непрестанном давлении Совета на Временное правительство, взаимоотношения которых метко охарактеризовал в совещании Думы В. Шульгин: «Старая власть сидит в Петропавловской крепости, а новая — под домашним арестом».

Но и помимо этого в характере деятельности правительства были некоторые, в обычном понимании положительные и отрицательные черты, которые в исключительной обстановке смуты одинаково приводили к бессилию и обреченности.

Временное правительство, являясь представительством далеко не всенародным, не хотело и не могло предрешать воли Учредительного собрания путем проведения реформ, в корне ломающих политический и социальный строй государства. Оно поневоле должно было ограничиваться временными законами, полумерами, в то время как возбужденная народная стихия проявляла огромное нетерпение и требовала немедленного осуществления капитальной перестройки всего государственного здания. Правда, и Совет, и отдельные представители его в коалиционных министерствах в теории зачастую признавали в этом отношении идею исключительного права Учредительного собрания. Но только в теории. Ибо на практике все они предрешали, предвосхищали эти права путем широкой проповеди социального переворота, словесного и письменного ведомственного разъяснения и, наконец, на местах — прямыми действиями явочного и захватного порядка.

Временное правительство «в основу государственного управления полагало не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан созданной ими самими власти. Ни одной капли крови не пролито по его вине, ни для одного течения общественной мысли им не создано насильственных преград»[1]. Это непротивление в тот момент, когда шла жестокая и не стеснявшаяся нравственными и патриотическими побуждениями борьба за самосохранение одних групп населения и за осуществление захватным путем неограниченных домогательств других, являлось несомненным признанием своего бессилия. В позднейших декларациях второго и третьего коалиционных министерств мы читаем уже о «самых решительных мерах» против дезорганизующих страну сил. Но это слова, не претворившиеся в дело.

Идею «непредрешения» воли Учредительного собрания правительству соблюсти не удалось, в особенности в области национального самоопределения. Правительство объявило акт о самостоятельности Польши, поставив, однако, в полную зависимость от Всероссийского Учредительного собрания «согласие на те изменения государственной территории России, которые необходимы для образования свободной Польши». Акт этот, юридически спорный, находился, однако, в полном соответствии с общественным правосознанием. В отношении Финляндии правительство, не изменяя юридических отношений ее к России, подтвердило права и привилегии страны, отменило все ограничения финляндской конституции и созывало сейм, которому должны были быть переданы проекты новой формы правления великого княжества. В дальнейшем правительство самым широким образом шло навстречу всем справедливым стремлениям финляндцев к местному строительству. Тем не менее на почве общего стремления к немедленному и наиболее полному осуществлению частных национальных интересов между Временным правительством и Финляндией возникла длительная борьба за власть. 6 июля сейм большинством голосов социал-демократов принял закон о пе-

[1] Из правительственной декларации 25 апреля 1917 года.

реходе к нему, после отречения «великого князя финляндского», верховной власти, предоставив Временному правительству лишь внешние отношения, военное законодательство и военное управление. Это постановление находилось в известном соответствии с резолюцией съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, требовавшей, чтобы финляндцам еще до решения Учредительного собрания дана была полная независимость с приведенными выше ограничениями. На это, по существу, фактическое отторжение Финляндии от России правительство ответило роспуском сейма, который, впрочем, в сентябре самовольно собрался вновь.

В этой борьбе, которая то принимала острые формы, то затихала, сообразно политическому барометру Петрограда (правительственные кризисы), финляндские деятели, не считаясь ни в малейшей степени с общегосударственными интересами и не имея опоры в вооруженных силах, играли исключительно на лояльности или, вернее, слабости Временного правительства.

На почве этой создалась серьезная угроза финляндскому театру, с некоторых пор привлекавшему к себе усиленное внимание. Как фланг армий Северного фронта, база Балтийского флота, как прикрытие столицы и Мурманской железной дороги, театр этот, связанный с центральной Россией одним лишь железнодорожным путем, который нетрудно было прервать, стал вызывать большие опасения; этому способствовал развал Балтийского флота и 42-го армейского корпуса и нараставший шовинизм финляндцев.

Финляндская социал-демократия прежде всего начала с отрицания войны, опираясь на «компетентное мнение» своих русских товарищей в Совете рабочих и солдатских депутатов. Затем губернаторы, городские и сельские управы один за другим потребовали вывода со своих территорий русских войск, присутствие которых якобы «нарушало конституцию страны». Создавались серьезные затруднения по расквартированию, питанию и снабжению войск. Русский рубль был обесценен, что создавало тяжелое экономическое положение для военного и служилого элемента, а Финляндия отказала в валютном займе в 350 миллионов марок Временному

правительству[1] на содержание войск финляндского фронта, невзирая на то, что в течение всей войны получала с России замаскированную контрибуцию и на разнице курса, и на вывозных ценах произведений своей промышленности, и на ввозимом дешевом, по твердым ценам, русском хлебе.

До открытого восстания дело не дошло: благоразумная часть населения, если не из побуждений лояльности, то учитывая последствия междоусобной борьбы (в особенности теми методами действий, которых можно было ожидать от распущенной солдатской и матросской вольницы), удержала край в известных границах.

Весь май и июнь протекали в борьбе за власть между правительством и самочинно возникшей на Украине Центральной Радой, причем собравшийся без разрешения 8 июня Всеукраинский военный съезд потребовал от правительства, чтобы оно немедленно признало все требования, предъявляемые Центральной Радой и съездами, а Раде предложил не обращаться более к правительству, а немедленно приступить к созданию автономного строя на Украине. 11 июня был объявлен универсал об автономии Украины и образован секретариат (совет министров) во главе с Винниченко. В результате переговоров послов правительства, министров Керенского, Терещенко и Церетели с Радой, явилась декларация Временного правительства 2 июля, которая, предрешая постановление Учредительного собрания, признавала с некоторыми оговорками автономию Украины. Центральная Рада и секретариат, захватывая постепенно в свои руки управление, создавали на местах двоевластие, дискредитировали общерусскую власть, вызывали междоусобную рознь и давали моральное обоснование всяким проявлениям отказа от исполнения гражданского и военного долга перед общей родиной. Мало того, с самого начала своего существования Центральная Рада таила в себе германофильские настроения и имела несомненную связь через «Союз освобождения Украины» с генеральными штабами центральных держав.

[1] Любопытно, что убеждать финляндцев в необходимости поддержки метрополии ездил в числе других и грузинский шовинист Гегечкори.

Учитывая обширный материал, собранный Ставкой, полупризнание Винниченко французскому корреспонденту о германофильских течениях в кругах Рады и, наконец, доклад прокурора Киевской судебной палаты в конце августа 1917 года, я нисколько не сомневаюсь в оценке той преступной роли, которую играла Рада. Прокурор жаловался, что полное разрушение аппарата контрразведки и уголовного сыска не дают прокурорскому надзору возможности разобраться надлежаще в обстановке. Но все нити немецкого шпионажа и пропаганды, бунтов украинских войск и хождения темных сумм — все это несомненно австро-германского происхождения и обрывается возле Центральной Рады. Правительство не считало возможным до Учредительного собрания установить автономные начала и в сфере областного управления[1]. Правда, были созданы Туркестанский и Закавказский комитеты для устроения и гражданского управления этими областями. Первый — с правами генерал-губернатора, второй — даже «с правами Временного правительства». О деятельности их у меня мало данных. Во всяком случае, полная неопределенность прав и обязанностей этих областных комитетов и вторжение их в область власти военной, особенно вредной на Кавказском фронте, с одной стороны, и засилие над ними Советов рабочих и солдатских депутатов, с другой, — все это отнюдь не способствовало нормальной их деятельности. По крайней мере, Туркестанский комитет через месяц после своего назначения обратился уже с воззванием к населению области, что, ввиду трений с Ташкентским советом и Сыр-Дарьинским комитетом, он просит Временное правительство об увольнении. Дальнейшая жизнь области представляет длительное состояние беспорядков и мятежа.

Правительство, как я уже говорил, проявляло полнейшее игнорирование Верховного главнокомандующего даже в таких вопросах, которые непосредственно затрагивали его компетенцию, как управление областями театра войны. О создании, например, Закавказского комитета и назначении генерала Аверьянова (с совершенно неопределенными функциями) военным комиссаром на Кавказ Ставка узнала только из газет. Генерал Алексеев 10 мая, по жалобе генерала Юденича, вынужден был телеграфировать министру-председателю, «прося поставить его в известность о положении, выработанном и утвержденном, о правах и обязанностях особого Закавказского комитета[1]; устранить всякое вмешательство комитета в оперативные и внутренние дела армии со всеми ее учреждениями, предоставив надлежащую власть войсковым начальникам». «Без (соблюдения) этого условия, — заканчивалась телеграмма, — нужно уничтожить войсковых начальников и их дело передать комитетам».

[1] В декларации 2-го коалиционного министерства от 8 июля имеется, впрочем, обещание «привлечь местных представителей к образованию коллегиальных органов областного управления, объединяющих ряд губерний».

Точно так же без ведома Верховного главнокомандующего состоялось назначение комиссаром Галиции и Буковины Дорошенко и без всякого участия Ставки разрабатывалась «схема управления» этими областями, хотя комиссар в военном отношении был подчинен главнокомандующему Юго-западным фронтом. Такое игнорирование верховного командования вызвало подражание со стороны второстепенных агентов правительства: тот же Дорошенко, вызванный генералом Алексеевым в Могилев, отказался приехать за недосугом и проследовал непосредственно в Киев для согласования своих действий с украинскими кругами.

* * *

Министерство внутренних дел, некогда фактически державшее в своих руках самодержавную власть и вызывавшее всеобщую ненависть, ударилось в другую крайность: оно по существу самоупразднилось. Функции ведомства фактически перешли в распыленном виде к местным самозванным организациям.

История органов министерства внутренних дел имеет большое сходство во многом с судьбой военного командования.

5 марта министр-председатель отдал распоряжение о повсеместном устранении губернаторов и исправников и замене их, в качестве правительственных комиссаров, председателями губернских и уездных управ, а также о замене

[1] К концу августа «положение» еще не вышло.

полиции милицией, организуемой общественными учреждениями. Эта мера, вызванная общим ненавистным отношением к агентам прежней власти, в сущности была единственным реальным волеизъявлением правительства, потому что до сентября не было установлено в законодательном порядке положение комиссаров, а инструкции и распоряжения правительства имели в общем лишь академический характер, так как жизнь шла своим путем, регулируемая или, вернее, разрушаемая местным революционным правотворчеством.

Должность правительственных комиссаров с первых же дней стала пустым местом. Не имея в своем распоряжении ни силы, ни авторитета, они были обезличены совершенно и попали в полную зависимость от революционных организаций. Вынесенное «неодобрение» прекращало фактически деятельность комиссара. Организации избирали нового, и утверждение со стороны Временного правительства являлось простою формальностью. В течение первых шести недель таким путем было устранено 17 губернских комиссаров и множество уездных. Позднее, в июле, управляющий министерством внутренних дел Церетели[1] оформил этот порядок, приглашая циркуляром местные советы и комитеты указывать ему желаемых кандидатов вместо несоответствующих своему назначению комиссаров. Таким образом, представителей центральной власти на местах не стало.

Если в начале революции так называемые «общественные комитеты» или «советы общественных организаций» представляли собой начало действительно общественное (представительство союза городов и земств, Думы, профессиональных союзов, кооперативов, магистратуры и т.д.), то обстановка значительно ухудшилась, когда эти общественные комитеты распались на организации классовые и партийные. Власть на местах перешла к Советам рабочих и солдатских депутатов и местами к насильственно, до введения закона, «демократизованным» социалистическим думам, мало чем отличавшимся от полубольшевистских советов.

Бытописатель русской смуты едва ли почерпнет поучительные примеры из лоскутной деятельности этих учреждений, где невежество, бесхозяйственность, провинциальный эгоизм, вопиющее нарушение самых элементарных свобод и права прикрывались «волей революционной демократии». Местные Советы рабочих и солдатских депутатов усвоили себе все навыки ушедшего абсолютизма, с той только разницей, что худшие представители прежней власти все же чувствовали над собой иногда карающую десницу, тогда как советы были абсолютно безответственны. Эта коллегиальная безответственность прикрывала ошибки невежд и преступления людей злой воли. При этом Советы распространяли свою компетенцию на все области управления и жизни, даже на церковную[1].

[1] Церетели занимал этот пост с 10 по 24 июля.

Страна, как и правительство и армия, попала под власть Советов. Прав был комиссар Москвы Н. Кишкин, который считал совершенно безнадежным строительство местной власти, пока власть самого Временного правительства не станет национальной, единой и независимой от каких-либо партийных и классовых организаций.

В дальнейшем предполагалось все функции активного управления передать демократизованным земским и городским управлениям, а за комиссарами сохранить только правительственный надзор за законностью действий указанных органов.

Изданное 15 апреля постановление правительства об устройстве городского самоуправления заключало в себе следующие главные положения:

1) пассивным и активным правом выбора пользуются все граждане города обоего пола, достигшие 20-летнего возраста;

2) ценз проживания не введен;

3) пропорциональная система выборов;

4) воинские чины пользуются правом выборов по месту нахождения гарнизона.

Я не буду входить в обсуждение этих норм, едва ли не наиболее демократичных из всех, которые знает муниципальное право, ввиду отсутствия опытных данных их применения. Отмечу лишь одно явление извращенной русской

[1] Циркуляр министра-председателя в половине мая.

действительности, сопровождавшее введение положения в жизнь осенью 1917 года. Свобода выборов во многих местах оказалась злой насмешкой. Как явление, широко распространенное по России, — все несоциалистические, даже политически нейтральные группы, взятые под подозрение, подверглись гонению. Агитация за них не допускалась, собрания срывались; в выборном делопроизводстве практиковались вопиющие злоупотребления; нередко в отношении их представителей применялось и прямое насилие — избиение кандидатов и уничтожение избирательных списков. А в то же время солдатская масса многочисленных гарнизонов — буйных и распропагандированных, случайных гостей города, быть может, только вчера появившихся в нем, — повалила к урнам, заполняя их списками крайних противогосударственных партий. Были случаи, что войсковые части, пришедшие после выборов, требовали переизбрания, подкрепляя это требование угрозами, иногда убийствами. Несомненно, среди других причин, наличие в Петрограде огромного разложившегося гарнизона не осталось без влияния на выборы в августе в столичную Думу, в которой большевики получили 67 мест из 200.

Власть безмолвствовала, ибо ее не было.

Мелкая буржуазия, трудовая интеллигенция — словом, городская демократия в самом широком смысле слова — в этой революционной борьбе являлась стороной наиболее слабой и неизменно побеждаемой. Все предтечи кровавого советского правления — мятежи, восстания, «отложения республик» — отзывались наиболее тяжко на ее жизни. «Самоопределение» солдат вносило страх и зависимость от грубой уничтожающей силы и до крайности затрудняло или даже лишало возможности передвижения по стране, так как дороги попали во власть к дезертирам. «Самоопределение» рабочих привело к невозможности, ввиду страшного повышения цен, удовлетворения предметами первой необходимости. «Самоопределение» деревни остановило подвоз припасов и обрекало ее на недоедание. Я не говорю уже о моральных переживаниях класса, обреченного на поношение и унижение. Революция всем дала надежды на улучшение условий жизни, только не буржуазной демократии. Ибо даже те моральные

завоевания, которые возвещены были новой революционной властью — свобода слова, печати, собраний и т.д. — скоро стали достоянием одной лишь революционной демократии. И если крупная (интеллектуально, конечно) буржуазия имела известную организацию в лице органов конституционно-демократической партии (кадетов), то вся мелкая буржуазия (буржуазная демократия) была лишена всякой организации и всяких организованных средств борьбы. Демократические городские самоуправления — не в результате нового муниципального закона, а в силу революционной практики — теряли свою общедемократическую форму и получали характер классовых органов пролетариата или представительства оторванных от массы чисто социалистических партий.

* * *

Приблизительно такой же характер имело самоуправление уезда и деревни в первый период революции. К осени оно должно было принять формы демократической системы земского управления, в основу которого были положены приблизительно те же начала, что и в городском, причем компетенции мелкой единицы — волостного земства — предоставлялось все местное хозяйство, народное просвещение и охрана общественного порядка и безопасности. Фактически деревня управлялась (если только можно применить это слово к состоянию анархии) чрезвычайно пестрым сплетением революционных и бытовых организаций в виде крестьянских съездов, продовольственных и земельных комитетов, «народных советов», сельских сходов и т.д. А над всеми ими доминировала зачастую еще одна самобытная организация — дезертиров. По крайней мере Всероссийский крестьянский союз согласился с заявлением, пришедшим слева и потому достаточно компетентным: «Вся наша работа по созданию различных комитетов не будет иметь никакого значения, если эти общественные органы будут постоянно находиться под угрозой воздействия со стороны случайно организовавшихся вооруженных шаек».

Главный, более того — единственный вопрос, который глубоко волновал душу крестьянства, который заслонял собою все прочие явления и события, вымученный, выстраданный веками, — *вопрос о земле.*

Необыкновенно сложный и запутанный, он вспыхивал много раз в безрезультатных попытках бунта и насилия, подавлявшихся кроваво и беспощадно. Уже в годы первой революции (1905—1906) волна аграрных беспорядков, пронесшаяся над Россией и оставившая за собой след пожаров и разгромов помещичьих имений, указывала на то, какие последствия будут сопровождать свершившийся в 1917 году государственный переворот. Вопрос весьма сложный, какими мотивами руководствовался класс земельных собственников (помещиков), охраняя с такой страстностью и силой свои права: атавизмом или природным тяготением к земле, или соображениями государственными о повышении культуры землепользования, стремлением сохранить непосредственное влияние на народ, или, наконец, просто своекорыстием. Бесспорно только, что аграрная реформа запоздала. Долгие годы крестьянского бесправия, нищеты, а главное — той страшной духовной темноты, в которой власть и правящие классы держали крестьянскую массу, ничего не делая для ее просвещения, не могли не вызвать исторического отмщения.

То спокойствие, с которым народ ждал некогда «освобождения» в дни работ «главного» и «губернских» комитетов, невзирая на их резко классовый, сословный характер (1857—1861), теперь оказалось не под силу. Крестьянство пожелало немедленной передачи ему всей земли, не дожидаясь ни выработки основных норм демократическим Главным земельным комитетом, ни решения всенародного Учредительного собрания.

Нет никакого сомнения, что такое нетерпение обусловливалось в значительной мере слабостью власти и сторонними влияниями, о которых говорится ниже.

В основной идее реформы не было разногласия. Вся либеральная демократия и буржуазия, революционная демократия, Временное правительство — все они совершенно определенно говорили о «переходе земли в руки трудящихся».

Точно так же единодушно все эти элементы ставили вопрос о порядке законодательного разрешения земельного переустройства, предоставляя его Учредительному собранию.

Расхождение, притом непримиримое, возникло в определении самого существа земельной реформы. Либеральные круги русской общественности отстаивали частную собственность на землю[1] — идею, все больше захватывавшую крестьянство, — и требовали *наделения* землею крестьян, а не ее *общего передела*. Революционная же демократия во всех партийных, классовых и профессиональных организациях отстаивала положение, проведенное Всероссийским крестьянским съездом (25 мая) при участии министра Чернова о «переходе всех земель *в общее народное достояние для уравнительного пользования*, без всякого выкупа». Эта резолюция социал-революционерского происхождения вносила смуту. Ее крестьяне не понимали или не хотели понять. По натуре — собственники, они не признавали национализации. Уравнительное же пользование, принимая во внимание огромное число безземельных крестьян, наличие 20 миллионов крестьянских дворов и размеры некрестьянской пахотной земли, определяемые всего лишь в 45 миллионов десятин, — все это грозило отнять земли у многомиллионного крестьянства, владеющего сверхтрудовой или даже «сверхпотребительной» нормой, и обращением общего земельного передела в нескончаемую междоусобную кровавую распрю. Это обстоятельство впоследствии было учтено даже и социал-демократами, которые в резолюции по аграрному вопросу, относящейся к концу августа, допускали сохранение мелкоземельной собственности, ограничивая, однако, возможность перехода ее лишь к органам самоуправления и государству[2].

---

[1] Партия кадетов допускала национализацию недр и лесов.

[2] В отчете о состоянии советской России, представленном VIII Всероссийскому съезду, история землевладения представляется в следующих цифрах.

В помещичьем владении земли имелось:

	миллионов десятин
до 1861 г.	105
после 1861 г.	71
в 1877 г.	64
в 1905 г.	53
в 1917 г.	42
в 1918 г.	0

Временное правительство, не считая себя вправе разрешать основные вопросы земельного устройства и вместе с тем испытывая стихийный напор снизу, переложило свои права отчасти на министерство земледелия, отчасти на созданный на началах широкого демократического представительства Главный земельный комитет; на него, кроме сбора сведений и подготовки земельной реформы, возложено было урегулирование существовавших земельных отношений[1]. Фактическое заведование всеми землями в смысле использования, отчуждения их, арендных отношений, условий найма рабочих рук перешло в волостные земельные комитеты[2] — органы, состоявшие зачастую из людей темных (интеллигенция обычно была устранена), слишком заинтересованных и не имевших никакого представления о существе и пределах своей компетенции. В то же время центральные представительные учреждения и министерство Чернова, наряду с воззваниями правительства о недопустимости самоуправства и о сохранении в неприкосновенности всего земельного фонда до Учредительного собрания, явно поощряли «временное пользование землями», как назывались тогда захваты, объясняя эти действия «государственной необходимостью» полного использования земли под посев. Агитация, проводимая в деревне в самых широких размерах безответственными представителями социалистических и анархических кругов, дополняла работу Чернова.

Перемещение крестьянской земельной собственности при советском режиме выражается для Великороссии следующими сравнительными цифрами (в %):

	в 1917 г.	в 1919 г.
Безземельных хозяйств	11,4	6,5
Мелких	29,6	41,5
Средних	51,1	45,9
Выше средних	7,1	3,0
Крупных крестьянских	0,9	0,1

[1] Официально на комитет возлагалась обязанность вносить в правительство проекты временных норм земельных отношений.

[2] Под наблюдением — обычно фиктивным — уездных и губернских комитетов.

Результаты такой политики не замедлили сказаться. Управлявший министерством внутренних дел Церетели в одном из циркуляров губернским комиссарам[1] констатировал явление полной деревенской анархии: «Захваты, запашки чужих полей, снятие рабочих и предъявление непосильных для сельских хозяев экономических требований; племенной скот уничтожается, инвентарь расхищается; культурные хозяйства погибают; чужие леса вырубаются, заготовленные для отправки лесные материалы и дрова задерживаются и расхищаются. Одновременно частные хозяйства оставляют поля незасеянными, а посевы и сенокосы неубранными». Министр обвинял местные комитеты и крестьянские съезды в организации самочинных захватов и приходил к выводу, что создавшиеся условия ведения сельского и лесного хозяйств «грозят неисчислимыми бедствиями армии, стране и существованию самого государства».

Если к этой картине прибавить местами пожары, убийства, самосуды, разрушение усадеб, представлявших собой иногда хранилища предметов огромной исторической ценности, то получим истинную картину тогдашнего деревенского быта.

Вопрос о помещичьем землевладении вышел, таким образом, далеко за рамки эгоистических классовых интересов. Тем более что насилиям подвергались не только помещики, но и крестьяне — хуторяне, отрубники. По постановлениям комитетов и помимо них. Поднималось не раз и село на село. Дело шло теперь вовсе не о перемещении богатств из одних рук в другие, от одного сословия к другому, а об истреблении ценностей, разрушении земельной культуры и экономическом потрясении государства.

Стихия бушевала. «Учредительные» функции оказались не по плечу волостному комитету. Следственные власти не смели появляться в деревне. Суд бездействовал, ибо все равно приговоры его не нашли бы исполнителей. И деревня, предоставленная сама себе и агитации крайних элементов, кипела в котле страстей, давно назревших и никем и ничем не сдерживаемых.

---

[1] Циркуляр 17 июля.

Жизнь мстила за попрание своих требований.

Вместе с захватами и разделами росли неудержимо собственнические инстинкты крестьянства. Его идеология опрокидывала все планы революционной демократии и, обращая крестьянство в класс мелкой буржуазии, грозила надолго отдалить торжество социализма. Деревня замкнулась в узкий круг своего быта и, поглощенная «черным переделом», совершенно не интересовалась ни войной, ни политикой, ни социальными вопросами, выходящими за пределы ее интересов. Война отнимала и калечила ее работников, и деревня тяготилась войной. Власть препятствовала земельным захватам и стесняла монополией и твердыми ценами сбыт хлеба — и деревня невзлюбила власть. Город перестал давать произведения промышленности и товары — и деревня отгородилась от города, уменьшая и временами прекращая подвоз туда хлеба. Единственное вполне реальное «завоевание революции» было в известной мере осуществлено, и те, кто воспользовался им, с некоторым смущением и неуверенностью ждали, как отнесется к самочинному разрешению ими земельного вопроса грядущая власть.

При таких настроениях пролетарский большевизм оказался чужим и ненужным в деревне. Предвидя необходимость в будущем борьбы с такими «мелкобуржуазными стремлениями» крестьянской массы, Ленин и включил в свою программу «перенесение центра тяжести на советы батрацких депутатов» и «выделение советов депутатов от беднейших крестьян». Однако с этим лозунгом, вносившим начала раскола и борьбы в крестьянскую среду и осуществленным позднее, летом 1918 года, большевики не посмели явиться открыто в деревню в 1917 году. И деятельная работа их поэтому вылилась в поддержание деревенской анархии, оправдание захватов и подрыв авторитета Временного правительства.

Этим путем они стремились создать в лице крестьянской массы сторону если не сочувствующую, то, по крайней мере, нейтральную в предстоящей решительной борьбе своей за власть.

* * *

Одним из правительственных актов, вносивших крайние осложнения в нормальное течение народной жизни, явилось

упразднение общей полиции постановлением от 17 апреля. В сущности, акт подтвердил лишь то положение, которое создалось почти повсеместно с первых же дней революции и которое явилось результатом народного гнева в отношении исполнительных органов старой власти, в особенности — результатом озлобления со стороны тех лиц, которые подвергались наибольшему угнетению и произволу полиции, а теперь вдруг поднялись на гребень народной волны. Защищать русский полицейский институт — дело безнадежное. Отрицательная репутация его несколько поколебалась лишь под влиянием сравнения с милицией и чрезвычайками. Напрасно было бы в то время и противиться его упразднению — оно вызывалось психологической необходимостью. Но также несомненно, что старый полицейский институт в своих действиях руководствовался не столько личными политическими убеждениями, сколько требованиями хлебодателя и собственными интересами. Неудивительно, что жандармы и чины полиции — гонимые, оскорбляемые, затравленные, — поступив принудительно в армию, составили там элемент весьма отрицательный. Революционная демократия в самооправдание до крайности преувеличивала «контрреволюционную» роль их в армии; тем не менее безусловная правда, что многие бывшие жандармские и полицейские чины избрали себе, быть может, из чувства самосохранения, ремесло, ставшее тогда наиболее выгодным — демагога-агитатора.

Станем на почву фактов.

Упразднение полиции в самый разгар народных волнений, когда значительно усилилась общая преступность и падали гарантии, обеспечивающие общественную и имущественную безопасность граждан, являлось прямым бедствием. Но этого мало. С давних пор функции русской полиции незаконно расширялись путем передачи ей части своих обязанностей как всеми правительственными учреждениями, так и органами самоуправления, даже ведомствами православного и иных вероисповеданий. На полицию возлагалось взыскание всяких сборов и недоимок, исполнение обязанностей судебных приставов и участие в следственном производстве, наблюдение за выполнением санитарного, технического, пожарного уставов, собирание всевозможных

статистических данных, призрение сирот и лиц, впавших в болезнь вне жилищ и проч. и проч. Достаточно сказать, что проект реорганизации полиции, внесенный в Государственную Думу в конце 1913 года, предусматривал 317 отдельных обязанностей, незаконно возложенных на полицию и подлежащих сложению с нее.

Весь этот аппарат и сопряженная с ним деятельность — охраняющая, регулирующая, распорядительная, принуждающая — были изъяты из жизни и оставили в ней пустое место.

Созданная взамен милиция была даже не суррогатом полиции, а ее карикатурой. В то время как в западных государствах проводился принцип объединения полиции под властью правительственного центрального органа, Временное правительство поставило милицию в ведение и подчинение земским и городским управлениям. Правительственные комиссары в отношении милиции имели лишь право пользоваться ею для исполнения законных поручений.

Кадры милиции стали заполняться людьми совершенно неподготовленными, без всякого технического опыта, или же заведомо преступным элементом. Отчасти этому способствовал новый закон, допускавший в милицию даже лиц, подвергшихся заключению в исправительных арестантских отделениях с соответственным поражением прав; отчасти же насильственно «демократизованными», благодаря системе набора их, практиковавшейся многими городскими и земскими учреждениями. По компетентному заявлению начальника главного управления по делам милиции, при этих выборах в состав милиции, даже в ее начальники, нередко попадали уголовные преступники, только что бежавшие с каторги.

Волость зачастую вовсе не организовывала милицию, предоставляя деревне управляться как ей заблагорассудится.

В послании к народу 25 апреля Временное правительство весьма удачно определило положение страны, в которой «рост новых социальных связей, ее скрепляющих, отстает от процесса распада, вызванного крушением старого государственного строя». Это несоответствие проявлялось роковым образом во всех областях народной жизни.

ГЛАВА XIV

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ И ФИНАНСЫ

С начала весны 1917 года значительно усилился недостаток продовольствия в армии и в городах. Теперь, после опытов советского режима, когда безграничным терпением и выносливостью русского человека превзойдены, как будто, все минимумы, когда-либо существовавшие для человеческого питания, уже не слишком тягостными кажутся те официальные нормы, которые были установлены к лету 1917 года — $1^1/_2$ фунта хлеба для армии[1] и $^3/_4$ фунта для населения. Эти теоретические цифры, впрочем, далеко не выполнялись. Города голодали. Фронтам, за исключением Юго-западного, не раз угрожал кризис, предотвращаемый обычно дружными усилиями всех органов правительственной власти и советов, самопомощью тыловых частей и... дезертирством. Тем не менее армия недоедала, в особенности на Кавказском фронте. А конский состав армии весной, при теоретической норме в 67 фунтов зернового фуража[2], фактически падал от бескормицы в угрожающих размерах, ослабляя подвижность армии и делая бесполезным комплектование ее лошадьми, которым грозила та же участь.

В одном из воззваний Совета к крестьянам говорилось: «Враги свободы, сторонники свергнутого царя пользуются недостатком хлеба в городах, *ими же созданным*, чтобы вести подкоп под нашу и вашу свободу. Они говорят, будто революция оставила страну без хлеба». Это элементарное объяснение, которое революционная демократия выдвигала во всех случаях тяжкого неустройства народной жизни, грешило большой односторонностью. Помимо наследия старого режима и неизбежных последствий трехлетней войны, вызвавшей почти полное прекращение ввоза сельскохо-

---

[1] Весною 1917 года 2 фунта.

[2] Армия поглощала 390 миллионов пудов сухого фуража в год!

зяйственных машин, отвлечение рабочих рук и, как результат, сокращение посевной площади, были и другие причины продовольственного кризиса в богатейшей хлебом стране — кризиса, который к осени, как правительство считало, станет катастрофическим. Это продовольственная политика Временного правительства и колебание твердых цен; обесценение рубля и непомерное, не эквивалентное твердым ценам на хлеб вздорожание предметов первой необходимости, вызванное, кроме общих экономических условий, и неудержимым ростом фабричной заработной платы. Это и аграрная политика правительства, недосев полей и деревенская смута; расстроенный транспорт; полное устранение торгового аппарата[1] и передача всего снабжения продовольствием продовольственным комитетам — органам, до основания демократическим, но, за исключением, быть может, представителей кооперации, недостаточно опытным и, во всяком случае, не проявившим никакого творчества. И много еще было больших и малых причин, которые, при полной объективности и беспристрастии, можно объединить в короткой формуле: старый режим, война и революция.

29 марта Временное правительство ввело хлебную монополию. Весь излишек запаса хлеба, после исключения норм на продовольствие, на обсеменение и на корм скота, поступал государству. Вместе с тем правительство вновь увеличило твердые цены на хлеб и обещало установить их и на все предметы первой необходимости, как-то: железо, ткани, кожа, керосин и т.д. Это последнее мероприятие, справедливость которого чувствовалась всеми и которому министр продовольствия Пешехонов придавал огромное психологическое значение, провести оказалось невозможно из-за той общей разрухи, в которую была ввергнута страна.

Россию покрыла огромная сеть продовольственной организации, стоимость которой определялась в 500 миллионов рублей в год, но которая оказалась бессильной справиться со своим делом.

[1] В августе в декларации революционной демократии уже находим требование привлечения торгового аппарата к продовольствию страны, не отказываясь, однако, от монополии.

Деревня, прекратившая внесение податей и арендной платы, насыщенная бумажными деньгами и не получавшая за них никакого товарного эквивалента, задерживала подвоз хлеба. Агитация и воззвания не действовали, приходилось местами применять силу.

Если кампания 1916 года (1 августа 1916-го — 1 июля 1917 года) дала 39,7%, то июль 1917 года дал 74%, а август — 60—90% невыполнения наряда продовольственных заготовок[1]. Только на фронте, в ущерб питанию городов, ко второй половине июня удалось сосредоточить некоторый запас хлеба.

Положение становилось грозным. Правительство, министры земледелия и продовольствия — Шингарев и Пешехонов — беспомощно взывали «к разуму и совести» земледельцев. Петроградский и Московский советы рабочих и солдатских депутатов, видя, что продовольственные органы бессильны справиться с надвигающимся бедствием, каждый порознь решили послать своих эмиссаров во все хлебородные губернии, поручив им выяснить наличные запасы на местах и самыми решительными мерами организовать подвоз к станциям и пристаням. В свою очередь, армейские войсковые комитеты с согласия министерства и Ставки организовали свои комиссии для той же цели. Все эти обособленные, не раз самочинные действия, нисколько не усиливая интенсивности поступления хлебных грузов, вносили еще большую путаницу в план заготовок и подвоза.

В конечном результате, воззванием, обнародованным 29 августа, правительство констатировало чрезвычайно тяжелое положение страны: правительственные запасы беспрерывно уменьшаются; «города, целые губернии и даже фронт терпят острую нужду в хлебе, *хотя его в стране достаточно*»[2]; многие не сдали даже прошлогоднего урожая, многие агитируют, запрещают другим выполнять свой долг. Правительство, с целью «предотвратить грозящую родине смертельную опасность», вновь увеличило твердые цены, угрожало применением крайних мер воздействия против ос-

[1] Эти месяцы, впрочем, всегда наименее благоприятные.

[2] Вывоз хлеба из России за границу до войны (1909—1914) составлял в среднем ежегодно 870 миллионов пудов.

лушников и вновь обещало принять меры к нормированию цен и распределению предметов, нужных деревне.

Но заколдованный круг переплетавшихся между собой политических, социальных, классовых интересов затягивал все более тугую петлю на шее правительства и парализовал его волю и деятельность.

* * *

Не менее тяжелым было положение в промышленности, которая быстрыми шагами шла к разрушению. И здесь, как и в вопросе продовольствия, нельзя искать причин бедствия в одной серии явлений, как это имело место в односторонних обвинениях друг друга торговопромышленниками и рабочими: одних — в хищнической сверхприбыли и саботаже в целях провала революции, других — в бездельничанье и непомерной корысти, в целях использования в личных интересах революции.

Причины можно свести в три категории.

Еще до войны, в силу разнообразных политических и экономических условий, в том числе и недостаточного внимания власти к развитию производительных сил страны, промышленность наша находилась в состоянии неустойчивом и в большой зависимости от иностранных рынков, даже в отношении таких материалов, которые, казалось бы, можно добывать дома. Так, в 1912 году в русской промышленности ощущался сильный недостаток чугуна, а в 1913-м — серьезный топливный кризис; заграничный ввоз металла возрастал с 1908-го по 1913 год с 29% до 34%; хлопка до войны мы получали извне 48%; при общем производстве 5 миллионов пудов пряжи, требовалось 2,75 миллиона пудов иностранной шерсти[1] и т.д.

Война оказала несомненно глубокое влияние на состояние промышленности: прекращение нормального ввоза и потеря Домбровских копей; ослабление транспорта из-за стратегических перевозок и, следовательно, уменьшение подвоза топлива и сырья; переход большей части фабрик и

[1] Статистические данные для этой главы взяты из доклада профессора Г-ра в 1920 году и из заявлений Кутлера, Шингарева, Покровского, Скобелева и др. в 1917 году.

заводов на работу по обороне, уменьшение и ослабление рабочего состава мобилизациями и т.д. В экономическом отношении эта милитаризация промышленности легла тяжким бременем на население, ибо, по исчислениям министра Покровского, армия поглощала 40—50% всех материальных ценностей, которые создавала страна[1]. Наконец, в социальном отношении война углубила рознь между двумя классами — торгово-промышленным и рабочим, доведя до чудовищных размеров прибыли и обогащение первых[2] и ухудшив положение вторых: приостановкой некоторых профессиональных гарантий, ввиду военного положения, прикреплением военнообязанных к определенным предприятиям и более тяжелыми условиями жизни, ввиду общего повышения цен и ухудшения питания.

Но если при всех этих ненормальных условиях русская промышленность кое-как справлялась с возлагаемыми на нее задачами, то революция нанесла ей последний удар, приведший к постепенному ее замиранию и ликвидации. Временное правительство в своей законодательной деятельности исходило из двух положений. С одной стороны, необходимости правительственного контроля и регулирования хозяйственной жизни страны путем сурового обложения налогами доходов и «военной» сверхприбыли промышленников, а также правительственного распределения топлива, сырья, продовольствия. Последняя мера вызвала фактическое устранение из хозяйственной жизни страны торгового класса и замену его демократическими организациями. Исчезли ли при этом сверхприбыли или произошло простое «классовое» перемещение их, учесть трудно. С другой стороны, правительство всемерно заботилось об охране труда, проводя и разрабатывая законопроекты о свободе коалиций, биржах труда, примирительных камерах, социальном страховании и т.д.

[1] В частности, 75% вырабатываемых тканей шло на армию.

[2] В конце ноября 1916 года с кафедры Государственной Думы были оглашены некоторые «военные прибыли» за отчетные 1915—1916 годы: Товарищество Рябушинских — 75% чистой прибыли; Тверская мануфактура — 111%; Товарищество меднопрокатного завода Кольчугина — 12,2 миллионов рублей, при основном капитале 10 миллионов.

К сожалению, то нетерпение и то стремление к самостоятельному «правотворчеству», которое охватило деревню, в равной мере повторилось на фабриках и заводах. С первых же дней революции рабочие захватным порядком провели 8-часовой рабочий день, фабрично-заводские комитеты и примирительные камеры; позднее ввели рабочий контроль. Но комитеты не могли возвыситься до понимания общенародных интересов, а примирительные камеры — приобрести должный авторитет. Агитация, находившая благодарную почву в эгоистических устремлениях и торгово-промышленников и рабочей массы, шла полным ходом, применяя те же приемы, что и в армии. Началась полнейшая разруха. Власть против нее принимала только одно средство — воззвания.

Во-первых, повторилась история с командным составом армии: организационно-технический аппарат был разрушен. Началось массовое изгнание лиц, стоявших во главе предприятий[1], массовое смещение технического и административного персонала. Устранение сопровождалось оскорблениями, иногда физическим насилием, как месть за прошлые фактические и мнимые вины. Часть персонала уходила добровольно, не будучи в состоянии переносить того тяжелого нравственного положения, в которое ее ставила рабочая среда. При нашей бедности в технически образованных людях эти методы грозили непоправимыми последствиями. Как и в армии, комитеты избирали и ставили на места ушедшего персонала зачастую совершенно неподготовленных и невежественных людей. Местами рабочие захватывали всецело в свои руки промышленные предприятия — без знания управления ими, без оборотных средств, ведя их к гибели, а себя — к безработице и обнищанию.

В промышленных предприятиях совершенно упала трудовая дисциплина и изъяты все способы нравственного, материального и, в необходимых случаях, судебного воздействия и принуждения. Одной «сознательности» оказалось совершенно недостаточно. Тот технический и административный персонал, который остался или был избран, не имел уже ни возможности руководить делом, ни авторитета, будучи всецело терроризован рабочими. В результате — фактическое сокращение 8-часового рабочего дня, крайняя небрежность в работе и страшное падение производительности. Московская металлообрабатывающая промышленность уже в апреле снизила выпуск продукции на 32%, производительность петроградских фабрик и заводов снизилась на 20—40%, добыча угля и общая производительность Донецкого бассейна к июлю — на 30% и т.д. Расстроилась также добыча нефти на бакинских и грозненских промыслах.

[1] В уральской промышленности, например, из 20 руководителей предприятий к середине 1917 года осталось 4.

Но особенно разрушительное влияние на промышленность оказали чудовищные требования повышения заработной платы, несообразованные ни с ценой жизни, ни с продуктивностью труда, ни с реальными платежными способностями предприятий, — требования, значительно превосходившие всякие сверхприбыли. В докладе Кутлера Временному правительству приводятся такие, например, цифры: на 18 предприятиях Донецкого бассейна, с общей валовой прибылью за последний год в 75 миллионов рублей, рабочие потребовали повышения заработной платы в 240 миллионов рублей в год. Общая сумма повышенной платы на всех горнопромышленных и металлургических заводах Юга — 800 миллионов рублей в год; на Урале — 300 миллионов рублей при общем обороте 200 миллионов; добавочная плата одного Путиловского завода до конца 1917 года простиралась до 90 миллионов рублей. При этом ставки рабочей платы возросли на 200—300 процентов, а прядильщикам московской текстильной промышленности — и на 500% в сравнении с 1914 годом. Конечно, ставки эти перекладывались в значительной мере на казну, так как большинство предприятий работало на оборону.

Сообразно с таким направлением промышленной деятельности и психологии рабочих масс, предприятия стали гибнуть, в стране появился громадный недостаток предметов первой необходимости, и цена на них возросла до крайних пределов. Как один из результатов такого расстройства хозяйственной жизни страны — рост цен на хлеб и нежелание деревни давать городу продовольствие.

В результате, к июню было закрыто 20% петроградских промышленных предприятий. Вообще за первые месяцы революции зарегистрированный и, конечно, не полный мартиролог промышленности выражался в следующих цифрах.

Месяцы	Число закрытых заведений	Число уволенных рабочих
Март	74	6 644
Апрель	55	2 816
Май	108	8 701
Июнь	125	38 755
Июль	206	47 754
ИТОГО	568	104 670

Кроме того, стали 72 мельницы — из-за недостатка зерна. Было бы ошибочно считать, что классовые организации в лице советов рабочих депутатов и профессиональных союзов, наконец, членов правительства — социалистов, не боролись с разрухой. Но борьба эта была неискренняя. Неискренняя по существу — со стороны людей, видящих идеал и конечную цель в национализации или социализации промышленности; неискренняя и по форме, ибо осуждение и назидание по адресу рабочих, по установившемуся демократическому ритуалу, требовало вящего опорочивания буржуазного элемента предприятий. В то же время большевизм внес в рабочую среду постоянно бродящее начало, потворствуя низменным инстинктам, разжигая ненависть против имущих классов, поддерживая самые неумеренные требования, парализуя всякие попытки власти и умеренных демократических организаций локализовать распад промышленности. «Все для пролетариата и все через пролетариат». Большевизм рисовал рабочему классу широчайшие и заманчивые перспективы политического господства и экономического благосостояния путем сокрушения капиталистического строя и перехода в руки рабочих власти, предприятий, орудий производства и ценностей. И притом не в порядке длительного социально-экономического процесса и длительной организованной борьбы, а сейчас, немедленно. Разгоряченное воображение, не сдерживаемое ни знаниями, ни авторитетом руководящих профессиональных органов, морально разрушаемых большевиками и все более падавших, рисовало соблазнительные возможности отмщения за свою тяжелую, нудную, трудовую жизнь; возможности приобщения к благам жизни буржуазии, ненавидимой всеми фибрами души и столь же страстно желанной. Теперь или никогда. Все или ничего. А когда жизнь разбивала иллюзии, когда беспощадный экономический закон мстил дороговизной, голодом, безработицей, то большевизм с еще большей убедительностью настаивал на необходимости восстания, указывая и причины народного бедствия, и способы их устранения. Причины — политика Временного правительства, «отстаивающего восстановление буржуазной кабалы», саботаж предпринимателей и попустительство революционной демократии, до меньшевиков включительно, «продавшейся буржуазии». Средство — переход власти к пролетариату.

Все эти обстоятельства мало-помалу убивали русскую промышленность.

Что касается боевого снабжения, то, невзирая на все эти потрясения, ввиду крайнего напряжения и концентрации его за счет всех самых насущных потребностей страны, а также длившегося несколько месяцев затишья, непосредственно армией расстройство промышленности не ощущалось в таких значительных размерах, и к июню 1917 года мы обладали небогатыми, но достаточными материальными средствами для серьезного наступления. Ввоз военного материала через Архангельск, Мурманск и в незначительной степени через Владивосток несколько оживился; но, в силу трудных естественных условий морских путей и малой провозоспособности Сибирской магистрали и мурманской дороги, он не получил надлежащего развития, достигая всего 16% общей военной потребности. Для военного управления было, однако, очевидным, что мы живем лишь старыми запасами, созданными патриотическим подъемом и напряжением страны в 1916 году. Ибо уже к августу 1917 года важнейшие производства военных материалов снизились: орудийное — на 60%, снарядное — на 60%, авиационное — на 80%. Впрочем, возможность продления войны при худших материальных условиях с наибольшей очевидностью доказало впоследствии советское правительство, питающее

войну в течение более трех лет в большой мере запасами, оставшимися от 1917 года, частью же — обломками русской промышленности; но, конечно, путем такого чудовищного сжатия потребительского рынка, которое возвращает нас к первобытным формам человеческого бытия.

• • •

Разрушался и транспорт. Еще в мае 1917 года на очередном съезде железнодорожных представителей в Ставке я услышал мотивированный доклад г. Шуберского, подтвержденный многими специалистами, что наш транспорт, если не изменятся общие условия, через полгода станет. Практика посмеялась над теорией: три с лишним года в невероятных условиях междоусобной борьбы и большевистского режима железные дороги продолжали работать; правда, не обслуживая почти вовсе нужд населения, но удовлетворяя все же стратегические потребности. Нет сомнения, однако, что эта работа идет уже не на разрушение, а на полное истребление русской железнодорожной сети.

История железнодорожной разрухи повторяет в подробностях те моменты, которые я отметил касаясь армии, деревни и в особенности промышленности: наследие нерациональной железнодорожной политики прошлого; необыкновенно возросшие требования войны, изнашивание подвижного состава и солдатская анархия на дорогах; общие экономические условия страны, отсутствие рельсов, недостаток металла и топлива; «демократизация» железнодорожного строя, выразившаяся возникновением в нем коллегиальных организаций, захватывавших власть, дезорганизацией административного и технического персонала, подвергнувшегося гонению, сильнейшим понижением производительности труда и неуклонным ростом экономических требований железнодорожных служащих и рабочих.

Но эта история имеет и некоторые особенности. Во-первых, рядом лет нерациональной экономии, без достаточной заботливости об улучшении положения служащих, власть создала среди некоторых их категорий явление «побочных доходов», которое было почти узаконено жизнью и которое впоследствии в антибольшевистских образованиях приобрело характер народного бедствия. Железнодорожники, надо

отдать им справедливость, позже рабочих промышленных предприятий и не в таких необузданных размерах предъявляли свои требования[1]. Тем не менее прибавки к зарплате железнодорожникам потребовали 350 миллионов рублей.

Вторая особенность: тот систематический захват государственной власти частными организациями, который во всех других областях встречал хоть некоторое противодействие правительства, в Министерстве путей сообщения насаждался самим правительством в лице министра Некрасова.

Друг и вдохновитель Керенского, последовательно — министр путей сообщения, финансов, товарищ и заместитель председателя, финляндский генерал-губернатор, октябрист, кадет и радикал-демократ, балансировавший между правительством и Советом, Некрасов наиболее темная и роковая фигура в среде правивших кругов, оставлявшая яркую печать злобного разрушения на всем, к чему он ни прикасался: будь то создание «Викжеля»[2], украинская автономия или Корниловское выступление.

Общего плана — экономического и технического — министерство не имело. Да и трудно было бы осуществить какой-либо план, ибо в железнодорожную организацию, сильную некогда своей дисциплиной, Некрасов решил ввести «на место старых лозунгов принуждения и страха (?) новые начала демократической организации» путем насаждения во всех отраслях железнодорожного дела выборных советов и комитетов. На создание их министр отпустил крупное ассигнование и знаменитым циркуляром 27 мая определил организациям широчайший круг ведения в области общественного контроля, наблюдения за работой железных дорог и «указаний» ответственным лицам администрации. Впоследствии железнодорожным организациям была обещана и передача распорядительных функций. Пока же Министерство

---

[1] В марте, например, путевой сторож получал 24 рубля в месяц; начальник депо (при готовой квартире) — 100 рублей, а его слесарь — 300 рублей; начальник участка службы пути — 120 рублей, а его рабочие — более 200 и т.д.

[2] Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного союза.

путей сообщения и подведомственные ему местные установления должны и будут строго согласовывать свою работу со взглядами и пожеланиями объединенных железнодорожных тружеников». Таким образом, г. Некрасов важнейшие государственные интересы — направление железнодорожной политики, судьбу обороны, промышленности и всех других отраслей народной жизни, сопряженных с использованием путей сообщения, отдал в руки частной организации. Мера, которая была бы вполне правильной, как выразился один из современных критиков, если бы все русское население состояло из одних железнодорожников.

В этой, не имевшей еще примера нигде в мире реорганизации, проведенной господином Некрасовым, приходится поневоле видеть нечто худшее, чем простая ошибка или заблуждение.

Общее направление министерской политики было усвоено надлежаще. В начале августа на московском съезде, ставшем орудием левых социалистических партий, один из главных руководителей заявил, что «железнодорожный союз должен быть вполне автономным, и никакая решительно власть, никто кроме железнодорожников не может вмешиваться в их жизнь». Словом, отложение от государства.

Начался развал. В строгий и точный механизм железнодорожной службы и в центре и на местах был введен небывалый элемент произвола случайного состава организаций, основанных по принципу большинства, а не знания и опыта. Я понимаю демократизацию, открывающую широкий доступ народным массам к науке, технике, искусству; но не понимаю демократизации этих достижений человеческого разума.

Началось безвластие и падение трудовой дисциплины. Уже в июле правительство считало положение железных дорог катастрофическим.

Замечательно, что еще в конце марта на кадетском съезде Некрасов выражал притворное изумление перед таким «парадоксальным явлением», что с появлением комитетов появились чрезмерные требования, устранение начальников, неуклонное падение продуктивности труда и т.д. При этом он утешал аплодировавшее ему собрание тем, что это явление вполне закономерное и неизбежное как следствие старого режима, но что «в этой организации лежит залог высшего развития железнодорожного дела».

Некрасов ушел после такого четырехмесячного управления ведомством, взяв в свои руки неведомые ему финансы страны, а преемник его Юренев начал бороться против захвата железнодорожниками власти, считая «вмешательство в распорядительную деятельность ведомства частных лиц и организаций государственным преступлением». Борьба велась обычными методами Временного правительства и уже не могла вернуть потерянного. И на московском совещании председатель железнодорожного союза, в сознании силы и влияния его, говорил, что предпринятая борьба с демократическими организациями есть проявление контрреволюции и против этого союз будет бороться абсолютно всеми средствами «и найдет силы задушить эту гидру контрреволюции».

В дальнейшем, как известно, «Викжель», став организацией всецело политической, предал Корнилова Керенскому, Керенского — Ленину, с рвением бывшего охранного отделения «ловил» бежавших быховских узников и наконец погиб бесславно в тисках большевистской централизации. В 1919 году в «Правде» был опубликован приказ советского комиссара путей сообщения Красина, похоронивший окончательно некрасовские упражнения в области самоуправства: «Существующая система железнодорожного управления... привела транспорт к полному развалу... Всем завоеваниям революции грозит опасность уничтожения... На место коллегиального, в действительности — безответственного управления, вводятся принципы единоличного управления и повышенной ответственности. Все от стрелочника до члена коллегии должны точно и беспрекословно исполнять все мои предписания. Реформы приостановить и всюду, где только можно, восстановить старые должности и старый технический аппарат в центральном управлении и на линиях».

В результате всех этих явлений, т.е. старого режима, войны и революции, явилось то положение транспорта, которое характеризуется, хотя и очень поверхностно, скудными цифровыми данными, находящимися в моем распоряжении. Они относятся к московскому узлу, а некоторые — ко всей сети (под чертой).

№		Январь	Июль	Декабрь	Примечание
1	Наличность				
	товарных вагонов	82 375	89 718	98 881	К 1 июля бездейство-
2	в ремонте, %	6	8,6	7,8	вало на всей сети
	Наличность	3 060	3 170	3 333	русских железных
3	паровозов	17 000	15 700	15 800	дорог 1800 паро-
4	в ремонте, %	17,5	28,5	34,4	возов.
		16,5	24,7	29,4	В первые семь меся-
5	Средний суточный			35	цев 1917 года на всей
	пробег вагона в				сети недогружено в
	верстах	60,2	56,1		сравнении с 1916-м
6	Средняя суточная				980 000 вагонов; при
	погрузка вагонов для				этом недогружено
	всей казенной сети				угля на 106 миллио-
	ж.д.	31 307	27 615	19 000	нов пудов.

Если к этому прибавить увеличение числа рабочих, приходившихся на 1 версту пути по сравнении с 1914 годом, от двух (на Московско-Казанской и Московско-Курской) до восьми раз (на Северных) и увеличение средней оплаты одного человека с 310 рублей до 1107 рублей, то станет ясным, что причины социального и политического характера (пункты 2, 4, 5, 6) имели в общей железнодорожной разрухе большее значение, чем технические условия (пункты 1, 3). Явление совершенно обратное дореволюционному периоду, когда работа железных дорог доходила до крайнего напряжения, а личный состав их проявлял высокую энергию и самоотвержение. Мы не забудем, что сосредоточение русских армий летом 1914 года, возбуждавшее всегда самые тревожные опасения у составителей плана кампании, прошло не только блестяще, но войска не раз прибывали на фронт *ранее* сроков, положенных по плану мобилизации и сосредоточения. Такова же была работа железнодорожников и в течение войны. И если бывали случаи роковой медлительности стратегических перевозок, как, например, в 1916 году, лишившие нас успеха летом на Волынском театре и осенью в Румынии, то это обстоятельство нужно отнести к слаборазвитой сети и непосильному заданию, а никак не к недостатку доброй воли и сознания долга у железнодорожников.

* * *

Наконец, еще один элемент государственного хозяйства — финансы. Если имеет значение нормальный финансовый план, то он находится в полной и абсолютной зависимости от целого ряда существенных факторов: общих политических условий, дающих уверенность извне и внутри в прочности государственного строя и устойчивости внутреннего положения страны; стратегических условий, определяющих степень надежности государственной обороны; экономических условий, как-то: состояние производительности страны и взаимоотношения производства ее с потреблением, условия труда, транспорта и т.д. Власть, фронт, деревня, завод, транспорт не давали соответственных гарантий, и потому ведомство могло принимать лишь меры паллиативные, чтобы задержать процесс распада всей денежной системы и в корне нарушенного бюджетного равновесия до тех пор, пока в стране не восстановится относительный порядок.

Главными недостатками нашего довоенного бюджета считаются базирование его на доходах от винной монополии (800 миллионов рублей) и почти полное отсутствие прямого обложения. Перед войной бюджет России простирался до $3^1/_2$ миллиардов рублей, государственный долг — около $8^1/_2$ миллиардов; одних процентов мы платили до 400 миллионов; почти половина этой суммы шла за границу, погашаясь частью $1^1/_2$-миллиардного нашего вывоза.

Война и запрещение во время ее продажи спиртных напитков вывели совершенно наш бюджет из равновесия. Государственные расходы за время войны выразились в следующих цифрах:

$^1/_2$ 1914 года — 5 миллиардов рублей.
1915 год — 12 миллиардов рублей.
1916 год — 18 миллиардов рублей.

Семь месяцев 1917 года — 18[1] миллиардов рублей.

Огромный дефицит покрывался частично займами, частично выпуском кредитных билетов. Расходы на войну производились из так называемого «Военного фонда». В Ставке расходование его находилось в полном и бесконтрольном (по принципу целесообразности) ведении начальника штаба Верховного главнокомандующего, который устанавливал от-

[1] За весь 1917 год ожидался расход в 27—30 миллиардов рублей.

правные данные своими приказами и утверждением смет и штатов.

Революция нанесла окончательный удар нашим финансам. «Она, — как говорил министр финансов Шингарев, — вызвала у всех сильное стремление к расширению своих прав и притупила сознание обязанностей. Все требовали повышения оплаты своего труда, но никто не думал вносить в казну налоги, поставив тем финансы в положение, близкое к катастрофе». Началась настоящая вакханалия, соединившая всех в безудержном стремлении под флагом демократизации брать, рвать, хватать сколько возможно из государственной казны, словно боясь упустить время безвластия и не встречая противодействия со стороны правительства. Даже сам г.Некрасов на Московском совещании решился заявить, что «ни один период русской истории, ни одно царское правительство не были столь щедрыми, столь расточительными в своих расходах, как правительство революционной России», и что «новый революционный строй обходится гораздо дороже, чем старый».

Достаточно привести несколько «астрономических цифр» для определения непреодолимых бюджетных затруднений. Уменьшение выработки и чрезмерное повышение заработной платы вызвало необходимость громадных расходов частично на субсидирование замиравших предприятий, частично на переплату за предметы производства. Эта переплата для одного только Донецкого бассейна дала 1200 миллионов рублей. Прибавка солдатского жалованья — 500 миллионов, железнодорожная прибавка — 350 миллионов, почтовым чиновникам — 60 миллионов рублей, причем через месяц они потребовали еще 105 миллионов, в то время как весь доход от почтово-телеграфного ведомства составлял 60 миллионов рублей. На пайки солдатским женам Совет рабочих и солдатских депутатов потребовал 11 миллиардов рублей, т.е. почти полный годовой бюджет 1915 года, тогда как за время до 1917 года было израсходовано на это дело 2 миллиарда. Содержание продовольственных комитетов обходилось в 500 миллионов рублей в год, земельных — в 140 миллионов и т.д., и т.д.

Параллельно с таким ростом расходов наблюдалось сильное снижение поступлений. Так, например, в первые же месяцы революции поступление поземельного налога упало на 32%, от городских недвижимых имуществ — на 41%, квартирного налога — на 43% и т.д.

Как результат наших внутренних неустроений, явились, вместе с тем, падение курса рубля и понижение русских ценностей заграницей[1].

Временное правительство в основу своей финансовой деятельности положило «переустройство финансовой системы на демократических началах, путем прямого обложения имущих классов» (обложение наследственное, военных сверхприбылей, поимущественное, подоходное и т.д.). Правительство не решалось только прибегнуть к средству, рекомендованному революционной демократией, — принудительному займу или установлению «высокого *единовременного* поимущественного налога» — средству, имевшему некоторый привкус большевизма. Все эти справедливые налоги, проведенные в жизнь или проектировавшиеся, при всем их крайне высоком напряжении не могли и в малой степени удовлетворить все возраставших требований. Министерство Бернацкого[2] в начале августа сочло себя вынужденным обратиться к усилению косвенного обложения и к некоторым монополиям (на чай, сахар, спички) — мерам, накладывающим платежные тяготы на массу населения и потому до крайности непопулярным.

Тем временем расходы росли чудовищно, доходы не поступали, «заем свободы» шел не совсем удачно; на внешние займы ввиду общего состояния русского фронта рассчитывать не приходилось. Кредитные операции (внутренние, внешние займы, краткосрочные обязательства казначейства) дали за первую половину 1917 года 9500 миллионов рублей; обыкновенные доходы ожидались не более 5800 миллионов. Оставалось одно, освященное историческими традициями всех революционных эпох средство — печатный станок.

[1] 28 июля фунт стерлингов стоил 21 рубль, французский франк 77 копеек; 28 августа фунт стерлингов стоил уже 37 рублей 50 копеек, французский франк 1 рубль 10 копеек.

[2] Некрасов фиктивно возглавлял министерство, управляющим которого был М.В. Бернацкий.

Выпуск кредитных билетов достиг размеров исключительных:

1/2 1914 г. — 1425 миллионов рублей.
1915 г. — 2612 « «
1916 г. — 3488 « «
1/2 1917 г. — 3990 « «

По балансу к июлю 1917 года сумма находившихся в обращении кредитных билетов достигала цифры в 13916 миллионов рублей (при обеспечении золотом в 1293 миллиона) против 2 миллиардов, бывших в обращении до войны.

Четыре сменявшихся один за другим министра финансов[1] не могли ничего сделать, чтобы вывести страну из финансового тупика. Ибо для этого нужно было или пробуждение чувства государственности в народной массе, или такая мудрая и сильная власть, которая нанесла бы сокрушительный удар гибельным, безгосударственным, эгоистичным стремлениям и той части буржуазии, которая строила свое благополучие на войне, разорении и крови народной, и той демократии, которая, по выражению Шингарева, «с такой суровостью, устами своих представителей в Государственной Думе, осуждала тот самый яд бумажных денег, который теперь полными чашами стала пить сама, — в момент, когда явилась почти хозяином своей судьбы».

ГЛАВА XV
ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ К ВЕСНЕ 1917 ГОДА

Первым основным вопросом, который стал передо мной в Ставке, была *задача фронта*. Я не могу сказать, чтобы служба внешней тайной разведки давала нам очень широкое осведомление, тем более что главная организация ее, находившаяся в Париже, пользовалась отрицательной репутацией. Тем не менее при некотором содействии союзников мы обладали достаточным знанием как общего, так и военного положения в стане наших врагов.

[1] Терещенко, Шингарев, Некрасов, Бернацкий.

Это положение рисовалось нам далеко не в блестящем виде. Но я должен сказать откровенно, что действительность, обнаружившаяся теперь, превосходила все наши предположения, особенно по той картине положения Германии и союзных ей держав в 1917 году, которую дают Гинденбург и Людендорф.

Без сомнения, нелегким было положение и союзников, в особенности Франции, которая делала колоссальное напряжение, привлекая в ряды войск все способное носить оружие мужское население и мобилизуя почти всю свою промышленность. И в Англии и во Франции чувствовалось большое моральное напряжение и сильное расстройство всех экономических связей.

Но если союзники могли еще черпать большие людские запасы в своих колониях, из которых Англия, например, к весне 1917 года извлекла миллион человек, то Германия выкачала уже из своей страны все, что мог дать народ, — все возрастные группы от 17 до 45 лет. Верховное командование ее, однако, не удовлетворялось этим и требовало всенародного ополчения из бойцов от 15 до 60 лет — как для пополнения рядов, так и для службы и работ в тылу армии небоеспособных элементов, не исключая и женщин. Правительство не решалось на такой шаг ввиду явной его непопулярности, и это обстоятельство вызвало острые трения между ним и командованием. С огромным напряжением и ценою ослабления своих кадров и запасов пополнений, немцы создали к весне 13 новых дивизий, а для работ широко и беспощадно использовали пленных, особенно русских, и население оккупированных стран. Все эти меры не изменили, однако, существенно соотношения сил, которые у Антанты превосходили приблизительно на 40% численность армий центральных держав.

Промышленность в Германии испытывала жестокое потрясение. Все фабрики и заводы, какие только могли быть использованы для военных целей, были мобилизованы, станки переделаны, изменено производство. Это обстоятельство, в связи с критическим недостатком сырья, вызвало в стране острую нужду в предметах первой необходимости. Струны, очевидно, были перетянуты, если командование в период наибольшей военной опасности сочло себя вынужденным вернуть частной промышленности несколько заводов, а на

заводы из армии — 125 тысяч квалифицированных рабочих. При таком полном напряжении состязаться с противниками в отношении производства военных материалов Германия все же не могла. «Положение было невероятно трудным и почти безвыходным. Нечего было больше думать о наступлении. Надо было сохранить резервы для обороны», — говорит Людендорф[1].

Но тяжелее всего отзывалась блокада, которой подвергли Германию державы Согласия. Все усилия немецкого правительства, практиков и ученых не приводили к желанным результатам. Хлеб и жиры заменялись суррогатами, рацион населения дошел до минимума, потребного для существования; не только в стране, но и в армии приходилось прибегать к суррогатам из соломы и древесины для питания лошадей, иногда и людей. Масса населения, особенно среднего класса, положительно умирала от голода. «Голодная блокада, организованная нашими врагами, бросила нас не только в физические страдания, но и в моральное отчаяние»[2].

В Австрии положение было не лучше: Галиция была разорена войной, двукратным переходом из рук в руки, беженцами и болезнями. Венгрии хватало хлеба; она давала часть его армии, но в силу известного сепаратизма препятствовала вывозу его в Австрию, в которой царил голод. Занятие в 1914 году Румынии с ее богатыми запасами, несомненно, несколько умерило кризис, но из-за дальности расстояний и в силу расстроенного транспорта могло оказать влияние нескоро и далеко не в решающей степени.

«Вечное недоедание создало упадок сил физических и нравственных и породило трусливое и истерическое настроение в немецком обществе»[3].

Неудивительно, что вся совокупность создавшейся обстановки вызвала большую усталость и потерю веры в победу у германского народа, правительства и армии.

Что касается австрийской армии, то она никогда не представляла собой особенно серьезной силы, требовала постоянной подпорки со стороны немцев, и теперь могла рассыпаться в любой момент от одного оглушительного удара. Видный австрийский генерал фон Арц — далеко не пессимист — в начале апреля 1917 года уверял, что «благодаря недостатку сырья и усталости войск, австрийская армия не может драться долее, чем до зимы».

[1] *Людендорф.* «Mes souvenirs de guerre».

[2] Там же.

[3] Там же.

Кроме высшего германского командования, едва ли какие-либо широкие общественные и народные круги желали продолжения войны. Всю страну охватило страстное желание мира. Это желание, однако, как-то странно совмещалось с гордым тоном и непримиримостью основных начал мирных предложений, как будто Германия, обращаясь дважды к воюющим державам, дарила мир, а не просила его, и в самом себе носило зачатки слабости и поражения. Оно парализовало волю страны к победе, ослабило приток живой силы, создало большие затруднения правительству в рейхстаге, крайне нервировало командование и подорвало дух армии. Несомненно, во всем этом движении серьезную роль сыграл и левый фланг немецкой общественности — социал-демократическая партия независимых.

Создавались и внешние политические осложнения: Австрия все более вырывалась из орбиты германской политики, граф Чернин носился уже с планом австро-польского единения, ставившего необыкновенно остро вопрос о Познани и польской Силезии. В Австрии — и в обществе, и в политических кругах — все более укреплялось убеждение, что народ приносит бесконечные жертвы и само существование двуединой монархии поставлено на карту только ради интересов Германии. Император Карл в середине апреля 1917 года писал Вильгельму о необходимости, учитывая опасность всеобщей революции, заключить мир, хотя бы и ценой больших жертв. Что касается Болгарии, то донесения военных агентов и секретная дипломатическая переписка производили на меня такое впечатление, что только некоторая инертность наших и союзных дипломатов замедляла разрешение этого большого исторического недоразумения, которое окончилось лишь в сентябре 1918 года падением Болгарии. Пожалуй, не без влияния осталось еще одно обстоятельство — неучтенная союзниками ошибка психоло-

гического характера: не следовало сербские войска, после отдыха и приведения в порядок на Корфу, развертывать на Салоникском фронте, противопоставляя их болгарам как возбуждающее начало неизжитой и обостренной исторической вражды. Точно такую же ошибку сделала Ставка в конце 1916 года, отправив в Добруджу, в составе русского отдельного корпуса, сербскую дивизию, сформированную из пленных югославов.

Сам Гинденбург признает, что «народный энтузиазм болгар был далеко не такой, как в 1912 году. В 1915 году болгар подвинул на войну холодный расчет правительства (идея гегемонии на Балканском полуострове) гораздо более, нежели национальный подъем»[1].

23 марта Америка объявила войну Германии. В послании Вильсона объявление войны мотивировалось нарушением Германией элементарных основ международного права и человечности подводной войной. «Германцы без зазрения совести стали топить всякого рода суда без предупреждения и не оказывая помощи их пассажирам. Топили без всякого сострадания суда нейтральных и дружественных держав, наравне с враждебными, и даже госпитальные, снабженные пропусками, выданными самим же германским правительством». Президент потребовал кредитов на полную мобилизацию флота и увеличение армии. На основании законопроекта, утвержденного сенатом и палатой подавляющим большинством голосов, в Америке введена была обязательная повинность, предоставлено право президенту призвать немедленно 500 тысяч человек и позже еще 500 тысяч.

Конечно, формирование и перевозка экспедиционных американских войск требовали очень большого времени. Фактически первые дивизии начали прибывать на европейский фронт только в середине июня 1917 года; в июне 1918 года перевезено до 500 000 человек, а к декабрю 1918 года — до 1,4 миллиона. Но объявление войны Америкой, помимо морального влияния на воюющие и нейтральные державы, вносило полную определенность в политическую ситуацию, предоставляло теперь же державам Согласия

[1] «Aus meinem Leben».

помощь морскими силами и легальную возможность еще более широкой материальной и экономической поддержки Америкой[1]; наконец, создавало реальную угрозу враждебным странам в будущем.

Это событие было естественным и предвиденным немцами, когда они, в сознании безвыходности своего положения, рискнули в январе 1917 года поставить последнюю карту, начав подводную войну. Несомненно, эта война нанесла очень тяжелые материальные потери державам Согласия. По исчислениям немцев, февраль стоил союзникам потери 780 тысяч тонн, март — 860, апрель — более 1 миллиона, май — 870 тысяч тонн. Но она не достигла решительных результатов, которые только и могли оправдать все невыгодные стороны этого мероприятия, и прежде всего — всеобщее озлобление против Германии. Англия, против которой, главным образом, направлена была подводная война, ответила на этот вызов и на потерю своего тоннажа увеличением площади запашки на 3 миллиона акров, сокращением ввоза без чрезмерного нарушения интересов промышленности на 6 миллионов тонн, увеличением добычи минералов в пределах самой страны и регулированием внешней торговли путем сосредоточения тоннажа для ввоза предметов первой необходимости. Одновременно начались серьезные технические изыскания действительных способов борьбы с подводными лодками. Словом, французский морской министр, адмирал Ляказ имел основание 12 мая выступить со следующим официальным заявлением: «До 1 января 1917 года союзники потеряли 4,5 миллиона тонн. Но мы построили 4402 тысячи тонн и получили 990 тысяч тонн в качестве приза. Таким образом, к 1 января 1917 года мы оказались в таком же положении в отношении тоннажа, как в начале войны. С этого времени до конца апреля мы потеряли еще $2^1/_2$ миллиона тонн. Если сохранится та же пропорция и в будущем, то к концу года мы, за частичным возмещением, потеряем 4—$4^1/_2$ миллиона тонн из 40 миллионов. Можно ли опасаться, что такая потеря угрожает нашей жизни?»

[1] С июля 1914 года по июнь 1917-го Америка поставила Антанте снабжения на 53 миллиарда франков.

К середине июня Гинденбург в телеграмме к императору весьма пессимистически определял положение страны: «Огромное беспокойство возбуждает в нас упадок народного духа. Надо поднять его, *иначе война будет проиграна*. Наши союзники также нуждаются в поддержке, если мы не хотим, чтобы они нас оставили. Нужно разрешить экономические проблемы, страшно важные для нашего будущего. Является вопрос: способен ли канцлер их разрешить? А разрешить нужно — *иначе мы погибли*».

В ожидании назревавшего большого наступления англо-французов на Западном фронте, немцы сосредоточили там главное свое внимание, средства и силы, оставив на Восточном — после русской революции — лишь число войск, едва достаточное для обороны. Тем не менее положение Восточного фронта продолжало вызывать к себе нервное отношение немецкого командования. Устоит ли русский народ, или в нем возобладают пораженческие влияния? «Так как состояние русской армии не позволяло нам ясно ответить на этот вопрос, — говорит Гинденбург, — наше положение в отношении России продолжало оставаться далеко не надежным».

ГЛАВА XVI
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ФРОНТА К ВЕСНЕ 1917 ГОДА

Русская армия, невзирая на все свои недочеты, к марту 1917 года представляла внушительную силу, с которой противнику приходилось весьма считаться. Благодаря мобилизации промышленности, деятельности военно-промышленного комитета и отчасти несколько оживших органов военного министерства, боевое снабжение достигло размеров, доселе небывалых. К тому же усилился подвоз артиллерии и вообще военного материала от союзников на Мурманск и к Архангельску. К весне мы имели сильный 48-й корпус — название, под которым скрывалась тяжелая артиллерия особого назначения «Таон», состоявшая из крупнейших калибров. В начале года произведена была реорганизация технических (инженерных) войск с целью значительного их

расширения. Вместе с тем началось развертывание новых пехотных дивизий. Эта последняя мера, проведенная генералом Гурко в дни его временного пребывания начальником штаба Верховного главнокомандующего, заключалась в переходе пехотных полков с 4-батальонного состава на 3-батальонный и в уменьшении числа орудий на дивизию, взамен чего из выделенных частей создавались в каждом корпусе третьи дивизии, соответственно пополненные, с небольшой артиллерией. Несомненно, по существу эта организация, будучи проведена еще в мирное время, придала бы большую гибкость корпусам и значительно увеличила бы их силу. Но во время войны приступать к ней было рискованно: к весенним операциям старые дивизии были раздерганы, а новые предстали в жалком виде, как в отношении боевого снаряжения (пулеметы и пр.), так и технического и хозяйственного оборудования; многие из них не успели получить надлежащей внутренней спайки — обстоятельство, имевшее исключительно серьезное значение перед лицом вспыхнувшей революции. Положение было настолько серьезным, что Ставка вынуждена была в мае дать разрешение фронтам расформировать те из третьих дивизий, которые окажутся малобоеспособными, обращая их на пополнение кадровых. Мера эта, однако, почти не применялась, встретив сильное противодействие в частях, затронутых уже революционным движением.

Другой мерой, ослабившей значительно ряды армии, было увольнение от службы старших возрастных сроков.

Мотивом к такой чреватой последствиями мере, принятой накануне общего наступления, послужило заявление на совещании в Ставке 30 марта министра земледелия Шингарева[1], что положение с продовольствием критическое и что он совершенно не берет на себя ответственности за питание армии, если не будет сброшено с рационов до миллиона ртов. При обмене мнениями указывалось на огромное, непропорциональное развитие в армии небоевого элемента, пребывание в ее составе множества едва ли необходимых вспомогательных учреждений, в виде крайне разросшихся общественных рабочих организаций, китайских, инород-

[1] Министерство ведало и продовольствием.

ческих рабочих дружин и т.д. Упоминалось также об омоложении армии.

Крайне обеспокоенный таким направлением мыслей, я поручил дежурству представить статистические данные относительно всех указанных категорий лиц. Но пока производилась эта работа, 5 апреля вышел приказ военного министра об увольнении из внутренних округов солдат старше 40 лет для направления их на сельскохозяйственные работы до 15 мая (позднее срок был продолжен до 15 июня, фактически же почти никто не вернулся), а 10 апреля состоялось постановление Временного правительства об увольнении вовсе от службы лиц, имеющих более 43 лет от роду.

Первый приказ вызвал психологическую необходимость, под напором солдатского давления, распространить его и на армию, которая не примирилась бы со льготами, данными тылу; второй вносил чрезвычайно опасную тенденцию, являясь фактически *началом демобилизации армии*. Никакое нормирование не могло уже остановить стихийного стремления уволенных вернуться домой, и массы их, хлынувшие на станции железных дорог, надолго расстроили транспорт. Некоторые полки, сформированные из запасных батальонов, потеряли большую часть своего состава; войсковые тылы — обозы, транспорт — расстроились совершенно, так как солдаты, не дожидаясь смены, оставляли имущество и лошадей на произвол судьбы; имущество при этом расхищалось, лошади гибли.

Эти обстоятельства ослабили армию и, в свою очередь, отдалили на некоторое время ее боевую готовность.

На огромном фронте от Балтийского моря до Черного и от Черного до Хамадана тянулись русские позиции. На них стояло 68 армейских и 9 кавалерийских корпусов.

Как значение фронтов, так и общее состояние их было далеко не одинаково. Наш Северный фронт[1], включавший Финляндию, Балтийское море и линию Западной Двины, имел большое значение как прикрывавший подступы к Петрограду, но значение это строго ограничивалось требованиями

[1] Им командовали последовательно генералы Рузский, Драгомиров, Клембовский, Черемисов.

обороны. Сообразно с этим, ему не представлялось возможным уделять ни крупных сил, ни большого числа тяжелой артиллерии. Условия театра, сильная оборонительная линия Двины, ряд естественных тыловых позиций, связанных с основными позициями Западного фронта, невозможность серьезной операции у Петрограда ранее овладения морем, находившимся в наших руках, — все это позволяло бы считать фронт до известной степени обеспеченным, если бы не два обстоятельства, сильно тревожившие Ставку: большая, чем где-либо, развращенность войск Северного фронта из-за близости революционного Петрограда и состояние — не то автономное, не то полуанархическое — Балтийского флота и его баз Гельсингфорса и Кронштадта, из которых второй служил вместе с тем и главной базой анархо-большевизма.

Балтийский флот, сохраняя до известной степени внешние формы служебного подчинения, совершенно вышел из повиновения. Командующий флотом адмирал Максимов находился всецело в руках центрального матросского комитета; ни одно оперативное приказание не могло быть осуществлено без санкции этого комитета. Не говоря уже о боевых задачах, даже работы по установке и исправлению минных заграждений — главного средства обороны Балтийского моря — встречали противодействие со стороны матросских организаций и команд. Во всем этом ясно сказывались не только общее падение дисциплины, но и планомерная работа немецкого генерального штаба. Было опасение, что могут быть выданы секретные морские планы и шифры.

Наряду с этим войска 42-го отдельного корпуса, расположенные по финляндскому побережью и на островах Моонзунда, от долгого безделья и разбросанного расположения с началом революции быстро разложились, и часть их представляла собой совершенно опустившиеся физически и морально толпы. Какая-либо смена или передвижение их были невозможны. Помню, как в мае 1917 года я долго и безрезультатно добивался посылки на Моонзундские острова пехотной бригады. Достаточно сказать, что командир корпуса не решался объехать и ознакомить ее со своими частями, — обстоятельство, характерное и для войск, и для личности начальника.

Одним словом, весной 1917 года положение на Северном фронте было таково: мы получали ежедневные донесения о состоянии ледяных заторов в проливах между материком и островами Рижского залива, и долгое их стояние казалось главной реальной силой противодействия вторжению немецкого флота и десанта.

Временами, чтобы разбудить правительство и советы и чтобы привлечь к боевой работе разлагавшийся петроградский гарнизон, Ставка подчеркивала тревожное положение северного направления, в особенности на Ригу, что, однако, кроме обвинения Ставки в контрреволюционности, ни к чему не приводило.

К весне принимались меры для подготовки Двинского и Рижского плацдармов для демонстративно-наступательных действий.

Между Дисной и Припятью тянулся Западный фронт[1]. На всем его огромном протяжении два направления Минск—Вильно и Минск—Барановичи имели для нас наибольшую важность, представляя возможные направления, как для наших, так и для немецких наступательных операций, имевших прецеденты в прошлом. Первое из этих направлений весной обеспечивалось сосредоточением на нем крупных наших сил и тяжелой артиллерии, собранных там для участия в предполагавшемся общем наступлении; второе же всегда внушало некоторое опасение, тем более что в резерве там была одна лишь конная дивизия. Прочие районы фронта и в особенности Южный — лесисто-болотистое Полесье — по условиям местности и дорог являлись пассивными, а по Припяти, притокам ее и каналам издавна установилось даже какое-то полумирное сожительство с немцами, с развитием небезвыгодного для «товарищей» тайного товарообмена. Поступали, например, донесения, что в Пинск на базар ежедневно являются с позиции русские солдаты-мешочники, и их появление по разным причинам поощряется немецкими властями.

Было еще одно уязвимое место — это тет-де-пон на Стоходе, у станции Червище-Голенин, занимаемый одним из

[1] Командовали им последовательно генералы Эверт, Гурко, Деникин и Балуев.

корпусов армии генерала Леша. 21 марта немцы, после сильной артиллерийской подготовки и газовой атаки, обрушились на наш корпус и разбили его наголову. Войска наши понесли тяжелые потери, и остатки корпуса отведены были за Стоход. Ставка не получила точного числа потерь из-за невозможности выяснить, какое число убитых и раненых скрывалось в графе «без вести пропавших». Немецкое же официальное сообщение давало цифру пленных в 150 офицеров и около 10 000 солдат.

Конечно, по условиям военного театра этот тактический успех немцев не имел никакого стратегического значения и не мог получить опасного для нас развития. Тем не менее странной показалось нам откровенность осторожного канцлерского официоза «Norddeutsche Allgemeine Zeitung», который писал: «Сообщение Ставки русского Верховного главнокомандующего от 29 марта заблуждается, если усматривает в операции, предпринятой германскими войсками и предписанной тактической необходимостью, возникшей лишь в ограниченных пределах данного участка, крупную операцию общего значения»[1].

Газета знала то, в чем мы не были вполне уверены, и что теперь разъяснил нам Людендорф. С начала русской революции Германия поставила себе новую цель: *не имея возможности вести операции на обоих главных фронтах, она решила «следить внимательно и поощрять развитие процесса разложения в России», добивая ее не оружием, а развитием пропаганды.* Бой на Стоходе предпринят был по частной инициативе генерала Линзингена и испугал германское правительство, считавшее, что немецкие атаки «в период, когда братанье шло полным ходом», могут оживить в нас, русских, угасавший дух патриотизма и отдалить падение России. Канцлер просил главную квартиру «делать как можно меньше шума вокруг этого успеха», и последняя запретила всякие дальнейшие наступательные операции, «чтобы не расстраивать надежд на мир, близких к осуществлению».

Наша неудача на Стоходе произвела в стране большое впечатление. Это был первый боевой опыт «самой свободной в

[1] В нашей сводке такого определения я не нашел.

мире революционной армии». Ставка ограничилась сухим изложением факта, без какой бы то ни было тенденции. В кругах революционной демократии обясняли его где изменой командного элемента, где злым умыслом военного начальства, желавшего якобы подчеркнуть таким предметным уроком негодность новых порядков армии и опасность падения дисциплины, где неспособностью начальства. Московский совет предъявил в Ставку обвинение в измене одного из помощников военного министра, командовавшего ранее на этом фронте дивизией.

Другие всецело относили наше поражение к разложению войск.

Фактических причин неудачи было две. Первая *тактическая*, обусловленная сомнительной целесообразностью занятия узкого тет-де-пона во время разлива реки, с необеспеченным надлежаще тылом, и, может быть, не совсем правильное применение техники и войск. Вторая *психологическая*: падение морального духа и дисциплины в войсках. Это последнее обстоятельство, выразившееся, между прочим, в огромном, непропорциональном числе пленных, заставило по разным побуждениям «глубоко призадуматься» и русскую Ставку, и главную квартиру Гинденбурга.

Наиболее важным и привлекавшим исключительное внимание являлся Юго-западный фронт[1], простиравшийся от Припяти до Молдавии. От него шли на северо-запад чрезвычайно важные операционные направления в глубь Галиции и Польши — на Краков, Варшаву, Брест-Литовск. Наступление по ним прикрывалось с юга Карпатами, разделяло южную австрийскую группу армий от северной немецкой, угрожая тылу и коммуникациям последней. Эти операционные направления, не встречая в общем серьезных преград, выводили нас на фронт австрийских войск, боевые качества которых были много ниже германских; тыл Юго-западного фронта был сравнительно устроен и богат; психология войск, командования и штабов его всегда значительно разнилась от других фронтов: на общем славном, но безрадостном фоне кампании только Юго-западные армии одерживали потрясающие успехи, видели сотни тысяч пленных, проходили победно сотни верст в глубь неприятельской территории, спускались с Карпат в Венгрию. В этих войсках раньше всегда жила вера в успех. Юго-западный фронт создал имена Брусилову, Корнилову, Каледину. Все эти обстоятельства заставляли смотреть на Юго-западный фронт, как на естественную базу и центр предстоящих операций, и сообразно с этим сосредоточить в нем войска, технические средства, большую часть тяжелой артиллерии («Таона») и боевых запасов. Соответственно подготовлялся для наступления, с устройством плацдармов и проведением дорог, район между верхним Серетом и Карпатами.

[1] Командовали им последовательно генералы Брусилов, Гутор, Корнилов, Балуев, Деникин, Володченко.

Далее до Черного моря следовал Румынский фронт[1]. После неудачной для нас кампании 1916 года наши войска заняли линию по Дунаю, Серету и Карпатам и укрепились на ней достаточно прочно. Румынские войска частью располагались на фронте, вкрапленные между нашими IV и IX армиями (армия Авереско), частично еще организовывались под руководством французского генерала Бертело и при участии русских артиллерийских инструкторов. Реорганизация и формирование шли весьма удовлетворительно, тем более что румынский солдат представляет собой отличный боевой материал. Я познакомился с румынской армией еще в ноябре 1916 года, когда с 8-м армейским корпусом был брошен в Бузео, в самую гущу отступавших румынских армий, имея оригинальную директиву двигаться по Бухарестскому направлению до встречи с противником и затем прикрыть это направление, привлекая к обороне отступающие румынские войска. С тех пор в течение нескольких месяцев, ведя бои у Бузео, Рымника, Фокшан, имея в подчинении разновременно два румынских корпуса или соседями армию Авереско, я достаточно хорошо познакомился с румынскими войсками. В начале кампании обнаружилось полное игнорирование румынской армией опыта протекавшей перед ее глазами мировой войны; легкомысленное до преступности снаряжение и снабжение

[1] Командовали им последовательно генералы Сахаров и Щербачев.

армии; наличие нескольких хороших генералов, изнеженного, не стоявшего на должной высоте корпуса офицеров и отличных солдат; наличие порядочной артиллерии и совсем необученной пехоты. Вот главнейшие свойства румынской армии, довольно быстро потом приобретавшей некоторую организацию, улучшавшей свое боевое снаряжение и обучение. Взаимоотношения между фактическим русским главнокомандующим, именовавшимся «помощником», и номинальным — румынским королем — установились довольно благоприятные. Хотя начинавшиеся эксцессы русских войск сильно портили отношения с румынами, но тем не менее фронт не внушал серьезных опасений.

При создавшейся общей обстановке и в зависимости от условий военного театра только широкое наступление большими силами в направлении Бухареста и вторжение в Трансильванию могло иметь стратегическое и политическое значение. Но и новые силы нельзя было двинуть в Румынию, и состояние румынских железных дорог не позволяло надеяться на возможность широких стратегических перевозок и снабжения. Театр являлся поэтому второстепенным, и войска Румынского фронта готовились к частной активной операции, имевшей целью приковать к себе австро-германские силы.

Я уже говорил, что питание всех трех фронтов, за исключением Юго-западного, внушало большие опасения и не раз приводило к опасному расходованию войсковых запасов. Но это обстоятельство не являлось таким абсолютно непредотвратимым, как в Германии, и не обусловливалось отсутствием предметов питания, а зависело более от внутренней экономической и продовольственной политики и транспорта, то есть от причин, с которыми можно было до некоторой степени бороться.

Совершенно в исключительном положении находился Кавказский фронт[1]. Дальность расстояния, выработавшаяся за много лет практика известной автономности кавказской администрации и командования, пребывание во главе Кавказской армии с августа 1916 года великого князя Николая Николаевича — человека властного и пользовавшегося своим особым положением в разрешении различных спорных вопросов, возникавших со Ставкой; наконец, совершенно своеобразные условия театра и противника, сильно отличавшиеся от условий европейского фронта, — все это создало какую-то обособленность Кавказской армии и неестественные отношения со Ставкой. Генерал Алексеев говорил не раз, что, несмотря на все свое старание, он очень плохо разбирается в кавказской обстановке. Кавказ жил своей жизнью, осведомляя центр лишь в той степени, в какой считал нужным, и в освещении, преломленном сквозь призму местных интересов.

[1] Командовали им последовательно Великий князь Николай Николаевич, генералы Юденич и Пржевальский.

К весне 1917 года Кавказская армия была в тяжелом положении, но не в силу каких-либо стратегических или боевых преимуществ противника (сама турецкая армия отнюдь не представляла серьезной угрозы), а от внутреннего неустройства: совершенно бездорожный и голодный край, без продовольствия и фуража, до крайности затрудненный транспорт делали невыносимой саму жизнь войск. И если правофланговый корпус мог еще довольствоваться сносно, пользуясь черноморским транспортом, то прочие корпуса, и в особенности на левом фланге, находились в крайне тяжелом положении.

По условиям местности, вьючный, малоподъемный транспорт требовал огромного количества лошадей при полном отсутствии на месте корма; паровые, тепловые и конные железные дороги строились медленно — отчасти по недостатку железнодорожных материалов, отчасти потому, что таковые кавказским фронтом были непроизводительно израсходованы на постройку Трапезундской железной дороги, которая вследствие параллельного морского транспорта не имела первостепенного значения.

Словом, в начале мая генерал Юденич доносил, что из-за болезней и падежа лошадей обозы приведены в полное расстройство, некоторые батареи стоят на позициях незапряженными, транспорта выбыло до половины, потребность в лошадях составляет до 75 тысяч; огромный недостаток в рельсах, подвижном составе и фураже; из боевого состава пехоты только за половину апреля выбыло из-за цинги и тифа 30 тысяч человек, т.е. 22%, и т.д. Все это заставляло гене-

рала Юденича «предвидеть необходимость вынужденного отхода к источникам питания: центром — к Эрзеруму, правым флангом — к границе».

Требования были значительно преувеличены, но положение фронта действительно было серьезное. Ставка с трудом удовлетворила часть нужд Кавказского фронта за счет других, но при этом я не мог не обратить внимания главного кавказского командования на то, что обеспечение железнодорожными техническими средствами не зависело от Ставки, ибо заказы делались ранее помимо нее, равно как создание и осуществление плана строительства; и что укомплектования за счет европейских фронтов не будут даны Кавказу, потому что, как оказалось по проверке, он имел в своих запасных частях 104 тысячи человек; но различные местные комитеты парализовали власть кавказского командования, не выпуская запасные полки на фронт и считая их «обеспечением против контрреволюции».

Исход, предвиденный генералом Юденичем, не мог быть допущен как по причинам морального свойства, так и потому, что наш отход освобождал бы турецкие силы для действий против других азиатских фронтов. Это обстоятельство особенно беспокоило английского военного представителя при Ставке, который неоднократно от имени своего командования просил о наступлении левого фланга наших войск в долине реки Диалы для совместной операции с английским месопотамским отрядом Моода против турецкой армии Халил-паши. Конечно, это наступление вызывалось больше политическими (аннексионными) соображениями англичан, чем стратегическими требованиями, тем более что материальное положение нашего левофлангового корпуса было поистине бедственное, а к маю на Диале начиналась тропическая жара.

В результате Кавказский фронт не мог развить наступательную операцию, и войскам его предписано было только активно оборонять занятую линию, с условным наступлением левофлангового корпуса и в связи с англичанами, если последние организуют снабжение корпуса продовольствием.

Фактически в середине апреля совершен был частный отход на Огнотском и Мушском направлениях, в конце апреля

началось безрезультатное продвижение левого фланга в долине Диалы, и затем на Кавказском фронте установилось состояние среднее между миром и войной.

Наконец последняя составная часть русских вооруженных сил — Черноморский флот. В мае и начале июня в нем были уже серьезные беспорядки, приведшие к отставке адмирала Колчака. Но флот считался все же достаточно боеспособным, чтобы выполнить свою задачу — владеть Черным морем, в частности организовать блокаду турецкого и болгарского побережья и охрану морских путей к Кавказскому и Румынскому фронтам.

Этим я закончу краткий обзор положения русского фронта, не вдаваясь излишне в стратегические комбинации: всякая наша стратегия этого периода, какова бы она ни была, разбивалась о солдатскую стихию. Ибо от Петрограда до Дуная и до Диалы быстро распространялось, росло и ширилось разложение армии. Трудно было в начале революции учесть степень его углубления на разных фронтах, трудно было предвидеть все возможности его влияния на будущие операции. Но уже души многих отравляло сомнение: не напрасны ли все наши соображения, расчеты и усилия...

ГЛАВА XVII
ВОПРОС О ПЕРЕХОДЕ РУССКОЙ АРМИИ В НАСТУПЛЕНИЕ

Итак, перед нами во всей своей силе и остроте встал вопрос:

— *Нужно ли русской армии переходить в наступление?*

Временное правительство опубликовало 27 марта обращение «К гражданам» о задачах войны. Среди ряда фраз, затемнявших в угоду революционной демократии прямой смысл обращения, Ставка не могла найти твердых оснований для руководства русской армией: «Оборона во что бы то ни стало нашего собственного родного достояния и избавление страны от вторгнувшегося в наши пределы врага — первая насущная и жизненная задача наших воинов, защищающих свободу народа. Цель свободной России — не господство над другими народами, не отнятие у них националь-

ного достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления внешней мощи своей за счет других народов, но не допустит, чтобы Родина его вышла из великой борьбы униженной и подорванной в жизненных своих силах. Эти начала будут положены в основу внешней политики Временного правительства *при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников*».

В ноте от 18 апреля, препровожденной министром иностранных дел Милюковым союзным державам, находим еще одно определение: «Всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого. Это стремление стало более действенным, будучи сосредоточено *на близкой для всех и очередной задаче — отразить врага, вторгнувшегося в самые пределы нашей Родины*»[1].

Конечно, все это были фразы, весьма робко, осторожно, туманно определяющие задачи войны, дающие возможность любого толкования их смысла, а главное — лишенные правдивого обоснования. Стремление к победе в народе, в армии не только не усилилось, но шло значительно на убыль, как результат с одной стороны усталости и падения патриотизма, с другой — чрезвычайно интенсивной работы противоестественной коалиции, заключенной между представителями крайних течений русской революционной демократии и немецким генеральным штабом; то есть коалиции, связанной невидимыми, но ясно ощущаемыми психологическими и реальными нитями. К этому вопросу я вернусь позднее. Здесь же отмечу лишь, что разрушительная работа по циммервальдовской программе в пользу прекращения войны началась задолго до революции, исходя как извне, так и изнутри.

Временное правительство, проводя для умиротворения воинствующих органов революционной демократии бледные, неясные формулы в отношении целей и задач войны,

[1] Подобные определения давали повод пораженческой пропаганде объяснять наступление, например, в направлении на Львов «империалистическими, захватническими стремлениями».

не стесняло, однако, нисколько Ставку в выборе стратегических способов для их достижения. Поэтому нам предстояло разрешить вопрос о наступлении независимо от существующих направлений политической мысли.

Единственное, ясное, определенное решение, в котором не могло быть разномыслия среди командного состава, было разбить вражеские армии в тесном единении с союзниками. Иначе страну нашу неминуемо постигнет крушение.

Но такое решение требовало широкого наступления, без которого не только немыслимо было одержать победу, но и бесконечно затягивалась разорительная война. Ответственные органы демократии, в большинстве своем исповедуя пораженческие взгляды, старались повлиять соответственно на массы. От этих взглядов не были вполне свободны даже и умеренные социалистические круги. В солдатской среде идеология циммервальдовской формулы не воспринималась вовсе, но зато сама формула давала известное оправдание чувству самосохранения или попросту — шкурничеству. И потому идея наступления не могла быть особенно популярной в армии. Развал в войсках ширился все более, и терялась уверенность не только в упорстве наступления, но даже и в том, будет ли исполнен приказ, удастся ли сдвинуть армию с места. Огромный русский фронт держался еще прочно по инерции, импонируя врагам, не знавшим, так же как и мы, размеров сохранившейся потенциальной силы его. Что, если наступление вскроет наше бессилие?

Таковы были мотивы против наступления. Но слишком много более веских причин повелительно требовали иного решения. Центральные державы дошли до полного истощения своих людских, материальных и моральных сил. Если осенью 1916 года наступление наше, не увенчавшееся решительным стратегическим успехом, поставило враждебные армии в критическое положение, то что было бы теперь, когда силы и техника наши возросли, соотношение их значительно изменилось в нашу пользу, а союзники к весне 1917 года заносили громовой удар над головой врагов. Немцы с болезненным страхом ожидали этого удара и, с целью выйти из-под него, еще в начале марта отвели свой стоверстный фронт между Аррасом и Суассоном вглубь верст

на 30, на так называемую линию Гинденбурга, подвергнув невероятному и ничем не оправдываемому опустошению оставленную территорию. Этот отход был знаменателен как явный показатель слабости наших врагов и сулил большие надежды на будущее. Мы *не могли* не наступать: при полном развале контрразведывательной службы, вызванном подозрительностью революционной демократии, разгромившей органы ее, смешав по недомыслию их функции с кругом ведения ненавистных сыскных отделений; при установившейся связи между многими представителями Совета рабочих и солдатских депутатов и агентами Германии; при более чем легком общении между фронтами и облегченном донельзя шпионаже — наше решение не наступать стало бы, несомненно, известным противнику, который немедленно начал бы переброску своих сил на запад. Это было бы равносильно прямому предательству в отношении союзных народов, приводившему если не к официальному, то к фактическому состоянию сепаратного мира со всеми его последствиями. Настроение революционных кругов Петрограда в этом вопросе казалось, однако, настолько колеблющимся, что в Ставке создалась вначале совершенно необоснованная подозрительность даже в отношении Временного правительства. На этой почве произошел небольшой инцидент. В конце апреля, во время отъезда Верховного, начальник дипломатической канцелярии доложил мне, что среди иностранных военных представителей царит большое возбуждение: только что получена из Петрограда телеграмма итальянского посла, в которой он категорически уверяет, что Временное правительство пришло к решению заключить сепаратный мир с центральными державами. Когда факт получения такой телеграммы был установлен, я, не зная тогда, что итальянское представительство по свойственной его членам экспансивности не раз уже являлось источником ошибочных сведений, послал военному министру телеграмму в весьма горячих выражениях, оканчивавшуюся словами: «Презрением заклеймит потомство то дряблое, бессильное, безвольное поколение, которого хватило на то, чтобы свергнуть подгнивший строй, но не хватает на то, чтобы уберечь честь, достоинство и само бытие России». Вышел конфуз: сведение было ложным, правительство, конечно, не помышляло о сепаратном мире. Позднее, 16 июля, в историческом совещании в Ставке главнокомандующих с членами правительства мне еще раз пришлось высказать свой взгляд по этому вопросу:

«Есть другой путь — предательство. Он дал бы временное облегчение истерзанной стране нашей. Но проклятие предательства не даст счастья. В конце этого пути — политическое, моральное и экономическое рабство».

Я знаю, что в некоторых русских кругах такое прямолинейное исповедование моральных принципов в политике впоследствии встречало осуждение: там говорили, что подобный идеализм неуместен и вреден, что интересы России должны быть поставлены превыше всякой «условной политической морали». Но ведь народ живет не годами, а столетиями; я уверен, что перемена тогдашнего курса внешней политики существенно не изменила бы крестный путь русского народа, что кровавая игра перемешанными картами продолжалась бы, но уже за его счет. Да и психология русских военных вождей не допускала таких сделок с совестью: Алексеев и Корнилов, всеми брошенные, никем не поддержанные, долго шли по старому пути, все еще веря и надеясь на благородство или, по крайней мере, на здравый смысл союзников, предпочитая быть преданными, чем самим предать.

Донкихотство? Может быть. Но другую политику надо было делать другими руками — менее чистыми. Что касается лично меня, то даже три года спустя, пережив все иллюзии, испытав тяжкие удары судьбы, упершись в глухую стену неприкрытого слепого эгоизма «дружественных» правительств, свободный поэтому от всяких обязательств к союзникам, почти накануне полного предательства ими истинной России, я остался убежденным сторонником *честной политики*. Только роли переменились: теперь уже мне пришлось убеждать парламентских деятелей Англии[1], что «здоровая национальная политика не может быть свободна от всяких моральных начал; что совершается явное преступление, ибо иначе нельзя назвать оставление вооруженных сил Крыма, прекращение борьбы против большевизма, введение

---

[1] Конец апреля 1920 года.

его в семью культурных народов и хотя бы косвенное признание его; что это продлит немного дни большевизма в России, но распахнет ему широко двери в Европу». Я глубоко верю, что историческая Немезида не простит *им*, как не простила бы тогда нам.

Начало 1917 года было временем катастрофическим для центральных держав и решительным для Согласия. Вопрос о русском наступлении чрезвычайно волновал союзное командование. Военные представители Англии (генерал Бартер) и Франции (генерал Жанен) часто бывали у Верховного главнокомандующего и у меня, интересуясь положением вопроса. Но заявления немецкой печати о производимом союзниками давлении или даже ультимативных требованиях в отношении Ставки неверны: это было бы просто ненужно, так как и Жанен и Бартер понимали обстановку и знали, что задержкой и препятствием к переходу в наступление служит только состояние армии.

Они старались ускорить и усилить техническую помощь, в то время как их более экспансивные сотрудники — лидеры социалистических партий запада Тома, Гендерсон и Вандервельде — безнадежно пытались горячим словом зажечь искру патриотизма среди представителей русской революционной демократии и войск.

Наконец, Ставка учитывала еще одно обстоятельство: в пассивном состоянии, лишенная импульса и побудительных причин к боевой работе, русская армия несомненно и быстро догнила бы окончательно, в то время как наступление, сопровождаемое удачей, могло бы поднять и оздоровить настроения если не взрывом патриотизма, то пьянящим, увлекающим чувством большой победы. Это чувство могло разрушить все интернациональные догмы, посеянные врагом на благодарной почве пораженческих настроений социалистических партий. Победа давала мир внешний и некоторую возможность внутреннего. Поражение открывало перед государством бездонную пропасть. Риск был неизбежен и оправдывался целью спасения Родины.

Верховный главнокомандующий, я и генерал-квартирмейстер (Юзефович) совершенно единомышленно считали *наступление* необходимым. Старший командный состав

принципиально разделял этот взгляд. Колебания, и притом довольно большие, на разных фронтах были лишь в определении степени боеспособности войск и их готовности.

Я убежденно утверждаю, что *одно это решение*, даже независимо от приведения его в исполнение, оказало союзникам несомненную пользу, удерживая силы, средства и внимание врагов на русском фронте; этот фронт, потеряв свою былую грозную мощь, все же оставался для врагов неразгаданным сфинксом.

Любопытно, что в то же самое время в главной квартире Гинденбурга разрешался тождественный вопрос. «Общее положение в апреле, мае до июня, — говорит Людендорф, — не давало возможности открыть серьезные действия на Восточном фронте». Но позже «по этому поводу в главной квартире были большие споры. Быстрое наступление на Восточном фронте с теми войсками, которые были в распоряжении главнокомандующего этого фронта, подкрепленными несколькими дивизиями с запада, — не лучше ли такое решение, чем ожидание? Это был наиболее подходящий момент, как говорили некоторые, разбить русскую армию, когда боевая ценность ее уменьшилась. Я не согласился, невзирая на улучшение положения на западе. Я не хотел делать ничего, что, казалось, могло разрушить реальную возможность мира».

Конечно — мира сепаратного. Какого — мы узнали позднее, после Брест-Литовска.

Армиям отдана была директива о наступлении. Общая идея его сводилась к прорыву неприятельских позиций на подготовленных участках всех европейских фронтов, к широкому наступлению большими силами Юго-западного фронта в общем направлении от Каменец-Подольска на Львов и далее к линии Вислы, в то время как ударная группа Западного фронта должна была наступать от Молодечно на Вильно и к Неману, отбрасывая к северу немецкие армии Эйхгорна. Северный и Румынский фронты содействовали частными ударами, отвлекая на себя силы противника.

Время для наступления было назначено предположительно, в широких пределах. Но дни шли, а войска, ранее управлявшиеся приказами и безропотно выполнявшие самые тяжелые задачи, — те самые войска, которые своею грудью, без

патронов, без снарядов сдерживали некогда стихийное наступление австро-германских масс, — теперь стояли с парализованной волей и помутневшим разумом. Начало наступления все откладывалось.

* * *

Между тем союзники, подготовившие к весне широкую операцию, учитывая значительное усиление врагов на Западном фронте в случае полного развала русской армии, начали в конце марта великое сражение во Франции, как было обусловлено планом кампании, *не дожидаясь* окончательного решения вопроса о нашем наступлении. Впрочем, одновременность действий не считалась союзными главными квартирами необходимым условием предстоящей операции и раньше — до потрясения русской армии. Наше наступление, в силу особенных физических и климатических условий театра войны, предусматривалось не ранее мая. Между тем генерал Жофр, согласно общему плану кампании 1917 года, выработанному 2 ноября 1916 года на конференции в Шантильи, наметил началом наступления англо-французских армий конец января и первые числа февраля; сменивший его генерал Нивелль после конференции 14 февраля 1917 года в Кале перенес начало наступления на конец марта.

27 марта начались атаки англичан у Арраса, на фронте протяженностью около 20 верст. Подготовленный небывалой силы артиллерийским огнем[1] прорыв немецких позиций принял угрожающие для немцев размеры. С обеих сторон были введены огромные силы. Сражение, то замирая, то вновь вспыхивая, длилось весь апрель. Англичане проникли в глубь неприятельских позиций верст на 6, заняв линию Ленс-Фонтэн, так называемый хребет Вими, представлявший весьма важный и сильно укрепленный рубеж.

Сражение это потребовало от немцев огромного напряжения и больших потерь, поглотило их резервы и запасы. А в то же время (2 апреля) на широком фронте Суассон—Реймс—Оберив началась большая операция французов, ознаменовавшаяся вначале также большим успехом и вызвавшая оставление немцами, понесшими громадные потери, своих сильных позиций.

[1] 3 тысячи немецких орудий были противопоставлены 4 тысячам английских, выпустивших в первые семь дней атаки 9—10 миллионов снарядов.

Этот комбинированный удар, направленный концентрически от Арраса на Дуэ и от Реймса на Шарлевиль, обещал решительные результаты. Битва народов, которая должна была решать судьбы их, протекала с огромными жертвами, нося поистине истребительный характер. Но вскоре в темпе грандиозной борьбы наступило какое-то замедление и равновесие. Введение в дело всех немецких резервов, их систематические и упорные контратаки приостановили движение союзников. Его не оживили ни начавшееся удачно 2 мая итальянское наступление на Изонцо, ни успешные атаки англичан в конце мая в Бельгии.

На разных участках Западного фронта еще шли кровавые бои, но уже не оставалось никакого сомнения, что решительная весенняя операция союзников, на которую возлагалось столько надежд и от которой ожидали конца страданиям народов, окончена, не оправдав ожиданий.

Обе стороны сочли себя победительницами и обе были обескровлены.

Стратегическое положение не изменилось. Большой тактический успех союзников несомненен. Немцы понесли весьма тяжкие потери: за период с 1 апреля по середину июня общие потери их составили свыше 250 тысяч человек, в том числе пленными 64 500. Англо-французам досталось 509 орудий, 1318 пулеметов и много другой военной добычи. Моральное состояние немцев пало еще более от сознания явного превосходства техники союзников. Из-за истощения немецких запасов и резервов к англо-французам перешла инициатива на всем европейском фронте войны. Таковы были блестящие, но далеко не решительные результаты весеннего наступления.

К концу апреля официозная пресса союзников, вдохновленная главными штабами, предостерегала уже народ от увлечений, иллюзий и надежд на скорую победу и приглашала ждать терпеливо прибытия свежих британских и американских сил. В то же время в англо-французской печати

начали подниматься нетерпеливые голоса в пользу скорейшего наступления русской армии.

Несогласованность операций Западного и Восточного европейских фронтов давала свои горькие плоды. Трудно решить, могли ли союзники отсрочить свое весеннее наступление на два месяца, и насколько выгода комбинированной с русским фронтом операции компенсировала бы предоставление Германии лишнего времени для усиления, устройства сил и пополнения запасов. Одно несомненно, что отсутствие этой связи во времени доставило немцам огромное облегчение. «Я враг бесполезных соображений, — говорит Людендорф, — но я не могу отказаться думать, что было бы, если бы Россия наступала в апреле и мае и одержала ряд небольших успехов. Нам предстояла бы тогда, как и осенью 1916 года, очень тяжелая борьба. Наши боевые припасы уменьшились бы в угрожающей степени. По зрелом размышлении, если перенести на апрель-май даже те успехи, которые были одержаны русскими в июне, я не вижу, каким образом высшее командование могло бы остаться хозяином положения. В апреле и мае 1917 года, несмотря на нашу победу(?) на Эне и в Шампани, нас спасла только русская революция».

* * *

Помимо общего наступления на австро-германском фронте, в апреле возник еще один не лишенный интереса вопрос — самостоятельная операция по овладению Константинополем. Министр иностранных дел Милюков, вдохновленный молодыми пылкими моряками, вел многократно переговоры с генералом Алексеевым, убеждая его предпринять эту операцию, которая, по его мнению, могла увенчаться успехом и поставить протестующую против аннексий революционную демократию перед свершившимся фактом.

Ставка отнеслась совершенно отрицательно к этой затее, так не соответствовавшей состоянию наших войск. Десантная операция — чрезвычайно деликатная сама по себе — требовала большой дисциплины, подготовки, порядка, а главное — высокого сознания долга десантными войсковыми частями, которые временно становились совершенно оторванными от всякой связи со своей армией. Море в тылу — это обстоятельство угнетающе действует и на сильные духом части. Таких элементов в русской армии уже не было.

Просьбы министра становились, однако, так настойчивы, что генерал Алексеев счел себя вынужденным дать ему показательный урок: предложена была экспедиция в небольших размерах к малоазиатскому берегу Турции, кажется, в Зунгулдак. Операция эта, не имевшая особенно серьезного значения, потребовала сформирования отряда в составе полка пехоты, броневого дивизиона и небольшой конной части и возложена была на Румынский фронт. Прошло некоторое время, и сконфуженный штаб фронта ответил, что сформировать отряд не удалось, так как войска... не желают идти в десант.

Этот эпизод, вызванный прямолинейно понятой идеей «без аннексий», извращавшей все начала стратегии, а может быть, и просто шкурничеством, служил еще одним плохим предзнаменованием для предстоящего общего наступления.

Оно, между тем, готовилось в муках и страданиях. Русский заржавевший, зазубренный меч все еще раскачивался, и только неизвестно было, когда он раскачается окончательно и по чьим головам ударит.

ГЛАВА XVIII
ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ: ГЕНЕРАЛИТЕТ И ИЗГНАНИЕ СТАРШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА

Одновременно с подготовкой к наступлению в армии шли реформы и так называемая «демократизация». На всех этих явлениях необходимо остановиться теперь же, так как они предрешили и исход летнего наступления, и конечные судьбы армии.

Военные реформы начались с увольнения огромного числа командующих генералов — операция, получившая в военной среде трагишутливое название «избиения младенцев». Началось с разговора военного министра Гучкова и дежурного генерала Ставки Кондзеровского. По желанию Гучкова, Кондзеровский, на основании имевшегося материала, составил список старших начальников с краткими аттеста-

ционными отметками. Этот список, дополненный потом многими графами различными лицами, пользовавшимися доверием Гучкова, и послужил основанием для «избиения». В течение нескольких недель было уволено в резерв *до полутораста старших начальников, в том числе 70 начальников пехотных и кавалерийских дивизий.*

Гучков приводит такие мотивы этого мероприятия[1]:

«В военном ведомстве давно свили себе гнездо злые силы — протекционизм и угодничество. С трибуны Государственной Думы я еще задолго до войны указывал, что нас ждут неудачи, если мы не примем героических мер для изменения нашего командного состава. Наши опасения, к несчастью, оправдались. Когда произошла катастрофа на Карпатах, я снова сделал попытку убедить власть сделать необходимое, но вместо этого меня взяли под подозрение. Нашей очередной задачей (с началом революции) было дать дорогу талантам. Среди нашего командного состава было много честных людей, но многие из них были неспособны проникнуться новыми формами отношений, и в течение короткого времени в командном составе нашей армии было произведено столько перемен, каких не было, кажется, никогда ни в одной армии. Я сознавал, что в данном случае милосердия быть не может, и я был безжалостен по отношению к тем, которых считал неподходящими. Конечно, я мог ошибаться. Ошибок, может быть, были даже десятки, но я советовался с людьми знающими и принимал решения лишь тогда, когда чувствовал, что они совпадают с общим настроением. Во всяком случае все, что есть даровитого в командном составе, выдвинуто нами. С иерархией я не считался. Есть люди, которые начали войну полковыми командирами, а сейчас командуют армиями. Этим мы достигли не только улучшения, но и другого, не менее важного результата: провозглашение лозунга «дорогу таланту» вселило в души всех радостное чувство, заставило людей работать с порывом, вдохновенно».

Гучков был прав в том отношении, что армия наша страдала и протекционизмом, и угодничеством; что командный состав ее комплектовался не из лучших элементов и, в общем, далеко не всегда был на высоте своего положения.

---

[1] Речь на съезде делегатов фронта 29 апреля 1917 года.

«Чистка» являлась необходимой и по мотивам принципиальным, и по практическим соображениям: многое сокровенное после «свобод» стало явным, дискредитируя и лиц и символ власти. Но несомненно также, что принятый порядок оценки боевой пригодности старшего генералитета, отражавший не всегда беспристрастные мнения, заключал в себе элементы случайности и субъективности. Ошибки были несомненно. В список попали и средние начальники, не выделявшиеся ни в ту, ни в другую сторону, каких большинство во всех армиях; попали и некоторые достойные генералы.

Я должен, однако, признать, что многие из уволенных вряд ли представляли особенную ценность для армии. Среди них были имена одиозные и анекдотические, державшиеся только благодаря инертности и попустительству власти. Я помню, как потом по разным поводам генералу Алексееву вместе со мной приходилось перебирать списки старших чинов резерва, в поисках свободных генералов, могущих получить то или иное серьезное назначение или ответственное поручение. Поиски обыкновенно были очень нелегки: хорошие генералы — обиженные увольнением или потрясенные событиями — отказывались, прочие были неподходящими. В частности, когда явилась надобность послать нечто вроде военно-сенаторской ревизии на Кавказ, то из огромных списков извлекли всего две фамилии: одна принадлежала генералу, рапортовавшемуся больным, другая... была немецкой[1]. Ревизия не состоялась. Помню и такой эпизод: когда в вагоне Гучкова обсуждалось однажды замещение какой-то открывшейся вакансии, в его списках нашли имена 23 генералов — ранее не особенно двигавшихся по службе, ныне же отмеченных решительно во всех графах выдающимися.

Что же дали столь грандиозные перемены в армии? Улучшился ли действительно в серьезной степени командный состав? Думаю, что цель эта достигнута не была. На сцену появились люди новые, выдвинутые установившимся правом избирать себе помощников (не без участия прежних наших знакомых) по свойствам дружбы и новых связей. Разве рево-

---

[1] С этим обстоятельством приходилось сильно считаться, ввиду настроения солдат.

люция могла переродить или исправить людей? Разве механическая отсортировка могла вытравить из военного обихода систему, долгие годы ослаблявшую импульс к работе и самоусовершенствованию? Быть может, выдвинулось несколько единичных «талантов», но наряду с ними двинулись вверх десятки, сотни людей случая, а не знания и энергии. Эта случайность назначений усилилась впоследствии еще больше, когда Керенский отменил на все время войны как все существовавшие ранее цензы, так и соответствие чина должности при назначениях (июнь), в том числе, конечно, и ценз знания и опыта.

Передо мною лежит список старших чинов русской армии к середине мая 1917 года, то есть как раз к тому времени, когда гучковская «чистка» была окончена. В него внесены Верховный главнокомандующий, главнокомандующие фронтами, командующие армиями и флотами и их начальники штабов. Всего 45 лиц[1]. Мозг, душа и воля армии! Трудно оценивать их боевые способности соответственно их последним должностям, ибо стратегия и вообще военная наука в 1917 году потеряла в значительной степени свое применение, став в подчиненную рабскую зависимость от солдатской стихии. Но мне прекрасно известна деятельность этих лиц по борьбе с «демократизацией», то есть развалом армии. Вот численное соотношение трех различных группировок:

Группировки / Командный состав	ОППОРТУНИСТЫ		Боровшиеся против демократизации	ВСЕГО
	Поощрявшие демократизацию	Не боровшиеся против демократизации		
Верховный главноком. Команд. арм. Ком. флот.	9	5	7	
Начальники штабов	6	6	7	
ВСЕГО	15	11	14	40

[1] Пяти не знаю, поэтому исключил их вовсе.

Из них впоследствии, с 1918 года, участвовало или не участвовало в борьбе:

Группировки / Командный состав	ОППОРТУНИСТЫ		Боровшиеся против демократизации	ВСЕГО
	Поощрявшие демократизацию	Не боровшиеся против демократизации		
В антибольшев. организац.	2	7	10	19
У большевиков	6	—	1	7
Отошли в сторону	7	4	3	14

Таковы результаты реформы наверху военной иерархии, где люди находились на виду, где деятельность их привлекала к себе критическое внимание не только власти, но и военной и общественной среды. Думаю, что не лучше обстояло дело на низших ступенях иерархии.

Но если вопрос о *справедливости* мероприятия может считаться спорным, то лично для меня не возникает никакого сомнения в крайней *нецелесообразности* его. Массовое увольнение начальников окончательно подорвало веру в командный состав и дало внешнее оправдание комитетскому и солдатскому произволу и насилию над отдельными представителями командования. Необычайные перетасовки и перемещения оторвали большое количество лиц от своих частей, где они, быть может, пользовались, благодаря приобретенным боевым заслугам, уважением и влиянием; переносили их в новую, незнакомую среду, где для приобретения этого влияния требовалось и время, и трудная работа в обстановке, в корне изменившейся. Если к этому прибавить продолжавшееся в пехоте формирование третьих дивизий, вызвавшее в свою очередь очень большую перетасовку командного состава, то станет понятным тот хаос, который воцарился в армии.

Такой хрупкий аппарат, каким была армия в дни войны и революции, мог держаться только по инерции и не допускал никаких новых потрясений. Допустимо было только

изъять безусловно вредный элемент, в корне изменить систему назначений, открыв дорогу достойным, и предоставить затем вопрос естественному его течению, во всяком случае — без излишнего подчеркивания и не делая его программным.

Кроме удаленных этим путем начальников, ушло добровольно несколько генералов, не сумевших примириться с новым режимом, в том числе Лечицкий и Мищенко, и много командиров, изгнанных в революционном порядке прямым или косвенным воздействием комитетов или солдатской массы. К числу последних принадлежал и адмирал Колчак.

Перемены шли и в дальнейшем, исходя из различных, иногда прямо противоположных взглядов на систему ведения армии, нося поэтому необыкновенно сумбурный характер и *не допуская отслоения определенного типа командного состава.*

Алексеев уволил главнокомандующего Рузского и командующего армией Радко-Дмитриева за слабость военной власти и оппортунизм. Он съездил на Северный фронт и, вынеся отрицательное впечатление о деятельности Рузского и Радко-Дмитриева, деликатно поставил вопрос об их «переутомлении». Так эти отставки и были восприняты тогда обществом и армией. По таким же мотивам Брусилов уволил Юденича.

Я уволил командующего армией Квецинского за подчинение его воле и власти дезорганизующей деятельности комитетов в процессе «демократизации» армии.

Керенский уволил Верховного главнокомандующего Алексеева, главнокомандующих Гурко и Драгомирова за сильную оппозицию «демократизации» армии; по мотивам прямо противоположным уволил и Брусилова — чистейшего оппортуниста.

Брусилов уволил командующего 8-й армией генерала Каледина (впоследствии чтимого всеми Донского атамана) за то, что тот «потерял сердце» и не пошел навстречу «демократизации». И сделал это в отношении имевшего большие боевые заслуги генерала в грубой и обидной форме, сначала предложив ему другую армию, а потом возбудив вопрос об удалении. «Вся моя служба, — писал мне тогда Каледин, — дает мне право рассчитывать, чтобы со мной не обращались как с затычкой различных дыр и положений, не осведомляясь о моем взгляде».

Генерал Ванновский, смещенный с должности командира корпуса командующим армией Квецинским из-за несогласия признать приоритет армейского комитета, немедленно вслед за этим получил, по инициативе Ставки, высшее назначение — армию на Юго-западном фронте.

Генерал Корнилов, отказавшийся от должности главнокомандующего войсками Петроградского округа, «не считая возможным для себя быть невольным свидетелем и участником разрушения армии Советом рабочих и солдатских депутатов», был назначен потом главнокомандующим фронтом и Верховным главнокомандующим. Меня Керенский отстранил от должности начальника штаба Верховного главнокомандующего по несоответствию видам правительства и за явное несочувствие его мероприятиям и тотчас же допустил мое назначение на высокий пост главнокомандующего Западным фронтом.

Были и обратные явления. Генерал Алексеев долго и тщетно делал попытки сместить стоявшего во главе Балтийского флота выборного командующего адмирала Максимова, находившегося всецело в руках мятежного исполнительного комитета Балтийского флота. Необходимо было фактическое изъятие из окружающей среды этого принесшего огромный вред командующего, так как комитет его не выпускал, и Максимов на все предписания прибыть в Ставку отвечал отказом, ссылаясь на критическое положение флота. Только в начале июня Брусилову удалось избавить от него флот, ценою... назначения начальником морского штаба Верховного главнокомандующего!

И много еще можно было бы привести примеров невероятных контрастов в идейном руководстве армией, вызванных столкновением двух противоположных сил, двух мировоззрений, двух идеологий.

* * *

Я уже говорил раньше, что *весь* командующий генералитет был совершенно лоялен к Временному правительству. Сам позднее «мятежник», генерал Корнилов говорил когда-

то на собрании офицеров: «Старое рухнуло! Народ строит новое здание свободы, и задача народной армии всемерно поддержать новое правительство в его трудной, созидательной работе». Командный состав, если и интересовался вопросами общей политики и социалистическими опытами коалиционных правительств, то не более, чем все культурные русские люди, не считая ни своим правом, ни обязанностью привлекать войска к разрешению социальных проблем. Только бы сохранить армию и то направление внешней политики, которое способствовало победе. Такая связь командного элемента с правительством — сначала «по любви», потом «по расчету» — сохранилась вплоть до общего июньского наступления армии, пока еще теплилась маленькая надежда на перелом армейских настроений, так грубо разрушенная действительностью. После наступления и командный состав несколько поколебался.

Я скажу более: *весь* старший командный состав армии совершенно одинаково считал ту «демократизацию армии», которую проводило правительство, недопустимой. И если в таблице, приведенной мною выше, мы встретили 65% начальников, не оказавших достаточно сильного протеста против «демократизации» (разложения армии), то это было вызвано совершенно другими причинами: одни делали это по тактическим соображениям, считая, что армия *отравлена* и ее надо *лечить* такими рискованными противоядиями, другие — исключительно из-за карьерных побуждений. Я говорю не предположительно, а исходя из знания среды и лиц, со многими из которых вел откровенные беседы по этим вопросам. Генералы, широко образованные и с большим опытом, не могли, конечно, проводить искренне и научно такие «военные» взгляды, какие предлагали, например: Клембовский — поставить во главе фронта триумвират из главнокомандующего, комиссара и выборного солдата; Квецинский — «снабдить армейские комитеты особыми полномочиями от военного министра и Центрального комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, дающими им право действовать от имени комитета»; Вирановский — предлагавший обратить командный состав в «технических советников, передав всю власть комиссарам и комитетам!»

Керенский в своей книге рассказывает про «разгром Юго-западного фронта», который начался якобы, «как только генерал Корнилов перевел туда Деникина[1] и Маркова. Там началось генеральное уничтожение всех командующих, сочувственно относившихся к войсковым организациям». Это не вполне точно: я на Юго-западном фронте удалил *только одного* генерала Вирановского, желая в армии иметь полководцев, а не «технических советников». Этот эпизод вызвал ряд «обличительных» телеграмм правительству комиссаров Гобечио и Иорданского, грозное постановление исполнительного комитета Юго-западного фронта и, по совокупности, «явно отрицательного отношения моего к выборным войсковым организациям» (последнее вполне справедливо) — требование о моем отчислении, предъявленное Корнилову управляющим военным министерством Савинковым и верховным комиссаром Филоненко.

Как все это странно. Передо мною интересный документ, характеризующий тот сумбур, который должен был происходить в умах солдат и в войсковых организациях: письмо от 30 июня генерала Духонина, бывшего начальником штаба Юго-западного фронта, к генералу Корнилову — тогда командующему 8-й армией:

«Милостивый Государь Лавр Георгиевич! Главнокомандующий по долгу службы приказал сообщить Вам нижеследующие сведения о деятельности командира 2-го гвардейского корпуса генерала Вирановского и штаба этого корпуса, *полученные от войсковых организаций* и относящиеся к двадцатым числам июня сего года.

В корпусе создалось настроение против наступления. Генерал В., будучи сам противником наступления, заявил дивизионным комитетам, что он ни в каком случае не поведет гвардию на убой. Ведя собеседование с дивизионными комитетами, генерал В. разъяснял все невыгоды и трудности наступления, выпавшие на долю корпуса, и указывал на то, что ни справа, ни слева, ни сзади никто не поддержит корпус. Чины штаба корпуса вообще удивлялись, как главноко-

[1] Я был назначен главнокомандующим Юго-западным фронтом в конце июля.

мандующий мог давать такие задачи, неразрешимость которых ясна даже солдатам-делегатам. Штаб корпуса был занят не тем, чтобы изыскать способы выполнить поставленную корпусу трудную задачу, а старался доказать, что эта задача невыполнима».

Бедная революционная демократия! Как трудно ей было разбираться в истинной сущности военных вопросов, за разрешение которых она взялась, и отличить «врагов» от «друзей».

Позднее к тем рубрикам, которые приведены в моей таблице, прибавилась еще одна графа — чистых демагогов, как, например, Черемисов[1], Верховский[2], Вердеревский[3], Егорьев[4], Сытин[5], Бонч-Бруевич[6] и другие; первые три из них успели выйти за короткое время на верх иерархической лестницы в период заката Временного правительства, прочие — нет. Но все они, за исключением Вердеревского, как и следовало ожидать, заняли угодные им крупные посты в большевистском командовании.

Насколько лоялен был высший командный состав, можно судить по следующему факту: в конце апреля генерал Алексеев, отчаявшись в возможности самому лично остановить правительственные мероприятия, ведущие к разложению армии, перед объявлением знаменитой декларации прав солдата, послал главнокомандующим шифрованный проект жесткого и резкого коллективного обращения армии к правительству. Обращение указывало на ту пропасть, в которую толкают армию. В случае одобрения проекта обращения, его должны были подписать все старшие чины до начальников дивизий включительно.

Фронты, однако, по разным причинам отнеслись отрицательно к этому способу воздействия на правительство. А временный главнокомандующий Румынским фронтом генерал Рогоза — позднее украинский военный министр у гетмана — ответил, что, видимо, русскому народу Господь Бог судил погибнуть, и потому не стоит бороться против судьбы, а, осенив себя крестным знамением, терпеливо ожидать ее решения! Это буквальный смысл его телеграммы.

[1] Главнокомандующий Северным фронтом.
[2] Военный министр.
[3] Морской министр.
[4] Начальник дивизии.
[5] Начальник дивизии.
[6] Генерал для поручений на Северном фронте и в Ставке.

Таковы были настроения и неустроения в верхах армии.

Что касается категории начальников, неуклонно боровшихся против развала армии, то многие из них, независимо от большей или меньшей веры в успех своей работы, независимо от ударов судьбы, шаг за шагом разрушавшей надежды и иллюзии, независимо даже от предвидения некоторыми того темного будущего, которое уже давало знать о своем приближении тлетворным дыханием разложения, — они шли по тернистому пути, против течения, считая, что это их долг перед своим народом. Шли с поднятой головой, встречая непонимание, клевету и дикую ненависть, пока хватало сил и жизни.

ГЛАВА XIX
«ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ АРМИИ»: УПРАВЛЕНИЕ, СЛУЖБА И БЫТ

Для проведения «демократизации армии» и вообще реформ в военном ведомстве, «соответствующих новому строю», Гучковым была учреждена комиссия, под председательством бывшего военного министра Поливанова[1]. В состав ее вошли представители от военной комиссии Государственной Думы и от Совета рабочих и солдатских депутатов. В морском ведомстве работала подобная же комиссия под председательством видного деятеля Государственной Думы Савича. Мне более известна работа первой, потому я и остановлюсь на ней. Законопроекты, выработанные в поливановской комиссии, предварительно, до их утверждения, шли на одобрение военной секции Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, имевшей большой вес

[1] Умер в Риге в 1920 году, где состоял экспертом советского правительства в делегации по заключению мира с Польшей.

и часто даже занимавшейся самостоятельным военным законотворчеством.

Ни один будущий историк русской армии не сможет пройти мимо поливановской комиссии — этого рокового учреждения, печать которого лежит решительно на всех мероприятиях, погубивших армию. С невероятным цинизмом, граничившим с изменой Родине, это учреждение, в состав которого входило много генералов и офицеров, назначенных военным министром, шаг за шагом, день за днем проводило тлетворные идеи и разрушало разумные устои военного строя. Зачастую задолго до утверждения делались достоянием печати и солдатской среды такие законопроекты, которые в глазах правительства являлись чрезмерно демагогическими и не получали впоследствии осуществления; они, однако, прививались в армии и вызывали затем давление на правительство снизу. Военные члены комиссии как будто соперничали друг с другом в раболепном угождении новым повелителям, давая обоснование и оправдание своим авторитетом их разрушающим идеям. Лица, присутствовавшие в комиссии в качестве докладчиков, передавали мне, что на ее заседаниях можно было услышать иногда протестующий голос гражданских лиц, предостерегающий от увлечений, но военные не спорили почти никогда.

Я затрудняюсь понять психологию этих людей, которые так быстро и так всецело подпали под влияние и власть толпы. Из списка военных членов комиссии, составленного к 1 мая, видно, что большинство из них — представители штабов и учреждений, по преимуществу петроградских (25), и только 9 от армии, и то, по-видимому, не все они строевые чины. Петроград имел свою психологию, отличную от армейской.

Важнейшие и наиболее тяжело отразившиеся на армии демократические законы касались организации комитетов, дисциплинарного воздействия, военно-судебных реформ[1] и, наконец, пресловутой декларации прав солдата.

---

[1] Важнейшие из реформ военно-судебного и военно-уголовного характера проводились в особой комиссии под сильным влиянием начальника главного военно-судного управления генерала Апушкина.

Дисциплинарная власть начальников упразднена была вовсе. Ее восприняли дисциплинарные ротные и полковые суды. Они же должны были разрешать «недоразумения», возникавшие между солдатами и начальниками.

О значении лишения дисциплинарной власти начальника говорить много не приходится: этим актом вносилась полная анархия во внутреннюю жизнь войсковых частей и законом дискредитировался начальник. Последнее обстоятельство имеет первостепенное значение. И революционная демократия использовала этот прием во всех, даже самых мелких актах своего правотворчества.

Судебные реформы имели своей конечной целью ослабление влияния в процессе назначаемых военных судей, введение института присяжных и общее значительное ослабление судебной репрессии.

Были упразднены военно-полевые суды, каравшие быстро и на месте за ряд очевидных и тяжких воинских преступлений, как-то измена, бегство с поля сражения и т.д.

Отменили заочное разбирательство дел о побеге к неприятелю воинских чинов и добровольной сдаче в плен, чем была возложена на правительственные и общественные органы забота о материальном положении семей заведомых изменников наравне с действительными защитниками родины.

По проекту присяжного поверенного Грузенберга военно-окружный суд должен был иметь состав: одного председателя-юриста и шесть[1] выборных членов (3 офицера и 3 солдата), причем эта коллегия не только решала вопрос о виновности подсудимого (без председателя), но и вопрос о наказании, идя, таким образом, по пути расширения прав присяжных значительно дальше гражданского судопроизводства.

Характерно, что Главное военно-судное управление задолго до переформирования судов, минуя Ставку, предписало армиям, «ввиду предстоящей демократизации судов», приостановить разбор дел. Таким образом, около $1^1/_2$ месяцев военные суды не действовали вовсе.

---

[1] В мирное время — 8.

Будучи убежденным сторонником института присяжных для общего гражданского суда и общегражданских преступлений, я считаю его совершенно недопустимым в области целого ряда чисто воинских преступлений, и в особенности в области нарушения военной дисциплины. Война — явление слишком суровое, слишком беспощадное, чтобы можно было регулировать его мерами столь гуманными. Психология подчиненного резко расходится в этом отношении с психологией начальника, редко поднимаясь до ясного понимания государственной необходимости. Как мог состав присяжных, вышедших из той же среды, что и комитеты, не разделить их шаткого и переменчивого мышления в области политики и в особенности военной дисциплины? Если организованная и крепкая армия может управляться только единой волей вождя, а не желанием «большинства», олицетворяемого выборными коллективными органами, то и жизнь и воля ее должны регулироваться твердым и ясным законом, не подверженным воздействию психологических и политических колебаний момента. Верховная власть может прекратить войну, изменить закон, изгнать вождей и распустить войска. Но пока существует армия и ведется война, закон и начальник должны обладать всей силой пресечения и принуждения, направляющей массу к осуществлению целей войны.

«Демократизация» военного суда могла бы иметь некоторое оправдание разве только в том, что, подорвав доверие к офицерству вообще, она создала бы и судебные органы смешанного, выборного состава, то есть теоретически заслуживающего большего доверия революционной демократии.

Но и эта цель достигнута не была. Ибо военный суд — один из устоев порядка в армии — попал всецело во власть толпы. Органы сыска были разгромлены революционной демократией. Следственное производство встречало непреодолимые препятствия со стороны вооруженных людей, а иногда и войсковых революционных учреждений. Вооруженная толпа, заключавшая в себе зачастую много преступных элементов, всей своей необузданной темной силой давила на судейскую совесть, предрешая судебные приговоры. Разгромы корпусных судов, спасение бегством присяжных заседателей, позволивших себе вынести неугодный толпе приговор, или расправа с ними стали явлениями заурядными. В Киеве слушалось дело известного большевика штабс-капитана гвардейского гренадерского полка Дзевалтовского[1], обвинявшегося совместно с 78-ю сообщниками в отказе принять участие в наступлении и в увлечении своего полка и других частей в тыл. Процесс происходил в следующей обстановке: в самом зале заседания присутствовала толпа вооруженных солдат, выражавшая громкими криками свое одобрение подсудимым; Дзевалтовский по дороге из гауптвахты в суд заходил вместе с конвоирами в местный Совет солдатских и рабочих депутатов, где ему была устроена овация; наконец, во время совещания присяжных перед зданием суда выстроились вооруженные запасные батальоны с оркестром, распевавшим «Интернационал». Дзевалтовский и все его соучастники были, конечно, оправданы.

Таким образом, военный суд мало-помалу был упразднен.

Было бы ошибочно, однако, приписывать новое направление в области юридического творчества исключительно давлению Советов. Оно находило оправдание и в образе мыслей Керенского, который говорил: «Я думаю, что насилием и механическим принуждением в настоящих условиях войны, где действуют огромные массы, добиться ничего невозможно. Временное правительство за три месяца работы убедилось в необходимости обращения к разуму, совести и долгу граждан и в том, что этим можно достигнуть желательных результатов»[2].

В самом начале революции указом от 12 марта Временное правительство отменило смертную казнь. Либеральная печать встретила этот акт рядом патетических статей, выражавших мысли весьма гуманные, но лишенные понимания обстановки, в которой живет армия, и всякого предвидения. Русский аболиционист Набоков, управляющий делами Временного правительства, писал по этому поводу: «Отрадное событие, признак истинного великодушия и проницательной мудрости. Смертная казнь отменена безусловно и навсегда. Наверное, ни в одной стране нравственный протест про-

[1] В 1921 году был советским послом в Китае.

[2] Речь 20 мая в Ставке.

тив этого худшего вида убийства не достигал такой потрясающей силы, как у нас. Россия присоединилась к государствам, не знающим более стыда и позора судебных убийств»[1].

Интересно, что министерство юстиции представило все же на утверждение власти два проекта, причем в одном из них смертная казнь оставлялась как кара за тягчайшие воинские преступления (шпионство и измена); однако *военно-судебное* ведомство, возглавлявшееся генералом Апушкиным, категорически высказалось за полную отмену смертной казни.

Но настали июльские дни. Россию, привыкшую уже к анархическим вспышкам, все же поразил тот ужас, который повис на полях битвы в Галиции, у Калуша и Тарнополя. Как хлыстом ударили по «революционной совести» телеграммы правительственных комиссаров Савинкова и Филоненко, а также и генерала Корнилова, потребовавших немедленного восстановления смертной казни. «Армия обезумевших темных людей, — писал Корнилов 11 июля, — не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые нельзя даже назвать полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Меры правительственной кротости расшатали дисциплину, они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых масс. Эта стихия проявляется в насилиях, грабежах и убийствах. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценой гибели немногих изменников, предателей и трусов».

12 июля правительство восстановило смертную казнь и военно-революционные суды, заменившие собой прежние военно-полевые. Разница заключалась в том, что состав новых судов — выборный (3 офицера и 3 солдата) из списка присяжных или из состава войсковых комитетов. Впрочем, вызванная давлением на правительство командования, комиссаров, комитетов, мера эта (восстановление смертной казни) заранее была обречена на неудачу: Керенский впоследствии на «Демократическом совещании» оправдывался

---

[1] «Речь» от 18 марта 1917 года.

перед демократией: «Подождите, чтобы хоть один смертный приговор был подписан мною, и тогда я позволю вам проклинать меня». С другой стороны, состав судов и приведенные выше условия их деятельности также не могли способствовать проведению ее в жизнь: почти не находилось ни судей, способных вынести смертный приговор, ни комиссаров, желающих утвердить его. По крайней мере, на моих фронтах подобных случаев не было. Наряду с этим через два месяца деятельности военно-революционных судов в военно-судном управлении накопилась богатая литература как от военных начальников, так и от комиссаров, установивших «вопиющие нарушения норм судопроизводства, неопытность и невежество судей»[1].

К числу карательных мер, проводившихся в порядке верховного управления или командования, относится расформирование мятежных полков. Недостаточно продуманная мера эта вызвала совершенно неожиданные последствия: провокацию мятежа именно с целью расформирования. Ибо моральные принципы — честь, достоинство полка — давно уже обратились в смешные предрассудки. А реальные выгоды расформирования для солдат были несомненны: полк уводился надолго из боевой линии, месяцами расформировывался, состав его много времени развозился по новым частям, которые таким путем засорялись элементом бродячим и преступным. Всей тяжестью своей это мероприятие, в котором наряду с военным министерством и комиссарами виновна и Ставка, в конце концов ложилось опять-таки на неповинный офицерский состав, терявший свой полк-семью, свои должности и принужденный скитаться по новым местам или переходить на бедственное положение резерва.

Кроме полученного таким путем отрицательного элемента, войсковые части пополнялись и непосредственно обитателями уголовных тюрем и каторги после широкой амнистии, объявленной правительством преступникам, которые должны были искупать свой грех в рядах действующей армии. Эта мера, против которой я безнадежно боролся, дала нам и отдельный полк арестантов — подарок Москвы, и

---

[1] Комиссариат Юго-западного фронта.

прочные анархистские кадры в запасные батальоны. Наивная и неискренняя аргументация законодателя, что преступления были совершены из-за условий царского режима и что свободная страна сделает бывших преступников самоотверженными бойцами, не оправдалась. В тех гарнизонах, где почему-либо более густо сконцентрировались амнистированные уголовники — они стали грозой населения, еще не повидав фронта. Так, в июне в томских войсковых частях шла широкая пропаганда массового грабежа и уничтожения всех властей; из солдат составлялись огромные шайки вооруженных грабителей которые наводили ужас на население. Комиссар, начальник гарнизона совместно со всеми местными революционными организациями предприняли поход против грабителей и после боя изъяли из состава гарнизона ни более ни менее, как 2300 амнистированных уголовников.

Преобразования должны были коснуться всего высшего управления армией и флотом, но поливановская и савичевская комиссии провести их не успели, будучи распущены Керенским, сознавшим, наконец, весь вред, ими принесенный. Комиссии успели лишь подготовить демократизацию высших учреждений Военного и Морского советов путем введения в них выборных солдат. Это обстоятельство имеет тем более курьезный характер, что по мысли законодателя эти советы должны были состоять из людей, богатых знанием и опытом и способных разрешать вопросы организации, службы, быта, военно-морского законодательства и финансовых смет Вооруженных сил России. Такое влечение некультурной части демократии к чуждым ей сферам деятельности имело и дальнейшее широкое развитие. Так, например, многими военными училищами правили до известной степени комитеты из училищной прислуги, в большинстве даже неграмотной, а в дни большевизма в состав советов в университетах входили не только профессора и студенты, но и сторожа.

Я не буду останавливаться на мелких работах комиссии по реорганизации армии и изменению уставов и перейду к наиболее крупным из них — комитетам и «Декларации прав солдата».

ГЛАВА XX

«ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ АРМИИ»: КОМИТЕТЫ

Важнейшим фактором демократизации явились выборные коллегиальные учреждения — от военной секции Совета рабочих и солдатских депутатов и до *комитетов и советов* разного наименования в воинских частях и управлениях армии, флота и тыла; войсковых учреждений смешанного типа (офицерско-солдатских), чисто солдатских и солдатско-рабочих.

Комитеты и советы возникали везде как одна из общеизвестных форм революционной организации, выработанная до революции и санкционированная в начале ее приказом №1. В Петрограде выборы от войск в Совет рабочих депутатов назначены были на 27 февраля, а первые войсковые комитеты появились 1 марта согласно известному приказу №1. В Москве избрание солдат в местный совет рабочих депутатов произошло в первые же дни революции и 3 марта было подтверждено приказом «зауряд-командующего» войсками округа подполковника Грузинова. К апрелю и в армии и в тылу почти повсюду действовали уже самочинные комитеты и советы разного наименования, состава и круга деятельности, вносившие невероятный сумбур в стройную систему военной иерархии и организации.

В первый месяц революции правительство и военная власть не принимали никаких мер ни к ликвидации, ни к введению в известные рамки этого опасного явления. Недооценивая вначале его возможные последствия, рассчитывая на сдерживающее влияние в новых организациях офицерского элемента, пользуясь иногда комитетами для сглаживания острых вспышек в солдатской среде, как пользуется врач малыми дозами яда, вводимыми в больной человеческий организм, правительство и командование отнеслись к возникновению этих военных организаций с колебанием, нерешительностью, но вместе с тем и с полупризнанием. Гучков в Яссах 9 апреля говорил военным делегатам: «Скоро состоится съезд делегатов от всех организаций армии, тогда будет выработан и общий нормальный устав. Пока же *организуйтесь*

как умеете, пользуйтесь существующими организациями и работайте над общим единением».

В Минске на торжественном открытии съезда военных и рабочих депутатов Западного фронта 7 апреля присутствовали и выступали с речами как председатель Исполнительного комитета Государственной Думы Родзянко, так и председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Чхеидзе и главнокомандующий Западным фронтом генерал Гурко. Что касается Совета рабочих и солдатских депутатов, то он в самой категорической форме требовал введения в армии солдатских организаций, считая их главным показателем демократизации.

К апрелю положение настолько запуталось, что власть не могла долее отстранять от себя решение вопроса о комитетах. В конце марта в Ставке состоялось совещание, в котором приняли участие Верховный главнокомандующий, министр Гучков, его помощники и чины штаба. Участвовал и я как будущий начальник штаба Верховного главнокомандующего. Совещанию предложен был готовый проект закона, привезенный из Севастополя полковником генерального штаба Верховским[1], составленный на основании положения, уже действовавшего в Черноморском флоте.

Диспут свелся к борьбе двух крайних мнений, представленных мною и Верховским.

Верховский тогда уже начал свою слегка демагогическую деятельность, на первых порах снискавшую ему расположение в солдатско-матросской среде. За ним был опыт, хотя и кратковременный, организации этой среды, доказательность приведением множества бытовых примеров (не знаю, из жизни или из области фантазии), эластичность убеждений и импонирующее красноречие. Он идеализировал комитеты, доказывал их большую пользу и необходимость, даже государственность, как начала, регулирующего бесформенное стихийное солдатское движение, горячо отстаивал расширение круга ведения и прав комитетов.

Я указал, что введение комитетов — мера, которую не в состоянии будет переварить армейский организм, что оно равносильно разрушению армии. И если власть не в силах

[1] Будущий военный министр.

побороть это явление, то необходимо ослабить его опасные последствия. Средствами для этого я считал ограничение деятельности комитетов хозяйственными функциями, усиление в составе их офицерского элемента и приостановку развития организации вверх, чтобы не создавать объединения и возглавления ее в крупных войсковых соединениях, какими являлись дивизии, армии и фронты. К сожалению, мне удалось отстоять свои положения лишь в самой незначительной степени, и 30 марта вышел приказ Верховного главнокомандующего №51 «О переходе к новым формам жизни», призывавший «офицеров, солдат и матросов к дружной, от сердца, совместной работе в деле водворения в войсковых частях строгого порядка и прочной дисциплины».

Общие начала «положения» заключались в следующем:

1) *основные задачи* всей организации: а) усиление боевой мощи армии и флота, дабы довести войну до победного конца; б) выработка новых форм жизни воина-гражданина свободной России; в) содействие просвещению среди состава армии и флота.

2) *форма организации:* постоянные органы — *комитеты* ротные, полковые, дивизионные и армейские; временные органы — *съезды* корпусные, фронтовые и центральный при Ставке; последний выделяет *постоянный совет*[1].

3) *Съезды* созываются соответствующими начальниками или же по инициативе армейских комитетов. *Все постановления* съездов и комитетов до их опубликования утверждаются соответственными начальниками.

4) *Круг ведения* комитетов ограничивается вопросами поддержания порядка и боеспособности (дисциплина, борьба с дезертирством и т.д.), внутреннего быта (увольнения в отпуск, взаимоотношения и т.д.), хозяйственными (контроль над довольствием и снабжением) и просветительными.

5) *Вопросы боевой подготовки* и обучения части безусловно никакому обсуждению не подлежат.

6) *Состав комитетов* определялся пропорцией выборных представителей — один офицер на двух солдат.

[1] Таким образом, приказ в смысле возглавления пошел даже далее требований, шедших тогда снизу.

Для характеристики падения дисциплины в верхах я должен упомянуть о распоряжении генерала Брусилова, отданном тотчас по получении «положения», очевидно, под влиянием войсковых организаций: из ротных комитетов этим распоряжением офицеры исключались вовсе, а в высших комитетах пропорция офицеров уменьшалась до $^1/_3$ и даже $^1/_6$.

Но прошло всего две недели, и военное министерство, не считаясь со Ставкой, опубликовало свое, новое положение, составленное в знаменитой Поливановской комиссии при участии представителей Совета рабочих и солдатских депутатов[1]. Это новое «положение» вводило существенные поправки: офицерский состав комитетов уменьшен; дивизионные комитеты изъяты[2]; в число задач комитетов вошло «принятие законных мер против злоупотреблений и превышений власти должностных лиц своей части». Если ротному комитету воспрещалось «касаться боевой подготовки и боевых сторон деятельности части», то такой оговорки относительно полковых комитетов уже не было; при этом командир полка мог обжаловать, но не имел права приостановить постановление комитета. Наконец, на комитеты возлагалась обязанность входить в отношения с политическими партиями без всякого ограничения, посылать в части депутатов, ораторов и литературу для разъяснения программ перед выборами в Учредительное собрание.

Этот акт, санкционировавший превращение армии во время тяжкой войны в арену для политической борьбы и лишавший начальника права быть хозяином своей части, явился одним из главных этапов по пути разрушения армии. Интересно сопоставить взгляд по этому вопросу об армии анархиста Махно, выраженный в приказе одного из его «командующих войсками» Володина от 10 ноября 1919 года:

«Ввиду того что всякая партийная агитация в данный боевой момент вносит сильную разруху в чисто боевую работу Повстанческой армии, категорически объявляю всему населению, что всякая партийная агитация до окончательной победы над белыми мною совершенно воспрещена».

---

[1] Председатель секции — генерал Апушкин.

[2] Фактически сохранились и дивизионные и корпусные.

Через несколько дней из-за протеста Ставки военное министерство приказало немедленно «приостановить введение в жизнь приказа в части, касающейся комитетов. Там, где таковые уже организованы, *можно их оставить*, чтобы не вносить путаницу и дезорганизацию». Министерство признало необходимым переработать главу о комитетах на основаниях приказа Верховного главнокомандующего, «более отвечающего нуждам войск».

Таким образом, армия к середине апреля имела многочисленные системы войсковой организации: свои нелегальные, созданные до апреля, установленную Ставкой и вводимую министерством[1]. Эти противоречия, перемены, перевыборы могли бы поставить части в большое затруднение, если бы комитеты сами не упростили вопроса: они отбросили все

---

[1] Вот перечень общих армейских организаций при штабе одной из армий Северного фронта, не считая множества местных — в каждой отдельной части, управлении и команде.

1. Армейский комитет (основной).
2. Отдел офицерского союза.
3. Исполнительный комитет военных врачей.
4. Исполнительный комитет ветеринарных врачей.
5. Исполнительный комитет сестер милосердия.
6. Исполнительный комитет военно-медицинских фельдшеров.
7. Исполнительный комитет военно-ветеринарных фельдшеров.
8. Исполнительный комитет солдат-литовцев.
9. Исполнительный комитет солдат-поляков.
10. Исполнительный комитет украинцев.
11. Исполнительный комитет мусульман.
12. Исполнительный комитет эстонцев.
13. Исполнительный комитет грузин.
14. Исполнительный комитет военных чиновников.
15. Исполнительный комитет чинов интендантства.
16. Исполнительный комитет чинов автотехнической службы.
17. Исполнительный комитет зауряд-военных чиновников.
18. Исполнительный комитет чинов радиотелеграфа.
19. Исполнительный комитет нестроевых чинов армии.
20. Исполнительный комитет призванных 4-й категории.
21. Общество офицеров генерального штаба армии.

сдерживающие и регулирующие рамки и начали действовать по своему усмотрению.

Наконец, во всех населенных пунктах, где только квартировали войска или военные учреждения, образовались местные солдатские советы или Советы солдатских и рабочих депутатов, не подчинявшиеся никаким нормам и сделавшие своей главной специальностью укрытие дезертиров и беззастенчивую эксплуатацию городских и земских управлений и населения. С ними власть не боролась вовсе, их не трогали, и только в конце августа военное министерство, выведенное из терпения бесчинствами этих «тыловых учреждений», сообщило печати, что оно «*предполагает* заняться разработкой особого положения о них».

Кто же входил в состав комитетов? Настоящего боевого элемента, живущего интересами армии, понимающего условия ее быта, проникнутого военными традициями, в них было очень мало. Доблесть, мужество, преданность долгу — все эти невесомые ценности не имели спроса на арене митингового строительства новой жизни. Солдатская масса, к великому сожалению, невежественная, неграмотная, уже развращенная, не доверявшая своим начальникам, выбирала своими представителями по преимуществу людей, импонировавших ей хорошо связной речью, внешней политической полировкой, вынесенной из откровений партийной литературы; но больше всего — беззастенчивым угождением ее инстинктам. Как мог состязаться с ними настоящий воин, призывавший к исполнению долга, повиновению и к борьбе за Родину не щадя жизни? Хорошие офицеры, если и выбирались в низшие комитеты, то редко проходили в высшие, растворяясь в чуждой им среде и постепенно отсеиваясь. У них не было ни доверия среди солдат, ни желания работать в комитетах, ни, может быть, достаточного политического образования. В высших комитетах скорее можно было найти хорошего и государственно мыслящего солдата, чем офицера, ибо человек в солдатском мундире мог говорить толпе то, что она не позволила бы сказать офицеру.

Русская армия стала управляться комитетами, составленными из элементов, чуждых ей, большей частью случайно

попавших в ее ряды, представлявших скорее межпартийные социалистические, нежели военные органы.

Казалось в высокой степени странным и обидным для армии то обстоятельство, что во главе фронтовых съездов, представлявших несколько миллионов бойцов, множество отличных частей со старой и славной историей, имевших в рядах своих офицеров и солдат, которыми могла бы гордиться всякая армия в мире, что во главе этих съездов были поставлены такие чуждые ей люди: от Западного фронта — штатский, еврей, социал-демократ большевик Познер; от Кавказского — штатский, социал-демократ меньшевик, грузинский шовинист Гегечкори; от Румынского — эсер, врач, грузин Лордкипанидзе.

Весьма любопытна оценка из другого мира, данная составу тогдашних военных организаций Бронштейном (Троцким): «Армия должна была послать своих представителей в революционные организации ранее, чем ее политическое самосознание могло подняться хоть в слабой степени до уровня революционных событий. Следовательно, кого же солдаты могли выбрать депутатами? Конечно, тех из своей среды, которые представляли в ней интеллигенцию и полуинтеллигенцию, — то есть тех, кто обладал хотя бы самым малым политическим образованием и мог его использовать. Таким образом, внезапно интеллигенты из мелкой буржуазии достигли волею армии небывалых высот. Врачи, инженеры, адвокаты, вольноопределяющиеся, которые перед войной вели самый обыкновенный образ жизни и никогда не претендовали ни на какую высокую роль, очутились вдруг представителями армейских корпусов и даже целых армий. И они сразу почувствовали себя «вожаками» революции. Их политическая идеология соответствовала как нельзя лучше колебаниям и недостаточной сознательности в революционных массах. В то же время эта мелкая демократическая буржуазия в своей гордости революционных «parvenus» испытывала глубочайшее недоверие и к своим собственным силам, и в отношении массы, которая все же изумительно выросла. Несмотря на то, что эти интеллигенты называли себя социалистами и считались таковыми, они относились к политическому всемогуществу

крупной буржуазии, к ее знаниям и методам с плохо скрываемым почтением»[1].

* * *

Чем же занимались эти войсковые организации, которые должны были перестроить на новых началах «самую свободную армию в мире?»[2]. Я приведу перечень вопросов[3], подвергавшихся в тех или иных вариантах обсуждению на фронтовых съездах, давших затем соответственное направление фронтовым и низшим комитетам.

1) Об отношении к правительству, Совету рабочих и солдатских депутатов и Учредительному собранию.

2) Об отношении к войне и миру.

3) О демократической республике, как желательной форме государственного устройства.

4) Аграрный вопрос.

5) Рабочий вопрос.

Внесение всех этих жгучих политических и социальных проблем (разрешаемых радикально, часто демагогически, возбуждавших партийную, классовую и корпоративную борьбу и вражду) в поколебленную и без того армию, стоявшую лицом к лицу с сильным и жестоким противником, не могло пройти без потрясения. Но и в вопросах военной службы и быта на первом же съезде (минском), пользовавшемся исключительным вниманием военной и гражданской власти, прозвучали нотки, заставившие нас сильно призадуматься: звание «офицера» упразднить, единоличную дисциплинарную власть упразднить, предоставить комитетам право устранения плохо аттестуемых ими начальников и т.д.

С первых же дней своего существования комитеты повели борьбу за расширение своих прав в широком диапазоне от «права участия в *управлении* армией» до формулы «Вся власть Советам» (комитеты — как полномочные органы совета).

Впрочем, первое время отношение войсковых комитетов к Временному правительству было вполне лояльным, чем ниже степенью комитет, тем лучше отношение. Целый ряд постановлений о беспрекословном подчинении Временному правительству, ряд приветствий, делегаций, высланных войсками, которых беспокоили слухи о двоевластии и противодействии правительству со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов — все это заполняет весенние столбцы петроградских газет. Позднее, вследствие агитационной работы приобретавшего все большее значение Совета, это настроение переживало различные фазисы, получив наиболее яркую директиву в приведенной мною ранее резолюции съезда делегатов Советов рабочих и солдатских депутатов в начале апреля: «Совещание призывает революционную демократию России, организуясь и сплачивая свои силы вокруг советов, быть готовой дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии или уклониться от выполнения принятых на себя обязательств».

Если высшие комитеты увлекались более политической деятельностью и углублением в армию «революционных начал», то низшие постепенно начали овладевать вопросами службы, быта и жизни войсковых частей, устраняя, ослабляя и дискредитируя власть командного состава. Понемногу установилось фактическое право смещения и выбора начальников, ибо положение начальника, которому «выразили недоверие», становилось нестерпимым. Таким путем, например, на Западном фронте, войсками которого я командовал, к июлю ушло до 60 старших начальников — от командира корпуса до полкового командира включительно.

Но наиболее страшным явилось стремление комитетов, по своей инициативе и под давлением войск, вторгаться и в чисто боевые тактические распоряжения начальников, затрудняя донельзя или создавая иногда положительно невозможность ведения операций.

Связанный, спутанный, обезличенный, лишенный власти и поэтому безответственный начальник не мог уже вести с уверенностью войска на поле победы и смерти.

Но так как власти не стало, начальникам поневоле приходилось обращаться за содействием к комитетам, которые действительно иногда влияли умиротворяюще на разбушевавшихся солдат, вели борьбу с дезертирством, улаживали обостренные отношения между офицерами и солдатами,

[1] *Троцкий*. «L'avénement du bolchevisme». 1919 год.

[2] Определение Керенского.

[3] Кроме вопросов, подлежавших действительно их компетенции.

призывали к исполнению приказов и вообще поддерживали, внешние по крайней мере, подпорки здания, начинавшего давать сильные трещины.

Эта положительная сторона деятельности некоторых комитетов до сих пор еще вводит в заблуждение их апологетов, в том числе Керенского. Я не могу спорить с людьми, думающими, что можно возвести здание, один день ставя сруб, а на другой — растаскивая бревна.

Как на положительную сторону деятельности комитетов, указывают и на личное участие их членов в наступлении, ознаменованное гибелью некоторых из них. Нет ничего удивительного, что некоторые члены комитетов исполнили честно свой долг, но в результате и на Юго-западном фронте, где комитеты пользовались исключительным вниманием главного командования (Брусилов, Гутор) и у меня, на Западном фронте, все они сознались в полном своем бессилии не только двинуть войска вперед, но и «остановить их безумное, паническое бегство». Это обстоятельство станет еще более понятным, когда мы увидим ниже, кто входил в состав комитетов.

Так шла видимая и невидимая работа войсковых организаций, чередуя патриотические призывы и интернационалистические лозунги, помощь командирам и их низвержение, выражение доверия или недоверия Временному правительству и ультимативные требования новых сапог и суточных денег членам комитета. Бытописатель русской армии, изучив когда-нибудь это явление, придет в изумление от того непонимания законов существования вооруженных сил, которое наблюдалось много раз в комитетской деятельности.

Особенно демагогически настроены были тыловые и флотские комитеты. Балтийский флот пребывал все время в состоянии, близком к анархии; Черноморский был значительно лучше и держался прочно до июня. Трудно даже учесть огромный вред, принесенный разбросанными по всей стране тыловыми комитетами и советами, среди которых надменность соперничала с поразительным невежеством. Я ограничусь приведением лишь нескольких примеров, характеризующих эту деятельность в разных ее проявлениях.

Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии в середине мая выпустил декларацию, в которой, не удовлетворяясь автономией, данной Финляндии Временным правительством, заявил о необходимости предоставления ей полной свободы и о том, что «со своей стороны будет поддерживать всеми доступными мерами все шаги революционных организаций, направленные к скорейшему достижению и разрешению этого вопроса».

Центральный комитет Балтийского флота, совместно с вышеназванным комитетом, в тревожные дни выступления большевиков в Петрограде (начало июля) объявил: «Вся власть Всероссийскому совету рабочих и солдатских депутатов. Сплотимся вокруг революционной борьбы нашей трудовой демократии за власть» и не выпустил в Петроград корабли, вызванные Временным правительством для подавления мятежа.

Комитет Минского военного округа незадолго до наступления уволил на полевые работы всех солдат запасных батальонов в свои губернии. Я велел предать суду состав комитета, но вряд ли это распоряжение имело какие-либо последствия, так как военное министерство, невзирая на мои предложения, не установило законной ответственности членов комитета — коллегиального учреждения, выносящего свои решения по большинству голосов, иногда тайным голосованием.

Наконец, приведу один курьезный бытовой эпизод: комитет одного из конских депо на моем фронте постановил поить лошадей только один раз в сутки, после чего большая часть лошадей пала.

Было бы несправедливо отрицать существование и положительных примеров в деятельности и постановлениях тыловых организаций, но эти примеры тонут бесследно и безрезультатно в общей анархической волне, поднятой и их руками.

Несомненно наиболее важным вопросом, с военной точки зрения, являлось отношение комитетов к войне и в частности — к готовившемуся наступлению. Ранее я очертил те внутренние противоречия, которые резко проявились как в сознании членов Совета и съездов, так и в тех двойственных, неискренних директивах, которые были даны ими армейским организациям и сводились к приятию войны и наступления, но *без победы.*

Это положение и было в общем усвоено и проводилось в жизнь высшими комитетами, за исключением, впрочем, комитета Западного фронта, который в июне вынес резолюцию большевистского характера, сводившуюся к следующему: война порождена захватной политикой правительства; поэтому единственным средством прекращения войны является борьба объединившейся демократии всех стран против своих правительств; окончание же войны путем решительной победы одних держав над другими послужит лишь к укреплению военщины во вред демократии.

Пока на фронте было затишье, войска сравнительно спокойно относились ко всем этим словопрениям и резолюциям высших организаций. Но когда настало время готовиться к переходу в наступление, во многих людях заговорили шкурные побуждения, и готовые формулы пораженческих идей пришлись как нельзя более кстати. Наряду с комитетами, продолжавшими выносить патриотические резолюции, некоторые войсковые организации, отражая мнение частей или проводя свое собственное, резко пошли против идеи наступления. Целые полки, дивизии, даже корпуса на активных фронтах, и особенно на Северном и Западном, отказывались от производства подготовительных работ, от выдвижения в первую линию. Накануне наступления приходилось назначать крупные военные экспедиции для вооруженного усмирения частей, предательски забывших свой долг.

* * *

Я хочу дать совершенно объективную картину деятельности одной из крупных организаций — «Армейского комитета 11-й армии», основываясь исключительно на данных, извлеченных из комитетского отчета. Проследить день за днем (21–30 мая) работу комитета весьма интересно по двум причинам: во-первых, в состав его входили столь прославленные впоследствии большевики Крыленко и Дзевалтовский; во-вторых, работа эта предшествовала наступлению 11-й армии, имевшей важную активную задачу в июньской операции.

Председателем комитета сначала был прапорщик Крыленко, социал-демократ, большевик; потом солдат Пипик, социал-демократ меньшевик-интернационалист.

Комитет делился на фракции: большевиков, социалистов-революционеров (эсеров), меньшевиков-оборонцев, меньшевиков-интернационалистов и беспартийных. Резолюции выносились по фракциям, причем четыре последних образуют обычно блок. Такой порядок вызывал протест одного из членов: «Если армейский комитет должен представлять голос армии, выражать ее желания, то к чему партийные разделения?»

Докладчиками по военно-политическим вопросам обычно были:

прапорщик Крыленко — большевик;
поручик Дзевалтовский — большевик;
поручик Холодный — меньшевик;
солдат Пипик — меньшевик-интернационалист;
прапорщик Носарь — эсер;
вольноопределяющийся Гандлер — эсер;
вольноопределяющийся Шадхан — внепартийный;
штаб-ротмистр Протопопов — внепартийный.

23 мая постановили послать 8 представителей на Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, созываемый в Петрограде 1 июня, причем для выбора было принято пропорциональное представительство обеих точек зрения (блок и большевики) и выбранным делегатам поручалось совершить массовый объезд частей для определения взглядов войск.

24 мая комитет принял резолюцию, которая выражала одобрение вступлению социалистов в правительство «на платформе активной политики, направленной к скорейшему заключению всеобщего мира на демократических началах», и обещала всемерную поддержку Временному правительству. Резолюция большевиков, призывавшая к борьбе с правительством, была отвергнута: за первую подали 90 голосов, за вторую — 32.

26 мая, на основаниях, принятых 23-го, происходили выборы восьми делегатов на съезд, причем за список блока было подано 85 голосов, за список большевиков — 42, воздержалось — 10. Поэтому командировали 5 лиц из состава блока и 3-х большевиков. Один из членов протестовал, указывая на неправильность такого представительства армии: *«Я не поверю, что у нас $^3/_8$ армии — большевики»*. Получив

«мандат», прапорщик Крыленко немедленно сложил с себя звание председателя и поехал в войска, широко распространяя от имени армейского комитета свое большевистское воззвание «Зачем я поеду в Петроград». (Затем отправился туда фактически, принял деятельное участие в июльском кровавом мятеже и подвергся аресту военными властями; но правительство Керенского освободило его «за недостатком улик».)

В тот же день комитет вынес резолюцию о войне и мире, близкую к июньской резолюции Всероссийского съезда, призывая армию «к усилению боевой мощи, так как только войска, готовые в каждый данный момент исполнить приказ о переходе в наступление, являются подлинной военной силой, могущей защитить русскую свободу». За такое условное наступление высказалось 85 голосов, против наступления — 31 и воздержалось — 10. Любопытна психология воздержавшихся комитетских офицеров (полковника Дукшинского и капитана Базаревича): «Ввиду серьезности вопроса, сопряженного с решением участи жизни многих тысяч людей, мы, как представители тылового учреждения, нравственно не считаем себя вправе голосовать»...

27 мая было предоставлено право участвовать в работе комитета представителям самочинных польской и мусульманской военных организаций армии. Разработаны весьма крутые меры для борьбы с дезертирством.

На тревожный вопрос прибывшего на заседание временно командовавшего армией «Есть ли у вас самих единение?», товарищ председатель ответил: «У нас имеется свое меньшинство, которое по заявлению его представителя отказывается от всяких анархических действий, и пока оно в меньшинстве, будет подчиняться большинству, оставляя за собой *право свободной критики»*.

28 мая был заслушан доклад хозяйственной комиссии, характер деятельности которой был контролирующий и организационно-осведомительный. Указывалось на большую работу, произведенную на местах 40 делегатами. Характерно сожаление докладчика, что «отношение к хозяйственным вопросам армии крайне несерьезное; вопросы эти отодвигаются на задний план на всех собраниях».

Был прочтен доклад конфликтно-юридической комиссии: за месяц комиссия разрешила 43 конфликта, возникших в армии, причем «почти все постановления комиссии утверждались командармом (генерал Гутор) без изменения».

В докладе о деятельности культурно-просветительной комиссии признавалось, что сделано пока не много; мало средств; члены агитационной секции все заняты на конфликтах; «есть лекторы кадеты, но от них отказались».

29 мая комитет постановил устроить митинг протеста против смертного приговора, вынесенного за политическое убийство австрийским судом Фридриху Адлеру.

30 мая комитет разъехался. 85 человек социалистического блока, 42 большевика и 10 «воздержавшихся» во исполнение своего долга едут в армию, чтобы поднять дух русских войск перед наступлением и подвигнуть их на смертный бой за Родину. Бедная армия и бедная Родина! 11-я армия, как увидим впоследствии, в начале июля подала пример панического бегства и всех последующих явлений, которые генерал Корнилов назвал «безумием, бесчестием и предательством».

* * *

Я уже говорил об отношениях многих старших начальников-оппортунистов к комитетам. Синтез этих отношений наиболее рельефно выражен в обращении временно командовавшего армией генерала Федотова к армейскому комитету:

«Наша армия получила в настоящее время небывалое еще нигде устройство. В ней огромную роль играют выборные организации. Мы — *прежние вожди ее* — теперь можем дать армии только наши военные знания стратегии и тактики. Организовать же армию, создавать ее внутреннюю силу призваны вы, — комитеты. Роль комитетов, роль ваша в деле созидания новой, сильной армии велика. История в будущем отметит это!»

Главнокомандующий Кавказским фронтом еще до узаконения военных организаций отдал распоряжение, чтобы постановления самозванного тифлисского совета солдатских депутатов печатались в приказах армии, а распоряжения, касающиеся устройства и быта армии, проходили бы через Совет солдатских депутатов.

Неудивительно, что подобное отношение известной части командного состава давало почву, оправдание и обоснование все более растущим комитетским вожделениям.

В книге Керенского я нашел поразившее меня мнение о комитетах, приписываемое генералу Корнилову (в докладной записке, якобы поданной им Временному правительству):

«Должно казаться странным и удивительным, насколько эти молодые выборные учреждения мало уклонились от правильного пути и насколько часто они оказывались на высоте положения, кровью запечатлевая свою доблестную воинскую деятельность. Комитеты обеспечивают своим существованием, символизирующим в глазах массы бытие революции, спокойное отношение к тем мероприятиям, которые необходимы для спасения армии и страны на фронте и в тылу».

Быть может, приведенное мнение изложено в докладной записке, составленной военным министерством, мотивировкой которой Корнилов вовсе не интересовался, соглашаясь лишь с некоторыми ее выводами и намеченными мероприятиями? Генерал Корнилов — солдат до мозга костей — относился с глубочайшим осуждением к разрушавшим армию комитетам. Я утверждаю это категорически, поскольку хорошо знаю и Корнилова, и его взгляды. Наконец, Савинков, бывший управляющий военным министерством, удостоверяет: «Полагая, что и комиссары и комитеты в будущем должны быть упразднены, я, боясь осложнений, не считал, однако, возможным упразднить их немедленно. Генерал Корнилов же, по-видимому, был склонен к безотлагательному упразднению комитетов и к сокращению прав комиссаров. В этом смысле он и высказался на совещании, созванном Филоненко» (Совещание представителей комиссаров и комитетов 22 августа 1917 года)[1].

Керенский, приводя изданный в марте 1918 года большевиками закон о сохранении за комитетами только хозяйственных функций и о лишении их права вмешиваться в оперативно-строевую часть, иронически добавляет: «Так через кошмарный опыт крыленковского безумия жалкие остатки

[1] *Савинков.* «К делу Корнилова».

армии возвращаются к контрреволюционному строю корниловца Керенского!»[1].

Сопоставление этих двух имен производит тяжелое впечатление. По существу же вывод этот несколько преждевременный: в марте это были действительно «жалкие остатки», изъеденные керенщиной; но после жестоких поражений, понесенных большевиками зимой 1918–1919 годов, они прозрели окончательно и упразднили вовсе комитеты. Большевистский официоз «Известия» жестоко критиковал и издевался над этим институтом.

Я лично и на Западном и на Юго-западном фронтах поставил вопрос прямо: отказался от всякого взаимодействия с комитетами и пресекал, когда было возможно, те проявления их деятельности, которые шли вразрез с интересами армии.

В конечном итоге попрание власти избавляло командный состав и от ответственности. Начальник без власти и без ответственности не мог вести войска к победе.

«Теоретически становилось все яснее, — говорит один из виднейших комиссаров, бывший член Исполнительного комитета рабочих и солдатских депутатов Станкевич, — что нужно или уничтожить армию, или уничтожить комитеты. Но практически нельзя было сделать ни того, ни другого. Комитеты были ярким выражением неизлечимой социологической болезни армии, признаком ее верного умирания, ее паралича. Но было ли задачей военного министерства ускорить смерть решительной и безнадежной операцией?»

Великая некогда русская армия первого периода революции представляется мне в следующем виде.

Родины не стало. Вождя распяли. На его место перед фронтом вышла коллегия из пяти оборонцев и трех большевиков и обратилась с призывом к армии:

— Вперед на бой за свободу и революцию, но... без окончательного разгрома противника! — говорили одни.

— Долой войну, вся власть пролетариату! — кричали другие.

Армия слушала, слушала, потопталась на месте и... разошлась.

[1] *Керенский.* «Дело Корнилова».

ГЛАВА XXI
«ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ АРМИИ»: КОМИССАРЫ

Следующая мера демократизации армии — введение института комиссаров.

Заимствованная из истории французских революционных войн, эта идея поднималась в разное время, в различных кругах, имея своим главным обоснованием — *недоверие к командному составу.*

Интересно, что даже такой прямолинейный поборник здравых начал существования армии, каким был генерал Марков, еще в начале апреля, видя и страдая от ничем не оправданного недоверия, которое вдруг проявила солдатская среда к офицерству, послал в министерство проект введения в каждую армию комиссара — представителя военного министра, который мог бы видеть и свидетельствовать полную лояльность командного состава.

Председатель совета министров Львов прислал в мае в Ставку общие основания вводимого им института комиссаров[1]. На них, по мысли правительства, возлагалось гражданское управление на театре войны на основаниях, изложенных в положении о полевом управлении войск, а также вся область снабжения, питания войск и санитарно-гигиенически-эвакуационная. Находясь в прямом и исключительном подчинении органам Временного правительства, комиссары лишь *согласовали* свои действия с соответствующими военными начальниками. Такое положение, окончательно вырывавшее из рук командного состава важнейшие военно-административные функции, встретило резкий протест со стороны Ставки и тотчас же было оставлено правительством.

Между тем напор, и довольно сильный, шел с другой стороны. Совещание делегатов фронта в середине апреля обратилось с категорическим требованием к Совету рабочих и солдатских депутатов о введении в армии комиссаров, мотивируя необходимость его тем, что нет долее возможности сохранить порядок и спокойствие в отношениях солдат к отдельным лицам командного состава и если до сих пор удавалось избегнуть случаев самосуда и смещения, то только потому, что армия ждала соответственных мер Совета и правительства и не хотела вносить беспорядок и осложнять их работу. Вместе с тем совещание предложило совершенно нелепый проект одновременного существования в армиях трех комиссаров от: 1) Временного правительства; 2) Совета рабочих и солдатских депутатов; 3) армейских комитетов. При этом совещание в своих требованиях заходило очень далеко, возлагая на комиссариаты как на контрольный орган: рассмотрение всех дел и вопросов, относящихся к компетенции командующих армиями и фронтами; скрепление своею подписью всех приказов; производство расследования деятельности командного состава и право отвода его.

[1] Проект, по-видимому, Вырубова.

На этой почве между Советом рабочих и солдатских депутатов и правительством шли длительные переговоры, и в конце апреля состоялось соглашение о назначении в армии комиссаров — по одному от Временного правительства и по одному от Совета. Позднее, однако, это решение было изменено, вероятно, из-за появления у власти *коалиционного* министерства (5 мая), и комиссар армии назначался один по соглашению правительства и Совета, являясь представителем обеих инстанций и перед обеими ответственным.

В конце июня Временное правительство учредило должность комиссаров фронтов, определив их функции следующим образом: руководствуясь указаниями военного министерства, направлять к единообразному разрешению все политические вопросы, возникающие в пределах армий фронта, содействуя согласованной работе армейских комиссаров.

Позднее, в конце июля, организация завершилась учреждением должности верховного комиссара при Ставке, а все делопроизводство сосредоточилось в политическом отделе при военном министре.

Никаких законов, определяющих права и обязанности комиссара, издано не было. Начальники, по крайней мере, не знали их вовсе — это одно уже давало большую пищу для всех последующих недоразумений и столкновений. Генерал Монкевиц[1],

[1] «La décomposition de l'armée russe».

на основании инструкции Керенского, которую я не помню, в таких общих выражениях определил роль комиссаров: служить посредниками между высшим командованием и войсками, сглаживать трения их разделяющие, руководить политической жизнью армии, заботиться об улучшении материального положения солдат, равно как о развитии их морального и интеллектуального состояния.

Негласной обязанностью комиссаров явилось наблюдение за командным составом и штабами в смысле их политической благонадежности. В этом отношении демократический режим, пожалуй, превзошел самодержавный. Я убедился в этом и на Западном и на Юго-западном фронтах, читая телеграфную переписку комиссариатов с Петроградом, которую, да простят мне господа комиссары, штаб давал мне в расшифрованном виде тотчас же после ее отправления. Но если эта последняя роль комиссаров требовала только известного навыка к политическому сыску, то гласные их обязанности были гораздо сложнее: они требовали государственного взгляда, точного знания цели, которую требовалось достигнуть, знания психологии не только солдатской и офицерской среды, но и старшего командного состава, знания основных начал существования, службы и быта армии, большого такта и, наконец, личных интеллектуальных качеств: мужества, твердой воли и энергии.

Только эти данные могли хоть до некоторой степени ослабить тяжкие последствия мероприятия, вырывавшего из рук военного начальника (или, вернее, санкционировавшего свершившийся факт) возможность влиять на войска, без чего трудно было укрепить веру и надежду в победу.

К сожалению, таких элементов в среде, близкой к правительству и Совету и пользовавшейся их доверием, не было. Состав комиссаров, известных мне, определялся таким образом: офицеры военного времени, врачи, адвокаты, публицисты, ссыльные поселенцы; эмигранты, потерявшие связь с русской жизнью, члены боевых организаций и т.п. Ясно, что достаточного знания среды у этих лиц быть не могло.

Что касается политических взглядов указанных лиц, то все они принадлежали к социалистическим партиям — от социал-демократов меньшевиков до группы «Единство» — ходили в партийных шорах и зачастую не проводили общей политической линии правительства, считая себя связанными советской и партийной дисциплиной. Сообразно с партийными политическими учениями у самих комиссаров не было даже одинакового отношения к войне. Так, комиссар Станкевич, один из относившихся наиболее честно, по-своему, конечно, к исполнению своих обязанностей, отправляясь в наступающую дивизию, мучился сомнениями: «Они (солдаты) верят, что мы не хотим их обмануть, и поэтому насильно отбрасывают от себя сомнения и идут умирать и убивать. Но мы-то, вправе ли мы не только убеждать, но и брать на себя решение за других?» Даже в вопросе о большевизме не все комиссары, как удостоверяет Савинков[1], имели одинаковую точку зрения, не все считали желательной и возможной решительную борьбу с большевиками. Савинков составлял вообще исключение. Не будучи военным по профессии, но закаленный в борьбе и скитаниях, в постоянной опасности, с руками, обагренными кровью политических убийств, этот человек знал законы борьбы и, сбросив с себя иго партии, более твердо, чем другие, вел борьбу с дезорганизацией армии; но при этом вносил слишком много личного элемента в свое отношение к событиям.

Что касается личных качеств комиссаров, то, за исключением нескольких — типа, близкого к Савинкову, — никто из них не выделялся ни силой, ни особенной энергией. Люди слова, но не дела. Быть может, недостаточная подготовка комиссаров не имела бы таких отрицательных последствий, если бы не одно обстоятельство: не зная точно круга своих обязанностей, они постепенно начинали вторгаться решительно во все области жизни и службы войск — отчасти по своей инициативе, отчасти побуждаемые к этому солдатской средой и войсковыми комитетами, а иногда даже боявшимися ответственности начальниками. Вопросы назначений, смещений, даже вопросы оперативные, составляли предмет внимания комиссаров не только с точки зрения «скрытой контрреволюционности», но и целесообразности принимае-

[1] Последовательно занимал должности комиссара 7-й армии Юго-западного фронта, управляющего военным министерством.

мых мер. И путаница понятий была настолько велика, что командный состав послабее духом иногда совершенно терялся. Я помню такой факт. Во время июльского отступления Юго-западного фронта один из корпусных командиров необдуманно разрушил хорошо оборудованную военную дорогу, поставив в крайне затруднительное положение армию. Отчисленный от должности командующим армией, он впоследствии пришел ко мне с самым искренним недоумением: за что его отрешили, когда он действовал... по указанию комиссара.

Отражая взгляды Совета рабочих и солдатских депутатов, поддерживая в трогательной неприкосновенности новоприобретенные права солдата, комиссариат не оказался на высоте и в своей основной задаче — в руководстве политической жизнью армии. Зачастую самая разрушительная проповедь допускалась безвозбранно; солдатские митинги и комитеты могли выносить какие угодно противогосударственные и противоправительственные решения. И только когда насыщенная атмосфера выливалась в вооруженный бунт, это обстоятельство вызывало вмешательство комиссаров. Такая политика сбивала с толку и войска, и комитеты, и начальников.

При всем этом, заранее составленный предвзятый взгляд на командный состав как на «контрреволюционеров», разница в убеждениях по общеполитическим вопросам и зачастую недостаток такта со стороны комиссаров — все это отталкивало от них командный состав. Требовалось особенно счастливое сочетание двух столь несходных во всех отношениях элементов, чтобы совместная работа их была не только возможна, но и плодотворна; в очень редких случаях это имело место.

Цели своей институт комиссаров не достиг. Как орган принуждения, иногда усмирения, комиссары уже тем самым не могли приобрести популярность в солдатской среде, а отсутствие прямой, разящей власти не могло создать им авторитета силы, наиболее чтимого даже совершенно утратившими дисциплину частями. Это подтвердилось впоследствии, после захвата власти большевиками, когда комиссары вынуждены были одними из первых с большой поспешностью и тайно покинуть свои посты.

«Крамолы» они не избыли: начальники, за редкими исключениями, отстояли свое право высших назначений в случаях комиссарского неодобрения. Революционная власть не довела своего мероприятия до логического конца, как это сделали потом большевики, вручив комиссарам право распоряжаться жизнью и смертью опекаемых ими военных начальников. Впрочем, и там этот опыт скоро подошел к концу. Постепенно отбрасывая все «завоевания революции» в области демократизации армии — как-то выборное начало, митинги, комитеты, упразднение единоличной дисциплинарной власти — советская власть посягнула и на институт войсковых комиссаров. По докладу Троцкого еще на 7-м съезде Советов принципиально принят был вопрос об уничтожении этого института; меру эту предполагалось провести постепенно, причем комиссаров должны были заменить *помощники* командиров по политической части.

Итак, в русской армии вместо одной появились три разнородные, взаимно исключающие друг друга власти: командира, комитета и комиссара. Три призрачные власти. А над ними тяготела, на них духовно давила своей безумной, мрачной тяжестью власть толпы.

Рассматривая вопрос о новых органах — комиссарах и комитетах — и об их роли в судьбах русской армии, я стоял исключительно на точке зрения сохранения наших вооруженных сил как важного фактора в грядущих судьбах нации. Но было бы неправильно ограничиться такой постановкой вопроса вне зависимости его от общих законов, управлявших жизнью народа и ходом революции. Скажу больше: все эти *исходящие* явления носят *печать логической последовательности и неизбежности в силу той роли, которую пожелала играть революционная демократия.* В этом был весь трагизм положения.

В распоряжении социалистической демократии совершенно не было подготовленных элементов для технических аппаратов управления армией. И вместе с тем не было ни решимости, ни возможности подавить сопротивляемость буржуазной демократии и командного состава, заставив их работать во славу социализма, как это сделали впоследствии

большевики, заставившие методами кровавого, беспощадного истребления служить коммунизму остатки русской интеллигенции и офицерства.

Став фактически у власти и поставив известные цели и задачи, революционная (социалистическая) демократия знала хорошо, что те элементы управления и командования, которые должны проводить их в жизнь, совершенно не разделяют ее взглядов. Отсюда неизбежное недоверие и желание ослабить влияние и значение этих элементов. Но какими методами? В силу потери идеи государственности и любви к Родине, центральный революционный орган в борьбе с политическими противниками проводил методы разрушения, не заботясь о том, что они одновременно были направлены на разрушение страны и армии.

Наконец еще одно важное обстоятельство: революция, потрясшая все государственные основы и взаимоотношения классов, случилась тогда, когда весь цвет нации, до 10 миллионов, был под ружьем. Предстояли выборы в Учредительное собрание. При таких условиях предотвратить вторжение политики в армию было абсолютно немыслимо, как немыслимо остановить течение реки. Но ввести ее в надлежащее русло, наверное, еще было возможно. На этой почве также столкнулись обе стороны с их различными методами (государственно-охранительным и демагогическим) в стремлении овладеть настроением такого решающего фактора, каким для революции являлась армия.

Вот те предпосылки, которые предопределяют и дают логическое обоснование всему последующему ходу демократизации армии. Правивший, сначала из-за куртины, потом явно, класс социалистической демократии, ради укрепления своего положения и в угоду инстинктам толпы разрушил военную власть и содействовал созданию коллегиальных военных организаций, хотя и не вполне отвечавших направлению Совета, но менее опасных и более поддающихся его влиянию, чем командный состав. Явно сознаваемая необходимость какой-либо военной власти, недоверие к командному составу, с одной стороны, и желание создать буфер между двумя искусственно разъединенными элементами армии — с другой, привели к учреждению института комиссаров, находившихся в двойной зависимости от Совета и от правительства. Оба института, не удовлетворив ни солдат, ни офицеров, пали вместе с Временным правительством, возродившись вновь несколько в измененной форме в Красной армии и вновь отметенные жизнью.

Ибо «как человек не может выбрать себе возраста, так и народы не могут выбирать свои учреждения. Они подчиняются тем, к которым их обязывает их прошлое, их верования, экономические законы, среда, в которой они живут. Что народ в данную минуту может путем насильственной революции разрушить учреждения, переставшие ему нравиться, — это не раз наблюдалось в истории. Но чего история никогда еще не показывала — чтобы новые учреждения, искусственно навязанные силой, держались сколько-нибудь прочно и положительно. Спустя короткое время все прошлое вновь входит в силу, так как мы всецело созданы этим прошлым, и оно является нашим верховным властителем»[1].

Возродится, очевидно, и русская национальная армия — и не только на демократических, но и на исторических началах.

ГЛАВА XXII
«ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ АРМИИ»: ИСТОРИЯ «ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ СОЛДАТА»

Печальной памяти закон, вышедший из Поливановской комиссии, известный под именем «Декларации прав солдата», утвержден Керенским 9 мая.

ПРИКАЗ ПО АРМИИ И ФЛОТУ

Приказываю ввести в жизнь армии и флота следующие, согласованные с п. 2 декларации Временного правительства от 7 марта с.г. положения об основных правах военнослужащих.

1) *Все военнослужащие пользуются всеми правами граждан.* Но при этом каждый военнослужащий обязан строго со-

[1] *Лебон.* «Психология социализма».

гласовывать свое поведение с требованиями военной службы и воинской дисциплины.

2) *Каждый военнослужащий имеет право быть членом любой политической, национальной, религиозной, экономической или профессиональной организации, общества или союза.*

3) *Каждый военнослужащий во внеслужебное время имеет право свободно и открыто высказывать устно, письменно или печатно свои политические, религиозные, социальные и прочие взгляды.*

4) Все военнослужащие пользуются свободой совести, а потому никто не может быть преследуем за исповедуемое им верование и принуждаем к присутствию при богослужениях и совершении религиозных обрядов какого-либо вероисповедания. Участие в общей молитве не обязательно.

5) Все военнослужащие в отношении своей переписки подчиняются правилам, общим для всех граждан.

6) *Все без исключения печатные издания (периодические или непериодические) должны беспрепятственно передаваться адресатам.*

7) Всем военнослужащим предоставляется право ношения гражданского платья вне службы; но военная форма остается обязательной во всякое время для всех военнослужащих, находящихся в действующей армии и в военных округах, расположенных на театре военных действий.

Право разрешать ношение гражданского платья военнослужащим в некоторых крупных городах, находящихся на театре военных действий, предоставляется главнокомандующим армиями фронтов или командующим флотами. Смешанная форма ни в каком случае не допускается.

8) Взаимоотношения военнослужащих должны основываться при строгом соблюдении воинской дисциплины на чувстве достоинства граждан свободной России и на взаимном доверии, уважении и вежливости.

9) Особые выражения, употребляющиеся как обязательные для ответов одиночных людей и команд вне строя и в строю, как например, «так точно», «никак нет», «не могу знать», «рады стараться», «здравия желаем», «покорно благодарю» и т.п. заменяются общеупотребительными «да», «нет», «не знаю», «постараемся», «здравствуйте» и т.п.

10) Назначение солдат в денщики отменяется.

Как исключение, в действующей армии и флоте, в крепостных районах, в лагерях, на кораблях и на маневрах, а также на окраинах, в тех местностях, в которых нет возможности нанять прислугу (в последнем случае невозможность этого определяется полковым комитетом), офицерам, военным врачам, военным чиновникам и духовенству *разрешается иметь вестового для личных услуг, назначаемого по обоюдному соглашению вестового и лица, к которому он назначается, с платой также по соглашению, но не более одного вестового на каждого из упомянутых чинов.*

Вестовые для ухода за собственными офицерскими лошадьми, положенными по должности, сохраняются как в действующей армии, так и во внутренних округах и назначаются на тех же основаниях, как и вестовые для личных услуг.

11) Вестовые для личных услуг не освобождаются от боевой службы.

12) *Обязательное отдание чести как отдельными лицами, так и командами отменяется.*

Для всех военнослужащих взамен обязательного отдания воинской чести устанавливается взаимное добровольное приветствие.

Примечания: 1. Отдание воинских почестей командами и частями при церемониях, похоронах и т.п. случаях сохраняется. 2. Команда «смирно» остается во всех случаях, предусмотренных строевыми уставами.

13) В военных округах, не находящихся на театре военных действий, все военнослужащие в свободное от занятий, службы и нарядов время имеют право отлучаться из казармы и с кораблей в гавани, но лишь осведомив об этом соответствующее начальство и получив надлежащее удостоверение личности.

В каждой части должна оставаться рота или вахта (или соответствующая ей часть) и, кроме того, в каждой роте, сотне, батарее и т.д. должна оставаться еще и ее дежурная часть.

С кораблей, находящихся на рейдах, увольняется такая часть команды, какая не лишает корабля возможности, в случаях крайней необходимости, немедленно сняться с якоря и выйти в море.

14) *Никто из военнослужащих не может быть подвергнут наказанию или взысканию без суда. Но в боевой обста-*

новке начальник имеет право, под своей личной ответственностью, принимать все меры до применения вооруженной силы включительно против не исполняющих его приказания подчиненных. Эти меры не почитаются дисциплинарными взысканиями.

15) Все наказания, оскорбительные для чести и достоинства военнослужащего, а также мучительные и явно вредные для здоровья, не допускаются (как и по предыдущему закону).

Примечание: из наказаний, упомянутых в уставе дисциплинарном, постановка под ружье отменяется.

16) Применение наказаний, не упомянутых в уставе дисциплинарном, является преступным деянием и виновные в нем должны предаваться суду[1]. Точно так же должен быть предан суду всякий начальник, ударивший подчиненного в строю или вне строя.

17) Никто из военнослужащих не может быть подвергнут телесному наказанию, не исключая и отбывающих наказания в военно-тюремных учреждениях.

18) Право назначения на должности и, в указанных законом случаях, временного отстранения начальников всех степеней от должностей принадлежит исключительно начальникам. Точно так же они одни имеют право отдавать распоряжения, касающиеся боевой деятельности и боевой подготовки части, ее обучения, специальных ее работ, инспекторской и хозяйственной частей. *Право же внутреннего самоуправления, наложения наказания и контроля в точно определенных случаях* (приказы по военному ведомству от 16 апреля №213 и 8 мая с.г. №274) *принадлежит выборным войсковым организациям.*

Объявляя настоящее общее положение, предписываю принять его (как и правила, установленные приказом по военному ведомству с.г. №114) как основание при пересмотре уставов и законоположений, определяющих внутренний быт и служебную деятельность военнослужащих, а равно дисциплинарную и уголовную их ответственность.

Военный и морской министр А. Керенский.

[1] Закон и раньше предусматривал и карал эти правонарушения.

Эта «декларация прав», давшая *законное признание* тем больным явлениям, которые распространились в армии — где частично, где в широких размерах — путем бунта и насилия или, как принято было выражаться, «в порядке революционном», окончательно подорвала все устои старой армии. Она внесла безудержное политиканство и элементы социальной борьбы в неуравновешенную и *вооруженную* массу, уже почувствовавшую свою грубую физическую силу. Она оправдывала и допускала безвозбранно широкую проповедь (устную и печатную) антигосударственных, антиморальных и антиобщественных учений, даже таких, которые, по существу, отрицали и власть, и само бытие армии. Наконец, она отняла у начальников дисциплинарную власть, передав ее выборным коллегиальным организациям и лишний раз, в торжественной форме бросив упрек командному составу, унизила и оскорбила его.

«Пусть самые свободные армия и флот в мире, — сказано было в послесловии Керенского, — докажут, что в свободе сила, а не слабость; пусть выкуют новую железную дисциплину долга, поднимут боевую мощь страны».

И «великая молчальница», как образно и верно характеризуют французы сущность армии, заговорила, зашумела еще громче, подкрепляя свои требования угрозами, оружием и кровью тех, кто имел мужество противостоять ее безумию.

«Декларация» — творчество коллективное, зародившееся в недрах Совета. Но в ее принятии повинен и офицерский элемент — преимущественно тот, что в содружестве и в угодничестве перед революционной демократией искал выхода своему «непротивлению» или честолюбивым помыслам. Первый раз декларация почти в той же редакции, которая приведена в приказе, была оглашена еще 13 марта на совещании офицеров и солдат петроградского гарнизона, под председательством подполковника генерального штаба Гущина. Из-за угодничества или забитости петроградского офицерства, ошеломленного событиями и еще не разобравшегося в них, чтение декларации не вызвало ни страстных речей, ни сколько-нибудь сильного протеста. Были внесены лишь некоторые поправки и принята «при общем энтузиазме» резолюция об «установленном прочном братском единении между офицерами и солдатами».

Проект декларации поступил в поливановскую комиссию, которая разрабатывала его совместно с военной секцией Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов в течение почти двух месяцев, причем офицерский состав комиссии проявил преступный оппортунизм, который не раз приводил в удивление случайных участников заседаний.

В конце апреля проект в окончательной редакции был прислан Гучковым на заключение в Ставку. Мы дали горячую отповедь, в которой излили все свои душевные муки и Верховный главнокомандующий, и я, — всю свою скорбь за беспросветное будущее армии. «Декларация — последний гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской армии», — таков был окончательный наш вывод. Гучков 1 мая сложил с себя звание военного министра, «не желая разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении родины», в частности — не желая подписывать декларацию.

* * *

Ставка разослала проект декларации главнокомандующим фронтами для ознакомления, после чего генерал Алексеев вызвал их в Могилев, чтобы совместно обсудить создавшееся роковое положение.

Историческое заседание это состоялось 2 мая[1]. Безысходной грустью и жутью повеяло от всех спокойных по форме и волнующих по содержанию речей, рисующих крушение русской армии. Генерал Брусилов тихим голосом, в котором звучала искренняя, непритворная боль, закончил свою речь словами: «Но все это можно перенести, есть еще надежда спасти армию и даже двинуть ее в наступление, если только не будет издана декларация... Но если ее объявят — нет спасения. И я не считаю тогда возможным оставаться ни одного дня на своем посту».

Последняя фраза, помню, вызвала горячий протест генерала Щербачева, который доказывал, что уходить с поста нельзя; что, как бы ни было тяжело и даже безысходно положение, вожди не могут бросать армию.

[1] Присутствовали: Верховный главнокомандующий генерал Алексеев, генералы: Брусилов, Щербачев, Гурко, Драгомиров, я, Юзефович и несколько чинов Ставки.

Кто-то подал мысль: всем главнокомандующим ехать немедленно в Петроград и обратиться к правительству с твердым предостерегающим словом и с решительными требованиями. Такая демонстрация должна была, по мнению предлагавшего, произвести большое впечатление и, может быть, остановить разрушающее течение военного законодательства. Ему возражали: прием опасный; это наша последняя ставка, и неудача выступления может дискредитировать окончательно военное командование. Но предложение было все-таки принято, и 4 мая состоялось в Петрограде соединенное заседание всех главнокомандующих[1], Временного правительства и Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов.

У меня сохранился отчет об этом заседании, который я привожу ниже в подробных извлечениях ввиду большого его интереса. В нем нарисована картина состояния армии в том виде, как она представлялась всем вождям ее непосредственно во время хода событий, то есть, следовательно, без влияния времени, меняющего перспективу прошлого; в нем же вырисовываются некоторые характерные черты лиц, стоявших у власти.

Речи главнокомандующих — почти те же по содержанию, что и в Ставке, только гораздо менее выпуклы и менее откровенны. А генерал Брусилов значительно смягчил свои обвинения, потерял пафос, «приветствовал от всего сердца коалиционное правительство» и не повторил уже своей угрозы выйти в отставку.

ОТЧЕТ

Генерал Алексеев. Я считаю необходимым говорить совершенно откровенно. Нас всех объединяет благо нашей свободной Родины. Пути у нас могут быть различны, но цель одна — закончить войну так, чтобы Россия вышла из нее если и уставшей и потерпевшей, но отнюдь не искалеченной.

Только победа может дать нам желанный конец. Тогда только возможна созидательная работа. Но победу надо добыть; а это возможно только в том случае, если выполняются

[1] Кроме Кавказского фронта.

приказания начальства. Если начальству не подчиняются, если его приказания не выполняются, то это не армия, а толпа.

Сидеть в окопах — не значит идти к концу войны. Противник снимает с нашего фронта и спешно отправляет на англо-французский дивизию за дивизией, а мы продолжаем сидеть. Между тем обстановка наиболее благоприятна для нашей победы. Но для этого надо наступать.

Вера в нас наших союзников падает. С этим приходится считаться в области дипломатической, а мне — особенно в области военной.

Казалось, что революция даст нам подъем духа, порыв и, как следствие, победу. Но, к сожалению, в этом мы пока ошиблись. Не только нет подъема и порыва, но выплыли самые низменные побуждения — любовь к своей жизни и ее сохранению. Об интересах родины и ее будущем все забывают. Причина этого явления та, что теоретические соображения были брошены в массу, истолковавшую их неправильно. Лозунг «без аннексий и контрибуций» приводит толпу к выводу: «Для чего жертвовать теперь своею жизнью?»

Вы спросите, где же власть, где убеждения, где, может быть, даже физическое принуждение? Я должен сказать, что реформы, которые армия еще не успела переварить, расшатали ее, ее порядок и дисциплину. Дисциплина же составляет основу существования армии. Если мы будем идти по этому пути дальше, то наступит полный развал. Этому способствует и недостаток снабжения. Надо учесть еще и происшедший в армии раскол. Офицерство угнетено, а между тем, именно офицеры ведут массу в бой. Надо подумать еще и о конце войны. Все хлынут домой. Вы уже знаете, какой беспорядок произвела недавно на железных дорогах масса отпускных и дезертиров. А ведь тогда захотят одновременно двинуться в тыл несколько миллионов человек. Это может внести такой развал в жизнь страны и железных дорог, который трудно учесть даже приблизительно. Имейте еще в виду, что возможен при демобилизации и захват оружия.

Главнокомандующие приведут вам ряд фактов, характеризующих положение армий. Затем я дам заключение и выскажу наши пожелания и требования, выполнение которых является необходимым.

Генерал Брусилов. Прежде всего я должен нарисовать вам, что представляет собой офицерский и солдатский состав армий в данное время. Кавалерия, артиллерия и инженерные войска сохранили до 50% кадровых. Но совершенно иное в пехоте, которая составляет главную массу армий. Большие потери убитыми, ранеными и пленными, значительное число дезертиров — все это привело к тому, что попадаются полки, где состав обернулся 9—10 раз; причем в ротах уцелело только от 3 до 10 кадровых солдат. Что касается прибывающих пополнений, то обучены они плохо, дисциплина у них еще хуже. Из кадровых офицеров в полках уцелело по 2—4, да и то зачастую раненых. Остальные офицеры — молодежь, произведенная после краткого обучения и не пользующаяся авторитетом ввиду неопытности.

И вот на эту среду выпала задача переустроиться на новый лад. Задача эта оказалась пока непосильной. Переворот, необходимость которого чувствовалась, который даже запоздал, упал все-таки на неподготовленную почву. Малоразвитый солдат понял это, как освобождение «от офицерского гнета». Офицеру же нанесли обиду — его лишили прав воздействия на подчиненных. Начались недоразумения. Были, конечно, виноватые из старых начальников, но все старались идти навстречу перевороту. Если и были шероховатости, то объясняется это влияниями со стороны.

Приказ Совета №1 смутил армию. Приказ №2 отменил этот приказ для фронта. Но у солдат явилась мысль, что начальство что-то скрывает: одни хотят дать права, другие их отнимают.

Офицеры встретили переворот радостно. Если бы мы не шли навстречу перевороту так охотно, то, может быть, он не прошел бы так гладко. А между тем оказалось, что свобода дана только солдатам, а офицерам осталось довольствоваться только ролью каких-то парий свободы.

Свобода на несознательную массу подействовала одуряюще. Все знают, что даны большие права, но не знают какие; не интересуются и обязанностями. Офицерский состав оказался в трудном положении. 15–20% быстро приспособились к новым порядкам по убеждению; вера в них солдат была раньше, сохранилась и теперь. Часть офицеров начала заиг-

рывать с солдатами, послаблять и возбуждать их против своих товарищей. Большинство же, около 75%, не сумело приспособиться сразу, обиделось, спряталось в свою скорлупу и не знает, что делать. Мы принимаем меры, чтобы освободить их из этой скорлупы и слить с солдатами, так как офицеры нужны нам для продолжения войны, а других офицеров у нас сейчас нет. Многие из них не подготовлены политически, многие не умеют говорить; все это мешает взаимному пониманию. Необходимо разъяснить и внушить массе, что свобода дана всем. Я знаю солдат 45 лет, люблю их и постараюсь слить с офицерами. Но Временное правительство, Государственная Дума и особенно Совет солдатских и рабочих депутатов также должны приложить все силы, чтобы помочь этому слиянию, которое нельзя отсрочивать во имя любви к родине.

Это необходимо еще и потому, что заявление «без аннексий и контрибуций» необразованная масса поняла своеобразно.

Один из полков заявил, что он не только отказывается наступать, но желает уйти с фронта и разойтись по домам. Комитеты пошли против этого течения, но им заявили, что их сместят. Я долго убеждал полк и когда спросил, согласны ли они со мною, у меня попросили разрешения дать письменный ответ. Через несколько минут передо мною появился плакат: «Мир во что бы то ни стало, долой войну».

При дальнейшей беседе один из солдат заявил: «Сказано без аннексий, зачем же нам эта гора?» Я ответил: «Мне эта гора тоже не нужна, но надо бить занимающего ее противника».

В результате мне дали слово стоять, но наступать отказались, мотивируя это так: «Неприятель у нас хороший и сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Нам важно вернуться домой, чтобы пользоваться свободой и землей. Зачем же калечиться?»

Но этот случай единичный. Чаще войска, особенно находящиеся в резерве, отзывчиво относятся к необходимости продолжать войну.

Воззвания противника, написанные хорошим русским языком, братанье с противником и распространяемая в большом количестве экземпляров газета «Правда» приводят к тому, что хотя офицерский состав желает драться, влияния

он не имеет. Наступление является поэтому делом чрезвычайно трудным.

Необходима дисциплина; нежелательна старая, но правительство и Совет должны подтвердить авторитет офицеров. Если этого не будет, то потеряем и то, что имеем.

Наступление или оборона? Успех возможен только при наступлении. При пассивной обороне всегда прорвут фронт. Если войска дисциплинированны, то прорыв можно еще ликвидировать. Но не надо забывать, что теперь дисциплинированных войск нет, они не обучены, офицеры не имеют власти. Успех противника при таких условиях легко может повести к катастрофе. Поэтому необходимо внушить массе взгляд, что надо не обороняться, а наступать.

Один из выдающихся корпусов занимал пассивный участок. Когда его хотели сменить с целью поставить на участок активный, то корпус отказался уйти, желая остаться на прежнем месте, и одновременно разослал телеграммы «Всем».

Армия должна знать, что неисполнение приказаний никто не одобряет, и тогда восстановится дисциплина в размерах, необходимых нам для войны. Я делаю все. Но взываю к Совету помочь мне выполнить долг, так как моих усилий недостаточно.

Кроме того, наступлению мешает неподготовленность тыла. Запасов продовольствия нет, и мы живем ото дня ко дню; конский состав в ужасающем виде — есть даже падеж от бескормицы; не хватает обозов; отпущены рабочие руки, поэтому дороги в отчаянном состоянии; не хватает людей, так как противник увеличивает срок службы, мы же его уменьшаем.

Итак, нам недостает многого. Но все-таки численное превосходство на нашей стороне. Если противник справится с французами и англичанами, то затем бросится на нас, и тогда нам будет нехорошо.

Нам нужно сильное правительство, на которое мы могли бы опираться, и мы приветствуем от всего сердца коалиционное правительство. Власть только тогда крепка, когда опирается на армию, олицетворяющую вооруженную силу народа.

Генерал Драгомиров. Я дополню картину, нарисованную генералом Брусиловым, оценкой положения на Рижско-Двинском фронте, прикрывающем Петроград. Распоряжения к нам приходили всегда позже, опережаемые живой почтой. В армиях создалось впечатление, что начальство скрывает получаемые приказы, и появился раскол между офицерами и солдатами. После больших усилий удалось привести армию в более или менее нормальное состояние. Под словом «нормальное состояние» я понимаю лишь прекращение эксцессов.

Господствующее настроение в армии — жажда мира. Популярность в армии легко может завоевать всякий, кто будет проповедовать мир без аннексий и предоставление самоопределения народностям. Своеобразно поняв лозунг «без аннексий», не будучи в состоянии уразуметь положение различных народов, темная масса все чаще задает вопрос: «Почему к нашему заявлению не присоединяется демократия наших союзников?» Стремление к миру является настолько сильным, что приходящие пополнения отказываются брать вооружение — «зачем нам, мы воевать не собираемся». Работы прекратились. Необходимо принимать даже меры, чтобы не разбирали обшивку в окопах и чинили дороги.

В одном из отличных полков на принятом участке оказалось красное знамя с надписью «Мир во что бы то ни стало». Офицер, разорвавший это знамя, должен был спасаться бегством. Целую ночь группы солдат пятигорцев разыскивали по Двинску этого офицера, укрытого штабом.

Ужасное слово «приверженцы старого режима» выбросило из армии лучших офицеров. Мы все желали переворота, а между тем много хороших офицеров, составлявших гордость армии, ушли в резерв только потому, что старались удержать войска от развала или же не сумели приспособиться.

Но еще более опасны медленные, тягучие настроения. Страшно развился эгоизм. Каждая часть думает только о себе. Ежедневно приходит масса депутаций — о смене, о снабжении и т.п. Всех приходится убеждать и это чрезвычайно затрудняет работу командного состава. То, что раньше выполнялось беспрекословно, теперь вызывает целый торг. Приказание о переводе батареи на другой участок сейчас же

вызывает волнение: «Вы ослабляете нас, значит — изменники». Когда оказалось необходимым вывести в резерв один корпус на случай десанта противника и ввиду слабости Балтийского флота, то сделать это было нельзя, потому что все заявляли: «Мы и без того растянуты, а если еще растянемся, то не удержим противника». А между тем раньше перегруппировки удавались нам совершенно легко. В сентябре 1915 года с Западного фронта было выведено 11 корпусов и это спасло нас от разгрома, который мог бы решить участь всей войны. Теперь это невозможно. Каждая часть реагирует на малейшее изменение.

Трудно заставить сделать что-либо во имя интересов Родины. От смены частей, находящихся на фронте, отказываются под самыми разнообразными предлогами: плохая погода, не все вымылись в бане. Был даже случай, что одна часть отказалась идти на фронт под тем предлогом, что два года назад уже стояла на позиции под Пасху. Приходится устраивать торговлю с комитетами заинтересованных частей.

Наряду с этим сильно развились поиски места полегче. Когда распространился слух о формировании армии в Финляндии, то были устранены солдатами командиры нескольких полков, отказавшиеся будто бы идти в Финляндию и пожелавшие ради личных выгод занять позицию.

При известии о том, что в одной из казачьих областей было наводнение, причем сильно пострадали несколько станиц, целый полк казаков потребовал отправления на родину. После переговоров удалось прийти к соглашению — отправить по два человека от взвода.

Гордость от принадлежности к великому народу потеряна, особенно среди населения Поволжских губерний. «Нам не надо немецкой земли, а до нас немец не дойдет, не дойдет и японец».

С отдельными лицами можно говорить и даже добиваться желательных результатов. Но с общим настроением удается справляться лишь с большим трудом.

Недостойно ведет себя лишь очень незначительная часть офицеров, стараясь захватить внимание толпы и играть на ее низменных чувствах. В одном из полков был вынесен приговор суда общества офицеров об удалении из полка одного

из офицеров. Но тот, собрав группу солдат, апеллировал к ним, призывая заступиться за него, изгоняемого из полка будто бы за то, что он защищал солдатские интересы. С большим трудом удалось успокоить собравшуюся толпу солдат, а офицера пришлось оставить в полку.

Выборное право нигде не было проведено полностью, но явочным порядком местами вытесняли неугодных, обвинив их в приверженности к старому режиму, а местами оставили начальников, признанных безусловно непригодными и подлежащими увольнению. Не было никакой возможности заставить отказаться от просьб об оставлении таких непригодных лиц.

Что касается эксцессов, то были отдельные попытки стрельбы по своим офицерам.

Это факты тяжелые. Но нужно помнить, что вот уже два месяца армии наносятся тяжелые удары, и вместо пользы переворот принес ей колоссальный вред. Если так будет продолжаться дальше, то это станет началом конца, армия прекратит существование, так как нельзя будет думать не только о наступлении, но даже и об обороне.

Чувство самосохранения развивается до потери самого элементарного стыда, принимает панический характер. Описанные явления наблюдались в 6 из 14 дивизий.

Немцы учли и отлично использовали появившееся у нас стремление к миру. В период развала и разрухи началось братание, поддерживавшее это мирное направление; а затем уже с чисто провокационными целями германцы стали присылать парламентеров.

Но есть явления и отрадные, и если мы получим поддержку, то разовьем их. Хорошо настроены отдельные национальности — латыши, поляки, украинцы.

Самое главное — вернуть командному составу авторитет. Во всех последних актах проглядывает забота только о солдате.

Мой отец еще в 60-е годы прошлого столетия начал борьбу за раскрепощение солдата и введение разумной, а не палочной дисциплины. Ему, тогда еще капитану генерального штаба, Александр II сказал: «Я требую от тебя дисциплины, а не либеральных мыслей». Не мне — его сыну — стоять за сохранение старого порядка, но я не могу сочувствовать развалу армии. Все, что теперь делается, губит армию. Единственное упоминание об офицерах — благодарность Гучкова — явилась как бы насмешкой над офицерами, попавшими в резерв.

Так больше продолжаться не может. Нам нужна власть. Мы воевали за Родину. Вы вырвали у нас почву из-под ног, потрудитесь ее теперь восстановить. Если на нас возложены громадные обязательства, то нужно дать власть, чтобы мы могли вести к победе миллионы порученных нам солдат.

Генерал Щербачев. Нас привело сюда сознание важности момента и лежащей на нас громадной ответственности. Нам необходимо воскресить былую славу русской армии, и мы глубоко надеемся, что уехать отсюда с твердой уверенностью, что наши доводы приняты во внимание.

Недавно назначенный, я успел объехать все подчиненные мне русские армии, и впечатление, которое составилось у меня о нравственном состоянии войск и их боеспособности, совпадает с теми, которые только что были вам подробно изложены.

Главнейшая причина этого явления — неграмотность массы. Конечно, не вина нашего народа, что он не образован. Это всецело грех старого правительства, смотревшего на вопросы просвещения глазами министерства внутренних дел. Но с фактами малого понимания массой серьезности нашего положения, с фактами неправильного истолкования даже верных идей необходимо считаться.

Я не буду приводить Вам много примеров, я укажу только на одну из лучших дивизий русской армии, заслужившую в прежних войсках название «железной» и блестяще поддержавшую свою былую славу в эту войну. Поставленная на активный участок, дивизия эта отказалась начать подготовительные для наступления инженерные работы, мотивируя нежеланием наступать.

Подобный же случай произошел на днях в соседней с этой, тоже очень хорошей стрелковой дивизии. Начатые в ней подготовительные работы были прекращены после того как выборные комитеты, осмотревшие этот участок, вынес-

ли постановление прекратить их, так как они являются подготовкой для наступления.

Если мы не хотим развала России, то нам следует продолжать борьбу и наступать. Иначе получается дикая картина. Представители угнетенной России доблестно дрались; свергнув же правительство, стремившееся к позорному миру, граждане свободной России не желают драться и оградить свою свободу. Дико, странно, непонятно! Но это так.

Причина — исчезла дисциплина; нет доверия к начальникам; слово Родина для многих стало пустым звуком.

Эти условия тяжелы вообще, но особенно тяжелы они на румынском фронте, где приходится считаться не только с более тяжелыми, чем на других фронтах, военными условиями, но и с очень запутанной политической обстановкой.

Горный, непривычный для равнинного жителя театр войны угнетающе давит на психику войск; часто слышатся голоса «уберите нас из этих проклятых гор». Продовольственные затруднения, создавшиеся из-за того, что приходится базироваться на одну железнодорожную линию, усиливают это недовольство. То, что мы ведем борьбу на территории Румынии, истолковывается как борьба за Румынию, что также не встречает сочувствия. Недоброжелательное иногда отношение местных жителей понимается как нежелание помочь тем, кто сражается за них же. Возникают трения, иногда разрастающиеся вследствие того, что часть румын считает нас виновниками тех поражений, которые они понесли и из-за которых они лишились большей части своей территории и достояния.

Румынское правительство и представители союзников знают и учитывают происходящее у нас в армии брожение, и отношение к нам союзников меняется. Я лично замечаю, что между нами и союзниками пробежала кошка: нет прежнего уважения к нам, нет веры в мощь русской армии.

Я высоко держу власть, но если развал армии продолжится, то мы не только потеряем союзников, но и сделаем из них врагов. А это грозит нам тем, что мир будет заключен за наш счет.

В 1914 году мы прошли всю Галицию. В 1915 году при отступлении мы забрали на Юго-западном фронте 100 000 пленных. Сами судите, что это было за отступление и каков был

дух войск. Летом 1916 года мы спасли от разгрома Италию. Неужели же теперь мы изменим общему делу союзников и принятым на себя обязательствам?

Развал в армии налицо, но он поправим. И если нам это удастся, то через полтора месяца наши доблестные офицеры и солдаты снова пойдут вперед. История будет поражена, с какими ничтожными средствами мы добились блестящих результатов в 1916 году. Если вы хотите поднять русскую армию и превратить ее в мощный организм, который продиктует условия мира, то вы должны нам помочь. Дело поправимо, но лишь в том случае, если начальники получат одобрение и доверие. Мы надеемся, что вся верховная власть в армии будет передана Верховному главнокомандующему, который один может распоряжаться войсками. Мы исполним волю Временного правительства, но дайте нам могучую поддержку.

Генерал Гурко. С чувством грусти пришли мы сюда. Вы видите, что авторитет военных начальников глубоко подорван. Я думал, что волна революции уже достигла вершины и дальше пойдет улучшение, но я ошибся.

Если вы хотите продолжать войну до желательного нам конца, то необходимо вернуть армии власть.

А между тем мы получили проект декларации. Гучков не нашел возможным подписать ее и ушел. Я должен сказать, что если штатский человек ушел, отказавшись ее подписать, то для нас, начальников, она тем более неприемлема. Она создаст полное разрушение всего уцелевшего.

А ведь она должна дойти до самой маленькой ячейки — до роты.

Коснусь вопроса об отдании чести. Можете назвать его приветствием, но оно должно быть обязательным. В самом элементарном обществе установлено взаимное приветствие и считается оскорблением, если один из знакомых умышленно не приветствует другого. Войдите в шкуру тех, кто на этой почве столкнется в бою. Какие отношения признаются декларацией нормальными, если узаконить это неуважение к начальнику?

Дом не строят из одних кирпичей. Если вы введете декларацию, то армия рассыплется в песок.

Надо торопиться. Время не терпит. Необходимо создать нормальные условия для совместной работы тех, кто вместе отдает Родине свою жизнь и свое здоровье. Если вы не сделаете этого теперь, то скоро уже ничего не будет.

Я расскажу Вам один эпизод из периода, когда я временно исполнял должность начальника штаба Верховного главнокомандующего.

13 февраля с.г. я долго убеждал бывшего царя дать ответственное министерство. Как последний козырь я выставил наше международное положение, отношение к нам союзников, указал на возможные последствия, но тогда мои доводы не были приняты.

Наше международное положение я хочу охарактеризовать и теперь.

У нас нет прямых указаний на то, как реагируют наши союзники на наш отказ от продолжения борьбы. Мы не можем потребовать, чтобы они высказали свои сокровенные мысли. Но подобно тому, как на войне нам часто приходится решать вопрос за противника, так и здесь попытаемся разобраться, решая его за союзников.

Начать было легко, но волна революции захлестнула нас. Я надеюсь, что благодаря здравому смыслу мы переживем все. Если же этого не будет, если союзники убедятся в нашем бессилии, то при соблюдении принципов реальной политики у них будет единственный выход — заключить сепаратный мир с Германией. И при этом они даже не нарушат обязательств, так как ведь мы обязались драться совместно, а теперь на самом деле стоим. Если же один дерется, а другой, как какой-то китайский дракон, сидящий в окопах, ожидает результата драки, то, согласитесь, у того, кто дерется, может возникнуть мысль о сепаратном мире. И этот мир будет заключен, конечно, за наш счет. От наших союзников австро-германцы ничего получить не могут — их финансы расстроены, а естественных богатств нет; наши финансы тоже расстроены, но у нас есть огромные нетронутые естественные богатства. К такому решению союзники придут, конечно, в крайности; так как это будет не мир, а длительное перемирие. Отъевшись за наш счет, воспитанные на идеалах XIX века, германцы вновь обрушатся на нас и наших бывших союзников.

Вы, может быть, возразите: если это возможно, то отчего бы не заключить нам сепаратный мир раньше. Тут я прежде всего затрону нравственную сторону. Ведь обязалась Россия, а не ее бывший самодержец. Мне был известен факт двоедушия Романова, когда вы этого еще не знали, заключившего вскоре после 1904—1905 года союз с Вильгельмом, когда еще действовал франко-русский союз. Свободный русский народ, сам ответственный за свои поступки, не может отступаться от своих обязательств. Но если даже откинуть моральную сторону, то остается сторона физическая. Если только мы начнем переговоры, то в тайне это остаться не может. Через 2—3 дня об этом узнают наши союзники. Они тогда также вступят в переговоры и начнется аукцион — кто больше даст. Союзники, конечно, богаче нас, но борьба там еще не кончена, а кроме того за наш счет наши противники могут получить значительно больше.

С точки зрения именно международного положения нам надо доказать, что мы еще можем воевать. Я не буду продолжать революционировать армию, так как если это продолжится, то мы можем оказаться не в состоянии не только наступать, но даже и обороняться. Оборона еще гораздо труднее. Когда в 1915 году мы отступали — начальники приказывали и их слушали; вы могли требовать с нас, так как мы воспитали армию. Теперь положение иное. Вы создали нечто совершенно новое и отняли у нас власть. Накладывать теперь ответственность на нас нельзя и потому она ляжет всецело на ваши головы. Вы говорите: «революция продолжается». Послушайте нас. Мы больше знакомы с психологией войск, мы пережили с ними и славные и печальные страницы. Приостановите революцию и дайте нам, военным, выполнить до конца свой долг и довести Россию до состояния, когда вы сможете продолжать свою работу. Иначе мы вернем вам не Россию, а поле, где сеять и собирать будет наш враг, и вас проклянет та же демократия. Так как именно она пострадает, если победят германцы; именно она останется без куска хлеба. Ведь крестьяне всегда просуществуют своей землей.

Про прежнее правительство говорили, что оно «играет на руку Вильгельму». Неужели то же можно сказать про вас? Что же это за счастье Вильгельму! Играют ему на руку и монарх, и демократы.

Армия накануне разложения. Отечество в опасности и близко к гибели. Вы должны помочь. Разрушать легче, и если вы умели разрушить, то умейте и восстановить.

Генерал Алексеев. Главное сказано, и это правда. Армия на краю гибели. Еще шаг — и она будет ввергнута в бездну, увлечет за собой Россию и ее свободы, и возврата не будет. Виновны все. Вина лежит на всем, что творилось в этом направлении за последние два с половиной месяца. Мы сделали все возможное; отдаем и теперь все силы, чтобы оздоровить армию. Мы верим А.Ф. Керенскому, что он вложит все силы ума, влияния и характера, чтобы помочь нам. Но этого недостаточно. Должны помочь и те, кто разлагал. Тот, кто издавал приказ №1, должен издать ряд приказов и разъяснений.

Армия — организм хрупкий; вчера она работала, а завтра она может обратиться против России. В этих стенах можно говорить о чем угодно, но нужна сильная твердая власть; без нее невозможно существовать. До армии должен доходить только приказ министра[1] и главнокомандующего, и мешать этим лицам никто не должен.

Мы все отдаем себя Родине. Если мы виноваты, предавайте нас суду, но не вмешивайтесь. Если хотите, то назначьте таких, которые будут делать перед вами реверансы.

Скажите здравые слова, что без дисциплины армия не может существовать. Дух критики заливает армию и должен прекратиться, иначе он погубит ее.

Если будет издана декларация, то, как говорил генерал Гурко, все оставшиеся маленькие устои и надежды рухнут. Погодите, время будет. То, что уже сделано, не переварено за эти два с половиной месяца. У нас есть уставы, где указаны и права и обязанности; все же появляющиеся теперь распоряжения говорят только о правах.

Выбейте идею, что мир придет сам по себе. Кто говорит «не надо войны», тот изменник; кто говорит «не надо наступления», тот трус.

---

[1] Генерал Алексеев мирился даже с установлением официально власти военного министра над армией в военное время.

У вас есть люди убежденные; пусть приедут к нам и не метеором промелькнут, а поживут и устранят сложившиеся предрассудки. У вас есть печать — пусть поднимет она любовь к Родине и потребует исполнения каждым его обязанностей.

Материальные недостатки мы переживем; духовные же требуют немедленного лечения. Если в течение ближайшего месяца мы не выздоровеем, то вспомните, что говорил генерал Гурко о нашем международном положении. Работать мы будем; помогите же нам и вы.

Князь Львов. Мы выслушали главнокомандующих, понимаем все сказанное и исполним свой долг, во имя Родины, до конца.

Церетели. Тут нет никого, кто способствовал бы разложению армии, кто играл бы на руку Вильгельму.

Я слышал упрек, что Совет способствовал разложению армии. Между тем все признают, что если у кого в настоящее время и есть авторитет, то только у Совета. Что стало бы, если бы его не было? К счастью, демократия помогла делу, и у нас есть вера в спасение.

Как идти вам? У вас могут быть два пути: один — отвергнуть политику Совета, но тогда у вас не будет никакого источника власти, чтобы собрать армию и направить ее для спасения Родины; другой путь — верный, испытанный нами, — это единение с народными желаниями и чаяниями.

Если командный состав не объяснил ясно, что вся сила армии, поставленной на защиту страны, в наступлении, то нет такой магической палочки, которая могла бы это сделать.

Говорят, что лозунг «без аннексий и контрибуций» внес разложение в армию, в массы. Возможно, что он был понят неправильно. Но надо было разъяснить, что это конечная цель; отказаться же от этого лозунга нельзя. Мы сами сознаем, что Родина в опасности, но защита ее — дело всего русского народа.

Власть должна быть единой и пользоваться доверием, но путь для этого — разрыв со старой политикой. Единение может быть основано только на доверии, которого ничем нельзя купить.

Идеалы Совета не есть идеалы отдельных кучек; это идеалы всей страны; отказаться от них — значит, отказаться от всей страны.

Вам, может быть, был бы понятен приказ №1, если бы вы знали обстановку, в которой он был издан. Перед нами была неорганизованная толпа и ее надо было организовать.

Масса солдат хочет продолжать войну. Те, кто не хотят этого, неправы, и я не хочу думать, что не хотят они из-за трусости. Это результат недоверия. Дисциплина должна быть. Но если солдат поймет, что вы не боретесь против демократии, то он поверит вам. Этим путем можно спасти армию. Этим путем Совет укрепил свой авторитет.

Есть только один путь спасения — путь доверия и демократизации страны и армии. Совет заслужил доверие этим путем и имеет теперь возможность проводить свои взгляды; и пока это так, еще не все потеряно. Укрепляйте же доверие к Совету!

Генерал Алексеев. Не думайте, что 5 человек, которые говорили здесь, не присоединились к революции. Мы искренно присоединились и зовем вас к совместной работе. Я сказал: посылайте к нам лучших людей, пусть они работают вместе с нами. Мои слова звучали горечью, но не упреком. Не упрек, а призыв я посылаю вам.

Скобелев. Мы пришли сюда не для того, чтобы слушать упреки. Что происходит в армии, мы знаем. То положение, которое вы описали, действительно внушает тревогу. Сумеем ли мы достигнуть при всем этом конечных целей, выйти с честью из создавшегося положения, будет зависеть от величия духа русского народа.

Я считаю необходимым разъяснить ту обстановку, при которой был издан приказ №1. В войсках, свергших старый режим, командный состав не присоединился к восставшим и, чтобы лишить его значения, мы были вынуждены издать приказ №1. У нас была скрытая тревога, как отнесется к революции фронт. Отдаваемые распоряжения внушали опасения. Сегодня мы убедились, что основания для этого были. Необходимо сказать правду: мероприятия командного состава привели к тому, что за два с половиной месяца армия не уразумела происшедшего переворота.

Мы понимаем, что вам нелегко. Но когда нам говорят «прекратите революцию», то мы должны ответить, что революция не может начинаться и прекращаться по приказу. Революция может войти в свое нормальное русло, когда мозговой процесс революции, как верно здесь было определено, охватит всю Россию, когда ее уразумеют все 70% неграмотных.

Мы отнюдь не домогаемся выборного командного состава.

Мы согласны с вами, что у нас есть власть, что мы сумели ее заполучить. Но когда вы поймете задачи революции и дадите уразуметь народу объявленные лозунги, то получите ее и вы.

Народ должен знать, для чего он воюет. Вы ведете армию, чтобы разгромить врага, и вы должны разъяснить, что стратегическое наступление необходимо для осуществления заявленных принципов.

Мы возлагаем надежды на нового военного министра и надеемся, что министр-революционер продолжит нашу работу и ускорит мозговой процесс революции в тех головах, в которых он протекает слишком медленно.

Военный министр Керенский. Я должен сказать присутствующим, как министр и как член правительства, что мы стремимся спасти страну и восстановить активность и боеспособность русской армии. Ответственность мы берем на себя, но получаем и право вести армию и указывать ей путь дальнейшего развития.

Тут никто никого не упрекал. Каждый говорил, что он перечувствовал. Каждый искал причину происходящих явлений. Но наши цели и стремления — одни и те же. Временное правительство признает огромную роль и организационную работу Совета рабочих и солдатских депутатов, иначе я не был бы военным министром. Никто не может бросить упрек этому Совету. Но никто не может упрекать и командный состав, так как офицерский состав вынес тяжесть революции на своих плечах так же, как и весь русский народ.

Все поняли момент. Теперь, когда мои товарищи входят в правительство, легче выполнить то, к чему мы совместно идем. Теперь одна цель — спасти нашу свободу.

Прошу ехать на ваши посты и помнить, что за вами и за армией — вся Россия.

Наша задача — освободить страну до конца. Но этот конец сам не придет, если мы не покажем всему миру, что сильны своей силой и духом.

Генерал Гурко. Мы с вами (возражение Скобелеву и Церетели) рассуждаем в разных плоскостях. Главное, основное условие существования армии — дисциплина. Мерило стойкости части — это тот процент потерь, который она может понести, не теряя боеспособности. Я 8 месяцев пробыл в южно-африканских республиках и видел там части двух родов: 1) небольшие, но дисциплинированные и 2) добровольческие, недисциплинированные. И вот, в то время как первые при потерях даже до 50% продолжали вести бой и не теряли боеспособности, вторые, несмотря на то что составлены были из добровольцев, отдававших себе отчет, за что они сражаются, уже после 10% потерь оставляли ряды и бросали поле битвы; и не было силы, которая могла бы заставить их драться. Вот разница между войсками дисциплинированными и недисциплинированными.

Мы просим дать дисциплину. Мы все для этого делаем и убеждаем. Но необходим и ваш авторитетный голос.

Надо помнить, что если противник перейдет в наступление, то мы рассыплемся, как карточный дом.

Если вы не откажетесь от революционирования армии, то возьмите сами власть в свои руки.

Князь Львов. Цели у нас одни и те же, и каждый выполнит свой долг до конца. Позвольте поблагодарить вас, что вы приехали и поделились с нами.

• • •

Заседание окончилось. Главнокомандующие разъехались по фронтам, унося с собой ясное осознание того, что последняя ставка проиграна. Вместе с тем с того же дня началась травля советскими ораторами и печатью генералов Алексеева, Гурко и Драгомирова, предрешившая оставление ими армии.

9 мая, как я уже говорил, Керенский, отдав предварительно приказ о недопущении ухода со своих постов старших начальников «из желания уклониться от ответственности», утвердил «Декларацию».

Какое же впечатление произвело опубликование этого рокового акта?

Керенский *впоследствии* оправдывался тем, что закон был составлен до принятия им поста военного министра и одобрен как Исполнительным комитетом, так и «военными авторитетами», и он не имел никакого основания не утверждать его; словом, был вынужден сделать это. Но я помню не одну из речей Керенского, когда он, считая свой путь наиболее верным, *гордился* своей смелостью, выразившейся в издании закона, «который не осмелился подписать Гучков», — закона, против которого протестовал весь командный состав.

Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов 13 мая отозвался на декларацию восторженным воззванием, в котором убогая мысль остановилась исключительно на вопросе об отдании чести: «Два месяца мы ждали этого дня. Теперь солдат стал гражданином по закону. Отныне солдат-гражданин освободился от рабского отдания чести и как равный, свободный будет приветствовать того, кого пожелает. Дисциплина в революционной армии будет существовать народным энтузиазмом, а не обязательным отданием чести».

И люди с таким кругозором взялись перестраивать армию!

Впрочем, большинство революционной демократии советов не удовлетворилось декларацией. Ее называли «новым закрепощением солдата». Началась устная и печатная борьба за дальнейшее расширение солдатских прав. Всероссийский съезд советов признал, что приказ, дав прочную основу для демократизации армии, не подтвердил, однако, еще многих существенных прав солдата-гражданина. Докладчики оборончеккого блока требовали отвода и аттестации командного состава войсковыми комитетами, свободы слова и в служебное время, а главное — отмены §14-го декларации, предоставляющего начальнику применять в боевой обстановке оружие против подчиненных, не исполняющих приказание. Об отрицательном отношении к закону левого, пораженческого сектора совета и съезда не приходится уж и говорить.

Либеральная печать, не вникнув в значение закона, отнеслась к нему совершенно несерьезно. А кадетский офи-

циоз[1] отозвался даже статьей, в которой выражалось живейшее удовлетворение тем, что декларация «дает каждому солдату возможность участвовать в политической жизни страны, раскрепощает его окончательно от оков старого режима, выводит из затхлой атмосферы прежней казармы на свежий воздух свободы», что «армии всех стран мира стоят вдали от политической жизни, тогда как русская армия становится первой армией, живущей всей полнотой политических прав!» Даже «Новое Время» писало в передовой статье: «Знаменательный день! Сегодня великая армия могучей России стала действительно армией революции! Отношения воинов всех степеней отныне складываются на общей основе — *сознании долга*, равно обязательного для каждого гражданина. И революционная армия обновленной России пойдет на великое испытание кровью с верой в победу и мир».

Как трудно было бороться за сохранение армии командному составу, встречавшему даже в кругах, которые считались оплотом попираемой русской государственности, такое грубое непонимание основных начал существования армии!

Начальники еще ниже опустили головы.

А армия... с удвоенной быстротой покатилась в пропасть.

ГЛАВА XXIII
ПЕЧАТЬ И ПРОПАГАНДА ИЗВНЕ

Наряду с аэропланами, танками, удушливыми газами и прочими чудесами военной техники, в последней мировой войне появилось новое могучее средство борьбы — *пропаганда*. Собственно говоря, оно не совсем новое, ибо еще в 1826 году на заседании английской палаты депутатов министр Каннинг говорил: «Если нам придется участвовать когда-либо в войне, мы соберем под наши знамена всех мятежных, всех основательно или без причины недовольных в каждой стране, которая пойдет против нас». Но теперь это средство достигло необычайного развития, напряжения и организованности, поражая наиболее болезненные и восприимчивые места народной психики. Широко поставленные технически, снабженные огромными средствами органы пропаганды Англии, Франции и Америки (в особенности Англии) вели страшную борьбу словом, печатью, фильмами и... валютой, распространяя эту борьбу на территории вражеские, союзнические и нейтральные, внося ее в области военную, политическую, моральную и экономическую. Тем более что Германия в особенности давала достаточно поводов для того, чтобы пропаганда обладала обильным и неопровержимо уличительным материалом. Трудно перечислить даже в общих чертах тот огромный арсенал идей, которые шаг за шагом, капля по капле углубляли социальную рознь, подрывали государственную власть, подтачивали духовные силы противников и веру их в победу, разъединяли их союз, возбуждали против них нейтральные державы, наконец, поднимали падающее настроение своих собственных народов. Тем не менее придавать исключительное значение этому моральному воздействию извне, как это делают теперь вожди немецкого народа в оправдание свое, ни в каком случае не следует: Германия потерпела поражение политическое, экономическое, военное и моральное. Только взаимодействие всех этих факторов предрешило фатальный для нее исход борьбы, обратившейся под конец в длительную агонию. Можно было лишь удивляться жизнеспособности немецкого народа, который, в силу интеллектуальной мощи и устойчивости политического мышления, продержался так долго, пока, наконец, в ноябре 1918 года «двойной смертельный удар как на фронте, так и в тылу» не сразил его. При этом история несомненно отметит большую аналогию в той роли, которую сыграли «революционные демократии» России и Германии в судьбах этих народов. Вождь немецких независимых социал-демократов после разгрома познакомил страну с той большой и систематической работой, которую они вели с начала 1918 года для разрушения немецкой армии и флота во славу социальной революции. В этой работе поражает сходство приемов и методов с теми, которые практиковались в России.

Не будучи в силах бороться против пропаганды английской и французской, немцы с большим, однако, успехом при-

---

[1] «Речь», 11 мая.

меняли это средство в отношении своего восточного противника, тем более что «Россия творила свое несчастье сама — говорил Людендорф, — и работа, которую мы вели там, не была слишком трудным делом».

Результаты взаимодействия искусной немецкой руки и течений, возникавших не столько из факта революции, сколько из самобытной природы русского бунта, превзошли самые смелые ожидания немцев.

Работа велась в трех направлениях — в политическом, военном и социальном. В первом необходимо отметить совершенно ясно и определенно поставленную и последовательно проводимую немецким правительством *идею расчленения России*. Осуществление ее вылилось в провозглашение 5 ноября 1916 года Польского королевства[1], *с территорией, которая должна была распространяться в восточном направлении «как можно дальше»;* в создании «независимых», но находящихся в унии с Германией Курляндии и Литвы; в разделе Белорусских губерний между Литвой и Польшей и, наконец, в длительной и весьма настойчивой подготовке отпадения Малороссии, осуществленного позднее, в 1918 году. Поскольку первые факты имели лишь принципиальное значение, касаясь земель фактически оккупированных немцами и предопределяя характер будущих «аннексий», постольку позиция, занятая центральными державами в отношении Малороссии, оказывала непосредственное влияние на устойчивость важнейшего нашего Юго-западного фронта, вызывая политические осложнения в крае и сепаратные стремления в армии. К этому вопросу я вернусь впоследствии.

В состав немецкой главной квартиры входило прекрасно организованное «бюро прессы», которое, помимо воздействия и направления отечественной печати, руководило и пропагандой, проникавшей преимущественно в Россию и Францию. Милюков приводит циркуляр германского министерства иностранных дел всем представителям его в нейтральных странах: «Доводится до вашего сведения, что на территории страны, в которой вы аккредитованы, основаны

---

[1] Восстановление Польши в этнографических границах предусматривалось и Россией.

специальные конторы для организации пропаганды в государствах, воюющих с германской коалицией. Пропаганда коснется возбуждения социального движения и связанных с последним забастовок, революционных вспышек, сепаратизма составных частей государства и гражданской войны, а также агитации в пользу разоружения и прекращения кровавой бойни. Предлагаем вам оказывать всемерное покровительство и содействие руководителям означенных пропагандистских контор».

Любопытно, что летом 1917 года английская печать ополчилась на посла Бьюкенена и свое министерство пропаганды за полную инертность их в деле воздействия на русскую демократию и в борьбе против немецкой пропаганды в России. Одна из газет указывала, что английское бюро русской пропаганды возглавляется романистом и начинающими писателями, которые «о России имеют такое же понятие, как о китайских метафизиках».

У нас ни в правительственном аппарате, ни в Ставке не было совершенно органа, хоть до некоторой степени напоминающего могучие западноевропейские учреждения пропаганды. Одно из отделений генерал-квартирмейстерской части ведало техническими вопросами отношений с печатью и не имело ни значения, ни влияния, ни каких-либо активных задач. Русская армия — плохо ли, хорошо ли — воевала первобытными способами, не прибегая никогда к практиковавшемуся широко на Западе «отравлению души» противника. И платила за это лишними потоками крови. Но если относительно моральной стороны разрушительной пропаганды существуют два мнения, то нельзя не отметить нашей полной инертности и бездеятельности в другой, совершенно чистой области. Мы не делали решительно ничего, чтобы познакомить зарубежное общественное мнение с той исключительной по значению ролью, которую играла Россия и русская армия в мировой войне; с теми огромными потерями и жертвами, которые приносил русский народ; с теми постоянными и, быть может, непонятными холодному рассудку наших западных друзей и врагов величественными актами самопожертвования, которое проявляла русская армия каждый раз, когда фронт союзников был на

волоске от поражения. Такое непонимание роли России я, скитаясь по Европе, встречал почти повсюду в широких общественных кругах даже долгое время спустя после заключения мира. Карикатурным, но весьма характерным показателем его служит мелкий эпизод: на знамени-хоругви, поднесенной маршалу Фошу «от американских друзей», изображены флаги всех государств, мелких земель и колоний, так или иначе входивших в орбиту Антанты в великую войну; флаг России поставлен на... 46-е место, после Гаити, Уругвая и непосредственно за Сан-Марино. Невежество или пошлость?

Мы не сделали ничего, чтобы заложить прочный нравственный фундамент национального единства за время оккупации Галиции, не привлекли к себе общественного мнения занятой русскими войсками Румынии, не предприняли ничего, чтобы удержать от предательства славянских интересов болгарский народ; наконец, не использовали вовсе пребывание на русской территории огромной массы пленных для того хотя бы, чтобы дать им правильное представление о России.

Императорская Ставка, наглухо замкнувшаяся в сфере чисто военных вопросов ведения кампании, не делала никаких попыток, чтобы приобрести влияние на общий ход политических событий, что совершенно соответствует идее *служебного* существования народной армии. Но вместе с тем Ставка решительно уклонилась от воздействия на общественное настроение страны, чтобы привлечь этот могущественный фактор к моральному содействию в борьбе. Не было никакой связи с большой печатью, которая представлена была в Ставке лицами, не имевшими ни влияния, ни значения.

Когда грянула революция и политический вихрь захватил и закружил армию, Ставка не могла долее оставаться инертной. Надо было откликнуться. Тем более что в России вдруг не оказалось вовсе источника моральной силы, охраняющего армию: правительство, в особенности военное министерство, шло неудержимо по пути оппортунизма; Совет и социалистическая печать разрушали армию; буржуазная печать то взывала к консулам, «чтобы империя не потерпела ущерба», то наивно радовалась «демократизации и раскрепощению». Даже в компетентных, казалось бы, кругах петроградской высшей военной бюрократии шел полный разброд мысли, ставивший в недоумение и растерянность общественное мнение страны.

Оказалось, однако, что в Ставке для борьбы нет ни аппарата, ни людей, ни техники, ни знания и опыта. А главное, Ставка оказалась как-то оттертой, отброшенной в сторону бешено мчавшейся колесницей жизни. Голос ее ослабел и затих.

2-му генерал-квартирмейстеру генералу Маркову предстояла большая работа — создать аппарат, установить связь с крупной прессой, дать «рупор» Ставке и поднять влачившую жалкое существование армейскую печать, на которую уже посягали войсковые организации. Марков горячо взялся за это дело, но менее чем за два месяца своего пребывания в должности ничего серьезного сделать не успел. Всякое начинание Ставки в этом направлении подвергалось со стороны революционной демократии злостному обвинению в контрреволюционности. А либерально-буржуазная Москва, к которой он обратился за содействием в оказании интеллектуальной и технической помощи делу, ответила широковещательными обещаниями и абсолютно ничего не сделала.

Таким образом, у Ставки не было никаких средств не только для ведения активной борьбы против разложения армии, но и для противодействия немецкой пропаганде, все более и более разраставшейся.

* * *

Людендорф откровенно, с доходящим до высокого цинизма национальным эгоизмом говорил: «Я не сомневался, что разгром русской армии и русского народа представляет большую опасность для Германии и Австро-Венгрии. Наше правительство, *послав Ленина в Россию*, взяло на себя огромную ответственность! Это путешествие оправдывалось с военной точки зрения: *нужно было, чтобы Россия пала*. Но наше правительство должно было принять меры, чтобы этого не случилось с Германией»[1].

Бесконечные страдания русского народа, уже «вышедшего из строя», даже теперь не вызывали ни слова сожаления и раскаяния у духовных его растлителей.

---

[1] «Mes souvenirs de guerre».

С началом кампании немцы изменили направление своей работы в отношении России: не нарушая связей с известными реакционными кругами двора, правительства и Думы, используя все средства воздействия на эти круги и все их побуждения — корысть, честолюбие, немецкий атавизм, иногда своеобразно понимаемый патриотизм, — немцы вступили одновременно в тесное содружество с русскими революционерами в стране и в особенности за границей в многочисленной эмигрантской колонии. На службу немецкому правительству прямо или косвенно привлечены были все: крупные агенты шпионажа и вербовки, вроде Парвуса (Гельфанда); провокаторы, причастные к русской охранке, вроде Блюма; агенты-пропагандисты — Ульянов (Ленин), Бронштейн (Троцкий), Апфельбаум (Зиновьев), Луначарский, Озолин, Кац (Камков) и много других. А за ними шла целая плеяда недалеких или неразборчивых людей, выброшенных за рубеж, фанатически ненавидевших отринувший их режим — до забвения Родины, или сводящих с ним счеты, служа подчас слепым орудием в руках немецкого генерального штаба. Из каких побуждений, за какую плату, в какой степени — это уже детали. Важно, что они продавали Россию, служа достижению тех именно целей, которые ставил перед ними наш враг. Все они тесно переплетались между собой и с агентами немецкого шпионажа, составляя неразрывный комплот.

Началось с широкой революционной и сепаратистской пропаганды (украинской) в лагерях военнопленных. По свидетельству Либкнехта, «германское правительство не только способствовало этой пропаганде, но и само вело таковую». Этим целям служил «Комитет революционной пропаганды», основанный в 1915 году в Гааге, «Союз освобождения Украины» в Австрии, «Копенгагенский институт» (организация Парвуса) и целый ряд газет революционного и пораженческого направления, частью издаваемых всецело на средства немецкого штаба, частью субсидируемых: «Социал-демократ» (Женева — газета Ленина), «Наше Слово» (Париж — газета Троцкого), «На чужбине» (Женева — с участием Чернова, Каца и др.), «Русский вестник», «Родная речь», «Неделя» и т.д. Такого же рода деятельностью — распространением одновременно пораженческой и революционной литературы

наряду с чисто благотворительным делом — занимался «Комитет интеллектуальной помощи русским военнопленным в Германии и Австрии» (Женева), находившийся в связи с официальной Москвою и получавший оттуда субсидии.

Чтобы определить характер этих изданий, достаточно привести две-три фразы, выражающие взгляды их вдохновителей. Ленин в «Социал-демократе» писал: «Наименьшим злом будет поражение царской монархии — наиболее варварского и реакционного из всех правительств». Чернов, будущий министр земледелия, в «Мысли» объявил, «что у него есть одно отечество — интернационал».

Наряду с печатным словом немцы приглашали сподвижников Ленина и Чернова, особенно из редакционного комитета «На чужбине», читать сообщения в лагерях, а немецкий шпион консул фон Пельхе занимался широкой вербовкой агитаторов для пропаганды в рядах армии — среди русских эмигрантов призывного возраста и левого направления.

Но все это была лишь подготовка. Русская революция открыла необъятные перспективы для немецкой пропаганды. Наряду с чистыми людьми, гонимыми некогда и боровшимися за народное благо, в Россию хлынула и вся та революционная плесень, которая впитала в себя элементы «охранки», интернационального шпионажа и бунта.

Петроградская власть больше всего боялась обвинения в недостаточной демократичности. Министр Милюков неоднократно заявлял, что «правительство признает безусловно возможным возвращение в Россию всех эмигрантов, без различия их взглядов на войну и независимо от нахождения их в международных контрольных списках»[1]. Министр вел спор с англичанами, требуя пропуска задержанных ими большевиков Бронштейна (Троцкого), Зурабова и др.

Но с Лениным и его единомышленниками дело было сложнее. Их, невзирая на требование русского правительства, союзники несомненно не пропустили бы. Поэтому, по признанию Людендорфа, немецкое правительство командировало Ленина и его спутников (в первой партии 17 чело-

[1] В такие списки вносились лица, заподозренные в отношениях с враждебными правительствами.

век) в Россию, предоставив им свободный проезд через Германию. Предприятие это, сулившее необычайно важные результаты, было богато финансировано золотом и валютой через Стокгольмский (Ганецкий-Фюрстенберг) и Копенгагенский (Парвус) центры и через русский Сибирский банк. Тем золотом, которое, по выражению Ленина, «не пахнет».

В октябре 1917 года Бурцев напечатал список из 159 лиц, провезенных через Германию в Россию распоряжением немецкого генерального штаба. Почти все они, по словам Бурцева, революционеры, в течение войны ведшие пораженческую кампанию из Швейцарии, а теперь «вольные или невольные агенты Вильгельма». Многие из них заняли немедленно выдающееся положение в социал-демократической партии, в Совете, Комитете[1] и большевистской прессе. Имена Ленина, Цедербаума (Мартова), Луначарского, Натансона, Рязанова, Апфельбаума (Зиновьева) и др. стали скоро наиболее роковыми в русской истории.

Немецкая газета «Die Woche» ко дню прибытия Ленина в Петроград посвятила этому событию статью, в которой он был назван «истинным другом русского народа и честным противником». А кадетский официоз «Речь», который вел потом неизменно смелую борьбу с ленинцами, почтил приезд его словами: «Такой общепризнанный глава социалистической партии должен быть теперь на арене борьбы, и его прибытие в Россию, какого бы мнения ни держаться о его взглядах, можно приветствовать».

Ленин приехал 3 апреля в Петроград, встреченный весьма торжественно, и через несколько дней объявил свои тезисы, часть которых составляла основные темы германской пропаганды: «Долой войну» и «Вся власть Советам!»

Первоначальные выступления Ленина казались такими нелепыми и такими явно анархическими, что вызвали протест не только во всей либеральной, но и в большей части социалистической печати.

Но мало-помалу левый сектор революционной демократии, усиленный немецкими агентами, присоединился явно

---

[1] Членами Комитета были, например, Зурабов и Перзич, служивший у Парвуса.

и открыто к проповеди своего главы, не находя решительного отпора ни в двоедушном Совете, ни в слабом правительстве. Широкая волна немецкой и бунтарской пропаганды охватывала все более и более Совет, Комитет, революционную печать и невежественную массу, находя понимание — подневольное или сознательное — даже среди лиц, стоявших у кормила власти.

С первых же дней организация Ленина, как сказано было впоследствии, в июле, в сообщении прокурора петроградской судебной палаты, «в целях способствования находящимся в войне с Россией государствам во враждебных против нее действиях, вошла с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла, для чего на полученные от этих государств денежные средства организовала пропаганду среди населения и войск, а также в тех же целях, в период времени 3—5 июля организовала в Петрограде вооруженное восстание против существующей в государстве верховной власти».

Ставка давно и тщетно возвышала свой предостерегающий голос. Генерал Алексеев и лично и письменно требовал от правительства принятия мер против большевиков и шпионов. Несколько раз я обращался в военное министерство, послав, между прочим, уличающий в шпионаже материал в отношении Раковского, и документы, свидетельствовавшие об измене Ленина, Скоропись-Иолтуховского и других. Роль «Союза освобождения Украины» (в состав которого в числе других входили Меленевский и В. Дорошенко)[1], как организации центральных держав для пропаганды, шпионажа и вербовки в «сечевые украинские части», не подлежала никакому сомнению. В одном из моих писем (16 мая), на основании допроса русского пленного офицера Ермоленко, принявшего на себя роль немецкого агента, с целью обнаружить организацию раскрывалась,

---

[1] Любопытно, что Бронштейн (Троцкий) — лицо достаточно компетентное в деле тайных сношений со штабами наших противников, в «Известиях» 8 июля 1917 года писал: «Мною были разоблачены в газете «Наше Слово» и пригвождены к позорному столбу Скоропись-Иолтуховский, Поток и Меленевский, как агенты австрийского генерального штаба».

между прочим, такая картина: «Ермоленко был переброшен к нам в тыл на фронт 6-й армии для агитации в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Поручение это Ермоленко принял по настоянию товарищей. Офицеры германского генерального штаба Шидицкий и Любар ему сообщили, что такого же рода агитацию ведут в России агенты германского генерального штаба — председатель секции «Союза освобождения Украины» А. Скоропись-Иолтуховский и Ленин. Ленину поручено всеми силами стремиться к подрыву доверия русского народа к Временному правительству. Деньги на операцию получаются через некоего Свендсона, служащего в Стокгольме при германском посольстве». Такие приемы практиковались и до революции. Наше командование обратило внимание на слишком частое появление «бежавших из плена». Многие из них, продавшись врагам, проходили определенный курс разведывательной службы и, получив солидное вознаграждение и «явки», пропускались к нам через линию окопов. Не имея никакой возможности определить, где доблесть, а где измена, мы почти всегда отправляли всех бежавших из плена с европейских фронтов на Кавказский.

Все представления верховного командования, рисующие невыносимое положение армии перед лицом такого грандиозного предательства, не только оставались безрезультатными, но не вызвали ни разу ответа. Тогда я предложил генералу Маркову пригласить в Ставку В. Бурцева и предоставить ему секретный материал по немецкой пропаганде для использования. А тем временем революционная демократия чествовала в Одессе Раковского. Керенский проводил свободные диспуты в Совете с Лениным на тему, нужно или не нужно разрушать страну и армию, исходя из взгляда, что он — «военный министр революции» и что «свобода мнений для него священна, откуда бы она не исходила». Церетели горячо заступался за Ленина: «С Лениным, с его агитацией я не согласен. Но то, что говорит депутат Шульгин, есть клевета на Ленина. *Никогда Ленин не призывал к выступлениям, нарушающим ход революции. Ленин ведет идейную пропаганду»*[1].

---

[1] Сборник речей. Речь, произнесенная 27 апреля на заседании членов Государственной Думы.

Эта пресловутая свобода мнений до крайности упрощала немецкую пропаганду, вызвав такое небывалое явление, как открытая проповедь сепаратного мира и недоверия к правительству на немецком языке в столичных собраниях и в Кронштадте агентом Германии, председателем циммервальдской и кинтальской конференции Робертом Гриммом! Какую моральную прострацию и потерю всякого национального достоинства, сознания и патриотизма представляет картина, где Церетели и Скобелев «ручаются» за агента-провокатора, Керенский «добивается» перед правительством права въезда Гримма в Россию, Терещенко разрешает, а русские люди слушают речи Гримма... без возмущения, без негодования!

Во время июльского восстания большевиков чины министерства юстиции, возмущенные попустительством руководящей части правительства, с ведома министра Переверзева решили предать гласности мое письмо военному министру и другие документы, обличавшие Ленина в предательстве Родины. Документы, в виде заявления, подписанного двумя социалистами — Алексинским и Панкратовым, переданы были в печать. Это обстоятельство, преждевременно обнаруженное, вызвало страстный протест Чхеидзе, Церетели и страшный гнев министров Некрасова и Терещенко. Правительство запретило помещать в печати сведения, порочащие доброе имя товарища Ленина, и прибегло к репрессиям... против чинов судебного ведомства. Заявление, однако, на страницах печати появилось. В свою очередь Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов проявил трогательную заботливость не только о неприкосновенности большевистских лидеров, но даже об их чести, специальным воззванием 5 июля «предлагая воздержаться от распространения позорящих обвинений» против Ленина и «других политических деятелей» впредь до расследования дела особой комиссией. Это внимание получило откровенное объяснение в резолюции центральных исполнительных комитетов (8 июля), которая, осуждая попытку анархо-большевистских элементов свергнуть правительство, вместе с тем выражала опасение, что «*неизбежные* меры, к которым должны были прибегнуть правительство и военные власти, созда-

ют почву для демагогической агитации контрреволюционеров, выступающих пока под флагом установления революционного порядка, но могущих проложить дорогу к военной диктатуре».

Как бы то ни было, обнаруженное прямое преступное участие главарей большевизма в бунте и измене заставило правительство приступить к репрессиям. Ленин и Апфельбаум (Зиновьев) бежали в Финляндию, Бронштейн (Троцкий), Козловский, Раскольников, Ремнев и многие другие были арестованы. Несколько анархо-большевистских газет закрыто.

Впрочем, эти репрессии не имели серьезного характера. Многие заведомые руководители выступлений не привлекались вовсе к ответственности, и их работа по разрушению продолжалась с последовательностью и энергией. Министр юстиции Переверзев, осмелившийся начать борьбу с большевизмом при несогласии других членов правительства, под давлением Совета, вынужден был выйти в отставку. Его преемники Зарудный и Малянтович приступили к выпуску из тюрем арестованных большевиков, а последний — и к ликвидации всего их дела. Малянтович на совещании высших чинов министерства и прокуратуры высказал даже такой преступный взгляд, что в деяниях большевиков не усматривается «злого умысла» и что во время японской войны «многие передовые люди откровенно радовались успеху Японии и, однако, никто их не думал привлекать к ответственности!»[1]. Попустительство, проявленное в отношении большевиков — самая темная страница в истории деятельности Временного правительства. Ни связь большевиков с враждебными державами, ни открытая беззастенчивая, разлагающая проповедь, ни явная подготовка восстания и участие в нем — ничто не могло превозмочь суеверного страха правительства перед обвинением его в реакционности, ничто не могло вывести правительство из рабского подчинения Совету, покровительствовавшему большевикам.

* * *

Внося войну внутрь нашей страны, немцы также настойчиво и методично проводили другой лозунг — мир на фронте. Братание случалось и раньше, до революции, и имело даже традиционный характер в дни святой Пасхи. Но вызывалось оно исключителыю беспросветно-нудным стоянием в окопах, любопытством, просто чувством человечности даже в отношении к врагу — чувством, проявлявшимся со стороны русского солдата не раз и на полях Бородино, и на бастионах Севастополя, и в Балканских горах. Братание случалось редко, преследовалось начальством и не носило опасной тенденции. Теперь же немецкий генеральный штаб поставил это дело широко, организованно и по всему фронту, с участием высших штабов и командного состава, с подробно разработанной инструкцией, в которой предусматривались: разведка наших сил и позиций; демонстрирование внушительного оборудования и силы своих позиций; убеждение в бесцельности войны; натравливание русских солдат против правительства и командного состава, исключительно в интересах которого якобы исключительно продолжается эта «кровавая бойня». Груды пораженческой литературы, заготовленной в Германии, передавались в наши окопы. А в то же время по фронту совершенно свободно разъезжали партизаны из Совета и Комитета с аналогичной проповедью, с организацией «показного братания» и с целым ворохом «Правды», «Окопной правды», «Социал-демократов» и прочих творений отечественного социалистического разума и совести, — органов, оставлявших далеко позади, по силе и аргументации, иезуитскую элоквенцию их немецких собратьев. А в то же время общее собрание наивных «делегатов фронта» в Петрограде выносило постановление допустить братание с целью... революционной пропаганды в неприятельских армиях!

Правда, и правительство, и военный министр, и резолюции *большинства* Совета и Комитета осуждали братание. Но успеха их воззвания не имели. Фронт представлял зрелище небывалое. Загипнотизированный немецко-большевистской речью, он забыл все: и честь, и долг, и Родину, и горы трупов своих братьев, погибших бесцельно и бесполезно. Беспощадная рука вытравляла в душе русских солдат все моральные побуждения, заменяя единственным, доминирующим над всем животным чувством — желанием сохранить свою жизнь.

[1] «Утро России», 14 октября 1917 года.

Нельзя читать без глубокого волнения о переживаниях Корнилова, столкнувшегося впервые после революции, в начале мая, в качестве командующего 8-й армией с этим фатальным явлением фронтовой жизни. Они записаны капитаном (тогда) генерального штаба Нежинцевым, впоследствии доблестным командиром Корниловского полка, в 1918 году павшим в бою с большевиками при штурме Екатеринодара. «Когда мы втянулись в огневую зону позиции, — писал Нежинцев, — генерал (Корнилов) был очень мрачен. Слова «позор, измена» оценили гробовое молчание позиции. Затем он заметил:

— Вы чувствуете весь ужас и кошмар этой тишины? Вы понимаете, что за нами следят глаза артиллерийских наблюдателей противника и нас не обстреливают. Да над нами, как над бессильными, издевается противник. Неужели русский солдат способен известить противника о моем приезде на позицию?

Я молчал, но святые слезы на глазах героя глубоко тронули меня. И в эту минуту я мысленно поклялся генералу, что умру за него, умру за нашу общую Родину. Генерал Корнилов как бы почувствовал это. И резко повернувшись ко мне, пожал мою руку и отвернулся, как будто устыдившись своей минутной слабости.

Знакомство нового командующего с его пехотой началось с того, что построенные части резерва устроили митинг и на все доводы о необходимости наступления, указывали на ненужность продолжения «буржуазной» войны, ведомой «милитарщиками». Когда генерал Корнилов, после двухчасовой бесплодной беседы измученный нравственно и физически, отправился в окопы, здесь ему представилась картина, какую вряд ли мог предвидеть любой воин эпохи.

Мы вошли в систему укреплений, где линии окопов обеих сторон разделялись, или, вернее сказать, были связаны проволочными заграждениями. Появление генерала Корнилова было приветствуемо... группой германских офицеров, нагло рассматривавших командующего русской армией; за ними стояло несколько прусских солдат. Генерал взял у меня бинокль и, выйдя на бруствер, начал рассматривать район будущих боевых столкновений. На чье-то замечание, как бы пруссаки не застрелили русского командующего, последний ответил:

— Я был бы бесконечно счастлив: быть может, хоть это отрезвило бы наших затуманенных солдат и прервало постыдное братание.

На участке соседнего полка командующий армией был встречен... бравурным маршем германского егерского полка, к оркестру которого потянулись наши «братальщики» — солдаты. Генерал со словами «это измена!» повернулся к стоящему рядом с ним офицеру, приказав передать братальщикам обеих сторон, что если немедленно не прекратится позорнейшее явление, он откроет огонь из орудий. Дисциплинированные германцы прекратили игру и пошли к своей линии окопов, по-видимому устыдившись мерзкого зрелища. А наши солдаты — о, они долго еще митинговали, жалуясь на «притеснения контрреволюционными начальниками их свободы».

Я не питаю чувства мести вообще. Но все же крайне сожалею, что генерал Людендорф оставил немецкую армию раньше времени, до ее развала, и не испытал непосредственно в ее рядах тех невыразимо тяжелых нравственных мучений, которые перенесли мы — русские военачальники.

Кроме братания, неприятельское главное командование практиковало в широких размерах с провокационной целью посылку непосредственно к войскам, или, вернее, к солдатам, парламентеров. Так, в конце апреля на Двинском фронте появился парламентер — немецкий офицер, который не был принят. Однако он успел бросить в солдатскую толпу фразу: «Я пришел к вам с мирными предложениями и имел полномочия даже к Временному правительству, но ваши начальники не желают мира». Эта фраза быстро распространилась, вызвала волнения в солдатской среде и даже угрозу оставить фронт. Поэтому, когда через несколько дней на том же участке вновь появились парламентеры (командующий бригадой, два офицера и горнист), то их препроводили в штаб 5-й армии. Конечно, оказалось, что никаких полномочий они не имели и не могли указать даже сколько-нибудь определенно цель своего прибытия, так как «единственной целью появлявшихся на фронте лжепарламентеров, — как говорилось в приказе Верховного главнокомандующего, —

было разведать наше расположение и настроения, и лживым показом своего миролюбия склонять наши войска к бездействию, спасительному для немцев и гибельному для России и ее свободы». Подобные выступления имели место и на фронтах 8-й, 9-й и других армий.

Характерно, что в этой провокации счел возможным принять личное участие главнокомандующий восточным германским фронтом принц Леопольд Баварский, который в двух радиограммах, носящих выдержанный характер обычных прокламаций и предназначенных для солдат и Совета, сообщал, что главное командование идет навстречу «неоднократно высказанным желаниям русских солдатских депутатов окончить кровопролитие»; что «военные действия между нами (центральными державами) и Россией могут быть окончены *без отхода России от своих союзников»,* что «если Россия желает знать частности наших условий, пусть откажется от требования публиковать об них». И заканчивал угрозой: «Желает ли новое русское правительство, подстрекаемое своими союзниками, убедиться в том, стоят ли еще на нашем восточном фронте дивизионы тяжелых орудий?»

Ранее, когда вожди делали низость во спасение армии и Родины, то по крайней мере стыдились ее и молчали. Ныне военные традиции претерпели коренное изменение.

К чести Совета нужно сказать, что он надлежаще отнесся к этому провокационному призыву, ответив: «Главнокомандующий немецкими войсками на Восточном фронте предлагает нам «сепаратное перемирие, тайну переговоров!» Но «Россия знает, что разгром союзников будет началом разгрома ее армии, а разгром революционных войск свободной России — это не только новые братские могилы, но и гибель революции, гибель свободной России».

ГЛАВА XXIV
ПЕЧАТЬ И ПРОПАГАНДА ИЗНУТРИ

С первых же дней революции естественно произошла резкая перемена в направлении русской печати. Выразилась она, с одной стороны, в известной дифференциации всех буржуазных органов, принявших направление либерально-охранительное, к *тактике* которого примкнула и небольшая часть социалистической печати типа плехановского «Единства»; с другой стороны — нарождением огромного числа социалистических органов.

Правые органы претерпели значительную эволюцию, характерным показателем которой может служить неожиданное заявление известного сотрудника «Нового Времени» Меньшикова: «Мы должны быть благодарными судьбе, что тысячелетие изменявшая народу монархия наконец изменила себе и сама над собой поставила крест. Откапывать ее из-под креста и заводить великий раздор о кандидатах на рухнувший престол было бы, по-моему, роковой ошибкой». В течение первых месяцев правая печать частью закрылась, (не без давления и насилия со стороны советов), частью же усвоила мирно-либеральное направление. Только с сентября 1917 года тон ее становился крайне приподнятым в связи с окончательно выяснившимся бессилием правительства, потерей надежды на легальный выход из создавшегося тупика и отголосками корниловского выступления. Нападки на правительство крайних органов превратились в сплошное поношение его.

Расходясь в большей или меньшей степени в понимании социальных задач, оставленных к разрешению революцией, повинная, быть может, вместе с русским обществом во многих ошибках, русская либеральная печать проявила, однако, исключительное единодушие в важнейших вопросах государственно-правового и национального характера: полная власть Временному правительству; демократические реформы в духе программы 2 марта, война до победы в согласии с союзниками, Всероссийское учредительное собрание как источник верховной власти и конституции страны. Либеральная печать еще в одном отношении оставила о себе добрую память в истории: в дни высокого народного подъема, как и в дни сомнений, колебаний и всеобщей деморализации, знаменующих собою революционный период 1917 года, в ней, равно как и в правой печати, не нашлось почвы для размещения немецкого золота.

Широкое возникновение новой социалистической прессы сопровождалось рядом неблагоприятных обстоятельств.

У нее не было нормального прошлого, не хватало традиции. Долгая жизнь подполья, усвоенный им исключительно разрушительный метод действий, подозрительно, и враждебное отношение ко всякой власти — все это наложило известный отпечаток на все направление этой печати, оставляя слишком мало места и внимания для творческой, созидательной работы. Полный разброд мысли, противоречия, колебания, проявленные как в недрах Совета, так и между партийными группировками и внутри партий, находили в печати соответствующее отражение точно так же, как и стихийный напор снизу безудержных, узкоэгоистичных, классовых требований; ибо невнимание к этим требованиям создавало угрозу, высказанную однажды «красой и гордостью революции» — кронштадтскими матросами — министру Чернову: «Если ничего не дадите вы, то нам даст Михаил Александрович!» Наконец, не осталось без влияния появление в печати множества таких лиц, которые внесли в нее атмосферу грязи и предательства. Газеты пестрели именами, которые вышли из уголовной хроники, охранного отделения и международного шпионажа. Все эти господа Черномазовы (провокатор-охранник — руководитель дореволюционной «Правды»), Бертхольды (тоже редактор «Коммуниста»), Деконские, Малиновские, Мстиславские, соратники Ленина и Горького — Нахамкес, Стучка, Урицкий, Гиммер (Суханов) и множество других лиц, не менее известных, довели русскую печать до морального падения, еще небывалого.

Разница была лишь в размахе. Одни органы, близкие к советскому официозу «Известиям рабочих и солдатских депутатов», *расшатывали*, в то время как другие, типа «Правды» (орган социал-демократов большевиков) — *разрушали* страну и армию.

В то время, когда «Известия» призывали к поддержке Временного правительства, держа, однако, камень за пазухой, «Правда» заявляла, что «правительство контрреволюционно, и потому с ним не может быть никаких отношений. Задача революционной демократии — диктатура пролетариата». А социал-революционный орган Чернова «Дело народа» нашел нейтральную формулу: всемерная поддержка коалиционному правительству, но «нет и не может быть в этом вопросе единодушия; скажем более — и не должно быть в интересах двуединой обороны».

В то время как «Известия» начали проповедовать наступление, только без окончательной победы, не оставляя, впрочем, намерения «через головы правительства и господствующих классов установить условия, на которых может быть прекращена война», «Правда» требовала повсеместного братания; социал-революционная «Земля и Воля» то сокрушалась, что Германия желает по-прежнему завоеваний, то требовала сепаратного мира. Черновская газета, в марте считавшая, что «если бы враг победил, тогда конец русской свободе», в мае в проповеди наступления видит «предел беззастенчивой игры на судьбе отечества, предел безответственности и демагогии». Газета Горького «Новая жизнь» устами Гиммера (Суханова) договаривается до такого цинизма: «Когда Керенский призывает *очистить русскую землю от неприятельских войск*, его призывы далеко выходят за пределы военной техники. Он призывает к политическому акту, при этом совершенно не предусмотренному программой коалиционного правительства. Ибо очищение пределов страны *силой наступления* означает «полную победу»... Вообще «Новая жизнь» особенно горячо отстаивала немецкие интересы, повышая голос во всех тех случаях, когда со стороны союзников или нашей немецким интересам угрожала опасность.

А когда наступление разложившейся армии окончилось неудачей — Тарнополем, Калушем, когда пала Рига, левая пресса повела жестокую кампанию против Ставки и командного состава, и черновская газета, в связи с предполагавшимися преобразованиями в армии, истерически взывала: «Пусть пролетарии знают, что их снова хотят отдать в железные объятия нищеты, рабского труда и голода. Пусть солдаты знают, что их снова хотят закабалить в «дисциплине» господ командиров и заставить лить кровь без конца, лишь бы восстановилась вера союзников в «доблесть» России». Прямее всех, однако, поступила впоследствии «Искра» — орган меньшевиков-интернационалистов (Мартов-Цедербаум), которая в день занятия немецким десантом острова Эзеля напечатала статью «Привет германскому флоту!».

Даже по вопросу о разгоравшейся в стране анархии левые газеты не отличались единомыслием и постоянством. Наряду с демагогическими призывами к немедленному и насильственному разрешению экономического, рабочего, земельного вопросов, мы на страницах тех же газет встречаем нередко призывы «не торопиться, ибо провинция отстает»; рабочим умерить свои несдержанные требования и употребить все усилия, чтобы не было оснований обвинять их в небрежном отношении к фронту; крестьянам воздержаться от самовольных захватов земли и т.д. Только «Правда» оставалась верной себе, раз и навсегда определив: «То, что намечается в «самочинных» захватах рабочих, крестьян и беднейшего городского населения, — это не «анархия», а «дальнейшее развитие революции».

Вопрос о русской печати в годы революции — большой и важный, требующий специального изучения. Здесь я хотел лишь приведением нескольких характерных цитат отметить, какой сумбур должен был получиться в умах полуобразованных или темных читателей социалистической литературы, в особенности в армии.

Россия пользовалась свободой печати, ничем не ограниченной. Собственно, печати социалистической. Ибо правые и либеральные газеты попали под жестокий гнет петроградского и местных советов, которые проявляли свою власть, закрывая газеты, не допуская выхода новых и применяя при этом грубую вооруженную силу, захват типографий или терроризирование типографских рабочих. Одновременно крайняя левая печать пользовалась неизменной защитой советов во имя «свободы слова», хотя официально подвергалась иногда критике и осуждению. Так, в воззвании «К солдатам» (после событий 3–5 июля) Всероссийский съезд советов осудил «необдуманные статьи и воззвания» этой прессы: «Знайте, товарищи, что эти газеты, как бы они ни назывались, «Правда» ли, «Солдатская правда» ли — идут вразрез с ясно выраженной волей рабочих, крестьян и солдат, собравшихся на съезде».

Военная цензура, в сущности никогда не отменявшаяся, просто игнорировалась. Только 14 июля правительство сочло себя вынужденным напомнить существование закона о военной тайне, а перед этим, 12 июля, предоставило в виде временной меры министрам военному и внутренних дел право закрывать повременные издания, «призывающие к неповиновению распоряжениям военных властей, к неисполнению воинского долга и содержащие призывы к насилию и к гражданской войне», с одновременным привлечением к суду редакторов. Керенский действительно закрыл несколько газет в столице и на фронте. Закон тем не менее имел лишь теоретический характер. Ибо, в силу сложившихся взаимоотношений между правительством и органами революционной демократии, суд и военная власть были парализованы, ответственность фактически отсутствовала, а крайние органы, меняя названия («Правда» — «Рабочий и солдат» — «Пролетарий» и т.д.), продолжали свое разрушительное дело.

Так или иначе, вся эта социалистическая, и в частности большевистская литература на основании пункта 6-го декларации хлынула беспрепятственно в армию. Частично — стараниями всевозможных партийных «военных бюро» и «секций» Петрограда и Москвы, частично — при посредстве «культурно-просветительных комиссий» войсковых комитетов. Средства были разнообразные: одни исходили из темных источников, другие взяли полупринудительно из войсковых экономических сумм, третьи легально отпускались старшими военными начальниками из числа оппортунистов. Так, один из моих предшественников по командованию Юго-Западным фронтом генерал Гутор открыл фронтовому комитету на эту цель кредит в 100 000 рублей, который я, по ознакомлении с характером распространяемой комитетом литературы, немедленно же закрыл. Главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов субсидировал из казенных средств ярко большевистскую газету «Наш путь», объясняя так свой поступок: «Если она (газета) и делает ошибки, повторяя большевистские лозунги, то ведь мы знаем, что матросы — самые ярые большевики, а сколько они обнаружили героизма в последних боях(?). Мы видим, что и большевики умеют драться. При этом — у нас свобода печати»[1]. Впро-

[1] Разговор Черемисова с военным корреспондентом Купчинским («Общее Дело» 1917 года).

чем, этот факт имел место уже в начале октября, и «перелеты» — явление, чрезвычайно характерное еще для Смутного времени 1913 года, — начинали уже седлать коней и готовиться в путь... к новому режиму.

* * *

В армии существовала и военная печать. Возникавшие и раньше, до революции, органы фронтовых и армейских штабов имели характер чисто военных бюллетеней. Со времени революции газеты эти своими слабыми литературными силами начали добросовестно, честно, но неталантливо вести борьбу за сохранение армии. Встречая равнодушие или озлобление со стороны солдат, уже отвернувшихся от офицерства, и особенно со стороны параллельно существовавших комитетских органов «революционной» мысли, они начали мало-помалу хиреть и замирать, пока, наконец, в начале августа приказом Керенского не были закрыты вовсе; исключительное право издания армейской печати было передано фронтовым и армейским комитетам. Такая же участь постигла и «Известия действующей армии» — орган Ставки, затеянный генералом Марковым и не поддержанный солидными силами столичной прессы.

Комитетская печать, широко распространяемая в войсках за казенный счет, отражала те же настроения, о которых я говорил ранее в главе о комитетах, с амплитудой колебания от государственности до анархии, от полной победы — до немедленного, явочным порядком, заключения мира. Отражала (только в худшей, более убогой по литературному изложению и содержанию, форме) тот разброд мысли и влечения к крайним теориям, которые характеризуют столичную социалистическую печать. При этом, в зависимости от состава комитетов, отчасти — от близости Петрограда, фронты несколько отличались друг от друга. Умереннее был Юго-западный, хуже Западный и сильно большевистским — Северный. Кроме местных произведений, страницы комитетской печати были во многих случаях широко открыты для постановлений и резолюций не только крайних политических отечественных партий, но даже и немецких.

Ко времени принятия мною должности главнокомандующего Западным фронтом (июнь), фронтовой комитет издавал газету «Фронт» в количестве 20 тысяч экземпляров. Чтобы дать представление о характере того нездорового воздействия, которое оказывала газета на войска, приведу краткий перечень некоторых статей, извлеченный из 29 номеров, выпущенных комитетом до оставления мною фронта.

1) 14 статей, доказывающих, что продолжение войны выгодно только для врагов демократии — «буржуев, помещиков, фабрикантов».

2) Призывы прекратить войну. В том числе резолюция фронтового комитета против наступления (№15).

3) Развитие идей интернационала, с призывом к немедленному заключению мира и ко всемирному господству пролетариата (№25, меморандум германских «независимых социал-демократов»).

4) Ряд резолюций комитета и статей, выражающих недоверие начальникам и штабам и требующих замены последних комиссиями из состава комитетов (в пяти номерах).

5) 5 статей и протоколов комитета, требующих для солдатских организаций права отвода и назначения начальников, а также суда над ними.

6) Протест против признания министром внутренних дел незаконным постановления харьковского совета о захвате частных земель (№24).

7) Резолюция одного из комитетов о «контрреволюционности» командира корпуса, осудившего в приказе большевиков. В ней говорилось, что расхождение идей большевизма со взглядами военного министра и большинства Совета не может служить основанием для воспрещения пропаганды и ареста агитаторов. Репрессивные меры против большевиков являются грубым и противозаконным нарушением прав свободных граждан и т.д. (№27).

Такой липкой паутиной идей и мыслей — глубоко противогосударственных и антинациональных — опутывала комитетская печать темную солдатскую массу. В такой удушливой атмосфере недоверия, непонимания, извращения всех начал военной традиции и этики жило несчастное офицерство. В такой же атмосфере приходилось жить, работать и готовить большое наступление главнокомандующему. Я сообщил Керенскому о деятельности комитета и о направ-

ленности его печати, но безрезультатно. Тогда, на 29-м номере, нарушив приказ Керенского, я приказал прекратить отпуск денег на газету, которую, впрочем, после моего ухода возобновил новый главнокомандующий генерал Балуев.

Балуев относился совершенно иначе, чем я, к войсковым организациям, в такой степени питая к ним доверие, что сделал однажды представление военному министру: «Литература должна быть допущена в войска только та, которую признает возможным допустить Совет рабочих и солдатских депутатов и комитеты фронтов и армий». Такое разномыслие, вернее, коренное различие в тактике на верхах командования, еще более запутывало отношения.

Было бы, однако, неправильно говорить о непосредственном влиянии печати на солдатскую массу. Его не было, как не было вовсе и популярных газет, доступных ее пониманию. Печать оказывала влияние главным образом на полуинтеллигентскую часть армейского состава. Эта среда оказалась ближе к солдату, и к ней перешла известная доля того авторитета, которым пользовался раньше офицерский корпус. Идеи, воспринятые из газет и преломленные сквозь призму понимания этой среды, поступали уже в упрощенном виде в солдатскую массу, состоявшую, к сожалению, в огромной части своей из людей невежественных и безграмотных. А в массе все эти понятия, освобожденные от хитросплетенных аргументаций, предпосылок, обоснований, претворялись в простые до удивления и логичные до ужаса выводы.

В них преобладало прямолинейное отрицание «Долой!»

Долой буржуазное правительство, долой контрреволюционное начальство, долой «кровавую бойню»; вообще все опостылевшее, надоевшее, мешающее так или иначе утробным инстинктам и стесняющее «свободную волю», — все долой!

Так элементарно разрешала армия на бесчисленных солдатских митингах все волнующие человечество политические и социальные вопросы.

Занавес опущен. Версальский мир остановил на время вооруженную борьбу в средней Европе. Для того, очевидно, чтобы, собравшись с силами, народы взялись за оружие вновь с целью разорвать цепи, наложенные на них поражениями.

Идея «мира во всем мире», которую 20 веков проповедуют христианские церкви, похоронена надолго.

Какими детски-наивными кажутся нам теперь усилия гуманистов XIX века, добивавшихся долгими, горячими проповедями смягчения ужасов войны и введения ограничивающих норм международного права, — теперь, когда мы знаем, что можно не только нарушать нейтралитет мирной культурной страны, но и отдать ее на поток и разграбление; когда мы умеем подводными лодками топить мирные корабли с женщинами и детьми, отравлять людей удушливыми газами, бороздить тело их осколками разрывных пуль; когда целую страну, нацию холодный политический расчет котирует только как «барьер» против вторжения вооруженной силы и вредных идей, и периодически то выручает, то предает.

Но ужаснейшее из всех орудий, когда-либо изобретенных человеческим умом, постыднейшее из всех средств, допускавшихся в последнюю мировую войну, — *это отравление души народа.*

Германия отдает приоритет в этом изобретении Англии. Предоставим им разрешить этот спор полюбовно. Но я вижу родную страну — раздавленной, умирающей среди темной ночи ужаса и безумия. И я знаю ее палачей.

Перед человечеством во всей своей грозной силе, во всей бесстыдной наготе встали два положения:

Все дозволено для пользы Отечества!

Все дозволено для торжества партии, класса — даже моральная и физическая гибель страны противника, даже предательство своей Родины и производство над живым телом ее социальных опытов, неудача которых грозит параличом и смертью!

Германия и Ленин без колебания разрешили эти вопросы положительно. Мир их осудил. Но полно! Так ли единодушны и искренни в своем осуждении все те, кто об этом говорит? Не слишком ли глубокий след оставили эти идеи в сознании — быть может, не столько народных масс, сколько их вождей? По крайней мере, к такому выводу приводит меня вся современная бездушная мировая политика правительств, в особенности в отношении России; вся современ-

ная беспросветноэгоистическая тактика классовых организаций.

Это страшно.

Я верю, что каждый народ имеет право с оружием в руках защищать свое бытие; знаю, что долго еще война будет обычным средством разрешения спорных международных вопросов; что приемы борьбы будут и честные и, к сожалению, бесчестные. Но существует известная грань, за которой и низость перестает быть просто низостью, а переходит в безумие. До такой грани мы уже дошли. И если религия, наука, литература, философы, гуманисты, учители человечества не поднимут широкого идейного движения против привитой нам готтентотской морали, то мир увидит закат своей культуры.

ГЛАВА XXV
СОСТОЯНИЕ АРМИИ КО ВРЕМЕНИ ИЮЛЬСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Очертив целый ряд внешних факторов, оказывавших влияние на жизнь, взаимоотношения и боевую службу некогда славной русской армии, перейду к скорбным страницам ее падения.

Я родился в семье армейского офицера, прослужил до европейской войны 22 года в строю скромных армейских частей и малых войсковых штабов, в том числе 2 года на русско-японской войне. Жил одной жизнью, одними радостями и печалями с офицером и солдатом, посвятив родному мне быту их много страниц в военной печати; почти непрерывно с 1914 по 1920 год стоял во главе войск и водил их в бой на полях Белоруссии, Волыни, Галиции, в горах Венгрии, в Румынии, потом... — потом в жестокой междоусобной войне, пробороздившей кровавым плугом родную землю.

Я имею более оснований и права говорить об армии и от армии, чем все те чуждые ей люди из социалистического лагеря, которые в высокомерном самомнении, едва коснувшись армии, ломали устои ее существования, судили вождей и воинов, определяли диагноз ее тяжелой болезни; которые

и теперь еще, после тяжелых опытов и испытаний, не оставляют надежду на превращение этого могущественного и страшного орудия государственного самосохранения в средство для разрешения партийных и социальных вождележений. Для меня армия не только историческое, социальное, бытовое явление, но почти вся моя жизнь, где много воспоминаний, дорогих и незабываемых; где все связано и переплетено в один общий клубок быстро протекших тяжелых и радостных дней; где сотни дорогих могил, похороненные мечты и... неугасшая вера.

К армии нужно подходить осторожно, не забывая, что не только исторические устои, но даже мелочи ее быта, кажущиеся, быть может, странными и смешными, имеют смысл и значение.

Когда началась революция, старый ветеран, любимец офицеров и солдат генерал Павел Иванович Мищенко, не будучи в состоянии примириться с новым режимом, ушел на покой. Жил в Темирханшуре, не выходил из-за ограды своего сада и носил всегда генеральскую форму и георгиевские кресты, даже в дни большевистской власти. Как-то раз пришли к нему большевики с обыском и, между прочим, пожелали снять с него погоны и кресты. Старый генерал вышел в соседнюю комнату и... застрелился. Пусть, кто может, посмеется над «отжившими предрассудками». Мы же почтим его светлую память.

Итак, грянула революция.

Не было никакого сомнения, что подобный катаклизм в жизни народа не пройдет даром. Революция должна была сильно встряхнуть армию, ослабив и нарушив все ее исторические скрепы. Такой результат являлся закономерным, естественным и непредотвратимым, независимо от того состояния, в котором находилась тогда армия, независимо от взаимоотношений командного и служебного начал. Мы можем говорить лишь об обстоятельствах, сдерживавших или толкавших армию к распаду.

Явилась власть. Источником ее могли быть три элемента: верховное командование (военная диктатура), буржуазная Государственная Дума (Временное правительство) и революционная демократия (Совет). Властью признано Временное

правительство. Но два других элемента отнеслись к нему различно: Совет фактически отнял власть у правительства, тогда как верховное командование подчинилось ему безоговорочно и, следовательно, вынуждено было выполнять его предначертания.

Власть могла поступить двояко: бороться с отрицательными явлениями, начавшимися в армии, мерами суровыми и беспощадными или потворствовать им. Под давлением Совета, отчасти же по недостатку твердости и понимания законов существования вооруженных сил, власть пошла по второму пути. Этим была предрешена конечная судьба армии. Все остальные факты, события, явления, воздействия — могли только повлиять на продолжительность процесса разложения и на его глубину.

Праздничные дни трогательного, радостного единения между офицерством и солдатами быстро отлетели, сменившись тяжелыми, нудными буднями. Но ведь они были, эти радостные дни, и, следовательно, не существовало совсем уж непроходимой пропасти между двумя берегами, и неумолимая логика жизни давно уже перебрасывала между ними мост. Сразу отпали как-то сами собой все наносные, устарелые приемы, вносившие элемент раздражения в солдатскую среду; офицерство подтянулось, сделалось серьезнее и трудолюбивее.

Но вот хлынули потоком газеты, воззвания, резолюции, приказы какого-то неведомого начальства, а вместе с ними целый ряд новых идей, которые солдатская масса не в состоянии была переварить и усвоить. Приехали новые люди, с новыми речами — такими соблазнительными и многообещающими, освобождающими солдата от повиновения и дающими надежду на немедленное устранение смертельной опасности. Когда один полковой командир наивно запросил, нельзя ли этих людей предать полевому суду и расстрелять, телеграмма, прошедшая все инстанции, вызвала ответ из Петрограда, что эти люди неприкосновенны и посланы Советом в войска именно для того, чтобы разъяснить им истинный смысл происходящих событий.

Когда теперь руководители революционной демократии, еще не утратившие чувства ответственности за распятую Россию, говорят, что движение, обусловленное глубокими классовыми расхождениями между офицерским и солдатским составом и «рабским закрепощением» последнего, имело стихийный характер, которому они не в состоянии были противостоять, — это глубокая неправда. Все основные лозунги, все программы, тактика, инструкции, руководства, положенные в основу «демократизации» армии, были разработаны военными секциями подпольных социалистических партий задолго до войны, вне давления «стихии», исходя из ясного и холодного расчета, как продукт «социалистического разума и совести».

Правда, офицеры убеждали не верить «новым словам» и исполнять свой долг. Но ведь советы с первого же дня объявили офицеров врагами революции, во многих городах их подвергли уже жестоким истязаниям и смерти при этом безнаказанно. Очевидно, и основание для этого было, так как даже из недр «буржуазной» Государственной Думы вышло такое странное и неожиданное «объявление»: «Сего 1 марта среди солдат Петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат. Слухи эти были проверены в двух полках и оказались ложными. Как председатель военной комиссии Временного комитета Государственной Думы я заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров вплоть до расстрела виновных. Полковник Энгельгардт».

Потом получены были приказ №1, декларация и пр., и пр.

Однако можно было еще бороться со всем этим словесным морем лжи и лицемерия, которые текли из Петрограда и из местных советов и находили отклик среди своих местных демагогов, если бы не одно явление, парализовавшее все усилия командного состава: охватившее всецело солдатскую массу животное чувство самосохранения. Оно было всегда. Но таилось под спудом и сдерживалось примером исполнения долга, проблесками национального самосознания, стыдом, страхом и принуждением. Когда все эти элементы отпали, когда для успокоения засыпающей совести явился целый арсенал новых понятий, оправдывающих шкурничество и дающих ему идейное обоснование, армия жить долее не мог-

ла. Это чувство опрокинуло все усилия командного состава, все нравственные начала и весь военный строй.

И вот началось[1].

...На широком поле, насколько видно глазу, тянутся бесконечные линии окопов, то подходящие друг к другу вплотную, переплетаясь своими проволочными заграждениями, то отходя далеко и исчезая за зеленым гребнем. Солнце поднялось уже давно, но в поле мертвая тишина. Первыми встали немцы. То там, то тут из-за окопов выглядывают их фигуры, кое-кто выходит на бруствер развесить на солнце свою отсыревшую за ночь одежду... Часовой в нашем передовом окопе раскрыл сонные глаза, лениво потянулся, безучастно поглядев на неприятельские окопы. Какой-то солдат, в грязной рубахе, босой, в накинутой на плечи шинели, ежась от утреннего холода вышел из окопа и побрел в сторону немецкой позиции, где между линиями стоял «почтовый ящик»; в нем — свежий номер немецкой газеты «Русский Вестник» и предложение товарообмена.

Тишина. Ни одного артиллерийского выстрела. На прошлой неделе вышло постановление полкового комитета против стрельбы и даже против пристрелки артиллерийских целей; пусть исчисляют необходимые данные по карте. Артиллерийский подполковник — член комитета — вполне одобрил такое постановление. Когда вчера командир полевой батареи начал пристрелку нового неприятельского окопа, наша пехота обстреляла свой наблюдательный пункт ружейным огнем; ранили телеграфиста. А ночью, на строящемся пункте вновь прибывшей тяжелой батареи, пехотные солдаты развели костер[2].

9 часов утра. 1-я рота начинает понемногу вставать. Окопы загажены до невозможности; в узких ходах сообщения и во второй линии, более густонаселенной, стоит тяжелый,

[1] Я облек картину армейского быта в форму рассказа. Но всякий малейший эпизод, в нем приведенный, есть реальный факт, взятый из жизни.

[2] Вообще специальные роды оружия, и в особенности артиллерия, сохранили гораздо дольше пехоты человеческий облик и известную дисциплину.

спертый воздух. Бруствер осыпается. Никто не чинит — не хочется, да и мало людей в роте. Много дезертиров; более полусотни ушло легально: уволены старшие сроки, разъехались отпускные с самочинного разрешения комитета; кто попал в члены многочисленных комитетов или уехал в делегации (недавно, например, от дивизии послана была большая делегация к товарищу Керенскому проверить, действительно ли он приказал наступать); наконец, угрозами и насилием солдаты навели такой страх на полковых врачей, что те дают увольнительные свидетельства даже «тяжелоздоровым».

В окопах тянутся нудные, томительные часы. Скука, безделье. В одном углу играют в карты, в другом — лениво, вяло рассказывает что-то вернувшийся из отпуска солдат; в воздухе висит скверная брань. Кто-то читает вслух «Русский Вестник»:

«Англичане хотят, чтобы русские пролили последнюю каплю крови для вящей славы Англии, которая ищет во всем барыша. Милые солдатики, вы должны знать, что Россия давно бы заключила мир, если бы этому не мешала Англия. Мы должны отшатнуться от нее — этого требует русский народ, такова его святая воля».

Кто-то густо выругался:

— Как же, помирятся,.. и... м... подохнешь тут, не видавши воли...

По окопам прошел поручик Альбов, командующий ротой. Он как-то неуверенно, просительно обращался к группам солдат:

— Товарищи, выходите скорей на работу. В три дня мы не вывели ни одного хода сообщений в передовую линию.

Игравшие в карты даже не повернулись; кто-то вполголоса сказал «ладно». Читавший газету привстал и развязно доложил:

— Рота не хочет рыть, потому что это подготовка к наступлению, а комитет постановил...

— Послушайте, вы ни черта не понимаете, да и почему вы говорите за всю роту? Если даже ограничиться одной обороной, то ведь в случае тревоги мы пропадем: вся рота по одному ходу не успеет выйти в первую линию.

Сказал и махнув рукой прошел дальше. Безнадежно. Каждый раз, когда он пытается говорить с ними подолгу и заду-

шевно, они слушают внимательно, любят с ним беседовать и, вообще, своя рота относится к нему по-своему хорошо. Но он чувствует, что между ним и ими стала какая-то глухая стена, о которую разбиваются все его добрые порывы. Он потерял дорогу к их душе, запутавшись в невылазных дебрях темноты, грубости и той волны недоверия и подозрительности, которая влилась в солдатскую среду. Не те слова? Может быть, не умеет сказать? Как будто бы нет. Еще незадолго до войны, будучи студентом и увлекаясь народничеством, он бывал и в деревне, и на заводе и находил «настоящие» слова, всем доступные и понятные. А главное, какими словами заставишь людей идти на смерть, когда у них все чувства заслонило одно чувство — самосохранения. Мысли его прервало внезапное появление командира полка.

— Черт знает что такое! Дежурный не встречает. Люди не одеты. Грязь, вонь. За чем вы смотрите, поручик?

Седой полковник суровым взглядом, невольно импонирующим, окинул солдат. Все повскакали. Он поглядел в бойницу и, отшатнувшись, нервно спросил:

— Это что такое?

На зеленом поле, между проволочными заграждениями шел настоящий базар. Группа немецких и наших солдат обменивали друг у друга водку, табак, сало, хлеб. Поодаль на траве полулежал немецкий офицер — красный, плотный, с надменным выражением лица — и вел беседу с солдатом Соловейчиком. И странно: фамильярный и дерзкий Соловейчик стоял перед лейтенатом прилично и почтительно.

Полковник оттолкнул наблюдателя и, взяв у него ружье, просунул в бойницу. Среди солдат послышался ропот. Стали просить не стрелять. Один вполголоса, как бы про себя, промолвил:

— Это провокация...

Полковник, красный от бешенства, повернулся на секунду к нему и крикнул:

— Молчать!

Все притихли и прильнули к бойницам. Раздался выстрел, и немецкий офицер как-то судорожно вытянулся и замер; из головы его потекла кровь. Торговавшие солдаты разбежались.

Полковник бросил ружье и, процедив сквозь зубы «мерзавцы», пошел дальше по окопам. «Перемирие» было нарушено.

Поручик ушел к себе в землянку. Тоскливо и пусто на душе. Сознание своей ненужности и бесполезности в этой нелепой обстановке, извращавшей весь смысл служения Родине, которое одно только оправдывало и все тяжелые невзгоды, и, может быть, близкую смерть, давило его. Он бросился на постель; лежал час, два, стараясь не думать ни о чем, забыться...

А из-за земляной стены, где было убежище, полз чей-то заглушенный голос и словно обволакивал мозг грязной мутью:

— Им хорошо-с. Сам — получает, как стеклышко, сто сорок целковеньких в месяц, а нам расщедрились — семь с полтиной отпустили. Погоди, будет еще наша воля...

Молчание.

— Слышно, землицу делят у нас в Харьковской. Домой бы...

Стук в дверь. Пришел фельдфебель.

— Ваше благородие (он всегда звал так своего ротного командира без свидетелей), рота сердится, грозят уйти с позиции, если сейчас не сменят. 2-й батальон должен был сменить нас в 5 часов, а его и доселе нет. Нельзя ли спросить по телефону?

— Не уйдут, Иван Петрович... Хорошо, спрошу, да только теперь уже все равно поздно: после утреннего происшествия немцы смениться днем нам не позволят.

— Позволят. Комитетчики уже знают. Я так думаю, — он понизил голос, — Соловейчик успел сбегать объяснить. Слышно, что немцы обещали помириться, только чтобы следующий раз, когда придет в окопы командир, им дали знать — они бросят бомбу. Вы бы доложили, а то неровен час...

— Хорошо.

Фельдфебель хотел уйти. Поручик остановил его.

— Плохо, Петрович, не верят нам...

— Да уж Бог его знает, кому они верят. Вот на прошлой неделе в 6-й роте сами фельдфебеля выбрали, а теперь над ним же измываются, слова сказать не дают...

— Что же будет дальше?

Фельдфебель покраснел и тихо ответил:

— А будет то, что Соловейчики над нами царствовать будут, а мы у них на положении, значит, скота бессловесного. — Вот что будет, ваше благородие!..

Пришла наконец смена. Зашел в землянку командир 5-й роты капитан Буравин. Альбов предложил ознакомить его с участком и объяснить расположение противника.

— Пожалуй; хотя это и не имеет значения, ибо я по существу ротой не командую — нахожусь под бойкотом.

— Как?

— Так. Выбрали ротным прапорщика, моего субалтерна, а меня сместили за приверженность к старому режиму: два раза в день, видите ли, занятия назначал — ведь маршевые роты приходят абсолютно необученные. Прапорщик первый и голосовал за мое удаление. «Довольно, — говорит, — нами помыкали. Теперь наша воля. Надо почистить всех, начиная с головы. С полком сумеет справиться и молодой, лишь бы был истинный демократ и стоял за солдатскую волю». Я бы ушел, но командир полка категорически воспротивился и не велел сдавать роту. Вот теперь у нас два командира, значит. Пять дней терплю это положение. Послушайте, Альбов, вы не торопитесь? Ну, прекрасно, поболтаем немного. Что-то тяжело на душе... Альбов, вам не приходила еще мысль о самоубийстве?

— Пока нет.

Буравин вскочил.

Поймите, душу всю проплевали, над человеческим достоинством надругались — и так каждый день, каждый час, в каждом слове, взгляде, жесте видишь какое-то сплошное надругательство. Что я им сделал? Восемь лет служу, нет ни семьи, ни кола, ни двора. Все в полку, в родном полку. Два раза искалечили, не долечился, прилетел в полк — на тебе! И солдата любил. Мне стыдно самому говорить об этом, но ведь они помнят, как я не раз ползком из-под проволочных заграждений раненых вытаскивал... И вот теперь... Ну да, я чту полковое знамя и ненавижу их красные тряпки. Я приемлю революцию. Но для меня Россия бесконечно дороже революции. Все эти комитеты, митинги, всю ту наносную дрянь, которую развели в армии, я органически не могу воспринять и переварить. Но ведь я никому не мешаю, никому не говорю об этом, никого не стараюсь разубедить. Лишь бы окончить честно войну, а потом хоть камни бить на дороге, только не в демократизованной таким манером армии. Вот мой прапорщик. Он с ними обо всем рассуждает: национализация, социализация, рабочий

контроль... А я не умею. Некогда было этим заниматься, да, признаться, и не интересовался никогда. Помните, приезжал командующий армией и в толпе солдат говорил: «Какой там «господин генерал» — зовите меня просто товарищ Егор»... А я этого не могу, да и все равно мне не поверят. Вот и молчу. А они понимают и мстят. И ведь при всей своей серости какие тонкие психологи! Умеют найти такое место, чтобы плевок был побольнее. Вот вчера, например...

Он наклонился над ухом Альбова и шепотом продолжал:

— Возвращаюсь из собрания. У меня в палатке у изголовья карточка стоит — ну там, одно дорогое воспоминание. Так пририсовали похабщину!..

Буравин встал и вытер платком лоб.

— Ну, пойдем посмотреть позицию. Даст Бог, недолго уже терпеть. Никто из роты не хочет идти на разведку. Хожу сам каждую ночь; иногда вольноопределяющий один со мной — охотничья жилка у него. Если что-нибудь случится, пожалуйста, Альбов, присмотрите, чтобы пакетик один (он у меня в чемодане) отправили по назначению.

Рота, не дождавшись окончания смены, ушла вразброд. Альбов побрел вслед.

Ход сообщения кончался в широкой лощине, где стоял полковой резерв. Словно большой муравейник, раскинулся бивак полка рядом землянок, палаток, дымящихся походных кухонь и коновязей. Когда-то их тщательно маскировали искусственными посадками, которые теперь засохли, облетели и торчали безлистыми жердями. На поляне кой-где учились солдаты — вяло, лениво, как будто затем, чтобы создать какую-нибудь видимость занятий, ибо все-таки совестно было абсолютно ничего не делать. Офицеров мало: хорошим опостылела та пошлая комедия, в которую превратилось теперь настоящее дело; у плохих есть нравственное оправдание их лени и безделия. Вдали по дороге в направлении к полковому штабу шла не то толпа, не то колонна, над которой развевались красные флаги. Впереди огромный транспарант, на котором белыми буквами красовалась видная издалека надпись: «Долой войну!»

Это подходило пополнение. Тотчас же все занимавшиеся на поляне солдаты, словно по сигналу, оставили ряды и побежали к колонне.

— Эй, земляки, какой губернии?

Начался оживленный разговор на обычные, животрепещущие, волнующие темы: как с землицей, скоро ли замирение. Интересовались, впрочем, и вопросом, нет ли ханжи, так как «своя, полковая» самогонка, выгоняемая в довольно большом количестве «на заводе» 3-го батальона, была уж очень противна и вызывала болезненные явления.

Альбов направился в собрание. Офицеры собирались к обеду. Где былое оживление, задушевная беседа, здоровый смех и целый поток воспоминаний из бурной, тяжкой, славной боевой жизни! Воспоминания поблекли, мечты отлетели и суровая действительность придавила всех своей тяжестью.

Говорили вполголоса, иногда прерывая разговор или выражаясь иносказательно: собранская прислуга могла донести, да и между своими появились новые люди. Еще недавно полковой комитет по докладу служителя разбирал дело кадрового офицера, георгиевского кавалера, которому полк обязан одним из самых славных своих дел. Подполковник этот говорил что-то о «взбунтовавшихся рабах». И хотя было доказано, что говорил он не свое, а цитировал лишь речь товарища Керенского, комитет «выразил ему негодование»; подполковнику пришлось уйти из полка.

И состав офицерский сильно переменился. Кадровых офицеров осталось 23 человека. Одни погибли, другие покалечены, третьи, получив «недоверие», скитаются по фронту, обивают пороги штабов, поступают в ударные батальоны, в тыловые учреждения, а иные, кто слабее духом, просто разъезжаются по домам. Не нужны стали армии носители традиции части, былой славы ее — этих старых буржуазных предрассудков, обращенных в прах революционным творчеством.

В полку уже все знают об утреннем событии в роте Альбова. Расспрашивают подробности. Подполковник, сидевший рядом, покачал головой.

— Молодчина наш старик. Вот и с 5-й ротой тоже... Боюсь только, что плохо кончит. Вы слышали, что сделали с командиром Дубовского полка за то, что тот не утвердил выбранного ротного командира и посадил под арест трех агитаторов? Распяли. Да-с, батенька! Прибили гвоздями к дереву и начали поочередно колоть штыками, обрубать уши, нос, пальцы...

Он схватился за голову.

— Боже мой, и откуда в людях столько зверства, столько низости этой берется.

На другом конце среди прапорщиков идет разговор на вечно больную тему — куда бы уйти.

— Ты записался в революционнный батальон?

— Нет, не стоит: оказывается, он формируется под верховным наблюдением исполкома, с комитетами, выборами и «революционной» дисциплиной. Не подходит.

— Говорят, у Корнилова ударные войска формируются и в Минске тоже. Хорошо бы...

— А я подал рапорт о переводе в нашу стрелковую бригаду во Францию. Вот только с языком не знаю как быть.

— Увы, батенька, опоздали, — отозвался с другого конца подполковник. — Уже давно правительство послало туда «товарищей-эмигрантов» для просвещения умов. И теперь бригады где-то на юге Франции на положении не то военнопленных, не то дисциплинарных батальонов.

Впрочем, эти разговоры в сознании всех имели чисто платонический характер, ввиду безнадежности и безвыходности положения. Так, помечтать немного, как некогда мечтали чеховские три сестры о Москве. Помечтать о таком необычайном месте, где не ежедневно топчут в грязь человеческое достоинство, где можно спокойно жить и честно умереть — без насилия и без надругательства над твоим подвигом. Это ведь так немного!

— Митька, хлеба! — прогудел могучий бас прапорщика Ясного.

Он большой оригинал, этот Ясный. Высокий, плотный, с большой копной волос и медно-красной бородой, он весь — олицетворение черноземной силы и мужества. Имеет четыре георгиевских креста и произведен из унтер-офицеров за боевые отличия. Он нисколько не подлаживается под новую среду, говорит «леворюция» и «метинк» и не может примириться с новыми порядками. Несомненная «демократичность» Ясного, его прямота и искренность создали ему ис-

ключительную привилегию в полку: он, не пользуясь особым влиянием, может, однако, грубо, резко, иногда с ругательством, осуждать и людей, и понятия, находящиеся под ревнивой охраной и поклонением полковой «революционной демократии». Сердятся, но терпят.

— Хлеба, говорю, нет.

Офицеры, занятые своими мыслями и разговорами, не обратили даже внимания, что суп съеден без хлеба.

— Не будет сегодня хлеба, — ответил служитель.

— Это еще что? Сбегай за хозяином собрания — духом.

Пришел хозяин собрания и растерянно стал оправдываться: послал сегодня утром требование на 2 пуда; начальник хозяйственной части сделал пометку «выдать», а писарь Федотов — член хозяйственной комиссии комитета — написал «не выдавать». В цейхгаузе и не отпустили.

Никто не стал возражать. До того мучительно стыдно было и за хозяина собрания, и за ту непроходимую пошлость, которая вдруг ворвалась в жизнь и залила ее всю какой-то серой, грязной мутью. Только бас Ясного прогудел отчетливо под сводом барака:

— Экие свиньи!

Альбов только что собирался заснуть после обеда, как приподнялась пола палатки, и в щель просунулась лысая голова начальника хозяйственной части — старенького, тихого полковника, поступившего вновь на службу из отставки.

— Можно?

— Виноват, господин полковник...

— Ничего, голубчик, не вставайте. Я к вам на одну секунду. Сегодня, видите ли, в 6 часов состоится полковой митинг. Назначен доклад хозяйственной поверочной комиссии и меня, по-видимому, распинать будут. Я не умею говорить всякие там речи, а вы мастер. В случае надобности заступитесь.

— Слушаю. Не собирался идти, но раз надо, пойду.

— Ну вот, спасибо, голубчик.

...К 6 часам площадка возле штаба полка была сплошь усеяна людьми. Собралось не менее двух тысяч. Толпа двигалась, шумела, смеялась — такая же русская толпа, как где-нибудь на Ходынке или на Марсовом поле в дни гулянья. Революция не могла преобразить ее сразу ни умственно, ни духовно. Но,

оглушив потоком новых слов, открыв пред ней неограниченные возможности, вывела ее из состояния равновесия, сделала нервно-восприимчивой и бурно реагирующей на все способы внешнего воздействия. Бездна слов — морально высоких и низменно-преступных — проходила сквозь их самосознание, как через сито, отсеивая в сторону всю идеологию новых понятий и задерживая лишь те крупицы, которые имели реальное прикладное значение в их повседневной жизни, в солдатском, крестьянском, рабочем обиходе. И при том непременно имели значение положительное, выгодное. Отсюда — полная безрезультатность потоков красноречия, наводнивших армию с легкой руки военного министра, нелепые явления горячего сочувствия двум ораторам явно противоположного направления и совершенно неожиданные (приводившие в недоумение и ужас говорившего) выводы, которые толпа извлекала из его слов.

Какое же прикладное значение могли иметь для толпы при этих условиях такие идеи, как долг, честь, государственные интересы — по одной терминологии; и аннексии, контрибуции, самоопределение народов, сознательная дисциплина и прочие темные понятия — по другой?

Вышел весь полк — митинг привлекал солдат, как привлекает всякое зрелище. Прислал делегатов и 2-й батальон, стоявший на позиции, — чуть не треть своего состава. Посреди площадки стоял помост для ораторов, украшенный красными флагами, полинявшими от времени и дождя с тех пор, как помост был выстроен для смотра командующего армией. Теперь уже смотры делаются не в строю, а с трибуны. Сегодня в отлитографированной повестке митинга значились два вопроса: «1) Отчет хозяйственной комиссии о неправильной постановке офицерского довольствия. 2) Доклад специально выписанного из московского совдепа оратора товарища Склянки о политическом моменте (образовании коалиционного министерства)».

На прошлой неделе был бурный митинг, едва не окончившийся большими беспорядками, по поводу заявления одной из рот, что солдаты едят ненавистную чечевицу и постные щи потому, что вся крупа и масло поступают в офицерское собрание. Это был явный вздор. Тем не менее постановили

тогда расследовать дело комиссией и доложить общему собранию полка. Докладывал член комитета подполковник Петров, смещенный в прошлом году с должности начальника хозяйственной части и теперь сводивший счеты. Мелко, придирчиво, с какой-то пошлой иронией перечислял он не относящиеся к делу небольшие формальные недочеты полкового хозяйства (крупных не было) и тянул без конца своим скрипучим, монотонным голосом. Притихшая было толпа опять загудела, перестав слушать; с разных сторон послышались крики:

— Довольна-а-а! Буде!..

Председатель комитета остановил чтение и предложил «желающим товарищам» высказаться. На трибуну взошел солдат — рослый, толстый — и громким истерическим голосом начал:

— Товарищи, вы слышали? Вот куда идет солдатское добро! Мы страдаем, мы обносились, овшивели, мы голодаем, а они последний кусок изо рта у нас тащут...

По мере того как он говорил, в толпе нарастало нервное возбуждение, перекатывался глухой ропот и вырывались отдельные возгласы одобрения.

— Когда же все это кончится? Мы измызгались, устали до смерти...

Вдруг из далеких рядов раздался раскатистый бас прапорщика Ясного, заглушивший и оратора и толпу:

— Какой ты роты?

Произошло замешательство. Оратор замолк. По адресу Ясного послышались негодующие крики.

— Роты какой, тебя спрашиваю?

— Седьмой!

Из рядов раздались голоса:

— Нет у нас такого в седьмой.

— Постой-ка, приятель, — гудел Ясный. — Это не ты ли сегодня с маршевой ротой пришел — еще плакат большой нес? Когда же ты успел умаяться, болезный?

Настроение толпы мгновенно изменилось. Начался свист, смех, крики, остроты, и неудачный оратор скрылся в толпе. Кто-то крикнул:

— Резолюцию!

На подмостки взошел опять подполковник Петров и стал читать заготовленную резолюцию о переводе офицерского собрания на солдатский паек. Но его уже никто больше не слушал. Два-три голоса крикнули «Правильно!» Петров помялся, спрятал в карман бумажку и сошел с подмостков. Пункт второй о смещении начальника хозяйственной части и о немедленном выборе нового (предполагалось — автора доклада) так и остался непрочитанным. Председатель комитета огласил:

— Слово принадлежит члену Исполнительного комитета московского Совета рабочих и солдатских депутатов товарищу Склянке.

Свои надоели — всегда одно и то же; приезд нового лица, сопровожденный некоторой рекламой комитета, возбудил общий интерес. Толпа пододвинулась к помосту и затихла. На трибуну не взошел, а быстро вбежал маленький, черненький человек, нервный и близорукий, ежесекундно поправлявший сползавшее с носа пенсне. Он стал говорить быстро, с большим подъемом и сильной жестикуляцией.

— Товарищи солдаты! Вот уже прошло более трех месяцев, как петроградские рабочие и революционные солдаты сбросили с себя иго царя и всех его генералов. Буржуазия в лице известного киевского сахарозаводчика Терещенко, фабриканта Коновалова, помещиков Гучковых, Родзянко, Милюковых и других предателей народных интересов, захватив власть, вздумала обмануть народные массы.

Требование всего народа немедленно приступить к переговорам о мире, который нам предлагают наши немецкие братья — рабочие и солдаты, — такие же обездоленные как и мы, кончилось обманом: телеграммой Милюкова к Англии и Франции, что-де, мол, русский народ готов воевать до победного конца.

Обездоленный народ понял, что власть попала еще в худшие руки, то есть, к заклятым врагам рабочего и крестьянина. Поэтому народ крикнул мощно: «Долой, руки прочь!»

Содрогнулась проклятая буржуазия от мощного крика трудящихся и лицемерно приманила к власти так называемую демократию — эсеров и меньшевиков, которые всегда якшались с буржуазией для продажи интересов трудового народа...»

Очертив таким образом процесс образования коалиционного министерства, товарищ Склянка перешел более подробно к соблазнительным перспективам деревенской и фабричной анархии, где «народный гнев сметает иго капитала» и где «буржуазное добро постепенно переходит в руки настоящих хозяев — рабочих и беднейших крестьян».

— У солдат и рабочих есть еще враги, — продолжал он. — Это друзья свергнутого царского правительства, закоренелые поклонники расстрелов, кнута и зуботычины. Злейшие враги свободы, они сейчас нацепили красные бантики, зовут вас «товарищами» и прикидываются вашими друзьями, но таят в сердце черные замыслы, готовясь вернуть господство Романовых.

Солдаты, не верьте волкам в овечьих шкурах! Они зовут вас на новую бойню. Ну что же — идите, если хотите! Пусть вашими трупами устилают дорогу к возвращению кровавого царя! Пусть ваши сироты — вдовы и дети, брошенные всеми, — попадут снова в кабалу к голоду, нищете и болезням!»

Речь имела большой и несомненный успех. Накаливалась атмосфера, росло возбуждение, — то возбуждение «расплавленной массы», при котором невозможно предвидеть ни границ, ни силы напряжения, ни путей, по которым хлынет поток. Толпа шумела и волновалась, сопровождая криками одобрения или бранью по адресу «врагов народа» те моменты речи, которые особенно задевали ее инстинкты, ее обнаженный, жестокий эгоизм.

На помосте появился бледный, с горящими глазами Альбов. Он о чем-то возбужденно говорил с председателем, который обратился потом к толпе. Слов председателя не слышно было среди шума; он долго махал руками и сорванным флагом, пока, наконец, не стало несколько тише.

— Товарищи, слово просит поручик Альбов!

Раздались крики, свист.

— Долой! Не надо!

Но Альбов уже стоял на трибуне, крепко стиснув руками перила, наклонившись вниз, к морю голов. И говорил:

— Нет, я буду говорить, и вы не смеете не слушать одного из тех офицеров, которых здесь при вас бесчестил и позорил этот господин. Кто он, откуда? Кто платит за его полезные немцам речи? Этого никто из вас не знает. Он пришел, отуманил вас и уйдет дальше сеять зло и измену. И вы поверили ему. А мы, которые вместе с вами вот уже четвертый год тяжелой войны несем тяжелый крест, — мы стали вашими врагами? Почему? Потому ли, что мы *не посылали* вас в бой, *а вели за собою*, усеяв офицерскими телами весь путь, пройденный полком? Потому ли, что из старых офицеров не осталось в полку ни одного не искалеченного?

Он говорил с глубокой искренностью и болью. Были минуты, когда казалось, что слово его пробивает черствую кору одеревеневших сердец, что в настроении опять произойдет перелом.

— Он — ваш «новый друг» — зовет вас к бунту, к насилиям, захватам. Вы понимаете, для кого это нужно, чтобы в России встал брат на брата, чтобы в погромах и пожарах испепелить последнее добро не только «капиталистов», но и рабочей и крестьянской бедноты? Нет, не насилием, а законом и правом вы добьетесь и земли, и воли, и сносного существования. Враги ваши не здесь, среди офицеров, а там — за проволокой. И не дождемся мы ни свободы, ни мира от постыдного, трусливого стояния на месте, пока в общем жгучем порыве *наступления*...

Слишком ли живо еще осталось впечатление от речи Склянки, обиделся ли полк за эпитет «трусливый» (самый отъявленный трус никогда не прощает подобного напоминания), или же, наконец, виной было произнесенное сакраментальное слово «наступление», которое с некоторых пор стало нетерпимым в армии, но больше говорить Альбову не позволили.

Толпа ревела, изрыгая ругательства, напирала все сильнее, подвигаясь к помосту, сломала перила. Зловещий гул, искаженные злобой лица и тянущиеся к помосту угрожающие руки. Положение становилось критическим. Прапорщик Ясный протиснулся к Альбову, взял его под руку и насильно повел к выходу. Туда же со всех сторон сбегались уже солдаты 1-й роты, и при их помощи, с большим трудом Альбов вышел из толпы, осыпаемый отборной бранью. Кто-то крикнул вслед ему:

— Погоди с. с., — мы с тобой сосчитаемся!

Ночь. Бивак затих. Небо заволокло тучами. Тьма. Альбов, сидя на постели в тесной палатке, освещаемой огарком, писал рапорт командиру полка:

«Звание офицера — бессильного, оплеванного, встречающего со стороны подчиненных недоверие и неповиновение, делает бессмысленным и бесполезным дальнейшее прохождение службы. Прошу ходатайства о разжаловании меня в солдаты, дабы в этой роли я мог исполнить честно и до конца свой долг».

Он лег на постель. Сжал голову руками. Какая-то жуткая и непонятная пустота охватила его, словно чья-то невидимая рука вынула из головы мысль, из сердца боль... Что это? Послышался какой-то шум, повалилось древко палатки, потухла свеча. На палатку навалилось много людей. Посыпались сильные, жестокие удары по всему телу. Острая невыносимая боль отозвалась в голове, в груди. Потом все лицо заволокло теплой, липкой пеленой, и скоро стало опять тихо, покойно, как будто все страшное, тяжелое оторвалось, осталось здесь на земле, а душа куда-то полетела и ей легко и радостно.

...Очнулся Альбов от чьего-то холодного прикосновения: рядовой его роты, пожилой уже человек Гулькин сидел в ногах на его кровати и мокрым полотенцем смывал у него с лица кровь. Заметил, что Альбов очнулся.

— Ишь, как разделали человека, сволочи. Это не иначе как пятая рота; я одного приметил. Очень больно вам? Доктора, может, позвать?

— Нет, голубчик, ничего. Спасибо! — Альбов пожал ему руку.

— Вот и с ихним командиром, капитаном Буравиным, несчастье случилось. Ночью пронесли мимо нас на носилках, в живот ранен; говорил санитар, что не выживет. Возвращался с разведки и у самой нашей проволоки пуля угодила. Немецкая ли, свои ли не признали, — кто его знает.

Помолчал.

— Что с народом сделалось, прямо не понять. И все это напускное у нас. Все это неправда, что против офицеров говорят, — сами понимаем. Всякие, конечно, и промеж вас бывают. Но мы-то их знаем хорошо. Разве мы сами не видим, что вы вот к нам всей душой. Или, скажем, прапорщик Ясный. Разве такой может продаться? А вот поди ж ты, попробуй сказать слово, заступиться — самому житья не будет. Озорство пошло большое. Только озорников и слушают... Я так думаю, что все это самое происходит потому, что люди Бога забыли. Нет на людей никакого страху...

Альбов от слабости закрыл глаза. Гулькин торопливо поправил сползшее на пол одеяло, перекрестил его и потихоньку вышел из палатки.

Но сна не было. На душе неизбывная тоска и гнетущее чувство одиночества. Так захотелось, чтобы около было живое существо, чтобы можно было молча, без слов только чувствовать его близость и не оставаться наедине со своими страшными мыслями. Пожалел, что не задержал Гулькина.

Тишина. Весь лагерь спит. Альбов сорвался с постели, зажег снова свечу. Овладело тупое, безнадежное отчаяние. Нет уже больше веры ни во что. Впереди беспросветная тьма. Уйти из жизни? Нет, это была бы сдача... Нужно идти в нее, стиснув зубы и скрепя сердце, пока какая-нибудь шальная пуля — своих или чужая — не прервет нить опостылевших дней.

Занималась заря. Начинался новый день, новые армейские будни, до ужаса похожие на прожитые.

Потом «расплавленная стихия» вышла из берегов окончательно. Офицеров убивали, жгли, топили, разрывали, медленно с невыразимой жестокостью молотками пробивали им головы.

Потом — миллионы дезертиров. Как лавина двигалась солдатская масса по железным, водным, грунтовым путям, топча, ломая, разрушая последние нервы бедной бездорожной Руси.

Потом — Тарнополь, Калуш, Казань... Как смерч пронеслись грабежи, убийства, насилия, пожары по Галиции, Волынской, Подольской и другим губерниям, оставляя за собой повсюду кровавый след и вызывая у обезумевших от горя, слабых духом русских людей чудовищную мысль:

— Господи, хоть бы немцы поскорее пришли...

Это сделал солдат. Тот солдат, о котором большой русский писатель, с чуткой совестью и смелым сердцем говорил:[1]

---

[1] Леонид Андреев. Статья «К тебе, солдат!»

«... Ты скольких убил в эти дни, солдат? Скольких оставил сирот? Скольких оставил матерей безутешных? И ты слышишь, что шепчут их уста, с которых ты навеки согнал улыбку радости?

Убийца! Убийца!

Но что матери, что осиротевшие дети. Настал еще более страшный миг, которого не ожидал никто, — и ты предал Россию; ты всю Родину свою, тебя вскормившую, бросил под ноги врагу!

Ты, солдат, которого мы так любили и... все еще любим».

ГЛАВА XXVI
ОФИЦЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В первых числах апреля среди офицеров Ставки возникла мысль об организации «Союза офицеров армии и флота». Инициаторы союза[1] исходили из того взгляда, что необходимо «едино мыслить, чтобы одинаково понимать происходящие события, чтобы работать в одном направлении», ибо до настоящего времени «голоса офицеров — всех офицеров, никто не слышал. Мы еще ничего не сказали по поводу переживаемых великих событий. За нас говорит всякий, кто хочет и что хочет. За нас решает военные вопросы и даже вопросы нашего быта и внутреннего уклада всякий, кто желает и как желает».

Принципиальных возражений было два: первое — нежелание вносить самим в офицерский корпус те начала коллективного самоуправления, которые были привиты армии извне в виде советов, комитетов и съездов и внесли в нее разложение; второе — опасение, что появление самостоятельной офицерской организации углубит еще более ту рознь, которая возникла между солдатами и офицерами. Исходя из этих взглядов, мы с Верховным главнокомандующим вначале отнеслись совершенно отрицательно к возникшему предложению. Но жизнь вырвалась уже из обычных рамок и смеялась над нашими побуждениями. Появился проект декларации, которая давала армии полную свободу союзов, собраний, и потому представлялось уже несправедливым лишать офицеров права профессиональной организации, хотя бы как средства самосохранения. Фактически офицерские общества возникли во многих армиях, а в Киеве, Москве, Петрограде и других городах — с первых дней революции. Все они шли вразброд, ощупью, а некоторые союзы крупных центров, под влиянием разлагающей обстановки тыла, проявляли уже сильный уклон к политике советов.

Тыловое офицерство зачастую жило совершенно иною духовною жизнью, чем фронтовое. Так, например, московский совет офицерских депутатов в начале апреля вынес резолюцию, чтобы «работа Временного правительства протекала... в духе социалистических(?) и политических требований демократии, представляемой Советом рабочих и солдатских депутатов»; и выражал пожелание, чтобы в составе Временного правительства было более представителей социалистических партий. Назревала фальсификация офицерского голоса и в более крупном масштабе: петроградский офицерский совет[1] созывал «Всероссийский съезд офицерских депутатов, военных врачей и чиновников» в Петроград на 8 мая. Это обстоятельство являлось тем более нежелательным, что инициатор съезда — исполнительный комитет, возглавляемый подполковником гененерального штаба Гущиным[2], — проявил уже в полной мере свое отрицательное направление участием в составлении Декларации прав солдата (соединенное заседание 13 марта), деятельным сотрудничеством в поливановской комиссии, лестью и угодничеством перед Советом рабочих и солдатских депутатов и неудержимым стремлением к слиянию с ним. На сделанное в этом

---

[1] Наибольшее участие проявляли подполковники генерального штаба Лебедев (впоследствии начальник штаба адмирала Колчака) и Пронин.

[1] Более точно: «Совет офицерских депутатов города Петрограда, его окрестностей, Балтийского флота и отдельного корпуса пограничной стражи».

[2] Товарищи председателя: полковник А. Свечин и штабс-капитан Бржозек.

смысле предложение Совет, однако, признал такое слияние «по техническим условиям пока неосуществимым».

Учтя все эти обстоятельства, Верховный главнокомандующий одобрил созыв офицерского съезда, но так, чтобы не было произведено никакого давления ни его именем, ни именем начальника штаба. Эта корректность несколько осложнила дело: часть штабов, не сочувствуя идее, задержала распространение воззвания, а некоторые старшие начальники, как, например, командующий войсками Омского округа, запретил вовсе командирование офицеров. И на местах вопрос этот вызвал кое-где подозрительность солдат и некоторые осложнения, вследствие чего инициаторы съезда предложили частям, совместно с офицерами, командировать и солдат для присутствия в зале заседаний.

Невзирая на все препятствия, в Могилев съехалось более 300 офицеров-представителей; из них 76% от фронта, 17% от тыловых строевых частей и 7% от тыла. 7 мая съезд открылся речью Верховного главнокомандующего. В этот день впервые не на секретных заседаниях, не в доверительном письме, а открыто, на всю страну верховное командование сказало:

— Россия погибает.

Генерал Алексеев говорил:

«В воззваниях, в приказах, на столбцах повседневной печати мы часто встречаем короткую фразу: «отечество в опасности».

Мы слишком привыкли к этой фразе. Мы как будто читаем старую летопись о днях давно минувших и не вдумываемся в грозный смысл этой *короткой фразы. Но, господа, это, к сожалению, тяжелая правда. Россия погибает. Она стоит на краю пропасти. Еще несколько толчков вперед, и она всей тяжестью рухнет в эту пропасть.* Враг занял восьмую часть ее территории. Его не подкупишь утопической фразой «Мир без аннексий и контрибуций». Он откровенно говорит, что не оставит нашу землю. Он протягивает свою жадную лапу туда, где еще никогда не был неприятельский солдат, — на богатую Волынь, Подолию, Киевскую землю, то есть на весь правый берег нашего Днепра.

А мы-то что? Разве допустит до этого русская армия? Разве мы не вышвырнем этого дерзкого врага из нашей страны, а потом уже предоставим дипломатии заключать мир с аннексией или без аннексии?

Будем откровенны: упал воинский дух русской армии. Еще вчера грозная и могучая, она стоит сейчас в каком-то роковом бессилии перед врагом. Прежняя традиционная верность Родине сменилась стремлением к миру и покою. Вместо деятельности в армии заговорили низменные инстинкты и жажда сохранения жизни.

Внутри — где та сильная власть, о которой горюет все государство? Где та мощная власть, которая заставила бы каждого гражданина нести честно долг перед Родиной?

Нам говорят, что скоро она будет; но пока ее нет.

Где любовь к Родине, где патриотизм?

Написали на нашем знамени великое слово «братство», но не начертали его в сердцах и умах. Классовая рознь бушует среди нас. Целые классы, честно выполнявшие свой долг перед Родиной, взяты под подозрение, и на этой почве возникла глубокая пропасть между двумя частями русской армии — офицерами и солдатами.

И вот в такие минуты собрался первый съезд офицеров русской армии. Думаю, что нельзя выбрать более удобного и неотложного момента для того, чтобы единение водворилось в нашей семье; чтобы общая дружная семья образовалась из корпуса русских офицеров, чтобы подумать, как вдохнуть порыв в наши сердца, *ибо без порыва — нет победы, без победы — нет спасения, нет России...*

Согрейте же ваш труд любовью к Родине и сердечным расположением к солдату. Наметьте пути, как приподнять нравственный и умственный склад солдат, для того чтобы они сделались искренними и сердечными вашими товарищами. Устраните ту рознь, какая искусственно посеяна в нашей семье.

В настоящее время многие хотели бы всех граждан России расставить на платформы и платформочки, чтобы инспекторским оком посмотреть, сколько стоит на каждой из них. Что за дело, что масса армии искренне, честно и с восторгом приняла новый порядок и новый строй?

Мы все должны объединиться на одной великой платформе: Россия в опасности. Нам надо, как членам великой

армии, спасать ее. Пусть эта платформа объединит вас и даст силы для работы».

Эта речь, в которой вылилась тревога сердца вождя армии, послужила прологом к его уходу. Революционная демократия уже на памятном заседании с главнокомандующими 4 мая вынесла свой приговор генералу Алексееву. Теперь же, после 7-го, в левой печати началась жестокая кампания против него, в которой советский официоз «Известия» соперничал с ленинскими газетами в пошлости и неприличии выходок. Эта кампания имела тем большее значение, что в данном вопросе военный министр Керенский был явно на стороне Совета.

Как бы в дополнение слов Верховного главнокомандующего, я в своей речи, касаясь внутреннего положения страны, говорил:

«В силу неизбежных исторических законов пало самодержавие, и страна наша перешла к народовластию. Мы стоим на грани новой жизни, страстно и долго жданной, за которую несли головы на плаху, томились в рудниках, чахли в тундрах многие тысячи идеалистов.

Но глядим в будущее с тревогой и недоумением.

Ибо нет свободы в революционном застенке!

Нет правды в подделке народного голоса!

Нет равенства в травле классов!

И нет силы в той безумной вакханалии, где кругом стремятся урвать все что возможно за счет истерзанной Родины, где тысячи жадных рук тянутся к власти, расшатывая ее устои...»

Начались заседания съезда. Кто присутствовал на них, тот унес, вероятно, на всю жизнь неизгладимое впечатление от живой повести офицерской скорби. Так не напишешь никогда, как говорили эти капитаны Буравины, поручики Альбовы, с каким-то леденящим душу спокойствием, касаясь самых интимных, самых тяжких своих переживаний. Уже все переболело; в сердце не было ни слез, ни жалоб.

Я смотрел на ложи, где сидели «младшие товарищи», присланные для наблюдения за «контрреволюцией». Мне хотелось прочесть на их лицах то впечатление, какое они вынесли от всего слышанного. И мне показалось, что я вижу краску

стыда. Вероятно, только показалось, потому что скоро они выразили бурный протест, потребовали права голоса на съезде и... пяти рублей суточных «по офицерскому положению».

На 13 общих заседаниях съезд принял ряд резолюций. Я не буду останавливаться подробно на всех военно-общественных и технических вопросах, поставивших диагноз армейской болезни и указавших способы ее излечения. Отмечу лишь характерные особенности этих резолюций, в сравнении с множеством армейских, фронтовых, областных и профессиональных съездов.

Союз, «исключая всякие политические цели», ставил своей задачей «поднятие боевой мощи армии во имя спасения Родины».

Указывая на состояние армии, близкое к развалу, съезд оговаривал, что явление это «относится в равной мере как к несознательным группам солдат, так и к несознательной и недобросовестной части офицерства». Такую же объективность съезд проявил в определении причин разъединения между солдатами и офицерами, видя их, между прочим: 1) в низком культурном и образовательном уровне части офицеров и большинства солдат; 2) в полной разобщенности тех и других вне службы; 3) в растерянности начальников, не исключая и старших, а также в искании ими популярности в солдатской массе; 4) в недобросовестном отношении к воинским обязанностям и в проявлении злой воли отдельных лиц в той и другой среде. Офицерство, гонимое и бесправное, добросовестно разбиралось в своих грехах и перед лицом смертельной опасности, угрожавшей стране, забыв и простив все, искало нравственного очищения своей среды от «элементов вредных и не понимающих положения переживаемого момента».

Единственная корпорация среди всех классов, сословий, профессий, проявивших общее стихийное стремление рвать от государства, выпустившего из рук вожжи, все что возможно, в своих частных интересах, — офицерство никогда ничего не просило *лично для себя.*

Что же могли предложить они для поднятия боеспособности армии, кроме восстановления тех начал, на которых зиждилось существование всех армий мира, а в известном

отношении, и всех ранее подпольных, ныне вышедших на дневную поверхность революционных организаций? Восстановить дисциплину и авторитет начальника; пресечь безответственные выступления, «расширяющие искусственно созданную между двумя составными частями армии пропасть»; объявить кроме выпущенной декларации прав солдата еще и *декларацию обязанностей солдата*, а также — прав и обязанностей начальника; «заменить меры увещевания и нравственного воздействия против преступно нарушающих свой долг... самыми высшими уголовными наказаниями». И т.д.

Но самое главное — офицерство просило и требовало *власти* над собой и над армией. Твердой, единой, национальной — «приказывающей, а не взывающей». Власти правительства, опирающегося на доверие страны, а не безответственных организаций. Такой власти офицерство приносило тогда полное и неограниченное повиновение, *не считаясь совершенно с расхождением в области социальной*. Мало того, я утверждаю, что вся та внутренняя социальная, классовая борьба, которая разгоралась в стране все более и более, проходила мимо фронтового офицерства, погруженного в свою работу и в свое горе, не задевая его глубоко, не привлекая к непосредственному участию. Эта борьба вызывала внимание офицерства лишь тогда, когда результаты ее явно потрясали бытие страны и в частности — армии. Я говорю, конечно, о массе офицерства; отдельные уклонения в сторону реакции несомненно были, но они вовсе не характерны для офицерского корпуса 1917 года.

Один из лучших представителей офицерской среды генерал Марков, человек вполне интеллигентный, писал Керенскому, осуждая его систему обезличения начальников: «Солдат по натуре, рождению и образованию, я могу судить и говорить лишь о своем военном деле. Все остальные реформы и переделки нашего государственного строя меня интересуют лишь как обыкновенного гражданина. Но армию я знаю, отдал ей свои лучшие дни, кровью близких мне людей заплатил за ее успехи, сам окровавленный уходил из боя»... Этого не поняла и не учла революционная демократия.

Совершенно иначе протекал офицерский съезд в Петрограде, на который собралось около 700 делегатов (18–

26 мая). В нем ярко определились два лагеря: политиканствовавших офицеров и чиновников тыла и меньшей части — настоящего армейского офицерства, попавшего на съезд по недоразумению. Исполнительный комитет составил программу, строго следуя установившемуся обычаю советских съездов: 1) отношение к Временному правительству и к Совету, 2) о войне, 3) об Учредительном собрании, 4) рабочий вопрос, 5) земельный вопрос, 6) реорганизация армии на демократических началах. Съезду придали в Петрограде преувеличенное значение, и открытие его сопровождалось торжественными речами многих членов правительства и иностранных представителей; даже от имени Совета приветствовал собравшихся Нахамкес. С первого же дня выяснилось непримиримое расхождение двух групп. Оно являлось неизбежным хотя бы потому, что даже по такому кардинальному вопросу, как «Приказ №1», товарищ председателя съезда штабс-капитан Бржозек высказал взгляд: «Издание его диктовалось исторической необходимостью: солдат был подавлен и настоятельно нужно было освободить его». Это заявление встречено было продолжительными аплодисментами части собрания!

После ряда бурных заседаний большинством (265 голосов против 246) была принята резолюция, в которой говорилось, что «революционная сила страны — в руках организованных крестьян, рабочих и солдат, составляющих преобладающую массу населения», а потому правительство должно быть ответственно перед Всероссийским советом!

Даже резолюцию о необходимости наступления одобрили немногим более двух третей голосовавших.

Направление, взятое петроградским съездом, объясняется заявлением (26 мая) той группы его, которая, отражая действительное мнение фронта, стояла на точке зрения «всемерной поддержки Временному правительству»: «Исполнительный комитет петроградского совета офицерских депутатов, созывая съезд, не преследовал разрешения насущнейшей задачи момента — возрождения армии, так как вопрос о боеспособности армии и мерах по ее поднятию даже не был поставлен в предложенной нам программе, а внесен лишь по нашему настоянию. Если верить весьма странному

(чтобы не сказать более) заявлению председателя подполковника Гущина, целью созыва съезда было желание исполнительного комитета пройти под нашим флагом в Совет рабочих и солдатских депутатов». Заявление вызвало ряд крупных инцидентов, три четверти состава ушло, и съезд распался.

Я коснулся вопроса о петроградском офицерском совете и съезде для того лишь, чтобы охарактеризовать настроения известной части тылового офицерства, имевшего частое общение с официальными и неофициальными правителями и в глазах последних изображавшего «голос армии».

Точно такой же совершенно ничтожной была роль и других офицерских и военно-общественных организаций[1]; о существовании многих из них я узнал только теперь, перебирая бумаги.

Могилевский съезд, вызывавший неослабное внимание и большое расположение Верховного главнокомандующего, закрылся 22 мая. В это время генерал Алексеев был уже уволен от командования русской армией и, глубоко переживая этот эпизод своей жизни, не мог присутствовать на закрытии. Я простился со съездом следующим словом:

«Верховный главнокомандующий, покидающий свой пост, поручил мне передать вам, господа, свой искренний привет и сказать, что его старое солдатское сердце бьется в унисон с вашими, что оно болеет той же болью и живет той же надеждой на возрождение истерзанной, но великой русской армии.

Позвольте и мне от себя сказать несколько слов.

С далеких рубежей земли нашей, забрызганных кровью, собрались вы сюда и принесли нам свою безысходную скорбь, свою душевную печаль.

Как живая развернулась перед нами тяжелая картина жизни и работы офицерства среди взбаламученного армейского моря.

Вы — бессчетное число раз стоявшие перед лицом смерти! Вы — бестрепетно шедшие впереди своих солдат на густые ряды неприятельской проволоки, под редкий гул родной артиллерии, изменнически лишенной снарядов! Вы — скрепя сердце, но не падая духом бросавшие последнюю горсть земли в могилу павшего сына, брата, друга!

Вы ли теперь дрогнете?

Нет!

Слабые — поднимите головы. Сильные — передайте вашу решимость, ваш порыв, ваше желание работать для счастья Родины, перелейте их в поредевшие ряды наших товарищей на фронте. Вы не одни: с вами все, что есть честного, мыслящего; все, что остановилось на грани упраздняемого ныне здравого смысла.

С вами пойдет и солдат, поняв ясно, что вы ведете его не назад — к бесправию и нищете духовной, а вперед — к свободе и свету.

И тогда над врагом разразится такой громовой удар, который покончит и с ним и с войной.

Проживши с вами три года войны одной жизнью, одной мыслью, деливши с вами и яркую радость победы и жгучую боль отступления, я имею право бросить тем господам, которые плюнули нам в душу, которые с первых же дней революции свершили свое каиново дело над офицерским корпусом, — я имею право бросить им:

«Вы лжете! Русский офицер никогда не был ни наемником, ни опричником».

Забитый, загнанный, обездоленный не менее, чем вы, условиями старого режима, влача полунищенское существование, наш армейский офицер сквозь бедную трудовую жизнь свою донес, однако, до отечественной войны как яркий светильник жажду подвига. Подвига для счастья Родины.

Пусть же сквозь эти стены услышат мой призыв и строители новой государственной жизни: «Берегите офицера! Ибо от века и доныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. Сменить его может только смерть».

Отпечатанный комитетом текст моей речи распространился по фронту, и я был счастлив узнать из многих полученных мною тогда телеграмм и писем, что слово, сказанное в защиту офицера, дошло до его изболевшего сердца.

[1] «Союз воинского долга», «Союз чести Родины», «Союз спасения Родины», «Союз добровольцев народной обороны» и много других.

Съезд оставил при Ставке постоянное учреждение — Главный комитет офицерского союза»[1]. За первые три месяца своего существования комитет не успел пустить глубоких корней в армии. Роль его ограничивалась организацией отделений союза в армиях и в военных кругах, разбором доходивших до него жалоб, гласным осуждением в исключительных случаях негодных офицеров («черная доска»), некоторой весьма ограниченной помощью изгнанным солдатами офицерам и декларативными заявлениями правительству и печати по поводу важнейших событий государственной и военной жизни. После июньского наступления тон этих деклараций стал резким, осуждающим и вызывающим, что крайне обеспокоило министра-председателя, который упорно добивался перевода Главного комитета из Могилева в Москву, придавая его настроению самодовлеющее значение, опасное для Ставки.

Комитет, довольно пассивный во время командования генерала Брусилова, действительно принял впоследствии участие в выступлении генерала Корнилова. Но не это обстоятельство повлияло на перемену его направления. *Комитет несомненно отражал общее настроение, охватившее тогда командный состав и русское офицерство; настроение, ставшее враждебным Временному правительству.* При этом в офицерской среде не отдавали себе ясного отчета о политических группировках внутри самого правительства, о глухой борьбе между ними, о государственно-охранительной роли в нем многих представителей либеральной демократии, и потому враждебное отношение создалось ко всему правительству в целом.

Бывшие доселе совершенно лояльными, а в большинстве и глубоко доброжелательными, терпевшие, скрепя сердце, все эксперименты, которые Временное правительство вольно и невольно производило над страной и армией, эти элементы жили одной надеждой на возможность возрождения армии, наступления и победы. Когда же все надежды рухнули, то офицерство, не связанное идейно с составом 2-го коалиционного правительства (наоборот, питая к нему полное недоверие), отшатнулось от Временного правительства, которое, таким образом, потеряло последнюю верную опору.

[1] Председателем был полковник Новосильцев, член 4-й Государственной Думы, кадет.

Этот момент имеет большое историческое значение, дающее ключ к уразумению многих последующих явлений. Русское офицерство, в массе своей глубоко демократичное по своему составу, мировоззрениям и условиям жизни, с невероятной грубостью и цинизмом *оттолкнутое революционной демократией* и не нашедшее фактической опоры и поддержки в либеральных кругах, близких к правительству, очутилось в трагическом одиночестве. Это одиночество и растерянность служили впоследствии не раз благодарной почвой для сторонних влияний, чуждых традициям офицерского корпуса и его прежнему политическому облику; влияний, вызвавших расслоение и, как финал, — братоубийство. Ибо не может быть никаких сомнений в том, что вся сила, вся организация и красных и белых армий покоилась исключительно на личности старого русского офицера.

И если затем, в течение трехлетней борьбы, мы были свидетелями расслоения и отчуждения двух сил русской общественности в противобольшевистском лагере, то первопричину их надо искать не только в политическом расхождении, но и в том каиновом деле в отношении офицерства, которое было допущено революционной демократией с первых же дней революции.

ГЛАВА XXVII
РЕВОЛЮЦИЯ И КАЗАЧЕСТВО

Своеобразную роль в истории смуты играет казачество.

Слагавшиеся исторически, в течение нескольких веков взаимоотношения казачества с центральной общерусской властью носили характер двойственный. Власть всемерно поощряла развитие казачьей колонизации на беспокойных рубежах русской земли, где шла непрерывная война, охотно мирясь с особенностями их военно-земледельческого быта и допуская большую или меньшую независимость и самобытные формы народовластия, с представительными орга-

нами (кош, круг, рада), выборным «войсковым старшиной» и атаманами. «Государство при слабости своей, — говорит Соловьев, — смотрело не так строго на действия казаков, если они обращались только против чужих стран; при слабости государства считалось нужным давать выход этим беспокойным силам». Но действия казаков обращались не раз и против Москвы, и это обстоятельство вызвало затяжную внутреннюю борьбу, которая длилась до конца XVIII века, когда после жестокого усмирения пугачевского бунта вольному юго-восточному казачеству был нанесен окончательный удар. Оно мало-помалу утратило свой резко оппозиционный характер и приобретало даже репутацию наиболее консервативного, государственного элемента, опоры престолу и режиму.

С тех пор власть непрестанно демонстрировала свое расположение к казачеству и подчеркиванием действительно больших заслуг его, и торжественными обещаниями сохранения «казачьих вольностей»[1], и почетными назначениями по казачьим войскам лиц императорской фамилии. Вместе с тем власть принимала все меры, чтобы «вольности» эти не развивались чрезмерно в ущерб той беспощадной централизации, которая составляла историческую необходимость в начале построения русской государственности и огромную историческую ошибку в ее позднейшем развитии. К числу таких мер надлежит отнести ограничение казачьего самоуправления и в последнее время традиционное назначение атаманами лиц не казачьего сословия, зачастую совершенно чуждых казачьему быту. Старейшее и численно наибольшее Донское войско возглавлялось не раз генералами немецкого происхождения.

Казалось, царское правительство имело полное основание рассчитывать на казачество: многократные усмирения

[1] Последняя грамота войску Донскому дана была 24 января 1906 года императором Николаем II и заключала в себе следующие слова: «Подтверждаем все права и преимущества, дарованные ему (войску), утверждая Императорским словом Нашим как ненарушимость настоящего образа его служения, стяжавшего войску Донскому историческую славу, так и неприкосновенность всех его угодий и владений, приобретенных трудами, заслугами и кровью предков...»

вспыхивавших в России местных политических, рабочих и аграрных беспорядков, подавление более серьезного явления — революции 1905–1906 годов, в котором большое участие приняли и казачьи войска, — все это как будто поддерживало установившееся мнение о казаках. С другой стороны, эпизоды «усмирений», с неминуемым насилием, иногда жестокостью, получали широкое распространение в народе, преувеличивались и вызывали враждебное отношение к казакам на фабрике, в деревне, среди либеральной интеллигенции и, главным образом, в среде тех элементов, которые известны под именем революционной демократии. Во всей подпольной литературе — в воззваниях, листовках, картинах — понятие «казак» стало синонимом слуги реакции.

Это определение грешило большим преувеличением. Баян Донского казачьего войска Митрофан Богаевский так говорит о политической физиономии казачества: «Первым и основным условием, удержавшим казачество, по крайней мере в первые дни, от развала, была идея государственности, правопорядка, глубоко сидящее сознание необходимости жизни в рамках закона. Это искание порядка и законности красной нитью проходило и проходит через все круги всех казачьих войск». Но одни такие альтруистические побуждения далеко не исчерпывают вопроса. Невзирая на огромную тяжесть поголовной военной службы, казачество, в особенности южное, пользовалось известным благосостоянием, исключавшим тот важнейший стимул, который поднимал против власти и режима рабочий класс и крестьянство центральной России. Необыкновенно запутанный земельный вопрос противопоставлял сословно-экономические интересы казачества интересам «иногородних»[1] поселенцев. Так, например, в старейшем и крупнейшем войске Донском обеспеченность землей отдельного хозяйства выражалась в среднем (в десятинах): казачьего — 19,3–30, коренных крестьян — 6,5, пришлых крестьян — 1,3. Наконец, в силу исторических условий, узкотерриториальной системы комплектования, казачьи части имели совершенно однородный состав, обладали большой внутренней спайкой и твердой,

[1] Так назывался пришлый, не казачий элемент области.

хотя и несколько своеобразной (в смысле взаимоотношений офицера и казака) дисциплиной, и поэтому оказывали полное повиновение своему начальству и верховной власти.

Правительство, опираясь на все эти побуждения, широко использовало казачьи войска для подавления народных волнений и тем навлекло на них глухое озлобление среди бродящей, недовольной массы населения.

За свои исторические «вольности» казачьи войска, как я уже сказал, несли почти поголовную службу. Тягость ее и степень относительного значения этих войск в составе вооруженных сил русской державы определяются приводимой таблицей.

Состав казачьих войск к осени 1917 года

Войска	Конных полков	Сотен не в составе полков	Пеших батальонов
Донское	60	72	–
Кубанское	37	37	22
Оренбургское	18	40	–
Терское	12	3	2
Уральское	9	4	–
Сибирское	9	3	–
Забайкальское	9	–	–
Семиреченское	3	7	–
Астраханское	3	–	–
Амурское	2	5	–
Всего [1]	162	171	24

Отчасти как армейская конница в составе дивизий и корпусов, отчасти же как корпусная и дивизионная конница в составе полков, дивизионов и отдельных сотен, казачьи части были разбросаны по всем русским фронтам от Балтийского моря до Персии.

Казачество, в противовес всем прочим составным частям армии, не знало дезертирства.

Когда началась революция, все политические группировки обратили большое внимание на казачество: одни — возлагая на него преувеличенные надежды, другие — относясь к нему с нескрываемой подозрительностью. Правые круги ожидали от казачества реставрации; либеральная буржуазия — активной опоры правопорядка; левые — опасались контрреволюционности и поэтому повели бешеную агитацию в казачьих частях, стремясь к их разложению. Этому отчасти содействовало и то покаянное настроение, которое прозвучало на всех казачьих собраниях, съездах, кругах, радах, где свергнутая власть обвинялась в систематическом восстановлении казаков против народа.

[1] С соответствующей артиллерией.

Что касается Временного правительства, то отношение его к казакам было также двойственным. С одной стороны, правительство оказывало казакам все знаки внешнего внимания и не противилось созданию на местах захватным порядком широкого самоуправления и выборного атаманства, с другой — стремилось изъять из подчинения выборным атаманам казачьи гарнизоны областей и ограничить компетенцию казачьей власти, ставя повсюду для наблюдения за закономерностью ее действий правительственных комиссаров.

Взаимоотношения казачества с местным земледельческим населением были необыкновенно сложны, особенно в казачьих областях Европейской России[1]. Среди казачьих наделов были вкрапления земли крестьян — давних, переселенцев (коренных); земли, находящиеся в долгосрочной аренде, на которых выросли большие поселки; наконец, земли, жалованные некогда верховной властью различным лицам и постепенно переходившие в собственность иногородних. На почве этих взаимоотношений теперь возникли распри, начавшие принимать характер насилий и захватов. В отношении Донского войска, дававшего тон всем остальным, Временное правительство сочло себя вынужденным обнародовать 7 апреля воззвание, в котором, подтверждая, что «права казаков на землю, как они сложились исторически, остаются неприкосновенными», вместе с тем обещало и иногороднему населению, «владение которого на земли также имеет за собой историческое право», что оно будет удовлетворено в возможной мере Учредительным собранием. Этот земельный

[1] В Донской области было 48% крестьян и 46% казаков.

ребус, затуманивший самое больное место казачьих чаяний, был недвусмысленно разъяснен на Всероссийском крестьянском съезде в половине мая министром земледелия Черновым, который заявил, что казаки имеют большие земельные наделы и теперь им придется поступиться частью своих земель.

В казачьих областях между тем шла кипучая работа в сфере самоопределения и самоуправления; печать приносила сведения неясные, сбивчивые; никто еще не слышал голоса всего казачества. Понятно поэтому то всеобщее внимание, которое сосредоточено было на собравшемся в начале июня в Петрограде Всероссийском казачьем съезде.

Казаки, учтя всю сложность своего положения, отдали дань и революции, и государственности, и собственным своим нуждам (ведь вопрос об угодьях самый жизненный) и сделали приятный жест по адресу Совета.

Съезд единодушно сказал:

Россия должна быть неделимой демократической республикой с широким местным самоуправлением;

всемерная поддержка Временному правительству, но обращается его внимание на необходимость борьбы против анархистов, большевиков и интернационалистов и на принятие решительных мер против их пропаганды;

неприкосновенность казачьего уклада, но после войны — несение службы на общих основаниях;

оставление в неотъемлемую и неприкосновенную собственность каждого казачьего войска его земель и угодий со всеми недрами.

Труднее было с вопросом об отношении к Совету. Но и здесь съезд нашел выход: после обмена приветствиями и взаимного кооптирования делегаций, после вскользь оброненной председателем фразы, что «казачество пойдет по одному пути с Советом», после неответственной речи на съезде советов терского делегата, что казачество считает Совет «истинным хозяином земли русской», — вопрос об отношении к Совету, поставленный на повестку последнего заседания, «за недостатком времени» был снят. Казачий съезд закрылся, оставив в Петрограде «Совет союза казачьих войск».

Впечатление у всех осталось неопределенное: и надежды одних, и опасения других не рассеялись.

Тем временем по инициативе революционной демократии началась сильнейшая агитация по проведению идеи «расказачивания». Там, где казаки были вкраплены в меньшинстве среди иногороднего или туземного населения, она имела вначале некоторый успех. Так, в марте Круг Забайкальского войска, совместно с крестьянами и инородцами, постановил упразднить войско; в Сибирском войске вызвал большие осложнения приезд 43 делегатов, командированных с фронта распропагандированным комитетом Сибирской дивизии для «расказачивания» и для общей разверстки земли между казаками и крестьянами. Но в общем идея самоупразднения никакого успеха не имела. Наоборот, среди казачества все более усиливалось стремление ко внутренней обособленной организации и к единению всех казачьих войск. Повсюду возникли казачьи правительства, выборные атаманы и представительные учреждения (круги и рады), компетенция которых расширялась в зависимости от ослабления авторитета и власти Временного правительства. Во главе казачества появились такие крупные люди, как Каледин (на Дону), Дутов (в Оренбурге), Караулов (на Тереке).

В областях образовалось троевластие: атаман с правительством, комиссар, Совет рабочих депутатов[1].

Роль комиссаров Временного правительства была довольно неопределенной, права и обязанности неясны. Назначение, например, комиссара в Донскую область определено правительственным актом в таком виде: «Для улаживания всяких споров, для достижения соглашений и вообще для правильной постановки разных местных вопросов». Впрочем, комиссары после кратковременной и неудачной борьбы вскоре стушевались и не проявляли никакой деятельности. Гораздо более серьезною становилась борьба казачьей власти с местными советами, комитетами, опиравшимися на буйную солдатскую чернь, наводнявшую области в качестве армейских запасных батальонов и тыловых армейских частей. Этот бич населения положительно терроризовал страну, создавая анархию в городах и станицах, производя разгромы, захват земель и предприятий, попирая всякое право,

[1] Местами «Областной совет иногородних».

всякую власть и создавая невыносимые условия жизни. Бороться с этим засилием казакам было нечем — все части находились на фронте; только в Донской области случайно к осени 1917 года, не без сознательного попустительства Ставки, сосредоточилась одна дивизия, позднее — три, при посредстве которых генерал Каледин пытался водворить порядок. Но все его мероприятия (занятие вооруженной силой железнодорожных узлов, важнейших копей и крупных пунктов, обеспечивавших нормальную связь и питание центра и фронтов) встречали не только сильнейшее противодействие со стороны советов и обвинение в контрреволюционности, но даже некоторую подозрительность во Временном правительстве. В то же время кубанцы и терцы просили Дон прислать хоть несколько сотен, так как «от *товарищей* дышать становится невозможно».

Завязанные в первые дни революции дружественные отношения между общерусской и казачьей революционными демократиями вскоре порвались окончательно. «Казачий социализм» оказался явлением настолько самодовлеющим, замкнутым в своих сословно-корпоративных рамках, что не укладывался в общепринятую идеологию учения, хотя казачьи представители его носили те же установленные названия — социалистов-революционеров и социал-демократов; при этом в Донском круге, например, при большинстве кадетов было солидное представительство социал-революционеров[1], а в Кубанской раде — преобладание социал-революционеров и социалистов-демократов. Главная масса выборного казачества — преимущественно степенные «старики» (вся молодежь была на фронте) — не отличалась особенно ни общим, ни политическим развитием и не принадлежала, конечно, ни к каким партиям; смотрела на вещи с чисто прикладной казачьей точки зрения и умеряла до некоторой степени политические увлечения своих верхов.

Советы придали идее «расказачивания» внешние формы, как будто объективные: они стремились к объединению всех

[1] Круг вошел в блок с кадетской партией (народной свободы) для выборов в Учредительное собрание, вскоре, впрочем, расторгнутый.

русских губерний в административное устройство (советское), казаки же — к обособлению и чисто казачьему самоуправлению; советы требовали проведения общеземского демократического положения, а казаки не желали поступаться своими учреждениями; советы настаивали на уравнении земельных наделов между казаками и крестьянами, казаки же всеми силами защищали свое право собственности и распоряжения казачьими землями, основывая его на исторических заслугах своих в качестве завоевателей, охранителей и колонизаторов бывших рубежей русской земли.

Организовать общее областное управление не удалось. Началась внутренняя борьба.

На этой почве возникли два явления. Первое — тяжелая атмосфера отчужденности и вражды между казачьим и иногородним населением, принимавшая иногда впоследствии, в быстро менявшихся этапах гражданской войны, чудовищные формы взаимного истребления, когда власть переходила из рук в руки; при этом обычно та или другая половина населения крупнейших казачьих областей устранялась вовсе от участия в строительстве и хозяйстве края[1]. Второе — так называемый казачий сепаратизм или самостийность.

Казачество не имело никакого основания ожидать от революционной демократии благоприятного разрешения своей участи, и особенно в наиболее жизненном для него вопросе — земельном. С другой стороны, Временное правительство также заняло двусмысленную позицию в этом отношении, притом правительственная власть явно клонилась к упадку. Будущее рисовалось в совершенно неопределенных контурах. Отсюда, независимо от общего здорового течения к децентрализации, у казаков, веками искавших «воли», явилось стремление самим обеспечить себе максимум независимости, чтобы поставить будущее Учредительное собрание перед совершившимся фактом или, как говорили более откровенные казачьи деятели, «чтобы было с чего сбавлять». Отсюда постепенная эволюция от областного самоуправления к автономии, федерации и конфедерации. Отсюда, наконец,

[1] В главнейших областях, на Дону и Кубани, казачье население составляло около половины.

при вмешательстве отдельных местных самолюбий, честолюбий и интересов — перманентная борьба со всяким началом общегосударственного направления, ослаблявшая обе стороны и затянувшая надолго гражданскую войну[1]. Эти же обстоятельства родили идею самостоятельной казачьей армии, возникшей впервые среди кубанцев и не поддержанной тогда Калединым и более государственными элементами Дона.

Все изложенное относится, главным образом, к трем казачьим войскам — Донскому, Кубанскому, Терекскому, составлявшим более 60% всего казачества. Но общие характерные черты свойственны были и другим войскам.

В стремлении к объединению казачество добивалось восстановления упраздненной должности походного атамана при Ставке, ведавшего ранее в административном отношении всеми казачьими войсками на фронте. В Ставку приезжала делегация казачьего союза просить о сохранении атаманского штаба до выяснения этого вопроса. Очевидно, в будущем предусматривалась возможность серьезного политического значения этого института. Верховный главнокомандующий, исходя исключительно из целесообразности и не желая еще более запутывать в корне нарушенное единство командования, отнесся отрицательно к созданию новой должности. Интересно, что такого же взгляда держался сам признанный глава казачества генерал Каледин, которому впоследствии правительство, опасаясь возрастающего влияния его на Дону, предложило пост походного атамана. «Должность эта, — говорил Каледин, — совершенно не нужна. Она и в прежнее время существовала только для того, чтобы посадить на нее кого-нибудь из великих князей. Чины штаба проводили время в поездках по тылу и в попойках, держась в почтительном отдалении от армии, ее нужд и горестей». Каледин решительно отказался. Однако в левых кругах, чрезвычайно подозрительно относившихся и к казачеству и к Ставке, проект походного атаманства вызвал большое беспокойство. Отравленная болезненной подозрительностью, революционная демократия искала проявления контрреволюции и там, где руководствовались исключительно интересами государственными.

[1] Об этих явлениях я буду говорить подробнее впоследствии.

Сообразно с видоизменением состава Временного правительства и падением его авторитета, менялось отношение к нему казачества, нашедшее выражение в постановлениях и обращениях Совета союза казачьих войск, атаманов, кругов и правительства. Если до июля казачество вотировало всемерную поддержку правительству и полное повиновение, то позже оно, *признавая до конца власть правительства*, вступило, однако, в резкую оппозицию к нему по вопросам об устройстве казачьего управления и земства, против применения казаков для усмирения мятежных войск и районов и так далее. В сентябре, после корниловского выступления, Донское войско, поддержанное другими, стало на защиту Донского атамана Каледина, объявленного мятежником Временным правительством, проявившим в этом деле чрезвычайное легкомыслие и неосведомленность. Лояльность Каледина в отношении общерусской власти простиралась так далеко, что уже после падения Временного правительства он не решался расходовать на нужды области денежные запасы областных казначейств и сделал это только после ассигнования одним из прибывших в область членов бывшего правительства 15 миллионов рублей. Атамана казаки не выдали, в посылке карательных отрядов категорически отказали. А в октябре Кубанская рада облекла себя учредительными правами и издала конституцию «Кубанского края». С правительством стали говорить уже таким тоном: «Когда же Временное правительство отрезвится от этого угара (большевистского засилия) и положит решительными мерами конец всем безобразиям?»

Временное правительство, не имея уже ни авторитета, ни реальной силы, сдало все свои позиции и пошло на примирение с казачьими правительствами.

Замечательно, что даже в конце октября, когда из-за обрыва связи о событиях в Петрограде и Москве и о судьбе Временного правительства на Дону не было еще точных сведений и предполагалось, что осколки его где-то еще функционируют, казачья старшина в лице представителей собиравшегося Юго-восточного союза[1] искала связи с пра-

[1] Дон, Кубань, Терек, Астрахань и горцы Северного Кавказа. Об этом позже.

вительством, предлагая помощь против большевиков, но обусловливая ее целым рядом экономических требований: беспроцентным займом в полмиллиарда рублей, отнесением на государственный счет всех расходов по содержанию вне территории союза казачьих частей, устройством эмеритальной кассы для пострадавших и оставлением за казаками всей *«военной добычи»* (?), которая будет взята в предстоящей междоусобной войне.

Небезынтересно, что Пуришкевич долго носился с идеей переезда на Дон Государственной Думы для противовеса Временному правительству и сохранения источника власти на случай его крушения. Каледин отнесся к этому предложению отрицательно.

Характерным показателем отношения, которое сумели сохранить к себе казаки в самых разнородных кругах, является та тяга на Дон, которая впоследствии, к зиме 1917 года, привлекла туда Родзянко, Милюкова, генерала Алексеева, быховских узников, Савинкова и даже Керенского, который явился в Новочеркасск к генералу Каледину в двадцатых числах ноября 1917 года, но не был им принят. Не явился только Пуришкевич, да и то потому, что в это время сидел в тюрьме у большевиков в Петрограде.

И вдруг оказалось, что все это чистая мистификация, что никакой силы у казачества в то время уже не было!

Ввиду разгоравшихся на территории казачьих войск беспорядков, атаманы не раз входили с ходатайством о возвращении с фронта хотя бы части казачьих дивизий. Их ждали с огромным нетерпением и возлагали на них самые радужные надежды. В октябре эти надежды как будто начали сбываться: потянулись домой казачьи дивизии. Преодолевая в пути всевозможные препятствия, задерживаемые на каждом шагу Викжелем и местными советами, подвергаясь не раз оскорблению, разоружению, употребляя где просьбу, где хитрость, а где и угрозу оружием, казачьи части пробились в свои области.

Как я уже говорил, противогосударственная пропаганда обрушилась с большою силою на казаков. Тем не менее казачьи части, восприняв и комитеты и все начала «революционной дисциплины», долго сохраняли относительную боеспособность и повиновение. Еще в июле у меня на Западном фронте казачьи части выступали с неохотой, но безотказно против неповиновавшихся пехотных полков. Принимались меры, чтобы изъять казачьи войска из-под влияния армейских комитетов. Так, на Юго-западном фронте образовалось казачье «правление», отозвавшее казаков из всех общеармейских комитетов и ставшее в подведомственное отношение к «Совету союза казачьих войск». В полки одна за другой приезжали от областей делегации «стариков», чтобы образумить опьяненную общим угаром «свобод» свою молодежь. Иногда это вразумление выражалось первобытным и довольно варварским способом физического воздействия.

Но никакими мерами нельзя было оградить казачьи войска от той участи, которая постигла армию, ибо вся психологическая обстановка и все внутренние и внешние факторы разложения, быть может, менее интенсивно, но в общем одинаково воспринимались и казачьей массой. Два неудачных и непонятных казакам похода на Петроград с Крымовым[1] и Красновым[2] внесли еще большую путаницу в их смутное политическое миросозерцание.

С возвращением казачьих войск в родные края наступило полное разочарование: они — по крайней мере донцы, кубанцы и терцы[3] — принесли с собой с фронта самый подлинный большевизм, чуждый, конечно, какой-либо идеологии, но со всеми знакомыми нам явлениями полного разложения. Это разложение назревало постепенно, проявлялось позже, но сразу ознаменовалось отрицанием авторитета «стариков», отрицанием всякой власти, бунтом, насилиями, преследованием и выдачей офицеров, а главное — полным отказом от всякой борьбы с советской властью, обманно обещавшей неприкосновенность казачьих прав и уклада. Большевизм и казачий уклад. Такие нелепые противоречия выдвигала ежедневно русская действитель-

[1] 3-й конный корпус во время Корниловского выступления против Керенского.

[2] 3-й конный корпус с Керенским против большевиков.

[3] Уральское войско до своей трагической гибели в конце 1919 года не знало большевизма.

ность на почве пьяного угара, в который выродилась желанная свобода.

Началась трагедия казачьей жизни и казачьей семьи, где выросла непреодолимая стена между «стариками» и «фронтовиками», разрушая жизнь и поднимая детей против своих отцов.

ГЛАВА XXVIII
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Национального вопроса в старой русской армии почти не существовало. В солдатской среде представители народностей, населявших Россию, испытывали несколько большую тягость службы, обусловленную незнанием или плохим знанием ими русского языка, на котором велось обучение. Только на этой почве — технических затруднений обучения, быть может общей грубости и некультурности, но отнюдь не национальной нетерпимости — возникали много раз трения, отяжелявшие положение инородных элементов, тем более что по системе смешанного комплектования они были обыкновенно оторваны от родных краев (территориальная система комплектования армии признавалась технически не рациональной и политически не безопасной). В частности, малорусский вопрос не существовал *вовсе*. Малорусская речь вне официального «обучения (песни, музыка) приобрела полное признание и ни в ком не вызывала впечатления обособленности, воспринимаясь как свое русское, родное. В армии кроме евреев все остальные элементы ассимилировались довольно быстро и прочно; армейская среда не являлась вовсе проводником ни принудительной русификации, ни национального шовинизма.

Еще менее национальное расслоение заметно было в офицерской среде. За корпоративными, военными, товарищескими или просто человеческими качествами и достоинствами отходили на задний план или стирались вовсе национальные перегородки. Лично мне в течение 25 лет службы до революции и в голову не приходило вносить когда-либо этот элемент в отношения командные, служебные, товарищеские. Именно интуитивно, а не в результате известных взглядов и убеждений. Возбуждаемые вне армии, в политической жизни страны национальные вопросы интересовали, волновали, разрешались в ту или другую сторону, иногда резко и непримиримо, не переходя, однако, за грань военной жизни.

Несколько иное положение занимали евреи. К вопросу этому я вернусь впоследствии. В отношении же старой армии можно сказать, что он имел значение скорее бытовое, нежели политическое. Нельзя отрицать, что в армии известная тенденция к угнетению евреев была, но она отнюдь не входила в систему, не инспирировалась свыше, а возникала в низах и в силу сложных причин, далеко выходивших за рамки жизни, быта и взаимоотношений военной среды.

Евреи не имели доступа в офицерскую среду до третьего колена. Закон этот, однако, не соблюдался, и в офицерском корпусе состояли не только прапорщики запаса, но и генералы генерального штаба, принявшие до службы христианство.

Правительственная политика среди офицерского состава всех народностей русского государства выделяла одних только поляков. Это традиционное недоверие имело формы несправедливые и обидные. Секретными циркулярами был установлен целый ряд ограничений в отношении офицеров-поляков: определенный процент их в составе войск западных и юго-западных округов, воспрещение назначений на должности полкового штаба, лишение права поступления в академии генерального штаба и даже интендантскую, курсовыми офицерами в военные училища и т.д. Для лиц, обладавших влечением к военной службе и желавших расчистить себе широкий путь через академию, был единственный выход — сделка с собственной совестью и перемена религии. Через это испытание должны были пройти, между прочим, покойный генерал Пузыревский, составивший себе в военном мире большое имя, и один из генералов, занимающий ныне высокий пост в польской армии. Имена других поляков, сохранивших религию и дошедших до высших степеней военной иерархии, исчисляются единицами. Среди командовавших войсками, например, я знал только одного

поляка — генерала Гурчина, тогда как немцы насчитывались десятками.

Нужно отдать справедливость офицерской среде: в ней, в общем, совершенно отсутствовали те начала нетерпимости и предубеждения, которые проводились правительством. В военном быту тяготились этими стеснениями, осуждали их и, когда было возможно, обходили закон в пользу поляков. Это обстоятельство должно сгладить горечь некоторых воспоминаний среди той большой части офицерства польской армии, которое нашло себе некогда приемную семью в русской офицерской среде, вместе с нею прошло крестный путь войны и смуты и раньше ее выбилось на дорогу к воссозданию Родины.

Война, во всяком случае, опрокинула всякие перегородки, а революция принесла и в порядке законодательном отмену всех вероисповедных и национальных ограничений.

Еще до 1917 года были созданы национальные части по различным соображениям. В том числе несколько латышских стрелковых батальонов, пользовавшихся до революции хорошей боевой репутацией. Кавказская туземная дивизия, которою командовал великий князь Михаил Александрович и которая более известна под названием «Дикой», состояла из добровольцев от северокавказских горцев. Едва ли не стремление к изъятию с территории Кавказа наиболее беспокойных элементов было исключительной причиной этого формирования. Во всяком случае, эпические картинки боевой работы «Дикой» дивизии бледнеют на общем фоне ее первобытных нравов и батыевских приемов. Сербская дивизия (потом корпус) была составлена из пленных югославов. После неудач и потерь, понесенных в Добрудже, в задунайском отряде генерала Заиончковского[1] в 1916 году, она так и не смогла оправиться. На почве общего упадка дисциплины, отчасти же из-за возникшей политической распри между родственными, но не очень дружными славянскими племенами («Великая Сербия» противополагалась «Югославии»), пришлось сербский корпус летом 1917 года расформировать. Наконец, чехословацкая бригада, составленная из

[1] Командует армией у большевиков.

пленных, к осени 1917 года развернутая в целый корпус, сыгравший впоследствии такую исключительную и двойственную роль в антибольшевистской борьбе в Сибири.

С началом революции и ослаблением власти проявилось сильнейшее центробежное стремление окраин и, наряду с ним, стремление к национализации, то есть расчленению армии. Несомненно, потребность такого расчленения *тогда* не исходила из сознания массы и не имела никаких реальных обоснований (я не говорю о польских формированиях). Единственные мотивы национализации заключались тогда в стремлении политических верхов возникавших новообразований создать реальную опору для своих домогательств, а также чувство самосохранения у военных, побуждавшее их искать в новых и длительных формированиях временное или постоянное освобождение от боевых операций. Начались бесконечные национальные военные съезды вопреки разрешению правительства и главного командования. Заговорили вдруг все национальности — литовцы, эстонцы, грузины, белорусы, малороссы, мусульмане, — требуя провозглашенного «самоопределения» от культурно-национальной автономии до полной независимости включительно, а главное — немедленного формирования отдельных войск. В конце концов, более серьезных результатов, несомненно отрицательных для целости армии, достигли формирования украинское и польское, отчасти закавказские. Прочие попытки были пресечены. Лишь в последние дни существования русской армии, в октябре 1917 года, генерал Щербачев с целью удержания Румынского фронта приступил к широкому расслоению войск по национальным признакам, окончившемуся полной неудачей. Должен добавить, что только одна национальность не требовала самоопределения в смысле несения военной службы — это еврейская. И каждый раз, когда откуда-нибудь вносилось предложение (обычно, в ответ на жалобы евреев) организовать особые еврейские полки, это предложение вызывало бурю негодования в среде евреев и в левых кругах и именовалось злостной провокацией.

Правительство отнеслось резко отрицательно к расслоению армии по признакам национальности. Керенский в

письме на имя польского съезда (1 июня 1917 года) высказал такой взгляд: «Великий подвиг освобождения России и Польши может быть совершен лишь при условии, что организм русской армии не будет ослаблен, что никакие организационные изменения не нарушат ее единства... Выделение национальных войск в настоящий тяжелый момент растерзало бы ее тело, подорвало бы ее мощь и было бы гибелью как для революции, так и для свободы России, Польши и других народностей, населяющих Россию».

Командный элемент относился к вопросу национализации двойственно. Большая часть — совершенно отрицательно, меньшая — с некоторой надеждой, что, порывая связь с Советом рабочих и солдатских депутатов, создаваемые заново национальные части могут избегнуть ошибок, увлечений демократизацией и стать здоровым ядром для укрепления фронта и создания армии. Генерал Алексеев решительно противился всем попыткам разделения по национальностям, но поощрял польские и чехословацкие формирования. Генерал Брусилов самовольно разрешил создать первое украинское формирование, прося затем Верховного главнокомандующего «не отменять, и не подрывать тем его авторитета»[1]. Полк оставили. Генерал Рузский также самовольно приступил к эстонским формированиям[2] и т.д. Вероятно, по тем же мотивам, по которым некоторые начальники допускали формирования, но в обратном их отражении, вся русская революционная демократия в лице советов и войсковых комитетов восстала против создания национальных формирований. Целый ряд резких резолюций и постановлений посыпался со всех концов. Между прочим, и киевский Совет рабочих и солдатских депутатов в середине апреля в резких и возмущенных выражениях охарактеризовал явление украинизации как простое дезертирство и шкурничество и большинством голосов (264 против 4) потребовал отмены образования украинских полков. Интересно, что таким же противником разделения армии

[1] Генерал Алексеев приказал расформировать, Керенский разрешил не расформировывать.

[2] Были расформированы.

по национальностям явилась польская «левица», отколовшаяся от военного съезда поляков в июне из-за постановления о формировании польских войск.

Правительство недолго сохраняло свое первоначальное твердое решение против националистских тенденций. Декларация 2 июля, наряду с предоставлением Украине автономии, разрешила и вопрос об организации национальных войск: «Правительство считает возможным продолжать содействовать более тесному национальному объединению украинцев в рядах самой армии или комплектованию отдельных частей исключительно украинцами постольку, насколько такая мера не нарушит боеспособности армии, и находит возможным привлечь к осуществлению этой задачи самих воинов-украинцев, командируемых Центральной Радой в военное министерство, Генеральный штаб и Ставку».

Началось великое «переселение народов».

Еще ранее «председатель украинского войскового генерального комитета» Петлюра разослал своих агентов (к сожалению, русских офицеров) по всем фронтам в качестве военных представителей комитета. Помню, был и в Ставке такой полковник — не то Павленко, не то Василенко, который неоднократно обращался ко мне, скрывая свое официальное назначение, за разрешением образовать украинские формирования, вкрадчиво уверяя, что он — только русский офицер, глубоко предан идее русской государственности и вместе со своими единомышленниками стремится лишь ввести в надлежащее русло «стихийное, народное стремление к самоопределению» и дать русской армии здоровые части. Другие агенты разъезжали по фронту, организуя в войсках украинские громады и комитеты, проводя постановления, резолюции о переводе в украинские части, о нежелании идти на фронт под предлогом «удушения Украины» и т.д. К октябрю украинский комитет Западного фронта призывал уже к вооруженному воздействию на правительство для немедленного заключения мира.

В качестве главнокомандующего Западным и Юго-западным фронтами (июнь–сентябрь) я категорически воспретил начальствующим лицам входить в какие-либо отноше-

ния с «войсковым генеральным комитетом» и его агентами. Но работа комитета продолжалась почти официально, помимо и параллельно с командованием, внося неизмеримые затруднения в мобилизацию, комплектование, перевозку и перемещение войск.

Петлюра уверял, что в его распоряжении имеется 50 тысяч украинских воинов. А командовавший войсками Киевского военного округа полковник Оберучев[1] свидетельствует: «В то время, когда делались героические усилия для того, чтобы сломить врага (июньское наступление), *я не мог послать ни одного солдата на пополнение действующей армии.* Чуть только я посылал в какой-либо запасной полк приказ о высылке маршевых рот на фронт, как в жившем до того времени мирной жизнью и не думавшем об украинизации полку созывался митинг, поднималось украинское желто-голубое знамя и раздавался клич:

— Пийдем пид украиньским прапором!

И затем ни с места. Проходят недели, месяц, а роты не двигаются ни под красным, ни под желто-голубым знаменем».

Возможно ли было бороться с этим неприкрытым шкурничеством? Ответ на этот вопрос дает тот же Оберучев — ответ чрезвычайно характерный своим безжизненным партийным ригоризмом:

«Само собой разумеется, что можно было силой заставить исполнять свои распоряжения. И сила такая в руках у меня была». Но «выступая силой против ослушников, действующих под флагом украинским, рискуешь заслужить упрек, что борешься не с анархическими выступлениями, а против национальной свободы и самоопределения народностей. А мне, социалисту-революционеру, заслужить такой упрек, да еще на Украине, с которой я связан всей своей жизнью, было невозможно. И я решил уйти»[2].

И он ушел. Правда, только в октябре, незадолго до большевистского переворота, пробыв в должности командующего войсками важнейшего прифронтового округа почти пять месяцев.

[1] Соц.-рев. эмигрант и деятельный партийный работник. Назначен на должность Керенским по желанию киевского совета солдатских депутатов.

[2] Оберучев. «В дни революции».

В развитие распоряжений правительства, Ставка назначила на всех фронтах определенные дивизии для украинизации, а на Юго-западном фронте, кроме того, 34-й корпус, во главе которого стоял генерал Скоропадский. В эти части, стоявшие обычно в глубоком резерве, двинулись явочным порядком солдаты со всего фронта. Надежды оптимистов, с одной стороны, и страхи левых кругов, с другой, что национализация создаст «прочные части» (по терминологии слева — контрреволюционные), быстро рассеялись. Новые украинские войска носили в себе все те же элементы разложения, что и кадровые.

Между тем среди офицерства и старослуживых многих славных полков, с большим историческим прошлым, переформированных в украинские части, эта мера вызвала острую боль и сознание, что теперь уже близок конец армии[1].

В августе, когда я командовал Юго-западным фронтом, из 34-го корпуса ко мне стали приходить дурные вести. Корпус как-то стал выходить из прямого подчинения, получая непосредственно от «генерального секретаря Петлюры» и указания и укомплектование. Комиссар его находился при штабе корпуса, над помещением которого развевался «жовто-блакитный прапор». Старые русские офицеры и унтер-офицеры, оставленные в полках за неимением щиро-украинского командного состава, подвергались надругательствам со стороны поставленных над ними зачастую невежественных украинских прапорщиков и солдат. В частях создавалась крайне нездоровая атмосфера взаимной ненависти и отчуждения.

Я вызвал к себе генерала Скоропадского и предложил ему умерить резкий ход украинизации и, в частности, восстановить права командного состава или отпустить его из корпуса. Будущий гетман заявил, что об его деятельности составилось превратное мнение, вероятно по историческому прошлому фамилии Скоропадских[2]; что он истинно русский

[1] Среди других, украинизации подверглась моя бывшая 4-я стрелковая дивизия.

[2] Один из предков — Скоропадский, украинский гетман.

человек, гвардейский офицер и совершенно чужд самостийности; он исполняет только возложенное на него начальством поручение, которому сам не сочувствует. Но вслед за сим Скоропадский поехал в Ставку, откуда моему штабу указано было... содействовать скорейшей украинизации 34-го корпуса.

Несколько иначе обстоял вопрос с польскими формированиями. Временное правительство объявило независимость Польши, и поляки считали себя уже «иностранцами». Польские формирования существовали фактически давно на Юго-западном фронте, правда, разлагающиеся (кроме польских улан. Дав разрешение украинцам, правительство не могло уже отказать полякам. Наконец, центральные державы, создавая видимость польской независимости, также предусматривали образование польской армии, окончившееся, впрочем, неудачно; формировала польскую армию и Америка на французской территории.

В июле 1917 года формирование польского корпуса было возложено Ставкой на Западный фронт, в бытность мою там главнокомандующим. Во главе корпуса я поставил генерала Довбор-Мусницкого[1], ныне командовавшего польской армией в Познани. Сильный, энергичный, решительный, бесстрашно ведший борьбу с разложением русских войск и с большевизмом в них, он сумел создать в короткое время части если не вполне твердые, то, во всяком случае, разительно отличавшиеся от русских войск дисциплиной и порядком. Дисциплиной старой, отметенной революцией, — без митингов, комиссаров и комитетов. Такие части вызывали и иное отношение к себе в армии, невзирая на принципиальное отрицание проявлений национализма. Передача имущества расформированных мятежных дивизий и полная предупредительность начальника снабжения дали возможность корпусу вскоре поставить и свою хозяйственную часть. По приказу офицерский состав польского корпуса комплектовался переводом в него желающих, солдатский — исключительно добровольцами или запасными батальонами; фактически началась ничем не

[1] Командовал ранее 38-м корпусом.

устранимая тяга покинуть фронт по тем же побуждениям, которыми руководствовались русские бойцы, опустошая поределые ряды армии.

В результате польские формирования для нас оказались совершенно бесполезными. Еще на июньском войсковом съезде поляков довольно единодушно и недвусмысленно прозвучали речи, определявшие цели формирований. Их синтез был выражен одним из участников: «Ни для кого не секрет, что война уже кончается, и польская армия нам нужна не для войны, не для борьбы. Она нам необходима для того, чтобы на будущей международной мирной конференций с нами считались, чтобы мы имели за собою силу».

Действительно, корпус на фронт не выходил (правда, формирование его не закончилось), во «внутренние дела» русских (октябрь и позже в борьбу с большевизмом) не пожелал вмешиваться и вскоре перешел совершенно на положение «иностранной армии», поступив в ведение и на содержание французского командования.

Но и надежды польских националистов также не сбылись: на фоне общей разрухи и падения фронта корпус в начале 1918 года, после вторжения германцев внутрь России, частью был захвачен и обезоружен, частью разошелся, и остатки польских войск нашли впоследствии гостеприимный приют в Добровольческой армии.

Лично я не могу не вспомнить добрым словом 1-й польский корпус, частям которого, расположенным в Быхове, мы во многом обязаны сохранением жизни генерала Корнилова и прочих быховских узников в памятные сентябрьские-ноябрьские дни.

Центробежные силы разметали страну и армию. К нетерпимости классовой и партийной прибавилось обострение национальной розни, отчасти имевшее основание в исторически сложившихся взаимоотношениях между племенами, населявшими Россию, и императорским правительством, отчасти же совершенно беспочвенное, нелепое, питавшееся причинами, ничего общего не имевшими со здоровым национальным чувством. Скрытая или подавленная ранее, эта рознь резко проявилась, к сожалению, в тот именно момент, когда общерусская власть добровольно и

добросовестно выходила на путь широкой децентрализации, признания исторических прав и культурно-национального самоопределения составных элементов русского государства.

ГЛАВА XXIX
СУРРОГАТЫ АРМИИ: «РЕВОЛЮЦИОННЫЕ», ЖЕНСКИЕ БАТАЛЬОНЫ И Т.Д.

Мне остается отметить еще одно явление этого периода развала армии — стремление к введению в нее добровольческого начала, к замене или моральному подкреплению армии такими суррогатами вооруженной силы, как всевозможные «дружины смерти», «революционные батальоны», «ударные части», «женские батальоны» и т.д.

Идею эту приняли самые разнообразные и противоположные элементы власти, русской общественности и армии: Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов одобрили формирование «революционных батальонов»; комитет Юго-западного фронта предлагал всем офицерам и солдатам через полковые комитеты поступать в состав ударных войск, «чтобы зажечь огонь любви к Родине и свободе, тлеющий в сердце каждого солдата и офицера, и повести их в решительный бой за мир без аннексий и контрибуций». Объединенные военно-общественные организации[1] создали Всероссийский комитет и призывали для борьбы «за скорый мир во всем мире под красные знамена добровольческих батальонов рабочих, солдат, женщин, юнкеров, студентов, офицеров и чиновников». Верховный комиссар Временного правительства при Ставке В. Станкевич, убежденный социалист, в программу своей деятельности ставил создание новой стратегии и новой армии путем радикального сокращения ее «до 1520 корпусов избранного состава, наполовину состоящих из офицеров, прекрасно снабженных и вооруженных». Для поддержания безопасности и порядка в стране он не боялся даже создания «специальных надежных отрядов из социально высших классов», проектируя, в первую очередь, широкое развитие военных училищ не только как питомников офицерского состава, но и как вооруженной силы.

[1] «Союз личного примера», Георгиевские кавалеры, Черноморские делегаты и т.д.

Все эти начинания не получили и не могли получить надлежащего развития по двум причинам: во-первых, тот бешеный темп, которым шло углубление революции, не давал времени для надлежащей организации; во-вторых, на призыв могли ведь откликнуться только элементы умеренности и порядка, то есть, враждебные углублению социальной революции, а потому давно уже и всецело взятые революционной демократией под подозрение в реакционности. Поэтому, наряду с теоретическим одобрением, практическое проведение формирований в жизнь встречало ряд совершенно непреодолимых затруднений.

Верховное командование также искало спасения армии в добровольческих организациях. Генерал Брусилов в первый же день после своего назначения Верховным главнокомандующим, еще не приезжая в Ставку, утвердил «План формирования революционных батальонов из волонтеров тыла», поручив выполнение его по всей России исполнительному комитету, под руководством «товарища Манакина»[1]. Не раз приходишь в полное изумление от того духовного перерождения, которое, под влиянием безудержного оппортунизма, произошло с генералом Брусиловым и другими лицами его типа. «План» представляет смесь наивной регламентации, пафоса и еще более углубленной «демократизации» и демагогии. Достаточно прочесть несколько его положений, чтобы составить себе понятие о предполагавшемся характере новой армии.

«В революционных батальонах не должно быть слов «офицер» и «солдат», а есть начальник и волонтер, так как начальником может быть *избран* каждый волонтер».

Назначение командиров отделений, взводов, рот и батальонов производится на седьмой день по сформировании батальонов общим и тайным голосованием всех волонтеров,

[1] Подполковник генерального штаба.

после чего они утверждаются исполнительным комитетом и главнокомандующим и являются несменяемыми.

Если же замена окажется необходимой, то должен быть представлен обвинительный акт за подписью двух третей личного состава части, с предъявлением обвинения только(?) в трусости, растрате казенных денег и измене присяге.

Никаким наказаниям дисциплинарным и служебным начальники и волонтеры не подвергаются; но в случае неблаговидных поступков все волонтеры наказываются по присуждению товарищеского суда остракизмом и объявляются врагами Отечества».

По всем крупным центрам разосланы были вербовочные «комиссары», которым надлежало при посредстве местных советов вести агитацию и сбор волонтеров. Конечно, к «товарищу Манакину» убежденные добровольцы в сколько-нибудь значительном числе не пошли, и все предприятие ни к каким результатам не привело.

Возник целый ряд случайных добровольческих формирований, в том числе и «Корниловский отряд» капитана Нежинцева, преобразованный потом в «Корниловский ударный полк». О том, как трудно было в то смутное время держать в равновесии разум и сердце даже лучшей части воинства, свидетельствует тот факт, что после геройского прорыва неприятельского фронта 25 июня во время наступления 8-й армии, после блестящих атак и богатых трофеев, соединенные комитеты Корниловского отряда вынесли требование о выводе его из боевой линии; Нежинцев оценивал состояние отряда как близкое к полному развалу. Впрочем, позднее Корниловский полк, благодаря доблести своего командира и офицерского состава, а может быть, в силу создавшегося культа Корнилова, скоро оправился. Это тот самый полк, который позднее, в начале сентября, среди кипящей ненависти ко всему, что касалось имени Корнилова, имел смелость проходить церемониальным маршем в Могилеве мимо окон арестованного «за мятеж» Верховного главнокомандующего.

При многих полках организовались свои ударные команды, роты, батальоны. Туда уходили все, в ком сохранилась еще совесть, или те, кому просто опостылела безрадостная, опошленная до крайности, полная лени, сквернословия и озорства полковая жизнь. Я видел много раз «ударников» и всегда — сосредоточенными, угрюмыми. В полках к ним относились сдержанно или даже злобно. А когда пришло время наступления, они пошли на колючую проволоку, под убийственный огонь, такие же угрюмые, одинокие, пошли под градом вражьих пуль и зачастую злых насмешек своих «товарищей», потерявших и стыд и совесть. Потом их стали посылать бессменно изо дня в день и на разведку, и в охранение, и на усмирения за весь полк, так как все остальные вышли из повиновения. Неудивительно, что вскоре и эти обреченные потеряли терпение. Право, скорее с грустью, чем с осуждением я перелистываю «Протокол общего собрания штурмовой роты»; в полуграмотном по форме, но непосредственном по содержанию документе этом говорится:

«В выступлении на позицию Путвильского полка категорически отказать», ибо солдаты штурмовой роты «выступили не с той целью, чтобы сидеть на одном месте, не двигаясь вперед, и быть сторожами своих окопов, а идти вперед, на что мы были уже готовы; то мы только и имеем стремление работать там, где есть дружная работа. Пусть нам никто не ставит в укор, что мы своей сотней человек не берем такого укрепления, которое можно только штурмовать всем полком, и то дружно. Просим отправить нас туда, где идет дружная защита нашей Родины в боях под Станиславовым. А буде, что мы не получим удовлетворения, то будем вынуждены отправиться туда добровольно, как нас на то дело и призывали».

Тоже бунт? Но... кто сможет, пусть осудить их.

На защиту Родины поднялись и женщины.

«Ни один народ в мире, — говорилось в одном из воззваний московского женского союза, — не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины. Ведь это равносильно избиению будущего поколения своего народа». И далее: «женская рать будет той живой водой, которая заставит очнуться русского старого богатыря».

Увы! Рука, сделавшая этот красивый жест, беспомощно повисла в воздухе.

В Петрограде и в Москве образовались «Всероссийские женские военные союзы». Приступили к формированию не-

скольких батальонов (46) в столицах и некоторых больших городах; при одном из училищ (кажется, в Москве при Александровском) было устроено отделение, из которого выпущено несколько десятков женщин-прапорщиков. Один батальон Бочкаревой, сформированный раньше других, принял участие в наступлении в июле на Западном фронте.

Что сказать про «женскую рать»?

Я знаю судьбу батальона Бочкаревой. Встречен он был разнузданной солдатской средой насмешливо, цинично. В Молодечно, где стоял первоначально батальон, по ночам приходилось ему ставить сильный караул для охраны бараков. Потом началось наступление. Женский батальон, приданный одному из корпусов, доблестно пошел в атаку, не поддержанный «русскими богатырями». И когда разразился кромешный ад неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины, забыв технику рассыпного строя, сжались в кучку — беспомощные, одинокие на своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами. Понесли потери. А «богатыри» частью вернулись обратно, частью совсем не выходили из окопов.

Потом один из женских батальонов остался у Зимнего дворца защищать членов Временного правительства, всеми покинутых в памятный день октябрьского переворота.

Видел я и последние остатки женских частей, бежавшие на Дон, в знаменитом корниловском кубанском походе. Служили, терпели, умирали. Были и совсем слабые телом и духом, были и герои, кончавшие жизнь в конных атаках.

Воздадим должное памяти храбрых. Но... не место женщине на полях смерти, где царит ужас, где кровь, грязь и лишения, где ожесточаются сердца и страшно грубеют нравы. Есть много путей общественного и государственного служения, гораздо более соответствующих призванию женщины.

Выдвигая целый ряд суррогатов армии, никто, однако, не имел смелости осуществить идею, совершенно логичную, вытекавшую из основной цели всех этих искусственно создаваемых революционных, ударных, женских и прочих частей, носившуюся в сознании очень многих и даже нашедшую частичное отражение в мыслях Верховного комиссара Станкевича.

Я говорю об офицерских добровольческих отрядах.

Нет сомнения, что своевременно созданная сильная офицерская организация имела много шансов на решительный успех в борьбе с большевизмом в первую стадию его властвования. К сожалению, ни Керенский, ни, тем более, революционная демократия не допустили бы ни под каким видом подобного образования. По личным мотивам они были, конечно, правы; офицерскими войсками после всех событий первого периода революции, после установившихся — и не по офицерской вине — ярко враждебных отношений, и Керенский, и Совет были бы насильственно устранены. Эта «потеря» была бы не слишком велика, если бы такою ценою стране удалось, не погружаясь в реакцию, претворить социальную революцию 1917 года в буржуазную и избегнуть ужасов большевизма, отодвинувшего, быть может, на столетие нормальное развитие всей русской жизни. Но если все это — только более или менее спорные предположения, то, во всяком случае для меня, является совершенно бесспорным одно положение: исход революции во многом зависел от армии. Пути революции были бы другие, если бы революционная демократия словом, делом и помышлением не противопоставляла офицерский корпус народу, а привлекла бы его к служению народу. Ибо, при всех своих великих и малых недостатках, офицерство превосходило все другие русские организации способностью и желанием жертвенного подвига.

Казалось бы, что если не формирование, то, по крайней мере, подготовка офицерской организации была необходима на случай падения «существовавшего строя» и фронта (а это предчувствовалось всеми совершенно ясно). Но представители активного начала томились в тюрьме; Главный совет офицерского союза, которому наиболее соответствовала эта задача, был разгромлен Керенским в конце августа, а в сознание большинства ответственных руководителей армии глубоко проникла страшная и небезосновательная тревога за судьбу русского офицерства. В этом отношении очень характерна переписка генералов Корнилова и Духонина. После большевистского переворота 1 ноября 1917 года генерал Корнилов из быховской тюрьмы писал Духонину:

«Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, что Вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая Ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации борьбы с надвигающейся анархией». В числе их генерал Корнилов указывал: «Сосредоточение в Могилеве или в одном из ближайших к нему пунктов, под надежной охраной, запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи офицерам-волонтерам, которые обязательно будут собираться в означенном районе».

Против этого пункта Духониным сделана пометка: «Это может вызвать эксцессы».

Таким образом, постоянные болезненные опасения офицерской «контрреволюции» оказались напрасными. События застали офицерство врасплох, неорганизованным, растерявшимся, не принявшим никаких мер даже для самосохранения, и распылили окончательно его силы.

ГЛАВА XXX

КОНЕЦ МАЯ И НАЧАЛО ИЮНЯ В ОБЛАСТИ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УХОД ГУЧКОВА И ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА. МОЙ УХОД ИЗ СТАВКИ. ПРАВЛЕНИЕ КЕРЕНСКОГО И ГЕНЕРАЛА БРУСИЛОВА

1 мая оставил свой пост военный министр Гучков. «Мы хотели, — как объяснял он смысл проводимой им «демократизации» армии, — проснувшемуся духу самостоятельности, самодеятельности и свободы, который охватил всех, дать организованные формы и известные каналы, по которым он должен идти. Но есть какая-то линия, за которой начинается разрушение того живого, могучего организма, каким является армия». Нет сомнения, что эту линию переступили еще до 1 мая.

Я не собираюсь давать характеристику Гучкову, в искреннем патриотизме которого не сомневаюсь. Я говорю только о системе. Трудно решить, чьи плечи могли нести тяжкое бремя управления армией в первый период революции; но, во всяком случае, министерство Гучкова не имело ни малейшего основания претендовать на роль фактического руководства жизнью армии. Оно не вело армии. Наоборот, подчиняясь «параллельной власти» и подталкиваемое снизу, министерство, несколько упираясь, *шло за армией*, пока не пододвинулось вплотную к той грани, за которой начинается окончательное ее разрушение.

«Удержать армию от полного развала, под влиянием того напора, который шел от социалистов, и в частности из их цитадели — Совета рабочих и солдатских депутатов, выиграть время, дать рассосаться болезненному процессу, помочь окрепнуть здоровым элементам, — такова была моя задача», — писал Гучков Корнилову в июне 1917 года. И это несомненная правда. Весь вопрос в том, достаточно ли решительно было сопротивление разрушительным силам. Армия этого не ощущала. Офицерство видело вокруг военного министра — ранее твердого и настойчивого политического деятеля, послужившего много восстановлению русской военной мощи после манчжурского погрома, — его помощников Поливанова, Новицкого, Филатьева и других, бывших до крайности оппортунистами или даже демагогами. Оно читало приказы, подписанные Гучковым и ломавшие совершенно основы военной службы и быта. Что эти приказы явились результатом глубокой внутренней драмы, тяжелой борьбы и поражения, — об этом офицерство не знало и этим не интересовалось. Неосведомленность его была так велика, что многие даже теперь, спустя четыре года, приписывают Гучкову авторство знаменитого «Приказа №1». Так или иначе, офицерство почувствовало себя обманутым и покинутым. Свое тяжкое положение оно приписывало, главным образом, реформам военного министра, к которому выросло враждебное чувство, подогреваемое еще более будированием сотен удаленных им генералов и ультрамонархической частью офицерства, не простившей Гучкову предполагаемого участия его в подготовке дворцового переворота и поездки в Псков[1].

Таким образом, уход министра если и вызывался «теми условиями, в которые была поставлена правительственная

[1] Предложение отречения императору Николаю II.

власть в стране (а в частности — власть военного и морского министра в отношении армии и флота»[1], то имел и другое оправдание — отсутствие опоры и в солдатской, и в офицерской среде.

Временное правительство особым актом осудило поступок Гучкова, «сложившего с себя ответственность за судьбы России», и назначило военным и морским министром Керенского. Я не знаю, как вначале отнеслись в армии к этому назначению, но в Ставке — без предубеждения. Керенский совершенно чужд военному делу и военной жизни, но может иметь хорошее окружение. То, что сейчас творится в армии, — просто безумие; понять это нетрудно и не военному человеку. Гучков — представитель буржуазии, правый, ему не верили. Быть может, теперь министру-социалисту, баловню демократии удастся рассеять тот густой туман, которым заволокло сознание солдат. Тем не менее нужна была огромная смелость или самоуверенность поднять такую ношу, и Керенский не раз перед армейской аудиторией подчеркивал это обстоятельство: «В то время, когда многие военные люди, изучавшие военное дело десятилетиями, отказывались взять пост военного министра, я, невоенный человек, взял его». Никто, положим, не слышал никогда, чтобы в мае предлагали портфель военного министра военному лицу. И притом оригинально это сопоставление знания и опыта, как будто наличие этих именно «предрассудков» искала революционная демократия в своих избранниках; как будто Керенский понимал хоть сколько-нибудь военное дело.

Первые же шаги нового министра рассеяли наши надежды. Привлечение в сотрудники еще больших оппортунистов, чем были раньше, но лишенных военно-административного и боевого опыта[2], окружение людьми из «подполья», быть может, имевшими очень большие заслуги перед революцией, но совершенно не понимавшими жизни армии, — все это вносило в действия военного министерства новый, чуждый военному делу элемент партийности.

[1] Официальное письмо Гучкова председателю правительства.

[2] Полковники Барановский, Якубович, князь Туманов, позднее Верховский.

Керенский через несколько дней после своего назначения издал декларацию прав солдата, чем предопределил все дальнейшее направление своей деятельности.

11 мая министр проезжал через Могилев на фронт. Нас удивило то обстоятельство, что проезд был назначен на 5 часов утра и в поезд приглашен только начальник штаба. Военный министр как будто избегал встречи с Верховным главнокомандующим. Разговор со мной был краток и касался частных вопросов — усмирения каких-то беспорядков, возникших на одной из узловых станций, и т.п. Капитальнейшие вопросы бытия армии и предстоящего наступления, необходимость единства взглядов центрального управления и командования, отсутствие которого сказывалось с такой разительной ясностью, — все это, по-видимому, не привлекало никакого внимания министра. Между прочим, вскользь Керенский бросил несколько фраз о несоответствии своим должностям главнокомандующих фронтами, генералов Гурко и Драгомирова, что вызвало протест с моей стороны. Все это было весьма симптоматично и создало в Ставке нервное, напряженное ожидание.

Керенский ехал на Юго-западный фронт, открывая знаменитую словесную кампанию, которая должна была двинуть армию на подвиг. Слово создавало гипноз и самогипноз. Брусилов доносил в Ставку, что всюду в армии военный министр был встречен с необыкновенным подъемом. Керенский говорил с необычайным пафосом и экзальтацией, возбуждающими «революционными» образами, часто с пеной на губах, пожиная рукоплескания и восторги толпы. Временами, впрочем, толпа поворачивала к нему лик зверя, от вида которого слова останавливались в горле и сжималось сердце. Они звучали предостережением, эти моменты, но новые восторги заглушали их тревожный смысл. И Керенский докладывал Временному правительству, что «волна энтузиазма в армии растет и ширится», что выясняется определенный поворот в пользу дисциплины и возрождения армии. В Одессе он поэтизировал еще более неудержимо: «В вашей встрече я вижу тот великий энтузиазм, который объял страну, и чувствую великий подъем, который мир переживает раз в столетия...»

Будем справедливы. Керенский призывал армию к исполнению долга. Он говорил о долге, чести, дисциплине, повиновении, доверии к начальникам; говорил о необходимости наступления и победы. Говорил словами установившегося революционного ритуала, которые должны были найти доступ в сердца и умы «революционного народа». Иногда даже, почувствовав свою власть над аудиторией, бросал ей смелое, становившееся крылатым слово о «взбунтовавшихся рабах» и «революционных держимордах»...

Вотще!

Он на пожаре русской храмины взывал к стихии «Погасни!», вместо того чтобы тушить огонь полными ведрами воды.

Слова не могли бороться с фактами, героические поэмы — с суровой прозой жизни. Подмена Родины Свободой и Революцией не уяснили целей борьбы. Постоянное глумление над старой «дисциплиной», над «царскими генералами», напоминание о кнуте, палке и «прежнем солдатском бесправии» или о «напрасно пролитой» кем-то солдатской крови — все это не могло перекинуть мост через пропасть между двумя составными частями армии. Страстная проповедь «новой сознательной железной революционной дисциплины», то есть, дисциплины, основанной на «декларации прав солдата» — дисциплины митингов, пропаганды, политической агитации, безвластия начальников и т.д. — эта проповедь находилась в непримиримом противоречии с призывом к победе. Воспринимавший впечатления в искусственно приподнятой театрально-митинговой атмосфере, окруженный непроницаемой стеной партийных соратников — и в министерстве, и в объездах, в лице приближенных и всевозможных делегаций, депутаций советов и комитетов, — Керенский сквозь призму их мировоззрения смотрел на армию, не желая или не умея окунуться в ее подлинную жизнь и, наконец, почерпнуть в ее мучениях, страданиях, исканиях, преступлениях реальную почву, жизненные темы и настоящие слова. Эти будничные вопросы армейского быта и строя — сухие по форме и глубоко драматичные по содержанию — никогда не составляли тем его выступлений. В них была только апология революции и

осуждение некоторых сделанных ею же извращений в идее государственной обороны.

Солдатская масса, падкая до зрелищ и чувствительных сцен, слушала призывы признанного вождя к самопожертвованию, и он, и она воспламенялись «священным огнем», с тем чтобы на другое же утро перейти к очередным задачам дня: он — к дальнейшей «демократизации армии», она — к «углублению завоеваний революции». Так, вероятно, ныне в храме пролетарского искусства заплечные мастера палача Дзержинского смотрят с умилением на «Страдания молодого Вертера» перед очередной ночью пыток и казней.

Во всяком случае, шуму было много. Настолько, что фельдмаршал Гинденбург до сегодняшнего дня искренне верит, что Юго-западным фронтом, в июне 1917 года, командовал Керенский. В своей книге «Aus meinem Leben» он повествует о том, как Керенский заменил Брусилова, «которого смыли с его поста потоки русской крови, пролитые им в Галиции и Македонии(?) в 1916 году» (фельдмаршал сильно ошибся в отношении театров войны); как Керенский наступал, как он сокрушал австрийцев под Станиславовым и т.д.

В новом учреждении — политическом отделе военного министерства со строго выраженной партийной социал-революционной окраской — началась работа по «созданию новой революционной армии», тогда как, по убеждению первого главы отдела В. Станкевича[1], «по существу, поскольку главной задачей ставилось продолжение войны на фронте, в основу деятельности мог быть положен лишь чрезвычайный консерватизм, цепкое упорное отстаивание всего старого и, пожалуй, лишь выдвижение новых лиц».

• • •

Между тем в Ставке жизнь понемногу замирала. Административное колесо вертелось по-прежнему; все что-то делали, распоряжались, приказывали. Но из всей этой работы ушла душа. Работа имела чисто формальный характер, ибо все планы, предначертания фатально разбивались непредвиденным и непредотвратимым для Ставки сцеплением обстоятельств. Если раньше Петроград мало считался со Став-

[1] «Воспоминания 1914–1919 годов»

кой, то теперь его отношение стало слегка враждебным, и военное министерство начало вести какую-то большую реорганизационную работу, совершенно игнорируя Ставку. Генерал Алексеев чрезвычайно тяжело переносил это положение, тем более что приступы мучившей его болезни участились. С необыкновенным терпением относился он ко всем уколам личного самолюбия и попранию его прав и власти, шедшими свыше. С таким же терпением, прямотой и искренностью говорил он со множеством представителей армии и организаций, злоупотреблявших его доступностью. И работал неустанно с целью сохранить, по крайней мере, хотя бы обломки, на которые рассыпалась армия. Желая показать пример повиновения, он протестовал, но подчинялся. По свойству своего характера он не мог быть настолько тверд и властен, чтобы заставить Временное правительство и гражданских реформаторов армии считаться с требованиями Верховного командования, но вместе с тем никогда не кривил душой в угоду власти и черни.

20 мая, возвращаясь с Юго-западного фронта, Керенский остановился на несколько часов в Могилеве. Он был полон впечатлений, отзывался с большой похвалой о Брусилове и находил, что общее настроение и взаимоотношения на фронте не требуют желать лучшего. Хотя в долгой беседе с генералом Алексеевым Керенский ни одним словом не обмолвился о предстоящих переменах, но по некоторой неловкости, которую проявлял его антураж, в Ставке поняли, что решения приняты. Я не решился передать ходившие слухи генералу Алексееву и только на всякий случай принял меры — под благовидным предлогом задержать предположенную поездку на Западный фронт, чтобы не ставить Верховного главнокомандующего в ложное положение.

Действительно, в ночь на 22-е получена была телеграмма об увольнении генерала Алексеева от должности с назначением в распоряжение Временного правительства и о замене его генералом Брусиловым. Уснувшего Верховного разбудил генерал-квартирмейстер Юзефович и вручил ему телеграмму. Старый вождь был потрясен до глубины души, и из глаз его потекли слезы. Да простят мне здравствующие поныне

бывшие члены Временного правительства вульгарность языка, но генерал Алексеев потом в разговоре со мной обронил такую фразу:

— Пошляки! Рассчитали, как прислугу.

Со сцены временно сошел крупный государственный и военный деятель, в числе добродетелей или недостатков которого была *безупречная лояльность* в отношении Временного правительства.

На другой день на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов Керенский на вопрос, как он реагировал на речь Верховного главнокомандующего офицерскому съезду, ответил, что генерал Алексеев уволен, а он, Керенский, «придерживается системы одного старого французского министра, что *дисциплину долга*(?) нужно вводить сверху». После этого большевик Розенфельд (Каменев) выразил полное удовлетворение соответствием этого решения с неоднократно предъявленными пожеланиями Совета. А в тот же день в газетах появилось официальное сообщение правительства: «Несмотря на естественную усталость генерала Алексеева и необходимость отдохнуть от напряженных трудов, было признано все же невозможным лишиться ценного сотрудника, этого исключительно опытного и талантливого вождя, почему генерал Алексеев и назначен ныне в распоряжение Временного правительства».

Генерал Алексеев простился с армиями следующими словами приказа:

«Почти три года вместе с вами я шел по тернистому пути русской армии.

Переживал светлой радостью ваши славные подвиги. Болел душой в тяжкие дни наших неудач. Но шел с твердой верой в Промысел Божий, в призвание русского народа и в доблесть русского воина.

И теперь, когда дрогнули устои военной мощи, я храню ту же веру. Без нее не стоило бы жить.

Низкий поклон вам, мои боевые соратники. Всем, кто честно исполнил свой долг. Всем, в ком бьется сердце любовью к Родине. Всем, кто в дни народной смуты сохранил решимость не давать на растерзание родную землю.

Низкий поклон от старого солдата и бывшего вашего Главнокомандующего.

Не поминайте лихом!

Генерал Алексеев».

Мои отношения с генералом Алексеевым приняли к концу нашей совместной службы характер сердечной близости, и перед расставанием он сказал мне:

— Вся эта постройка несомненно скоро рухнет; придется нам снова взяться за работу. Вы согласны, Антон Иванович, тогда опять работать вместе?

Я, конечно, высказал полную свою готовность.

Назначение генерала Брусилова знаменовало собою окончательное обезличение Ставки и перемену ее направления: безудержный и ничем не объяснимый оппортунизм Брусилова, его погоня за революционной репутацией лишали командный состав армии даже той, хотя бы только чисто моральной опоры, которую он видел в прежней Ставке.

Могилев принял нового Верховного главнокомандующего необычайно сухо и холодно. Вместо обычных восторженных оваций, так привычных «революционному генералу», которого толпа носила по Каменец-Подольску в красном кресле, — пустынный вокзал и строго уставная церемония. Хмурые лица, казенные фразы. Первые же шаги генерала Брусилова, мелкие, но характерные эпизоды еще более омрачили наше настроение. Обходя почетный караул георгиевцев, он не поздоровался с доблестным израненным командиром их полковником Тимановским и офицерами и долго жал руки солдат — посыльного и ординарца, у которых от неожиданности и неудобства такого приветствия в строю выпали из рук ружья, взятые «на караул». Передал мне написанный им собственноручно приветственный приказ армиям для посылки на предварительное одобрение Керенскому. В своей речи к чинам Ставки, собравшимся проститься с генералом Алексеевым, Брусилов оправдывался; да, оправдывался, так как иначе трудно назвать сбивчивые объяснения взятого им на душу греха — углубления вместе с Керенским и комитетами «демократизации армии». И резким диссонансом прозвучали после этого прощальные слова адреса, обращенные к уходившему вождю:

«...Ваше имя навсегда останется чистым и незапятнанным, как имя неутомимого труженика, отдавшего всего себя делу служения родной армии. На темном фоне прошлого и разрухи настоящего Вы находили в себе гражданское мужество прямо и честно идти против произвола, восставать против лжи, лести, угодничества, бороться с анархией в стране и с развалом в рядах ее защитников»...

Мой образ действий, как и генерала Алексеева, не соответствовал видам Временного правительства, да и совместная работа с генералом Брусиловым, вследствие полного расхождения во взглядах, была немыслима. Я предполагаю, что еще в бытность на Юго-западном фронте Брусилов дал согласие Керенскому, предложившему на должность начальника штаба генерала Лукомского. И поэтому меня удивил тот диалог, который произошел между мною и Брусиловым в первый день его приезда:

— Что же это, Антон Иванович! Я думал, что встречу в вас своего боевого товарища, что будем вместе работать и в Ставке, а вы смотрите на меня волком.

— Это не совсем так: мое дальнейшее пребывание во главе Ставки невозможно. Да кроме того известно, что на мою должность предназначен уже Лукомский.

— Что? Как же они смели назначать без моего ведома?..

Больше ни я, ни он к этому вопросу не возвращались. Я в ожидании заместителя продолжал работать с Брусиловым дней десять. Признаюсь, мне была тяжела в нравственном отношении эта работа. С Брусиловым меня связывала боевая служба с первого же дня войны. Первый месяц в должности генерал-квартирмейстера штаба его 8-й армии, потом два года в качестве начальника 4-й стрелковой дивизии (вначале — бригады) в той же славной армии и командиром 8-го корпуса на его фронте. «Железная дивизия» шла от одной победы к другой и вызывала к себе трогательное отношение со стороны Брусилова и постоянное высокое признание ее заслуг. Это отношение распространялось и на начальника дивизии. Вместе с Брусиловым я пережил много тяжелых, но еще более радостных дней боевого счастья, никогда не за-

бываемых. И теперь мне было тяжело говорить с ним, с другим Брусиловым, который так нерасчетливо не только для себя (это неважно), но и для армии терял все обаяние своего имени. Во время докладов каждый вопрос, в котором отстаивание здравых начал военного строя могло быть сочтено за недостаток «демократичности», получал заведомо отрицательное решение. Было бесполезно оспаривать и доказывать. Иногда Брусилов прерывал текущий доклад и взволнованно говорил:

— Антон Иванович! Вы думаете, мне не противно махать постоянно красной тряпкой? Но что же делать? Россия больна, армия больна. Ее надо лечить. А другого лекарства я не знаю.

Вопрос о моем назначении его занимал более, чем меня. Я отказался высказать свои пожелания, заявив, что пойду туда, куда назначат. Шли какие-то переговоры с Керенским. Брусилов мне раз сказал:

— *Они* боятся, что если вас назначить на фронт, вы начнете разгонять комитеты.

Я улыбнулся.

— Нет, я не буду прибегать к помощи комитетов, но и трогать их не стану.

Я не придал никакого значения этому полушутливому разговору, но в тот же день через секретаря прошла телеграмма Керенскому приблизительно такого содержания: «Переговорил с Деникиным. Препятствия устранены. Прошу о назначении его главнокомандующим Западного фронта».

В начале августа я уехал в Минск, взяв с собой, в качестве начальника штаба фронта, генерала Маркова.

Покидал Ставку без всякого сожаления. Два месяца каторжной работы раздвинули широко военный горизонт, но дали ли они какие-либо результаты по сохранению армии? Активных — решительно никаких. Пассивные — может быть: несколько умерили темп развала армии. И только.

Сотрудник Керенского, впоследствии верховный комиссар, В. Станкевич[1], характеризуя мою деятельность, говорит: «Чуть ли не каждую неделю в Петроград шли телеграммы

[1] «Воспоминания 1914–1919 годов».

(мои) с провокационно-резкими нападками на новые порядки в армии — именно нападками, а не советами... Разве можно советовать отменить революцию?» Если бы это говорил только Станкевич и только про Деникина, это не имело бы интереса. Но так как подобный взгляд разделяли широкие круги революционной демократии и отнесен он к личности собирательной, «олицетворяющей трагедию русской армии», то заслуживает ответа.

Да, революцию отменить нельзя было. Я скажу более: то многочисленное русское офицерство, с которым я был единомышленником, *отнюдь и не хотело отмены революции*. Оно желало, просило, требовало одного:

— Прекратите революционизирование армии сверху!

Другого совета никто из нас дать не мог.

И если тот командный состав, который стоял во главе армии, казался «слишком мало связанным с революцией», надо было беспощадно разогнать его, поставить других людей, — быть может, кустарей военного дела, — но дать им, во всяком случае, доверие и власть.

Отбросим личности. Алекееев, Брусилов, Корнилов — это периоды, системы. Алексеев протестовал, Брусилов подчинялся, Корнилов требовал. Разве была какая-нибудь руководящая идея в сменах этих лиц, а не одно только судорожное метание правительственной власти, беспомощно погрязшей в собственных внутренних противоречиях? И не кажется ли вам, что перестановка звеньев в этой цепи, быть может, была бы спасительным выходом из нашей обреченности?

ГЛАВА XXXI

СЛУЖБА МОЯ В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО АРМИЯМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Я сменил генерала Гурко. Уход его был предрешен еще 5 мая, и приказ об этом был уже заготовлен в министерстве. Но Гурко подал рапорт, что при создавшихся в армии условиях (после объявления декларации прав солдата) он снимает с себя всякую нравственную ответственность за веде-

ние армий. Это обстоятельство дало повод Керенскому опубликовать 26 мая приказ, в силу которого Гурко «по несоответствии» с поста главнокомандующего смещался на должность начальника дивизии[1]. Мотивы: «Отечество в опасности и это обязывает каждого военнослужащего исполнить свой долг до конца, не подавая пагубного примера слабости другим». И еще: «главнокомандующий облечен высоким доверием правительства(?) и, опираясь на него, должен все свои усилия направлять к достижению возложенных на него задач; сложение с себя всякой нравственной ответственности генералом Гурко является уклонением от обязанности вести порученное ему дело по крайнему своему разумению и силе». Лицемерие этих заявлений, не говоря уже о предшествовавшем им факте признания правительством невозможности оставить генерала Гурко в командной должности, приобретает еще более ясный смысл при сопоставлении этого эпизода с аналогичными фактами: с уходом министров Гучкова, Милюкова и других, даже (ирония судьбы!) самого Керенского, который во время одного из министерских кризисов, вызванных непримиримостью революционной демократии, сделал жест, выйдя из состава правительства и передав 21 июля заместителю Некрасову такое письменное заявление: «Ввиду невозможности, несмотря на все принятые мною к тому меры, пополнить состав Временного правительства так, чтобы оно отвечало требованиям исключительного исторического момента, переживаемого страною, *я не могу больше нести ответственность перед государством по своей совести и разумению* и потому прошу Временное правительство освободить меня от всех должностей, мною занимаемых». И «отбыл из Петрограда», как гласила хроника. Наконец, 28 октября Керенский, как известно, тайно бежал, бросив пост Верховного главнокомандующего.

Старый командный состав попал в тяжелое положение. Я говорю не о лицах с ярко выраженной политической физиономией, а просто о честных солдатах. Идти с Керенским (не с личностью, а системой) и ломать собственными руками то

[1] По ходатайству генерала Алексеева заменено увольнением в резерв.

здание, которое строили всю свою жизнь, они не могли. Уйти и, следовательно, перед лицом стоящего на русской земле врага и перед своею собственной совестью стать дезертирами они также не могли. Создавался заколдованный круг, из которого не видно было выхода.

Приехав в Минск, я изложил в двух собраниях многочисленных чинов штаба и управлений фронта, потом перед командующими армиями свой символ веры. Кратко, резко, не помню какими словами, но в таком точном смысле: революцию приемлю всецело и безоговорочно. Но революционизирование армии и внесение в нее демагогии считаю гибельным для страны. И против этого буду бороться по мере сил и возможности, к чему приглашаю и всех своих сотрудников.

Пришло письмо от М.В. Алексеева. Сердечно поздравил с назначением. Пишет: «Будите; спокойно и настойчиво требуйте и, верится, оздоровление настанет без заигрываний, без красных бантиков, без красивых, но бездушных фраз. Далее так держать армию невозможно: Россия постепенно превращается в стан лодырей, которые движение своего пальца готовы оценивать на вес золота. Мыслью моею и сердцем с Вами, с Вашими работами, желаниями. Помоги Бог».

«Военную общественность» представлял в Минске фронтовой комитет. Так как накануне моего прибытия эта большевиствующая организация вынесла резолюцию против наступления и за борьбу объединившейся демократии против своих правительств, то взаимоотношения наши определились ясно: я не вступал вовсе в непосредственные отношения с Комитетом. Комитет варился в собственном соку, разрешая вопрос главенства своих социал-революционной и социал-демократической фракций, выносил резолюции, своим демагогическим содержанием ставившие в недоумение даже армейские комитеты, распространял пораженческую литературу, возбуждал солдат против начальников. Комитет по закону не подлежал ни ответственности, ни суду. В таком же духе шло воспитание комитетом большого числа собравшихся со всех армий «слушателей курсов агитаторов»[1], которые должны были потом разнести воспринятое

[1] Право, предоставленное положением о комитетах.

учение по всему фронту. Вот мелочная подробность, вскрывающая подоплеку не одного из проявлений «гражданской скорби и гнева». Представители курсов обращались часто к начальнику штаба с просьбами и «требованиями». Когда однажды требования лишней пары сапог приняли слишком резкий характер, Марков отказал. На другой же день в №25 газеты «Фронт» появилась «резолюция общего собрания слушателей курсов агитаторов», что они лично убедились в нежелании штабов считаться с выборными организациями. Курсисты заявили, что в лице их самих и тех, кто их послал, фронтовой комитет будет иметь поддержку «против контрреволюции» вплоть до вооруженного воздействия... Какая уж тут совместная работа!

Я присутствовал на заседании фронтового комитета только один раз, сопровождая генерала Брусилова. После вступительной речи Верховный главнокомандующий предложил комитету высказаться, если имеются какие-либо пожелания или вопросы. Председатель ответил, что в сущности никаких особенных вопросов нет, разве вот относительно отпусков и суточных денег... Всем стало несколько неловко. Тогда попросил слова кто-то из членов комитета, извинился за мелочность председателя и начал говорить на общую больную тему о демократизации армии и взаимоотношениях комитета и командования. Я указал, что между нами не может быть ничего общего, так как комитет в постановлении своем от 8 июня пошел против правительства и против наступления. Тогда председатель предъявил новое постановление, составленное накануне, которым комитет допускал наступление. Казалось бы, вопрос исчерпан. Но тут встает какой-то поручик и заявляет, что доверия к главнокомандующему не может быть. Поручик командирован в Минск из Тифлиса комитетом Кавказского фронта и «кооптирован» минским комитетом. Прибыл для расследования моей «контрреволюционности». Прочел уличающий документ — перехваченную мою майскую телеграмму генералу Юденичу, отправленную еще по должности начальника штаба Верховного главнокомандующего. В ней между прочим говорилось: «Верховный главнокомандующий обратился уже с подробным письмом к военному министру с просьбой устранить вредную работу комитетов, парализующих распоряжения военного начальства и оказания содействия в борьбе с течениями безусловно вредными в государственном отношении». Я разъяснил, что вопрос касался местных гарнизонных комитетов рабочих и солдатских депутатов Кавказа, которые не выпускали 104 тысячи пополнений на совершенно обезлюдевший фронт. Брусилов вспылил и наговорил в адрес поручика и комитета резкостей. Потом извинился и в конечном результате допустил в секретный архив Ставки комиссию комитета, которая, вернувшись Минск, явилась ко мне не то с объяснением, не то с полуизвинением.

Скучно, не правда ли? Но нам было не скучно, а мучительно тяжело в этой пошлой обстановке, не дававшей ни душевного равновесия, ни возможности отдаться всецело назревшей операции.

Фронтовой комитет, приняв, наконец, идею наступления, потребовал образования из состава своего и армейских комитетов «боевых контактных комиссий», которые должны были получить право участвовать в разработке операций, контроля над начальниками и штабами частей, выполнявших боевые задачи и т.д.[1]. Я, конечно, отказал. Началась новая история, которая чрезвычайно обеспокоила военного министра, приславшего экстренно в Минск и полковника Барановского — начальника своего кабинета[2], и комиссара Станкевича[3]. Друзья Барановского впоследствии передавали, что вопрос был поставлен ни более ни менее, как о возможности оставить меня в должности ввиду «крупных трений с фронтовым комитетом».

Станкевич умиротворил комитет, и боевые контактные комиссии были допущены до участия в наступлении войск, но без права контроля и участия в разработке операции.

[1] Это было тем более оригинально, что в состав комитета Западного фронта входили и представители рабочих.

[2] Молодой полковник генерального штаба, который руководил Керенским во всех военных вопросах.

[3] Пробыл на Западном фронте дня два и отозван на Северный. Его сменил Калинин.

Хотя мне было нелегко, но вся тяжесть сложных взаимоотношений с «революционной демократией армий» легла на голову моего начальника штаба и друга генерала Маркова. Он положительно изнемогал от той бесконечной сутолоки, которая наполняла его рабочий день. Демократизация разрушила все служебные перегородки и вызвала беспощадное отношение ко времени и труду старших начальников. Всякий, как бы ничтожно ни было его дело, не удовлетворялся посредствующими инстанциями и требовал непременно доклада у Главнокомандующего или, по крайней мере, у начальника штаба. И Марков — живой, нервный, впечатлительный, с добрым сердцем — принимал всех, со всеми говорил, делал все, что мог; но иногда, доведенный до отчаяния людской пошлостью и эгоизмом, не сдерживал своего языка, теряя терпение и наживая врагов.

Не менее хлопот доставляли ему и новые революционные учреждения. В письме Маркова к Керенскому[1] мы встречаем следующие строки: «Никакая армия по своей сути не может управляться многоголовыми учреждениями, именуемыми комитетами, комиссариатами, съездами и т.п. Ответственный перед своей совестью и Вами, как военным министром, начальник почти не может честно выполнять свой долг, отписываясь, уговаривая, ублажая полуграмотных в военном деле членов комитета, имея, как путы на ногах, быть может, и очень хороших душой, но тоже несведущих, фантазирующих и претендующих на особую роль комиссаров. Все это люди чуждые военному делу, люди минуты, и, главное, не несущие никакой ответственности юридически. Им все подай, все расскажи, все доложи, сделай так, как они хотят, а за результаты отвечай начальник. Больно за дело и оскорбительно для каждого из нас иметь около себя лицо, как бы следящее за каждым твоим шагом. Проще нас всех, кому до сих пор не могут поверить, уволить и на наше место посадить тех же комиссаров, а те же комитеты — вместо штабов и управлений».

В Минске передо мною прошла длинная вереница лиц, не оставившая, признаться, в памяти никаких следов. Гражданское управление прифронтовой полосы вышло совсем из

[1] От 15 июля 1917 года.

моего ведения, захваченное местными самоопределившимися учреждениями, и напоминало о себе только просьбами о вооруженной силе для подавления вспыхивавших в районе фронта беспорядков. Политики, к моему глубокому удовлетворению, не было никакой. «Контрреволюция» явилась лишь однажды в лице В.М. Пуришкевича и его помощника с нерусскими лицом и фамилией. Пуришкевич убеждал меня в необходимости тайной организации, формально — на основаниях устава утвержденного еще до революции «Общества русской государственной карты». На первой же странице устава красовалась разрешительная подпись кого-то из самых одиозных министров внутренних дел. Общество ставило себе действительной целью активную борьбу с анархией, свержение советов и установление не то военной диктатуры, не то диктаторской власти Временного правительства. Пуришкевич просил содействия для привлечения в состав общества офицеров. Я ответил, что нисколько не сомневаюсь в глубоко патриотических его побуждениях, но что мне с ним не по пути. Он ушел без всякой обиды, пожелав мне успеха, и больше нам не пришлось встретиться никогда. Пуришкевич в 1919 году приехал на Юг, держал вначале «нейтралитет», но к концу года повел сильную кампанию отчасти лично против меня, но более против левой половины «Особого совещания»[1], прекратившуюся только с его смертью в Новороссийске от сыпного тифа.

Впрочем, случился еще один маленький «политический эпизод». По поводу избрания Каледина Донским атаманом, я послал ему поздравительную телеграмму, на которую получил ответ, шедший подозрительно долго, в таких выражениях: «Сердечно благодарю за память. Пошли Вам Бог успеха. Дон всегда поддержит. Каледин». Эта телеграмма стала известна, почему-то весьма встревожила местную революционную демократию и заставила ее еще более насторожиться.

* * *

Из трех генералов, командовавших армиями, двое находились всецело в руках комитетов; но так как фронты их

[1] Правительство Юга России.

были пассивными, то временно можно было потерпеть их присутствие.

Наступление готовилось на фронте 10-й армии генерала Киселевского в районе Молодечно. Я поехал осмотреть войска и позиции, познакомиться с начальниками и с частями. Во многих предшествовавших главах приведен синтез всех пережитых впечатлений, разбросаны факты и эпизоды из жизни Западного фронта. Чтобы не повторяться, я остановлюсь лишь на нескольких деталях. Смотрел войска в строю. Видел части, правда, как исключение, сохранившие почти нормальный, дореволюционный вид — как по внешним формам, так и по внутреннему строю — в корпусе сурового и непреклонно отстаивавшего старую дисциплину Довбор-Мусницкого. Видел большинство частей, хотя и сохранивших подобие строя и некоторое послушание, но во внутренней жизни своей подобных развороченному муравейнику. После смотра, обходя ряды и беседуя с солдатами, я был буквально подавлен новым для меня настроением, охватившим их, бесконечными жалобами, подозрительностью, недоверием, обидами на всех и на все: на отделенного начальника и корпусного командира, на чечевицу и на долгое стояние на фронте, на соседний полк и на Временное правительство за его непримиримое отношение к немцам. Видел, наконец, и такие сцены, которые не забуду до конца своих дней.

В одном из корпусов приказал показать мне худшую часть. Повезли в 703-й Сурамский полк. Мы подъехали к огромной толпе безоружных людей, стоявших, сидевших, бродивших на поляне за деревней. Одетые в рваное тряпье (одежда была продана и пропита), босые, обросшие, нечесаные, немытые, — они, казалось, дошли до последней степени физического огрубения. Встретил меня начальник дивизии с трясущейся нижней губой и командир полка с лицом приговоренного к смерти. Никто не скомандовал «смирно», никто из солдат не встал; ближайшие ряды пододвинулись к автомобилям. Первым движением моим было выругать полк и повернуть назад. Но это могли счесть за трусость. И я вошел в толпу.

Пробыл в толпе около часу. Боже мой, что сделалось с людьми, с разумной Божьей тварью, с русским пахарем!

Одержимые или бесноватые, с помутневшим разумом, с упрямой, лишенной всякой логики и здравого смысла речью, с истерическими криками, изрыгающие хулу и тяжелые, гнусные ругательства. Мы все говорили, нам отвечали — со злобой и тупым упорством. Помню, что во мне мало-помалу возмущенное чувство старого солдата уходило куда-то на задний план, и становилось только бесконечно жаль этих грязных, темных русских людей, которым слишком мало было дано и мало поэтому с них взыщется. Хотелось, чтобы здесь, на этом поле, были, видели и слышали все происходящее верхи революционной демократии. Хотелось сказать им:

— Кто виноват, теперь не время разбирать. Мы, вы, буржуазия, самодержавие — это все равно. Дайте народу грамоту и облик человеческий, а потом социализируйте, национализируйте, коммунизируйте, если... если тогда народ пойдет за вами.

Это был тот самый Сурамский полк, который через несколько дней после моего посещения избил до полусмерти Соколова — редактора приказа №1, творца нового строя армии, когда тот попробовал от имени Совета рабочих и солдатских депутатов призвать полк к исполнению долга и к участию в наступлении.

Из Сурамского полка я поехал, по настойчивому приглашению особой делегации, на корпусный съезд того же 2-го Кавказского корпуса. Там собрались выборные люди, и поэтому разговоры их были рассудительнее, стремления реальнее. В разных группах делегатов, среди которых замешалась свита, шла беседа о том, что здесь вот главнокомандующий, командующий, корпусный, штабы и все начальство; хорошо бы прикончить их тут же всех разом, тогда и конец наступлению...

Знакомство со старшими начальниками также не было утешительным. Один командир корпуса вел твердо войска, но испытывал сильнейший напор войсковых организаций; другой боялся посещать свои части; третьего я застал в полной прострации и в слезах после какой-то резолюции недоверия:

— Сорок лет службы. Любил солдата, меня любили, а теперь оплевали. Больше служить не могу.

Пришлось отпустить его. А тут же за стеной молодой генерал, начальник дивизии, вел уже конфиденциальные разговоры с комитетчиками, тотчас же обратившимися ко мне с просьбой, весьма императивной, о назначении молодого генерала командиром корпуса.

Объезд произвел тяжелое впечатление. Все понемногу разваливалось и разбивало надежды. Тем не менее надо было работать. А работы всем было более чем достаточно. Западный фронт жил теорией и чужим опытом. Он не имел в своем активе ярких побед, которые одни только могут дать веру в правильность метода; не имел большого серьезного опыта прорыва неприятельской оборонительной линии. Много раз приходилось обсуждать совместно с исполнителями общий план и план артиллерийской атаки и устанавливать отправные данные. Особенно трудно обстояло дело с подготовкой самого штурма. Вследствие внутреннего развала частей всякое передвижение, смена, рытье плацдармов и подступов, перестановки батарей[1] — все это или совершенно не выполнялось или достигалось путем невероятных усилий, уговоров, митингов. Всякий малейший предлог был использован для отказа от подготовки к наступлению. Начальникам в силу технического необорудования позиций приходилось совершать огромную и противоестественную работу: не направлять свои части по тактическим соображениям, а эти соображения подгонять к качеству начальников, большему или меньшему развалу частей и случайному состоянию участков позиций, лучше или хуже оборудованных.

Тем не менее, когда говорят о нашей технической отсталости вообще, как об одном из факторов наших военних неуспехов 1917 года, к этому вопросу надо относиться весьма осторожно. Несомненно армия наша отстала; но в 1917 году она была несравненно лучше снабжена материально, богаче артиллерией и боевыми припасами, богаче, наконец, опытом своим и чужим, чем хотя бы в 1916 году. Техническая отсталость наша — свойство относительное, постоянное, одинаково присущее всем периодам мировой войны до начала революции, значительно ослабевшее к 1917 году; и его отнюдь нельзя бросать на чашу весов при оценке русской революционной армии и ее боевых действий.

[1] Противодействие пехоты. Артиллерия сохранила почти полную боеспособность до последних дней.

Итак, шла сизифова работа. Командный офицерский состав вложил в нее всю душу, ибо в успехе ее видел последний луч надежды на спасение армии и страны. Все технические трудности были, в конце концов, преодолимы. Только бы поднять дух.

Приехал Брусилов уговаривать полки. В результате поездки произошла смена, против моего желания, командующего 10-й армией за полторы недели до решительного наступления. С трудом отстоял своего кандидата, доблестного командира 8-го корпуса генерала Ломновского, который прибыл в Молодечно лишь за несколько дней до операции. С приездом Брусилова вышло досадное недоразумение: штаб армии ошибочно уведомил войска, что едет Керенский. Невольный подмен вызвал сильное неудовольствие и брожение в войсках; многие части заявили, что их обманывают, и если сам товарищ Керенский лично не велит им наступать, то они наступать не будут. 2-я Кавказская дивизия послала даже делегацию в Петроград за справкой. С трудом удалось успокоить их обещанием, что товарищ Керенский приедет на днях. Пришлось пригласить военного министра. Керенский приехал с неохотой, уже разочарованный неудачным опытом словесной кампании на Юго-западном фронте. Несколько дней объезжал он войска, говорил, пожинал восторги, иногда испытывал неожиданные реприманды. Прервал объезд, будучи приглашен в Петроград 4 июля; вернулся с новым подъемом и новой темой дня, использовав в полной мере «нож, воткнутый в спину революции[1]». Но, окончив объезд фронта и вернувшись в Ставку, решительно заявил Брусилову:

— Ни в какой успех наступления не верю.

Впрочем, такой же пессимизм Керенский проявил тогда уже и в другом вопросе — грядущих судеб страны. Помню, как в разговоре со мной и двумя-тремя из своих приближенных[2], он, разбирая этапы в общем ходе русской революции,

[1] Петроградский мятеж 3—5 июля.

[2] Председатель комитета Печерский, комиссар Калинин.

совершенно убежденно говорил, что террора нам все равно не избежать.

Дни шли за днями, а начало наступления все откладывалось. Еще 18 июня я отдал приказ войскам фронта.

«Русские армии Юго-западного фронта нанесли сегодня поражение врагу, прорвав его линии. Началась решительная битва, от которой зависит участь русского народа и его свободы. Наши братья на Юго-западном фронте победоносно двигаются вперед не щадя своей жизни и ждут от нас скорой помощи. Мы не будем предателями. Скоро услышит враг гром наших пушек. Призываю войска Западного фронта напрячь все силы и скорее подготовиться к наступлению, иначе проклянет нас народ русский, который вверил нам защиту своей свободы, чести и достояния».

Не знаю, поняли ли всю внутреннюю драму русской армии те, кто читал этот приказ, опубликованный в газетах в полное нарушение элементарных условий скрытности операции. Вся стратегия перевернулась вверх дном. Русский главнокомандующий, бессильный двинуть свои войска в наступление и тем облегчить положение соседнего фронта, хотел, хотя бы ценой обнаружения своих намерений, удержать против себя немецкие дивизии, снимаемые с его фронта и отправляемые против Юго-западного и против союзников.

Немцы откликнулись тотчас же, прислав на фронт прокламацию, в которой говорилось: «Русские солдаты! Ваш главнокомандующий Западным фронтом снова призывает вас к сражениям. Мы знаем об его приказе, знаем также о той лживой вести, будто наши позиции к юго-востоку от Львова прорваны. Не верьте этому. На самом деле тысячи русских трупов лежат перед нашими окопами. Наступление никогда не приблизит мир. Если же вы все-таки последуете зову ваших начальников, подкупленных Англией, то тогда мы будем до тех пор продолжать борьбу, пока вы не будете лежать в земле».

7 июля, наконец, раздался гром наших пушек. 9 июля начался штурм, а через три дня я возвращался из 10-й армии в Минск с отчаянием в душе и с явным сознанием полного крушения последней тлевшей еще надежды на... чудо.

ГЛАВА XXXII

НАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ АРМИЙ ЛЕТОМ 1917 ГОДА. РАЗГРОМ

Наступление русских армий, предполагавшееся в мае, все откладывалось. Первоначально имелась в виду одновременность действий на всех фронтах; потом, считаясь с психологической невозможностью сдвинуть армии с места одновременно, перешли к плану наступления с интервалами во времени. Но фронты, которые имели значение второстепенное (Западный) или демонстративное (Северный) и которым надлежало начинать операцию раньше, для отвлечения внимания и сил противника от главных направлений (Юго-западный фронт), не были готовы психологически. Тогда верховное командование решило отказаться от всякой стратегической планомерности и вынуждено было предоставить фронтам начинать операцию по мере готовности, лишь бы не задерживать ее чрезмерно и тем не давать противнику возможности дальних крупных перебросок.

Даже и такая, упрощенная революцией стратегия могла дать большие результаты в мировом масштабе войны, если даже не прямым разгромом Восточного фронта, то, по крайней мере, *восстановлением его прежнего грозного значения,* потребовав от центральных держав притока туда больших сил, средств, огромного количества боевых припасов, создавая опять вечное беспокойство и совершенно сковывая оперативную свободу Гинденбурга.

В результате начало операций определилось следующими датами: 16 июня — на Юго-западном фронте; 7 июля — на Западном; 8 июля — на Северном и 9 июля — на Румынском. Последние три даты почти совпадают с началом крушения (6—7 июля) Юго-западного фронта.

Как я уже говорил, к июню 1917 года большинство революционной демократии, хотя и с весьма существенными оговорками, восприняло идею необходимости наступления. Таким образом, в активе своего морального обоснования эта идея имела Временное правительство, командный состав, все офицерство, либеральную демократию, оборонческий блок

советов, комиссаров, почти все высшие войсковые комитеты и много низших. В пассиве — меньшинство революционной демократии в лице большевиков, левых социалистов-революционеров группы Чернова, Цедербаума (Мартова) и еще один маленький привесок... — *демократизацию армии.*

У меня нет под рукой боевого расписания русских армий, но, во всяком случае, во всех районах наступления мы обладали превосходством сил и технических средств над противником, и в частности — небывалым доселе количеством тяжелой артиллерии.

Юго-западному фронту предстояло первому испытать боевые свойства революционной армии.

Между верхним Серетом и Карпатами (Броды-Надворна) на позициях, достигнутых нами после победоносного наступления Брусилова, к осени 1916 года, севернее Днестра располагалась группа генерала Бем-Эрмоли, состоявшая из 4-й австрийской армии генерала Терстянского (на Буском направлении, вне главного удара), 2-й австрийской армии, непосредственно подчиненной Бем-Эрмоли (на Злочевском направлении) и Южной германской армии графа Ботмера (на Бржезанском)[1]. Южнее Днестра стояла 3-я австрийская армия генерала Кирхбаха, составлявшая левое крыло Карпатского фронта эрцгерцога Иосифа. Три последние армии противостояли нашим ударным корпусам. Эти австро-германские войска испытали уже летом и осенью 1916 года удары русских армий, нанесших им ряд тяжких поражений. С тех пор потрепанные дивизии Ботмера частично заменены были менее уставшими частями с севера; австрийские армии, несколько приведенные в порядок немецким командованием и подкрепленные влитыми в них германскими дивизиями, все же не представляли собой особенно серьезной силы и по оценке главной немецкой квартиры обладали в очень слабой степени активными свойствами.

Со времени занятия немцами Червищенского плацдарма (на Стоходе) главной квартирой Гинденбурга всякие операции были воспрещены в надежде на естественное развитие

[1] В состав ее входили и 2 турецких дивизии.

развала страны и русской армии, которому должна была содействовать немецкая пропаганда. Удельный вес нашей армии оценивался немцами чрезвычайно низко. Тем не менее, когда в начале июня обозначилась серьезная возможность нашего наступления, Гинденбург счел необходимым снять с Западного европейского фронта 6 германских дивизий и направил их на усиление группы Бем-Эрмоли: противнику хорошо известны были наши оперативные направления.

Главное направление удара армий Юго-западного фронта под начальством генерала Гутора намечено было на Каменец-Подольск—Львов. Армии были двинуты по обоим берегами Днестра: 11-я генерала Эрдели — на Злочов, 7-я генерала Селивачева — на Бржезаны, 8-я генерала Корнилова — на Галич. Успех наступления приводил к овладению Львовом, к разрыву связи между фронтами Бем-Эрмоли и эрцгерцога Иосифа и опрокидывал в Карпаты, отрезая от естественных путей сообщения, левое крыло последнего. Прочие армии Юго-западного фронта (1-я и Особая) стояли растянутыми на широком фронте от реки Припяти до Бродов, имея задачей активную оборону и демонстрацию.

16 июня на фронте ударных корпусов 7-й и 11-й армий началась артиллерийская канонада еще не слыханного никогда напряжения. После двухдневной непрерывной артиллерийской подготовки, разрушившей сильные укрепления противника, русские полки двинулись в атаку. Между Зборовым и Бржезанами и у последнего пункта на протяжении нескольких верст фронт противника был прорван; мы овладели двумя-тремя укрепленными линиями. 19-го атаки повторились на 60-верстном фронте, между верхней Стрыпой и Нараювкой. За два дня тяжелого и славного боя русские войска взяли в плен 300 офицеров, 18 000 солдат, 29 орудий и много другой военной добычи; овладели неприятельскими позициями на многих участках и проникли в расположение противника на 25 верст, отбросив его, на Злочевском направлении, за Малую Стрыпу.

Разнесенное телеграфом по всей России известие о нашей победе вызвало всеобщее ликование и подняло надежды на возрождение былой мощи русской армии. Керенский доносил Временному правительству: «Сегодня великое тор-

жество революции. 18 июня русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление и доказала России и всему миру свою беззаветную преданность революции и любовь к свободе и родине. Русские воины утверждают новую, основанную на чувстве гражданского долга, дисциплину. *Сегодняшний день положил предел злостным клеветническим нападкам на организацию русской армии, построенную на демократических началах»*. Человек, который сказал это, имел смелость впоследствии оправдываться, что не он разрушал армию, а получил ее организацию как роковое наследие.

После трех дней затишья на фронте 11-й армии возобновился горячий бой по обе стороны железнодорожной линии на участке Баткув—Конюхи. К этому времени начался подход из резерва к угрожаемым участкам германских частей, и бой принял упорный, ожесточенный характер. 11-я армия овладела рядом укрепленных линий, неся, однако, тяжелые потери; местами окопы после горячих схваток переходили из рук в руки; требовалось новое большое напряжение, чтобы сломить упорство усилившегося и оправившегося противника.

Этим боем, по существу, закончилась наступательная операция 7-й и 11-й армий. Порыв исчез, началось нудное стояние на позиции, оживлявшееся лишь местными боями, контратаками австро-германцев и артиллерийским огнем «переменного напряжения».

Между тем 23 июня началась подготовка наступления и в армии Корнилова. 25 июня его войска западнее Станиславова прорвали позиции Кирхбаха и вышли на линию Иезуполь—Лысец; 26-го, после упорного кровопролитного боя, войска Кирхбаха, разбитые наголову, повернули, увлекая в своем стремительном бегстве и подоспевшую на помощь германскую дивизию. 27-го правая колонна генерала Черемисова овладела Ганичем, перебросив часть сил через Днестр. 28-го левая колонна, преодолевая упорное сопротивление австро-германцев, взяла с боя Калуш. В последующие два-три дня 8-я армия устраивалась с боями на реке Ломнице и впереди ее. В этой блестящей операции армия Корнилова, прорвав фронт 3-й австрийской армии на протяжении 30 верст,

захватила в плен 150 офицеров, 10 000 солдат и около ста орудий. Выход на Ломницу открывал Корнилову путь на Долину—Стрый и на сообщения армии графа Ботмера. Немецкая главная квартира считала положение главнокомандующего Восточным фронтом *критическим*.

Генерал Бем-Эрмоли в это время все свои резервы стягивал на Злочевское направление. Туда же двигались и перебрасываемые с Западного европейского фронта германские дивизии. Пришлось, однако, часть резервов перебросить за Днестр, против 8-й русской армии. Они подоспели ко 2-му июля, внесли некоторую устойчивость в расстроенные ряды австрийской армии, и с этого дня на Ломнице начались позиционные бои, достигающие иногда большого напряжения с переменным успехом.

Сосредоточение германской ударной группы между верхним Серетом и железнодорожной линией Тарнополь—Злочов закончилось 5 июля.

6-го, после сильной артиллерийской подготовки эта группа атаковала 11-ю армию, прорвала ее фронт и начала безостановочное движение на Каменец-Подольск, преследуя корпуса 11-й армии, обратившиееся в паническое бегство. Штаб армии, за ним Ставка и печать, презрев перспективу, обрушились на 607-й Млыновский полк, считая его виновником катастрофы. Развращенный, скверный полк самовольно ушел с позиции, открыв фронт. Явление весьма прискорбное, но слишком элементарно было бы считать его даже *поводом*. Ибо уже 9-го комитеты и комиссары 11-й армии телеграфировали Временному правительству «всю правду о совершившихся событиях». «Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии всевозрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу; на них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом. Были случаи, что отданное приказание спешно выступить на поддержку об-

суждалось часами на митингах, отчего поддержка опаздывала на сутки. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника. На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них — здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части. Положение требует самых крайних мер. Сегодня главнокомандующим, с согласия комиссаров и комитетов, отдан приказ о стрельбе по бегущим. Пусть вся страна узнает правду, содрогнется и найдет в себе решимость беспощадно обрушиться на всех, кто малодушием губит и продает Россию и революцию».

11-я армия «при огромном превосходстве сил и техники уходила безостановочно»[1]. 8-го она была уже на Серете, пройдя без задержки сильные укрепленные позиции западнее этой реки, которые служили исходным положением для нашего славного наступления 1916 года. Бем-Эрмоли, преследуя нас частью сил на Тарнополь, главные силы двинул в южном направлении между Серетом и Стрыпой, угрожая отрезать пути сообщения 7-й армии, сбросить ее в Днестр и, может быть, затем перехватить пути отхода и 8-й армии. 9 июля австро-германцы достигли уже Микулинце, в переходе к югу от Тарнополя. Армии генералов Селивачова и Черемисова[2] попали в очень тяжелое положение: рассчитывать на маневренное противодействие противнику они не могли и поэтому оставалось форсированными маршами выйти из-под его ударов. В особенности тяжко было 7-й армии, отступавшей под двойным напором: с фронта — корпусов графа Ботмера, с обнаженного правого фланга (с севера) — войск ударной группы Бем-Эрмоли. 8-й армии предстояло пройти под напором противника более 140 верст.

10 июля австро-германцы продвинулись на линию Микулинце—Подгайце—Станиславов. 11-го германцы заняли Тарнополь, брошенный без боя 1-м гвардейским корпусом, а на другой день прорвали наши позиции на реке Гнезно и

[1] Сводка Ставки.

[2] Заменил генерала Корнилова, назначенного 7 июля главнокомандующим Юго-западным фронтом.

на Серете, южнее Трембовли, развивая свое наступление к востоку и юго-востоку. В тот же день, преследуя 7-ю и 8-ю армии, противник занял линию от Серета (между Трембовлей и Чертковым) на Монастержиско—Тлумач.

12 июля, ввиду полной безнадежности положения, главнокомандующий отдал приказ об отступлении от Серета, и к 21-му армии Юго-западного фронта, очистив всю Галицию и Буковину, отошли к русской государственной границе.

Путь их был обозначен пожарами, насилиями, убийствами и грабежами. Но среди них были немногие части, доблестно дравшиеся с врагом и своей грудью, своей жизнью прикрывавшие обезумевшие толпы беглецов. Среди них было и русское офицерство, в основном своими трупами устилавшее поля сражений.

Армии в полном беспорядке отступали. Те самые армии, которые год назад в победном шествии своем взяли Луцк, Броды, Станиславов, Черновицы. Отступали перед теми самыми австро-германскими армиями, которые год назад были разбиты наголову и усеяли беглецами поля Волыни, Галиции, Буковины, оставляя в наших руках сотни тысяч пленных. Мы не забудем никогда, что 7-я, 8-я, 9-я и 11-я армии в брусиловском наступлении 1916 года взяли 420 тысяч пленных, 600 орудий, $2^1/_2$ тысячи пулеметов и т.д. Этого обстоятельства, вероятно, не забудут и наши союзники: они знают хорошо, что Галицийская битва отозвалась громким эхом на Сомме и Горице.

Комиссары Савинков и Филоненко телеграфировали Временному правительству: «Выбора не дано: смертная казнь изменникам; смертная казнь тем, кто отказывается жертвовать жизнью за Родину».

В начале июля, когда обозначился неуспех русского наступления, в главной квартире Гинденбурга решено было предпринять новую большую операцию против Румынского фронта одновременным наступлением 3-й и 7-й австрийских армий через Буковину в Молдавию и правой группы Макензена на нижнем Серете. Целью ставилось овладение Молдавией и Бессарабией. Но еще 11 июля 4-я русская армия генерала Рагозы и румынская Авереско перешли в наступление между реками Сушицей и Путной против 9-й ав-

стрийской армии. Атака их увенчалась успехом; армии овладели укрепленными позициями противника, продвинулись на несколько верст, взяли 2000 пленных и более 60 орудий, но развития операция эта не получила. По условиям театра и направления, эти действия имели скорее характер демонстрации для облегчения положения Юго-западного фронта; кроме того, войска 4-й русской армии вскоре утратили наступательный порыв. В течение июля и до 4 августа войска эрцгерцога Иосифа и Макензена вели атаки в направлениях Радауцком, Кимполунгском, Окненском и севернее Фокшан, имели местные успехи, но никаких серьезных результатов не достигли. Хотя русские дивизии неоднократно отказывали в повиновении и иногда бросали позиции во время боя, но все же несколько лучшее общее состояние Румынского фронта — периферии по отношению к Петрограду, наличие более прочных румынских войск и естественные условия театра позволили удержать фронт.

Это обстоятельство, в связи с выяснившейся неустойчивостью австрийских армий, в особенности 3-й и 7-й[1] и полным расстройством сообщений группы Бем-Эрмоли и левого крыла эрцгерцога Иосифа, заставили главную квартиру Гинденбурга *отложить на неопределенное время операцию,* и на всем протяжении Юго-западного фронта наступило затишье; на Румынском же до конца августа шли бои местного значения. Вместе с тем началась переброска германских дивизий от Збруча на север, на Рижское направление. Гинденбург имел целью, не напрягая чрезмерно сил и не расходуя больших резервов, столь нужных на Западно-европейском фронте, наносить нам частные удары и тем давать моральные толчки к ускорению естественного падения русского фронта, на чем основывались все оперативные расчеты и даже сама возможность продолжения центральными державами кампании в 1918 году.

Попытки нашего наступления на прочих фронтах окончились также полной неудачей.

7 июля началась операция у меня на Западном фронте. Подробности изложены в следующей главе. По поводу этой

---

[1] В Буковине и северных Карпатах.

операции Людендорф говорит[1]: «Из всех атак, направленных против прежнего Восточного фронта (Эйхгорна), атаки 9 июля южнее Сморгони, у Крево были особенно жестоки. Положение в течение нескольких дней представлялось очень тяжелым, пока наши резервы и артиллерийский огонь не восстановили фронт. Русские оставили наши траншеи. Это не были уже русские прежних дней».

На Северном фронте, в 5-й армии все окончилось в один день: юго-западнее Двинска «наши части, — говорит сводка, — после сильной артиллерийской подготовки овладели немецкой позицией по обе стороны железной дороги Двинск—Вильно. Вслед за сим целые дивизии без напора со стороны противника самовольно отошли в основные окопы». Сводка отмечала геройское поведение некоторых частей, доблесть офицеров и их огромную убыль. Это событие, ничтожное в стратегическом отношении, представляет, однако, большой бытовой интерес. Дело в том, что 5-й армией командовал генерал Данилов[2], пользовавшийся исключительным признанием революционной демократии. По словам комиссара Северного фронта Станкевича, генерал Данилов был «единственным генералом, который, несмотря на революцию, остался полным хозяином в армии, сумев наладить так отношения, что все новые учреждения — и комиссар и комитеты — не ослабляли, а лишь усиливали его власть. И он умел пользоваться этими силами, с полным самообладанием и уверенностью устраняя все препятствия. В 5-й армии все работало, училось, просвещалось, так как весь лучший и культурный элемент армии был двинут в дело».

Таким образом, и полное восприятие революционных учреждений командующим не могло служить гарантией боеспособности его войск.

* * *

Еще 11 июля генерал Корнилов, после назначения главнокомандующим Юго-западным фронтом, послал Временному правительству, с копией верховному командованию, из-

---

[1] «Souvenirs de guerre».

[2] Эксперт большевистской делегации при заключении Брест-Литовского мира. В 1920 году служил в русской армии в Крыму.

вестную свою телеграмму («Армия обезумевших темных людей бежит»), требуя введения смертной казни; в телеграмме он между прочим писал: «Я заявляю, что Отечество гибнет, а потому, хотя и не спрошенный, *требую* немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право видеть лучшие дни».

Невзирая на своеобразную форму этого обращения, идея прекращения наступления была немедленно принята верховным командованием, тем более что фактическая приостановка всех операций явилась, независимо от директив, и как результат нежелания драться и утраченной способности русской армии к наступательным действиям, так одновременно и вследствие планов германской главной квартиры.

Смертная казнь и военно-революционные суды были введены на фронте. Корнилов отдал приказ расстреливать дезертиров и грабителей, выставляя трупы расстрелянных с соответствующими надписями на дорогах и видных местах; сформировал особые ударные батальоны из юнкеров и добровольцев для борьбы с дезертирством, грабежами и насилиями; наконец, запретил в районе фронта митинги, требуя разгона их силой оружия.

Эти мероприятия, введенные генералом Корниловым *самочинно*, его мужественное прямое слово, твердый язык, которым он, в нарушение дисциплины, стал говорить с правительством, а больше всего решительные действия — все это чрезвычайно подняло его авторитет в глазах широких кругов либеральной демократии и офицерства. Даже революционная демократия армии, оглушенная и подавленная трагическим оборотом событий, в первое время после разгрома увидела в Корнилове последнее средство, единственный выход из создавшегося отчаянного положения.

Можно сказать, что день 8 июля[1] предрешил судьбу Корнилова: в глазах многих он стал народным героем, на него

[1] Вступление в должность главнокомандующего Юго-западным фронтом и посылка первого «требования» Временному правительству.

возлагались большие надежды, от него стали ждать спасения страны.

Находясь в Минске и имея очень плохое осведомление о неофициальных взаимоотношениях военного мира, я все же ясно почувствовал, что центр тяжести морального влияния переносится в Бердичев[1]; Керенский и Брусилов как-то сразу потускнели. В служебном обиходе появился новый, странный способ руководства: из Бердичева получалось в копии «требование» или уведомление о принятом сильном и ярком решении, а через некоторое время оно повторялось Петроградом или Могилевом, облеченное в форму закона или приказа.

На солдат июльская трагедия произвела несомненно несколько отрезвляющее впечатление. Во-первых, появился стыд — слишком гнусно и позорно было все случившееся, чтобы его могла оправдать даже заснувшая совесть и сильно притупленное нравственное чувство. Я помню, как впоследствии, в ноябре, мне пришлось под чужим именем, переодетым в штатское платье, в качестве бежавшего из быховского плена, несколько дней провести в солдатской толпе, затопившей все железные дороги. Шли разговоры, воспоминания. И я не слышал ни разу циничного откровенного признания солдатами их участия в июльском предательстве; все находили какие-либо оправдания событиям, главным образом в чьей-либо «измене» — преимущественно... офицерской; о своей никто не говорил. Во-вторых, появился страх. Солдаты почувствовали какую-то власть, какой-то авторитет и поэтому несколько присмирели, заняв выжидательную позицию. Наконец, прекращение серьезных боевых операций и вечно нервного напряжения вызвало временно реакцию, проявившуюся в некоторой апатии и непротивлении.

Это был второй момент в жизни армии (первый был в начале марта), который, будучи немедленно и надлежаще использован, мог стать поворотным пунктом в истории русской революции.

Создавшиеся благоприятные условия для перелома в настроении армии многие поверхностные наблюдатели ар-

[1] Штаб Юго-западного фронта.

мейской жизни сочли за совершившийся факт перелома. Так, например, отнеслись к августовскому периоду комиссары Северного и Юго-западного фронтов. Уже 18 июля Гобечио, комиссар последнего фронта, доносил, что «в настроении войск наступает решительный перелом, который дает основание надеяться, что армия выполнит возложенный на нее революцией долг». Для людей, потерявших перспективу, слишком уж разительна была разница между армией в ее бешеном, паническом бегстве и армией, несколько отдышавшейся и устраивающейся на Збруче.

Но по мере того как замирали последние выстрелы на фронте наступления, люди, ошеломленные грозными событиями, начали мало-помалу приходить в себя.

Первым опомнился Керенский. Не было уже того ужаса, бьющего по нервам, заставлявшего терять голову, под влиянием которого изданы были первые суровые приказы. Страх перед Советом, опасение потерять окончательно авторитет среди революционной демократии, обида за резкий, оскорбительный тон корниловских обращений и призрак грядущего диктатора — все это тяготело над волей Керенского. Военные законопроекты, которые должны были вернуть власть вождям и силу армии, безнадежно тонули в канцелярской волоките, в пучине личных столкновений, подозрений и антипатий.

Революционная демократия стала вновь в резкую оппозицию к новому курсу, видя в нем посягательство на свободы и угрозу своему бытию. Точно такое же положение заняли войсковые комитеты, ограничением деятельности которых и должны были начаться преобразования. Новый курс получил в глазах этих кругов значение прямой контрреволюции.

А солдатская масса вскоре разобралась в новом положении, увидела, что «страшные слова» — только слова, что смертная казнь — только пугало, ибо нет той действительной силы, которая могла бы сломить ее своеволие. И страх вновь был потерян.

Пронесшаяся гроза не разрядила душной напряженной атмосферы; нависали новые тучи, готовые вот-вот разразиться оглушительным громом.

ГЛАВА XXXIII
СОВЕЩАНИЕ В СТАВКЕ МИНИСТРОВ И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ 16 ИЮЛЯ

После возвращения моего с фронта в Минск я получил приказание прибыть в Ставку, в Могилев, на совещание к 16 июля. Керенский предложил Брусилову пригласить по его усмотрению авторитетных военачальников, для того чтобы выяснить действительное состояние фронта, последствия июльского разгрома и направление военной политики в будущем. Как оказалось, прибывший по приглашению Брусилова генерал Гурко не был допущен на совещание Керенским; генералу Корнилову послана была Ставкой телеграмма, что ввиду тяжелого положения Юго-западного фронта приезд его не признается возможным и что ему предлагается представить письменные соображения по возбуждаемым на совещании вопросам. Вспомним, что в эти дни, между 14 и 15 июля, шло полное отступление 11-й армии от Серета к Збручу, и всех волновал вопрос, успеет ли 7-я армия перейти нижний Серет, а 8-я — меридиан Залещиков, чтобы выйти из-под удара отрезавших им пути германских армий.

Положение страны и армии было настолько катастрофическим, что я решил, не считаясь ни с какими условностями подчиненного положения, развернуть на совещании истинную картину состояния армии во всей ее неприглядной наготе.

Явился к Верховному главнокомандующему. Брусилов удивил меня:

— Антон Иванович, я сознал ясно, что дальше идти некуда. Надо поставить вопрос ребром. Все эти комиссары, комитеты и демократизации губят армию и Россию. Я решил категорически *потребовать от них* прекращения дезорганизации армии. Надеюсь, вы меня поддержите?

Я ответил, что это вполне совпадает с моими намерениями и что я приехал именно с целью поставить вопрос о дальнейшей судьбе армии самым решительным образом. Должен сознаться, что этот шаг Брусилова примирил меня с ним, и поэтому я исключил мысленно из своей будущей речи все то

горькое, что исподволь накопилось против верховного командования.

Ждали мы сбора совещания долго, часа полтора. Потом выяснилось, что произошел маленький инцидент. Министра-председателя не встретили на вокзале ни генерал Брусилов, ни его начальник штаба Лукомский, задержанные срочным и оперативными распоряжениями. Керенский долго ждал и нервничал. Наконец, послал своего адъютанта к генералу Брусилову с резким приказанием немедленно прибыть с докладом. Инцидент прошел малозамтно, но те, кто был близок к политической арене, знают, что на ней играют только люди со всеми их слабостями и что нередко игра продолжается и за кулисами.

В совещании приняли участие и присутствовали: министр-председатель Керенский, министр иностранных дел Терещенко, Верховный главнокомандующий генерал Брусилов и его начальник штаба генерал Лукомский, генералы Алексееев и Рузский, главнокомандующий Северным фронтом генерал Клембовский, Западным — я, с начальником штаба генералом Марковым, адмирал Максимов, генералы Величко, Романовский, комиссар Юго-западного фронта Савинков и два-три молодых человека из свиты Керенского.

Генерал Брусилов обратился к присутствовавшим с краткой речью, которая поразила меня своими слишком общими и неопределенными формулировками. В сущности он не сказал ничего. Я рассчитывал, что свое обещание Брусилов исполнит в конце заседания, подытожив сводку и сделав заключение. Как оказалось впоследствии, я ошибся: генерал Брусилов более не высказывался. Затем слово было предоставлено мне. Я начал свою речь.

• • •

«С глубоким волнением и в сознании огромной нравственной ответственности я приступаю к своему докладу. И прошу меня извинить: я говорил прямо и открыто при самодержавии царском, таким же будет мое слово теперь — при самодержавии революционном.

Вступив в командование фронтом, я застал войска его совершенно развалившимися. Это обстоятельство казалось

странным тем более, что ни в донесениях, поступавших в Ставку, ни при приеме мною должности, положение не рисовалось в таком безотрадном виде. Дело объясняется просто: пока корпуса имели пассивные задачи, они не проявляли особенно крупных эксцессов. Но когда пришла пора исполнить свой долг, когда был дан приказ о занятии исходного положения для наступления, тогда заговорил шкурный инстинкт, и раскрылась картина развала.

До десяти дивизий не становились в походное положение. Потребовалась огромная работа начальников всех степеней, просьбы, уговоры, убеждения... Для того чтобы принять какие-либо решительные меры, нужно было во что бы-то ни стало хотя бы уменьшить число бунтующих войск. Так прошел почти месяц. Часть дивизий, правда, исполнила боевой приказ. Особенно сильно разложился 2-й Кавказский корпус, 169-я пехотная дивизия. Многие части потеряли не только нравственно, но и физически человеческий облик. Я никогда не забуду часа, проведенного в 703-м Сурамском полку. В полках по 8—10 самогонных спиртных заводов; пьянство, картеж, буйство, грабежи, иногда убийства.

Я решился на крайнюю меру: увести в тыл 2-й Кавказский корпус (без 51-й пехотной дивизии) и расформировать его и 169-ю пехотную дивизию, лишившись, таким образом, в самом начале операции без единого выстрела около 30 тысяч штыков.

На корпусный участок кавказцев были двинуты 28-я и 29-я пехотные дивизии, считавшиеся лучшими на всем фронте. И что же: 29-я дивизия, сделав большой переход к исходному пункту, на другой день почти вся (два с половиной полка) ушла обратно; 28-я дивизия развернула на позиции один полк, да и тот вынес безапелляционное постановление «не наступать».

Все что было возможно в отношении нравственного воздействия, было сделано.

Приезжал и Верховный главнокомандующий, и после своих бесед с комитетами и выборными 2-х корпусов вынес впечатление, что «солдаты хороши, а начальники испугались и растерялись». Это неправда. Начальники в невероятно тяжелой обстановке сделали все что могли. Но Верховный глав-

нокомандующий не знает, что митинг 1-го Сибирского корпуса, где его речь принималась наиболее восторженно, после его отъезда продолжался. Выступали новые ораторы, призывавшие не слушать «старого буржуя» (я извиняюсь, но это правда... Реплика Брусилова — «Пожалуйста») и осыпавшие его площадной бранью. Их призывы также встречались громом аплодисментов.

Военного министра, объезжавшего части и вдохновенным словом поднимавшего их на подвиг, восторженно приветствовали в 28-й дивизии. А по возвращении в поезд, его встретила депутация одного из полков, заявившая, что этот и другой полк через полчаса после отъезда министра вынесли постановление «не наступать».

Особенно трогательна была картина в 29-й дивизии, вызвавшая энтузиазм, — вручение коленопреклоненному командиру Потийского пехотного полка красного знамени. Устами трех ораторов и страстными криками потийцы клялись «умереть за Родину». Этот полк в первый же день наступления, не дойдя до наших окопов, в полном составе позорно повернул назад и ушел за 10 верст от поля боя.

В числе факторов, которые должны были морально поднять войска, но фактически послужили к их вящему разложению, были комиссары и комитеты.

Быть может, среди комиссаров и есть черные лебеди, которые, не вмешиваясь не в свое дело, приносят известную пользу. Но самый институт, внося двоевластие, трения, непрошенное и преступное вмешательство, не может не разлагать армию.

Я вынужден дать характеристику комиссарам Западного фронта. Один, быть может, хороший и честный человек (я этого не знаю), но утопист, совершенно не знающий не только военной жизни, но и жизни вообще. О своей власти необычайно высокого мнения. Требуя от начальника штаба исполнения приказания, заявляет, что он имеет право сместить войскового начальника до командующего армией включительно. Объясняя войскам существо своей власти, определяет ее так: «Как военному министру подчинены все фронты, так я являюсь военным министром для Западного фронта».

Другой — с таким же знанием военной жизни — социал-демократ, стоящий на грани между меньшевизмом и большевизмом. Это известный докладчик военной секции Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, который развал, внесенный в армию декларацией, счел недостаточным и требовал дальнейшей «демократизации»: отвода и аттестации начальников, отмены второй половины § 14, предоставлявшей право применять оружие против трусов и негодяев, требовал свободы слова не только «во внеслужебное время», но и на службе.

Третий — нерусский, по-видимому, с презрением относящийся к русскому солдату, подходил к полку обыкновенно с таким градом отборных ругательств, к каким никогда не прибегали начальники при царском режиме. И странно: сознательные и свободные революционные воины принимают это обращение как должное; слушают и исполняют. Комиссар этот, по заявлению начальников, приносит несомненную пользу.

Другое разрушающее начало — комитеты. Я не отрицаю прекрасной работы многих комитетов, всеми силами исполняющих свой долг. В особенности отдельных членов их, которые принесли несомненную пользу, даже геройской смертью своей запечатлели свое служение Родине. Но я утверждаю, что принесенная ими польза ни в малейшей степени не окупит того огромного вреда, который внесло в управление армией многовластие, многоголовие, столкновения, вмешательства и дискредитирование власти. Я мог бы привести сотни постановлений, вносящих дезорганизацию, дискредитирующих власть. Ограничусь лишь более выпуклыми и характерными.

Совершенно определенно и открыто идет захват власти. Орган фронтового комитета в статье председателя требует предоставления комитетам *правительственной власти.*

Армейский комитет 3-й армии в постановлении, поддержанном, к моему удивлению, командующим армией, просит «снабдить армейские комитеты полномочиями военного министра и Центрального комитета солдатских и рабочих депутатов, дающими право действовать от имени Комитета».

При обсуждении знаменитой «декларации» по поводу § 14 мнения во фронтовом комитете разделились. Часть отвергла вторую половину его вовсе, другая требовала добавления: «Членам фронтового комитета предоставляется при тех же обстоятельствах право принимать все меры до применения вооруженной силы включительно против тех же лиц и даже самих начальников». Вот куда идет дело!

В докладе секции Всероссийского съезда читаем требования, чтобы органам солдатских самоуправлений предоставлено было право отвода, аттестации начальников, *право участия в управлении армией.*

И не думайте, что это только теория. Нет. Комитеты захватывают в свои руки все вопросы — боевые, бытовые, административные. И это наряду с полной анархией во внутренней жизни и службе частей, вызванной сплошным неповиновением.

Нравственная подготовка наступления шла своим чередом.

Фронтовой комитет 8 июня вынес постановление «не наступать»; 18 июня «перекрасился» и высказался за наступление. Комитет 2-й армии 1 июня решил не наступать, 20 июня отменил свое решение. Минский совет рабочих и солдатских депутатов 123 голосами против 79 не разрешал наступать. Все комитеты 169-й пехотной дивизии постановили выразить недоверие Временному правительству и считать наступление «изменой революции» и т.д.

Поход против власти выразился целым рядом смещений старших начальников, в чем в большинстве случаев приняли участие комитеты. Перед самым началом операции должны были уйти командир корпуса, начальник штаба и начальник дивизии важнейшего ударного участка. Подобной участи подверглись в общем 60 начальников — от командира корпуса до командира полка.

Учесть все то зло, которое внесено было комитетами, трудно. В них нет своей твердой дисциплины. Вынесенное отрадное постановление большинством голосов — этого мало. Проводят его в жизнь отдельные члены комитета. И большевики, прикрываясь положением члена комитета, не раз безвозбранно сеяли смуту и бунт.

В результате — многоголовие и многовластие; вместо укрепления власти — подрыв ее. И боевой начальник, — опекаемый, контролируемый, возводимый, свергаемый и дискредитируемый со всех сторон, — должен был властно и мужественно вести в бой войска.

Такая нравственная подготовка предшествовала операции. Развертывание не закончено. Но обстановка на Юго-западном фронте требовала немедленной помощи. С моего фронта враг увел туда уже 34 дивизии. Я решил атаковать с теми войсками, которые остались, хотя бы по виду, верными долгу.

В течение трех дней наша артиллерия разгромила вражеские окопы, произвела в них невероятные разрушения, нанесла немцам тяжелые потери и расчистила путь своей пехоте. Почти вся первая полоса была прорвана, наши цепи побывали на вражеских батареях. Прорыв обещал разрастись в большую, так долго ожидаемую победу.

Но обращаюсь к выдержкам из описания боя.

«Части 28-й пехотной дивизии подошли для занятия исходного положения лишь за 4 часа до атаки, причем из 109-го полка дошло лишь две с половиной роты с 4-мя пулеметами и 30-ю офицерами; 110-й полк дошел в половинном составе; два батальона 111-го полка, занявших щели, отказались от наступления; в 112-м полку солдаты целыми десятками уходили в тыл. Части 28-й дивизии были встречены сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем и залегли у своей проволоки, будучи не в силах продвинуться вперед; только некоторым частям штурмовиков и охотников Волжского полка со взводом офицеров удалось захватить первую линию, но из-за сильного огня им удержаться не удалось, и к середине дня части 28-й дивизии вернулись в исходное положение, понеся значительные потери, особенно в офицерском составе. На участке 51-й дивизии атака началась в 7 часов 5 минут. 202-й Горийский и 204-й Ардагано-Михайловский полки, а также две роты сухумцев, штурмовая рота сухумцев и штурмовая рота Потийского полка быстрым натиском прорвались через две линии окопов, перекололи штыками их защитников, и в 7 часов 30 минут стали штурмовать 3-ю линию. Прорыв был настолько

стремителен и неожидан, что противник не успел открыть своевременно заградительного огня. Следовавший за передовыми полками 201-й Потийский полк, подойдя к первой линии наших окопов, отказался идти далее и, таким образом, прорвавшиеся части не могли быть своевременно поддержаны. Двигавшиеся вслед за потийцами части 134-й дивизии, из-за скопления в окопах потийцев, а также из-за сильного артиллерийского огня противника, задачи своей не выполнили и частью рассыпались, частью залегли в наших щелях. Не видя поддержки сзади и с флангов, горийцы и ардаганцы пришли в смущение, и некоторые роты, потерявшие убитыми офицеров, начали медленно отходить, а за ними все остальные, однако, без особого давления со стороны немцев, которые только при отходе наших частей открыли по ним сильный артиллерийский и пулеметный огонь. Части 29-й дивизии не успели своевременно занять исходное положение, так как солдаты, вследствие изменившегося настроения, шли неохотно вперед. За четверть часа до назначенного начала атаки правофланговый 114-й полк отказался наступать; пришлось двинуть на его место Эриванский полк из корпусного резерва. По не выясненным еще причинам 116-й и 113-й полки также своевременно не двинулись...

После неудачи утечка солдат стала все возрастать и к наступлению темноты достигла огромных размеров. Солдаты, усталые, изнервничавшиеся, не привыкшие к боям и грохоту орудий после стольких месяцев затишья, бездеятельности, братания и митингов, толпами покидали окопы, бросая пулеметы, оружие, и уходили в тыл.

Трусость и недисциплинированность некоторых частей дошла до того, что начальствующие лица вынуждены были просить нашу артиллерию не стрелять, так как стрельба своих орудий вызывала панику среди солдат[1]».

Вот другое описание командира корпуса, принявшего его накануне операции и поэтому совершенно объективного в оценке подготовки ее.

«Все для успешного выполнения наступления было налицо: обстоятельно разработанный план; могущественная, хорошо работавшая артиллерия; благоприятная погода, не позволявшая немцам использовать свое превосходство в авиационных средствах; перевес наш в силах, своевременно поданные резервы, обилие огнестрельных припасов; скажу еще — удачно выбранный участок для наступления, позволявший укрыто и близко от окопов расположить большое количество артиллерии, имевший, благодаря сильно волнистому его характеру, много скрытых подступов к фронту, незначительное расстояние между нашей линией и линией противника и, наконец, отсутствие естественных препятсвий между линиями, которые требовали бы их форсирования под огнем противника. Кроме того, обработка солдат комитетами, начальством и военным министром Керенским, которая в конечном итоге облегчила самый трудный первый шаг.

Успех, крупный успех был достигнут, да еще со сравнительно незначительными потерями с нашей стороны. Прорваны и заняты три линии укреплений; впереди оставались лишь отдельные оборонительные узлы, и бой мог скоро принять полевой характер. Подавлена неприятельская артиллерия, взято в плен свыше 1400 германцев и захвачено много пулеметов и всякой добычи. Кроме того, врагу нанесены крупные потери убитыми и ранеными от артиллерийского огня, и можно с уверенностью сказать, что стоявшие против корпуса части временно выведены были из строя.

Всего на фронте корпуса редким огнем стреляло 3—4 неприятельские батареи и изредка 3—4 пулемета. Ружейные выстрелы были одиночные.

Но пришла ночь...

Тотчас стали поступать ко мне тревожные заявления начальников боевых участков о массовом, толпами и целыми ротами, самовольном уходе солдат с неатакованной первой линии. Некоторые из них доносили, что в полках боевая линия занята лишь командиром полка со своим штабом и несколькими солдатами...

Операция была окончательно и безнадежно сорвана.

Пережив, таким образом, в один и тот же день и радость победы, достигнутой при условиях неблагоприятного боевого настроения солдат, и весь ужас добровольного лише-

[1] Выдержки из описания боя штабом 20-го корпуса.

ния себя солдатской массой плодов этой победы, нужной Родине как вода и воздух, я понял, что мы, начальники, бессильны изменить стихийную психологию солдатской массы, и горько, и долго рыдал»[1].

Эта бесславная операция тем не менее повлекла серьезные потери, которые теперь, когда каждый день возвращаются толпы беглецов, установить трудно. Через головные эвакуационные пункты прошло до 20 тысяч раненых. Я пока воздержусь от заключения по этому поводу, но процентное соотношение родов ранения показательно: 10% тяжело раненых, 30% — в пальцы и кисть руки, 40% прочих легко раненных, с которых повязок на пунктах не снимали (вероятно, много симулянтов), и 20% контуженных и больных.

Так кончилась операция.

Никогда еще мне не приходилось драться при таком перевесе в числе штыков и материальных средств. Никогда еще обстановка не сулила таких блестящих перспектив. На 19-верстном фронте у меня было *184 батальона против 29 вражеских*, 900 орудий против 300 немецких; 138 моих батальонов введены были в бой против перволинейных 17 немецких.

И все пошло прахом.

Из ряда донесений начальников можно заключить, что настроение войск непосредственно после операции осталось такое же неопределенное, как было.

Третьего дня я собрал командующих армиями и задал им вопрос:

— Могут ли их армии противостоять серьезному (с подвозом резервов) наступлению немцев?

Получил ответ: «Нет».

— Могут ли армии выдержать организованное наступление немцев теми силами, которые перед нами в данное время?

Два командующих армиями ответили неопределенно, условно. Командующий 10-й армией — положительно.

Общий голос: «У нас нет пехоты».

Я скажу более:

[1] Выдержки из описания боя 1-го Сибирского корпуса.

У нас нет армии. И необходимо немедленно, во что бы то ни стало создать ее.

Новые законы правительства, выводящие армию на надлежащий путь, еще не проникли в толщу ее и трудно сказать поэтому, какое они произвели впечатление. Ясно, однако, что одни репрессии не в силах вывести армию из того тупика, в который она попала.

Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие, а большевики — лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма.

Развалило армию военное законодательство последних 4-х месяцев. Развалили лица, по обидной иронии судьбы, быть может, честные и идейные, но совершенно не понимающие жизни, быта армии, не знающие исторических законов ее существования.

Вначале это делалось под гнетом Совета солдатских и рабочих депутатов — учреждения в первой стадии своего существования явно анархического. Потом обратилось в роковую ошибочную систему.

Вскоре после своего нового назначения военный министр сказал мне:

— Революционизирование страны и армии окончено. Теперь должна идти лишь созидательная работа...

Я позволил себе доложить:

— Окончено, но несколько поздно.

Генерал Брусилов прервал меня:

— Будьте добры, Антон Иванович, сократить ваш доклад, иначе слишком затянется совещание.

Я понял, что дело не в пространности доклада, а в его рискованной сущности, и ответил:

— Я считаю, что поднятый вопрос колоссальной важности. Поэтому прошу дать мне возможность высказаться полностью, иначе я буду вынужден прекратить вовсе доклад.

Наступившее молчание я счел за разрешение и продолжал.

«Объявлена декларация прав военнослужащих.

Все до одного военные начальники заявили, что в ней — гибель армии. Бывший Верховный главнокомандующий

генерал Алексеев телеграфировал, что декларация — «последний гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской армии»... Бывший главнокомандующий Юго-западным фронтом, генерал Брусилов здесь, в Могилеве, в совете главнокомандующих заявил, что еще можно спасти армию и даже двинуть ее в наступление, но лишь при условии не издавать декларации.

Но нас никто не слушал.

Параграфом 3-м разрешено свободно и открыто высказывать политические, религиозные, социальные и прочие взгляды. Хлынула в армию политика.

Солдаты расформировываемой 2-й Кавказской гренадерской дивизии искренне недоумевали: «За что? Разрешили говорить, где хочешь и что хочешь, а теперь разгоняют»... Не думайте, что такое распространительное толкование «свобод» присуще лишь темной массе. Когда 169-я пехотная дивизия нравственно развалилась, а все комитеты ее в крайне резкой форме выразили недоверие Временному правительству и категорический отказ наступать, я приказал расформировать ее. Но встретил неожиданное осложнение: комиссары нашли, что юридически здесь нет состава преступления, что на словах и на бумаге все можно. Нужно, чтобы было налицо фактическое неисполнение боевого приказа.

Параграфом 6-м установлено, чтобы все без исключения печатные произведения доходили до адресата. Хлынула в армию волна разбойничьей (большевистской) и пораженческой литературы. Чем стала питаться наша армия, причем, по-видимому, за счет казенной субсидии и народных денег, это видно из отчета «Московского военного бюро», которое одно снабдило фронт литературой в таких размерах:

С 24 марта по 1 мая выброшено 7972 экз. «Правды», 2000 экз. «Солдатской Правды», 30 375 экз. «Социал-демократа» и т.д.

С первого мая по 11 июня: 61 525 экз. «Солдатской Правды», 32 711 экз. «Социал-демократа», 6999 экз. «Правды» и т.д.

Того же направления литература была выброшена в деревню «через солдат»[1].

[1] Отчет в газете «Фронт» № 25.

Параграфом 14-м установлено, что никого из военнослужащих нельзя наказывать без суда. Конечно, эта «свобода» коснулась лишь солдат, так как офицеров продолжали жестоко карать высшей мерой — *изгнанием*.

Что же вышло?

Главное военно-судное управление, не уведомив даже Ставку, ввиду предстоящей демократизации судов предложило им приостановить свою деятельность, за исключением дел исключительной важности, как, например, измена. Начальников лишили дисциплинарной власти. Дисциплинарные суды частью бездействовали, частью бойкотировались (не выбирались).

Правосудие вконец было изъято из армии.

Этот бойкот дисциплинарных судов и поступившее донесение о нежелании одной части выбирать присяжных весьма показательны. Законодатель может столкнуться с таким же явлением и в отношении новых военно-революционных судов. И в этих частях присяжных необходимо будет заменить назначенными членами.

В результате целого ряда законодательных мер упразднена власть и дисциплина, оплеван офицерский состав, которому ясно выражено недоверие и неуважение.

Высшие военачальники, не исключая главнокомандующих, выгоняются, как домашняя прислуга.

В одной из своих речей на Северном фронте военный министр, подчеркивая свою власть, обмолвился знаменательной фразой:

— Я могу в 24 часа разогнать весь высший командный состав, и армия мне ничего не скажет.

В речах, обращенных к войскам Западного фронта, говорилось: «В царской армии вас гнали в бой кнутами и пулеметами... Царские начальники водили вас на убой, но теперь драгоценна каждая капля вашей крови».

Я, главнокомандующий, стоял у пьедестала, воздвигнутого для военного министра, и сердце мое больно сжималось. А совесть моя говорила: «Это неправда! Мои железные стрелки, будучи в составе всего лишь восьми батальонов, потом двенадцати, взяли более 60 тысяч пленных, 43 орудия; и я никогда не гнал их в бой пулеметами. Я не водил на убой вой-

ска под Мезоляборчем, Лутовиско, Луцком, Чарторийском. Эти названия хорошо известны бывшему главнокомандующему Юго-западным фронтом...

Но все можно простить, все можно перенести, если это нужно для победы, если это может воодушевить войска и поднять их к наступлению.

Я позволю себе одну параллель.

К нам на фронт, в 703-й Сурамский полк приехал Соколов с другими петроградскими делегатами. Приехал с благородной целью бороться с тьмой невежества и моральным разложением, особенно проявившимся в этом полку. Его нещадно избили. Мы все отнеслись с негодованием к дикой толпе негодяев. Все всполошилось. Всякого ранга комитеты вынесли ряд осуждающих постановлений. Военный министр в грозных речах, в приказах осудил позорное поведение сурамцев, послал сочувственную телеграмму Соколову.

Другая картина...

Я помню хорошо январь 1915 года под Лутовиско. В жестокий мороз, по пояс в снегу однорукий бесстрашный герой полковник Носков, рядом с моими стрелками, под жестоким огнем вел свой полк в атаку на отвесные неприступные склоны высоты 804. Тогда смерть пощадила его. А вот теперь пришли две роты, вызвали генерала Носкова, окружили его, убили и ушли.

Я спрашиваю господина военного министра: обрушился ли он всей силой своего пламенного красноречия, обрушился ли он всей силой гнева и тяжестью власти на негодных убийц? Послал ли он сочувственную телеграмму несчастной семье павшего героя?

И когда у нас отняли всякую власть, всякий авторитет, когда обездушили, обескровили понятие «начальник», вновь хлестнули нас больно телеграммой из Ставки: «Начальников, которые будут проявлять слабость перед применением оружия, смещать и предавать суду».

Нет, господа! Тех, кто в бескорыстном служении Родине отдают за нее свою жизнь, вы этим не испугаете!

В конечном результате старшие начальники разделились на три категории: одни, невзирая на тяжкие условия жизни и службы, скрепя сердце, до конца дней своих исполняют

честно свой долг; другие опустили руки и поплыли по течению; а третьи неистово машут красным флагом и по привычке, унаследованной со времен татарского ига, ползают на брюхе перед новыми богами революции так же, как ползали перед царями.

Офицерский состав... Мне страшно тяжело говорить об этом кошмарном вопросе. Я буду краток.

Соколов, окунувшийся в войсковую жизнь, сказал:

— Я не мог и представить себе, какие мученики ваши офицеры. Я преклоняюсь перед ними.

Да! В самые мрачные времена царского самодержавия опричники и жандармы не подвергали таким нравственным пыткам, такому издевательству тех, кто считался преступниками, как теперь офицеры, погибающие за Родину, подвергаются со стороны темной массы, руководимой отбросами революции.

Их оскорбляют на каждом шагу. Их бьют. Да, да — бьют. Но они не идут к вам с жалобой. Им стыдно, смертельно стыдно. И одиноко. В углу землянки не один из них в слезах переживает свое горе.

Неудивительно, что многие офицеры единственным выходом из своего положения считают смерть в бою. Каким эпическим спокойствием и скрытым трагизмом звучат слова боевой реляции:

«Тщетно офицеры, следовавшие впереди, пытались поднять людей. В это время на редуте №3 появился белый флаг. Тогда 15 офицеров с небольшой кучкой солдат двинулись одни вперед. Судьба их неизвестна — они не вернулись»[1].

Мир праху храбрых! И да падет кровь их на головы вольных и невольных палачей.

Армия развалилась. Необходимы героические меры, чтобы вывести ее на истинный путь:

1) Сознание своей ошибки и вины Временным правительством, не понявшим и не оценившим благородного и искреннего порыва офицерства, радостно принявшего весть о перевороте и отдающего несчетное число жизней за Родину.

---

[1] Описание 38-го корпуса.

2) Петрограду, совершенно чуждому армии, не знающему ее быта, жизни и исторических основ ее существования, прекратить всякое военное законодательство. Полная мощь Верховному главнокомандующему, ответственному лишь перед Временным правительством.

3) Изъять политику из армии.

4) Отменить «декларацию» в основной ее части. Упразднить комиссаров и комитеты, постепенно изменяя функции последних[1].

5) Вернуть власть начальникам. Восстановить дисциплину и внешние формы порядка и приличия.

6) Делать назначения на высшие должности не только по признакам молодости и решимости, но, вместе с тем, по боевому и служебному опыту.

7) Создать в резерве начальников отборные, законопослушные части трех родов оружия, как опору против военного бунта и ужасов предстоящей демобилизации.

8) Ввести военно-революционные суды и смертную казнь для тыла — войск и гражданских лиц, совершающих тождественные преступления.

Если вы спросите меня, дадут ли все эти меры благотворные результаты, я отвечу откровенно: да, но далеко не скоро. Разрушить армию легко, для возрождения нужно время. Но, по крайней мере, они дадут основание, опору для создания сильной и могучей армии.

Невзирая на развал армии, необходима дальнейшая борьба, как бы тяжела она ни была. Хотя бы даже с отступлением к далеким рубежам. Пусть союзники не рассчитывают на скорую помощь нашу наступлением. Но и обороняясь и отступая, мы отвлекаем на себя огромные вражеские силы, которые, будучи свободны и повернуты на Запад, раздавили бы сначала союзников, потом добили бы нас.

На этом новом крестном пути русский народ и русскую армию ожидает, быть может, много крови, лишений и бедствий. Но в конце его — светлое будущее.

Есть другой путь — предательство. Он дал бы временное облегчение истерзанной стране нашей. Но проклятие предательства не даст счастья. В конце этого пути политическое, моральное и экономическое рабство.

[1] Разъяснение, данное во время речи военного министра.

Судьба страны зависит от ее армии.

И я, от лица присутствующих здесь министров, обращаюсь к Временному правительству:

Ведите русскую жизнь к правде и свету, под знаменем свободы! Но дайте и нам реальную возможность за эту свободу вести в бой войска под старыми нашими боевыми знаменами, с которых — не бойтесь! — стерто имя самодержца, как прочно стерто и в сердцах наших. Его нет больше. Но есть Родина. Есть море пролитой крови. Есть слава былых побед.

Но вы — вы втоптали наши знамена в грязь.

Теперь пришло время: поднимите их и преклонитесь перед ними.

... Если в вас есть совесть!»

* * *

Я кончил. Керенский встал, пожал мою руку и сказал:

— Благодарю вас, генерал, за ваше смелое, искреннее слово.

Впоследствии, в своих показаниях верховной следственной комиссии[1] Керенский объяснял это свое движение тем, что одобрение относилось не к содержанию речи, а к проявленной мной решимости, и что он хотел лишь подчеркнуть свое уважение ко всякому независимому взгляду, хотя бы и совершенно не совпадающему с правительственным. По существу же, по словам Керенского, «генерал Деникин впервые начертал программу реванша — эту музыку будущего военной реакции». В этих словах глубокое заблуждение. Мы вовсе не забыли галицийского отступления 1915 года и причин его вызвавших, но вместе с тем мы не могли простить Калуша и Тарнополя 1917 года. И наш долг, право и нравственная обязанность были не желать ни того, ни другого.

После меня говорил генерал Клембовский. Я выходил и слышал только конец его речи. Он очень сдержанно, но приблизительно в таком же виде, как и я, очертил положение своего фронта и пришел к выводу, который мог быть продиктован только разве полной безнадежностью: упразднить

[1] По делу Корнилова.

единоначалие и поставить во главе фронта своеобразный триумвират из главнокомандующего, комиссара и выборного солдата...

Генерал Алексеев был нездоров, говорил кратко, охарактеризовав положение тыла и состояние запасных войск и гарнизонов, и подтвердил ряд высказанных мною положений.

Генерал Рузский, давно уже лечившийся на Кавказе и поэтому отставший от жизни армии, анализировал положение на основании прослушанных речей и привел ряд исторических и бытовых сопоставлений старой армии с новой революционной, причем настолько горячо и резко, что дал повод Керенскому в его ответной речи обвинить Рузского в призыве к восстановлению... царского самодержавия. Не могли понять новые люди глубокой боли за армию старого солдата. Керенский, вероятно, не знал, что правые круги Рузского не признавали и, в свою очередь, страстно обвиняли его как раз в обратном — за ту роль, которую он сыграл в отречении императора.

Была прочтена корниловская телеграмма, в которой указывалось на необходимость: введения смертной казни в тылу, главным образом, для обуздания распущенных банд запасных; восстановления дисциплинарной власти начальников; ограничения круга деятельности войсковых комитетов и установления их ответственности; воспрещения митингов, противогосударственной пропаганды и въезда на театр войны всяких делегаций и агитаторов. Все это было, в той или другой форме, и у меня и получило общее наименование «военной реакции». Но у Корнилова появились предложения и другого рода: усиление комиссариата, путем введения института комиссаров в корпуса и предоставления им права конфирмации приговоров военно-революционных судов, а главное — генеральная чистка командного состава. Эти последние предложения произвели на Керенского впечатление «большей широты и глубины взглядов», чем те, которые исходили из «старых, мудрых голов», опьяненных, по его мнению, «вином ненависти»[1].

[1]«Прелюдия большевизма».

Произошло очевидное недоразумение: корниловская «чистка» должна была коснуться вовсе не людей крепких военных традиций (качество это ошибочно отождествлялось с монархической реакцией), а наемников революции — людей без убеждений, без воли и без способности брать на себя ответственность.

Говорил и от своего имени комиссар Юго-западного фронта Савинков. Соглашаясь с нарисованной нами общей картиной состояния фронта, он указывал, что не вина революционной демократии, если после старого режима осталась солдатская масса, которая не верит своему командному составу; что среди последнего не все обстоит благополучно и в военном и в политическом отношениях, и что главная цель новых революционных учреждений (комиссары, кроме того, — «глаза и уши Временного правительства») восстановить нормальные отношения между двумя составными элементами армии.

Закончилось заседание речью Керенского. Он оправдывался, указывал на неизбежность и стихийность «демократизации» армии, обвинял нас, видевших, по его словам, источник июльского поражения исключительно в революции и ее влиянии на русского солдата, жестоко обвинял старый режим и, в конце концов, не дал нам никаких отправных точек для дальнейшей совместной работы.

Все участники совещания разошлись с тяжелым чувством взаимного непонимания. И я с не меньшим. Но в душе осталось, — увы, оказавшееся ошибочным, — сознание, что голос наш все-таки услышан.

Мои надежды подкрепило письмо Корнилова, полученное вскоре после его назначения Верховным главнокомандующим.

«С искренним и глубоким удовольствием я прочел ваш доклад, сделанный на совещании в Ставке 16 июля. Под таким докладом я подписываюсь обеими руками, низко вам за него кланяюсь и восхищаюсь вашей твердостью и мужеством. Твердо верю, что с Божьей помощью нам удастся довести до конца дело воссоздания родной армии и восстановить ее боеспособность».

Судьба жестоко посмеялась над нашей верой...

ГЛАВА XXXIV
ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ

Через два дня после могилевского совещания генерал Брусилов был уволен от должности Верховного главнокомандующего. Опыт возглавления русских армий лицом, проявлявшим не только полную лояльность к Временному правительству, но и видимое сочувствие его мероприятиям, не удался. Отставлен военачальник, который некогда, при вступлении на пост Верховного, свое провиденциальное появление формулировал так[1]: «Я вождь революционной армии, назначенный на мой ответственный пост революционным народом и Временным правительством, по соглашению с петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. Я первым перешел на сторону народа, служу ему, буду служить и не отделюсь от него никогда».

Керенский в показаниях, данных следственной комиссии, объяснил увольнение Брусилова катастрофичностью положения фронта, возможностью развития германского наступления, отсутствием на фронте твердой руки и определенного плана, неспособностью Брусилова разбираться в сложных военных событиях и предупреждать их, наконец, — отсутствием его влияния как на солдат, так и на офицеров.

Как бы то ни было, уход генерала Брусилова с военно-исторической сцены отнюдь нельзя рассматривать как простой эпизод административного порядка: *он знаменует собой явное признание правительством крушения всей его военной политики.*

19 июля постановлением Временного правительства на пост Верховного главнокомандующего был назначен генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов.

Я говорил ранее о своей встрече с Корниловым, тогда еще главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. Весь смысл пребывания его в этой должности заключался в возможности приведения к сознанию долга и в подчинение петроградского гарнизона. Этого Корнилову сделать не удалось. Боевой генерал, увлекавший *воинов* своим мужеством, хладнокровием и презрением к смерти, был чужд той толпе бездельников и торгашей, в которую обратился петроградский гарнизон. Его хмурая фигура, сухая, изредка лишь согретая искренним чувством речь, а главное, ее содержание, такое далекое от головокружительных лозунгов, выброшенных революцией, такое простое в исповедовании солдатского катехизиса, не могли ни зажечь, ни воодушевить петроградских солдат. Неискушенный в политиканстве, чуждый по профессии тем средствам борьбы, которые выработали совместными силами бюрократический механизм, партийное сектантство и подполье, он, в качестве главнокомандующего петроградским округом, не мог ни повлиять на правительство, ни импонировать Совету, который без всяких оснований отнесся к нему с места с недоверием.

[1] 9 июня в ответ на приветствие могилевского совета.

Корнилов сумел бы подавить петроградское преторианство, если бы в этом случае и сам не погиб, но не мог привлечь его к себе.

Он чувствовал непригодность для него петроградской атмосферы. И когда 21 апреля исполнительный комитет Совета после первого большевистского выступления постановил, что ни одна воинская часть не может выходить из казарм с оружием без разрешения комитета, — это поставило Корнилова в полную невозможность оставаться в должности, не дающей никаких прав и возлагающей большую ответственность. Была и другая причина: главнокомандующий петроградского округа подчинялся не Ставке, а военному министру. 30 апреля ушел Гучков, и Корнилов не пожелал оставаться в подчинении у Керенского — товарища председателя петроградского совета.

Положение петроградского гарнизона и военного командования в столице было настолько нелепым, что приходилось искусственными мерами разрешать этот больной вопрос. Ставкой, совместно со штабом петроградского округа, по инициативе Корнилова и с полного одобрения генерала Алексеева, был разработан проект организации петроградского фронта, прикрывающего доступы к столице через Финляндию и Финский залив. В состав этого фронта долж-

ны были войти войска Финляндии, Кронштадта, побережья, Ревельского укрепленного района и петроградского гарнизона, в котором запасные батальоны предположено было развернуть в полевые полки и свести в бригады; вероятно, было и включение Балтийского флота. Такая организация, логичная в стратегическом отношении, в особенности в связи с поступавшими сведениями об усилении германского фронта на путях к Петрограду, давала главнокомандующему законное право видоизменять дислокацию, производить смену фронтовых и тыловых частей и т.д. Не знаю, возможно ли было таким путем действительно освободить столицу от гарнизона, который становился настоящим бичом ее, Временного правительства и даже, в сентябрьские дни, небольшевистской части Совета. Правительство донельзя опрометчиво связало себя обещанием, данным в первой его декларации, «не разоружать и не выводить из Петрограда воинские части, принимавшие участие в революционном движении». Но план рухнул сам собой с уходом Корнилова: его заместители, последовательно назначаемые Керенским, были настолько с неопределенной политической физиономией и настолько с недостаточным военным опытом, что ставить их во главе такого крупного войскового соединения не представлялось возможным.

В последних числах апреля, перед своим уходом, Гучков пожелал провести Корнилова на должность главнокомандующего Северным фронтом, освободившуюся после увольнения генерала Рузского. Генерал Алексеев и я были на совещании с Тома и французскими военными представителями, когда меня пригласили к аппарату Юза для беседы с военным министром. Так как генерал Алексеев оставался на заседании, а больной Гучков лежал в постели, то переговоры, в которых я являлся посредником, были чрезвычайно трудны — и технически, и из-за необходимости (ввиду непрямой передачи) облекать их в несколько условную форму. Гучков настаивал, Алексеев отказывал. Не менее шести раз я передавал их реплики — сначала сдержанные, потом в повышенном тоне.

Гучков говорил о трудности управления наиболее распущенным Северным фронтом, о необходимости там твердой

руки. Говорил, что желательно оставить Корнилова в непосредственной близости к Петрограду, ввиду всяких политических возможностей в будущем. Алексеев отвечал категорическим отказом. «Политические возможности» обошел молчанием, а сослался на недостаточный командный стаж Корнилова и неудобство обходить старших начальников — более опытных и знакомых с фронтом, как, например, генерала Драгомирова (Абрама). Когда на другой день тем не менее из министерства пришла официальная уже телеграмма по поводу назначения Корнилова, Алексеев ответил, что он категорически не согласен; а если назначение все же последует помимо его желания, то он немедленно подаст в отставку.

Ни разу еще Верховный главнокомандующий не был так непреклонен в отношениях с Петроградом. У некоторых, в том числе у самого Корнилова, как он мне впоследствии признался, невольно создалось впечатление, что вопрос был поставлен несколько шире, чем о назначении главнокомандующего, что здесь играло роль опасение получить «будущего диктатора». Однако сопоставление этого эпизода с фактом учреждения для Корнилова петроградского фронта (обстоятельство не менее значительное и также чреватое всякими возможностями) находится в полном противоречии с подобным предположением.

Корнилов в начале мая принял 8-ю армию на Юго-западном фронте. Генерал Драгомиров был назначен главнокомандующим Северным фронтом.

Это второй эпизод, дающий ключ к разгадке установившихся впоследствии отношений между генералами Алексеевым и Корниловым.

8-ю армию Корнилов, по его словам, принял в состоянии полного разложения. «В течение двух месяцев, — говорил он, — мне почти ежедневно пришлось бывать в войсковых частях, лично разъяснять солдатам необходимость дисциплины, ободрять офицеров и внушать войскам необходимость наступления. Тут же я убедился, что твердое слово начальника и определенные действия необходимы, чтобы остановить развал нашей армии. Я понял, что этого твердого слова ожидают и офицеры и солдаты, сознательная часть которых уже утомилась от полной анархии».

При каких условиях проходили объезды Корнилова, мы уже видели ранее. Удалось ли ему за это время пробудить сознание в солдатской массе? Не думаю: в 8-й армии Калуш 28 июня и Калуш 8 июля являют одинаково лик героя и лик зверя. Но среди офицерства и небольшой части настоящих солдат его обаяние выросло весьма значительно. Выросло оно также во мнении несоциалистической части русского общества. И когда после разгрома 6 июля впал в отчаяние и прострацию генерал Гутор, назначенный на крайне ответственный пост главнокомандующего Юго-западным фронтом только в порядке непротивления демократизации армии, то его заменить было некем, кроме Корнилова (в ночь на 8 июля). Хотя призрак «генерала на белом коне» витал уже в воздухе и смущал душевный покой многих.

Брусилов сильно противился этому назначению. Керенский минуту колебался. Но положение было катастрофическим. А Корнилов смел, мужествен, суров, решителен, независим и не остановится ни перед какими самостоятельными действиями, требуемыми обстановкой, и ни перед какой ответственностью. По мнению Керенского[1], опасные в случае успеха качества идущего напролом Корнилова, — при паническом отступлении могли принести только пользу. А когда мавр сделает свое дело, с ним можно ведь и расстаться. И Керенский настоял на назначении Корнилова главнокомандующим Юго-западным фронтом.

На третий день по вступлении в должность Корнилов телеграфировал Временному правительству: «Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному ее назначению защиты Родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего».

Ряд политических телеграмм Корнилова произвел огромное впечатление на страну и вызвал у одних страх, у других злобу, у третьих надежду. Керенский колебался. Но... Поддержка комиссаров и комитетов... Некоторое успокоение и упорядочение Юго-западного фронта, вызванное, между прочим, смелой, решительной борьбой Корнилова с армейскими большевиками... То удручающее одиночество, которое почувствовал военный министр после совещания 16 июля... Бесполезность оставлять Брусилова на посту Верховного и безнадежность возглавления вооруженных сил генералом новой формации, уже доказанная опытом Брусилова и Гутора... Настоятельные советы Савинкова... Вот ряд причин, которые заставили Керенского, ясно отдававшего себе отчет в неизбежности столкновения в будущем с человеком, всеми фибрами души отрицавшим его военную политику, решиться на назначение Верховным главнокомандующим Корнилова. Не подлежит никакому сомнению, что Керенский сделал этот шаг только в порыве отчаяния. Такое же чувство обреченности руководило им, вероятно, при назначении управляющим военным министерством Савинкова.

[1] Показание следственной комиссии.

Столкновения начались раньше, чем можно было ожидать. Получив указ о своем назначении, Корнилов тотчас же послал Временному правительству телеграмму, в которой «докладывал», что принять должность и «привести народ к победе и приближению справедливого и почетного мира» он может только при условиях:

1) ответственности перед собственной совестью и всем народом;

2) полного невмешательства в его оперативные распоряжения и поэтому и в назначение высшего командного состава;

3) распространения принятых за последнее время мер на фронте и на все те местности тыла, где расположены пополнения армии;

4) принятия его предложений, переданных телеграфно на совещание в Ставку 16 июля.

Прочтя в свое время в газетах эту телеграмму, я был немало удивлен содержанием первого пункта требований, устанавливавшего весьма оригинальную государственно-правовую форму суверенитета верховного командования впредь до Учредительного собрания. И ждал с нетерпением официального ответа. Его не последовало. Как оказалось, в совете правительства, по получении ультимативного требования Корнилова, шли горячие дебаты, причем Керенский требо-

вал для поддержания авторитета верховной власти немедленного устранения нового Верховного главнокомандующего. Правительство не согласилось, и Керенский, обойдя молчанием другие пункты телеграммы, ответил лишь на 2-й — признанием за Верховным главнокомандующим права выбора себе ближайших помощников.

В отступление от установившегося и ранее порядка назначений, правительство одновременно с назначением Корнилова издало указ без его ведома о назначении генерала Черемисова главнокомандующим Юго-западным фронтом. Корнилов счел это полным нарушением своих прав и послал новый ультиматум, заявив, что он может оставаться в должности Верховного только при условии, если Черемисов будет удален и притом немедленно. До выяснения вопроса отказался ехать в Могилев. Черемисов, в свою очередь, крайне нервничал и грозил «с бомбами в руках» войти в штаб фронта и установить свои права главнокомандующего.

Это обстоятельство еще более осложнило вопрос, и Корнилов докладывал по аппарату[1] в Петроград, что считает более правильным увольнение Черемисова в отставку. «Для упрочения дисциплины в войсках мы решились на применение суровых мер к солдатам; такие же меры должны быть применяемы и к высшим войсковым начальникам».

Революция перевернула вверх дном все взаимоотношения и существо дисциплины. Как солдат я должен был видеть во всех этих событиях подрыв авторитета Временного правительства (если бы он был) и не могу не признать права и обязанности правительства заставлять всех уважать его власть. Но как бытописатель добавлю: у военных вождей не было других способов остановить развал армии, идущий свыше; и если бы правительство поистине обладало властью и во всеоружии права и силы могло умело проявлять ее, то не было бы ультиматумов ни от Совета, ни от военных вождей. Больше того, тогда было бы ненужным 27 августа и невозможным 25 октября.

---

[1] Телеграфный разговор с полковником Барановским.

В конечном результате в штаб фронта прибыл комиссар Филоненко и сообщил Корнилову, что все его пожелания принципиально приняты правительством, а Черемисов назначается в распоряжение Временного правительства. Главнокомандующим Юго-западным фронтом был назначен случайно, наспех генерал Балуев, а Корнилов 24 июля вступил в должность Верховного.

Призрак «генерала на белом коне» получал все более и более реальные очертания.

Взоры очень многих людей — томившихся, страдавших от безумия и позора, в волнах которых захлебывалась русская жизнь, — все чаще обращались к нему. К нему шли и честные и бесчестные, и искренние и интриганы, и политические деятели, и воины, и авантюристы. И все в один голос говорили:

— Спаси!

А он — суровый, честный воин, увлекаемый глубоким патриотизмом, не искушенный в политике и плохо разбиравшийся в людях, с отчаянием в душе и с горячим желанием жертвенного подвига, загипнотизированный и правдой и лестью, и всеобщим томительным, нервным ожиданием чьего-то пришествия, — он искренне уверовал в провиденциальность своего назначения. С этой верой жил и боролся, с нею же умер на высоком берегу Кубани.

Корнилов стал знаменем. Для одних — контрреволюции, для других — спасения Родины.

И вокруг этого знамени началась борьба за влияние и власть людей, которые сами, без него, не могли бы достигнуть этой власти.

Еще 8 июля в Каменец-Подольске имел место характерный эпизод. Там возле Корнилова произошло первое столкновение двух людей: Савинкова и Завойко. Савинков — наиболее видный русский революционер, начальник боевой террористической организации социал-революционной партии, организатор важнейших политических убийств (министра внутренних дел Плеве, великого князя Сергея Александровича и др.). Сильный, жестокий, чуждый каких бы то ни было сдерживающих начал «условной морали»; презиравший и Временное правительство, и Керенского; в интересах целесообразности, по-своему понимаемых, поддерживаю-

щий правительство, но готовый каждую минуту смести его, — он видел в Корнилове лишь орудие борьбы для достижения сильной революционной власти, в которой *ему* должно было принадлежать первенствующее значение. Завойко — один из тех странных людей, которые потом тесным кольцом окружили Корнилова и играли такую видную роль в августовские дни. Кто он — этого хорошенько не знал и Корнилов. В своем показании Верховной следственной комиссии Корнилов говорил, что познакомился с Завойко в апреле 1917 года, что Завойко был когда-то предводителем дворянства Гайсинского уезда Подольской губернии; работал на нефтяных промыслах Нобеля в Баку и, по его рассказам, занимался исследованием горных богатств в Туркестане и Западной Сибири. В мае он приехал в Черновицы и, зачислившись добровольцем в Дагестанский конный полк, остался при штабе армии в качестве личного ординарца Корнилова. Вот все, что было известно о прошлом Завойко.

Первая телеграмма Корнилова Временному правительству была первоначально отредактирована Завойко, который «придал ей ультимативный характер со скрытой угрозой в случае неисполнения требований, предъявленных Временному правительству, объявить на Юго-западном фронте военную диктатуру»[1]. Убеждения Савинкова перевесили. Корнилов согласился даже удалить Завойко из пределов фронта, но скоро вернул опять.

Все это я узнал впоследствии. Во время же всех этих событий я продолжал работать в Минске, всецело поглощенный теперь уже не наступлением, а организацией хоть какой-нибудь обороны полуразвалившегося фронта. Не было никаких сведений, даже слухов о том, что творится в верхах правления и командования. Только чувствовалось во всех служебных сношениях крайне напряженное биение пульса.

* * *

В конце июля я совершенно неожиданно получил предложение Ставки занять пост главнокомандующего Юго-западным фронтом. Переговорил по аппарату с начальником штаба Верховного — генералом Лукомским. Сказал ему, что

---

[1] *Савинков*. «К делу Корнилова».

приказание исполню и пойду, куда назначат, но хочу знать, чем вызвано перемещение; если мотивами политическими, то очень прошу меня не трогать с места. Лукомский меня уверил, что Корнилов имеет в виду исключительно боевое значение Юго-западного фронта и предполагаемую там стратегическую операцию. Назначение состоялось.

Я простился с грустью со своими сотрудниками и, переведя на новый фронт своего друга генерала Маркова, выехал с ним к новому месту службы. Проездом остановился в Могилеве. Настроение Ставки было сильно приподнятое, у всех появилось оживление и надежды, но ничто не выдавало какой-либо «подземной» конспиративной работы. Надо заметить, что в этом деле военная среда была настолько наивно неопытна, что потом, когда действительно началась «конспирация», она приняла такие явные формы, что только слепые и глухие могли не видеть и не слышать.

В день нашего приезда у Корнилова было совещание из начальников отделов Ставки, на котором обсуждалась так называемая «корниловская программа» восстановления армии. Я был приглашен на это заседание. Не буду перечислять всех основных положений, приведенных ранее и у меня, и в корниловских телеграммах, — таких требований, как, например, введение военно-революционных судов и смертной казни в тылу, возвращение дисциплинарной власти начальникам и поднятие их авторитета, ограничение деятельности комитетов и их ответственность и т.д. Помню, что наряду с ясными и бесспорными положениями, в проекте записки, составленной отделами Ставки, были и произведения бюрократического творчества, малопригодные в жизни. Так, например, желая сделать дисциплинарную власть более приемлемой для революционной демократии, авторы записки разработали курьезную подробную шкалу соответствия дисциплинарных проступков и наказаний. И это для выбитой из колеи, бушующей жизни, где все отношения попраны, все нормы нарушены; где каждый новый день давал бесконечно разнообразные отклонения от регламентированного порядка.

Как бы то ни было, верховное командование выходило на новый правильный путь, а личность Корнилова, казалось, давала гарантии в том, что правительство будет принуждено

следовать по этому пути. Несомненно, что с советами, комитетами и с солдатской средой предстояла еще длительная борьба. Но, по крайней мере, определенность направления давала нравственную поддержку и реальное основание для дальнейшей тяжелой работы. С другой стороны, поддержка корниловских мероприятий военным министерством Савинкова давала надежду, что колебания и нерешительность Керенского будут, наконец, преодолены. Отношение к данному вопросу Временного правительства в его полном составе не имело практического значения и даже не могло быть официально выражено. Керенский в это время как будто освободился несколько от гнета Совета; но подобно тому, как ранее все важнейшие государственные вопросы решались им вне правительства совместно с руководящими советскими кругами, так теперь, в августе, руководство государственными делами перешло, минуя и социалистические и либеральные группировки правительства, к триумвирату в составе Керенского, Некрасова и Терещенко.

По окончании заседания Корнилов предложил мне остаться и, когда все ушли, тихим голосом, почти шепотом сказал мне следующее:

— Нужно бороться, иначе страна погибнет. Ко мне на фронт приезжал N. Он все носится со своей идеей переворота и возведения на престол великого князя Дмитрия Павловича; что-то организует и предложил совместную работу. Я ему заявил категорически, что ни на какую авантюру с Романовыми не пойду. В правительстве сами понимают, что совершенно бессильны что-либо сделать. Они предлагают мне войти в состав правительства. Ну нет! Эти господа слишком связаны с советами и ни на что решиться не могут. Я им говорю: предоставьте мне власть, тогда я поведу решительную борьбу. Нам нужно довести Россию до Учредительного собрания, а там пусть делают что хотят; я устранюсь и ничему препятствовать не буду. Так вот, Антон Иванович, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку?

— В полной мере.

Это была вторая встреча и второй разговор мой с Корниловым; мы сердечно обняли друг друга и расстались, чтобы встретиться вновь... только в Быховской тюрьме.

ГЛАВА XXXV

СЛУЖБА МОЯ В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО АРМИЯМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА. МОСКОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ. ПАДЕНИЕ РИГИ

Растрогало меня письмо М.В. Алексеева.

«Мыслью моей сопутствую Вам в новом назначении. Расцениваю его так, что Вас отправляют на подвиг. Говорилось там много, но, по-видимому, делалось мало. Ничего не сделано и после 16 июля главным болтуном России. Власть начальников все сокращают. Если бы Вам в чем-нибудь оказалась нужною моя помощь, мой труд, я готов приехать в Бердичев, готов ехать в войска, к тому или другому командующему. Храни Вас Бог!»

Вот уж подлинно человек, облик которого не изменяют ни высокое положение, ни превратности судьбы; весь в скромной, бескорыстной работе для пользы родной земли.

Новый фронт, новые люди. Потрясенный в июльские дни Юго-западный фронт мало-помалу начинал приходить в себя. Но не в смысле настоящего выздоровления, как казалось некоторым оптимистам, а возвращался приблизительно к тому состоянию, которое было до наступления. Те же тяжелые отношения между офицерами и солдатами; то же скверное несение службы, дезертирство и неприкрытое нежелание воевать, не имевшее лишь резких активных проявлений, ввиду боевого затишья; наконец, та же, но еще более возросшая, большевистская агитация, прикрывавшаяся не раз флагом комитетских фракций и подготовкой к Учредительному собранию. Я располагаю одним документом, относящимся ко 2-й армии Западного фронта. Он чрезвычайно характерен как показатель необыкновенной терпимости и поощрения разложения армии, проявленных представителями правительства и командования под предлогом свободы и сознательности выбора. Вот копия телеграммы, адресованной всем старшим инстанциям 2-й армии: *«Командарм в согласии с комиссаром, по ходатайству армейской фракции социал-демократов большевиков, разрешил устроить*

с 15 по 18 октября при армейском комитете курсы подготовки инструкторов означенной фракции по выборам в Учредительное собрание, причем от организации большевиков каждой отдельной части командируется на курсы один представитель. №1644. Суворов»[1]. Подобная терпимость имела место во многих случаях и гораздо раньше и основывалась на точном смысле положения о комитетах и декларации прав солдата.

Увлеченные борьбой с контрреволюцией, революционные учреждения проходили без всякого внимания мимо таких фактов, что в расположении самого штаба фронта, в городе Бердичеве, состоялись общественные митинги с крайними большевистскими лозунгами, что местная газета «Свободная мысль» совершенно недвусмысленно угрожала «Варфоломеевской ночью» офицерам.

Фронт *держался.* Вот все, что можно было сказать про его положение. Временами вспыхивали беспорядки с трагическим исходом, вроде зверского убийства генералов Гиршфельда, Стефановича, комиссара Линде... Предварительные распоряжения и сосредоточение войск для предстоявшего частного наступления были сделаны, но само производство операции не представлялось возможным до проведения в жизнь «корниловской программы» и выяснения ее результатов.

И я ждал с великим нетерпением.

Революционные учреждения (комиссариат и комитет) Юго-западного фронта находились на особом положении: они не захватили власть, а часть ее была в свое время им добровольно уступлена рядом главнокомандующих — Брусиловым, Гутором, Балуевым. Поэтому мое появление сразу вызвало у них отрицательное ко мне отношение. Комитет Западного фронта не замедлил переслать в Бердичев убийственную аттестацию, и на основании ее комитетский орган в ближайшем же номере сделал внушительное предостережение «врагам демократии». Я, как и раньше, не прибегал совершенно к содействию комиссариата, а комитету велел передать, что отношения с ним могу допустить только тогда, когда он ограничит свою деятельность строго законными рамками.

[1] Начальник штаба армии.

Комиссаром фронта был Гобечио. Видел я его один раз при встрече. Через несколько дней он перевелся на Кавказ, и должность принял Иорданский[1]. Приехал и в первый же день отдал «приказ войскам фронта». Не мог потом никак понять, что нельзя двум человекам одновременно командовать фронтом. Иорданский и его помощники Костицын и Григорьев (литератор, зоолог и врач), вероятно, не последние люди в своей специальности, были глубоко чужды военной среде. Непосредственного общения с солдатом не имели, жизни армейской не знали, а так как начальникам они не верили, то весь осведомительный материал пришлось им черпать в единственном демократическом кладезе всей военной премудрости — фронтовом комитете. Был такой случай с Костицыным в сентябре или октябре, уже после моего ареста: судьба столкнула его снова с начальником того юнкерского караула, штабс-капитаном Бетлингом, который в страшный вечер 27 сентября вел нас — «Бердичевскую группу» арестованных — из тюрьмы на вокзал. Теперь Бетлинг с юнкерской ротой участвовал в составе карательного отряда, руководимого Костицыным, усмирявшим какой-то жестокий и бессмысленный солдатский бунт (кажется, в Виннице). И вот наиболее непримиримый член бердичевского комиссариата, хватаясь в отчаянии за голову, говорил Бетлингу:

— Теперь только я понял, какая беспросветная тьма и ужас царят в этих рядах. Как был прав Деникин!

Помню, что этот маленький эпизод, рассказанный Бетлингом во время одного из тяжелых кубанских походов 1918 года, доставил мне некоторое удовлетворение: все-таки прозрел человек, хоть и поздно.

Фронтовой комитет был не хуже и не лучше других[2]. Он стоял на оборонческой точке зрения и даже поддерживал

[1] Бывший редактор журнала «Современный мир», социал-демократ группы «Единство». В 1921 году редактировал большевистскую газету в Гельсингфорсе.

[2] Несомненно лучше Западного.

репресивные меры, принятые в июле Корниловым. Но комитет ни в малейшей степени не был тогда *военным* учреждением, на пользу или во вред органически связанным с подлинной армейской средой. Это был просто смешанный партийный орган. Разделяясь на фракции всех социалистических партий, комитет положительно варился в политике, перенося ее и на фронт; комитет вел широкую агитацию, собирал съезды представителей для обработки их социалистическими фракциями, — конечно, и такими, которые были явно враждебны политике правительства. Я сделал попытку, ввиду назревающей стратегической операции и тяжелого переходного времени приостановить эту работу, но встретил резкое противодействие комиссара Иорданского. Вместе с тем комитет вмешивался непрестанно во все вопросы военной власти, сея смуту в умах и недоверие к командованию.

На этой почве отношения обострились до того, что комитет и комиссары послали ряд телеграмм с жалобой на меня военному министру. В них инкриминировалось мне и моему штабу и удушение демократических учреждений, и поощрение удушающих, и преследование начальников, сочувствующих комитетам, и даже введение телесных наказаний и рукоприкладства. Последние обвинения настолько нелепы, что не стоит опровергать их; в глазах же тех, кто немного хотя бы знал армейскую жизнь и тогдашние бесправность и забитость русского офицера, это обвинение прозвучит тяжелой и горькой иронией. Одно было несомненной истиной, — это мое совершенно отрицательное отношение к революционным учреждениям армии. По натуре своей я не мог и не хотел скрывать этого и до сих пор убежден (особенно после примера корректнейшего и тактичнейшего из военачальников командующего 5-й армией генерала Данилова), что притворство не принесло бы никакой пользы армии. Если расшифровать все эти криминальные действия в широком комитетском обобщении, то из-за «удушения демократии» выглянет закрытый стотысячный кредит на вредную литературу и отмена незаконных суточных денег[1]; «преследование» обратится в увольнение единственного генерала, требовавшего обращения его в технического советника при комитете; «поощрение удушающих» — в отказ в немедленном отчислении от должности без дознания и следствия двух начальников, обвиненных войсковыми комитетами в неуважении к революции и в оскорблении солдата и т.д. Все это, быть может, мелко, но характеризует обстановку, в которой приходилось работать.

[1] Вопрос был возбужден контролем. На настойчивые требования комиссара я предложил ему лично открыть кредит комитету, с тем чтобы деньги были тотчас отпущены. Но Иорданский, возмущавшийся «притеснением» штаба, сам от санкционирования расхода воздержался.

Я охотно допускаю, что ни комиссары, ни комитеты в своих отношениях к главнокомандующему не исходили из личных побуждений. Но каждый шаг человека, органически не приемлющего их бытия, не мог не внушать им самых острых, самых фантастических подозрений.

Ставка молчала. «Корниловская программа» все не объявлялась. Несомненно, шла борьба. Была еще надежда на благоприятный исход ее в Петрограде. Но как пойдет проведение ее в жизнь? Какое противодействие встретит она на фронте — в войсках, в комитетах? Я пригласил к себе командующих армиями (в середине августа) генералов Эрдели, Селивачева, Рерберга (врем.), Ванновского. Беседовали весь день. Ознакомился с их оценкой положения на фронте и, в свою очередь, учитывая возможность крупных осложнений и с войсками и с комитетами с момента объявления «программы», ознакомил их с ее сущностью и предложил обдумать меры к возможно успешному ее проведению. Ванновский смотрел несколько пессимистически, другие надеялись на благоприятный исход; в особенности генерал Селивачев — прямой, храбрый и честный солдат, который был в большой немилости у комитетов.

В сущности, для противодействия какому-либо выступлению против командования ни у кого из нас не было реальной вооруженной силы. Даже в Бердичеве штаб и главнокомандующий охранялись полубольшевистской ротой и эскадроном ординарцев — прежних полевых жандармов, которые теперь из-за одиозного наименования старались все-

ми силами подчеркнуть свою «революционность». Марков в начале августа ввел в состав гарнизона 1-й Оренбургский казачий полк, что впоследствии послужило главнейшим пунктом обвинения нашего в подготовке «вооруженного мятежа». С этой же целью — избавиться от неприятного соседства со всем этим распущенным и развращенным гарнизоном Лысой горы[1], разгрузить переполненный Бердичев и освободить фронтовой комитет от нервирующего соседства со штабом, предполагалось в начале сентября перевести штаб фронта в город Житомир. Там квартировали два юнкерских училища, лояльно настроенные в отношении правительства и командования.

• • •

Между тем в Петрограде и в Могилеве события шли своим чередом, отражаясь в нашем понимании только газетными сведениями, слухами и сплетнями.

«Программы» все нет. Надеялись на Московское государственное совещание[2], но оно прошло и не внесло никаких перемен в государственную и военную политику. Наоборот, даже внешним образом резко подчеркнуло непримиримую рознь между революционной демократией и либеральной буржуазией, между командованием и армейским представительством.

Но если московское совещание не дало никаких реальных результатов, оно раскрыло во всю ширину настроение борющихся, руководящих и правящих. Все единодушно признавали, что страна переживает смертельную опасность. Все понимали, что социальные взаимоотношения потрясены, все стороны экономической жизни народа подорваны. Обе стороны горячо упрекали друг друга в служении частным классовым, своекорыстным интересам. Но не в них была главная сущность. Как это ни странно, но первопричины социальной, классовой борьбы, даже аграрный и рабочий вопросы, вызывали только расхождение, но не захватывали совещание страстным порывом непримиримой распри. И даже когда старый вождь социал-демократов Плеханов при

[1] Название казарменного района возле Бердичева.

[2] Состоялось 14 августа 1917 года.

всеобщем одобрении обратился направо с требованием жертвы и налево с требованием умеренности, казалось, что не так уж велика пропасть между двумя враждебными социальными лагерями.

Все внимание совещания было захвачено другими вопросами: *о власти и армии.*

Милюков перечислял все прегрешения правительства, побежденного советами; все его «капитуляции» перед идеологией социалистических партий и циммервальдистами: капитуляции в армии, во внешней политике, перед утопическими требованиями рабочего класса, перед крайними требованиями национальностей.

«Расхищению государственной власти центральными и местными комитетами и советами, — отчетливо рубил Каледин, — должен быть немедленно и резко поставлен предел».

Маклаков мягко выстилал путь перед ударом: «Я ничего не требую, но не могу не указать на тревогу, которую испытывает общественная совесть, когда она видит, что в среду правительства приглашены... вчерашние пораженцы». Волнуется Шульгин (правый): «Я хочу, чтобы ваша власть (Временного правительства) была бы действительно сильной, действительно неограниченной. Я хочу этого, хотя знаю, что сильная власть очень легко переходит в деспотизм, который скорее обрушится на меня, чем на вас — друзей этой власти»... А слева Чхеидзе поет акафисты советам: «Только благодаря революционным организациям сохранился творческий дух революции, спасающий страну от распада власти и анархии»... «Нет власти выше власти Временного правительства, — заключает Церетели. — Ибо источник этой власти — суверенный народ — непосредственно через все те органы, какими он располагает, делегировал эту власть Временному правительству»... Конечно, поскольку это правительство покорно воле советов?.. А над всеми ими доминирует голос первоприсутствующего, ищущего «неземных слов», чтобы «передать свой трепетный ужас» перед надвигающимися событиями и, вместе с тем, потрясающего... картонным мечом, угрожая скрытым врагам: «Пусть знает каждый, кто раз уже попытался поднять вооруженную руку на

власть народную, что эта попытка будет прекращена железом и кровью... Пусть еще больше остерегаются те посягатели, которые думают, что настало время, опираясь на штыки, свергнуть революционную власть».

Еще более яркое противоречие сказалось в области военной. Верховный главнокомандующий в сухой, но сильной речи нарисовал картину гибнущей армии, увлекающей за собою в пропасть страну, и изложил в весьма сдержанных выражениях сущность известной своей программы. Генерал Алексеев с неподдельной горечью рассказывал печальную историю прегрешений, страданий и доблести былой армии, «слабой в технике и сильной нравственным обликом и внутренней дисциплиной». Как она дошла до «светлых дней революции» и как потом в нее, «казавшуюся опасной для завоеваний революции, влили смертельный яд?» Донской атаман Каледин, представлявший 13 казачьих войск, не связанный официальным положением, говорил резко и отчетливо: «Армия должна быть вне политики. Полное запрещение митингов и собраний с партийной борьбой и распрями. Все советы и комитеты должны быть упразднены. Декларация прав солдата должна быть пересмотрена. Дисциплина должна быть поднята в армии и в тылу. Дисциплинарные права начальников должны быть восстановлены. Вождям армии — полная мощь!» С ответом на эти азбучные военные истины выступил Кучин — представитель фронтовых и армейских комитетов: «Комитеты явились проявлением инстинкта самосохранения. Они должны были создаться как органы защиты прав солдата, ибо раньше было только его угнетение. Они внесли в солдатские массы свет и знание. Потом наступил второй период — разложения и дезорганизации. Выступила на сцену «тыловая сознательность», не сумевшая переварить всей той массы вопросов, которую в «их мозг, в их жизнь выкинула революция»... Теперь он не отрицал необходимости репрессий, но «должно сочетать их с определенной работой армейских организаций». Как это сделать, разъяснил объединенный фронт революционной демократии: армию должно одушевлять не стремление к победе над врагом, а «отказ от империалистических целей и стремление к скорейшему достижению всеобщего мира на демо-

кратических началах. Командному составу — полная самостоятельность в области оперативной деятельности и решающее значение(?) в области строевой и боевой подготовки»; цель же организаций — широкое внесение своей политики в войска: «комиссары должны быть проводниками (этой) единой революционной политики Временного правительства, армейские комитеты—руководителями общественно-политической жизни солдатских масс. Восстановление дисциплинарной власти начальников недопустимо» и т.д.

Что сделает правительство? Найдет ли оно в себе достаточно силы и смелости порвать оковы, наложенные большевиствующим Советом?[1]

Корнилов заявил твердо и дважды повторил: «Я ни одной минуты не сомневаюсь, что (мои) меры будут проведены безотлагательно».

А если не будут — борьба?

Он говорил еще: «Невозможно допустить, чтобы решимость проведения в жизнь этих мер каждый раз проявлялась под давлением поражений и уступок отечественной территории. Если решительные меры для поднятия дисциплины на фронте последовали как результат Тарнопольского разгрома и потери Галиции и Буковины, то нельзя допустить, чтобы порядок в тылу был последствием потери нами Риги и чтобы порядок на железных дорогах был восстановлен ценой уступки противнику Молдавии и Бессарабии».

А 20-го пала Рига.

* * *

Стратегически и тактически фронт нижней Двины был подготовлен вполне. Войск, считаясь с силой оборонительной линии реки, было также достаточно. Во главе войск стояли: командующий армией генерал Парский, командир корпуса генерал Болдырев — генералы опытные и в глазах демократии отнюдь не контрреволюционные[2]. Наконец, на-

[1] В августе соотношение сил в Совете стало быстро меняться в пользу большевиков, дав им большинство.

[2] Генерал Парский занимает ныне видный пост в советской армии, а генерал Болдырев был впоследствии главнокомандующим противобольшевистским «фронтом Учредительного собрания» на Волге.

шему командованию было известно не только направление удара, но через перебежчиков день и даже час атаки.

Тем не менее 19 августа германцы (8-я армия Гутьера) после сильной артиллерийской подготовки, при слабом сопротивлении с нашей стороны, заняли Икскюльский тет-де-пон и переправились через Двину. 20 августа немцы перешли в наступление и вдоль Митавского шоссе, а к вечеру того же дня икскюльская группа противника, прорвав наши позиции на Егеле, стала распространяться в северном направлении, угрожая перекрыть пути отхода русских войск на Венден. 12-я армия, оставив Ригу, отошла верст на 60–70, потеряв соприкосновение с противником, и к 25-му заняла так называемые Венденские позиции. Потери армии выражались одними пленными до 9000 человек, 81 орудие, 200 пулеметов и т.д. Дальнейшее продвижение не входило в планы немцев, они приступили к закреплению занятого огромного плацдарма на правом берегу Двины и тотчас же две дивизии отправили на Западноевропейский фронт.

Мы потеряли богатый промышленный город Ригу, со всеми военными оборудованием и запасами, а главное — потеряли надежную оборонительную линию, падение которой ставило под вечную угрозу и положение Двинского фронта, и направление на Петроград.

Падение Риги произвело в стране большое впечатление. Но среди революционной демократии оно совершенно неожиданно вызвало не раскаяние, не патриотический подъем, а еще большую злобу против командного и офицерского состава. Ставка в одной из своих сводок поместила следующую фразу[1]: «Дезорганизованные массы солдат неудержимым потоком устремляются по Псковскому шоссе и по дороге на Бидер-Лимбург». Это сообщение, несомненно правдивое, но не определяющее причины явления, вызвало бурю в среде революционной демократии. Комиссары и комитеты Северного фронта прислали ряд телеграмм, опровергавших «провокационные нападки Ставки» и удостоверявших, что «в этой неудаче не было позора», что «войска честно исполняют все приказания командного состава; случаев бегства и предательства войсковых частей не было». Комиссар фронта Станкевич, не соглашаясь с тем, что не было позора в таком бесславном и беспричинном отступлении, указывал, между прочим, на целый ряд ошибок и недочетов управления. Весьма возможно, что были недочеты в управлении, — и личные, и чисто объективные, вызванные взаимным недоверием, падением исполнительности и распадом технической службы. Но несомненно и то, что войска Северного фронта, и особенно 12-й армии, были наиболее развалившиеся из всех и по логике вещей не могли оказать врагу должного сопротивления. Даже апологет войск 12-й армии комиссар Войтинский, значительно преувеличивающий ее боевые качества, 22-го телеграфировал петроградскому совету: «Сказывается неуверенность войск в своих силах, отсутствие боевой подготовки и, как следствие этого, недостаток устойчивости в полевой войне... Многие части дерутся с доблестью, как и в первые дни, но в других частях проявляются признаки усталости и панического настроения».

[1] 21 августа.

В действительности развращенный Северный фронт потерял всякую силу сопротивления. Войска его откатывались до того предела, до которого велось преследование передовыми немецкими частями, и затем подались несколько вперед только потому, что обнаружилась потеря соприкосновения с главными силами Гутьера, в намерения которого не входило продвижение далее определенной линии.

Все левые органы печати, между тем, открыли жестокую кампанию против Ставки и командования. Прозвучало слово «предательство». Черновское «Дело народа», орган пораженческий, скорбел: «И в душу закрадывается мучительное сомнение: не перекладываются ли на плечи погибающего тысячами мужественного и доблестного солдата ошибки командования, недостатки артиллерийского снабжения и неспособность вождей». «Известия» объясняли и мотивы «провокации»: «Ставка старается запугиванием грозными событиями на фронте терроризировать Временное правительство и заставить его принять ряд мер, направленных прямо и косвенно против революционной демократии и ее организаций».

В связи со всеми этими обстоятельствами значительно усилились нападки советов на Верховного главнокоманду-

ющего генерала Корнилова, и в газетах промелькнули слухи о предстоящем его удалении. В ответ появился ряд резких резолюций, предъявленных правительству и поддерживавших Корнилова[1], а в резолюции Совета союза казачьих войск имелась и такая фраза: «Смена Корнилова неизбежно внушит казачеству пагубную мысль о бесполезности дальнейших казачьих жертв» и далее, что совет «снимает с себя всякую ответственность за казачьи войска на фронте и в тылу при удалении Корнилова».

Между прочим, поддержка эта не встретила полного единодушия даже в казачьей среде. Правление казаков моего фронта по поводу этой резолюции вынесло следующее постановление: «Казачество признает своей единой властью Временное правительство, которому и верит. Оно может распоряжаться своими ставленниками как хочет. Если же против воли правительства будут давления на него со стороны политических партий, общественных и классовых организаций с целью провести свои желания в жизнь, казачество всеми силами поддержит Временное правительство во всех его начинаниях и стремлениях, направленных к спасению отечества и завоеванных свобод».

Впрочем, сметливые казаки, раскаявшись в оппозиции своему руководящему органу, через несколько дней «разъяснили» в печати свою резолюцию в том смысле, что постановление центрального союза было дурно понято им, и что совет «не угрожал Временному правительству, а твердо и громко заявил свой протест против похода известной части печати и некоторых общественных организаций на Верховного вождя — ставленника Временного правительства генерала Корнилова».

Такие обстоятельства предшествовали событиям. Вместо умиротворения, страсти разгорались все более и более, углублялись противоречия, сгущалась атмосфера взаимного недоверия и болезненной подозрительности.

***

[1] Главного Комитета офицерского союза, Военной лиги, Совета союза казачьих войск, Союза георгиевских кавалеров, Совещания общественных деятелей и других.

Я откладывал свой объезд войск, все еще не теряя надежды на благоприятный исход борьбы и обнародование «корниловской программы»[1].

С чем я пойду к солдатам? С глубоко запавшей в сердце болью и со словами призыва «к разуму и совести», скрывающими бессилие и подобными гласу вопиющего в пустыне? Все это уже было и прошло, оставив только горький след. И будут вновь, так как мысль, идея, слово, моральное воздействие никогда не перестанут поднимать людей на подвиг. Но что же делать, если заглохшую, заросшую чертополохом целину надо взрыхлять железным плугом? Что я скажу офицерам, со скорбью и нетерпением ждущим окончания последовательного и беспощадного процесса медленного умирания армии? Я мог ведь сказать только: если правительство не пойдет на коренное изменение своей политики, то армии конец.

7 августа получено было распоряжение двинуть от меня на север Кавказскую туземную дивизию («Дикую»), 12 августа — бывший в тылу в резерве 3-й конный корпус, потом Корниловский ударный полк. Назначение их, как всегда, не указывалось. Направление же одинаково соответствовало и Северному фронту, в то время весьма угрожаемому, и Петрограду. Представил командира 3-го конного корпуса генерала Крымова на должность командующего 11-й армией. Ставка ответила согласием, но потребовала его немедленно в Могилев для исполнения особого поручения. Крымов проездом являлся ко мне. Определенных указаний он, по-видимому, еще не имел (по крайней мере, о них не говорил); но ни я, ни он не сомневались, что поручение в связано с ожидаемым поворотом военной политики. Крымов был тогда веселым, жизнерадостным и с верой смотрел в будущее. По-прежнему считал, что только оглушительный удар по советам может спасти положение.

Вслед за этим получено было уже официальное уведомление о формировании отдельной Петроградской армии и требование предназначить офицера генерального штаба на должность генерал-квартирмейстера этой армии.

[1] До 27 августа, то есть до разрыва с Корниловым, Керенский не решался подписать проект законов, вытекавших из «программы».

Наконец, в двадцатых числах обстановка несколько более разъяснилась. Приехал ко мне в Бердичев офицер и вручил собственноручное письмо Корнилова, в котором мне предлагалось выслушать личный доклад офицера. Он доложил:

— В конце августа, по достоверным сведениям, в Петрограде произойдет восстание большевиков. К этому времени к столице будет подведен 3-й конный корпус[1] во главе с Крымовым, который подавит большевистское восстание и заодно покончит с советами[2]. Одновременно в Петрограде будет объявлено военное положение и опубликованы законы, вытекающие из «корниловской программы». Вас Верховный главнокомандующий просит только командировать в Ставку несколько десятков надежных офицеров; официально — «для изучения бомбометного и минометного дела», фактически они будут отправлены в Петроград в офицерский отряд.

В дальнейшем разговоре он передавал различные новости Ставки, рисуя настроение ее в бодрых тонах. Передавал, между прочим, слухи о предстоящих новых назначениях командующих войсками в Киев, Одессу, Москву, о предполагаемом новом составе правительства, среди которого назывались имена и нынешних министров, и совершенно не известные мне. Во всем этом вопросе была несколько неясна роль Временного правительства и в частности Керенского. Решился ли он на крутой поворот военной политики, уйдет или будет сметен событиями, ход и последствия которых при создавшихся условиях не могут предрешить ни чистая логика, ни прозорливый разум?

---

[1] 3-й конный корпус был вызван к Петрограду Временным правительством.

[2] Из следственного дела видно, что управлявший военным министерством Савинков и командированный в Ставку Керенским начальник его кабинета полковник Барановский сами предусматривали вероятность одновременного выступления с большевиками, под влиянием опубликования «корниловской программы» Совета рабочих и солдатских депутатов, и необходимость тогда беспощадными мерами подавить его.

Весь ход августовских событий я описываю в этом томе в такой последовательности и в таком свете, как они рисовались тогда в те трагические дни на Юго-западном фронте, не внося в них той перспективы, которая с течением времени осветила и сцену и действующих лиц.

Распоряжение о командировании офицеров — со всеми предосторожностями, чтобы не поставить в ложное положение ни их, ни начальство, — было сделано, но вряд ли его успели осуществить до 27-го. Ни один командующий армией в содержание полученных сведений посвящен мной не был, и никто из старшего командного состава фронта фактически не знал о назревающих событиях.

Было ясно, что история русской революции входит в новый фазис. Что принесет он? Многие часы делились своими мыслями по этому поводу я и Марков. И если он — нервный, пылкий, увлекающийся — постоянно переходил от одного до другого полярного конца через всю гамму чувств и настроений, то мною овладели также надежда и тревога. Но оба мы совершенно отчетливо видели и сознавали фатальную неизбежность кризиса. Ибо большевистские или полубольшевистские советы (это безразлично) вели Россию к гибели. Столкновение неизбежно. Есть ли *там*, однако, реальная возможность или только... мужество холодного отчаяния?..

ГЛАВА XXXVI
КОРНИЛОВСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ И ОТЗВУКИ ЕГО НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

27 августа вечером я был как громом поражен полученным из Ставки сообщением об отчислении от должности Верховного главнокомандующего генерала Корнилова.

Телеграммой без номера и за подписью Керенского генералу Корнилову предлагалось сдать временно должность Верховного главнокомандующего генералу Лукомскому и, не ожидая прибытия нового Верховного главнокомандующего, выехать в Петроград. Такое распоряжение было совершенно незаконным и необязательным для исполнения, так как Верховный главнокомандующий ни военному министру,

ни министру-председателю, ни тем более товарищу Керенскому ни в какой мере подчинен не был.

Начальник штаба генерал Лукомский ответил министру-председателю телеграммой №640, которую я привожу ниже. Содержание ее в копии передано было нам, всем главнокомандующим, телеграммой №6412, которая у меня не сохранилась, но смысл ее ясен из показания Корнилова, в котором говорится: «Я приказал мое решение (должность не сдавать и выяснить предварительно обстановку) и решение генерала Лукомского довести до сведения главнокомандующих всеми фронтами».

Телеграмма Лукомского №640 гласила:

«Все, близко стоявшие к военному делу, отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а из-за громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю воссоздать не удастся, а наоборот, армия, как таковая, должна развалиться через два-три месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию и спасая революцию не спасли Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путем спасения России, а для этого прежде всего необходимо создать действительно сильную власть и оздоровить тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране.

Приезд Савинкова[1] и Львова, сделавших предложение Корнилову в том же смысле от вашего имени, лишь заставил

[1] Как увидим впоследствии, Савинков показал, что он «от имени министра-председателя никаких политических комбинаций не предлагал».

генерала Корнилова принять окончательное решение и, согласно с вашим предложением, отдать окончательные распоряжения, отменять которые теперь уже поздно.

Ваша сегодняшняя телеграмма указывает, что решение, принятое прежде вами и сообщенное от вашего имени Савинковым и Львовым, теперь изменилось. Считаю долгом совести, имея в виду лишь пользу Родины, определенно вам заявить, что теперь остановить начавшееся с вашего же одобрения дело невозможно, и это поведет лишь к гражданской войне, окончательному разложению армии и позорному сепаратному миру, следствием чего, конечно, не будет закрепление завоеваний революции.

Ради спасения России вам необходимо идти с генералом Корниловым, а не смещать его. Смещение генерала Корнилова поведет за собой ужасы, которых Россия еще не переживала. Я лично не могу принять на себя ответственность за армию хотя бы на короткое время и не считаю возможным принимать должность от генерала Корнилова, ибо за этим последует взрыв в армии, который погубит Россию. Лукомский».

Все надежды на возрождение армии и спасение страны мирным путем рухнули. Я не делал себе никаких иллюзий относительно последствий подобного столкновения между генералом Корниловым и Керенским и не ожидал благополучного окончания, разве только что корпус Крымова спасет положение. Вместе с тем я ни одного дня, ни одного часа не считал возможным отождествлять себя идейно с Временным правительством, которое признавал преступным, и поэтому тотчас же послал ему телеграмму следующего содержания:

«Я солдат и не привык играть в прятки. 16 июня на совещании с членами Временного правительства я заявил, что целым рядом военных мероприятий оно разрушило, растлило армию и втоптало в грязь наши боевые знамена. Оставление свое на посту главнокомандующего я понял тогда как сознание Временным правительством своего тяжкого греха перед Родиной и желание исправить содеянное зло. Сегодня, получив известие, что генерал Корнилов, предъявивший известные требования[1], могущие еще спасти страну и ар-

[1] Речь шла о «Корниловской программе».

мию, смещается с поста Верховного главнокомандующего. Видя в этом возвращение власти на путь планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели страны, считаю долгом довести до сведения Временного правительства, что по этому пути я с ним не пойду. 145. Деникин».

Марков одновременно тоже послал телеграмму правительству, выражая солидарность с высказанными мною положениями[1].

Вместе с тем я приказал спросить Ставку, чем могу помочь генералу Корнилову. Он знал, что, кроме нравственного содействия, в моем распоряжении нет никаких реальных возможностей, и поэтому, поблагодарив за это содействие, ничего более не требовал.

Я распорядился переслать копию моей телеграммы всем главнокомандующим, командующим армиями Юго-западного фронта и главному начальнику снабжений. Вместе с тем приказал принять меры, чтобы изолировать фронт от проникновения туда без ведома штаба каких-либо сведений о совершающихся событиях до ликвидации столкновения. Такие же распоряжения получены были от Ставки. Полагаю,

[1] Главнокомандующие другими фронтами отправили Временному правительству 28 августа вполне лояльные телеграммы, сущность которых выражается в следующих выдержках:

От Северного фронта генерал Клембовский: « Считаю перемену Верховного командования крайне опасной, когда угроза внешнего врага целости родины и свободы повелительно требует скорейшего проведения мер для поднятия дисциплины и боеспособности армии».

От Западного фронта генерал Балуев: «Нынешнее положение России требует безотлагательного принятия исключительных мер, и оставление генерала Корнилова во главе армий является настоятельно необходимым, невзирая ни на какие политические осложнения».

От Румынского фронта генерал Щербачев: «Смена генерала Корнилова неминуемо гибельно отразится на армии и защите Родины. Обращаюсь к вашему патриотизму во имя спасения Родины».

Все главнокомандующие упоминали о необходимости введения потребованных Корниловым мероприятий.

можно не прибавлять, что горячие симпатии всего штаба были на стороне Корнилова и что все с величайшим нетерпением ждали вестей из Могилева, все еще надеясь на благополучный исход.

Марков каждый вечер собирал офицеров генерал-квартирмейстерской части для доклада оперативных вопросов. В этот день, 27-го, он ознакомил их со всеми известными нам обстоятельствами столкновения и нашими телеграммами и не удержался, чтобы в горячей речи не очертить исторической важности переживаемых событий, необходимости поставить все точки над «и» и оказать полную нравственную поддержку генералу Корнилову.

Вместе с тем, во исполнение моего приказания он принял ряд мер по Бердичеву и Житомиру: усиление дежурной части 1-го Оренбургского казачьего полка, занятие караулами телеграфных станций, радиотелеграфа и типографий, временную цензуру газет и т.д. Штаб хотел было для ограждения личной безопасности главнокомандующего и правильной работы штаба потребовать 1-й Чехословацкий полк, но я отменил это распоряжение, не желая вызывать политических осложнений; и зазорно было русскому главнокомандующему защищаться от своих солдат чужими штыками.

Никаких решительно попыток к личному задержанию кого бы то ни было не делалось, так как это не имело смысла и совершенно не входило в наши намерения.

Между тем среди фронтовой революционной демократии произошел большой переполох. Члены фронтового комитета в эту ночь покинули общежитие и ночевали в частных домах на окраине города. Помощники комиссара были в командировке, а сам Иорданский в Житомире, и обращенные к нему Марковым приглашения прибыть в Бердичев как в эту ночь, так и 28-го не имели успеха: Иорданский все ожидал «коварной засады».

Наступила ночь, долгая ночь без сна, полная тревожного ожидания и тяжких дум. Никогда еще будущее страны не казалось таким темным, наше бессилие таким обидным и угнетающим. Разыгравшаяся далеко от нас историческая драма, словно отдаленная гроза бороздила кровавыми зарницами темные тучи, нависшие над Россией. И мы ждали...

Эта ночь не забудется никогда. Перед мысленным взором моим проходят, как живые, пережитые тогда впечатления. Чередующиеся доклады из телеграмм с прямого провода: «Соглашение, по-видимому, возможно... Надежд на мирный исход нет... Верховное главнокомандование предлагает Клембовскому... Клембовский, по-видимому, откажется...» Одна за другой копии телеграмм Временному правительству всех командующих армиями фронта, генерала Эльснера и еще нескольких старших начальников о присоединении их к мнению, высказанному в моей телеграмме. Трогательное исполнение *гражданского долга* среди атмосферы, насыщенной подозрительностью и ненавистью... Своего *солдатского* долга они уже выполнить не могли... И, наконец, голос отчаяния, раздавшийся из Ставки. Иначе нельзя назвать полученный ночью на 28-е приказ Корнилова:

«Телеграмма министра-председателя за №4163[1] во всей своей первой части является сплошной ложью: не я послал члена Государственной Думы В. Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя. Тому свидетель член Государственной Думы Алексей Аладьин.

Таким образом свершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества.

Русские люди! Великая Родина наша умирает. Близок час ее кончины.

Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри.

[1] Телеграмма эта в штабе не была получена. Керенский эпизод со Львовым формулирует так: «26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной Думы В.И. Львова с требованием передачи Временным правительством всей полноты военной и гражданской власти с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной».

Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, идите в храмы, молите Господа Бога об явлении величайшего чуда спасения родимой земли.

Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и я клянусь довести народ — путем победы над врагом — до Учредительного собрания, на котором он сам решит свою судьбу и выберет уклад новой государственной жизни.

Предать же Россию в руки ее исконного врага — германского племени — и сделать русский народ рабами немцев я не в силах. И предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли.

Русский народ, в твоих руках жизнь твоей Родины!»

Этот приказ был послан для сведения командующим армиями. На другой день получена была одна телеграмма Керенского, переданная в комиссариат, и с этого времени всякая связь наша с внешним миром была прервана[1].

Итак, жребий брошен. Между правительством и Ставкой выросла пропасть, перейти которую было уже невозможно.

* * *

На другой день, 28-го, революционные учреждения, видя, что им решительно ничего не угрожает, проявили лихорадочную деятельность. В Житомире под председательством Иорданского заседали местные войсковые комитеты и представители социалистических партий. Делегаты фронтового комитета, не оправившиеся еще от испуга, пространно докладывали совещанию, как давно уже назревала в Бердичеве контрреволюция, какая делалась подготовка, как разбивались все усилия комитета привлечь в общее русло «революционной жизни» казаков 1-го Оренбургского полка и т.д. Иорданский принял на себя «военную власть», произвел в

[1] 29-го утром случайно попала еще телеграмма генерал-квартирмейстера Ставки, в которой опять высказывалась надежда на мирный исход.

Житомире ряд ненужных арестов среди старших чинов главного управления снабжений и за своей подписью, от имени своего, революционных организаций и губернского комиссара выпустил воззвание, в котором весьма подробно, языком обычных прокламаций излагалось, как генерал Деникин замыслил «возвратить старый режим и лишить русский народ Земли и Воли».

В то же время в Бердичеве производилась такая же энергичная работа под руководством фронтового комитета. Шли беспрерывно заседания всех организаций и обработка типичных тыловых частей гарнизона. Здесь обвинение было выставлено комитетом другое: «Контрреволюционная попытка главнокомандующего, генерала Деникина, свергнуть Временное правительство и восстановить на престоле Николая II». Прокламации такого содержания во множестве распространялись между командами, расклеивались на стенах и разбрасывались с мчавшихся по городу автомобилей. Нервное напряжение росло, улица шумела. Члены комитета в своих отношениях к Маркову становились все резче и требовательнее. Получены были сведения о возникших волнениях на Лысой горе. Штаб послал туда офицеров для разъяснения обстановки и возможного умиротворения. Один из них — чешский офицер поручик Клецандо, который должен был побеседовать с командами пленных австрийцев, — подвергся насилию со стороны русских солдат и сам легко ранил одного из них. Это обстоятельство еще более усилило волнение.

Из окна своего дома я наблюдал, как на Лысой горе собирались толпы солдат, как потом они выстроились в колонну, долго, часа два митинговали, по-видимому, все не решаясь на что-то. Наконец, колонна, заключавшая в себе эскадрон ординарцев (бывших полевых жандармов), запасную сотню и еще какие-то вооруженные команды, с массой красных флагов и в предшествии двух броневых автомобилей двинулась к городу. При появлении броневика, угрожавшего открыть огонь, оренбургская казачья сотня, дежурившая возле штаба и дома главнокомандующего, ускакала наметом. Мы оказались всецело во власти революционной демократии.

Вокруг дома были поставлены «революционные часовые»; товарищ председателя комитета Колчинский ввел в дом четырех вооруженных «товарищей» с целью арестовать генерала Маркова, но потом заколебался и ограничился оставлением в приемной комнате начальника штаба двух «экспертов» из фронтового комитета для контроля его работы; правительству послана радиотелеграмма: «Генерал Деникин и весь его штаб подвергнуты в его ставке личному задержанию. Руководство деятельностью войск в интересах обороны временно оставлено за ними, но строго контролируется делегатами комитетов».

Начались бесконечно длинные, томительные часы. Их не забудешь. И не выразишь словами той глубокой боли, которая охватила душу.

В 4 часа 29-го Марков пригласил меня в приемную, куда пришел помощник комиссара Костицын с 10—15 вооруженными комитетчиками и прочел мне «приказ комиссара Юго-западного фронта Иорданского», в силу которого я, Марков и генерал-квартирмейстер Орлов подвергались предварительному заключению под арестом за попытку вооруженного восстания против Временного правительства. Литератору Иорданскому, по-видимому, стало стыдно применять аргументы «Земли», «Воли» и «Николая II», предназначенные исключительно для разжигания страстей толпы.

Я ответил, что сместить главнокомандующего может только Верховный главнокомандующий или Временное правительство, что комиссар Иорданский совершает явное беззаконие, но что я вынужден подчиниться насилию.

Подъехали автомобили в сопровождении броневиков. Мы с Марковым сели. Пришлось долго ждать сдававшего дела Орлова возле штаба. Мучительное любопытство прохожих. Потом поехали на Лысую гору. Автомобиль долго блуждал, останавливаясь у разных зданий. Подъехали, наконец, к гауптвахте; прошли сквозь толпу человек в сто, ожидавшую там нашего приезда и встретившую нас взглядами, полными ненависти, и грубой бранью. Нас развели по отдельным карцерам. Костицын весьма любезно предложил мне прислать необходимые вещи; я резко отказался от всяких его услуг. Дверь захлопнулась, с шумом повернулся ключ, и я остался один.

Через несколько дней ликвидировали Ставку. Корнилов, Лукомский, Романовский и другие были отвезены в Быховскую тюрьму.

Революционная демократия праздновала победу.

А в те же дни государственная власть широко открывала двери петроградских тюрем и выпускала на волю многих влиятельных большевиков, дабы дать им возможность гласно и открыто вести дальнейшую работу по уничтожению Российского государства.

1 сентября Временным правительством был арестован генерал Корнилов, а 4 сентября Временным правительством отпущен на свободу Бронштейн-Троцкий. Эти две даты Россия должна запомнить.

Камера №1. Десять квадратных аршин пола. Окошко с железной решеткой. В двери небольшой глазок. Нары, стол и табурет. Дышать тяжело — рядом зловонное место. По другую сторону камера №2, там Марков; ходит крупными нервными шагами. Я почему-то помню до сих пор, что он делает по карцеру три шага, я ухитряюсь по кривой делать семь. Тюрьма полна неясных звуков. Напряженный слух разбирается в них и мало-помалу начинает улавливать ход жизни, даже настроения. Караул (кажется, охранной роты); люди грубые, мстительные.

Раннее утро. Гудит чей-то голос. Откуда? За окном, уцепившись за решетку, висят два солдата. Они глядят жестокими злыми глазами и истерическим голосом произносят тяжелые ругательства. Бросили в открытое окно какую-то гадость. От этих взглядов некуда уйти. Отворачиваюсь к двери. Там в глазок смотрит другая пара ненавидящих глаз, оттуда также сыплется отборная брань. Я ложусь на нары и накрываю голову шинелью. Лежу так часами. Весь день один за другим сменяются «общественные обвинители» у окна и у дверей — стража свободно допускает всех. И в тесную душную конуру льется непрерывным потоком зловонная струя слов, криков, ругательств, рожденных великой темнотой, слепой ненавистью и бездонной грубостью. Словно пьяной блевотиной облита вся душа, и нет спасения, нет выхода из этого нравственного застенка. О чем они? «Хотел открыть фронт»... «Продался немцам»... Приводили и цифру — «за двадцать тысяч рублей»... «Хотел лишить земли и воли»... Это — не свое, это — комитетское. Главнокомандующий, генерал, барин — вот это свое! «Попил нашей кровушки, покомандовал, гноил нас в тюрьме, теперь наша воля. Сам посиди за решеткой... Барствовал, раскатывал в автомобилях — теперь попробуй полежать на нарах с. с... Недолго тебе осталось... Не будем ждать, пока сбежишь — сами своими руками задушим»... Меня они — эти тыловые воины — почти не знали. Но все, что накапливалось годами, столетиями в озлобленных сердцах против нелюбимой власти, против неравенства классов, против личных обид и своей, по чьей-то вине изломанной жизни, — все это выливалось теперь наружу с безграничной жестокостью. И чем выше стоял тот, кого считали врагом народа, чем больше было падение, тем сильнее была вражда толпы, тем больше было удовлетворение видеть его в своих руках. А за кулисами народной сцены стояли режиссеры, подогревающие и гнев и восторги народные, не верившие в злодейство лицедеев, но допускавшие даже их гибель для вящего реализма действия и во славу своего сектантского догматизма. Впрочем, эти мотивы в партийной политике назывались «тактическими соображениями»...

Я лежал закрытый с головой шинелью и под градом ругательств старался дать себе ясный ответ:

— За что?

Проверка этапов жизни... Отец — суровый воин с добрейшим сердцем. До 30 лет — крепостной крестьянин; сдан в рекруты; после 22 лет тяжелой солдатской службы николаевских времен добился чина прапорщика. Вышел в отставку майором. Детство мое — тяжелое, безотрадное. Нищета — 45 рублей пенсии в месяц. Смерть отца. Еще тяжелее — 25 рублей пенсии матери. Юность — в учении и в работе на хлеб. Вольноопределяющийся в казарме, на солдатском котле. Офицерство. Академия. Беззаконный выпуск. Жалоба, поданная государю на всесильного военного министра. Возвращение во 2-ю артиллерийскую бригаду. Борьба с отживающей группой старых крепостников; обвинение ими в демагогии. Генеральный штаб. Цензовое командование ротой в 183-м Пултусском полку. Вывел окончательно руко-

прикладство. Неудачный опыт «сознательной дисциплины». Да, господин Керенский, и это было в молодости... Отменил негласно дисциплинарные взыскания: «Следите друг за другом, останавливайте малодушных. Ведь вы же хорошие люди. Докажите, что можно служить без палки». Кончилось командование: рота за год вела себя средне, училась плохо и лениво. После моего ухода старый сверхсрочный фельдфебель Сцепура собрал роту, поднял многозначительно кулак в воздух и произнес внятно и раздельно:

— Теперь вам не капитан Деникин. Поняли?..

— Так точно, господин фельдфебель.

Рота, рассказывали потом, скоро поправилась.

Потом манчжурская война. Боевая работа. Надежды на возрождение армии. Открытая борьба в удушаемой печати с верхами армии против косности, невежества, привилегий и произвола; борьба за офицерскую и солдатскую долю. Время было суровое — вся служба, вся военная карьера была поставлена на карту... Командование полком. Непрестанные заботы об улучшении солдатского быта. Теперь уже после Пултусского опыта — требовательность по службе, но и оберегание человеческого достоинства солдата. Как будто понимали тогда друг друга и не были чужими. Опять война. Железная дивизия. Близость к стрелку, общая работа. Штаб всегда возле позиции, чтобы делить с войсками и грязь, и тесноту, и опасности. Потом длинный страдный путь, полный славных боев, в которых общая жизнь, общие страдания и общая слава сроднили еще более и создали взаимную веру и трогательную близость.

Нет, я не был никогда врагом солдату.

Я сбросил с себя шинель и, вскочив с нар, подошел к окну, у которого на решетке повисла солдатская фигура, изрыгавшая ругательства.

— Ты лжешь, солдат! Ты не свое говоришь! Если ты не трус, укрывшийся в тылу, если ты был в боях, ты видел, как умели умирать твои офицеры. Ты видел, что они...

Руки разжались, и фигура исчезла. Я думаю — просто от сурового окрика, который, невзирая на беспомощность узника, оказывал свое атавистическое действие.

В окне и в дверном глазке появились новые лица...

Впрочем, не всегда мы встречали одну наглость. Иногда сквозь напускную грубость наших тюремщиков видно было чувство неловкости, смущение и даже жалость. Но этого чувства стыдились. В первую холодную ночь, когда у нас не было никаких вещей, Маркову, забывшему захватить пальто, караульный принес солдатскую шинель; но через полчаса — самому ли стыдно стало своего хорошего порыва, или товарищи пристыдили — взял обратно. В случайных заметках Маркова есть такие строки: «Нас обслуживают два пленных австрийца... Кроме них нашим метрдотелем служит солдат, бывший финляндский стрелок (русский), очень добрый и заботливый человек. В первые дни и ему туго приходилось — товарищи не давали прохода; теперь ничего, поуспокоились. Заботы его о нашем питании прямо трогательны, а новости умилительны по наивности. Вчера он заявил мне, что будет скучать, когда нас увезут... Я его успокоил тем, что скоро на наше место посадят новых генералов — ведь еще не всех извели»...

Тяжко на душе. Чувство как-то раздваивается: я ненавижу и презираю толпу — дикую, жестокую, бессмысленную; но к солдату чувствую все же жалость: темный, безграмотный, сбитый с толку человек, способный и на гнусное преступление и на высокий подвиг!

Скоро несение караульной службы поручили юнкерам 2-й житомирской школы прапорщиков. Стало значительно легче в моральном отношении. Не только сторожили узников, но и охраняли их от толпы. А толпа не раз, по разным поводам собиралась возле гауптвахты и дико ревела, угрожая самосудом. В доме наискось спешно собиралась в таких случаях дежурная рота, караульные юнкера готовили пулеметы. Помню, что в спокойном и ясном сознании опасности, когда толпа особенно бушевала, я обдумал и свой способ самозащиты: на столике стоял тяжелый графин с водой; им можно проломить череп первому ворвавшемуся в камеру; кровь ожесточит и опьянит «товарищей», и они убьют меня немедленно, не предавая мучениям...

Впрочем, за исключением таких неприятных часов, жизнь в тюрьме шла равмеренно, методично; было тихо и покойно; физические стеснения тюремного режима, после

тягот наших походов и в сравнении с перенесенными нравственными испытаниями, — сущие пустяки. В наш быт вносили разнообразие небольшие приключения: иногда какой-нибудь юнкер-большевик, став у двери, передает новости часовому — громко, чтобы было слышно в камере, — что на последнем митинге товарищи Лысой горы, потеряв терпение, решили окончательно покончить с нами самосудом и что туда нам и дорога. Другой раз Марков, проходя по коридору, видел юнкера-часового, опершегося на ружье, у которого градом сыпались слезы из глаз: ему стало жалко нас... Какой странный, необычайный сентиментализм для нашего звериного времени...

Две недели я не выходил из камеры на прогулку, не желая стать предметом любопытства «товарищей», окружавших площадку перед гауптвахтой и рассматривавших арестованных генералов, как экспонаты в зверинце... Никакого общения с соседями. Много времени для самоуглубления и размышления.

А из дома напротив каждый день, когда я открываю окно, не знаю, друг или враг выводит высоким тенором песню:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

ГЛАВА XXXVII
В БЕРДИЧЕВСКОЙ ТЮРЬМЕ. ПРИЕЗД «БЕРДИЧЕВСКОЙ» ГРУППЫ АРЕСТОВАННЫХ В БЫХОВ

В тюрьму, кроме меня и Маркова, участие которых в событиях определяется предыдущими главами, были заключены следующие лица:

3) Командующий Особой армией генерал от инфантерии Эрдели.

4) Командующий 1-й армией генерал-лейтенант Ванновский.

5) Командующий 7-й армией генерал-лейтенант Селивачев.

6) Главный начальник снабжений Юго-западного фронта генерал-лейтенант Эльснер.

Виновность перечисленных лиц заключалась в высказанной ими солидарности с моей телеграммой №145, а последнего, кроме того, в выполнении моих приказаний об изолировании фронтового района в отношении Киева и Житомира.

7, 8) Помощники генерала Эльснера генералы Павский и Сергиевский — лица, уже абсолютно не имевшие никакого отношения к событиям.

9) Генерал-квартирмейстер штаба фронта генерал-майор Орлов — израненный, сухорукий, — человек робкий и только исполнявший в точности приказания начальника штаба.

10) Поручик чешских войск Клецандо, ранивший 28 августа солдата на Лысой горе.

11) Штаб-ротмистр князь Крапоткин — старик свыше 60 лет, доброволец, комендант поезда главнокомандующего. Совершенно не был посвящен в события. В случайной беседе его с одним из наших адъютантов выяснилось, что в его распоряжении имеется дисциплинированная поездная охранная команда, которой и сменили за несколько дней до 27-го большевистскую охрану дома главнокомандующего. Кроме того, князь Крапоткин говорил всем солдатам «ты», считая, что они ему годятся во внуки. Других преступлений следствие ему не инкриминировало.

Вскоре генералы Селивачев, Павский и Сергиевский были отпущены. Князю Крапоткину объявили об отсутствии состава преступления 6 сентября, но выпустили только 23-го, когда выяснилось, что нас не будут судить в Бердичеве. Для обвинения нас в мятеже нужно было сообщество из восьми человек, никак не меньше. Наши противники были очень заинтересованы в этой цифре, желая соблюсти приличия... Впрочем, отдельно от нас, при комендантском управлении содержался в запасе и даже был впоследствии отвезен в Быхов еще один арестованный — военный чиновник Будилович, немощный телом, но бодрый духом юноша, который позволил себе однажды сказать гневной толпе, что она не стоит и мизинца тех, кого заушает[1]... Больше ничего преступного за ним никто не числил. В единственном номере газеты, слу-

[1] Проделал с Добровольческой армией кубанские походы и служил ей до самой смерти от сыпного тифа в 1920 году.

чайно, а может быть умышленно попавшем в мою камеру, на второй или третий день ареста я прочел указ Временного правительства правительствующему сенату от 29 августа:

«Главнокомандующий армиями Юго-западного фронта генерал-лейтенант Деникин отчисляется от должности главнокомандующего с преданием суду за мятеж.

Министр-председатель А. Керенский.

Управляющий военным министерством Б. Савинков».

Такие же указы в тот же день отданы были о генералах Корнилове, Лукомском, Маркове и Кислякове. Позднее состоялся приказ об отчислении генерала Романовского.

На второй или третий день ареста на гауптвахте появилась приступившая к опросу следственная комиссия, под наблюдением главного полевого прокурора фронта генерала Батога, под председательством помощника комиссара Костицына и в составе членов:

заведующего юридической частью комиссариата подполковника Шестоперова;

члена киевского военно-окружного суда подполковника Франка;

членов фронтового комитета прапорщика Удальцова и младшего фейерверкера Левенберга.

Мое показание, в силу фактических обстоятельств дела, было совершенно кратко и сводилось к следующим положениям: 1) все лица, арестованные вместе со мною, ни в каких активных действиях против правительства не участвовали; 2) все распоряжения, отдававшиеся по штабу в последние дни в связи с выступлением генерала Корнилова, исходили от меня; 3) я считал и считаю сейчас, что деятельность Временного правительства преступна и гибельна для России; но тем не менее восстания против него не поднимал, а, послав свою телеграмму №145, предоставил Временному правительству поступить со мной как ему заблагорассудится.

Позднее главный военный прокурор Шабловский, ознакомившись со следственным делом и с той обстановкой, которая создалась вокруг него в Бердичеве, пришел в ужас от «неосторожной редакции» показания.

Уже к 1 сентября Иорданский доносил военному министерству, что следственной комиссией обнаружены документы, устанавливающие наличие давно подготовлявшегося заговора... Вместе с тем литератор Иорданский запросил правительство, может ли он по вопросу о направлении дел арестованных генералов действовать в пределах закона, *сообразно с местными обстоятельствами,* или же обязан руководствоваться какими-либо *политическими соображениями* центральной власти. Ему был дан ответ, что действовать надлежит, не считаясь ни с чем, как только с законом, и... *принимая во внимание обстоятельства на местах*[1].

В силу такого разъяснения Иорданский решил предать нас военно-революционному суду, для чего от одной из подчиненных мне ранее дивизий фронта был приготовлен состав суда, а общественным обвинителем назначен член исполнительного комитета Юго-западного фронта штабс-капитан Павлов.

Таким образом, интересы компетентности, нелицеприятия и беспристрастия были соблюдены.

Иорданский был так заинтересован в скорейшем осуждении меня и заключенных со мной генералов, что 3 сентября предложил комиссии, не ожидая выяснения обстановки во всем ее объеме, передавать дела в военно-революционный суд по группам, по мере выяснения виновности.

Костицын, зайдя в мою камеру, от имени Маркова предложил мне обратиться совместно с ним к Маклакову, с предложением принять на себя нашу защиту. На посланную телеграмму Маклаков ответил согласием. Кроме того, наши близкие, жившие в Киеве, не рассчитывая на своевременность прибытия Маклакова из-за расстройства железных дорог и торопливости Иорданского, пригласили трех киевских присяжных поверенных[2]. Лично меня вопрос этот интересовал весьма условно, так как приговор бердичевского суда был предрешен его составом, обстановкой и настроениями.

[1] Официальное сообщение.

[2] Возможно, что находятся в Советской России, поэтому имен не называю.

Нас угнетала сильно полная неизвестность о том, что делается во внешнем мире. Изредка Костицын знакомил нас с важнейшими событиями, но в комиссарском освещении эти события действовали на нас еще более угнетающе. Ясно было, однако, что власть разваливается окончательно, большевизм все более поднимает голову, и гибель страны по-видимому непредотвратима.

Около 8–10 сентября, когда следствие было закончено, обстановка нашего заключения несколько изменилась. В камеры стали попадать почти ежедневно газеты, сначала тайно, потом, с 22-го, официально. Вместе с тем после смены одной из караульных рот мы решили произвести опыт: во время прогулки по коридору я подошел к Маркову и заговорил с ним; часовые не препятствовали; с тех пор каждый день мы все принимались беседовать друг с другом; иногда караульные требовали прекращения разговора, и мы немедленно замолкали; но чаще нам не мешали. Во второй половине сентября допущены были и посетители; любопытство «товарищей» Лысой горы было, по-видимому, уже удовлетворено, их собиралось возле площадки меньше, и я выходил ежедневно на прогулку, имея возможность видеть всех заключенных и иногда перекинуться с ними двумя-тремя словами. Теперь, по крайней мере, мы знали, что делается на свете, а возможность общения друг с другом устраняла гнетущее чувство одиночества.

Из газет мы узнали, как генерал Алексеев «после тяжкой внутренней борьбы» принял должность начальника штаба при «главковерхе» Керенском, — очевидно, для спасения корниловцев; и как через неделю он вынужден был оставить должность, не будучи в силах работать в тягостной атмосфере нового командования.

Узнали подробно о судьбе Корнилова и о том, что возбужден вопрос о переводе нашей «бердичевской группы» в Быхов, для совместного суда с корниловской группой. Это известие вызвало живейший интерес и большое удовлетворение. С этого дня главной темой бесед был вопрос: повезут или оставят.

Спрошенный мною по этому поводу при обходе камер Костицын ответил:

— Ничего нельзя сделать. Ваш же генерал Батог настаивает на том, что перевод недопустим, и что суд должен состояться без замедления здесь, в Бердичеве.

Прокурор Батог — друг революционной демократии! Как странно: реакционер и крепостник, славившийся жестокостью своих приговоров; орудие внутренней политики в военном суде старого режима. Тот Батог, который 28 августа, придя ко мне с докладом и глядя в сторону своими бегающими глазами, патетическим голосом говорил по поводу моей телеграммы правительству:

— Наконец-то этим *предателям* сказано во всеуслышание прямое и заслуженное ими слово.

Хотел было поделиться с Костицыным своим недоумением, но воздержался: не стоит нарушать трогательной дружбы Батога и Иорданского.

Из газет мы узнали также, что расследование корниловского дела поручено верховной следственной комиссии под председательством главного военно-морского прокурора Шабловского[1].

Около 9 сентября вечером возле здания тюрьмы послышался сильный шум и яростные крики многочисленной толпы. Через некоторое время в мою камеру вошли четыре не знакомых мне лица — смущенных и чем-то сильно взволнованных. Назвали себя председателем и членами верховной следственной комиссии по делу Корнилова[2]. Шабловский несколько прерывающимся еще голосом начал говорить о том, что цель их прибытия — вывезти нас в Быхов; и что по тому настроению, которое создалось в Бердичеве, по неистовству толпы, которая сейчас окружает тюрьму, они видят, что здесь нет никаких гарантий правосудия, — одна только дикая месть. Он прибавил, что для комиссии нет никаких сомнений в недопустимости выделения нашего дела и в необходимости единого суда над

---

[1] Члены комиссии: военные юристы, полковники Раупах и Украинцев, судебный следователь Колоколов и представители центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов Либер и Крохмаль.

[2] Шабловский, Колоколов, Раупах и Украинцев.

всеми соучастниками корниловского выступления. Но что комиссариат и комитеты противятся этому всеми средствами. Поэтому комиссия предлагает мне, не пожелаю ли я дополнить показания какими-нибудь фактами, которые бы еще более наглядно устанавливали связь нашего дела с корниловским. Ввиду невозможности производить сейчас допрос под рев собравшейся толпы, решили отложить его до другого дня.

Комиссия ушла; вскоре разошлась и толпа.

Что я мог сказать им нового? Только разве о той ориентировке, которую мне дал Корнилов в Могилеве и через посланца? Но это было сделано в порядке исключительного доверия Верховного главнокомандующего, которое я ни в каком случае не позволил бы себе нарушить. Поэтому некоторые детали, которые на другой день я добавил к прежним показаниям, не утешили комиссию и не удовлетворили, по-видимому, присутствовавшего при дознании вольноопределяющегося члена фронтового комитета.

Мы тем не менее ждали с нетерпением освобождения из бердичевского застенка. Но надежды наши омрачались все больше и больше. Газета фронтового комитета методически подогревала страсти гарнизона; доходили сведения, что на заседаниях всех комитетов выносятся постановления не выпускать нас из Бердичева; шла сильнейшая агитация комитетчиков среди тыловых команд гарнизона, собирались митинги, проходившие в крайне приподнятом настроении.

Цель комиссии Шабловского не была достигнута. Как оказалось, еще в начале сентября на требование Шабловского не допускать сепаратного суда над «бердичевской группой» Иорданский ответил, что, «не говоря уже о переводе генералов куда бы то ни было, даже малейшая отсрочка суда над ними грозит неисчислимыми бедствиями для России — осложнением на фронте и новой гражданской войной в тылу», и что как по политическим, так и по тактическим соображениям необходимо судить нас в Бердичеве, в кратчайший срок и военно-революционным судом»[1].

[1] Интервью Шабловского в «Речи».

Фронтовой комитет и Киевский совет рабочих и солдатских депутатов, невзирая на все убеждения, уговоры, доказательства посетившего их заседание Шабловского и членов его комиссии, на перевод наш не согласились. На обратном пути в Могилеве состоялось совещание по этому вопросу в составе Керенского, Шабловского, Иорданского и Батога. Все, кроме Шабловского, пришли к совершенно недвусмысленному заключению, что фронт потрясен, солдатская масса волнуется и требует жертвы и что необходимо дать возможность разрядиться сгущенной атмосфере ценой хотя бы неправосудия. Шабловский вскочил и заявил, что он не допустит такого циничного отношения к праву и справедливости.

Помню, что рассказ этот вызвал во мне недоумение. Не стоит спорить о точках зрения. Но если по убеждению министра-председателя в вопросе охранения государственности допустимо руководствоваться велением целесообразности, то в чем заключалась вина Корнилова?

14 сентября состоялся диспут в Петрограде, в последней «апелляционной инстанции» — в военном отделе центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов между Шабловским и представителем комитета Юго-западного фронта, поддержанным всецело Иорданским. Последние заявили, что если военно-революционный суд не состоится на месте, в Бердичеве, в течение ближайших пяти дней, то можно опасаться самосуда над арестованными. Центральный комитет, однако, согласился с доводами Шабловского и свою резолюцию в этом духе послал в Бердичев.

Итак, организованный самосуд был устранен. Но в руках революционных учреждений Бердичева был еще другой способ ликвидации «бердичевской группы», способ легкий и безответственный — вспышка народного гнева...

Пронесся слух, что нас везут 23-го, потом сообщили, что отъезд состоится 27-го в 5 часов вечера с пассажирского вокзала.

Вывести арестованных без огласки не представляло никакого труда: на автомобиле, пешком в юнкерской колонне, наконец, в вагоне: узкоколейный путь подходил вплотную к

гауптвахте и выводил на широкую колею вне города и вокзала[1]. Но такой способ переезда не соответствовал намерениям комиссариата и комитетов.

Генерал Духонин из Ставки запросил штаб фронта, есть ли в Бердичеве надежные части, и предложил прислать отряд для содействия нашему переезду. Штаб фронта отказался от помощи. Главнокомандующий генерал Володченко накануне, 26-го, выехал на фронт.

Вокруг этого вопроса искусственно создавался большой шум и нездоровая атмосфера ожидания и любопытства.

Керенский прислал комиссариату телеграмму: «Уверен в благоразумии гарнизона, который может из среды своей выбрать двух представителей для сопровождения».

С утра комиссариат устроил объезд всех частей гарнизона, чтобы получить согласие на наш перевод.

Распоряжением комитета был назначен митинг всего гарнизона на 2 часа дня, то есть за три часа до нашего отправления, и притом на поляне непосредственно возле нашей тюрьмы. Грандиозный митинг действительно состоялся; на нем представители комиссариата и фронтового комитета объявили распоряжение о нашем переводе в Быхов, предусмотрительно сообщили о часе отъезда и призывали гарнизон... к благоразумию. Митинг затянулся надолго и, конечно, не расходился. К пяти часам тысячная возбужденная толпа окружила гауптвахту, и глухой ропот ее врывался внутрь здания.

Среди офицеров юнкерского батальона 2-й житомирской школы прапорщиков, несших в этот день караульную службу, был израненный в боях штабс-капитан Бетлинг, служивший до войны в 17-м пехотном Архангелородском полку, которым я командовал[2]. Бетлинг попросил начальство школы заменить своей полуротой команду, назначенную для

[1] В тот же день утром нас водили без караула при одном сопровождающем в баню, за версту от гауптвахты, и это не привлекло ничьего внимания.

[2] Этот доблестный офицер потом один из первых добровольцев — в Первом корниловском кубанском походе в 1918 году был вновь изранен и весной 1919 года умер от сыпного тифа.

сопровождения арестованных на вокзал. Мы все оделись и вышли в коридор. Ждали час, два...

Митинг продолжался. Многочисленные ораторы призывали к немедленному самосуду. Истерически кричал солдат, раненный поручиком Клецандо, и требовал его головы. С крыльца гауптвахты уговаривали толпу помощники комиссара Костицын и Григорьев. Говорил и милый Бетлинг — несколько раз, горячо и страстно. О чем он говорил, нам не было слышно.

Наконец, бледные и взволнованные Бетлинг и Костицын пришли ко мне.

— Как прикажете? Толпа дала слово не трогать никого; только потребовала, чтобы до вокзала вас вели пешком. Но ручаться ни за что нельзя.

Я ответил:

— Пойдем.

Снял шапку, перекрестился: Господи благослови!

Толпа неистовствовала. Мы — семь человек, окруженные кучкой юнкеров во главе с Бетлингом, шедшим рядом со мной с обнаженной шашкой в руке, — вошли в тесный коридор среди живого человеческого моря, сдавившего нас со всех сторон. Впереди — Костицын и делегаты (12—15 человек), выбранные от гарнизона для конвоирования нас. Надвигалась ночь. И в ее жуткой тьме, прорезываемой иногда лучами прожектора с броневика, двигалась обезумевшая толпа; она росла и катилась, как горящая лавина. Воздух наполняли оглушительный рев, истерические крики и смрадные ругательства. Временами их покрывал громкий тревожный голос Бетлинга:

— Товарищи, слово дали!.. Товарищи, слово дали!...

Юнкера, славные юноши, сдавленные со всех сторон, своею грудью отстраняют напирающую толпу, сбивающую их жидкую цепь. Проходя по лужам, оставшимся от вчерашнего дождя, солдаты набирали полные горсти грязи и ею забрасывали нас. Лицо, глаза, уши заволокло зловонной липкой жижицей. Посыпались булыжники. Бедному калеке генералу Орлову разбили сильно лицо; получил удар Эрдели, и я — в спину и голову.

По пути обмениваемся односложными замечаниями. Обращаюсь к Маркову:

— Что, милый профессор, конец?!

— По-видимому...

Пройти прямым путем к вокзалу толпа не позволила. Повели кружным путем, в общем верст пять, по главным улицам города. Толпа росла. Балконы бердичевских домов полны любопытными; женщины машут платками. Слышатся сверху веселые гортанные голоса:

— Да здравствует свобода!

Вокзал залит светом. Там новая громадная толпа в несколько тысяч человек. И все слилось в общем море — бушующем, ревущем. С огромным трудом нас провели сквозь него под градом ненавидящих взглядов и ругательств. Вагон. Рыдающий в истерике и посылающий толпе бессильные угрозы офицер — сын Эльснера, — и любовно успокаивающий его солдат-денщик, отнимающий револьвер; онемевшие от ужаса две женщины — сестра и жена Клецандо, вздумавшие проводить его... Ждем час, другой. Поезд не пускают — потребовали арестантский вагон. Его на станции не оказалось. Угрожают расправиться с комиссарами. Костицына слегка помяли. Подали товарный вагон, весь загаженный конским пометом. Какие пустяки! Переходим в него без помоста; несчастного Орлова с трудом подсаживают в вагон; сотни рук сквозь плотную и стойкую юнкерскую цепь тянутся к нам. Уже десять часов вечера... Паровоз рванул. Толпа загудела еще громче. Два выстрела. Поезд двинулся.

Шум все глуше, тусклее огни. Прощай, Бердичев!

Керенский пролил слезу умиления над самоотвержением «наших спасителей». Так он называл не юнкеров, а комиссаров и комитетчиков. «Какая ирония судьбы! Генерал Деникин, арестованный как сообщник Корнилова, был спасен от ярости обезумевших солдат членами исполнительного комитета Юго-западного фронта и комиссарами Временного правительства. Я помню, с каким волнением мы с незабвенным Духониным читали отчет о том, как горсть этих храбрых людей конвоировала арестованных генералов сквозь толпу тысяч солдат, жаждавших их крови»[1]... Зачем клеветать на мертвого? Духонин, наверное, волновался за участь арестованных не меньше, чем за... судьбу их революционной стражи...

Римский гражданин Понтий Пилат лукаво улыбался сквозь тьму времен...

ГЛАВА XXXVIII
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РЕВОЛЮЦИИ

Не скоро еще история в широком, беспристрастном освещении даст нам картину русской революции. Той перспективы, которая сейчас открывается нашему взору, достаточно только для того, чтобы уяснить себе некоторые частные явления ее и, быть может, отвергнуть сложившиеся вокруг них предрассудки и заблуждения.

Революция была неизбежна. Ее называют *всенародной*. Это определение правильно лишь в том, что революция явилась результатом недовольства старой властью решительно всех слоев населения. Но в вопросе о формах ее и достижениях между ними не было никакого единомыслия, и глубокие трещины должны были появиться с первого же дня после падения старой власти.

Революция имела образ многоликий. Для крестьян — переход к ним земли; для рабочих — переход к ним прибылей; для либеральной буржуазии — изменение политических условий жизни страны и умеренные социальные реформы; для революционной демократии — власть и максимум социальных достижений; для армии — безначалие и прекращение войны.

Когда царская власть пала, в стране до созыва Учредительного собрания не стало вовсе легальной, имевшей какое-либо юридическое обоснование власти. Это совершенно естественно и вытекает из самой природы революции. Но люди, добросовестно заблуждаясь или сознательно ис-

[1] «Дело Корнилова».

кажая истину, создали заведомо ложные теории о «всенародном происхождении Временного правительства» или о «полномочности Совета рабочих и солдатских депутатов» как органа, представляющего якобы «всю русскую демократию». Какую растяжимую совесть нужно иметь, чтобы, исповедуя демократические принципы и восставая жестоко против малейшего уклонения от четырехчленной формулы и других правоверных условий законности выборов, считать полномочным органом демократии Петроградский совет или Съезд советов, порядок избрания которых имел необыкновенно упрощенный и односторонний характер. Недаром Петроградский совет долгое время стеснялся даже опубликовать списки своих членов. Что касается верховной власти, то, не говоря уже о «всенародности» ее происхождения от «частного заседания Государственной Думы», техника ее построения была настолько несовершенной, что повторяющиеся кризисы могли прервать само существование ее и всякие следы преемственности. Наконец, действительно «всенародное» правительство не могло бы остаться одиноким, всеми оставленным на волю кучки захватчиков власти. То самое правительство, которое в мартовские дни с такою легкостью получило всеобщее признание. Признание, но не фактическую поддержку.

После 3 марта и до Учредительного собрания *всякая* верховная власть носила признаки самозванства, и *никакая* власть не могла бы удовлетворить все классы населения из-за непримиримости их интересов и неумеренности их вожделений.

Ни одна из правивших инстанций (Временное правительство, Совет) не имела за собой надлежащей опоры *большинства*. Ибо это большинство (80%) устами своего представителя в Учредительном собрании 1918 года сказало: «У нас, крестьян, нет разницы между партиями; партии борются за власть, а наше мужицкое дело — одна земля». Но если бы даже, предрешая волю Учредительного собрания, Временное правительство удовлетворило полностью эти желания большинства, оно не могло рассчитывать на немедленное подчинение его общегосударственным интересам и на *активную* поддержку: занятое черным переделом, сильно от-

влекавшим и элементы фронта, крестьянство вряд ли дало бы государству добровольно силы и средства к его устроению, то есть много хлеба и много солдат — храбрых, верных и законопослушных. Перед правительством оставались бы и тогда неразрешимые для него вопросы: невоюющая армия, непроизводительная промышленность, разрушаемый транспорт и... партийные междоусобицы.

Оставим, следовательно, в стороне всенародное и демократическое происхождение временной власти. Пусть она будет самозванной, как это имело место в истории всех революций и всех народов. Но самый факт широкого признания Временного правительства давал ему огромное преимущество перед всеми другими силами, оспаривавшими его власть. Необходимо было, однако, чтобы эта власть стала настолько сильной, по существу абсолютной, самодержавной, чтобы, подавив силой (быть может, оружием), все противодействия, довести страну до Учредительного собрания, избранного в обстановке, не допускающей подмены народного голоса, и охранить это собрание.

Мы слишком злоупотребляем элементом стихийности, как оправданием многих явлений революции. Ведь та «расплавленная стихия», которая с необычайной легкостью сдунула Керенского, попала в железные тиски Ленина—Бронштейна и вот уже более трех лет не может вырваться из большевистского застенка.

Если бы такая жестокая сила, но одухотворенная разумом и истинным желанием народоправства, взяла власть и, подавив своеволие, в которое обратилась *свобода*, донесла бы эту власть до Учредительного собрания, то русский народ не осудил бы ее, а благословил. В таком же положении окажется всякая временная власть, которая примет наследие большевизма; и судить ее будет Россия не по юридическим признакам происхождения, а по делам ее.

Почему свержение негодной власти старого правительства есть подвиг, во славу которого Временное правительство предполагало соорудить в столице монумент, а попытка свержения негодной власти Керенского, предпринятая Корниловым, исчерпавшим все легальные средства, и после провокации министра-председателя, есть мятеж?

Но потребность сильной власти далеко не исчерпывается периодом до Учредительного собрания. Ведь бывшее собрание 1918 года напрасно взывало к стране уже не о подчинении, а просто об избавлении его от физического насилия буйной матросской вольницы. И ни одна рука не поднялась на защиту его. Пусть то собрание, рожденное в стихии бунта и насилия, не выражало воли русского народа, а будущее отразит ее более совершенно. Полагаю, однако, что даже люди с наиболее восторженной верой в непогрешимость демократического принципа не закрывают глаза на неограниченные возможности будущего, которое явится наследием небывалого в истории и никем еще не исследованного физического и психологического перерождения народа.

Кто знает, не придется ли демократический принцип, самую власть Учредительного собрания и его веления утверждать железом и новой кровью?

Так или иначе, состоялось *внешнее* признание власти Временного правительства. В работе правительства трудно и бесполезно разделять то, что исходило от доброй воли и искреннего убеждения его, а что носит печать насильственного воздействия Совета. Если Церетели имел право заявить, что «не было случая, чтобы в важных вопросах Временное правительство не шло на соглашение», то мы также имеем право отождествлять их работу и ответственность.

Вся эта деятельность вольно или невольно имела характер разрушения, не созидания. Правительство отменяло, упраздняло, расформировывало, разрешало... В этом заключался центр тяжести его работы. Россия того периода представляется мне ветхим, старым домом, требовавшим капитальной перестройки. За отсутствием средств и в ожидании строительного периода (Учредительного собрания), зодчие начали вынимать подгнившие балки, причем часть их вовсе не заменили, другую подменили легкими, временными подпорками, а третью надтачали свежими бревнами без скреп; последнее средство оказалось хуже всех. И здание рухнуло. Причинами такого строительства были: первое — отсутствие целостного и стройного плана у русских политических партий, вся энергия, напряжение мысли и воли которых были направлены, главным образом, к разрушению существовавшего ранее строя. Ибо нельзя назвать практическим планом отвлеченные эскизы партийных программ; они, скорее, законные или фальшивые дипломы на право строительства. Второе — отсутствие у новых правящих классов самых элементарных технических знаний в деле управления, как результат систематического, проводившегося веками отстранения их от этих функций. Третье — непредрешение воли Учредительного собрания, требовавшее, во всяком случае, героических мер к ускорению его созыва, но вместе с тем и не менее героических мер для обеспечения действительной свободы выборов. Четвертое — одиозность всего, на чем лежала печать старого режима, хотя бы оно имело в основе здоровую сущность. Пятое — самомнение политических партий, представлявших каждая порознь «волю всего народа» и отличавшихся крайней непримиримостью к противникам.

Вероятно, еще долго можно было бы продолжать этот перечень, но я остановлюсь на одном факте, имеющем значение, далеко не ограничивающееся одним лишь прошлым. Революцию ждали, ее готовили, ***но к ней не подготовился никто,*** ни одна из политических группировок. И революция пришла в нощи, застав их всех, как евангельских дев, со светильниками погашенными. Одной стихийностью событий нельзя все объяснить, все оправдать. Никто не создал заблаговременно общего плана каналов и шлюзов, для того чтобы наводнение не превратилось в потоп. Ни одна руководящая партия не имела программы для временного переходного периода в жизни страны, программы, которая по существу и по масштабу не могла ведь соответствовать нормальным планам строительства, как в системе управления, так и в области экономических и социальных отношений. Едва ли будет преувеличением сказать, что единственным активом в этом отношении к 27 марта 1917 года в руках прогрессивного и социалистического блоков оказался для первого — предназначение министром-председателем князя Львова, для второго — советы и приказ №1. Потом уже началось судорожное, бессистемное метание правительства и Совета.

К сожалению, эта разница, резко отличающая два периода — переходный и строительный, — две системы, две программы до сих пор недостаточно ярко представляются общественным сознанием.

Весь период активной борьбы с большевизмом прошел под знаком смешения этих двух систем, расхождения взглядов и неумения создать переходную форму власти.

По-видимому, и теперь антибольшевистские силы, углубляя свое политическое расхождение и строя планы на будущее, не готовятся к процессу восприятия власти после крушения большевизма, и подойдут к нему опять с голыми руками и мятущимся разумом. Только теперь процесс этот будет неизмеримо труднее. Ибо второй после «стихийности» мотив оправдания неуспеха революции — «наследие царского режима» — или, вернее, ошибки ее первостепенных деятелей значительно побледнели на фоне большевистского кровавого тумана, застлавшего русскую землю.

***

Перед новой властью (Временным правительством) встал капитальнейший вопрос — о войне. От решения его зависела участь страны. Решение в пользу сохранения союза и продолжения войны основывалось на побуждениях этических, в то время не вызывавших сомнений, и практических — до некоторой степени спорных. Ныне даже первые поколебались, после того как и союзники, и противники отнеслись с жестоким, циничным эгоизмом к судьбам России. Тем не менее для меня не подлежит сомнению правильность тогдашнего решения продолжать войну. Можно делать различные предположения по поводу возможностей сепаратного мира — был бы обязательно «Брест-Литовским» или мог оказаться менее тяжелым для государства и нашего национального самолюбия. Но надо думать, что этот мир, заключенный весною 1917 года, привел бы к расчленению России и экономическому ее разгрому (всеобщий мир за счет России) или дал бы полную победу центральным державам над нашими союзниками, что вызвало бы в их странах потрясения, несравненно более глубокие, чем переживает ныне германский народ. Как в том, так и в другом случае не создавалось никаких объективных данных для изменения к лучшему политических, социальных и экономических условий русской жизни и для уклонения в иную сторону путей русской революции. Только кроме большевизма Россия внесла бы в свой пассив ненависть побежденных на долгие годы.

Решив вести войну, надо было сохранить армию, допустив известный консерватизм в ее жизни. Такой консерватизм служит залогом устойчивости армии и той власти, которая на нее опирается. Если нельзя избегнуть участия армии в исторических потрясениях, то нельзя и обращать ее в арену политической борьбы, создавая вместо служебного начала — *преторианцев или опричников*, безразлично — царских, революционной демократии или партийных.

Но армию развалили.

На тех принципах, которые положила революционная демократия в основу существования армии, последняя ни строиться, ни жить не может. Не случайность, что все позднейшие попытки вооруженной борьбы против большевизма начинались с организации армии на нормальных началах военного управления, к которым постепенно старалось переходить и советское командование. Никакие стихийные обстоятельства, никакие ошибки военных диктатур и сил, им содействовавших и противодействовавших, повлекшие неудачу борьбы (об этом — правдивое слово впереди), не в состоянии затемнить этой непреложной истины. Не случайность также, что руководящие круги революционной демократии не могли создать никакой вооруженной силы, кроме жалкой пародии — «Народной армии» на так называемом «фронте Учредительного собрания». Именно это обстоятельство привело русскую социалистическую эмиграцию к теории непротивления, отрицания вооруженной борьбы, к сосредоточению всех надежд на внутреннее перерождение большевизма и свержение его какими-то бесплотными «силами самого народа», которые все-таки иначе как железом и кровью проявить себя не могут; «великая, бескровная» с начала и до конца тонет в крови.

Отмахнуться от огромного вопроса о воссоздании на твердых началах национальной армии — не значит решить его.

Что же? Со дня падения большевизма сразу наступит мир и благоволение в стране, развращенной рабством, горше татарского, насыщенной рознью, местью, ненавистью и... огромным количеством оружия? Или со дня падения русского большевизма отпадут своекорыстные вожделения многих иностранных правительств, а не усилятся еще больше, когда исчезнет угроза советской моральной заразы? Наконец, если бы даже вся старая Европа путем нравственного перерождения перековала мечи на орала, разве невозможно пришествие нового Чингисхана из недр той Азии, которая имеет вековые и неоплатные счета за Европой?

Армия возродится. Несомненно.

Но, потрясенная в своих исторических основах и традициях, она, подобно былинным русским богатырям, немало времени будет стоять на распутье, тревожно вглядываясь в туманные дали, еще окутанные предрассветной мглой, и чутко прислушиваясь к неясному шуму голосов, зовущих ее. И среди обманчивых зовов с великим напряжением будет искать подлинный голос... своего народа.

Содержание

ГЛАВА I. Устои старой власти: вера, царь и Отечество ... 4
ГЛАВА II. Состояние старой армии перед революцией ... 20
ГЛАВА III. Старая армия и Государь ... 33
ГЛАВА IV. Революция в Петрограде ... 40
ГЛАВА V. Революция и царская семья ... 51
ГЛАВА VI. Революция и армия. Приказ №1 ... 61
ГЛАВА VII. Впечатления от Петрограда в конце марта 1917 года ... 74
ГЛАВА VIII. Ставка; ее роль и положение ... 82
ГЛАВА IX. Мелочи жизни в Ставке ... 96
ГЛАВА X. Генерал Марков ... 100
ГЛАВА XI. Власть: Дума, Временное правительство, командование, Совет рабочих и солдатских депутатов ... 109
ГЛАВА XII. Власть: борьба за власть большевиков, власть армии, идея диктатуры ... 123
ГЛАВА XIII. Деятельность Временного правительства: внутренняя политика, гражданское управление; город и деревня, аграрный вопрос ... 136
ГЛАВА XIV. Деятельность Временного правительства: продовольствие, промышленность, транспорт и финансы ... 153
ГЛАВА XV. Положение центральных держав к весне 1917 года ... 170
ГЛАВА XVI. Стратегическое положение русского фронта к весне 1917 года ... 176

ГЛАВА XVII. Вопрос о переходе русской армии в наступление ... 187
ГЛАВА XVIII. Военные реформы: генералитет и изгнание старшего командного состава ... 197
ГЛАВА XIX. «Демократизация армии»: управление, служба и быт ... 207
ГЛАВА XX. «Демократизация армии»: комитеты ... 215
ГЛАВА XXI. «Демократизация армии»: комиссары ... 232
ГЛАВА XXII. «Демократизация армии»: история «Декларации прав солдата» ... 239
ГЛАВА XXIII. Печать и пропаганда извне ... 264
ГЛАВА XXIV. Печать и пропаганда изнутри ... 280
ГЛАВА XXV. Состояние армии ко времени июльского наступления ... 290
ГЛАВА XXVI. Офицерские организации ... 310
ГЛАВА XXVII. Революция и казачество ... 321
ГЛАВА XXVIII. Национальные части ... 334
ГЛАВА XXIX. Суррогаты армии: «революционные», женские батальоны и т.д. ... 344
ГЛАВА XXX. Конец мая и начало июня в области военного управления. Уход Гучкова и генерала Алексеева. Мой уход из Ставки. Правление Керенского и генерала Брусилова ... 350
ГЛАВА XXXI. Служба моя в должности главнокомандующего армиями Западного фронта ... 361
ГЛАВА XXXII. Наступление русских армий летом 1917 года. Разгром ... 373
ГЛАВА XXXIII. Совещание в Ставке министров и главнокомандующих 16 июля ... 385
ГЛАВА XXXIV. Генерал Корнилов ... 404
ГЛАВА XXXV. Служба моя в должности главнокомандующего армиями Юго-западного фронта. Московское совещание. Падение Риги ... 415

ГЛАВА XXXVI. Корниловское выступление и отзвуки его на Юго-западном фронте ... 429
ГЛАВА XXXVII. В бердичевской тюрьме. Приезд «бердичевской» группы арестованных в Быхов ... 442
ГЛАВА XXXVIII. Некоторые итоги первого периода революции ... 453

АНТОН ИВАНОВИЧ

ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

Борьба генерала Корнилова
Август 1917 – апрель 1918

Воспоминания
Мемуары

МИНСК
ХАРВЕСТ
2002

УДК 947
ББК 63.3(2)
Д 33

Серия основана в 2000 году

Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.05.02.
Формат 84×108[1]/32. Печать высокая с ФПФ. Бумага офсетная. Усл. п. л. 21. Тираж 7000 экз.
Заказ 3177.

Деникин А. И.
Д 33 Очерки русской смуты: Борьба генерала Корнилова. Август 1917 — апрель 1918.— Мн.: Харвест, 2002.— 400 с. (Воспоминания. Мемуары).
ISBN 985-13-1147-2.

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872—1947), занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения.
В данной книге автор рассказывает о событиях, происходящих в России с августа 1917 года по апрель 1918-го: Корниловское движение и арест Корнилова, победа Керенского и финал его диктатуры, первые дни большевизма, формирование Добровольческой армии и вступление Деникина в командование ею.
Для широкого круга читателей.

УДК 947
ББК 63.3(2)

ISBN 985-13-1147-2

31 марта 1918 года русская граната, направленная рукой русского человека, сразила великого русского патриота. Труп его сожгли и прах развеяли по ветру.

За что? За то ли, что в дни великих потрясений, когда недавние рабы склонялись перед новыми владыками, он сказал им гордо и смело: «Уйдите, вы губите русскую землю»?

За то ли, что, не щадя жизни, с горстью войск, ему преданных, он начал борьбу против стихийного безумия, охватившего страну, и пал поверженный, но не изменивший долгу перед Родиной?

За то ли, что крепко и мучительно любил он народ, его предавший, его распявший?

Пройдут года, и к высокому берегу Кубани потекут тысячи людей поклониться праху мученика и творца идеи возрождения России. Придут и его палачи.

И палачам он простит.

Но одним не простит никогда.

Когда Верховный главнокомандующий томился в быховской тюрьме в ожидании шемякина суда, один из разрушителей русской храмины сказал: «Корнилов должен быть казнен; но когда это случится, я приду на могилу, принесу цветы и преклоню колена перед русским патриотом».

Проклятье им — прелюбодеям слова и мысли! Прочь их цветы! Они оскверняют святую могилу.

Я обращаюсь к тем, кто и при жизни Корнилова, и после смерти его отдавал ему цветы своей души и сердца, кто некогда доверил ему свою судьбу и жизнь:

Средь страшных бурь и боев кровавых останемся верными его заветам. Ему же — вечная память!

Речь, произнесенная автором в Екатеринодаре в 1919 году.

Брюссель, 1922 год

ГЛАВА I

РАСХОЖДЕНИЕ ПУТЕЙ РЕВОЛЮЦИИ. НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕВОРОТА

Широкое обобщение слагаемых сил революции в две равнодействующие — Временное правительство и Совет — допустимо в известной степени лишь в отношении первых месяцев революции. В дальнейшем течении ее происходит резкое расслоение в среде правящих и руководящих кругов, и месяцы июль и август дают уже картину многосторонней междоусобной борьбы. Наверху эта борьба идет еще в довольно отчетливых границах, разделяющих борющиеся стороны, но отражение ее в массах являет образ полного смешения понятий, неустойчивости политических взглядов и шения понятий, неустойчивости политических взглядов и хаоса в мыслях, чувствах и движениях. Иногда только, в дни серьезных потрясений, происходит вновь дифференциация, и вокруг двух борющихся сторон собираются самые разнородные и зачастую политически и социально враждебные друг другу элементы. Так было 3 июля (восстание большевиков) и 27 августа (выступление Корнилова). Но тотчас же по миновании острого кризиса внешнее единение, вызванное тактическими соображениями, распадается, и пути вождей революции расходятся.

Резкие грани прошли между тремя главенствующими учреждениями: Временным правительством, Советом (Центральным исполнительным комитетом) и Верховным командованием.

В результате длительного правительственного кризиса, вызванного событиями 3—5 июля, разгромом на фронте и непримиримой позицией, занятой либеральной демократией, в частности кадетской партией, в вопросе об образова-

нии власти[1], Совет вынужден был освободить формально министров-социалистов от ответственности перед собою и предоставить право Керенскому единолично формировать правительство. Объединенные центральные комитеты постановлением от 24 июля обусловили поддержку со стороны советов правительству соблюдением программы 8 июля и оставляли за собою право отзывать министров-социалистов в случае отклонения их деятельности от намеченных программой демократических задач. Но тем не менее факт известной эмансипации правительства от влияния советов как результат растерянности и ослабления руководящих органов революционной демократии в июльские дни не подлежит сомнению. Тем более что в состав 3-го правительства вошли социалисты или маловлиятельные, или, как Авксентьев (министр внутренних дел), Чернов (министр земледелия), Скобелев (министр труда), не сведущие в делах своего ведомства. Ф. Кокошкин в московском комитете партии кадетов говорил: «За месяц нашей работы в правительстве совершенно не было заметно влияния на него Совдепа... Ни разу не упоминалось о решениях Совдепа, постановления правительства не применялись к ним». И внешне взаимоотношения изменились: министр-председатель не то избегал, не то игнорировал Совет и Центральный комитет, не появляясь на их заседаниях и не давая им, как раньше, отчета[2].

Но борьба — глухая, напряженная — продолжалась, имея ближайшими поводами расхождение правительства и центральных органов революционной демократии в вопросах о начавшемся преследовании большевиков, репрессиях в армии, организации административной власти и т. д.

Верховное командование занимало отрицательную позицию как в отношении Совета, так и правительства. Как постепенно назревали такие отношения, говорилось ранее. Оставляя в стороне детали и поводы, обострявшие их, оста-

---

[1] Кадеты требовали создания власти, покоящейся «на общенациональной почве» и представленной лицами, «не ответственными ни перед какими организациями и комитетами».

[2] Был один раз за $1^1/_2$ месяца.

новимся на основной причине: генерал Корнилов стремился явно вернуть власть в армии военным вождям и ввести на территории всей страны такие военно-судебные репрессии, которые острием своим в значительной степени были направлены против советов и особенно против их левого сектора. Поэтому, не говоря уже о глубоком политическом расхождении, борьба советов против Корнилова являлась вместе с тем борьбой их за самосохранение. Тем более, что давно уже в руководящих органах революционной демократии капитальнейший вопрос обороны страны потерял свое самодовлеющее значение и, по свидетельству Станкевича, если иногда и выдвигался в Исполнительном комитете на первый план, «то только как средство для сведения других политических счетов». Совет и Исполнительный комитет требовали поэтому от правительства смены Верховного главнокомандующего и разрушения «контрреволюционного гнезда», каким в их глазах представлялась Ставка.

Керенский, фактически сосредоточивший в своих руках правительственную власть, очутился в особенно трудном положении: он не мог не понимать, что только меры сурового принуждения, предложенные Корниловым, могли еще, быть может, спасти армию, освободить окончательно власть от советской зависимости и установить внутренний порядок в стране. Несомненно, освобождение от советов, произведенное чужими руками или свершившееся в результате событий стихийных, снимавших ответственность с Временного правительства и Керенского, представлялось ему государственно полезным и желательным. Но добровольное принятие предуказанных командованием мер вызвало бы полный разрыв с революционной демократией, которая дала Керенскому имя, положение и власть и которая, невзирая на оказываемое ею противодействие, все же, как это ни странно, служила ему хоть и шаткой, но *единственной* опорой. С другой стороны, восстановление власти военного командования угрожало не реакцией (об этом Керенский часто говорил, хотя вряд ли серьезно в это верил), но, во всяком случае, перемещением центра влияния от социалистической к либеральной демократии, крушением социал-революционерской партийной политики и утратой преобладающего,

быть может и всякого, влияния его на ход событий. К этому присоединилась и личная антипатия между Керенским и генералом Корниловым, из которых каждый не стеснялся высказывать, подчас в весьма резкой форме, свое отрицательное отношение один к другому и ожидал встретить не только противодействие, но и прямое покушение с противной стороны. Так, генерал Корнилов опасался ехать к 10 августа в Петроград на заседание Временного правительства, ожидая почему-то смещения с поста и даже личного задержания. И когда все же по совету Савинкова и Филоненко он поехал, его сопровождал отряд текинцев, которые поставили пулеметы у входов в Зимний дворец во время пребывания там Верховного главнокомандующего. В свою очередь Керенский еще 13—14 августа в Москве в дни государственного совещания ожидал активного выступления со стороны приверженцев Корнилова и принимал меры предосторожности. Несколько раз Керенский возбуждал вопрос об удалении Корнилова, но, не встречая сочувствия этому решению ни в военном министерстве, ни в среде самого правительства, с тревогой ждал развития событий. Еще 7 августа помощник комиссара при Верховном главнокомандующем предупредил Корнилова, что вопрос об его отставке решен в Петрограде окончательно. Корнилов ответил: «Лично меня вопрос о пребывании на посту мало занимает, но я прошу довести до сведения кого следует, что такая мера вряд ли будет полезна в интересах дела, так как может вызвать в армии волнения».

Раскол не ограничивался вершинами власти: он шел глубже и шире, поражая бессилием ее органы.

Временное правительство представляло механическое соединение трех групп, не связанных между собой ни общностью задач и целей, ни единством тактики: министры-социалисты[1], либеральные министры[2] и отдельно триумвират в составе Керенского (эсер), Некрасова (радикальный демок-

[1] Авксентьев (эсер), Скобелев (социал-демократ), Пешехонов (национал-социалист), Чернов (эсер), Зарудный (эсер), Прокопович (социал-демократ), Никитин (социал-демократ).

[2] Ольденбург, Юренев, Кокошкин, Карташов (кадеты), Ефремов (радикальный демократ).

рат) и Терещенко (беспартийный). Если часть представителей первой группы находила зачастую общий язык и одинаковое государственное понимание с либеральными министрами, то Авксентьева, Чернова и Скобелева, сосредоточивших в своих руках все важнейшие ведомства, отделяла от них пропасть. Впрочем, значение обеих групп было довольно ничтожно, так как триумвират «самостоятельно решал все важнейшие вопросы вне правительства, и иногда даже решения их не докладывались последнему»[1]. Протесты министров против такого порядка управления, представлявшего совершенно не прикрытую диктатуру, оставались тщетными. В частности, свое расхождение с Корниловым и вопрос о предложенных им почти ультимативно мероприятиях Керенский старался всемерно изъять из обсуждения правительства.

Несколько в стороне от этих трех групп, вызывая к себе сочувствие либеральной, оппозицию социалистической и плохо скрытое раздражение триумвирата, стояло военное министерство Савинкова[2]. Савинков порвал с партией и с советами. Он поддерживал резко и решительно мероприятия Корнилова, оказывая непрестанное и сильное давление на Керенского, которое, быть может, увенчалось бы успехом, если бы вопрос касался только идеологии нового курса, а не угрожал Керенскому перспективой самоупразднения. Вместе с тем Савинков не шел до конца и с Корниловым, не только облекая его простые и суровые положения в условные внешние формы «завоеваний революции», но и отстаивая широкие права для военно-революционных учреждений — комиссаров и комитетов. Хотя он и признавал чужеродность этих органов в военной среде и недопустимость их в условиях нормальной организации, но, по-видимому, надеялся, что после прихода к власти комиссарами можно было назначать людей «верных», а комитеты взять в руки. А в то же время бытие этих органов служило известной страховкой против командного состава, без помощи которого Савинков

[1] Доклад Ф. Кокошкина 31 августа.

[2] Управляющий — Савинков, начальник политического отделения — Степун, комиссар при Ставке — Филоненко.

не мог достигнуть цели, но в лояльность которого по отношению к себе он плохо верил. Характер «содружества» и сотрудничества генерала Корнилова и Савинкова определяется тем небезынтересным фактом, что приближенные Корнилова считали необходимым во время приездов Савинкова в Ставку, и в особенности во время их бесед с глазу на глаз, принимать некоторые меры предосторожности. Так было не только в конце августа в Могилеве, но и в начале июля в Каменец-Подольске.

Савинков мог идти с Керенским против Корнилова и с Корниловым против Керенского, холодно взвешивая соотношение сил и степень соответствия их той цели, которую он преследовал. Он называл эту цель спасением Родины; другие считали ее личным стремлением его к власти. Последнего мнения придерживались и Корнилов, и Керенский.

Раскол созрел и в руководящих органах революционной демократии. Центральный исполнительный комитет советов все более расходился с Петроградским советом как по принципиальным вопросам, в особенности о конструкции верховной власти, так и из-за претензий обоих на роль высшего представительства демократии. Более умеренный Центральный комитет не мог уже состязаться пленительными для масс лозунгами с Петроградским советом, неудержимо шедшим к большевизму. В среде самого совета по основным политическим вопросам все чаще обозначалась прочная коалиция меньшевиков-интернационалистов, левых социал-революционеров и большевиков. Если обострялись сильно грани между двумя основными подразделениями социал-демократии, то еще резче проявилось разложение другой главенствующей партии — социал-революционеров, из которой после июльских дней, не порывая еще окончательно формальной связи со старой партией, выделилось левое крыло ее, наиболее яркой представительницей которого была Спиридонова. В течение августа левые эсеры, возросши численно в советской фракции чуть ли не до половины ее состава, стали в резкую оппозицию и к партии, и к кругам, единомышленным с Центральным исполнительным комитетом, требуя полного разрыва с правительством, отмены исключительных зако-

нов, немедленной социализации земли и сепаратного перемирия с центральными державами.

В такой нервной, напряженной атмосфере протекал весь июль и август. Трудно учесть и разграничить зависимость двух аналогичных явлений полного разброда среди правящих и руководящих верхов, с одной стороны, и народной массы — с другой. Был ли разброд наверху прямым отражением того состояния брожения страны, в котором еще не могло определиться конечных целей, стремлений и воли народной, или, наоборот болезнь верхов поддерживала и углубляла процесс брожения? В результате, однако, не только не появлялось ни малейших признаков оздоровления, а наоборот — все стороны народной жизни быстро и неизменно шли к полному расстройству.

Участились и внешние проявления этого расстройства, особенно в обороне страны. 20 августа разразилась рижская катастрофа, и германцы явно начали готовиться к большой десантной операции, угрожавшей Ревелю и Петрограду. В то время, когда производительность военной промышленности падала в угрожающих размерах (снарядное производство — на 60%), 14 августа произошел грандиозный взрыв пороховых заводов и артиллерийских складов в Казани, вызванный несомненно злонамеренно; им было уничтожено до миллиона снарядов и до 12 тысяч пулеметов. Во второй половине августа назревала всеобщая железнодорожная забастовка, угрожавшая параличом нашему транспорту, голодом на фронте и всеми сопряженными с этим явлением роковыми последствиями. В армии участились случаи самосудов и неповиновения. То словоблудие, которое текло непрерывно из Петрограда и там отравляло и опьяняло мысль и совесть верхов революционной демократии, на широкой арене народной жизни обращалось в прямое действие. Целые области, губернии, города порывали административную связь с центром, обращая русское государство в ряд самодовлеющих и самоуправляющихся территорий, связанных с центром почти исключительно... неимоверно возросшей потребностью в государственных денежных знаках. В этих «новообразованиях» постепенно пропадал вызванный первым подъемом революции интерес к поли-

тическим вопросам и разгоралась социальная борьба, принимая все более сумбурные, жестокие, негосударственные формы.

А на фоне этой разрухи надвигалось новое потрясение — вновь и явно подготовлявшееся восстание большевиков. Оно было приурочено к концу августа. Если тогда могли возникать сомнения и колебания в оценке положения и грозящей опасности, в выборе «равнодействующей» и в томительных поисках жизнеспособной коалиции, то теперь, когда август 1917 года — уже далекое прошлое, сделавшееся достоянием истории, не может быть никаких сомнений по крайней мере в одном: что только власть, одухотворенная решимостью беспощадной борьбы с большевизмом, могла спасти страну, почти обреченную.

Этого не мог сделать Совет, органически связанный со своим левым крылом. Не мог и не хотел, «не допуская борьбы с целым политическим течением» и лицемерно требуя от правительства прекращения «незаконных арестов и преследования», применяемых к «представителям крайних течений социалистических партий»[1].

Этого не мог и не хотел сделать и Керенский — товарищ председателя Совета, грозивший некогда большевикам «железом и кровью». Даже 24 октября, то есть накануне решительного большевистского выступления, признав наконец «действия русской политической партии (большевиков) предательством и изменой Российскому государству», Керенский, говоря о захвате власти в петроградском гарнизоне военно-революционным комитетом, пояснил: «Но и здесь военная власть *по моему указанию* хотя и было наличие всех данных для того, чтобы приступить к решительным и энергичным мерам, считала надобным дать сначала людям возможность понять свою сознательную или бессознательную ошибку»[2].

Таким образом, стране предстояла альтернатива: без борьбы и в самом непродолжительном времени подпасть под власть большевиков или выдвинуть силу, желающую и способную вступить с ними в решительную борьбу.

[1] Резолюции 24 июля и 20 августа.

[2] Речь в «Совете республики».

ГЛАВА II

НАЧАЛО БОРЬБЫ: ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ, КЕРЕНСКИЙ И САВИНКОВ. КОРНИЛОВСКАЯ «ЗАПИСКА» О РЕОРГАНИЗАЦИИ АРМИИ

В борьбе между Керенским и Корниловым, которая привела к таким роковым для России результатам, замечательно отсутствие прямых политических и социальных лозунгов, которые разъединяли бы борющиеся стороны. Никогда ни до выступления, ни во время его, ни официально, ни в порядке частной информации Корнилов не выдвигал определенной «политической программы». Он ее не имел. Тот документ, который известен под этим названием, является, как увидим ниже, плодом позднейшего коллективного творчества быховских узников. Точно так же в сфере практической деятельности Верховного главнокомандующего, облеченного неотмененными правами в области гражданского управления на территории войны, он избегал всякого вмешательства в правительственную политику. Единственный приказ его в этой сфере имел в виду земельную анархию и, не касаясь правовых взаимоотношений землевладельцев, устанавливал лишь судебные репрессии за насильственные действия, угрожавшие планомерному продовольствованию армии вследствие «самоуправного расхищения государственного достояния на театре военных действий». Достоин внимания ответ Корнилова явившимся к нему подольским землевладельцам[1]:

— Вооруженную силу для охраны урожая, необходимого для армии, я дам. Я не постесняюсь применять эту вооруженную силу по отношению к тем безумцам, которые ради удовлетворения низменных инстинктов губят армию. Но я не задумаюсь также расстрелять любого из вас в случае обнаружения нерадения или злоумышления при сборе нынешнего урожая.

Несколько неожиданно отсутствие яркой политической физиономии у вождя, который должен был взять временно

[1] В начале июля на Юго-Западном фронте.

в свои руки руль русского государственного корабля. Но при создавшемся к осени 1917 года распаде русской общественности и разброде политических течений казалось, что только такого рода нейтральная сила при наличии некоторых благоприятных условий могла иметь шансы на успех в огромном численно, но рыхлом интеллектуально сочетании народных слоев, стоявших вне рамок «революционной демократии». Корнилов был солдат и полководец. Этим званием своим он гордился и ставил его всегда на первый план. Мы не можем читать в душах. Но делом и словом, подчас откровенным, не предназначавшимся для чужого слуха, он в достаточной степени определил свой взгляд на предстоящую ему роль: не претендуя на политическую непогрешимость, он смотрел на себя как на могучий таран, который должен был пробить брешь в заколдованном круге сил, облепивших власть, обезличивших и обескровивших ее. Он должен был очистить эту власть от элементов негосударственных и ненациональных и во всеоружии силы, опирающейся на восстановленную армию, поддержать и провести эту власть до изъявления подлинной народной воли.

Но, слишком, быть может, терпимый, доверчивый и плохо разбиравшийся в людях, он не заметил, как уже с самого зарождения его идеи ее также облепили со всех сторон элементы малогосударственные, иногда просто беспринципные. В этом был глубокий трагизм деятельности Корнилова.

Политический облик Корнилова остался для многих неясным и теперь, три с лишним года спустя после его смерти. Вокруг этого вопроса плетутся легенды, черпающие свое обоснование в характере того окружения, которое не раз творило его именем свою волю.

На этом шатком и слишком растяжимом основании, представленном в широком диапазоне — от мирного террориста через раскаявшегося трудовика до друга Иллиодора, можно выводить какие угодно узоры, с одинаковым вероятием полного искажения истины. Монархист — республиканец... Реакционер — социалист... Бонапарт — Пожарский... «Мятежник» — народный герой... Такими противоположениями полны отзывы о покойном вожде. И если «селянский министр» Чернов некогда в своем возмутительном воззвании

объяснял планы Корнилова желанием «задушить свободу и лишить крестьян земли и воли», то митрополит Антоний в слове, посвященном памяти Корнилова, незадолго до оставления русской армией Крыма упрекнул погибшего... в «увлечении революционными идеями».

Верно одно: Корнилов не был ни социалистом, ни реакционером. Но напрасно было бы в пределах этих широких рамок искать какой-либо партийный штамп. Подобно преобладающей массе офицерства и командного состава он был далек и чужд всякого партийного догматизма; по взглядам, убеждениям примыкал к широким слоям либеральной демократии; быть может, не углублял в своем сознании мотивов ее политических и социальных расхождений и не придавал большого значения тем из них, которые выходили за пределы профессиональных интересов армии.

Корнилова-правителя история не знает. Но Корнилова — Верховного главнокомандующего мы знаем. Этот Корнилов более, чем другие военачальники, имел смелости и мужества возвысить свой голос в защиту растлеваемой армии и поруганного офицерства. Он мог поддерживать правительства и Львова и Керенского, независимо от сочувствия или несочувствия направлению их политики, если бы она вольно и невольно не клонилась, по его убеждению, к явному разрушению страны. Он отнесся бы совершенно отрицательно в принципе, но, вероятно, не поднял бы оружия даже и против однородного социалистического правительства, если бы такое появилось у власти и проявило бы сознательное отношение к национальным интересам страны. Корнилов не желал идти «ни на какие авантюры с Романовыми», считая, что «они слишком дискредитировали себя в глазах русского народа»; но на заданный ему мною вопрос — что, если Учредительное собрание выскажется за монархию и восстановит павшую династию? — он ответил без колебания:

— Подчинюсь и уйду.

Но Корнилов не может мириться с тем, что «будущее народа — в слабых безвольных руках», что армия разлагается, страна стремительно катится в пропасть, и, «как истинный сын русского народа», в неравной борьбе без колебания и без сомнения «несет в жертву Родине самое большое, что он

имеет — свою жизнь»[1]. Этой, по крайней мере, непреложной истины не могут отрицать ни друзья, ни враги его.

Официально борьба Корнилова с Керенским (точнее, с триумвиратом) происходила на почве разногласия их по отношению к мероприятиям, предложенным в известной записке Корнилова.

Еще 30 июля на совещании с участием министров путей сообщения и продовольствия Корнилов высказал взгляд: «Для окончания войны миром, достойным великой, свободной России, нам необходимо иметь три армии: армию в окопах, непосредственно ведущую бой; армию в тылу — в мастерских и на заводах, изготовляющую для армии фронта все ей необходимое; и армию железнодорожную, подвозящую это к фронту»... «Не касаясь вопроса, какие меры необходимы для оздоровления рабочей и железнодорожной армий, предоставляя разобраться в этом специалистам», Корнилов считал, однако, что «для правильной работы этих армий они должны быть подчинены той же железной дисциплине, которая устанавливается для армий фронта»[2].

В записке, приготовленной для доклада Временному правительству, указывалось на необходимость следующих главнейших мероприятий: введения на всей территории России в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-революционных судов с применением смертной казни за ряд тягчайших преступлений, преимущественно военных; восстановления дисциплинарной власти военных начальников; введения в узкие рамки деятельности комитетов и установления их ответственности перед законом.

История прохождения этой записки весьма характерна для понимания взаимоотношений главных действующих лиц разыгравшейся в конце августа драмы и свидетельствует о том двоедушии, которое проявил Керенский и которое сделало неизбежным окончательный разрыв между ним и верховным командованием.

---

[1] Из «Обращения к народу» 28 августа 1917 года.

[2] Показание следственной комиссии.

3 августа Корнилов прибыл в Петроград для доклада Временному правительству своей записки и вручил ее Керенскому. Ознакомившись с запиской, Керенский выразил принципиальное согласие с указанными в ней мерами, но совместно с Савинковым уговорил Корнилова не представлять записку правительству, а выждать окончания аналогичной работы военного министерства для согласования с ней. Было условлено, что после этого Корнилов вновь приедет сделать доклад правительству. В своей книге[1] Керенский мотивирует этот шаг... заботами об успешном прохождении мероприятий и о самом Верховном главнокомандующем: «Доклад был написан в таком тоне, что я считал невозможным предъявить его Временному правительству. Он заключал в себе ряд мер, большая часть которых была вполне приемлема; но они были так сформулированы и поддержаны такими аргументами, что оглашение доклада привело бы к обратным результатам. И если доклад стал бы достоянием гласности, невозможно было бы сохранить Корнилова на посту Верховного главнокомандующего».

А 4 августа, то есть на другой день, копия доклада находилась уже в редакционном портфеле советского официоза «Известий», и с 5-го началось печатание выдержек из него и одновременно широкая травля Верховного командования.

На заседании 3 августа произошел инцидент, произведший глубокое впечатление на Корнилова. Детали и мотивы его все три участника (Корнилов, Керенский и Савинков) трактуют различно, но сущность его заключалась в следующем: Керенский остановил доклад Корнилова, когда последний коснулся вопроса о преднамеченной наступательной операции на Юго-западном фронте, а Савинков прислал записку, выражавшую неуверенность в том, что «сообщаемые Верховным главнокомандующим государственные и союзные тайны не станут известны противнику в товарищеском порядке»[1]. Корнилов «был страшно поражен и возмущен тем, что в Совете министров Российского государства Верховный главнокомандующий не может без опаски касаться таких вопросов, о которых он в интересах обороны страны считает необходимым поставить правительство в известность»[2].

[1] «Прелюдия большевизма» (англ. изд.). Савинков был, по его словам, против оглашения записки по мотивам необходимости расширить программу военных мероприятий «до размеров общегосударственных и внести в осуществление ее элемент осторожной последовательности».

Корнилов уехал, унося с собою мало надежды на удовлетворение своих требований, тем более что в ближайшие дни в советской и вообще в крайней левой печати раздалось настойчивое требование об удалении его с поста, — требование, нашедшее живой отклик и в мыслях министра-председателя, который «почти ежедневно возвращался к вопросу о смещении генерала Корнилова, причем предполагалось, что Верховным главнокомандующим будет сам Керенский»[3].

Все эти разногласия в вопросах реорганизации армии были скрыты Керенским от Временного правительства, члены которого узнавали о них из газет, а некоторые министры либеральной группы, очевидно, и в военном министерстве, с которым поддерживали более тесные отношения.

Между тем военное министерство изготовило свой доклад, который, сохранив некоторые общие положения корниловской записки, вносил существенные изменения в ее основную мысль. Они касались не только формы изложения и мотивировки — более льстивых и, следовательно, более приемлемых для революционной демократии, — но и расширяли значительно права военно-революционных учреждений и вводили весьма важные законопроекты о милитаризации железных дорог и торгово-промышленных предприятий, работающих на оборону. Общая схема взаимоотношений в армии в представлении составителя 2-й записки верховного комиссара Филоненко рисовалась в таком виде: «Комитеты должны выражать собою мнение армии, комиссары — осуществлять в армии революционную госу-

[1] Из бесед с Савинковым Корнилов понял, что предупреждение касалось министра земледелия Чернова.

[2] Показание следственной комиссии.

[3] Савинков. «К делу Корнилова».

дарственную власть, а командный состав должен по-прежнему ведать частью оперативной и подготовкой войск»[1]. Впоследствии в положении о комитетах проект министерства, вопреки решительному протесту Корнилова, предусматривал даже участие комитетов в аттестовании начальников. Таким образом, 2-я записка если и вводила суровые репрессии, то по главному вопросу — организации армии — не шла далее закрепления существующего порядка.

Не может быть, однако, сомнения, что вся плохо прикрытая игра между Керенским и военным министерством велась вовсе не по поводу редакции доклада или даже существенных его положений, а исключительно вокруг одного основного вопроса — о введении смертной казни в тылу. Тем более что в бурных заседаниях солдатской и рабочей секций Совета, обычно очень хорошо осведомленного о том, что делается в кругах правительства, еще 7 и 8 августа было предъявлено требование отмены смертной казни как меры, «преследующей явно контрреволюционные цели».

Корнилов отказался ехать к 10 августа в Петроград, ссылаясь на серьезное положение на фронте. Действительными причинами были опасение подвоха со стороны Керенского и сложившееся убеждение о безнадежности проведения корниловских мероприятий. Этим только и можно объяснить предложение Корнилова Савинкову «взять на себя представление доклада Временному правительству с теми изменениями, которые желательно в нем сделать по мнению управляющего военным министерством». Однако Савинков и Филоненко переубедили Корнилова, и он выехал 9-го, не зная, что вслед ему послана телеграмма министра-председателя, указывающая, что его «прибытие не представляется необходимым и что Временное правительство снимает с себя ответственность за последствия его отсутствия с фронта».

9 августа во время серьезного объяснения Савинкова с Керенским последний говорил, что «никогда и ни при каких обстоятельствах не подпишет законопроект о смертной казни в тылу». Савинков счел себя вынужденным просить об

[1] «Армия и флот». 1 августа 1917 года.

отставке и заявил, что «если военный министр не желает подписать докладной записки (Временному правительству), то ее подпишет Верховный главнокомандующий»[1].

10 августа Корнилов приехал в Петроград и в военном министерстве ознакомился с возникшим конфликтом. Сопровождавший Верховного генерал Плющевский-Плющик (редактировавший первый доклад) доложил Корнилову краткое содержание 2-й записки (Филоненко), указав, что фактическая сторона ее почти целиком взята из первой, но выводы поражают прямой противоположностью.

— Генерал Корнилов не возразил ничего, — рассказывал Плющевский-Плющик. — Молчал и Савинков. Но зато Филоненко вертелся мелким бесом и старался убедить меня, что это только первый шаг и что мы его делаем в ногу. Я резко ответил, что если первый шаг мы и делаем в ногу, т. е. признаем недопустимым развал фронта, то уже со второго идем вперебой.

Корнилов был поставлен в трудное положение: подписать записку — и тем признать своими некоторые еретические взгляды той части ее, которая касалась реорганизации армии; или отклонить — следовательно, порвать с Савинковым, дать моральную поддержку Керенскому в их конфликте и допустить отставку Савинкова.

Решение нужно было принять немедленно, и Корнилов принял первое решение.

Керенский, под предлогом того, что он не ожидал приезда Верховного, не знаком с запиской (2-й) и не может допустить доклад Временному правительству о военных мероприятиях, не изучив его основательно, ограничил обсуждение доклада рамками триумвирата.

Странный характер имело это заседание: составитель 2-й записки не был на него допущен; *представлял* Корнилов, не имевший нравственного основания защищать положения большей ее части; *читал* ее Плющевский-Плющик, с глубоким возмущением относившийся к ее содержанию; *слушал* триумвират, относившийся отрицательно к записке, преду-

[1] Савинков. «К делу Корнилова».

бежденно к ее авторам и сводивший весь вопрос к личной политической борьбе.

На заседании было установлено, что первый, корниловский, проект более приемлем, что «правительство соглашается на предложенные меры, вопрос же об их осуществлении является вопросом темпа правительственных мероприятий; что касается милитаризации железных дорог и заводов и фабрик, работающих на оборону, то до обсуждения этого вопроса, ввиду его сложности и слишком резкой постановки в доклад, он подвергнется предварительному обсуждению в надлежащих специальных ведомствах»[1]. С последним условием Корнилов согласился. Оставил первую записку и уехал на вокзал, увезя с собою вторую. Но там на перроне его ждали уже Савинков и Филоненко, и после разговора с ними Корнилов отправил Временному правительству с вокзала вторую записку. Характерная мелочь: у Филоненко предусмотрительно нашелся для этой цели и соответствующий конверт...

Политическая арена оказалась много сложнее и много грязнее, чем поле битвы. Славного боевого генерала запутывали в ней.

Члены Временного правительства узнали о приезде Верховного только 10-го из газет, и на вопрос Ф. Кокошкина министр-председатель обещал, что доклад состоится вечером. Но день прошел, и 11-го также из газет они узнали о предстоящем оставлении своего поста Савинковым ввиду разногласий с военным министром и невозможности провести известные военные реформы, а также с большим изумлением прочли, что Корнилов ночью отбыл в Ставку.

В этот же день Кокошкин предъявил министру-председателю ультимативное требование, чтобы правительство немедленно было ознакомлено с запиской Корнилова, угрожая в противном случае выходом в отставку всей кадетской группы (Кокошкин, Юренев, Карташев, Ольденбург). Вечером состоялось заседание, на котором Керенский прочел *первую* записку Корнилова и дал по ней весьма уклончивые объяснения. Распространение на тыл военно-революционных судов и смертной казни «подчеркивалось как существенное разногласие, хотя тут же Керенский указывал, что он не возражает по существу, но что правительство введет эти суды и смертную казнь тогда, когда само сочтет это нужным». В общем, весь вопрос был отложен до окончания Московского государственного совещания, причем Керенский дал обещание сказать в своей речи о необходимости предложенных Корниловым мер для оздоровления армии и тыла. В части, касающейся реорганизации армии, он не исполнил обещания вовсе. По вопросу же об оздоровлении тыла Керенский произнес фразы, которые скорее звучали вызовом каким-то неведомым врагам, чем свидетельствовали о принятом твердом решении: «...Но пусть знает каждый, что эта мера (смертная казнь) — великое искушение, что эта мера — великое испытание. И пусть никто не осмеливается на этом пункте ставить нам какие-либо безусловные требования. Мы этого не допустим. Мы говорим только: если стихийное разрушение, развал, малодушие и трусость, предательское убийство, нападение на мирных жителей, сожжение строений, грабежи — если все это будет продолжаться, несмотря на наши предупреждения, то хватит сил у Временного правительства бороться так, как то окажется нужным».

[1] Показания Корнилова следственной комиссии.

Керенский на Московском совещании пытался лишить Верховного главнокомандующего слова. Когда офицер, посланный к министру почты и телеграфа Никитину, ведавшему распорядком совещания, просил указать время для выступления Верховного главнокомандующего российских армий, Никитин позволил себе даже поглумиться:

— А от какой организации будет говорить генерал Корнилов?

Корнилов настоял, однако, на своем требовании. Ограниченный в свободе выбора тем для своей речи, он, как известно, сказал кратко, в широком обобщении и не касаясь тех вопросов, которые казались Керенскому слишком острыми.

17 августа по различным соображениям, и в том числе по настойчивому представлению Корнилова, министр-председатель отклонил отставку Савинкова и согласился на образование межведомственной комиссии для разработки про-

екта о военно-революционных судах и смертной казни в тылу.

20 августа Керенский, по докладу Савинкова, согласился на «объявление Петрограда и его окрестностей на военном положении и на прибытие в Петроград военного корпуса для реального осуществления этого положения, т. е. для борьбы с большевиками»[1].

Кокошкин подтверждает, что постановление о военном положении в Петрограде действительно было принято правительством, но не приводилось в осуществление. Как видно из протокола о пребывании в Ставке управляющего военным министерством Савинкова, день объявления военного положения приурочивался к подходу к столице конного корпуса, причем все собеседники — как чины Ставки, так и Савинков, и полковник Барановский (начальник военного кабинета Керенского) — пришли к заключению, что «если на почве предстоящих событий кроме выступления большевиков выступят и члены Совета, то придется действовать и против них»; причем «действия должны быть самые решительные и беспощадные».

С какой бы стороны ни подходить к повороту, свершившемуся в мировоззрении Керенского 17 августа, он знаменовал собою полный разрыв с революционной демократией. Тем более что 18-го после небывало бурного пленарного заседания Петроградского совета была вынесена подавляющим большинством голосов резолюция о полной отмене смертной казни; при этом резолюция эта была предложена... фракцией эсеров, то есть партией, к которой принадлежал Керенский.

Было ясно, что введение новых законов вызовет взрыв среди советов. Как оценивал положение Керенский, можно видеть из диалога между ним и В. Львовым, сообщенного последним.

— Негодование (против Совета) перельется через край и выразится в резне.

— Вот и отлично! — воскликнул Керенский, вскочив и потирая руки. — Мы скажем тогда, что не могли сдержать

[1] Савинков. «К делу Корнилова».

общественного негодования, умоем руки и снимем с себя ответственность...[1]

Обнаружение обстоятельств этого «грехопадения» Керенского произвело впоследствии большое впечатление на советские круги, а член следственной комиссии Либер[2], ознакомившись с ними во время допроса Корнилова в Быхове, схватив себя руками за голову, патетически воскликнул:

— Боже мой, ведь это чистая провокация!..

Законопроект был готов 20-го, но министр-председатель раздумал и упорно отказывался подписать его. Так прошло время до 26-го, когда Керенский после интимного разговора с Савинковым — разговора, в котором, по-видимому, звучала скрытая угроза, — согласился представить законопроект в тот же день на обсуждение Временного правительства.

Такое постоянное резкое расхождение военного министра (Керенского) с управляющим его ведомством (Савинковым) — лицом, им избранным и ему подчиненным — представляется на первый взгляд малопонятным. Какие цепи связывали их? Почему Керенский, с такой изумительной легкостью свергавший Верховных, не мог расстаться с управляющим министерством? Только потому, что Савинков даже тогда, когда решительно ни на какие политические круги не опирался, импонировал ему своим террористическим прошлым. Керенский ненавидел Савинкова и боялся его. Лучше было иметь Савинкова своим строптивым подчиненным, чем явным врагом, отброшенным окончательно в тот лагерь, который укреплялся возле Ставки и начинал все больше волновать Керенского. И не случайность, что Керенский так легко расстался с Савинковым 31 августа — в тот именно день, когда генерал Алексеев ехал в Ставку для окончательной ликвидации закончившегося уже выступления Верховного главнокомандующего. Заступничество Савинкова за арестованного Филоненко, игравшего двойную игру, было только предлогом.

[1] «Последние новости» 1920 года. № 190. Статья Львова.

[2] Социал-демократ, меньшевик, видный член Центрального комитета.

Савинков остался среди зияющей пустоты. «Неумолимый враг диктатуры» делал затем попытки сблизиться с казачьими руководящими кругами, находившимися всецело на стороне Корнилова, и примириться с самим Корниловым. Современное политическое положение страны и взаимоотношение сил не давали выбора: против советов можно было бороться тогда только совместно с Корниловым.

Что касается членов правительства, то участие их в этом деле как нельзя лучше определяется разговором, имевшим место в двадцатых числах августа между Керенским и Юреневым[1]:

— Когда правительство будет обсуждать законопроекты, касающиеся реорганизации армии?

— Когда они будут готовы.

— А кто же их изготовляет?

— Военный министр.

— То есть, — вы. Следовательно, вы можете сообщить, в каком положении дело...

— Я вам сказал, что правительство будет обсуждать законопроекты, когда они будут готовы.

— Но я слышал, что у Савинкова готов уже какой-то законопроект?

— Когда законопроекты будут готовы, они будут внесены на обсуждение Временного правительства.

Этот диалог лучше, чем самая пространная характеристика деятельности правительства, дает понятие о внутреннем кризисе его — назревшем и даже перезревшем, в силу которого либеральная группа обращалась в простых статистов, призванных своим присутствием демонстрировать коалицию и прикрывать пустое место, образовавшееся в ее правом секторе. Если представители либеральной демократии, входившие в состав третьего правительства, тем не менее шли на такую неприглядную роль, то это можно объяснить только огромным самопожертвованием, путем которого они долго и тщетно пытались склеить разбитую вдребезги храмину национального единства.

[1] Доклад Ф. Кокошкина.

Таким образом, не находя или, по крайней мере, не высказывая возражений по существу вопроса об изменении правительственного курса в сторону решительной борьбы с анархией, Керенский колебался, хитрил, то соглашался, то отказывался, старался выиграть время и все откладывал решение сакраментального вопроса, проведение которого, по его мнению, должно было оторвать массы влево и смести правительство, «сдерживающее зверя». Образовался заколдованный круг, из которого не видно было выхода, ибо мерами правительственной кротости сдержать анархию, охватившую страну, было невозможно. Но если образ «зверя» рисовался еще только в воображении, то перед Керенским тут же рядом стояла реальная угроза в лице Совета, недвусмысленно говорившего уже об «измене революции».

Политическая и социальная борьба, раздиравшая русское государство, вступила в новый фазис, сохраняя, однако, прежнее соотношение и противоположение сил. Ибо если Керенский, демонстрируя независимость верховной власти, влачил за собою тяжелую цепь, приковывавшую его к советам, то за Корниловым, невзирая на отсутствие в нем интереса к чисто политическим вопросам и классовой борьбе, стояли буржуазия, либеральная демократия и то безличное студенистое человеческое море русской обывательщины, по которой больно ударили и громы самодержавия, и молнии революции и которая хотела только покоя. Стояли — одни явно, другие тайно, третьи полусознательно.

Центральный комитет советов формулировал положение так: «Значительные слои буржуазии, не желающие нести требуемые революцией жертвы, в союзе с контрреволюционными элементами пользуются испытываемыми страной затруднениями, чтобы начать открытый натиск на полномочные органы революционной демократии и вести подкоп под созданное революцией Временное правительство»[1].

Совещание общественных деятелей не возражало: «Правительство должно немедленно и решительно порвать со служением утопиям, которые оказали гибельное влияние на его деятельность». Правительство должно «решительно по-

[1] Постановление 4 августа.

рвать со всеми следами зависимости от каких бы то ни было комитетов, советов и других подобных организаций»[1].

А безликий обыватель в бесчисленных обращениях к тому, кого он считал призванным водворить порядок, просил только поторопиться, так как «жить становится невмоготу». «Раз Вы — избранник Божий, то Вам и надлежит принять на себя роль избавителя и спасителя... Не бойтесь — время, мудрость и опыт научат Вас всему»[2].

ГЛАВА III
КОРНИЛОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ТАЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОФИЦЕРСТВО, РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

История противоправительственного и противосоветского движения в середине 1917 года скрыта еще под покровом тайны и вызывает иногда самые неправдоподобные представления в широких кругах русского общества. Приподнимем несколько этот покров, чтобы осветить сущность одного из наиболее серьезных моментов русской революции.

После неудачи июньского наступления офицерский корпус перешел в прямую оппозицию к правительству. Но сколько-нибудь широких размеров действенное проявление оппозиции не приняло. Причины — нравственная подавленность офицерства, укоренившаяся интуитивно в офицерской среде внутренняя дисциплина и отсутствие склонности и способности к конспиративной деятельности. Работа в этом направлении, как увидим ниже, некоторыми организациями велась, но к каким-либо серьезным результатам не приводила. Вряд ли вначале эти необъединенные организации имели определенные лозунги и ясные цели предстоящей им деятельности. Скорее всего работа их имела характер подготовки на всякий случай: будь то большевистское выступление, падение власти, крушение фронта, поддержка диктатуры или, наконец, для некоторых членов организаций — восстановление самодержавия. К тому же в первое время ни имя претендента на престол, ни имя диктатора произнесены не были. Один только общий лозунг выяснялся совершенно твердо и определенно — борьба с советами.

[1] Постановление 10 августа.

[2] Из типичного письма.

Есть основание предполагать, что возникшая по инициативе генерала Крымова на Юго-западном фронте офицерская организация, охватившая главным образом части 3-го конного корпуса и Киевский гарнизон (полки гвардейской кавалерии, училища, технические школы и т. д.), имела первоначальной целью создание из Киева центра будущей военной борьбы. Генерал Крымов считал фронт конченным, и полное разложение армии — вопросом даже не месяцев, а недель. План его, по-видимому, заключался в том, чтобы в случае падения фронта идти со своим корпусом форсированными маршами к Киеву, занять этот город и, утвердившись в нем, «кликнуть клич». Все лучшее, все не утратившее еще чувства патриотизма должно было отозваться, и прежде всего — офицерство, которое, таким образом, могло избегнуть опасности быть раздавленным солдатской волной. В дальнейшем возможно было продолжение европейской войны — хотя и не сплошным фронтом, но сильными отборными частями, которые, и отступая в глубь страны, отвлекали бы на себя большие силы австро-германцев.

— Что касается форм верховной власти, — говорил Крымов одному из своих сотрудников, — то это вопрос будущего; но лично я никакой нежности к династии не питаю.

3-й конный корпус входил в состав Юго-западного фронта. При том составе чинов высшей военной иерархии, который имел место до июля[1], такой совершенно обособленный план действий, с расчетом только на себя и на свои силы, был единственно возможным. После 8 июля, то есть с назначением главнокомандующим Юго-западным фронтом генера-

[1] Главнокомандующим Юго-западным фронтом был тогда генерал Брусилов, позднее, с 22 мая, он стал Верховным главнокомандующим, а главнокомандующим армиями фронта — генерал Гутор.

ла Корнилова, узкие рамки всего предприятия имели шансы раздвинуться до фронтового масштаба.

Менее определенными были, по-видимому, задачи различных, вначале не объединенных петроградских организаций. Без серьезных средств и без руководителей, сколько-нибудь выдающихся по решимости и таланту, они представляли собой скорее кружки фрондирующих молодых людей, играющих в заговор. Эти кружки, в которые вовлекались и военные училища, были непримиримо настроены к Совету, враждебно к правительству и могли быть действительно опасны для них в случае благоприятно сложившейся обстановки или при лучшей организации и руководстве. Вряд ли будет ошибкой считать, что большое число участников петроградских организаций принадлежало к правым кругам. Но отсюда не следует, что целью их была реставрация. Они удовлетворялись свержением советов и установлением «сильной власти», не влагая в это понятие слишком конкретной сущности. Идея немедленного восстановления монархического строя и им казалась нецелесообразной для текущего этапа революции. Кроме того, здесь примешивалось одно обстоятельство, про которое впоследствии глава организации «Русской государственной карты» В. Пуришкевич[1], правда, на суде большевистского трибунала, но не без известной искренности говорил: «Но как мог я покушаться на восстановление монархического строя (который, я глубоко верю, будет восстановлен), если у меня нет даже того лица, которое должно бы, по-моему, быть монархом. Назовите это лицо. Николай II? Больной Царевич Алексей? Женщина, которую я ненавижу больше всех людей в мире? Весь трагизм моего положения как идеолога-монархиста в том и состоит, что я не вижу лица, которое поведет Россию к тихой пристани».

Внутри организаций с самого начала создавалась нездоровая атмосфера. Несерьезная фронда, выносившаяся некоторыми на улицу и в залы киевских и петроградских ресторанов... По-видимому, свои Азефы... Такое, по крайней

[1] К выступлению Корнилова он был не причастен.

мере, впечатление производят некоторые эпизоды конца августа. Наконец, просто предатели. Один из них, скрытый в книге Керенского под инициалами «капитан В-ин», раскрыл ему все данные о важнейшей петроградской организации.

В конце июня в Петрограде в числе многих других образовалась политическая группа под названием «Республиканский центр». Состав ее был немногочисленным и чрезвычайно пестрым; политическая программа весьма растяжима, и даже само наименование группы не выражало точно существа политических взглядов ее членов, так как, по словам руководителя группы, «в Республиканском центре разговоров о будущей структуре России не поднималось; казалось естественным, что Россия должна быть республиканской, отсюда и пошло название «Республиканский центр». При приеме в организацию «никого не спрашивали, во что веруешь; достаточно было заявления о желании борьбы с большевизмом и о сохранении армии». Первоначально руководители Республиканского центра ставили себе целью «помощь Временному правительству, создав для него общественную поддержку путем печати, собраний и проч.». Потом, убедившись в полном бессилии правительства, приступили к борьбе с ним, участвуя в подготовке переворота. Интеллектуальные силы и влияние группы были невелики, но она имела одно большое преимущество перед всеми другими: обладала некоторыми денежными средствами. Их давала крупная денежная буржуазия, «небольшая по числу, — как определяет один из организаторов центра, — но очень влиятельная, довольно замкнутая и крайне эгоистичная в своих действиях и аппетитах». Буржуазия эта «подняла тревогу (в июльские дни), когда обнаружилась слабость Временного правительства, и предложила (Республиканскому центру) первую денежную помощь, чтобы уберечь Россию... от очевидной тогда для них надвигавшейся опасности большевизма». Представители этой банковской и торгово-промышленной знати лично стояли вне организации, опасаясь скомпрометировать себя в случае неудачи.

Отсутствие партийной нетерпимости, деловая программа и в особенности известные средства дали возможность Республиканскому центру объединить много мелких, глав-

ным образом военных, петроградских организаций[1]. Они вошли в состав военной секции Республиканского центра в лице своих представителей, причем далеко не все их члены знали, кто их возглавляет. Таким образом, к концу августа активных участников военной секции числилось до 4 тысяч человек. Сколько их было в действительности, вероятно, никто не знал. Внутренняя организация этих отделов оставалась по-прежнему чрезвычайно слабой. Тем не менее значение их сильно переоценивалось как самими участниками, так и теми, кто предполагал воспользоваться их силами.

Наконец, организующую работу вел Главный комитет офицерского союза. С первых же дней существования комитета в составе его образовался тайный активный коллектив, к которому впоследствии примкнул весь состав комитета. Не задаваясь никакими политическими программами, комитет этот поставил себе целью подготовить в армии почву и силу для введения диктатуры — единственного средства, которое, по мнению офицерства, могло еще спасти страну. Завязывались оживленные сношения с советом Союза казачьих войск, военными организациями и политическими партиями. Хотя комитет отражал в полной мере настроение фронтового офицерства, организация последнего подвигалась крайне слабо. Кроме неприспособленности к «заговорщической» работе и офицерской среды, и самого комитета, на ходе ее отразились неблагоприятно быстрый темп, которым развивались события, и ряд внешних препятствий. Керенский,

[1] Одно из коллективных обращений к генералу Корнилову (31 июля) исходило от 10 организаций:

1. Военная лига.
2. Союз георгиевских кавалеров.
3. Союз воинского долга.
4. Союз «Честь Родины».
5. Союз добровольцев народной обороны.
6. Добровольческая дивизия.
7. Батальон свободы.
8. Союз спасения Родины.
9. Общество 1914 года.
10. Республиканский центр.

Кроме того, существовали организации полковые, районные и т.д.

встречая гласное и резкое осуждение своей военной политики в резолюциях комитета, относился к нему враждебно и установил за ним надзор; Брусилов, тогда Верховный главнокомандующий, смотрел на деятельность комитета также с большим неодобрением. Пригласив однажды к себе всех членов комитета, Брусилов обратился к ним с резкими упреками за то, что комитет «своими выступлениями мешает делу спасения армии, что нельзя переть напролом, когда правительство и Керенский стали на верный (?) путь». Он говорил так, но, видимо, чувствовал всю неприглядность своей позиции. И когда один из членов комитета заявил: «Раз мы приносим вред, то нас следует попросту разогнать», — Брусилов со слезами на глазах стал жаловаться, что офицерство больше не идет за ним и что ни ему, ни Керенскому не верят.

Наконец, самое серьезное мероприятие, задуманное комитетом — формирование добровольческих ударных батальонов в дивизиях и на железнодорожных узлах — было вырвано из его рук: Брусилов утвердил своим приказом проект «товарища» Манакина[1] о формировании ударных частей при участии... советов... Таким образом, когда настало время действовать, комитет имел в своем моральном активе широкое сочувствие всего офицерства, а в реальном — только добрую волю своих членов.

* * *

Страна искала *имя*.

Первоначально неясные надежды, не облеченные еще ни в какие конкретные формы, как среди офицерства, так и среди либеральной демократии, в частности партии кадетов, соединялись с именем генерала Алексеева. Это был еще период упований на возможность законопреемственного обновления власти. Ибо трудно себе представить лицо, менее подходящее по характеру, чем генерал Алексеев, для выполнения насильственного переворота.

Позднее, может быть и одновременно, многие организации делали определенные предложения адмиралу Колчаку во время пребывания его в Петрограде. В частности, Республиканский центр находился в то время в сношениях с адми-

[1] Подполковник генерального штаба.

ралом, который принципиально не отказывался от возможности стать во главе движения. По словам Новосильцева, которому об этом говорил лично адмирал, доверительные разговоры на эту тему вел с ним и лидер кадетской партии. Вскоре, однако, адмирал Колчак по невыясненным причинам покинул Петроград, уехал в Америку и временно устранился от политической деятельности.

Но когда генерал Корнилов был назначен Верховным главнокомандующим, все искания прекратились. Страна — одни с надеждой, другие с враждебной подозрительностью — назвала имя диктатора.

В дни московского совещания в вагоне Верховного произошел знаменательный разговор между ним и генералом Алексеевым.

— Михаил Васильевич, придется опираться на Офицерский союз — дело ваших рук. Становитесь вы во главе, если думаете, что так будет лучше.

— Нет, Лавр Георгиевич. Вам, будучи Верховным, это сделать легче.

Началось паломничество в губернаторский дом в Могилеве. Пришли, в числе других, представители Офицерского союза во главе с Новосильцевым и высказали Корнилову свое желание работать для спасения армии. Появились делегаты Казачьего совета и Союза георгиевских кавалеров. Приехал из Петрограда представитель Республиканского центра, обещал поддержку влиятельных кругов, стоящих за группой, и предоставил в распоряжение Корнилова военные силы петроградских организаций. Прислал гонца в комитет Офицерского союза и генерал Крымов с запросом, «будет ли что-нибудь», и, в зависимости от этого, — принимать ли ему 11-ю армию, предложенную мною, или оставаться во главе 3-го корпуса, который, по его словам, «пойдет куда угодно». Ему ответили просьбой оставаться во главе корпуса.

* * *

Таковы были *реальные средства* в руках тех, кто хотел перестроить тонувшую в дебрях внутренних противоречий верховную власть, чтобы спасти страну от большевизма.

Но в пределах этих ничтожных технических средств всякая активная и тем более насильственная борьба была заранее обречена на неуспех, если она не имела широкого общественного обоснования. На кого же опирался генерал Корнилов?

Теперь, когда идет безудержная переоценка ценностей, когда «тактические соображения» и «интересы целесообразности» окончательно вытеснили из политического обихода «старые предрассудки морального свойства», у многих изменился взгляд на своевременность и необходимость корниловского выступления. При этом упускается из виду одно обстоятельство — *неизбежность этого явления* как естественного и непредотвратимого рефлекса борющегося со смертью государственного организма, напрягающего последние силы национального, морального и правового самосознания; неизбежность, в силу которой отпадают обе предпосылки, и вопрос сводится, следовательно, лишь к оценке тех форм и тех способов, которыми мог быть наилучшим образом разрублен мертвый узел, завязанный вокруг власти. Во всяком случае, тогда Корнилов мог иметь полную уверенность, что он опирается на широкие общественные силы, включающие в свой состав, как я уже упоминал, либеральную демократию и буржуазию, весь офицерский корпус, командный состав и даже членов Временного правительства.

Многочисленные официальные обращения к Корнилову не оставляли сомнения в своем положительном значении. Когда на Московском совещании вся правая половина русской общественности с высоким подъемом приветствовала Верховного главнокомандующего, она, без сомнения, видела в нем орудие судьбы и своего избранника.

Когда совещание общественных деятелей в постановлении своем от 10 августа говорило о том, что правительство ведет страну к гибели, что должна быть восстановлена власть командного состава, что необходимо решительно порвать с советами, — оно повторяло «корниловскую программу». В воззвании прозвучал даже призыв «из сердца России... к низинным людям»: подобно тому, как 300 лет назад их предки пришли к Москве спасать Родину, — и теперь

«не выдавать своих героев и вернуть России возможность стать счастливой и великой»[1].

Наконец, совсем уж недвусмысленна была телеграмма, посланная Корнилову 9 августа за подписью Родзянко: «Совещание общественных деятелей приветствует Вас, Верховного вождя Русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв Вашего авторитета в армии и России считает преступными и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казаков[2]. В грозный час тяжелого испытания вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верой. Да поможет Вам Бог в вашем великом подвиге воссоздания могучей армии и спасения России».

В Москве в день приезда на государственное совещание Корнилов был встречен овациями. Офицеры понесли его на руках к автомобилю. Родичев на вокзале в своем горячем обращении к Корнилову говорил:

— Вы теперь символ нашего единства. На вере в вас мы сходимся все, вся Москва. И верим, что во главе обновленной русской армии вы поведете Русь к торжеству над врагом и что клич «Да здравствует генерал Корнилов!», теперь клич надежды, сделается возгласом народного торжества. —И закончил: — Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас...

Морозова упала перед ним на колени.

Не удивительно, что люди чувствовали иногда некоторые угрызения совести. В. Маклаков говорил Новосильцеву:

— Передайте генералу Корнилову, что ведь мы его провоцируем, а особенно М. Ведь Корнилова никто не поддержит, все спрячутся...

Таковы были внешние, официальные отношения общественных кругов к Верховному главнокомандующему. Несколько иначе обстояло дело в конспиративной области деловых сношений.

[1] Керенский по поводу этого воззвания возмущенно говорил Кокошкину, что Милюков вновь организует прогрессивный блок против Временного правительства, как против Николая II.

[2] От Офицерского союза, Союза георгиевских кавалеров и Казачьего совета были посланы правительству резкие телеграммы против смены Корнилова.

8 или 9 августа в Москву к находившемуся там Новосильцеву приехал из Ставки капитан Роженко и попросил его собрать общественных деятелей, чтобы поставить их в известность относительно назревавших событий[1]. На квартире видного кадетского лидера состоялось собрание влиятельных членов Думы и политических деятелей. Роженко доложил об общем положении армии, о трениях между генералом Корниловым и Керенским, о возможности смещения Корнилова с поста Верховного, чему он решил не подчиниться из патриотических побуждений; говорил о предстоящем восстании большевиков и о подходе к Петрограду конного корпуса, которому предстоит ликвидировать большевиков, советы и, может быть, выступить против правительства. Доклад своею легкостью произвел на всех тягостное впечатление. Один из участников собрания так описывает этот эпизод.

«Обсуждать тут же этот доклад увлекающегося офицера не хотели. Было ясно, что сочувствуют делу все, но никто не верит в успех, да и связывать себя и политические группы, которых представляли участники собрания, ни у кого не было желания».

Через несколько дней, однако, взволновавшее всех сообщение обсуждалось вновь в более широком кругу либеральных и консервативных политических деятелей.

«После долгих объяснений, — говорит один из них, — П. Н. Милюков от лица общественных деятелей кадетского направления сделал заявление о том, что они сердечно сочувствуют намерениям Ставки остановить разруху и разогнать совдеп. Но настроение общественных масс таково, что они никакой помощи оказать не могут. Массы будут против них, если они активно выступят против правительства и совдепа. Поэтому на Милюкова и его единомышленников рассчитывать нельзя. К этому заявлению стыдливо присоединились путем молчания и знаком молчаливого согласия остальные общественники».

[1] Новосильцев до сих пор предполагает, что инициатива командировки Роженко исходила не от Корнилова, а от «политического окружения».

Не более благоприятной оказалась информация об отношении к назревавшим событиям Государственной Думы как учреждения. Председатель ее говорил о бессилии Думы в деле борьбы, но вместе с тем и о возможности гальванизировать ее и привлечь к организации власти в случае успеха.

Что касается более широких интеллигентских кругов, то осведомленность их один московский деятель определяет такими словами:

«Слухи не шли дальше того, что Корнилов что-то замышляет *против Советов*, что около Корнилова собрались какие-то более чем странные люди, которые Бог весть как попали к нему. Иногда доходили слухи, что в Ставку таинственно выехал такой-то, что скоро предстоит более широкое совещание по поводу действий громадной важности. Но все было покрыто тайной и молчанием. Это молчание понимали и не хотели нарушать его».

Таковы объективные факты, показательные для общественного настроения, создававшегося вокруг корниловского движения. Это настроение можно определить кратко: *сочувствие, но не содействие.*

В какой мере правильно информировали генерала Корнилова о «деловых сношениях» с ответственными политическими группами, сказать трудно. Весьма показательным, однако, является разговор его с князем Трубецким, посетившим генерала, когда он находился уже под стражей в могилевской гостинице.

— Передайте, чтобы ни один кадет не входил в состав правительства, — сказал Корнилов.

Человеку политики и собраний пришлось долго уговаривать человека меча и боевого поля, что для предъявления подобного требования нужно иметь совершенно конкретные обязательства со стороны кадетской партии.

Да и само субъективное восприятие сложной политической обстановки людьми, не искушенными в этих вопросах, приводило иногда к разительным противоречиям. Представители Офицерского союза еще летом устанавливали связь с некоторыми политическими группами и делились с ними своими предположениями. Вот какие впечатления они вынесли. Один — человек чисто военный — пишет: «Русские

общественные круги, в частности кадеты, обещали нам свою полную поддержку. Мы были у Милюкова и Рябушинского. И та и другая группы обещали поддержку у союзников, в правительстве, в печати и деньгами». Другой — причастный к политической деятельности — о тех же эпизодах говорит: «Московская группа шла нам навстречу; петроградская нас избегала. У Рябушинского отнеслись более внимательно. Тем не менее мы должны были сделать вывод: мы — одни».

Но, кроме проявления официальных и деловых отношений, сумма впечатлений, утверждавших Верховного главнокомандующего в его намерениях, слагалась и другим путем: множество личных разговоров, из которых одни известны, другие станут достоянием гласности, третьи унесены с собою в могилу собеседниками, — разговоров с ответственными представителями общественных и политических групп или от их имени, — создавали иллюзию широкого, если не народного, то общественного движения, увлекавшего Корнилова роковым образом в центр его. Генерал Алексеев имел несомненно право писать Милюкову[1]: «Дело Корнилова не было делом кучки авантюристов. Оно опиралось на сочувствие и помощь (?) широких кругов нашей интеллигенции, для которой слишком тяжелы были страдания Родины».

Впрочем, даже и революционная демократия в душе должна была ясно сознавать почвенность и истинные мотивы корниловского движения и иногда имела смелость говорить о них в печати. В меньшевистской «Рабочей газете» Цедербаума (Мартова) 3 сентября 1917 года мы находим следующие мысли: революция вначале была всенародной. Потом «один слой буржуазии за другим отходили от революции, начинали с ней борьбу. Но этот отход буржуазии не случился бы так быстро и не имел бы таких опасных последствий, если бы революционная демократия проявила больше революционного творчества в деле организации обороны страны, установления в тылу и в армии революционного порядка, разрешения продовольственного кризиса, борьбы с хозяйственной разрухой. Разочарование в революции и возбуждение против рабочих и солдат не охватили бы та-

[1] 12 сентября 1917 года.

ких широких кругов населения, если бы безответственная агитация не толкала рабочие и солдатские массы на путь опасных авантюр».

Революционная демократия понимала и ждала со страхом, либеральная демократия знала и ждала с надеждой.

Впоследствии Корнилов горько упрекал представителей русской общественности за их более чем пассивную роль в августовские дни. Когда же однажды положение быховских узников ввиду готовившегося самосуда стало весьма опасным, Корнилов, считая себя ответственным за судьбу тех, кто пошел за ним, послал некоторым видным деятелям ультимативное требование принять немедленно меры общественного воздействия на правительство.

В таком деликатном вопросе редко оставляются документальные следы, но и они найдутся с течением времени. Во всяком случае, не подлежит сомнению одно: если многие представители нового прогрессивного блока, каким явилось по существу «совещание общественных деятелей», и не были посвящены во времена и сроки, то, во всяком случае, они сочувствовали идее диктатуры, именно корниловской, и одни догадывались, а другие *знали* о надвигающихся событиях.

ГЛАВА IV

ИДЕОЛОГИЯ КОРНИЛОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ВЫСТУПЛЕНИЯ. «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ». ТРЕХСТОРОННИЙ «ЗАГОВОР»

Корниловское «дело», «выступление», «заговор», «мятеж» — вот в каких терминах определялись трагические события конца августа, связанные с именем Корнилова. Обстановка, однако, по природе своей была несравненно сложнее и, захватывая широкие круги русской общественности, не может быть втиснута в узкие рамки таких определений. Гораздо правильнее назвать эти события *корниловским движением*, оставляя за актом, имевшим место 27—31 августа, название корниловского выступления.

Итак, по личному твердому и искреннему убеждению и под влиянием общественного мнения[1] Корнилов видел в *диктатуре* единственный выход из положения, созданного духовной и политической прострацией власти. Формы диктатуры определялись весьма разнообразно не в силу личного честолюбия или двуличия, в чем тщится обвинить Корнилова Керенский, а исключительно как мучительное искание наилучшего и наиболее безболезненного разрешения кризиса власти. Мы знаем, что 19 июля Корнилов при назначении своем на пост Верховного требовал от правительства признания за ним ответственности «только перед собственной совестью и всем народом», устанавливая какую-то оригинальную схему суверенного военного командования. 30 или 31 июля в разговоре со мной он упоминал о полной мощи Верховного главнокомандующего, но несколько расширенной правами по умиротворению взбаламученной народной стихии. Позднее в беседах с целым рядом лиц, так или иначе причастных к движению, выдвигаются самые разнообразные формы «сильной власти», как-то: пересоздание на национальных началах кабинета Керенского, перемена главы правительства, введение Верховного главнокомандующего в состав правительства, совмещение званий министра-председателя и Верховного, директория и, наконец, единоличная диктатура.

Нет сомнения, что и сам Корнилов, и в особенности ближайшее его окружение склонялись к этой последней форме правления. Но лично Корнилов в своем сознании не ставил диктатуру самоцелью, придавая огромное значение факту законной преемственности. В силу этого окончательное решение вопроса ставилось в полную зависимость от хода событий: будет достигнуто соглашение с Керенским и изменение курса государственной политики — тогда возможно устроение власти в порядке сговора, возможны и коллективные формы ее; не будет достигнуто соглашение и, следовательно, исчезнут всякие надежды на спасение страны — предстояло насильственное устранение представителей вер-

---

[1] Правые смотрели на Корнилова только как на орудие судьбы, и на дело его — как на переходный этап к другому строю.

ховной власти, и в результате потрясения рисовалась только перспектива личной диктатуры. При этом возможность крушения власти далеко не обусловливалась одним лишь корниловским движением. Оно могло наступить стихийно и непредотвратимо в любой момент как результат одного из непрекращавшихся внутренних кризисов правительства, или большевистского восстания, или нового наступления австро-германцев, грозившего смести фронт и в его бешеном потоке затопить и правительство.

Все эти перспективы были равно возможны, роковым образом приближались и требовали принятия героических мер для их предотвращения. Попытки Корнилова привлечь с собой на этот путь Керенского оставались пока безрезультатными. Поэтому Верховный главнокомандующий счел себя вынужденным принять некоторые предварительные меры, применение которых могло быть определено лишь историческим ходом событий.

Нет сомнения, что переброска войск на Северный фронт, их дислокация, создание Петроградской армии и ее усиление вызывались, безусловно, стратегической необходимостью; но, конечно, выбор войск соответствовал и другой цели — созданию благоприятных условий на случай крушения центральной власти.

Таким же подсобным средством считались офицерские организации.

Ввиду полной ненадежности петроградского гарнизона столичные организации представлялись полезным орудием как для вооруженной борьбы против большевистского восстания, так и на случай падения власти или окончательного уклонения ее на путь, предопределенный соотношением сил в советах, в которых большевистские течения получали явное преобладание.

* * *

К 13 августа в Могилев прибыл командир 3-го конного корпуса генерал Крымов и в своих руках сосредоточил как непосредственное руководство войсками, прибывающими в Петроградский район, так и общее направление деятельности организаций. Большой патриот, смелый, решительный, не останавливавшийся перед огромным риском, разочарованный в людях еще со времени подготовки мартовского переворота[1], не любивший делиться своими планами с окружающими и рассчитывавший преимущественно на свои собственные силы, он внес известные индивидуальные особенности во все направление последующей конспиративной деятельности, исходившей из Могилева. Его непоколебимым убеждением было полное отрицание возможности достигнуть благоприятных результатов путем сговора с Керенским и его единомышленниками. В их искренность и в возможность их «обращения» он совершенно не верил; все последующие события подтвердили правильность его точки зрения.

По-видимому, Крымова, как и Корнилова, не слишком интересовала политическая сторона вопроса. Если раньше, когда верховное возглавление находилось в руках оппортуниста Брусилова, Крымов делал попытку организовать вокруг себя военный центр в Киевском округе, то теперь, подчиняясь широким общественным настроениям, единодушно называвшим имя Корнилова, он предоставил себя в полное его распоряжение. Крымов добровольно стал орудием, «мечом» корниловского движения; но орудием сознательным, быть может, направлявшим иногда... руку, его поднявшую. «Меч» хотел разить, утратив веру в целебность напрасных словопрений и исходя из взгляда, что страна подходит к роковому пределу и что поэтому приемлемо всякое, самое рискованное средство. «Рука» разделяла всецело эти взгляды, но, придавленная огромной тяжестью нравственной ответственности перед страной и армией, несколько колебалась. Только это побуждение сдерживало Корнилова, потому что о себе, о своей голове он не раздумывал ни одной минуты.

Корнилов переживал тяжелые дни.

Вспомним конкретные факты.

31 июля Корнилов совершенно спокойно и уверенно говорил со мной о будущих перспективах, не предрешая на-

[1] Конец 1916 и начало 1917 года. Крымов был вызван своими единомышленниками с фронта в Петроград к 1 марта, но петроградское восстание изменило ход событий.

сильственного кризиса и рассчитывая на благополучный исход разговоров с «ними».

3 августа он поехал в Петроград, чтобы предъявить свою докладную записку о реорганизации армии и борьбе с разрухой, и испытал жестокое разочарование.

8 августа он отказался вести дальнейшие переговоры о «записке», считая их бесполезными.

10 августа по настоянию Савинкова и Филоненко вновь прибыл в Петроград, и вновь совершенно напрасно.

14 августа, в день возвращения с московского совещания, по-видимому, окончательно определилась невозможность идти вместе с Керенским, и генерал Крымов, вполне удовлетворенный течением событий, сказал начальнику одной из офицерских организаций:

— Все идет хорошо. Решили не иметь больше дела с «ними»...

24 августа Савинков прибыл в Ставку, ознакомил Верховного с проектами законов, вытекающими из корниловской «записки», еще не подписанных, но прохождение которых в правительстве якобы обеспечено; сообщил о решении Керенского объявить Петроград и его окрестности на военном положении; попросил от имени правительства, ввиду возможных осложнений, к концу августа подтянуть к Петрограду 3-й конный корпус.

Это обстоятельство, знаменующее выход правительства, в частности Керенского, на путь, предуказанный Корниловым, вызвал несомненно искренний ответ Корнилова:

— Я готов всемерно поддержать Керенского, если это нужно для блага Отечества.

А в те же дни с Крымовым, не верившим совершенно ни Керенскому, ни Савинкову, произошла резкая перемена. Он ходил расстроенный, бледный, задумчивый, все никак не ехал в корпус, жил на вокзале в Могилеве. В доверительном разговоре с одним из своих соучастников он высказывал глубоко пессимистический взгляд:

— Конечно, надо идти до конца. Я отдаю делу свою голову. Но 90 процентов за неудачу. Мне необходимо ехать к корпусу, но я боюсь, что, когда я оставлю Могилев, здесь начнут творить несообразное...

* * *

Между тем подготовка «выступления», ни время, ни формы которого не представлялись еще достаточно ясными, продолжалась.

Ставка как орган управления в ней не участвовала. Несколько лиц из состава Ставки были посвящены в истинный смысл принимаемых мер, все другие продолжали свою нормальную служебную деятельность, быть может только догадываясь о назревающих событиях и вполне сочувствуя предполагаемым замыслам Корнилова. Стратегическая подготовка велась при участии 1-го генерал-квартирмейстера генерала И. П. Романовского, с которым связывали Корнилова добрые отношения еще по краткой совместной службе в 8-й армии и который имел личные доклады у него по этим вопросам. Начальник штаба Верховного генерал Лукомский не был посвящен в то, что делалось за кулисами. Как человек умный и хорошо разбиравшийся в явной и скрытой обстановке Ставки, он, несомненно, отдавал себе ясный отчет во всем происходящем. Нервничал, но до поры до времени молчал. Тем более что возник вопрос о перемещении его на должность командующего одной из армий. Но когда обстановка назрела в такой степени, что долее занимать нейтральную позицию было невозможно, Лукомский в середине августа переговорил по этому поводу с Романовским и затем поставил перед Корниловым вопрос о доверии. Беседа окончилась приобщением Лукомского к делу.

Подтягивались к пунктам сосредоточения и войска.

Очевидно, количеству их в Ставке не придавали большого значения, тем более что элемент времени не давал возможности солидной организации. Чуть не на походе начиналось развертывание весьма слабой Осетинской бригады и формирование Туземного корпуса; во главе вновь учреждаемой Петроградской армии становился генерал Крымов, а командование имевшим решительное значение 3-м конным корпусом поручалось не знакомому с частями генералу Краснову, который не успел прибыть и к началу движения. Войска широко расползлись по квартирам и эшелонировались на огромном протяжении железных дорог вне всякого морального воздействия старшего командного состава. Еще 5 авгу-

ста командир Корниловского ударного полка капитан Неженцев в продолжительном докладе убеждал своего шефа развернуть эту надежную добровольческую часть в дивизию. Корнилов тогда отказал, и полк на общих основаниях был включен в одну из дивизий 7-й армии. Этот полк, оправдавший впоследствии вполне доверие Верховного, только 21 августа получил приказание двигаться на Северный фронт.

Наконец, возможно было использовать для Петрограда Кубанскую бригаду, стоявшую между Выборгом и Петроградом, а для Москвы — Донскую дивизию, направляемую с Дона в Финляндию.

Когда в середине августа части с Юго-западного фронта двигались в район Псков—Луга—Дно, перед ними невольно должна была возникнуть мысль о возможности применения их сил и для разрешения вопросов внутренней политики. Как они учитывали положение, видно из хроники Корниловского полка[1]: «Истинная цель переброски не была известна; известен был лишь конечный пункт маршрута — местечко Усве на берегу Балтийского моря. Но общее мнение полагало, что идем на Петроград». И далее: «Полк выступил в поход в приподнятом, великолепном состоянии духа... Мы знали, что должен был через некоторый промежуток времени состояться государственный переворот[2]; (?) но, по нашим сведениям, он должен был заключаться в уничтожении власти Петроградского совдепа и в установлении или директории или диктатуры, но с согласия и с участием Керенского, что при тогдашних условиях гарантировало полный успех переворота».

Несомненно, офицерская среда в конечном итоге была готова на все. Но в толще войск настроение оказалось иное: 3-й конный корпус, кавказская Туземная дивизия, быть может, и много еще других частей, были *тогда* вполне способны идти с Корниловым против большевиков и против советов, но в отношении Временного правительства они со-

[1] Составлена князем Ухтомским.

[2] Интересно это представление строевого офицерства о «власти совета» как о государственно-правовом состоянии и о свержении этой «власти» как о «государственном перевороте».

храняли еще «нейтралитет»: ни за него, ни против него идти не хотели. Один только Корниловский ударный полк и Текинский, невзирая на весьма неопределенную позицию, занятую его командиром, могли безоговорочно следовать за Корниловым.

Так же наспех, несерьезно готовились офицерские организации.

В начале августа для объединения военной секции Республиканского центра был командирован член комитета офицерского союза, полковник С., который получил в свои руки все дело финансирования и полную свободу действий без вмешательства комитета Республиканского центра. В половине августа при посредстве членов офицерского союза началась тайная переброска офицеров из армии в Петроград; одни направлялись туда непосредственно по двум конспиративным адресам, другие — через Ставку, имея официальным назначением обучение бомбометанию. Вследствие крайне легкомысленной организации дела эти офицеры попали в весьма двусмысленное и тяжелое положение. Тогда же на секретном заседании в Могилеве под председательством Крымова выяснялся вопрос о вооруженном занятии Петрограда, составлялся план и распределялись роли между участниками. Полковник С. уверенно заявил, что у него решительно все готово. Киевской организации было указано по частям перебрасываться в Петроград, куда должны были собираться и могилевские «бомбометчики». По отношению ко всем им С. также успокоил совещание. Впоследствии оказалось, что для приезжих не было ни указаний, ни квартир, ни достаточных средств, и вся организация понемногу распылялась и расстраивалась.

Позднее в Петрограде руководители организации устраивали непрестанные заседания, но так как местом их проведения для вящей конспирации избирались обычно наиболее посещаемые рестораны («Аквариум», «Вилла Роде»), то эти заседания мало-помалу утрачивали деловой характер, обращаясь в товарищеские пирушки.

К тому же еще на могилевском заседании руководителей прозвучало резким диссонансом заявление одного из видных участников, что сердце его к делу не лежит, в успех он не

верит и потому просит освободить его от всяких обязанностей.

Таким образом, вся техническая подготовка носила характер крайне несерьезный. Лишь опыт подавления предыдущих восстаний мог оправдать подобное легкомыслие. Опыт, доказавший, что с трусливой, распропагандированной толпой, которую представлял собой Петроградский гарнизон, и с неорганизованным городским пролетариатом может справиться очень небольшая дисциплинированная и понимающая ясно свои задачи часть. Правда, кроме Петрограда была ведь еще *страна*... Но удар по столице не мог не отозваться в положительном смысле в самых отдаленных углах государства.

Как бы то ни было, тетива натягивалась все сильнее, и стрела готова была вылететь. Направление ее во многом зависело от того курса государственной политики, который примет Временное правительство. Я говорю так потому, что не только военная среда, но и лица, стоявшие во главе войск и организаций, плохо разбирались в политической конъюнктуре и личную политику Керенского отождествляли с правительственной. При этом все колебания Керенского, все причудливые зигзаги его в области государственного управления, его метания между Корниловым и советами — все это в простом преломлении военного мышления получало форму весьма элементарную: с большевиками или против большевиков?

* * *

Наиболее странным и необъяснимым является то влияние, которое имели на ход событий окружавшие Корнилова политические деятели в лице Завойко, Филоненко, Аладьина, за кулисами — Добрынского и т. д. К ним примыкал полковник Голицын. Кроме Филоненко, перечисленных лиц я знаю. Появление всех их вокруг Корнилова внесло элемент некоторого авантюризма и несерьезности, отражавшихся на всем движении, связанном с его именем. Один из членов Временного правительства говорил мне, что когда 27-го на заседании правительства был прочитан корниловский список министров с именами Филоненко, Аладьина и Завойко, то даже у лиц, искренне расположенных к Корнилову, опустились руки... Стоит прочесть повествование В. Львова, изображающее сцены и разговоры за кулисами корниловского выступления. И если даже одну половину отнести на долю своеобразного восприятия автора, то другая в достаточной степени рисует хлестаковщину и легкомыслие «политического окружения».

Я уже говорил, что Корнилов плохо разбирался в людях. Но это не все. Однажды впоследствии на мой вопрос по поводу бывшего своего окружения он ответил:

— У меня никого не было. Этих людей я знал очень мало. Но они, по крайней мере, хотели и не боялись работать.

И при этом расценивали свою работу не меньше как министерскими портфелями. С большой легкостью Филоненко брал на себя внешние отношения русского государства и только после решительного протеста генерала Лукомского соглашался на портфель внутренних дел. Без колебаний Завойко принимал бремя русских финансов и т. д.

У Корнилова действительно никого не было. Все те общественные и политические деятели, которые если не вдохновляли, то, во всяком случае, всецело стояли на его стороне, предпочитали оставаться в тени в ожидании результатов борьбы. Что касается Савинкова, то Корнилов никогда в точности не знал, кому Савинков собирается «воткнуть нож в спину» — ему или Керенскому.

Как же определялась политическая физиономия предполагавшейся новой власти? За отсутствием политической программы мы можем судить только по косвенным данным. В составленном предположительно списке министров кроме указанных выше лиц упоминались Керенский, Савинков, Аргунов, Плеханов; с другой стороны — генерал Алексеев, адмирал Колчак, Тахтамышев, Третьяков, Покровский, граф Игнатьев, князь Львов. По свидетельству князя Г. Трубецкого, этот кабинет должен был, по словам Корнилова, «осуществлять строго демократическую программу, закрепляя народные свободы, и поставить во главу угла решение земельного вопроса». А включение в кабинет Керенского и Савинкова должно было служить для демократии гарантией, что меры правительственного принуждения не перейдут известных границ и что «демократия не лишается

своих любимых вождей и наиболее ценных завоеваний». К 29 августа приглашены были в Ставку на совещание по вопросу о конструкции власти Родзянко, князь Львов, Милюков, В. Маклаков, Рябушинский, Н. Львов, Сироткин, Третьяков, Тесленко и др. Полагаю, что весь этот перечень, указывая на некоторое перемещение «равнодействующей» вправо, не представлял еще ничего угрожающего для завоеваний революции. Тем более, что, выйдя из узкой и душной атмосферы конспирации на широкую всероссийскую арену, Корнилов несомненно изменил бы характер своего окружения.

Наконец, если даже говорить о сторонних чисто политических влияниях, то приведенные ниже строки из частного письма главного советчика Завойко, адресованного Корнилову в Быхов и не предназначавшегося для посторонних, могут дать некоторое понятие о характере этого влияния. В письме, датированном 15 октября, дается современная политическая ориентировка:

«В настоящее время общественные настроения слева направо рисуются мне в следующем виде: обе крайние (левая и правая) слились воедино и беснуются, а 20-го и позднее ожидаются выступления; лозунги, выкинутые на это число, совершенно смешались; явственнее других слышится «Долой Керенского», «Долой Временное правительство», «Бей жидов», «Вся власть советам» и т. д. Одним словом, черносотенцы и большевики идут вместе — это несомненно; левые трепещут и теряют позиции; Временное правительство дрожит и само в себе не уверено, заискивает перед всеми и на все стороны раскланивается; кадеты подняли головы и мнят себя «спасителями»; правые совсем возгордились и с каждым днем прут все настойчивее и определеннее. Между тем линия поведения, единственно ведущая к победе, — это средняя линия: здоровая и истинная демократия».

Правда, направление средней линии и те источники, которые должны питать новую власть, из этой политической шарады совершенно не ясны, но, во всяком случае, в ней нет уклонения в сторону мракобесия и реакции.

* * *

О подготовительных мерах, предпринимаемых кругами, близкими к Ставке, знали и Керенский, и Савинков. Быть может, не все, без деталей, но знали, в особенности Керенский — этого он не скрывает. Держа в своих руках нити организаций уже в конце июля, он в течение августа имел возможность прекратить их деятельность путем разрушения их руководящих органов и остановки движения частей на Северный фронт, если считал его опасным. Но лично для него эти меры имели бы смысл лишь в двух случаях: если бы он решительно повернул от Корнилова к советам или имел в руках прямое доказательство связи Верховного с конспиративными кругами, подозреваемыми в организации переворота. Ни того, ни другого не было. Результатом явилась та недостойная игра, которая велась с правительством, Ставкой и военным министерством — этот «танец среди мечей», из которых каждый при неосторожном прикосновении мог нанести стране смертельную рану.

Если события, предшествовавшие корниловскому выступлению, определять по терминологии Керенского словом *заговор*, то на протяжении августа в чрезвычайно сложной и переплетающейся обстановке внутренней политики таких «заговоров» история отметит несколько[1]. Корнилов (с Крымовым), Керенский и Савинков — против власти большевистских советов в те дни, когда министр-председатель решился принять корниловские законопроекты и недвусмысленное назначение 3-го конного корпуса и тем вступил на путь открытой борьбы не только с большевизмом, но и с прикрывающими его советами. Корнилов (с Крымовым) и Савинков — против Керенского, когда последний колебался и брал обратно свои обещания. Наконец, Корнилов и Крымов против советов и Керенского, когда не было никакой надежды на соглашение. В этой последней комбинации не находилось места Савинкову, которому мало верил Корнилов и вовсе не верил Крымов. Только поэтому Савинков и оказался на противоположном берегу.

Во всех этих перипетиях сложной борьбы оставался совершенно в стороне источник всероссийской верховной власти — Временное правительство. От имени его говорили или имя его поносили главные персонажи разыгравшей-

[1] Обобщаю течения именами главных участников.

ся исторической драмы в тех лишь случаях, когда того требовали торжественность обстановки, юридическая терминология или стилистическая форма.

ГЛАВА V
ПРОВОКАЦИЯ КЕРЕНСКОГО: МИССИЯ В. ЛЬВОВА, ОБЪЯВЛЕНИЕ СТРАНЕ О «МЯТЕЖЕ» ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Итак, к концу августа Керенский все еще не мог решить — идти ли ему с Корниловым против советов или с советами против Корнилова? Савинков взвешивал все возможности для себя от неизбежного конфликта; Корнилов, твердо решив вопрос о необходимости изменения конструкции власти, колебался еще в выборе методов его осуществления. Лишь один Крымов не сомневался и не колебался, считая, что вести с *«ними»* переговоры или ждать выступления большевиков не следует и что только силою оружия можно разрубить завязавшийся узел.

Обстоятельства, непосредственно вызвавшие корниловское выступление, изложены в книгах Керенского, Савинкова, В. Львова и во многих свидетельских показаниях, сделавшихся достоянием гласности. К сожалению, эти источники, за исключением непосредственного по своей наивной простоте рассказа В. Львова, носят отпечаток «следственного производства» и лишены поэтому надлежащей объективности. Неполнота в области фактов и аргументации присуща и показаниям Корнилова. Зная хорошо его характер, я убежден, что это обстоятельство вызывалось соображениями чисто объективными: Корнилов мог сказать стране всю правду и не постеснялся бы сделать это с полной прямотой и искренностью, если бы... эта правда своими последствиями угрожала только ему лично, а не сотням людей, доверивших ему свою судьбу.

Попытаюсь разобраться в этом материале, внеся в его оценку то понимание, которое создалось на основании личного общения со многими важнейшими участниками событий и очертив лишь главнейшие этапы корниловского выступления.

Поводом к развязке событий послужило, несомненно, роковое вмешательство в них бывшего члена правительства В. Львова — человека, которому В. Набоков дал следующую характеристику: «Он был одушевлен самыми лучшими намерениями, поражал своей наивностью да еще каким-то невероятно легкомысленным отношением... к общему положению... Он выступал всегда с большим жаром и одушевлением и вызывал неизменно самое веселое настроение не только в среде правительства, но даже у чинов канцелярии». Попав в общество господ Аладьина и Добрынского с их трагикомической конспирацией, инсценировавшей важность участия их в назревающем перевороте, Львов проникся страхом и воспылал желанием спасти положение, приняв от них[1] поручение переговорить с Керенским. Эти переговоры должны были привести к примирению между Корниловым и Керенским, к предоставлению полной мощи над всеми вооруженными силами страны Верховному главнокомандующему и к созданию нового правительства на национальной основе.

22 августа между Керенским и Львовым произошел разговор, содержание которого установить трудно, так как он велся без свидетелей, а передача его обоими собеседниками совершенно не согласована. Поэтому я приведу выдержки из их показаний по важнейшим вопросам в параллельном изложении.

У Керенского	*У Львова*
Из следственного дела. «Прелюдия большевизма». Англ. изд.	«Последние Новости». 1920 г. № 190.
1. «Я не помню подробностей разговора, но суть его сводилась к следующему...»	1. Львов передает разговор с большими деталями.

[1] Корнилов узнал об этом только впоследствии.

2. «Он (Львов) продолжал повторять: «*Мы* можем сделать то или другое»... Я спросил его: кто «мы» и от чьего имени он говорит.

— Я не имею права сказать вам. Я только уполномочен спросить, согласны ли вы пойти на переговоры».

3. «Львов пытался доказать мне, что я не имею поддержки».

2. «— Я пришел по поручению.

— От кого? — живо спросил Керенский.

— От кого, я не имею права сказать. Но доверьтесь мне: раз я пришел — значит, дело важное».

3. «— Скажите, пожалуйста, на кого вы опираетесь?... У вас Петроградский совет уже состоит из большевиков и выносит постановления против вас.

— Мы его игнорируем, — воскликнул Керенский.

— С другой стороны, — продолжал я, — негодование на Совет растет, переливается через край и выразится в резне.

— Вот и отлично! — воскликнул Керенский, вскочив и потирая руки. — Мы скажем тогда, что не могли сдержать общественного негодования, умоем руки и снимем с себя ответственность.

— (Но) первая кровь прольется ваша...

Керенский побледнел.

— Что же вы хотите, чтобы я сделал?

— Порвите с Советом.

— Вы хотите, чтобы я был изменником?

— Нет... Я желаю, чтобы вы

4. «Он выразительно добавил:

— Я уполномочен спросить вас: хотите ли вы включить в правительство новые элементы и обсуждать этот вопрос?

Я ответил:

— Перед тем как дать ответ, я должен знать, с кем я имею дело. Кто те, кого вы представляете, и чего они желают?

— Они общественные деятели.

— Бывают разного сорта общественные деятели... Хорошо, допустим, я не имею поддержки. Какими же реальными силами вы располагаете?

Он возразил, что я введен в заблуждение, что они опираются на серьезные силы, которые нельзя игнорировать».

5. «Конечно, я не дал ему никаких инструкций, никаких полномочий. Я считаю, что он, говоря от моего имени в Ставке так, как он это сделал, допустил «превышение полномочий». Это несомненно, так как ничего подобного я ему не го-

подумали о России, а не о революции».

4. «— Кто же это вы? Союз георгиевских кавалеров? — саркастически улыбнулся Керенский.

— Это, во-первых, конституционно-демократическая партия. Во-вторых, это торгово-промышленники, в-третьих, это казачество, в-четвертых — полковые части, наконец союз офицеров и многие другие.

— Что же вы хотите, чтобы я сделал?

— Протяните руку тем, кого вы от себя отталкиваете... Включите (в правительство) представителей правее кадет; с другой стороны, пусть в нем будут социалисты-государственники, а не исключительно представители Совета.

— Но все же нельзя обойтись без представителей Совета, — сказал Керенский.

— Я не спорю, пусть так».

5. «Керенский был тронут.

— Хорошо, — сказал он. — Я согласен уйти. Но поймите же, что я не могу бросить власть; я должен передать ее из рук в руки.

— Так дайте мне поручение, — сказал я, — войти в

ворил... Львов не окончил разговора. Он спросил:

— Вступите ли вы в переговоры, если я вам скажу, от кого прислан?

— Скажите более определенно, что вы желаете слышать от меня и для чего.

Он ответил:

— До свиданья! —

И ушел».

переговоры от вашего имени со всеми теми элементами, договориться с которыми я сочту необходимым.

— Я даю вам это поручение, — сказал Керенский. — Только прошу вас все держать в секрете.

И крепко пожал мне руку».

Предоставляя читателям разобраться в этих противоречиях, я не могу, однако, не указать, что диалог, изображенный на левой половине листа, в особенности в заключительной части своей, представляется чрезвычайно странным. Ясно чувствуется, что так *нелепо* закончиться он не мог. Хотя Керенский в своем показании усиленно подчеркивает, что разговору со Львовым он не придал никакого значения, но тут же рядом неоднократно заявляет, что вопрос «От чьего имени сделано было предложение?» и та таинственность, которой облек его Львов, в связи с имевшимися у премьера ранее сведениями о заговоре «произвели большое впечатление»... Что касается меня, я убежден в правильности версии Львова и считаю, что в этот день если не свершилось грехопадение Керенского перед лицом революционной демократии, то развернулась окончательно нить «великой провокации».

Львов, пройдя опять через все сомнительное чистилище корниловского окружения, попал 24-го к Верховному. Их разговор в этот день и на следующий, в противоположность предыдущему, в сущности своей является совершенно установленным.

У Корнилова

Показание следственной комиссии.

1. «Войдя ко мне в кабинет, Львов сразу заявил мне:

— Я от Керенского».

2. «В. Н. Львов заявил мне от имени Керенского, что если, по моему мнению, дальнейшее участие последнего в управлении страной не даст власти необходимой силы и твердости, то Керенский готов выйти из состава правительства. Если Керенский может рассчитывать на поддержку, то он готов продолжать работу».

3. «Я очертил общее положение страны и армии, заявил, что, по моему глубокому убеждению, единственным выходом из тяжелого положения является установление военной диктатуры и немедленное объявление страны на военном положении».

У Львова

«Последние новости». 1920 г. № 192.

1. «— Я от Керенского.

Глаза Корнилова сверкнули недобрым огнем».

2. «— Я хочу сделать вам предложение. Напрасно думают, что Керенский дорожит властью. Он готов уйти в отставку, если вам мешает. Но власть должна быть законно передана из рук в руки. Власть не может ни валяться, ни быть захваченной. Керенский идет на реорганизацию власти в том смысле, чтобы привлечь в правительство все общественные элементы. Вот вам мое предложение. Это и есть соглашение с Керенским».

3. «— Передайте Керенскому, что... дальше медлить нельзя... Необходимо, чтобы Петроград был введен в сферу военных действий и подчинялся военным законам, а все тыловые и фронтовые части должны быть подчинены Верховному главнокомандующему... Ввиду грозной опасности, угрожающей России, я не вижу иного выхода, как немедленная передача власти Верховным правительством в руки Верховного главнокомандующего.

Я перебил Корнилова:

— Передача одной военной власти или также гражданской?

— И военной и гражданской.

— Быть может, лучше просто совмещение должности Верховного главнокомандующего с должностью председателя совета министров? — вставил я.

— Пожалуй, можно и по вашей схеме... Конечно, все это (только) до Учредительного Собрания».

4. «Я заявил, что не стремлюсь к власти и готов немедленно подчиниться тому, кому будут вручены диктаторские полномочия — *будь то сам Керенский*[1], генерал Алексеев, генерал Каледин или другое лицо. Львов заявил, что не исключается возможность такого решения, что ввиду тяжелого положения страны Временное правительство, в его нынешнем составе, само придет к сознанию необходимости установления диктатуры и, весьма возможно, предложит мне обязанности диктатора. Я заявил, что если бы так случилось, я от такого предложения не отказался бы».

4. «Корнилов продолжал:

— Кто будет Верховным главнокомандующим, меня не касается, лишь бы власть ему была передана Временным правительством.

Я сказал Корнилову:

— Раз дело идет о военной диктатуре, то кому же быть диктатором, как не вам».

5. «Я просил Львова передать Керенскому, что, независимо от моих взглядов на его свойства, его характер и его отношение ко мне, я считаю участие в управлении страной самого Керенского и Савинкова безусловно необходимым».

5. «— Я не верю больше Керенскому... И Савинкову я не верю... Впрочем, — продолжал Корнилов, — я могу предложить Савинкову портфель военного министра, а Керенскому — портфель министра юстиции».

[1] Единственная фраза во всем показании, которая не подтверждается В. Львовым.

6. «Я просил передать Керенскому, что, по имеющимся у меня сведениям, в Петрограде в ближайшие дни готовится выступление большевиков и на Керенского готовится покушение. Поэтому я прошу Керенского приехать в Ставку, чтобы договориться с ним окончательно. Я просил передать ему, что честным словом гарантирую его полную безопасность в Ставке».

6. «— Затем, — продолжал он, — предупредите Керенского и Савинкова, что я за их жизнь нигде не ручаюсь, а потому пусть они приедут в Ставку, где я их личную безопасность возьму под свою охрану».

Таким образом, предложения Корнилова ультимативного требования не носили, тем более что вопрос о личности диктатора в случае возможности сговора оставлялся открытым. На другой день уже, 26-го, Корнилов в беседе с Филоненко, Завойко и Аладьиным допускает возможность коллективной диктатуры в виде Совета народной обороны, с участием Верховного главнокомандующего в качестве председателя.

Корнилов не имел ни малейшего основания не верить Львову. Он знал, что Львов пользуется репутацией человека несерьезного, путаника, но честного. Сущность же всего разговора была настолько определенна, что не допускала невольного искажения его передачи. Наконец, Львов был ведь недавно *министром* в правительстве Керенского!

Перед Корниловым в первый раз встали реальные перспективы мирного, легального разрешения вопроса о реорганизации власти, по крайней мере в первой стадии его, так

как в дальнейшем несомненно предстояла решительная и жестокая борьба с советами.

Первый, самый важный вопрос был близок к разрешению, и это обстоятельство меняло весь характер борьбы, ставя ее в легальные рамки.

После разговора с Корниловым Львов опять попал в «чистилище». Оглушенный всей этой хлестаковщиной корниловского «политического окружения», всеми «тысячью курьеров», он совершенно потерял масштаб в оценке веса, значения и роли своих собеседников. Добрынский[1], могущий «по первому сигналу выставить до 40 тысяч горцев и направить их куда пожелает»... Аладьин, якобы посылающий корниловскую телеграмму Донскому атаману Каледину с приказом начать движение на Москву и от имени Верховного главнокомандующего и офицерского союза требующий, чтобы ни один министерский пост не замещался без ведома Ставки... Завойко, назначающий министров и «собирающийся созвать Земский собор»... Профессор Яковлев, разрешающий каким-то неслыханным способом аграрную проблему...

Львов вернулся в Петроград, окончательно сбитый с толку в той атмосфере беспардонной фронды и кричащей о себе и своих тайнах на каждом шагу «конспирации», которая окружала Ставку. И привез целый ряд «государственных актов», составленных и врученных ему Завойко: проект манифеста к армии от имени Корнилова, принимавшего на себя верховную власть; проект воззвания к солдатам по поводу дарования им земельных наделов (аграрная программа Яковлева, если верить Львову, сильно напоминавшая демагогический проект большевистского генерала Сытина; список министров нового кабинета, тут же наскоро набросанный Завойко при благосклонном участии самого Львова[2]; словесное внушение Завойко, развивавшего по-своему

[1] Добрынский до декабря еще не был представлен генералу Корнилову.

[2] Предположительный список министров составлялся в кабинете Корнилова на следующий день, 26-го, при участии его, Филоненко, Завойко и Аладьина. По свидетельству г-на Н-го, Завойко

указания Корнилова предъявить правительству три пункта: «1) немедленная передача правительством военной и гражданской власти в руки Верховного главнокомандующего; 2) немедленная отставка всех членов Временного правительства; 3) объявление Петрограда на военном положении».

Наконец вернулся Львов с твердым убеждением, основанным на всем слышанном, что Корнилов желает спасти Керенского, но что в Ставке вынесли Керенскому «смертный приговор». Это последнее обстоятельство, по-видимому, окончательно нарушило душевное равновесие Львова и отразилось на всем характере второго разговора его с Керенским и в значительной мере повлияло на решение последнего.

Маленькая житейская подробность, вероятно небезынтересная для бывшего премьера, который в своей книге не раз останавливается на грозившей ему смертельной опасности, очень туманно касаясь источников ее: 26-го для него в Могилеве, в губернаторском доме, приготовили комнату рядом со спальней Корнилова, выселив для этой цели одного из членов его семьи... Верховный не играл своим словом.

26 августа Львов посетил Керенского и передал ему результаты своих переговоров в Ставке. Посоветовав Керенскому не ехать в Ставку, Львов предъявил ему те предложения, которые были сформулированы Завойко. «Когда я услышал все эти нелепости, — показывает Керенский, — мне показалось, что он (Львов) болен или случилось действительно что-то очень серьезное... Те, кто были возле меня, могут засвидетельствовать, как сильно я был расстроен... Успокоившись несколько, я умышленно уверил Львова, что больше не имею ни сомнений, ни колебаний и решил согласиться. Я стал объяснять Львову, что я не могу представить Временному правительству такое сообщение без доказательств... Под конец я попросил его изложить письменно все корниловские предложения».

впоследствии, на совещании в Ставке, оправдываясь перед Корниловым, отрицал факт передачи им (Завойко) списка министров В. Львову.

Львов написал:

«1) Объявить в Петрограде военное положение.

2) Вся военная и гражданская власть должна быть передана в руки Верховного главнокомандующего.

3) Все министры, не исключая премьера, должны подать в отставку. Временно исполнительная власть должна быть передана товарищам министров впредь до сформирования правительства Верховным главнокомандующим».

В. Львов

Петроград, 26 августа».

«Было необходимо, — говорит Керенский, — доказать немедленно формальную связь между Львовым и Корниловым настолько ясно, чтобы Временное правительство было в состоянии принять решительные меры в тот же вечер... заставив Львова повторить в присутствии третьего лица весь его разговор со мной».

Для этой цели был приглашен помощник начальника милиции Булавинский, которого Керенский спрятал за занавеской в своем кабинете во время второго посещения его Львовым. Булавинский свидетельствует, что записка была прочтена Львову и последний подтвердил содержание ее, а на вопрос, «каковы были причины и мотивы, которые заставили генерала Корнилова требовать, чтобы Керенский и Савинков приехали в Ставку», он не дал ответа.

Львов категорически отрицает версию Керенского. Он говорит: «*Никакого ультимативного требования Корнилов мне не предъявлял.* У нас была простая беседа, во время которой обсуждались разные пожелания в смысле усиления власти. Эти пожелания я и высказал Керенскому. Никакого ультимативного требования (ему) я не предъявлял и не мог предъявить, а он потребовал, чтобы я изложил свои мысли на бумаге. Я это сделал, а он меня арестовал. Я не успел даже прочесть написанную мною бумагу, как он, Керенский, вырвал ее у меня и положил в карман».

* * *

Теперь уже все государственные вопросы отошли на задний план. Глава правительства в наиболее критический момент для государства перестает взвешивать его интересы и, будучи во власти одной болезненно-навязчивой идеи, стремится лишь всеми силами к отысканию неопровержимых улик против «мятежного» Верховного. Перед нами проходит ряд сцен, в которых развернулись приемы сыска и провокации: эпизоды с запиской Львова и с Булавинским и, наконец, разговор Керенского совместно с Вырубовым по аппарату с Корниловым от имени премьера и... отсутствующего Львова. Больше всего Керенский боится, чтобы ответ Корнилова по самому существенному вопросу — о характере его предложений — не внес каких-либо неожиданных изменений в толкование «ультиматума», которое он старался дать предложению Корнилова в глазах страны и правительства. Думский и политический деятель, правитель волею революции и юрист по профессии не мог *несознательно* облечь в такие умышленно темные формы главное существо вопроса:

— Просим подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем (Львовым).

— Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною В. Н-чу *с просьбой доложить вам*, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок.

— Я, Владимир Николаевич (?), вас спрашиваю: нужно ли исполнить то определенное решение, о котором вы просили известить меня Александра Федоровича только совершенно лично; без этого подтверждения лично от вас А. Ф. колеблется мне вполне доверить.

— Да, подтверждаю, *что я просил вас передать А. Ф-чу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев.*

— Я, А. Ф., понимаю ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне В. Н. Сегодня этого сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра. Нужен ли Савинков?

— Настоятельно прошу, чтобы Б. В. прихал вместе с вами... Очень прошу не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить вас.

— Приезжать ли только в случае выступления, о котором идут слухи, или во всяком случае?

— Во всяком случае.

Этот разговор обличает в полной мере нравственную физиономию Керенского, необычайную неосмотрительность Корнилова и сомнительную роль «благородного свидетеля» Вырубова.

Только в этот день поздно вечером, 26 августа, поехал к своим войскам Крымов, которому были даны Верховным две задачи: «1) В случае получения от меня или непосредственно на месте (сведений) о начале выступления большевиков немедленно двигаться с корпусом на Петроград, занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать советы; 2) по окончании исполнения этой задачи генерал Крымов должен выделить одну бригаду с артиллерией в Ораниенбаум и по прибытии туда потребовать от Кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк»[1].

Этот документ, которому Керенский придает такое уличающее значение для квалификации корниловского выступления «мятежом», по существу вытекал непосредственно из всей создавшейся обстановки: войска Крымова по требованию правительства шли к Петрограду; ожидавшееся большевистское выступление неизбежно втягивало в себя советы, так как почти половина состава Петроградского совета была большевистской; также неизбежно было (безотносительно даже к чисто большевистскому восстанию) выступление революционной демократии в лице советов в тот день, когда объявлены были бы первые меры «правительственной твердости». Наконец, самый сдвиг правительства от Совета к Ставке, который после миссии Львова и последнего телеграфного разговора считался вопросом ближайших одного-двух дней, должен был произвести оглушительный взрыв в недрах советов. Что же касается ликвидации кронштадтского мятежного гнезда, то согласие на нее было дано министром-председателем еще 8 августа.

[1] Из показания Корнилова следственной комиссии.

Утром 27-го Ставка была поражена неожиданной новостью: получена была телеграмма, передающая личное распоряжение Керенского, в силу которого Корнилов должен был немедленно сдать должность Лукомскому и выехать в Петроград.

Стремление «охранять завоевания революции», нерешительность, обман и провокация — можно называть какими угодно именами те действия и бездействие, которые были проявлены министром-председателем, но сущность их не подлежит никакому сомнению: они были лишены государственной целесообразности и предвидения. Керенский с большим удовлетворением повторяет образное выражение Некрасова, что «благодаря приезду Львова стало возможным взорвать приготовленную мину на два дня раньше срока». Но это «образное выражение» значительно теряет свое радостное содержание, если вспомнить, что мину взорвали в теле Родины и что можно было, не взрывая, просто потушить фитиль, став на прямую открытую дорогу, не угрожавшую завоеваниям революции и даже не причинявшую в начале большого ущерба политической карьере премьера.

Керенский дает сбивчивые показания о порядке разрешения вопроса об удалении с поста Корнилова, утверждая, что мера эта была принята Временным правительством на заседании 26 августа. Никаких письменных следов такого постановления нет; бурное заседание это, окончившееся в 5 часов утра, обсуждало главным образом требование Керенского о предоставлении ему чрезвычайных (диктаторских) полномочий и хотя и выяснило принципиальное согласие почти всех министров вручить председателю свою отставку, но к окончательным решениям не привело. По крайней мере, по свидетельству Кокошкина, на другой день, 27-го, на 11 часов утра было назначено новое заседание «для оформления, — как заявил Некрасов, — всех принятых решений». Но заседание не состоялось. Члены правительства собрались только 28-го на *частное заседание*, которое явилось последним, так как Керенский действовал уже самостоятельно, считая себя воспринявшим единолично верховную власть. Временное правительство — этот фетиш, который так крикливо и лицемерно оберегался Керенским от притязаний Корнило-

ва, «дерзнувшего предъявить Временному правительству требование передать ему власть», было им распущено и отстранено от участия в государственном управлении. «Дерзать», следовательно, можно было только Керенскому. Тем не менее в правительстве и в советских кругах царила полная растерянность. В Смольном происходили день и ночь тревожные заседания и принимались необычайные меры изолирования здания и самообороны. Еще 28-го новый диктатор в частном заседании бывшего правительства определял положение почти безнадежным: крымовские войска шли на Петроград, и испуганному воображению диктатора уже рисовалось приближение страшных кавказских всадников «Дикой дивизии»... Усиливалось и политическое одиночество премьера: большинство бывших членов правительства высказалось за мирную ликвидацию корниловского выступления и образование директории с участием генерала Алексеева, с совмещением им должности Верховного; а кадеты, поддержанные извне Милюковым, настаивали даже на том, чтобы Керенский покинул правительство, передав власть генералу Алексееву. В этом назначении они видели не только перемену правительственной политики, но и наилучший способ бескровной ликвидации корниловского выступления, так как не было сомнений, что Корнилов подчинится тогда Алексееву.

В то же время ряд лиц, в том числе генерал Алексеев, Милюков, президиум Казачьего совета и другие, вели настойчивые переговоры с Керенским о примирении его со Ставкой. Даже вдохновитель Керенского господин Некрасов, сыгравший такую печальную роль в поспешном оповещении страны о «мятеже Корнилова»[1], в этот день, по свидетельству Кишкина, «лежа в изнеможении на кушетке» на вопрос Керенского ответил:

— Я нахожу, что без того или иного участия генерала Алексеева в составе правительства нельзя разрешить кризиса.

[1] Инициатива, редакция и *даже подпись* фамилии Керенского на телеграмме с обращением к народу о мятеже главнокомандующего приписываются Некрасову. Следственная комиссия так и не добилась подлинника телеграммы.

Керенский не хотел слышать ни об оставлении власти, ни о примирении с «мятежным генералом».

— Оставшись один, — заявил он, — я ухожу к «ним». — И ушел в соседнюю комнату, где его ожидали Церетели и Гоц.

В окончательном итоге судьбы движения решили «они», то есть советы.

27 августа Керенский поведал стране о восстании Верховного главнокомандующего, причем сообщение министра-председателя начиналось следующей фразой: «26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной Думы В. Н. Львова с требованием передачи Временным правительством всей полноты военной и гражданской власти, с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной».

В дальнейшем Керенский, триумвират из Савинкова, Авксентьева и Скобелева, Петроградская дума с А. А. Исаевым и Шрейдером во главе и советы лихорадочно начали принимать меры к приостановке движения войск Крымова. Вместе с тем целым рядом воззваний, обращенных к народу, армии, комитетам, железнодорожникам, местным комиссарам, советам и т. д., они стремились опорочить это движение и вызвать ненависть против его главы. Во всех этих воззваниях не было правдивого, фактического и юридического обоснования; они отражали лишь более или менее холерический темперамент составителей. «Мятеж», «измена родине и революции», «обнажение фронта» — вот главные мотивы. Но постыднее всех было воззвание Чернова от имени Исполнительного комитета Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Оно начиналось обращением к «крестьянам в серых солдатских шинелях» и приглашало их «запомнить проклятое имя человека», который хотел «задушить свободу, лишить вас (крестьян) земли и воли!». Участник Циммервальда, член редакционного комитета газеты «На чужбине», состоявшей на службе у германского генерального штаба, пролил слезу и над участью *«родной земли»*, страдающей от «опустошения, огня, меча чужеземных императоров», — земли, от защиты которой отвлекаются «мятежником» войска.

А в то же время новый петроградский генерал-губернатор Б. Савинков собирал революционные войска для непосредственной обороны Петрограда. Занятие это было тем более трудное, что петроградский гарнизон отнюдь не имел желания отдавать свою жизнь за Временное правительство, а юнкерские караулы в Зимнем дворце, по свидетельству того же Савинкова, приходилось сменять по несколько раз в ночь из опасения «измены». В организации военной обороны, из-за отсутствия доверия к командному составу, принимали деятельное участие такие специалисты военного дела, как Филоненко и... Чернов, причем последний «объезжал фронт и высказывал неожиданные (стратегические) соображения»[1]...

Между прочим, в какой-то газете или информации промелькнуло совершенно нелепое сведение об участии генерала Алексеева совместно с Савинковым в тактической разработке плана обороны подступов к столице против корниловских войск. Невзирая на всю вздорность этого слуха, Корнилов склонен был верить ему и однажды в Быхове, передавая мне этот эпизод, сказал:

— Я никогда не забуду этого.

С большим трудом мне удавалось рассеять его предубеждение.

Должен заметить, что какие-то влияния все время усиленно работали над созданием недружелюбных отношений между генералами Алексеевым и Корниловым; искажались факты, передавались не раз вымышленные злые и обидные отзывы, долетавшие извне даже до Быхова. Кому-то нужно было внести элемент раздора в ту среду, которую не разъедало политическое разномыслие.

* * *

В последние дни августа Петроград представлял собой развороченный муравейник. И, невзирая на громкие, возбуждающие призывы своих вождей — призывы, скрывавшие неуверенность в собственных силах, — революционная демократия столицы переживала дни смертельной тревоги. Приближение к Петрограду «ингушей» заслонило

[1] Из письма в газету Филоненко.

на время все прочие страсти, мысли и интересы. А некоторые представители верховной власти торопливо запасались уже заграничными паспортами...

ГЛАВА VI

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА. СТАВКА, ВОЕНАЧАЛЬНИКИ, СОЮЗНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИИ, ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА КРЫМОВА В ДНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА КРЫМОВА. ПЕРЕГОВОРЫ О ЛИКВИДАЦИИ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Если в Петрограде положение было крайне неопределенным, то еще больший хаос царил в противном лагере.

Керенский приказал вступить в верховное командование последовательно начальнику штаба Верховного генералу Лукомскому[1], затем главнокомандующему Северным фронтом генералу Клембовскому. Оба отказались: первый — бросив обвинение Керенскому в провокации, второй — «не чувствуя в себе ни достаточно сил, ни достаточно уменья для предстоящей тяжелой работы»... Генерал Корнилов, придя к убеждению, что «правительство снова подпало под влияние безответственных организаций и, отказываясь от твердого проведения в жизнь (его) программы оздоровления армии, решило устранить (его) как главного инициатора указанных мер»[2], решил не подчиняться и должности не сдавать.

27-го в Ставку начали поступать петроградские воззвания, и Корнилов, глубоко оскорбленный их внешней формой и внутренней неправдой, ответил, со своей стороны, рядом горячих воззваний к народу, армии, казакам. В них, описывая исторический ход событий, свои намерения и «великую

[1] Об этом я писал ранее.

[2] Из показания Корнилова следственной комиссии.

провокацию»[1], он клялся довести страну до Учредительного собрания. Воззвания, искусственные по стилю[2], благородные и патриотические по содержанию, остались гласом вопиющего в пустыне. «Мы» и без них всей душой сочувствовали корниловскому выступлению; «они» шли только за реальными посулами и подчинялись только силе. А между тем во всех обращениях слышалась нота душевной скорби и отчаяния, а не сознание своей силы. Кроме того, тяжело переживая события и несколько теряя равновесие, Корнилов в воззвании 27 августа неосторожно заявил, что «Временное правительство, под давлением большевистского большинства советов, действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри». Это неосторожное обобщение всех членов Временного правительства, которых, за исключением, быть может, одного, можно было обвинять в чем угодно, только не в служении немцам, произвело тягостное впечатление на лиц, знавших действительные взаимоотношения между членами правительства, и особенно на тех, кто в среде его были духовно сообщниками Корнилова.

Образ, сравнение, аналогия в редакции Завойко выражены были словом «согласие». Без сомнения, и Корнилов не придавал прямого значения этому обвинению Временного правительства, ибо 28-го он уже приглашал его в Ставку, чтобы совместно с ним выработать и образовать «такой состав правительства народной обороны, который, обеспечивая победу, вел бы народ русский к великому будущему».

28-го Керенский потребовал отмены приказания о движении 3-го конного корпуса на Петроград. Корнилов отказал и, на основании всей создавшейся обстановки придя к выводу, что «правительство окончательно подпало под влияние Совета», решил «выступить открыто и, произведя давление на Временное правительство, заставить его: 1) исключить из своего состава тех министров, которые, по имеющимся (у него) сведениям, были явными предателями Родины; 2) перестроиться так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть». Для оказания давления на правительство он решил воспользоваться войсками Крымова, которому 29 августа послано было соответствующее приказание.

[1] «Телеграмма министра-председателя... во всей своей первой части является ложью: не я послал члена Государственной Думы В. Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя».

[2] Два воззвания составлены Завойко, одно (к казакам) лично Корниловым.

Итак, жребий брошен: открыто началась междоусобная война.

Мне не раз приходилось слышать упреки по адресу Корнилова, что он сам лично не стал во главе войск, шедших на Петроград, и не использовал своего огромного личного обаяния, которое так вдохновляло полки на поле сражения. По-видимому, и войсковые части разделяли этот взгляд. По крайней мере, в хронике Корниловского ударного полка читаем: «Настроение корниловцев было настолько приподнятое, что, прикажи им генерал идти с ним на Петроград, много было шансов взять город. Корниловцы увлекли бы за собой и других. Но почему-то генерал Корнилов, первоначально решившись, казалось, все поставить на карту, внезапно заколебался и, остановившись на полдороге, не захотел рискнуть своим последним козырем — Корниловским и Текинским полками». Интересно, что и сам Корнилов впоследствии считал крупной своей ошибкой то обстоятельство, что он не выехал к войскам. Несомненно, появление Корнилова с двумя надежными полками решило бы участь Петрограда. Но оно вряд ли было выполнимо технически: не говоря уже о том, что с выходом полков из Ставки весь драгоценный аппарат ее попал бы в руки местных советов, предстояло передвинуть могилевские эшелоны, исправляя пути, местами, вероятно, с боем, на протяжении 65 верст! 26-го Корнилов ждал приезда Керенского и Савинкова; 27-го вел переговоры в надежде на мирный исход, а с вечера этого дня пути во многих местах были разобраны, и бывшие впереди эшелоны Туземной дивизии и 3-го конного корпуса безнадежно застряли, разбросанные на огромном протяжении железнодорожных линий, ведущих к Петрограду. Было только две

возможности: не ведя переговоров, передав временное командование генералу Лукомскому, выехать 27-го с одним эшелоном на Петроград; или позже перелететь на аэроплане в район Луги, рискуя, впрочем, в том и другом случае вместо «своих» попасть к «чужим», так как с Крымовым всякая связь была прервана. Обе эти возможности сильно ударялись в область приключений.

В Могилеве царило тревожное настроение. Ставка работала по-прежнему, и в составе ее не нашлось никого, кто бы посмел, а может быть, кто бы хотел не исполнить приказания опального Верховного. Ближайшие помощники Верховного — генералы Лукомский и Романовский — и несколько других офицеров сохраняли полное самообладание. Но в души многих закрадывались сомнение и страх. И среди малодушных начались уже панические разговоры и принимались меры к реабилитации себя на случай неуспеха. Бюрократическая Ставка по природе своей могла быть мирной фрондой, но не очагом восстания.

В гарнизоне Могилева не было полного единства: он заключал в себе до трех тысяч преданных Корнилову корниловцев и текинцев и до тысячи солдат Георгиевского батальона, тронутых сильно революционным угаром и уже умевших торговать даже своими голосами[1]. Георгиевцы, однако, чувствуя себя в меньшинстве, сосредоточенно и угрюмо молчали; иногда, впрочем, происходили небольшие побоища на глухих городских улицах между ними и «корниловцами». И когда 28 августа генерал Корнилов произвел смотр войскам гарнизона, он был встречен могучими криками «ура» одних и злобным молчанием других. «Никогда не забыть присутствовавшим на этом историческом параде, — говорится в хронике Корниловского полка, — небольшой, коренастой фигуры Верховного, когда он резко и властно говорил о том, будто только безумцы могут думать, что он, вышедший сам из народа, всю жизнь посвятивший служению ему, может хотя бы в мыслях изменить народному делу. И задрожал невольно от смертельной обиды голос генерала, и задрожали сердца его корниловцев. И новое, еще более могучее «ура» покатилось по серым рядам солдат. А генерал стоял с поднятой рукой, словно обличая тех, кто нагло бросил ему обвинение в измене своей Родине и своему народу».

[1] При выборах в городскую Думу.

Если бы этот могучий клик мог докатиться до тех станций, полустанков, деревень, где столпились и томились сбитые с толку, не понимавшие ничего в том, что происходит, эшелоны крымовских войск!

Город притих, смертельно испуганный всевозможными слухами, ползущими из всех углов и щелей, ожиданием междоусобных схваток и кровавых самосудов.

* * *

Старый губернаторский дом на высоком, крутом берегу Днепра, в течение полугода бывший свидетелем стольких исторических драм, хранил гробовое молчание. По мере ухудшения положения стены его странно пустели и в них водворилась какая-то жуткая, гнетущая тишина, словно в доме был покойник. Редкие доклады и много досуга. Опальный Верховный, потрясенный духовно, с воспаленными глазами и тоскою в сердце, целыми часами оставался один, переживая внутри себя свою великую драму, драму России. В редкие минуты общения с близкими, услышав робко брошенную фразу с выражением надежды на скорый подход к столице войск Крымова, он резко обрывал:

— Бросьте, не надо.

Все понемногу рушилось. Последние надежды на возрождение армии и на спасение страны исчезали. Какие еще новые факторы могли спасти положение?

Разговор по телеграфу 27 августа с Савинковым и Маклаковым не мог внушить никакого оптимизма. Из них первый в пространном и нравоучительном наставлении убеждал Корнилова «во имя несчастной родины нашей» подчиниться Временному правительству; второй — «принять все меры (чтобы) ликвидировать недоразумение без соблазна и огласки». Было ясно, что искусственная редакция обращения Савинкова имеет целью личную реабилитацию его в глазах кругов, стоявших на стороне Керенского, оправдание тех загадочных для революционной демократии и самого Керенского связей, которые существовали между военным ми-

нистерством и Ставкой. Или, как говорил сам Савинков, — «для восстановления исторической точности».

Поддержка «маршалов»?

Корнилов *не верил* в стремление к активному выступлению высшего командного состава и не считал поэтому необходимым посвящать его заблаговременно в свои намерения; если не ошибаюсь, никуда, кроме Юго-Западного фронта, ориентировка не посылалась. По существу главнокомандующие и командующие не располагали ведь ни реальными силами, ни реальной властью, находясь в почетном (иногда и не в почетном) плену у революционных организаций. Тем не менее создать узлы сопротивления путем формирования послушных частей, хотя бы для удержания в своих руках (более или менее длительно) военных центров и штабных технических аппаратов, было, конечно, и необходимо и возможно. Но для этого нужен был некоторый подбор главных начальников, а для всего вместе — время. Между тем быстро прогрессирующий распад страны и армии, по мнению Корнилова, не давал возможности планомерной подготовки. Наконец, Корнилов считал, что в случае успеха признание всех старших военных начальников было обеспечено, а при неуспехе меньшее число лиц вовлекалось в дело и под ответ. Судьба, однако, распорядилась иначе, создав совершенно непредвиденную обстановку длительного конфликта, в решении которого не только материальные силы, но и моральное воздействие, требовавшее, однако, некоторого самопожертвования и риска, имело бы огромное значение.

Такой нравственной поддержки Корнилов не получил.

27-го на обращение Ставки из пяти главнокомандующих отозвалось четыре[1]: один — «мятежным» обращением к правительству, трое — лояльными, хотя и определенно сочувственными в отношении Корнилова. Но уже в решительные дни 28—29-го, когда Керенский предавался отчаянию и мучительным колебаниям, обстановка резко изменилась: один главнокомандующий сидел в тюрьме; другой (Клембовский) ушел, и его заменил большевистский генерал Бонч-Бруевич, принявший немедленно ряд мер к приостановке движения крымовских эшелонов; трое остальных засвидетельствовали о своем полном и безоговорочном подчинении Временному правительству в форме достаточно верноподданной. Генерал Пржевальский, донося Керенскому, счел нужным бросить укор в сторону Могилева: «Я остаюсь верным Временному правительству и считаю в данное время всякий раскол в армии и принятие ею участия в гражданской войне гибельными для отечества»... Еще более определенно высказался будущий военный министр, ставленник Керенского, полковник Верховский, объявивший в приказе по войскам Московского округа: «Бывший Верховный главнокомандующий... в то самое время, когда немцы прорываются у Риги на Петроград, снял с фронта три лучшие казачьи дивизии и направил их на борьбу с правительством и *народом русским*».

[1] Кроме главнокомандующего Кавказским фронтом генерала Пржевальского.

По мере того как получались все эти сведения, настроение Ставки все более падало, а Верховный все больше уходил в себя, в свои тяжкие думы.

Поддержка союзников?

Нужно заметить, что общественное мнение союзных стран и их правительств, вначале чрезвычайно благожелательно настроенных к Керенскому, после июльского разгрома армии резко изменилось. И посланный правительством для ревизии наших заграничных дипломатических миссий Сватиков имел полное основание суммировать свои впечатления следующими словами доклада: «Союзники смотрят с тревогой на то, что творится в России. Вся западная Европа — с Корниловым, и ее пресса не перестает твердить: довольно слов, пора приступить к делу»[1]. Еще более определенное и вполне доброжелательное отношение сохранили к Верховному иностранные военные представители. Многие из них представлялись в эти дни Корнилову, принося ему уверения в своем почитании и искренние пожелания успеха; в особенности в трогательной форме это делал британский представитель. Слова и чувства. Реально они проявились

[1] Из секретных документов, опубликованных большевиками.

только в декларации, врученной 28 августа Терещенко Бьюкененом в качестве старейшины дипломатического корпуса. В ней в изысканной дипломатической форме послы единодушно заявляли, что «в интересах гуманности и в желании устранить непоправимые действия они предлагают свои добрые услуги (посредников) в единственном стремлении служить интересам России и делу союзников».

Впрочем, Корнилов тогда не ждал и не искал более реальных форм интервенции.

Поддержка русской общественности? Произошло нечто чудное: русская общественность внезапно и бесследно сгинула.

Как я говорил уже, Милюков, быть может, еще два-три видных деятеля упорно и настойчиво поддерживали в Петрограде необходимость примирения с Корниловым и коренной реорганизации Временного правительства. Кадетская группа в правительстве героически и беспомощно боролась за то же в самой среде его. Какое фатальное недоразумение вырастало на почве ненависти к правительству *в целом* и непонимания его политических группировок, когда и этим четырем «праведникам» в общей «содомской» куче, как оказывается, угрожали большие бедствия со стороны конспиративных организаций, очевидно превышавших свои полномочия. Либеральная печать, в том числе «Речь» и «Русское слово», в первые дни в спокойных лояльных статьях так определяли элементы выступления: «преступность» способов борьбы, правильность целей ее («подчинение всей жизни страны интересам обороны») и почвенность движения, обусловленная положением страны и ошибками власти. Довольно робко говорили о примирении... Вот и все.

Исчезло и «совещание общественных деятелей» в лице оставленного им «совета». Председатель его М. Родзянко, заявивший еще три недели назад от имени совещания, что «всякие покушения на подрыв авторитета (Корнилова) в армии и в России считает преступными», теперь говорил[1]:

— Никогда ни в какой контрреволюции я не участвовал и во главе фронды не стоял; о всех злобах дня я узнал только из газет и сам к ним не причастен. А вообще могу сказать

[1] «Русское слово». 1917 год. № 197.

одно: заводить сейчас междоусобицы и ссоры — преступление перед Родиной.

Ab uno disce omnes![1]

Офицерство? Не было никакого сомнения, что масса офицерства всецело на стороне Корнилова и с замиранием сердца следит за перипетиями борьбы, им кровно близкой; но, не привлеченное к ней заблаговременно в широком масштабе и в солидной организации, в той обстановке, в какой оно жило, офицерство могло дать лишь нравственную поддержку.

Одна надежда оставалась на вооруженную силу, каковую представляли войска Крымова и петроградские организации, которые должны были выступить одновременно с войсками. Но с Петроградом, кроме военного министерства, связи не было никакой; о Крымове и сосредоточении его частей ничего не было известно; летчик и целый ряд посланных Ставкой офицеров застревали в дороге или были перехвачены, и никто не возвращался.

Предчувствовалось что-то недоброе...

* * *

В Петрограде, как я уже говорил, царил полный развал. Казалось необыкновенно легким с ничтожными силами овладеть столицей, так как в ней не было войск, искренне преданных Временному правительству. Но не было и самоотверженных «корниловцев». Неожиданный поворот событий 27 августа привел в полную растерянность петроградскую организацию. Вновь пошли непрерывные сборища и совещания, обнаружившие только нерешительность и подавленное настроение руководителей.

Между тем генерал Алексеев тщетно добивался благоприятного разрешения кризиса. Та растерянность, которая царила в Петрограде, и те настроения, которые преобладали среди бывших членов правительства, как будто давали надежду на образование нового правительства с участием в нем в первенствующей роли генерала Алексеева, если с его стороны будет проявлена твердость и настойчивость. Впоследствии он подвергся суровым обвинениям за то, что не сумел использовать положение и согласился стать в подчиненную

[1] По одному узнай все или всех. *(Прим. ред.)*

роль к Керенскому. Приводимый ниже эпизод дает некоторое объяснение его решению.

29 августа ротмистр Шапрон — один из участников организации — застал его в крайне угнетенном состоянии. Старый генерал сидел в глубоком раздумье, и из глаз его текли крупные слезы. Он сказал:

— Только что был Терещенко. Уговаривают меня принять должность начальника штаба при Верховном — Керенском. Если не соглашусь, будет назначен Черемисов. Вы понимаете, что это значит? На другой же день корниловцев расстреляют! Мне противна предстоящая роль до глубины души, но что же делать? Неужели нельзя связаться с Крымовым и вызвать сюда хоть один полк? Ведь у вас тут есть организация. Отчего она бездействует? Найдите во что бы то ни стало С. и заставьте его приступить к действиям.

Один из крупных участников конспирации — летчик — заявил, что все летательные машины испорчены; взялся лично пробраться к Крымову на автомобиле, но скоро вернулся, объяснив, что сломалась машина. Этим, собственно, попытка связаться с конным корпусом и ограничилась. Наводит на размышление тот факт, что в те же дни по всему району «внутреннего театра» совершенно беспрепятственно проезжал комиссар Станкевич, а к крымовским войскам проникали свободно всевозможные делегации.

Главного руководителя петроградской военной организации полковника С. разыскивали долго и безуспешно. Он, как оказалось, из опасения преследования скрылся в Финляндию, захватив с собой последние остатки денег организации — что-то около полутораста тысяч рублей. Впоследствии имена нескольких участников организации я встретил в агентурных списках лиц, косвенно содействовавших большевикам или промотавших деньги конспирации. И техническая и материальная часть дела были поставлены из рук вон плохо.

29-го Керенский отдал указ об отчислении от должностей и предании суду «за мятеж» генерала Корнилова и старших его сподвижников.

Ночь на 30-е послужила решительным поворотным пунктом в ходе событий: генерал Алексеев ради спасения жизни корниловцев решился принять на свою седую голову бесчестие — стать начальником штаба у «главковерха» Керенского. Само назначение Керенского на этот пост вносило в дело обороны страны элемент какой-то злой и глупой шутки. Об этом кратком, всего в несколько дней, периоде своей жизни Алексеев говорил впоследствии всегда с глубоким волнением и скорбью.

* * *

В этот день, 30-го, Ставка потеряла в значительной мере надежду на успех. Между часом и тремя часами дня произошел исторический разговор по телеграфу между Алексеевым и Корниловым. Генерал Алексеев сообщал о принятом «после тяжкой внутренней борьбы» назначении, объясняя его желанием совершить «переход к новому управлению преемственно и безболезненно», чтобы «в корень расшатанный организм армии не испытал еще лишнего толчка, последствия которого могут быть роковыми».

Минута для такого перехода, очевидно, уже назрела, так как еще до этого разговора была заготовлена Лукомским от имени Верховного телеграмма Временному правительству. В ней указывалось на недопустимость перерыва руководства операциями хоть на один день и на необходимость немедленного приезда в Ставку генерала Алексеева, который, «с одной стороны, мог бы принять на себя руководство по оперативной части, с другой — явился бы лицом, могущим всесторонне осветить обстановку». Корнилов обещал свою *лояльность* с некоторыми условиями: 1) объявления о создании сильного и не подверженного влиянию безответственных организаций правительства, «которое поведет страну по пути спасения и порядка»; 2) прекращения арестов генералов и офицеров и приостановки предания суду генерала Деникина и подчиненных ему лиц; 3) прекращения в интересах армии распространения приказов и воззваний, порочащих имя Корнилова, еще не сдавшего верховного командования.

Алексеев обещал предъявить эти требования правительству — по-видимому, без веры в успех, потребовать временного оставления за Корниловым оперативного руководства войсками и ускорить свое прибытие. Керенский действи-

тельно отдал приказ о выполнении армиями всех оперативных приказаний Корнилова и Ставки и даже о продолжении прерванных перевозок, за исключением... направленных к Петрограду, Москве, Могилеву и на Дон, «так как, — сказано было в телеграмме, — современное положение дел не требует сосредоточения войск к указанным пунктам».

Это не была еще безусловная сдача, как ошибочно поняли в Петрограде.

30-го Корнилов просил Алексеева дать ему возможность переговорить по прямому проводу с Крымовым. 31-го он объявлял войскам и населению Могилева: «Генерал Алексеев едет из Петрограда в Могилев для ведения со мной от имени Временного правительства переговоров... Являясь поборником свободы и порядка в стране, я остаюсь непреклонным в защите таковых и буду отстаивать их во все время ведения переговоров».

В ночь с 31 августа на 1 сентября происходит весьма характерный разговор по аппарату между генералами Алексеевым (из Витебска) и Лукомским, который я приведу в подробных извлечениях.

А.: Циркулирующие сплетни и слухи окутывают нежелательным туманом положение дел, а главное — вызывают некоторые распоряжения Петрограда, отдаваемые после моего отъезда оттуда и могущие иметь нежелательные последствия. Поэтому прошу ответить мне: 1) считаете ли, что я следую в Могилев с определенным служебным положением или только для переговоров? 2) Предполагаете ли, что с приемом мною руководства армиями дальнейший ход событий будет определяться прибывающей в Могилев, вероятно, 2 сентября или вечером 1 сентября следственной комиссией под председательством главного (военного и) морского прокурора? От этого будет зависеть мое собственное решение, так как я не могу допустить себе быть простым свидетелем тех событий, которые подготовляются распоряжениями и которых безусловно нужно избежать.

Л.: Сегодня вечером генерал Корнилов говорил мне, что он смотрит на вас как на лицо, предназначенное на должность наштаверха, и предполагал после разговоров с вами и

показав вам ряд документов, которых вы, вероятно, не имеете, дать вам свое окончательное решение, считая, что, быть может, ознакомившись с делом, вы несколько измените тот взгляд, который, по-видимому, у вас сложился. Во всяком случае уверяю вас, что генерал Корнилов не предполагал устраивать из Могилева форт Шаброль и в нем отсиживаться. Я убежден, что ради того, чтобы не прерывать оперативной деятельности, и дабы в этом отношении не произошло каких-либо непоправимых несчастий, *вам не будет чиниться никаких препятствий по оперативным распоряжениям.* Вот все, что я знаю. Если этот ответ вас не удовлетворяет, я могу разбудить генерала Корнилова и дать вам дополнительный ответ. Нужно ли?

А.: Да, придется разбудить, так как всего сказанного вами недостаточно. После тяжелого размышления я вынужден был силой обстоятельств принять назначение, во избежание других решений, которые могли отразиться на армии. В решении этом я руководствовался только военной обстановкой, не принимая во внимание никаких других соображений. Но теперь возникает вопрос существенной важности: невозможно прибывать в Могилев только для оперативной деятельности при условии, что остальная жизнь армии будет направляться другою волею. Или придется взять все, или отказаться совершенно от появления в Могилеве. Я сказал вам, что после моего отъезда из Петрограда оттуда идут распоряжения, идущие помимо меня, но прямо касающиеся событий, которые могут разыграться в Могилеве. Поэтому явиться невольным участником столкновения двух воль, от меня не зависимых, я считаю для себя и недопустимым, и недостойным. Или с прибытием в Могилев я должен стать ответственным распорядителем по всем частям жизни и службы армии, или совсем не должен принимать должность. В этом отношении не могу допустить никакой неясности и недоговоренности, так как это может повлечь за собой непоправимые последствия. Я понимаю, что документы могут осветить мне ход событий. Думаю, что мой взгляд не идет вразрез с сутью этих документов. Но в настоящую минуту вопрос идет о практическом разрешении создавшегося положения.

Л.: Для получения мне вполне определенного ответа от генерала Корнилова на ваши вопросы было бы крайне желательно получить от вас освещение двух вещей: 1) что делается с Крымовым? 2) Решено ли направить сюда что-либо для ликвидации вопроса?

А.: Я задержал сегодня свой отъезд до 10 часов утра, чтобы дождаться приезда генерала Крымова в Петроград. Видел его и разговаривал с ним. На пути видел бригадных командиров Туземной дивизии и читал записку, присланную им от генерала Крымова. *Записка говорит об отводе Туземной дивизии в район станции Дно и о прибытии начальников дивизий и бригадных командиров в Петроград.* Сейчас в Витебске циркулируют неясные слухи, что с генералом Крымовым что-то случилось, но слухам этим я не доверяю и предполагаю, что он остался в Петрограде. Крымов говорил мне, что в 12 часов он должен быть у Керенского. На 2-й ваш вопрос должен напомнить, как при отъезде я заявил, что беру на себя ответственность спокойно, без всяких толчков, вступить в исполнение обязанностей. К глубокому сожалению, в пути я узнал, что непосредственно из Петрограда отдаются распоряжения (которые становятся мне известными совершенно случайно) о направлении средств для насильственной, если нужно, ликвидации. Потому-то я и высказал, что для меня и недостойно и недопустимо пребывание при таких условиях в Могилеве. Вот причина, вследствие которой для меня необходим ясный ответ. От него будеть зависеть мое решение. Но, к сожалению, я не могу сейчас повлиять на остальные распоряжения. Сознаю только глубоко, что допустить до подобной ликвидации было бы большой ошибкой.

Л.: Генерал Корнилов просит вас приехать *как полномочного руководителя армиями.* Но вместе с этим генерал Корнилов настаивает принять все меры к тому, чтобы никакие войска из других пунктов теперь в Могилев не вводились и к нему не подводились, ибо, судя по настроению здешних войск, может произойти кровопролитие, избежать которого генерал Корнилов считает необходимым. Со своей стороны он примет меры, чтобы никаких волнений в Могилеве не было. Генерал Корнилов просит вас ответить, можете ли

вы ручаться, что эта его просьба (не подводить войска к Могилеву) будет исполнена?

А.: Сделаю все.

Таким образом, только утром 1 сентября генерал Корнилов принял окончательное решение подчиниться судьбе.

* * *

Что же случилось с войсками генерала Крымова?

Вновь назначенный командиром 3-го конного корпуса генерал Краснов прибыл в Могилев только 28 августа. Получив в Ставке приказание ехать через Псков и, узнав там местонахождение частей корпуса, немедленно двигаться по направлению к Петрограду, он задержался в Пскове, где и был арестован.

Приказ о движении к Петрограду войска 3-го конного корпуса и Туземной дивизии получили 27 августа. Войска эти были разбросаны на обширном пространстве между Ревелем—Валком—Псковом—Дно. Ко времени, когда окончательно остановилось железнодорожное движение, передовые части оказались далеко от Петрограда, и только одна бригада Туземной дивизии (Черкесский и Ингушский полки под командой князя Гагарина) дошла своими передовыми частями до станции Семрино, впереди которой и завела бескровную перестрелку с «правительственными» войсками, находившимися у Антропшина. «Правительственные войска», то есть по преимуществу тыловые запасные батальоны, не выразили склонности к серьезному сопротивлению, нервничали и не раз уходили, бросая свои позиции, при одном слухе о приближении казаков и «диких». Путаница была настолько велика, что нередко казачьи квартирьеры мирно разъезжали в районе своего противника и располагали там свои части. Приказы от Крымова высшие штабы получали, но технически их распространение по эшелонам, разбросанным на сотни верст, встречало труднопреодолимые препятствия. До 29-го войска шли на Петроград официально для поддержки Временного правительства. В этот же день Крымов объявил о столкновении Керенского с Верховным и призывал оставаться послушными распоряжениям последнего, напоминая постановление казачества о недопустимости смены Корнилова. Вместе с тем

он подтверждал свой приказ двигаться на Петроград, где, по его сведениям, «начались беспорядки». Такая неопределенная постановка цели уже ни казаков, ни солдат удовлетворить не могла. Вопрос стоял проще и определеннее: с Временным правительством против Корнилова или с Корниловым против Временного правительства.

Весь старший командный элемент если и не был в полном составе посвящен в планы и намерения Крымова, то, конечно, отдавал себе ясный отчет в том, на чью сторону стать. В отношении офицерства, которое далеко не все знало, но все понимало обстановку, разномыслия также не было. Все знали, что необходимо спешить к Петрограду. Необходимо было, следовательно, начальникам, рискуя головами, увлечь за собою части, бросить станции, где шла бешеная противокорниловская агитация, бросить свои обозы и хвосты, жертвуя сосредоточением всех сил, и идти в поле, деревнями, походом, форсированными маршами — только бы скорее дойти до столицы.

Но дерзания не было. Томление, нерешительность, беспомощность, потеря времени давали печальные результаты. Тем временем работал «Викжель», задерживая повсюду «корниловские эшелоны». Новый управляющий министерством путей сообщения Ливеровский проявил необыкновенную деятельность в деле противодействия сосредоточению войск. Одновременно двинулись навстречу эшелонам множество делегаций от Керенского, Совета, Петроградской думы, мусульманского съезда, от всяких местных комитетов и т. д. Правительственные делегации имели «мандаты» на устранение и аресты начальствующих лиц. В свою очередь войсковые части послали своих делегатов в Петроград, и мало-помалу накопившееся напряжение или рассасывалось в потоке революционных словопрений, или срывалось насилиями над офицерами.

Керенский говорит, что корниловское движение было бескровно подавлено в самом начале только благодаря энтузиазму и единению всей страны, которая соединилась вокруг национальной демократической власти[1]... Какое пристрастие к пафосу! Ведь энтузиазм был уже похоронен на полях июньского наступления, «цветы души» растоптаны на Московском совещании, власть давно опошлена и обескровлена, и вместо яркого светоча ее тлел только фитиль еще два месяца, пока не погас в конце октября окончательно.

[1] «Прелюдия большевизма».

Нет, причины были более реальные: энергичная борьба Керенского за сохранение власти и борьба советов за самосохранение; полная несостоятельность технической подготовки корниловского выступления и инертное сопротивление массы, плохо верившей Корнилову, мало знавшей его цели или, во всяком случае, не находившей их материально ценными...

К 30-му на подступах к Петрограду у Крымова была только одна бригада кавказских всадников.

Метод, так успешно примененный в отношении Корнилова с львовской миссией, Керенский повторил и с Крымовым. Он послал в окрестности Луги помощника начальника своего кабинета полковника генерального штаба Самарина, к которому Крымов издавна питал большое расположение, «для выяснения положения»; в действительности же для того, чтобы безболезненно изъять Крымова из войск. Есть основание думать, что Самарин представил Крымову положение безнадежным, подчинение Ставки окончательным и от имени Керенского заверил, что последний желает принять все меры, чтобы потушить возникшее столкновение и представить его стране в примирительном духе. Ни одному слову Керенского Крымов не верил, но поверил Самарину.

И поехал в Петроград.

Ранним утром 31-го он вел долгую беседу с генералом Алексеевым в вагоне поезда, уже готового к отправлению. Никто, кроме их двух, не присутствовал в этот глубоко драматичный момент при их беседе, облеченной покровом тайны и положившей предел корниловскому выступлению. Одно, во всяком случае, ясно: потерявший сердце Алексеев не мог влить твердость в мятущуюся душу Крымова.

Алексеев уехал в Могилев «для ликвидации Ставки», Крымов поехал к Керенскому. Его видели проезжавшим по городу в автомобиле — бледного, задумчивого, не замечавшего приветствовавших его знакомых. В Зимнем дворце произо-

шел разговор его с Керенским, который передает его в английском издании своей книги[1] в изложении, оскорбительном для памяти покойного. По его словам, Крымов — смелый, решительный, прямой, честный Крымов — был тих, скромен и подавлен якобы тем, что сказал неправду ему, Керенскому, прозорливо разгадавшему истинную роль Крымова. О том бурном, гневном, обличительном слове Крымова, которое вырывалось из-за стен кабинета, он молчит. Со свойственной ему манией величия Керенский дает понять между строк английскому читателю, что на финальный выстрел имело влияние и то обстоятельство, что он, Керенский, не подал при прощании руки генералу Крымову. Англичанам можно рассказывать что угодно: они не знают, что Крымов всегда и открыто выражал свое глубокое презрение к Керенскому.

Впрочем, и Керенский должен был признать посмертно «честную, сильную и храбрую натуру этого человека» и «неоспоримое право его на величайшее уважение своих политических врагов».

Крымов оказался обманутым. Уйдя от Керенского, выстрелом из револьвера он смертельно ранил себя в грудь. Через несколько часов в Николаевском военном госпитале, под площадную брань и издевательства революционной демократии в лице госпитальных фельдшеров и прислуги, срывавшей с раненого повязки, Крымов, приходивший изредка в сознание, умер.

Но, по-видимому, и мертвым «политический враг» был страшен для министра-председателя: публичные похороны были запрещены, и вдове покойного пришлось пройти через новое тяжелое испытание — просить Керенского о разрешении честного погребения. Было, наконец, разрешено похоронить покойного по христианскому обряду, но не позже шести часов утра, в присутствии не более девяти человек, включая и духовенство.

Вечная ему память!

•••

[1] «Прелюдия большевизма». Керенский припоминает, что при разговоре присутствовал помощник военного министра полковник Якубович.

4 сентября полковник Самарин за отличие по службе был произведен в генерал-майоры и назначен командующим войсками Иркутского военного округа.

ГЛАВА VII

ЛИКВИДАЦИЯ СТАВКИ. АРЕСТ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА. ПОБЕДА КЕРЕНСКОГО — ПРЕЛЮДИЯ БОЛЬШЕВИЗМА

«Направление средств для ликвидации Ставки», о котором говорил генерал Алексеев в своем разговоре с Лукомским, принимало угрожающий характер. Еще по пути в Могилев Алексеев узнал, что Витебский и Смоленский комитеты собирают войска для похода на Ставку. В Орше он встретил сводный отряд, набранный из войск Западного фронта, под начальством подполковника Короткова. Отряд шел по приказу Керенского, распорядившегося уже после отъезда генерала Алексеева о «начале решительных действий против Могилева»[1], причем военное министерство указывало и способы действия[2]... 31-го передовые части отряда находились уже на станции Лотва, последней перед Могилевым. По иронии судьбы Коротков был тот самый председатель «боевой контактной комиссии» фронтового комитета, который во время моего июльского наступления явился к генералу Маркову и с неподдельным чувством отчаяния докладывал:

— Господин генерал! Мы совершенно бессильны. Нас никто не слушает. «Они» не хотят идти...

Теперь «они» шли.

Даже 1 сентября, когда генерал Алексеев находился уже в Могилеве, командующий войсками Московского округа полковник Верховский говорил ему по аппарату: «Сегодня выезжаю в Ставку с крупным вооруженным отрядом для того, чтобы покончить то издевательство над здравым смыслом, которое до сих пор имеет место! Корнилов, Лукомский, Романовский, Плющевский-Плющик, Пронин и Сахаров дол-

[1] Телеграмма Керенского № 525.

[2] Телеграмма прапорщика Толстого.

жны быть арестованы немедленно и препровождены»... Революционный неофит был так нетерпелив в своем желании лично разгромить Ставку, что не соглашался подождать ответа отвлеченного к другому аппарату Алексеева: «Выеду непременно... Не имею времени ожидать, отдаю распоряжения об отъезде»...

Генерал Алексеев, беседуя с Керенским по аппарату[1], указав на создаваемые им осложнения, говорил: «Я принял на себя обязательство путем одних переговоров окончить дело. Мне не было сделано даже намека на то, что уже собираются войска для решительных действий против Могилева». Керенский оправдывался и необычайно торопил ликвидацию: «Нами был получен за эти сутки целый ряд сообщений, устных и письменных, что Ставка имеет большой гарнизон из всех родов оружия, что она объявлена на осадном положении, что на 10 верст в окружности выставлено сторожевое охранение, произведены фортификационные работы с размещением пулеметов и орудий... Принимая всю обстановку во внимание, не счел возможным подвергать вас и следственную комиссию возможному риску и предложил Короткову двигаться. Никаких других распоряжений каким бы то ни было другим частям от меня не исходило. Я предлагаю вам передать генералу Корнилову, что он должен сдать вам должность, отдать себя в распоряжение власти, демобилизовать свои войсковые части немедленно, причем ответственность на эти части не упадет, если это будет сделано немедленно... Все это должно быть выполнено... в 2-часовой срок с момента окончания нашего с вами разговора. Если через два часа не получу от вас ответа, я буду считать, что вы захвачены генералом Корниловым и лишены свободы действий».

Генерал Алексеев возражал, что должность он принял, «безопасность и свобода действий его и следственной комиссии вполне обеспечена», что «в Могилеве никакой артиллерии нет, никаких фортификационных сооружений не возводилось, войска вполне спокойны, и только при наступлении подполковника Короткова столкновение неизбежно».

[1] Разговор между 15 ч 30 мин и 17 ч 10 мин 1 сентября.

Наконец, что в течение двух часов он не в состоянии собрать всех военных начальников.

Но Керенский, очевидно, не верил еще в благополучный исход ликвидации и проявлял великое нетерпение и страх. На исходе дня начальник его кабинета полковник Барановский вновь обратился в Ставку с напоминанием:

«Верховный главнокомандующий требует, чтобы генерал Корнилов и его соучастники были арестованы немедленно, ибо дальнейшее промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Демократия взволнована свыше меры, и все грозит разразиться колоссальным взрывом, последствия которого трудно предвидеть. Этот взрыв в форме выступления советов и большевизма ожидается не только здесь, в Петрограде, но и в Москве и других городах. В Омске арестован командующий войсками, власть перешла к совету. Обстановка такова, что дальше медлить нельзя: или промедление и гибель всего дела спасения родины, или немедленные решительные действия, аресты указанных вам лиц, и тогда возможна еще борьба. А. Ф. Керенский ожидает, что государственный разум подскажет генералу Алексееву решение, и он примет его немедленно: арестует Корнилова и его соучастников... Сегодня, сейчас необходимо дать это в газеты, чтобы завтра утром об аресте узнала вся организованная демократия. Для вас должны быть понятны те политические движения, которые возникли и возникают на почве обвинения власти в бездействии и попустительстве. Советы бушуют, и разрядить атмосферу можно только проявлением власти и арестом Корнилова и других. Повторяю: дальнейшее промедление невозможно. Нельзя дальше только разговаривать, надо решаться и действовать».

В этом паническом обращении[1] к Вырубову с исчерпывающей ясностью установлены взаимоотношения министра-председателя с советами и те личные побуждения, которые двигали им во всей истории столкновения. Это впечатление не устраняет введенная фраза о спасении Родины.

[1] Оно авторизовано Керенским, как видно из его книги «Прелюдия большевизма».

Алексеев ответил: «Около $12^1/_2$ часов главковерху отправлена мною телеграмма, что войска, находящиеся в Могилеве, верны Временному правительству и подчиняются безусловно главковерху. Около 22 часов генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, полковник Плющевский-Плющик арестованы. Приняты меры, путем моего личного разъяснения совету солдатских депутатов, установления полного спокойствия и порядка в Могилеве; послан приказ полковнику Короткову не двигать войска его отряда далее станции Лотва, так как надобности в этом никакой нет. Таким образом, за семь часов времени пребывания моего в Могилеве были исполнены только дела и исключены разговоры. Около 24 часов прибывает следственная комиссия, в руки которой будут переданы чины уже арестованные, и будут арестованы по требованию этой комиссии другие лица, если в этом встретится надобность. С глубоким сожалением вижу, как мои опасения, что мы окончательно попали в настоящее время в цепкие лапы советов, стали неоспоримым фактом».

* * *

Когда велись еще последние переговоры, они имели, по существу, информационный, формальный характер, ибо психологически в Ставке все уже было кончено. Еще 29-го весьма поспешно уехал из Могилева Завойко — «поднимать Дон»[1]; многие чины Ставки перестали ходить на занятия; большая группа толпилась днем и ночью в том доме, в котором должен был остановиться генерал Алексеев. В хронике Корниловского полка описывается сцена, как 31-го в одной группе «приближенных» шли разговоры о «бегстве», и только один из присутствовавших с возмущением заявил, что долг всех, стоявших заодно с генералом, до конца оставаться при нем и разделить его участь, хотя бы это была смерть. Заместитель арестованного председателя Главного комитета офицерского союза спрашивал Алексеева по прямому проводу, «как быть», и докладывал своему почетному председателю, что «союз до последней минуты шел по тому пути, на который Вы его благословили, и Главный комитет всюду

[1] Был по пути арестован и некоторое время содержался в Петрограде на гауптвахте вместе с В. Львовым.

поддерживал те требования, которые предъявлялись генералом Корниловым для устроения армии». Доклад заканчивался тревожной фразой: «Смею добавить, что судьба Главного комитета и всего союза в Ваших руках».

С полками простился Корнилов в лице их командиров. Он был спокоен и внешне ничем не проявлял внутреннего состояния своей души.

— Передайте Корниловскому полку, — сказал он, — что я приказываю ему соблюдать полное спокойствие; я не хочу, чтобы пролилась хоть одна капля братской крови.

Капитан Неженцев, командир Корниловского полка, рыдая как ребенок, говорил:

— Скажите слово одно, и все корниловские офицеры отдадут за вас без колебания свою жизнь...

Более сдержанным был командир Текинского полка полковник Кюгельген, который на вопрос приближенных Корнилова, можно ли ожидать от полка самопожертвования, ответил:

— Я не знаю.

Полковник Кюгельген не сроднился с полком и говорил только от себя.

Впрочем, все уже было кончено и решено. Даже нечто страшное, еще не высказанное, но уже овладевшее мыслью и сдавившее ее в холодных тисках обреченности...

Наступила ночь, и губернаторский дом погрузился в тревожную, жуткую тишину. Верховный подводил итоги своей жизни. Все кончено, все усилия его спасти страну и армию пошли прахом; поддержки тех, на кого надеялся, не встретил; надежды более нет. Жить дольше не стоит.

Я не знаю, но я уверен, что в эти минуты на решение Верховного влияло и связывающее слово, сказанное им 28-го в «обращении к народу»: «Долг солдата, самопожертвование гражданина свободной России и беззаветная любовь к Родине заставили меня в эти грозные минуты бытия отечества не подчиниться приказанию Временного правительства. Я заявляю всему народу русскому, что *предпочитаю смерть устранению меня от должности Верховного*». Завойко позволил себе, не имея нравственного права, поместить в проекте воззвания столь индивидуального характера фразу, ко-

торая могла бы исходить лишь от самого лица, обращавшегося с воззванием, оказывала несомненно нравственное давление, и исключение которой для Верховного было психологически трудно или даже невозможно.

Но Корнилов не мог уйти из жизни тайно. Его мысли разгадала друг-жена, делившая с ним 22 года его трудную, беспокойную жизнь. На другой день в той самой комнате, где некогда томился духом свергаемый император, происходила новая мистерия, в которой шла борьба между холодным отчаянием и беспредельной преданной любовью.

Выйдя из кабинета, мать сказала дочери:

— Отец не имеет права бросить тысячи офицеров, которые шли за ним. Он решил испить чашу до дна.

* * *

Так как все чины Ставки, причастные к выступлению, подчинились добровольно, то арест их, произведенный 1 сентября генералом Алексеевым, имел скорее характер необходимой предосторожности против «правительственных отрядов» и революционной демократии, враждебно настроенных в отношении «мятежников». Губернаторский дом окружили постами георгиевцев, внутренние караулы заняли верные текинцы. На другой день генерала Корнилова и его соучастников перевели в одну из могилевских гостиниц, а в ночь на 12 сентября всех повезли в Старый Быхов, в наскоро приспособленное для заключения арестованных здание женской гимназии.

Ставка и город начали мало-помалу приходить в себя. Гарнизон несколько еще волновался: корниловцы испытывали тяжелое чувство недоумения, внутренних противоречий и подавленности от пережитой драмы; георгиевцы подняли головы. Генерал Алексеев поддержал нравственно первых, пристыдил вторых, обещая прочесть длинные списки полученных ими за городские выборы «денежных подарков» от еврейского населения Могилева. На первом же смотру корниловцев он громко, в присутствии собравшейся толпы солдат и граждан, сказал, что Корнилов не виновен в приписываемых ему преступлениях и что праведный суд снимет с него тяжелое и необоснованное обвинение.

Одно это коренное расхождение во взглядах до крайности затрудняло совместную службу его с Керенским. Но и кроме этого атмосфера в Ставке становилась совершенно невыносимой: корниловские мероприятия для оздоровления армии были отброшены; армия волновалась, офицерство попало в еще более мучительное положение. «Я сознаю, — писал Алексеев одному из союзных военных агентов, — свое бессилие восстановить в армии хоть тень организации. Комиссары препятствуют выполнению моих приказов, мои жалобы не доходят до Петрограда. Керенский рассыпается в любезностях по телеграфу и перлюстрирует мою корреспонденцию. Невзирая на все его обещания, судьба Корнилова остается загадочной[1]...» Еще более определенно высказался генерал Алексеев в письме своем к Каледину: «Три раза я взывал к совести Керенского, три раза он давал мне честное слово, что Корнилов будет помилован; на прошлой неделе он показывал мне даже проект указа, одобренный якобы членами правительства»... Все ложь и ложь! Керенский даже не поднимал даже этого вопроса. По его приказу украдены мои записки. Он или к..., или сумасшедший. По-моему — к...»... В этом письме совершенно ново требование *помилования*. В Быхове шел разговор исключительно о *реабилитации*, и амнистия считалась совершенно неприемлемой. Так же безрезультатны были его усилия вырвать из Бердичева находившуюся там в тюрьме группу генералов. Генерал Алексеев, не достигнув в этом отношении никаких результатов в смысле воздействий на Керенского, написал горячее письмо редактору «Нового времени» Б. Суворину, требуя, чтобы немедленно была поднята газетная кампания «против убийства лучших русских людей и генералов». Действительно, вскоре печать занялась нашим делом, хотя, впрочем, усилия ее только разжигали еще более страсти бердичевских военно-революционных организаций.

Но совершенно невыносимым стало положение генерала Алексеева, когда он получил неожиданные сведения, что его действия вызывают осуждение со стороны... генерала Корнилова, который считает, что с ликвидацией Ставки роль

[1] Chessin: «Au pays de la démence rouge».

генерала Алексеева окончена и что дальнейшее пребывание столь авторитетного лица на посту начальника штаба только укрепляет морально позицию Керенского. Дальнейшая жертва оказалась ненадобной, и генерал Алексеев ушел.

На должность начальника штаба Верховного был призван генерал Духонин — начальник штаба Западного фронта.

* * *

Корниловское выступление закончилось.

В ряду катаклизмов русской революции это был едва ли не наиболее спорный в оценке его целесообразности и последствий. По первому вопросу я высказался раньше: нет надобности говорить о целесообразности явления, когда оно стало исторически неизбежным. По второму... Керенский считает корниловское движение «прелюдией большевизма» — оценка, имеющая вполне правильное обоснование, если только довести мысль до логического конца, определив, какой именно *момент* движения считать «прелюдией».

Таким моментом была, без сомнения, *победа Керенского.*

Победа Керенского — поражение Корнилова. Этот этап в историческом ходе революции своими ближайшими видимыми результатами, вне исторической перспективы, заслонил истинный характер движения, создав теории настолько же элементарные, насколько и близорукие: «контрреволюция», «бонапартизм», «авантюризм». Между тем выступление Корнилова было только хотя и односторонней, но яркой вспышкой на фоне долгой, тягучей и бездейственной борьбы между социалистической и либеральной демократией[1]. Корпус Крымова и офицерские организации, невзирая на преобладание, быть может, в командном составе их элементов более правых, являлись все же (в силу сложившейся обстановки и характера организующего центра) орудием либеральной демократии. Поэтому, когда в стане своих врагов корниловцы увидели всю революционную демократию и особенно приостановивший на время свое вооруженное выступление левый сектор ее (большевиков) — это было

[1] Правые партии были сметены революцией, и отдельные члены их входили в состав Совещания общественных деятелей и в петроградские военно-общественные организации.

понятно и естественно. Но что из среды рыхлой, боязливой или инертной интеллигентской массы, сохранявшей «нейтралитет», на *той* стороне оказалось много, очень много видных либеральных деятелей — это являлось совершенно неожиданным, представляя большое и роковое историческое недоразумение. Газеты начала сентября наполнены резолюциями отделов партии народной свободы и общественных комитетов, из которых одни призывали к осторожности в вопросе осуждения Корнилова, другие выносили ему резкое осуждение, третьи присоединялись к клеветническим выпадам против него революционных организаций. Даже когда последние призывали русских воинов «не верить тем, кто во имя восстановления старого порядка готов предать свободу, предать родину и открыть путь немцам».

И это говорили или, по крайней мере, с этим соглашались те самые люди, которые только две недели назад на Московском совещании пели осанну Верховному главнокомандующему, возлагая на него все свои надежды.

Вообще, в эти дни несуществующее[1] правительство получило от самых разнообразных кругов огромную массу телеграмм и постановлений, выражавших ему доверие, сочувствие и обещание активной поддержки. Революционный этикет имел точно установленные и строго обязательные формы, скрывавшие истинную сущность...

Русская либеральная демократия в этот исторический момент проявила удивительное отсутствие прозорливости и даже простого политического такта. Все ждали, все хотели изменения порядка государственного управления, не могли заблуждаться относительно тех путей, которыми придет это изменение, и тем не менее остались теплыми среди холодных и горячих — для того, очевидно, чтобы через два месяца приступить к лихорадочной организации «центров» и очагов восстания и сопротивления.

Буржуазия, распыленная и физически и духовно, терялась во враждебной ей стихии, и часть ее из чувства самосохранения присоединяла свой голос к голосу тех, кто шествовал за победной колесницей.

[1] Все министры подали в отставку.

Каким образом слагалась эта психология общественности в корниловские дни, поясняют следующие строки одного из видных общественных деятелей того времени:

«Перед страной было неудавшееся, сорванное выступление, которое нельзя было уже ни спасти, ни переделать.

Как могли отнестись ко всему этому так называемые общественные круги?

Многие поникли головой и опустили руки. Другие, еще державшиеся на поверхности и пытавшиеся еще что-то спасти, не имели ни времени, ни оснований останавливаться на несостоявшихся действиях и оценивать их в отвлеченности. Им оставалось только идти дальше. Наконец, третьи с резкостью напали на неудачную попытку, которая сыграла в пользу противников.

Эти три течения были в кругах несоциалистических. А среди этих последних стоял скрежет зубовный и клокотала небывалая ярость.

Я нарочно очерчиваю сейчас общее обывательское состояние, ибо тогда все реагировало, все воспринимало, все отзывалось. Под этим общим настроением разумею и настроение массы членов партии кадетов. и примыкавших к ним. Эти настроения возникали и слагались *сами, ибо никакой общей команды из центра партии не было.*

Нужно принять также во внимание и то, что во многих местах кадеты были связаны разными техническими соглашениями с умеренными социалистами, входили в разные коалиции, которые отражали на местах коалицию Временного правительства. Наконец, нужно иметь в виду, что кадеты были в составе Временного правительства, и вдруг это самое Временное правительство объявляет стране, что на него, а не на советы готовилось покушение. Очевидно, что для недоумения, соблазнов и неразберихи полной и общей было более чем достаточно оснований. Истинное положение стало выясняться только позднее. В первые же дни, как это всегда бывает при неудаче, вихрем понеслись обвинения, порицания и проклятия. Эсеровские думы выли от злобы и бешенства. Кадетская фракция отражала названные выше настроения».

Правда, были и объективные условия, способствовавшие углублению недоразумения. В широких провинциальных

кругах, мало посвященных в тайны нового «двора», настоящая физиономия Временного правительства и истинная роль в нем триумвирата и Керенского были недостаточно хорошо известны. Еще менее определенным казался политический облик Корнилова в силу исключительного положения его как военного вождя и вследствие конспиративного характера деятельности его окружения. Наконец, с самого своего начала из-за ряда неблагоприятных обстоятельств успех выступления представлялся весьма проблематичным.

Последнее обстоятельство едва ли не самое главное. Я глубоко убежден, что техническая удача выступления в корне изменила бы всю политическую оценку корниловского движения. Нашлась бы и глубокая почвенность, и сочувствие широких либеральных кругов, и самое яркое, кричащее его проявление. В бесстрастном отражении истории отпадает вся театральная бутафория, созданная человеческой слабостью: резолюции общественых деятелей как дань революционной традиции, приносимая не раз «страха ради иудейска»... Проявление покорности правительству генералов — не только просто ненавидевших его, но и причастных к подготовке выступления... Постановления о своей непорочности и с порицанием «мятежа» — войсковых частей, военно-общественных организаций, неведомых «офицерских депутатов», даже столичных военных училищ, чуть ли не поголовно причастных к конспиративным кружкам... Все эти декорации создавали картину пожарища, где на обширном поле сидят объединенные в несчастье, возле своего спасенного скарба — «завоеваний революции» — негодующая демократия, порицающая буржуазия и «обманутые» войска. А посреди мрачно высятся обгорелые стены быховской тюрьмы.

Генерал Корнилов чувствовал себя всеми покинутым и болезненно нервно относился к сообщениям печати о своем «деле»:

— Я понимаю, что лбом стены не прошибешь, но зачем они так стараются...

Особено удручали его слухи, что даже его детище — Корниловский полк снял свои нарукавные знаки[1] и пошел «на

[1] На голубом фоне череп со скрещенными костями и надпись «Корниловцы».

поклонение новым богам». Слухи были неверны. Возмущенный ими командир полка капитан Неженцев писал: «Я приказал снять эмблему, так как был бессилен в борьбе с темной солдатской массой, разжигаемой... агитаторами, заполняющими все железнодорожные станции и, подобно кликушам, выкрикивающими с надрывом голосовых связок против Вас и полка, носящего Ваше имя. Но, сняв дорогую нам эмблему, мы ею прикрыли наш ум, наше сердце и волю».

Как бы то ни было, после августовских дней в словаре революции появился новый термин — «корниловцы». Он применялся и в армии, и в народе, произносился с гордостью или возмущением, не имел еще ни ясных форм, ни строго определенного политического содержания, но выражал собою, во всяком случае, резкий протест против существовавшего режима и против всего того комплекса явлений, который получил наименование «керенщины».

К половине октября буржуазная пресса открыла кампанию в пользу реабилитации Корнилова, а на возобновившемся многолюдном «Совещании общественных деятелей» в Москве вновь послышалась «осанна» мятежному Верховному. Сначала робко — из уст Белевского, который говорил: «Нас называют корниловцами. Мы не шли за Корниловым, ибо мы идем не за людьми, а за принципами. Но поскольку Корнилов искренне желал спасти Россию, этому желанию мы сочувствовали». Потом смелее — устами А. И. Ильина: «Теперь в России есть только две партии: партия развала и партия порядка. У партии развала вождь Александр Керенский. Вождем же партии порядка должен был быть генерал Корнилов. Не суждено было, чтобы партия порядка получила своего вождя. Партия развала об этом постаралась». Оба заявления были встречены «громом аплодисментов».

Мало-помалу положение стало проясняться. Снова начинало организовываться сбитое с толку в августовские дни общественное мнение, теперь уже явно сочувствующее корниловскому движению.

* * *

Керенский победил.

Все трагическое значение этой победы обнаружилось на другой же день после ареста Корнилова: 2 сентября 3-му конному корпусу велено было двигаться к Петрограду для защиты государственного строя, Временного правительства и министра-председателя от готовившихся посягательств анархо-большевиков. В составе корпуса были все те же офицеры, которые вчера еще шли сознательно против Временного правительства, и только во главе корпуса вместо «мятежного» генерала Крымова стоял подлинно «царский» генерал Краснов; притом между Ставкой и Керенским происходили трения: последний намечал на должность корпусного командира генерала Врангеля.

Победа Керенского означала победу советов, в среде которых большевики стали занимать преобладающее положение; упрочилась позиция самочинно возникших левых боевых организаций в виде военно-революционных комитетов, комитетов защиты свободы и революции и т. д. Не приобретя ни в малейшей степени доверия революционной демократии, этот термин в понимании масс переместился теперь значительно влево. Керенский окончательно оттолкнул от себя и от Временного правительства те либеральные элементы, которые, пережив период паники, не могли потом простить ему своего ослепления; оттолкнул окончательно и офицерство — единственный элемент, который, забитый, загнанный, попавший в положение париев революции, все же сохранил еще способность и стремление к борьбе. Потеряв решительно всякую опору в стране, Временное правительство считало возможным продолжать еще два месяца свои функции, заключавшиеся преимущественно в словесной регистрации тех явлений окончательного распада, которые переживало государство.

В октябре известная часть петроградской печати, с легкой руки Бурцева, выпускала зажигательные статьи и летучки под общим аншлагом:

«Керенский должен поехать в Быхов и сказать генералу Корнилову: виноват!».

Это предложение вызывало у одних гнев, у других улыбку и казалось тогда лишь более или менее остроумным полемическим приемом — не более того. Между тем официальная реабилитация Корнилова действительно была единственным выходом из положения, требовавшим от Ке-

ренского по нашему разумению справедливости, по его психологии — политического и нравственного самопожертвования; выходом, который в бесстрастном и нелицеприятном освещении истории стал бы актом высокой государственной мудрости.

В Быхов Керенский не поехал. Но в конце ноября судьба заставила его поехать в Новочеркасск и постучаться в двери другого «мятежника» — генерала Каледина, ища убежища и защиты. Дверь оказалась запертой.

В свое оправдание революционной демократией часто высказывается мнение, что корниловское выступление окончательно развалило армию, ибо «вся трудная работа армейских организаций по созданию новой дисциплины и взаимного доверия в армии была снесена этим неслыханным актом мятежа высшего офицерства»[1]. Та картина состояния армии, которую я привел в предыдущей книге, свидетельствует, что развал шел неизменно прогрессируя, ибо не ставилось никаких преград этому процессу. И если дни выступления вызвали ряд новых кровавых расправ над несчастным офицерством, то это были только пароксизмы в общем течении социальной болезни, ставшей или вовсе неизлечимой, или требовавшей хирургического вмешательства. Подмена генерала революционным деятелем на посту Верховного не внесла большого доверия к военной власти. Массовые перемены в старшем командном составе не изменили его внутреннего существа, так как в этой среде были «корниловцы», были перелеты, но не было вовсе «керенцев»; выброшенный за борт по подозрению в «контрреволюционности» новый десяток тысяч офицеров, ослабив интеллектуально армию, не сделал оставшийся состав более однородным и революционным.

Армия шла к предначертанному ей концу.

Но и в самом офицерстве под влиянием августовских событий произошло замешательство и некоторый психологический сдвиг. Замешательство при виде неустойчивого и сомнительного поведения многих старших начальников. Сдвиг — пока еще не в области политического миросозерцания, а лишь в поисках тех общественных группировок,

[1] Левый эсер Штейнберг. «От февраля по октябрь 1917 г.»

которые удовлетворяли бы элементарным запросам их оскорбленного человеческого достоинства и возмущенного чувства патриотизма. В корниловские дни офицерство видело, что либеральная демократия, в частности кадеты, за немногими исключениями находится или «в нетях», или в стане врагов. Это обстоятельство они учли и запомнили. Оно сыграло впоследствии немаловажную роль в создании известных политических настроений в стане антибольшевистских армий. Офицерство больно почувствовало тогда, что его бросила морально часть командного состава, грубо оттолкнула социалистическая демократия и боязливо отвернулась от него либеральная.

* * *

Все описанные явления произвели бурное волнение лишь в верхних, политически действенных слоях русского взбаламученного моря и отчасти в армии. Глубин народных — того народа, во имя которого строилась, боролась, низвергалась власть, — корниловское выступление не всколыхнуло. Совершенно безразлично отнеслась к нему деревня, занятая черным переделом; несколько более экспансивно — рабочая среда в массе своих «беспартийных»; а безликий обыватель, еще более павший духом, продолжал писать, теперь уже в Быхов, с мольбою о спасении, тщательно изменяя при этом свой почерк и опуская письма подальше от своего квартала.

ГЛАВА VIII
ПЕРЕЕЗД «БЕРДИЧЕВСКОЙ ГРУППЫ» В БЫХОВ. ЖИЗНЬ В БЫХОВЕ. ГЕНЕРАЛ РОМАНОВСКИЙ

«Бердичевская группа арестованных» ехала беспрепятственно в Старый Быхов[1]. Предполагалась враждебная встреча на станции Калинковичи, где сосредоточено было много тыловых учреждений, но ее проехали ранним утром, и вокзал был пуст. Из конского вагона в Житомире нас перевели в товарный — приспособленный, с нарами, на которые мы

[1] Как я уже писал ранее.

тотчас улеглись и после пережитых впечатлений, вероятно, все заснули мертвым сном. Когда проснулись утром, вся обстановка в вагоне так разительно отличалась от той, вчерашней, которая еще давила на мозг и память, как тяжелое похмелье. Наша стража — караульные юнкера — относились к нам с трогательным, каким-то застенчивым вниманием. Помощник фронтового комиссара Григорьев, зашедший в вагон, воодушевленно рассказывал, как его на вокзале «помяли» и как он «честил» революционную толпу. Казалось, что мы находимся в кругу своих доброжелателей, и единственный, кто чувствует себя арестованным, — это очередной комитетский делегат, вооруженный револьвером в какой-то огромной кобуре, хранящий молчание и беспокойно поглядывающий по сторонам.

В Старом Быхове мы простились с нашими спасителями — юнкерами. Я не знаю ни имен их, ни судьбы: всех разметало по лицу земли, многих погубило русское безвременье. Но если кому-нибудь из уцелевших попадутся на глаза эти строки, пусть примет мой низкий поклон.

На станции нас ожидал автомобиль польской дивизии и брички. Я с Бетлингом[1] и двумя генералами сел в автомобиль; комитетчики запротестовали, и потому пришлось одного взять на подножку. Покружили по грязным улицам еврейского уездного города и остановились перед старинным зданием женской гимназии. Раскрылась железная калитка, и мы попали в объятия друзей, знакомых, незнакомых — быховских заключенных, которые с тревогой за нашу судьбу ждали нашего прибытия.

Явился к Верховному.

— Очень сердитесь на меня за то, что я вас так подвел? — говорил, обнимая меня, Корнилов.

— Полноте, Лавр Георгиевич, в таком деле личные невзгоды ни при чем.

Мы уплотнили население Быховской тюрьмы; я и Марков расположились в комнате генерала Романовского. Все пережитое казалось уже только скверным сном. У меня наступила реакция — некоторая апатия. А самый молодой и

[1] Командир юнкерской полуроты.

экспансивный из нас — генерал Марков — писал 29-го в своих летучих заметках:

«Нет, жизнь хороша. И хороша во всех своих проявлениях!..»

* * *

Ко 2-му октября в тюрьме находились: генералы Корнилов, Деникин, Эрдели, Ванновский, Эльснер, Лукомский, Романовский, Кисляков, Марков, Орлов; подполковники Новосильцев, Пронин, Соотс; капитаны Ряснянский, Роженко, Брагин; есаул Родионов; штабс-капитан Чунихин; поручик Клецандо; прапорщики Никитин, Иванов; военный чиновник Будилович; И. В. Никаноров — сотрудник «Нового времени»; А. Ф. Аладьин — член I Государственной Думы.

Быховские узники менее всего похожи были на опасных заговорщиков.

Люди самых разнообразных взглядов, в преобладающем большинстве совершенно чуждые политики и объединенные только большим или меньшим соучастием в корниловском выступлении и безусловным сочувствием ему. Одни принимали в нем фактическое участие, другие попали на таких же основаниях, на которых можно было привлечь $^9/_{10}$ всего офицерства, третьи — просто по недоразумению. Жизнь разметала их впоследствии; семеро из них погибли[1], некоторые по своим взглядам и позднейшей деятельности ушли далеко от идейного содержания корниловского движения. Но тем не менее полтора месяца пребывания в Быховской тюрьме, близкое общение, совместные переживания, общая опасность и общие надежды оставили живой след и добрую память. Отбросим темные пятна...

Быховские узники пользовались полной внутренней автономией в пределах стен тюрьмы. Ни Верховная следственная комиссия, ни представитель Совета Либер, ни комиссары Вырубов и Станкевич, посещая тюрьму, не делали никаких посягательств на изменение внутреннего режима. Создавалось такое впечатление, будто всем было очень неловко играть роль наших «тюремщиков».

[1] Корнилов, Романовский, Кисляков, Марков, Роженко, Будилович, Чунихин.

Корнилов в глазах всех заключенных оставался «Верховным»; его распоряжения исполнялись одинаково охотно как заключенными, так и чинами Текинского полка и офицерами Георгиевского караула. Впрочем, распоряжения эти не выходили за пределы лояльности, за исключением разве льготного допуска посетителей и корреспонденции.

День в тюрьме начинался в 8 часов утра. После чая — прогулка и посещение нас близкими. Это право двукратного посещения в день для многих было особенно ценным и мирило с тягостным лишением свободы. С особого разрешения следственной комиссии (на практике — с разрешения коменданта подполковника Текинского полка Эргардта) допускались и посторонние. Это было по преимуществу офицерство: члены комитета офицерского и казачьего союзов, чины Ставки, приятели небольшого чина — все люди преданные и не стеснявшиеся столь «компрометирующей» в глазах правительства и Совета близости к Быхову. За все полуторамесячное пребывание мое в Быховской тюрьме из старших чинов я видел там только генералов Абрама Драгомирова и Субботина. Из числа политических деятелей, так или иначе причастных к корниловскому движению, не был никто; они не вели переписки и вообще не подавали никаких признаков жизни.

Чаще других приезжали «по должности» комендант Ставки полковник Квашнин-Самарин, бывший в мирное время адъютантом Архангелогородского полка, которым я командовал, и командир Георгиевского батальона полковник Тимановский, ранее — офицер «железной дивизии». Оба они были глубоко преданы и корниловскому делу и лично нам и выдерживали яростный напор со стороны могилевских советов, которым не давала покою быховская тюрьма. Квашнин-Самарин парировал нападки советов необыкновенным хладнокровием и тонкой иронией; Тимановский терпел, мучился и ждал только дня нашего освобождения, чтобы освободиться самому от нестерпимой жизни в развращенной среде георгиевских солдат.

Обедали за общим столом. Иногда присутствовал и Корнилов, который вообще предпочитал столоваться в своей камере и по нескольку дней не выходил на прогулку, чтобы, на всякий случай, приучить прислугу и георгиевский караул к своему длительному отсутствию[1]. Я приглядывался и прислушивался к новым людям. Разговор за столом также мало обличал «заговорщиков», перебегая с одной, подчас весьма неожиданной темы на другую. Вот Аладьин, как-то особенно скандируя слова, что должно было означать английскую манеру, с пафосом говорит о Бердичеве, который за наши обиды «нужно стереть с лица земли так, чтобы на месте его выросли джунгли»... Ему возражает Марков: «Какая кровожадность в штатском человеке! И почему непременно джунгли, а не чертополох?»

— Зачем вы сидите здесь, сэр Аладьин? — вмешивается шутя генерал Корнилов. — Неужели вам еще не надоело с нами?

Это деликатный вопрос: во всех свидетельских показаниях говорится, что Аладьин попал по недоразумению; ему предлагают освободить его, но он не соглашается.

На другом конце стола Новосильцев с трудом отбивается от атаки Никанорова и Родионова, бичующих кадетскую политику. Новосильцев изнемогает, но, по счастью, появляется «громоотвод»: вмешивается Аладьин, оказавшийся единомышленником с крайними правыми.

— Позвольте, как так? Это говорит «трудовик»Аладьин, который после разгона I Думы поднимал финскую красную гвардию?..

В другом месте Эрдели начал о Толстом, с которым он в дальнем родстве и знаком был лично, а кончил параллелью между литературными типами французской и русской женщины, обнаружив неожиданно большую эрудицию и тонкое литературное чутье.

Мрачный Ванновский вполголоса угрюмо бурчит о том, что «впереди мерзость запустения» и что «всему виною... отмена крепостного права».

Ему возражает Романовский:

— Конечно, это только образ? Но и он неверен: виною, очевидно, запоздалая отмена крепостного права...

[1] На случай ухода из тюрьмы последним.

Иногда в спор вмешивается Лукомский — солидно, категорично, с некоторой иронией.

А с левого фланга по рукам передают рукопись кого-то из наших поэтов: Брагин — злободневный бытовик, Будилович — лирик.

Пополудни приходят газеты, и поэтому за ужином разговор ведется исключительно на злобу дня: ругаем правительство и Керенского, поносим Совет и ищем проблеска на политическом горизонте. Проблеска, однако, не видно. С 8 октября, после внушения, посланного Корниловым общественным деятелям, газеты переполнены нашим делом. У Маркова под этой датой записано: «До нас доходят тысячи слухов. Рекомендуют опасаться ближайших 10—12 дней. В какой еще водоворот попадешь?»

Кисляков, проштудировав последний номер «Известий», меланхолически заявляет:

— Неважно... Как вы думаете — прикончат?

— Нас не за что, а вас — несомненно: подумайте, «какой позор!» — сам на себя восстал![1]

Талантливый и веселый человек, но не слишком мужественный. Напророчил себе несчастье: осенью 1919 года, в дни большевистской вспышки в Полтаве, вскоре подавленной, проезжая по улице в генеральской форме, был буквально растерзан толпой...

Нет, положительно, не стан мятежников, а «клуб общественных деятелей» или военное собрание.

Вечером в камере № 6, как самой вместительной, обычно собирались арестованные для общей беседы и слушания очередных докладов. Иногда доклады были дельные и интересные, иногда совсем дилетантские. Темы — крайне разнообразные. Кисляков докладывал, например, стройную систему организации временного управления с «вопросительным знаком» во главе, долженствовавшим изображать фигурально диктатуру; Корнилов рассказывал о мартовских днях в Петрограде; Никаноров — о торговых договорах и православной общине (приходах); Новосильцев рисовал милую пастель на тему о русской старине и роде Гончаровых; Аладьин делал экскурсии в область потустороннего мира. Никогда не выступал Лукомский. Он только оппонировал или поддерживал высказанные положения. Характерной чертой его речи было всегда конкретное, реальное трактование всякого вопроса: он не вдавался в идеологию, а обсуждал только целесообразность. Его речь с некоторым оттенком скептицизма и обыкновенно хорошо обоснованная не раз умеряла пыл и фантазию увлекавшихся.

[1] Генерал Кисляков, находясь при Ставке, был товарищем министра путей сообщения, и мы шутя отождествляли его с членами Временного правительства.

Все разговоры сводились, однако, в конце концов к одному вопросу, наиболее мучительному и больному — о русской смуте и о способах ее прекращения.

Впрочем, политические идеалы вообще не углублялись и поэтому быховцев не разделяли. Средством же спасения страны, невзирая на постигшую недавно неудачу, всеми признавалось только одно — заключавшееся в схеме Кислякова.

* * *

День кончался обычно в нашей камере — иногда с гостями, иногда в беседе втроем: Романовский, Марков и я.

Иван Павлович Романовский. Человек, оставивший после себя яркий след в истории борьбы за спасение Родины. Человек, олицетворявший собою светлый облик русского офицера и павший от преступной руки заблудившегося духовно русского офицерства. Человек «загадочный»...

Это впечатление «загадочности» создалось действительно впоследствии среди широкого круга людей, даже без предубеждения относившихся к Романовскому и не имевших решительно никаких оснований сомневаться в искренней, прямой натуре покойного. «Загадочность» явилась извне как результат противоречий между жизненной правдой и той тиной лжи, которую создавала вокруг него сложная политическая интрига. Об этом речь впереди. Тогда же личность Ивана Павловича была кристально ясной и привлекала к нему общие симпатии.

Я мало знал тогда Ивана Павловича, но много слышал о нем от других, в том числе от Маркова — его наиболее близ-

кого друга. Родился он в семье армейского офицера. Отлично окончил Константиновское артиллерийское училище и вышел в гвардейскую артиллерию. Прослушал курс академии генерального штаба и тотчас же, против желания начальства, уехал на войну, в Маньчжурскую армию. Тогда уже впервые сложилась боевая репутация «капитана Романовского» из многих мелких бытовых и боевых фактов, о которых сам он никогда не рассказывал, но которые становились известными в кругу людей, знавших его.

Потом служба в Туркестанском округе. Трогательные отношения, установившиеся между молодым офицером и старым ветераном — генералом Мищенко. Несмотря на разницу в возрасте, характерах и мировоззрениях, было нечто удивительно близкое и общее у этих представителей двух эпох, двух поколений русского офицерства: то особенное рыцарское благородство, преломленное в многократной призме времени, но словно только что навеянное страницами «Войны и мира» или старой кавказской были... Воспоминания о Туркестане, о поездках на Памир, в Бухару, к границам Афганистана сохранились особенно ярко в его памяти. Там, вдали от людской пошлости и злобы, среди буйной и дикой природы, не раз мечтал он отдохнуть когда-либо от каторжного труда, который судьба взвалила на его плечи...

Потом Петроград. Сначала в Генеральном, потом в Главном штабе. Этот период службы Ивана Павловича имел уже более общественный характер. В жизни Главного штаба после длительного периода отчуждения от армии наступил перелом. Три человека — генералы Кондзеровский (дежурный генерал), Архангельский (начальник отдела) и полковник Романовский (начальник II отделения), ведавший назначениями, — внесли новое направление в деятельность учреждения, довлеющего над бытом армии: своим беспристрастием и доброжелательством они сумели умиротворить ту вереницу придавленного, робкого и возмущенного офицерства, которое не раз обивало пороги импонирующего своей надменной важностью желтого дома под триумфальной аркой.

Иван Павлович с необыкновенным терпением выслушивал всех, исполнял, что мог и что позволяла совесть, а когда приходилось отказывать, делал это от себя, не сваливая на

начальника и не обнадеживая просителя, — с той исключительной прямотой, которая впоследствии, в добровольческий период, создала ему так много врагов.

Офицеры Генерального штаба, состоявшие в главных управлениях, перед войной специализировались каждый в своем узком деле, зачастую чуждом стратегии и боевых вопросов. «Не было никакого общего руководства нашим образованием, — говорит один из них. — Мы были предоставлены сами себе и имели полную возможность мирно спать, довольствуясь ролью военных чиновников». Чтобы хоть несколько расширить военные горизонты, компания молодежи, по инициативе Романовского, Маркова и Плющевского-Плющика, организовала военную игру. «Среди нас, — говорил один из участников, — особенно крупной фигурой выделялся Иван Павлович. Спокойный, скромный, но вместе с тем уверенный в себе, он поражал нас верностью и обоснованностью своих решений. Даже такие строптивые, как покойный Марков — наш общий и незабвенный друг, — молчаливо признавали его авторитет».

С началом отечественной войны Иван Павлович состоял начальником штаба 25-й пехотной дивизии, а потом командиром Сальянского полка. Только удивительная скромность его привела к такой обидной несообразности, что храбрейший офицер этот не носил Георгиевского креста. Многократные представления его где-то застревали и не приводили к желанным результатам. В одном из случайно сохранившихся представлений Ивана Павловича в чин генерала так была охарактеризована его боевая деятельность:

«24 июня... Сальянский полк блестяще штурмовал сильнейшую неприятельскую позицию... Полковник Романовский вместе со своим штабом ринулся с передовыми цепями полка, когда они были под самым жестоким огнем противника. Некоторые из сопровождавших его были ранены, один убит, а сам командир... был засыпан землей от разорвавшегося снаряда... Столь же блестящую работу дали сальянцы 22 июля. И этой атакой руководил командир полка на расстоянии лишь 250 шагов от атакуемого участка под заградительным огнем немцев... Выдающиеся организаторские способности полковника Романовского, его умение дать

воспитание войсковой части, его личная отвага, соединенная с мудрой расчетливостью, когда это касается его части, обаяние его личности не только на чинов полка, но и на всех, с кем ему приходилось соприкасаться, его широкое образование и верный глазомер — все это дает ему право на занятие высшей должности».

В тяжеловесных несколько словах официальной реляции заложена глубокая внутренняя правда, не поблекшая до последнего часа, когда люди с исступленным разумом и гнилой совестью грязнили светлый облик Ивана Павловича и убили его.

Помню, как в начале революции, в дни своего руководства Ставкой, я получил однажды из армии пять настойчивых предложений для Ивана Павловича различных высоких назначений по Генеральному штабу; и как он, запрошенный о своем желании, категорически отказался выбирать, предоставив Ставке назначить его «туда, где служба его будет признана более полезной». Его назначили тогда начальником штаба 8-й армии к Каледину, с которым служить пришлось недолго, так как вскоре по требованию Брусилова Каледина отчислили в Военный Совет. Но и двух недель совместной службы было, очевидно, достаточно, чтобы создать те теплые отношения, которые я потом наблюдал между ними в Новочеркасске и которые были не совсем обычны для хмурого и замкнутого Каледина.

Я знал, что в корниловском выступлении Иван Павлович был доверенным лицом Верховного, и поэтому тем более ценной была в нем удивительная простота и скромность во всем, что касалось его роли и взаимоотношений с Корниловым. Никогда никакой фразы, никакого подчеркивания, никакой «ревности» к чужому влиянию на Верховного. В его речи как будто совсем исключались местоимения «я» и «мы», которыми так играла хлестаковщина, случайно прикоснувшаяся или вовсе чуждая выступлению, расцветшая махровым цветом особенно тогда, когда первая опасность миновала и когда звание «корниловца» давало некоторые моральные, иногда даже и материальные выгоды.

В быховском «альманахе» записаны слова Романовского: «Могут расстрелять Корнилова, отправить на каторгу его соучастников, но «корниловщина» в России не погибнет, так как «корниловщина» — это любовь к Родине, желание спасти Россию, а эти высокие побуждения не забросать никакой грязью, не затоптать никаким ненавистникам России».

Иван Павлович был убежден в *правоте* корниловского дела и без фразы, без позы и жеста отдал ему свои силы, сердце и мысль. И сделал это так просто, как только мог сделать человек высокой души. Это обстоятельство тем более характерно, что его несколько тяготили и параллельное существование в Ставке двух штабов — официального и неофициального, и физиономия ближайшего «окружения», и... *отсутствие веры в успех выступления.*

Это последнее обстоятельство побудило Ивана Павловича отнестись с величайшей осторожностью к технике отдачи распоряжений, относившихся к выступлению, чтобы возможно меньшее число подчиненных лиц подвести под ответ. Всю вину и всю ответственность он брал на себя. 2-й генерал-квартирмейстер Ставки полковник Плющевский-Плющик рассказал мне характерный эпизод.

Все вызовы надежных офицеров из армии под предлогом обучения их пулеметному делу были сделаны Романовским, за его подписью, хотя это входило в обязанность Плющевского-Плющика. Эти подписи впоследствии послужили серьезнейшим поводом к обвинению Ивана Павловича. «Он сознательно спасал меня, — говорил Плющевский-Плющик, — и не только спасал, но сумел скрыть это от меня же. Я узнал об этом совершенно случайно, присутствуя при подписании Романовским последнего вызова, кажется, уже на второй день корниловского выступления.

— Что ты делаешь? — спросил я его. — Ведь это моя обязанность.

— С какой стати я стану подводить тебя? Я уже человек обреченный, и лишняя подпись разницы не составит. Ты же фактически в деле не участвовал, и ввязываться теперь не имеет смысла».

* * *

Чем дольше я присматривался к Ивану Павловичу, тем ближе, роднее становился он мне. И жизнь в камере текла мирно, беседы, оживляемые пылким воображением Марко-

ва и добродушной иронией Романовского, еще теснее сближали нас в обстановке неволи и томления духа.

О прошлом говорили мало, больше о будущем. Помню, как однажды, после обсуждения судеб русской революции, ходивший крупными шагами по комнате Марков вдруг остановился и с какой-то детской доброй и смущенной улыбкой обратился к нам:

— Никак не могу решить в уме и сердце вопроса — монархия или республика? Ведь если монархия — лет на десять, а потом новые курбеты, то, пожалуй, не стоит...

Эти слова весьма знаменательны. Они являются отражением тех внутренних переживаний, которые испытывала часть русского офицерства, мучительно искавшая ответ на вопрос: где проходит грань между чувством, атавизмом, разумом и государственной целесообразностью?

ГЛАВА IX
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БЫХОВА, СТАВКИ И КЕРЕНСКОГО. ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. «КОРНИЛОВСКАЯ ПРОГРАММА»

Председатель следственной комиссии Шабловский принял поручение не от Керенского, а от Временного правительства. Это обстоятельство давало ему довольно широкую свободу в определении «мер пресечения» и порядка содержания арестованных. Вмешательство Керенского не могло играть поэтому решающей роли, тем более что по ходу дела он являлся если не стороной, то во всяком случае главным свидетелем. Тем не менее Керенский требовал от комиссии скорейшего выполнения следствия и ограничения его в отношении военного элемента только установлением виновности «главных участников». Он понимал, что если углубить вопрос о корниловском движении, то правительство останется вовсе без офицеров.

Наружную охрану несла полурота георгиевцев, весьма подверженная влиянию советов; внутреннюю — текинцы, преданные Корнилову. Между ними существовала большая

рознь, и текинцы часто ломаным языком говорили георгиевцам:

— Вы — керенские, мы — корниловские; резать будем.

Но так как в гарнизоне текинцев было значительно более, то георгиевцы несли службу исправно и вели себя корректно.

Неоднократно проходившие через станцию Быхов солдатские эшелоны проявляли намерение расправиться с арестованными. Были случаи высадки и движения их в город. Впрочем, такие неорганизованные попытки быстро ликвидировались польскими частями, расквартированными в городе. Командир польского корпуса генерал Довбор-Мусницкий, считая свои войска на положении иностранных, отдал распоряжение начальнику дивизии, чтобы тот, не вмешиваясь во «внутренние русские дела» и в распоряжения Ставки, не допускал насилия над арестованными и защищал их, не стесняясь вступать в бой. Действительно, два-три раза, ввиду выступления проходивших эшелонов, поляки выставляли сильные дежурные части с пулеметами, начальник дивизии и командир бригады приходили к нам уславливаться с Корниловым относительно порядка обороны.

Тем не менее угроза самосуда все время висела над быховцами. Советский официоз, за ним вся левая печать громко, иногда истерически требовали вывода нас из Быхова и применения каторжного или, по крайней мере, арестантского режима. Переведенный в Ставку большевистский генерал Бонч-Бруевич[1], назначенный начальником могилевского гарнизона, на первом же заседании местного совета солдатских и рабочих депутатов сказал зажигательную речь, потребовав удаления текинцев и перевода быховцев в могилевскую тюрьму, и с этим требованием во главе депутации явился к Керенскому. Эволюция генерала Бонч-Бруевича по моральным его свойствам хотя и не была неожиданной, но представляет все же известный психологический интерес: в дни первой революции (1905—1907 годы) в печати появился ряд его статей, изданных потом отдельным сборником, в кото-

[1] Впоследствии «военный руководитель» большевистского «Верховного совета».

рых, наряду с проявлением крайне правых воззрений, он призывал к *бессудному истреблению мятежных элементов.*

Мелочи жизни: книжку Бонч-Бруевича быховцы отыскали и послали могилевскому совету с надписью приблизительно такого содержания: «Дорогому могилевскому совету от преданного автора». Не воздействовало: совдеп знал цену людям... с таким широким моральным диапазоном.

Одновременно принимались меры воздействия на текинцев с целью их удаления из Быхова. С мест шли вести, что Закаспийскую область постиг полный неурожай, и семьям текинцев угрожает небывалый голод. В то же время Туркменский областной съезд ходатайствовал перед Керенским об отправлении полка в Персию — «вдаль от колес русской революции и лиц, могущих воспользоваться им как слепым орудием», считая, что в корниловском деле полк «действовал против русского народа», уронив себя в глазах «товарищей-солдат, вполне основательно могущих питать (к нему) недоверие и подозрительность». Несомненно, это постановление съезда было инспирировано извне. Корнилов в письме к Каледину, прося его оказать помощь хлебом семьям текинцев, так объяснял происхождение постановления: «Господин Керенский, которому не удалось заставить Текинский полк покинуть меня в критическую минуту, для того чтобы по уходе его организовать над нами самосуд, теперь пытается сбить с толку текинцев, стараясь повлиять на них через Закаспийский областной комитет».

В то же время шли переговоры между Керенским и Исполнительным комитетом о замене текинской охраны сводным отрядом, составленным по выбору от... армейских комитетов.

Ставка под напором всех этих давлений начала сдавать. Получено было сведение о переводе нас в местечко Чериков, удаленное верст на 80 от железной дороги и занятое гарнизоном из четырех разложившихся запасных батальонов... Позднее, уже в дни октябрьского выступления большевиков, польский гарнизон получил распоряжение об уходе из Быхова, и начальник польской дивизии прибыл к нам в тюрьму со своим недоумением. Все это заставляло нервничать быховских заключенных. Генерал Корнилов слал в Ставку грозные и резкие послания. Было заявлено, что увод поляков и текинцев, а также перевод в Чериков равносильны выдаче нас на самосуд черни; что из Быхова мы не уйдем и не остановимся перед вооруженным сопротивлением, оставляя последствия его всецело на совести начальства Ставки.

Ставка нервничала еще более. Генерал Дитерихс (генерал-квартирмейстер) присылал от себя и от имени начальника штаба успокоительные заверения. 29 октября он, между прочим, писал генералу Лукомскому: «Увод текинцев — вымысел. Пока мы здесь с Духониным, этого не будет; и для того, чтобы сохранить текинскую охрану как у вас, так и у нас, мы согласились на уступку влияниям со всех сторон (что было *необходимо* для данного момента) временно взять комендантом этого субъекта[1]... С поляками вышло недоразумение... Будьте покойны». В конце он прибавлял: «Ради Бога, желательно смягчать выражения генерала Корнилова, так как они истолковываются совершенно в определенном смысле. Сегодня в Минске вспышка, так как разнесся слух, что генерал Корнилов бежал. Из-за этого на весь сегодняшний день невероятно осложнилась обстановка на Западном фронте, и к нам не пропускают ни одного эшелона, то есть потерян еще один день».

В лице Духонина, ставшего фактически Верховным главнокомандующим, Керенский и революционная демократия, представленная комиссарами и комитетами, нашли действительно тот идеал, который они долго и напрасно искали до тех пор. Духонин — храбрый солдат и талантливый офицер Генерального штаба — принес им добровольно и бескорыстно свой труд, отказавшись от всякой борьбы в области военной политики и примирившись с ролью «технического советника» — той ролью, которую революционная демократия мечтала навязать всему командному составу. Судьба как будто хотела, чтобы и этот последний опыт подчиненного сотрудничества с революционной демократией был произведен над умирающей армией, — опыт, оказавшийся наименее

[1] Духонин отрешил от должности преданного корниловскому делу коменданта Ставки полковника Квашнина-Самарина и назначил советского избранника — полковника Инскервелли.

удачным. Духонина никто из них не подозревал в малейшем отсутствии лояльности. Он не препятствовал продолжавшимся упражнениям новоявленных творцов «революционной армии», хотя и не облекал свое отношение к ним в пафос и ложь брусиловской тактики.

Духонин стал оппортунистом par excellence. Но, в противовес другим генералам, видевшим в этом направлении новые перспективы для неограниченного честолюбия или более спокойные условия личного существования, он шел на такую роль, заведомо рискуя своим добрым именем, впоследствии и жизнью, исключительно из-за желания спасти положение. Он видел в этом единственное и последнее средство.

Взаимоотношения между Могилевом и Быховом (между Ставкой и «Подставкой», как острили в Совете) были поэтому весьма оригинальны. Ставка несомненно сочувствовала в душе корниловскому движению. Духонин и Дитерихс испытывали тягостное смущение неловкости, находясь между двумя враждебными лагерями. Сохраняя полную лояльность в отношении к Керенскому, они в то же время тяготились подчинением ему и отождествлением с этим лицом, одиозным для всего русского офицерства; их роль наших официальных «тюремщиков» также была не особенно привлекательна. Моральный авторитет Корнилова в глазах офицерства сохранился, и с этим нельзя было не считаться. Не раз Быхов давал некоторые указания Могилеву, которые Ставка, в меру возможности, исполняла. Однажды Духонин прислал словесную просьбу к Корнилову не приводить в исполнение его якобы намерения выйти из Быхова и завладеть Ставкой. При этом он приводил ряд мотивов о нецелесообразности, несвоевременности и гибельности для общего дела этого шага. Из тревожных и искренних слов Духонина можно было заключить, что он, осуждая в принципе ожидавшийся переворот, решительно никакого противодействия появлению Корнилова не окажет. Духонин, конечно, получил из Быхова успокоительные заверения, что это только вздорные слухи.

• • •

Между тем в Быхове слагался определенный взгляд на характер дальнейшей деятельности.

Вскоре после прибытия бердичевской группы на общем собрании заключенных поставлен был вопрос:

— Продолжать или считать дело оконченным?

Все единогласно признали необходимым «продолжать». Разгорелся спор о формах дальнейшей борьбы. По инициативе, кажется, Аладьина нашлось немало защитников создания «корниловской политической партии». Я решительно протестовал против такой своеобразной постановки вопроса, так не соответствовавшей ни времени и месту, ни характеру корниловского движения, ни нашему профессиональному призванию. Я считал, что имя Корнилова должно стать знаменем, вокруг которого соберутся общественные силы, политические партии, профессиональные организации — все те элементы, которые можно объединить в русле широкого национального движения в пользу восстановления русской государственности. Что, став в стороне от всяких политических течений, нам нужно лишь восполнить пробел прошлого и объявить строго деловую программу — не строительства, а удержания страны от окончательного падения. Этот взгляд был принят, и в результате работы небольшой комиссии при моем участии появилась утвержденная Корниловым так называемая «корниловская программа».

1) Установление правительственной власти, совершенно не зависимой от всяких безответственных организаций — впредь до созыва Учредительного собрания.

2) Установление на местах органов власти и суда, не зависимых от самочинных организаций.

3) Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России.

4) Создание боеспособной армии и организованного тыла — без политики, без вмешательства комитетов и комиссаров и с твердой дисциплиной.

5) Обеспечение жизнедеятельности страны и армии путем упорядочения транспорта и восстановления продуктивности работы фабрик и заводов; упорядочение продовольственного дела привлечением к нему кооперативов и торгового аппарата, регулируемых правительством.

6) Разрешение основных государственных, национальных и социальных вопросов откладывается до Учредительного собрания.

Так как технически было неудобно опубликовывать «программу Быхова», то в печати она появилась не датированной, под видом программы прошлого выступления.

Другой серьезный вопрос был разрешен в более тесном кругу старших генералов вполне единодушно: хотя побег из быховской тюрьмы не представлял затруднений, но он недопустим по политическим и моральным основаниям и может дискредитировать наше дело. Считая себя если не юридически, то морально правыми перед страной, мы хотели и ждали суда. Желали реабилитации, но отнюдь не «амнистии». И когда в начале октября нам сообщили, что Керенский заявил Аджемову и Маклакову, что суда не будет вовсе, это обстоятельство сильно разочаровало многих из нас.

Побег допускался *только* в случае окончательного падения власти или перспективы неминуемого самосуда. На этот случай обдумывали и обсуждали соответствующий план, но чрезвычайно несерьезно. В конечном итоге заготовлены были револьверы, несколько весьма примитивных фальшивых документов, штатское платье и записаны три-четыре конспиративных адреса, в возможность использования которых у меня лично не было никакой веры.

Генерал Корнилов тяготился несколько вынужденным бездействием, но до большевистского выступления вопроса этого больше не поднимал. О «занятии Ставки» говорили только разве шутя.

Тем не менее вне быховских стен создалось совершенно определенное убеждение о предстоящем нашем побеге. Ставка умоляла не делать этого; советская печать несколько раз сообщала о побеге как о совершившемся факте; Завойко из Петрограда в каждом письме к Корнилову предостерегал от «необдуманного и беспричинного побега», который «может послужить к провалу всего дела»; Быхов «провожал» нас ежедневно, и однажды я был немало изумлен, когда священник, служивший у нас в тюрьме вечерню, взволнованно и с глубоким чувством вознес особые молитвы, чином вечерни не установленные, о путешествующих.

Общее мнение укрепилось окончательно, когда Текинский полк стал чинить вьюки и ковать лошадей.

Я думаю, что больше всех наш побег доставил бы удовольствия Керенскому.

Чтобы облегчить нам вынужденный уход из Быхова, в особенности если бы пришлось идти походом с текинцами, принимались меры к постепенному освобождению арестованных. В этом нам содействовали и Ставка, и Верховная следственная комиссия. Корнилов не раз убедительно просил Духонина путем сношения с Керенским или с Шабловским добиться скорейшего освобождения из Быхова ряда лиц, «привлечение которых к его делу и дальнейшее содержание в заключении является сплошным недоразумением». Действительно, к 27 октября ушла из тюрьмы половина заключенных, позднее и прочие, за исключением генералов Лукомского, Романовского, Маркова и меня, которые принципиально должны были оставаться до конца с генералом Корниловым.

Большое затруднение для нас представляло полное отсутствие денежных средств. Широкое субсидирование корниловского выступления крупными столичными финансистами, о котором так много говорил в своих показаниях Керенский, — вымысел. В распоряжении «диктатора» не было даже нескольких тысяч рублей, чтобы помочь впавшим в нужду семьям офицеров, выброшенных за борт и вообще пострадавших в связи с выступлением. Необходимо было помочь закупкой хлеба семьям текинцев, позаботиться о приобретении для всадников Текинского полка на случай зимнего похода теплой одежды и т. д. Наконец, нелегким было положение самих быховцев, которых Керенский лишил содержания. Семейные бедствовали. Вместо содержания Керенский, лишенный чувства элементарного такта, приказал выдавать небольшие пособия из своих (по должности Верховного главнокомандующего) экстраординарных сумм. Одни отвергли, другие по нужде брали. Это распоряжение было совершенно незаконным, так как даже подследственным арестованным полагалось половинное

содержание, а быховские узники, по компетентному разъяснению председателя комиссии Шабловского, «не могли почитаться состоящими под следствием[1] и поэтому не лишены были права на получение содержания».

По этому поводу одним из заключенных, прапорщиком Никитиным, была подана жалоба в сенат с просьбой: «1) распоряжение Главковерха отменить; 2) привлечь присяжного поверенного Александра Керенского, по должности Верховного главнокомандующего, к ответственности по таким-то статьям за превышение власти».

Для поддержания средств существования быховцы затеяли издание альманаха, из чего, впрочем, ничего не вышло.

Генерал Алексеев через Милюкова еще 12 сентября обратился к Вышнеградскому, Путилову и другим. «Семьи заключенных офицеров, — писал Алексеев, — начинают голодать. Для спасения их нужно собрать и дать комитету союза офицеров до 300 тысяч рублей. Я настойчиво прошу их прийти на помощь. Не бросят же они на произвол судьбы и голодание семьи тех, с которыми они были связаны общностью идеи и подготовки». Результаты этого обращения мне неизвестны.

Только в конце октября Корнилову привезли из Москвы около 40 тысяч рублей, которыми он мог удовлетворить важнейшие нужды.

Между тем на этой почве в столице и других местах развивался крупный шантаж. В Быхов начали поступать сведения, что к состоятельным людям и в банки приходят какие-то неведомые лица и обращаются с требованием больших сумм на «тайную корниловскую организацию». Предъявляют записки московских общественных деятелей, иногда «собственноручные» якобы письма Корнилова.

Под влиянием этих сведений, после большевистского переворота, в начале ноября генерал Корнилов, по настоянию прапорщика Завойко, которому продолжал еще доверять, согласился на образование им «единой центральной кассы в Новочеркасске, особого комитета и контроля для распоряжения этими (собираемыми) деньгами и наблюдения за их использованием». Вместе с тем Корнилов подписал присланные Завойко письма к 12 финансистам[1] с предложением жертвовать в пользу создающихся вокруг него организаций для борьбы с большевизмом, указывая, что *единственным* его доверенным лицом по сбору денег является Завойко. Я не знаю, откликнулись ли адресаты, но к декабрю в Новочеркасске — и в распоряжении Корнилова, и в фонде Добровольческой армии, организованной Алексеевым, — денег не оказалось.

Последний эпизод, быть может, обусловлен недоверием к новому Минину (Завойко), но вообще постановка финансового вопроса весьма показательна. Я остановился несколько на ней, считая небезынтересным своеобразное отношение крупной буржуазии к антисоветскому и антибольшевистскому движению — той самой крупной буржуазии, которую революционная демократия тщится представить вдохновительницей и покровительницей движения, созданного якобы на ее средства и для ее благоденствия. От буржуазии генералы Алексеев и Корнилов требовали жертв, но служили не ей, а народным, национальным интересам. Быть может, это обстоятельство и вызывало те трудно преодолимые препятствия, которые они встречали не только в среде враждебной, но и в другой, казалось бы, заинтересованной в наступлении правового порядка.

* * *

[1] Пока шло только «расследование».

[1] 1. А. И. Путилов — Русско-азиатский банк;
2. А. И. Вышнеградский — Международный банк;
3. Л. Ф. Давыдов — Русский для внешней торговли банк;
4. Д. Н. Шаховской — Русский торгово-промышленный банк;
5. П. П. Батолин — Волжско-Камский банк;
6. А. И. Каминка — Азовско-Донской банк;
7. В. В. Тарновский — Сибирский банк;
8. Ю. Л. Львов — Учетно-ссудный банк;
9. А. В. Красавин;
10. И. Д. Морозов;
11. И. И. Стахеев;
12. В. Н. Троцкий-Сенютович.

Куда уходить в случае нужды?

Только на Дон. Вера в казачество была сильна по-прежнему; совет казачьих войск, находившийся в постоянных сношениях с Быховом, гальванизировал эту веру, добросовестно заблуждаясь и не чувствуя, что он, как и вся казачья старшина, оторваны от казачьей массы и давно уже не держат в своих руках ее реальную силу — войска. В Быхове составлялась преподанная Ставке дислокация казачьих частей для занятия важнейших железнодорожных узлов на путях с фронта к югу, чтобы в случае ожидаемого крушения фронта сдержать поток бегущих, собрать устойчивый элемент и обеспечить продвижение его на юг. В то же время шла деятельная переписка между Корниловым и Калединым.

Каледин сам еще находился в опале и в совершенно неопределенном служебном положении. В дни корниловского выступления Временное правительство, обвинив его «в мятеже и в желании путем занятия донскими частями железнодорожных узлов отрезать Донецкий бассейн от центра», отдало приказ об отрешении Каледина от должности, об аресте его и предании суду. Дон не выдал своего атамана и не допустил его устранения. Керенский лихорадочно собирал улики и не находил решительно ничего, что могло бы изобличить в нелояльности донского атамана. Временное правительство оказалось в чрезвычайно неловком положении и тщетно искало выхода, не слишком компрометирующего его. 17 октября Керенский в разговоре с донской депутацией признал эпизод с калединским мятежом «тяжелым и печальным недоразумением, которое было следствием панического состояния умов на Юге». Это не совсем верно: паника имела место главным образом на севере; ее создали своими заявлениями Авксентьев, Либер, Руднев (Московский городской голова), Верховский, Рябцев (помощник командующего войсками Московского округа)[1] и многие другие. Официальной реабилитации, однако, так и не последовало, и атаман, объявленный мятежником, к соблазну всей страны два месяца уже правил в таком почетном звании областью и войском.

[1] Первый донес о «калединском мятеже».

Каледин едва ли не трезвее всех смотрел на состояние казачества и отдавал себе ясный отчет в его психологии. Письма его дышали глубоким пессимизмом и предостерегали от иллюзий. Даже на прямой вопрос, даст ли Дон убежище быховским узникам, Каледин ответил хотя и утвердительно, но с оговорками, что взаимоотношения с Временным правительством, положение и настроение в области чрезвычайно сложны и неопределенны.

Таким образом, начало возникать сомнение в ценности единственной, как тогда представлялось, исходной базы для дальнейшей борьбы. Корнилов был склонен приписывать это освещение субъективным побуждениям казачьих верхов. В этом убеждении его усиленно поддерживал Завойко, пробравшийся в Новочеркасск. В каждом своем письме он рисовал широкими мазками народные якобы настроения: «Ваше имя громадно, его двигает вперед уже стихия; за ним стоят не отдельные силы или люди, а в полном смысле слова — стихия». И кстати добавлял: «Здесь, на Дону, Ваше имя и значение — бельмо на глазу Богаевского[1]; он полностью забрал в свои руки Каледина и в этом направлении влияет на него. Здесь политика по отношению к Вам двуличная и большая личная ревность. Боятся, что Вы будете наверху, боятся, что Вы не позволите пожить за счет других (?) и т. д.».

Подобные ориентировки не проходили бесследно, отражаясь на взглядах и настроении Корнилова. Весьма сдержанно отнесся он также к полученному известию, что 2 ноября приехал в Новочеркасск генерал Алексеев и приступил там к формированию вооруженных сил.

Вообще, наряду с ожиданием самосуда в быховскую тюрьму набегала волна, заносимая многочисленными посетителями и обширной почтой, — волна, выносившая «быховских узников» на авансцену политической жизни. Не в таких кричащих тонах, как в письмах Завойко, но в таком же свете представляли они общественные настроения в отношении корниловского движения. Цель Завойко, *отдаленного* от Быхова, довольно определенно сквозила в строках одного из писем: «Помните, что стихия за Вами. Ничего, ради Бога,

[1] М. Богаевский — помощник Донского атамана.

не предпринимайте, сторонитесь всех; Вас выдвинет стихия. Вам не надо друзей, ибо в должный момент все будут Вашими друзьями... За Вами придут — это делаю и я». Другие приносили Корнилову свою искреннюю веру и свое добросовестное, но чисто индивидуальное и зачастую ошибочное понимание текущих событий.

А стихия действительно бушевала. Но стихия всецело враждебная корниловскому движению. В его орбите оставалось только неорганизованное офицерство и значительная масса интеллигенции и обывательщины, распыленная, захлестываемая, могущая дать искреннее сочувствие, но не силы, нужные для борьбы.

ГЛАВА X

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДЫ КЕРЕНСКОГО: ОДИНОЧЕСТВО ВЛАСТИ; ПОСТЕПЕННЫЙ ЗАХВАТ ЕЕ СОВЕТАМИ; РАСПАД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА И СОВЕТОВ

Керенский победил.

Значение этой победы сказалось не только в отношении военной мощи страны, где армия осталась без вождей, но и в области государственного управления, где остались одни вожди без армии.

Перед страной снова встал кардинальный вопрос о построении верховной власти, ибо прежняя власть разбилась окончательно в «бескровной победе» над корниловским выступлением. Таково было мнение не только «побежденных», но и «победителей». Газета Горького говорила: «Бессильная в самостоятельной борьбе с контрреволюцией, неспособная к положительной творческой работе в деле обороны и борьбы с разрухой, живущая целиком за счет авторитета и поддержки совета и его руками выводящая страну из-под смертельного удара корниловщины, — наша власть чувствует себя достаточно «независимой» и «неограниченной»... в пределах Зимнего дворца».

В центре стояла по-прежнему одинокая и уже обреченная всем ходом предшествовавших событий фигура Керенского. Разгромив действенные силы несоциалистической России, он призывал ее вновь к участию в коалиции, ведя борьбу за попираемые права буржуазии и не видя вне союза с нею иного исхода, как «ликвидацию всего Временного правительства, с премьер-министром во главе».

Революционная демократия в лице Петроградского совета огромным большинством голосов левых эсеров и большевиков требовала отстранения от власти не только партии народной свободы, но и всех цензовых элементов, и передачи ее в руки исключительно «революционного пролетариата и крестьянства». Если верить Штейнбергу, из 165 резолюций разных провинциальных организаций не менее 115 высказались за переход всей власти в руки революционной демократии, причем солдатские комитеты оказывались часто левее рабочих.

К этому времени из состава президиума Совета должны были выйти Чхеидзе, Церетели, Скобелев и Чернов как слишком «умеренные». В состав президиума вошли большевики и левые эсеры. Новый председатель Совета Бронштейн (Троцкий), сменивший Чхеидзе, считал, что народные массы уже вполне подготовлены к восприятию советской власти, но «после жестокого урока июльских дней стали только более благоразумными, отказались от собственной инициативы и ожидают призыва свыше».

Прежние вожди — Церетели, Чхеидзе, Чернов и другие, — словом, вся та социалистическая интеллигенция, которая вначале стояла во главе советов, потом группировались вокруг Исполнительных комитетов и в течение шести месяцев пыталась руководить судьбами революции, оказалась, как и Керенский, в пустом пространстве. За ними не было больше никого. Они продолжали священнодействовать по инерции, все еще произнося установленные ритуалом речи, в которых, однако, явно доминировала смертельная тревога за будущее и, может быть, тайно заглушаемое раскаяние за погубленное прошлое. Выбора не было. Если раньше в числе различных комбинаций можно было еще говорить об однородном социалистическом министерстве, когда большин-

ство состояло из умеренных элементов (оборончеcкий блок), то при новом соотношении сил вопрос стоял значительно проще: или коалиция с буржуазией, имевшая за собой по крайней мере одно преимущество — давность; или — «вся власть большевистским советам». Независимо от общегосударственного значения этого вопроса, он имел для них и чисто личное: первая комбинация оставляла их на авансцене политической жизни страны, вторая низвергала в подполье. Остановившись на первом решении, Исполнительные комитеты, очевидно только для соблюдения революционных традиций, вели длительные, нудные и неискренние переговоры с Керенским. Вначале появилось ультимативное требование устранения от власти кадетов — единственного организованного представительства демократии и буржуазии — под предлогом их участия в деле Корнилова. Это требование фактически делало невыполнимой идею коалиции. Потом, в результате страстных словопрений, состоялся компромисс, в силу которого непосредственое руководство делами государства впредь до окончательного сформирования кабинета временно возложено было на пятичленную директорию[1]. Постановление исполнительных комитетов ставило окончательное решение вопроса в зависимость от решения созываемого ими съезда всей организованной демократии («Демократическое совещание»).

Наряду с преобладающим элементом «революционной демократии» из состава советов и комитетов Демократическое совещание заключало в себе и значительные контингенты просто демократии, вкрапленные в городские и земские самоуправления, профессиональные союзы, кооперативы и т. д. Совещание должно было, по мысли инициаторов, установить единый демократический фронт, организовать власть и составить постоянный «революционный парламент» для руководства страной впредь до Учредительного собрания.

Эта идея и возможность одностороннего захвата власти вызвали большую тревогу и протесты не только в стане бур-

[1] Министр-председатель — Керенский; министр иностранных дел — Терещенко; военный — Верховский; морской — Вердеревский; почты и телеграфа — Никитин.

жуазии, но даже в среде самой демократии. Так, совет кооперативных съездов заявил, что «Всероссийское совещание должно быть общенациональным и должно быть созвано государственной властью. В нем должны быть представлены все слои населения»...

Надежды и страхи не оправдались.

Совещание проявило поразительное отсутствие чувства государственности и полный разброд мысли, полное отсутствие среди демократии какого бы то ни было единства взглядов даже по основным вопросам государственной жизни. Этот раскол и немощность как нельзя более ярко определились в резолюции по тому главному вопросу, ради которого собиралось совещание. Голосование формулы за необходимость коалиции дало 766 голосов против 688; поправка об исключении кадетов — принята 565 голосами против 483; наконец, после этого резолюция в целом о необходимости коалиции отвергнута 813 голосами против 183.

Это голосование несомненно нанесло моральный удар по демократии и лишило всякого авторитета Демократическое совещание. Чтобы выйти из непристойного положения, вожди революционной демократии, сняв совершенно вопрос о коалиции, с огромным трудом провели новое постановление, в силу которого будущее правительство должно было руководствоваться «программой 14 августа»[1]. Из состава совещания выделялся представительный орган — предпарламент, причем «в случае привлечения в состав правительства и цензовых элементов» таковой должен был пополниться делегатами от буржуазных групп. Наконец, предусмотрена была ответственность правительства перед парламентом.

Почти вся пресса, хотя и по различным побуждениям, напутствовала безвременно угасшее Демократическое совещание однообразной эпитафией:

«В потоке слов погибла еще одна революционная иллюзия».

Не удивительно, что Керенский счел возможным игнорировать все положения совещания. И после знаменитых заседаний в Малахитовом зале, где в бесконечном словесном тур-

[1] Московского государственного совещания.

нире еще раз столкнулись представители революционной демократии и «цензовые элементы», к 26 сентября было достигнуто, наконец, соглашение, в силу которого признана была коалиция и независимость правительства; предпарламенту, переименованному в «Совет российской республики»[1], решено было дать законосовещательный характер и предоставить созыв его правительству. Наконец, после длительных споров совместными усилиями двух борющихся сторон была выработана и опубликована декларация, заключавшая в себе обычные перепевы программ, воззваний, резолюций, имевших один общий недостаток — *нереальность* в обстановке войны, голода и анархии. И хотя «основными и первейшими задачами» своими правительство поставило «защиту родины от врага внешнего, восстановление законности и порядка и доведение страны до полновластного Учредительного собрания» (то есть те именно задачи, которые поставлены были и «корниловской программой»), но оставалось совершенно не ясным, какими методами будет добиваться верховная власть своей цели. Методами государственного принуждения или правительственной кротости?

Немедленно Петроградский совет, возглавленный в эти дни Бронштейном (Троцким), откликнулся резолюцией от 25 сентября: «Совет заявляет: правительству буржуазного всевластия и контрреволюционного насилия мы — рабочие и гарнизон Петрограда — не окажем никакой поддержки. Весть о новой власти встретит со стороны всей революционной демократии один ответ: в отставку! И опираясь на этот голос подлинной демократии, Всероссийский съезд советов создаст истинную революционную власть. Совет призывает пролетарские и солдатские организации к сплочению своих рядов».

Итак, война объявлена открыто.

Какой же отклик находила эта борьба вождей за власть в их «армии» — народных массах, в этом многоликом сфинксе, в котором каждое течение находило основание для доказательства своего первородства?

Никакого.

---

[1] Состав коалиционный, типа Московского совещания.

Народ интересовался реальными ценностями, проявлял глубокое безразличие к вопросам государственного устройства и, видя ежечасное ухудшение своего правового и хозяйственного положения, роптал и глухо волновался. Народ хотел хлеба и мира. И не мог поверить, что хлеб и мир немедленно не может дать ему никто — ни Корнилов, ни Керенский, ни Церетели, ни Ленин.

* * *

В атмосфере полного недоверия, в непрестанных больших и малых кризисах, отвлекавших время, внимание и силы, нарушавших душевное равновесие, Директория и Временное правительство нового состава[1] продолжали свою работу в сентябре и октябре. Теперь не было уже ни одного класса, ни одной партии, ни одной социальной и политической группировки, на искреннюю поддержку которых могла рассчитывать власть. Она держалась только в силу инерции; только потому, что правая половина верхних слоев русского народа боялась нового катаклизма, левая считала его пока преждевременным, а нижние слои непосредственно правительством не интересовались.

Между тем распад всей государственной жизни с каждым днем становился все более угрожающим. В предыдущей книге приведен схематический очерк внутреннего состояния и хозяйственной жизни страны, и на этих вопросах я остановлюсь теперь лишь в самых кратких чертах. Все первопричины разрухи оставались в силе, и лишь элемент времени расширил и углубил ее проявления.

Окончательно самоопределялись окраины. Туркестан пребывал в состоянии постоянной дикой анархии. В Гель-

---

[1] Министр-председатель — Керенский; заместитель его и министр торговли и промышленности — Коновалов; иностранных дел — Терещенко; военный — генерал Верховский; морской — адмирал Вердеревский; внутренних дел — Никитин; юстиции — Малянтович; путей сообщения — Ливеровский; финансов — Бернацкий; призрения — Кишкин; труда — Гвоздев; народного просвещения — Салазкин; продовольствия — Прокопович; земледелия — Маслов; министр без портфеля — Третьяков; государственный контролер — Смирнов.

сингфорсе открывался явочным порядком финляндский сейм, и местные революционные силы и русский гарнизон предупреждали Временное правительство, что не позволят никому воспрепятствовать этому событию. Украинская центральная рада приступила к организации суверенного учредительного собрания, требовала отдельного представительства на международной конференции, отменяла распоряжения главнокомандующего Юго-Западным фронтом, формировала «вольное казачество» (не то опричнину, не то просто разбойные банды), угрожавшее окончательно затопить Юго-Западный край.

В стране творилось нечто невообразимое. Газеты того времени переполнены ежедневными сообщениями с мест под много говорящими заголовками: Анархия, Беспорядки, Погромы, Самосуды и т. д. Министр Прокопович поведал «Совету Российской республики», что не только в городах, но и над армией висит зловещий призрак голода, ибо между местами закупок хлеба и фронтом все пространство объято анархией и нет сил преодолеть его. На всех железных дорогах, на всех водных путях идут разбои и грабежи. Так, в караванах с хлебом, шедших по Мариинской системе в Петроград, по пути разграблено крестьянами, при сочувствии или непротивлении военной стражи, сто тысяч пудов из двухсот. Статистика военного министерства за одну неделю только в тыловых войсках и только как исключительные события давала 24 погрома, 24 «самочинных выступления» и 16 «усмирений вооруженной силой». В особенности страшно страдала прифронтовая полоса. Начальник Кавказской туземной дивизии в таких, например, черных красках рисовал положение Подольской губернии, где стояли на охране его части: «Теперь нет сил дольше бороться с народом, у которого нет ни совести, ни стыда. Проходящие воинские части сметают все, уничтожают посевы, скот, птицу, разбивают казенные склады спирта, напиваются, поджигают дома, громят не только помещичьи, но и крестьянские имения. В каждом селе развито винокурение, с которым нет возможности бороться из-за массы дезертиров. Самая плодородная страна — Подолия — погибает. Скоро останется голая земля».

Замечательно, как своеобразно и элементарно объясняла революционная демократия эти неотвратимые последствия социальной классовой борьбы и безвластия, которые должны были лежать тяжелым камнем на ее душе: «В различных местностях России толпы озлобленных, темных, а часто и отуманенных спиртом людей, руководимые и натравливаемые темными личностями, бывшими городовыми и уголовными преступниками, грабят, совершают бесчинства, насилия и убийства... Может считаться точно установленным, что во всем этом погромном движении участвует смелая и опытная рука черной контрреволюции. Погромная антисемитская агитация и проповедь вражды, насилия и ненависти к инородцам и евреям являются, как показал опыт 1905 года, наилучшей формой (?) для торжества контрреволюционных настроений и идей»[1]. Комитет призывал местные советы зорко следить за происками контрреволюционеров и подавлять вооруженной силой их погромные попытки и агитацию. Эти призывы находили благодарную почву в революционной массе, действительно разбавленной более чем ста тысячами амнистированных преступников, совершенно чуждых контрреволюционным побуждениям и заполнявших чиновные места на всех ступенях советской иерархии. Все же несоветское и неуголовное отнесено к разряду контрреволюционеров.

Со времени корниловского выступления ко всем прежним революционным учреждениям «для борьбы с контрреволюцией» присоединились еще расцветшие пышным цветом по всей стране особые «революционные комитеты», «комитеты спасения и охраны революции», ознаменовавшие свое существование всевозможными насилиями. Правительство, «свидетельствуя от имени всей нации о чрезвычайных заслугах этих комитетов», признало, однако, необходимым упразднить их: «Самочинных действий в дальнейшем допускаемо быть не должно, и Временное правительство будет с ними бороться как с действиями самоуправными и вредными республике»[2]. А в тот же день из недр Исполнительного

[1] Постановление Центрального исполнительного комитета советов в начале октября 1917 года.

[2] Указ от 4 сентября.

комитета вышел приказ[1], чтобы органы эти, «ввиду продолжающегося тревожного состояния, работали с прежней энергией». Впрочем, и само правительство было настолько одержимо боязнью контрреволюции, что для борьбы с нею в начале октября восстановляло «охранные отделения» старого режима, с их кругом ведения, характером и приемами. Только название дано было новое — «особые отделы общественной контрразведки» — и в состав включались представители советов, городских управлений и магистратуры.

Правительство было бессильно справиться с анархией и, кроме воззваний, не делало к этому никаких попыток. Местный представитель его — губернский комиссар — был едва ли не наиболее трагикомической фигурой правительственного аппарата. Без какой-либо силы — среди вопиющего бесправия и торжествующего беззакония... Назначаемый «по соглашению с подлежащим комитетом общественных объединенных организаций» и обязанный «действовать в единении с комитетом», он подвергался, однако, единоличной ответственности за законность и правильность своих распоряжений[2].

Власть терпела и не могла порвать цепей, приковывавших ее к советам, — даже теперь, когда советы порвали с ней окончательно.

В деревнях земля давно была взята и поделена. Теперь догорали помещичьи усадьбы и экономии, дорезывали племенной скот и доламывали инвентарь. Иронией поэтому звучали слова правительственной декларации, возлагавшей на земельные комитеты упорядочение земельных отношений и передавшей им земли «в порядке, *имеющем быть установленным законом и без нарушения существующих норм землевладения*»...

Советы подвергали секвестру и социализации одну за другой фабрики и заводы, и в то же время шло массовое закрытие промышленных заведений (к половине октября — до тысячи), создавая быстро растущую безработицу и выбрасывая на улицу сотни тысяч обозленных, голодных людей — готовые кадры для будущей Красной гвардии.

---

[1] Резолюция «комитета народной борьбы с контрреволюцией».

[2] Положение, утвержденное в конце сентября.

Государственная экспедиция допечатывала девятнадцатый миллиард кредитных рублей, и бездонное народное чрево поглощало бесследно обесцененные бумажные деньги. В то же время агитация против банков и в пользу конфискации капиталов приостановила вклады, нарушила кредитный оборот и вызвала хроническое состояние денежного голода.

Министр путей сообщения Ливеровский в отчаянных посланиях читал отходную железнодорожному транспорту, а в то же время Викжель организовывал всеобщую железнодорожную забастовку. В дни войны и голода! Забастовка состоялась фактически — где три дня, где дольше, пока правительство не подчинилось требованиям железнодорожников и не ассигновало им прибавку содежания в 705 миллионов рублей. Но и эта капитуляция не удовлетворила Викжель, который продолжал предъявлять различные требования политически-правового характера, держа все время власть и командование под угрозой возобновления забастовки.

В такой обстановке протекала работа Временного правительства в последние два месяца его существования.

Что народные массы, освобожденные от всяких сдерживающих влияний, опьяненные свободой, потеряли разум и принялись с жестоким садизмом разрушать свое собственное благополучие, — это еще понять можно. Что у власти не нашлось силы, воли, мужества, чтобы остановить внезапно прорвавшийся поток, — это тоже не удивительно. Но что делала соль земли, верхние слои народа, социалистическая, либеральная и консервативная интеллигенция; наконец, просто «излюбленные люди», более или менее законно, более или менее полно, но все же представлявшие подлинный народ, — это выходит за пределы человеческого понимания. Перечтите отчеты всех этих советов, демократических, государственных и прочих совещаний, комитетов, заседаний, предпарламентов, и вас оглушит неудержимый словесный поток, льющий вместо огнегасительной горючую жидкость в расплавленную народную массу. Поток слов умных, глупых или бредовых; высокопатриотических или предательских; искренних или провокаторских. Но только слов. В них отражены гипноз отвлеченных формул и такая страстная не-

терпимость к программным, партийным, классовым отличиям, которые заставляют нас вспомнить страницы талмуда, средневековую инквизицию и споры протопопа Аввакума. Они облечены внешней искренностью и внутренней ложью, и не только у людей злой воли, но иногда и в устах честных и правдивых. У последних — ложь во спасение. Историк и мыслитель, изучая впоследствии течение русской революции по этим человеческим документам, вряд ли сумеют установить правильное понимание ее законов, если не обратятся в область патологии. Не только для истории, но и для медицины состояние умов, в особенности у верхнего слоя русского народа, в годы великой смуты представит высокоценный неисчерпаемый источник изучения.

Неудивительно, что после «Московского государственного совещания», «Демократического совещания», «Совета Российской республики» и кратковременного «Учредительного собрания 1918 года» в глазах многих людей либерального образа мыслей возникло сомнение в непогрешимости основной демократической догмы, перевоплощенной в русской пословице: «Глас народа — глас Божий».

* * *

В области внешних сношений положение России становилось все более тяжелым и унизительным.

Министр иностранных дел Терещенко, в стремлении своем быть приемлемым для революционной демократии, безнадежно запутался в сочетании идей интернационализма, преобладавшего в Совете, «революционного оборончества», неискренне проводимого Исполнительным комитетом, и национальной обороны, исповедуемой «цензовыми элементами». Эта тройственность составляет характерную особенность всех его актов. И в последней декларации правительства от 25 сентября механическое смешение всех трех идеологий выразилось в такой дипломатической форме: «...правительство будет неустанно развивать свою действенную внешнюю политику в духе демократических начал, провозглашенных русской революцией, сделавшей эти начала общенациональным достоянием (?), стремясь к достижению всеобщего мира и исключая насилие с чьей бы то ни было стороны». Какие начала: Ленина, Цедербаума (Мартова), Гурвича (Дана), Чернова или... Милюкова? «Временное правительство все свои силы положит на защиту общесоюзнического дела, на оборону страны, на решительный отпор всяким попыткам отторжения национальной территории и навязывания России чужой воли, на изгнание неприятельских войск из пределов родной страны». В этом изложении достаточно определенно проводились: в политике — status quo, в стратегии — отказ от полной победы и переход от наступления к активной обороне. Только сокровенный смысл фразы «защита общесоюзнического дела», предназначенный для успокоения союзных стран, нарушал несколько общий тон «декларации бессилия», как назвала этот акт печать.

Такая внешняя политика имела своим прикладным результатом лишь возможность длительного пребывания на посту г-н Терещенко и встречала осуждение решительно со всех сторон. Слева ее считали «прямым продолжением внешней политики царизма, не заключающей в себе ни демократического, ни революционного элементов»[1]. Справа говорили о «стиле официального лицемерия, которым о чести и достоинстве России отказываются говорить, а о национальных интересах говорят с большой осторожностью»[2]. Любопытно, что сам г-н Терещенко в различных интервью определял нашу внешнюю политику как «политику парадоксов».

Декларацией предусматривалась посылка на конференцию союзных держав в числе уполномоченных правительства и лица, «облеченного особенным доверием демократических организаций». Таковым оказался М. Скобелев. Ему дан был выработанный Центральным исполнительным комитетом наказ, который перейдет в историю как яркий показатель того политического, морального и патриотического уровня, на котором стояли *умеренные* вожди революционной демократии. П. Милюков в Совете республики дал тонкий анализ этого постыдного акта, разделив содержание его на «три концентрических круга мыслей»:

[1] Гурвич.

[2] Милюков.

общепацифистский[1], стокгольмский[2] и специально-советский, представлявший переложение стокгольмского, исправленного в духе утопизма и... германских интересов. От более точного определения этого последнего «круга мыслей» он воздержался. Но было ясно, что это просто предательство Родины, для которой безразлично, поступаются ли ее интересами за сребреники или даром.

Национальные интересы России, ее будущая судьба и возможность мирного существования, понесенные ею великие жертвы, чудовищное расстройство народного хозяйства обеспечивались в этом акте *только* следующими положениями: «Непременным условием мира является вывод немецких войск (а австрийских и турецких?) из занятых областей России. Россия предоставляет полное самоопределение Польше, Литве и Латвии». И дальше — общее требование: «Все воюющие отказываются от требования возмещения всяких издержек в прямом и скрытом виде». Нигде более в наказе имя России не упоминалось.

Забота об интересах союзников ограничивалась восстановлением Бельгии, Сербии[3], Черногории и Румынии в прежних границах, возмещением убытков Бельгии и материальной помощью Сербии и Черногории из... интернационального фонда, то есть и за счет союзных и нейтральных держав!

Идея самоопределения вылилась, по существу, в *отторжение*: от России — Литвы и Латвии, от Румынии — Добруджи, от Турции — Армении; в *сохранении* за Германией ее колоний, Познани и польской Силезии (в Эльзасе и Лотарингии допущен был плебисцит); за Австрией — румынской Трансильвании и всех славянских земель; только в итальянских областях ее допускался плебисцит. Зарубежные поляки, чехословаки, южные славяне, румыны, по-видимому, не заслуживали самоопределения... Массарик, с большой горечью напоминая о забытых, указывал Совету, что такое одностороннее толкование им идеи самоопределения народов сближает его совершенно со взглядами немецкого империализма.

[1] Положения этого рода встречали критику, но не осуждение.

[2] Манифест организационного комитета Стокгольмской конференции 4 октября.

[3] Ей предоставлялся доступ к Адриатическому морю.

Не удивительно, что это выступление русской демократии произвело в центральных странах весьма благоприятное впечатление: австро-германская печать отозвалась сдержанным одобрением «перемены курса русской политики», а канцлерский официоз «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» обмолвился даже такой знаменательной фразой: «Этот дух программы русской демократии, по-видимому, *восприял нечто* от того примирительного духа, которым проникнуты речи, произнесенные в германском рейхстаге по поводу ноты папы, а также заявление графа Чернина в Будапеште». Восприял несомненно — через благодать Стокгольмского банка, Циммервальд, руссоненавистничество и духовное затмение.

Наконец, для осуществления *скорого* мира наказ требовал заключения его «через уполномоченных, выбранных органами народного представительства» — для чего нужно было изменение конституций всех воюющих стран и не иначе, как «на *всемирном* конгрессе».

Все эти «парадоксы» официального политического курса и откровения неофициального были бы, однако, лишь пустым словопрением, без всякого реального значения, если бы они не давали почвы и оправдания тем сумбурным настроениям, которые царили в армии, — армии, не желавшей знать никаких «целей войны», а жаждавшей немедленного мира во что бы то ни стало. Так смотрели на нашу дипломатию и союзники. С развалом армии она теряла всякий авторитет и влияние на союзническую политику. В союзных правительствах, парламентах, в печати, не исключая части социалистической, за редкими исключениями отзывались на откровения русской революционной демократии поучающе-снисходительно, с иронией или с осуждением, но не придавали им слишком серьезного значения. Крупная английская печать находила, что идеи джентльменов из Совета представляются весьма интересными и будут иметь, вероятно, большое значение... после окончания войны и заключения мира. Клемансо резко высказывал удивление, что

советы, имеющие в своем активе только поражения, «навязывают французам с их длительными блестящими успехами условия мира, внушенные их мечтаниями».

Что касается социал-демократии союзных стран, то хотя в недрах ее происходил процесс расслоения и меньшинство все более принимало облик русского большевизма, но значительное большинство оставалось верным принятым с начала войны идеям национальной обороны. Почти в то же время, когда составлялся скобелевский наказ, французская социалистическая конференция в Бордо вынесла резолюцию, которая, наряду с проповедью общепацифистских идей, высказывалась за поддержку буржуазного правительства и за решительное продолжение войны до победы.

Союзников глубоко интересовал и тревожил один главный вопрос — о русском фронте.

26 сентября к министру-председателю явились посланники Англии, Франции и Италии и обратились к нему с коллективным заявлением от имени своих держав, что «общественное мнение их стран требует отчета у правительств по поводу материальной помощи, оказанной России; что русское правительство должно доказать свое стремление использовать все средства, чтобы восстановить дисциплину и истинный воинский дух в армии»[1].

Камбон объяснял этот шаг создавшимся в парижских кругах убеждением, что «Временное правительство может, опираясь на верные войска, восстановить боеспособность армии и раздавить большевиков». А Сонино в беседе с нашим послом сообщил, что «коллективное выступление имело именно целью дать поддержку Временному правительству»...

Как бы то ни было, такое выступление являлось тревожным фактом, в особенности в связи с упорными слухами о возможности заключения союзниками сепаратного мира.

Позднее, в начале октября, слухи о сепаратном мире получили уже реальное обоснование: после неудачного выступления папы немецкое правительство в лице министра иностранных дел Кюльмана сделало неофициальное заявление

[1] Из секретной дипломатической переписки, опубликованной большевиками.

Франции через Бриана, что оно готово обсуждать вопрос об Эльзасе и Лотарингии, о Триесте и восстановлении независимости Бельгии на условиях компенсаций на Востоке. Рибо во французском парламенте, лорд Сесиль в английском, подтверждая верность союзу, ответили решительным отказом; их заявление успокоило правительство и русскую общественность, вызвав в России смешанное чувство досады за себя и умиления по адресу союзников. Министр Прокопович на кооперативном съезде в Москве заявил о нашем отчаянном международном положении: «Мир приближается к нам. Но мир неслыханно позорный для России, мир исключительно за наш счет. Нас спасает пока только благородство союзников, отвергающих делаемые Германией выгодные для них, но гибельные для нас мирные предложения». Но, «быть может, чаша терпения их скоро переполнится».

Трудно теперь, после четырехлетнего опыта, оценивать мотивы, двигавшие действиями международной дипломатии, с точки зрения чистого альтруизма. Его, конечно, не было. Был холодный, ясный расчет. Недаром Рибо называл предложение Кюльмана «ловушкой». Самый факт открытия сепаратных переговоров произвел бы в России глубочайший переворот не только в политических взаимоотношениях, но и в психологии русского народа, бросив его в объятия Германии и тем смешав все карты новой игры. Наконец, даже «удачный» исход переговоров, приведя к чрезмерному усилению Германии, нисколько не менял бы то напряженное состояние, которое царило в Европе до войны; не уничтожал, а, наоборот, увеличивал опасность германского империализма, его стремления к политической и экономической гегемонии. Немецкий бронированный кулак, благодаря взращенной в течение трех лет злобе и чувству мести, стал бы вновь огромной угрозой европейскому миру. И в особенности угрозой если не бытию, то великодержавности Франции, которой с устранением России предстояло в будущем жуткое политическое одиночество.

Вот почему отсечение даже больного духовно и парализованного физически члена Согласия обрекало на бесцельность и бесполезность все громадные жертвы, усилия и затраты союзников.

И когда в дни, приближавшие нас к роковому исходу, за две недели до большевистского переворота, во французском парламенте новый министр иностранных дел Барту с большим подъемом говорил: «Мы единодушно утверждаем, что питаем доверие к России!», то Тома перебил его: «Надо оказать ей действительную помощь!».

В этом диалоге французских государственных людей отразились не столько вера и желание, сколько смертельный страх за судьбу своей родины.

ГЛАВА XI

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ КЕРЕНСКОГО—ВЕРХОВСКОГО—ВЕРДЕРЕВСКОГО. СОСТОЯНИЕ АРМИИ В СЕНТЯБРЕ, ОКТЯБРЕ. ЗАНЯТИЕ НЕМЦАМИ МООНЗУНДА

После корниловского выступления во главе военного министерства Керенский поставил произведенного им в генералы Верховского и во главе морского — адмирала Вердеревского, который только что был освобожден из-под следствия по обвинению его в неисполнении приказа Временного правительства под влиянием флотского комитета. Главной причиной, которая послужила к выдвижению этих лиц, была их удивительная приспособляемость к господствующим советским настроениям, постепенно переходившая в чистую демагогию. Этот элемент ярко окрашивает их двухмесячную деятельность. Любопытную характеристику обоим дает сам Керенский[1]. Вердеревский, по его мнению, умный и очень дипломатичный человек, который ради ограждения от дальнейшего поношения, может быть даже истребления, морских офицеров стал «исключительным оппортунистом». Верховский «был не только не способен овладеть положением, но даже понять его». Он был выдвинут политическими игроками слева и быстро поплыл «без руля и без ветрил» прямо навстречу катастрофе. Верховский ввел в свою деятельность «комический элемент». К этому определению можно добавить еще легкую возбуждаемость на почве не то истерии, не то пристрастия к наркозам... Но Верховский в свое время резко выступил против Корнилова, и это обстоятельство сыграло, по признанию Керенского, решающую роль. «Принимая во внимание колеблющееся поведение во время корниловского выступления всех других желаемых кандидатов, мне буквально не из кого было выбирать, а между тем с обеих сторон — правой и левой — проявилось внезапное желание видеть на посту военного министра военного человека».

[1] «Прелюдия большевизма» (англ. изд.).

При таких условиях ничто не могло изменить трагической судьбы русской армии.

Изложив немедленно после своего назначения Исполнительному комитету свою программу, заслужившую его одобрение, военный министр приступил к работе, носившей необыкновенно сумбурный характер, не оставившей после себя никакого индивидуального следа и как будто заключавшейся исключительно в том, чтобы излагать грамотным военным языком безграмотные по смыслу советские упражнения в военной области.

Реформы начались с нового изгнания лиц командного состава. В течение месяца было уволено «за контрреволюцию» 20 высших чинов командования и много других войсковых начальников. Они были заменены лицами, имевшими в своем активе, по определению Верховского, «политическую честность, твердость поведения в корниловском деле и контакт с армейскими организациями». В каком-то самоослеплении Керенский в конце октября заявил «Совету республики» о необыкновенных результатах этого механического отсеивания. «Я счастлив заявить, что в настоящее время ни на одном фронте, ни в одной армии вы не найдете руководителей, которые были бы против той системы управления армией, которую я проводил в течение 4 месяцев». Как будто в разъяснение этого заявления Верховский, продолжавший эволюционировать, но теперь уже решительными шагами в сторону большевизма, там же, в Совете, счел нужным обратить внимание армейских организаций на одну очень характерную черту армейского быта: «И сейчас, при новом режиме, появились генералы, и даже в очень

высоких чинах, которые определенно поняли, куда ветер дует и как нужно вести свою линию». Несомненно, тяжкое обвинение командного состава, вытекающее из слов Керенского, преувеличено: на общем фоне обезличенных начальников, сведенных в степень «технических советников», кроме типа Черемисова существовал еще тип Духонина. Между нравственными обликами одного и другого — непроходимая пропасть. Но все те, кто по разным побуждениям примирились внешне с военной политикой правительства, в душе считали политику эту гибельной и ненавидели творцов ее.

Вопрос о революционных организациях оставался в прежнем, если не в худшем положении. Накануне своего удаления от должности, 30 сентября, Савинков успел выпустить приказ с изложением общих оснований реорганизации этих институтов в редакции, отвергнутой в свое время Корниловым. Власть комиссаров была усилена. Им предоставили прокурорские обязанности в отношении войсковых организаций в смысле наблюдения за закономерностью деятельности последних, надзор за печатью и устной агитацией и регламентирование права собраний в армии. Вместе с тем на комиссаров возложено было уже официально наблюдение за командным составом армии, аттестация лиц, «достойных выдвижения», и возбуждение вопроса об удалении начальников, «не соответствующих занимаемой ими должности». Тягость положения командного состава усугублялась тем, что приказ не предусматривал границ комиссарского усмотрения (политика, служба, военное дело, общая преступность?) и не определял точно решающей инстанции.

Войсковым комитетам, наряду с руководством общественной и политической жизнью войск, предоставлялся контроль над органами снабжения и опять-таки надзор за командным составом и аттестование его путем сбора «материалов о несоответствии данного начальника занимаемой им должности». Революционный сыск, возведенный в систему и оставивший далеко позади черные списки сухомлиновско-мясоедовского периода, повис тяжелым камнем над головами начальников, парализуя деятельность даже крайних оппортунистов.

Официальное лицемерие продолжало возносить армейские революционные организации как важнейшие «устои демократической армии», очевидно, не по убеждению, а по тактическим соображениям. В союзе с ними, хотя и весьма неискреннем, все те, что группировались вокруг Керенского, видели известный демократический покров политического курса и последнюю свою надежду. Порвав с ними, власти нельзя было сохранить даже неустойчивое равновесие и неминуемо приходилось делать последний шаг вправо или влево: к советам и Ленину или к диктатуре и «белому генералу».

А «покров» почти истлел.

Какой авторитет могли иметь в армии комиссары — представители Временного правительства, — если, например, комиссар Северного фронта Станкевич, посетивший в сентябре ревельский гарнизон, имея задачей «защищать Временное правительство», встретил такой прием: «Я чувствовал всю тщету попыток, так как само слово «правительство» создавало какие-то электрические токи в зале, и чувствовалось, что волны негодования, ненависти и недоверия сразу захватывали всю толпу. Это было ярко, сильно, непреодолимо и сливалось в единный вопль «Долой!». В других местах отношение солдатской массы к правительству если и не проявлялось так экспансивно, то, во всяком случае, выражало полнейшее равнодушие или пассивное сопротивление, ежеминутно готовое вылиться в открытый бунт.

Комитеты также изменяли постепенно свой облик. Многие высшие комитеты, которые с весны не переизбирались, сохраняли еще прежние традиции оборончества и условной поддержки правительства («постольку-поскольку»), теряя постепенно связь с войсками и всякое влияние на них, тогда как другие и большинство низших переходили окончательно в большевистский лагерь. Из среды комитетов и помимо них текли непрерывно в Петроград делегации и там, минуя Зимний дворец, направлялись в Петроградский совет, черпая в недрах его советы, указания и надежды.

Особенно угрожающее положение занимали флотские организации. Если главный общеармейский комитет завел междоусобие даже с оппортунистической Ставкой Керенс-

кого, то Центрофлот предъявлял уже ультиматумы Керенскому и Вердеревскому, угрожая «прервать с ними дальнейшие отношения» и побудить к тому же своих избирателей. А когда в конце сентября Керенский после немецкого десанта призывал флот «опомниться и перестать вольно и невольно играть в руку врагу», не замедлил ответ от Съезда представителей Балтийского флота: «Потребовать немедленного удаления из рядов правительства Керенского, как лица, позорящего и губящего своим бесстыдным политическим шантажом великую революцию, а вместе с ней весь революционный народ».

К концу сентября в основание реформ положена была докладная записка, подписанная Духониным и Дитерихсом[1].

Записка Духонина представляла попытку согласования основных начал военной службы с «завоеваниями революции» и поэтому вся была проникнута двойственностью идеи и половинчатостью мер. Поставлено было требование «полного прекращения какой бы то ни было агитации в войсках, независимо от партий», которое сейчас же вступало в неумолимое противоречие с организацией комиссарами и комитетами предвыборной кампании. Устанавливалось два положения военнослужащего — «на службе» и «вне службы», причем во втором все являлись равноправными гражданами, ограниченными лишь «правилами общественного порядка и гигиены». Восстанавливалась дисциплинарная власть начальников и право предания ими подчиненных суду, но первая — условно («если дисциплинарный суд в 24 часа не вынесет решения»), а второе в значительной мере парализовалось предоставлением расследования выборным комиссиям. Восстановлено отдание чести, но только прямым начальникам. Начальник, по мысли записки, становился «представителем власти правительства», а комиссар только его помощником «по части проведения в армии начал государственности». Но этот помощник «в случае явного направления деятельности начальника вразрез с правительственными интересами» имел право «применять решительные меры для поддержания правительственной власти». Компетенция комитетов, правда, сильно ограничивалась и устанавливалась их ответственность. Записка признавала возможным отказаться от смертной казни, «если все эти меры будут проведены полностью». Вместе с тем записка намечала целый ряд мер по изменению уставов и насаждению военного и технического образования. Словом, вся реорганизация армии, рассчитанная на длительный период, была поставлена так, будто Ставка имела впереди много времени и жила в нормальной обстановке, а не имела дело с массой, давно переставшей повиноваться, работать и учиться.

[1] 1-й генерал-квартирмейстер Ставки.

Но и эти робкие попытки восстановления армии оставались в области теоретических предложений. Вводить их в жизнь должно было военное министерство, а Верховский, предвидя события, ставил свою деятельность в зависимость от взглядов Совета. Кажется, единственное мероприятие было им проведено скоро и легко — это роспуск из армии четырех старших возрастных классов, который окончательно укрепил солдат в мысли о предстоящей демобилизации.

На практике никаких мер к поднятию дисциплины не было принято. Впрочем, сделать это было бы тем более трудно, что идеология воинской дисциплины у руководителей вооруженных сил проявлялась официально в формах весьма неожиданных. Верховский, в согласии с мнением советов, видел главную причину разрухи «в непонимании войсками целей войны» и предлагал правительству и Совету «сделать для каждого человека совершенно ясным, что мы воюем не ради захватов своих и чужих». Ни Рига, ни занятие немцами Моонзунда, очевидно, не уясняли вопроса в глазах военного министра. Керенский, по требованию Совета, приостановил приведение в исполнение смертных приговоров в армии, то есть фактически отменил смертную казнь; Вердеревский проповедовал, что «дисциплина должна быть добровольной. Надо сговориться с массой (!) и на основании общей любви к родине побудить ее добровольно принять на себя все тяготы воинской дисциплины. Необходимо, чтобы дисциплина перестала носить в себе неприятный характер принуждения»[1].

[1] Из речей в «Совете республики».

Официальное лицемерие продолжало поддерживать легенду о жизнеспособности фронта. Еще 10 октября Верховский говорил «Совету республики»: «Люди, которые говорят, что русской армии не существует, не понимают того, что они говорят. Немцы держат на нашем фронте 130 дивизий. Русская армия существует, исполняет свою задачу и исполнит ее до конца». А через несколько дией в заседании комиссии «Совета республики» заявил: у нас нет более армии, необходимо заключить немедленно сепаратный мир с немцами[1].

* * *

Такое направление военной политики расчищало пути большевизму в армии. Те самые комиссары и председатели фронтового и армейских комитетов Юго-Западного фронта, которые вели со мной столь успешную и победную борьбу в августе, на съезде своем в Киеве в половине октября с большой тревогой обсуждали вопрос, какие меры необходимы, чтобы остановить допущенную в связи с выборами в Учредительное собрание преступную агитацию, переходящую в призыв «бросить окопы и идти домой».

Эту своеобразную «поддержку» получала армия главным образом от тыла. Армия, погрязшая в своих собственных грехах и беззакониях, имела все же право обратиться с недоуменным вопросом к тылу:

— Воюем мы или не воюем?

«К тылу, к стране, ко всей Российской республике и прежде всего к революционной демократии. Не сваливайте вину на буржуазию, потому что армия обращается не к ней, а к вам — революционерам и демократам; потому что не буржуазия, а вы — большевики, меньшевики и социалисты-революционеры — называете солдат товарищами. Или товарищеская верность до смерти, или слово «товарищ» — лживое слово». Так писал 3 октября не кто иной, как официоз революционной демократии «Известия».

Тыл ответил словом и делом:

— Не воюем.

Определеннее всех говорил большевизм. В армию, как мы знаем, он пришел с прямым приглашением — отказать в

[1] После этого заседания уволен с должности военного министра.

повиновении начальникам и прекратить войну, найдя благодарную почву в стихийном чувстве самосохранения, охватившем солдатскую массу. Впереди предстояла дождливая осень, холодная зима с неизбежными тяжелыми лишениями, осложненными сильнейшим расстройством тыла. Делегаты, отправляемые со всех фронтов в Петроградский совет с запросами, просьбами, требованиями, угрозами, слышали там иногда от немногочисленных представителей оборонческого блока упреки и просьбы потерпеть, но находили зато полное сочувствие в большевистской фракции Совета, унося с собой в грязные и холодные окопы убеждение, что мирные переговоры не начнутся, пока вся власть не перейдет к большевистским советам.

Осенью на одном из заседаний Петроградского совета прибывший с фронта офицер Дубасов сказал: «Солдаты сейчас не хотят ни свободы, ни земли. Они хотят одного — конца войны. Что бы вы здесь ни говорили, солдаты больше воевать не будут». Это заявление, как передавал газетный хроникер, произвело «непередаваемое впечатление». Было бы напрасно, однако, в этом рефлекторном движении искать признаки сожаления или раскаяния. Оно объясняется тем обстоятельством, что в прогрессирующем развале армии была, очевидно, такая черта, переход через которую считался угрозой даже для большевизма. По крайней мере, по словам Троцкого, одним из побудительных мотивов к скорейшему захвату большевиками власти было опасение, что «события на фронте могут произвести в рядах революции чудовищный хаос и ввергнуть в отчаяние рабочие массы»[1].

Петроградский гарнизон, не перестававший играть роковую роль в судьбе революции, составлял предмет исключительного внимания большевистских руководителей. В середине октября Керенский пришел к необходимости осуществить корниловский план подчинения Петроградского военного округа главнокомандующему Северным фронтом и вывода на фронт частей петроградского гарнизона. Мера эта уже запоздала. Гарнизон решительно отказал в повиновении, и Петроградский совет всеми доступными

[1] *Троцкий.* «L' avénement du bolchevisme».

мерами противодействовал выводу частей из столицы. Такое отношение усилило в значительной степени влияние Совета и самыми тесными узами связало судьбу гарнизона с судьбой большевизма.

В стране не было ни одной общественной или социальной группы, ни одной политической партии, которая могла бы, подобно большевикам и к ним примыкающим, так безоговорочно, с такой обнаженной откровенностью призывать армию «воткнуть штыки в землю». Ибо, хотя в среде, пропитанной духом интернационализма, само слово «Родина» было изъято из обращения, но чувство к ней тлело еще в сердцах.

Армии предстояло сыграть решающую роль в октябрьском перевороте: как прямым содействием ему петроградского гарнизона, так и отказом фронта от борьбы и сопротивления.

* * *

Верховский был прав в одном: русская армия, помимо своей воли, невзирая на разлагающие влияния извне и изнутри и на бессилие власти, «исполняла свою задачу» (правда, весьма односторонне) в интересах союзников: русский фронт все еще удерживал против себя 127 вражеских дивизий[1], в том числе 80 немецких, т. е. одну треть состава германской армии. Глубина общего развала русских войск учитывалась немецкой главной квартирой, и Гинденбург говорил, что для него не существует совершенно препятствий на русском фронте, в отношении которого он руководствуется только мотивами целесообразности. Петроград казался поэтому весьма заманчивой целью и гипнотизировал общественное мнение по обе стороны линии фронта. У нас — вызывая сильнейшее беспокойство за участь столицы, за рубежом — возбуждая чрезмерно большие иллюзии. Гинденбург и Людендорф иронизировали над этими настроениями людей, которые настолько не владеют нервами, что «потеряли всякое понятие о времени и пространстве» и не могут хотя бы «прикинуть циркулем расстояние от фронта

[1] Перед революцией против нашего фронта было 157 неприятельских дивизий.

до Петрограда». Гипноз русской столицы подчинил себе и немецкие войска и их начальников, стремившихся продолжать наступление хотя бы до Нарвы. Гинденбург свидетельствует, что с этим стремлением приходилось вести серьезную борьбу, чтобы отвратить внимание от Риги и перенести его к берегам Адриатического моря.

Еще с лета немецкая главная квартира решила перенести всю потенцию борьбы исключительно на Запад, отнюдь не расходуя силы и средства на Востоке, не втягивая в длительные операции армию и флот, держа там войска сосредоточенно и наготове, в ожидании дня окончательного крушения русской армии и только способствуя его приближению моральным растлением русских солдат и в особенности широкой организацией братания; в октябре братание приняло исключительные размеры на всем огромном фронте от Риги до Тульчи.

Но даже и такая необыкновенно благоприятная для центральных держав обстановка на Востоке не могла спасти их положение.

Для возможности продолжения кампании немцам нужен был мир с Россией во что бы то ни стало. Еще в середине лета Людендорф подготовил проект перемирия, получивший одобрение союзных с немцами правительств, канцлера и императора, и с величайшим нетерпением ждал возможности осуществления его. Пока же шли только частные переброски и замена частей, бывших на русском фронте, другими, более слабыми морально и потрепанными в боях на Западе. Общее расстройство транспорта вызывало у немецкого командования беспокойство, успеют ли железные дороги перебросить огромную массу войск, которая освободится после падения русского фронта, к началу весны на Запад, где должна была решиться участь кампании, союзных стран и немецкого народа.

Это обстоятельство, вопреки общей пацифистской тенденции немцев на нашем фронте, побудило их дать новый толчок (Рига) для ускорения процесса распада русской армии и парализования «мозга России» нервирующей, непосредственной угрозой столице путем занятия Моонзундского архипелага.

Для широкой публики обеих мировых группировок это был поход на Петроград. Для немецкой главной квартиры — только частная операция, вызванная, кроме необходимости психологического воздействия на нас, желанием создать выход накопившимся воинственным настроениям в стране и армии и дать работу германскому флоту, который на почве долгого бездействия и пропаганды «независимых социал-демократов» только что пережил тревожные дни мятежа. Попутно занятие Моонзундского архипелага создавало выгодное стратегическое положение, отдавая в руки немцев Рижский залив и морские пути к Риге, создавая новую близкую базу для морского и воздушного флота и ставя под серьезную угрозу правый фланг нашего Северного фронта при возможности высадки где-нибудь у Гапсаля и Пернова.

29 сентября сильный германский флот, насчитывавший в своем составе до 12 дредноутов, до 12 крейсеров и большую минную и транспортную флотилию, появился вблизи островов. В тот же день под прикрытием части флота немецкий десант в составе одной пехотной дивизии и бригады самокатчиков начал высадку в Тагалахтской бухте, произведя одновременно небольшую демонстрацию против Даго. Наши сухопутные войска на Эзеле, за исключением некоторых артиллерийских частей, не оказали никакого сопротивления, и немцы на другой день появились уже у дамбы, соединяющей острова Эзель и Моон, и в Аренсбурге. Островные батареи наши были частью сметены огнем немецкой судовой артиллерии, частью захвачены войсками десанта. Кроме судов, прикрывавших высадку, одновременно обозначилось наступление германского флота в трех направлениях:

на юге к Ирбенскому проливу сосредоточилась эскадра в составе нескольких дредноутов, 6 крейсеров и многих миноносцев, имея целью прорваться в Рижский залив, вход в который после падения Церельских батарей оказался совершенно свободным и требовал лишь серьезного траления ирбенских вод;

минный отряд (не менее 20 судов) прорвался 29-го в Саэлезунд, угрожая отрезать сообщение с о. Эзель по Моонской дамбе и нашу флотилию в Рижском заливе от Балтийского моря. Небольшой отряд наших миноносцев отразил неприятеля. 1 октября немецкие миноносцы, поддержанные огнем дредноута, повторили свой маневр, но после горячего боя наш втрое меньший численно отряд, потеряв потопленным миноносец «Гром», заставил противника повернуть назад;

в то же время еще одна эскадра из трех дредноутов, в сопровождении миноносцев и подводных лодок, появилась в устье Финского залива, северо-восточнее мыса Дагерорта, угрожая выходам из Моонзунда.

В ночь на 4-е южная германская эскадра, закончив траление, проникла в Рижский залив. Здесь произошел длительный неравный бой с ней эскадры адмирала Бахирева[1], в результате которого после гибели корабля «Слава» и тяжких повреждений, нанесенных прочим судам эскадры, она вынуждена была отойти во внутренние воды Моонзунда.

Главные силы Балтийского флота участия в операции не приняли. На решение это повлияли, несомненно, не только безнадежность обороны Рижского залива без участия сухопутных войск и технические неудобства плавания в моонзундских водах, но и моральное состояние личного состава Балтийского флота.

К 7-му весь архипелаг (Эзель, Моон, Даго) был в руках немцев. Они взяли в плен до 20 тысяч человек, около 100 орудий и богатую военную добычу. Началась демонстративная высадка немецкого десанта на материк южнее Гапсаля.

Эскадра Бахирева благополучно ушла в Финский залив.

После страстных столкновений в августе вокруг вопроса о поведении войск при падении Риги Ставка и буржуазная печать теперь воздерживались от непосредственных оценок. Зато яркую и до боли обидную картину нарисовали нам печать и органы самой революционной демократии. От них мы узнали, что из состава русских полков, занимавших Моонзундские позиции, наиболее активные элементы устремились к моонской дамбе и к плавучим средствам, а масса с огромным воодушевлением рвалась... сдаваться в плен — бросая оружие, с музыкой и пением.

[1] Линейные корабли «Гражданин» и «Слава», крейсер «Баян» с миноносцами.

Единодушный отзыв начальников и комитетов свидетельствовал также о высокодоблестном поведении в бою экипажей флотилии Бахирева. Не хочется отравлять душу ядом сомнений. Пусть останется еще одно светлое воспоминание недолгой, но яркой вспышки национального самосознания, жертвенного подвига, воинского долга. Но и к этому отрадному явлению тянулись уже с тыла грязные руки: людей, далеких и в большинстве чуждых боевой страды, торговавших и Родиной, и совестью, и просто... мануфактурой. С фальшивым пафосом и в волнующей своим бесстыдством форме «Съезд представителей Балтийского флота» 5 октября из Гельсингфорса обратился по радиотелеграфу к «народам мира»:

«Братья! В роковой час, когда звучит сигнал боя, сигнал смерти, мы посылаем вам привет и предсмертное завещание. Наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из наших судов не уклонится от боя, ни один моряк не сойдет побежденным на сушу. Мы выполним (свое обязательство) не по приказу какого-нибудь жалкого русского Бонапарта, царящего лишь милостью революции. Мы исполняем верховное веление нашего революционного сознания. И наша борьба с отечественными хищниками дает нам святое право призвать вас, пролетарии всех стран, твердым перед лицом смерти голосом к восстанию против своих угнетателей».

Как бы то ни было, новое национальное несчастие должно было, казалось, всколыхнуть дремавшее народное самосознание и заставить, по крайней мере, политические верхи переменить свое отношение к вопросу национальной обороны и соединить свои силы для борьбы.

Этого не случилось. Расчеты Людендорфа оправдались вполне. Петроградом действительно овладело паническое настроение, но страна и армия в толще своей отнеслись к новому поражению совершенно равнодушно. В разных сферах русской общественности и в правящих кругах Балтийская катастрофа вызвала самые разнообразные, подчас неожиданные отклики.

Буржуазные элементы и печать в жуткой тревоге за судьбу страны призывали к борьбе с немцами.

Умирающие исполнительные комитеты также призывали демократию, но несколько в иной форме: «стойко защищать родную землю» и «напрячь все силы для обороны столицы», которой угрожает вражеское нашествие и... «погромная агитация, проводимая контрреволюцией».

Совет решил, что Керенский желает отдать немцам столицу и что спасение Петрограда и страны заключается в переходе власти в руки советов и в скорейшем заключении мира.

Войсковые организации присоединились частью к оборонческой, частью к большевистской точке зрения.

Петроградская дума также откликнулась многоречивыми заседаниями, образованием «центрального комитета общественной безопасности» и новых пяти комиссий.

Временное правительство постановило эвакуировать Петроград. Это решение, вызванное не столько стратегической обстановкой или паническим настроением, сколько желанием освободиться от невыносимого гнета петроградской революционной демократии, встретило дружный и резкий отпор в ее рядах: переезд правительства в Москву, по словам Троцкого, изменил бы условия борьбы, и Петроград мог оказаться отрезанным от всей России.

Но наиболее безотрадную картину распада явил собою «Совет Российской республики». После долгого обсуждения вопроса об обороне государства 18 октября на голосование Совета было поставлено борющимися в нем партиями шесть формул, все шесть были отвергнуты, и вопрос снят с обсуждения. «Совет Российской республики» в дни величайшей внешней опасности и накануне большевистского переворота не нашел ни общего языка, ни общего чувства скорби и боли за судьбу Родины. Поистине, и у людей непредубежденных могла явиться волнующая мысль: одно из двух — или «соборный разум» — великое историческое заблуждение, или в дни разгула народной стихии прямым и верным отображением его в демократическом фокусе может быть только «соборное безумие».

ГЛАВА XII

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПЕРЕВОРОТ. ПОПЫТКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ. ГАТЧИНА. ФИНАЛ ДИКТАТУРЫ КЕРЕНСКОГО. ОТНОШЕНИЕ К СОБЫТИЯМ В СТАВКЕ И В БЫХОВЕ

Огромная усталость от войны и смуты; всеобщая неудовлетворенность существующим положением; не изжитая еще рабья психология масс; инертность большинства и полная безграничного дерзания деятельность организованного, сильного волей и беспринципного меньшинства; пленительные лозунги: власть — пролетариату, земля — крестьянам, предприятия — рабочим, немедленный мир... Вот в широком обобщении основные причины того неожиданного и как будто противного всему ходу исторического развития русского народа факта — восприятия им или, вернее, *непротивления* воцарению большевизма. И это в стране, где «степень экономического развития... и степень сознательности и организованности широких масс пролетариата делают невозможным немедленное и полное освобождение рабочего класса»... Где «без сознательности и организованности масс, без подготовки и воспитания их открытой классовой борьбой со всей буржуазией о социалистической революции не могло быть и речи...» Так, по крайней мере, думал и писал не кто иной, как *Ленин* в 1905 году[1].

Власть падала из слабых рук Временного правительства, во всей стране не оказалось, кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить свои права на тяжкое наследие во всеоружии реальной силы. Этим фактом в октябре 1917 года был произнесен приговор стране, народу, революции.

Троцкий имел основание сказать в Совете за неделю до выступления: «Нам говорят, что мы готовимся захватить власть. В этом вопросе мы не делаем тайны. Власть должна быть взята не путем заговора, а путем дружной демонстрации сил».

[1] «Две тактики социал-демократов в революции».

Действительно, весь процесс захвата власти происходил явно и открыто.

Северный областной съезд советов, Петроградский совет, вся большевистская печать, в которой работал под своим именем и скрывшийся Ленин, призывали к восстанию. 16 октября Троцкий организовал военно-революционный комитет, к которому должно было перейти фактическое и исключительное право распоряжения петроградским гарнизоном. В последующие дни, после ряда собраний полковых комитетов, почти все части гарнизона признали власть революционного комитета, и последний в ночь на 22-е объявил приказ о неподчинении войск военному командованию.

Исполнительный комитет возмущенно протестовал: «Только безумцы или не понимающие последствий выступления могут к нему призывать. Всякий вооруженный солдат, выходящий на улицу по чьему-либо призыву, помимо распоряжений штаба округа, явится преступником против революции». Это воззвание было актом лицемерия. Ибо те же люди, когда они, казалось, обладали властью, в конце апреля говорили петроградскому гарнизону: «Товарищи солдаты! Без зова Исполнительного комитета (Петроградского совета) в эти тревожные дни не выходите на улицу с оружием в руках. Только Исполнительному комитету принадлежит право располагать вами». Не все ли равно, чьими руками хоронилась правительственная и военная власть — апрельской «семерки»[1] или октябрьской «шестерки»[2]... С 17 октября при полном непротивлении служащих из казенных складов выдавалось оружие и патроны по ордерам революционного комитета рабочим Выборгской стороны, Охты, Путиловского завода и др. 22-го в различных частях Петрограда состоялся ряд митингов, на которых виднейшие большевистские деятели призывали народ к вооруженному восстанию.

[1] По постановлению Исполнительного комитета 21 апреля власть над петроградским гарнизоном вручена была Чхеидзе, Скобелеву, Бинасику, Скалову, Гольдману, Филиповскому и Богданову.

[2] В бюро военно-революционного комитета под руководством Бронштейна (Троцкого) вошли Лазимир, Антонов, Садовский, Подвойский, Сахарков.

Власть и командование находились в состоянии анабиоза и делали бесплодные попытки «примирения» с Советом, предлагая усилить его представительство при штабе округа. Только 24 октября в заседании «Совета республики» председатель правительства решился назвать восстанием то положение, в котором находилась столица.

Заседание это, не имевшее никакого реального влияния на ход событий, представляет, однако, большой интерес для характеристики настроений правивших кругов и демократии. Из речи Керенского страна узнала о великом долготерпении правительства, почитавшего своей целью стремление, «чтобы новый режим был совершенно свободен от упрека в неоправдываемых крайней необходимостью репрессиях и жестокостях». Что достоинства этого режима вполне признаны даже организаторами восстания, считающими, что «политические условия для свободной деятельности всех политических партий наиболее совершенны в настоящее время в России». Что до сих пор большевикам «предоставлялся срок для того, чтобы они могли отказаться от своей ошибки», но теперь все времена и сроки вышли и необходимы решительные меры, на принятие которых власть испрашивает поддержку и одобрение Совета.

Только в правой «цензовой» части правительство нашло нравственную поддержку. Демократия в ней отказала. Поставленная на голосование формула левого блока (социал-демократы меньшевики и интернационалисты, левые эсеры и эсеры) вместо поддержки выразила осуждение деятельности правительства и потребовала немедленной передачи земли в ведение земельных комитетов и решительных шагов к началу мирных переговоров. Что касается ликвидации выступления, то она возлагалась на «комитет общественного спасения», который должны были создать городское самоуправление и органы революционной демократии. Формула прошла 122 голосами против 102 (правого блока), при 26 *воздержавшихся*; в числе последних были народные социалисты (Чайковский), часть кооператоров (Беркенгейм) и земцев.

Мотивы такого решения революционная демократия привела с полной откровенностью устами Гурвича (Дана):

предстоящее выступление большевиков *несомненно ведет страну к катастрофе*, но бороться с ним революционная демократия не станет, ибо «если большевистское восстание будет потоплено в крови, то кто бы ни победил — Временное правительство или большевики, — это будет торжеством третьей силы, которая сметет и большевиков, и Временное правительство, и всю демократию». Что касается левых эсеров, то, по свидетельству Штейнберга, накануне открытия «Совета республики» между ними и большевиками состоялось полное соглашение и последним обещана полная поддержка в случае революционных выступлений вне Совета[1].

Итак, пусть гибнет страна во имя революции!

Вопрос решился, конечно, не речами, а реальным соотношением сил. Когда 25-го в столице началось вооруженное столкновение, на стороне правительства не оказалось никакой вооруженной силы. Несколько военных и юнкерских училищ вступили в бой не во имя правительства, а побуждаемые к тому сознанием общей большевистской опасности; другие считавшиеся лояльными части, вызванные из окрестностей столицы, после моральной обработки их посланными Троцким агитаторами отказались выступить; казачьи полки сохраняли «доброжелательный» к большевикам нейтралитет. Весь остальной гарнизон и рабочая красная гвардия были на стороне Совета; к ним присоединились прибывшие из Кронштадта матросы и несколько судов флота.

Снова, как восемь месяцев назад, на улицы столицы вышел вооруженный народ и солдаты, но теперь уже без всякого воодушевления, с еще меньшим, чем тогда, пониманием совершающегося, в полной неуверенности и в своих силах, и в правоте своего дела, даже без чрезмерной злобы против свергаемого режима.

Описания жизни обеих столиц в эти дни свидетельствуют о невероятной путанице, нелепости, противоречиях и о той непроходимой, подавляющей пошлости, которая, вмес-

[1] Окончательный союз заключен синедрионом в составе представителей центральных органов: от большевиков — г-да Бронштейн (Троцкий) и Розенфельд (Каменев), от левых эсеров — Натансон, Кац (Камков) и Шрейдер.

те с грязно-кровавым налетом, облекла первые шаги большевизма. Вообще, самый переворот перейдет в историю без легенды, без всякой примеси героического элемента, заслоняя декорациями из «Вампуки» и подлинные личные драмы, и великую трагедию русского народа. Немногим лучше была обстановка и в противном лагере: наступление на Петроград войск Краснова, отъезд-бегство Керенского, диктатура в Петрограде в лице глубоко мирного человека доктора Н. М. Кишкина, паралич штаба Петроградского округа и метание «комитета спасения», рожденного Петроградской думой.

Только военная молодежь — офицеры, юнкера, отчасти женщины — в Петрограде и в особенности в Москве опять устлали своими трупами столичные мостовые, без позы и фразы умирая... за правительство? за революцию? Нет. За спасение России.

...

Генерал Алексеев в эти дни принимал самое живое участие в работе «Совета республики», предоставляя свой авторитет, свой богатый опыт и знание русской армии либеральному блоку и в частности находясь в постоянном общении с кадетским центром. Одновременно он проявлял большое участие в судьбе бездомного нищего офицерства, выброшенного буквально на улицу из-за обстоятельств корниловского выступления и непрекращавшихся гонений солдатской среды. Ему удалось в качестве почетного председателя одного благотворительного общества, путем изменения устава его, распространить благотворительную деятельность на пострадавших воинов. Общество с тех пор стало оказывать негласную помощь офицерам, юнкерам, кадетам и другим военным лицам для спасения их от преследования большевиков, а впоследствии и направления их на Дон. Помощь оказывалась самая разнообразная: советом, деньгами, одеждой, фальшивыми пропусками на большевистских бланках, железнодорожными билетами и удостоверениями о принадлежности к одному из казачьих войск или самоопределяющихся окраин.

Еще 25-го видели характерную фигуру генерала Алексеева на улицах города, уже объятого восстанием. Видели, как он резко спорил с удивленным и несколько опешившим от неожиданности начальником караула, поставленного большевиками у Мариинского дворца с целью не допускать заседания «Совета республики». Видели его, спокойно проходившего от Исаакия к Дворцовой площади сквозь цепи «войск революционного комитета» и с негодованием обрушившегося на какого-то руководителя дворцовой обороны за то, что воззвания приглашают офицерство к Зимнему дворцу «исполнить свой долг», а между тем для них не приготовлено ничего — ни оружия, ни патронов.

Приближенные генерала крайне беспокоились за его судьбу. При резком противодействии с его стороны принимали некоторые меры к его безопасности и настоятельно советовали ему выехать из Петрограда.

В ближайший день вечером в конспиративную квартиру, в которую перевезли генерала Алексеева с Галерной, прибыл Б. Савинков в сопровождении какого-то другого лица и с холодным деланным пафосом, скрестив руки на груди, обратился к генералу:

— Итак, генерал, я вас призываю исполнить свой долг перед Родиной. Вы должны сейчас же со мной ехать к донским казакам, властно приказать им седлать коней, стать во главе их и идти на выручку Временному правительству. Этого требует от вас Родина.

Присутствовавший при разговоре ротмистр Шапрон стал горячо доказывать, что это бессмысленная и непонятная авантюра. Сегодня еще он беседовал с казачьим советом, который заявил, что надежд на 1-й, 4-й, 14-й донские полки, бывшие в составе петроградского гарнизона, нет никаких. Казаки сплошь охвачены большевизмом или желанием «нейтралитета», и появление генерала, не пользующегося к тому же особенным их расположением, приведет только к выдаче его большевикам. Шапрон указал, что если кому-нибудь и можно повлиять на казаков, то это, вероятнее всего, «выборному казаку» Савинкову.

— Где же ваши большие силы, организация и средства, о которых так много было всюду разговоров? — закончил он, обращаясь к Савинкову.

Генерал Алексеев отклонил предложение Савинкова как совершенно безнадежное. Опять патетическая фраза Савинкова:

— Если русский генерал не исполняет своего долга, то я, штатский человек, исполню за него.

И в эту же ночь он уехал. Но не к полкам, а в Гатчину к Керенскому.

Эпизоды вооруженной борьбы под Петроградом описаны подробно и красочно многими участниками[1]. Я не могу внести в них ничего нового. Остановлюсь лишь на общей картине, чрезвычайно характерной как эпилог первого восьмимесячного периода революции, в котором, как в фокусе, отразилась вся внутренняя ложь революционной традиции, приведшей к нелепейшим противоречиям в области политического мышления верхов, к окончательному затмению сознания массы, к *вырождению революции.*

Гатчина — единственный центр активной борьбы: Петроград агонизирует, Ставка бессильна, Псков (штаб Черемисова) стал явно на сторону большевиков: генерал Черемисов, предав и своего благодетеля Керенского, и Временное правительство, еще 25-го приказал приостановить все перевозки войск к Петрограду, склоняя к этому и главнокомандующего Западным фронтом.

В Гатчине собрались все.

Керенский, сохраняющий внешние признаки военной власти, но уже оставленный всеми по существу, — не то узник, не то заложник, отдавший себя на милость «царского генерала» Краснова, которого он «поздравляет» с назначением командующим армией... армией в 700 сабель и 12 орудий!..[2]

Савинков, который два месяца назад с таким пылом осуждал «мятеж» генерала Корнилова, теперь возбуждающий офицеров гатчинского гарнизона против Керенского и предлагающий Краснову свергнуть Керенского и самому стать во главе движения... В поисках «диктатора», создаваемого *его* руками, он отбрасывал уже всякие условные требования «демократических покровов» и от идеи власти, и от носителя ее.

[1] Генерал Краснов, комиссар Станкевич, Я. Миллер и т. д.

[2] Части корпуса распоряжением генерала Черемисова были разбросаны по всему Северному фронту, а сосредоточению их препятствовал Черемисов, военно-революционные комитеты и Викжель.

Циммервальдовец Чернов, прибывший неизвестно с какой целью и одобряющий решение лужского гарнизона «сохранять нейтралитет»...

Верховный комиссар Станкевич, приемлющий и пораженчество и оборончество, но прежде всего мир — внутренний и внешний — и ищущий «органического соглашения с большевиками ценою максимальных уступок».

Представители «Викжеля», который держал вначале «нейтралитет», то есть не пропускал правительственных войск, потом выставил ультимативное требование примирения сторон.

Господа Гоц, Войтинский, Кузьмин и т. д.

И среди этого цвета революционной демократии — монархическая фигура генерала Краснова, который всеми своими чувствами и побуждениями глубоко чужд и враждебен всему политическому комплоту, окружающему его и ожидающему от него военных действий по спасению своего положения, интересов своих партий, демократических принципов, «завоеваний революции» и т. п.

Поистине трагическое положение. Здесь — обломки Временного правительства; в Петрограде — «Комитет спасения», не признающий власти правительства. Здесь на военном совете обсуждают даже возможность вхождения большевиков в состав правительства. Какие же политические цели преследует предстоящая борьба в практическом, прикладном их значении? Свержение Ленина и Троцкого и восстановление Керенского, Авксентьева[1], Чернова?[2]

Особенно мучительно переживало это трагическое недоумение офицерство отряда. Оно с ненавистью относилось к «керенщине», и если в сознательном или безотчетном понимании необходимости борьбы против большевиков стремилось все же на Петроград, то не умело передать солдатам порыва, воодушевления, ни даже просто вразумительной цели движения. За Родину и спасение государственности? Это было слишком абстрактно, недоступно солдатскому пониманию. За Временное правительство и Керенского? Это вызывало злоб-

[1] Был назначен Керенским его заместителем.

[2] Военно-революционные организации прочили Чернова на пост председателя нового правительства.

ное чувство, крики «Долой!» и требование выдать Керенского большевикам. Столь же мало, конечно, было желание идти и «за Ленина».

Впрочем, никаким влиянием офицерство не пользовалось уже давно. В казачьих частях к нему также относились с острым недоверием, тем более что казаков сильно смущали их одиночество и мысль, что они идут «против народа».

Офицерский корпус в эти дни вступал в новую, наиболее тяжелую и критическую фазу своего существования: на *той* стороне, как говорил Бронштейн (Троцкий), было также «большое число офицеров, которые не разделяли наших (большевистских) политических взглядов, но, связанные со своими частями («loyalement attachés»), сопутствовали своим солдатам на поле боя и управляли военными действиями против казаков Краснова»[1].

В результате этого общего великого «недоумения» шли небольшие стычки, в которых сбитый с толку «вооруженный народ» в лице солдат, казаков, матросов, красногвардейцев то постреливал друг в друга, то бросал оружие и уходил, то целыми часами митинговал — совместно оба лагеря. Вчерашние враги, сегодняшние друзья спорили до одури, воспламенялись истеричными криками какого-нибудь случайного оратора и расходились с еще более затемненным разумом, унося глухую злобу одинаково и против правительства, и против командиров, Ленина и большевиков. И у всех было одно неизменное и неизбывное желание — окончить как можно скорее кровопролитие.

Окончилось все 1 ноября бегством Керенского[2] и заключением перемирия между генералом Красновым и матросом Дыбенко. Судьба жестоко мстила теперь творцам истории о «корниловском мятеже», повторяя в обратном, уродливом преломлении все важнейшие этапы его. Все те элементы, на которые опиралась правительственная власть в борьбе против Корнилова, теперь отвернулись от нее: вожди революционной демократии уже делили ее ризы; советы отрекались от правительства; армейские комитеты один за другим составляли постановления о нейтралитете; Викжель остановил перевозку правительственных войск. Совет народных комиссаров, возглавивший Российскую державу 26 октября, писал декреты об «изменниках народа и революции» и ввергал в тюрьмы членов Временного правительства. Единственными элементами, к которым можно было обратиться за помощью для спасения государственности, по иронии судьбы оказались все те же «корниловские мятежники» — офицеры, юнкера, ударники, текинцы, все тот же 3-й конный корпус. Только уже лишенные сердца, ясного стимула борьбы и вождя.

* * *

1 ноября генерал Духонин, ввиду безвестного отсутствия Керенского, принял на себя верховное командование и приказал прекратить отправку войск на Петроград. Он призывал фронт сохранять спокойствие в ожидании «происходящих между различными политическими партиями переговоров для сформирования Временного правительства».

Подчинившись всецело политическому руководству комиссара Станкевича и Общеармейского комитета, Ставка отказалась от всякой активной борьбы. Такое положение в отношении «правительства народных комиссаров» — без борьбы и без подчинения — не могло быть долговечным. 7 ноября Совет народных комиссаров «повелел» Верховному главнокомандующему тотчас же «обратиться к военным властям неприятельской армии с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров». Духонин 8-го ответил по аппарату комиссару по военным делам Крыленко, что он также считает: «В интересах России — заключение скорейшего мира», но что это может сделать только «центральная правительственная власть, поддержанная армией и страной». В тот же день

[1] «L' avènement du bolchevisme».

[2] В показании, данном большевикам 1 ноября 1917 года, генерал Краснов приводит, между прочим, такую фразу из своего последнего разговора с Керенским: «Если вы честный человек, вы должны сейчас же ехать в Петроград под белым флагом, отыскать революционный комитет, с которым и вступить в переговоры как глава правительства». В своей статье «На внутреннем фронте» («Архивы русской революции, т. I») Краснов признает, что помог Керенскому бежать: «Как ни велика вина ваша перед Россией, — сказал я, — я не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь».

Совет комиссаров «за неповиновение и поведение, несущее неслыханное бедствие трудящимся всех стран и в особенности армиям» сместил Духонина, предписав ему «продолжать ведение дела, пока не прибудет в Ставку новый главнокомандующий» — Крыленко.

Духонин, опираясь на решение Общеармейского комитета, не признал возможным оставить свой пост.

Положение Ставки между тем становилось критическим. Техническое управление фронтом принимало все более фиктивный характер, так как отдельные части, дивизии, корпуса, целые армии мало-помалу переходили на сторону большевиков. Крыленко на фронте 5-й армии вступал уже в переговоры с немецким командованием, и вскоре в Ставке получены были сведения о движении матросского эшелона с новым «главковерхом» на Могилев сквозь сплошное расположение правительственных войск, объявивших себя «нейтральными». В Могилеве в это время Общеармейский комитет, Чернов, Авксентьев, Скобелев и другие представители революционной демократии вели нескончаемые разговоры о создании новой власти, потонув в партийных догмах и как будто не замечая, что они одни, совершенно одни — никому не нужные, никому не интересные — среди взбаламученного и их руками народного моря.

Быхов переживал чрезвычайно больно новое народное несчастие. Много раз мы обсуждали события. Генерал Корнилов входил в сношения со Ставкой, с Советом казачьих войск, с Довбор-Мусницким и Калединым. 1 ноября он обратился к Духонину с письмом, которое я привожу в подробном извлечении и с пометками Духонина, рисующими взгляд Ставки на тогдашнее положение.

«Вас судьба поставила в такое положение, что от Вас зависит изменить исход событий, принявших гибельное для страны и армии направление главным образом благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава. Для Вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии.

По тем неполным, отрывочным сведениям, которые доходят до меня, ясно, что положение тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если Вы допустите, что Ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть.

Имеющихся в Вашем распоряжении Георгиевского батальона, наполовину распропагандированного, и слабого Текинского полка далеко не достаточно.

Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, что Вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая Ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией.

Таковыми мерами я считаю:

1. Немедленный перевод в Могилев одного из Чешских полков и польского уланского полка.

Пометка: «Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие с большевиками».

2. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерией за счет казачьих батарей фронта.

Пометка: «Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2-я Кубанская дивизия и бригада астраханских казаков. Полков 1-й польской дивизии из Быхова нежелательно (брать) для безопасности арестованных. Части I дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, чтобы не вмешиваться во внутренние дела России»[1].

[1] Генерал Довбор-Мусницкий отдал приказ, чтобы польские войска, отнюдь не вмешиваясь в русские дела, подавляли, однако, беспощадно силой оружия всякие посягательства на имущество и безопасность мирных жителей, без различия национальности, в районе их расположения.

3. Сосредоточение на линии Орша—Могилев—Жлобин всех частей Чешско-Словацкого корпуса, Корниловского полка под предлогом перевозки их на Петроград и Москву и 1—2 казачьих дивизий из числа наиболее крепких.

Пометка: «Казаки заняли непримиримую позицию не воевать с большевиками».

4. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин с заменой прислуги их исключительно офицерами.

5. Сосредоточение под надежной охраной в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов под надежной охраной запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе.

Пометка: «Это может вызвать эксцессы».

6. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехословацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране[1]; для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России — вопрос их собственного существования.

Вот те соображения, которые я считал необходимым высказать Вам, добавляя, что нужно решиться, не теряя времени».

Безотрадный взгляд Ставки на общее положение обрисовался и в письме генерал-квартирмейстера Дитерихса к генералу Лукомскому. По словам Дитерихса, главное усилие Духонину и ему приходилось направлять на то, чтобы удержать на месте армию — в сущности, большевистскую — и дать собраться новому правительству, которое, «какое бы оно ни было, первым вопросом поставит мир». «К Вам, представители всей русской демократии, — говорил Духонин в своем обращении к стране, — к вам, представители городов,

[1] Только общеказачий совет и казачьи правительства.

земств и крестьянства, обращаются взоры и мольбы армии: сплотитесь все вместе во имя спасения Родины, воспряньте духом и дайте исстрадавшейся земле Русской власть — власть всенародную, свободную в своих началах для всех граждан России и чуждую насилия, крови и штыка».

Но надежд на это объединение было немного, так как, по словам Дитерихса, «борьба с большевизмом как бы отошла на задний план, а на главный выдвигается партийность и личности... Искренней же, *бескорыстной* поддержки нет ни от кого, в том числе и от казачества, ибо оно поставило девизом поддержку только коалиционного правительства». Ставка как будто защищала идею могилевских организаций — однородное социалистическое министерство от народных социалистов до большевиков включительно, с Черновым во главе, против донского «либерализма». Это уже значительно сужало базу «всенародности», отзываясь оппортунизмом — хотя и последовательным, но в данных условиях вовсе беспочвенным и бесполезным. Действительно, к середине ноября могилевское совещание революционной демократии распалось, не придя ни к какому соглашению. Общеармейский комитет объявил «нейтралитет» Ставки как военно-технического аппарата, обещая ей вооруженную защиту, явно неосуществимую из-за отсутствия войск.

Было ясно, что Ставка, обезличенная долгими месяцами керенского режима, упустив время, когда еще были возможны организация и накопление сил, не может стать моральным организующим центром борьбы.

ГЛАВА XIII

ПЕРВЫЕ ДНИ БОЛЬШЕВИЗМА В СТРАНЕ И В АРМИИ. СУДЬБА БЫХОВЦЕВ. СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА ДУХОНИНА. НАШ УХОД ИЗ БЫХОВА НА ДОН

В первые же дни после переворота Совет народных комиссаров издал ряд оглушительных декретов: предложение всем воюющим державам немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия переговоров о демок-

ратическом мире; о передаче всей земли в распоряжение волостных земельных комитетов; о рабочем контроле в промышленных заведениях; о «равенстве и суверенитете народов России... вплоть до отделения и образования самостоятельных государств»; об отмене судов и законов и т. д.

Однако за смелыми, казалось, до безрассудства действиями новой власти чувствовалась еще полная неуверенность ее в успехе, а в народных массах — недоумение и колебание. В широких кругах не только чисто обывательских, но и зрелых политически царило убеждение, что новый режим — только злокачественный нарыв на теле революции, который очень скоро вскроется, оздоровив, наконец, немощный, отравленный организм страны.

— Две недели.

Эти «две недели» — плод интеллигентского романтизма — и потом в течение долгих лет черной ночи озаряли тьму своим обманчивым светом, чередуясь с днями отчаяния и безнадежности...

Тем временем в стране шла борьба, принявшая наиболее реальные формы в трех ее проявлениях: в центробежном стремлении окраин, в противодействии местных самоуправлений и в сопротивлении и саботаже со стороны городской демократии.

Объявили о своем суверенитете Финляндия и Украина, об автономии — Эстония, Крым, Бессарабия, казачьи области, Закавказье, Сибирь. Это явление, нося внешние признаки государственной целесообразности в непризнании самозванной центральной власти, заключало в себе серьезную опасность для будущего — как в ослаблении и, может быть, разрыве внутренних исторических связей некоторых окраин с Россией, так, главным образом, в полном разъединении материальных и моральных сил при предстоящей борьбе с большевизмом.

Внешне как будто все обстояло благополучно: Киев, Новочеркасск, Екатеринодар, Тифлис заговорили о федерации и коалиционном составе центрального правительства. Но на практике картина получалась иная: Украина «аннексировала» уже Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую, часть Таврической губерний; Дон вел тяжбу с Украиной о границах, и из-за пустого, в сущности, вопроса Екатерининской железной дороги обе «высокие стороны» придвигали к «пограничным» пунктам гарнизоны; самоопределившиеся «горские народы» огнем и оружием начали уже разрешать спорные исторические вопросы с Тереком; Тифлис накладывал руку на огромные общегосударственные средства Кавказского фронта. Но наиболее гибельной и предопределившей весь исход борьбы явилась идея, воспринятая по убеждению национальными шовинистами и по заблуждению лояльным элементом: *сначала* отгородиться совершенно в территориальных, областных, национальных рамках не только от районов, пораженных большевизмом, но и от сравнительно «здоровых» соседей, заняться внутренней организующей работой и накоплением сил, а *потом* уже выступить активно сообразно со сложившейся политической обстановкой. Эта глубоко ошибочная идея давала большевизму время и возможность, действуя по «внутренним операционным направлениям» стратегического и политического фронта, разбить по частям и смести разрозненные противодействовавшие силы.

Политически действенные элементы октябрьский переворот разбил на три группы: 1) решительно отрицающих большевизм — в том числе кадеты, народные социалисты, кооператоры, группа Единства, правые эсеры и большинство профессиональных союзов; 2) приемлющих соглашение с большевиками — социал-демократы меньшевики; 3) большевики с примыкавшими к ним левыми эсерами и интернационалистами. В зависимости от численного или интеллектуального преобладания той или другой группы в городах сохранялись и возникали самые разнохарактерные центры местного управления, как-то: правительственные комиссариаты, общественные комитеты спасения, городские самоуправления и, наконец, большевистские военно-революционные комитеты. Иногда одновременно существовало несколько органов власти. Шла борьба, местами принимавшая ожесточенный и кровавый характер, и в этой борьбе решающее значение получила опять-таки тыловая чернь — армия. Мартиролог русских городов, все более растущий, носил характер трагический и однообразный: по получении известия о

падении Временного правительства в городе образовывалась обычно общественная власть; поднимался гарнизон; после краткой борьбы, иногда жестокого артиллерийского обстрела, власть сдавалась, и в городе начинались повальные обыски, грабежи и истребление буржуазии.

Весьма длительную и упорную борьбу, хотя и чисто пассивную, повела городская демократия — в широком смысле этого слова, главным образом служилый элемент. Служащие государственных и общественных учреждений, инженеры, техники, писцы, железнодорожники, телеграфисты, телефонисты, лица либеральных профессий прямо или косвенно отказывались служить новому режиму, не пугаясь угроз и насилий, терпеливо перенося отсутствие заработка и содержания, изгнание из квартир и лишение пайков. Это сопротивление как будто грозило остановить весь государственный механизм нового «крестьянско-рабочего» правительства, которое не на шутку испугалось «саботажа буржуазии», призывало ее образумиться и грозило жестокой расправой.

Фронт был покорен «миром».

Союзные правительства через своих военных представителей протестовали перед Ставкой «против нарушения условий договора от 23 августа 1914 года» и грозили, что «всякое нарушение договора со стороны России повлечет за собою самые тяжелые последствия». Духонин и общеармейский комитет рассылали воззвания и приказы. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Володченко признал гражданскую власть Центральной Рады, оставив за собою оперативную свободу. Этот фронт и Румынский, где наличие румынской армии сдерживало буйные порывы, внешне еще держались. Закавказье переживало дни смертельного страха за свою судьбу перед лицом турецкого нашествия и перестраивало фронт на национальных началах.

Но мало-помалу становилось совершенно ясно, что все это только последние пароксизмы «оборончества». Северный и Западный фронты перешли в подчинение советской власти, а от края и до края русских линий началось стихийное, ничем уже не предотвратимое «сепаратное заключение мира» — армиями, полками и даже ротами.

В эти же дни, в середине ноября, по всем железнодорожным линиям непрерывной вереницей потянулись эшелоны немецких войск с востока на запад.

* * *

В связи с падением Временного правительства юридическое положение быховцев становилось совершенно неопределенным. Обвинение в покушении на ниспровержение теперь уже ниспровергнутого строя принимало совершенно нелепый характер. Кто наши обвинители, наши судьи? Какой трибунал может судить нас? Перед нами встал вопрос, не пора ли оставить гостеприимные стены быховской тюрьмы, тем более что вся совокупность обстановки указывала на возможность и необходимость большой работы. Генерал Корнилов, истомленный вынужденным бездействием, рвался на свободу. Его поддерживали некоторые молодые офицеры. Но генералы были против: ничего определенного о формировании нового правительства не известно; нам нельзя уклоняться от ответственности; сохранилась еще законная и нами признаваемая военная власть Верховного главнокомандующего генерала Духонина; а эта власть говорит, что *наш побег вызовет падение фронта.*

Падение фронта! Этот фатум тяготел над волей и мыслью всех военачальников с самого начала революции. Он давал оправдание слабым и связывал руки сильным. Он заставлял говорить, возмущаться или соглашаться там, где нужно было действовать решительно и беспощадно. В различном отражении, в разных проявлениях его влияние наложило свою печать на деятельность таких несхожих по характеру и взглядам людей, как император Николай II, Алексеев, Брусилов, Корнилов. Даже когда разум говорил, что фронт уже кончен, чувство ждало чуда, и никто не мог и не хотел взять на свои плечи огромную историческую ответственность — дать толчок его падению, быть может последний. Кажется, только один человек уже в августе не делал себе никаких иллюзий и не боялся нравственной ответственности — это Крымов...

Вопрос остался открытым. Однако вскоре мы узнали, что Корнилов приказал Текинскому полку готовиться к походу, назначив в один из ближайших дней выступление. Побеседовали совместно — Лукомский, Романовский, Марков и

я — и решили, чтобы я переговорил по этому поводу с Корниловым. Я пошел к Верховному.

— Лавр Георгиевич! Вы знаете наш взгляд, что без крайней необходимости нам уходить отсюда нельзя. Вы решили иначе. Ваше приказание мы исполним беспрекословно, но просим предупредить по крайней мере дня за два.

— Хорошо, Антон Иванович, повремeним.

Некоторая подготовка между тем продолжалась. Составили маршрут на случай походного движения с текинцами. Приготовили поддельные распоряжения от имени следственной комиссии Шабловского об освобождении пяти генералов[1] на случай, если бы текинцы остались, чтобы не подводить их и коменданта. Изучали железнодорожный маршрут на Дон. Дело в том, что по инициативе Казачьего совета атаман просил Ставку отпустить быховских узников на поруки Донскому войску, предоставив для нашего пребывания станицу Каменскую. Ставка колебалась. Корнилову не нравилась такая постановка вопроса, и он решил в случае осуществления этого проекта покинуть в пути поезд, чтобы не связывать ни себя, ни войско.

Но к середине ноября обстановка круто изменилась. Получены были сведения, что к Могилеву двигаются эшелоны Крыленко, что в Ставке большое смятение и что там создалось определенное решение капитулировать. Наши друзья приняли, по-видимому, энергичные меры, так как, если не ошибаюсь, 18-го в Быхове получена была телеграмма безотлагательно начать посадку в специальный поезд эскадрона текинцев и полуроты георгиевцев для сопровождения арестованных на Дон.

Мы все вздохнули с облегчением. Что готовит нам судьба в дальнем пути, это был вопрос второстепенный. Важно было выбраться из этих стен на свет Божий, к тому же вполне легально, и снова начать открытую борьбу. Быстро уложились и ждали. Прошли все положенные сроки — не везут. Ждем три, четыре часа... Наконец поступает лаконичный приказ — телеграмма генерала Духонина коменданту: все распоряжения по перевозке отменить. Глубокое разочарование, подавленное настроение. Обсуждаем положение. Ночь без сна. Между Могилевом и Быховом мечутся автомобили наших доброжелателей из офицерского комитета и казачьего союза. Глубокой ночью узнаем обстоятельства перемены Ставкой решения. Представители казачьего союза долго уговаривали Духонина отпустить нас на Дон, указывая, что в любую минуту он, Верховный главнокомандующий, если сам не покинет город, может стать просто узником. Духонин согласился, наконец, вручить казачьему представителю именные распоряжения о нашем переезде на имя коменданта быховской тюрьмы и главного начальника сообщений, но под условием, что эти документы будут использованы лишь в момент крайней необходимости. Казачьи представители нашли, что 18-го этот момент настал. Духонин, узнав о готовящейся посадке, отменил распоряжение, а явившимся к нему казачьим представителям сказал:

— Еще рано. Этим распоряжением я подписал себе смертный приговор.

Но утром 19-го в тюрьму явился полковник генерального штаба Кусонский и доложил генералу Корнилову:

— Через четыре часа Крыленко приедет в Могилев, который будет сдан Ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам доложить, что всем заключенным необходимо тотчас же покинуть Быхов.

Генерал Корнилов пригласил коменданта, подполковника Текинского полка Эргардта, и сказал ему:

— Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться к выступлению к 12 часам ночи. Я иду с полком.

Духонин был и остался честным человеком. Он ясно отдавал себе отчет, в чем состоит долг воина перед лицом врага, стоящего за линией окопов, и был верен своем долгу. Но в пучине всех противоречий, брошенных в жизнь революцией, он безнадежно запутался. Любя свой народ, любя армию и отчаявшись в других способах спасти их, он продолжал идти скрепя сердце по пути с революционной демократией, тонувшей в потоках слов и боявшейся дела, заблудившейся между Родиной и революцией, переходившей постепенно от борьбы «в народном масштабе» к соглашению с больше-

[1] Остававшихся последними.

виками, от вооруженной обороны Ставки как «технического аппарата» к сдаче Могилева без боя.

В той среде, с которой связал свою судьбу Духонин, ни стимула, ни настроения для *настоящей борьбы* он найти не мог.

Его оставили все: общеармейский комитет распустил себя 19-го и рассеялся; Верховный комиссар Станкевич уехал в Киев; генерал-квартирмейстер Дитерихс укрылся в Могилеве, и, если верить Станкевичу, это он уговорил остаться генерала Духонина, сдавшегося было на убеждения ехать на Юго-Западный фронт. Бюрократическая Ставка, верная своей традиции «аполитичности», вернее беспринципности, в тот день, когда чернь терзала Верховного главнокомандующего, в лице своих старших представителей приветствовала нового главковерха!..

Еще 19-го командиры ударных батальонов, прибывших ранее в Могилев по собственной инициативе, просили разрешения Духонина защищать Ставку. Общеармейский комитет перед роспуском сказал «нет», и Духонин приказал батальонам в тот же день покинуть город.

— Я не хочу братоубийственной войны, — говорил он командирам. — Тысячи ваших жизней будут нужны Родине. Настоящего мира большевики России не дадут. Вы призваны защищать Родину от врага и Учредительное собрание от разгона...

Благословив других на борьбу, сам остался. Изверился, очевидно, во всех, с кем шел.

— Я имел и имею тысячи возможностей скрыться. Но я этого не сделаю. Я знаю, что меня арестует Крыленко, а может быть, меня даже расстреляют. Но это смерть солдатская.

И он погиб.

На другой день толпа матросов — диких, озлобленных — на глазах у «главковерха» Крыленко растерзала генерала Духонина и над трупом его жестоко надругалась.

* * *

В смысле безопасности передвижения трудно было определить, какой способ лучше: тот ли, который избрал Корнилов, или наш. Во всяком случае, далекий зимний поход представлял огромные трудности. Но Корнилов был крепко

привязан к текинцам, оставшимся ему верными до последнего дня, не хотел расставаться с ними и считал своим нравственным долгом идти с ними на Дон, опасаясь, что иначе их постигнет злая участь. Обстоятельство, которое чуть не стоило ему жизни.

Мы простились с Корниловым сердечно и трогательно, условившись встретиться в Новочеркасске. Вышли из ворот тюрьмы, провожаемые, против ожидания, добрым словом наших тюремщиков-георгиевцев, которых не удивило освобождение арестованных, ставшее последнее время частым.

— Дай вам Бог, не поминайте лихом...

На квартире коменданта мы переоделись и резко изменили свой внешний облик. Лукомский стал великолепным «немецким колонистом», Марков — типичным солдатом, неподражаемо имитировавшим разнузданную манеру «сознательного товарища». Я обратился в «польского помещика». Только Романовский ограничился одной переменой генеральских погон на погоны прапорщика.

Лукомский решил ехать прямо навстречу крыленковским эшелонам через Могилев—Оршу—Смоленск в предположении, что там искать не будут. Полковник Кусонский на экстренном паровозе сейчас же продолжал свой путь далее в Киев, исполняя особое поручение; предложил взять с собою двух человек — больше не было места. Я отказался в пользу Романовского и Маркова. Простились. Я остался один. Не стоит придумывать сложных комбинаций: взять билет на Кавказ и ехать ближайшим поездом, который уходил по расписанию через пять часов. Решил переждать в штабе польской дивизии. Начальник дивизии весьма любезен. Он получил распоряжение от Довбор-Мусницкого «сохранять нейтралитет», но препятствовать всяким насилиям советских войск и оказать содействие быховцам, если они обратятся за ним. Штаб дивизии выдал мне удостоверение на имя «помощника начальника перевязочного отряда Александра Домбровского»; случайно нашелся и попутчик — подпоручик Любоконскии, ехавший к родным в отпуск. Этот молодой офицер оказал мне огромную услугу и своим милым обществом, облегчавшим мое самочувствие, и своими заботами обо мне во все время пути.

Поезд опоздал на шесть часов. После томительного ожидания, в $10^1/_2$ часов мы наконец выехали.

Первый раз в жизни — в конспирации, в несвойственном виде и с фальшивым паспортом. Убеждаюсь, что положительно не годился бы для конспиративной работы. Самочувствие подавленное, мнительность, никакой игры воображения. Фамилия польская, разговариваю с Любоконским по-польски, а на вопрос товарища-солдата: «Вы какой губернии будете?», — отвечаю машинально — Саратовской. Приходится давать потом сбивчивые объяснения, как поляк попал в Саратовскую губернию.

Со второго дня с большим вниманием слушали с Любоконским потрясающие сведения о бегстве Корнилова и быховских генералов; вместе с толпой читали расклеенные по некоторым станциям аршинные афиши. Вот одна: «Всем, всем: генерал Корнилов бежал из Быхова. Военно-революционный комитет призывает всех сплотиться вокруг комитета, чтобы решительно и беспощадно подавить всякую контрреволюционную попытку». Идем дальше. Другая — председателя Викжеля адвоката Малицкого: «Сегодня ночью из Быхова бежал Корнилов сухопутными путями с 400 текинцами. Направился к Жлобину. Предписываю всем железнодорожникам принять все меры к задержанию Корнилова. Об аресте меня уведомить». Какое жандармское рвение у представителя свободной профессии! Настроение в толпе довольно, впрочем, безразличное. Ни радости, ни огорчения. Любоконский пытается вступать с соседями в политические споры, я останавливаю его. Где-то, кажется на станции Конотоп, пришлось пережить неприятных полчаса, когда красноармейцы-милиционеры заняли все выходы из зала, а их начальник по странной случайности расположился возле нашего стола... Не доезжая Сум, поезд остановился среди чистого поля и простоял около часа. За стенкой купе слышен разговор:

— Почему стоим?

— Обер говорил, что проверяют пассажиров, кого-то ищут.

Томительное ожидание. Рука в кармане сжимает крепче рукоятку револьвера, который, как оказалось впоследствии... не действовал. Нет, гораздо легче, спокойнее, честнее встречать открыто смертельную опасность в бою, под рев снарядов, под свист пуль — страшную, но вместе с тем радостно волнующую, захватывающую своей реальной жутью и мистической тайной.

Вообще же путешествие шло благополучно, без особенных приключений. Только за Славянском произошел маленький инцидент: в нашем вагоне, набитом до отказа солдатами, мое долгое лежание на верхней полке показалось подозрительным, и внизу заговорили:

— Полдня лежит, морды не кажет. Может быть, сам Керенский?.. (Следует скверное ругательство.)

— Поверни-ка ему шею!

Кто-то дернул меня за рукав, я повернулся и свесил голову вниз. По-видимому, сходства не было никакого. Солдаты рассмеялись; за беспокойство угостили меня чаем.

И с *ним* встреча была возможна. По горькой иронии судьбы в одно время с «мятежниками» прибыл в Ростов бывший диктатор России, бывший Верховный главнокомандующий ее армии и флота Керенский, переодетый и загримированный, прячась и спасаясь от той толпы, которая не так давно еще носила его на руках и величала своим избранником.

Времена изменчивы...

Эти несколько дней путешествия и дальнейшие скитания мои по Кавказу в вагонах, забитых до одури и головокружения человеческими телами, на площадках и тормозах, простаивание по много часов на узловых станциях — они ввели меня в самую гущу революционного народа и солдатской толпы. Раньше со мной говорили как с главнокомандующим и потому по различным побуждениям не были искренни. Теперь я был просто «буржуй», которого толкали и ругали (иногда злобно, иногда так — походя), но на которого, к счастью, не обращали никакого внимания. Теперь я увидел яснее подлинную жизнь и ужаснулся.

Прежде всего — разлитая повсюду безбрежная ненависть — и к людям, и к идеям. Ненависть ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка, даже к неодушевленным предметам — признакам некоторой культуры, чуждой или недоступной тол-

пе. В этом чувстве слышалось непосредственное, веками накопившееся озлобление, ожесточение тремя годами войны и воспринятая через революционных вождей истерия. Ненависть с одинаковой последовательностью и безотчетным чувством рушила государственные устои, выбрасывала в окно вагона «буржуя», разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек. Психология толпы не обнаруживала никакого стремления подняться до более высоких форм жизни; царило одно желание — захватить или уничтожить. Не подняться, а принизить до себя все, что так или иначе выделялось. Сплошная апология невежества. Она одинаково проявлялась и в словах того грузчика угля, который проклинал свою тяжелую работу и корил машиниста «буржуем» за то, что тот, получая вдвое больше жалованья, «только ручкой вертит»; и в развязном споре молодого кубанского казака с каким-то станичным учителем, доказывавшим довольно простую истину: для того чтобы быть офицером, нужно долго и многому учиться.

— Вы не понимаете и потому говорите. А я сам был в команде разведчиков и прочесть, чего на карте написано или там что, — не хуже всякого офицера могу.

Говорили обо всем: о Боге, о политике, о войне, о Корнилове и Керенском, о рабочем положении и, конечно, о земле и воле. Гораздо меньше о большевиках и новом режиме. Трудно облечь в связные формы тот сумбур мыслей, чувств и речи, которые проходили в живом калейдоскопе менявшегося населения поездов и станций. Какая беспросветная тьма! Слово рассудка ударялось как о каменную стену. Когда начинал говорить какой-либо офицер, учитель или кто-нибудь из «буржуев», к их словам заранее относились с враждебным недоверием. А тут же какой-то по разговору полуинтеллигент в солдатской шинели развивал невероятнейшую систему социализации земли и фабрик. Из путаной, обильно снабженной мудреными словами его речи можно было понять, что «народное добро» будет возвращено «за справедливый выкуп», понимаемый в том смысле, что казна должна выплачивать крестьянам и рабочим их протори и убытки чуть ли не за сто прошлых лет за счет буржуйского состояния и банков. Товарищ Ленин к этому уже приступил. И каждому слову его верили, даже тому, что «на Аральском море водится птица, которая несет яйца в добрый арбуз, и оттого там никогда голода не бывает, потому что одного яйца довольно на большую крестьянскую семью». По-видимому, впрочем, этот солдат особенно расположил к себе слушателей кощунственным воспроизведением ектеньи и проповеди в сельской церкви «на революционный манер»:

— Братие! Оставим все наши споры и раздоры. Сольемся воедино. Возьмем топоры да вилы и, осеня себя крестным знамением, пойдем вспарывать животы буржуям. Аминь.

Толпа гоготала, оратор ухмылялся — работа была тонкая, захватывавшая наиболее чувствительные места народной психики.

Помню, как на одном перегоне завязался спор между железнодорожником и каким-то молодым солдатом из-за места, перешедший вскоре на общую тему о бастующих дорогах и о бегущих с поля боя солдатах. Солдат оправдывался:

— Я, товарищ, сам под Бржезанами в июле был, знаю. Разве мы побежали бы? Когда офицера нас продали — в тылу у нас мосты портили! Это, брат, все знают. Двоих в соседнем полку поймали — прикончили.

Меня передернуло. Любоконский вспыхнул:

— Послушайте, какую вы чушь несете! Зачем же офицеры стали бы портить мосты?

— Да уж мы не знаем, вам виднее...

Отзывается с верхней полки старообразный солдат «черноземного» типа:

— У вас, у шкурников, всегда один ответ: как даст стрекача, так завсегда офицеры виноваты.

— Послушайте, вы не ругайтесь! Сами-то зачем едете?

— Я?.. На, читай. Грамотный?

Говоривший, порывшись за бортом шинели, сунул молодому солдату засаленный лист бумаги.

— Призыва 1895 года. Уволен вчистую, понял? С самого начала войны и по сей день, не сходя с позиции, в 25-й артиллерийской бригаде служил... Да ты вверх ногами держишь!

Солдаты засмеялись, но не поддержали артиллериста.

— Должно быть, «шкура»[1]...— процедил кто-то сквозь зубы.

Долгие, томительные часы среди этих опостылевших разговоров, среди невыразимой духоты и пряной ругани одурманивают сознание. Бедная демократия! Не та, что блудит словом в советах и на митингах, а вот эта — сермяжная, серошинельная. Эта — от чьего имени в течение полугода говорил пробирающийся теперь тайно в Новочеркасск Керенский, «восторженно приветствуемый» в Тифлисе Церетели и воцарившийся в Петрограде Ленин.

Приехали благополучно в Харьков. Пересадка. Сгрудились стеною для атаки вагона ростовского поезда. Вдруг впереди вижу дорогие силуэты: Романовский и Марков стоят в очереди. Стало легче на душе. Ни выйти из купе, ни даже приоткрыть дверь в коридор, устланный грудой тел, было невозможно. Расстались с Любоконским. Поближе к Дону становится свободнее. Теперь в купе нас всего десять человек: два торговца-черкеса, дама, офицер, пять солдат и я. Проверил документы и осматривал багаж только один раз где-то за Изюмом вежливый патруль полка Пограничной стражи. У черкесов и у солдат оказалось много мануфактуры.

Все обитатели купе спят. Только два солдата ведут разговор — шепотом, на каком-то воровском жаргоне. Я притворяюсь спящим и слушаю. Один приглашает другого — по-видимому, старого приятеля — «в дело». Обширное предприятие «мешочников», имеющее базы в Москве и Ростове. С севера возят мануфактуру, с юга хлеб; какие-то московский и ростовский лазареты снабжают артель «санитарными билетами» и проездными бланками. Далее разговор более тихий и интимный: хорошо бы прихватить черкесскую мануфактуру... Можно обделать тихо, в случае чего припугнуть ножиком — народ жидкий; лучше — перед Иловайской; оттуда можно свернуть на Екатеринослав.

Неожиданное осложнение для нелегального пассажира. Через несколько минут дама нервно вскочила и вышла в коридор. Очевидно, и до ее слуха что-нибудь долетело. На ближайшей большой остановке мешочники вышли в окно за кипятком. Я предупредил черкеса и офицера о возможности

[1] Так называли сверхсрочных в солдатской среде.

покушения. Черкесы куда-то исчезли. Из коридора хлынуло в купе, давя друг друга, новое население. Перебравшись с трудом через спящие тела, перехожу в отделение к друзьям. Радостная встреча. Поздоровался с Романовским. Марков сгорает от нетерпения, но выдерживает роль — не вмешивается.

Здесь гораздо уютнее. Марков — денщик Романовского — в дружбе с «товарищами», бегает за кипятком для «своего офицера» и ведет беседы самоуверенным тоном с митинговым пошибом и ежеминутно сбиваясь на культурную речь. Какой-то молодой поручик, возвращающийся из отпуска в Кавказскую армию, посылает его за папиросами и потом мнет нерешительно бумажку в руке: дать на чай или обидится? Удивительно милый этот поручик, сохранивший еще незлобие и жизнерадостность, думающий о полке, о войне и как-то конфузливо, скромно намекающий, что его, вероятно, уже ждут в полку два чина и «Владимир». Он привязался за время пути к Романовскому и ставил его в труднейшее положение своими расспросами. Иван Павлович на ухо шепнул мне: «Изолгался я до противности». Поручик увидел меня.

— Ваше лицо мне очень знакомо. Ваша летучка не бывал ли во 2-й дивизии в 16-м году?

2-я дивизия действительно входила в состав моего корпуса на Румынском фронте. Я спешу отказаться и от дивизии, и от знакомства.

Но вот, наконец, цель наших стремлений — Донская область. Прошли благополучно Таганрог, где с часу на час ожидалось прибытие матросских эшелонов. Вот и Ростовский вокзал — громадный военный лагерь с каким-то тревожным и неясным настроением. Решили до выяснения обстановки соблюдать конспирацию. Марков остался до утра у родных в Ростове. Кавказский поручик предупредительно предлагает взять билеты на Тифлис и озаботиться местами.

— Нет, милый поручик, едем мы вовсе не в Тифлис, а в Новочеркасск; а во 2-й дивизии мы с вами действительно виделись и под Рымником вместе дрались. Прощайте, дай вам Бог счастья...

— А-а! — он застыл от изумления.

В Новочеркасск прибыли под утро. В Европейской гостинице — «контрреволюционном штабе» — не оказалось ни

одного свободного номера. В списке жильцов нашли знакомую фамилию «полковник Лебедев». Послали в номер заспанного швейцара.

— Как о вас доложить?

— Скажите, что спрашивают генералы Деникин и Романовский, — говорит мой спутник.

— Ах, Иван Павлович! Ну и конспираторы же мы с вами!

В это чуть занимавшееся утро не спалось. После почти трех месяцев замкнутой тюремной жизни свобода ударила по нервам массой новых впечатлений. В них еще невозможно было разобраться. Но одно казалось несомненным и нагло кричало о себе на каждом шагу: большевизм далеко еще не победил, но вся страна во власти черни.

И не видно (или почти не видно) сильного протеста или действительного сопротивления. Стихия захлестывает, а в ней бессильно барахтаются человеческие особи, не слившиеся с нею. Вспомнил почему-то сцену, виденную мною както раз сквозь приотворенную дверь купе. В проходе, набитом серыми шинелями, высокий, худой, в бедном потертом пальто человек, очевидно много часов переносивший пытку стоянием, нестерпимую духоту и, главное, всевозможные издевательства своих спутников, истерически кричал:

— Проклятые! Ведь я молился на солдата... А теперь вот, если бы мог, собственными руками задушил бы!..

Странно — его оставили в покое.

* * *

Поздно вечером 19 ноября комендант быховской тюрьмы сообщил георгиевскому караулу о полученном распоряжении освободить генерала Корнилова, который уезжает на Дон. Солдаты приняли это известие без каких-либо сомнений. Офицеры караула капитан Попов и прапорщик Гришин беседовали по этому поводу с георгиевцами и встретили с их стороны сочувствие и доброе отношение к уезжающему.

В полночь караул был выстроен, вышел генерал, простился с солдатами, поблагодарил своих «тюремщиков» за исправное несение службы, выдал в награду 2 тысячи рублей. Они ответили пожеланием счастливого пути и провожали его криками «Ура!». Оба караульных офицера присоединились к текинцам.

В час ночи сонный Быхов был разбужен топотом коней: Текинскй полк во главе с генералом Корниловым шел к мосту и, перейдя Днепр, скрылся в ночной тьме.

Из Могилева двигался навстречу 4-й эскадрон с командиром полка. Командир не сочувствовал походу и не подготовил полк к дальнему пробегу, но теперь шел с ним, так как знал, что не в силах удержать ни офицеров, ни всадников. Не было взято ни карт, ни врача, ни фельдшера и ни одного перевязочного пакета; не запаслись и достаточным количеством денег. Небольшой колесный обоз, взятый с собой, обслуживался регулярными солдатами, которые после первого же перехода сбежали.

Текинский полк шел всю ночь и весь день, чтобы сразу оторваться от могилевского района. Следуя в общем направлении на юго-восток и заметая следы, полк делал усиленные переходы, преимущественно по ночам, встречая на пути плохо еще замерзшие, с трудными переправами реки и имея впереди ряд железнодорожных линий, на которых ожидалось организованное сопротивление. В попутных деревнях жители разбегались или с ужасом встречали текинцев, напуганные грабежами и разбоями вооруженных шаек, бороздивших тогда вдоль и поперек Могилевскую губернию. И провожали с удивлением «диких», в первый раз увидев солдат, которые никого не трогают и за все щедро расплачиваются.

В техническом отношении полковник Кюгельген вел полк крайне неискусно и нерасчетливо. В первые семь суток пройдено было 300—350 верст, без дневок, по дорогам и без дорог — лесом, подмерзшими болотами и занесенной снежными сугробами целиной. По двое суток не расседлывали лошадей. Из семи ночей провели в походе четыре. Шли обычно без надлежащей разведки и охранения, сбивались и кружили; пропадали отставшие квартирьеры и раненые.

Был сильный мороз, гололедица; всадники приходили в изнеможение от огромных переходов и бессонных ночей; невероятно страдали от холода и, как говорит один из участников, в конце концов буквально «отупели»; лошади, не втянутые в работу, шли с трудом, отставали и калечились. Впереди — огромный путь и полная неизвестность. Среди

офицеров сохранялось приподнятое настроение, поддерживаемое обаянием Корнилова, верностью слову и, может быть, романтизмом всего предприятия: из Быхова на Дон, больше тысячи верст, в зимнюю стужу, среди множества преград и опасностей, с любимым вождем — это было похоже на красивую сказку... Но у всадников с каждым днем настроение падало, и скоро... сказка оборвалась; началась тяжелая проза жизни.

На седьмой день похода, 26-го, полк выступил из села Красновичи и подходил к деревне Писаревке, имея целью пересечь железную дорогу восточнее станции Унечи. Явившийся добровольно крестьянин-проводник навел текинцев на большевистскую засаду: поравнявшись с опушкой леса, они были встречены почти в упор ружейным огнем. Полк отскочил, отошел в Красновичи и оттуда свернул на юго-запад, предполагая обойти Унечи с другой стороны. Около 2 часов дня подошли к линии Московско-Брестской железной дороги около станции Песчаники. Неожиданно из-за поворота появился поезд и из приспособленных «площадок» ударил по колонне огнем пулеметов и орудий. Головной эскадрон повернул круто в сторону и ускакал[1]; несколько всадников свалились; под Корниловым была убита лошадь[2]; полк рассыпался. Корнилов, возле которого остались командир полка и подполковник Эргардт, отъехал в сторону.

Долго собирали полк; подвели его к Корнилову. Измученные вконец текинцы, не понимавшие, что творится вокруг, находились в большом волнении. Они сделали все, что могли, они по-прежнему преданы генералу, но...

— Ах, бояр! Что мы можем делать, когда вся Россия — большевик... — говорили они своим офицерам.

«Подъехав к сборному пункту полка, — рассказывает штаб-ротмистр С., — я застал такую картину: всадники стояли в беспорядке, плотной кучей; тут же лежали несколько

[1] 1-й эскадрон прошел западнее и более к полку не присоединился; за Клинцами в м. Павличи он был разоружен большевиками и отправлен в Минск, где некоторое время офицеров и всадников держали в тюрьме.

[2] Вынесла его из огня и пала.

раненых и обессилевших лошадей и на земле сидели и лежали раненые всадники. Текинцы страшно пали духом и вели разговор о том, что все равно они окружены и половины полка нет налицо, и поэтому нужно сдаться большевикам. На возражение офицеров, что большевики в таком случае расстреляют генерала Корнилова, всадники ответили, что они этого не допустят; и в то же время упорно твердили, что необходимо сдаваться. Офицеры попросили генерала Корнилова поговорить с всадниками. Генерал говорил им, что не хочет верить, будто текинцы предадут его большевикам. После его слов стихшая было толпа всадников вновь зашумела и из задних рядов раздались крики, что дальше идти нельзя и надо сдаваться. Тогда генерал Корнилов вторично подошел к всадникам и сказал:

— Я даю вам пять минут на размышление; после чего, если вы все-таки решите сдаваться, вы расстреляете сначала меня. Я предпочитаю быть расстрелянным вами, чем сдаться большевикам.

Толпа всадников напряженно затихла; и в тот же момент ротмистр Натансон, без папахи, встав на седло, с поднятой вверх рукой, закричал толпе:

— Текинцы! Неужели вы предадите своего генерала? Не будет этого, не будет!.. 2-й эскадрон, садись!»

Вывели вперед штандарт, за ним пошли все офицеры, начал садиться на коней 2-й эскадрон, за ним потянулись остальные. Это не был уже строевой полк; всадники шли вперемешку, толпой, продолжая ворчать; но все же шли покорно за своими начальниками. Кружили всю ночь и под утро благополучно пересекли железную дорогу восточнее Унечи.

В этот день Корнилов решил расстаться с полком, считая, что без него полку будет легче продвигаться на юг. Полк с командиром полка и семью офицерами должен был двигаться в м. Погар, вблизи Стародуба, и далее на Трубчевск, а Корнилов с отрядом из всех остальных офицеров (одиннадцати) и 32 всадников на лучших лошадях пошел на юг на переправу через Десну, в направлении Новгорода-Северска. Отряд этот натыкался на засады, был окружен, несколько раз был обстрелян и, наконец, 30-го отошел в Погар. Здоровье генерала Корнилова, который чувствовал себя очень плохо

еще в день выступления, окончательно пошатнулось. Последний переход он уже едва шел, все время поддерживаемый под руки кем-либо из офицеров; страшный холод не давал возможности сидеть на лошади. Считая бесцельным подвергать в дальнейшем риску преданных ему офицеров, Корнилов наотрез отказался от их сопровождения и решил продолжать путь один.

В сопровождении офицера и двух всадников он, переодетый в штатское платье, отправился на станцию Холмечи и, простившись с ними, сел в поезд, отправлявшийся на юг. Командир полка послал телеграмму Крыленко приблизительно такого содержания: выполняя приказание покойного Верховного главнокомандующего генерала Духонина, Текинский полк сопровождал на Дон генерала Корнилова; но 26-го полк был обстрелян, под генералом Корниловым убита лошадь, и сам он пропал без вести. За прекращением задачи полк ожидает распоряжений.

Но распоряжений не последовало. Пробыв в Погарах почти две недели, отдохнув и устроившись, полк в составе 14 офицеров и не более чем 125 всадников двинулся на юг, никем уже не тревожимый; принимал участие где-то возле Новгород-Северска в бою между большевиками и украинцами на стороне последних, потом после долгих мытарств попал в Киев. И в январе, ввиду отказа украинского правительства отправить Текинский полк на Дон и последовавшего затем занятия большевиками Киева, полк был распущен. Десяток офицеров и взвод всадников с января сражались в рядах Добровольческой армии.

В ночь на 3 декабря в арестантском вагоне под сильным украинским караулом везли в Киев двух отставших и пойманных текинских офицеров. Один из них, ротмистр А., на станции Конотоп в сопровождении караульного офицера был отпущен в буфет за провизией. На перроне его окликнул хромой старик, в старой заношенной одежде и в стоптанных валенках:

— Здорово, товарищ! А Гришин с вами?

— Здравия... здравствуйте, да...

Старик кивнул головой и исчез в толпе.

— Послушайте, да ведь это генерал Корнилов! — воскликнул караульный офицер.

Ледяной холод в сердце, неискренний смешок и сбивчивая речь в ответ:

— Что вы, ха-ха, как так Корнилов, просто знакомый один...

6 декабря «старик» — по паспорту Ларион Иванов, беженец из Румынии — прибыл в Новочеркасск, где его ждали с тревожным нетерпением семья и соратники.

ГЛАВА XIV
ПРИЕЗД НА ДОН ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА И ЗАРОЖДЕНИЕ «АЛЕКСЕЕВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». ТЯГА НА ДОН. ГЕНЕРАЛ КАЛЕДИН

30 октября генерал Алексеев, не перестававший еще надеяться на перемену политической обстановки в Петрограде, с большим трудом согласился на уговоры окружавших его лиц бросить безнадежное дело и, согласно намеченному ранее плану, ехать на Дон. В сопровождении своего адъютанта ротмистра Шапрона он 2 ноября прибыл в Новочеркасск и в тот же день приступил к организации вооруженной силы, которой суждено было играть столь значительную роль в истории русской смуты.

Алексеев предполагал воспользоваться юго-восточным районом, в частности Доном, как богатой и *обеспеченной собственными вооруженными силами* базой, для того чтобы собрать там оставшиеся стойкими элементы — офицеров, юнкеров, ударников, быть может старых солдат — и организовать из них армию, необходимую для водворения порядка в России. Он знал, что казаки не желали идти вперед для выполнения этой широкой государственной задачи. Но надеялся, «что собственное свое достояние и территорию казаки защищать будут».

Обстановка на Дону оказалась, однако, необыкновенно сложной. Атаман Каледин, познакомившись с планами Алексеева и выслушав просьбу «дать приют русскому офицерству», ответил принципиальным сочувствием; но, считаясь с тем настроением, которое существует в области, просил

Алексеева не задерживаться в Новочеркасске более недели и перенести свою деятельность куда-нибудь за пределы области — в Ставрополь или Камышин.

Не обескураженный этим приемом и полным отсутствием денежных средств, Алексеев горячо взялся за дело: в Петроград, в одно благотворительное общество послана была условная телеграмма об отправке в Новочеркасск офицеров; на Барочной улице помещение одного из лазаретов отвели под офицерское общежитие, ставшее колыбелью добровольчества; вскоре получено было первое доброхотное пожертвование на «Алексеевскую организацию» — 400 рублей — все, что в ноябре уделило русское общество своим защитникам. Несколько помогло благотворительное общество. Некоторые финансовые учреждения оправдывали свой отказ в помощи циркулярным письмом генерала Корнилова, требовавшим направления средств исключительно по адресу Завойко. Было трогательно видеть и многим, быть может, казалось несколько смешным, как бывший Верховный главнокомандующий, правивший миллионными армиями и распоряжавшийся миллиардным военным бюджетом, теперь бегал, хлопотал и волновался, пытаясь достать десяток кроватей, несколько пудов сахару и хоть какую-нибудь ничтожную сумму денег, чтобы приютить, обогреть и накормить бездомных, гонимых людей.

А они стекались — офицеры, юнкера, кадеты и очень немного старых солдат — сначала по одному, потом целыми группами. Уходили из советских тюрем, из развалившихся войсковых частей, от большевистской «свободы» и самостийной нетерпимости. Одним удавалось прорываться легко и благополучно через большевистские заградительные кордоны, другие попадали в тюрьмы, заложниками в красноармейские части, иногда... в могилу. Шли все они просто на Дон, не имея никакого представления о том, что их ожидает; шли ощупью, во тьме, через сплошное большевистское море — туда, где ярким маяком служили вековые традиции казачьей вольницы и имена вождей, которых народная молва упорно связывала с Доном. Приходили измученные, оборванные, голодные, но не павшие духом. Прибыли небольшие кадры Георгиевского полка из Киева, а в конце декабря — и Славянский ударный полк, восстановивший здесь свое прежнее имя «Корниловский».

* * *

Одиссея Корниловского полка чрезвычайно интересна как показатель тех внутренних противоречий, которые ставила революция перед сохранившими верность долгу частями армии.

Корнилов, прощаясь с полком 1 сентября, писал в приказе: «Все ваши мысли, чувства и силы отдайте Родине, многострадальной России. Живите, дышите только мечтою об ее величии, счастье и славе. Бог в помощь вам». И полк пошел продолжать свою службу на Юго-Западный фронт в самую гущу озверелой и ненавидевшей его солдатской массы, становясь на защиту велений ненавидимого им правительства. Слабые духом отпадали, сильные держались. В сентябрьскую и октябрьскую полосу бунтов и мятежей правительственные комиссары широко использовали полк для усмирений, так как «революционные войска» — их войска — потеряли образ и подобие не только воинское, но и человеческое. Полк был законопослушен и тем все более навлекал на себя злобу и обвинение в «контрреволюционности». В последних числах октября, когда в Киеве вспыхнуло большевистское восстание, правительственный комиссар доктор Григорьев[1] от имени Временного правительства просил полк поддержать власть и повел его в Киев, поставив его там в тяжелое положение нелепыми и безграмотными в военном отношении распоряжениями. На улицах города шел кровавый бой, в котором политическая дьявольская мельница отсеяла три течения: 1) корниловцы и несколько киевских военных училищ (Константиновское, Николаевское, Сергиевское) — на стороне не существующего уже Временного правительства; 2) украинцы совместно с большевиками, руководимые двумя характерными фигурами — генеральным секретарем Петлюрой и большевистским комиссаром Пятаковым; 3) чехи и донские казаки, сохраняющие «нейтралитет» и не желающие «идти против народа».

Опять гибнет стойкая молодежь, расстреливаемая и в бою, и просто на улицах, и в домах — *украинцами и большевиками.*

---

[1] Помощник Иорданского.

В разгаре боя комиссар заявил, что «выступление правительственных войск в Киеве против большевиков натолкнулось на национальное украинское движение, на что он не шел, а потому он приступает к переговорам о выводе правительственных войск»[1].

Власть в городе перешла к Центральной раде в блоке с большевиками. Военные училища отправились на Дон и Кубань, а Корниловский полк получил приглашение Петлюры остаться... для охраны города! Какие чувства недоумения, подавленности и отчаяния должны были испытывать эти люди среди того сплошного бедлама, в который обратилась русская жизнь!

С большим трудом выведя полк из Киева, Неженцев послал отчаянную телеграмму в Ставку, прося спасти полк от истребления и отпустить его на Дон, на что получено было согласие донского правительства. Ставка, боясь навлечь на себя подозрение, категорически отказала. Только 18 ноября, накануне ликвидации Ставки, получено было распоряжение Верховного, выраженное условным языком телеграммы: передвинуть полк на Кавказ «для усиления Кавказского фронта и для новых формирований». Но было уже поздно: все пути заняли большевики, а Викжель им содействовал; оставалась только одна возможность присоединения по частям к казачьим эшелонам, которые как «нейтральные» пропускались на восток беспрепятственно. Началась лихорадочная погрузка полкового имущества. Составили поезд, груженный оружием, пулеметами, обозом, но ни один казачий эшелон не взял его с собою. Тогда полк решился на последнее средство: эшелон с имуществом под небольшой охраной, с фальшивым удостоверением о принадлежности его к одной из Кавказских частей, отправился самостоятельно; полк распустили, а начальству донесли, что весь наличный состав разбежался.

И вот после долгих мытарств к 19 декабря прибыл в Новочеркасск эшелон Корниловского полка, а к 1 января 1918 года кружными путями, в одиночку и группами, собрались 50 офицеров и до 500 солдат.

---

[1] Из рапорта командира полка капитана Неженцева.

Передо мною список этих офицеров. Большая половина их, в том числе и доблестный командир полка, сложили свои головы на тернистом пути от Курска до Новороссийска и Крыма. Из прочих одни живы, судьбы других не знаю.

Я остановился на этих страницах полковой истории, чтобы показать, в каких муках рождалась на свет Добровольческая армия и в какой суровой жизненной школе закалялось упорство и твердость первых бойцов ее. Была и человеческая накипь, быть может очень много, но ей не заслонить светлую идею и подвиг добровольчества.

* * *

Пока не определялись еще конкретно ни цели движения, ни лозунги; шел только сбор сил вокруг генерала Алексеева, и имя его служило единственным показателем их политического направления. Но в широких кругах Донской области съезд «контрреволюционного офицерства» и многих людей с одиозными для масс именами вызвал явное опасение и недовольство. Его разжигала и агитация и свободная большевистская печать. Рабочие, в особенности в Ростове и Таганроге, волновались. Степенное казачество видело большие военные приготовления советской власти и считало, что ее волнение и гнев навлекают только непрошеные пришельцы. Этого близорукого взгляда не чуждо было и само донское правительство, думавшее соглашательством с местными революционными учреждениями и лояльностью в отношении к советской власти примирить ее с Доном и спасти область от большевистского нашествия. Казачья молодежь, развращенная на фронте, больше всего боялась опостылевшей всем войны и враждебно смотрела на тех, кто мог вовлечь ее в «новую бойню». Сочувствующая нам интеллигенция была, как везде, безгласна и бессильна.

— С Дона выдачи нет!

Эта старинная формула исторической казачьей традиции, значительно, впрочем, поблекшая в дни революции, действовала все же на самолюбие казаков и служила единственным оправданием Каледину в его «попустительстве» по отношению к нежелательным пришельцам. Но по мере того, как рос приток добровольцев, усиливалось давление на атамана извне и увеличивалось его беспокойство. Он не мог от-

казать в приюте бездомным офицерам и не хотел раздражать казачество. Каледин не раз просил Алексеева ускорить переезд организации, а пока не делать никаких официальных выступлений и вести дело в возможной тайне.

Такое положение до крайности осложняло развитие организации. Без огласки, без средств, не получая никакого содействия от донского правительства (небольшую помощь, впрочем, оказывали Каледин и его жена — тайком, в порядке благотворительности «беженцам»), Алексеев выбивался из сил, взывал к глухим, будил спящих, писал, требовал, отдавая всю свою энергию и силы своему «последнему делу на земле», как любил говорить старый вождь.

Жизнь, однако, ломала предрассудки. Уже 20 ноября атаман Каледин, желая разоружить два большевистских запасных полка, стоявшие в Новочеркасске, не нашел, кроме юнкеров и конвойной сотни, послушных себе донских частей и вынужден был обратиться за помощью в Алексеевскую организацию. Первый раз город увидел мерно и в порядке идущий офицерский отряд.

* * *

Приехав в Новочеркасск около 22 ноября, я не застал генерала Алексеева, уехавшего в Екатеринодар на заседание правительства Юго-Восточного союза. Направился к Каледину, с которым меня связывали давнишнее знакомство и совместная боевая служба. В атаманском дворце было пустынно и тихо. Каледин сидел в своем огромном кабинете один, как будто придавленный неизбежным горем, осунувшийся, с бесконечно усталыми глазами. Не узнал. Потом обрадовался. Очертил мне кратко обстановку.

Власти нет, силы нет, казачество заболело, как и вся Россия. Крыленко направляет на Дон карательные экспедиции с фронта. Черноморский флот прислал ультимативное требование «признать власть за Советами рабочих и солдатских депутатов». В Макеевском районе объявлена «Донецкая социалистическая республика». Вчера к Таганрогу подошел миноносец, несколько тралеров с большим отрядом матросов; тралеры прошли гирла Дона и вошли в ростовский порт. Военно-революционный комитет Ростова выпустил воззвание, призывая начать открытую борьбу против «контрреволюционного казачества». А донцы бороться не хотят. Сотни, посланные в Ростов, отказались войти в город. Атаман был под свежим, еще гнетущим впечатлением от разговора с каким-то полком или батареей, стоявшими в Новочеркасске. Казаки хмуро слушали своего атамана, призывавшего их к защите казачьей земли. Какой-то наглый казак перебил:

— Да что там слушать, знаем, надоело!

И казаки просто разошлись.

Два раза я еще был у атамана с Романовским — никакого просвета, никаких перспектив. Несколько раз при мне Каледина вызывали к телефону, он выслушивал доклад, отдавал распоряжение спокойным и теперь каким-то бесстрастным голосом. Положив трубку, повернул ко мне свое угрюмое лицо со страдальческой улыбкой.

— Отдаю распоряжения и знаю, что почти ничего исполнено не будет. Весь вопрос в казачьей психологии. Опомнятся — хорошо, нет — казачья песня спета.

Я просил его высказаться совершенно откровенно о возможности нашего пребывания на Дону, — не создаст ли это для него новых политических осложнений с войсковым правительством и революционными учреждениями.

— На Дону приют вам обеспечен. Но, по правде сказать, лучше было бы вам, пока не разъяснится обстановка, переждать где-нибудь на Кавказе или в кубанских станицах...

— И Корнилову?

— Да, тем более.

Я уважал Каледина и нисколько не обиделся за этот совет: атаману виднее, очевидно, так нужно. Но, знакомясь ближе с жизнью Дона, я приходил к выводу, что все направление политики и даже внешние этапы жизни донского правительства и представительных органов сильно напоминали общий характер деятельности и судьбы общерусской власти. Это было тем более странно, что во главе Дона стоял человек несомненно государственный, казалось, сильный и, во всяком случае, мужественный.

Каледина я знал еще до войны по службе в Киевском военном округе. Тогда военная жизнь была проще и требования ее элементарнее. Знающий, честный, угрюмый, настойчивый, быть может, упрямый. Этим и ограничивались мои

впечатления. В первый месяц войны 12-я дивизия, которой он командовал, шла перед фронтом 8-й армии Брусилова в качестве армейской конницы. Брусилов был недоволен действиями конницы и высказывал неодобрение Каледину. Но скоро отношение переменилось. Успех за успехом дали имя и дивизии, и ее начальнику. В победных реляциях Юго-Западного фронта все чаще упоминались имена двух кавалерийских начальников; только двух, так как конница в эту войну перестала быть «царицей поля сражения» — графа Келлера и Каледина, одинаково храбрых, но совершенно противоположных по характеру: один пылкий, увлекающийся, иногда безрассудно; другой спокойный и упорный. Оба не посылали, а водили в бой свои войска. Но один делал это (вовсе не рисуясь — это выходило само собой) эффектно и красиво, как на батальных картинах старой школы; другой — просто, скромно и расчетливо. Войска обоим верили и за обоими шли. Неумолимая судьба привела их к одинаковому концу: оба, следуя совершенно разными путями, в последнем жизненном бою погибли на проволочных заграждениях, сплетенных дикими парадоксами революции.

Наши встречи с Калединым носили эпизодический характер, связаны с воспоминаниями о тяжких боях и могут дать несколько характерных черточек к его биографии. Помню встречу под Самбором, в предгорьях Карпат, в начале октября 1914 года. Моя 4-я стрелковая бригада вела тяжелый бой с австрийцами, которые обтекали наш фронт и прорывались уже долиной Кобло в обход Самбора. Неожиданно я встретил на походе Каледина с 12-й кавалерийской дивизией, получившей от штаба армии приказание спешно идти на восток, к Дорогобычу. Каледин, узнав о положении, не задумываясь ни минуты перед неисполнением приказа крутого Брусилова, остановил дивизию до другого дня и бросил в бой часть своих сил. По той быстроте, с которой двинулись эскадроны и батареи, видно было, как твердо держал их в руках начальник.

В конце января 15-го года судьба позволила мне отплатить самборский долг. Отряд Каледина дрался в горах на Ужгородском направлении, и мне приказано было усилить его, войдя в подчинение к Каледину.

В хате, где расположился штаб, кроме начальника отряда собрались командир пехотной бригады генерал Попович-Липовац и я со своим начальником штаба Марковым. Каледин долго, пространно объяснял нам маневр, вмешиваясь в нашу компетенцию, давая указания не только бригадам, но даже батальонам и батареям.

Когда мы уходили, Марков сильно нервничал:

— Что это он за дураков нас считает?!

Я успокоил его, высказав предположение, что разговор относился преимущественно к Липовацу — храброму черногорцу, но малограмотному генералу. Но началось сражение, а из штаба отряда шли детальные распоряжения, сбивавшие мои планы и вносившие нервность в работу и раздражение среди исполнителей. Помню такой эпизод. На третий день боя наблюдаю, что какая-то наша батарея стреляет ошибочно по своим; стрелки негодуют и жалуются по всем телефонам; набрасываюсь на батарейных командиров; получаю ответ, что цели видны прекрасно, и ни одна из батарей не стреляет в этом направлении. Приказал на несколько минут прекратить огонь всей артиллерии; но довольно удачные разрывы над нашими цепями продолжались. Бросились искать таинственную артиллерию и нашли наконец: в трехстах шагах за моим наблюдательным пунктом, в лощине стояла донская батарея, которую Каледин послал ко мне на подмогу, указав ей сам путь, место и даже задачу и цели.

Началась неприятная нервная переписка. Дня через два приехал из штаба отряда офицер генерального штаба «ознакомиться с обстановкой».

— Это официально, — говорит он мне. — А неофициально хотел доложить по одному деликатному вопросу. Вы не сердитесь. Генерал всегда так вначале недоверчиво относится к частям, пока не познакомится. Теперь он очень доволен действиями стрелков, поставил вам задачу и больше вмешиваться не будет.

— Ну, спасибо. Кланяйтесь генералу и доложите, чтоб был спокоен: австрийцев разобьем.

Сильный мороз; снег по грудь; бой чрезвычайно тяжелый; уже идет в дело последний резерв Каледина — спешенная его кавалерийская бригада. Я никогда не забуду этого жуткого

поля смерти, где весь путь, пройденный стрелками, обозначался торчащими из снега неподвижными фигурами с зажатыми в руках ружьями. Они застыли в тех позах, в каких застигла их вражеская пуля во время перебежки. А между ними, утопая в снегу, смешиваясь с мертвыми, прикрываясь их телами, пробирались живые навстречу смерти. Бригада растаяла.

Каледин не любил и не умел говорить красивых, возбуждающих слов. Но когда он раза два приехал к моим полкам, посидел на утесе, обстреливаемом жестоким огнем, спокойно расспрашивая стрелков о ходе боя и интересуясь их действиями, этого было достаточно, чтобы возбудить их доверие и уважение.

После тяжких боев взята была стрелками деревня Лутовиско, центр позиции, потребовавший смерти многих храбрых, и отряд, разбив австрийцев, отбросил их за Сан.

Май 1916 года застал Каледина в роли командующего 8-й армией. Он сменил Брусилова, назначенного главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта. Назревала большая операция, первоначальные приготовления к которой сделаны были Брусиловым. И как это ни странно, но Брусилов, обязанный всей своей славой 8-й армии, почти два года пробывший во главе ее, испытывал какую-то, быть может, безотчетную ревность к своему заместителю, которая проглядывала во всех их взаимоотношениях и в дни побед, и еще более в дни неудач. Помню, как главнокомандующий прислал своего начальника штаба генерала Клембовского проверить подготовку ударного фронта 8-й армии, выразил в приказе неудовольствие и потом приписал участию Клембовского весьма преувеличенное значение в успехе операции, наградив его георгиевским оружием. Позиции моей дивизии посетили и Клембовский, и Каледин. Первый был необыкновенно учтив и высказывал удовольствие от всего виденного; а потом вдруг в приказе Брусилова появилось несколько неприятных замечаний. Это казалось несправедливым, направленным через наши головы в штаб армии, а главное — ненужным: своего опыта было достаточно, и все с огромным подъемом готовились к штурму. Второй приехал, как всегда, угрюмый; тщательно осмотрел боевую линию, не похвалил и не побранил, а уезжая сказал:

— Верю, что стрелки прорвут позицию.

В его устах эта простая фраза имела большой вес и значение для дивизии.

В конце мая началось большое наступление всего фронта, увенчавшееся огромной победой, доставившее новую славу и главнокомандующему и генералу Каледину. Его армия разбила наголову 4-ю австрийскую армию Линзингена и в 9 дней с кровавыми боями проникла на 70 верст вперед, в направлении Владимира-Волынска. На фоне общей героической борьбы не прошла бесследно и боевая работа 4-й стрелковой дивизии, которая на третий день после прорыва австрийских позиций у Олыки ворвалась уже в город Луцк.

В июне и в июле шли еще горячие бои в 8-й армии, но к осени, после прибытия больших немецких подкреплений, установилось какое-то равновесие: армия атаковала в общем направлении от Луцка на Львов — у Затурцы, Шельвова, Корытницы, вводила в бой большое число орудий и крупные силы, несла неизменно очень тяжелые потери и не могла побороть сопротивления врага. Было очевидно, что здесь играют роль не столько недочеты управления и морального состояния войск, сколько то обстоятельство, что наступил предел человеческих возможностей: фронт, перенасыщенный смертоносной техникой и огромным количеством живой силы, стал окончательно непреодолимым и для нас, и для немцев. Нужно было бросить его и приступить, не теряя времени, к новой операции, начав переброску сил на другое направление. В начале сентября я командовал уже 8-м корпусом и совместно с гвардией и 5-м сибирским корпусом повторил отчаянные кровопролитные и бесплодные атаки в районе Корытницы. В начале еще как-то верилось в возможность успеха. Но скоро не только среди офицеров, но и в солдатской массе зародилось сомнение в целесообразности наших жертв. Появились уже признаки некоторого разложения: перед атакой все ходы сообщения бывали забиты солдатами перемешанных частей, и нужны были огромные усилия, чтобы продвинуть батальоны навстречу сплошному потоку чугуна и свинца, с не прекращавшимся ни на минуту диким ревом бороздивших землю; продвинуть на проволочные заграждения, на которых висели и тлели не убранные еще от предыдущих дней трупы.

Но Брусилов был неумолим, и Каледин приказывал повторять атаки. Он приезжал в корпус на наблюдательный пункт, оставался по целым часам и уезжал мрачнее тучи, ни с кем из нас не повидавшись. Брусилов не мог допустить, что 8-я армия — его армия — топчется на месте, терпит неудачи, в то время как другие армии — Щербачева и Лечицкого — продолжают победное движение. Я уверен, что именно этот психологический мотив заслонял собою все стратегические соображения. Брусилов считал, что причина неудачи кроется в недостаточной настойчивости его преемника, и несколько раз письменно и по аппарату посылал ему резкие, обидные и несправедливые упреки. Каледин нервничал, страдал нравственно и говорил мне, что рад бы сейчас сдать армию и уйти в отставку, как бы это ни было тяжело для него, но сам уйти не может — не позволяет долг.

После одного неудачного штурма и очередного неприятного разговора с главнокомандующим Каледин пригласил нас — пятерых корпусных командиров — к себе. Не предлагая сесть, чрезвычайно резко и сурово осудил действия войск и потребовал прорыва неприятельских позиций во что бы то ни стало. Через несколько дней — новый штурм, новые ручьи крови и... полный неуспех.

Когда на другой день я получил приказ из армии «продолжать выполнение задачи», в душу невольно закралось жуткое чувство безнадежности. Но через несколько часов Каледин прислал в дополнение к официальному приказу частное «разъяснение», сводившее все общее наступление к затяжным местным боям, имевшим характер исправления фронта. В первый раз, вероятно, суровый и честный солдат обошел кривым путем подводный камень воинской дисциплины.

Боевая деятельность на фронте армий с этого дня постепенно начала замирать.

Когда вспыхнула революция и в армию хлынули потоком роковые идеи «демократизации», Каледин органически не в состоянии был не только принять «демократизацию», но даже подойти к ней. Он резко отвернулся от революционных учреждений и еще глубже ушел в себя. Комитеты выразили протест, а Брусилов в середине апреля сказал генералу Алексееву:

— Каледин потерял сердце и не понимает духа времени. Его необходимо убрать. Во всяком случае, на моем фронте ему оставаться нельзя.

Вновь назначенный главнокомандующий Румынского фронта генерал Щербачев согласился было предоставить Каледину 6-ю армию вместо Цурикова, окончательно запутавшегося в демагогии. Но по требованию комитетов Цуриков был оставлен. Тогда я, будучи весной начальником штаба Верховного, предложил Каледину 5-ю армию на Северном фронте и вошел в соответственные отношения по этому поводу. Но генерал Драгомиров отстаивал своего кандидата Юрия Данилова. Верховный не поддержал меня, и для генерала Каледина, давшего армии столько славных побед, не нашлось больше места на фронте. Он ушел на покой в Военный совет.

Когда из Петрограда Каледин ехал на Дон и его спросили, согласится ли он принять пост Донского атамана, на который его выдвигают донские деятели, он ответил:

— Никогда! Донским казакам я готов отдать жизнь; но то, что будет — это будет не народ, а будут советы, комитеты, советики, комитетики. Пользы быть не может. Пусть идут другие. Я — никогда[1].

Но, избранный огромным большинством голосов, после неоднократных отказов Каледин сдался. И 18 июня Донской круг постановил: «По праву древней обыкновенности избрания войсковых атаманов, нарушенному волею Петра I в лето 1709 и ныне восстановленному, избрали мы тебя нашим войсковым атаманом».

Каледин принял власть, «как тяжелый крест». Он говорил:

— Я пришел на Дон с чистым именем воина, а уйду, быть может, с проклятиями...

Русский патриот и Донской атаман!

В этом двойственном бытии — трагедия жизни Каледина и разгадка его самоубийства. Этот всей революционной демократией и темной толпой подозреваемый, уличаемый и обвиняемый человек проявлял такую удивительную лояльность, такое уважение к принципам демократии и к воле казачества, его избравшего, как ни один из вождей революции.

---

[1] Рассказ полковника Гущина.

В этом было его моральное оправдание и политическое бессилие. Он мыслил и чувствовал, как русский патриот; жил в эти месяцы, работал и умер, какДонской атаман. Каледин ставил перед собой государственные задачи так же ясно, как Алексеев и Корнилов, и не менее страстно, чем они, желал освобождения страны. Но в то время, когда они, ничем не связанные, могли идти на Кубань, на Волгу, в Сибирь — всюду, где можно было найти отклик на их призыв, Каледин — выборный атаман, относившийся к своему избранию как к некоему мистическому предопределению, кровно связанный с казачеством и любивший Дон, мог идти к общерусским национальным целям только вместе с донским войском, только возбудив в нем порыв, подняв чувство если не государственности, то, по крайней мере, самосохранения. Когда пропала вера в свои силы и в разум Дона, когда атаман почувствовал себя совершенно одиноким, он ушел из жизни.

Ждать исцеления Дона у него не было сил.

ГЛАВА XV

ОБЩИЙ ОЧЕРК ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В НАЧАЛЕ 1918 ГОДА НА УКРАИНЕ, ДОНУ, КУБАНИ, СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И В ЗАКАВКАЗЬЕ

Итак, распад центральной власти вызвал временную балканизацию русского государства по признакам национальным, территориальным, историческим, псевдоисторическим, подчас совершенно случайным, обусловленным местным соотношением сил.

Наиболее серьезное значение в этом пестром калейдоскопе новообразований, более или менее склонных сопротивляться распространению власти народных комиссаров, приобрели в первое время Украина и Юго-Восток России. В их сторону поэтому с наибольшей силой обрушился большевизм. Для объяснения общей обстановки, в которой протекала первоначально борьба Добровольческой армии, необходимо предпослать краткий очерк событий в этих новообразованиях.

* * *

Центральная рада, прикрываясь успокоительными фразами о нерушимости государственной связи с Россией и непризнании лишь правительственного режима ее, продолжала вести шовинистическую политику в отношении России и русских, делая тем заведомо невозможным сложение противобольшевистских сил. Тем более что территория Украины была насыщена русскими войсками Юго-Западного, отчасти Румынского фронтов, а в центре новообразования, его столице Киеве, насчитывалось всего лишь 9% населения, считающего своим родным языком украинский. Приступая к организации обороны, рада вместе с тем настойчиво добивалась соглашения с советской властью и повела одновременно секретные переговоры о мире с центральными державами.

Военное положение Украины представляло картину невероятного хаоса. В декабре генерал Щербачев, «согласно постановлению украинской народной республики», принял на себя главное командование войсками Юго-Западного и Румынского фронтов, став, таким образом, в двойственное подчинение: к Центральной раде и (на территории Румынского фронта) к комитету национальных комиссаров, «согласующему свои действия с директивами Украины». Военный комиссариат последней (Петлюра), владея базой снабжения обоих фронтов, стал поэтому фактически руководителем их, насколько этот термин уместен в применении к анархической солдатской массе.

Петлюра приступил к демобилизации «русских частей» и к формированию «однородной украинской армии», вместе с тем стараясь притянуть те украинизированные войска, которые оставались еще на других фронтах. На всем пространстве Юго-Западного края и Новороссии шло разоружение и роспуск неукраинских частей. Передвигались эшелоны войск «украинских», большевистских, просто русских, «ничьих», наконец дезертиров. Все они имели одинаковую моральную и боевую ценность, одинаково не желали вести серьезных военных действий, закупоривали станции, оседали временно в попутных городах, иногда вступали в бой друг с другом и чинили погромы. Никакой идеи, никакого национального движения в этом переселении, по существу, не было. Вместо от-

славивания шла все большая путаница и в организации и в солдатских умах, все большее недоумение и озлобление, выливавшиеся иногда в жестоких формах теперь уже междоусобной розни. Петлюра, очевидно для внешнего престижа, создал легенду о 3 миллионах украинского войска; союзники, особенно французы, удивительно плохо разбиравшиеся в русских делах, строили иллюзорные планы на создание нового Южного фронта. Один скрывал, другие не понимали, что, помимо общих неблагоприятных условий, на тощей почве украинского неопатриотизма нельзя строить ни народного воодушевления, ни народной армии. Взаимоотношения с советской властью оставались совершенно неопределенными, и в половине декабря украинский секретариат предъявил Петрограду «ультимативный» запрос: «Воюем мы или нет?».

Действительно, в этом хаосе трудно было определить сущность взаимоотношений двух столкнувшихся «высоких сторон», ни у одной из которых к тому же не было настоящей армии. Тем не менее постепенно стало выясняться, что большевистские банды красной гвардии медленно, но безостановочно распространяются по Украине и целый ряд пунктов на севере ее признают большевистскую власть. Чтобы держать прочно в своих руках по крайней мере Киев, Петлюра вновь пытался прибегнуть к тому универсальному средству, которое практиковалось во все времена и на всех политических фронтах: при посредстве Маркотуна он обратился за содействием к В. Шульгину для привлечения русских офицеров в украинские части. Петлюра якобы был готов тогда порвать с большевизмом Винниченки и с австрофильством Грушевского, утверждая, что «имеет только двух врагов — немцев и большевиков — и только одного друга — Россию»[1].

Но соглашение не состоялось, да было и поздно.

12 января Малая рада опубликовала 4-й универсал, в силу которого «украинская народная республика» становилась «самостоятельной, суверенной державой украинского народа», причем украинскому Учредительному собранию предстояло решить «про федеративную связь с народными республиками бывшей Российской империи».

[1] Из открытого письма В. Шульгина к г-ну Петлюре.

Суверенитет, однако, продолжался только две недели. Уже 16-го в самом Киеве вспыхнуло восстание. Восставшие большевики — русские, украинские и инородные — овладели арсеналом; началась всеобщая забастовка, поддержанная 35-ю профессиональными союзами; к восставшим присоединились и украинские части. И когда 26 января к Киеву подошла незначительная советская банда Муравьева, город немедленно перешел в ее руки. Рада, правительство и Петлюра бежали.

Во всех этих событиях, в точности повторяющих повесть падения других русских городов и областей, поражает полное отсутствие *национального момента* в идее борьбы или, по крайней мере, совершенно ничтожное его значение. Советское правительство объявило, что оно ведет борьбу не против Украинской республики, а против Центральной Рады, ввиду ее «явно контрреволюционной политики»[1]. Этому лозунгу — лживому, но, по крайней мере, определенному и популярному в массах, — Украина могла противополагать лишь полный разброд народных устремлений, слагавшихся из крайне разнообразных факторов. В области социальной — острое недовольство рабочих Киева, Одессы, Харькова и других фабричных центров и индифферентное отношение крестьянства, занятого черным переделом согласно 3-му универсалу; в отношении политическом — влияние, которое издавна оказывали на Раду центральные державы, стремление к власти политиканствовавших украинских кругов, колебания или безучастие русских людей, поставленных между большевизмом и самостийностью; наконец, просто чувство самосохранения, объединявшее более благоразумную часть населения, и желание спасти край от моральных и физических последствий нашествия большевиков. Но клич «Хай живе вільна Украйна» совершенно не будил ни разума, ни чувства в сколько-нибудь широких кругах населения, отзываясь неестественной бутафорией. Ничего «народного», «общественного», «национального» не было в столкновении советских и украинских банд — безыдейных, малочисленных и неорганизованных. И вовсе не они решили исход событий: было ясно, что боль-

[1] Официальное обращение Крыленко.

шевизм советов побеждал психологически полубольшевизм Рады, петроградский централизм брал верх над киевским сепаратизмом.

Как бы то ни было, 4-й универсал дал немцам официальный предлог «признать» Украинскую республику, заключить с ней мир (27 января) и впоследствии приступить к фактической оккупации всего хлебородного юга России.

Обстановка, сложившаяся на Украине к январю 1918 года, оказала чрезвычайно неблагоприятное влияние на положение Юго-Востока, в частности Дона. До тех пор с фронта беспрепятственно пропускались на Дон и на Кавказ казачьи эшелоны, и Рада из чувства самосохранения не допускала прохода через украинскую территорию большевистских войск. Теперь для большевиков открывались прямые пути на Дон, до крайности затруднялся приток пополнений в Добровольческую армию и прекращался подвоз военного снаряжения из богатых запасов Юго-Западного фронта, просачивавшихся до сих пор, с попутными эшелонами, хоть и не в большом количестве.

* * *

Первый Донской круг дал пернач выборному атаману, но не дал ему власти. Во главе области поставлено было «войсковое правительство», состоявшее из 14 старшин, избранных каждым округом «излюбленных людей», вне всякой зависимости от их государственного, общественного и просто делового стажа. Атаман являлся только председателем в заседаниях правительства, а его помощник — членом. Эти заседания имели характер заседаний провинциальной городской Думы с нудными, митинговыми, а главное — лишенными практического значения словопрениями. Деятельность эта не оставила по себе никакого следа в истории Дона, и на тусклом фоне ее меркли крупный и твердый государственный разум Каледина и яркий молодой порыв донского баяна Митрофана Богаевского.

Каледин отзывался в разговорах со мной о правительстве с большой горечью. Богаевский выражался о нем осторожно и деликатно: оно «по своему составу было не сильно; члены правительства были люди безусловно честные и добросовестные, но не смогли сразу охватить всей колоссальной работы»[1]. Во всяком случае, в среде правительства государственные взгляды Каледина поддержки не нашли, и ему предстояло идти или путем «революционным» наперекор правительству и настроениям казачества, или путем «конституционным», демократическим, которым он пошел и который привел его и Дон к самоубийству.

В первое время после октябрьского переворота донская власть искала связи с обломками Временного правительства[2] при помощи таких несерьезных посредников, как бывший командующий войсками Московского округа Грузинов и крупный темный делец Молдавский. Но правительство сгинуло, и Каледину поневоле приходилось на Дону принимать на себя функции центральной власти, что он делал с большой осмотрительностью и даже нерешительностью. Вместе с тем, чтобы получить более широкую народную опору, донское правительство 20 ноября обратилось к населению области с весьма либеральной декларацией, созывая на 29 декабря единовременный съезд казачьего и крестьянского населения для устроения жизни Донской области и привлечения к участию в управлении краем пришлого элемента. В начале января вопрос этот разрешился путем образования коалиционного министерства на паритетных началах, причем 7 мест было предоставлено казачеству и 7 иногородним. 3-й Донской круг, впредь до установления законодательного органа, предоставил правительству всю полноту власти. Но иногородний съезд ограничил ее выделением дел, касающихся неказачьего населения, из общей компетенции правительства и передачей их на усмотрение иногородней половины его. Это расширение базы и привлечение в состав правительства демагогов-интеллигентов, а также революционной демократии, быть может полнее отражая колеблющееся, неустойчивое настроение области, вызвало, как увидим ниже, паралич власти в основном и для этого времени единственно жизненном вопросе — борьбе с большевизмом.

Крестьянство, составлявшее 48% населения области, увлеченное широкими посулами большевиков, не удовлетворя-

[1] У Добрынина: «Борьба с большевизмом на Юге России».

[2] Об этом написано в предыдущей книге.

лось теми мероприятиями, которые принимала донская власть — введением земства в крестьянских округах, привлечением крестьян к участию в станичном самоуправлении, широком приеме их в казачье сословие и наделением 3 миллионами десятин отбираемой у помещиков земли. Под влиянием пропаганды пришлого социалистического элемента крестьянство ставило непримиримо требование общего раздела всей казачьей земли[1]. Рабочая среда — наименьшая численно (10—11%), но сосредоточенная в важных центрах и наиболее беспокойная — не скрывала своих явных симпатий к советской власти. Революционная демократия не изжила своей прежней психологии и с удивительным ослеплением продолжала ту разрушительную политику, которую она вела в Таврическом дворце и в Смольном и которая погубила уже ее дело в общерусском масштабе. Блок социал-демократов меньшевиков и эсеров царил на всех крестьянских, иногородних съездах, в городских думах, советах солдатских и рабочих депутатов, в профессиональных организациях и межпартийных собраниях. Не проходило ни одного заседания, где бы не выносились резолюции недоверия атаману и правительству, где бы не слышалось протестов против всякой меры, вызванной военными обстоятельствами и анархией. Они протестовали против военного положения, против разоружения большевистских полков, против арестов большевистских агитаторов. Они проповедовали нейтралитет и примирение с той силой, которая шла напролом и устами одного из своих военных начальников, шедших покорять Дон, объявляла: «Требую от всех встать за нас или против нас. Нейтральности не признаю»[2]. Была ли эта деятельность результатом серьезного сложившегося убеждения? Конечно нет: к ней обязывала партийная дисциплина и партийная нетерпимость. На одном из собраний народный социалист Шик, характеризуя позицию, занятую социалистами Ростовской думы, говорил:

---

[1] Этот вопрос вообще имел решающее значение в установлении взаимоотношений юго-восточного казачества с иногородним населением.

[2] Приказ командовавшего большевистскими войсками Петрова после взятия станицы Каменской.

«В тиши (они) мечтают о казачьей силе, а в своих официальных выступлениях эту силу чернят».

Но недоверие и неудовлетворенность деятельностью атамана Каледина нарастали и в противоположном лагере. В представлении кругов Добровольческой армии и ее руководителей, доверявших вполне Каледину, казалось, однако, недопустимым полное отсутствие дерзания с его стороны. Русские общественные деятели, собравшиеся со всех концов в Новочеркасск, осуждали медлительность в деле спасения России, политиканство, нерешительность донского правительства. Это обвинение на одном собрании вызвало горячую отповедь Каледина:

«А вы что сделали? Я лично отдаю Родине и Дону свои силы, не пожалею и своей жизни. Но весь вопрос в том, имеем ли мы право выступить сейчас же, можем ли мы рассчитывать на широкое народное движение? Развал общий. Русская общественность прячется где-то на задворках, не смея возвысить голоса против большевиков... Войсковое правительство, ставя на карту донское казачество, обязано сделать точный учет всех сил и поступить так, как ему подсказывает чувство долга перед Доном и перед Родиной».

В сознании русской общественности возникло еще одно опасение, навеянное впечатлениями речей местных трибунов, терявших душевное равновесие и чувство государственности. Отражением этого настроения явилась статья в сдержанном кадетском органе «Ростовская речь»[1], в которой высказывалось опасение, чтобы «организация государственной власти на местах — этот своеобразный сепаратизм «областных республик» — не превратилась из средства в цель, и чтобы... борьба против насилия и узурпации государственной власти не превратилась в конечном итоге в борьбу против самой свободы, добытой революцией, и против государственной власти как таковой».

Во всяком случае Дон не давал достаточных поводов к такому опасению, а лично Каледин этого упрека не заслуживал совершенно. Он был вполне искренен, когда на областном съезде иногородних 30 декабря говорил:

---

[1] 16 декабря 1917 года, статья профессора Евлахова.

— Не признав власти комиссаров, мы принуждены были создать государственную власть здесь, к чему мы никогда раньше не стремились. Мы хотели лишь широкой автономии, но отнюдь не отделения от России.

В такой обстановке протекала трудная работа Каледина.

Когда в ночь на 26 ноября произошло выступление большевиков в Ростове и Таганроге и власть в них перешла в руки военно-революционных комитетов, Каледин, которому «было страшно пролить первую кровь»[1], решился, однако, вступить в вооруженную борьбу.

Но казаки не пошли.

В тот вечер сумрачный атаман пришел к генералу Алексееву и сказал:

— Михаил Васильевич! Я пришел к вам за помощью. Будем как братья помогать друг другу. Всякие недоразумения между нами кончены. Будем спасать, что еще возможно спасти.

Алексеев просиял и, сердечно обняв Каледина, ответил ему:

— Дорогой Алексей Максимович! Все, что у меня есть, рад отдать для общего дела.

Офицерство и юнкера на Барочной были мобилизованы, составив отряд в 400—500 штыков. К ним присоединилась донская молодежь — гимназисты, кадеты; позднее одумались несколько казачьих частей. И Ростов был взят.

С этого дня Алексеевская организация получила право на легальное существование. Однако отношение к ней оставалось только терпимым, выражаясь не раз в официальных постановлениях донских учреждений в формах обидных и даже унизительных. В частном заседании 3-го Круга говорили: «Пусть армия существует; но, если она пойдет против народа, она должна быть расформирована». Значительно резче звучало постановление съезда иногородних, требовавшего «разоружения и роспуска Добровольческой армии[2], борющейся против наступающего войска революционной демократии». С большим трудом войсковому правительству удалось прийти со съездом к соглашению, в силу

[1] Из доклада на 3-м Круге.

[2] Такое название получила Алексеевская организация в конце декабря.

которого Добровольческая армия, как говорилось в декларации, «существующая в целях защиты Донской области от большевиков, объявивших войну Дону, и в целях борьбы за Учредительное собрание, должна находиться под контролем объединенного правительства, и в случае установления наличности в этой армии элементов контрреволюционных таковые элементы должны быть удалены немедленно за пределы области»[1].

Не удивительно, что с первых же шагов в сознании добровольчества возникло острое чувство обиды и беспокойное сомнение в целесообразности новых жертв, приносимых не во имя простой и ясной идеи отчизны, а за негостеприимный край, не желающий защищать свои пределы, и за абстрактную формулу, в которую после 5 января обратилось Учредительное собрание. Измученному воображению представлялось повторение картин Петрограда, Москвы, Киева, где лозунги оказались фальшивыми, доверие растоптано и подвиг оплеван.

Поддерживала только вера в вождей.

• • •

Под влиянием беседы с Калединым Лукомский уехал во Владикавказ, я и Марков — на Кубань. Романовский, решив, что имя его не так одиозно, как наши, и не доставит огорчения донскому правительству, остался в Новочеркасске и принял участие в Алексеевской организации. Условились, что нам дадут знать немедленно, как только приедет Корнилов и выяснятся ближайшие перспективы нашей работы.

Прожили мы на Кубани первую неделю в станице Славянской, потом я переехал в Екатеринодар, пользуясь документом на имя Домбровского. То, что я увидел на Кубани, привело меня в большое недоумение своим резким контрастом с оценкой Каледина. Внутреннее состояние здесь было еще более сложно и тревожно, чем на Дону. И если оно не прорывалось крупными волнениями, то только потому, что «внутренний фронт» был далеко, и Донская область прикрывала Кубань от непосредственной угрозы воинствующего большевизма.

[1] Декларация коалиционного правительства 5 января 1918 года.

Тот разрыв государственных связей с центром, который на Дону наступил после крушения Временного правительства, на Кубани существовал давно, будучи вызван другими, менее объективными причинами. Еще 5 октября, при решительном протесте представителя Временного правительства, Краевая казачья рада приняла постановление о выделении края в самостоятельную Кубанскую республику, являющуюся «равноправным, самоуправляющимся членом федерации народов России». При этом право выбора в новый орган управления предоставлялось исключительно казачьему, горскому и незначительному численно «коренному» иногороднему населению[1], то есть почти половина области лишена была избирательных прав[2]. Во главе правительства, состоявшего по преимуществу из социалистов, был поставлен войсковой атаман полковник Филимонов — человек, обладавший несомненно более государственными взглядами, нежели его сотрудники, но недостаточно сильный и самостоятельный, чтобы внести свою индивидуальность в направление деятельности правительства. Решение Рады принято было значительным большинством голосов, составленным из оригинального сочетания «стариков» — консервативного элемента, несколько патриархальной складки, чуждого всяких политических тенденций, — и казачьей интеллигенции. Эта последняя носила партийные названия эсеров и эсдеков; но, вскормленная на сытном хлебе привольных кубанских полей, она пользовалась социалистическими теориями только в качестве внешнего одеяния и для «экспорта», сохраняя у себя дома в силе все кастовые традиционные перегородки. Против решения Рады были фронтовые казаки и коренные крестьяне; последние, выразив протест против непатриотического и недемократического, по их убеждению, закона, вышли из состава Рады.

Мотивами к такому негосударственному решению вопроса — отделению Кубанской республики — послужили тревога «стариков» за участь казачьих земель, которым угрожала общерусская земельная политика; честолюбие кубанской социалистической интеллигенции, жаждавшей трибуны и портфелей; наконец, украинские влияния, весьма сильные среди представителей черноморских округов.

[1] Крестьянам-старожилам.

[2] До тех пор Кубанская область управлялась двумя органами, враждовавшими друг с другом: Войсковым правительством и Исполнительным комитетом иногородних.

Рознь между казачьим и иногородним населением приняла еще более острые формы. Наверху, в представительных учреждениях, она проявлялась непрекращавшейся политической борьбой; внизу, в станицах, — народной смутой, расчищавшей путь большевизму. Казачьи социалисты не учли соотношения сил. Против Рады и правительства встало не только иногороднее население, но и фронтовое казачество; эти элементы обладали явным численным перевесом, а главное — большим дерзанием и буйной натурой. Большевизм пришел в массу иногородних, найдя в различных слоях их такую же почву, как и везде в России, осложненную вдобавок чувством острого недовольства против земельных и политических привилегий господствующего класса — казачества. Но фронтовая молодежь не имела решительно никаких данных в политических, бытовых, социальных условиях жизни Кубани для восприятия большевизма. Ее толкнули к нему только психологические причины: пьяный угар обезумевшей солдатчины на фронте, принимавший заразительные формы; безотчетное сознание силы в новом нашествии; усталость от войны и нежелание дальнейшей борьбы в какой бы то ни было форме; наконец, сильнейшая агитация большевиков, угрожавших кровавой расправой в случае сопротивления и обещавших не касаться внутреннего казачьего уклада, имущества и земель в случае покорности. Был еще один элемент на Кубани, по природе своей глубоко враждебный большевизму, — это черкесский народ, вызывавший большие и необоснованные надежды на Дону и в кругах Добровольческой армии в качестве одного из источников комплектования противобольшевистской вооруженной силы. Бедные, темные, замкнутые в узких рамках архаического быта, черкесы оказались наименее воинственным элементом на Кавказе и приняли большевистскую власть с наибольшей покорностью и с наиболее тяжелыми жертвами. Формирование же черкесских частей впоследствии окончилось

полной неудачей: полки эти были страшнее для мирного населения, чем для противника.

В конечном результате, когда Каледин, чтобы создать в глазах донских казаков некоторую иллюзию общеказачьего фронта, просил Кубанского атамана прислать на Дон хоть один пластунский батальон, такого на Кубани не оказалось. Кубанские части не шли войной против своего правительства, но не шли также и против большевиков и приказания своей выборной власти не исполнили. Кубанскому правительству в декабре пришлось прибегнуть, в свою очередь, к универсальному средству — формированию добровольческого отряда из офицеров и юнкеров, заброшенных судьбою на Кубань. Формирование это поручено было капитану-летчику Покровскому. И здесь перед элементом государственным, каким являлось офицерство, встали смутные, неясные цели: защита «Кубанской республики» и ее социалистического, отчасти украинофильского правительства.

Почтенный старик Ф. Щербина — историк Кубанского края — приводит статистические данные по распространению на Кубани большевизма как доказательство его полной чужеродности казачьей среде. Поражены им были прежде всего и главным образом станицы, лежавшие на железнодорожных путях из Ростова и Закавказья, откуда шли солдатские эшелоны и возвращались фронтовые казаки. Баталпашинский, например, отдел, расположенный в стороне от магистралей, сохранился дольше и лучше всех. Мартиролог кубанских станиц, переходивших в большевизм, выражается следующими цифрами:

1917 год	1918 год
август — 3	январь — 20
сентябрь — 2	февраль — 16
октябрь — 5	март — 24[1]
ноябрь — 5	апрель — 1
декабрь — 10	май — 1
	Всего 87 станиц

[1] Под чертой — время советской власти.

Таким образом, роковой круг замкнулся в течение 10 месяцев.

Эта оригинальная статистика, вероятно единственная в своем роде на всем пространстве русской территории, дает и другие любопытные указания: на 947 151 жителя станиц большевиков было 164 579, то есть 17%; в их числе казаков 3,2% и иногородних 96,8%. В пятидесяти станицах насчитано 770 видных советских деятелей-комиссаров, членов совета и агитаторов; из них 69 интеллигентов и полуинтеллигентов, а также 711 людей совершенно необразованных, стоявших на низших ступенях общественной лестницы, по большей части — уголовного элемента. В общем числе их было 34% казаков и 66% иногородних.

Большевизм начал проявляться в области обычными своими признаками: отрицанием краевой власти, упразднением станичной администрации и заменой ее советами; насилиями над офицерами, зажиточными казаками и «буржуями»; разбоями, «социализациями», реквизициями и т. д. В самом Екатеринодаре царила донельзя сгущенная, нездоровая атмосфера, шли непрерывные митинги, на каждом перекрестке собирались толпы, возбуждаемые речами большевистских ораторов. В городе с октября существовал военно-революционный комитет, имевший свои отделы в пригородах — Дубинский и Покровский.

Кубанское правительство, сознавая отсутствие всякой опоры, пошло по пути Дона. 12 декабря был созван совместный съезд представителей всего населения. Половина иногородних представителей оказалась большевиками и отказалась от участия в работе съезда. Другая половина в согласии с казачеством приступила к работе. Но вместо того чтобы принять героические меры хотя бы к спасению родных очагов, соединенные силы казачьей и общерусской революционной демократии в созданной ими Законодательной раде и в преобразованном на паритетных началах правительстве приступили, по выражению современного публициста, «к кипучей творческой работе», прямым результатом которой было создание конституции Кубанской республики, «всесторонне разработанная программа решения важнейших политических и экономичес-

ких вопросов» и... отдача всей Кубани во власть большевиков.

«Паритет», как и на Дону, только ослабил сопротивление, введя в состав власти элементы еще менее устойчивые, соглашательские. Добровольческий отряд успешно сдерживал еще попытки большевистских банд, наступавших со стороны Новороссийска, и даже в конце января у Эйнема под начальством капитана Покровского нанес им жестокое поражение. Но в то же время на узловых станциях Кавказской, Тихорецкой, Тимашовке оседали солдатские эшелоны бывшей Кавказской армии и местные большевики, сжимая все более и более в тесном кольце Екатеринодар. В Армавире большевики образовали «Кубанский краевой революционный комитет» под председательством Я. Полуяна; оттуда началась систематическая борьба против Екатеринодара вооруженной силой и агитацией.

* * *

Северный Кавказ бушевал. Падение центральной власти вызвало здесь потрясение более серьезное, чем где бы то ни было. Примиренное русскою властью, но не изжившее еще психологически вековой розни и не забывшее старых взаимных обид, разноплеменное население Кавказа заволновалось. Объединявший его ранее русский элемент (40 процентов населения края[1]) состоял из двух почти равных численно групп — терских казаков и иногородних, разъединенных социальными условиями и сводивших теперь в междоусобной борьбе старые счеты, по преимуществу земельные. Они не могли поэтому противопоставить новой опасности ни силу, ни единство. Терское войско, слабое численно, затерянное среди враждебной стихии и переживавшее те же моральные процессы, что и старшие братья на Дону и Кубани, внесло еще менее своей индивидуальности в направление борьбы. Еще до половины декабря, когда был жив атаман Караулов и в некоторой степени оставалось несколько терских полков, сохранялся еще и призрак власти и вооруженной силы. Караулов вел определенную политику борьбы с большевизмом и примирения с горцами. Видя невозможность для себя остановить анархию в крае, Караулов пришел к мысли о создании «Временного Терско-Дагестанского правительства», которое и было образовано в начале декабря совместно тремя организациями: Терским казачьим правительством, Союзом горцев Кавказа и Союзом городов Терской и Дагестанской областей. Новое правительство приняло на себя «впредь до создания основных законов полноту общей и местной государственной власти».

Но эта власть не имела решительно никакой реальной силы, ни на кого не опиралась, и даже в самом Владикавказе ее игнорировал местный совет. 13 декабря на станции Прохладной толпа солдат-большевиков, по указанию из владикавказского совдепа, отцепила вагон, в котором находился атаман Караулов с несколькими сопровождавшими его лицами, отвела на дальний путь и открыла по вагону огонь. Караулов был убит. С его смертью «Терско-Дагестанское правительство» стало еще более обезличенным.

Фактически на Тереке власть перешла к местным советам и бандам солдат Кавказского фронта, которые непрерывным потоком текли из Закавказья и, не будучи в состоянии проникнуть дальше, в родные места, ввиду полной закупорки Кавказских магистралей, оседали, как саранча, по Терско-Дагестанскому краю. Они терроризировали население, насаждали новые советы или нанимались на службу к существующим, внося повсюду страх, кровь и разрушение. Этот поток послужил наиболее могущественным проводником большевизма, охватившего иногороднее русское население (жажда земли), задевшего казачью интеллигенцию (жажда власти и идеи социализма) и смутившего сильно терское казачество (страх «идти против народа»). Что касается горцев, то, крайне консервативные в своем укладе жизни, в котором весьма слабо отражалось социальное и земельное неравенство, верные своим задачам и обычаям, они управлялись своими национальными советами, были глубоко чужды и враждебны идеям большевизма, но быстро и охотно восприняли многие прикладные стороны его, в том числе насилие и грабеж. Тем более что путем разоружения проходивших войсковых эшелонов или купли у них горцы приобрели много оружия (даже пушки) и боевых припасов. Поставщиками кадров для

[1] Все население Терско-Дагестанского края — около 1,4 миллиона.

формирования послужили полки и батареи бывшего Кавказского туземного корпуса.

В начале 1918 года в общих чертах картина жизни на Северном Кавказе представлялась в следующем виде.

Дагестан, в общем наиболее замиренный и лояльный, теперь под влиянием событий стал подпадать под турецкое влияние, и в нагорной части его велась широко проповедь панисламизма. Подогреваемая его идеей, шла не прекращаясь партизанская война против большевиков, группировавшихся по преимуществу вдоль дороги Баку — Петровск; но по отношению к казакам и служилым русским людям дагестанцы враждебных действий не проявляли.

Чечня, раздираемая внутренними междоусобиями, разделенная на 50—60 враждующих партий по числу влиятельных шейхов, склоняясь то к турецкой, то к большевистской ориентации, проявила, однако, полное единение в исторической тяжбе с русскими колонизаторами. Общая идея совместной с ингушами борьбы их заключалась в том, чтобы отбросить терских казаков и частично осетин за Сунжу и Терек, овладеть их землями и, уничтожив тем чересполосицу, связать прочно горную и плоскостную Ингушетию (в районе Владикавказа), с одной стороны, и Чечню с Ингушетией — с другой. Еще в конце декабря чеченцы с фанатическим воодушевлением крупными силами обрушились на соседей. Грабили, разоряли и жгли дотла богатые цветущие селения, экономии и хутора Хасав-Юртовского округа, казачьи станицы, железнодорожные станции; жгли и грабили город Грозный и нефтяные промыслы.

Ингуши, наиболее сплоченные и выставившие сильный и отлично вооруженный отряд, грабили всех: казаков, осетин, большевиков (с которыми, впрочем, были в союзе), держали в постоянном страхе Владикавказ, который в январе захватили в свои руки и подвергли сильному разгрому. Вместе с тем в союзе с чеченцами ингуши приступили к вытеснению казачьих станиц Сунженской линии, для чего еще в ноябре в первую очередь подожгли со всех сторон и разрушили станицу Фельдмаршальскую.

Осетины — наиболее культурный из горских народов, имевший «даже» свою социалистическую интеллигенцию, склонявшуюся к большевизму. Народ, однако, выдержал искушение. Подчиняясь господствующей силе, осетины все же считали своими врагами большевиков и ингушей и, невзирая на не разрешенные еще земельные споры с казаками, охотно присоединялись к каждому выступлению их против большевиков.

Наконец, кабардинцы, восприняв от большевиков земельную практику, отняли у своих узденей (дворянства) земли и затем жили мирно, стараясь сохранить нейтралитет среди борющихся сторон.

В этой сложной обстановке терское казачество пало духом. В то время как горские народы, побуждаемые национальным чувством, путем чистой импровизации создавали вооруженную силу, казачье природное войско с историческим прошлым, выставлявшее 12 хорошо организованных полков, разлагалось, расходилось и разоружалось по первому требованию большевиков. Агитация, посулы большевистских агентов и угрозы горцев заставляли малодушных искать спасения в большевизме, который, вначале по частной инициативе местных советских организаций, потом по указанию из центра, пользовался распрей, становясь то на сторону горцев против казаков, то на сторону казаков против горцев и в общем хаосе утверждая на крови тех и других свою власть.

В конце января в Моздоке собрался «рабоче-крестьянский съезд», переехавший затем в Пятигорск. Съезд выбрал из своего состава самостоятельное правительство «Терский народный совет», под председательством некоего Пашковского, сосланного некогда в каторжные работы за ограбление казначея реального училища и возвращенного по общей амнистии, данной Временным правительством.

В течение месяца «народный совет» правил параллельно с «Терско-Дагестанским правительством». Наконец последнее, не видя ниоткуда поддержки, в конце февраля «во избежание кровопролития» добровольно сложило с себя власть и предложило «совету» переехать во Владикавказ.

Терский край был объявлен составной частью «РСФСР».

* * *

Мне остается еще отметить две попытки к объединению юго-востока в более широких областных или национальных рамках.

Вскоре после начала революции возник «Союз горцев Северного Кавказа», который выделил центральный комитет и первоначально поставил своей целью борьбу с анархией, поддержание правопорядка, мирное разрешение межнациональных столкновений, обеспечение прав национальных меньшинств в Учредительном собрании и т. д. После большевистского переворота центральный комитет в декабре 1917 года объявил себя «правительством горских народов Кавказа». Тот разброд задач и целей, которые преследовали горские народы, лишал всякой почвы «союзное правительство». Совершенно чуждое одним (абхазцам и черкесам), враждебное другим (осетинам), оно установило некоторую внешнюю связь с Ингушетией и Чечней, откуда изредка и случайно получались небольшие суммы на содержание самого правительства. Эти суммы и личный большой кредит председателя, богатого чеченца нефтепромышленника Топы Чермоева, были единственным источником существования «правительства». Не имея никаких реальных возможностей управления, «горское правительство» с самого начала бросило всякие попытки устроения края и перешло к чистой политике, составив звено в цепи тех многочисленных самодовлеющих «народных» представительств, которые рождены были русской революцией и составляют одну из любопытных ее черт.

Январские события во Владикавказе заставили «горское правительство» перейти в Тифлис и тем порвать почти вовсе связи с краем. С тех пор личный состав «правительства» рассеялся. Только иногда оно подавало признаки своего существования торжественными декларациями от имени двух своих столпов — Топы Чермоева и Пшемаха Коцева. И только через год, когда Добровольческая армия освободит Северный Кавказ, мы встретимся опять с возглавляемым Коцевым «меджилисом горских народов», обнаружившимся неожиданно в Темир-Хан-Шуре и обратившимся к главному командованию с ультимативными требованиями.

В послании к Кабардинскому национальному совету[1] Коцев писал:

[1] 10 декабря 1918 года.

«Почти год тому назад я был вырван из среды близкого, родного мне народа. Обстоятельства так сложились, что меня бросало по всему лицу Европы и Азии. Само собою разумеется, что все это время я делал народное дело. Когда анархия и развал коснулись и нашей окраины, то для меня стало ясно, что собственными силами и авторитетом мы не можем водворить у себя порядок; и вот все это время прошло в хлопотах за поисками этой силы».

В течение года г-да Чермоев и Коцев призывали варягов последовательно в лице турок, немцев, англичан, грузин, едва поспевая за быстро вертящимся колесом мировых событий. А тем временем Северный Кавказ в огне и в крови разрешал самостоятельно вопросы своего бытия.

* * *

Гораздо серьезнее и по замыслу и по политическому значению представлялось образование в конце сентября Юго-Восточного союза. Возникшее по инициативе Кубани, это объединение должно было включать три казачьи области — Донскую, Кубанскую, Терскую и «вольные народы гор и степей», под которыми разумелись горцы Северного Кавказа, калмыки и другие инородцы Ставропольской губернии. В дальнейшем в состав союза предполагалось привлечь Уральское (Яицкое) и Астраханское войско и, может быть, Закавказье.

Первоначальная идея этого объединения, вызванного к жизни главным образом бессилием центральной власти, с достаточной полнотой выражена в постановлении Донского «большого круга», заседавшего в первой половине сентября[1].

«Заслушав и обсудив доклад представителя Кубанского войска, поддержанный представителем войска Терского, по вопросу о федеративном устройстве государства Российского и признавая федерацию желательной как принцип, как идею на основании прошлого исторического опыта зарождения и существования казачества, круг постановил:

1) поручить войсковому правительству принять участие в конференции, созываемой в Екатеринодаре 20 сентября

[1] Цитирую по труду С. Сватикова «Государственно-правовое положение Дона».

1917 года по этому вопросу, с правом делегировать от имени войска представителей в союзный орган, имеющий быть созданным для защиты краевых интересов;

2) просить этот союзный орган, с участием представителей соседних областей, вольных народов и коренного неказачьего населения казачьих земель, а также сведущих лиц, разработать к Учредительному собранию проект такого устройства края, которое, обеспечивая полную самостоятельность национальностей и крупных бытовых групп в сфере местного законодательства, суда, управления, земельных отношений, культурной и экономической жизни, в то же время оставило бы ненарушенной тесную связь частей с целым, не поколебало бы единства и силы России».

Под этой довольно безобидной формой пожеланий и признания авторитета Всероссийского Учредительного собрания скрывались, однако, более реальные стремления. В них смешались начала государственно-охранительные и центробежные; стремление сохранить от разложения более устойчивую часть в интересах целого и желание использовать государственную смуту в интересах чисто местных.

Практического осуществления идея союза, однако, не получила. К концу сентября создано было «Объединенное правительство Юго-Восточного союза» во главе с В. А. Харламовым[1] — правительство чисто фиктивное, не только не оказавшее в ту трудную пору (конец 17-го — начало 18-го года) какого-либо влияния на ход событий, но просто прошедшее незамеченным для широких кругов населения Юга. Безвластие и бессилие областных правительств, неимение денежных средств и вооруженной силы, а главное — отсутствие опоры в народной массе лишили это начинание казачьей интеллигенции всякого реального значения.

Идея союза, однако, не была оставлена и в 1919 году, при совершенно иной военно-политической обстановке, вновь привлекла к себе серьезное внимание казачьих верхов.

* * *

15 ноября Закавказский комитет сложил свои полномочия, и власть перешла в руки «Закавказского комиссариата»

[1] Донской деятель, кадет, бывший комиссар Закавказья.

(правительства), избранного на совещании из представителей революционных организаций и социалистических партий. Этим же совещанием постановлен был созыв Закавказского сейма в составе членов, избранных во Всероссийское Учредительное собрание, пополненном членами политических партий. Сейм собрался в начале февраля. Еще ранее — в конце октября и в ноябре — собирались национальные съезды и возникли национальные советы.

Перед новым правительством, возглавлявшимся Гегечкори, позднее — перед сеймом, возникли вопросы необыкновенной важности и трудности: об отношении к русской государственности, о войне или мире и, наконец, о ликвидации Кавказского фронта, представлявшего в глазах правительства опасность не меньшую, чем угроза турецкого нашествия.

На первом совещании и национальных съездах идея русской государственности не потерпела никакого колебания. Лейтмотивом на них было решительное отмежевание от советского правительства и признание самостоятельного существования местной власти только временно, до восстановления общерусской центральной власти или до созыва Всероссийского Учредительного собрания. Но в сейме настроение создалось уже несколько иное: по почину мусульманской фракции его и грузинской партии национал-демократов был возбужден вопрос о полной независимости Закавказья. Мотивами выставлялись длительный характер русской смуты, необходимость предотвращения назревающего междоусобия и, главное, возможность заключения сепаратного мира с турками, нашествие которых грозило краю неисчислимыми бедствиями. Нет сомнения, что в самой постановке вопроса сказывалось уже весьма сильное германо-турецкое влияние, которое опиралось на панисламистские тенденции части кавказской интеллигенции, на общее недовольство разгорающейся анархией мусульманского населения, увидевшего в единоверных турках своих избавителей, и наконец на давнишнюю связь турецкого и германского правительств с «Комитетом освобождения Грузии». Комитет этот был образован партией грузинских национал-демократов еще в 1914 году и вошел с враждебными нам державами в договорные отношения, обязывавшие

одну сторону к предательству, другую — к созданию независимой Грузии.

Грузинские социал-демократы — наиболее влиятельная партия — присоединились к требованию независимости. Их лидер Ной Жордания, который в ноябре говорил, что и теперь «в пределах России грузинский народ должен искать устроения своей судьбы», в феврале на сейме сказал:

— Когда есть выбор — Россия или Турция, мы выбираем Россию. Но когда есть выбор — Турция или самостоятельность Закавказья, мы выбираем самостоятельность Закавказья.

Предложение, однако, встретило резкий протест в среде русских социалистов и армянских дашнакцутюнов. Решено было передать вопрос на обсуждение особой комиссии. Эта комиссия «обсудила вопрос в ряде заседаний с участием сведущих лиц — представителей армии, банков, финансового и других ведомств — и пришла к единодушному убеждению в невозможности самостоятельного существования Закавказья без поддержки какой-либо стратегически и экономически сильной державы».

Это заключение и признание сеймом «при известных условиях принципиально допустимым объявление Закавказья независимой республикой» если и не решали вопроса, то в значительной мере предрешали его. Окончательно он был разрешен позднее прямым воздействием германского правительства, поставившего себе целью расчленение России и в частности — полное отторжение от нее Закавказья.

Фронта в действительности не существовало. Поэтому, когда во второй половине ноября командующий турецкой армией Вехиб-паша предложил перемирие, генерал Пржевальский и закавказское правительство приняли предложение, и перемирие было заключено в начале декабря в Эрзинджане.

С этого времени начался хаотический отход русских корпусов и одновременно лихорадочное формирование национальных войск для охраны территории 1914 года. Шло оно туго в тылу и весьма неуспешно на фронте, наталкиваясь на сильное препятствие со стороны войсковых революционных учреждений и среди самих грузинских и армянских воинов, у которых стремление разойтись по домам было не менее сильно, чем у русских.

Общую директиву отходящие банды Кавказского фронта получили от «Второго краевого съезда Кавказской армии», состоявшегося в Тифлисе с 10 по 25 декабря. В воззвании к солдатам, подписанном Е. Вильямовским, говорилось:

«Съезд признал за вами право на оружие при оставлении армии для защиты родины от контрреволюционной буржуазии с ее приспешниками: Калединым (Донским атаманом), Дутовым (Оренбургским) и Филимоновым (Кубанским). Для руководства продвижения товарищей солдат и для борьбы с контрреволюцией на Северном Кавказе, на Кубани и в Закавказье избран съездом Краевой совет и военно-революционный комитет. Вы, товарищи, должны все принять участие в установлении советской власти. Провезти домой оружие вы можете лишь двигаясь сильными отрядами всех родов оружия, с избранным командным составом... Кто не может (провезти), сдавайте его советам, комитетам в Новороссийске, Туапсе, Сочи, Крыму и т. д., где есть представители советской власти»...

Солдаты двинулись двумя потоками, бросая на произвол судьбы миллиардное имущество. Один — в общем направлении на Тифлис, который несколько месяцев жил буквально в положении осажденного города; власти и комитеты употребляли героические усилия и вели форменные бои, чтобы отвести эти буйные и голодные массы от города далее на Баку и Северный Кавказ. Другой поток шел на Трапезунд, откуда захватываемые с бою транспорты развозили войска по портам Черного моря. В середине января в Трапезунде образовался «комитет по организации добровольческих отрядов для борьбы с контрреволюцией» и, благодаря предоставлению ему внеочередной перевозки, составлял с большим успехом формирования, которые спешно направлялись в Новороссийск против Кубани и Дона.

В феврале представители сейма и главного Кавказского командования ехали в Эрзерум для ведения переговоров о мире. Но судьбы мира были предрешены односторонней волей победителей. В Трапезунде делегация застала уже 37-ю турецкую дивизию Казимбея, занявшую город с согласия «интернационального комитета», так как местные со-

ветские власти отчаялись окончательно силами двух грузившихся последовательно корпусов отразить хотя бы шайки турецких разбойников, грабивших прилежащий сильно укрепленный район и даже окраины Трапезунда.

Турки вступали в город, встреченные советом рабочих и солдатских депутатов, почетным караулом и музыкой.

* * *

Я привел этот сжатый очерк, чтобы охарактеризовать положение, в котором оказалась зарождающаяся новая сила — Добровольческая армия.

От Харькова и Воронежа шли советские войска, и Бронштейном (Троцким) принимались все меры, чтобы «в кратчайший срок стереть с лица земли контрреволюционный мятеж казачьих генералов и кадетской буржуазии»... На Волге — Царицын, давний оплот большевизма, и Астрахань, перешедшая в руки большевиков после кровавой расправы с офицерством и буржуазией 24 января; далее на восток — павший 17 января Оренбург. На Кавказе — мятущиеся инородцы и надвигающийся поток бывшей Кавказской армии. На Черном море — порты, запруженные враждебными нам солдатскими бандами, и флот, поднявший красные флаги. Наконец, сама колыбель добровольчества Тихий Дон — если не враждебный, то, во всяком случае, только терпимо относившийся к непрошеным гостям.

Тогда мы совершенно не знали всей совокупности обстановки, будучи вскоре отрезаны от внешнего мира и питаясь лишь газетными слухами и сведениями от редких осведомителей, вносивших слишком много индивидуального в свои доклады. Приходилось опираться не столько на конкретные данные, сколько на внутренний голос, который почти всех нас — неказачьих генералов — побуждал верить в скорое исцеление казачества, казака Каледина привел к самоубийству, а казака Корнилова безотчетно звал... в Сибирь.

ГЛАВА XVI

«МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР». СВЯЗЬ МОСКВЫ С ДОНОМ. ПРИЕЗД НА ДОН ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА. ПОПЫТКИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ЮГЕ: «ТРИУМВИРАТ» АЛЕКСЕЕВ—КОРНИЛОВ—КАЛЕДИН; «СОВЕТ»; ВНУТРЕННИЕ ТРЕНИЯ В ТРИУМВИРАТЕ И СОВЕТЕ

Когда мы съехались в Новочеркасске, там многое изменилось.

Каледин признал окончательно необходимость совместной борьбы и не возбуждал более вопроса об уходе с Дона Добровольческой армии, считая ее теперь уже единственной опорой против большевизма.

6 декабря приехал Корнилов, с нетерпением ожидавшийся всеми. После первого свидания его с Алексеевым стало ясно, что совместная работа их, вследствие взаимного предубеждения друг против друга, будет очень нелегкой. О чем они говорили, я не знаю; но приближенные вынесли впечатление, что «расстались они темнее тучи».

В Новочеркасске уже образовалась «политическая кухня», в чаду которой наезжие деятели сводили старые счеты, намечали новые вехи и создавали атмосферу взаимной отчужденности и непонимания совершающихся на Дону событий. Собрались и лица, игравшие злосчастную роль в корниловском выступлении. Б. Савинков с безграничной настойчивостью, но вначале безуспешно, добивался приема у генералов Алексеева и Корнилова. Добрынский сводил дружбу с приближенными Корнилова, свидетельствуя о своей преданности генералу и необходимости своего участия в новом строительстве. Его присутствие около организации, благодаря неясному прошлому, странному поведению во время корниловского выступления и налету хлестаковщины, производило досадное впечатление. Завойко я уже не застал. Он вызвал всеобщее недоумение монополией сбора пожертвований и плел какую-то нелепейшую интригу с целью свержения Каледина и избрания на должность Донского атама-

на... генерала Корнилова. Ознакомившись с его деятельностью, Корнилов приказал ему в 24 часа покинуть Новочеркасск.

Приехали и представители Московского центра. Организация эта осенью 17-го года образовалась в Москве из представителей кадетской партии, совета общественных организаций, торгово-промышленников и других буржуазно-либеральных и консервативных кругов. Первоначально были присланы делегатами М. М. Федоров и А. С. Белецкий (Белоруссов) и еще двое. Позднее из числа этих лиц остался при Добровольческой армии только М. М. Федоров, а остальных заменили князь Г. Н. Трубецкой, П. Б. Струве и А. С. Хрипунов.

Пригласив к себе на конспиративную квартиру генерала Алексеева, делегация обратилась к нему с глубоко прочувствованным словом, растрогавшим генерала. Задачу делегации Федоров в общих чертах определял так: «Служить связью Добровольческой организации с Москвой и остальной общественной Россией, всемерно помогать генералу Алексееву в его благородном и национальном подвиге своим знанием, опытом, связями; предоставить себя и тех лиц, которые могли быть для этого вызваны, в распоряжение генерала Алексеева для создания рабочего аппарата гражданского управления при армии в тех пределах, какие вызывались потребностями армии и всей обстановкой ее деятельности, и отвезти те первые средства, которые были тогда собраны».

У Алексеева явились, таким образом, надежды расширить значительно масштаб Добровольческой организации — надежды, весьма скоро обманувшие его.

18 декабря состоялось первое большое совещание московских делегатов и генералитета. Предстояло решить основной вопрос существования, управления и единства Алексеевской организации. По существу весь вопрос сводился к определению роли и взаимоотношений двух генералов — Алексеева и Корнилова. И общественные деятели, и мы были заинтересованы в сохранении их обоих в интересах армии. Ее хрупкий еще организм не выдержал бы удаления кого-нибудь из них: в первом случае (при уходе Алексеева) армия раскололась бы, во втором — она развалилась бы. Между тем обоим в узких рамках только что начинавшегося дела было, очевидно, слишком тесно.

Произошла тяжелая сцена. Корнилов требовал полной власти над армией, не считая возможным иначе управлять ею и заявив, что в противном случае он оставит Дон и переедет в Сибирь; Алексееву, по-видимому, трудно было отказаться от прямого участия в деле, созданном его руками. Краткие, нервные реплики их перемешивались с речами общественных деятелей (в особенности страстно реагировал Федоров), которые говорили о самопожертвовании и о государственной необходимости соглашения. После второго заседания оно как будто состоялось: вся военная власть переходила к Корнилову. Недоразумения начались вновь при приеме Алексеевской организации, когда выяснилась полная материальная необеспеченность армии не только в будущем, но даже и в текущих потребностях. Корнилов опять отказался от командования армией; но после новых уговоров было достигнуто соглашение. На Рождество был объявлен «секретный» приказ о вступлении генерала Корнилова в командование *армией*, которая с этого дня стала именоваться официально *Добровольческой.*

* * *

Предстояло разрешить еще один важный вопрос — о существе и формах органа, возглавляющего все движение. Принимая во внимание взаимоотношения генералов Алексеева и Корнилова и привходящие интересы Дона, форма «верховной власти», естественно, определялась в виде *триумвирата Алексеев — Корнилов — Каледин.* Так как территория, подведомственная триумвирату, не была установлена, а мыслилась в пределах стратегического влияния Добровольческой армии, то триумвират представлял собой в скрытом виде *первое общерусское противобольшевистское правительство.* В таком эмбриональном состоянии оно просуществовало в течение месяца, до смерти Каледина.

Конституция новой власти все еще обсуждалась и грозила внести новые трения в налаживавшиеся с таким трудом отношения. Поэтому я набросал проект «конституции» приблизительно по следующей схеме:

1. Генералу Алексееву — гражданское управление, внешние сношения и финансы.

2. Генералу Корнилову — власть военная.

3. Генералу Каледину — управление Донской областью.

4. Верховная власть — триумвират. Он разрешает все вопросы государственного значения, причем на заседаниях председательствует тот из триумвиров, чьего ведения вопрос обсуждается.

Моя записка, прочтенная на конспиративной квартире профессора К-ва совещанию генералов[1], была одобрена и, отредактированная затем начальником штаба армии генералом Лукомским, подписана триумвирами и послана Московскому центру с одним из возвращавшихся делегатов.

Если этот документ попадет когда-нибудь в руки государствоведа, то для сведения его сообщаю: это не было упражнением в области государственно-правовых форм власти, а исключительно психологическим средством, вполне достигшим цели. В то время и при той необыкновенно сложной обстановке, в которой жили Дон и армия, формы *несуществующей фактически государственной власти* временно были совершенно безразличны. Единственное, что было тогда важно и нужно, — это создать мощную вооруженную силу, чтобы этим путем остановить потоп, заливающий нас с севера. С восстановлением этой силы пришла бы и власть.

В таких же муках рождался «Совет». По определению главного инициатора этого учреждения Федорова, задачи Совета заключались в «организации хозяйственной части армии, сношениях с иностранцами и возникшими на казачьих землях местными правительствами и с русской общественностью»; наконец, в «подготовке аппарата управления по мере продвижения вперед Добровольческой армии».

В состав Совета от русской общественности вошли московские делегаты Федоров, Белецкий, позднее Струве и князь Г. Трубецкой; персонально — П. Милюков.

Первое затруднение при образовании Совета встречено было со стороны «Донского экономического совещания»,

[1] Генералы Алексеев, Корнилов, Каледин, Лукомский, Романовский, Марков и я.

возникшего еще в половине ноября, возглавляемого кадетом Н. Парамоновым и состоявшего из донских и пришлых общественных деятелей. Экономическое совещание при Донском атамане и правительстве играло до некоторой степени роль, тождественную той, которая намечалась Совету. Явилось поэтому неприкрытое соревнование в вопросе о приоритете в освободительном движении донского казачества и добровольчества и, сообразно с этим, Экономического совещания и Совета. Вопрос, впрочем, был скоро улажен вмешательством Каледина и М. Богаевского: Совет был признан, и в состав его вошли Парамонов и М. Богаевский.

За кулисами продолжалась работа Савинкова. Первоначально он стремился во что бы то ни стало связать свое имя с именем Алексеева, возглавить вместе с ним организацию и обратиться с совместным воззванием к стране. Эта комбинация не удалась. Корнилов в первые дни после своего приезда не хотел и слышать имени Савинкова. Но вскоре Савинков добился свидания с Корниловым. Начались длительные переговоры между генералами Алексеевым и Корниловым, с одной стороны, и Савинковым — с другой; в них приняли участие как посредники Милюков и Федоров. Савинков доказывал, что «отмежевание от демократии составляет политическую ошибку», что в состав Совета необходимо включить представителей демократии в лице его — Савинкова — и группы его политических друзей; что такой состав Совета снимет с него обвинение в скрытой реакционности и привлечет на его сторону солдат и казачество. Он утверждал, кстати, что в его распоряжении имеется в Ростове значительный контингент революционной демократии, которая хлынет в ряды Добровольческой армии.

Все три генерала относились отрицательно к Савинкову. Но Каледин считал, что «без этой уступки демократии ему не удастся обеспечить пребывание на Дону Добровольческой армии». Алексеев уступал перед этими доводами, а Корнилова смущала возможность упрека в том, что он препятствует участию Савинкова в организации по мотивам личным, восходящим ко времени августовского выступления.

На одном из военных совещаний генерал Алексеев предъявил ультимативный запрос Савинкова относительно принятия

его условий. Конечным сроком для ответа Савинков назначал 4 часа дня (было 2), после чего оставлял за собой «свободу действий». Члены триумвирата долго обсуждали это странное обращение; Лукомский, Романовский и я не принимали участия в их разговоре. Наконец я выразил изумление, что уходит время на обсуждение более чем смелого требования лица, представляющего только себя лично и уже один раз сыгравшего отрицательную роль в корниловском выступлении.

Условия, однако, были приняты на том основании, что не стоит наживать врага. В состав Совета вошли четыре социалиста — Б. Савинков и указанные им лица: бывший комиссар 8-й армии Вендзягольский, донской демагог Агеев и председатель крестьянского съезда, бывший ссыльный и эмигрант Мазуренко.

От сделанного мне предложения Корнилова вступить в состав Совета я отказался.

Участие Савинкова и его группы не дало армии ни одного солдата, ни одного рубля и не вернуло на стезю государственности ни одного донского казака; оно лишь вызвало недоумение в офицерской среде.

В силу общих неблагоприятных условий и отсутствия подлежащей управлению территории деятельность Совета имела самодовлеющий характер и в жизни армии не отражалась вовсе. К тому же в недрах самого учреждения создались совершенно ненормальные отношения, о которых один из членов Совета пишет: «Оба течения, правое и левое, держались обособленно. Савинков внушал к себе недоверие со стороны правых и чувствовал это. Когда он что-нибудь предлагал, все настораживались и старались отклонить его предложение. Но эта обструкция была поневоле слабой, потому что редко кто из нас вносил, в свою очередь, другое предложение».

Впрочем, Совет просуществовал всего недели 2—3 и в середине января, с переездом штаба армии в Ростов, фактически прекратил свою деятельность.

Часть членов его разъехалась. Савинков взял на себя поручение «войти в сношение с некоторыми известными демократическими деятелями» и отбыл в Москву. Удостоверение за подписью Алексеева открывало ему новые возможности. Его

именем он начал собирать офицерство, распыляя наши силы, и организовывать восстания, которые были скоро и кроваво подавлены большевиками.

Вендзягольский уехал в Киев для связи с Юго-Западным фронтом, отчасти — с поляками и чехословаками, и вскоре обратился к армии с воззванием, начинавшимся такими неожиданными словами: «От имени последнего русского правительства — национального и неизменнического, сверженного в октябре большевиками, — я, военный комиссар 8-й армии, объявляю»... Вряд ли можно было найти более одиозные к тому времени в военной среде понятия, как «Временное правительство» и «комиссар», чтобы их авторитетом побудить офицеров и солдат ехать на Дон...

* * *

Главный вопрос, от которого зависело само существование армии, — денежный — оставался по-прежнему неразрешенным.

Денежная Москва ограничилась «горячим сочувствием» и обещаниями отдать «все» на спасение Родины. «Все» выразилось в сумме около 800 тысяч рублей, присланных в два приема; и дальше этого Москва не пошла. Впоследствии, по мере утверждения советской власти и захвата ею средств буржуазии, неограниченные ранее финансовые возможности последней значительно сократились.

Повторилось опять то явление, которое имело место в дни корниловского выступления. И генералы Алексеев и Корнилов с полным основанием обращались с суровым осуждением к Московскому центру в лице его делегатов.

Московский центр в лице трех его членов, командированных в Петроград, обратился за финансовой помощью и к союзным дипломатам. Попытка эта также не привела ни к чему. В первое время после большевистского переворота иностранные посольства находились в состоянии страха и полной растерянности. Английское, впрочем, устами второстепенного представителя майора Киза обещало крупную материальную поддержку.

По мысли Федорова и московской делегации, от имени оставшихся на свободе членов Временного правительства местной казенной палате предложено было обращать 25%

всех областных государственных сборов на содержание борющейся против большевиков армии. После длительных переговоров с атаманом и донским правительством эта мера и была осуществлена, причем общая сумма отнесена в равных долях на нужды Добровольческой и Донской армий.

Этот источник был главным средством существования армии и в силу зависимости от донской власти, постоянных трений с нею и крайне слабого поступления казенных доходов являлся весьма скудным и ненадежным. Чтобы расширить на тех же началах финансовую базу, в Екатеринодар и Владикавказ был командирован Федоров и г-н Н. Кубанское правительство отказало наотрез, а с последовавшим падением Дона и исходом армии дальнейшие попытки в этом направлении прекратились.

Тем временем сбор средств шел и на местах: ростовская плутократия по подписке дала около $6^1/_2$ миллионов, новочеркасская — около 2. Половина этих сумм должна была поступить в фонд Добровольческой армии, но фактически до самого нашего выхода казначейству удалось собрать с трудом не более 2 миллионов.

Временами состояние добровольческой казны было таково, что приходилось для ее нужд в ростовских банках учитывать мелкие векселя кредитоспособных беженцев. Впоследствии в учреждениях Юга России возникла даже тяжба для решения вопроса, кто был Мининым: банк или беженец.

Вместе с тем отделения государственного банка и казначейства Дона, не подкрепляемые наличностью, испытывали большие затруднения, грозившие еще больше запутать экономическое положение области. Ввиду этого по инициативе донского экономического совещания донская власть приступила к печатанию собственных денежных знаков — операция, осуществленная в значительных размерах только весною 1918 года после освобождения Дона.

* * *

Внутренние трения в триумвирате не прекращались. Однажды едва не кончились полным разрывом. 9 января, незадолго до переезда в Ростов, меня и Лукомского вызвали спешно в помещение канцелярии генерала Алексеева. Пришли мы

поздно, когда все уже кончилось, и с удивлением услышали о происшедшем столкновении.

Некто капитан Капелька, состоявший при штабе Алексеева, со слов Добрынского доложил Алексееву о предстоящем «перевороте»: с переездом в Ростов генерал Корнилов должен был свергнуть триумвират и объявить себя диктатором; сделаны якобы уже назначения до «московского генерал-губернатора» включительно.

Невзирая на мутный источник этих сведений, генерал Алексеев, предубежденный в отношении Корнилова, не переговорив с кем-либо из нас, собрал членов Совета и старших генералов и пригласил генерала Корнилова для объяснений.

Корнилов, взбешенный подобным обвинением и инсценировкой «судилища», ответил резким словом и удалился. На другой день московская делегация получила письма с отказом от участия в организации обоих генералов — Алексеева и Корнилова. Опять пришлось уговаривать: Алексеева — мне лично, Корнилова — вместе с Калединым.

Корнилов удовлетворился извинениями Алексеева, но при этом потребовал от московской делегации: «1) письменного извещения, что Совет признает себя органом только совещательным при коллегии из трех генералов, и ни один вопрос, внесенный на рассмотрение Совета, не получает окончательного решения без утверждения означенных трех лиц; 2) включения в состав Совета начальника штаба армии и председателя вербовочного комитета; 3) признания за командующим Добровольческой армией права назначения лиц, обязательно из военных, возглавляющих военно-политические центры[1]... с указанием, что эти лица получают инструкции по военным делам только от штаба армии». И прочее.

В ответ на это требование 12 января поступило письмо, подписанное Федоровым, Струве и князем Трубецким:

«Обсудив вместе с генералами Лукомским, Дениникым, Романовским и Марковым общее положение организации и наиболее целесообразные способы наладить в дальнейшем

[1] Эпизоды с командировкой Савинкова в Москву и Вендзягольского в Киев.

работу ее, мы пришли к заключению»... И далее удовлетворялись все требования Корнилова.

Чтобы понять обращение Корнилова именно к московской делегации, нужно иметь в виду, что в глазах триумвирата она пользовалась известным значением, так как с ней связывалось представление о широком фронте русской общественности. Это было добросовестное заблуждение членов делегации, так же добросовестно вводивших в заблуждение и всех нас. Сами они стремились принести пользу нашей армии, но за ними не было никого: Московский центр, по-видимому, забыл и своих представителях на Дону, и свои обязательства в отношении Добровольческой армии...

* * *

Итак, еще один подводный камень был обойден.

Много раз потом мне приходилось выслушивать сомнение, правильно ли поступали мы все, употребляя такие усилия, чтобы соединить несоединимое, статику и динамику добровольческого движения. И не лучше ли было предоставить каждому из вождей идти своим путем... Полагаю, что в обстановке того времени иначе поступать мы не могли, а в масштабе историческом то или иное решение вопроса вряд ли могло бы видоизменить ход событий, управляемых великими и неведомыми законами бытия.

ГЛАВА XVII
ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ. ЕЕ ЗАДАЧИ. ДУХОВНЫЙ ОБЛИК ПЕРВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Под влиянием всякого рода недоразумений Корнилов все еще колебался с окончательным решением. На него угнетающе действовали отсутствие «полной мощи», постоянные трения и препятствия, встречаемые на пути организации армии, скудость средств и ограниченность перспектив. Извне на Корнилова оказывали давление в двух направлениях. Одни считали, что для человека столь крупного «всероссийского» масштаба слишком мелко то дело, которое зарождалось в Новочеркасске, и что ему необходимо временно устраниться с военно-политического горизонта, чтобы впоследствии возглавить широкое национальное движение. Ранее этот взгляд поддерживал по побуждениям личным Завойко. Другие звали генерала в Сибирь, на его родину, где «нет самостийных стремлений» и где почва в социальном и бытовом отношении казалась наиболее чуждой большевизму. Наконец, были и просто авантюристы, вроде И. Добрынского, который, в неудержимом стремлении играть политическую роль, применял все виды шантажа. Так, в середине января по каким-то атавистическим признакам он неожиданно оказался астраханским казаком, нашил желтые лампасы и явился к генералу Корнилову в сопровождении находившихся в Ростове г-д Н. Киселева и Б. Самсонова в качестве делегации «от поволжского купечества и Астраханского, соединенного с Калмыцким, войска». Обращение, подписанное этими тремя лицами 16 января, после дифирамба диктатуре и вождю звало Корнилова в Астрахань для водворения в губернии законности и порядка, обещало широкую материальную поддержку и заканчивалось такой политически безграмотной тирадой, превращавшей идею добровольчества в своего рода средневековый институт ландскнехтов: «Купечество произведет милитаризацию своих предприятий, сохранив за военными навсегда их служебное положение, дав обязательство в том, что все назначения в этом смысле будут происходить с согласия генерала Корнилова».

В эти дни Астрахань, как я уже говорил, агонизировала и 24-го после жестокой резни перешла в руки большевиков.

Однако мало-помалу связь Корнилова с армией укреплялась все более; и чем серьезнее, безвыходнее становилось положение, тем больше росла его привязанность к добровольцам и их преклонение перед своим вождем. Его имя сразу заняло центральное место и стало тем нравственным стержнем, вокруг которого группировались все боевые элементы армии. Те трения, которые происходили между Алексеевым и Корниловым, находили прямое отражение (иногда, наоборот, служили отражением) только среди политиканствующего привилегированного офицерства, стоявшего ближе к обоим генералам и создавшего разделение на «корниловцев» и «алексеевцев». Только в этой среде, и то весьма

сдержанно, шли разговоры о «демократизме» Корнилова и «монархизме» Алексеева и делались вытекающие из этого выводы. Армии это было тогда безразлично. Армия воспринимала положение более просто и непосредственно. Она относилась с искренним уважением, доверием и любовью к Алексееву, помня его прежние заслуги, зная его доброту, доступность и трогательное внимание к ее нуждам. Но вместе с тем армия чувствовала, что повести ее в кровавый бой должен, конечно, Корнилов, имя которого было овеяно боевой славой, окружено уже легендой. В глазах добровольчества жизнь сплела эти имена. И Алексеев и Корнилов были необходимы армии. Поэтому я, вместе с Лукомским и Романовским, считал своим долгом примирять обе стороны и сглаживать, насколько возможно, возникавшие недоразумения. А накоплявшаяся на поверхности военно-общественного движения людская накипь вела между тем систематически разрушительную работу. Она проявлялась ежедневно во всех мелочах жизни, но дважды вызвала особенно тягостное впечатление: в эпизоде с «объявлением диктатуры», приведенном мною в предыдущей главе, и в событии, имевшем место перед самым выступлением армии из Ростова. Некоторые лица явились к начальнику штаба[1] и представили список офицеров, которые якобы решили организовать убийство Корнилова. В списке фигурировали имена людей «алексеевского окружения» и некоторых чинов штаба. Когда Романовский, смотревший на этот инцидент как на злостную выдумку, все же собрался доложить о нем генералу Корнилову, тот перебил его:

— Мне это известно.

И перешел к текущим вопросам.

Оскорбленные наветом офицеры требовали реабилитации или отчисления их из армии. Через 2—3 дня Корнилов собрал их и сказал:

— Дело не в Корнилове. Я просто не допускаю мысли, чтобы в армии нашлись офицеры, которые могли бы поднять руку на своего командующего. Я вам верю и прошу продолжать службу.

[1] Тогда был уже Романовский.

* * *

Донская политика привела к тому, что командующий Добровольческой армией генерал Корнилов жил конспиративно, ходил в штатском платье, и имя его не упоминалось официально в донских учреждениях.

Донская политика лишила зарождающуюся армию еще одного весьма существенного организационного фактора. Кто знает офицерскую психологию, тому понятно значение *приказа*. Генералы Алексеев и Корнилов при других условиях могли бы отдать приказ о сборе на Дону всех офицеров русской армии. Такой приказ был бы юридически оспорим, но морально обязателен для огромного большинства офицерства, послужив побуждающим началом для многих слабых духом. Вместо этого распространялись анонимные воззвания и «проспекты» Добровольческой армии. Правда, во второй половине декабря в печати, выходившей на территории советской России, появились довольно точные сведения об армии и ее вождях. Но не было властного приказа, и ослабевшее нравственно офицерство шло уже на сделки с собственной совестью. Пробирались в армию сотни, а десятки тысяч, в силу многообразных обстоятельств, в том числе и главным образом тяжелого семейного положения и слабости характера, выжидали, переходили к мирным занятиям, преображались в штатских людей или шли покорно на перепись к большевистским комиссарам, на пытку в «чрезвычайки», позднее — на службу в Красную Армию. Часть офицерства оставалась еще на фронте, где офицерское звание было упразднено и где Крыленко доканчивал «демократизацию», проходившую, по словам его доклада Совету народных комиссаров, «безболезненно, если не считать того, что в целом ряде частей стрелялись офицеры, которых назначали на должность кашеваров»... Другая часть распылялась. Важнейшие центры — Петроград, Москва, Киев, Одесса, Минеральные Воды, Владикавказ, Тифлис — были забиты офицерами. Пути на Дон были, конечно, очень затруднены[1], но твердую волю

[1] С Кавказа не особенно затруднены. Большая группа офицерства, преимущественно гвардейского, в Минеральных Водах не откликнулась вовсе на призыв командированного туда генерала Эрдели.

настоящего русского офицера не остановили бы никакие кордоны. Невозможность производства мобилизации даже на Дону привела к таким поразительным результатам: напор большевиков сдерживали несколько сот офицеров и детей — юнкеров, гимназистов, кадетов, — а панели и кафе Ростова и Новочеркасска были заполнены молодыми здоровыми офицерами, не поступавшими в армию. После взятия Ростова большевиками советский комендант Калюжный жаловался в совете рабочих депутатов на страшное обременение работой: тысячи офицеров являлись к нему в управление с заявлениями, «что они не были в Добровольческой армии». Так же было и в Новочеркасске. Донское офицерство, насчитывающее несколько тысяч, до самого падения Новочеркасска уклонилось вовсе от борьбы. В донские партизанские отряды поступали десятки, в Добровольческую армию единицы, а все остальные, связанные кровно, имущественно, земельно с войском, не решались пойти против ясно выраженного настроения и желаний казачества.

Надежды на Москву также не оправдались. В ноябре приехал к генералу Алексееву посланец от Брусилова: Брусилов писал, что тяжелое испытание, ниспосланное России, должно побудить всех честных людей работать совместно. Узнав, что Алексеев формирует армию, он отдает себя в полное его распоряжение и просит полномочий для работы в Москве. Алексеев ответил сердечным письмом, в котором изложил свои планы и надежды, дал полномочия и поставил задачу — направлять решительно всех офицеров и все средства на Дон. Скоро, однако, алексеевский штаб убедился, что Брусилов переменил направление и, пользуясь остатком своего авторитета, запрещал выезд офицеров на Дон. Вероятно, нет более тяжелого греха у старого полководца, потерявшего в тисках большевистского застенка свою честь и достоинство, чем тот, который он взял на свою душу, давая словом и примером оправдание сбившемуся офицерству, поступавшему на службу к врагам русского народа.

Свою, вероятно, не последнюю в жизни эволюцию он объяснил позднее следующими, полными внутренней лжи словами:

— Я подчиняюсь воле народа. Он вправе иметь правительство, какое желает. Я могу быть не согласен с отдельными положениями, тактикой советской власти; но, признавая здоровую жизненную основу, охотно отдаю свои силы на благо горячо любимой мною родины[1].

Цели, преследуемые Добровольческой армией, впервые были обнародованы в воззвании, исходившем из штаба 27 декабря.

1. Создание «организованной военной силы, которая могла бы быть противопоставлена надвигающейся анархии и немецко-большевистскому нашествию. Добровольческое движение должно быть всеобщим. Снова, как в старину, 300 лет тому назад, вся Россия должна подняться всенародным ополчением в защиту своих оскверненных святынь и своих попранных прав».

2. «Первая непосредственная цель Добровольческой армии — противостоять вооруженному нападению на юг и юго-восток России. Рука об руку с доблестным казачеством, по первому призыву его круга, его правительства и войскового атамана, в союзе с областями и народами России, восставшими против немецко-большевистского ига, все русские люди, собравшиеся на юге со всех концов нашей Родины, будут защищать до последней капли крови самостоятельность областей, давших им приют и являющихся последним оплотом русской независимости, последней надеждой на восстановление Свободной Великой России.

3. Но рядом с этой целью и другая ставится перед Добровольческой армией. Армия эта должна быть той действенной силой, которая даст возможность русским гражданам осуществить дело государственного строительства Свободной России. Новая армия должна стать на страже гражданской свободы, в условиях которой хозяин земли русской — ее народ — выявит через посредство избранного Учредительного собрания державную волю свою. Перед волей этой должны преклониться все классы, партии и отдельные группы населения. Ей одной будет служить создаваемая армия, и все участвующие в ее образовании будут беспрекословно подчиняться законной власти, поставленной этим Учредительным собранием».

---

[1] Из беседы с корреспондентом «Нового пути». Лето 1921 года.

В заключение воззвание призывало «встать в ряды Российской рати... всех, кому дорога многострадальная Родина, чья душа истомилась к ней сыновней болью».

Отозвались, как я уже говорил, офицеры, юнкера, учащаяся молодежь и очень-очень мало прочих «городских и земских» русских людей. «Всенародного ополчения» не вышло. В силу создавшихся условий комплектования армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недостаток, приобретая характер *классовый*. Нет нужды, что руководители ее вышли из народа, что офицерство в массе своей было демократично, что все движение было чуждо социальных элементов борьбы, что официальный символ веры армии носил все признаки государственности, демократичности и доброжелательства к местным областным образованиям. Печать классового отбора легла на армию прочно и давала повод недоброжелателям возбуждать против нее в народной массе недоверие и опасения и противополагать ее цели народным интересам.

Было ясно, что при таких условиях Добровольческая армия не может выполнить своей задачи в общероссийском масштабе. Но оставалась надежда, что она в состоянии будет сдержать напор неорганизованного пока еще большевизма и тем даст время окрепнуть здоровой общественности и народному самосознанию, что ее крепкое ядро со временем соединит вокруг себя пока еще инертные или даже враждебные народные силы.

Лично для меня было и осталось непререкаемым одно весьма важное положение, вытекавшее из психологии октябрьского переворота:

Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступления большевистской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую родину, — это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с Запада и Востока.

К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому *русскому народу.*

* * *

Формирование армии вначале носило поневоле случайный характер, определяясь зачастую индивидуальными особенностями тех лиц, которые брались за это дело. К началу февраля в состав армии входили:

1. Корниловский ударный полк (подполковник Неженцев).
2. Георгиевский полк из небольшого числа офицерских кадров, прибывших из Киева (полковник Кириенко).
3. 1-й, 2-й, 3-й офицерские батальоны — из офицеров, собравшихся в Новочеркасске и Ростове (полковник Кутепов, подполковники Борисов и Лаврентьев, позднее полковник Симановский).
4. Юнкерский батальон — главным образом из юнкеров столичных училищ и кадетов (штабс-капитан Парфенов).
5. Ростовский добровольческий полк из учащейся молодежи Ростова (генерал-майор Боровский).
6. Два кавалерийских дивизиона (полковники Гершельман и Глазенап).
7. Две артиллерийские батареи — преимущественно из юнкеров артиллерийских училищ и офицеров (подполковники Миончинский и Ерогин).
8. Целый ряд мелких частей, как-то: «морская рота» (капитан 2-го ранга Потемкин), инженерная рота, чехословацкий инженерный батальон, дивизион смерти Кавказской дивизии (полковник Ширяев) и несколько партизанских отрядов, называвшихся по именам своих начальников[1].

Все эти полки, батальоны, дивизионы были, по существу, только кадрами, и общая боевая численность всей армии вряд ли превосходила 3—4 тысячи человек, временами, в период тяжелых ростовских боев, падая до совершенно ничтожных размеров. Армия обеспеченной базы не получила. Приходилось одновременно и формироваться, и драться, неся большие потери и иногда разрушая только что сколоченную с большими усилиями часть.

---

[1] Донцам удалось сформировать несколько хороших партизанских отрядов, о которых говорится дальше.

Около штаба кружились авантюристы, предлагавшие формировать партизанские отряды. Генерал Корнилов слишком доверчиво относился к подобным людям, и зачастую, получив деньги и оружие, они или исчезали, или отвлекали из рядов армии в тыл элементы послабее нравственно, или составляли шайки мародеров. Особенную известность получил отряд сотника Грекова — «Белого дьявола», как он сам себя именовал, — который в течение двух-трех недель разбойничал в окрестностях Ростова, пока наконец отряд не расформировали. Сам Греков где-то скрывался и только осенью 1918 года был обнаружен в Херсоне или Николаеве, где вновь по поручению городского самоуправления собрал отряд, прикрываясь добровольческим именем. Позднее был пойман в Крыму и послан на Дон в руки правосудия. Какой-то туземец вербовал персов, набирая их, как оказалось, среди подонков ростовских ночлежных домов... Все эти импровизации вносили расстройство в организацию армии и придавали несвойственный ей скверный налет. К счастью, вскоре этому был положен предел. Назревала мистификация и в более широком масштабе: из Екатеринодара приехал некто Девлет-хан-Гирей, с предложением «поднять черкесский народ», для чего потребовался аванс в 750 тысяч рублей и до 9 тысяч ружей. Только пустая армейская казна остановила этот странный опыт, так неудачно повторенный впоследствии.

Армия пополнялась на добровольных началах, причем каждый доброволец давал подписку прослужить четыре месяца и обещал беспрекословное повиновение командованию. Состояние казны давало возможность оплачивать добровольцев до крайности нищенскими окладами:

		Офицеры	Солдаты
1917 г.	Ноябрь	Только паек	Только паек
1917 г.	Декабрь	100 руб.	30 руб.
1918 г.	Январь	150 руб.	50 руб.
1918 г.	Февраль[1]	270 руб.	150 руб.

[1] Кроме того, небольшая прибавка семейным.

В офицерских батальонах, отчасти и батареях, офицеры несли службу рядовых в условиях крайней материальной необеспеченности. В донских войсковых складах хранились огромные запасы, но мы не могли получить оттуда ничего иначе, как путем кражи или подкупа. И войска испытывали острую нужду решительно во всем: не хватало вооружения и боевых припасов, не было обозов, кухонь, теплых вещей, сапог... И не было достаточно денег, чтобы удовлетворить казачьи комитеты, распродававшие на сторону все, до совести включительно...

Высоко поучительна история создания добровольческой артиллерии. Одну батарею (два орудия) украли в 39-й дивизии, ушедшей самовольно с Кавказского фронта и обратившей Ставропольскую губернию в свой лен. Сборный офицерско-юнкерский отряд произвел ночной набег на одно из селений, расположенных в районе Торговой (Ставропольской губернии, верст за полтораста от Новочеркасска), где квартировала батарея; отбил у солдат два орудия и привез их в Новочеркасск. Два орудия мы взяли на донском складе с разрешения комитета для отдания почестей на похоронах добровольческих офицеров и «затеряли». Одну батарею купили у вернувшихся с фронта казаков-артиллеристов, послав к ним полковника Тимановского, который споил команду и уплатил ей около 5 тысяч рублей. Можно себе представить наше огорчение, когда донцы неожиданно отказались от сделки, ввиду того, что войсковой штаб назначил в батарею пополнение и неизвестно было, как оно отнесется к самоупразднению. Послали телеграмму в донской штаб, который поспешил отменить свое распоряжение.

Наконец, в начале января команда в составе около 40 офицеров и юнкеров была командирована в Екатеринодар за уступленными нам кубанским атаманом пушками. На узловой станции Тимашевской вагон с добровольцами окружили казаки местного Кубанского полка, и когда после долгих споров добровольцы, не желая пролития крови, согласились сдать оружие с тем, что их пропустят в Екатеринодар[1], казаки перецепили вагон и под сильным конвоем отправили его...

[1] В этом их заверил и штабс-офицер Кубанского полка.

в Новороссийск, сдав добровольцев военно-революционному комитету. Несколько человек на полном ходу выбросились из вагона и вернулись в Ростов, остальные томились почти восемь месяцев в Новороссийской тюрьме в ожидании той участи, которая постигла там вскоре несчастных офицеров Варнавинского полка. (Команда контрминоносца «Керчь», совместно с советскими властями города, сняла с транспорта, отходившего от пристани с 491-м Варнавинским полком, выданных солдатами после некоторого колебания всех офицеров полка. В тот же день, 18 февраля, офицеры, помещенные на баржу, были раздеты, связаны, изувечены, изрублены, расстреляны, а затем сброшены в море. Через несколько месяцев трупы несчастных стали всплывать на поверхность воды...) По счастливой случайности артиллеристы остались целы и были выручены вступившими в Новороссийск в августе 1918 года частями Добровольческой армии.

Сколько мужества, терпения и веры в свое дело должны были иметь те «безумцы», которые шли в армию, невзирая на все тяжкие условия ее зарождения и существования!

Отличительным знаком новой армии был нашиваемый на рукав угол из лент национальных цветов.

Я был назначен начальником «Добровольческой дивизии», в состав которой входили все наши формирования, так что в сущности возникало двоевластие, устраненное впоследствии, в начале февраля. Хозяйственных функций у меня не было никаких. Начальником штаба «дивизии» стал генерал Марков; штаб — 4—5 офицеров.

При командующем армией образовался большой штаб армии, возглавляемый генералом Лукомским и ведавший всеми организационными, административными, хозяйственными вопросами, а также высшим оперативным руководством армии. Имел свой штаб и генерал Алексеев. Несоответствие численности наших штабов боевому составу армии резко бросалось в глаза и вызывало осуждение в рядах войск. Вызывалось оно разными причинами: широким размахом, который хотели придать всему начинанию, навыком начальников, занимавших ранее высокие посты и привыкших к большому масштабу работы, наличием многих

опытных штабных работников, не годившихся к строевой службе, и, конечно, тем стихийным стремлением всех штабов всех времен к саморазмножению, с которым безнадежно боролись и Корнилов, и впоследствии я. Отчасти на этой почве в конце января произошло недоразумение между генералом Корниловым и генералом Лукомским, после чего в должность начальника штаба армии вступил генерал Романовский, а Лукомский был назначен представителем армии при Донском атамане.

Штаб армии состоял из двух отделов — строевого и снабжения. Первым ведал генерал Романовский, вторым — генерал Эльснер. В первый период деятельность Ивана Павловича заслонялась многими наслоившимися инстанциями и не привлекала к себе особенного внимания. Только его манера резко и откровенно обрывать людей недобросовестных, независимо от положения, — людей, которые все больше облепляли организацию, — создавала этому скромнейшему по характеру человеку репутацию «надменного». Зато на почве тяжелого материального положения армии всеобщее озлобление обрушилось на голову начальника снабжения генерала Эльснера. Его бранили и в строю, и в штабах, и среди общественных деятелей, причастных к организации. Впоследствии А. Суворин зло и несправедливо обрушился на него в печати. Действительно, суровое время требовало и других людей. Эльснер был выдающимся начальником снабжения Юго-Западного фронта, а здесь нужен был просто хороший, крепкий интендант, умеющий найти и купить. Эльснер был добросовестным, медлительным и трудолюбивым, несколько придавленным бердичевским и быховским сидением, состарившими его, и слишком добрым, тогда как требовалась исключительная энергия, порыв и безжалостность. Наконец, Эльснер был честен, тогда как подлое время требовало, очевидно, и подлых приемов. Генерал Алексеев, по выходе книги А. Суворина вступившийся за Эльснера, между прочим писал: «Начинали мы работу с грошами, а главное — совершенно не имели времени и возможности готовиться к походу... Наиболее тяжким и кошмарным представлялся (тогда)... вопрос санитарный... Вы знаете причины этого: не недостаток средств, а полное отсутствие людей, готовых беззаветно

и умело работать в этой области. Так и по другим частям: нет энергичного интенданта —толкового и дельного; нет других сотрудников, могущих честно и продуктивно работать в области хозяйства»[1].

Был, впрочем, в организации один инженер, обладавший как раз всеми свойствами, противоположными тем, которыми судьба наделила Эльснера. Но и он в тогдашней удручающей обстановке не дал армии ничего, себе же создал весьма сомнительную репутацию.

Назначение начальников строевых частей вначале имело поневоле чисто случайный характер: выбора не было, людей не знали. Один оказался пьяницей и садистом и, будучи исключен из армии, впоследствии подобрал шайку, нанялся к ставропольским овцеводам и терроризировал население, пока не был предан суду. Другой, выдававший себя за родственника Корнилова, — бестолковый и недалекий, игравший на аракчеевском «без лести предан» и льстивший до приторности командующему, графоман и кляузник, — в течение трех недель безнадежно путал в деле командования отрядом, пока случай не избавил нас от него: после одного тяжелого боя он уехал в Ростов и оттуда послал своему заместителю на позицию распоряжение присылать ежедневно по 15—20 человек под видом обмороженных; таким образом соберется весь отряд и отдохнет. А в эти дни поредевший фронт еле держался. Письмо попало в руки генерала Корнилова и решило участь писавшего: он был уволен в резерв.

Корнилов привязывался к людям, верил им и страдал, когда обнаруживалась ошибка. Помню, как в тот день он характерным жестом провел рукою по опечаленному лицу и сказал:

— Как тяжело разочаровываться в людях.

Такие типы были, однако, исключением. В большинстве подобрались высокодоблестные командиры, а тяжкие бои и поход создавали тесное взаимное общение и близкое знакомство и отсеивали постепенно все более слабое. Добровольческая армия чтит память многих первых своих командиров. Неженцев — влюбленный в Корнилова и в его идею до самопожертвования, пронесший ее нерушимо сквозь тысячи преград, бесстрашный, живший полком и для полка и сраженный пулей в минуту вдохновенного порыва, увлекая поколебавшиеся ряды корниловцев в атаку... Миончинский — этот виртуоз артиллерийского боя, живший, горевший и священнодействовавший в музыке смертоносного огня... Тимановский — весь израненный, — в кубанских походах ходивший в атаку так же спокойно, с величайшим презрением к смерти, как и в дни Луцкого прорыва в рядах «железной дивизии»... «Наш» Марков... И много других, уже павших или уцелевших, которые с первых дней армии добросовестно и бескорыстно отдали ей свои силы и жизнь.

[1] Письмо генерала Алексеева к А. Суворину 13 августа 1918 года.

• • •

Много уже написано, еще больше напишут о духовном облике Добровольческой армии. Те, кто видел в ней осиянный страданием и мученичеством подвиг — правы. И те, кто видел грязь, пятнавшую чистое знамя, — во многих случаях искренни. Весь вопрос в правильном синтезе ряда сложных явлений в жизни армии — явлений, рожденных войной и революцией. Так, *каждый* в отдельности офицер, выведенный в купринском «Поединке», — живой человек, но такого собрания офицеров, такого *полка* в русской армии не было.

В нашу своеобразную Запорожскую сечь шли все, кто действительно сочувствовал идее борьбы и был в состоянии вынести ее тяготы. Шли и хорошие и плохие. Но четыре года войны и кошмар революции не прошли бесследно. Они обнажили людей от внешних культурных покровов и довели до высокого напряжения все их сильные и все их низменные стороны. Было бы лицемерием со стороны общества, испытавшего небывалое моральное падение, требовать от добровольцев аскетизма и высших добродетелей. Был подвиг, была и грязь. Героизм и жестокость. Сострадание и ненависть. Социальная терпимость и инстинкт классовой розни. Первые явления возносили, со вторыми боролись. Но вторые не были отнюдь преобладающими: история отметит тот важный для познания русской народной души факт, как на почве кровавых извращений революции, обывательской тины и интеллигентского маразма могло вырасти такое положительное явление, как добровольчество, при всех его теневых сторонах сохранившее героический образ и национальную идею.

Добровольцы были чужды политики, верны идее спасения страны, храбры в боях и преданы Корнилову. Впереди их ждало увечье, скитание, многих — смерть; победа представлялась тогда в далеком будущем. Они дрались на подступах к Ростову, зная, что сотни тысяч казаков и ростовской буржуазии за их спиною живут легко и привольно. Они были оборваны, мерзли и голодали, видя, как беснуется и веселится богатейший Ростов, финансовая знать которого с большим трудом «пожертвовала» на армию два миллиона рублей, растворившихся быстро в бездонной ее нужде. Они встречали в обществе равнодушие, в народе — вражду, в резолюциях революционных учреждений и социалистической печати — злобу, клевету и поношение. Одиночные добровольцы, случайно попадавшие в Темерник (рабочие кварталы Ростова), часто не возвращались... Однажды в Ростове, когда юнкерский караул, спровоцированный выстрелом на большом железнодорожном митинге, пустил в ход оружие, в результате чего оказались один или два рабочих убиты, это событие вызвало огромную демонстрацию; с разрешения донского правительства «жертвам» были устроены грандиозные похороны с толпами народа, депутациями, венками и речами, направленными против «врагов народа». А «враги народа» в это время каждый день тихо, без венков и речей, в наскоро сколоченных гробах, иногда и без гробов, опускались в холодную могилу возле чужих и незнакомых им станций и полустанков Донской земли. И редко когда их провожала слеза друга или брата, ибо звериное время очерствляло сердца и снижало цену жизни.

Гражданская война довершила тот психологический процесс, который только наметила война на фронте.

Вскоре стало известно, что большевики *убивают всех добровольцев*, захваченных ими, *предавая перед этим бесчеловечным мучениям*. Сомнений в этом не было. Не раз на местах, переходивших из рук в руки, добровольцы находили изуродованные трупы своих соратников, слышали леденящие душу рассказы свидетелей этих убийств, спасшихся чудом из рук большевиков. Помню, какою жутью повеяло на меня, когда первый раз привезли восемь замученных добровольцев из Батайска — изрубленных, исколотых, с обезображенными лицами, в которых подавленные горем близкие едва могли различить родные черты... Поздно вечером, где-то далеко на заднем дворе товарной станции, среди массы составов я нашел вагон с трупами, загнанный туда по распоряжению ростовских властей, «чтобы не вызвать эксцессов». И когда при тусклом мерцании восковых свечек священник, робко озираясь, возглашал «вечную память убиенным», сердце сжималось от боли, и не было прощения мучителям...

Помню свою поездку на «Таганрогский фронт» в середине января. На одной из станций возле Матвеева кургана, на платформе лежало тело, прикрытое рогожей. Это был труп начальника станции, убитого большевиками, узнавшими, что его сыновья служат в Добровольческой армии. Отцу порубили руки и ноги, вскрыли брюшную полость и закопали еще живым в землю. По искривленным членам и окровавленным израненным пальцам видно было, какие усилия употреблял несчастный, чтобы выбраться из могилы. Здесь же были два его сына — офицеры, приехавшие из резерва, чтобы взять тело отца и отвезти его в Ростов. Вагон с покойником прицепили к поезду, в котором я ехал. На какой-то попутной станции один из сыновей, увидев вагон с захваченными в плен большевиками, пришел в исступление, ворвался в вагон и, пока караул опомнился, застрелил несколько человек...

Среди кровавого тумана калечились души молодых, жизнерадостных и чистых сердцем юношей. Однажды в Ростове, в Парамоновском доме, до слуха моего долетел веселый разговор. Рассказывал о чем-то молодой подпоручик, почти мальчик, 17 лет. Я поинтересовался, в чем дело. Оказывается, шел он по улице, как обычно, с винтовкой через плечо. Наткнулся на облаву, устроенную милиционерами на бандитов, принял участие и одного бандита убил выстрелом:

— Вскинул ружье, бац — прямо в глаз; так и свалился, не пикнув!

И он сопровождал рассказ веселым смехом. Я обрушился на него:

— Стыдитесь вы! Неужели вы не понимаете всего цинизма вашего смеха? Если судьба привела убить человека, так разве можно этому радоваться?

По мере того, как я говорил, лицо у подпоручика сводило сильной судорогой, глаза наполнились слезами, и он опустился беспомощно на стул. Мне рассказали потом его историю. Большевики убили его отца — дряхлого отставного генерала, мать, сестру и мужа сестры — полного инвалида последней войны. Сам подпоручик, будучи юнкером, принимал участие в октябрьские дни в боях на улицах Петрограда, был схвачен, жестоко избит, получил сильные повреждения черепа и с трудом спасся.

И много было таких людей, исковерканных, изломанных жизнью, потерявших близких или оставивших семью без куска хлеба там, где-то далеко, на произвол бушующего красного безумия. Не они создавали основной облик армии, но их психология особенно должна быть учтена теми, кто на крестном пути добровольцев склонен видеть только мрачные тени.

Большевики с самого начала определили характер гражданской войны: истребление.

Советская опричнина убивала и мучила *всех* не столько в силу звериного ожесточения, непосредственно появлявшегося во время боя, сколько под влиянием направляющей сверху руки, возводившей террор в систему и видевшей в нем единственное средство сохранить свое существование и власть над страной. Террор у них не прятался стыдливо за «стихию», «народный гнев» и прочие безответственные элементы психологии масс. Он шествовал нагло и беззастенчиво. Представитель красных войск Сиверса, наступавших на Ростов, Волынский, явившись на третий день после взятия города в совет рабочих депутатов, не оправдывался, когда из меньшевистского лагеря послышалось слово «убийцы». Он сказал:

— Каких бы жертв это ни стоило нам, мы совершим свое дело, и каждый, с оружием в руках восставший против советской власти, не будет оставлен в живых. Нас обвиняют в жестокости, и эти обвинения справедливы. Но обвиняющие забывают, что гражданская война — война особая. В битвах

народов сражаются люди-братья, одураченные господствующими классами; в гражданской же войне идет бой между подлинными врагами. Вот почему эта война не знает пощады, и мы беспощадны[1].

Выбора в средствах противодействия при такой системе ведения войны не было. В той обстановке, в которой действовала Добровольческая армия, находившаяся почти всегда в тактическом окружении — то есть без своей территории, без тыла, без баз, — представлялись только два выхода: отпускать на волю захваченных большевиков или «не брать пленных». Я читал где-то, что приказ в последнем духе отдал Корнилов. Это неверно: без всяких приказов жизнь приводила во многих случаях к тому ужасному способу войны «на истребление», который до известной степени напомнил мрачные страницы русской пугачевщины и французской Вандеи. Когда во время боев у Ростова от поезда оторвалось несколько вагонов с ранеными добровольцами и сестрами милосердия и покатилось под откос в сторону большевистской позиции, многие из них, в припадке безумного отчаяния, кончали самоубийством. Они знали, что ждет их. Корнилов же приказывал ставить караулы к захваченным большевистским лазаретам. Милосердие к раненым — вот все, что мог внушать он в ту грозную пору. Только много времени спустя, когда советское правительство кроме своей прежней опричнины привлекло к борьбе путем насильственной мобилизации подлинный народ, организовав Красную армию, когда Добровольческая армия стала приобретать формы государственного учреждения с известной территорией и гражданской властью, удалось мало-помалу установить более гуманные и человечные обычаи, поскольку это вообще возможно в развращенной атмосфере гражданской войны.

Она калечила жестоко не только тело, но и душу.

---

[1] «Рабочее дело», 14 февраля 1918 года.

ГЛАВА XVIII

КОНЕЦ СТАРОЙ АРМИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОЙ ГВАРДИИ. НАЧАЛО ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ УКРАИНЫ И ДОНА. ПОЛИТИКА СОЮЗНИКОВ; РОЛЬ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО И ПОЛЬСКОГО КОРПУСОВ. БОИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ И ДОНСКИХ ПАРТИЗАН НА ПОДСТУПАХ К РОСТОВУ И НОВОЧЕРКАССКУ. ОСТАВЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИЕЙ РОСТОВА

В Брест-Литовске происходил торг между центральными державами и их советскими агентами, воспоминание о котором вызывает жгучий стыд и боль. Никогда еще европейские государственные деятели не сбрасывали с себя с таким бесстыдством всякие покровы чести и справедливости. Совет народных комиссаров, связанный денежными отношениями с немецким штабом, соблюдал, однако, внешний декорум. Совет пожелал узнать мнение крыленковской Ставки: подписывать ли немедленный мир на немецких условиях или нет, «в зависимости от способности фронтов к боевому сопротивлению»? Крыленко собрал 22 января «военный совет»[1], членов которого он познакомил с мнениями по этому поводу Ленина и Бронштейна. Первый считал необходимым заключение мира во что бы то ни стало; второй предлагал «всю материальную часть действующей армии эвакуировать в глубь страны... старую армию распустить, а потом, не подписывая и не заключая мира, предоставить немцам поступать с нами, как они хотят, заранее зная, что они все равно фактически нам сделать ничего не могут, так как Германия заливается пожаром пролетарской революции». Даже крыленковский «совет» возмутился подобной постановкой вопроса и большинством 7 голосов против 4 (в последнем числе и голос самого

[1] Из 9 председателей различных военных большевистских учреждений и двух генералов — Бонч-Бруевича и Лукирского.

главковерха) признал невозможным заключение мира на предложенных немцами условиях и необходимым продолжать борьбу всеми средствами. На этом секретном заседании Крыленко высказал некоторые взгляды, отражавшие образ мыслей народных комиссаров, обнаженные от всяких условных форм советского лукавства и несравнимые по своему цинизму.

«Какое нам дело, — говорил он, — до того, заботится или не заботится Германия о наращении или ненаращении территории? Какое нам дело, будет или не будет урезана Россия? И какое, наконец, нам дело, будет или не будет существовать сама Россия в том виде, как это доступно пониманию буржуев? Наплевать нам на территорию! Это плоскость мышления буржуазии, которая раз навсегда и безвозвратно должна погибнуть»...

«Войну нужно окончить теперь же... Старую армию расформировать до последнего человека, чтобы от этой крестьянской рухляди не осталось и следов, чтобы сама идея старой армии была растоптана и раздавлена»...

Таким языком говорили они теперь о той силе, которой раньше расточали низкую лесть и которая привела большевизм к власти над страной.

«Новая социалистическая армия не должна вести войну на внешнем фронте против неприятельской армии... Она будет стоять на страже советской власти как основа ее существования, и вместе с тем главнейшая задача армии будет заключаться еще в том, чтобы раздавить нашу буржуазию»[1].

Исходя из этой точки зрения, еще в половине января советская власть обнародовала декрет об организации «рабоче-крестьянской армии» из «наиболее сознательных и организованных элементов трудящегося класса». Но формирование новой классовой армии шло неуспешно, и совету пришлось обратиться к старым организациям: выделялись части с фронта и из запасных батальонов, соответственно отсеянные и обработанные; латышские, матросские отряды и красная гвардия, формировавшаяся фабрично-заводскими комитетами. Все они шли против Украины и Дона.

[1] Секретный протокол заседания «военного совета».

Какая сила двигала этих людей, смертельно уставших от войны, на новые жестокие жертвы и лишения? Меньше всего — преданность советской власти и ее идеалам. Голод, безработица, перспективы праздной, сытой жизни и обогащения грабежом, невозможность пробраться иным порядком в родные места, привычка многих людей за четыре года войны к солдатскому делу как к ремеслу («деклассированные»); наконец, в большей или меньшей степени чувство классовой злобы и ненависти, воспитанное веками и разжигаемое сильнейшей пропагандой. Ростовский орган социал-демократов «Рабочее слово» (№ 8, 1918 год) приводил интересный факт: возвращение из ограбленного Киева макеевского отряда рудничных рабочих, их «внешний облик и размах жизни» вызвали в угольном районе такое стремление в красную гвардию, что сознательные рабочие круги были серьезно обеспокоены, «как бы весь наличный состав квалифицированных рабочих не перешел в красную гвардию».

Известное участие в наступлении против Юга принял и немецкий генеральный штаб, одна из организаций которого (майора фон Бельке) занималась формированием для советской армии отрядов из военнопленных немцев, а также широкой пропагандой и разведкой на Дону. Как видно из документов, опубликованных Сиссоном, майор фон Бельке совместно с большевиками организовал также покушения на убийство генералов Алексеева и Каледина и помощника атамана М. Богаевского, не удавшиеся в силу того, что командированные для этой цели агенты, по определению немцев, «оказались трусливыми и непредприимчивыми людьми».

Однако военное положение в течение всего декабря и начала января в представлении советского командования рисовалось в чрезвычайно пессимистических красках. Советские сводки до смешного преувеличивали и силы Добровольческой армии, и активность ее намерений. Так, 18 декабря, когда добровольческие части не выходили еще на фронт, а донские митинговали, с южного фронта доносили: «Положение крайне тревожное. Каледин и Корнилов идут на Харьков и Воронеж... Главнокомандующий просит присылать на помощь отряды красногвардейцев»[1]. Комиссар Склянский сообщал совету народных комиссаров, что Дон мобилизован поголовно, вокруг Ростова собрано 50 тысяч войска. Ленин рассылал во все стороны отчаянные телеграммы, поднимая красную гвардию против «Каледина, напавшего на русскую революцию». Только в конце января большевистское командование получило более подробную ориентировку о военно-политическом строе Добровольческой армии — между прочим, как писали «Известия», и от генерала Д. Потоцкого, арестованного военно-революционным комитетом деревни Позднеевки и отправленного в Петропавловскую крепость[1].

[1] Московские «Известия».

Невзирая на кажущуюся бессистемность действий большевистских отрядов, в общем направлении их чувствовалась рука старой Ставки и определенный стратегически-политический план. Он заключался в том, чтобы разъединить Украину и Дон путем захвата железнодорожных узлов и линий и тем пресечь связь между ними и снабжение Дона; затем одновременным наступлением захватить административные центры новообразований — Киев, Ростов (Новочеркасск). В частности, против Дона, который кроме своего военно-политического значения имел и огромное экономическое, преграждая пути к хлебу, углю и нефти, наступление должно было вестись концентрически со стороны Харькова, Воронежа, Царицына и Тихорецкой (Ставрополя). Первое направление после падения Украины приобретало наиболее серьезное значение, в особенности ввиду сосредоточения на нем более стойких и послушных центру войск. На последних трех, в силу продолжавшейся в Воронеже, Царицыне и на Кавказе анархии и неповиновения центральной власти со стороны местных советов, пока еще не заметно было активных действий. Тем не менее большевистское кольцо вокруг казачьих столиц все более сжималось, и к середине января все железнодорожные пути к ним были отрезаны.

Общим фронтом наступления командовал комиссар Антонов-Овсеенко, а «армией», наступавшей на Ростов, — Сиверс, бывший редактор «Окопной правды», издававшейся на Северном фронте.

[1] Ростовские «Известия», 1918 год, № 19. Генерал Потоцкий был до Богаевского командующим войсками в Ростове.

* * *

К концу января обстановка на «внутреннем фронте» складывалась следующим образом. Украинские части Петлюры находились в беспорядочном отступлении от Киева к Житомиру. Добровольческая армия сосредоточилась в Ростове, имея передовые части у станции Матвеев Курган. Партизанские отряды донцов защищали с севера Новочеркасск, располагаясь у Сулина. Добровольческие отряды на Кубани прикрывали Екатеринодар со стороны Тихорецкой и Новороссийска. В Закавказье национальные войска — грузинские, татарские — только еще готовились к сопротивлению большевикам и турецкому нашествию. Отряды атамана Дутова, выбитые из Оренбурга, ушли в степи. На Урале войсковая власть вела скрытую подготовку вооруженной силы, стараясь не привлекать к себе внимания советского правительства и руководствуясь, по словам уральского бытописателя, исторической поговоркой: «Живи казак, пока Москва не узнала. Москва узнает — плохо будет». В Финляндии, после ее отделения, образовалась своя национальная красная гвардия. В Бессарабскую губернию, под предлогом восстановления порядка, вступила румынская армия Авереско. Наконец, на западе и юго-западе России расположены были два сильных и достаточно организованных корпуса: польский генерала Довбор-Мусницкого в районе Витебск — Минск — Жлобин, и чехословацкий под начальством русского генерала Шокорева — в районе Полонного (Волынской губернии) и Ромодан (Полтавской губернии). Два этих корпуса привлекали издавна наше внимание, и генералы Алексеев и Корнилов вели длительные переговоры с их руководителями с целью привлечения этих войск к борьбе против большевиков. Планы наши не встретили сочувствия ни со стороны политических руководителей польских и чехословацких войск, ни в среде французской дипломатии, голос которой имел решающее значение в силу того, что оба корпуса поступили в ведение французского правительства и содержались на его средства.

Полное непонимание совершающихся в России событий приводило союзническую политику к ряду непоправимых ошибок, последствия которых одинаково тяжело отзывались на их и наших интересах.

Командированный Корниловым в Киев офицер-чех в начале декабря доносил:

«У наших вождей (профессоров Массарика и Макса) крепко засела мысль, что (они) не имеют права вмешиваться в русские дела; (они) недостаточно оценивают силы корпуса, а генерал Шокорев ничем себя не проявляет, подчиняется вполне молодому профессору Максу»...

Состоявший комиссаром при корпусе профессор Макс на предложение Корнилова о соединении чехов с польским корпусом ответил отказом на том основании, что без разрешения Центральной рады погрузка чешских эшелонов невозможна. Лояльность Макса в отношении советской власти была настолько велика, что само присутствие в районе чешского штаба офицера, так или иначе причастного к корниловскому выступлению, сочтено было неудобным, и ему предложили покинуть Киев...

Впоследствии, в конце января 1918 года, генерал Алексеев в письме, обращенном к начальнику французской миссии в Киеве, указав на серьезное значение добровольческой организации и очертив тяжелую обстановку на Дону, говорил:

«Но силы неравны, и без помощи мы вынуждены будем покинуть важную в политическом и стратегическом отношении территорию Дона к общему для России и союзников несчастью. Предвидя этот исход, я давно и безнадежно добивался согласия направить на Дон если не весь чешско-словацкий корпус, то хотя бы одну дивизию. Этого было бы достаточно, чтобы вести борьбу и производить дальнейшее формирование Добровольческой армии. Но, к сожалению, корпус бесполезно и без всякого дела находится в районе Киева и Полтавы, а мы теряем территорию Дона. Сосредоточение одной сильной дивизии с артиллерией в районе Екатеринослав — Александровск — Синельниково уже оказало бы косвенную нам помощь... А весь корпус сразу поставил бы на очередь решение широкой задачи. Зная ваше влияние на г-на Макса и вообще на чехов, я обращаюсь к Вам с просьбой принять изложенное мною решение. Быть может, еще не поздно. Через несколько дней вопрос может решиться бесповоротно не в пользу Дона и русских вообще».

Наши призывы не были услышаны. Французский посол Нуланс отнесся весьма несерьезно к зарождавшемуся на Юге

движению. И он, и киевская французская миссия продолжали строить близорукие планы удержания развалившегося русского фронта сначала в единении с большевиками, демобилизовавшими армию, потом с Украиной, уже приступившей к тайным переговорам о мире с Германией, и опирались в то же время на помощь польских и чехословацких войск. 8 февраля Нуланс обратился к комиссару Бронштейну (Троцкому), предлагая от имени союзников, под личную свою ответственность, советскому правительству финансовую и техническую помощь для продолжения войны с немцами. Только после подписания советами 19 февраля Брест-Литовского мира Нуланс нашел, что нельзя больше «рассчитывать на советскую армию для восстановления Восточного фронта». «Во имя *наших интересов и нашей чести, всякое* сотрудничество французских офицеров в качестве инструкторов красных войск должно быть *отныне* воспрещено. Я не замедлил сделать это»[1]. «Честь» находилась в такой зависимости от «интересов», что после 19 февраля она приобретала иное внутреннее содержание, чем до 19-го...

Эти нелепые планы, над которыми жизнь издевалась ежедневно, тем не менее гипнотизировали французов и препятствовали им оценить надлежаще все огромное значение *нового* (южного) общесоюзнического фронта — более глубокого, но в полной мере удовлетворявшего идее борьбы против австро-германцев и большевиков.

Что касается г-д Массарика и Макса, они, всецело преданные идее национального возрождения своего народа и борьбы его с германизмом, в запутанных условиях русской действительности не сумели найти правильной дороги и, находясь под влиянием русской революционной демократии, разделяли ее колебания, заблуждения и подозрительность.

Жизнь жестоко мстила за эти ошибки. Она заставила скоро обе национальные силы, столь упорно уклонявшиеся от вмешательства «во внутренние русские дела», принять участие в нашей междоусобной распре, поставив их в безвыходное положение между германской армией и большевизмом. Уже в феврале, во время немецкого наступления на Украину,

[1] Из письма Нуланса к Кашену 7 февраля 1921 года.

чехословаки, среди общего позорного бегства русских войск, будут вести ожесточенные бои против германцев и бывших своих союзников — украинцев *на стороне большевиков*. Потом они двинутся к бесконечному Сибирскому пути, выполняя фантастический план французского командования — переброски 50-тысячного корпуса на западноевропейский театр, отделенный от восточного девятью тысячами верст железнодорожного пути и океанами. Весною выступят с оружием в руках против своих недавних союзников — большевиков, предавших их немцам. Летом союзная политика повернет их обратно для образования фронта на Волге. И долго еще будут они участвовать деятельно в русской трагедии, вызывая к себе среди русских людей перемежающееся чувство злобы и благодарности...

Польский корпус окончит печальнее, сделавшись игрушкой в руках немцев. В начале января, по требованию германского генерального штаба и в связи с обнаруженными сношениями между генералами Алексеевым и Довбор-Мусницким, большевистская агитация обрушится на польские войска, внося разложение в их среду. В конце января начнутся жестокие бои поляков с большевиками, неудачные для первых, а в феврале, в то самое время, когда чехи будут вести бои совместно с большевиками *против германцев*, польские дивизии, признав варшавский «регентский совет», совместно с немцами перейдут вновь в наступление *против большевиков*. Вероятно, затем только, чтобы через несколько недель их вероломно разгромили, разоружили и расформировали... немцы.

Все эти события, при всей их очевидной непоследовательности и отсутствии внутренней логики, имеют, однако, одно общее обоснование: то забвение морального начала в политике и чрезмерное развитие государственного материализма, которые были свойственны не только нашим врагам, но и друзьям. Все они руководствовались исключительно собственной выгодой; до несчастия русского народа им не было никакого дела. Они могли идти с украинцами и против украинцев, с большевиками и против большевиков, могли воссоединять и расчленять Россию, лишь бы эти действия соответствовали их национальным интересам. Но крайности этой доктрины при отсутствии

политического предвидения привели как раз к противоположным результатам.

А между тем обоюдная государственная польза требовала от союзников не самопожертвования (этот банальный, с точки зрения Европы, альтруизм был похоронен давно на полях Восточной Пруссии и Галиции в русских братских могилах); она требовала некоторой жертвы.

Конъюнктура безнадежная. До такой моральной высоты психология европейских государственных деятелей и практика союзной дипломатии подняться не могли.

* * *

Итак, мы остались одни.

В середине января штаб и все добровольческие части перешли из Новочеркасска в Ростов[1]. Корнилов руководствовался при этом решении следующими мотивами: важное Харьково-Ростовское направление было брошено донцами и принято всецело добровольцами; переезд создавал некоторую оторванность от донского правительства и Совета, возбуждавших в командующем армией чувство раздражения; наконец, Ростовский и Таганрогский округа были неказачьими, что облегчало до некоторой степени взаимоотношения добровольческого командования и областной власти.

В Таганроге был расположен офицерский батальон полковника Кутепова и юнкерская школа; у Батайска — дивизион полковника Ширяева, позднее усиленный морской ротой с выдвинутой вперед к станции Степной заставой.

Города Таганрог и Ростов с их многочисленным рабочим населением, враждебным Добровольческой армии, поглощали много сил на внутреннюю охрану. Буржуазия и в этом вопросе проявила полнейшее равнодушие, ограничившись взносом некоторой суммы денег на организацию охраны и длительными спорами, в результате которых городская Дума и Совет рабочих и солдатских депутатов потребовали формирования охраны из... безработных большевиков. В конце концов в армию пошли только дети. В батальоне генерала Боровского можно было наблюдать комические и, вместе с тем глубоко трогательные сцены, как юный воин с громким плачем доказывал, что ему уже 16 лет (минимальный возраст для приема), или как другой прятался под кровать от являвшихся на розыски родителей, от имени которых было им представлено подложное разрешение на поступление в батальон. На этот батальон предполагалось возложить несение более легкой службы по охране города, но судьба распорядилась иначе: через несколько недель юные добровольцы ушли в далекий, тяжкий поход, из которого многие не вернулись. Поход был не худший выход, ибо оставшихся в Ростове большевики в течение многих дней ловили, мучили и убивали. «Бессильные иными путями предотвратить продолжающиеся убийства, мы заявляем о нашей полной готовности быть расстрелянными в любой момент и в очереди, какую будет угодно установить военно-революционному комитету, взамен детей, предназначенных к расстрелу». С таким полным отчаяния и бессилия криком обратились тогда вожди ростовской революционной демократии[1] к тем злым духам, которых они же вызвали.

[1] Штаб расположился в Парамоновском доме. После нашего ухода из Ростова в нем поселилась «чрезвычайка»; подвалы его были залиты кровью; дом вскоре сгорел.

В десятых числах января обозначилось наступление советских войск на Ростов и Новочеркасск, и с этого времени работа по организации фактически прекратилась. Все кадры были двинуты на фронт. 2-й офицерский батальон по просьбе Каледина был послан на Новочеркасское направление, где ввиду отказа казаков от борьбы создавалось трагическое положение.

Началась агония донского фронта.

Полковник Кутепов выступил из Таганрога и, усиленный частями Георгиевского полка и донского партизанского отряда Семилетова, дважды разбил отряд Сиверса у Матвеева Кургана. Это был первый серьезный бой, в котором яростному напору неорганизованных и дурно управляемых большевиков, преимущественно матросов, противопоставлено было искусство и воодушевление офицерских отрядов. Последние победили легко. Среди офицеров я видел высокий подъем и стоическое отношение ко всем жизненным невзгодам, вызывавшимся вопиющим неустройством хозяйственной части.

[1] Васильев, Петренко, Мельситов, Смирнов.

Но их была горсть против тысяч. Разбитые советские отряды разбегались или после бурных митингов брали с бою вагоны и требовали обратного своего отправления. Но на смену им приходили другие, и бои шли изо дня в день — нудно, томительно, вызывая среди бессменно стоявших на позиции добровольцев смертельную нравственную усталость.

Между тем после ухода войск из Таганрога среди рабочего населения города, составлявшего более 40 тысяч, начались волнения. Непонимание совершающихся событий было настолько велико, что городская Дума послала на фронт делегацию для переговоров о «примирении сторон»; ее через добровольческие линии не пропустили. 14 января в городе вспыхнуло восстание. Красногвардейцы в течение двух дней громили город и выбивали слабые, разбросанные юнкерские караулы. Собрав что было возможно, начальник училища полковник Мостенко выступил на соединение с Кутеповым. Юнкера, пробиваясь по улицам под сильным обстрелом, понесли вновь тяжелые потери; раненый Мостенко, которого пытались вынести, приказал бросить себя и застрелился; только небольшая часть юнкеров пробилась к станции Марцево на соединение с добровольческими войсками.

Сильный напор с севера и потеря Таганрога, красная гвардия которого угрожала тылу и сообщениям отряда Кутепова, заставили меня в двадцатых числах отвести его в район станции Синявской, всего в одном переходе от Ростова. Здесь под начальством генерала Черепова отряд, усиленный всем, что можно было выделить из Ростова, в том числе и Корниловским полком, продолжал сдерживать большевиков. Особенно давало себя чувствовать отсутствие конницы[1], в то время как на открытом фланге с севера у селения Салы появилась большевистская бригада 4-й кавалерийской дивизии с конной артиллерией. Поступили сведения, что командует ею вахмистр, а помощник у него... офицер генерального штаба. Нам удалось было поднять несколько сот казаков Гниловской станицы, появился донской партизанский отряд Назарова, но после неудачной атаки селения Салы, во время которой начальники сбор-

[1] В конном дивизионе полковника Гершельмана было не более 50—60 шашек.

ного отряда проявили чрезмерную самостоятельность, все это донское ополчение рассыпалось и исчезло.

Держался сильнейший мороз и стужа. Добровольческие части, плохо одетые, стояли бессменно на позиции и с каждым днем таяли.

* * *

На Новочеркасском направлении было еще хуже. Каледин приступил к переформированию казачьих полков (оставляя на службе лишь четыре младших возраста), к мобилизации офицеров и к организации партизанских и добровольческих казачьих частей.

Но Дон не откликнулся.

Прикрытие Новочеркасска лежало всецело на состоявшем по преимуществу из учащейся молодежи партизанском отряде есаула Чернецова. В личности этого храброго офицера сосредоточился как будто весь угасающий дух донского казачества. Его имя повторялось с гордостью и надеждой. Чернецов работал на всех направлениях: то разгонял совет в Александровске-Грушевском, то усмирял Макеевский рудничный район, то захватил станцию Дебальцево, разбив несколько эшелонов красногвардейцев и взяв всех комиссаров. Успех сопутствует ему везде; о нем говорят и свои и советские сводки; вокруг его имени родятся легенды, и большевики дорого оценивают его голову.

Между тем 11 января большевики берут станицу Каменскую, создают военно-революционный комитет и объявляют его правительством Донской области. Через несколько дней председатель комитета, донской урядник Подтелков (будущий «президент Донской республики»), едет в Новочеркасск предъявлять ультимативное требование донскому правительству — передать ему власть. Правительство колеблется, но Каледин посылает в ответ Чернецова. Три донских полка, вернувшихся с фронта, под начальством демагога, войскового старшины Голубова, идут с большевиками «за трудовой народ» против «калединцев»...

Чернецов легко взял Зверево, Лихую и Каменскую, но 20-го в бою с Голубовым попал в плен. На другой день Подтелков после диких надругательств зверски зарубил Чернецова.

Со смертью Чернецова как будто ушла душа от всего дела обороны Дона. Все окончательно разваливалось. Донское правительство вновь вступило в переговоры с Подтелковым, а генерал Каледин обратился к Дону с последним своим призывом — посылать казаков-добровольцев в партизанские отряды. В этом обращении 28 января Каледин поведал Дону скорбную повесть его падения.

«...Наши казачьи полки, расположенные в Донецком округе, подняли мятеж и в союзе со вторгнувшимися в Донецкий округ бандами красной гвардии и солдатами напали на отряд полковника Чернецова, направленный против красногвардейцев, и частью его уничтожили, после чего большинство полков — участников этого подлого и гнусного дела — рассеялись по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные суммы, лошадей и имущество».

«В Усть-Медведицком округе вернувшиеся с фронта полки, в союзе с бандой красноармейцев из Царицына, произвели полный разгром на линии железной дороги Царицын — Себряково, прекратив всякую возможность снабжать хлебом и продовольствием Хоперский и Усть-Медведицкий округа».

«В слободе Михайловке, при станции Себряково, произвели избиение офицеров и администрации, причем погибло, по слухам, до 80 одних офицеров. Развал строевых частей достиг последнего предела, и, например, в некоторых полках Донецкого округа удостоверены факты *продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение*»...

В конце января генерал Корнилов, придя к окончательному убеждению о невозможности дальнейшего пребывания Добровольческой армии на Дону, где ей при полном отсутствии помощи со стороны казачества грозила гибель, решил уходить на Кубань. В штабе разработан был план захвата станции Тихорецкой, подготовлялись поезда и 28-го послана об этом решении телеграмма генералу Каледину.

29-го Каледин собрал правительство, прочитал телеграммы, полученные от генералов Алексеева и Корнилова, сообщил, что для защиты Донской области нашлось на фронте всего лишь 147 штыков, и предложил правительству уйти.

— Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития; предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю.

И во время обсуждения вопроса добавил:

— Господа, короче говорите. Время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла![1]

В тот же день генерал Каледин выстрелом в сердце покончил с жизнью.

Калединский выстрел произвел потрясающее впечатление на всех. Явилась надежда, что Дон опомнится после такой тяжелой искупительной жертвы...

Из Новочеркасска поступали к нам сведения, что на Дону объявлен «сполох», растет подъем, собравшийся круг избрал атаманом генерала Назарова и призвал к оружию всех казаков от 17 до 55 лет.

В Парамоновском доме настроение вновь поднялось. Приходившие к нам постоянно ростовские и пришлые общественные деятели, в том числе Милюков, Струве, князь Гр. Трубецкой, забыв вопросы широкой политики, сосредоточили свое внимание исключительно на донском фронте, жили его судьбою, сильно тяготели к Ростову и в каждом малейшем просвете военного положения жадно искали симптомы перелома. Так же относился к вопросу ростовский градоначальник кадет Зеелер, который служил добросовестным и деятельным посредником между Добровольческой армией, с одной стороны, и скаредной ростовской плутократией и враждебной нам революционной демократией — с другой. Точка зрения этих лиц, телеграммы Назарова и надежда на «сполох» изменили планы Корнилова.

Мы остались.

На совещании с политическими деятелями возник вопрос о своевременности передачи Ростовского округа в подчинение Добровольческой армии и назначении командова-

[1] Из рассказа М. Богаевского.

нием ею генерал-губернатора. До сих пор военная власть в городе номинально находилась в руках «командующего войсками» донского генерала А. Богаевского. Богаевский шел во всем навстречу армии, но, не имея в подчинении никакой вооруженной силы, находясь всецело в зависимости от донского правительства, ничего существенного сделать не мог. Этим актом положен был бы конец безначалию и тому нелепому и унизительному положению армии, при котором она, защищая Ростов, не могла извлечь из него никаких средств для борьбы и своего существования. Этого хотели и ростовские финансисты, боявшиеся репрессий со стороны большевиков и предпочитавшие, чтобы добровольческое командование обложило их «насильно».

Чтобы придать предстоящей реформе легальный характер, генерал Корнилов предложил атаману Назарову объявить о ней атаманским приказом. Назаров не пожелал взять на себя ответственность и предоставил инициативу добровольческому командованию. Вопрос осложнился еще натянутыми отношениями между генералами Алексеевым и Корниловым, не выясненным после распадения «триумвирата» разделением ролей между ними, а потому вызвал размолвку и заглох. Этот эпизод интересен для характеристики того удивительного стремления всех главных деятелей противобольшевистского движения к «легальным» выходам — стремления, которое среди развалин государственного строя и общих анархических тенденций приобретало характер совершенно нежизненный. Был еще один случай подобного рода. Решив в первый раз уходить из Ростова, генерал Корнилов распорядился взять с армией ценности ростовского отделения государственного банка. Генералы Алексеев, Романовский и я резко высказались против этой меры, считая, что она бросит тень на доброе имя Добровольческой армии. В результате ценности мы отправили в Новочеркасск, в распоряжение донского правительства, и там в день спешной эвакуации города они были оставлены большевикам...

Скоро все надежды рассеялись.

Донской круг, принимая смелые решения, вместе с тем не оставлял надежд на соглашательство и послал депутацию к советским властям в Каменскую. Большевистский «командующий» Саблин ответил делегации с исчерпывающей ясностью: «Казачество как таковое должно быть уничтожено, с его сословностью и привилегиями». Это заявление не усилило в круге решимости бороться; напротив, внесло уныние и подавленность. Поднявшиеся довольно в большом количестве казаки, преимущественно старших возрастов, стекались к Новочеркасску вместо нормального сосредоточения в разгромленных уже полковых штабах; там, не находя ни подготовленных приемников, ни организованного продовольствия, они принимались митинговать, буйствовать и расходились по станицам.

Подъема хватило лишь на несколько дней.

Между тем положение ростовского фронта значительно ухудшилось. Большевистскому «главковерху» удалось заставить выступить против нас Ставропольский гарнизон (112-й запасной полк), к которому примкнули по дороге части 39-й дивизии, составив отряд около $2^1/_2$ тысяч пехоты с артиллерией. Отряд этот, передвигаясь по железной дороге, 1 февраля неожиданно напал на наши части у Батайска; они, окруженные на вокзале вплотную со всех сторон, весь день отстреливались и, понеся значительные потери, ночью прорвались сквозь большевистское кольцо, отойдя кружным путем по еле державшемуся льду на Ростов. Ростовские переправы я наскоро закрыл юнкерским батальоном. Большевики остановились в Батайске и дня через два начали обстреливать город огнем тяжелой артиллерии, внося напряженное настроение и панику среди его населения.

На Таганрогском направлении бои продолжались. Добровольческие части таяли с каждым днем от боевых потерь, болезней, обмораживания и утечки более слабых, потерявших душевное равновесие в обстановке, казавшейся безвыходной.

Войска Сиверса овладели постепенно Морской, Синявской, Хопрами, и к 9 февраля отряд Черепова, сильно потрепанный (в особенности большие потери понес Корниловский полк), под напором противника подходил уже к Ростову, обстреливаемый и с тыла... казаками Гниловской станицы, вторично бросившими обойденный правый фланг Неженцева. В Темернике (предместье Ростова) рабочие подняли восстание и начали обстреливать вокзал.

В этот день Корнилов отдал приказ отходить за Дон в станицу Ольгинскую. Вопрос о дальнейшем направлении не был еще решен окончательно: на Кубань или в донские зимовники.

Хмурые, подавленные, собрались в вестибюле Парамоновского дома чины армейского штаба, вооруженные винтовками и карабинами, построились в колонну и в предшествии Корнилова двинулись пешком по пустым, словно вымершим улицам на соединение с главными силами.

Мерцали огни брошенного негостеприимного города. Слышались одиночные выстрелы. Мы шли молча, каждый замкнувшись в свои тяжелые думы. Куда мы идем, что ждет нас впереди?

Корнилов как будто предвидел ожидавшую его участь. В письме, посланном друзьям накануне похода, он говорил с тревожным беспокойством о своей семье, оставленной без средств на произвол судьбы среди чужих людей, и о том, что больше, вероятно, встретиться с нею не придется...

Сохранились строки, написанные к близким рукой другого вождя, генерала Алексеева, которые как будто служили ответом на мучивший многих тревожный вопрос:

«...Мы уходим в степи. Можем вернуться, только если будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы»...

ГЛАВА XIX

ПЕРВЫЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД. ОТ РОСТОВА ДО КУБАНИ; ВОЕННЫЙ СОВЕТ В ОЛЬГИНСКОЙ; ПАДЕНИЕ ДОНА; НАРОДНЫЕ НАСТРОЕНИЯ; БОЙ У ЛЕЖАНКИ; НОВАЯ ТРАГЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА

Мы уходили.

За нами следом шло *безумие*. Оно вторгалось в оставленные города бесшабашным разгулом, ненавистью, грабежами и убийствами. *Там* остались наши раненые, которых вытаскивали из лазаретов на улицу и убивали. *Там* брошены наши семьи, обреченные на существование, полное вечного

страха перед большевистской расправой, если какой-нибудь непредвиденный случай раскроет их имя.

Мы начинали поход в условиях необычайных: кучка людей, затерянных в широкой донской степи, посреди бушующего моря, затопившего родную землю; среди них два верховных главнокомандующих русской армией, главнокомандующий фронтом, начальники высоких штабов, корпусные командиры, старые полковники. С винтовкой, с вещевым мешком через плечо, заключавшим скудные пожитки, шли они в длинной колонне, утопая в глубоком снегу. Уходили от темной ночи и духовного рабства в безвестные скитания...

— За синей птицей.

Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят «светоч», слабо мерцающий, услышат голос, зовущий к борьбе, — те, кто пока еще не проснулись...

В этом был весь глубокий смысл *Первого Кубанского похода*. Не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все в области духа и творимого подвига. По привольным степям Дона и Кубани ходила Добровольческая армия — малая числом, оборванная, затравленная, окруженная — как символ гонимой России и русской государственности.

На всем необъятном просторе страны оставалось только одно место, где открыто развевался трехцветный национальный флаг, — это ставка Корнилова.

* * *

Покружив по вымершему городу, мы остановились на сборном пункте — в казармах Ростовского полка (генерала Боровского), в ожидании подхода войск. Еще с утра Боровский предложил ростовской молодежи: кто желает, может вернуться домой, ибо впереди тяжелый поход и полная неизвестность. Некоторые ушли, но часть к вечеру вернулась: «Все соседи знают, что мы были в армии, товарищи или прислуга выдадут»...

Долго ждем сбора частей. Разговор не клеится. Каждый занят своими мыслями, не хочется думать и говорить о завтрашнем дне. И как-то странно даже слышать доносящиеся иногда обрывки фраз — таких обыденных, таких далеких от переживаемых минут...

Двинулись наконец окраиной города. По глубокому снегу. Проехало мимо несколько всадников. Один остановился. Доложил о движении конного дивизиона. Предлагает Корнилову сесть на его лошадь.

— Спасибо, не надо.

Из боковых улиц показываются редкие прохожие и, увидев силуэты людей с ружьями, тотчас же исчезают в ближайших воротах. Вышли в поле, пересекаем дорогу на Новочеркасск. На дороге безнадежно застрявший автомобиль генерала Богаевского. С небольшим чемоданчиком в руках он присоединяется к колонне. Появилось несколько извозчичьих пролеток. С них нерешительно сходят офицеры, повидимому задержавшиеся в городе. Подошли с опаской к колонне и, убедившись, что свои, облегченно вздохнули.

— Ну, слава Те, Господи! Не знаете, где 2-й батальон?

Идем молча. Ночь звездная. Корнилов — как всегда хмурый, с внешне холодным, строгим выражением лица, скрывающим внутреннее бурное горение, с печатью того присущего ему во всем — в фигуре, взгляде, речи — достоинства, которое не покидало его в самые тяжкие дни его жизни. Таким он был полковником и Верховным главнокомандующим; в бою 48-й дивизии и в австрийском плену; на высочайшем приеме и в кругу своих друзей; в могилевском дворце и в быховской тюрьме. Казалось, не было такого положения, которое могло сломить или принизить его. Это впечатление невольно возбуждало к нему глубокое уважение среди окружающих и импонировало даже врагам.

Вышли на дорогу в Аксайскую станицу. Невдалеке от станицы встречает квартирьер:

— Казаки «держат нейтралитет» и отказываются дать ночлег войскам.

Корнилов нервничает.

— Иван Павлович! Поезжайте, поговорите с этими дураками.

Не стоит начинать поход «усмирением» казачьей станицы. Романовский повернул встречные сани, пригласил меня, поехали вперед. Долгие утомительные разговоры сначала со станичным атаманом (офицером), растерянным и робким человеком; потом со станичным сбором: с тупыми и наглыми людьми с бестолковыми речами. После полуторачасовых

убеждений Романовского согласились впустить войска с тем, что на следующее утро мы уйдем, не ведя боя у станицы. Думаю, что решающую роль в переговорах сыграл офицер-ординарец, который отвел в сторону наиболее строптивого казака и потихоньку сказал ему:

— Вы решайте поскорее, а то сейчас подойдет Корнилов — он шутить не любит: вас повесит, а станицу спалит.

Утомленные переживаниями дня и ночным походом добровольцы быстро разбрелись по станице. Все спит. У Аксая — переправа через Дон по льду. Лед подтаял и трескается. Явился тревожный вопрос: выдержит ли артиллерию и повозки?

Оставили в Аксайской арьергард для своего прикрытия и до окончания разгрузки вагонов с запасами, которые удалось вывезти из Ростова, и благополучно переправились. По бесконечному, гладкому снежному полю вилась темная лента. Пестрая, словно цыганский табор: ехали повозки, груженные наспех и ценными запасами, и всяким хламом; плелись какие-то штатские люди; женщины в городских костюмах и в легкой обуви вязли в снегу. А вперемешку шли небольшие, словно случайно затерянные среди «табора» войсковые колонны — все, что осталось от великой некогда русской армии... Шли мерно, стройно. Как они одеты! Офицерские шинели, штатские пальто, гимназические фуражки; в сапогах, валенках, опорках... Ничего — под нищенским покровом живая душа. В этом — все.

Вот проехал на тележке генерал Алексеев; при нем небольшой чемодан; в чемодане и под мундирами нескольких офицеров его конвоя — «деньгонош» — вся наша тощая казна, около шести миллионов рублей кредитными билетами и казначейскими обязательсгвами. Бывший Верховный сам лично собирает и распределяет крохи армейского содержания. Не раз он со скорбной улыбкой говорил мне:

— Плохо, Антон Иванович; не знаю, дотянем ли до конца похода...

Солнце светит ярко. Стало теплее. Настроение у всех поднялось: вырвались из Ростова, перешли Дон — это главное. А там... Корнилов выведет.

Он здоровается с проходящими частями. Отвечают радостно. И затем, пройдя несколько шагов, продолжают нескладную, но задушевную песню:

Дружно, корниловцы, в ногу!
С нами Корнилов идет.
Спасет он, поверьте, отчизну,
Не выдаст он русский народ.

Молодость, порыв, вера в будущее и вот эта крепкая, здоровая связь с вождем проведут через все испытания.

• • •

Остановились в станице Ольгинской, где уже ночевал отряд генерала Маркова, пробившийся мимо Батайска левым берегом Дона. Корнилов приступил к реорганизации Добровольческой армии, насчитывавшей всего около 4 тысяч бойцов, путем сведения многих мелких частей.

Состав армии получился следующий:

1-й офицерский полк, под командой генерала *Маркова* — из трех офицерских батальонов, Кавказского дивизиона и морской роты.

Юнкерский батальон, под командой генерала *Боровского* — из прежнего юнкерского батальона и Ростовского полка.

Корниловский ударный полк, под командой полковника *Неженцева*. В полк влиты части бывшего Георгиевского полка и партизанского отряда полковника Симановского.

Партизанский полк, под командой генерала *А. Богаевского* — из пеших донских партизанских отрядов.

Артиллерийский дивизион, под командой полковника *Икишева* — из четырех батарей по два орудия. Командиры: Миончинский, Шмидт, Ерогин, Третьяков.

Чехословацкий инженерный батальон, под «управлением» штатского инженера *Краля* и под командой капитана *Неметчика*.

Конные отряды[1]:

а) полковника *Глазенапа* — из донских партизанских отрядов;

б) полковника *Гершельмана* — регулярный;

в) подполковника *Корнилова* — из бывших частей Чернецова.

[1] Донские партизанские отряды Краснянского, Бокова, Лазарева и другие присоединились к нам в Ольгинской.

Сведение частей вызвало много обиженных самолюбий смещенных начальников и на этой почве некоторое неудовольствие в частях. Приглашает меня к себе Алексеев и взволнованно говорит:

— Я не ручаюсь, что сегодня не произойдет бой между юнкерами и студентами[1]. Юнкера считают их «социалистами»... Как можно было сливать такие несхожие по характеру части?

— Ничего, Михаил Васильевич. Все обойдется. Волнуется больше П.[2], чем батальон.

У Маркова также были некоторые трения, но он с первых же дней взял в руки свой полк.

— Немного же вас здесь, — обратился он к собравшимся в первый раз офицерским батальонам. — По правде говоря, из трехсоттысячного офицерского корпуса я ожидал увидеть больше. Но не огорчайтесь. Я глубоко убежден, что даже с такими малыми силами мы совершим великие дела. Не спрашивайте меня, куда и зачем мы идем, а то все равно скажу, что идем к черту за синей птицей. Теперь скажу только, что приказом Командующего армией, имя которого хорошо известно всей России, я назначен командиром 1-го офицерского полка, который сводится из ваших трех батальонов и из роты моряков, хорошо известной нам по боям под Батайском. Командиры батальонов переходят на положение ротных командиров. Но и тут, господа, не огорчайтесь. Ведь и я с должности начальника штаба фронта фактически перешел на батальон.

Спешно комплектовали конницу и обоз, покупая лошадей с большим трудом и за баснословную цену у казаков. Патронов было очень мало, снарядов не более 600—700. Для этого рода снабжения у нас оставался только один способ — брать с боем у большевиков ценою крови.

Меня Корнилов назначил «помощником командующего армией». Функции довольно неопределенные, идея жуткая — преемственность. На беду у меня вышло недоразумение еще в Ростове с вещами: чемодан с военным платьем был

[1] Ростовский полк назывался еще в начале формирования «студенческим», хотя студентов в нем было очень мало.

[2] П. — бывший командир юнкерского батальона.

отправлен вперед в Батайск еще тогда, когда предполагалось везти армию по железной дороге, и там во время захвата станции попал в руки большевиков. В поход пришлось идти в штатском городском костюме и в сапогах с рваными подошвами. В результате после двух пеших переходов — тяжелая форма бронхита, из-за которого потом долгое время в походе я ехал с войсками, а на остановках принужден был лежать в постели.

В Ольгинской разрешился, наконец, вопрос о дальнейшем плане нашего движения.

Корнилов склонен был двигаться в район зимовников[1], в Сальский округ Донской области. Некоторые предварительные распоряжения были уже сделаны. Обеспокоенный этим генерал Алексеев 12 февраля писал Корнилову:

«В настоящее время с потерей главной базы армии — Ростова, в связи с последними решениями Донского войскового круга и неопределенным положением на Кубани, встал вопрос о возможности выполнения тех общегосударственных задач, которые себе ставила наша организация.

События в Новочеркасске развиваются с чрезвычайной быстротой. Сегодня к 12 часам положение рисуется в таком виде: атаман слагает свои полномочия; вся власть переходит к военно-революционному комитету; Круг вызвал в Новочеркасск революционные казачьи части, которым и вверяет охрану порядка в городе; Круг начал переговоры о перемирии; станица Константиновская и весь север области в руках военно-революционного комитета; все войсковые части (главным образом партизаны), не пожелавшие подчиниться решению круга, во главе с походным атаманом и штабом сегодня выступают в Старочеркасскую для присоединения к Добровольческой армии.

Создавшаяся обстановка требует немедленных решений не только чисто военных, но и в тесной связи с решением вопросов общего характера.

Из разговоров с генералами Эльснером и Романовским я понял, что принят план ухода отряда в зимовники, к северо-западу от станицы Великокняжеской. Считаю, что при таком

[1] Зимовник — усадьба, становище донских табунов.

решении невозможно не только продолжение нашей работы, но даже, при надобности, и относительно безболезненная ликвидация нашего дела и спасение доверивших нам свою судьбу людей. В зимовниках отряд будет очень скоро сжат с одной стороны распустившейся рекой Доном, а с другой — железной дорогой Царицын — Торговая — Тихорецкая — Батайск, причем все железнодорожные узлы и выходы грунтовых дорог будут заняты большевиками, что лишит нас совершенно возможности получать пополнения людьми и предметами снабжения, не говоря уже о том, что пребывание в степи поставит нас в стороне от общего хода событий в России.

Так как подобное решение выходит из плоскости чисто военной, а также потому, что перед началом какой-либо военной операции необходимо теперь же разрешить вопрос о дальнейшем существовании нашей организации и направлении ее деятельности, прошу Вас сегодня же созвать совещание из лиц, стоящих во главе организации, с их ближайшими помощниками».

На военном совете, собранном в тот же вечер, мнения разделились. Одни настаивали на движении к Екатеринодару, другие, в том числе Корнилов, склонялись к походу в зимовники.

Помимо условий стратегических и политических, это второе решение казалось весьма рискованным и по другим основаниям. Степной район, пригодный для мелких партизанских отрядов, представлял большие затруднения для жизни Добровольческой армии с ее пятью тысячами ртов. Зимовники, значительно удаленные друг от друга, не обладали ни достаточным числом жилых помещений, ни топливом. Располагаться в них можно было лишь мелкими частями, разбросанно, что при отсутствии технических средств связи до крайности затрудняло бы управление. Степной район, кроме зерна (немолотого), сена и скота, не давал ничего для удовлетворения потребностей армии. Наконец, трудно было рассчитывать, чтобы большевики оставили нас в покое и не постарались уничтожить по частям распыленные отряды.

На Кубани, наоборот, мы ожидали встретить не только богато обеспеченный край, но, в противоположность Дону, сочувственное настроение, борющуюся власть и добровольческие силы, которые значительно преувеличивались мол-

вой. Наконец, уцелевший от захвата большевиками центр власти Екатеринодар давал, казалось, возможность начать новую большую организационную работу.

Принято было решение идти на Кубань.

Однако на другой день вечером обстановка изменилась. К командующему приехал походный атаман генерал Попов и его начальник штаба полковник Сидорин. В донском отряде у них было 1500 бойцов, 5 орудий, 40 пулеметов. Они убедили Корнилова идти в зимовники. Наш конный авангард, стоящий у Кагальницкой, получил распоряжение свернуть на восток... Поднявшись с постели, я пошел в штаб отвести душу. Безрезультатно. Некоторое колебание, однако, посеяно: решили собрать дополнительные сведения о районе.

В Ольгинской — прилив и отлив.

Присоединилось несколько казачьих партизанских отрядов, прибывают офицеры, вырвавшиеся из Ростова, раненые добровольцы, бежавшие из новочеркасских лазаретов. Притворяются здоровыми, боясь, что их не возьмут в поход.

Приехал из Новочеркасска генерал Лукомский. Накануне нашего выступления из Ольгинской он вместе с генералом Ронжиным[1], переодетые в штатское платье, поехали в бричке прямым путем на Екатеринодар для установления связи с кубанским атаманом и добровольческими отрядами. Но в селе Гуляй-Борисовке они были пойманы большевиками, томились под арестом и едва спаслись от расстрела.

Уехал полковник Лебедев с небольшим отрядом «особого назначения», состоявшим при генерале Алексееве. Ему было поручено связаться с Заволжьем и Сибирью. Лебедев впоследствии пробрался в Сибирь и стал начальником штаба у адмирала Колчака; часть его спутников, по советским сообщениям, попала в тюрьмы Поволжья. Уехали вовсе, по личным побуждениям, несколько офицеров, в том числе генерального штаба генерал Складовский и капитан Роженко (быховец). Оба они в Великокняжеской были убиты большевиками, исключительно за «буржуйный» вид, и тела их бросили в колодец...

[1] Впоследствии главный военный прокурор Вооруженных сил Юга России.

Определилось яснее настроение донских казаков. Не понимают совершенно ни большевизма, ни «корниловщины». С нашими разъяснениями соглашаются, но как будто плохо верят. Сыты, богаты и, по-видимому, хотели бы извлечь пользу и из «белого», и из «красного» движения. Обе идеологии теперь еще чужды казакам, и больше всего они боятся ввязываться в междоусобную распрю... пока большевизм не схватил их за горло. А между тем становилось совершенно ясно, что тактика «нейтралитета» наименее жизненная. Налетевший шквал суров и беспощаден: горячие и холодные в его стихии гибнут или властвуют, а теплых он обращает в человеческую пыль...

Впрочем, неопределенная судьба армии ставила в трагическое положение и тех, кто ей сочувствовал.

— Генерал Корнилов нас здорово срамил у станичного правления, — говорил мне тоскливо крепкий, зажиточный казак средних лет, недавно вернувшийся с фронта и недовольный разрухой. — Что ж, я пошел бы с кадетами[1], да сегодня вы уйдете, а завтра придут в станицу большевики. Хозяйство, жена...

Казачество если не теперь, то в будущем считалось нашей опорой. И потому Корнилов требовал особенно осторожного отношения к станицам и не применял реквизиций. Мера, психологически полезная для будущего, ставила в тупик органы снабжения. Мы *просили* крова, *просили* жизненных припасов — за дорогую плату; не могли достать для босых и полуодетых добровольцев ни за какую цену сапог и одежды, тогда еще в изобилии имевшихся в станицах; не могли получить достаточного количества подвод, чтобы вывезти из Аксая остатки армейского имущества.

Условия неравные: завтра придут большевики и возьмут все — им отдадут даже последнее беспрекословно, с проклятиями в душе и с униженными поклонами.

Скоро на этой почве началось прискорбное явление армейского быта — «самоснабжение». Для устранения или, по крайней мере, смягчения его последствий командование вынуждено было вскоре перейти к приказам и платным реквизициям.

[1] Так называли в народе противобольшевистские элементы, не вкладывая в это понятие партийно-политического содержания.

* * *

Мы шли медленно, останавливаясь на дневках в каждой станице. От Ольгинской до Егорлыцкой 88 верст — шли 6 дней. Сколачивали части, заводили обоз. При условии направления в зимовники такая медленность была вполне понятна.

У Хомутовской Корнилов пропускал в первый раз колонну. Как всегда, у молодых горели глаза, старики подтягивались при виде сумрачной фигуры командующего. С колонной много небоевого элемента, в том числе два брата Сувориных (А. и Б.), Н. Н. Львов, Л. В. Половцев, Л. Н. Новосильцев, генерал Кисляков, Н. П. Щетинина, два профессора Донского политехнического института и другие члены нашего «Совета» не пошли: и Корнилов, и я в самой решительной форме отсоветовали им идти с нами в поход, который представлялся чреватым всякими неожиданностями и в котором каждый лишний человек, каждая лишняя повозка в тягость.

Два перехода шли по невылазной грязи, и в ней некоторые добровольцы буквально оставили обувь и продолжали путь босыми...

Утром перед выступлением из Хомутовской большевистский отряд (несколько эскадронов 4-й кавалерийской дивизии с одним орудием) подошел вплотную к станице и открыл по ней ружейный и артиллерийский огонь. Охранялись добровольцы плохо: пока еще не было надлежащей выносливости в трудной солдатской работе. На окраине станицы, ближайшей к противнику, стоял обоз, и нестроевые с повозками сломя голову помчались по всем направлениям, запрудив улицы и внеся беспорядок. Вышел Корнилов со штабом, успокоил людей. Рассыпалась цепь, развернулась батарея; после нескольких выстрелов и обозначившегося движения во фланг нашей сотни большевики ушли.

Идем дальше. В колонне опять веселое настроение; смех и шутки, даже среди раненых, которых уже без боев набралось более шестидесяти. Удивительны эти переливы в настроении, быстро меняющиеся, и тот огромный импульс жизни у наших добровольцев, благодаря которому малейший проблеск среди тяжелой, иногда удручающей обстановки дает душевное спокойствие и вызывает подъем.

«Дополнительные сведения» о районе зимовников оказались вполне отрицательными, и поэтому принято решение двигаться на Кубань. В Мечетинской Корнилов вызвал всех командиров отдельных частей, чтобы объявить им о принятом решении. Собралось много офицеров — каждый партизан, имевший под командой 30—40 человек (в составе Партизанского полка), ищет самостоятельности. Корнилов сухо, как всегда резко изложил мотивы и императивно указал новое направление. Но взор его испытующе и с некоторым беспокойством следил за лицами донских партизан.

Пойдут ли с Дона?

Партизаны несколько смущены, некоторые опечалены. Но в душе выбор их уже сделан: идут с Корниловым.

Послано было предложение походному атаману Попову присоединиться к Добровольческой армии. Через два-три дня он ответил отказом. Попов объяснял, что, считаясь с настроением своих войск и начальников, он не мог покинуть родного Дона и решил в его степях выждать пробуждения казачества. Про него же говорили, что честолюбие удержало его от подчинения Корнилову. Для нас Дон был только частью *русской* территории, для них понятие «родины» раздваивалось на составные элементы — один более близкий и ощутимый, другой отдаленный, умозрительный.

Как бы то ни было, лишение армии такой силы, в особенности ввиду крайнего недостатка у нас в коннице, отяжеляло наше положение и суживало перспективы.

* * *

Наиболее приветливо встретила нас станица Егорлыцкая. Во всем — в сердечности приема, в заботах о раненых, в готовности продовольствовать войска. Многие проявляли свои симпатии в формах весьма экспансивных. Хозяин того дома, в котором я поместился, был священник и положительно умилял своим желанием помочь добровольцам. Я смотрел на него с благодарностью, но и... с глубоким сожалением. Положение *кочующей* армии создавало поистине трагические противоречия: со своими врагами расправлялись добровольцы, с их друзьями расправлялись потом *те*, кто шел по нашим следам. Егорлыцкая уцелела. Но за время похода много было пролито крови тех, кто так или иначе помогал «каде-

там». В станице Успенской, например, в апреле большевики повесили после нашего ухода хозяина одного дома только за то, что я — тогда уже командующий Добровольческой армией — останавливался у него.

В Егорлыцкой при полном станичном сборе говорили генералы Алексеев и Корнилов. Первый объяснял казакам положение России и цели Добровольческой армии; второй не любил и не умел говорить; сказал лишь несколько слов. Потом длинную речь держал Баткин...

Матрос 2-й статьи Феодор Баткин. Довольно интересный тип людей, рожденных революцией и только на ее фоне находящих почву для своей индивидуальности.

По происхождению — еврей; по партийной принадлежности — эсер; по ремеслу — агитатор. В первые дни революции поступил добровольцем в Черноморский флот, через два-три дня был выбран в комитет, а еще через несколько дней уехал в Петроград в составе так называемой Черноморской делегации. С тех пор в столицах на всевозможных съездах и собраниях, а на фронте на солдатских митингах раздавались речи Баткина. Направляемый и субсидируемый Ставкой, он сохранял известную свободу в трактовании политических тем и служил добросовестно, проводя идею «оборончества». В январе Баткин появился в Ростове и приступил снова к агитационной деятельности за счет штаба Добровольческой армии. Социалистический этикет обязывал его, очевидно, к известной манере речи, к изображению армии в несвойственном ей облике и к огульному опорочиванию всего «старого строя», задевая и военные традиции. На этой почве в известной части добровольческого офицерства, преувеличивавшего значение Баткина, возникла глухая вражда к нему и недовольство Корниловым. Незадолго до выхода в поход комплот офицеров хотел убить Баткина, и я, совершенно случайно узнав об этом, помешал их замыслу. Корнилов сдал Баткина под охрану своего конвоя.

На походе фигура Баткина, трясущегося верхом на лошади, неизменно появлялась среди квартирьеров и потом на станичных и сельских сходах. Его «предшествие» и речи производили странное впечатление: уместные, быть может, в солдатско-рабочей среде, они были одинаково чужды и добровольческой психологии и мировоззрению казачества, для уяснения которого требовалось глубокое знание казачьей жизни и быта.

В Егорлыцкой кончается Донская область. Дальше — Ставропольская губерния, бурлящая большевизмом и занятая частями ушедшей с фронта 39-й пехотной дивизии. Здесь нет еще советской власти, но есть местные советы, анархия и... ненависть к «кадетам». Мы попадаем в сплошное осиное гнездо...

После состоявшегося решения идти на Кубань необходимо форсированное движение, по возможности избегая боев, для скорейшего достижения политического центра области — Екатеринодара. Мы начинаем двигаться с возможной скоростью.

* * *

В селении Лежанке нам преградил путь большевистский отряд с артиллерией.

Был ясный, слегка морозный день.

Офицерский полк шел в авангарде. Старые и молодые; полковники на взводах. Никогда еще не было такой армии. Впереди помощник командира полка полковник Тимановский шел широким шагом, опираясь на палку, с неизменной трубкой в зубах; израненный много раз, с сильно поврежденными позвонками спинного хребта... Одну из рот ведет полковник Кутепов, бывший командир Преображенского полка. Сухой, крепкий, с откинутой на затылок фуражкой, подтянутый, краткими отрывистыми фразами отдает приказания. В рядах много безусой молодежи — беспечной и жизнерадостной. Вдоль колонны проскакал Марков, повернул голову к нам, что-то сказал, чего мы не расслышали, на ходу «разнес» кого-то из своих офицеров и полетел к головному отряду.

Глухой выстрел, высокий, высокий разрыв шрапнели. Началось.

Офицерский полк развернулся и пошел в наступление: спокойно, не останавливаясь, прямо на деревню. Скрылся за гребнем. Подъезжает Алексеев. Пошли с ним вперед. С гребня открывается обширная панорама. Раскинувшееся широко село опоясано линиями окопов. У самой церкви стоит большевистская батарея и беспорядочно разбрасывает снаряды вдоль дороги. Ружейный и пулеметный огонь все чаще.

Наши цепи остановились и залегли: вдоль фронта болотистая, незамерзшая речка. Придется обходить.

Вправо, в обход двинулся Корниловский полк. Вслед за ним поскакала группа всадников с развернутым трехцветным флагом.

— Корнилов!

В рядах волнение. Все взоры обращены туда, где виднеется фигура командующего...

А вдоль большой дороги совершенно открыто юнкера подполковника Миончинского подводят орудия прямо в цепи под огнем неприятельских пулеметов; скоро огонь батареи вызвал заметное движение в рядах противника. Наступление, однако, задерживается...

Офицерский полк не выдержал долгого томления: одна из рот бросилась в холодную, липкую грязь речки и переходит вброд на другой берег. Там смятение, и скоро все поле уже усеяно бегущими в панике людьми, мечутся повозки, скачет батарея. Офицерский полк и Корниловский, вышедший к селу с запада через плотину, преследуют.

Мы входим в село, словно вымершее. По улицам валяются трупы. Жуткая тишина. И долго еще ее безмолвие нарушает сухой треск ружейных выстрелов: «ликвидируют» большевиков... Много их...

Кто они? Зачем им, «смертельно уставшим от 4-летней войны», идти вновь в бой и на смерть? Бросившие турецкий фронт полк и батарея, буйная деревенская вольница, человеческая накипь Лежанки и окрестных сел, пришлый рабочий элемент, давно уже вместе с солдатчиной овладевший всеми сходами, комитетами, советами и терроризировавший всю губернию; быть может, и мирные мужики, насильно взятые советами. Никто из них не понимает смысла борьбы. И представление о нас как о «врагах» какое-то расплывчатое, неясное, созданное бешено растущей пропагандой и беспричинным страхом.

— Кадеты... Офицеры... Хотят повернуть к старому...

Член ростовской управы, социал-демократ меньшевик Попов, странствовавший как раз в эти дни по Владикавказской железной дороге, параллельно движению армии, такими словами рисовал настроение населения:

«Чтобы не содействовать так или иначе войскам Корнилова в борьбе с революционными армиями, все взрослое мужское население уходило из своих деревень в более отдаленные села и к станциям железных дорог... «Дайте нам оружие, дабы мы могли защищаться от кадет» — таков был общий крик всех приехавших сюда крестьян... Толпа с жадностью ловила известия с «фронта», комментировала их на тысячу ладов, слово «кадет» переходило из уст в уста. Все, что не носило серой шинели, казалось не своим; кто был одет «чисто», кто говорил «по-образованному», попадал под подозрение толпы. «Кадет» — это воплощение всего злого, что может разрушить надежды масс на лучшую жизнь; «кадет» может помешать взять в крестьянские руки землю и разделить ее; «кадет» — это злой дух, стоящий на пути всех чаяний и упований народа, а потому с ним нужно бороться, его нужно уничтожить»[1].

Это, несомненно, преувеличенное определение враждебного отношения к «кадетам» (особенно в смысле «всеобщности» и активности его проявления) подчеркивает, однако, основную черту настроения крестьянства — его беспочвенность и сумбурность. В нем не было ни «политики», ни «Учредительного собрания», ни «республики», ни «царя»; даже земельный вопрос сам по себе здесь, в Задонье и особенно в привольных ставропольских степях, не имел особой остроты. Мы, помимо своей воли, попали просто в заколдованный круг общей социальной борьбы. И здесь, и потом всюду, где ни проходила Добровольческая армия, часть населения более обеспеченная, зажиточная, заинтересованная в восстановлении порядка и нормальных условий жизни, тайно или явно сочувствовала ей; другая, строившая свое благополучие — заслуженное или незаслуженное — на безвременьи и безвластьи, была ей враждебна. И не было возможности вырваться из этого круга, внушить им истинные цели армии. Делом? Но что может дать краю *проходящая* армия, вынужденная вести кровавые бои даже за право своего существования? Словом? Когда слово упирается в непроницаемую стену недоверия, страха или раболепства?

---

[1] «Рабочее слово», 1918 год, № 10.

Впрочем, сход Лежанки (позднее и другие) был благоразумен и постановил пропустить «корниловскую армию». Но пришли чужие люди — красногвардейцы и солдатские эшелоны — и цветущие села и станицы обагрились кровью и заревом пожаров...

У дома, отведенного под штаб, на площади, с двумя часовыми-добровольцами на флангах стояла шеренга пленных офицеров — артиллеристов квартировавшего в Лежанке большевистского дивизиона.

Вот она, новая трагедия русского офицерства!..

Мимо пленных через площадь проходили одна за другой добровольческие части. В глазах добровольцев презрение и ненависть. Раздаются ругательства и угрозы. Лица пленных мертвенно бледны. Только близость штаба спасает их от расправы.

Проходит генерал Алексеев. Он взволнованно и возмущенно упрекает пленных офицеров. И с его уст срывается тяжелое бранное слово. Корнилов решает участь пленных:

— Предать полевому суду.

Оправдания обычны: «Не знал о существовании Добровольческой армии»... «Не вел стрельбы»... «Заставили служить насильно, не выпускали»... «Держали под надзором семью»...

Полевой суд счел обвинение недоказанным. В сущности не оправдал, а *простил*. Этот первый приговор был принят в армии спокойно, но вызвал двоякое отношение к себе. Офицеры поступили в ряды нашей армии.

Помню, как в конце мая в бою под Гуляй-Борисовкой цепи полковника Кутепова, мой штаб и конвой подверглись жестокому артиллерийскому огню, направленному, очевидно, весьма искусной рукой. Иван Павлович, попавши в створ многих очередей шрапнели, по обыкновению невозмутимо резонерствует:

— Недурно ведет огонь, каналья; пожалуй, нашему Миончинскому не уступит...

Через месяц при взятии Тихорецкой был захвачен в плен капитан — командир этой батареи.

— Взяли насильно... Хотел в Добровольческую армию... Не удалось.

Когда кто-то неожиданно напомнил капитану его блестящую стрельбу под Гуляй-Борисовкой, у него сорвался, вероятно, искренний ответ:

— Профессиональная привычка...

Итак, инертность, слабоволие, беспринципность, семья, «профессиональная привычка» создавали понемногу прочные офицерские кадры Красной армии, подымавшие на добровольцев братоубийственную руку.

ГЛАВА XX

ПОХОД К ЕКАТЕРИНОДАРУ: НАСТРОЕНИЕ КУБАНИ; БОИ ПОД БЕРЕЗАНКОЙ, ВЫСЕЛКАМИ И КОРЕНОВСКОЙ; ВЕСТЬ О ПАДЕНИИ ЕКАТЕРИНОДАРА

23 февраля мы вступили в пределы Кубанской области.

Совсем другое настроение: армию встречают приветливо, хлебом-солью. После скитаний среди равнодушной или враждебной нам стихии — душевный уют и новые надежды.

Кубань — земля обетованная!

Это настроение проходило, словно невидимый ток, по всему добровольческому организму и одинаково захватывало мальчика из юнкерского батальона, полковника, шагающего в рядах офицерского полка, бывшего политического деятеля, трясущегося на возу в обозе, и... самого командующего армией.

Кубань — наша база. Здесь мы найдем надежную опору. Отсюда можно начать серьезную и организованную борьбу.

Нас — пришельцев с севера — удивляли огромное богатство ее беспредельных полей, ломящиеся от хлеба скирды и амбары, ее стада и табуны. Сыты все — и казаки и иногородние, и «хозяин» и «работник».

Нас располагал к себе веселый, открытый характер кубанских казаков и казачек — таких, казалось, чуждых большевистскому угару.

Тихая заводь привольной кубанской жизни замутилась, однако, враждой и чувством мести к тем, кто нарушил ее покой. Когда в станице Незамаевской я замешался в пестрой, праздничной, веселой толпе, там это чувство буйно рвалось наружу. Они уже «посчитались» с одними или угрожали посчитаться с другими из своих большевиков, главным обра-

зом иногородних. Придет утро, мы уйдем, а еще через день появится отряд «товарища» Сорокина или Автономова и начнется возмездие...

Казаки начали поступать в армию добровольцами; Незамаевская выставила целый отряд человек в полтораста. Станичные сборы враждебны большевикам и выражают преданность Корнилову.

Кубань — земля обетованная!

Этот прогноз оказался впоследствии правильным по существу — в оценке психологии рядового кубанского казачества, но не рассчитанным во времени: восточные станицы не испытали тогда еще настоящего большевистского гнета; еще не изжито было наваждение фронтовым казачеством; не было еще широкого народного движения, готового превратиться в открытую, активную борьбу. Кубанцы выжидали. Колеблющемуся настроению давало перевес в нашу пользу только присутствие внушительной силы — армии; оно открывало уста одним и заставляло умолкнуть других. С уходом армии маятник покачнется в другую сторону.

В направлении на Екатеринодар нам предстояло пересечь Владикавказскую железную дорогу. Узлы ее — Тихорецкая и Сосыка — заняты были большими силами красногвардейцев, по дороге ходили бронированные поезда. Чтобы избегнуть боя с ними, штаб прибегнул к ряду демонстраций в западном направлении, а с вечера 25-го из станицы Веселой армия круто повернула на юг. Двигались всю ночь и к утру подошли к станице Новолеушковской, где под прикрытием части Корниловского полка, занявшего станцию, бесконечная колонна стала быстро пересекать железнодорожный путь. Остановленный взрывом полотна вне досягаемости выстрелов, большевистский бронепоезд громил из орудий станцию и посылал навстречу колонне ряд белых дымков, расплывавшихся по небесной синеве далеко в стороне.

За эти сутки войска прошли около 60 верст. Перенесли поход легко даже дети батальона Боровского.

Миновали Старо-Леушковскую, Ирклиевскую и 1 марта подошли к Березанской. Здесь впервые против нас выступили кубанские казаки. Маятник колеблющегося настроения чуть качнулся влево, иногородние и фронтовики одержали

верх на станичном сборе, и вокруг станицы за ночь выросли окопы, из которых под утро по нашему авангарду ударили градом пуль.

Бой был краток: огонь добровольческой артиллерии, развернувшиеся цепи корниловцев и «марковцев» быстро заставили большевиков очистить позицию. Цепи их не успели еще скрыться в станице, как всадник в белой папахе в сопровождении трех-четырех конных ординарцев уже влетел в самую станицу и исчез за поворотом улицы.

— Генерал Марков!

Местные большевики разошлись по домам и попрятали оружие. Пришлые ушли на Выселки.

Вечером «старики» в станичном правлении творили расправу над своей молодежью — пороли их нагайками.

* * *

Добровольческая армия прошла уже около 250 верст по взбаламученному краю, обходя или легко опрокидывая большевистские отряды. Власть «главковерха» Антонова и Донского военно-революционного комитета, проявляясь в центрах, становилась чисто фиктивной по мере удаления от них. «Главные силы» Ставропольского «совета народных комиссаров» после взятия Батайска и разграбления Ростова, не исполнив приказа «главковерха» о преследовании Добровольческой армии, обратив в заложников своего командующего Сохацкого и военного комиссара Анисимова, пробивались с награбленным добром обратно в Ставрополь, бесчинствуя и грабя по пути. На станциях Владикавказской дороги — Степной, Кущевке, Сосыке, Тихорецкой, Торговой и других — образовались многочисленные и буйные вооруженные скопища, не подчинявшиеся никаким центрам и «управляемые» своими собственными революционными комитетами и местными самодержцами. Многие из них в два-три раза превышали численно всю нашу армию, но такое превосходство только в силах не представлялось тогда опасным для добровольцев.

Теперь мы попали несколько в иные условия: Кубанский военно-революционный комитет и «главнокомандующий войсками Северного Кавказа» Автономов сумели собрать вокруг себя значительные силы красной гвардии (по преимуществу — эшелоны бывшей Кавказской армии), которые вели успешную

борьбу с Екатеринодаром. Где-то недалеко, на высоте Кореновской и Усть-Лабинской, должна была проходить линия обороны кубанских добровольческих отрядов, пока еще нами не обнаруженная. Теперь уклонение от боя было нецелесообразным. Корнилов решил подойти к железнодорожной магистрали и ударить *в тыл* большевистским войскам, тем более что уже роковым образом ощущался недостаток боевых припасов, склады которых мы надеялись найти на станциях.

2 марта главные силы армии двинулись на станицу Журавскую, а Неженцев с Корниловским полком ударил по станции Выселки. После краткого боя, понеся небольшие потери, корниловцы лихой атакой взяли Выселки и продвинулись на несколько верст вперед к хутору Малеваному. Армия расположилась на ночлег в Журавской, а в Выселках должен был стать заслоном конный дивизион полковника Гершельмана. Дивизион почему-то ушел без боя из Выселок, которые были заняты вновь крупными силами большевиков[1]. Положение создалось крайне неприятное.

Корнилов приказал генералу Богаевскому с Партизанским полком и батареей ночной атакой овладеть Выселками. Ночь была темная, на дворе сильнейший холод. В маленькой станице не хватало ни крыш, ни продовольствия для всех частей, набившихся в нее. Партизаны, голодные, усталые, до поздней ночи оставались под открытым небом. Вероятно, поэтому Богаевский отложил наступление до утра. Чуть забрезжил рассвет, потянулась колонна к Выселкам, и под редким огнем артиллерии стали развертываться против села отряды партизан капитана Курочкина, есаула Лазарева, Власова, полковника Краснянского. Редкие цепи шли безостановочно к окраине деревни, словно вымершей. И вдруг длинный гребень холмов, примыкавших к селу, ожил и брызнул на наступавшие цепи огнем пулеметов и ружей...

Ура!.. Ура!.. — покатилось по рядам. Бросились партизаны в атаку. Но валятся один за другим люди, редеют цепи. А тут справа во фланг и тыл им ударило свинцом из всех окон каменного здания паровой мельницы, утопленной в лощине... Цепи подались назад и залегли.

---

[1] Гершельман был отрешен за это от должности.

Бой оказался серьезне, чем рассчитывали. Пришлось выдвинуть новые силы. Из Малеваного направлен в обход Выселок с востока батальон корниловцев, прямо на село двинут Офицерский полк Маркова.

Когда утром Корнилов со штабом подъезжал к партизанским цепям, по дороге длинной вереницей нам навстречу несли носилки с убитыми и ранеными. Дорого стоила атака: погибли партизанские начальники Краснянский, Власов, ранен Лазарев, большой урон понесла донская молодежь Чернецовского отряда.

Скоро обозначилось наступление Корниловского батальона. Идут быстро, не останавливаясь, как на учении, заходя большевикам в тыл. Подходят марковцы; левый фланг партизан продвинулся уже вперед — в охват. Словно электрический ток проносится по всем цепям, раскинувшимся далеко — не окинешь взглядом; партизаны поднялись и бросились снова вперед.

Противник бежал.

А справа от мельницы слышится уже заглушенный сухой треск одиночных выстрелов: идет, по-видимому, расправа.

Прости, Господи, виноватых и не осуди за кровь невинных...

Корнилов крупной рысью едет в Выселки. Колышется распущенный трехцветный флаг. Прошли село, едем вдоль железнодорожной насыпи. Попали под сильнейший ружейный огонь, укрылись за железнодорожную будку. Впереди никого. Нагоняет жидкая цепь партизан. Начальник отряда, раненный в ногу, весь мокрый, ковыляет бегом по неровному полю. Не то оправдывается, не то сердится, обращаясь к штабным:

— Зачем генерал срамит нас? Ведь он конный, а мы пешие — догнать трудно.

Цепь продвинулась к лежащей впереди роще и скрылась из глаз; огонь прекратился скоро, и все поле боя смолкло.

Корнилов объезжал собиравшиеся в колонны войска и благодарил их за одержанную победу.

В этот день мы узнали крайне неприятную новость: не так давно здесь, возле Выселок, произошел бой между большевиками и отрядом кубанских добровольцев Покровского. Добровольцы были разбиты и поспешно отступили в сторо-

ну Екатеринодара. Шли какие-то зловещие слухи и о кубанской столице.

Пока только слухи. И потому на завтра приказано наступать далее, на Кореновскую, в которой сосредоточилось не менее 10 тысяч красногвардейцев с бронепоездами и с большим количеством артиллерии. Большевистскими силами командовал кубанский казак, бывший фельдшер Сорокин.

Против нас был уже не *тыл*, а *фронт* екатеринодарской группы большевиков.

* * *

4-го утром мы шли с авангардом Боровского. Конная часть, бывшая впереди, по обыкновению не предупредила, и голова колонны, выйдя на гребень, с которого открывались уже купола кореновской церкви, попала под сильный ружейный огонь.

— Положите юнкеров!

Но Боровский не слышит или не хочет слышать — он занят отдачей распоряжений. И на него и на молодежь действует присутствие командующего. Чувствуют на себе его пристальный взгляд... Рассыпаются по линии, никто не ложится. И скоро жидкие цепи юнкеров тихо, в рост, не останавливаясь, двинулись на станицу, опоясанную длинным рядом окопов, в которых даже простым глазом заметно было большое скопление большевиков.

Было трогательно и волнующе это наступление юношей, почти мальчиков, — внешне такое немощное и такое красивое своей внутренней доблестью и простотой. Видно, и на большевиков оно произвело впечатление: огонь здесь стал реже и беспорядочнее.

Главный удар наносится слева на станцию Станичную Офицерским и Корниловским полками. Мы подвигаемся влево. Бой там в полном разгаре. Неумолчно гудит неприятельская артиллерия, ружейный огонь сливается в сплошной гул. Попали в полосу сильного ружейного обстрела. Все легли. Пытаюсь убедить Корнилова отойти в сторону или, по крайней мере, лечь. Безрезультатно. Обращаюсь к Романовскому:

— Иван Павлович, уведите вы его... Подумайте, если случится несчастье...

— Говорил не раз — бесполезно. Он подумает в конце концов, что я о себе забочусь...

Корнилов поднялся на пригорок, глядит в бинокль. С ним рядом Романовский. Смотрю на них с тревогой, любуюсь обоими и думаю: кто из них выше в этой победе духа над плотью; вспоминаю — кого еще на протяжении шести лет трех войн я видел таким равнодушным к дыханию смерти...

В наступлении произошел перелом. Корниловский полк на всем фронте отходит. За ним валят густыми нестройными линиями большевики. Много, много их чернеет на светло-сером фоне поля. Артиллерийский огонь перешел в ураган; шрапнели белыми дымками густо стелются по небу и осыпают отходящие цепи пулями.

Из обоза доносят: патроны и снаряды на исходе; части требуют; отдавать ли последние?

— Надо выдать; на станции мы найдем их много, — говорит Корнилов.

Но корниловцы остановились, потоптались несколько минут в нерешительности на месте и опять двинулись вперед. Большевики залегли. Еще нет успеха, но уже чувствуется, что кризис миновал.

Стало, однако, ясным, что надо искать решительных результатов в другом месте. Корнилов послал весь свой резерв — Партизанский полк и чехословацкую роту под начальством Богаевского — в охват позиции с запада.

Едва только части эти отделились от обоза, оттуда пришло донесение:

— В тылу возле нас появилась неприятельская конница. У обоза никакого прикрытия нет. Положение осложняется...

Корнилов послал офицера конвоя:

— Передайте Эльснеру, что у него есть два пулемета и много здоровых людей. Этого вполне достаточно. Пусть защищаются сами. Я ничего дать им не могу.

С гребня видно, как в обозе зашевелились повозки, строя вагенбург, и рассыпалась жидкая цепь.

В этот день, кроме превосходства сил, мы неожиданно встретили у противника управление, стойкость и даже некоторый подъем. Бой затягивался, потери росли.

Среди офицеров разговор:

— Ну и дерутся же сегодня большевики!..

— Ничего удивительного — ведь русские...

Разговор оборвался. Брошенная случайно фраза задела больные струны...

Мы переехали к Богаевскому. Партизаны медленно разворачивались против станицы, батарея полковника Третьякова шла вместе с цепями и, снявшись на последней позиции, открыла огонь в упор по юго-западной окраине ее. Батальон Боровского, дважды уже захватывавший окраину и оба раза выбитый оттуда, поднялся вновь и пошел в атаку. Ударили и партизаны. Через полчаса мы входили уже в станицу. Батарея галопом мчалась по широкой улице к мосту через Бейсужек, где скоро в сгрудившуюся человеческую массу отступавших большевиков ударила картечью.

А с востока подошли уже Офицерский полк и корниловцы, преодолев бронированные поезда, ураганный огонь артиллерии и реку по широкому броду, усеяв свой путь вражескими телами. По-видимому, взятие Офицерским полком моста решило дело.

Арьергард противника задержался несколько в роще, южнее Кореновской, но, выбитый оттуда корниловцами, ушел к станице Платнировской.

В Кореновской армия пополнила свою хозяйственную часть и в особенности боевые припасы. Но, увы, слишком дорогой ценой: за последние бои наша маленькая армия потеряла до 400 человек убитыми и ранеными[1].

Здесь же ожидало нас окончательное подтверждение зловещих слухов: в ночь на 1 марта кубанские добровольцы полковника Покровского, атаман и Рада оставили Екатеринодар и ушли за Кубань, в горы. Екатеринодар в руках большевиков. Подобранная в окопах советская газета в патетических тонах описывала встречу делегатов екатеринодарского совета с передовым отрядом красных войск, во время которой обе стороны «не могли говорить от волнения» и только «со слезами на глазах обнимали друг друга».

Это был тяжелый удар для армии. Терялась идея всей операции. Идея простая, понятная всякому рядовому добровольцу, потеряна накануне ее осуществления: до Екатеринодара

[1] Армия пополнилась тремя сотнями Брюховецкой станицы, которые обоз принял за большевистскую конницу.

оставалось всего два-три перехода. Гипноз «Екатеринодара» среди добровольцев был весьма велик, и разочарование, казалось, должно было отразиться на духе войск. Мне представлялось необходимым продолжать выполнение раз поставленной задачи во что бы то ни стало, тем более что армия давно уже находилась в положении стратегического окружения и выход из него определялся не столько тем или иным направлением, сколько разгромом главных сил противника, который должен был повлечь за собою политическое его падение. А несравненные войска Добровольческой армии внушали неограниченное доверие и надежды...

В штабе я узнал, что готовится приказ о повороте на юг, за Кубань. Поговорил с Иваном Павловичем, который разделял мое мнение, и мы вместе пошли к командующему.

— Я с вами согласен, — ответил нам Корнилов. — Но вы говорили с Марковым и Неженцевым?

— Нет.

— Вот видите-ли. Они были сегодня у меня с докладом о состоянии полков...

Он передал нам вкратце сущность доклада: большая убыль и крайнее утомление — физическое и особенно моральное. Некоторые тревожные симптомы проявились уже во вчерашнем бою. Оба командира считали необходимым дать людям некоторый отдых — от этого ежедневного крайнего нравственного напряжения, от боя и от кошмара походного лазарета; постоять на месте и не чувствовать себя вечно окруженными.

— Если бы Екатеринодар держался, — говорил Корнилов, — тогда не было бы двух решений. Но теперь рисковать нельзя. Мы пойдем за Кубань и там в спокойной обстановке, в горных станицах и черкесских аулах, отдохнем, устроимся и выждем более благоприятных обстоятельств.

Спор наш не привел ни к чему. Вероятно, потому, что все трое мы руководствовались только теоретическими предположениями и интуитивным чувством. Ибо за пределами армейского района мы ничего не знали. Область была охвачена пожаром, все внутренние связи — моральные, административные, технические — были порваны, взаимоотношения перепутались, и на почве общего разлада росли и ширились

только слухи, один другого нелепее, один другого обманчивее. Ничтожный состав конницы не позволял производить серьезные дальние разведки. Посылаемые штабом тайные разведчики — люди верные и самоотверженные — обычно пропадали: их ловили, мучили, убивали, в лучшем случае они томились в тюрьмах и в подвалах «чрезвычаек».

Мы не знали тогда, что за Кубанью армия попадет в сплошной большевистский район и долго еще будет вести непрерывные тяжелые бои изо дня в день; что и это новое огромное напряжение не сломит дух добровольцев; что, наконец, по иронии судьбы в то самое утро, когда армия наша повернет с Екатеринодарского направления на юг, кубанский добровольческий отряд, уверовавший наконец в приход Корнилова на Кубань, поведет наступление через аул Шенджий на Екатеринодар...

5 марта был отдан приказ армии с наступлением сумерек, соблюдая полнейшую тишину, двинуться на Усть-Лабинскую переправу.

ГЛАВА XXI

ПОВОРОТ АРМИИ НА ЮГ: БОЙ У УСТЬ-ЛАБЫ; КУБАНСКИЙ БОЛЬШЕВИЗМ; ШТАБ АРМИИ

Двинулись холодной ночью. Предполагали остановиться на большой привал в станице Раздольной, но лишь только рассвело, большевистские войска, занявшие Кореновскую тотчас после ухода нашего арьергарда (Партизанский полк генерала Богаевского), стали теснить Богаевского и обстреливать его артиллерийским огнем. Колонна двинулась дальше. Верстах в двух от Усть-Лабы авангард остановился: окраина станицы и железнодорожная насыпь были заняты большевиками.

Наш маневр отличался смелостью почти безрассудной. Только с такой армией, как Добровольческая, можно было решиться на него. Только потому, что Корнилов знал свою армию, а армия беззаветно верила своему вождю.

Сзади напирал значительный отряд Сорокина, грозивший опрокинуть слабые силы Богаевского. Впереди — станица, занятая неизвестными силами, длинная узкая дамба (2—3 версты), большой мост, который мог быть сожжен или взорван, и железнодорожный путь от Кавказской и Екатеринодара — двух большевистских военных центров, могущих перебросить в несколько часов в Усть-Лабинскую и подкрепления и бронепоезда.

Начался бой на север и на юг, все более сжимая в узкое кольцо наш громадный обоз, остановившийся среди поля и уже обстреливаемый перелетным огнем артиллерии Сорокина.

В обозе — наша жизнь, наше страдание и страшные путы, сковывающие каждую операцию, вызывающие много лишних потерь, которые, в свою очередь, увеличивают и отягчают его. В нем все материальное снабжение, в особенности драгоценные боевые припасы кочующей армии, не имеющей своей базы и складов. В нем тогда уже было до 500 раненых и больных, и число их к концу похода превышало полторы тысячи! Наконец, много беженцев. Обоз живет одной жизнью с армией, целыми часами стоит на поле боя, не раз подвергаясь сильному обстрелу. В обозе знают, что неустойка боевой линии грозит им гибелью. Оттого в нем повышенная впечатлительность и склонность к распространению самых страшных слухов. Но паники почти не бывало. Спасаться некуда: впереди бой, сзади бой, справа и слева маячат неприятельские разъезды. И обоз тихо и терпеливо ждал развязки боя, с напряженным вниманием прислушиваясь к приближающимся и замирающим отзвукам артиллерийской и ружейной стрельбы.

Водил обоз всегда сам начальник снабжения генерал Эльснер. Не слишком энергично, но с невозмутимым спокойствием. Кроме переменных местных подводчиков, контингент возчиков крайне разнообразный: пленные австро-германцы, старые полковники, легко раненные офицеры, иногда просто уклоняющиеся от строя; много небоевого элемента, в том числе почти все общественные деятели, следовавшие при армии. Революция и поход перевернули социальные перегородки.

Если всем было тяжело, то положение раненых, в особенности тяжелых, стало катастрофическим. Почти каждый день длинный утомительный поход, в тряской телеге, по невылазной грязи, по кочкам и рытвинам, иногда рысью. Три

четверти дня под открытым небом, в поле под проливным дождем или в жестокую стужу, от которой не спасала подостланная солома и наброшенные жидкие шинели и одеяла. Ночлег в только что взятой с бою станице или ауле, которые не могли дать в краткий срок остановки ни достаточно крыш, ни достаточно продовольствия для набившегося сверх меры воинства. Иногда двое суток без ночлега и без разгрузки — с одной только перепряжкой лошадей. И на походе, и не раз на стоянке — немолчный гул неприятельской артиллерии и сухой треск рвущихся возле снарядов...

Не было надлежащей санитарной организации, и почти не было ни инструментов, ни медикаментов, ни перевязочного материала и антисептических средств. Раненые испытывали невероятные страдания, умирали от заражения крови и от невозможности производить операции — даже легко раненные. Нужно было обладать поистине огромным жизненным импульсом, чтобы вынести все эти муки и сохранить незатемненный разум и самую жизнь. Иногда даже жизнерадостность... накануне смерти.

В армии знали, что делается в лазарете и что ожидает каждого, кому придется лечь туда. Из лазарета шел стон и просьбы о помощи; там создавалась острая атмосфера враждебности раненых к лазаретному персоналу, вызывавшая иногда в ответ полную апатию даже со стороны людей, преданных своему делу, но положительно сбившихся с ног и растерявшихся в необычайной обстановке похода. Ибо наряду с теми, кто безразлично относился к страданиям добровольцев, среди врачей и сестер были люди в полном смысле слова самоотверженные. О многих из них сохранили благодарную память добровольцы, уже обреченные и вырвавшиеся из холодных объятий смерти. Вспоминают, вероятно, добрым словом и одного из бывших начальников лазарета доктора Сулковского — друга немощных, который через год умер, заразившись от больных сыпным тифом.

Не раз жалобы раненых доходили до генерала Корнилова, чутко относившегося к ним и болевшего за них душой; он обрушивался сурово на виновников неурядицы, облегчал как мог положение раненых и одним своим присутствием вносил успокоение в души страдальцев.

В свою очередь, кричал, ругался, просил и разводил беспомощно руками Эльснер. По существу, они могли только заменить людей и улучшить внутренние санитарные распорядки. Действительно, за время похода сменилось 8 начальников лазарета, среди которых был и персонаж комический, и самоотверженный врач, и душевно преданный своему делу, работавший без устали полковник, наконец, земец, приобретший большой опыт в санитарном деле еще на Юго-Западном фронте. Дело шло то несколько лучше, то хуже. Никто не мог изменить общих условий жизни армии и ее зияющей раны, ибо для этого нужно было прежде всего вырваться из большевистского окружения.

Смерть витала над лазаретом, и молодые жизни боролись с ней не раз исключительно только силою своего духа.

Иногда обстановка складывалась особенно тяжело, и раненые, теряя самообладание, угрожали лазаретному персоналу револьверами. Начальство и армейский комендант принимали меры к успокоению. Одного только не решались сделать — отнять у раненых оружие; возможность распорядиться своею жизнью в последний роковой момент была неотъемлемым правом добровольцев...

* * *

Под Усть-Лабой надо было спешить, так как всегда спокойный и уравновешенный Богаевский доносил, что его сильно теснят, и просил подкреплений. Корнилов двинул вперед Юнкерский батальон и Корниловский полк. Первый пошел правее на видневшуюся насыпь железной дороги из Екатеринодара, второй — прямо на станицу. Быстро, без выстрела двинулись юнкера и, встреченные перед самым полотном огнем неприятельских цепей, с криком «Ура!» ударили на них и скрылись за насыпью.

Мы идем с корниловцами, которые выслали колонну влево, в обход станции, и наступают тихо, выжидая результатов обхода. С цепями идет с винтовкой в руках генерал Казанович — корпусный командир.

— Совестно так, без дела, — отвечает, улыбнувшись исподлобья, на чей-то шутливый вопрос.

Несколько поодаль стоит генерал Алексеев со своим адъютантом ротмистром Шапроном и с сыном. Ему тяжко в его

годы и с его болезнью, но никогда еще никто не слышал из уст его малодушного вздоха. Тщательно избегая всего, что могло бы показаться Корнилову вмешательством в управление армией, он бывал, однако, всюду — и в лазарете, и в обозе, и в бою; всем интересовался, все принимал близко к сердцу и помогал добровольцам чем мог — советом, словом ободрения, тощею казной.

Со стороны станицы показался какой-то конный, неистово машущий руками. Делегат: «товарищи» форштадта[1] решили пропустить нас без боя. Цепи поднялись и пошли, с ними штаб и конвой. Но едва прошли полверсты, с окраины станицы затрещали ружья, пулеметы, а из появившегося бронированного поезда полетели шрапнели. Пришли, очевидно, чужие — подкрепление из Кавказской.

Опять Корнилов в жестоком огне, и Марков горячо нападает на штаб:

— Уведите вы его, ради Бога. Я не в состоянии вести бой и чувствовать нравственную ответственность за его жизнь.

— А вы сами попробуйте, Ваше превосходительство! — отвечает, улыбаясь, всегда веселый генерал Трухачев.

Но охват корниловцев уже обозначился. Двинулись в атаку и с фронта, и скоро весь полк ворвался на станцию и в станицу, сбил большевиков с отвесной береговой скалы, венчавшей вход на дамбу, овладел мостом и перешел за реку Кубань.

Мы поехали следом через поле, на котором кое-где были разбросаны большевистские и добровольческие трупы, через вымерший вокзал, к станичной площади. Остановились на привал. Вдруг приходит донесение, что с востока, от Кавказской подошел большевистский эшелон, разгрузился и идет к станице. Скоро по вокзалу и станице начали глухо взрываться шестидюймовые бомбы. Штаб и конвой — больше никого! Неженцев в пылу боя увлекся преследованием и не оставил заслона против Кавказской. Корнилов сумрачен и озабочен; вместе с Романовским идут к окраине. Скоро ординарцы развозят распоряжения: поставить на площади батарею, повернуть на восточную окраину часть Офицерского полка, который с Марковым подходил к вокзалу, вер-

[1] Иногородний поселок возле станицы.

нуть батальон корниловцев. Проходит около $^{3}/_{4}$ часа, пока собираются части, и борьбу ведет одна лишь батарея Миончинского. Но скоро бегом мимо станции проходят марковские офицеры и вместе с корниловцами бьют и обращают в бегство подходящих уже к самой станице большевиков.

Путь свободен.

Как по внушению, в одно мгновение знает об этом все население трехверстного обоза. Всеобщая радость. Дошло известие и до арьергарда. Там устойчиво — Богаевский выполнил свою задачу, сдержал преследующих.

До Некрасовской, где назначен ночлег, еще 10 верст. Всю ночь идут нескончаемой вереницей обозы, колонны. Запрудили улицы Некрасовской. В сутки прошли 46 верст с двусторонним боем и переправой! Измученные люди в ожидании квартирьеров валятся на порогах хат, просто на улице. Спят и грезят: пришли в Закубанье на желанный отдых. И хотя завтра мы проснемся вновь от злорадно стучащей по крышам домов большевистской шрапнели, но это уже не так важно: благополучная переправа через Кубань поднимает настроение добровольцев, оживляет их надежды.

* * *

Повсюду в области — в каждом поселке, в каждой станице — собиралась красная гвардия из иногородних (к ним примыкала часть казаков, фронтовиков), еще плохо подчинявшаяся Армавирскому центру[1], но следовавшая точно его политике. Объединяясь временами в волостные, районные, «армейские» организации, эта вооруженная сила, представлявшая недисциплинированные, хорошо вооруженные, буйные банды, будучи *единственной* в крае, приступила к выполнению своих местных задач: насаждению советской власти, земельному переделу, «изъятию хлебных излишков», «социализации», то есть попросту к ограблению зажиточного казачества и обезглавливанию его преследованием офицерства, небольшевистской интеллигенции, священников, крепких стариков. И прежде всего — к обезоруживанию. Достойно удивления, с каким полным непротивлением ка-

[1] До 1 марта Кубанский военно-революционный комитет находился в Армавире.

зачьи станицы, казачьи полки и батареи отдавали свои орудия, пулеметы, ружья, которые шли отчасти на вооружение местных красногвардейских отрядов, отчасти отвозились в ближайшие центры. Когда, например, потом, в конце апреля, восстали против большевиков казаки одиннадцати станиц Ейского отдела и двинулись на Ейск, это было, по описанию Щербины, в полном смысле безоружное ополчение. «У казаков было не более 10 винтовок на сотню, остальные вооружились чем могли. Одни прикрепили к длинным палкам кинжалы или заостренные полоски железа, другие сделали из железных вил что-то вроде копий, третьи вооружались острогой, а иные просто захватили лопаты и топоры». Восстание тогда было жестоко подавлено. Против беззащитных станиц выступали обычно бронепоезда и карательные отряды с... казачьими орудиями. Иногда за этими карательными отрядами шли большие обозы; в них нагружалось награбленное добро женщинами красногвардейцев, которые не раз превосходили в жестокости и садизме мужчин.

К началу апреля все селения иногородних, а из 87 кубанских станиц 85 уже числились большевистскими. По существу, большевизм станиц был чисто внешний. Во многих сменялись лишь названия: атаман стал комиссаром, станичный сбор — советом; станичное правление — исполнительным комитетом. Где комитеты захватывались иногородними, их саботировали, переизбирая чуть ли не каждую неделю. Шла упорная, но чисто пассивная борьба векового уклада жизни, цепко державшего в своих руках даже прозелитов новой веры — фронтовую молодежь. Борьба без воодушевления, без подъема, а главное — без всякого духовного руководства: от своего офицерства и рядовой интеллигенции казачество отвернулось — без злобы, скорее с сожалением, полагая такой ценой купить покой и «нейтралитет»; а казачья революционная демократия сама оторвалась от массы, став на распутье между большевистским коммунизмом и казачьим консерватизмом.

Было желание, но не было дерзания. Вот и большая, богатая Некрасовская станица, с незначительным составом иногородних, покорно подчинялась какой-то «Еленовской роте». Нас там встретили с чувством радости и затаенной надежды, но, узнав, что завтра мы пойдем дальше, притихли и замкнулись в себе.

Большевистский отряд, стоявший в Некрасовской, долго бряцал оружием и митинговал, но в день нашего прихода с утра потихоньку, стыдливо ушел из станицы за Лабу. В этом районе, густо усеянном иногородними поселениями, давно уже было введено советское управление и существовала военная организация, возглавлявшаяся «армейским военно-революционным советом», с центром в селе Филипповском.

Несколько красногвардейских шаек с батареей заняли вплотную левый берег Лабы, камыши и прилегающие хутора и с утра 7-го по станице, расположенной на нагорном берегу, открыли орудийный и пулеметный огонь. Войска измучены, наведение моста и переправа через глубокую реку засветло под огнем противника вызовут тяжелые потери. Корнилов приказал начать переправу авангардных частей ночью.

Днем обсуждали план предстоящих действий. В Закубанье на отдых рассчитывать нельзя: район кишит большевиками. Учитывая общее направление движения армии, большевики поджидали нас в Майкопе, куда «Кубанский областной комитет» сосредоточивал войска, оружие и боевые запасы. Решено было поддержать большевиков в этом убеждении, двигаясь на юг; затем, перейдя реку Белую, круто повернуть на запад. Это движение выводило нас в район черкесских аулов, дружественных армии, давало возможность соединения с Кубанским добровольческим отрядом, отошедшим, по слухам, в направлении Горячего ключа, и не отвлекало от главной цели — Екатеринодара.

Большевистское официальное сообщение, напечатанное в «Известиях», найденных позже, и относящееся к этому дню, 7 марта, так определяло общее положение «белогвардейских банд»:

«После обхода станции Тихорецкой Корнилов продвинулся к Выселкам. Советские войска умелым маневром окружили здесь корниловцев. К сожалению, по топографическим условиям местности не удалось создать тесного кольца... и Корнилов вынужден был (пойти) через имевшуюся отдушину к востоку по дороге со станции Кореновской на станицу Усть-Лабинскую, имея своей задачей пробиться к Майкопу... Белогвардейцы снова заперты в кольце войск еще более тесном... Они мечутся, стараясь нащупать более слабое место сре-

ди кольца революционных войск, чтобы, найдя его, пробиться к какому-нибудь мало-мальски крупному городскому центру, где можно было бы хоть временно опереться... Час расплаты Корнилова, Алексеева и всех главарей, находящихся у него в отряде, стал ближе».

Что касается «отрядов Филимонова и Покровского», то, «разбитые под Екатеринодаром, они рассеялись по направлению от Эйнема и Георгие-Афипской к востоку... и никакой угрозы собою представлять не могут».

Оптимизм екатеринодарского совета не оправдался...

* * *

После совещания беседовали с Иваном Павловичем.

— Вы обратили внимание, как сегодня Корнилов резко отозвался о штабе при строевых начальниках? Ведь они, несомненно, расскажут в частях. И притом совершенно несправедливо.

— Да, но он ведь потом признал свою ошибку и извинился.

— От этого не легче. Он просто по горячности вспылит и сейчас же отойдет, а полки и без того нас недолюбливают. Скажите, чем это объяснить?

— Иван Павлович, да когда же вы видели, чтобы строй любил штаб? Это известная и ничем не устранимая психологическая антитеза. Вспомните Маркова в Ростове...

Марков — «начальник штаба Добровольческой дивизии» в Ростове — с его живым горячим характером, резкими жестами и не всегда сдержанной речью производил ошеломляющее впечатление на всех добровольцев, по делу или без дела являвшихся в штаб дивизии и не знавших его. Добрый по натуре, он казался им бессердечным; человек простой и доступный — заносчивым и надменным. Неудовольствие против Маркова в конце января приняло такие формы, что Корнилов дважды беседовал со мной о необходимости освобождения его от должности начальника штаба. Я категорически протестовал, и только расформирование перед выходом из Ростова «дивизии» разрешило безболезненно этот вопрос. Теперь тот же Марков, с той же горячностью и прямотой — кумир своего полка и любимец армии.

Кроме чисто инстинктивного предубеждения, войска не имели поводов относиться отрицательно к штабу армии. Корниловский штаб, начиная с его начальника, состоял из людей храбрых и хороших работников. Кто был знаком с их жизнью, тот чувствовал это. В отвратительных условиях, набитые не раз в тесной и грязной избе так, что пройти трудно было, они в ней работали днем и ночью, ели и спали вповалку на полу, с тем, чтобы наутро пойти в поиск, на разведку, установить связь или по многу часов разъезжать с Корниловым на поле боя под жестоким огнем. А с приходом на новый ночлег колесо заводилось сначала. Они яснее понимали, чем в строю, всю серьезность положения, и тем не менее в штабе обычно царило бодрое настроение и здоровый оптимизм. Два-три офицера не подходили под общий уровень, но они не могли испортить общего впечатления. Корнилов обычно относился хорошо к своему штабу, невзирая на несколько грубоватые иногда внешние формы отношений. Он любил и ценил своего начальника штаба Романовского, так счастливо дополнявшего своей уравновешенной натурой его пылкий и впечатлительный темперамент, скрывавшийся под суровой и сухой внешностью. Начальник штаба мирился с нелегким характером командующего, был предан ему, и не раз только он один мог, глядя на Корнилова своими добрыми глазами, остановить шаги, продиктованные минутной вспышкой. Никогда не подчеркивал своей большой работы и не переносил на других ошибки, не им сделанные.

— Прошлый раз, когда вышла такая же история при Маркове и Неженцеве, я попросил его освободить меня от должности. Он ответил: «Никуда я вас, Иван Павлович, не отпущу». Тем и кончилось. Теперь слишком тяжелое время, и такие вопросы поднимать неуместно. Но, как только придем в тихую пристань, уйду в строй.

Бог судил, чтобы тихою пристанью для него стала холодная могила Константинопольского кладбища...

* * *

Весь день рвутся над станицей снаряды, летящие с юга из-за реки, весь день слышен орудийный гул с севера, со стороны Усть-Лабы, против которой стояли в арьергарде корниловцы. Посреди большой площади высокая каменная церковь; ее колокольня возвышается над всем низким южным берегом на много верст; по ней направляют огонь. На площади, по квад-

ратному фасу которой расположены штаб, квартира Корнилова и других генералов (такой порядок заведен всегда), с глухим воем рвутся гранаты. Обоз, запрудивший было всю площадь, понемногу расползся по всей станице; осталось лишь несколько распряженных повозок с торчащими вверх оглоблями. Площадь пустынна, изредка лишь пробежит в церковь, пугливо озираясь, превозмогая страх, кто-нибудь из станичных жителей. Идет вечерня. В храме, кроме некрасовцев, наши добровольцы, раненые — на костылях, с повязками. В полумраке слабо мерцают свечки перед ликами скорбными и суровыми. И когда за стеною раздастся резкий удар, а по куполу застучит, словно от крупного града, глуше звучат возгласы из алтаря, ниже склоняются головы молящихся. Из темного угла послышался гулко и явственно чей-то голос:

— Господи, прости!

Не жалоба, не прошение, а покаяние. Не так ли в сознании широких слоев русского народа все ужасы лихолетья приняты как возмездие за грехи мирские, грехи вселенские, которые ниспослал «Бог — грозный судия, довлеющий во гневе»... И чудится, как вместе с дымом кадильным из сотни сердец возносятся моления, такие страстные и мучительные... О ком? О себе, о нас, о тех, кто за рекой? Ведь и о них, вероятно, кто-нибудь молится...

Храм — единственное убежище, куда не вторгнулось еще звериное начало. Завтра придут «они», убьют священника и надругаются над храмом[1].

ГЛАВА XXII

ПОХОД В ЗАКУБАНЬЕ; БОЙ ЗА ЛАБОЙ И У ФИЛИППОВСКОГО; ТЕНЕВЫЕ СТОРОНЫ АРМЕЙСКОГО БЫТА

В ночь на 8 марта наши передовые части перешли с боем на левый берег Лабы и, отбросив большевиков, обеспечили переправу армии. Первым перешел Юнкерский батальон.

[1] Священник станицы Некрасовской отец Георгий Руткевич был убит большевиками по обвинению в «сочувствии кадетам и буржуям».

Боровский доносил, что юнкера смело бросились в холодную воду, хотя «малыши пускали пузыри», так как местами глубина реки превышала их рост.

Перешедшие войска сразу же попали в сплошное большевистское окружение. Каждый хутор, каждая роща, отдельные строения ощетинились сотнями ружей и встречали наступающие части огнем. Марковцы, партизаны, юнкера шли по расходящимся направлениям, выбивая противника, появлявшегося неожиданно, быстро ускользавшего, неуловимого. Каждая уклонившаяся в сторону команда или отбившаяся повозка встречала засаду и... пропадала. Занятые с бою хутора оказывались пустынными: все живое население их куда-то исчезало, уводя скот, унося более ценный скарб и оставляя на произвол судьбы свои дома и пожитки. Скоро широкая долина реки, насколько видно было глазу, озарилась огнем пожаров: палили рвавшиеся гранаты, мстительная рука казака или добровольца или просто попавшая случайно среди брошенных хат непотушенная головня.

Неженцев занимал еще северную окраину станицы, прикрывая ее со стороны войск, наступавших от Усть-Лабы. А внизу, под крутым скатом берега, шла лихорадочная переправа обоза; жиденький мост был сильно перегружен; часть повозок с беженцами и ранеными спустилась к глубоким бродам; лошади шли неохотно в студеную воду, иногда повозка опрокидывалась или, отнесенная течением в глубокое место, погружалась чуть не доверху, вместе с походным скарбом или беспомощно бьющимся человеческим телом. На том берегу обоз раскинулся широким табором в ожидании «открытия пути».

Лишь к закату армия раздвинула несколько сжимавшее ее огневое кольцо и заночевала в двух хуторских поселках. Штаб — в Киселевских хуторах. Собственно, только эти два пункта находились в нашем фактическом обладании, охраняемые на небольшом расстоянии аванпостами. А дальше раздвинутое кольцо сжалось вновь.

Шел дождь, была стужа. На улицах тесного поселка сбились в кучу повозки, столпились люди. И половине из них не хватило крыш. Я пошел ночевать к Алексееву. Он был нездоров и, видимо, несколько расстроен: вчера опять вышло

недоразумение между ним и Корниловым по поводу неправильно отведенной квартиры. Эти два человека органически неприязненны друг другу, но сознание долга и огромной нравственной ответственности заслоняет личные чувства и заставляет их идти вместе, одной дорогой, к одной одинаково понимаемой цели. С большим трудом удалось Романовскому успокоить Корнилова. О своих взаимоотношениях с Корниловым Алексеев избегал говорить.

Мы делились впечатлениями минувшего боя и прогнозом будущего. Последний неизменен: пробуждение казачества и создание обеспеченной базы. Иначе конец организации и весьма болезненный процесс переноса живой силы ее на другую почву, более плодотворную. Волга, Сибирь. При отсутствии иного выхода — даже, быть может, Закавказье. Мы не углубляем еще эту тему — надежда не потеряна. Но одно было ясно — добровольческое движение только еще начинается. Вспомнилась фраза, сказанная как-то Иваном Павловичем:

— Умом не постигаю, но сердцем верую, что не погибнет ни идея, ни армия.

Штаб Алексеева со всем конвоем расположился в одном дворе. Его и меня поместили в маленькой каморке с полатями; на них чья-то добрая рука положила густо солому и накрыла рядном. Тепло, благодать! Ночью просыпаюсь от страшного удушья: припадок бронхита? Нет... Вся комната полна дымом, огненные языки лижут полати. Вскочил. Подо мною сейчас же вспыхнула солома. С большим трудом разбудил Алексеева. Выбита рама, полетел в окно, в грязь мой обгоревший вещевой мешок с последними пожитками...

— Чемодан забыли!

В комнату вскочил сын Алексеева, еще кто-то и с большим трудом вытащили оттуда знаменитый «Алексеевский чемодан» — в нем вся добровольческая казна.

Пожар потушили. Кто-то уже острит:

— Казенное добро в воде не тонет, в огне не горит.

* * *

Выступление назначено рано, но до полудня продвинулись мало, так как шедшие впереди Офицерский полк и особенно Партизанский пробивались с трудом, отвоевывая каждую версту пути упорным боем. Задерживаться в хуторах также было

небезопасно, так как вскоре у самой окраины их послышался сильный треск пулеметов. Пули жужжали между избами. Все войска втянулись в бой, и потому для прикрытия колонны с тыла в распоряжение коменданта штаба полковника Корвин-Круковского оставлена в хуторах «охранная» рота из офицеров-инвалидов и конвой Корнилова. С трудом протискиваясь по запруженной улице, эти части выходят на окраину. Двинулся обоз и остановился в версте. Опять по нему бьет неприятельская артиллерия; очевидно, перелеты по боевым линиям — и с фронта, и с тыла, и еще откуда-то, видимо со стороны Некрасовской.

Офицерский полк рассыпан редкими цепями, затерявшимися среди беспредельного поля и такими, казалось, слабыми в сравнении с массой большевиков. Цепи подвигаются очень медленно. Мы едем вперед рысью к маленькому хуторку. Корнилов с Романовским — уже на стогу. Треск пулеметов. Ранен тяжело в голову полковник генерального штаба Патронов. Текинцы суетливо прячут за стог и за хату лошадей...

Отчетливо видны отдельные фигуры в цепях. Похаживает вдоль них небольшого роста коренастый человек. Шапка на затылке, руки в карманах; Кутепов — командир 3-й роты. В этот день три пули пробили его плащ, но, по счастью, не ранили. Поднимаются отдельные группы прямо в рост, перетаскивают куда-то пулемет. Тихо бредут и ползут назад раненые. И не один из них вдруг валится на пашню, как срезанный, — догнала новая пуля. Офицеры поднялись, снова пошли в атаку, и темная масса впереди сначала зашевелилась на местах, потом хлынула назад.

Немедленно под прикрытием офицерского полка главные силы и обоз двинулись влево, в направлении Филипповского. Прошли версты три, опять остановились. Справа у Богаевского еще идет бой, а впереди слышна дальняя редкая перестрелка. От Неженцева, направленного с утра на Филипповское, нет сведений, занято ли уже это село — центр большевизма и военной организации всего района? Стоим в поле долго. Уже наступает ночь — тихая, беззвездная. Кони давно не кормлены, повесили понуро головы. По обочинам дороги лежат группами люди и тихо ведут беседу.

Пять тысяч жизней — старых и молодых — собрались в темную ночь в чистом поле, в глухом углу Кубанской об-

ласти, среди враждебной им стихии. Без крова и приюта. Бросивших дом, семью, близких и «взыскующих града». Уставших от тягот небывалого похода, морального одиночества и непрерывных боев. Не знающих, что сейчас сулят им темные дали с чуть мерцающими двумя-тремя путеводными огоньками: покой или новый бой, кровь, быть может, смерть...

О чем их мысли?

О гибнущей отчизне... О прошлом, далеком и невозвратимом... О славе, подвиге, о радостях жизни... О завтрашнем дне и новом вражеском окружении... О тех могильных холмах, которые выросли на всем пройденном пути... Что к ним, быть может, сегодня или завтра присоединится еще один — маленький, незаметный, который смоют дожди, распашет плуг, и сгинет след человеческой жизни... Наконец, просто о теплой хате и сытном ужине.

Темное небо прямо на запад, в направлении Екатеринодара прорезали бледные зарницы, и — почудилось только, или было на самом деле — издалека донеслись совсем тихие, еле слышные звуки, словно рокот отдаленного грома...

— Смотрите, смотрите, это у Покровского!

Он или не он, быть может, местное восстание казаков или горцев, но одно несомненно: где-то, за несколько десятков верст, идет артиллерийский бой. Там столкнулись две силы, два начала, одно из которых очевидно родственно армии. И по всей колонне, по всему обозному табору люди напрягают зрение, чтобы отгадать таинственный смысл далеких зарниц, видят незримое и слышат незвучное...

Скоро и другая приятная новость: Корниловский полк после небольшой стычки овладел Филипповским, которое оставили большевики и покинули все жители.

* * *

В волостном правлении толчея. Собрались начальники в ожидании отвода квартирных районов. Толпятся квартирьеры, снуют ординарцы с донесениями и за указаниями. За стеной слышен громкий спор.

— Вы почему заняли кварталы правее площади?

— Да потому что ваши роты явились с вечера и дочиста обобрали наш район.

— Ну, знаете... Кто бы говорил. Я вот сейчас заходил в лавку за церковью, видел, как ваши офицеры ящики разбивают...

Вот оборотная сторона медали. Подвиг и грязь. Нервно подергивается Кутепов и куда-то уходит. Через четверть часа возвращается.

— Нашли сухари и рис. Что же, прикажете бросить и не варить каши?

Никто не возразил. Тяжелая обстановка гражданской войны вступала в непримиримые противоречия с общественной моралью. Интендантство не умело и не могло организовать правильной эксплуатации местных средств в селениях, которые брались вечером с бою и оставлялись утром с боем. Походных кухонь и котлов было ничтожное количество. Части довольствовались своим попечением, преимущественно от жителей подворно. К середине похода не было почти вовсе мелких денег, и не только приварочные оклады, но и жалованье выдавалось зачастую коллективно 5—8 добровольцам тысячерублевыми билетами, впоследствии и пятитысячными, а организованный размен наталкивался всегда на непреоборимое недоверие населения. Да и за деньги нельзя было достать одежды, даже у казаков; иногородние не раз скрывали и запасы, угоняли скот в дальнее поле. Голод, холод и рваные отрепья — плохие советчики, особенно если село брошено жителями на произвол судьбы. Нужда была поистине велика, если даже офицеры, изранив вконец свои полубосые ноги, не брезговали снимать сапоги с убитых большевиков.

Жизнь вызвала известный сдвиг во взгляде на правовое положение населения не только в военной среде, но и у почтенных общественных и политических деятелей, следовавших при армии. Я помню, как одни из них в брошенном Филипповском с большим усердием таскали подушки и одеяла для лазарета... Как другие на переходе по убийственной дороге из Георгие-Афипской в аул Панахес силой отнимали лошадей у крестьян, чтобы впрячь их в ставшую и брошенную на дороге повозку с ранеными. Как расценивали жители эти факты, этот вопрос не вызывает сомнений. Что же касается общественных деятелей, то я думаю, что ни тогда, ни теперь они не определяли этих своих поступков иначе, как проявлением милосердия.

В этот сложный и больной вопрос примешивались еще обстоятельства чисто психологического характера. Чрезвычайно трудно было кубанскому казаку или черкесу, которых большевики обобрали до нитки, у которых спалили дом или разорили дотла хозяйство, внушить уважение к «частной собственности» большевиков, которыми они чистосердечно считали всех иногородних.

Мой вестовой, текинец, был до крайности изумлен, когда я в том же Филипповском, в брошенном доме выгнал его из кладовки, где он перебирал в сундуке хозяйское добро — добро того большевика, который встретил нас огнем и потом бежал, оставив «добычу». Оттого отношение к станице и аулу было иное, чем к селу; к казачьему двору иное, чем к хутору иногороднего. В одном только отношении не было разницы между «эллином и иудеем» — в отношении лошадей. Совершенно одинаково кавалеристы-добровольцы, казаки, черкесы, по прочно внедрившимся навыкам еще европейской войны, «промышляли» лошадей для посадки спешенных у всех и всеми способами, считая это не грехом, а лихостью. Так, впоследствии, в марте 1919 года, когда временно развалился Донской фронт, а два Кубанских корпуса были брошены в Задонье, чтобы остановить вторгнувшиеся туда большевистские силы, «младший брат» у «старшего» увел много табунов — тысячи голов добрых донских коней.

Наконец, армия состояла не из одних пуритан и праведников. Та исключительная обстановка, в которой приходилось жить и бороться армии, неуловимость и потому возможная безнаказанность многих преступлений давали широкий простор порочным, смущали морально неуравновешенных и доставляли нравственные мучения чистым.

С явлениями этими боролись и Корнилов, и весьма энергичный комендант штаба полковник Корвин-Круковский, и большинство командиров — иногда мерами весьма суровыми. Искоренить своеволие они не могли, но сдерживали его все же в известных рамках. До некоторой степени облегчало борьбу то обстоятельство, что части шли компактно и останавливались на ночлег в большинстве случаев в одном пункте.

Война и революция были слишком дурной школой для морального воспитания нации и армии.

* * *

10 марта нам пришлось вести бой — наиболее серьезный и кровопролитный. Еще с рассвета головной батальон Корниловского полка, шедшего в авангарде, перешел через реку Белую у окраины села и, повернув круто на запад, двинулся по дороге на станицу Рязанскую. Дорога здесь шла низкой долиной, постепенно удаляясь от берега и подходя к гребню высот, тянувшихся параллельно реке.

Едва только начали переправу главные силы полка, как на гребень, оставленный без наблюдения, высыпали густые цепи большевиков и открыли жестокий огонь по мостам. Произошло замешательство. Люди шарахнулись с моста, многие попадали в воду. Полк понес потери, но скоро оправился от неожиданности, при содействии артиллерийского огня переправился и, поднявшись на гребень, оттеснил несколько большевистский фронт. Только оттеснил: перед нами развернулись крупные силы, значительно превосходившие численно Добровольческую армию, собранные со всех сторон для прикрытия Майкопского направления. Их развертывание вдоль параллельных берегу высот в случае успеха ставило армию в критическое положение, запирая ее в узкой ($^1/_2$—1 верста) долине непроходимой вброд болотистой реки. Едва только за Корниловским полком успели пройти партизаны и чехословаки, развернувшись вправо и влево от корниловцев, как большевики вновь широким фронтом перешли в решительное наступление на наши линии. И тем не менее наш несчастный обоз вынужден был переходить реку и идти именно туда, навстречу, под склон высот, на гребне которых вот-вот мог появиться вновь прорывающийся противник. Ибо с севера на Филипповское давили уже наши вчерашние враги, их батарея обстреливала село и переправу, и Боровский с юнкерами, оставленный в арьергарде, с трудом сдерживал их напор.

А переправа по мосту протекает убийственно долго...

Удержат ли гребень?..

Уже начинают отходить чехословаки, расстреляв все свои патроны; отдельные фигуры их стали спускаться с высот. К ним поскакал конвой Корнилова. Там — замешательство. Командир батальона капитан Неметчик лег на землю, замахал неистово руками и прерывающимся голосом стал кричать:

— Дале изем немохль уступоват. Я зустану зде доцеля сам...[1]

Возле него в нерешительности мнутся чехословаки, некоторые остановились и залегли. Текинцы снабдили их патронами и легли рядом. Открыли вновь огонь. Наступление врага приостановлено. Надолго ли?

Уже начинает изнывать Корниловский полк; заколебался один батальон, в котором убит командир. Густые цепи большевиков идут безостановочно сплошной стеной, явственно слышатся их крики и ругательства. Потери растут. Мечется нервный, горячий Неженцев — из части в часть, из боя в бой, видит, что трудно устоять против подавляющей силы, и шлет Корнилову просьбы о подкреплении.

Корнилов со штабом стоял у моста, пропуская колонну, сумрачен и спокоен. По его приказанию офицеров и солдат, шедших с обозом и по наружному виду способных драться, отводят в сторону. Роздали ружья и патроны, и две команды, человек в 50—60 каждая, с каким-то полковником во главе идут к высотам.

«Психологическое» подкрепление.

Действительно, боевая ценность его невелика, но появление на поле боя всякой новой «силы» одним своим видом производит впечатление всегда на своих и на чужих.

Весь день идет бой с таким неопределенным, перемежающимся успехом — слишком неравные силы. Весь день неприятельские снаряды кроют гребень, село, район переправы и лощину, где словно врос в землю и замер обоз. Наши орудия отвечают редко, одиночными выстрелами. Несут много раненых. И в обозе несколько повозок разбито гранатами; опрокинуло повозку Алексеева и смертельно ранило его кучера; сам генерал был где-то на бугре. Люди здесь жмутся в кучки и както странно передвигаются с места на место, очевидно стараясь предугадать новое направление шрапнельной очереди. Из артиллерийского отдела то и дело высылают войскам снаряды и патроны; остается их угрожающе малое количество. Роздали уже ружья легко раненым. И когда сухой треск пулеметной стрельбы становится таким болезненно отчетливым и близким, на подводах с лежащими под жидкими одеялами

[1] Дальше я не могу отступать: останусь здесь хотя бы один.

беспомощными телами страдальцев заметно волнение. Слышится чей-то придавленный голос:

— Сестрица, не пора ли стреляться?..

В горячем сражении бывают минуты, иногда долгие часы, когда между двумя враждебными линиями наступает какое-то странное и неустойчивое равновесие. И достаточно какого-либо ничтожного толчка, чтобы нарушить его и сломить волю одной из сторон, *психологически* признавшей себя побежденной. Так и в этот день: по приказу и без приказа перед вечером наши войска на всем левобережном фронте перешли в контрнаступление — и противник был отброшен. В западном направлении расчищена широкая «отдушина», и колонна, извиваясь среди холмистого поля Кавказских предгорий, быстро уходила на запад, провожаемая справа и слева беспорядочным и безвредным огнем большевистской артиллерии.

Вскоре огонь смолк. Мы шли то степью, то жидкими перелесками среди беззвучной тишины умиравшего дня. На душе покойно и радостно. Вероятно, у всех так. Идут загорелые, обветренные, пыльные, грязные. Всю усталость от напряженного боя и перехода сразу как будто рукой сняло. В колонне слышится разговор, смех и шутки. Откуда-то вдруг доносится песня:

Так за Корнилова, за Родину, за Веру
Мы грянем дружное «ура»!

Прозвучала, покатилась по полю, отозвалась за холмом и так же неожиданно оборвалась: командир напомнил о близости противника... Мы обгоняем рысью колонну и на ходу обмениваемся с Романовским короткими фразами.

— Где еще найдется, — говорит Иван Павлович, — такое офицерство!..

— Нигде, конечно.

* * *

Станица Рязанская «выразила покорность». Главные силы с обозом перешли речку Пшиш и остановились на большой привал в черкесском ауле Нешукай — ранним утром предстояло дальнейшее движение. Штаб с арьергардом остался в Рязанской. В первый раз в казачьей станице так неуютно, пря-

мо тягостно. Начиная со встретившей Корнилова с белым флагом «депутации», участники которой все порывались стать на колени, во всей станице в отношении к нам чувствуется страх и раболепство. Многие дома были брошены жителями перед нашим приходом.

Только на другой день в черкесском ауле выяснилась причина. Рязанские имели основание опасаться суровой кары: станица одна из первых приняла большевизм, причем в практическом его применении трогательно объединились и казаки и иногородние. Они разгромили совместно соседние мирные аулы, а в одном — Габукае — перебили почти всех мужчин-черкесов[1]. Добровольцы в иных пустых саклях находили груды человеческих внутренностей... Несколько дней приезжали из Рязанской в аул с подводами казаки, крестьяне, женщины и дети и забирали черкесское добро... Аул словно кладбище.

Среди добровольцев разговоры:

— Если бы знали раньше, спалили бы Рязанскую...

Бедные черкесские аулы встречали нас как избавителей, окружали вниманием, провожали с тревогой. Их элементарный разум воспринимал все внешние события просто: не стало начальства — пришли разбойники (большевики) и грабят аулы, убивают людей. В их настроениях нельзя было уловить никаких отзвуков революционной бури: ни социального сдвига, ни разрыва со старой государственностью, ни черкесской самостийности.

Был страх, и было желание вернуться к спокойным, мирным условиям жизни. Только.

Штаб получил наконец подтверждение слухов об отряде Покровского: в последние дни он вел бои где-то в районе аулов Шенджи — Гатлукая, верстах в 40—60 от нас. Теперь уже представилась реальная возможность соединения. Необходимо было спешить, чтобы большевики не успели разбить кубанских добровольцев до соединения с нами. И Корнилов ведет армию по тяжелым дорогам так быстро, как только позволяют наши путы — обоз, с каждым боем непомерно растущий. От Филипповского прошли, не разгружая лазарет,

[1] 320 человек. В ауле Ассоколай большевиками убито 305 человек и т. д.

два дня — 40 верст до Панажукая. Оттуда после дневки, опять таким же порядком, 40 верст до аула Шенджий. Армия понимала хорошо значение этих маршей. Понимали и те, кто днями и ночами тряслись на подводах по весенним ухабам с гноящимися ранами и переломанными костями, терпели и видели... как одного за другим уносит смерть.

13 марта мы стали на ночлег в ауле Шенджий, а на другой день в аул въезжал в сопровождении нарядного, пестрого конвоя кавказских всадников произведенный в этот день Кубанской радой в генералы «командующий войсками Кубанского края» Покровский.

ГЛАВА XXIII
СУДЬБА ЕКАТЕРИНОДАРА И КУБАНСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА; ВСТРЕЧА С НИМ

Оставление Екатеринодара «кубанскими правительственными войсками» являлось вопросом не столько военной необходимости, сколько психологии. Еще во второй половине января после неудачного боя под Выселками Кубанский добровольческий отряд, прикрывавший Тихорецкое направление, спешно отступил к Екатеринодару. В связи с этим были отведены и другие отряды, и в двадцатых числах все вооруженные силы «Кубанской республики», преимущественно в составе добровольцев-офицеров и юнкеров, Черкесского полка и незначительного числа кубанских казаков, стояли уже на ближайших подступах к Екатеринодару.

Во всей области, охваченной большевистским угаром, оставалась только одна точка — Екатеринодар, еще боровшийся, но уже испытывавший и в своих стогнах тяжкий гнет большевиствующей революционной демократии.

Довольно нетерпимое в своих отношениях к неказачьему и некубанскому элементу кубанское правительство принуждено было, минуя своих генералов, вручить командование войсками капитану Покровскому, произведенному правительством за бой под Эйнемом в полковники. Покровский был молод, малого чина и военного стажа и никому не известен. Но проявлял

кипучую энергию, был смел, жесток, властолюбив и не очень считался с «моральными предрассудками». Одна из тех характерных фигур, которые в мирное время засасываются тиной уездного захолустья и армейского быта, а в смутные дни вырываются кратковременно, но бурно на поверхность жизни. Как бы то ни было, он сделал то, чего не сумели сделать более солидные и чиновные люди: собрал отряд, который один только представлял собой фактическую силу, способную бороться и бить большевиков. Успех под Эйнемом окончательно укрепил его авторитет в глазах правительства. Но для преобладающей массы добровольцев имя его не говорило ничего. Еще меньше внутренней связи было между добровольцами и кубанской властью. Хотя в официальных актах и упоминался часто термин «верные правительству войска», но это была лишь фраза без содержания, ибо в войсках создалось если не враждебное, то, во всяком случае, недоброжелательное отношение к многостепенной кубанской власти, слишком напоминавшей ненавистный офицерству «совдеп» и слишком резко отмежевавшейся от общерусской идеи. Еще с января в Екатеринодаре жил генерал Эрдели в качестве представителя Добровольческой армии. В числе поручений, данных ему, было подготовить почву для включения Кубанского отряда в состав Добровольческой армии. При той оторванности, которая существовала тогда уже между Ростовом и Екатеринодаром, такое подчинение должно было иметь главным образом моральное значение, расширяя военно-политическую базу армии и давая идейное обоснование борьбе кубанских добровольцев. В то же время М. Федоров добивался от Кубани материальной помощи для Добровольческой армии.

Эти предложения встретили резко отрицательное отношение к себе среди всех кубанских правителей. Стоявший тогда во главе правительства Лука Быч заявил решительно:

— Помогать Добровольческой армии — значит готовить вновь *поглощение Кубани Россией.*

О внутренних противоречиях кубанской политической жизни я уже говорил. Внешне же в феврале противобольшевистский стан в Екатеринодаре представлял следующую картину.

Законодательная рада, оторванная от казачества, продолжала творить «самую демократическую в мире конституцию самостоятельного государственного организма — Кубани» и одновременно втайне от своей иногородней, явно большевистской фракции собиралась на закрытые совещания о порядке исхода...

Кубанское правительство ревниво оберегало свою власть от вторжения атамана, косилось на Эрдели, по-царски награждало Покровского, но начинало уже не на шутку побаиваться все яснее обнаруживавшихся его диктаторских замашек.

Атаман Филимонов то клялся в конституционной верности, то поносил Раду и правительство в дружеских беседах с Эрдели и Покровским.

Командующий войсками Покровский требовал оглушительных кредитов от атамана и от правительства и сам мечтал об атаманской булаве и о разгоне «совдепа» (правительства).

Добровольцы-казаки то поступали в отряды, то бросали фронт в самую критическую минуту. А добровольцы-офицеры просто заблудились: без ясно поставленных и понятных целей борьбы, без признанных вождей они собирались, расходились, боролись впотьмах, считая свое положение временным и нервно ловя слухи о Корнилове, чехословаках, союзной эскадре — о всем том действительном и несбыточном, что *должно было*, по их убеждению, появиться, смести большевиков, спасти страну и их.

Несомненно, в этом пестром сочетании разнородных элементов были и люди стойкие, убежденные, но *общей идеи*, связующей их, не было вовсе, если не считать всем одинаково понятного сознания опасности и необходимости самообороны.

В феврале пал Дон, большевистские силы приближались к Екатеринодару. Настроение в нем упало окончательно. «Работа правительства и Рады, — говорит официальный повествователь, — с открытием военных действий, конечно, не могла уже носить спокойного и плодотворного характера... Грохот снарядов заглушал и покрывал собою все». Правительство решило «сохранить себя как идейно-политический центр, как ядро будущего оздоровления края» и совместно с казачье-горской фракцией Рады постановило покинуть Екатеринодар и уйти в горы, выведя и «верные правительству» войска. День выступления предоставлено было назначить полковнику Покровскому.

При создавшихся военно-политических условиях длительная оборона Екатеринодара не имела бы действительно никакого смысла. Но 25 февраля обстановка в корне изменилась. В этот день прибыл в Екатеринодар посланный штабом Добровольческой армии и пробравшийся чудом сквозь большевистский район офицер. Он настойчиво и тщетно убеждал кубанские власти повременить с уходом, ввиду того, что корниловская армия идет к Екатеринодару и теперь уже должна быть недалеко.

Ему не поверили или не хотели поверить: держали его под негласным надзором.

Вечером 28 февраля из Екатеринодара через реку Кубань на юг выступили добровольческие отряды, атаман, правительство, казачье-горская фракция законодательной Рады, городские нотабли и много беженцев. В их числе и председатель Государственной думы М. В. Родзянко. В обращении к населению бывшая кубанская власть объясняла свой уход тактической трудностью обороны города, нежеланием «подвергать опасности борьбы городское население», на которое может обрушиться «ярость большевистских банд», и, наконец, тем обстоятельством, что население края «не смогло защитить своих избранников».

В этом послесловии сепаратной деятельности кубанской революционной демократии в первый период смуты прозвучал и новый, как будто примиряющий мотив: «Мы одухотворены *идеей защиты республики Российской* и нашего края от гибели, которую несут с собой захватчики власти, именующиеся большевиками».

* * *

Сосредоточившиеся на другой день в ауле Шенджий кубанские войска были сведены в более крупные части, составив в общей сложности отряд до $2^1/_2$—3 тысяч штыков и сабель с артиллерией.

Отряд дошел до станицы Пензенской. Но в эти несколько дней похода отсутствие объединяющей политической и стратегической цели встало перед всеми настолько ярко, что не только под давлением резко обозначившегося настроения войск, но и по собственному побуждению кубанские власти сочли необходимым поставить себе ближайшей задачей

соединение с Корниловым. Тем более, что к этому времени вновь были получены сведения о движении Добровольческой армии к Екатеринодару и о происходивших к востоку от него 2—4 марта боях.

Покровский двинул отряд обратно в Шенджий и 7 марта, выслав заслоны против станции Эйнема и Екатеринодарского железнодорожного моста, неожиданно с главными силами захватил Пашковскую переправу. В течение двух дней Покровский вел артиллерийскую перестрелку, не вступая в серьезный бой, и в ночь на 10-е, отчаявшись в подходе Корнилова, ушел на восток. 10-го встретил сопротивление большевиков у аула Вочепший, где бой затянулся до ночи.

Неудача поисков Добровольческой армии, непонятное метание отряда и недоверие к командованию вызвали в войсках сильный упадок духа. Аула не взяли (мы были в этот вечер всего верстах в 30 от Вочепшия), и расстроенный отряд ночью, бросая обоз, без дорог устремился по направлению к горам на станицу Калужскую. Но со стороны Калужской шло уже наступление значительных сил большевиков, поставившее Кубанский отряд в критическое положение. 11-го произошел бой, в котором утомленные несколькими днями маршей и бессонными ночами войска Покровского напрягали последние усилия, чтобы сломить упорство врага. Участь боя, которым руководил командир Кубанского стрелкового полка подполковник Туненберг, не раз висела на волоске. Уже в душу многих участников закрадывалось отчаяние, и гибель казалась неизбежной. Уже введены были в дело все силы; пошли вперед вооруженные наспех обозные, старики, «радяне»[1] — подобие нашего «психологического подкрепления»... Артиллерия противника гремела не смолкая, цепи его пододвинулись совсем близко... Но вот Кубанский полк собрался с духом, поднялся и бросился в атаку. Большевики дрогнули, повернули назад и, преследуемые черкесской конницей, понеся большие потери, отхлынули в Калужскую.

Победа. Но в стане победителей настроение далеко не ликующее. Отряд, иззябший и замученный, заночевал в чистом поле под проливным дождем. Сзади — занятый больше-

[1] Члены Рады.

виками Вочепший, впереди — Калужская, вокруг которой идет еще бой передовых частей.

В эту тяжелую минуту по всему полю, по обозному бивак, по рядам войск разнеслась весть:

— Приехал разъезд от Корнилова. Корниловская армия недалеко от нас.

Участники похода передавали мне то неизгладимое впечатление, которое произвело на всех появление «корниловцев».

— И верилось, и немножко мучило сомнение — ведь столько раз обманывали. Но безумная радость охватила нас, словно открылась крышка, уже захлопнувшаяся было над нашей головой, и мы увидели опять свет Божий.

На другой день была взята Калужская, и Кубанский отряд расположился наконец со спокойным сердцем на отдых.

14-го состоялось в ауле Шенджий свидание с Покровским. В комнату Корнилова, где кроме хозяина собрались генералы Алексеев, Эрдели, Романовский и я, вошел молодой человек в черкеске с генеральскими погонами — стройный, подтянутый, с каким-то холодным, металлическим выражением глаз, по-видимому несколько смущенный своим новым чином, аудиторией и предстоящим разговором. Он произнес краткое приветствие от имени кубанской власти и отряда. Корнилов ответил просто и сдержанно. Познакомились с составом и состоянием отряда, его деятельностью и перешли к самому важному вопросу о *соединении*.

Корнилов поставил его с исчерпывающей ясностью: полное подчинение командующему и вливание кубанских войск в состав Добровольческой армии.

Покровский скромно, но настойчиво оппонировал: кубанские власти желают иметь свою собственную армию, что соответствует «конституции края»; кубанские добровольцы сроднились со своими частями, привыкли к своим начальникам, и всякие перемены могут вызвать брожение в войсках. Он предлагал сохранение самостоятельного Кубанского отряда и оперативное подчинение его генералу Корнилову.

Алексеев вспылил.

— Полноте, полковник. (Извините, не знаю, как вас и величать.) Войска тут ни при чем — мы знаем хорошо, как относятся они к этому вопросу. Просто вам не хочется поступиться своим самолюбием.

Корнилов сказал внушительно и резко:

— Одна армия и один командующий. Иного положения я не допускаю. Так и передайте своему правительству.

Хотя вопрос и остался открытым, но стратегическая обстановка не допускала промедления. И потому условились, что на другой день, 15-го, наш обоз перейдет в Калужскую, где и останется временно вместе с кубанским под небольшим прикрытием; войска же Добровольческой армии и Кубанского отряда в тот же день одновременным ударом захватят станицу Новодмитриевскую, занятую крупными силами большевиков, и там фактически соединятся. Небольшой конный отряд должен был произвести демонстрацию на Эйнем.

Это движение к Новодмитриевской — на юго-запад, а не на Калужскую — в горы, где нас ждали бы голод и распыление, носило в себе идею активной борьбы, свидетельствовало об уверенности в своих силах и предрешало ход дальнейших событий.

* * *

Екатеринодар между тем после ухода добровольцев переживал тяжело перемену власти. 1 марта в город вошли войска Сорокина, и начались неслыханные бесчинства, грабежи и расстрелы. Каждый военный начальник, каждый отдельный красногвардеец имел власть над жизнью «кадет и буржуев». Все тюрьмы, казармы, общественные здания были переполнены арестованными, заподозренными «в сочувствии кадетам». В каждой воинской части действовал свой «военно-революционный суд», выносивший смертные приговоры.

Военные начальники красной гвардии не могли или не хотели остановить бесчинства, а гражданская власть в течение всего марта месяца только еще слагалась. Первоначально с 1 марта образовался «Комитет общественной безопасности» из представителей революционной демократии Екатеринодара. 3-го был создан объединенный комитет, в состав которого вошли представители екатеринодарского, армавирского и новороссийского комитетов и красной гвардии, и который получил название «Кубанского областного военно-революционного комитета». Он действовал до конца марта. 20-го на съезде советов Кубанского края был из-

бран исключительно из большевиков и левых эсеров «Кубанский областной исполнительный комитет», выделивший из своей среды «Совет народных комиссаров».

В течение марта центральная власть за пределами Екатеринодара почти ничем не проявлялась. Да и в самом Екатеринодаре она вынуждена была вести борьбу с игнорировавшими ее главковерхами Автономовым, Сорокиным, Чистовым и другими, издавать никем не исполнявшиеся декреты и взывать к совести красной гвардии.

Красногвардейщина залила, заполонила всю область. Вопли шли со всех сторон: от демократии, буржуазии и казаков. И в то время, когда не слишком разборчивый в средствах и не отличавшийся чрезмерной гуманностью «ЦИК» все же требовал от Автономова прекращения бесчинств, военный комендант Екатеринодара Сошенко, поддержанный «главковерхом», издавал приказы, призывавшие пролетариат «к искоренению всей сволочи, которая не хотит замазать свои белые руки»... «Я инвалид, — писал Сошенко, — и как поставленый армией Кавказского фронта во власти коменданта города, слежу за свободой. Предупреждаю всю буржуазию, что за нарушение правил (?), высказанных против трудового народа, буду беспощадно расстреливать или уполномачивать лиц мандатами на право расстреливания негодяев Трудового Народа».

Так как «правил» екатеринодарцы так и не узнали, то жили в постоянном смертном страхе за свою судьбу, страстно ожидая избавления.

ГЛАВА XXIV

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД — БОЙ 15 МАРТА У НОВОДМИТРИЕВСКОЙ. ДОГОВОР С КУБАНЦАМИ О ПРИСОЕДИНЕНИИ КУБАНСКОГО ОТРЯДА К АРМИИ. ПОХОД НА ЕКАТЕРИНОДАР

15 марта — Ледяной поход — слава Маркова и Офицерского полка, гордость Добровольческой армии и одно из наиболее ярких воспоминаний каждого первопоходника о минувших днях — не то были, не то сказке.

Всю ночь накануне лил дождь, не прекратившийся и утром. Армия шла по сплошным пространствам воды и жидкой грязи, по дорогам и без дорог — заплывших и пропадавших в густом тумане, стлавшемся над землею. Холодная вода пропитывала насквозь все платье, текла острыми, пронизывающими струйками за воротник. Люди шли медленно, вздрагивая от холода и тяжело волоча ноги в разбухших, налитых водою сапогах. К полудню пошли густые хлопья липкого снега и подул ветер. Застилает глаза, нос, уши, захватывает дыхание, и лицо колет, словно острыми иглами.

Впереди перестрелка: не доходя 2—3 верст до Новодмитриевской — речка, противоположный берег которой занят аванпостами большевиков. Их отбросили огнем наши передовые части, но мост оказался не то снесенным вздувшейся и бурной рекой, не то испорченным противником. Послали конных искать броды.

Колонна сгрудилась к берегу. Две-три хаты небольшого хуторка манили дымками своих труб. Я слез с лошади и с большим трудом пробрался в избу сквозь сплошное месиво человеческих тел. Живая стена больно сжимала со всех сторон; в избе стоял густой туман от дыхания сотни людей и испарений промокшей одежды, носился тошнотный, едкий запах прелой шинельной шерсти и сапог. Но по всему телу разливалась какая-то живительная теплота, отходили окоченевшие члены, было приятно и дремотно.

А снаружи ломились в окна, в двери новые толпы:

— Дайте погреться другим, совести у вас нету.

Переправу искали долго. Корнилов разослал и всех конвойных офицеров. Всадники шли по тонкому слою льда, подернувшему реку у берега, проваливались и иногда вместе с конем погружались в ледяную воду. Наконец марковские конные разведчики перешли реку вброд у снесенного моста. Тотчас же мелькнула белая папаха Маркова, и с того берега донесся его громкий голос:

— Всех коней к мосту, полк переправлять верхом и на крупах.

Началась томительно долгая переправа: глубина — в полкорпуса лошади, одновременно проходило не более двух; потом в поводу поворачивали коней обратно за новой очередью пехоты. Попробовали провезти орудие. Лошади ша-

ракнулись, запутались в постромках, повалились вместе с ездовыми в воду и опрокинули пушку. Новая задержка. А в это время переправу начала громить неприятельская артиллерия. Одна за другой ложатся гранаты по снежному полю, падают в реку, вздымая высокие столбы пенящихся брызг. Вот одна упала прямо в костер, разведенный на берегу среди гревшейся толпы добровольцев; разметала, побила, переранила людей.

Между тем погода вновь переменилась: неожиданно грянул мороз, ветер усилился, началась снежная пурга. Люди и лошади быстро обросли ледяной корой; казалось, все промерзло до самых костей; покоробившаяся, будто деревянная одежда сковала тело; трудно повернуть голову, трудно поднять ногу в стремя.

Уже вечереет. Пурга заглушает шум ружейной стрельбы. Не слышно, что делается впереди. Возле дороги, ведущей от переправы к Новодмитриевской, в поле брошенные орудия и повозки, безнадежно застрявшие в расплывшейся пахоте, подернутой сверху тонкой корой льда. По дороге тянется вереница людей. Словно тени. Местами тут же на дороге лежит неподвижное тело.

— Раненый?

Долго молчит. Потом отрицательно качает головой.

— Вы подбодритесь, деревня близко, пропадете ведь здесь, в поле...

Идут и не обращают уже никакого внимания на свист пуль, которыми посыпают дорогу застрявшие где-то в стороне, в темнеющей роще большевики. Проехал Корнилов с одним только штабом — конвой почти весь переправляет пехоту. Стемнело окончательно.

Марков, развернув против станицы Офицерский полк, оказался с ним в полном одиночестве. Покровский, который должен был атаковать станицу с юга, не подошел: счел невозможным двигать по такой дороге и в такую погоду свой отряд. Это обстоятельство спасло большевиков от окружения и стоило нам потом двух лишних боев и лишней крови. Коннице, направленной в охват вправо, не удалось перейти речку, и к ночи она вернулась к общей переправе. Батарея с поврежденными механизмами орудий застряла в поле. В пятом часу только еще начинала переходить вброд голова Партизанского полка; переправа его протянется, очевидно, до ночи...

Марков решил:

— Ну вот что. Ждать некого. В такую ночь без крыши тут все подохнем в поле. Идем в станицу!

И бросился с полком под убийственный огонь мгновенно затрещавших со всех сторон ружей и пулеметов.

Полузамерзшие, держа в онемевших руках винтовки, падая и проваливаясь в густом месиве грязи, снега и льда, офицеры бежали к станице, ворвались в нее и перемешались в рукопашной схватке с большевиками, гнали их потом до противоположной окраины, встречаемые огнем чуть не из каждого дома, где засели и грелись не ожидавшие такой стремительной атаки и не успевшие построиться красногвардейцы резервных частей.

Когда мы подъехали к окраине станицы, Офицерского полка там уже не было. У околицы толпились артиллеристы застрявшей батареи с лошадьми, спасавшиеся от стужи и стоявшие в нерешительности: по всем темным улицам станицы шла беспорядочная стрельба. Корнилов послал ординарцев разыскать Маркова и полк, но не дождался донесения и поехал с Романовским, несколькими чинами штаба и ординарцами в обычный сборный пункт — станичное правление.

Командующий армией входил туда как раз в тот момент, когда из правления в другие двери выбегала толпа большевиков, встреченная в упор огнем.

Всю ночь шла стрельба в станице; всю ночь переправлялась армия, и весь следующий день подбирали и вытаскивали из грязи повозки обоза и артиллерию. Утром большевики атаковали Новодмитриевскую, но с большим уроном были отброшены. И каждый день потом их артиллерия со стороны Григорьевской громила нашу станицу, преимущественно площадь с церковью, где, как всегда, располагался Корнилов с штабом.

В тот же день, 15-го, наш обоз переходил из аула Шенджий в станицу Калужскую, куда прибыл поздно ночью. Раненые и больные весь день лежали в ледяной воде. Смерть витала над лазаретом.

Мой бронхит свалил меня окончательно. Молодой зауряд-врач, променявший свою мирную профессию на беспокойную и опасную должность ординарца генерала Маркова, милейший г-н Д. Родичев, выслушал меня и, найдя какие-то необыкновенные шумы, смущенно сказал:

— Дело плохо, надо сбегать за доктором...

Но 17-го приехали представители Кубани на совещание по поводу соединения армий. Пришлось подняться. Предварительно беседовал с Корниловым и Романовским. Выяснилось, что части Кубанского отряда «с оказией» прислали доложить, что они подчиняются только генералу Корнилову, и если их командование и кубанское правительство почему-либо на это не пойдут, то все они перейдут к нам самовольно. Было решено, чтобы не создавать опасных прецедентов и не подрывать принципов дисциплины, побудить кубанские власти к мирному и добровольному соглашению.

Приехали атаман, полковник Филимонов, генерал Покровский, председатель и товарищ председателя законодательной рады Рябовол и Султан-Шахим-Гирей, председатель правительства Быч — люди, которым суждено было впоследствии много времени еще играть большую роль в трагических судьбах Кубани.

Начались томительно долгие, нудные разговоры, в которых одна сторона вынуждена была доказывать элементарные основы военной организации, другая в противовес выдвигала такие аргументы, как «конституция суверенной Кубани», необходимость «автономной армии» как опоры правительства и т. д. Они не договаривали еще одного своего мотива — страха перед личностью Корнилова: как бы вместе с Кубанским отрядом он не поглотил и их призрачную власть, за которую они так цепко держались. Этот страх сквозил в каждом слове. На нас после суровой, жестокой и простой обстановки похода и боя от этого совещания вновь повеяло чем-то старым, уже, казалось, похороненным, напомнившим лето 1917 года с бесконечными дебатами революционной демократии, доканчивавшей разложение армии; а также зиму в Новочеркасске и Ростове с разговорами донского правительства, дум и советов, подготовлявшими вступление на Дон красных войск Сиверса... А за стеною жизнь, настоящая жизнь уже напоминала о себе громким треском рвавшихся на площади и возле дома гранат.

Нелепый спор продолжался.

Корнилов заявил категорически, что он не согласен командовать «автономными» армиями, и пусть в таком случае выбирают другого.

Кубанское правительство согласилось наконец на соединение армий, но устами Быча заявило, что оно устраняется от дальнейшего участия в работе и снимает с себя всякую ответственность за последствия.

Корнилов вспылил и, ударяя по столу пальцем с надетым на нем перстнем (его характерный жест), сказал:

— Ну нет! Вы не смеете уклоняться. Вы обязаны работать и помогать всеми средствами командующему армией.

Жизнь настойчиво возвращала совещание к суровой действительности: задрожали стены, зазвенели стекла; возле нашего дома разорвалось несколько гранат; одна забрызгала грязью окна, другая разбила ворота...

Кубанские представители попросили разрешения переговорить между собой. Мы вышли в другую комнату и, набросав там проект договора, послали его кубанцам.

В окончательной редакции протокол совещания гласил:

«1. Ввиду прибытия Добровольческой армии в Кубанскую область и осуществления ею тех же задач, которые поставлены Кубанскому правительственному отряду, для объединения всех сил и средств признается необходимым переход Кубанского правительственного отряда в полное подчинение генералу Корнилову, которому предоставляется право реорганизовать отряд, как это будет признано необходимым.

2. Законодательная рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям командующего армией.

3. Командующий войсками Кубанского края с его начальником штаба отзываются в состав правительства для дальнейшего формирования Кубанской армии».

Подписали: генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Эрдели, Романовский, полковник Филимонов, Быч, Рябовол, Султан-Шахим-Гирей.

Последние строки 3-го пункта, введенные по настоянию кубанских представителей, главным образом якобы только для морального удовлетворения смещенного командующего войсками, создали впоследствии большие осложнения во взаимоотношениях между главным командованием и Кубанью.

В этот день, 17-го, после артиллерийского обстрела большевики из Григорьевской перешли опять в наступление на Новодмитриевскую; вечером проникли даже небольшими частями в самую станицу, соединившись здесь с местными иногородними. Несколько часов по улицам жужжали пули, пока, наконец, около полуночи наступление не было отбито. В ближайшие дни прибыли кубанские войска, влились в Добровольческую армию, которая после расформирования некоторых частей получила следующую организацию[1]:

1-я бригада, генерал Марков.
Офицерский полк.
1-й кубанский стрелковый полк.
1-я инженерная рота.
1-я и 4-я батареи.
2-я бригада, генерал Богаевский.
Корниловский ударный полк.
Партизанский полк.
Пластунский батальон.
2-я инженерная рота.
2-я, 3-я и 5-я батареи.
Конная бригада, генерал Эрдели.
1-й конный полк.
Кубанский полк (вначале дивизион).
Черкесский полк.
Конная батарея.

Общая численность армии возросла до 6 тысяч бойцов. Вместе с тем почти удвоился наш обоз.

* * *

Атака Екатеринодара решена. Были сомневающиеся, но не было несогласных, тем более что армия до этих дней не знала неудачи и выполняла, невзирая на невероятные трудности, всякий маневр, который ей указывал командующий. Второй месяц уже Корнилов шел вперед, разбивая все преграды, которые встречал на своем пути, побеждая большевиков силою своей воли, обаянием своего мужества и доблестью преданных ему добровольцев.

[1] Чехословацкий батальон не включался в состав бригад.

План операции заключался в следующем: 1) разбить отряды противника, действовавшие южнее Екатеринодара, для того, чтобы обеспечить возможность переправы и увеличить запас боевых припасов за счет большевистских складов; 2) внезапным ударом захватить станицу Елисаветинскую в 18 верстах западнее Екатеринодара — пункт, где имелась только паромная переправа и где нас меньше всего ожидали; 3) переправиться через Кубань и атаковать Екатеринодар[1].

В двадцатых числах бригада генерала Богаевского после кровопролитного боя захватила Григорьевскую и Смоленскую. Эрдели с конницей пошел к Елисаветинской. 24-го перед рассветом генерал Марков должен был внезапным ударом овладеть Георгие-Афипской станицей и станцией, где был центр закубанских отрядов, гарнизон свыше 5 тысяч человек с артиллерией и бронепоездами и склад боевых припасов.

Неожиданным нападение не вышло: выступление почему-то сильно замешкалось, и когда голова колонны была на расстоянии менее версты от станицы, как-то сразу рассвело. Большевики увидели перед собою на ровном открытом поле не успевшую развернуться компактную массу пехоты, артиллерии, конных и после минутного замешательства открыли по ней убийственный огонь, в котором принял участие и показавшийся за поворотом бронированный поезд. Корнилов со штабом в это время обгонял колонну и едва успел отъехать в сторону. Ружейной пулей ранило в ногу навылет генерала Романовского, который, однако, остался с Корниловым. По всему полю заметались люди, орудия. По счастью, впереди по заливным лугам проходила высокая насыпь железной дороги, и Марков успел развернуть и скрыть за ней свои части.

[1] Ближайшие переправы были: деревянный мост у Пашковской, где недавно был Покровский и где поэтому нас могли ожидать; железнодорожный мост у самого Екатеринодара, атака которого представляла непреодолимые технические трудности.

В таком положении колонне Маркова пришлось простоять несколько часов. Впереди — окраина станицы, опоясанная протекавшей в совершенно отвесных берегах речкой Шелш с единственным мостом через нее.

Наступление замерло.

Корнилов послал приказание бригаде Богаевского ускорить движение от Смоленской в глубокий обход Георгие-Афипской с запада. Сам переехал на это направление.

Во второй половине дня корниловцы и партизаны, прорезав железную дорогу, вышли в тыл большевикам и после краткого горячего боя ворвались в станицу и на станцию. С востока вошел и Марков. Началось истребление метавшихся по всей станице остатков большевиков, не успевших прорваться к Екатеринодару. На станции, в числе прочей добычи, нашли и драгоценные для нас снаряды — до 700 штук.

Полки, как всегда, соперничали в доблести, не омраченной ревнивым чувством. Когда Корнилов благодарил командира Партизанского полка генерала Казановича за взятие станицы, тот ответил:

— Никак нет, Ваше Высокопревосходительство. Всем успехом мы обязаны Митрофану Осиповичу[1] и его полку...

25 марта подтянулся обоз, и пополудни армия двинулась дальше на северо-запад, подорвав железнодорожный мост и выслав отряд для демонстрации против Екатеринодара. Шли вначале вдоль полотна; скоро, однако, приостановились: подъехал бронированный поезд и эшелон большевиков, с которым наш авангард вел бой до темноты. Колонна свернула в сторону и продолжала путь уже темной ночью. Опять без дорог, сбиваясь и путаясь среди сплошного моря воды, залившей луга и дороги, скрывшей канавы, ямы, обрывы, в которые проваливались люди и повозки. Ночь казалась такой бесконечно долгой, и таким желанным — рассвет...

Пройдя 32 версты, колонна остановилась в ауле Панахес, откуда после небольшого отдыха 2-я бригада генерала Богаевского двинулась дальше к Елисаветинской переправе, находившейся в десяти верстах и уже захваченной Эрдели.

---

[1] Подполковник Неженцев, командир Корниловского полка.

...

Переправа через Кубань представляет большой интерес не только технической стороной ее выполнения, но и необыкновенной смелостью замысла.

У Елисаветинской был паром, поднимавший нормально около 15 всадников, или 4 повозки с лошадьми, или 50 человек. Позднее откуда-то снизу притянули другой паром, меньшей подъемной силы и с неисправным тросом, действовавший с перерывами. Был еще десяток рыбачьих гребных лодок.

Этими средствами нужно было перебросить армию с ее обозом и беженцами в составе не менее 9000 человек, до 4000 лошадей и до 600 повозок, орудий, зарядных ящиков.

Операция выполнялась под угрозой с левого берега со стороны большевиков, владевших железнодорожным мостом; и под некоторым давлением с правого — со стороны авангарда екатеринодарской группы большевиков.

Переправа выполнялась в полном порядке и длилась трое суток в условиях почти мирных (за исключением нескольких часов 27-го — без обстрела). Обратный отход с боем потребовал бы значительно большего времени, — вернее, был невыполним вовсе и в случае неудачи боя грозил армии гибелью.

Переброшенный на правый берег громадный обоз — подвижной тыл армии, прижатый к реке, — становился в полную зависимость от какой-либо случайности в изменчивой обстановке сражения.

Для того чтобы решиться на такую операцию, нужна была крепкая вера вождя в свое боевое счастье и в свою армию.

Корнилов не сомневался.

27 марта мы беседовали в штабе о вопросах, связанных с занятием Екатеринодара, как о чем-то неизбежном и не допускающем сомнения. Чтобы не повторить ростовской ошибки, решено было временно, до упрочения военного положения, не восстанавливать кубанскую власть, а назначить в Екатеринодар генерал-губернатора; эта должность возложена была на меня. Помню, что кубанское правительство отнеслось к этой мере с молчаливым осуждением. И когда я просил дать мне в помощь опытных общественных деятелей, они предложили мне... уволенного некогда полицеймейстера и свое контрразведочное от-

деление[1]. В тот же день Корнилов в первый раз отдал приказ о том, чтобы окрестные кубанские станицы выставили и немедленно прислали в состав Добровольческой армии определенное число вооруженных казаков.

Не сомневалась и армия.

Весело толпились у берега, спеша переправиться, корниловцы и партизаны, шедшие в этот раз в голове, за конницей. Нервничали марковские офицеры, и ворчал их генерал, оставленный с бригадой в арьергарде на левом берегу до окончания переправы обоза.

— Черт знает что! Попадешь к шапочному разбору!

Хорошее настроение царило и в обозном походном порядке, по капризу судьбы вдруг выросшем на берегу Кубани вокруг маленького черкесского аула[2]. Сотни повозок; пасущиеся возле них стреноженные лошади; пестрые лохмотья, разложенные для сушки на чуть пробивающейся траве под яркими, еще холодными лучами весеннего солнца; дым и треск костров; разбросанные по всему полю группы людей, с нетерпением ждущих своей очереди для переправы и жадно ловящих вести с того берега. Словно во времена очень далекие — табор крестоносцев, безумцев или праведников, пришедших из-за гор и морей под стены святого города.

И у нашей армии был свой маленький «Иерусалим». Пока еще не тот — заветный, далекий, с золотыми маковками сорока сороков Божьих церквей... Более близкий — Екатеринодар.

Он влек к себе необыкновенной притягательной силой. Даже люди с холодным умом, ясно взвешивавшие военно-политическое положение, не обольщавшиеся слишком радужными надеждами, поддавались невольно его гипнозу. А массы видели в нем конец своим мучениям, прочную почву под ногами и начало новой жизни.

Почему? В этом плохо разбирались, но верили, что так именно будет.

---

[1] Нужно заметить, что контрразведка не была исключительной слабостью военной власти. Всякое местное «демократическое правительство» в это смутное время начинало свою деятельность с организации широкой сети контрразведки.

[2] Хатук.

ГЛАВА XXV
ШТУРМ ЕКАТЕРИНОДАРА

К 27 марта на правом берегу Кубани была уже конница Эрдели и 2-я бригада Богаевского. Бригада Маркова прикрывала обоз.

Смелый замысел, поразивший воображение большевиков и спутавший все расчеты их командования, не был доведен до своего логического конца. Над тактическими принципами, требовавшими быстрого сосредоточения всех сил для решительного удара, восторжествовало чувство человечности — огромная моральная сила вождя, привлекающая к нему сердца воинов и вместе с тем иногда сковывающая размах стратегии и тактики.

Корнилов мог, рассчитывая на трудную проходимость левобережных плавней, оставить для прикрытия обоза части вспомогательного назначения — охранную и инженерные роты, команды кубанского правительства, вооруженных чинов обоза и т. п. Бригада Маркова могла бы к вечеру 27-го сосредоточиться в Елисаветинской. Но раненые оставались бы тогда три ночи без крова, и всему многочисленному населению обоза в случае серьезного наступления с тыла от аула Панахес грозила опасность попасть в руки большевиков.

И Корнилов оставил на левом берегу треть своих сил и... Маркова. 1-я бригада постепенно, по частям выходила потом в боевую линию, начиная с полудня 28-го и до вечера 29-го.

Начался бой за Екатеринодар.

Утром 27-го отряд большевиков из Екатеринодара повел наступление на Елисаветинскую и открыл артиллерийский огонь по станице, явно нащупывая переправу. Сторожевое охранение корниловцев было потеснено, и Неженцев постепенно ввел в дело весь свой полк. Пополудни генерал Богаевский двинул в бой и Партизанский полк. Генерал Казанович, развернув свои батальоны партизан, двинулся в атаку без выстрела вдоль Екатеринодарской дороги, поддерживаемый редким огнем своей батареи. Большевики не выдержали атаки и бросились бежать в направлении на Екатеринодар. Бежали густыми толпами, в полном беспорядке и остановились

только на линии «фермы»[1] и примыкающих к ней хуторов в 3 верстах от города.

Казанович, преследуя большевиков, овладел кирпичным заводом, стоявшим на берегу Кубани на полпути от Екатеринодара.

Ввиду того, что на Богаевского возложено было только прикрытие Елисаветинской, а атака Екатеринодара предположена была лишь после переправы всей армии, он счел свою задачу выполненной и, оставив на высоте кирпичного завода сторожевое охранение, отвел полки на ночлег в станицу.

Между тем в штабе настроение значительно поднялось. Легкость, с которой был одержан успех этого дня, моральная неустойчивость большевиков, доходившие сведения о панике в Екатеринодаре, о начинающейся будто бы эвакуации и вместе с тем о подходящих спешно подкреплениях — все это побудило Корнилова поспешить с атакой и нанести решительный удар, прежде чем большевики опомнятся и усилятся, не дожидаясь сосредоточения всех наших сил. Поздно ночью отдан был приказ ускорить переброску Кубанского стрелкового полка (из бригады Маркова), а Богаевскому совместно с Эрдели атаковать Екатеринодар 28-го марта.

В этом решении многие видели потом причину рокового исхода операции. На войне принимаются не раз решения как будто безрассудные и просто рискованные. Первые кончаются удачей иногда, вторые часто. Успех в этом случае создает полководцу ореол прозорливости и гениальности, неудача обнажает одну только отрицательную сторону решения.

Корнилов рискнул и... ушел из жизни раньше, чем окончилась Екатеринодарская драма. Рок опустил внезапно занавес, и никто не узнает, каким был бы ее эпилог.

* * *

Утром 28-го Богаевский двинулся на Екатеринодар. Партизанскому полку приказано было атаковать западную окраину города, Корниловскому — Черноморский вокзал (севернее города). Еще левее шла конница Эрдели в охват города с севера и северо-востока; она должна была преградить большевикам пути по Черноморской и Владикавказской железным дорогам и поднять казаков станицы Пашковской.

[1] Образцовая ферма Екатеринодарского сельскохозяйственного общества.

Корниловцы, не получив почему-то своевременно приказа, задержались, и Казанович — этот несравненный таран для лобовых ударов — атаковал ферму и прилегающие хутора один и после горячего боя взял их. Но ненадолго: большевики подвели крупные резервы, при содействии сильного артиллерийского огня перешли в контратаку и вновь овладели фермой. Но слева подходили уже корниловцы, опрокидывая большевиков. Кубанские пластуны полковника Улагая поддержали партизан и вместе с ними снова ворвались на ферму, закрепив ее за нами окончательно. В этот день пало много храбрых; в числе других были ранены генерал Казанович, полковник Улагай, партизан есаул Лазарев.

Мы подъехали к ферме вскоре после ее занятия. Был ясный солнечный день. С возвышенности, на которой стояла ферма, открывалась панорама Екатеринодара. Отчетливо видны были контуры домов предместья, кладбище и Черноморский вокзал. Впереди них — длинные неправильные ряды большевистских окопов.

Возле фермы стала наша батарея. Каждый выезд на позицию — это трагедия: десяток патронов по целям, требующим сотен; молчание — когда пехота не в силах подняться из окопов под сплошным ливнем неприятельского огня. Вправо, ближе к берегу, пошли и скрылись в складках поля и в роще партизаны и пластуны, направляясь на кожевенные заводы. Севернее большой дороги наступал Корниловский полк, и Неженцев шел вперед, не обращая внимания на летящие пули, уже сразившие нескольких его спутников; шел к кургану, откуда должно быть видно, как на ладони, открытое поле, отделяющее нас от вокзала — поле смерти, которое судьба на этот раз предоставляла преодолеть его полку.

Странно и жутко было видеть от фермы человеческие силуэты[1] на вершине бугра среди цепей и огня.

Ферма, где остановился штаб армии, расположена на высоком отвесном берегу Кубани. Она несколько маскировалась рядом безлистых тополей, окаймлявших небольшое

[1] Там оказались Казанович, Неженцев и их полковые штабы.

опытное поле, примыкающее к ферме с востока. С запада к ней подходила вплотную небольшая четырехугольная роща. Внутри двора — крохотный домик в четыре комнаты, каждая площадью не больше полуторы сажени, и рядом сарай. Вся эта резко выделявшаяся на горизонте группа была отчетливо видна с любого места городской окраины и, стоя среди открытого поля, в центре расположения отряда, не могла не привлечь к себе внимания противника.

Перед вечером получено было донесение, что войска правого крыла под начальством полковника Писарева (партизаны, пластуны и подошедший батальон Кубанского стрелкового полка) после жестокого боя овладели предместьем города с кожевенным заводом и идут дальше.

Настроение на «ферме» ликующее. Уже никто не сомневается, что Екатеринодар падет. Не было еще случая, чтобы красная гвардия, потеряв окраину, принимала бой внутри города или станицы. Корнилов хотел уже перейти на ночлег в предместье, и ему с трудом отсоветовали ехать туда. Коменданту штаба армии послано было приказание к рассвету выслать квартирьеров...

Разместились тесно на полу на соломе: в одной комнатке Корнилов с двумя адъютантами, в двух — Романовский со штабом и команда связи, четвертую отдали для перевязочного пункта; в маленькой кладовке, рядом с комнатой Корнилова, поместился я с двумя офицерами. Весь коридор был забит мертвецки спящими телами. Богаевский со штабом расположился возле, в роще, под бурками.

Мне плохо спалось: от холода, от стонов, раздававшихся всю ночь из перевязочной, и от напряженного ожидания.

• • •

Утром 29-го нас разбудил треск неприятельских снарядов, в большом числе рвавшихся в районе фермы. В течение трех дней с тех пор батареи большевиков перекрестным огнем осыпали ферму и рощу. Расположение штаба становилось тем более рискованным, что ферма стояла у скрещения дорог — большой и береговой, по которым все время сновали люди и повозки, поддерживавшие сообщение с боевой линией. Но вблизи жилья не было, а Корнилов не хотел отдаляться от войск. Романовский указал командующему на безрассудность подвергаться такой опасности, но, видимо, не очень настойчиво, больше по обязанности, так как и сам лично относился ко всякой опасности с полнейшим равнодушием.

И штаб остался на ферме.

За ночь, как оказалось, боевая линия не продвинулась. Писарев дошел до ручья, отделявшего от предместья артиллерийские казармы, обнесенные кругом земляным валом, представлявшим прекрасное оборонительное сооружение, и дальше продвинуться не мог. Атаки повторены были и ночью, и под утро — раненым Казановичем, не оставившим строя; вызвали лишь тяжелые потери (ранен был и полковник Писарев), но успехом не увенчались. Казанович предпринимал более «солидную» артиллерийскую подготовку. На нашем языке это означало лишних 15—20 снарядов.

Неженцев оставался в прежнем положении, встретив упорное сопротивление и будучи не в силах преодолеть жестокий огонь противника. Корниловский полк, сильно ослабленный предшествовавшими боями, таял. В его ряды на пополнение влили две-три сотни мобилизованных кубанских казаков, по большей части необученных, которые, попадая сразу в самое пекло оглушительного боя, терялись и нервничали. Неженцев страдал за полк, ставил на чашу весов последнюю гирю — свое моральное обаяние — и второй день уже безотлучно сидел возле цепей на кургане, вокруг которого неустанно сыпались пули и рвали в клочья человеческое тело вражеские гранаты.

Только у Эрдели дело шло, по-видимому, успешно: конница его заняла Сады[1], перерезала железную дорогу и направилась к Пашковской. Станица эта, расположенная в 10 верстах к востоку от Екатеринодара, — большая и многолюдная — была враждебна большевизму с первых его дней, и восстание там, в ближайшем тылу екатеринодарского гарнизона, сулило весьма благоприятные перспективы.

Между тем береговой дорогой к кожевенному заводу мимо нас потянулись части Офицерского полка. Скоро показался и Марков. Идет широким шагом, размахивая нагайкой, и издали еще на ходу ругается:

---

[1] Северное предместье Екатеринодара со сплошными садами.

— Черт знает что! Раздергали мой Кубанский полк, а меня вместо инвалидной команды к обозу пришили. Пустили бы сразу со всей бригадой, я бы уже давно в Екатеринодаре был.

— Не горюй, Сережа, — отвечает Романовский. — Екатеринодар от тебя не ушел.

Два близких друга, родственных по духу. В обоих горит огонь. Только в одном он прорывается наружу ярким пламенем, другой сковал его силой воли и сознанием исключительной нравственной ответственности своего поста.

Ввиду сосредоточения всей бригады Маркова решено было разобрать перемешанные части и вечером в 5 часов повторить атаку всем фронтом: Маркову — на артиллерийские казармы, Богаевскому — против Черноморского вокзала.

Батарея полковника Третьякова редким огнем подготавливала штурм казарм. Цепи наши лежали словно вросшие в землю; нельзя поднять головы, чтобы тотчас же не задела одна из тысяч летящих вокруг пуль. В глубокой канаве расположились Марков с Тимановским, штабом (три человека) и командой разведчиков. Марков ходит нервными шагами, нетерпеливо ждет начала атаки. Приказ отдан, но части медлят.

— Ну, видимо, без нас дело не обойдется...

Вскочил на насыпь и бросился к цепям.

— Друзья, в атаку, вперед!

Ожило поле, поднялись добровольцы, и все живое бросилось к смертоносному валу: храбрые и робкие, падая и снова поднимаясь, оставляя за собою на взрыхленном снарядами поле, на камнях мостовой судорожно подергивавшиеся раненые и неподвижные мертвые тела...

Артиллерийские казармы взяты.

Когда известие об этом дошло до левого фланга, Неженцев отдал приказ атаковать. Со своего кургана, на котором Бог хранил его целые сутки, он видел, как цепь поднималась и опять залегала; связанный незримыми нитями с теми, кто лежал внизу, он чувствовал, что наступил предел человеческому дерзанию и что пришла пора пустить в дело «последний резерв». Сошел с холма, перебежал в овраг и поднял цепи.

— Корниловцы, вперед!

Голос застрял в горле — в голову ударила пуля. Он упал. Потом поднялся, сделал несколько шагов и повалился опять, убитый наповал второй пулей.

Не стало Митрофана Осиповича Неженцева!

Потрясенные смертью командира, потеряв раненым помощника Неженцева полковника Индейкина и убитым командира Партизанского батальона капитана Курочкина, перемешанные цепи корниловцев, партизан и елисаветинских казаков схлынули обратно в овраг и окопы.

А к роковому холму подходил последний батальон резерва[1], и генерал Казанович с рукой на перевязи, превозмогая боль перебитого плеча, повел его в атаку. Под бешеным огнем, увлекая за собой и елисаветинцев, он опрокинул передовые цепи большевиков и уже в темноте по пятам бежавших двинулся к городу.

Вечером этого дня Богаевский объезжал позицию. «Большевики открыли бешеный пулеметный огонь, — рассказывал он. — Пришлось спешиться и выждать темноты. Ощупью, ориентируясь по стонам раненых, добрался я до холмика с громким названием «штаб Корниловского полка» почти на линии окопов. Крошечный «форт» с отважным гарнизоном, среди которого только трое было живых; остальные бойцы лежали мертвые. Один из живых, временно командующий полком, измученный до потери сознания, спокойно отрапортовал мне о смерти командира подполковника Неженцева. Он лежал тут же, такой же стройный и тонкий; на груди черкески тускло сверкал георгиевский крест.

От позиции большевиков было несколько десятков шагов. Они заметили наше движение; и пули роем засвистели над нами, впиваясь в тела убитых. Лежа рядом с павшим командиром, я слушал свист пуль и тихий доклад его заместителя о боевом дне»...

К ночи в штабе армии положение фронта определялось следующим образом: бригада Маркова закрепилась в районе артиллерийских казарм. С партизанами Казановича связь была потеряна, и о судьбе их ничего не известно. Корнилов-

[1] 2-й батальон партизан, перешедший с правого фланга.

ский полк, весьма расстроенный, занял прежние позиции. Конница Эрдели отошла к Садам.

Когда Корнилову доложили о смерти Неженцева, он закрыл лицо руками и долго молчал. Был угрюм и задумчив; ни разу с тех пор шутка не срывалась с его уст, никто не видел больше его улыбки. Не раз он неожиданно прерывал разговор с новым человеком:

— Вы знаете, Неженцев убит. Какая тяжелая потеря...

И на минуту замолкал, нервно потирая лоб своим характерным жестом.

Когда к ферме подвезли на повозке тело Неженцева, Корнилов склонился над ним, долго с глубокой тоской смотрел в лицо того, кто отдал за него свою жизнь, потом перекрестил и поцеловал его, прощаясь, как с любимым сыном.

На ферме как-то все притихли. Иван Павлович говорил мне в этот день:

— Никогда еще я не видел *его* таким расстроенным. Стараюсь отвлечь его мысли, но плохо удается. Просто так вот по-человечески ужасно жалко его.

Опять ночь на ферме. Опять плохо спится — от холода, от стонов раненых... и от тревожного предчувствия.

* * *

Утром 30-го, ко всеобщему сожалению, мы узнали, что успех боя был уже почти обеспечен, и только ряд роковых случайностей вырвал его из наших рук. Генерал Казанович с вечера 29-го, преследуя бежавших большевиков, прошел мимо участка Кутепова и просил его атаковать одновременно правее и доложить об этом Маркову. Затем, рассеяв легко большевиков, занимавших самую окраину, ворвался в город и, не встречая далее никакого сопротивления, стал подвигаться по улицам в глубь его.

Этот удивительный эпизод, похожий на сказку, сам Казанович передает такими правдивыми и скромными словами:

«...Стрельба на участке 1-й бригады стихла. Я был уверен, что мои соседи справа также продвигаются по одной из ближайших улиц, а потому приказал время от времени кричать «Ура генералу Корнилову!» с целью обозначить свое место моего нахождения. Подвигаясь таким образом, мы достигли Сенной площади... Все было тихо. На площади стали появляться повозки, направлявшиеся на позиции противника. Преимущественно это были санитарные повозки с фельдшерами и сестрами милосердия, но попалась и одна повозка с хлебом, которой мы очень обрадовались, несколько повозок с ружейным патронами и, что особенно ценно, на одной были артиллерийские патроны.

Между тем ночь проходила. Встревоженный долгим отсутствием каких-либо сведений о наших частях, я послал по пройденному нами пути разъезды на отбитых у большевиков конях».

Вернувшийся разъезд доложил, что «наших частей нигде не видно, что окраина города в том месте, где мы в него ворвались, занята большевиками, которые, по-видимому, не подозревают о присутствии у них в тылу противника».

Начальник разъезда, принятый за своего, успокоил большевиков, уверив их, что в городе все тихо.

«Потеряв надежду на подход подкреплений, я решил, что дожидаться рассвета среди многолюдного города, в центре расположения противника, имея при себе 250 человек, — значит обречь на гибель и их и себя без всякой пользы для дела. Построив в первой линии партизан с пулеметами, за ними елисаветинцев и, наконец, захваченных у большевиков лошадей и повозки, я двинулся назад, приказав на расспросы большевиков отвечать, что мы «Кавказский отряд», идем занимать окопы впереди города. (Такой отряд незадолго перед тем высаживался на вокзале.) Подходя к месту нашей последней атаки, мы наткнулись сначала на резервы большевиков, а потом и на первую линию. Наши ответы сначала не возбуждали подозрений, затем раздались удивленные возгласы:

— Куда же вы идете, там впереди уже кадеты!

— Их-то нам и надо.

Я рассчитывал, подойдя вплотную к большевикам, броситься в штыки и пробить себе дорогу. Но большевики, мирно беседуя с моими людьми, так с ними перемешались, что нечего было и думать об этом; принимая во внимание подавляющее численное превосходство противника, надо было возможно скорее выбираться на простор.

Все шло благополучно, пока через ряды большевиков не потянулся наш обоз. Тогда они спохватились и открыли нам в тыл огонь, отрезав часть повозок».

А в то же время, услышав огонь, начали стрелять из казарм наши части, пока, наконец, не выяснилось недоразумение.

Настал рассвет, и все кончилось. Еще один счастливый случай потерян. Все складывалось на этот раз к нашему неблагополучию: и гибель всех старших начальников на участке Корниловского полка, удержавшего левое крыло на месте; и то обстоятельство, что Кутепов, по его словам, не мог поднять в атаку свои перемешанные и расстроенные после вчерашнего боя части; и случайность, что Марков перешел вечером на свой правый фланг, а Кутепов почему-то не послал ему доложить об атаке Казановича.

Шел четвертый день непрерывного боя. Противник проявлял упорство доселе небывалое. Силы его везде, на всех участках боевой линии, разительно превышали наши. Какова их действительная численность, не знали ни мы, ни, вероятно, большевистское командование. Разведка штаба определяла в боевой линии до 18 тысяч бойцов при 2—3 бронепоездах, 2—4 гаубицах и 8—10 легких орудиях.

Но отряды пополнялись, сменялись, прибывали новые со всех сторон. Позднее в Екатеринодарских «Известиях» мы прочли, что защита екатеринодара обошлась большевикам в 15 тысяч человек, в том числе 10 тысяч ранеными, которыми забиты были все лазареты, все санитарные поезда, непрерывно эвакуируемые на Тихорецкую и Кавказскую.

Как бы то ни было, ясно почувствовалось, что темп атаки сильно ослабел.

В этот день генерал Корнилов собрал военный совет — впервые после Ольгинской, где решалось направление движения Добровольческой армии. Я думаю, что на этот шаг побудило его не столько желание выслушать мнение начальников относительно плана военных действий, который *был им предрешен*, сколько надежда вселить в них убеждение в необходимости решительного штурма Екатеринодара.

Собрались в тесной комнатке Корнилова генералы Алексеев, Романовский, Марков, Богаевский, я и кубанский атаман полковник Филимонов. Во время беседы выяснилась печальная картина положения армии.

Противник во много раз превосходит нас силами и обладает неистощимыми запасами снарядов и патронов.

Наши войска понесли тяжелые потери, в особенности в командном составе. Части перемешаны и до крайности утомлены физически и морально четырехдневным боем. Офицерский полк еще сохранился, Кубанский стрелковый сильно потрепан, из Партизанского осталось не более 300 штыков, еще меньше в Корниловском[1]. Замечается редкое для добровольцев явление — утечка с боевой линии в тыл. Казаки расходятся по своим станицам. Конница, по-видимому, ничего серьезного сделать не может.

Снарядов нет, патронов нет.

Число раненых в лазарете перевалило за полторы тысячи.

Настроение у всех членов совещания тяжелое. Опустили глаза. Один только Марков, склонив голову на плечо Романовского, заснул и тихо похрапывает. Кто-то толкнул его.

— Извините, Ваше Высокопревосходительство, разморило,— двое суток не ложился...

Корнилов не старался внести успокоительную ноту в нарисованную картину общего положения и не возражал. За ночь он весь как-то осунулся, на лбу легла глубокая складка, придававшая его лицу суровое, страдальческое выражение. Глухим голосом, но резко и отчетливо он сказал:

— Положение действительно тяжелое, и я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Поэтому я решил завтра на рассвете атаковать по всему фронту. Как ваше мнение, господа?

Все генералы, кроме Алексеева, ответили отрицательно.

Мы чувствовали, что первый порыв прошел, что настал предел человеческих сил, и об Екатеринодар мы разобьемся. Неудача штурма вызовет катастрофу. Даже взятие Екатеринодара, вызвав новые большие потери, привело бы армию, еще сильную в поле, к полному распылению ее слабых частей для охраны и защиты большого города. И вместе с тем мы знали, что штурм все-таки состоится, что он решен бесповоротно...

Наступило тяжелое молчание. Его прервал Алексеев.

— Я полагаю, что лучше будет отложить штурм до послезавтра. За сутки войска несколько отдохнут, за ночь можно

[1] Командиром его был назначен полковник Кутепов.

будет произвести перегруппировку на участке Корниловского полка; быть может, станичники подойдут еще на пополнение.

На мой взгляд, такое половинчатое решение — в сущности, лишь прикрытое колебание — не сулило существенных выгод: сомнительный отдых в боевых цепях, трата последних патронов и возможность контратаки противника. Отдаляя решительный час, оно сглаживало лишь психологическую остроту данного момента. Корнилов сразу согласился.

— Итак, будем штурмовать Екатеринодар на рассвете 1 апреля.

Участники совета разошлись сумрачные. Люди, близкие к Маркову, рассказывали потом, что, вернувшись в свой штаб, он сказал:

— Наденьте чистое белье, у кого есть. Будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возьмем, то погибнем.

После совещания мы остались с Корниловым вдвоем.

— Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны в этом вопросе?

— Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмем Екатеринодар, то мне останется пустить себе пулю в лоб.

— Этого вы не можете сделать. Ведь тогда остались бы брошенными тысячи жизней. Отчего же нам не оторваться от Екатеринодара, чтобы действительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую операцию? Ведь в случае неудачи штурма отступить нам едва ли удастся.

— Вы выведете...

Я встал и взволнованно проговорил:

— Ваше Высокопревосходительство! Если генерал Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армию — она вся погибнет.

Кто-то вошел, и мы никогда уже не имели возможности докончить этот разговор. В тот же вечер Корнилов как будто продолжил его с прибывшим с позиции в резерв Казановичем:

— Я думаю, — сказал Корнилов, — завтра повторить атаку всеми силами. Ваш полк будет у меня в резерве, и я двину его в решительную минуту. Что вы на это скажете?

Казанович ответил, что по его мнению также следует атаковать, и он уверен, что атака удастся, раз Корнилов лично будет руководить ею.

— Конечно, — продолжал Корнилов, — мы все можем при этом погибнуть. Но, по-моему, лучше погибнуть с честью. Отступление теперь тоже равносильно гибели: без снарядов и патронов это будет медленная агония[1].

* * *

В этот день, как и в предыдущие, артиллерия противника долго громила ферму, берег и рощу. Вдоль берега по дороге сновали взад и вперед люди и повозки. Шли из екатеринодарского предместья раненые — группами и поодиночке. Я сидел на берегу и вступал в разговоры с ними. Осведомленность их обычно невелика — в пределах своей роты, батальона; понятие об общем положении подчас фантастическое; но о настроении частей дают представление довольно определенное: есть усталость и сомнение, но нет уныния. Значит, далеко не все еще потеряно. С левого фланга по большой дороге проходят люди более подавленные и более пессимистически определяют положение; они, кроме того, голодны и промерзли.

Неожиданная встреча: идет с беспомощно повисшей рукой (перебита кость) штабс-капитан Бетлинг. Спаситель «Бердичевской группы генералов», начальник юнкерского караула в памятную ночь 27 августа[2]. Боль притерпелась или он пересиливает ее, но лицо веселое. Усадил его на скамейку, поговорили.

У Бетлинга типичный формуляр офицера-первопоходника:

геройски дрался с немцами и был ими ранен;

в числе первых поступил на должность рядового в Добровольческую армию;

геройски дрался в кубанском походе и дважды был ранен большевиками;

с одной здоровой рукой продолжал службу после похода и умер от сыпного тифа.

---

[1] Рассказ генерала Казановича в газете «Свободная речь».

[2] Подробнее об этом — в предыдущей книге.

Мир его душе!

И этот храбрый офицер о штурме говорил в тот день как-то нерешительно.

— От красногвардейцев, когда идешь в атаку, просто в глазах рябит. Но это ничего. Если бы немного патронов, а главное — хоть немножко больше артиллерийского огня. Ведь казармы брали после какого-нибудь десятка гранат...

Как бы то ни было, там — в окопах, в оврагах екатеринодарских огородов, в артиллерийских казармах — люди живут своей жизнью, не отдают себе ясного отчета в грозности общего положения, страдают и слепо верят.

Верят в Корнилова.

А ведь вера творит чудеса!..

ГЛАВА XXVI
СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА

С раннего утра 31-го, как обычно, начался артиллерийский обстрел всего района фермы. Корнилова снова просили переместить штаб, но он ответил:

— Теперь уже не стоит, завтра штурм.

Перебросились с Корниловым несколькими незначительными фразами. Я не чувствовал тогда, что они будут последними...

Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя. Там было тихо; в цепях не слышно огня, не заметно движения. Сел на берегу возле фермы. Весеннее солнце стало ярче и теплее; дышит паром земля; внизу под отвесным обрывом тихо и лениво течет Кубань. Через головы то и дело проносятся со свистом гранаты, бороздят гладь воды, вздымают столбы брызг, играющих разноцветными переливами на солнце, и отбрасывают от места падения в стороны широкие круги.

Подсели два-три офицера. Но разговор не вяжется, хочется побыть одному. В душе тягостное чувство, навеянное вчерашней беседой с Корниловым. Нельзя допустить непоправимого. Завтра мы с Романовским, которому я передал разговор с командующим, будем неотступно возле него.

Был восьмой час. Глухой удар в роще: разметались кони, зашевелились люди. Другой совсем рядом — сухой и резкий.

Прошло несколько минут.

— Ваше превосходительство! Генерал Корнилов...

Предо мной стоит адъютант командующего подпоручик Долинский с перекошенным лицом и от сдавившей горло судороги не может произнести больше ни слова.

Не нужно. Все понятно.

Генерал Корнилов был один в своей комнате, когда неприятельская граната пробила стену возле окна и ударилась об пол под столом, за которым он сидел. Силой взрыва его подбросило, по-видимому, кверху и ударило об печку. В момент разрыва гранаты в дверях появился Долинский, которого отшвырнуло в сторону. Когда затем Казанович и Долинский вошли первыми в комнату, она была наполнена дымом, а на полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками штукатурки и пылью. Он еще дышал... Кровь сочилась из небольшой ранки в виске и текла из пробитого правого бедра.

Долинский не докончил еще своей фразы, как к обрыву подошел Романовский и несколько офицеров, принесли носилки и поставили возле меня. Он лежал на них беспомощно и недвижимо; с закрытыми глазами, с лицом, на котором как будто застыло выражение последних тяжелых дум и последней боли. Я наклонился к нему. Дыхание становилось все тише, тише и угасло.

Сдерживая рыдания, я приник к холодеющей руке почившего вождя...

Рок — неумолимый и беспощадный. Щадил долго жизнь человека, глядевшего сотни раз в глаза смерти. Поразил его и душу армии в часы ее наибольшего томления.

Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой воли.

Вначале смерть главнокомандующего хотели скрыть от армии до вечера. Напрасные старания: весть разнеслась, словно по внушению. Казалось, что самый воздух напоен

чем-то жутким и тревожным и там, в окопах, еще не знают, но уже чувствуют, что свершилось роковое.

Скоро узнали все. Впечатление потрясающее. Люди плакали навзрыд, говорили между собою шепотом, как будто между ними незримо присутствовал властитель их дум. В нем, как в фокусе, сосредоточилось ведь все: идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. И когда его не стало, в сердца храбрых начали закрадываться страх и мучительное сомнение. Ползли слухи, один другого тревожнее, о новых большевистских силах, окружающих армию со всех сторон, о неизбежности плена и гибели.

— Конец всему!

В этой фразе, которая срывалась с уст не только малодушных, но и многих твердых людей, соединились все разнородные чувства и побуждения их: беспредельная горечь потери, сожаление о погибшем, казалось, деле; у иных — животный страх за свою собственную жизнь.

Корабль как будто шел ко дну, и в моральных низах армии уже зловещим шепотом говорили о том, как его покинуть.

Было или казалось только, но многие верили, что враг знал уже о роковом событии; чудилось им за боевой линией какое-то необычайное оживление; а в атаках и передвижениях большевиков видели подтверждение своих догадок. Словно таинственные флюиды перенесли дыхание нашей скорби в окопы врагов, вызвав в них злорадство и смелость.

* * *

Повозка с телом покойного, покрытым буркой, в сопровождении текинского конвоя тихо двигалась по дороге в Елисаветинскую. С ней поравнялся ехавший на ферму генерал Алексеев. Сошел с коляски, отдал земной поклон праху, поцеловал в лоб, долго-долго смотрел в спокойное уже, бесстрастное лицо.

Последнее прощание двух вождей, которых связала общность идеи, разъединяло непонятное чувство взаимного личного разлада и снова соединит через полгода смерть.

В Елисаветинской тело омыли и положили в сосновый гроб, убранный первыми весенними цветами. Ввиду неопределенности положения армии надо было скрыть судьбу останков от внимания врагов. Тайно, в присутствии лишь нескольких человек, случайно узнавших о смерти Корнилова, станичный священник дрожащим голосом отслужил панихиду по убиенном воине Лавре. Вечером тайно положили гроб на повозку и, прикрыв его сеном, повезли в обозе уходившей армии. 2 апреля на остановке в немецкой колонии Гначбау предали тело земле. Лишь несколько человек конвоя присутствовало при опускании гроба. И вместо похоронного салюта верных войск почившего командующего провожал в могилу гром вражеских орудий, обстреливавших колонию. Растерянность и страх обнаружить присутствием старших чинов место упокоения были так велики, что начальник конвоя доложил мне о погребении только после его окончания. И я стороной незаметно прошел мимо, чтобы бросить прощальный взгляд на могилу.

Могилу сровняли с землей; сняли план места погребения в трех экземплярах и распределили между тремя лицами. Невдалеке от Корнилова был похоронен молодой друг и любимец его Неженцев.

Но судьба, безжалостная к вождю при жизни, была безжалостна и к праху его.

Когда ровно через четыре месяца Добровольческая армия вошла победительницей в Екатеринодар, и в Гначбау были посланы представители армии поднять дорогие останки, они нашли в разрытой могиле лишь кусок соснового гроба.

* * *

«В тот же день (2-го апреля), — говорится в описании Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, — Добровольческая армия оставила колонию Гначбау, а уже на следующее утро, 3 апреля, появились большевики в предшествии разъездов Темрюкского полка. Большевики первым делом бросились искать якобы «зарытые кадетами кассы и драгоценности». При этих розысках они натолкнулись на свежие могилы. Оба трупа были выкопаны, и тут же большевики, увидев на одном из трупов погоны полного генерала, решили, что это генерал Корнилов. Общей уверенности не могла поколебать оставшаяся в Гначбау по нездоровью сестра милосердия Добровольческой армии, которая, по предъявлении ей большевиками трупа для опознания,

хотя и признала в нем генерала Корнилова, но стала уверять, что это не он. Труп полковника Неженцева был обратно зарыт в могилу, а тело генерала Корнилова, в одной рубашке, покрытое брезентом, повезли в Екатеринодар.

В городе повозка эта въехала во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти Сорокин, Золотарев, Чистов, Чуприн и другие. Двор был переполнен красноармейцами; ругали генерала Корнилова. Отдельные увещания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли; настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель. Один из представителей советской власти Золотарев появился пьяный на балконе и, едва держась на ногах, стал хвастаться перед толпой, что это его отряд привез тело Корнилова; но в то же время Сорокин оспаривал у Золотарева честь привоза Корнилова, утверждая, что труп привезен не отрядом Золотарева, а темрюкцами. Появились фотографы; с покойника были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались на дереве и стали поднимать труп. Но веревка оборвалась, и тело упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и шумела.

После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец отдан был приказ увезти труп за город и сжечь его. Труп был уже неузнаваем: он представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, его стали жечь в присутствии высших представителей большевистской власти, прибывших на это зрелище на автомобилях.

В один день не удалось докончить этой работы. На следующий день продолжали жечь жалкие останки; жгли и растаптывали ногами и потом опять жгли.

Через несколько дней после расправы с трупом по городу двигалась какая-то шутовская ряженая процессия; ее сопровождала толпа народа. Это должно было изображать «похороны Корнилова». Останавливаясь у подъездов, ряженые звонили и требовали денег на помин души Корнилова».

На крутом берегу Кубани, на месте, где испустил последний вздох вождь Добровольческой армии, поставлен скромный деревянный крест; с ним рядом приютился скоро другой, поставленный над могилой его друга — жены, пережившей его всего лишь на шесть месяцев.

Носились слухи, что после нашего ухода с Кубани в 1920 году большевики сожгли ферму, сорвали кресты и затоптали могилу.

Безумные люди! Огненными буквами записано в летописях имя ратоборца за поруганную русскую землю; его не вырвать грязными руками из памяти народной.

ГЛАВА XXVII

ВСТУПЛЕНИЕ МОЕ В КОМАНДОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИЕЙ. СНЯТИЕ ОСАДЫ ЕКАТЕРИНОДАРА. БОИ У ГНАЧБАУ И МЕДВЕДОВСКОЙ. ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА МАРКОВА

Жизнь шла своим чередом, не позволяла предаваться унынию и от горестных мыслей о тяжкой утрате возвращала к суровой действительности.

В тот момент, когда от берега Кубани понесли носилки с прахом командующего, его начальник штаба обратился ко мне:

— Вы примете командование армией?

— Да.

Не было ни минуты колебания. Официально по званию «помощника командующего армией» мне надлежало заменить убитого. Морально я не имел права уклониться от тяжелой ноши, выпавшей на мою долю в ту минуту, когда армии грозила гибель. Но только временно — здесь, на поле боя.

Поэтому, когда мне дали на подпись краткое сообщение о событии, адресованное в Елисаветинскую генералу Алексееву, с приглашением прибыть на ферму, я придал записке форму рапорта, предпослав фразу: «Доношу, что...». Этим я

признавал за Алексеевым естественное право его на возглавление организации и, следовательно, на назначение постоянного заместителя павшему командующему.

Штаб перешел в конец рощи, где расположился на перекрестке дорог, под открытым небом, в ожидании генерала Алексеева и кубанского атамана полковника Филимонова.

Приехал Алексеев и обратился ко мне:

— Ну, Антон Иванович, принимайте тяжелое наследство. Помоги вам Бог!

Мы обменялись крепким рукопожатием.

Вместе с Романовским Алексеев обсуждал проект приказа, причем оба остановились в нерешительности на одной технической детали: неписаная конституция Добровольческой власти не знала иного определения ее, как термином «командующий армией». От чьего же имени отдавать приказ, как официально определить положение Алексеева? Романовский разрешил вопрос просто:

— Подпишите «генерал от инфантерии»... и больше ничего. Армия знает, кто такой генерал Алексеев.

Приказ гласил:

§ 1

«Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии, в 7 ч 30 мин 31-го сего марта убит генерал Корнилов.

Пал смертью храбрых человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести ее позора.

Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдался он на служение Родине.

Бегство из неприятельского плена, августовское выступление, Быхов и выход из него, вступление в ряды Добровольческой армии и славное командование ею известны всем нам.

Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой наши сердца и пусть не ослабнет воля к дальнейшей борьбе. Каждому продолжать исполнение своего долга, памятуя, что все мы несем свою лепту на алтарь Отечества.

Вечная память Лавру Георгиевичу Корнилову — нашему незабвенному Вождю и лучшему гражданину Родины. Мир праху его!

§ 2

В командование армией вступить генералу Деникину».

На бурках возле дороги сели в круг Алексеев, Романовский, Филимонов и я. Я очертил общее положение армии. Оно несколько ухудшилось в тактическом отношении после 30 марта: на фронте Эрдели началось продвижение противника в охват нашего левого фланга, которое Эрдели сдерживал лихими конными атаками; но тем не менее он потеснен и оставил Сады. Туда направлен последний резерв — Казанович с тремястами партизан.

Но не в этом главное. Смерть вождя нанесла последний удар утомленной нравственно и физически пятидневным боем армии, повергнув ее в отчаяние.

Поэтому, ставя себе главной целью спасение армии, я решил сегодня с закатом снять осаду Екатеринодара и быстром маршем, большими переходами вывести армию из-под удара екатеринодарской группы большевистских войск.

Возражений не последовало. Мы приступили к обсуждению маршрута, пользуясь сведениями кубанского атамана о настроении станиц и о существующих переправах через реки. Выбор был небольшой: на востоке Екатеринодар, на юге река Кубань с единственной паромной переправой, на западе плавни и море; наш злейший враг — железная дорога — опоясывала нас кругом линиями Тимашевская — Крымская — Екатеринодар...

И я отдал приказ Добровольческой армии с наступлением темноты двигаться на север, в направлении станицы Старо-Величковской.

* * *

В темную ночь армия уходила от Екатеринодара в неизвестное.

Шли молча, понуро, подавленные, но в полном порядке. В движении колонн и обоза заметна была даже какая-то подчеркнутая исполнительность и дисциплина. Но когда с рассветом с бронированного поезда, увидевшего наш конный арьергард, открыли по нему артиллерийский огонь, отдаленные звуки его произвели на колонну явно тягостное, доселе не замечавшееся впечатление и вызвали большую торопливость.

Необходимо было дать время улечься настроению и избегать боя. Этого, однако, сделать не удалось. Пройдя около 40 верст, авангард встретил ружейный огонь из попутной станицы и завязал перестрелку. Скоро по нас открыли огонь одно или два большевистских орудия. Колонна продолжала путь, не задерживаясь и свернув лишь несколько вправо полевой дорожкой. Я выехал к кургану возле станицы. Противник, к счастью, оказался плохо организованным. Наши части скоро ворвались в станицу. Батарея не более чем тремя выстрелами прогнала неприятельские орудия, а появившиеся на горизонте во множестве подкрепления — повозки с большевистской пехотой — после двух-трех артиллерийских выстрелов умчались назад.

Так как и Старо- и Ново-Величковская станицы оказались занятыми неприятелем, я приказал армии переправляться через реку Понура между двумя этими пунктами по двум мостам возле немецкой колонии Гначбау, где и заночевать. Конница стала у переправы на хуторах.

Арьергард (ранее авангард) прикрывал это движение, занимая до ночи взятую станицу, которую большевики обстреливали артиллерией. Мост был испорчен, пришлось его долго чинить, и переправа продолжалась почти до рассвета.

На походе я узнал, что из станицы Елисаветинской не удалось вывезти всех раненых. Начальник обоза доложил, что окрестности были уже заняты противником, перевозочных средств одной Елисаветинской не хватало, и пришлось оставить в ней 64 тяжелораненых из числа безнадежных и тех, которые безусловно не в состоянии были бы вынести предстоящие форсированные марши. С ранеными оставлены врач, сестры и денежные средства. Глубокой болью сжалось сердце. Я не знал тогда, где смерть вернее. Но чувствовал, что язык цифр и фактов для них неубедителен, что они — обреченные — имели нравственное право осудить ушедших...

После 50-верстного перехода отдых в Гначбау вышел весьма относительный: колония не в состоянии была вместить всех, многим пришлось оставаться под открытым небом на улице.

План предстоящего похода заключался в том, чтобы, двигаясь на восток, вырваться из густой сети железных дорог и более организованного района борьбы «Кубанско-Черноморской советской республики», сосредоточиться на перепутье трех «республик» и трех военных командований — Дона, Кубани и Ставрополя — и оттуда, в зависимости от обстановки, начать новую операцию.

Во исполнение этого плана 2 апреля нам предстояло прорваться через линию Черноморской железной дороги; я наметил для этого станцию Медведовскую. Обозы были готовы с утра, и выступление предполагалось с таким расчетом, чтобы подойти к железной дороге в темноте. Но около полудня неожиданно со стороны Ново-Величковской обнаружилось наступление крупного отряда большевиков, и скоро колония с ее скученным добровольческим населением подверглась жестокому обстрелу десятка орудий; в то же время большевистская пехота начала охватывать нас с востока, стремясь запереть в излучине реки.

При таких условиях о скрытности движения и перехода через железную дорогу не могло быть и речи. И я решился на крайнее средство — отсидеться в Гначбау до темноты, с тем, чтобы под покровом ночи скрыть свой марш и от гначбауского, и от медведовского противника. Обоз приказал сократить до минимума: изъять все лишние войсковые повозки; бросить лишние орудия, унеся затворы и испортив лафеты, так как для оставшихся 30 снарядов достаточно было и четырех орудий; беженцам оставить по повозке на 6 человек, остальные порубить. В голову обоза поставить лазарет.

Части 2-й бригады выдвинулись за окраину, залегли и приостановили наступление противника. Но артиллерийский обстрел колонии продолжался с исключительной силой.

Этот день останется в памяти первопоходников навсегда. В первый раз за три войны мне пришлось увидеть панику. Когда люди, прижатые к реке и потерявшие надежду на спасение, теряли всякий критерий реальной обстановки и находились во власти самых нелепых, самых фантастических слухов. Когда обнажались худшие инстинкты, эгоизм, недоверие и подозрительность друг к другу, к начальству, одной части к другой. Правда, главным образом в многолюдном населении обоза. В войсковых частях было лучше, но и там создалось очень нервное настроение. Вероятно, среди малодушного

элемента шли разные разговоры, потому что в продолжение пяти-шести часов в штаб приходили вести одна другой тревожнее. Получаю, например, донесение, что один из полков конницы решил отделиться от армии и прорываться отдельно... Что организуется много конных партий, предполагающих распылиться... Входит бледный ротмистр Шапрон, адъютант Алексеева, и трагическим шепотом докладывает, что в двух полках решили спасаться ценою выдачи большевикам старших начальников и добровольческой казны... Предусмотрено какое-то участие в этом деле Баткина... Что сводный офицерский эскадрон прибыл добровольно для охраны генерала Алексеева. От всякой охраны лично я отказался, но много позднее узнал, что тревожные слухи дошли до штаба 1-й бригады, и полковник Тимановский[1] придвинул незаметно к штабу армии «на всякий случай» офицерскую часть.

Люди теряли самообладание, и надо было спасать их вопреки их собственной воле. Мы с Иваном Павловичем, который сохранял, как всегда, невозмутимое спокойствие, успокаивали волнующихся, спорили с сановными беженцами, добивавшимися права следовать чуть ли не с авангардом, и ждали с нетерпением наступления все примиряющих сумерек. Часовая стрелка в этот день, как всегда в таких случаях, передвигалась необычайно медленно.

Перед самым закатом приказал начать движение колонны на север, по Старо-Величковской дороге. Движение замечено было противником, и лощину, где проходит дорога, большевики начали обстреливать ураганным огнем. Но уже спускалась ночь, огонь стал беспорядочнее, голова колонны круто свернула вправо и пошла на северо-восток по дороге на Медведовскую.

Вырвались!

...

Колонна двигалась в полной тишине, не преследуемая противником. В авангарде шла бригада Маркова. Конница Эрдели была направлена севернее Медведовской для рассредоточения, отвлечения внимания противника и порчи пути; к югу для той же цели двинулся Черкесский полк.

---

[1] Начальник штаба у Маркова.

После 24-верстного перехода, в начале пятого часа утра, замелькали вдали огни железнодорожной будки на переезде, в версте от станции. Марков послал вперед конных разведчиков, но не утерпел и поскакал туда сам. Когда я со штабом подъехал к будке, было еще совсем темно и совершенно тихо. Марков, как оказалось, от лица арестованного дорожного сторожа переговорил уже по телефону с дежурившими на станции большевиками, услышавшими подозрительный шум, и успокоил их. На станции оказались два эшелона красногвардейцев и бронепоезд. Подходила голова бригады, и тихо начали разворачиваться возле полотна цепи. Батальон Офицерского полка двинут Марковым против станции Медведовской, инженерная рота для порчи полотна и обеспечения с юга, а для захвата станицы, расположенной в полуверсте от будки, я послал конные команды штаба армии во главе с подполковником генерального штаба Ряснянским.

Ждем результатов захвата станции. В будку пришел штабс-ротмистр Алексеев, сын Михаила Васильевича.

— Отец просит разрешения прийти в будку.

— Пожалуйста, милости просим.

Это — очевидно, для примера другим — подчеркнутое подчинение драконовским правилам порядка в движении колонны и вместе с тем подтверждение неписаной добровольческой конституции: полное невмешательство в дело организации, управления и вождения армией. Такая система завелась с первого дня и строго соблюдалась, сильно облегчая командование.

В ночной тишине послышался вдруг один, другой ружейные выстрелы. Оказалось потом, что наш разъезд неосторожно спугнул большевиков — часовых на станции. И через несколько минут со стороны станции показалась какая-то движущаяся громада — бронированный поезд.

Медленно, с закрытыми огнями, надвигался он на нас; только свет от открытой топки скользил по полотну и заставлял бесшумно отбегать в сторону залегших возле полотна людей. Поезд уже в нескольких шагах от переезда. У будки все: генерал Алексеев, командующий армией со штабом и генерал Марков. Одна граната, несколько лент пулемета и... в

командном составе армии произошли бы серьезные перемены.

Марков с нагайкой в руке бросился к паровозу.

— Поезд стой! Раздавишь, с... с... Разве не видишь, что свои?!

Поезд остановился.

И пока ошалевший машинист пришел в себя, Марков выхватил у кого-то из стрелков ручную гранату и бросил ее в машину. Мгновенно из всех вагонов открыли по нам сильнейший огонь из ружей и пулеметов. Только с открытых орудийных площадок не успели дать ни одного выстрела.

Между тем Миончинский продвинул к углу будки орудие и под градом пуль почти в упор навел его на поезд.

— Отходи в сторону от поезда, ложись! — раздался громкий голос Маркова.

Грянул выстрел, граната ударила в паровоз, и он с треском повалился передней частью на полотно. Другая, третья по блиндированным вагонам... И тогда со всех сторон бросились к поезду марковцы. С ними и их генерал. Стреляли в стенки вагонов, взбирались на крышу, рубили топорами отверстия и сквозь них бросали бомбы; принесли из будки смоляную паклю, и скоро запылали два вагона. Большевики проявили большое мужество и не сдавались: из вагонов шла беспрерывная стрельба. Отдельные фигуры выскакивали на полотно и тут же попадали на штыки. Было видно, как из горящих вагонов, наполненных удушливым дымом, сквозь пробитый пол обгорелые люди выбрасывались вниз и ползли по полотну.

Скоро все кончилось. Слышался еще только треск горевших патронов.

Горячо обнимаю виновника этого беспримерного дела.

— Не задет?

— От большевиков Бог миловал, — улыбается Марков. — А вот свои палят, как оглашенные. Один выстрелил над самым моим ухом — до сих пор ничего не слышу.

Нельзя терять времени. Послал приказание подвести на рысях вторую батарею, а колонне полным ходом продолжать путь. Уже светало. Перед нашими глазами развернулась картина боя. На севере Боровский с Офицерским полком атакует станцию; оттуда большевики обстреливают сильным огнем будку, переезд и дорогу в станицу; под этим огнем полковник Тимановский — невозмутимый «Степаныч», как его звал Марков, — с неизменной трубкой в зубах подгоняет залегших кубанских стрелков, ведя их на подкрепление к Боровскому. С юга задымилась труба паровоза, и новый бронированный поезд открыл артиллерийский огонь по колонне. Несколькими выстрелами, однако, наша батарея отогнала поезд, и орудия его на пределе продолжали вести по колонне безвредный огонь. Мимо нас через переезд тянулись бесконечной вереницей повозки; попадая в сплошную полосу огня, начинали мчаться рысью и ныряли в станичные улицы. А на самом переезде шла лихорадочная работа: здесь тушили, расцепляли вагоны и выгружали из них драгоценные боевые припасы.

Какое счастье! В этот день было взято более 400 артиллерийских и около 100 тысяч ружейных патронов. По добровольческим масштабам, на несколько боев мы обеспечены.

Боровский взял станцию, перебил много большевиков; часть их успела погрузиться в поезд, который ушел на север.

Конница, потрепанная несколько при переходе через железнодорожный мост встретившимся бронепоездом, перешла линию еще севернее.

После привала в Медведовской армия без всякого давления противника двигалась дальше 17 верст в мирную, дружественную нам станицу Дядьковскую. Потери наши были совершенно ничтожны.

Когда я в тот день обгонял колонну, то по лицам добровольцев, по их ответам и разговорам почувствовал ясно, что хотя тяжелая рана, нанесенная смертью любимого вождя, болит и заживет не скоро, но наваждение уже прошло; что по этой широкой кубанской степи, под ясным солнцем идет прежняя Добровольческая армия, сильная духом, способная опять бороться за Родину и побеждать.

ГЛАВА XXVIII

ПОХОД НА ВОСТОК— ОТ ДЯДЬКОВСКОЙ ДО УСПЕНСКОЙ. ТРАГЕДИЯ РАНЕНЫХ. ЖИЗНЬ НА КУБАНИ

В Дядьковской дневка; в покое, тепле, сытости и уюте. Встретили нас станичники хлебом-солью и добрым словом; для меня это наиболее тягостная процедура, принимая во внимание последствия, ожидающие говоривших... после нашего ухода. Но иногда нельзя было избегнуть этих встреч.

Для осуществления общего плана операции, чтобы спутать все предположения большевиков внезапностью и быстротою, я решил еще больше увеличить суточные переходы, посадив всю пехоту на подводы. Идея эта применялась частично и не без пользы красногвардейскими отрядами.

Но это решение ставило с необыкновенной остротой вопрос о лазарете. Положение тяжелораненых становилось безвыходным. Они целыми днями тряслись в повозках по ухабам. В течение последних трех суток (от вечера 31-го до вечера 2-го) обоз прошел свыше 90 верст, причем «отдых» в Гначбау не превышал 6—8 часов, а некоторые повозки не разгружались за это время вовсе. В дальнейшем ожидались еще большие трудности. Смертность в лазарете, в котором, кроме того, уже иссякли лечебные и перевязочные средства, достигла ужасных размеров. Предстояло одно из двух: или изменить систему маршей, подвергая армию возможности окружения и гибели, или обречь походом на верную смерть тяжелораненых добровольцев.

Жизнь подсказывала и третье решение, морально наиболее тяжелое: получено было известие из Елисаветинской, что станичники сберегли наших раненых, и последние отправлены в местные лазареты. Впоследствии это сведение оказалось ложным: из 64 оставленных только 14 спаслись, остальных большевики зверски убили. Но тогда оно сыграло известную роль в принятии решения, спасшего много жизней.

Я пригласил на совещание старших начальников и некоторых общественных деятелей, следовавших при армии. Очертив им обстановку, предложил на обсуждение вопрос: брать ли с собой всех раненых или оставить тяжелых в станице, приняв меры, до известной степени гарантирующие их безопасность. Ответственные начальники почти все, в том числе Алексеев, Романовский и Марков, высказались за оставление; другие говорили о гнетущем впечатлении, которое вызовет этот факт.

Я знал, конечно, что вся моральная тяжесть этого решения падет на мою голову; что для личного моего успокоения легче было бы взять всех с собою и предоставить разрешение вопроса на волю судьбы. И все же, после тяжкого раздумья, приказал оставить.

Врачи составили список раненых, не могущих выдержать перевозки, которых оказалось около 200. Станичный сбор постановил принять их на свое попечение. Оставлена была известная сумма денег, врач, сестры и несколько заложников, выведенных кубанцами из Екатеринодара, среди которых был влиятельный большевик Лиманский, давший слово сберечь раненых и исполнивший добросовестно свое обещание. Остался по собственному желанию и «матрос» Баткин, услугами которого более не пользовались.

Фактически осталось только 119 человек — остальные были увезены своими однополчанами. Впоследствии оказалось, что из оставшихся двое были убиты большевиками, шестнадцать умерли и сто один спасся.

Переживая мысленно минувшее, я живо помню свои душевные терзания. Когда поделился ими с Романовским, мы оба пришли к одинаковому заключению: подписать приказ заставлял тяжелый долг начальника; но если бы пришлось оставаться самим, каждый из нас предпочел бы пустить себе пулю в лоб.

* * *

5 апреля двинулись дальше на восток. Предстоял снова переход через магистраль Владикавказской дороги, казавшуюся нам весьма опасной из-за сосредоточения в двух ее узлах (Екатеринодаре и Тихорецкой) крупных сил и многих бронепоездов большевиков.

В приказе, отданном накануне, ночлег был фиктивно назначен в станице Березанской. И только на плотине через речку Журавку выставленный штабом маяк поворачивал колонны по действительному направлению к станице Журав-

ской. Предосторожность оказалась нелишней: большевики своевременно узнали о приказе и усиленно рыли окопы для нашей встречи у Березанской.

Добровольческой армии, вопреки всей теории военного дела, приходилось двигаться не вдоль, а поперек железных дорог, находившихся в руках большевиков; эти нормальные средства связи и питания были для нас злейшими врагами, поэтому их нужно было портить и разрушать. Они сжимали нас в своих тисках, готовя тактические западни и окружение. Простая сама по себе операция перехода осложнялась до крайности наличием 8—10-верстного обоза, который требовал для своей переброски сносной дороги, железнодорожного переезда и несколько часов времени. В нашем активе были, однако, маневр и абсолютное повиновение войск, противопоставленное медлительной системе большевистского митингового управления.

После привала в Журавской, все выходы из которой (во избежание сношений жителей с большевиками) заблаговременно были закрыты конницей, с наступлением темноты армия приступила к выполнению задачи. Конница, двинувшись двумя колоннами, быстрым налетом захватила станцию Выселки и разъезд южнее ее и повредила там пути. Авангард — бригада Богаевского (Марков с Богаевским чередовались постоянно в этих переходах) — занял средний переезд и обеспечил его справа и слева ближним разрушением рельсов и выставлением заслонов с артиллерией. И под покровом ночи колонна главных сил, соблюдая возможную тишину, быстро стала пересекать железную дорогу. Я пропускал колонну у переезда. Люди на повозках обоза подозрительно косились в сторону убегавших рельсов (не появятся ли оттуда огненные глаза поезда?), со вздохом облегчения слушали раскаты отдаленного взрыва (это наша конница рвала путь) и, благополучно миновав переезд, снимали шапки и крестились — «пронес Господь!».

Перейдя благополучно и в этот раз железнодорожную линию и сделав за сутки 65 верст, армия заночевала в станице Бейсугской. На другой день предстояла еще более трудная задача — вырваться из треугольника дорог через преграждавшую нам путь линию Тихорецкая — Кавказская. Между этими двумя узловыми пунктами было всего 60 верст — расстояние, допускавшее удар с двух сторон. Опять усиленные демонстрации в южном направлении, к станицам Тифлисской и Казанской; быстрый марш на северо-восток; большой привал во Владимирской; заслоны конницы против Тихорецкого и Кавказского узлов; в третий раз благополучный переезд ночью через железную дорогу между станциями Малороссийской и Мирской. И к утру 8-го армия, после 45-верстного перехода, сосредоточилась в Хоперских хуторах. Подоспевший неприятельский броневой поезд успел лишь обстрелять безвредным огнем хвост арьергарда.

В хуторах пробыли недолго, так как обнаружилось наступление неприятеля — вероятно, передовых частей войск, подвозимых по железной дороге. Вести затяжной бой в непосредственной близости от нее (7 верст) было нецелесообразно, и армия ночным переходом перешла в станицу Ильинскую, еще 23 версты, где и расположилась на более продолжительный отдых.

Стратегическое положение армии к этому времени значительно изменилось: за 9 дней она прошла от Екатеринодара 220 верст почти без потерь и вырвалась из густой сети железных дорог, получив известную свободу действий; добровольцы были измучены физически, но отдохнули и окрепли морально.

В эти дни советские газеты были полны ликующих сообщений о «разгроме и ликвидации белогвардейских банд, рассеявшихся по всему Северному Кавказу»...

В Ильинской мы отдыхали три дня. 10-го и 11-го большевики наступали на станицу небольшими силами с запада, со стороны станции Малороссийской, но были легко отброшены. 12-го я перевел армию в Успенскую, обеспечив ее заслонами у Дмитриевской, Расшеватской и в сторону посада Наволокинского. В последнем направлении двинут был Эрдели с частью конницы, поддержанной потом батальоном корниловцев. По полученным сведениям, в этом районе находился штаб местных революционных войск и, что самое главное, склад боевых припасов. Последних, к сожалению, не нашли, отряд понес потери до 60 человек, и поиск этот принес пользу лишь тем, что окончательно укрепил больше-

виков в мысли о нашем намерении «пробиваться на восток». Между тем в эти дни уже забрезжил свет с севера... Предусматривая поворот туда, я избегал тревожить неприятеля в этом направлении, посылая к железнодорожной линии Тихорецкая — Торговая только лазутчиков.

* * *

Почти два месяца похода по Кубани сблизили нас с краем. Добровольцы, принимаемые в станицах с сердечною лаской, платили кубанским казакам таким же отношением. Поступавшие в ряды армии кубанцы составляли в ней элемент храбрый, надежный и располагающий к себе своей открытой, мягкой натурой, своей простой и ясной верой в тех, кто их вел. Казалось, что боевые узы, совместные страдания и обильно пролитая за общее дело кровь свяжут навсегда армию с краем. Так было. И понадобилось потом полтора года упорной работы кубанской социалистической демократии (по обидной иронии судьбы, главным образом тех представителей ее, которые нашли убежище при армии), чтобы порвать эти связующие нити на погибель краю и добровольческому делу.

Настроения на Кубани постепенно менялись. Неверно было бы утверждать, что область «изжила большевизм». В казачьей среде, как я уже говорил, больны им были не более 30% — фронтовая молодежь. Несомненно, день за днем шло некоторое численное перемещение и из этого лагеря в стан противников большевизма. Но главное, советский режим с его неизбежными приемами — убийствами, грабежами и насилиями — стал пробуждать уже в казачьей среде волю к активному сопротивлению. Оно возникало во многих местах стихийно, неорганизованно и разрозненно. Так, кроме Ейского округа поднялись серьезные восстания в районах Армавира и Кавказской, кроваво подавленные большевиками, обрушившимися во всеоружии военной техники почти на безоружные казачьи ополчения. Во многих более крупных центрах наряду с казачьей революционной демократией, все еще искавшей путей примирения с советской властью, наряду с пассивной обывательщиной и довольно значительным числом «нейтрального» офицерства, проявляли скрытую руководящую деятельность и активные элементы: создавались тайные

кружки и организации, в состав которых кроме энергичных офицеров и более видных казаков входили представители городской буржуазии и демократии. Без всякого навыка к подобной работе, все эти организации имели уже свои длинные мартирологи выданных и замученных. Но большинство кубанских станиц были предоставлены сами себе. Вся их интеллигенция — терроризированный священник, нейтральный учитель и скрывающийся офицер — опасливо сторонились еще от участия в движении, не вполне доверяя его искренности и серьезности. Тем более что советская власть на эту именно интеллигенцию начала жестокое гонение, в особенности на духовенство. Простое свершение христианских обрядов становилось подчас... подвигом.

Помню, как в станице Ильинской мы собрались в первый раз отслужить панихиду по «болярине Лавре и воинах Добровольческой армии, на поле брани живот свой положивших». Долго не отворялись царские врата; наконец после напоминания вышли растерянные священник и диакон, и последний глухим, дрожащим голосом возгласил прошение об упокоении... «православных воинов, на брани убиенных». Внушительный шепот коменданта штаба армии исправил текст поминания.

Другой раз, в Успенской. Шло великопостное служение. Я подошел к аналою исповедаться. Священник, увидав командующего армией, затрясся весь и не мог произнести ни слова; потом, покрыв поспешно мою голову епитрахилью, не исповедуя прочел разрешительную молитву...

Только впоследствии я убедился, что опасения духовенства имели веские основания. В одной Кубанской области весною 1918 года было зверски замучено 22 священнослужителя за такие вины, как «сочувствие кадетам и буржуям», осуждение большевиков в проповедях и исполнение треб для проходивших частей Добровольческой армии. Аресты, насилия и издевательства над духовенством производились широко и повсеместно. Это гонение частью сознательно, частью инстинктивно обрушивалось не столько на людей, сколько на идею. Так, в станице Незамаевской большевики замучили священника Иоанна Пригоровского — человека, по определению следственной комиссии, «крайнего левого

направления». В ночь под Пасху, во время службы, посреди церкви красногвардейцы выкололи ему глаза, отрезали уши и нос и размозжили голову. С невероятным цинизмом они оскверняли храмы и священные предметы богослужения. Помню, какое тяжелое впечатление произвело на меня посещение церкви в станице Кореновской после взятия ее с боя добровольцами в июле: стены ее исписаны были циничными надписями, иконы размалеваны гнусными рисунками, алтарь обращен в отхожее место, причем для этого пользовались священными сосудами...

Нравственное одичание, шедшее извне, возбуждало пока лишь глухой и робкий протест в неизвращенной еще народной целине.

Просматривая впоследствии синодик замученных священнослужителей, я, к душевному своему успокоению, не нашел в нем имен тех, которых подвел невольно под большевистскую опалу.

Кубанские казаки начали присоединяться к армии целыми сотнями. Кубанские правители, шедшие с армией, во всех попутных станицах созывали станичные сборы и объявляли мобилизацию. Правда, многие казаки тотчас по выступлении в поход возвращались домой, многие должны были за отсутствием оружия следовать при обозе. Тем не менее в рядах армии к маю было более двух тысяч кубанцев.

Появился и другой неожиданный способ комплектования — пленные красногвардейцы. Поступали они в небольшом числе — обычно в качестве обозных, иногда и в строй. Но само по себе явление это служило симптомом известного положительного сдвига в добровольческой психологии.

Между кубанскими властями и командованием установились отношения сухие, но вполне корректные. Атаман, правительство и Рада ни разу не делали попыток нарушить прерогативы командования и кроме мобилизации еще несколько помогли растаявшей казне Алексеева — миллионом рублей и принятием на себя реквизиционных квитанций за взятых лошадей и другое снабжение. В частях, не исключая и кубанских, к правительству и Раде относились иронически и враждебно. Им не могли простить их самостийно-революционное прошлое и то обстоятельство, что «радянский отряд» из 160

здоровых, молодых всадников на отличных конях ездил в обозе даже тогда, когда в бой шли раненые.

Что касается революционности, то диапазон ее (впрочем, в представлении известной части офицерства) имел весьма широкие размеры. В Успенской ко мне зашел М. В. Родзянко и сказал:

— Мне очень тяжело об этом говорить, но все же решил с вами посоветоваться. До меня дошло, что офицеры считают меня главным виновником революции и всех последующих бед. Возмущаются и моим присутствием при армии. Скажите, Антон Иванович, откровенно, если я в тягость, то останусь в станице, а там уж что Бог даст.

Я успокоил старика. Не стоит обращать внимания на праздные речи.

Добровольцы чистились, мылись, чинились и отсыпались. Даже ходили в станичный кинематограф с безбожно рябившими в глазах картинами. Создавалась видимость мирной обстановки, хоть на время успокаивавшая издерганные нервы. Части проверили свой состав: добровольцы, самовольно покинувшие ряды, составляли лишь редкое исключение.

Сохранились записанные кем-то слова Маркова, обращенные по этому поводу к Офицерскому полку:

«Ныне армия вышла из-под ударов, оправилась, вновь сформировалась и готова к новым боям. Но я слышал, что в минувший тяжелый период жизни армии некоторые из вас, не веря в успех, покинули наши ряды и попытались спрятаться в селах. Нам хорошо известно, какая их постигла участь; они не спасли свою драгоценную шкуру. Если же кто-либо еще желает уйти к мирной жизни, пусть скажет заранее. Удерживать не стану. Вольному воля, спасенному рай, и... к черту».

В Успенской в первый раз мне удалось собрать часть армии на смотр.

Одежда в заплатах. Загорелые, обветренные лица. Открытый, доверчивый взгляд. Трогательная простота и скромность, как будто не ими пройден путь крови, страданий и яркого подвига.

Говорил им о славном их прошлом, о предстоящих задачах армии, о надеждах на спасение Родины. Чувствовал, что слово идет от сердца к сердцу.

Где они теперь? Спят непробудным сном, усеяв костями своими необъятные русские просторы от Орла до Владикавказа, от Камышина до Киева.

«Не многие вернулись с поля»...

ГЛАВА XXIX
ВОССТАНИЯ НА ДОНУ И НА КУБАНИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ АРМИИ НА ДОН. БОИ У ГОРЬКОЙ БАЛКИ И ЛЕЖАНКИ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАДОНЬЯ

Еще во время остановки в Ильинской пришли хорошие вести с двух сторон.

Из кубанской станицы Прочноокопской — наиболее твердой и всегда враждебно относившейся к большевизму — явились посланцы с просьбой идти к ним, в Лабинский отдел. Они рассказывали, что, невзирая на неудачу, постигшую недавно восставших, вся тайная организация, охватывающая Лабинский, Баталпашинский, частью Майкопский и Кавказский отделы, сохранилась, что оружие спрятано, закопано в землю, что, наконец, сделаны все приготовления к захвату города Армавира, где имеются в изобилии на большевистских складах оружие и боевые припасы.

В то же время до нас доносились настойчивые слухи с Дона, что казачество там встало поголовно и что даже донская столица Новочеркасск в руках восставших.

Армия воспрянула духом окончательно.

Обозные стратеги волновались больше всех, роптали на долгую остановку и рвались дальше — к полуоткрывшимся окнам, в которых вдруг мелькнул свет. Но военно-политическая обстановка оставалась для штаба все еще далеко не ясной. Нужно было убедиться в серьезности всех этих сведений, чтобы решить, куда идти. От этого зависела дальнейшая судьба армии.

С этой целью на Дон в станицу Егорлыцкую был послан с разъездом полковник генерального штаба Барцевич. Одновременно, по просьбе кубанского правительства и генерала Покровского, в его распоряжение предоставлен был отряд в

составе до четырех кубанских и черкесских сотен, который должен был составить ядро восставших лабинцев; отряд стал сосредоточиваться южнее, в станице Расшеватской, в ожидании решения общего плана операции.

Барцевич выехал из Ильинской, в несколько дней сделал лихой пробег в 200 верст (туда и обратно) и вернулся в Успенскую с сотней донских казаков в восторженном настроении:

— Дон восстал. Задонские станицы ополчились поголовно, свергли советскую власть, восстановили командование и дисциплину и ведут отчаянную борьбу с большевиками. Бьют челом Добровольческой армии, просят забыть старое и поскорее прийти на помощь.

Одно только было не совсем ясно в привезенных сведениях: советские войска по всему северодонскому фронту проявляли странную нервность, и через Ростов якобы один за другим уходили спешно на юг большевистские эшелоны с войсками и имуществом под давлением какой-то неведомой силы.

* * *

Жизнь Дона под властью большевиков в своей бытовой и социальной сущности ничем не отличалась от кубанской. Поэтому я не буду останавливаться на этом вопросе, ограничившись лишь фактической стороной его.

12 февраля на заседание войскового круга явился большевик, войсковой старшина Голубов, и крикнул народным избранникам, которые все, кроме атамана Назарова, почтительно встали при его появлении:

— В России совершается социальная революция, а здесь какая-то сволочь разговоры разговаривает. Вон!

Круг был разогнан; председатель круга атаман Волошинов и некоторые члены круга расстреляны. В Новочеркасске поставлен командующим войсками вахмистр Смирнов, в Ростове сел «председатель областного совета Донской республики», демагог, урядник Подтелков. Голубов остался в стороне и затаил злобу. Началось внедрение советской власти в пределы области, сопровождавшееся, как обычно, захватом пришлыми элементами местного управления, грабежами, реквизициями, арестами, убийствами[1], казнями и

[1] Одних офицеров было убито около 500.

карательными экспедициями против непокорных станиц. Хлеб и скот большими партиями увозились на север; одновременно начался дележ казачьей земли крестьянами. Казаки скоро убедились, что с новым строем они теряют все: землю, волю и власть. Даже большие надежды донских казаков на возможность поживиться несметными богатствами ростовской буржуазии оказались тщетными: буржуазия всецело эксплуатировалась пришлым «российским пролетариатом». Этот новый властитель, однако, в противоположность положению, создавшемуся на Кубани, оказался одинаково непереносимым как для обираемого им казачьего, так и для покровительствуемого крестьянского населения. В отчете о заседаниях областного съезда советов Донской республики, состоявшегося в последних числах марта, отмечена враждебность массы его членов к советскому коммунизму и неудержимая тяга к *«беспартийности»*. При полном одобрении всего крестьянского большинства съезда, один из депутатов «со слезами на глазах, с хватающей за душу непосредственностью поведал, как крестьяне не знали партий и шли за тем, кто «крепче» обещал трудовому люду. А в результате появились свои «трудовые» красногвардейцы, которые понаставили пулеметы и пушки и держат в страхе и трепете население»[1].

Такое настроение обнаружилось в донской деревне уже на второй месяц большевистского управления.

Пробуждение казачества пошло стремительнее, чем было его падение.

Уже в середине марта началось сильное брожение в различных местах области и проводилась тайная организация казачьих сил, чему немало способствовала наступившая весенняя распутица, мешавшая передвижению большевистских карательных отрядов. 18 марта в станице Манычской впервые собрался съезд Черкасского округа, на котором казаки вынесли постановления против советской власти. Во второй половине марта начались и вооруженные выступления.

Одновременно шла и личная борьба между властями Ростова и Новочеркасска. Подтелков, связавший свою судьбу

[1] «Рабочий голос», 1918 год, № 1. Орган социал-демократов.

всецело с «рабочим пролетариатом», относился крайне подозрительно к деятельности Голубова и Смирнова, проводивших большевизм свой — донской, казачий, хотя и родственный советскому, но замкнутый в областных рамках и не допускавший господства пришлой власти.

Новочеркасск скоро стал в резкую оппозицию к областному комитету. Голубов, вернувшись из своей поездки по области, привез в Новочеркасск скрывавшегося Митрофана Богаевского — бывшего помощника атамана Каледина. Настроение донской столицы очевидно сильно изменилось, если Богаевскому, приведенному с гауптвахты, дали возможность на многолюдном митинге в течение трех часов говорить казакам «всю правду». Казаки слушали с умилением и клялись «не выдавать».

Областной комитет, обеспокоенный этим, потребовал прибытия в Ростов Голубова и Смирнова и выдачи Богаевского. Новочеркасск отказал. Тогда прибыл из Ростова карательный отряд и ликвидировал дело. Смирнов и Голубов бежали, причем последний в одной из станиц был опознан и убит. Такая же участь постигла вскоре и Подтелкова. М. Богаевского бросили все, его большевики перевезли в Ростов и там вскоре расстреляли.

Так окончилось содружество двух большевизмов — советского и казачьего[1]. На Дону теперь противопоставлены были без средостения две силы: советская власть и подымающееся казачество.

1 апреля казаки станиц, ближайших к Новочеркасску, под начальством войскового старшины Фетисова внезапным нападением захватили город. Незначительное число коммунистов и красной гвардии было истреблено или бежало, а необольшевики (казаки голубовской дивизии) объявили «нейтралитет». Это плохо организованное выступление полувооруженного ополчения кончилось печально: 5-го большевики обратно овладели городом, подвергнув население жестокому грабежу и новым казням. Голубовская дивизия предусмотрительно ушла из города накануне, захватив добро, награбленное за время расположения в

[1] Представленного Голубовым и Смирновым.

Новочеркасске. По дороге, впрочем, оно было отнято и перераспределено восставшими станицами.

Неудача не остановила, однако, донцов. Организация вооруженного сопротивления продолжалась открыто, и к середине апреля под командой вернувшегося после скитаний в Сальских степях походного атамана генерала Попова объединились следующие значительные группы донских ополчений: 1. Задонская группа генерала Семенова (район Кагальницкой — Егорлыцкой); 2. Южная группа полковника Денисова (район станицы Заплавской); 3. Северная группа — бывший «Степной отряд» войскового старшины Семилетова (район Раздорской). Во всех этих отрядах было свыше 10 тысяч бойцов. Кроме того, и в других отдаленных округах формировались более или менее значительные ополчения.

«Пробуждение Дона» было, однако, далеко еще не полным. И походному атаману, подготовлявшему наступление на Новочеркасск, приходилось не раз посылать карательные экспедиции в нераскаявшиеся еще и поддерживавшие большевиков станицы, расположенные даже в непосредственной близости от атаманского штаба.

* * *

Всех этих подробностей тогда в Успенской мы еще не знали. Но и сведений, привезенных Барцевичем, было достаточно, чтобы сделать выбор: «окно», а не «окошко»; возможность связи и сношений с внешним миром, а не оторванность и одиночество в Кавказских предгорьях; новая военно-политическая база, а не продолжение партизанской войны. Словом — на Дон!

Генерал Алексеев разделял всецело мой взгляд.

Пригласил кубанских правителей, очертил им обстановку и сообщил решение. Приняли с грустью, но без протеста. Выразили опасение, как бы уход с Кубани не вызвал ухода из рядов армии кубанских казаков и черкесов... Опасение оказалось неосновательным: сотни, которые должны были идти по собственному желанию с Покровским в Лабинский отдел, услышав о движении армии на север, не пожелали расставаться с нею.

Окончательное успокоение среди кубанцев внесло мое заявление: Кубани я не брошу; военно-политическая обстановка рисуется в таком виде, что армия в ближайшее время будет сосредоточена в непосредственной близости от Кубанской области и, выполняя общероссийскую задачу, при первой возможности окажет вооруженную помощь для освобождения Кубани.

Предстояло снова в четвертый раз пересечь железную дорогу.

Выступление назначил на 16 апреля, пополудни, с таким расчетом, чтобы в сумерках скрыть направление движения и до рассвета закончить переход дороги на участке между станциями Ея и Белая Глина. На этих станциях стояли бронированные поезда, а последняя была занята большим отрядом красногвардейцев.

Выходить из Успенской пришлось под прикрытием арьергарда, ввиду начавшегося с юга наступления большевиков на станицу.

Двинул колонну умышленно на северо-восток. Авангард вступил в бой с охранением ставропольских красногвардейских отрядов. Колонна приостановилась и, как только стемнело, свернула влево. Двигались в ночной темноте, по дорогам и без дорог — целиною, — по указанию сбившихся с пути проводников. Под утро подошли к глухому железнодорожному переезду и начали переход. Опять конница и авангард разошлись веером в разные стороны, в виде заслонов. Взорвали путь. Повозки крупной рысью по две в ряд, гремя по каменному настилу, перелетели через полотно. Опять люди вздохнули полной грудью, крестились и поздравляли друг друга:

— Ну, слава Богу, кажется, перевалили последнюю!..

Но настал рассвет, и от Белой Глины показался дым бронепоезда. У переезда начали ложиться неприятельские гранаты; позади бронепоезда стал высаживаться из вагонов эшелон пехоты и густыми цепями рассыпаться по полю; из арьергарда донесли, что противник «нажимает»; голову обоза из села Горькой Балки встретили огнем...

Войска спокойно развернулись; открыли огонь наши батареи. И скоро нависшие было тучи рассеялись: выступление местных большевиков в Горькой Балке — яром большевистском притоне — оказалось несерьезным и скоро было

ликвидировано; арьергард отбил противника, а бронепоезд и эшелоны из Белой Глины держались в почтительном отдалении несколькими десятками выстрелов нашей артиллерии и огнем правого заслона.

После большого привала в Горькой Балке, во время которого не прекращался бой к востоку от села, армия двинулась дальше и заночевала в кубанской станице Плоской.

В последние сутки армия прошла с боем до 70 верст!

Прибывший в Плоскую с Дона разъезд донес, что на задонские станицы идет большое наступление с севера и запада, и донское начальство просит помощи.

19-го я послал 1-й конный полк полковника Глазенапа прямо на Егорлыцкую, а армию перевел в Лежанку — в то село, которое некогда первым встретило Добровольческую армию огнем и жестоко за это поплатилось. Теперь там все мирно. В окрестностях, однако, собрались большие отряды красной гвардии.

Задонье между тем переживало критический момент: большевики после недолгого сопротивления заняли вновь станицы Кагальницкую и Мечетинскую и начали в них творить расправу; вооруженные казаки отступили на юг, к Егорлыцкой, куда также подходит неприятель. Таким образом, вместо отдыха приходилось начинать новую серьезную операцию по освобождению Задонья.

Оставив в Лежанке бригаду Маркова и конницу Эрдели, я приказал Богаевскому со 2-й бригадой идти в тыл большевистским войскам в направлении на Гуляй-Борисовку; Глазенапу, после освобождения Егорлыцкой, наступать на север, объединив командование над донскими ополчениями.

20-го Богаевский выступил. Вероятно, это движение было замечено большевиками и сочтено за отход, так как в тот же день со стороны Лопанки началось наступление на Лежанку больших сил красной гвардии.

В течение двух дней большевистская артиллерия громила село, а неприятельские цепи распространялись все дальше к западу, в охват нашего расположения, отрезая пути на Егорлыцкую. Частными атаками Марков временно отбрасывал их, но они возвращались опять большими массами. Это несоизмеримое превосходство сил и наличие в селе беззащитного обоза сильно препятствовали маневренной свободе марковской бригады.

Были дни страстной недели — пятница и суббота. В станичной церкви шло богослужение, выносили плащаницу, и люди в скорби и трепете молились «поправшему смерть» под гром рвавшихся вокруг церковной ограды снарядов. Из алтаря слышалось слово Божье о прощении, а за селом лилась кровь, и брат убивал брата...

В субботу огонь был особенно жестоким. Зашел ко мне Романовский и пригласил в штаб для заслушивания доклада. Оказалось, что никакого доклада не предстоит. Просто мой дом представлял собой легкую деревянную постройку и во дворе его шрапнель уже переранила наших лошадей, тогда как штаб помещался в солидном каменном здании. Предосторожность, однако, на этот раз вышла некстати: в дом штаба и смежное с ним помещение лазарета ударило несколько гранат; нас осыпало известкой, но не тронуло; убило и поранило вновь нескольких человек в лазарете.

Обозу деваться некуда; он ждет своей участи и терпит. Наконец пришло донесение, что Егорлыцкая свободна. Когда Глазенап подошел к станице, в ней оказались только немногие казачки и дети, а все казаки с семьями и пожитками ушли в степь, не рассчитывая на свои силы и не желая покоряться большевикам. Их вернули и вооруженных присоединили к отряду; а 21-го большевики, приближавшиеся к станице, внезапно повернули назад и побежали. Сказывалось, очевидно, появление Богаевского.

Многострадальный обоз двинулся, наконец, кружным путем в Егорлыцкую.

Уход его развязал руки нашему отряду в Лежанке. К вечеру Марков перешел в контратаку по всему фронту и блестящим ударом Офицерского полка, двинувшегося вперед молча, без единого выстрела, опрокинул большевиков, обратившихся в бегство; их преследовала конница. Я приказал Маркову задержаться в Лежанке на сутки и затем перейти в Егорлыцкую кружным путем, через полустанок Целину, чтобы одновременно отбросить отряд «анархистов», оперировавший с бронепоездами между Торговой и Егорлыцкой (станция Атаман), и испортить там на несколько верст железнодорожный путь.

Богаевский в эти дни по пути разметал отряды большевиков, разбил их главные силы под Гуляй-Борисовкой и расположился в этом селе. Глазенап занял Мечетинскую, потом и Кагальницкую. Задонье было освобождено.

Боевое счастье вновь явно начинало склоняться на сторону Добровольческой армии.

Поздно ночью я со штабом ехал по дороге в Егорлыцкую, спеша к пасхальной заутрене. Беседовали с Иваном Павловичем. С первых же дней совместной службы в качестве командующего и начальника штаба между нами установились отношения интимной дружбы, основанные на удивительном понимании друг друга и таком единомыслии, которого мне лично еще не приходилось испытывать в своих отношениях с людьми. Работать вместе было легко и приятно.

Ночь была тихая и звездная. Справа на горизонте догорал зажженный кем-то после боя хутор и бросал кровавый отблеск в небесную высь и в степь. Гулко стучали подковы по не оттаявшей еще земле. Перешли в шаг.

— Вот, — резонерствовал Иван Павлович, — два месяца назад мы проходили это же место, начиная поход. Когда мы были сильнее — тогда или теперь? Я думаю, что теперь. Жизнь толкла нас отчаянно в своей чертовой ступке и не истолкла; закалилось лишь терпение и воля, и вот эта сопротивляемость, которая не поддается никаким ударам.

— Что же, Иван Павлович, как говорит внутренний голос — одолеем?

— Как сказать... Мне кажется, что теперь мы выйдем на большую дорогу. Но попадем в жестокую схватку между двумя процессами — распада и сложения здоровых народных сил. Они, по существу, будут бороться, а мы, в зависимости от течения их борьбы, одолеем или пропадем.

Я вспомнил этот разговор через два года, тоже в Святую ночь, но в Средиземном море, на русском корабле под английским флагом, уносившем меня от последнего клочка русской земли и от свежей могилы друга...

В стороне от дороги послышался шорох.

— Стой!

В темноте обрисовались силуэты казачьей заставы. Въехали на площадь.

Светится ярко храм. Полон народа. Радость Светлого праздника соединилась сегодня с избавлением от «нашествия», с воскрешением надежд. Радостно гудят колокола; радостно шумит вся церковь в ответ на всеблагую весть:

— Воистину воскресе!

В мареве дыма кадильного и дрожащего света паникадил сияют лица молящихся.

«...И нас сподоби чистым сердцем Тебе славити».

ГЛАВА XXX
ПОХОД ДРОЗДОВЦЕВ

С приходом на Дон восстановилась связь с внешним миром, и мы были ошеломлены нахлынувшими со всех сторрн неожиданными новостями.

23 апреля донским ополчением Южной группы полковника Денисова взят был Новочеркасск.

Глава посланного туда от Добровольческой армии представительства генерал Кисляков в своих донесениях определял положение с большой осторожностью: «Полевой армии в истинном смысле этого слова на Дону еще нет; казаки по-прежнему в боях не всегда устойчивы; то, что там происходит, — пока еще только местные восстания, не вполне прочно взятые в руки». Но несомненно, что восстания эти серьезные и на большом пространстве (за исключением двух округов) обнимающие всю область.

Как будто в подтверждение его слов 25 апреля большевики с севера повели наступление на Новочеркасск и ко второму дню овладели уже предместьем города, переживавшего часы сильнейшей паники. Казаки не устояли и начали отступать. Порыв казался исчерпанным и дело проигранным. Уже жителям несчастного Новочеркасска мерещились новые ужасы кровавой расправы...

Но в наиболее тяжелый момент свершилось чудо: неожиданно в семи верстах к западу от Новочеркасска, у Каменного Брода, появился Офицерский отряд полковника Дроздовского, силою до 1000 бойцов, который и решил участь боя.

Это была новая героическая сказка на темном фоне русской смуты[1]: два месяца из Румынии от Ясс до Новочеркасска, то есть более тысячи верст, отряд этот шел с боями на соединение с Добровольческой армией.

* * *

Чтобы удержать от падения Румынский фронт, генерал Щербачев в конце 1917 года приступил к переформированию корпусов в национальные соединения, главным образом украинские.

Мера эта не привела ни к каким результатам, не находя почвы в солдатских настроениях и встретив решительное противодействие со стороны большей части офицерства.

Общие невыносимые условия армейского быта, введение выборного начала и система национализации создали большие кадры бездомного офицерства, которое частью разъезжалось, но в большинстве оседало в крупных городах фронта и в пунктах квартирования высших штабов.

Едва ли где-либо слагалась более благоприятная обстановка для добровольческих формирований, чем на Румынском фронте. Тем более что сохранившие дисциплину румынские войска сдерживали в известной мере своеволие распущенных тыловых банд русских солдат, а союзные миссии имели тогда еще большое влияние на румынское правительство.

Офицерство ждало *приказа*, ждало, чтобы во главе его стал авторитетный начальник, который повел бы его на борьбу. Это стремление усилилось еще более, когда стало известно, что генерал Алексеев прислал письмо генералу Щербачеву, в котором сообщал о создании Добровольческой армии, об ее целях и приглашал добровольцев на Дон.

Генерал Щербачев не нашел в себе достаточно решимости стать во главе движения, или, по крайней мере, придать ему сразу широкие организованные формы. Несомненно, в этом отношении на него повлияло резкое противодействие украинского комиссара Чеботаренко и колебания французской миссии, увлекавшейся тогда созданием самостоятельной Украины и «союзной украинской армии» — идеей, стоявшей в прямом противоречии с началами, положенными в основу добровольчества. Не взяв на себя задачи формирования добровольческого отряда, генерал Щербачев вместе с тем не откликнулся и на просьбу генерала Алексеева об организации планомерной отправки офицеров на Дон.

[1] Данные о походе дроздовцев взяты из «Воспоминаний участников», редактированных полковником Колтышевым.

Инициатива пришла снизу.

Полковник Михаил Гордеевич Дроздовский, бывший командующий 14-й пехотной дивизией, после настойчивых просьб в начале декабря получил разрешение Щербачева формировать добровольческие части.

Храбрый, решительный, упорный человек, большой патриот, Дроздовский взялся лихорадочно за дело, и скоро в окрестностях Ясс (местечко Соколы) он начал собирать добровольцев, преимущественно офицеров, и накапливать военное имущество. Какими оригинальными средствами приобреталось оно, об этом образно говорят участники:

«...Добровольцы устраивали засады у дорог, вблизи путей следования удиравших с фронта частей неожиданно нападали на голову колонны и захватывали начальников, ехавших обычно впереди; затем быстро и решительно отбирали у всех оружие, увозили с собой необходимое имущество, а иногда забирали и офицеров, следовавших с частями». Никакого сопротивления солдаты при этом не оказывали.

Таким путем отряд Дроздовского приобрел оружие, легкую и тяжелую артиллерию, техническое имущество и обоз.

Между тем Украинская рада приступила к сепаратным переговорам о мире с центральными державами. Только это обстоятельство раскрыло, наконец, глаза союзным миссиям, и они более внимательно начали относиться к идее добровольчества. Под их влиянием и генерал Щербачев решил расширить рамки организации и приказом от 24 января учредил должность «инспектора по формированию добровольческих частей». Дроздовский был отодвинут на задний план, а инспектором назначен генерал-майор Кельчевский; при нем большой штаб; предположено было формировать отдельный корпус.

В своем первом приказе новый руководитель обратился к добровольцам со следующими словами:

«...Вам, скромные, но мужественные люди, отрезвевшая Русь скажет спасибо... за то, что среди всеобщей злобы и подозрений, среди анархии и подлых наветов... вы с верой в Бога взялись за великое дело по созданию силы для борьбы по восстановлению порядка и в защиту будущего Учредительного собрания»...

Офицерство стекалось, однако, медленно. Те причины духовного переутомления и всеобщего нравственного упадка, о которых я говорил раньше, здесь, на Румынском фронте, обострялись еще отсутствием *имени*. Имени привлекающего, импонирующего, вокруг которого могли бы объединиться все сохранившие «светильники непогашенными».

В результате из всего огромного численно Румынского фронта к концу февраля собралось в районе Ясс (1-я бригада полковника Дроздовского) около 900 добровольцев, в районе Кишинева (2-я бригада генерал-лейтенанта Белозора) около 800. Одесса, в которой насчитывалось до 15 тысяч офицеров, эта «прекрасная Ниневия, где все продается и все покупается», не откликнулась вовсе.

27 января Украина заключила мир с Германией. Румыния увидела себя окончательно покинутой и в свою очередь приступила к сепаратным переговорам с центральными державами. К этому времени, согласно распоряжению совета комиссаров, русские корпуса начали оставлять фронт, пытаясь прорваться на север, к Черновицам. Румыны выставили там заслон и, убедившись в полной небоеспособности наших войск, приступили к их разоружению. Лишь несколько частей оказали незначительное сопротивление; все огромные запасы фронта остались в руках румын.

Вместе с тем изменилось в корне отношение румын к русским, которых они считали единственными виновниками своих бедствий; широкою волною разлилась ненависть ко всему русскому, не раз проявлявшаяся в насилиях и оскорблениях, которые трудно будет когда-либо забыть неповинному, и без того исстрадавшемуся тогда русскому офицерству.

Ввиду нового направления румынской политики добровольческая организация, проповедовавшая «борьбу с большевиками и немцами — их пособниками», оказалась в чрезвычайно трудном положении. Немецкие войска начали движение в пределы не занятой еще Румынии. Сочувствовавшие нам союзные миссии стали покидать Яссы. Румынское главное командование в угоду немцам предъявило категорическое требование о разоружении и расформировании добровольческих бригад.

Но окончательный удар делу был нанесен во второй половине февраля. Генералы Щербачев и Кельчевский решили, что при сложившемся международном и внутреннем русском положении дальнейшее существование организации бесцельно. Был отдан приказ, который освобождал офицеров от данных ими обязательств и распускал добровольческие бригады.

Казалось, что дело окончательно погибло. Генерал Белозор распустил 2-ю бригаду. Но полковник Дроздовский не мог примириться с крушением начатого им дела. С непоколебимым упорством он говорил смущенным офицерам:

— Не падайте духом! Только действительно неодолимая сила может остановить нас, а не ожидание возможности встретиться с ней.

Дроздовский категорически отказался исполнить приказ и продолжал формирование, поставив себе целью скорейшее движение на Дон, на соединение с Добровольческой армией, куда влекли всех имена признанных вождей — Корнилова и Алексеева.

Бригада откликнулась на призыв своего начальника.

Начались пререкания со штабом фронта и борьба с румынским правительством, постановившим не выпускать бригаду с оружием в руках. Дроздовский заявил решительно, что «разоружение добровольцев не будет столь безболезненно, как это кажется правительству» и что «при первых враждебных действиях город (Яссы) и королевский дворец могут быть жестоко обстреляны артиллерийским огнем».

Действительно, 23 февраля, когда румынские войска начали окружать м. Соколы, против них развернулись цепи добровольцев, а жерла тяжелых орудий направлены были на Ясский дворец.

Румыны поспешно увели свои части и на следующий же день подали поезда для перевозки добровольцев в Кишинев. А 4 марта вся бригада сосредоточилась в м. Дубоссары, на левом берегу Днестра, вне оккупационной зоны румын.

Надежды на пополнение из состава Кишиневского гарнизона оправдались лишь в самой ничтожной степени: присоединилось всего несколько десятков офицеров. Психология уклонявшегося от борьбы офицерства как нельзя лучше сказалась в приводимом полковником Колтышевым разговоре:

— Мы привыкли исполнять *приказы*, а нас вместо этого *просят*; или даже объявляют, что действительность данных нами обязательств уничтожается и что мы лучше сделаем, если не пойдем на такое рискованное предприятие. Ясно, что старшие начальники сами не верят в успех, а им виднее...

Среди такого подавленного настроения, общей растерянности и безнадежности в Дубоссарах жил своей особой жизнью отряд русских людей, готовясь к походу и борьбе. Впереди более тысячи верст пути, две серьезные водные преграды (Буг и Днепр), весенние разливы, край, взбаламученный до дна. А наперерез — непрерывно двигающиеся от Бирзулы к Одессе и к востоку, по приглашению Украинской рады, австро-германские эшелоны. Впереди полная неизвестность — волнующая, но не заглушающая молодого порыва, жажды подвига и веры в правоту своего дела; все возрастающей веры в своего начальника, в свое будущее.

Ее не подорвали даже докатившиеся тогда уже до Днестра зловещие слухи о падении Дона.

* * *

Поход дроздовцев от м. Соколы до Новочеркасска длился 61 день. 7 марта выступили из Дубоссар; 15-го переправились через Буг у Александровки; 28-го перешли Днепр у Бериславля; 3 апреля заняли Мелитополь; 21-го появились под Ростовом. Шли форсированными маршами, с посаженной на подводы пехотой, делая иногда 60—70 верст в сутки[1].

---

[1] Состав бригады Дроздовского: 667 офицеров, 370 солдат, 14 врачей, священников, чиновников; 12 сестер милосердия;
сводный стрелковый полк (генерал-майор Семенов, позднее удален);
конный дивизион (штаб-ротмистр Гаевский);
легкая батарея (полковник Ползиков);
конно-горная батарея (капитан Колзаков);
мортирный взвод (полковник Медведев);
технические части и лазарет.

Весь юг России переживал тогда сумбурный период безвременья и безвластья несколько иначе, чем юго-восток. Земельный вопрос был там уже захватным правом разрешен. На юге не было столкновения интересов таких социально враждебных групп, как казачество и «иногородние»; на юге не оседали еще в сколько-нибудь широких размерах фронтовые части, а без них формирование красной гвардии и утверждение советской власти шло замедленным темпом. Наконец, движение австро-германских войск в глубь территории, опережаемое самыми фантастическими и угрожающими слухами, создавало психологическую обстановку, далеко не благоприятную для большевиков.

Край был наполнен небольшими неорганизованными шайками, не имевшими решительно никакой политической физиономии и своими разбоями доводившими до отчаяния все население.

Благодаря этим обстоятельствам отряд Дроздовского шел, почти не встречая сопротивления. Только у Каховки и Мелитополя он столкнулся с большевистскими бандами, которые разбил легко, почти не понеся потерь, и принял участие в двух-трех карательных экспедициях.

Население повсюду встречало отряд как своих избавителей и, не отдавая себе отчета ни в силе, ни в назначении его, с приходом добровольцев связывало надежды на окончание смуты. Из далеких сел приходили депутации, прося спасти их от «душегубов», привозили связанными своих большевиков, членов советов (и преступных, и, может быть, невинных) «на суд и расправу».

Суд бывал краток, расправа жестока.

А наутро отряд уходил дальше, оставляя за собой развороченный муравейник, кипящие страсти и затаенную месть.

26 марта Дроздовскому подчинился шедший походом из Измаила отряд полковника Жебрака в составе 130 человек, главным образом из состава так называемой Балтийской морской дивизии (пехотной).

По пути к дроздовцам присоединялись новые добровольцы, преимущественно офицеры и учащаяся молодежь. Обычная картина: после прихода отряда в большой населенный пункт в ряды его записываются сотни добровольцев; но

через день приходят по следам дроздовцев немцы, в населении появляется уверенность в прочности положения, и с отрядом уходят лишь несколько человек. Нередко в местах записи слышались разговоры:

— А много ли вас?

— Тысяча.

— Ну, с этим Россию не спасешь!..

Не встречая серьезного сопротивления со стороны большевиков, Дроздовский оказался, однако, весьма в трудном положении в отношении другого врага: по следам отряда, иногда опережая его по железной дороге, шли австро-германцы. Если широкая политика и истинные мотивы движения их были не совсем ясны для офицерства, то, во всяком случае, психология огромной части его не могла воспринять это событие иначе, как в смысле продолжения войны и вражеского нашествия на русскую землю. И вместе с тем не было ни сил, ни какой-либо возможности противодействовать им, не отказываясь от выполнения своей основной задачи. Наконец, эти враги гонят перед собой большевиков, расчищая тем путь отряду...

Дроздовский объявил, что отряд сохраняет в отношении австро-германцев нейтралитет и ведет борьбу только против большевиков.

Не было ли еще инструкций из главной немецкой квартиры, не разобрались немцы в истинных побуждениях добровольцев или просто сравнительно слабым передовым частям их невыгодно было вступать в столкновение с хорошо вооруженным, организованным и морально стойким отрядом, но формула Дроздовского была молчаливо принята.

Быть может, и совесть рядового немецкого офицерства заговорила при виде людей, оставшихся верными своему долгу и одинокой, трагически ничтожной кучкой бросившихся в водоворот народной стихии. Хотя люди эти и были им врагами.

Добровольцы шли в непосредственной близости от своих «внешних врагов», стараясь не встречаться с ними и принимая меры боевой предосторожности. На душе у них было далеко не спокойно. Но...

«Разум брал свое, и мы молча, в тяжелом раздумье продолжали свой путь...»

До Днепра встречались только австрийцы. Они сами, по-видимому, избегали встреч с дроздовцами. Иногда австрийские аванпосты открывали огонь по нашим разъездам, а части их поспешно снимались со своих стоянок и уходили в сторону. Однажды, когда колонна дроздовцев пересекала железную дорогу между Бирзулой и Жмеринкой, в нее врезался эшелон австрийцев. К изумлению добровольцев, австрийские офицеры приветствовали их отданием чести и криками:

— Счастливого пути!

Первый раз с немцами встретились на переправе через Днепр у Бериславля. Несмотря на усиленные марши, Дроздовскому не удалось опередить там немцев. Когда колонна подходила к Бериславлю, он был занят уже двумя германскими батальонами, подошедшими из Херсона. После кратких переговоров, немецкий майор согласился не препятствовать переправе добровольцев и временно снять с позиции свои части, с тем, чтобы возле моста оставалась одна из немецких рот.

Обе стороны расположились, однако, из предосторожности так, чтобы в случае надобности можно было легко вступить в бой...

Трагическая игра судьбы! В Бериславле у моста стоял враг — немцы. За рекой у Каховки стоял другой враг — русские большевики; они обстреливали расположение немцев артиллерийским огнем, преграждая им путь. Добровольцам предстояло атаковать большевиков, как будто открывая тем дорогу немцам в широкие заднепровские просторы...

Старые дроздовцы не забудут того тяжелого чувства, которое они испытали в эту темную, холодную ночь. Когда разум мутился, чувство раздваивалось, а мысль мучительно искала ответа, запутавшись безнадежно в удивительных жизненных парадоксах...

Каховка после короткого боя была взята, большевики бежали. Но тягостное настроение добровольцев заставило Дроздовского пригласить всех старших начальников и разъяснить им, что он «ни в какие переговоры о совместных действиях с немцами не входил, а лишь потребовал пропустить отряд».

Приходилось не раз прибегать к хитрости. Так, когда колонна пересекала железную дорогу севернее Таганрога, часть обоза и арьергард были отрезаны подошедшим из Таганрога паровозом, ставшим поперек переезда. Германский майор Гудерман заявил, что не пропустит колонну до тех пор, пока не получит разрешения из Таганрога от корпусного штаба. По-видимому, он ожидал прибытия эшелона. Начальник арьергарда полковник Жебрак развернул роту с пулеметами вдоль полотна. Но насильственные меры могли быть чреваты опасными последствиями. Жебрак вступил поэтому в переговоры с майором, посоветовав для ускорения ответа послать его адъютанта на паровозе в Таганрог. Как только паровоз скрылся с глаз и путь стал свободен, повозки рысью двинулись через переезд.

— Вы поступили не по-джентльменски, — сказал раздраженно Гудерман.

— Кому-кому судить об этом, — ответил Жебрак, — но только не вам, майор. У нас с вами мир еще не заключен. Кто нам мешает, тот нам враг.

Невзирая на ряд подобных эпизодов, в которых прорывались истинные чувства отряда, «нейтралитет» все же не нарушался, и дроздовцы приближались благополучно к «земле обетованной».

Между тем вести, шедшие оттуда, становились все более печальными. 1 апреля окончательно подтвердились сведения, что весь Дон занят большевиками; о генерале Корнилове говорили, что он «дерется где-то в районе ст. Кавказской, и ходят даже слухи, что он убит». 14-го слухи о смерти вождя не вызывали уже сомнений. Будущее опять заволокло зловещими тучами. Падала цель, казались напрасными все труды и лишения тысячеверстного похода. Малодушных охватило уныние. Но Дроздовский — мрачный, замкнутый, не любивший делиться своими надеждами и сомнениями с окружающими, — твердо и решительно вел отряд вперед, напролом, руководствуясь не столько реальными данными, сколько верой и внутренним чувством.

Оно не обмануло его. Уже за Бердянском получены были радостные вести:

— Дон поднялся!

— Добровольческая армия жива!

* * *

Ростов переживал тяжелое время.

Много дней уже слышна была отдаленная артиллерийская стрельба. Ходили неясные слухи о приближении немцев, украинских гайдамаков, каких-то неведомых «щербачевцев», наконец восставших донцов. Эти слухи как будто находили подтверждение в нервном настроении советских властей и в явно производившейся эвакуации города.

Ростовцы не знали, кто их освободит, но, переходя от надежд к отчаянию, все же ждали со дня на день избавления.

В Святую ночь оно как будто бы пришло. После сильной артиллерийской канонады большевики начали покидать город, отходя в Нахичевань, и к утру Светлого Воскресения ростовские жители, выглянув со страхом на улицу, увидели разъезды каких-то неведомых людей, пришедших из Румынии и называвших себя «корниловцами».

Обойдя с севера Таганрог, в котором сосредоточился германский корпус, дошедший уже передовыми частями до станции Синявки, Дроздовский 21 апреля атаковал Ростов.

Операция была весьма рискованная, силы далеко не достаточные. Но агентурные сведения указывали на стремление немцев занять Ростов. Дроздовский решил поэтому предупредить их, желая оказать скорейшую помощь Дону, воспользоваться богатейшими военными запасами, сосредоточенными в городе, и учитывая вместе с тем моральное значение захвата этого крупного политического и военного центра «русскими руками».

Конный дивизион дроздовцев с конно-горной батареей и броневиком под командой начальника штаба отряда полковника Войналовича атаковал передовые части большевиков, разбил их и ворвался на вокзал. Впечатление этого налета было настолько велико, что большевики начали даже поспешно покидать город, а эшелоны красной гвардии, бывшие на вокзале, целыми толпами сдавались в плен. Но прошел час, другой, подкрепление не подходило, и большевики, опомнившись, открыли огонь по добровольцам. Первым пал доблестный полковник Войналович. Авангард отступил. Но вскоре подошли главные силы, и большевики, преследуемые артиллерийским огнем, стали отходить окончательно,

к полуночи очистив весь город. Дроздовский занял вокзал и прилегающий район.

Легкость овладения городом вызвала пренебрежение к противнику. Стояли беспечно. Утром пехота разошлась, приступив к очистке города. Разведки не было. И потому, когда около 6 часов неожиданно открыл огонь большевистский бронепоезд и из Новочеркасска один за другим стали подходить эшелоны красной гвардии, отряд Дроздовского был застигнут врасплох.

Начался тяжелый бой, лишенный должного управления, в результате которого Дроздовский очистил Ростов, потеряв до 100 человек, часть обоза и пулеметов.

Части собрались в селе Чалтырь. Там уже оказался... авангард германцев. Несмотря на предупредительное отношение немецкого начальника, предоставившего отряду для ночлега часть села, офицеры просили увести их оттуда; невзирая на крайнее утомление, двинулись дальше и остановились в селе Крым.

То фальшивое положение, в котором добровольцы находились постоянно в отношении «внешнего врага», угнетало их чрезвычайно. Последняя боевая неудача еще более понизила настроение.

Дроздовский счел необходимым собрать добровольцев и снова побеседовать с ними. Коснулся и больного вопроса о причинах неудачи.

— Реорганизация необходима. Смена некоторых начальников, проявивших отсутствие распорядительности и личного примера, также необходима. О себе же отчет я дам лишь своему начальнику — тому, к которому направлены все наши помыслы, наши стремления... Начинается воскресение России... Вновь обращаюсь к вам: не падайте духом!

А через день на горизонте опять просветлело: пришло известие о взятии донцами Новочеркасска. Тяжелые потери 22-го получили некоторое моральное оправдание: бой этот, хотя и неудачный, отвлек несомненно большие силы от Новочеркасска и избавил донцов от перспективы получить свою столицу... из рук немцев.

В тот же день Дроздовский двинулся к Новочеркасску, и 25-го передовые части его подоспели туда, как я уже говорил, в самый критический для донцов момент. Авангардная батарея открыла огонь во фланг наступавшему противнику, броневик врезался в самую гущу неприятельских резервов, внеся смятение и смерть в ряды большевиков, рассеявшихся по всему полю. Казаки, ободренные успехом, перешли в контратаку и на расстоянии 15 верст преследовали бегущего врага.

К вечеру дроздовцы входили стройными рядами в Новочеркасск, восторженно приветствуемые жителями. Вместе с весенними цветами, которыми забрасывали добровольцев, на них повеяло лаской и любовью многотысячных толп народа, запрудивших все улицы освобожденного города.

* * *

«25 апреля, — писал в своем приказе Дроздовский, — части вверенного мне отряда вступили в Новочеркасск. В город, который с первых дней возникновения отряда был нашей заветной целью. Теперь я призываю вас всех обернуться назад, вспомнить все, что творилось в Яссах и Кишиневе, вспомнить все колебания и сомнения первых дней, все нашептывания и запугивания окружавших вас малодушных. Пусть же послужит вам примером, как только смелость и твердая воля творят большие дела... Будем же и впредь в грядущей борьбе ставить себе смело цели и стремиться к достижению их с железным упорством, предпочитая славу и гибель позорному отказу от борьбы; другую же дорогу предоставим всем малодушным и берегущим свою шкуру».

В тот же день Дроздовский отправил донесение командующему Добровольческой армией: «Отряд... прибыл в Ваше распоряжение... Отряд утомлен непрерывным походом... но в случае необходимости готов к бою сейчас. Ожидаю приказаний...».

ГЛАВА XXXI

НЕМЕЦКОЕ НАШЕСТВИЕ НА ДОН. СВЯЗЬ С ВНЕШНИМ МИРОМ И ТРИ ПРОБЛЕМЫ: ЕДИНСТВО ФРОНТА, ВНЕШНЯЯ «ОРИЕНТАЦИЯ» И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛОЗУНГИ. ИТОГИ ПЕРВОГО КУБАНСКОГО ПОХОДА

Положение донской столицы значительно окрепло. В области, как доносил Кисляков, было хорошее настроение и много хорошего материала. По общему признанию, не хватало лишь крепкой воли и надлежащей организации. Походный атаман генерал Попов — человек вялый и нерешительный — не пользовался авторитетом; «временное правительство», образовавшееся еще в дни первого налета на Новочеркасск, во главе с правым демагогом есаулом Яновым, не чувствовало почвы под ногами и, принимая в свой состав прибывающих в город членов Круга, обратилось в многоголовый «совдеп». Решение всех важнейших вопросов откладывалось, и все надежды возлагались на «Круг спасения Дона», который должен был собраться из представителей восставших станиц и казачьих дружин к 29 апреля.

Из новочеркасских впечатлений и разговоров, из взаимоотношений с задонскими военными властями понемногу, однако, начало выясняться, что надежды на объединение противобольшевистских сил для дальнейшей борьбы становятся все более проблематичными.

Кисляков, сделавший некоторые шаги перед «временным правительством» в этом направлении, доносил:

«Правительство и атаман не считают возможным подчинение донской армии командующему Добровольческой армией. Мотивы такого решения — крайние опасения, что такое подчинение не своему (не казачьему) генералу может послужить поводом к агитации, которая найдет благоприятную почву среди казаков. Заявляют, что приход нашей армии на Дон крайне желателен и что совместные действия с казаками послужат укреплению боевого духа последних. Словом, от подчинения отказываются, «унии» весьма хотят».

К сожалению «уния» имела уже свою печальную историю в декабре 1917 — феврале 1918 года и как идея, чужеродная военной организации, не предвещала ничего хорошего в будущем.

* * *

После отступления дроздовцев Ростов погрузился опять в холодное отчаяние. Но паника среди советских властей не улеглась. Они лихорадочно эвакуировали город; эшелоны с красной гвардией, военными запасами и награбленным имуществом тянулись безостановочно за Дон.

И когда 25-го напуганные ростовские жители, удивленные наступившей тишиной, выглянули на улицу, они увидели с изумлением (многие — с горьким разочарованием) марширующие по улицам колонны... людей в касках.

То вступала в Ростов головная дивизия 1-го германского корпуса.

Это событие, словно удар грома среди прояснившегося было для нас неба, поразило своей неожиданностью и грозным значением. Малочисленная Добровольческая армия, почти лишенная боевых припасов, становилась лицом к лицу одновременно с двумя враждебными факторами — советской властью и немецким нашествием, многочисленной красной гвардией и корпусами первоклассной европейской армии. Этот чужеземный враг был страшен своим бездонным национальным эгоизмом, своим полным отрешением от общечеловеческой морали. Он с одинаковым цинизмом жал руку палача в Брест-Литовске, обнадеживал жертву в Москве и Киеве и вносил растление в душу народа, чтобы вывести его надолго из строя столкнувшихся мировых сил.

Какие еще новые беды несет с собой его приход? Донская делегация, посланная «временным правительством» в Ростов, была принята начальником штаба немецкой дивизии, и между ним и донцами произошел знаменательный разговор.

«Д.: С какой целью и по каким соображениям немцы вторглись на территорию Дона?

Н.: Политические соображения неизвестны, но по стратегическим соображениям приказано занять Ростов и Батайск, чтобы уберечь Украину от большевиков удержанием этого важного железнодорожного узла.

Д.: Ростов находится на территории Дона, права коего, следовательно, нарушаются вами...

Н.: О границах Дона с Украиной вам надлежит договариваться с последней.

Д.: Пойдете ли вы на Новочеркасск?

Н.: Такого приказания у нас нет, а если получим, то Новочеркасск займем. Не будет ли открыто партизанскими отрядами враждебных действий против наших войск?

Д.: Такого распоряжения не отдавалось, почему до выяснения вопроса с Украиной такие действия должны рассматриваться как не основанные на распоряжениях высшей военной власти Дона.

Д.: Признаете ли суверенные права Дона?

Н.: Да, признаем Дон *штатом* (?).

Д.: Какова организация власти на Украине?

Н.: Власть полномочного гетмана Скоропадского, усмотрением коего назначаются министры. Украине запрещено проводить социалистические начала. Земля возвращена помещикам не свыше известной нормы. Приказано всем засеять поля.

Д.: Признается ли за Украиной право решать вопрос о войне и мире?

Н.: Да, но не против Германии.

Далее немцы говорили, что они действуют в союзе с казаками, ибо действуют совместно против красной гвардии.

Д.: Почему вы двигаетесь на Дон, заключив мир с Россией?

Н.: Мы признаем Брестский договор, но правительство комиссаров не исполняет своего обязательства о разоружении красной гвардии, против которой мы и идем. Признает ли себя Дон самостоятельной республикой?

Д.: Мы признаем себя частью России, но не признаем большевистского правительства».

Из этого разговора трудно было еще уяснить себе ближайшие перспективы: сохранят ли немцы в отношении Добровольческой армии нейтралитет, пойдут ли на нас войною или предоставят нам меряться силами с большевиками только для того, чтобы с холодным, веским расчетом на костях и крови русских построить себе свободный путь к морю, хлебу и нефти.

Политическая обстановка была запутана до крайности. Будущее темно. Но наказ, данный мною генералу Кислякову, был совершенно ясен:

— Ни в какие отношения с командованием враждебной России державы не вступать.

* * *

Встал передо мной еще один вопрос.

В середине апреля, почти одновременно приехали из Москвы в армию полковники Страдецкий и Голицын[1]. Первый был командирован в столицу для связи с московскими организациями еще в январе 1918 года из Ростова, второй — бывший генералом для поручений при генерале Корнилове — послан был, кажется, в Астрахань, но ввиду ее падения попал также в Москву.

Голицын уверял, что Москва совсем не интересуется Югом и в частности «Корниловской армией», что там идет борьба политических лозунгов и внешних ориентаций и некоторая местная концентрация сил, совершенно не склонных к подчинению указаниям Юга. Страдецкий, наоборот, рисовал картину разбросанной широко по России сети активных ячеек, отчасти подчиненных тайной организации, в которой он играл видную роль, отчасти самостоятельных. Но что те и другие считают себя всецело в распоряжении командования Добровольческой армии, вполне подготовлены к выступлению и ожидают только приказа.

Мне показались несколько сомнительными серьезность, сила и влияние организации. Во всяком случае, я не счел возможным, не имея ясного представления о внутреннем положении страны, указывать времена и сроки. Предложил лишь, в подтверждение предыдущих инструкций, продолжать

[1] Несколько штрихов для характеристики деятелей смутного времени. Голицын доложил мне, что вывез семью генерала Корнилова в Москву, где она проживает инкогнито и в полной безопасности вместе с его семьей. За это был обласкан и награжден из скромной добровольческой казны. Затем уехал и объявился в Сибири генералом, занимая потом высокие командные посты в армии адмирала Колчака. Оказалось впоследствии, что семья Корнилова осталась тогда на Кавказе в тяжелом, почти безвыходном положении.

организацию на местах, пользуясь всяким случаем, чтобы стягивать силы к нам на Дон. Единственным безошибочным моментом выступления надлежало считать приближение к данному району Добровольческой армии.

Много позднее я узнал, что разговор шел о «Союзе защиты Родины и свободы», возглавляемом Савинковым, — обстоятельство, которое Страдецкий утаил от меня. И эта организация в половине апреля не имела еще решительно никакого реального значения.

Тем не менее доклад поставил на очередь вопрос о необходимости сказать во всеуслышание слово от армии, тем более что само бытие ее в последнее время среди широких кругов русского общества вызывало сомнение.

В Лежанке под гром неприятельской артиллерии я составлял свое первое политическое обращение к русским людям.

От Добровольческой армии

«Полный развал армии, анархия и одичание в стране, предательство народных комиссаров, разоривших страну дотла и отдавших ее на растерзание врагам, привело Россию на край гибели.

Добровольческая армия поставила себе целью спасение России путем создания сильной, патриотической и дисциплинированной армии и беспощадной борьбы с большевизмом, опираясь на все государственно мыслящие круги населения.

Будущих форм государственного строя руководители армии (генералы Корнилов, Алексеев) не предрешали, ставя их в зависимость от воли Всероссийского Учредительного собрания, созванного по водворении в стране правового порядка.

Для выполнения этой задачи необходима была база для формирования и сосредоточения сил. В качестве таковой была избрана Донская область, а впоследствии, по мере развития сил и средств организации, предполагалась вся территория так называемого Юго-Восточного союза. Отсюда Добровольческая армия должна была идти историческими путями на Москву и Волгу...

Расчеты, однако, не оправдались...»

Указав далее мотивы нашего «исхода» с Дона и сделав краткий очерк первого кубанского похода, я заканчивал:

«Предстоит и в дальнейшем тяжелая борьба. Борьба за целость разоренной, урезанной, униженной России; борьба за гибнущую русскую культуру, за гибнущие несметные народные богатства, за право свободно жить и дышать в стране, где народоправство должно сменить власть черни.

Борьба до смерти.

Таков взгляд и генерала Алексеева, и старших генералов Добровольческой армии (Эрдели, Романовского, Маркова и Богаевского), таков взгляд лучшей ее части. Пусть силы наши невелики, пусть вера наша кажется мечтанием, пусть на этом пути нас ждут новые тернии и разочарования, но он единственный для всех, кто предан Родине.

Я призываю всех, кто связан с Добровольческой армией и работает на местах, в этот грозный час напрячь все силы, чтобы немедля сорганизовать кадры будущей армии и, в единении со всеми государственно мыслящими русскими людьми, свергнуть гибельную власть народных комиссаров.

Командующий Добровольческой армией Генерал-лейтенант Деникин».

23-го в Егорлыцкой я познакомил с обращением генерала Алексеева и старших начальников армии, находившихся в станице. Обращение не вызвало никаких возражений, и штаб послал большое количество напечатанных в походной кубанской типографии экземпляров его для распространения в Ростове, Киеве, Москве и далее по России.

Прошло дня два. Заходит ко мне генерал Марков и смущенно докладывает:

— Среди офицерства вызывает толки упоминание воззвания о «народоправстве» и об «Учредительном собрании»...

* * *

Я только наметил здесь три капитальнейших вопроса, вставших передо мной в их элементарном отражении тогда, в глухой донской станице, при первом общении с внешним миром: единство фронта, внешняя «ориентация» и политические лозунги.

В дальнейшем ходе событий эти вопросы разрастутся в глубокие внутренние процессы, обволакивающие «белое движение» и в значительной мере лишающие его единства, ясности и, следовательно, необходимой силы.

Освобождение Новочеркасска дало мне наконец возможность отправить туда раненых. Хотя власти приняли их там не особенно ласково, заявив, что предпочли бы видеть полк здоровых добровольцев, хотя много еще пришлось им испытать невзгод в обедневших и разоренных донских лазаретах, но все это казалось счастьем, потому что было несравнимо с тем, что они вынесли в походе.

В Егорлыцкой армии предстояло еще одно испытание. После всех переживаний тяжелого похода у всех наступила некоторая реакция. Многих тянуло в Ростов и Новочеркасск, где остались родные и близкие; многим просто смертельно хотелось отдохнуть и отрешиться на время от острых впечатлений боев.

Между тем новая политическая обстановка, допускавшая самые неожиданные возможности, с необыкновенной остротой ставила вопрос о полной необеспеченности армии снабжением, в особенности боевыми припасами. В то же время разведка упорно доносила об огромном и хаотическом движении большевистских эшелонов по линии Ростов — Тихорецкая — Царицын, — движении, закупорившем все узловые станции. Шло массовое перемещение военных материалов, которые могли ускользнуть окончательно из наших рук.

Пришлось организовать набег, чтобы пополнить истощенные запасы.

Назначил днем выступления 25 апреля. Добровольцы поворчали немного, но пошли беспрекословно.

Операция заключалась в том, чтобы быстрым маршем захватить узловую станцию Сосыка на Кубани, в тылу той группы большевиков, которая стояла против немцев у Батайска; одновременно для обеспечения и расширения района захвата занять соседние станции Крыловскую и Ново-Леушковскую[1].

[1] Общий фронт 33 версты.

25 апреля Богаевский со 2-й бригадой выступил из Гуляй-Борисовки и взял с бою станицу Екатериновскую; главная колонна — бригады Маркова и Эрдели, — сделав 65 верст, заночевала в Незамаевской, занятой без сопротивления противника.

На рассвете 26-го Богаевский, Марков и Эрдели[1] атаковали тремя колоннами станции Крыловскую, Сосыку и Ново-Леушковскую, и после горячего боя с большими силами и бронепоездами большевиков все три станции были заняты. Много поездов с военными материалами попало в наши руки. В ту же ночь я перешел с колонной Маркова в станицу Михайловскую, предполагая расширить несколько задачу к северу. Но бригада Богаевского встретила уже упорное сопротивление большевиков, усилившихся подошедшими подкреплениями. Добыча не стоила бы новых жертв. И я увел армию обратно на Дон без всякого давления со стороны противника, развивавшего только сильнейший артиллерийский огонь.

Увозили с собой большую добычу: ружья, пулеметы, боевые припасы и материалы для обмундирования; уводили несколько сот мобилизованных кубанских казаков.

Должен сказать откровенно, что нанесение более серьезного удара в тыл тем большевистским войскам, которые преграждали путь нашествию немцев на Кавказ, не входило тогда в мои намерения: извращенная донельзя русская действительность рядила иной раз разбойников и предателей в покровы русской национальной идеи...

30 апреля армия остановилась наконец на отдых в двух пунктах: станице Мечетинской (штаб армии и 2-я бригада) и Егорлыцкой (1-я и конная бригады), прикрываясь заслонами от большевиков и от... немцев.

* * *

Первый кубанский поход — Анабазис Добровольческой армии — окончен.

Армия выступила 9 февраля и вернулась 30 апреля, пробыв в походе 80 дней.

Прошла по основному маршруту 1050 верст.

[1] Средняя и левая колонны сделали в этот день еще до 40 верст.

Из 80 дней 44 дня вела бои.

Вышла в составе 4 тысяч, вернулась в составе 5 тысяч, пополненная кубанцами.

Начала поход с 600—700 снарядами, имея по 150—200 патронов на человека; вернулась почти с тем же. Все снабжение для ведения войны добывалось ценой крови.

В кубанских степях оставила могилы вождя и до 400 начальников и воинов; вывезла более полутора тысяч раненых; много их еще оставалось в строю; много было ранено по несколько раз.

В память о походе установлен знак: меч в терновом венце.

Издалека, из Румынии, на помощь Добровольческой армии пришли новые бойцы, родственные ей по духу.

Два с половиной года длилась еще их борьба.

И тех немногих, кто уцелел в ней, судьба разметала по свету: одни оказались в рядах полков, нашедших приют в славянских землях; другие — за колючей проволокой лагерей — тюрем, воздвигнутых недавними союзниками, третьи, голодные и бесприютные, — в грязных ночлежках городов Старого и Нового Света.

И все на чужбине, все без Родины...

Когда над бедной нашей страной почиет мир и всеисцеляющее время обратит кровавую быль в далекое прошлое, вспомнит русский народ тех, кто первыми поднялись на защиту России от красной напасти.

Содержание

ГЛАВА I. Расхождение путей революции. Неизбежность переворота ... 4

ГЛАВА II. Начало борьбы: генерал Корнилов, Керенский и Савинков. Корниловская «записка» о реорганизации армии ... 12

ГЛАВА III. Корниловское движение: тайные организации, офицерство, русская общественность ... 26

ГЛАВА IV. Идеология корниловского движения. Подготовка выступления. «Политическое окружение». Трехсторонний «заговор» ... 38

ГЛАВА V. Провокация Керенского: миссия В. Львова, объявление стране о «мятеже» Верховного главнокомандующего ... 50

ГЛАВА VI. Выступление генерала Корнилова. Ставка, военачальники, союзные представители, русская общественность, организации, войска генерала Крымова в дни выступления. Смерть генерала Крымова. Переговоры о ликвидации выступления ... 67

ГЛАВА VII. Ликвидация Ставки. Арест генерала Корнилова. Победа Керенского — прелюдия большевизма ... 85

ГЛАВА VIII. Переезд «Бердичевской группы» в Быхов. Жизнь в Быхове. Генерал Романовский ... 99

ГЛАВА IX. Взаимоотношения Быхова, Ставки и Керенского. Планы на будущее. «Корниловская программа» ... 110

ГЛАВА X. Результаты победы Керенского: одиночество власти; постепенный захват ее советами; распад государственной жизни. Внешняя политика правительства и советов ... 122

ГЛАВА XI. Военные реформы Керенского—Верховского—Вердеревского. Состояние армии в сентябре, октябре. Занятие немцами Моонзунда 138

ГЛАВА XII. Большевистский переворот. Попытки сопротивления. Гатчина. Финал диктатуры Керенского. Отношение к событиям в Ставке и в Быхове 152

ГЛАВА XIII. Первые дни большевизма в стране и в армии. Судьба быховцев. Смерть генерала Духонина. Наш уход из Быхова на Дон 165

ГЛАВА XIV. Приезд на Дон генерала Алексеева и зарождение «Алексеевской организации». Тяга на Дон. Генерал Каледин 185

ГЛАВА XV. Общий очерк военно-политического положения в начале 1918 года на Украине, Дону, Кубани, Северном Кавказе и в Закавказье 198

ГЛАВА XVI. «Московский центр». Связь Москвы с Доном. Приезд на Дон генерала Корнилова. Попытки организации государственной власти на юге: «триумвират» Алексеев — Корнилов — Каледин; «Совет»; внутренние трения в триумвирате и Совете 223

ГЛАВА XVII. Формирование Добровольческой армии. Ее задачи. Духовный облик первых добровольцев 232

ГЛАВА XVIII. Конец старой армии. Организация Красной гвардии. Начало вооруженной борьбы советской власти против Украины и Дона. Политика союзников; роль чехословацкого и польского корпусов. Бои Добровольческой армии и донских партизан на подступах к Ростову и Новочеркасску. Оставление Добровольческой армией Ростова 250

ГЛАВА XIX. Первый Кубанский поход. От Ростова до Кубани; военный совет в Ольгинской; падение Дона; народные настроения; бой у Лежанки; новая трагедия русского офицерства 266

ГЛАВА XX. Поход к Екатеринодару: настроение Кубани; бои под Березанкой, Выселками и Кореновской; весть о падении Екатеринодара 283

ГЛАВА XXI. Поворот армии на юг: бой у Усть-Лабы; кубанский большевизм; штаб армии 292

ГЛАВА XXII. Поход в Закубанье; бой за Лабой и у Филипповского; теневые стороны армейского быта 302

ГЛАВА XXIII. Судьба Екатеринодара и Кубанского добровольческого отряда; встреча с ним 313

ГЛАВА XXIV. Ледяной поход — бой 15 марта у Новодмитриевской. Договор с кубанцами о присоединении Кубанского отряда к армии. Поход на Екатеринодар 320

ГЛАВА XXV. Штурм Екатеринодара 331

ГЛАВА XXVI. Смерть генерала Корнилова 344

ГЛАВА XXVII. Вступление мое в командование Добровольческой армией. Снятие осады Екатеринодара. Бои у Гначбау и Медведовской. Подвиг генерала Маркова 349

ГЛАВА XXVIII. Поход на восток — от Дядьковской до Успенской. Трагедия раненых. Жизнь на Кубани 358

ГЛАВА XXIX. Восстания на Дону и на Кубани. Возвращение армии на Дон. Бои у Горькой Балки и Лежанки. Освобождение Задонья 366

ГЛАВА XXX. Поход дроздовцев 375

ГЛАВА XXXI. Немецкое нашествие на Дон. Связь с внешним миром и три проблемы: единство фронта, внешняя «ориентация» и политические лозунги. Итоги Первого Кубанского похода 388

АНТОН ИВАНОВИЧ

ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

Белое движение и борьба добровольческой армии Май – октябрь 1918

Воспоминания
Мемуары

МИНСК
ХАРВЕСТ
2002

УДК 947
ББК 63.3(2)
Д 33

Серия основана в 2000 году

Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.05.02.
Формат 84×108[1]/32. Печать высокая с ФПФ. Бумага офсетная. Усл. печ. л 24.36. Тираж 7000 экз.
Заказ 3178.

Деникин А. И.

Д 33 Очерки русской смуты: Белое движение и борьба добровольческой армии. Май — октябрь 1918.— Мн.: Харвест, 2002.— 464 с. (Воспоминания. Мемуары).
ISBN 985-13-1148-0.

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872—1947), занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения.

В данной книге автор рисует политическую карту Российского государства к середине 1918 года, рассказывает о внутренней жизни Добровольческой армии, а также о военных действиях с ее участием, описывает события, связанные с образованием «Особого совещания».

Для широкого круга читателей.

УДК 947
ББК 63.3(2)

ISBN 985-13-1148-0

ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ. СТИМУЛЫ БОРЬБЫ С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ: НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

История откроет нам со временем истоки большевизма — того огромного и страшного явления, которое раздавило Россию и потрясло мир; установит отдаленные и близкие причины катастрофы, заложенные в историческом прошлом страны, в духе ее народа, в социальных и экономических условиях его жизни. В цепи событий, поражающих современников своей полной неожиданностью, жестокой извращенностью и хаотической непоследовательностью, история найдет тесную связь, суровую закономерность и, может быть, трагическую неизбежность...

Но и перспектива времени не гарантирует еще абсолютной правды. Вселенская правда нам недоступна. Есть только многогранные отражения ее. И те, кто делают историю, и те, кто пишут ее, не могут сбросить с себя окончательно уз, налагаемых традициями и идеями эпохи, нации, общества, класса. Смутное время найдет и своего Карамзина с его национально-историческим подходом, и своего Жореса, который во введении к капитальному труду «История великой французской революции», порвав обязательные покровы объективности, говорит: «Мы намереваемся изложить события с *социалистической точки зрения* для народа, для рабочих и крестьян».

Тем труднее положение современников, участников событий. Их мысленный взор застилает еще кровавая пелена; их душевное равновесие нарушено; в их сознании события более близкие, более волнующие невольно заслоняют своими преувеличенными, быть может, контура-

ми факты и явления, отдаленные от фокуса их зрения. Их чувства глубже, страсти сильнее, восприятия элементарнее; они жили настоящим, воплощенным в плоть и кровь, — даже те, кто, став духовно выше среды и своего времени, проникали уже обостренным зрением за плотную завесу грядущего... Свидетельство современников, однако, весьма ценно — не только установлением конкретных фактов, но даже субъективной формой их восприятия, дающей иногда ключ к разгадке многих сокровенных побуждений и действий людей, партий, общественных групп. Свидетельства эти — те кирпичи, из которых история возводит свое величественное здание.

С такой точки зрения я и смотрю на задачу моих «Очерков».

В этой книге я пишу главным образом о борьбе Добровольческой армии с советской властью в 1918 году, захватывая однородный и цельный период — с весны до осени, когда поражение центральных держав принесло совершенно новую политическую конъюнктуру, существенно отразившись и на условиях нашей борьбы. С этим событием почти совпала смерть генерала Алексеева, завершившая нашу совместную деятельность, и окончание Второго Кубанского похода Добровольческой армии...

Менее подробно я буду останавливаться на прочих фронтах и формах противобольшевистского движения, не связанных внутренне с судьбою армии. Точно так же, говоря о большевизме, я главным образом касаюсь реальных его последствий и «достижений». Они, наряду со стихийными следствиями мировой войны и революции, вконец разрушили благосостояние страны и принизили дух ее народа. Они же дали стимулы той постоянной и непрекращающейся борьбе, которая продолжается и ныне, после падения всех белых фронтов, проявляясь в чрезвычайно разнообразных формах — активно и пассивно, явно и тайно, сознательно и рефлективно. И будет длиться до тех пор, пока не исчезнет возбуждающее ее начало — советская власть, ненавистная народу.

Поэтому в общем, пока еще тихом, но грозном ропоте народного моря тонут бесследно голоса представителей

новых течений общественной мысли, осуждающих те или иные формы преодоления большевизма или приемлющих его, как власть, «эволюционно изживающую себя и подверженную внутреннему органическому перерождению».

Противобольшевистские движения не создавались отдельными людьми — они вырастали стихийно и непредотвратимо. И подобно тому, как некогда слово русских оппортунистов было бессильно остановить разрушительный поток народного безумия, так в будущем оно не в силах будет ввести в спокойное русло и в формы государственно целесообразные проявления народного гнева.

• • •

Стимулы для борьбы с советской властью были крайне разнообразны, находя отклик почти во всех слоях русского народа и затрагивая самые чувствительные стороны народной психики.

Основной порочный недуг советской власти заключался в том, что *эта власть не была национальной.*

Никогда еще в русской истории после татарского ига представители страны, какими в дни величайшего ее падения явились последовательно господа Иоффе, Бронштейн и Бриллиант[1], не подвергались большему унижению, чем на Брест-Литовской конференции.

Никогда еще, вероятно, к жизненным интересам государства «полномочные послы» его не относились с таким грубым невежеством или презрением, как те лица, которые говорили теперь от имени русского народа.

Трижды прерывалась и трижды возобновлялась мирная конференция. Встретив в третий раз все те же непомерные требования со стороны враждебных держав, Бронштейн (конец января) отказался подписать мирный договор и уехал в Петроград, заявив вместе с тем, что Советское правительство демобилизует армию и «выводит народ из войны»...

Но 6 февраля германские армии перешли в наступление по всему Восточному фронту, не встречая почти никакого сопротивления[2], и Совет народных комиссаров в

[1] «Сокольников».

[2] Дрался только чехословацкий корпус.

тот же день сообщил радиотелеграммой о принятии всех условий центральных держав. Наступление австро-германцев тем не менее продолжалось, достигнув к марту линии Псков—Киев—Одесса.

В конечном итоге последствия Брест-Литовского мирного договора (19 февраля) и дополнительных к нему соглашений свелись к следующему.

В *политическом отношении* — отторжение от России Финляндии, Украины, Крыма, Прибалтийского края, Литвы, Польши, Грузии, Батума, Карса и Ардагана. Одни из этих окраин получили независимость, в других допускался плебисцит, исход которого предрешался фактом военной оккупации их германцами и турками.

Мирный договор этот довершил распад России, наметившийся в результате ослабления и вырождения центральной власти и максимализма в национальных устремлениях. Помимо отторжения огромной территории, страна отрезалась от Балтийского и Черного морей; лишалась жизненно необходимых условий своего экономического развития, становясь данником новообразований, за призрачной самостоятельностью которых виднелась сила германского меча и капитала; теряла, наконец, более или менее обороноспособные рубежи, культурные и промышленные центры и важнейшие железнодорожные узлы, что лишало признаков государственной целесообразности всю нервную систему страны — ее сеть железнодорожных путей.

Россия отбрасывалась политически назад, к началу XVII века, теряя одним ударом все, что было приобретено за три столетия на Западе и Юге гениальными усилиями ее собирателей, кровью ее воинства, трудами ее народа.

В *экономическом отношении* на Русское государство легли и прямые тяготы, непосильные для его разрушенного экономического положения. Восстановлен был с Германией торговый договор 1904 года[1], причем остались прежние тарифы, которые ввиду обесценения рубля (тогда уже $^1/_{10}$) привели фактически к беспошлинному ввозу

[1] С изменениями в пользу Германии.

германских товаров в Россию. Обусловлена была уплата убытков, понесенных в процессе революции или в силу советского законодательства лицами немецкого происхождения; за ними сохранены социальные и экономические права. Эти условия имели тем большее значение, что немецкий капитал являлся крупнейшим участником нашей промышленности и что цифра вкладов его только в акционерных предприятиях превышала 500 миллионов золотых рублей. В скрытом виде наложена была на Россию и контрибуция в 6 миллиардов марок золотом «за все финансовые обязательства, предусмотренные договором»...[1] Наконец, огромные плодородные русские области с брошенными в них бесчисленными военными материалами оставлялись в руках австро-германцев. Как заявил цинично на конгрессе Чернин, «пока не заключен всеобщий мир, австро-германцы не могут отдать оккупированных областей; они являются областями снабжения нашей армии, с их фабриками, заводами, возделываемыми полями и т. д.»... А в союзном совещании приводил и мотивы такого требования: «Германия и Венгрия не дают больше ничего. Без подвоза извне в Австрии через несколько недель начнется повальный мор».

В *военном отношении* Россия обязывалась демобилизовать армию, разоружить флот и допускала впредь до выполнения всех условий договора занятие немцами Западного края до линии Нарва—Рогачев.

Таким образом, в силу официальных договоров и тайных сношений с правительством народных комиссаров, Россия поступала в полную экономическую зависимость от Германии, превращалась в новую базу центральных держав для борьбы с союзниками, из которой можно было черпать военные материалы, обильные запасы всякого снабжения и даже людские контингенты — не только в виде сотен тысяч пленных австро-германцев, подлежавших возвращению из России, но и в качестве дружин ра-

[1] В счет этой суммы советское правительство успело уплатить Германии 325 миллионов золотых рублей, которые впоследствии по Версальскому договору перешли к Франции.

бочих, вербуемых во всех областях германской оккупации и становившихся затем в положение рабов.

• • •

Какое же оправдание имела Брест-Литовская трагедия?

Фразы советских правителей о «разгорающемся уже пожаре мировой революции», о переговорах «через головы немецких генералов с немецким пролетариатом» были только фразами, предназначенными для толпы. Внутреннее положение Европы не давало никаких решительно оснований для подобного оптимизма народных комиссаров. В период Брест-Литовских переговоров состоялась, правда, сначала в Австрии, потом в Берлине всеобщая забастовка; о мотивах последней лидер независимых социал-демократов Гаазе говорил в рейхстаге: «Забастовка велась не для мелких экономических завоеваний, но служила политическим протестом с высоко идейной целью. Немецкие рабочие возмущались тем, что им приходится ковать цепи для угнетения русских братьев, бросивших оружие». Но это была лишь кратковременная вспышка, по существу использовавшая только подходящий предлог для сведения счетов социал-демократии со своим правительством. Рейхстаг огромным большинством одобрил мирные условия, при воздержавшихся социалистах и против голосов «независимых».

Еще меньше оснований имело заявление Ленина, что договор этот — «только передышка, только клочок бумажки, который можно порвать когда угодно»... Немцы имели тогда реальную силу и обеспечили себе достаточные гарантии и выгодное стратегическое положение, чтобы настоять на выполнении договора.

Быть может, однако, в распоряжении советской власти не было уже никаких ресурсов и «похабный мир» являлся неотвратимым? Даже советская Ставка не могла согласиться с такой безнадежной точкой зрения. Начальник штаба главковерха генерал Бонч-Бруевич на военном совете 22 января настаивал на необходимости продолжения борьбы, указывая и новые способы ее: немедленный увоз всей материальной части в глубь страны, отказ от сплошных фронтов, переход к маневренным действиям на

важнейших направлениях к жизненным центрам страны и широкая партизанская война. Силы для этой борьбы он видел в новой «рабоче-крестьянской» армии, в национальных формированиях и в уцелевших частях старой армии.

Можно быть различного мнения о боевой ценности всех этих элементов, но не подлежит сомнению, что огромные русские просторы, объятые восстанием, поглотили бы такие колоссальные силы и средства ослабленных уже вконец германцев, что вторжение их в глубь России приблизило бы катастрофу на Западном фронте...

Но для этого большевикам пришлось бы временно отказаться от демагогических лозунгов и повременить с гражданской войной.

Наконец, в то самое время, когда Совет народных комиссаров в бурных и панических заседаниях обсуждал жестокий ультиматум центральных держав, в стане врагов настроение было еще более подавленным. Германское правительство, опасаясь разрыва, употребляло все усилия, чтобы сдержать неумеренные требования главной квартиры. Граф Чернин угрожал, что Австрия заключит сепаратный мир с Россией, если чрезмерная требовательность ее союзников расстроит переговоры. Берлин, Крейцнах (Ставка) и Вена переживали дни томительного ожидания и страха, не считая возможным вести длительную войну на Восточном фронте, хотя бы и против разваливавшейся армии. И когда после перерыва переговоров в Брест-Литовск к 7 января приехал Троцкий, «было любопытно видеть, — говорит Чернин, — какая радость охватила германцев. И эта неожиданная, столь бурно проявившаяся радость доказала, как тяжела была для них мысль, что русские могут не приехать».

• • •

Итак, Германии нужен был мир во что бы то ни стало. Никакие промежуточные формы его (перемирие, «ни мира, ни войны») не могли спасти положение. Совету народных комиссаров также нужен был мир — какой угодно ценой, хотя бы ценой расчленения, унижения и разрушения России.

Лишь бы сохранить власть.

Этот мотив довольно откровенно прозвучал и в воззвании Совета в ночь на 6 февраля «ко всему трудящемуся населению России» — воззвании, оправдывавшем согласие Совета на предъявленные ему центральными державами требования мира: «Мы хотим мира, мы готовы принять тяжкий мир, но мы должны быть готовы к отпору, если германская контрреволюция попытается окончательно затянуть петлю на нашем Совете».

Только тогда отпор!

«Поставленная народом под знаком мира» советская власть должна была дать мир, хотя бы призрачный, иначе ей угрожала гибель. Гибель «в порядке народного гнева» или в силу германского наступления и оккупации столиц.

Мотив самосохранения советской власти, поставленный в основание брест-литовского действа, не вызывал никогда сколько-нибудь серьезных сомнений среди русской общественности. Несколько иначе обстоял вопрос по поводу другого обвинения народных комиссаров, вызывающего и поныне двоякое к себе отношение. Одни считают Брест-Литовск просто комедией, разыгранной для соблюдения приличий, так как *платные агенты* германского генерального штаба, в числе которых называют Ленина и Троцкого, не могли не исполнить требований своих нанимателей. Другие отказываются признать это преступление, быть может, не столько по доверию к названным лицам, сколько из-за сознания чудовищности самого факта, смертельного стыда и глубокой боли за поруганное национальное достоинство России...

Немецкий генеральный штаб, который мог бы открыть глаза миру, молчит. В этих кругах есть своя профессиональная этика, не допускающая оглашения имен секретных сотрудников... Лично у меня в могилевской Ставке был в руках материал, создававший серьезные обвинения против Ленина и безусловно уличавший Раковского в шпионской деятельности в пользу центральных держав. В печати, русской и заграничной, кроме следственного производства о восстании большевиков 3—5 июля 1917 года.

появлялись многократно данные, более или менее серьезные и правдоподобные. В ноябре 1918 года в американской прессе были опубликованы официально документы[1], собранные Э. Сиссоном, командированным в Россию американским правительством. Ему «при содействии различных политических партий и лиц, служащих у большевиков», удалось достать около 70 документов, характеризующих как влияние немцев при посредстве большевиков на внутренние события в России, так и использование ими советской власти с первых же дней ее существования в интересах Германии. Я не буду останавливаться на этих материалах, рисующих подчиненное сотрудничество большевиков с германским генеральным штабом. Приведу лишь один основной документ, относящийся к самому началу революции:

Имперский Банк

2 марта 1917 г. Берлин.

Представителям всех германских банков в Швеции.

Вы сим извещаетесь, что требования на денежные средства для целей пропаганды мира в России будут получаться через Финляндию. Требования эти будут исходить от следующих лиц: Ленина, Зиновьева, Каменева, Коллонтай, Сиверса и Меркалина, текущие счета которых открыты в соответствии с нашим приказом № 2764 в отделениях частных германских банков в Швеции, Норвегии и Швейцарии. Все эти требования должны быть снабжены подписью «Диршау» или «Волькенберг». С любой из этих подписей требования вышеупомянутых лиц должны быть исполняемы без промедления.

№ 7432. Имперский Банк.

Несколько мягче, но все же довольно определенно высказывалась по этому вопросу немецкая демократия. Социал-демократ Бернштейн 11 января 1918 года писал по по-

[1] Они появились частично на Юге России значительно ранее, еще весной 1918 года.

воду брестских переговоров: «В военных кругах Германии успех переговоров с русскими совершенно открыто объясняют тем, что все, кто нужно, подмазаны. Что же касается нас, немецких социалистов, то, будучи на основании опыта многолетнего общения с Лениным и Троцким убеждены в их личной честности, мы стоим перед неразрешимой загадкой. Некоторые ищут разрешения загадки в том, что, быть может, первоначально большевики по чисто деловым соображениям воспользовались немецкими деньгами в интересах своей агитации и в настоящее время являются пленниками этого необдуманного шага»...

Я не знаю, что правильнее — уверенность Сиссона или прозрение немецких социалистов. Но вся совокупность трагических обстоятельств взаимоотношений немцев с большевиками создала во мне лично интуитивное глубокое убеждение в *предательстве советских комиссаров*. Такое убеждение, присущее широким кругам русской общественности, проникало в народ и обостряло ненависть к советской власти.

Каковы бы ни были внутренние побуждения народных комиссаров, перед Россией встал во всей своей гнетущей тяжести грозный реальный факт — Брест-Литовск.

Завершение в столь чудовищных формах длительного процесса разрушения армии, страны и ее международного значения как будто разбудило наконец сознание верхних слоев русского народа. Чрезвычайно единодушно вся русская общественность, весь пестрый конгломерат политических партий, вся печать, кроме официальных советских органов, отнеслись с глубоким негодованием к этому явному предательству интересов России. Даже на искусственно подобранном 4-м съезде Советов, решавшем судьбу Германии, России и русской революции, из 700 голосов нашлось все же 300, протестовавших против заключения мира; они принадлежали не только профессиональным партийным деятелям левоэсерского толка, но и рядовым крестьянам и рабочим. Рабочие промышленности и транспорта впоследствии, поняв всю экономическую тяжесть договора, воспрепятствовали широкому исполнению его, не допустив вывоза в Германию поездов с «национализированными» советской властью запасами мануфактуры, меди и проч. Московский комитет партии большевиков на экстренном заседании 7 февраля постановил «настаивать на пересмотре Советом народных комиссаров принятого решения», считая его «вредным делом для мировой революции» и призывая «вести беспощадную борьбу за демократический мир». Даже партия русских анархистов считала, что «Брестский мир навязан трудовому народу коммунистической властью... вопреки ясно выраженному желанию трудовых масс не подписывать мира с германским империализмом и продолжать революционное сопротивление»...

Как бы ни были разнообразны внешние обоснования этого широкого протеста, в основе его более или менее явно, более или менее ярко выступало национальное чувство. Конечно — только в верхних слоях. Потому что народ в широком смысле этого слова — или «трудовые массы» по другой терминологии — в этот период революции относился к чисто духовной стороне вопроса с величайшим равнодушием. Реальные же последствия событий сказывались не сразу.

Национальное чувство укрепило идеологию противобольшевистского движения, дало ему новый стимул, значительно расширило базу борющихся сил и объединило большинство их в основной, по крайней мере, цели.

Оно намечало также пути внешней ориентации, вернув прочность почти истлевшим на пожаре революции нитям, связывавшим нас с Согласием, и прибавив к чисто моральным уже обоснованиям его («недопустимость измены союзникам») и элемент целесообразности[1].

Наконец, подъем национального чувства дал сильный толчок к укреплению или созданию целого ряда внутренних фронтов — на севере, востоке и юге, — к оживлению деятельности московских противобольшевистских организаций и вообще к началу той тяжкой борьбы, которая в течение нескольких лет сжимала петлю на шее советской власти.

---

[1] Надежды на создание Северного и Восточного фронтов и поворот на Волгу чехословаков.

ГЛАВА II
СТИМУЛЫ БОРЬБЫ С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

К середине 1918 года обострение отношений к советской власти в широких слоях населения достигло уже большого напряжения, основываясь не только на возмущенном национальном чувстве, но и на причинах социального, экономического и психологического характера.

Отходил от власти дезорганизованный ею пролетариат. Бессмысленная демобилизация всех фабрик и заводов, работавших на оборону[1], в месячный срок, национализация промышленности, разрушение торговли и транспорта, расстройство обмена с деревней и другие причины общего характера одним из важных последствий своих имели ставший хроническим кризис городов. Население их, не исключая покровительствуемого властью пролетариата, попало в тягчайшее материальное положение, испытывая гнет безработицы, постоянного недоедания, иногда голода, болезней и мора.

Как следствие всех этих явлений, началось расстройство рядов пролетариата и качественное его ослабление. Более беспокойные, властные и вместе с тем аморальные его элементы уходили в ряды советской бюрократии, в ее опричнину, в состав карательных экспедиций, нередко на вольный разбойный промысел. Уходили добровольно — иногда от не остывшего еще революционного экстаза — в Красную гвардию, потом по повинности — в Красную армию. Там они теряли связь со своим классом или гибли. Более хозяйственные и предприимчивые люди, в том числе множество квалифицированных рабочих, переходили с фабрик и заводов на кустарный промысел или бежали в

[1] Декрет был объявлен в конце декабря, задолго до заключения мира, что несомненно сказалось на тяжести его условий. Приписывался обществом *подчиненным* отношениям комиссаров к немецкому генеральному штабу.

деревню, оседая на земле. Оставались лишь более рыхлые или консервативные в отношении веками установившегося уклада жизни, поступившие в конечном результате в разряд государственных пенсионеров: «пролетарская власть», взявшая в свои руки предприятия, вынуждена была содержать рабочих за счет казны, независимо от ценности труда и выгодности предприятий. Но так как разоренное государство вынести такой тяготы фактически не могло, то жизнь этой категории рабочих с каждым днем становилась тяжелее и безотраднее. Если вторая группа была для правительства безусловно потеряна, то и в этой третьей, им благотворимой, иллюзии первых месяцев революции в значительной мере поблекли, и создавалась оппозиция к власти, хотя и неорганизованная. Первоначально она не выходила из рамок местных экономических интересов. Но мало-помалу под напором жизни эти рамки раздвигались.

Уже в конце марта 1918 года собрание фабрично-заводских уполномоченных Петрограда говорило:

«Позорный мир, голод, неумело ведущаяся эвакуация, полная дезорганизация фабрично-заводской жизни — все это обрушилось на рабочих... Профессиональные союзы утратили самостоятельность и независимость и уже не организуют борьбу в защиту прав рабочих. На улицах и в домах днем и ночью происходят убийства... Убивают не врагов народа, а мирных граждан — рабочих, крестьян, студентов... Мы протестуем и требуем открытого суда над всеми, совершающими зверства и убийства».

С весны 1918 года оппозиция рабочего класса к советской власти стала проявляться в формах активных, иногда угрожающих. Таковы, например, крупные волнения и забастовки в Петрограде и Сормове, вооруженные восстания на Ижорском и Сестрорецком заводах, и в особенности Воткинское и Ижевское восстания. Последнее потребовало от советской власти больших усилий и жертв, длилось три месяца и было кроваво подавлено в начале ноября, причем в первый же день овладения Ижевским заводом большевики казнили около 800 восставших рабочих.

При всех этих выступлениях на митингах, в резолюциях, воззваниях слышалось резкое осуждение советской вла-

сти, требование Учредительного собрания и политических свобод.

* * *

Отошло от власти и крестьянство.

Советская власть была вначале весьма слабой, и крестьянское море, вынесшее ее на своем гребне, казалось еще слишком взбаламученным и опасным. Поэтому декрет о национализации земли не внес серьезных потрясений в уклад деревенской жизни, предоставленной первоначально своему самостоятельному течению в русле замкнутых классовых интересов.

Но уже к лету 1918 года советская власть, несколько окрепнув сама, увидела вместе с тем серьезную опасность в двух явлениях крестьянской жизни: в чрезвычайном росте собственнического инстинкта, грозившем оторвать навсегда крестьянские массы от коммунистических идеалов, и в прекращении обмена деревни с городом, грозившем голодом пролетариату и Красной гвардии — единственной, хотя и не вполне надежной опоре власти.

С первой опасностью, олицетворяемой средним крестьянином и «кулаком», советская власть начала бороться разгромом всех бытовых (волость) и революционных (советы и комитеты крестьянских депутатов) установлений деревни и насаждением, подчас вооруженной силой, комитетов бедноты. В состав этих комитетов обыкновенно входили элементы пришлые, давно уже потерявшие связь с деревней, или безземельные, бездомные, не хозяйственные, иногда с уголовным прошлым, составлявшие подчас больную и грязную накипь деревенской жизни. Деятельность их проявлялась в формах насилия и произвола, направляясь по преимуществу к «уравнению», т. е. к ограблению зажиточных и крепких крестьян, дележу их имущества, земледельческих орудий, рабочего скота и запасов.

Против второй опасности советская власть официально, в порядке управления, выдвинула средство еще более примитивное — вооруженные отряды различного наименования: «продовольственные», «карательные», «заградительные», которые шли походом на деревню за «излишками» или отбирали на станциях железных дорог, на перепутьях и заставах крестьянское добро и запасы мешочников.

Власть не делала попытки государственного регулирования этой своеобразной «социализации», которая обратилась в грабеж и дележ. При малейшем сопротивлении отряды забирали все в порядке контрибуции. Не только подневольная, но и официальная советская печать в 1918 году рисовала «потрясающие картины» походов на деревню, реквизиций и кровавых усмирений...

Отрицательные результаты советской аграрной политики были настолько разительны, что в правых кругах возник даже своеобразный взгляд на лечение социальной болезни путем «прививки большевизма». Так, В. Шульгин писал в апреле 1918 года: «Самое важное, чтобы революция дошла до самого конца; нужнее всего действительное осуществление социализации земли в деревнях для того, чтобы вся толща крестьянского населения получила стихийное отвращение к лозунгу «Земля и воля», погубившему государство. Процессу этому отнюдь не следует мешать, каких бы жертв это ни стоило»[1].

Правительственная система и практика местной власти в отношении к деревне вызвали упорнейшее сопротивление векового уклада жизни и привели только к укреплению в крестьянстве начал собственности и классового самосознания. Сопротивление проявилось в сжатии крестьянского хозяйства до потребительных норм, что угрожало неисчислимыми бедствиями государственному хозяйству, и в прямых действиях: в 1918 году волна крестьянских возмущений пронеслась по всей советской России, сопровождаемая разорением советских и коммунистических хозяйств, сожжением железнодорожных станций и складов, насилиями над комиссарами и членами комитетов бедноты, которых убивали, подвергали мучениям, иногда живыми закапывали в землю. Восстания возникали неорганизованно, стихийно, нося местный характер; бывало, впрочем, как например в Рязанской губер-

[1] Донесение организации «Азбуки, Веди». 28. V. 18.

нии, что выведенные из терпения притеснениями советской власти крестьяне поднимались несколькими уездами, ведя настоящие длительные сражения многотысячными отрядами с пулеметами и орудиями.

Так как восстания эти первым своим результатом имели обыкновенно прекращение всякого подвоза продовольствия в города, то они встречались враждебно городским пролетариатом; между ним и крестьянством ложилась пропасть.

В результате, соединенными усилиями советской власти, пролетариата и его вооруженной силы — Красной гвардии — крестьянские восстания подавлялись жестоко и беспощадно.

Цели своей — упразднения многомиллионного слоя крестьянства — большевики, однако, не достигли. По советской статистике к 1919 году число средних, вышесредних и крупных крестьянских хозяйств упало лишь до 49%, т. е. на 10% по сравнению с 1917 годом.

Позднее, в марте 1919 года, подводя итоги советской аграрной политики и круто меняя ее направление, Ленин говорил, что стремление раздавить среднее крестьянство так, как это сделано с буржуазией, «будет идиотизмом, тупоумием и гибелью дела»... И тут же приводил классическое по своей моральной обнаженности обоснование мысли: «Здесь нет той верхушки, которую можно срезать, оставив весь фундамент, все здание, — той верхушки, которою в городе были капиталисты»...

В дальнейшем советская власть искала уже «путей завоевания доверия крестьянства»...

Ищет совершенно безнадежно и поныне.

• • •

Буржуазия просто истреблялась.

Ленин поставил задачу теоретически: «Обеспечить диктатуру (рабочего класса), свергнуть буржуазию и отнять у нее те экономические источники ее власти, которые являются помехой в деле всякого экономического строительства».

«Чрезвычайная комиссия» решила задачу практически. «Мы не ведем войну, — писал Лацис, — против отдельных

лиц. Мы истребляем буржуазию как класс... Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который Вы должны ему предъявить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определять судьбу обвиняемого»...

Истребление буржуазного класса шло самыми разнообразными путями: отнятием собственности, выселением из жилищ, голодным пайком, трудовой повинностью, лишением свободы; наконец казнями, казнями без конца, без счета.

Скорбь и ужас разлились по земле, одев в траур каждую русскую семью, не пощадив ни таланта, ни силы, ни молодости, внеся в естественное течение общественной жизни как систему, как норму институт заложников, родовую месть, надругательство над душой и телом человека, страдания и потоки крови.

Большевистская идеология в разряд буржуазии, кроме интеллигентского пролетариата, служилого элемента и мещанства, причисляла еще многочисленные слои других классов: более здоровую и крепкую часть рабочего класса, крупное и среднее крестьянство и, по мотивам вовсе уже не социальным, социалистическую демократию, которая — одни раньше, другие позже (левые социалисты-революционеры) — стала в ряды противников большевистской власти.

Но советская практика делала серьезные различия между этими категориями «контрреволюционеров». Буржуазия истреблялась как класс и как среда, недоступная влиянию коммунистических идей, независимо от степени ее сопротивления; рабочие подвергались притеснениям и преследованиям только индивидуально, преимущественно представители партий социалистов-революционеров и социал-демократического меньшинства; террор в отношении крестьянства был направлен не против личности, а для «подавления его сопротивления власти и собственнических инстинктов»; наконец, по отношению к социалистической демократии в 1918 году советское прави-

тельство, по выражению Ленина, проявило «много терпения и даже добродушие», в надежде, что она «сделает выбор» между большевиками и буржуазной диктатурой. Правда, терпение это было относительным: периодически, особенно же в день разгона Учредительного собрания, потом в Ленинские дни[1] большевистские тюрьмы наполнялись социалистами. Хотя положение их было привилегированным, но тюремный режим большевиков стал несравненно тяжелее, чем «царский», и не исключалось применение «высшей меры наказания» — если не в силу политики центра, то самовластия «мест».

Человеческое страдание — всегда страдание. Убийство — всегда убийство, льется ли при этом «белая» или «красная» кровь.

Но когда я читаю такие строки: «Историк революции с недоумением и ужасом остановится на тех страницах деятельности коммунистического правительства России, которые говорят о гонениях на анархическую идею и (ее) деятелей. Он не сразу поверит. А поверив, убедившись в их потрясающей правде, назовет их самыми черными страницами в истории коммунистической государственности»...[2] ...Когда социал-демократ Дан пишет[3]: «Весть о моем переводе на Урал (на службу по медицинскому ведомству) быстро разнеслась по городу... Многие, даже из знакомых большевиков не хотели верить, что возможна такая *дикая расправа*... У одной большевички даже стояли слезы на глазах»... Когда тут же через десяток страниц, без гнева, без осуждения, без «гражданской скорби» он проходит мимо картины «искоренения бывшего колчаковского офицерства»: «Окна подвала Губчека выходили на улицу, и летом, когда окна были открыты, можно было заглянуть в глубь этого ужасного помещения, где в невероятной тесноте и грязи сидели заключенные с бледными, измученными голодом лицами, покрытые всевозможными паразитами. Один из знакомых коммунистов рассказывал мне, что рас-

[1] Покушение на Ленина в августе 1918 года.

[2] «Гонения на анархизм в советской России». Офиц. изд. партии.

[3] «Два года скитаний».

стрелы производятся тут же, на дворе, под окнами заключенных»...

...Мне хочется сказать людям в шорах: «Говорите о ваших терзаниях. Чтите ваших мертвых. Но когда проходите случайно мимо бездонной могилы русской буржуазии — по существу, русской интеллигенции — снимите шапку над ней. Ибо там, вместе с окровавленными трупами, погребены невознаградимые культурные ценности страны, ее интеллектуальные силы, ее надежды!»

Оставшаяся в живых буржуазия была побеждена. Часть уходила в районы белых армий; другая, преимущественно крупная буржуазия — банковская и торгово-промышленная знать, к которой большевики относились почему-то с наибольшей терпимостью — шла в эмиграцию; третья, воплотившая в себе идею «буржуазного интернационализма», с большой легкостью принимала подданство и меняла его в любом новообразовании, отколовшемся от русской державы; четвертая шла на службу к советской власти, составив многочисленные кадры «спецов» и чиновничества — только терпимых «слуг нового режима»; пятая, едва ли не наибольшая численно, обратилась в люмпен-пролетариат, духовно задавленный, бесправный и нищий. Появилась еще одна категория людей, о которых высказал компетентное мнение Ленин: «К нам присоединились... карьеристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и надувают нас; которые полезли к нам, потому что коммунисты у власти, потому что более честные «служилые элементы» не пошли к нам работать вследствие своих отсталых идей, а у карьеристов нет никаких идей, никакой честности»[1].

Подобное расслоение произошло и в рядах офицерского корпуса старой армии, на который большевизм обрушился с особенной силой. Это расслоение может быть выражено символически четырьмя известными эпизодами, относящимися к зиме 1918—1919 годов.

Генерал Духонин убит большевиками...

[1] Доклад на VIII съезде компартии.

Генерал Скалон — военный эксперт большевистской делегации в Брест-Литовске — не вынеся позора, застрелился...

Генерал Брусилов, «признавая здоровую жизненную основу советской власти», отдал ей свои последние силы.

Полковник Дроздовский сформировал добровольческий отряд и повел его за тысячу верст на Дон для борьбы с большевиками...

* * *

Но помимо мотивов классового или личного самосохранения, общие явления распада государственной и народной жизни достаточно ярко и наглядно свидетельствовали о гибельности советского режима, даже в элементарном отражении темной массы.

Народное хозяйство катилось стремительно по наклонной плоскости, ударяя больно по всем сторонам повседневной жизни, ослабляя людей физически и вызывая небывалую смертность.

Террор, широко развитая система шпионажа, лишение всех гражданских свобод, отсутствие норм закона и безграничный произвол власти придавили дух народа, создав невыносимо затхлую атмосферу, в которой, казалось, жить долго невозможно.

Гонения на религию, осквернение святынь возмущали народную совесть, и в храмах, переполненных верующими, возносились горячие моления «об избавлении от вражеска плена и раннея смерти».

Казалось, во всех слоях населения и во всех областях жизни были глубокие обоснования и стимулы к борьбе с ненациональной, негосударственной и ненародной властью.

К середине 1918 года, когда я с Добровольческой армией начинал Второй Кубанский поход, эта мысль психологически владела всеми. Ее заносили к нам вырвавшиеся из советской России или жившие на юге мудрые политики, громкие общественные деятели, генералы и офицеры, случайные беженцы. Она проходила красной нитью через все сводки, доклады, донесения с мест, через все разговоры, которые вели многочисленные посетители, бывавшие летом 1918 года у генерала Алексеева и у меня.

Так, например, Милюков писал 3 мая генералу Алексееву: «Несомненно психология в России, хотя и не так быстро, как было бы желательно, но все же меняется — и не только на юге, но, как осведомляют меня мои московские друзья, также и на севере. Большевики изжили себя. За отсутствием внешней силы, которая бы их ликвидировала, они начали ликвидироваться изнутри»...

Не менее категорично определялось положение советской России в докладе Левого центра[1]: «В частном разговоре Ленин высказался: «Мы, конечно, провалились; но великая заслуга наша в том, что в Париже коммуна просуществовала несколько дней, а у нас в России несколько месяцев». Большевики второго сорта уже теперь понемногу исчезают, а главные деятели получили гарантии от немцев, что драгоценная жизнь их будет сохранена».

Более экспансивно относились к событиям штабные сотрудники. Одно из донесений, весьма характерное для общего тона осведомления и для тогдашних настроений Юга, гласило:

«Подводя итоги общему внутреннему политическому состоянию страны, все население Совдепии можно разделить на два лагеря: *большевиков и небольшевиков*. Грани политических убеждений в различных партиях кровожадным и нелепым управлением Совнаркома совершенно сгладились. Нескончаемые обиды и кровавый террор советской власти в связи с голодом настолько сгустили атмосферу, что вся Совдепия представляет из себя котел с громадным внутренним давлением, и достаточно одного сильного удара в стенку, как произойдет неслыханный и невиданный в летописях истории взрыв, который даже без внешнего воздействия сметет с лица земли советскую власть и, если вовремя им не овладеть, то может погрести остатки всякой культуры»...

Прогнозы оказались неверными — мы убедились в этом скоро, ведя тяжелые, кровопролитные бои на северном Кавказе. Неверными не столько в изображении подлинных на-

[1] «Союз Возрождения России». Доклад привез к нам в июне Титов.

родных настроений, сколько в оценке их активности, а главное, в *ошибочном сложении сил.* Между тремя основными народными слоями — буржуазией, пролетариатом и крестьянством — легли непримиримые противоречия в идеологии, в социальных и экономических взаимоотношениях, существовавшие всегда в потенции, углубленные революцией и обостренные разъединявшей политикой советской власти. Они лишили нас вернейшего залога успеха — *единства народного фронта.*

Между тем в противобольшевистском стане все усилия Москвы, Киева, Ростова, Самары, всех политических и общественных организаций — правых и левых — по крайней мере в 1918 году были направлены *не на преодоление этих противоречий, а на поиски «вернейшей» ориентации и «наилучших» форм государственного строя.*

Ни того ни другого мы не нашли.

ГЛАВА III

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА К СЕРЕДИНЕ 1918 ГОДА: СЕВЕРНАЯ ОБЛАСТЬ, ФИНЛЯНДИЯ, ПРИБАЛТИЙСКИЙ КРАЙ, ЛИТВА, ПОЛЬША, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ

Политическая карта Российского государства к осени 1918 года и до падения центральных держав представляется в следующем виде.

На крайнем севере *Мурманский район* оккупировали союзники, преимущественно англичане. Иностранных войск было там ничтожное количество. Только к осени союзники довели их до 9—10 батальонов[1] и 3 батарей[2]. Русские формирования ввиду безлюдности края не превышали нескольких рот. До 2 августа в районе сохранялась

[1] Из них 5—6 английских, 1 французский, 1 итальянский, 1 сербский.

[2] Французские.

советская организация, и только порваны были официальные отношения местного совета с Москвою. Английскому командованию была безразлична тогда политическая физиономия не только местной власти, но и формируемой им вооруженной силы, в состав которой вошли, в числе прочих, отряды финской Красной гвардии, бежавшие из Финляндии после занятия ее немецкими войсками. Безразличны были также и русские интересы: англичане приступили к формированию особого «карельского батальона», исходя из самоопределения Карелии в отдельную «нацию» и «государство»...

Позднее, 2 августа, союзный десант высадился в Архангельске, который весьма поспешно был брошен большевиками. Английский генерал Пуль вступил в командование всеми войсками Северной области (большая часть Архангельской губернии), в состав которых в Архангельском районе кроме англичан (45 батальонов) вошли американцы (45 батальонов), французы (1 батальон), поляки, итальянцы... Эти части начали усиливаться новыми смешанными формированиями, вроде «русско-французской роты», «славяно-британского легиона» и т. д.

Приступлено было также к организации русской вооруженной силы, основанием которой послужили офицерские команды, сформированный в Архангельске из мобилизованных полк с двумя дивизионами артиллерии и, главным образом, крестьянские партизанские отряды, насчитывавшие в общем до 3 тысяч и разбросанные на громадных расстояниях у Пинеги, Шенкурска, на Северной Двине, Онеге, Печоре, Мезени... Все эти силы были подчинены русскому «командующему войсками»[1], власть которого была, однако, лишь номинальной, ограничиваясь административными и организационными функциями. Англичане, вплоть до ухода союзных войск, держали в своих руках командование, боевое управление и снабжение русских войск. У русского «командующего» не

[1] Последовательно эту должность занимали: капитан 1-го ранга Чаплин, полковник генерального штаба Дуров (1918 год), генерал Марушевский и генерал Миллер (главнокомандующий).

было даже и органов — оперативных и снабжения. Назначенный в конце 1918 года командующим войсками генерал Марушевский приступил к использованию партизанских отрядов, обращая их путем вливания офицеров и строевых рот из Архангельска в регулярные части.

К концу 1918 года общая численность союзных войск не превышала 10—15 тысяч смешанных частей весьма посредственного состава, а русских 7—8 тысяч человек, мало еще организованных.

23 июня 1918 года союзные посольства, переезжая спешно из Вологды в Архангельск, издали и широко распространили воззвание, в котором цели занятия Мурманска и дальнейших затем операций союзников в Северной области в направлении к Петрозаводску и к Вологде объяснялись следующим образом: 1) необходимость охраны края и его богатств от захватнических намерений германцев и финнов, в руки которых могла перейти Мурманская железная дорога, ведущая к единственному незамерзающему порту России; 2) защита России от дальнейших оккупационных намерений германцев; 3) искоренение власти насильников и предоставление русскому народу путем установления правового порядка возможности в нормальных условиях решить свои общественно-политические задачи.

Поскольку первые две цели, вытекая из реальных и непосредственных интересов союзников, трактовались ими серьезно, настолько третья с первых же дней занятия Северной области обратилась исключительно в благовидный предлог морального свойства и в средство агитации.

Местное английское командование определяло цели борьбы по-разному. Генерал Пуль тотчас по своем прибытии в Архангельск объявил, что «союзники явились для защиты своих интересов, нарушенных появлением в Финляндии германцев», и торопил поэтому русское командование с организацией собственной армии. Сменивший его осенью генерал Айронсайд говорил о «наступлении на Вятку—Котлас для соединения с Колчаком и

передачи ему привезенного для его армии имущества»[1]. В то же время английским добровольческим частям, отправляемым из Англии на русский север, лондонские власти внушали, что они назначаются «лишь для оккупации, а не для боя».

Наступление, весьма впрочем вялое, союзники, занимавшие огромный фронт от финляндской границы до Пинеги, повели по двум направлениям: на Петрозаводск и на Вологду. В течение 1918 года они достигли, примерно, линии Пинега—Шенкурск—Плесецкая (станция Северной железной дороги)—Тургасово—Парандово (станция Мурманской железной дороги).

На этих направлениях были сосредоточены небольшие советские силы, сведенные к осени 1918 года в две армии и насчитывавшие в общей сложности до 18 тысяч бойцов при 70 орудиях[2].

Войска эти в 1918 году не представляли сколько-нибудь серьезной силы. Армии имели задание активно оборонять подступы к Москве и Петрограду.

С начала августа, после высадки англичан в Архангельске и начавшегося наступления на Вологду, Совет комиссаров пришел в чрезвычайное беспокойство. Большевистские сводки до крайности преувеличивали силы союзников[3] и серьезность их намерений. Переписка, обмен телеграммами, панические донесения с фронта свидетельствуют о полной растерянности большевистской власти и командования. Над Москвой, казалось, нависла огромная угроза, и возбужден был даже вопрос о необходимости эвакуации ее... Под угрозой с востока и юга советское командование начало лихорадочно перебрасывать подкрепления из Петроградского района, даже с Мурман-

---

[1] Генерал Добровольский. «Борьба за возрождение России в Северной области».

[2] На Мурманском — 6-я армия, до 10 тысяч, и на Архангельском — 7-я, до 8 тысяч, образовавшие «Северный фронт» под командой генерала Парского.

[3] Большевики считали против себя на Северном фронте 58 тысяч штыков.

ского направления на Архангельское. 5 августа Чичерин обратился к германскому послу Гельфериху с просьбой возложить на германские войска оборону подступов к Петрограду (игнорируя даже Петрозаводск) на позициях по реке Свири, так как все советские силы оттягиваются в Вологду. Между прочим, в то время советская власть захватила в качестве заложников «англо-французскую буржуазию», объявив, что заложники будут расстреляны, если Вологда падет.

Германская главная квартира отнеслась, однако, к этим опасениям без особенного доверия, считая, в частности, полуразрушенную Мурманскую дорогу, которой угрожали с запада германо-финские отряды, достаточно обеспеченной.

Действительно, в силу суровости климата, пустынности театра и, главным образом, направления русской политики Лондона, находившейся под сильным давлением социалистов и рабочей партии, военные действия в Северной области не получили развития, а с уходом союзников фронт этот стал обреченным.

Государственное управление области представляет интерес в том отношении, что, в противовес прочим фронтам, на Севере оно осуществлялось демократией, без давления «белых генералов»: прибывший впоследствии, в начале 1919 года в Архангельск по приглашению Чайковского генерал Миллер стал лишь министром в составе кабинета — военным, путей сообщения, почт и телеграфа.

В начале августа с прибытием в Архангельск англичан советская власть была свергнута и верховное управление перешло к «временному правительству» во главе с Н. Чайковским — из членов Учредительного собрания северных областей, преимущественно левого толка. С не изжитой еще психологией «углубления революции», с традициями «керенщины» и соглашательства, правительство это скоро стало одиозным в глазах буржуазии, офицерства и английского командования. С ведома генерала Пуля, в сентябре правительство было свергнуто офицерством и заточено в Соловецкий монастырь, затем по требованию союзных дипломатов освобождено, причем Н. Чайковскому поручено было сформировать новое правительство из более умеренных элементов; в него вошли преимущественно народные социалисты.

Мурманский край управлялся «краевым советом» почти того же состава, что и при большевиках, подчиненным Архангельску, но, ввиду трудности сообщения, действовавшим почти самостоятельно.

Чайковский в январе 1919 года выехал в Париж, где и остался, став членом «Парижского политического совещания» и продолжая числиться председателем правительства; вскоре я получил от него письмо, весьма характерное для программы и иллюзий умеренной социалистической демократии.

«После 8 месяцев работы я могу с удовлетворением сказать, что мы достигли положительных результатов...

При организации власти мы исходили из двух положений: 1) что во время войны вся организация правительства должна быть приноровлена к обслуживанию Главного командования и 2) что она должна сохранять за собой самостоятельность в глазах населения, являясь для него защитником прав и свободы и посредником между ним и военным командованием.

Получилась следующая конструкция: Главнокомандующему (английский генерал Айронсайд) принадлежит вся полнота власти в стране, но фактически... в политическое управление он не вмешивается, разве лишь в исключительных случаях... в интересах немедленных оперативных действий... Благодаря этому, авторитет правительства поддерживается и укрепляется, и тем самым доверие, возбуждаемое (к нему) среди населения, распространяется и на командование».

В дальнейшем при развертывании правительства в российском масштабе при такой конструкции его «нет места распространению среди населения подозрений в реакционности власти военного командования и его стремлении к диктатуре»...

Словом, весь вопрос сводился к созданию демократической власти, что достигнуто вполне на Севере и без чего всякая борьба обречена на неуспех.

Указывая, что задача в Северной области «упрощена до игрушечного масштаба», Чайковский все же горячо и задушевно советовал мне применить на Юге эту систему[1].

Жизнь, к сожалению, жестоко разбивала его мечты. Северная область явила пример полного раскола в среде демократии и интеллигенции, неизжитый психоз большевизма в массах и отсутствие в них всякого доверия к своему демократическому правительству. Не привлекши на свою сторону буржуазные круги, это правительство, вместе с тем, встретило противодействие в широком фронте революционной демократии, в членах Учредительного собрания, в партийных организациях социал-демократов, социалистов-революционеров, в земско-городском объединении, рабочих, кооперативах и т. д. Все они вели с правительством длительную борьбу, имевшую главной целью достижение власти. Наряду с этим с начала 1919 года вспыхивали одно за другим кровавые восстания в войсках.

Очевидно, формы государственной власти были далеко не основными причинами неуспеха противобольшевистской борьбы...

• • •

26 ноября *финляндское правительство* опубликовало декларацию о независимости страны. «В России нет теперь правительства, — говорилось в декларации. — Так как представители (России) перестали исполнять свои функции в Финляндии, законной русской власти (в стране) не осталось. Войска, расположенные в стране, служат источником ужаса и побуждают революционные элементы к бунту. Анархия в России обязывает финский народ освободиться навсегда от всякой зависимости от России».

---

[1] Любопытно, что в Сибирь своим друзьям из состава революционной демократии Н. Чайковский давал несколько иную ориентировку: «С союзниками происходит много конфликтов... Плохо быть русским министром без армии и силы».

Хотя Совет народных комиссаров в конце декабря признал независимость Финляндии, но тем не менее он продолжал вмешиваться активно в гражданскую войну в крае, поддерживая восстание финских коммунистов, снабжая обильно финскую Красную гвардию и подкрепляя ее русскими отрядами.

В январе 1918 года власть в стране перешла в руки социал-демократов и возглавлялась финским Советом комиссаров, который утвердился в Гельсингфорсе; правительство с «белыми» войсками, предводительствуемыми генералом Маннергеймом, вынуждено было уйти на север, где образовался новый центр власти и борьбы — в Вазе. Гражданская война шла с большим ожесточением и переменными успехами, пока белое финляндское правительство не обратилось за помощью к Германии.

В середине марта германцы высадили в Финляндии дивизию генерала фон дер Гольца, который вместе с Маннергеймом к середине апреля очистил край от красногвардейцев, заняв затем своими войсками все важнейшие стратегические пункты Финляндии.

Ненависть финнов к русским большевикам перешла ко всему, что носило русское имя. Гонению подверглось все русское население, не испытавшее ничего подобного в дни финляндского коммунизма. Если финляндская пресса того времени отражала действительно народные настроения, то они дышали страстной, болезненной нетерпимостью ко всему, что напоминало о России, даже к «проклятым луковицам» — так называли финляндцы купола православных храмов...

Был ли это только угар революционного похмелья или безудержное проявление заложенного прочно национального шовинизма?..

Немецкое влияние в стране окрепло до того, что 6 октября, накануне падения Германии, финляндский сейм высказался за монархию и за предложение престола Финляндии Гессенскому принцу.

Цель оккупации края немецкая главная квартира, помимо подчинения его политическому и экономическому влиянию Германии, видела в возможности «двинуться на Пет-

роград, когда это будет желательно, чтобы свергнуть большевистскую власть»; в угрозе Мурманской железной дороге и в воспрепятствовании англичанам, продвигавшимся по ней, «утвердиться в Петрограде»[1]. Германия через Финляндию явно протягивала руку к русскому незамерзающему порту на Ледовитом океане, а в то же время Совет комиссаров, обеспокоенный движением англичан, сам просил германское правительство высадить немецко-финский десант на Мурманское побережье[2]... Просил интервенции «империалистических» войск Германии и финляндской «белой гвардии»...

Финляндское правительство, возглавляемое и социал-демократом Свинхувудом, и монархистом Маннергеймом, одинаково устремляло свои притязания на Печенгу, Восточную Карелию, Аландские острова, позднее на Эстонию, угрожая России окончательным превращением Финского залива в Финляндский.

Мировое положение запутывалось в такой степени, а интересы русского государства отметались с такой легкостью, что все три взаимно враждебные группировки держав наперерыв друг перед другом спешили с признанием независимости Финляндии.

22 декабря состоялось признание со стороны Советов. В тот же день признала Финляндию Франция; через два дня — Германия; 23 апреля — Англия, выразив при этом надежду, что Финляндия не станет возражать против решения мирной конференции относительно ее границ.

Этот разрыв государственной связи Финляндии с ее метрополией, хотя и предопределенный историческим ходом событий, но *не обеспеченный стратегическими гарантиями,* поставил перед будущей Россией ряд вопросов капитальнейшей важности: беззащитность побережья и Петрограда[3]; потеря свободного выхода в Балтийское море через Финский залив и базы русского военного

[1] У Людендорфа.

[2] У Гельфериха.

[3] Кронштадтская крепость находится в 15—20 верстах от финского побережья.

флота; угроза наиболее жизненным русским водным артериям[1] и единственному свободному выходу в Ледовитый океан.

* * *

Прибалтийский край был последовательно оккупирован немецкой армией; в нем введено было общее управление для Эстонии, Лифляндии и Курляндии, объединенных в 1918 году в Балтийский округ. Управление военнополевое, начиная от военного губернатора и кончая военным комендантом.

«Самоопределение» народностей Прибалтийского края (эсты, латыши, немцы и русские) и их будущее в значительной мере предопределялись общей политикой Германии, которая при наличии серьезных и подчас весьма острых разногласий между правительством, главным командованием, с одной стороны, и парламентскими партиями — с другой, сохраняла твердо свои основные линии.

Имперский канцлер Бетман-Гольвег говорил в рейхстаге: «Германия никогда не вернет освобожденных ею и ее союзниками народов между Балтийским морем и Волынью господству реакционной России, будут ли это поляки, литовцы, балты или латыши»...

Генерал Людендорф «предусматривал соединение эстонцев и латышей — народов германской культуры — в одно государство под прусской гегемонией»...

«Курляндский народный совет» 23 февраля представил императору Вильгельму петицию о принятии им «короны Курляндии», об объединении всей Прибалтики в одно государство и о присоединении его навсегда к Германии.

Сообразно с такими взглядами, германское командование проводило в крае яркую политику германизации во всех областях — быта, школы, экономических отношений и т. д. В остальном отношение немецких властей к русским людям всех политических толков, кроме уличенных в германофобстве, было терпимое.

[1] Тихвинской и Мариинской системе — со стороны Ладожского озера, западный берег которого с портами Кексгольмом и Сердоболем принадлежит Финляндии.

Об общественных настроениях того времени судить трудно, ибо общественная жизнь в Прибалтике под давлением военного положения и германской военной администрации совершенно замерла.

Нет сомнения, однако, что в Прибалтийском крае германофильские симпатии были совершенно чужды коренному населению. Они проявлялись неумеренно и пылко лишь немецким элементом городов и, главным образом, прибалтийским дворянством, пользовавшимся в России в течение веков привилегированным положением и благосклонностью династии. В органах немецкой печати и в воззваниях предводителей дворянства всех трех губерний прозвучали неожиданные мотивы: признание, что «с горячей симпатией и пламенным восторгом в продолжение четырех лет» оно «следило за успехами германского оружия и болело душой, что не имело возможности на деле доказать свой германизм»...[1] Радость, что «столь долго желанное отделение от России стало, наконец, действительностью...[2] Призыв «пожертвовать самым дорогим — послать своих сыновей в германскую армию, чтобы они сражались вместе со своими *освободителями*»[3].

Напротив, эсты и латыши относились к «освободителям» с глухой враждебностью, не только в силу исторического атавизма, но и по социальным побуждениям: не было сомнения, что Германия поддержит класс крупных помещиков и промышленников — по преимуществу немцев. Они тяготились иностранной опекой, но страх перед большевиками и ненависть к ним были еще сильнее, создавая благодарную почву для враждебных России влияний и национального шовинизма и побуждая их явно к признанию немецкого протектората, а тайно — к борьбе за полную независимость.

Как бы то ни было, Прибалтийский край с его портами, связанными с внутренними областями страны рядом могучих железнодорожных магистралей и привлекавшими

[1] Ф. Деллингсгаузен (Эстляндское дворянство).

[2] Ф. Эттинген (Лифляндское дворянство).

[3] Барон ф. Раден (Курляндское дворянство).

более трети всего нашего внешнего товарообмена, был от России отторгнут; естественные обороноспособные рубежи потеряны, флот обречен на упразднение и выход в Балтийское море закрыт.

• • •

Положение *Литвы*, оккупированной немцами еще с 1915 года, было совершенно таким же, как и Прибалтийского края, в смысле характера оккупации и общественных настроений. Новый привходящий элемент составляло разве то обстоятельство, что, кроме естественного страха перед русской анархией, у литовских шовинистов зрели уже планы, подогреваемые германским командованием, относительно объединения Литвы в «этнографических пределах», в которые они включали и большую часть белорусских губерний... Другой отличительной чертой был состав верхнего слоя буржуазии в Литве — по преимуществу поляков. Это обстоятельство облегчало значительно привлечение литовского народа в орбиту германской политики. Племенная рознь, с одной стороны, и польские притязания, с другой, обнаружились уже с самого начала оживившей национальные чаяния русской революции. Еще в мае 1917 года польский центральный национальный комитет обратился к литовской «Тарибе» (совету) с приветствием и пожеланием возобновить унию, в которой «народы Литвы — литовцы, поляки и белорусы — получили бы гарантию национального, культурного и экономического развития». Литовский совет отказался высказаться в данный момент по возбужденному вопросу и заявил, что был бы «счастлив видеть эту гарантию и теперь — в прекращении деморализации и полонизации литовского народа в церкви и школе»...

Под влиянием общей военно-политической обстановки Литва не избегла предначертанной ей участи: «Тариба» в начале февраля 1918 года определила будущий строй «независимого» государства и обратилась к Германии с просьбой о протекторате, а 29 апреля император Вильгельм рескриптом своим признал «независимое и свободное Литовское государство, союзное по собственной воле с Германией».

На литовский престол был приглашен немецкий принц.

* * *

В судьбе западных областей России в период германской гегемонии на Востоке есть черты, совершенно сходные. Представительства народов, населяющих эти области, собранные случайно и в обстановке, не располагавшей ни к духовному равновесию, ни к углубленному прозрению, не были следствием исторически слагавшихся взаимоотношений государств и племен. Мысли, чувства и решения вождей явились производной весьма реальных, но временных, преходящих причин: 1) наличия на территории *их единственной* дееспособной силы, давившей на их волю, но обеспечивавшей временно их существование; 2) страха перед русской анархией.

Не осталась, конечно, без влияния и память о русской политике, слишком мало считавшейся с культурно-национальными стремлениями народностей, населявших империю.

* * *

Едва ли не с наибольшей терпимостью и даже признанием отнеслась Россия к отделению русской Польши. Судьба ее в первой половине 1918 года, благодаря резким противоречиям во взглядах берлинского и венского правительств, оставалась неопределенной, границы не установлены, и вся территория оккупирована немцами. Хотя независимость свою Польша получила не только из рук Временного правительства, но и двух императоров (германского и австрийского), отношение ее к центральным державам оставалось чрезвычайно сдержанным. И в русском общественном мнении слагалось все более прочное убеждение, что в новом государственном образовании оно найдет дружественное отношение и отклик в своем национальном несчастье.

Отказ польских корпусов, созданных Россией, оказать ей помощь против большевиков и подчинение затем этих войск Регентским советом главнокомандующему германским восточным фронтом вызвали у нас некоторое смущение.

Другой эпизод, относящийся к тому же периоду, служил еще более плохим предзнаменованием для будущего... Когда по договору центральных держав с Украиной к последней отошла Холмская Русь[1], это обстоятельство вызвало в Польше «взрыв негодования». Регентский совет обратился к народу с манифестом на тему о «новом разделе», а польское общество и вся пресса разразились шовинистическими выпадами не только против договаривавшихся сторон, но и против... России.

Замечательно, что державы согласия тотчас же после заключения германо-украинского договора особым актом вступились за «попранные» права Польши, и лорд Бальфур обратился к члену польского национального комитета в Лондоне с торжественным заявлением о непризнании им отторжения Холмщины.

До лета 1919 года командование Добровольческой армии[2] с польским правительством никакой связи не имело. В конце мая 1918 года в штаб армии приехал из Киева полковник Зелинский в качестве представителя негласной организации, образовавшейся из состава польских корпусов[3], разгромленных и распущенных немцами. Впоследствии полномочия его были подтверждены «главным комитетом польских войск на Востоке», подчиненным Парижскому «Верховному национальному комитету».

В результате переговоров о создании при Добровольческой армии польских частей, появилась подписанная генералом Алексеевым и мною 30 мая декларация, которая, после определения целей армии, заключала следующие положения:

«III. Добровольческая армия широко раскрывает двери для польской регулярной армии, обеспечивая ей... независимую организацию на началах союзных войск, но с пол-

---

[1] Холмская губерния находилась в 1915 году в военном управлении Австро-Венгрии, а в 1916 году была присоединена центральными державами к царству польскому.

[2] Потом — Вооруженных сил Юга России.

[3] Были ранее в составе русской армии.

ным подчинением командованию Добровольческой армии в оперативном отношении.

IV. ...Польские войска во время пребывания в Добровольческой армии должны принимать беспрекословное участие в выполнении необходимых операций против большевиков...

VI. С союзниками должно быть заключено соглашение относительно доставки для польских войск вооружения, патронов, артиллерии и всего боевого снаряжения.

Со своей стороны Добровольческая армия будет братски делиться теми запасами вооружения и материальной части, которые она будет захватывать в своих боевых столкновениях с большевиками и внешним врагом».

До конца 1918 года средствами Добровольческой армии удалось сформировать польскую бригаду из трех родов оружия, часть которой под начальством подполковника Малаховского приняла кратковременное, но видное участие в боях на Ставропольском направлении. Когда же в декабре в водах Черного моря появились союзники, я отправил польскую бригаду со всею ее материальной частью на русском пароходе в Одессу, откуда она двинулась на родину.

* * *

От Нарвы по линии Псков—Орша—Рогачев—Клинцы стояли передовые германские части, занимая железнодорожные узлы и прикрывая оккупированный район — *большую часть Псковской губернии и всю Белоруссию*. Эта обширная территория не входила в захватные планы немцев и занималась ими исключительно с целью эксплуатации ее средств. Конечный срок оккупации определялся установлением границ Эстляндии и Лифляндии и уплатой советским правительством определенной мирным договором контрибуции.

В соответствии, однако, с платежными средствами Москвы, легальный титул оккупации был обеспечен по крайней мере до конца войны.

Очистив край от большевистских банд и восстановив в нем внешний порядок и безопасность, немцы подчинили его всецело военному управлению, наводнив его своей ад-

министрацией, персонал которой стоял зачастую на очень низком нравственном уровне. Но ни это обстоятельство, ни хищническая эксплуатация и без того разоренного края не вызывали сколько-нибудь серьезного противодействия. В крае, в особенности в восточной части его, слишком еще свежи были воспоминания о нескольких месяцах большевистского режима и слишком остро чувствовался страх перед вторичным нашествием «красных».

В крае существовали «комитеты объединенных общественных организаций» и белорусские национальные учреждения; хотя тенденции их были явно германофильскими, никакой роли в местной жизни им сыграть не удалось за отсутствием серьезной поддержки у немцев и авторитета среди населения.

Еще в декабре 1917 года в Минске состоялся «Всебелорусский краевой съезд», состоявший преимущественно из солдатчины Западного фронта. Съезд был разогнан большевиками в первый же день, успев избрать из своей среды «Раду Белорусской народной республики». Рада бежала за линию фронта и вернулась в Минск в феврале вместе с немцами, пополнив затем свой состав буржуазным элементом.

Белорусский национализм в ряду других принял особенно оригинальные формы — конечно, только в интеллигентских кругах, не имевших никаких корней в народе и обративших национализм в средство политики, а иногда и... личного существования. Наряду с Минской появилось много других самостоятельных «рад», в том числе в Витебске, Могилеве, Гомеле, Гродно, Ковно, Смоленске, даже в Москве и Петрограде. Все они спорили о своей «всенародности» и первенстве; одни поддерживали идею единства России, другие требовали независимости; одни «ориентировались» на большевиков, другие — на немцев, поляков или литовцев; издавали воззвания, остававшиеся без отклика, и выносили резолюции, не находившие исполнителей.

Минская рада, обладавшая некоторыми средствами, посылала, кроме того, делегации в политические центры, в том числе в Берлин, Киев и на Юг. «Чрезвычайный посланник» г. Тремпович прибыл в августе на Дон «для завязыва-

ния дружественных сношений с государствами, входящими в состав Юго-восточного союза (?)», и представил генералу Алексееву «меморандум». В нем высоким слогом определялись исторические права «Белорусской народной республики», указывалось на «трудности внутреннего положения молодого государства», обусловленные разорением его, отсутствием средств и реальной силы и «антиправительственной агитацией»... Тремпович просил «моральной, а при возможности и иной помощи и поддержки»[1].

В противоположность политике немецкой главной квартиры в Прибалтийском крае, где национальные части были распущены[2], в этой оккупационной зоне немцы допускали русские противобольшевистские формирования для защиты края после их ухода. В Риге, Ревеле и других пунктах открылись вербовочные бюро в «Северную армию», какое название приняла к осени псковская организация. Образовался и штаб армии, возглавляемый генералом Вандамом (Едрихиным), в состав которого вошли и немецкие офицеры. Немцы обещали выдать на формирование армии 150 миллионов марок, вооружение и снаряжение на корпус...

Но шаги немцев в этом направлении были неискренни. Недоверие и опасение побуждали их оттягивать формирования и создавать им практические затруднения. Денег было отпущено в действительности не более 3 миллионов, оружия и орудий ограниченное количество, притом в большинстве брак. С другой стороны, политиканство русской общественности и инертность населения лишали эти начинания русских средств и опоры; отсутствие популярных и авторитетных военных вождей — уверенности и духовного подъема. Поэтому попытки формирования вооруженной силы в Белоруссии генералом Кондратовичем и другими, а в Псковской губернии «Северной армии», не привели к сколько-нибудь серьезным результатам.

---

[1] Доклад от 30 августа № 92.

[2] Начали формироваться вновь перед уходом немцев.

ГЛАВА IV
БЕССАРАБИЯ

Бессарабия была порабощена румынами[1].

Если в русской политике центральных держав преобладало право силы, политическая беспринципность и полное отсутствие исторического предвидения, то Румыния углубила все эти элементы до... пошлости, набросившей густой покров на трон, правителей и генералов, вызвав на долгие-долгие годы чувство острой вражды в русском народе.

Земледельческий край, по преимуществу богатый и плодородный, имевший в составе своего населения весьма незначительный контингент пролетариата, — Бессарабия в течение первых месяцев революции не была вовлечена в анархию. Только к концу 1917 года, после падения румынского фронта, когда волна солдатских масс прокатилась по губернии, оставляя за собой следы разрушения, начались повсюду аграрные беспорядки. Они подогревались намеренно румынским правительством, заинтересованным в создании обстановки, оправдывающей оккупацию... Проводниками его политики были тайные агенты, наводнившие край[2], «группа сознательных молдаван», пользовавшаяся широкой материальной помощью из Ясс, и «Сфатул-Церий» — молдавский «краевой совет», фактически зависимый от румынской власти, наконец, даже делегаты Временного правительства, по роковому недоразумению... «имевшие в то же время особую тайную миссию от румынских представителей в Петрограде»...

Организация краевой власти создавалась в порядке, совершенно исключительном. В конце октября местный революционный комитет, именовавший себя «военно-мол-

---

[1] События в Бессарабии описаны главным образом по материалам «Одесского комитета спасения Бессарабии».

[2] Например Катареу — русский дезертир, член румынской охранки, назначенный Сфатул-Церием (см. далее) начальником Кишиневского гарнизона.

давским исполнительным комитетом Совета солдатских, офицерских и матросских депутатов», созвал в Кишиневе «Первый Всероссийский Молдавский военный конгресс» из депутатов — в совершенно произвольном числе и пропорции — от войсковых и тыловых частей русской армии и местных дезертиров. Этот «конгресс», совершенно неинтеллигентный по составу и большевистский по настроению, избрал «парламент» — Сфатул-Церий, в котором 44 места предоставил своим членам, 30 — крестьянам-молдаванам, 10 — представителям молдавских партий и 36 — «национальным меньшинствам», в том числе и... русскому[1]. Позднее было прибавлено еще 42 места образовавшимся явочным порядком молдавским организациям.

С ноября началась борьба за власть между Сфатул-Церием и сохранившими еще свое бытие прежними органами Временного правительства, земскими и городскими. Деятельность Сфатул-Церия, направляемая немногочисленной «группой сознательных молдаван», во всех своих проявлениях, даже в радикальных, большевистского характера мероприятиях, имела основной своей целью подготовку румынской оккупации. Этот факт был настолько очевидным, что вызвал резкое негодование против Сфатул-Церия у бессарабского населения. Выражалось оно, однако, как и везде в России по отношению к случайным захватчикам власти, в формах далеко не активных: демократические городские думы и земские собрания составляли резолюции протеста; политические партии «воздерживались» от участия в Сфатул-Церии; отдельные представители их, вошедшие в состав «парламента» от «национальных меньшинств», говорили там горячие, патриотические, но безрезультатные речи; города игнорировали новую власть; деревня признавала ее лишь в части, относящейся к санкционированию захватов и разгрома помещичьих усадеб.

Здесь, в Бессарабии, приобщенной всецело к русской культуре, шовинистическо-национальное движение имело еще менее почвы, чем на Украине. И хотя Сфатул-Церий и говорил устами поставленного им молдавского премьера Чегуряна, что «империалистическое правительство сделало все, чтобы задушить национальное самосознание»... что «в течение прошедших 106 лет рабства нам было запрещено все. Нам было запрещено обнимать своих зарубежных братьев и слушать призыв нашей общей матери — Румынии»... Но народ и общественность были глухи к этим жалобам. Даже в недрах Сфатул-Церия они звучали фальшиво, вызывая чувство неловкости, и предназначались главным образом для экспорта за Прут и оплаты проявленных чувств и усердия.

---

[1] По статистическим данным, молдаване составляют 47,68% населения губернии.

Составленный с вопиющим нарушением каких-либо норм, даже «революционного права», малокультурный по своему составу и не отражавший ни в малейшей степени воли бессарабского населения, Сфатул-Церий держался, однако, 13 месяцев пассивностью бессарабской общественности, апатией народа, румынским золотом, потом румынским оружием.

В начале 1918 года Сфатул-Церий, сам поддерживавший в крае беспорядки своими демагогическими выступлениями, обратился уже официально к румынскому правительству с просьбой о присылке войск для их подавления. И 13 января корпуса генерала Броштиану вступили в Кишинев, без труда отбросив затем за Днестр малочисленные молдавские отряды, оказавшие сопротивление.

Цель появления румынских войск в Бессарабии в приказе начальника генерального штаба генерала Презана объяснялась *исключительно поддержанием в крае порядка*.

Достойно удивления то единодушие, с которым отнеслись к факту оккупации края и к интересам России ее представители, враги и союзники.

Штаб Людендорфа, в числе оснований будущего мирного договора, еще в конце декабря 1917 года предлагал румынскому правительству занятие Бессарабии, а позднее для ее оккупации предоставил Румынии право сохранить в боевом составе несколько дивизий.

Французский посланник граф Сент-Олер, от имени представителей всех союзных держав, оправдывал румын-

скую интервенцию и особым воззванием успокаивал население Бессарабии, что приход румынских войск не может иметь никакого влияния на ее судьбу.

Бывший главнокомандующий Румынским фронтом генерал Щербачев давал моральное оправдание интервенции, продолжая дружественное сотрудничество с генералом Презаном по подготовке мобилизации румынских дивизий. Считая, по-видимому, что события в Бессарабии являются лишь следствием политики Маргеломана[1], он принял участие в тайной подготовке политического переворота совместно с представителями союзников, оставшимися в Яссах, и с румынским королем. Предполагалось, что после образования Восточного фронта Румыния сменит свое германофильское правительство Маргеломана, порвет договор с центральными державами и ударит в тыл украинской группе генерала Кирхбаха. В дальнейшем генералу Щербачеву рисовались перспективы русско-румынского альянса и движение вновь соединенных армий[2] против общего врага. Кишиневский плацдарм был, очевидно, очень удобным для этой цели, а дислокация вражеских сил как нельзя более благоприятствовала успеху: в Валахии было всего лишь 3 немецких и 3 австрийских дивизии, а в Бессарабии и Молдавии — только немецкие реквизиционные комиссии.

Генерал Щербачев сообщал нам, что примет командование объединенной армией лишь «при условии, что генерал Алексеев выразит на это свое принципиальное согласие, причем в этом случае (он) будет считать себя подчиненным генералу Алексееву, как Верховному главнокомандующему»...[3]

Тщетные надежды!

Пройдет несколько месяцев, политические карты перетасуются вновь. Согласие победит, место Маргеломана займет Братиано, румынская политика в третий раз переме-

[1] Румынский премьер.

[2] Румынской и русской нового формирования.

[3] Доклад командированного в Яссы полковника Крейтера от 18 сентября и письмо генерала Щербачева от 4 ноября 1918 года.

нит свое лицо, но судьбы Бессарабии останутся неизменными. Тяжкий гнет румынизации будет тем сильнее, чем явственнее станет надвигающаяся из-за Днестра опасность. И теперь уже она нервирует румынских государственных людей и не дает им мечтать спокойно о великодержавности своей страны...

Тревога их не напрасна.

События в Бессарабии шли между тем быстро и планомерно. Прежде всего военные власти расстреляли ряд лиц из состава Сфатул-Церия и вне его — «красных» и «белых», но одинаково отрицательно относившихся к румынам. «Парламент» сбросил с себя немедленно всякий налет радикализма и уже открыто стал послушным орудием румынской власти. Затем состав его был пополнен членами от крестьянского съезда, избранными при подобающей обстановке: «ввода войск в здание заседаний съезда, арестов его членов, а затем и расстрела некоторых из них без суда, в том числе председателя и двух товарищей председателя». После принятия этих решительных мер съезд разбежался, а Сфатул-Церий актом от 24 января объявил о *независимости Молдавской народной республики.*

«Республика» просуществовала два месяца и три дня. За это время практика румынского командования после новых казней, арестов и бегства преследуемых за Днестр увенчалась еще большими достижениями. В Сфатул-Церии, в присутствии г. Маргеломана и румынских властей, в здании, окруженном войсками, был поставлен на открытое поименное голосование вопрос о присоединении Бессарабии к «Родине-матери». Только 3 человека имели мужество голосовать против и 36 воздержались. И актом 27 марта *Бессарабия была присоединена к Румынскому королевству на автономных правах.*

Началось приобщение края к чуждой ему государственности, вопреки подтвержденной королевским манифестом автономии — приемами, соответствовавшими низкой культуре страны-поработительницы и нравам народа, не вышедшего еще духовно из традиций, относящихся ко времени турецкого владычества.

Бессарабская церковь отторгнута от Всероссийской, иерархи изгнаны, в чин богослужения повсюду введен румынский язык.

В учреждениях государственных все служащие заменены румынами и выброшены на улицу. Земско-городские учреждения упразднены.

Русское право и русский суд заменены румынским правом и судом, на который возложено «кроме отправления правосудия еще и пробуждение национального чувства, которое должно воодушевлять впредь новых румынских граждан по левую сторону Прута»[1].

Низшая школа и два класса средней подверглись немедленной и полной румынизации[2], прочие — последовательной.

Но наиболее тягостным был тот моральный гнет, которому подвергали население Бессарабии продажная администрация и темная, грубая как нигде, военная сила, явившаяся всевластным распорядителем жизни и имущества бессарабцев, в особенности в глухих местечках и деревнях. Осадное положение — как право; непомерные реквизиции и беспощадное обложение — как экономическая система; грабеж — как обычай; публичная порка мужчин и женщин — как возмездие за протест. «Записка комитета освобождения Бессарабии» приводит ряд документально подтвержденных эпизодов самодурства старших румынских офицеров — эпизодов, переносящих нас к началу XVI века. Мы узнаем из нее о коменданте местечка Единцы, который сгонял народ и заставлял кланяться своей шапке, повешенной на шест... О генерале Штербеско, начальнике Измаильского гарнизона, требовавшем, «чтобы все должностные лица частных и общественных учреждений (русских) не выходили из дому, чтобы жители, гуляя по улице в числе не более трех, нигде не останавливались, чтобы в гостиницах не находилось в одном помещении более двух лиц одновременно, чтобы богослужения в церквах не начинались до прибытия туда жандармских чинов» и т. д., и т. д.

[1] Рапорт королю министра юстиции Митиленеу.

[2] Любопытно, что анкета, проведенная в конце 1917 года среди родителей учащихся в Кишиневе, дала 91,9% за русский язык.

Деятельность румынской власти и ее передаточной инстанции Сфатул-Церия вызвала возмущение решительно во всех слоях населения, независимо от национальности и «ориентации». Оно проявлялось резкими протестами организованной общественности, городов, земств, волнениями в деревне, бойкотом румынского суда и школы. Более активные проявления народного неудовольствия смолкали, однако, перед аргументацией румынских штыков и пулеметов. Единственной организацией, обращавшейся добровольно с почтительнейшими уверениями в своей лояльности к румынскому правительству, был... «Союз земельных собственников». Эта «интернациональная» организация выражала одинаковую готовность служить немцам на Украине, австрийцам в Новороссии и румынам в Бессарабии; американскому[1] и английскому[2] капиталам — лишь бы сохранить свои земли.

Создавшееся тогда в Бессарабии положение можно охарактеризовать словами видного члена Сфатул-Церия, румынофила Александри: «По всей стране стон стоит от края и до края: беззакония, издевательства, глумление такие, каких не было, быть может, от века. Времена царского абсолютизма кажутся чуть ли не раем».

Подготовляя такими путями почву, румынское правительство в конце ноября спешно созвало на очередную сессию Сфатул-Церий, и в заседании его 27-го числа, в присутствии 46 депутатов (из 162), без прений и голосования, криками одобрения провело постановление «от имени бессарабского населения» *об отказе Бессарабии от своих автономных прав...*

На другой же день после принятия постановления королевским указом Сфатул-Церий был упразднен.

[1] Проект Бискупского о массовой закупке американскими банками земель Украины и Новороссии, затем парцелляция и перепродажа землевладельцам (Одесса).

[2] Аналогичный проект южнорусских земельных собственников (Екатеринодар).

Изданный вслед за тем специально для Бессарабии радикальный аграрный закон, имевший главной целью отобрание земель в общерумынский государственный фонд, устанавливал, между прочим, полное отчуждение земли у «иностранно-подданных», т. е. у тех русских и молдаван, которые отказались бы принести присягу на верность новому отечеству...

По поводу финального заседания бессарабского «парламента» «Записка» приводит один небезынтересный эпизод: генеральный комиссар Бессарабии генерал Войтояну, во время беседы с крестьянской фракцией Сфатул-Церия, *почти в полном составе протестовавшей против акта 27 ноября,* дал поразительно беззастенчивое объяснение своим действиям[1]: «Румынскому правительству было необходимо получить этот акт, *по совету дружественной Франции,* как доказательство расположения к Румынии всего населения»...

Против насильственного захвата румынами Бессарабии из всех государств мира протестовала только... Украинская держава.

ГЛАВА V
УКРАИНА

Украина была порабощена немцами.

Генерал Гофман, начальник штаба Восточного фронта и участник мирной конференции, впоследствии, в 1919 году говорил[2]: «В действительности Украина — это дело моих рук, а вовсе не плод сознательной воли русского народа. Я создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с частью России»...

Эта самоуверенность немецкого генерала, не углублявшегося в сложную сущность украинской проблемы, находилась, однако, внешне в полном соответствии с военно-политическим положением. Германское правительство

[1] Разговор был тогда же запротоколирован.

[2] «Daily Mail».

поспешно признало самостоятельность Украины и полномочность Рады, правительства Голубовича и посольства на конференции никому неведомых г-д Севрюка, Любинского и Левицкого, имевших по существу такой же легальный титул, как Совет комиссаров и его делегаты г.г. Иоффе, Бронштейн и Бриллиант.

Вспомним, что и правительства союзников до «Брест-Литовска» готовы были признать фактически советскую власть, и Нуланс от имени союзников предлагал Троцкому материальную помощь... для борьбы против немцев. По тем же соображениям признали «украинскую республику» Франция[1] 5 декабря 1917 года, и Англия в начале 1918 года. «Представитель Великобритании на Украине» Пиктон Багге заявил, что его правительство «будет поддерживать всеми силами Украинское правительство в стремлениях к творческой работе, к поддержанию порядка *и войне с центральными державами* — врагами демократии и человечества»...

Правительства центральных держав подписали мирный договор с Украиной 26 января — в то время, когда почти вся Украина и стольный город Киев были во власти большевиков. По просьбе бежавшего в Житомир правительства Голубовича немцы двинули корпуса генерала Эйхгорна на Украину и почти без всякого сопротивления (дрались только чехословаки), совместно с австрийскими войсками генерала Бельца в течение двух месяцев заняли весь наш Юго-Запад и Новороссию[2]. «Надо было подавить большевизм на Украине, — пишет Людендорф, — проникнуть глубоко в страну и создать там положение, которое доставляло бы нам военные преимущества и позволило бы черпать оттуда хлеб и сырье».

Границы новообразования были определены в договоре лишь на западе линией Белгорай—Красностав—Межиречье—Сарнаки. Но бурный протест поляков и давление ав-

[1] «Генеральный комиссар французской республики» генерал Табуи.

[2] Киев занят немцами 16 февраля, Харьков — 23 марта, Ростов — 26 апреля, Одесса занята австрийцами 27 февраля.

стрийцев заставили мирную конференцию «разъяснить» и этот пункт, предоставив разграничительной комиссии право «провести границу, принимая во внимание этнографические отношения и пожелания населения... на восток от этой линии». На востоке границы устанавливались впоследствии теоретически бесконечными, подчас весьма курьезными переговорами Шелухина с Раковским и соглашением гетмана с Донским атаманом. Фактически — линией расположения германских аванпостов, не считавшейся ни с этнографическими, ни с историческими признаками, а захватывавшей важнейшие железнодорожные узлы. Эта линия проходила через Клинцы—Стародуб—Рыльск—Белгород—Валуйки—Миллерово.

Мирный договор и дополнительные соглашения накладывали тяжкое экономическое бремя на Украину. До 31 июня Рада обязалась доставить австро-германцам огромные количества хлеба и других продовольственных припасов, сырья, леса и проч.[1] Взамен за эти предметы вывоза, оцениваемые по низким ставкам и низкому валютному курсу, германцы обязались доставить на Украину «предположительно», «по мере возможности» по очень высоким тарифам фабрикаты своей промышленности. В основу всей своей экономической политики Германия поставила: для настоящего — извлечение из Украины возможно большего количества сырья, для чего был затруднен или вовсе запрещен товарообмен ее с соседями, даже с оккупированной немцами Белоруссией; для будущего — захват украинского рынка и торговли, овладение или подрыв украинской промышленности и искусственное создание сильной задолженности Украины.

Осуществление этих целей требовало установления хотя бы элементарного порядка в крае и законопослушности населения. Между тем Рада и правительство Голубовича с этой задачей справиться не могли.

Непопулярность и неподготовленность украинского правительства, его полная зависимость от немцев, дикие и

[1] 60 миллионов пудов хлеба, $2^1/_2$ миллиона пудов живого веса скота, $37^1/_2$ миллионов пудов железной руды, 400 миллионов яиц и т. д.

обидные формы украинизации, отталкивавшие одних и не удовлетворявшие других, — все это восстанавливало против власти большевистское и противобольшевистское население городов, настроение которых сдерживалось присутствием австро-германских гарнизонов. Полубольшевистские лозунги универсалов и провозглашение социализации земли подняли анархию в деревне, до тех пор сравнительно спокойной. Требование разоружения и приемы, употреблявшиеся для выкачивания хлеба из деревни, усиливали волнения. Вмешательство фельдмаршала Эйхгорна, объявившего в приказе, что урожай принадлежит тому — помещику или крестьянину, — кто засеет поля, вызвало только озлобление и в Раде, и в крестьянстве. Все это грозило прервать сообщения в крае и возможность его эксплуатации немцами.

И потому немецкая власть решила устранить Раду.

* * *

5 апреля был заключен договор между фельдмаршалом Эйхгорном и бароном Муммом, с одной стороны, и генералом Скоропадским, с другой, о направлении будущей украинской политики[1].

10 апреля австро-германцы спешно закончили и подписали «хозяйственное соглашение с Украинской народной республикой», чтобы одиум его лег на Раду, а не на гетмана. 13-го фельдмаршал Эйхгорн ввел военное положение, с применением германской полевой юстиции, а 16-го при обстановке почти анекдотической немцы разогнали Раду и поставили гетманом всей Украины генерала Скоропадского.

«Народ безмолвствовал».

Осведомленная в киевских делах организация Шульгина сообщала нам на Юг текст телеграммы императора Вильгельма от 13 апреля фельдмаршалу Эйхгорну: «Передайте генералу Скоропадскому, что я согласен на избрание гетмана, если гетман даст обязательство неуклонно исполнять наши советы»[2].

[1] Донесение украинского посла барона Штейнгеля от 7 (20) июня из Берлина министру иностранных дел Украины см. ниже.

[2] Сообщение от 25 апреля.

Знакомые мотивы. В 1708 году один из предшественников гетмана Иван Мазепа писал стародубскому полковнику Скоропадскому: «С согласия всей старшины мы решили отдаться в протекцию шведского короля в надежде, что он оборонит нас от московского тиранского ига и не только возвратит нам права нашей вольности, но еще умножит и расширит; в этом его величество уверил нас своим неотменным словом и данной на письме ассекурацией». Полковник Скоропадский не послушался тогда «прелестных увещаний» Мазепы, поехал в стан московского боярина Долгорукова и сам получил гетманскую булаву.

Положение изменилось лишь внешне: водворился известный порядок, по крайней мере в городах, безопасность передвижения и даже видимый экономический подъем, в сущности лишь прикрывший спекулятивную горячку. Впрочем, ненадолго — основа этого благополучия имела нездоровые предпосылки.

Зависимость Украины и полная подчиненность ее германской общей и экономической политике при гетмане не только не ослабли, но даже возросли. Национальный шовинизм и украинизация легли в основу программы и гетманского правительства. Сам гетман в официальных выступлениях торжественно провозглашал самостийность Украины на вечные времена и поносил Россию, «под игом которой Украина стонала в течение двух веков»... Кадетское министерство не отставало в шовинистических заявлениях и в прямых действиях: министр внутренних дел Кистяковский вводил закон об украинском подданстве и присяге; министр народного просвещения Василенко приступил к массовому закрытию и насильственной украинизации учебных заведений; министр исповеданий Зеньковский готовил автокефалию украинской церкви... Все вместе в формах нелепых и оскорбительных рвали связь с русской культурой и государственностью.

Только социальные мероприятия гетмана резко разошлись с политикой Рады: руль ее круто повернули вправо. Вскоре вышел гетманский указ о возвращении земли помещикам и о вознаграждении их за все понесенные в процессе революции убытки. Практика реквизиций (для экспорта), кровавых усмирений и взыскания убытков при участии австро-германских отрядов была жестока и безжалостна. Она вызвала по всей Украине и Новороссии стихийные восстания, подчас многотысячными отрядами. Повстанцы истребляли мелкие части австрийцев, немцев, убивали помещиков, чинов державной варты, повитовых старост и других агентов гетманской власти. В повстанческой психологии не было и тени украинского сепаратизма: они видели своих врагов не в «русских», а в помещике и в немце. Вмешательство пришельцев вносило в общую сумму социальных и экономических причин возбуждения крестьянских масс еще и элемент ярко национальный — не украинский, быть может и не российский, но во всяком случае в негативном его отражении противонемецкий; им увлекалась и часть офицерства, поступавшего в отряды повстанцев и вносившего в них некоторую организованность.

«Жовто-блакитный прапор», покрывавший собой политическое и социальное движение, служил национальным символом разве только в глазах украинской, преимущественно социалистической интеллигенции, но отнюдь не народной массы.

Гетманская власть покоилась только на германских штыках, а германские войска, занимавшие города и железнодорожные станции взбаламученного края, рыли окопы, оплетались колючей проволокой, чувствуя себя там, как в осажденной крепости.

* * *

Отношение к гетманскому режиму, хотя и по разным побуждениям, почти у всей русской и украинской общественности было отрицательным.

«Украинский национальный союз», объединивший в июле все украинские партии, поддерживал близкие отношения с вершителем судеб Украины генералом Гренером[1], с его политическим противником — австрийским представителем графом Форгачем — и одновременно находил поддержку в левых парламентских кругах Германии. Союз

[1] Начальник штаба фельдмаршала Эйхгорна.

вел конспиративную работу, стараясь направить волну народных восстаний демагогическими посулами в русло самостийной и социалистической политики прежней Рады.

Видные русские социалисты, примыкавшие к Союзу возрождения России, составляли заговоры против «реакционной и ненациональной» власти и пытались организовать террористические акты, которые, однако, не приводились в исполнение ввиду глубоко мирного направления руководителей союза.

Национальный Центр писал 2 июля В. Шульгину: «Мы с негодованием следим за развитием физического (?) процесса у вас в Киеве и считаем, что это бред, одержимый всякого рода манией»...

Конференция кадетской партии 13—15 мая приняла как бесспорные начала «воссоединение России, областную автономию и национальное равноправие» и воспретила членам партии «участие в правительстве, образованном при германской коалиции». От прямого осуждения своих киевских членов конференция, однако, отказалась: «Исполнительный комитет, не высказывая в настоящее время своего окончательного суждения», поручал одному из членов своих выяснить... создавшееся положение и меры «для согласования положения членов на Украине с... директивами ЦК». Только 27 июня Центральный комитет партии выразил им неодобрение «за принятие участия в организации власти, опирающейся на немецкую поддержку». В частной переписке отношение московских кадетов к киевским высказывалось гораздо резче и лапидарнее. Так В. Степанов писал: «Здесь нет никого, кто бы не считал (как) их поведение, так и не исключившего их из партии (Обл. ком.) возмутительным и марающим партию. Меня ободряет, что гонение на партию в Москве отчасти смывает ту грязь, которою облили нас киевляне, бросившись головой вниз в помойную яму германофильства»...

Киевские националисты, группировавшиеся вокруг В. Шульгина, сурово осуждали гетманскую власть по мотивам национальным и политическим.

На стороне ее оставались, *притом лишь до падения Германии,* только Союз хлеборобов-собственников в лице

крупных землевладельцев, возглавлявших эту бутафорскую организацию, весь сектор крайних правых и «Протофис»[1]. Словом, земельная и финансовая знать — максималисты в области классовых целей и интернационалисты в способах их достижения.

Я приведу характеристику этой среды, исходящую из источника, который нельзя заподозрить в некомпетентности и предвзятости. Князь Г. Трубецкой писал: «Аристократический квартал Липки был... жутким привидением минувшего. Там собрались Петербург и Москва; почти все друг друга знали. На каждом шагу встречались знакомые типичные лица бюрократов, банкиров, помещиков с их семьями. Чувствовалось, в буквальном смысле слова, что на их улице праздник. Отсюда доносились рассказы о какой-то вакханалии в области спекуляции и наживы. Все, кто имел вход в правительственные учреждения, промышляли всевозможными разрешениями на вывоз, на продажу и на перепродажу всякого рода товаров. Помещики торопились возместить себя за то, что претерпели, и взыскивали, когда могли, с крестьян втрое за награбленное. Правые и аристократы заискивали перед немцами. Находились и такие, которые открыто ругали немцев и в то же время забегали к ним с заднего крыльца, чтобы выхлопотать себе то или другое. Все эти русские круги, должен сказать, были гораздо противнее, чем немцы, которые, против ожидания, держали себя отнюдь не вызывающим образом».

Наконец, на стороне гетманской власти стояли еще довольно широкие бездейственные обывательские слои, не углублявшие смысла происходящих событий и жаждавшие покоя, безопасности и примитивного порядка — какой угодно ценой.

Извне гетманскую власть поддерживал московский «Правый центр» и примкнувший к нему персонально Милюков. Последний своим влиянием на кадетов — членов правительства старался, сколько мог, умерить буйный характер их самостийной практики, но в самом факте украинского и донского переворотов видел «явление одного порядка и

[1] Союз промышленности, торговли и финансов.

явление положительное... — начало возрождения российской государственности»... «Государственная самостоятельность областей, освободившихся от большевиков раньше Москвы, — писал он[1], — является неизбежной переходной стадией и неизбежным последствием бессилия Москвы освободиться... собственными силами... Участие в перевороте германцев является печальною неизбежностью, но все же второстепенною чертой»...

В. Шульгин, отражая взгляды националистов, писал на Юг: «Я не смог произвести над собою ломки, т. е. работать над восстановлением России с немцами... Вопреки мнению Милюкова утверждаю, что киевские кадеты всенародно продали единство России, что было совершенно непростительным шагом».

Эти два вопроса (единая государственность и «ориентация») поглощали всецело внимание русских политических кругов и вызвали среди них ожесточенную полемику. Все другие стороны жизни Украины в их глазах отходили на задний план. В частности, весьма характерно, что в том огромном калейдоскопе личных, письменных и печатных ориентировок, которые сосредоточивались в руках командования Добровольческой армии, они отражения почти не находили.

• • •

Как смотрел гетман на свои взаимоотношения с Германией?

За несколько дней до захвата власти он приехал к одному из известных киевских генералов и предложил ему принять участие в образовании нового правительства, «которое должно заменить Центральную раду и явиться *посредником* между германским командованием и украинским народом». Упомянул, что в этом деле заинтересованы немцы... Когда собеседник его ответил отказом, мотивируя «неприемлемостью для него работы с немцами и на них», Скоропадский возразил, что «немцы здесь не при чем, что он будет вести вполне самостоятельную политику, и закончил даже наивным заявлением, что надеется обойти немцев и заставить их работать на пользу Украины».

[1] Письмо из Ростова в Москву от 25 мая.

«Обойти» оказалось невозможным.

В среде оккупантов шли серьезные внутренние трения: германское парламентское большинство и правительство, австрийское посольство в лице графа Форгача требовали самостоятельности Украины; немецкая военная партия, исходя из практических расчетов (обеспеченности снабжения и ликвидации нарождавшегося Восточного фронта) временно склонялась к единству России. В зависимости от того, какая педаль нажимала сильнее на Эйхгорна и Мумма, определялся и политический курс гетманской политики.

28 мая генерал Гренер говорил делегации от свергнутой Рады: «Германия искренно желает самостоятельности Украины и будьте уверены, что она — единственный могущественный защитник этой самостоятельности в Европе. Мы хотели вас поддержать. Но анархию и социалистические беспорядки по соседству с нашей империей терпеть не хотим, не можем и не будем»... И гетман клал руль вправо и насильственно украинизировал страну руками кадетов и «умеренных» украинских националистов...

К этому времени относится разговор гетмана с одним видным русским генералом, которого прочили на должность военного министра. На вопрос его, правда ли, что гетман принял свой пост исключительно с целью воссоединения Малороссии с Россией, генерал Скоропадский ответил отрицательно: «Может быть, в отдаленном будущем это и случится; но сейчас я буду стоять на почве самостийности Украины»[1]... Чрезмерно ревнивое отношение гетмана в то время к «русским влияниям» приводило иногда к курьезам. Так, когда архиепископ Антоний был назначен киевским митрополитом, Скоропадский, предполагая встретить в нем врага гетманской власти и германофильской политики, отказался вначале признать патриаршее назначение и убедительно просил Эйхгорна воспрепятствовать торжественной встрече архипастыря православными киевлянами. Гетман уверял, что митрополит Антоний «большой реакционер» и что «из

[1] Беседа генерала Х. с Шульгиным.

встречи его хотят сделать большую москвофильскую демонстрацию»[1].

В октябре генерал Гренер заявил[2]: «Положение момента выдвигает сейчас перед Украиной задачи укрепления здоровых национальных устоев и привлечения народных кругов к участию в строительстве страны, как и в ее управлении. И здесь, как и в Германии, в состав правительства будут привлечены представители левых и демократических течений»... Практиковавшаяся немцами ранее скрытая поддержка этих кругов теперь становится явной. И гетман привлекает в состав правительства украинских социалистов и нажимает еще сильнее пресс украинизации. «Новый состав совета министров, — говорит премьер Лизогуб представителям печати 17 октября, — в области внешней и внутренней политики будет стремиться к более резкому выявлению национального лица украинской державы, отстаивая всеми силами самостоятельность и суверенность Украины».

А в то же время (9 октября) представителю Добровольческой армии полковнику Неймирку, при «случайной встрече», устроенной самим гетманом в квартире его адъютанта графа Олсуфьева, он говорил: «Я русский человек и русский офицер; и мне очень неприятно, что, несмотря на ряд попыток с моей стороны завязать какие-либо отношения с генералом Алексеевым... кроме ничего не значащих писем... я ничего не получаю... Силой обстановки мне приходится говорить и делать совершенно не то, что чувствую и хочу — это надо понимать. Даю вам слово, что до сего времени я буквально ничем не связан, никаким договором с Берлином[3] и твердо отгородился от Австрии... Я определенно смотрел и смотрю — и это знают мои близкие, настоящие русские люди, — что будущее Украины в России. Но Украина должна войти как равная с равной на условиях федерации. Прошло время командования из Петербурга — это мое глубокое убеждение. Самостийность была необходима, как единственная оппозиция большевизму: надо было поднять национальное чувство. И переворот, который был сделан пришедшими немцами, я ранее еще предлагал союзникам, лично говорил об этом с генералом Табуи»...[1]

[1] Доклад Шульгинской организации от 5 июня и свидетельство А.В. Стороженко.

[2] Киевские «Последние Новости» 11 октября.

[3] Договор от 5 апреля.

В ноябре генерал Гренер, сменив Людендорфа, сдавал уже германские армии на волю победителей... В Киеве говорил авторитетно только... немецкий совет солдатских депутатов. И гетман распускал правительство, приглашал на пост премьера «царского» министра Гербеля и издавал грамоту о Всероссийской федерации со включением в нее Украины. Одновременно генерал Скоропадский не прекращал весьма оживленных тайных переговоров с Украинским национальным комитетом, а на Юг сообщал, что «украинские силы... возглавляемые гетманом... в согласии с Доном и параллельно с Добровольческой армией направляются на борьбу с большевиками и на восстановление *единства России*»[2].

Такой же двойственностью отличалась политика украинского правительства. Наиболее влиятельная кадетская часть его в замкнутом кругу киевского главного комитета, под сильным давлением Милюкова, стремившегося обуздать размах украинизации, выносила постановления следовать «по линии превращения местного национального движения в общегосударственное путем объединения всего Юга России»[3]. А вне стен комитета «согласованные действия» киевлян проявлялись проповедью на тему: «Единая Россия — это нелепость... Насильственное соединение в одном государстве столь больших и столь разнородных частей недопустимо»... Вдохновитель и правая рука гетмана Игорь Кистяковский в конце 1917 года был приверженцем Корнилова и Добровольческой армии, весной 1918 года — самостийником и германофилом, в октябре,

[1] Доклад киевского представителя 14 октября № 6.

[2] Телеграмма на мое имя министра иностранных дел Афанасьева от 16 октября.

[3] Из письма Милюкова.

когда немцы потребовали его удаления с поста, — федералистом и германофобом; а в ноябре... — централистом и антантофилом...

В свою очередь само двуличное германское правительство находило также некоторые странности в украинской политике... Украинский посол в Берлине барон Штейнгель 7 июля доносил министру иностранных дел: «Императорское правительство находит, что наше правительство недостаточно твердо в своей политике, почему в Киеве происходит двойная политическая игра, вредящая упрочению дружбы между Германией и Украиной. Императорское правительство желает, чтобы политика Украинского правительства соответствовала во всех отношениях *условию, заключенному 18 апреля (нов. стиля) 1918 года* между генерал-фельдмаршалом Эйхгорном и бароном Муммом, с одной стороны, и Украинским правительством гетмана, в то время находившимся в процессе формирования, с другой стороны... Ввиду этого Императорское правительство желает расширить границы своих прав в целях организации порядка и правосудия»...

Впрочем, к концу сентября, после поездки гетмана в Берлин, взгляд германского правительства изменился, и министр финансов Гинце в рейхстаге заявил, что на Украине «продолжается в утешительном направлении процесс консолидации. Гетман с министрами вошел в Берлине в соприкосновение с нашим правительством. Констатируем, что намерения гетмана лояльны, планы его нам откровенно ясны».

* * *

Внешние отношения Украины также всецело зависели от немцев. Все спорные территориальные вопросы о западной границе, о подчинении Украине Крыма, о Ростовском, Таганрогском округах и части Бессарабии, на которые претендовала Украина, разрешались односторонней волей немцев и притом не в ее пользу.

Наиболее характерной была длившаяся бесконечно долго украино-большевистская конференция, заседавшая в Киеве, с Шелухиным и Раковским во главе. Поскольку вопросы, касавшиеся интересов Германии, как, например, передача оккупированной Украине в большом числе подвижного железнодорожного состава и урегулирование железнодорожного сообщения, проходили быстро, постольку все остальные, в особенности вопросы о границах, затягивались неимоверно. Участники конференции играли положительно непристойную роль, будучи пешками в руках закулисного дирижера. Приводимый документ характеризует в достаточной мере эти взаимоотношения.

Секретно.

Г. председателю мирной делегации Украины
С. Шелухину.

Ввиду того, что в частном разговоре с министром иностранных дел председатель мирной делегации Раковский выразил желание разрешить возможно скорее вопросы, относящиеся к соглашению между Российской республикой и Украинским государством, считаем необходимым поставить вас в известность, что ускорение украино-русских отношений возможно лишь после того, как по этому вопросу выскажется германское правительство...[1]

Но если дела конференции не подвигались вперед, то многочисленная советская делегация с большим успехом вела пропаганду и организацию тайных большевистских очагов.

В октябре министерство внутренних дел обнаружило две большевистские крупные организации в Киеве и Одессе, находившиеся в деятельных отношениях с делегацией Раковского. После произведенных арестов и выемок, как в организациях, так и у самих делегатов, обнаружилось, что работа большевиков велась совместно с Украинским национальным комитетом и что посредниками между ними были... представители немецкой власти...

Результаты этого скандального разоблачения были совершенно неожиданные: удаление по требованию немцев с поста министра внутренних дел Кистяковского и освобождение арестованных большевиков.

---

[1] Сношение министра иностранных дел Д. Дорошенко от 2 сентября 1918 года № 2184.

Нужно было обладать поистине огромным самопожертвованием, неограниченным честолюбием или полной беспринципностью, чтобы при таких условиях стремиться к власти на Украине.

* * *

Ведение самостоятельной внешней политики было тем более невозможно для Украины, что, невзирая на наличность огромных военных запасов и людского материала, она *не имела вовсе армии.*

Вооруженные силы гетмана состояли: 1) из дивизии генерала Натиева, сформированной из добровольцев, стоявшей в Харькове, находившейся в подчинении у немецкого командования, совершенно разложившейся и впоследствии разоруженной немцами; 2) Сердюцкой дивизии (гвардейской), составленной по набору исключительно из сыновей средних и крупных крестьян-собственников и вскоре разбежавшейся; 3) из охранных и пограничных сотен, несших службу: первые — полицейскую в уездах, вторые — пограничную на западе; 4) наконец, в августе, из Владимир-Волынска прибыла сформированная там австрийцами из военнопленных украинцев 1-я Украинская пехотная дивизия, которая вслед за тем ввиду непригодности была расформирована.

Немцы всемерно противились организации украинской армии, считая ее опасной для себя, и допускали только существование ее кадров.

Подготовка этих кадров — штабов без войск — шла планомерно и основательно. Предположено было создать 8 корпусов двухдивизионного состава и 4 конные дивизии. С условного согласия немцев готовился к обнародованию указ о мобилизации, и набор предположен был на 15 ноября. Точно так же готовились кадры «украинского флота», в состав которого должны были войти впоследствии разоруженные и охраняемые немцами русские суда Черного моря. Как известно, к этому времени наступили события, потрясшие Германию и поставившие Украину безоружной перед лицом большевистского нашествия. Поэтому вопрос об украинской армии интересен лишь с бытовой стороны.

Офицерский состав ее был почти исключительно *русский.* Генералитет и офицерство шли в армию тысячами[1], невзирая на официальное поношение России, на необходимость ломать русский язык на галицийскую мову[2], наконец на психологическую трудность присяги в «верности гетману и Украинской державе».

Побудительными причинами поступления на гетманскую службу были: *беспринципность* одних — «все равно кому служить, лишь бы содержание платили» — и *идейность* других, считавших, что украинская армия станет готовым кадром армии *русской.*

Так как истинные мотивы тех и других не поддавались определению, то в добровольчестве создалось резко отрицательное отношение ко всем офицерам, состоявшим на украинской службе.

* * *

Каковы же были истинные стремления гетмана и его правительства в центральном вопросе — об отношении к России? Было ли официальное исповедание разрыва с русской культурой и государственностью только личиной или искренним их убеждением?

Прежде всего, в состав украинского правительства входили люди различных толков. Для одних самостоятельность Украины была *целью,* для других — *средством.* Где в средствах и целях — проходила грань побуждений личных, классовых, партийных, может быть своеобразно понимаемых национально-государственных, для нас было и осталось неясным. Но вся совокупность фактов украинской действительности приводила нас к неизменному убеждению в *беспринципности* украинской политики.

---

[1] Генеральный штаб, например, был представлен столь широко, что часть обер-офицерских должностей занимали полковники.

[2] Один из офицеров украинской службы рассказывал о порядке делопроизводства: начальник пишет бумаги на русском языке и дает ее переводить писарю. Последний берет словарь Толпыго, подыскивает украинские слова и, не зная оборотов речи, склоняет и спрягает их по-русски... Интересно, что отношения с немцами приказано было вести только на русском или немецком языках.

Сохранение русской государственности являлось символом веры генерала Алексеева, моим и всей Добровольческой армии. Символом ортодоксальным, не допускавшим ни сомнений, ни колебаний, ни компромиссов. Идея невозможности связать свою судьбу с насадителями большевизма и творцами Брест-Литовского мира была бесспорна в наших глазах не только по моральным побуждениям, но и по мотивам государственной целесообразности. Идея эта не находила, однако, такого безусловного признания в глазах всей армии, как первая.

Эти положения легли в основу наших отношений к гетману. Ни генерал Алексеев, ни я не вступали с ним в сношения. Был только один случай, совершенно частный, когда я обратился к гетману, как к русскому генералу, с протестом против заключения немцами в киевскую тюрьму офицера штаба армии подполковника Ряснянского. Ответа не последовало. Только с осени 1918 года, когда обнаружилась близость катастрофы, висевшей над центральными державами и, следовательно, над Украиной, гетман делал попытки через третьих лиц вступить в сношение с командованием Добровольческой армии...

Но вместе с тем командование не прибегало ни к каким конкретным мерам, враждебным гетманскому правительству. Наше участие в украинских делах ограничилось гласным осуждением гетманской политики, извлечением из Украины русских офицеров, попытками приобрести там оружие и патроны, разведкой австро-германских сил и расположения и подготовкой мер для противодействия предполагавшемуся германскому наступлению против Восточного фронта и Добровольческой армии. Такими мерами признавались, в случае возникновения надобности, партизанская война в тылу немцев, разрушение мостов и железнодорожные забастовки[1]. Киевский железнодорожный комитет и ряд видных путейских инженеров обещали нам содействие в этом отношении. Много видных гетманских сановников и представителей генералитета присылали «с оказией» в Добровольческую армию уверения в своей верности русской идее. А более экспансивные, быть может авантюристы, неоднократно «испрашивали разрешение» устроить в Киеве «дворцовый переворот». Приезжал в штаб армии делегат даже от гетманского конвоя... Всем им генерал Романовский категорически запрещал какие-либо выступления против гетманской власти.

[1] Июльская забастовка украинских дорог, состоявшаяся на экономической почве, показала наглядно, в каком тяжелом положении могут очутиться немцы, разбросанные на огромной территории.

Штаб Добровольческой армии не умел и не хотел вести политической интриги. Да и самый факт *гетманства* не казался угрожающим для национальной русской идеи. В годы, когда рушились вековые троны и сходили со сцены исторические династии, основание новых представлялось весьма проблематичным... В этом убеждении укрепляли нас и исторические прецеденты. «Малороссийский народ, — говорит историк, — решительно не пристал к замыслу гетмана и нимало не сочувствовал ему. За Мазепою перешли к неприятелям только старшины, но и из них многие бежали от него, лишь узнали, что надежда на шведского короля плоха и что Карл, если бы даже и хотел, не мог доставить Малороссии независимости».

Для многих политических деятелей теперь, как и двести лет тому назад, хотя обстановка стала неизмеримо сложнее, решение украинской проблемы сводилось только к предвидению:

— Кто победит? Карл или Петр? Гинденбург или Фош?

ГЛАВА VI
КРЫМ

Жизнь Крыма до конца 1917 года текла довольна мирно. В крае уживались рядом власти правительственные, земско-городские и революционные (совдепы) — почти однородные по своему составу (социалисты-революционеры и социал-демократическое меньшинство) и *все* одинаково бессильные. После октябрьского переворота собрание уездных и волостных земств и городов Таврической губернии создало центральную власть в лице

Крымского краевого правительства — также из умеренных социалистов во главе с кадетом Богдановым. Но собранный 26 ноября национальный совет татарского населения Крыма избрал татарский парламент (Курултай) и татарское правительство, которое также «взяло на себя защиту и управление как татарами, так и другими народностями, населяющими Крым». Совместное существование двух «правительств», порождая трения в их взаимоотношениях, очень мало, однако, отражалось на жизни края, обособившейся резко в замкнутых рамках городов и сел. Одинаково шаткою была опора обоих правительств: у первого — полубольшевистские солдатские гарнизоны, у второго — немногочисленное «татарское национальное войско»: Крымский полк (конный) и пешие части, силою 2—3 тыс. человек. Оба правительства одинаково трепетали перед перспективой большевистского нашествия и заключили соглашение о взаимной поддержке против большевиков.

Гроза на этот раз шла не с севера, не изнутри, где настроение совдепов, профессиональных союзов, рабочей массы и даже солдатских гарнизонов было довольно умеренное... Судьба Крыма оказалась в руках Черноморского флота.

Уже в ноябре, под влиянием агитаторов, присланных из центра, матросы Черноморского флота свергли умеренный совдеп в Севастополе, поставили новый большевистский и организовали в городе советскую власть. Номинально она находилась в руках сложной комбинации из совдепа, комиссариата и революционного комитета, фактически — всецело в руках буйной матросской черни. С начала декабря в Севастополе начались повальные грабежи и убийства. А в январе Черноморский флот приступил к захвату власти и на всем Крымском полуострове. Описание падения крымских городов носит характер совершенно однообразный: «К городу подходили военные суда... пушки наводились на центральную часть города. Матросы сходили отрядами на берег; в большинстве случаев легко преодолевали сопротивление небольших частей войск, еще верных порядку и краевому правительству (правительствам?), а затем, пополнив свои кадры темными, преступными элементами из местных жителей, организовывали большевистскую власть»[1].

Так пали Евпатория, Ялта, Феодосия, Керчь и др. А 13 января пала и резиденция правительств — Симферополь.

За спиною матросской черни стояли ее вдохновители — элемент пришлый, часто уголовный и в огромном большинстве своем инородный. Состав агентов власти — говорит описание — «пестрит именами инородцев: латышей, эстонцев, евреев»... Большевистская власть за четыре месяца своего существования не сумела насадить советский строй. Она только упразднила буржуазные учреждения, «социализировала», преимущественно в свою пользу, буржуазное имущество и уничтожала буржуазию. Страницы крымской жизни того времени полны ужаса и крови. Я избегаю вообще распространяться о «злодействах большевиков» — понятии, ставшем в наше время банальным и не возбуждающим уже острого чувства возмущения в опустошенных душах и зачерствелых сердцах. Но приводимое ниже описание[2] судьбы евпаторийской буржуазии и преимущественно офицерства весьма характерно для «методов социальной борьбы» и психологии матросской черни, заполнившей своим садизмом самые страшные страницы русской революции.

«После краткого опроса в заседании комитета арестованных перевозили в трюм транспорта «Трувор». За три дня их было доставлено свыше 800 человек. Пищи арестованные не получали, издевательства словесные чередовались с оскорблением действием, которое переходило в жестокие, до потери жертвами сознания, побои. На смертную казнь ушло более 300 лиц, виновных лишь в том, что одни носили офицерские погоны, другие — не изорванное платье. Обреченных перевозили в трюм гидрокрейсера «Румыния»... Смертника вызывали к люку. Вызванный

---

[1] Из трудов «Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков».

[2] Там же.

выходил наверх и должен был идти через всю палубу на лобное место мимо матросов, которые наперерыв стаскивали с несчастного одежду, сопровождая раздевание остротами, ругательствами и побоями. На лобном месте матросы, подбодряемые Антониною Немич[1], опрокидывали приведенного на пол, связывали ноги, скручивали руки и медленно отрезывали уши, нос, губы, половой орган, отрубали руки... И только тогда русского офицера, истекавшего кровью, испускавшего от нечеловеческих страданий далеко разносившиеся, душу надрывающие крики, отдавали красные палачи волнам Черного моря».

Властвовала только красная опричнина. Против них были и крестьянская, и рабочая среда, которая здесь, в Крыму, не переживала медового месяца большевистской власти, как это было в центральной России. Крестьяне охотно восприняли практику социализации, но не могли примириться с захватом пришельцами добра своего и помещичьего, которое также считали своим. Рабочие, невзирая на ряд специальных мероприятий новой власти (сокращение рабочего дня, увеличение заработной платы и т. д.), были за редкими исключениями ярко враждебны ей. Они видели, что наплыв в среду их массы безработных, по преимуществу городской черни, дезорганизует предприятия; что не они стали хозяевами, а пришлая власть, захватывающая бессистемно и орудия производства, и материалы, и фабрикаты для собственного прокормления. Рабочие организации, не сочувствовавшие большевизму, преследовались; практика реквизиций и изъятий не миновала и домов рабочих. В перспективе ясно рисовался развал промышленных предприятий, дезорганизация рабочего класса и голод.

Татарское население Крыма, совершенно не принявшее большевизма, подвергалось таким же расправам, как и буржуазия; беспощадные к татарам сами, большевики разжигали кроме того национальную ненависть к ним среди русского населения.

[1] Немичи — семья палачей.

К весне 1918 года царило уже всеобщее возбуждение против большевистской власти, как везде пассивное или выражавшееся в местных волнениях и в подготовке, совершенно, впрочем, не серьезной, активного выступления в среде заводских комитетов, профессиональных союзов, татарских и русских конспиративных кружков.

Вопрос разрешился приходом германцев[1].

Если украинская политика немцев имела в своем основании создание длительной, на многие годы политической и экономической зависимости Украины от Германии, то в Крыму их интересы ограничивались временными военно-политическими и стратегическими условиями. По крайней мере, так смотрела на дело главная квартира. Людендорф уверяет, что он «считал фантастическими идеи создания колониального немецкого государства на берегах Черного моря»... Еще менее германское правительство склонно было поощрять в этом отношении притязания Турции. Германской ставке необходимо было обеспечить себе безопасность сообщений в Черном море, которым угрожала Севастопольская крепость и не покорный центральной власти Черноморский флот. Крепость и порт были заняты поэтому германскими войсками 1 мая, а большая часть русских военных судов ушла в Новороссийск. Немцы предъявили советской власти требование выдать им весь Черноморский флот «для использования во время войны в мере, требуемой военной обстановкой». Повеление совета комиссаров последовало, но было исполнено только частично: матросы, не имея желания поступить в распоряжение немцев, и еще менее — драться с ними, пустили ко дну часть судов. До сих пор на новороссийском рейде зловеще торчат из воды верхушки мачт — символ «патриотизма» черноморцев, столь же фальшивого, сколько и бессмысленного.

Иначе отнеслись немцы и к государственному устройству Крыма.

Об отторжении его от Российского государства объявлено не было. Русский генерал Сулькевич, по происхож-

[1] Группа генерала Коша из трех пехотных дивизий и бригады конницы.

дению литовский татарин, избранный немцами, вместо ханского титула принужден был удовлетвориться званием премьер-министра Крымского краевого правительства. В декларации, одобренной немецким командованием, Сулькевич определял целью образованной им власти «сохранение самостоятельности полуострова до выяснения международного положения его и восстановление законности и порядка».

По условию с советским правительством Германия обязалась очистить Черноморский район после ратификации договора между Россией и Украиной. Поэтому переговоры между Шелухиным и Раковским в Киеве умышленно затягивались немцами. Гетман предъявил требование о полном слиянии Крыма с Украиной, посягая на три северных хлебородных уезда Таврии, и устанавливал экономическую блокаду полуострова. Сулькевич через одного из своих министров, командированного в Берлин графа В. Татищева, добивался признания независимости Крыма и защиты его от Украины. Сбитая с толку крымская общественность[1] видела выход «в объединении Крыма с Украиной на условиях широкой автономии», полагая, что «путь объединения с Россией лежит только через Украину».

Германское правительство встретило холодно миссию Татищева и «в связи с настоящим международным положением» не сочло для себя возможным «объявить о признании государственной независимости Крыма»; а в отношении столкновения с Украиной советовало уладить вопрос личными переговорами графа Татищева с украинским премьером Лизогубом[2].

Политика крымского правительства была такого же правого направления, как и гетманская, встречая оппозицию в социалистических и либеральных кругах земских и городских собраний — весьма, впрочем, лояльную благодаря наличию всесильных немецких штыков. Правительственная политика не носила официальных признаков национально-

[1] Съезд представителей земских управ и городских голов Крыма.

[2] Сношение германского министра иностранных дел 26 августа № 36541/123046.

го шовинизма. За кулисами шла, однако, нелепая политическая игра объединенных в своих стремлениях Сулькевича, «Курултая» и татарской группы правительства. Айвазов, полномочный представитель Сулькевича в Константинополе, вел переговоры с Блестящей Портой об отторжении Крыма от России и присоединении его в той или другой форме к Турции... Д. Сейдамет, крымский министр иностранных дел, представлял германскому правительству в Берлине шовинистическое обращение «Курултая» от 21 июля. Это обращение, подписанное А. Хильми[1] и Хасаном Сабри[2], заключало в себе следующие положения: «Крымско-татарский народ, который 135 лет тому назад подпал под русское иго», надеялся на помощь Германии, «опираясь на сулящие мусульманским странам счастие исторические высокие цели Его Величества Великого Государя Вильгельма»...

«Несмотря на то что русские в течение 136 лет грабили имущество татар и оскверняли их святыни... численный состав крымских татар все-таки не мог быть поколеблен; равным образом никакие притеснения не могли заставить их забыть то уважение, которым пользовалось господство их предков, пред коим некогда склонялась Москва»...

Далее идет описание национальных подвигов.

«Во время революции, когда ни у одного из населяющих Россию народов не было заметно национального движения, крымские татары заявили 25 марта на конгрессе о своей национально-гражданской автономии и реквизировали вакуфные земли... 8700 десятин и 1 миллион рублей»...

Скромное описание своего «международного» положения.

Несмотря на поражение в борьбе с большевиками, «крымско-татарский народ, опираясь на свое великое национальное самопожертвование и чувство владычества, стал играть в судьбах страны решающую роль»... Исходя из этих соображений, «крымские татары желают восстановить в Крыму татарское владычество,.. преобразовав Крым

[1] Генеральный директор Крымско-татарского национального совета.

[2] Президент Крымско-татарского парламента.

в независимое нейтральное ханство, опираясь на германскую и турецкую политику».

И наконец апофеоз.

«В то время как Россия, великий исторический враг (турецкого и мусульманского мира), погибла, и дорога в Индию, свободная для Германии, поколебала твердыню Англии, мусульманский мир находит силу в твердой решимости тех магометан, которые в Крыму и на Кавказе в течение столетий были лишены чести иметь право умереть за свои стремления и надежды»...

Я не стал бы приводить такие пространные выдержки из откровения людей, лишенных элементарного такта и грубо невежественных, если бы оно не было карикатурным отражением тех приемов и стремлений, которые присущи представителям многочисленных новообразований, возникших на развалинах России. Не народные массы, а именно люди, вынесенные волною революции на мутную поверхность вскипевшей до дна народной жизни, принесли с собою такую ненависть к России. Искажая перспективу и причинную связь исторических событий, порывая родственные связи, игнорируя тесные экономические взаимоотношения, мешая прошлое с настоящим и отождествляя русскую власть с русским народом, они приняли на себя роль суровых и пристрастных судей России, ее истории и народа. Их голоса раздавались громко в парламентах, радах, кругах, меджилисах, сфатул-цериях, курултаях, в приемных иностранных политических деятелей всех стран, в отечественной и мировой печати.

Они с большим упорством и старанием углубляли могилу, вырытую советской властью для погребения русской государственности — могилу, в которой часто хоронились и их непрочные новообразования.

* * *

Поддержка «Великого Государя» и «Высокочтимого халифа» оказалась непрочной. Осенью 1918 года центральные державы пали, увлекая в своем стремительном падении кесарей и троны, погребая под обломками много безумных надежд и фантастических планов.

Изменилась и судьба Крыма.

Немецкий генерал Кош письмом на имя Сулькевича от 3 ноября заявил, что он от дальнейшей поддержки его отказывается. И Сулькевич 4 ноября телеграфировал мне в Екатеринодар: «Развал среди германских войск идет полным ходом... Ввиду отсутствия вооруженной силы, формировать которую немцы категорически запрещали в Крыму, нет никакой опоры для борьбы... Возможны вспышки и повторение неистовств большевиков... Обстановка ясно говорит за необходимость быстрой помощи союзного флота и добровольцев... Ввиду борьбы и сильной агитации левых партий, кабинет мой слагает свои полномочия, уступая место коалиционному министерству из кадетов, социалистов и татар»...

Генерал Сулькевич отбыл в Азербайджан, чтобы там продолжать в роли «военного министра» свою русофобскую работу, а новое правительство Крыма г. Соломона, вышедшее из недр Таврического губернского земского собрания, обязалось «всеми силами содействовать объединению расколовшейся России»[1].

ГЛАВА VII
ЗАКАВКАЗЬЕ

Закавказский комиссариат под руководством сейма[2] с конца февраля 1918 года вел мирные переговоры с Турцией.

Снабженный чрезвычайными полномочиями сейма председатель мирной конференции Чхенкели настаивал в Трапезунде на восстановлении русско-турецких границ 1914 года. Турецкая делегация, при закулисном участии германских дипломатов, требовала точного выполнения условий Брест-Литовского мирного договора и немедлен-

[1] Из доклада Таврической земской управы Таврическому земскому собранию от 17 октября.

[2] Председатель комиссариата социал-демократ Гегечкори, члены — представители демократических партий всех национальностей Закавказья.

ного очищения от закавказских войск Карса, Ардагана и Батума. Вместе с тем турки, затягивая всемерно ход переговоров, окончательные условия мира ставили в зависимость «от точного декларирования закавказской делегацией сущности, формы, политической и административной организации Закавказской республики»[1]. Ибо если Закавказье продолжает оставаться в государственной связи с Россией, то для него обязательно выполнение Брест-Литовского договора...

Положение Закавказья к этому времени было необыкновенно трудным.

Советская власть предъявила ультимативное требование выполнения условий договора; Кавказский фронт пал давно, и на месте его стоял лишь декоративный заслон из храброго, но малочисленного отряда полковника Ефремова, армянских, частью грузинских новых формирований; кровавый призрак турецкого нашествия висел над христианским населением, и тревожным предвестником его служили начавшиеся уже бесчинства татар в прифронтовом районе; в сейме, в правительстве и даже в среде самой мирной делегации мусульманские представители явно сочувствовали самым широким турецким вожделениям...

И когда 24 марта турки предъявили ультиматум о принятии в течение двух дней Брест-Литовского договора и немедленном очищении Батума, Чхенкели, превысив данные ему сеймом полномочия, принял все условия турок.

Сейм, однако, не согласился. В торжественном и бурном заседании 31 марта почти все национальные и политические фракции пришли к убеждению о необходимости продолжения борьбы. Даже мусульманские представители, отказываясь от активного выступления, обещали, однако, «всеми доступными средствами оказать возможное содействие другим народам Закавказья... к благоприятной ликвидации войны»[2].

[1] Материалы подготовительной по национальным делам комиссии. Записка Ю. Шумахера.

[2] Там же.

Сейм отозвал делегацию Чхенкели и обратился к народам Закавказья с воззванием: «...Позорного мира мы не подписали, — говорилось в нем. — Мирные переговоры с Турцией прерваны. Отныне спор решается оружием на полях сражений». Жест отчаяния — ибо бороться было нечем: не было войска для удержания фронта и не было ни подъема, ни единодушия для войны народной, партизанской.

Турки заняли 1 апреля Батум и, не встречая сопротивления, перешли в наступление в общих направлениях на Кутаис, Александрополь и Джульфу.

И 9 апреля в сейме, признавшем свое бессилие остановить турецкое нашествие, был поставлен на обсуждение, как последнее средство спасения, вопрос о независимости Закавказья. Сторонникам этого акта — нетуркофилам — рисовались следующие перспективы: край, отделившись от России, избегнет заливающего ее большевизма; сохранится единство Закавказья и тесное мирное сожительство его народов; новообразование получит легальный титул для отказа от Брест-Литовского договора и заключения самостоятельного мира; наконец, приобретет симпатии и помощь Германии, которая давно уже толкала закавказских деятелей на этот шаг, имея целью расчленение России и утверждение своего политического и экономического влияния в Закавказье.

При полном согласии всех грузинских партий и стыдливом молчании былых властителей дум русской революционной демократии г.г. Церетели, Жордания, Гегечкори, Рамишвили и др., при решимости холодного отчаяния армян... при ликовании мусульман и горячем протесте русских была провозглашена *Закавказская независимая федеративная республика.*

Жизнь, однако, разбивала шаг за шагом иллюзии оппортунистов.

Прежде всего старые хитрые дипломаты оттоманской школы раскрыли, наконец, свои карты перед неискусными игроками «Закавказской республики».

На возобновившейся 28 апреля по инициативе нового правительства Чхенкели конференции в Батуме турецко-германская делегация, под председательством Халил-бея,

признала факт независимости Закавказья и освободила его от обязательств, налагаемых Брест-Литовским договором. Но вместе с тем, как новому государственному образованию, турки предъявили ему и новые территориальные требования, несравненно более тяжелые[1]...

Конференция была сорвана. Турецкая армия, продолжая наступление, заняла уже Карс[2], Александрополь, направляясь далее к Тифлису. Турецкое влияние в мусульманских частях Закавказья переходило в явное политическое господство там турок, грозя сдавить в турецких тисках и отрезать от жизненных артерий грузинский и армянский народы.

В этот тяжелый момент грузинская социал-демократия, войдя в сношение с германским правительством, вручила ему без оглядки судьбы своего края.

Тождественные вначале интересы Германии и Турции, по мере увлечения последней панисламизмом в ущерб военным действиям против Англии, разошлись. Германия сочла себя вынужденной противодействовать быстрому распространению турок в Закавказье по мотивам, о которых немецкие государственные деятели говорят с исчерпывающей ясностью.

Гельфферих: «Германия очень интересовалась бакинскими нефтяными промыслами, которые соединены нефтепроводом с Батумом, и кавказскими богатейшими марганцевыми рудниками, имевшими для нас огромное значение как в этой войне, так и после войны».

Людендорф: «Для нас (протекторат над Грузией) был средством независимо от Турции получить доступ к кавказскому сырью и эксплуатации железных дорог, проходящих через Тифлис. Мы не могли довериться в этом отношении Турции. Мы не могли рассчитывать на бакинскую нефть, если не получим ее сами».

---

[1] Потребовали половину Эриванской и части Тифлисской и Кутаисской губерний.

[2] Грузин Чхенкели, вообще проявлявший чрезвычайную уступчивость туркам в части, касавшейся негрузинской территории, приказал сдать Карс без боя.

Получив от германского резидента в Константинополе генерала фон Лоссова обещание активной поддержки, 13 мая национальный совет провозгласил односторонним актом независимость *Грузинской демократической республики*. Ной-Жордания и Церетели в послании к Центральному комитету российской социал-демократической партии оправдывали этот шаг необходимостью «спасения физического существования грузинского народа».

В тот же день, 13 мая, сложили полномочия сейм и общее правительство. Закавказская республика прекратила свое существование, и власть перешла к национальным советам трех новообразований: Грузии, Армении и Азербайджана. Германия остановила дальнейшее продвижение турок в пределах Грузии.

Решающую роль в актах 9 апреля и 13 мая сыграли не внутренние потрясения общерусской жизни, даже не большевизм — волны его еще не докатились до Закавказья и сущность его постигали только верхние слои народа, — а смертельный страх перед турецким нашествием. Если, наоборот, мусульманская часть населения отнеслась с явной симпатией к единоверным туркам, то главным образом потому, что надеялась на тот перевес, который теперь получат их интересы в вековой межнациональной распре. Но ни татары, ни грузины и армяне, ни все другие мелкие самобытные национальные группы в момент разрыва в массе своей не проявляли ненависти к России. По состоянию своей культуры, вековым навыкам, быть может национальным чертам характера, народы Закавказья менее, чем где-либо, принимали участие в государственной жизни. «Волеизъявление народа», «давление народных масс» — эти правовые и стихийные стимулы политических и национальных движений — в Закавказье имели значение несущественное. Если в общерусском масштабе волны революции смыли с высот жизни русскую интеллигенцию, то здесь наоборот: история Закавказья в годы смуты есть история его интеллигенции, преимущественно социалистической. Только она явилась вершительницей внутренних событий, и только на ней лежит поэтому историческая ответственность за судьбы закавказских народов.

Итак, примиряющего и объединяющего начала не стало. Пути народов Закавказья разошлись. В течение трех лет будут они вести «самостоятельное» существование и гореть в котле политических страстей и межнациональной распри, пока, наконец, не сольются вновь... в общем русле советского самодержавия.

* * *

После провозглашения самостоятельной Грузинской демократической республики делегация ее прибыла в Берлин, и 11 июня в рейхстаге было объявлено о признании Германией новой республики de facto. В Тифлисе появилась дипломатическая миссия полковника фон Кросса с эскортом в две роты, и с тех пор внутренняя и внешняя политика края безраздельно была подчинена германскому влиянию. Началось выкачивание немцами сырья и одновременно организация ими грузинской вооруженной силы — по свидетельству генерала Людендорфа — как подсобного фактора в борьбе с англичанами на азиатском театре войны и против... Добровольческой армии, которая все более начинала тревожить немецкое командование.

Бакинская нефть особенно крепко владела умами и чувствами европейских и азиатских политиков. С весны началось резкое соревнование и «бег взапуски» в области войны и политики к конечной цели — Баку — англичан от Энзели, Нури-паши (брат Энвера) через Азербайджан и немцев через Грузию. Для той же цели Людендорф снял с балканского фронта бригаду кавалерии и несколько батальонов (6—7) и спешно стал перебрасывать их в Батум и Поти — порт, арендованный германцами у грузин «на 60 лет».

Судьба, однако, распорядилась иначе: Нури-паша предупредил немцев в Баку, и десантные немецкие войска не успели сосредоточиться, когда отпадение в начале сентября Болгарии, поколебав окончательно положение центральных держав, заставило немецкую главную квартиру отозвать войска из Грузии обратно на Балканы...

Грузинский национальный совет, к которому перешла верховная власть, образовал правительство под председательством Ноя Рамишвили. В силу преобладания в правительстве и в самом совете социал-демократов меньшевиков — преобладания искусственного для страны по преимуществу земледельческой, — политикой этих учреждений руководили всецело лидеры партии.

Деятельность правительства сосредоточилась прежде всего на формировании вооруженной силы и на округлении границ новой республики. Под руководством Джунгелия возникли отряды «народной гвардии», общей численностью 10—12 тысяч, по облику своему, составу, дисциплине и традициям отличавшиеся от советской Красной гвардии только разве национальным шовинизмом. В народогвардейцы поступали добровольно, по рекомендации левых партий они; были хорошо вооружены и получали высокие оклады; отряды были снабжены многочисленной артиллерией бывшего кавказского фронта. Во главе их стояли почти исключительно люди с большим революционным и тюремным прошлым «царской России». Пригодная для поддержки первых шагов социал-демократической власти в дни революционного угара и заманчивых лозунгов, народная гвардия становилась, однако, сильной помехой при переходе к мирному строительству и прямой угрозой для самой власти, в особенности ввиду сохранения в крае советов рабочих депутатов... Поэтому правительство приступило вскоре к мобилизации возрастов от 16 до 43 лет, а также к формированию постоянной регулярной армии в 2 пехотные дивизии и 1 кавалерийскую бригаду. С этой целью был объявлен призыв[1] всех «грузинских подданных», родившихся в 1896—1898 годах, причем подданными считались лица всех национальностей, в том числе и русские люди, прописанные по месту жительства на территории, вошедшей в пределы Грузии до 19 июля 1914 года[2]. Немцы всемерно способствовали организации и снабжению грузинских войск.

Еще в 1914 году образовавшийся из состава партии национал-демократов «Союз освобождения Грузии» заключил с турецким правительством договор, на основании ко-

[1] На основании закона от 13 августа.

[2] Циркуляр военного министерства от 18 сентября № 416.

торого за активное содействие Турции в войне против России «независимая Грузия» приобретала следующие территории: Тифлисскую и Кутаисскую губернии, Сочинский и Гагринский округа Черноморской губернии, Сухумский, Батумский и Закатальский округа, северную часть Карской области и часть Трапезондского вилайета (Лазистан). Как это ни странно, но социал-демократы, клеймившие некогда «империалистическую политику» царского и временного правительств, став у власти, восприняли всецело психологию грузинских национал-шовинистов — тех, для которых еще 15 июня во время заседания национального совета в лексиконе Церетели нашлось слово «измена»... Демократическое правительство Грузии приступило к планомерному распространению своей власти на территории, населенные чуждыми в племенном отношении и враждебными грузинам элементами, применяя при этом разнообразные способы — войну, подкуп, террор и политический шантаж.

В первый период — турецко-немецкой оккупации — вожделения Грузии направились в сторону Черноморской губернии. Причиной послужила слабость Черноморья, поводом — борьба с большевиками, гарантией — согласие и поддержка немцев, занявших и укрепивших Адлер; система же захвата была до крайности проста и однообразна и сильно напоминала деятельность румын в Бессарабии.

К концу марта 1918 года большевики, постепенно распространяясь из Новороссийска к югу, подошли к Сухуму. Абхазский национальный совет обратился за помощью к грузинам. С конца апреля грузинская народная гвардия начала там войну против большевиков с переменным успехом. Прибывшему в июне с подкреплением генералу Мазниеву удалось очистить от красногвардейцев побережье до самого Туапсе. Ценой за избавление был договор, заключенный 11 июля между Абхазским национальным советом и грузинским правительством, в силу которого Сухумский округ временно вошел в состав Грузинской республики. Пункт 3-й договора предусматривал, что «внутреннее управление Абхазией принадлежит Абхазскому совету», а 1-й — что «только национальное собрание Абхазии окончательно определяет политическое устройство и судьбу ее».

Но вслед за этим грузинское правительство дважды разгоняет национальный совет (август и октябрь) и, заключив часть членов его в Метехский замок, лишив права выборов русское и армянское население, как не приемлющее «грузинского подданства», к осени создает вполне покорное и совершенно безличное учреждение, состоящее на одну четверть из абхазцев и на три четверти из грузин[1] и возглавляемое президиумом с преобладающим составом грузинских социал-демократов. Власть в крае перешла всецело в руки грузинского «чрезвычайного комиссара» и революционных учреждений, заполненных местными грузинами — пришлым элементом в крае, издавна устроившимся на Черноморском побережье в качестве рабочих, торговцев, подрядчиков, духанщиков и т. д. С интересами коренного населения и с его правами хотя бы на внутреннее самоуправление грузинская власть перестала считаться вовсе.

Оккупация Сочинского округа (включая и Гагры[2]) произведена была грузинами также на основании просьб о помощи различных местных собраний и съездов, преимущественно социалистического состава, — просьб, частью вызванных подлинным отчаянием, частью — давлением грузинских военных начальников. Хотя грузинская администрация высказывала официально взгляд на русское население побережья, как на «политических эмигрантов», но «исторические права» грузин на этот округ очевидно были еще менее обоснованы, чем на Сухумский[3], так как с первых же дней грузинские власти приступили к разорению его, отправляя все, что было возможно, в Грузию. Так была

---

[1] Состав населения Сухумского округа в 1916 году в %: абхазцев — 61, грузин — 18, русских 11, армян 10, прочих 5.

[2] Гагринский район был присоединен к Сухумскому округу осенью 1917 года Закавказским комитетом «по историческим основаниям», изысканным, между прочим, г-да Гегечкори и Чхенкели.

[3] В Сочинском округе в 1913 году всех грузин числилось 10,8%, а по данным земско-городской статистики среди сельскохозяйственного населения их было 5,8%.

разграблена Туапсинская железная дорога, причем увозились рельсы, крестовины, материалы, даже больничный инвентарь; распродано с аукциона многомиллионное оборудование Гагринской климатической станции, разрушено лесопромышленное дело в Гаграх; уведен племенной скот, разорены культурные имения и т. д. Все это делалось не в порядке «обычаев гражданской войны», а в результате планомерной тифлисской политики.

Из Абхазии и Сочинского округа шли горькие жалобы и постоянные просьбы об избавлении от грузин, обращаемые к Добровольческой армии, когда она приблизилась к Черному морю....

В период немецкой оккупации, в течение 1918 года, только еще налаживалась внутренняя жизнь края и административный аппарат. В трудных условиях зарождения новой государственности правящая безраздельно партия социал-демократов не решилась приступить сразу к коренной ломке «старого строя». В финансовом отношении мы видим только тяжелый пресс прямых и косвенных налогов, печатный станок и боны со знаменательной надписью — о хождении их наравне с русскими государственными кредитными билетами... В экономическом — широкое использование и распродажу русского миллиардного имущества Кавказского фронта; экспорт, главным образом в Германию, в огромных размерах сырья[1], даже отчасти хлеба, в котором ощущался острый недостаток в крае и который притекал путем организованной правительством контрабанды с северного Кавказа с получением взамен далеко не равноценных, залежалых фабрикатов, не имевших сбыта на европейских рынках; наконец, концессии, предоставленные как местному, так и иностранному капиталу. В аграрном вопросе — национализацию частновладельческих земель с передачей их в *пользование* крестьянству; а позднее, когда обнаружилось возбуждение на этой почве крестьян, продажу им в *собственность* по высоким ценам отобранных в государственный фонд земель. В отношении крайне незначительного класса рабочих — заботы об улучшении их материального положения и улучшении условий жизни, без радикальных реформ. Наконец, в области самоопределения — безудержная «национализация», угнетение и лишение культурно-правовых условий существования «меньшинств» — русского, абхазского, аджарского, осетинского, татарского, армянского и т. д.; «меньшинств», которые, однако, в мозаичном организме Грузии составляли вначале 36, а потом, после ее расширения, более 50% населения.

[1] Марганец, медь, шерсть, табак и т. д.

Несомненно грузинское правительство достигло внешних условий относительного благополучия и порядка, выгодно отличавших край от областей советской России. Местные восстания, вспыхивавшие на почве национальной распри, аграрных взаимоотношений и большевистских лозунгов, зачастую прикрывавших просто протест угнетаемого русского населения, неизменно подавлялись правительством. Грузинские миссии, направляемые в Западную Европу, снабженные хорошими средствами и обладавшие специфически восточной хитростью и пафосом, заносили туда, наряду с описанием благоденственного житья внутри страны, представления о «тяжести векового рабства» и обоснованности независимого существования своего народа; искали сочувствия к молодой «угрожаемой и обижаемой извне со всех сторон социалистической республике». Повсюду. Сначала — в «империалистическом» Берлине, потом, в дни колебания военно-политического маятника — у всемирной демократии[1] наконец после определившегося исхода борьбы — у буржуазных правительств Лондона и Парижа[2].

Мираж создавался действительно.

Только мираж. Потому что в активе новообразования не было ни «суверенности», ни идеи «самоопределения народов», ни демократии, ни социализма. Их заменяли вассальная зависимость (от Германии, потом от Англии), империализм, диктатура социал-демократической партии и

[1] Обращение к международному социалистическому бюро.

[2] Миссия Церетели и Чхеидзе.

чистейший капитализм. Потому еще, что в течение кратковременного бытия Грузинской республики народ ее не создал и не мог создать по времени своих материальных и культурных ценностей, а *жил исключительно русским наследием*, не разрушенным еще ни войной, ни анархией[1].

В 1918 году жизнь поставила вопрос:

— Как долго при всех указанных выше условиях возможно независимое существование Грузинской республики вне всякой государственной связи с Россией?

И в 1921 году дала исчерпывающий ответ:

— Ровно столько времени, сколько длится в ней иностранная оккупация, прикрывает ее южнорусская армия и желает того Москва.

•••

Армянская республика переживала дни глубокого отчаяния. Турецкая армия быстро подвигалась вперед, занимая районы этнографического расселения армян и подвергая народ резне и край опустошению. Мольбы армянского правительства и воздействие германских представителей, заинтересованных вообще в ограничении турецкого распространения, остановили, однако, наступление. Демаркационная линия была проведена в шести верстах от Эривани, и «самостоятельная Армения» заключена в голодный гористый район площадью в 11 тыс. кв. верст[2], с 14-ю верстами железной дороги и с... 600 тысячами беженцев, собравшихся отовсюду и обездоливших окончательно коренное население.

Эту территорию сдавливали со всех сторон: с запада — турецкий фронт; с юга, со стороны Алашкертской долины — курды; с юго-востока — «Аракская республика»[3], образованная татарскими ханами, враждебными России ввиду лишения их некогда феодальных прав и кровно ненавидевшими армян; с востока — враждебный Азербайджан, сначала татарскими бандами, потом, в сентябре, при помощи турецких войск покоряющий Карабах; с севера — ревниво охраняемые грузинами границы Тифлисской губернии, через которые не пропускали ничего, даже продовольственных грузов, вымирающему населению Армении.

[1] Дальность театра войны и иностранные оккупации.

[2] Часть Эриванского уезда, часть Эчмиадзинского и весь Ново-Баязетский уезд.

[3] Долина Аракса — Нахичеванский и Шаруго-Даралагезский уезды.

При таких условиях Армянский национальный совет[1] и правительство не могли задаваться ни сложной политикой, ни внутренним строительством. Все их помыслы были направлены исключительно на сохранение физического существования остатков армянского народа. С большими трудностями были сформированы войска партизанского типа в 10—15 тыс. человек; отряд генерала Назарбекова (потом Силикова) вел непрестанную борьбу с татарами и курдскими ордами; отряд Андроника, не признававшего власти Эривани, вел самостоятельные военные операции в защиту армян Елизаветпольской губернии[2] против татар и турок; севернее наступление их сдерживал отряд Мелик-Шахназарова. Правительство рассылало отчаянные мольбы во все стороны и безнадежно искало спасительной «ориентации».

Нет сомнения, что в среде национального совета, по преимуществу социалистического состава, даже в руководящей партии дашнакцанов (20 из 40 членов), в этот момент более чем когда либо жило яркое сознание необходимости государственной связи с Россией. *Всякой* Россией, независимо от ее политического строя, — хотя бы и советской, лишь бы она обладала силой и возможностью спасти армянский народ. Но *такой* России тогда не существовало. Германия не была вовсе заинтересована ни в стране, не имеющей сырья к вывозу, ни в народе, который нужно было кормить. С остальной Европой связи не было никакой. Оставалась только надежда на окрепшую под немецким покровительством Грузию...

[1] Представители от политических партий и племен.

[2] Зангезурский и Шушинский уезды с армянским населением составили временно «самостоятельную республику».

В первой половине июня Жордания и Рамишвили пригласили представителей Армянского совета для раздела между Грузией и Арменией по этническим признакам Борчалинского уезда. Но прибывших армянских делегатов встретил И. Церетели и от имени Грузинского совета заявил им, что все спорные территории[1] со смешанным грузино-армянским населением должны перейти к Грузии. Вождь — некогда — русской революционной демократии приводил такие мотивы: «Армяне после Батумского соглашения *(проведенного грузинами)* не могут составить сколько-нибудь жизнеспособного государства и им выгодно усилить Грузию, чтобы было на Кавказе сильное христианское государство, которое при поддержке немцев будет защищать и себя, и армян»[2] ...

Через несколько дней грузины заняли своими войсками фактически свободные от турок спорные районы и немедленно приступили в них к набору.

Оставшись в трагическом одиночестве, Армянская республика с отчаянием и надеждой ждала поглощения, раздела или избавления. Откуда придет то или другое — можно было только гадать.

•••

Азербайджанская республика самоопределилась в границах Елизаветпольской, Бакинской губерний и Закатальского округа. Фактически — только в большей части Елизаветпольской губернии, так как в Закаталах[3] шел спор с грузинами, на юге и юго-востоке велись бои с армянами и русскими, а Баку не признавало власти Азербайджана.

Шовинистическое по отношению к России и соседям, ярко туркофильское правительство хана Хойского, вышедшее из либерально-буржуазной партии «Муссават», с внешне социалистической окраской, не торопилось с устроением внутренней жизни края, которая шла по инерции, и

[1] Уезды Ахалкалакский, Казахский, Борчалинский и часть Александропольского.

[2] Доклад № 49 представителя Армении, полковника Власьева: «Армяно-грузинский конфликт».

[3] Там жили лезгины, родственные Дагестану.

обратило исключительное внимание на расширение его пределов. К этому побуждала их и панисламистская идея, овладевшая умами особенно сильно после прибытия в Елизаветполь к середине августа Нури-паши.

Вооруженной силы, однако, не было почти никакой. Мусульманский «корпус», который формировался в период власти Закавказского комиссариата и в котором преобладал русский командный состав, был под давлением немцев в начале августа распущен. Формирование нового корпуса с турецким составом сильно задерживалось, благодаря инертности татар и нежеланию и непривычке их нести регулярную службу. «Национальные вопросы» разрешались практически, главным образом, иррегулярными татарскими отрядами. Они при участии турок устраивали взаимную кровавую резню с армянами в Карабахе; они вторглись в плодородную русскую Мугань[1], где разгромили и сожгли до 50 поселений, жители которых, до 30 тыс., бежали на северный Кавказ. Южная часть Мугани, однако, уцелела. Пройдя в течение нескольких месяцев через большевизм и стряхнув его, население Мугани организовало вооруженную силу около 1000 человек, с 2 орудиями, под командой полковника Ильяшевича, отстояло свой край и в свою очередь предало огню и мечу более 20 татарских селений. Затем прожило мирно в течение года в качестве «Ленкоранской республики», пока не было поглощено Азербайджаном по требованию... англичан.

Войска Азербайджана вели наступление, пока безуспешное, на Баку. Фронт проходил у станции Кюрдамир — в половине расстояния между Елизаветполем и Баку.

Баку — золотоносный источник лучшей нефти, выбрасываемой на мировой рынок ежегодно в количестве около 500 миллионов пудов; прекрасный порт, в котором сосредоточивался почти весь Каспийский торговый и транспортный флот; центральный узел путей, экономическая и стратегическая база Средней Азии.

Вероятно, и сами властители Азербайджанской республики не думали серьезно о суверенном обладании Баку, иг-

[1] Ленкоранский и Джиоватский уезды Бакинской губернии.

рая роль лишь ширмы для трех борющихся сил. Германия дополнительными статьями к Брест-Литовскому договору обязалась не допускать турецкие войска в Бакинский нефтеносный район и всячески препятствовала турецко-татарскому наступлению... до полного сосредоточения своих войск. Турция выступала по этому поводу с резкими нотами, намекая даже на возможность разрыва, а тайно вливала в состав азербайджанских отрядов своих офицеров и аскеров. В самом Баку шло состязание турецкого фанатизма, большевистской пропаганды, английских фунтов и немецких марок...

На «Кюрдамирском фронте» боевые действия между тем замерли.

В Баку, как и везде, издавна существовала глубокая вражда между татарским и армянским населением. После большевистского переворота и кровавых столкновений Азербайджана с Арменией она усилилась еще более, приняв внешние формы борьбы между советской властью, на сторону которой стали дашнакцаны и русский пролетариат, и турко-татарами, к которым из чувства самосохранения примкнула часть русской интеллигенции. Еще в конце 1917 года Москвою был назначен социал-демократ Шаумян «верховным комиссаром Закавказья», но до весны проявить своего существования он не имел возможности.

25 марта при помощи армянского полка, возвращавшегося из Персии через Баку, армяно-большевики захватили власть в городе. Переворот сопровождался неслыханными зверствами. В городе вырезан был целый мусульманский квартал; число жертв не было зарегистрировано, но по официальным сведениям азербайджанского правительства, вероятно несколько преувеличенным, армяне вырезали в Баку и Шемахе 10 тысяч татар. У власти стал совет, преимущественно из дашнакцанов, во главе с Шаумяном. Небольшие части армян и русских фронтовиков прикрыли город со стороны Елизаветполя.

Между тем во второй половине июня в Баку прибыл партизанский отряд полковника Лазаря Бичерахова силою в $1^1/_2$—2 тысячи человек. Отряд этот состоял на службе англичан, был хорошо вооружен и отлично оплачивался ими[1]. Бакинскому совету Бичерахов заявил, что он вне политики, ни к какой партии не принадлежит, признает советскую власть и будет поддерживать порядок. Части его выступили в Кюрдамирском направлении.

Но в последних числах июня Бичерахов снялся с фронта и отошел в северном направлении. В Баку, под влиянием военных неудач, произошел внутренний переворот при участии Бичерахова, причем большевистский совет был сменен полубольшевистским «центрофлотом». Через несколько дней в Баку прибыл и английский генерал Данстервиль с небольшим отрядом и военными инструкторами.

Правление центрофлота продолжалось немногим более месяца: 2 сентября 1-й турецкий корпус с Мурсал-пашой во главе опрокинул слабые части бакинцев и, вопреки требованию немцев, занял Баку. В городе повторились трагические сцены конца марта, но в обратном отражении: в течение трех дней татары производили страшную резню армян, причем правительство Армении определяло число погибших соотечественников в 25—30 тысяч человек.

Данстервиль поспешно, раньше других, уехал в Энзели. Бичерахов со своими партизанами и с армянскими отрядами двинулся на север, захватив свыше 100 миллионов рублей бакинской казны; при помощи канонерок овладел Дербентом и Петровском; основал в последнем эфемерное «Кавказско-Каспийское» правительство, преимущественно из социалистов-революционеров, и объявил себя «главнокомандующим войсками и флотом на Кавказе»[2]. Отряд его, сильно растаявший, с тех пор держал фронт на юг против

---

[1] После развала российского Кавказского фронта Бичерахов, бывший в корпусе генерала Баратова, организовал из охотников партизанский отряд и принял с ним участие в составе английской армии в боях в Месопотамии и северной Персии. Затем был направлен англичанами в Баку.

[2] Позднее титул командующего войсками был утвержден за ним «Верховным главнокомандующим» Уфимского правительства генералом Болдыревым.

турко-татар и на север против большевиков. Отношения у Бичерахова с англичанами совершенно испортились, в дальнейшем снабжении его они отказали, и Бичерахов вновь заявил, что борется только против турок, в гражданской войне участия не принимает и «готов блокироваться с большевиками»[1].

Между тем Азербайджанское правительство вступило в Баку, и хан Хойский от «имени нации» выражал торжественно благодарность турецкому командованию. «Событие это, — говорил правительственный официоз[2], — открывает самые широкие перспективы... для всего мусульманского мира. В этой борьбе на весы было брошено самое дорогое — честь и слава тюркского племени».

«Народ ликовал».

Через два месяца быстро меняющаяся кинематографическая лента Закавказья покажет нам другую картину: «ликующий народ» будет встречать английскую флотилию и войска генерала Томсона...

* * *

В то время как закавказские народы в огне и крови разрешали вопросы своего бытия, в стороне от борьбы, но жестоко страдая от ее последствий, стояло *полумиллионное русское население* края, а также те, кто, не принадлежа к русской национальности, признавали себя все же российскими подданными.

Попав в положение «иностранцев», лишенные участия в государственной жизни[3], преследуемые подчас подозрительностью молодых, не воспринявших еще ни традиций, ни достоинства правительств, под угрозой суровых законов о выселении, лишении имущественных прав, о «подданстве» и наборе, допускавшем возможность братоубийства, русские люди теряли окончательно почву под ногами

---

[1] Из доклада генерала Гришина-Алмазова, посетившего в Петровске Бичерахова.

[2] «Азербайджан».

[3] В Азербайджане впоследствии, под давлением английских оккупационных властей, русские представители в ограниченном числе входили в состав правительства и парламента.

и запутывались в противоречиях, выдвигаемых бурно кипящей жизнью Закавказья.

Я не говорю уже о моральном самочувствии людей, которым закавказская пресса и стенограммы национальных советов[1] подносили ежедневно беззастенчивую хулу на Россию и повествование о «рабстве, насилиях... притеснениях... о море крови, пролитом свергнутой властью»... Их крови, которая ведь перестала напрасно литься только со времени водворения на Кавказе «русского владычества».

Отношение к русским проявлялось не везде в одинаковой форме. В районах турецкой оккупации (Батум, Карс, Ардаган) русского населения осталось мало: из страха перед турецким нашествием крестьяне бросали свои насиженные места и хозяйства, рабочие и городское мещанство — свои пожитки и заработок, и вся эта волна беженцев текла на север. Брошенное добро их частью расхищалось мусульманским населением, частью реквизировалось турками. Остались на местах главным образом буржуазия и служилый элемент. К ним турецкие власти отнеслись внешне предупредительно, по существу — безучастно, но терпимо.

Немцы проявили к русскому населению подозрительное и сдержанное отношение, не оказывая прямого вмешательства в судьбы его и лишь воздействуя в смысле укрепления центробежных стремлений на местные правительства. Это воздействие проявлялось скрытно, осторожно, не возбуждая резко русской общественности. Характерно, что в массе горьких жалоб и обличений, стекавшихся осенью 1918 года к командованию Добровольческой армии, меньше всего было относившихся к германской оккупационной власти...

В Армении к русским относились более доброжелательно, чем в других новообразованиях. Бедный своей интеллигенцией и техническими силами край пользовался охотно русскими работниками и в частности привлекал русское офицерство в ряды своих войск. Правительство, выдерживая официально тон сепаратной фразеологии,

---

[1] В Армении — только как редкое исключение.

вместе с тем устами одного из своих министров конфиденциально передавало: «Политика Армении благоприятна России, включительно до положительного разрешения вопроса о воссоединении с Россией; если бы в силу внешних обстоятельств правительство Армении и оказалось вынужденным делать официальные заявления другого характера, министр предлагает рассматривать эти заявления как *вынужденные*»[1]. Жалобы на притеснения армян стали поступать лишь позднее, когда вернувшиеся в районы бывшей турецкой оккупации с севера русские беженцы нашли свои пожитки и земли в армянских руках.

В Азербайджане, невзирая на яркое туркофильство правительства, русский элемент не подвергался гонению. Правительство края, так же как и Армения бедного культурными силами, не оказывая никакой помощи впадшим в крайнюю нужду русским людям, занесенным обстоятельствами в пределы края, не лишало, однако, должностей и работы тех, кто желал найти здесь применение своим силам. Только вдали от центра, особенно в Шушинском уезде и на Мугани, пронеслась кровавая волна, поднятая мусульманским фанатизмом и, главным образом, наступившим *безвластием*. Оттуда раздавались стоны и вопли о помощи, оттуда бежали толпы несчастных русских людей на север. Правительство хана Хойского, казалось, не проявляло интереса к этим событиям, а может быть бессильно было устранить их.

Совершенно иначе обстояло дело в Грузии.

Правительство бывших российских социал-демократов, внесших во внешнюю политику и тактику Российского совета солдатских и рабочих депутатов столь яркие идеи интернационализма, теперь задалось целью вытравить всякие признаки русской гражданственности и культуры в крае — прочно, «навсегда» прежде всего, путем устранения из Грузии русского элемента. Целый ряд законодательных актов и административных распоряжений прямо или косвенно преследовал эту идею: принудительное подданство, правовые ограничения, аресты, выселения, набор, наконец, «национализация» — языка, школы, учреждений. Десятки тысяч русских служилых людей и просто трудовой демократии, работавших в государственных и общественных учреждениях, на железной дороге, почте, телеграфе и т. д., были заменены грузинами и буквально выброшены на улицу. Стекавшиеся со всего Закавказья в Тифлис, как военно-административный центр края и фронта, служилые люди попадали в отчаянное, безвыходное положение, в особенности семейные.

[1] Управляющий министерства иностранных дел Мелик-Каракозов. Доклад представителя закавказского отделения кадетов Тер-Карапетова.

Грузинское правительство, захватив в свое распоряжение почти все миллиардное имущество Кавказского фронта, большие кредиты и денежную наличность центральных краевых учреждений, расформировываемых войск и военных управлений, не сочло себя обязанным произвести справедливую безболезненную ликвидацию русского наследия. Вопрос, о котором подумал — пусть даже в целях агитации — Совет комиссаров, препроводивший в 1918 году в Тифлис 30 миллионов рублей «на ликвидацию личного состава государственнослужащих».

Ликвидация денежной и материальной части шла беспорядочно, часто хищнически. В отношении личного состава служащих правительство ограничилось лишь назначением ничтожного ликвидационного пособия от 250 до 1000 рублей, выдача которого, однако, всемерно задерживалась и в конце концов свелась, словно в насмешку, к замене денег кредиторскими свидетельствами на получение известной суммы из «кредита Российского государства»... Советского?

Новый поток обездоленных, голодных, нищих людей двинулся к портам Черного моря и по Военно-грузинской дороге, унося с собою горячую ненависть к Грузии и грузинам. В сознании этих людей оскорбление и унижение русской государственной идеи несомненно сливалось и переплеталось с личным горем и обидами. Их возмущение было искренне, их психология несложна и понятна; она передавалась всецело русскому обществу по ту сторону кавказского хребта.

Имело ли отношение, проявленное грузинским правительством к России, основание в народных настроениях?

Я не буду останавливаться на обильном материале, поступавшем по этому вопросу к Добровольческому командованию из русских источников, — быть может, несколько пристрастных; приведу мнение туземца, не связанного с правительством, но не оторвавшегося от народа.

«Вопрос этот слишком касается всех русских и потому изложить его беспристрастно очень трудно... В создании ненависти грузин к русским играло роль желание народа зажить спокойно и устраниться от русской анархии... Быть может, и то, что некоторые круги грузинского общества с целью разогревали страсти населения против русских, указывая, что Россия — поработительница, Россия — угнетательница грузинской культуры и самобытности»... Что психология «юноши, только что вышедшего из детского возраста», свойственна и народу, «который, начиная жить самостоятельно, ревниво оберегает собственное достоинство и боится, чтобы кто-либо как-либо не обидел его страну»... Докладчик уверял, что «массового преследования русских не было» и что «тот узкий шовинизм, который был у большинства грузинского народа вначале, постепенно начал слабеть, и население (стало) лучше относиться к русским, жалея, что связь с Россией как бы временно порвалась»...

Интересы русского населения в Закавказье защищали возникшие повсеместно национальные организации[1]. Избрание их было далеко не правомерно. Взаимная связь относительная — по крайней мере, центральный орган («Русский национальный совет» в Тифлисе) не пользовался никаким авторитетом среди прочих. Силы распылялись: в Тифлисе, например, одновременно существовали враждебные друг другу «Русский национальный совет», «Славяно-русское общество на Кавказе», «Закавказская Русь»; «Славяно-русское общество» соперничало в Баку с местным «национальным советом». Политическая окраска организаций была весьма разнообразна — от социалистической («Русский национальный совет» в Тифлисе[2]) до крайней

[1] Сочи, Гагры, Сухум, Поти, Батум, Тифлис, Эривань, Баку и Карс.

[2] Председатель Ф. Лебедев, большинство членов — социалисты-революционеры.

правой («Закавказская Русь»). Также различно было отношение их к основному вопросу русской государственности: Тифлисский совет, например, содействовал широко эвакуации русского элемента из Закавказья, в то время как другие организации удерживали его всемерно на местах, считая государственно вредным такой полный разрыв, хотя бы и временный, с Закавказьем. Тифлисский совет стоял на почве соглашательства с большевиками, имел сношения с советской властью через Владикавказ и даже до сентября признавался Грузией как «представитель Российского советского правительства»; «Славяно-русское общество» относилось примирительно к временной самостоятельности новообразований и послало впоследствии своих членов в состав Азербайджанского министерства; другие организации считали такое направление изменой русским интересам.

Словом, в русской общественности по обыкновению произошел раскол, разделивший силы и средства и ослабивший политическое и моральное влияние ее. Тем не менее было бы несправедливым отрицать большую и полезную работу этих организаций, направленную на охрану личных и имущественных прав «российских подданных», устроению их быта, удовлетворение культурно-просветительных потребностей, наконец — на общественную благотворительность. Среди тяжелой, подчас унизительной обстановки, обладая скудными материальными средствами, они поддерживали и русских людей, и русскую идею.

Весьма сложный сам по себе вопрос бытия народов закавказской мозаики получил уродливое направление благодаря воздействию трех крупных факторов — русского большевизма, турецкого панисламизма и германского империализма. Воздействию временному и преходящему. Было бы поэтому слишком рискованным на основании событий и фактов этого периода, равно как и последующего[1], делать окончательное заключение *об истинном от-*

[1] Влияние «Вооруженных сил Юга России», Советской России и Англии.

ношении племен Закавказья к русской государственности и русской культуре.

Эти неизмеримые ценности поставлены были судьбою перед страшно тяжелым испытанием. Оно приняло масштаб всероссийский, косвенно — всемирный, в котором судьбы Закавказья — только деталь. Больное время родит больных людей и больные идеи. До сих пор длится еще состояние распада, в котором не могли наметиться будущие формы государственной связи закавказской окраины с Россией.

Верую, что связь эта выдержит испытание и не порвется.

ГЛАВА VIII
ДОН: ВНУТРЕННЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА С БОЛЬШЕВИКАМИ

«Круг спасения Дона» открылся в Новочеркасске 28 апреля 1918 года.

К этому времени только небольшая часть Донской области была освобождена от большевиков[1]. Составленный из представителей станиц и казачьих ополчений, главным образом ближайших к Новочеркасску, Круг не мог претендовать на большую авторитетность. Тем более что состав его был случайный и совершенно неинтеллигентный. Не разбираясь в тех серьезных вопросах, которые предлагались на его усмотрение, находясь все время под впечатлением страха за участь своих станиц, которым угрожали со всех сторон красногвардейцы, работая под гул орудийных выстрелов, доносившийся до Новочеркасска, Круг думал только об одном — спасении от большевиков. И покорно утверждал положения, вносившиеся председателем Круга есаулом Яновым, командующим войсками полковником Денисовым и генералом Красновым.

[1] Северная часть Черкасского и Ростовского округов, южная часть Донецкого и почти весь Верхне-Донской.

Тем не менее то единодушие, которое проявлено было членами Круга в годину бедствия, имело объективно важное и положительное значение: Круг создал сильную власть, дав ей нравственную опору и до некоторой степени легальный титул.

В заседании своем 3 мая «Круг спасения Дона» признал за собою учредительные функции («всю полноту верховной власти») и в тот же день избрал атаманом[1] генерал-лейтенанта Краснова, до тех пор недоверчиво относившегося к казачьему движению и упорно отказывавшегося принять участие в борьбе на Дону.

Круг постановил[2]:

1. «Власть управления войском во всем ее объеме принадлежит Войсковому Атаману в пределах всего Всевеликого[3] войска Донского.

2. Впредь до издания и обнародования новых законов Всевеликое войско Донское управляется на твердых основаниях Свода законов Российской империи... Все декреты и иные законы, разновременно издававшиеся как Временным правительством, так и Советом народных комиссаров, отменяются.

3. Условия приобретения гражданства Всевеликого войска Донского, равно как и прав казачества, а также утрата их определяются законом»[4].

Установив вместе с тем, что положение это временное, «впредь до созыва Большого войскового круга, каковой должен быть созван... не позже двух месяцев по окончании... сессии Круга спасения Дона», Круг, ***в семь дней*** закон-

[1] 107 голосов против 13 при 10 воздержавшихся.

[2] Из «основных законов», предложенных Кругу генералом Красновым в качестве обязательного условия принятия им атаманства.

[3] Историческое происхождение этого титула, восстановленного генералом Красновым, опорочивалось знатоками донской старины, указывавшими, что в допетровских грамотах это наименование писалось «Все великое войско Донское».

[4] Дон не пошел на «принудительное подданство», к чему стремились Украина и Грузия.

чив рассмотрение временной донской конституции, 5 мая разъехался.

В управление областью вступил атаман Краснов, единолично и безраздельно осуществлявший власть до середины августа, то есть до созыва Большого круга. Правил властно, с большой энергией и не разбирая средств, проявляя недюжинные административные способности и твердость воли. Назначенное им правительство («совет управляющих») состояло из лиц случайных, не связанных общей политической программой, — по убеждениям правых, по интеллектуальным данным в большей части не возвышавшихся над уровнем губернского чиновничества. Во всяком случае, правительство это заслоняла собой всецело фигура самого атамана.

Местные кадеты и более левые группы в правительство не вошли. Глава донских кадетов Н. Парамонов, поддержанный Милюковым, жившим тогда в Ростове, получив соответственное предложение, потребовал в качестве необходимого условия вхождения личного и своих единомышленников в правительство — устранения нескольких наиболее одиозных его членов. На этой почве произошел разрыв, и Парамонов 20 июня в резкой форме заявил окончательно атаману, что ни он, ни его друзья по партии с ним работать не будут.

Донской власти предстояло приступить к государственной работе в условиях необыкновенно тяжелых.

* * *

Главным фактором, определившим направление и развитие донских событий, была немецкая ориентация.

25 апреля войска генерала фон Кнерцера вошли в Ростов; в начале мая после двукратного наступления и серьезного боя с большевиками они овладели Батайском; затем силами в 3 пехотных дивизии и 2 кавалерийских бригады немцы заняли западную и северную части Донецкого бассейна, в том числе более четверти Донской области, по внешней линии Мариуполь—Бахмут—Миллерово (авангард у Кантемировки)—Белая Калитва. Немецкие гарнизоны стояли в Таганроге, Ростове, Каменской, временно в Лихой, Зверево и др. пунктах.

Первоначальная цель немецкой оккупации в пределах Дона была чисто экономическая: «Главнокомандующий Восточным фронтом утверждал, что без донецкого угля станут украинские железные дороги. И Ставка волей-неволей согласилась на оккупацию этой части Украины и на выдвижение к Ростову»[1] ... Позднее, однако, помимо новых экономических перспектив, открывшихся в просторах Дона и Кубани, перед немецким командованием встал тревожный вопрос о создаваемом союзниками на Волге «Восточном фронте». Задача фон Кнерцера расширилась поэтому необходимостью создания политически и стратегически выгодных условий для противодействия новому фронту.

Немецкие дивизии, занимая линию более 500 верст, надежно прикрывали войско Донское с севера и запада — не своей численностью, конечно, а сохранившимся еще обаянием силы и договорными отношениями с советами. Прикрывали до тех пор, пока это входило в расчеты немецкой политики и допускалось мировым положением Германии.

Сообразно с фактической силой, которою располагали немцы на Дону, и без сомнения большим отпором, встреченным со стороны донского правительства, немецкая оккупация проявлялась здесь в формах значительно более умеренных, нежели на Украине. Тем не менее германское командование — в частности, представитель главной квартиры майор Кофенгаузен — оказывало сильное давление на внешние отношения Дона, на избрание атамана (сентябрь) и состав правительства. Немцы выкачивали усиленно донское сырье и хлеб, злоупотребляли реквизициями, наводнили край своей контрразведкой и преследовали не угодную им печать. На остальных сторонах жизни казачества влияние их не отражалось почти вовсе и, во всяком случае, не препятствовало борьбе Дона с союзниками немцев — большевиками.

Такие отношения вполне удовлетворяли атамана, который и ныне еще внушает мысль о высокой доброжелатель-

[1] Людендорф.

ности немцев к Дону в дни оккупации и о своем личном исключительном влиянии на взаимоотношения Дона с немецким командованием. Взгляд, страдающий большим преувеличением. Быть может, немецкие генералы, осевшие на Дону, проявляли большую дальновидность и солдатскую честность... но и они и атаман были лишь незначительными колесиками в механизме бездушной и беспринципной германской политики, бессильными изменить что-либо в общем ее направлении.

Мы видели и чувствовали это.

Передо мною свидетельство, не преломленное сквозь призму времени, — непосредственные переживания генерала Богаевского.

Уже самый подход к работе с немцами таил в себе большие трудности морального характера.

«Я завидую Вам, имеющему возможность не входить с ними ни в какие отношения, — писал мне Богаевский[1] 10 мая 1918 года. — Для нас это невозможно. И вот теперь — с риском проклятия и клички изменника — мы вынуждены иметь с ними дело, чтобы не погубить сразу слабые зачатки порядка на Дону»...

Потом, к осени, по мере установления реальных взаимоотношений, определилась и неприкрашенная сущность их:

«Эфемерные республики (вырастают) как грибы после дождя, на развалинах родины под «высоким покровительством» чужеземцев, дающих подачки одной рукой, а другой готовых каждую минуту всадить нож в спину в виде большевиков... И жестокая судьба заставляет вести политику при таких условиях, когда душа и сердце дрожат от унижения и обиды»[2]...

* * *

Первой заботой новой донской власти было создание армии.

Освобождение Дона являлось вначале результатом войны народной — партизанской, неорганизованной. Восставали против большевиков отдельные станицы под командой случайных начальников; соединялись иногда в более крупные отряды; выходили поголовно, когда станице угрожала непосредственная опасность, и расходились, когда она отдалялась; некоторые станицы и вовсе не принимали участия в борьбе. К началу мая в распоряжении атамана на маленькой еще освобожденной территории было 14 самостоятельных отрядов общей численностью в 17 тысяч бойцов, 21 орудие и 58 пулеметов.

Путем целого ряда мер, энергично проведенных, атаману удалось внести начала организации и некоторого порядка в эти нестройные ополчения. Была объявлена обязательная мобилизация в действующую армию 10 возрастных классов и в так называемую постоянную армию, формировавшуюся в районе Новочеркасска, — двух младших возрастов. Мелкие отряды сводились в полки и высшие соединения, подчиненные командующему армией, — должность, которая совмещалась в лице генерала Денисова с управлением военно-морским отделом (министерством). Приняты были радикальные меры по привлечению в армию донских офицеров, из которых многие, «за дни господства большевиков настолько глубоко пережили стадии своего морального унижения, что изверились в искренности казаков и, не веря в успех дела, постарались остаться в стороне»[1]. Для подготовки и усовершенствования офицеров восстановлено Новочеркасское военное училище, организована офицерская школа, созданы уставы; в «постоянной армии» кроме обучения введено и воинское воспитание, и т. д., и т. д.

Особенно тяжело стоял вопрос снабжения Донской армии, ввиду разоренности края и разобщенности с соседними районами. По-прежнему главными источниками снабжения служила военная добыча и не оскудевшие личные запасы домовитых зажиточных казаков. В отношении боевых припасов, которые ненасытное чрево войны пожирало в огромном количестве, явился еще другой источ-

[1] Министр иностранных дел («управл. отделом») в правительстве Краснова.

[2] Из письма генерала Богаевского в Киев.

[1] Из отчета начальника военного и морского управления к 1 августа 1918 года.

ник — мена с германцами, овладевшими богатыми русскими военными запасами на Украине и теперь продававшими их за шерсть, хлеб и скот Дона и Ставропольской губернии. К 1 августа склады Новочеркасска числили в приходе следующую материальную часть[1]:

Приход	Орудий	Пулеметов	Ружей	Снарядов	Патронов
			в тысячах		
Захвачено казаками к началу мая	16	79	14	7,6	4322
Получено от немецких властей и Украины	25	79	11,7	119	13917

В результате к августу, ко времени созыва Большого круга, в действующей армии, разделенной на 6 групп, числилось 39 тыс. бойцов, 93 орудия, 280 пулеметов. В «постоянной армии», не двинутой еще на фронт, — 14 тыс. бойцов, составлявших гордость и надежду Дона. Наконец, имелась и небольшая военная флотилия из десяти речных судов.

Какова же была боевая и моральная ценность Донской армии?

Один из москвичей делился впечатлениями, вынесенными им с Донского круга: «Ораторы льстили им (депутатам круга), превознося без меры «Всевеликое войско Донское», — казаки падки на шумиху и самопревозношение»... Донской демагог, социалист, ныне большевик П. Агеев, говорил даже о необходимости «духовного оказачения русского народа»...

Эта маленькая казачья слабость, не чуждая, впрочем, до некоторой степени и неказачьей военной среде, зачастую заслоняла истинную сущность событий и приводила людей непосвященных в недоумение при тех разительных колебаниях — от молниеносных успехов до глубокого падения, — которые испытывал донской фронт.

[1] Из отчета к 1 августа.

Все бывало. Привязанность к «родным станицам» и восприятие Родины в пределах... станичного юрта, дальше которого не простиралось желание бороться; иногда более или менее ясное сознание интересов Донской области и казачества; наконец, весьма смутное представление о Родине в широких, всероссийских рамках — отчасти в силу общего недуга русского народа, отчасти потому, что казачьи верхи опасались внушать чувство «русского патриотизма» не склонной к нему массе.

Была глубокая ненависть к большевикам и братание. Истинное стремление к подвигу и корысть. Высокий подъем и «утомление». Беззаветное мужество и «утечка». Преданность начальникам и дисциплина (не та, конечно, что проводилась новочеркасскими уставами, а значительно модернизованная гражданской войной и революцией, но все же дисциплина), и митингование полками и станицами, грабеж и неповиновение.

Генералы Краснов, Денисов и другие начальники употребляли чрезвычайные усилия, чтобы вовлечь казаков в борьбу, и боролись с неустойчивым настроением армии. Иной раз, однако, способами весьма рискованными. К числу их нужно отнести два — чисто морального свойства, — имевшие особенно печальные результаты: поддержание казачьего шовинизма и иллюзии. «До России нам дела нет» — эта мысль звучала нередко на фронте и на кругу, не встречая яркого, страстного отпора сверху. Фронт питался все время искусственными иллюзиями — сначала о всемогущей защите императора Вильгельма, потом о смене экзотическими «русскими» армиями[1], наконец о приходе союзных дивизий. Жить долго в состоянии экзальтированной мечты нельзя. Казаки будут ждать осуществления ее сначала спокойно, потом с буйным нетерпением, пока, наконец, не решат:

— Обман!

И тогда бросят фронт.

Все сильные, величественные стороны кровавой борьбы Дона и все слабые, теневые, имели источником своим

[1] Южная, Астраханская, Саратовский корпус...

одно положение: *Донской армии по существу не было; был вооруженный народ.* Точнее, *вооруженный класс,* так как казачество составляло лишь около половины населения области.

Эта истина сознавалась и вождями донского казачества, но высказывалась громко только в трагические минуты его существования. Так, 1 февраля 1919 года, когда фронт быстро катился назад, угрожая падением Дона, генерал Краснов взволнованно говорил Большому кругу:

— Ведь у нас нет полков старого времени: у нас вооруженный народ, толпа. Она поддается настроению, идет вперед... И когда повернула назад, то ее трудно остановить... Но у меня нет осуждения казакам — я знаю, что мы дошли до последнего.

Это была правда: донское казачество напрягало большие усилия, разорялось и обескровливалось в борьбе, которой не видно было конца.

* * *

К лету 1918 года стратегическая обстановка Донской армии слагалась весьма благоприятно. Западные рубежи области прикрывали немецкие войска, а с юга — Добровольческая армия; в самой донской армии царил большой подъем. Наступление в северо-восточном направлении против Южного фронта большевиков[1] шло поэтому с большим успехом.

К началу мая большевистские силы, занимавшие Донскую область, располагались в четырех крупных группах:

1. В центре железнодорожной линии Поворино—Царицын	7 тыс., 18 орудий
2. Вдоль железной дороги Лихая (от Белой Калитвы)—Царицын	18 тыс., 60 орудий
3. Вдоль железной дороги Торговая—Царицын	16 тыс., 32 орудия
4. Азовская группа против немцев, донцов и Добровольческой армии	30 тыс., 90 орудий
Всего	71 тыс., 200 орудий.

[1] Главнокомандующий южным фронтом большевиков бывший генерал Павел Сытин.

Началось последовательное очищение области от большевиков.

В мае соединенными усилиями отрядов генералов Фицхелаурова (8—10 тыс. при 11—81 орудии[1]) и Мамонтова (8—12 тыс. при 7—32 орудиях), общей численностью около 17 тыс. и 18 орудий, после многодневных боев вторая группа Красной гвардии, сдавленная с севера и юга, была разбита и отброшена за реку Лиску. В то же время восставшие казаки северных округов прогнали от себя большевиков, освободив весь район до железной дороги Поворино—Царицын. Таким образом, восстановлена была сплошная территория и связь севера с центром.

В июне Добровольческая армия взяла Торговую и Великокняжескую и передала освобожденный район по реке Маныч донцам, продвинувшимся до станции Зимовники. В начале месяца соединенными усилиями отряда полковника Дубовского, речной флотилии и ополчений прибрежных станиц был очищен от большевиков левый берег среднего Дона и восстановлено судоходство и связь между отрядами от Аксая до Чира.

В июле Добровольческая армия, разбив южную группу большевиков и овладев Тихорецкой, вышла в тыл Азовской группе противника, заставив ее поспешно бежать к Екатеринодару. Азовское побережье было очищено, весь юг области освобожден и обеспечен, и Новочеркасск избавлен от нервирующей угрозы близости большевиков. А на севере казаки Усть-Медведицкого округа, прельстившись обещаниями своего сородича, бывшего войскового старшины Миронова, состоявшего на службе у большевиков, после бурных митингов частью отошли за Дон, частью перешли на его сторону. Генералу Денисову пришлось напрячь чрезвычайные усилия. Сняв с Чирского фронта более прочные войска генерала Фицхелаурова, он перебросил их на север. Пройдя 100 с лишним верст, в пятидневном бою Фицхелауров разбивает Миронова и отбрасывает большевиков за линию Грязе-Царицынской же-

[1] Отряды постепенно пополнялись и прибавлялась артиллерия, захватываемая в боях.

лезной дороги. После этого его отряд и хоперское ополчение, дравшееся севернее, дошли до границ Саратовской губернии. Часть сил Фицхелаурова продвинулась к Царицыну до станции Качалино, в то время как генерал Мамонтов после кровопролитных боев, преследуя остатки 1-й и 3-й советских армий, находившиеся под начальством унтер-офицера Тулака (вторая группа), подошел почти вплотную к Царицыну с запада, вызвав в городе неописуемую панику. Тулак, отличавшийся зверским обращением с подчиненными, был убит красноармейцами и похоронен ими с большими почестями.

Таким образом, к началу августа вся Донская область, за исключением пяти восточных станиц, была освобождена от большевиков.

Собравшийся 15 августа Большой круг «прежде всего вспомнил «родных защитников» и выразил надежду на близость того дня, «когда сердца всех детей Дона вознесутся в горячей благодарной молитве за полное избавление его земли от предателей, и тогда с легким свободным вздохом они скажут вам — спасибо, родные страдальцы»...

А Россия?

О ней говорилось конкретно только в послании... на Кубань, которая «совместно с Доном борется за возрождение нашей великой мученицы — родины». Надо же было сдвинуть кубанцев от «родных хат» хотя бы к северным рубежам Дона...

• • •

Таким же быстрым темпом шла работа атамана и правительства по восстановлению разрушенной большевиками донской жизни.

Со дня опубликования «основных законов» донского новообразования атаман вполне отчетливо определил свою политическую программу: возвращение к положению, существовавшему до февральской революции. В этом направлении шла работа всех отделов в области устроения края, восстановления учреждений, социальной и экономической политики. Не связанные, однако, единством политических взглядов, министры вносили нередко ноту диссонанса в общую монолитную картину реставрации.

Так, начальник отдела торговли и промышленности Лебедев признавал «право экономической борьбы рабочих с капиталом», поощрял бытие профессиональных союзов и «здоровой рабочей печати», в то время как начальник отдела внутренних дел Корнеев «душил» и рабочих, и союзы, и всякую печать. Отдел юстиции восстанавливал либеральные законы Временного правительства об «отмене административных гарантий», замене «особых присутствий с участием сословных представителей» судами присяжных и т. д. Отдел народного просвещения «в согласии с постановлением Временного правительства» разрабатывал автономию высшей школы и пошел даже дальше, введя выборное начало для замещения должностей по учебному ведомству.

Молодая «республика» стремилась облечь себя в покровы самостоятельной государственности и по форме, и по содержанию. Так, Лебедев, «с отделением Донской области от России» и «принимая во внимание предстоящую жесточайшую мировую борьбу по завоеванию рынков сбыта», считал необходимым уделить исключительное внимание и средства на создание новых отраслей промышленности, притом в наиболее совершенном техническом оборудовании»[1]. Карелин (начальник отдела путей сообщения) ставил ближайшей задачей постройку Волго-Донского и соединяющего Северный Донец с Днепром каналов. Это в крае, взбаламученном до дна; на территории, переходящей из рук в руки; при отсутствии сил и средств и при пустой казне[2].

Первый отчет управления финансами умерил, однако, эти грандиозные масштабы. Он выяснил, что доходы области покрывают лишь 46% расходов, что $57^1/_2$% расходов должны идти на армию и что единственным постоянным рессурсом казны является печатный станок, выбросивший до 15 июля 101 миллион бумажных знаков.

[1] Из отчетов к 1 августа.

[2] На первое полугодие расходная смета 400 миллионов, доходная — 198.

Как бы то ни было, обывательская жизнь области начинала входить в норму, создавая мало-помалу условия внешнего порядка, безопасности и хозяйственного благополучия. А жизнь Ростова и Новочеркасска — типичного тыла трех армий Донской, немецкой и Добровольческой — била ключом в нездоровой атмосфере чудовищной спекуляции, наживы, политического шантажа и вызывающей роскоши.

Иначе обстоял вопрос с «иногородними» — неказачьим населением области, преимущественно крестьянским. Первое правительство Янова, чувствуя себя еще слабым, обратилось к населению с «призывом», в котором обещан был одновременно с созывом Большого круга и съезд неказачьего элемента области «в целях полного объединения всего населения». Но калединский «паритет» пугал Краснова; в массе иногороднего населения большевизм был далеко еще не изжит и только притаился перед силой; Ростовская и Таганрогская думы стали в отношения, явно отрицательные к казачьей власти. Участие поэтому иногороднего элемента в государственном строительстве атаман признал невозможным. Но этим дело не ограничилось. По всему краю, как отклик перенесенных бедствий, вспыхнуло ярко чувство мести к большевикам, которыми казаки искренне считали всех иногородних — крестьян и рабочих. Оно проявлялось не только в некультурной массе казачества произволом и дикими самосудами, но и в политике управления внутренних дел, в практике администрации, в работе полиции и знаменитых карательных отрядов Икаева и Судиковского, «наводивших ужас и панику на население»[1], в деятельности «Суда защиты Дона» и полевых судов.

Начальник отдела внутренних дел Корнеев, поддержанный атаманом, пользовавшийся расположением немцев и встречавший острую враждебность со стороны донской общественности и даже самого правительства, в сознании «правоты» своего курса не оправдывался, когда давал отчет Большому кругу, встретившему его также враждебно. Он говорил:

[1] Из доклада комиссии Круга.

— Мы — казаки. У нас своя голова на плечах. Не московским воробьям учить донских орлов. Я сам природный казак, во мне говорит алая казачья кровь. Мы с вами рождены из одного теста. Я придерживался и буду придерживаться чисто казачьего курса.

Эта внутренняя борьба изнуряла в свою очередь казачество, создавая в области нездоровую атмосферу озлобления и поддерживая большевистские настроения.

Наконец, вопрос политической идеологии...

Правительство Дона ее не имело или, по крайней мере, ее официально не высказывало. Термин «демократическая республика» чаще других проскальзывал в речах управляющих. Чувства атамана, впрочем, не были секретом. Баян династии и режима до 1917 года[1], он, очевидно, не изменил своим привязанностям и теперь. Но идея монархизма была тогда крайне непопулярной в среде казачества, и атаман говорил о ней туманно, поэтическими образами, в которые можно было вложить какое угодно содержание. А в то же время атаманский официоз «Донской Край», который редактировался И. Родионовым, наряду с казачьим шовинизмом проводил идеи ультрамонархизма и мрачной реакции, по словам докладчиков Круга производившие на фронте, куда листок посылался в большом числе экземпляров, впечатление, «худшее, нежели всякая большевистская прокламация».

Словом, на Новочеркасском политическом горизонте было не ясно: не то царь, не то республика. Не то «царь на Москве, а атаман на Тихом Дону».

ГЛАВА IX
ДОН: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

«Внешние отношения вел сам атаман. Я был простым исполнителем его указаний». Так говорил управляющий отделом иностранных дел генерал Богаевский.

[1] Многолетний сотрудник официального военного органа «Русский Инвалид».

Вряд ли история с точки зрения русской национальной идеи осудит генерала Краснова за то, что он в 1918 году признал Дон «не воюющей» против Германии стороной, воспользовался обеспечением немцами западных рубежей области и приобретал через их посредство военные запасы бывшего русского Юго-западного фронта. В тогдашнем положении Дона другого выхода не было, а силы и военно-политическое положение Германии вынуждали ее удовлетвориться вполне таким односторонним нейтралитетом и экономическими выгодами своеобразного товарообмена — русских патронов на русский хлеб.

Но генерал Краснов пошел гораздо дальше, исходя из двух предпосылок, оказавшихся глубоко ошибочными: предвидения победы немцев в мировой войне и возможности существования самостоятельного «Донского государства» среди бурного русского океана, заливающего со всех сторон красной волной Донскую землю.

На другой же день после своего избрания атаман Краснов обратился с письмом, «как равный к равному», к императору Вильгельму. Текст этого первого письма не был известен командованию Добровольческой армии, но вскоре мы получили копию инструкции, данной атаманом послу своему генералу Черячукину, посланному в начале июня на Украину, а также второго письма, отправленного 5 июля германскому императору. Сущность последних двух документов, почти тождественных по содержанию и определявших основы всей донской политики, сводилась к следующим положениям.

Вильгельм должен был:

1. «Признать право Всевеликого войска Донского *на самостоятельное существование,* а по мере освобождения... — и всей федерации, под именем Доно-Кавказского союза»[1]. На создание его *«согласие всех держав имеется* (?) и вновь образуемое государство... решило не допускать, чтобы земли его стали ареной кровавых столкновений».

[1] Кубанское, Астраханское, Терское войска, калмыки Ставропольской губернии и народы Северного Кавказа.

2. Включить в границы войска по соображениям «географическим и этнографическим» Таганрогский округ и «по стратегическим» — Лиски, Воронеж, Поворино, Камышин и Царицын.

3. «Оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого войска Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов Красной гвардии и дать возможность *восстановить нормальные, мирные отношения между Москвою и войском Донским.*

4. Помочь «молодому государству» орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом и... устроить в пределах войска Донского заводы для боевого снабжения.

За услуги «Его Императорского Величества» генерал Краснов обязался:

5. «Всевеликое войско Донское (будет) соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и *не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы,* на что дали свое согласие и атаман Астраханского войска, и Кубанское правительство, а по присоединении (?) и остальные части союза».

6. Предоставить Германии «право преимущественного вывоза» в обмен на немецкие фабрикаты и «особые льготы на помещение (германских) капиталов» в донские предприятия.

Все письмо было составлено в тоне верноподданности, глубоко обидном для русского национального самолюбия, в отношении державы, *продолжавшей* с необыкновенным цинизмом играть судьбами России. А одна его фраза ударила особенно сильно по чувствам офицерства русской армии: «Тесный договор сулит взаимные выгоды, и *дружба, спаянная кровью на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами»...*

Прежде всего нас удивило обращение атамана от имени *«Доно-Кавказского союза»,* которого фактически никогда не существовало[1].

[1] Образованный при Каледине «Юго-Восточный союз», как известно, в начале 1918 года распался.

Идея этого союза пришла одновременно с двух сторон — из верхов казачества и от немецких властей Киева.

В заключенном еще между 9 и 24 мая «соглашении» между Доном и Кубанью ближайшей задачей обеих сторон признана была борьба с большевиками, имевшая целью «восстановление на территориях Дона и Кубани твердого государственного порядка», дальнейшей — *«обеспечение на будущие времена политической и экономической свободы и независимости народов, населяющих Донскую и Кубанскую области»*. «Дабы ныне разрозненные части России могли явить более могущественную политическую силу», признано было также необходимым «создание на юге России прочного государственного образования на федеративных началах». Этот договор заключал еще одно удивительное положение, нарушавшее все принципы военного дела, возвращавшее нас к австрийскому «гофкригсрату» и косвенно ставившее Добровольческую армию в невозможное положение. «Правительства (Дона и Кубани) учреждают совместные советы, которым предоставляется право разработки плана борьбы с большевиками и анархией на территории Дона, Кубани и смежных с ними областей и губерний, а также общее руководство военными операциями в смысле определения общих и даже частных заданий для отдельных армий»...

Это был единственный договор Кубани с Доном. Заявления генерала Краснова императору Вильгельму о «согласии *всех* держав» на бытие «Доно-Кавказского союза» и о решении «не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дало свое согласие Кубанское правительство», оказались неправдой. После опубликования знаменитого письма к Вильгельму, Кубанское правительство сочло себя вынужденным издать официальное сообщение (2 сентября), которое по первому вопросу устанавливало, что «никаких других договоров (кроме заключенного 9—24 мая) ни письменных, ни словесных заключено не было» и что поэтому «Доно-Кавказский союз» не может считаться существующим». По второму вопросу — что «никаких обязательств на себя Кубанское правительство не принимало и никого не уполномочивало от его имени делать какие-нибудь заявления»...

11 июня в Новочеркасск прибыли из Киева с особой миссией герцог Н. Лейхтенбергский — одно время выставлявшийся немцами в качестве кандидата на русский престол; известный по «корниловскому делу» Иван Добрынский, состоявший в особых отношениях с немецкой контрразведкой[1]; некто полковник князь Тундутов — человек крайне ограниченного развития, объявивший себя атаманом Астраханского войска на том основании, что состоял раньше помощником Астраханского атамана.

Тундутов добился какими-то путями приема у императора Вильгельма и, вернувшись из Берлина, стал распространять слухи о своем большом влиянии, которым он пользуется у немцев. Поделился и беседой своей с императором, который между прочим сказал ему следующее:

— Славянский вопрос нам надоел. Поэтому знайте, что никакой «Единой России» не будет, а будет четыре царства: Украина, Юго-Восточный союз, Великороссия и Сибирь. Мы отлично знаем, что у вас в Киеве думают, что вы присоедините к Киеву все остальное и таким образом объедините Россию. Пожалуйста, передайте там, что мы это знаем, что мы этого не желаем и не допустим.

Эта тирада получила широкое распространение, попала и в печать, но немецкое командование, вообще очень ревниво относившееся ко всем сведениям, касавшимся Германии, не опровергло ни факта приема Тундутова императором, ни заявлений последнего. Это произвело на Юге большое впечатление[2].

---

[1] В 1920 году, оставшись на Кавказе после эвакуации белых, продолжал свою карьеру под фамилиями «Пшеславского» и «Святогора» в качестве платного провокатора Екатеринодарской «чрезвычайки». («Че-ка», издание центрального бюро социалистов-революционеров.)

[2] В своих воспоминаниях император Вильгельм подтверждает факт аудиенции, данной Тундутову, и придает серьезное значение его нелепым разговорам.

Позднее, в августе, существование немецкого плана «реконструкции» Российской державы подтвердилось и официально: Лизогуб[1], побывав в Берлине, получил уверения от министра иностранных дел Гинце, что Германия «благожелательно рассматривает перспективы федерации государств, расположенных на Востоке», и что «Украине, составляющей часть русской федерации, будет гарантирована ненарушимость верховных прав и свободы государства»[2]...

Тундутов и Добрынский предъявили Донскому атаману ноту германского командования в Киеве: 1) об образовании Юго-Восточного союза, 2) об удалении Добровольческой армии с территории Дона, разоружении ее или удалении германофобского командного состава, 3) о поддержке немцев на «Восточном фронте» против союзников. За выполнение этих требований немцы обещали военно-политическую и экономическую поддержку.

Посетивший в тот же день Краснова генерал Алексеев писал мне, что атаман весьма расстроен этим ультиматумом, и заявил, что «на началах, изложенных в ноте, он не может допустить образование Юго-Восточного союза со вхождением в него Донской области».

В отношении Добровольческой армии вопрос остался открытым. Обострение его, по-видимому, для всех заинтересованных лиц представлялось слишком опасным. Другие условия ноты оказались не столь неприемлемыми. По крайней мере Краснов писал тогда же генералу Эйхгорну:

«В настоящее время я занят подготовкой общественного мнения к активной борьбе с чехословаками, если бы последние вздумали перейти границы земли войска Донского... Если бы Вы помогли Донскому войску окрепнуть в полной мере, дав при этом определенное заверение, что по достижении сего германские войска будут выведены из пределов Донской области, тогда Вы могли бы быть уверены, что Донское войско, а за ним и весь Доно-Кавказский союз, Вам преданы, Вам благодарны и Вам никогда не изменят. Вы могли бы быть спокойны за Ваш тыл на Украине (?) и за Ваш правый фланг в том случае, если бы державы Согласия восстановили «Восточный фронт». Мы угрожали бы их левому флангу»[1].

[1] Председатель Совета министров Украины.

[2] Телеграмма Лизогуба гетману от 22 августа о результатах императорской конференции в ставке.

Достойно внимания, что в то же время генерал Краснов всемерно старался повернуть Добровольческую армию на север:

«С 15 мая я тщетно зову Добровольческую армию идти вместе с донскими казаками на север к Царицыну, Саратову и Воронежу — на соединение с чехословаками, если только они не миф, но Добровольческая армия или не хочет, или не может идти к сердцу России»[2].

Обсуждение организации союза между тем продолжалось — и у атамана с немецкими офицерами, и на заседаниях представителей Дона, Астрахани (?) и Кубани, под председательством генерала Краснова. Был составлен и проект «правительственной декларации Доно-Кавказского союза», в состав которого теоретически включали не только Черноморскую, Ставропольскую губернии и Терек, но и горцев северного Кавказа, Сухумский и Закатальский округа, с которыми не было никакой связи и о судьбе которых на Дону ничего не было известно.

21 июня в селении Песчанокопском, при подходе Добровольческой армии к пределам Кубани, на панихиду по убитому генералу Маркову собрались следовавшие при армии Кубанский атаман и правительство. Атаман сообщил мне, что его и председателя правительства генерал Краснов дважды телеграфно вызывал для подписания договора о Доно-Кавказском союзе. Я ответил:

— Против Доно-Кубанского единения и Доно-Кавказского союза в принципе ничего не имею. Но освобождать Кубань, чтобы она стала в вассальную зависимость от Германии, я не согласен. Если угодно — поезжайте. Но тогда

[1] Письмо было оглашено управлением отдела иностранных дел в закрытом заседании Круга и сообщено одним из официальных лиц командованию Добровольческой армии.

[2] Письмо генералу Алексееву от 8 сентября 1918 года № 172.

завтра же я сверну Добровольческую армию с екатеринодарского направления на Царицын».

С тех пор заседания генерала Краснова с двумя «правительствами» без «народов» хотя и продолжались, но не привели ни к каким результатам. По свидетельству кубанского представителя в Новочеркасске П. Макаренко, кубанцы под всякими предлогами уклонялись от окончательного решения вопроса и «вели двойную игру» — в Новочеркасске (П. Макаренко) и в Киеве (Рябовол) — о федерации с Украиной и Доно-Кавказским союзом, используя в своих интересах и Украину, и Дон.

Отношения Дона с Украиной сильно портил вопрос о Таганроге. В округе имелась всего лишь одна донская станица, но он давал угля вчетверо больше, чем вся Донская область (81%). Поэтому — как докладывал впоследствии Кругу генерал Богаевский — «Дон в этом уступить не мог... Представителям германского командования было твердо заявлено, что дело может дойти до войны (с Украиной)»[1]. Украина в свою очередь была заинтересована Таганрогом и Ростовом еще и как «мостом» на Кубань, где в кругах черноморских политиканов сильны были украинские течения. Под давлением немцев спор был разрешен в пользу Дона, и после этого между ним и Украиной завязались тесные политические и экономические отношения. Характерно, что и в этих «международных» договорах Дон обязывался не заключать союзов, могущих вредить Украине и *центральным державам*, и не оказывать помощи чехословакам.

Совершенно безнадежно обстоял вопрос о «примирении» Дона с большевиками. Немцы, к которым обращался атаман по этому вопросу, помочь Дону в этом отношении не могли и, как увидим ниже, не хотели. Два письма, посланных генералом Красновым к одному из большевистских «главковерхов» Юзефовичу, по поводу прекращения «братоубийственной» борьбы, заключения торгового договора и т. д., не попали по назначению[2]. В Киеве «пан гетман обещал оказать всякое содействие к признанию (большевиками) самостоятельности войска Донского»[1], но на украино-большевистской конференции товарищ Раковский заявил категорически, что Советское правительство рассматривает Дон, как «восставшую область, входящую в состав советской республики, и считает ведение прямых переговоров с Доном оскорблением республики».

[1] Доклад 17 августа 1918 года.

[2] Атаман спутал его с генералом Юзефовичем, который жил на Кавказе и впоследствии поступил в Добровольческую армию.

Наконец, союзники Дона, немцы, также не склонны были в споре между Советами и Доном становиться на сторону последнего. Министр иностранных дел Гинце в сентябре заявил в рейхстаге: «Мы деловым образом разрешили вопросы (Донецкий уголь)... Но из этого не следует, что мы признали войско Донское, как самостоятельную единицу»...

Эти бесплодные переговоры в русском обществе и в Добровольческой армии были поняты, однако, как уклонение от борьбы за Россию ценою спасения Дона.

* * *

Внутренняя и внешняя политика атамана создали ему сильную оппозицию в самых разнообразных кругах организованной общественности и личных врагов среди не удовлетворенных идейно или обойденных персонально верхов казачества. В рядах оппозиции нашли место социалистические думы Ростова, Нахичевани, Таганрога, профессиональные союзы, рабочая печать, кадетская партия и вся многочисленная русская интеллигенция, не разделявшая германофильской политики генерала Краснова или оскорбленная ее внешними проявлениями. На заднем плане донской оппозиции стояла вся масса иногородних — рабочих и крестьян, из которых первые только бурлили, вторые поднимали местные восстания, подавляемые казаками.

В среде казачества у атамана были восторженные поклонники и ярые враги. Маятник колеблющегося отношения к нему раскачивался то в одну, то в другую сторону, главным образом, в зависимости от большего или меньшего успеха борьбы на фронте.

[1] Доклад генерала Краснова Кругу 17 сентября.

Показателем общественных настроений того времени могут служить отклики с разных сторон по поводу того злополучного письма императору Вильгельму, которое определило основные вехи донской политики.

На совещании 26 июня Донского атамана с представителями германского командования майор Кофенгаузен заявил, что «после того, что он слышал из уст атамана, германское правительство будет всячески поддерживать атамана, содействовать укреплению его власти в области... как путем морального воздействия на население, так и в смысле поддержки таковой реальной силой — оружием и войсками, во всем идя навстречу личным пожеланиям атамана»[1].

Кадеты на Дону в вопросе о «неизбежности государственной самостоятельности областей и участия немцев» первоначально стали на точку зрения Милюкова... «Я лично употребил все усилия, — писал он 25 мая в главный комитет партии, — чтобы побудить наших партийных товарищей в Ростове и в Новочеркасске стать на эту точку зрения. Соответственная декларация была сделана партией народной свободы в заседании Ростовской городской думы»... Под влиянием дальнейших событий взгляд кадетов круто изменился, найдя некоторое отражение в переписке, которая велась в июле между их «политическим другом справа» Родзянко и Красновым. Родзянко ставил атаману в вину признание им себя и областей «Доно-Кавказского союза» «вассалами германского императора», в «дележе исконных русских областей», в «способствовании дроблению отечества на части», в «предательстве Добровольческой армии», которая «никогда дружественной к немцам не будет и кровь которой проливается для упрочения какого-то нелепого самостоятельного союзного государства»[2].

Генерал Алексеев отнесся к донской политике также с суровым осуждением. По поводу инструкции Черячукину

[1] Выдержка из секретного протокола совещания, представленного на Круг управлением иностранных дел.

[2] Письмо атаману Краснову 28 июля и генералу Алексееву 29 июля.

он писал мне 26 июня (№ 59): «В лице генерала Краснова немецкие притязания нашли отзывчивого исполнителя... Побуждения этой инструкции слишком ясны... из рук немцев получить право называть себя «самостоятельным государством» и воспользоваться случаем округлить границы будущего «государства» за счет Великороссии... За эту измену Родине — позволяю себе так назвать эту инструкцию — немцы должны снабжать войско боевыми припасами, принадлежащими всей России»... Генерал Алексеев высказывал опасение, что «в скором будущем Донское и Кубанское войска могут рассматривать Добровольческую армию в виде «вражеской силы», и наше положение может сделаться в стратегическом отношении невыносимым».

Наконец, князь Г. Трубецкой, делегат «Правого центра», стоявшего за связь с Германией и проводившего начала «реальной» политики в отношении к немцам, в своем послании в Центр 28 августа писал: «При (создавшихся) условиях политика Краснова в общем своем направлении не нуждается в оправдании... В сущности — чего стоят все эти обязательства? Как только обстоятельства изменятся и появится иная сила, так полетят и обязательства... Но форма, им усвоенная, невозможна. Он перестарался... Самый факт письма его к императору Вильгельму хуже его содержания»[1].

По существу, вопрос донской политики расчленялся на явления двоякого порядка.

Все эти уверения в преданности германскому императору; все символы суверенной государственности в виде «послов», гимна, флага, герба; все торжественные декларативные заявления от имени «государства», «народов», «демократической республики» о независимости от России не только в годы смуты, но и «на будущие времена»,[2] — казались только бутафорией, которая могла раздражать или волновать национально мыслящие элементы Юга. Но

[1] Герцог Лейхтенбергский привез письмо в немецкую главную квартиру, но к императору допущен не был «по политическим соображениям».

[2] Акт «Соглашения Дона с Кубанью».

за нею скрывались реальные возможности действительно серьезного характера. Тесное сотрудничество с немцами укрепляло положение последних, содействовало политике расчленения России и в случае продолжения войны разделяло противобольшевистские силы на два враждебных друг другу лагеря. «Независимость» имела естественным следствием переговоры о «мире с Москвой» и возбуждала в казачестве иллюзии о возможности локализации борьбы с большевиками в пределах одного Дона — иллюзии, которые шли снизу, но находили отклик и нравственное обоснование в атаманских приказах, подрывавших импульс к борьбе за Россию и потворствовавших казачьему шовинизму. Так, в приказе от 30 сентября было сказано: «Защита границ Всевеликого войска Донского от натиска красногвардейских банд и освобождение Российского государства от кошмарного кровавого большевизма вынуждают меня вынести борьбу за пределы земли войска Донского... Принимая во внимание труды и кровавые жертвы, которые понесло донское казачество... и обязанность его заняться строительством своей разоренной родины, я не считаю возможным привлекать к этой работе казаков». Задача эта возлагалась на формируемую из «русских» людей «Южную армию».

Я не касаюсь внутренних побуждений, руководивших генералом Красновым в его кипучей работе по управлению краем. Но во всем, что он писал и говорил, была одна чисто индивидуальная особенность характера и стиля, которая тогда, в дни кровавой борьбы, приводила многих к полной невозможности отнестись с доверием к его деятельности...

Немцам он говорил о своей и «Союза» преданности им и о совместной борьбе против держав Согласия и чехословаков[1].

Союзникам — что «Дон никогда не отпадал от них и что германофильство (Дона) вынужденное, для спасения себя и Добровольческой армии, которая ничего не смогла бы

[1] Письмо Эйхгорну.

получить, если бы не самопожертвование Дона в смысле внешнего германофильства»[1].

Добровольцев звал идти вместе с донскими казаками на север, на *соединение* с чехословаками[2].

Донским казакам говорил, что за пределы войска они не пойдут[3].

Наконец, *большевикам* писал о мире[4].

Такая политика была или слишком хитрой, или слишком беспринципной; во всяком случае для современников событий — не вполне понятной. Нам не пришлось увидеть и конечных достижений ее, ибо в октябре книга бытия внезапно оборвала свое повествование и перешла к новой главе, изменившей карту мира, перевернувшей все внешние декорации южнорусской борьбы, но не принесшей все же России желанного освобождения.

ГЛАВА X

ПРОТИВОБОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИ РОССИИ: «ПРАВЫЙ ЦЕНТР», «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР», «СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ», «СОЮЗ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И СВОБОДЫ» (САВИНКОВ)

Со времени октябрьского переворота *«русский вопрос»* более чем когда-либо в истории потерял свое самодовлеющее значение в мировой политике, став производной в борьбе центральных держав с державами Согласия. Способом, средством, источником материальных и военных ресурсов. И только. Везде в доступных нам документах прямо или косвенно доминирует взгляд на Россию — исключительно как на *фактор международной борьбы.*

[1] Миссия генерала барона Майделя в Яссы в начале августа 1918 года. Доклад его от 4 ноября.

[2] Письмо генералу Алексееву от 8 сентября и др.

[3] Приказ от 30 сентября и др.

[4] Письмо генералу Юзефовичу.

Германия стремилась к незамерзающему порту на Ледовитом океане, к невывезенным запасам Мурманска, Архангельска, Владивостока, к эксплуатации Запада и Юга России, к возвращению из Сибири и использованию 300—400 тысяч австро-германских пленных... Державы Согласия противодействовали ей путем оккупации Владивостока и сибирской линии, поддержанием чехословацкого движения, созданием Северного фронта и подготовкой Восточного.

Кроме известного уже нам воззвания союзных дипломатов в Вологде, и другие заявления их носили тот же двойственный характер, в котором доминировали цели международной борьбы. Так, на Дальнем Востоке, осенью 1918 года, английская декларация, упоминая об «экономической помощи вашей разоренной и страждущей родине», объясняла цель *предполагавшейся и не осуществленной* интервенции желанием «помочь вам спастись от раздела и гибели, грозящих от рук Германии, которая старается поработить ваш народ и использовать неисчислимые богатства вашей страны». Французская декларация говорила также о помощи «здоровым элементам русского народа», но «непосредственной причиной выступления называла «необходимость оказать помощь нашим союзникам, чехословакам». Резким диссонансом в союзническом аккорде прозвучало тогда только заявление Америки: «Вмешательство в дела России для нанесения удара Германии может скорее всего явиться способом использования России, нежели оказанием ей помощи». Со свойственной им прямолинейностью американцы заявили: «Главная забота Соединенных Штатов состоит в охране военного имущества, проданного Америкой России и находящегося в портах Владивостока, Мурманска и Архангельска».

Германия привлекала в свою орбиту явно Финляндию, Польшу, Украину, Румынию; тайно — русские противобольшевистские организации... Державы Согласия соперничали с ней в этом отношении, нимало не считаясь с интересами России. Был даже такой период с ноября 1917 года по 19 февраля 1918-го — день заключения Брест-Литовского мира, когда союзники готовы были признать фактически Советское правительство, предлагая ему финансовую и техническую помощь (даже офицерским составом) для продолжения войны с немцами[1].

Немцы в этой игре победили. И союзные правительства решительно и *тогда только* окончательно[2] перестали смотреть на советскую власть как на возможное «средство» борьбы против центральных держав. *Отнюдь не побуждениями альтруизма, а стечением обстоятельств союзники были отброшены в противобольшевистский стан, тогда как Германия, невзирая на внешние противоречия ее политики, до конца вооруженной борьбы поддерживала большевизм, как благоприятный для себя фактор в политике и стратегии.*

Ряд откровений германских и австрийских государственных деятелей в полной мере подтверждает это положение. Между ними идет спор о характере и степени виновности отдельных лиц, о большем или меньшем их даре предвидения, об истинных мотивах тех или иных дипломатических шагов. Но синтез всех этих откровений ясен и бесспорен:

1. В германском народе, правительстве, рейхстаге, прессе, командовании существовало два взгляда на роль России: одни в распаде великой страны видели неограниченные положительные возможности для германской нации, другие, наоборот, «усиление англо-саксонского мирового владычества» и угрозу бытию Германии.

2. С начала войны, в особенности же в 1917 году, исторические перспективы значительно стушевались под влиянием интересов момента, и германская мысль единодушно работала в пользу всемерного ослабления России, как влиятельного фактора борьбы, результатом чего явилась финансовая поддержка большевизма и Брест-Литовский мир.

---

[1] Обращение французского посла Нюланса к Бронштейну.

[2] Впрочем, и позднейшие взаимоотношения с советской властью Локкарта (Англия), Садуля (Франция), Робинса (Америка) вызывали впечатление двойной игры.

3. В дальнейший период, когда психология «победителей» все больше и больше стала омрачаться тревожными предчувствиями, общественные и политические круги Германии вновь вернулись к историческому трактованию вопроса. Между правительством, говорившим об умеренности, и главной квартирой, настаивавшей по военным соображениям на политическом и экономическом разгроме России, возникли серьезные разногласия уже при заключении Брестского договора и особенно обострились при выработке «дополнительных (к нему) условий».

4. С весны 1918 года, когда уже и на верхах германского командования повеяло дыханием катастрофы, когда обнаружилась ясно смертельная опасность большевизма и для Германии, роли переменились: германское командование на Востоке, поддержанное Мирбахом и затем Гельферихом, начало говорить о необходимости «более определенного отношения к советскому правительству», вплоть до его свержения. Хотя такой переворот в 1918 году представлялся немецким военным и государственным деятелям — и был в действительности — необыкновенно легким, он не нашел сочувствия в правительстве и поддержки в ставке. По словам генерала Людендорфа, разделявшего будто бы всецело этот взгляд, «правительство уверило его в том, что русская политика его отвечает настроению Германии»... и он «к несчастью, принужден был этому поверить».

Брест-Литовский мир со всеми вытекавшими из него временными последствиями дали немцам большевики. Ни одна политическая группа, никакая иная русская власть не могли предоставить Германии более выгодных для данного момента условий.

Исходя из этого близорукого в историческом смысле положения, от начала и до конца, до своего падения, Германия твердо, определенно и без колебаний проводила в жизнь политику расчленения и разрушения России, поддерживая советскую власть во всем, что не противоречило ошибочно понимаемым германским интересам.

В то же время ответственные представители немецкой власти в Москве, Пскове, Киеве, Ростове входили в отношения с противобольшевистскими вождями и организациями и давали им неопределенные надежды... Эта двойственность — я не вхожу в обсуждение искренности отдельных немецких деятелей — приносила и приносит немецкому делу серьезные выгоды в моральном и практическом отношениях. В моральном — умеряя одиум жестокой немецкой политики и создавая теории о «двух Германиях», подобно тому, как впоследствии южнорусская действительность выдвинула легенду о «двух Англиях» — Ллойд-Джорджа и Черчилля... В практическом — создавая иллюзии в определенных кругах русской общественности и расколов противобольшевистский фронт на две мешавшие друг другу, иногда враждебные «ориентации».

* * *

Вскоре после большевистского переворота в Москве образовалась конспиративная организация, под названием «девятки». В нее вошли по три члена от консервативно-демократической партии, Торгово-промышленного союза и Совета общественных деятелей. Впоследствии организация разрослась, получив характер коалиции консервативных и либеральных общественных групп, с явным преобладанием первых, и приняв наименование Московского или Правого центра[1].

Целью организации было объединение несоциалистических элементов страны для борьбы с большевизмом. Такая широкая постановка вопроса, некоторое «полевение» и чувство одиночества и оторванности, испытанное правой общественностью в первый период революции, с одной стороны; «поправение», вызванное разочарованием и озлоблением либеральных кругов в отношении революционной демократии, с другой; наконец, присущий многим из членов центра страх за судьбы Родины — заставляли идти вместе политически разнородные элементы организации. Но глубокие противоречия в политической и социальной идеологии тем не менее сказывались постоянно: и в неожиданно откровенных речах некоторых членов на общих заседаниях, и в работе комиссий, где подго-

[1] В этом очерке я избегаю, где нет прямой необходимости, называть имена.

товлялись проекты государственного устройства, социальных реформ и экономического возрождения страны. Эти противоречия, сглаживаемые и смягчаемые на общих заседаниях, вполне ясно и откровенно раскрывались на частных собраниях членов центра совместно с группами, им близкими, хотя и стоявшими официально вне организации.

Фактическим вдохновителем Правого центра был А. В. Кривошеин, хотя он и не посещал общих заседаний, соблюдая крайнюю конспирацию и «по свойству своего характера избегая всего, что могло бы его связать и чем-либо компрометировать». Позднее такую же закулисную и весьма влиятельную роль он играл, переехав в Киев, в местных правых кругах.

Правый центр имел в своем составе небольшой военный отдел, возглавлявшийся генералом Д., — человек 700—800, по преимуществу офицеров. За полным отсутствием средств эта организация фактически числилась только на бумаге.

* * *

В начале 1918 года в Москве делались попытки объединения и левого крыла русской общественности. Но все переговоры между центральными органами конституционных демократов, национал-социалистов и социалистов-революционеров относительно общей платформы и объединенных действий не привели ни к чему. Тогда некоторые лица приступили к созданию путем персонального участия внепартийной, с преобладающим, однако, социалистическим составом организации, которая и начала функционировать в апреле 1918 года под именем «Союза Возрождения России»[1].

Союз ставил себе целью «воссоздание русской государственной власти, воссоединение с Россией насильственно отторгнутых областей и защиту ее от внешних врагов», при помощи союзников. Хотя, таким образом, основные цели Союза и Центра совпадали, но соглашения между ними не произошло. Главные причины расхождения со-

[1] Вначале союз этот называли «Левым центром».

циалисты видели в непримиримом отношении центра к идее Учредительного собрания[1], к народоправству и к выдвигаемому ими преобладающему значению местных самоуправлений. Что касается организации временной власти, то разница во взглядах была лишь в формах и источнике ее происхождения. Если Правый центр мыслил ее в виде единоличной военной диктатуры, им подготовленной, то и Союз возрождения, по существу не отрицая диктатуры (вместо единоличной — трехчленная директория), «в условиях того момента не видел возможности создания власти сколько-нибудь правильным демократическим путем»[2]. Власть должна была явиться «сама собой, путем образования сильной группы лиц, которая и могла бы выделить из себя такую власть»[3].

Некоторая связь между Союзом и Центром тем не менее существовала. В состав обеих организаций с их ведома входили конституционные демократы Астров, Степанов и Н. Щепкин, с целью, кроме взаимного осведомления, «насколько возможно, согласовать действия той и другой в наиболее ответственные минуты»[4]; кроме того, существовала соединенная коллегия генералов (от Правого центра генерал Цихович и адмирал Немитц от Союза — генерал Болдырев) для согласования «военных мероприятий» организаций.

Крупная буржуазия и торгово-промышленники, участвуя персонально в составе центров, отказывались, однако, нести какие-либо жертвы ради борьбы с большевизмом, предпочитая сберечь свое достояние для... советской экспроприации. Это обстоятельство сильно отразилось на организациях. Без средств, без взаимного доверия и ясности во взаимоотношениях, а главное, без реальной силы,

[1] Союз не считал возможным главенство старого Учредительного собрания.

[2] Мякотин.

[3] Доклад Титова 21 июня 1918 года. И среди кадетов были течения в пользу коллективной власти, избранной на собрании представителей партий и общественных организаций.

[4] Записка Астрова.

работа их протекала вначале вяло, не принося каких-либо результатов.

* * *

В начале июня в московских организациях произошел окончательный раскол на почве внешней «ориентации».

Еще в апреле в среде членов Правого центра наметилось сильное германофильское течение[1], находившее благодарную почву в полной пассивности союзников; начались частые встречи и деятельные сношения членов Центра, сначала по собственной инициативе, потом по поручению президиума, с второстепенными представителями германского посольства. Официально эти собеседования имели целью «выяснить, каковы действительные намерения Германии в отношении России; является ли Брестский договор окончательной основой, на которой Германия имела в виду и в дальнейшем построить свои взаимоотношения с Россией, или же этот договор есть только тактический шаг со стороны Германии, путем которого она обеспечивала себе возможность использовать то положение, которое создалось в результате захвата власти большевиками»[2].

В основу официальных переговоров были положены три условия: «1) восстановление единства России, нарушенное в результате отторжения губерний Юго-западного края, 2) создание национальной государственной власти, независимой (?) от Германии и 3) коренной пересмотр Брестского договора»[3]. Взамен этого немцам предлагался нейтралитет и «экономические преимущества».

Большинство Центра стояло на той точке зрения, что «немцы, завладевшие значительной частью России и распространяющие свое влияние на новые области, представляют столь реальную и мощную силу, что не считаться с ними вовсе значило бы не признавать фактов... Этот фактор будет определять в ближайшее время ход событий в России... между тем как разобщенность с союзниками делала затруднительной или прямо невозможной их помощь России»[1].

[1] В том числе Кривошеин.

[2] Доклад Правого центра от 14 июня 1918 года.

[3] Там же.

Самый факт переговоров с немцами был облечен большой таинственностью, и результаты их не выносились на общие заседания. Германофобское меньшинство узнавало о них лишь случайно. Но, помимо официальной идеологии, большинство Правого центра обладало еще другой, не выносившейся на общие заседания и в декларации. «Разница была в том, — говорит князь Г. Трубецкой, — что для меня каждое из этих (трех) условий[2] было conditio sine qua non, между тем (как) большинство из тех, кто стоял на желательности переговоров с немцами, заранее уже готовы были идти на уступки. Это были люди, которые так мрачно смотрели на положение, так разуверились в возможности для нас предпринять что-либо без посторонней помощи, что они готовы были всем пожертвовать, лишь бы немцы освободили нас от большевиков». Еще резче определял настроение Центра командированный ген. Алексеевым в Москву А. Ладыженский (правый): «В победе Германии (они) почти не сомневаются. Считают, что лучше сейчас войти в переговоры, чем после завершения событий на Западе. Полная неосведомленность о том, что там происходит. Предположения построены отчасти на шкурных классовых интересах, жажде власти, монархии во что бы то ни стало; отчасти — на неверных сведениях, которыми питается сейчас Москва берлинским агентством»[3].

Вскоре вопрос о «Восточном фронте» заставил все группировки окончательно выяснить свои «ориентации».

Двумя телеграммами из Парижа В. Маклаков сообщал в Москву, что союзники решили восстановить Восточный фронт путем высадки союзных войск, преимущественно японских, во Владивостоке и продвижения их к Уралу и

[1] Доклад Правого центра от 14 июня 1918 года.

[2] См. выше. Трубецкой считал необходимым при помощи Германии собрать на Украине русские силы, «ибо освобождение Москвы и России могло быть сделано только русскими руками».

[3] Доклад без даты от начала июня.

Волге. Маклаков горячо убеждал Центр, что это «единственный способ спасти Россию от власти, созданной Германией, и от окончательного расчленения»... «Японцы не потребуют территориальных уступок, союзники никаких новых тягот на Россию не наложат»... Наконец, что цель предстоящей интервенции исключительно «защитить Россию от наложившей на нее руку Германии, дать ей свободно сорганизоваться и оказать ей экономическую поддержку». Из других источников стало известно, что на конференции союзников, при уклончивом отношении Америки, постановлено было послать в Сибирь общесоюзную армию в 100 тысяч человек, из которых 60 тысяч японцев.

Почти в то же время, в конце мая, прибыл в Москву генерал Казанович, сделал Центру доклад о судьбе Добровольческой армии и от имени генерала Алексеева и моего заявил в резкой и категорической форме о неприемлемости для армии какой бы то ни было совместной с немцами работы.

2 июня по этим вопросам состоялось заседание Правого Центра. Представители большинства доказывали возможность воссоздания России немецкими руками, гибельность для интересов страны японской интервенции, практическую неосуществимость создания в серьезном масштабе Восточного фронта; наконец, указывали на новые «тяжелые бедствия, которые выпадут на долю России в результате столкновения двух армий на линии Волги»... Меньшинство, учитывая все трудности, считало, что Восточный фронт облегчит объединение и восстановление русских сил, между тем как «соглашение с Германией грозит России полным порабощением и угнетением национального духа»... И обе стороны не договаривали о своих затаенных надеждах на победу: одни — германцев, другие — союзников.

Нет сомнения, что на решение вопроса повлияла и та общая концепция, которая связывала с Германией идею реакции или, во всяком случае, монархической реставрации, а с Согласием — торжество либерализма или республиканского строя. Наконец, идейное расхождение двух

групп Центра, по мере усиления его правого крыла, становилось все более резким и отношения все более неискренними.

8 июня группа кадетов и примыкавших к ним[1] вышла из состава Правого центра. Раскол не вызвал вражды, скорее — сожаление. На последнем совместном заседании представители среднего течения «свободных рук», князья Трубецкие (Г. Н. и Е. Н.), особенно ярко переживавшие события, горячо убеждали кадетов, что не настало еще время ставить вопрос на окончательное решение, призывали к терпимости...

— Я еще не хочу выходить ни на тот, ни на другой берег, — говорил волнуясь Е. Н. Трубецкой. — Для России еще не ясно, где ее спасение»[2].

* * *

Раскол Правого центра имел существенные последствия, произведя резкую дифференциацию сил, внеся еще большую ясность и определенность в политический облик организаций.

Правый центр пополнил свой состав представителями союза земельных собственников, церковно-приходских и крайних правых московских организаций[3]. Его лозунгами стали монархия (для меньшинства — конституционная), реакция (для меньшинства — «социальные реформы») и союз с немцами. Существовала, между прочим, идея обращения к патриарху, который «при помощи созванного на персональных началах Земского Собора» должен был провозгласить царем великого князя Михаила Александровича.

Интересно, что в вопросе о союзе с немцами тактика Центра допускала известную двойственность. Так, в послании своем в Киев и на Юг[4] Центр подчеркивал, что «пред-

[1] Кадеты Федоров, Астров, Степанов и др.; Струве, Белоруссов и др.

[2] Записка Астрова.

[3] Ширинский-Шахматов, Рогович, Нейдгарт, Трепов... Крайние правые делали попытки самостоятельных переговоров с немцами, но встретили отрицательное к себе отношение.

[4] От 12 июня.

положенные разговоры с представителями Германии не должны влиять... на отношение Центра к союзникам, с которыми несомненно должно поддерживать связи»... В ответе на телеграмму Маклакова, предназначенном для союзников[1], говорилось о тяжелой необходимости совместной работы с немцами, но тем не менее... «мы остаемся верными нашим союзникам, каковыми мы всегда и были... Ужели можно допустить, что мы виновны в симпатии к немцам»?.. В этом направлении делались и более реальные шаги: делегация Центра[2] обратилась к французскому генеральному консулу в Москве Гренару, убеждая его в том, что Россия бесповоротно вышла из войны, что без согласия немцев немыслима перемена положения, что национальная власть, которая возникнет, не будет германофильской и что самим союзникам выгодно вывести Россию из состояния хаоса...

«Этого у нас не поймут, — ответил консул. — И всякое правительство, которое образуется при содействии Германии, не будет нами признано»...

Группа, отколовшаяся от Правого Центра, создала новую организацию — *Национальный Центр*. Это был типичный союз русских либералов, по составу и политической программе почти однородный — кадетский[3], по «ориентации» — ярко германофобский и союзнический.

Национальный Центр порвал отношения с Правым центром, вступил в тесную связь с Союзом Возрождения и обратился к генералу Алексееву с просьбой принять звание своего председателя. В комиссиях Национального Центра шла большая подготовительная работа по восстановлению государственно-правовой жизни — по схемам, принятым на предыдущих кадетских съездах. В частности, в основание разработки двух важнейших вопросов — аграрного и рабочего — положены были следующие общие

[1] От 7 июня.

[2] Князь Г. Трубецкой.

[3] По определению одного из учредителей: «вездесущие кадеты, левые октябристы, правые торгово-промышленники и прозревшие социалисты» (Онипко, Алексинский, Савинков).

начала: первого — частная собственность и «разрыв с народническими реминисценциями»; по второму — «денационализация, десоциализация, но бережное обращение с правами рабочих организаций и союзов». Вообще же все эти вопросы не становились общественным достоянием, не выносились из заседаний комиссий обеих групп и не влияли поэтому на их взаимоотношения. Вопрос же о создании временной национальной власти встретил крупные разногласия и в результате длительных споров привел к компромиссу: Союз согласился на созыв *нового* Учредительного собрания, а Центр принял предложенную Союзом форму временной власти в виде трехчленной директории. Уступка эта со стороны Центра имела чисто тактическое значение — «чтобы раньше времени не порывать с ними», тем более что, как откровенно писал на Юг член бюро Центра Степанов, не было сомнения, что «директория сама собой превратится в единоличную власть». В состав директории по предложению организаций должны были войти один генерал, один социалист и один несоциалист. Союз возрождения намечал для этой цели из несоциалистов Астрова, Милюкова или Набокова, из социалистов — Авксентьева. Национальный Центр воздержался от обсуждения этого вопроса, вызывавшего принципиальное сомнение, «стоит ли давать в эту неустойчивую комбинацию имена сколько-нибудь ценные, а тем более столь ценные, как те, что ими называются»...

Окончательной формы правления в России обе организации не предрешали, но «носили в сердце своем». По этому вопросу Национальный Центр писал В. Шульгину: «Ваши друзья близки Вам в своем отношении к вопросу о монархии... Но... провозглашение монархической идеи при настоящих настроениях было бы преждевременным. Движение на Волге, движение масс в больших центрах не были бы увлечены и подняты теперь провозглашением монархии»...

Уклонявшиеся до тех пор от каких-либо обязательств союзники, настаивавшие на согласовании действий Национального Центра и Союза возрождения, теперь оказали им крупную денежную помощь, оживившую сильно дея-

тельность организаций; союзнические миллионы пошли на политическую работу центров, открытие провинциальных отделений и отчасти на образование каждым из них вооруженной силы, преимущественно из офицерского состава. Распределение сумм делалось по соглашению между президиумами, причем последние относились крайне ревниво к своему приоритету, препятствуя, между прочим, непосредственному субсидированию союзниками Добровольческой армии. Большие союзнические деньги через центры или, может быть, непосредственно шли на содержание всяких контрразведок, которые, как выяснилось впоследствии, работали одновременно на союзников, на немцев, давали сведения и московским центрам, и армии. В списках агентов я, к своему удивлению, нашел имена лиц, принимавших сомнительное участие в корниловском выступлении.

В официальном своем сообщении, адресованном объединенным организациям, московские представители союзников торжественно подтверждали принцип неприкосновенности русской территории, укрепляли надежды на скорое создание Восточного фронта, обещали экономическую помощь России, обязывались не вмешиваться во внутреннюю русскую политику и не оказывать давления на осуществление той или другой формы правления.

Восточный фронт, однако, оставался только миражом. Манящим для одних и тревожным для других. Японская армия, «готовая уже в феврале, ожидала окончания переговоров союзников, чтобы выступить»[1], но переговоры сильно затягивались, из-за подозрительности Америки и колебаниям прочих членов Согласия.

Они выжидали.

«Вторая Марна» (июль 1918 года) и затем отступление в августе обескровленных германских армий открыло новые радужные перспективы державам Согласия, отвратив их внимание от бесконечно удаленного Восточного фронта. Но подобно тому, как это делали немцы, представители союзников — одни сознательно, другие по неосведомленности — долго еще гальванизировали в русском обществе идею союзнической интервенции и помощи просто только в противовес германофильским влияниям.

[1] Из того же официального сообщения.

Нужно заметить, что меньше всего иллюзий возбуждало образование Восточного фронта в командовании Добровольческой армии. И генерал Алексеев, и я относились скептически к серьезности и искренности желания союзников помочь нам живой силой. В самый разгар переговоров об интервенции, в конце июня, генерал Алексеев писал мне о своих сомнениях: о том, что у союзников «сознания безусловной необходимости этого фронта не существует... что между (ними) не только нет искреннего доверия друг к другу, но, напротив, — политическая подозрительность поставлена выше стратегических соображений». «Для нас, — продолжал он, — более важны пока не будущие войска, а чехословаки, ополчения Сибири, Оренбурга, Урала...»

* * *

Отдельно от политических центров стоял Б. Савинков.

Приехав в Москву в качестве члена при «донском триумвирате», снабженный удостоверениями генерала Алексеева, он широко использовал свое новое положение. Вместо «привлечения на Дон некоторых известных демократических деятелей», как формулирует Савинков данное ему поручение, он предпринял самостоятельную организацию в Москве, прикрываясь именами генералов Корнилова и Алексеева и отвлекая тем силы от Добровольческой армии.

Его неукротимая энергия, его кипучая деятельность и безграничное дерзание сопровождались явным успехом. Ему удалось найти доступ к союзникам — до тех пор глухим ко всем призывам Правого центра и Союза возрождения — и, что еще важнее, получить первоначально от Масарика, потом и от союзников серьезную денежную поддержку. Офицеры шли в организацию не к Савинкову, а «на зов» генералов Корнилова и Алексеева. Без большого труда Савинкову удалось вызвать раскол в военной организации Правого Центра генерала Д., смущенной герма-

нофильством своих руководителей, и привлечь часть их на свою сторону.

Пополненная, таким образом, почти исключительно офицерством, савинковская организация приняла название «Союза защиты Родины и Свободы» и к концу мая, по его словам, насчитывала до $5^1/_2$ тысяч человек[1], разбросанных, однако, в Москве и в 34 провинциальных городах.

Такая численность была, очевидно, слишком ничтожной; но это была единственная реальная сила в центре страны, и Савинков умел импонировать ею и союзникам, и политическим организациям. До такой степени, что когда в середине апреля прибыл в Москву представитель генерала Алексеева полковник Лебедев и сделал попытку объединить вокруг имени его и Добровольческой армии московское движение, он встретил категорическое требование союзников «равного участия Савинкова не только в политической, но и в чисто военной стороне предприятия». Лебедов вынужден был поэтому устраниться от участия в работе.

Однако политическое одиночество Савинкова препятствовало широкому развитию дела, тяготило его и смущало союзников. Так как с Правым Центром у Савинкова не могло быть ничего общего, а левый (Союз возрождения) не говорил о нем иначе, как «со скрежетом зубовным», естественным было его обращение в Национальный Центр, который встретил сочувственно предложение и возглавил савинковскую организацию.

Савинков, по несчастью, счел возможным взять на себя и роль полководца[2], проявив при этом совершенно неожиданные стратегические соображения. Одновременно с организованным им покушением на Ленина и Троцкого в Москве, предполагалось выступить в Ярославле, Рыбинске, Муроме, Владимире и Калуге, «окружив столицу восставшими городами и пользуясь поддержкой союзников на

[1] По сведениям штаба Добровольческой армии, фактически было 2—3 тысячи.

[2] В брошюре «Борьба с большевиками» Савинков подчеркивает свою роль как руководителя операции в рассуждениях, чрезвычайно наивных с военной точки зрения.

севере и чехословаков, занявших Самару (8 июня), на Волге... Союзники, высадившись в Архангельске, могли без труда занять Вологду и, опираясь на взятый нами Ярославль, угрожать Москве»[1].

Выступление было назначено в ночь с 5 на 6 июля.

Для характеристики этого плана нужно добавить, что Савинков имел тесную связь с союзными посольствами, своих разведчиков в большевистском штабе и германском посольстве, следовательно, был в курсе военной обстановки, «ежедневно получая сведения о передвижениях немецких и большевистских войск»; что высадка англичан в Архангельске произошла *только 2 августа* и что *по железной дороге* от Архангельска до Ярославля 787 верст, а от Москвы до Самары — 993!..

Национальный Центр усомнился, правда, в целесообразности выступления, явно неподготовленного. Но Савинков ответил, что «конспирация не может оставаться в бездействии долее определенных сроков... Отсрочка поведет к разложению и провалу... Операция, правда, не совсем подготовлена, но французы торопят, а действия, раз начавшись, могут развиться стихийно и восполнить пробелы»[2].

Так как Савинков уверил Национальный Центр, что он действует с полного согласия генерала Алексеева, то Центр предложил ему при занятии той или иной местности распространять воззвания от имени «Северной Добровольческой армии, подчиненной генералу от инфантерии Алексееву»[3]..

6 июля состоялся ряд выступлений в Ярославле, Рыбинске, Муроме, окончившихся кровавой расправой большевиков с беззащитным населением, гибелью множества офицеров и разрушением всей организации.

[1] «Ярославль держался 17 дней, — добавляет Савинков, — время, более чем достаточное для того, чтобы союзники могли подойти из Архангельска».

[2] Записка Астрова. Те же мотивы приведены были ближайшим соучастником Савинкова — Дикгоф-Деренталем в «Отечественных Ведомостях».

[3] Доклад Белоруссова.

Когда в июле в Москву отправлялся полковник Новосильцев[1], генерал Алексеев в числе других поручений дал ему указание «предостеречь офицеров в Москве от организации и советовать им из центра уезжать на Дон, на Волгу, в Сибирь, только не сидеть на месте и не ехать на Украину, ибо в центре их ожидает гибель или привлечение в Красную армию». Обращение в этом духе от имени генерала Алексеева, подписанное Новосильцевым и А. Ладыженским[2], появилось действительно, вызвав сильный гнев Национального Центра. 22 июля Центр писал генералу Алексееву: «Мы считаем это (обращение) вредным и способным породить недоразумения. В нем говорится, что всякая организация офицерства помимо Добровольческой армии является авантюрой. Это не так. Нам на Севере необходимо иметь наши русские отряды (Савинкова?), которые действовали бы в общем согласованном с союзниками плане, были бы опорой для Севера и составляли бы часть армии, находящейся под Вашим общим руководством».

Тем не менее легенда о сотрудничестве Савинкова с генералом Алексеевым пустила глубокие корни, попадая часто в печать и сильно нервируя генерала. Чтобы положить конец этим слухам, генерал Алексеев по поводу одной довольно безобидной газетной заметки составил собственноручное опровержение, носящее следы большого раздражения: «Никакого представителя Б. В. Савинкова в Екатеринодаре не было, а потому... никакой беседы быть не могло. Сам Савинков, по многим обстоятельствам, в район Добровольческой армии прибыть не может, и прибытия его никто не ожидает... Помещение подобных заметок может нанести неисправимый вред Добровольческой армии»[3].

Савинков после неудачного выступления побывал в Сибири и, не встретив там признания, уехал в Париж.

---

[1] Бывший председатель офицерского союза.

[2] Командирован одновременно с генералом Казановичем.

[3] Отзыв редактору «Кубанского Края» 31 августа 1918 года № 312.

ГЛАВА XI

ГЕРМАНОФИЛЬСТВО ПРАВОГО ЦЕНТРА И МИЛЮКОВА. ГРУППА ШУЛЬГИНА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СОЮЗНИКАМИ. РОЛЬ ОФИЦЕРСТВА

Отношения Правого центра с немцами после раскола его продолжались, не приводя, однако, ни к каким результатам. Немецкие дипломаты не лишали своих собеседников надежд, но и не давали никаких положительных обещаний. В официальном обзоре от 14 июня своих сношений с немцами Центр суммировал высказанные ими положения.

«В Германии — в правых и военных кругах — имеется сильное течение в пользу установления в будущем добрососедских отношений к России, в результате — восстановление ее единства и мощи... Возможен поэтому пересмотр Брестского договора... Однако успех подобной политики зависит от того, насколько широко и авторитетно будет течение в самой России за прекращение недоброжелательного отношения к Германии. Представители посольства явных признаков такого течения не различают. Большинство общественных кругов... продолжает видеть спасение России в победе союзников и отрицает возможность какого-либо соглашения с немцами».

В сухом и бесстрастном циркуляре Центра как будто звучал укор столь непрактичному проявлению общественного настроения. Составители циркуляра не подметили того бездонного цинизма, с которым представители страны, ввергнувшей Россию в бездну и не сделавшей еще ни одного шага к облегчению ее трагического положения, смели ожидать доверия и расположения к себе. Уподобляя великий народ побитому псу, лижущему ноги господина, в надежде на милость его и крохи с господского стола.

Кроме тех «неофициальных» разговоров, которые весьма часто вели с немцами члены Правого центра в порядке

дружбы и знакомства, президиум уполномочил вести переговоры барона Б. Нольде и князя Г. Трубецкого. Последний должен был посетить Дон и Добровольческую армию в поисках русской военной силы, а также Киев, где, как предполагалось, достаточно подготовлена почва для соглашения с немцами правыми кругами и... неожиданным союзником Правого центра Милюковым.

Милюков во время господства на Дону большевиков скрывался в Ростове. После освобождения города немцами он жил там еще около месяца. Нас — в Мечетинской[1] — глубоко поразила статья, появившаяся в «Приазовском Крае» за подписью Оргина. Если не в авторе, то в главном персонаже ее, от имени которого шла речь, — маститом вожде — мы узнали без труда П. Н. Милюкова, проповедующего... соглашение с немцами.

Эту идею Милюков настойчиво и страстно стал проводить и в письмах к генералу Алексееву. Они производили тяжелое впечатление. Мы дважды приглашали его приехать в Мечетинскую, приобщиться хоть немного к нашей жизни и уяснить себе психологию добровольчества и его вождей. Почему-то, однако, Милюков к нам не приехал, а в конце мая отправился в Киев.

Интересно, что такой крутой перелом в мировоззрении Милюкова произошел на протяжении всего только двух недель. 3 мая еще он писал генералу Алексееву: «Я был страшно огорчен появлением в Ростове добровольцев (отряд полковника Дроздовского) вместе с германцами, развернувших трехцветный национальный флаг рядом с германской каской. На словах можно сколько угодно отрицать связь с германцами, но связь сотрудничества фактического остается и подкрепляет всю ту ложь и клевету, которая распространяется по поводу Добровольческой армии»... Единственный выход из создавшегося положения он видел в том, чтобы генерал Алексеев «как можно скорее и резче отгородил свой и наш почин от их неудачного продолжения», для чего необходимо «формально распустить Добровольческую армию, объявив для всеобщего сведения, что сражаться рядом с германцами даже против большевиков Вы не пойдете». «Дальнейшее размышление» привело Милюкова к другому заключению: на случай «невмешательства немцев в наши внутренние дела» необходимо, чтобы генерал Алексеев и его сотрудники «не покидали Добровольческой армии и чтобы сама она не расходилась и продолжала существовать, как часть армии Донской области»... А 19 мая Милюков перешел к третьему варианту и убежденно доказывал: «Закон самосохранения для нас теперь высший закон... Никакие договоры не могут сохранять силы при таком изменении обстановки... Союзники несут долю ответственности, вследствие своей переоценки значения и излишней снисходительности к тенденциям наших левых течений... Германцы — хозяева положения и заинтересованы в том, чтобы государство было восстановлено... Они дорожат нашим единством и царем»... И как вывод: «Нужно вступить в переговоры с немцами, принять их поддержку и спешно освободить Москву»; при этом немцы «должны перевезти армию до крайнего возможного пункта... отказавшись (сами) от вступления в Москву».

[1] Стоянка штаба Добровольческой армии.

История эволюции Милюкова и переговоров с немцами изложена в записке его Правому центру от 29 июля (11 августа). Политический удельный вес автора и то большое впечатление, которое произвела в свое время его позиция в русско-немецком вопросе, заставляет меня привести этот доклад полностью.

«Из сообщения князя Григория Николаевича я вижу, что не только в общих чертах, но и почти во всех подробностях наши взгляды на способы вывести Россию из настоящего положения совпадают. Подобно ему я считаю восстановление государственности и объединение России первой и главной задачей; нахожу, что необходимо скорейшее осуществление этой задачи, чтобы не увеличить ее трудности; считаю, что такого скорейшего разрешения нельзя достигнуть без контакта с германцами и что предметом такого контакта должно быть создание в Москве не местного только «северного» правительства, а правитель-

ства национального, способного объединить Россию и для этого заручившегося согласием Германии на пересмотр теперь же, а не по окончании войны Брестского договора.

Для выяснения возможности этого я — не по моей, а по германской инициативе — вступил в «необязательные» сношения с представителем Oberkommando и имел (впрочем, очень поверхностный) разговор с Муммом. В их лице я встретился с двумя течениями, которые и в Германии борются из-за вопроса об объединении России. Одно из них, представленное дипломатами и считавшее себя до сих пор в согласии с рейхстагом, стояло за разъединение России, создание Randstaaten и сближение с Англией. Другое, представленное влиятельными военными кругами, но теперь распространяющееся и в либеральных и даже в социалистических кругах, стоит за создание из России сильной союзницы в будущем для борьбы с Англией и с этой целью, а также по принципиальным соображениям (на левом фланге) склоняется к пересмотру Брестского договора. Первое до сих пор считалось официальным, но перестает им быть после отставки Кюльмана. Второе имеет серьезные шансы сделаться официальным. Его успех сказывается уже теперь в том, что имеется течение компромиссное — самое опасное для нас, — соглашающееся на частичный пересмотр Брестского договора и на неполное объединение России.

Германцы, искавшие до сих пор способа создать «северное правительство» без всякого пересмотра Брестского договора, будут, конечно, теперь добиваться соглашения на наиболее выгодных для себя условиях с наиболее сговорчивыми. Но они понимают, что должны считаться с возможно широким фронтом общественного мнения, включая и неприятных для них конституционных демократов. Этим нужно воспользоваться, чтобы наш фронт объединить на одной определенной программе, из которой уж ничего не уступать к моменту, когда переговоры начнутся серьезно.

Я предлагал бы для такой программы следующие положения:

1) Правительство должно быть национальным и объединительным с самого начала, с первых шагов. Для этого необходимо, чтобы оно явилось на свет сразу как монархическое, и могло бы говорить от имени некоторого ядра объединенной теперь же, а не в будущем России. А для этого нужно:

а) Теперь же остановиться на определенной личности кандидата на престол и вступить с этим кандидатом в непосредственные отношения, получив его санкцию действовать его именем. Я лично предлагал бы отыскать великого князя Михаила Александровича, местопребывание которого должно быть известно его близким в Москве.

б) Так как при создавшемся положении вопрос территориального объединения не может быть предметом одностороннего акта нового правительства, а должен быть решен предварительными переговорами с отдельными образовавшимися теперь правительствами, — успех же переговоров может быть обеспечен лишь при определенном отношении к ним Германии, — то я считаю необходимым ввести уже в наши переговоры с германцами условие, что до создания правительства будут выяснены благоприятные ответы, по крайней мере, главнейших из создавшихся правительств и будет выработан акт объединения, который мог бы быть опубликован новым правительством, *как национальным*, в первые же дни его существования.

2) Исходной точкой переговоров должна быть неприкосновенность всей прежней территории России, за исключением Финляндии[1] (но со стратегическими гарантиями со стороны последней) и Польши (в границах прежнего Царства Польского, без Холмщины и с этнографическим обменом севера Августовской губернии на части уездов Сокальского и Бельского). В моих («необязательных») переговорах трудность представляла лишь Курляндия, относительно которой я соглашался на «ис-

[1] Если будут настаивать на выходе ее к Ледовитому океану, Милюков предлагал (не трогая, конечно, Мурманска) обмен ближайшей к Норвегии полосы на Выборгскую губернию.

правление границ». Не знаю, как мы можем уступить Либаву. Вопрос о Крыме и Закавказье не был затронут, и я опасаюсь, что за умолчанием могут скрываться особые виды Германии на эти опорные пункты в будущей борьбе с Англией. Но этих территорий, конечно, мы пожертвовать не можем. При прежнем взгляде трудность представлял также вопрос об особых правах Украины, которую германцы хотели наделить правами Баварии. Я не отрицал возможности идти относительно Украины несколько далее простой автономии, с тем чтобы это не служило образцом для других объединяемых частей, но не соглашался ни на особую армию, ни на остатки дипломатического представительства, ни на расширенные права относительно железных дорог, почт и телеграфа и т. д. Основным требованием объединения я считал суверенитет центральных органов, единство территории и гражданства, а также создание верхней палаты по типу Bundesrat'a.

3) Так как при такой постановке вопроса Германия должна искать своих преимуществ не в территориальных приобретениях, а в экономических выгодах, то необходимо теперь же привлечь наших промышленников к пересмотру этой части договора и просить их указаний, до каких пределов могут простираться здесь наши уступки, вообще необходимые. Я обращался с этой просьбой к профессору Савину в Киеве и к А. И. Каминке в Петрограде, но надо, чтобы эта работа была предпринята в Москве — и немедленно.

4) Помимо общих уступок по торговому договору, придется сделать (или санкционировать) и временные — для территорий, ныне занятых германцами. Но при этом необходимо, во-первых, ввести в определенные правовые границы непредусмотренную, кажется, в учебниках международного права власть германцев в области администрации и суда, теперь безграничную даже на Украине, не говоря о Литве; и, во-вторых, оговорить для ближайшего же времени полную свободу сообщений и товарообмена для объединяемых областей, единство валюты и помощь как вооружением (у нас же

отобранным), так и денежным займом, при немедленном восстановлении нашей армии.

5) Признание нейтралитета, по необходимости благожелательного относительно германцев, но с прекращением всяких враждебных действий на территории восстанавливаемой России. Национальное правительство, кроме единства, должно дать России действительный мир и выход из войны, чего не могли бы дать большевики; в этом будет его санкция в глазах населения.

Быть может, в Москве считают преждевременным говорить о началах будущей внутренней политики, но, мне кажется, необходимо было бы заблаговременно сговориться: без этого трудно было бы приступить к группировке сочувствующих Правому центру элементов на местах. Поэтому предлагаю на обсуждение несколько пунктов, которые кажутся наиболее существенными:

1) Устройство коалиционной власти на основе программы Правого центра, но с устранением из ее состава сторонников самодержавия, с одной стороны, и сторонников ориентации Левого центра[1] и прежнего Учредительного Собрания, с другой стороны.

2) В интересах поддержки демократических слоев (крестьянство и кооперация) и восстановления социального мира немедленно приступить к аграрной реформе, восстанавливающей все нарушенные права, но имеющей целью найти решения, возможно близкие к сложившемуся хаотическому положению землевладения. Восстановление свободы земельных сделок до реформы без нарушения ее принципов и с принятием немедленных мер против перехода земли в собственность иностранцев.

3) Пересмотр избирательного закона для городских и земских органов самоуправления: введение возрастного ценза и ценза оседлости, двустепенность выборов в деревне, пересмотр вопроса о волостном земстве, но не возвращение к куриальной системе и не восстановление старых земств.

[1] «Союз возрождения России».

4) Установление переходного периода до начала функционирования правильного национального представительства. Созыв, в случае надобности, для переходного периода совещательного органа, вроде «Совета республики», из общественных элементов, стоящих на государственной точке зрения, и выработка при его содействии закона о политическом представительстве.

Способов санкции основного закона, октроированного монархом, я не касаюсь здесь, но обращаю Ваше внимание на то, что долженствующий быть опубликованным от имени монарха основной закон должен быть готов ко времени создания нового правительства, и было бы очень печально, если бы он оказался похож на временные основные законы Скоропадского и Краснова. Надо теперь же засадить за эту работу наших юристов (Нольде, Лазаревского, К. Н. Соколова, В. М. Гессена)».

К мыслям, изложенным в этой записке, остается добавить более интимные, высказанные в письмах[1] к генералу Алексееву: ...что с предложенным планом необходимо спешить, потому что в Киеве *в других кругах* переговоры идут полным ходом и можно очутиться перед совершившимся фактом... что необходимо создать хоть фикцию освобождения Москвы руками Добровольческой армии — не немецкими... наконец, что приятие Милюковым конституционной монархии произошло не без борьбы... «было бы несравненно приятнее, если бы его об этом не спрашивали и неизбежное совершилось само собой»...

Общие положения Милюкова вошли в основание и анонимной записки, составленной послом Правого центра князем Г. Трубецким и отправленной немцам с одобрения Милюкова и Кривошеина.

* * *

Можно отнестись различно к германофильским течениям в русских интеллигентских кругах в 1917—1918 годах, с точки зрения национальной и этической. Но одно бесспорно: *они были беспочвенны и в смысле государственном — бесполезны.*

[1] 19 и 21 мая.

Жизнь шаг за шагом разбивала иллюзии.

Немцы неожиданно и резко порвали сношения с Милюковым, и гетман, очевидно под их давлением, поставил перед своим правительством категорически вопрос о высылке Милюкова из Киева. Совет министров почти единогласно отказался выполнить это требование, но Милюков, не желая быть причиной министерского кризиса, уехал добровольно в деревню, в Черниговскую губернию.

Никакого ответа не последовало и на записку князя Г. Трубецкого.

Были и другие симптомы, более внушительные.

16 июля произошла екатеринбургская драма; и глубоко возмущенная общественная совесть винила в этом злодеянии германскую власть, имевшую неограниченное влияние на совет комиссаров и не пожелавшую воспользоваться им для спасения царской семьи...

В Москве и центральной России свирепствовал жестокий террор, обрушившийся с особенной силой на голову несчастного офицерства. В разгроме некоторых московских военных организаций ясно было сотрудничество немцев с большевиками. Конспирирующая Москва волновалась, возмущалась, называла имена[1]... Когда гетманское правительство сочло необходимым заявить в Берлине протест против большевистского террора, германский министр иностранных дел Гинце ответил: «Императорское правительство воздержится от репрессивных мер против советской власти», так как то, что делается в России, «не может быть квалифицировано, как террор»; происходят лишь «случаи уничтожения попыток безответственных элементов... провоцирующих беспорядок и анархию»[2]. Да и как было вступиться немецкому правительству, когда в Москве его представители — старший советник посоль-

[1] Отголоском разгрома правой организации было дело генерала Дрейера на Юге России, обвиненного офицерством в выдаче организации немцам, преданного полевому суду и оправданного за недостатком улик.

[2] Телеграмма украинского посла барона Штейнгеля из Берлина от 28 сентября.

ства Риплер и начальник контрразведки Мюллер находились в тесном сотрудничестве с Караханом и Дзержинским и снабжали их «списками адресов, где должны были быть обнаружены преступные воззвания и сами заговорщики... против советской власти»[1]... При свете этих поздних откровений какая жуткая роль приходится на долю руководителей противобольшевистских организаций, работавших в контакте с немцами!..

Убийство Мирбаха и Эйхгорна не вызвало охлаждения в отношениях немцев к большевикам. Наоборот, 16 августа Германия заключила с советской Россией «дополнительное соглашение» к Брест-Литовскому договору. Это соглашение, как известно, окончательно закрепило распад России и экономическую кабалу ее ценою признания Германией советской власти, политического и военного сотрудничества с нею.

Большевизм, переживавший тогда тяжелые дни, был спасен. Государственные деятели Германии не могли отрешиться от своей роковой политики в отношении России даже в ту пору, когда стало очевидным, что над их страной нависает катастрофа, война кончается, и пора подумать о будущих связях соседних народов, так безумно, так нерасчетливо напоенных несмываемой обидой и органической ненавистью. Ибо тогда уже вожди германской армии заявили открыто императору и правительству, что *войной* нет более никаких надежд добиться *мира*[2].

Как ни предусмотрительна и сурова была немецкая цензура и благоприятствующая ей большевистская, сведения об истинном положении дел на фронте мировой борьбы проникали в Россию, отражаясь на общественных настроениях и способствуя значительно ослаблению германофильских течений. И князь Г. Трубецкой, принявший на себя не без внутренней борьбы неблагодарную и лично для него тяжелую роль, побывав на Украине, на Дону и приехав в Добровольческую армию, доносил Пра-

[1] «Красная книга». Официальное большевистское издание.

[2] Конференция от 2 августа.

вому Центру[1]: «Эта тенденция — невозможность каких-либо соглашений с немцами — настолько бесповоротна, что об этом не стоит начинать разговора ни с одним вождем Добровольческой армии. Но я этого не делал и по другим причинам... Не опасаясь упреков, которые навлекли на себя, мы останавливались и на возможности соглашения с Германией, как на самом безболезненном решении вопроса. Наша совесть чиста, *но упорствовать дальше на комбинации неосуществимой невозможно»...*

• • •

В Киеве, обособленно от правых организаций, стояла *группа В. Шульгина.* Не политическая партия, не организация — именно группа единомышленников, имевшая, однако, серьезное влияние в киевских буржуазных и военных кругах[2].

Едва ли не с наибольшей страстностью, с пылом и прямолинейностью, группа Шульгина проповедовала три основных своих лозунга — борьбу с большевизмом, верность союзникам и монархию. Монархию безоговорочную, немедленную, открыто исповедуемую. Для Шульгина и его единомышленников монархизм был не формой государственного строя, *а религией.* В порыве увлечения идеей они принимали свою веру за знание, свои желания — за реальные факты, свои настроения — за народные. На Юг шли послания, доклады, сводки, в которых яркими красками изображался рост монархического движения в стране. Шульгин осуждал постоянно политику руководителей Добровольческой армии, убеждал друзей, что «скоро в России не будет никаких республиканцев», и просил «разъяснить руководителям армии, что никакие воззвания с Учредительным собранием и народоправством не привлекут в армию никого»... Вместе с тем Шульгин настаивал на сосредоточении в руках его организации распределения в Киевском центре пополнений для всех противобольшевистских армий.

[1] Доклад от 29 августа.

[2] На выборах в украинское Учредительное собрание группа Шульгина получила в Киеве 25 428 голосов.

Эти послания получали распространение на Юге, оказывая известное влияние на офицерство и на самого генерала Алексеева. В письме его к Шульгину я нашел впоследствии следующие фразы: «Относительно нашего лозунга — Учредительное собрание — необходимо иметь в виду, что выставляли мы его лишь в силу необходимости. В первом же объявлении, которое нами будет сделано, о нем уже упоминаться не будет совершенно. Наши симпатии должны быть для Вас ясны, но проявить их здесь открыто было бы ошибкой, т. к. населением это было бы встречено враждебно. От прежнего лозунга мы отказываемся. Для объявления же нового нужны соответствующие обстоятельства и прежде всего подвластная только нам территория. Это будет, как только мы перейдем к нашим активным планам»[1].

Шульгин видел в соглашении с немцами новое и окончательное закрепощение России, а в восстановлении монархии немецкими руками — национальное бедствие: «монархия и династия будут тогда окончательно скомпрометированы». Шульгинская группа твердо настаивала на легитимном принципе[2], но тотчас же под давлением чрезвычайных условий жизни вступала с ним в резкое противоречие: акты 2 и 3 марта[3] непререкаемы, — говорили они, — отсюда связанность Михаила Александровича словом в отношении Учредительного собрания. Тяжкая болезнь и вообще неопределенность судьбы цесаревича Алексея Николаевича... «Личные качества» других законных преемников... Как выход, Шульгин предлагал весьма сложную систему «добровольных (?) отказов менее подходящих кандидатов, пока престол не перейдет к лицу, более или менее известному населению или, во всяком случае, не возбуждающему нежелательного противодействия»...

[1] Ответ на письмо от 5 июня.

[2] Крайняя правая партия и Правый центр считали необходимым восстановить на престоле императора Николая II, часть Правого центра, Национальный Центр и Милюков склонялись к кандидатуре Великого князя Михаила Александровича.

[3] Отречение императора Николая II и условный отказ Великого князя Михаила Александровича.

В качестве технического аппарата группы Шульгин основал конспиративный орган под названием «Азбука». Вначале этот орган черпал средства для своего существования исключительно из частных источников; в июле 1918 года, порвав с Правым центром ввиду его немецкой ориентации, Шульгин вошел в тесную связь с Национальным Центром, и «Азбука» получила при посредстве последнего крупное пособие из сумм, отпускаемых союзниками; перенеся впоследствии свое ядро в Екатеринодар, «Азбука» стала одним из осведомительных органов Добровольческой армии, и с февраля 1919 года содержание ее было отнесено на кредиты штаба.

В киевский период своей деятельности «Азбука», по словам Шульгина, ставила себе весьма широкие задачи: политическую и военную разведку в отношении большевиков, немцев и Украинской республики; вербовку в противобольшевистские армии; участие в организации вооруженных восстаний и выступлений против большевиков; связь и информирование лиц императорской фамилии, московских Центров и Добровольческой армии.

Действительно, «Азбука» давала армии весьма большой и ценный разведочный материал, преимущественно о политическом и военном положении на Украине. Но, вместе с тем, страстная проповедь ее «немедленного поднятия монархического флага» нарушала душевное равновесие киевского и добровольческого офицерства и, как увидим ниже, сильно затрудняла позицию командования.

Что касается общей ориентировки, выходившей за пределы Украины, осведомленность «Азбуки» не шла далее слухов. Это обстоятельство в связи с поисками обстановки, наиболее отвечавшей политическим убеждениям членов шульгинской группы, лишало ясности и определенности ее ближайшие задачи. Так в июне—июле Шульгин задумал перебрасывать офицеров и переезжать со своей организацией в Архангельск к генералу Пулю, который, по сведениям «Азбуки», был предназначен глав-

нокомандующим всеми союзными войсками Восточного фронта; потом собирался и за Волгу, причем во главе направляемых туда сил должен был стать «выдающийся киевский генерал», а Шульгин — его «помощником по гражданской части»; писал и в Сибирь адмиралу Колчаку, считая его главою сибирского правительства[1] и предлагая перебросить туда свою организацию и 20—25 тысяч офицеров для борьбы против немцев и большевиков, но непременно «под открытым монархическим знаменем»; наконец, в конце июля в штабе Добровольческой армии получена была телеграмма, что организация Шульгина переезжает на Дон, в распоряжение генерала Алексеева «вследствие невозможности пробиться в другие районы, стеснений, чинимых на Украине, и требования немцев гетманскому правительству образовать на Украине концентрационные лагеря»...

* * *

Все группы и организации вместо материальной помощи присылали нам горячие приветствия — и письменно, и через делегатов — и все пытались руководить не только политическим направлением, но и стратегическими действиями армии. Планы предлагались самые разнообразные. Так, например, Шульгин писал в конце мая: «Мое мнение — нужно узнать, чем дышит армия Дутова и, если там лозунг монархический и союзнический, открыто провозгласить у себя в армии Алексеева лозунг за монархию и союзников и идти на соединение с Дутовым». Потом прислал другое предложение: «Добровольческая армия должна покончить со всякими колебаниями, оставить мысль об Учредительном собрании и народоправстве, которым из мыслящих людей никто уже не верит, и сконцентрировать все свои силы на одной задаче — вырвать русский императорский дом из физического обладания немцев и поставить его в такое положение, чтобы, опираясь на наступающую Японию, от имени вступившего на престол законного государя объявить священную войну против немцев, завладевших родиной».

[1] Письмо от 8 июня 1918 года.

Национальный Центр звал нас за Волгу. Правый центр — по пути, который должны были пробить для нас немецкие корпуса, — через Воронеж на Москву... Представитель союзников французский генерал Лаверн — на Царицын.

Было предложение и совсем другого рода, характеризующее среду и деятелей, основанное на полном непонимании характера и взглядов руководителей добровольчества.

Представитель киевских крайне правых герцог Г. Лейхтенбергский высказывал мысль: «Главная опасность Заволжского фронта[1] (в том), что прежние наши союзники придут в Россию, опираясь на демократические, социалистические элементы, и приведут страну к республике». Во избежание этого «было бы хорошо, если бы генерал Алексеев взял на себя командование Заволжским фронтом»... Роль, предназначавшаяся при этом генералу Алексееву, была довольно неприглядная — провести союзников. «Чтобы не было неосновательных подозрений, — говорил герцог, — необходимо хотя бы на словах намекнуть об этом немцам... Я беру на себя намекнуть немцам об этой комбинации и тогда не опасаюсь их противодействия»[2].

Организации и деятели в переписке между собой скорбели, что Добровольческая армия лишена их политического руководства; мы же всеми мерами старались избегнуть опеки, налагающей партийный штамп и политические путы на деятельность армии. Генерал Алексеев относился к работе всех политических организаций с нескрываемым осуждением. Обобщая свои впечатления от многочисленных личных и письменных докладов, он писал мне 26 июня: «Фактического единения в мыслях, целях, задачах... между «центрами» не существует. Не меняются только жажда власти, стремление получить в свои руки денежную помощь от союзников и тяготеть над работой и существованием Добровольческой армии».

[1] Восточный фронт.

[2] Отчет о разговоре герцога Лейхтенбергского и А. Ладыженского 2 августа 1918 года в Киеве.

Другой вопрос, лично касавшийся генерала Алексеева, также доставлял ему немало огорчений...

Правый центр предполагал поставить во главе вооруженных сил одного из следующих генералов: Брусилова, Лукомского, Юденича или Лечицкого. В связи с предположением о создании Восточного фронта, вопрос о верховном возглавлении русской армии поднят был и в других организациях. Киевские монархисты хотели видеть на этом посту В.К. Николая Николаевича или Михаила Александровича, которого молва настойчиво связывала с чехословаками. Союз возрождения называл имена генерала Алексеева, адмирала Колчака и генерала Болдырева[1]. Первые два — очевидно только в качестве уступки Национальному Центру. Этот последний хотя и высказывал опасение, что «под влиянием» Милюкова «и киевской заразы у генерала Алексеева меняется настроение», однако горячо и настойчиво проводил кандидатуру его как Верховного главнокомандующего и главы «триумвирата». В этом направлении Центр влиял и на союзников. Между прочим генералом Алексеевым получено было предложение и через французского генерала Лаверна прибыть в Самару, когда откроется возможность «для руководства всеми войсками, действующими против большевиков». Генерал Алексеев еще ранее на обращение Национального Центра и некоторых союзных представителей ответил согласием, при условии, однако, что ему будет обеспечена полная свобода распоряжений и не «будет разделения власти»[2].

Любопытно, что, получив сведение о предположении союзников выдвинуть на руководящие роли Керенского, генерал Алексеев писал в Москву: «Передайте представителям союзников, что... (в таком случае) я почту своим прямым долгом совершенно отказаться от всякой военной и

[1] Командовал 5-й армией, был посажен большевиками в Трубецкой бастион, там вошел в близкие сношения с вождями революционной демократии и связал с ними свою судьбу.

[2] Записка Ладыженского и письмо от 27 июня генералу Казановичу. Алексеев ставил категорический вопрос об единоличной диктатуре, не признавая директории.

политической деятельности и никоим образом не допущу сотрудничества с разрушителем моей Родины»!

Генерал Алексеев обещал выехать за Волгу, как только будет подготовлен технически переезд.

Вообще имя генерала Алексеева, в особенности в военных кругах, продолжало пользоваться высоким авторитетом и популярностью, что давало нам надежды на объединение вокруг него борющихся сил. Свидетельства этого отношения — письменные и устные — получались со всех сторон: от организаций, политических деятелей и военных вождей. Одни хотели видеть в нем главу движения, другие — слева, в том числе и будущая директория — «использовать его государственную мудрость и военный опыт», официально — «для блага России», неофициально — для укрепления своего авторитета...

Между прочим, адмирал Колчак, приехав в Омск, писал 1 октября генералу Алексееву о своем предположении ехать в Европейскую Россию с целью «вступить в Ваше распоряжение в качестве Вашего подчиненного... Вы, Ваше Высокопревосходительство, являлись все это время для меня единственным носителем Верховной власти, власти Высшего военного командования, для меня бесспорной и авторитетной»[2].

Получалась, впрочем, нами и другая оценка деятельности генерала Алексеева — справа, на почве монархических лозунгов. В письме, адресованном генералу Алексееву и широко распространенном в копиях[3], граф Келлер говорил: «Ваш начальник политического отдела уверял меня, что Ваше имя везде популярно и что Вам верят все. Если он и Вам докладывал то же, то ввел Вас в заблуждение. Верят Вам кадеты и, может быть, и то отчасти, группа Шульгина. Но большинство монархических партий, которые последнее время все разрастаются, в Вас не уверены, что

[1] Письмо Ладыженскому от 13 июня, № 103.

[2] Письмо было получено в ноябре, уже после смерти генерала Алексеева.

[3] Письмо от 20 июля. Копии были разосланы генералом Келлером герцогу Лейхтенбергскому, мне и др.

вызывается тем, что никто от Вас не слышал столь желанного, ясного, определенного объявления, куда и к какой цели Вы идете и куда ведете Добровольческую армию»...

Но время шло, образование Восточного фронта все откладывалось, в политических центрах велась сложная и не вполне понятная для нас работа, в печати появлялись новые имена Верховных и новые комбинации власти. Игра вокруг имени генерала Алексеева сильно огорчала его, иногда больно ударяя по самолюбию. Молодые люди алексеевского политического отдела волновались и убедительно советовали генералу ехать немедля за Волгу в «центр политических событий», чтобы своим личным влиянием и авторитетом предупредить «возможные ошибки»... «Выразив раз свое согласие, — отвечал Алексеев одному из них[1], — поставив свои условия, я не втянусь в ход интриги. Я ничего не предприму для достижения цели, ибо я ничего не искал и не ищу лично для себя. Найден другой, достойнейший, ему и книги в руки; а я или ухожу в частную жизнь, или остаюсь при Добровольческой армии... Словом, готовый делать дело, я уклоняюсь от излюбленной интриги, борьбы «центров» и «групп»...

Вопрос о переезде генерала Алексеева за Волгу так и остался открытым.

* * *

История противобольшевистских политических организаций есть история русской общественности. Нет сомнения, что наряду с элементами беспринципными, явно эгоистическими, лично или социально заинтересованными, во всех, решительно во всех организациях было много людей самоотверженных, людей высокого патриотизма, работавших идейно и бесстрашно в тяжелой обстановке сыска, провокации и большевистского террора.

Но общее направление деятельности их шло по эксцентрическим линиям, отражая глубокое расхождение не только в политических взглядах, но и социальное, партийное и моральное. Расхождение — не отметенное общим национальным сознанием, не смолкнувшее пред лицом смертельной опасности, нависшей над страной.

[1] Письмо от 17 июня.

Тем не менее противобольшевистские организации имели и общие, совершенно аналогичные черты.

В них мы видим, во-первых, вождей *без народа*. Они решали важнейшие задачи бытия русской государственности на основании своих верований и умозаключений, учитывая в качестве элементов борьбы политику врагов и союзников, материальную помощь извне, иностранные штыки и т. д. Но сила сопротивляемости или содействия народной массы в их расчеты входила мало. Русский народ, между тем, все еще пребывал в состоянии неустойчивого равновесия, разбивая в прах все прогнозы, все социально-исторические теории.

Во-вторых, все организации — правые и левые, не исключая отчасти и советских, — единственную внутреннюю реальную силу, способную на подвиг, жертву и вооруженную борьбу, видели в *русском офицерстве* и стремились привлечь его всеми мерами к служению своим целям.

Офицерство, между тем, стояло на распутье.

Целый ряд старших генералов, в первые же месяцы поступивших на службу к большевикам, своим примером давал оправдание малодушным или заблудившимся. Эти люди создавали теории о народе, «имеющем такое правительство, какое он желает», и о «моральной допустимости служения народу при всяком правительстве»... Они — слепые или сознательные слуги деспотии — говорили о служении народу...

В Москве, Петрограде и Киеве Правый центр звал офицеров для спасения монархии (прежде всего монархии) и Родины в свою организацию, покровительствуемую теми, кого офицерство считало заклятыми врагами России — немцами; савинковский союз призывал в свои отряды «для защиты Родины и свободы» — свободы, олицетворяемой идеалами Савинкова; Союз возрождения — в свои московские и местные организации для спасения революции и страны; Заволжские социалисты-революционеры — для защиты Учредительного собрания...

В Киеве гетман собирал офицерство под желто-голубым знаменем для защиты Украины; Шульгин звал за Волгу, в Архангельск, в Сибирь и в Добровольческую армию —

для спасения династии и России, судьбы которой всецело и безраздельно отождествлялись с судьбами династии. В то же время старший генералитет, возглавляемый Веселовским и князем Долгоруковым[1], найдя спокойный приют в оккупационной зоне генерал-фельдмаршала Эйхгорна, взывал к обществу, приглашая его «поддержать, помочь офицерам пережить невзгоды революционного времени и оберечь офицеров, жаждущих подвига на благо Родины, от втягивания их... во всевозможные авантюры под ложными лозунгами спасения отечества». Рекомендовалось, впрочем, «быть в полной готовности», ввиду «скорого воссоздания неделимой России... под скипетром законного монарха... силами самого русского народа»[2]. Формула, принятая впоследствии создателями «новой тактики», имеет, как оказывается, старое и довольно неожиданное происхождение...

Среди всех этих расходящихся путей к спасению страны русское офицерство вконец заблудилось.

ГЛАВА XII
ПРОТИВОБОЛЬШЕВИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ВОСТОКЕ: ЧЕХОСЛОВАКИ, «КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ» И «НАРОДНАЯ АРМИЯ»

В то время, когда происходили описанные события на территории России, вовлеченной в той или иной форме в сферу германского влияния, за Волгой, на Урале и в Сибири, разгоралась в свою очередь борьба против советской власти — широко, в масштабе, соответствовавшем необъятным восточным просторам.

Главный толчок к ней дало выступление чехословаков. Роль, которую сыграл первоначально 30—40-тысячный чехословацкий корпус в чисто военном стратегическом

---

[1] Так называемая «военная секция съезда консервативных деятелей в г. Киеве».

[2] Резолюция от 7 июля.

отношении, служит наглядным показателем полной беспомощности советского правительства весной и летом 1918 года и той легкости, с которой возможно было свержение его при условии надлежащего использования противобольшевистских сил.

И если этого не случилось, то историческая ответственность за продолжение кровавого опыта лежит не только на беспринципной и близорукой политике германцев и Согласия, но еще в большей степени на совести русских противобольшевистских деятелей.

Углубленные и обостренные революцией социальные, классовые, племенные, даже областные расхождения набросили вскоре густой туман на пробудившуюся было русскую *национальную идею*.

Рожденное революцией, питавшееся ее извращениями в большей степени, чем тяжестью иноземного нашествия, противобольшевистское движение дало поэтому Архангельск, Киев, Новочеркасск, Екатеринодар, Самару, Омск; но оно бессильно было возвыситься до создания своего Пьемонта.

***

Чехословацкий корпус после Брест-Литовского мира двигался к Владивостоку, откуда Согласие предполагало перебросить его на европейский театр войны. К весне 1918 года чехословаки были разбросаны на огромном протяжении — семь с половиной тысяч верст — от Пензы до Владивостока. В мае, по требованию Мирбаха, Троцкий отдал приказ об их разоружении. По настоянию Массарика, всемерно уклонявшегося от «вмешательства во внутренние русские дела», чехи подчинились этому распоряжению, потребовав лишь оставления на каждый эшелон 150 винтовок и нескольких пулеметов. Но вслед за этим последовало из Москвы новое распоряжение: остановить на местах все чешские эшелоны, разоружить чехов окончательно и водворить их в концентрационные лагеря.

Эта мера советского правительства привела к последствиям, для него совершенно неожиданным: чехи восстали.

Без какого-либо плана, без руководящих указаний свыше, спасая свою свободу и существование, чешские войска

вступили в борьбу с большевиками, захватывая железнодорожные линии и станции, разгоняя советы и разоружая или уничтожая Красную гвардию. Силы большевиков за Волгой были по численности и боевой пригодности ничтожны; действия чехов сопровождались поэтому быстрым, ошеломляющим успехом. Повсюду их выступления вызывали местные восстания и организацию добровольческих отрядов — по преимуществу офицерских, отчасти возникавших стихийно, отчасти созданных местными военными и политическими центрами. Эти отряды добровольно присоединялись к чешским войскам, увеличивая их силу и значение и придавая выступлению чехов, вызванному стремлением открыть себе путь на восток, смысл и характер идейного движения.

Почти одновременно в конце мая произошел ряд важных событий: полковник Чечек во главе почти безоружных эшелонов взял Пензу, захватил большое количество вооружения и боевых припасов и, пробиваясь далее за Волгу, занял последовательно Сызрань и Самару. В Челябинске полковник Войцеховский[1] после столкновения с местным советом разгромил его и затем овладел железнодорожным узлом Екатеринбурга. В Западной Сибири первое восстание чехов произошло в Ново-Николаевске (западнее Томска), где капитан Гайда совместно с одним из главных организаторов вооруженной силы в Западной Сибири, подполковником Гришиным-Алмазовым свергли советскую власть, после чего Гайда двинулся на восток, освобождая попутные города и направляясь в Забайкалье, где за Иркутском прочно засели большевики, прервав сибирский путь и сообщение с Владивостоком.

К концу июля чехословацкий корпус был расположен следующим образом: бригада Чечека — в Самаре, прикрывая направления от Саратова и Пензы; бригада Войцеховского в Екатеринбурге — на Казанском и Пермском направлениях; бригада Гайды — по пути в Забайкалье; пробившаяся ранее четвертая бригада располагалась во

[1] Офицер русского генерального штаба.

Владивостоке, находясь в ведении начальника штаба корпуса, генерала Дитерихса.

«Восточного фронта» в общепринятом смысле этого слова не существовало вовсе. Положение менялось чуть ли не ежедневно, находясь в зависимости от передвижения чешских эшелонов и успеха возникавших постоянно местных восстаний. С грубым приближением линию, разграничивавшую сферы влияния советской власти и противобольшевистских сил, можно провести с севера по реке Тагилу на Кунгур и по Каме и Волге на Сызрань—Хвалынск, далее на Николаевск и Уральск. Каждый из командиров бригад действовал в оперативном отношении совершенно самостоятельно, не выполняя какого-либо общего стратегического плана и первоначально не имея никакой политической задачи, кроме негативной, поставленной Национальным советом и уже отброшенной жизнью, — «невмешательства во внутренние русские дела». Штаб корпуса, во главе с командиром корпуса генералом Шокоревым, находился в Челябинске, управляя войсками лишь номинально и притом только в административном отношении.

Состав корпуса, пополненного военнопленными чехословаками, разбросанными по Сибири, доходил до 40—60 тысяч[1], то есть по 10—15 тысяч в бригаде. Вполне боеспособный и дисциплинированный во время внешней войны, корпус этот к лету 1918 года значительно изменился. Под давлением большевиков и под влиянием Национального совета социалистического состава, он воспринял некоторые основы «демократизации» и керенщины, вроде комитетов, выборного начала, «революционной дисциплины» и проч. Русский командный состав был вскоре удален[2], и места его были заняты людьми, нередко энергичными и способными, но обыкновенно имевшими служебный стаж не выше лейтенанта запаса и потому малограмотными в вопросах тактики и стратегии. Военный авторитет их стоял невысоко, и случаи неповиновения

[1] Точной цифры не знали и в штабе корпуса.

[2] В том числе и генерал Шокорев, которого заменил Сыровой.

были обычными. На этой почве произошло, между прочим, произведшее большое впечатление самоубийство одного из достойных начальников капитана Швеца. Только жуткое чувство затерянности среди русского бушующего моря заставляло чехов держаться своих частей и своих начальников, восполняя тем в известной степени упадок воинской дисциплины.

Были и другие темные стороны в деятельности чехословаков, о которых в докладе генерала Гришина-Алмазова[1] говорится: «...Начальники — все зеленая молодежь, которую нельзя было убедить, что надо обращаться к городским самоуправлениям и к русским властям за своими нуждами; что неприемлемо, чтобы они на каждый город смотрели, как на военную добычу. Исчезали целые поезда, тысячи сапог, чешская армия одевалась за счет сибирской»... Поезда с «добычей» являлись повсюду неизменными спутниками чешского движения, развращая морально войска, стесняя их оперативную деятельность и вызывая в русском населении горечь и недоумение.

Тем не менее на всем пространстве от Волги до Владивостока это была вначале единственная прочная сила, импонировавшая и советским войскам, и местному населению, в большинстве смотревшему на чехов, как на избавителей.

Большевики поняли, наконец, свою ошибку и стали вести широкую пропаганду среди чехословаков, обещая им свободный пропуск с полным вооружением и снаряжением при условии отказа от помощи «белогвардейцам». Как это ни странно, подобную же роль взяла на себя американская железнодорожная миссия и генеральный консул Гаррис[2], уговаривавшие чешские эшелоны ехать во Владивосток. Старшие чешские начальники стремились стянуть свои части к железнодорожным центрам... Местные русские организации обращались с мольбой о помощи к начальникам эшелонов, встречая зачастую полное сочувствие чехов, проявлявших широкую частную инициативу,

[1] Военный министр Сибирского правительства.

[2] Впоследствии Гаррис изменил свою тактику.

в ущерб распоряжениям свыше. Положение запутывалось до крайности и только к середине лета разъяснилось: державы Согласия, осуществляя план создания противонемецкого Восточного фронта, пожелали использовать создавшееся так неожиданно для них благоприятное положение, возложив на чехословацкий корпус задачу авангарда, образующего по Каме и Волге заслон, под прикрытием которого должна была начаться перевозка союзнических сил. Эшелоны, пробившиеся на восток, потянулись вновь на запад.

Какими бы мотивами ни руководились чехословаки, их выступление сыграло чрезвычайно важную роль в истории развития противобольшевистского движения. *В этот первый период* их заслуги в деле освобождения России неоценимы, их тогдашние вины поблекнут перед судом истории.

* * *

В начале мая 1918 года собрался 8-й совет партии социалистов-революционеров, на котором постановлено было перейти к открытой борьбе с советской властью и в то же время при помощи союзной интервенции «свергнуть германское насилие». Работа в этом направлении велась с большой энергией, в особенности в Заволжье и в Сибири. Повсеместно образованные комитеты социалистов-революционеров брали на себя инициативу подготовки восстания. И так как все другие политические организации оставались бездеятельными или склонялись к соглашательству с большевиками, то вокруг эсеров начали группироваться противобольшевистские элементы, зачастую им совершенно чуждые. Тем более что симпатии чешского Национального совета были явно на стороне эсеров и в частности Чернова. Это сказалось в особенности, когда в июле совет был переизбран и во главе его стали социалисты — Павлу, Потейдло, Благош и др. лица, сыгравшие затем весьма прискорбную роль в судьбах Сибири. Чешский совет воспринимал русскую действительность исключительно в освещении черновцев и испытывал болезненный страх, чтобы не прослыть «контрреволюционным».

На этой почве возникали бытовые курьезы. Так, наиболее консервативное, монархически настроенное Уральское войско[1], чрезвычайно бедное интеллигенцией, под влиянием эсеров упразднило вековой институт атаманской власти, вручило ее выбранному правительству во главе с эсером Фомичевым и вступило с областным комитетом эсеров в тесный союз для борьбы против большевиков. Одним из договоров предусматривалось «перенесение наступления *на другие территории*», причем в этом случае там должен быть создан «руководящий движением орган на паритетных началах со стороны Уральского войскового правительства и организации партии (эсеров) данной территориальной единицы»... Своеобразная коалиция для управления Россией!.. Генерал Гришин-Алмазов, организовавший офицерство на территории Сибири, встретил огромные затруднения вследствие невозможности приобщить его к политическим лозунгам господствующей партии: «Пришлось поэтому сойтись на поддержании самой идеи власти, хотя бы данное содержание ее и представлялось неприемлемым»[2].

Социалисты-революционеры воспользовались широко восстанием чехословаков. И когда бригада Чечека 8 июня овладела Самарой, было объявлено, что власть переходит к «Комитету членов Учредительного собрания» («Комуч»). Демократический покров, популярный еще в русской общественности, прикрывал новую диктатуру — партии эсеров, безраздельно овладевшей властью и вдохновляемой Черновым, который — потому ли, что имя его было слишком одиозным, потому ли, что не очень верил в успех дела, — руководил им из-за кулис.

Для истории противобольшевистской борьбы этот единственный опыт чисто социалистического правления[3] представляет большой интерес. Опыт, наиболее краткий — всего 107 дней — и, как кажется, наименее удачный.

«Комуч» объявил себя эмбрионом Всероссийской верховной власти, которая должна была утвердиться при наличии 30 членов бывшего Учредительного собрания. В состав его вошли Вольский (председатель), Климушкин, Брушвит, Нестеров, Филипповский и другие — имена весьма мало известные русскому обществу. О «правомочности» этого органа говорить не приходится. Точно так же не стоит «сводить успех или неуспех отдельных восстаний, падение или укрепление власти исключительно к личным качествам вождей и лидеров»[1]...Гораздо интереснее то общее направление деятельности эсеровского правительства, которое при успехе движения должно было проявиться во всероссийском масштабе.

Основные декреты советской власти — о национализации земли и предприятий, о рабочем контроле и др. — остались в силе; местные советы были сохранены. Часть комитета и Чернов, ставя главной целью своей создание единого социалистического фронта, уже с первых дней борьбы искали путей соглашения с большевиками, и только решительный протест Чешского национального комитета остановил эти попытки. Тем не менее «Комуч» проявлял широкое попустительство в отношении большевиствующего населения и организаций.

Не имея ни правительственного авторитета, ни реальной силы, «Комуч» стремился к подчинению своей власти областных новообразований мерами, подчас весьма решительными, вызывавшими противодействие, рознь и разделение сил. Так, Уральское и Оренбургское казачьи войска оказались в зависимости от «Самары» из-за боевого снабжения и материальных средств, попавших в руки комитета. При этом большая часть Оренбургской губернии (северо-восток) отделилась, присоединившись к Сибири и поставив тем в весьма щекотливое положение выборного атамана Дутова, поторопившегося признать «Комуч» и даже вступить в его состав. В конце июля, впрочем, Дутов съездил в Омск и завязал сношения с сибирским правительством, что вызвало некото-

[1] Большинство казаков — староверы.

[2] Доклад 30 ноября 1918 года.

[3] Грузия находилась в особенных условиях.

[1] Так оправдывало впоследствии в своем обращении московское бюро Центрального комитета партии эсеров слабый состав «Комуча».

рые репрессии со стороны «Комуча», как лично против атамана, так и против области: Дутов был исключен из состава комитета, а область весьма ограничена в пополнении снабжением и деньгами. В отношении Сибирской области «Комуч» применял «таможенную войну» и широкую интригу при посредстве печати (черновской), сибирских партийных ячеек и эсеровской областной Думы. В отношении прочих, слабее организованных территорий меры принимались проще. Так, когда Златоуст с уездом «отложился» к Сибирской области, «Комуч» повелел уфимскому гарнизону идти войною на непокорный город. Войска, однако, не послушались и не пошли. Когда же назрела возможность вооруженного столкновения Самары с Омском, то офицерство «Народной армии» решило категорически в нем не участвовать, не останавливаясь перед «давлением на правительство» и массовым уходом из армии. В результате территория, подведомственная «Комучу», ограничилась губернией Самарской, частью Уфимской, двумя уездами Оренбургской и — условно — Уральской областью.

К государственному строительству «Комуч» фактически не приступал, ограничившись общими декларациями и посылкой на места своих комиссаров («генерал-губернаторов!»). Но зато внешний антураж власти и ее приемы оставляли далеко позади практику всех новообразований. Огромные штаты министерств были наполнены исключительно партийными людьми, без всякого стажа и элементарного опыта. Широко разросшийся «институт по охране государственного порядка» («охранка»!) и контрразведка, с обычными их приемами, висели над жизнью буржуазии и офицерства, зачисленных поголовно в стан контрреволюционеров... Десятки миллионов народных денег расходовались щедрой рукой на поддержку эсеровской печати[1], распространявшей широко официальный оптимизм, сеявшей нетерпимость и возбуждавшей социальную ненависть; на пропаганду, направленную против сибирского правительства, потом против директории, на

[1] Газеты «Комуча» — «Народ», «Народное дело».

насаждение партийных ячеек в войсковых частях, на создание опричнины под видом русско-чешских «отрядов для защиты Учредительного собрания» и т. д.[1] В то же время оренбургское и уральское правительства испытывали крайнюю нужду в денежных средствах, необходимых для самых насущных потребностей беспримерно тяжкой народной войны.

Если в активе самарского правительства окажется мало элементов государственного творчества, то без сомнения оно войдет в историю как самое расточительное. Уже в Уфе, после образования директории, переименовавшись в «Совет управляющих ведомствами», бывший «Комуч» продолжал распоряжаться миллионами настолько широко, что потребовалась правительственная ревизия. Директория командировала с этой целью члена директории генерала Болдырева и вице-директора министерства финансов Крестовского. Отчет комиссии нарисовал удивительную систему расходования огромных государственных средств, при которой «кредиты отпускались без указания предмета расхода, проводились всегда в спешном порядке, и немедленно по получении из банка ассигнованные суммы бесследно исчезали...»

* * *

Таким же пустоцветом оказалась созданная комитетом «Народная армия».

Первые сведения о ней мы получили в начале августа — наиболее полные от командированного за Волгу для связи с чехословаками полковника Моллера, побывавшего в Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.

Во главе армии поставлен был «военный штаб», — коллегия в составе начальника штаба (совершенно случайного человека капитана Галкина[2]) и «членов штаба» (штатских людей эсеров). Привезенные нам приказы, уставы, военные узаконения исходили от трех лиц — Галкина, Боголюбова и Фортунатова; утверждались они в порядке прежних «Высочайших утверждений» столь компетентными

[1] Из доклада ревизионной комиссии.

[2] Возведен затем «Комучем» в течение двух месяцев в генералы.

лицами, как Климушкин, Брушвит и Нестеров. Из-за недоверия к русскому генералитету командующий армией не был назначен, а войска в оперативном отношении подчинены были чеху — полковнику Чечеку.

Порядки в армии напоминали совершенно времена Керенского: дисциплинарная власть начальникам дана была только в походе и бою; в остальное время действовал «товарищеский дисциплинарный суд». «Вне службы все равны, — гласил устав. — Служба начинается с отдачи приказания и команды и кончается с выполнением приказания и команды». Комитеты были сохранены. В частях организовывались эсеровские ячейки, имевшие характер «глаз и ушей» правительства. Во внешних взаимоотношениях были отменены погоны и «гражданин-солдат» обязан был отдавать честь только прямому начальнику, притом один раз в день и т. д.[1].

Вначале вооруженная сила создавалась по частной инициативе, исключительно на основе добровольчества. Это были те малые числом, но сильные духом добровольческие, главным образом, офицерские части, которые совместно с казаками и чехословаками нанесли первые удары красным войскам и освобождали Симбирск, Самару, Казань... Которые потом, осенью, после отказа чехов от борьбы и развала Народной армии отступали с боем последними, прикрывая уходившие на восток комфортабельные поезда чехов...

По иронии судьбы, под флагом Учредительного собрания, так же как и под трехцветным знаменем Корнилова, создавалась *классовая армия*. Народ не шел добровольно к поборникам «Земли и Воли». Пошли, главным образом, офицерство — скрепя сердце, в надежде на изменение политической обстановки — и буржуазная молодежь.

Численность этих отрядов была невелика; и «Комуч», не организовав ни приемников, ни местного военного управления, наряду с призывом добровольцев, приступил к принудительной мобилизации возрастов призыва 1917 и 1918 годов, т. е. наиболее развращенных революцией, и всех офицеров — элемента, если не враждебного, то во всяком случае чуждого правительству. Мобилизация производилась, однако, по системе воззваний и уговариваний, при этом только в тех районах, где, по предположениям, «она могла произойти без применения силы»... Из этих контингентов начато было формирование трех дивизий: в Самаре, Сызрани и Уфе, причем три слабых отряда действующих войск работали на фронте: подполковника Каппеля — на Казанском направлении, подполковника Бакича — на Пензенском, полковника Махина — на Николаевском.

[1] Для характеристики революционной демократии небезынтересно, что в «Комуче» был возбужден вопрос об обязательном отдании чести почетным караулом у дома его заседаний всем членам Учредительного собрания. Министры-социалисты Сибирского правительства назначали себе офицеров-адъютантов и т. д.

Народная армия не внушала доверия ни правительству, ни чешскому командованию.

Предполагая, что во главе чехословацкого корпуса стоит генерал Дитерихс, генерал Алексеев послал ему в начале июля письмо, в котором, указывая, между прочим, на необходимость «скорейшего объединения всех здоровых сил страны и дружественных элементов», сообщал: «Ближайшей задачей Добровольческой армии ставится выход на Волгу», для чего необходимо «содействие чехословацких частей... и казачьих отрядов, действующих на нижней Волге». Запрашивал, в какой мере чехи могут содействовать нашему движению. Моллер, не найдя Дитерихса, ознакомил с этим письмом генерала Шокорева и полковника Чечека[1]. Первый уклонился от прямого ответа. Второй выразил живейшую радость по поводу возможного соединения с Добровольческой армией и желание видеть во главе всех сил ее командование. Начальник штаба «Волжской армии» Чечека полковник Щепихин прислал горячий привет генералу Алексееву «и всем (его) сотрудникам, прибытия коих мы ожидаем с самым живым нетерпением, которое вызвано не только военной, но, пожалуй, в большей степени политической конъюнктурой»[2]. Офицерство Народной армии, тяготившееся своим положением, выража-

[1] В середине июля.

[2] Письмо от 3 августа.

ло те же чувства. Иначе отнесся, однако, капитан Галкин. В беседе с Моллером, выразившим отрицательное отношение Добровольческой армии к политике эсеров, он сказал: «Соединяться нам поэтому не следует, так как у нас работа идет очень хорошо и в скором времени Народная армия будет насчитывать 80 тысяч штыков. А Добровольческая армия внесет нам раскол».

Иллюзии исчезли очень скоро.

Мобилизация Народной армии потерпела полную неудачу, встретив на местах явно враждебное отношение, местами сопротивление. К 1 августа номинально было призвано 8485 добровольцев и 21 888 мобилизованных. Но мобилизованные оставались в частях только до получения оружия и мундирной одежды, после чего большинство уходило домой. Позднее, когда неудачи на фронте заставили армию отходить, целые полки отказывали в повиновении, оставались на месте или расходились по своим деревням. Уходило понемногу и офицерство, преимущественно в Сибирскую армию.

И уже в половине августа, когда Моллер, возвращаясь из Челябинска, посетил вновь Самару, настроение в штабе Народной армии радикально изменилось. Галкин — тогда уже полковник — просил передать генералу Алексееву, «чтобы он приехал к ним ранее, чем придет Добровольческая армия, дабы вперед уничтожить всю резкую разницу армий». При этом он добавил, что «Комитет Учредительного собрания решил пойти на все уступки, кроме земельного вопроса (?), и что они сами поняли, что нужно вести твердую политику, но что в данное время не имеют силы, которой могли бы ее провести».

* * *

Придя к власти на штыках чехословаков, комитет Учредительного собрания — филиал центрального комитета партии эсеров — явился отображением советского правительства, только более тусклым и мелким, лишенным крупных имен, большевистского размаха и дерзания.

Кроме чехословаков опоры у него не было.

Заволжское крестьянство, не испытавшее в достаточной степени большевистского гнета, занятое еще ликвидацией помещичьей земли и не видевшее никаких новых «завоеваний» в декретах «Комуча», отнеслось к его призывам по меньшей мере равнодушно. Городской пролетариат оказался враждебным новому правительству, и собравшаяся в Самаре рабочая конференция, признав это правительство «врагом народа», высказалась за подчинение советской власти. Буржуазия и несоциалистическая демократия были отстранены эсерами от государственного строительства и усилили собой стан их противников. Что касается Народной армии, то надежность ее, как опоры власти, определилась тем фактом, что в Самаре и потом в Уфе — пунктах квартирования дивизий — «Комуч» счел себя вынужденным формировать особые отряды для своей личной охраны...

«Жестокая действительность разбила самые прекрасные сны... Восстание, поставившее на своих знаменах принципы чистой демократии (?), и власть, руководящаяся этими принципами, должны быть разбиты, если нет прочной опоры в самой демократии»...

Такой эпитафией почтило впоследствии московское бюро центрального комитета эсеров попытку возглавления своей партией русской державы.

Попытку освободить страну *чужими* руками отметенной ими и им враждебной буржуазной демократии и офицерства.

ГЛАВА XIII
ВЛАСТЬ И АРМИЯ В СИБИРИ И НА УРАЛЕ

В *Сибири* и на *Урале* большевизм нашел еще менее благоприятную почву, распространяясь, главным образом, от центра к периферии чисто механическим путем вдоль железнодорожных магистралей. Его заносила, главным образом, волна солдат, отчасти казаков, хлынувших с фронта, пронесшаяся вначале бурно и потом стихавшая по мере рассасывания солдатчины по необъятным сибирским равнинам. Большевизм нашел искренний отклик только в го-

родском пролетариате и в крестьянской бедноте — «новоселах», не успевших прочно осесть и окрепнуть на богатой сибирской почве. Коренное крестьянство Сибири весьма мало интересовалось земельным вопросом.

Не находя сочувствия, но и не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления, большевизм начал утверждаться в Сибири только в январе-феврале 1918 года. Организующим его центром стал Иркутск. Собравшийся в нем в ноябре 1917 года «Всесибирский съезд советов» избрал «Центральный исполнительный комитет советов Сибири». Последний в середине декабря, после восьмидневных уличных боев между большевистским гарнизоном и отрядом из офицеров, юнкеров и незначительного числа казаков, захватил власть, образовав затем сибирский Совет народных комиссаров.

Утверждение большевизма сопровождалось обычными явлениями: сосредоточением власти в местных советах, упразднением земско-городских учреждений, правительственных и судебных установлений, разгромом кооперации и т. д. Но террора, который заливал кровью Европейскую Россию и Кавказ, в Сибири не было. Города, конечно, несколько пострадали; но сибирская деревня, за исключением пригородных сел, не успела испытать ни продразверстки, ни «отнятия излишков», ни карательных отрядов. Поэтому народ в широком смысле этого слова, когда в июне началась борьба против советского правительства, оставался равнодушным к ней. Ясно ощутимого стимула для нее не было. Только известная инерция, законопослушность — быть может более привитая в сибирском быту, чем в центре — побуждали народ исполнять в известной мере требования менявшихся потом, как в калейдоскопе, правительств, давать им солдат и платить подати.

Сменившая большевиков сибирская власть, как и все рожденные революцией, не могла претендовать на демократичность происхождения. Очевидно, в пожаре революции, в ожесточении борьбы применение истинно демократических методов построения власти невозможно психологически и невыполнимо технически...

Во второй половине прошлого столетия впервые началось движение, известное под именем *сибирского областничества*. Движение идейное, вызванное мертвящей централизацией Петербурга и тем невниманием, с которым центр относился к экономическим и культурным нуждам Сибири. Наиболее ярким представителем его был Потанин — ко времени революции уже глубокий старец. С началом революции движение это ожило, и целый ряд совещаний и съездов Сибири занимался вопросом об ее государственной автономии. Но так как центральная власть была в то время или слишком слабой (Временное правительство), или слишком одиозной (Совет комиссаров), и, с другой стороны, в состав этих съездов входила почти исключительно революционная демократия, то идейная сторона вопроса вскоре отошла на задний план, уступив место чисто политической борьбе — борьбе за власть.

«Чрезвычайный Сибирский областной съезд», состоявшийся в Томске в декабре, объявил об автономии Сибири и постановил созвать «общесибирскую социалистическую, от народных социалистов до большевиков включительно, с представительством национальностей, власть в лице Сибирской областной думы».

Советы отнеслись к факту созыва Думы, как к контрреволюционной попытке. И потому, когда в конце января с большим трудом собралось в Томске около полутораста депутатов, большевики арестовали виднейших из них и не допустили открытия Думы. Более смелые депутаты, по инициативе пришлого человека еврея Дербера, собирались тайно, избрав на одном из таких заседаний «Временное правительство». Гинс так описывает процедуру избрания[1]: «На частной квартире собравшаяся исподтишка небольшая группа членов Думы, человек около двадцати из полутораста, «избрала» шестнадцать министров с портфелями и четырех без портфелей. Шесть человек присутствовавших самоизбрали себя в совет министров». Большинство министров было избрано без их ведома и согласия. Все — социалисты или ошибочно считавшиеся таковыми.

[1] «Сибирь, Союзники и Колчак».

«Председатель правительства» Дербер от имени Думы издал декларацию[1], заключавшую обычные необольшевистские положения группы Чернова, впоследствии воспроизведенные самарским «Комучем», с добавлением милостивого разрешения «всем народам, проживающим на своей территории, в разное время присоединенным к Российскому государству», путем «свободного волеизъявления... отделиться от Российской федеративной республики»...

Десять министров (эсеров) с Дербером во главе стали затем пробираться тайно на восток, пытались безрезультатно обосноваться в Чите, долго мутили политическую жизнь Харбина, добиваясь там признания, и, наконец, с падением большевиков во Владивостоке в конце июня объявили себя там всесибирской верховной властью.

Перед отъездом Дербер наметил для Западной Сибири комиссариат в составе членов Учредительного собрания П. Михайлова и Линдберга.

Когда в июне военные организации совместно с чехословаками капитана Гайды свергли большевиков на всем протяжении от Челябинска до Иркутска, Западно-сибирский комиссариат выступил явно, как власть, установленная «Временным сибирским правительством»; повсеместно появились явочным порядком «уполномоченные правительства» и Сибирь спокойно приняла новую власть.

Но личный состав комиссариата, его политика, черпавшая свои откровения из декларации Думы и постановлений областного комитета эсеров, уронили совершенно престиж комиссариата. До такой степени, что через несколько недель (1 июля) комиссариат почти без сопротивления сдал власть по требованию группы случайно оказавшихся в Омске пяти министров дерберовского правительства, во главе с Вологодским[2]. Новое правительство (коалиция эсеров и либералов) объявило себя, также как и дерберовское, носителем верховной власти и в первые

[1] Декларация 27 января.

[2] Вологодский, Патушинский, И. Михайлов, Шатилов и Крутовский.

же дни обнародовало указ об отмене советских декретов, об упразднении всех местных советов и о восстановлении частной собственности. Этот акт расположил к правительству Вологодского умеренные элементы общественности и армии.

Край отнесся спокойно и к новому перевороту, но сибирская общественность не успокоилась. Борьба за власть продолжалась, находя отражение и в недрах самого правительства. Я не буду останавливаться на всех перипетиях этой борьбы, отмечу лишь характерные стороны ее. Боролись на авансцене политической жизни только *социалисты-революционеры* и *либералы*. С одной стороны, комитет Учредительного собрания, Сибирская областная дума, областной Центральный комитет партии эсеров и эсеровская фракция правительства; с другой — правительственная группа Вологодского, так называемый «деловой аппарат»[1] (позднее — «Административный совет»), и командование. Все остальные политические и общественные группы, кроме коммунистов и левых эсеров, поддерживали в той или другой мере одну из сторон, расширяя внешне масштаб участвующих — до борьбы между социалистической и либеральной демократией. Борьбу запутывали и осложняли чехословаки, принимавшие в ней деятельное участие — до арестов членов правительства включительно, — и союзные представители. Кроме генеральных консулов Франции и Англии (Гаррис и Буржуа) все это были мелкие консульские агенты или офицеры для связи. Не разбираясь в русской жизни, не имея ни полномочий, ни даже возможности снестись со своими правительствами, они играли, однако, совершенно неподобающую роль, вмешиваясь непрестанно во внутренние русские дела, не раз влияя на важные решения и внося в область политики элемент хлестаковщины и интриги.

[1] Вследствие полного безлюдья среди революционной демократии, эсеровский комиссариат вынужден был создать аппарат управления из либеральных общественных деятелей и служилого элемента.

Мало-помалу во внутренней борьбе двух центров — Самары и Омска — успех стал клониться на сторону последнего. Умеренная политика Вологодского, все возрастающая сила Сибирской армии и устанавливавшийся в крае внешний порядок привлекали в орбиту сибирской государственности оренбургское, уральское казачества и новую Уральскую область[1], которая вопреки давлению Самары вошла в связь с Омском и приняла общее направление его политики и единство командования. Наконец, Омск привлекал к себе симпатии и офицерства Народной армии.

Соперничество двух центров отражалось болезненно во всех областях государственной жизни. Такое положение длиться не могло. В общественном сознании идея необходимости государственного объединения и создания общероссийской власти пустила глубокие корни, не встречая противодействия и среди идейных сибирских областников.

Под давлением общественного мнения, иностранных представителей и чехословаков, запутавшихся в противоречиях внутренней русской жизни, и под влиянием умеренных членов Союза Возрождения[2], вопрос об объединении власти был наконец поставлен на очередь.

В Челябинске 15 июля состоялась встреча представителей Самары и Омска, обнаружившая непримиримое противоречие во взглядах на построение власти. «Самара» считала всероссийской верховной властью Учредительное собрание 1918 года, и себя временным носителем ее; «Омск» отверг категорически это положение, заявив, что общерусская власть может быть создана только путем соглашения новообразований.

— На каких условиях вы нам подчиняетесь?

Это был первый вопрос, с которым делегаты «Комуча» обратились к послам «Омска».

---

[1] Часть Пермской губернии с Екатеринбургом, где образовалось самостоятельное правительство из кадетов и умеренных социалистов с П. Ивановым во главе.

[2] Авксентьев, Аргунов и др.

Первое совещание не дало положительных результатов. В августе состоялось второе — там же, в Челябинске, приведшее к Уфимскому государственному совещанию.

Нет сомнения, что на уступчивость самарских правителей повлияло угрожающее положение Волжского фронта, которое ставило их перед перспективой в ближайшем будущем остаться без «народа» и без армии.

* * *

С начала 1918 года, после захвата власти большевиками, по сибирской магистрали от Челябинска до Канска начали формироваться тайно офицерские дружины. Большая часть из них возглавлялась коллективом из местных эсеровских ячеек и находилась в известной зависимости от дерберовского правительства, получая от него весьма ничтожные пособия. Военным министром считался подпоручик Краковецкий, один из произведенных Керенским, за выслугу лет в ссылке при царском правительстве, в подполковники. Начальником штаба всей организации, распространявшейся от Челябинска до Байкала, состоял артиллерийский подполковник Гришин (псевдоним «Алмазов»). Я познакомился с ним в конце 1918 года, когда судьба заставила его покинуть Сибирь и появиться в Екатеринодаре. Молодой, энергичный, самоуверенный, несколько надменный, либерал (быть может более политик, чем воин, с большим честолюбием и с некоторым налетом авантюризма), он несомненно сыграл бы большую роль в сибирском движении, если бы в самом начале своей карьеры не переоценил свой вес и влияние.

Офицерство было в большом смущении. Имена Краковецкого и Гришина-Алмазова не говорили ему ничего. Существовавшее в потенции, в конспирации какое-то Временное сибирское правительство не могло внушить ему доверия. Но ни признанного вождя, ни другого объединяющего центра не было; не было и материальных средств, которых не хотел давать верный себе, закоснелый в эгоизме торгово-промышленный класс, не доверявший к тому же возглавлению революционной демократии. Средства предоставляла сибирская кооперация, но под условием признания эсеровского «правительства». Эти обстоятель-

ства и обусловили внешние формы взаимоотношений между офицерскими отрядами и эсеровскими ячейками и всю подготовку движения. К тому же руководитель его Гришин-Алмазов «понимал, что власть будет иметь тот, у кого реальная сила»[1], и внушал эту мысль колебавшемуся офицерству.

Были, впрочем, местами и так называемые «беспартийные» организации, возникавшие по инициативе внепартийной интеллигенции и скудно субсидируемые мелкими представителями сибирского торгово-промышленного класса.

Составленные из однородных элементов, преимущественно офицерских, дружины, находясь подчас в одном городе, не были объединены и зачастую не знали о существовании друг друга. Более сильные отряды сформировались в Омске, Томске и Иркутске.

Еще в январе от Добровольческой армии за Волгу и в Сибирь была послана делегация во главе с генералом Флугом — по инициативе Корнилова и при более чем сдержанном отношении к ней Алексеева. Военная задача, возложенная на делегацию, заключалась в том, чтобы сорганизовать на местах элементы, способные к борьбе с большевизмом, обеспечить их местными средствами и связать в той или другой форме с Добровольческой армией[2]; политическая — завязать сношения с местным правительством и войти с ним в соглашение по вопросу формирования добровольческих частей. «При наличии правительства... желающего помочь (нам), все мероприятия проводить через его посредство, всячески поддерживая краевую власть, а при возможности — заключить с нею договор для совместных действий по воссозданию России»[3]...

Связь с Сибирью не наладилась. Мы получили только одно донесение от генерала Флуга в июне, которое шло из Омска два с половиной месяца и сильно отстало от быстро текущих событий. Он не получил ни одного распоряжения из армии. По этому поводу генерал Алексеев писал мне:

[1] Из доклада генерала Гришина-Алмазова.

[2] Инструкция Корнилова.

[3] Наказ Алексеева.

«Расходы льются широкой рекой. Выделить из своих сумм «хотя бы 100 тысяч рублей» (представление Флуга)... это такая разброска средств, которая непосильна для маленькой организации, живущей изо дня в день и тяжкими усилиями добывающей средства... Я считаю необходимым закрыть отдел и держать лицо только для связи и осведомления... Что важнее — содержание армии или политическая работа за тридевять земель, до которых армия не дойдет и где есть свое правительство, свои задачи, свои цели, свои средства?»[1]

Без всяких денежных средств, с одним только авторитетом имени генералов Алексеева и Корнилова, Флуг проехал через всю Сибирь, посетил важнейшие центры и вошел в связь с местными политическими деятелями и тайными военными организациями. Деятельность его, носившая поневоле совершенно личный, самостоятельный характер, сводилась к ознакомлению с тайными организациями, освобождению их от исключительной опеки эсеровских ячеек и подчинению политическому влиянию местных несоциалистических групп, преимущественно кадетских, путем извлечения средств от буржуазии; к установлению вместо штабных коллективов единоначалия. Наконец, в объединении «беспартийных» и эсеровских дружин в некоторых центрах под общим командованием. Так, например, по его настоянию был назначен начальником дружин в Омске полковник Иванов (псевдоним «Ринов») — командир одного из сибирских казачьих полков, ставший позднее атаманом Сибирского войска и командующим Сибирской армией.

Участие в деле «делегатов генералов Алексеева и Корнилова» несомненно придавало ему большую серьезность в глазах офицерства.

Офицерские дружины, пополненные добровольцами-интеллигентами, сибирские казаки, местами присоеди-

[1] Письмо от 30 июня 1918 года № 65.

нившееся городское и сельское население при помощи чехословаков повсюду легко разбивали Красную гвардию и свергали советы. Ставший командующим Сибирской армией и управляющим военным министерством сначала в комиссариате, потом в правительстве Вологодского Гришин-Алмазов[1] с большой энергией стал приводить в порядок эти разношерстные ополчения, освобождая их от случайного элемента, пополняя добровольцами, вводя организацию и дисциплину. К августу Сибирская армия состояла из трех корпусов: Уральского (генерал Ханжин), Степного (генерал Иванов-Ринов) и Средне-Сибирского (полковник Пепеляев). В состав их входили части офицерско-добровольческие, сибирские и оренбургские казачьи, киргизские и башкирские. Кроме того, на территории Сибири действовало несколько партизанских отрядов во главе с «атаманами», никому не подчинявшимися и являвшимися бедствием для населения и власти.

Состав Сибирской Добровольческой армии весьма показателен для народных настроений. «Общая численность ее, — говорит отчет, — 40 тысяч человек, казаки составляют половину этого числа. Если принять во внимание, что в строй на положение рядовых добровольно стало до 10 тысяч офицерской молодежи, призванной по мобилизации, то оказывается, что добровольцев невоеннообязанных всего 10 тыс. человек, причем добрую половину этого числа составляет интеллигенция, главным образом учащаяся молодежь. Таким образом, «народ» дал всего 5 тысяч добровольцев»[2].

В оперативном отношении, так же, как и Народная армия, Сибирская была подчинена чешскому командованию: Уральский корпус и часть Степного — Войцеховскому, Средне-Сибирский — Гайде; только дивизия, действовавшая в направлении на Верный, подчинялась командующему Сибирской армией. Русские части были разбросаны между чешскими полками, иногда батальонами, лишая возможности старший командный состав оказывать влияние на свои войска, мешая их внутренней спайке. На этой почве Гришин-Алмазов вел безрезультатную борьбу с чешским командованием. «Поручики в генеральских мундирах» — по его выражению — вошли во вкус неограниченного самовластия; они по существу были господами положения. Гришин-Алмазов рассказывал, как капитан Гайда, например, объявил своею властью Иркутскую и Енисейскую губернии на военном положении и ввел на железнодорожных станциях военно-полевые суды из чехов, «с необязательным участием одного русского»... Как Гайда награждал русских офицеров георгиевскими крестами и т. д. Позднее самовластие и русских войсковых начальников стало явлением обычным, внося большое расстройство в гражданское управление краем.

В армии введена была старая дисциплина, с некоторыми изменениями устаревших положений, и в угоду революционной демократии отменено ношение погон; последняя мера принята была в армии как унижение офицерского звания и вызывала недовольство.

Говоря о «старой дисциплине», я должен оговориться: ни в одной армии, ни в один период революции восстановить ее в надлежащей мере не удалось. Всеобщий моральный распад отозвался болезненно в жизни армии, поразив верхи еще в большей степени, чем низы. Можно говорить лишь об установлении сверху правильных взглядов на дисциплину и о большем или меньшем приближении к их осуществлению в войсках. К этому вопросу я вернусь, говоря о Добровольческой армии. В общем, офицерство оставалось вполне лояльным в отношении власти, более интересуясь условиями армейской жизни, чем общей политикой правительства. То обстоятельство, что правительство не вмешивалось в организацию армии, предоставив это дело военачальникам, побуждало армию «терпеть» социалистический комиссариат и относиться спокойно к полусоциалистическому правительству Вологодского. Что касается казачьих войск, то, оставаясь в общем лояльными к выборной казачьей власти и к высшему военному командованию, ведя самоотверженную борьбу

[1] Произведен был в генерал-майоры.

[2] Из доклада полковника Хартулари.

с большевиками, они переживали иногда периодически и сами приступы большевистской болезни...

К августу приток добровольцев в Сибирскую армию прекратился совершенно. Командование решило приступить к мобилизации, возрастов призыва 1919 и 1920 годов, не бывших еще на фронте. Тщательно подготовленный набор, произведенный в конце августа, дал до 200 тысяч человек. Сибирские крестьяне без подъема, но покорно шли в армию, а сопротивление, оказанное в двух-трех уездах, было жестоко подавлено вооруженной силой. Невзирая на большой недостаток командного состава (генералов и штаб-офицеров), крайнюю бедность в обмундировании и снаряжении, молодая армия организовалась, училась, сколачивалась, возбуждая большие и обоснованные надежды в сибирском обществе. Прикрытый чехословаками и Народной армией Волжский фронт давал возможность Сибири собраться с силами.

Результатов своих трудов Гришину-Алмазову не пришлось увидеть. Эсеры совместно с левой частью правительства, к которой примкнул и Вологодский, питавший личное нерасположение к надменному и слишком самостоятельному, по мнению правительства, генералу, добились его устранения. Слепой страх перед призраком отечественного Бонапарта побудил революционную демократию устранить человека, сумевшего как бы то ни было примирить армию с фактом существования полусоциалистического правительства, и передать власть другому лицу — сугубо правому по политическим убеждениям, одиозному в глазах социалистов по характеру его прежней деятельности (начальник уезда), но не обладавшему, как казалось им, опасными качествами Бонапарта... Во время командования этого другого — генерала Иванова-Ринова — по иронии судьбы состоялся впоследствии переворот 18 ноября.

Удалив Гришина-Алмазова самым непристойным образом, правительство Вологодского особым «рескриптом» отдало ему «заслуженную щедрую дань глубокого уважения и признательности».

Генерал Гришин-Алмазов уверял впоследствии, что все «предложения офицерства и войск стать на его сторону он

отверг», чтобы не подрывать авторитета власти... Есть другие данные, свидетельствующие, что подобная попытка была, но встретила противодействие со стороны старших начальников (соревнование Иванова-Ринова) и полное равнодушие со стороны армии.

Армия считала Гришина-Алмазова социалистом, а социалисты — реакционером. Таких недоразумений история русской смуты знает немало.

ГЛАВА XIV

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ. «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

Дальний Восток был долго отрезан от остальной Сибири, не имея с ней никакой связи. Только в начале сентября капитан Гайда, взяв Читу, открыл сквозное движение по сибирскому пути.

В конце ноября 1918 года курьер привез на Юг письмо адмирала Колчака и доклад генерала Степанова (лица, близкого к адмиралу)[1], адресованные на имя покойного тогда уже М. В. Алексеева. Доклад Степанова, рисующий положение дел на Дальнем Востоке, представляет большой интерес в том отношении, что он составлен с ведома адмирала[2].

Привожу этот доклад, составленный по данным к половине сентября 1918 года, в подробном извлечении, исключив лишь часть чисто личную и переставив некоторые абзацы в интересах последовательности изложения.

«В середине мая положение было таково. В Иркутске и Забайкалье господствовали большевики, захватившие Благовещенск, Хабаровск и затем Владивосток. Часть че-

[1] Письмо адмирала от 1 октября (вероятно, нового стиля) и доклад Степанова от 17 сентября 1918 года.

[2] В письме адмирала говорится: «Генерал Степанов в своем письме излагает довольно детально положение вещей, создавшееся на Дальнем Востоке».

хословацких эшелонов (что-то около 15 тысяч человек) в это время успела добраться до Владивостока с генералом Дитерихсом и французским полковником (ныне генералом) Парисом. В Манчжурии, вернее в так называемой полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги, я застал полный хаос.

Бунтовавшие запасные батальоны товарищей были разогнаны и сменены китайскими войсками (в декабре). Русская милиция заменена также китайской. Администрация железной дороги сохранилась русской, во главе с управляющим дорогой генералом Хорватом.

Затем, пользуясь свободой от большевизма, в Харбине и на более крупных железнодорожных станциях (Хайлар, Манчжурия) собралось несколько тысяч русских офицеров, большей частью из войск бывшего Заамурского округа пограничной стражи, а также из войск, ранее квартировавших в Приамурском округе.

Масса эта оказалась малоспособной сорганизоваться в регулярные, прочные единицы, с одной стороны, а с другой, у высших чинов отсутствовала необходимая воля и организаторские дарования, при наличности мелкой зависти и готовности к интригам. Союзники, т. е. японцы и отчасти французы (знакомые Вам генерал Накасима и лейтенант Пелио) сразу же своим участием внесли много зла в попытки создать здесь русские войска. Так как сверху уклонялись от объявления формирования войсковых частей, то таковые стали сперва возникать самостийно. Забайкальского войска есаул Семенов выпорол на станции Манчжурия несколько железнодорожных агентов за их симпатии к большевизму и объявил сам себя атаманом. Ему дали сейчас же денег японцы и французы. Начался набор добрых малых, готовых на все, кроме установления у себя хотя бы тени необходимого воинского порядка. Небольшие удачи в мелких стычках с отдельными большевистскими бандами создали, с одной стороны, ложную славу Семенову, а с другой — непризнание им самим какой-либо иной, кроме него самого, высшей объединяющей власти, что особенно культивировалось господами японцами.

Нечто подобное создалось, но в значительно более мелком масштабе, и на востоке, на станции Пограничная с самозванным уссурийским атаманом есаулом Калмыковым, который, как оказывается, даже и не приписан ни к одному казачьему войску, а просто значится харьковским мещанином.

«Атаман» этот также состоит под покровительством японцев, которые и субсидируют его денежными подачками.

Наконец, в самом Харбине возникла было офицерская организация полковника Орлова на более регулярных началах.

Еще в январе возникла на Дальнем Востоке мысль о сформировании в полосе отчуждения Китайской железной дороги правительства из числа русских деятелей, собравшихся в Харбине, Владивостоке, Китае и Японии, причем главою такого правительства большинство избирало управляющего Китайской железной дорогой генерал-лейтенанта Хорвата лица популярного, особенно в Китае. Однако эта мысль встретила среди наших дипломатических представителей в Пекине ряд сомнений в успехе ее осуществления, и было a priori предложено генералу Хорвату сперва создать некоторую вооруженную силу из числа хотя бы прибывших на Дальний Восток офицеров и, только заручившись этой необходимой данной, реализовать свое выступление. А так как генерал Хорват всю службу провел вне строя и по медлительному, нерешительно эластичному характеру своему и недоверчивости к сотрудникам мало гарантировал возможность определенной организации воинских частей, то для этой цели и был вызван Путиловым и князем Кудашевым А. В. Колчак и, так сказать, навязан ими, чего, однако, тогда же никто А. В. не высказал. Решено было, что генерал Хорват озаботится подбором хороших политических деятелей, а адмирал Колчак сформирует для него войска на основах дисциплины и строгой иерархии, в чем была обещана союзниками широкая помощь деньгами и оружием. Когда же то и другое будет готово, то только тогда генерал Хорват и выступит.

Честный, открытый, с сильной волей, глубоко и искренне любящий родину, А. В. Колчак принял это пред-

ложение и в конце апреля приехал в Харбин. Но здесь его сразу же враждебно встретили и японцы, определившие в нем крупного, стойкого, чисто русского деятеля, и старшие чины наши, и господа самозванные атаманы. В течение мая и июня разыгралась грустная и гнусная (с точки зрения русских интересов) драма, авторами которой были, конечно, японцы, режиссировали же свои. А. В. травили в Харбине все, а атаман Семенов отказался даже его принять, когда адмирал сам к нему приехал на станцию Манчжурия. О каком-либо воинском единовластии никто и слышать не хотел: оно казалось опасным японцам, подозрительным для высших властей, стеснительным для младших чинов и контрреволюционным для массы.

В результате так никаких войск и не сформировали. Культивировались, как бы наперекор основной идее, лишь разные небольшие отдельные отряды, никого выше себя не признающие и составленные главным образом из китайцев, монголов и бурят. Затем возникло несколько высоких штабов и много генеральских должностей до главнокомандующего фронтом включительно[1]. Завелись переписка, канцелярии, делопроизводители, а воителей состояло к 1 июля, и то «по спискам»: в отрядах, признающих адмирала, всего 740 человек, у атамана Семенова, грубо не подчинявшегося ни адмиралу, ни генералу Хорвату, — что-то около 1800 человек (китайцы, монголы, буряты, японцы, 100 сербов, 400—500 забайкальских казаков и немного русских офицеров), у атамана Калмыкова — 70 человек. Вот и весь боевой состав, друг друга не признающий и даже угрожающий один другому.

Вследствие всего этого 30 июня нового стиля адмирал Колчак выехал в Токио, чтобы лично выяснить там, являются ли поступки генерала Накасима и некоторых офицеров японского генерального штаба, заключающиеся в подговаривании начальников русских отрядов не признавать адмирала и не исполнять его приказаний, их личными выступлениями против него или это делалось с ведома и одобрения начальника японского генерального штаба.

[1] Генерал Плешков был назначен «главнокомандующим Российских войск».

В Токио, в присутствии нашего посланника В. Н. Крупенского и моем, адмирал имел по этому поводу беседу с генералом Танака — помощником начальника генерального штаба, фактически — его главой. Генерал Танака против обвинений, высказанных адмиралом, не протестовал, но просил его «временно» оставаться в Японии, обещая призвать к высокой военной деятельности впоследствии, по выяснении условий интервенции союзников. Так А. В. и остался в Японии.

В июне весь Харбин был полон воплями о необходимости для спасения России призвать союзников, а главное японцев. Больше всех в этом отношении агитировал образовавшийся здесь еще ранее Дальневосточный комитет[1], при участии бывшего члена Государственной Думы Ст. Вас. Востротина (кадет). Господа эти сочинили целое молебное послание от лица «лучших русских людей» и через генерала Хорвата отправили его в Токио и другим союзникам.

Вскоре (9 июля нового стиля) после отъезда адмирала из Харбина, генерал Хорват объявил себя Всероссийским Правителем, принявшим на себя и «всю полноту государственной власти», для чего выехал на станцию Гродеково, находящуюся на русской территории в Уссурийском крае.

Хорват организовал так называемый «Деловой кабинет», в состав которого вошла часть членов Дальневосточного комитета; председателем его был избран Востротин. Пост военного министра принял недавно перед этим прибывший от Вашего имени генерал Флуг».

Генерал Флуг по своей инициативе принимал участие и в политической борьбе сибирских центров. Так, в апреле в Омске он участвовал в подготовке на случай свержения большевиков «диктатуры во главе с П. Ивановым»... В

[1] Полное название — «Дальневосточный комитет защиты Родины и Учредительного собрания». Состав — главным образом правый до кадетов включительно.

начале июля, как сказано выше, вступил в состав «Всероссийского» правительства генерала Хорвата вместе со своим помощником Глухаревым. При этом не персонально, а в качестве «делегации генералов Алексеева и Корнилова», что уже совсем не входило в его полномочия. Тотчас по вступлении в должность Флуг обратился по телеграфу к Гришину-Алмазову и Иванову-Ринову, объявляя об образовании генералом Хорватом государственной власти, в состав которой вошла «возглавляемая им миссия»; сообщал, что новая власть приступила к воссозданию боевых сил, «в состав коих имеют войти и организованные в Сибири боевые отряды». Сибирские военачальники ответили приветствиями и пожеланием соединения армий, но от признания над собою «всероссийской власти» Хорвата уклонились. Возвращаюсь к письму генерала Степанова.

«Адмирал Колчак в состав кабинета приглашен не был ввиду того, что в бытность свою в Харбине он всех восстановил против себя.

По-видимому, и это выступление было произведено не без настояний японцев, гарантировавших свою всесильную поддержку. Хотя незадолго до этого из японских субсидий было выдано некоему Краковецкому — военному министру еврейско-сибирского дерберовского правительства — 50 тысяч рублей и само правительство предупредительно перевезено во Владивосток, где оно и объявило себя истинным правительством Сибири. Таким образом, в Уссурийском крае сразу же появилось два правительства: во Владивостоке, находившемся во власти большевиков — якобы выбранное населением Западной Сибири во главе с Дербером, и на пограничной с Манчжурией станции Гродеково — всероссийское генерала Хорвата. Кроме того, особую, чисто большевистскую позицию заняли земства Приморской области и Владивостокское городское самоуправление во главе тоже с евреем Медведевым. В Хабаровске властвовал большевик еврей Краснощеков. Но в конце концов эти господа сговорились с Дербером.

Чехословаки, находившиеся во Владивостоке, сперва хранили нейтралитет, но затем, под угрозой выступления

против них германо-австрийских пленных, обезоружили во Владивостоке и Никольске-Уссурийском большевиков. Роль при этом М. К. Дитерихса до сих пор для меня не ясна (лично мне с ним еще не пришлось увидеться). Официально он заявил, как офицеру, командированному к нему адмиралом Колчаком, так и представителям генерала Хорвата (между прочим, генералу Флугу), что он теперь не является русским, а только чехословаком, что считает Россию совершенно развалившейся, что никакого русского правительства ранее чем через два года создать нельзя и что все русские военные организации подлежат немедленному роспуску. Ввиду этих суждений он категорически отказал в разрешении генералу Хорвату переехать во Владивосток.

В подобных переговорах прошел июль.

2 августа генерал Хорват, опять-таки по-видимому не без совета японцев, воспользовавшись отсутствием генерала Дитерихса, проехал во Владивосток. Поезд его пропустили, но следовавшие сзади эшелоны с офицерскими ротами чехами не были пропущены. Вследствие этого 5 августа произошла стычка на станции Голенки. Чехи взорвали путь перед русским бронированным поездом, выстрелами из которого затем были убиты два чеха.

В августе начали прибывать во Владивосток, в Харбин и на станцию Манчжурия войска, присланные союзниками согласно интервенции. Японцы ввезли пока (к 20 сентября нового стиля) в общем около двух дивизий, остальные союзники — строго по условиям интервенции. Главное командование и на так называемом Хабаровском фронте, и на Забайкальском, и общее всеми союзными силами взяли в свои руки, конечно, японцы (фельдмаршал Отани).

Американцы привезли свои войска из Филиппин, французы и англичане — из ближайших азиатских колоний. Разумеется, по сравнению с японцами войска остальных союзников в боевом смысле представляют во всех отношениях величину незначительную. Русские отряды союзниками совершенно игнорируются, даже в их штабы не приглашены русские офицеры, хотя бы для облег-

чения сношений с местным населением. Кроме отряда атамана Семенова, — вероятно потому, что еще с самого начала существования этого отряда, с первой пачкой японских денег, фактическим начальником штаба отряда был посажен японский генерального штаба капитан Куроки (сын покойного маршала).

Весь август правительства генерала Хорвата и Дербера провели во Владивостоке, высиживая друг друга на измор, при более чем недвусмысленном отношении дипломатических и военных представителей союзников.

Наши послы в Токио и Пекине заняли в этом вопросе позицию невмешательства, причем, однако, князь Кудашев, не делая никому исключения, передает официально все обращения, воззвания и манифесты каждого возникающего правительства, не считаясь с его credo, кроме ярко большевистских. Что касается вопроса об организации русской армии, то генерала Флуга об этом даже и слушать не хотят союзники.

Сперва союзников представляли во Владивостоке их коммерческие консулы и старшие войсковые начальники. Но недавно вместо первых образован «Высокий совет комиссаров» из специальных представителей: от Англии сэр Эллиот (бывший советник английского посольства в Петрограде), от Франции г. Реньо (только что покинувший пост посланника в Токио), от Америки назначается также посланник в Японии, а от Японии г. Масаджеро. Между высоким советом консулов (?) и старшими военными начальниками союзных войск, по-видимому, нет солидарности во взглядах.

Находящиеся во Владивостоке русские офицеры, сперва организованные (т. е. попросту нанявшиеся) революционно-большевистским земством, пытались было признать генерала Хорвата, но за это вследствие навета Дербера были публично разоружены по постановлению совета союзных консулов, приведенному в исполнение приказом генерала Накасима. Акт этот был настолько позорно обставлен, что присутствовавший русский артиллерийский чиновник (заведующий оружием) застрелился.

Событие это вызвало много сочувственных и даже патриотических разговоров. Союзники удивлялись: они никак не могли представить себе, чтобы у русских сохранилось еще столь сильно выраженное чувство национальной чести. Но однако все это не помешало в день похорон многим русским дамам и господам принять приглашение и веселиться на благотворительном чае, устроенном как бы нарочно англичанами на палубе крейсера Суффольк...

В первых числах сентября происходит новое важное событие. Чехословаки, задержанные в дороге большевиками в Западной Сибири, прорвались под начальством чеха Гайды в Забайкалье, взяли Читу и вошли в соприкосновение с только что начавшим наступление Забайкальским отрядом, состоящим из японцев, чехов и войск Семенова.

Гайда заявил себя во время борьбы с германо-большевиками в Сибири человеком решительным, расстрелявшим массы и перепоровшим еще большее число лиц.

Гайда объявил себя главнокомандующим всеми русскими и чехословацкими войсками и, как только добрался до станции Оловяная Забайкальской железной дороги, вызвал к себе генералов Хорвата и Дитерихса.

С прибытием Гайды открылся железнодорожный проезд в Иркутск и далее, чуть ли не до Самары; явилась, наконец, давно жданная возможность войти в сношения с Западной Сибирью и ее правительством.

20 сентября нового стиля во Владивостоке собрались играющие доминирующую роль старшие представители союзников, правительства Хорвата и Дербера, Вологодский и «диктатор» Гайда, третирующий пока всех и каждого»...

Усилия Вологодского увенчались успехом. Дерберовское правительство, оказавшееся в критическом финансовом положении, и Хорват отказались от власти в пользу сибирского правительства. Хорват был назначен «наместником на Дальнем Востоке».

«В общем все более и более выясняется, что союзники вступили в пределы России не ради спасения ее, а — вернее — ради своих собственных выгод. Благополучие России

никому не нужно. Установление у нас определенной твердой правительственной власти вредно для интересов господ союзников, желающих хозяйничать самостоятельно. Но особенно для них нетерпима организация русской военной силы.

Наглее всех это высказывают японцы, вносящие всюду интриги через своих агентов и закупленных ими русских пособников. Вступление японцев равносильно военной оккупации занятой ими территории. Например, в Хабаровске они присвоили себе амурские канонерки и их дорогостоящую базу, под предлогом военной добычи, отнятой у большевиков.

Для своих расплат с русским населением они ввели особые боны, меняемые только на иены.

Соперниками японцев являются только американцы, сильные с промышленной и финансовой стороны, но слабые в военном отношении. Соперничество это уже обозначается явно. Японцы порой как бы издеваются над американцами. Недавно, например, на протест американцев по поводу ввода японцами значительно больших сил, нежели это было оговорено в условиях интервенции, японцы насмешливо ответили, что они ничего не имеют, если и американцы введут сюда большее число своих войск, даже «большее, чем это может сделать Япония».

Тот же генерал Накасима и другие японские офицеры не стеснялись публично бранить американцев... по-азиатски стараются натравить на американцев других союзников, и особенно нас, русских, всюду и везде подчеркивая, что американцы — явные сторонники большевиков.

Что касается американцев, то эти господа в политическом отношении скорее наивны и до сих пор еще продолжают смотреть на Россию и на наш большевизм по внушениям своей еврейской клики, которая и являлась в Соединенных Штатах до последнего времени единственным источником познания России.

Есть сведения, что в настоящее время эта ориентировка уже подверглась критике и американцы хотят сами, помимо евреев, познакомиться с Россией, ее населением, укладом его жизни и экономическими нуждами. Но когда все это случится!

Англичане, как всегда, третируют нас свысока, а французы почему-то пока находятся под видимым влиянием Японии.

О китайцах я и не говорю. Китай сам все еще переживает революцию, при дружелюбном содействии японцев, ссужающих деньги и оружие одновременно и северянам, и южанам, как это, уверяют, делали они и у нас, субсидируя также одновременно и Семенова (не признающего генерала Хорвата), и самого Хорвата, и Дербера, а весной даже хабаровских большевиков. Нельзя умолчать и о высказываемых союзниками чаяниях в отношении вознаграждения от нас за их «бескорыстную помощь». Еще с адмиралом Колчаком по этому поводу заводил разговор генерал Накасима, но А. В. довольно определенно уклонился от этого вопроса, как стоящего вне его компетенции. Пока выясняется, что Япония, обездоленная железом, возьмет себе: 1) наши побережные районы, богатые железной рудой, 2) нашу часть Китайской Восточной железной дороги и, видимо, еще с придачей, 3) Владивостокский порт и Уссурийский край. Пока же японцы скупают пароходы на Амуре и занимают своими командами наши речные канонерки.

Американцы часто много говорят о необходимости обеспечить за собой право на постройку железной дороги через Камчатку на Иркутск (кажется) с эксплуатацией прилежащего района. Вопрос этот не новый и возникал уже до войны».

Письмо заканчивалось обращением к генералу Алексееву:

«А как здесь жаждут многие получить от Вас, глубокоуважаемый Михаил Васильевич, хотя бы какие-нибудь указания, что надо делать и как поступать, чтобы спасти родину от грядущего рабства ее под игом не только Германии, но и тех же союзников, вступающих ныне в наши пределы якобы из бескорыстных побуждений».

В письме своем от 1 октября адмирал Колчак высказал также глубоко пессимистический взгляд на общее поло-

жение Дальнего Востока: «Я считаю (его) потерянным для нас если не навсегда, то на некоторый промежуток времени; и только крайне искусная дипломатическая работа может помочь в том безотрадном положении, в котором находится наш Дальний Восток. Отсутствие реальной силы, полный распад власти, неимение на месте ни одного лица, способного к упомянутой работе, создали бесконтрольное хозяйничанье японцев в этом крае, в высшей степени унизительное и бесправное положение всего русского населения».

Интересно первое впечатление, которое вынес адмирал о директории, приехав в конце сентября в Омск[1]: «Я не имею пока собственного суждения об этой власти, но, насколько могу судить, эта власть является первой, имеющей все основания для утверждения и развития».

Адмирал Колчак не питал, как видно, никакого предубеждения к идее «демократического правительства».

* * *

В то время, когда на огромном пространстве от Волги до Великого океана шла непрерывная политическая борьба взаимно ненавидящих, свергающих друг друга советов, комитетов, правительств и правителей, на бесчисленных внутренних фронтах лилась кровь. Политика всецело полонила стратегию, внося своими чрезвычайными противоречиями элемент авантюры в операции, хаос в снабжение и начало деморализации в дух армий.

В начале августа стратегическое положение было следующим: под номинальным командованием генерала Шокорева находилось около 120 тысяч русско-чешских войск, из которых более половины входило в состав Западного фронта, 15—20 тысяч Южного, 15—20 тысяч Забайкальского и 10—15 тысяч расположилось во Владивостоке.

Против этих сил действовали войска Красной армии, насчитывавшие на фронте Камы и Волги 80—100 тысяч, и совершенно не поддающиеся учету многочисленные красногвардейские отряды так называемого «Ташкентс-

[1] Из того же письма.

кого фронта», внутреннего сибирского[1], Забайкалья и Приморской области.

Операции развивались почти исключительно вдоль железнодорожных линий.

В Прикамском районе, на Пермском направлении в первой половине августа большевики произвели сильный нажим на Екатеринбург, подойдя к городу на полперехода и вызвав там сильную панику. Полковнику Войцеховскому удалось, однако, отбросить наступавших.

На Волжском фронте без разрешения командования, по инициативе частных начальников (полковник Каппель, чешский капитан Швец) неожиданным налетом 7 августа была взята Казань. Операция эта, стратегически не обоснованная, имела, однако, чрезвычайно важные последствия: в Казани был захвачен и поступил в ведение самарского правительства золотой запас Российского государства в 651 $^1/_2$ миллиона рублей золотом[2] и кроме того 110 миллионов кредитными билетами и на большую сумму ценных бумаг. Это обстоятельство давало прочную финансовую базу для развития Восточного фронта и сильно подрывало положение советской власти.

На Саратовском направлении, проявляя огромное напряжение, мобилизовав все мужское население с 19- до 55-летнего возраста, выставив до 20 полков, с марта вело непрерывную героическую борьбу Уральское войско. В каких условиях — об этом один из участников говорит[3]: «Пусть будет известно, что в отношении вооружения в начале нашей борьбы дело обстояло так, что многие старики несли с собой в бой пешни, пики, ломы и даже цепы, и после боя бывали найдены на поле брани с этим оружием самозащиты в руках». Только в начале июня, когда самарской группой чехов и добровольцев был взят Бузулук, войску открылась возможность получить оружие и боевые припасы. Под давлением превосходящих сил большевиков уральский

[1] Отступившие летом от железнодорожной магистрали крупные банды в Верхнеуральске, на Алтае и в северном Семиречье.

[2] Золотой запас переходил затем преемственно к директории и к правительству адмирала Колчака.

[3] Е. Коновалов. «Уральцы».

фронт все время менял свое очертание, дважды (в апреле и июне) подходя почти вплотную к столице войска Уральску.

До конца августа на Камском и Волжском фронтах было сравнительно спокойно. Уральские казаки, отбросив большевиков на всех направлениях, дрались у Николаевска, Новоузенска и Красного Яра (под Астраханью); капитан Гайда подошел к Байкалу; на прочих направлениях шли небольшие бои с переменным успехом.

В сентябре обстановка круто изменилась под влиянием двух новых факторов: подвинувшейся значительно вперед организации Красной армии и начавшегося брожения в Чехословацком корпусе, который продолжал еще перебрасывать свои части с востока на запад.

Предпринятое большевиками в начале сентября наступление — главными силами на Уфимском направлении — увенчалось успехом: они взяли 9-го Казань, 12-го — Симбирск, а 9-го октября овладели и Самарой, продвигаясь затем дальше на восток.

Чехи, избалованные легкими успехами над Красной гвардией весной и летом, теперь, когда начались более серьезные бои, драться не хотели. Тем более что к тому времени путь к Великому океану был уже свободен... Глухо прозвучал выстрел, которым доблестный чех — капитан Швец — покончил свою жизнь, не будучи в силах перенести те явления, которые он считал предательством... Прозвучал, не разбудив ничьей совести. Только добровольческие части, отступая последними, оказывали слабое сопротивление преследующему противнику. С фронта на восток потянулись массы беженцев.

В оправдание свое чехи приводили мотивы достаточно веские: неустойчивость русских частей, вызывавшую у них сомнение, «желает ли русский народ действительно у себя порядка, народовластия, свободы... или предпочитает советскую власть...»[1] «Внутреннюю смуту и неурядицу», в силу которой наблюдалось «не взаимодействие отдельных областей, но что-то вроде глухой вражды... Эгоизм и непонимание государственных задач доходили до границ

[1] Воззвание Чечека.

недопустимого»[1]... Приводились и стратегические соображения: неправильность первоначальной разброски сил и необходимость сосредоточиться в районе Челябинска, чтобы начать серьезную операцию в одном главном направлении — на Вятку—Котлас — для соединения с англичанами...[2]

Образ действий чехов в этот второй период их участия в русской смуте не нуждается в оправдании. Они вольны были решить по внутреннему своему убеждению трагическую для нас дилемму: проливать ли кровь за спасение России или уходить. Они стали уходить. Это обстоятельство дает нам, однако, нравственное право отнестись критически к ореолу героизма и самоотверженности, в который облекают движение чехословаков, и, во всяком случае, не чувствовать себя в долгу перед ними. С осени 1918 года, в особенности с ноября, когда последние их части вышли из боевой линии, Чехословацкий корпус стал чужеродным и больным наростом в организме Сибири, поглощая большие материальные средства ее, столь необходимые для русской армии, загромождая и подчас парализуя подвижность сибирской магистрали.

Бесславное участие в драме адмирала Колчака завершило впоследствии дело, так славно начатое чехословаками на Волге...

На других фронтах обстоятельства складывались значительно благоприятнее: на Южном наступление большевиков не получило развития; «внутренний фронт» был ликвидирован частями Сибирской армии; пал окончательно Восточный со взятием Гайдой Читы. Все внимание и силы можно было, следовательно, обратить на Западный фронт. К концу октября военное положение на территории подчиненной «всероссийской власти» в лице созданной в Уфе директории, представлялось в следующем виде:

I. *Западный фронт* шел по линии Верхотурье—Красноуфимск—Бугуруслан—станция Неприк. Войсками его ко-

[1] Председатель Чешского национального комитета Павлу.

[2] Объяснения Войцеховского.

мандовал чех генерал Сыровой, сменивший Шокорева; имея штаб-квартиру в Челябинске. В трех группах генералов Гайды (Екатеринбург), Люпова (Бирск) и Войцеховского (Уфа) числилось русских войск 42 тысячи[1], чешских 20 тысяч при 182 орудиях.

II. *Уральский фронт* шел в направлении от станции Неприк к берегу Каспийского моря, западнее Гурьева. Силы — $5^1/_2$ тысяч уральских казаков при 16 орудиях; во главе их стоял командующий войсками Уральской области генерал Акутин.

III. *Юго-западный фронт* прикрывал направление от Самары и от Ташкента на Оренбург — в районах Бузулука и Актюбинска. Фронт занимали оренбургские казаки и остатки Народной армии силой в $15^1/_2$ тысяч при 54 орудиях, под начальством оренбургского атамана генерала Дутова.

IV. *Юго-восточный фронт* — в направлении Семиречья; передовые части занимали Копал и Лепсинск. Силы — 6 тысяч, 11 орудий из состава Сибирской армии — находились в непосредственном подчинении командующего армией генерала Иванова-Ринова, жившего в Омске.

Резервом могли служить полувооруженные и полуобученные три дивизии генерала Ханжина, расположенные в Екатеринбургском районе, силой около 30 тысяч.

Всего, следовательно, сибирские армии насчитывали около 90—120 тысяч при 263 орудиях. Войска — устойчивые на севере и юге, и морально подавленные на важнейшем Самарском направлении.

Против них наступали шесть красных армий[2] Восточного фронта под начальством полковника Каменева силами до 100 тысяч при 300 орудиях[3]; более двух третей этих сил было сосредоточено против Западного фронта (генерал Сыровой), который медленно катился назад под их давлением.

* * *

С августа начала как будто сбываться мечта многих русских людей, видевших спасение России в союзнической интервенции. Мечта, положенная в основание планов большинства политических партий, поддерживавшая морально впавшую в отчаяние буржуазию и дрогнувший фронт...

В августе и сентябре стали прибывать во Владивосток транспорты с долгожданными союзными войсками. Высадилось... 3 дивизии японцев, 5 батальонов американцев, по батальону англичан[1], французов и итальянцев. Численность войск явно не соответствовала той огромной задаче, которая ставилась им пышными декларациями правительств и «высоких комиссаров». Еще более странным показалось применение этих войск... Японские дивизии расположились во Владивостоке, Харбине и вдоль линии Забайкальской железной дороги до Читы; при этом японский командующий маршал Отани заявил, что никакой другой задачи от своего правительства он не имеет. Американцы стали на охрану пути между Иркутском и Верхнеудинском и по Уссурийской железной дороге, английский батальон двинут в Омск — резиденцию «высокого комиссара», очевидно, для представительства.

Этот высокий комиссар, сэр Эллиот, прибыв раньше других полномочных представителей союзников на екатеринбургский фронт, торжественно заявил: «Союзники употребляют все усилия, дабы оказать помощь возрождающейся России, как вооружением, снаряжением, так и людьми. Уже находятся в пути к Сибири их части, *которые скоро будут сражаться на фронте*. Помощь подвигается и с другой стороны — от Котласа... Нельзя упрекать нас в медлительности... Связь только что налажена и теперь делается все, чтобы ускорить помощь».

Официальная ложь союзников будила надежды, сменившиеся скоро глубоким разочарованием. Сибирь не

[1] Сибирские корпуса, Оренбургский корпус и остатки Народной армии.

[2] 1, 2, 3, 4, 6 и армия ЧВК, действовавшая против восставших рабочих Ижевско-Воткинского района.

[3] По данным штаба Добровольческой армии к 1 ноября; большевистские силы в Семиречье не вошли в расчет.

[1] По другим данным — около бригады.

получила от иностранцев ни одного штыка; они ограничились позднее присылкою материальной помощи вооружением и снабжением.

Порт и многомиллионные склады Владивостока были обеспечены, путь для чехословаков открыт, австро-германские контингенты военнопленных временно локализованы, а военно-политическая обстановка на европейском театре войны давала надежду на скорое и победное ее окончание.

Какие же еще мотивы могли побудить «реальных» политиков Запада принять более деятельное участие в судьбах опасной своим бурным брожением страны, в несчастье непонятного для них народа?

ГЛАВА XV
ВНЕШНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ: НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ, АСТРАХАНСКАЯ И ЮЖНАЯ АРМИИ

С приходом германских войск на Дон положение Добровольческой армии стало весьма затруднительным. Декларации наши, свободно обращавшиеся, не могли создать никаких иллюзий у немецкого командования в вопросе об отношении к нему армии. Правда, первоначальная формула этих отношений, исходившая некогда от «совета» при триумвирате[1], теперь была заменена более мягкой: «Никаких сношений с немцами»... Но и эта формулировка не могла примирить немецкое командование с фактом существования бок о бок силы, безусловно им враждебной.

Началось зондирование почвы.

Киевская главная квартира через третьих лиц — немецкой ориентации — предлагала нам войти в «дружеские сношения»; граф Альвенслебен искал свидания с адъютантом генерала Алексеева ротмистром Шапроном, бывшим в Киеве по делам армии; генерал Арним в Ростове на официальных собраниях высказывал свое уважение к Добровольческой армии и сожаление, что «она не идет вместе с нами». На Украине свободно работали вербовочные бюро, и команды добровольцев — в форме, с отличительными знаками армии — направлялись беспрепятственно на Дон, встречая даже известную предупредительность со стороны немецких комендантов. Это обстоятельство, наряду с появившимися в киевских газетах сведениями о «союзнической ориентации» армии, возбуждало даже в наших киевских друзьях сильнейшее беспокойство — «не готовят ли немцы ловушки...»

[1] Триумвират: Алексеев, Корнилов, Каледин; зима 1917–1918 года. Первая декларация Добровольческой армии определяла цели ее «борьбой с надвигающейся анархией и немецко-большевистским нашествием».

Попытки эти остались безрезультатными: командование Добровольческой армии, избегая каких бы то ни было активных действий в отношении немцев, категорически отказалось войти с ними в сношения. Создалось весьма оригинальное «международное» положение, которое с некоторым приближением можно назвать *«вооруженным нейтралитетом»*.

Любопытно, как расценивала правая общественность наши побуждения в этом вопросе. Князь Г. Трубецкой в своем донесении Правому центру писал[1]: «Генералы, стоящие во главе Добровольческой армии, мыслили возрождение России и армии в прямой преемственности от той идеологии, которую они принесли с фронта бывшей русской армии. Немец был враг, и притом нечестный враг, придумавший удушливые газы, а потом и самих большевиков. С этим врагом могла быть только борьба на жизнь и смерть и невозможны и недостойны никакие разговоры. Изменить союзникам было бы недостойным малодушием, и на всех, кто были заподозрены в германской ориентации, ложилось пятно». Определение это, верное в отношении офицерской массы, слишком, однако, элементарно в отношении старших начальников: они руководствовались кроме этого мотивами государственной целесообразности и некоторым предвидением...

[1] От 28 августа 1918 года.

Истинные намерения германцев нам не были известны. Возможность дальнейшего движения их к востоку и югу ставила в крайне тяжелое положение Добровольческую армию и вызывала неоднократные сношения по этому поводу генерала Алексеева и мои с донским правительством. Генерал Богаевский, управляющий отделом иностранных дел, предупреждая, что ручаться ни за что нельзя, но что во всяком случае «с ведома и согласия войскового правительства никакого передвижения немцев быть не может». Одновременно, однако, приходили сведения, что генерал Краснов помимо своего правительства ведет переговоры с немецким командованием о совместном наступлении на Азов и Ейск. 15 июля сведения эти получили существенное подтверждение. Атаман пригласил к себе моего представителя генерала Эльснера и убеждал его в необходимости сдвинуть Добровольческую армию с Кубани на Царицын. В качестве неопровержимого довода Краснов просил передать мне со слов будто бы немецкого майора (Стефани?), что немцы сосредоточили «крупные силы против большевиков» и «предъявили им требование очистить Азов, Ейск, Новороссийск и всю железнодорожную линию от Ростова до Новороссийска»; ее немцы займут тотчас же, оккупируя таким образом Кубань[1]. С другой стороны, все чаще поступали донесения по поводу возможного движения немцев на Царицын совместно с донскими казаками. Об этом писал и генерал Алексеев. И я, учитывая большое значение для нас Царицына, как единственного выхода на север, просил М. В. «предъявить атаману требование, чтобы не только с его стороны не последовало приглашения немцев, но наоборот — были бы устранены все предлоги для их движения туда».

Немцы, однако, против Красной гвардии и советов больше не пошли. Только однажды, в конце мая, они вынуждены были вступить в бой с большевиками, предпринявшими без ведома Москвы нелепую и безрассудную десантную операцию из Азова к Таганрогу, окончившуюся

[1] Доклад генерала Эльснера от 15 июня № 223.

страшным поражением большевиков, но вместе с тем вызвавшую потери у немцев до 700 человек.

Берлин все это время вел переговоры о «дополнительных соглашениях» с Москвой, которая настаивала на очищении немцами Ростова и Таганрога или, по крайней мере, пропуска по Юго-восточным и Владикавказской дорогам большевистских войск для борьбы с Югом.

Позднее, 23 июля, Чичерин предъявил преемнику Мирбаха Гельфериху желания более определенные: «Активное выступление против Алексеева и никакой дальнейшей поддержки Краснову». Очевидно, как отголосок этих переговоров, в начале июня генерал Кнерцер получил распоряжение из Киева о заключении перемирия с большевиками на всех фронтах, в том числе на Таганрогском и Батайском...

Все немецкие силы, следовательно, можно было направить против Восточного фронта, когда он представит действительную опасность.

* * *

С половины июня отношения немцев к армии резко изменились. 13 июня, как я говорил выше, имело место обращение их через Тундутова к Донскому атаману о репрессиях в отношении Добровольческой армии... Вскоре через местные воинские власти последовало требование немцев о сборе всех военнопленных австро-германцев, относившееся и к чехословакам, находившимся в рядах армии и сделавшим с ней Первый кубанский поход[1]... На обращенный ко мне тревожный вопрос их представителя Краля я ответил, что избегаю тщательно всяких столкновений с немцами, но защита наших соратников чехословаков — это вопрос нашей чести, и я не остановлюсь в случае нужды даже перед боем... В Киеве немецкая контрразведка, пополненная русскими офицерами, в том числе дезертирами Добровольческой армии, разгромила местный добровольческий центр и арестовала полковников Кусонского и Ряснянского[2]... Начали поступать све-

[1] Около 300—400 человек в составе инженерного батальона, отчасти Корниловского полка.

[2] Через некоторое время были освобождены.

дения о задержке и аресте следовавших в армию офицерских эшелонов из целого ряда городов... Задержание эшелонов и офицеров германские власти объясняли тем, что «Добровольческая армия находится в состоянии войны с Германией, так как содержится на средства французов».

Добровольческие «центры» стали переходить на конспиративное положение, приток пополнений сократился.

В июле стали получаться весьма тревожные сведения со всех сторон — от Шульгина, Милюкова, московских организаций, из кругов, стоявших в оппозиции к Донскому атаману, — об опасности, угрожающей нам со стороны немцев. Непосредственно из «Всероссийского» (советского) генерального штаба пришло тайно донесение, что «решено сильным отрядом не допустить продвижения Добровольческой армии к Царицыну, а разоружить ее и разогнать, как будущее ядро Русской национальной армии».

Обстановка разъяснилась окончательно только к сентябрю, когда от лица, стоявшего во главе одного из центральных советских учреждений, получено было подробное освещение положения[1]:

«После заключения договора — дополнительного к Брестскому — Гинце[2] (середина августа) обратился к советским властям с нотой, которая является... новым дополнением к договору... В конце ее имеется указание о необходимости сохранения ее в тайне. В одном из пунктов немецкое правительство настаивает на принятии советскими властями решительных мер к немедленному прекращению чехословацкого движения, к удалению союзников из Мурманска и Архангельска... и *подавлению мятежа генерала Алексеева*. Если советская власть окажется не в состоянии достигнуть указанных выше задач собственными силами, то она не должна противодействовать *продвижению для... этих целей немецких сил по территории России*... Немцы видят наибольшую для себя

[1] От 25 сентября 1918 года.

[2] Министр иностранных дел Германии.

опасность именно в Добровольческой армии и в генерале Алексееве... Из сопоставления всех этих данных с передачей советским властям вооружения, снаряжения и боевых запасов, захваченных немцами на наших фронтах, а также формированием на немецкие средства... Астраханской и Южной армий — для меня стало ясно, что немцы принимают все меры к ослаблению численности Добровольческой армии и к поселению розни между ними (армиями) и, по возможности, к полному ее уничтожению... Что касается Дона, то немцы, по-видимому, предали его большевикам, обязавшись дополнительным к Брестскому договором очистить железнодорожную линию Воронеж—Ростов, а также не признать его самостоятельности... По-видимому, и советские власти пришли к убеждению, что немцы не будут поддерживать Дон в его борьбе с большевиками».

Что же помешало выполнению этих планов?

Стратегическое положение Добровольческой армии не было таким безотрадным, как представлялось ее друзьям в Москве и Киеве. Это хорошо понимали в штабе генерала Кнерцера и умеряли воинственное настроение своих московских дипломатов. Корпус Кнерцера, состоявший из трех пехотных дивизий и кавалерийской бригады, занимал обширный район Таганрог—Ростов—Миллерово—Бахмут и не мог выделить достаточных сил для скорой ликвидации Добровольческой армии. Вооруженное выступление против нас несомненно охладило бы симпатии германофильской части русской общественности, всколыхнуло бы национальное чувство, в частности донского офицерства, вызвало бы раскол в Донской армии, падение Краснова и большой хаос в тылу наступающих. Углубление германских войск на Северный Кавказ, в связи с большой подвижностью Добровольческой армии, грозило надолго затянуть операцию, ставя под удары партизанских отрядов все сообщения немцев. До *фактического* создания союзниками Восточного противонемецкого фронта и до движения армии на север такой риск не оправдывался бы обстановкой.

В свою очередь я, совершая Второй Кубанский поход, принял некоторые меры обеспечения. На линии Киев—Ростов Киевский железнодорожный комитет и некоторые организации подготовляли железнодорожные забастовки, нападения, порчу и разрушение пути — на случай движения на восток немецких подкреплений.

Краснов, по мере движения Добровольческой армии, спешил с открытием железнодорожных линий от Ростова на Торговую и Тихорецкую и просил генерала Алексеева о подчинении ему всех путей сообщения Кубанской области и Ставропольской губернии[1]. Так как это обстоятельство угрожало существованию армии, облегчая удар по ней немцам, я вынужден был препятствовать этим намерениям, мирясь с огромными трудностями подвоза нам снабжения по грунтовым путям. Линия Ростов—Батайск—Торговая была во многих местах основательно разрушена ранее, и инженеры, которым по приказанию Донского атамана надлежало восстановлять путь, по мере возможности саботировали работу. Наконец, 10 июля, после взятия нами станции Кущевки, полковником Кутеповым по моему приказанию был взорван кущевский железнодорожный мост, чем прервано было движение от Ростова.

Взрыв у Кущевки вызвал гнев Донского атамана и произвел большое впечатление на немцев, не оставляя уже никаких сомнений в отношении к ним армии. Тем не менее «вооруженный нейтралитет» не нарушался. Только в конце сентября произошел небольшой эпизод: *в первый раз* ко мне официально обратился от имени своего правительства майор фон Кофенгаузен, прося ускорить восстановление проходившей по занятой нами территории линии индоевропейского телеграфа и предлагал дать для исправления и обслуживания ее свой персонал. Кофенгаузену ответили через генерала Эльснера[2], что вообще все телеграфные линии на территории армии восстанавливаются и чужой помощи не требуется. Через 2—3 недели я получил новую, уже ультимативную ноту — о предоставлении германскому командованию указанной линии, с требованием определенного ответа *в пятидневный срок*... Ответил тем же порядком, что телеграфные линии по мере восстановления поступают в общественное пользование... на точном основании российских законов.

[1] Сношение от 13 июля № 262.

[2] Мой представитель на Дону.

Было ли предъявление этого ультиматума желанием создать повод для открытия военных действий, не знаю. Ближайшие дни совершенно изменили обстановку: над Германией разразилась неслыханная катастрофа, а «высокий представитель» ее фон Кофенгаузен тайно исчез из Ростова, долго еще потом пугая воображение союзных миссий, безуспешно разыскивавших его на территории Юга.

Я должен добавить еще одно: оставаясь неизменно нашим врагом, немецкое командование на Юге России относилось всегда с большим уважением к Добровольческой армии.

* * *

Не выступая против Добровольческой армии с оружием в руках, немцы старались разложить ее другими путями. К числу их относится создание ими так называемой *Астраханской армии*[1].

В Киеве в начале июля образовалась организация для вербовки в эту армию, формировавшуюся на Дону, в районе станицы Великокняжеской. Во главе ее стал совершенно ничтожный человек полковник Тундутов, в качестве политического руководителя — Иван Добрынский, в окружении чрезвычайно темные элементы (немцы и русские) германской контрразведки.

Астраханская армия, приняв внешние отличия, служебный распорядок и монархические «лозунги», тем самым должна была отвлечь офицерство от армии Добровольческой — армии «с неопределенной политической

[1] Такое странное название формирование получило от теоретического предположения Тундутова комплектовать армию астраханскими казаками и калмыками по мере освобождения Астраханской губернии.

физиономией», «признающей Учредительное собрание», даже «в скрытой форме... республиканской» — как говорили создатели Астраханской армии.

Первое время набор, открыто поощряемый немцами, имел известный успех. Немцы дали Тундутову несколько миллионов рублей и отпустили в небольшом размере русское боевое снабжение. Правые круги Киева, во главе с графом В. Бобринским, оказывали армии моральное содействие; московский Правый центр «вступил с ней в контакт». Шли в армию и офицеры: одни — из числа обиженных, не нашедших удовлетворения своему честолюбию в рядах Добровольческой армии; другие — из-за двойного в сравнении с добровольческим оклада; третьи — действительно искренне привлекаемые монархическим лозунгом. Большинство же шло просто «на борьбу с большевиками», не разбираясь ясно в задачах нового формирования и в удельном весе его руководителей.

Организаторы долго искали генерала с популярным именем для возглавления армии. Граф Келлер отказался, как «открытый противник германской ориентации»... Генерал Н. И. Иванов — также. «*Я всегда ставил безусловно необходимым*[1] полное согласование всех действий этих войск, — писал мне Иванов 10 августа, — с Вашей армией и *самым настойчивым образом* отвергал возможность каких-либо моих сношений с германцами». Характерно для психологии русского генералитета: Н. И., допуская снабжение «астраханцев» запасами, оставшимися на Украине, «что требовало согласия немцев», был, однако, глубоко оскорблен тогда «тяжким обвинением, возведенным (на него) агентурой[2], об (его) не имевших места в действительности сношениях с представителями германского командования» и «убедительно просил (меня)... расследовать источник этих обвинений». Остановились «астраханцы» на Павлове — лихом кавалерийском генерале, в политической идеологии которого был только монархизм и никаких осложняющих дело «предрассудков». Павлов побывал у меня в Тихорецкой, осведомился об отрицательном отношении моем к новому формированию, но должность принял.

[1] Курсив — в письме.

[2] Сделавшимся ему случайно известным.

В результате эта попытка немцев потерпела полную неудачу. К августу был сформирован только один батальон в 400 штыков и до конца существования «армии» (начало 1919 года) численность ее не превышала 3 тысяч бойцов, из которых в феврале 1919 года только 1753 могло быть на фронте. Втайне от руководителей организации армейский штаб астраханцев[1] считал себя в распоряжении Добровольческой армии, получая временами указания от генерала Эльснера, и заявлял, что «сформированные части готовы перейти в состав Добровольческой армии по первому требованию». Добровольческий штаб относился, однако, несочувственно к такому распылению сил и к темной политической игре. В результате штаб Астраханской армии рисовал генералу Эльснеру такие сцены: «Офицеры по прибытии в Ростов узнают от специально поставленных на вокзале (ваших) агентов об ориентации Астраханского войска, источниках его содержания, и до 60—80% эшелонов желают с места перейти в Добровольческую армию...» «Затем, когда эшелон идет по линии Батайск—Торговая, рьяную агитацию ведут (ваши) коменданты станций. В результате значительная часть эшелонов переходит в Добровольческую армию. Но мало того, переходящие начинают все время корить и упрекать остающихся, издеваться над ними. Проявляется взаимная обида и обозление...» Астраханский штаб просил генерала Эльснера самого «по-братски распределять пополнения»[2]. Генерал Эльснер от содействия укомплектованию Астраханской армии отказался, но и не препятствовал ему.

В августе немцы, разочаровавшись в своем формировании, прекратили отпуск денег Тундутову. Донской ата-

[1] Начальник штаба подполковник Рябов-Решетин, генерал-квартирмейстер подполковник Полеводин.

[2] Доклады генерала Эльснера № 1499 и 1661 от 3 и 10 августа 1918 года.

ман давал скудные пособия. И Тундутов в поисках материальной поддержки обратился в киевскую организацию крайних правых — «Совет монархического блока»[1]. Между ними был заключен 7 сентября договор[2], в силу которого ничего не ведавшее офицерство было поставлено перед фактом неожиданного применения его патриотических побуждений: «Войсковой атаман передает всю политическую работу Совету монархического блока» (ст. 7-я)... *«Астраханская армия должна быть использована для борьбы со всеми противниками восстановления законопреемственной монархии и воссоздания России»*... (ст. 2-я).

Но казна «блока», черпавшая средства также из берлинского источника, скоро иссякла, и Астраханская армия все время не выходила из тяжелого кризиса.

Осенью Тундутов явился на поклон в Екатеринодар. Пороча всячески Донского атамана, он просил разрешения «отложиться» от Донской армии и присоединиться к Добровольческой. Не считая возможным обострять отношения, я категорически отказал. По тем же побуждениям и не желая подрывать принципа дисциплины, я отклонял многократные ходатайства астраханских частей о переходе их в полном составе к нам.

Тундутов и его окружение вели праздный и разгульный образ жизни, а «армия» постепенно таяла от отсутствия пополнений, от ухода из ее рядов многих неудовлетворенных и от потерь, понесенных в небольших, но непрерывных боях с большевиками на крайнем правом фланге донцов, в Манычских степях.

---

[1] «Блок» возник в результате соглашения между крайними правыми и националистами групп Балашова и В. Бобринского.

[2] Подписали договор:

1) Войсковой атаман Астраханского войска князь Тундутов.

2) Командир Астраханского корпуса генерал-лейтенант Павлов.

3) Управляющий внешним отделом Астраханского казачьего войска И. Добрынский.

4) Председатель Совета монархического блока Соколов.

5) Член Совета князь А. Н. Долгоруков.

* * *

Почти одновременно с этой неудачной попыткой немцы предприняли другую, казавшуюся им более солидной ввиду общественного положения лица, ставшего во главе дела.

Из всех членов императорской фамилии, оставшихся в живых, только двое — герцоги Н. и Г. Лейхтенбергские — приняли всецело «германскую ориентацию». Герцог Н. Лейхтенбергский взял на себя роль посла атамана Краснова к германскому императору и, не будучи принят Вильгельмом, устранился в дальнейшем от политической деятельности. Герцог Г. Лейхтенбергский стал во главе формирования на немецкие деньги — при фактическом участии в штабе организации немецких офицеров — так называемой Южной армии.

Герцог был «флагом». Душой организации являлся некто Акацатов, член Союза русского народа. Возглавлялась организация созданным Акацатовым союзом «Наша Родина», в состав которого кроме герцога и Акацатова (председатель) входило еще несколько членов (9), имена которых по интимным соображениям опубликованы не были. В качестве народной и общественной базы назывались такие полумифические организации, как «Всероссийский национальный клуб», «Всероссийский национальный союз», «Союз русской молодежи Юга России», «Гимнастическое общество Богатырь», «Крестьянские кооперативы», «Некоторая часть Союза русского народа» и т. д.[1]

Организация встретила отрицательное к себе отношение в среде киевского генералитета, но зато с большим увлечением отнеслась к ней группа графа В. Бобринского.

Монархический лозунг был поставлен ясно и определенно. Политическая же ориентация была известна в точности только верхам. Рядовому офицерству сообщалось, что Южная армия не имеет никаких обязательств в отно-

---

[1] Доклад офицера штаба Южной армии полковника Хондзынского.

шении немцев и «создается на деньги, занятые у русских капиталистов и у монархических организаций».

Территория для формирования была предоставлена генералом Красновым, неизменно поощрявшим эти предприятия, «русская» (не донская) южная часть Воронежской губернии, на которой Акацатов стал водворять администрацию и «исконные начала».

Ни один из крупных генералов, к которым обращался союз «Наша Родина», не пожелал стать во главе армии. Так до конца своего «самостоятельного» существования армия оставалась без командующего; его заменял временно начальник штаба генерал Шильдбах, а наличным составом формируемых частей командовал фактически генерал Семенов. Выбор весьма показательный: Семенов был до того удален из отряда Дроздовского ввиду полной неспособности в боевом отношении, потом из Добровольческой армии — за то, что, будучи начальником нашего вербовочного бюро в Харькове, вступил в связь с немцами и... отговаривал офицеров ехать в Добровольческую армию.

На небольшом клочке Воронежской губернии Акацатов с Семеновым восстанавливали порядки, давно отошедшие в область истории. Оттуда распространялась нездоровая литература, отравлявшая души офицерства реакционным изуверством и человеконенавистничеством. Оттуда же шла лютая травля Добровольческой армии. «В последних номерах газеты «Наша Родина», — сообщала киевская «Азбука», — нет ни слова о большевиках. Вся газета посвящена грубому поношению генералов Алексеева, Шульгина, Родзянко и т. д. О генерале Алексееве газета пишет, что это он предал царя, устроив ему ловушку, и что он разложил армию. О всех вообще, кто, движимый любовью к несчастной Родине, собрались в Екатеринодаре, газета говорит, что на лицах их «ясно виднеется улыбающийся Азеф»...

Любопытно, что организатор армии герцог Лейхтенбергский все же счел нужным обратиться ко мне с письмом, в котором выражал надежду на совместные наши военные действия в будущем. Я ответил весьма сдержанно,

что это будет зависеть от той политики, которую поведут руководители Южной армии.

Как бы то ни было, но расхождение в политических лозунгах армий воспринималось в Киеве, по-видимому, очень остро. Митрополит Антоний, хорошо осведомленный о настроении правых и принимавший в работе их деятельное участие, с одним офицером — общим знакомым, приехавшим в Екатеринодар в начале августа, — передавал мне о крайнем своем беспокойстве: «Как бы русские армии не вступили в междоусобную брань»...

В приказе Донского атамана от 26 августа указывалось, что Южная армия, равно как Астраханская и «Русская народная армия»[1], «в будущем обеспечат пределы Дона», а «политическими программами их войско не интересуется и их не разделяет, имея одну цель: создание сильного государства — Всевеликого войска Донского». Эта тирада звучала особенно странно, принимая во внимание, что южные части Саратовской и Воронежской губерний были «временно» подчинены Дону и незадолго перед тем военными губернаторами там были назначены атаманскими приказами начальники формировавшихся войск — генерал Семенов[2] (Воронежской) и подполковник Манакин (Саратовской[3])...

И эта вторая попытка немцев и русских германофилов окончилась неудачей. Тем более что немцы, достигнув основной своей цели — посеять рознь, — не думали вовсе о создании из Южной армии прочной силы: уже в сентябре финансирование ими герцога Лейхтенбергского почти прекратилось, снабжение ограничено было до ничтожных размеров. К октябрю в «армии» было до $3^1/_2$ тысяч штыков и сабель, без обоза, почти без артиллерии,

---

[1] Фактически формировалась самим атаманом Красновым в южной части Саратовской губернии.

[2] Приказ 6 августа № 669.

[3] Вице-губернатором был назначен известный Аладьин, который и осуществлял «политическое руководство армии» во главе с набранной им «группой земских деятелей Саратовской губернии». Численность этой «армии» была ничтожна.

и много небоевого элемента. В войсках создавалось тяжелое настроение. Искусственно вызванное взаимное отчуждение и озлобление между «южанами» и добровольцами сменялось понемногу явным тяготением к Добровольческой армии отдельных лиц и целых частей Южной армии. Оно усилилось еще более после произведшего большое впечатление обращения Шульгина «к руководителям Астраханской и Южной армий»[1]. «Ваша тяжкая жертва была принесена напрасно, — писал он. — Теперь, после того как Германия запросила мира, вы, конечно, сознаете, что она никого спасти не может». Указывал выход — «соединиться с людьми, которые, как и вы, любят Россию, но которые шли к ее спасению другими путями»... В Екатеринодаре появились вновь делегации от Южной и Астраханской армий с просьбой о присоединении к Добровольческой. «В скором времени, — обобщал свои впечатления Шульгин[2], — следует ожидать массового бегства офицеров из Южной армии в Добровольческую, так как офицерство потеряло надежду на то, что верхи Южной армии перестанут его делать пугалом в глазах народа».

Но с 30 сентября Южная армия поступила уже в полное подчинение генералу Краснову и потому, чтобы не создавать затруднений атаману, на основании моих указаний генерал Драгомиров сообщил Шульгину[3]: «Нужно успокоить офицеров Южной армии и убедить их не уходить из ее рядов, так как в скором времени все равно они попадут под наше начальство и послужат остовом при формировании общерусской армии»...

Влились они в нашу армию действительно, но... слишком поздно — после окончательного развала.

---

[1] Открытое письмо в № 36 «России» в конце сентября.

[2] Записка от 12 октября.

[3] Резолюция от 23 октября.

ГЛАВА XVI
ВНЕШНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ: ОТНОШЕНИЯ С ДОНСКИМ АТАМАНОМ

Наиболее тяжелые отношения установились у нас с Донским атаманом.

На небольшом клочке освобожденной от большевиков русской земли двум началам, представленным с одной стороны генералом Красновым, с другой генералом Алексеевым и мною, очевидно оказалось тесно. Совершенно неприемлемая для Добровольческой армии политическая позиция атамана, полное расхождение в стратегических взглядах и его личные свойства ставили труднопреодолимые препятствия к совместной дружной работе. Утверждая «самостоятельность» Дона ныне и «на будущие времена», он не прочь был, однако, взять на себя и приоритет спасения России. Он, Краснов, обладающий территорией, «народом» и войском, в качестве «верховного вождя Южной Российской армии»[1], брал на себя задачу — ее руками — освободить Россию от большевиков и занять Москву[2]... На этом же пути стояла другая сила — пока еще «бездомная», но с непререкаемым общерусским авторитетом бывшего Верховного генерала Алексеева и с большим моральным весом и боевой репутацией Добровольческой армии.

Обе стороны, понимая непреложные законы борьбы, считали необходимым объединение вооруженных сил и обе не могли принести в жертву свои убеждения или предубеждения. На этой почве началась длительная внутренняя борьба — методами, соответствовавшими характеру руководителей... В то время, когда командование Добровольческой армии стремилось к объединению вооруженных сил Юга путями легальными, атаман Краснов желал

---

[1] Соединенные «Южная», «Астраханская» и «Народная».

[2] Речь в Таганроге. Приазовский край 1918 года № 178.

подчинить или устранить со своего пути Добровольческую армию; какими средствами — безразлично.

* * *

Началось еще в мае, когда неожиданно атаманским приказом все донские казаки были изъяты из рядов Добровольческой армии, что расстроило сильно некоторые наши части, особенно Партизанский и Конный полки. Мне пришлось поблагодарить донцов и отпустить их, чтобы не обострять положения и не создавать картины развала... В краткий период кризиса, пережитого Добровольческой армией[1], отдельные лица, иногда небольшие части, дезертировали из армии на службу на Дон, встречая там радушный прием. Был даже случай, что целый взвод с оружием и пулеметами, под начальством капитана Корнилова[2] бежал в Новочеркасск; с ним ушел также офицер штаба армии лейтенант флота Поздеев и... мой конный вестовой — текинец. Характерная мелочь: последний ушел о двуконь, украв кстати мою лошадь. Штаб вел по этому поводу переписку, но безрезультатно. Все проходило совершенно безнаказанно.

Между тем переход в Добровольческую армию, хотя бы и легальный, расценивался совершенно иначе. Помню, какой гнев вызвало впоследствии формирование донским генералом Семилетовым после долгих переговоров партизанского отряда в Черноморской губернии из донских граждан, не обязанных службой на Дону[3]... Отряд не представлял собой сколько-нибудь серьезной силы и, конечно, не мог иметь никакого политического значения; по крайней мере, я не допустил бы этого. Но генерал Краснов считал, что цель Семилетова, «находящегося всецело в руках кадетской партии, поднять казаков против правительства и свергнуть его — атамана — с должности»[4] ... В июне генерал Эльснер просил разрешения генерала Краснова

---

[1] Май. См. ниже.

[2] Однофамилец генерала.

[3] Такой набор разрешался всем армиям, кроме Добровольческой. Приказ войску Донскому № 921.

[4] Отчет о разговоре генералов Краснова и Эльснера 18 октября.

привлечь на службу в армию иногородних Донской области и получил отказ, мотивированный тем, что «неокрепшие еще местные власти не в состоянии будут заставить иногороднее население выполнить приказ»[1]. Через несколько дней атаман, однако, отдал приказ о наборе иногородних Дона, формируя из них полк, кадрами для которого послужили... следовавшие в Добровольческую армию офицеры лейб-гвардии Измайловского полка. Он откровенно высказывал генералу Алексееву[2] надежду, «что получит гвардейских офицеров от всех полков гвардии»[3]. Но измайловцы не пошли, а инициатор этой затеи полковник Есимантовский, формировавший полк (потом бригаду) при помощи нескольких офицеров лейб-гвардии Финляндского полка, через два месяца, подчиняясь общему настроению, писал уже покаянное письмо генералу Алексееву[4]: целью его было только «привести в Добровольческую армию готовый полк без расходов от нее». Есимантовский испрашивал указаний, «когда и как сделать переход в армию»...

Больше всего осложнений доставил нам вопрос с отрядом полковника Дроздовского. Прибыв в Новочеркасск 25 апреля, Дроздовский в тот же день донес мне, что «отряд прибыл в мое распоряжение» и «ожидает приказаний». Но время шло, назревал Второй Кубанский поход, а начало его все приходилось откладывать: более трети всей армии — бригада Дроздовского — оставалась в Новочеркасске. Это обстоятельство препятствовало организационному слиянию ее с армией, нарушало все мои расчеты и не давало возможности подготовить операцию, о которой было условлено с генералом Красновым 15 мая[5]. По просьбе Краснова, отряд Дроздовского разбрасывался частями по области: конница дралась в Сальском округе, пехота занималась «очисткой от большевиков» Ростова и

---

[1] Доклад генерала Эльснера 7 июня № 144.

[2] Письмо генерала Алексеева мне от 26 июня № 59.

[3] Гвардейцы собирались тогда при 1-м офицерском полку Добровольческой армии.

[4] От 31 августа.

[5] Свидание в Манычской. См. ниже.

Новочеркасска карательными экседициями по крестьянским деревням севера области. Я требовал присоединения бригады; Дроздовский ходатайствовал об отсрочке для отдыха, организации и пополнения. Краснов упрашивал Дроздовского не покидать Новочеркасск — публично, на параде перед строем, и более интимно в личных разговорах с Дроздовским. Атаман порочил Добровольческую армию и ее вождей и уговаривал Дроздовского отложиться от армии, остаться на Дону и самому возглавить добровольческое движение под общим руководством Краснова[1]. Слухи об этих переговорах и якобы колебаниях Дроздовского[2] дошли до офицеров его отряда и вызвали среди них беспокойство. По просьбе офицеров, командир сводно-стрелкового полка полковник Жебрак обратился по этому поводу к Дроздовскому и получил от него успокоительное заверение.

Позднее Дроздовский так писал мне о новочеркасских интригах: «Считая преступным разъединять силы, направленные к одной цели, не преследуя никаких личных интересов и чуждый мелочного самолюбия, думая исключительно о пользе России и вполне доверяя Вам, как вождю, я категорически отказался войти в какую бы то ни было комбинацию, во главе которой не стояли бы Вы»...

Я ждал присоединения отряда, без чего нельзя было начинать операцию. Атаман всемерно противился этому и в то же время... «настаивал на немедленном наступлении — надо использовать настроение казаков, их порыв, надо воспользоваться растерянностью комиссаров»...

После беседы с Жебраком Дроздовский приехал в Мечетинскую, отряд его был зачислен в качестве 3-й бригады в Добровольческую армию и 23 мая выступил на соединение с ней.

---

[1] Доклад полковника Дроздовского.

[2] Долго еще Краснов в заседаниях правительства, немцам и вообще при всяком удобном случае повторял, что «отряд полковника Дроздовского покинет Добровольческую армию и перейдет на службу к Донскому или Астраханскому (?) войску». Протокол заседания 26 июня.

Все эти неудачи не останавливали, однако, атамана перед попытками создания подчиненной ему «Российской армии». Свое недоумение он высказал однажды в письме к генералу Алексееву[1]: «На земле войска Донского, а теперь и вне ее, я работаю совершенно один. Мне приходится из ничего создавать армию... снабжать, вооружать и обучать ее. В Добровольческой армии много есть и генералов, и офицеров, которые могли бы взять на себя работу по созданию армий в Саратовской и Воронежской губерниях, но почему-то они не идут на эту работу»... Краснов не хотел понять, что его попытки обречены на неуспех просто в силу психологии русского генералитета и офицерства, глубоко чуждой основным положениям атаманской политики. Попытки эти вместе с тем, неизбежно, даже независимо от чьей-либо злой воли, ослабляли и расстраивали Добровольческую армию.

Ввиду явной неудачи формирования Южной армии, руководители вынуждены были передать ее в полное подчинение генералу Краснову[2]. 30 сентября состоялся атаманский приказ о создании «Особой Южной армии», в составе которой должны были формироваться три корпуса: Воронежский (бывшая «Южная армия»), Астраханский (бывшая «Астраханская армия») и Саратовский (бывшая «Русская народная армия»). На новую армию возлагалась «защита границ Всевеликого войска Донского от натиска красногвардейских банд и освобождение Российского государства».

Возник вопрос о возглавлении армии генералом с общероссийским именем, чтобы привлечь таким образом офицерство. Но такого найти не удавалось. С генералом Щербачевым, жившим в Яссах, атаман не смог связаться. Генерал Драгомиров, проезжая в августе из Киева через Новочеркасск, «умышленно уклонился от встречи с Красновым», ибо — как он писал мне впос-

---

[1] От 8 сентября № 172.

[2] С ноября, после падения немцев, средства — 76 миллионов — обязался доставить гетман. Но до своего падения отпустил только $4^1/_2$ миллиона.

ледствии[1] — «мы стояли на столь различных точках зрения в вопросе о дружбе с немцами, что наш разговор мог бы иметь результатом только крупную ссору, с чего мне вовсе не хотелось начинать свою деятельность на Юге России». Тем не менее 30 сентября Краснов обратился к Драгомирову[2] с предложением принять новую армию. Горячий Драгомиров ответил, что в этом формировании он «видит продолжение той же немецкой политики — divide et impera, — которая привела нашу Родину к пропасти» и потому «предложение этого поста равносильно (для него) оскорблению»[3]...

Остановился Краснов на Н. И. Иванове. К этому времени дряхлый старик, Н. И., пережив уже свою былую известность, связанную с вторжением в 1914 году армий Юго-западного фронта в Галицию, проживал тихо и незаметно в Новочеркасске. Получив предложение Краснова, он приехал ко мне в Екатеринодар, не желая принимать пост без моего ведома. Я не противился, но не советовал ему на склоне дней давать свое имя столь сомнительному предприятию.

Однако, вернувшись в Новочеркасск, Иванов согласился.

25 октября мы прочли в газетах атаманский приказ о назначении Н. И., заканчивавшийся словами: «Донские армии восторженно приветствуют вождя их новой армии — армии Российской»...

Бедный старик не понимал, что нужен не он, а бледная уже тень его имени. Не знал, что пройдет не много времени и угасшую жизнь его незаинтересованный более Краснов передаст истории с такой эпитафией: «Пережитые им (генералом Ивановым) в Петербурге и Киеве страшные потрясения и оскорбления от солдат, которых он так любил,

---

[1] Письмо от 3 августа 1922 года в опровержение слов генерала Краснова о личных переговорах с ним. («Архив русской революции», статья «Всевеликое войско Донское».)

[2] Тогда уже помощнику Главнокомандующего Добровольческой армией.

[3] Письмо от 12 октября № 148. Я ознакомился с его содержанием только после отправки.

а вместе с тем и немолодые уже годы его отозвались на нем и несколько расстроили его умственные способности»...

Генерал Иванов умер 27 января, увидев еще раз крушение своей армии, особенно трагическое в войсках Воронежского корпуса[1].

* * *

Я шел с армией походом, вел ежедневно кровавые бои, требовавшие большого нравственного напряжения и известного душевного равновесия... А из нашего тыла, из Новочеркасска, все чаще шли вести возмущающие и волнующие. Это были не просто слухи, а факты, документы, основанные на словесных и письменных излияниях не в меру злобствовавших ненавистников Добровольческой армии.

Атаман в заседаниях правительства, в речах и беседах... командующий Донской армией генерал Денисов публично в офицерских собраниях поносили и Добровольческую армию, и вождей ее. Поносили все — нашу стратегию, политику, нравственный облик начальников и добровольцев. «Достоверные сведения» о полном развале Добровольческой армии были любимой темой донских руководителей[2].

Даже самый поход наш был заранее опорочен. В заседании 26 июня Краснов заявил[3], что Добровольческая армия «оставила без всякого предупреждения Донского правительства в ночь на 11 июня линию Мечетинская—Кагальницкая, чем Донская армия поставлена в крайне тяжелое положение, ибо получилось обнажение фронта». Этот упрек брошен был армии, двинутой во *Второй Кубанский поход*, имевший одной из ближайших задач освобождение Задонья и тот общий результат, который в отчете Кругу Денисова выражен был следующими словами: «Быстрое движение войск и начало очищения Сальского округа обозначились после успехов Добровольческой армии, взявшей Торговую... Освободились (также) от противника южные части Ростовского и Черкасского округов, отпала

---

[1] Бывшая «Южная армия».

[2] Письма генерала Алексеева и отчеты о заседаниях.

[3] Из протоколов заседаний.

угроза Новочеркасску с юга, и вместе с тем мы смогли за счет Азовского и Тихорецкого направлений усилиться на других фронтах, а с прибывшими подкреплениями перейти к более активным действиям»...

Отношения верхов отражались в низах — особенно в буйном, несдержанном новочеркасском тылу. На этой нездоровой почве пьяный скандал разрастался в событие, перебранка подгулявших офицеров — в оскорбление «Донского войска» или «Добровольческой армии». Были, конечно, и чисто бытовые причины недоразумений между «хозяевами» и «пришельцами». «Хозяева» были замкнуты в кастовых перегородках, несколько эгоистичны и не слишком приветливы. Но если правы были добровольцы, жалуясь неоднократно на дурное отношение к ним казаков, то и те имели не раз основание для такого отношения в поведении части добровольческого офицерства: в их нескромной самооценке, в полупрезрительном отношении к донским частям, наконец в «назойливой браваде монархическими идеями». Правда, эти отношения складывались резко только в тыловых гарнизонах, а если и отражались в армии, то в гораздо более умеренных формах. Вообще же в массе своей добровольчество и донское казачество жили мирно, не следуя примеру своих вождей.

Очевидно, в этой распре были не совсем правы и мы. Генерал Алексеев писал мне 26 июня: «Отношения (между атаманом и Добровольческой армией) не хороши и вредят нам сильно... В особенности, принимая во внимание, что и генерал Денисов совсем не принадлежит к числу наших друзей. Примеру главных деятелей следуют исполнители. Полагаю, что в некоторых случаях нужно изменить тон наших отношений, так как в создавшейся атмосфере взаимного раздражения работать трудно. И только когда мы окончим счеты, можно будет высказать все накипевшее на душе за короткое время с 15 мая». М. В. упустил из виду одно — что почти вся ориентировка с Дона исходила от него[1]. Только он умел обыкновенно облекать эти отношения во внешние дипломатические формы, я же не постиг этого искусства. Каждое его письмо дышало недоверием и осуждением общей политики атамана и Денисова и их отношений к Добровольческой армии. Насколько глубоко было это недоверие, видно из переписки между ними, имевшей место в августе.

[1] Генерал Алексеев жил тогда в Новочеркасске.

10 августа генерал Алексеев, находившийся тогда в Екатеринодаре, под влиянием донесений из Новочеркасска, телеграфировал Краснову[1]: «Негласно до меня доходят сведения, что предполагаются обыски и аресты моего политического отдела[2]. Если это правда, то такой акт, ничем не вызванный, будет означать в высокой мере враждебное отношение к Добровольческой армии. Разве кровь армии (пролитая) за Дон позволяет такой унизительный шаг?».

Генерал Краснов, вероятно, искренно ответил: «Я удивляюсь, что Ваше Высокопревосходительство допускаете думать, что такой акт к дружеской нам Добровольческой армии возможен. Прошу арестовать как злостных провокаторов лиц, распускающих такие слухи. Враги Дона ни перед чем не стесняются, чтобы вызвать вражду и недовольство в той армии, которой Дон так многим обязан и в которой видит будущее России»[3] ...

Как жаль, что в то же время у атамана и Денисова не находилось для этого «будущего России» иного эпитета, чем «странствующие музыканты» или: «банды»!

В случайном признании атаманом значения армии было, вероятно, и некоторое отражение донских настроений... Ведь не только пафос и правила вежливости или «кадетская интрига» руководили Большим Войсковым Кругом — тем самым «мудрым» Кругом, который переизбрал атамана Краснова, — когда Круг, собравшись осенью 1918 года, обратился к армии с ответным приветствием: «...С чувством глубокой радости (мы) выслушали братский привет и пожелания успеха в нашей работе. Слухи, доносившиеся к нам даже в самые отдаленные хуторские углы

[1] № 187.

[2] Отдел оставался еще в Новочеркасске.

[3] 13 августа № 561.

о нарушенных сердечных отношениях с вами, тревогой и скорбью отзывались в наших сердцах. Но теперь тревога рассеяна... У Тихого Дона нет достаточно сильных слов для выражения своих чувств преклонения перед вашими подвигами, но есть горячая любовь и искреннее желание не словами, а делом служить вам в вашей тяжелой, святой работе»[1].

Было два человека — Богаевский и Эльснер, оба люди спокойные и уравновешенные, — которые больше других работали над тем, чтобы сгладить трения между Новочеркасском и ставкой Добровольческой армии, но им это решительно не удавалось. Что касается меня лично, то, чтобы не терять душевного равновесия и не создавать самому каких-либо поводов для осложнений, я с конца июня 1918 года прекратил совершенно переписку с генералом Красновым; возобновилась она ненадолго, в силу необходимости, только после объединения командования в 1919 году. Но атаман продолжал писать пространно моим помощникам, вызывая в них не раз глубокое недоумение.

Так, в октябре 1918 года он писал генералу Драгомирову[2]:

«...У Вас после тяжелых боев прорвался Сорокин с отрядом, и Ваши и мои враги пустили слух, что генерал Деникин нарочно *выпустил* его, чтобы не дать Краснову взять Царицын. Судите сами, Абрам Михайлович, такими слухами, такими грязными сплетнями на чью мельницу мы льем воду»...

Возмущенный генерал Драгомиров 13 октября отвечал:

«...Вашим вопросом «на чью мельницу мы льем воду» Вы как будто возлагаете вину на нас за эти сплетни... Неужели не ясно, что Добровольческая армия из сил выбивается, чтобы сдержать напор большевиков, значительно превышающих (ее) в силах и неизмеримо обильнее снабженных боевыми припасами. Неужели последние кровопролитные и упорнейшие бои, в коих гибли с несравненным геройством офицерские части армии, дают кому-либо право

[1] Телеграмма № 10 от 18 августа 1918 года.

[2] № 02 без даты.

сколько-нибудь серьезно останавливаться на приведенной Вами грязной сплетне о выпуске Сорокина. Неужели по своей доброй воле Добровольческая армия два месяца дерется изо дня в день все на тех же позициях, а города и станицы периодически переходят из рук в руки при всех ужасах, которыми сопровождаются для жителей эти переходы»...

Любопытно, кто же, однако, распространял «такие грязные сплетни»?

В те же дни[1] Краснов писал в Екатеринодар донскому представителю генералу Смагину:

«...Мы ведем борьбу с восемью советскими армиями, в то время как против Добровольческой армии только одна армия — Сорокина, и та более чем наполовину выпущена против нас... Прибытие отряда Сорокина[2] и дивизии Жлобы, не преследуемых по пятам добровольцами, и удар их в тыл нашим войскам у Царицына произвели на казаков угнетающее впечатление»...

«...Конечно, это письмо только тема для Вас. Оно не для огласки», — заканчивал генерал Краснов.

* * *

Я чувствую, что посвятил слишком много строк и внимания розни «белых генералов». Но это было, внося элемент пошлости и авантюризма в общий ход кровавой и страшной борьбы за спасение России и отражаясь роковым образом на ее исходе.

[1] 13 октября № 010.

[2] Сорокин никогда не выходил к Царицыну. Как увидим ниже, в октябре против Добровольческой армии было большевистских войск 93 тысячи при 124 орудиях.

ГЛАВА XVII
КОНСТИТУЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ВЛАСТИ. ВНУТРЕННИЙ КРИЗИС АРМИИ: ОРИЕНТАЦИИ И ЛОЗУНГИ

В станицах Мечетинской и Егорлыкской жила Добровольческая армия на «чужой» территории, представляя своеобразный бытовой и военный организм, пользовавшийся полным государственным иммунитетом.

С первого же дня моего командования без каких-либо переговоров, без приказов, просто по инерции утвердилась та неписаная конституция Добровольческой армии, которой до известной степени разграничивался ранее Круг ведения генералов Алексеева и Корнилова. Генерал Алексеев сохранил за собою общее политическое руководство, внешние сношения и финансы, я — верховное управление армией и командование. За все время нашего совместного руководства этот порядок не только не нарушался фактически, но между нами не было *ни разу разговора о пределах компетенции нашей власти.* Этим обстоятельством определяется всецело характер наших взаимоотношений и мера взаимного доверия, допускавшая такой своеобразный *дуализм.*

Щепетильность в этом отношении генерала Алексеева была удивительна — даже во внешних проявлениях. Помню, в мае, в Егорлыкской, куда мы приехали оба беседовать с войсками, состоялся смотр гарнизона. Несмотря на все мои просьбы, он не согласился принять парад, предоставив это мне и утверждая, что «власть и авторитет командующего не должны ничем умаляться». Я чувствовал себя не раз очень смущенным перед строем войск, когда старый и всеми уважаемый вождь ехал за мной. Кажется, один только раз, после взятия Екатеринодара, я убедил его принять парад дивизии Покровского, сказав, что я уже смотрел ее.

В то же время на всех заседаниях, конференциях, совещаниях по вопросам государственным, на всех общественных торжествах первое место бесспорно и неотъемлемо принадлежало Михаилу Васильевичу.

В начале июня, перед выступлением моим в поход, генерал Алексеев переехал из Мечетинской в Новочеркасск и попал сразу в водоворот политической жизни Юга. Его присутствие там требовалось в интересах армии. Работая с утра до вечера, он вел сношения с союзниками, с политическими партиями и финансовыми кругами, налаживал, насколько мог, отношения с Доном, и своим авторитетом и влиянием стремился привлечь отовсюду внимание и помощь к горячо любимой им маленькой армии.

Но временная наша разлука имела и свои отрицательные стороны. При генерале Алексееве образовался «военно-политический отдел», начальником которого стал полковник генерального штаба Лисовой. Этот «отдел» был пополнен молодыми людьми, обладавшими, по-видимому, повышенным честолюбием... Вскоре началась нервирующая переписка по мелким недоразумениям между отделом и штабом армии. Даже милейший и добродушнейший Эльснер стал жаловаться на «двоевластие» в Новочеркасске и на Лисового, который «весьма ревностно следит, не получает ли кто-либо, а главное он — Эльснер, каких-либо политических сведений помимо него». Бывали случаи и посерьезнее. Так, например, совершенно неожиданно мы прочли в газете[1], случайно попавшей в армию, официальное уведомление от «военно-политического отдела», что уполномоченными представителями армии по формированию пополнений («начальники центров») являются только лица, снабженные собственноручными письменными полномочиями генерала Алексеева... Это сообщение поставило в ложное положение меня и в роль самозванцев — начальников разбросанных повсюду по Украине и Дону «центров» и вербовочных бюро, которые назначались мною и руководились штабом. В архиве я нашел переписку, свидетельствующую, что это сделано было самовольно «молодыми людьми». Положение осталось, конечно, прежним.

По инициативе «отдела» и за подписью Лисового так же неожиданно появилось в газетах сообщение, вносившее серьезное изменение в «конституцию» Добровольческой

[1] «Вечернее Время» 1918 года № 16.

армии. В этом сообщении, «ввиду неправильного осведомления общества», разъяснялась сущность Добровольческой иерархии, причем генерал Алексеев был назван впервые «*Верховным руководителем Добровольческой армии*».

Так как в моих глазах моральное главенство генерала Алексеева было и без того неоспоримым, то официальное сообщение не могло внести в жизнь армии каких-либо перемен, тем более что практика «дуализма» осталась без ущерба. Мне казалось лишь несколько странным, что узнал я о новом положении из газет, а не непосредственно.

Об этих эпизодах я никогда не поднимал разговора с генералом Алексеевым.

Все политические отношения, внутренние и внешние, вел генерал Алексеев, пересылая мне из Новочеркасска исчерпывающие сводки личных переговоров и подлинные доклады с мест. С большинством исходивших от него лично письменных отношений я ознакомился только впоследствии. Но то взаимное доверие, которое существовало между нами, вполне гарантировало, что ни одного важного шага, изменяющего позицию Добровольческой армии, не переговорив со мною генерал Алексеев не предпримет. И я со спокойным сердцем мог вести армию в бой.

С половины июля М. В. был опять при штабе армии — сначала в Тихорецкой, потом в Екатеринодаре, — и личное общение наше устраняло возможность каких-либо трений, создаваемых извне.

Добровольческая армия сохраняла полную независимость от политических организаций, союзников и врагов. Непосредственно возле нее не было и видных политических деятелей.

Между прочим, и на Дону были попытки организации государственной власти и возглавления добровольческого движения, встретившие отпор со стороны генерала Алексеева. Родзянко совместно с проживавшими в Ростове и Новочеркасске общественными деятелями усиленно проводил идею созыва верховного совета, из членов всех четырех Дум. Присылал гонцов и в мою ставку. Писал мне о необходимости «во что бы то ни стало осуществить (эту) идею», так как «в этом одном спасение России». Но при этом, к моему удивлению, ставил «непременным условием, чтобы М. В. Алексеев был абсолютно устранен из игры»[1]. Я ответил, что общее политическое руководство армией находится в руках М. В., к которому и следует обратиться по этому вопросу непосредственно... Алексеева я не посвятил в нашу переписку — и без того между ним и Родзянко существовали враждебные отношения.

Не было при нас и никакого кадра гражданского управления, так как армии предстояло выполнение частной временной задачи в Ставропольской губернии и на Кубани, и генерал Алексеев, вовлеченный в переговоры о создании общерусской власти за Волгой, не считал пока нужным создавать какой-либо аппарат при армии.

Мы оба старались всеми силами отгородить себя и армию от мятущихся, борющихся политических страстей и основать ее идеологию на простых, бесспорных национальных символах. Это оказалось необычайно трудным. Политика врывалась в нашу работу, врывалась стихийно и в жизнь армии.

Первый Кубанский поход оставил глубокий след в психике добровольцев, наполнив ее значительным содержанием — отзвуками смертельной опасности, жертвы и подвига. Но вместе с тем вызвал невероятную моральную и физическую усталость. Издерганные нервы, утомленное вображение требовали отдыха и покоя. Хотелось всем пожить немного человеческой жизнью, побыть в обстановке семейного уюта, не слышать ежедневно артиллерийского гула.

Искушение было велико.

От Ростова до Киева и Пскова были открыты пути в области, где не было ни войны, ни большевиков, где у многих оставались семьи, родные, близкие. Формальное право на уход из армии было неоспоримо: как раз в эти дни (май) для большинства добровольцев кончался обязательный четырехмесячный срок пребывания в армии... Ворвавшаяся в «открытое окно» жизнь поставила к тому же два острых вопроса — об «ориентации» и «политических лозунгах».

[1] Письмо от 7 июня.

Для многих это был только повод нравственного обоснования своего ухода, для некоторых — действительно мучительный вопрос совести.

Кризис в армии принял глубокие и опасные формы.

Германофильство смутило сравнительно небольшую часть армии. Активными распространителями его в армейской среде были люди заведомо авантюристического типа: доктор Всеволжский, Ратманов, Сиверс и др., ушедшие из армии и теперь формировавшие на немецкие деньги в Ростове и Таганроге какие-то «монархические отряды особого назначения»... Панченко, издававший грубые, демагогические «бюллетени» — чрезмерно угодливые и рассчитанные на слишком невежественную среду; в них, например, создавшиеся между Германией и Россией отношения объяснялись как результат «агитации наших социалистов, ибо главным врагом (своим) они почему-то считали *Императора Вильгельма, которого мировая история справедливо назовет Великим*»[1]. Немецкие деньги расходовались широко, но непроизводительно. Впрочем, иногда цели достигали: начальником самого ответственного разведочного узла Добровольческой армии в Ростове какими-то непостижимыми путями оказался некто «полковник Орлов»[2], состоявший агентом немецкой контрразведки и членом организации Всеволжского...

Влияние более серьезное оказывали киевские германофильские круги. Но и они не могли побороть прочно установившиеся взгляды военной среды, находя отклик главным образом в той части офицерства, которая либо искала поводов «выйти из бойни», либо использовала немецкие обещания в качестве агитационного материала против командования.

Несравненно труднее обстоял вопрос с лозунгами.

«Великая, единая и неделимая Россия» — это говорило уму и сердцу каждого отчетливо и ясно. Но дальше дело осложнялось. Громадное большинство командного состава и

---

[1] Курсив подлинника.

[2] Как выяснилось впоследствии — человек с темным прошлым, по имени И. В. Добровольский.

офицерства было монархистами. В одном из своих писем[1] генерал Алексеев определял совершенно искренне свое убеждение в этом отношении и довольно верно офицерские настроения.

«...Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии, конечно, с теми поправками, кои необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. Как показал продолжительный опыт пережитых событий, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию. Так думают почти все офицерские элементы, входящие в состав Добровольческой армии, ревниво следящие за тем, чтобы руководители не уклонились от этого основного принципа»[2].

Но в мае-июне настроение офицерства под влиянием активных правых общественных кругов было значительно сложнее. Очень многие считали необходимым немедленное официальное признание в армии монархического лозунга. Это настроение проявлялось не только внешне в демонстративном ношении романовских медалей, пении гимна и т. п., но и в некотором брожении в частях и... убыли в рядах армии. В частности появились офицеры-агитаторы, склонявшие добровольцев к участию в тайных организациях; в своей работе они злоупотребляли и именем великого князя Николая Николаевича. Меня неприятно удивила однажды сцена во время военного совета перед походом. Марков резко отозвался о деятельности в армии монархических организаций; Дроздовский вспылил:

— Я сам состою в тайной монархической организации... Вы недооцениваете нашей силы и значения...

* * *

В конце апреля в обращении к русским людям я определил политические цели борьбы Добровольческой ар-

---

[1] Письмо к генералу Щербачеву от 31 июля 1918 года.

[2] Я предпочитаю изобразить взгляд М. В. его собственными словами и утверждаю, что этот взгляд был присущ ему во всех стадиях нашей совместной деятельности на Юге России.

мии[1]. В начале мая мною, с ведома генерала Алексеева, был дан наказ представителям армии, разосланным в разные города, для общего руководства:

I. Добровольческая армия борется за спасение России путем: 1) создания сильной, дисциплинированной и патриотической армии; 2) беспощадной борьбы с большевизмом; 3) установления в стране единства государственного и правового порядка.

II. Стремясь к совместной работе *со всеми русскими людьми*, государственно мыслящими, Добровольческая армия не может принять партийной окраски.

III. Вопрос о формах государственного строя является последующим этапом и станет отражением воли русского народа после освобождения его от рабской неволи и стихийного помешательства.

IV. Никаких отношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно приемлемые положения: уход из пределов России первых и разоружение и сдача вторых.

V. Желательно привлечение вооруженных сил славян на основе их исторических чаяний, не нарушающих единства и целостности русского государства, и на началах, указанных в 1914 году русским Верховным главнокомандующим.

Оба эти обращения нашли живой отклик, но... не совсем сочувственный.

Офицерство не удовлетворялось осторожным *«умолчанием»* Алексеева — формулой, которая гласно не расшифровывалась, разделялась многими старшими начальниками и в цитированном мною выше письме[2] была высказана вполне откровенно: «...Добровольческая армия не считает возможным теперь же принять определенные политические лозунги ближайшего государственного устройства, признавая, что вопрос этот недостаточно еще назрел в умах всего русского народа и что преждевременно объявленный лозунг может лишь затруднить выполнение широких государственных задач».

---

[1] Декларация от 23 апреля.

[2] Алексеева к Щербачеву.

Еще менее, конечно, могло удовлетворить офицерство мое *«непредрешение»* и в особенности моя декларация с упоминанием об «Учредительном собрании» и «народоправстве». Начальники бригад доложили мне, что офицерство смущено этими терминами... Такое же впечатление произвели они в другом крупном центре противобольшевистского движения — Киеве. Генерал Лукомский писал мне в то время[1]: «...Я глубоко убежден, что это воззвание вызовет в самой армии и смущение, и раскол. В стране же многих отшатнет от желания идти в армию или работать с ней рука об руку. Может быть, до вас еще не дошел пульс биения страны, но должен Вас уверить, что *поправение* произошло громадное. Что *все партии*, кроме социалистических, видят единственной приемлемой формой конституционную монархию. Большинство отрицает возможность созыва нового Учредительного собрания, а те, кто допускают, считают, что членами такового могут быть допущены лишь цензовые элементы. Вам необходимо высказаться более определенно и ясно».

Милюков сообщал ЦК партии в Москву, что он «вступил уже в сношения с генералом Алексеевым, чтобы убедить его обратить Добровольческую армию на служение этой задаче»[2]... А Князь Г. Трубецкой несколько позже в своем донесении Правому Центру[3] недоумевал: «...Как все переменилось! Ведь как это ни дико, но для штаба Добровольческой армии, например, позиция Милюкова слишком правая, ибо они все еще не отделались от полинявших побрякушек, вроде Учредительного собрания, и не высказались еще за монархию».

Атмосфера в армии сгущалась, и необходимо было так или иначе разрядить ее. Дав волю тогдашним офицерским пожеланиям, мы ответили бы и слагавшимся тогда настроениям значительных групп несоциалистической интеллигенции, но рисковали полным разрывом с народом, в частности с казачеством — тогда не только не склонным к приятию монархической идеи, но даже прямо враждебным ей.

---

[1] 14 мая 1918 года.

[2] Объединение России путем контакта с немцами и восстановление конституционной монархии. Письмо от 7 мая 1918 года.

[3] 30 июля 1918 года.

Мы решили поговорить непосредственно с офицерами.

В станичном правлении в Егорлыкской были собраны все начальники, до взводного командира включительно. Мы не сговаривались с генералом Алексеевым относительно тем беседы, но вышло так, что он говорил о немцах, а я о монархизме.

В пространной речи генерал Алексеев говорил о немцах, как о «враге — жестоком и беспощадном», таком же враге, как и большевики[1]... Об их нечестной политике, об экономическом порабощении Украины... О колоссальных потерях немцев, об истощении духовных и материальных сил германской нации, о малых шансах ее на победу... О Восточном фронте... О том будущем, которое сулит России связь с Германией: «Политически — рабы, экономически — нищие». Словом, обосновал два наших положения:

1) Союз с немцами морально недопустим, политически нецелесообразен.

2) *Пока* — ни мира, ни войны.

Я сказал кратко и резко:

«Была сильная русская армия, которая умела умирать и побеждать. Но когда каждый солдат стал решать вопросы стратегии, войны или мира, монархии или республики, тогда армия развалилась. Теперь повторяется, по-видимому, то же. Наша единственная задача — борьба с большевиками и освобождение от них России. Но этим положением многие не удовлетворены. Требуют немедленного поднятия монархического флага. Для чего? Чтобы тотчас же разделиться на два лагеря и вступить в междоусобную борьбу? Чтобы те круги, которые теперь если и не помогают армии, то ей и не мешают, начали активную борьбу против нас? Чтобы 30-тысячное ставропольское ополчение, с которым теперь идут переговоры и которое вовсе не желает монархии, усилило Красную армию в предстоящем нашем походе? Да, наконец, какое право имеем мы, маленькая кучка людей, решать вопрос о судьбах страны без ее ведома, без ведома русского народа?

[1] Показательно, что из рядов послышалась произнесенная каким-то хмурым полковником фраза: «Да, но это враг — культурный...»

Хорошо — монархический флаг. Но за этим последует естественно требование *имени*. И теперь уже политические группы называют десяток имен, в том числе кощунственно в отношении великой страны и великого народа произносится даже имя чужеземца — греческого принца. Что же, и этот вопрос будем решать поротно, или разделимся на партии и вступим в бой?

Армия не должна вмешиваться в политику. Единственный выход — вера в своих руководителей. Кто верит нам — пойдет с нами, кто не верит — оставит армию.

Что касается лично меня, я бороться за форму правления не буду. Я веду борьбу только за Россию. И будьте покойны: в тот день, когда я почувствую ясно, что биение пульса армии расходится с моим, я немедля оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые сочту прямыми и честными».

Мои взгляды в отношении «политических лозунгов» несколько расходились с алексеевскими: генерал Алексеев принял формулу *умолчания* — отнюдь, конечно, не по двоедушию. Он не предусматривал насильственного утверждения в стране монархического строя, веря, что восприятие его совершится естественно и безболезненно. У нас (мои взгляды разделяли всецело Романовский и Марков) не было такой веры. Мы стояли поэтому совершенно искренне на точке зрения более полного *непредрешения государственного строя*.

Я говорил об этом открыто всегда. В начале так же, как и в конце своего командования. Через полтора года на «Верховном круге» в Екатеринодаре мне опять придется коснуться этого вопроса[1]: «...Счастье родины я ставлю на первом плане. Я работаю над освобождением России. Форма правления для меня вопрос второстепенный. И если когда-либо будет борьба за форму правления — я в ней участвовать не буду. Но, нисколько не насилуя совесть, я считаю одинаково возмож-

[1] Речь 16 января 1920 года.

ным честно служить России при монархии и при республике, лишь бы знать уверенно, что народ русский в массе желает той или другой власти. И поверьте, все ваши предрешения праздны. Народ сам скажет, чего он хочет. И скажет с такой силою и с таким единодушием, что всем нам — большим и малым законодателям — придется только преклониться перед его державной волей».

Как бы то ни было, два основных положения — непредрешение формы государственного строя и невозможность сотрудничества с немцами — фактически нами были соблюдены до конца. Помню только два случая некоторого колебания, испытанного генералом Алексеевым... В конце августа или начале сентября, будучи с армией в походе, я получил от него письмо. Под влиянием доклада адмирала Ненюкова генерал Алексеев высказывал взгляд относительно возможности войти в соглашение с германским морским командованием по частному поводу включения наших коммерческих судов Новороссийского порта в общий план черноморских рейсов, организуемых немцами. Предложение исходило от генерала Гофмана и являлось, очевидно, первым шагом к более тесным сношениям с австро-германцами. Генерал Алексеев пожелал знать мое мнение. Я ответил отрицательно, и вопрос заглох. Другой раз в Екатеринодаре я получил очередной доклад «Азбуки» с ярким изображением нарастающего монархического настроения и с указанием на непопулярность Добровольческой армии, не выносящей открыто монархического лозунга... На докладе была резолюция генерала Алексеева в таком смысле: «Надо нам, наконец, решить этот вопрос, Антон Иванович, — так дальше нельзя». Я зашел в тот же день с Романовским к генералу Алексееву.

— Чем объяснить изменение Ваших взглядов, Михаил Васильевич? Какие новые обстоятельства вызвали его? Ведь настроение Дона, Кубани, ставропольских крестьян нам хорошо известно и далеко не благоприятно идее монархии. А про внутреннюю Россию мы ровно ничего не знаем...

Резолюция, по-видимому, была написана под влиянием минуты. Михаил Васильевич переменил разговор и более этой темы до самой его смерти мы не касались.

* * *

Возвращаюсь к Егорлыкскому собранию.

После моей речи генерал Марков попросил слова и от имени своей дивизии заявил, что «все они верят в своих вождей и пойдут за ними». То же сделал Эрдели[1].

Мы ушли с собрания, не вынеся определенного впечатления об его результатах. Но к вечеру Марков, успевший поговорить со многими офицерами, сказал:

— Отлично. Теперь публика поуспокоилась.

ГЛАВА XVIII

ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ: ТРАДИЦИИ, ВОЖДИ И ВОИНЫ. ГЕНЕРАЛ РОМАНОВСКИЙ. КУБАНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. СЛОЖЕНИЕ АРМИИ

Тяжело было налаживать и внутренний быт войск. Принцип добровольчества, привлекая в армию элементы стойкие и мужественные, вместе с тем создавал несколько своеобразные формы дисциплины, не укладывавшиеся в рамки старых уставов. Положение множества офицеров на должности простых рядовых изменяло характер взаимоотношений начальника и подчиненного; тем более что сплошь и рядом, благодаря новому притоку укомплектования, рядовым бывал старый капитан, а его ротным командиром подпоручик. Совершенно недопустимо было ежедневно менять начальников по приходе старших. Доброволец, беспрекословно шедший под огонь и на смерть, в обыкновенных условиях — на походе и отдыхе — не столь беспрекословно совершал не менее трудный подвиг повиновения.

Добровольцы были морально прикреплены к армии, но не юридически. Создался уклад, до некоторой степени напоминавший удельно-вечевой период, когда «дружинники,

---

[1] В Егорлыкской стояли только 1-я (Марков) и Конная (Эрдели) дивизии. 2-я дивизия (Боровский) — в Мечетинской, 3-я (Дроздовский) была еще в Новочеркасске.

как люди вольные, могли переходить от одного князя на службу другому».

Не менее трудно было установить правильные отношения со старшими начальниками. Необычайные условия формирования армии и ее боевая жизнь создавали некоторым начальникам наряду с известностью вместе с тем какой-то своеобразный служебный иммунитет. Не кубанская рада, а генерал Покровский, благодаря личному своему влиянию, собрал и привел в армию *бригаду* (потом *дивизию*) кубанских казаков — вооруженную и даже хорошо сколоченную за время краткого похода. И когда кубанское правительство настойчиво просило устранить его с должности, выдвигая не слишком обоснованное обвинение в безотчетном израсходовании войсковых сумм в бытность его командующим войсками, явилось большое сомнение в целесообразности этого шага...

Своим трудом, кипучей энергией и преданностью национальной идее Дроздовский создал прекрасный отряд из трех родов оружия и добровольно присоединил его к армии. Но и оценивал свою заслугу не дешево. Позднее, как-то раз обиженный замечанием по поводу неудачно проведенной им операции, он писал мне: «...Невзирая на исключительную роль, которую судьба дала мне сыграть в деле возрождения Добровольческой армии, а может быть и спасении ее от умирания, невзирая на мои заслуги перед ней, пришедшему к Вам не скромным просителем места или защиты, но приведшему с собой верную мне крупную боевую силу, Вы не остановились перед публичным выговором мне»[1].

Рапорт Дроздовского — человека крайне нервного и вспыльчивого — заключал в себе такие резкие и несправедливые нападки на штаб и вообще был написан в таком тоне, что, в видах поддержания дисциплины, требовал новой репрессии, которая повлекла бы несомненно уход Дроздовского. Но морально его уход был недопустим, являясь несправедливостью в отношении человека с такими действительно большими заслугами. Так же восприняли бы

[1] 27 сентября, № 027.

этот факт и в 3-й дивизии... Принцип вступил в жестокую коллизию с жизнью. Я, переживая остро этот эпизод, поделился своими мыслями с Романовским.

— Не беспокойтесь, Ваше превосходительство, вопрос уже исчерпан.

— Как?

— Я написал *вчера* еще Дроздовскому, что рапорт его составлен в таком резком тоне, что доложить его командующему я не мог.

— Иван Павлович, да вы понимаете, какую тяжесть вы взваливаете на свою голову...

— Это неважно. Дроздовский писал очевидно в запальчивости и раздражении. Теперь, поуспокоившись, сам, наверно, рад такому исходу.

Прогноз Ивана Павловича оказался правильным: вскоре после этого случая я опять был на фронте, видел часто 3-ю дивизию и Дроздовского. Последний был корректен, исполнителен и не говорил ни слова о своем рапорте. Но слухи об этом эпизоде проникли в армию и дали повод клеветникам чернить память Романовского:

— Скрывал правду от командующего!..

Высокую дисциплину в отношении командования проявляли генерал Марков и полковник Кутепов. Но и с ними были осложнения... Кутепов на почве брожения среди гвардейских офицеров, не удовлетворенных «лозунгами» армии, завел речь о своем уходе. Я уговорил его остаться. Марков, после одной небольшой операции в окрестностях Егорлыкской, усмотрев в сводке, составленной штабом, неодобрение его действиям, прислал мне рапорт об увольнении своем от службы. Разве возможен был уход Маркова — генерала легендарной доблести, который сам в боевом активе армии был равноценен дивизии?.. Поехал Иван Павлович в Егорлыкскую к своему близкому другу — еще со времен молодости — извиняться за штаб...

Подчинявшиеся во время боевых операций всецело и безотказно моим распоряжениям, многие начальники с чрезвычайной неохотой подчинялись друг другу, когда обстановка требовала объединения групп. Сколько раз впоследствии приходилось мне командовать самому на частном

фронте в ущерб общему ведению операции, придумывать искусственные комбинации или предоставлять самостоятельность двум-трем начальникам, связанным общей задачей.

Приказ, конечно, был бы выполнен, но... неискренне, в несомненный ущерб делу.

Так шли дни за днями, и каждый день приносил с собою какое-нибудь новое осложнение, новую задачу, предъявляемую выбитой из колеи армейской жизнью. Выручало только одно: над всеми побуждениями человеческими у начальников в конце концов все же брало верх чувство долга перед Родиной.

* * *

Особое положение занимал И. П. Романовский.

Я не часто упоминаю его имя в описании деятельности армии. Должность «начальника штаба» до известной степени обезличивает человека. Трудно разграничить даже и мне степень участия его в нашей идейной работе по направлению жизни и операций армии — при той интимной близости, которая существовала между нами, при том удивительном понимании друг друга и общности взглядов стратегических и политических.

Романовский был деятельным и талантливым помощником командующего армией, прямолинейным исполнителем его предначертаний и преданным другом. Другом, с которым я делил нравственную тяжесть правления и командования и те личные переживания, которые не выносятся из тайников души в толпу и на совещания. Он платил таким же отношением. Иногда — в формах трогательных и далеко небезопасных. «Иван Павлович имел всегда мужество, — говорит один из ближайших его сотрудников по штабу, — принимать на себя разрешение всех, даже самых неприятных вопросов, чтобы оградить от них своего начальника».

Генерал Романовский был вообще слишком крупной величиной сам по себе и занимал слишком высокое положение, чтобы не стать объектом общественного внимания.

В чем заключалась тайна установившихся к нему враждебных отношений, которые и теперь еще прорываются дикой, бессмысленной ненавистью и черной клеветой? Я тщательно и настойчиво искал ответа в своих воспоминаниях, в письменных материалах, оставшихся от того времени, в письмах близких ему людей, в разговорах с соратниками, в памфлетах недругов... Ни одного реального повода — только слухи, впечатления, подозрительность.

Служебной деятельностью начальника штаба, ошибками и промахами нельзя объяснить создавшегося к нему отношения. В большом деле ошибки неизбежны. Было ведь много учреждений, несравненно более «виновных», много грехов армии и властей, неизмеримо более тяжелых. Они не воспринимались и не осуждались с такой страстностью.

Но стоит обратить внимание, откуда исключительно шли и идут все эти обвинения, и станет ясным их *чисто политическая подкладка*. Самостоятельная позиция командования, не отдававшего армию в руки крайних правых кругов, была причиной их вражды и поводом для борьбы, причем теми средствами, которые присущи крайним флангам русской общественности. Они ополчились против командования и прежде всего против генерала Алексеева, который представлял политическую идеологию армии.

Для начала они слагали только репутации.

Самый благородный из крайних правых граф Келлер — рыцарь монархии и династии, человек прямой и чуждый интриги, но весьма элементарного политического кругозора, — искренне верил в легенду о «мятежном генерал-адъютанте», когда писал генералу Алексееву: «Верю, что Вам, Михаил Васильевич, тяжело признаться в своем заблуждении. Но для пользы и спасения родины и для того, чтобы не дать немцам разрознить последнее, что у нас еще осталось, Вы обязаны на это пойти, покаяться откровенно и открыто в своей ошибке (которую я лично все же приписываю любви Вашей к России и отчаянию в возможности победоносно окончить войну) и объявить всенародно, что Вы идете за законного царя»...

Руководители Астраханской армии еще летом 1918 года говорили представителям Правого Центра: «В Добровольческой армии должна быть произведена чистка... В составе командования имеются лица, противящиеся, по существу,

провозглашению монархического принципа, например, генерал Романовский».

«Относительно Добровольческой армии, — сообщала нам организация Шульгина, — Совет монархического блока решил придерживаться такой тактики: самой армии не трогать, а при случае даже подхваливать, но зато всемерно, всеми способами травить и дискредитировать руководителей армии. На днях правая рука герцога Г. Лейхтенбергского Акацатов в одном доме прямо сказал, что для России и дела ее спасения опасны не большевики, а Добровольческая армия, пока во главе ее стоит Алексеев, а у последнего имеются такие сотрудники, как Шульгин...» Такая политика «правых большевиков», по выражению «Азбуки», приводила даже в смущение просто правых. Алекс. Бобринский на днях говорил: «Я боюсь не левых, а крайних правых, которые, еще не победив, проявляют столько изуверской злобы и нетерпимости, что становится жутко и страшно»...

Такое же настроение создавалось в соответственных кругах, группировавшихся в армии и возле армии, и такая же тактика применялась ими.

Как составлялись репутации в армии, или вернее для армии, об этом свидетельствует письмо ко мне генерала Алексеева, относящееся к этому периоду[1]. В заседании донского правительства (24—25 июня) атаман, по словам М. В., заявил: «Ему достоверно известно, что в армии существует раскол: с одной стороны дроздовцы, с другой — алексеевцы и деникинцы. Дроздовцы будто бы определенно тянут в сторону Юго-Восточного союза... В той группе, которую Краснов называет общим термином «алексеевцы и деникинцы», тоже, по его мнению, идет раскол; я числюсь монархистом и это заставляет, будто бы, некоторую часть офицерства тяготеть ко мне; Вы же, а в особенности Иван Павлович, считаетесь определенными республиканцами и чуть ли не социалистами. Несомненно, это отголоски, как я полагаю, наших разговоров об Учредительном собрании»...

Человек серьезный, побывавший в Киеве и имевший там общение со многими военными и общественными

[1] От 26 июня, № 69.

кругами, говорит о вынесенных оттуда впечатлениях[1]: «В киевских группах создалось неблагоприятное и притом совершенно превратное мнение о Добровольческой армии. Более всего подчеркивают социалистичность армии... Говорят, что «идеалами армии является Учредительное собрание, притом прежних выборов..., что Авксентьев, Чернов, пожалуй Керенский и прочие господа — вот герои Добровольческой армии; но мы ведь знаем, что можно ждать от них...»

Атака пошла против всего высшего командования. Но силы атакующих были еще слишком ничтожны, а авторитет генерала Алексеева слишком высок, чтобы работа их могла увенчаться серьезным успехом. С другой стороны, крепкая связь моя с основными частями армии и неизменные боевые успехи ее делали, вероятно, дискредитирование командующего нецелесообразным и, во всяком случае, нелегким... Главный удар поэтому пришелся по линии наименьшего сопротивления.

От времени до времени в различных секретных донесениях, в которых описывались настроения армии и общества, ставилось рядом с именем начальника штаба сакраментальное слово «социалист». Нужно знать настроение офицерства, чтобы понять всю ту тяжесть обвинения, которая ложилась на Романовского. Социалист — олицетворение всех причин, источник всех бед, стрясшихся над страной... В элементарном понимании многих в этом откровении относительно начальника штаба находили не раз объяснение все те затруднения, неудачи, неустройства, которые сопутствовали движению армии и в которых повинны были судьба, я, штаб, начальники или сама армия. Даже люди серьезные и непредубежденные иногда обращались ко мне с доброжелательным предупреждением:

— У вас начальник штаба — социалист.

— Послушайте, да откуда вы взяли это, какие у вас данные?

— Все говорят.

Слово было произнесено и внесло отраву в жизнь.

[1] Доклад полковника Крейтера от 18 сентября.

Затем началась безудержная клевета.

Только много времени спустя я мог уяснить себе всю глубину той пропасти, которую рыли черные руки между Романовским и армией.

Обвинения были неожиданны, бездоказательны, нелепы, всегда безличны и поэтому трудноопровержимы. «Мне недавно стало известным, — говорит генерал, непосредственно ведавший организационными вопросами, — что еще в 1918 году готовилось покушение на Ивана Павловича за то, что он якобы противодействовал формированию одной из Добровольческих дивизий»... Ну можно ли это изобрести про начальника штаба, только и думающего о развитии мощи армии и больше всего о «добровольцах»?.. Один из друзей Романовского, бывший и оставшийся монархистом и правым, описывает ту «атмосферу интриг», которая охватила его осенью 1918 года, когда он приехал в Екатеринодар: «Многие учли мой приезд, человека близкого к Ивану Павловичу, как могущего влиять на него, и стали внушать мне, что он злой гений Добровольческой армии, ненавистник гвардии, виновник гибели лучших офицеров под Ставрополем... С мыслью влиять через меня на Ивана Павловича, а следовательно и на командующего армией, расстались не сразу. И месяца два моя скромная квартира не раз посещалась людьми, имевшими целью убедить меня, какой талантливый и глубоко государственный человек Кривошеин и т. д... Посещения эти резко оборвались, как только убедились в несклонности моей к политической интриге».

Психология общества, толпы, армии требует «героев», которым все прощается, и «виновников», к которым относятся беспощадно и несправедливо. Искусно направленная клевета выдвинула на роль «виновника» генерала Романовского. Этот «Барклай де Толли» добровольческого эпоса принял на свою голову всю ту злобу и раздражение, которые накапливались в атмосфере жестокой борьбы.

К несчастью, характер Ивана Павловича способствовал усилению неприязненных к нему отношений. Он высказывал прямолинейно и резко свои взгляды, не облекая их в принятые формы дипломатического лукавства. Вереницы

бывших и ненужных людей являлись ко мне со всевозможными проектами и предложениями своих услуг; я не принимал их; мой отказ приходилось передавать Романовскому, который делал это сухо, не раз с мотивировкой хотя и справедливой, но обидной для просителей. Они уносили свою обиду и увеличивали число его врагов. Я помню, как однажды, после горячего спора о присоединении к армии одного отряда на полуавтономных началах, Иван Павлович за столом у меня, в большом обществе обмолвился фразой:

— К сожалению, к нам приходят люди с таким провинциальным самолюбием...

В начальнике отряда — человеке доблестном, но своенравном — он нажил врага... до смерти.

Весь ушедший в дело, работавший до изнеможения, он не умел показать достаточно внимания, приласкать тех служилых людей, которые с утра до вечера толпились со своими нуждами в его приемной. Они уносили также в полки, в штабы, в общество представление о «черством, бездушном формалисте»... И только немногие близкие знали, какой бесконечной доброты полон был этот «черствый» человек и скольких людей — даже враждебных ему — он выручал, спасал от беды, иногда от смерти...

Об отношении к себе в армии и обществе Иван Павлович знал и болел душой.

— Отчего меня так не любят?..

Этот вопрос он задал одному из своих друзей, вращавшихся в армейской гуще, и получил ответ:

— Не умеешь расположить к себе людей.

Однажды со скорбной улыбкой он и ко мне обратился со своим недоумением я ответил:

— Иван Павлович, вы близки ко мне. Известные группы стремятся очернить вас в глазах армии и моих. Им нужно устранить вас и поставить возле меня своего человека. Но этого никогда не будет.

•••

Кубанские казаки, входившие в состав армии, в массе своей мало интересовались пока еще «ориентациями» и «лозунгами» и, стоя на самой границе своей области, томились ожиданием наступления и освобождения своих станиц.

Кубанское офицерство разделяло мятущееся настроение всего добровольчества.

Атаман и правительство придерживались союза с Добровольческой армией, не желая рисковать им для новых комбинаций. 2 мая в заседании рады были установлены основные положения кубанской политики: 1) «Необходимость продолжения героической деятельности Добровольческой армии, действующей в полном согласии с кубанским правительством»... 2) «В настоящее время вооруженная борьба с центральными державами является нецелесообразной... но необходимо принять все меры для предотвращения... продвижения германской армии в пределы (края) без согласия на то кубанского правительства»... 3) «Необходимо полное единение с Доном». 4) «Для заключения (союза) с Доном, выяснения целей германского движения и определения отношений с Украиной... отправить в Новочеркасск, Ростов и Киев делегации»[1].

Назначение последних двух делегаций вызывало некоторое опасение и у нас, и у атамана, оказавшееся необоснованным. Делегация на Украину, добивавшаяся помощи материальной (военным снабжением) и дипломатической («чтобы на мирной конференции между Украиной и Советской республикой Кубанский край не был включен в состав РСР») не достигла цели. Гетманское правительство дало понять делегации, предлагавшей «федерацию», что «без включения Кубанского края в состав Украинской республики на автономных правах (оно) не сможет оказать помощи Кубани»... В среде кубанских правителей возникло опасение, что «при соединении на этих началах с Украиной для немцев возникнет возможность распространить на Кубань силу договора, заключенного Германией с Украиной со всеми последствиями»[2].

Вопрос остался открытым.

Точно так же непосредственные отношения с немцами в Ростове ограничились взаимным осведомлением, а переговоры о Доно-Кавказском союзе, как я говорил ранее, усиленно затягивались кубанцами. Кубанский дипломат Петр Макаренко неизменно проводил взгляд, что «кубанцы не являются противниками идеи Юго-Восточного союза, но воплощение его в жизнь в спешном порядке при настоящих условиях не является приемлемым».

[1] Протокол заседания 2 мая.

[2] Объяснения Быча на заседании 10 июня.

Атаман, Рада и правительство больше всего опасались, чтобы Добровольческая армия не покинула Кубань, отдав ее на растерзание большевиков, и чтобы на случай нашего ухода на север область была обеспечена теперь же своей армией. Последнее требование, имевшее главным мотивом упрочение политического значения кубанской власти, привело бы к полной дезорганизации армии и встретило поэтому решительный отказ командования.

Между тем в самой среде кубанцев шла глухая внутренняя борьба. С одной стороны, социалистическое правительство и Рада, с другой — кубанское офицерство возобновили свои старые неоконченные счеты. На этот раз с офицерством шел атаман полковник Филимонов, поддерживавший периодически то ту, то другую сторону. Назревал переворот, имевший целью установление единоличной атаманской власти.

30 мая состоялось в Мечетинской собрание, на котором атаман перечислял вины правительства и рады, «расхитивших его власть». Офицерство ответило бурным возмущением и недвусмысленным призывом расправиться со своей революционной демократией. Поздно ночью ко мне пришли совершенно растерянные Быч (председатель правительства) и полковник Савицкий (член правительства по военным делам). Они заявили, что готовы уйти, если их деятельность признается вредной, но просили оградить их от самосуда, на который толкает офицерство атаман.

Переворот мог вызвать раскол среди рядового казачества, и главное — толкнуть свергнутую кубанскую власть в объятия немцев, которые несомненно признали бы ее, получив легальный титул для военного и политического вторжения на Кубань. Поэтому в ту же ночь я послал письмо полковнику Филимонову, предложив ему не осложнять и без того серьезный кризис Добровольческой армии.

Впоследствии полковник Филимонов в кругу лиц, враждебных революционной демократии, не раз говорил:

— Я хотел еще в Мечетке покончить с правительством и радой, да генерал Деникин не позволил.

Так же отрицательно отнеслись к этому факту и общественные круги, близкие к армии; в них создалось убеждение, что «тогда, на первых порах была допущена роковая ошибка, которая отразилась в дальнейшем на всем характере отношений Добровольческой армии и Кубани»...

Я убежден, что прийти в Екатеринодар (если бы нас не предупредили там немцы) с одним атаманом было делом совершенно легким. Но долго ли он усидел бы там — не знаю. В то время во всех казачьих войсках было сильное стремление к народоправству не только в силу «завоеваний революции», но и «по праву древней обыкновенности». Во всяком случае, то, что сделал на Дону Краснов, оставив внешний декорум «древней обыкновенности» и сосредоточив в своих руках единоличную власть, было не под силу Филимонову.

Как бы то ни было, в лице кубанского казачества армия имела прочный и надежный элемент. Офицерство почти поголовно исповедовало общерусскую национальную идею; рядовое казачество шло за своими начальниками, хотя многие и руководствовались более житейскими мотивами. «Они только и думают, — говорил на заседании рады один кубанский деятель, — как бы скорее вернуться к своим хатам, своим женам; они теперь охотно пойдут бить большевиков, но именно, чтобы вернуться домой».

* * *

Финансовое положение армии было поистине угрожающим.

Наличность нашей казны все время балансировала между двухнедельной и месячной потребностью армии. 10 июня, т. е. в день выступления армии в поход, генерал Алексеев на совещании с кубанским правительством в Новочеркасске говорил: «...Теперь у меня есть четыре с половиной миллиона рублей. Считая поступающие от донского правительства 4 миллиона, будет $8^1/_2$ миллионов. Месячный расход выразится в 4 миллиона рублей. Между тем, кроме указанных источников (ожидание 10 миллионов от союзников и донская казна) денег получить неоткуда... За последнее время получено от частных лиц и организаций всего 55 тысяч рублей. Ростов, когда там был приставлен нож к горлу, обещал дать 2 миллиона... Но когда... немцы обеспечили жизнь богатых людей, то оказалось, что оттуда ничего не получим... Мы уже решили в Ставропольской губернии не останавливаться перед взиманием контрибуции, но что из этого выйдет, предсказать нельзя»[1].

30 июня генерал Алексеев писал мне, что, если ему не удастся достать 5 миллионов рублей на следующий месяц, то через 2—3 недели придется *поставить бесповоротно вопрос о ликвидации армии*...

Ряду лиц, посланных весною 1918 года в Москву и Вологду[2], поручено было войти по этому поводу в сношения с отечественными организациями и с союзниками; у последних, как указывал генерал Алексеев, «не просить, а *требовать* помощи нам» — помощи, которая являлась их нравственной обязанностью в отношении русской армии... Денежная Москва не дала ни одной копейки. Союзники колебались: они, в особенности французский посол Нуланс, не уясняли себе значения Северного Кавказа, как флангового района в отношении создаваемого Восточного фронта и как богатейшей базы для немцев в случае занятия ими этого района.

После долгих мытарств для армии через Национальный Центр было получено генералом Алексеевым около 10 миллионов рублей, т. е. полутора-двухмесячное ее содержание. Это была *первая и единственная* денежная помощь, оказанная союзниками Добровольческой армии.

Некто Л., приехавший из Москвы для реализации 10-миллионного кредита, отпущенного союзниками, обойдя главные ростовские банки, вынес безотрадное впечатление: «...По заверениям (руководителей банков) все капиталисты, а также и частные банки держатся выжидательной политики и очень не уверены в завтрашнем дне».

---

[1] Отчет о совещании.

[2] Генерал Казанович, А. А. Ладыженский, полковник Новосильцев, ротмистр Шапрон.

В таком же положении было и боевое снабжение. Получили несколько десятков тысяч ружейных патронов и немного артиллерийских от войска Донского; Дроздовский привез с собой свыше миллиона патронов и несколько тысяч снарядов. Это были до смешного малые цифры, но мы давно уже не привыкли к таким масштабам и поэтому положение нашего парка считали почти блестящим. Техническая часть? Кроме полевых пушек — 2 мортиры, 1 гаубица, 1 исправный броневой автомобиль...

Было смешно и трогательно видеть, как весь гарнизон станицы Егорлыкской ликовал при виде отбитого 31 мая у большевиков испорченного броневика «Смерть кадетам и буржуям», и с какою радостью потом мечетинский гарнизон смотрел на этот броневик, преображенный в «Генерала Корнилова» и появившийся на станичных улицах. Несколько дней и ночей, чтобы поспеть к походу, чинили его в станичной кузнице офицеры — уставшие и вымазанные до ушей, но теперь торжественно-серьезные...

Генерал Алексеев выбивался из сил, чтобы обеспечить материально армию: требовал, просил, грозил, изыскивал всевозможные способы, и все же существование ее висело на волоске. По-прежнему главные надежды возлагались на снабжение и вооружение средствами... большевиков. Михаил Васильевич питал еще большую надежду на выход наш на Волгу. «Только там могу я рассчитывать на получение средств», — писал он мне. — Обещания Парамонова... в силу своих отношений с царицынскими кругами обеспечить армию необходимыми ей денежными средствами разрешат благополучно нашу тяжкую финансовую проблему».

* * *

В таких тяжелых условиях протекала наша борьба за существование армии. Бывали минуты, когда казалось, что все рушится, и Михаил Васильевич с горечью говорил мне:

— Ну что же, соберу все свои крохи, разделю их по-братски между добровольцами и распущу армию...

Но мало-помалу горизонт стал проясняться.

Еще в мае Покровский привел конную кубанскую бригаду, которая удивила всех своим стройным — как в дореволюционное время — учением; 3 июня к нам пришел из большевистского района полк мобилизованных там казаков; через два дня гарнизон Егорлыкской с недоумением прислушивался к сильному артиллерийскому гулу, доносившемуся издалека: то вели бой с большевиками отколовшиеся от Красной армии и в тот же день пришедшие к нам в Егорлыкскую одиннадцать сотен кубанских казаков.

В конце мая прибыла и долгожданная бригада Дроздовского.

В яркий солнечный день у околицы Мечетинской на фоне зеленой донской степи и пестрой радостной толпы народа произошла встреча тех, кто пришли из далекой Румынии, и тех, кто вернулись из Первого Кубанского похода. Одни — отлично одетые, подтянутые, в стройных рядах, почти сплошь офицерского состава... другие — «в пестром обмундировании, в лохматых папахах, с большими недочетами в равнении и выправке — недочетами, искупавшимися боевой славой добровольцев»[1].

Встреча была поистине радостная и искренняя.

С глубоким волнением приветствовали мы новых соратников. Старый вождь, генерал Алексеев, обнажил седую голову и отдал низкий поклон «рыцарям духа, пришедшим издалека и влившим в нас новые силы»...

И в душу закрадывалась грустная мысль: почему их только три тысячи[2]? Почему не 30 тысяч прислали к нам умиравшие фронты великой некогда русской армии?..

Впрочем, мало-помалу начали поступать и другие укомплектования. Во многих пунктах были уже образованы «центры» Добровольческой армии и «вербовочные бюро». Они снабжались почти исключительно местными средствами — добровольными пожертвованиями, так как армейская казна была скудна, и генерал Алексеев мог посылать им лишь совершенно ничтожные суммы[3]. В городах, освобожденных от большевиков, сталкивались «вербовщи-

---

[1] Впечатления дроздовца.

[2] В том числе 1340 штыков, 400 шашек.

[3] Сохранились записи денег, ассигнованных «на образование центров»: Одесского — 10 тысяч рублей, Тираспольского — 6 тысяч, Таганрогского — 3 тысячи и т. д.

ки» нескольких армий, в том числе и самостоятельные вербовщики бригады Дроздовского. Все они применяли нередко неблаговидные приемы конкуренции, запутывая и без того сбитое с толку офицерство. Тем не менее оно текло в армию десятками, сотнями, привозя иногда разобранные ружья и пулеметы; прилетали и «сбежавшие» из-под охраны немцев и большевиков аэропланы...

В самый острый период армейского кризиса, когда начался отлив из армии под формальным предлогом окончания четырехмесячного договорного срока службы, я приказал увольнять всех желающих в трехнедельный отпуск: захотят — вернутся, нет — их добрая воля.

В последние дни перед началом похода мимо дома, в котором я жил, на окраине станицы, по большой манычской дороге днем и ночью тянулись подводы: возвращались отпускные. Приобщившись на время к вольной, мирной жизни, они бросили ее вновь и вернулись в свои полки и батареи для неизвестного будущего, для кровавых боев, несущих с собой новые страдания, быть может смерть.

Добровольческая армия сохранилась.

ГЛАВА XIX
КРАСНАЯ АРМИЯ

К весне 1918 года обнаружилась окончательно полная несостоятельность *Красной гвардии.*

5-й съезд Советов восстановил всеобщую воинскую повинность: «На каждом честном и здоровом гражданине в возрасте от 18 до 40 лет лежит долг по первому зову Советской Республики встать на ее защиту от внешних и внутренних врагов... Из буржуазии призывного возраста должно быть создано тыловое ополчение для укомплектования нестроевых частей, служительских и рабочих команд».

На этих общих основаниях началась организация «рабоче-крестьянской» *Красной армии.* Строилась она на принципах старых, отметенных революцией и большевиками в первый период их властвования, в том числе на нормальной организации, единовластии и дисциплине.

Введено было «всеобщее обязательное обучение военному искусству», основаны инструкторские школы для подготовки командного состава, взят на учет старый офицерский состав, привлечены поголовно к службе офицеры генерального штаба и т. д. Советская власть считала себя уже достаточно сильной, чтобы влить без опасения в ряды своей армии десятки тысяч «специалистов», заведомо чуждых или враждебных господствующей партии...

Организация армии шла с великим трудом и большими препятствиями: инерция несения государственной повинности была прервана, прежний двигатель борьбы — иноземное нашествие — сильно поблек и к тому же вытравлялся большевиками из народного сознания, новый — буржуазная контрреволюция — не был воспринят в должной мере; других стимулов не было; в качестве побудительного фактора оставался лишь страх и принуждение.

Русская жизнь этого периода (лето 1918 года) являет разительную аномалию народной психологии, вытекавшую из недостаточно развитого политического и национального самосознания русского народа. На огромном пространстве страны возник десяток правительств и десяток армий, отмеченных всеми цветами политического спектра, начиная с Красной и кончая Южной. Все они производили мобилизации на занятых ими территориях. Во все шел народ — с превеликим нежеланием, оказывая пассивное, очень редко активное сопротивление, но все же шел и воевал, проявляя то высокую доблесть, то постыдное малодушие; бросал «побежденных», переходил к «победителям» и менял красную кокарду на трехцветный угол и наоборот с такою легкостью, как будто это были только украшения форменной одежды... Все усилия красных, белых и черных вождей придать борьбе характер *народный* не увенчались успехом. За все пять лет русской смуты происходил глубокий внутренний процесс разложения и сложения социальных слоев, были вспышки народного гнева, были миражи народного подъема, *но вооруженной народной борьбы еще не было.* Когда она начнется на самом деле, то в какие бы формы ни вылились ее политические лозунги, она будет национальной, весьма скоротечной и положит конец великой смуте.

Первый призыв военнообязанных был объявлен советским декретом во второй половине июля. Пять призывных возрастов (21—25-летний) дали до 800 тысяч солдат. Число это испытывало огромные колебания по пути от уездных приемников до фронта. Тем не менее к 1 ноября советская власть насчитывала на территории России до полумиллиона штыков и сабель.

С Красной армией в собственном смысле слова мы встретимся только поздней осенью. Летом шла лишь подготовка и некоторые преобразования. Армия оставалась смешанного типа: частью из добровольцев, частью из людей, мобилизованных на местах насильственно, беспорядочно, властью местных советов или частных войсковых начальников. Центральное управление употребляло большие усилия, чтобы собрать воедино множество возникших самостоятельно отрядов и придать им организацию полков, дивизий, армий; чтобы взять в свои руки волю «контрреволюционных начальников» путем установления за ними неусыпного наблюдения политических комиссаров и вместе с тем заставить распущенную солдатскую массу повиноваться этим начальникам. Выборное начало было отменено и если на практике еще применялось, то только в отношении должностей не выше ротного командира. Уже в июне к нам попал большевистский приказ, в силу которого упразднялись войсковые комитеты; взамен их в частях не выше полка допускались «комиссии» с контрольно-хозяйственными функциями. При этом приказ предупреждал, что всякое вмешательство этих комиссий в действия командного состава будет рассматриваться как контрреволюционное выступление и виновные будут расстреливаться...

В области репрессий были восстановлены все прежние виды наказаний до смертной казни включительно.

...

Я не буду останавливаться на других военных мероприятиях советской власти, в силу разнообразных причин никогда не достигших преображения Красной армии в действительно серьезную национальную силу. Интересно отметить лишь тот путь, которым пошли советы, — путь решительной и полной реставрации во всем: в строе, в служ-

бе и быте войск. Это явление было естественным по той простой причине, что Красная армия строилась исключительно умом и опытом «старых царских генералов». Участие в этой работе комиссаров Троцкого и Подвойского, товарищей Аралова, Антонова, Сталина и многих других было вначале чисто фиктивным. Они играли лишь роль надзирателей над работами арестантской артели и вместе с тем учились исподволь у своих «арестантов» их сложному и новому для себя искусству. Одни оставались неучами, другие преуспевали — по крайней мере в такой степени, чтобы отличить меру явно целесообразную от грубой провокации.

Одни дали разум, другие внесли волю.

Все органы центрального военного управления возглавлялись генералами-специалистами (особенно широко был представлен генеральный штаб), работавшими под неослабным надзором коммунистов. Почти все фронты[1] и большинство красных армий имели во главе старших начальников старой армии. Периодически на большевистском горизонте вспыхивали довольно яркими звездами самородные таланты, рожденные войной и революцией, но это были лишь редкие исключения, и вся сила, вся организация Красной армии покоилась на старом генералитете и офицерстве.

Первое время, кроме десятка авантюристов, еще в начальный период революции оторвавшихся от идеологии офицерства и теперь безоглядно шедших с большевиками, весь прочий генералитет, поступивший на службу, был им враждебен.

Почти все они находились в отношениях с московскими центрами и Добровольческой армией. Не раз к нам поступали от них запросы о допустимости службы у большевиков... Они оправдывали свой шаг вначале необходи-

[1] Северный против Архангельска (генерал Парский), Восточный на Волге (полковник Каменев), Южный против Дона (генерал Сытин), Западный на фронте немецкой оккупации, Северо-Кавказский — против Добровольческой армии, частью против Дона (генерал Снесарев).

мостью препятствовать германскому вторжению, потом «недолговечностью большевизма» и стремлением «кабинетным путем разработать все вопросы по воссозданию русской армии и пристроить так или иначе голодных офицеров». Жизнь ответила им годами террора, «внутренних фронтов» и прямым участием в междоусобной борьбе. Часть их перешла впоследствии в противобольшевистские армии, другая была последовательно истреблена большевиками, остальных засосало большевистское болото, в котором нашли успокоение и человеческая низость, и многие подлинные душевные драмы.

Московские центры поощряли вхождение в советские военные учреждения и на командные должности доверенных лиц, с целью осведомления и нанесения большевизму возможного вреда. Я лично решительно отвергал допустимость службы у большевиков, хотя бы и по патриотическим побуждениям. Не говоря уже о моральной стороне вопроса, этот шаг представлялся мне совершенно нецелесообразным. От своих единомышленников, занимавших видные посты в стане большевиков, мы решительно не видели настолько реальной помощи, чтобы она могла оправдать их жертву и окупить приносимый самым фактом их советской службы вред. За $2^1/_2$ года борьбы на юге России я знаю лишь один случай умышленного срыва крупной операции большевиков, серьезно угрожавшей моим армиям. Это сделал человек с высоким сознанием долга и незаурядным мужеством; поплатился за это жизнью. Я не хочу сейчас называть его имя... Были, конечно, переходы к нам на фронте отдельных лиц и целых «красных» частей, но в общем операции большевиков протекали довольно планомерно, иногда талантливо, поскольку это зависело от высшего командования, а не исполнителей.

Рядовое офицерство уничтожалось или насильственно привлекалось в Красную армию. Жизнь разделила резко старый офицерский состав на три группы. В *первой* — весьма малочисленной — были «стоящие на советской платформе» искренние коммунисты или «октябрьские», во всяком случае настолько скомпрометированные своим близким участием в кровавой работе большевиков, что вне советского строя им выхода не было... Во *второй* — столь же малочисленной — так называемые «контрреволюционеры», которые невзирая на необычайный гнет, сыск и террор советской власти, работали активно против нее. Работа эта проявлялась в разрозненных вспышках, восстаниях, покушениях, в переходе на сторону «белых армий» и т. д. Свидетельствуя о высоком самоотвержении участников, эти факты имели тем не менее эпизодический характер, мало отражаясь на общем ходе событий. Наконец *третья* группа — наиболее многочисленная, брошенная в ряды Красной армии голодом, страхом, принуждением, которая разделила общую судьбу русской интеллигенции, обратившейся в «спецов». Страдающие морально или беспечные, нуждающиеся или берущие от жизни все что можно, они слились в одну массу *лояльных* советских работников. Но неприглядность положения и неспокойная совесть заставляли их искать более высокие идеологические обоснования своей жертвы или падения. Для немногих представителей революционной демократии это был временный этап, гораздо более близкий и родственный, чем ненавистный им «белый стан»; этап, приближающий к устроению социалистического отечества, арена идейной пропаганды, имеющей целью «превратить армию из средства порабощения широких народных масс в реальную вооруженную силу демократии». Для многих правых — такой же этап, только на другом пути. «Мы убежденные монархисты, но не восстанем и не будем восставать против советской власти потому, что раз она держится, значит, народ еще недостаточно хочет царя. Социалистов, кричащих об Учредительном собрании, мы ненавидим не меньше, чем их ненавидят большевики. Мы не можем бить их самостоятельно, мы будем их уничтожать, помогая большевикам. А там, если судьбе будет угодно, мы и с большевиками рассчитаемся»[1]... Наконец, и тогда уже, летом 1918 года, послышались те мотивы, которые впоследствии с большим опозданием восприняли Устрялов и прочие

[1] Доклад капитана гвардии Энгельгарта о впечатлениях, вынесенных им с Восточного противочешского фронта.

сменовеховцы: белое движение не опирается на народ и раздробляет Россию; большевизм — явление чисто народное, объединяющее страну; большевизм погибнет сам, когда народ изживет его; сопротивление бесполезно и задерживает лишь естественный исторический процесс...

Как бы то ни было, советская власть может гордиться тем искусством, с которым она поработила волю и мысль русского генералитета и офицерства, сделав их невольным, но покорным орудием своего укрепления. Восприняв большевистскую практику, эти люди, конечно, по-прежнему чужды большевистской идеологии. Настанет день, когда и они вместе с народом приложат руку к спасению страны — совершенно искренне и даже с энтузиазмом. И будут отрицать тогда, что ведь благодаря и их трудам спасение это пришло так поздно...

* * *

Жизнь Красной армии в тот переходный период протекала чрезвычайно разнообразно. Были, однако, общие черты, свойственные частям всех фронтов. Формировались части по распоряжению штабов и совдепов, но чаще по частной инициативе. Принимали название по местности формирования, иногда по фантазии организатора: «Черная Хмара», «Гроза буржуазии», «Пятый неустрашимый» и т. д. Отдельные отряды совершенно произвольной численности жили полусамостоятельной жизнью, входя в состав «колонн», дивизий, армий. Жили на местные средства — реквизицией и грабежом, редко имея связь с довольствующими учреждениями. Умирали в них люди массами — от постоянных боев и еще более в результате потрясающего неустройства санитарной части.

Основное ядро полков, отрядов составляли обыкновенно «коммунистическая ячейка», матросы и деклассированные элементы — старые солдаты, по тем или другим причинам не вернувшиеся домой и обратившие военную службу в ремесло. Из последних выбиралось обыкновенно ротное начальство — несведущее в военном деле, но восполнявшее до некоторой степени отсутствие военного образования длительным опытом и зачастую отменным знанием психологии своих подчиненных. Охотно выбирали в командиры и старых офицеров, отношение к которым значительно переменилось в сравнении с первым периодом революции. Иногда назначали их насильно, против воли, так как власть приносила тогда больше терний, чем роз. Должно быть, сроднило общее несчастье и одинаковый гнет со стороны коммунистов. Главную массу армии составляло по-прежнему крестьянство — инертное и не воинственное.

Наконец, огромную роль в утверждении коммунистической власти, в особенности вначале, играли отряды наемников — латышей, китайцев, пленных венгров и немцев. Полное непонимание совершающихся событий, презрение к стране и народу, холодная страшная жестокость и садизм и, вместе с тем, тревожное чувство обреченности и грядущего возмездия делали этот элемент чрезвычайно удобным, слепым и покорным орудием в руках советской власти. Эти отряды составляли личную охрану советских самодержцев, комплектовали кадры палачей в чека и в армии, участвовали во всевозможных карательных экспедициях, усмиряли крестьянские восстания, истребляли интеллигенцию и «белых», подогревали с тыла пулеметами дух красных воинов и расправлялись с непокорными честолюбцами, появлявшимися время от времени среди красного командования.

Эта своеобразная «интервенция», примененная народными комиссарами, своими кровавыми образами запечатлелась надолго в памяти русского народа.

Летом 1918 года сводки штаба Добровольческой армии устанавливали «резко бросающуюся в глаза черту Красной армии: борьбу между начальниками, старавшимися установить порядок, и подчиненными, пассивно, иногда активно сопротивлявшимися этому... Приказы и телеграммы полны жалоб, указаний, увещаний, угроз. Наиболее распространены в армии неисполнение приказаний, небрежное несение службы, самовольное оставление фронта, насилие, грабежи, пьянство». Обучение отсутствовало почти вовсе. Жизнь в войсках принимала такой тяжелый и сумбурный характер, что под влиянием более разумного элемента некоторые части

сами выносили постановления о применении в них суровых мер наказания, включительно до розог и смертной казни.

Красная армия в переходный период жила еще преемственно традициями «революционной армии» 1917 года, и потому боевая годность ее была весьма относительной. Но она шла массами. Стихийная тяга к земле, к дому, просто к мирной жизни вызывала дезертирство в небывалых размерах, особенно летом, обращая красные части в проходные этапы, через которые переливала человеческая волна. Ушедших заменяли новые люди — иногда являвшиеся добровольно, чаще взятые насильно. И они шли опять массами, подгоняемые пулеметами «карательных отрядов», побуждаемые страхом столько же, сколько и злобой, подогреваемые надеждой на скорое окончание безумной кровавой борьбы. А на территориях, пораженных войной, люди подымались с насиженных мест, разоряли свои хозяйства и шли куда глаза глядят, без толку и без смысла. За армией двигался громадный обоз с добром красноармейцев — своим и награбленным, с женщинами, которые их ссорили и развращали, с детьми, которые их связывали.

Казалось тогда, что в толще народной слагается безразличное отношение к вопросу, кто победит; лишь бы скорее конец.

ГЛАВА XX

ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД: СИЛЫ И СРЕДСТВА СТОРОН; ТЕАТР; ПЛАН ОПЕРАЦИИ

К началу Второго Кубанского похода, т. е. в июне месяце 1918 года, состав Добровольческой армии был следующий:

Штаб армии

Начальник штаба генерал *Романовский*

Начальник строевого отдела[1] генерал *Трухачев*

[1] В конце месяца строевой отдел был разделен на управление генерал-квартирмейстера и дежурного генерала, во главе которых стали полковник Сальников и генерал Трухачев.

Начальник снабжения полковник *Мальцев*

Инспектор артиллерии генерал *Невадовский*

Начальник санитарной части *Н. М. Родзянко*

1 дивизия (генерал *Марков*)

1-й Офицерский пехотный полк[1]

1-й Кубанский стрелковый полк

1-й Конный полк[2]

1-я отдельная легкая батарея (3 орудия)

1-я инженерная рота

2-я дивизия (генерал *Боровский*)

Корниловский ударный полк

Партизанский пехотный полк

Улагаевский пластунский батальон

4-й Сводно-кубанский полк (конный)

2-я отдельная легкая батарея (3 орудия)

2-я инженерная рота

3-я дивизия (полковник *Дроздовский*)

2-й Офицерский стрелковый полк

2-й Конный полк[3]

3-я отдельная легкая батарея (6 орудий)

Конно-горная батарея (4 орудия)

Мортирная батарея (2 мортиры)

3-я инженерная рота[4].

1-я конная дивизия[5] (генерал *Эрдели*)

1-й Кубанский казачий полк

1-й Черкесский конный полк

1-й Кавказский казачий полк

1-й Черноморский казачий полк

1-я Кубанская казачья бригада (генерал *Покровский*)

2-й Кубанский казачий полк

3-й Кубанский казачий полк

[1] Оставался временно в Новочеркасске.

[2] Оставался временно в Новочеркасске.

[3] Часть его с 2 орудиями оставалась в Донской армии.

[4] Сформирована на походе.

[5] Придана была к ней часть конно-горной батареи дивизии Дроздовского.

Взвод артиллерии (2 орудия)

Кроме того: пластунский батальон, одна гаубица и бронеавтомобили «Верный», «Корниловец» и «Доброволец»[1].

Всего в армии состояло 5 полков пехоты, 8 конных полков, $5^1/_2$ батарей, *общей численностью* $8^1/_2$*—9 тысяч штыков и сабель и 21 орудие*.

На первый период операции армии был подчинен отряд донских ополчений полковника *Быкадорова* силой около $3^1/_2$ тысяч с 8-ю орудиями; отряд этот действовал по долине Маныча.

* * *

Против нас на Северном Кавказе располагалась Северокавказская Красная армия, плохо подчинявшаяся центру и непрочно связанная внутри, ввиду соревнования самостоятельных республик — Кубанской, Черноморской, Терской и Ставропольской[2].

Главнокомандующим был Автономов, который за все время своего пребывания во главе войск, с 1 апреля по 10 мая, вел ожесточенную борьбу с гражданской властью Кубано-черноморской республики (ЦИК). Его поддерживали войсковые начальники, в том числе Сорокин. В начале апреля ЦИК, боявшийся диктаторских стремлений Автономова, отрешил его от командования и должность главнокомандующего заменил «чрезвычайным штабом обороны», в который вошло семь штатских большевиков. Автономов выехал в Тихорецкую и выступил открыто против своего правительства. Началась своеобразная «полемика» путем воззваний и приказов. В них члены ЦИК именовались «немецкими шпионами и провокаторами», а Автономов и Сорокин — «бандитами и врагами народа», на головы которых призывались «проклятия и вечный позор». В распре приняла участие и армия, которая на фронтовом съезде в Кущевке постановила «сосредоточить все

[1] Последний в починке.

[2] Внешнее объединение первых двух последовало 14 мая, прочих — в начале июня, когда образовалась «Северо-Кавказская советская республика».

войска Северного Кавказа под командой Автономова... категорически потребовать (от центра) устранения вмешательства гражданских властей и упразднить «чрезвычайный штаб».

Спор решила Москва, дав 14 мая Автономову почетное, но бездеятельное назначение «инспектора и организатора войсковых частей Кавказского фронта» и назначив военным руководителем генерального штаба генерал-майора Снесарева.

Снесарев осел в Царицыне, откуда и правил фиктивно, так как со взятием нами Торговой (12 июня) почти всякая связь его с северокавказскими войсками была утеряна. Фактически командовал Калнин — латыш, кажется подполковник, имевший свой штаб в Тихорецкой.

После разгрома большевиков под Тихорецкой и Кущевкой Снесарев был обвинен в «контрреволюции» и смещен; 21 июля, за несколько дней до падения Екатеринодара, главнокомандующим был назначен «бандит и провокатор» Сорокин, которого официальные «Известия» переименовали в «спасителя республики».

* * *

Силы северокавказских войск не поддавались точному учету. Их не знали точно ни мы, ни «всероссийский генеральный штаб[1]», ни даже штаб Калнина. Постоянно появлялись какие-то новые части, наименования которых через неделю исчезали бесследно; создавались крупные крестьянские ополчения, которые после неуспеха или занятия добровольцами района их формирования рассасывались незаметно по своим селам.

Главнейшие группы красных сил располагались следующим образом:

1. В районе Азов—Кущевка—Сосыка стояла армия Сорокина в 30—40 тысяч при 80—90 орудиях и 2 бронепоездах, имея фронт на север против Ростова (немцы) и на северо-восток против донцов и добровольцев. Эта группа состояла главным образом из бывших солдат Кавказского

[1] Большевистские боевые расписания нам сообщали также из Москвы.

фронта отступивших весною с Украины отрядов; отличалась более правильной организацией и дисциплиной и имела во главе начальника наиболее популярного.

Часть войск Сорокина предприняла весною наступление против Добровольческой армии, 19 мая подступила к самой станице Мечетинской, но концентрическим наступлением двух колонн (из Мечетинской и Егорлыкской) я опрокинул большевиков за Гуляй—Борисовку. С тех пор до конца июня на этом фронте было покойно.

2. В районе по линии железной дороги Тихорецкая—Торговая и к северу от нее располагались многочисленные, необъединенные отряды общей численностью до 30 тысяч со слабой артиллерией. В числе их находились получившие впоследствии боевую известность пехотная бригада, Жлобы, называвшая себя «железной», и конная Думенко. Состояли эти части главным образом из фронтовиков и крестьян Ставропольской губернии, остатков частей бывшего Кавказского фронта, отчасти из мобилизованных кубанских казаков. Эти войска тревожили постоянно наше расположение у Егорлыкской.

3. В углу, образуемом реками Манычем и Салом, имея центром Великокняжескую, располагалось 5 отрядов, силою до 12 тысяч при 17 орудиях, объединенных одно время под командой Васильева. Состав их однородный с отрядами второй группы, только вместо кубанских казаков в них входили сотни донских большевиков. На этом фронте происходили постоянные стычки с донскими отрядами Быкадорова.

4. Кроме этих трех групп, во многих крупных городах и на железнодорожных станциях расположены были сильные гарнизоны из трех родов оружия[1].

Снабжались оружием и боевыми припасами красные войска Северного Кавказа из остатков прежних военных складов Кавказского фронта, отбирая его у населения; отчасти организацией производства в Армавире, Пятигорске, Георгиевске и подвозом сначала из Царицына, потом,

[1] Тихорецкая, Екатеринодар, Армавир, Майкоп, Новороссийск, Ставрополь и др.

с потерей железной дороги, кружным и тяжелым грунтовым путем из Астрахани через Святой Крест. Во всяком случае, нас поражало обилие снарядов и патронов у большевиков; ураганному подчас огню их приходилось противопоставлять только дисциплину боя и... доблесть войск.

В общей сложности в предстоящей операции Добровольческую армию ожидала встреча с 80—100 тысячами большевистских войск — частью уже знакомых нам по первому походу, частью еще неизведанной силы и духа. В состав их входило немало надежных в военном отношении и тяготевших всецело к советской власти кадров тех отрядов, которые под давлением немцев отошли за Дон с Украины, Крыма и Донской области. Наконец, в то время как солдаты русских армий европейского фронта распылялись свободно по всему необъятному пространству России, войска Кавказского фронта, не попавшие в черноморскую эвакуацию, *были зажаты в тесном районе между Доном и Кавказским хребтом, став неистощимым и хорошо подготовленным материалом для комплектования Северокавказской Красной армии.*

• • •

Театр войны во Втором Кубанском походе обнимал Задонье, Ставропольскую губернию, Кубанскую область и Черноморскую губернию[1].

Этот край прорезали две главные линии Владикавказской железной дороги: Ростов—Владикавказ и Новороссийск—Царицын. Они связывали политические центры, отдельные армии и фронты большевиков; вторая, кроме того, была единственной железнодорожной артерией, соединяющей Кавказ с центром России. Это обстоятельство, в связи с сосредоточением военных действий почти исключительно вдоль железнодорожных линий, придавало особенное значение Владикавказской дороге и ее узловым станциям: Торговой, Тихорецкой, Кущевке, Кавказской, Екатеринодару. Сила и расположение неприятельских войск и направление железнодорожных магистралей

[1] События на Тереке не отражались непосредственно на этой операции.

почти исчерпывали *стратегические* элементы операции; в остальном преобладающее влияние имело *политическое* положение, которое являлось мощным орудием стратегии, но вместе с тем довлело над ее велениями.

Гражданская война подчиняется иным законам, чем война народов.

Остановимся вкратце на политическом положении края.

* * *

Задонье, занятое большевиками, разделялось резко на две части. Ростовский округ, населенный сплошь иногородними и насыщенный пришлыми войсками Сорокина, остановившими в нем жизнь, давно уже пережил увлечение большевизмом. Отрицательно относившиеся к казачьей власти и до большевиков, и после них, ростовские крестьяне чувствовали еще менее влечения к власти советов. Достойно внимания, что многие крестьянские депутаты округа еще на съезде 5—12 мая в Ростове, окруженные штыками и пулеметами красногвардейцев, имели мужество проявить свои истинные чувства: по вопросу о мобилизации для борьбы против «белогвардейцев» 51 голос был подан за мобилизацию, 44 против при 9 воздержавшихся... Иное положение было на Маныче и Сале[1], где многолюдные и богатые крестьянские слободы[2] дали преобладающий контингент красных отрядов, в которых они сами были хозяевами своей жизни и вершителями судеб старинного спора с казаками. Там иногороднее население было почти сплошь настроено большевистски, казаки пали духом, и продвижение по округу донских ополчений с севера шло поэтому чрезвычайно вяло и нерешительно.

* * *

«Ставропольская республика» самоуправлялась с января 1918 года, имея свой собственный «Совет народных комиссаров», который просуществовал только до

[1] Сальский округ с центром Великокняжеской.

[2] Особенно Мартыновка и Орловка.

марта, когда был свергнут красноармейцами. Присланный из Петрограда для организации Красной армии бывший жандармский ротмистр Коппе совместно с матросом Якшиным и несколькими солдатами поставил свой «совет», отличавшийся исключительным невежеством и жестокостью. Всей своей тяжестью совет обрушился на город Ставрополь, не имея еще достаточной силы распространить свое влияние по губернии; только со второй половины июня в ней начали работать карательные отряды.

«Демократические земства» и «социалистические думы» были разогнаны и заменены советами, попавшими всецело во власть солдатчины. Они — бывшие фронтовики — были хозяевами положения; они законодательствовали, взимали сборы, мобилизовали население; на районных съездах решали вопрос о войне и мире. Губерния — исключительно земледельческая, богатая, в которой средний подворный надел составлял 20,6 десятин и 70% всей земли находилось во владении сельских обществ и крестьян. Остальные 30% только что были поделены, и крестьяне не успели еще воспользоваться плодами своего приобретения. Осязательные выгоды нового строя сталкивались с тяжестью отрицательных сторон безвластия и беспорядка, вторгнувшихся в жизнь. Съезд фронтовиков и представителей северного района губернии колебался. В мае шли переговоры с ним моего штаба при посредстве подполковника Постовского о «сохранении нейтралитета» и беспрепятственном пропуске армии на Кубань для борьбы с Красной армией.

В самом Ставрополе настроение было иное. Бессмысленная и жестокая власть вооружила против себя всех, без различия убеждений, почти уничтожив политические и социальные грани и разделив население на две неравные части: угнетателей и угнетенных. Начавшийся в ночь на 20 июня особенно сильный террор уносил многочисленные жертвы, преимущественно из среды офицеров, зарегистрированных советом в числе около 900 человек. Под влиянием предстоящей неминуемой опасности уничтожения и ввиду слухов о приближении Добровольческой ар-

мии, которая к 27 июня подходила к селу Медвежьему[1], в этот день состоялось вооруженное выступление тайной офицерской организации, возглавлявшейся полковником Ртищевым. Малочисленное по числу участников и совершенно не подготовленное выступление это было кроваво подавлено. Почти все участники были перебиты в уличной схватке или казнены после жестоких истязаний. Террор усилился.

Под влиянием этих событий город замер и в мертвой тревоге ждал просвета. Вырвавшиеся из Ставрополя обреченные, в том числе представители социалистических земств и дум, обращались ко мне с мольбой о помощи. Деревня волновалась и многие села склонялись к миру с Добровольческой армией. Но представители съезда северного района в начале июня прервали переговоры со штабом, и армия принуждена была идти по Ставропольской губернии с тяжелыми боями, встретив на линии Торговая—Тихорецкая, наряду с пришлыми отрядами Красной армии, и многотысячное местное ополчение...

Жил еще в губернии народ глубоко мирный, трудолюбивый и темный — калмыки. На них больше чем на кого-либо обрушились громы революции; они всеми своими помыслами были на стороне Добровольческой армии, но не могли дать ей ни силы, ни помощи.

• • •

Совершенно иначе слагалась обстановка в *«республике Кубанской»*.

Я не буду останавливаться на деятельности трех последовательно сменявшихся «циков» и «народных комиссаров», в основу которой положено было несложное коммунистическое откровение: «Организация крестьянской, казачьей и горской бедноты для борьбы с кулацкими элементами крестьянства и казачества». При этом казаки и горцы поголовно причислялись к разряду кулаков.

Результаты такой политики не замедлили сказаться очень скоро и получили справедливую оценку в устах са-

[1] Дивизия генерала Боровского 28 июня заняла село Медвежье в 96 верстах от Ставрополя.

мих же большевистских деятелей. Так, комиссар земледелия Вильямовский докладывал ЦИК: «Идет сплошное уничтожение хозяйств, пропадает и живой и мертвый инвентарь, приказы мои бессильны». Чрезвычайный съезд советов в июле в своем постановлении высказал осуждение «по вопросу о грабежах, насилиях и убийствах трудового горского народа (черкесов), творимых отдельными отрядами и жителями некоторых станиц, благодаря чему стерты с лица земли целые аулы, и остатки их обречены на гибель и голодную смерть».

Московский центр, приступая к «расказачиванию», делал это все же с некоторой осмотрительностью и постепенностью. Декрет от 30 апреля 1918 года предусматривал, например, переход запасных, частновладельческих и других земель первоначально в руки *войсковых* комитетов, которые должны были, однако, распределить землю между *всеми нуждающимися*. Московское правительство допускало даже формирование казачьих частей Красной армии, принимая при этом во внимание все бытовые и военные особенности казаков». Но правительства местных «республик», в том числе Кубанской, шли дальше, стремясь к немедленному и полному уничтожению казачества как сословия[1]. Земельная практика на Кубани приняла особенно тяжелые формы. «Казаков, — говорится в отчете комиссии[2], — своими руками вспахавших и засеявших свои земли, заставляли под пулеметами собрать весь урожай, обмолотить хлеб и тогда зерно и солому разделить между всеми жителями станицы»[3].

Сопротивление вызывало «отъем», арест, застенок. Большинство иногородних принимало то или иное, хотя бы и косвенное участие в обездолении казачества.

Унижаемые морально, разоряемые материально и истребляемые физически, кубанские казаки скоро стряхнули с себя всякий налет большевизма и начали подниматься.

[1] Некоторые отделы отвоевали право формирования чисто кубанских частей, которые и перешли к нам.

[2] «Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков».

[3] Иногородними.

История казачьих восстаний трагична и однообразна. Возникавшие стихийно, разрозненно, без серьезной подготовки, почти безоружными массами, они сопровождались первоначально некоторым успехом, но через 2—3 дня, после сосредоточения красных войск, казаки расплачивались кровью, погибая и в бою, и от рук палачей в своих станицах. Так, 27 апреля вспыхнуло восстание в семи станицах Ейского отдела и было задушено в два дня... В начале мая были массовые восстания в Екатеринодарском, Кавказском и других отделах... В июне восстало несколько станиц Лабинского отдела, пострадавших особенно жестоко: кроме павших в бою с большевиками, было казнено 770 казаков. Отчет «Особой комиссии» полон описаниями потрясающих сцен бесчеловечной расправы. Вот, например, станица Чамлыкская: «12 июня партию казаков отвели к кладбищенской ограде... перекололи всех штыками, штыками же, как вилами, перебрасывали тела в могилу через ограду. Были между брошенными и живые казаки, зарыли их в землю заживо. Зарывали казненных казаки же, которых выгоняли на работу оружием. Когда зарывали изрубленного шашками казака Седенко, он застонал и стал просить напиться. Большевики предложили ему попить крови из свежих ран зарубленных с ним станичников... Всего казнено в Чамлыкской 185 казаков... Трупы их по несколько дней оставались незарытыми; свиньи и собаки растаскивали по полям казачье тело»...

С Кубани шел стон, болезненно отзывавшийся в сердцах кубанцев, находившихся в рядах Добровольческой армии. Там ждали нас со страстным нетерпением.

* * *

В «*Черноморской республике*» не было крупных сил и серьезной военной организации. Когда начались восстания у северных границ губернии, а с юга — наступление грузин, «главнокомандующий черноморскими силами» Калнин[1] доносил ЦИК: «Сдержать бегство солдат невозможно. Ради Бога, высылайте людей»... Комитет просил помощи у флота и получил отказ: черноморский флот в

[1] Позднее сменил Автономова.

то время решал на митингах вопрос своего дальнейшего существования. Половина ушла в Севастополь, в подчинение немцам, другая была затоплена на Новороссийском рейде. Это национальное бедствие имело только одно благоприятное для Добровольческой армии последствие: красный Новороссийск и Черноморье остались беззащитными. Они должны были неизбежно разделить участь Кубани.

* * *

В середине мая, когда решался план предстоящей операции, не было еще ни поволжского, ни чехословацкого движения. Внешними факторами, обусловливавшими решение *политической* стороны вопроса, были только немцы, Краснов и гибнущая Кубань.

От того или иного решения вопроса зависела судьба армии и всего добровольческого движения...

Конечная цель его не возбуждала ни в ком сомнений: выход на Москву, свержение советской власти и освобождение России. Разномыслие вызывали лишь пути, ведущие к осуществлению этой цели...

Я в полном согласии с генералом Романовским ставил *ближайшей частной задачей армии освобождение Задонья и Кубани.*

Исходили мы из следующих соображений:

1. Немедленное движение на север при условии враждебности немцев, которые могли сбросить нас в Волгу, при необходимости базирования исключительно на Дон и Украину, то есть области прямой или косвенной немецкой оккупации, и при «нейтралитете» — пусть даже вынужденном — донцов, могли поставить армию в трагическое положение: с севера и юга — большевики, с запада — немцы, с востока — Волга. Что касается перехода армии за Волгу, то оставление в пользу большевиков богатейших средств Юга, отказ от людских контингентов, притекавших с Украины, Крыма, Северного Кавказа, — словом, отказ от поднятия против советской власти Юга России наряду с востоком представлялся совершенно недопустимым. Он мог явиться лишь результатом нашего поражения в борьбе с большевиками или... немцами.

2. Освобождение Задонья и Кубани обеспечивало весь южный 400-верстный фронт Донской области и давало нам свободную от немецкого влияния обеспеченную и богатую базу для движения на север; давало приток укомплектований надежным и воинственным элементом; открывало пути к Черному морю, обеспечивая близкую и прочную связь с союзниками в случае их победы; наконец, косвенно содействовало освобождению Терека.

3. Нас связывало нравственное обязательство перед кубанцами, которые шли под наши знамена не только под лозунгом спасения России, но и освобождения Кубани... Невыполнение данного слова имело бы два серьезных последствия: сильнейшее расстройство армии, в особенности ее конницы, из рядов которой ушло бы много кубанских казаков, и оккупация Кубани немцами. «Все измучились, — говорил генералу Алексееву председатель кубанского правительства Быч, — Кубань ждать больше не может... Екатеринодарская интеллигенция обращает взоры на немцев. Казаки и интеллигенция обратятся и пригласят немцев»... Таманский отдел в конце мая после неудачного восстания сделал это фактически...

Генерал Алексеев, по окончании Первого похода, испытывал приступы глубокого пессимизма. В его письме от 10 мая Милюкову изложены мотивы такого настроения: «1) армия доживает последние гроши; 2) немцы, их скрытые политические цели и намерения; 3) личность (Донского) атамана генерала Краснова, его деятельность в октябре 1917 года, его отношение к Добровольческой армии; 4) беспомощность Кубани, невозможность и бесцельность повторения туда похода при данной обстановке, без риска погубить армию»...

Генерал Алексеев мучился гамлетовским вопросом: быть или не быть армии и «куда нам идти».

«На Кубани — гибель, — писал он... — На Кавказе — мало привлекательного и делать нечего. Генерал Краснов, беря начальственный тон по отношению к армии, указывает ей путь — скорее берите Царицын, но Дроздовского я удержу в Новочеркасске до создания регулярной Донской армии. Цель — сунув нас в непосильное предприятие, на пути к выполнению которого мы можем столкнуться с немцами, избавиться от нас на Дону»...

Тем не менее, не видя другого выхода, генерал Алексеев присоединился к нашему плану движения на Кубань.

15 мая, по моему приглашению, в станице Манычской состоялось совещание с генералом Красновым, в котором приняли участие генерал Алексеев, кубанский атаман Филимонов, генерал Богаевский и другие. «Тильзит» — как острили в армии. Совещание, имевшее кроме разрешения насущных вопросов еще и скрытую цель — сближения с Донским атаманом, — не привело к существенным результатам; от начала до конца оно велось в тоне весьма официальном и неискреннем.

Генерал Краснов настаивал на немедленном движении Добровольческой армии к Царицыну, где «есть пушки, снаряды и деньги, где настроение всей Саратовской губернии враждебно большевикам». Царицын должен был послужить в дальнейшем нашей базой. Я, поддержанный генералом Алексеевым и атаманом Филимоновым, изложил наши мотивы и настоял на своем плане. Второй вопрос, о получении с Дона 6 миллионов рублей, следовавших армии по разверстке еще во время Каледина, вызвал неожиданный ответ Краснова:

— Хорошо. Дон даст средства, но тогда Добровольческая армия должна подчиниться мне.

Я ответил:

— Добровольческая армия не нанимается на службу. Она выполняет общегосударственную задачу и не может поэтому подчиниться местной власти, над которой довлеют областные интересы.

Прочие менее важные вопросы прошли удовлетворительно, и мы разъехались, унося с собой чувство полной неудовлетворенности.

С тех пор в письмах, речах, обращениях к генералу Алексееву и Эльснеру генерал Краснов просил, скорбел, негодовал, призывая армию бросить Кубань и идти на Царицын. Он рисовал отчаянное положение нашей армии, когда она, двинувшись на Кубань, неминуемо «попадет в мешок между немцами и большевиками»; обещал деньги,

оружие, боевые припасы в случае решения моего идти на Царицын, где «Добровольческая армия приобретет возможность войти в связь с Дутовым или... переправиться на тот берег Волги»... Каким образом немцы могли допустить снабжение Добровольческой армии, присоединившейся к Восточному, противонемецкому фронту, я не мог понять. Из всех своих многочисленных бесед с Красновым Эльснер вынес весьма неопределенное впечатление. «Каковы тайные цели, которыми руководится Краснов?.. Может быть, он искренне желает оберечь Добровольческую армию от того тяжелого положения, в которое она может стать, столкнувшись с немцами? Может быть... ввиду худшего положения на Царицынском фронте Краснов хотя и уверяет, что может взять Царицын собственными силами, хочет все же привлечь помощь армии в этом направлении?.. Может быть, предлагая Царицын за освобождение области от большевиков, Краснов хочет избавиться одновременно и от Добровольческой армии, которая причиняет ему все же много беспокойства и волнений?»[1]...

Вначале генерал Алексеев, переехавший в конце мая в Новочеркасск, отстаивал твердо наше решение. По поводу нареканий Краснова он писал мне 5 июня: «Мы должны сохранить за собою полную свободу действий, не смущаясь ничьим неудовольствием». Но уже к концу июня, под влиянием новочеркасских настроений и, главным образом, призрака германской опасности, М. В. все чаще стал напоминать мне о Волге. Письмо его от 30 июня дышало вновь глубоким пессимизмом: «Углубление наше на Кубань может повести к гибели... Обстановка зовет нас на Волгу... Центр тяжести событий, решающих судьбы России, перемещается на восток. Мы не должны опоздать в выборе минуты для оставления Кубани и появления на главном театре».

Я к этому времени взял уже Тихорецкую и не мог, конечно, бросить на полпути операцию, стоившую много крови и развивавшуюся с таким успехом.

[1] Разговор между Красновым и Эльснером 15 июня. Отчет № 228.

Прошел месяц, и под влиянием развертывавшихся событий генерал Алексеев вернулся к прежней своей оценке положения. «Уничтожение большевиков на Кубани, — писал он генералу Щербачеву[1], — обеспечение левого фланга общего стратегического фронта, сохранение за Россией тех богатств, которыми обладают Дон и Кубань, столь необходимых Германии для продолжения войны, являются составной единицей общей стратегической задачи на Восточном фронте, и Добровольческая армия уже в настоящую минуту выполняет существенную часть этой общей задачи».

Пройдет еще два—три месяца, и мы уже в некоторой перспективе будем в состоянии оценить пройденный путь... Мы узнаем о том, что готовил нам на Волге «дополнительный договор» немцев с большевиками; услышим, что подъем в населении Поволжья угас так же быстро, как и возник; что там нам предстояли бы еще более сложные отношения с черновским «Комучем». Увидим, что на Юге открывается близкий свободный путь к Черному морю и к победоносным союзникам, а армия растет на Кубани непрерывно в числе и силе.

* * *

Итак — на Кубань!

Стратегически план операции заключался в следующем: овладеть Торговой, прервав тем железнодорожное сообщение Северного Кавказа с центральной Россией; прикрыв затем себя со стороны Царицына, повернуть на Тихорецкую. По овладении этим важным узлом северокавказских дорог, обеспечив операцию с севера и юга захватом Кущевки и Кавказской, продолжать движение на Екатеринодар для овладения этим военным и политическим центром области и всего Северного Кавказа.

Для прикрытия со стороны группы Сорокина я оставил только один полк и два орудия генерала Покровского, который должен был объединить командование и над ополчениями задонских станиц.

[1] От 31 июля.

Этот план был проведен до конца, невзирая на противодействие вражеской силы и сторонних влияний.

Нас было мало: 8—9 тысяч против 80—100 тысяч большевиков. Но за нами было военное искусство... В армии был порыв, сознание правоты своего дела, уверенность в своей силе и надежда на будущее.

Социал-демократ Дан рассказывает, как летом 1919 года где-то на Урале, живя возле красноармейского лагеря, он слышал с утра до вечера солдатскую песню, распеваемую большевистскими полками, перефразировавшими на советско-патриотический лад ее слова. Как толпа дезертиров, окруженных конвоем, оглушала улицы города все той же песней:

Смело мы в бой пойдем
За *власть советов*
И с радостью умрем
Мы за *все это*.

«Так умела казенщина, — заключает Дан, — опошлить все, в чем когда-то сказывался порыв наивного, но несомненно искреннего энтузиазма (?)».

В Добровольческой армии умирали не... «за все это»... Там пели песню по-старому:

Смело мы в бой пойдем
За *Русь святую*
И с радостью умрем
За *дорогую*.

И это была не фраза, а искренний обет, запечатленный сознательным подвигом, для многих — кровью и смертью.

Было еще одно обстоятельство.

«Наша стратегия вполне согласовалась с качествами молодой армии, более способной на увлечение, чем на требующие терпения и выдержки медленные движения, могущей закалиться только победами, побеждающей только при нападении и одерживающей верх только в силу порыва»...

Эти слова принадлежат историку Сорелю[1] и относятся к французской революционной армии времен Конвента. Но они с величайшей точностью воспроизводят боевой облик и армии Добровольческой.

9—10 июня 1918 года армия выступила во Второй Кубанский поход.

ГЛАВА XXI
ВЗЯТИЕ ТОРГОВОЙ. СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА МАРКОВА

На 12 июня назначена была атака *станции Торговой*.

Еще 9-го началось расхождение дивизий на широком фронте, причем конница Эрдели и дивизия Маркова с донскими частями Быкадорова должны были накануне (11-го) выйти к линии железной дороги Тихорецкая—Царицын, очищая свои районы от мелких партий большевиков, отвлекая их внимание и 12-го завершая окружение Торговой; две сильных колонны — Дроздовского и Боровского — направлены были с возможною скрытностю вдоль линии железной дороги Батайск—Торговая и берегом р. Среднего Егорлыка для непосредственного удара на Торговую. Дивизия Боровского составляла вначале мой общий резерв.

В этом походе армия, невзирая на свою малочисленность, двигалась все время широким фронтом для очистки района от мелких банд, для прикрытия железнодорожного сообщения и обеспечения главного направления от удара мелких отрядов и ополчений, разбросанных по краю.

10 июня после упорного боя генерал Эрдели овладел селом Лежанкой; часть красноармейцев была изрублена, другая взята в плен, остальные бежали на юг. 11-го конница с таким же успехом овладела селом Богородицким, выслав в тот же день разъезды для порчи и перерыва железнодорожного пути от Тихорецкой.

---

[1] Сорель. «Европа и Французская революция».

Я со штабом шел при колонне Боровского и заночевал в селе Лопанском. На рассвете 12-го видел бой колонны. Побывал в штабе Боровского, в цепях Кутепова[1], ворвавшихся в село Крученобалковское, и с большим удовлетворением убедился, что дух, закаленный в первом походе, живет и в начальниках, и в добровольцах.

Около 7 часов утра, разбив большевиков у Крученой балки, Боровский преследовал их передовыми частями в направлении Торговой, дав отдых главным силам.

Со стороны Торговой, которую должна была атаковать колонна Дроздовского на рассвете, слышен был только редкий артиллерийский огонь. Мы с Романовским, несколькими офицерами и казаками, перейдя речку, поскакали к его колонне.

Дроздовский, сделав ночной переход, с рассветом развернулся с запада против Торговой и вел методическое наступление, применяя тактику большой войны... В тот момент, когда мы въехали в хутор Кузнецова, части Дроздовского подготовлялись там к переправе через р. Егорлык. Большевики от Торговой обстреливали нас редким артиллерийским огнем; с противоположного берега и хутора Шавлиева шел ружейный и пулеметный огонь; туда, стоя открыто на расстоянии 150 шагов, стреляло картечью наше орудие...

Прошло уже более пяти лет с того дня, когда я первый раз увидел дроздовцев в бою, но я помню живо каждую деталь. Их хмурого, нервного, озабоченного начальника дивизии... Суетливо, как наседка, собиравшего своих офицеров и бродившего прихрамывая (старая рана) под огнем по открытому полю Жебрака... Израненных артиллеристов, продолжавших огонь из орудия с изрешеченным пулями щитом... И бросившуюся на глазах командующего через речку вброд роту, во главе со своим командиром штабс-капитаном Туркулом, — со смехом, шутками и криками «ура»...

Хутор Шавлиев был взят, и дивизия стала переходить через Егорлык и развертываться против Торговой, откуда из длинных линий окопов была встречена огнем. Дроздовский долго перестраивал боевой порядок; темп боя сильно замедлялся. Между тем со стороны Крученой балки по всему полю, насколько видно было глазу, текли в полном беспорядке толпы людей, повозок, артиллерии — спасавшихся от Боровского. Я послал приказание всей колонне последнего продолжать немедля наступление на Торговую.

Около 2 часов дня начал подходить Корниловский полк, и дроздовцы вместе с ним двинулись в атаку, имея в своих цепях Дроздовского и Жебрака.

Торговая была взята; захвачено три орудия, много пулеметов, пленных и большие интендантские запасы. На железнодоророжной станции, где расположился мой штаб тотчас по ее занятии, дроздовцы установили уже пулемет на дрезину и погнались за уходившими эшелонами большевиков; другие мастерили самодельный «броневой поезд» из платформ с уложенными на них мешками с землей и ставили орудие и пулеметы. Вечером *«Первый бронепоезд»* (!) Добровольческой армии двинулся к станции Шаблиевской.

В этот же день генерал Эрдели с кубанскими казаками захватил с бою село Николаевское, станцию Крученскую и, оставив там полк для прикрытия со стороны Тихорецкой, двинулся к Торговой. Казаки и черкесы прошли за три дня 110 верст с несколькими боями; уставшие лошади еле двигались. Тем не менее Эрдели к вечеру подошел к Торговой, успев перехватить большевикам юго-восточные пути отступления, и в происшедшей там конной атаке казаки многих изрубили, более 600 взяли в плен.

12 июня воссозданная Добровольческая армия одержала свой первый крупный успех. С 12 июня в течение 20 месяцев Северный Кавказ был отрезан от центральной России, а центр страны — от всероссийских житниц (Кубанской области и Ставропольской губернии) и от грозненской нефти[1]. Это обстоятельство несомненно подрывало экономический базис советской власти, но в силу роковых переплетений интересов не могло не отозвать-

[1] Полковник Кутепов командовал бригадой во 2-й дивизии.

[1] В районе Кизлярского и Петровокого участков Владикавказской железной дороги царила анархия и велась борьба между терцами, горцами и большевиками.

ся на общем состоянии народного хозяйства. Утешала меня надежда, что такое положение недолговечно, и что штыками своими Добровольческая армия принесет вскоре северу освобождение, а вместе с ним хлеб, уголь и нефть.

Мечты!..

• • •

Спускалась уже ночь, замирали последние отзвуки артиллерийской стрельбы где-то на севере, а от колонны Маркова не было никаких известий. Наконец, пришло донесение.

— «Станция Шаблиевская взята»... «Генерал Марков смертельно ранен»...

11 июня Марков очистил от мелких большевистских банд район между Юлой и Манычем и приступил к операции против Шаблиевки. Станция оказалась занятой сильным отрядом с артиллерией и бронепоездами. Взять ее в этот день не удалось. Весь день 12-го продолжался тяжелый и упорный бой, вызвавший серьезные потери, и только к вечеру, очевидно в связи с общей обстановкой, большевики начали отступать. Уходили и бронепоезда, посылая последние, прощальные снаряды по направлению к брошенной станции. Одним из них вблизи от Маркова был тяжело ранен капитан Дурасов... Другой выстрел — *предпоследний* — был роковым. Марков, обливаясь кровью, упал на землю. Перенесенный в избу, он мучился недолго, приходя иногда в сознание и прощаясь трогательно со своими офицерами-друзьями, онемевшими от горя.

Сказал:

— Вы умирали за меня, теперь я умираю за вас...

Наутро 1-й Кубанский стрелковый полк провожал останки своего незабвенного начальника дивизии. Раздалась команда «Слушай на краул!»... В первый раз полк так небрежно отдавал честь своему генералу: ружья валились из рук, штыки колыхались; офицеры и казаки плакали навзрыд...

К вечеру тело привезли в Торговую. После краткой литии гроб на руках понесли мы в Вознесенскую церковь

сквозь строй добровольческих дивизий. В сумраке, среди тишины, спустившейся на село, тихо подвигалась длинная колонна. Над гробом реял черный с крестом флаг, его флаг, мелькавший так часто в самых опасных местах боя...

После отпевания я отошел в угол темного храма, подальше от людей и отдался своему горю.

Уходят, уходят один за другим, а путь еще такой длинный, такой тяжелый...

Вспомнились последние годы — Галиция, Волынь, Ставка, Бердичев, Быхов, Первый Кубанский поход... Столько острых, тяжких и радостных дней, пережитых вместе и сроднивших меня с Марковым... Но не только потерян друг. В армии, в ее духовной жизни, в пафосе героического служения образовалась глубокая брешь. Сколько предположений и надежд связывалось с его именем. Сколько раз потом, в поисках человека на фоне жуткого безлюдья, мы с Иваном Павловичем, точно угадывая мысли друг друга, говорили со скорбью:

— Нет Маркова...

В ту же ночь два грузовика со взводом верных соратников, с пулеметами по бортам везли дорогую кладь по манычской степи, еще кишевшей бродячими партиями большевиков, в Новочеркасск. Там жила осиротелая семья покойного — мать, жена и дети; там «его» полк и десятки тысяч народа отдали последний долг праху героя, который когда-то учил своих офицеров:

— Легко быть честным и храбрым, когда осознал, что лучше смерть, чем рабство в униженной и оскорбленной России...

13 июня я отдал приказ по армии:

§ 1

«Русская армия понесла тяжелую утрату: 12 июня при взятии станции Шаблиевки пал смертельно раненный генерал С. Л. Марков.

Рыцарь, герой, патриот, с горячим сердцем и мятежной душой, он не жил, а горел любовью к Родине и бранным подвигам.

Железные стрелки чтут подвиги его под Творильней, Журавиным, Борыньей, Перемышлем, Луцком, Чарторийском... Добровольческая армия никогда не забудет горячо любимого генерала, водившего в бой ее части под Екатеринодаром, в Ледяном походе, у Медведовской...

В непрестанных боях, в двух кампаниях, вражеская пуля щадила его. Слепой судьбе угодно было, чтобы великий русский патриот пал от братоубийственной русской руки...

Вечная память со славою павшему...

§ 2

Для увековечения памяти первого командира 1-го Офицерского полка, части этой впредь именоваться *«1-й Офицерский генерала Маркова полк»*.

ГЛАВА XXII
ПОХОД И БОИ ОТ ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ ДО БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Для обеспечения дальнейшей операции против Тихорецкой со стороны Царицына и для содействия Дону по освобождению Сальского округа я двинул армию на *Великокняжескую.*

2-я дивизия Боровского осталась в Торговой, имея два конных полка у Александровского и Николаевского, фронтом в сторону Тихорецкой. Остальные силы в ночь на 15 июня заняли исходное положение на левом берегу Маныча, с тем чтобы атаковать Великокняжескую на следующее утро.

Правый берег Маныча занимали отряды красных, усилившиеся значительно частями, отступившими в последние дни от Торговой и Шаблиевки, — всего до 12 тысяч, причем в районе Великокняжеской из этого числа было около 6 тысяч с двумя бронепоездами и несколькими батареями.

В направлении железнодорожного моста двинут был Дроздовский; севернее его на две переправы — сменивший

временно покойного Маркова Кутепов[1], которому, вместе с подчиненными ему донцами, надлежало атаковать Великокняжескую с северо-запада; еще левее его должен был наступать донской отряд Кареева. На правом крыле шел Эрдели через переправу у Ново-Манычской для охвата Великокняжеской с востока.

Утром 15-го начался бой. Я шел опять с дивизией Дроздовского, желая на первых порах присмотреться к ней и придать более быстрый темп и более широкий размах развитию боя: методизм европейской войны претерпел значительные изменения в добровольческом опыте войны гражданской.

Часть сил Дроздовского развернулась против железнодорожного моста, часть пошла правее, найдя в укрытом месте брод по горло через два рукава речки и маленькую рыбачью лодку; под руководством Жебрака одна рота стала переправляться.

Гремела большевистская артиллерия, сосредоточив свой огонь преимущественно на полустанке, возле которого дымил наш знаменитый «Первый бронепоезд». Временами он подходил к самому мосту, обстреливая в упор большевистские цепи.

Переправа длилась очень долго. Я приказал «надавить». Дроздовский поднял боевой порядок и двинул против моста; батарея, обогнав пехотные цепи, подскакала к самому берегу, снялась открыто и стала поливать неприятельские цепи шрапнелью. Огонь с того берега ослабел. Вскоре от Великокняжеской показался паровоз с большим белым флагом, издавая непрерывный свист...

— Очевидно, парламентеры, — слышится в рядах.

Но паровоз летел не сбавляя хода, и наш «бронепоезд» лишь в последнюю минуту догадался дать почти в упор два-три выстрела, разбивших паровоз, успевший, однако, ударить по передней платформе «бронепоезда» и сильно покалечить нескольких человек. Паровоз оказался без людей,

[1] 1-я дивизия предназначалась генералу Казановичу, который должен был вскоре вернуться из Москвы, где он находился в секретной командировке.

облитый нефтью, с бомбами, привязанными на буферах. Этот эпизод на несколько минут овладел вниманием всего поля боя: враги как будто забыли друг про друга...

Опять поднялись цепи 2-го Офицерского полка и пошли вперед безостановочно. Внушительная картина стройного наступления и на нас даже произвела впечатление. Большевики заметно зашевелились в длинных побережных окопах, а когда появились на том берегу первые дозоры от переправившейся вброд нашей роты, все хлынуло в беспорядке к Великокняжеской; артиллерия и переправившиеся цепи преследовали противника огнем.

На левом фланге цепи большевиков еще держались, когда роты дроздовцев в колоннах, под огнем бросились к железнодорожному мосту и заняли его. Мы перешли на тот берег с головной ротой; артиллерийский взвод, обгоняя пехоту, ушел далеко вперед; на рысях проходил конный полк...

Картина отступления была полная. Влево, далеко на горизонте, показались также бегущие толпы; за ними какие-то конные лавы — как оказалось донские сотни из колонны Кутепова, который, отбросив большевиков от северных переправ, шел наперерез к Великокняжеской.

Дроздовский после переправы стал собирать свои части и развертывать вновь боевой порядок. Но надобности в этом уже не было большевики уходили безостановочно. Подполковник Ряснянский с командой разведчиков, за ним штаб армии с конвоем и 2-й Конный полк поскакали к станице. Через несколько минут мы входили уже в вымершую окраину ее; конники преследовали противника, мы расположились в одном из станционных зданий.

Потери наши были ничтожны.

К сожалению, окружения не вышло: Эрдели, встретив упорное сопротивление у села Ново-Манычского со стороны отряда Думенко, без артиллерийской поддержки — горные орудия, к несчастью, испортились — через Маныч не переправился. Манычская группа противника была опрокинута, но не разбита. И долго еще потом в Ставропольской губернии висела она на фланге армии, отвлекая с главного направления наши силы для противодействия.

* * *

На царицынском направлении наша задача была окончена. В самой Великокняжеской сосредоточилось до $2^1/_2$ тысяч донцов; донские отряды продолжали сами очищение Сальского округа, продвинувшись затем верст на 80 к станции Зимовники. Только гнездо местных большевиков — слобода Мартыновка — держалась еще целых пять недель, осажденная со всех сторон донским ополчением.

Дав войскам отдых и передав район донскому командованию, 17 июня я повернул армию к Торговой, чтобы приступить *к операции по овладению Тихорецкой.*

Спешить было тем более необходимо, что с 18-го началось сильнейшее давление со стороны войск Сорокина на слабый наш заслон по линии Кагальницкая—Егорлыкская, угрожая нашим сообщениям с Доном.

Очевидно, во исполнение общей директивы начиналось наступление большевиков по всему фронту: на село Лежанку шел полк конницы от станицы Плоской; вдоль железной дороги из Песчанокопского наступала сборная колонна оправившихся после поражения и усиленных мобилизацией частей силою до 6—8 тысяч; в районе Сандата—Башанта—Ивановское собирались большие отряды, частью вернувшиеся из-за Маныча, частью пришедшие из Медвежьего и окрестных сел; они атаковали Эрдели у Ново-Егорлыкского, но были отбиты.

Обеспечив Торговую одним полком конницы, к утру 19-го я приказал армии выйти на линию Богородицкое (Боровский)—Развильное (Дроздовский)—Ивановское (Эрдели, с подчинением ему частей Кутепова), с целью на следующий день атаковать *Песчанокопское.*

Это движение привело к упорному бою колонны Дроздовского за село Николаевское, которое в ночь на 19-е оказалось в руках большевиков, выбивших оттуда наш конный заслон. Бой этот продолжался весь день и стоил дроздовцам потерь около 120 человек. На моих глазах проходили эпизоды, глубоко волнующие и трогательные. Атака пехоты — 2-го Офицерского полка по открытому ровному полю, под ураганным огнем большевиков... Неравное единоборство нашего деревянного «бронепоезда»

с двумя настоящими бронепоездами красных... С разбитым бомбой паровозом, убитым машинистом и переранненными офицерами, весь в пламени он возвращался тихо к станции Крученой. За ним шли бронепоезда большевиков. Вдруг из-за насыпи неожиданно раздались по ним залпы роты дроздовцев, нанесшие серьезные потери растерявшейся команде головного бронепоезда... Оба дали задний ход и, *преследуемые ротой*, быстро уходили из глаз...

К 3—4 часам пополудни после боя на деревенских улицах дивизия овладела Николаевским и Поливянским и вышла на западную окраину; проведшие ночь без сна, истомленные и голодные войска залегли тут же на привал. День клонился к вечеру. Развильное — цель сегодняшнего дня — еще в семи верстах; противник может устроиться и вновь оказать сопротивление... Я со штабом проехал цепи и двинулся в направлении Развильного. Попали под ружейный огонь. Остановились. Но пехота, увидев впереди флаг командующего, поднялась и двинулась вперед. В то же время Дроздовский лично повел пересоставленный «бронепоезд» к станции Развильной...

Село и станцию заняли без сопротивления. Большевики уходили поспешно, и только под утро мы узнали причину.

Боровский занял с утра Богородицкое и выдвинул авангард к Песчанокопскому; авангард к ночи после краткого боя ворвался в Песчанокопское, оказавшись в глубоком тылу противника.

Колонна Эрдели продвигалась также успешно вперед: полковник Кутепов выбил последовательно большевиков из Сандатовского и Ивановского, а 3-й Кубанский полк, при содействии броневика «Верный», преследуя бегущих, захватил орудие и пулеметы и гнал большевиков до Красной Поляны; при этой лихой атаке понесена была тяжелая потеря: пал, сраженный пулей, командир полка полковник Шкуратов...

Утром 20 июня дивизии Дроздовского приказано было продолжать движение на Песчанокопское, Эрдели — занять Рассыпное.

В Песчанокопском обстановка между тем изменилась. Слабый авангард Боровского был выбит из села отошедшими туда с северо-востока отрядами и восставшими жителями. Песчанокопское и Белая Глина — многолюдные богатейшие села (местечки) тихорецкой линии, привлекавшие агитаторов, пропаганду и всякие буйные элементы, считались очагами большевизма, наиболее враждебными Добровольческой армии.

К Песчанокопскому подтянулись большевистские силы со всех сторон, устраивались, приводились в порядок. С утра 20-го Боровский вел на село наступление всей своей колонной от Богородицкого и не имел успеха; расстреляв последние свои патроны и снаряды, колонна его пополудни залегла в виду Песчанокопского.

Колонна Дроздовского медлила с выступлением — от измора людей и отсутствия подвод[1]. Я поднял дивизию по тревоге. Конница и артиллерия двинулись походом, пехота — поездом верст восемь, пока шедший впереди наш «бронепоезд», опять сильно пострадавший в этот день, не вступил в бой с бронепоездами противника.

Уже перед закатом обе дивизии (2-я и 3-я) с севера и востока атаковали село. Конница Дроздовского ворвалась было в село, но была выбита. Шел немолчный гул орудий и ружейная трескотня; слева, словно отдаленное эхо, им вторила канонада: то колонна Эрдели вела бой в 12 верстах от нас у Рассыпного, которое Эрдели, разбив большевиков, занял к ночи.

Около 8 часов вечера дроздовцы ворвались в восточную часть села, части Боровского в северную. Большевики уходили в беспорядке на Белую Глину; отдельные части, отряды их, блуждая в темноте, попадали в руки добровольцев и уничтожались.

Бой в этот день отличался большой ожесточенностью.

Мы въезжали в полной темноте. Село совершенно вымерло: большинство жителей бежало вместе с отступавшими большевиками. Их гнали безумный страх перед добро-

[1] В походе пехота передвигалась обыкновенно на подводах, совершая поэтому огромные марши.

вольцами... боязнь мести. Во время Первого Кубанского похода, когда армия возвращалась на Дон, часть тяжелораненых добровольцев подлечилась и каким-то чудом попала в Песчанокопское; там они вначале благополучно скрывались, но потом были кем-то выданы; сельский сход, на разрешение которого поступила судьба добровольцев, постановил их казнить, что и было приведено в исполнение.

На другой день после занятия нами села произведено было расследование и в результате его дома нескольких отсутствовавших виновников предательства и казни, по выводе из них людей, были сожжены со всем скарбом.

* * *

В Песчанокопском дал армии трехдневный отдых.

До сих пор мы били жестоко Красную армию, но не нанесли действовавшей против нас группе окончательного поражения. И теперь разбитые части тянулись к Белой Глине, составив 10-тысячный гарнизон, основанием которого служили называвшая себя «железной» бригада Жлобы и отряд матросов. Войска эти пополнились вошедшими чуть ли не поголовно в их состав жителями призывного возраста Белой Глины — частью добровольцами, частью мобилизованными Жлобой.

Они поднялись не за советскую власть, а за свое село...

Подступы к селению лихорадочно укреплялись и занимались передовыми частями; большевики проявляли уже некоторую организованность и тактическое понимание.

Операция наша подготовлялась тщательно и должна была привести к полному окружению Белой Глины.

Еще 22-го колонна Эрдели (конная дивизия и 1-я дивизия Кутепова) была подтянута в район села Павловского, а полк конницы — в Лежанку для обеспечения с севера. Всем колоннам приказано начать наступление с таким расчетом, чтобы атаковать Белую Глину на рассвете 23-го: Боровскому — с севера, Дроздовскому — вдоль железнодорожной линии и речки Рассыпной, Кутепову — с юга, от Павловского. Эрдели с кубанскими казаками должен был к вечеру 22-го занять станицу Новопокровскую и станцию Ею, разрушить железную дорогу, прикрыть нас со стороны Тихорецкой и отрезать большевикам западные пути отступления из Белой Глины.

В ночь на 23-е началось наступление.

Пехота Дроздовского двинулась с севера под начальством полковника Жебрака и около полуночи остановилась верстах в двух от окопов противника. Храбрейший и достойнейший командир — полковник Жебрак — вел полк неискусно. Темной ночью один батальон пошел в дальний обход; другой, с Жебраком во главе, в походной колонне, без разведки двинулся в направлении хутора Христенко. Встреченный в упор залпом красноармейской заставы батальон смешался. Жебрак бросился вперед с криком «в атаку», но тотчас же упал, смертельно раненный пулей. Дроздовцы, потеряв несколько десятков человек, добежали до хутора и опять нарвались на жестокий огонь из расположенных за ним окопов противника; понесли тяжелые потери. В ночной тьме все перепуталось. Обходивший батальон дроздовцев, услышав выстрелы, бросился в их направлении; был встречен огнем большевиков, остановился и открыл, в свою очередь, огонь по хутору, поражая и большевиков, и своих...

Вскоре оба батальона отхлынули и залегли.

Эта ночь стоила дорого 3-й дивизии. Кроме командиров полка и батальона (полковник Чернышев), она похоронила около 100 своих воинов.

Между тем на остальных направлениях наступление шло весьма успешно. Кутепов к рассвету подошел к южной окраине Белой Глины, атаковал село и вскоре ворвался в него; участвовавший в этой атаке 2-й конный полк колонны Дроздовского, севший вновь на коней, преследовал бегущих большевиков. Боровский взял с бою своим Партизанским полком станцию и входил в село с севера. По всему селу ходил броневик «Верный» и, в суматохе боя обстреливаемый и своими и чужими, разгонял большевистские толпы.

Около 9 часов, почувствовав окружение, дрогнули и цепи, лежавшие против батальонов дроздовцев. Нестройными толпами стали они метаться во все стороны, ища свободного выхода... Я стоял у железнодорожной будки возле

дороги в Лежанку. Эта дорога оказалась единственной, по недоразумению не прегражденной колонной Боровского. К ней хлынул человеческий поток — все, что осталось от Белоглинской группы. Артиллерия Дроздовского провожала его сильным огнем; броневик, эскадрон 2-го конного полка, мой конвой и штабные офицеры бросились в атаку...

Остатки красных войск спасались кружным путем через село Горькобалковское на станицу Калниболотскую.

В тот же день к утру Эрдели занял станицу Новопокровскую и станцию Ею, отбив двукратно контрнаступление пехоты противника с бронепоездами со стороны Тихорецкой.

Разгром большевиков под Белой Глиной, помимо общего стратегического значения, оказал большое моральное действие на Кавказскую Красную армию и ставропольское население. Принес и материальные результаты: в наши руки попало около 5 тысяч пленных, много оружия, боевых припасов и другой военной добычи.

Взятие *первой* кубанской станицы Новопокровской подняло настроение кубанских казаков, приблизив осуществление их заветной цели.

* * *

Когда батальоны дроздовцев входили в село, глазам их представилось тяжелое зрелище: перед пустыми окопами лежали раненые, умирающие и обезображенные большевиками трупы их товарищей. На теле Жебрака зияло 17 штыковых ран... «До поздней ночи по всему полю подбирали раненых и свозили трупы убитых и замученных офицеров и добровольцев», — говорится в истории Дроздовской дивизии. «Когда узнали, что все трупы добровольцев обезображены издевавшимися над ними (заживо) большевиками, озлобление оставшихся в живых стало еще больше»...

На другой день я услышал, что Дроздовский расстрелял много пленных красноармейцев. Я вызвал его к себе и указал на недопустимость такой жестокой массовой расправы, наносящей к тому же явный вред армии. Он говорил о Жебраке, о замученных добровольцах, о том, что большевики убивают и мучают *всех*... Мертвенно бледный, дрожащим голосом он вспоминал о «вчерашнем» — весь во власти чувства гнева и печали. Я потребовал, чтобы подобные факты не повторялись. И знал, что Дроздовский, другой, третий если и исполнят приказ, то только формально. Многие из добровольцев жили тогда теми же побуждениями, которые дроздовец-поэт, под свежим впечатлением похорон своих друзей и соратников у Белоглинской церкви, выразил в словах «похоронного марша»:

«...И взором души мы стремилися в даль
На новую славную битву,
Где жертвы погибших в бою роковом
Отмстить мы сурово решили.
И в тихом молчанье со скорбным челом
Мы все от могил уходили».

Нужно было время, нужна была большая внутренняя работа и психологический сдвиг, чтобы побороть звериное начало, овладевшее всеми — и красными, и белыми, и мирными русскими людьми. В Первом походе мы вовсе не брали пленных. Во втором — брали тысячами. Позднее мы станем брать их десятками тысяч. Это явление будет результатом не только изменения масштаба и методов борьбы, но и эволюции духа.

А пленные?

Я видел их тогда в Белой Глине — несколько тысяч. Вмешавшись в толпу их, пытался побеседовать, желая выяснить психологию этой оглушенной революцией, то зверской, то добродушной воюющей и ненавидящей войну массы. Напрасно. Звериный страх сковал их мысли и речь. С недоумением, не веря своему счастью, расходились они, отпущенные по домам. И мне думалось: пойдут ли эти люди, и с каким чувством, вновь на войну, когда их призовут по мобилизации мы или большевики?

ГЛАВА XXIII
ТИХОРЕЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ

В то время, когда армия двигалась с боями в направлении на Тихорецкую, на крайнем правом фланге ее, начиная с 18 июня, шло наступление войск Сорокина против нашего Задонского заслона (Кагальницкая—Егорлыкская), с явной целью — ударом по сообщениям армии и выходом в тыл ее сорвать нашу операцию.

Я получал тревожные донесения от Покровского и сведения о крайнем неудовольствии Новочеркасска. Покровский жаловался, что ему не дают с Дона боевых припасов, у него совершенно иссякших, и настойчиво просил подкреплений. Я еще 18-го послал в станицу Егорлыкскую Корниловский полк с двумя орудиями[1] для обеспечения ближайшего фланга армии и предоставил затем заслону справляться собственными силами: ослабление главного удара было недопустимо; только его успех решал судьбу армии, операции и всех второстепенных направлений.

На 42-верстном фронте от Кагальницкой до Егорлыкской войск было немного: у Покровского (Кагальницкая и Мечетинская) — полк кубанцев, 2 орудия и 6 сотен донских ополчений в общем не более $1^1/_2$ тысяч; у подполковника Постовского (Егорлыкская), до прибытия Корниловского полка, ополчение станицы — до тысячи человек с 2—3 орудиями.

18 июня колонна большевиков в $2^1/_2$ тысячи с артиллерией и даже с 6-дюймовыми орудиями атаковала Егорлыкскую, но была отброшена и преследуема Постовским. С того же дня началось наступление крупных отрядов Сорокина (6—8 тысяч человек) на Покровского, достигшее высшего напряжения 23 июня. Большевики взяли село Гуляй-Борисовку и подошли вплотную к станице Кагальницкой. Покровский с трудом сдерживал напор противника; потери, понесенные его казаками, были значительны. Между тем 22 июня выступили на присоединение к армии отдохнувшие и пополнившиеся в Новочеркасске Марковский и 1-й Конный полки: для атаки Тихорецкой я стягивал все силы. Ввиду тяжелого положения Покровского, я направил полки эти через мечетинский фронт, чтобы *попутно* они могли помочь Покровскому.

[1] Через несколько дней были возвращены в свою дивизию.

Подойдя к Кагальницкой, полки эти в ночь на 25-е вступили в бой с большевиками, окружившими уже полукольцом станицу. Командир Марковского полка полковник Тимановский атаковал большевиков. После крайне упорного и жестокого боя разбил их, захватив орудие и 11 пулеметов, и отбросил далеко на запад. В этот день получил боевое крещение и вынес доблестно главную тяжесть боя вновь сформированный третий батальон Марковского полка из офицеров, прибывших с Украины и Новороссии.

Победа стоила, однако, марковцам чрезмерно дорого: 31 убит и 280 ранены.

На другой же день, 26-го, полк продолжал путь и, сделав за двое суток 110 верст, присоединился в Горькой Балке к армии.

Между тем новочеркасская политика продолжала вносить холодную струю в наши настроения и областной шовинизм в стратегию.

По поводу событий на мечетинском фронте и требований Покровского от Дона боевых припасов и поддержки генерал Эльснер вошел в сношения с донскими властями. «...Генерал Богаевский мне ответил, — писал он начальнику моего штаба, — что для атамана такая слабая численность группы Покровского была полной неожиданностью; что слухи о взятии (большевиками) Кагальницкой и Мечетинской сильно *возмущают* население Новочеркасска... Краснов прислал мне ответ (собственноручной запиской)... Ответ этот настолько резок по своему тону, так раздраженно критикует действия армии, что я его Вам не пришлю. Общий смысл таков, что армия легкомысленно предприняла настоящую операцию, обнажив свою линию сообщений, которая теперь находится под ударами противника; он предупреждал об опасности операции на Торговую и Великокняжескую без предва-

рительной ликвидации Батайской группы, но его не послушали»[1].

29-го директивой генерала Денисова мечетинский район демонстративно включен был в состав Донского фронта и туда направлен донской пеший полк с 3 орудиями. Вполне своевременно и безопасно, ибо Сорокин после поражения, нанесенного ему 25 июня Тимановским, прекратил наступление, и на мечетинском фронте наступило полное затишье; советское командование оттянуло свои отряды с этого фронта на юг, к тихорецкой линии, предчувствуя заносимый там нами удар.

Краснову я не ответил: доклад Эльснера получен был мною уже в Тихорецкой, когда «донское правительство приносило генералу Богаевскому, как бывшему добровольцу, торжественное поздравление по поводу успехов Добровольческой армии»...

Наступление большевиков в эти дни велось на всем нашем фронте.

24-го передовые части большевиков атаковали кубанцев Эрдели у станции Ея, но были отброшены; 25-го они возобновили атаку уже силами в 4—5 тысяч при 12 орудиях и двух бронепоездах. Развивали артиллерийский огонь давно уже не слыханного напряжения, израсходовав в этот день до тысячи снарядов... Но дух их был уже подорван, и конница Эрдели, усиленная броневиками, опрокинула противника и преследовала далее в направлении Тихорецкой.

Таким образом, 23-го Добровольческая армия нанесла поражение большевикам под Белой Глиной, а через три дня Северокавказская Красная армия, отказавшись от всяких активных планов, перешла уже к обороне на всем своем фронте. Только войска «Ставропольской республики» в районе Медвежье—Успенская проявляли еще некоторую активную деятельность.

* * *

В районе Белая Глина—Новопокровская армия простояла до 30 июня, подтягивая все свои силы, обеспечивая частными боями предстоящую операцию и свое развертывание.

[1] Доклад от 3 июля № 9.

К этому времени группировка противника армейской разведкой определялась следующим образом:

1. Под непосредственным командованием «главковерха» Калнина в районе Калниболотская—Терновская и Тихорецкая располагалось 11—12 тысяч войск (по преимуществу тех, которые уже испытали наши удары) при 16 орудиях и большом количестве пулеметов; 3 бронепоезда.

2. На севере в Незамаевской стоял конный отряд, связывавший эту группу с армией Сорокина.

3. Штаб «главковерха» находился на станции Тихорецкой, в поездах. Вокруг станции и станицы укреплялась позиция, усиливаемая проволочными заграждениями.

4. Южнее нас на линии Успенская—Ильинская находился отряд Думенко (2—$2^1/_2$ тысячи, 4 орудия, 20 пулеметов) и в районе Привольное—Медвежье несколько ставропольских отрядов общей численностью около 4 тысяч при 4 орудиях.

Подготовку операции пришлось начать с ликвидации этих южных групп, угрожавших при дальнейшем движении нашему тылу. Удар по ним, чтобы не задержать общего наступления, требовал от начальника большой решимости и стремительности. Этими качествами обладал в высокой степени начальник 2-й дивизии генерал Боровский. И кроме того еще одним: он никогда не вел речь о малочисленности своих войск, их переутомлении и т. д. Разговор наш 27-го был краток:

— Необходимо в три дня разбить большевиков у Медвежьего, Успенской и Ильинской, с тем чтобы 30-го сосредоточиться в районе Ильинской, так как 1 июля состоится общее наступление наше на Тихорецкую...

— Слушаю.

— Александр Александрович, вы взвесили, что перед вами 115 верст пути и 6 тысяч красноармейцев?

— Исполню.

— Можете выступить завтра с рассветом?

— Выступаю сегодня к вечеру...

Мы простились; вечером я провожал колонну Боровского, вытягивавшуюся из Белой Глины; а 30-го пополудни

к штабу, перешедшему в Новопокровскую, подъехал автомобиль: Боровский вдвоем с адъютантом по дороге, по которой бродили еще разъезды большевиков, приехал с докладом из... Ильинской.

«Рейд Боровского», как назвали этот поход, протекал с быстротой поистине кинематографической.

Утром 28-го у хутора Богомолова, в 45 верстах от Белой Глины, колонна встретила 4-тысячный отряд большевиков с 4 орудиями. Боровский атаковал противника. Корниловский полк, под сильным ружейным огнем перейдя вброд по горло речку, захватил хутор Богомолов, разбил противника и, преследуя его совместно с кубанским конным полком, овладел Медвежьим. В наши руки попало 2 орудия, 2 пулемета, много ружей и около тысячи пленных. В ту же ночь Боровский продолжал движение и на рассвете 29-го атаковал кубанским пластунским батальоном вторую группу противника под Успенской[1] ($1^1/_2$ тысячи пехоты при 2—3 орудиях); разбил и ее; при этом наш удивительный броневик «Верный» атаковал неприятельскую батарею и, перебив ее лошадей, завладел орудием, из которого тотчас же команда броневика открыла огонь по отступающим. 30-го Боровский, разбив в третий раз большевиков, овладел Ильинской.

Остатки отрядов Красной армии частью рассеялись во все стороны, частью отошли на юг и к Тихорецкой. Поднявшиеся кубанские станицы Успенская и Ильинская могли уже своими силами охранить южное направление.

29 и 30-го произошла смена дивизии Эрдели в Новопокровской частями Дроздовского. После небольших стычек Эрдели занял станицу Незамаевскую, а Кутепов сосредоточил всю свою дивизию в станице Калниболотской.

Таким образом, 30-го закончилось развертывание армии на 66-верстном фронте по линии Незамаевская—Калниболотская—Новопокровская—Ильинская.

В тот же день отдан был мною приказ: «Завтра, 1-го июля, овладеть станцией Тихорецкой, разбив противника, группирующегося в районе Терновской—Тихорецкой». Колоннам предстояло сделать от 35 до 60 верст, по крайней мере с двумя боями. Но утомление окупится сохранением многих жизней, а неожиданность парализует волю противника...

[1] В 34 верстах от Медвежьего.

План операции предусматривал окружение Тихорецкой.

Эрдели должен был, захватив станцию Леушковскую, прикрыть нас частью сил с севера от Сосыки, а с остальными выйти к железнодорожной линии Екатеринодар—Тихорецкая у станицы Новорождественской, чтобы затем ударить с запада в тыл тихорецкой группе.

Кутепову — содействовать взятию станции Порошинской и атаковать потом Тихорецкую с севера.

Дроздовский был направлен вдоль железной дороги; ему предстояло овладеть станцией Порошинской и станицей Терновской и атаковать Тихорецкую с востока.

Боровскому — содействовать с юга атаке станицы Терновской, после чего, прикрывшись заслоном со стороны Кавказской, атаковать Тихорецкую с юго-востока.

К Незамаевской был подтянут и Покровский. Бригада кубанских казаков Глазенапа охраняла наш правый фланг и тыл от Торговой до фронта и поддерживала порядок в северной части Ставропольской губернии.

• • •

В ночь на 1-е колонны выступили.

Станица Терновская и станция Порошинская, занятые красноармейской дивизией, отрядом коммунистов и тысячью местных большевиков — иногородних с одним бронепоездом, были взяты почти одним маневром.

Колонна Дроздовского двигалась ночью и после привала с рассветом продолжала наступление, ведя попутно бой с бронепоездом большевиков; около 8 часов утра она появилась в виду станицы; к этому времени колонна Кутепова прямым движением выходила уступом в охват Порошинской с севера, а Корниловский полк, выделенный Боровским, направлялся в тыл большевикам по западной окраине Терновской, к железнодорожной станции. После краткого огневого боя большевики начали отступать

на всем фронте, и около 9 часов утра корниловцы[1] и дроздовцы владели уже станицей и станцией.

К полудню положение было таково: Эрдели подходил к Новолеушковской; Кутепов, потеснив небольшие части противника, стал на привал в Новоромановской; Дроздовский — в Терновской; Боровский был на полпути между Ильинской и Тихорецкой.

Большевики быстро отступали перед нами к Тихорецкой. Бой кончился. Поле опустело и смолкло. Казалось, что сегодняшний страдный день не будет уже свидетелем нового боя... Впоследствии пленные передавали нам, что впечатление «конца» всецело овладело штабом Калнина. Там ждали нашего наступления только на следующий день. Главковерх и штабные чины после бессонной ночи и тревожных переживаний сегодняшнего утра успокоились и легли отдохнуть.

Их разбудит под вечер гром артиллерии на тихорецких позициях.

* * *

Пополудни наступление наше продолжалось.

Дивизия Дроздовского[2], с посаженной вновь на повозки пехотой, шла вдоль полотна, отгоняя своей артиллерией бронепоезда большевиков. Около 5 часов пополудни закончилось ее развертывание верстах в шести от Тихорецкой. Цепи двинулись по высокому хлебу, дошли шагов на тысячу до окопов противника и, встреченные сильным ружейным огнем, залегли. Артиллерия большевиков обстреливала нас временами ураганным огнем. Так прошло около часу. От 5-й железнодорожной будки, где расположились штабы Дроздовского и мой, мы увидели какое-то подозрительное движение и суету у южного выхода из станции. Там метались люди, повозки, скакали конные... Нельзя было разобрать — свои или чужие, но все это текло с юга на север, что было для нас радостным предзнаменованием...

---

[1] Пошли затем на соединение со своей дивизией.

[2] К этому времени состав ее усилился «Солдатским полком» (из мобилизованных и пленных) и кубанским пластунским батальоном. См. ниже.

Я приказал дивизии Дроздовского продолжать наступление. Цепи поднялись и, встреченные ураганным огнем, залегли опять. Но это была уже последняя вспышка. Прошло несколько минут, и цепи большевиков, густо лежавшие в окопах возле полотна, поднялись и побежали — не к станции, а в северо-восточном направлении.

Вероятно, узнали...

Станция Тихорецкая, расположенная в тылу и в центре укрепленной позиции, была уже в наших руках...

Боровский, наступая с юго-востока вдоль железной дороги Ростов—Владикавказ, прорвал Партизанским полком расположение большевиков; кубанский конный полк его дивизии пошел по тылам, внося повсюду сильнейшую панику; корниловцы устремились к станции.

Через четверть часа мы с Романовским и несколькими офицерами штаба встретили Боровского на станции. Там было безлюдно. Добровольцы 2-й дивизии продолжали бой в поселке; станционные служащие попрятались. Все пути были загромождены поездными составами, стоял в полной неприкосновенности и штабной поезд главковерха. Сам Калнин, как передавали потом железнодорожники, пешком, без шапки, в одиночестве, пробрался между составами и скрылся в направлении на Екатеринодар. Его начальник штаба, полковник генерального штаба[1], застигнутый на месте, заперся в своем купе. Когда потом чины инженерной роты взломали двери купе, глазам вошедших представилась такая картина: на полу в луже крови лежал труп полковника и рядом с едва заметными признаками жизни — его жена, в которую он стрелял перед самоубийством... Его помощник и адъютант были расстреляны.

По станции откуда-то вело огонь неприятельское тяжелое орудие; в железнодорожном поселке шла частая трескотня — ружейная и пулеметная, и Боровский озабоченно собирал своих добровольцев, отбившихся во время стремительной атаки, чтобы организовать на всякий случай оборону станции.

---

[1] Фамилию не помню.

А на позиции все еще шел горячий бой. В тесном кольце судорожно метались люди, ища спасения и находя повсюду смерть. До поздней ночи гремела неумолчно артиллерия и трещали ружья и пулеметы. Спускавшаяся тьма придавала какой-то особенно суровый и тревожный колорит картине боя.

Только против левого крыла дивизии Дроздовского противник побежал, не приняв атаки. На правом фланге Солдатский полк бросился на окопы и в ожесточенной штыковой схватке уложил много большевиков. Остатки их бежали на север и северо-восток, преследуемые ротами Солдатского полка и кубанцами Боровского. Там они нашли конец, встретив войска Кутепова...

Дивизия Кутепова, заняв без боя станицу Тихорецкую, к 4 часам частями Марковского полка преградила большевикам северные пути отступления и железную дорогу со стороны Сосыки. Наступая затем на станцию, Кутепов встретил отчаянное сопротивление. Перешедшие в контратаку против марковцев большевики были опрокинуты ими обратно в окопы; левее 1-й Кубанский полк, атакованный внезапно двумя броневиками, стал отходить, преследуемый красной пехотой. Наша артиллерия поддержала полк огнем, разбила один броневик, а 2-й Конный полк, бросившись на выручку, атаковал пехоту противника, налетел на окопы и перерубил много большевиков, понеся при этом тяжелые потери.

На поле, покрытом высокой пшеницей, в ночной темноте связь между частями 1-й дивизии была совершенно нарушена. Части перепутались между собой и с большевиками. Происходил ряд недоразумений, иногда комичных, часто фатальных. В такой сложной обстановке Кутепов продолжал наступление, окончившееся полным разгромом и уничтожением противника.

Я видел на другой день это поле. Жуткое зрелище представляли длинные линии окопов по обе стороны дороги в станицу Тихорецкую, сплошь заваленные человеческими трупами... Они — вчера еще вольные или невольные защитники окопов — прекратили огонь и подняли на ружьях белые флаги (платки); но когда добровольцы и с ними верхом Кутепов со штабом подъехали к окопам, их встретили залпом. Перебили людей, ранили адъютанта начальника дивизии. Поэтому, когда окопы попали, наконец, в руки добровольцев, пощады не было никому...

На ночлег войска расположились по квартирам в районе Тихорецкой, выдвинув авангард на север, запад и юг.

Под утро получено было донесение от Эрдели, что дивизия его, пройдя в этот день с боем около 60 верст, обойдя Леушковскую с севера, к ночи подошла к Новорождественской и железной дороге, довершив окружение тихорецкого узла и случайных остатков спасавшегося бегством противника. Семь поездов успело, однако, проскочить в Екатеринодар.

* * *

Значение для нас победы под Тихорецкой было весьма велико.

В стратегическом отношении мы: 1) разгромили окончательно 30-тысячную группу Калнина; 2) приобретали обеспеченное сообщение с тылом (Тихорецкая—Торговая), свободу действий и возможность переброски войск по железной дороге в трех важных направлениях; 3) разъединяли отдельные группы красных войск и в частности ставили в весьма затруднительное положение армию Сорокина, которая должна была теперь держать фронт на север (немцы и донцы) и на юг, имея под ударом свою линию сообщений[1].

В материальном отношении Добровольческая армия приобрела огромные, по нашим масштабам, и неоценимые для нас трофеи: массу подвижного состава, три бронированных поезда, аэроплан, броневые автомобили, около 60 орудий[2], в том числе морские дальнобойные, большое количество ружей, пулеметов и огнестрельных припасов; много различного интендантского имущества.

---

[1] Кущевка—Тимашевская—Екатеринодар.

[2] Более половины исправных или требовавших небольшого ремонта.

Наконец, в моральном отношении «Тихорецкая» еще более укрепила уверенность в своих силах в армии и ее престиж в глазах друзей и врагов. «Взятие Тихорецкой, — доносили из Новочеркасска, — произвело сильное, можно сказать, радостно-ошеломляющее впечатление не только на все круги населения, но и на всех без исключения членов правительства»... Кубанцы начали поступать в ряды армии еще более интенсивно... Большевистская пресса прекратила обычное глумление над «белогвардейскими бандами», но удвоила злобность. А военный комиссариат «ввиду серьезности момента и надвигающейся со стороны врагов революции на Северо-Кавказскую республику опасности» объявил вскоре «всеобщую мобилизацию»[1]...

ГЛАВА XXIV
ПОЛОЖЕНИЕ К 1 АВГУСТА АРМИИ И ОСВОБОЖДЕННОГО КРАЯ. ОБЛИК ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ

Армия прошла в три недели 262 версты, выдержав ряд серьезных боев и понеся значительные потери. Большевики оказались гораздо более стойкими, чем мы ожидали. К сожалению, у меня нет данных об общем числе убитых и раненых за этот период; полагаю, что их было более четверти состава армии. Даже в тех случаях, когда в полковых реляциях или в моем очерке встречается фраза «потери наши были ничтожны», надо помнить, что определение это весьма относительно: ведь гибли наши кадры, наши первые, наши лучшие, идейные добровольцы...

Тем не менее состав армии к первым числам июля по крайней мере удвоился. Шел непрерывный приток с Украины и Новороссии, отчасти из центральной России добровольцев, главным образом офицеров; освобождаемые кубанские станицы по приказу и добровольно становились в ряды армии[1] или вооруженными отрядами охраняли ее сообщения; поступали на пополнение частей, теперь уже в большом числе, пленные красноармейцы, и во всех районах действия армии привлекалась по мобилизации местная молодежь, первоначально два возрастных класса. Дроздовский сделал даже опыт формирования отдельной части из пленных и мобилизованных. Его «1-й Солдатский полк» принимал доблестное участие под Тихорецкой и в дальнейших боях.

[1] Из приказа Северо-Кавказского комиссариата.

Наконец, были факты и другого порядка: некоторые села Ставропольской губернии, приведенные в отчаяние советским режимом, объявляли сами на сходах мобилизацию известных контингентов населения и присылали их на службу в ряды армии.

Пополнив значительно свои ряды, Добровольческая армия к началу июля усилилась следующими войсковыми частями: одним пехотным полком («Солдатский»), четырьмя пластунскими батальонами, тремя кубанскими конными полками, пятью батареями. Части эти вошли в состав дивизий или пошли на развертывание новых соединений[2]; кроме того, в состав армии входили 4 бронепоезда и автоброневой дивизион из 6 машин.

Ввиду вступления у станицы Новопокровской на территорию Кубани, я обратился к кубанскому атаману с письмом, в котором указывал на необходимость подготовки им и правительством, помимо схемы гражданского управления области, и плана необходимых военных мероприятий. «Эти вопросы, — писал я, — как затрагивающие интересы Добровольческой армии, прежде чем проводить их в жизнь, должны быть нами совместно обсуждены». В основание военных мероприятий я ставил: 1) полное напряжение сил Кубани для скорейшего ее освобождения; 2) все первоочередные части должны входить и впредь в состав

[1] Кроме чисто кубанских конных и пластунских частей, кубанские казаки входили в состав пехотных добровольческих полков.

[2] Бригада Покровского развернута в Кубанскую дивизию и сформирована отдельная бригада (Глазенапа).

Добровольческой армии для выполнения общегосударственных задач; 3) в дальнейшем со стороны освобожденного кубанского казачества не должно быть проявлено никакого сепаратизма.

Как бы в ответ на это письмо состоялся приказ по войску, подписанный атаманом полковником Филимоновым и «военным министром» полковником Савицким. Приказ попал ко мне случайно. В нем самостоятельно, без моего участия, разрешены были все вопросы организации вооруженных сил, причем вместо призыва к полному напряжению давались уже опасные психологически обещания об освобождении из рядов армии, и в частности из чисто добровольческих частей, известных контингентов...

На этой почве произошла первая крупная размолвка моя с кубанскими властями. В результате атаман оставил в силе приказ, сохранив «принцип суверенности», я же продолжал организацию кубанских частей в мере действительной потребности, вызываемой общим военным положением.

Наконец, к этому же периоду относится еще один эпизод. Полагая, что после ряда побед достаточно назрела психологически возможность перестроения добровольческих частей на основах общеобязательной службы, я запросил секретно мнение по этому вопросу начальников дивизий...

Ответили, что пока *преждевременно.*

* * *

Довольствовалась армия, ввиду богатства края, обыкновенно хорошо — за наличный расчет, редко путем платных реквизиций. Иногда население кормило добровольцев по доброй воле бесплатно. Вообще нужно заметить, что имевшие место на этой почве злоупотребления меньше всего озлобляли народ, в глазах которого такого рода незаконная «повинность» если и была неприятной, не раз тяжелой, но стало уже привычной.

Снабжение армии несколько улучшилось; источниками его служили по-прежнему военная добыча, грузы, следовавшие в адрес советских учреждений, покупка за наличные, а на территории Кубани и за зачетные квитанции — за счет ее правительства. Реализация не имевшего военного значения советского добра служила вместе с тем некоторым источником пополнения скудной казны генерала Алексеева. Я снял с армии эту обузу и попросил Михаила Васильевича принять это дело на себя, поручив общественным деятелям из состава военно-промышленного комитета ликвидацию имущества.

Генерал Алексеев приехал в это время в Тихорецкую, предполагая вскоре вернуться в Новочеркасск. Но сначала его болезнь, потом занятие Екатеринодара задержали его при армии, с которой он более уже не разлучался. Вообще в последнее время здоровье М. В. сильно пошатнулось, но он невзирая на это работал из последних сил, отдавая всего себя на служение армии. Все, что касалось ее, он принимал близко к сердцу и, казалось, жил только этим «своим последним делом на земле»...

Генерал Алексеев создал особую комиссию, которую, между прочим, обязал, чтобы «в первую очередь были соблюдены интересы местного населения, избегая перепродавцов и спекулянтов», и чтобы работа шла «в полном контакте с кубанскими кооперативами и потребительскими организациями».

Дело пошло, к сожалению, так же плохо, как и в руках военного ведомства. Первый председатель комиссии Н. Парамонов в самом начале (4 августа) был арестован и выслан немцами, как состоявший в оппозиции к ним и к Донскому атаману. Проходили недели, месяцы, грузы портились, расхищались, а ростовские и новочеркасские общественные деятели организовывали и переорганизовывали комиссии, составляли и пересоставляли учет и перессорились вконец друг с другом. Сохранилась обширная переписка, характерная для безвременья и его деятелей. «Большинство членов комиссии, — пишет один из участников, мотивируя свой отказ от участия в ней, — лица совершенно неподготовленные и бесполезные, один заведомо вредный и невежественный... Члены комиссии не давали никакой опоры ни в общественном значении, ни в деловом, в сложных вопросах были опасны, а меня связывали в политическом (?) и деловом отношении»... «Вас ис-

пугало, — отвечает другой, — что разные недостойные люди начинают свивать себе гнездо и паутиной интриг для личной выгоды окутывают то святое дело, которое обагрено кровью тысяч юношей... Но разве Вы вчера родились и не знаете, что, к сожалению, на одного честного человека приходится тысяча негодяев»...

В итоге за ближайшие месяцы — август, сентябрь — комиссия успела из числа многомиллионного имущества реализовать его лишь на один миллион рублей.

На ту же комиссию возложено было генералом Алексеевым «принятие на учет всех оставленных большевиками железнодорожных грузов, находившихся на станциях (занятых армией), выяснение принадлежности грузов владельцам и возвращение им имущества с удержанием известного процента в пользу Добровольческой армии».

Реализация осложнялась вмешательством со всех сторон. Кубанское правительство считало собственностью войска все грузы, материалы и вообще всякое имущество, отбитое у большевиков на территории Кубани, и требовало передачи этого имущества в свое распоряжение. Генерал Алексеев на эти домогательства отвечал указанием, что военная база создавалась большевиками средствами всего Северного Кавказа и России. Я, со своей стороны, охотно соглашался уступить кубанским правителям всю «добычу», но с тем чтобы они взяли на себя и содержание армии...

Войсковые начальники, как например Покровский, в поисках популярности, раздавали «добычу» щедрой рукой станицам. Даже Дон через новочеркасское представительство передавал генералу Алексееву, что «хотя войско не претендует на оспаривание всего захваченного, но очень просило бы поделиться необходимыми для него предметами»[1]...

В общем итоге деятельности интендантства и общественных элементов в армии создавалось впечатление, что запасов всякого рода великое множество, но до войск они не доходят. Войсковые начальники и части вводили свои «коррективы» в систему снабжения, в результате которых

[1] Доклад Лисового от 6 июля.

мне пришлось 30 июля приказом разъяснять довольно элементарное положение, что «предметы военной добычи составляют собственность армии, а не тех лиц, в чьи руки они попали»... Это разъяснение имело особенное отношение к казачеству, где распространительный взгляд на «добычу» был не благоприобретенным, а составлял вековую традицию.

Другим подсобным средством пополнения казны являлись контрибуции, наложенные на те села Ставропольской губернии, население которых приняло участие в вооруженном противодействии Добровольческой армии. Контрибуции назначались по мере вины и соответствовали количеству населения: minimum — в Шаблиевке и Екатериновской (вместе 50 тысяч рублей), maximum — в Белой Глине ($2^1/_2$ миллиона). Разверстка была предоставлена сельским самоуправлениям. Это мероприятие, будучи рискованным и непопулярным, создавая неравномерное обложение, против ожидания не потребовало никаких репрессий и дало казне $6^1/_2$ миллионов рублей, из которых к 1 августа фактически поступило 3 миллиона.

Такими паллиативными мерами поддерживалась казна генерала Алексеева, от которой зависело само существование армии.

Особенно остро стоял вопрос со снабжением боевыми припасами, по-прежнему добываемыми только из двух источников: покупкой в небольших размерах от Дона по дорогой цене, за ставропольский хлеб и шерсть, и от большевиков ценой несравненно более дорогой — добровольческой кровью.

* * *

Считая движение наше на Кубань временным, предполагая, что организация гражданской власти произойдет за Волгой при его участии в масштабе всероссийском, генерал Алексеев не создавал при армии органов гражданского управления. Этот вопрос поднимался однажды в Мечетинской среди лиц алексеевского окружения и то несерьезно: со мной беседовал А. Ладыженский относительно организации гражданского и политического отдела при генерале Алексееве в составе его, Ладыженского, а

также Б. Суворина и кадета Богданова[1]. Я отнесся отрицательно к этому предложению.

Когда армия освободила северную часть Ставропольской губернии, организация местной власти стала насущно необходимой. У меня на походе для этой цели не было решительно никого. Вдвоем с Иваном Павловичем мы разрешали необыкновенно трудные вопросы запутанной, сложной местной жизни по всем отраслям управления и законодательства. Эти вопросы выдвигались каждый день, со всех сторон; все кругом искали помощи, защиты, а главное — каких-нибудь правовых норм, на которые можно было бы опереться. Можно было, конечно, воспользоваться готовым правительственным аппаратом Дона или Кубани. Но бесправное положение на Дону, потом и на Кубани иногороднего населения исключало всякую возможность присоединения, хотя бы и временного, Ставропольской губернии к одной из казачьих областей.

Я написал генералу Алексееву. Но и у него тогда, по-видимому, никого не было. Снесся с ростовским кадетом Зеелером, ввиду его стажа в качестве популярного либерального деятеля и бывшего ростовского градоначальника, предлагая ему вступить в управление Ставропольской губернией. Зеелер приехал, ознакомился с положением, дал понять, что он не прочь был бы занять пост моего помощника по гражданской части, но от губернии отказался.

Вообще в то время, когда по всей «пограничной» (в отношении советской России) губернии шли непрестанные бои и восстания, и губернский город впоследствии дважды переходил из рук в руки, служба там не привлекала никого; она требовала гражданского подвига. После первого занятия нами Ставрополя оттуда потянуло такой провинциальной склокой, общественные элементы так прочно и сложно переплелись во взаимном недоверии, озлоблении и вражде, что разобраться в этих взаимоотношениях было невозможно и вручить власть незнакомому местному человеку казалось опасным.

[1] Заведовал у генерала Алексеева финансовой частью. Впоследствии был министром внутренних дел Крымского правительства.

При такой обстановке пришлось начинать дело управления в первой освобожденной русской губернии. Приказами моими по гражданской части были признаны действующими все законы, изданные до 25 октября 1917 года, то есть до большевистского переворота; восстановлены суд, сельские и волостные власти, уездные, потом губернские учреждения. Во главе губернии поставлен был военный губернатор, полковник Глазенап — командир отдельной бригады, которая осталась в губернии в его распоряжении.

От первых шагов наших в освобожденном крае, хотя и занимавшем пока крошечную территорию, зависело много. И первые шаги оказались неудачными.

Кубанское правительство в пределах своей области восстанавливало автоматически станичные и окружные органы; кое-где в станицах перевыбирали правление и атаманов, в большинстве остались прежние, сменив лишь ненавистное казачеству наименование «комиссар». В городах прежние думы распускались, и местное самоуправление передавалось в руки назначаемых правительством голов, которые сами подбирали состав городских управ. В конституцию края и организацию областной власти было внесено еще одно серьезное отступление от практики недавнего прошлого: социалистические правители порвали окончательно с «паритетом», устранив от всякого участия в деле управления областью более половины его иногороднего населения. Правители были казаками, мыслили и чувствовали по-казачьи. Но если бы они и хотели в то время «проявить демократизм», то в силу создавшегося в казачестве настроения сделать это было очень трудно.

* * *

Как бы то ни было, армия подвигалась неизменно вперед, и от ее успехов главным образом зависели судьбы населения, значение разнородных политических течений в крае и отношение его к самой армии.

Армия представляла собой организм чрезвычайно сложный. В ней были и герои, наполнившие эпическим содержанием летопись борьбы; и мученики, оросившие ее страницы своею кровью; и люди, пришедшие без подъема, без увлечения, но считавшие необходимым исполнить

свой долг; и загнанные туда нуждой или просто стадным чувством. Были профессионалы войны, ищущие применения своему ремеслу; были исковерканные жизнью, которые шли, чтобы мстить; были и потерявшие совесть, хотевшие разбойничать и грабить. Наконец, была еще рыхлая, безличная среда вольных и подневольных людей, попавших охотою, по мобилизации, случайно, по своей или чужой ошибке; их психология менялась диаметрально при колебаниях боевого счастья...

Наши походы, в обстановке необычайной, создавали чудесные боевые традиции добровольцев. Но из них некоторые выносили также и печальные навыки: легкое отношение к жизни — своей и чужой, к «большевистскому» добру; слишком распространительное толкование понятия «большевик», которое обнимало широко вольных и невольных участников советского уклада.

У многих слагалась особая психология, создававшая двойную мораль: одну в отношении к своим, другую — к чужим.

Все те черные стороны жизни, которые были зачаты еще на мировой войне и углублены в революции общим упадком чувства законности и порядка, теперь — в обстановке гражданского безначалия, неуловимости преступлений и, может быть, пассивности общего отношения к ним — создали благоприятную почву для преступного элемента, который проникал в армию. Даже в штаб армии проникли такие люди, как некто, именовавший себя князем Химшиевым (начальник команды ординарцев), и подъесаул Чайдоянц (комендантский адъютант), — чины, имевшие по характеру служебных обязанностей постоянное и непосредственное отношение к населению; оба они попали затем под суд: первый — за грабежи, второй — за грабежи и убийства...

Командующий армией по своему положению не имеет возможности соприкасаться близко с самой гущей армейского быта, с его грехами и пороками. Но то немногое, что доходило до меня, доставляло немало огорчений.

Положение между тем становилось крайне трудным. В крае только что начинали восстанавливаться суд и гражданская власть; в армии не было пока военных юристов; суд в ней был поэтому упрощенный, далеко не совершенный: полковой нормального типа и военно-полевой. В нашей исключительной военно-походной обстановке этот последний в буквальном смысле слова мог только казнить или миловать. Смертная казнь, как высшая мера наказания, была всецело во власти суда. Но, подчиняясь общей психологии, и начальники и суды были милостивы к своим и суровы к «чужим».

В целях борьбы с самосудами (в большей степени, чем для ограждения армии) была введена статья в Уголовное Уложение[1], предусматривавшая виновность «в способствовании или благоприятствовании войскам или властям советской России в их военных или иных враждебных против Добровольческой армии или союзных с ней войск действиях». И вслед за сим организованы были комиссии для производства расследования по нарушениям этой статьи лицами, не принадлежащими к составу армии. Эти комиссии, которым было предоставлено право налагать и самим в административном порядке взыскания от 1 года 4 месяцев тюремного заключения до небольшого денежного штрафа, спасли многих людей от горькой участи. Впоследствии списки осужденных представлялись мне периодически начальником военного и морского судного отдела, и я уменьшал наказания или слагал их вовсе[2].

В тех же целях — предотвращения массовых самосудов — кубанское правительство на своей территории организовало повсеместно станичные «чрезвычайные» или «полевые суды». Эта мера имела последствия весьма печальные: составленные из казаков данной станицы, лишенные в своих действиях какой бы то ни было объективности, суды эти сводили кроваво личные счеты с ино-

[1] Статья 108[1].

[2] С 24 января по 6 февраля в судебно-следственную комиссию поступило 705 дел, из которых 266 переданы в другие судебные учреждения, 92 не разобраны, 82 окончены в административном порядке и 261 прекращено за отсутствием состава преступления.

городними, обратившись сами в орудие организованного самосуда.

* * *

В пестром калейдоскопе, который являла собою Добровольческая армия, каждый увидит тот свет или ту тень, которые пожелает найти. Но одни эти отдельные явления не дадут еще историку представления об облике армии. Он должен будет поставить их в теснейшую связь и зависимость от исторических условий зарождения армии, от духа народа, передавшего в армию свои добродетели, пороки и заблуждения.

Историк отметит несомненно еще одно важное явление: эпидемическое распространение русского большевизма — в формах, быть может, более слабых, иногда малозаметных, но поражавших тем не менее морально широкие круги, ему чуждые и враждебные. В навыки, приемы, методы, в самый склад мышления людей вливалась незаметно, несознательно большевистская отрава. Эпидемия пронеслась и по белым армиям, и по освобожденным районам, и по мировым путям расселения эмиграции. Она находила там свои жертвы среди философов и богословов, среди начальников и воинов, правителей и судей, политиков и купцов, в толще домовитого крестьянства, зажиточного мещанства и рабочих, казаков и иногородних; в красном, розовом, белом и черном станах.

Одни переносили болезнь легко, другие долго и мучительно, третьи не исцелились до сего дня.

В разные периоды своего существования переболела по-разному и Добровольческая армия. Но в своих подвигах, страданиях и грехах была постоянна в одном: она являла образ высокого самопожертвования и пламенного патриотизма.

ГЛАВА XXV

ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД. ПОДГОТОВКА ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ ОПЕРАЦИИ: КУЩЕВКА, КАВКАЗСКАЯ, ЗАНЯТИЕ СТАВРОПОЛЯ, ПЛАСТУНОВСКАЯ

Добровольческая армия, отдохнув в течение двух дней в районе Тихорецкой, приступила к подготовке *екатеринодарской операции.*

К этому времени северокавказские красные войска располагались в следующих организованных группах:

1. *Армия Сорокина* (около 30 тысяч) — по-прежнему в районе Кущевка—Сосыка.

2. *Екатеринодарская группа* — в составе екатеринодарского гарнизона (5—8 тысяч) и остатков Тихорецкой группы Калнина (2—3 тысячи) — деморализованных, остановленных с большим трудом в районе Кореновки.

3. *«Кавказская» группа* силой $3^1/_2$—4 тысячи человек, занимавшая железнодорожный узел Кавказской и выдвинувшаяся передовыми частями к станице Малороссийской. В том же направлении стояли крупные гарнизоны Армавира и Майкопа.

4. *Ставропольская группа* численностью 6—8 тысяч; отряды ее располагались в Ставрополе, в Благодарненском и Медвеженском уездах.

5. Наконец, множество более или менее организованных мелких отрядов, разбросанных по всему Северному Кавказу.

Чтобы расширить фронт движения и обеспечить предстоящую операцию, я поставил армии следующие задачи:

1. *Генералам Эрдели, Покровскому и полковнику Кутепову* (около 8—10 тысяч[1]) — разбить армию Сорокина и овладеть железнодорожным узлом Кущевкой, что приводило одновременно к освобождению Ростовского округа (Задонья).

---

[1] Боевой состав дивизий менялся чуть не ежедневно — с одной стороны от убыли, с другой — от притока пополнений.

2. *Генералу Боровскому* (3—4 тысячи) разбить «кавказскую» группу и овладеть железнодорожным узлом Кавказской.

3. *Полковнику Дроздовскому* ($2^1/_2$—3 тысячи) — прикрыть Тихорецкую со стороны Екатеринодара.

Независимо от чисто стратегических условий, всякое расширение фронта и занятие новой территории вызывало подъем там казачества и приток живой силы в ряды армии. А несравненные качества добровольцев позволяли мне с 20-тысячной армией вести одновременно операции от Кущевки до Армавира (220 верст), от Динской до Ставрополя (220 верст)...

3 июля армия начала наступление. В тот же день части Сорокина, стоявшие против Кагальницкого донского фронта, оставили его, поспешно уходя на Кущевку.

* * *

По разным причинам, вытекавшим из личных свойств начальников, нельзя было объединить командование над тремя дивизиями, направленными на Кущевку; пришлось руководить ими непосредственно мне.

Главная колонна — дивизия Кутепова — направлена была вдоль железной дороги; конница Покровского — правее ее от Незамаевской в охват Кущевки с востока; конница Эрдели левее — на Уманскую—Староминскую — на пути отступления Сорокина.

5 июля Кутепов у Сосыки, после краткого боя с большевиками, насчитывавшими несколько батальонов, 4 орудия и 3 бронированных поезда, опрокинул их и занял этот железнодорожный узел.

6-я колонна его, продолжая наступление, встретила крайне упорное сопротивление на линии станции Крыловской—станицы Екатериновской. После неоднократных атак 1-й дивизии удалось пополудни овладеть станцией. Но бой у Екатериновской продолжался до поздней ночи, вызвав большие потери и потребовав введения в дело всех резервов. Запоздалый подход шедшей с юга конницы Покровского еще более осложнил положение. Атаки марковцев и конников 1-го полка встречали неожиданно стойкий отпор большевиков, переходивших не раз в контратаку; бывали тяжелые минуты. Только в сумерках нам удалось оттеснить фронт большевиков. Утомленные войска заночевали в поле, а к рассвету противника уже не оказалось: под влиянием общей обстановки, отчасти угрозы со стороны появившихся частей Покровского, он отошел в направлении Кущевки.

В тот же день Эрдели, наступая вдоль железной дороги Сосыка—Староминская, вел ряд боев с боковым отрядом армии Сорокина, выдержал сильную контратаку его и к вечеру овладел станицей Уманской. В этом центре конспиративной работы и очаге восстаний казаков Ейского отдела дивизия Эрдели значительно пополнилась.

7-го вечером колонны Кутепова и Покровского продолжали наступление, на этот раз вполне согласованно. Под утро 8-го вновь начался тяжелый бой дивизии Кутепова при подходе к станции Кисляковской. Обе стороны проявляли незаурядное мужество; не раз то большевики, то добровольцы местами начинали отступление... Только пополудни, когда Покровский овладел станицей Кисляковской, угрожая тылу большевиков, занимавших станцию, в рядах их началось замешательство. Войска Кутепова стремительно двинулись в атаку, опрокинули противника, заняли станцию и преследовали большевиков на расстоянии трех верст.

Но Сорокин, придавая по-видимому исключительное значение Кущевскому узлу, к которому, как оказалось, спешно отходили войска его с Батайского и Кагальницкого фронтов, поезда и все обозы, направил на юг новые подкрепления и приказал отряду, действовавшему против Кисляковской, перейти в контрнаступление. Бой начался вновь — такой же упорный и кровавый, и только к вечеру войска Кутепова разбили, наконец, противника, хлынувшего в беспорядке в сторону Кущевки.

На рассвете 10-го предполагалась атака Кущевки...

Но в ночь на 10-е станцию Кущевку покинули последние арьергардные части Сорокина, главные силы которого отступали поспешно вдоль Черноморской железной дороги в направлении на Тимашевскую.

Утром 10-го колонны Кутепова и Покровского вступили в Кущевку; с севера одновременно с ними подходили донские части и... немецкие разъезды.

Раздавшийся вслед за тем взрыв Кущевского моста был тяжелой данью политике, сковавшей стратегию.

Занятие Кущевки имело для нас весьма важное стратегическое значение: оно вызвало полное очищение от большевиков Задонья и упразднение южного донского фронта, дало нам выход к Азовскому морю и обеспечение екатеринодарской операции с севера.

В этот день (10-го) я посетил Кущевку и дал войскам новые задачи: коннице Покровского преследовать главные силы противника на Староминскую, частью сил очистить Ейский район; коннице Эрдели двигаться наперерез пути Сорокина между Староминской и Тимашевской для удара во фланг ему; начать немедленную переброску дивизии Кутепова по железной дороге через Тихорецкую на екатеринодарское направление.

Армия Сорокина уходила, бросая свои обозы, склады и груженые поезда, стараясь выйти из стратегического окружения и из-под наших ударов.

Преследование ее, к сожалению, не отличалось напором и стремительностью. Ейск был занят 12-го. Покровский, не учтя обстановку, подчиняясь своей слабости к толпе и овациям, уделил более чем нужно сил и внимания этому второстепенному направлению и сам лично свернул с главного пути, чтобы посетить освобожденный город... Несколько дней было потеряно, связь с дивизией временно нарушена. Эрдели с 6-го числа оставался в районе Уманской и не мог или не дерзал ударить во фланг Сорокину, ведя мелкие затяжные бои с его боковым заслоном. Оперативные сводки этих дней характеризуют это направление стереотипной фразой — «положение без перемен».

Ведя затем параллельное преследование, Эрдели 13-го числа занял станицы Переяславскую и Ново-Корсунскую. К этому дню Сорокин успел уже сосредоточиться в районе Тимашевской, прикрывшись с севера труднопроходимым лиманом Лебяжьим и низовьями р. Бейсуга.

* * *

Генерал Боровский со 2-й дивизией начал наступление 3 июля. Выбив большевиков последовательно из ряда станций и станиц, пройдя в три дня с боями 60 верст, он атаковал 5 июля главные силы противника в районе Кавказской. Удар, нанесенный одновременно с запада, севера и северо-востока[1], увенчался полнейшим успехом: большевики бежали, главным образом за Кубань, не успев ни эвакуировать станции, ни повредить железнодорожного моста через реку. В наши руки попал огромный подвижной состав.

Обеспечив себя занятием станицы Тифлисской со стороны Екатеринодара и Ново-Александровской со стороны Ставрополя, Боровский прочно утвердился в Кавказском узле. Обладание им разъединяло стратегически Екатеринодар, Ставрополь и Армавир, открыв нам свободу действий по всем этим направлениям и обеспечив главное операционное направление армии с юга.

Но большевики, расположившись на левом берегу Кубани, тревожили добровольцев вылазками в районе железнодорожного моста и обстреливали наше расположение и станцию артиллерийским огнем. К тому же 8-го пришло известие о падении Ставрополя[2], что развязывало Боровскому руки в этом направлении. Поэтому он решил расширить свою задачу. Оставив полковника Писарева с Партизанским полком в районе Тифлисской—Кавказской, остальными силами дивизии переправился с боем на левый берег Кубани у станицы Темижбекской и 12 июля атаковал с фланга и с тыла группу большевиков у железнодорожного моста и станции Гулькевичи. Большевики частью были захвачены в плен, частью рассеяны.

Сравнительная легкость, с которой был достигнут успех, побудила дивизию развивать наступление к Армавиру... Я не толкал, но и не сдерживал. 13-го правая колонна (пластуны) Боровского взяла с бою станцию Кубанскую, а

[1] Отряд полковника Селезнева из мобилизованных кубанских казаков, шедший из станицы Дмитриевской.

[2] См. ниже.

левая — корниловцы с батареей — овладела Григорипо-лиской и, переправившись там же через Кубань, двинулась на юг правым берегом реки... К ночи корниловцы овладели Прочноокопской — станицей, висящей на высоком утесе Кубани над самым Армавиром. Утром соединенными силами обеих колонн после двухчасового ожесточенного уличного боя Армавир был взят. Разбитые большевики уходили в беспорядке на Майкоп и Невинномысскую...

Мы, однако, недооценили силы противника и к тому же в Армавире были, по-видимому, слишком беспечны...

В связи с успешно начавшимся 15 июля наступлением армии Сорокина[1] возобновилась деятельность красных войск на всех направлениях.

15-го большевики ударили на слабый заслон Партизанского полка у Тифлисской и захватили станицу, угрожая тылу Боровского. Но полковник Писарев вернул с бою станицу и стойко сдерживал затем неоднократные попытки большевиков форсировать там Кубань.

17-го большевики, значительно усилившиеся подошедшими из Майкопа подкреплениями, атаковали Армавир с запада. Боровский, обративший больше внимания на юг[2], не успел перегруппировать войска, вынужден был очистить Армавир и в ближайшие дни отойти к Кавказской. Южный авангард, отрезанный большевиками, с трудом пробился сквозь их расположение на соединение с дивизией.

Одержанный большевиками успех получил официальное признание со стороны «командующего Армавиро-Кавказским фронтом тов. Тулинова». Приказ его весьма характерен для красноармейских Епиходовых: «Честь и слава геройским полкам, отрядам, вверенным мне. Приношу Вам свою великодушную благодарность, за Вашу небывалую храбрость, целыми веками революций других иностранных государств. Вы стали выше исторических бойцов славы освободительной истории, героически заняли Армавир, с открытыми глазами и стальной грудью идя прямо по пути рассвета свободы...»

[1] См. следующую главу.

[2] Авангард был выдвинут на станцию Овечки, в 50 с лишним верстах от Армавира.

Армавирская неудача, весьма мало отразившаяся на стратегическом положении армии, имела, однако, трагические последствия для злосчастного города...

В дни занятия его Боровским измученное большевистским режимом население встретило добровольцев восторженно и потом всеми способами проявляло свое расположение к ним. Когда 17-го вернулись красноармейцы, началась расплата: большевики убили более полуторы тысячи невинных людей. Описание особой комиссии так рисует картину этого страшного дня: «...Беспрерывные ружейные выстрелы, прерывистый треск пулеметов, крики озверевшей толпы, хруст дробящихся прикладами черепов, стоны, хрипение умирающих, мольбы еще цеплявшихся за жизнь страдальцев, кровь, кровь кругом, ощущение то прикасающейся, то отдаляющейся руки смерти».

Из-за отвлеченных положений стратегии, из-за строк реляций, то радостно воспевающих победу, то сухо лаконичных, скрывающих неудачу, — глядело окровавленное и смертельно измученное лицо русского обывателя. И этот призрак побуждал не раз класть лишнюю гирю не на ту чашу весов задуманного плана операции, на которой покоились принципы военного искусства...

• • •

8 июля получено было донесение о падении Ставрополя.

Штабная сводка объявляла об этом событии следующими словами: «Советская власть изгнана из Ставрополя и вместе с Красной гвардией бежала в Армавир. В Ставрополь прибыл наш военный губернатор и вступили наши войска»...

Вероятно, для многих событие это казалось тогда значительным и радостным. Но для армии оно являлось тяжелой обузой. Занятие Ставрополя — не в порядке планомерного развития операции, а в результате партизанского налета — сделало положение города весьма непрочным; вместе с тем оно налагало на нас нравственную обязанность защищать его, отвлекая силы от главного направления.

Случилось все это в обстановке почти феерической.

В Кисловодске в мае объявился партизан, — полковник Шкуро. Он был заподозрен большевиками в контрреволюции, арестован и отправлен во Владикавказ. Там, при содействии генерала Мадритова, находившегося в добрых отношениях с терским «Советом народных комиссаров», Шкуро не только освобождают, но и отпускают обратно в Кисловодск. Прошло немного времени, и Шкуро во главе отряда, в состав которого входили кубанские казаки Баталпашинского и Лабинского отделов, в середине июня появляется под Кисловодском. Взяв город и продержавшись в нем несколько дней, он, выбитый большевиками, уходит на Кубань и ищет соединения с Добровольческой армией.

Выступление Шкуро дало сигнал к преждевременному восстанию терцев и к сильным репрессиям со стороны большевиков в отношении кисловодской буржуазии.

К концу июня отряд Шкуро появился в Ставропольской губернии, ведя по дороге удачные бои с большевистскими частями. Его движение опережала громкая молва о несметной силе отряда, неизменной удаче его «атамана» и жестоких расправах с советскими властями...

Появившись 5 июля к северу от Ставрополя, Шкуро вошел в связь с Добровольческой армией, а городу предъявил ультиматум о выходе из него в определенный срок красноармейцев, грозя в противном случае начать «обстрел тяжелой артиллерией»...

Как это ни странно, но комиссары Ставрополя и начальник гарнизона Шпак, напуганные тревожными вестями, идущими со всех сторон об успехах добровольцев, 8-го очистили город без боя...

Ликованию измученных жителей не было предела.

В Тихорецкой, куда приехал Шкуро представиться и заявить о своем подчинении, я первый раз увидел этого офицера, которого Кубань долго считала своим национальным героем. Тогда только начиналась еще восходящая линия его карьеры и слагались первые легенды... Молодой, нервный, веселый, беспечный, подкупающий своей удалью и бесшабашностью — словом, тип настоящего партизана. Отряд его имел состав приблизительно четырех полков, и

потому я обещал Шкуро после реорганизации и снабжения его артиллерией и технической частью развернуть отряд в дивизию, сохранив за ним командование.

Но прошло несколько дней, и из Ставрополя начали поступать тревожные сведения. Отряд Шкуро — отличный для набегов — был малопригоден для длительного боя на подступах к Ставрополю. Партизаны кутили (больше всех сам Шкуро), не раз обижали население, поделили склады... «Старики»-кубанцы ворчали — «не для того они шли в отряд, чтобы защищать буржуев»... Поддаваясь обаянию своего пылкого начальника, они в то же время скептически относились к его молодости и житейскому опыту — до того, что неясно было, кто над кем верховодит.

Кубанский атаман отнесся также с сомнением к отряду. В результате в Ставрополь был командирован вернувшийся после излечения ран, полученных в Первом походе, достойнейший полковник Улагай и принял дивизию, получившую потом наименование 2-й Кубанской. Шкуро, хотя и с некоторой обидой, согласился стать в ней бригадным командиром. Через некоторое время, по выделении наиболее беспокойных казаков Баталпашинского отдела в «Кубанскую Партизанскую отдельную бригаду», Шкуро получил с ней самостоятельную задачу — действовать на фланге Добровольческой армии и поднять закубанские отделы...

Ставрополь ликовал недолго. На третий день после освобождения (10 июля) опомнившиеся от испуга большевистские отряды повели наступление на город с трех сторон, подойдя к его предместью. Казаки Шкуро и вновь сформированный из ставропольских офицеров «3-й офицерский полк»[1] с трудом отбивали наступление. 12-го положение было грозное и потребовало переброски туда с главного — екатеринодарского направления полка с батареей и броневиком... Но Шкуро удалось отбросить большевиков за Кубань.

В районе Ставрополя наступило некоторое затишье, которое было нарушено 18-го, когда с юга и востока на го-

[1] Оказался небоеспособен и вскоре был расформирован.

род вновь повели наступление красноармейцы силами до 10 тысяч при 6 орудиях. И на этот раз партизаны, подкрепленные частями Боровского[1], после десятидневных боев разбили противника, преследуя его в обоих направлениях верст на 40.

В начале августа наступление повторится. И долго еще Ставропольское направление будет отвлекать преждевременно наши силы, средства и внимание, пока не войдет в нормальный район северокавказской операции.

•••

На Екатеринодарском направлении Дроздовский расширял район прикрытия Тихорецкой, продвигаясь постепенно к Екатеринодару. Действуя быстро и энергично, он опрокидывал слабые части противника, группировавшегося вдоль железной дороги, и занимал станицы по обе стороны ее, привлекая казаков к участию в борьбе. 9-го он взял после серьезного боя станицу Выселки, 10-го — Кореновскую, наконец 13-го — Пластуновскую, находившуюся в 90 верстах от Тихорецкой и в 37-и от Екатеринодара.

К 14-му закончилось сосредоточение в районе Пластуновской 1-й[2] и 3-й дивизий. Конница располагалась севернее, у Челбасской, имея передовые части у Переяславской и Ново-Корсунской в непосредственном соприкосновении с войсками Сорокина. Покровский должен был идти с севера на Тимашевскую.

Предстояло решить вопрос о направлении удара, в зависимости от сосредоточения главных сил Красной армии, в частности группы Сорокина: 1) если они в районе Тимашевской, то Добровольческой армии надлежало, прикрывшись заслоном со стороны Екатеринодара, ударить всеми силами в направлении Тимашевской; 2) если у Тимашевской только сильный арьергард, то, отвлекая его

[1] Улагаевский пластунский батальон из состава 2-й дивизии принимал главное участие.

[2] В командование 1-й дивизией вступил вернувшийся из командировки в Москву генерал Казанович. Полковник Кутепов стал бригадным командиром. 1-й Кубанский полк этой дивизии с гаубичной батареей был отправлен в Ставрополь.

прямым движением конницы Покровского и Эрдели через Тимашевскую, всеми силами обрушиться на Екатеринодар настолько быстро, чтобы не дать противнику возможности уйти за Кубань.

Вся совокупность войсковой и агентурной разведки свидетельствовала о том, что армия Сорокина, ослабленная численно и деморализованная, прикрываясь арьергардами, идет на Екатеринодар. Очевидцы передавали о тысячах повозок с пехотой и громадных обозах, непрерывной лентой идущих днем и ночью вдоль Черноморской железной дороги к Екатеринодару.

Поэтому принято было второе решение, приведшее к десятидневному сражению, — одному из наиболее тяжелых и кровопролитных за всю операцию.

ГЛАВА XXVI
БОИ НА ПУТЯХ К ЕКАТЕРИНОДАРУ. КОРЕНОВСКАЯ

Для овладения Екатеринодаром направлена была большая часть армии. Дивизии Казановича и Дроздовского (1-я и 3-я) — вдоль Тихорецкой линии; Эрдели (1-я конная) — севернее, параллельно им, к черноморской линии для удара по городу с севера; Покровский (1-я Кубанская дивизия) — с севера на Тимашевскую и далее в тыл Екатеринодарской группе большевиков. Боровский (2-я дивизия) должен был частью своих сил наступать вдоль Кавказской железнодорожной линии для обеспечения главного направления и для демонстрации. Для обеспечения тыла в Кореновской был оставлен пластунский батальон с двумя орудиями.

14 июля я с Романовским был в центральной группе, в станице Пластуновской, установил окончательно детали наступления и напутствовал каждую дивизию пожеланием, чтобы она «первою вошла в Екатеринодар». Этот прием боевого соревнования как нельзя более соответствовал общему настроению — все рвались к Екатеринодару.

К вечеру того же дня Дроздовский маневром окружения взял станцию Динскую, захватив 3 орудия, 600 пленных и большую добычу; южнее — Казанович занял с боя монастырь (Покровская община).

Поздно ночью я вернулся в Тихорецкую. Штаб армии на другой день должен был перейти в Кореновскую.

Но утром 15-го связь с центральными колоннами была порвана. По железнодорожному телефону мы получили донесение, что станица Кореновская была атакована крупными силами противника и взята им; гарнизон наш частью уничтожен, частью попал в плен.

Большевистские войска с занятием Кореновской оказались в тылу центральной нашей группы, отрезали ее от конницы Эрдели и штаба армии и создали непосредственную угрозу Тихорецкому узлу, для обороны которого оставались лишь 1—2 формирующихся батальона, 1—2 сотни и мой конвой.

Положение создалось грозное.

Я приказал немедленно отозвать из Ставрополя полк с батареей для нанесения совместно с бронепоездами удара по Кореновской с северо-востока, тогда как центральная группа будет наносить его, очевидно, с юго-запада; послал Покровскому приказание «минуя всякие препятствия» и чего бы это ни стоило атаковать Тимашевский узел и выйти в тыл Сорокину; Эрдели — ударить на Кореновскую с севера.

В центральную колонну штаб послал на аэроплане сообщение о направленной помощи; летчик должен был спуститься в районе Пластуновской, с риском попасть в руки неприятеля...

Прошли томительные сутки...

• • •

Сведения разведки о движении большевиков из Тимашевской на Екатеринодар имели некоторые основания: туда текли обозы, беженцы, дезертиры, мелкие отряды, отколовшиеся от Сорокина. Главные силы оставались, однако, в районе Тимашевской, приводились в порядок, пополнялись по пути мобилизованными. Силы эти насчитывали, как оказалось, не менее 25—30 тысяч. На основании согласных показаний пленных Сорокин принял решение: выставив против Покровского заслон из лучшей своей дивизии, которая должна была впоследствии отступать на Тамань и Новороссийск, самому пробиться через Кореновскую на Усть-Лабу, с целью уйти за Кубань. Вероятно, только впоследствии легкость овладения Кореновской и создавшаяся благоприятная обстановка побудили его использовать свое положение и попытаться разбить Добровольческую армию. Во всяком случае весь план свидетельствует о большой смелости и искусстве. Не знаю чьих — Сорокина или его штаба. Но если вообще идейное руководство в стратегии и тактике за время северокавказской войны принадлежало самому Сорокину, то в лице фельдшера-самородка советская Россия потеряла крупного военачальника[1]...

14-го Сорокин перешел в наступление на широком фронте, направляя главные силы на Кореновскую. В этот день он, отбросив конницу Эрдели, вышел на линию Переяславская—Ново-Корсунская—Сергиевская, а 15-го взял Кореновскую.

Ввиду неясных слухов о появлении противника у Сергиевской и Дядьковской, полученных к вечеру 14-го, послана была туда новая разведка, а колонны Казановича и Дроздовского были придержаны у Динской.

Когда утром 15-го колонны оказались отрезанными от Тихорецкой, Казанович и Дроздовский, по взаимному соглашению, оставив арьергард с бронепоездом у Динской[2], двинулись на Кореновскую, с целью атаковать ее. Марковцы Казановича — в поезде, дроздовцы — на подводах. 2-й конный полк был направлен на станцию Раздольную для атаки Кореновской с юго-востока.

С рассветом Казанович, имея всего два батальона марковцев с артиллерией и бронепоездом, атаковал большевиков в направлении станции Станичная, не дождавшись подхода Дроздовского, и потерпел неудачу; батальоны его залегли, отбиваясь огнем от наступавшей пехоты против-

[1] Убит в октябре большевиками в Ставрополе. См. ниже.

[2] Из состава 1-й дивизии батальон марковцев и 1-й конный полк.

ника, от атаковавшей большевистской конницы. В 8 часов утра войска Дроздовского развернулись севернее железной дороги, направляясь на станицу с запада, и бой под Кореновской, тылом к Екатеринодару, продолжался с новым напряжением в течение всего дня.

Войска Сорокина оказались здесь в значительно превосходящих силах и отменного боевого качества. Артиллерия его выпускала огромное количество снарядов.

Напрасны были многократные атаки наших дивизий, выезды «на картечь» батарей, личный пример начальников: Дроздовского, под непрерывным огнем ободрявшего свои войска; Казановича, выезжавшего в цепи противника на броневике в горячие минуты боя; Тимановского, водившего лично в атаку батальон марковцев для спасения положения...

Дивизии наши понесли тяжелые потери, были смяты и к вечеру отошли, преследуемые противником, за ручей Кирпели к станице Платнировской. «Отход пехоты, имевшей на своем пути болотистую речку, — говорится в описании действий дроздовской дивизии, — носил очень тяжелый характер... Были случаи самоубийства добровольцев, от изнеможения не имевших возможности (уйти) от противника и боявшихся попасть в его руки. Оставленных на поле боя раненых и выбившихся из сил постигла страшная смерть. Красные проявляли нечеловеческую жестокость, выкалывали глаза, вырезали члены и сжигали (потом) раненых на кострах»...

Дивизии остановились на ночь на позиции за ручьем. Части стали подсчитывать свои поредевшие ряды и почти израсходованные боевые припасы, приводились в порядок. На совещании, состоявшемся в эту ночь в штабе 3-й дивизии, обстановка рисовалась в крайне мрачном свете. Казанович так описывает это совещание: «Дроздовский объявил, что считает создавшееся положение критическим и единственный путь спасения видит в том, чтобы, пользуясь темнотой, отступить в восточном направлении и искать кружным путем соединения с командующим армией или Боровским... Что надо спасать части от уничтожения»... Казанович протестовал: «Такое отступление развяжет большевикам руки, они (возьмут) Тихорецкую, порвут всякую связь между отдельными частями армии... Операция будет сорвана... наше отступление поведет к поражению армии по частям. С другой стороны, нельзя себе представить, чтобы генерал Деникин оставался в бездействии; очевидно, он направляет все, что ему удалось собрать, в тыл стоящим против нас большевикам».

Казанович, наконец, заявил, что ввиду потери связи с командующим армией он, как старший, на основании полевого устава вступает в командование группой и приказывает с рассветом возобновить наступление на Кореновскую...

С утра 17-го были сделаны попытки наступления марковским полком, но безуспешно. Противник, в свою очередь, перешел в наступление по всему фронту.

С особенной силой большевики обрушились в направлении железной дороги на правый фланг дроздовцев (Солдатский полк) и на марковцев. Во многих местах окопы наши были захвачены и в них шел жестокий штыковой бой. С большим трудом при незначительной поддержке храброго 2-го Офицерского полка и батарее доблестного подполковника Миончинского удалось восстановить положение.

В атаках большевиков, невзирая на их исключительное упорство, добровольцы заметили, однако, какую-то необычайную нервность.

Большевики не просто атаковали — *они пробивались*...

В то время, когда силы добровольцев были уже на исходе, возле Платнировской спустился летчик штаба армии. Он сообщил так страстно желанную весть о приближении помощи со стороны Тихорецкой...

Настроение войск сразу поднялось.

Пополудни над Кореновской появились высокие разрывы шрапнелей. Это 1-й Кубанский полк с батареей и бронепоездом атаковал кореновскую группу противника с тыла.

Вскоре на всем поле между Кореновской и Платнировской добровольцы увидели ясную и знакомую им картину «конца», когда поле сразу оживает и по нему мечутся во все

стороны повозки, всадники и пешие люди... 1-й Кубанский полк ворвался в Кореновскую; навстречу ему шел стремительно Марковский. Разбитый противник спешно уходил двумя волнами: одна, смяв правый фланг марковцев, бросилась на юг, на Раздольное, откуда ее встретил атакой 2-й конный полк; другая в сравнительном порядке текла на запад, провожаемая огнем артиллерии Дроздовского, и остановилась тыловыми частями верстах в 2—3 от Кореновской. Дроздовский под впечатлением вчерашнего дня не решился преследовать ее пехотой...

Связь с Тихорецкой была восстановлена. Большевики понесли весьма тяжелые потери — добровольцы пощады не давали. Но и Добровольческая армия была сильно обескровлена. 1-я и 3-я дивизии потеряли 25—30% своего состава. В числе убитых были храбрейшие первопоходники-марковцы полковник Хованский, подполковник Плохинский, штаб-ротмистр Дударев и много других...

Не один день потом в Тихорецкой провожал я в могилу прах своих старых соратников, со скорбью в душе и с больной неотвязчивой думой:

— Уходят, уходят... один за другим...

Проклятая русская действительность! Что, если бы вместо того чтобы уничтожать друг друга, все эти отряды Сорокина, Жлобы, Думенко и др., войдя в состав единой Добровольческой армии, повернули на север, обрушились на германские войска генерала фон-Кнерцера, вторгнувшиеся в глубь России и отделенные тысячами верст от своих баз...

* * *

К утру 18-го войска Добровольческой армии на Екатеринодарском направлении располагались следующим образом: на севере генерал Покровский, ведя весьма упорные бои, форсировал низовья Бейсуга и после уличного боя овладел Брюховецкой. Эрдели расположился главными силами в районе Березанской, одним полком занимая Батуринскую. 1-я дивизия Казановича была на походе к станции Выселки, выделив Марковский полк на станцию Бейсуг. Дроздовский оставался в районе Кореновской, имея авангард в Платнировской.

В то время, когда происходили описанные выше события в южной группе Сорокина, северная продолжала наступление на восток, угрожая Березанской и Выселкам. 18-го большевики выбили Эрдели из Березанской и заняли станицу. В то же время другая их сильная колонна сосредоточилась у хутора Журавского, подойдя к вечеру к станции Выселки и открыв по ней артиллерийский огонь.

Необходимо было покончить во что бы то ни стало с этой группой, вновь угрожающей железной дороге и нашим сообщениям. Я приказал Дроздовскому вести активную оборону Кореновской, а Казановичу, с подчинением ему кроме 1-й дивизии и конницы Эрдели, разбить северную группу большевиков.

Казанович 18-го производил перегруппировку сил и отражал наступление большевиков на Выселки всего одним батальоном...

На другой день кореновская группа большевиков с утра большими силами обрушилась вновь на колонну Дроздовского. Весь день шел бой, в течение которого большевики несколько раз врывались в Кореновскую с юга. Одновременно замечено было движение сильной колонны вдоль р. Малеваны, с запада на восток, в глубокий обход позиций 3-й дивизии. Войска Дроздовского проявляли большое упорство, но противник был также необыкновенно настойчив, шел в превосходных силах, а главное, взял уже в свои руки инициативу, приковав Дроздовского к Кореновской и заставив его перейти к пассивной обороне.

Положение Кореновской стало безнадежным.

Понеся серьезные потери, утомленный физически и морально, Дроздовский отдал приказ об отступлении. Начав с трудом вывод войск из боя еще засветло, он в течение ночи отошел на восток, верст за 30, в станицу Бейсугскую, оторвавшись совершенно от противника. На другой день (20-го) он донес мне, что за минувшие бои дивизия сильно пострадала, в настоящее время небоеспособна и требует полного отдыха...

Известие об отступлении 3-й дивизии пришло в штаб армии и к Казановичу только пополудни 20-го. Казанович между тем вел упорные атаки Березанской и Журавки. Пер-

вая была нами взята, но сопротивление Журавской группы противника разбивало все наши усилия. Войска Казановича, в особенности Марковский полк во главе с Тимановским, ходили многократно в атаку, несли тяжелые потери, но успеха не имели.

21 июля Сорокин был назначен главнокомандующим красных войск Северного Кавказа, и это назначение, по-видимому, повлияло на упорство его войск.

На Екатеринодарском фронте создалось для нас положение тягостной, томительной неопределенности. Только на севере обстановка несколько улучшилась: 20-го наша флотилия, организованная в Ейске, вошла на рейд Приморско-Ахтарской и высадила там небольшой десант, который занял станцию, а в то же время Покровский после упорного боя взял станицы Ново-Джерлиевскую, Роговскую и Ново-Корсунскую, охватив с севера Тимашевский железнодорожный узел.

На 24 июля я вновь назначил общее наступление Екатеринодарской группы, привлекши и 3-ю дивизию: Дроздовскому приказано было, несмотря на переутомление дивизии, наступать на Кореновскую, в тыл северной группе большевиков, с целью облегчения задачи Казановича.

Оставив большую часть своих сил для выполнения задачи пассивной — прикрытия Усть-Лабинского направления, — Дроздовский с остальными 24-го двинулся левым берегом реки Бейсужка; но атаковать Кореновскую, занятую, по его сведениям, крупными силами противника, не решился и заночевал на полпути в хуторе Бейсужек. Казанович атаковал опять, опять понес большой урон — и безрезультатно. Между 1-й и 3-й дивизиями создавались натянутые отношения, основанные больше всего на их боевых достоинствах: и начальники, и части могли поспорить в доблести... Но трудно было сочетать два характера — безудержного Казановича и осторожного Дроздовского; две системы в тактике: у Казановича лобовые удары всеми силами, рассчитанные на доблесть добровольцев и впечатлительность большевиков; у Дроздовского — медленное развертывание, введение в бой сил по частям, малыми «пакетами» для уменьшения потерь, которые от этого не раз становились еще тяжелее. Утром 25-го Дроздовский продолжал движение, изменив его направление: учитывая слабость своих сил, он отказался от глубокого обхода и решил выйти в ближний тыл журавской группе большевиков. Двинувшись на хутор Малеваный и овладев им в десятом часу утра, Дроздовский направил 1-й Солдатский полк в сторону Выселок, где вел бой генерал Казанович. Появление наших войск вызвало большую панику среди большевистских обозов. В течение 4—5 часов Дроздовский, прикрывшись со стороны Кореновской конницей, вел здесь двусторонний горячий бой: обойдя большевиков, он оказался сам обойденным противником, подошедшим к Малеваному с юго-запада от Кореновской. Сдерживая его с этой стороны артиллерийским огнем, Дроздовский лично с «солдатскими» ротами отражал атаки с северо-востока. Большевики, стоявшие против Выселок, повернули в его сторону. Сначала одна волна, которая была расстреляна и уничтожена в штыковом бою, потом вскоре и остальные силы, преследуемые с севера марковцами и 1-м конным полком. Последний, в пылу увлечения, гонясь по пятам за большевиками, налетел и на дроздовцев и, пока недоразумение разъяснилось, понес потери от их огня.

Между тем севернее, у Журавской, 1-й Кубанский полк и конница Эрдели вновь с большим подъемом атаковали позицию противника с севера и северо-востока и, опрокинув большевиков, заняли станицу.

К 4 часам все было кончено.

Армия Сорокина, на этот раз понеся жестокое поражение, отступала на всем фронте, преследуемая и избиваемая конницей, броневиками, бронепоездами. К вечеру занята была с бою и Кореновская.

Только в этот день (25-го) я приобрел вновь полную свободу действий и получил возможность продолжать выполнение своего основного плана.

ГЛАВА XXVII
ВЗЯТИЕ ЕКАТЕРИНОДАРА

Армия Сорокина уходила с большой поспешностью главной массой в направлении на Екатеринодар, частью на Тимашевскую; там по-прежнему Таманская дивизия оказывала упорное сопротивление коннице Покровского и даже 28-го предприняла серьезное контрнаступление в направлении на Роговскую... На юге отдельная группа большевиков — 4—6 тысяч с артиллерией и бронепоездами — располагалась в районе Усть-Лабинской (постоянная переправа через Кубань), занимая станицы Воронежскую и Ладожскую и выдвинувшись передовыми частями к Раздольной и Кирпильской. Под прикрытием екатеринодарской укрепленной позиции и Усть-Лабинской группы, по мостам у Екатеринодара, Пашковской, Усть-Лабинской шло непрерывное движение обозов: советское командование перебрасывало свои тылы и коммуникации за Кубань...

Невзирая на крайнее утомление войск непрерывными боями, я двинул армию для неотступного преследования противника: Эрдели и Казановича — в направлении Екатеринодара с севера и северо-востока, Дроздовского — против Усть-Лабы. Покровский по-прежнему имел задачей овладение Тимашевским узлом и Боровский — содействие колонне Дроздовского продвижением части сил вниз по Кубани.

27-го кубанская конница Эрдели вышла к Черноморской железной дороге у станции Медведовской, а по Тихорецкой ветви блестящей конной атакой одного из кубанских полков овладела станицей Пластуновской. Дроздовский в этот день взял с боя Кирпильскую, а Корниловский полк — станцию Ладожскую, причем захватили исправный неприятельский бронепоезд с 6-ю орудиями и 8-ю пулеметами[1].

28-го, продвигаясь вдоль обеих железнодорожных линий, Эрдели занял Ново-Титоровскую и Динскую, подойдя на 20 верст к Екатеринодару. 29-го в районе Динской сосредоточилась и 1-я дивизия Казановича, причем бронепоезд ее подходил в тот день к разъезду Лорис на полпути к Екатеринодару.

Штаб армии перешел в Кореновскую, потом в Динскую. Задержка была за Усть-Лабой.

28-го Дроздовский производил развертывание по линии р. Кирпили и на следующий день атаковал Усть-Лабу, одновременно выслав конный полк с полубатареей против Воронежской. 4-й Кубанский пластунский батальон ворвался на станцию и в станицу, но, не поддержанный главными силами, вскоре был выбит оттуда большевиками, подошедшими из Воронежской, отчасти с востока. В разыгравшемся здесь бою большевики, отрезанные от Екатеринодара, сами многократно атаковали с фланга боковыми отрядами главные силы Дроздовского, перешедшие к пассивной обороне, задержав их к северу от станицы. В то же время параллельно фронту шла непрерывная переброска за Кубань по Усть-Лабинскому мосту большевистских обозов и войск. Только к вечеру по инициативе частных начальников кубанские пластуны ворвались вновь в Усть-Лабу совместно с Корниловскими ротами, наступавшими с востока. Арьергард противника, метавшийся между Воронежской и мостом, совместными действиями конницы Дроздовского был уничтожен, захвачены многочисленные еще обозы, орудия, пулеметы, боевые припасы; конница заняла Воронежскую.

30-го дивизия Дроздовского отдыхала. Я послал приказание двигаться безотлагательно к Екатеринодару, оставив лишь небольшой отряд для прикрытия Усть-Лабинской переправы. В этот вечер и на следующий день Дроздовский пододвинулся к станице Старо-Корсунской, объединившись справа с Казановичем.

Таким образом, к 1 августа вся Екатеринодарская группа Добровольческой армии подошла на переход к Екатеринодару, окружив его тесным кольцом с севера и востока.

1-го предстоял штурм Екатеринодарских позиций.

[1] Дело капитана Морозова.

Они тянулись от Кубани, опоясывая Пашковскую, — разъезд Лорис и далее к екатеринодарским «Садам»[1], пересекая Черноморскую железнодорожную линию; непосредственно впереди города шла вторая непрерывная линия окопов. Местность кругом была совершенно ровная, покрытая садами и обширными полями кукурузы.

1 августа после ожесточенного боя Покровский взял, наконец, Тимашевскую, и разбитый противник начал отходить в общем направлении на Новороссийск...

В этот же день с раннего утра начались бои на всем Екатеринодарском фронте. Кубанцы Эрдели дошли до «садов», сбивая передовые части противника, поддержанные бронепоездом; Казанович после горячего боя овладел разъездом Лорис и продвинулся вперед версты на две; Дроздовский потеснил противника к станице Пашковской и занял разъезд того же имени. В таком положении наши войска застала ночь, а наутро возобновился опять упорный бой.

Я шел с войсками Казановича. Все поле боя было видно как на ладони; вдали виднелись знакомые очертания города... Четыре месяца назад Армия уходила от него в неизвестное, раненная в сердце гибелью любимого вождя. Теперь она опять здесь, готовая к новому штурму...

Шел непрерывный гул стрельбы. Быстро подвигался вперед 1-й Кубанский полк под сильным огнем. Левее его цепи Дроздовского[2] покатились безостановочно к Пашковской, на некоторое время скрылись в станице и потом появились опять, пройдя ее и гоня перед собой нестройные цепи противника... Прошло немного времени, и картина боя изменилась: началось движение в обратном направлении. Наши цепи отступали в беспорядке, и за ними текли густые волны большевиков, подоспевших из резерва; прошли уже Пашковскую, угрожая и левому флангу Казановича. Дроздовский, вызвав свои многочисленные резервы, остановил с фронта наступление противника; я направил батальон Кубанского стрелкового полка в тыл большевикам; скоро треск его пулеметов и ружей вызвал смятение в рядах большевиков. Волна их повернула вновь и откатилась к Екатеринодару.

[1] Предместье города.

[2] 4-й Кубанский пластунский батальон и батальон 2-го Офицерского полка.

К вечеру Дроздовский занимал опять Пашковскую, заночевав в этом районе. Казанович продвинулся с боем до предместья.

На фронте Эрдели, у Ново-Величковской, бригада кубанцев (запорожцы и уманцы) атаковала и уничтожила колонну, пробивавшуюся на соединение с Тимашевской группой большевиков. К концу дня Эрдели атаковал на широком фронте арьергарды противника с севера и запада от Екатеринодара и в девятом часу вечера ворвался в город.

Утром 3-го наши колонны и штаб армии вступали в освобожденный Екатеринодар — ликующий, восторженно встречавший добровольцев. Вступали с волнующим чувством в тот город, который за полгода борьбы в глазах Добровольческой армии перестал уже вызывать представление о политическом и стратегическом центре, приобретя какое-то особое мистическое значение.

Еще на улицах Екатеринодара рвались снаряды, а из-за Кубани трещали пулеметы, но это были уже последние отзвуки отшумевшей над городом грозы. Войска Казановича овладели мостом и отбросили большевиков от берега.

В храмах, на улицах, в домах, в человеческих душах был праздник — светлый и радостный.

* * *

Взятие Екатеринодара было вторым «роковым моментом», когда по мнению многих — не только правых, но и либеральных политических деятелей, — добровольческое командование проявило «недопустимый либерализм», вместо того чтобы «покончить с кубанской самостийностью», посадив на Кубани наказного атамана и создав себе таким образом спокойный, замиренный тыл.

О последствиях такого образа действий можно судить только гадательно. Ни генерал Алексеев, ни я не могли начинать дело возрождения Кубани — с ее глубоко распо-

ложенным к нам казачеством, с ее доблестными воинами, боровшимися в наших рядах, — актом насилия. Была большая надежда на мирное сожительство. Но, помимо принципиальной стороны вопроса, я утверждаю убежденно: тот, кто захотел бы устранить тогда насильственно кубанскую власть, вынужден был бы применять в крае систему чисто большевистского террора против самостийников и попал бы в полнейшую зависимость от кубанских военных начальников.

Когда был взят Екатеринодар, я послал кубанскому атаману полковнику Филимонову в Тихорецкую телеграфное извещение об этом событии и письмо следующего содержания:

Милостивый Государь Александр Петрович!

Трудами и кровью воинов Добровольческой армии освобождена почти вся Кубань — область, с которой нас связывает крепкими узами беспримерный Кубанский поход, смерть вождя и сотни рассеянных по кубанским степям братских могил, где рядом с кубанскими казаками покоятся вечным сном добровольцы, собравшиеся со всех концов России.

Армия всем сердцем разделяет радость Кубани.

Я уверен, что Краевая рада, которая должна собраться в кратчайший срок, найдет в себе разум, мужество и силы залечить глубокие раны во всех проявлениях народной жизни, нанесенные ей изуверством разнузданной черни; создаст единоличную твердую власть, состоящую в тесной связи с Добровольческой армией; не порвет сыновней зависимости от Единой, Великой России; не станет ломать основное законодательство, подлежащее коренному пересмотру в будущих всероссийских законодательных учреждениях; и не повторит социальные опыты, приведшие народ ко взаимной дикой вражде и обнищанию.

Я не сомневаюсь, что на примере Добровольческой армии, где наряду с высокой доблестью одержала верх над «революционной свободой» красных банд воинская дисциплина, воспитаются новые полки Кубанского войска, забыв навсегда комитеты, митинги и все те преступные нововведения, которые погубили их и всю армию.

Несомненно, только казачье и горское население области, ополчившееся против врагов и насильников и выдержавшее вместе с Добровольческой армией всю тяжесть борьбы, имеет право устраивать судьбы родного края. Но пусть при этом не будут обездолены иногородние: суровая кара палачам, милость заблудившимся темным людям и высокая справедливость в отношении массы безобидного населения, страдавшего так же, как и казаки, в темные дни бесправья.

Добровольческая армия не кончила свой крестный путь. Отданная на поругание советской власти, Россия ждет избавления. Армия не сомневается, что казаки в рядах ее пойдут на новые подвиги в деле освобождения отчизны, краеугольный камень чему положен на Кубани и в Ставропольской губернии.

Дай Бог счастья Кубанскому краю, дорогому для всех нас по тем душевным переживаниям — и тяжким и радостным, — которые связаны с безбрежными его степями, гостеприимными станицами и родными могилами.

Уважающий Вас
А. Деникин

Кубанское правительство просило меня повременить со въездом в Екатеринодар, чтобы оно могло прибыть туда ранее и подготовить «достойную встречу». Но в Екатеринодар втягивались добровольческие дивизии, на том берегу шел еще бой, и мне поневоле пришлось перевести свой штаб на Екатеринодарский вокзал. Только к вечеру не вытерпел и проехал незаметно на автомобиле по знакомому городу — теперь неузнаваемому, загаженному, заплеванному большевиками, еще не вполне верившему счастью освобождения.

Много позднее, к величайшему своему изумлению, в отчете о секретном заседании законодательной рады (28 февраля 1919 года) в числе многих тяжких вин, предъявленных Рябоволом командованию, я нашел и следующую: «Когда после взятия Екатеринодара атаман и председатель рады были с визитом у Алексеева (в Тихорец-

кой), тот определенно заявил, что атаман и правительство должны явиться в город первыми как истинные хозяева; что всякие выработанные без этого условия церемониалы должны быть отметены. Но, конечно, этого не случилось»...

Тонкие политики! Если бы я знал, что наш *совместный въезд* в «столицу» (4 августа) так огорчит ваше чувство суверенности, я отказался бы вовсе от торжеств. И притом никто не препятствовал ведь правительству и раде войти в Екатеринодар хотя бы... с конницей Эрдели, атаковавшей город.

Первые часы омрачились маленьким инцидентом: добровольцы принесли мне глубоко возмутивший их экземпляр воззвания, расклеенного по всем екатеринодарским улицам. Оно было подписано генералом Букретовым — председателем тайной военной организации, проявившей признаки жизни только в момент вступления в город добровольцев. Начиналось оно следующими словами: «Долгожданные хозяева Кубани; казаки и *с ними часть иногородцев*, неся с собой справедливость и свободу, прибыли в столицу Кубани»... Добровольческая армия — «часть иногородцев»! Так...

Букретов пришел представиться и не был принят. Долго ждал на вокзале и, когда я вышел на перрон, подошел ко мне. Я сказал ему:

— Вы в своем воззвании отнеслись с таким неуважением к Добровольческой армии, что говорить мне с Вами не пристало.

Повернулся от него и ушел.

Этот ничтожный по существу случай имел, однако, весьма важные последствия. Букретов затаил враждебное чувство. Пройдет с небольшим год... Кубанская рада, весьма ревниво относившаяся всегда к чистоте казачьей крови своих атаманов, изменит конституцию края и вручит атаманскую булаву генералу Букретову... Человеку «чужому», не имевшему никаких заслуг в отношении кубанского казачества, состоявшему под следствием по обвинению во взяточничестве, по происхождению еврею, приписанному в полковничьем чине к казачьей станице, но зато... «несомненному врагу главнокомандующего»... Букретов приложит все усилия, чтобы углубить и ускорить разрыв между Кубанью и главным командованием, потом вероломно сдаст остатки Кубанской армии большевикам и исчезнет.

* * *

4 августа на вокзале торжественно встречали в моем лице Добровольческую армию атаман, правительство, Рада и делегации. Потом все вместе поехали верхом на соборную площадь, где собрались духовенство, войска и несметная толпа народа. Под палящими лучами южного солнца шло благодарственное молебствие. И были моления те животворящей росой на испепеленные смутой души; примиряли с перенесенными терзаниями и углубляли веру в будущее — страны многострадальной, измученного народа, самоотверженной армии... Это чувство написано было на лицах, оно поднимало в эти минуты людей над житейскими буднями и объединяло толпу, ряды добровольцев и собравшихся возле аналоя военачальников и правителей.

Когда проходили после молебствия войска — офицерские части, кубанская конница, черкесы — все загорелые, тщательно приукрасившие ради торжественного случая свои изношенные, заплатанные одежды, их встречали отовсюду любовно и трогательно.

В приветственных речах на вокзале, потом в застольных в войсковом собрании, кубанские правители — Филимонов, Быч, Рябовол и др. — превозносили заслуги Добровольческой армии и ее вождей и, главное, свидетельствовали, в особенности устами атамана, о своей преданности национальной идее. «Кубань отлично сознает, что она может быть счастливой только при условии единства матери-России, — говорил атаман. — Поэтому, закончив борьбу за освобождение Кубани, казаки в рядах Добровольческой армии будут биться и за освобождение и возрождение Великой Единой России»...

Это было самое важное; все остальное, казалось, приложится.

5-го приехал в Екатеринодар генерал Алексеев, встреченный торжественно и задушевно. Вновь состоялось мо-

лебствие и парад прибывшей неожиданно в Екатеринодар дивизии Покровского...

Покровский привел несколько полков, хотя город был взят уже два дня тому назад, а Тимашевская группа большевиков уходила на Славянскую... «Полки измотались, — говорил он, — все равно необходима дневка. Но всеобщее желание кубанцев было пройти еще лишних 15—20 верст, чтобы увидеть свою столицу, своих вождей и себя показать».

В этот день кубанцы чествовали генерала Алексеева. Опять слышались горячие речи, полные признания заслуг армии, любви к Кубанскому краю и глубокого патриотизма по отношению к России...

Я от души пожелал, «чтобы освобожденная Кубань не стала вновь ареной политической борьбы, а приступила как можно скорее к творческой созидательной работе».

ГЛАВА XXVIII
ПОЛИТИКА КУБАНСКОЙ ВЛАСТИ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КУБАНИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ ОСЕНЬЮ 1918 ГОДА

Окончились празднества, отзвучали речи и настали суровые, деловые будни. Войска двигались к Лабе, Тамани и Новороссийску, а екатеринодарская жизнь забила ключом, впитав в себя самые разнородные и зачастую резко противоположные интересы создавшегося вновь военного и политического центра Юга России.

Первым важным вопросом явилось разграничение власти военного командования и кубанского правительства.

Кубанские правители во главу угла поставили свою суверенность. Они основывали ее на своем выборном происхождении и на договоре с генералом Корниловым и Добровольческой армией, заключенном в Ново-Дмитриевской 17 марта 1918 года. И всякое действительное или казавшееся только нарушение этого принципа вызывало с их стороны упорное прямое или скрытое противодействие. Генерал Алексеев и я в свою очередь не имели ни малейшего желания вмешиваться в управление краем. Но жизнь была сильнее и кубанской власти, и командования и говорила языком своих суровых требований. Как-никак на территории «суверенного» края жила и боролась «суверенная» армия. Враг, еще многочисленный и сильный, занимал значительную часть Кубани, и положение требовало полного напряжения сил, полного подчинения всей краевой жизни и деятельности правительства интересам вооруженной борьбы.

Исходя из этих мотивов, мы основали наши взаимоотношения на «Положении о полевом управлении войск», поставив кубанское правительство в такую же связь с нами, какая существовала до 23 августа 1915 года между ставкой великого князя Николая Николаевича и российским правительством. Отсутствие верхнего звена в этой иерархической цепи создавало объективно поводы для крупных и мелких недоразумений и «превышения» то одной, то другой стороной своей компетенции. Тем не менее такое положение, не закрепленное никаким актом, оспариваемое не раз кубанским правительством, просуществовало фактически целых полтора года — долгий срок, в который мы безнадежно искали и не нашли приемлемых форм государственной связи Кубани с той Россией, которая была представлена командованием.

Совершенно невозможно перечислить все те мелкие поводы, главным образом материального характера, которые возникали ежедневно и портили наши отношения. Я остановлюсь лишь на той группе фактов, которую приводило само кубанское правительство в обращении к генералу Алексееву и ко мне[1]:

1. Вмешательство проходящих добровольческих отрядов во внутреннюю жизнь станиц и городов.

2. Реквизиции, производимые армией, в особенности большевистских складов, запасов и имущества, которые кубанское правительство считало своим призом.

[1] Сношение председателя Быча 18 августа.

3. Сбор продовольствия и отвод квартир непосредственным распоряжением органов армии, помимо кубанских учреждений.

Несомненно, претензии кубанского правительства имели немало оснований, но далеко не исчерпывали вопроса. За быстрым движением армии не поспевало административное устройство края... Органы снабжения и продовольствия кубанского правительства — малочисленные и немощные — не в состоянии были удовлетворить потребностей разбросанной на огромном протяжении армии... С обеих сторон — армейских и кубанских органов снабжения — проявлялось полное недоверие друг к другу и борьба за свои интересы, не умеряемая общей, единою властью. И если кубанское правительство не без известного основания говорило, что с ним «представители Добровольческой армии в своих распоряжениях, касающихся многих важных сторон местной и краевой жизни, не считаются», то прав был и генерал Алексеев, положивший на одном из представлений резолюцию[1]: «По закону все органы кубанского краевого правительства должны являться исполнительными для армии, очищающей вооруженною рукой территорию (области) и за нее ведущей борьбу. Практика и деятельность г-на Быча показывает иное. Мы не можем теперь рассчитывать на выполнение краевым правительством своих обязанностей перед армией. Остается заботиться самим, не останавливаясь перед суровыми реквизициями»...

* * *

Помимо этих столкновений материального характера, с первых же шагов обнаружилось идейное расхождение между кубанским правительством и командованием армии.

К кубанским деятелям неприменимы общерусские термины партийной принадлежности: в кастовом, сословно-казачьем укладе они теряют совершенно свое обычное содержание. Казак-эсер или, например, социал-демократ, — это совершенная аномалия. Можно говорить об этом лишь относительно.

[1] 31 августа.

Действенная казачья интеллигенция делилась на социалистов и либералов; почти не были представлены консерваторы. Сообразно территориальному и генеалогическому происхождению существовало деление на черноморцев[1] и линейцев[2], совпадавшее с большим отличием политических стремлений обеих групп. Встречались нередко уклонения отдельных лиц от такого грубого политического размежевания по территориальным признакам, но в широком обобщении оно было верно: слово «черноморец» стало синонимом украинофила, социалиста, сепаратиста; «линеец» — синонимом либерала, русского централиста или автономиста.

Политическим центром черноморцев был Екатеринодар, линейцев — Армавир. Первые имели довольно сильных в областном масштабе вожаков во главе с Бычом (председателем правительства) и Рябоволом (председателем законодательной рады). «Мозг» и «импульс» кубанского сепаратизма. Их неизменным спутником — тенью, декорацией — был товарищ председателя законодательной рады Шахим-Гирей. Он никогда не говорил других слов, чем его вдохновители, и притом всегда от имени всего черкесского народа. А мирный спокойный народ «его» совершенно не интересовался политической борьбой; почтенные представители черкесов впоследствии в раде единогласно присоединялись к мнению Шахим-Гирея и так же единогласно опровергали его, когда на заседании в среде их присутствовал другой, старший Гирей (Келеч) — командир Черкесского полка, храбрый доброволец и русский централист.

Линейцы были слабее численно и возглавлялись интеллектуально менее сильными лидерами. Это обстоятельство поставило линейцев в хроническое положение «оппозиции», группировавшейся вокруг полковника Филимонова. Центральное положение, им занятое, обусловливалось не

[1] Черноморцы — потомки запорожцев, населяющие северо-западную, бо́льшую часть Кубани.

[2] Линейцы — выселенные некогда с Дона «на линию» казаки и крестьяне, выходцы центральных и Ставропольской губерний.

политическим влиянием Филимонова, а ролью его как атамана, борющегося за атаманскую власть, обезличенную конституцией, расхищаемую правительством и законодательной радой; атамана, считавшегося другом Добровольческой армии.

Последнее обстоятельство требует некоторого разъяснения. С самого начала нашей совместной деятельности на Кубани атаман Филимонов играл не вполне определенную роль: в своей борьбе с черноморской группой он искал и находил всегда поддержку в командовании; но в борьбе командования с той же политической группой занимал часто нейтральное положение. Никогда, к сожалению, мы до конца не договаривались, и пути наши поэтому не раз расходились.

В толще кубанского казачества и в кубанских частях оба этих политических течения отражались вначале весьма мало. В особенности в войсках: казаки шли за своими начальниками, а эти последние были совершенно лояльны в отношении командования армии и разделяли всецело национальные стимулы ее.

В правительстве и раде возобладали черноморцы. Этот факт определил направление всей политики Кубани и ее взаимоотношения с Добровольческой армией. Первые месяцы, однако, противодействие армии со стороны кубанского правительства носило более пассивный характер, прорываясь лишь в резких агитационных выпадах против Армии членов господствующей партии в законодательной раде, в печати и на станичных сборах. Агитация почти не находила отклика в станицах, полных доброго чувства к армии-освободительнице. И генерал Алексеев, и я получали множество постановлений и приветствий от станиц — теплых, сердечных, бесхитростных, когда они были лишены... казенного штампа.

Правительственная агитация носила формы чрезвычайно грубые и примитивные. Чтобы дать понятие о характере их, я приведу один эпизод, имевший место через месяц после взятия армией Екатеринодара. 31 августа все екатеринодарские газеты получили циркулярное предложение от кубанского правительства напечатать приговор

станицы Старонижестеблиевской... В нем были такие перлы самостийной идеологии, с тонкой игрой на отождествлении советской власти с Россией: «Мы козаки... по своему слабоумию или недохвату в науци, нытак давно изминыли булы своий ридний Кубани, дали волю и власть проклятому *москалю*... Проклятый москаль волю и власть козачу штыком соби в руки захватыв, задавыв нас як мух»... но «наши батькы паны, як люди ученни, ны допустылы заблудывшихся нас до погыбыли, сталы на опалцаткы, перэд тию чернотою сибирякамы и каторжанами и вывылы нас з москальской нывoли... И спасыби Вам наши спасытыли Кубанци паны, гиниралы и весь начальствующий состав, в особенности рыдному батьку полковныку Фылымонову, батьку Бычу и всий Ради... вылыке спасыби... за Вашу щырость, за спасэние нас и нашых имущыств». Ввиду возмущения этим фактом «русской» общественности, кубанский «министр» Калабухов на другой день разъяснил, что «вышеупомянутый приговор с резолюцией Войскового Атамана «отпечатать», по личному недосмотру г. секретаря (правительства) был разослан во все редакции»...

А «москали» Корнилов, Алексеев, Марков, Дроздовский и много тысяч других — одни уже сложили свои головы, другие продолжали борьбу за спасение Кубани...

Казачество в целом не было пока вовлечено в нашу распрю. Сильный враг был еще у порога Екатеринодара, а какой будет политический облик созываемой Краевой рады — неизвестно. Перетягивать поэтому струны кубанским деятелям не стоило...

Тем не менее основные линии политики черноморской группы в деятельности правительства Быча начали проявляться с полной определенностью.

Идея «Великой Украины», в которой Кубань займет положение «равного члена», проводилась пока еще теоретически: немецкая оккупация и гетманский режим служили охлаждающим началом. Черноморцы ждали возвращения к власти центральной рады и Петлюры. Практически принимались, однако, меры к округлению границ «Великой Кубани», в пределах которой мыслились и юго-западная

часть Ставропольской губернии, и вся Черноморская[1]. По мере продвижения наших войск в пределы Черноморской губернии, за ними шли агитаторы, снабженные удостоверениями кубанского правительства, побуждая население требовать «возвращения к родной матери — Кубани»; они, впрочем, быстро вылавливались добровольческими властями. Позднее правительство Быча входило в тайные сношения с грузинами о присоединении к Кубани Черноморской губернии, находившейся под управлением добровольческого командования, и в то же время воздействовало на население бесхлебной губернии голодной блокадой, закрыв границы войска для продовольственных грузов.

Суверенность подчеркивалась и укреплялась всеми способами.

Официальная газета кубанского правительства[2] заявляла, что Кубань в будущем «не помирится на самоуправлении, ни даже на автономии, а будет отстаивать суверенные права... Казачество хочет быть полноправным хозяином во всех областях гражданской и экономической жизни. Ему нужны свои порты и дороги, независимость при определении своих отношений к другим соседним областям или государствам и полная частная и общественная инициатива и самостоятельность во всех вопросах экономической политики»...

Остатки общегосударственных учреждений закрывались — даже такие, как например, 14 приютов бывшего ведомства императрицы Марии, эвакуированных на Кубань в 1917 году и обреченных теперь на голодное существование. С другой стороны, областные учреждения, связанные административными нитями с другими губерниями Северного Кавказа, без всякого предуведомления командования превращались в самостийные краевые[3]. Распоряжением правительства был воспрещен въезд на Кубань

[1] Эти районы входили и в карту «Великой Украины».

[2] «Вольная Кубань» 22 сентября (передовая).

[3] Судебные учреждения Черноморской губернии, например, были ранее подведомственны Екатеринодарскому суду.

«русских беженцев», а в конце августа были закрыты все границы области для вывоза почти всего сырья и предметов продовольствия, чем нарушился установившийся обмен с районами, занятыми Добровольческой армией, отягчая их положение и вызывая неудовольствие против командования. Такие же распоряжения отдавались на Дону. С 13 сентября кубанское правительство подчинило себе железные дороги, проходящие по краю, и, таким образом, из Новороссийска, например, в Ростов через Торговую движение по одной Владикавказской дороге происходило через три «суверенных государства» с донскими и кубанскими таможнями: район Добровольческой армии (Новороссийск—Тонельная), Кубань (до станции Ея), опять район Добровольческой армии (до Торговой) и Дон (до Ростова)... Конечно, такое положение было нетерпимым, и начальник военных сообщений армии должен был наложить руку на всю сеть железных дорог театра войны.

Неоднократные попытки генерала Алексеева к согласованию деятельности, к объединению снабжения, финансовой системы и т. д. встретили подозрительность и недоверие кубанского правительства. И генерал Алексеев, разочарованный в своих ожиданиях в полной мере, писал атаману, что во всех правительственных мероприятиях Кубани он видит только «стремление всеми силами отмежеваться от вопросов общегосударственного значения, и все управление краем свести к удовлетворению чисто местных интересов»[1].

Казачий шовинизм в отношении иногородних — «русских» — проявлялся в формах, совершенно недопустимых. Казаки мстили за свое разорение, за свою кровь. Иногородние считались поголовно большевиками и являлись бесправными на кубанской земле. На них налагались тяжкие материальные кары за действительный и мнимый большевизм, включительно до отбирания домов и угодий безвестно отсутствующих глав семей[2]; детей их изгоняли из школ,

[1] Письмо атаману от 4 сентября № 86.

[2] Официальный текст закона говорил о «лицах, бежавших с большевиками из сочувствия к ним».

и само правительство создавало высшее учебное заведение для «коренных жителей края». А сколько людей перевешано и расстреляно было станичными судами, об этом неведомо было кубанскому правительству, не занимавшемуся подобной статистикой. В самом кубанском «парламенте», собравшемся в октябре, серьезно обсуждался вопрос *о поголовном выселении иногородних из Кубанской области*, причем более экспансивные ораторы сбивались: вместо «выселения» упоминали иногда об «истреблении».

Могло ли умерить эти настроения правительство Быча? Несомненно. Боролось ли с ними? На этот вопрос ответил на заседании рады товарищ председателя Рябцев: «Борьба с... *иногородними* (!) входила в одну из задач Законодательной рады»[1].

Обоснование этой борьбы было чуждо каких-либо идеологических мотивов. Это была только борьба за землю. Компетентное определение существа этой борьбы мы находим у председателя кубанского правительства Луки Быча: «Иногородние, — говорит он[2], — имели основание быть остро недовольными своим положением... Они здесь не имели земли, столь плодородной богатейшей земли, которая составляла общинную собственность всего войска и не могла поступить в их полное распоряжение, чего они, как истые крестьяне, так жаждали». Быч находил вполне естественным такой порядок. «Конечно, для них звучало бы странной иронией требование земли в том невозможном в действительности случае, если бы такое требование было предъявлено казаками, случайно поселившимися, скажем, в Тверской или Воронежской губерниях, откуда они пришли на Кубань... Революция, давшая возможность проявить и углубить притязания на казачьи земли со стороны иногородних, создала чрезвычайно тучную почву для внедрения большевизма в эту среду. Строго говоря, большевизм играл роль прикрытия к вопросу аграрному».

Как бы то ни было, игра на казачьем шовинизме составляла одно из главных средств для сохранения за собой влияния черноморской группы. Сойти с этой позиции — значило бы потерять влияние и власть.

[1] Из стенографического отчета.

[2] Статья Быча в «Донской Волне», 1918 год, № 21.

Общерусская революционная демократия мирилась с таким положением, оставаясь в постоянном союзе с «демократическим» правительством Быча в противовес «реакционному» командованию. А в народе эти чисто казачьи эксцессы заносились нередко в пассив добровольчеству, отягчая синодик наших собственных немалых прегрешений. Вообще, когда кубанский казак брал станицы, пушки и пленных, правительство ревниво следило, чтобы он был наименован *«кубанцем»*; когда же казак порол и грабил иногородних, его называли *«добровольцем»*.

Помимо морального и политического значения своего, эти взаимоотношения, как увидим ниже, имели следствием приток значительных пополнений иногородних в ряды Красной армии и усиление ее упорства и воли к продолжению борьбы.

***

В край, и в частности в Екатеринодар, наехало много общественных и политических деятелей из Украины, Крыма, Москвы. Одни из них присоединились всецело к позиции Добровольческой армии, другие стали в стороне, не решаясь еще открыто высказаться против подозреваемой в реакционности армии и вместе с тем испугавшись чрезмерного самостийничества «демократического» кубанского правительства. В начале сентября выступил Шульгин с «Россией», проводя с большою страстностью идеи монархизма и национализма. Загорелась жестокая полемика с органами левого и самостийного направления — «Вольной Кубанью» (правительственная газета), «Сыном Отечества» (газета Шрейдера), «Кубанским Краем» и др., отражая до известной степени течение борьбы между краевым правительством и командованием в области национальных задач. «Россию» считали нашим официозом и потому в ее лице направляли удары по адресу командования. Это было не совсем верное толкование. Газета всемерно поддерживала армию и имела близкую связь с нею, главным образом, благодаря личным дружественным отношениям Шульгина с генера-

лом Драгомировым[1]. Драгомиров и штаб армии давали газете информацию и иногда фактическое освещение мероприятий добровольческого командования и его взаимоотношений с другими новообразованиями. Но в политической идеологии своей Шульгин не был связан никаким обязательством. Он говорил от себя и за себя, иногда отражая мнение командования, иногда идя вразрез с ним. Влияние его органа на офицерство было, несомненно, очень велико. Пришлая «российская демократия», представителем которой считал себя Г. Шрейдер и члены редакции «Сына Отечества», отнеслись с особенным опасением к этому влиянию. «Сын Отечества», следуя твердо традициям отжившей охранной прессы, писал донос казачьим правительствам: «Открыто ведущаяся на Дону (Суворин) и на Кубани (Шульгин) пропаганда монархизма имеет все признаки государственного преступления... Постановлением бывшего Временного правительства, утвержденным волей Всенародного Учредительного собрания, разогнанного большевиками, в России установлена республиканская форма правления... Покушающийся в данное время на свержение этой единственно законной формы правления является преступником перед народом. Эти покушения предполагают заговор, бунт»...

Подобные откровения из области государственного права поддерживались кубанским правительством в нужных случаях, поддерживались им и шрейдеровские органы в качестве оппозиции Добровольческой армии. Но только до известного предела: Шрейдер с его Учредительным собранием[2] 1918 года для кубанских самостийников казался таким же централистом, хотя и социалистического образца, как и Шульгин.

Вообще настроение приезжей российской интеллигенции оказалось огульно не в пользу кубанской власти. И однажды Кубанское ведомство внутренних дел в длинном,

[1] Помощник Верховного руководителя генерала Алексеева.

[2] Позже организовал Юго-Восточный комитет членов Учредительного собрания.

полемического характера приказе[1] констатировало наплыв в Екатеринодар «множества членов различных партийных течений и организаций», которые «выявляют бесконечные резолюции, протесты и почти открытое противодействие местной правительственной власти». На основании «военного положения» ведомство нашло необходимым «воспретить все без исключения собрания» и «закрывать газеты» за статьи, «вызывающие недоверие к Краевой власти и затрагивающие (высших) представителей соседних дружественных новообразований»...

Только поношение Добровольческой армии и власти не преследовалось законом и исполнителями его, являясь одним из методов политической борьбы.

* * *

Наиболее серьезное столкновение с кубанской властью произошло по вопросу о выделении автономной *Кубанской армии* с подчинением ее во всех отношениях атаману и лишь в оперативном — добровольческому командованию.

К сентябрю относительный состав Добровольческой армии был следующий:

Состав части	Пехотных полков	Конных полков	Батарей
общероссийских	10 (пласт. бат.)	2	14
кубанских	8	16	7

Технические войска были укомплектованы по преимуществу общероссийским элементом. Все войсковые части в силу условий комплектования — в походе и в бою — были перемешаны. Казаки входили в большом числе в состав пехотных полков, в особенности 1-го Кубанского, Стрелкового и Партизанского; неказачьи офицеры, ввиду сильного некомплекта у кубанцев, составляли по преимуществу командный элемент в пластунских батальонах[2] и в

[1] Приказ Калабухова 24 октября 1918 года.

[2] Так было и во время мировой войны: кубанского офицерства хватало только на пополнение конницы и артиллерии; в пластунах (пехота) они служить не любили.

кубанских батареях. Если подсчитать боевой состав общероссийских и кубанских *частей*, то кубанцев в армии было 50%; внеся поправку за счет казаков, находившихся в рядах офицерских частей, эту цифру надо поднять до 60—65%.

На общем заседании командования и кубанских властей 12 августа вопрос о выделении *всех* кубанцев и создании армии поставлен был в форме категорического требования. Особенно настаивал на этом большой недоброжелатель армии, «военный министр» полковник Савицкий — офицер конвоя Его Величества, перешедший всецело в стан «социалистов» и самостийников. Такие неожиданные превращения весьма характерны: когда вспыхнула революция, одними из первых пришли в Думу дворцовые слуги (наследственно пользовавшиеся царскими милостями), чтобы заклеймить старый «ненавистный» режим и порадоваться на новых «господ»...

Официальные мотивы этого требования были знакомы и ранее: пример «старшего брата» — Дона, имеющего свою армию; моральное самочувствие кубанских казаков, заслуги которых якобы «затираются» под общим именем Добровольческой армии... наконец, необходимость иметь свою армию на случай ухода по стратегическим соображениям добровольцев. Кубанские правители не были здесь так откровенны, как на заседаниях законодательной, потом краевой рады, когда вопрос о борьбе с большевиками отошел окончательно на задний план, и Кубанская армия выдвигалась открыто как политическое орудие против Добровольческой. Один из черноморских лидеров П. Макаренко говорил: «Всякий человек, который хочет возвыситься над обыкновенными, старается прибрать к рукам вооруженную силу... Это общее правило — забрать больше власти над войсками, а тогда уже диктовать свои условия. Необходимо кубанские войска подчинить кубанскому атаману (правительству?), а в оперативном отношении он может подчинить их тому, кому найдет нужным»[1].

[1] Отчет о заседании 10 ноября 1918 года.

Создавать Кубанскую армию для политических целей Быча и Рябовола было нецелесообразно. «Их» армия в «Россию» не пошла бы. Но, помимо этого, такая операция над армией, находившейся в постоянном движении и в боях, была технически не выполнима и, во всяком случае, грозила полным подрывом ее боеспособности. Добровольцы остались бы с поределыми пехотными частями и без конницы, а кубанцы — без генерального штаба, без технических частей, с сильно ослабленной артиллерией и пластунскими батальонами, из которых, несомненно, ушло бы все неказачье офицерство.

Я соглашался постепенно, по мере притока укомплектований, выделять всех кубанцев из чисто добровольческих в казачьи части, но в формировании отдельной армии, нарушающей систему организации и затрудняющей стратегическое использование сил, категорически отказал.

Спор грозил затянуться до бесконечности. Я встал и заявил:

— В то время, когда половина Кубани под властью большевиков, и на полях ее льется кровь добровольцев, кубанское правительство стремится развалить армию. Я этого не допущу.

Извинившись затем за свой резкий тон и за уход перед генералом Алексеевым, я вместе с Романовским покинул заседание.

Вопрос этот заглох. Через месяц он поднялся опять в бурном заседании законодательной рады. Там, однако, оказался у нас союзник: атаман Филимонов защищал позицию командования и Добровольческую армию, в весьма резких выражениях обвинял правительство, требовал устранения им поводов к разрыву и призывал к полному единению с армией[1]. «Стоя близко к Добровольческой армии, — говорил он, — имея частые сношения с командующим... я не замечал никогда желания последнего мешать работе правительства или стремления к захвату власти». Отстаивая перед командованием иногда неумеренные требования «казачьей вольности», в своем кругу атаман Филимонов вносил уме-

[1] Заседание 19 сентября.

ряющую струю в разгоряченную атмосферу, созданную казачьим шовинизмом и центробежными силами. Свой взгляд на общность интересов армии и края он высказал однажды образной фразой: «Мы так срослись с Добровольческой армией, что каждое расхождение кровоточит»...

***

В смысле взаимоотношений армии и кубанского правительства первые два месяца были только прелюдией. Они только намечали глубокими бороздами те направления, которыми разойдутся пути Кубани и армии. Пока шел разговор лишь о размежевании власти на Кубанской территории и *не поднимался еще вопрос о создании «южной власти»*.

Тем не менее создавшееся положение борьбы «на два фронта» было крайне тягостным. Не раз после очередного столкновения мне высказывали мысль: что, если предоставить Кубань ее собственной участи и дальнейшую борьбу на ее территории — ее армии, выведя добровольческие части первоначально в Ставропольскую губернию?.. В конце концов это было возможно. Но дальше и мне, и Романовскому рисовались перспективы далеко не радостного свойства... Ослабленная и дезорганизованная Добровольческая армия должна была бы пробивать себе новые пути на север или на юг и начинать всю работу сначала — опять без базы, в политической обстановке, еще более сложной... Кубанская армия, лишенная «спинного хребта» в лице добровольческих частей, была совершенно бессильна справиться с Северо-Кавказской Красной армией. Мы увидим в дальнейшем, что после взятия Екатеринодара борьба с большевиками потребует еще 5 месяцев времени, полного напряжения всех сил Добровольческой армии и больших жертв... С нашим уходом большевики хлынули бы вновь в освобожденный край, затопили бы неповинные кубанские станицы и Черноморскую губернию... Все наши труды и жертвы пошли бы прахом.

Цепи, связывавшие нас с Кубанью, были неразрывны еще по одной причине: мне стало известно, что в случае решения об уходе Добровольческой армии кубанские военные начальники произведут в Екатеринодаре переворот, свергнув правительство и законодательную раду и, вероятно, истребят многих черноморских вожаков. Пришлось бы, следовательно, взяв на себя нравственную ответственность за происшедшее, возвращаться к исходному положению в обстановке, значительно ухудшевшейся в стратегическом и политическом отношении.

В таком напряженном положении обе стороны ждали Краевой Рады, которая должна была внести ясность в наши отношения.

Быч или Филимонов? Самостийность и федерация с Украиной или автономная Кубань в Единой Великой России? Война или мир?

ГЛАВА XXIX
СОСТАВ И ПОЛОЖЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ В АВГУСТЕ. РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОРОН. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПЛАН ОПЕРАЦИИ. ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД: ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬШЕВИКОВ В ЗАКУБАНЬЕ. ВЗЯТИЕ МАЙКОПА

Постепенно развертываясь и укомплектовываясь, Добровольческая армия к сентябрю имела следующий боевой состав[1]:

Части \ Состав	Штыков и шашек	Орудий	Пулеметов
1-я дивизия	2678[2] 3165[3] 1964[4]	16	75

[1] Разновременно в состав дивизий по мере надобности давались пластунские батальоны и станичные гарнизоны и потому состав указан весьма приблизительно.

[2] В резерве командующего.

[3] На Туапсинском фронте.

[4] На Ставропольском фронте (два пластунских батальона).

Состав / Части	Штыков и шашек	Орудий	Пулеметов
2-я дивизия	4907	11	48
3-я дивизия	3442	11	57
Отдельная стрелковая бригада	973	—	—
1-я Конная дивизия	3564	9	21
1-я Кубанская казачья дивизия	2986	8	12
2-я Кубанская казачья дивизия	1760	8	5
Кубанская партизанская бригада	656	2	2
Отдельная Кубанская казачья бригада	1600	4	8
Гарнизон Ейска	1204	—	—
Польский отряд	?	?	?
Армейская группа артиллерии а) 2 тяжелых батареи б) 5 бронепоездов	—	5 9	5 9
Авто-броневой дивизион	число машин 8	3	15
1 и 2-й авиационные отряды	число машин 7		
Радио-дивизион	?		
Железнодорожная рота	?		

Состав / Части	Штыков и шашек	Орудий	Пулеметов
Техническая рота	?		
Запасные части	Конных полков	Запасных батальонов	Пластунских батальонов
	1	6	5
	людей 3—5 тысяч		
Всего[1]	Штыков и шашек	Орудий	Пулеметов
	35—40 тысяч	86	256

Для пополнения армии призваны были в ряды ее по мобилизации еще два возраста — призыва 1916 и 1917 годов, проходившие нормально через органы местного военного управления и запасные части. Кубанцы дали в действующую армию 10 возрастных классов. Штабу приходилось вести при этом длительную борьбу с войсками, которые путали и сбивали все расчеты, мобилизуя сами в свои ряды бессистемно отделение районов, ими проходимых. Шла большая организационная работа по развертыванию частей, органов снабжения, санитарных, военных сообщений.

Можно отметить и некоторые бытовые вопросы, возникшие в этот период. Приостановка чинопроизводства в течение года произвела большие осложнения в привычных для офицерства взаимоотношениях, тем более что в армию притекали офицеры с Украины, Кавказа, где гетман, новые правительства и генералы, ликвидировавшие бывший Кавказский фронт, не только производили офицеров за выслугу лет, но и награждали за отличие чинами и даже георгиевскими крестами. Производство существовало и в соседней Донской армии.

Но восстановление производства выдвигало на сцену другой больной для армии исторический вопрос — о преимуществе в чинах офицеров гвардии. Теперь в рядах

[1] Не вошли в расчет чины технических частей, нестроевые, чины некоторых полков и батарей, не доставившие в свое время сведений.

Добровольческой армии в отношении офицеров, служащих в одной и той же части, такое преимущество одних являлось еще большим анахронизмом и слишком бросающейся в глаза несправедливостью. Чтобы не идти путем умаления в ранге гвардейских чинов, я упразднил в армии чин подполковника, сравняв затем в правах прохождения службы офицеров гвардии и армии. Впоследствии, в силу технических затруднений, чин подполковника пришлось восстановить для всей армии, но гвардейские привилегии были окончательно упразднены.

Мера эта прошла вполне безболезненно, если не считать, что против начальника штаба, который сам служил когда-то в гвардии, появилось новое обвинение: «Ненавистник гвардии».

В центре шла одновременно организационная работа и политическая борьба, а войска подвигались все дальше вперед. Успех воодушевлял армию, примиряя с невзгодами и лишениями, с постоянными недочетами снабжения, с тяжелыми условиями санитарно-медицинской помощи; словом, с тем неустройством тыла, которое росло с увеличением армии и территории, ею занимаемой, которое историк отметит во всех армиях эпохи гражданской войны, — неустройством, составлявшим настоящее бедствие.

Уже тогда, осенью 1918 года, с тылом мы не справились. Менялись по многу раз начальники тыла и его учреждений, сформировывались и переформировывались исполнительные органы. И тогда, и потом были во главе люди со стажем государственной и административной работы, с установившейся репутацией воли, энергии и опыта, а дело оставалось неизменно в безнадежном положении. Потому ли, что не удалось найти «настоящего» организатора тыла, потому ли, что общие условия — потрясающая бедность армейской казны, развал хозяйственной жизни страны, всеобщая моральная распущенность и политические трения — ставили затруднения непреоборимые.

В результате добровольцы оставались без одежды, без сапог и с весьма примитивной медико-санитарной помощью. Переносили свое положение стоически и даже зло в дни успехов, и кляли тыл в дни неудач. И если армия все

же жила, двигалась, боролась и побеждала, то в этом... не было заслуги тыла. Боролись все одни и те же люди, те же части — изо дня в день, без отдыха, без смены, потому что сил всегда было недостаточно, потому что на пути своем они встречали все новые и новые полчища.

Новый стратегический масштаб развернувшейся на широких фронтах армии вызвал известную перемену в системе ее управления: до сих пор в течение пяти месяцев я имел возможность вести армию лично, непосредственно, имея с ней полное и постоянное общение. Теперь открывалась более широкая стратегическая работа начальникам, и вместе с тем суживалась сфера непосредственного моего влияния на войска.

Раньше я вел армию, теперь я командовал ею.

* * *

В начале августа фронт Добровольческой армии простирался от низовьев Кубани до Ставрополя (восточнее), на расстоянии около 400 верст.

На этом протяжении группировка неприятельских сил была следующей:

1. *Таманская группа Матвеева*, насчитывавшая разновременно от 10 до 15 тысяч, располагалась в районе станицы Славянской, прикрывая Новороссийское направление вдоль Черноморской железной дороги. Численность ее и в особенности отменное боевое достоинство наша разведка недооценивала.

2. Группа, *непосредственно подчиненная Сорокину*, — около 16 тысяч, перейдя за Кубань, задержалась в низовьях Лабы.

3. *Армавирская группа*, силою в 6—8 тысяч, прикрывала линию Кубани от Усть-Лабинской до Армавира, располагаясь в двух пунктах — против Кавказской и в Армавире.

4. *Ставропольские группы*, организовавшиеся в разных местах, неопределенной численности, подступавшие к Ставрополю с северо-востока, востока и юга силами 8—10 тысяч.

5. *Невинномысская группа*, образовавшаяся вероятно только к концу августа, неопределенной силы. Начальни-

ку ее Гайчинцу подчинялись и ближайшие части Ставропольской группы.

6. *Майкопская группа* — около 5 тысяч, расположенная в районе Майкопа—Белореченской.

7. Ближайшим резервом этих групп могла служить *Минераловодская группа*, не занятая непосредственно борьбою с терскими казаками, — около 5 тысяч.

Силы большевиков на Северном Кавказе, беспрестанно изменяя свою численность, к сентябрю насчитывали до 70—80 тысяч при 80—100 орудиях.

К октябрю соотношение сил изменилось: при прежнем приблизительно боевом составе Добровольческой армии силы Северо-кавказской армии большевиков исчислялись нашей разведкой в 93 тысячи при 124 орудиях. При этом между Лабой и Кубанью числилось 50 тысяч при 65 орудиях и в Ставропольском районе — 40 тысяч при 59 орудиях.

Таким образом, взятие Екатеринодара Добровольческой армией не разрешало еще окончательно ни в стратегическом, ни в политическом отношении ее задачи на Кубани. Борьба с большевиками оказалась по-прежнему непосильной кубанскому казачеству. Предстояло, следовательно, дальнейшее движение наше, которое, став в силу сложившейся обстановки неизбежным, развиваясь планомерно и последовательно, приводило к обеспечению освобожденного края и всего Северного Кавказа надежными естественными рубежами — Черным и Каспийским морями и Кавказским хребтом. Каспийское море, кроме того, открывало сообщение с сибирскими образованиями через Гурьев и с англичанами через Энзели, а Черное море соединяло с Закавказскими новообразованиями и полуоткрывало окно в Европу...

Исходя из этой широкой задачи, ближайшей целью армии я поставил освобождение западной Кубани и Черноморской губернии и обеспечение защиты от Ставропольского района, становившегося организационной базой большевиков; после чего всеми силами обрушиться на армию Сорокина, зажав ее между Кавказскими предгорьями и Кубанью.

Эта борьба — жестокая, кровавая и упорная — спасала не один только Северный Кавказ. *Только благодаря ей являлось возможным независимое существование Дона и Грузии. Только она давала необходимую передышку этим новообразованиям, давала время им собраться с силами и спасла в 1918 году их земли от потока наиболее организованных, наиболее стойких большевистских полчищ Северного Кавказа.*

Вожди Дона и Грузии не хотели в свое время понять значения этой борьбы.

* * *

Против Таманской группы противника от Екатеринодара направлены были 5 августа 2 колонны: генерала Покровского (1-я Кубанская дивизия) по правому берегу Кубани и полковника Колосовского (1-й конный полк, 1-й Кубанский стрелковый полк, батарея из состава 1-й дивизии, 2 бронепоезда) — вдоль железной дороги на Новороссийск.

Генерал Покровский 7 августа после жестокого боя овладел станицей Славянской. Противник, оказывая упорнейшее сопротивление, уходил двумя колоннами — на Троицкую и Варениковскую переправы; к утру 8-го числа Покровский вел уже бой за обладание железнодорожным мостом у Троицкой, затянувшийся на трое суток, в то время как главные силы его двигались к низовьям Кубани. 11-го Покровский разбил арьергард большевиков у Варениковской и к вечеру занял Темрюк, захватив 10 орудий, много снарядов и несколько сот пленных.

Таманская группа, понеся тяжелые потери и жертвуя своими арьергардами, успела перейти за Кубань, спеша к Новороссийску, который в то время находился уже под сильной угрозой с северо-востока...

Полковник Колосовский наступал быстро и решительно вдоль Новороссийской линии, опрокидывая противника, захватывая пленных, орудия, бронепоезда, уничтожая совдепы и поднимая нагорные станицы. 11-го, после полуторадневного тяжелого боя, он овладел узловой станцией Крымской, вызвав тем падение Троицкой переправы; затем, пройдя в два дня с боями 40—50 верст, 13-го от-

бросил тыльные части большевиков и занял *Новороссийск.*

Добровольцы были встречены там восторженно.

В эти два-три дня Таманская группа, задержав Покровского на переправах через Кубань, уходила форсированными маршами и, успев проскочить через Новороссийск до 13-го, двинулась далее побережьем на юг, вырвавшись из-под наших ударов. Мы получали сведения о бегстве расстроенных и разлагавшихся толп, но сведения эти оказались неверными: Таманская группа сохранила известную организацию, дисциплину и, главное, ту стойкость, которая неизменно отличала ее в дни Тимашевской операции. По пути к ней присоединялись все беспокойные, отчаянные элементы Тамани, Новороссийска, побережья, все мелкие отряды, спасавшиеся от мщения восставших станиц. По Сухумскому шоссе катилась эта волна людей и лошадей, съедавшая, как саранча, все скудные запасы побережья. Было ясно, что там, в голодном краю Черноморья, такой крупный отряд без подвоза долго жить и действовать не может; на Грузию, конечно, не пойдет. Естественно было ожидать движения его вдоль Туапсинской железнодорожной линии в направлении Армавира на соединение с армией Сорокина. Поэтому, приказав Колосовскому преследовать таманцев вдоль побережья, я перебросил дивизию Покровского, остановившуюся к северу от Новороссийска, левым берегом Кубани наперерез Туапсинской линии в Майкопский район.

Слабые конные части Колосовского, двигаясь вслед за отступавшим противником, сбивая его арьергарды, к 20 августа заняли Ольгинскую в полупереходе от Туапсе, в котором сосредоточились, отдыхали и устраивались войска Таманской группы.

С этого дня на побережье были лишь мелкие стычки и деятельность разведчиков.

Таким образом, к середине августа западная часть Кубанской области и север Черноморской губернии были освобождены от большевиков, и *Добровольческая армия, заняв Новороссийск, утвердилась на Черном море.*

Покровский, пройдя между тем 180—200 верст, 26-го занял станцию Белореченскую и, продолжая преследование отступавшей на восток Майкопской группы противника, к вечеру занял город Майкоп и станцию Гиагинскую. В этом районе к нему присоединились два сборных кубанских отряда — полковника Морозова, ранее действовавшего совместно с грузинами Мазниева, и генерала Геймана, поднявшего восстание в районе Майкопа.

Выход Покровского к Туапсинской линии встревожил таманских большевиков. В тот же день Таманская группа двинулась из Туапсе через Хадыженский перевал в направлении Армавира и в ночь на 29-е подошла к Белореченской. С этого времени в течение 10 дней длился неравный бой 3 тысяч кубанцев Покровского *тылом* к Михайловской группе Сорокина против 10—15 тысяч таманцев, пробивавшихся на восток. Только к 1 сентября к северу от Белореченской вышли еще $1^1/_2$ батальона полковника Моллера, двинутые на поддержку Покровского из моего слабого резерва.

Эта операция полна отдельными эпизодами находчивости и удали кубанских частей, работавших и на фронте, и в тылу противника, устраивавших засады и ходивших в отчаянные атаки на неприятельские окопы.

29-го, после горячего боя, большевики овладели Белореченской и стали укрепляться в ее районе; 2 сентября возобновили атаки крупными силами к югу от станции, через Ханскую в направлении Майкопа. Большевикам удалось перейти реку Белую и даже захватить станицу Ханскую, но, встреченные конными атаками кубанцев с тыла и фланга, они, понеся большие потери, отхлынули за реку. На другой день, распространяясь к северу, большевики смяли заслон Моллера и в ночь на 4-е обрушились всеми силами на части Покровского, преграждавшие им путь на восток; опрокинули их, ушли за Лабу и, соединившись там с Сорокиным, стали в районе Курганной.

Все это время бывшая группа Сорокина, атакованная 1-й Конной и 3-й дивизиями и развернувшая против них все свои силы, не предпринимала серьезного нажима в тыл Покровскому. Так же пассивна была расстроенная им

Майкопская группа. Только в день последнего боя, воспользовавшись отвлечением главных сил Покровского к Белореченской, Майкопская группа перешла в наступление от Кужорской и заняла вновь Майкоп. Покровский, предоставив преследование Таманской группы небольшим конным частям, повернул главные свои силы на Майкоп. 7 сентября в происшедшем здесь бою разбил большевиков, взял тысячу пленных, большую военную добычу и захватил окончательно город.

1-я Кубанская дивизия повернула затем на восток к Лабе, приступив к выполнению общеармейской задачи по окружению армии Сорокина.

2-я дивизия Боровского была двинута в Ставропольский район, ввиду серьезной и непосредственной угрозы Ставрополю. Ее сменила дивизия Дроздовского, к 7 августа закончившая свое развертывание для занятия линии р. Кубани от станицы Пашковской (возле Екатеринодара) до станицы Григорополисской на протяжении около 180 верст. Заняв гарнизонами пункты с важнейшими переправами (Усть-Лабинская, Тифлисская, Романовская) и имея подвижный резерв в поездных составах, Дроздовский на остальном протяжении ограничился наблюдением и расстановкой отрядов, сформированных из казаков прибрежных станиц; несли они службу весьма охотно и исправно.

Преследование главной колонны Сорокина, отступавшей через Екатеринодар и Усть-Лабу на восток, возложено было на дивизию Эрдели. 8 августа дивизия сделала попытку переправиться через Кубань у Усть-Лабы, но ввиду плохой технической подготовки переправы, потерпела неудачу: передовые части ее, успевшие перейти на левый берег Кубани, были сброшены большевиками в реку и понесли большие потери. Эрдели отказался от форсирования реки и, потеряв целую неделю, кружным путем через Екатеринодар к 14-му вышел левым берегом Кубани к реке Белой, где столкнулся с авангардами бывшего отряда Сорокина и Майкопской группы.

С 14-го Армавирская группа большевиков проявила активную деятельность: во многих местах противник форсировал переправы через Кубань, особенно серьезными силами у Кавказского узла (хутор Романовский). Войска Дроздовского отбили, однако, большевиков повсюду, а у Кавказской, отрезав их от переправ, частью перекололи, частью утопили в реке.

Появление 1-й Конной дивизии у Белой и неудачи на фронте Кубани охладили порыв Армавирской группы: 16-го большевики испортили мосты у Усть-Лабинской и Тифлисской и отошли к югу. Это обстоятельство позволило Дроздовскому значительно сократить фронт обороны и перебросить на левый берег Кубани 2-й Конный полк, который вскоре вошел в связь с 1-й Конной дивизией[1], отбросившей бывшую сорокинскую группу за Лабу и занявшей 19-го станицу Темиргоевскую.

С этой поры на фронте 1-й Конной, 1-й Кубанской, 3-й дивизий начались упорнейшие, жестокие бои, понемногу рассеивавшие гипноз рассказов о «разложении» большевистской армии и ставившие нас вновь лицом к лицу с большими и серьезными силами противника.

По ту сторону фронта происходили какие-то непонятные для нас психологические процессы, проявлявшиеся в военных операциях перемежающимися вспышками высокого подъема и беспричинной паники.

[1] С конца августа в командование дивизией на место генерала Эрдели вступил генерал барон Врангель, поступивший в это время в армию.

ГЛАВА XXX

СОСТОЯНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ВОЙСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ. НАСТУПЛЕНИЕ НАШЕ В АВГУСТЕ 1918 ГОДА. БОИ ПОД СТАВРОПОЛЕМ, ВЗЯТИЕ АРМАВИРА И НЕВИННОМЫССКОЙ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ АРМИИ

Северокавказская Красная армия после понесенных поражений испытывала действительно глубокий кризис. В «Окопной правде»[1] — органе красноармейских депутатов «Доно-Кубанского фронта» — появилось откровенное признание: «В нашей армии нет дисциплины, организованности... ее разъедают примазавшиеся преступные элементы, которым чужды интересы революции... Приходится констатировать недоверие бойцов к командному составу, так и командного состава к Главкому (Сорокину), что ведет в конце к полному развалу всей революционной армии»... Состоявшийся в сентябре в Пятигорске съезд фронтовых делегатов определил конкретнее причины поражений, потребовав устранения их суровыми мерами[2]: 1) неподчинение войсковых частей высшему командному составу «благодаря преступности отдельных лиц командного состава и недисциплинированности бойцов», трусости и паническому настроению «многих»; 2) «грабежи, насилия, реквизиции»; словом, «целый ряд насилий над мирным населением»; 3) «обессиление армии беженским движением, вносящим панику при первом же выстреле».

О деморализации красных свидетельствовал и неизбежный спутник ее — дезертирство: не только казаки, бывшие в составе большевистских войск, но и красноармейцы сотнями стали переходить на нашу сторону.

[1] 5 сентября 1918 года.

[2] Из резолюции съезда.

Особенно большие нарекания были на командный состав. О нем говорили много и съезд, и резолюции частей, и приказы Сорокина. «Товарищи, — говорит одна из резолюций, — которые совершенно не компетентны в военных стратегических вопросах, преступно принимают на себя обязанности, которых они выполнить не могут»... «Скверно то, — писал Сорокин[1], — что командиры, начиная с взводных, убегают от бойцов в трудные минуты... В бою я с вами — это видели все... «Сорокин продал», говорят... А где в то время командиры?.. Лучшие из них с бойцами... а другие в то время по городу с бабами раскатывают пьяные... Самые лучшие боевые планы рушатся из-за того, что приказания не вовремя или вовсе не исполняются».

Авторитет Сорокина был уже подорван, и ему приходилось оправдываться даже по обвинению в измене: «Я знаю, что про меня болтают, когда я объезжал фронты Армавирский и Кавказский; уже нашлись друзья, которые говорили, что я неребежал. Мне эти разговоры не обидны, но они мешают исполнять святое и тяжелое дело защиты наших прав трудящихся». Сорокин сурово расправлялся с порочившими его начальниками и политическими комиссарами; многих расстрелял.

Тем не менее подозрительность пустила глубокие корни. И съезд делегатов, хотя и выразил «товарищу Сорокину» полное доверие, но, «принимая во внимание, что единоличное командование вносит в ряды армии недоверие и особенно ввиду назначения его сверху», приставил к Главкому двух «политических комиссаров»[2].

В течение августа состояние многих частей Кавказской Красной армии было еще плачевно; но уже к началу сентября процесс распада красных войск приостановился. Хотя красное командование по-прежнему проявляло отступательные тенденции, но они встречали не раз неожиданный отпор в самой солдатской массе, несколько

[1] Приказ в августе 1918 года № 5.

[2] Даты постановления не знаю, но напечатано было в газетах от 5 сентября.

отсеянной после ухода или бегства многих *пришлых* частей — на север, к Царицыну. Одна из наших сводок отмечала такой необыкновенный факт: «1-я Лабинская бригада, насильно выбрав командиром всячески от этого уклонявшегося Ярового, принудила его (вопреки директиве высшего командования) под угрозой расстрела вести ее в бой. Наступление бригады кончилось разгромом ее под Упорной»[1].

Эта перемена настроения явилась в большой мере отголоском взаимоотношений кубанских казаков с иногородними. Иногородние, оседло живущие на Кубани, в большом числе вливались в ряды красных войск. В своих постановлениях войсковые части, состоявшие главным образом из этого элемента, начали предъявлять требования к своему командованию «прекратить отступление, реорганизовать фронт и затем наступать только вперед — вперед на врага, вперед к своим женщинам, женам и детям, которые гибнут под гнетом разбоя и взывают к нам о помощи»[2]. «В полку получилось волнение, — доносят другие[3], — о том, что получились сведения, что Лабинская горит, семьи насилуются, что разгорается усиленная провокация, как будто командный состав ведет к разрухе»...

Наша разведка уяснила себе положение в стане противника с большим запозданием и в сентябре пришла к пессимистическому выводу: Северокавказская Красная армия начинает понемногу выходить из кризиса «не ослабленной, а наоборот усилившейся. Она желает решить боевые вопросы, составляющие основу дальнейшего существования Кубанской республики; победу она видит в занятии крупных центров края, в разгроме Добровольческой армии и в порабощении казачества»...

Вопрос стоял на мертвой точке: победа казаков — это порабощение иногородних, победа красных — это порабощение казаков. Ни та ни другая сторона не могли возвыситься над первобытными принципами борьбы за существование.

[1] Бой у Покровского.

[2] Воззвание «президиума Лабинской бригады».

[3] «Военно-полевой совет 1-го Кубанского в. р. кавалерийского полка».

* * *

Не в столь резких формах выражалось настроение крестьянства Ставропольской губернии, но все же там было далеко не спокойно. Советская власть сильнейшей агитацией возбуждала народ против Добровольческой армии и в то же время побуждала к лихорадочному формированию отрядов из местных контингентов. Эти отряды не были ни достаточно организованны, ни особенно искусны. Но их было много, они возникали и появлялись неожиданно, действуя то планомерно, то партизанскими набегами. Гражданская власть наша была слабой и неопытной, чтобы справиться с народными настроениями, воинская сила — слишком малочисленной, чтобы подавить местные формирования. В Ставропольской губернии переплетались резко расходящиеся настроения: одни села встречали добровольцев как избавителей, другие — как врагов. Работа в крае велась поэтому в обстановке напряженной и нервирующей: с первого же дня Ставрополь находился под угрозой подступивших с трех сторон отрядов противника и жил под впечатлением то приближавшейся, то удалявшейся артиллерийской канонады...

К началу августа наши войска Ставропольского района[1] располагались полукругом вокруг города в переходе от него с севера, востока и юга; по линии Кубани слабым кордоном стояли кубанские гарнизоны. 4-го августа началось вновь одновременное наступление большевиков с юга от Невинномысской и с востока от Благодарного. Первое было отбито, второе имело вначале успех: прикрывавшие Ставрополь с востока наши части были опрокинуты, и противник (4—5 тысяч) подошел к предместьям города и к станции Пелагиаде, угрожая перерезать сообщения нашей Ставропольской группы с Екатеринодаром...

Дивизии Боровского еще 4-го приказано было, по смене ее 3-й дивизией, перейти к Ставрополю. 8-го части ее

[1] 2-я Кубанская дивизия, Отдельная бригада и мелкие части.

высаживались у Ставрополя и Пелагиады как раз в тот момент, когда туда подошли большевики. Полки (Корниловский и Партизанский) прямо из вагонов бросились на противника, опрокинули и преследовали его.

Всю вторую половину августа Боровский, объединивший здесь командование, вел непрерывные бои частями своей дивизии и 2-й Кубанской. На долю последней пришлась особенно тяжелая работа: полковник Улагай буквально летал по краю, пройдя несколько сот верст, разбивая и преследуя появлявшиеся в разных местах отряды противника. В результате весь обширный район верст на сто по радиусу от Ставрополя был очищен от большевистских отрядов, и Боровский, заняв с боя Прочнокопскую и Барсуковскую, имел возможность сосредочить в верхней Кубани свои главные силы.

* * *

В связи с успешным выходом Боровского к Кубани и значительным сокращением фронта 3-й дивизии, я приказал Дроздовскому перейти за Кубань и овладеть Армавиром. Эта рискованная операция с самого начала была не по сердцу осторожному Дроздовскому и потому исполнение ее сопровождалось трениями со штабом армии.

После продолжительных разведок 3-я дивизия 26 августа под прикрытием 2-го Конного полка переправилась частью сил через Кубань у Тифлисской и двинулась отсюда на восток во фланг противокавказской группе противника.

В течение четырех дней Дроздовский вел упорные бои и к 31-му овладел станцией Гулькевичи одновременным ударом с запада и через железнодорожный мост. Перебросив всю дивизию на левый берег и свои коммуникации на Кавказскую, он повел наступление на Армавир вдоль железной дороги, направив колонну генерала Чекотовского (Самурский пехотный и 2-й Конный полки с батареей) против Михайловской, для содействия 1-й Конной дивизии. Вначале обе колонны имели успех. Но 1 сентября к большевикам подошли значительные подкрепления, и они перешли в контрнаступление, угрожая обоим флангам дивизии Дроздовского. После упорного боя он

вынужден был отвести левую колонну к станции Гулькевичи, куда 2-го вышли окруженные со всех сторон и пробившиеся штыками самурцы[1] Шаберта. Западнее вела настойчивые атаки 1-я Конная дивизия генерала Врангеля, приковавшая к себе Михайловскую группу[2] противника, взявшая с бою оплот ее — станицу Петропавловскую, но встретившая в дальнейшем упорное сопротивление.

Еще ранее для содействия Армавирской операции я приказал Боровскому ударить в тыл Армавирской группе большевиков, захватить Невинномысскую, прервав тем единственную железнодорожную линию сообщений армии Сорокина.

Судьба играет иногда событиями чрезвычайно прихотливо... Впоследствии в Невинномысской в наши руки попала директива Сорокина, в которой на командующего Невинномысской группой Гайчинца[3] возлагалась задача «...приготовиться к решительному наступлению, цель которого и задача во что бы то ни стало взять город Ставрополь... Наступление начать 2 сентября в 4 часа утра, отступлений не допускаю. Ставрополь приказываю взять (4) сего сентября... Командующий войсками Северного Кавказа Сорокин. Политический комиссар Торский».

Гайчинец в развитие этой директивы отдал диспозицию, по которой войска его группы, удерживая фронт Кубани от Армавира до Барсуковской, главными силами должны были «нанести грозный удар» в направлении к Ставрополю на фронте Барсуковская—Темнолесская, с охватом с востока конницей.

2 сентября — в тот же день, когда должен был нам нанести удар Гайчинец, — 2-я дивизия Боровского обрушилась на Невинномысскую. «В полдень, — говорит сводка, — доблестные части генерала Боровского, несмотря на чрезвычайное упорство и стойкость противника, вор-

---

[1] Самурский полк, бывший 1-й Солдатский.

[2] Бывшая группа Сорокина.

[3] Официально — командующий войсками Северо-восточного фронта.

вались в станицу; продолжая стремительное наступление, овладели ею и перекинули часть сил на левый берег Кубани. Громадные толпы противника в полном беспорядке бросились бежать к Армавиру... В момент атаки в Невинномысской находилось шесть большевистских штабов, в том числе и штаб Сорокина, который бежал верхом за Кубань в момент нашего вступления в станицу»... В тот же день партизанская бригада Шкуро, выйдя южнее, овладела станцией Барсуки, разрушив там путь.

Этот наш успех отразился резко на положении фронта Дроздовского. 3 сентября он отбил с успехом атаки противника, а 4-го перешел вновь в наступление, подойдя с рассветом 6-го к Армавиру. Бой длился несколько часов и окончился полным поражением Армавирской группы большевиков. 4-й Пластунский батальон овладел Туапсинским вокзалом, 2-й Офицерский полк — Владикавказским, а с правого берега, из Прочнокопской, ворвались в город роты корниловцев. Несколько эшелонов подкреплений спешили к большевикам с запада по Туапсинской железной дороге, но заслон Самурского полка захватил один поезд целиком, другие встретил жестоким огнем, и эшелоны, бросив поезда, бежали на юг. Паника распространилась по всему полю. 2-й Конный полк до вечера преследовал и рубил бегущих долиной Урупа; два бронепоезда прошли до следующей станции Коноково (22 версты) и там громили огнем орудий и пулеметов собравшиеся толпы отступавших большевиков...

Между тем Боровский, опасаясь за свой правый фланг, оставил в Невинномысской пластунскую бригаду и главные силы перевел в хутор Темнолесский (см. Ново-Екатериновка). Воспользовавшись этим, Сорокин сосредоточил против Невинномысской значительные силы конницы, которые, переправившись через Кубань севернее Невинномысской, в ночь на 4-е рассеяли пластунов и овладели станицей.

6-го я был в войсках Боровского в Ново-Екатериновской. Учитывая важное значение перерыва Владикавказской железной дороги, я приказал им вновь атаковать Невинномысскую.

Боровский 7-го овладел с помощью Корниловского полка станцией Барсуки, а 8-го атаковал Невинномысскую с трех сторон и занял станицу, отбросив большевиков к западу, за Рождественскую.

* * *

Три месяца уже армия вела непрестанные, кровопролитные бои — без отдыха, без смены. Части по многу раз переменили уже свой боевой состав; вливались новые эшелоны добровольцев с севера и юга России и кубанских казаков; уезжали и возвращались раненые; гибли тысячами воины; ожидали своей неминуемой участи уцелевшие, ибо казалось, что нет возможности выйти из этой кровавой эпопеи живым и не искалеченным. Но когда я бывал у кубанцев Врангеля и Покровского, у добровольцев Казановича, Дроздовского, Боровского не только в дни их побед, но и тяжелых неудач, я видел людей усталых, но бодрых и жизнерадостных. Они не жаловались на свою удручающую материальную обстановку и только просили — «по возможности» — патронов и пополнений. Им не нужны были пышные и возбуждающие слова приказов, речей, не нужны были обманчивые обещания социальных благ и несбыточных военно-политических комбинаций. Они знали, что путь их долог, тернист и кровав. Но большинство из них желали спасения Родины, верили крепко в конечную победу и с этой верой шли в бой и на смерть.

Враг был по-прежнему силен, жесток и упорен.

Последнее время, впрочем, обстановка как будто опять явно складывалась в нашу пользу... К 10 сентября главная масса Северокавказской Красной армии находилась в положении почти *стратегического окружения:* на севере у Петропавловской стояла дивизия Врангеля, имевшая задачей опрокинуть Михайловскую группу большевиков и наступать на Урупскую; у Армавира закрывал пути Дроздовский; на западе Покровский теснил майкопских большевиков к Лабе, направляясь к Невинномысской; на востоке — река Кубань и Боровский у Невинномысской; на юго-востоке — партизанские полки Шкуро у Баталпа-

шинска и Беломечетинской[1]... По всему обширному району, зажатому между горами и Кубанью, по всем путям шли бесконечные большевистские обозы, направляясь на юго-восток... Из перехваченного приказа Сорокина от 9 сентября явствовало, что армия его потеряла надежду на возвращение Кубани и стремится пробиться к Минеральным Водам...

16 сентября получена была первая весть и от восставших терцев: «Казаче-крестьянский съезд» из Моздока радиотелеграммой приветствовал Добровольческую армию «как носительницу идеи Единой, Великой, неделимой и свободной России» и обещал «направить все силы на скорейшее соединение с нею».

ГЛАВА XXXI

ПЕРЕХОД БОЛЬШЕВИКОВ В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ 1918 ГОДА НА АРМАВИР, СТАВРОПОЛЬ И ПО ВЕРХНЕЙ КУБАНИ. ПЕРЕМЕНА БОЛЬШЕВИСТСКОГО КОМАНДОВАНИЯ И ПЛАНА ОПЕРАЦИИ. ОТСТУПЛЕНИЕ БОЛЬШЕВИКОВ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ К НЕВИННОМЫССКОЙ. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИХ НАШЕЙ КОННИЦЕЙ К УРУПУ. «МЯТЕЖ» СОРОКИНА И ЕГО СМЕРТЬ. ТЕРРОР В ПЯТИГОРСКЕ

10 сентября намерения большевистского командования обнаружились: для овладения вновь Владикавказской магистралью и обеспечения сообщений с Минераловодским районом в этот день Северокавказская Красная армия перешла в наступление на широком фронте: Таманская группа от Курганной на Армавир (с запада) и Невинномысская группа, усиленная уцелевшими частями, отступившими 6-го от Армавира, — на Невинномысскую и Беломечетинскую (на юг и юго-восток).

[1] Занял 4-го сентября.

11-го таманцы развертывались беспрепятственно против Армавира и 12-го атаковали Дроздовского, перешедшего к обороне. Первую половину дня большевики, при поддержке сильного артиллерийского огня, вели упорные атаки, охватывая город с севера. Но огнем и контратаками наших войск были отражены повсюду, понеся тяжелые потери; на севере им удалось, однако, перехватить железную дорогу. К вечеру новая колонна противника стала развертываться против южной части города.

Считая свои силы недостаточными и положение слишком рискованным, Дроздовский в ночь на 13-е оставил город и перешел на правый берег Кубани, в Прочнокопскую, сохранив за собою переправу у форштадта, прикрытую предмостным укреплением.

Еще в ночь на 11-е я приказал отправить из Екатеринодара по железной дороге на помощь Дроздовскому отряд полковника Тимановского[1], который подошел к Армавиру рано утром 13-го. Вместе с тем Дроздовскому послано было приказание 13-го перейти в наступление[2].

Тимановский донес Дроздовскому о прибытии и о своем намерении начать атаку. Пополудни он с большой стремительностью атаковал противника с севера и овладел его позицией. Большевики отступили к городу. Но, не видя наступления 3-й дивизии и получив запоздалое приказание Дроздовского не ввязываться в этот день в бой[3], Тимановский заночевал на позиции.

Я повторил приказание атаковать Армавир 14-го. Переведя дивизию у Прочнокопской на левый берег Кубани и соединившись с Тимановским, Дроздовский повел атаку на город с северо-запада, понес серьезные потери, но успеха не имел. К вечеру он прекратил наступление.

[1] Марковский полк, 2 орудия, 3 сотни. Около $1^1/_2$ тысяч штыков и сабель.

[2] Приказание это, по заявлению штаба Дроздовского, не дошло по назначению.

[3] Дроздовский считал необходимым дать двухдневный отдых войскам.

1-я Конная дивизия все эти дни вела упорные атаки против Михайловской группы большевиков. Сотни кубанцев непрестанными налетами портили Туапсинскую дорогу, прерывая связь группы с Армавиром; правая колонна дивизии, атакуя с запада, разбила большевиков у Дондуковской и Каше-Хабля, заняв эти пункты. Михайловская группа большевиков была зажата, ослаблена, прикована, но все усилия разбить ее не увенчались успехом. Кубанцы несли большие потери, которые вновь и вновь пополнялись притоком, идущим из освобожденных станиц.

Я был 16-го в отряде Дроздовского. Он считал бесцельным дальнейшее наступление на Армавир, пока не будет разбита Михайловская группа... Согласившись с ним, я оставил на Армавирском направлении слабый заслон полковника Тимановского и в тот же день двинул Дроздовского с главными силами против Михайловской, дав ему задачу — нанести быстрый и внезапный удар с востока во фланг и тыл Михайловской группе и совместно с конницей Врангеля разбить ее. Дроздовский вышел только к вечеру 17-го на фронт Врангеля и принял иное решение: ночью произвести смену 1-й Конной дивизии на ее позиции и с 7 часов утра 18-го атаковать с севера, с фронта. Конница Врангеля после такой рокировки должна была ударить с востока в тыл Михайловской. Атака Дроздовского не имела успеха; части его понесли тяжелые потери и к вечеру отошли к Петропавловской. Полное истощение артиллерийских патронов послужило немалой причиной увеличения числа жертв.

Между тем Врангель, обойдя Михайловскую, вышел в тыл Михайловской группе и овладел Курганной, перехватив коммуникации противника. Здесь в течение дня он вел успешный бой на три стороны против неприятельских войск и бронепоездов. Но когда, отбив Дроздовского, большевики от Михайловской повернули против 1-й Конной дивизии, и к тому же обозначилось наступление с юго-востока от Константиновской, положение Врангеля между двумя речками стало весьма тяжелым; с наступлением сумерек он с трудом, но благополучно вывел дивизию по единственной переправе — железнодорожному мосту через Чамлык.

Армавирская группа большевиков в эти дни оставалась пассивной.

* * *

На западе, на верхней Лабе, успешно боролась 1-я Кубанская дивизия Покровского. Отбросив противника, занимавшего линию реки Фарс, она широким фронтом (40—50 верст) наступала к Лабе, направляя главные силы против Лабинской и Зассовской. К 14 сентября Покровский, опрокидывая противника, подошел на всем фронте к Лабе, захватив Мостовое и, переправив часть сил через Лабу, преследовал большевиков, бегущих к Владимирской и Вознесенской. Тысячи повозок обоза, множество пленных попали в наши руки; кроме того, было отбито около 2 тысяч уведенных большевиками кубанских казаков. Этот значительный успех, создававший угрозу северным группам противника, встревожил большевистское командование. Майкопская группа была усилена и 15-го на всем фронте перешла в наступление, оттеснив Покровского на левый берег Лабы. 10 дней продолжались бои с большевиками, перешедшими вновь в нескольких местах Лабу и наступавшими в общем направлении на Майкоп. В ночь на 28-е большевики, отчаявшись в успехе наступления на этом фронте, ушли за Лабу, теснимые по пятам кубанцами, переправившимися также у Владимирской.

Положение здесь оставалось по-прежнему весьма угрожающим для большевиков.

* * *

Неудачно для нас складывалась обстановка на левом фланге. Сорокин, сосредоточив крупные силы против Невинномысской, с 10 сентября несколько раз настойчиво атаковал Боровского, но понес большие потери и вначале успеха не имел. Наконец, 15-го он принудил Боровского отойти к Ново-Екатериновке и овладел Невинномысской, *открыв вновь сообщение своей армии по Владикавказской магистрали.*

Еще южнее действовал партизан Шкуро. Широко привлекая в свои ряды кубанское казачество, поднимая по-

головно станицы Баталпашинского отдела, он развернул уже свой отряд в дивизию и совместно со станичными гарнизонами успешно отражал нападение большевиков, стремившихся перейти верхнюю Кубань в районе Беломечетской. Но в те дни, когда Сорокин атаковал Невинномысскую, Шкуро, тяготевший по мотивам не стратегическим к Кисловодску, повернул на юг и 12-го с боя взял этот город. Через две недели, под давлением большевистских отрядов, наступавших с севера и востока на Бугурустанскую и Кисловодск, Шкуро, с которым очень трудно было поддерживать связь, очистил город и был привлечен в район армии. Большевики жестоко расправились с кисловодской буржуазией. Очередная сводка отметила своим бесстрастным языком «мелкий боевой эпизод»: «Чтобы сосредоточить все усилия для активных действий в направлении на станцию Курсавку, полковник Шкуро оставил Кисловодск». А сам партизан 28-го уже опять бил большевиков, брал пленных и пулеметы в районе Владикавказской магистрали...

В то время как Невинномысская группа большевиков против фронта Боровского, по-видимому, все больше усиливалась, назревала серьезная угроза и его тылу, и сообщениям в Ставропольском районе. В результате работы в сентябре, на северо-востоке и востоке Ставропольской губернии сорганизовались две сильные группы: в районе Дивное — 2-я Ставропольская дивизия или группа Ипатова (12 тысяч штыков, 1 тысяча сабель) и в районе Благодарное — 1-я Ставропольская дивизия или группа Рыльского (5 тысяч штыков, 500 сабель); кроме того, к северо-востоку от Петровска стоял отряд Жлобы, силой до 6 тысяч, устраивавшийся после поражения, нанесенного ему 14 сентября полковником Улагаем.

Против этих частей мы имели мелкие отряды восточнее Медвежьего, у Донского, гарнизон Ставрополя и 2-ю Кубанскую дивизию у Петровского, общей численностью 4—5 тысяч.

16 сентября 2-я Ставропольская дивизия большевиков начала наступление одновременно в трех направлениях: на Торговую, Медвежье и Донское. И через три дня, сбив наши охраняющие части, дошла на севере до Немецко-Хангинского, а главными силами до р. Егорлык на фронте Преградное—Безопасное. Для прикрытия Торговой мною был переброшен по железной дороге небольшой отряд, а к станции Егорлык стянуты с разных сторон $1^1/_2$—2 тысячи и 2 орудия. В командование этим сборным отрядом[1] вступил генерал Станкевич, который получил задачу обеспечить с севера Ставрополь. Выдвинувшись к Безопасному, он отбросил противника, и на несколько дней здесь водворилось спокойствие. В свою очередь полковник Улагай в районе Благодарного 28-го разбил 1-ю Ставропольскую дивизию и на некоторое время вывел ее из строя. Но 2-я Ставропольская дивизия в конце месяца вновь перешла в наступление крупными силами и отбросила отряд генерала Станкевича; в то же время северная колонна ее заняла села по нижнему Егорлыку в одном переходе от Торговой.

Необходимо было как можно скорее ликвидировать эту постоянную угрозу нашей связи с Доном и войсками правого берега Кубани, тем более что у Невинномысской шло сосредоточение крупных большевистских сил.

Я стянул в Ставропольско-Армавирский район все силы Добровольческой армии[2].

1-ю дивизию Казановича сосредоточил против Армавира, а 3-ю Дроздовского перевел на правый берег Кубани для смены Боровского. Последнему приказано было, объединив командование над войсками Ставропольского района и присоединив к ним свою 2-ю дивизию, очистить в возможно короткий срок север губернии.

Смена на фронте против Невинномысской закончилась 2 октября, а 6-го соединенными силами Станкевича, Улагая и 2-й дивизии большевики были разбиты у Терновки.

---

[1] Кубанские пластуны и конница, части польской бригады, добровольческая артиллерия. Для характеристики наших масштабов боевого снабжения: отряду дано было 150 снарядов и по 70 патронов на винтовку!..

[2] Только на Грузинском фронте остался конный полк и формировался дивизион.

Принявший командование над колонной генерал Станкевич преследовал противника на северо-восток и в боях 12—14-го в районе Большой Джалги, в которых приняла участие и шедшая от Торговой вдоль Маныча Донская бригада, нанес им вновь сильное поражение. Дальнейшее преследование стало невозможным, так как в эти дни у Невинномысской и Ставрополя разразились события, потребовавшие спешного возвращения туда 2-й дивизии и конницы Улагая.

• • •

Тяжкие сентябрьские бои обескровили и нас и противника. Они, кроме того, подорвали дух в большевистских войсках, вселили и в них и в советы еще большее недоверие к своему командованию.

Усилилось также общее неудовольствие Сорокиным. Во второй половине сентября на собрании большевистских командиров в Армавире командовавший Таманской группой Матвеев при общем одобрении заявил, что выходит из подчинения Сорокину. Матвеев был вызван в Пятигорск и там по приговору военно-революционного суда расстрелян. Эта казнь вызвала сильное возмущение в войсках Таманской группы и страшное озлобление лично против Сорокина.

22-го сентября ЦИК Северокавказской республики, в соответствии с новой организацией центрального Московского управления[1] и полученными свыше указаниями, отменил единоличную власть главнокомандующего и во главе Северокавказской армии поставил «Реввоенсовет» под председательством Полуяна[2] и членов: Сорокина, Гайчинца[3], Петренко[4] и Крайнего[5]. Прежний штаб Сорокина был устранен и сформирован новый в составе нескольких большевистских деятелей во главе с казачьим офицером Одарюком.

[1] Во главе всех советских войск стал «Реввоенсовет» во главе с Троцким.

[2] Бывший народный комиссар внутренних дел.

[3] Командующий войсками северо-восточного фронта.

[4] Бывший начальник штаба Сорокина.

[5] Председатель краевого комитета партии большевиков и товарищ председателя ЦИК.

К концу сентября относится также перемена стратегического плана большевистского командования: было решено *оставить Кубань и, прикрываясь сильными арьергардами на Лабе и у Армавира, отступить на юго-восток, в общем направлении на Невинномысскую.*

Признаки отхода колонн и обоза мы замечали еще в 20-х числах сентября. В ночь на 1 октября арьергард Михайловской группы, взорвав мост у Коше-Хабля, стал отходить в направлении на Урупскую. Это обстоятельство побудило перейти в решительное наступление все три наши левобережные дивизии.

Генерал Казанович 1 октября атаковал Армавир. Части его ворвались было уже в город, но контратакой противника были отброшены с большими потерями, особенно тяжелыми в Сводно-гвардейском полку[1].

Генерал Врангель, опрокидывая арьергарды противника и догоняя главные силы его, в первый же день прошел до 50 верст, следуя на Урупскую и Бесскорбную. В последующие дни на Урупе произошел ряд серьезных боев с переходившим не раз в контрнаступление противником, который был в конце концов смят и отброшен за реку. Дивизия после жестокого уличного боя заняла 6-го Бесскорбную, 7-го — Урупскую, но дальнейшее продвижение ее было остановлено большевиками.

Генерал Покровский, отбросив заслоны большевиков, перешел Лабу и атаковал 2-го Вознесенскую и Упорную, но взять их не мог. 3-го большевики сами перешли в наступление — в первом направлении неудачно, во втором силами до 4-х полков пехоты и многочисленной конницы оттеснили Покровского обратно за Лабу. На следующий день он вновь и вновь атаковал и после многих упорных боев к 7-му вышел к Урупу, овладев Попутной и Отрадной.

[1] Развернут незадолго перед тем из 4-го батальона Марковского полка.

Обе дивизии нанесли противнику большой урон, захватили много пленных и оружия, но сопротивление его было по-прежнему упорным.

К 10 октября положение на фронте было следующим.

1-я дивизия стояла под Армавиром, 1-я Конная и 1-я Кубанская — по Урупу до Отрадной. Далее шел изменчивый фронт Партизанской бригады (дивизии) и ополчений Баталпашинского отдела, который проходил примерно от Отрадной (связь с Покровским), севернее Беломечетской, подходя и временами захватывая Воровсколесскую (в 14 верстах от станции Курсавки), далее на Суворовскую. Шкуро, очищая от большевиков Баталпашинский отдел, производил с успехом непрестанные нападения на железные дороги, расстраивая движение по ней и угрожая все время сообщениям противника. От Армавира по правому берегу Кубани и далее от Барсуковской на Ново-Екатериновку стояли местные гарнизоны, пластунские батальоны и 3-я дивизия.

В этом чрезвычайно оригинальном остром углу в качестве арьергардов по Урупу и Кубани располагалось около 20 тысяч большевистских войск; по линии Курсавка—Минеральные Воды для непосредственного охранения железной дороги от нападений Шкуро — 4—5 тысяч; в районе Невинномысской сосредоточился сильный кулак до 20 тысяч.

Дальнейшее направление его было нам неведомо.

* * *

Я не знаю, чьей инициативе принадлежит последующий план действий Северокавказской армии большевиков. Были ли директивы из Москвы, решил ли вопрос «Реввоенсовет» или оказал давление созванный в то время Сорокиным и заседающий в Невинномысской «Чрезвычайный съезд советов и представителей Красной армии»?

Перед большевистским командованием стояло три направления отхода: по Владикавказской железной дороге, упирающейся в Кавказские горы или Каспийское море; на Святой Крест — с отходящим от него Астраханским трактом; наконец, третье, сопряженное с новыми боями, — на Ставрополь, с возможностью пользоваться Астраханским трактом и открыть связь и сообщение с Царицыном и прикрывавшей его 10-й советской армией, левый фланг которой подходил к Манычу у Кормового[1].

До нас доходили сведения еще в сентябре, что по этому поводу возникли большие трения в среде командного состава и что Сорокин и Гайчинец — сторонники движения на Святой Крест, Матвеев — на Ставрополь.

В результате длительных споров и колебаний большевистское командование приняло решение: перебросив свои тылы на Святой Креет, двинуться к Ставрополю, с целью овладения им.

Сорокин не принимал уже активного участия в операции. В то время, когда большевистские войска под начальством Федько атаковали Ставрополь, он, опальный главнокомандующий, со своим штабом и конвоем находился в Пятигорске. Опасаясь расправы со стороны третируемых им и не доверявших ему большевистских главарей, Сорокин задумал устроить переворот с целью захватить в свои руки верховную военную власть. 13-го октября он арестовал председателя ЦИК Кавказской республики Рубина, товарищей председателя Дунаевского и Крайнего, члена ЦИК Власова и начальника «чрезвычайной комиссии» Рожанского. Все эти лица — кроме Власова, евреи — были в тот же день расстреляны. По объяснению приближенных Сорокина, пойманных и заключенных в тюрьму, Сорокин — ярый юдофоб — «ненавидел евреев», возглавлявших кавказскую власть, и «решился на кровавую расправу, негодуя на постоянное вмешательство ЦИК в военное дело, что мешало военным операциям»[2].

Но Съезд советов и представителей фронта постановил объявить Сорокина вне закона, «как изменника революции», и доставить его в Невинномысскую «живым или мертвым для всенародного... суда»...

Не найдя поддержки в армии, Сорокин бежал из Пятигорска в направлении Ставрополя; 17 октября был пой-

[1] В 42 верстах от Дивного — пункта сосредоточения 2-й Ставропольской дивизии (большевистской).

[2] Из акта расследования Особой комиссии.

ман одним из таманских полков возле города, привезен в ставропольскую тюрьму[1] и там убит во время допроса командиром 3-го Таманского полка Висленко.

Выступление Сорокина отозвалось трагически на судьбе Минераловодской интеллигенции. Еще после захвата Кисловодска Шкуро и восстания терских казаков тюрьмы Минеральной группы были заполнены заложниками, которые, согласно приказу чрезвычайной комиссии, подлежали расстрелу «при попытке контрреволюционного восстания или покушения на жизнь вождей пролетариата». Когда умер командовавший северо-западным фронтом товарищ Ильин от ран, полученных в бою с добровольцами, чрезвычайная комиссия казнила в его память 6 заложников. После расстрела Сорокиным членов ЦИК обещание было исполнено в более широком масштабе: «чрезвычайка» постановила «в ответ на дьявольское убийство лучших товарищей» расстрелять заложников — по двум спискам 106 человек. В их числе были генералы Русский и Радко-Дмитриев, зверски зарубленные 18 октября. Обоим им большевистские главари неоднократно предлагали стать во главе Кавказской Красной армии и оба они отказались от предложения, заплатив за это жизнью.

«В одном белье, — говорится в описании Особой комиссии, — со связанными руками, повели заложников на городское кладбище», где была приготовлена большая яма... «Палачи приказывали своим жертвам становиться на колени и вытягивать шеи. Вслед за этим наносили удары шашками... Каждого заложника ударяли раз по пяти, а то и больше... Некоторые стонали, но большинство умирало молча... Всю эту партию красноармейцы свалили в яму... Наутро могильщики засыпали могилы... Вокруг стояли лужи крови... Из свежей, едва присыпанной могилы слышались тихие стоны заживо погребенных людей. Эти стоны донеслись до слуха Обрезова (смотрителя кладбища) и могильщиков. Они подошли и увидели, как «из могильной ямы выглядывал, облокотившись на руки, один недобитый заложник (священник И. Рябухин) и умолял вытащить его из-под груды наваленных на него мертвых тел... По-видимому, у Обрезова и могильщиков страх перед красноармейцами был настолько велик, что в душах их не осталось более места для других чувств — и они просто забросали могилу землей...

Стоны затихли».

[1] После взятия большевиками города.

Сохранился рассказ о последнем разговоре генерала Русского со своим палачом[1]:

— Признаете ли вы теперь великую российскую революцию?

— Я вижу лишь один великий разбой.

ГЛАВА XXXII

ОСТАВЛЕНИЕ НАМИ СТАВРОПОЛЯ. БОИ ПОД АРМАВИРОМ, НА УРУПЕ И В БАТАЛПАШИНСКОМ ОТДЕЛЕ. ОЧИЩЕНИЕ ОТ БОЛЬШЕВИКОВ ЛЕВОГО БЕРЕГА КУБАНИ. ДВАДЦАТИВОСЬМИДНЕВНОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД СТАВРОПОЛЕМ (10 ОКТЯБРЯ—7 НОЯБРЯ)

10 октября Невинномысская группа большевиков перешла в наступление на север, на фронт Дроздовского. *Это было началом решительного для Добровольческой армии двадцативосьмидневного сражения под Ставрополем.*

Отряду Дроздовского[2] предстояло всемерно задерживать противника до подхода с севера 2-й и 2-й Кубанской дивизий.

10-го Дроздовский отразил наступление большевиков, и только на правом фланге его большевики сбили пластунов и овладели Барсуковской. На следующий день он сам перешел в контратаку, понес серьезные потери, но бе-

[1] Председатель «чрезвычайки» Артабеков.

[2] 3-я дивизия и пластунская брагада.

зуспешно. Ввиду того что на западе была потеряна важная позиция — гора Недреманная, — Дроздовский с рассветом 12-го отошел к Татарке, в 11 верстах от города, где в ночь на 14-е был вновь атакован большевиками и отброшен к северу. В течение дня 14-го Дроздовский вел напряженный бой на подступах к Ставрополю, стараясь при помощи подошедшего с севера Корниловского полка вернуть захваченную большевиками гору Базовую. Атаки корниловцев и самурцев не имели успеха, и пополудни дивизия очистила Ставрополь, отступив к северу. Толпы мирного населения покидали злополучный многострадальный город, спасаясь от большевистского нашествия. В Ставрополь вошли красные войска и приступили к расправе...

Одновременно с наступлением главных сил большевиков в направлении Ставрополя колонна их продвигалась вниз по Кубани, захватывая переправы, причем к 14-му весь правый берег до Убежинской оказался в их руках.

В течение ближайших дней противник вел частные атаки в северном направлении для обеспечения Ставрополя, не стремясь или не будучи в силах развивать свой успех над ослабленными и разрозненными частями нашей Ставропольской группы. И к 18-му, когда подтянулись части 2-й и 2-й Кубанской дивизий, Ставропольская группа Боровского располагалась по фронту Ново-Марьевка—село Пелагиада—Дубовка, в 13—20 верстах от города. Фронт большевиков шел кругом Ставрополя через Надеждинское—Михайловское—Сингилеевскую—Ново-Екатериновскую.

* * *

Я с полевым штабом и, как всегда, с начальником штаба, с которым мы были неразлучны, находился в эти дни на Армавирском направлении. Отдав генералу Казановичу последний батальон и не имея более в своем распоряжении резервов, я видел возможность успеха только в настойчивом выполнении основного плана и, в частности, в развитии активности нашего западного фронта. Генералам Казановичу, Врангелю и Покровскому было при-

казано напрячь крайние усилия, чтобы сбросить левобережную группу противника в Кубань и тем развязать нам руки на Ставропольском направлении.

Генерал Казанович 13 октября внезапной атакой овладел Армавиром, захватив большие трофеи. На другой день его дивизия отбросила противника за Уруп, разбила его вновь у Коноково и, преследуя по обоим берегам, к 16-му дошла до Николаевки и Маламино.

Конница генерала Врангеля не могла развивать этот удар: с 10-го числа она была прикована к Урупу настойчивыми атаками противника, причем Бесскорбная несколько раз переходила из рук в руки. Только 15-го дивизия вышла частью сил на правый берег Урупа и имела там некоторый успех. Но 17-го большевики перешли в контратаку на всем фронте между Урупом и Кубанью и оттеснили конные части генерала Врангеля за Уруп, а дивизию генерала Казановича — под Армавир к разъезду Вольному...

В эти дни Минераловодская группа несколько раз возобновляла наступление на полковника Шкуро по всему фронту от Невинномысской до Суворовской, но безрезультатно, и партизаны по-прежнему совершали удачные набеги на железную дорогу.

Не было ни сведений, ни донесений от генерала Покровского. Наблюдая 17-го бой у Казановича, я убедился, что здесь разрешения задачи искать трудно. Послал вновь приказание Покровскому о крайней необходимости взятия Невинномысской и выхода в тыл Армавирской группе противника...

Только 21-го мы получили радостное известие, что 18-го Покровский после упорного боя овладел станицей и станцией Невинномысской, захватил там большую военную добычу и преследует большевиков на северо-запад и на юго-восток... От Армавира и Урупа потянулись уже большевистские резервы в сторону Невинномысской, вступившие в бой с Покровским 19-го, но отброшенные к северу, в то время как часть нашей конницы, распространяясь вдоль железнодорожной линии, заняла станцию Барсуки.

Этим ослаблением сил Армавирской группы воспользовалась 1-я Конная дивизия. 20-го генерал Врангель произвел перегруппировку, оставив заслон возле Урупской и перебросив главные силы к Бесскорбной. 21-го, перейдя реку, он обрушился на большевистскую дивизию, разбил ее наголову и преследовал уцелевшие остатки ее в направлении Успенской; юго-восточнее такая же участь постигла еще два большевистских полка... 22-го доблестная дивизия продолжала преследование, добивая отставшие части противника, и захватила станцию Овечка, куда вскоре подошла пехота Казановича с бронепоездом. За эти два дня кубанцы Врангеля взяли около 2 тысяч пленных, 19 пулеметов, огромные обозы.

Немногие уцелевшие войска Армавирской группы, прижатые к Кубани, текли безостановочно на юго-восток; совместно с отрядами, остававшимися на левом берегу Кубани, они с мужеством отчаяния обрушились на Покровского и 21-го выбили его из Невинномысской. Только 23-го после трехдневных тяжелых боев он вторично и окончательно овладел Невинномысской.

1-я Конная дивизия сосредоточилась в районе Успенской, 1-я дивизия — у Овечки.

* * *

18 октября в одной из хат станицы Рождественской собралось офицерство 3-й, отчасти 2-й дивизий; я ожидал, что после перенесенных безмерно тяжелых боев и ставропольской неудачи увижу хоть тень моральной усталости и разочарования... И был глубоко обрадован их настроением. Они жадно ловили всякий намек на улучшение общего положения и интересовались *только тем, что облегчало нам дальнейшее ведение борьбы*. Я видел части — сильно поределые, истомленные, полуобмерзшие, в обтрепанной легкой одежде (зимняя стужа наступила в этом году рано) и тем не менее готовые к новым боям.

Я мог порадовать их последними сведениями об европейских событиях, о падении Германии, торжестве союзников и об открывающихся перспективах. Помогут ли нам союзники войсками — не знаю, но материальною частью — несомненно и в широком масштабе. Это, впрочем, дело будущего. А теперь я привез с собой немного теплой одежды, несколько сот пополнений, на сей раз много патронов и... глубокую, ничем не сокрушимую уверенность в доблести добровольцев, которая приведет несомненно к нашей победе в предстоящем решительном сражении...

Первые успехи на Урупе и под Невинномысской вызвали большой подъем в нашей Ставропольской группе, несколько отдохнувшей и пополненной.

22-го генерал Боровский перешел в наступление по всему фронту.

2-я и 3-я дивизии направлены были на Ставрополь с севера по обеим сторонам железной дороги, 2-я Кубанская дивизия — через Надеждинскую с востока. В первый же день Боровский имел некоторый успех: пластуны заняли Сингилеевскую, Улагай — Надеждинскую, а 2-я и 3-я дивизии, хотя и с тяжелыми потерями, дошли до самой окраины города. 23-го бой продолжался, причем 2-й Офицерский полк дивизии Дроздовского стремительной атакой захватил монастырь Иоанна Предтечи и часть предместья. Мой полевой штаб находился в эти дни под Ставрополем на станции Рыдзвяная, и я с генералом Романовским и несколькими офицерами штаба, следуя со 2-м Офицерским полком, вошли в монастырь несколько преждевременно и попали под контратаку противника, вскоре, впрочем, отраженную.

Далее войскам Боровского продвинуться оказалось не под силу. 24-го противник сам переходил многократно в контратаки, особенно настойчивые на фронте 3-й дивизии и Корниловского полка; обе стороны понесли тяжелые потери, и наступление наше захлебнулось.

Так как к тому времени левобережные дивизии закончили свою операцию, я получил возможность *все силы* Добровольческой армии направить против Ставрополя.

Генералу Боровскому на северном Ставропольском фронте приказано было временно перейти к активной обороне; генералу Врангелю, очищая попутно правый берег Кубани в сторону Убежинской и Николаевской, сосредоточиться в Сингилеевской для атаки Ставрополя с за-

пада; генералу Казановичу — наступать через гору Недреманную и Татарку с юга; генералу Покровскому, совместно с Партизанской дивизией Шкуро — через Темнолесскую с юго-востока; для удержания Невинномысской оставался отряд генерала Гартмана — пластунские батальоны 1-й и 1-й Кубанской дивизий, а ополчения Баталпашинского отдела должны были обеспечивать операцию со стороны Минераловодской группы противника.

Я съездил вновь на Армавирское направление, видел войска Казановича и Покровского под Невинномысской, куда приехал и Шкуро. И по вынесенному впечатлению от чудесного настроения войск и начальников не беспокоился более за окончательный исход Ставропольской операции.

Вернувшись к Ставрополю, я застал все то же положение. В течение четырех дней большевики вели упорные атаки на всем фронте Боровского. Мы потеряли Сингилеевскую, но сохранили свое положение под Ставрополем ценою новых тяжелых потерь. В то же время 2-я советская Ставропольская дивизия, воспользовавшись ослаблением заслона генерала Станкевича, с 17-го перешла в наступление и к 24-му отбросила его от Б. Джалги к Тахтинскому, где он и сдерживал в дальнейшем противника.

Войска с юга между тем подвигались. К 29 октября генерал Врангель, очистив берег Кубани и разбив большевиков у Сингилеевской, подступил к Ставрополю с запада; генерал Казанович атаковал гору Недреманную[1]; генерал Покровский, сбивая арьергарды противника, к вечеру 28-го дошел до горы Холодной, в 10 верстах к юго-востоку от Ставрополя; обе фланговые дивизии вошли в связь с частями Боровского.

Это тактическое положение внесло крайнюю нервозность в настроение обложенного кругом города и в ряды большевистских войск. Город был забит тысячами раненых, больных, тифозных большевиков, и каждый день увеличивал число их. Все пути подвоза были

[1] К югу, в переходе от Ставрополя.

отрезаны. В Ставрополе, как передавали вырвавшиеся оттуда, носились уже зловещие слухи об измене... Некоторые большевистские части постановляли тайно сдаваться нам, но попытки их в этом направлении ликвидировались поставленными сзади позиций пулеметами. Только Таманская группа, стоявшая против войск Боровского, оставалась вполне надежной и решила «драться до последнего»...

Большевистское командование решило, очевидно, прорвать блокаду. 29-го советские войска крупными силами обрушились на весь фронт генерала Боровского и отбросили 3-ю дивизию, понесшую вновь громадные потери, версты на две от ее позиций. На прочих участках многократные атаки противника успеха не имели.

Этот день стоил и нам, и в особенности противнику очень дорого. Изнуренные потерями большевики 30-го не возобновляли атак.

Между тем с юга кольцо сжималось: генерал Казанович, атаковав 29-го гору Недреманную с крутыми скатами, взял ее, отбил несколько контратак и 30-го подошел к Татарке; рядом и восточнее генерал Покровский атаковал гору Базовую и Холодную. На горе Холодной был захвачен и закрыт Ставропольский водопровод.

К 29 октября, с занятием Покровским станицы Темнолесской *вся Кубанская область была освобождена от большевиков.*

Большевистское командование еще раз напрягло все свои силы, чтобы вырваться из окружения, и на рассвете 31-го вновь атаковало на севере фронт группы Боровского, на юго-востоке — конницу Покровского. На этот раз совершенно растаявшие полки 2-й и 3-й дивизий не выдержали и опрокинутые и преследуемые противником поспешно уходили на северо-запад, остановившись только на высоте селения Пелагиады. Конница Улагая отошла к Дубовке. Части Покровского были также несколько потеснены.

Отбиваясь от наступавших большевиков с перемешанными остатками своей дивизии и ведя их лично в контратаку, доблестный полковник Дроздовский был тяжело ра-

нен в ступню ноги... Пал сраженный пулей в висок командир Корниловского полка полковник Индейкин...

Ввиду пассивности большевиков на западном их фронте, генерал Врангель, оставив против него часть сил, с четырьмя полками кубанцев[1] свернул на Ново-Марьевку, ударил в тыл наступавшей там левой колонне противника и, отбросив его к северо-востоку, занял вновь монастырь и предместье, оставленные дроздовцами.

Наступила ночь. На севере все стихло, но на юге и западе шел еще сильный огонь...

Прорыв удался. Большевики вырвались из кольца. Образовав новый фронт по линии Дубовка (южнее)—Михайловское—Ставрополь—гора Базовая, они поспешно стали перебрасывать свои тылы в направлении Петровского...

• • •

Еще из Невинномысской я и старшие кубанские начальники снеслись телеграфно с кубанским правительством по вопросу об отсрочке открытия Краевой рады, назначенного на 28-е октября, до окончания Ставропольской операции, чтобы дать возможность кубанским начальникам, избранным членами Рады, принять участие по крайней мере в первых ее шагах... Это предложение вызвало возмущение в рядах черноморской группы и обвинение командования в саботировании Рады. Кубанское правительство не сочло возможным отложить открытие Рады. Частное совещание ее 27-го постановило лишь в программу первых дней включить вопросы внутреннего распорядка, а торжественное заседание в моем присутствии назначить на 1 ноября.

Считая весьма важным в политическом отношении мое обращение к Раде до начала ее работы, я в ночь на 1-е решил поехать на несколько часов в Екатеринодар. Во время произнесения мною в Раде речи[2] пришла телеграмма, что бригада 1-й Конной дивизии генерала Бабиева ворвалась в Ставрополь... Это известие, которым я поделился с Радой, вызвало бурную радость всех собравшихся... Той же ночью я вернулся в Пелагиаду. Оказалось, что генерал Бабиев занимал 1-го вокзал, но противник оставался еще в городе и только пополудни 2-го, при поддержке Самурского и 1-го Кубанского стрелковых полков и броневиков, 1-й Конной дивизии удалось окончательно овладеть городом.

Ставрополь был взят. Большевики оставили в нем $2^1/_2$ тысячи непогребенных трупов и до 4 тысяч невывезенных раненых. На дверях лазаретов были надписи: «Доверяются чести Добровольческой армии». Они могли рассчитывать на безопасность своих раненых. Мы — почти никогда. Во всяком случае, наши офицеры, попадавшие в руки большевиков, были обречены на мучения и верную смерть.

Но большевики, понесшие огромные потери, проявляли все же упорство необыкновенное. 3-го я двинул войска в наступление на восток, и в тот же день большевики тоже перешли в наступление, опять оттеснив наши части, действовавшие севернее Ставрополя, и оказывая вместе с тем упорное сопротивление Казановичу у Надеждинского. Четыре дня еще шли бои возле Ставрополя, и только 7-го, путем полного напряжения сил, наша атака против лучших и наиболее сохранившихся красных войск Таманской группы, сосредоточенной в районе Тугулук—Дубовка—Пелагиада, увенчалась окончательным успехом: наступлением остатков пехотных дивизий с запада, дивизии полковника Улагая с севера, конницы генерала Врангеля с юга от Ставрополя войска противника были окружены, разбиты наголову и обратились в паническое бегство. Их преследовали в направлении Петровского 1-я Конная и 2-я Кубанская дивизии, сведенные после своего соединения в конный корпус под начальством генерала Врангеля. Восточную группу красных, отходивших на Старо-Марьевское и Бешпагир, преследовали части Покровского и Шкуро.

А в те же памятные дни случилось и другое знаменательное событие, произведшее на Юге огромное впе-

[1] Ему придана была ранее бригада конницы из состава 3-й дивизии.

[2] В этой книге обзор политический я заканчиваю сентябрем, а военный для цельности изложения довожу до конца ставропольской операции.

чатление: союзный флот вошел в Черное море, и 9 ноября первые суда его появились на рейде Новороссийска.

Сражение под Ставрополем имело громадное значение для Добровольческой армии. Пройдет еще $2^1/_2$ месяца в непрестанных боях, Северокавказская большевистская армия, развертываясь и пополняясь, вновь будет насчитывать 60—70 тысяч бойцов, но уже никогда не оправится от нанесенного ей поражения.

* * *

Основные части Добровольческой армии во второй раз[1], казалось, гибли. 2-ю, 3-ю дивизию, некоторые пластунские батальоны пришлось вывести на длительный отдых для формирования и пополнения, 1-я оставалась еще на Ставропольском фронте. В добровольческих полках, проведших через свои ряды по многу тысяч людей, оставалось налицо 100—150 штыков. Несколько лучше было положение кубанских конных дивизий, в которые безостановочно с занятием каждой новой станицы вливалась живая волна.

Люди гибли, но оставались традиции, оставалась идея борьбы и непреклонная воля к ее продолжению. Старые, обожженные, обрубленные, но не поваленные стволы обрастали новыми ветвями, покрывались молодой листвой и снова стояли крепко в грозу и в бурю.

ГЛАВА XXXIII

СОПРИКОСНОВЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ С НЕМЦАМИ И ГРУЗИНАМИ. НАШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Утверждение наше на берегах Азовского и Черного морей привело к соприкосновению с германскими войсками и флотом. В предвидении неизбежных встреч с немецкими властями, добровольческим начальникам дана была мною краткая инструкция, заключавшая следующие положения: самим избегать всяких встреч и всякого общения; относительно политической конъюнктуры Добровольческой армии — Брест-Литовского мира не признаем, отношения наши с Германией может установить только всероссийская центральная власть, которой пока не существует, но враждебных действий против немцев мы без вызова с их стороны предпринимать не намерены; относительно торговых отношений — вопрос преждевременный, так как торговый аппарат еще не налажен, но боевые припасы покупать готовы в обмен на произведения страны; при всех сомнительных вопросах ссылаться на неимение от меня инструкций.

[1] В Первом Кубанском походе.

На Ейском рейде 2 августа появилась немецкая флотилия из четырех судов[1] под брейд-вымпелом капитана 2-го ранга, именовавшегося «командующим германскими морскими силами в Азовском море». В беседе с начальником гарнизона он объяснил причину появления немецких судов следующим образом[2]: «При последнем походе большевиков на Таганрог ими был пойман и приведен в Ейск пароход, на котором находились австрийские офицеры. Последние были бесчеловечно убиты и выброшены в море... Кроме того, в последнее время замечено много судов, пристающих в разных пунктах Крымского и Азовского побережья и высаживающих там большевиков, спасающихся от Добровольческой армии. Задача флотилии — прекратить зверства на море, *не допускать и истреблять высаживающихся негодяев*, так как никакому государству неприятно иметь их в своей среде»...

Такое неожиданное отношение свое к союзникам и пособникам Германии командующий флотилией пояснил тем, что «хотя Германия и заключила официальный договор с Советской Россией, неофициально он может выразить живейшее пожелание в скорейшей и оконча-

[1] Приспособленные и вооруженные русские суда — бывшие тральщики и землечерпалки.

[2] Рапорт начальника гарнизона г. Ейска 2 августа № 4.

тельной победе над большевиками в целях умиротворения края и введения в нем законного порядка и твердой власти».

Я думаю, что немецкий офицер говорил искренне, и таких было немало, но голос их не имел никакого решительно значения в русской политике Германии.

На второй день по взятии Новороссийска на рейде его появился немецкий миноносец, который стоял там постоянно и в эти дни случайно отсутствовал. Немецкий офицер тотчас же явился с визитом к военному губернатору полковнику Кутепову, поздравил его с занятием Новороссийска, выразил крайнее изумление быстротой движения Добровольческой армии и спросил, чем могут быть полезны германские суда. Содействие было вежливо отклонено. В дальнейшем несколько раз представители германского и австрийского (из Одессы) командования обращались к полковнику Кутепову за разрешением проехать для переговоров в Екатеринодар, но им было в этом отказано.

В то же самое время немцы высаживались у Адлера и начали рыть окопы фронтом на север против нас...

Сложнее был вопрос относительно Тамани. Еще весною восставшие против большевиков таманские станицы обратились к немецкому командованию в Крыму с просьбой о помощи. Быть может, это обращение было инсценировано и немцами, для которых, по словам майора фон Кофенгаузена, в вопросе о занятии полуострова «большую роль играла военная сторона дела, а именно обеспечение Керченского пролива». Немцы ввели на полуостров полк с батареей, потом еще несколько усилили оккупационный отряд и вытеснили большевиков до Темрюка, продвинув свой фронт к лиманам в низовьях Кубани.

С тех пор Тамань жила своей обособленной от остальной Кубани жизнью. Был там свой «атаман» — полковник Перетяткин, свои «вооруженные силы», то собиравшиеся, то расходившиеся и совершенно игнорируемые немцами. Казаки вели распрю, захватывали чужие запашки, разбирали войковые запасные земли, рыболовные воды;

начальство вело подкопы друг против друга и против кубанского правительства, не признавая его власти. Словом — суверенная Тамань в суверенной Кубани.

А в станице Таманской — столице нового государственного образования — квартировал командир 10-й ландверной бригады[1], правивший всеми, всеми помыкавший и содействовавший, главным образом, беспрепятственному вывозу с полуострова сырья и хлеба. Посредником его в сношениях с таманцами и фактическим распорядителем их судеб был платный немецкий агент инженер Каштанов — авантюрист, весьма сходный по типу с Иваном Добрынским. Каштанов носился с планами движения немцев на Новороссийск и Екатеринодар.

Когда в начале июля кубанское правительство командировало на Тамань кружным путем через Ростов своих представителей и генерала Борисевича, с целью воссоединить Тамань с Кубанским краем, его послы были арестованы и высланы немцами. 13 августа войска Покровского, преследуя большевиков, захватили Темрюк и на левом берегу Кубани у моста столкнулись с немецкой ротой. Река стала демаркационной линией между войсками и районами политического влияния немцев, с одной стороны, и Кубанского правительства и Добровольческой армии — с другой. С некоторыми, однако, отличиями. В приказе Таманского атамана мы прочли распоряжение командира ландверной бригады: «По причине полного нейтралитета (?), приказы Добровольческой армии для казачьих войск Таманского полуострова недействительны. Приказы же Кубанского краевого правительства — только в соглашении с германским генеральным командованием в Симферополе. Таманский полуостров находится под германской защитой»[2].

Но в половине сентября таманские депутаты постановили «выразить благодарность германскому командованию за оказанную помощь и теперь же просить оставить Таманский полуостров»; с аналогичным представлением

[1] Из состава оккупационных войск Крыма.

[2] 10 сентября 1918 года № 139.

обратился посол Кубанского правительства к высшему германскому представителю в Ростове майору фон Кофенгаузену. Последний ответил, что главное командование согласно на введение в пределах Тамани общекубанской администрации и «милиции». Что же касается «очищения края навсегда», то «это вопрос довольно отдаленного будущего» и о нем можно будет говорить только тогда, «если дружелюбное отношение (будущей) Краевой рады даст нам нужные гарантии»[1]. Ухудшившееся положение на западном фронте делало немцев пассивными и уступчивыми.

Такое положение в этом глухом углу продолжалось до конца октября, когда немецкие войска вынуждены были поспешно покинуть Тамань, а потом и Крым...

* * *

Когда войска Добровольческой армии продвинулись к Новороссийску, получено было известие, что в районе Туапсе с 24 июля находится небольшой грузинский отряд[2] под начальством генерала Мазниева, к которому примкнуло несколько сотен кубанских казаков Майкопского отдела. В начале сентября этот отряд оперировал вдоль армавир-туапсинской железной дороги между Туапсе и Белореченской, ведя борьбу с большевиками и помогая оружием и боевыми припасами восставшим кубанским станицам.

По установлении связи с Мазниевым генерал Алексеев послал ему письмо[3], выражая свою радость, что «судьба поставила нас не только в близкое боевое соприкосновение, *но сделала нас союзниками*, борющимися пока за одно и то же дело и действующими в одном и том же направлении... Думаю, — писал он, — более того убежден что этот союз примет длительный и более широкий характер». Распорядившись об отправке продовольственных припасов в отряд, генерал Алексеев сообщал, что он вообще «широко пойдет навстречу грузинскому правительству в

[1] Телеграмма Макаренко из Новочеркасска 19 сентября № 286.
[2] 2 батальона, 4 батареи, броневой поезд.
[3] 16 августа № 228.

удовлетворении его продовольственных нужд, ожидая, что и оно поделится (с ним) своими запасами и прежде всего — винтовками и патронами». М. В. просил для обсуждения условий товарообмена и других вопросов командировать в Екатеринодар доверенных от правительства лиц.

Между тем таманская группа большевиков, отступая от Новороссийска на юг, опрокинула отряд Мазниева, который отошел к Сочи. Наш конный полк, преследуя большевиков по пятам, 26 августа занял Туапсе, округ которого поступил в управление добровольческих властей.

Дальнейшее продвижение наше по Черноморской губернии было приостановлено грузинами, отношение которых к нам резко изменилось. К югу от Туапсе вместо большевистского образовался грузинский фронт; грузинское правительство отозвало генерала Мазниева как человека общероссийской ориентации, заменив его Кониевым. В районе Туапсе стали сосредоточиваться передовые грузинские силы, по преимуществу «народной гвардии» (до 3 тысяч при 18 орудиях); на побережье у Сочи, Дагомыса и Адлера грузины стали спешно возводить укрепления фронтом на север, причем в последних двух пунктах высадился небольшой немецкий десант. Создавалась угроза Новороссийску.

В это время наладилось уже сообщение между Новороссийском и южными портами, и из Грузии хлынули к нам вместе с волною беженцев и волнующие вести о проявлениях грузинского шовинизма... Из Сочи и Сухума шли мольбы об избавлении края от грузин.

Между тем грузинское правительство в ответ на приглашение генерала Алексеева командировало в Екатеринодар в качестве своего представителя Гегечкори вместе с генералом Мазниевым.

Обстановка, сопровождавшая начало наших сношений, имевших впоследствии столь важное значение для обеих сторон, не свидетельствовала об искренности грузин и не предвещала ничего доброго. Проездом в Екатеринодар Гегечкори остановился в Сочи, где при его

участии состоялся ряд митингов, организованных социалистическим блоком. На них слышались речи «высокого гостя» и других ораторов, дышавшие враждой к Добровольческой армии, и клятвы, что она войдет в Сочинский округ только «через трупы грузинских красногвардейцев»...

12 и 13 сентября состоялось совещание между Добровольческим командованием, кубанским правительством и грузинскими представителями[1].

Генерал Алексеев был тяжело болен и с большим трудом поднимался в эти дни с постели, чтобы вести заседание. *Последний раз перед смертью* он участвовал в государственной работе.

Открыл он заседание приветствием *«дружественной и самостоятельной Грузии»* и заверением, что «с нашей стороны никаких поползновений на самостоятельность Грузии не будет. Но, дав такое обеспечение от имени Добровольческой армии и кубанского правительства, мы должны ожидать равноценного отношения со стороны грузинского правительства к нам»...

Затем с большой горечью, словами резкими, не облеченными в дипломатические формы, он нарисовал картину тяжелого и унизительного положения русских людей на территории Грузии, расхищения русского государственного достояния, вторжения и оккупации грузинами, совместно с немцами, Черноморской губернии...

В его речи, дополненной потом в порядке обмена мнений, намечены были следующие главные вопросы:

1. Отношение Грузии к большевикам, к Добровольческой армии и к немцам.

2. Отношение к русскому населению на территории, занятой грузинами.

3. Вопрос о наших правах на часть русского государственного имущества и в частности — военных запасов бывшего Кавказского фронта.

4. Вопрос о гарантиях, чтобы при товарообмене русский хлеб шел действительно в Грузию, а не в Германию.

6. Вопрос о границах и об очищении грузинами Сочинского округа.

«Борьба с большевиками — это вопрос нашей жизни и смерти», — сказал Гегечкори... Категоричность этого заявления была, впрочем, тотчас же ослаблена пояснением, что задача эта ставится лишь *«на Черноморском побережье»*, и окончательно поблекла после повторных заявлений Гегечкори: «Они (большевики) говорят, что мы находимся в тесном союзе с Добровольческой армией. В действительности же ни в каком союзе (с ней) мы не состоим, а выполняем одну общую работу — борьбу с большевиками. Представлять же нашу работу, носящую случайный характер, в смысле связанности с Добровольческой армией, — нельзя»...

Итак, для выполнения общерусской задачи в Грузии союзника мы не найдем. Печально, но по крайней мере ясно.

На вопрос, что означает совместное вторжение грузин и немцев в Черноморскую губернию и «не участвует ли Грузия в союзе с немцами и большевиками в комбинации окружения Добровольчеекой армии», Гегечкори категорически отверг подобное предположение: «...Мы оберегаем свою независимую республику, и если немцы начнут (!) вмешиваться в наши внутренние дела, то правительство, с которым мы работаем, уйдет»...

Факт притеснения русских в Грузии Гегечкори отвергал. Быч также выражал сомнение по этому поводу, предлагая «с большою осторожностью относиться к этим сведениям», и утверждал, что кубанцы, возвращающиеся из Грузии, «не жаловались на скверное к себе отношение». Совещание приняло предложение обследовать вопрос этот на месте смешанной комиссией. Относительно государственного имущества и запасов бывшего Кавказского фронта, захваченных грузинами, Гегечкори заявил, что «этот вопрос должен быть разрешен на более авторитет-

[1] Участники: генералы Алексеев, Деникин, Драгомиров, Лукомский, Романовский, В. В. Шульгин и В. А. Степанов; полковники Филимонов, Быч и Воробьев; Гегечкори и генерал Мазниев.

ном собрании, на котором будут представители всей России, а не отдельных ее частей». Его поддержал всецело Быч, заявивший, что сейчас кубанское правительство претензий не предъявляет, а «переносит это на более компетентные органы; но *частные соглашения* по этому предмету заключать будет». Эти «частные соглашения», в отношении боевого имущества в особенности, вызывали, однако, у нас серьезные опасения: в борьбе против советской власти восставших терских казаков и осетин, которым удалось на время овладеть Владикавказом[1], грузины приняли более чем странное участие... По крайней мере, заседавший во Владикавказе большевистский «4-й съезд трудовых народов» так информировал местные совдепы: «Слухи о том, что грузины подступили к Владикавказу, неверны. Наоборот, грузинское правительство отпустило нам миллион патронов»[2].

Гегечкори подтвердил факт закупки и вывоза грузинского хлеба немцами, а гарантию того, что такая же участь не постигнет русский хлеб, он видел в том, что хлеб будет поступать в распоряжение правительства. Это положение резюмировал кратко один из участников совещания: грузинский хлеб — немцам, а русский взамен — грузинам...

Все эти вопросы, однако, могли быть в конце концов разрешены удовлетворительно. Перед совещанием встал основной принципиальный вопрос, который являлся, по выражению генерала Алексеева, «камнем преткновения, не давал возможности приступить к обсуждению других, с которым мы всегда будем сталкиваться»... Отношение к нему должно было служить показателем искренности и миролюбия грузинского правительства. Мы требовали возвращения к Черноморской губернии Сочинского округа[3], на который ни по историческим, ни по этнографическим мотивам Грузия не имела никаких прав. Округ, в котором из 50 селений 36 русских, 13 со смешанным пришлым населением и только одно грузинское; в котором грузин всего 10,8%[1]; который миллионами русских народных денег обращен был из дикого пустыря в цветущую, культурную здравницу. Был поднят вопрос и относительно Абхазии, насильственно присоединенной к Грузии, но никаких требований в отношении ее предъявлено не было.

Гегечкори от имени грузинского правительства заявил категорически, что Сочинский округ не может быть оставлен Грузией из-за опасений насилий со стороны большевиков над грузинами, которых там якобы 22%... Мы возражали, что большевиков уже нет на побережье, что силы Добровольческой армии достаточно велики, чтобы охранить округ, что нельзя таким односторонним актом — волею грузинского правительства — отнимать русское достояние только потому, что некому было заступиться за него...

Спор принял страстный характер.

Гегечкори отрицал за Добровольческой армией даже право защиты русских интересов. «На каком основании Добровольческая армия выступает защитником этого населения?... Ни вы, ни мы (?) не имеем права решать судьбу каких бы то ни было округов, так как вы представляете не Российское государство, каковое только и могло бы претендовать на это... Ведь Добровольческая армия — организация частная... При настоящем положении вещей Сочинский округ должен войти в состав Грузии»... Ему возражали, что раз Грузия считает себя независимой республикой, то пусть не вмешивается в чужие, русские дела и предоставит нам самим судить о них, о том, «частная» ли организация Добровольческая армия или государственная; пусть предоставит и Абхазии иметь суждение о своей судьбе...

Нас неприятно поразила уклончивая роль кубанского представителя Быча, который, как впоследствии оказалось, вошел тогда же в тайное соглашение с Гегечкори... Позднее, 11 ноября, Быч поведал на заседании Рады, что грузины не страшны Кубани, что они заявили о намерении передать ей Сочинский округ по соглашению с ку-

[1] 5–17 августа 1918 года.

[2] Заседание Кисловодского совдепа. «Известия» от 25 августа.

[3] Граница округа — река Бзыбь.

[1] Гегечкори исчислял 22%.

банским правительством и что между Кубанью и Грузией поэтому никаких недоразумений нет...

«Великая Кубань» и «Великая Грузия» нашли общий язык за счет интересов «Великой России».

Эти пожелания Быча не нашли, однако, поддержки в революционной демократии. «Сочинский объединенный совет социалистических партий» решил, что «хотя округ экономически тяготеет к Кубанской области, но присоединение его к Кубани расширило бы сферу влияния военной диктатуры», и поэтому постановил, чтобы: 1) «грузинское правительство немедленно особым декретом оформило временное присоединение Сочинского округа к республике и 2) одновременно установило правильный товарообмен с Кубанской областью для обеспечения населения округа хлебом и другими продуктами первой необходимости»[1].

Итак, «свободы» — грузинские, а хлеб — русский.

Гегечкори в последнем слове своем после горячих дебатов повторил:

— Наше заявление остается в силе. Мы настаиваем на *временном* оставлении Сочинского округа в пределах Грузинской республики.

Он сказал *«временном»*, отказавшись разъяснить существо этого понятия. И было свидетельство его, равно как и тайные обещания Бычу, лживо. Ибо на карте, где грузинская республика обозначила свои «исторические границы», которые ее парижская делегация должна была отстаивать перед мирной конференцией, в составе «Великой Грузии» показан был и Сочинский округ до Туапсе.

Генерал Алексеев высказал сожаление, что нетерпимость грузин не позволяет продолжать переговоры, и закрыл заседание.

— Должно же быть чувство справедливости, чувство меры...

Ввиду несостоявшегося соглашения я, не предпринимая никаких враждебных в отношении Грузии действий,

[1] Постановление 18 сентября 1918 года.

закрыл, однако, границу для пропуска через нее грузов. Войска наши остановились южнее Туапсе. Во всей грузинской прессе, особенно официозной, началась безудержная травля Добровольческой армии, «мобилизующей свои силы на Кубани для объединения с силами открытой монархической реставрации, для беспощадной борьбы с демократией»[1]; травля русского народа, для которого на страницах социалистических газет находились такие эпитеты, как «проклятый судьбою»...

Политика грузинского правительства была настолько непонятна, что вызвала на совещании вопрос:

— Не связаны ли вы в вашем решении кем-либо?.. (Германией.)

Гегечкори ответил:

— Мы связаны только своим собственным решением.

Действительно, уйдут немцы, придут англичане, но отношение к России не изменится. Грузия не откажется также от захвата русской земли, не облечет его даже в какие-либо псевдоюридические формы, а заявит откровенно: «Сочинский округ нам нужен как буфер между Россией и Абхазией, «Гагринские ворота» — как обороноспособный рубеж против наступления «какой-либо армии» с севера»[2].

Был еще один мотив, обольщавший не раз всех могильщиков великодержавной России...

Официоз грузинского правительства социал-демократическая газета «Борьба» доказывала в то время, что во всех случаях и при всех комбинациях дело восстановления России осуждено на полную неудачу и провал; даже в том случае, если сбудется лучшая перспектива, и «союзная демократия» построит свою попытку «на связь с (русской) демократией, Учредительным собранием, Уфой»...

• • •

Так начались наши отношения с Грузией, чреватые последствиями и вызвавшие легенды о нетерпимости доб-

[1] «Борьба».

[2] Протокол переговоров английского генерала Бригса с членами грузинского представительства в мае 1919 года.

ровольческой политики, оттолкнувшей будто бы от себя Грузию — «естественного союзника» нашего в борьбе с большевиками...

Время срывает покровы с людей и событий, разрушает легенды.

В 1921 году, когда окончилось самостоятельное существование Грузии, Церетели, взывая к «пролетариату всего мира», чтобы он «заклеймил подобный акт империализма» советов, оправдывался против обвинения в посягательстве на советскую власть[1]:

«...Грузия всегда была противницей всякого вмешательства во внутренние русские дела. Она никогда не участвовала в политических выступлениях, имевших характер такого вмешательства. Она наотрез отказалась сотрудничать с генералом Деникиным в то время, когда Добровольческая армия была всего более могущественна, и когда она искала союза с Грузией, угрожая ей войной в случае отказа»...

Враги Добровольческой армии, они не сознавали, что, подрывая ее бытие, губят этим и свой народ.

ГЛАВА XXXIV
СОБЫТИЯ НА ДОНУ ОСЕНЬЮ 1918 ГОДА: ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ; ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИЕЙ; ПРОЕКТ ДОНО-КАВКАЗСКОГО СОЮЗА; ДОНСКОЙ КРУГ

Продолжалась борьба с большевиками и на Дону.

В начале августа против 54 тысяч донцов[2] советская власть имела вначале 40, потом $66^1/_2$ тысяч штыков и сабель. Донская армия достигла почти всех рубежей войска на севере, западе и юге; только на востоке в Сальских степях большевики владели еще небольшой частью донской территории. Но административные рубежи области не имели никакого стратегического значения и не были обороноспособны. Необходимо было поэтому продвинуться к рубежам стратегическим, заняв важнейшие узлы дорог. Между тем казаки не желали продвигаться дальше границ своей области — «нам чужого не надо», — рассчитывая, что большевики удовлетворятся такой их «лояльностью». Заблуждение, которое, невзирая на неоднократные кровавые уроки, прочно владело казачеством и поддерживалось большевистской пропагандой: «Долой войну, мы вас не тронем»... Пришлось в стратегию вмешаться Кругу[1], который в особом указе от 18 августа повелел донскому войску «для наилучшего обеспечения наших границ... выдвинуться за пределы области, заняв города Царицын, Камышин, Балашов, Новохоперск и Калач в районах Саратовской и Воронежской губерний».

Но под влиянием настроений фронта уже через месяц поколебалась и твердость Круга, найдя отражение в закрытом заседании 18 сентября.

Одно из окружных совещаний внесло заявление: «Казаки на фронте ждут мира или поддержки. Всякое замедление поведет к гибели казачества». А потому совещание задает вопросы: «1) на какую поддержку и когда можно рассчитывать и 2) возможно ли добиться путем переговоров прекращения гражданской войны»...

Атаман ответил, что дипломатические переговоры с советской властью ведутся через дружественную Украину, и обещано содействие германского командования; что помогут добровольцы после освобождения Кубани; что «ни о какой гибели речи быть не может, казачество накануне победы»... Но, «считаясь с усталостью казаков на фронте»... на севере приказано прекратить наступление... Войска отойдут за укрепленную линию («с проволочными заграждениями») Богучар—Калач—Кантемировка, которую займет («русская») «Южная армия»... Так же будет

[1] «Воля России» 1921 года № 166. Письмо Церетели «по поручению социал-демократической партии и рабочих профсоюзов Грузии».

[2] В том числе 15 тысяч «молодой армии».

[1] Собрался в августе. См. ниже.

устроено на северо-востоке... Словом, «мы переходим к обороне, и она будет вестись главным образом артиллерией, пулеметами и ружейными батареями. Войска перейдут почти к караульной службе»[1]...

Такими иллюзиями, находившимися в полном противоречии со стратегией, психологией и практикой гражданской войны и передающими всю инициативу в руки противника, приходилось донским генералам успокаивать утомленные нервы представителей на Круге и воинов на фронте. В этом отношении положение мое было неизмеримо легче, чем атамана: Добровольческая армия, по крайней мере основные ее части, шла беспрекословно туда, куда я ее вел.

Всю осень тем не менее на Донском фронте продолжались бои, временами с большим напряжением. На севере донцы овладели городами Калачом и Павловском. В половине сентября большевики крупными силами перешли там в контрнаступление от станции Таловой, но были разбиты генералом Гусельщиковым. Серьезные недоразумения между «главкомом» Подвойским и одним из видных красных начальников Сиверсом подорвали положение Подвойского и повели к прекращению задуманной здесь наступательной операции. В начале августа большевики повели наступление и от Царицына и оттеснили генерала Мамонтова за Дон. Но подкрепленный крепкими частями — пластунской бригадой и конной дивизией из состава молодой армии, — в сентябре Мамонтов вновь подошел к самому Царицыну. В начале октября царицынская «тройка» (Сталин, Минин, Ворошилов) посылала в центр отчаянные телеграммы, считая положение города безнадежным... Их выручило, однако, прибытие из Ставропольского района «стальной дивизии» Жлобы. Жлоба, много раз терпевший неудачи в боях с добровольцами и не ладивший с Северокавказским командованием, бросил тайно фронт и пошел к Царицыну. «Реввоенсовет» «за преступное, самочинное, губительное для дела революции оголение фронта» объявил Жлобу «вне закона», причем «каждый честный

[1] Из отчета о заседании 18 сентября.

гражданин советской республики обязан (был) его расстрелять без промедления»[1]... Но роль, сыгранная Жлобой под Царицыном, очевидно, примирила с ним советскую власть, так как имя его еще не раз потом встречалось в оперативных сводках. Под угрозой охвата своего правого фланга дивизией Жлобы донцы вновь принуждены были отойти к Дону.

В то время как на фронте Дона шла борьба с перемежающимися приступами то высокого подъема, то ослабления воли к сопротивлению, на Южном фронте Красной армии положение было многим хуже. Целый ряд военных мятежей, отказов от исполнения боевых приказаний, крупных ссор между красными начальниками знаменуют этот период операций советских войск, не блещущий боевым вдохновением. С огромным упорством большевистское командование стягивало, однако, на Дон новые войска за счет Украинского, «внутреннего» и даже Восточного фронтов. В конце октября, ко времени падения Германии, в районе Поворино—Балашов сосредоточился сильный кулак из войск 9-й армии Егорова, побудивший донское командование ослабить напряжение в Царицынском и Воронежском направлениях и стягивать силы к северо-востоку области.

Поздняя осень и зима 1918—1919 года принесут с собою новые кровопролитные сражения, потребуют от Донского войска громадного напряжения сил и новых жертв...

•••

Отношения между добровольческим и донским командованиями оставались по-прежнему весьма тягостными. Они проявлялись в повседневной жизни на каждом шагу и вносили нервирующий элемент в текущую работу. Точек же соприкосновения в этой, по существу общей работе было слишком много.

Продолжалось и расхождение политическое.

В последних числах июля Кубанский атаман прислал мне поступившую к нему от генерала Краснова для подписания декларацию *Доно-Кавказского союза*.

[1] Приказ от 19 сентября № 6.

Текст ее гласил:

«Под тяжестью ударов судьбы, обрушившихся на нашу Родину, в видах сохранения своей независимости, благополучия и достояния и общности интересов близких по духу народов, населяющих Юго-восток, в октябре 1917 года мы провозгласили себя Юго-восточным союзом, пребывая в уверенности, что общими усилиями союз этот сумеет противостоять наступающим темным силам, поправшим все Божеские и человеческие законы.

Начавшаяся борьба с большевиками дала временный успех последним.

Ныне Господь благословляет успехом наше оружие: край наш ожил. Однако, имея в виду, что для похода в наши степи и горы готовятся новые полчища и в видах государственной необходимости, атаманы Всевеликого войска Донского, Войска Кубанского, Войска Астраханского, Войска Терского и председатель Союза горцев Северного Кавказа, беря на себя всю полноту Верховной государственной власти, настоящим провозглашают суверенным государством Доно-Кавказский союз.

Объявляя об этом, просим Вас, Милостивый Государь, передать Вашему правительству нижеследующее:

1. Доно-Кавказский союз состоит из самостоятельно управляемых государств: Всевеликого войска Донского, Кубанского войска, Астраханского войска и Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана, соединенных в одно государство на началах федерации.

2. Каждое из государств, составляющих Доно-Кавказский союз, управляется во внутренних делах своих согласно с местными законами на началах полной автономии.

3. Законы Доно-Кавказского союза разделяются на общие для всего союза и местные, каковые каждое государство имеет свои.

4. Доно-Кавказский союз имеет свой флаг, свою печать и свой гимн.

5. Во главе Доно-Кавказского союза стоит Верховный Совет: из атаманов (или их заместителей) Донского, Кубанского, Терского, Астраханского и главы Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана, избирающих из своей среды председателя, который и приводит в исполнение постановления Верховного Совета.

6. При Верховном Совете периодически собирается не менее раза в год Сейм представителей от населения государств, входящих в Доно-Кавказский союз.

7. Сейм собирается распоряжением Верховного Совета, объявленным через его председателя, и вырабатывает общегосударственные законы, утверждаемые Верховным Советом.

8. Доно-Кавказский союз имеет общую армию и флот. Командующий всеми вооруженными силами союза назначается Верховным Советом.

9. Доно-Кавказский союз имеет следующих общих министров, назначаемых Верховным Советом:

иностранных дел,
военного и морского,
финансов,
торговли и промышленности,
путей сообщения,
почт и телеграфа,
государственного контролера,
государственного секретаря.

10. Временной резиденцией правительства Доно-Кавказского союза объявляется город Новочеркасск.

11. Доно-Кавказский союз имеет общие монетную систему, кредитные билеты, почтовые и гербовые марки; общие тарифы: железнодорожные, таможенные и портовые, а также почтовые и телеграфные.

12. Доно-Кавказский союз, провозглашая себя самостоятельной державой, объявляет вместе с тем, что он находится в состоянии нейтралитета и, не будучи в состоянии войны с какой-либо державой мира, борется лишь с большевистскими войсками, находящимися на его территории.

13. Доно-Кавказский союз намеревается и впредь поддерживать мирное отношение со всеми державами и не

допускать вторжения на свою территорию никаких войск, хотя бы для этого пришлось отстаивать интересы свои и своих граждан вооруженной силой.

14. Доно-Кавказский союз настоящим изъявляет свое намерение вступить в торговые и иные сношения с державами, которые признают его державные права.

15. Границы Доно-Кавказского союза очерчиваются на особой карте, причем в состав территории союза входят Ставропольская и Черноморская губернии, Сухумский и Закатальский округа и, по стратегическим соображениям, южная часть Воронежской губернии со станцией Лиски и городом Воронежом, а также часть Саратовской губернии с городами Камышином и Царицыном и колония Сарепта.

16. Доно-Кавказский союз выражает уверенность, что нарождение его будет благоприятно принято всеми державами, заинтересованными в его существовании, и что они не замедлят прислать своих представителей, равно как и союз не замедлит послать свои дипломатические миссии к признавшим его державам».

Некоторые положения этого акта являлись совершенно несовместимыми с идеологией Добровольческой армии. Создание «суверенного государства» в корне противоречило идее единой России... Создание вооруженных сил «союза», имеющих задачей «борьбу с большевистскими войсками» *лишь* «на его территории», лишало всякого смысла жертвы добровольцев, приносимые во имя спасения *России*. Генерал Алексеев, я, тысячи-тысячи офицеров, вступавших сознательно в армию, не могли относиться к подобным актам только как к «политическим трюкам» или «клочкам бумаги». Практика новообразований с явным превалированием чисто областных интересов, до стремления к примирению с большевиками включительно, не вызывала в этом отношении сомнений. Добровольческой армии предстояло или стать орудием сомнительной областной политики, творимой Радой, Кругом и, прежде всего, изменчивым настроением казачества; или оставить территорию «союза», распростившись с надеждами на прочную политическую и военную базу, созда-

ние которой потребовало стольких усилий и жертв. Вернее — второе. Ибо первое было психологически невозможно ни для руководителей, ни для массы «русских» добровольцев.

Исходя из этих положений, я обратился с письмом к председателю донского правительства генералу Богаевскому. Привожу текст письма со сделанными на нем сбоку пометками атамана Краснова[1].

Милостивый Государь Африкан Петрович.

Образование в октябре 1917 года Юго-восточного союза в действительности осталось только на бумаге.

Успехи большевиков, развал казачества на Дону и Кубани, а также возникшая борьба на Тереке не дали возможности провести в жизнь образование Юго-восточного союза.

Ныне обстоятельства вновь позволяют вернуться к мысли создать прочный и сильный союз, могущий предотвратить новые испытания.

Изменению обстановки Дон и Кубань в значительной степени обязаны Добровольческой армии, при помощи которой изгоняются большевики и уничтожается власть черни.

«Армия вне политики».

Добровольческая армия, имеющая задачей возрождение единой великой России, кровью своей сроднилась с Доном и Кубанью, и далее, перед выполнением своей основной, исторической задачи, она поможет и Тереку освободиться от большевиков.

При образовании Юго-восточного союза в октябре 1917 года никто не имел никаких сепаратных стремлений, и авторы

[1] Пометки показаны слева курсивом.

идеи союза считали, что образование союза необходимо лишь *временно*, до восстановления единой России.

Составленная же ныне правительственная декларация Доно-Кавказского союза вызывает самые серьезные возражения:

«Это неверно».

1. Прежде всего создается впечатление, что идет речь о создании постоянной федеративной державы, вполне самостоятельной, наподобие «самостийной» Украины.

Авторы этой декларации как бы думали об узаконении расчленения России, а не об ее объединении.

«Причем тут Добровольческая армия?»

2. Совершенно игнорируется Добровольческая армия, которая помогла Дону и Кубани в борьбе с большевиками.

Даже больше: пункт XIII дает право думать, что и Добровольческая армия, находящаяся на территории союза, может быть признана враждебной.

3. Включение в состав Доно-Кавказского союза Ставропольской губернии, в которой уже введено управление распоряжением командующего Добровольческой армией, без особого представителя от губернии является недопустимым.

Эта губерния может быть включена в союз лишь как полноправный член Союза, так как и по размерам, и по значению она является значительной, и интересы ее и Добровольческой армии должны быть вполне обеспечены особым представителем ее в Верховном Совете.

«Согласен.»

4. Пункт IV устанавливает особый флаг державы, в то время когда вряд ли допустимо иметь какой-либо другой флаг помимо родного русского.

5. Декларация не может включать в себя такие пункты, как XII, XIII и XIV, которые

связывают дальнейшую политику державы, ведение каковой возлагается на Верховный Совет.

«Ничего подобного».

6. Пункт XV особенно подчеркивает стремление к «самостийности» и к дальнейшему расчленению России.

Вследствие всего изложенного, не возражая против пользы образования Доно-Кавказского союза, считаю необходимым:

«Само собой разумеется».

1. Определенно указать, что союз образуется *временно* — впредь до воссоздания России.

«Можно».

2. Включить в состав проектируемого Верховного Совета представителя Добровольческой армии и военного генерал-губернатора Ставропольской губернии.

«Никогда».

3. Командующим всеми вооруженными силами союза назначить командующего Добровольческой армией.

«Совершенно верно, но при чем тут Добровольческая армия?»

4. Окончательная редакция декларации должна быть выработана после созыва Большого круга на Дону и Рады на Кубани, при участии представителя Добровольческой армии, игнорировать которую недопустимо.

Примите уверение в совершенном уважении и преданности,

Деникин.

Мои положения имели целью: вхождением в «Верховный Совет» представителя Добровольческой армии, которым мыслилось такое авторитетное лицо, как генерал Алексеев, создать гарантии общерусского направления политики «союза»; путем объединения вооруженных сил в лице командующего Добровольческой армией направить вооруженную борьбу в русло общегосударственных задач. В ответ мы получили игнорирование участия армии как государственно-правового фактора в создании

«конституции» союза и полный отказ от объединения командования. Так как кубанское правительство, в свою очередь не сочувствовало проекту по другим мотивам (для него опасным и неприемлемым было принятие на себя «всей полноты верховной власти» *атаманами)*, то и на этот раз «союз» остался только одним из многих бумажных проектов.

Тем не менее необходимость объединения сказывалась во всех областях жизни все с большею настойчивостью. Финансовый вопрос, например, запутывался до чрезвычайности. Донская область имела свою экспедицию заготовления денежных знаков, которыми пользовались в незначительной мере Кубань и Добровольческая армия. Необходимо было или объединить эмиссию или выпускать каждому свои знаки, к чему стремилась Кубань и что, обесценив и донские и наши знаки, создало бы полный хаос в денежном обороте небольшой освобожденной территории.

Генерал Алексеев обратился к донскому и Кубанскому атаманам с приглашением прислать своих представителей в комиссию генерала Лукомского для разрешения при участии известных русских финансовых деятелей финансовой проблемы вообще и в частности — вопроса об единой монетной системе. К нашему удивлению, генерал Краснов ответил не только согласием, но и более широким контрпредложением:

«Я бы пошел дальше, — писал он. — Полное объединение Дона и Кубани, связанных общими интересами, послужило бы к началу воссоздания единой, неделимой России... Настало время создавать общих министров финансов, путей сообщения, продовольствия, юстиции; а впоследствии, когда яснее станет общая политика и менее разбросан фронт, то и министра иностранных дел, военного, морского... (и т. д.) полагал бы иметь общих по соглашению между Вашим Высокопревосходительством, атаманом Кубанского войска и мною»[1].

[1] Письмо генерала Краснова генералу Алексееву 3 сентября 1918 года № 679.

Это письмо произвело на генерала Алексеева впечатление полной перемены курса донской политики; он приказал размножить и спешно разослать его мне, Лукомскому, в комиссию.

Опять «клочок бумаги», может быть предвыборный прием... — через неделю предстояли перевыборы Донского атамана... Оказалось, что донские представители, собравшиеся через несколько дней в финансовой комиссии, вовсе не желали отказываться от исключительного эмиссионного права Дона и не приняли никакого, даже принципиального решения под предлогом, что этот вопрос подлежит компетенции Круга и Рады...

На собиравшийся Донской круг вообще возлагалось много надежд и ожиданий не одним только Доном. Круг должен был указать общее направление политики для старшего и наиболее сильного численно казачьего войска, дававшего тон другим.

Немалый интерес представлял поэтому и атаманский вопрос. Оппозиция атаману была сильна интеллектуально и работала нередко приемами, подрывавшими идею донской власти. Тем более что политическая борьба переносилась на фронт: в силу почти поголовного участия мужского населения в войне, закон предоставлял выборные права частям. Начались митинги, агитация, разгорелись политические страсти, в особенности на окружных совещаниях, отражаясь затем брожением в войсках на фронте. Атаман энергично расправлялся с оппозицией. Более видные представители ее тем или другим путем были обезврежены. Так, бывший походный атаман генерал Попов устранен от деятельности; генералы Семилетов, Сидорин, полковник Гущин обесчещены атаманским приказом и оставили службу; кадет Н. Е. Парамонов арестован немцами и выслан на Украину. Выслан был также Красновым с Дона представитель «российской оппозиции» М. В. Родзянко в качестве... «гражданина Демократической советской республики»... Любили на Дону красное словцо. Сам кандидат оппозиции на пост Донского атамана — пользовавшийся репутацией человека либеральных взглядов, противника немцев и друга Доброволь-

ческой армии — генерал А. Богаевский состоял председателем правительства, и его безупречная лояльность гарантировала атаману, что в этой должности он будет безопаснее, чем на стороне.

Круг собрался 15 августа, и уже самым фактом избрания своим председателем В. А. Харламова — лидера оппозиции — показал, что доверие к атаману небезусловно... Борьба продолжалась и на Круге всевозможными приемами, не раз чисто демагогическими. Атаманские выборы затягивались оппозицией; судьба их долго колебалась и в середине сентября была окончательно решена при взаимодействии трех разнородных факторов: давления германцев, лояльности Добровольческого командования и отказа от баллотирования генерала Богаевского.

Еще 4 сентября майор фон Кофенгаузен писал генералу Краснову о враждебности к немцам генерала Богаевского и об его якобы интригах против атамана: «...Высшее германское командование просит Вас потребовать немедленного выбора атамана, которым несомненно будете Вы, Ваше Превосходительство (судя по всему тому, что нам известно)... Отсрочка выборов атамана дает возможность агитировать враждебным немцам элементам, и я боюсь, что высшее командование сделает свои выводы и прекратит снабжение оружием»...

В день избрания атамана на совещание президиума и старейшин явился командующий армией генерал Денисов и принес телеграмму, адресованную на его имя майором фон Кофенгаузеном:

«По поручению высшего германского командования имею честь сообщить Вам следующее: происшедшее за последние дни показывает, что на Круге имеется стремление ограничить власть атамана. Ввиду чего предвидится опасность, что будет образовано правительство со слабою властью, которая не сможет в достаточной мере противостоять многочисленным внутренним и внешним врагам Донского государства.

Так как, с другой стороны, высшее командование может находиться в хороших отношениях только с таким

государством, которое по конструкции своего правительства даст уверенность быть сильным и защитить свою свободу, оно (высшее германское командование) видит себя вынужденным до тех пор, пока это обстоятельство является сомнительным, временно воздержаться от всякой поддержки оружием и снарядами. Применение этого решения продолжится до тех пор, пока не будет выбран атаман, в котором высшее германское командование будет уверено, что он поведет политику Донского государства в направлении, дружественном Германии, и который будет облечен Кругом полнотою власти, необходимой для настоящего серьезного момента.

Я прошу Ваше Превосходительство сообщить об этом еще сегодня же Его Высокопревосходительству Донскому атаману, к которому высшее германское командование питает самое полное доверие, а также сообщить г. Председателю Совета Министров генерал-лейтенанту Богаевскому.

Подписал:
фон Кофенгаузен,
генерального штаба майор».

Денисов, говорится в отчете, прибавил, что «придется совершенно прервать всякие сношения с Добрармией», но «это предложение не встретило сочувствия»[1].

Добровольческое командование, которое генерал Краснов считал злейшим своим врагом и опорой оппозиции, активного участия в борьбе донцов за атаманский пернач не принимало. В приветственной речи, произнесенной на Круге генералом Лукомским, не было сказано ни слова о наших трениях с атаманом. Лукомский выразил «глубокую уверенность армии в том, что все слухи о каких-то антирусских и сепаратных стремлениях отдельных лиц и групп на Дону являются злостной клеветой»... Он говорил еще об «объединении в общей работе по воссозданию единой Великой России и единой могучей русской армии»... Секретный наказ, данный

[1] Отчет от 15 сентября № 16.

мною генералу Лукомскому[1], «в вопросе о конструкции власти на Дону при тех исключительных условиях, в коих находится ныне область», требовал придерживаться следующих положений:

«1. Единая твердая власть, не связанная никакими коллегиями, необходима.

2. Круг должен обязать будущего атамана к прямому, честному и вполне доброжелательному отношению к Добровольческой армии.

3. Раскол среди политических партий на Дону, новые потрясения, подрыв и умаление атаманской власти совершенно не желательны.

Поэтому, если оппозиция не имеет прочной почвы под ногами и сильных кандидатов и считает нужным поддержать кандидатуру генерала Краснова, возражений со стороны Добровольческой армии не будет, при соблюдении пункта 2-го.

4. Так как личная политика генерала Краснова совершенно не соответствует позиции, занятой Добровольческой армией, то *активной* поддержки (например, публичное выступление с соответствующей речью, официозный разговор и т. п.) оказывать отнюдь не следует.

Изложенное в пункте 3 надлежит сообщить доверительно отдельным видным представителям оппозиции.

5. Выделение отдельных частей Добровольческой армии на Царицынский фронт пользы не принесет, а среди разнородных элементов донских ополчений, астраханских организаций могло бы вызвать чреватые последствия. На Дону остались неиспользованными части новой донской армии; длительность их подготовки значительно больше, чем мобилизованных Добровольческой армии.

Во всяком случае Добровольческая армия, как только справится со своей задачей на Кубани, будет двинута безотлагательно на Царицын и поможет в полной мере Дону. При этом обязательно подчинение действующих на

[1] От 22 августа.

этом фронте донских частей командованию Добровольческой армии.

Незаконченность работы здесь[1] подорвала бы в корне моральное значение Добровольческой армии и привела бы опять к «исходному положению», т. е. окружению всех границ Дона большевиками».

Генерал Алексеев по поводу производства Кругом атамана Краснова в генералы от кавалерии послал ему телеграмму, поздравив в сердечных выражениях с производством, «являющимся достойной оценкой (его) самоотверженных, неусыпных трудов по созданию молодой Донской армии»...

На Кругу между тем все более нарастало напряженное настроение... «Генерал Богаевский, — докладывал наш представитель в Новочеркасске, допущенный к присутствию во всех заседаниях Круга, даже закрытых, — несомненно пользовался большими симпатиями Круга и если бы баллотировался, то прошел бы лучше Краснова. Но было ли бы это лучше для Дона, сказать не могу: он слишком мягкий человек и вряд ли ему удалось бы справиться»... Наконец, на заседании 11 сентября вопрос разрешился: генерал Богаевский потребовал слова и заявил о своем категорическом отказе баллотироваться в атаманы. Он говорил искренно и задушевно о серьезности момента, о недопустимости ломки в направлении государственных дел, неизбежной при избрании нового лица на пост атамана, о внешней политике, которой «Дон прижат к стене»... «Я не хочу мешать счастью Дона, служить препятствием к скорейшему освобождению его... не хочу быть виновником пролития хотя бы одной лишней капли крови казака»...

Атаманом был переизбран генерал Краснов.

В числе вопросов, разрешенных Кругом, было два особой важности. «В тяжкое время напряженной войны казачества за свое существование, за свои права и вольности» Круг, утвердив основные законы, предоставил

[1] На Кубани.

донскому атаману «в полном объеме власть управления военного и гражданского и власть законодательства во время отсутствия Круга»[1]... Это была большая победа генерала Краснова. Круг принял также закон «об отчуждении в войсковой земельный фонд всех частновладельческих земель с их недрами и лесами... для удовлетворения малоземельных казаков и коренных крестьян»[2]. Это была победа оппозиции.

Свое отношение к внешней политике атамана Круг высказал в словах сдержанных и осторожных: «Одобрить общее в отношении центральных держав направление политики правительства, основанной на принципе взаимного и равноправного удовлетворения обеих сторон в практических вопросах, выдвигаемых жизнью, без вовлечения Дона в борьбу ни за, ни против Германии»... К вопросу об «Юго-восточном союзе» Круг отнесся довольно равнодушно, но признал все же принципиально необходимость его восстановления и пересмотр союзного договора. Вместе с тем Круг высказал Добровольческой армии «горячую любовь и искреннее желание не словами, а делом служить (ей) в (ее) тяжелой святой работе»...

Хотя, таким образом, конкретно взаимоотношения между Донским атаманом и добровольческим командованием установлены не были, но «общее отношение Круга к Добровольческой армии — как доносил наш представитель — было в высшей степени благожелательное. Это много раз высказывалось... А в частных беседах многие и до сего времени продолжают смотреть на армию, как на спасителей Дона, а потом и России... В составе правительства (также) очень много сторонников армии». «Теперь, — резюмировал докладчик свои впечатления, — с громадными изменениями внешней обстановки, и атаман Краснов должен изменить свой курс в отношении Добровольческой армии».

[1] Указ 15 сентября 1918 года.

[2] Вознаграждение было установлено только за земли.

ГЛАВА XXXV

ВОПРОС О ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ. ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП. ПОЗИЦИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА. УФИМСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОМАНДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ С ДИРЕКТОРИЕЙ

Вопрос о всероссийской власти занимал все политические группировки. Как существо, так и пути пришествия власти представлялись в крайне разнообразных формах.

Правый центр, как мы знаем, ставил своей задачей восстановление монархии и династии, не останавливаясь, однако, окончательно на личности венценосца. Путь к разрешению этой задачи Центр видел в следующем[1].

В результате вооруженной борьбы с большевиками и местных восстаний, во главе войск и гражданского управления силою вещей станут военачальники в ранге «главноначальствующих». Эти лица «не должны задаваться целями государственного строительства»... Единственная их задача — «это очищение подчиненной им местности от остатков советской власти, прекращение гражданской войны и классовой борьбы, недопущение к власти или участию в управлении социалистических элементов, хотя бы самого правого толка, водворение порядка и восстановление деятельности железных дорог, телефонов и телеграфов». Вначале главноначальствующие, естественно, будут самостоятельными, засим их деятельность должна быть объединена. «В местностях, находящихся на пути следования с юга Добровольческих армий, объединяющим лицом явится Главнокомандующий этими армиями... Северные же области, по мере восстановления связи, должны быть подчинены главноначальствующему г. Моск-

[1] Записка от 1 июля 1918 года.

вы и Московской губернии»... После этого появляется «Правитель Государства и Совет Министров», задача которых в первое «переходное время» сводится «главным образом к расчистке пути для проведения в будущем органических реформ»...

Правый центр понемногу распадался и терял всякое политическое значение. Значительная часть его членов оставила советскую Россию и переехала в Киев, где вошла в состав местных организаций и в большом числе в образовавшееся там «Совещание членов Государственной Думы и Государственного Совета». Эта новая организация явилась, таким образом, духовной преемницей Правого центра, воспринявшей и его германофильство, и политическую идеологию, умерявшуюся, впрочем, до октября (переизбрание президиума) участием Милюкова и его единомышленников. К осени, сообразно с новыми факторами — надвигавшимся кризисом Германии и создавшейся в процессе борьбы с большевизмом новой «политической картой России», пути к созданию конституционной монархии, которая признавалась Совещанием наилучшей формой правления, наметились уже иные[1]: 1) «объединение под одним знаменем как Добровольческой армии, так и всех отдельных... правительств в целях создания одной общей мощной военной силы, имеющей целью свержение большевиков и образование взамен их русской государственной власти (при условии предоставления отдельным областям широкой автономии); 2) создание объединенного органа сильных общественных групп, состоящего как из представителей учреждений, отражающих зрелую политическую мысль страны, каковыми являются бывшие законодательные палаты, земские и городские самоуправления дореволюционного избрания, так и представителей важнейших отраслей народного труда, как-то: землевладения и земледелия, промышленности, торговли, финансов»...

Партия социалистов-революционеров, как мы видели, верховной властью считала Комитет членов Учредительного собрания, самарский эмбрион которого посылал своих «наместников» — комиссаров — на места.

[1] Наказ «уполномоченным Совещания», отправлявшимся в Добровольческую армию.

Пути «Национального Центра» и «Союза возрождения» поначалу сошлись. Обе организации считали необходимым за пределами Восточного фронта впредь до созыва нового Учредительного собрания организовать всероссийское правительство: по существу — диктатуру, по форме трехчленную директорию. В отношении персональных назначений стороны до конца не договорились: Национальный Центр настаивал на «возглавлении» директории верховным руководителем Добровольческой армии генералом Алексеевым; Союз возрождения обходил этот вопрос уклончиво... Для переговоров с новообразованиями и окончательного решения вопроса обе стороны избрали из своей среды по три члена и командировали их на Север, Юг, за Волгу и в Сибирь.

В переходный период борьбы за воссоздание государства директория, по мысли Союза возрождения, «должна была опираться на восстанавливаемые ею в районе ее действий демократические органы местного самоуправления».

* * *

Все правые группировки, выдвигая идею о временном «Правителе государства», диктаторе, Верховном главнокомандующем, с этими понятиями связывали имя Великого князя Николая Николаевича.

Великий князь жил тогда в имении своего брата Великого князя Петра Николаевича — «Дюльбере». Жил крайне замкнуто, не принимая многочисленных представителей политических партий, искавших свидания с ним. Вместе с тем он резко отклонил всякое общение с немецкими властями оккупированного Крыма.

В Добровольческой армии идея привлечения Великого князя к активной деятельности впервые проявилась реально в конце мая 1918 года. В Мечетинскую станицу, где стояла тогда армия, приехали два офицера и от имени якобы некой тайной организации, не имевшей, конечно, никакой связи с Великим князем, начали вербовать в нее офицеров. От поступающего требовалось только призна-

ние верховного главенства Николая Николаевича и выступление, когда им будет указано. Новому члену организации выдавался картонный знак с номером и инициалами Великого князя.

Узнав об этом, я приказал отыскать этих офицеров и представить их мне. Оказалось, что они выехали в Егорлыкскую, в дивизии Дроздовского. Запросил Дроздовского, который ответил, что офицеры уехали в Ростов. Тем дело и кончилось.

Тогда же, в конце июня, на Дону появился князь П.М. Волконский. После беседы с ним генерал Алексеев писал мне из Новочеркасска[1]:

«На днях я беседовал с князем Волконским — человеком, видимо, близким приближенным Великому князю. По его словам Николай Николаевич никакого желания идти на арену политической жизни не имеет, но его угнетает мысль, что он посылкой своей телеграммы о необходимости отречения способствовал гибели монархии, разрушению России и хотел бы, чтобы загладить свой шаг, принять участие в боевой работе. Это может привести к присоединению к нам Великого князя, если не отклонить приезда. Время на все имеется»...

В августе князь Волконский был в Екатеринодаре и виделся вновь с генералом Алексеевым и со мною. Генерал Алексеев со слов князя Волконского передавал мне, что Великий князь Николай Николаевич выражает неудовольствие, что до сих пор не получает приглашения от командования Добровольческой армии стать во главе движения, тогда как это является желанием всей армии... М. В. был весьма озабочен такой постановкой вопроса, ввиду тех настроений, которые существовали в занятом крае, в казачестве и в особенности на Кубани. Со мною князь Волконский беседовал об опасности пребывания Великого князя в Крыму и о возможности для него избавиться от немецкой опеки путем тайного переезда на территорию Добровольческой армии; я ответил, что в случае нужды этому будет оказано всемерное содействие.

[1] 30 июня № 66.

Происходило какое-то большое недоразумение.

Я не знаю, что говорил князю Волконскому генерал Алексеев, но впоследствии, к моему удивлению оказалось, что того, кого мы считали «послом Дюльбера», в Дюльбере сочли послом... генерала Алексеева. Князь Волконский в качестве такового просил приема, но «Великий князь, решивший лично не принимать никого, кто являлся к нему с каким-либо политическим предложением, не сделал исключения и в этом случае». Осведомление произошло через третьих лиц и заключалось в следующем: князь Волконский от имени генерала Алексеева довел до сведения Великого князя, что «Добровольческая армия мечтает, чтобы в известную минуту он стал во главе ее, и что генерал Алексеев запрашивает его принципиального согласия с тем, чтобы оповестить (Великого князя), когда такая минута настанет». Мы получили из авторитетного источника сообщение[1], не заставшее уже в живых М. В. и устанавливавшее, что инициатива переговоров не исходила вовсе от Великого князя, а являлась лишь ответом на предложение, формулированное князем Волконским; сообщение — свидетельствовавшее о личной незаинтересованности Великого князя и о большом политическом такте его. «Великий князь полагает, — писали нам, — что ему можно будет принять в свое время приглашение Добровольческой армии при условиях, которые аннулировали бы претенциозные заявления князя Львова о «воле народа»[2]. Для спокойствия его совести нужно было бы, кроме обращения Добровольческой армии, которую он ценит по заслугам, чтобы оно было подкреплено соответствующим, возможно более веским обращением общественности. Великий князь стоит в стороне (от всех политических групп). Если обстоятельства сложатся так, что

[1] От 27 сентября.

[2] В письме председателя Временного правительства князя Львова Великому князю Николаю Николаевичу о необходимости оставить пост Верховного главнокомандующего говорилось: «Народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых каких-либо государственных должностей».

его личность может послужить делу объединения, он пойдет на это... Он совершенно одинаково, как и Добровольческая армия, оценивает первоочередную задачу, которая состоит не в решении коренных вопросов государственного устройства, а в объединении России и водворении в ней того элементарного порядка и мира, когда народ в состоянии будет сам решать свое устройство. Он говорил, что если бы ему пришлось активно выступить в той или другой форме, то он именно так и понимал бы свою задачу, выполнив которую, отошел бы...

Еще до получения этого ответа, в начале сентября, в Екатеринодаре распространились упорные слухи, что, уступив многократным просьбам руководителей правых партий, встречавших до той поры категорический отказ, Великий князь согласился стать во главе Южной и Астраханской армий. Это сведение, исходившее главным образом из кругов, возглавлявших Южную армию, встревожило генерала Алексеева и екатеринодарских общественных деятелей. За подписью М. Родзянко, В. Шульгина и Н. Львова было послано Великому князю письмо, предостерегающее его от этого шага. Одновременно генерал Алексеев, присоединяясь к их освещению политических сторон вопроса, счел нужным «осветить военно-политическую и военную сторону дела»[1]. Он писал Великому князю:

«Десять месяцев существует Добровольческая армия в исключительно тяжелых условиях обстановки. На ее глазах развалились Донское и Кубанское казачьи войска, охваченные большевизмом. Мы видели постепенное оздоровление особенно кубанцев, хотя нельзя сказать, что и в настоящую минуту казачье население стало вполне прочным и надежным орудием борьбы с большевизмом. Мы пережили тяжелую минуту опыта, приобрели его дорогой ценою и не имеем права закрывать глаза на этот опыт и его показания.

[1] Письмо генерала Алексеева к Великому князю Н. Н., отправленное 15 сентября.

Мы пережили несколько минут, когда полное иссякновение средств, казалось, ставило предел нашему дальнейшему существованию и деятельности, но Бог и добрые люди шли к нам на помощь, и армия нищая, ничего не имевшая, выросла с 400 человек в несколько десятков тысяч, в прочный корпус. Мы являемся учреждением Русско-Государственным, существующим на русские деньги. Помощь, полученная нами от союзников, настолько пока ничтожна, что не может изменить этого основного положения.

Но поставленные в сильную зависимость от казачьих территорий, на которых мы работаем, мы не можем проявлять торопливости в заявлении политических лозунгов, ибо это послужило бы во вред делу. Местное население далеко не готово к восприятию идеи монархии. Болезненный микроб федерации еще бродит среди населения. Вот почему с бесконечною осторожностью и уменьем нужно подходить к постановке каждого нового вопроса.

Между тем Добровольческая армия является для немецкого командования совершенно нежелательным явлением. Оно три раза пыталось заставить меня войти с ним в непосредственные переговоры. Ни я, ни генерал Деникин не пошли на это в глубоком убеждении, что это внесло бы известный духовный развал в среду наших войск.

Тогда немцы повели работу по другой системе: с одной стороны, в особенности в Киеве, ведется злостная агитация против Добровольческой армии и ее вождей, преимущественно русскими генеральскими руками; с другой стороны, лихорадочно приступают к формированию особых, так называемых монархических армий на немецкие деньги и по немецкой программе. Так нарождалась Астраханская армия; но перехваченная немцами телеграмма князя Тундутова ко мне указала, по-видимому, немцам, что Астраханская армия особого доверия к себе не заслуживает[1]; интерес к этой армии у немцев сра-

[1] Телеграмма от 4 августа говорила о стремлении астраханцев к единению с Добровольческой армией, «исторический путь которой является единственным для истинных преданных сынов Единой Великой России».

зу охладел и, вероятно, новые ассигновки, денежные и материальные, более не последуют.

Но немцы с увлечением ухватились за создание так называемой Южной Добровольческой армии, руководимой нашими аристократическими головами, и так называемой Народной армии в Воронежской губернии, где во главе формирования поставлен полковник Манакин, социал-революционер[1]. На эти формирования не будут жалеть ни денег, ни материальных средств. Во главе Южной армии, а быть может и всех формирований, предположено поставить графа Келлера. При всех высоких качествах этого генерала у него не хватает выдержки, спокойствия и правильной оценки общей обстановки. В конце августа он был в Екатеринодаре. Двухдневная беседа со мной и генералом Деникиным привела, по-видимому, графа Келлера к некоторым выводам и заключениям, что вопрос не так прост и не допускает скоропалительных решений.

Меня более всего страшит постановка вопроса о денежных средствах. Полагаю, что деньги эти взяты всецело у немцев, но прикрыты фиговым листом; что деньги эти берутся только заимообразно, составляя долг государства, как будто от этого изменятся взаимоотношения между заимодавцем и принявшим отпущенную сумму. Будет ли это государственный долг, будет ли это субсидия со стороны Германии, наши деятели немецкой ориентации окончательно закабалят Россию на несколько поколений немцами.

Но еще более тревожит постановка военных и военно-политических задач новыми формированиями. Да, они должны будут вести якобы борьбу с большевиками, но наносить удары и чехословакам, а следовательно, и нашей Добровольческой армии, когда та выйдет на Волгу.

Какое торжество немецкой политики, когда она незаметно направит друг на друга лучшие и наиболее честные элементы русского народа, когда мы собственными руками будем истреблять друг друга, тогда как немцы в тиши будут помогать большевикам. Деятели Киева и Южной армии мечтают просить Ваше Императорское Высочество стать во главе этих новых формирований. Я доложил Вам с полной откровенностью возможную обстановку братоубийственной войны, в которой Вы не можете принять участия.

Мы должны для предстоящей борьбы сплотить все разнородные элементы, а не создавать искусственных преград на пути к возрождению России».

[1] Саратовский корпус («Народная армия») формировался генералом Красновым.

Тревога оказалась напрасной. Николай Николаевич оставался твердым в своей «союзнической ориентации» и в своем решении выступить только во имя общенародных интересов и не принимать участия в политической игре партий, строивших свои планы и осуществление своих целей на авторитете его имени. В Екатеринодар он ответил: «Будьте покойны».

* * *

Между тем Сибирь ранее всех перешла от слов к делу и создала государственную власть, которая наименовала себя Всероссийской.

Государственное совещание, собравшееся в сентябре в Уфе, ни в коем случае не могло претендовать на *демократичность* способа своего образования. Это было представительство *политическое* — партий (эсеров, социал-демократов, национал-социалистов, кадетов, «Единства»), *территориальное* — новообразований фактических (правительства «Комуча», сибирского, уральского, шести сибирских казачьих войск) и несуществующих (правительств Астраханского казачьего войска, Башкирии, Алаш-Орды, Туркестана), «национального правительства тюрко-татар внутри России»; организаций: съезда членов Всероссийского Учредительного собрания, представителей съезда городов и земств и Союза возрождения России...

Число членов Государственного совещания было 129. Из них членов бывшего Учредительного собрания 77 —

почти все эсеры. Члены этой партии входили в состав совещания еще и как представители центрального комитета ее и в замаскированном виде — в качестве представителей экзотических правительств, «Земгора» и (в лице председателя совещания Авксентьева и Аргунова) в качестве делегатов Союза возрождения.

Совещание резко разделилось на две неравных численно и непримиримые идейно части. Одна группировалась возле сибирского правительства (казачьи делегаты, несоциалистические представители других организаций, национал-социалисты); другая — возле самарского «Комуча».

Совещанию предстояло решить три основных вопроса: о форме верховной власти, о порядке ее ответственности и о личном составе правительства.

Верховной властью левая часть считала Учредительное собрание 1918 года, а до открытия его — Съезд членов Учредительного собрания, перед которым должно быть ответственно Всероссийское правительство. Последнее мыслилось в образе директории, коалиционной по своему составу. Сибирское правительство снабдило своих послов инструкцией, гласившей: «Всероссийская власть должна быть организована по типу директории, в составе не более 5 лиц; политическая ответственность власти возможна только перед будущим полномочным органом правильного волеизъявления народа, и до создания такого органа Всероссийская власть является несменяемой». Казачество шло дальше, требуя единоличной и безответственной диктаторской власти.

Вокруг этих точек зрения шла сильнейшая борьба, грозившая полным разрывом между борющимися сторонами. А военно-политическая обстановка в эти дни становилась между тем все более угрожающей. Советские армии овладели Казанью, Симбирском и приближались к Самаре... Началось новое наступление большевиков на фронте оренбургского и уральского казачества... Главнокомандующий Сыровой и председатель Национального комитета Павлу требовали скорейшего создания всероссийской власти, угрожая оставлением фронта чехами... В Омске назревал глубокий кризис на почве столкновения и борьбы за власть между сибирским правительством и эсеровской Сибирской областной думой...

Эти обстоятельства заставили обе стороны пойти на взаимные уступки, с обеих сторон неискренние. И 23 сентября (нового стиля) 1918 года был обнародован «Акт об образовании верховной власти», носящий явные следы сильного давления эсеровской партии.

«Единственным носителем Верховной власти на всем пространстве Государства Российского» объявлялось «Временное Всероссийское правительство» в составе пяти лиц: Н.Д. Авксентьева, Н.И. Астрова, генерал-лейтенанта Болдырева, П.В. Вологодского и Н.В. Чайковского. Заместителями их были избраны А.А. Аргунов, В.А. Виноградов, генерал от инфантерии Алексеев, В.П. Сапожников и В.М. Зензинов. Из пяти членов директории только двое были налицо, а трое, согласия которых не спрашивали, отсутствовали. Поэтому директория приступила к деятельности в составе Авксентьева (эсер), генерала Болдырева (беспартийный, член Союза возрождения), Виноградова (кадет), Сапожникова (беспартийный), Зензинова (эсер).

Директория признавалась ответственной перед Учредительным собранием 1918 года, которое должно было открыться 1 января 1919 года при наличии не менее 250 человек или 1 февраля при наличии 170 членов. Директория обязалась «неуклонно руководствоваться в своей деятельности непререкаемыми верховными правами Учредительного собрания». «Съезд членов Учредительного собрания» продолжал существовать параллельно с правительством, как «государственно-правовое учреждение», пользуясь независимостью, неприкосновенностью, средствами из государственного казначейства и охраной «предоставляемой правительством особой воинской команды». Его задача была номинально ограничена «обеспечением деятельности Всероссийского Учредительного собрания».

Не касаясь личности правителей, в самой идее построения власти мы видим крупные дефекты. По происхож-

дению своему она вряд ли могла претендовать на значение всероссийской. Фразы — «вступив по воле народов в управление государством»[1]... «объединение (в лице правительства) всех областей, народностей и партий освобожденной части России»[2]... — звучали бессильно и неубедительно при наличии самостоятельных новообразований Украины, Дона, Кубани, Грузии... и при неопределенности и остроте взаимоотношений даже с сибирскими областными правительствами, «установление пределов компетенции» которых «предоставлялось мудрости Временного Всероссийского правительства»[3]...

Ответственность *коалиционного* правительства перед *партийным эсеровским* собранием являлась актом политически несообразным и психологически чреватым опасностями. Установление ее вызвало глубокое неудовольствие во всех несоциалистических кругах, перенесенное с места на личный состав правительства. Даже умереннейший Союз возрождения устами Мякотина говорил: «Это решение совещания окончательно установило партийный характер созданной им власти и отталкивало от нее всех, кто неспособен был связывать надежды на возрождение России с эсеровским Учредительным собранием»[4]...

Совещание не учло еще одного важного обстоятельства — психологии единственной к тому времени реальной русской силы на территории, подвластной новому правительству, *Сибирской армии*; психологии, глубоко враждебной всему комплексу явлений, связанных с «черновским Учредительным собранием».

Члены Союза возрождения, игравшие на совещании примирительную роль и вошедшие в состав директории, нарушили полномочия, данные им Союзом. Аргунов (заместитель) — по убеждению, считая, что «только... Учредительное собрание данного состава... являлось юриди-

[1] Из «Грамоты ко всем народам России».
[2] Из «Грамоты», адресованной генералу Алексееву и мне.
[3] Из «Акта об образовании верховной всероссийской власти».
[4] Брошюра «Союз Возрождения России».

чески тем полномочным органом, перед которым могло и должно было предстать временное всероссийское правительство»[1]... Генерал Болдырев (верховный главнокомандующий) — по мотивам практическим. «Союзом возрождения, — писал он генералу Алексееву 30 сентября 1918 года, — была предложена компромиссная формула безответственной власти на определенный срок... Мы исходили из такого убеждения: если новая власть укрепится за период безответственной работы, едва ли тогда явится у кого-либо желание идти против такой власти. И тогда будущее покажет дальнейший ход государственной жизни России. Если же этой власти не удастся справиться с теми исключительными по трудности условиями работы, тогда становится безразличным — будет ли она безответственной, или нет».

Жизнь дала ответ ранее срока — переворотом 18 ноября.

* * *

Тотчас после своего избрания директория обратилась с посланием к генералу Алексееву и ко мне[2]. Объявляя о принятии на себя «всей полноты Верховной Государственной власти на всем пространстве Государства Российского», директория, «восхищаясь» одиннадцатимесячной борьбой Добровольческой армии, посылала ей свой привет и выражала надежду «в скором времени принять на территории освобожденной России усталых бойцов, которые найдут здесь и отдых, и справедливую оценку своих трудов»... Высказывала убеждение, что «государственная мудрость и высокие гражданские качества руководителей и горячая любовь офицеров и солдат к Родине укажут Добровольческой армии единый с правительством путь»... Одновременно официальным письмом на имя генерала Алексеева Авксентьев приносил ему «искреннее поздравление с назначением». М. В. тогда не было уже в живых, и это поздравление с «должностью», которой он никогда бы не принял, казалось нам

[1] «Между двумя большевизмами».
[2] 2 октября № 69.

несколько нескромным и обидным по отношению к его памяти.

Генерал Болдырев, в свою очередь, в официальном письме приглашал генерала Алексеева «принять все меры к развитию и упрочению идеи возрождения России под знаменем Всероссийского правительства» и указывал стратегическую задачу Добровольческой армии: «Было бы крайне желательным и необходимым, чтобы Ваша армия и примыкающие к ней силы овладели бы нижним течением Волги, примерно на плесе Царицын—Астрахань. В дальнейшем имело бы огромное значение овладение Саратовым». В частном письме[1] он говорил еще о недостатке людей в Сибири и желательности приезда туда генералов Драгомирова, Лукомского, Головина... О необходимости, чтобы «здесь новая Россия (была бы) надлежаще представлена», и в связи с этим о желательности «служения вашего (т. е. генерала Алексеева) и генерала Деникина на постах Всероссийского масштаба».

Ни одно из новообразований Юга не признало власти директории. Я также отказался признать Уфимскую директорию Всероссийской властью, как «ответственную и направляемую Учредительным собранием первого созыва, возникшим в дни народного помешательства... и не пользующимся в стране ни малейшим нравственным авторитетом». Вместе с тем я признавал «исключительно важное значение Сибирского объединения и находил необходимым путем взаимных соглашений направить русские силы Востока и Юга к одной общей цели — возрождению великодержавной России»[2]...

Инструкции в этом духе были посланы в Сибирь курьером, который должен был разыскать там командированных генералом Алексеевым еще в начале 1918 года генерала Флуга и полковника Лебедева. О них в штабе армии не было никаких сведений. Оказалось впоследствии, что генерал Флуг в Харбине стал военным министром «Всероссийского правительства» Хорвата, а Лебедев оказался

[1] От 30 сентября.

[2] Из речи на открытии Кубанской рады.

в Омске, принял видное участие в ноябрьском перевороте и непостижимым образом, не имея никакого командного стажа, стал вскоре начальником штаба Верховного главнокомандующего адмирала Колчака.

Добровольческая армия в эти дни истекала кровью на полях Ставрополя и не могла принять немедленного участия в выполнении стратегической задачи, данной Уфой.

ГЛАВА XXXVI
«ВОЕННОПОХОДНОЕ» УПРАВЛЕНИЕ. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ «ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ»

В непосредственном управлении командования Добровольческой армии находилось несколько уездов Ставропольской губернии и Черноморская губерния без Сочинского округа. Это положение определялось словами приказа: «Впредь до воссоединения и создания верховной власти Русского Государства... губерния в порядке верховного управления подчиняется командованию Добровольческой армии»[1].

В Ставрополе был поставлен военным губернатором командир бригады полковник Глазенап, помощником его генерального штаба генерал Уваров; военным губернатором в Новороссийске — командир бригады полковник Кутепов, помощником его — Сенько-Поповский. Военные губернаторы подчинялись командующему армией и были ответственны только перед ним. Это упрощенное «военно-походное» управление, основанное на «Положении о полевом управлении войск», до крайности затрудняло меня, отвлекая от ведения операций и вызывая на местах чрезмерную инициативу, не раз граничившую с произволом. Постановка во главе гражданской администрации лиц военных, командовавших одновременно вооруженной силой, причем в крае, где шла непрестанная война не только на фронте, но и внутри, вызывалась об-

[1] Приказ о Черноморской губернии 14 августа № 7.

становкой и казалась наиболее целесообразной, подчиняя весь ход народной жизни интересам борьбы. К тому же было необыкновенно трудно создать и поддерживать авторитет гражданского начальника в глазах военной массы, наполнившей край — театр войны. Но отсутствие административного опыта и сложившаяся в процессе революции психология военных начальников в значительной мере уничтожала выгоды военного управления.

Представлялось наиболее естественным привлечь к совместной работе *местную* организованную общественность, но в этом заключался наибольший камень преткновения... Революция изменила облик русской общественности, сметя или преобразив в корне старые ее организации. Когда кровью Добровольческой армии освободились Ставрополь и Черноморье, из-под обломков советского здания быстро встали и возродились только органы *революционной (социалистической) демократии* в образе земских, городских, кооперативных, профессиональных и других. Той самой революционной демократии, к которой в военной среде сложилось непримиримо враждебное отношение, с именем которой неразрывно были связаны самые тяжелые переживания развала армии, страны, внешнего разгрома ее, воспоминания о советах, комитетах, о корниловской трагедии, о голгофе офицерства, об явном противодействии первым шагам нарождающейся армии... Той революционной демократии, которая и теперь отнеслась к армии-освободительнице если не враждебно, то, во всяком случае, подозрительно и недоброжелательно.

Попытки с той стороны были...

20 июля в Москве члены главных комитетов Всероссийского земского и городского союзов, состав которых за время революции сильно пополнился левыми элементами[1], объединились лично, организовали общий «главный комитет» и постановили «выступить на широкую арену общего государственного строительства». В числе

[1] В состав «Союза возрождения» и ЗГО (земского и городского общества) входили зачастую одни и те же лица.

основных своих задач главный комитет поставил «восстановление демократических органов местного самоуправления на территории всей России».

Но так как арены для подобной деятельности в Центральной России и на Украине не оказалось, то главный комитет перенес свою деятельность в Екатеринодар. Я до сих пор не уверен, действовали ли приехавшие к нам лица — В. Н. Малянтович, Луганский, Кириллов — по поручению ЗГО или на свой страх[1]... Они образовали Юго-восточный комитет ЗГО, включенный мною по традициям военного времени в состав Добровольческой армии для оказания ей «всемерной помощи по санитарной части и снабжению». Стараниями Е. А. Елачича были привезены на Кубань небольшие суммы и имущество Юго-западного и Румынского фронтов, и комитет поступил на полное иждивение армии, приобретя вместе с тем все льготы, установленные для военнослужащих.

Через некоторое время в комитете произошел раскол, повлекший временный выход из него всей земской группы во главе с Елачичем. Произведенный разбор дела выяснил интересные детали. Члены Главного комитета поставили в подчиненное к себе отношение Юго-восточный комитет, который оказался лишь «прикрытием» их политической деятельности. «Главная задача ЗГО, — говорил Малянтович[2], — это участие в общественно-политической работе, остальное должно быть отодвинуто на задний план. Практическая помощь Добровольческой армии является только подсобной работой, дающей возможность утилизировать персонал и материальные средства союзов. Рассматривать Юго-Восточный комитет как армейский неправильно, ибо в приказ Добровольческой армии мы включились с болью в сердце, тем более что политическая физиономия Добровольческой армии до сих пор нам не ясна». Малянтович установил «общность кассы» Юго-восточного комитета с глав-

[1] Именовались они «Зарубежной делегацией главного комитета».

[2] Журнал заседания № 9 от 19 сентября 1918 года.

ным, единоличное хранение и распоряжение сумм комитета Кирилловым и, таким образом, за счет бедной армейской казны — потому что иных источников не предвиделось — начиналась политическая работа в духе общесоциалистических тенденций того времени... против Добровольческой армии.

Я был крайне удивлен необыкновенной развязностью членов главного комитета и в особенности Малянтовича, который явился ко мне и, любезно оставляя за мной командование армией, заявил о своем намерении «руководить политической жизнью городов и земств»...

«Сотрудничество» в такой форме было неприемлемым, удельный вес группы Малянтовича слишком незначительным. Мною были приняты поэтому меры, чтобы вернуть Юго-восточному комитету облик армейского общественно-служебного органа, а Малянтовичу и его сподвижникам предоставлено вести политическую работу за свой счет вне комитета и вне армии в рамках закона и «положения о полевом управлении войск».

Так неудачно окончилось первое общение наше с «демократической общественностью».

Психология военной среды, имевшая много оснований в прошлом, в известной части ее принимала характер нетерпимости не только в отношении социалистических, но и либеральных местных деятелей. Либеральная общественность, к тому же разгромленная ходом революции, не имела на местах ни организаций, ни силы, ни влияния, ни даже особенного желания работать в обстановке, угрожающей ежечасно самому физическому существованию должностных лиц.

И военные губернаторства обрастали мало-помалу махровым цветом старого чиновничества — нередко добросовестного, но потерявшегося в угаре революции, отставшего от быстро мчавшейся колесницы жизни. Обрастали и элементами авантюристическими, взращенными условиями революции и гражданской войны.

В центре не было пока компетентных направляющих органов. Военные губернаторы терялись в обстановке, до крайности запутанной на почве безвременья и удручающего безлюдья. И я и они делали немало ошибок. Бывали и такие эпизоды, которые весьма тягостно отражались на положении Добровольческой армии, возбуждая против нее население. Так, генерал Уваров, заменяя временно ставропольского губернатора, в его отсутствие успел отдать ряд оглушительных приказов об аннулировании всех законов Временного правительства, о вознаграждении проторей и убытков помещиков, об уничтожении преступников на месте преступления... Приказы были отменены, Уваров «по прошению» уволен от должности, но настроение создалось весьма неблагоприятное для армии...

В уездах было хуже.

Впоследствии, в одну из своих поездок в Ставрополь я очертил откровенно собравшимся общественным деятелям создавшееся положение следующим образом.

«Нам не удается наладить гражданское управление; в уезды идут люди отпетые; уездные административные должности стали этапом в арестантские роты. Между тем местная интеллигенция предпочитает заниматься политикой и будированием; не отказывается, впрочем, от «постов» и «портфелей». Добровольцы приносят несчетные жертвы своими жизнями. Принесите жертву и вы: умерьте ваши масштабы, дайте мне несколько честных и умных начальников уездов; я окажу им полную поддержку и обеспечу возможность работать. Создать условия нормальной жизни, внести успокоение, насадить право и законность в одном русском уезде — работа гораздо более значительная, чем все упражнения в партийных программах и резолюциях».

И было слово мое подобно гласу вопиющего в пустыне.

* * *

Программы положительного государственного строительства у нас поначалу не было. До некоторой степени общие основания добровольческой политики определялись в сказанной мною при первом посещении Ставрополя речи, имевшей декларативный характер[1].

---

[1] 26 августа.

«...Добровольческая армия поставила себе задачей воссоздание Единой Великодержавной России. Отсюда — ропот центробежных сил и местных больных честолюбий.

Добровольческая армия не может, хотя бы и временно, идти в кабалу к иноземцам и тем более набрасывать цепи на будущий вольный ход русского государственного корабля. Отсюда — ропот и угрозы извне.

Добровольческая армия, свершая свой крестный путь, желает опираться на все государственно-мыслящие круги населения. Она не может стать орудием какой-либо политической партии или общественной организации. Тогда она не была бы Русской государственной армией. Отсюда — неудовольствие нетерпимых и политическая борьба вокруг имени армии. Но если в рядах армии и живут определенные традиции, она не станет никогда палачом чужой мысли и совести. Она прямо и честно говорит: будьте вы правыми, будьте вы левыми, — но любите нашу истерзанную Родину и помогите нам спасти ее.

Точно так же, обрушиваясь всей силой своей против растлителей народной души и расхитителей народного достояния, Добровольческая армия чужда социальной и классовой борьбы. В той тяжкой болезненной обстановке, в которой мы живем, когда от России остались лишь лоскутья, не время решать социальные проблемы. И не могут части русской державы строить русскую жизнь каждая по-своему.

Поэтому те чины Добровольческой армии, на которых судьба возложила тяжкое бремя управления, отнюдь не будут ломать основное законодательство. Их роль — создать лишь такую обстановку, в которой можно бы сносно, терпимо жить и дышать до тех пор, пока всероссийские законодательные учреждения, представляющие разум и совесть народа русского, не направят жизнь его по новому руслу — к свету и правде».

Необходимо остановиться на двух положениях, вытекающих из этой программы.

Первое — отражала ли она действительно идеологию добровольчества? Далеко не всего. Во всяком случае, я убежденно и искренно выразил в ней свои взгляды, стараясь внушить их борющимся и правящим.

Второе — уклонение от радикальной ломки государственного и социального строя, с предоставлением этой работы будущим правомочным органам народной воли...

Историк отметит, что эта идея являлась господствующей в течение 1917—1920 годов среди российских политических группировок, составляя наиболее слабое и уязвимое место всех правительств и правителей, ставя их в неизмеримо более трудное положение, чем то, в котором была советская власть, объявив себя хозяином русской жизни и ломая ее беспощадно и безоглядно. С различными оттенками, но одинаково по существу эта идея нашла отражение в актах Временного правительства[1], в «Корниловской программе», в программах «центров», в «Грамоте ко всем народам России» Уфимской директории, в декларациях адмирала Колчака.

Обоснование этой идеи было до крайности простым и ясным и казалось неопровержимым. Еще до большевистского переворота, в сентябре 1917 года, оно нашло, между прочим, такое согласное определение в двух органах — радикальной и либеральной мысли.

Газета «День» писала: «Спор программ сейчас напоминает о метафизической сущности... Перед всей страной ныне стоит одна платформа — национального бедствия... Пусть завтра у власти станет любой герой большевистского райка, он должен будет, как и его «империалистический» предшественник, озаботиться ликвидацией ташкентского мятежа, выкачиванием хлеба из деревни, изобретением нового способа печатания денег. Прекрасные слова, широковещательные лозунги, святость канона — все это блекнет перед неумолимой прозой — такой простой и такой зловещей. И в этой прозе — ключи, размыкающие конфликт программ; в ней, и только в ней одной — отправной пункт соглашения тех общественных групп, которые должны образовать коалиционную власть».

[1] Невзирая на объявление России республикой и согласие на автономию Украины.

Перепечатывая эти строки, «Речь» говорила[1]: «Поистине, золотые слова... Справиться с национальными бедствиями, сохранить единство России — вот вся программа. Если бы ее удалось осуществить, — это была бы величайшая заслуга перед родиной и перед революцией, которая только этим путем и может быть спасена».

Теория разошлась с практикой.

Мы не учли элемента времени и степени напора народной стихии. Правители стремились к «неумолимой прозе», народ хотел еще «поэзии» демагогических лозунгов. Правители желали приостановить временно течение жизни в создавшихся берегах, покуда некая высшая власть не расчистит новое русло, а жизнь бурно рвалась из берегов, разрушая плотины и сметая гребцов и кормчих.

* * *

В августе, т. е. после месячного опыта «военно-походного» управления, окончательно назрела необходимость создания органа, который мог бы всесторонне заняться устройством освобожденной армией территории. Эта территория была еще очень незначительна, но расширению ее победами Добровольческой армии должно было предшествовать создание правительственного аппарата и установление деловой программы его работы.

Идея эта появилась у многих лиц, соприкасающихся с армией. В. Шульгин составил перечень тех отделов, из которых должен был состоять новый орган. Название его («Особое совещание») принадлежит также ему. Генерал Лукомский, состоявший с 5 августа моим помощником по гражданской части, в развитие идеи Шульгина представил доклад о необходимости образования при мне «Особого совещания» по разрешению вопросов, связанных с восстановлением нормальной жизни на территории, освобождаемой от власти большевиков. По его мысли, совещанию предоставлялась роль, исключительно отвечающая его названию, именно — «давать заключения по делам, вносимым на его рассмотрение» главным командованием.

[1] Передовая 23 сентября 1917 года.

Я считал функции гражданского управления, выходящие за пределы «Положения о полевом управлении войск», принадлежащими генералу Алексееву, и поэтому вторично просил его взять на себя это бремя.

Одновременно вопросом этим занимался и генерал Драгомиров, состоявший с 10 августа «помощником Верховного руководителя». Ему принадлежит окончательная разработка и редакция того «Положения об Особом совещании», которое было утверждено генералом Алексеевым 18 августа без изменений. Акт этот не опубликовывался, — очевидно, чтобы не вызвать до времени возбуждения в кубанском правительстве, относившемся крайне подозрительно ко всем государственным начинаниям командования.

«Положение» так определяло цель создания «Особого совещания».

а) Разработка всех вопросов, связанных с восстановлением органов государственного управления и самоуправления в местностях, на которые распространяется власть и влияние Добровольческой армии. б) Обсуждение и подготовка временных законов по всем отраслям государственного устройства, как местного значения по управлению областями, вошедшими в сферу влияния Добровольческой армии, так и в широком государственном масштабе по воссозданию великодержавной России в прежних ее пределах. в) Организация сношений со всеми областями бывшей Российской Империи для выяснения истинного положения дел в них и для связи с их правительствами и политическими партиями для совместной работы по воссозданию великодержавной России. г) Организация сношений с представителями держав Согласия, бывших в союзе с нами, и выработка планов совместных действий в борьбе против коалиции центральных держав. д) Выяснение местонахождения и установление тесной связи со всеми выдающимися деятелями по всем отраслям государственного управления, а также с наиболее видными представителями общественного и земского самоуправления, торговли, промышлен-

ности и финансов для привлечения их в нужную минуту к самому широкому государственному строительству. е) Привлечение лиц, упомянутых в пункте «д», к разрешению текущих вопросов, выдвигаемых жизнью».

Особое совещание включало следующие отделы: государственного устройства, внутренних дел, дипломатическо-агитационный, финансовый, торговли и промышленности, продовольствия и снабжения, земледелия, путей сообщения, юстиции, народного просвещения и контроля.

Председателем Особого совещания являлся генерал Алексеев, а заместителями его в порядке последовательности — я, генерал Драгомиров и Лукомский.

В «положении» отразилась в значительной мере существовавшая практика дуализма власти, которую не желал нарушать составитель его, создавая один общий орган для двух соправителей. На «больших заседаниях», под председательством генерала Алексеева, должны были разрешаться «наиболее серьезные вопросы общегосударственного значения и рассмотрение сложных законопроектов, затрагивающих интересы нескольких ведомств». На «малых заседаниях»[1], под моим председательством, предполагалось разрешать «в спешном порядке не терпящие отлагательства вопросы текущей жизни, связанные с установлением гражданского правопорядка в местностях, занятых Добровольческой армией». Отзвуком того же дуализма явилось отсутствие в «Совещании» военно-морского отдела, учрежденного лишь впоследствии и возглавленного генералом Лукомским, к которому перешли обязанности военного и морского министра и, кроме того, все органы снабжения армии.

Генералы Алексеев и Драгомиров принимали все меры к розыску и привлечению в Екатеринодар известных им государственных и общественных деятелей, что представляло серьезнейшие затруднения, ввиду разобщенности русских областей и того неспокойного и потому малопривлекательного положения, в котором находился Северный Кавказ — театр военных действий. По ходу событий русской революции главное ядро русской общественности переселялось по историческим этапам: весною 1918 года — Москва; летом — Киев; осенью — Одесса; весною 1919 года — Екатеринодар. Эта концентрация сил в определенных пунктах сопровождалась всегда и необыкновенным сгущением там политической атмосферы на почве обостренной розни и борьбы. Безлюдье было так велико, что отделы подолгу оставались в управлении временных заместителей во время поисков по свету и в ожидании прибытия неизвестно где находившихся кандидатов. Морской отдел, например, ждал намеченного возглавления весь период борьбы Юга — полтора года...

[1] С участием заинтересованных представителей ведомств.

Образование «Особого совещания» — этого зачаточного органа управления — подвигалось медленно. Первыми участниками его были Г. А. Гейман (финансы), Э. П. Шуберский (пути сообщения), генерал А. С. Макаренко (юстиция), А. А. Нератов (дипломатия), В. А. Лебедев (торговля и промышленность)... По мере формирования отделов туда переходили и текущие дела по управлению территорией, занятой армией. Общих заседаний — ни больших, ни малых — до смерти генерала Алексеева не состоялось.

ГЛАВА XXXVII
ПОДХОД К ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЮГЕ. СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА

Генерал Драгомиров был приглашен генералом Алексеевым для совместной работы и «дальнейшего путешествия с ним в Уфу». В начале августа М. В. подтвердил свое намерение «выехать в Уфу, как только явится возможность сколько-нибудь верного способа сообщения и когда состояние его здоровья позволит ему совершить путешествие». Он предполагал выждать продвижения армии по Северному Кавказу и пробраться в Сибирь через Петровск и Уральскую область.

Михаил Васильевич не поделился ни со мною, ни с Драгомировым своими дальнейшими планами, но, по-видимому, к этому времени он сошел уже со своей категорической точки зрения на диктатуру как на единственно приемлемую форму власти и соглашался возглавить директорию по проекту Национального Центра.

Но состояние здоровья М. В. стало уже совсем плохо; все близкие понимали, что ни о каком переезде не может быть речи... Последние 2—3 недели М. В. почти не вставал с постели, никого не принимал и выслушивал лишь изредка важнейшие доклады генерала Драгомирова, предоставив ему решение всех остальных дел.

Между тем время шло, жизнь кипела и предъявляла свои неумолимые требования... Стратегическая обстановка указывала, что армия надолго еще задержится на Северном Кавказе... Вопрос о Восточном фронте и формировании там Всероссийской власти принимал все менее определенные формы... Совещательный характер «Особого совещания» явно не мог устранить затруднений, вытекавших из отсутствия на территории правительственного аппарата... Наконец, обостренные отношения с Кубанью требовали полного и ясного юридического обоснования. Генерал Драгомиров приводил еще один мотив о необходимости «взять представительство общерусских интересов»; мотив, выдвинутый жизнью даже ранее, чем выступили на сцену все остальные вопросы политические и гражданского управления — *экономический хаос*. «Разделение юга России на самостоятельные области, ведущие сепаратную финансовую и таможенную политику, создали невыносимые условия, затруднившие и ограничившие обмен произведений земли и промышленности, затруднившие даже почтовые и телеграфные сношения между отдельными областями и совершенно убившие общую и всем доступную систему кредита».

Эти обстоятельства оказали решающее влияние на дальнейшую судьбу образования власти.

Генерал Драгомиров поручил в частном порядке профессорам К. Н. Соколову и В. А. Степанову составить проект государственного устройства, в результате чего появилось несколько вариантов «конституции». Эти варианты подвергались составителями многократным обсуждениям в среде местных представителей кадетской партии и после окончательного рассмотрения их в более тесной коллегии под руководством генерала Драгомирова и при участии, кроме составителей, В. Шульгина и генерала Лукомского в конце концов вылились в два проекта: 1) «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией» и 2) «Положение о Северокавказском Союзе». Первое устанавливало всю полноту власти Верховного Руководителя Добровольческой армии в освобождаемых ею областях и особым «разделом» — пределы автономии Кубани. Полный текст его следующий.

«Впредь до воссоединения разрозненных частей Российского государства и создания законной общерусской власти высшее управление областями, занимаемыми Добровольческой армией, осуществляется на основании нижеследующего временного Положения.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБЛАСТЯМИ,
ЗАНИМАЕМЫМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИЕЙ

Раздел первый

1. Вся полнота государственной власти в областях, занимаемых ДА, принадлежит ВРДА[1] (Главнокомандующему ДА).

2. В областях, занимаемых ДА, сохраняют силу законы, действовавшие на территории Российского государства до 25 октября 1917 года, с изменениями, вытекающими из настоящего Положения, а равно из имеющих быть изданными на основании его законов.

3. Все граждане Российского государства, без различия национальности, сословия и вероисповедания, пользуют-

[1] Верховный руководитель Добровольческой армии (генерал Алексеев).

ся в сих областях равными правами гражданства. Особые права и преимущества, издавна принадлежащие казачеству, сохраняются в неприкосновенности.

4. Первенствующая церковь в сих областях есть Церковь Русская Православная, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и Всея России. Прочие признанные церкви и религиозные общества пользуются полной свободой и находятся под покровительством закона.

5. Государственным языком является язык русский. Употребление местных языков и наречий в государственных и общественных установлениях допускается в пределах, указанных законом.

6. Государственным флагом служит национальный русский трехцветный (бело-сине-красный) флаг.

Раздел второй

7. Российские граждане пользуются в областях, занимаемых ДА, неприкосновенностью личности, жилища и частной переписки. Никто не может быть подвергнут ограничению или лишению свободы иначе как в порядке, законом установленном. Обыски и выемки могут быть производимы лишь в случаях, в законе указанных, и в порядке, законом определенном.

8. Печать свободна. Порядок осуществления надзора за печатью и ответственности за преступления и проступки, совершаемые путем печати, определяется законом.

9. Российские граждане могут собираться мирно и без оружия, а равно образовывать общества и союзы в целях, не противных закону. Порядок пользования этими правами гражданской свободы определяется законом.

10. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижимых имуществ, когда таковое необходимо в государственных или общественных интересах, совершается не иначе как в законодательном порядке и за справедливое вознаграждение.

Раздел третий

11. ВРДА стоит во главе всех сухопутных и морских вооруженных сил в областях, занимаемых ДА. Он определяет устройство армии и флота и руководит всем делом государственной обороны.

12. ВРДА представляет области, занимаемые ДА, в их отношениях с иностранными державами, заключает международные договоры, объявляет войну и заключает мир. ВРДА сносится с временными государственными образованиями, возникшими на пространстве Российского государства.

13. ВРДА издает законы и указы по всем отраслям государственной жизни в порядке, установленном настоящим Положением.

14. ВРДА устанавливает для областей, занимаемых ДА, единую систему денежного обращения и определяет внешний вид денежных знаков.

15. ВРДА назначает на все высшие должности военной и гражданской службы. Он жалует ордена[1] и другие служебные отличия.

16. ВРДА осуществляет право помилования и смягчения наказаний по судебным приговорам, а также право общего прощения совершивших преступные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождением их от суда и наказания.

17. ВРДА объявляет местности, занимаемые ДА, на военном или исключительном положении.

Раздел четвертый

18. Для содействия ВРДА в делах законодательства и управления при нем состоит особое совещание, в составе которого образуются отделы:

1) внутренних дел;

2) дипломатический;

[1] Пожалование орденов установлено не было. Давались только иностранцам.

3) финансовый;
4) военно-морской;
5) торговли и промышленности;
6) продовольствия и снабжения;
7) земледелия;
8) путей сообщения;
9) юстиции;
10) народного просвещения;
11) государственного контроля.

Члены Особого совещания (ОС) назначаются ВРДА, управляющие отделами состоят членами ОС по должности.

Председатель Особого совещания назначается ВРДА в тех случаях, когда ВРДА найдет нужным лично председательствовать в Особом совещании. Председатель ОС участвует в заседании на правах члена. При Особом совещании состоит Управляющий делами, коему подчинена Канцелярия Особого совещания. Управляющий делами входит в состав Особого совещания на равных с управляющими отделами правах.

19. На обсуждение Особого совещания поступают:

1. Все законодательные предположения.
2. Все правительственные мероприятия общегосударственного значения.
3. Все предположения о замещении главных должностей высшего местного управления. Дела, подлежащие рассмотрению Особого совещания, вносятся в оное ВРДА или управляющими отделами. На внесение в Особое совещание дел законодательного характера Управляющие отделами испрашивают предварительно разрешения ВРДА.

20. Законы издаются ВРДА за скрепою Председателя и всех наличных членов Особого совещания. Указы общегосударственного значения скрепляются Председателем Особого совещания и управляющими теми Отделами, к предметам ведения коих данное дело относится. Указы и распоряжения по отдельным ведомствам скрепляются управляющими отделами по принадлежности.

21. В области законодательства и верховного управления Особое совещание в полном его составе, а равно управляющие отделами, являются совещательными органами при ВРДА. В области управления подчиненными управляющие отделами пользуются правами министров применительно к учреждению министерств.

22. За общий ход государственного управления управляющие отделами ответствуют единственно перед ВРДА.

Раздел пятый

23. Судебные установления действуют в областях, занимаемых ДА, на основаниях, в законе определенных. Судебные решения и приговоры выносятся «именем закона».

Раздел шестой

24. Кубанская область пользуется правами автономии, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства.

25. К предметам ведения Кубанской областной власти, в порядке местного законодательства и управления, принадлежат:

1) местная полиция;
2) надзор за печатью, собраниями, обществами и союзами в пределах общегосударственных законов;
3) санитарное и медицинское дело;
4) дела местного самоуправления;
5) тюремное дело;
6) установление и взимание местных налогов;
7) пути сообщения местного значения;
8) заботы о развитии местной торговли и промышленности;
9) продовольствование населения;
10) земледелие и землеустройство;
11) народное просвещение при соблюдении прав государственного языка;
12) контроль местных правительственных и общественных учреждений.

26) Для заведования указанными делами в порядке управления в составе возглавляемого атаманом Кубанского областного правительства могут быть образованы ведомства:

1) внутренних дел;
2) финансов;
3) путей сообщения;
4) торговли и промышленности;
5) кубанских войсковых дел;
6) продовольствия;
7) земледелия и землеустройства;
8) народного просвещения;
9) контроля.

27. К предметам ведения Кубанской областной власти не принадлежат:

1) внешние отношения;
2) командование вооруженными силами;
3) уголовное и гражданское законодательства, судоустройство и судопроизводство;
4) почта и телеграф;
5) пути сообщения государственного и стратегического значения;
6) вопросы денежного обращения, государственного кредита, таможенной политики и товарообмена;
7) прямое и косвенное обложение на общегосударственные нужды, государственные монополии;
8) торговое мореплавание и порты;
9) акционерное законодательство и торговые уставы.

28. Основной закон об управлении Кубанскою областью вырабатывается в пределах настоящего Положения Кубанскою краевою радой и утверждается и обнародуется ВРДА. В этом же порядке производится, в случае нужды, пересмотр означенного основного закона».

По другому варианту приведенное Положение ограничивалось первыми пятью разделами, а вместо шестого (о Кубани) предположено было издать особый акт по договору с *суверенной* Кубанью, ограничивавший некоторые государственные функции ее. Этот акт, наименованный «Положением о Северокавказском Союзе», гласил:

«В видах наиболее успешного осуществления некоторых важнейших задач государственного управления в пределах Северного Кавказа, ВРДА от имени занимаемых Д. А. губерний... и Кубанское краевое правительство от имени Кубанского края, согласились о нижеследующем:

1. Губернии... и Кубанский край образуют государственное объединение под наименованием Северокавказский Союз.

2. В пределах Союза объединяется заведование:

а) международными сношениями Союза;
б) делами армии и флота, за исключением... дел Кубанского казачьего войска, остающихся в ведении Кубанской краевой власти;
в) почтой и телеграфом;
г) путями сообщения общегосударственного и стратегического значения;
д) прямым и косвенным обложением на общие нужды Северокавказского Союза;
е) снабжением и продовольствием армии.

3. В отношении перечисленных выше дел ВРДА присваивается вся полнота власти законодательства и управления в пределах всего Северокавказского Союза, применительно к Временному положению об управлении областями, занимаемыми ДА.

4. Разработка и осуществление общих для Северокавказского Союза мероприятий возлагается на ОС при ВРДА и его отделы по принадлежности (Временное положение Управления областями, занимаемыми ДА, Ст. 17—20). Контроль правительственной деятельности Северокавказского Союза возлагается на отдел Государственного контроля ОС при ВРДА.

5. Для суждений общих по делам Северокавказского Союза при ВРДА учреждается Совет Союза из... членов по... человек от губерний Ставропольской и Черноморской и

от Кубанского края. Члены Совета от губерний Ставропольской и Черноморской назначаются из местных людей ВРДА. Члены Совета от Кубанского края избираются Кубанским краевым представительным собранием. В Совете председательствует ВРДА или заместитель по его указанию.

6. Совет Северокавказского Союза созывается на сессии ВРДА и рассматривает дела, передаваемые на его заключение ВРДА, а также вносимые отдельными его членами.

7. Совету Северокавказского Союза представляется высказывать свои заключения и пожелания по всем делам Союза.

8. К Северокавказскому Союзу могут присоединяться и другие губернии и области России. Губернии и области, управляемые властью ВРДА, присоединяются к Союзу распоряжением ВРДА, издаваемым в законодательном порядке. Самоуправляющиеся области присоединяются к Союзу на основании особых каждый раз соглашений с ВРДА.

9. Настоящее соглашение подлежит утверждению ВРДА и Кубанского Краевого представительного собрания».

Это «Положение» казалось слишком искусственно построенным. Оно недостаточно обеспечивало полноту власти, необходимую для борьбы, не устраняло существовавших трений, в особенности материального порядка, и не отвечало тому положению, которое должна будет занять Кубанская область в строе Российской державы.

Во второй половине сентября состояние здоровья М. В. было настолько тяжелым, что принимать участия в работе он уже не мог. Поэтому генерал Драгомиров совместно с лицами, принимавшими участие в последнем редактировании проектов конституции, обратились за санкцией ко мне. В проектах вслед за титулом «Верховный Руководитель» появилось в скобках слово «Главнокомандующий»... «Или, или»... Многозначительное и жуткое напоминание о предстоящем событии — горестном и неизбежном.

Никто не возбуждал вопроса о преемственности, ибо неписаная конституция Добровольческой армии не знала иной власти, кроме командующего.

Я принял первое «положение»[1] с незначительными поправками.

В основу построения власти я считал необходимым положить следующие мысли:

1. *Временная власть командования Добровольческой армии, преследуя общерусские интересы, не претендует, однако, на значение Всероссийской. Она распространяется лишь на освобождаемые армией территории.*

2. *Временная власть должна быть неограниченной, в виде единоличной диктатуры.*

3. *Кубань надлежит привлечь к объединению с Добровольческой армией на началах автономии не иначе как путем соглашения.*

4. *Желательно привлечение к единению с Добровольческой армией на началах автономии и других, сложившихся уже новообразований Юга.*

5. *Окончательная победа над большевиками немыслима без объединения всех армий Юга.*

Насколько первое положение открывало возможность дальнейшего сложения противобольшевистских образований, настолько второе, составляя бесспорно нашу внутреннюю силу, вместе с тем до крайности затруднило или сделало невозможным осуществление широкого и прочного внешнего объединения.

Для генерала Алексеева (вначале), для меня и старших военных начальников вопрос о форме власти имел далеко не академическое значение. Мы все считали единоличную власть единственно возможной в условиях борьбы с многоликой по форме, но сконцентрированной диктаторской властью Совета. Но если бы мы и держались иного взгляда, то провести его в жизнь не смогли бы...

---

[1] «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией». Поправки вошли в приведенный выше текст.

Единоличной диктатуре противополагалась трехили многочленная директория. Конечно — коалиционная, ибо однородная, тем более военная, была бы нелепейшим разбродом сил. Мы пережили уже в малом масштабе подобие такой директории зимою 1917—1918 годов[1].

Ко мне неоднократно обращались впоследствии представители левой общественности с предложениями «укрепить» мою власть пристройкой к ней двух лиц — «кадета и самого мирного социалиста». Это была идея, быть может, не лишенная известного теоретического обоснования, но тем не менее совершенно праздная, не считавшаяся вовсе с тогдашней психологией армии.

Армия, которая тогда беспрекословно исполняла веления главнокомандующего, в кратчайший срок и, во всяком случае, при первой же неудаче вышла бы из подчинения и свергла бы директорию.

* * *

21 сентября проект конституции был готов окончательно.

А 25-го окончил жизнь Верховный Руководитель Добровольческой армии генерал Алексеев...

Я принял звание «Главнокомандующего», объединив власть командования и управления.

Передо мной открывался новый путь, на котором судьба приуготовила много радостных событий, возбуждавших надежду на близкое спасение страны, но еще более — тяжких сокрушительных ударов.

* * *

Смерть Михаила Васильевича не была неожиданной. Тяжкая болезнь, тяготы Первого похода и огромная непосильная работа, которую он вел последние годы, день за днем подтачивали его силы. На наших глазах догорал светильник его многотрудной жизни.

Еще в середине сентября он в кругу близких говорил о предстоящем своем переезде за Волгу, а 20-го, почувствовав приближение конца, он призвал генерала Драгомирова

[1] «Триумвират — Алексеев, Корнилов, Каледин».

и передал ему хранившиеся при нем лично армейские суммы. «Этим актом, — говорит Драгомиров, — не сопровождавшимся никакими объяснениями, М. В. прощался навсегда не только с мыслью о поездке на Волгу, но и с жизнью... Остальные дни до 25-го были медленной агонией».

Когда умер М. В., несчетные толпы народа пришли поклониться его праху, отдавая должную дань признания человеку, так много потрудившемуся для своей Родины. Глубокою скорбью отозвалась весть о смерти генерала Алексеева и в Добровольческой армии...

В годы великой смуты, когда люди меняли с непостижимою легкостью свой нравственный облик, взгляды, «ориентации», когда заблудившиеся или не в меру «скользкие» люди шли окольными, темными путями, он шагал твердой старческой поступью по прямой кремнистой дороге. Его имя было тем знаменем, которое привлекало людей самых разнообразных политических взглядов обаянием разума, честности и патриотизма.

Добровольческая армия 25 сентября отдала последний раз честь своему старому знамени[1].

«Сегодня окончил свою полную подвига, самоотвержения и страдания жизнь генерал Михаил Васильевич Алексеев.

Семейные радости, душевный покой, все стороны личной жизни он принес в жертву служения Отчизне.

Тяжелая лямка строевого офицера, тяжелый труд и боевая деятельность офицера генерального штаба, огромная по нравственной ответственности работа фактического руководителя всеми вооруженными силами русского государства в Отечественную войну — вот его крестный путь. Путь, озаренный кристаллической честностью и горячей любовью к Родине — и великой, и растоптанной.

Когда не стало армии и гибла Русь, он первый поднял голос, кликнул клич русскому офицерству и русским людям.

[1] Приказ по армии № 1.

Он отдал последние силы свои созданной его руками Добровольческой армии. Перенося и травлю, и непонимание, и тяжелые невзгоды страшного похода, сломившего его физические силы, он с верой в сердце и с любовью к своему детищу шел с ним по тернистому пути к заветной цели спасения Родины.

Бог не судил ему увидеть рассвет.

Но он близок.

И решимость Добровольческой армии продолжать его жертвенный подвиг до конца пусть будет дорогим венком на свежую могилу собирателя Русской Земли».

27 сентября тело почившего Верховного Руководителя армии было погребено в Екатеринодаре в усыпальнице Екатерининского собора среди могил младших его сподвижников, положивших свою жизнь за освобождение Родины.

Balaton-Lelle
(Венгрия)
1923 г.

Содержание

ГЛАВА I. Введение. Стимулы борьбы с советской властью: национальное сознание ... 3

ГЛАВА II. Стимулы борьбы с советской властью: социальные, экономические, психологические ... 14

ГЛАВА III. Политическая карта Российского государства к середине 1918 года: Северная область, Финляндия, Прибалтийский край, Литва, Польша, Северо-западная область ... 24

ГЛАВА IV. Бессарабия ... 41

ГЛАВА V. Украина ... 48

ГЛАВА VI. Крым ... 65

ГЛАВА VII. Закавказье ... 73

ГЛАВА VIII. Дон: внутреннее строительство и вооруженная борьба с большевиками ... 96

ГЛАВА IX. Дон: внешняя политика ... 109

ГЛАВА X. Противобольшевистские организации внутри России: «Правый центр», «Национальный центр», «Союз возрождения России», «Союз защиты Родины и свободы» (Савинков) ... 121

ГЛАВА XI. Германофильство Правого центра и Милюкова. Группа Шульгина. Взаимоотношения Добровольческой армии с политическими организациями и союзниками. Роль офицерства ... 139

ГЛАВА XII. Противобольшевистское движение на Востоке: чехословаки, «Комитет членов Учредительного собрания» и «Народная армия» ... 158

ГЛАВА XIII. Власть и армия в Сибири и на Урале ... 171

ГЛАВА XIV. Дальний Восток. Военное положение на Восточном фронте. «Интервенция» ... 183

ГЛАВА XV. Внешние затруднения Добровольческой армии: немецкая оккупация, Астраханская и Южная армии ... 200

ГЛАВА XVI. Внешние затруднения Добровольческой армии: отношения с Донским атаманом ... 215

ГЛАВА XVII. Конституция Добровольческой власти. Внутренний кризис армии: ориентации и лозунги ... 226

ГЛАВА XVIII. Внутренняя жизнь Добровольческой армии: традиции, вожди и воины. Генерал Романовский. Кубанские настроения. Материальное положение. Сложение армии ... 237

ГЛАВА XIX. Красная армия ... 252

ГЛАВА XX. Второй кубанский поход: силы и средства сторон; театр; план операции ... 260

ГЛАВА XXI. Взятие Торговой. Смерть генерала Маркова ... 277

ГЛАВА XXII. Поход и бои от Великокняжеской до Белой глины ... 282

ГЛАВА XXIII. Тихорецкая операция ... 292

ГЛАВА XXIV. Положение к 1 августа армии и освобожденного края. Облик Добровольческой армии ... 302

ГЛАВА XXV. Второй кубанский поход. Подготовка Екатеринодарской операции: Кущевка, Кавказская, занятие Ставрополя, Пластуновская ... 313

ГЛАВА XXVI. Бои на путях к Екатеринодару. Кореновская ... 323

ГЛАВА XXVII. Взятие Екатеринодара ... 332

ГЛАВА XXVIII. Политика кубанской власти. Взаимоотношения Кубани и Добровольческой армии осенью 1918 года ... 340

ГЛАВА XXIX. Состав и положение Добровольческой армии в августе. Расположение сторон. Дальнейший план операции. Второй Кубанский поход: освобождение Западной Кубани и Черноморской губернии Преследование большевиков в Закубанье. Взятие Майкопа ... 355

ГЛАВА XXX. Состояние большевистских войск Северного Кавказа в августе и сентябре. Наступление наше в августе 1918 года. Бои под Ставрополем, взятие Армавира и Невинномысской. Стратегическое окружение большевистской армии ... 366

ГЛАВА XXXI. Переход большевиков в контрнаступление в начале сентября 1918 года на Армавир, Ставрополь и по верхней Кубани. Перемена большевистского командования и плана операции. Отступление большевиков в конце сентября к Невинномысской. Преследование их нашей конницей к Урупу. «Мятеж» Сорокина и его смерть. Террор в Пятигорске ... 374

ГЛАВА XXXII. Оставление нами Ставрополя. Бои под Армавиром, на Урупе и в Баталпашинском отделе. Очищение от большевиков левого берега Кубани. Двадцативосьмидневное сражение под Ставрополем (10 октября—7 ноября) ... 385

ГЛАВА XXXIII. Соприкосновение Добровольческой армии с немцами и грузинами. Наши взаимоотношения ... 394

ГЛАВА XXXIV. События на Дону осенью 1918 года: положение на фронте; взаимоотношения с Добровольческой армией; проект Доно-Кавказского союза; Донской Круг ... 406

ГЛАВА XXXV. Вопрос о всероссийской власти. Отношение к нему русской общественности и политических групп. Позиция Великого князя Николая Николаевича. Уфимская директория. Взаимоотношения командования Добровольческой армии с директорией ... 423

ГЛАВА XXXVI. «Военнопоходное» управление. Добровольческая политика. Образование «Особого совещания» ... 437

ГЛАВА XXXVII. Подход к государственному строительству на Юге. Смерть генерала Алексеева ... 447

АНТОН ИВАНОВИЧ

ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

Вооруженные силы юга России

Распад Российской империи

Октябрь 1918 – январь 1919

Воспоминания
Мемуары

МИНСК
ХАРВЕСТ
2002

УДК 947
ББК 63.3(2)
Д 33

Серия основана в 2000 году

Деникин А. И.
Д 33 **Очерки русской смуты: Вооруженные силы** юга России. Распад Российской империи. Октябрь 1918 — январь 1919.— Мн.: Харвест, 2002.— 560 с. (Воспоминания. Мемуары).
ISBN 985-13-1145-6.

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872—1947), занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения.

В данной книге автор рассказывает о событиях Гражданской войны в последние месяцы 1918 — начале 1919 года. Значительное место занимает описание и анализ политических процессов, происходящих в то время на окраинах Российской империи и приведших к ее распаду.

Для широкого круга читателей.

УДК 947
ББК 63.3(2)

Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.05.02. Формат 84×108[1]/32. Печать высокая с ФПФ. Бумага типографская. Усл. печ. л. 29,4. Тираж 7000 экз. Заказ 3179.

ISBN 985-13-1145-6

ГЛАВА I

КРУШЕНИЕ ГЕРМАНИИ И ЕГО БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

Эпилог мировой войны вызвал глубокие сдвиги в ходе русской смуты.

Падение центральных держав — неизбежное, намечавшееся давно уже целым рядом зловещих признаков — явилось все же неожиданным по своей стремительности и катастрофическим размерам. Не только реальные последствия его, но и сама грандиозность события ошеломили и победителей, и побежденных, и тех, что стояли уже за сценой мировой трагедии, но были еще связаны прочными цепями с одной из сторон. В ближайшие месяцы после окончания войны мы станем поэтому свидетелями крайней неустойчивости и непонятных на первый взгляд противоречий в политике держав-победительниц. Мы увидим также, как те скрепы, которые в 1914 году искусственно связали мир в два взаимно враждебных лагеря, начали понемногу рушиться, и пути народов стали расходиться вновь. Что, наконец, в нравственный облик человечества конец борьбы не внес умиротворяющего начала, но углубил еще более последствия войны и революций: безбрежную ненависть, разлившуюся по всему свету, и бездонный эгоизм — государственный, классовый и личный.

Изменились «театры», средства и способы, но сама борьба не стихла.

* * *

Наиболее разительные противоречия в этот период являла собою жизнь Российского государства.

В течение 6—8 месяцев от Балтийского моря до Азовского стояла сплошная стена немецких штыков, отделявшая

19 губерний[1] от советских владений. По одной стороне этого рубежа шло неприкрытое расхищение или балканизация российской территории и тяжелая экономическая эксплуатация ее. Но жизнь и достояние населения находились там под защитой чужеземной власти, поскольку, впрочем... полевая юстиция и широкие реквизиции не попирали права.

По другой стороне бушевала анархия.

Немецкий кордон, создавая тесную блокаду советской России, отрезая ее от морей, житниц и угля, ставил в весьма тяжелое положение всю политико-экономическую жизнь страны. Но он имел и некоторые положительные стороны для советов: присутствие немцев и договорные отношения с ними обеспечивали советские пределы от вторжения с запада какой-либо иной враждебной внешней силы[2] и вместе с тем в районе оккупации не допускали сколько-нибудь серьезной организации противобольшевистских элементов. Австро-немецкая оккупация давала советам «передышку», столь необходимую ввиду надвигавшейся с Востока и Юга опасности.

Поражение центральных держав должно было в корне изменить это положение.

И по одну, и по другую сторону «стены» возникла продиктованная где надеждой, где страхом уверенность в том, что изменятся лишь внешние декорации; что австро-германцев сменят союзники и военно-экономическая блокада советской России примет отныне характер активной интервенции. Русская общественность видела в такой постановке вопроса естественное продолжение борьбы и морально связывающих союзнических отношений, видела и существенные интересы самих держав Согласия, для которых распространение большевизма представляло прямую и явную угрозу. Так же думали и большевики. «Опасность велика, — говорил Троцкий, — (тем более) что у союзников руки развязаны... Вся история сейчас, как в од-

[1] Не считая Польши и Финляндии.

[2] На Западном фронте для наблюдения большевики держали не более 15 тысяч штыков, от Пскова до Минска.

ном комке, сгустилась для нас в этом вопросе»[1]. Но не только мотивы чисто умозрительные поддерживали это убеждение: оно основывалось на письменных актах держав Согласия и, как увидим ниже, на официальных заявлениях ответственных их представителей.

29 октября Германия приняла условия перемирия, продиктованные ей победителями. В части, касающейся России, Согласие потребовало: отхода австро-германских войск Восточного фронта на государственную границу 1914 года, не определяя, однако, срока; эвакуации портов Черного моря с выдачей союзникам всех судов и портовых материалов — германских, нейтральных и русских; аннулирования Брест-Литовского договора; возвращения русского золотого запаса[2]; обеспечения свободного прохода союзного флота через Категат в Балтийское море. Через два дня общие условия перемирия были несколько изменены в пользу Германии, причем очищение областей, «принадлежавших перед войной России», было отложено до того момента, когда союзники признают его возможным сообразно внутреннему положению этих областей. Немцы обязывались лишь прекратить реквизиции и иные принудительные меры, имевшие целью «добыть вспомогательные средства в России» и открыть свободный доступ союзникам на восток через Данциг и Вислу «для обеспечения населения продовольствием и для поддержания порядка».

Насколько серьезны были первоначальные намерения союзников в этом отношении, русская общественность не отдавала себе ясного отчета. Но отовсюду — из западных областей, с Украины, с Юга и из Крыма от правительственных кругов, общественных и политических групп всеми доступными путями текли просьбы к союзникам об интервенции и вместе с тем об оставлении в оккупированных областях германских войск впредь *«до смены»*. Эти пожела-

[1] Доклад в Воронеже 5—18 ноября 1918 года.

[2] 27 ноября 1918 года 320 миллионов русского золотого запаса поступило в Banque de France. Впоследствии это золото было разделено и удержано англичанами и французами «в обеспечение русского долга».

ния разделялись отчасти и германским командованием на Востоке, хотя бы по техническим соображениям: оно стояло перед стихийным напором солдатской массы, стремившейся вернуться домой, и вместе с тем перед полным расстройством (временами параличом) транспорта: на Востоке — от общего неустройства, социальной и экономической распри, повстанчества и бандитизма; в Германии — от первых потрясений революции и хлынувшей с фронта трехмиллионной армии, затопившей всю железнодорожную сеть страны. В результате главная немецкая квартира в Киеве давала успокоительные заверения делегациям киевского населения, что германская армия «не покинет края, так как явилась она сюда не для завоевания, а по приглашению украинского народа для его защиты». И в то же время в приказе войскам определялся порядок начавшейся уже эвакуации — первоначально Крыма — с требованием сохранения войсками дисциплины и порядка, без чего невозможно благополучное возвращение их на родину. А злополучное украинское правительство, для которого уход немецких войск знаменовал приближение конца, чтобы успокоить возбуждение немецких солдат и вместе с тем снискать расположение союзников, вынуждено было говорить, скрывая свое тяжелое положение: «Слухи, будто правительство преднамеренно задерживает отправку германских войск на родину... настолько бессмысленны, что только злонамеренность могла их придумать. Украинская держава ни в каком отношении не может быть заинтересована в удержании на своей территории германских войск»[1].

* * *

Отношения советской власти с официальной Германией долго оставались неопределенными. В октябре берлинская полиция обнаружила в багаже приехавшего советского представителя тюки прокламаций, призывавших немцев к убийствам и террору. Только тогда немецкое правительство решилось, наконец, принять меры в отношении «русского посольства», где под защитой экстерриториальности вел разрушительную работу тесный комплот русских

[1] Официальное сообщение 26.11.1918.

большевиков, немецких спартаковцев и «независимых». «Большевистский яд, — говорит Гельферих, — через русское посольство был привит немецкому народному организму. В благодарность за спасительную помощь, оказанную нашим правительством большевизму, он отблагодарил организацией революции в Германии, несомненно способствовавшей нашей катастрофе». Это довольно распространенное мнение страдает, конечно, большой односторонностью: как весною 1917 года *не одно* только немецкое золото послужило причиной распространения в России большевизма, так и в конце 1918 года *не одна* только агитация Иоффе и его сподвижников вызвала восстание спартаковцев.

Отношения с советами были порваны. Германское правительство потребовало отъезда из Германии в 24 часа всех находившихся в Берлине «русских официальных лиц» и одновременно отзывало своих представителей из Москвы. Это выступление побежденной уже Германии все же произвело в Москве известное впечатление, и Чичерин предостерегал «всех военкомов, командиров и советы»[1], что «хотя нет признаков, заставляющих ожидать военного выступления германцев, но следует быть наготове на случай всяких неожиданностей со стороны Германии». В то же время из Москвы по всем направлениям передавались призывы к «немецким товарищам» свергнуть «правительство принцев (Макс Баденский), капиталистов и предателей... Шейдемановцы с Эрцбергером продадут вас. Они договорятся с английскими и французскими капиталистами о разоружении... и тогда обратят вас в рабов. Только с оружием в руках вы захватите власть в свои руки и образуете рабоче-солдатско-матросское правительство с Либкнехтом во главе»[2].

27 октября разразилась в Берлине революция, и власть в Германии перешла к директории (по 3 члена от социал-демократического большинства и независимых) во главе с Эбертом. По образцам, выработанным русской революцией, повсюду в стране — в городах, гарнизонах, на фрон-

[1] Радиограмма от 24 октября № 1090.

[2] Радиограмма от 28 октября.

те — возникли советы солдатских и рабочих депутатов. В Берлине образовался Главный совет, выделивший из своего состава Центральный исполнительный комитет из 27 членов. Совет и комитет делали попытки правотворчества и декларирования максималистских принципов, но тем не менее признали исполнительную власть директории.

Немецкая революция возбудила в советском стане безграничные надежды. Волны радио несли из Москвы «восторженные приветствия», «оплакивали жертвы, павшие в священной борьбе» и были полны такой плакатной пошлости и такого неприкрытого эгоистического ликования, что произвели, вероятно, гнетущее впечатление в поверженной стране, пережившей свой национальный траур. Откликнулся берлинский Совет рабочих и солдатских депутатов, но с ним невозможно было технически установить прочную связь. Правительство же Эберта—Гаазе, «стоя на основах нормальных правовых взаимоотношений», явно уклонялось от близкого общения с московской властью под предлогом оскорбления германских консулов Москвы и Петрограда, с которыми совет комиссаров «как с представителями Гогенцоллернов» отказался продолжать сношения. А главное — германское правительство подчеркивало, что оно «не в состоянии устранить те препятствия, которые могло бы встретить на пути своего возвращения русское посольство (Иоффе)»[1].

И московское радио начало мало-помалу менять ликующий тон своих сообщений. Посыпались жалобы «всем, всем, всем», что «русское правительство стремится вступить в связь с товарищами нового германского государства, но тщетно, несмотря на искренне выраженное желание берлинского рабочего народа». Просьбы, встречаемые с недоверием, «установить прямой провод Ковно—Берлин, во избежание кровавых столкновений в оккупированных областях». Щедрые посулы в уплату за возобновление дипломатических отношений: «Два поезда с зерновыми продуктами стоят наготове для трудового немецкого народа...

[1] Радиограмма от 1 ноября.

И это только начало»[1]. Пресловутые «два поезда» в советской политике считались, очевидно, золотым ключом к сердцу германского народа, так как о них говорится в нескольких телеграммах Чичерина наряду с предложением другого важного предмета экспорта: Чичерин просил также о пропуске в Берлин «всех представителей московского Совета немецких солдатских депутатов», и беспрепятственном распространении в стране «документов, изготовленных в Москве... немецким революционным солдатством». Нетерпение советского правительства было так велико, что уже на 9-й день германской революции московское радио не могло побороть его: «Скорбь, раздражение усиливаются от доходящих до нас сведений, что немецкие революционные рабочие и революционные солдаты не пытаются вовсе проявить свою солидарность перед лицом этой опасности...[2]. Правительство обращается с призывом к революционным массам в Германии».

В это время германский народ сам, без содействия московских правителей, вернее вопреки ему, разрешал вопрос своего бытия. Группа Либкнехта (спартаковцы), поддерживаемая большевистским золотом, в конце декабря произвела восстание, кроваво подавленное войсками, верными правительству; вожди независимых — Либкнехт и Роза Люксембург — были убиты. Созванное на 6 января 1919 года Национальное собрание установило новую конституцию Германской республики. Первому правительству ее пришлось скоро (в феврале) напрячь большие усилия к подавлению нового восстания спартаковцев, охватившего Баварию, но это была уже последняя серьезная вспышка воинственного коммунизма.

Революция охватила только страны побежденные. Психология победителей оказалась невосприимчивой к проповеди крушения современного государственного строя. Но и там, в стране побежденных, события протекали иначе, чем в России. Германия, за ней Венгрия — в силу инди-

[1] Радиограмма от 12 ноября.

[2] Начавшиеся столкновения между германскими солдатами и русскими большевиками в оккупационной зоне.

видуальных черт народного характера, особенностей социально-экономического строя и не без влияния наглядных результатов русского опыта — избегли участи, предначертанной судьбою русскому народу.

Это обстоятельство похоронило надолго надежды московских коммунистов на близкую возможность мирового пожара.

* * *

Не достигнув желательных результатов в сношениях с центральной германской властью, советское правительство обрушилось всеми средствами агитации и пропаганды на войска Восточного австро-германского фронта. Делегации, воззвания, телеграммы внушали фронту идеологию и практику русского большевизма, в том числе необходимость «расправиться со своими офицерами и генералами, так как только вступление во власть солдат и рабочих вызовет доверие в пролетариате Англии и Франции, и он заставит свои правительства заключить почетный мир». Ставились общие задачи и более активные: «В России, на Украине, на Дону и в Кубанской области есть хлеб для нас и для вас. Поэтому-то англичане спешат, чтобы помочь генералам Скоропадскому, Краснову и Деникину вырвать хлеб у рабочих. Если вы хотите хлеба, то спешите действовать. Германские рабочие и солдатские и матросские советы должны немедленно по радиотелеграфу приказать находящимся на Украине частям напасть на красновские банды, в то время как Красная армия атакует (их) с севера... Совместно мы можем в две недели раздавить их».

Все эти призывы, влияя на ускорение общего развала австро-германского фронта, бессильны были, однако, побудить к действиям людей, все помыслы которых были направлены на возвращение на родину, объятую пожаром, к своим очагам, затерянным в его пламени и дыме. Этот момент в психологии оккупационных войск на западе России сыграл такую же решающую роль, как и в чехословацком движении на Востоке.

Не достигнув результата в привлечении на свою сторону германских войск, советская власть вскоре изменила тактику: московское радио стало разносить по свету воззвания

новоявленных «рабочих и крестьянских правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии» и проч., возникших на стогнах Москвы и требовавших скорейшего ухода оккупационных войск.

Развал разноязычной, разноплеменной австрийской армии с потерей идеи общей государственности проявился немедленно и окончательно. На пространстве от Елизаветграда до Одессы и до Новоселиц распущенные банды австрийцев при содействии темных элементов русского населения, иногда при участии крестьян целых деревень, стекающихся к городам и станциям, жгли, грабили магазины, базисные склады, запасы спирта и в пьяном угаре учиняли погромы. Австрийские офицеры, бросив свой походный скарб, бежали сотнями в зону германской оккупации. Командующий австрийскими войсками в Одессе покончил с собой, не вынеся картины развала. Австрийские оккупационные войска сразу перестали играть роль внешнего военно-политического фактора в «русском вопросе», увеличив лишь собою ряды разбойной вольницы, поддерживавшей в крае анархию.

Германские войска не избежали общей участи, восприняв все внешние формы русской «революционной армии». С разных сторон шли вести о разложении немецких частей, о волнениях, митингах, оскорблениях, убийствах офицеров, самовольном уходе частей из занятых районов и повальном дезертирстве солдат, торопящихся на родину. Одновременно шла широкая спекуляция и распродажа военного имущества, лошадей, оружия и даже пушек.

Все это было.

Но было и другое: в мятущейся солдатской массе шла внутренняя борьба анархического мятежного начала с врожденной дисциплиной немецкого ума и духа, не позволившей переступить ту последнюю грань, за которой начинается самоубийство армии и нации. Германская армия перестала существовать, но осталась все же вооруженная сила, хотя и не желавшая больше воевать, но достаточно еще крепкая и организованная, чтобы в минуту отчаяния проложить себе путь на родину. Правительство Эберта—Гаазе—Шейдемана требовало от армии, чтобы,

«несмотря на все обстоятельства, военная дисциплина и уголовный кодекс сохранялись в неприкосновенности». Из Ковно, Киева и других военных центров, из высших советов солдатских депутатов раздавался трезвый голос о поддержании порядка. «Мы твердо решили удалить из своей среды все элементы, могущие вредить социалистической идее солдатских депутатов, но... энергично протестуем против всякого большевистского движения в нашей среде... Мы не допустим над собой насилия никакого террористического меньшинства», — писал в воззвании-приказе Ковенский совет. Словно по внушению, почти все солдатские комитеты выносили резолюции, сводившиеся к трем основным положениям: 1) сохранить организацию планомерного очищения оккупированной территории и правильной отправки войск в Германию; 2) до своего ухода оказывать противодействие наступлению советских войск; 3) в случае внутренних восстаний держать нейтралитет.

В ноябре начался исход.

Даже в техническом только отношении это была задача огромной трудности. Ибо на территории пылающей Росси и от Балтийского до Черного морей стояла еще полумиллионная армия — 36 австро-германских дивизий, удаленных от своих государственных границ от 600[1] до $3^1/_2$ [2] тысяч верст.

ГЛАВА II

ВНУТРЕННЕЕ И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ К КОНЦУ 1918 ГОДА

К 1919 году положение советской России по мнению не только врагов коммунистической власти, но и правителей ее представлялось глубоко безотрадным. В стране не было свободной печати, но и казенная и подневольная[1] изо дня в день рисовала картину полного и безнадежного развала всех сторон народной жизни. Советские правители в своих многочисленных выступлениях под маской официального оптимизма не могли скрыть своей жгучей тревоги. Перечитывая теперь, спустя пять лет, все эти поблекшие от времени и «проявленные» в некоторой исторической перспективе страницы — свидетельство наших тогдашних настроений, — видишь, насколько далеки были и мы и они от правильной оценки мощных туков российской почвы, которую не может обесплодить вконец даже самое варварское, истребительное хозяйничанье; от оценки неисчерпаемых богатств, накопленных веками трудом народа и расточаемых трутнями и хищниками смутного времени; от оценки необыкновенной живучести народного организма, противостоящего невзгодам ряда лет войны, голода, мора, морального и физического рабства; наконец, как далеки мы были от понимания того безграничного долготерпения и непротивления русского народа, с которым он несет свое постылое ярмо!..

Все отрасли народной хозяйственной жизни шли к окончательному упадку, ведя к продовольственному и товарному голоду и к параличу транспорта. Государственные финансы держались только мощностью печатных станков[2] и инерцией общественного доверия к государственным денежным знакам *старого* образца. Достойно внимания, что с 25 октября 1917 года до апреля 1919 года советское правительство не решалось подвергнуть испытанию доверие страны к «рабоче-крестьянской власти» и печатало фальшивые билеты Временного и царского правительства по старым клише, со старыми годами, дублируя нумерацию, и за подписью «царского» министра и управляющего государственным банком Шипова...

[1] Псков—Вержболово.

[2] Тифлис—Калиш.

[1] «Правда», «Известия», «Северная Коммуна», «Экономическая жизнь» и т.д.

[2] До большевистского переворота всех денежных знаков в обращении страны было до 25 миллиардов рублей. В 1917 году большевики выпустили 29 миллиардов.

Немногочисленный правящий класс — коммунисты, составлявшие едва 0,5% населения советской России, — изображали из себя в стране осажденный лагерь. Московская власть кроила по живому телу страны «новые, небывалые формы организации», издавала и отменяла декреты и одновременно вела борьбу против *всех*. Борьбу против самовластья мест, где комиссары, комитеты, советы с их чрезвычайными комиссиями «расхищали власть Центра», проявляя нетерпимый областной (местный) партикуляризм... где, по выражению Ленина, «правила не коммунистическая партия, а просто треххвостка»; откуда с низов общественной иерархии, из волости доносился вопль: «Члены советов губят нас, насилуют нашу волю, над нами издеваются, как над бессмысленными скотами»[1]. Борьбу с фабрично-заводскими комитетами, отстаивавшими свои элементарные права против кабальной системы, введенной коммунистической администрацией фабрик и заводов; права на личную свободу, на «вольный труд» и голодный паек, низведенный в первую треть 1919 года до размеров 30% минимальной потребности... Борьбу с кооперацией, которая декретом от 20 марта 1919 года была обращена в государственный аппарат с мертвящей рутиной советского бюрократизма...

Продолжалась борьба — широкая, вооруженная — власти и города против деревни. Вооруженный пролетариат шел походом на деревню не только за хлебом, но и за землей. Удержание в руках государства значительной земельной площади (в совхозах), официально объяснявшееся соображениями государственного порядка, имело обоснованием чисто классовые соображения. «Надо закреплять и поддерживать движение рабочих на землю без разрыва с фабрикой, — комментировал Ларин советский декрет. — Рабочий заинтересован в производительности завода, несущей ему освобождение от невыносимого гнета продовольственной диктатуры деревни». Деревня оборонялась по-своему: пассивно — уменьшением общей запашки до 40% и сокращением посевов технических растений до 75%; активно — «голодными бунтами»

[1] № 15 «Известий» 1919 г.

в уездах северной и центральной России, непрекращавшимися крестьянскими восстаниями, охватившими Московскую, Тамбовскую, Смоленскую, Рязанскую, Костромскую и другие губернии. Наконец, борьба жестокая, истребительная продолжалась против русской буржуазии, интеллигенции, людей науки и литературы, служителей церкви, бывшего офицерства. Словом, «борьба против Бога, человека и природы». Террор «Че-ка» по-прежнему не знал границ в числе своих жертв и в жестокости мучителей.

Не избегли гонения советской власти и социалистические партии, бывшие на полулегальном положении до февраля 1919 года, когда им был нанесен большой удар многочисленными арестами видных членов. С тех пор прекратилась всякая легальная деятельность в советской России социал-революционеров и социал-демократов, и органы их ушли в подполье. Тем более странным представлялся тот поворот в партийных взглядах и тактике этих партий, который привел их к безрезультатным попыткам *соглашательства и к отказу от вооруженной борьбы с большевиками.*

Официально в постановлении московской конференции эсеров, состоявшейся 6—9 февраля 1919 года, мотивы такого решения приведены были следующие[1]:

«...4. Все более объединяющаяся буржуазно-помещичья реакция, питаясь методами большевистской власти и опираясь на поддержку союзного империализма, стремится восстановить в России дореволюционные порядки и ввергнуть страну во власть монархической реставрации. Непримиримая борьба с ней трудящихся классов диктуется их жизненными интересами...»

«...8. Конференция решительно отвергает попытки свержения советской власти путем вооруженной борьбы, которая при распыленности и слабости трудовой демократии и все растущей силе контрреволюции служит только на пользу последней и используется реакционными группами в целях реставрации...»

[1] Позднее, во второй половине июня, подтверждено 9-м советом партии.

Позиция социал-демократов меньшевиков в этом вопросе была более туманной, хотя и приводила к тем же результатам. Лидер меньшевиков Дан говорил обратившемуся к нему представителю Национального Центра: «Мы не считаем возможным сохранить наш прежний нейтралитет по отношению к той или иной части демократии, которая связывает себя с союзниками, потому что объективно эта часть демократии теперь становится врагом революции... Мы стоим за такое Учредительное собрание, которое рождено революционной волей. А чтобы создать такую волю, необходимо прекратить прежде всего гражданскую войну между двумя частями демократии — крестьянством и пролетариатом. Навязать эту волю силой пролетариату нельзя. Поэтому наша тактика должна быть направляема на то, чтобы рабочие-большевики сами пришли бы к необходимости соглашения с другими частями демократии. Вот почему мы являемся решительными противниками свержения большевиков вооруженной силой в союзе с имущими классами».

Без сомнения, такая мотивировка была неискренней. Она прикрывала моральное и политическое бессилие и одиночество революционной демократии. Исторические и социальные процессы привели к созданию на территории России трех разнородных вооруженных сил: Белой, Красной и Зеленой армий. Ни в одной из этих сил революционная демократия не могла создать себе не только политического главенства, но и сколько-нибудь прочного влияния. Ходом событий она была отброшена поэтому в сторону от поля битвы, не переставая, однако, и затем наносить извне удары, направленные по преимуществу в сторону белого движения.

* * *

Тяжело было положение советской власти и в области международных отношений. После падения центральных держав изменился состав внешних фронтов, но блокада — политическая, экономическая, моральная и стратегическая — замкнулась окончательно, отрезав советскую Россию от внешнего мира.

В октябре 1919-го, давая отчет о внешней политике советов за два минувших года, Чичерин характеризовал ее как отчаянные попытки *«вырваться из изолированного положения»*. До осени 1918-го, в период полной неналаженности государственного аппарата и армии, это было достигнуто ценою Брест-Литовска с использованием противоположения интересов Согласия и центральных держав. С тех пор, как выяснилось близкое крушение Германии, совет комиссаров начал всевозможные попытки сближения с державами Согласия, впоследствии и с западными новообразованиями, ценою даже тяжелых материальных и территориальных компенсаций.

Советская власть отнеслась с серьезным беспокойством к новой военно-политической конъюнктуре. В своем докладе 6-му съезду Советов в конце октября Бронштейн говорил: «В связи с зимним временем на севере нам опасность не грозит, (но) на южном фронте до сих пор дела обстоят плохо... На юге нам грозит объединение немецко-красновских банд с французско-бельгийско-алексеевскими». В начале октября Чичерин опубликовал в московских «Известиях» свою ноту президенту Вильсону, составленную в обычном стиле большевистского лживого пафоса: «Мы готовы... заключить перемирие, если вы намерены удалить войска из Мурманска, Архангельска и Сибири. Мы согласны заключить мир, но ставим следующий вопрос: намерены ли правительства Согласия перестать требовать крови русского народа, если он согласится уплатить и откупиться от них? Если да, то какую дань требуют союзники концессиями, рудниками, приисками и территорией? Если вы не дадите ответа, то народ русский поймет, что условия Согласия столь тяжелы, что вы не желаете даже сообщить их русскому правительству».

Нота эта, предназначенная, очевидно, исключительно для агитации, осталась без ответа.

21 октября Чичерин вновь, уже в более корректных выражениях, обратился по радио к державам Согласия, «желая положить конец враждебным действиям», с запросом — когда и куда должны прибыть советские представители для переговоров...

В то же время (в конце октября) всероссийский ЦИК принял резолюцию об аннулировании Брест-Литовского мира.

Наконец, в ноте от 4 февраля советское правительство пошло на полную капитуляцию: оно предлагало за мир «признать свои финансовые обязательства по отноше-

нию всех кредиторов, как государств, так и отдельных лиц, входящих в состав союзных держав» выражало готовность «предоставить концессии на рудники, леса и т.д. гражданам союзных держав», и даже... «вести переговоры с союзными державами по вопросу о территориальных уступках».

Эти попытки чередовались, впрочем, с резкими призывами московского радио от имени III Интернационала[1], коммунистической партии и отдельных представителей советской власти — призывами к низложению буржуазных правительств Европы, для которых персонально и огульно в большевистском лексиконе находились самые презрительные определения. В то же время между Советом комиссаров и германским правительством (по официальной большевистской терминологии — «социал-предателями и палачами») шли также переговоры: тайно — о политическом и военном соглашении, открыто — о восстановлении экономических отношений обоих государств. Особенности нового «пролетарского» языка и приемов большевиков перестали, по-видимому, смущать реальных политиков Запада, привыкших по традиции облекать в изысканную форму даже тягчайшие акты насилия и теперь искавших безнадежно выхода в игре, небывало запутанной и осложненной грубым политическим и социальным шантажом.

Все эти многократные попытки сближения с державами Согласия оставались без результата, свидетельствуя лишь о том, в каком тяжелом внутреннем и международном положении находилась тогда советская Россия и какие поэтому огромные *объективные* возможности имели союзники для разрешения русского вопроса.

Эти неудачи, по словам Чичерина, поставили перед большевиками вопрос о решении *восточной проблемы* как единственном способе борьбы с сильными империалистическими державами:

«Революция на Западе замедлилась. Мы должны зажечь Восток, поднять бедноту Турции, Персии, Индии, поднять Афганистан!..»[2].

---

[1] Образовался на съезде в Москве в марте 1919 года.

[2] Подвойский.

Тем временем в начале 1919 года завершилась и стратегическая блокада советской России. Намерения противников были совершенно не ясны советской власти, силы их оставались неизвестными. В сохранившемся боевом расписании большевистского Генерального штаба в середине января они определялись следующим образом:

1. *Северный фронт* (от Мурманска до Печоры) — 57955 штыков.

2. *Финляндский фронт* — 55 800 штыков.

3. *Западный фронт* (от Финского залива до Риги и до Мозыря) — $20^3/_4$ пехотных дивизий и 1 кавалерийская дивизия, из которых 12 пехотных и 1 кавалерийская — германские, прочие — «белогвардейские».

4. *Германо-украинский фронт* (от Мозыря до Азовского моря) — 17 пехотных дивизий и 4 кавалерийские дивизии.

5. *Донской и Добровольческий фронт* (по советским границам Донской области и между Азовским и Каспийским морями) — 51 пехотная и 32 кавалерийские дивизии.

6. *Восточный* фронт (от Верхотурья до Гурьева) — $35^1/_2$ пехотных и $17^1/_2$ кавалерийских дивизий.

Число дивизий у врагов советской власти, как увидим ниже, было фактически меньше. Внушительные названия «дивизия» нередко на русских фронтах носили части не свыше тысячи штыков. Но тем не менее в тесном кольце, сжимавшем со всех сторон советскую Россию, стояло под ружьем до полумиллиона ее врагов; все пять морей и два океана находились во власти флота Согласия, а в портах Белого и Черного морей и Великого океана высаживались международные десанты союзников.

Предстояла борьба тяжелая, борьба за самосохранение и за власть коммунистической партии, роковым образом ставившая на карту судьбу всего русского народа.

• • •

Одно из могучих средств борьбы — *пропаганда* — велась большевиками в размерах небывало широких. Она проникала всевозможными путями в ряды оккупационных и белых войск и в занятые ими районы. По мнению советских военных авторитетов, эта работа «играла решающую роль в организации победы Красной армии».

«Буржуазию мы не находили нужным привлекать на свою сторону, — говорит советский официоз[1]. — Правда, делались попытки разложить буржуазию, вернее, тех, кто находился у нее в услужении: части офицерства делались предложения о переходе на сторону советской власти». Весь центр тяжести агитации и пропаганды был перенесен в рабочую и крестьянскую среду.

Отдавая пальму первенства в технике ведения пропаганды буржуазным государствам, и в частности Франции, перед которой «мы жалкие пигмеи», Бронштейн поясняет: «Дело не в том, что мы выдумали пропаганду... Дело даже не в методах, которые значительно более совершенны у наших противников, а дело в классовом содержании, в той идеологии, которой мы насытили свою пропаганду». И хотя, по словам Ленина, круто менявшего в 1919 году крестьянскую политику, «классы нельзя обмануть», хотя суровая действительность стояла в разительном, вопиющем противоречии с обольстительными посулами большевистской пропаганды, но она имела действительно известный успех, и не только в силу ошибок, проявленных противниками советской власти, но и потому, что не встречала равноценных по демагогической сущности обещаний с другой стороны, потому, что не улеглась еще вырвавшаяся из берегов народная стихия. Народ жил еще миражами, хотел быть обманутым и поддавался соблазну.

Сфера деятельности большевистской пропаганды выходила далеко за пределы России. В марте 1919 года во французских и швейцарских газетах появилась «инструкция» советского правительства представителям и агентам советской республики за границей, выработанная в Кремле в начале ноября 1918 года. Она давала указания для революционной работы в грандиозном мировом масштабе. В области международных отношений предписывалось поддерживать шовинистические движения и национальные конфликты; в области внутренней политики — вызывать противоправительственные движения; в экономической — поддерживать

[1] Официальный сборник Высшего военно-революционного совета.

забастовки, дезорганизовывать транспорт, создавать финансовые затруднения (между прочим, и наводнением рынка фальшивыми деньгами), в военной области — разлагать армии пропагандой и возбуждать солдат против офицеров. Все эти действия должны были способствовать внутренним переворотам и волнениям в «буржуазных империалистических странах», подготавливая почву для пришествия всемирной революции.

Оставляя в стороне вопрос о подлинности этого документа, нельзя не признать *объективной* его правды. Все его положения соответствуют в полной мере заявлениям советских правителей и служебного органа советской власти III Интернационала, соответствуют деятельности их, поглощающей огромные средства — последние финансовые ресурсы обнищавшей страны.

Перед миром встала новая угроза, симптомы которой начали вскоре появляться в самых отдаленных углах земного шара.

• • •

Принимались чрезвычайные меры и к созданию Красной армии.

В начале 1919 года большевистская власть почти окончательно ликвидировала прежние добровольческую и партизанскую системы комплектования, перейдя повсюду к общеобязательной воинской повинности и к регулярным нормам организации. К октябрю 1918 года призваны были уже «все трудящиеся» в возрасте от 18 до 35 лет. Собранный в декабре 1918 года в Москве «военный конгресс» вынес постановление о «всеобщем военном обучении», которое, по заявлению Подвойского, должно было к весне 1919 года поставить в ряды Красной армии до 3 миллионов бойцов. «Конгресс» призывал Россию «бороться с протягивающимися к ней руками черного Интернационала трудами непобедимой армии пролетариев красного Интернационала». Таким образом, национальный момент в предстоящей борьбе был исключен вовсе. «Наша борьба, — говорит один из советских деятелей, — шла под лозунгом не защиты России как таковой, а защиты власти крестьян и рабочих. Наша борьба была не борьбой про-

тив какого-либо государства как такового, а борьбой против буржуазии, где бы она ни находилась»[1].

Не раз, впрочем, большевики отходили от этого принципа, когда это им было выгодно или необходимо. Так они повели под национальным лозунгом красные *эстонские* и *латышские* полки в Прибалтику; «повстанческую *Украинскую армию*» Антонова-Овсеенко — против немцев и петлюровцев на Украину; наконец, в 1920 году в критический момент войны с поляками трагичным и недоуменным диссонансом прозвучит призыв Брусилова всей нации к патриотизму — призыв, родившийся по инициативе терявшего почву правительства и командования, «несмотря на борьбу (с этим) руководящей партии»[2].

Красная армия в значительной степени утратила тот сословный характер, который имела Красная гвардия. Но вместе с тем она стала слабее морально. В ней не было *никогда* того пафоса, того энтузиазма, о которых слагают легенды советские историки. Она была скована только силой государственного аппарата, террора и принуждения и до некоторой степени примирена тем привилегированным положением, в котором находился солдат в голодной, нищей стране. Ведь в состав ее входили в огромном числе элементы, чуждые коммунистической идеологии: на верхах — старый генеральный штаб и многочисленные представители царского офицерства, внизу — в преобладающей массе крестьянство, которое, по словам советских авторитетов, было «в громадном большинстве мелкособственническим, не имевшим ярко осознанных классовых интересов», крестьянство, которое «без большого труда комплектовало и те массы, которые буржуазия направляла против (советской власти)»[3].

Красная армия сделала известные успехи в организации, обучении и устройстве технической и материальной части. Потому ли, что не было времени на приискание новых пролетарских форм организации, потому ли, что военная наука таких форм не знает, а во главе армии фактически стоял старый командный состав, Красная армия строилась всецело по образу и подобию армии императорской. Исключение представляли лишь коллегиальная форма верховной военной власти, институт комиссаров и комячейки, в руках которых находился надзор за командным составом и политическое воспитание массы. Во главе вооруженной силы поставлен был «Высший военно-революционный совет» с председателем Бронштейном и членами Подвойским, Антоновым, Сталиным и другими. Фактически, однако, вся власть была в руках Бронштейна. Центральное управление снабжения, созданное в июле 1918 года, имело также коллегиальный состав: во главе стоял «специалист» и при нем два комиссара. В таком виде управление просуществовало до декабря, когда перешло окончательно к единоличному возглавлению.

К началу 1919 года Вооруженные силы советской России сведены были в 12 армий, состоявших из отдельных пехотных и кавалерийских дивизий, насчитывавших вместе с внутренними резервами номинально до 800 тысяч бойцов. Главнокомандующим был офицер генерального штаба латыш Вацетис.

В половине ноября 1918 года на соединенном заседании Совета народных комиссаров и Совета народного хозяйства было выяснено отчаянное экономическое положение страны, отрезанной от источников питания сырьем.

В общих ресурсах государства имелось не более трехмесячной потребности железа, 14% чугуна и почти полностью отсутствовала медь; запасы хлопка на фабриках и заводах определялись к октябрю 1918 года в 777 тысяч пудов, против 3 миллиардов, имевшихся к октябрю 1917-го; нефти было всего 39 миллионов пудов; каменного угля — треть минимальной потребности и т.д. Единственное спасение советской России совещание видело в расширении ее пределов, и главным образом в походе за донецким углем и ташкентским хлопком. Эти основания, наряду с военно-политическими соображениями, в частности — бессилием Украины и стремлением Бронштейна «просунуться меж-

[1] Официальный сборник Высшего военно-революционного совета.

[2] Там же.

[3] Там же.

ду уходящим германским милитаризмом и приближающимся англо-французским», легли в основу выработанного тогда же советским командованием ***плана зимней кампании 1919 года.***

В феврале[1] и апреле 1919 года я получил два варианта этого плана, несколько различавшихся в деталях, но по существу тождественных. Перед Красной армией ставилась задача:

1. На *Северном* фронте (VI отдельная армия генерала Самойло, $16^1/_2$ тысяч)[2] — активная оборона Архангельского направления.

2. На *подступах к Петрограду* от Олонца, Выборга, Нарвы и Пскова (40—50 тысяч) — также активная оборона.

3. На *Западном* фронте (генерал Снесарев: VII и Западная армии, позднее и XVI, 50—60 тысяч) — захватить важнейшие железнодорожные узлы Валк, Ригу, Двинск, Ковно, Брест-Литовск и другие.

4. На *Украинский* фронт под командой Антонова-Овсеенко были двинуты только небольшие кадры, сведенные в две регулярные дивизии (16 тысяч), пополнявшиеся исключительно местным элементом по мере продвижения и выросшие затем в «Повстанческую Украинскую армию». Назначение дивизий Антонова — поднять Украину и воссоединить ее с советской Россией.

5. На *Южном* фронте (генерал Сытин — группа Кожевникова, позднее XIII армия, VIII, IX, X армии и отряд Терехова, свыше 100 тысяч) указано было первоначально овладеть Донецким каменноугольным бассейном и отбросить Донское войско за Дон, нанеся удар в трех главных направлениях: от Воронежа, Балашова и Царицына.

6. На *Восточном* фронте (полковник Каменев: I, II, III, IV и V армии, свыше 100 тысяч) — активная оборона по Уралу и наступление в Ташкентском направлении.

На Кавказе в начале 1919 года происходила окончательная ликвидация добровольцами XI и XII советских армий, насчитывавших еще до 75 тысяч штыков.

[1] От 17 января.

[2] Ранее в состав фронта входила и VII армия.

Таким образом, по распределению сил и стратегическим директивам советского командования, главный удар заносился на Южном фронте, над многострадальным войском Донским, волею судеб стоявшим на путях к углю и нефти и преграждавшим связь Центральной России с Северо-Кавказской Красной армией, которой грозила окончательная гибель.

— На Южном фронте, — говорил Бронштейн, — бьется пульс советской республики. Мы кликнули клич Петроградскому и Московскому советам. Последние дни туда посланы сотни новых работников... Все на Южный фронт: работников, автомобили, винтовки, орудия... Нам нужно занять Дон, Северный Кавказ, Каспий, поддержать Украину... В Донской области мы должны разрубить завязывающийся узел контрреволюции[1].

ГЛАВА III

ЭВАКУАЦИЯ АВСТРО-ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ РОССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОБОЛЬШЕВИСТСКИХ СИЛ НА ЗАПАДЕ. ФИНЛЯНДИЯ, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ, ЭСТОНИЯ. «СЕВЕРНЫЙ КОРПУС». ГЕНЕРАЛ ЮДЕНИЧ

По требованию держав Согласия германские войска в середине декабря покинули *Финляндию.* Уходили они, провожаемые сожалениями и добрыми пожеланиями. Но создавшаяся в стране обстановка исключала возможность продолжения германофильской политики: английский флот в конце декабря появился в Финском заливе; разрыв с Россией, являвшейся почти основным рынком сбыта финляндской промышленности и вместе с тем хлебным источником Финляндии, вызвал глубокий экономический кризис. Нужны были свободные руки, новые рынки, кредиты и

[1] Из речи в годовщину октябрьской революции.

прежде всего хлеб. И реальные политики нового государства легко переменили ориентацию, получая английские товары, американский хлеб и даже французское вооружение, снаряжение и инструкторов для организации своей армии.

Державы Согласия, имея в этот период неограниченное влияние на финляндское правительство, не оказывали на него давления в смысле направления русской политики. От Финляндии требовались лишь лояльность в отношении Согласия и прекращение всяких обязательств в отношении Германии.

Отделение Финляндии от России, не обеспеченное никакими стратегическими гарантиями, ставило в невыносимое положение нашу сухопутную и морскую государственную оборону. Но новая держава с первых же шагов своих проявила настойчивое стремление к дальнейшему округлению своих границ за счет метрополии по мотивам весьма противоречивым.

Аландские острова, населенные шведами[1] и приобретенные Россией по Фридрихсгамскому миру, требовались Финляндией по условиям... *географическим*, как составляющие естественное продолжение Финского побережья, и *историческим*, как включенные в состав Финляндии актами императора Александра I в 1809 году. Этот архипелаг является ключом к обладанию Ботническим заливом и преграждает все внутренние шхерные пути к побережью Финляндского залива от Петрограда...

Восточная Карелия[2] причисляется к Финляндии по принципу *«самоопределения народов»*, на основании атавистических признаков племенного родства. К тому же захват этой территории вместе с частью Мурманской железной дороги и рекой Свирью отрезал от России единственный выход к незамерзающему порту и лишал ее свободного плавания по северной речной системе.

---

[1] По переписи 1910 года, лиц, признавших родным языком шведский, было 96% всего населения.

[2] Часть Олонецкой губернии между Ладожским и Онежским озерами.

Печенгская губа, где еще в XII столетии ходили суда Великого Новгорода и где поселения по преимуществу русские, требовалась финляндцами просто по соображениям *экономическим*, как выход к океану.

Наконец, Финляндия присвоила себе уже без всяких оснований огромное многомиллиардное русское имущество — казенное и общественное, запасы, арсеналы и склады Северного фронта и морских баз, военные и коммерчески суда и т.д., и т.д. Без соглашения, без войны, просто в силу беспомощности, или вернее отсутствия, законной русской власти. Этот вопрос также должен стать неминуемо когда-нибудь на очередь.

Какая же Россия, какое русское правительство могло пойти навстречу всем вожделениям финляндцев?

Даже советская власть, так легко поступающаяся и национальным достоинством, и экономическими интересами России, противилась им. Но она, по крайней мере, *признала безоговорочно независимость Финляндии*, дав тем прочную политическую базу для дальнейших переговоров. Организации, представлявшие в то время противобольшевистскую Россию — поборники национальной идеи, — не шли так далеко. Русский посланник в Париже Маклаков выступил с декларацией[1] «от имени русского правительства» (?), в которой, между прочим, обещал Финляндии «восстановление временным правительством конституционных прав (ее) и готовность России идти навстречу стремлениям (Финляндии), при условии соблюдения военных и экономических интересов России». «Русский комитет» в Гельсингфорсе, возглавляемый Карташевым, и военная партия генерала Юденича — эмбрионы будущей гражданской и военной власти на Западе России — «стояли на почве лояльного признания независимости Финляндии», но окончательное решение вопроса ставили в зависимость от Российского Учредительного собрания. Такого же взгляда придерживался Омск, поручавший Сазонову «содействовать установлению дружественных отношений с Финляндией», но вместе с тем

---

[1] Телеграмма в январе 1919 года № 137.

«дать понять, что признание независимости должно быть отложено до Национального собрания»[1].

Я лично вначале не исключал возможности содействия финляндской армии в противобольшевистской борьбе и вел по этому поводу беседы с полковником Генерального штаба Энкелем, занявшим впоследствии высокий пост в финляндской армии. Но под впечатлением финляндских требований, гонений там на русских людей и более чем двусмысленной политики держав Согласия с конца 1918 года я стал окончательно на точку зрения, что помощь Финляндии была бы куплена нами слишком дорогой ценой и что поэтому вступление финляндских войск на русскую территорию недопустимо.

По поводу признания независимости Финляндии правительствами Англии и Соединенных Штатов я обратился к этим державам с заявлением:

«Россия относится с полным сочувствием к мысли о самостоятельном развитии Финляндии. Однако высшие интересы обоих народов повелительно требуют, чтобы будущие их взаимоотношения были основаны на принципах, способных обеспечить обоюдное их преуспеяние и ограждение жизненных потребностей. С этой точки зрения решение финляндского вопроса, принятое независимо от России и без соображения с ее первостепенными государственными интересами, в первую голову стратегическими, является для русского народа неприемлемым»[2].

Подобное же официальное заявление в твердой и категорической форме было сделано Парижским совещанием. Неофициально, однако, совещание не было так непримиримо. И когда в мае 1919 года до Парижа дошли слухи, что генерал Юденич ценою безоговорочного признания Финляндии желал купить помощь ее для похода на Петроград, В. А. Маклаков писал на Юг[3]: «В этом вопросе у нас здесь (полное) разнообразие мнений... Мы не благословляем Юденича делать подобное заявление, но и не решаемся его властно и грозно остановить. Грубо я бы сказал, что мы предоставляем ему сделать это для нас, а в случае неудачи сломать себе шею одному».

[1] Телеграмма от начала марта 1919 года.

[2] Май 1919 года.

[3] Из письма В. А. Степанову.

Таким образом, перед финляндским правительством стояла дилемма: *советская власть* и перспектива длящейся смуты и бессилия русского государства, дающая время и возможность новообразованию сложиться и окрепнуть, или *противобольшевистские силы* и вероятность скорого восстановления России. С одной стороны — *безусловное* признание самостоятельного бытия Финляндии, с другой — *условное*, поставленное в зависимость от Всероссийского собрания, ни политический облик, ни решения которого нельзя было предвидеть.

Была еще одна чисто объективная данность — грозная опасность, вытекавшая из длительного соседства с большевистским очагом. Московское радио уверяло в миролюбии советов и настойчиво напоминало финляндцам, что «только союз с советской Россией может гарантировать Финляндии ее самостоятельное существование». Тогда как Колчак и руководимые им правительства собираются уничтожить самостоятельность балтийских государств... Но в то же время существовавшая в Москве Финская коммунистическая партия проявляла оживленную деятельность в деле пропаганды и военной организации. Центральный комитет ее издавал и переправлял через границу две газеты на финском языке, журнал для солдат и агитационную литературу, побуждавшую к вооруженному перевороту в Финляндии и присоединению ее на федеральных началах к советской республике... Но финляндская власть считала, очевидно, свой народ мало податливым к восприятию коммунистических идей, свою армию, составленную из элементов городской и крестьянской буржуазии, вполне надежной, а крайние левые группы, после кровавого подавления большевистского восстания генералом Маннергеймом весною 1918 года, совершенно разгромленными. Настолько, что финляндское правительство сочло возможным дать широкую ам-

нистию находившимся в заключении участникам коммунистического выступления.

Что касается стратегического положения в отношении советской России, оно представлялось финляндцам (и было на самом деле) чрезвычайно благоприятным для них. Финляндия владела укрепленным побережьем и шхерными путями Финского залива. Ее армия состояла из 3—4 дивизий силою в 40—50 тысяч и располагалась передовыми частями в 25 верстах от Петрограда и в 60—80 верстах от Мурманской железной дороги западнее Петрозаводска, составляя прямую угрозу русской столице и тылу большевистской армии, стоявшей против войск генералов Айронсайда и Миллера. Против себя финляндская армия имела парализованный русский балтийский флот и слабые численно красногвардейские части, прикрывавшие столицу и Петрозаводск.

Вся эта совокупность политической и стратегической обстановки предрешала направление русской политики Финляндии: она до конца[1] сохранила «вооруженный нейтралитет», одинаково поддерживаемый и русофобами Свинховудом и Стольбергом, и русофилом Маннергеймом —тремя главами государства, сменившимися в течение 1917—1919 годов. Только однажды, в правление последнего, в мае 1919 года, когда началось наступление русского Северного корпуса Родзянко[2] на Лугу, с севера ударил по большевикам, не без ведома правительства, финский «партизанский отряд» Эльвенгрейна. Отряд считался «повстанческим» и действовал формально по призыву бутафорской «Карельской делегации»[3]. От него финляндскому правительству ничего не стоило отказаться при неудаче, и вместе с тем можно было использовать его в случае успеха. Ибо направление удара Эльвенгрейна на Петрозаводск и Лодейное Поле[4] *одинаково* соответствовало и отвлечению

[1] До заключения мира с большевиками.

[2] См. ниже.

[3] О прибытии ее в Гельсингфорс была широко оповещена европейская пресса.

[4] Железнодорожная станция «Мурманск» от железной дороги на берегу Свири.

сил петроградской группы Красной армии, и... оккупации восточной Карелии. При отряде находилось, между прочим, и «временное правительство», имевшее целью, кроме управления занимаемой территорией, подготовить созыв «национального собрания» (!), которое должно было объявить присоединение восточной Карелии к Финляндии.

Достоин внимания тот факт, что все это предприятие подготовлялось втайне от русских организаций.

Отряд Эльвенгрейна силою не более $1^1/_2$ тысячи человек имел вначале успех, но вскоре был разбит большевиками и рассеялся.

* * *

Период междувластья оказался трагическим для оккупированной немцами *Северо-Западной области*[1].

Так называемая Северная или Псковская армия[2], к декабрю 1918 года достигнув численно $4^1/_2$—5 тысяч человек, не получила дальнейшего развития. В ней не был даже разрешен вопрос о возглавлении. Ненормальность такого положения отзывалась на успехе набора, и поэтому в Пскове временами появлялись плакаты с именами видных генералов в качестве предполагаемых командующих армией, по-видимому без их ведома и согласия. Так, военный представитель армии в Киеве в середине октября телеграфировал в Псков: «Бессмысленно ждать командующим Драгомирова, который находится (в) Добровольческой... Точное имя командующего необходимо для вербовки людей... На этой почве много отказов. Вандам не популярен. Келлер в Киеве. Уполномочиваете ли вступить (с ним) в переговоры?»[3].

И военное представительство, и псковские общественные организации в лице Дерюгина обратились к генералу графу Келлеру с просьбой принять на себя командование Северной армией — армией без средств, находившейся в полной зависимости от немцев. Граф Келлер поручил генералу Розеншильд-Паулину отправиться в Яссы просить материальной помощи у союзников. Придавая огромное

[1] Псковская губерния и Белоруссия.

[2] Об этом я писал в предыдущей книге.

[3] Телеграмма Линде от 15 октября.

политическое и стратегическое значение прибалтийскому району и направлениям Ревель—Петроград и Либава—Петроград, он считал необходимыми предпосылками успеха формирования армии и ее операций: 1) занятие союзным флотом Ревеля и Либавы; 2) отпуск широких кредитов; 3) передачу немцами армии богатых русских складов Пскова, Двинска, Вильны и других городов оккупационной зоны.

И в начале ноября, после крушения центральных держав, в период расцвета надежд на союзническую помощь, граф Келлер решился принять командование, поставив Северную армию в зависимость от Екатеринодара. 2 ноября он прислал мне телеграмму:

«Признаете ли Вы меня командующим Северной Псковской монархической армией или мне следует сдать эту должность? Если признаете, то с какими полномочиями? Необходимо разрешение принять меры к охране разграбляемых в Малороссии военных складов, воспользоваться украинскими кадрами и продолжать формирование, для чего необходим немедленный отпуск денег, которые можно добыть в украинском правительстве».

Я ответил принципиальным согласием. Хотя первые шаги нового командующего, политическое окружение и декларативные заявления его вызывали некоторое смущение.

Но прошло всего три дня и обстановка в корне изменилась: граф Келлер телеграфировал[1] мне, что «по настоянию общественных кругов, гетмана Украины и его правительства (он) принял на себя всю полноту военной и гражданской власти на Украине»[2].

Северная армия осталась без главы[3]. В силу внутренней распри за несколько дней до ухода немцев оставил свой пост заместитель командующего генерал Вандам, и его место занял полковник Неф. Полувооруженные добровольческие отряды начали стягиваться к железнодорожным узлам и Пскову в надежде при немецкой помощи остановить наступление слабых советских сил. Во Пскове объявлена была мобилизация 12 возрастов (18—30 лет), которая не имела никакого успеха.

[1] 5 ноября, № 1.

[2] Как увидим ниже, понятие о предоставлении ему «неограниченной власти» составилось у генерала Келлера ошибочно.

[3] Совершенно номинально граф Келлер в своих приказах именовал себя «главнокомандующим Украинской и Северной армий».

В то же время собравшийся вновь в конце ноября в Ревеле Национальный эстонский совет[1], правительство[2] и «главнокомандующий» полковник Лайдонер приступили, в свою очередь, к формированию вооруженных сил в Ревеле, Пернове, Нарве и других городах; собирали по мобилизации небольшие отряды, преимущественно из бывших эстонских батальонов, которые Лайдонер начал развертывать в две дивизии.

Южнее, в губерниях Белоруссии, раздавались безнадежно призывы Минской, Виленской и других рад и правительств к формированию «национальной армии для защиты суверенных прав белорусского народа». Члены их частью остались на местах, частью попали в волну всевозможных эвакуаций, создавая затем «полномочные» и «всенародные» органы белорусской власти в Минске (коммунистические), в Вильно, Гродно, Ковно, Киеве, Одессе... Все одинаково немощные, и все враждебных друг другу ориентаций. Одно из таких «правительств» — инженера Бахановича, — обосновавшееся в Одессе, в январе—феврале 1919 года серьезно мистифицировало Екатеринодар. Не зная тогда всех этих деталей и придавая большое значение созданию противобольшевистской организации и вооруженных сил в западной России, я по докладу военного управления согласился поддержать это движение материально и послать туда кадр военного командования. Но вскоре выяснились самозванный и авантюристический характер «правительства» и безнадежность положения в Белоруссии. Кредит был вовремя закрыт, и связь Юга с Западом, в смысле явной или тайной совместной работы, так до конца и не налаживалась.

[1] Совет образовался в 1917 году. 24 февраля 1918 года провозгласил Эстонскую республику.

[2] Умеренно социалистического состава.

Делегации ото всех этих правительств появились в Берлине, в Яссах, Париже, и Сазонов[1] безнадежно добивался ответа от Екатеринодара: кто же является истинным представителем Белоруссии?..

* * *

Эвакуация германских войск из Эстляндии и Северо-Западной области протекала при совершенно иной обстановке, чем в Финляндии. Немцы уходили, провожаемые сожалением небольшой лишь части немецкой и русской буржуазии, равнодушием широких слоев русского населения и враждебным злорадством эстонцев, одинаково у большевиков и националистов — пасынков немецкого оккупационного режима. Железные дороги были забиты, и потому конница и артиллерия потянулись походным порядком; хлынули беспорядочными толпами и дезертиры. Уходя, германские войска по частной инициативе и организованно, с ведома высших властей и комитетов, увозили «военную добычу», подводя под это понятие не только всякого рода базисные запасы, казенное русское имущество, но и подвижной железнодорожный состав и частное добро русских граждан — частью беспризорное, частью реквизированное. Ограбление Минска, например, достигло таких размеров, что вызвало серьезные волнения в городе, частную забастовку железнодорожников и протест Совета комиссаров. Последний, впрочем, отнес эти события за счет «немецких контрреволюционеров», стремящихся «поссорить между собой революционные народные массы Германии и России»[2].

Желание уехать домой доминировало над политическими симпатиями. Германцы относились равнодушно и к большевикам, и к русским, и к местным национальным формированиям. Временами у немцев происходили с ними столкновения, чаще, однако, это случилась с большевиками, выступления которых в Ревеле, Клинцах и в других пунктах окончились для последних весьма плачевно. Комитеты отменили официально выдачу средств и боевого

---

[1] Представитель Екатеринодара и Омска в Париже.

[2] Нота Чичерина. Радиограмма от 7 декабря 1918 года.

снаряжения противобольшевистским организациям, затруднив до крайности возможность дальнейшего их формирования. Одновременно неофициально происходила широкая распродажа «по вольным ценам» и русского и немецкого военного снаряжения, попадавшего по преимуществу в руки красногвардейцев.

Большевики силами, первоначально не превышавшими 2—3 слабых дивизий, следовали почти беспрепятственно за немецкими войсками, захватывая один за другим западные города, вводя в них советскую власть и жестоко расправляясь с буржуазией. Почти без сопротивления они прошли по Белоруссии, заняв Вильно, Минск, Лиду, Барановичи. 25 ноября, после краткого боя, пал Псков, и Северная армия стала отходить в двух направлениях — на Валк и Юрьев. Большевики, тесня эстонско-русские отряды, к середине января достигли линии Везенберг—Юрьев—Валк, угрожая Ревелю и отрезав сухопутное сообщение между Эстонией и Латвией.

На этом успехи их замерли.

В *Эстонии* борьба приняла скоро характер исключительно национальный — под лозунгом независимости страны от России... В таком политическом аспекте в борьбе приняли участие и внешние силы — Англия и Финляндия по расчету и русская Северная армия в силу роковой необходимости.

Английское правительство проявило большой интерес к прибалтийским новообразованиям. Английский флот появился в Ревеле, английские военные и дипломатические представители приобрели решительное влияние на политику эстонского правительства. Вместе с тем Англия начала оказывать серьезную экономическую помощь Эстонии и доставлять ей военное снабжение. Цена такой дружеской услуги, помимо установившегося в скрытом виде английского протектората над Эстонией, оказалась немалой: Ллойд Джордж вел настойчивые переговоры с эстонским правительством о долгосрочной аренде островов Эзеля и Даго, и только вмешательство французского правительства остановило возникновение нового Гибралтара в Балтийском море.

В то же время, в середине января, по инициативе Финляндии начались переговоры между нею и Эстонией об унии этих двух новообразований как «наилучшей гарантии против русской опасности». Обращенная в разгар взаимных реверансов просьба Эстонии о помощи нашла широкий отклик: финляндские добровольцы потекли в Эстонию, и сформированные из них отряды под начальством финского генерала приняли в январе и феврале видное участие в боях на юрьевском направлении. Но надменность начальников и бесчинства финских добровольцев в крае, на который они смотрели как на покоренный, вызвали вражду между народностями и серьезное столкновение между правительствами. К тому же англо-американская комиссия, имевшая большое влияние на эстонское правительство, отнеслась к проекту унии сдержанно, «не находя в таком соединении достаточно серьезной экономической базы...». Эти причины похоронили надолго планы военного сотрудничества[1] и идею политической унии соседних новообразований. Идею, острием своим направленную всецело в сторону *будущей* России.

Наконец, большую роль в освобождении края от большевиков сыграла Северная армия, переименованная в *Северный корпус*. Попав при отступлении на территорию «независимой» Эстонии, командир его полковник Неф заключил с эстонским правительством договор[2], в силу которого устанавливались «общие действия, направленные на борьбу с большевиками и анархией». Корпус подчинялся эстонскому именному командованию, поступал на содержание эстонской казны, получал право комплектования неэстонскими гражданами, ограниченное, однако, условием, чтобы численность его не превышала $3^1/_2$ тысячи человек.

Таким образом, идея борьбы в государственном масштабе временно падала, русские контингенты обращались в служебное начало для частных целей, в которых поражению большевиков неизменно сопутствовало углубление и закрепление разрыва государственной связи окраины с Россией. Естественно, что в психологии командования и офицерства это положение воспринималось только как тягостный этап, на котором за временный приют оно платило честно своею кровью. Борясь за свою *независимость*, эстонцы требовали безоговорочного признания ее. Русское командование не хотело брать на себя такую ответственность. «На одном из заседаний старших чинов в Ревеле, — говорил генерал Родзянко[1], — я заявил, что признание является совершенно необходимым, если русские люди хотят в борьбе своей с большевиками опираться на Эстонию, и предлагал объявить... о признании Северным корпусом независимости Эстонии». Командир корпуса полковник Дзерожинский[2] ответил, что «в принципе он совершенно согласен, но не знает, как посмотрят на это русские люди, и что поэтому он сделает эстонскому правительству такое заявление, какое найдет для себя как для русского офицера более приемлемым»[3].

[1] В конце февраля финляндские добровольцы покинули Эстонию.

[2] 6 декабря 1916 года.

Такая неопределенность вызывала взаимную подозрительность и недоверие, хотя образ действий Северного корпуса оставался строго лояльным и в политическом и в военном отношении за все время пребывания его на территории Эстонии.

Как бы то ни было, соединенными усилиями и русских, и финляндских, и эстонских войск большевики были остановлены и отброшены к Чудскому озеру. К концу февраля они начали новое наступление, более серьезными силами, в общем направлении от Пскова на Валк, но были разбиты вновь. И к весне армия Лайдонера прочно занимала оба берега Нарвы, западный берег Чудского озера и далее по границе Псковской губернии на Мариенбург, прикрывая этнографические пределы Эстонии.

Английский флот имел небольшое столкновение с советской эскадрой в Финском заливе, но от участия в операциях против большевиков решительно уклонился.

[1] Впоследствии четвертый командир Северного корпуса.

[2] Третий по счету командующий.

[3] *Родзянко*. «Воспоминания о Северо-Западной армии».

А в то же время начиная с весны 1919 года Москва настойчиво предлагала Эстонии мир.

* * *

Стратегическое значение Северо-западного противобольшевистского фронта было чрезвычайно велико. Близость Петрограда[1], возможность организации обеспеченной союзным флотом базы по Балтийскому побережью и боевого содействия флота; удобство морских сообщений с союзными державами и легкость снабжения ими противобольшевистских армий; богатые склады русских и немецких боевых припасов в прифронтовой полосе бывшего театра мировой войны; наконец, огромный запас людского контингента, который представляла собой миллионная армия русских пленных, собранная в концентрационных лагерях Германии и бывшей Австро-Венгрии[2], — масса, подорванная морально и неустановившаяся в политическом отношении, но могшая все же выделить большое число здоровых, пригодных для армии элементов. Воздействие в этом направлении на правительства Согласия, на печать и общественное мнение Европы велось долго и настойчиво частными и официальными русскими организациями, проявившими в этом вопросе полное единомыслие.

Вопрос о военном возглавлении движения прошел с некоторой внутренней борьбой и впоследствии стал роковым на почве столкновения германской и союзнической ориентаций. Одно время на пост главнокомандующего Северо-западным фронтом выдвигался генерал Василий Иосифович Гурко. С ведома ли английского правительства или по собственной инициативе, с ним вступил в частные переговоры по этому поводу английский военный представитель в Прибалтике. Генерал Гурко поставил весьма решительно три основных вопроса, от правильного разрешения которых, по его убеждению, зависел успех предприятия. 1) Какие политические или экономические цели преследуют союзники в

---

[1] От Финляндского района — 25 верст, от Нарвского — 136 верст, от Псковского — 256 верст.

[2] Всех пленных, вместе с рассеянными по средней Европе, было до 3 миллионов.

виде компенсации за помощь? 2) Какие средства — денежные и материальные — намерены они предоставить? 3) Будет ли русский Главнокомандующий облечен полною мочью?

Ответа не последовало, и переговоры прекратились. В дальнейшем на авансцене западно-русских событий фигурировало исключительно имя генерала Юденича. Но по совокупности различных обстоятельств движение на Западе, развиваясь совершенно самостоятельно, было поставлено все же в моральную, позже в официальную зависимость от Востока и Юга. Так относилось к вопросу высшего возглавления офицерство, так гласили заявления составных частей фронта — Северного корпуса, отряда князя Ливена и других. Союзники во время переговоров ставили открытие кредитов в зависимость от согласия Колчака; так же, наконец, смотрели и прибалтийские новообразования, выражая опасение, что как бы «панрусские правительства Колчака и Деникина и русская Северо-Западная армия, сражающаяся под их знаменами, не нарушили бы (нашей) независимости»[1].

21 января 1919 года генерал Юденич послал адмиралу Колчаку телеграфный доклад, рисующий ту первоначальную военно-политическую базу, на которой строился Северо-западный фронт:

«С падением Германии открылась возможность образования нового фронта для действия против большевиков, базируясь на Финляндию и Прибалтийские губернии... Около меня объединились все партии от кадетов и правее. Программа тождественна с Вашей. Представители торгового класса, находящиеся в Финляндии, обещали финансовую поддержку. Реальная сила, которой я располагаю в настоящее время — Северный корпус (3 тысячи)[2] и 3—4 тысячи офицеров, находящихся в Финляндии и Скандинавии[3]. Я рассчитываю также на некоторое число — до 30 тысяч — военнопленных офицеров и солдат... Без помощи Антанты обойтись нельзя, и в

---

[1] Из меморандума эстонского правительства в 1919 году.

[2] Северный корпус не был еще в то время подчинен генералу Юденичу.

[3] Серьезной организации там не существовало.

этом смысле я вел переговоры с союзниками, но положительного ответа еще не имеется. Необходимо воздействие союзников на Финляндию, дабы она не препятствовала нашим начинаниям и вновь открыла границу для русских беженцев, главным образом офицеров. То же в отношении Эстляндии и Латвии... Необходима помощь вооружением, снаряжением, техническими средствами, финансами и продовольствием не только на армию, но и на Петроград... Вооруженная сила не требуется — достаточно флота для обеспечения портов. Но если таковая будет, то это упростит и ускорит решение. Благоволите поддержать мое ходатайство перед Антантой...»[1]

Посылая мне копию этой телеграммы, генерал Юденич писал: «Я обращаюсь к Вам с просьбой — помогите мне. Не можете уделить из имеющихся у Вас средств (я знаю, до последнего времени Вы сами во всем нуждались), убедите наших представителей в Париже, убедите союзников. Если моя личность не угодна адмиралу Колчаку, Вам или союзникам, сообщите — я отойду в сторону, передав дело другому, но не губите самое дело»[2].

Последняя фраза вызвана была, по-видимому, слухами, что южное правительство относится отрицательно к формированиям на Северо-Западе и лично к генералу Юденичу. Английское военное министерство действительно запрашивало мое мнение о генерале Юдениче. Я знал его весьма мало, но, считая, что уклонение от ответа может повредить делу снабжения западных формирований, дал отзыв благожелательный[3].

Моральная, дипломатическая помощь и отчасти облегчение прохождения вопросов комплектования и снабжения — это все, что мог сделать и делал Юг непосредственно и через военного представителя в Париже генерала Щербачева.

Время проходило. Прошла зима и весна 1919 года, события шли своим чередом, а генерал Юденич и Русский

[1] Телеграмма 21 января 1919 года, № 65.

[2] Письмо 30 января 1919 года, № 76.

[3] Письмо Британской военной миссии 22 февраля 1919 года и ответ штаба 28 февраля № 02947.

комитет, возглавляемый Карташевым, все еще оставались в Гельсингфорсе, продолжая малорезультативные переговоры с представителями держав Согласия, с правительствами Финляндии и Эстонии.

Пока, таким образом, в Гельсингфорсе находился в потенциальном виде главнокомандующий Северо-Западным фронтом, полупризнанный англичанами, но не проявляющий своей власти и руководства, Северный корпус жил независимо от него своею жизнью. Под командой сначала полковника Дзерожинского, потом, после мирного переворота, учиненного генералом Родзянко[1], корпус в середине мая перешел в наступление в Петроградском направлении, разбил 7-ю армию большевиков и при содействии одной дивизии эстляндцев, занявшей Псков, продвинулся к Красной Горке и к востоку от Пскова, серьезно угрожая Гатчино и Луге. Большевистские войска целыми полками переходили на сторону белых, и корпус, возросши в числе бойцов, был переименован в Северную, потом в Северо-Западную армию, независимую уже в командном отношении от эстонского главнокомандующего Лайдонера.

Между тем в середине июня последовало утверждение адмиралом Колчаком в звании главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала Юденича, которому вместе с тем предоставлено было «осуществлять верховную власть именем Верховного Правителя в губерниях, освобожденных (его) войсками...»[2].

Ко времени, когда генерал Юденич переехал со штабом в Эстонию (июль), Северо-Западная армия стояла на фронте от Копорского залива (Пейпия) до станции Молосковицы (в полпути между Нарвой и Гатчиной) и оттуда в 40 верстах западнее Луги и в 20 верстах восточнее и южнее Пскова до реки Великой. На этом фронте располагалось два корпуса, общей численностью в 12460 штыков и сабель. Эта армия лишена была самого необходимого, ходила в отрепьях, до

[1] Генерал Родзянко «уговорил» полковника Дзерожинского сдать ему командование, после чего Дзерожинский принял командование бригадой и был произведен Родзянко в генерал-майоры.

[2] Телеграмма от 14 июня.

осени снабжалась почти исключительно средствами, отбитыми у большевиков, и денежное довольствие, сначала весьма скудное, получала от эстонского правительства, потом, за неимением иных источников, — от перепродажи американской муки, предназначенной для населения Западной России. Щедрые в отношении эстонцев англичане пока ничего не давали армии. А постоянные трения с эстонским правительством и непрекращавшиеся мирные переговоры Эстонии и Латвии с советской Россией ставили весь тыл армии в положение тяжелой и опасной неопределенности.

Большевики решительно не верили в серьезность угрозы своему Западному фронту. Даже майские успехи Родзянко не заставили их переменить свое отношение к нему. Переговоры о мире с эстонцами и латышами, по выражению Бронштейна, «имели характер опиума, поселив уверенность, что война на этом фронте близится к концу... Мы снимали поэтому с фронта 7-й армии и хорошие части, и лучших работников, и командиров, и опытных военно-политических работников...»[1].

Все шло на Юг!..

Только осеннее наступление генерала Юденича вызовет панику в Петрограде (у Зиновьева и советов) и побудит советское командование «с лихорадочным напряжением» возвращать на Западный фронт и силы, и людей.

ГЛАВА IV

ЛАТВИЯ. ГРУППА ГЕНЕРАЛА ФОН ДЕР ГОЛЬЦА. ЛИТВА. ПОЛЬША. ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Если в северной Прибалтике всецело и безраздельно царило влияние союзников, преимущественно Англии, то в южной оно боролось еще долго с влиянием германским. Эта борьба — нервная, непоследовательная и лишенная какой-

[1] Из речи 6 октября 1919 года в Петроградском совдепе.

либо иной идеи, кроме неприкрытого и грубого соперничества, — наложила свой резкий отпечаток на все военно-политические события в крае.

На основании требований союзников германские войска спешно очищали Прибалтику. За ними следом от Полоцка, Пскова и Орши шли советские полки, численностью до 10—12 тысяч, направляя главные силы через Ригу к немецкой границе. Такая перспектива не без основания встревожила германское командование и правительство, и эвакуация под предлогом закупорки железных дорог несколько замедлилась.

Тем не менее к концу декабря большевики подошли к Риге. Латышский народный совет, возгласивший 18 ноября 1918 года самостоятельность *Латвии*, не имел в своем распоряжении никаких сил и средств для обороны края. Большинство латышских полков находилось на советской службе, и теперь 6—7 из них наступали против Риги. Небольшой добровольческий отряд полковника Замитаниса был отрезан от Риги и находился на службе Эстонии. Другой отряд полковника Колпака не превышал тогда 400 штыков. Русский элемент края, преимущественно офицерство, стал собираться в отряд князя Ливена, к январю представлявший собой только одну роту. В свою очередь немецкое балтийское дворянство приступило к организации Балтийского ландвера, который в силу классового своего состава и неприкрытого максимализма в аграрном вопросе представлялся опасным в глазах латышского народного совета и правительства Ульманиса.

При таких условиях правительство обратилось за помощью к немцам, прося продолжить оккупацию края до создания им собственной армии. Между латвийским правительствам и Советом солдатских депутатов 8-й германской армии был заключен договор в Риге 29 декабря 1918 года[1], в силу которого Германия соглашалась формировать для

[1] По другим источникам — 19 декабря. Договор, наличие которого впоследствии оспаривалось латышами, был подписан со стороны Латвии министрами Ульманисом, Паэгле и Залитом, со стороны Германии — политическим комиссаром 8-й армии Виннигом.

защиты Латвии добровольческие отряды и снабжать латвийское правительство денежными средствами и военным снаряжением для организации собственной армии. За эту услугу «Временное правительство Латвии... (соглашалось) признать, по ходатайству о том, все права гражданства за всеми иностранцами (германцами?), состоящими в армии и прослужившими не менее 4 недель в добровольческих частях, сражающихся за освобождение латвийской территории от большевиков». Это тяжелое обязательство, делавшее германских солдат участниками будущего земельного раздела и впоследствии нарушенное Латвией, одинаково соответствовало планам и курляндских помещиков, и германского правительства, которые совместно с конца 1916 года принимали ряд мер для немецкой колонизации Прибалтийского края. Первым результатом этого договора явилось формирование крупного добровольческого отряда из трех родов оружия под названием «Железной дивизии», во главе которой стал майор Бишоф.

К январю, когда большевики подступили к Риге, все эти силы были еще в стадии формирования. Германские линейные части наотрез отказались сражаться против большевиков. Согласие настойчиво требовало скорейшего очищения Прибалтики, и местные представители его в формах грубых и надменных, возмущавших одинаково и местные правительства, и русский элемент, и германское командование, распоряжались на побережье, как в своих колониях.

22 декабря Москва передавала «всем» радио, полученное ею из Берлина: «Накануне нового года (18 декабря старого стиля) Железная дивизия должна была очистить свою позицию у Хинценберга... Когда большевистские войска достигнут позиции Эгеля, очищение Риги станет неизбежным. Английский флот (адмирал Синклер) заявил, что он не может оказать помощи... Решено очистить Ригу в течение этой недели».

После такого более чем странного предупреждения советские войска 2 января заняли Ригу. Расстроенные добровольческие части 8 января отдали и Митаву, задержавшись затем на линии реки Виндавы. Правительство Ульманиса, германские и добровольческие штабы и организации перешли в Либаву.

К этому времени наступил поворот во взглядах правящих кругов Лондона и Парижа. Быстрое продвижение советских войск к Неману и возможность соединения их с германскими спартаковцами сильно обеспокоили союзников. По инициативе главным образом Клемансо возникла идея *барьера*, предохраняющего Европу от вторжения русского большевизма — идея, воспринятая и использованная в сугубый вред для России Ллойд Джорджем. Первоначально роль такого барьера должны были в силу необходимости играть германские войска, покуда не организуются *национальные армии* русских окраин.

В этом смысле даны были Согласием указания германской главной квартире. Эвакуация задержалась, и большевистское наступление на западе было приостановлено к середине января на линии Виндава—Шавли—Ковно—Гродно—Лунинец и по реке Припяти.

В Курляндии и частью в северной Литве в ближайшие два месяца исключительно на германские средства была сформирована сильная добровольческая группа генерала графа *фон дер Гольца*. В состав ее вошли: несколько пополнившийся русский отряд князя Ливена, латышский полк Баллода (до 2 тысяч), Балтийский ландвер, пополненный немецкими офицерами и солдатами и обращенный в чисто германскую часть (2—3 тысячи); наконец, состоявшие исключительно из германских добровольцев Железная дивизия и 6-й резервный корпус. Боевой состав этих войск не превышал вначале 20 тысяч, а к лету достиг 40 тысяч. Номинально группа фон дер Гольца считалась на службе у латвийского правительства, фактически же была совершенно автономна.

В начале марта фон дер Гольц предпринял успешное наступление против большевиков на рижском направлении, отбросил 10—15-тысячную армию красных, захватил Виндаву, Тукум и Митаву. На линии реки Курляндской Аа пришлось, однако, остановиться на целых два месяца: организация корпуса была еще не закончена, а подозрительная и ревнивая политика Согласия вновь ставила всевозможные препятствия к перенесению «барьера» в глубь страны. К

этим внешним затруднениям присоединились и внутренне-политические: офицерство Балтийского ландвера 16 апреля свергло социалистическое правительство Ульманиса и поставило новый кабинет пастора Недра — германофила, правого. Одновременно части ландвера разоружили и ограбили в Либаве латвийский отряд. Вражда между латышами и немцами еще более усилилась. Представители Согласия не признали правительства Недра. Ульманис бежал в Эстонию и там, опираясь на латышский отряд Замитаниса, при содействии эстонского правительства и представителей Согласия, стал готовить почву для вооруженного вмешательства в дела Латвии.

Только 22 мая после вторичного наступления взята была Рига.

В этом углу России весной 1919 года завязывался узел нитей, исходивших из глубин мировой политики и перепутанных в местной жизни взаимной ненавистью и старыми политическими и социальными счетами. Во всяком случае, курляндские бароны, обладавшие 50% всей земли Латвии, и немецкие добровольцы, мечтавшие о колонизации ее, в роли защитников самостоятельности латышского народа представляли картину весьма своеобразную.

Здесь, на периферии затихавшей европейской бури, боролась политика французская, английская, германская, балтийско-немецкая, латышская. И только русская политика, русские интересы не находили никакого отражения. Ибо не было в крае ни организованной русской общественности, ни сколько-нибудь серьезной военной силы, с который считались бы союзники и враги.

А между тем территория Латвии летом и осенью 1919 года станет ареной событий, разыгравшихся вокруг имен Гофа, Марча[1], фон дер Гольца, Бермонта — событий, отразившихся роковым образом на судьбе Северо-Западного противобольшевистского фронта.

* * *

Несколько восточнее германские войска, как упоминалось выше, к середине января остановились на линии Ковно—Гродно—Лунинец—Припять, располагаясь на территории Литвы и Белоруссии и прикрывая западную часть Литвы и Польшу.

[1] Английские военные представители.

Литву оккупировал 7-тысячный отряд вестфальских добровольцев Пфейфера. Германское правительство, стараясь создать противовес Польше, отнеслось с большим вниманием к литовскому правительству, гарантируя самостоятельность государства и доступ к морю под германским контролем, предоставив крупную денежную помощь и обещав вооружение и снаряжение на 50-тысячную армию. Начался набор и формирование литовской армии, проходившие, впрочем, весьма вяло. Согласие, не проявляя большого интереса к Литве, тормозило, однако, германскую помощь, категорически воспрещая вывоз предметов военного снабжения за границу Германии.

Положение новообразования было весьма трудным: давление большевиков, своекорыстная помощь немцев, немилость Согласия и бурно проявлявшиеся захватнические стремления Польши, добивавшейся в Версале присоединения к ней Литвы. Отношение к последней становилось все более враждебным, находя отклик и в столкновениях на общем фронте, и в сношениях правительств, и в постоянных жалобах их Верховному союзному совету. Но, негодуя на алчность польских шовинистов, ковенское правительство руководствовалось также не слишком идеалистическими соображениями... Когда польская армия занимала западно-русские города и области, литовские дипломатические представители обращались с горячим протестом к державам Согласия, претендуя сами на Белосток, Гродно, Лиду, часть Минской губернии и т.д.

Беспризорный Белорусский край становился объектом вожделений всех соседей...

Как бы то ни было, Литовский фронт, в состав которого кроме германской группы входила литовская дивизия полковника Беньяшевича и несколько мелких русских и польских партизанских отрядов под общим польским командованием, успешно отражал наступление большевиков.

* * *

Польша в конце 1918 и начале 1919 годов представляла кипящий котел.

Внутри страны шла ожесточенная борьба между правыми и левыми политическими партиями, проявившаяся вначале выступлением образованного в Люблине «Временного народного правительства»[1] против Варшавского регентского совета, потом с особой напряженностью — вокруг выборов в Сейм. С трудом налаживалась внутренняя связь между отдельными частями государства, где сложившиеся течением событий власти — «Ликвидационная комиссия» в Галиции, «Главный народный совет» в Познани, даже такие, как «Народный совет княжества Тешинского», — стремились сохранить некоторую обособленность и в военном и в экономическом отношении. Так же плохо налаживались взаимоотношения между регентским советом и польским парижским комитетом.

По всей русской Польше, Познани, верхней Силезии шли непрерывно кровавые столкновения между германскими гарнизонами и польскими войсками, которые, не дожидаясь решений и санкций Версаля, спешили закончить «odbudowanie ojczyzny» — «ойчизны», охваченной бурным подъемом и подлинного патриотизма, и близорукого, исторически взращенного шовинизма. Галиция, где еще с конца октября 1918 года польская «ликвидационная комиссия» принимала бразды правления от австрийских властей, была объята всеобщим восстанием, в котором всеукраинское течение соперничало с всероссийским, но оба объединялись в общей ненависти к польскому владычеству[2]. Война сопровождалась неслыханными жестокостями с обеих сторон, отражала веками накопившиеся исторические счеты, напоминая времена Сагайдачного и Наливайки. В начале января из-за спорной части Силезии дошло до вооруженного столкновения и с Чехией.

---

[1] Правительство, возглавлявшееся Дашинским, говорило якобы от имени «народных и социалистических партий Галиции и Польши». В 1918 году распря завершилась передачей обеими сторонами диктаторской власти (14 ноября по новому стилю) генералу Пилсудскому.

[2] 9 января 1919 года в Киеве был торжественно оглашен акт о соединении Украины с Галицией.

Державы Согласия, обеспокоенные разгорающимся на востоке пожаром, принимали меры воздействия на враждующие стороны дипломатическим путем и посылкой комиссий от Верховного союзного совета в пораженные междуплеменной распрей области. В отношении Галиции эти меры оставались безрезультатными. В польско-германское столкновение они внесли некоторое, внешнее по крайней мере, успокоение: польское правительство умерило свое стремление к насильственному разоружению германских войск и вступало в соглашения относительно обоюдно приемлемых форм эвакуации немцев.

Наиболее легким оказался вопрос «na kresach wschodnich»[1]. В феврале между польским и германским командованием состоялось соглашение о передаче Польше оккупированной немцами части Белоруссии и Волыни. Двенадцать русских уездов, в которых польское население едва достигало 5%, были включены в пределы польского государства, составив в военно-административном отношении три округа: Гродненский[2], Подляско-Палецкий[3] и Волынский[4]. Для успокоения общественного мнения Европы, которая, впрочем, относилась к русским делам с большим равнодушием, заграничной печати было сообщено, что *при дальнейшем* продвижении по территории России занимаемые области не поступят в общее управление польского кабинета министров, а через особого комиссара будут подчинены «начальнику государства»[5].

Этот первый захват, вместе с занятой еще осенью 1918 года Холмской Русью, составлял частичное выполнение плана умереннейшей части польского общества — так называемой «программы minimum», включавшей в польские вожделения кроме перечисленных земель губернию Виленскую и два уезда Подольской. Ибо общественное мнение страны в

---

[1] Восточная окраина.

[2] Уезды: Гродненский, Сокольский, Белостокский, Бельский, Волковысский и Слонимский.

[3] Уезды: Брест-Литовский, Пружанский и Пинский.

[4] Уезды: Ковельский, Владимир-Волынский и Луцкий.

[5] Генерал Пилсудский.

своем представлении национальных задач шло гораздо дальше — вплоть до «границы 1772 года» —плод в равной мере как исторического романтизма, так и национального шовинизма, раздвигавших пределы Польши «od morza (Балтийское) do morza (Черное)», до Двины и Днепра, со включением Курляндии, части Лифляндии, губерний Витебской, Могилевской, Киевской и Подольской. Только судьба Новороссийского края великодушно предоставлялась «третейскому международному суду»...

Генеральный комиссар восточных «кресов» в своем приказе объявил[1], что «правительственным языком (является) язык польский. На этом языке ведут переписку городские органы между собой, с властями и частными лицами. Вне этого все местные языки равноправны». Через день последовало разъяснение: «Какие же языки считаются *местными*? В общественных и самоуправляющихся учреждениях, так же как и в школах, допускаются наряду с польским языком языки литовский, белорусский и малорусский». Звуки *русского* языка, по комментариям тогдашней польской «кресовой» прессы, будут восприниматься «как свидетельство враждебного отношения к польскости».

Версальский высший совет, ввиду остроты пограничных споров и, может быть, стесняясь еще в ту пору так резко нарушать интересы своего бывшего союзника России, медлил с разрешением вопроса о восточных границах. 5 июля была указана им лишь военная разграничительная линия между Литвой и Польшей по течению Немана и далее параллельно железной дороге Гродно—Вильно—Двинск; а в конце 1919 года[2] последовало частичное исправление границ суверенной Польши присоединением к ней Белостокского уезда, а к Литве — северной части Сувалкской губернии.

Так начинались новые взаимоотношения между родственными народами. С тех пор пресс полонизации в школе, суде, в религиозной, общественной, даже хозяйственной

[1] 3 марта 1919 года.

[2] Постановление от 19 ноября 1919 года.

жизни занятых русских окраин стал давить все сильнее и нестерпимее, в стремлении вытравить все, что было связано с представлением о русской культуре и гражданственности. Бесправие, тюрьма, мучения и издевательства стали уделом новых «польских граждан», не хотевших забыть свое русское происхождение. Ослепление и ненависть становились основными двигателями польской политики на Востоке.

• • •

С огромным напряжением польская власть стремилась к организации национальной армии. В командном составе и в обученных контингентах после крушения трех армий — германской, австрийской и русской, в рядах которых сражались поляки, — недостатка не было. Существовали также и кадры, в виде организованных немецким командованием «Wehrmacht», польско-американских формирований Галлера[1], возникших во Франции; австро-польских «легионов» Пилсудского, укомплектованных по преимуществу буржуазной молодежью; стрелковой бригады, сформированной Добровольческой армией в Екатеринодаре, и т.д. Боевое снабжение, вначале крайне разнообразное, составилось из богатых складов трех армий, сражавшихся на территории Польши, и постепенно заменялось доставляемым в большом изобилии французским. Французская помощь вообще, во всех отраслях народно-хозяйственной жизни Польши, была велика[2], и столь же велико было там политическое влияние Франции. Во всяком случае, французская военная миссия генерала Генри, находившаяся в Варшаве, руководила всецело польским штабом, и, следовательно, если не в политическом, то в стратегическом отношении у нее была полная возможность направлять действия польской армии на Востоке во вред или на пользу России. По крайней мере, когда войскам Галлера французы запретили принимать участие в войне за восточную Галицию, это их требование было исполнено.

[1] Генеральный штаб и командный состав в большом числе — французы.

[2] Америка снабжала хлебом.

Но французская политика и польская стратегия не считались, к сожалению, с интересами России.

Постепенно развертывая свою армию, к весне 1919 года Польша имела на внешнем фронте кроме войск Познани 8—9 пехотных дивизий и 4 кавалерийские, более или менее организованные, под верховным командованием генерала Пилсудского. Армия располагалась на большом пространстве, разделяясь на отдельные группы: Польско-литовскую (Виленское направление), Белорусскую (Минское и Мозырское), Волынскую и Галицийскую. Опасность с запада все еще висела над страной: Гинденбург не торопился с демобилизацией имперской армии, обнажив совершенно Западный фронт и сосредоточив для прикрытия северных и восточных границ Германии 9 корпусов, личный состав которых понемногу начинал отходить от революционного угара. В силу этих обстоятельств, необходимости организационной работы и условий зимнего времени, военные действия полков против советских войск не отличались вначале большой активностью. Только весною 1919 года поляки совместно с литовцами перешли в наступление на северном направлении, в середине апреля взяли Вильно и пододвинулись к Минску; в начале мая, искусно пользуясь войной советов с директорией, прошли по тылам отступающих украинских войск Петлюры к востоку от Лунинца и Луцка.

Ни явным, ни скрытым мотивом польского вторжения в пределы России никогда не была борьба с советской властью. Оно вдохновлялось исключительно тем двуличным лозунгом, который, отражая взгляды польской общественности, провозгласил Пилсудский 10 февраля при открытии Сейма:

«Наши соседи, с которыми мы желали бы жить в дружбе, не хотят забыть временную слабость Польши... Мы не хотим вмешательства во внутренние дела наших соседей... Но мы не отдадим ни одной пяди польской (?) земли и не позволим урезать наши границы, на которые имеем право».

* * *

Вопрос объединения всего широкого фронта внешних противобольшевистских сил — от Ботнического залива до

Припяти — в русских кругах никогда серьезно не ставился: слишком противоречивы были интересы окраинных государств и подчас слишком неумеренны их национальные устремления.

Что давала им нарождавшаяся национальная власть в России? Я ограничусь приведением выдержки из ответа адмирала Колчака на обращение Верховного совета союзных держав. Он составлен был позднее, 4 июня 1919 года, но заключал в себе существенные мотивы многократных заявлений — его, моих, Юденича, парижского совещания, — отражал взгляды широких слоев русской общественности самых разнообразных политических оттенков[1], кроме «самостийных»; наконец огромного большинства командного состава и офицеров белых армий.

«...3. Признавая, что естественным и справедливым следствием войны является создание единого Польского государства, русское правительство считает себя вправе подтвердить независимость Польши, объявленную в 1917 году Временным правительством России, все распоряжения и обязательства которого мы приняли на себя. Но окончательная санкция определения границ между Польшей и Россией в соответствии с вышеприведенными основаниями должна быть отложена до Учредительного собрания.

Мы готовы также ныне признать настоящее правительство Финляндии, но окончательное решение финляндского вопроса должно принадлежать Учредительному собранию.

4. Мы готовы теперь же подготовить решение вопросов по отношению к национальностям Эстонии, Латвии, Литвы, кавказских и закаспийских стран. Мы имеем полное основание предполагать, что дело скоро уладится, как только правительство обеспечит различным народностям автономии. Из этого следует, что границы и формы этих автономий будут определены особо для каждой народности. В том же случае, если при разрешении этих разнообразных вопросов возникнут затруднения, то в целях достижения

[1] По крайней мере, в 1919 году.

удовлетворительного решения их правительство готово прибегнуть к содействию и помощи Лиги Народов.

5. Вышеизложенные основания, предусматривающие утверждение Учредительным собранием всех соглашений, очевидно, должны быть применены и к Бессарабии».

Такая постановка вопроса ни одно из новообразований совершенно не удовлетворяла.

Если бы, однако, руководители белого движения, вопреки определенно сложившемуся тогда общественному мнению, от имени России дали свою санкцию всем требованиям новообразований, возникает еще большой вопрос: имело ли бы это самопожертвование непререкаемую ценность в глазах окраинных правительств и побудило ли бы окраинные народности жертвовать своею кровью и рисковать своей судьбой для дела освобождения России? Вся дальнейшая история восточной Европы дает ответ ярко отрицательный[1].

Но и другие внешние факторы далеко не способствовали объединению западных фронтов. *Французское* влияние в Финляндии, *английское* в Эстонии и северной Латвии, *германское* в южной Латвии и Литве, *французское* в Польше — таков пестрый переплет политической жизни окраин. Державы Согласия, в силу давления своей демократии не желавшие и не могшие принять участия в вооруженной борьбе, не оказывавшие в то же время и сколько-нибудь серьезного давления в этом направлении на окраинные правительства, зимою 1918 года требующие ухода немецких войск из Прибалтики, в начале 1919-го, наоборот, требующие усиления их для создания «кордона», и летом из-за опасения все возрастающего влияния Германии разрушающие ее военные организации в Прибалтике — таковы непоследовательные этапы русской политики союзников. Наконец, Германия — в теории, в лице военной партии и даже отчасти социалистического правительства своего в то время допускавшая возможность

[1] Гинс передает фразу адмирала Колчака, сказанную по этому поводу: «Мы их признаем, а они все-таки не помогут».

выступления в роли спасительницы России в чаянии моральной реабилитации и будущих политических и экономических перспектив, но в корне отвергающая мысль, чтобы эта помощь шла в той или другой форме под флагом Согласия... Германия — на практике развертывающая широко добровольческий корпус фон дер Гольца как предлог обойти стотысячную норму, ограничившую развитие ее военных сил, как способ сохранения баронских латифундий и вместе с ними своего влияния в Прибалтике, как барьер против советской армии и вооруженный кулак, нависший на фланге оперативных путей польской армии в Восточную Пруссию — таковы внутренние мотивы германской частичной интервенции.

«Русско-германское сближение» в течение долгого времени было одним из главных мотивов, которыми английское правительство сдерживало напор оппозиции, требовавшей прекращения вооружений и материальной помощи врагам советской власти. В возрождении России англичане не сомневались. Но с чьей помощью? «Я никак не могу отделаться от мысли, — говорил в парламенте Черчилль, — о страшной опасности, которая произошла бы, если бы ставшая врагом нашим Россия и жаждущая мести Германия пришли бы к убеждению, что все их несчастья произошли оттого, что они друг с другом враждовали и что они могли бы вновь стать могущественными, если бы соединились вместе»[1].

Какими же методами правительство Англии, при непротивлении Клемансо, осуществляло идею приоритета в воссоздании России? Близкий к французскому министерству иностранных дел «Temps» осенью 1919 года в ряде статей, констатируя, что общественное мнение Франции порицает политику держав Согласия, подводил ее итоги.

«В течение 11 месяцев после перемирия что сделали союзники в Балтике? Они поддерживали — и временами эксплуатировали — вожделения эстов и латышей, которые они не могут осуществить. Они противодействовали стрем-

[1] Из речи в палате общин 29 июля 1919 года.

лениям русских, которым они не смогут помешать осуществиться.

Нет сомнения, что Ревель — великолепный порт и что лен латышских землевладельцев весьма пригоден для британских ткачей. Но никакие соглашения, никакой флот в мире не в силах помешать России восстановить рано или поздно свое прежнее положение на берегах Балтийского моря. Обещать эстам и латышам, что им будет обеспечена подходящая автономия с децентрализованной Россией, вполне резонно. Со стороны Антанты это было бы обязательством, на выполнение которого союзники могут надеяться. Но идти дальше и заманивать эти мелкие группы людей призраком независимости — значит сеять невозможное; из таких семян вырастают одни лишь разочарования.

Вы желаете более существенных плодов? Тогда нужно смотреть открыто в лицо действительности: в балтийской авантюре — весь русский вопрос.

Два направления политики могут быть приняты по отношению к России. Первое заключается в расчленении российского государства, второе — в его восстановлении. Союзники должны решиться раз навсегда избрать одно из двух направлений, а именно второе, тогда как до сих пор мы колебались между обоими.

Если бы мы хотели расчленения России, то предоставляя ей гноиться в большевизме, то применяя на севере и на юге противоположные методы действия, — и в том и в другом случае все преимущества были бы на стороне Германии. Германия обладает гораздо большими возможностями в технике пользования противоположными крайностями. Она поставляла инструкторов и деньги большевикам. Сегодня она поставляет их сторонникам абсолютного царизма[1]. В России, равно как и во всей Европе, во время войны и до ее возникновения она специализировалась в деле разложения, и всякое разложение идет на пользу Германии.

Напротив, наша задача — строить».

[1] Речь шла о Бермонте.

И в то время, когда глава английского правительства Ллойд Джордж проводил настойчиво план расчленения России, другой государственный деятель Англии, член его кабинета Черчилль, всей силой своего слова ополчался против такой близорукой политики. В своем ведомстве он принимал и ряд доступных мер, чтобы путем материальной поддержки белых армий ослабить явную для него опасность опытов Ллойда Джорджа. Как могли сотрудничать эти «две руки» — одна дающая, другая отъемлющая, — это тайна британской политики.

Черчилль говорил[1]:

«Война вызвала к жизни целую цепь небольших и слабых государств, которые сами до известной степени проникнуты большевистскими идеями, подавлены гнетом банкротства и голода и лишены дисциплинированных армий. И на этот-то колеблющийся, трескающийся оплот мы здесь рассчитываем для предотвращения наступательного движения на Запад большевистских войск и большевистской анархии; на него же мы рассчитываем и для предотвращения объединения этих войск и этого учения с недовольством могучей германской нации!

Шесть месяцев тому назад никто не верил, чтобы эти новые слабые державы могли удержаться без могущественной поддержки союзнических денег и союзнических войск. Но, к нашему великому облегчению, они удержались без обращения к нам за какой-либо непосредственной поддержкой[2].

Эстония, Литва, Польша, Чехословакия, Румыния все еще выступают жизненными факторами мировой общественной и национальной жизни, и вся Западная Европа в настоящее время укрывается за их слабым оплотом. Но почему же они оказались способными поддержать свое существование? Потому что никто на них серьезно не нападал. Усилия большевиков захватить их были слабыми, и с ними они справились. Но почему же они были слабы?

[1] Речь на банкете британско-русского клуба 4 июля 1919 года.

[2] Это, как мы видели, не соответствует действительности.

А по той причине, что по меньшей мере две трети всей большевистской армии, по меньшей мере две трети всех сил были заняты борьбой с силами Колчака и Деникина, которых не существовало совсем год тому назад и которые теперь борются, но с основательной надеждой на победу против трехсот тысяч организованных большевистских боевых войск.

И если бы эти армии были разбиты и уничтожены, и вся Россия со всеми своими ресурсами попала под неоспоримую власть Ленина и Троцкого, то вся сила большевистского войска могла бы обрушиться (и обрушилась бы) на линию еле держащихся небольших государств — с последствиями, в которых никто из знакомых с их пожеланиями не может сомневаться».

* * *

В этом сплетении разнородных, взаимно враждебных интересов рисовалась только одна объективная возможность, грозившая быстрым крушением советской власти, по существу, однако, ирреальная, противоречащая психологии победителя и побежденного в первый острый период расплаты: *примирение держав Согласия с Германией.*

Некоторые политические круги обеих группировок еще с 1917 года выдвигали и такое положение, едва ли не наиболее грозное для судеб России. В нем напрасно было бы искать моральные обоснования или стремление к спасению нашей Родины. Обнаженный национальный эгоизм ставил вопрос гораздо более реально: *мир за счет России...*

ГЛАВА V

ПОЯВЛЕНИЕ СОЮЗНИКОВ НА ЮГЕ РОССИИ И ИХ ПЕРВЫЕ ШАГИ. ПЛАНЫ ИНТЕРВЕНЦИИ

— Salut a nos Alliés!

— Welcome dear friends!

Эти возгласы, выражавшие искреннюю, непритворную радость, горячее дружественное чувство и безграничные надежды на скорую перемену злосчастной судьбы, были

неизменными спутниками союзных вымпелов, появлявшихся в Черном море. Никогда еще моральная связь между русской интеллигенцией, южным казачеством и всеми теми широкими слоями, которые связали себя с национальным противобольшевистским движением, и нашими союзниками не была такой крепкой. Никогда еще державам Согласия не представлялась лучшая возможность закрепить надолго и прочно эти узы со страной нищей, но таящей под спудом неисчерпаемые сокровища; с народом ныне безумным, но в нормальном состоянии своем наиболее честно относящимся к выполнению международных обязательств, великодушным и помнящим добро.

Это радостное настроение по мере удаления от портов Черного моря к северу омрачалось только беспокойными мыслями: «успеют ли прийти»... и «как пережить переходное время, когда могут захлестнуть большевизм и анархия»...

По всему Югу России шла спешная перемена «ориентаций», изменение программ и широкая дифференциация партий, групп, организаций, которые прежде разделяло германофильство. Перестраховывались спешно и правительства. Новые «варяги» стали тем фундаментом, на котором строились политические комбинации и утопии, не раз совершенно противоречивые. Так, польский регентский совет взывал к союзникам о помощи против «украинских банд» — восставшего народа Галицкой Руси, а правительства Галицкой и гетманской Украины просили союзников оградить Галицию от поглощения Польшей. В Киеве гетманское правительство давало союзникам заверения в своей лояльности и дружбе, указывая, что «войска центральных держав были призваны (не им, а) прежним правительством»[1]; а прежняя и будущая директория, рожденная Брест-Литовском, еще не выйдя из подполья, оперировала теми же аргументами в пользу своего первородства и против «немецкого ставленника» — гетмана.

Украинская печать того времени обоих лагерей представляет разительные переливы всех тонов политического

---

[1] Вербальная нота от 2 ноября 1918 года.

спектра по кривой линии от Берлина к Парижу. Донской атаман Краснов, еще недавно писавший о «дружбе, спаянной кровью на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков»[1], устраивал теперь «достойную встречу представителям тех государств, с которыми вместе в продолжение $3^1/_2$ лет мы сражались за свободу и счастье Российского государства», «на которых мы и теперь смотрим как на своих союзников»... «Без помощи союзников освободить Россию невозможно», — писал он генералу Франше д'Эспре[2]. И при первых же известиях о проходе союзным флотом Дарданелл обратился уже с воззванием к «красному Вердену» — Царицыну, — требуя сдачи города до 15 ноября и угрожая, что в противном случае по приходе союзников город будет сметен артиллерийским огнем...

Чтобы облегчить и ускорить выход союзного флота в Черное море, которое находилось еще в руках немцев, адмирал Ненюков в середине октября послал из Ясс старшему союзному адмиралу все документы, касавшиеся минных заграждений портов Черного моря, числа и тоннажа военных и коммерческих судов, а также «планы, описания, статистические данные портов и рейсов всего Черного моря, обработанные нашим бывшим морским генеральным штабом»[3]. Помощь союзному флоту весьма существенная, не знаю только, не были ли при этом, в пылу увлечения альянсом, перейдены пределы осторожности, необходимой даже в отношении друзей...

На фоне разгоравшейся вокруг появления союзников большой и малой политики не обошлось без элемента комического. 29 октября наша радиостанция перехватила телеграмму, адресованную испанскому послу в Софии: «Совет министров Крымского правительства решил просить Вас сообщить представителям Соединенных Штатов, Франции и Британии, что (оно) обязуется соблюдать нейтралитет

---

[1] Из письма императору Вильгельму 5 июля 1918 года.

[2] Приказ войску № 1582 и письмо генералу Франше д'Эспре 6 ноября 1918 года.

[3] Из доклада генерала Эрдели от 23 октября 1918 года.

при входе в Черное море флота держав Согласия до заключения перемирия между державами Согласия и Германией».

Флагман союзного флота мог, следовательно, дерзать!

* * *

10 ноября в новороссийскую бухту вошла эскадра в составе двух миноносцев и двух крейсеров — французского «Эрнест Ренан» и английского «Ливерпуль». Почти одновременно на болгарском пароходе под французским флагом пришел командированный мной на Балканы генерал Эрдели, привезя чрезвычайно ценный для нас груз русских патронов и ружей, и вместе с ним прибыли представители Салоникской французской армии.

Новороссийск, затем Екатеринодар встречали союзников необыкновенно радушно, со всем пылом открытой русской души, со всей страстностью истомленного ожиданием, сомнениями и надеждами сердца. Толпы народа запрудили улицы Екатеринодара, и их шумное ликование не могло не увлечь своей непосредственностью и искренностью западных гостей. 20 ноября приехала английская военная миссия во главе с генералом Пулем, бывшим главнокомандующим союзными войсками на Северном (Архангельском) фронте, и торжества повторились вновь.

Большинство союзных военных представителей всецело разделяли ту психологию, во власти которой находились мы все — Добровольческая армия, белый Юг. В их сознании, как и в нашем, взаимные обязательства оставались непререкаемыми, война еще не кончена, и активная помощь армий несомненна. Оторванные годами войны от политических будней своих стран, они жили еще эмоциями бранной славы и победы, располагавшими к великодушию. Оттого в словах их было более чувства, чем расчета, в обещаниях — более личного убеждения, чем фактической осведомленности...

Застольные речи дышали широким оптимизмом.

Я говорил: «В этот час возрождения русской государственности вновь *сомкнулся фронт* и к нам протянулись дружеские руки... Я желаю от души счастья Франции и Англии. Но, если когда-нибудь над Сеной и Темзой сгустятся тучи, знайте, что Россия — не эта лоскутная, беспомощная,

а новая сильная, единая Россия никогда не забудет бескорыстной дружественной помощи и свято исполнит тогда свой долг»...

Генерал Драгомиров вспоминал фразу генерала Пуля, ведавшего в 1917 году снабжением русской армии, сказанную в октябре, накануне большевистского переворота, в ответ на его «мрачные предвидения надвигающегося развала страны»:

— Через десять лет вы будете самой могущественной страной в мире...

Генерал Пуль в медленном, внешне бесстрастном, но согретом внутренней теплотой слове говорил нам:

«...У нас с вами одни и те же стремления, одна и та же цель — воссоздание единой России... Как представитель Великобритании я передаю вам от своей страны: мы ни одной минуты не забывали, что Россия — наш старый и верный союзник; мы радовались вашим успехам в начале войны, мы горевали, когда вы были преданы и русская армия оставила фронты, вынужденно закончив войну; мы не забыли и никогда не забудем, как вы героическими усилиями спасли нас в 1914 году, когда положение было критическим. Мы никогда не забудем, что вы, будучи поставлены в крайне тяжелое положение, не соединились, однако, с немцами, рискуя всем, и остались до конца верными своим союзникам.

Я послан своей страной, чтобы узнать, как и чем вам можно помочь; с большим удовольствием, с большою охотой мы вам эту помощь дадим»[1].

Дипломатический представитель Франции лейтенант Эрлиш, будущий депутат французского парламента, прекрасный и с большим темпераментом оратор, владеющий свободно русским языком, пожинал восторги собрания, затрагивая больные и трепещущие струны словами, тогда еще не захватанными, не опошленными.

— Вы можете рассчитывать безусловно на помощь великой Англии и свободной Франции. Мы с вами. Мы за вас... Я твердо верю, что скоро на высоких башнях святого Кремля красный флаг, забрызганный невинной кровью многочисленных жертв насильников, будет заменен славным трехцветным знаменем Великой, Единой, Неделимой России»[1]...

[1] Речь 28 ноября на банкете в Кубанском собрании.

Отзвуки этих событий и этих речей разносились по Югу, по боевым линиям Добровольческой и Донской армий, проникали сквозь большевистские позиции на Терек, повсюду поднимая дух и волю к продолжению борьбы.

Я должен отдать справедливость этим первым представителям союзников: в генерале Пуле, лейтенанте Эрлише, Гокье[2] и других мы имели действительных и деятельных друзей России. Но их влияние и вес были недостаточны, чтобы изменить русскую политику держав Согласия.

•••

Являлась необходимость выяснить вопрос: на какую же помощь союзников могут рассчитывать армии Юга?

Взаимоотношения союзного командования были неопределенны и осложнялись взаимным соперничеством держав. В Константинополе имел пребывание «главнокомандующий союзной Салоникской армией» французский генерал Франше д'Эспре; там же главная квартира «главнокомандующего британской армией на Балканах» генерала Мильна; им были подчинены первоначально союзные представители в Екатеринодаре. Командированный в Константинополь генерал Эрдели привез оттуда весьма учтивое письмо генерала Франше д'Эспре и неопределенные обещания. В то же время в Бухаресте находился штаб генерала Бертело, именовавшегося «главнокомандующим союзными силами в Румынии, Трансильвании и на Юге России». Вошедший с ним в сношения по моему поручению представитель Добровольческой армии в Яссах генерал Щербачев прислал мне в начале ноября подробную ориентировку[3],

[1] Речь 28 ноября на банкете в Кубанском собрании.

[2] Осенью 1918 года приехал из Киевской французской миссии в качестве «дипломатического представителя при Добровольческой армии» и в середине ноября был отозван в Яссы и заменен Эрлишем.

[3] От 3 ноября 1918 года.

бросающую свет на первоначальные предположения союзного командования в русском вопросе:

«Я посетил генерала Бертело в его главной квартире в Бухаресте для предварительных переговоров о своем проезде в главную квартиру генерала Франше д'Эспре и далее в Париж, с целью ускорить прибытие в Россию союзных войск и средств войны.

В Бухаресте мне удалось достигнуть результатов, которые значительно превзошли мои предположения. Путем непосредственного общения и обмена мнениями с генералом Бертело, с коим нас связывала и прежняя общность идей и действий, ныне удалось придать переговорам в Бухаресте форму исчерпывающе решительную настолько, что временно отпала надобность проезда в Париж и к генералу Франше д'Эспре.

Генерал Бертело, имеющий личную идейную сильную поддержку г-на Клемансо — председателя союзных Версальских совещаний, — облечен полною мощью главнокомандующего армиями союзников в Румынии, Трансильвании и на Юге России и в качестве такового лица имеет возможность проектировать и осуществлять все вопросы политические и военные, касающиеся Юга России и спасения его от анархии. Мне удалось подвинуть этот вопрос настолько, что ныне уже едва ли остается желать в этом отношении чего-либо сверх предположенного на совещании моем с генералом Бертело.

Решено нижеследующее:

1. Для оккупации Юга России будет двинуто, настолько быстро, насколько это возможно, 12 дивизий, из коих одна будет в Одессе на этих же днях.

2. Дивизии будут французские и греческие.

3. Я буду состоять, по предложению союзников и генерала Бертело, при последнем и буду участвовать в решении всех вопросов.

4. База союзников — Одесса; Севастополь будет занят также быстро.

5. Союзными войсками Юга России первое время будет командовать генерал д'Ансельм с главной квартирой в Одессе, где буду находиться и я с состоящими при мне Вам известными лицами.

6. Генерал Бертело до времени со своей главной квартирой остается в Бухаресте.

7. По прибытии союзных войск кроме Одессы и Севастополя, которые будут несомненно заняты ко времени получения Вами этого письма, союзники займут быстро Киев и Харьков с Криворожским и Донецким бассейнами, Дон и Кубань, чтобы дать возможность Добровольческой и Донской армиям прочнее сорганизоваться и быть свободными для более широких активных операций.

8. Под прикрытием союзной оккупации необходимо немедленное формирование русских армий на Юге России, во имя возрождения великой, единой России. С этой целью теперь же должен быть решен и разработан вопрос о способах и районах формирования этих армий по мере продвижения союзников. Только при таком условии будет обеспечено скорейшее наступление всех русских южных армий под единым командованием на Москву.

9. В Одессу, как главную базу союзников, прибудет огромное количество всякого рода военных средств, оружия, боевых огнестрельных запасов, танков, одежды, железнодорожных и дорожных средств, аэронавтики, продовольствия и прочего.

10. Богатые запасы бывшего Румынского фронта, Бессарабии и Малороссии, равно как и таковые Дона, можно отныне считать в полном нашем распоряжении. Для сего осталось сделать лишь небольшие дипломатические усилия, успех коих обеспечен, так как он опирается на все могущество союзников.

11. Относительно финансовой поддержки нам у союзников вырабатывается особый, специальный план».

Это письмо своей определенностью выводило нас наконец из области предположений. Широкая и конкретная постановка вопроса открывала перед нами новые необычайно благоприятные перспективы, ставила новые задачи в борьбе с большевиками. На основании письма и затем предложения французского представителя штаб мой соста-

вил и послал генералам Бертело и Франше д'Эспре записку о политическом и стратегическом положении Юга России и план совместной с союзниками кампании. Сущность его вкратце сводилась к следующему.

Общей задачей русских армий ставилось: «разбить советские войска, овладеть центром — Москвой — с одновременным ударом на Петроград и вдоль правого берега Волги».

Ближайшая стратегическая задача: «1) Не допустить противника занять Украину и западные губернии и, прикрыв их на протяжении прежней германской демаркационной линии, создать плацдарм для будущих формирований и для наступления в глубь России; 2) Использовать фронт Донской и Добровольческой армий с той же целью и для окончательного очищения от большевиков Северного Кавказа».

Линия развертывания русских армий намечалась: Ямбург—Псков—Орша—Рогачев—Белгород—Балашов—Царицын.

Так как сохранение областей, еще оккупированных немцами, от занятия и разгрома их большевиками представлялось крайне необходимым, а задача эта для нас непосильной, то к выполнению ее привлекались союзные войска. Состав их, включая обеспечение черноморских баз союзников и коммуникационных линий, определялся штабом в 18 пехотных и 4 кавалерийские дивизии[1]. «*Силы эти,* — говорилось в записке, — *будут использованы исключительно для прикрытия линии нашего развертывания и для обеспечения наших формирований. Ни в каких активных действиях им участвовать не придется... Нам нужна не столько сила, сколько авторитет дружеской помощи*».

Под прикрытием союзных войск и по окончании своего формирования русские армии должны были начать наступление с запада и юга к Петрограду, Москве и Казани.

[1] Штаб исходил из того, что центральные державы после Брест-Литовска держали на территории России 40 пехотных и 8 кавалерийских дивизий и что в силу совершенно иной моральной и политической обстановки численность союзных войск может быть уменьшена втрое.

Одновременно с планом французскому командованию вручены были перечни необходимых предметов и военного снабжения для армий Юга.

* * *

Время шло, все хорошие слова были высказаны, а реальная помощь все еще не прибывала. Даже вопрос о возглавлении союзного командования (Франше д'Эспре, Бертело, Мильн?) оставался спорным в течение трех с половиной месяцев, и только 11 марта я получил уведомление от генерала Франше д'Эспре, что «союзные силы, оперирующие на юге России, переходят под его командование»[1]. Сообщение, тотчас же и категорически опровергнутое английской миссией.

Целый ряд последующих эпизодов вносил еще большую неясность в общую политическую ситуацию и значительно ухудшал наше настроение.

Прежде всего телеграф принес нам официальное известие о существовании линии, «разграничивающей английскую и французскую зоны действий»[2]. На востоке она проходила от Босфора через Керченский пролив к устью Дона и далее по Дону на Царицын[3]. Эта странная линия не имела никакого смысла в стратегическом отношении, не считаясь с меридиональными оперативными направлениями к Москве и с идеей единства командования. Разрезая пополам область войска Донского, она не соответствовала также и возможности рационального снабжения южных армий, удовлетворяя скорее интересам *оккупации и эксплуатации,* чем стратегического прикрытия и помощи.

13 ноября союзный флот появился в Севастополе и приступил к принятию от германцев судов русского Черноморского флота. Командированный мною в Севасто-

[1] Телеграмма от 11 марта № 10317.

[2] «L'accord franco-anglais du 23 Decembre 1917, définissant les zones d'action française et anglaise». Официальное подтверждение французского представителя полковника Корбейля в сношении его на мое имя 27 мая 1919 года № 1926.

[3] К востоку — английская, к западу — французская.

поль адмирал Герасимов встретил со стороны союзного морского командования обидное и жестокое отношение к русскому достоянию. На том основании, что русские суда находились в распоряжении германцев, старший адмирал союзного флота (английского) лорд Кольсорн по распоряжению из Константинополя отказался передать их русскому командованию. Лучшие из этих судов заняли иностранные команды и подняли на них флаги — английский, французский, итальянский и даже греческий. Все годные к плаванию корабли приказано было отвести в Измит для интернирования. На просьбу Герасимова отпустить хотя бы два-три миноносца в Новороссийск для охраны и патрулирования внутренних вод района Добровольческой армии сменивший Кольсорна французский адмирал Леже ответил резким отказом: «Союзные правительства не потерпят присутствия вооруженного русского судна на Черном море, так как таковое, будучи отнято большевиками, может наделать державам Согласия многочисленные беды и хлопоты»[1]. На том же основании французские и английские команды, по приказанию Леже, топили и взрывали боевые припасы, хранившиеся в Севастопольских складах, рубили топорами аккумуляторы и баки подводных лодок, разрушали приборы управления и увозили замки орудий.

Образ действий союзников походил скорее на ликвидацию, чем на начало противобольшевистской кампании.

В то же время началась перепись и реквизиции союзниками русских торговых судов под тем же фиктивным предлогом, что на них развевался временно германский или австрийский флаг.

Эти обстоятельства вынудили меня с первых же дней соприкосновения с союзниками вступить с ними в длительную, упорную борьбу за сохранение русского достояния и воссоздание Черноморского флота.

Между тем волнения на Украине, поднятые соединенными усилиями Украинского национального комитета и Москвы, разрастались все более, а на северных рубежах ее готовилась уже ко вторжению большевистская «повстанческая

[1] Из доклада адмирала Герасимова 6 декабря 1918 года.

армия», формировавшаяся в «нейтральной зоне»[1]... Опираясь на план кампании, выработанный генералом Бертело, я обратился к генералу Франше д'Эспре[2]: «Чтобы сохранить Юг России, богатый продовольствием и военными запасами, необходимо как можно скорее двинуть хотя бы две дивизии союзных войск в район Харькова и Екатеринослава». Через несколько дней пришел ответ, что одна французская дивизия 5 декабря начнет высаживаться в Одессе, то есть в районе, при создавшихся условиях, второстепенном.

Вступлению французских войск на русскую территорию предшествовало широко распространенное воззвание от имени генерала Бертело «к населению Юга России»[3]. В нем вспоминались заслуги России в мировой войне и излагались цели интервенции: «Все державы Согласия идут вам навстречу, чтобы снабдить вас всем, в чем вы нуждаетесь, и чтобы дать вам наконец возможность свободно, а не под угрозами злоумышленников, решить, какую форму правления вы желаете... Окажите добрый прием войскам союзников... Они покинут Россию после того, как спокойствие будет восстановлено».

В этом обширном и дурно переведенном с французского воззвании обращало на себя внимание полное отсутствие таких понятий, как «большевик», «петлюровец», «украинец», «доброволец». Оно противополагало только «злоумышленников» «благонамеренным жителям», давая широкий простор для всевозможных догадок и слухов.

* * *

В таком же неопределенном положении находился и вопрос о материальной помощи.

Самая вопиющая нужда фронта — в патронах и снарядах — удовлетворялась далеко не в достаточном количестве и с серьезными затруднениями путем доставки из складов бывшего Румынского фронта.

[1] По условиям перемирия между Украиной и советской Россией, туда не имели доступа войска обеих сторон.

[2] Телеграмма от 24 ноября.

[3] Подписано французским консулом в Киеве Энно.

Однажды к генералу Романовскому зашел представитель английской миссии и сказал ему:

— Бросьте вы разговаривать с французами — они только обещают и ничего вам не дадут. Прикажите прислать нам перечни необходимого для армий снаряжения.

О том же писал мне непосредственно генерал Мильн, заявив, что «без промедления приготовит (нам) все, что находится в его власти»[1].

Перечень был послан в английскую миссию — без больших надежд. Прошло два месяца в тяжелых боях, в которых решалась судьба Северного Кавказа. Доблесть и кровь добровольцев по-прежнему искупали недостаток, иногда отсутствие боевых припасов... 3 февраля я был в Новочеркасске, на Донском Кругу, когда получил телеграмму генерала Драгомирова.[2]

«Прибыл генерал Бриггс, назначенный английским военным министерством начальником миссии при Добровольческой армии. При нем будет штаб из 60 офицеров разных специальностей. За ним идут пароходы с вооружением, снаряжением, одеждой и другим имуществом, по расчету на 250 тысяч человек. Первый пароход уже пришел. Живой силы английскими войсками не обещает, вопрос еще не разрешен Парижской конференцией... Бриггс выражает полное желание работать всеми силами на нашу армию и помогать (ей) делом, а не словами».

Через несколько дней прибыли в Новороссийск одиннадцать английских пароходов с тоннажем до 60 тысяч тонн.

Екатеринодарская английская миссия действительно оправдывала в полной мере свои обещания и свое дружеское отношение к России. Но вскоре мы узнали, что есть якобы «две Англии» и «две английских политики». Что в наличии имелась и свободная английская живая сила, направленная, однако, в то время, когда назревало крушение Украины и Дона, на театр совершенно второстепенный в стратегическом отношении, но имеющий мировое экономическое значение.

---

[1] Письмо от 18 ноября № 1278.

[2] 3 февраля, № 197.

В середине ноября войска генерала Томсона вступили в Баку. В своем обращении к населению Азербайджана Томсон говорил: «От имени союзников Баку занимают великобританские войска. Меня сопровождают представители Франции и Соединенных Штатов, и мы здесь находимся с ведома и полного согласия нового русского правительства (?)... Мы не забываем великих услуг, оказанных русским народом делу союзников в первые годины мировой войны. Союзники не могут возвратиться к себе домой, пока не восстановят порядок в России и не доставят ей возможность занять свое место в ряду других народов мира...» В своем обращении «К народам Северного Кавказа» Томсон давал обещания еще более конкретные: «Те войска, которые находятся в данный момент под моим командованием в Баку, являются лишь первой частью союзной армии, которая в скором времени займет Кавказ».

Генерал Форестье-Уокер, высадившийся 18 декабря с десантом в Батуме, говорил короче, лапидарнее и без лирических отступлений: «Британские войска заняли Батум во исполнение условий перемирия с Турцией и для того, чтобы обеспечить сохранение порядка в стране. Британское правительство не имеет намерения занимать страну навсегда». Далее следовал перечень назначенных членов «Совета по управлению областью» и угрозы суровыми карами, до смертной казни включительно, всем, кто проявит враждебное отношение к англичанам...

* * *

Мне необходимо было остановиться на утомительном, быть может, потоке речей, обращений, воззваний союзных представителей, ибо они создали в ту пору настроение на Юге России. Легко было верить в то, во что так сильно хотелось верить. «Слово», всем слышное, часто искреннее, будило подъем, надежды, иллюзии; но «дело», не всем видное, приводило в смущение, в печаль. С первых же дней русская политика держав Согласия приняла характер двойственный, неопределенный и побуждала меня к особливой осторожности. Во всяком случае, *никогда за все время моего правления и командования на Юге России я не давал державам Согласия ни письменно, ни устно никаких полити-*

ческих, территориальных и экономических обязательств за счет России. Во всех сношениях с их представителями я проводил тот взгляд, что *помощь нам является их моральной обязанностью и вытекает из их же собственных интересов.*

Это обстоятельство должно быть учтено в тот день, когда новая Россия будет сводить старые счеты со своими кредиторами.

ГЛАВА VI
КУБАНЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО БЫЧА И ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ РАДА

Международное положение Добровольческой армии осложнялось во внутренней жизни непрекращавшимися тягостными трениями между ее командованием и кубанским правительством. Необходимо было во что бы то ни стало установить строго определенные взаимоотношения и государственную связь с Кубанью.

Каждый раз, когда я пишу о Кубани, во мне возникает чувство глубокой грусти. О горестных судьбах этой колыбели ранней славы добровольчества, обильно орошенной его кровью... О кубанском казачестве — храбром, приветливом и чуждом совершенно политиканства своих верхов; казачестве, принесшем такие большие жертвы жизнью, кровью и достоянием в общей нашей борьбе... И о розни между добровольческими и кубанскими правителями, не сумевшими за $1^1/_2$ года совместной жизни установить терпимые взаимоотношения, что сыграло роковую роль в исходе южнорусского движения.

21 сентября 1918 года был окончательно подготовлен проект конституции, устанавливающей на территории Добровольческой армии единоличную диктатуру с предоставлением особых прав Кубани. «Кубанская область, — гласил раздел VI «Положения»[1], — пользуется правами автономии,

[1] «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией».

во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства».

Еще в период разработки «Положения» составители его в частном порядке обсуждали основные статьи совместно с некоторыми видными представителями кубанской общественности и власти[1], чтобы выяснить их отношение. Впечатление от этих собраний получилось неблагоприятное: кубанцы не удовлетворялись проектируемыми пределами автономии и отстаивали свободу внешних сношений Кубани, самостоятельность ее в области товарообмена и *самостоятельную кубанскую армию.* Они совершенно непримиримо отнеслись к идее единоличной диктатуры, противопоставляя ей коллегиальную. При всем этом в качестве неопровержимого аргумента своих требований кубанцы ссылались обыкновенно на... декларацию Вильсона о самоопределении народов.

В октябре признано было необходимым ранее созыва Чрезвычайной рады вступить в официальные переговоры об организации власти с кубанским правительством. К переговорам в качестве «третьих лиц» были привлечены донские кадеты — председатель Донского круга Харламов, Зеелер и Воронков. 16 октября под председательством генерала Драгомирова состоялось предварительное заседание членов «Особого совещания»[2] с донскими деятелями для установления общности взглядов и, как предпослал генерал Драгомиров, для «выяснения вопроса о возможности принятия нашего проекта в основу переговоров с кубанским правительством». «Быть может, — говорил он, — мы ошибаемся, и власть должна быть сконструирована на каких-то иных началах»[3]. Совещание имело интимный и откровенный характер, сосредоточившись главным образом вокруг центрального вопроса — о диктатуре. Большинство членов совещания высказывались за *единоличную диктатуру,* причем все сошлись в необходимости организации

[1] Каплин, Скобцов, Сушков, Д. Филимонов, Калабухов и другие.

[2] Генералы Лукомский, Романовский и Макаренко, г-да Лебедев, Степанов, Гейман, Нератов, Шульгин.

[3] Протокол совещания 16 октября 1918 года.

власти путем *соглашения.* Зеелер так формулировал это положение:

— Диктатура возникает не путем соглашения, а просто путем объявления. В нормальное время этот образ правления недопустим, но сейчас, в условиях небывалой гражданской войны, иначе конструировать власть не следует. Если имеется власть и сила, то нечего спрашивать, а нужно делать то, что является необходимым. Ну, а если (есть) колебания и нет уверенности в том, что все пройдет гладко, тогда давайте разговаривать...

Только два члена совещания — Степанов и Харламов — склонялись к коллегиальной диктатуре, но и то не по принципиальным, а по тактическим соображениям. Первый, признавая эту форму власти «наиболее уродливой», все же останавливался на ней потому, что «насилие нежелательно, к соглашению мы не придем, а коллегиальная диктатура сама выльется... в форму единоличной... если реальная сила будет находиться в руках Главнокомандующего». Второй добавил, что соглашение надо искать не с главами правительств, а с представительными учреждениями, и что соглашение с Донским атаманом недопустимо.

26 октября состоялось второе совещание уже совместно с кубанскими представителями[1], под председательством генерала Лукомского. Лица, более одиозные для кубанских деятелей — генерал Драгомиров и Шульгин, — участия в нем не приняли.

Председатель во вступительной речи указал, что взаимные трения не только в области гражданского управления, но и чисто в военных вопросах достигли такого напряжения, что «жить стало невозможно». Что и другой фактор — вероятность скорого окончания войны и появления союзников в Черном море — повелительно требует создания

[1] От Добровольческой армии: Лукомский, Романовский, Нератов и Степанов;

от кубанского правительства: Быч, Намитоков, Савицкий и Скобцов;

от войскового атамана: полковник Успенский;

особо приглашенные: Харламов, Зеелер, Воронков.

такого представительства, которое могло бы говорить авторитетно от имени Юга России... По крайней мере того, который «не запятнал себя связью с неприятелем». После этого был оглашен проект Положения, и начался диспут, в котором все участники совещания объединились против кубанской группы[1], вернее — против ее руководителя Быча.

Я остановлюсь только на основных мотивах взаимного расхождения.

Одна сторона рассматривала Добровольческую армию как фактор общегосударственного значения, взявший на себя задачу государственного строительства, к чему, по признанию Харламова, «местные власти стремились очень мало»... Другая видела в Добровольческой армии лишь «представительницу Ставропольской и Черноморской губерний», которая «не должна являться фактором политическим, управляющим страной».

Генерал Лукомский, не считая возможным в силу соображений внешней политики теперь же вступать в соглашение с новообразованиями, союзными Германии, находил, однако, естественным, что в общую схему управления войдут неизбежно и эти, и другие районы России, «по мере того как они будут освобождаться от большевизма и отказываться от немецкой ориентации». Во всяком случае, он считал необходимым, не дожидаясь создания «широкого фронта», теперь же, безотлагательно урегулировать отношения Кубани с армией. Быч протестовал: «Кубань и Ставропольская губерния, которую представляет Добровольческая армия, слишком ничтожны; удельный вес их слишком мал. В настоящий момент речь должна идти о широком фронте от Закавказья до Белоруссии... Большая ошибка винить земли, «запятнавшие себя немецкой ориентацией»... И Дон и Грузия сделали это, спасая свой народ от физического истребления».

Одна сторона видела спасение страны только в военной диктатуре, хотя и ограниченной местными автономиями,

[1] Полковник Н. Успенский — сторонник Добровольческой армии и будущий атаман — воздержался от прений.

но допускающей наибольшую концентрацию власти в интересах вооруженной борьбы. Быч, отвергая диктатуру и признавая нецелесообразным парламентаризм, предлагал в качестве верховной власти сложную комбинацию. «Представители договаривающихся государств должны образовать орган с решающим значением, и этот орган выделит другой орган исполнительного значения... назначит командование и определит организацию армии. Мы должны, — говорил он, — заключить соглашение на таких основаниях, при которых можно рассчитывать на присоединение без насилия других государственных образований. Власть должна быть организована путем сложения местных властей». Словом, на то «подчинение» Добровольческой армии, которое проектируется Положением, не пойдет ни Грузия, ни Азербайджан, ни Украина, ни Дон. Не пойдет и Кубань, так как на это не согласятся прежде всего ее войска (?)...

Ни Быч, ни его противники ни одним словом не касались самого главного мотива, препятствовавшего объединению и предрешенного уже главенствующей на Кубани черноморской группой, — принципа *суверенности* края, и не временной только, а вовеки.

Бычу возражал Харламов: «Установление общегосударственной власти путем сложения местных — путь очень сложный и длительный, а жизнь требует быстрого решения... Мне кажется, что Дон пойдет на предоставление (командованию) *полноты власти в области военных и дипломатических вопросов*, а в отдел о местной автономии придется внести поправки»...

Это последнее предложение и было повторено председателем, который в заключительном слове предъявил его как conditio sine qua non Добровольческой армии.

Кубанская группа обещала подготовить и представить до созыва Рады свой контрпроект, и совещание было закрыто. Контрпроекта мы не увидели, а вопрос о построении государственной власти был поставлен кубанским правительством впоследствии неожиданно на повестку Чрезвычайной рады.

* * *

Деловые заседания Чрезвычайной рады открылись 28 октября. Ее классовый состав определялся в 89% казаков и горцев и 11% иногородних[1]. По общественному положению — 25% офицеров, 15% прочей казачьей и иногородней интеллигенции и 60% рядовых казаков и крестьян. Политической физиономии Рада в массе своей не имела никакой; отношение ее к армии было вполне благоприятным, но преобладающее политическое течение среди кубанских вожаков определилось с первых же шагов Рады: избранием в председатели Рябовола[2] — лидера черноморцев, социалиста (в казачьем смысле слова), украинофила, самостийника и явного недоброжелателя Добровольческой армии.

В первый же день Рада обратилась с «горячим приветствием к славной Добровольческой армии и родным сынам Кубани, льющим свою кровь в едином и совместном подвиге тяжелой борьбы». А 30 октября, «осведомившись о полном изгнании из пределов Кубанского края полчищ большевиков», обратилась и лично к главнокомандующему: «Президиум с гордостью свидетельствует, что Вы до конца довели принятое решение освободить Кубанский край. Никакие невзгоды не поколебали этой решимости. Ваше твердое и непоколебимое стремление к намеченной цели, завершившееся освобождением Кубани, внушает полную веру в Вас и беспредельную надежду на доблестную армию».

1 ноября происходило торжественное открытие Рады. После молебна в войсковом соборе мы отправились в здание городского театра, заполненное до верхов, кроме официальных участников торжества, многочисленными посетителями — кубанцами и «русскими людьми».

Атаман во вступительном слове приветствовал Добровольческую армию, которая вместе с «Законодательной радой бережно, благоговейно разобрали (некогда) стяг власти и блюли его, чтобы в этот радостный день передать его хозяевам кубанского края»... После этого слово было пре-

[1] Последние — представители городов. В состав Рады входили также 4 представителя Добровольческой армии по моему назначению: генералы Лукомский и Харитонов, полковники Тунненберг и Науменко, нынешний кубанский атаман (1924 год).

[2] 255-ю голосами против 5, при 88 воздержавшихся.

доставлено мне, и я произнес речь, являвшуюся вместе с тем декларацией Добровольческой власти[1]:

«С полей Ставрополья, где много дней идет кровопролитное сражение, я приехал к вам на несколько часов, чтобы приветствовать Кубанскую Краевую раду и высказать, чем живет, во что верит, на что надеется Добровольческая армия.

Завтра годовщина зарождения армии. 2 ноября приехал в Новочеркасск генерал Алексеев, собрал вокруг себя 200 офицеров — бездомных, изгнанных, голодных, получив от России первый взнос в количестве 400 рублей на формирование армии...

В феврале, видя полную невозможность оставаться и бороться на Дону, Добровольческая армия, предводимая генералом Корниловым, двинулась на Кубань. С тех пор судьбы ее тесно переплелись с судьбами Кубани и в боевом содружестве, и в перенесенных страданиях, и в тысячах братских могил, и в радости ратных побед.

Добровольцы шли в жару и стужу, переносили невероятные лишения, гибли тысячами... Шли бескорыстно: деревянный крест или жизнь калеки были уделом большинства.

И только одна заветная мысль, одна яркая надежда, одно желание одухотворяло всех — спасти Россию.

В такой небывало трудной обстановке прошел весь Первый Кубанский поход.

Когда в мае принято было твердое решение в первую очередь приступить к освобождению Задонья и Кубани, командование Добровольческой армии встретило осуждение со всех сторон. Все настойчиво требовали нашего движения на север — и донское правительство, и киевские военные и политические круги, и московские центры, и кадетские лидеры, и целый ряд общественных политических деятелей всех оттенков.

Но решение наше осталось неизменным. Добровольческая армия начала операцию, которая увенчалась освобождением Задонья, Кубани, Черноморской и большей части Ставропольской губернии от власти большевиков.

[1] Речь составлена была лично мною, но отражала всецело и взгляды Особого совещания.

Это не было «частным предприятием», а велением совести и сознанием государственной необходимости. Командование Добровольческой армии взяло на себя за этот шаг нравственную ответственность перед Родиной, глубоко веря, что на Кубани нет предателей, что, когда придет час освобождения, вольная Кубань не порвет связи с Добровольческой армией и пошлет своих сынов в рядах ее в глубь России, в смертном томлении ждущей избавления.

Этого повелительно требует не только долг перед Родиной, не только честь, но прямые интересы Кубани. Разве возможна мирная жизнь на Кубани, разве будут обеспечены ваши многострадальные станицы от нового, еще горшего нашествия большевиков, когда красная власть, прочно засев в Москве, отбросит своими полчищами Поволжский фронт, сдавит с севера и востока Донскую область и хлынет к нам? Разве могут жить спокойно кавказские и линейные станицы, когда у Ставрополя, Св. Креста и Минеральных Вод собираются десятки тысяч красных? А грозная опасность уже близка. Имеются достоверные сведения о скоплении масс большевиков на огромном фронте от Белгорода до Царицына. На Украине при участии немцев подготовляется совместное выступление большевиков и самостийных украинских социалистов, грозящее и этот край превратить в Совдепию.

• • •

При таком положении может ли Кубань успокоиться и заняться только своими внутренними делами?

Нет! Пора бросить споры, интриги, местничество. Все для борьбы. Большевизм должен быть раздавлен. Россия должна быть освобождена. Иначе не пойдет впрок ваше собственное благополучие, которое станет игрушкой в руках своих и чужих врагов России и народа русского.

Добровольческая армия, в рядах которой доблестно сражается множество кубанских казаков, явилась сюда не для завоевания, а для освобождения. И то освобождение, которое другим досталось ценою национального унижения, потери политической самостоятельности и экономическо-

го рабства, Кубань получила без цепей, без ярма, ценою лишь святой крови добровольцев, слетевшихся со всех концов России, и славных кубанских казаков.

А стоило это крови немалой. Добровольческая армия за два похода на Кубань потеряла своих вождей, великих русских патриотов генералов Корнилова и Алексеева, доблестного генерала Маркова, потеряла до 30 тысяч добровольцев и казаков. Особенно тяжкие потери легли на старые Добровольческие части — 1-й Офицерский генерала Маркова полк и Корниловский полк. Известно ли вам, господа, что Корниловский полк, насчитывающий сегодня едва 500 бойцов, провел через свои ряды свыше 5 тысяч?

В этих потоках крови, в этих длинных списках павших на поле брани наиболее почетное место принадлежит великим страстотерпцам — русскому офицерству.

Я предлагаю Краевой раде, еще раз поднявшись, почтить тихим молитвенным молчанием светлую память тех, кто душу свою положил за спасение России и за счастье Кубани...

По мере роста сил Добровольческой армии и боевых успехов растет число друзей и крепнет злоба врагов.

Я с полным удовлетворением должен признать, что повсюду по Кубанскому краю, среди родного нам по крови и по духу славного, приветливого, храброго кубанского казачества Добровольческая армия встречала и встречает радушный, сердечный прием и гостеприимный кров. Но в последнее время идет широкая агитация, отчасти оплачиваемая иноземными деньгами, отчасти подогреваемая людьми, которые жадными руками тянутся к власти, не разбирая способов и средств. Хотят поселить рознь в рядах армии и особенно между кубанскими казаками и добровольцами. Хотят привести армию в то жалкое состояние, в каком она была зимою 1917 года. Это те самые люди, которые смиренно кланялись большевикам, скрывались в подполье или прятались за добровольческие штыки.

И это делается тогда, когда Добровольческая армия, не зная дня отдыха, в кровавых боях напрягает огромные усилия, чтобы сломить все еще сильное сопротивление врага, когда изо дня в день льется кровь и гибнет цвет русской молодежи.

Мне хочется сказать этим господам: вы думаете, что опасность более не угрожает вашей драгоценной жизни? Напрасно. Борьба с большевизмом далеко еще не окончена. Идет самый сильный, самый страшный девятый вал... И потому не трогайте армию. Не играйте с огнем. Пока огонь в железных стенах, он греет. Но когда вырвется наружу, произойдет пожар. И кто знает, не на ваши ли головы обрушатся расшатанные вами подгоревшие балки?

России нужна сильная, могучая армия.

В кровавой жестокой борьбе, близкого конца которой еще не видно, нельзя идти врозь. Иначе, если все-таки несомненна конечная победа, праздновать ее мы будем только разве тризной на трупах бесконечного числа загубленных людей, на развалинах русского народного достояния и русской государственности.

Не должно быть армии Добровольческой, Донской, Кубанской, Сибирской. Должна быть единая Русская армия, с единым фронтом, единым командованием, облеченным полной мощью и ответственным лишь перед русским народом в лице его будущей законной верховной власти.

И теперь, когда близится час окончания мировой войны, когда все государства в лице лучших своих «мужей совета», облеченных доверием народов, будут решать судьбу мира, кем будет представлена Россия? Теми ли, что надругались над всем святым нашим, которые плюнули в душу русского человека и грязным большевистским сапогом растоптали ее? Теми ли, что предательски отвернулись от своей Родины и вражескими штыками создали себе временное и призрачное благополучие? Теми ли, наконец, кто честно и беззаветно борются за спасение Родины, но говорят на разных языках и до сих пор не могут никак столковаться друг с другом?

За шесть с лишним лет двух войн, за время русской революции я достаточно часто смотрел в глаза смерти и перенес достаточно тяжелые нравственные пытки. Но когда я подумаю о том позоре, о том страшном несчастии, когда поверженную в прах и раздерганную в клочья Родину нашу на предстоящем судбище народов некому даже защитить, мне хочется рыдать от тяжкой, невыносимой боли...

Ее — родную нашу, любимую, больную — мы должны поднять на свои плечи, должны довести до международного судбища, чтобы там она могла хотя тихим и слабым голосом сказать, что требует русский народ.

Да, требует!

Ибо я верую и исповедую, что великий русский народ, оправившись от болезни, стряхнув наваждение, станет вновь страшною силою, которая никогда не забудет ни тех держав, что в дни его несчастья любовно, бескорыстно поддержали его, ни тех, что с небывалой жестокостью и эгоизмом высасывали из него последние соки и толкали в бездну анархии.

Но для этого нужна единая временная власть и единая вооруженная сила, на которую могла бы опереться эта власть.

Добровольческая армия, собирая вокруг себя и вооруженные силы, и людей государственного опыта, приглашает все части русского государства, признающие единую неделимую Россию, сомкнуться вокруг нас для совместного государственного строительства, для общей борьбы с врагами России, для единого представительства и защиты русских интересов на будущем мирном конгрессе.

Такое единение всех государственных образований и всех государственно мыслящих русских людей тем более возможно, что Добровольческая армия, ведя борьбу за самое бытие России, не преследует никаких реакционных целей и не предрешает ни формы будущего образа правления, ни даже тех путей, какими русский народ объявит свою волю. От нас требуют партийного флага. Но разве трехцветное знамя великодержавной России не выше всех партийных флагов? Разве вы не видите, как в кровавых боях изо дня в день под этим знаменем самоотверженно борются «за Русь святую», умирают и побеждают доблестные воины Добровольческой армии? Единение возможно и потому, что Добровольческая армия признает необходимость и теперь, и в будущем самой широкой автономии составных частей русского государства и крайне бережного отношения к вековому укладу казачьего быта.

И с чувством внутреннего удовлетворения я могу сказать, что теперь уже, невзирая на некоторое расхождение, выяснилась возможность единения нашего с Доном, Крымом, Тереком, Арменией, Закаспийской областью... Возможно единение и с Украиной, когда, быть может, ценою тяжких внутренних потрясений она сбросит с себя иноземное иго и вспомнит о сыновних обязанностях перед общей Родиной. Возможно и с мирным грузинским народом, когда изменится политика его правительства, которое воздвигнуло гонение на русских людей, присвоило себе русское государственное имущество, захватило в свое незаконное и несправедливое управление Сочинский округ и толпами красноармейцев угрожает русской Добровольческой армии.

Наконец, в последние дни появилось новое государственное образование в Сибири, правительство которого объявило себя всероссийской государственной властью. Добровольческая армия не имеет решительно никаких оснований признавать Уфимское правительство всероссийской властью. Тем более, что, судя по известиям, проникшим в печать, это правительство ответственно и направляется Учредительным собранием первого созыва, возникшим в дни народного помешательства, составленным наполовину из анархических элементов и не пользующимся в стране ни малейшим нравственным авторитетом.

Но наряду с этим Добровольческая армия от души приветствует мысль собирания земли Русской, положенную в основание Сибирского объединения, признает его исключительно важное значение и находит не только возможным, но и необходимым, путем взаимных соглашений, направить русские силы востока и юга к одной общей цели возрождения великодержавной России.

Проходя свой крестный путь, считая себя преемницей Русской армии, Добровольческая армия в самых тяжелых, казалось, безвыходных обстоятельствах своей жизни оставалась верной договорам с союзными державами и ни на одну минуту не запятнала себя предательством. События последних дней доказали, что прямая и честная политика

вернее... И мы с открытой душой шлем свои сердечные пожелания доблестным войскам наших союзников.

В предвидении близких переговоров о перемирии представителю Добровольческой армии при союзных посольствах предложено было еще 12 октября предъявить им следующие основания:

1. Единство представительства России на мирной конференции, с исключением из него делегатов большевистских и тех территориальных образований, которые в своих основных принципах расходятся с целями Добровольческой армии, то есть по вопросу об единой, неделимой России.

2. Упразднение договоров, заключенных с Германией или ее союзниками. Восстановление нарушенных такими договорами прав, возмещение причиненных этим путем убытков (возврат золота, военного и торгового флота, предметов вооружения, подвижного состава железных дорог и прочего) и прекращение вывоза из России продовольствия и имущества.

3. Очищение Германией и ее союзниками русской территории в пределах границ 1914 года, включая и Финляндию. Такое же требование признается необходимым и в отношении Польши.

4. Занятие на русской территории, оккупированной ныне германо-австро-турецкими войсками, главнейших стратегических пунктов русскими частями или же временно войсками держав Согласия до момента сформирования достаточно сильных русских отрядов.

5. Немедленный обмен военнопленными.

6. Обязательство Германии и ее союзников не препятствовать каким бы то ни было способом водворению в России единого прочного строя.

В такое исключительное, полное огромной исторической важности время собралась Кубанская Краевая рада строить жизнь Кубани. Собрались русские люди — кубанские казаки, умудренные горьким опытом и тяжелыми испытаниями. Среди вас я вижу много моих боевых соратников по славным походам нашим, своими подвигами и кровью добывавших свободу Кубани.

Позвольте же выразить вам от имени Добровольческой Армии самый искренний, самый горячий привет.

Дай Бог счастья Кубанскому краю, дорогому для всех нас по тем душевным переживаниям — и тяжким, и радостным, — которые связаны с безбрежными его степями, гостеприимными станицами и родными могилами».

Осведомительное бюро кубанского правительства, описывая торжество открытия Рады, между прочим сообщало: «Речь Деникина... вызвала бурные аплодисменты членов Рады, но такие же аплодисменты вызвала и речь представителя Украинского национального союза — безусловного самостийника».

Быч, впрочем, умерил горячий пыл седовласого «батьки Левицкого», выразив в своей ответной речи уверенность, что Украина и Кубань «побачат свит сонца, спокий и щастя под великою Всероссийскою хведеративною кришею»...

* * *

После взаимного обмена любезностями Рада приступила к работе. 11 ноября Быч внес проект декларации, определявший основные вехи кубанской политики:

«1. Образование на территории бывшего государства Российского самостоятельных государственных образований и принятие ими на себя верховной власти было актом неизбежным и в то же время актом самосохранения.

2. Основной задачей всех этих государственных образований является борьба с большевизмом, далеко еще не изжившим себя в Центральной и Северной России.

3. Для успешной борьбы необходимо в самое ближайшее время образование единого боевого фронта и единого командования[1].

4. Необходима организация единого представительства от южнорусских государственных образований на предсто-

---

[1] В Раде Быч формулировал это положение подробно: «Каждым членом союза организуются свои армии, из которых выделяются по особому распоряжению войсковые части, всецело подчиненные верховному командованию».

ящей мирной конференции. Необходимо немедленно, не ожидая образования федеративной власти в освобожденных от анархии областях, принять меры к организации общего международного представительства.

5. Для достижения целей, поставленных в пп. 3 и 4, необходимо образование Южнорусского союза на федеративных началах.

6. Воссоздание России возможно в форме Всероссийской федеративной республики.

7. Кубанский край должен войти в состав Российской федерации как член федерации»[1].

8. Кубанская Краевая рада, ставя своей задачей борьбу с большевизмом, стремится к проведению в жизнь принципов широкого народовластия.

9. Восстановление будущей формы правления в государстве Российском население Кубанского края ставит в зависимость от волеизъявления народа во Всероссийском Учредительном собрании нового созыва.

В заключительном своем слове Быч повторил, что у Украины, Дона, Кубани, Грузии и т.д. одна дорога и противоположности интересов нет. Что в этом объединении должна участвовать и Добровольческая армия как «носительница государственной идеи»[2].

Напрасно генерал Лукомский в закрытой части заседания доказывал, что «таким путем создастся коллегиальное, многоголовое собрание, которому будет всецело подчинено командование и которое будет вмешиваться в военные дела»; напрасно, признавая необходимость автономии Кубани, просил повременить только с решением вопроса об организации государственной власти до соглашения с Добровольческой армией... Рада, отвергнув необходимость государственной связи с армией и не сделав никакой попытки к соглашению, почти единогласно приняла «тезисы Быча».

Ждать соглашения столь разнородных элементов, как Украина, Дон, Кубань, Терек, Азербайджан, Грузия, Союз горских народов, из которых некоторые были еще под властью большевиков, другие порвали совершенно с русской государственностью (Грузия, Азербайджан), значило отложить дело объединения на долгое время, если не навсегда. Вручить судьбу национального противобольшевистского движения и Русской армии в руки Петлюры, Быча, хана Хойского, Ноя Жордания и Топы Чермоева представлялось злой и неуместной шуткой. Я не говорю уже о том впечатлении, которое должно было произвести в армии одностороннее предрешение государственного строя России, от чего так долго и с таким трудом мы предохраняли ее идеологию.

[1] Из стенограммы заседания.

[2] Заседание 11 ноября 1918 года.

В тот же день, переговорив со мною, генерал Лукомский сделал в Раде от моего имени заявление об отозвании представителей армии, указав, что «в дальнейших своих работах главнокомандующий не может быть связан решением Рады».

Это заявление, принятое Радой, казачеством и русской общественностью как разрыв, произвело большое впечатление. В самой Раде начались бурные прения, в особенности после горячей речи полковника Шкуро, который говорил «о недовольстве и брожении, глухо растущем среди строевого казачества и лиц высшего и низшего командования» и предостерегал: «Знайте, если Добровольческая армия уйдет от нас, то мы погибнем»[1].

Это была несомненная правда.

Черноморские лидеры пришли в большое волнение. С кафедры Чрезвычайной рады Быч убеждал присутствующих не верить «злонамеренным слухам о разрыве», утверждая, что «разрыва нет и его быть не может», что все вопросы должны быть разрешены «по взаимному соглашению». Лидер самостийников И. Макаренко приписывал эти «слухи» «толпе, жадной до сенсаций и разнесшей эту весть по базарам, городам и селам».

Тревожные события, однако, назревали не на шутку. В один из ближайших дней генерал Романовский доложил мне, что генерал Покровский и полковник Шкуро, введя в

[1] Заседание 16 ноября.

Екатеринодар свои конвойные сотни, решили произвести переворот, предполагая расправиться с черноморскими лидерами и понудить атамана полковника Филимонова принять на себя всю полноту власти. Филимонов, к которому они обратились с этим предложением, пришел в большое смущение и наотрез отказался.

Я приказал начальнику штаба вызвать генерала Покровского и передать ему, что категорически воспрещаю выступление.

Кубанские правители считали тем не менее несомненным участие в предполагавшемся перевороте и добровольческих частей. Позднее в мои руки попала «диспозиция на случай тревоги», составленная кубанским комендантом Екатеринодара полковником Ледовским и кубанским «военным министром» полковником Савицким. В ней указывалось подробно занятие городских кварталов «верными правительству» кубанскими запасными частями, которым вменялось в обязанность встречать пулеметами *всякую* воинскую часть, показавшуюся на улицах города. Таким образом, случайный выход на ученье ничего не ведавшего Корниловского полка, расположенного тогда в Екатеринбурге, мог вызвать последствия роковые (или, может быть, спасительные?) для взаимоотношений Добровольческой армии с Кубанью и, следовательно, отразиться весьма на судьбах движения.

Доверие к «верным» частям было, однако, невелико. 14-го или 15 ноября меня посетили Кубанский атаман Быч и Рябовол и в присутствии генералов Драгомирова и Лукомского изложили волнующие их сведения, прося защиты. Кубанским правителям пришлось выслушать много горьких слов по поводу их работы во вред армии; особенно от генерала Драгомирова, который с этого дня стал пользоваться особой ненавистью черноморских кругов.

В заключение я требовал изменения кубанской политики в отношении армии и заверил, что насильственных мер допущено не будет.

В тот же день состоялось бурное заседание кубанского правительства. Представители оппозиции обрушились на Быча, обвиняя его в неискренности и самочинных действиях: вместо поддержки армии он выступил со своими «тезисами», «не обсудив своей речи с членами правительства» (Скобцов); благодаря такому отношению его не так давно «мы едва не сделались подданными Украины» (Сушков); «в наших действиях не было искренности в отношении армии, которая нам братская; на всех заседаниях у нас была только ругань ее» (Воробьев) и т.д. Быч оправдывался: он «не предполагал, что представители армии могут уйти из Рады», его «ошибка, что он не представил *им* контрпроекта, недоразумение можно уладить»... Быч «беседовал с президиумом Рады. Решено создать согласительную комиссию... Рада встретит овациями все *«их»* заявления»[1].

В результате переговоров начались заседания согласительной комиссии в составе 16 членов с каждой стороны во главе с И. Макаренко от кубанцев и генералом Лукомским от Добровольческой армии. Вопрос о «тезисах Быча» осложнился принятой уже Радой статьей «Положения об управлении кубанским краем» об особом кубанском гражданстве, обращавшем всех нас в иностранцев, проживание которых на территории Кубани и юридические права зависели всецело от усмотрения кубанской власти. Комиссия не привела ни к каким существенным результатам, подтвердив лишь непримиримое внутреннее расхождение сторон. Прикрывая эту пропасть и свое бессилие перекинуть через нее мост, она внесла в Раду явно беспомощное предложение, принятое 24 ноября единогласно, без прений: «Первые два пункта постановления Рады 11 ноября («тезисы Быча») должны рассматриваться как удостоверение существующего политического положения, а последние 7 пунктов — (только) как выражение мнений и пожеланий Рады»...

Непосредственные переговоры, однако, кубанское правительство более не возобновляло. Рада позднейшими постановлениями подтвердила «тезисы Быча».

В этом направлении кубанская власть получила большую моральную поддержку от Донского атамана генерала Краснова, который в то время, когда еще не назрела окончательная катастрофа на Северном фронте Дона, проявлял пол-

[1] Секретный отчет о заседании 15 ноября 1918 года.

ную солидарность с Кубанью во всех спорных вопросах ее с командованием Добровольческой армии и обещал поддержку кубанскому правительству[1]. «Нужно, чтобы Добровольческая армия смотрела более жизненно на эти вопросы (о создании общей власти), — писал он между прочим кубанскому послу П. Макаренко[2], — и не требовала от донских и кубанских казаков невозможных жертв. Торговаться мы не умеем и торговать кровью донских, да, думаю, и кубанских казаков не будем. Надо, чтобы Добровольческая армия стала на практический путь работы с казаками, а не за счет казаков»...

Эта тирада в отношении добровольцев, приносивших несчетное число жизней в борьбе за Россию, за Кубань, за Дон, была глубоко оскорбительна.

Кубанские самостийники относились, впрочем, к атаману Краснову с большим недоверием и осторожностью («самовластие и реакционность»); но в борьбе с Добровольческой армией видели в нем естественного своего союзника. И то не до конца: Донской атаман ведь все время призывал нас бросить Кубань и идти на север...

Все осталось по-прежнему: двоевластие, две взаимно исключающих друг друга конституции (края и армии) и в качестве единственного источника права — принятое Добровольческой армией и оспариваемое кубанцами «Положение о полевом управлении войск».

* * *

Итак, *во второй*[3] раз я спасал «кубанское народоправство».

В своем решении я не был одинок. Однажды на докладе генералов Драгомирова и Лукомского зашел разговор о том, что общественное мнение обвиняет командование в попустительстве воинствующему сепаратизму «черноморской группы». Я сказал:

---

[1] Телеграфный разговор кубанского посла на Дону И. Макаренко с Бычом 26 ноября и стенограмма заседания Рады 30 ноября 1918 года.

[2] № 074.

[3] Первый раз в Мечетинской 30 мая 1918 года.

— Дело не в степени решимости, а в холодном учете таких факторов, как военно-политическое положение и состав армии. Быть может, однако, я ошибаюсь. И если вы скажете мне сейчас, что насильственные меры приведут к положительным результатам, я завтра же Корниловским полком разгромлю кубанское правительство...

Оба ответили «нет».

Были, однако, группы, задавшиеся целью вызвать настолько серьезный разрыв между кубанской и добровольческой властью, чтобы принудить командование к решительным шагам. Одним из результатов их деятельности, без сомнения, было последовавшее позднее убийство Рябовола. Цели своей эти группы не достигли. Но то, что не удалось им, к концу 1919 года будет сделано руками самих кубанских самостийников, поставивших в совершенно невыносимые условия жизнь и деятельность армии.

ГЛАВА VII
КУБАНЬ: АТАМАН ФИЛИМОНОВ, ПРАВИТЕЛЬСТВО СУШКОВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАДА

5 декабря Рада утвердила кубанскую конституцию[1], предпослав ей следующую декларацию.

«Мысля себя неразрывно связанным с Россией, единой и свободной, население Кубани твердо стоит на прежней своей позиции: Россия должна быть федеративной республикой свободных народов и земель, а Кубань — отдельной составной ее частью.

Ныне же Кубанский край, стоя на пути государственного строительства, сохраняет за собой всю полноту государственной власти в пределах края и управляется органами, поставленными его населением».

Носителями законодательной власти в Кубанском крае признаны были Краевая и Законодательная рада, а носителями исполнительной — безвластный атаман и ответ-

---

[1] «Временное положение об управлении Кубанским краем».

ственное перед Законодательной радой правительство. При обсуждении текста присяги для атамана и членов Рад в заседании правительства Быча произошло разногласие: часть членов настаивала на оставлении употребленной в проекте фразы «нося в сердце своем любовь к матери России» (вариант — «к Родине»). Быч и большинство других требовали исключения приведенных слов на том основании, что «присяга имеет целью связать человека в отношении честного исполнения возложенных на него *определенных* обязанностей; обязать же кого-либо чувством *любви к матери России* или *к Родине* нельзя»[1]...

В результате оба понятия были из текста изъяты, и кубанские правители обязывались направить свой путь к «пользе Государственной и к величию Кубанского края».

Атаманский вопрос составлял главное событие, вокруг которого сосредоточились усилия борющихся групп. Наиболее сильной по организованности и численности была «черноморская» группа, тем более что весь административный аппарат, денежные средства, казенная печать и «осведомительный отдел» находились в руках правительства Быча и направлены были всецело в интересах его единомышленников. Оппозиция, по преимуществу депутаты линейных отделов, была раздроблена, группируясь вокруг отдельных членов Рады, разбивая свои голоса в пользу нескольких кандидатов — полковника Филимонова, Ляхова, Покровского и других генералов[2], тогда как «черноморцы» единодушно проводили в атаманы Быча. Только перед самыми выборами по инициативе полковника Чекалова образовалась более сильная организация, по преимуществу линейцев, принявшая название «Казачий круг», основавшая газету и поставившая своей задачей «борьбу с сепаратизмом и демагогией правительственной группы и полное соглашение с командным составом Добровольческой армии».

[1] Протокол № 94 заседания совета кубанского правительства 30 октября 1918 года.

[2] Одно время по инициативе покойного Н. Успенского «для согласования деятельности Кубани и Добровольческой армии» выдвигалась моя кандидатура в атаманы. Я решительно отклонил эту комбинацию, не веря в ее целесообразность.

К декабрю в Раде шло состязание из-за атаманской булавы уже только между Бычом и Филимоновым — средствами весьма неразборчивыми, практикуемыми, впрочем, во всех парламентах мира. В числе интимных деталей этой борьбы можно отметить небезынтересный случай: лицо, близкое к Бычу и ведавшее официально политической работой в его кабинете, вело кампанию за Филимонова, освещая и ему и председателю Особого совещания всю игру противной стороны.

Командование приняло также участие в атаманских выборах, но вполне лояльное, оказав моральное содействие полковнику Филимонову; заинтересованные круги были осведомлены, что избрание Филимонова даст прочное основание для соглашения Кубани с Добровольческой армией. Мне указывали настоятельно еще на другую возможность — поддержать кандидатуру генерала Покровского. Покровский сумел бы, вероятно, мерами суровыми и кровавыми подавить кубанскую оппозицию, но пошла ли бы за ним казачья масса и куда повел бы он ее — этого никто предугадать не мог.

В разгаре предвыборной борьбы по распоряжению кубанского военного прокурора Лукина был арестован помощник Быча по управлению ведомством продовольствия генерал Букретов по обвинению в ряде злоупотреблений. Оппозиция выдвинула и прямые обвинения против Быча — в заключении им заведомо убыточных для края договоров. Атмосфера обострялась до крайности, и в Раде ораторы не жалели черных красок для опозорения противных кандидатов. Под влиянием всех этих обстоятельств Быч снял свою кандидатуру в атаманы; Рада не приняла отказа. 5 декабря состоялась баллотировка, и полковник Филимонов 275-ю голосами был переизбран Кубанским атаманом.

Председателем правительства стал Сушков, членами — такие же умеренные представители бывшей оппозиции, в том числе большие доброжелатели армии полковники Н. Успенский (управление внутренних дел) и Науменко (военное уп-

равление). Создавалась, таким образом, как будто благоприятная обстановка для урегулирования наших взаимоотношений.

Но над правительством довлела Законодательная рада, впитавшая в себя наиболее активные элементы «черноморской группы». Еще в последние дни Краевой рады (13 февраля) новая оппозиция — прежняя правительственная партия — показала, что она далеко не бессильна... Под ее ударами по вопросу о «недостаточно настойчивом и энергичном осуществлении постановлений Рады» 13 марта Сушков и весь состав правительства сочли себя вынужденными подать в отставку. Под впечатлением этого правительственного кризиса через два дня состоялось закрытие Краевой рады, которую атаман напутствовал словами: «Я расстаюсь с вами, господа, с чувством неудовлетворения... Смысл и ценность (ваших решений) заключается в том, чтобы вносить спокойствие, порядок, единение... И вот мне думается, что этого единения нет. Следующее наше свидание поэтому будет скорее, чем вы желали бы».

Рада обласкала всех: атамана Филимонова — линейца и автономиста — из полковников произвела через чин в генерал-лейтенанты; выразила желание о производстве в генерал-майоры полковника Шкуро — инициатора предполагавшегося переворота, приверженца Добровольческой армии — «за выдающиеся военные подвиги», и бывшего управляющего военным ведомством полковника Савицкого — шовиниста и самостийника — «за самоотверженную защиту прав и идей Кубанского казачьего войска и Краевой рады перед высшим командованием»[1].

Всех почтила, и всем искренно рукоплескала.

С 13 февраля в продолжение почти трех месяцев длился перманентный кризис правительства. Все усилия атамана сформировать новое правительство оказались безрезультатными, и у власти оставалось «временно» старое. Не выражая формально недоверия правительству Сушкова, Законодательная рада подвергала его, как и командование, поношению в каждом своем заседании, в каждом номере

[1] Заседание 30 ноября.

своего официоза «Кубанский край», издававшегося к тому же в краевой типографии за счет казны... Газета в политическом задоре, пороча всемерно кубанское правительство и Добровольческую армию, дошла даже до восхваления большевизма и призыва к отказу исполнять распоряжения командования[1]. Против Рады в формах более сдержанных выступали правительственный орган «Вольная Кубань» и листовки «культурно-просветительного отдела» и с большой резкостью — «российская печать».

Создавалось положение, напоминавшее в миниатюре взаимоотношения Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов, — положение, которое Сушков не без основания так определил в последней своей речи: «Вы хотите свалить правительство до войскового атамана включительно, но взять власть вы боитесь. Вы протягиваете к власти дрожащие руки. Действуйте прямо, не прикрываясь красивыми покровами. Берите власть, от которой правительство отказывалось открыто»[2].

5 мая, после резолюции недоверия, вынесенной наконец Законодательной радой, правительство Сушкова ушло в отставку. Его сменило правительство Курганского, составленное из лиц «черноморской группы» и враждебное армии.

Эта внутренняя рознь, поражавшая территорию войны и ближайшего тыла, отражалась чрезвычайно вредно на интересах борьбы. Она накопляла горючий материал в тылу и на фронте, понижала воодушевление кубанских войск и казачества, парализовала деятельность правительства, чувствовавшего себя непрочным, и тем вносила большое расстройство в хозяйственно-экономическую жизнь края.

* * *

Междоусобная борьба кубанских деятелей имела характер чисто политический. Борьба за власть. Если не считать

[1] 7 марта «Кубанский край» был закрыт полковником Успенским одновременно с газетами противного лагеря «Единая Русь» и «Кубанец», закрытыми за поношение «избранников народа и Законодательной рады».

[2] Стенограмма заседания Законодательной рады 2 мая.

небольшой группы крупной кубанской буржуазии (Бабкин, Маймулин и другие), преследовавшей интересы своего класса и выдвигавшей своим орудием генерала Покровского, то вне рамок общероссийского вопроса, в области социального уклада и своеобразного казачьего демократизма, оба сектора кубанской общественности существенно не расходились. Главнейшие обвинения, которые предъявляли Рябовол и Законодательная рада правительству Сушкова, сводились к тому, что оно не проводит немедленного объединения новообразований Юга и выделения Кубанской армии и не ведет борьбы, а, наоборот, поддерживает дружбу с Добровольческой армией[1].

Командование и Особое совещание, в свою очередь, совершенно не вмешивались во внутренние дела Кубани, поскольку они не затрагивали общенациональной идеи, единства армии и вопроса ее снабжения. Но и эти вопросы оказались почти неразрешимыми, ставя правительство Сушкова между молотом и наковальней, вызывая гнев оппозиции и неудовольствие командования, не всегда считавшегося с исключительной трудностью положения и с фактом подневольного бытия атамана и правительства. Не считая возможным передать власть в крае всецело в руки самостийников и вместе с тем избегая неизбежно кровавого переворота, мы — и я, и Филимонов — выходили, естественно, на скользкий и зыбкий путь компромиссов.

13 февраля Рада постановила «не позже марта созвать в Екатеринодаре конференцию из представителей Дона, Кубани, Терека, Дагестана, Крыма, Армении, Азербайджана и т.д.[2] на предмет составления и принятия Союзного договора и конституции». Сушков во исполнение этого постановления решил обратиться к правительствам этих территорий с приглашением прислать своих представителей на конференцию к 5 мая. Такое же приглашение прислано

[1] Заседание Законодательной рады 27 февраля 1919 года и др.

[2] Добровольческая армия не была упомянута. На вопрос, где же она, председатель Рады Рябовол пояснил: «Сказано «и т.д.» — всех не перечислишь»...

было и мне[1]. Председатель Особого совещания генерал Драгомиров ответил от моего имени отказом[2], мотивируя его следующими положениями: 1) командование может участвовать только в такой конференции, которая приняла бы принцип «воссоздания единой и неделимой России с предоставлением самоуправления отдельным ее областям»; 2) командование отказывается входить в соглашение с теми новообразованиями, «которые строят свое благополучие на отторжении от России»; 3) в частности, Грузия находится в состоянии войны с Добровольческой армией, и приезд грузинских представителей поэтому недопустим; 4) горские народы Северного Кавказа и Дагестана «находятся под верховным управлением главнокомандующего, а потому посылка им приглашений, минуя Главнокомандующего, будет рассматриваться как действие явно враждебное».

Конференция не состоялась. Я считаю своей ошибкой воспрепятствование ее осуществлению. Опасения наши в отношении усиления таким путем центробежных течений были, вероятно, преувеличены. Между тем картина, которую представила бы екатеринодарская конференция, преломив в горниле словопрений все вожделения окраин, — я убежден в том — была бы достаточно внушительна, чтобы разрушить вконец легенду о спасительности в то время лозунга *общей* «федерации» или «конфедерации» в борьбе Юга за освобождение России.

* * *

В перечне «держав», которые приглашались на конференцию, на этот раз отсутствовала Украина. Атаман Петлюра, потеряв Киев, вел в это время неудачную борьбу за последний клочок украинской земли возле Шепетовки. Официально Кубань с начала выступления Петлюры «сохраняла нейтралитет в борьбе между правительством гетмана и организациями Петлюры и Винниченко». Тайная связь кубанских самостийников с петлюровским штабом, начавшаяся задолго до переворота, не прекращалась, буду-

[1] 5 апреля, № 14.

[2] 12 апреля, № 523.

чи направлена острием своим против Добровольческой армии. Петлюра несомненно имел основание тотчас по вступлении в Киев обратиться с приветом в лице Рябовола «к братам по крови, украинскому, кубанскому лыцарству»...[1] и говорить об «объяднани украинского нарида вид Кубани по Сян...» На заседании 15 ноября председатель первого правительства Быч по поводу предполагавшегося мною выдвижения дивизии Май-Маевского в Донецкий район для прикрытия левого фланга Донской армии и Ростовского направления от вторжения большевиков сделал заявление[2]: «Добровольческая армия бросает войска на Украину. И если она поддержит германское правительство, то нам, казакам, это будет тяжело. *Я это буржуазное правительство поддерживать не могу*».

Таким образом, государственные по внешнему своему впечатлению речи Быча и «черноморцев» о «широком фронте», о «союзе от Закавказья до Белоруссии» оказались только тактическим приемом. Всего месяцем раньше, когда Украина твердо блюла идею суверенности, Кубанский атаман и правительство «приветствовали его светлость (пана гетмана) и правительство державы украинской» и писали им: «Буде на то воспоследует согласие Вашей Светлости, (мы решили) поставить вопрос о заключении в ближайшее время соглашения... Питая уверенность, что, исстари связанные... полной ярких примеров борьбой за независимость Украины и Кубани, (обе страны) вновь явят пример могучего братского союза»[3]... Но когда 1 ноября гетман объявил грамоту о федерации с Россией и вскоре после этого у Белой Церкви зашевелился Петлюра, отношения изменились: в кубанской политике произошел крупный сдвиг, как раз обратный тому, который повернул добровольчество в сторону единения с Украиной. Кубанские самостийники строили «широкий фронт» не для этой цели. Это был фронт *центробежных* сил, на

[1] Радиограмма 9 декабря 1918 года.

[2] Из секретного отчета о заседании 15 ноября.

[3] Из послания гетману, прочитанного ему чрезвычайной кубанской миссией на приеме 8 октября 1918 года.

котором, естественно, Добровольческой армии места не находилось.

Осенью 1918 года в Екатеринодаре появился «министр-резидент» гетманского правительства барон Боржинский, оказавшийся тайным сподвижником директории, а в конце года и другой агент (по иронии судьбы «горячо рекомендованный *гетманом* Рябоволу»[1]) — полковник Блохин (псевдоним Здобутволя), с несколькими спутниками. В январе 1919 года чинами нашей контрразведки был задержан курьер Блохина, ехавший в Киев с большой корреспонденцией, в том числе с докладами на имя Петлюры и Грекова. Возникшее следственное дело обнаружило большую агитационную работу украинцев на Кубани и тесный контакт членов директории, при посредстве Боржинского и Блохина, с кубанскими самостийниками — Бычом, Рябоволом, Макаренко и другими.

По захваченным письмам обрисовалась и колоритная фигура Блохина. В 1915 году он попал в плен к австрийцам, был начальником солдатского лагеря в Зальцведене и затем командовал сформированной австрийцами дивизией «синежупанников». Появившись в Киеве во времена гетмана, он, поддерживая связь с Украинским национальным комитетом, вошел в доверие к гетману и командовал у него Черноморским полком, вскоре расформированным за большевистские настроения. При выступлении Петлюры Блохин был командирован последним «подымать Кубань». Мрачная ненависть Блохина к России сквозит в каждом письме[2]. «Готовься, — пишет он в одном месте, — к кровавой борьбе с проклятым москалем, представителем великой Руси. Пускай в последний раз умоется в крови бедная наша мать Украина».

В докладе Блохина Петлюре была подробно описана его деятельность[3]. По дороге на Кубань Блохин «раздавал призывы уважаемой директории, а приехав в Екатеринодар,

[1] В бытность последнего с первым посольством в Киеве. Заявление Рябовола в Раде 2 марта.

[2] Все выдержки приведены в переводе с украинского.

[3] Доклад от 10 января.

немедленно явился к Луке Лаврентьевичу Бычу (мой родственник[1]) и передал от Вас (Петлюры) поклон. Информировал Л. Л. о требованиях и домоганиях украинского народа и передал призыв директории, который я с великой опасностью довез до места»... Пользуясь своими связями, Блохин получил в командование запасный кубанский батальон на Тамани, но это не удовлетворило его: он желал попасть в члены Рады: «Лука Лаврентьевич имеет меня в виду, Рябовол говорит, что все будет отлично»... Мечтает о назначении «на великий пост — атамана Черноморского отдела, если не перебьют добровольцы-черносотенцы».

Одновременно Блохин со своими спутниками вел широкую пропаганду против Добровольческой армии и распространял брошюры по станицам и по отделениям «Центральной Просвиты», во главе которой стоял один из лидеров самостийников — Безкровный, а в числе членов были видные представители Законодательной рады. Эти брошюры (издания М. Грушевского, «катехизис украинца» и прочие) проповедовали единство «украинской нации» от Сана до Кавказа, ненависть к России и «изгнание чужеземцев-угнетателей».

Когда в газете «Кубанец» и на армавирском «Съезде уполномоченных казачьего Круга» поднято было это дело и упомянуты фамилии членов Рады Шахим-Гирея, Рябовола и других, Законодательная рада выразила доверие своему председателю и его единомышленникам и потребовала от правительства решительных мер против «клеветы и провокации «Кубанца»...

Блохин исчез. В своем последнем докладе украинскому военному министру — докладе, носящем признаки истерии и хлестаковщины, — он явно преувеличивал результаты своей краткой работы, когда писал: «Казаки симпатизируют, склоняются к Украине; вот-вот будет страшное восстание». Но кое-что было сделано действительно... 23 января пришедший из Керчи к Перекопу для действий против скопившихся в северной Таврии большевистских и махновских банд 9-й пластунский батальон (Таманский)

[1] То есть родственник Блохина.

отказался выполнить приказ, бросил фронт и самовольно двинулся на Кубань. Представители батальона заявили, что этот фронт — против Украины и что до получения указания Краевой рады пластуны драться с «петлюровцами» не будут. Это был *первый случай* в Добровольческой армии невыполнения целой частью боевого приказа — случай, явившийся грозным предостережением не только для армии, но и для кубанских властителей... Насколько мало значения имел при этом элемент национально-украинский, видно из того, что тот же батальон, переброшенный в феврале на царицынское направление, только в пути дал 50% дезертиров... Вообще Таманский округ на почве петлюровщины и ее всегдашнего спутника — повторного большевизма — представлял собой опасный очаг брожения, проявлявшегося пока сплошными разбоями и массовым дезертирством таманцев из рядов Добровольческой армии. Кубанский военный министр полковник Науменко стремился подавить таманские бесчинства суровыми мерами, а Законодательная рада, под предлогом злоупотреблений карательных отрядов, бурно протестовала и сваливала министерство[1]...

Вообще украинский вопрос, в особенности в краткий период второй директории, создавал чрезвычайно острую, напряженную атмосферу вокруг отношений между Кубанью и командованием. Происходило какое-то сплошное «недоразумение»... Директория объявляет грамоту гетмана о *федерации* с Россией[2] «здрадницким актом Скоропадського про скасувани самостийности Украинскои Держави», а кубанские *федералисты* официально приветствуют директорию, и их официоз по поводу акта воссоединения Галиции с Украиной с пафосом восклицает: «Прекрасная сестра своего *замученного* брата-кубанца возвратилась к своей горячо любимой матери-Украине»[3]... Петлюровские войска избивают русских офицеров, петлюровский универсал[4] призывает казаков «не служить продавцам, кото-

[1] Заседание 3—4 мая 1919 года.

[2] 2 ноября 1918 года.

[3] «Кубанский край». 3 января 1919 года.

[4] 15 ноября 1918 года.

рые сами продались и хотят Украину продать, — недобитым царским министрам России и ее буржуазии, ленивому русскому офицерству, паразитам народным, собравшимся в контрреволюционное гнездо на Дону»... А секретарь украинской миссии Поливан при содействии председателя правительства Быча в то же время ведет разговоры по прямому проводу с повстанческими украинскими отрядами, сообщая им сведения о положении на территории Добровольческой армии[1]... Посол гетмана Боржинский, сбросив маску, в заседании Чрезвычайной рады сообщал полученные им известия об успехах Петлюры на Украине и даже привет от никому неведомого «командующего войсками Екатеринославщины Горобця»: «Вид имени украинских республиканских вийск, що повстали зараз за незалежнисть и кращу будучину Матери Украини на боротьбу з виковичними ворогами, котрих репрезентуе на Кубани (?) Киивський черносотонец Шульгин»...

И Рада бурно рукоплескала[2]...

Искушенные политики знают цену всем этим патетическим фразам воззваний, деклараций и переменчивому настроению толпы, аудитории, парламента. Но рядовая русская общественность, и в частности добровольческое офицерство, принимали все украинофильские проявления горячо и непосредственно. Между ними и украинофилами-самостийниками вырастала острая ненависть. В печати, в собраниях, в повседневном обиходе установились вульгаризованные приемы отношений и ходячие эпитеты, из которых «предатели» для одной стороны и «черное воронье» для другой были не наихудшими.

После ухода правительства Быча официальные отношения с украинской директорией и Петлюрой прекратились; неофициально же связь их с самостийной кубанской группой продолжалась все время при посредстве украинской миссии в Константинополе. При этом мы имели сведения, что Екатеринодар снабжал Петлюру денежными средствами и в период борьбы его с Добровольческой армией летом 1919 года.

[1] Официальное сообщение штаба от 22 ноября 1918 года.

[2] Отчет о заседании 20 ноября 1918 года.

• • •

Так же тяжело проходил вопрос о выделении Кубанской армии.

Желая дать нравственное удовлетворение кубанцам, я после поворота на север предполагал армию, предназначенную на Царицынское направление, наименовать «Кубанской» без изменения существовавшего порядка подчинения. Но под давлением Рады атаман Филимонов, после освобождения северного Кавказа, без соглашения со мною отдал приказ по войску: «Ныне настало время и является возможность выполнить постановление Чрезвычайной Краевой рады — образовать свою Кубанскую армию... С этого дня все вооруженные силы, выставляемые Кубанским краем, объединяются в Кубанскую армию, под начальством походного атамана (генерала Науменко), подчиненного непосредственно мне... Для дальнейшей борьбы с большевиками Кубанская армия будет выделять части войск, сведенные в Кубанский корпус, ... а остальные части армии будут заканчивать очищение, обеспечение и умиротворение края»[1]...

Борьба требовала не ослабления сил, а полного их напряжения и полного единства. Поэтому приказ остался мертвой буквой. При молчаливом непротивлении атамана полковник Науменко ведал только тыловыми, учебными и гарнизонными частями, не вмешиваясь в командование, добросовестно боролся с дезертирством, пополнял фронт и формировал для него новые части.

В этом вопросе атаман лично разделял пожелания Рады, закрывая глаза на политические последствия выделения самостоятельной армии при условии безвластия атамана, непрочности правительственного курса и враждебности к армии главенствующей политической партии. Во всех речах ее членов, в самостийной печати — цель овладения армией как орудием политики ставилась совершенно открыто.

[1] Приказ от 1 февраля 1919 года, № 172.

«Невыполнением этой претензии всех искренно расположенных и преданных делу Добровольческой армии кубанских казаков, — писал он однажды, — дается пища для самой вредной агитации и отнимается всякая почва у кубанцев — доброжелателей армии... Существование Кубанской армии не будет грозить интересам общего дела и не может вызвать никаких дурных последствий для русского оружия»[1].

Оптимизм атамана не разделяла вовсе сама армия в лице ее командного состава и офицерства. В один из последующих острых периодов домогательств Рады генерал Науменко послал запрос четырнадцати старшим кубанским начальникам о возможности выделения особой Кубанской армии и от 13 из них получил ответ резко отрицательный[2]. Мотивы были разнообразны: организационные, стратегические, бедность кубанского войска в командном составе и технике, наконец главный — опасение, что «армия окажется орудием в руках самостийников и крайних федералистов»[3].

Что же касается рядового казачества, то оно с полным равнодушием относилось к этому вопросу почти до осени, когда общее утомление и начавшиеся неудачи создали более восприимчивую почву для разрушительной пропаганды, исходившей от правительства Курганского и Законодательной рады и с особенной силой обрушившейся на армию.

Наконец, крупный вопрос единства снабжения также не получил разрешения. 12 и 13 марта под моим председательством состоялось совещание представителей Добровольческой армии, Дона, Крыма, Терека и Кубани по вопросу об объединении дела продовольствия и товарообмена на Юге России в одном коллегиальном органе при Главнокомандующем[1]. Все представители пришли к соглашению, кубанцы отказались. «Вопрос затрагивает самую суть нашей экономической жизни, — говорил в Раде Рябовол. — Они ничего не могут дать. Только мы можем дать». Действительно, Кубань имела в своих руках огромную силу: невзирая на большевистское разорение, в ее закромах к весне 1919 года оставалось все же до 30 миллионов пудов хлеба четырех урожаев, богатые запасы растительного масла и табака — для товарообмена. Без кубанского хлеба было бы до крайности затруднительным существование армии и потребительских районов.

¹ Письмо генералу Лукомскому 20 июня 1919 года, № 27.

² Генералы Врангель, Улагай, Покровский, Шкуро, Топорков, Крыжановский, Бабиев и другие. За выделение высказался один генерал Гейман.

³ Из секретного отчета о заседании кубанского правительства в начале сентября 1919 года.

26 марта было утверждено мною положение о «Совете по продовольствию», фактически не осуществленное из-за противодействия кубанцев. Между тем с весны 1919 года на Дону и на Тереке создалось тяжелое положение в отношении продовольствия, и главному командованию приходилось путем длительных переговоров, преодолевая сопротивление кубанского ведомства, производить наряд туда для армий и населения кубанского и ставропольского хлеба[2].

• • •

Таким образом, ни один из важнейших вопросов взаимоотношений Кубани с Добровольческой армией разрешен не был. Весь наш совместный путь был усеян крупными и мелкими столкновениями, расчищался бесконечными компромиссами и вел к неизбежному разрыву.

Причины, как мы видели, многообразны и питались источниками с обеих сторон. Оставим обвинение в личном, своекорыстном стремлении к власти, которое печать и общество взводили на кубанских деятелей-самостийников. Это область больше психологии, чем истории, и трудно поддается анализу. Остановимся на положениях чисто объективных.

¹ В орган этот должны были входить на равных началах представители Дона, Кубани, Терека, Крыма и Особого совещания.

² В июне, например, для нужд армий Дона, Терека и Донецкого района потребовалось более $1^1/_2$ миллиона пудов привозного хлеба, который был разверстан между Кубанью (60%) и Ставропольской губернией (40%).

Кубанская революционная демократия, хотя и лишила в своей державе политических и земельных прав иногородних (половину населения области), но в отношении России блюла демократические заветы и не доверяла добровольческой власти, считая ее реакционной, реставрационной, монархической. Неудачное управление первоначальной территорией нашей — Ставропольской и Черноморской губерниями — подрывало доверие к государственному творчеству этой власти. Безвременье открывало соблазнительные перспективы округления границ области за счет всей Черноморской и части Ставропольской губерний. Главное — это обладание черноморскими портами, ибо, пока они в «*чужих* руках (командования, потом России), невозможно свободное развитие торговых отношений»[1]. Стремление к максимальной самостоятельности естественно толкало Кубань к союзу с единомышленными образованиями, а не к Добровольческой армии, которая исповедывала Единую и Неделимую Россию и говорила только о «широкой автономии» и о «крайне бережном отношении к вековому укладу казачьего быта»...

Кубань хотела быть полным хозяином в своем доме, а в нем распоряжался также некто другой, и невыясненность правовых взаимоотношений порождала с обеих сторон в повседневной жизни, в практике войск и администрации целый ряд злоупотреблений, превышения власти, столкновений и обид.

Кубань хотела быть полным хозяином своих несметных богатств и вывозить их в Грузию — за равноценный товарный эквивалент, за границу — за доллары и франки, а командование ограничивало экспорт и требовало направления хлеба, жиров и прочего в армию и в нуждающиеся районы вооруженных сил Юга в обмен на малоценные знаки ростовской экспедиции. Известное утомление и видимая безопасность самой Кубани вызывали у многих близорукий взгляд на возможность отдохнуть и перейти к мирному порядку, а командование требовало новых призывов, новых жертв для продолжения борьбы *за Россию* — борьбы, конца которой не видно было.

[1] Поднимавшиеся не раз в Раде прения и «Меморандум 4 государственных образований» (Дона, Кубани, Украины и Белоруссии), поданный державам Согласия и подписанный от Кубани Бычом. Январь 1919 года.

Но над всеми этими причинами доминировала одна главнейшая.

Официальный лозунг, выброшенный «черноморской» группой для успокоения казачьей массы, гласил: через федерацию к *единой России.*

Мы этому не верили. И неверие наше получило компетентное и исчерпывающее подтверждение; правда, несколько поздно — в 1921 году. Вся соль кубанской революционной демократии, все те лица — Быч, Тимошенко, Воронинов, Намитоков, П. Макаренко и прочие, и прочие, которые в течение 1917—1920 годов держали в своих руках власть на Кубани, теперь, после крушения всех фронтов, не связанные более «тактическими соображениями», открыли нам свой символ веры в прошлом, настоящем и будущем[1].

«Ровно 4 года тому назад *народ кубанский*[2] ясно и твердо выразил свою волю к государственной самостоятельности... Законодательная рада на основании этого решения в январе 1918 года провозгласила землю кубанскую Кубанской народной республикой...

С того времени Краевая рада... неоднократно подтверждала государственную независимость земли кубанской...

Эти страшные 4 года прошли для населения Кубани в беспрерывной, истощающей ее силы *борьбе за свою независимость*... В течение трех лет Кубань боролась и против советской России, и против военных организаций, пытавшихся представлять собою Россию антисоветскую и вобравших в себя весь цвет великодержавной российской контрреволюции...

[1] Декларация «Конференции кубанских политических и общественных деятелей в Праге 11—20 октября 1921 года».

[2] По теории П. Макаренко, «кубанцы есть самостоятельная ветвь славянского племени».

Борьба за независимость Кубани есть наш основной долг, наша первая задача».

На какие внешние силы опиралась эта борьба?

«Успех борьбы за независимость Кубани нам мыслится возможным не только в зависимости от усилий нашего народа, но в значительной мере и от тех отношений, которые будут установлены между Кубанью и ее естественными союзниками. Их нам указала Краевая рада в ноябре 1918 года: на севере — суверенный Дон, Украина, Белоруссия; на юге — Горская Республика, Грузия, Азербайджан, Армения. С ними мы намерены установить или укрепить не только отношения добрососедства и дружбы, но считаем необходимым войти с ними в самые тесные договорные отношения на базе взаимного признания суверенности каждого из этих государств и взаимной помощи военной, дипломатической, экономической и финансовой».

Какая же роль предназначается при этом русским людям и России?

«Мы будем искать себе союзников также и в среде демократических русских политических групп и течений, при условии, если эти группы вполне определенно и совершенно искренно будут признавать право Кубани, как и других территорий и национальностей бывшей Российской империи, на полное самоопределение и политическую независимость. Со своей стороны, мы будем считать себя обязанными дать гарантии, обеспечивающие законные экономические интересы России, при условии ненанесения этим ущерба суверенным правам Кубани».

При такой политической идеологии вопросы о личности Главнокомандующего[1], «реакционности» его правительства,

[1] Я имею основание считать, что личность Главнокомандующего не вызывала в свое время особенного недоверия кубанских правителей.

о формах верховного возглавления (диктатура или директория), наконец о путях сложения власти (октроирование свыше или сговор снизу) и т.д., и т.д., значения иметь не могли.

Кубанский сепаратизм, по существу, ополчался против национальной России.

ГЛАВА VIII

ДОН: СОБЫТИЯ НА ДОНСКОМ ФРОНТЕ В КОНЦЕ 1918 И В НАЧАЛЕ 1919 ГОДА. БОРЬБА ЗА ЕДИНСТВО ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ НА ЮГЕ

Падение Германии поставило в весьма затруднительное положение Донское войско. Во второй половине ноября германские части очистили территорию области, открыв опаснейшее и кратчайшее направление к ее столице — воронежское. В то же время немцы, занимавшие Украину, объявили нейтралитет, и в «пограничных» районах Харьковской и Екатеринославской губерний появились петлюровские атаманы, ниспровергая власть гетмана, прервав снабжение Дона боевыми припасами с Украины и неизбежно подготовляя вторжение большевиков с не менее грозного направления — харьковского.

К началу ноября фронт Донской армии шел от Кантемировки на Таловую и далее, приблизительно по северной и восточной границе области, подходя к Камышину на 20—30 и к Царицыну на 30—40 верст; на юго-востоке фронт шел через станцию Житово по большому Царицынскому шляху до Маныча, где он входил в соприкосновение с левым флангом Добровольческой армии. На этом фронте Дон располагал 52 тысячами против 100 с лишним тысяч войск советского Южного фронта.

Задача, данная армии донским командованием, заключалась в обороне на юго-востоке и овладении важнейшими железнодорожными магистралями путем занятия станций Лиски—Поворино—Елань—Камышин—Царицын.

Затихшие было в октябре военные действия на воронежском направлении в начале ноября возобновились с

новой силой, начавшись блестящим делом генерала Гусельщикова в районе Таловой и развившись затем в большую операцию, завершившуюся поражением 8-й советской армии и занятием донцами линии Лиски—Таловая—Новохоперск. В районе Луганска небольшой отряд «молодой» Донской армии стоял прочно и отбивал все атаки противника.

В середине ноября усилившиеся советские армии вновь перешли в наступление, нанося концентрический удар на воронежском направлении и с северо-востока на фронт Урюпинская—Усть-Медведицкая. 9-я советская армия имела вначале успех, проникнув глубоко в Хоперский округ, но благодаря подошедшему к донцам с Царицынского и Воронежского фронтов подкреплению была опрокинута, и донские полки, преследуя ее, доходили до Елани и Камышина. Это наступление, прервав железнодорожную связь между Поворином и Царицыном, поставило в критическое положение советскую 10-ю армию, вследствие прекращения навигации по Волге оставшуюся без подвоза. Точно так же успешно отражались все настойчивые атаки красных на царицынском направлении, и войска генерала Мамонтова, с конца ноября сами перейдя в наступление, к 5 января подошли вплотную к городу Царицыну на линию Сарепта—Воропоново—Гумрак.

Весь ноябрь и декабрь на огромном фронте от Луганска до Царицына, от Царицына до Маныча в мороз и стужу, поставив в строй поголовно всех казаков, способных носить оружие, изнемогая от потерь и лишений, Дон доблестно отстаивал свое существование против вдвое сильнейшего врага. Донская армия неизменно одерживала верх, брала тысячи пленных и богатую военную добычу. По существу стратегически победа была уже на стороне донцов: зимняя операция красных расстроилась, потеряла свой планомерный характер и продолжалась лишь по инерции, без внутренней идейной связи.

Но в гражданской войне моральный элемент более чем где бы то ни было властвует над всеми прочими слагаемыми успеха. То, что было выиграно в течение многих месяцев моральным подъемом и оружием, в один миг было потеряно упадком духа. В казачьем настроении опять наступил перелом, который умело использовала советская пропаганда. Наиболее чувствительным ее аргументом были обещания советской власти сохранить казачий уклад и уверения в тщетности надежд на иностранную помощь, о которой так часто и неосторожно говорил атаман колеблющемуся фронту.

Уже в ноябре, невзирая на успехи, в армии чувствовалась некоторая моральная неустойчивость. В конце декабря сначала один донской полк предался на сторону красных, потом несколько станиц, и войска Верхне-Донского округа заключили мир с большевиками и начали расходиться по домам. Пораженческое настроение ширилось по фронту, и одновременно ширились прорывы, в которые беспрепятственно вливались волны красных, выходя в тыл и угрожая окружением еще боровшимся войскам Хоперского округа.

В то же время большевики прилагали большие усилия, посылая для вразумления войск 8-й и 9-й армий карательные отряды, усилив Южный фронт четырьмя новыми дивизиями и направив из Харькова на линию Бахмут—Луганск армейскую группу Кожевникова.

И к концу января Донская армия на Северном и Северо-Восточном фронте отхлынула за Дон. «Прекрасно вооруженные, снабженные пулеметами и пушками отряды наши, — говорил атаман Краснов на Круге[1], — уходят без боя в глубь страны, оставляя хутора и станицы на поругание врагу. Теперь сдаются на милость красной сволочи целыми сотнями и с нею вместе идут избивать своих отцов и братьев. Теперь арестовывают офицеров и старших начальников, выдают их на расстрел красным и тем подрывают в них веру в казаков и лишают их необходимого мужества...»

Чем же объяснялся такой резкий перелом в настроении казачества и такой глубокий, ничем не оправдываемый развал армии?

Общество, армия, Круг искали прежде всего «виновных». Их назвал Круг, собравшийся в феврале, осудил и удалил.

[1] Стенограмма заседания Круга 1 февраля 1919 года.

Виновными сочтены были командующий Донской армией и начальник штаба ее генералы Денисов и Поляков. Круг поставил им в вину, косвенно и атаману, «недостаточную осведомленность о фронте... легковесную самоуверенность... трения с Добровольческой армией... убеждение в период успехов, что справятся собственными силами, и делить победу с кем бы то ни было не хотелось... оповещение фронта о скором прибытии (неприбывшей) союзной помощи»... Наконец, непосещение фронта командующим, «невнимание к нуждам фронта, злоупотребление реквизициями, особенно в Южной армии»[1] и т.д. Генерал Денисов указывал причины иные: 1) утомление казачества; 2) гибель веры в союзников; 3) возрастание сил противника; 4) лютая зима при недостатке одежды и теплых вещей; 5) агитация большевиков; 6) агитация «общественных деятелей» против атамана и против командующего; 7) развал тыла[2]. В сущности, обе стороны в своих обвинениях исследовали только нездоровую почву, на которой могло произрасти то явление чисто психологического характера, которое Краснов и Денисов определяли согласно «заболеванием фронта большевизмом». Определение, верное только в отношении *симптомов* той болезни, которая поражала временами не одно донское, но и другие казачества, русскую интеллигенцию и русский народ, — болезни *воли и духа*. Ибо донское казачество, органически чуждое коммунистическому укладу, приняв внешние формы и даже практику большевизма как личину, как средство кого-то провести и от кого-то спастись, на другой же день вступало с ним в глухую борьбу всем своим нутром, всем бытовым укладом, в свою очередь встречая со стороны советской власти полное недоверие и прямое посягательство на жизнь казачью, быт и достояние.

Эта двойственность казачьих настроений чрезвычайно ярко проявилась в красочной истории донского казака, войскового старшины Миронова. Демагог и честолюбец, мечтавший об атаманском перначе, он с самого

[1] Краткое сообщение о заседании 1—8 февраля 1919 года.

[2] Отчет о вечернем закрытом заседании Круга 1 февраля.

начала гражданской войны поступил на службу к большевикам и, командуя бригадой, потом дивизией, дрался весьма усердно на их Донском фронте. Но после большевистского вторжения на Дон в начале 1919 года зверства большевиков пробудили совесть в нем и в его казаках. Миронов стал на защиту разоряемых станиц, был обвинен в демагогии и отправлен на Западный фронт. Летом, однако, ввиду тяжелого положения на Юге его переводят обратно на Донской фронт и ставят во главе вновь сформированного Донского корпуса, ядром которого служили казаки северных округов. В августе Миронов поднял восстание, к которому примкнули несколько донских советских полков. В приказе-воззвании от 9 августа он говорил казакам:

«Что остается делать казаку, объявленному вне закона и подлежащему беспощадному истреблению? Только умирать с ожесточением.

Что остается делать казаку, когда он знает, что его хата передана другому, его хозяйство захватывается чужими людьми, а скотина выгнана в степь в загон? Только сжигать свои станицы и хутора. Таким образом, в лице всего казачества мы видим жестоких мстителей коммунистам за поруганную справедливость, что в связи с общим недовольством трудящегося крестьянства России, вызванным коммунистами, грозит окончательной гибелью революционным завоеваниям и новым тяжким рабством народу. Чтобы спасти революционные завоевания, остается единственный путь — свалить партию коммунистов».

Восстание было подавлено в несколько дней полуказачьими войсками Буденного. Миронов и его соучастники были преданы суду и приговорены к смертной казни. Но все они «выразили чистосердечное раскаяние» и просили взять их опять на службу в Красную армию... Миронова большевики помиловали, и в 1920 году мы видим его вновь командующим 2-й Конной армией, сражавшейся против крымских войск генерала Врангеля. Зимою 1921 года он снова принял участие в организации восстания в Донской

области и, не будучи более нужен большевикам, использовавшим его популярность до конца, был предан снова суду и кончил свою жизнь под расстрелом.

• • •

Взаимоотношения наши с донской властью с мая и до конца 1918 года определялись непримиримой позицией генерала Краснова в вопросе об *едином командовании*.

Если огромный вред, приносимый отсутствием общего плана и разрозненностью действий белых армий во всероссийском масштабе (Север, Восток, Юг и Запад), не всеми сознавался достаточно отчетливо, то на общем по существу Доно-Кавказском театре эти тягчайшие нарушения основ военного искусства сказывались ясно и разительно на каждом шагу. Вопрос этот раздирал Юг, отражаясь крайне неблагоприятно на ведении военных операций, вовлекая в борьбу вокруг него общественность, печать, офицерство, политические организации, даже правительства Согласия. Генерал Краснов суживает теперь весь этот вопрос больного прошлого до размеров «екатеринодарской интриги» и «борьбы Краснова с Деникиным», которого он «не хотел признать», отрицательно относясь к его личным качествам как государственного деятеля и стратега... Наши взаимные характеристики могут быть несколько пристрастными. Но ясно одно: личная незаинтересованность и государственные побуждения Донского атамана в этом вопросе теряют значительно свою цену, если принять во внимание, что одним из «наиболее желательных вождей для объединенного командования» он называл... генерала Н. И. Иванова[1], на котором — по его же, Краснова, словам — отозвались «пережитые потрясения и немолодые уже годы и несколько расстроили его умственные способности».

Отбросим личности. За ними стояло явление несравненно более крупного масштаба: вопрос шел о признании военного центра в борьбе Юга — Дон или Добровольческая армия? В глазах огромного большинства русской общественности первый представлялся началом областным, вторая — *общегосударственным*; в глазах правительств и командования держав Согласия Дон был недавним союзником немцев — пусть даже невольным, — а Добровольческая армия «сохранила верность Согласию до конца». Эти две предпосылки имели решающее значение в спорном вопросе.

[1] Письмо к генералу Франше д'Эспре 6 ноября 1918 года.

Были, очевидно, объективные причины — не только «интриги Екатеринодара», которые задолго до образования мощной организации — Вооруженных сил Юга — привлекали в орбиту Добровольческой армии спутников из самых отдаленных краев развaленной России. Мы видели стремление к объединению с нами Волжской армии Чечека и даже армии Учредительного собрания... К нам тянулись Псковская армия, балтийские отряды и Терек. Крым просил о присылке добровольческих войск... Подложный приказ от имени главнокомандующего Добровольческой армией о подчинении ему украинских войск достаточно выяснил отношение к нам русской общественности и офицерства Украины... Уральское войско сообщало, что «ожидает с большим нетерпением» подхода к Волге Добровольческой армии, «имея желание в общих интересах объединиться с нами»[1]. Оренбургский атаман Дутов писал мне[2]: «Наше войско сепаратистских стремлений не имеет и борется за всю Россию. На вашу армию мы возлагаем большие надежды и полагаем, что только вы и решите окончательно судьбу России. Ваша армия находится на юге и имеет все под рукой. В ваших руках уголь, железо, нефть, лучшие пути сообщения, сравнительно короткое расстояние до Москвы. Кроме того, вы имеете возможность, владея Черным морем, получить всевозможные пополнения и припасы».

Расходясь, подчас серьезно, в вопросах государственного устройства, с большим единодушием относилась к *военному* верховенству Добровольческой армии и организованная русская общественность (кроме крайне правой) до

[1] 16 октября 1918 года, № 200, и письмо от января 1919 года.

[2] 11 января 1919 года, № 1328.

«Союза возрождения» включительно. Даже весьма демократический «Съезд земских и городских самоуправлений Юга»[1], представленный такими столпами революционной демократии, как Руднев, Гоц, Вишняк, Гвоздев и другие, возлагал на Добровольческую армию «ответственную роль служить на Юге России ядром для воссоздания российской народной армии».

Только самостийные круги смотрели иначе... «Меморандум 4 государственных образований»[2], представленный французскому командованию, отрицал саму идею необходимости *единства армии*, допуская лишь создание «общего генерального штаба *для руководства всеми операциями на основе соглашения государственных новообразований*... Защита своего дома, своего очага, своей семьи, своего народа — таковы должны быть лозунги, к которым следует апеллировать для искоренения большевизма». Составитель «меморандума» Марголин рассказывает, что «настроение у всех (собравшихся для обсуждения этого «акта») было торжественное»; и единственный военный представитель совещания, внесший сей новый вклад в военную науку, донской генерал Черячукин «осенил себя даже крестным знамением перед подписанием»[3].

Молил, должно быть, у Господа прощения...

В этом отношении соединенное заседание Донской законодательной комиссии и кубанских делегатов выказало большую широту взглядов. Требуя автономности Донской и Кубанской армий, оно считало, однако, необходимым «скорейшее подчинение Донской, Кубанской, Добровольческой и других армий... в пределах России единому командованию» и допускало возможность борьбы с большевизмом, «выходящей за пределы охраны Донской и Кубанской области».

---

[1] Симферополь, 30 ноября—8 декабря 1918 года. Резолюция.

[2] «Меморандум» Дона, Кубани, Украины и Белоруссии, подписанный Черячукиным, Бычом, Марголиным, Галипом, Бохановичем 5 февраля 1919 года в Одессе.

[3] «Украина и политика Антанты».

Интересно, что такая же борьба за единство командования, вызванная мотивами другого рода — боязнью бонапартизма, — велась и в советской России между Бронштейном, проникшимся идеями «военспецов», с одной стороны, и большинством Коммунистической партии — с другой. Только после поражений, понесенных большевиками на Востоке и Юге летом 1918 года, советская власть создала Революционный военный совет республики[1] с единым Главнокомандующим (Вацетис, потом Каменев) на всех фронтах. Это единство командования, по словам Бронштейна[2], спасло Красную армию, дав наконец возможность переброски, сосредоточения и вообще использования центрального положения армии для действия по внутренним операционным линиям. «Только после установления общего оперативного руководства и строгого исполнения боевых приказов, идущего сверху вниз, все почувствовали на деле... огромное преимущество централизованной армии над партизанством и кустарничеством».

* * *

В вопросе единого командования, и притом возглавляемого Главнокомандующим Добровольческой армией, сошлись и союзные представители.

В начале ноября вернулся из Румынии командированный туда Донским атаманом за снабжением генерал барон Майдель и представил доклад[3]:

«Со 2 по 12 ноября (по новому стилю) я находился в полном контакте с представителями Согласия... Меня уполномочили уведомить: а) что Согласие верит лояльности Дона, но требует полного объединения командования всей русской армии в лице генерала Деникина; б) генерал Краснов скомпрометирован все-таки своей деятельностью, письмом Вильгельму и речами на Круге... Поэтому,

---

[1] Учрежден 2 сентября 1918 года. Объединение органов снабжения произошло значительно позже — с выходом декрета от 9 июля 1919 года.

[2] Из доклада 24 февраля 1919 года.

[3] Выдержки из доклада генералу Богаевскому от 4 ноября 1919 года.

если общественное мнение, генерал Деникин и Вы[1] укажете, что Краснов, согласившись на полное подчинение Главнокомандующему генералу Деникину, может остаться, то пусть остается; а если нет, желательно, чтобы он добровольно ушел; в) если объединение произойдет и Дон войдет в русскую армию, то союзники обеспечат помощь войсками, деньгами, всем. Мои требовательные ведомости (на снабжение) вручены румынам при вербальной ноте послов Согласия».

6 ноября Донской атаман, очевидно встревоженный этими сведениями, послал в Яссы и Бухарест посольство в составе генералов Сазонова и Янова и дипломатического чиновника Карасева. Посольству вменено было в обязанность, кроме проверки доклада Майделя, ознакомить союзников с положением на Дону, убедить их в неприемлемости подчинения мне Донской армии, указать наиболее желательных вождей для объединенного командования на Юге (генералы Н. И. Иванов и Щербачев) и просить непосредственной помощи боевым снабжением, деньгами и войсками.

Донское посольство, посетив генерала Бертело, русского посланника Поклевского-Козелл и генерала Щербачева, выяснило, что вопрос об едином командовании решен окончательно в пользу Главнокомандующего Добровольческой армией. Генерал Янов — человек крайне невоздержанный, по природе демагог, ненавистник Добровольческой армии — не жалел красок, чтобы очернить армию и ее командование в глазах союзников, доказывал невозможность подчинения генерала Краснова мне и счел даже уместным «запугивать их (союзников) возможностью соглашения казаков с большевиками, если будут настаивать на подчинении Краснова»[2].

Русская распря произвела тяжелое впечатление и в русских, и в союзных кругах и вызвала отповедь генерала Бертело Янову:

[1] То есть генерал Богаевский.

[2] Доклад К. Карасева от 16 августа 1919 года.

«Нехорошо бросать упрек в сторону родственной нам армии. Вы на первых же порах затрудняете работу союзников своими раздорами... Донская армия многочисленнее Добровольческой? Но если бы у генерала Деникина был даже один солдат, то и тогда симпатии наши будут все-таки на его стороне: он был одним из немногих генералов, который при невероятно трудных условиях остался верным идее союза».

В результате Бертело остался при первоначальном решении, сообщив его письмом атаману Краснову, а генерал Щербачев категорически отказался участвовать в этой сомнительной игре.

Представители Согласия, прибывшие в Екатеринодар, — Пуль, Эрлиш, Фуке — также единодушно поддерживали идею объединения русских армий в лице добровольческого командования. В виде протеста против политики Краснова они ответили отказом на его приглашение посетить Новочеркасск... Пышными речами и приказами население и фронт были уже оповещены широко о союзниках, спешивших на помощь Дону, и отсутствие представителей их наносило большой урон атаманскому престижу. С большим трудом генералу Краснову удалось устроить непосредственным обращением к командовавшему союзными морскими силами в Севастополе адмиралу прибытие в Таганрог двух миноносцев — английского и французского, шедших в Мариуполь за углем, — и затем визит их экипажей в Новочеркасск. С большой торжественностью были встречены в Новочеркасске иностранные гости, рекою лилось вино и вдохновенные патриотические речи. Но среди них диссонансом для недоброжелателей Добровольческой армии прозвучало ответное слово французского гостя[1]:

«Пусть будет дозволено солдату Франции сказать вам: все достоинства и доблесть не привели бы к положительным результатам, если бы не существовало самого тесного единения между всеми союзными армиями в лице славного маршала Фоша и такого же единого командования

[1] Из речи капитана Кошена 25 ноября.

на море под славным английским флагом... Благородная и великолепная армия казаков и неустрашимая героическая Добровольческая армия станут (так же) непобедимыми, тесно соединившись и образовав из себя гранитную скалу, страшную для врагов».

* * *

Ни в вопросах политики, ни в вопросах войны мы не могли понять, какие, собственно, конкретные цели преследует атаман Краснов. Его перо, его слово были полны такими внутренними противоречиями, в них так художественно переплеталась правда с вымыслом, что мы оказывались в полнейшем недоумении.

8 сентября 1918 года он писал генералу Алексееву:

«Я не думаю о будущем России. Это не мое дело, это решит Учредительное собрание, Земский собор; вернее — Господь Бог. Но я мечтаю об одном — освободить Россию от большевиков...»

А в октябре (без даты, № 02) он писал генералу Драгомирову:

«Приближается время мирной конференции народов... И думается мне, что время Добровольческой армии, Дону, Украине, Кубани, Грузии и другим свободным от большевистского террора частям России собраться и сговориться... по следующим вопросам:

1. Что будет представлять собой бывшая Российская империя в политическом отношении: монархию, республику, федерацию, и если федерацию, то какого типа?

2. Какие части бывшей Российской империи войдут в это новое государственное образование и какие станут вне его (Финляндия, Прибалтийский край, Белоруссия, Польша, Украина, Крым, Закавказье)?

3. Кто поможет объединиться тем частям России, которые не заражены самостийностью?.. Помогут в этом отношении союзники, которые кругом должны нам за 1914, 1915 и 1916 годы, или центральные державы как соседи?»

Решение в то время вопроса о будущем государственном устройстве России добровольческим командованием, Скоропадским, Красновым, Бычом и Жордания представлялось мне несвоевременным и недостаточно компетентным[1].

«Выдвигать (этот вопрос) на первый план теперь же, — отвечал генерал Драгомиров[2], — это значило бы вносить раздор чрезвычайно острого характера в ту минуту, когда для спасения Родины нужно прежде всего единение всех сил... Что же касается выбора ориентации, то является совершенно невозможным, чтобы в ту минуту, когда союзники наши со дня на день могут прибыть в Новороссийск и пожелают опереться на Добровольческую армию, последняя стала бы на путь колебания — на кого опираться».

А еще через 2—3 дня глава Донского правительства по поручению атамана обратился ко мне с предложением[3] созвать совещание в Екатеринодаре по вопросу об едином представительстве на мирной конференции, на которой, «конечно, должны быть представители настоящей России, желающие ее восстановления в прежних пределах и мощи».

Я ответил полным согласием, прибавив, что общность наших задач властно требует объединения всего дела внешних сношений и полного взаимодействия всех вооруженных сил путем объединения командования. «Если... исходя из самого искреннего желания найти пути к полному единству, нам удастся сговориться по (этим) кардинальным вопросам, — писал я[4], — то в недалеком будущем можно было бы выдвинуть на очередь объединение и в тех отраслях государственного устройства, которые Донской атаман перечислил в своем письме от 3 сентября. № 679»[5]: финансовых,

---

[1] Любопытно, что 18 декабря генерал Краснов по аналогичному поводу писал кубанскому депутату Макаренко: «Будущая Россия — федеративное или унитарное государство — праздный вопрос... Гадание о будущем явится лишь пустыми разговорами, для чего у меня нет ни свободных людей, ни времени».

[2] 13 октября, № 149.

[3] Письмо 12 октября 1918 года, № 1145.

[4] Письмо генералу Богаевскому 25 октября 1918 года, № 318.

[5] Письмо генералу Алексееву.

юстиции, продовольственного дела и торгово-промышленной политики, путей сообщения и телеграфа...

8 ноября[1] генерал Драгомиров вызвал в Екатеринодар представителей Дона на совещание по следующим вопросам:

«Первое — единое представительство на предстоящем мирном конгрессе, второе — объединение командования всеми Вооруженными силами Юго-Восточной России *в оперативном отношении* и вместе с этим объединение всего дела военного снабжения всех фронтов этого района в руках главного начальника снабжения Добровольческой армии, в распоряжение которого от союзников в ближайшее время поступят громадные запасы».

Совещание под председательством генерала Драгомирова состоялось 13 ноября[2]. Вопрос о представительстве на мирном конгрессе был разрешен легко возложением миссии персонально на бывшего министра иностранных дел Сазонова «с тем, чтобы в состав технических советников делегации вошел бы представитель от Дона». Прочие вопросы были донцами сорваны. Генерал Поляков от имени Донского атамана заявил, что «для осуществления единого фронта и единого командования Дон может дать гвардейскую стрелковую бригаду (не казачью), конную казачью дивизию, 4—6 броневых поездов, 4 броневые машины и... Южную армию»[3]. И то только при условии движения Добровольческой армии на север. Донская же армия оставалась вне подчинения. Такую постановку вопроса генерал Лукомский назвал «с военной точки зрения безграмотной», а генерал Драгомиров — «насмешкой над идеей единого командования»[4]. Она находилась, однако, в полном соответствии с теми взглядами, которые атаман внушал войску относительно будущего характера борьбы: казаки скоро отдохнут от

[1] Телеграмма № 517.

[2] Участники со стороны Добровольческой армии: генералы Драгомиров, Лукомский, Санников, Романовский, Тихменев, Сазонов и Нератов. Со стороны Дона: генералы Поляков, Греков и Свечин.

[3] Разлагающаяся организация.

[4] Из протокола заседания.

трудов бранных, а их *сменят* на севере Народная и Добровольческая армии... Внушение, психологически опасное для стойкости Донского фронта и производившее тягостное впечатление на добровольчество, разрушая идею *общей борьбы за Россию.*

Замечательно, что по возвращении в Новочеркасск генерал Поляков по поручению атамана, чтобы сгладить впечатление от совещания, тотчас же вызвал к аппарату донского посла в Екатеринодаре генерала Смагина и приказал ему передать союзным представителям, что атаман не отказывается от единого командования, но ставит, между прочим, «непременным условием, чтобы армия имела определенную борьбу против большевиков (?) и чтобы Войско Донское сохранило свою самостоятельность до образования единой России»[1]. Первое глубоко оскорбило нас и вызвало горячий письменный протест генерала Драгомирова, второе письмо удивляло, так как вопрос шел только об армии, а о Войске (области) ни на совещании, ни в разговорах с союзниками не поднимался вовсе.

* * *

Из Новочеркасска обильно текли письма, речи, заявления, в которых крупица правды была переплетена с вымыслом.

Донской фронт начинал морально колебаться и ввиду закрытия границ с Украиной терпел крайнюю нужду в снабжении[2].

Генерал Краснов писал горячие послания союзным представителям, прося о помощи, без которой считал невозможным дальнейшее сопротивление Дона, и в то же время заявлял горделиво полковнику Кизу: «Передайте генералу Пулю, что я являюсь выборным главою свободного пятимиллион-

[1] Копия ленты разговора Смагина и Полякова.

[2] 21 октября атаман Краснов писал генералу Лукомскому: «У меня (в армии) две трети не имеют сносных сапог, одна треть совсем не имеет сапог, обута в лапти, даже офицеры. Не только полушубков, не только телогреек, но даже шинелей далеко не хватает. Патронов осталось только 13 миллионов. А война идет страшно жестокая».

ного народа, который для себя ни в чем не нуждается. Ему не нужны ни ваши пушки, ни ружья, ни амуниция — он имеет все свое, и он убрал от себя большевиков. Завтра он заключит мир с большевиками и будет жить отлично (!). Но нам нужно спасти Россию, и вот для этого-то нам нужна помощь союзников»[1].

Я требовал нормального подчинения армий, чтобы иметь возможность дивизии и корпуса и Донской и Добровольческой армий перебрасывать на тот фронт, где это вызывается стратегической обстановкой. В художественном переложении атамана это требование преподносится казачеству в таком виде: «Полное подчинение Вооруженных сил Дона с получением конницы казачьей с фронта и перемешиванием казачьих частей с частями добровольческими; иными словами — нарушение образа служения войска, толикою славою покрытого».

Замечательно, что в то же время генерал Краснов, не боясь перемешивания, настойчиво просил о переброске добровольческих частей на Донской фронт, справедливо видя в этом единственное спасение Дона.

«Общерусские» войска были желательным гостем в противоположность «общерусским учреждениям». 9 января 1919 года (№ 092) по поводу размещения в Ростове отдела пропаганды атаман Краснов писал генералу Драгомирову: «На земле Войска Донского не может и не должно помещаться ни одно из учреждений общерусских. Это требование автономии Войска».

«Старшие начальники и офицеры, — говорил он генералу Щербачеву и внушал, без сомнения, эту мысль армии, — будут бояться, что от них отнимут все высшие командные должности и заменят их лицами, угодными Деникину, и не казаками; и это может вызвать упадок их энергии в решительные минуты борьбы»[2].

---

[1] Со слов генерала Краснова «Всевеликое войско Донское». // Архив русской революции. Т. 5.

[2] Я должен заметить, что эти мысли не прививались донскому офицерству, и отношение его к Добровольческой армии и ко мне оставалось доброжелательным.

Я добивался сосредоточения всего военного снабжения в одних руках для правильного распределения снабжения, доставляемого союзниками, для учета и регулирования потребности фронтов в хлебе, а стратегических железнодорожных линий — в нефти и угле. Это мое требование, проявившееся реально в снабжении Дона английскими запасами и в довольствии края и армии кубанским и ставропольским хлебом, в стилизованном изложении атамана формулируется словами: «Снабжение, находящееся в распоряжении Войска Донского: хлеб и уголь передаются в распоряжение Добровольческой армии (?) — выгоды и угодья (Войска), утвержденные грамотами императрицы Екатерины Великой, от него отходят».

Я писал Богаевскому о желательности объединения некоторых отраслей государственного управления, предложенного некогда самим генералом Красновым. Это предложение превращалось в «полное подчинение всего Войска Донского с его населением и армией генералу Деникину». Мои помощники, ведшие непосредственно переписку с атаманом, нервничали и положительно терялись от изумительных оборотов в посланиях атамана, извращавших самую элементарную сущность всяких вопросов.

Атмосфера между тем сгущалась все более и более. Ширился круг лиц, принимавших участие во взаимной распре военачальников, осложняя своим вмешательством и без того тяжелое положение. Печать принимала все более резкий, нервный тон. Атаманский официоз «Часовой» возбуждал казачество против Добровольческой армии. Кубанские самостийные органы, сохраняя в отношении генерала Краснова «вооруженный нейтралитет», травили меня и Добровольческую армию... Все екатеринодарские «российские» газеты, не исключая и социалистических, и кубанские — «линейные» — травили атамана Краснова... И атаман жаловался на них моему представителю в Новочеркасске, принимал у себя, на Дону, ряд драконовских цензурных мер в отношении екатеринодарской прессы и относил все это всецело к работе своих недругов — Харламова, Парамонова, Сидорина и других, «под крылом добровольческого командования ведущих кампанию против него». Председатель Особого совещания генерал Драгомиров,

поставленный в очень щекотливое положение в отношении поддерживавшей армию печати, писал редакциям письма, прося их воздержаться от выступлений против донского командования и «использовать (свое) влияние для упрочения хороших отношений с Доном, начало которым уже положено»[1].

Содействие союзников принимало иногда недопустимые формы, ставя меня в чрезвычайно тягостное положение. Так, при посредстве телеграфного агентства 20 ноября в газетах появилось сообщение «из достоверных источников», что груз, привезенный первым транспортом и предназначенный совместно для Добровольческой и Донской армий, по распоряжению французского командования передан только генералу Деникину для Добровольческой армии... что «Донская армия ничего не получит из транспортов, которые находятся уже в пути или будут отправлены в будущем... до тех пор, пока Дон не признает генерала Деникина Верховным главнокомандующим». Генерал Драгомиров сделал серьезное внушение газетам, поместившим это ложное известие, и произвел расследование, которое выяснило, что сведение было прислано агентству непосредственно из... французской военной миссии...

О ходе переговоров с генералом Красновым генерал Драгомиров осведомлял председателя Донского круга Харламова и при его посредстве — законодательную комиссию Круга и донскую общественность; иногда союзников и прессу. Содержание этих переговоров было таково, что без всякого злого умысла давало агитационный материал против генерала Краснова донской и «российской» оппозиции. Харламов и комиссия в вопросе об едином командовании были на нашей стороне. Они ставили вопрос этот «вне связи с вопросом о помощи извне Донской армии, руководствуясь прежде всего стратегической целесообразностью»[2]. Это единомыслие, естественно, сближало нас с донской оппозицией, причем во взаимоотношения ее с атаманом и во внутренние дела мы, конечно, совершенно не вмешивались. Комиссия не раз пыталась устранить трения с Добровольческой армией, но совершенно безуспешно. Прибывшей 12 ноября делегации комиссии генерал Краснов заявил категорически, что «признание генерала Деникина для него является неприемлемым и что Донская армия ни в чем, кроме разве танков, не нуждается».

[1] Циркуляр 14 декабря 1918 года, № 1161.

[2] Из стенограммы заседания Круга 4 февраля.

Лично для меня эта борьба за приоритет Добровольческой армии, веденная вокруг моего имени, была до крайности тягостна. И в душе я готов был не раз помириться со всеми недостатками разъединенного фронта, лишь бы окончилось это прискорбное соревнование, возбуждавшее общественные страсти, отзывавшееся на фронте и ронявшее нас в глазах союзников. Положение мое было тем более трудным, что ни одна из известных мне русских общественных групп, ни одна область, ни одна армия, не исключая даже Донской, не выдвигали генерала Краснова на пост главнокомандующего соединенными силами Юга.

А других претендентов на главнокомандование в ту пору еще не было.

ГЛАВА IX

ДОН: ТРАГЕДИЯ ДОНСКОГО ФРОНТА. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЮГА РОССИИ. УХОД АТАМАНА КРАСНОВА

В начале декабря генерал Пуль обратился ко мне со словами:

— Считаете ли вы необходимым в интересах дела, чтобы мы свалили Краснова?

Я ответил:

— Нет. Я просил бы только повлиять на изменение его отношения к Добровольческой армии.

— Хорошо, тогда будем разговаривать.

Через день-другой Пуль прислал генералу Драгомирову копию своего ответа генералу Краснову[1] на письмо, полученное от него 7 декабря.

[1] Оставляю без изменения русский перевод письма, полученный из английской миссии.

«Я должен благодарить Вас за помощь и откровенное выражение Вашей точки зрения, хотя, к сожалению, я нашел, что Ваше мнение несогласно с моим по вопросу о назначении генералиссимуса для командования всеми русскими армиями, действующими против большевиков.

Я также намерен ответить совершенно откровенно.

Я должен указать Вашему Превосходительству, что я полагаю по вопросу о назначении главнокомандующего необходимым предварительно ознакомиться с мнением союзников, ибо, как я понимаю из Вашего письма, Вы считаете, что только при условии содействия союзников и получения от них снабжения будете в состоянии двигаться вперед или даже только обороняться.

В полученных мною инструкциях моего правительства мне указано было войти в сношение с генералом Деникиным как с представителем, согласно английскому мнению, русских армий, действующих против большевиков. Я сожалею поэтому, что для меня является невозможным даже рассмотрение вопроса о признании какого-либо иного офицера в качестве такого представителя.

Я вполне сознаю ту великолепную работу, которую Ваше Превосходительство так искусно выполняли с донскими казаками, и я смею поздравить Ваше Превосходительство со славными походами.

Я бы желал надеяться, что Ваше Превосходительство проявите себя не только выдающимся воином, но и великим патриотом.

Если я принужден буду возвратиться и донести своему правительству, что между русскими генералами существует зависть и недоверие, это произведет очень тяжелое впечатление и, наверно, уменьшит вероятность оказания помощи союзниками. Я бы предпочел донести, что Ваше Превосходительство проявили себя столь великим патриотом, что готовы поступиться собственными желаниями для блага России и согласиться служить под начальством генерала Деникина.

Как я уже словесно изложил князю Тундутову, я был бы рад встретиться с Вашим Превосходительством неофициально и обсудить все это дело, если бы Вы этого пожелали; и я мало сомневаюсь в том, что мы могли бы прийти к удовлетворительному решению.

В случае этой встречи меня сопровождал бы генерал Драгомиров — помощник главнокомандующего Добровольческой армией».

Свидание состоялось 13 декабря на границе двух областей, в Кущевке. После встречи двух поездов и длительного, довольно оригинального вступления, когда между «суверенным главой пятимиллионного народа» и «представителем великобританского правительства» шел спор о первом визите, состоялся наконец обмен мнениями и намечены были общие основания возможного соглашения:

1. Не объявлять об этом подчинении в приказе до той поры, пока, по заявлению атамана, мысль о необходимости подчинения Донской армии генералу Деникину не войдет в сознание казаков.

2. Избегать на первых порах отдачи категорических приказов, касающихся донских казаков, а заменять их «указаниями» о желательном направлении операции, с предоставлением права Донскому атаману представлять на нем свои соображения.

3. Невмешательство высшего командования Добровольческой армии во внутреннее управление Донской армии, то есть в назначение командного состава, производства в чины, призыва казаков и т.п.

Эти условия, в сущности, сводили на нет единство командования, но, во всяком случае, признавали идею его, сдвигали вопрос с мертвой точки и давали основания для дальнейших переговоров. Они состоялись на станции Торговой 26 декабря[1]. Их описал впоследствии генерал Краснов[2],

[1] Участники: 1) со стороны Добровольческой армии — я, генералы Драгомиров, Щербачев (приехал из Румынии), Романовский и другие; 2) со стороны Дона — атаман Краснов, генералы Денисов, Поляков и другие.

[2] Всевеликое Войско Донское. // Архив русской революции. Т. 5.

переплетая правду с вымыслом и внеся в рассказ обычные особенности своего стиля: высокую самооценку себя лично и своих помощников — мудрых, красноречивых и государственно мыслящих, — в прямую противоположность противникам, которым приписываются наивные по форме и содержанию речи, циничные взгляды и побуждения.

Нет надобности повторять те положения и доводы, которые сводились, с одной стороны, к определению нормальных форм единого командования, с другой — к полному отрицанию их на том главнейшем основании, что казачество с недоверием относится к «солдатским» (не казачьим) генералам и офицерам и что «гласное признание подчинения разложит Дон».

— Отчего же вы *мне* предлагали пост Главнокомандующего? — задал недоуменный вопрос генерал Щербачев.

Собеседование открыло такую бездну накопившейся ненависти к нам со стороны донского командования, что дальнейшие прения казались бесполезными. Дважды я прекращал переговоры, и дважды атаман и генерал Щербачев просили меня продолжить их: положение Донского фронта становилось трагичным, донская оппозиция росла в числе и в силе, и весть о разрыве могла отразиться действительно печально на судьбе фронта и атамана. Меня также заботила немало участь Донского фронта и одолевало искреннее желание прекратить это постыдное единоборство какою угодно ценою.

В силу этих побуждений появились на свет два акта:

1. Мой приказ (26 декабря 1918 года, № 1):

«По соглашению с атаманами Всевеликого войска Донского и Кубанского, сего числа я вступил в командование всеми сухопутными и морскими силами, действующими на Юге России».

2. Приказ Донского атамана, отданный «во избежание кривотолков»:

«Объявляя этот приказ (мой, № 1) донским армиям, подтверждаю, что по соглашению моему с Главнокомандующим Вооруженными силами на Юге России генерал-лейтенантом Деникиным конституция Войска Донского, Большим войсковым Кругом 15 сентября сего года утвержденная, нарушена не будет. Достояние донских казаков, их земли и недра земельные, условия быта и службы донских армий затронуты не будут. Единое командование есть своевременная и необходимая ныне мера для достижения полной и быстрой победы в борьбе с большевиками».

Эти акты не определяли совершенно правовых взаимоотношений между главным командованием и Донской армией.

Их должна была установить жизнь.

* * *

Пока происходили все эти события, Добровольческая армия кровавыми боями приступала к финальному акту освобождения Северного Кавказа и разгрома большевистских сил. Как только улучшилось положение под Ставрополем, я перебросил оттуда 6 декабря 3-ю дивизию генерала Май-Маевского с бронепоездами, броневиками и авиационными отрядами в район Юзовки для прикрытия Каменноугольного района и обеспечения левого фланга Донской армии[1]. Май-Маевский попал в чрезвычайно сложную военную и политическую обстановку в районе, где перемещались повстанческие отряды Махно, Зубкова, Иванько и другие, петлюровские атаманы, советские войска группы Кожевникова и, наконец, застрявшие немецкие эшелоны. Кубанские самостийники поднимали сильную агитацию против «вторжения на территорию Украины»; Донской атаман настойчиво добивался наступления отряда на Харьков, взятый большевиками 21 декабря, и «занятия северных границ Украины»; а Май-Маевский в течение двух месяцев со своими $2^1/_2$, потом $4^1/_2$ тысячами штыков, с огромным напряжением и упорством

[1] Стратегическая задача — «обеспечение линии Юзовка—Мариуполь, а затем... распространение на Бердянск—Синельниково—Нырков с прочным закреплением занятого района».

едва отбивался от Махно, петлюровцев и двух дивизий большевиков.

Вместе с тем с ноября я непрестанно напоминал союзникам о необходимости скорейшего направления вооруженных сил прежде всего на Дон, где помощь эта имела бы колоссальное значение для морального подъема уставшего духом казачества. «Целым рядом телеграмм я просил оказать содействие союзными войсками на Донском фронте... Донские казаки в течение года героически сражались и сопротивлялись превосходящим силам врага, но теперь, усталые, начинают терять веру в поддержку союзников... Если союзным командованием решено помочь нам в борьбе с большевиками, то эту помощь надо дать теперь же, чтобы поддержать дух казаков и сохранить Донскую область»[1].

Был один момент (21 ноября), когда французская миссия сообщила нам о подходе двух дивизий к Новороссийску, и штаб мой отдавал уже спешно распоряжение о подготовке поездных составов для перевозки головной французской дивизии на Дон... Твердой уверенности, однако, в ее прибытии у меня не было. Поэтому об ожидаемом событии штаб никаких объявлений не делал, а переписка о перевозке велась в «весьма секретном» порядке. Действительно, десант в Новороссийске не появился, а взамен того вскоре начали высаживаться небольшие части союзников в Одессе, Севастополе и Батуме.

На мои телеграммы генералу Франше д'Эспре ответов не поступило.

Англичане были положительнее и откровеннее: на мою телеграфную просьбу в Батум генералу Уоккеру о необходимости оказать «немедленную моральную помощь Дону, которая могла бы выразиться в присылке на Донской фронт (хотя бы) двух-трех английских батальонов»[2], генерал Мильн выразил «крайнее сожаление, что указания, полученные (им) от великобританского правительства, не дают (ему) права выслать (мне) войска»[3].

---

[1] Из телеграммы моей генералу Франше д'Эспре.

[2] Телеграмма от 13 января 1919 года, № 0735.

[3] Телеграмма от 24 января 1919 года.

А советские прокламации, разбрасываемые во множестве по Донскому фронту, злорадно утверждали, что никакой союзной помощи и не будет...

Французская военная миссия между тем продолжала поддерживать иллюзии. К несчастью, во главе ее стоял некто капитан генерального штаба Фуке — человек, мало соответствовавший трудной роли представителя Франции. И начал он свою карьеру на Юге как-то странно — представлением мне на подпись дифирамба своим заслугам для ходатайства перед Франше д'Эспре о производстве его в следующий чин. Окончил же совсем печально.

30 января я получил письмо генерала Краснова[1], весьма меня поразившее. 27 числа к нему явился капитан Фуке, заявив, что он действует по поручению генерала Франше д'Эспре. Фуке сообщил, что немедленно же будет послана французская дивизия из Севастополя на помощь Дону в район Луганска, если атаман подпишет два «соглашения». Первое из них, заключавшееся от имени французского правительства, гласило:

«1. События, происшедшие в районе Донецкого бассейна, позволили советским войскам его занять и совершенно дезорганизовать и разрушить промышленную жизнь. Эти события были вызваны недостатком средств защиты и охраны, так как донские войска, которые были бы необходимы, охваченные большевистской пропагандой, изменили или не выполнили всего того, что при иных обстоятельствах они могли бы сделать.

2. Донское правительство, признавая, что, не будучи в состоянии обеспечить охрану и защиту заводов, рудников и других промышленных учреждений, считает обязательным справедливое удовлетворение как за погибшие человеческие жизни, так и — для полного возмещения причиненных убытков — восстановление, вознаграждение за бездействующие предприятия и т.д.

3. Атаман Краснов и донские власти, выше перечисленные, настоящим принимают на себя обязательство, как вы-

---

[1] От 29 января, № 0109.

борные и признанные представители настоящего донского правительства, а также как представители одной из будущих частей великой России, удовлетворить лиц и общества французских и союзных подданных Донецкого бассейна (как на территории в пределах Донского войска, так и соседних районов, куда могли распространиться волнения) вследствие материальных затруднений Дона. Право взыскания убытков с украинских и других властей предоставляется Войску Донскому.

4. Возмещение убытков так же, как и 5% доходов (проторей) со дня прекращения работы вследствие событий, будут уплачены потерпевшим в 10 сроков, считая со дня решения комиссии. Способ и правила уплаты будут совершенно те же, как принятые для оплаты купонов русской 5%-й ренты 1906 года».

Другое соглашение, заключаемое от имени французского Главнокомандующего генерала Франше д'Эспре, состояло в следующем:

«1. Соглашение, подписанное 26 декабря между генералом Деникиным, Главнокомандующим армиями Юга России, и генералом Красновым, Донским атаманом и Всевеликой Донской армией, с сегодняшнего дня будет иметь полное применение.

2. Генерал Краснов, Донской атаман, заявляет о признании полной власти генерала Деникина, а как высшего командования и власти по вопросам военным, политическим и общего порядка, обусловленным обстоятельствами, — генерала Франше д'Эспре, командующего армиями союзников, все инструкции которого будут исполнены немедленно по передаче их французской миссией».

«Вы знаете, Ваше Превосходительство, — писал мне генерал Краснов, — в каком критическом, почти безвыходном положении находится Донское войско. Но при всем этом я не считаю возможным взять на себя подписать такие документы. Я прошу Ваших, как Главнокомандующего,

указаний. Можете Вы помочь Донскому войску — послать сейчас две или три дивизии в район Зверево, Морозовской, Царицына для выпрямления фронта?»

Я ответил в тот же день телеграммой[1]:

«Письмо Ваше 109 получил. Вполне разделяю Ваше негодование по поводу предложения капитана Фуке и одобряю Ваш отказ подписать соглашение. Со своей стороны заявляю следующее: 1) Какие бы ни бывали между нами несогласия и различия во взглядах, я никогда не позволял себе какого-либо действия, направленного во вред интересам донского казачества и могущего затруднить героическую борьбу казаков против нашего общего врага. Еще до нашего соглашения об едином командовании я настойчиво требовал от союзников помощи живой силой и всегда совершенно определенно указывал, что таковая должна быть дана прежде всего Дону, выдерживающему главный напор большевиков; 2) Поэтому предложение капитана Фуке оказать Вам помощь только при условии подписания особого соглашения сделано не только без моего ведома, но я считаю верхом цинизма подобное ультимативное требование в ту тяжелую минуту, которую переживает доблестное донское казачество. Считаю также верхом бестактности предъявление капитаном Фуке подобного требования Вам без предварительного испрошения на то моего согласия; 3) При всех требованиях помощи союзными войсками я всегда совершенно определенно и настойчиво подчеркивал, что таковая ни под каким видом не должна носить характера оккупации, что никакое устранение или даже ограничение власти военной и гражданской не будет допущено. Между тем предложенное Вам соглашение предусматривает подчинение генералу Франше д'Эспре по вопросам военным, политическим и общего порядка. На подобное подчинение я сам никогда не пойду и не допущу, чтобы таковое было признано какою-либо из подчиненных общему командованию частей; 4) Равным образом никогда не допущу никакого вмешательства в

[1] 30 января, № 157.

наши внутренние дела и считаю, что вопросы общего порядка, равно как и политического, должны решаться только нами, русскими, по нашему усмотрению, как мы их понимаем, и никакие чужеземные власти не смеют даже претендовать на какое-либо руководство в этом направлении; 5) На Ваш вопрос отвечаю: Донской атаман не может подписывать подобных соглашений, и Добровольческая армия всецело станет на защиту достоинства и чести донских казаков, если бы то потребовалось как последствие отказа дать подпись под такими позорными для русского имени документами; 6) Мною принимаются все меры переброски частей Кавказской Добровольческой армии на помощь донским армиям, и последним в скором времени будет оказана всяческая поддержка, которая, не сомневаюсь, скоро поможет остановить продвижение красных и с Божьей помощью и верой в наше правое дело позволит обратить временный успех противника в полное его поражение».

Вместе с тем я сообщил генералу Франше д'Эспре[1] о действиях капитана Фуке, выразив свою уверенность, что «эти не соответствующие достоинству русского имени документы... не были присланы французским командованием, а явились результатом неправильного понимания капитаном Фуке всей ответственности сделанного им по личной инициативе выступления».

Фуке был отозван, но на вопрос мой ответа не последовало.

* * *

Донская армия откатывалась, и депутаты северных округов, собиравшиеся на Круг, который должен был открыться 1 февраля, приносили тяжелые вести о том полном развале, который охватил Северный фронт. Росли растерянность, уныние и вместе с тем недовольство властью и особенно командованием.

Генерал Краснов в ряде писем сообщал об отчаянном положении Дона и просил помощи.

---

[1]Телеграмма от 3 февраля,. № 188.

Еще до открытия Круга по постановлению частного заседания его прибыла ко мне в Екатеринодар депутация членов Круга во главе с генералом Поповым узнать, правда ли, что из-за нежелания Донского атамана подчиниться фактически единому командованию Дону не будет оказана помощь. Я ответил:

— Это вздор. Наши личные отношения ни в малейшей степени не могут повлиять на отношение к Дону. Снабжение, которое мне дадут союзники, будет посылаться и Дону; все иноземные силы, которые пришлют мне, будут отправлены исключительно на Дон. Все, что можно будет извлечь с кавказского театра, я перебрасываю на помощь Дону.

Не закончить операции на Северном Кавказе — значило бы свести на нет все огромные наши усилия, допустить вновь занять многострадальную Кубань красной гвардией, лишить себя и Дон открытого во внешний мир окна (Черное море, Новороссийск) и поставить саму Донскую область под угрозу окружения.

Только к январю 1919 года обозначился решительный перелом операции в нашу пользу. И в январе была переброшена на усиление Май-Маевского еще одна добровольческая дивизия (1-я), жестоко пострадавшая в боях под Ставрополем и не имевшая отдыха. 23 января мы взяли Грозный, 29-го — Владикавказ, а уже 2 февраля генерал Попов телеграфировал Кругу, что кубанские дивизии для переброски на Дон готовы, но мало подвижного состава, застрявшего после перевозки добровольцев на Дон, и необходимо... избрать членов Круга для сопровождения поездов...

Ибо тот прием, который практиковался Донским атаманом для «успокоения умов казаков» — объявление в приказах и речах о необходимости «заняться строительством своей разоренной родины» и о невыводе их поэтому за пределы Дона, — вызвал подражание на Кубани: кубанцы также не хотели удаляться «от родных хат» и не понимали, почему донцы могут не оставлять свои пределы, а они должны «бросать Кубань».

Поэтому кроме непосредственного воздействия на кубанцев мне пришлось просить Донской круг выслать на

Кавказ своих делегатов уговаривать кубанских казаков во что бы то ни стало желавших побывать в своих станицах, ехать на помощь старшему брату.

В связи с предстоящим открытием Донского круга часть екатеринодарской прессы вновь ополчилась в чрезвычайно резком тоне против генерала Краснова. Я приказал закрыть газету «Истина», и в официальном сообщении штаба (28 января) это распоряжение мотивировано было недопустимостью «подрывать доверие к атаману, под руководством которого доблестная Донская армия прилагает величайшие усилия к спасению своей области». Надо было окончательно рассеять недоразумения, поддержать донцов морально и заверить их в помощи. И я решил поехать на Круг, о чем уведомил атамана.

Атаман, чувствуя неблагоприятное для себя настроение съезжавшихся членов Круга, 20 января запрашивал меня, не считаю ли я «своевременным, чтобы в февральскую сессию он просил Круг освободить его от должности атамана». Я ответил, что вмешиваться в его отношения с Кругом не буду.

Генерал Краснов считал, что я в союзе с генералом Богаевским и Харламовым готовлю его свержение, и не верил в искренность моего «невмешательства»[1]. Письма этих лиц ко мне, относящиеся к концу января, должны значительно ослабить возводимое обвинение. «Страшная усталость, — писал мне Богаевский 26 января 1919 года, — падение духа, измена — все соединилось против нас... Надежды на союзников нет... Верьте тому, что пишет Вам атаман. Я не завидую его положению: он готов пасть духом под ударами судьбы... Блестящие успехи Добровольческой армии дают всем надежду на быструю помощь. Ваш приезд всех радует». То же писал и Харламов (26 января 1919 года): «С чувством большой радости я услыхал о Вашем желании посетить Дон и быть на Войсковом круге... Узнал об этом от атамана Краснова... Проникавшие на фронт сведения о трениях по вопросу об едином командовании вселили в казаков тревогу, что Вы из-за этих трений не даете помощи и что наше командование не сделало всего, чтобы устранить эти трения... Сейчас Ваш приезд психологически необходим».

[1] Всевеликое Войско Донское. // Архив русской революции. Т. 5.

* * *

К февралю Донской фронт на севере представлял собой неопределенную прерывистую линию, шедшую от Луганска через Миллерово в общем направлении на Царицын. Еще в середине января насчитывавшая до 40 тысяч Донская армия таяла с каждым днем. У Луганска отбивал успешно наступление противника генерал Коновалов с $1^1/_2$ дивизии «молодой» Донской армии. У Миллерово медленно отходил вдоль железной дороги на юг 8—10-тысячный отряд генерала Фицхелаурова. Далее на расстоянии 100—150 верст фронта не было, и только где-то у поселка Петровского храбрый генерал Гусельщиков, затерянный с тысячным отрядом среди мятущихся или переходивших на сторону врага станиц, атаковал еще и бил большевиков, брал пленных и оружие. За Чиром поспешно отходили на юго-запад растаявшие отряды Саватеева, Сутулова, Старикова и к февралю приблизились на полперехода к железнодорожной линии Лихая—Царицын, поставив тем под угрозу коммуникационную линию генерала Мамонтова, который все еще дрался под самым Царицыном.

В такое тревожное время собрался 1 февраля Войсковой круг.

Донской атаман в длинной волнующей речи нарисовал историю 10-месячной борьбы Дона, его героических подвигов и падения. Очертил без утайки тяжелое, но не безвыходное положение фронта и призывал донцов бросить колебания и робость и воспрянуть духом. Помощь близка. «Мы живем в сказке великой... Царевна с нами, господа. Русская красавица. Это Добровольческая армия. Покончив покорение Кавказа, освободивши Терское войско, помогши кубанцам, она пришла к павшему духом донскому богатырю и вспрыснула его живой водой... А левее, уступом, медленно и грозно поднимается французская армия генерала Бертело. Она заняла Раздельную и идет дальше на север от Одессы... Великая борьба за Россию вступила в новый и

последний период. Единое командование осуществлено. И вашими болями, вашими неудачами болеет вся Россия и спешит вам на помощь».

Круг отнесся отзывчиво к речи атамана, но в тот же день в вечернем заседании встретил враждебно доклад командующего армией генерала Денисова. В заседании 2 февраля все округа выразили единодушно недоверие ему и начальнику штаба армии генералу Полякову. Три округа (Черкасский, Таганрогский и Ростовский) предоставили решение вопроса об их замене Главнокомандующему Вооруженными силами Юга России. Атаман Краснов заявил[1]: «Недоверие, выраженное генералам Денисову и Полякову, принимаю на себя как верховный вождь Донской армии. Да, я знаю — горе побежденным! Мы побеждены болезнью, которая разъела нашу армию... Вы теперь отрубаете у меня сразу и правую и левую руку... Я прошу... выбрать мне заместителя». После баллотировки отставка атамана была принята, и по донской конституции временная власть перешла к председателю правительства генералу Богаевскому.

Если в вотуме Круга в отношении генерала Краснова можно было видеть прежде всего осуждение его общей политики, то враждебность, проявленная всем Кругом чрезвычайно остро и ярко к Денисову, была основана в значительной мере на личных его качествах: этот человек обладал исключительной злобностью и самомнением, вооружавшими против него людей. Даже несколько лет спустя, после жестоких уроков, заставляющих, казалось бы, осторожнее относиться к прошлому, он остался неизменным и в таких словах свидетельствует перед лицом истории о самом себе в третьем лице: «Под его командованием Донская армия не видала поражений, а военное управление не ведало разрухи». И противополагает «правлению донской власти, воцарившейся со 2 февраля 1919 года, выдающийся по мудрости, красоте и деятельности период их предшественников»[2].

[1] Из отчета о заседании.

[2] *Генерал Денисов.* «Записки».

Рано утром 3 февраля мой поезд подходил к Кущевке. Здесь на границе Донской области встретил меня бывший атаман генерал Краснов, предупредивший лидеров донской оппозиции, также желавших побеседовать со мной до выступления моего на Круге... В третий раз за время борьбы на Юге я встречался с человеком, с которым судьба так резко столкнула меня на широкой, казалось, русской дороге. Передо мной был уже не гордый своими и донского казачества заслугами атаман, а человек, жестоко придавленный судьбой за свои и чужие вины. Человек несомненно одаренный, но не владевший своим словом и чувствами, создавший себе повсюду противников и врагов и нерасчетливо расточавший свои силы на борьбу с ними. И никакой горечи против него в душе моей тогда не было. Я выразил Краснову сожаление об его уходе. Он ответил: «Круг подчинится всякому вашему слову».

После приветствий Круга в мой адрес я сказал:

«Господа члены Войскового круга, я так взволнован вашим приемом, так овеян вашей лаской, что вряд ли сумею сказать все, что хотел сказать, и сказать так, как хотел...

С чувством душевного волнения, после года отсутствия, я вновь приехал в Новочеркасск. В тот город, где с огромным трудом, окруженные слепою стеной злобы, предательства и непонимания, три великих русских патриота — Каледин, Корнилов и Алексеев — начали строить заново русскую государственность.

Я приехал исполнить свой долг: поклониться праху мертвых и приветствовать живых, чьими трудами и подвигами держится донская земля. Я приехал приветствовать Войсковой круг, олицетворяющий разум, совесть и волю Всевеликого войска Донского.

Перенеся вместе с Добровольческой армией через ее крестный путь неугасшую и непоколебленную веру в великое будущее единой и неделимой России, я не отделяю от блага и пользы России интересов Дона. Я знаю, что силы, благоденствие и процветание Донского войска служат залогом спасения России.

Вот почему год тому назад, защищая подступы к Таганрогу и Ростову, я болел душой, видя полное наше одиноче-

ство. В феврале я с тяжелым чувством покидал донскую землю; в апреле я с великой радостью узнал, что Дон очнулся от наваждения и встал на защиту поруганной свободы своей. Летом соединенными силами добровольцев, кубанцев и донцов боролся в Задонье. И в героической борьбе Дона, вместе с Добровольческой и Кубанской армиями, радовался вашим успехам и скорбел при ваших неудачах.

То, что сделано Доном в беспримерной борьбе его с разрушителями Родины, никогда ею не будет забыто.

Теперь опять стряслась беда над Доном. Неужели же вся огромная созидательная работа целого года должна пропасть даром? Нет. Донское свободолюбивое войско не может пойти в кабалу к грязному, безумному, проклятому большевизму. А те, кто предал Дон, забыв честь и совесть, пусть знают, что «отдыхать» им не придется. Если «новоявленные друзья» — красноармейцы — не пошлют их на восток проливать братскую кровь сибирских, оренбургских и уральских казаков, то здесь они встретятся в смертном беспощадном бою с нами.

В помощь Дону я развернул уже самый крепкий корпус добровольцев и посылаю все, что можно оттянуть с Кавказского фронта и что могут перевезти расстроенные несколько железные дороги.

Доблестные кубанские казаки, которым посчастливилось освободить уже всю землю и которые, самоотверженно сражаясь в Терско-Дагестанском крае, докончили его освобождение, поспешат на помощь Дону — я в этом глубоко уверен. Идут и терцы. Союзники пока не пришли к нам. Трудно сказать, какие технические и политические условия тормозят прибытие союзных войск, но, очевидно, имеются на это свои причины. Во всяком случае, живая сила, которую пошлют они мне в помощь, будет направлена на Донской фронт.

В конечной победе не сомневаюсь, ибо дело наше правое.

Я знаю, что Дон может колебаться, что от перенесенных лишений, невзгод, тяжких потерь у малодушных упало сердце. Положение грозное — нет сомнения. И не потому, что враг силен, а от усталости, уныния и, может быть, предательства некоторых станиц и донских частей. Но ведь было еще хуже. Ведь год тому назад весь Дон заполнен был большевиками, которые нагло издевались над всем укладом казачьей жизни, над вашими вольностями, которые завладели казачьим добром, убивали лучших людей ваших.

Однако Дон встал. Встал во весь рост. Так же будет и теперь.

Не могут же донцы допустить, чтобы наглые пришельцы — красноармейцы — сели на их землю, лишили их свободы, обобрали их до нитки и посылали в братоубийственный бой против своих же казаков, как это делают уже в северных округах.

Я верю в здоровый разум, русское сердце и любовь к Родине донского казака.

Верю, что ваша внутренняя распря, в которой я не могу и не хочу быть судьей, не отразится на борьбе с врагами Дона и России, на общей дружной работе.

И Дон будет спасен.

Но на этом путь наш не кончится. Путь тяжкий, но славный. Настанет день, когда, устроив родной край, обеспечив его в полной мере вооруженной силой и всем необходимым, казаки и горцы вместе с добровольцами пойдут на север — спасать Россию от распада и гибели. Ибо не может быть ни счастья, ни мира, ни сколько-нибудь сносного человеческого существования на Дону и на Кавказе, если рядом с ними будут гибнуть прочие русские земли. Пойдем мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, светлую жизнь всем: и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему...

Много терний на этом пути. Но при добром желании, при общем и искреннем стремлении всех новых образований к государственному объединению он приведет нас к желанной цели — к счастью Родины.

И я от души желаю сил, мужества и удачи Кругу, атаману и правительству в их непомерно тяжкой, но благодарной работе. В тесном единении с Добровольческой армией, с кубанцами, терцами и горцами Северного Кавказа, опира-

ясь на все государственно мыслящие круги, донская власть примирит интересы разнородного населения, внесет начала справедливости и внутреннего мира, даст победу над врагом и счастье родной области. В этом залог нашего общего благополучия, в этом — важный этап в строительстве Великодержавной России, которой мы без сомнений, без колебаний отдадим все свои желания, все помыслы и даже жизнь».

Речь отвечала тому, чего хотел Круг, и, по свидетельству официального отчета[1], «влила бодрость в удрученные сомнениями души членов Круга, дала им уверенность, что Дон не будет одинок в борьбе».

Но того слова, которое хотел услышать генерал Краснов, я по совести сказать не мог.

«В вашей внутренней распре я не могу и не хочу быть судьей».

Вот все, что я считал себя вправе сказать атаману и Кругу накануне атаманских выборов, решивших судьбу генерала Краснова. «Невмешательство» мое пошло несколько далее: я не считал возможным в эти тяжелые для Дона дни предъявлять Кругу требования, которые обеспечивали бы реальное содержание «договора» в Торговой и реальную власть Главнокомандующему — требования, которые были бы выполнены несомненно.

Кавказская Добровольческая армия, овеянная столькими победами, была уже свободна, и эшелон за эшелоном текли на север без всяких кондиций, просто для спасения Дона и общерусского противобольшевистского фронта.

* * *

Ввиду ухода Денисова и Полякова донское правительство в выборе командующего остановилось на генерале Абрамове и в качестве начальника штаба армии — на генерале Райском. Я согласился на эти назначения, уехал на фронт, а через три дня телеграф принес известие об избрании атаманом генерала А.П. Богаевского и одновременно ходатайство нового атамана о назначении командующим армией генерала Сидорина и начальником штаба — генерала Кельчевского. Первого, очевидно, по соображениям политическим (видный член оппозиции), второго — по военным. Так как военные познания и опыт Кельчевского компенсировали отсутствие командного стажа у Сидорина, я согласился и на эти назначения.

[1] Краткое сообщение о заседаниях 1—8 февраля 1919 года.

Обращение ко мне по этому вопросу нового атамана было большим шагом вперед, ибо «договор» в Торговой не предусматривал даже такого «вмешательства» моего в управление автономной Донской армией.

Новая донская власть вступала в исполнение своих обязанностей в момент исключительно тяжелый. Кроме восстановления разложившегося фронта ей предстояла задача умиротворения сильно замутившейся внутренней жизни Дона.

ГЛАВА X
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ И ФЛОТ. СИЛЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СНАБЖЕНИЕ

Добровольческая армия к началу 1919 года имела в своем составе: 5 дивизий пехоты (из них две в периоде формирования), 4 пластунские бригады, 6 конных дивизий, 2 отдельные конные бригады, армейскую группу артиллерии, запасные, технические части и гарнизоны городов. Численность армии простиралась до 40 тысяч штыков и сабель при 193 орудиях, 621 пулемете, 8 броневых автомобилях, 7 бронепоездах и 29 самолетах.

Главная масса войск сведена была в пять корпусов: 1-й, 2-й и 3-й армейские, Крымско-Азовский и 1-й Конный, в феврале переименованный в 1-й Кубанский (генералы Казанович, Май-Маевский, Ляхов, Боровский и барон Врангель); позднее, в феврале, был сформирован и 2-й Кубанский корпус генерала Улагая. В состав 1-го и 2-го корпусов в феврале вошли переданные Донским атаманом части бывших Астраханской и Южной армий, на которые возлагалось столько надежд германофильскими кру-

гами и которые были тогда уже, к сожалению, в стадии полного развала.

В начале декабря 1918 года Добровольческая действующая армия располагалась в четырех главных группах[1].

1. *Кавказская группа* (1-й, 3-й, 1-й Конный, позднее 2-й Конный корпуса с приданными частями), силами в 25 тысяч и 75 орудий, располагалась между Манычем и Кавказскими предгорьями у Минеральных Вод. Она имела общей задачей окончательное освобождение Северного Кавказа до Кавказского хребта, овладение западным берегом Каспийского моря и низовьев Волги, что давало возможность войти в связь с англичанами у Энзели и с уральцами у Гурьева и отрезать советскую Россию от бакинской и грозненской нефти.

2. *Донецкий отряд* (генерала *Май-Маевского*), силою в $2^1/_2$—$3^1/_2$ тысячи и 13 орудий, в районе Юзовки прикрывал Донецкий каменноугольный район и ростовское направление.

3. *Крымский отряд* генерала барона *Боде* (потом *Боровского*), первоначально только $1^1/_2$—2 тысячи и 3—10 орудий, прикрывал Перекоп и Крым, базы и стоянки Черноморского флота; он должен был служить кадром для формирования на месте Крымского корпуса.

4. *Туапсинский отряд* генерала *Черепова* (2-я дивизия с приданными частями), силою в 3 тысячи и 4 орудия, имел задачей прикрывать нашу главную базу Новороссийск со стороны Грузии.

Таким образом, всех *действующих* сил мы имели 32—34 тысячи и около 100 орудий, из которых на главном театре сосредоточено было 76 процентов.

Против нас противник располагал следующими силами:

1. На *Северокавказском театре* — 11-я и 12-я (формирующаяся) советские армии, насчитывающие до 72 тысяч и около 100 орудий.

2. На *ростовском и крымском* направлениях в течение декабря действовали объединенные шайки «батьки» Махно силою в 5—6 тысяч и в низовьях Днепра 2—3 тысячи передавшегося на сторону советов петлюровского атамана Григорьева. Кроме того, вся Северная Таврия была наводнена неорганизованными, «аполитичными» шайками, занимавшимися грабежом и разбоями. Только с конца декабря после овладения Харьковом большевики направили через Лозовую на юго-восток против Май-Маевского и на юг в направлении Александровска первые регулярные дивизии из группы Кожевникова.

[1] Кроме гарнизонов городов, запасных, учебных и формирующихся частей, составлявших в общем еще 13—14 тысяч.

3. На *сочинском* направлении стояло, эшелонируясь от Лазаревки до Сухума, 3—4 тысячи грузинских войск под начальством генерала Кониева.

Всего, следовательно, на фронтах Добровольческой армии в соприкосновении с нами советских войск было около 80 тысяч и грузин — 3—4 тысячи.

Когда 26 декабря 1918 года состоялось объединение Добровольческой и Донской армий и театр войны расширился новыми обширными территориями, явилась необходимость выделения Добровольческой армии и создания при мне объединяющего штабного органа. Я принял звание главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России. Прежний армейский штаб стал штабом главнокомандующего, а для Добровольческой армии приступили к формированию нового штаба.

Предстоял весьма важный вопрос о назначении командующего Добровольческой армией.

Я считал наиболее достойным кандидатом на этот пост — по широте военного кругозора и по личной доблести — участника добровольческого движения с первых же шагов его генерала Романовского. Однажды после очередного доклада я предложил ему на выбор — армию или штаб Главнокомандующего. Не скрыл, что его уход будет тяжел для меня: нет подходящего заместителя, придется назначить случайного человека, и я останусь в своей большой работе и в своих переживаниях одиноким. С другой стороны (перед глазами у нас был пример незабвенного Маркова), я не сомневался, что и Романовский, став в строй, выйдет из удушливой атмосферы политики, быстро приобретет признание войск, развернет свои боевые способности и покроет славой себя и армию.

Иван Павлович думал день и на другое утро сказал, что останется со мной... Принес в жертву нашей дружбе свое будущее.

Непроницаемым покровом завешены от глаз наших пути Господни. Кто знает, как сложилась бы тогда судьба армии и Романовского — вынесла ли бы она его на гребень волны или похоронила в пучине... Мы знаем только одно: это решение стоило ему впоследствии жизни.

Обсудив вместе с начальником штаба вопрос о командующем, остановились на генерале бароне Врангеле. Он был моложе других корпусных командиров и только недавно вступил в ряды Добровольческой армии. Это могло вызвать обиды. Но в последних славных боях на Урупе, Кубани, под Ставрополем он проявил большую энергию, порыв и искусство маневра. Назначение барона Врангеля состоялось[1]. Один из достойных корпусных командиров, первопоходник генерал Казанович после этого ушел в отставку[2]; другие поворчали, но подчинились. Начальником штаба армии стал генерал Юзефович.

Ввиду последующего развертывания Крымско-Азовского корпуса в армию подчиненные генералу Врангелю войска получили наименование *Кавказской Добровольческой армии.* С 27 декабря по 10 января, чтобы дать закончить генералу Врангелю операцию 1-го Конного корпуса на пути от Петровского до линии Святой Крест—Минеральные Воды, армией временно командовал генерал Романовский.

1 января 1919 года я отдал приказ (№ 7):

«Четырнадцать месяцев тяжкой борьбы. Четырнадцать месяцев высокого подвига Добровольческой армии. Начав борьбу одиноко — тогда, когда рушилась государственность и все кругом бессильное, безвольное спряталось и опустило руки, — горсть смелых людей бросила вызов разрушителям родной земли.

[1] На его место командиром 1-го Конного корпуса был назначен генерал Покровский.

[2] Заменен черноморским военным губернатором генералом Кутеповым.

С тех пор льется кровь, гибнут вожди и рядовые добровольцы, усеяв своими могилами поля Ставрополья, Дона и Кубани.

Но сквозь ужасы войны, сквозь злобу и недоверие ничему не научившихся тайных врагов своих армия пронесла чистой и незапятнанной идею единой великодержавной России.

Подвиги армии безмерны.

И я, деливший с нею долгие тяжкие дни, и горе, и радость, горжусь тем, что стоял во главе ее.

Я не имею возможности теперь непосредственно руководить Добровольческой армией, но до конца дней моих она останется родной и близкой моему сердцу.

Сердечно благодарю всех моих дорогих соратников, чьими беспримерными подвигами живет и крепнет надежда на спасение России».

Название «добровольческих» армии сохраняли уже только по традиции, ибо к правильной мобилизации приступили в кубанских казачьих частях с весны, а в регулярных — со 2 августа 1918 года. Три последовательные мобилизации этого года подняли на Северном Кавказе десять возрастных классов (призывной возраст 1910—1920 годов), в Приазовском крае — пока два (1917, 1918 и частью 1915, 1916 годов), в Крыму — один (1918). Ввиду того, что революция повсеместно разгромила органы учета, установить точно процент уклонившихся штаб мой не мог. По приблизительным его подсчетам, цифра эта для Северного Кавказа определялась в 20—30 процентов. Мобилизованные поступали в запасные части, где проходили краткое обучение, или — в силу самоуправства войсковых частей — в большом числе направлялись непосредственно в их ряды. Число прошедших через армейский приемник в 1918 году определялось в 33 тысячи человек. К концу 1918 года был использован широко другой источник пополнения — пленные красноармейцы, уже многими тысячами начавшие поступать в армию обоими этими путями.

Весь этот новый элемент, вливавшийся в добровольческие кадры, давал им и силу и слабость. Увеличивались ряды,

но тускнел облик и расслаивались монолитные ряды старого добровольчества. Лихорадочно быстрый темп событий среди непрекращавшегося пожара общей гражданской войны если и допускал поверхностное обучение, то исключал возможность воспитания. Масса мобилизованных во время пребывания в тылу, в мирной обстановке, запасных батальонов была совершенно пассивной и послушной. За вторую половину 1918 года из запасных батальонов дезертировало только 5%. Однако, выйдя на фронт, они попадали в крайне сложную психологическую обстановку: сражаясь в рядах добровольцев, они имели против себя своих односельчан, отцов и братьев, взятых так же по мобилизации Красной армией; боевое счастье менялось, их села переходили из рук в руки, меняя вместе с властью свое настроение. И дезертирство на фронте значительно увеличивалось.

Тем не менее основные добровольческие части умели переплавить весь разнородный элемент в горниле своих боевых традиций, и, по общему отзыву начальников, мобилизованные солдаты *вне своих губерний* в большинстве дрались доблестно.

Что касается кубанского казачества, оно несло тяготы значительно большие: выставляло десять возрастных классов в состав действующей армии и во время борьбы на территории Кубани почти поголовно становилось в ряды в качестве гарнизонов станиц и отдельных, партизанского типа отрядов. Природные конники, кубанцы неохотно шли в пластунские батальоны; пехота их была поэтому слаба и малочисленна, но конные дивизии по-прежнему составляли всю массу добровольческой конницы, оказывая неоценимые услуги армии.

В отношении старых добровольцев мы были связаны еще формально четырехмесячным «контрактом». Первый период для главной массы кончился в мае, второй — в сентябре, третий кончался в декабре. Еще в августе я хотел покончить с этим пережитком первых дней добровольчества, но начальники дали заключение, что психологически это *преждевременно*... Мне кажется, что и тогда уже они ошибались. 25 октября я отдал приказ (№ 64) о призыве в ряды

всех офицеров до 40 лет, предоставив тем из них, кто освобождался из армии, или покинуть территорию ее в семидневный срок, или подвергнуться вновь обязательному уже призыву... А через полтора месяца состоялся приказ[1] об отмене четырехмесячных сроков службы, которая стала окончательно *общеобязательной*. К чести нашего добровольческого офицерства надо сказать, что приказы эти не только не встретили какого-либо протеста, но даже не привлекли к себе в армии внимания — так твердо сложилось убеждение в необходимости и обязательности службы.

Итак, с конца 1918 года институт добровольчества окончательно уходил в область истории, и добровольческие армии Юга становились *народными*, поскольку интеллектуальное преобладание казачьего и служилого офицерского элемента не наложило на них *внешне* классового отпечатка.

* * *

С января 1919 года в штабе учрежден был отдел, ведавший формированиями. Войска специальных родов оружия организовывались обыкновенно в тылу и уже готовыми поступали на фронт; так же было и с кубанскими полками, которые комплектовались территориально в своих округах. С формированием пехоты дело обстояло иначе. Необыкновенно трудно было поставить материальную часть полков средствами нашего немощного армейского интендантства, и штаб мирился с формированием на фронте, где заинтересованные непосредственно в своем усилении начальники находили возможности с грехом пополам обуть, одеть, вооружить и снарядить новые части. Но бои кипели непрерывно, фронт ввиду большого неравенства сил всегда нуждался в подкреплениях, резервов в тылу не было, и новые части бросались в бой задолго до своей готовности. Противник не давал нам времени на организацию. У нас не было такой предохранительной завесы, которую для Украины представлял немецкий кордон, для Сибири — фронт Народной армии, для Грузии —

[1] 7 декабря. № 246.

Добровольческая армия. Добровольческие части формировались, вооружались, учились, воспитывались, таяли и вновь пополнялись под огнем, в непрестанных боях. Тем не менее войсковые части, рожденные и воспитанные на фронте при такой обстановке, иногда за счет ослабления кадровых полков, являлись более боеспособными, чем тыловые формирования.

Другим крупным злом в организации армии было стихийное стремление к формированиям под лозунгом «возрождения исторических частей российской армии». «Ячейки» старых полков, в особенности в кавалерии, возникали, обособлялись, стремились к отделению, обращая боевую единицу — полк — в мозаичный коллектив десятков старых полков, ослабляя ряды, единство и силу его. Такие формирования возникали и в тылу, существовали негласно по целым месяцам, добывая частные средства или пользуясь попустительством властей разных рангов, ослабляя фронт и превращая иной раз идейный лозунг «под родные штандарты» в прикрытие шкурничества.

Так же велико было стремление начальников к формированию частей «особого назначения». Таков, например, «Летучий отряд особого назначения Кавказской Добровольческой армии» (у генерала Врангеля) во главе с ротмистром Барановым, имевший довольно темное назначение — борьбы с крамолой... «Волчьи сотни «генерала Шкуро — его личная гвардия, постепенно терявшая боевое значение, обремененная добычей... «Карательные отряды», формировавшиеся ставропольским военным губернатором генералом Глазенапом, превратившиеся в лейб-охрану богатых местных овцеводов, и т.д.

Со всеми этими бытовыми явлениями мы боролись, но, очевидно, недостаточно сурово, так как, меняя внешние формы, они продолжали существовать.

* * *

На Севастопольском рейде ко времени прихода союзников находились остатки нашего Черноморского флота, уцелевшие после новороссийской катастрофы[1]. Среди них

[1] Потопление половины флота весною 1918 года.

линейный корабль (дредноут) «Воля»[1], крейсер «Кагул», более десятка миноносцев, несколько подводных лодок, старые линейные корабли и много мелких судов вспомогательного назначения. Большинство боевых судов требовали капитального ремонта.

Как я уже говорил, с приходом в Севастополь союзники подняли на наших судах свои флаги и заняли их своими командами. Только на «Кагуле», на трех находившихся в ремонте миноносцах и на старых линейных кораблях оставались еще русские флаги.

Необходимо было кому-нибудь взять на себя охрану андреевского флага и беспризорного русского достояния. Центрами притяжения были только Украинская держава и Добровольческая армия. Первая обосновывала свое право на русское наследство «историческими границами Великой Украины», включающими весь северный черноморский берег, и обещанием германцев передать Украине к ноябрю весь Черноморский флот. Вторая выступала как общерусский военный центр Юга. Основания Украины к тому времени были настолько одиозны в глазах русской общественности и морского офицерства, что вопрос о подчинении флота был предрешен и не потребовал ни малейшей борьбы.

Вся трудность заключалась в выборе лица, которое могло бы возглавить флот и успешно повести дело его возрождения. Я совершенно не имел никаких знакомств в морских кругах и вынужден был руководствоваться мнением моряков, находившихся в сношениях со ставкой. Получалась картина полного безлюдья. Мне называли только два имени: одно — контр-адмирал князь Черкасский, который оставался где-то в советской России и которого нам так и не удалось разыскать; другое — вице-адмирал Саблин. Деятельность последнего в качестве командующего советским флотом перед новороссийской катастрофой требовала еще выяснения, и сам он жил тогда за границей. Пришлось остановиться на адмирале Канине, который пользовался известной популярностью в морской среде и авторитетом в

[1] Бывший «Император Александр III».

морских вопросах, но не отличался качествами боевого вождя.

13 ноября я отдал приказ о назначении адмирала Канина исполняющим должность командующего Черноморским флотом. Канин под влиянием «украинских» адмиралов Покровского, Клочковского и других некоторое время колебался, потом вступил в должность, и присоединение Черноморского флота к Добровольческой армии совершилось автоматически и безболезненно. Присоединение номинальное, так как был командный состав, но не было в его распоряжении боевых судов. Началась длительная, нелепая и глубоко обидная борьба с союзным морским командованием за право существования русского флота.

Только в начале января старший в то время французский адмирал Амет предложил Канину укомплектовать два находившихся еще в ремонте миноносца; в то же время союзным командованием дано было разрешение подготовить крейсер «Кагул» для отправки в Новороссийск с целью... поднятия затопленного парохода «Эльборуса».

А между тем вскоре по побережью Черного и Азовского морей начались бои, и помощь флота стала необходимой. Снова, как в первые дни добровольчества, в дни деревянных бронепоездов и краденых пушек, офицерская молодежь снаряжала старые пароходы и баржи с тихим ходом и неисправным механизмом, вооружала их орудиями и ходила вдоль берегов, вступая в бой с большевиками, рискуя ежечасно стать жертвой стихии или попасть в руки врага.

А боевые суда наши в это время томились в плену у союзников...

Между тем штаты морских учреждений росли непомерно, собравшееся в большом числе в Севастополе морское офицерство томилось бездельем, а боевая готовность даже ничтожного числа судов, которые были предоставлены нам, подвигалась плохо. В марте приехал Саблин и сменил Канина. Саблину пришлось уже попасть в волну первой эвакуации Крыма и быть свидетелем тяжелой картины, как союзники при общем паническом настроении топили

лучшие наши подводные лодки, взрывали цилиндры машин на оставляемых в Севастополе судах, топили и увозили запасы. Было невыразимо больно видеть, как рос синодик остатков русского флота, избегнувших гибели от рук немцев, большевиков и матросской опричнины... «Кагул»[1], подводную лодку «Тюлень» и еще 5 миноносцев и 2 подводные лодки на буксирах удалось с огромным трудом вывести в Новороссийск, где приступили к их ремонту, вооружению и укомплектованию. Наши решительные протесты, возмущение, с которым русская общественность отнеслась к факту бездеятельности войск и флота союзников в трагических одесских и крымских событиях, а может быть, и возросшее доверие к силам Юга, заставили союзников прекратить противодействие: летом 1919 года во время операции по вторичному овладению Крымом и Новороссией в составе флота числился уже 1 крейсер, 5 миноносцев, 4 подводные лодки и десятка два вооруженных пароходов, лодок и барж.

К осени союзники возвратили нам все остальные захваченные суда, в том числе дредноут «Воля», получивший имя «Генерал Алексеев».

* * *

Снабжение армий находилось в руках главного начальника снабжений[2], непосредственно подчиненного начальнику Военного управления[3].

Главным источником снабжения до февраля 1919 года были захватываемые нами большевистские запасы. При этом войска, не доверяя реквизиционным комиссиям, старались использовать захваченное для своих нужд без плана и системы. Часть запасов получалась с бывшего Румынского фронта. Все это было случайно и крайне недостаточно. В ноябре, к приходу союзников, официальный отчет штаба рисовал такую картину нашего снабжения.

Недостаток ружейных патронов принимал не раз катастрофические размеры. «Бывали периоды, когда на всю ар-

[1] Переименован в «Генерал Корнилов».

[2] Генерал Санников; с января 1919 года генерал Картаци.

[3] Генерал Лукомский.

мию оставалось несколько десятков тысяч патронов, и если пулемет в начале боя имел 2—3 ленты, то это считалось очень и очень благополучным». Такое же положение было с артиллерийскими патронами. «К 1 ноября весь запас армейского склада состоял из 7200 легких, 1520 горных, 2770 гаубичных и 220 тяжелых снарядов. Обмундирование — одни обноски». Санитарное снабжение... «можно считать несуществующим. Нет медикаментов, нет перевязочных средств, нет белья. Имеются только врачи, которые бессильны бороться с болезнями. Индивидуальных пакетов не имеется вовсе. Часто бывают случаи, когда полное отсутствие перевязочных материалов заставляет применять грязное белье самих же раненых». Наше положение было угрожающим, потому что к весне из-за непрерывных кровопролитных боев и эпидемий число раненых и больных в лечебных заведениях армий доходило до 25 тысяч.

С начала 1919 года, после ухода немцев из Закавказья, нам удалось получить несколько транспортов артиллерийских и инженерных грузов из складов Батума, Карса, Трапезунда. А с февраля начался подвоз английского снабжения. Недостаток в боевом снабжении с тех пор мы испытывали редко[1]. Санитарная часть улучшилась. Обмундирование же и снаряжение поступало в размерах больших, но далеко не удовлетворявших потребности фронтов[2]. Оно, кроме того, понемногу расхищалось на базе, невзирая на установление смертной казни «за кражу предметов казенного вооружения и обмундирования». Таяло в пути и, поступив наконец на фронт, пропадало во множестве, уносимое больными, ранеными, пленными, дезертирами... Замечательно, что всякого рода хищения военного имущества и распродажа его на сторону встречали в обществе безразличное, часто покровительственное отношение. Рынок имеет свои законы: предельное сжатие его вызывает противодействие, чуждое моральным побуждениям. Обмундирование, поступавшее на Дон, после раздачи казакам отправлялось обыкновенно в станицы и пряталось на дно все еще не опустошенных казачьих скрынь.

[1] С марта по сентябрь 1919 года мы получили от англичан 558 орудий, 12 танков, 1 685 522 снаряда и 160 миллионов ружейных патронов.

[2] В тот же период мы получили 250 тысяч комплектов.

Собственным попечением наши органы снабжения заготовляли совершенно ничтожную часть потребности. Причин много. Были и общие, вытекавшие из финансовых затруднений армии, недостаточного развития в промышленном отношении Северного Кавказа, общего развала торговли и промышленности. Были и частные — шаблоны *нормальной* войны и *нормального* полевого положения, отсутствие у нас системы и творчества, властно требуемых обстановкой, совершенно новой и исключительной; наконец — всеобщая деморализация нравов.

Один из видных армейских интендантов по поводу гонения, воздвигаемого обществом и печатью на интендантство, писал в то время:

«Промышленность разрушена; сырья в армии нет, технических и транспортных средств почти нет, опытных специалистов мало, конъюнктура рынка, не регулируемая никакими финансово-промышленными органами, своевольно стремится в беспредельную высь. Тыл, органы снабжения должны напрячь все свои творческие, административные и изобретательные способности, чтобы при таких условиях дать армии хотя бы малое, необходимое. Условия работы неизмеримо труднее, чем во время австро-германской войны, и требуют исключительных специальных знаний, опыта и энергии.

Между тем вместо компетентных работников, специалистов, подготовленных школой и большим опытом к работе снабжения армии, хорошо знакомых с организацией снабжения, промышленным миром и рынком, дело снабжения находится в руках исключительно офицеров Генерального штаба, не знакомых ни с рынком, ни с торгово-промышленным миром, ни с политической экономией, ни с классификацией товаров и продуктов.

Законы и нормы отстали от жизни, а новых еще не создано. Каждый активный исполнитель-заготовитель вынуж-

ден на свой риск и страх во много раз превышать те права, которые даны ему законом. События совершаются с невероятной быстротой, и жизнь не терпит промедления. Чтобы не отставать от жизни, приходится отбрасывать в сторону всякие бумажные нормы и преступать всякие законы, для чего нужны компетентные, честные исполнители, свобода действий и полное доверие».

«Честные исполнители, полное доверие» — конечно, это первооснова успеха работы. Но где их взять! Когда на Дону, на Кубани, не переставая, одна за другой выплывали на свет «панамы»... Когда несколько месяцев главное интендантство вооруженных сил находилось под воздействием назначенной мною сенаторской ревизии Таганцева... Ревизия добросовестно искала «виновных», привлекала к ответственности крупных и мелких нарушителей закона, но не умела найти грехи системы, не умела и не могла изменить общих условий, питавших преступность.

От общественности, так дружно отозвавшейся на нужды армии в 1916 году, мы в этом отношении помощи видели мало: Военно-промышленный комитет, Земгор, Красный Крест были разрушены и только начинали проявлять свою деятельность. От «демократии»? Один из органов Шрейдера «Родная земля», описывая вопиющие нужды армии, говорил: «Нуждалась ли бы армия в чем-нибудь, если бы была окружена горячей и любовной заботливостью русской демократии? Конечно, нет: русский народ умеет самоотверженно отдавать последнюю свою рубаху, последний свой кусок хлеба тому, кому он верит, в ком он видит борца за святое и правое народное дело. Очевидно, есть что-то в атмосфере, окружающей Добровольческую армию, что расхолаживает нашу демократию»[1]. Русский народ и демократия господина Шрейдера — это далеко не одно и то же. Народ отверг эту «демократию» на Волге, на Востоке, на Юге, по всей России. Но он не усыновил также в родительской любви своей ни красной, ни белой армии: не нес им в жертву добровольно ни достатка своего, ни жизни.

[1] Октябрь 1918 года.

Пресловутый частный торговый аппарат претерпел, очевидно, с революцией серьезное перерождение: я не помню крупных сделок наших органов снабжения с солидными торговыми фирмами, но зато в памяти моей запечатлелись ярко типы спекулянтов-хищников, развращавших администрацию, обиравших население и казну и наживавших миллионы: М. — на Кубани, Ч. — на Дону и в Крыму, Т. Ш. — в Черноморье, и прочие, и прочие.

Но все это были партизаны, рожденные безвременьем и чуждые традициям промышленного класса.

Крупная торгово-промышленная знать появилась на территории армии главным образом после падения Одессы и Харькова в начале 1919 года. Многие лица из ее рядов успели вынести с пожарища русской храмины часть своих достатков, сохранили еще кредит, а главное — организационный опыт в широком государственном масштабе. Мы ожидали от них помощи, и прежде всего в отношении армий. Эта помощь была предложена действительно, но в такой своеобразной форме, что на ней стоит остановиться.

14 сентября 1919 года между донским правительством в лице начальника отдела торговли и промышленности Бондырева и «Товариществом Мопит»[1] был заключен договор на поставку Донской армии и населению заграничной мануфактуры. «Мопит» являлся *комиссионером* казны, взяв на себя «при всемерном содействии Войска Донского»[2] на территории Дона и без ведома командования на территории Добровольческой армии (§ 2) скупку сырья, отправление и продажу его за границей, покупку там и доставку на Дон мануфактуры. Основной капитал для оборота, в общем до миллиарда рублей, должен был выдаваться донской казной по частям авансом. Все решительно расходы, как-то: провоз, хранение, пошлины и т.п., ложились на казну. «Мопит»

[1] «Товарищество московской объединенной промышленности и торговли». Во главе стояли братья Рябушинские. Председатель совета — А. В. Кривошеин.

[2] В том числе причисление предприятия к работающим на оборону (§ 10).

за услугу Донской армии брал себе в качестве «организационных расходов» и предпринимательской прибыли за покупку сырья 19% и за операцию с мануфактурой 18%. Весь договор был полон неясностей и недомолвок, позволявших при желании значительно расширять размеры прибыли. Но самое странное было то, что статьи договора ставили выполнение его в зависимость от доброй воли «Мопита», предоставляя ему возможность воспользоваться самому всеми выгодами реализации драгоценного и купленного сравнительно за бесценок донского сырья. Статья 9-я гласила:

«Если полученные товариществом авансы не будут после вывоза сырья за границу и его реализации покрыты поставками товаров или вырученной от продажи сырья валютой в обусловленный срок, то товарищество обязуется возвратить Войску полученные авансы с начислением процентов со дня просрочки в размерах, взимаемых Государственным банком по учету векселей».

И только.

С договором этим я ознакомился из газет. Я не имел права вмешиваться во внутренние дела суверенного Дона, но так как весь экспорт регулировался Особым совещанием и выполнение поставок на Донскую армию договором обеспечено не было, я приказал прекратить выдачу «Товариществу» разрешения на вывоз сырья и хлеба за границу. Особая комиссия рассмотрела затем договор, и после разъяснений его статей учредителями и видоизменения Особое совещание сочло возможным допустить деятельность «Мопита».

А. В. Кривошеин, объясняя свое участие в «Мопите», жаловался мне[1] на «газетные инсинуации» и утверждал, что учредители его преследовали цели исключительно государственные, а лично он «с содержанием злополучного договора познакомился впервые, когда начался уже газетный поход». «Учредители Мопита, — писал он, — обширная группа издавна пользующихся уважением и всероссийской известностью москвичей, обратилась ко мне с предложением избрать меня председателем совета, придавая этому политическое значение как лишней возможности объединить их на общей платформе сейчас и особенно ввиду предстоящего прихода в Москву. Мысль основать здесь крупное московское дело и таким образом теснее сплотить черноземный Юг с промышленной Москвой казалась правильной и своевременной...»

[1] Письмо от 4 декабря 1919 года.

Но общество, взволнованное этим делом, видело в нем только коммерцию, а не политику. Часть прессы чрезвычайно резко ополчилась против «мопитян», вину которых наиболее умеренный в своих заключениях «Приазовский край» (от 24 ноября 1919 года) определял такими словами: «В договоре нет элементов заведомого обмана или заведомого введения в невыгодную сделку... Тяжелая сторона его заключается в том, что и именитые москвичи также входят в число многих, наживающихся на армии, на гражданской войне».

Как бы то ни было, и печать, и общество, и армия постепенно пришли к одинаковому заключению: нет больше Мининых! И армия дралась в условиях тяжелых и роптала только тогда, когда враг одолевал и приходилось отступать.

* * *

Казна наша пустовала по-прежнему, и содержание добровольцев поэтому было положительно нищенским. Установленное еще в феврале 1918 года, оно составляло в месяц для солдат (мобилизованных) 30 рублей, для офицеров от прапорщика до Главнокомандующего — в пределах от 270 до 1000 рублей[1]. Для того чтобы представить себе реальную ценность этих цифр, нужно принять во внимание, что прожиточный минимум для рабочего в ноябре 1918 года был определен советом екатеринодарских профессиональных союзов в 660—780 рублей. Дважды потом (в конце 1918 и в конце 1919 года) путем крайнего напряжения шкала основного офицерского содержания поднималась соответственно на 450—3000 рублей и 700—5000 рублей, никогда не достигая соответствия с быстро

[1] Кроме пайка, общего для всех рангов.

растущей дороговизной жизни. Каждый раз, когда отдавался приказ об увеличении содержания[1], на другой же день рынок отвечал таким повышением цен, которое поглощало все прибавки. Одинокий офицер и солдат на фронте ели из общего котла и хоть плохо, но были одеты. Все же офицерские семьи и большая нефронтовая часть офицерства штабов и учреждений бедствовали. Рядом приказов устраивались прибавки на семью и дороговизну, но все это были лишь паллиативы. Единственным радикальным средством помочь семьям и тем поднять моральное состояние их глав на фронте был бы переход на натуральное довольствие. Но то, что могла сделать советская власть большевистскими приемами социализации, продразверстки и повальных реквизиций, было для нас невозможно, тем более в областях автономных.

Только в мае 1919 года удалось провести пенсионное обеспечение чинов военного ведомства и семейств умерших и убитых офицеров и солдат. До этого выдавалось лишь ничтожное единовременное пособие в $1^1/_2$ тысячи рублей...

От союзников, вопреки установившемуся мнению, мы не получили ни копейки.

Богатая Кубань и владевший печатным станком Дон были несколько в лучших условиях.

«По политическим соображениям», без сношения с главным командованием они устанавливали содержание своих военнослужащих всегда по нормам выше наших, вызывая тем неудовольствие добровольцев[2]. При этом донцы и кубанцы были у себя дома, связанные с ним тысячью нитей — кровно, морально, материально, хозяйственно. Российские же добровольцы, покидая пределы советской досягаемости, в большинстве становились бездомными и нищими.

---

[1] Шкала основного содержания была одинакова в военном ведомстве и во всех правительственных учреждениях.

[2] К декабрю 1918 года высшие чины получали содержание в месяц: главнокомандующий — 1000 рублей, Кубанский атаман — 4000, члены «Особого совещания» — 800 рублей, члены кубанского правительства — 2000. Донцы получали больше кубанцев.

ГЛАВА XI

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК АРМИИ. «ЧЕРНЫЕ СТРАНИЦЫ»

Ряды старых добровольцев редели от постоянных боев, от сыпного тифа, косившего нещадно. Каждый день росли новые могилы у безвестных станций и поселков Кавказа; каждый день под звуки похоронного марша на екатеринодарском кладбище опускали в могилу по нескольку гробов с телами павших воинов... Пал в бою командир 1-го артиллерийского дивизиона полковник Миончинский, известный всей армии своим искусством и доблестью... Умер от тифа начальник 1-й дивизии генерал Станкевич, выдержавший во главе сборного отряда всю тяжесть борьбы на степном Манычском фронте, и много, много других.

В начале января мы похоронили умершего от заражения крови из-за раны, полученной под Ставрополем, генерала Дроздовского — одного из основоположников армии, человека высокого патриотизма и твердого духом. Два месяца длилась борьба между его жизнью и смертью. Навещая Дроздовского в лазарете, я видел, как томился он своим вынужденным покоем, как весь он уходил в интересы армии и своей дивизии и как рвался к ней. Судьба не сулила ему повести опять в бой свои полки. Для увековечения памяти почившего его именем назван был созданный им 2-й Офицерский полк, впоследствии дивизия, развернутая из этого полка. Приказ, сообщавший армии о смерти генерала Дроздовского, заканчивался словами:

«Высокое бескорыстие, преданность идее, полное презрение к опасности по отношению к себе соединились в нем с сердечной заботой о подчиненных, жизнь которых всегда он ставил выше своей.

Мир праху твоему, рыцарь без страха и упрека».

* * *

Состав добровольческих армий становился все более пестрым. Ряд эвакуаций, вызванных петлюровскими и со-

ветскими успехами (Украина), и занятие нами новых территорий (Крым, Одесса, Терек) дали приток офицерских пополнений. Многие шли по убеждению, но еще больше — по принуждению. Они вливались в коренные добровольческие части или шли на формирование новых дивизий. Коренные части[1] ревниво относились к своему первородству и несколько пренебрежительно к последующим формированиям. Это было нескромно, но имело основания: редко какие новые части могли соперничать в доблести с ними. Это обстоятельство побудило меня развернуть впоследствии, к лету 1919 года, четыре именных полка[2] в трехполковые дивизии.

Вливание в части младшего офицерства других армий и нового призыва и их ассимиляция происходили быстро и безболезненно. Но со старшими чинами было гораздо труднее. Предубеждение против Украинской, Южной армий, озлобление против начальников, в первый период революции проявивших чрезмерный оппортунизм и искательство или только обвиненных в этих грехах по недоразумению, — все это заставляло меня осторожно относиться к назначениям, чтобы не вызвать крупных нарушений дисциплины. Трудно было винить офицерство, когда оно не желало подчиниться храбрейшему генералу, который, командуя армией в 1917 году, бросил морально офицерство в тяжелые дни, ушел к буйной солдатчине и искал популярности демагогией... Или генералу, который некогда, не веря в белое движение, отдал приказ о роспуске добровольческого отряда, а впоследствии получил по недоразумению в командование тот же отряд, выросший в крупную добровольческую часть. Или генералу, безобиднейшему человеку, который имел слабость и несчастье на украинской службе подписать приказ, задевавший достоинство русского офицера. И т.д., и т.д.

Для приема старших чинов на службу была учреждена особая комиссия под председательством генерала Доро-

---

[1] «Цветные войска», как их называли острословы по пестроте красок форменных отличий.

[2] Корниловский, Марковский, Дроздовский, Алексеевский с соответствующими артиллерийскими дивизионами.

шевского, позднее — Болотова. Эта комиссия, прозванная в обществе «генеральской чрезвычайкой», выясняла curriculum vitae[1] послереволюционного периода старших чинов и определяла возможность или невозможность приема на службу данного лица или необходимость следствия над ним. Процедура эта была обидной для генералитета, бюрократическая волокита озлобляла его, создавая легкую фронду. Но я не мог поступить иначе: ввиду тогдашнего настроения фронтового офицерства эта очистительная жертва предохраняла от многих нравственных испытаний, некоторых — от более серьезных последствий. Вообще же «старые» части весьма неохотно мирились с назначениями начальников со стороны, выдвигая своих молодых, всегда высокодоблестных командиров, но часто малоопытных в руководстве боем и в хозяйстве и плохих воспитателей части. Тем не менее жизнь понемногу стирала острые грани, и на всех ступенях служебной иерархии появились лица с самым разнообразным служебным прошлым...

Труднее обстоял вопрос с военными, состоявшими ранее на советской службе.

К осени 1918 года жестокий период гражданской войны «на истребление» был уже изжит. Самочинные расстрелы пленных красноармейцев были исключением и преследовались начальниками. Пленные многими тысячами поступали в ряды Добровольческой армии. Борьбу, и притом не всегда успешную, приходилось вести против варварского приема раздевания пленных. Наша пехота вскоре перестала грешить в этом отношении, заинтересованная постановкой пленных в строй. Казаки же долго не могли отрешиться от этого жестокого приема, отталкивавшего от нас многих желавших перейти на нашу сторону. Помню, какое тяжелое впечатление произвело на меня поле под Армавиром в холодный октябрьский день после урупских боев, все усеянное белыми фигурами пленных (раздели до белья), взятых 1-й Конной и 1-й Кубанской дивизиями.

---

[1] Жизненный путь (лат.). — *Прим. ред.*

В ноябре я отдал приказ, обращенный к офицерству, оставшемуся на службе у большевиков, осуждая их непротивление и заканчивая угрозой: «Всех, кто не оставит безотлагательно ряды Красной армии, ждет проклятие народное и полевой суд Русской армии — суровый и беспощадный». Приказ был широко распространен по советской России нами и еще шире — советской властью, послужив темой для агитации против Добровольческой армии. Он произвел гнетущее впечатление на тех, кто, служа в рядах красных, был душою с нами. Отражая настроение добровольчества, приказ не считался с тем, что самопожертвование, героизм есть удел лишь отдельных личностей, а не массы. Что мы идем не мстителями, а освободителями... Приказ был только угрозой для понуждения офицеров оставить ряды Красной армии и не соответствовал фактическому положению вещей: той же болотовской комиссии было указано мною не вменять в вину службу в войсках советской России, «если данное лицо не имело возможности вступить в противобольшевистские армии или если направляло свою деятельность во вред советской власти»[1]. Такой же осторожности в обвинении, такой же гуманности и забвения требовали все приказы добровольческим войскам, распоряжения, беседы с ними.

В отношении генералов, дела которых доходили до Главнокомандующего, цифровые данные дают следующую картину: за период с сентября 1918 года по март 1920-го суду было предано около 25 лиц. Суд присудил одного к смертной казни, четырех к аресту на гауптвахте и 10 оправдал. О трех-четырех справки не имею. По моей конфирмации смертной казни, каторжным работам и арестантским отделениям не был подвергнут никто из них. Наказание заменялось арестом на гауптвахте и в важных случаях — разжалованием в рядовые, причем к декабрю 1919 года все разжалованные были восстановлены в чинах.

Судьба младшего офицерства разрешалась в инстанциях низших. Я приведу здесь результат маленькой анкеты, рисующей и психологию, и практику разрешения этого вопроса самими войсками.

---

[1] Приказ 16 апреля 1919 года, № 693.

«Не будучи долго поддержаны другими, первые добровольцы вместе с тяжкими испытаниями, выпавшими на их долю, впитывали в себя презрение и ненависть ко всем тем, кто не шел рука об руку с ними.

В Кубанских походах поэтому как постоянное явление имели место расстрелы офицеров, служивших ранее в Красной армии.

С развитием наступления к центру России изменились условия борьбы. Обширность театра, рост наших сил, ослабление сопротивления противника, ослабление его жестокости в отношении добровольцев, необходимость пополнять редеющие офицерские ряды — все это изменило и отношение: расстрелы стали редкими и распространялись лишь на офицеров-коммунистов.

Поступление в полки офицеров, ранее служивших в Красной армии, никакими особенными формальностями не сопровождалось. Офицеры, переходившие фронт, большей частью отправлялись в высшие штабы для дачи показаний. Таких офицеров было не так много. Главное пополнение шло в больших городах. Часть офицеров являлась добровольно и сразу, а часть — после объявленного призыва офицеров. Большинство и тех и других имели документы о том, что они в Красной армии не служили. Все они зачислялись в строй, преимущественно в офицерские роты, без всяких разбирательств, кроме тех редких случаев, когда о тех или иных поступали определенные сведения. Часть «запаздывающих» офицеров, главным образом высших чинов, проходила через особо учрежденные следственные комиссии (судные).

Отношение к офицерам, назначенным в офицерские роты, было довольно ровное. Многие из этих офицеров быстро выделялись из массы и назначались даже на командные должности, что в частях Дроздовской дивизии было явлением довольно частым. В Корниловской дивизии пленные направлялись в запасные батальоны, где офицеры отделялись от солдат. Пробыв там несколько месяцев, эти офицеры назначались в строй также в офицерские роты. Иногда ввиду больших потерь процент пленных в строю доходил до 60. Большая часть из них (до 70%) сражались хо-

рошо, 10% пользовались первыми же боями, чтобы перейти к большевикам, и 20% составляли элемент, под разными предлогами уклоняющийся от боев. При формировании 2-го и 3-го Корниловских полков состав их состоял главным образом из пленных. Во 2-м полку был офицерский батальон в 700 штыков, который по своей доблести выделялся в боях и всегда составлял последний резерв командира полка.

В частях Дроздовской дивизии пленные офицеры большею частью также миловались, частично подвергались худшей участи — расстрелу. Бывали случаи, что пленные офицеры перебегали обратно на сторону красных.

Что касается отношения к красному молодому офицерству, то есть к командирам из красных курсантов, то они знали, что ожидает их, и боялись попасть в плен, предпочитая ожесточенную борьбу до последнего патрона или самоубийство. Взятых в плен, нередко по просьбе самих же красноармейцев, расстреливали».

Этот больной вопрос возник и в Красной армии и был разрешен как раз в обратном направлении.

Для агитации среди белых Бронштейн составил лично и выпустил воззвание:

«Милосердие по отношению к врагу, который повержен и просит пощады. Именем высшей военной власти в Советской республике заявляю: каждый офицер, который в одиночку или во главе своей части добровольно придет к нам, будет освобожден от наказания. Если он делом докажет, что готов честно служить народу на гражданском или военном поприще, он найдет место в наших рядах...»

Для Красной армии приказ Бронштейна звучал уже иначе: «Под страхом строжайшего наказания запрещаю расстрелы пленных *рядовых казаков* и неприятельских *солдат*. Близок час, когда трудовое казачество, *расправившись* со своими контрреволюционными офицерами, объединится под знаменем советской власти...»[1]

---

[1] 24 ноября 1918 года, № 64.

Мы грозили, но были гуманнее. Они звали, но были жестоки.

Советская пропаганда имела успех не одинаковый: во время наших боевых удач — никакого; во время перелома боевого счастья ей поддавались казаки и добровольческие солдаты, но офицерская среда почти вся оставалась совершенно недоступной советскому влиянию.

* * *

Армии преодолевали невероятные препятствия, геройски сражались, безропотно несли тягчайшие потери и освобождали шаг за шагом от власти советов огромные территории. Это была лицевая сторона борьбы, ее героический эпос.

Армии понемногу погрязали в больших и малых грехах, набросивших густую тень на светлый лик освободительного движения. Это была оборотная сторона борьбы, ее трагедия. Некоторые явления разъедали душу армии и подтачивали ее мощь. На них я должен остановиться.

Войска были плохо обеспечены снабжением и деньгами. Отсюда — стихийное стремление к *самоснабжению*, к использованию *военной добычи*. Неприятельские склады, магазины, обозы, имущество красноармейцев разбирались беспорядочно, без системы. Армии скрывали свои запасы от центрального органа снабжений, корпуса — от армий, дивизии — от корпусов, полки — от дивизий... Тыл не мог подвезти фронту необходимое довольствие, и фронт должен был применять широко реквизиции в прифронтовой полосе — способ естественный и практикуемый всеми армиями всех времен, но требующий строжайшей регламентации и дисциплины.

Пределы удовлетворения жизненных потребностей армий, юридические нормы, определяющие понятие «военная добыча», законные приемы реквизиций — все это раздвигалось, получало скользкие очертания, преломлялось в сознании военной массы, тронутой общенародными недугами. Все это извращалось в горниле гражданской войны, превосходящей во вражде и жестокости всякую *войну международную*.

Военная добыча стала для некоторых снизу одним из двигателей, для других сверху — одним из демагогических способов привести в движение иногда инертную, колеблющуюся массу.

О войсках, сформированных из горцев Кавказа, не хочется и говорить. Десятки лет культурной работы нужны еще для того, чтобы изменить их бытовые навыки... Если для регулярных частей погоня за добычей была явлением благоприобретенным, то для казачьих войск — исторической традицией, восходящей ко временам Дикого поля и Запорожья, прошедшей красной нитью через последующую историю войн и модернизованную временем в формах, но не в духе. Знаменательно, что в самом начале противобольшевистской борьбы представители «Юго-Восточного союза» казачьих войск в числе условий помощи, предложенной Временному правительству, включили и оставление за казаками всей «военной добычи» (!), которая будет взята в предстоящей междоусобной войне[1].

Соблазну сыграть на этой струнке поддавались и люди, лично бескорыстные. Так, атаман Краснов в одном из своих воззваний-приказов, учитывая психологию войск, атаковавших Царицын, недвусмысленно говорил о богатой добыче, которая их ждет там... Его прием повторил впоследствии, в июне 1919 года, генерал Врангель. При нашей встрече после взятия Царицына он предупредил мой вопрос по этому поводу:

— Надо было подбодрить кубанцев. Но я в последний момент принял надлежащие меры...

Победитель большевиков под Харьковом генерал Май-Маевский широким жестом «дарил» добровольческому полку, ворвавшемуся в город, поезд с каменным углем и оправдывался потом:

— Виноват! Но такое радостное настроение охватило тогда...

Можно было сказать a priori, что этот печальный ингредиент «обычного права» — военная добыча — неминуемо

---

[1] Осень 1917 года. Миссия Молдавского и подполковника Грузинова.

перейдет от коллективного начала к индивидуальному и не ограничится пределами жизненно необходимого.

После славных побед под Харьковом и Курском 1-го Добровольческого корпуса тылы его были забиты составами поездов, которые полки нагрузили всяким скарбом, до предметов городского комфорта включительно...

Когда в феврале 1919 года кубанские эшелоны текли на помощь Дону, то задержка их обусловливалась не только расстройством транспорта и желанием ограничить борьбу в пределах «защиты родных хат». На попутных станциях останавливались перегруженные эшелоны и занимались отправкой в свои станицы «заводных лошадок и всякого барахла».

Я помню рассказ председателя Терского Круга Губарева, который в перерыве сессии ушел в полк рядовым казаком, чтобы ознакомиться с подлинной боевой жизнью Терской дивизии.

— Конечно, посылать обмундирование не стоит. Они десять раз уже переоделись. Возвращается казак с похода нагруженный так, что ни его, ни лошади не видать. А на другой день идет в поход опять в одной рваной черкеске...

И совсем уже похоронным звоном прозвучала вызвавшая на Дону ликование телеграмма генерала Мамонтова, возвратившегося из тамбовского рейда:

«Посылаю привет. Везем родным и друзьям богатые подарки, донской казне 60 миллионов рублей, на украшение церквей — дорогие иконы и церковную утварь».

* * *

За гранью, где кончается «военная добыча» и «реквизиция», открывается мрачная бездна морального падения: *насилие и грабежи.*

Они пронеслись по Северному Кавказу, по всему Югу, по всему российскому театру гражданской войны, творимые красными, белыми, зелеными, наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий народа, путая в его сознании все «цвета» военно-политического спектра и не раз стирая черты, отделяющие образ спасителя от врага.

Много написано, еще больше напишут об этой язве, разъедавшей армии гражданской войны всех противников на всех фронтах. Правды и лжи.

И жалки оправдания, что там, у красных, было несравненно хуже. Но ведь мы, белые, вступали на борьбу именно против насилия и насильников!.. Что многие тяжелые эксцессы являлись неизбежной реакцией на поругание страны и семьи, на растление души народа, на разорение имуществ, на кровь родных и близких — это не удивительно. Да, месть — чувство страшное, аморальное, но понятное, по крайней мере. Но была и корысть. Корысть же — только гнусность. Пусть правда вскрывает наши зловонные раны, не давая заснуть совести, и тем побудит нас к раскаянию более глубокому и к внутреннему перерождению, более полному и искреннему.

Боролись ли с недугом?

Мы писали суровые законы, в которых смертная казнь была обычным наказанием. Мы посылали вслед за армиями генералов, облеченных чрезвычайными полномочиями, с комиссиями для разбора на месте совершаемых войсками преступлений.

Мы — и я, и военачальники — отдавали приказы о борьбе с насилиями, грабежами, обиранием пленных и т.д. Но эти законы и приказы встречали иной раз упорное сопротивление среды, не воспринявшей их духа, их вопиющей необходимости. Надо было начинать рубить с голов, а мы били по хвостам. А Рада, Круги, казначейство, общество, печать в то же время поднимали не раз на головокружительную высоту начальников храбрых и удачливых, но далеких от моральной чистоты риз, создавая им ореол и иммунитет народных героев.

* * *

За войсками следом шла контрразведка. Никогда еще этот институт не получал такого широкого применения, как в минувший период гражданской войны. Его создавали у себя не только высшие штабы, военные губернаторы, почти каждая воинская часть, политические организации, донское, кубанское и терское правительства, наконец, даже... отдел пропаганды... Это было какое-то поветрие, болезненная мания, созданная разлитым по стране взаимным недоверием и подозрительностью.

Я не хотел бы обидеть многих праведников, изнывавших морально в тяжелой атмосфере контрразведывательных учреждений, но должен сказать, что эти органы, покрыв густою сетью территорию Юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа. Особенно прославились в этом отношении контрразведки Киева, Харькова, Одессы, Ростова (донская). Борьба с ними шла одновременно по двум направлениям — против самозванных учреждений и против отдельных лиц. Последняя была малорезультативна, тем более что они умели скрывать свои преступления и зачастую пользовались защитой своих, доверявших им начальников. Надо было или упразднить весь институт, оставив власть слепой и беззащитной в атмосфере, насыщенной шпионством, брожением, изменой, большевистской агитацией и организованной работой разложения, или же совершенно изменить бытовой материал, комплектовавший контрразведку. Генерал-квартирмейстер штаба, ведавший в порядке надзора контрразведывательными органами армий, настоятельно советовал привлечь на эту службу бывший жандармский корпус. Я на это не пошел и решил оздоровить больной институт, влив в него новую струю в лице чинов судебного ведомства. К сожалению, практически это можно было осуществить только тогда, когда отступление армий подняло волны беженства и вызвало наплыв «безработных» юристов. Тогда, когда было уже поздно...

Наконец, огромные расстояния, на которых были разбросаны армии — от Орла до Владикавказа, от Царицына до Киева, — и разобщенность театра войны в значительной мере ослабляли влияние центра на быт и всю службу войск.

* * *

Я прочел эти черные страницы летописи и чувствую, что общая картина не закончена, что она нуждается в некоторых существенных деталях. В разные периоды борьбы Вооруженных сил Юга моральное состояние войск было различным. Различна была также степень греховности отдельных войсковых частей. Десятки тысяч офицеров и солдат — павших и уцелевших — сохраняли незапятнанную совесть. Многие тысячи даже и грешников, не будучи в состоянии устоять против искушения и соблазнов раз-

вратного времени, умели все же жертвовать другим — они отдавали свою жизнь. Боролись и умирали. Быть может, за это суд Божий и приговор истории будет менее суров:

— Виновны, но заслуживают снисхождения!

Черные страницы армии, как и светлые, принадлежат уже истории. История подведет итоги нашим деяниям. В своем обвинительном акте она исследует причины стихийные, вытекавшие из разорения, обнищания страны и общего упадка нравов, и укажет вины: правительства, не сумевшего обеспечить армию; командования, не справившегося с иными начальниками; начальников, не смогших (одни) или не хотевших (другие) обуздать войска; войск, не устоявших против соблазна; общества, не хотевшего жертвовать своим трудом и достоянием; ханжей и лицемеров, цинично смаковавших остроумие армейской фразы «от благодарного населения» и потом забросавших Армию каменьями...

Поистине нужен был гром небесный, чтобы заставить всех оглянуться на себя и свои пути.

ГЛАВА XII
БОРЬБА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1918 ГОДА

Добровольческая Армия по мере своего продвижения в глубь Кавказа попадала в обстановку сложных и запутанных взаимоотношений.

Чрезвычайно разнообразны те исторические, национальные, социальные, религиозные и бытовые условия, которые создали удивительную кавказскую мозаику и приводили в движение события там в первый год революции.

Мы видели, что конец 1917 и начало 1918 годов ознаменованы были расслоением русского элемента в крае (иногородние, казаки), разложением терского казачества и обособлением в этнографических пределах мелких народностей Северного Кавказа — обособлением, болезненно отозвавшимся на судьбах казачества.

С весны 1918 года эти процессы углубляются, и кавказские народы в большей или меньшей степени подпадают под

влияние советской власти. Оно оспаривается, впрочем, Турцией, с конца 1917 года усиленно привлекавшей горцев, при посредстве своих и туземных эмиссаров, пантюркистской и панисламистской пропагандой. Вначале эти два влияния были резко враждебными, потом, после заключения мира, они временно потеряли свою остроту. Эти внешние воздействия запутали еще больше внутриплеменную рознь, которая сдерживалась некогда сильной властью, а теперь положительно раздирала кавказские народы, давая возможность ничтожной советской силе утвердиться на Северном Кавказе.

Состав населения Терской области определялся в 1917 году следующей примерной таблицей:

Все население	— 1 450 712
В том числе русских:	
а) казаков	20%
б) иногородних	20%
Итого	40%
Горцев:	
а) осетин	17%
б) чеченцев	16%
в) кабардинцев	12%
г) ингушей	4%
Итого	49%
Кочевников	$4^1/_2$%
Прочих (армяне, грузины, персы, немцы и др.)	$6^1/_2$%

Участие этих народов в политической жизни края далеко не соответствовало их численному составу.

Ингуши — наименьший по численности и наиболее спаянный и сильный военной организацией народ оказался, по существу, вершителем судеб Северного Кавказа. Моральный его облик определен был давно уже учебниками географии: «Главный род занятий — скотоводство и грабеж». Последнее занятие здесь достигло особого искусства. Политические стремления исходили из той же тенденции. Ингуши стали ландскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем

крае. Одновременно они старались завязать сношения с Турцией и искали турецкой помощи из Елисаветполя, а немецкой из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли терский совет комиссаров, но при этом жестоко разграбили город и захватили государственный банк и монетный двор. Они грабили всех соседей: казаков и осетин во имя «исправления исторических ошибок», своего малоземелья и чересполосицы; большевиков — в уплату за свои труды и службу; кабардинцев — просто по привычке, а владикавказских граждан — за их беспомощность и непротивление.

Их ненавидели все, а они занимались своим «ремеслом» дружно, широко, организованно, с большим размахом, став наиболее богатым племенем на всем Кавказе.

Осетины помимо многих частных взаимно враждебных подразделений представляли два основных лагеря — православных и мусульман. Первые дружили с казаками, вторые с ингушами. Командование в лице генерала Фидарова[1] тянуло к объединению с Турцией и к ингушам, национальный совет и большая часть интеллигенции поддерживали советскую власть. Народ же, ненавидя большевиков, оставался пассивным и не следовал ни за своими правителями, ни за командованием; официально признавал советскую власть и тайно, неорганизованно входил во все комбинации для ее свержения.

В конце июня две-три сотни осетин приняли участие в нападении на Владикавказ. После неудачи этого выступления собравшийся Ардонский совет, под влиянием оплачиваемой большевиками партии «Кермен», вновь признал единогласно власть народных комиссаров и даже высказался за вооруженную поддержку ее. Но народ не откликнулся и тогда на постановление своих представителей. Большинство осталось пассивным, часть же осетин поступала в ряды терцев или в дерущиеся на их стороне отряды полковников Хабаева и Кибирова. Эта приверженность Осетии к старым государственным связям и полная несклонность ни к

[1] Бывший начальник Туркестанской казачьей дивизии.

большевизму, ни к крайним формам национальной независимости послужили источником многих бед: и ингуши, и в особенности большевики разорили и уничтожили много осетинских аулов и хуторов на Курпе, в Моздокском отделе, возле Владикавказа и на Военно-Грузинской дороге.

Кабарда, занятая большевистскими гарнизонами и управляемая большевистскими комиссарами, смирилась сразу. Отношение края к советской власти определялось просто географическим положением его: Малая Кабарда, сдавленная между большевиками и ингушами, признала всецело советскую власть, а Большая Кабарда (Нальчикский округ), примыкая к фронту восставших терских казаков (Прохладненскому), выставила против большевиков отряд сначала в две сотни, потом разросшийся до бригады конницы под начальством ротмистра Серебрякова — представителя кабардинских узденей (дворянства). В то же время представитель «кабардинского пролетариата» пастух Катоханов на советские средства сформировал отряд из кабардинцев-большевиков, потерпев вскоре поражение в бою с Серебряковым.

Чеченцы, помимо сложной внутренней своей распри, разделились и по признакам внешней политики, образовав одновременно два национальных совета: Грозненский округ, имевший старые счеты с терцами, по постановлению Гойтинского съезда шел с большевиками и получал от них деньги, оружие и боевые припасы. Другая часть чеченцев — Веденский округ, — подчиняясь решению Атагинского съезда, стоял на стороне казаков, хотя и не оказывал им непосредственной помощи, и был против большевиков. Первые были связаны поэтому теснее с Ингушетией, вторые с Дагестаном. Между обеими группами разгоралась сильнейшая вражда, приводившая иногда к многодневным кровопролитным боям, чем до некоторой степени смягчалась опасность положения терских казаков.

Осенью 1918 года Чечня установила близкие сношения с турецким командованием в Баку, которое через Дагестан оказывало чеченцам помощь оружием.

Наиболее стойкою в борьбе с большевиками оказалась *Дагестанская область*. Вся весна и лето 1918 года прошли в

мелких стычках дагестанцев с красногвардейскими отрядами, стремившимися проникнуть по астраханскому тракту в Баку, и с плоскостными кумыками (на севере области), примкнувшими всецело к большевикам. Исход борьбы был неблагоприятен для дагестанцев: Петровск, Темир-Хан-Шура, Дербент были заняты местными и пришлыми красногвардейцами, овладевшими железнодорожной линией и приморской дорогой. Борьба в нагорной части, однако, продолжалась. Турецкая пропаганда в Дагестане раздувала всемерно религиозный фанатизм и возбуждала туркофильские настроения; в край ввозилось в довольно большом количестве оружие и боевые припасы, и с середины мая в него проникали турецкие инструкторы и аскеры. Со 2 сентября 1918 года, когда турки заняли Баку, эта связь значительно упрочилась, в Дагестане появились турецкие отряды, и в результате соглашения турки обещали двинуть туда дивизию.

«Все дороги, ведущие из России в Азербайджан и Анатолию, проходят через Северный Кавказ, который должен поэтому находиться в надежных руках» — таков был лозунг пантурецкого движения, воспринятый по преимуществу местной политиканствующей интеллигенцией. Но в народе это движение, по-видимому, не имело глубоких корней — потому ли, что турецкая оккупация Азербайджана наглядно показала свою темную изнанку, потому ли, что связь с Россией была еще достаточно сильна. Дагестанцы расценивали приходящие извне разноплеменные войска прежде всего как помощь против большевиков, как средство водворения порядка. Кинематографическая лента прикаспийской жизни в 1918 году меняла поэтому быстро и почти безболезненно свои картины. Летом турецкие инструкторы и отряды... В начале сентября — появление войск Л. Бичерахова, в состав которых входило много ненавистных мусульманам армян; Бичерахов занял Петровск и заключил договор с полковником князем Тарковским[1], «командующим дагестанскими войсками», о выводе турок в двухдневный срок в Гуниб и об удалении их затем в двухнедельный срок из пределов Дагестана... В октябре к Петровску подошла турецкая бригада, Бичерахов на судах ушел в море, турки совместно с дагестанцами устроили резню несчастных армян и восстановили взаимный альянс... В ноябре турецкие эшелоны спешно ушли на Баку и Тифлис. Их сменил полковник Роуленсон и небольшой английский отряд. Туркофильское настроение быстро ослабело, а имам Дагестана Нажмудин Гойтинский вместо газавата стал проповедовать связь с единой Россией...

[1] Одновременно князь Тарковский, бывший членом Дагестанского правительства, принял диктаторскую власть.

Такова была та национально-политическая канва, на которой кавказская советская власть, не блиставшая ни умом, ни талантами, рисовала свои кровавые узоры, не заглядывая в будущее, не стесняясь государственными интересами, ей чуждыми, исходя только из чувства самосохранения.

* * *

9 марта 1918 года, после добровольного устранения «Терско-Дагестанского правительства»[1], на Тереке установилась советская власть. Номинально Терская область объявлена была составной частью Российской советской республики, связь с которой поддерживалась, впрочем, лишь присутствием во Владикавказе представителя всероссийского ЦИК «чрезвычайного комиссара» Орджоникидзе. Верховной властью края считался «Терский народный съезд»[2], органом управления и законодательства — выделенный им «Народный совет»[3] и, как власть исполнительная, «Совет народных комиссаров». Эта трехстепенная власть имела соответственные подразделения в казачьих отделах и горских округах. Независимо от этих органов в крае продолжали свое существование полунезависимые мест-

[1] «Терско-Дагестанское правительство» возникло в декабре 1917 года в результате соглашения Терского казачьего правительства, Союза горцев Кавказа и Союза городов Терской и Дагестанской областей.

[2] Собрание представителей советов и всех социалистических партий, от эсеров до большевиков включительно.

[3] В нем участвовали горская и казачья фракции.

ные советы и исполнительные комитеты рабочих и солдатских депутатов, сохранившиеся в Кизлярском и Моздокском отделах органы терского казачьего самоуправления, а во Владикавказе, Моздоке и других городах некоторое время и социалистические городские думы. Такое нагромождение властей усиливало лишь безвластие и анархию[1].

Во главе совета народных комиссаров стал эмигрант Ной-Мойше Баучидзе[2] — грузинский еврей, начавший свою революционную деятельность еще в 1905 году ограблением Квирильского казначейства; в состав совета вошли люди по преимуществу с уголовным прошлым: Пашковский (земледелия), Фигатнер (внутренних дел), Бутырин (военных дел) и другие; почти все совершенно чуждые краю.

Новая власть не имела надежной опоры в крае, в котором почти не было промышленности и, следовательно, фабричного пролетариата — основной ее силы. Красногвардейские отряды, формировавшиеся из солдатчины и местных иногородних, обслуживали преимущественно местные совдепы, плохо подчинявшиеся центру. Поэтому, наряду с попытками создания собственной армии из подонков владикавказских окраин и пришлого бездомного, бродячего люда, вся политика власти, все декреты, постановления съездов, агитация направлены были к разделению местных элементов и к привлечению благоприятствующей военной силы, связанной с советами если не идеологией, то материальными обоюдными выгодами.

Поперек пути Совета стояло терское казачество, хотя и сильно тронутое внешними проявлениями большевизма, но цепко державшееся еще за свои привилегии, преимущественно экономического характера. Совет считал поэтому необходимым разрушить военную и экономическую силу

[1] В одном селении бывало до 30 правивших «народных избранников», получавших содержание в 15—20 тысяч.

[2] Убит 20 июля 1918 года. Его сменил Пашковский, вернувшийся по амнистии с каторжных работ, к которым был приговорен за грабеж.

казачества. Это решение было обосновано первоначально не столько реальным противодействием терцев, сколько инстинктивным страхом нового правящего класса перед «страшной силой казачества» и его «реакционной ролью» в прошлом. Об этом большевистские ораторы говорили на всех съездах, сопровождая свои речи личными красочными воспоминаниями о «казачьей плети». Происходило большое недоразумение, так как казаки наиболее склонны были опереться на советскую власть в своей борьбе против чеченцев, ингушей и притеснявших их непокорных центру местных совдепов.

Насаждая и поддерживая материально горские национальные советы, большевики начали тщательно вытравлять остатки казачьего самоуправления. Особым декретом все существовавшие до того времени войсковые части объявлены были распущенными, но исполнение декрета последовало только в отношении казачьих частей, так как в то же время по предложению комиссара военных дел Бутырина собрание горских фракций Народного совета постановляло организовать сводный отряд «для борьбы с контрреволюцией». Совдепами снаряжались целые экспедиции для поголовного разоружения станиц. За разоружением следовало полное истощение реквизициями и грабежом, насилиями и убийствами. Весьма примитивный «аграрный закон», принятый на 3-м Терском народном съезде, отнимал у казаков земли в пользу крестьян и «исправлял исторические ошибки» в пользу чеченцев и ингушей мерами, крайне элементарными по замыслу и крайне жестокими по выполнению. Так, например, соединенными силами ингушей и Красной гвардии были разгромлены 4 станицы Сунженской линии, стоявшие поперек пути между горной и плоскостной Чечней[1]; казаки из них были выселены поголовно (до 10 тысяч) и с остатками своего добра безоружные потянулись на север без каких-либо определенных перспектив; они гибли и мерзли по дороге, подвергаясь вновь нападению и ограблению со стороны горцев. Положение этих острых чересполосных клиньев

[1] Сунженская, Аки-Юртовская, Тарская и Тарский хутор.

исторического казачьего расселения по Тереку и Сунже было особенно тяжелым.

Под ударами со всех сторон воля к сопротивлению начала падать в казачестве. Многие станицы Волжского и Сунженского отделов разоружались по первому окрику большевиков и выдавали небольшим красногвардейским частям и ингушам припрятанное оружие, пушки, боевые припасы. Ибо вопрос шел уже не о сохранении «вольностей», а только о самосохранении.

На 7-м казачьем съезде, под давлением Совета комиссаров и большевиствующих казаков, терцы постановили отказаться от всех своих привилегий и «вольностей». Но и это самоотречение не изменило положения, и преследование казачества продолжалось с прежней силой.

* * *

Политика и практика советской власти на Кавказе неизбежно должна была привести к восстанию наиболее угнетаемых элементов, какими являлось русское офицерство вообще и терское казачество.

По Кавказу, и особенно на минераловодской группе, сосредоточилось много тысяч офицеров (на одной группе не менее десятка тысяч), проживавших остатки своего достояния или бедствовавших, обезоруженных совдепами и находившихся под их моральным гнетом и усиленным надзором. Под влиянием требований Москвы Совет Владикавказских комиссаров в апреле решил приступить к формированию Красной армии, для чего обратился к офицерам с патриотическим воззванием помочь родине, которой угрожает немецко-турецкое нашествие. Вместе с тем Совет обратился с предложением стать во главе формирований «Народной армии» к генералам Рузскому, Радко-Дмитриеву и Мадритову. Первые два отклонили предложение и были убиты; генерал Мадритов вошел в сношения с Ноем Баучидзе. По распоряжению советской власти в мае состоялся офицерский митинг в Пятигорске с участием не менее тысячи человек, который после долгих прений вынес резолюцию: «Принимая во внимание крайне тяжелое положение Родины, необходимо создать для борьбы с внешним врагом Народную армию, построенную на самой суровой дисциплине, принятой в одной из лучших республиканских армий. При этом все боеспособные офицеры обязаны вступить в таковую, не сводя личных счетов и не предъявляя никаких личных требований. Что касается поступления офицеров в Красную гвардию, то это предоставляется доброй воле каждого». Эта резолюция, по-видимому, удовлетворила Совет комиссаров, который в начале июня обратился к выделенной митингом комиссии с предложением рекомендовать ему генерала в качестве командующего войсками Терской области. Предназначен был генерал Мадритов, который, сформировав себе штаб, переехал во Владикавказ в распоряжение Совета комиссаров.

Руководители всей этой сложной комбинации уверяли, что целью их было «сформировать Терскую армию, совершить переворот и присоединиться к Добровольческой армии...»[1]. Вероятно, такие иллюзии поддерживали многих офицеров в советской России, успокаивали совесть и оправдывали бездеятельность. Фактически у кавказского офицерства[2] ни желания, ни смелости, ни малейшей работы мы не видели. Штаб Мадритова не проявлял никаких признаков жизни, а вскоре всякая связь его с минераловодской группой порвалась: в июне временно захватил Кисловодск партизан полковник Шкуро и оставил его, а из Петрограда вернулся на Кавказ жестокий пятигорский сатрап Анджиевский[3]; всякие местные организации распались, начались казни... Офицерство беспомощно подставляло свои головы под удары большевистских палачей или распылялось по станицам и аулам; очень немногие ушли со Шкуро и в последовавшей летом и осенью 1918 года вооруженной борьбе из, по крайней мере, двух десятков тысяч офицеров приняли участие лишь отдельные лица, небольшой отряд в 300—500 человек полковника Литвинова и два-три более мелких.

Общерусский белый центр на Кавказе так и не создался; терские же казаки в этот период жили еще фронтовыми

[1] Из записки генерала Мадритова.

[2] То есть живших в то время на Кавказе.

[3] Председатель Пятигорского совета.

настроениями и относились холодно к своему офицерству и недружелюбно к пришлому. По крайней мере, отряд Литвинова, ставши на Владикавказский фронт, испытывал большую нужду: «Продовольствие от казаков было самое недостаточное, даже воду офицеры возили себе сами — в станицах не нашлось для этого быков или лошадей. При этом... никакого содержания офицеры не получали, были совершенно раздеты и босы». Элемент этот был, однако, наиболее послушным и боеспособным, и терское командование охотно использовало его на опаснейших участках фронта, где многие «пришельцы» сложили свои головы, защищая терские станицы...

* * *

Подготовка Терского казачества к восстанию велась с конца мая в Минеральной группе, в Моздоке, в Кизляре и Владикавказе (казачья фракция Народного совета). Выступление предполагалось в августе, после окончания полевых работ, но захват полковником Шкуро Кисловодска в середине июня дал сигнал к преждевременному восстанию Волжского отдела, наиболее пострадавшего (Минеральная группа), быстро перекинувшемуся и в отдел Моздокский, который большевики не успели обезоружить. Большевики спешно направили против восставших отряды Красной гвардии из Пятигорска, Владикавказа и Минеральных Вод. Георгиевск был скоро ими взят, но под Прохладной казаки нанесли большевикам тяжелое поражение. С тех пор в течение пяти месяцев шла упорная борьба восставших терцев, заключенных в тесном районе между Прохладной и Кизляром и окруженных со всех сторон врагами.

Военно-политическим центром стал Моздок. Туда же переехала казачья фракция Народного совета из Владикавказа. 20 июня в Моздоке состоялся съезд казаков и крестьян (юртовых) Терского войска, который избрал в качестве исполнительного органа «Казацко-крестьянский совет» во главе с эсером, инженером Бичераховым[1]. Этот совет и стал во главе движения, признав командующим войсками вместо генерала Мистулова, раненного под Прохладной, полковника Федюшкина.

[1] Брат партизана.

Политическое возглавление наложило отпечаток на весь ход борьбы. В течение июля шли длительные переговоры между Казацко-крестьянским советом и комиссарами, потом между советом и 4-м Съездом трудовых народов, собравшимся во Владикавказе. Казацко-крестьянский совет, признавая советскую власть, требовал только изменения политики советов комиссаров в отношении терцев, прекращения репрессий, возвращения вооружения и отставки наиболее одиозных комиссаров. «Съезд народов» требовал «полного подчинения и выдачи зачинщиков мятежа». Переговоры прервались неожиданно восстанием во Владикавказе, поднятым полковниками Беликовым и Соколовым, которые опирались на несколько осетинских сотен, стоявших в пригородной слободе, на городскую самооборону и на казаков трех ближайших сунженских станиц. В ночь на 25 июля полковник Соколов с 80-ю казаками ворвался в центр города, завладел Апшеронскими казармами и разоружил часть красноармейцев, но никем поддержан не был. Сотни то подходили к городу и вступали в бой с засевшими в нем большевиками, то вновь расходились по домам, не проявляя никакого подъема, никакой связи с организацией.

Тем временем часть комиссаров во главе с Пашковским была схвачена, но отпущена на свободу по просьбе «Народного съезда». Сам «съезд» вскоре разбежался, а оставшиеся члены его, преимущественно эсеры, ввиду падения «совнаркома», выделили из своего состава «Исполнительный комитет», который возглавил «Терскую республику» и владикавказское восстание и назначил «командующим всеми вооруженными силами республики» генерала Мадритова[1]. Однако поскольку ближайшие «вооруженные силы» драться не хотели, ввиду угрозы от ингушей их станицам, то на 12-й день полной и беспросветной путаницы комитет и командующий покинули Владикавказ.

[1] Предписание 1 (14) августа, подписанное председателем комитета И. Семеновым.

Злополучный город грабили сначала уходящие осетины, потом оставшиеся красноармейцы и, наконец, вошедшие в него ингуши. Совнарком был восстановлен, а исполнительный комитет, прибыв в Моздок, при содействии Бичерахова объявил себя там «Временным народным правительством Терского края», подчинив своей власти Казацко-крестьянский совет и восставших терцев[1]. Одновременно в Моздоке открыл действия «областной комитет социал-революционеров», став фактически третьей надстройкой многостепенной и чужеродной казачеству власти.

Все эти сцены политической чехарды сильно напоминали бы сатиры Щедрина или пародии Вампуки, если бы не были густо окрашены человеческой кровью, если бы не ставили на карту судьбы Терского войска, Кавказа и белого движения.

В середине сентября в Моздоке созван был новый казацко-крестьянский съезд Терского края (края — в пределах полосы Прохладная—Кизляр!), который должен был разрешить капитальнейшие вопросы: о построении власти в Терской республике, о том месте, которое должна занять она в федеративной России, и об отношении к надвигающейся на большевиков с севера Добровольческой армии...[2] В то время, когда фронт изнывал уже от боевых тягот и неустройства, недуг словоблудия поистине поразил глубоко российских граждан, извратив масштаб и перспективы, отвлекая их от простых и ясных целей борьбы.

Связь с Добровольческой армией установилась только в сентябре посылкой аэропланов через фронт XI советской

[1] Оригинально «происхождение» членов этого правительства: председатель Семенов — представитель городского населения Владикавказа; Орлов — от самоуправления Пятигорска; Полесюк — от слобожан Грозного, то есть от тех групп, которые были в борьбе нейтральны или даже выступали за большевиков... В состав правительства входил и «военный министр» Овчаренко, имевший свой особый штаб.

[2] На съезде правительство было частично переизбрано. Председателем стал Бичерахов, а в должности председателя Казацко-крестьянского совета его заменил Букановский.

армии. 9 сентября на аэроплане был послан на Терек генерал Колесников и небольшая сумма денег для офицерских формирований, в распоряжение генерала Левшина[1], которому вместе с тем предписано было добиваться установления на Тереке единоличной атаманской власти. Штаб мой послал терцам общую ориентировку и сообщил ближайшие задачи и цели Добровольческой армии, а именно: движение к пределам Терека и освобождение от большевиков Северного Кавказа. Это известие о близкой помощи подняло значительно настроение командного состава и казаков, но холодно было встречено революционной демократией. Бичерахов по этому поводу говорил генералу Мадритову: «Неизвестно, что нам несет Добровольческая армия; быть может, нам (терцам) придется и с ней сражаться»[2].

В результате на Тереке образовались две влиятельные группы. Одна в Проходной — вокруг командующего войсками полковника Федюшкина, бывшего председателя Войскового круга Губарева и Левшина. Другая в Моздоке — вокруг Бичерахова, Семенова и социал-революционного комитета.

Все начинания терского командования разбивались о противодействие правительства. Командование желало ввести всеобщую мобилизацию, полковую организацию и нормальную дисциплину. Правительство объявляло о формировании «добровольческих отрядов имени Учредительного собрания, на основах добровольной сознательной дисциплины», с митингами, часто с выборами начальников. Командование стремилось на запад, чтобы через Пятигорск войти в боевую связь с Добровольческой армией... Правительство тянуло на восток, к Петровску, где обосновалось социал-революционное Каспийское правительство Бичерахова-брата, мечтавшее также подчинить своему влиянию весь Северный Кавказ, Черноморье,

[1] Раньше никакой связи с ним у нас не было.

[2] Такое же отношение к армии Бичерахов проявил на «Народном съезде», но он и его единомышленники встретили бурный протест собрания (бюллетень заседания 14 сентября).

Кубань[1], и где сосредоточился в начале сентября его отряд. А казачество не разбиралось, конечно, в стратегии, не имело большого желания идти ни на восток, ни на запад, наивно думая побороть большевиков *обороной* родных станиц и зная определенно, что ослабление их гарнизонов повлечет неминуемо чеченское или ингушское нашествие... «Родные хаты» — стимул большого морального значения, но почти всегда гибельный для стратегии.

Армия так и не сложилась. Бились отдельные отряды, чисто ополченского характера. Казаки служили *посменно*, появляясь на фронте на основании «сознательной дисциплины» на одну, потом на две недели, и не раз, не дожидаясь запаздывающей смены, расходились по станицам, обнажая фронт. Боевые припасы были на исходе, помощь ниоткуда не приходила...

Под влиянием всех этих условий, при содействии большевистской агитации и более чем странной правительственной пропаганды падал дух казачий. Некоторые станицы целиком или частью приняли сторону большевиков. «Происходила невиданная война, — говорит Е. Бунаковский. — Население делилось на части и неделями сражалось друг с другом на улицах родной станицы. Сторонникам советской власти помогали красноармейцы. И когда борьба делалась невозможной, не желавшие подчиняться большевикам уходили в сторону Грозного. Образовался новый казацко-казачий фронт...»

Достойно удивления, как при этих условиях — без дисциплины, без денег, без боевых припасов, почти в полном окружении — в течение пяти месяцев командный состав и лучшая часть казачества находили силы продолжать борьбу. Дрались и умирали, не теряя веры в свое дело и в конечный его успех.

* * *

Ведя бой с переменным успехом, казачьи отряды постоянно меняли свой состав, доходивший в среднем до 12 тысяч человек при 40 орудиях, и к осени 1918 года занимали

---

[1] От него получена была помощь в 2 миллиона рублей и боевые припасы.

следующее расположение: полковник Агоев стоял у станицы Зольской в переходе от Пятигорска; полковник Вдовенко — в переходе к юго-востоку от Георгиевска. Это были лучшие по стойкости и дисциплине войска. Отдельные терские отряды прикрывали казачий «остров» с севера у Курской, с юга от Владикавказа — у Котляревской. Бои шли и у Грозного — с местными большевиками, и у Кизляра, к которому подошли красноармейские части из Астрахани; при этом оба города переходили из рук в руки.

Большую Кабарду и город Нальчик занимали осетинские и кабардинские отряды Кибирова и Серебрякова, а против Владикавказа стояли осетинские сотни полковника Хабаева.

Под давлением Добровольческой армии положение северокавказского фронта большевиков становилось все более угрожающим, так как он имел в своем распоряжении только одну коммуникационную линию — безводный Астраханский тракт. Очевидно, с целью пробить себе путь через Моздок и Кизляр, большевики предприняли в начале ноября серьезную операцию в этом направлении, поведя наступление двумя главными колоннами: от Георгиевска на Моздок и от Пятигорска на Прохладную.

21 октября большевики заняли станицу Зольскую и 28-го — Прохладную. Одновременно сильная колонна их подошла к Моздоку. Терцы отступали без серьезного сопротивления... Пал Грозный из-за отсутствия подкреплений, отвлеченных к Моздоку, и самовольного оставления казаками важнейшего участка позиции. Снята была блокада Кизляра, и казаки, атаковавшие город, разошлись по станицам, где началась уже веселая пора давки винограда.

Командующий войсками полковник Федюшкин был к тому времени смещен правительством и на его место назначен выздоровевший от ран генерал Мистулов — человек высокодоблестный и честный, но еще менее самостоятельный. На соединенном заседании Временного правительства и Казацко-крестьянского съезда решено было «объявить всеобщую мобилизацию и командировать особую комиссию в отделы для ознакомления населения с критическим положением всего казачества, необходимостью новых жертв».

Но было уже поздно.

На важнейших направлениях выбыли из строя начальники: полковник Агоев был ранен, Вдовенко заболел. Боевых припасов почти не оставалось. Все чаще стали происходить случаи самовольного оставления позиций и митинги. На всех направлениях шло полное отступление, и генерал Мистулов под влиянием непрекращавшихся ссор и интриг в правительстве и совете, не будучи в состоянии остановить развал фронта, покончил жизнь самоубийством.

Еще одна искупительная жертва за чужие грехи.

Между тем большевики заняли и Моздок, разделив терские отряды, действовавшие к западу и востоку от него. Правительства передали власть «триумвирату» из Бичерахова, Букановского и вновь избранного командующего войсками генерала Колесникова и рассеялись. Терский фронт рухнул. Часть войск (тысячи две) с командующим, новым правительством и эсеровским комитетом направилась к Петровску; отряды Литвинова, Агоева, Серебрякова и Кибирова (общим числом около 4 тысяч человек) кружным путем, через горы южнее Пятигорска, вышли к Баталпашинску на соединение с Добровольческой армией; часть казаков «Владикавказского фронта» вместе с отрядами Хабаева пробилась к Военно-Осетинской дороге... Остальные казаки разошлись по станицам.

Весь Терский край вновь попал под власть большевиков, начавших кровавую расправу.

ГЛАВА XIII
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ

После поражения, понесенного 7 ноября под Ставрополем, XI советская армия отступала в двух главных направлениях: Таманская группа — на северо-восток, к селу Петровскому, и группа Гудкова — на восток к Бешпагиру. 11 ноября 1-й Конный корпус генерала Врангеля, форсировав реку Калаус и преодолев сопротивление Таманской группы, соединившейся уже с частями красных, действовавших севернее, взял село Петровское, узел дорог, ближайшую базу противника. В течение четырех дней в этом районе происходили тяжелые бои, и село дважды переходило из рук в руки. Корпус понес большие потери, особенно в офицерском составе, причем едва не попал в руки противника штаб корпуса, расположившийся в селе Константиновке. Только 15-го генерал Врангель овладел окончательно Петровским. Измотанные до последней степени многомесячными непрерывными боями кони отказывались уже работать, и кубанцы преследовали противника шагом, атаковали рысью. Большевики несколько раз переходили в контрнаступление против села Петровского, но были оттеснены с большим уроном.

1-й армейский корпус генерала Казановича, преследовавший Гудкова, встретил также серьезное сопротивление на линии реки Бешпагирки и в течение девяти дней дрался с переменным успехом в районе Бешпагира. Только 20 ноября обозначился успех и на этом направлении: генерал Врангель, оставив небольшой заслон у Петровского, бросил 1-ю Конную дивизию к юго-западу на Спицевку, в тыл войскам Гудкова. Застигнутая врасплох этим неожиданным ударом, атакованная одновременно с фронта 1-й дивизией и обойденная кубанцами полковника Науменко по долине реки Горькой с юга, группа Гудкова была смята и, теряя пленных (более 3 тысяч) и орудия, бросилась на восток. Генерал Казанович преследовал большевиков за Калаус на расстояние двух переходов и только к 24-му был остановлен ими на параллели села Медведского. В то же время генерал Врангель, искусно действуя по внутренним операционным линиям, к вечеру 21-го спешно сосредоточил свои силы вновь к Петровскому, и на другой день таманские и ставропольские полки, успевшие обложить село с севера и юга и даже ворваться в южную его окраину, были разбиты и спешно отошли к востоку.

* * *

К концу ноября общее стратегическое положение на Северокавказском фронте было таково:

1. На крайнем правом крыле в направлении Минеральных Вод действовал третий армейский корпус генерала Ля-

хова[1], силою в 10 тысяч при 30 орудиях и 4 бронепоездах. Он занимал фронт по обе стороны Владикавказской железной дороги против станции Курсавки, а правым флангом своим подходил на переход к железной дороги линии Кисловодск—Минеральные Воды. Корпус был недавно сформирован, и главную массу его составляли войска ополченского типа.

2. В центре, в районе Ставрополя, расположено было два корпуса: а) 1-й армейский генерала Казановича[2] — силой в 6800 штыков и сабель, 21 орудие — стоял у Сергиевки, выдвинув передовые части против Медведского и Александровского; б) 1-й Конный корпус генерала барона Врангеля[3] — силою до 6200 сабель и штыков, 20 орудий — стоял в районе Петровского.

3. В Приманычских степях действовал отряд генерала Станкевича[4] — 2—3 тысячи штыков и сабель, 4 орудия, — держа связь с Донской армией и прикрывая левый фланг нашего расположения.

Всего в Кавказской группе Добровольческой армии было около 25000 людей при 75 орудиях.

Против наших войск располагалась XI армия красных, под командой немца Крузе. Состав, командование и организация ее непрестанно менялись как менялась, и человеческая волна, переливавшаяся через ее кадры. В состав ее входило 12 пехотных дивизий 3—5-полкового состава и $7^1/_2$ кавалерийских дивизий. В рядах их числилось огромное количество людей, не менее 150 тысяч, из которых около половины действительно сражавшихся. В течение декабря предполагалось произвести полную реорганизацию армии, очистив ее от небоевого элемента и сведя многочисленные колонны, отряды в 5 стрелковых и 5 конных дивизий. В ноябре армия усилилась частями, освободившимися после падения Терского фронта, в том числе Терской дивизией и Кабардинской бригадой.

[1] 1-я (генерала Слащева) и 2-я (генерала Геймана) пластунские бригады, 1-я Кавказская казачья дивизия (генерала Шкуро), Черкесская дивизия (генерала Султан-Келеч-Гирея), Терский отряд и Баталпашинские ополчения.

[2] 1-я дивизия (временно генерала Колосовского) и 1-я Кубанская (генерала Покровского, временно генерала Науменко).

[3] 1-я Конная дивизия (генерала Шатилова), 2-я Кубанская казачья дивизия (генерала Улагая), Сводная конная бригада (генерала Чайковского), 3-я пластунская бригада (генерала Ходкевича).

[4] Сборные части 3-й Кубанской дивизии, 3 пластунские бригады, 1-й дивизии и др.

К концу ноября войска XI армии располагались следующим образом:

1. *Манычская группа* («ставропольские» дивизии), 15 тысяч, против генерала Станкевича и к востоку от Петровска, между Манычем и селом Овощи.

2. *Благодарненская группа* («таманские» дивизии), 10 тысяч против правого фланга генерала Врангеля и против левого крыла генерала Казановича, впереди Благодарного.

3. *Александровская группа* (бывшая Гудкова), 10 тысяч против правого крыла генерала Казановича, впереди села Александровского.

4. *Терская группа*, до 25 тысяч против генерала Ляхова, от Курсавки до Кисловодска.

Ближайшим резервом этим силам могла служить XII армия под командой Дьякова, силою до 12 тысяч человек, образовавшаяся после падения Терского фронта в районе Кизляр—Моздок—Грозный из трех красных полков сильного состава, пришедших из Астрахани, и местных формирований.

Всего против нашей Северокавказской группы стояло 72 тысяч при 80—100 орудиях. Войска эти базировались на Астрахань, а передовой базой для XI армии служил обильно снабженный всякими запасами Св. Крест.

* * *

24 ноября части Добровольческой армии получили ближайшую задачу:

Генералу Врангелю с подчинением ему отряда Станкевича — разбить группу противника, сосредоточившегося к северу от Петровского[1], теснившую донцов (по Манычу) и Станкевича и угрожавшую выдвинутому вперед положению 1-го Конного корпуса.

[1] Район Предтече-Софиевский—Старый Бурукшун.

Генералу Казановичу — наступлением на Благодарное обеспечить операцию Врангеля.

Генералу Ляхову — перейти в наступление на фронт Кисловодск—Минеральные Воды для овладения Минераловодской группой.

Во исполнение этой директивы с 25 ноября по 20 декабря шли тяжелые бои с переменным успехом, изнурительные для обеих сторон.

Генерал Врангель, наступая главными силами по обоим берегам Калауса на север и отрядом Станкевича на восток, на Старый Бурукшун, в течение 26 ноября—1 декабря рядом удачных боев очистил северный район. Большевики, неся большие потери, бежали на Рагули. Мелкие бои, однако, в этом районе не прекращались. 5 декабря большевики атаковали вновь на фронте Кистенское—Дербетовское, но были отброшены. Атаки противника повторились 11-го от Овощи на Камбулат бригадой пехоты и кавалерии и 13-го более крупными силами — всей Манычской группой, до 15 тысяч — на фронт Кистенское—Предтеча в охват Петровского с севера. Направленный генералом Врангелем во фланг наступающих генерал Улагай к вечеру того же дня разбил южный отряд большевиков в районе Барханчака и затем, действуя быстро и искусно, в течение трех дней нанес ряд сильных ударов и средней колонне у Винодельного, Дербетовского, отбросив большевиков далеко за Дивное.

Но упорство большевиков сломлено не было. Новые мобилизации и подкрепления, прибывшие из Астрахани и с Терека, усилили XI армию, которая не только стойко оборонялась, но временами переходила в общее наступление по всему фронту (10—11 декабря).

Был сильный мороз. Бушевала страшная вьюга. И люди и кони работали из последних сил.

Наступление генерала Казановича, имевшего против себя в центре наиболее сильную Таманскую группу, подвигалось медленно. Только на его правом фланге 1-я дивизия генерала Колосовского имела успех, разбив 6-го у Александровского две бригады большевиков. Все усилия свои Казанович направлял для фронтального прорыва в направлении на Медведское, которое после перегруппировки атаковал и

взял 15-го. Но уже через два дня таманцы перешли большими силами в контрнаступление со стороны Благодарного, и генерал Казанович, неся большие потери, стал отходить к реке Калаус.

Когда было взято Медведское, я полагал использовать успех Казановича движением с севера во фланг и тыл противнику частей 1-го Конного корпуса.

Людской и конный состав его, однако, был измотан до крайности, и генерал Врангель считал необходимым для восстановления боеспособности корпуса дать ему по крайней мере двухнедельный отдых. Но через несколько дней, ввиду серьезного положения группы Казановича, он сам предложил ударить по тылам противника на фронт Медведское—Шишкино. На крайнем левом фланге группы отряд генерала Станкевича утвердился в Б.-Джалге, одна бригада прикрывала Петровское с востока; прочие силы 1-го Конного корпуса начали сосредоточение в районе к юго-востоку от Петровского.

На Минераловодском направлении гололедица, большие морозы и снежные бураны, свирепствовавшие с особой силой в предгорьях Кавказа, до крайности затрудняли операции. 28 ноября генерал Ляхов занял станицу Барсуки; к 3 декабря дивизия генерала Шкуро, следуя на соединение с корпусом, вышла на фронт его севернее станции Курсавка, которая и была взята 14-го, после горячего боя, соединенными усилиями бронированных поездов, пластунов и ударом в тыл дивизии Шкуро. На всем фронте корпуса изо дня в день шли бои, типичные для «малой войны», причем оперативные сводки отмечали перемежающиеся успехи и неудачи — переход из рук в руки станиц Боргустанской, Суворовской, Воровсколеской, станции Курсавки... 16-го и 17-го одновременно с наступлением в центре на войска Казановича Терская группа красных повела общее наступление и на корпус Ляхова, развивая небывалой силы артиллерийский огонь. В направлении Владикавказской железной дороги наступление это было сдержано бронепоездами и атаками кубанцев Шкуро и горцев Бековича Черкасского[1]. На

[1] Черкесы и кабардинцы.

правом фланге нашем противник имел, однако, успех и, сбив Черкесскую дивизию, быстро двигался к Баталпашинску. Генерал Шкуро направился туда, чтобы личным своим влиянием на казаков Баталпашинского отдела поднять там поголовное ополчение.

• • •

Наступление в центре Северокавказского добровольческого фронта назначено было на 21 декабря. В этот день на рассвете я с Романовским и английским представителем генералом Пулем прибыли на сборный пункт конницы генерала Врангеля, верстах в 20 к юго-востоку от Петровского. На наших глазах происходило развертывание и движение в атаку славных полков 1-го Конного корпуса, сыгравших решительную роль в последовавшем генеральном сражении.

Для прикрытия левого фланга от Маныча (Киевское) до Овощи оставлены были отряды генерала Станкевича и генерала Бабиева. Остальные войска корпуса генерал Врангель бросил на фронт Медведское—Шишкино в тыл Таманской группе противника. Стремительной атакой кубанцев большевики, занимавшие этот район, были разбиты, и главные силы Таманской группы, потеряв пути отхода на Св. Крест, в беспорядке бросились на юг и юго-восток. В то же время войска Казановича, наступая с фронта, на левом своем фланге взяли 21-го Ореховку и Высоцкое, а на правом в ближайшие дни овладели последовательно Грушевской, Калиновкой и Александровским.

Вслед за тем, 24-го, генерал Врангель овладел Благодарным, ведя преследование на юг и восток, после чего сосредоточил свой корпус в районе этого села. Дважды еще большевики переходили в контрнаступление — 25-го на Благодарное и 26-го против Казановича, но были обращены в бегство. Число пленных, оружия, обозов, попадавших в наши руки, все более увеличивалось. И 27 декабря штаб имел основание сообщить печати, что «Таманская армия противника приведена в полное расстройство, и управление ею потеряно».

Ввиду общности фронта и задачи, я объединил командование над войсками генералов Казановича и Врангеля в руках последнего. Эта армейская группа должна докончить поражение центра XI советской армии, наступая на Св. Крест—Георгиевск, в то время как корпус Ляхова выполнял прежнюю задачу — овладеть линией Кисловодск—Минеральные Воды.

24 декабря сборный отряд генерала Шкуро отразил противника, обстреливавшего уже орудийным огнем Баталпашинскую, и погнал его в направлении Ессентуков; к 29-му наши части атаковали Курсавку, Ессентуки и Кисловодск.

Генерал Врангель между тем направил дивизию Улагая на Св. Крест, главными же силами продолжал теснить Таманскую и Александровскую группы противника на юге. Шаг за шагом, разбивая еще сопротивлявшиеся отряды, забирая много пленных и орудий, войска его в начале января продвинулись в район Новоселицы—Александровское.

К этому времени расстроенная и деморализованная XI армия красных, насчитывавшая еще в своих рядах до 40 тысяч при 50—80 орудиях, сбилась в две группы: в районе ст. Нагутская—Кисловодск—Минеральные Воды (около 20—25 тысяч) и в районе Св. Креста (до 10 тысяч). Оторванная от главных сил Манычская группа противника (Ставропольский корпус), силою до 10 тысяч, делала попытки облегчить положение всей армии наступлением в охват нашего левого крыла. Но в боях в долине Маныча и в районе Овощи и Рагули генерал Станкевич и полковник Бабиев нанесли ей ряд поражений и вскоре вытеснили большевиков в Астраханские степи.

К вечеру 4 декабря дивизия генерала Улагая, наступая по Благодарненской дороге, после жестокого боя овладела Св. Крестом, и одновременно другая колонна генерала Топоркова, направленная Врангелем из главных сил, взяла Преображенское (южнее), прервала там железнодорожное сообщение, не допустив эвакуации Св. Креста.

Овладение нами Св. Крестом, помимо огромной военной добычи, которую представляла эта передовая база всего Северокавказского советского фронта, окончательно лишало остатки XI армии северо-восточных путей отступления.

Перед нею лежало две дороги: одна через Владикавказ на Грузию, другая — на Моздок—Кизляр к Астрахани. Первая сулила ей темное будущее в стране, враждебной большевизму, вторая — спасение, но была она страшно длинной и трудной, и огромному большинству принесла гибель.

6 января, продолжая наступление по всему фронту, войска генерала Врангеля заняли Георгиевск и тем предрешили участь Минеральной группы. Корпус Ляхова на другой день овладел Ессентуками, Кисловодском и Минеральными водами, а 8-го Пятигорском. 12 января генерал Шкуро после горячего боя взял Нальчик и, бросившись затем на север, 14-го занял Прохладненский узел[1], отрезав тем большевикам путь к отступлению на Владикавказ. Безостановочно преследуя противника, наши войска к 14 января вышли на линию Нальчик—Прохладная—Эдессия—Правокумское—Арзгир—Дивное.

Это был полный разгром противника — тактический и моральный, требовавший лишь неотступного преследования, невзирая на страшное утомление добровольческих войск. Эта сводившаяся к освобождению Терской области и к выходу к Каспийскому морю задача возложена была мною на генерала Врангеля, сыгравшего такую блестящую роль в истекшей операции. 10 января он стал фактически во главе Кавказской Добровольческой армии, в состав которой я включил все войска, стоявшие на фронте от Дивного до Нальчика[2].

В конце января генерал Врангель заболел сыпным тифом и не мог руководить операцией. Это обстоятельство поставило меня в большое затруднение, так как передавать командование старшему (генералу Ляхову) я не хотел — его стратегия не разделялась мною, а начальник штаба армии генерал Юзефович только что поступил в наши ряды и не мог поэтому еще приобрести авторитет в глазах доблестных, но своенравных начальников Кавказской армии. Решено было официального приказа о замещении не отдавать, а генералу Юзефовичу руководить армией от имени ее командующего.

[1] Там же захвачен весь спасавшийся Кисловодский совдеп.

[2] В командование 1-м Конным корпусом вступил генерал Покровский.

* * *

К середине января Северокавказского советского фронта уже не существовало. Оставались только разрозненные отряды. Остатки разбитой XI армии (до 20 тысяч) группировались в районе Прохладной и вдоль путей от нее — часть к Владикавказу, преимущественно же к Моздоку. Другая группа (около 5 тысяч), оторванная от главных сил и стремившаяся соединиться с X армией, сосредоточилась у Приютного, севернее озера Манычского. На всем огромном протяжении между этими пунктами (по воздушной линии свыше 250 верст) только в Кумском районе собирались остатки до 3 тысяч красных, разбитых у Св. Креста. Восточнее XII армия силою около 12 тысяч занимала Грозный, Кизляр и Старотеречную, прикрывая единственный путь отхода — прикаспийский Астраханский тракт. Наконец, в районе Владикавказа сосредоточились крупные местные отряды «Северокавказской республики» и войска Ингушетии, неизвестно — дружественные или враждебные.

Таким образом, Кавказская Добровольческая армия имела перед собой еще до 50 тысяч советских войск, хотя и разрозненных, лишенных управления и деморализованных.

14 января командующий армией, оставив для прикрытия астраханских направлений и Ставропольской губернии отряд генерала Станкевича на Маныче и дивизию генерала Улагая у Св. Креста, двинул для преследования противника два корпуса: генерала Ляхова (3-й армейский корпус) — на Владикавказ и Грозный, генерала Покровского (1-й Конный корпус) на Моздок—Гудермес—Кизляр к Каспийскому морю.

Человеческая волна катилась бурно и неудержимо на восток, покрывая все дороги на много десятков верст, запрудив их обломками повозок, брошенным скарбом, трупами людей и животных. Кому удавалось спастись от пули и шашечного удара, тот находил смерть от сыпного тифа, косившего нещадно. Многие участники похода, свыкшиеся, казалось, с ужасами войны, не могли потом без содрога-

ния вспоминать эти кошмарные картины: мечущиеся толпы, брошенные на произвол судьбы поезда с больными и ранеными, тысячи изнемогающих людей, в жару и бреду ползущих по рельсам и откосам полотна и давимых немилосердно уходящими поездами...

Иногда толпы большевиков останавливались и, побуждаемые страхом и чувством самосохранения, принимали вновь облик воинской силы и вступали в бой с преследовавшими — бой жестокий, упорный, безнадежный...

Генерал Покровский двигался несколькими колоннами с северо-запада к Моздоку наперерез противнику, отходившему левым берегом Терека. На рассвете 15-го Покровский обрушился на большевиков на широком 25-верстном фронте, прижал их к реке и в упорном бою, в котором со стороны большевиков принимало участие и 8 бронированных поездов, разбил их наголову, взял до 10 тысяч пленных и занял Моздок. Бегущие пытались переправиться на правый берег, но единственный деревянный мост рухнул, и много людей, спасаясь вплавь, утонули в Тереке.

Еще раз у станицы Мекенской корпус встретил сопротивление, но после двухдневного боя опрокинул противника и, сбивая его короткими ударами, шел безостановочно вперед, заняв 24 января Кизляр, достигнув разъездами Брянской пристани и войдя в связь у Хасавюрта с Терским отрядом генерала Колесникова, стоявшего в Петровске. Остатки большевистских войск частью рассеялись по Чечне, частью (3—4 тысячи) были настигнуты и порублены севернее Кизляра. Весьма немногим удалось уйти на Астрахань.

Этот беспримерный марш — 350 верст с боями — 1-й Конный корпус генерала Покровского совершил в 14 дней!

Генерал Ляхов, оставив часть сил для обеспечения Прохладненского узла, двинул войска генералов Шкуро и Геймана обоими берегами Терека к Владикавказу, а Черкесскую дивизию генерала Келеч-Гирея — в долину Сунжи на Грозный.

Пройдя до Ахлово, черкесы встретили неожиданное сопротивление со стороны ингушей, которые, выставив хорошо вооруженный двухтысячный конный отряд, прикрыли отступление большевиков и отказались пропустить наши войска до решения ингушского Национального совета, заседавшего в Назране. Генерал Келеч-Гирей вступил в бой с ингушами, но потерпел неудачу и, не рассчитывая на свои силы, свернул кружным путем на станицу Слепцовскую и взял ее с боем. Но попал в трудное тактическое положение между ингушами и большевиками. Генерал Ляхов направил крупные части из своего резерва в Прохладной для ликвидации сопротивления непокорных аулов и одновременно предъявил ингушскому народу ультимативное требование сдать оружие, очистить Владикавказ и окрестные селения, восстановить снесенные терские станицы. Переговоры намеренно затягивались ингушами, и наступление Черкесской дивизии на Грозный задержалось. Между тем до сведения моего дошло, что какие-то сборные отряды под английским командованием направлены из Петровска к Грозному[1]... Во избежание нежелательных последствий иностранной оккупации огромной важности нефтеносного района я приказал возложить задачу овладения Грозным на генерала Покровского. С левого берега Терека он свернул от станицы Калиновской на юг части 1-й Конной дивизии генерала Шатилова, и 23-го, после двухдневного жестокого боя, город был взят.

На Владикавказском направлении шло наступление отрядов Шкуро и Геймана, которые, преодолев сопротивление противника на линии Ардон—Эльхотово, к 19 января подошли к станице Беслан, в двухдневном бою опрокинули большевиков, беспорядочно отступивших к Владикавказу, и 21-го генерал Шкуро ворвался уже в заречную часть города, заняв кадетский корпус; 24-го в его руках было северное предместье Курская слобода, а южнее города — гора Лысая, чем отрезан был противнику путь отхода и по Военно-Грузинской дороге. Многие комиссары и совдепы кавказских городов успели, однако, бежать в первые дни осады в гостеприимную Грузию.

Большевики совместно с ингушами оборонялись с большим ожесточением[2]. Части генерала Геймана, наступавшие

[1] Некоторое основание было.

[2] Город обороняли Владикавказский полк, дружина самообороны, отряды коммунистов и ингуши — с сильной артиллерией и броневиками.

с севера, находились под ударом с фланга и тыла со стороны ингушских аулов, с населением поголовно вооруженным, поднявшимся в защиту большевиков. Потребовалось 6 дней упорной борьбы, ряд последовательных ударов по ингушским аулам, в которых большевики совместно с ингушами отчаянно защищали каждую саклю. И только 27-го ингушский Национальный совет выразил от имени народа полную покорность, приняв все наши условия, а 28-го, после 10-часового уличного боя, наши войска овладели Владикавказом.

В последующие дни происходила только ликвидация остатков противника, рассеявшегося в окрестностях Владикавказа и зажатого нашими войсками в тесном районе Сунженской долины между Владикавказом и Грозным. В Грузию бежало свыше 3 тысяч красноармейцев, которых, по моему настоянию перед английским командованием, грузинское правительство обязалось интернировать в Мцхете[1].

Северокавказская операция закончилась. Вся Ставропольская губерния и Терская область были освобождены от советской власти. В пределах Северного Кавказа не оставалось более ни одной организованной большевистской части. Много крови, много жизней стоила и огромных усилий потребовала эта борьба, вписавшая чудесные страницы в добровольческий эпос, богатая яркими примерами высокой доблести и искусства многих вождей и воинов.

Стотысячная армия Северокавказского большевистского фронта перестала существовать. Она оставила в наших руках 50 000 пленных, не считая больных и раненых, 150 орудий, 350 пулеметов и огромное количество всякого военного имущества. Она усеяла своими трупами Ставропольские поля и предгорья Кавказа во имя чуждых ей идей и непонятных целей. В течение $7^1/_2$ месяцев она отвлекала на себя

[1] Это исполнено не было. Многие большевики появились в Тифлисе. Они поступали в Грузинскую национальную гвардию или выпускались к нам на Черноморское побережье. О неисполнении грузинами условий сообщало моему штабу и английское командование (23 марта, № 77).

почти все добровольческие силы Юга и хоть за это должна бы получить некоторое признание со стороны московских правителей. Но они вбили в могилу ее осиновый кол и написали на нем бранную надпись. И мне — врагу — приходится заступаться за память погибшей армии перед историей.

Бронштейн о причинах неудач на Южном фронте говорил[1]:

«За спиной Краснова на юге стояли деникинские белогвардейские войска. Знали мы о них? Конечно, знали. Но за спиной деникинских войск стояли северокавказские советские армии. Эти две армии насчитывали чуть не 150 000 или даже 200 000 человек. По крайней мере, снабжение они требовали на такое число. Но это не были правильно организованные войска, а партизанские отряды, за которыми тащилось много беженцев и просто дармоедов и мародеров. Никакой правильной организации снабжения, управления и командования не было и в помине. Самодельные командиры не желали никому подчиняться и боролись друг с другом. Как всегда водится у партизан, они страшно преувеличивали свои силы, с презрением относились ко всем предостережениям центра, а потом, после первого серьезного удара со стороны деникинцев, стали рассыпаться на части. При этом сдали врагу множество военного имущества и погубили при отступлении неисчислимое количество человеческих сил. Нигде, может быть, партизанщина не обошлась так дорого рабочим и крестьянам, как на Северном Кавказе.

Таким образом, основною причиной наших южных неудач являются не недостатки организации армий Южного фронта, а предательская, в полном смысле слова, роль пережившей себя партизанщины».

Нет сомнения, что много язв разъедало Северокавказскую армию — вероятно, не в меньшей степени, чем прочие Красные армии. Но, очевидно, невзирая на отсутствие непосредственного управления центра и плодотворного влияния «московских и петроградских сознательных това-

[1] 8 июня 1919 года, город Козлов.

рищей», влитых во множестве на другие фронты (или, быть может, благодаря отсутствию этого влияния?), воинский дух ее был неизмеримо выше, чем в других Красных армиях. Потому что справляться с нею нам было труднее, чем с другими, потому что борьба с нею стоила нам относительно больших потерь. И не раз, разбитая, казалось, до основания, она возрождалась вновь и вновь, давая твердый отпор добровольцам.

* * *

В начале февраля Кавказская Добровольческая армия, имея обеспеченный и относительно замиренный тыл, получила, наконец, возможность повернуть на север для выполнения своей основной задачи.

ГЛАВА XIV
ТЕРЕК В 1919 ГОДУ

Когда войска Добровольческой армии овладели Минеральной группой и определился ясно исход операции, я назначил командира 3-го армейского корпуса генерала Ляхова «главноначальствующим и командующим войсками Терско-Дагестанского края». Одновременно письмом на имя начальника края я определял общие основания той политики, которой надлежало придерживаться русской власти.

«Милостивый государь Владимир Платонович!

Героическими подвигами Кавказской Добровольческой армии, в которой слились в одном беззаветном порыве славные кубанские казаки, добровольцы, терцы и горские воины, освобождается весь Северный Кавказ от власти большевиков.

Кончаются дни беспросветной тьмы, хулиганского разгула и бесправия. Народная жизнь потрясена до основания, тем более что смута еще более обострила взаимоотношения, существовавшие между народностями Северного Кавказа.

Вам предстоит тяжелая, но благодарная задача умиротворить Терско-Дагестанский край. Ввести начала законности и порядка. С высокой справедливостью и беспристрастием примирить интересы подчас враждующих соседних народностей. Восстановить правильную экономическую жизнь, чему всемерно будут содействовать органы управления, при мне состоящие. Помочь свободному развитию местных установлений. Создать вооруженные силы для защиты очагов и для участия в борьбе за освобождение России. Наконец, вновь приобщить край к русской государственности.

От всей души желаю скорейшего прекращения междоусобий, счастья и мира многострадальному краю.

Уважающий Вас А. Деникин».

Вместе с тем, «в целях воссоздания Терского казачьего войска», генералу Ляхову приказано было собрать Круг для выбора войскового атамана, поручив эту работу находившемуся в районе Добровольческой армии бывшему председателю Терского округа И. Д. Губареву.

Если во взаимоотношениях с Доном и Кубанью вопрос о необходимости единой государственной власти ставился нами как необходимость подчинения общим интересам частных, то для Терека, при его крайней чересполосности, при страшно запутанных межплеменных отношениях, острой вражде к нему чеченцев и ингушей и далеко не соразмерных силах сторон, установление общероссийской власти являлось вопросом физического существования казачества — вопросом жизни и смерти. Только такая власть, чуждая областных интересов, могла иметь известный авторитет в глазах горцев, примирить враждующие элементы и остановить или, по крайней мере, не дать разгореться на Северном Кавказе новому пожару, открывающему путь для новой волны большевизма, — пожару, в пламени которого прежде всего сгорело бы Терское войско. Наконец, только русская власть могла обеспечить Северный Кавказ как тыл наступающих на север противобольшевистских армий и, ослабив развитие панисламистских и центробежных течений, сохранить край для России. Это сознавала ясно российская общественность Юга, так думали тогда в период начальной

борьбы терские деятели — будущие законодатели и правители, в том числе генерал Вдовенко[1] и Губарев. Понимание положения не чуждо было и горской интеллигенции. Представители наиболее культурного племени — осетины — имели смелость высказать его открыто[2]: «Не располагая умственными и материальными силами даже для совместной автономности, не говоря уже о государственной независимости, горцы по пути к своей независимости стали добычей как авантюристов из своей собственной среды, так и большевиков. Это было неизбежно. Ведь в прошлом Кавказ представлял собой арену непрерывной войны его народов, и только сильная русская власть в состоянии была отчасти умиротворить их, отчасти заставить их приступить к мирным видам труда».

Даже ярый проповедник горской независимости, председатель горского правительства Коцев, на одном из заседаний в порыве интимной откровенности заявил: «Слабые наши стороны нам не давали жить. Это грабежи и разбои, кои не дают нам ходу. Вот почему нас хотят умиротворять, вот почему хотят назначить генерал-губернаторов... Это и есть наше слабое место. «Если хотите самоопределяться, то обеспечьте свободное проживание гражданам» — вот что нам могут сказать»[3].

Ляхову даны были указания относительно организации местной власти, и он стал осуществлять их практически с середины января. Само же «Положение» очень долго вырабатывалось детально в недрах комиссий Особого совещания, претерпевало частичные видоизменения, и только к концу мая появился официально его проект.

В общем система управления намечалась следующая.

Высшая гражданская и военная власть в крае принадлежит главноначальствующему и командующему войсками, который по второй своей должности подчинялся непосредственно главнокомандующему Вооруженными силами Юга России, а по первой — Особому совещанию. При главноначальствующем состояли помощники, из которых один — по горским делам, выбираемый, как и члены Совета при нем, на общем горском съезде.

[1] Будущий атаман.

[2] «Протест Осетии», подписанный правителем Хабаевым и 9-ю членами совета. Осень 1919 года.

[3] Из протокола заседания. Февраль 1919 г.

Территорию края составляют области Терского войска и Дагестанская, четыре горских округа — Кабарда, Осетия, Ингушетия, Чечня — и выделенные в особые административные единицы градоначальства: Владикавказское[1], Грозненское[2] и Минераловодский район[3].

Терек получал широкую автономию, аналогичную той, которая была составлена для Кубани. «Терское войско, — говорилось в «Основных положениях», — пользуется правами автономии во внутренних своих делах и управляется в этом отношении на основании законодательных постановлений, издаваемых Войсковым кругом, при посредстве Круга, выборного войскового атамана, правительства и других органов, которые будут учреждены Войсковым кругом... Дела общегосударственные (перечень тот же, что для Кубани) разрешаются в порядке законодательства и верховного управления главнокомандующим Вооруженными силами Юга России; в порядке же подчиненного управления ведаются главноначальствующим Терско-Дагестанского края и иными подлежащими органами... В порядке военного управления Терское войско и его войсковое начальство подчиняются главнокомандующему Вооруженными силами Юга России. Распоряжения главнокомандующего приводятся в исполнение через командующего войсками в крае...»

Во главе каждой горской народности стоит правитель по выбору народа и при нем Совет, также из выборных. Они ведают делами местного управления, хозяйства и вопросами культурно-бытовыми. Сохраняются и шариатские суды. Правители подчиняются непосредственно главноначальствующему.

[1] Владикавказ — спорный пункт между тремя племенами.

[2] Общегосударственное значение нефтеносного района, находящегося в пределах Терека и Чечни.

[3] Общероссийская здравница, созданная на государственные средства.

Круг деятельности этих органов точно установлен не был, и фактически горские племена пользовались полнейшей самостоятельностью. Единственной государственной тяготой была для них платная поставка продовольствия расположенным в их районах войскам и обязанность выставить в действующую армию боевые части сообразно численности своего населения. Требование это диктовалось мотивами не военными, а исключительно политическими: не было иных средств, чтобы выкачать из аулов массу накопленного там оружия и беспокойные элементы и тем хоть до некоторой степени обеспечить общий внутренний мир в крае, и в частности Терское войско, ослабленное посылкой своих полков на север. Численность всех горских контингентов в рядах армии до конца мая не превышала 3—4 тысяч.

* * *

Терский Большой войсковой круг открылся 22 февраля. Круг выслушал доклад генерала Ляхова о конструкции власти в Терско-Дагестанском крае, решения по этому вопросу не вынес, но выказал готовность всемерно поддерживать Добровольческую армию. Признал необходимым тесное объединение с Кубанью; избрал Малый круг в качестве «Комиссии законодательных предположений» для будущей сессии Войскового круга; утвердил временную конституцию края; избрал атаманом генерала Вдовенко, вручив ему полную военную и исполнительную власть, обязав лишь атамана и поставленное последним правительство «по вопросам законодательного характера, не терпящим отлагательств (займы, налоги и т. п.), обращаться за утверждением к Малому кругу». Вслед за сим, через 9 дней, Большой круг разошелся на неопределенное время, предоставив инициативу своего созыва Малому кругу и атаману.

При таких условиях началось соуправление двух властей — казачьей и добровольческой, обосновавшихся в Пятигорске. Недоговоренность взаимоотношений, ряд спорных вопросов, восходивших еще к периоду дореволюционному, происки кубанских самостийников, чрезвычайно чуткое, прямо болезненное отношение новых терских властей к своему престижу, чтобы он не был ничем умален «против старших братьев — Дона и Кубани» — все это не могло не породить трений. К тому же генерал Ляхов был человек властный, крутой, с характером тяжелым и обращением резким, обламывавший, а не сглаживавший острые углы взаимных отношений. В результате после двухмесячного управления главноначальствующий в своем отчете[1] свидетельствовал:

«Приходится отметить постоянные неофициальные сношения (моего) управления с новой образовавшейся в крае властью в лице войскового правительства Терского казачьего войска. Непрерывно возникающие трения на почве резких выступлений указанного правительства по предметам, явно не подлежащим его компетенции (как, например, распоряжения в пределах Минераловодского района в области государственных финансов, передвижения грузов, закрытия границ Терской области; попытки захватить учреждения бывшего правительственного продовольственного аппарата), постоянно заставляют управление относиться с особой бдительностью к распоряжениям войскового правительства. Причем до последнего времени удавалось полуофициальным путем и переговорами с войсковым атаманом и его правительством улаживать все недоразумения. При этом войсковым правительством отменены все изданные им распоряжения, несогласные с общей конституцией власти, установленной Добровольческой армией.

Управление, однако, отмечает, что трения увеличиваются и могут быть весьма серьезными, в особенности в области земельного вопроса, который, по-видимому, предполагается казачеством к разрешению в благоприятном только для казаков смысле».

Ляхов правил этнографической мозаикой Северного Кавказа с большой энергией, в условиях крайне трудных. Восстановил суд, администрацию, правительственные учреждения. Создавал примирительные комиссии, форми-

[1] От 31 марта 1919 года, № 1276.

ровал войска и с февраля вел самостоятельно операции против большевиков и горцев[1]. Центр наш медлил, отставая от быстро текущей жизни, и главноначальствующий вводил по собственной инициативе законодательные новеллы в области земельных отношений, акциза и т.д., иногда расходившиеся с политикой Центра. Так, управление его взяло на себя самочинно разрешение в административном порядке ходатайств о восстановлении владельцев земли и движимых имуществ в их правах — мера, создавшая почву для недовольства и обвинений против власти.

Правление генерала Ляхова продолжалось только три месяца, так как в марте произошел печальный случай, прервавший его служебную деятельность. Начальником конвоя главноначальствующего (или комендантом его штаб-квартиры), лицом, пользовавшимся его неограниченным доверием, был некто капитан Чайдоянц, состоявший ранее комендантским адъютантом штаба армии и удаленный с этой должности. Ляхова предупреждали не раз о сомнительной репутации Чайдоянца, но он не обращал на это внимания. Противодействовал даже задержанию Чайдоянца, когда тот был уже обличен. Следствие раскрыло такие картины провокации, арестов и садистских убийств с корыстной целью, связанных с деятельностью Чайдоянца, что косвенно репутация самого главноначальствующего была скомпрометирована, и он вынужден был оставить пост. Генерал Ляхов удалился от всякой деятельности и жил в глухом углу в окрестностях Батума, где было крайне неспокойно. Человек лично мужественный, Ляхов пренебрегал опасностью, не принимал никаких мер и при вторичном покушении на его жизнь был убит злоумышленниками.

• • •

На должность главноначальствующего 16 апреля был назначен генерал Эрдели.

Хотя новый главноначальствующий отличался большим тактом и известными дипломатическими способностями, но

[1] Кавказская Добровольческая армия перебрасывалась на север.

трения с терскими властями продолжались и у него; в особенности после того как в мае донское правительство односторонним распоряжением отпустило из ростовской экспедиции 80 миллионов Тереку и тем уменьшило зависимость терского правительства от командования. Проект организации Терско-Дагестанского края, данный генералом Эрдели на заключение терскому правительству в середине мая, вызвал решительный протест последнего даже по основному вопросу о самом бытии «Терско-Дагестанской власти»... В «чрезвычайном» заседании по этому поводу терское правительство вынесло резолюцию[1]:

«Область Войска Терского должна быть исключена из состава Терско-Дагестанского края с непосредственным подчинением войскового атамана Терского войска главнокомандующему Вооруженных сил Юга России генералу Деникину на равных основаниях с атаманами Донским и Кубанским. Поэтому проект закона об управлении Терско-Дагестанским краем к управлению территорией Терского казачьего войска не должен относиться. Это и должно лечь в основу переработки означенного закона во всей его совокупности, о чем и следует представить главноначальствующему Терско-Дагестанского края».

Терские правители и Круг желали, чтобы общерусская власть железным обручем сковала горские народы, и требовали особенно решительных военных мер против ингушей и чеченцев, угрожавших пределам области. Но вместе с тем настаивали, чтобы эта власть отнюдь не вмешивалась в суверенное существование Терека. В этом отношении они нашли полную поддержку в кубанских политических кругах, и первое чествование терских правителей в Екатеринодаре (27 мая) было ознаменовано речами, направленными против Добровольческой армии — «врага казачества», — против командования и в особенности против Особого совещания...

Такое однобокое решение вопроса о построении кавказской власти было и несправедливо и неосуществимо. В

[1] Письмо председателя правительства от 13 мая 1919 года, № 2757.

записке, приложенной к приведенной выше резолюции и составленной по предложению Эрдели, терцы сообщали и ряд конкретных пожеланий: отдачу им Минераловодской группы, потому что с ней «политически тесно связаны казачьи станицы»; упразднение грозненского градоначальства, существование которого «со включением туда нефтяных казачьих земель создает у широких казачьих масс впечатление, что казачье достояние — промыслы — власть хочет оттянуть у Войска»; передачу «всего горного дела, в частности нефтяного, на территории Войска, как со стороны горнотехнического надзора, так и с хозяйственной... исключительно в ведение терского правительства»[1]. К этим чисто экономическим требованиям присоединялось и военное — чтобы атаман являлся «прямым начальником всех терских войсковых частей, вне зависимости от места их нахождения, и ему принадлежало право инспектирования и всех назначений».

Терское правительство обосновывало свои «претензии на некоторую долю государственной власти... революционной неустойчивостью момента» и выражало даже некоторую угрозу: «Если этого не учитывать и не считаться с этими взглядами широких казачьих демократических и обще-

[1] В нашем проекте «Основных положений» вопрос о недрах трактовался следующим образом:

«IV. Недра земли в пределах Терского казачьего войска принадлежат их собственникам на основании прежде изданных по сему предмету законов. Пользование доходами с нефтеносных земель, принадлежащих Войску Терскому, сохраняется за ним на существующих основаниях.

V. Управление Грозненскими нефтяными, а также всеми другими горными промыслами на территории Войска Терского в техническом отношении, независимо от того, кто состоит владельцем их, принадлежит общегосударственной власти и осуществляется местным горным надзором, а через его посредство — центральным горным ведомством.

VI. Регулирование добычи нефти и правильного распределения ее в соответствии с интересами всей страны принадлежит общегосударственной власти».

ственных слоев Войска, то возможно серьезное коренное расхождение во взглядах и пагубный для обеих сторон разрыв... Дело в том, что процесс революционного строительства еще продолжается».

Если отбросить всю обязательную в то время «революционную» терминологию, камень преткновения лежал главным образом в некоторых экономических вопросах, к которым я и Особое совещание, оберегая общерусские интересы, относились, быть может, слишком ригористически. Все остальное было только декорацией. Угроза была неуместна по адресу армии-освободительницы и бессильна по существу. Ибо частичный даже увод весною частей армии с Кавказа на север для отражения большевиков, обрушившихся на нас с Царицынского направления, вызвал совместное представление и атамана, и главноначальствующего[1], рисовавшее такую картину:

«При наличии восстания «керменитов» в Осетии, при взаимной кровной ненависти терцев, с одной стороны, и чеченцев и ингушей — с другой, (при) ясно обнаруженных намерениях (большевиков) наступать на Кизляр и Св. Крест, увод 1-й Конной дивизии неизбежно приведет к сдаче (большевикам) Владикавказа, Грозного и Кизляра, что вызовет восстание всех горских народов и полный распад всего Терского казачьего войска, которое разбредется по станицам защищать свои пепелища».

Трения создавала, в сущности, только небольшая, но влиятельная часть псевдорадикальной и самостийной терской интеллигенции в правительстве и Круге[2], тогда как казачество было совершенно инертно, глубоко чуждо политической борьбе и сердечно расположено к Добровольческой армии. Города же всемерно вырывались из подчинения отдельской

[1] Телеграфный доклад по поводу переброски 1-й Конной дивизии.

[2] Немалую роль играл в этом деле и известный генерал Комиссаров, приписавшийся к одной из станиц и выбранный казаками членом Круга. В это время Комиссаров носил личину крайне правого и пользовался поддержкой этих кругов, враждебных одновременно и самостийности и командованию Добровольческой армии.

(уездной) казачьей власти, и городские самоуправления в конечном результате настояли на проведении выборного производства на основании закона Особого совещания. Даже революционная демократия, в образе «Севкагора»[1], в поисках выхода между «стремлением сословно-казачьих кругов растворить город в сельской казачьей массе, враждебной городской культуре», и «недоверием власть имущих кругов к Особому совещанию, установившему опеку над целесообразностью действий городских самоуправлений»[2], — склонялась явно на сторону второй комбинации.

Терский круг, собравшийся на вторую сессию в конце июня, просил меня прибыть на свое совещание, встретил и принимал чрезвычайно тепло. Говорили, что мой приезд уравновесил влияние кубанской делегации, работавшей весьма энергично против объединения Терека с командованием Добровольческой армии. Но в постановлении Круга о построении власти это отношение не проявилось. Круг стал на точку зрения правительства и отнесся отрицательно к предъявленной ему конституции Терско-Дагестанского края, подчеркнув особенно свое несогласие по вопросу о Грозном, Минеральной группе и о правах на недра. Территория Терской области управлялась поэтому до конца двумя властями (генерал Эрдели правил на основании положения о Терско-Дагестанском крае, атаман Вдовенко — применительно к Терской конституции) со всеми отрицательными последствиями такой сепаратной деятельности.

Было бы долго и затруднительно перечислять все те разногласия, которые возникали между терским правительством и командованием. Я приведу один лишь эпизод, характеризующий трагикомическое положение Владикавказской железной дороги, имевшей несчастье пересекать одиннадцать раз суверенные государства. В этом эпизоде, как в кривом зеркале, отражается вся лоскутная государственность Юга.

В июне—августе 1919 года имела место следующая переписка:

---

[1] Северокавказский союз городов.

[2] Резолюция пленума Севкагора. Май 1917 года.

1. От начальника управления торговли и промышленности Терского войска — Управлению Владикавказской железной дороги, телеграмма 29 июня:

«Терское войсковое правительство, являясь высшим органом правления в Терской области, сохраняет за собой всю полноту власти и вместе с нею неотъемлемое законное право как такового в издании законов и распоряжений в области. Отмена и запрет на провоз товаров как по области, так и за пределы ее по разрешениям на то терского правительства лицами, не имеющими к нему никакого касательства[1], является незаконной, претендующей ограничить власть войскового правительства. А потому терское правительство требует в пределах Терской области исполнять распоряжения только войскового правительства. Производить отправки грузов за пределы области — по разрешениям на то правительства, а по области — без всяких разрешений. 806.

Уторгпром Орлушин».

2. От правителя Кабарды — Управлению Владикавказской дороги, сношение 3 июля, № 3799:

«Управлением дороги сделано распоряжение начальникам станций Нальчик, Докшукино, Котляревская, Прохладная, Солдатская и Муртазово, находящихся на территории Кабарды, не принимать никаких грузов без разрешительных свидетельств терского правительства.

... Настоящим ставлю Вас в известность, что... Кабарда есть самостоятельное административное управление, в своих правах равное терскому правительству, и одно лишь может запрещать или разрешать ввоз и вывоз в пределы и за пределы Кабарды. А потому означенное распоряжение прошу отменить, поставив в известность г-д начальников вышеупомянутых станций, и предписать им принимать товары к отправлению лишь по моим разрешениям и окружных Нальчикских управлений.

Генерал-майор князь Бекович Черкасский».

---

[1] Надо понимать — органы Особого совещания.

3. От помощника правителя Кабарды — Управлению Владикавказской железной дороги, сношение 10 июля, № 4999:

«Советом при правителе Кабарды установлен самый минимальный налог вывозимых из Нальчикского округа и ввозимых в таковой разных грузов... Вследствие этого прошу сделать распоряжение, чтобы вывозимые из Нальчикского округа и ввозимые грузы принимались для отправки и выдавались получателям по разрешениям Нальчикской окружной администрации.

За помощника по гражданской части N. N».

4. От генерала Эрдели — председателю Особого совещания, телеграмма 5 августа, № 4648, с просьбой:

«Сделать распоряжение и указать управлению Владикавказской железной дороги, что оно должно исполнять приказания общегосударственных властей, каковым терское войсковое правительство не является».

5. Главному начальнику военных сообщений отправлена предыдущая телеграмма с резолюцией генерала Лукомского:

«Что это за безобразие? Срочно прошу расследовать, отменить распоряжение и доложить. 7/VII.

6. От председателя Особого совещания — главноначальствующему Терско-Дагестанского края, сношение 8 августа, № 1011:

«Мною сего числа сделано соответствующее распоряжение главному начальнику военных сообщений.

Препровождая в копиях всю относящуюся к делу переписку, прошу распоряжений о беспрепятственном следовании грузов в пределах и из пределов вверенного Вам края.

Генерал Лукомский».

Так жили и правили власти Юга.

И только благодаря сознанию смертельной опасности в случае разрыва, отсутствию в массе терского казачества всяких самостийных тенденций, личным отношениям генерала Эрдели с некоторыми терскими деятелями, в том числе с атаманом Вдовенко и председателем Круга Губаревым, наконец умеренности и общероссийским тенденциям атамана, государственный механизм на Кавказе мог работать в течение года; правда, с перебоями, но без потрясений, которые имели место на Кубани.

Но, стремясь к возможной независимости от власти Вооруженных сил Юга, Терек считал себя всегда неразрывной частью единой России, не вел, по крайней мере, с нею заблаговременно торга о пределах своих вольностей и не обеспечивал их требованием «федерации» или «конфедерации» — понятий столь ярко выдвинутых русской смутой и столь чуждых в устах коренной русской области по отношению к своей стране. Это значительно умеряло остроту терской фронды. А терское правительство, пройдя несколько месяцев горьким, тернистым путем власти, пришло к заключению:

«При такой обстановке (большевизма и восстания горцев) мысль о создании новых форм государственной и общественной жизни, в соответствии с выдвинутыми идеями местного самоуправления, замирает, так как приходится думать больше не о гражданском устроении жизни, а о защите свободы и физической безопасности граждан. Правильная сознательная работа возможна только в нормальных условиях спокойной мирной жизни»[1].

ГЛАВА XV

ТЕРСКО-ДАГЕСТАНСКИЙ КРАЙ В 1919 ГОДУ. МЕЖДОУСОБНАЯ БОРЬБА. МЕДЖИЛИС И АНГЛИЧАНЕ

Умиротворение горских народов шло своим чередом, встречая большие трудности.

Еще в мирное время жизнь на Кавказе местами была неспокойной, и кавказские пути сообщения требовали усиленной военной охраны. С выводом войск на фронт мировой войны, потом с началом революции и ослаблением

[1] «Программа Терского правительства» 10 ноября 1919 года.

центральной и местной властей положение стало еще хуже. Наконец, гражданская война, бесчисленные фронты, разрушение железных дорог, общее разорение и кровавые счеты — все это произвело в крае небывалый хаос. Грабеж как занятие, пользовавшееся почетом на Кавказе, стал теперь обычным ремеслом, значительно усовершенствованным в приемах и «орудиях производства» — до пулеметов включительно. Грабили все «народы», на всех дорогах и всех путников — без различия происхождения, верований и политических убеждений. Иногда сквозь внешний облик религиозного или национального подъема хищным оскалом проглядывало все то же обнаженное стремление. Дороги в крае стали доступными только для вооруженных отрядов, сообщение замерло, и жизнь замкнулась в порочном круге страха, подозрительности и злобы.

Осетия и Кабарда присоединились к нам сразу и добровольно, созвали вскоре национальные съезды, избрали правителей и советы, установили вполне благоприятные отношения с главноначальствующим и Особым совещанием. Роль последнего в первое время ограничивалась почти исключительно денежными ассигнованиями на многообразные нужды этих округов и поддержку их культурно-просветительных начинаний. Внутренний мир и в них наладился не скоро: пришлось им подавлять оружием, подчас весьма жестоко, вспышки экстремистов[1], не утративших еще связей и симпатий к большевикам, и бороться с разбоями. В Осетии, по-видимому, самоуправление налаживалось и устанавливалось хорошее отношение к местной выборной власти. А из Кабарды не раз приходили жалобы на произвол старшин, взяточничество аульной администрации и самовольные взыскания с населения узденями убытков, понесенных во время господства большевиков.

Подчинившаяся официально Ингушетия жила фактически почти вне связи с русской властью. Не проявляясь активно, не прекращалось в ней брожение, подогреваемое

[1] Балкарцы — в Кабарде, керменисты — в Осетии.

извне постоянными сношениями с так называемым «горским правительством» и укрытыми в аулах после падения Владикавказа коммунистами, комиссарами, среди которых называли и «чрезвычайного комиссара» московского совнаркома Орджоникидзе. Формирование ингушских полков для Добровольческой армии не подвигалось, а вместо этого шло тайное формирование местных отрядов. Ингушетия по-прежнему представляла собой враждебный вооруженный стан, который считался с одним лишь аргументом — силой.

Иначе обстояло дело в Чечне и Дагестане, где мы встретили неожиданно противодействие со стороны одного из кочующих правительств (характерное порождение русской революции) — *«Республики горских народов Кавказа»* и... *англичан*. Избранный на 2-м горском съезде «Центральный комитет союза горцев» имел вначале узкую задачу — отстаивание общегорских интересов. Но после падения российского Временного правительства «горский союз, под влиянием фанатизма одних и честолюбивых замыслов других перешел сначала к чисто горской автономности, а позже — к независимому государственному образованию, требуя от всех признания своего суверенитета над территорией и над народами, населяющими во многих местах чересполосно с русскими и казаками Северный Кавказ. Эти политические стремления дали горским народам только междуплеменную вражду и иго большевиков в Терском крае». Так определяли впоследствии правитель и совет Осетии роль горского правительства, протестуя против домогательств последнего на власть[1].

После январских событий во Владикавказе горское правительство бежало в Тифлис и, оторванное от событий на Кавказе, частью рассеялось, частью — в лице кабардинца Пшемаха Коцева[2], чеченца Топы Чермоева[3] и других — про-

[1] Цитированный выше «Протест Осетии».

[2] Человек с университетским образованием. Находился при кубанском правительстве во время Первого Кубанского похода.

[3] Ротмистр конвоя Его Величества, владелец нефтяных промыслов в Грозном.

должало еще выступать в центрах восточной политики. Они побывали в Константинополе, призывая единоверных турок помочь им освободиться от «русского владычества»[1]; они, явившись на Батумскую мирную конференцию в качестве «полномочных» представителей Северного Кавказа, всемерно поддерживали германо-турецкую дипломатию в ее захватных стремлениях против закавказской делегации... В Тифлисе они добивались у германского командования помощи ингушам (?), но осторожные немцы, кроме посылки во Владикавказ грузовиков с миллионом патронов и 3 тысяч винтовок, воздержались от прямого вмешательства в горские дела.

Вся дипломатическая, декларативная, публицистическая деятельность этого кружка носит следы специфической восточной хитрости и наивной хлестаковщины, производившей, однако, известное впечатление на несведущих иностранных представителей. Все, например, сложные эпизоды борьбы в Чечне и Дагестане, осложненные соревнованием советской власти, турок и англичан и их вооруженным воздействием, изображались горским правительством в таком виде: «К осени 1918 года правительством горским были очищены от большевиков вся Дагестанская область, Хасавюртовский и Чеченский районы Терской области, кроме Грозного. Правительство обосновалось тогда в Темирхан-Шуре»[2].

В середине ноября пала Турция, на Каспии появились англичане, и роль горского правительства, крепко связавшего свою судьбу с Турцией — без средств, без армии и без влияния, — казалось, должна была закончиться. Но 26 ноября горская делегация посетила в Баку английского генерала Томсона, обратилась к нему за помощью, и Томсон счел полезным для английских интересов поддержать существование горского правительства. Вот как об этом повествует Пшемах Коцев[3]:

«Когда анархия и развал коснулись и нашей окраины, то для меня стало ясно, что собственными силами и авторитетом мы не можем водворить у себя порядка. И вот все это время прошло в хлопотах за поисками этой внешней силы.

Хотя эти внешние силы были заняты собственными делами, все же они нам помогли как могли и снабдили военным снаряжением. Но одни силы ушли, а другие пришли. В тот самый момент, когда я собирался пробраться в залитую кровью Кабарду, я был приглашен в Баку главным английским командованием для переговоров.

Английское командование, признав впредь до всемирной конференции существование Горской республики и правительства, предложило мне организовать новое коалиционное правительство, которое действовало бы в единении с союзниками.

Согласившись в принципе, я отказался сделать это без народного доверия горских племен. С 18 по 22 (нового стиля) декабря происходил в Темирхан-Шуре съезд представителей Дагестана, Чечни, Осетии и нескольких кабардинцев. Это совещание вручило мне *всю полноту власти*, как от горского, так и от казацко-русского населения (!). После этого английское главное командование назначило при моем правительстве военную миссию во главе с полковником Роулинсоном, который уже приехал в Темирхан-Шуру».

Этими фактами определяется генезис новой власти «всего Северного Кавказа», восходящей, следовательно, к генералу Томсону и собранию случайных людей, проживающих вблизи Дагестана, так как в начале декабря вся Кабарда, Осетия, Ингушетия и половина Чечни находились во власти советов и фактически были отрезаны от

---

[1] При председателе Чермоеве секретарем состоял турецкий офицер Терик-Джерил-Сазар, получавший инструкции из Константинополя.

[2] То есть после занятия Дагестана турками. Из официального «заявления», обращенного ко мне горской делегацией 10 февраля 1919 года.

[3] Из послания Коцева Кабардинскому национальному совету от 10 декабря 1918 года.

Дагестана. Распространение этой власти на Терек обусловливалось договором, заключенным горским правительством с беженцами с Терека, проживавшими в Петровске и именовавшимися еще «Временным военным правительством казаков и крестьян Терского края». В силу договора область Терского войска должна была войти в состав Союза горских народов, причем «командование вооруженными силами договаривающихся сторон вверялось представителю держав Согласия на все время операции против большевиков»[1].

В письме своем к «горскому правительству Северного Кавказа», посланном 27 ноября и подтверждавшем данное горцам обещание признания de facto, Томсон говорил: «Вас больше всего интересует стать самостоятельной республикой... Эти вопросы будут разрешены мирной конференцией союзников... До этого времени у Вас есть полная возможность проявить Вашу способность к самоуправлению». В числе предъявленных Томсоном требований, между прочим, были: удалить турок с территории республики, устранить турецкую и германскую пропаганду и помочь союзникам в установлении связи «с армией генерала Деникина». Со своей стороны Томсон обещал «помочь всеми средствами народам Кавказа в их стараниях превозмочь те трудности, которые стоят перед ними».

Пока горское правительство, организовав бесчисленные министерства, заключало международные соглашения и собирало силы, на Северном Кавказе наступили известные события, и войска Кавказской Добровольческой армии 23 января овладели Грозным и 28-го — Владикавказом. После этих событий 10 февраля генерала Томсона посетила делегация в составе горского министра Малачихана и «представителя ингушского народа» Плиева, сообщила официально «о взятии *горскими войсками* Владикавказа и Грозного» и просила «содействия в прекращении наступательной операции Добровольческих частей»[1]. Генерал Томсон выразил живейшую радость по поводу таких успехов горского правительства в борьбе с большевиками и особенно трогательно по адресу ингушей: «Я был весьма рад, — писал он Плиеву[2], — встретить сегодня и поздравить Вас как представителя ингушей с теми большими успехами, которые достигнуты последними в очищении своей родины от большевиков. Ингуши были очень лояльными друзьями союзников...»(!) Томсон выражал также уверенность, что у ингушей не будет никаких затруднений с войсками генерала Деникина... Одновременно Коцев обратился через генерала Эрдели, находившегося в то время по моему поручению в командировке в Закавказье (Баку), с ультимативным требованием «отвода частей Добровольческой армии с Владикавказского и других горских районов... В противном случае горское правительство снимает с себя ответственность за могущие произойти тяжелые последствия».

* * *

Пока происходила вся эта буффонада, горское правительство приступило и к прямым действиям. В Грозный, занятый войсками генерала Шатилова, 1 февраля явились «губернатор» и «командующий войсками», назначенные меджилисом, и пожелали вступить в управление городом и краем. Им было отвечено, что горское правительство не признано ни Добровольческой армией, ни большинством горских народов и что весь Терский край находится под управлением главноначальствующего генерала Ляхова. После того горское правительство вступило с нами в длительные и безрезультатные переговоры, послав делегацию во главе с «председателем союзного совета» Темирхановым в Екатеринодар[3] и председателя пра-

---

[1] Договор, заключенный 10 декабря 1918 года и подписанный Чермоевым, Коцевым, Сапроновым, Киреевым. Подобный же договор по военной части был заключен и подписан 14 января бывшим диктатором Дагестана и военным министром Горской республики полковником князем Тарковским и командующим Терским отрядом генералом Колесниковым.

[1] Официоз «Азербайджан», № 32.

[2] Письмо от 10 февраля (нового стиля) 1919 года.

[3] Делегация демонстративно отказалась беседовать с генералом Ляховым, которому поручены были все сношения с горскими народами, потому и не была мною принята.

вительства Коцева — в Пятигорск к генералу Ляхову. Вопрос стоял на мертвой точке, так как обе стороны ставили непримиримые условия: меджилис добивался очищения Добровольческой армией «территории союза горцев Северного Кавказа»[1], причем Коцев предполагал созвать общегорский съезд, который должен был определить дальнейшую судьбу края... Командование во избежание кровопролития через генерала Ляхова требовало прекращения агитации и сложения с себя власти горским правительством, после чего будет созван генералом Ляховым съезд, перед которым членам «правительства» будет предоставлена возможность дать отчет в своей деятельности. Съезд изберет помощника главноначальствующего по горским делам и членов совета, и горским племенам будет предоставлено широкое внутреннее самоуправление.

Все послания горского правительства кончались неизменно угрозами, подкрепленными ссылками на единомыслие с ними Англии и на ее помощь, а также на содействие Азербайджана. Коцев прислал нам и копию ноты «союзного» правительства Азербайджана, адресованной Томсону[2].

«Народы Кавказа имеют полное основание думать, что целью и задачей Добрармии является борьба с анархией и большевизмом в России, а не дерзкие посягательства на стремление народов к свободе и попрание их прав на самоопределение, признанных за ними всеми великими державами в Европе и Америке. С этой точки зрения вышеуказанные акты вопиющего насилия над волей и суверенными правами дружественных Азербайджану горских народов Кавказа не могут не вызывать самого горячего протеста со стороны азербайджанского правительства... Правительство, конечно, сочтет себя обязанным всеми

[1] Теоретически в нее входили этнографические пределы Абхазии (Сухумский округ, занятый Грузией), земля черкесов (Кубанской области), Осетия, Кабарда, Чечня, Ингушетия и Дагестан.

[2] Нота от 6 марта 1919 года, подписанная «министром-председателем ханом Хойским».

доступными ему средствами прийти на помощь горским народам».

Нота заканчивалась настоятельной просьбой «принять решительные меры к быстрейшему удалению войск Добрармии из пределов республики».

Одновременно послана была специальная миссия в Грузию, и первым результатом ее была нота Гегечкори английскому командованию, в которой также был выражен «категорический протест» против нарушения Добровольческой армией «принципа самоопределения народов и покушения на независимость Горской республики, признание или непризнание коей всецело зависит от решения всемирного конгресса».

По примеру других потентатов и коцевское правительство послало «делегацию на мирную конференцию»[1], и вскоре в европейской прессе появились удивительные рассказы «из официальных источников» об истории кавказской борьбы и жизни горских народов.

Тем временем горское правительство продолжало развивать на Северном Кавказе сильнейшую агитацию, нашедшую отклик в сопредельной с Дагестаном Чечне и отчасти в Ингушетии.

Не имея своей вооруженной силы (дагестанские формирования были ничтожны), правительство обратилось к системе подкупа шейхов и главарей Чечни сообразно их влиятельности; снабжало деньгами, оружием и боевыми припасами чеченские аулы, в которых начали организовываться и красногвардейские отряды (аулы Гойты и Шали) из большевиков, укрывшихся в Чечне после разгрома фронта. В союзном совете (парламенте) в Темирхан-Шуре раздавались речи, дышавшие ненавистью к России («под гнетом которой изнывали горские народы»), к Добровольческой армии (история, цели и образ действий которой подвергались полному искажению), и в частности — к «генералам, бывшим царским сатрапам, которые

[1] В составе Парижской делегации (март) были Чермоев, Гайдаров, Хадзаров и Баммат («министр иностранных дел»).

будут скоро разбиты и будут валяться в прахе»[1]. Эти речи распространялись по Чечне и Ингушетии вместе с личными призывами членов совета и правительства, посещавших аулы и чеченские съезды и обещавших вооруженную помощь Дагестана и Азербайджана.

Интересно, что стремления горского правительства всецело поддерживались кубанскими самостийниками. И однажды в органе кубанского краевого правительства «Вольной Кубани»[2] мы прочли обстоятельную статью о том, как большевистская анархия была занесена на Терек «самим терским казачеством еще в 1918 году с Моздокского народного съезда, устроенного некоторыми безответственными кругами терского казачества с явной целью борьбы с ингушами и чеченцами». И как это нехорошо, что Добровольческая армия, «не ограничиваясь своей задачей наказания казацко-осетинских большевистских элементов, внесших разруху в Терскую область, повела борьбу в сторону уничтожения Горского союза и горской объединенности...»

Такое отношение не мешало, однако, кубанским самостийникам пользоваться влиянием среди терского правительства и Круга.

Дважды назначенный в Грозном съезд чеченских представителей не состоялся ввиду отказа большевистских органов прислать своих поверенных. Чечня волновалась, район Грозного становился непроезжим, повсеместно участились нападения и обстрелы; вместе с тем чеченцы прервали железнодорожное сообщение с Петровском, произведя крушение двух рабочих поездов. Начиналось серьезное восстание, центром которого стал аул Гойты, верстах в 25 от Грозного.

Наше почти двухмесячное выжидание было понято горцами как слабость. Между тем стратегическая обстановка на Дону и Маныче требовала спешной переброски возможно больших сил на север. Медлить дольше не представлялось возможным. Переговоры были прерваны, и решение вопроса предоставлено силе оружия.

---

[1] Из речи председателя совета Темирханова.

[2] 20 июня 1919 года, № 133.

16—23 марта сильный отряд, в составе кубанских и терских казаков, под начальством генерала Драценко, нанес особенно тяжелое поражение чеченцам у аула Алхан-Юрта, где они потеряли до 1000 человек. Бои сопровождались жестокостями с обеих сторон и разрушением нескольких аулов. Потрясенные этой неудачей чеченцы грозненского округа начали присылать со всех сторон депутации с изъявлением покорности, и генерал Ляхов в третий раз назначил на 28 марта чеченский съезд, пригласив присутствовать на нем и Коцева. К назначенному дню я приехал в Грозный совместно с английским представителем генералом Бриггсом. Коцев не приехал. По-видимому, он считался в своей среде слишком умеренным. Горский совет командировал в Грозный трех лиц во главе с ярким русофобом и полубольшевиком своим председателем Каплановым для переговоров с командованием. Но делегация, узнав о событиях в Чечне, задержалась в ауле Шали, не решаясь проехать в Грозный. Из Шали Капланов сообщил мне в Грозный, что «никакие переговоры с отдельными племенами или селениями не имеют в глазах Горского союза никакой определенной силы». Не признавая вовсе прав горского правительства, командование, в свою очередь, не могло входить с ним в обсуждение участи кавказских племен. Да и дальнейшие разговоры, как оказалось, были бы совершенно бесполезными, ибо инструкция, данная делегации на секретном заседании совета, гласила: «1) Потребовать от Добровольческой армии очищения всей горской территории; 2) никакого сотрудничества с армией генерала Деникина; 3) роспуск всех мобилизованных горцев»[1].

Среди народных избранников — вероятно, лучших представителей аулов[2] — царила беспросветная тьма. Никакими ни политическими, ни религиозными побуждениями нельзя было объяснить народное брожение. Оно питалось исключительно самыми нелепыми слухами, извращениями фактов. Чеченцы с одинаковым недоверием относились и к медж-

---

[1] Это мы прочли позднее в официозе «Вестник Горской республики» от 12—16 апреля (нового стиля) 1919 года.

[2] Собрались уполномоченные всего Грозненского округа и пяти аулов Веденского.

лису, и к добровольческой власти, и совершенно не шли дальше прикладных интересов своих аулов. Пожалуй, большую симпатию они питали к большевикам, которых укрывали в своих саклях и которые не препятствовали, когда были в силе, их расправам с местным русским населением и терскими казаками. Они боялись мести. И теперь, когда в разосланном по аулам оттиске речи Коцева они прочли, что «в Терскую область назначается генерал-губернатор из казаков»[1], — это известие повлияло на них больше, нежели призывы меджилиса к построению Горской республики. Велика вина крайне немногочисленной туземной интеллигенции, которая в большинстве своем на всех стадиях русской смуты не работала в реальных интересах своего народа, а превратила этот народ — темный, совершенно инертный в политическом смысле, не вышедший из рамок средневековья по культуре, — в орудие *своих* политических или личных честолюбивых целей.

Я говорил чеченцам о мире, о том, что никто не посягает на их земли и промыслы. И если порвать с Россией и допустить, что все народы Кавказа будут жить своей собственной жизнью, не считаясь со своими соседями, то кроме резни ничего не выйдет. Повторил требования, предъявленные генералом Ляховым, невыполнение которых вызвало тяжелые репрессии[2]. Генерал Бриггс говорил о содействии, оказываемом Англией Добро-

---

[1] Этот пункт Коцев прибавил от себя в перечне ультимативных требований, предъявленных генералом Гейманом ингушскому народу. Ни Ляхов, ни Эрдели не принадлежали к казачьему сословию.

[2] 1. Подчиниться управлению Добрармии, сохраняя внутреннее самоуправление.

2. Выдать красноармейцев — главарей большевиков и абреков.

3. Выдать артиллерию и пулеметы.

4. Выдать все награбленное и увезенное в Чечню красноармейцами. Возвратить все похищенные железнодорожные материалы.

5. Доставить в ближайшие станции и в аул Алды продовольствие для войск за справедливую плату.

6. Возвратить разграбленное имущество Новогрозненских промыслов.

7. Возвратить жителям Грозного все свезенное в Чечню на хранение их собственное имущество.

вольческой армии, и советовал «дать возможность исправить железную дорогу, прекратить междоусобицу и помочь генералу Деникину в борьбе против большевиков».

Собрание после краткого совещания вынесло постановление выполнить предъявленные условия.

Но мир долго еще не устанавливался.

Под влиянием темных слухов и не раз благодаря насилиям, чинимым казачьими отрядами во время усмирений, началось усиленное движение чеченцев с семьями и имуществом из плоскостной Чечни на юг в горы. Там собрался весь беспокойный элемент, образовались крупные шайки абреков, державшие под постоянной угрозой наши малочисленные гарнизоны. Горское правительство продолжало агитацию и посылало в нагорную Чечню мелкие дагестанские отряды и азербайджанских добровольцев. Правда, окончились эти попытки неудачно: аул Шали, где собрались дагестанцы, был обложен нами, и жителям было предложено разоружить и удалить иноплеменную помощь под угрозой разрушения аула. Требование было выполнено. А возле Гудермеса 13 апреля произошло даже кровавое столкновение между чеченцами и их непрошеными защитниками, когда дагестанский отряд отказался покинуть чеченский аул. Не раз происходили также междоусобные бои между самими чеченцами: одними — желавшими мира, и другими — насильственно поднимавшими аулы к восстанию.

Восстания сменялись усмирениями, усмирения восстаниями, все эти события сопровождались неизбежными актами жестокости и произвола, поддерживая психологию мести и раздражения. Бороться с произволом можно было только поборов сопротивление и достигнув искреннего примирения.

А его не было.

* * *

На пути нашем к Каспийскому морю лежал *Дагестан* — край наиболее бедный по природным условиям, наиболее мирный по характеру своего населения (лезгины) и почти не имеющий своей интеллигенции[1]. В крае, лишенном со-

---

[1] Одно время на должность областного комиссара был приглашен осетин Шаханов.

вершенно экономических предпосылок отдельного существования, наступил экономический кризис и полное бюджетное банкротство — обстоятельства, осложненные воинствующей и беспочвенной политикой меджилиса.

Положение меджилиса становилось все более безнадежным. Горское правительство меняло своих министров, писало отчаянные ноты «своим народам», союзникам и англичанам и объявляло всеобщую мобилизацию (18—30-летних) для борьбы против Добровольческой армии, «посягающей на нашу свободу и завоевания революции». Но создание серьезной вооруженной силы решительно не удавалось[1]. Англичане принимали участие в командовании «союзными силами республики», но свои силы считали совершенно нейтральными, призванными только «охранять порядок». Терский отряд Колесникова, расположенный в Петровске, при первом же соприкосновении с частями Добровольческой армии был двинут на соединение с нею в направлении Кизляра. «Союзники» дали денег (Азербайджан, 12 миллионов), боевые припасы (Грузия), но войск прислать не могли. Мобилизация не прошла совершенно; формирование красноармейских частей из большевиков, осевших в Чечне и Дагестане, и вообще широкое покровительство большевикам восстановило против горского правительства всю буржуазию и туземное офицерство. В конце апреля местная военная партия произвела аресты в Темирхан-Шуре 36 видных большевиков и препроводила их в тюрьмы Петровска при бессильных протестах правительства и совета.

* * *

В Петровске находился еще в весьма оригинальном положении отряд из трех родов оружия генерала Пржевальского, числившийся в Добровольческой армии. История его интересна для характеристики англо-русских отношений.

Командующий английским флотом Черного моря адмирал Сеймур, признавая русские силы в Баку подчиненными

[1] Под командованием полковника Хабаева — Дагестанский конный полк, Чеченский и Кумыкский дивизионы.

командованию Юга, в начале января обратился ко мне с просьбой «отдать генералу Бичерахову приказ снять с судов Каспийского моря русские команды, сплошь зараженные большевизмом и угрожающие связи англичан с Петровском». Я послал телеграмму генералу Эрдели, бывшему тогда в Закавказье, на месте ознакомиться с положением дела и принять надлежащие меры. Связь с Баку (через Грузию) была очень затруднительна, и только 6 марта, post-factum, мы узнали о происшедших там событиях.

Приехав в Баку 22 января, генерал Эрдели застал следующее положение. Томсон, ввиду полного разложения отряда Бичерахова и тех осложнений, которые вызывала его деятельность, полупринудительно заставил его покинуть Баку под предлогом почетной командировки в Англию и назначил его заместителем генерала Пржевальского. Одновременно Томсон закрыл кредиты на содержание отряда, обходившегося англичанам в $^1/_2$ миллиона рублей в день, отпустив только 3 миллиона на его ликвидацию. Эрдели, считая желательным сохранение на Каспии хоть небольшой русской силы, решил использовать этот отряд, приняв его в состав Добровольческой армии, и утвердил генерала Пржевальского в должности начальника войск Прикаспийского района с подчинением его Ляхову.

Но вместе с тем Томсон заявил, что ни стоянка, ни формирование русских добровольческих частей в зоне оккупации англичан не допускаются. Эрдели протестовал, и вопрос поступил на разрешение генерала Мильна.

Тем временем генерал Пржевальский приступил к реорганизации отряда. Большая часть его числилась только на бумаге (10 тысяч) и фактически дезертировала; негодный элемент был уволен; часть была направлена на службу в Закаспий. Из остального состава начаты формирования в Баку и Петровске.

Труднее обстояло дело с флотилией[1], которая после ликвидации «каспийского правительства» и отказа подчиниться Пржевальскому оказалась фактически никому не подчиненной, не имеющей ни средств, ни кредитов. Комитет

[1] Две канонерки, «Карс» и «Ардаган», и 5 вооруженных пароходов.

флотилии «Центрокаспий» после долгих переговоров с генералом Эрдели заявил, что флот согласен подчиниться добровольческому командованию, но лишь в тактическом отношении, оставляя свой внутренний распорядок — с советами, комитетами и прочими атрибутами «революционной дисциплины». Генерал Эрдели требовал полного подчинения и полной реорганизации личного состава. Поэтому неизбежно предстояла насильственная ликвидация строптивой флотилии тем или иным путем.

Бакинский революционный пролетариат, находившийся в полном единении с судовыми командами, волновался. На заседании бакинской рабочей конференции при обсуждении судьбы флотилии поставлен был вопрос: «Деникину, в Астрахань или в Азербайджан?». Первое невозможно потому, что «Деникин борется с демократией всей России и есть зло во всероссийском масштабе»; второе невозможно технически, так как все каспийские порты в руках англичан, а астраханский рейд замерз... И конференция склонилась к третьему решению, полагая, что «Азербайджан — болезнь местная, в нем может взять власть в свои руки демократия... и добиться признания необходимости воссоединения с Россией и согласия на нейтрализацию флота»[1].

Англичане, однако, думали иначе. Томсон требовал от Эрдели скорейшего разоружения флотилии русскими руками, чтобы отвести от себя одиум этого мероприятия. Но вместе с тем предупреждал, что суда после спуска команд, оставаясь русской собственностью, укомплектованы не будут «до более благоприятного времени» ввиду отсутствия гарантии благонадежности нового состава.

Эрдели для сохранения за нами судов до присылки укомплектования от Черноморского флота решился на насильственное разоружение; но встретил неодобрение со стороны всех войсковых начальников, указывавших на небоеспособность своих частей, невыполнимость задачи без участия англичан и бесполезность этого шага ввиду полученных от разведки сведений, что англичане по настоя-

[1] Отчет из газеты социал-демократов «Искра».

нию азербайджанского правительства решили безотлагательно удалить из Баку русские войска.

После ряда бесплодных переговоров был получен от Томсона ультиматум[1]: «К 12 часам следующего дня разоружить флот; в противном случае всем русским добровольческим частям к 16 часам того же дня покинуть г. Баку, а к 24 часам — и пределы Бакинского генерал-губернаторства».

Генералы Эрдели и Пржевальский сочли себя вынужденными подчиниться последнему требованию, заявив протест против самого факта вывода русских войск и ничем не оправдываемой краткости срока, указывая, что «такие действия принесут неисчислимый моральный и материальный ущерб делу борьбы Вооруженных сил Юга России против большевиков».

Генерал Пржевальский с войсковыми частями перешел в Петровск, не успев захватить все войсковое имущество и обозы, большинство которых попало в руки азербайджанских властей. А 16 марта от генерала Томсона последовало новое требование: петровскому отряду в кратчайший срок покинуть Дагестанскую область. Генерал Пржевальский ответил решительным отказом, заявив, что он исполнит приказ только своего начальства.

Каспийская флотилия между тем была разоружена англичанами без кровопролития, одной лишь угрозой потопления судов английскими истребителями. И в то время, когда уходили из Баку русские войска и уже покорно разоружались буйные матросские команды, к генералу Томсону обратились делегаты революционной демократии[2] с изъявлением своего запоздалого патриотизма. «Всякое действие, — говорили они, — против российской армии, хотя бы и Добровольческой, и Каспийского флота бакинским пролетариатом рассматривается как действие против России». Делегаты, предполагая, что флот стоит еще в боевом порядке, по словам отчета, «го-

[1] № 474.

[2] Президиумы рабочей конференции, профессиональных союзов и социалистических партий. Из отчета газеты социал-демократов «Искра».

ворили с Томсоном твердым революционным языком», а он в ответ им «улыбался»...

Все эти события произвели в Екатеринодаре удручающее впечатление. Дело было уже непоправимо. Я предписал генералу Пржевальскому отнюдь не уводить войск из Петровска, обратился с протестом к английскому правительству, указав, что «отдача распоряжения, касающегося вооруженных сил, находящихся в моем ведении, без моего согласия является актом, враждебным Добровольческой армии». Вместе с тем я стал еще более настойчиво добиваться воссоздания русской каспийской флотилии, что при содействии генерала Бриггса и личного воздействия на адмирала Сеймура удалось выполнить только в июне...

Таким образом, в Петровске, на территории враждебного нам горского правительства, при молчаливом непротивлении англичан, находился русский отряд, непосредственно подчиненный полковнику Плотникову[1], силою до $2^1/_2$ тысяч, имевший задачей восстановление железнодорожного сообщения по линии Петровск—Грозный.

• • •

В апреле положение горского правительства окончательно пошатнулось. Началась железнодорожная забастовка на экономической почве, с предъявлением требования к правительству об уплате 12 миллионов рублей. Участились крупные трения, интриги, борьба самолюбий и честолюбий внутри самого правительства и союза, особенно с дагестанской фракцией его, тяготившейся все больше пришлой и слишком дорого обходившейся народу властью. По существу власть эта не распространялась далее Темирхан-Шуры. Дагестан жил своей жизнью, объединяясь вокруг своих шейхов и мулл, попадая не раз под влияние натур неуравновешенных, фанатиков и авантюристов. И тем не менее население Дагестана не теряло тяготения к русской власти.

[1] Генерал Пржевальский объединял командование над отрядами генерала Колесникова, полковника Плотникова, и даже, до полного разрыва с меджилисом, ему подчинялся горский отряд Хабаева.

В поисках выхода горский парламент стал стремиться к политическому объединению с Азербайджаном «во имя защиты религии и самобытности Дагестана».

К маю сознание невозможности продолжать такое существование стало всеобщим. 26 апреля в селе Ишкары собрались старшины и судьи Верхнего Дагестана для обсуждения вопроса о помощи чеченцам и объявления газавата. На бурном заседании этом была вынесена резолюция: «1) Не объявлять войны Добровольческой армии; 2) войска, города и берег моря передать Добровольческой армии, с тем, чтобы дагестанцам остался их закон; 3) послать в Шуру представителей от беков и духовенства и предложить правительству присоединиться к (этому) постановлению или сложить власть, передав ее новым выборным лицам».

Под влиянием всех этих обстоятельств горское правительство 2 мая в полном составе вышло в отставку. Формирование нового было поручено генералу Халилову[1], который и приступил к составлению «военного кабинета».

• • •

Все эти события находили весьма серьезное отражение в дипломатических сношениях наших с Англией.

В Екатеринодаре пребывал представитель при Добровольческой армии генерал Пуль; в Тифлисе — генерал Форестье-Уоккер, начальник экспедиционного корпуса (27-я и части 13-й и 89-й дивизий), оккупировавшего Закавказье и Закаспий и насчитывавшего в своих рядах 15—20 тысяч. В подчинении Уоккера находились начальники войск генералы Моллисон[2], Томсон и Коллис — в Закаспии, Баку и Батуме. Над Пулем и Уоккером стоял генерал Мильн — главнокомандующий английскими войсками на Востоке, пребывавший в Константинополе. Сменивший Пуля генерал Бриггс, находившийся в известной связи с генералом Мильном, подчинялся непосредствен-

[1] Принадлежал к группе, проводившей идею самостоятельности Дагестана.

[2] Летом 1919 года части Моллисона находились в Мешеде, Асхабаде и Красноводске.

но английскому военному министру Черчиллю. В этой сложной схеме явственно различались две совершенно несхожие линии английской политики — екатеринодарская и тифлисская, русофильская и русофобская. Несомненно, это расхождение инсценировано было Лондоном для проведения двойственной политики: задачи преграждения большевистского потока, угрожающего Европе, и закрепления британского экономического влияния в Закавказье. Для меня, однако, также несомненно, что те лица, которые последовательно представляли Англию в Екатеринодаре — генералы Пуль, Бриггс и Хольман, люди большого благородства и солдатской прямоты, не были причастны к кривым путям дипломатии, и деятельность их вытекала из искреннего доброжелательства к России, находясь в то же время в полном соответствии с правильно понимаемыми интересами их отечества.

Расхождение началось с первых же дней. Генерал Томсон издавал обращение «К народам Северного Кавказа», обещая им вооруженную помощь от Англии и устроение судьбы от союзной конференции[1]; возрождал из пепла горское правительство, на знамени которого написано было «самостоятельная республика»; назначил полковника Роулинсона командующим горско-терскими формированиями и от имени своего правительства устанавливал зону английского влияния к югу от линии, проходящей через Петровск по северо-западной границе Дагестана и далее по Кавказскому хребту. Назначение поэтому Ляхова главноначальствующим Терско-Дагестанского края он считал вмешательством в сферу английского влияния...[2] Я протестовал, и Пуль, всецело поддерживая меня, «просил пересмотреть решение о поддержке искусственного образования, предоставив формирования в Дагестане единому командованию Добровольческой армии», и т.д.[3]

3 февраля приехал в Екатеринодар генерал Бриггс, сменивший Пуля, и привез ответ, что командировка генерала

[1] Прокламация от 8 декабря 1918 года.

[2] Доклад генерала Эрдели о беседе с Томсоном 24 января.

[3] Сношение от 7 декабря (Пуля) и телеграммы 31 декабря («Бритфорс») и 4 января (Пуля).

Добровольческой армии на Каспий для формирования противобольшевистских войск не встречает препятствий, так как «это действие на Северном Кавказе не входит в задачи английских войск и должно быть передано генералу Деникину. Но последний не должен вмешиваться в район к югу от линии Кизил-Бурун—Закаталы—Кавказский горный хребет—Туапсе»[1].

Таким образом, устанавливалась английская оккупация всего Закавказья.

Ввиду того что Англия, вопреки первоначальным заявлениям, отказалась двинуть свои войска против большевиков, а территория Закавказья была уже свободна от турок и германцев, такое решение лишено было всяких стратегических обоснований. Оно могло быть продиктовано мотивами только политико-экономическими: грузинский марганец, бакинская нефть и нефтепровод Баку—Тифлис—Батум сами по себе определяли вехи английской политики и английского распространения. Но этим обстоятельством далеко еще не исчерпывалось значение и ценность Закавказья. На очереди стояло объявление английского протектората над Персией, и Закавказье являлось естественной преградой против России и территорией, по которой пролегают пути, идущие из северной Персии к открытому морю через главный выход — Батум[2].

Закавказских английских представителей решение это, очевидно, не вполне удовлетворило. Генерал Томсон, заняв одним батальоном Петровск, продолжал оказывать моральную поддержку горскому правительству и принимал реальные меры к вытеснению русского влияния и русских формирований с Прикаспия. Вместе с тем он сообщил мне через генерала Эрдели[3], что согласно полученным инструк-

[1] Телеграмма военной миссии 1 февраля 1919 года, № 74791; письмо генерала Бриггса 6 февраля и выборка из перечня сношений английской миссии. Эта линия проходила по южной границе Дагестана.

[2] Джульфа—Батум, Энзели—Баку—Батум.

[3] Телеграмма от 25 января, № 85.

циям «все русские заводы, железные дороги и учреждения перешли к Азербайджану» и что «смотреть на Баку и Дагестан как на нашу (русскую) базу мы не можем». Это обстоятельство вызвало вновь представление генерала Бриггса своему правительству о необходимости соблюдать установленную разграничительную линию[1] и мой протест.

«Такая постановка вопроса, — писал я[2], — приводит не к объединению России, а к ее расчленению, лишает меня базы для противодействия наступлению со стороны Астрахани и связи с Уральским фронтом и Закаспийской областью. Если бы на такую точку зрения в отношении русского государственного добра, и в частности железных дорог, стали все мелкие случайные правительства, образовавшиеся на территории Русского государства, борьба Добровольческой армии была бы бесцельна и немыслима...»

Вслед за сим 11 марта пришел телеграфный ответ из Лондона, всецело подтверждавший точку зрения Уоккера—Томсона и притом в форме угрожающей. В нем говорилось[3]:

«Генерал Бриггс должен объяснить генералу Деникину, что:

1. В ответ на полное сочувствие, которое питается к нему в его усилиях освободить Россию от большевиков и которое проявляется не только на словах, но и на деле присылкой оружия, снаряжения и обмундирования в большом количестве в Новороссийск, от него ожидается, что он будет лояльно придерживаться общей политики союзников по отношению к маленьким государствам. Великобритания не намерена оставлять свои войска на Кавказе. Ее войска были посланы туда для приведения в исполнение условий перемирия и сохранения мира. Часть этой задачи уже исполнена с изгнанием немцев и турок. Что касается до второй, то генерал Деникин должен понять, что временное присутствие союзных войск в Закавказье обеспечивает его от нападения с тыла и дает в руки союзникам Каспийское море. Эти факты должны бы повлиять на него сосредоточить все возможные силы против большевиков в России. Вопрос об окончательном устройстве Кавказа во всяком случае не может быть решен до восстановления порядка в России, и Деникину следовало бы избегать всякого действия, предрешающего этот вопрос.

2. Поэтому его войска не должны были бы вступать в Дагестан, кроме как в случае действительных военных операций против большевиков, и его надо очень просить серьезно пересмотреть вопрос о назначении генерала Ляхова губернатором этого края. Правительство Его Величества смотрят на это назначение с большим неудовольствием. Линия, указанная в телеграмме Военного министерства за № 74791 от 1 февраля с. г., относилась всецело к действиям против большевиков.

3. Важно, чтобы генерал Деникин избегал всяких действий, военных или других, могущих увеличить существующее трение между его приверженцами и грузинами и другими кавказцами. С другой стороны, будут приложены все усилия, дабы эти народы сохранили нейтральное положение.

4. Полагаю, что теперь блестящая победа его войск на Тереке устранила большевистскую опасность в этом направлении. Генерал Деникин имеет возможность, если он будет снабжен необходимым военным материалом, нанести совместно с адмиралом Колчаком решительный удар большевизму, и было бы весьма прискорбно, если бы своим нетерпением и беря направление, ни в каком случае не приемлемое для Великобритании, он принудил Правительство Его Величества отказать ему в своей поддержке и остановить отправку ныне посылаемых запасов».

Из этого ультиматума, устраняющего нас от Каспийского моря, мы могли заключить, что вехи английского распространения намечены гораздо далее Закавказья: Петровск—Баку—Энзели — это уже ключи к обладанию Средней Азией, Красноводск — путь к закаспийскому хлопку...

---

[1] 13 февраля 1919 года.

[2] 22 февраля 1919 года, № 293.

[3] Копия телеграммы, присланной генералу Драгомирову при сношении британской миссии от 11 марта, №154.

Генерал Романовский по этому поводу беседовал с генералом Бриггсом, изложив ему вновь причины, побуждающие нас стремиться к Каспийскому морю и не допускающие мириться с существованием в Дагестане очага брожения всего Северного Кавказа — горского совета и правительства. Указывал на то, что особой нужды в «обеспечении от нападения с тыла» нет, ибо закавказские образования и горское правительство без содействия Англии для нас не представляются опасными.

Из последующих бесед своих с генералом Бриггсом и приехавшим в Екатеринодар 10 апреля главнокомандующим генералом Мильном, отнесшимся с большим вниманием к нуждам армии и нашему военно-политическому положению, я вынес впечатление, что оба они разделяют стратегические мотивы нашего стремления к Каспию. Во время совместной с генералом Бриггсом поездки в Чечню я сообщил ему доверительно, что отказаться от занятия Дагестана я не могу; однако же, избегая осложнений с английским командованием в Дагестане, я займу эту область только тогда, когда обстановка будет благоприятствовать мирному разрешению вопроса.

Но 11 апреля старший английский начальник в Петровске обратился к председателю горского правительства с письмом, которое проникло скоро в кавказскую печать и привело нас в полное изумление.

«Я получил приказание передать следующее правительству Горской республики. На британское предложение Деникин согласился не продолжать операцию, и не будет наступать на Дагестан. Генерал Ляхов будет смещен[1]. Генерал Деникин сам устроил modus vivendi с чеченцами, ингушами, балкарцами и осетинами, и мир восстановлен в ожидании мирной конференции, которая решит вопрос о независимости и границах Горского государства. В ответ на это горское правительство должно позволить Добровольческой армии пользоваться Петровским портом как средством для укрепления Гурьева...»

[1] Отставка Ляхова, вызванная причинами, о которых я писал выше, досадно совпала с этим письмом.

В заключение говорилось, что «всякое нападение на генерала Пржевальского (в Петровске) будет объяснено британским командованием как враждебный против него акт».

Это искажение наших целей и намерений, носящее как будто следы доброжелательства, укрепляло пошатнувшееся окончательно положение горского правительства, вызвало с нашей стороны новые протесты и побудило генерала Бриггса послать в газеты опровержение, в котором он удостоверял, что «командующий британскими войсками в Петровске не имел никакого права делать заявления, подобные опубликованным, так как таковые лишены всякого основания»[1].

• • •

Невзирая на все противодействия, стратегическая директива вооруженных сил Юга ставила командующему войска Терско-Дагестанского края задачу ясную и определенную: «Продолжать очищение Северного Кавказа до линии Кизил-Бурун—Закаталы—Кавказский хребет, прикрывать пути от Астрахани вдоль побережья Каспийского моря и на Св. Крест и иметь наблюдение за побережьем Каспийского моря, не допуская десанта противника».

Необходимо было лишь дождаться подходящего момента.

В начале мая обстановка сложилась окончательно в нашу пользу: Верхний Дагестан высказался за приход в область Добровольческой армии, весь Хасавюртовский округ заявил о своем подчинении, и горское правительство Коцева—Капланова пало. Грозненская колонна генерала Драценко продвигалась вперед без единого выстрела со стороны дагестанцев и 8 мая, совершив последний переход по железной дороге, появилась неожиданно в Петровске, приветствуемая восторженно всем русским населением города. 10-го генерал Драценко занял мирно и Дербент.

Появление русских произвело огромное впечатление в области и вызвало ряд важных событий. Прежде всего — политический переворот. 10 мая председатель горского

[1] Сношение генерала Бриггса 2 мая 1919 года, № 758.

правительства генерал Халилов обратился к генералу Драценко со следующей телеграммой:

«Правительство Горской республики во главе с генералом Халиловым, осведомившись о целях прибытия в Шамил-Калу (Петровск) Добровольческой армии, о взглядах ее командования на независимость означенного государственного образования и не желая, чтобы на этой почве между населением Дагестана и Добрармией происходили вооруженные столкновения, 23 мая в 10 часов вечера сложило свои полномочия. Дагестанская фракция парламента совместно с исполнявшим должность шейх-ислама и группой дагестанской интеллигенции, обсудив создавшееся положение и учитывая бесцельность взаимного кровопролития, постановила предложить парламенту: 1) отставку кабинета принять; 2) союзный Совет республики горцев Кавказа закрыть. Вместе с тем, принимая во внимание, что впредь до созыва дагестанского областного совета страна не может оставаться без власти, дагестанская фракция, представители народа и духовенство единогласно избрали временное дагестанское правительство в лице генерал-майора Халилова, предоставив ему самому создать временный совет из двух или трех лиц. Извещая о вышеизложенном, прошу Ваше Превосходительство не отказать сообщить, когда и где вам будет угодно переговорить о взаимных отношениях Дагестана и Добрармии».

Переговоры с Халиловым привели к признанию Дагестаном власти Добровольческой армии, с предоставлением области автономии на тех же началах, как и прочим горским народам. Прибывший в Темирхан-Шуру 21 мая главноначальствующий генерал Эрдели, встреченный с большим почетом, закрепил акт присоединения, и генерал Халилов впредь до созыва народного совета назначен был временным правителем Дагестана.

Не меньшее впечатление произвело занятие Дагестана на англичан. 28 мая английская миссия сообщила мне телеграмму военного министра Черчилля: «Занятие Дербента генералом Деникиным не способствует установлению

мира на Кавказе и потому противно его же интересам»[1]. Одновременно, минуя екатеринодарскую миссию и меня, министерство отдало распоряжение английскому закавказскому командованию, в результате которого 3 июня наш начальник петровского отряда получил требование от имени «правительства Его Величества» отвести войска севернее «линии, которая начинается в 5 милях к югу от Петровска и идет параллельно Грозненской железной дороге». Вскоре разъяснилось основание этого требования: генерал Корри, сменивший Уоккера в должности «командующего британскими силами Закавказья», 29 мая сообщал председателям грузинского и азербайджанского правительств:

«От имени правительства Его Величества в Лондоне решено, что демаркационная линия между генералом Деникиным и кавказскими государствами должна быть следующая: от устья реки Бзыби к северу по этой реке до границы Сухумского округа, дальше восточнее по границам Кутаисской и Тифлисской губерний и Дагестанской области до пункта в 5 милях к югу от железной дороги Петровск—Владикавказ, оттуда к юго-востоку параллельно железной дороге до точки на побережье Каспийского моря в 5 верстах к югу от Петровска.

Генерал Деникин получил указания, чтобы войска его не переходили к югу от указанной линии, закавказские государства не должны переходить к северу от нее. Согласно вышеизложенному, грузинские войска должны отойти к югу от Бзыби. Закавказские государства должны воздержаться от всяких агрессивных действий против Добровольческой армии, кооперировать с генералом Деникиным доставкой ему нефти и других припасов и недопущением проникновения этих запасов большевикам. Неисполнение этих условий повлечет за собой в будущем полное прекращение британского расположения и поставит правительство Его Величества в невозможность воспрепятствовать генералу Деникину перейти к Югу от этой линии».

[1] Сношение 11 июня 1919 года, № 1210.

Это письмо было напечатано в азербайджанском официозе[1] и сопровождено правительственным сообщением о беспочвенности нападок прессы на англичан, вполне благожелательных к республике; при этом впредь за враждебные выступления против англичан правительство грозило суровой ответственностью...

Представлялось чрезвычайно странным, что о таком важном решении я узнал только через месяц и то из ноты азербайджанского правительства, требовавшего исполнения «предписаний» английского правительства...[2]

Генералу Эрдели я дал приказание требований англичан не исполнять и войска из Дербента не уводить. Азербайджанскому правительству через нашего представителя в Баку разъяснено было, что Главнокомандующий осуществляет верховную власть на территории, занимаемой армиями Юга России, и потому ему никто не вправе давать предписания, и что Дагестан, добровольно подчинившийся, покинут не будет. Одновременно и Азербайджану и англичанам разослано было вновь подтверждение, что Азербайджану с нашей стороны никакая опасность не угрожает. Наконец, английской миссии была послана новая нота протеста о недопустимости умалять престиж Вооруженных сил Юга России, резать Дагестан по живому телу в угоду кавказским республикам и создавать на нашем фланге и в тылу район, свободный для большевистских и противодобровольческих организаций[3].

На этот раз протест, поддержанный вновь екатеринодарской английской миссией, имел успех, и новый английский командующий в Баку генерал Шательворт в начале июля сообщил азербайджанскому правительству об отмене последней демаркационной линии и включении в зону Добровольческой армии всего Дагестана.

[1] При этом азербайджанское правительство скрыло от печати и от нас фразу в письме Корри, заключавшую английское требование, чтобы «закавказские штаты способствовали провозу через их территорию боевого снабжения как для Добровольческой армии, так и для Закаспия и Урала».

[2] Нота от 9 июня, № 45; получена в Екатеринодаре 24 июня.

[3] Председателя Особого совета 2 июля, № 922, и начальника военного управления 27 июня, № 2523.

Этим эпизодом закончились наши столкновения с Англией по вопросам Северного Кавказа. Английская политика становится здесь отныне или нейтральной, или благожелательной к интересам Вооруженных сил Юга России. Придет время, и тот самый полковник Роулинсон, который руководил «военными силами горского правительства» и потворствовал его политике, обратится с воззванием к народам Северного Кавказа: «Правительство Англии поддерживает генерала Деникина и его цели... Английская миссия хорошо знает, что восстание горцев есть не национальное движение, а большевистское, и вызвано отдельными лицами, преследующими личные цели... Противодействие генералу Деникину будет рассматриваться как акт недоброжелательства к союзникам».

Эти поздние увещания не имели, впрочем, значения, так как в это время (сентябрь) английские войска покидали уже Баку и Тифлис...

* * *

Северный Кавказ был присоединен, но не замирен. Слишком много горючего материала накопилось в крае, чтобы разбушевавшаяся с началом революции стихия вошла так скоро в спокойные мирные берега. Отзвуки расцветшего было, но вскоре поблекшего воинствующего панисламизма; обострившиеся межплеменные счеты; упадок народного хозяйства и развившиеся, как никогда, абречество и мюридизм; темнота масс, живших нелепейшими представлениями и слухами; деятельность местных народных вождей — фанатиков и авантюристов, подымавших народ жестокими расправами с непокорными аулами, — все это подогревало брожение изнутри. Извне с большой энергией и слепою ненавистью поддерживали его бежавшие за пределы нашей досягаемости члены бывшего меджилиса, все еще рядившиеся в атрибуты власти и народного избранничества, заключавшие союзы, подписывавшие договоры, раздававшие закавказские земли[1],

[1] Так, осенью 1919 года состоялось «единогласное постановление» меджилиса от имени Аджарии о присоединении Батумской области к Грузии...

наводнявшие территорию Кавказа своими агентами и пропагандой. Они находили средства и деятельную, совершенно открытую поддержку в новообразованиях Грузии и Азербайджана, питавших восстания деньгами, оружием, даже живой силой — офицерами и инструкторами. И пока, таким образом, фактические и мнимые правительства Кавказа подготовляли пришествие *третьей* силы с севера, их заграничные делегации подрывали всемерно в общественном мнении Европы авторитет Вооруженных сил Юга, стремясь лишить их моральной и материальной помощи.

На Северном Кавказе восстания не прекратились. Во второй половине июня они пронеслись по Ингушетии, горному Дагестану (Али-Хаджа), нагорной Чечне (Узун-Хаджи и Шерипов); затихнув в июле, они повторились в августе с новой силой в Чечне и Дагестане под руководством турецких и азербайджанских офицеров и при сильном влиянии советских денег и большевистской агитации, направляемой из Астрахани... И хотя восстания эти неизменно подавлялись русской властью, хотя они никогда не разгорались до степени, угрожающей жизненно нашему тылу, но все же создавали вечно нервирующую политическую обстановку, отвлекая внимание, силы и средства от *главного* направления всех наших стремлений и помыслов.

ГЛАВА XVI
НАША И АНГЛИЙСКАЯ ПОЛИТИКА В ЗАКАВКАЗЬЕ. БАТУМСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО. ЮГО-ЗАПАДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Закавказская проблема стояла перед нами не менее остро, чем вопрос о Северном Кавказе. Главной целью моей было *удержание в государственной связи с Россией закавказской окраины или, по крайней мере, территориальное ограничение распада.* В этом стремлении своем я встретил противодействие и новообразований, и Англии.

С осени 1918 года в Батуме, Тифлисе, Баку и Эривани в полуофициальном положении находились представители

Добровольческой армии[1], связь с которыми была всегда до крайности затруднительной. Полученные ими лично и письменно указания от меня и военного управления относительно направления добровольческой политики сведены были позднее в общую инструкцию, данную мною генералу Баратову, когда в июле он был послан официально в Тифлис в качестве главного представителя моего в Закавказье. Эта секретная инструкция, помеченная датой 2 июля 1919 года, является, таким образом, истинным отражением всей нашей политики в Закавказье — от начала и до конца — и ключом к уразумению последовавших там событий.

ИНСТРУКЦИЯ
Главному представителю в Закавказье главнокомандующего Вооруженных сил Юга России

Вам надлежит осуществить следующие задачи и руководствоваться следующими основаниями.

А) По части военной

1. Принять все меры для скорейшего и полного вывоза из Закавказья в распоряжение главного начальника снабжения всех видов военного российского имущества, принадлежащего бывшему Кавказскому фронту.

2. Предложить всем русским офицерам, находящимся в Закавказье, прибыть в распоряжение дежурного генерала штаба главнокомандующего.

3. Принять меры к обеспечению остающихся в Закавказье семейств офицеров, отправляемых и находящихся в составе Вооруженных сил Юга России.

4. Принять все меры к обеспечению связи с Тифлисом.

Б) По части политической

Имея в виду, что все Закавказье в пределах границ до начала войны 1914 года должно быть рассматриваемо как не-

[1] «Тифлисский центр» негласно возглавлялся генералом от инфантерии Шатиловым; полковник Лазарев состоял при английском командовании в Баку и сносился с азербайджанским правительством; полковник Лесли состоял при армянском правительстве. С марта 1919 года в Батуме находился при английском командовании генерал Романько-Романовский.

отделимая часть Российского государства, Вам надлежит подготавливать почву для безболезненного воссоединения этих областей в одно целое с Россией под верховным управлением общероссийской государственной власти.

Что касается будущего государственного устройства, то, не предрешая частностей его до волеизъявления всего населения Российского государства, необходимо иметь в виду, что в решении этих вопросов примут участие представители всех областей и народов России и что широкая внутренняя автономия в делах местной, краевой и народной жизни составляет одно из оснований будущей государственной жизни России.

Одновременно с тем, *впредь до окончательного установления общегосударственной российской власти, допускается самостоятельное управление этих областей, ныне в них образовавшееся и существующее.*

В частности: а) по отношению к *Грузии*:

Главное командование Вооруженных сил Юга России требует полного очищения грузинскими войсками Сочинского округа, с отводом их за реку Бзыбь.

По выполнении этого непременного условия возможны два положения во взаимоотношениях с Грузией: 1) если ею будет признана принадлежность Грузии к российской государственности и прекращены гонения на русских людей, силою обстоятельств находящихся в Грузии, то возможно установление вполне дружелюбных отношений, с восстановлением свободного товарообмена и со снятием таможенных ограничений; 2) если же указанные выше в п.1 условия Грузией осуществлены не будут, то, сохраняя нынешнее состояние товарообмена и таможенных ограничений, возможно лишь обоюдное обязательство на прекращение военных действий.

До отвода же войск из Сочинского округа за р. Бзыбь какие-либо иные взаимоотношения, кроме готовности к боевому противодействию против этого покушения на целость российской государственности, не представляются возможными;

б) по отношению к *Азербайджану*:

Главное командование Вооруженных сил Юга России, считая Азербайджан неотделимой частью России, допускает временное самостоятельное управление Азербайджана впредь до окончательного установления общероссийской государственной власти и не имеет никаких намерений к переходу в наступление южнее границ Дагестанской области, если со стороны Азербайджана не будут проявлены какие-либо попытки к агрессивным действиям;

в) по отношению к *Армении*:

Вполне сочувствуя стремлениям армянской народности к ее объединению в этнографических границах и считая армян тесно связанными в их исторических и экономических интересах с единою, неделимою Россией, в пределы которой входит наиболее цветущая часть Армении, главное командование Вооруженных сил Юга России, так же как и в отношении Грузии и Азербайджана, допускает временное самостоятельное управление армянских областей впредь до окончательного установления общероссийской государственной власти, не имея никаких агрессивных в отношении Армении намерений, но всемерно стоя на страже единства российской государственности.

В связи с этим на Вашей обязанности лежит:

1. Охранение и защита интересов всего постоянного русского населения в Закавказье и православной русской Церкви;

2. Забота о русских беженцах, ныне водворенных на места своих постоянных жительств в Закавказье;

3. Периодическое осведомление Военного управления о военно-политическом состоянии края.

В) По части экономической на Вас возлагается:

а) содействие и обеспечение свободного хождения по всему Закавказью денежных знаков, устанавливаемых к обязательному обращению на всей территории Вооруженных сил Юга России;

б) в зависимости от выполнения временными властями Грузии и Азербайджана основ взаимоотношений, указанных выше в инструкции по части политической, подготовка соглашений по снятию таможенных границ и по установлению товарообмена, а также защита интересов гражданских управлений при Главнокомандующем в получении различных предметов и оборудования, принад-

лежащих Российскому государству, оставшихся в пределах Закавказья[1].

В Сочинском и Сухумском округах, насильственно захваченных грузинами, бесправное положение аборигенов и русского элемента, гнет грузинской власти, неумеренная грузинизация и разорительная экономическая политика создавали недовольство и брожение, готовые ежеминутно вылиться в восстание. Помимо принципиального непризнания захвата, добровольческая власть не могла оставаться равнодушной к тем расправам, которые чинились над русским, армянским, абхазским населением, не желавшим мириться с фактом захвата; к тем постоянным жалобам и призывам, которые раздавались оттуда. Не могла, не входя в слишком очевидную коллизию с провозглашенной идеей *единства* России, с традицией заступничества за элементы, тяготеющие к русской государственности. В эту распрю мы вовлекались невольно и неизбежно — не только в силу побуждений государственных, но и под напором единодушного в этом вопросе общественного мнения.

Было, впрочем, и исключение... Когда собравшийся в Тифлисе 1—7 июня искусственно подобранный «2-й закавказский съезд русских граждан» раскололся[2], большая часть его членов покинула съезд, а оставшийся социалистический блок совместно с представителями сектантских общин, получив крупную субсидию от грузинского правительства, отдал себя под покровительство его и грузинского Совета рабочих и солдатских депутатов. В вынесенной им резолюции говорилось о «лояльном отношении ко всем закавказским республикам», о федеративном объединении

[1] Подписано начальником военного управления Лукомским и начальником отдела генералом Вязьмитиновым; утверждено главнокомандующим.

[2] Причиной было исключение бакинских представителей — несоциалистов. Отколовшаяся несоциалистическая часть съезда образовала «Закавказский русский национальный комитет», поддерживавший по-прежнему связь с главным командованием Добровольческой армии.

их «с революционно-демократической Россией» и о том, что «в стремлении Добровольческой армии, исполняющей волю реакционных черносотенных сил, завоевать Закавказье, кроется смертельная опасность для всех закавказских народов и российской трудовой революционной демократии»... Это заявление, впрочем, не воспрепятствовало совету просить и у главного командования крупное денежное пособие...

Я требовал от Грузии очищения Черноморской губернии до ее южных границ по р. Бзыби и, чтобы создать столь желательный для нее «буфер», допускал нейтрализацию Сухумского округа с введением в нем местного абхазского управления.

От Азербайджана я требовал свободы сообщений по Каспийскому морю и приморской ветви Владикавказской железной дороги, урегулирования торговых сношений (нефть) и недопущения снабжения советской России.

И только.

Насильственный захват территорий Грузии и Азербайджана не входил в мои планы и был политически нецелесообразен. Но правительства этих новообразований не могли или по тактическим соображениям не хотели отнестись с доверием к нашей политике. Официальная печать их с необыкновенным жаром подогревала ненависть к нам, возбуждала страсти, искажала до самоочевидной нелепости наши намерения и планы, облекая свою хулу не только против армии и ее вождей, но и против России в формы, по грубости и оскорбительности превосходящие даже большевистские плакаты. Такой же был нередко тон речей в парламентах.

И хотя при этих условиях все более нарастало в русском обществе и армии враждебное настроение против грузинского и азербайджанского правительств и лицам, стоявшим у власти, необыкновенно трудно было сохранять самообладание, попытки примирения интересов наших с закавказскими новообразованиями продолжались, и военно-политическая работа командования — явная и тайная — не выходила из рамок, начертанных в наказе Баратову.

В конце концов, главной, вернее, единственной причиной борьбы на Кавказе являлось противоположение идеи единой России идее полной независимости кавказских новообразований. Все остальное было лишь крупными или мелкими, важными или маловажными поводами.

...

Какие тайные инструкции давало английское правительство своим представителям в Константинополе и в Закавказье, и в какой мере последние вносили в свои заявления и деятельность элемент личного усмотрения, это мы узнаем не скоро, если вообще когда-либо узнаем. Но сопоставление того обильного, хотя зачастую противоречивого материала, которым располагало правительство Юга, определяло безошибочно основные вехи английской политики.

Осень и зима 1918 года прошли *под знаком продолжения мировой войны*. Поэтому военная экспедиция англичан в Закавказье не вызвала большого противодействия в социалистических кругах парламента и страны. Но к концу года, когда задача вытеснения германских и турецких войск и их влияния была выполнена, давление тред-юнионов и левой общественности, находившихся под сильным влиянием Москвы, значительно возросло, и английское правительство вынуждено было изменить официальные мотивы помощи противобольшевистским организациям. В одном из своих многочисленных объяснений в парламенте Ллойд Джордж излагал эти мотивы следующим образом.

«Вопрос о признании большевистского правительства никогда не поднимался и никогда не обсуждался. Большевистское правительство совершило тяжкие преступления против союзных подданных, что делает невозможным признание его, даже если бы оно было цивилизованным правительством. Другая причина заключается в том, что в этот самый момент они атакуют наших друзей в России.

Я чувствую отвращение ко всем большевистским учениям, мы оплакиваем их ужасающие последствия — голод, кровопролитие, разрушение, разорение и ужас; но военная интервенция все же была бы поступком величайшей глупости.

Но меня спросят: в таком случае почему мы поддерживаем Колчака, Деникина и Харькова (?)[1]. Я буду совершенно откровенен. Когда был подписан Брест-Литовский договор, обширные области и многочисленное население в России восстали против подписавшего этот договор правительства и по нашему побуждению образовали армии. Большевизм угрожал распространить свое господство на восставшее против него население, *которое было организовано по нашему требованию*. Если бы мы сейчас же по достижении поставленной нами цели сказали бы: «Спасибо, Вы нам больше не нужны. Пускай большевики режут вам горло», — мы были бы недостойны считать себя великой страной. Это наше дело помогать нашим друзьям, и потому мы их снабжаем материалами. Всякий, кто знает Россию, понимает, что она должна быть спасена ее собственными сынами. Единственное, что они просят, это чтобы их снабжали необходимым вооружением, дабы дать им возможность сражаться для своей защиты и освобождения. Поэтому я считаю, что помощь Колчаку, Деникину и Харькову вовсе не есть отклонение от основной политики Великобритании — невмешательства во внутренние дела другого государства.

Следующая задача нашей политики состоит в том, чтобы не допустить проявления вооруженного большевизма в союзных странах. Вследствие этого мы организуем силы всех союзных стран, окружающих Россию, от Балтийского до Черного моря и снабжаем эти страны необходимым снаряжением для установления преград против большевистского вторжения».

Заявление Ллойда Джорджа, повторенное не раз потом им самим, Черчиллем и Бонаром Лоу, в части, касавшейся роли Англии в создании белых армий, получило большое распространение в мировой прессе и было надлежаще использовано большевистской пропагандой. Широкое национальное

[1] Эпизод с «генералом Харьковым» долго служил предметом острословия южных газет.

и патриотическое движение, возникшее самостоятельно по всей России, низводилось до степени служебного начала английских интересов.

Но пусть будет неправда, если она во спасение.

Итак, главною целью английского правительства, по словам его представителей, была «поддержка своих друзей».

Некоторый диссонанс в эти заявления вносили более откровенные речи представителей могущественного английского капитала... Так, в декабре 1918 года председатель 4 кавказских нефтяных компаний[1] на годовом собрании в Лондоне говорил:

«На Кавказе — от Батума до Баку и от Владикавказа до Тифлиса — в Малой Азии, Месопотамии, Персии британские войска появились и были приветствуемы народами почти всех национальностей и верований, которые взирают на нас, как на освободителей — одних от турецкого, других от большевистского ига. Никогда еще в истории наших островов не было такого благоприятного случая для мирного проникновения британского влияния и британской торговли для создания второй Индии или Египта. Но слабые голоса наших политических деятелей под пятой демократии глушат все эти стремления. Русская нефтяная промышленность, широко финансируемая и правильно организованная под британским началом, была бы ценнейшим приобретением истории...»

Официально англичане пришли в Закавказье с программой Верховного союзного совета: самоопределения народов по Вильсону, сохранения status quo в отношении границ до решения мирной конференции и невмешательства во внутренние дела новообразований. Поскольку и как проводились эти идеи в жизнь, мы видели и увидим в главах, посвященных жизни Кавказа. Однажды на один из моих бесчисленных протестов по поводу закавказской политики англичан екатеринодарская миссия прислала объяснение[2]:

---

[1] «Bibi-Eibat Oil Company Ltd».

[2] Нота от 1 августа, № 1293, на имя начальника штаба главнокомандующего.

«Во время заключения перемирия с Германией, когда главные принципы, руководящие Мирной конференцией, должны были быть выработаны заранее, ни в одной части России не было правительства, которое могло бы считаться правительством объединенной России, и не было никакой связи между различными силами, борющимися против большевиков. Даже в районе, занятом теперь ВСЮР, Дон тогда притязал на самостоятельность, и на Кубани власть Главнокомандующего Добровольческой армией была очень ограничена. Россия, кроме как через Мурманск и Владивосток, была оторвана от сношений с союзниками. Принцип самоопределения мелких народностей был преобладающим; Грузия, Азербайджан, Армения и так называемое горское правительство имели своих представителей в Париже и Лондоне, которые требовали полного отделения от России. При таких обстоятельствах общие указания, даваемые британским войскам, первоначальная задача которых была принудить неприятеля к эвакуации Закавказья, заключались в том, чтобы в ожидании решения Мирной конференции охранять порядок и поддерживать правительство, находящееся у власти, пока оно будет вести себя подобающим образом.

Русские представители в Закавказье и даже командование ВСЮР, не сумев оценить эти основные принципы, часто обращались к британским военным властям в Закавказье с требованиями, которые шли вразрез с полученными ими распоряжениями и неминуемо ввели бы нас в войну с упомянутыми республиками, что было бы противно принципам, одушевляющим Мирную конференцию».

Фактическая обстановка вызывала, однако, сомнение в такой объективности.

Желая войти в непосредственные сношения с закавказскими английскими властями, я командировал в январе 1919 года генерала Эрдели в Батум, Тифлис, Баку и Закаспий. Его поездка дала много интересного материала, тем более что английские генералы, не искушенные в дипломатии и политике, были в достаточной мере откровенны.

Прежде всего — английский главнокомандующий генерал Мильн, посетивший в это время Закавказье, уклонился от встречи с генералом Эрдели под тем предлогом, что «при назначении Главнокомандующим войск Восточного фронта он не получил инструкции входить в сношения и переговоры с Добровольческой армией. На его обязанности было иметь переговоры с представителями закавказских народностей и областей по их вопросам и нуждам, и потому *на территории Закавказья* вести переговоры с Добровольческой армией он не может». Точно так же генералу Эрдели было сообщено, что «приезд его в Тифлис нежелателен, и посему английское командование не может взять на себя заботу об его приезде»[1].

Генерал-губернатор Батума Коллис объяснил последнее обстоятельство «происходящими сейчас важными событиями». По его сведениям, «грузинская республика будет признана союзниками как самостоятельное государство и, может быть, с полным отделением от России; на очереди стоит даже вопрос о том, присоединить или нет Батумскую область к Грузии». По этому вопросу генерал Мильн запрашивал мнение Коллиса, и последний был в большом затруднении, откровенно сознаваясь в своей полной неосведомленности об истории Аджарии и Батума.

Рамки status quo, по-видимому, несколько раздвигались...

Прождав разрешения на дальнейшую поездку целых две недели, Эрдели проездом через Тифлис был неожиданно приглашен Уоккером, с которым имел продолжительную беседу. Уоккер сообщил о существовании трех проектов разрешения судьбы Закавказья:

«1. Присоединение его к России в границах 1914 года с автономным управлением в различных областях.

2. Признание самостоятельности образовавшихся республик с полным отделением их от России.

[1] Донесения Эрдели 12 и 18 января, № 3 и № 5. Позднее на протест мой против такого оскорбительного отношения к представителю главного командования генерал Мильн выразил «сожаление по поводу происшедшего недоразумения», объяснив, что он не был уверен в полномочиях Эрдели... Сношение британской миссии 25 марта, № 134.

3. Образование соединенных штатов на Кавказе — с отделением от России или в конфедерации с ней».

И Уоккер и Томсон (в Батуме) были в высокой степени любезны, но высказались совершенно определенно, что поддержание идеи общей русской государственности не входит в их задачу, что на Добровольческую армию они смотрят только как на одно из противобольшевистских образований и никакого русского влияния в ущерб самостоятельному развитию местных «государств» в оккупированной зоне впредь до решения Мирной конференции не потерпят.

Эта идея могущественной и целебной силы «Мирной конференции» и ее компетенции разрешать самостоятельно, без самой России, ее судьбу проводилась чрезвычайно настойчиво *всеми* союзными представителями на Юге. Она встречала признание среди кавказских новообразований и казачьих самостийных групп и вызывала глубочайшее негодование среди всех национально мыслящих элементов русского общества. Протест и противодействие этому международному насилию были поэтому нашим правом и обязанностью.

Зима 1918—1919 года прошла в острых столкновениях на этой почве с английским правительством и командованием.

Останутся ли английские войска в Закавказье и надолго ли — это зависело, очевидно, от течения переговоров на Версальской конференции, от настроения парламента и рабочей партии, наконец от хода событий в самом Закавказье. Во всяком случае, до весны 1919 года надежды англичан на длительность и прочность их оккупации были еще велики. В этот период мы увидели наибольшее развитие их политики вытеснения русского влияния в крае, поддержания его раздробленности и создания почвы для перманентных конфликтов межплеменных и межправительственных, как будто для того, чтобы наличием их оправдать необходимость британской оккупации. Первое и второе достигались внушением закавказским новообразованиям мысли о неизбежности признания их самостоятельности и поддержкой их в столкновени-

ях с Добровольческой армией; третье не требовало ни труда, ни искусства: горючего материала было слишком много, и стоило лишь поднести спичку, чтобы вызвать пожар.

...

В связи и в большой зависимости от направления английской политики протекала жизнь Закавказья.

В середине ноября англичане заняли Батум. Турецкая оккупация, длившаяся девять месяцев, оставила известные следы в политических настроениях города и области.

Во-первых, пестрое интернациональное население города-порта изменило свой состав после бегства весною 1918 года значительного числа русских и грузин, боявшихся турецкой расправы. В волне русского беженства уходил главным образом пролетариат и революционная демократия, и потому оставшееся население представляло довольно однородное и сплоченное ядро буржуазного и служилого элемента. Русский национальный совет в Батуме возглавлялся вначале генералом Терменом, а с ноября 1919 года — присяжным поверенным, лидером местных кадетов П. М. Масловым, фактическим основателем и душою совета. В городе существовали также малодеятельные национальные советы: грузинский, греческий, еврейский, польский и мусульманский.

Во-вторых, временное турецкое владычество с сопровождавшими его реквизициями, поборами, воинской и трудовой повинностью и жестокими мерами административного воздействия вызвало большое разочарование у местного аджарского населения, покончив надолго, если не навсегда, с основанным на исторических легендах тяготением его к Турции. Сообразно с этим усилились симпатии аджарцев к России. Местного «аджарского» сепаратизма в области не существовало вовсе[1], если не считать одного эпи-

[1] Такие «удивительные» факты приходится оговаривать ввиду того поветрия самоопределения, которое охватило российские народы. Немногим, вероятно, известно о кратковременном существовании суверенной «Ингерманландии» в юго-западном уголке Петроградской губернии, серьезно протежируемой соседним сувереном — Эстонией.

зода: потомок владетельного бека, полковник русской службы Джемал-бек поднимал народ, организовывал вооруженные четы и предлагал город Батум и свои услуги сначала Грузии, потом Турции, с тем, чтобы остальная территория Аджарии стала автономной областью под его наследственным правлением. Затея эта не имела никакого успеха, кроме пожалования Джемал-беку ордена и чина паши правительством султана. Картвелы по происхождению, мусульмане по вере — аджарцы сохраняли привитую им турками ненависть к грузинам.

Еще во время турецкого господства Русский национальный совет вошел в связь с командованием Добровольческой армии, признавая ее объединяющим центром и запрашивая директивы. Когда в Батуме появился генерал Уоккер, совет представил ему меморандум о положении края, громадной культурной роли русского населения в области в течение 40 лет и проект-схему административного ее устройства. Генерал Уоккер призвал председателя совета Маслова и предложил ему организовать «Совет по управлению Батумской областью» под руководством английского генерал-губернатора. По взаимному соглашению в состав совета для придания ему надлежащего авторитета в глазах смешанного населения города были назначены представители различных национальностей[1] во главе с русским председателем (Масловым) и его заместителем (Анисимовым). Все постановления совета подлежали утверждению военного губернатора, бригадного генерала Кука Коллиса.

«Совет по управлению», находясь в полном согласии с Национальным комитетом, так же, как и он, считал себя в подчиненных отношениях к главному командованию Юга и просил руководящих указаний. В основной цели, которую поставил себе совет, мы сходились вполне: «Необходимо отстоять Батумскую область с Батумом и сохранить этот первостепенной важности порт и единственный в своем

[1] 2 грузина, 1 грек, 1 мусульманин, 1 еврей, 1 поляк и 1 армянин, позднее еще 2 аджарца. По определению Маслова, только один грузин сепаратист, прочие все русофилы.

роде по красоте и богатству дарами природы край за Россией...» Маслов запрашивал: «Как поступать в тех случаях, когда английское командование отдает распоряжение, идущее в ущерб русским интересам? Проявлять ли уступчивость в предвидении лучшего будущего или категорически отстаивать свое мнение, не останавливаясь перед постановкой вопроса об отказе от власти?» Я отвечал: «Не задираясь по мелочам, в основных вопросах русской государственности прямо, открыто и резко защищать русскую идею, не останавливаясь ни перед чем».

Такими же категорическими и безапелляционными были притязания на Батум Грузии. Вся грузинская печать с необыкновенной страстностью относилась к батумскому вопросу, разжигая национальный шовинизм в своей стране, впадая не раз в истерику и, по обычаю, допуская бульварное сквернословие в отношении своих «врагов — русских». «Батум и мусульманская Грузия — наши, — писала «Сахалко Сакке»[1]. — Они — мы. Они должны быть наши. Мы должны быть вместе, непременно вместе, иначе невозможна наша жизнь, наша независимость, наша национальность. Это — неизбежно, это главный очередной вопрос нынешнего дня... Мы должны осуществить это объединение, ничего для него не жалеть и принести в жертву все... Мы должны вернуть себе Батум...» Грузинское правительство наводняло город и область грузинами во главе с агитаторами и террористами; по области ходила безвозбранно шайка Аслам-бека, проповедуя вражду против России, побуждая аджарские селения к принятию грузинского подданства; отряды грузинских войск сосредоточивались к Нотанеби возле Батума, бряцая оружием и нервируя батумский совет.

Таким образом, в батумском вопросе столкнулись три стороны: Россия, Грузия и Англия. За кулисами стояла еще временно вышедшая из игры, побежденная, но не оставившая своих притязаний на Батум Турция. Территориально к первой группировке примыкали верхняя и нижняя Аджария, сохранявшие привязанность к своей метрополии, по-

[1] Орган грузинских социал-федералистов.

сылавшие с таким заявлением делегации к англичанам; ко второй — Кобулетский район и аджарцы города, поддававшиеся несколько грузинской пропаганде, в общем около 10% коренного населения. Политически к русской группе примыкали все прочие, кроме грузин.

Третья сторона — англичане — хранила в тайне свои намерения и цели, а видимая непоследовательность их заявлений и действий приводила в раздражение и нас, и грузин. Неопределенность положения «русского вопроса» на мирной конференции служила покровом этой непоследовательности. Так, английские представители высказывали не раз предположение, что Батум перейдет то к Грузии, то даже к Армении, питая тем грузинский шовинизм и создавая натянутое отношение к русскому направлению со стороны местного армянского совета. Английский губернатор устранял русскую администрацию в Артвинском округе и передавал ее темным туркофильским элементам, находившимся в связи с так называемой Юго-Западной республикой[1]. В начале апреля он распустил «Совет по управлению», обвинив его в ведении «личной политики» и в неудачных финансовых мероприятиях, заместив все должности английскими офицерами, причем во главе гражданского управления был поставлен еврей Харрис — до войны маклер Лондонской биржи. Одновременно распоряжением губернатора спускался «с почестями» русский флаг, развевавшийся на батумо-грузинской границе, и заменялся британским, а в пограничном районе расклеивались объявления, что слухи о присоединении Батума к Грузии ложны и «Батум всегда останется Батумской провинцией...» (?)[2].

Англичане реквизировали богатые запасы нефти, бензина и другие в качестве приза, взятого «у немцев»; большие русские военные запасы — в качестве военной добычи, захваченной «у турок»; брали под свой «протекторат» Артвинскую опытную станцию и богатейшее Чаквинское

[1] См. ниже.

[2] Объявление за подписью капитана Крейна снято в районе Чаквы.

имение; устанавливали произвольный курс фунта, понизив вдвое местную валюту; сравняли рубль с грузинской боной, уронив почти вдвое курс рубля. Одновременно они отдавали В.С.Ю.Р. большое количество ненужного им боевого имущества крепости, до некоторой степени принимали меры для облегчения населению продовольственного вопроса и помощи российским пенсионерам.

Граница с Грузией была свободна для въезда всех агитаторов и членов грузинской мафии, тогда как в отношении лиц, следовавших с территории Юга России в Батум, англичане установили требование персонального разрешения из Константинополя от штаба Мильна[1] и норму — не более 150 человек в один пароходный рейс, притом только *имущих*. В Новороссийске и других портах скопились поэтому толпы беженцев — в обстановке грязи, тифа и голода.

Англичане отдали Грузии «по техническим соображениям» участок железной дороги Батум—Нотанеби, и первым следствием этого было удаление всего русского железнодорожного персонала и появление в Батуме грузинского агитационного поезда со знаменательным девизом: «Кто не с нами, тот против нас». Шовинистическая литература на русском и местных языках наводнила край. Опытные грузинские агенты терроризировали русское население, преимущественно видных общественных деятелей, применяя угрозу подметными письмами, разбойные нападения и убийства, и русский национальный совет вотще взывал к английской власти о принятии более действенных мер охраны от злоумышленников. Наряду с этим английским губернатором разрешались повсеместно митинги, устраиваемые грузинами, с призывом присоединения к Грузии и выступления против Добровольческой армии. На мой протест по этому поводу английская миссия дала весьма оригинальное разъяснение[2]: «Британский губернатор, будучи уверен, что область настроена враждебно по отношению к грузинам, разрешил организовать собрания в Батуме, Артвине и др.,

[1] Нота от 22 февраля, подписанная полковником Кизом.

[2] Нота от 1 августа 1919 года.

чтобы дать возможность населению проявить свое недоброжелательное отношение к Грузии. Его политика увенчалась полным успехом[1]. Губернатор, установив таким образом публично антигрузинскую ориентацию населения, запретил дальнейшие собрания».

Русское правление и Русский совет Батума неоднократно просили меня поставить в городе небольшой добровольческий гарнизон для охраны порядка и символического изображения государственной связи Батума с Россией. Англичане воспрепятствовали этому, но разрешили открыть в Батуме вербовочное бюро для комплектования Добровольческой армии. Взявший на себя эту работу генерал Натиев — аджарец по происхождению — возбудил против себя сильно и англичан, и грузин. Опасности для Грузии генерал Натиев не представлял никакой. Весь итог его работы выразился в привлечении 40 офицеров и 300 солдат — армянских беженцев, малопригодного элемента. В мае генералу Натиеву запрещены были всякие формирования и предположено было заменить его другим лицом. Но грузинская разведка приписывала Натиеву формирование «Закавказского корпуса», предназначенного для покорения Грузии, и грузины решили убрать его со своего пути. 15 июня Натиев и его адъютант, проходившие по людной улице города, были убиты наповал шайкой грузин во главе с офицером. Это событие глубоко возмутило русские круги и в ответ на мой протест вызвало весьма уклончивый ответ английской миссии: «Британскому военному губернатору известны те лица, которые убили генерала Натиева. Попытка задержать их была сделана, но они скрылись в Грузию. Не имеет смысла доносить о них грузинскому правительству, которое будет защищать своих агентов; но если они, как то ожидается, вернутся, то их арестуют»[2].

Так шли дела, писались ноты, заявлялись протесты — мною, батумским русским правлением, потом русским на-

[1] Собрания проходили не везде так благополучно, как уверяли англичане.

[2] Нота 1 августа, № 1293, полковника Киза.

циональным советом. Далеко не всегда они достигали практических результатов. Но иные средства, более активные, нам были недоступны: по бедности, материальной зависимости от англичан, по недостатку вооруженных сил и несклонности к методам, практиковавшимся грузинами... Во всяком случае, наша борьба оказывала, без сомнения, сдерживающее влияние на темп сложного процесса — отрыва от метрополии русской окраины, но оставляя ее вконец беспризорной.

В конечном результате английская политика в Батуме вооружила против себя всех. Я просил английскую миссию разъяснить, «имею ли я в лице английского командования в Закавказье друзей или врагов?». Русский национальный совет констатировал, что, «к сожалению, ожидания и надежды русских людей, связанные с прибытием союзников — англичан, — не оправдались, ибо, по-видимому, они являлись сюда не для выполнения союзнических обязательств и помощи настрадавшейся России, а для преследования своекорыстных интересов — не только экономических, но и политических»[1]. Наконец, грузинское правительство и печать, в свою очередь, ополчились против англичан. «Здесь, в Тифлисе, — писал официоз правительства «Борьба», — произошло наше взаимное понимание (с английскими властями) и были изысканы один общий язык, одни общие пути. В Батуме имеет место диаметрально противоположная политика». Орган грузинских социал-революционеров «Шорма» изливал свою злобу: «Грузинское общество с радостью встретило весть о переходе Батума в руки англичан, так как оно надеялось, что благородное британское командование поймет, что Батум является сердцем Грузии, и последняя никому его не уступит, пока в ней будет жить чувство собственного достоинства. Добровольцы и Деникин поняли это, и поэтому Батум они превратили в гнездо интриг, подкупа и шпионажа. Не проходит дня, чтобы они не бросали в нас отравленные стрелы. И Грузия вынуждена переносить это унижение только потому, что этот бессовестный и продажный народ опирается на престиж и авторитет Британии».

[1] Особое постановление 28 апреля 1919 года.

Такие изо дня в день повторяющиеся выпады некультурной, лишенной традиций и чувства меры грузинской прессы, поощряемой правительством[1], сыграли, без сомнения, немаловажную роль в наших взаимоотношениях.

• • •

Англичане потребовали от турецкого командования очищения русского Закавказья до границ 1914 года к половине января. В связи с этим в Карсской области на месте турецкого военного управления образовалась «Юго-Западная республика»[2]. Правительство ее («Шуро»), исключительно из мусульман, было поставлено турками и находилось всецело в руках видных деятелей партии «Единение и прогресс» — Нури-паши (брат Энвера) и Халил-паши. «Республика» имела свои «войска» — тысяч 5—6 плохо организованных банд, в изобилии снабженных турками оружием и боевыми припасами; в составе их были турецкие офицеры и немало аскеров.

Англичане отнеслись с большим интересом к новообразованию, но хранили полное молчание относительно его будущей судьбы, приводя тем в крайнее беспокойство претендентов на Карсское наследие — Грузию и Армению. Со времени турецкого нашествия большая часть русского населения и почти все армянское население бежали из Карсской области, в которой образовалось фактическое преобладание турецкого элемента. Все земли, скот, сельскохозяйственный инвентарь, всякое добро беженцев попало в руки турок, и теперь «Юго-Западное правительство» противилось всеми способами возвращению беженцев.

Политическое положение «республики» к концу декабря было весьма сложное. В Карсе сосредоточились три власти: английский губернатор полковник Тимперлей, турец-

[1] Пресса находилась всецело в руках министра внутренних дел Рамишвили.

[2] Территория ее включала, кроме того, Артвинский округ (условно), Зачорохский край и Ахалцыкский уезд Тифлисской губернии.

кий — начальник 12-й дивизии и «Шуро»; там же находились и войска трех армий: английский гарнизон, турецкая дивизия и местные формирования. Турки, впрочем, вскоре ушли.

Политические настроения правительства и населения определялись неизбежностью предстоящей ликвидации, расчетов и расплаты и выражались совершенно определенно: «Если не турецкая, то только русская власть». Делегация, встречавшая в Карсе первых английских представителей, приветствовала их непривычными для английского уха словами: «Мы рады вас видеть как союзников, победителей и как *дорогих гостей на русской территории...*». Мой представитель в Армении полковник Лесли, прибывший в Карс 31 декабря, был встречен на границе области депутацией от населения, в Карсе — представителями «Шуро» и турецкого командования. Все они выражали пожелания о скорейшем присоединении области к России и назначении русского губернатора как единственном бескровном выходе из запутанного положения межплеменной распри. С таким же заявлением дважды впоследствии правительство обращалось к англичанам и посылало делегации в Америку и Европу.

Английское командование не имело вовсе своей политики в карсском вопросе, или она была чересчур маккиавелистической; во всяком случае, по отношению к России — вполне определенной: генерал Уоккер ставил непременным условием возвращение русских беженцев в Карсскую и Батумскую области, чтобы они «не вели пропаганды большевистской и за воссоединение этих областей с Россией[1]. Такие же приказы в Карсе отдавал английский губернатор. В то же время полковник Тимперлей, покровительствовавший полутурецкому правительству «Юго-Западной республики», тормозил возвращение в край армянских беженцев, и генерал Бич[2] заявлял армян-

[1] 13 января 1919 года. Из ответной речи Уоккера на приветствие Закавказского русского национального совета.

[2] Из штаба генерала Мильна, ведавший в Тифлисе разведывательным и политическим отделом.

скому правительству твердо и решительною, что Карсская область Армении не принадлежит»[1]. Генерал Уоккер «не видел препятствий» к занятию грузинами Посхова[2], а когда грузинские войска Квинитадзе приступили к занятию этого участка, это вызвало вооруженное сопротивление мусульман и заявление карсского губернатора, что наступление грузин «будет считаться направленным против Великобритании...»

В конце марта обстановка круто изменилась: туркофильские тенденции англичан исчезли окончательно, сменивший Тимперлея новый губернатор Карса генерал Ассер сверг «Юго-Западное правительство», заключил в тюрьму его членов и видных турецких деятелей, и власть перешла единолично к губернатору и образованному им Совету смешанного национального состава. Совет правил только три недели. Пользуясь происшедшим замешательством, грузинские войска вторглись в северную часть «республики» и заняли Ахалцык и Ардаган, но по требованию англичан очистили последний. В свою очередь армянские войска с согласия англичан заняли всю Карсскую область, которая вошла в состав Армении, и в Карсе водворился армянский губернатор.

Жизнь области, в которой причудливой мозаикой переплелись взаимно враждебные народности, где даже в наиболее благоприятных районах армяне составляли лишь относительное большинство населения[3], приняла после этого иной колорит: там, где турко-татары давили армян, армяне стали давить турко-татар, и атмосфера ненависти становилась все напряженнее, все гуще...

Среди этой обстановки не менялись лишь судьбы русского населения, небольшими оазисами вкрапленного в область[4]. Не проявляя в отношении русских ни особенной вражды, ни племенной и религиозной нетерпимости, просто пользуясь

[1] Доклад генерала Томилова от 11 февраля 1919 года и свидетельство военного министра Армении генерала Карганова.

[2] Северо-западная часть Карсской области, спорная между турками, армянами и грузинами.

[3] В двух уездах — Карсском и Кагызманском — 35—37%.

[4] 32 селения, не более чем 12 тысяч оставшихся на местах жителей.

безвременьем, их грабили и притесняли и турки, и татары, и армяне. Карсский национальный совет обращал постоянно свои взоры на Екатеринодар, посылал туда горькие жалобы и искал там заступничество и экономическую помощь.

ГЛАВА XVII ГРУЗИЯ

Своеобразную картину представляла собой жизнь *Грузинской республики.*

Для европейского общественного мнения, благодаря усилиям грузинской заграничной делегации — это была маленькая культурная страна, окруженная недругами и героически борющаяся за свое существование, имеющая свободно избранное *социалистическое* правительство, пользующееся народным доверием; страна, истекающая млеком и медом и нуждающаяся только в признании «de jure» и в надлежащих границах, чтобы явить миру «чрезвычайно интересный пример нового демократического типа организации государства».

Действительность далеко не соответствовала этому идиллическому представлению.

Власть (правительство, парламент и Учредительное собрание) находилась в руках небольшой тесно сплоченной группы, члены которой обладали большим опытом революционной деятельности. Их связывало и племенное (большинство имеретины), и зачастую кровное родство, партийная принадлежность (социал-демократы меньшевики)[1] и общая работа по разрушению — вначале из подполья, потом с вершин — российской государственности[2]. В их однородности и узком кастовом составе была и сила и слабость: внутренняя дисциплина, с одной стороны, и оторванность от населения, отсутствие технически подготовленных сил — с другой. Грузинское крестьянство, составлявшее до 90% населения, получив добавочную землю за дорогую плату, не считало себя вовсе облагодетельствованным. При первобытных способах землепользования, крайней бедности в сельскохозяйственных орудиях и инвентаре оно и не могло почувствовать сколько-нибудь заметного улучшения своего быта. Между тем общие условия жизни с каждым днем становились все тяжелее. Падали «боны», росла дороговизна, усиливался товарный и продовольственный голод. Грузинские газеты отмечали новое растущее зло — непотизм, кумовство, землячество, — наложившее отпечаток на все правительственные учреждения и приведшее к небывалому взяточничеству, спекуляции и хищениям.

Не устанавливался и правопорядок. «Высокие фразы и лозунги, — писал орган национал-демократов «Сакартвело», — щедро бросаются правительством в народ, а последний жаждет мира и спокойствия и испытывает то тяжелое положение, когда личность человека не ограждена правосудием закона и самой администрации. К несчастью, деятельность нашей правящей партии всегда измеряется партийными расчетами, и только этим объясняется бесконечная анархия и беспорядки, существующие в нашей стране». Известная пристрастность в осуждениях политических противников, видевших причину зла в одном лишь правительстве, не исключает, вероятно, большой доли и его ответственности.

Грузия не выходила из финансово-экономического кризиса. Первое полугодие показало наглядно, что она живет исключительно русским наследством, не может свести бюджет, и это обусловливается не только лихолетьем, что было бы естественно и непредотвратимо, но и природной бедностью страны[1]. Поэтому не только по мотивам политическим гру-

[1] В правительстве — все социал-демократы, кроме одного; в Учредительном собрании — 109 социал-демократов из общего числа членов 130.

[2] Главнейшие посты занимали: Ной Жордания — председатель правительства; Георгадзе — военный министр; Рамишвили — министр внутренних дел; Гегечкори — министр иностранных дел; Лордкипанидзе (акушер по специальности) — министр путей сообщения...

[1] Хлеба Кахетии и Карталинии не хватало на всю республику; садоводство и виноделие встречали конкуренцию районов, более близких к рынкам сбыта; угли имели лишь местное значение; лес по бездорожью не вывозился вовсе; фабрик и заводов не было; главный предмет экспорта, далеко не покрывавший ввоза, — марганец (добыча до 50 миллионов пудов в год).

зинские правители тянулись к сухумскому табаку, к батумским субтропическим культурам и к богатым Закаталам. Министр финансов Журули сводил государственную роспись теоретически с превышением в четыре раза расходов над доходами (600 миллионов и 150 миллионов), практически ожидал восьмикратного превышения расходов и представлял поэтому один за другим законы об усилении налогового обложения. Но так как население городов было ничтожно численно и очень бедно, налоговый пресс должен был прижать исключительно крестьян. А это было политически небезопасно и практически неосуществимо: деревня, как и везде, замкнулась в свой уклад, не платила налогов и не хотела нести государственных повинностей. Надежды на экономическую помощь Англии также не сбылись: англичане, ввиду непрочности положения, уклонялись от участия своим кредитом и капиталом в хозяйственном восстановлении Грузинской республики. В грузинской общественности английская экономическая политика производила такое впечатление, как будто «англичане хотят поставить Грузию перед собою на колени».

В Тифлисе наряду с правительственными учреждениями восседал Совет рабочих и солдатских депутатов — «полномочный орган» почти не существующего, во всяком случае ничтожного по численности, пролетариата Грузии. Этот тяжелый привесок составлял традицию социал-демократического правительства, с которой нельзя было рвать, не вступая в слишком большие противоречия со своей партийной идеологией, и к тому же опирался на «национальную гвардию». Оттуда предъявлялись неимоверные экономические требования, с трудом удовлетворяемые правительством в ущерб вопиющим государственным нуждам. Туда грузинские правители несли еще свои утопии, свой деланный пафос и революционное словоблудие, которым после их русского опыта не могло быть более места ни на кафедре парламента, ни в практической деятельности правительства.

Вообще положение социал-демократических интернационалистов, ведущих шовинистическую политику, было

необыкновенно трудным, и вождь грузинских социал-демократов Жордания оправдывался перед русскою социал-демократией, из состава которой вышли грузины, классической по своей изворотливости фразой: «Социал-демократическая партия Грузии является организацией не *национальной*, а *территориальной*, с призывом поддерживать независимость Грузии»[1]. Достойно внимания, что даже такая позиция правящей партии была неприемлема для грузинских национал-демократов, которые жестоко нападали на правительство за его пристрастие к русским меньшевикам — «к злосчастной русской демократии», которая «не является уже никакой политической силой в России». «Думать и заботиться ныне о восстановлении дружбы с Россией — это было бы не только осмеянием великого исторического акта, но и беспримерным политическим шантажом... Все счеты со всем, что является русским, должны быть покончены»[2].

Совдеп являлся связующим звеном с советской Россией, отношения с которой официальной Грузией никогда не прерывались; тем более, что, кроме столкновения летом и осенью 1918 года в районе Сочи—Сухум, грузины вооруженной борьбы с большевиками не вели. Чхеидзе в Париже усиленно подчеркивал, что «Грузия никогда и не вступит в борьбу с советской Россией... Мы не согласны с большевизмом, но мы являемся противниками того, чтобы внешние силы препятствовали развитию советской республики...»[3]. Гегечкори в тифлисском совдепе должен был оправдываться против обвинения в «двусмысленной и соглашательской политике по отношению к Добровольческой армии в сентябре 1918 года»: «Правительство являлось врагом советской России, — говорил он, — из-за анархического характера советской власти»; теперь же выяснилось, что «советская власть все более эволюционирует в сторону социализма, и поэтому возможно и не-

[1] Из речи 4 декабря на объединенном заседании социал-демократических организаций.

[2] Орган национал-демократов «Питало Клдэ».

[3] Апрель 1919 года.

обходимо выровнять единый фронт». В Москве находилась не признаваемая официально, но исполняющая некоторые консульские обязанности грузинская дипломатическая миссия. Москва и Тифлис обменивались какими-то подозрительными радиограммами. Большевистские комиссары, бежавшие с Северного Кавказа, пользовались в Тифлисе полной свободой, вниманием и были в тесном содружестве с тифлисским совдепом, снабжая его литературой и деньгами. Уже post factum, осенью 1919 года, по поводу большевистских восстаний министр иностранных дел Рамишвили докладывал Учредительному собранию давно известные истины: «Кавказский областной комитет большевиков действовал по директивам Москвы и прежде всего выполнял стратегические поручения московского правительства. В Грузии на организацию восстания большевиками было израсходовано 12 миллионов рублей»[1].

Это культивирование грузинскими социал-демократами большевизма велось отнюдь не для внутреннего потребления, а исключительно на экспорт: в глубоком нашем тылу образовался форпост большевизма, который имел в Тифлисе свой печатный орган, работал пропагандой, деньгами, формированием и посылкой агитаторов и интернированных красноармейцев на Черноморское побережье, в южную Осетию и вообще повсюду сеял вражду к Добровольческой армии. Это было для Грузии хотя и несколько опасно, но вместе с тем *полезно*. И грузинское правительство не прочь было расширить рамки противодобровольческого фронта привлечением в орбиту своего влияния другого сильного и влиятельного в Закавказье центра российского большевизма — Бакинской рабочей конференции. На призыв тифлисского совдепа к объединению для вооруженной борьбы с армиями Юга России (май—июнь) конференция откликнулась горячим сочувствием и предложением немедленного, не позже половины июня, созыва всех совдепов Закавказья в Тифлисе.

[1] «Колоссальность этой суммы, — говорил Рамишвили, — будет очевидна, если ее сравнить с расходами, произведенными всеми политическими партиями на выборах в Учредительное собрание — 500 тысяч рублей».

Это предложение было неожиданным и слишком опасным, возбуждая мысль о троянском коне, так как ни бакинские организации, ни большевистские комиссары, принимавшие участие в заседаниях тифлисского совдепа, не слишком скрывали свои истинные намерения — водворение в Закавказье московской советской власти. Правительство Жордания согласилось вначале на созыв съезда, но при условии, чтобы темою его была исключительно «деникинская опасность»; потом предъявлены были новые условия, чтобы «бакинские рабочие предварительно признали руководство в борьбе с генералом Деникиным за правительством Грузии». Все эти требования подозрительно быстро и охотно принимались бакинцами... Разговоры тем не менее все затягивались, и наконец правительство взяло обратно данное на созыв съезда разрешение. Произошло это не без серьезной борьбы. Меньшевистским лидерам пришлось самоотверженно тушить раздутый ими самими пожар: в бурном заседании тифлисского совдепа бакинские делегаты скорбели, что «рука бакинского пролетариата повисла в воздухе», и называли грузинских меньшевиков социал-предателями. Последние заявили, что «рука, протянутая большевиками, тянется к горлу грузинских меньшевиков» и что «Зурабов[1] и большевистские комиссары — тайные и явные агенты генерала Деникина». Так говорил командующий народной гвардией грузинский большевик Джугели, отрекаясь от русского большевизма. В результате тифлисский совдеп принял резолюцию, гласившую: переговоры выяснили коренные разногласия между пролетариатом Грузии и Баку; «коммунисты перед лицом деникинской опасности пытаются использовать момент для того, чтобы навязать демократии Грузии свою тактику, направленную к полному разрушению Грузинской республики; при таких условиях созыв Закавказского рабочего съезда в данный момент нецелесообразен». Тем

[1] Лидер большевиков в совдепе.

не менее заседание выразило уверенность, что, «независимо от всяких политических разногласий, в борьбе с деникинской контрреволюцией весь пролетариат Азербайджана и Армении выступит так же сплоченно, как и пролетариат Грузии».

Этот эпизод вызвал охлаждение, но разрыва не произошло. Большевистские организации и деятели приберегались для разрушительной работы вне пределов Грузии. Грузины пользовались ими, они пользовались грузинами. Их не хотели трогать, быть может, не смели — в предвидении всяких политических возможностей. Даже в ноябре, после ряда большевистских восстаний, когда Рамишвили испросил у Учредительного собрания[1] декрет против пришлых большевиков, он облек его в такую тонкую и туманную форму: «Временно для борьбы с анархией предоставить министру внутренних дел право запретить существование на территории Грузии такой партии, которая представляет часть иностранной партии и подчиняется руководству главных партийных органов, находящихся в иностранном государстве, если она действует против независимости Грузии или вмешивается в ее внутренние дела; и вместе с тем закрыть печатный орган подобной партии». Конечно, никаких санкций на арест и изгнание целых категорий русских граждан и закрытие русских газет, если они были не большевистского толка, от собрания не требовалось. Велик был страх грузинских правителей перед Москвой и не напрасен.

Для характеристики специфических приемов грузинской дипломатии нелишне заметить, что информированный ею начальник штаба Уоккера серьезно уверял полковника Зинкевича в существовании «документальных данных, что русское главнокомандование ведет в Грузии пропаганду большевизма»[2].

[1] Открылось 27 февраля. 13 марта им был санкционирован единогласно акт бывшего «Национального совета» о самостоятельности Грузии.

[2] Доклад начальника генерального штаба Армении полковника Зинкевича от 17 августа 1919 года.

Культивируя очаги брожения против Добровольческой армии, Грузия с равным вниманием относилась к комитету бежавших из Темирхан-Шуры бывших горских правителей, возглавленному Цаликовым, Джабагиевым и Богдановым, игравшими ранее видную роль в деле подчинения Северного Кавказа советской власти. На грузинские деньги они издавали свой печатный орган, вели агитацию и находились в тесном контакте одновременно с тифлисским совдепом и с эрзерумским штабом.

•••

Партийная диктатура, непотизм, злоупотребления, голод, безденежье, бандитизм и прочие недуги, разъедавшие страну, ставились — правильно или неправильно — в вину правительству и подрывали доверие к нему в народе. Правительство Жордания не имело сторонников в партиях меньшинства[1] и тяготилось дорогостоящей, иногда слишком опасной поддержкой пролетариата (совдеп). Необходимо было отвлечь общественность и партии от внутренних больных вопросов и объединить вокруг себя и националистические, и большевистские элементы одной общей идеей, выполнением одной общей задачи.

Таким громоотводом, сулившим к тому же неограниченные и, вероятно, неповторимые возможности, благодаря замутившейся политической жизни России, стали *внешние завоевания* и в обратном преломлении — опять-таки препятствующая им *«деникинская опасность»*.

Грузинские меньшевики-интернационалисты простирали свои руки к Закатальскому округу[2], населенному лезгинами; они подавляли вооруженной силой сопротивление Южной Осетии[3], стремившейся к национальному объединению с Северной; устремлялись к Сочи, Батуму, Ардагану, к северным уездам Армении. Результатом такого националь-

[1] Социалистов-федералистов, национал-демократов и социал-революционеров.

[2] В составе Азербайджана.

[3] Нагорные части Горийского и Душетского уездов Тифлисской губернии.

ного шовинизма и империалистических стремлений был целый ряд местных восстаний, грузино-армянская война и то хроническое состояние «вооруженного нейтралитета», прерываемого вспышками локальной войны на Черноморском побережье, которое в равной мере ослабляло и нас и грузин и доставляло торжество третьей стороне — московской власти.

Для ведения такой политики нужна была армия. Серьезного боевого испытания грузинская армия не имела, и потому от оценки ее боевых качеств я воздержусь. Численно в начале 1919 года она составляла около 8—10 тысяч, сведенных в две пехотных дивизии и одну кавалерийскую бригаду, с большим количеством артиллерии — до 100 орудий. Командный состав состоял исключительно из офицеров-грузин русской службы во главе с генералами Гедевановым, Квинитадзе и Эристовым. Независимо от этой регулярной армии, имелась еще «национальная гвардия» под начальством Джугели, находившаяся в большей зависимости от совдепа, чем от правительства. Численность ее простиралась до 10—12 тысяч, хотя более половины состава распускалось обыкновенно по домам. Комплектовалась она исключительно добровольцами по рекомендации социал-демократической партии, совдепа и профсоюзных организаций; относилась пренебрежительно к регулярной армии и враждебно к грузинскому офицерству и отличалась отсутствием дисциплины, бесчинствами и невысокими боевыми качествами. Правительство, тяготясь своими преторианцами, не решалось, однако, расстаться с ними и лишь в июне вошло с представлением в Учредительное собрание о реорганизации армии, которая должна была впредь состоять из 4 отдельных бригад, из которых только одна относилась к национальной гвардии.

Грузинская армия была очень бедна денежными ресурсами, но зато богаче всех армий Кавказа, не исключая и Добровольческой, артиллерией, боевыми запасами и военным снабжением, захваченными с бывшего Кавказского русского фронта. Настолько богаче, что все это в изобилии посылалось грузинским правительством сочинским повстанцам,

ингушским, чеченским и дагестанским сепаратистам, поднявшимся летом 1919 года против власти Добровольческой армии.

* * *

27 ноября 1918 года радиограмма из Тифлиса, составленная в специфических тонах грузинского пафоса, поведала «всем» «о предательском нападении на станции Воронцово на грузинскую пограничную стражу... армянских войсковых частей». Министр Гегечкори, свидетельствуя об исключительном миролюбии Грузии, заявлял «протест перед лицом всего мира» против «вероломных действий» армянского правительства.

Но дело обстояло несколько иначе.

В предыдущей книге «Очерков» я говорил о том, как летом 1918 года Грузия при содействии германцев односторонним актом — вторжением своих войск — разрешила спорный вопрос о владении Борчалинским уездом с относительным большинством армянского населения[1] и объявила о включении в состав своих границ армянских территорий, оккупированных тогда турками[2]. В октябре, ввиду частичного очищения турками Лори, армяне заняли его, вступив в вооруженное столкновение с грузинами, быстро улаженное.

Вскоре после этого грузинское правительство предложило армянскому разрешить спорные вопросы на Кавказской конференции в Тифлисе, созываемой 27 ноября. Опасаясь, что армяне останутся там в меньшинстве, эриванский парламент потребовал первоначально договориться о спорной границе между собой (то есть грузины с армянами). Грузины согласились, послав в Эривань с надлежащими полномочиями своего дипломатического представителя Мдивани.

Тем временем началась эвакуация турецких войск, и турецкое командование в последний раз перед уходом своим сыграло злую шутку над обоими своими историческими вра-

[1] По данным 1916 года — 43,5% армян, 1,5% грузин.

[2] Ахалкалакский уезд Тифлисской губернии, Казахский уезд Елизаветпольской и часть Александропольского уезда Эриванской губернии.

гами: армянское правительство было извещено, что турки очистят занятые районы 23 ноября, после чего армяне могут вступить в него; такое же сообщение сделано было грузинам, но срок был указан 21 ноября. Когда двинулись армяне, они встретили в спорных районах грузин. 22-го грузинский генерал Макаев, вступив без боя в Ахалкалаки[1], доносил своему правительству: «Население встретило радостно, с хлебом-солью»... Войска его двинулись дальше на юг, вытесняя армянские части, согласно приказу не вступавшие в бой.

Между тем в Борчалинском уезде вдоль железной дороги Тифлис—Александрополь армянские селения, не вынеся бесчинств и реквизиций грузинских гарнизонов, начиная с 27 ноября стали восставать поголовно и во многих местах прогнали грузин. Для усмирения восставших двинулись грузинские войска с бронепоездами и приступили к расправе, в которой местами приняло участие и татарское население.

Армянское правительство дважды обращалось с протестом в ультимативной форме в Тифлис[2] и, не получая ответа, по единогласному решению парламента 30 ноября предписало своим войскам «занять армянскую часть Борчалинского уезда, до реки Храм без объявления войны».

Только 4 декабря получен был ответ грузин. Возлагая всю ответственность «за братоубийственное столкновение» на армянское правительство, не приславшее в Тифлис своих делегатов, где их тщетно ждали[3], Грузия предлагала «прекратить враждебные действия, занять старые границы и созвать армяно-грузинскую конференцию»[1]. В тот же день последовал ответ армянского правительства, требовавшего вновь предварительного вывода грузинских войск из армянской части Борчалинского уезда, так как «правительство Армении не может оставаться безучастным зрителем того, как войска соседнего государства бесчинствуют в принадлежащей Армении территории и расстреливают граждан Армении». Вмешательство англичан[2], предложивших перемирие, с тем чтобы до заключения мира обе стороны оставили спорные области (Лори и Ахалкалаки), также не увенчалось успехом: армянский парламент принял предложение, но грузины не ответили и не прислали своих делегатов в назначенный день и пункт[3]. И война продолжалась. Одновременно по всей Грузии под предлогом того, что «армяне производят повсюду тайную мобилизацию», были предприняты репрессии против армян. А все лица, «подданные Эриванской республики призывного возраста, то есть от 18 до 45 лет», были объявлены военнопленными и направлены в концентрационные лагеря в Кутаис[4]. Войска генерала Силикова в течение двух недель нанесли грузинам ряд серьезных поражений, захватили три бронированных поезда, 28 орудий, до 75 пулеметов, несколько сот пленных и военные склады, и в середине декабря подошли на переход к Тифлису. Но 16-го они потерпели неудачу у Шулавера и отошли на 10 верст к Садахло. В это время вторично, уже в ультимативной форме, англичане потребовали прекращения военных действий, назначив срок — полночь на 19-е. В этот день противники, торопясь

---

[1] В Ахалкалакском уезде, по данным 1916 года, армян было 76,4%, грузин — 7,3%.

[2] Телеграммы от 20 и 29 ноября, министра иностранных дел и министра-председателя.

[3] Это заявление находилось в противоречии с нотой от 17 ноября грузинского дипломатического представителя Мдивани, который между прочим писал, что он уполномочен грузинским правительством на окончательное разрешение вопроса о границах, соглашение по каковому вопросу он представит на утверждение правительства. Официоз грузинского правительства «Борьба» (18 декабря) уверял, впрочем, что соглашение с Мдивани было достигнуто и он возвращался с проектом его в Тифлис, когда армянское правительство послало свой ультиматум.

[1] Радиограмма Гегечкори.

[2] Капитан Грин, посланный генералом Томсоном. Уоккер прибыл в Тифлис позднее.

[3] 6 декабря на станции Самаин ожидали капитан Грин и армянские делегаты.

[4] Грузинское правительственное сообщение от 16 декабря. В одном из заседаний армянского парламента подсчитывали потом громадные деньги, нажитые с богатых армян на этом предприятии грузинской администрацией.

каждый создать более благоприятное для себя стратегическое положение, вели встречный жестокий бой, к полночи явно склонившийся на сторону армян.

Условия, предписанные воюющим сторонам, были тяжелы и несправедливы по отношению к Армении: войска ее отводились в исходное положение, существовавшее до начала военных действий, тогда как грузины оставались на занятой линии; в Борчалинском уезде введена была смешанная армяно-грузинская администрация, а в Ахалкалакском, сплошь населенном армянами, — грузинская под контролем англичан.

Как будто нарочно создавались очаги брожения и недовольства.

Хотя сношения наши с Арменией, даже дипломатические, совершенно не налаживались, но грузинское правительство считало само или, может быть, с умыслом внушало англичанам, что совпавшее по времени частичное продвижение добровольцев в Сочинском округе к станции Лоо и армянское наступление в тифлисском направлении являлись «общим широко задуманным планом против Грузинской республики». И генерал Уоккер открыто грозил министру иностранных дел Армении Тигратяну, что «если армяне совместно с Добровольческой армией нападут на Грузию, он со своими войсками выступит на ее защиту»[1].

• • •

С осени 1918 года, после разрыва переговоров с Грузией, войска Добровольческой армии на Черноморском побережье занимали передовыми частями село Лазаревское, между Туапсе и Сочи, имея перед собой у станции Лоо грузинскую национальную гвардию генерала Кониева.

Положение русских войск было ненормальным в военном отношении («ни мира, ни войны») и весьма тягостным в морально-политическом. В Сочинском округе продолжалось спешное расхищение грузинами русского казенного и частного имущества, всевозможные притеснения, аресты и высылки элементов, тяготевших к России, и вместе с

[1] Свидетельство военного министра Армении генерала Карганова.

тем оказывалось покровительство большевикам и проводилось вооружение их. Шли повальные грабежи и разбои. Десятипроцентный сбор натурой со всех продуктов сельского хозяйства и товаров вызвал прекращение подвоза и торговли и усилил еще больше голод. Население Сочинского округа целым рядом депутаций и письменных постановлений обращалось в Екатеринодар с просьбой об избавлении от грузин. С той стороны фронта слышна была часто ружейная пальба, временами артиллерийская. Прорывавшиеся через грузинский кордон русские и особенно армяне — жители окрестных селений — приносили на наши передовые посты рассказы о творимых над ними расправах и просьбы о помощи. В то же время из Сочи приходили воззвания и газеты российской революционной демократии («Свободная Мысль»[1] Цвангера и гагринские «Телеграммы»), жалкие по содержанию, от имени «всего населения» поддерживавшие грузинскую оккупационную власть и одновременно с приведением демагогических посулов грузинских комиссаров обливавшие потоками грязи Добровольческую армию.

9 декабря, в связи со вспыхнувшей армяно-грузинской войной, неожиданно для нас началась эвакуация грузинских войск из Сочинского округа. Я приказал войскам продвигаться вперед и, не вступая в бой с грузинами, занимать оставляемую ими территорию Черноморской губернии. 16 декабря грузины оставили станцию Лоо, которая и была занята нашим полком. Дальнейший отход грузинских войск приостановился, и противники стояли на реке Лоо в течение целого месяца, не вступая в бой.

Через несколько дней перехваченные документы разъяснили несколько обстановку: 15 декабря «командующий Приморским фронтом» генерал Кониев сообщил населению[2], что «правительством приказано освободить Сочинский округ от войск Республики Грузии», но «всем административным учреждениям и должностным лицам (надлежит)

[1] Орган сочинского комитета социал-демократической рабочей партии.

[2] Приказы №№ 11 и 12.

оставаться на своих местах и продолжать исполнение служебных обязанностей». 16 декабря Кониев пояснил мотивы этого распоряжения: «*Сочинский округ по соглашению с англичанами признается нейтральным.* В силу этого соглашения вступление вооруженных войск какой бы то ни было армии или государства на территорию округа не может иметь места... Управление в округе остается грузинским».

Такое вмешательство англичан, без предварительного согласия главного командования и даже без уведомления его, вызвало у нас протест, обращенный к генералу Пулю. Ввиду того что Сочинский округ составляет искони неотъемлемую часть русской Черноморской губернии, генерал Драгомиров от моего имени просил содействия Пуля по немедленному введению русских войск и русской администрации во всем округе. Это обращение, равно как и ряд других — по вопросам о расхищении грузинами имущества и притеснениях русских людей в Сочинском округе, — оставлялось Лондоном и Константинополем без ответа. Вместе с тем 9 января мы получили через английскую миссию сообщение генерала Уоккера[1] о том, что он «получил инструкции поддерживать грузин, пока их поведение (?) удовлетворительно», и поэтому «дальнейшее продвижение войск Добровольческой армии в Сочинском округе без предварительного сношения с генералом Уоккером не должно иметь места». Это требование английского начальника дивизии, о существовании которого мы тогда узнали впервые, вызвало вновь мое обращение к Мильну[2], в котором я подтверждал, что «в этом крае должна быть немедленно водворена русская власть» и что я «не могу допустить с его стороны подобное несправедливое отношение к русским интересам».

Между тем на почве притеснений грузинами вспыхнуло восстание армянских селений[3], охватившее весь прифронтовой и адлерский районы. В наши руки попала телеграмма комиссара Хочолава, после заседания с участием генерала Кониева доносившего правительству выяснившиеся причины восстания, которое легко было бы предотвратить, «если бы местные власти в лице комиссаров, а также регулярные войсковые части стояли на должной высоте». «Мне самому, — писал он, — пришлось лично видеть результаты ряда недопустимых деяний, хищений и грубого отношения к населенно со стороны солдат». Хочолава, ввиду грозных событий, 17 января требовал «или уходить, или закрепить положение» и получил ответ правительства, что оно «в ночном заседании (на 18-е) постановило Сочинский округ не очищать». Грузинские войска предприняли широкую карательную экспедицию; в течение нескольких дней шли бои, грузинская артиллерия громила армянские села; к нам доходили вопли о помощи. Дабы положить конец этому кровопролитию, я приказал войскам Приморского отряда занять Сочинский округ.

[1] Письмо, подписанное полковником Кизом, № 129.

[2] Письмо от 14 января, № 45.

[3] В Сочинском округе 36% сельского населения составляли армяне.

24 января войска наши с боем перешли реку Лоо и заняли Сочи, где были встречены с большою радостью населением. В течение ближайших четырех дней добровольцы очистили от грузин весь Сочинский округ, и начальник дивизии генерал Черепов, дойдя до реки Бзыби, послал грузинам телеграмму о прекращении им военных действий ввиду окончания возложенной на него задачи. Генерал Кониев и его начальник штаба полковник Церетели были взяты в плен; в Сочи интернировано 43 офицера и 700 солдат, причем офицерам оставили оружие, а солдаты были обезоружены. Все воинские чины и оружие были отправлены морем в Грузию. Тем временем начались репрессии со стороны грузин: старик генерал Шатилов и другие наши представители в Тифлисе, многие русские офицеры, даже из числа не имевших отношения к Добровольческой армии, в Сухуме, Поти повсеместно были арестованы и ввергнуты в тюрьмы; грузины также арестовали и выслали президиум заступившегося за русских офицеров русского национального совета (Лебедева и Шубинского), вообще усилили репрессии в отношении русских граждан[1] и в моральном и в матери-

[1] Заявление Уайта 8 февраля, письмо его 7 февраля и телеграмма начальника штаба Романовского 10 февраля, № 02072.

альном отношении. Так, в четверг на страстной седмице грузинская милиция вторглась в Тифлисский кафедральный собор во время богослужения и потребовала прекращения службы. Несмотря на единодушный протест клира и молящихся, служба была закончена, после чего грузины опечатали собор и отняли его у русского прихода. 24 февраля грузинское правительство обнародовало закон, по которому были конфискованы земли русских земледельцев, бежавших в свое время от турецкого нашествия и не успевших к сроку, указанному в законе, именно к *1 февраля*, то есть на 23 дня ранее опубликования самого закона, вернуться в места своей оседлости. Это было уже прямо надругательством и над русскими людьми, и над правом.

Под влиянием нашего наступления начались восстания абхазцев и армян в Сухумском округе, и представители его вновь обратились ко мне с просьбой избавить абхазский народ от насилий, могущих вызвать кровавую смуту. 1 февраля я отправил телеграмму генералам Мильну и Уоккеру (№ 176), указывая необходимые и неотложные меры для умиротворения Абхазии и устранения поводов взаимных столкновений наших с Грузией: «1) Объявить Сухумский округ нейтральным; 2) немедленно вывести оттуда грузинские войска и администрацию; 3) возложить поддержание порядка на абхазские власти, свободно ими самими выбранные, и на военные отряды, сформированные из абхазцев»...

Сочинский эпизод принял совершенно неожиданный для нас оборот. 3 февраля нашей радиостанцией принята была телеграмма «всем, всем» из Тифлиса, подписанная военным министром Георгадзе. В ней обычным стилем грузинской дипломатии наше наступление названо было «актом самочинного грубого насилия и вероломства». «Сочинский округ занимался нами, — писал министр, — по соглашению и настоянию(!) английского командования... 31 января (нового стиля) грузинским правительством было получено от английского командования в Константинополе письменное заявление, что со стороны генерала Деникина не будет предпринято никаких враждебных действий против Грузинской республики»... Вслед за сим генерал Уоккер сообщил грузинскому правительству телеграмму «верховного союзного командования», что «Британское правительство приказало (!) генералу Деникину вывести свои войска из Сочи». При посещении Уоккера 8 февраля делегацией парламента, принесшей ему благодарность по поводу этого решения, Уоккер заявил: «Последнее время отношение грузинской печати к Великобритании очень часто меняется... Несмотря на это, великобританское правительство, если и имеются какие-либо нарушения его политики в Грузии, всегда готово исправить таковые к выгоде грузинского народа»... Посланный Уоккером полковник Уайт прибыл в Сочи и предъявил требование о немедленном выводе войск Добровольческой армии из Сочинского округа, в котором «будет установлен английский контроль». Но получил ответ, что «Сочинский округ очищен не будет»[1].

* * *

Английская миссия генерала Пуля, которую очевидно не информировали ни Константинополь, ни Тифлис, находилась в весьма неловком положении. Генерал Уоккер выразил крайнее возмущение против деятельности екатеринодарского представителя генерала Пуля, не предотвратившего этот эпизод, и в беседе с одним из чинов Добровольческой армии заявил, что Пуль, очевидно, совершенно не осведомлен о направлении «политики Его Величества» и должен получить указание в Константинополе. Генерал Пуль был вызван в Константинополь и к нам не вернулся.

Сменивший его 3 февраля генерал Бриггс, к нашему удовлетворению, оказался истинным и благородным другом России. Проявляя исключительную заботливость в деле снабжения русских армий, относясь горячо и искренне к нашим нуждам, невзгодам и успехам, он вместе с тем оказывал неизменно большую моральную поддержку и

[1] Нужно заметить, что и «грузинские граждане», и просто грузины, пребывавшие на территории ВСЮР, никогда не подвергались никаким ограничениям, и тем из них, которые состояли на государственной службе, предоставлено было продолжать ее.

командованию, и русской идее. Везде, где ему приходилось выступать — на Донском кругу, среди кубанских самостийников, на Чеченском съезде, — мы слышали от него полные достоинства и спокойствия призывы к единству, к поддержанию государственной связи с Россией. Он был добрый англичанин и исполнительный подчиненный. Но не раз, исполнив свой долг — предъявив мне в сухой и настойчивой форме неприятные для нас требования Лондона, — в тот же день (мне это стало известно впоследствии документально) кроме моего отказа посылал и свой личный обоснованный протест против распоряжений Лондона.

Только с приездом генерала Бриггса пришли запоздалые ответы на мои обращения к генералу Мильну[1]. Мильн писал, что письма мои препровождены «правительству Его Величества». Британия «не имеет намерения вмешиваться в дела образованных в Закавказье правительств». Мильн охотно поддерживал бы русские интересы в Грузии, но это невозможно ввиду позиции, занятой русскими в сочинском вопросе; просил «прийти к дружелюбному соглашению с Грузией». Но одновременно я получил через генерала Бриггса ноту ультимативного характера[2].

«Я получил указание Военного министерства предложить Вам немедленно прекратить операции против Сочи. Затем обратить Ваше внимание на постановление Мирной конференции от 24 января, в силу которого захват силою спорной территории будет серьезно вменен в вину захватчику.

Если генерал Деникин не согласится ожидать решения из Парижа и не воздержится от перехода в район южнее линии Кизил-Бурун—Закаталы и далее по Кавказскому хребту до Туапсе на Черном море, то правительство Его Величества может оказаться вынужденным задержать (или отменить) помощь оружием, снаряжением и одеждой».

---

[1] Письмо от 29 января 1919 года, полученное 3 февраля.

[2] От 6 февраля.

Все это было уже слишком поздно. Запоздалое вмешательство англичан не соответствовало ни русским интересам, ни достоинству русской армии, ни просто справедливости. Путем личных бесед с генералом Бриггсом и предъявлением ряда документов, относящихся к сочинскому вопросу, я приобрел в нем фактического защитника наших интересов. При этом установлено было, что главное командование никогда не давало никому заверения или обещания не занимать Сочинский округ. Такое ложное убеждение, повлекшее за собой приведенную выше ноту Мильна, создалось в Константинополе из-за доклада Уоккера, post-factum оправдывавшего его тем выводом, который был им сделан из слов, сказанных якобы генералом Эрдели во время их беседы 20 января: «Генерал Деникин не имеет никаких агрессивных намерений относительно Грузии и, более того, не мог бы осуществить их, если бы хотел». Донесение генерала Эрдели от 20 января (№ 6) и последующий доклад категорически опровергали и факт произнесения им этой фразы[1] и возможность ошибочного толкования Уоккером нашей позиции в сочинском вопросе. Эрдели заявил тогда вполне определенно: «Мы думаем не о завоевании, а о возвращении принадлежащего нам по праву», и на вопрос Уоккера, удовлетворило ли бы нас установление русской администрации в Сочинском округе, но с грузинскими войсками, Эрдели ответил категорически: «Нет, войска должны быть выведены, и округ занят нами»[2].

---

[1] По смыслу фраза была бы правильной в отношении этнографической Грузии, но не Черноморской губернии.

[2] В ноте от 25 января генералу Уоккеру Гегечкори излагал этот эпизод следующим образом: «Нотой от 31 января—1 февраля (нового стиля) за № 124-5 Ваше Превосходительство сообщили мне по поручению высшего британского командования, что великобританское правительство предложило генералу Деникину соблюдать целость грузинского правительства (республики?) и воздержаться от вмешательства в его внутренние дела. Грузинское правительство считало, что эта нота является для нас достаточной гарантией».

Таким образом, гарантии Грузии даны были Уоккером за два дня до встречи и разговора с Эрдели.

Результатом всех этих событий было следующее: генерал Уоккер вскоре покинул свой пост; в Гаграх появилась рота англичан во главе с полковником Файнсом, ставшая по реке Бзыби, между расположением обеих сторон, с которых взято было обещание не возобновлять военных действий и не переходить реку; англичане признали status quo, не облекая признания в декларативные формы, чтобы не подчеркивать некоторый урон, понесенный британским престижем[1].

Непосредственные отношения с грузинским правительством у нас решительно не налаживались. Грузины внушали англичанам, что я «отказываюсь принять грузинских представителей»[2]. Это было совершенно неверно. Гегечкори в январе 1919 года сообщал доверительно некоторым лицам, не без намерения осведомить Екатеринодар, что им посылается дипломатическая миссия в составе «политических врагов правительства» (?)[3] к кубанскому правительству, но с главной целью «завязать *конфиденциальные* сношения с Добровольческой армией»[4]. Попытки сближения сделаны были и путем посылки в середине февраля к генералу Эрдели, находившемуся в то время в Баку, князя Амилахвари, который от имени Жордания и Гегечкори зондировал почву относительно вступления в сношения с Добровольческой армией. Эрдели, обобщая свои впечатления, объяснял эту перемену тем, что «в Грузии замечается поворот к нам, сильное недовольство англичанами и тревога за будущее; боязнь, что англичане съедят Грузию и весь Кавказ и что единственная опора — это мы и Россия». Если известные круги и поддерживают непримиримость, сепаратизм и ненависть к Деникину, Колчаку, то «в массе все больше и больше наблюдается поворот к нам, (который) по-видимому, начинает учитываться руководящими кругами...»[1]. Не без влияния на изменение настроения было, конечно, и тяжелое экономическое положение Грузии, отрезанной от производительных районов Северного Кавказа.

[1] Официальное признание границы по реке Бзыби было сделано впервые в ноте генерала Корри грузинскому правительству 29 мая 1919 года, то есть два месяца спустя после того, как грузины перешли ее (см. ниже).

[2] Из письма генерала Мильна 29 января 1919 года.

[3] Первоначально предположено было послать А. В. Мдивани (социалист-федерал), генерала Имнадзе и полковника князя Амилахвари (оба правые). Первый грузинский посланец на Кубань Чхенкели еще в ноябре добивался от грузинского правительства «мандатов и присылки делегации на основах взаимности» (радиограмма его от 4 ноября, № 22/340).

[4] Доклад заместителя председателя Закавказского русского национального совета Семенова от 16 января и доклад поручика Полунина от 26 марта, № 62.

Какие бы ни были мотивы, руководившие грузинскими правителями, этот поворот был встречен у нас с полным удовлетворением. И прибывший 10 февраля в Екатеринодар грузинский «уполномоченный» на Кубани Вачейшвили телеграфировал своему правительству о полученной гарантии непродвижения добровольцев дальше Бзыби, о прекращении военных действий и о возможности начать переговоры; просил «срочно, по радио мандата правительства на имя Чичинадзе, Вачейшвили и Кикнадзе для ведения переговоров со штабом Добровольческой армии»[2].

Проходили недели, а Тифлис молчал.

Первая пора растерянности прошла, благоразумие смолкло вновь, и грузинские меньшевики не рисковали не только примирением с главным командованием, но даже вступлением с ним в официальные дипломатические отношения дать оружие в руки своим политическим противникам — социал-федералам и национал-демократам — и «скомпрометировать» себя в глазах грузинс-

[1] Письмо к генералу Драгомирову от 15 февраля 1919 года.

[2] Вачейшвили имел еще с декабря полномочия от правительства «на заключение экономического договора по принципу товарообмена, не связывая заключение договора с вопросом о Сочинском округе» (телеграмма военного министра Георгадзе). Такая постановка вопроса встретила категорический отказ главного командования.

кого совдепа, русской революционной демократии и главное... Москвы.

На Сочинском фронте возобновилось прежнее, чреватое опасностями положение: ни мира, ни войны.

* * *

Весна 1919 года была периодом тяжелых боевых испытаний для армий Юга: оставление французами Одессы, потеря почти всего Крыма, критическое положение Донского фронта и угроза Тихорецкой со стороны Царицына требовали сосредоточения всех сил на угрожаемых направлениях. Получив письменное ручательство генерала Бригтса, что «ввиду занятия британскими войсками линии реки Бзыби исключается всякая возможность каких бы то ни было наступательных действий со стороны грузин против Добровольческой армии»[1], я ослабил значительно Сочинский фронт. Между тем вскоре оттуда начали приходить тревожные сведения: грузины мобилизовали два возраста, вооружали интернированных в Веро большевиков и отправляли их в Сухумский округ, подвозили к Бзыби тяжелую артиллерию и понтоны. Во второй половине марта грузины сосредоточили за Бзыбью 5—6 тысяч штыков и до 20 орудий, явно готовясь к нападению. На глазах у английской роты грузины строили второй мост через Бзыбь, и на протест по этому поводу начальника нашего отряда генерала Бурневича полковник Файнс ответил, что «это к военному делу не относится» (?). Английские посты пропускали беспрепятственно с грузинского на наш берег всех желающих, не исключая и грузинских солдат, требуя только, чтобы они были безоружны. Был даже случай, что на глазах у английского офицера и караула грузинские солдаты на нашем берегу захватили добровольца — поручика Бенуа, абхазца по происхождению — и увели его через мост в свое расположение.

Вновь начинались какие-то странные недоразумения, которые английская миссия при всем желании предотвратить не могла, так как части 27-й английской дивизии подчинялись командованию в Тифлисе.

В то же время при содействии грузин в Сочинском округе поднималось восстание *зеленых*.

[1] Нота от 18 февраля 1919 года.

Это движение имеет свою сложную историю, на которой я остановлюсь в другом месте; здесь же ограничусь лишь указанием на особые местные черты его характера. Революционные организации обосновавшихся в Черноморье российских социалистов, совместно с покровительствующими им грузинскими властями, усиленно внушали крестьянам мысль, что при содействии англичан округ может быть «нейтрализован», и это избавит их от реквизиций, податей, налогов, вообще от несения всяких государственных повинностей, в том числе и от набора. И потому, когда объявлена была в середине марта мобилизация 4 призывных возрастов, военнообязанные стали уходить поголовно в леса, там организовались в отряды, снабжаемые в изобилии оружием и патронами от грузин. И 26 марта поднялось вооруженное восстание в деревне Пластунской, распространившееся вскоре на весь район Сочи—Красная Поляна—Адлер. А 31-го были закончены и приготовления грузин к переходу в наступление.

Ему предшествовали два странных обстоятельства. 24 марта полковник Файнс обратился к начальнику нашего передового отряда с запросом, «получены ли им приказания о выводе русских войск из Гагринского района»; и если нет, то просил «обратиться к генералу Деникину за соответствующим приказанием». А 3 апреля, то есть накануне наступления грузин, получена была телеграмма генерала Мильна, извещающая о том, что «грузины предполагают атаковать (добровольцев), хотя им известно, что это явится актом враждебным по отношению к (англичанам)». Миссия добавляла[1], что генерал Мильн предпринимает шаги, дабы этому воспрепятствовать, и советовала удержать наши черноморские отряды «от враждебных действий и отвести войска к северу как можно дальше».

4 апреля получена была мною телеграмма грузинского Главнокомандующего генерала Гедеванова[2]:

«Во избежание возможности кровопролитного столкновения между грузинской и Добровольческой армиями не-

[1] Нота № 344 от 3 апреля.

[2] Отправлена *первого* апреля по телеграфу через англичан.

обходимо немедленно разрешить вопрос об установлении пограничной линии, которою, по нашему мнению, является река (не расшифровано)[1].

Для того чтобы я имел возможность совместно с Вами действовать против общего врага — большевиков — и для сглаживания существующих между русскими и грузинами неприятных недоразумений, нужно Ваше срочное согласие по этому вопросу. Ваше согласие даст мне возможность обеспечить Ваш тыл так, как Вам будет желательно, и убедить наш народ в Вашем дружественном отношении к нему»[2].

Из протокола заседания 8 мая 1919 года, в присутствии генерала Бриггса.

И словно в разъяснение истинного смысла происходящего через несколько дней мы прочли воззвание от «Штаба национальной гвардии» Джугели всем сочинским «товарищам»:

«...Цель предательского врага — выбить из наших рук доблестное красное знамя, восстановить деспотизм, торжество темных сил и раздавить нашу свободу и демократию.

...Объединившись и тесно сомкнувшись вокруг красного знамени с оружием в руках, будем биться насмерть с силами реакции, наступающими (!) на революционную Грузию.

Долой черную реакцию!

Да здравствует революционная демократия!

Да здравствует социализм!»[3]

---

[1] Оказалось — Мехадырь.

[2] Самый факт перехода грузин в наступление генерал Гедеванов объяснял впоследствии следующим оригинальным образом: «Когда мы стояли на реке Бзыби, в Сочинском округе произошли волнения. Причины их мы не знали (!) и думали, что там имеет место большевистская пропаганда. Чтобы остановить распространение восстания, мы решили перейти в наступление».

[3] Воззвание датировано 7 апреля. По поводу его генерал Гедеванов заявил впоследствии, что национальная гвардия «подчинена непосредственно правительству», а ему лишь «в тактическом отношении... и многие вопросы она решает самостоятельно». Из того же протокола.

В тот же день, когда получена была телеграмма Гедеванова, с рассветом грузинские войска, перейдя беспрепятственно линию английских постов и реку Бзыбь, ударили на слабый наш передовой отряд — Кавказский офицерский полк генерала Ушака. Ушак отбил атаку; но вскоре обнаружилось, что все высоты в тылу заняты зелеными, и отряду почти в полном окружении пришлось отходить за реку Мзымту, пробиваясь с большими потерями. Сухопутное сообщении с Сочи было отрезано. Только 7 апреля высланные из Сочи подкрепления расчистили тыл отряда от повстанческих банд и овладели Адлером и Пластунским — центром восстания, после чего оно пошло на убыль и вскоре замерло. Грузины продвинулись до Мзымты, но вскоре отошли, остановившись за рекой Мехадырь, и начали расправу с армянскими селами...

Ввиду открытия военных действий грузинами я приказал закрыть границу, выслать всех грузинских официальных представителей за пределы Вооруженных сил Юга и воспретить заход наших судов в грузинские порты. Войскам Черноморья приказано было перейти в наступление и выбить грузин из Сочинского и Сухумского округов.

Начались приготовления по сбору сил и подготовка десанта[1]. Тем временем генерал Бриггс, принимавший горячее участие в наших делах, снесясь с Константинополем, сообщил мне, что Главнокомандующий (генерал Мильн) считает действия грузин «прямым нарушением данных британскими властями указаний» и посылает британские войска для предотвращения дальнейших продвижений»[2]. Ввиду этого генерал Бриггс просил меня не предпринимать наступления, выражая твердую уверенность в мирном разрешении вопроса.

Англо-грузинские переговоры затянулись. Грузинское правительство опять, как в начале года, выразило пожела-

---

[1] К 20 апреля в Сочинский район удалось стянуть всего до 2800 тысяч штыков при 13 орудиях. Ослаблять главные фронты не представлялось возможным, а слабый в то время Черноморский флот был занят у Акманайских позиций (Крым).

[2] Нота 8 апреля, № 66387.

ние начать переговоры с главным командованием при посредстве английского представительства. Генерал Бриггс взял на себя лично эту миссию и в начале мая поехал в Тифлис, ознакомившись предварительно с моими требованиями[1]. После двух заседаний 8 и 10 мая (в Батуме и Тифлисе), выяснивших, между прочим, что инициатором приглашения был генерал Гедеванов, по-видимому искренно стремившийся к примирению с Добровольческой армией, генерал Бриггс пришел к заключению, что он «напрасно потерял время, так как у грузин не было желания идти на уступки».

Основное требование об очищении грузинами Черноморской губернии отводом войск за Бзыбь было отвергнуто[2]; о нейтрализации Сухумского округа тем более они не хотели и слушать. Потому дальнейшие прения имели чисто академический характер, выясняя лишь общие взгляды грузинского правительства на отношение к России вообще. Вероятно с большим удивлением и впервые грузинские правители услышали из уст английского генерала такие фразы: «Англичане и итальянцы уйдут, но Россия останется навсегда, и дружеские отношения с нею – это лучшее, что может быть... Лига наций еще не вылилась в определенную форму... Мирная конференция закончится, Россия же будет великой и могущественной, и вы подготовляете себе не особенно благоприятную будущность... Генерал Деникин (считает, что) не имеет права и полномочий изменять границы областей России до Всероссийского народного собрания, которое одно может разрешить этот вопрос». К сожалению, позиция генерала Бриггса была не особенно прочной, когда Гегечкори не без иронии предложил ему вопрос: «Мы желали бы слышать, — это мнение лично генерала Бриггса или ... британского командования?». Так как «мы имеем сведения, что вопрос о границах будет разрешен не на Всероссийском собрании, а на Парижской мирной конференции... Мы имеем уверение, что Британское правительство поддержит нашу независимость от России».

[1] Не повторяю их, так как они были изложены в инструкции Баратову; прибавил пожелание нейтрализации Сухумского округа, не ставя, однако, вопрос этот ультимативно.

[2] *Генерал Гедеванов* мотивировал необходимость границы по Мехадыри тем, что тогда «мы (грузины) будем владеть узким коридором, удобным для прикрытия Грузии от находящихся с нами в войне или недружелюбно настроенных к нам армий» (!).

Гегечкори: «Мы хотим иметь такую границу, которая нас вполне обеспечит от проникновения большевизма».

Рамишвили: «Линия эта — естественная граница Абхазии».

Протокол заседания 10 мая 1919 года.

Эта уверенность во всемогуществе Мирной конференции была у грузинских правителей очень прочной, а перспектива решить вопрос своего суверенного существования и территориального распространения при отсутствии России слишком заманчивой... Этим обстоятельством в гораздо большей степени, чем стратегическими соображениями, обоснована была та торопливость, с которой велись грузинские захваты, та цепкость, с которою отстаивались приобретаемые ими границы «Великой Грузии». Поставить Мирную конференцию перед свершившимся фактом — это казалось самым главным. Вопрос же о «народном волеизъявлении» представлялся уже более легким: для этого существовали такие влиятельные факторы, как усиленная колонизация, национальная гвардия и... Мцхетский замок.

* * *

12 мая генерал Бриггс вернулся из поездки, а 23-го прибыл из Лондона в Новороссийск его заместитель генерал Хольман. Приезд последнего был полной неожиданностью для генерала Бриггса, которого британское правительство не известило о предстоящей смене. 30-го мы провожали с душевным сожалением «друга России и нашего друга», заслужившего глубокое уважение в русском обществе и в армии.

Роль генерала Бриггса на этом не кончилась. Он защищал интересы России и армий Юга в Лондоне — в военном министерстве и парламенте; ездил в Бухарест и Варшаву убеждать Братиано и Пилсудского в необходимости общих усилий для освобождения Европы от мировой угрозы русского большевизма, необходимости кооперации с

Вооруженными силами Юга[1]. Осенью 1919 года он вновь посетил Ростов, Харьков, Киев, желая возобновить связь с русскими армиями для наиболее целесообразной помощи им.

Удаление генерала Бриггса казалось странным и необоснованным, так как преемник его, генерал Хольман, с первых же шагов своих стал вести ту же дружественную нам политику.

* * *

Все на Черноморском побережье осталось по-прежнему. Генерал Мильн, будучи у меня 9 апреля, заявил, что он потребовал отхода грузин за Бзыбь; то же повторила английская миссия 12 июня. Но, видимо, британский авторитет был уже недостаточен ни для предупреждения, ни для ликвидации столкновения. Или, вернее, Лондон не желал подкрепить его аргументом более веским, чем бумажные ноты.

Грузины остались на Мехадыри. Между правительствами ВСЮР и Грузии по-прежнему не существовало официальных отношений. Граница была закрыта. А войска двух армий стояли на побережье друг против друга в постоянной боевой готовности, рискуя каждую минуту тем, что в силу какого-либо непредвиденного случая «заговорят сами» ружья и пушки.

ГЛАВА XVIII
АЗЕРБАЙДЖАН

Взаимоотношения наши с другой закавказской «державой» — Азербайджаном — носили еще более оригинальный характер. Между нами не было никаких территориальных споров, никаких посягательств на ту границу, за которой самоопределился Азербайджан. «Самостоятельность» его правительства до Всероссийского учредительного собрания была признана мною с самого начала... Армия Юга ни разу не угрожала границам Азербайджана. В ответ на это мы встретили злобу и ненависть правительства и правящей партии, так

[1] При некотором противодействии со стороны министра иностранных дел Керзона.

сказать a priori, тягчайшие оскорбления по адресу командования, правительства и армии в официальной печати, в официальных речах и актах; наконец, бессильное бряцание оружием и открытую поддержку — материальную, финансовую, вооружением и формированиями — наших недругов. Эта «глава» нашей истории, когда она творилась, была распылена во времени и в массе событий и впечатлений. Теперь, когда она пишется и появилась возможность сосредоточиться на ее содержании, становится еще более ясным долготерпение и миролюбие командования и правительства Юга и выдержка армии. Бывали неоднократно моменты, когда занятие всей территории Азербайджана в военном отношении не представляло затруднений, и этим положен был бы без сомнения конец волнениям на Северном Кавказе... Политика Азербайджана являлась как будто сплошной провокацией в этом отношении главного командования. Но за этим актом явно виделась перспектива всеобщего закавказского пожара, в котором легко было опалить зарождающуюся мощь армий Юга. На чаши весов поставлено было: на одну — достоинство вождей и Армии, на другую — успех белого движения.

Естественно, что вторая перетянула.

* * *

Все в Азербайджанской республике было искусственным, «ненастоящим», начиная с названия, взятого заимообразно у одной из провинций Персии. Искусственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армяно-татарские Бакинскую и Елисаветпольскую губернии и русскую Мугань и объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма и панисламизма на Кавказе... Искусственная государственность, так как на этих землях, лежавших на пути великого переселения народов и подвергавшихся воздействию разнообразных культур сменявшихся завоевателей, жили всегда разрозненные мелкие племена[1], враждовавшие друг с другом и доныне еще сохранившие черты кочевого быта. Наконец, искусственно держалось и Азербайджанское

[1] В XVIII и XIX веках на предгорьях располагались мелкие ханства: Дербентское, Кубинское, Шемахинское, Бакинское, Талышинское, Шушинское, Нухинское, Ганжинское и Елисуйское в Закаталах.

правительство: первоначально волею Нури-паши, потом генерала Томсона и в дальнейшем — просто по инерции.

Когда в Баку появились англичане, туркофильское правительство хана Хойского, не имевшее решительно никакой опоры в стране и почти никакой вооруженной силы, покорно ждало решения своей участи. Генерал Томсон, не получив, по-видимому, указаний из Лондона, стал первоначально на точку зрения «российской державности» и стремился к построению временной коалиционной власти чисто административного характера в составе представителей трех главных национальностей, населяющих край, — русских, татар и армян[1]. Томсон обратился прежде всего за содействием к русской общественности, но встретил там такой непримиримый антагонизм, что соглашение оказалось невозможным.

Русская организованная общественность представлена была в то время в Баку следующими группами: 1. *Русский национальный комитет*, возникший инициативным порядком и потом пополнивший свой состав кооптацией различных общественных организаций (союз офицеров, учителей, «русского демократического общества» и т.д.). Возглавлялся комитет[2] лидером местных кадетов Подшибякиным, именовал себя беспартийным, но в целом разделял кадетскую идеологию и всецело поддерживал Добровольческую армию. Комитет считал возможным войти в состав правительства лишь при условии «признания принципа единой России и разрешения вопроса о самостоятельности Азербайджана (только) Всероссийским Учредительным собранием». 2. *Совет славяно-русского общества* — организация, созданная лицами, прибывшими из Тифлиса[3], находившимися в близких отношениях к азербайджанскому министру внутренних дел

---

[1] В Бакинской и Елисаветпольской губерниях по данным 1917 года числилось: русских — 96 тысяч, армян 344 тысячи, татар — 1019 тысяч.

[2] Позднее назвал себя «Советом».

[3] Доклад мне комитета от 12 августа, № 354, так говорит о его происхождении: «В Баку был командирован инженер Виноградов, который, завязав связи с приходами и найдя поддержку в лице настоятелей двух наиболее значительных церквей,.. приступил к организации общества, что ему и удалось с успехом выполнить».

и получавшими субсидии от правительства. Политическая физиономия его была крайне неопределенна (с уклоном вправо), тактика — соглашательская. Комитет «откликнулся с чувством глубокого удовлетворения на призыв мусульманских руководящих кругов принять участие в политической жизни Азербайджана», надеясь тем «еще более укрепить русское влияние и сознание необходимости единения с великой Россией»[1]. 3. «*Прикаспийское правительство*», созданное Бичераховым, в составе русских и армянских социал-революционеров, переехавшее из Петровска и претендовавшее на управление Северным Кавказом и Прикаспием, включая Бакинскую губернию и «Закаспийскую республику». «Правительство» считало себя в духовной связи с «Комучем» и Уфимской директорией и полагало необходимым свергнуть азербайджанское правительство и установить свою власть. 4. Наконец, левые организации — партия «эсеров-интернационалистов», рабочие, профессиональные союзы, объединенные в «рабочей конференции», не говоря уже о чисто большевистских, — проповедовали и работали деятельно в пользу установления советской власти.

Соглашение между русскими небольшевистскими организациями не состоялось. Точно так же безрезультатными оказались совещания, устроенные Русским национальным комитетом с представителями татар и армян, из-за решительной непримиримости татар.

При таких условиях Томсон решил опереться на существующее азербайджанское правительство. В составе его дано было два места русским и одно или два армянам; точно так же в созываемом парламенте русским было предоставлено 10 мест, несколько мест армянам и евреям и по одному грузинам и полякам. Представителей этих «национальных меньшинств» предложено было избрать соответствующим национальным советам. В состав правительства и парламента от русского населения вошли только члены «Славяно-русского общества»[2].

---

[1] Там же.

[2] Пять в парламент и двое в правительство: министр финансов Протасьев и министр продовольствия — председатель общества поляк Лизгар.

Правительство хана Хойского в большинстве своем состояло из членов партии «Муссават», и путем административного воздействия такое же большинство получилось в парламенте.

13 декабря на торжественном заседании парламента председатель его объявил, что он «остановился на хане Хойском как на лице, наиболее достойном формировать новое правительство». Хан Хойский прочел декларацию, в которой определена была «первая и важнейшая задача» правительства: «Единодушное желание, которое было высказано здесь (в парламенте) представителями всех фракций, а именно — о *независимости Азербайджана*, — правительство всемерно будет стараться разрешить окончательно», что, однако, не исключает возможности «свободному Азербайджану вступить в теснейшую связь с другими государствами, образовавшимися на территории России, а также и самой Центральной Россией». А через два дня генерал Томсон октроировал рожденную им власть особой «Прокламацией»: «Ввиду образования коалиционного азербайджанского правительства под председательством хана Хойского сим объявляю, что союзное командование будет оказывать полную поддержку этому правительству как единственной местной законной власти в пределах Азербайджана».

* * *

И политические партии в Азербайджане, пришедшие на свет только в 1918 году, были какими-то ненастоящими. Их было три: Муссават, Иттихад и Гюммет. Совершенно невозможно определить программы и идеологии первых двух. По составу своему правящая партия Муссават включала среднюю буржуазию и третий элемент, многие представители которого недавно вышли из рядов российской кадетской партии. Иттихад комплектовался крупной тюркской буржуазией, помещиками и духовенством. Если первых по русской терминологии можно назвать «кадетами» с социалистической личиной, не мешавшей им поддерживать феодальный земельный строй, то вторым приличествует имя «октябристов». Партия Муссават проявляла исключительную враждебность по отношению к России, перенесенную всецело на

Добровольческую армию, панисламизм и тяготение к Турции. Партия Иттихад весьма сочувственно отнеслась к туркам во время их кратковременной оккупации, перенесла свое благоволение на англичан, когда они были в силе, не оставляя в то же время сношений с русским национальным комитетом и мысли о возвращении к России. Обе партии разделяли со всем тюркским населением ненависть к армянам, проявляя ее широко и в административной практике.

Самой малочисленной и наименее влиятельной была партия Гюммет — откровенно большевистская. Вся остальная крайне немногочисленная вообще тюркская интеллигенция оставалась пассивной политически, именовалась «беспартийной», составляла лояльную оппозицию правительству в парламенте и склонялась скорее к русской ориентации.

Во внутренней жизни политика правительства сводилась к восстановлению русского права, суда и русских учреждений, так как народ без культуры и правительство без идеологии не могли и приступить к созданию новых форм жизни. Неудержимое стремление к национализации перевернуло только вверх ногами иерархическую лестницу: из низов без всяких стажей и цензов, не исключая и морального, всплыли на поверхность татары-муссаватисты, захватив все видные и выгодные материально посты, а русские — люди науки, техники и с административным опытом — скатились вниз, в силу тяжелых материальных условий мирясь с подчиненным положением. Ими, однако, держался весь механизм административного управления. Неоднократные приказы правительства о замещении должностей лицами тюркского происхождения или владеющими, по крайней мере, тюркским языком оставались мертвой буквой из-за неимения своих служилых кадров и даже попросту образованных людей. И русский язык оставался по-прежнему языком государственным. Не прошел и выработанный правительством закон о подданстве — юридически безграмотный, имевший в своей основе нелепое положение, что азербайджанскими подданными признаются все те лица, которые сами или их родители ро-

дились в Бакинской и Елисаветпольской губерниях. Единственная область, в которой национализация имела известный весьма печальный успех, это была школа, где бывшие российские кадеты начали с установления в младших классах обучения на тюркском языке и изъятия преподавания русской истории и географии. Парламент, по примеру Грузии, вотировал учреждение в Баку университета. Но так как весь ученый персонал его поневоле оказался русским, то «Союз трудовой интеллигенции» протестовал против его открытия на том основании, что университет станет орудием русификации и что открытие его возможно только после полной национализации средней школы.

Национализация административного аппарата[1] привела к тому, что в глазах населения «старый полицейско-бюрократический режим» оказался гуманнейшим. Насилие, произвол и повальное взяточничество превзошли всякие ожидания, а в районах с преобладающим населением «национальных меньшинств», особенно армянского и русского, создали невозможные условия существования. К правительству Армении, в Русский национальный комитет, в Особое совещание стекались жалобы порабощенных «меньшинств». Дома, поля, инвентарь, имущество людей, бежавших от турецкого нашествия и теперь вернувшихся, были захвачены татарами, и положение беженцев оказалось безвыходным. «Мы обили все пороги, — писали мне молокане Шемахинского уезда. — Нагайки и тюрьма — единственный ответ, который получают потерпевшие... Нас грабят в деревнях, грабят на дорогах, грабят на работах, грабят и в столице — городе Баку, доводя до отчаяния»[2].

Губернии Бакинская и Елисаветпольская находятся в исключительно благоприятных условиях по своим колос-

[1] Автор в данном случае, употребляя слово «национализация», имеет в виду переход всех школ на обучение только на азербайджанском языке и создание административного аппарата только из азербайджанцев. — *Прим.ред.*

[2] Прошение поверенных молокан на основании приговоров, выданных обществами 18—22 июня 1919 года.

сальным природным богатствам[1], и поэтому правительству Азербайджана было легче, чем другим, справляться с финансово-экономическим вопросом. Но поставить рационально бюджет правительство не могло или не сумело, и базой его, как и во всех новообразованиях, служил печатный станок. В 1918 году Азербайджан находился в этом отношении в зависимости от Грузии, пользуясь общими закавказскими бонами, печатавшимися в Тифлисе[2], а в 1919 году стал печатать свои, в неограниченном количестве, свободно субсидируя и меджилис горских народов. Эти боны имели, впрочем, хождение только в самом Азербайджане и отчасти в Дагестане. Но по мере переполнения нефтяных приемников и застоя в вывозе нефти из-за блокады Астрахани падала ценность жидкого золота, падал и курс азербайджанских бон, вызывая усиление дороговизны, невзирая на наличие других богатейших ресурсов края.

Англичане проявили исключительное внимание к каспийскому судоходству и к бакинской нефти, взяв в свои руки управление судоходством, нефтяное дело и Бакинское отделение государственного банка. Весьма характерно, что, удалив с территории Азербайджана русские войска и лишив нас военной флотилии, Томсон неоднократно обращался к генералу Эрдели, предлагая принять в ведение главного командования Юга военный порт в Баку и все морские учреждения, а также принять на средства русской казны содержание команд судов и личного состава Бакинского портового правления. При явном недружелюбии английского командования, враждебности азербайджанского правительства, невозможности иметь свою портовую администрацию и какую-либо вооруженную силу, на кото-

[1] Они видны из следующего неполного перечня: хлопок, масла, нефть, рыбные промыслы, цинк, свинец, сера и т.д.

[2] Правительство бедной и зависимой от азербайджанского ввоза Грузии стремилось удержать в своих руках эмиссию, дававшую ей большие выгоды. По первое мая 1919 года на долю Грузии пришлось 380 миллионов рублей, Армении — 240 миллионов рублей и Азербайджана — 160 миллионов рублей.

рую можно было опереться, такое предложение имело вид злой иронии.

* * *

И армия Азербайджанская была ненастоящей. Те формирования, преимущественно из турецких добровольцев, которые вместе с войсками Марсала-паши брали Баку, под давлением англичан были распущены, и правительство приступило к формированию новых частей под руководством генералов русской службы Мехмандарова (военный министр), Сулькевича (бывший крымский правитель), Али-Ага-Шахлинского (начальник артиллерии)[1] и других. К весне 1919 года была сформирована одна пехотная дивизия, одна конная бригада и три батареи, общим числом номинально 12—15 тысяч, фактически — не более 3—5 тысяч. Ввиду того, что мусульмане Закавказья не несли никогда воинской повинности, эта армия не имела никаких кадров и строилась совершенно заново. Кроме высших командных постов, все офицерские должности занимали русские офицеры (90%), а из числа остальных — тюркского происхождения — большинство сохраняло традиции русской армии и симпатии к России.

В силу крайнего нерасположения закавказских татар к регулярной службе формирование армии решительно не удавалось, а повальное дезертирство расстраивало окончательно ее ряды. И генерал Мехмандаров однажды в парламенте вынужден был заявить, что его армия небоеспособна и не в состоянии противостоять армии Добровольческой[2].

Положение русских офицеров, ввиду шовинистической политики правительства, было тягостным и весьма щекотливым. Еще в конце декабря 1918 года возгорелся спор между Закавказским русским национальным советом и генера-

[1] Последние двое оказались крайними русофобами. Шахлинский успел даже послужить туркам и участвовал во взятии ими Баку.

[2] Разведка определяла силы, могущие быть выставленными против Добровольческой армии, за выделением войск на армянский и ленкоранский театры, в две с половиной тысячи.

лом Лебединским[1], поощрявшим поступление русских офицеров в азербайджанские войска, «дабы вывести офицеров из тяжелого материального положения». Спор поступил на мое разрешение. Принимая во внимание, что пути в Добровольческую армию не были заказаны никому, и с другой стороны — что русскому офицерству невместно было вооруженной рукою создавать враждебную России азербайджанскую государственность, я высказался против поступления русских офицеров в азербайджанскую армию. Позднее, в июне, когда Азербайджан готовился к войне с нами, положение там русского офицерства стало вконец невозможным. При посредстве моего представителя в Баку офицерству отдано было секретное распоряжение о переходе в Добровольческую армию. Оно было исполнено не только большим числом русских офицеров, но и частью грузин и мусульман, что еще более расстроило ряды азербайджанских войск.

В конечном итоге положение азербайджанского правительства определялось четырьмя факторами: присутствием английских войск; лояльной оппозицией Иттихада и беспартийных; враждебностью армянского народа; полною аполитичностью, темнотой и инертностью тюркского народа, в котором революция не произвела тогда еще никаких социальных сдвигов; она усилила только бытовое явление — абречество (попросту разбой), — лишенное социальных мотивов и искусно направляемое правительством в сторону национальной нетерпимости, религиозного фанатизма и территориальных захватов. Наконец, большое давление оказывал на власть многочисленный и организованный бакинский пролетариат, который был резко враждебен «реакционному правительству тюркских феодалов, буржуазии и паразитического духовенства» и под интернациональными лозунгами проводил идею единства всероссийской советской власти. И только в одном интересы обоих противников сходились вполне — в противодействии «деникинской опасности». При этом пролетари-

[1] Председатель ликвидационной комиссии бывшего Кавказского фронта.

ат откровенно заявлял, что он готов в этом вопросе идти вместе с «реакционным правительством», в расчете, что «потом мы справимся сами с ханами — Хойскими и Усуббековыми»[1]. Вероятно, в силу этой общности настроений правительство терпело большевистские организации, прессу[2] и пропаганду, выступая против них активно при помощи англичан только во время всеобщих забастовок, имевших место в декабре и в мае.

* * *

В марте на почве казнокрадства двух министров (один из них — Лизгар) пало правительство хана Хойского и образовалось новое, под председательством Усуббекова, из состава той же партии — Муссават, но с участием социалистов. В декларации нового правительства (апрель 1910 года) говорилось о предстоящем признании республики державами Согласия и «вступлении ее в семью культурных народов». Угрозой ее самостоятельности, по словам декларации, является «Добровольческая армия, нахлынувшая уже на Северный Кавказ и залившая кровью снеговые вершины Дагестана, намереваясь вновь поработить как горцев, так и нас». Но поглощение Азербайджана не удастся: «Кровавый урок (?), данный горными орлами насильникам Добровольческой армии, подтверждает это». Декларация выражала желание установить мирные отношения с соседями, в том числе и с советским российским правительством, и разрешить полюбовно острые пограничные вопросы с Грузией и Арменией. Особенное благоволение было проявлено по отношению к Дагестану — «второй родине Азербайджана», и особенный гнев — против самоопределившейся русской «Ленкоранской республики»[3].

---

[1] Бакинская рабочая конференция Азербайджана, Дагестана и Закаспия. Май 1919 года.

[2] «Земля и Воля» — левый эсеровский орган, «Набат» — орган профессионального союза большевиков, «Заря» — тюркских и русских большевиков, «Искра» — социал-демократов.

[3] Ленкоранский и Джеватский уезды Бакинской губернии (русская Мугань).

Завести товарообмен с советской Россией не удалось: английская флотилия продолжала тесную блокаду Астрахани. Пограничные споры с более сильной в военном отношении Грузией окончились соглашением. Ленкоранскую республику, пока она находилась во власти большевистского совета[1], тесно связанного с бакинскими рабочими организациями, правительство не трогало. Безучастно относились к этому вопросу и англичане. Но когда в конце июля советское правление было свергнуто народным ополчением под начальством полковника Ильяшевича, в Ленкорань посланы были азербайджанские войска и... английские офицеры; первые силой, вторые своим авторитетом и угрозами принудили ленкоранцев подчиниться Азербайджану[2].

Такую же энергичную деятельность проявляло правительство в Карабахе, Зангезуре и Нахичевани, где в течение нескольких месяцев шла резня армян татарами и бои между армянскими четами и татарскими, которые снабжались деньгами и оружием из Баку[3], добровольцами и патронами — из Турции.

---

[1] От середины мая до конца июля 1919 года. И при советском, и при несоветском правлении Ленкорань признавала себя «неотъемлемой частью единой России».

[2] В инструкции, данной английским командованием своему уполномоченному капитану Роану, были, между прочим, и такие параграфы:

§ 2. Вы объясните мусульманскому народу, что все законные действия азербайджанского правительства пользуются поддержкой британских властей.

§ 4. Что касается русских, офицеров и других лиц, не являющихся постоянными жителями Мугани, то вам надлежит содействовать азербайджанским властям на предмет водворения их в Петровск или другое место».

Заключение Роана: «Я просил бы вопрос этот разрешить миролюбиво. В противном случае пострадает много невинных... Я вынужден следить за выполнением законных требований азербайджанских властей...»

Из протокола заседания.

[3] Участие в этом движении азербайджанского правительства было установлено перехваченной армянами перепиской официальных лиц.

Это был один из этапов широко задуманного и настойчиво проводимого движения, руководимого Кемаль-пашой. Высокая Порта и «непокорный» Кемаль находились в полной связи и единении с Азербайджанским правительством. К нашему изумлению, какие-то тайные нити шли из Эрзерума и в Тифлис. По крайней мере армянское правительство и английское командование убежденно говорили о существовании переговоров и даже договора между Гегечкори и прибывшим в Тифлис видным деятелем Энверовской партии Киазим-беем, которого англичане арестовали. Грузины и турки за счет армянского народа искали путей ко взаимному соглашению и даже в остром вопросе о Батуме находили якобы компромиссный выход: грузинское управление и турецкие гарнизоны.

С возникновением предположений на Мирной конференции об аннексии турецких вилайетов в пользу Греции и Армянской республики пантюркистское движение на Кавказе приобрело еще более интенсивный характер и организованные формы. Созванный в начале июня в Эрзеруме съезд делегатов анатолийских вилайетов, в котором приняли участие и представители грузинских районов, создал новое правительство с Кемалем во главе и вынес резолюцию, призывавшую к борьбе против отторжения турецких областей, дышавшую ненавистью к грекам и армянам и злобой против англичан. Уже в конце 1918 года турецкие штабы (XV корпуса) в Эрзеруме, Ване, Баязете и Хопа организовали широкое снабжение населения оружием; турецкие паши, сотни офицеров, тысячи аскеров «выходили в отставку» и шли в повстанческие отряды, возникавшие не только на территории Турции, но и за ее пределами в районах этнографического расселения мусульман Армении и Азербайджана — в Ольты, Кагызман, Нахичевань, Шушу и т.д.

Замечательно, что при всем этом наши представители отовсюду, где приходилось иметь сношения с турецкими властями и командованием, доносили о больших симпатиях и предупредительном отношении, которое проявляют турки к русским и России. Создавалось впечатление, что пантюркисты Азербайджана — plus royalistes, que le roi[1] — черпают свое вдохновение исключительно в ненависти к усыновившей их России, тогда как национализм и религиозный фанатизм подлинной Турции стали орудиями борьбы ее за свое существование, находившееся под действительной угрозой после ее военного поражения.

К весне 1919 года волнения в Карабахе усилились, и англичане сочли нужным выступить там в качестве миротворцев.

Командующий английскими войсками в Баку полковник Шательворт собрал в Шуше 23 апреля съезд представителей четырех уездов и предложил ему подчиниться «впредь до решения Мирной конференции» Азербайджану в лице назначенного правительством губернатора Салтанова. Съезд вынес резолюцию о недопустимости подчинения Салтанову, «продолжавшему кровавую политику Турции», и просил ради физического сохранения армянского населения о назначении английского губернатора. Шательворт не согласился и отдал приказ о признании «законной власти Салтанова». Июнь, июль, август в Карабахе продолжались поэтому столкновения, в которых особенно жестоко пострадало население Шуши и ее окрестностей. В этих фактах армяне видели прямое попустительство англичан, азербайджанского правительства и парламента, который гласно стал на сторону насильников, отвергнув предложение, внесенное армянской фракцией, выразить осуждение участникам Шушинской резни.

* * *

С главным командованием Юга у Азербайджана не было вначале ни общей границы, ни официальных сношений. Мой представитель в Баку полковник Лазарев состоял при английском командующем; представитель Азербайджана в Екатеринодаре Рустамбеков — при кубанском правительстве. Со времени продвижения нашего к Владикавказу и Грозному отношение к нам азербайджанского правительства, парламента, печати, политических организаций становилось все более враждебным, а реальная помощь восставшим горцам и горскому меджилису все более явной и

[1] Более роялистского толка, чем король.

значительной. По инициативе парламента возникла «интерпартийная комиссия», которая 17 апреля обратилась к народу с воззванием.

«Граждане, братья Азербайджана!

На Северном Кавказе свободолюбивые горцы, верные заветам своих предков и принципам свободы и независимости малых народов, истекают кровью в неравной схватке с реакционными силами Деникина и К°. Геройская защита горцами своей независимости должна пробудить в гражданах Азербайджана сознание, что генерал Деникин, представитель мрака и порабощения, не пощадит самостоятельности и Азербайджана. Святой долг каждого мусульманина — своевременно прийти на помощь братьям горцам.

Интерпартийная комиссия формирует на помощь горцам Азербайджанский добровольческий отряд под руководством опытных офицеров.

Граждане, записывайтесь в ряды добровольцев! Запись производится в здании парламента».

Занятие добровольческими войсками в мае Петровска и Дербента вызвало и в Азербайджане, и в Грузии взрыв нового озлобления, смешанного с чувством страха. Большевистский «Набат» так определял произведенное этими событиями впечатление: «Деникинцы заняли Петровск и Дербент, они стучатся в двери Баку. Воскресный номер «Азербайджана» вышел без единого слова об этих убийственных для трудовых масс Азербайджана фактах. Усуббековское правительство потеряло голову перед грозной опасностью и предалось, кажется, восточной апатии. Стамбул заснул перед грозой!»

Считая задачу ВСЮР с занятием Дагестана выполненной, я приказал полковнику Лазареву передать азербайджанскому правительству следующее: «Мы считаем Азербайджан частью России. До восстановления в России Верховной власти допускаем самостоятельное существование Азербайджана». Позднее, в середине мая, я телеграфировал вновь, что «мои войска в Азербайджан не вступят и не перейдут южнее линии главный хребет — Кизил-Бурун, если не будет враждебных действий со стороны Азербайджанского правительства»[1]. Полковник Лазарев позволил себе проявить личную инициативу: передавая мою телеграмму Усуббекову, он выпустил первую фразу («Мы считаем Азербайджан частью России») и в препроводительном письме от имени главного командования развил теорию конфедерации, признав безусловную самостоятельность Азербайджана и пояснив, что «когда Россия будет освобождена от большевиков, то входить в соглашение с вновь образовавшимися государствами будет делом народного собрания или той верховной власти, которой все вооруженные силы, борющиеся против большевиков, передадут свои права»[2].

Усуббеков огласил в парламенте две мои телеграммы в изложении Лазарева и заявил, что «парламент и он не верят этим заявлениям. Что же касается взгляда Добровольческой армии на независимость Азербайджана, то он для республики неприемлем, так как в конечном итоге сводится к присоединению ее к России». К тому же вскоре последовала известная уже нота генерала Корри, требовавшая отвода добровольческих войск до линии в 5 верстах южнее Петровска, и определенное заявление бакинского английского командования, что пока мы «не исполним требования британского правительства, англичане (добровольцам) ни в чем помогать не будут»[3]. И правительство заняло вновь непримиримую позицию, парламент вотировал новые кредиты на армию и бряцал оружием, печать еще резче ополчилась против Добровольческой армии, а рабочая конференция протягивала руку правительству для борьбы с общим врагом, требуя полномочий на формирование «рабочих отрядов».

Ввиду такого соответствия настроений и задач Закавказская конференция, заседавшая в Тифлисе для разрешения территориальных споров, предложила Грузии заключить военный союз трех республик для борьбы против

---

[1] Телеграммы от 28 апреля, № 0124; 18 мая, № 07389, и 12 июня, № 08637.

[2] Письмо от 21 мая, № 98. Истинный текст моих телеграмм не мог вызвать никаких сомнений, так как он тотчас был дан официально в печать. Лазарев был заменен полковником Палицыным.

[3] Доклад полковника Лазарева 24 июня 1919 года, № 210. Как известно, это требование было отменено.

Добровольческой армии. 3 июня между Грузией и Азербайджаном заключен был договор[1], обязующий «договаривающиеся государства выступить совместно всеми вооруженными силами и военными средствами против всякого нападения, угрожающего независимости или территориальной неприкосновенности... республик»[2]. Параграф 10 договора предусматривал право Армении «в двухнедельный срок присоединиться к этому соглашению». Но Армения присоединяться не пожелала. Устами своего представителя на конференции, министра иностранных дел Тиграняна, она заявила: «Едва ли перед Добровольческой армией стоит вопрос о занятии всего Закавказья... Армяне видят другую для себя опасность — именно со стороны Турции. От этого соглашения пахнет кровью. Такие союзы крепки, когда сами союзники живут между собой в мире и согласии. Этого армяне не видят. В Карабахе льется армянская кровь (Азербайджан)... Армению стараются заморить голодом (Грузия), предоставив в ее пользование всего 400 железнодорожных вагонов...»

Заключением этого договора окончательно закрепилась группировка действующих на Кавказе сил.

ГЛАВА XIX
АРМЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

После дипломатического поражения, понесенного в войне с Грузией, положение *Армении* стало еще более тяжелым. Окруженная со всех сторон врагами[3]; связанная с внешним миром единственной ветвью железной дороги

[1] Подписали со стороны грузин — Гегечкори, Рамишвили, генералы Гедеванов и Одишелидзе; со стороны Азербайджана — Джафаров, генералы Мехмандаров и Сулькевич.

[2] Генерал русской службы грузин Одишелидзе был назначен общим главнокомандующим.

[3] Территорию Армении до конца апреля 1919 года составляла Эриванская губерния, исключая Нахичеванский и Шаруро-Даралагезский уезды, образовавшие татарскую «Аракскую республику».

(Эривань—Александрополь—Тифлис), продолжение которой находилось в руках грузин и которая к тому же в любой момент могла быть перерезана борчалинскими татарами[1]; разоренная революцией и турецким нашествием; переполненная беженцами со всех областей Закавказья и из Турции, не пропускаемыми в места своего поселения ни англичанами, ни турками, ни татарскими республиками, — страна буквально задыхалась. Из русского наследия, стоя в стороне от важнейших стратегических направлений и составляя по территории всего лишь 5% Закавказья, она получила очень немного. Организм ее изнурял недостаток, иногда полное отсутствие трех важнейших элементов борьбы за существование: *хлеба, денег и оружия.*

Такое катастрофическое положение страны обусловило деятельность парламента и правительства, сводившуюся к изысканию способов удовлетворения этих насущных нужд ее и к поискам той внешней силы, которая могла бы хоть временно обеспечить ее существование.

В период турецко-германского нашествия стремление к России армянских правящих кругов было единодушным. Оно сохранилось и в первое время английской оккупации, но вскоре поблекло под влиянием настойчивого и резкого воздействия англичан. Английские представители — Уоккер, Бич и другие — ополчились против русофильства армян, прибегая к давлению и запугиванию и, с другой стороны, рисуя армянам заманчивые перспективы самостоятельного существования соединенных русской и турецкой частей Армении с выходом к Черному морю... Генерал Уоккер официально в резкой форме ставил в упрек армянскому правительству его тяготение к России, нахождение на службе Армении русских офицеров и, в частности, присутствие в Эривани добровольческого представителя[2]. Все это, по словам Пападжанова[3], «создало у многих армян

[1] В ноябре 1918 года у Армении было всего 4—5 паровозов и 60 вагонов. Остальной состав был угнан грузинами.

[2] Доклад начальника генерального штаба Армении 17 августа 1919 года.

[3] Лидер армянской народной партии, член парижской делегации.

опасение: не потому ли англичане лучше относятся к грузинам, что те определенно отвернулись от русских?».

Когда в конце декабря парламент обсуждал наказ делегации, посылаемой в Париж, прежнего единства мыслей не оказалось. Правящая партия дашнакцутюнов разделила свои голоса: часть стояла за автономию или федерацию обеих Армений с Россией; другая требовала «Великой и независимой Армении» с Киликией и выходами к Черному и Средиземному морям. Это был американский проект, рожденный фантазией победителей, живших тогда еще иллюзиями своего могущества. Он приводил бы к соотношению на новой территории мусульманского населения к армянскому как четыре к одному. Армянская «народная партия» (либеральная) высказалась за воссоединение с Россией; к ней присоединились социал-революционеры, в то время как социал-демократы, связанные тесно с грузинскими, поддерживали отделение от России вне зависимости от того или другого решения судьбы страны[1].

Наказа делегации я не знаю, но, по свидетельству одного из членов ее, настроение их было далеким от утопий. «Армянский народ достаточно истек кровью, он стремится к спокойствию и мирному развитию... Правительство и народ вполне сознают, что самостоятельно Армения существовать не может... Сознавая свою слабость, мы не думаем предъявлять никаких требований и помиримся со всем, что решит конференция»[2]. Без сомнения это решение находилось в полном соответствии с настроением армянского народа, который, сохраняя явное, даже усилившееся пережитыми несчастиями тяготение к России, готов был, однако, признать над собой чей угодно протекторат («хоть черта», как говорили в народе), какую угодно власть, лишь бы она избавила от голода и физического истребления.

Официально никаких деклараций о разрыве с Россией правительство пока не объявляло.

Вскоре обнаружилось, что надежды на англичан не оправдались. С декабря до конца марта политика англичан

[1] Последние две партии были совсем малочисленны.

[2] Доклад генерала Томилова о беседе с Пападжановым...

была явно недружелюбна Армении. Ни финансовой, ни экономической помощи от них Армения не получила; боевого снабжения — также, под предлогом «строгого нейтралитета Англии». Сотни тысяч беженцев по-прежнему задыхались на площади неполных трех уездов. Армяно-грузинская распря была разрешена с явным пристрастием в пользу грузин. Росло разочарование и вместе с тем усиливались вновь два течения общественной мысли и народных симпатий, идущие одно к России, другое — к великой заатлантической республике, о всесильном заступничестве которой появились и некоторые фактические данные, и еще больше легенд.

В конце апреля, в связи с обострившимися англо-турецкими отношениями и возросшим панисламистским движением в Средней Азии, англичане изменили свою тактику: при их вооруженном содействии пали две суверенные татарские республики — «Юго-Западная» и «Аракская», занятые затем армянами, и присоединена армянская «республика Андроника» — народного героя, официально «отступника», предвосхитившего роль д'Аннунцио и Желиховского и обосновавшего свою суверенную власть на официальной территории Азербайджана[1]. Таким образом, в начале апреля Армения занимала всю Карсскую область, всю Эриванскую и юго-западную часть Елисаветпольской губернии.

Эти события вернули вновь симпатии армян к англичанам, но ненадолго: категорический отказ англичан в дальнейшем от реального заступничества за армянский народ во время кровавых событий в Карабахе и Зангезуре, когда англичане заявили, что вооруженной помощи не окажут, а «используют лишь свой моральный авторитет», окончательно подорвал доверие и симпатии армян к англичанам. Председатель правительства Хатисов[2] с горечью и недоумением говорил генералу Уоккеру: «Мы удивляемся, что в то время как в Лондоне нас уверяют в любви к армянам, здесь мы ви-

[1] Зангезурский и Шушинский уезды Елисаветпольской губернии.

[2] Первым председателем был Качазнуни, командированный в середине января в Америку за хлебом и протекторатом.

дим отношение обратного свойства. Мы ждали союзников как избавителей, теперь приходится разочароваться в этом». А политические деятели Армении пришли понемногу к безнадежному заключению, что «англичане стараются создать буфер против России из Азербайджана и Грузии и уничтожить Армению из тех соображений, что последняя будет служить проводником русского влияния, могущего провести к Средиземному морю»[1].

Между тем в Армению прибыла американская благотворительная миссия, которая вместе с идеей «Великой Грузии» с ранней весны принесла с собой настрадавшемуся от голода и эпидемий населению более реальные ценности — хлеб, рис, медикаменты и медицинскую помощь. Впечатление от этого филантропического шага было огромно, надежды неумеренны, и поэтому в парламенте и в правительстве смолкли всякие трения и колебания, и установилось полное единство ориентации — «на Америку». 15 мая глава правительства Хатисов, основываясь на постановлениях состоявшегося в конце марта в Эривани съезда турецких и русских армян, объявил торжественно стране, что «согласно воле всего народа правительство провозглашает Армению на вечные времена объединенной (турецкая и русская) и независимой». «Правительство Армении в Закавказье, — говорилось в особом акте, — в настоящее время объявляет себя правительством объединенной Армении с установлением в качестве формы правления демократической республики». Парламент — бывший «Национальный совет», образованный в свое время путем соглашения политических партий, — был распущен, а новый, «всенародный», предполагалось созвать в июле.

Весьма интересны мотивы, приведенные на решительном заседании парламента, заставившие дашнакцутюнов переменить «русскую ориентацию на американскую»: «Цель независимости — стремление собрать весь армянский народ, чтобы уберечь его от рассеяния по всему свету подоб-

[1] Из доклада нашего представителя в Эривани полковника Зинкевича от 4 октября 1919 года, № 36.

но евреям. Для этого нужна площадь, освобожденная от мусульман, и нужен покровитель, который защитил бы и поднял экономически будущую Армению. Россия, как страна людей... равно относящихся ко всем нациям, не позволит армянам выселить татар. Что же касается экономической помощи, то она может быть оказана Россией только через 15 лет»[1].

Армянские деятели, не искушенные в политической игре мировой дипломатии и плохо осведомленные, играли на руку пантюркистскому движению, подогревая фанатизм турок. Они не понимали, что в Согласии нет ни одной державы, которая пожелала бы проливать кровь за армян; что появившийся вслед за благотворительной миссией американский полковник Хаскель — «Верховный комиссар Антанты в Армении» — приехал с широкими полномочиями[2] и... с заранее предрешенным постановлением «не посылать ни одного американского солдата в Армению». «Моральный авторитет Америки» должен был остановить кровопролитие в воинственных странах ближнего Востока, где только сила внушала к себе уважение, страх и покорность...

* * *

Увеличение территории Армении в апреле, устранив чрезмерную скученность населения, имело, однако, два неблагоприятных последствия: увеличение числа голодных ртов и введение в организм страны новых значительных контингентов враждебного ей мусульманского населения.

Американская помощь была спасительной, но далеко не достаточной. В финансовом отношении республика зависела от Грузии, получая закавказские боны из тифлисской экспедиции. Это обстоятельство становилось критическим в такие моменты, как, например, в дни армяно-грузинско-

[1] Из доклада начальника генерального штаба Армении полковника Зинкевича от 17 августа 1919 года.

[2] В официальном уведомлении меня о назначении «Верховного комиссара» было указано, что «на Киликию власть его не распространяется».

го конфликта, когда у военного министра Армении (к 30 декабря) оставалось в казне 220 тысяч рублей! Страна нищая, не имевшая экспорта, не могла решиться на выпуск своих денежных знаков, заранее обреченных на полное обесценение. Поэтому, когда в июле были израсходованы закавказские боны, правительство «независимой Армении» прибегло к средству совсем незаконному, но весьма показательному: от имени Эриванского отделения *Российского* государственного банка было выпущено на несколько сот миллионов «чеков». Эти чеки, имевшие подзаголовок «специальный текущий счет республики Армении», спасли страну от банкротства и имели обращение весь период ее самостоятельного существования[1].

Недостаток вооружения и, главным образом, боевых припасов был еще более чувствителен и препятствовал надлежащему развитию «армянской армии»[2]. Она состояла из дивизии пехоты (к лету — из трех отдельных бригад), бригады артиллерии, конного полка и небольших технических частей. Состав ее, определенный штатами для «мирного времени» в 22 тысячи человек и для «военного» — в 44 тысячи, фактически терпел большие колебания, не превышая никогда 10—15 тысяч. Было одно время, непосредственно после армяно-грузинской войны, когда за отсутствием продовольствия и боевых припасов дивизию пришлось довести временно до 4 тысяч.

Июльские события застали армянскую армию в беспомощном положении: полное отсутствие запаса винтовок и наличие всего лишь 300 тысяч трехлинейных патронов ограничили ее боеспособность и лишали всякого смысла мобилизацию.

Между тем весь юг и юго-восток страны были объяты восстанием мусульман. Оно подкатывалось с юга к Эривани, угрожало Карсу и Александрополю и в нейтральной зоне у Садахло[1] нависло грозной опасностью прерывания единственной питательной артерии страны...

[1] Этот «подлог» обратил на себя внимание Особого совещания, но ввиду безвыходности положения Армении решено было не чинить ей препятствий, чтобы не обесценивать чеки.

[2] Командовали ею последовательно генералы русской службы Силиков и Назарбеков; в составе армии было много русских офицеров.

Армян резали по всему Закавказью, по Анатолии и Киликии, а Верховный комиссар отвечал на обращенные к нему недоуменные вопросы, что «вопрос о мандате на Армению еще не решен» и что в настоящее время делаются «глубокие изыскания», от которых будет зависеть решение. Генерал Харборд с огромной американской миссией совершал в это время путешествие на Диарбекир—Эрзерум—Муш—Карс—Эривань—Тифлис для «изучения армянского вопроса с точек зрения этнической, экономической, финансовой, военной и прочих».

Перед несчастным народом с особенной остротой встанет вопрос об его существовании. Суровая действительность рассеет все иллюзии об иностранной помощи, и мы увидим вновь резкий поворот общественного мнения в сторону России.

* * *

Сообразно с переменами армянским правительством «ориентаций» менялись взаимоотношения его с Добровольческой армией.

Во время германо-турецкой оккупации из Армении приезжали негласно посланцы правительства, боявшегося «скомпрометировать» себя в глазах завоевателей. Они свидетельствовали о верности Армении русской государственности и просили помощи. В ноябре в Екатеринодар прибыл уже официально полковник Власьев, имевший титул «представителя Армянской армии при Добровольческой армии». Он также описывал яркими красками русофильские настроения в Армении, в частности особенное расположение там к Добровольческой армии. Власьев просил о сформировании и отправке через Батум армянского отряда, о помощи хлебом и боевыми припасами, о помощи армянским беженцам и возвращавшимся с запада бывшим военнопленным. На основании этих данных в конце ноября генерал Драгомиров послал в Эривань полковника Лесли с полномочиями «войти в сношения с представителями

[1] Станция железнодорожной линии Эривань—Тифлис.

Армянской республики по вопросам политическим» и с письмом генерала Драгомирова министру иностранных дел, в котором указано было на желательность «делегирования представителей Армянской республики в город Екатеринодар с целью информации о своих местных нуждах».

Лесли пришлось сильно разочароваться в екатеринодарских информациях. Прибыв в Эривань в самый разгар надежд на спасительницу Англию, он был встречен чрезвычайно холодно, и доморощенные армянские дипломаты вовсе недвусмысленно дали ему понять, что «лучше подождать, не открывая свои карты, так как неизвестно, кто сильнее, кто настоящая Россия — вы, Колчак или большевики». От Власьева армянское правительство отреклось, заявив, что он был только «разведчиком военного министерства, а не представителем». Состоявший в то время начальником штаба армянской дивизии полковник Зинкевич передавал, что правительство не решается послать своего представителя в Добровольческую армию, «боясь скомпрометировать себя в глазах союзников, на случай, если вопрос о переходе Армении под протекторат другой державы является вопросом решенным или возможным». Не последним аргументом был, вероятно, и страх «скомпрометировать» себя и в другом направлении: весною парламентом принято было постановление, без всякого видимого повода, о «невмешательстве армян в борьбу Добровольческой армии с советской Россией».

Хотя увлечение английской ориентацией прошло и после небольшого периода сомнений и колебаний симпатии Армении всецело перешли к Америке, но в русском вопросе ничего не изменилось. «Хаскель потребовал от правительства Армении, — сообщал полковник Зинкевич, — чтобы оно не сносилось с Главнокомандующим помимо него. Кроме того, в тех случаях, когда американцы видят проявление симпатий к России, они убеждают армян, что Россия никогда больше не будет великим государством и что поэтому на нее нельзя рассчитывать в смысле помощи»[1].

В результате с марта до августа между Арменией и главным командованием Юга никаких официальных сношений не было, хотя в Екатеринодаре находился посол Армении при кубанском правительстве Сагателян[1]. Негласно, однако, он бывал у меня и у генерала Драгомирова, просил не ставить в вину его правительству ту позицию, которую оно *вынуждено* было занять в отношении Вооруженных сил Юга, находясь в полнейшей зависимости от внешних сил и не желая раздражать Грузию, и без того «сдавившую армянам горло»[2]. Я ответил, что сочувствую несчастному армянскому народу, понимаю щекотливое положение правительства и не придаю значения задевающим нас декларациям.

[1] Доклад 30 сентября 1919 года, № 7.

По мере наших ограниченных возможностей мы оказывали некоторую помощь Армении, главным образом заботами об ее беженцах и их реэвакуации. Отправка хлеба через Грузию была невозможна, и транспорт с ним, посланный в январе 1919 года, был захвачен или не пропущен грузинами. Впрочем, в июле, в самую тяжелую минуту, нам удалось переправить в Эривань с огромными трудностями, минуя Грузию, через Батум на Ардаган по сухопутью транспорт с несколькими миллионами патронов.

Осенью изменилась вновь «ориентация» и в связи с этим — отношение к нам. В августе приехал в Екатеринодар «начальник генерального штаба Армении» полковник Зинкевич, который вернулся в Эривань уже в качестве «военного представителя Вооруженных сил Юга России», встреченный там «подчеркнуто торжественно, по высшему ритуалу».

Таким образом, наш «союз с Арменией», который так пугал грузин и не нравился англичанам, принадлежал к одной из грузинских легенд. Но она сослужила нам несомненно большую службу, отвлекая силы и умеряя в значительной степени воинственный пыл Азербайджана и Грузии, считавших свой тыл при наступлении на север открытым для удара армянской армии.

* * *

Первое полугодие английской оккупации Закавказья показало наглядно, что ни одна из тех задач, которые провозгласили англичане или которые приписывались им об-

[1] Член Государственной Думы, кадет.

[2] Владение выходом Эриванской ветви железной дороги.

щественным мнением Юга России и закавказских новообразований, выполнена не была. Край пылал в огне восстаний и межплеменной вражды, не мог считаться ни *«обеспеченным тылом Вооруженных сил Юга»*, ни *«прочным барьером, прикрывающим Персию»*, ни (в силу общего разочарования английской политикой) *«благоприятной ареной для английской колонизации»*.

К весне 1919 года русская политика англичан несколько изменилась. Внутренние политические затруднения в Англии, осложнения с Турцией, трения в Верховном совете и, по-видимому, подозрительность и соревнование держав Согласия поставили на очередь вопрос об *уходе англичан из Закавказья и замене их итальянцами*. Появились уже итальянские квартирьеры и военные миссии, посетившие Баку, Батум и Тифлис и очаровавшие закавказских правителей своими взглядами и щедрыми обещаниями...

К этому времени отношения наши с англичанами начали несколько налаживаться. Военное снабжение шло в широких размерах; екатеринодарская миссия по-прежнему поддерживала нас в спорных вопросах; генерал Мильн, посетивший Екатеринодар 10 апреля, воспринял лично нашу точку зрения на взаимоотношения с закавказскими новообразованиями; адмирал Сеймур проявлял полное доброжелательство в вопросах помощи нам силами английского флота, принимавшего участие в обороне Акманайских позиций; наконец, высшее командование в Тифлисе и Батуме было сменено, и екатеринодарская миссия ставила это обстоятельство в связь с предстоящим изменением всей английской политики в Закавказье.

Новый генерал-губернатор Баку Шательворт — один из крайних русофобов того времени, — пригласив моего представителя, доверительно развивал ему свои мысли[1]:

«Ваше общественное мнение склонялось к тому, что англичане, оккупировав Закавказье, хотят его удержать за собой как путь в Индию и местонахождение нефти. Это неверно, так как здесь мы являемся отрезанными от всех

[1] Доклад 5 июня 1919 года.

наших баз, и если бы впоследствии Россия атаковала нас, мы не могли бы защищаться. Туркестан в совершенно другом положении: он представляет для нас большой интерес как преддверие Индии и плацдарм против Афганистана. Но мы там не хотим основываться, чтобы не увеличивать наших владений и так как предпочитаем жить в дружбе с восстановленной Россией. Доказательством этого вам может служить то обстоятельство, что мы вывели оттуда почти все наши войска и отказали в просьбе Закаспийского правительства помочь им людьми в борьбе с большевиками. Что же касается Закавказья, мы отлично понимаем, что вся культура здесь исключительно русская и что оно ни экономически, ни политически без России существовать не может. Если бы мы остались здесь дольше, возможно, что народы Закавказья не захотели бы вернуться к вам, а предпочли бы остаться под британским владычеством, так как мы постоянно балуем подвластные нам народы, наводняя рынок деньгами и сравнительно дешевым, хорошим товаром, а также предоставляя им полное самоуправление, поддерживая вместе с тем порядок и справедливость. Этого не будет. Мы скоро уйдем отсюда, и нас заменят итальянцы. Картина переменится. Их главная цель будет эксплуатировать страну, так как Италия — страна бедная, и им нужно поправлять свои финансовые дела. Не знаю наверное, но возможно, что она даже получит мандат на Закавказье. В таком случае, очевидно, содержание оккупационных войск будет отнесено на местные средства. Итальянцы будут усиленно вывозить нефть на льготных условиях. Вы сами понимаете, что это не привлечет ни правительства, ни население на их сторону; народ начнет естественно тяготеть к России, и все закавказские республики сами вернутся к вам».

Побуждения, заставлявшие англичан, по словам Шательворта, покинуть Кавказ, — глубоко мудрые и политически дальновидные — вызывали у нас решительные сомнения. Мы видели причины в других явлениях: на страже русских интересов стали неожиданно и независимо от своего отношения к России тред-юнионы и мировая конкуренция... Во

второй части своей беседы Шательворт был, однако, несомненно прав: итальянская оккупация сулила нам новые горшие беды. Мы не питали никакого доверия ни к доброжелательности к нам политики Италии, ни к ее материальной незаинтересованности, ни к политической устойчивости итальянской армии. В перспективе рисовалось еще большее поощрение центробежных сил, экономическая эксплуатация, хаос во внутренней жизни Закавказья, подготовляющий пришествие большевизма, и наряду со всем этим — прекращение материальной помощи Вооруженным силам Юга.

И потому, когда английская миссия неофициально осведомила нас, что англичане могли бы задержать свой уход до осени, если бы поступило соответствующее заявление от главного командования, я, выбирая из двух зол меньшее, послал генералу Бриггсу письмо, в котором, отметив со стороны английских представителей поддержку идеи русской государственности, просил уведомить его правительство, что замена английских войск будет встречена (у нас) с сожалением.

Не знаю, где и как использовано было это письмо и имело ли оно вообще какое-либо значение, но в конце июня мы получили телеграмму из Лондона[1]: «Черчилль просит предупредить о неизбежности, вследствие настроения рабочих, постепенного отзыва войск со всех фронтов, начиная с зимней кампании. Помощь всяким снабжением обещал продолжать в прежнем размере». 12 июля английское военное министерство сообщило, что эвакуация начнется 15 августа; одновременно начальник итальянской миссии в Закавказье уведомил, что отправка итальянских войск взамен британских не будет иметь места.

Мое письмо было признанием только заслуг местных английских представителей, но отнюдь не доброжелательства к русским интересам английского правительства. Летом и осенью 1919 года мы увидим наряду с возрастающим русофильством английских военных кругов Екатеринодара и Константинополя, связанных с Черчиллем, в области

[1] Поверенного в делах в Лондоне К. Набокова.

внешней политики Лондона все то же хитросплетение помощи и противодействия, все то же лавирование между Россией, советской властью и «наследниками России»; все те же «две Англии», «две руки», из которых, по признанию Бьюкенена, одна оказывала помощь белому движению, в то время как другая отрывала западные лимитрофы и закавказские республики, отталкивая тем патриотические элементы России.

Разительным и символическим диссонансом прозвучат слова двух англичан, сказанные осенью на разных концах старого мира — в Тифлисе и Лондоне.

Покидая Закавказье, командующий английскими войсками генерал Кори дал интервью журналистам, в котором, протестуя против обвинения англичан «в разжигании самостийных стремлений», заявил: «Единственной целью, преследуемой англичанами, было всеми силами удержать Грузию и Азербайджан от выступления против Добровольческой армии. Прикрываясь принципами самоопределения, англичане должны были охранять окраины до того момента, пока Россия, встав на ноги, могла бы шутя собрать все то, что от нее отпало».

И словно в насмешку над иллюзиями, покрывая «звонкие дисканты» поборников такого «политического сентиментализма», раздастся из Лондона «фундаментальный бас» «реальной политики»:

«Адмирал Колчак и генерал Деникин ведут борьбу не только за уничтожение большевиков и восстановление законности и порядка, но и за единую Россию. Этот лозунг неприемлем для многих народностей... Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании... Один из наших великих государственных деятелей лорд Биконсфильд видел в огромной, великой и могучей России, катящейся подобно глетчеру по направлению к Персии, Афганистану и Индии, самую грозную опасность для Великобританской империи»[1].

Чрезвычайно трудно определить извилистую разделительную линию между «двух Англий», двух морально-поли-

[1] Речь Ллойда Джорджа в парламенте 17 ноября 1919 года.

тических идеологий английской общественности. Но опыт полуторагодового правления убедил меня в том, что кроме ненависти Биконсфильда и беспринципности Ллойда Джорджа в Англии есть течения, есть люди и народные слои, которым не чужды общечеловеческие основы морали даже в политике, которые не относятся к России только как к угрозе английскому владычеству в Азии или к объекту беспощадной колониальной эксплуатации.

С этой Англией у новой России найдется еще общий язык.

ГЛАВА XX

УКРАИНА: ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ С ПАДЕНИЕМ ГЕРМАНИИ. БОРЬБА ПАРТИЙ. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

После опубликования германского мирного предложения (от 22 и 29 сентября) в правящих кругах Украины наступило полное смятение и растерянность. Неизбежность и близость падения центральных держав требовали спешных мер для закрепления шаткого положения украинской государственности и существующей власти и спешной политической перестраховки. Между тем эти же предвидения усилили напор на власть извне со стороны всех сил, ей враждебных.

Украинский национальный союз (УНС) предъявил тотчас гетману требование об образовании нового демократического правительства из состава членов союза, сводившееся к фактическому возрождению покойной директории. Этот шаг нашел энергичную поддержку германской оккупационной власти и вместе с тем, путем сношений Винниченко с Москвою, был обеспечен некоторыми гарантиями со стороны совета комиссаров. УНС торопился захватить власть в свои руки, чтобы поставить державы Согласия перед свершившимся фактом.

Германцы, готовясь к уходу, старались также создать себе обстановку, благоприятную в ближайшем будущем. Интересы самой Украины, как и России, были им глубоко чужды и безразличны. Они поддерживали и насаждали там те силы, которые могли быть союзны им и противопоставлены державам Согласия или, по крайней мере, могли бы создать последним большие затруднения. Поэтому генерал Гренер[1], продолжая широкое покровительство большевистским организациям на Украине, вместе с тем потребовал от гетмана создания «национального правительства» путем удаления из кабинета «русофильских элементов» и включения членов УНС.

Эти домогательства встретили противодействие: в кабинете, среди некоторых членов его — по мотивам самосохранения; в российской общественности — в силу побуждений национальных; в союзе хлеборобов, «Протофисе» — из-за опасения прихода к власти социалистического правительства.

Под напором всех этих влияний гетман колебался, и переговоры о реконструкции кабинета затягивались. Но в начале октября произошло событие, вызвавшее министерский кризис и ускорившее развязку вопроса.

На Украине шла безвозбранно, на глазах у всех, большевистская пропаганда и организация восстания. Извне ими руководила «девятка»[2] во главе с Пятаковым и Бубновым, которая обосновалась в Курске, формировала кадры «повстанческой армии», организовывала новые повстанческие отряды на территории Украины и помогала деньгами и оружием уже существующим. В самом Киеве такую же работу вела «мирная делегация» Раковского, советское консульство и военный эксперт делегации бывший полковник Егоров, а в Одессе организующий центр создал Дыбенко. Большевистские центры подготовляли повсеместно «революционные комитеты», производили учет сил и вербовку красноармейцев (якобы для Восточного фронта) настолько открыто, что адреса регистрационных бюро зачастую не были секретом и объявления об их функциях появлялись иногда в печати. Обеспокоенные этим явлени-

---

[1] Начальник штаба оккупировавшей Украину германской группы.

[2] Из состава бывшего в начале года «рабоче-крестьянского правительства Украины».

ем украинские власти пробовали бороться с ним, что удавалось отчасти в Одесском районе, занятом австрийцами, но в зоне германской оккупации встречало решительное противодействие военной германской власти.

Неоднократные представления по этому поводу генералу Гренеру успеха не имели. Украинский Совет министров телеграммой от 11 октября обратился к германскому правительству «с настойчивым указанием и предостережением, что при таких условиях (правительство) слагает с себя ответственность за могущее произойти восстание большевиков и что в значительной степени (оно) должно будет обвинить в этом вредящую деятельность германских властей на Украине».

Это обращение также никакого успеха не имело.

Министр внутренних дел Кистяковский счел себя вынужденным наконец произвести арест Егорова, Дыбенко и обыск в помещении делегации и консульства. Результатом был ряд новых арестов и изъятие важных документов, которые установили широкий организационный план большевистского восстания, тесный контакт делегации Раковского с председателем УНС Винниченко и полную осведомленность (если не прямое соучастие в этом)... немецкого штаба. Произошло крупное столкновение: временный заместитель барона Мумма советник Тиль в крайне резкой форме потребовал немедленного освобождения арестованных, возвращения захваченной переписки и... удаления с поста министра Кистяковского.

Первым результатом этого эпизода был демонстративный выход в отставку 9 министров, заступившихся за Кистяковского и подавших гетману записку «о необходимости совместной борьбы объединенными силами всех частей бывшей России с большевиками». Вторым — капитуляция гетмана и назначение по соглашению с Гренером и Винниченко нового министерства, в составе которого остались Лизогуб (председатель) и самостийники прежнего кабинета и вошло пять кандидатов УНС из числа социалистов-федералистов. В новом составе правительства было обеспечено вполне преобладание резко самостийного и германофильского течения.

Лизогуб от имени нового правительства делал боевые заявления о том, что отныне он будет «стремиться к более резкому выявлению лица Украинской державы». Но фактически, под гнетом грозной обстановки, деятельность правительства носила следы растерянности и нерешительности. Положение его было действительно необыкновенно трудным.

Мирные переговоры с советской Россией прервались. Раковский уехал в Москву. Еще 10 октября генеральный консул Украины Кривцов прислал из Москвы тревожную телеграмму о возможности «радикального изменения политики совнаркома по отношению к Украине», так как «с аннулированием Брестского договора все обязательства совнаркома отпадают; следовательно, отпадает и обязательство заключения (с ней) мирного договора». Совет комиссаров слал грозные ультиматумы по поводу оскорбления своей делегации и грозил репрессиями. В «нейтральной зоне» сосредоточивались две советские дивизии; большевистские отряды появились в северных уездах Черниговской и Харьковской губерний. И хотя заместитель Раковского, Мануильский, уверял, что это «сепаратные акты недисциплинированных частей» и что советы не имеют никакого желания, «по крайней мере в настоящий момент», воевать с Украиной, но положение Северного фронта, лишенного украинских войск и прикрытого только колеблющейся уже «стеной» германских штыков, становилось критическим.

В то же время внутри страны шла тайно и явно деятельная работа украинских социалистов, объединенных в УНС, которые спешно (к 4 ноября) созывали «Национальный украинский конгресс» из состава отделов союза, чтобы путем симуляции воли народной принять окончательно падавшую из рук гетмана власть. Вероятно в противовес, гетман также торопил правительство с созывом «Державного сейма», чтобы закончить выборную кампанию до немецкого исхода. Сколько-нибудь правильные выборы в назначенные сроки были абсолютно невозможны, но к прибытию войск Согласия, казавшемуся несомненным, «голос народа» должен был сказать решительное слово. При этом все три

группы (немцы, гетманское правительство и УНС) по разным побуждениям сходились в одном — в стремлении «утвердить самостоятельность Украинской державы».

Международное положение Украины было не менее шатким; перемена внешних декораций требовала поэтому исключительной осторожности.

2 октября украинский посол в Берлине барон Штейнгель телеграфировал в Киев: положение безнадежно и «повелительно диктует нам необходимость войти в сношение с Согласием, которое одно в состоянии обеспечить державе ее интересы. Имею точные сведения, что Согласие не встретит препятствий для оккупации Украины, если об этом просить».

Сообразно с двойственным притяжением мировых центров, и внешняя политика Украины пошла по расходящимся дорогам. Министр иностранных дел Дорошенко, не терявший еще надежды на Германию, отправился в Берлин с целью добиться содействия в вопросе «допущения представителей самостоятельной Украины на Мирный конгресс». Туда же отправился товарищ председателя УНС Никовский... Гетман в грамоте своей от 17 октября «стоял на почве независимости Украинской державы и на ее строжайшем дружественном нейтралитете», выражал надежду, что и державы Согласия «признают наш государственный суверенитет». Лизогуб позволил себе даже некоторую угрозу по адресу Согласия[1]: «Украинское правительство заявляет, что оно будет всячески бороться со всеми проявлениями извне, которые были бы направлены к нарушению нейтралитета Украины». Но в то же время, с согласия германского командования, готовились уже посольства в Париж (Н. М. Могилянский), в Америку (Коростовец) и в Яссы (генерал Дашкевич-Горбатский)[2]. Насколько сильны были тогда еще (конец октября) в правительстве германофильские течения и иллюзорные

[1] Беседа с представителями печати, оглашенная в газетах 16 октября.

[2] Первый — товарищ державного секретаря; второй — бывший русский посланник в Китае; третий — бывший начальник штаба гетмана.

надежды на силу германских штыков, можно видеть из письма Н. М. Могилянского к заместителю министра иностранных дел Палтову. Могилянский просил «отложить отъезд миссии minimum на две недели: к этому времени, быть может, выяснится международная конъюнктура». Могилянский определял и «свой идейный багаж», как «глубокого сторонника немецкой общественности, солидарности и культуры». «Наибольшей угрозой будущему, — писал он, — я считаю «большевизм» Вильсона и зарывающихся в упоении момента французов... Экономический союз с Англией и Францией считаю фантазией... Наше будущее — как Украины, так и России — в добросовестных тесных отношениях с Германией. Это определено географией, историей и здравым смыслом»[1].

Быстро развивавшееся наступление союзников на Балканах заставило правительство спешно командировать в Яссы Коростовца, который, «не претендуя на признание Согласием Украины», вступил в деловые сношения с его представителем в лице французского посланника графа Сент-Олера. В предъявленной последнему вербальной ноте[2] правительство Украины, высказывая опасение, что военные действия могут быть перенесены на ее территорию, просило избавить от этого нового несчастья пострадавшее и без того население; заверяло державы Согласия в своем строгом нейтралитете и готовности «принять с большим удовлетворением всякое предложение сотрудничества в целях сохранения порядка и безопасности в стране». Сент-Олер, не отказываясь от «частных сношений», ответил, что

[1] Письмо от 24 октября 1918 года. Это письмо небезынтересно сопоставить со статьей Н. М. Могилянского в «Архиве Русской Революции» (т. XI, 1923 год), в которой он описывает «нашествие иноплеменников», политику хищной эксплуатации Украины и разложения России немцами, свое предвидение «близкого и конечного разгрома немцев»; наконец, свое в то время «глубокое одиночество» среди политических деятелей Украины, сохранивших «иллюзорное сознание обеспеченного спокойствия за немецкими штыками».

[2] От 2 ноября нового стиля 1918 года.

«отношение держав Согласия к Украине будет зависеть от той помощи, которую украинское правительство окажет им (союзникам) в восстановлении порядка в России».

* * *

Мирное предложение Германии всколыхнуло, конечно, и общественную жизнь на Украине, и в особенности в Киеве. Оно вызвало громадный подъем в политических организациях и во многих произвело полный переворот «ориентаций» и тактики.

Прежде всего изменилось отношение к существу гетманской власти тех групп, которые были ее опорой. *«Союз хлеборобов»* на всех съездах — уездных, губернских, в главном Совете — спешил отречься от украинской самостийности. 1 октября гетмана посетила делегация Союза[1], которая внушала гетману идеи о временном характере самостийности Украины, о необходимости равноправия русского языка с украинским, недопустимости социалистического правительства, и главное — об единстве России. Гетман бранил немцев, со всем соглашался, призывал к терпению. На 1 ноября по новому стилю в Киеве был назначен всеукраинский съезд хлеборобов, но правительство (знамение времени!) препятствовало созыву той организации, которая была восприемницей рожденного немцами гетманства. Только после заверения руководителей съезда, что вопрос об единой России подниматься не будет, заседания его были разрешены. В отношении социальном съезд раскололся, по существу распался, на почве непримиримого отношения помещиков к вопросу об отчуждении земель, невзирая на то, что крестьянство ставило требования более чем умеренные: сохранение частной собственности и *выкуп части помещичьей земли.* В отношении политическом, хотя и косвенным путем, съезд проявил полное единодушие: он горячо приветствовал гетмана, посетившего заседание, и в тот же день еще более бурными овациями встретил речь Пуришкевича об... единой России.

Киевский «Протофис», с его «интернационализмом», германофильством и неизменной поддержкой гетманской

[1] Граф Гейден, Ненарокомов, Дуссан и другие.

политики, потеряв почву под ногами, переживал период растерянности. Он присоединился официально к позиции Союза хлеборобов, искал сближения с Национальным центром; дружил с гетманом и будировал в отношении социалистического правительства; поддерживал близкие отношения с немецким штабом в надежде, что не все еще потеряно, и делал уже неудачные попытки военных формирований для защиты Киева и Украины.

Так или иначе, гетман мог убедиться в лояльном отношении к нему лично Союза хлеборобов, «Протофиса», но ни на какую поддержку с их стороны ни самостийности, ни своему правительству рассчитывать более не мог. Одно еще сближало их — это стремление сохранить германскую оккупацию. В середине октября, после переговоров с германским командованием, веденных профессором Пиленко, от имени Союза и «Протофиса» послана была телеграмма Вильсону с просьбой оставить германские войска на Украине. Это обстоятельство вызвало большое возмущение в широких кругах российской общественности и еще более уронило в их глазах престиж обеих организаций. Точно так же была временно выбита из колеи деятельность «Монархического блока» и союза «Наша Родина», связанных с организацией «Южной», «Астраханской» и «Северной» армий: в связи с переменой германского правительства и новым курсом в украинском вопросе («национализация и демократизация») немцы прекратили всякий денежный отпуск и поддержку этих организаций. Первые две армии из-за полной невозможности дальнейшего самостоятельного существования перешли на иждивение Дона.

Монархический блок сохранял близкое общение с гетманом и находился в контакте с Красновым. Ввиду полной неудачи, постигшей правых в Киеве, Замысловский был отправлен в Ростов, где к началу ноября он собирал монархический съезд, стараясь привлечь на него «представителей Добровольческой и Кубанской армий». Там должен был образоваться «единый фронт», имеющий лозунгом «великую, единую и неделимую Россию, на основе законопреемственной монархии». Что касается ориентации, «то этот воп-

рос, — по словам Замысловского[1], — при революции, вспыхнувшей в Германии, следует признать утратившим свою остроту, ибо ориентироваться на государство, находящееся в состоянии революции, явно невозможно».

* * *

Киев в это время (осенью 1918 года) продолжал вбирать в себя всю соль российской буржуазии и интеллигенции. Сюда постепенно перекочевывали из Москвы и отдельные деятели, и целые организации. Здесь происходили сложение и дифференциация сил, падение одних и нарождение других группировок, которые затем, перенеся свою деятельность на Юг России, играли известную роль в его судьбе.

«Совещание членов законодательных палат», не разрывая окончательно с германскими кругами, с которыми вел переговоры в Берлине посол Совещания барон Розен на тему об «естественном союзе монархической Германии и монархической России против гегемонии Англии», решило командировать своего представителя и к союзникам с «выражением восторга по поводу близкого окончания войны... беспримерными подвигами героических народов», и за помощью, которая должна была выразиться: «1) в быстрой реальной поддержке Добровольческой армии; 2) в занятии обеих столиц хорошо дисциплинированными и дружественно к России настроенными войсками; 3) в сохранении в оккупированных Германией областях ее гарнизонов до замены таковых союзническими или имеющими быть образованными русскими». Из письма видного участника совещания барона В. Меллер-Закомельского я неожиданно узнал, что «Совещание никогда не видело путей спасения России вне тесной связи с союзниками»[2].

Совещание значительно увеличилось численно поступлением новых членов — беженцев из советской России —

[1] Из письма Замысловского к генералу Лукомскому от 5 ноября.

[2] Письмо барона В. Меллер-Закомельского от 31 октября 1918 года и приложенный к нему «проект» телеграммы на имя российского посла в Париже Маклакова.

и сильно клонилось вправо. Среди крайних элементов нарастало неудовольствие по поводу присутствия в составе «бюро» совещания Милюкова и шла сильная агитация за его устранение, не увенчавшаяся, однако, успехом: 3 октября в собрании членов законодательных палат состоялось переизбрание «бюро», состав которого остался прежним, но был пополнен тремя членами из числа лидеров правых[1].

По мысли Милюкова, война была окончена, вопрос ориентации отпал, и не было поэтому более препятствий к объединению широкого фронта русской общественности. На том же заседании 3 октября было одобрено составленное Милюковым обращение к русскому обществу, в котором указывалось на необходимость «скорейшего создания авторитетного общероссийского представительства, которое могло бы встать на место советской власти». Главнейшими основами сведения воедино разрозненных усилий возрождения России ставилось: 1) «признание за Россией того территориального состава и той независимости в международных отношениях, которые Россия имела до временной потери своей государственности»; 2) взаимное общение военных организаций и местных правительств; «отказ от преследования отдельными частями каких-либо частных или местных интересов» и вместе с тем «отказ вновь образуемого целого от вмешательства в местные интересы и в деятельность местной власти, не оправдываемого интересами объединения...» Нормальным государственным строем для будущего обращение считало конституционно-монархический.

Этими теоретическими предпосылками, далекими от вожделений не только южных и западных лимитрофов, но и казачьих областей, собрание заранее ограничивало возможность широкого, в территориальном смысле, объединения.

Совет законодательных палат приступил к созданию «широкого общественного фронта», который на деле оказался весьма узким, включив по преимуществу правое крыло русской общественности, сановную бюрократию, круп-

[1] Вл. Гурко, Безак, Крыжановский.

ных аграриев и крупную буржуазию — элементы глубоко консервативные по своему прошлому, традициям и идеологии[1]. Для придания реального значения и силы новому органу объединения Совет решил сделать попытку подчинить своему политическому руководству Добровольческую армию. С этой целью в Екатеринодар в середине октября были командированы г-да Вл. Гурко и Шебеко. В записке, врученной ими от лица Совета, мысль о значении объединенного органа (власти?) была выражена следующим образом:

«Этот политический орган, состоящий в тесном общении с Добровольческой армией и притом могущий всесторонне, а потому правильно осветить предложения и настроения руководящих кругов населения страны и обладающий тем самым должным авторитетом, явился бы не только мощным сотрудником Добровольческой армии в деле воссоздания единой государственной власти в России, но представлял бы и для других культурных государств тот голос страны, с которым они считались бы и глашатаев которого неминуемо допустили бы на Мирный конгресс».

Я был в то время на фронте, руководя Ставропольской операцией, и послы Совета имели беседу с генералом Лукомским, который в своем докладе настоятельно советовал мне «опереться» на создаваемое объединение, высказывая опасение, что иначе «мы можем остаться в одиночестве». Не разделяя этих опасений, я ответил ему:

«Добровольческая армия отнюдь не может стать орудием политической партии — особливо партии с шаткой ориентацией. Строить «Южное объединение» и бросить его

[1] В составе государственного объединения были представители: 1) бюро совещаний законодательных палат; 2) церковного собора; 3) группы сенаторов; 4) группы земских и городских деятелей дореволюционного состава; 5) группы торгово-промышленников; 6) финансово-банковская группа; 7) совет земельных собственников.

на полпути, чтобы начать новую комбинацию, нельзя. То, что предлагают они, было предложено Родзянко еще в Мечетке, строилось ими в Киеве, но неудачно. Противополагать сейчас эту комбинацию всем другим — нецелесообразно. Вооруженная сила никогда не «останется в одиночестве». Ее всегда пожелают!.. Во всяком случае, до решения вопроса об «Южном объединении» нельзя разрешать вопрос о новой комбинации, которая может только затруднить соглашения.

Если же эта комбинация возникнет сама собой без нашего участия; если она действительно будет иметь нравственный авторитет в стране и поддержит идеи и цели, преследуемые Добровольческой армией, — то тем лучше для всех нас и паче всего для России».

В то же время государственные и общественные деятели, собравшиеся к тому времени в Екатеринодаре[1], откликнулись на предложение образования «Государственного объединения» особой запиской, в которой обусловили целесообразность его тремя положениями: 1) избрать местом пребывания организации пункт, находящийся вне воздействия германских сил; 2) признать Добровольческую армию «Всероссийским государственным центром»; 3) повести борьбу с самостийностью Украины. В вопросе о «расширении фронта» организации мнения разделились. Меньшинство[2] высказало пожелание привлечь в нее демократические круги и те социалистические, которые группируются вокруг «Союза возрождения России» и «Земско-городского объединения», тогда как остальные участники совещания считали привлечение этих групп «неосуществимым и нецелесообразным, ввиду того глубокого различия во взглядах между ними и теми слоями населения, из представителей коих образуется предположенный совет». Возможно, — говорили они, — привлечение лишь тех демократических кругов, которые «отстаивают

[1] Н. И. Астров, М. М. Винавер, Н. Н. Львов, А. Н. Нератов, В. А. Степанов, С. Д. Сазонов и В. В. Шульгин.

[2] Первые два участника.

современный социальный строй всех культурных стран и отвергают принцип борьбы классов... Соглашение с организациями социалистических партий, быть может, и возможно и даже желательно, но исключительно лишь в деле общей борьбы с большевизмом»[1].

К концу октября образовался окончательно в Киеве «Совет государственного объединения», во главе которого стал барон В. Меллер-Закомельский; товарищами его были намечены А. В. Кривошеин, П. Н. Милюков и С. Н. Третьяков. Сообщая мне 31 октября о создании и задачах новой организации, председатель ее писал:

«Приступая ныне к своей работе, Совет государственного объединения России поручил мне сообщить Вашему Превосходительству, что он предоставляет все силы, знания и опыт объединившихся в нем лиц в распоряжение Добровольческой армии и будет всемерно счастлив, если он хоть в небольшой доле сможет облегчить армии ее великий ратный подвиг и ее славное служение нашему общему делу воссоздания великой, единой и неделимой России».

Я ответил благодарностью и пожеланием успеха и сообщил, что «не премину использовать живые силы и государственный опыт» членов Совета, и вместе с тем высказал пожелание, чтобы «круг политических и общественных групп, обществ и учреждений, примкнувших к Совету, был расширен, дабы Добровольческая армия могла опираться на возможно широкий беспартийный блок всех государственно мыслящих слоев русской общественности»[2].

В отношении гетмана Совет государственного объединения сохранил полную лояльность, находился с ним в частом общении и старался влиять также на направление его политики, но безуспешно.

* * *

Наряду с «Совещанием членов законодательных палат» и «Государственным объединением», являвшимися прямыми наследниками покойного «Правого центра», проявлял

[1] Позиция «Национального центра».

[2] Письмо от 26 ноября, № 834.

оживленную деятельность «Киевский национальный центр», по идеологии и задачам представлявший как бы областной отдел центра Московского или Всероссийского. К концу октября в Киев из Москвы прибыла группа московской организации — М. М. Федоров, профессор Новгородцев, Волков, Салазкин и другие, и таким образом установилось непосредственное общение между обоими центрами.

Национальный центр определил свое лицо как «общественно-политической организации, в состав которой входят представители всех несоциалистических политических партий, кроме крайне правых, всех общественных групп и прочих, при условии признания ими необходимости восстановления единой и неделимой России, борьбы с большевизмом, антинемецкой ориентации и верности союзникам»[1]. Сохраняя московские традиции, Киевский Национальный Центр (НЦ) находился в «полном контакте» с Союзом возрождения, перенесшим также центр своей деятельности в Киев, и признавал «неприемлемым общение с Совещанием законодательных палат, так как эта организация скомпрометировала себя соглашениями с немцами». Таким образом, официально грань между двумя основными буржуазными группировками проходила как будто исключительно по «водоразделу» между Шпрее и Сеной, тогда как фактически уже и в то время ясно определилось их крупное *политическое* расхождение, запутываемое еще больше такими видимыми несообразностями, как вхождение в «Совещание» Милюкова и содружество с «центром» — Шульгина. Только в екатеринодарский период, после некоторой дифференциации, эти два общественных течения проявят окончательно настоящее свое содержание: одно — консервативное, другое — либеральное.

[1] Из киевских организаций к Национальному Центру примкнули: группа В. Шульгина (сам Шульгин находился с осени 1918 года в Екатеринодаре), Внепартийный блок русских избирателей, Клуб русских националистов, Общество «Русь», оппозиционное крыло кадетов с Ефимовским и Левитским и другие.

Киевский НЦ ставил своими ближайшими задачами: 1) борьбу с украинской самостийностью, 2) поддержку Добровольческой армии как организующего противобольшевистского российского центра, 3) осведомление союзников «об истинном положении дел на Украине». В своем обращении «к державам Согласия и руководителям Добровольческой армии»[1] центр развивал эти идеи: «Украинского государства никогда не было; «украинцы» — не нация, а политическая партия, взращенная Австро-Германией; огромное большинство населения Малороссии считает себя русским народом... и свято неизменно хранит верность союзникам растерзанной России; и Центральная Рада и гетманское правительство совершенно оторваны от страны». В заключение Центр умолял союзников и Добровольческую армию «спасти Малороссию от ига и тирании германской оккупации», заняв ее «одновременно с уходом немецких и австрийских войск Добровольческой армией и союзническими войсками... для спасения края от украинско-большевистской анархии и резни».

Исходя из тех же взглядов, НЦ вел борьбу против созыва гетманом «Державного сейма», считая это «покушением на верховные права русского народа», так как только «единая Россия в целом может решить судьбу и определить объем прав и обязанностей всех частей ее». Одновременно образована была смешанная комиссия из состава Московского («Всероссийского») и Киевского центров, с участием представителей от Совета государственных объединений, под председательством профессора Новгородцева, для составления проекта областной автономии.

К гетману и украинскому правительству Киевский НЦ относился с величайшей враждебностью. Когда в начале октября в Киеве распространились ложные слухи, что я веду переговоры о соглашении с Украиной, этот вопрос был поставлен на совещании Центра, которое единогласно постановило: «С изменником Скоропадским и с возглавляемой им Украиной никакие переговоры и соглашения недопустимы; слухи и известия о каких-то переговорах Добровольческой армии со Скоропадским повергают деятелей НЦ в уныние и скорбь, ибо если Добровольческая армия признает Скоропадского и Украину, то это поведет к общему и окончательному признанию их и утверждению. НЦ в Киеве решил сосредоточить свои усилия исключительно на борьбе с украинской самостийностью»[1].

[1] Резолюция «Центра» от 17 (30) октября 1918 года.

Такое же отношение было, конечно, к Украинскому национальному союзу. Назревающая опасность переворота, подготовляемого этим союзом во главе с Винниченко и Петлюрой, была очевидна. НЦ в ряде своих заседаний, обсуждая меры противодействия, признал откровенно свое бессилие и видел выход только в прибытии на Украину войск Добровольческой армии. В этом смысле я получал оттуда постоянные представления. Так же освещали вопрос и сотрудники «Азбуки» и сам Шульгин, который главную причину беспомощности Центра видел в отсутствии в Киеве лица, «способного властно и авторитетно руководить военными организациями». «Может быть, — говорил он, — вооруженная сила и нашлась бы, если бы нашелся энергичный генерал, снабженный от Добровольческой армии полной властью действовать по своему усмотрению, в зависимости от обстоятельств, и приказывать именем Добровольческой армии, обаяние которой сейчас очень велико». Шульгин считал негласного представителя нашего в Киеве генерала Ломновского[2] не подходящим для этой роли и настаивал на назначении нового лица, которое через НЦ «в кратчайший срок подчинит себе все тяготеющее к Добровольческой армии» («Особый корпус», «дружины» и т. п.). То же рекомендовалось в отношении Крыма[3].

Подобных обращений ко мне и помимо этих организаций было немало — со стороны общественных деятелей

[1] Вообще связь Киева с Екатеринодаром была затруднительна, чем объясняются частые недоразумения и несогласованность действий и в военных, и в общественных организациях.

[2] Генерал Ломновский был в начале войны генерал-квартирмейстером в 8-й армии генерала Брусилова, потом доблестно командовал 15-й дивизией 8-го корпуса и 10-й армией.

[3] Письмо от 28 октября генералу Драгомирову.

и просто обывателей, в глазах которых Украина Винниченко отличалась мало от Украины советской. Меня настойчиво втягивали в украинский водоворот, тогда как я считал, что задача эта для Добровольческой армии совершенно непосильна. В том необыкновенно сложном военно-политическом положении, в котором находилась Украина, одного престижа ДА было на мой взгляд совершенно недостаточно. Необходима была крупная вооруженная сила, которая могла бы поддержать или свергнуть гетманскую власть, разделаться с движением, поднятым УНС, и, главное, прикрыть северные рубежи Украины от готовящегося вторжения «Повстанческой» Красной армии Антонова-Овсеенко. Это мог бы сделать народный подъем, но его не было. Это могли выполнить легко союзники, но они не приходили. Что касается Добровольческой армии, то к концу октября *все решительно ее силы* — 30—40 тысяч — были собраны на полях Ставрополя, где в жестоких боях решались судьбы кампании и самой армии[1].

Посылать на Украину было некого.

* * *

Наконец, в Киеве проявляла оживленную деятельность третья крупная организация — «*Союз возрождения России*», стоявший как-то в стороне от других. Союз находился в «контакте» с НЦ и в плохом мире с партиями эсеров и социал-демократов меньшевиков, не прощавшими ему сотрудничества с буржуазными организациями; Добровольческую армию поддерживал «постольку-поскольку» и резко враждебно относился к украинской самостийности, к гетману и к УНС. Но методы действий Союза в отношении последних институций были намечены более решительные. Осведомители НЦ и «Азбуки», невзирая на «контакты» с Союзом возрождения, не знали ничего о конспиративной деятельности его, и только однажды в очередном докладе промелькнули сведения, что «в случае ухода немцев и попытки украинцев усилиться (?) СВ намерен вклиниться и захватить

[1] Как известно, только 7 ноября 1918 года наступил полный перелом в нашу пользу, и только в начале февраля окончилась Северокавказская операция.

власть по соглашению с НЦ». Это намерение звучало чрезвычайно странно как в силу «бескровно-мирного» настроения руководителей СВР, так и ввиду отсутствия тех активных сил, на которые мог бы опереться Союз. Только впоследствии мы узнали от одного из руководителей[1], что «группа *радикального офицерства* в Киеве, опираясь на политическую поддержку левых организаций, решила устроить переворот. Целью его было свержение Скоропадского и передача власти кругам, которые группировались вокруг Союза возрождения и должны были координировать свою деятельность с Уфимской директорией».

Тогдашний Киев и Уфимская директория! Нужно было обладать большой долей фантазии, чтобы строить такие комбинации. Но СВР относился серьезно к своей затее — настолько, что был даже намечен состав нового правительства во главе с Одинцом.

Станкевич, Одинец и другие лица вели какую-то тайную организацию офицерских дружин; вернее, материально поддерживали возникавшие самостоятельно, на что тратились суммы из французской субсидии. «Во мраке подполья и заговора, — говорит Станкевич, — политические контуры настолько терялись, что иногда после долгого разговора с каким-либо делегатом я вдруг убеждался, что передо мной стоит не мой единомышленник, а левый эсер или даже большевик»... Эти связующие нити Станкевич мог бы легко обнаружить и в другом направлении — ведущем к дружине генерала Кирпичова[2], полковника Винберга и даже к союзу «Наша Родина». Ибо «*радикального офицерства*» в природе не оказалось. Были лишь отдельные офицеры-радикалы, социалисты, даже большевики; были также люди, которым безразлично, от кого получать деньги. В конце концов, вся военная мощь Союза покоилась в большинстве случаев на тех самых офицерских дружинах, которые гетманское правительство предназначало для защиты Украины от большевиков, Национальный Центр — для противодействия самостийной Украине Винниченко—Петлю-

[1] *В.Б. Станкевич*. «Воспоминания».

[2] См. ниже.

ры, и Союз возрождения — для свержения гетманской власти.

Когда настало время действовать, у Союза возрождения не оказалось никаких сил.

* * *

19 сентября, обсудив внешнее и внутреннее положение страны, украинский Совет министров признал, что «внезапно возникшие международные события угрожают независимости, самостоятельности и самому существованию Украинской державы». И потому постановил «немедленно приступить к формированию украинской национальной гвардии».

Формирование вооруженной силы, на что гетманом получено было разрешение германского правительства еще в бытность его в Берлине, представляло, однако, непреодолимые трудности. Всеобщий набор, на котором настаивал военный министр Рагоза, не обещал никакого успеха и, по мнению гетманских кругов, мог дать ярко большевистский состав. Формирование классовой армии — «вольного казачества» из добровольцев-хлеборобов — имело уже плачевный опыт в виде почти разбежавшейся «сердюцкой» дивизии. Составленный в генеральном штабе проект формирования национальной гвардии при сечевой дивизии с ее инструкторами готовил явно вооруженную силу не для гетмана, а для УНЦ и Петлюры... Вообще все формирования на национальном принципе встречали резкий, бурный протест в российском офицерстве, которое отнюдь не желало драться ни за гетмана, ни за самостийную Украину.

Ввиду таких настроений в начале октября гетман отдал приказ о формировании «Особого корпуса», подчиненного непосредственно ему, минуя правительство. Корпус этот предназначался «для борьбы с анархией в пограничной полосе». Во внутренней своей жизни он должен был руководствоваться «положением бывшей российской армии, действовавшим с 1 марта 1917 года»; чинам корпуса присвоена была «форма бывшей российской армии». Одновременно объявлена была регистрация всех офицеров и предупреждение о предстоящей мобилизации офицеров и

сверхсрочных унтер-офицеров (до 35-летнего возраста) по их желанию в украинские войска или в «Русский корпус».

Первая комбинация — в глазах офицерства — приводила к утверждению украинской самостийности внутри страны, вторая — к немедленному выходу на фронт для защиты ее же от внешних посягательств. И офицерство не пошло никуда. Идейное — по убеждению, беспринципное — по шкурничеству. В той и в другой среде начался сильный отлив из Украины: одних — в районы Русских добровольческих армий, других — в те края, где еще не было принудительной мобилизации, где можно было жить покойно, служить в ресторанах, зарабатывать «на лото» и спекулировать.

Ввиду полного провала правительственной организации и неудавшейся мобилизации пришлось прибегнуть к частной. По инициативе «Протофиса», «хлеборобов» и Киевской городской думы, при деятельном участии профессора Пиленко, графа Гейдена и Дьякова министр внутренних дел принял отвергнутое им ранее предложение вступить в соглашение с существовавшими в Киеве офицерскими обществами самопомощи и дать им средства и полномочия для формирования «дружин»; эти части предназначались прежде всего для охраны спокойствия и порядка в столице. Так возникли дружины полковника Святополк-Мирского, генерала Кирпичова, Рубанова, Голембиовского и других — частью чисто офицерские, частью смешанного типа, с добровольцами преимущественно из учащейся молодежи, которая вообще откликнулась на призыв по-разному: одни пошли в офицерские дружины, другие искали «более демократические формирования», третьи (и их было немало) заявили, что предпочитают советскую власть украинскому самостийничеству, и выжидали развития событий.

Численность офицерских дружин была незначительна — вряд ли превосходила 3—4 тысячи; организация далеко не совершенна: разбухшие штабы, неизбежные контрразведки и «отряды особого назначения» доминировали над «штыками». Расплодились также многочисленные «вербовочные бюро» с громадными штатами, обширными реквизированными помещениями и автомобилями. Каждое из

них формировало не менее чем «армию» и имело в наличности 100—150 бойцов.

Кроме этих организаций в Киеве существовало еще офицерское общество «Свив»[1], стоявшее всецело на платформе Добровольческой армии и взявшее на себя на условиях вольного найма охрану арсенала, артиллерийских и интендантских складов и полигонов.

Министерства военное и внутренних дел конкурировали друг с другом, организуя вооруженные силы, и оба не были твердо уверены, в какую сторону повернуты будут их штыки.

ГЛАВА XXI
УКРАИНА: ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ГЕТМАНСТВА

1 ноября я был поражен представленной мне лентой телеграфного разговора: генерал Ломновский из Киева передавал начальнику моего штаба генералу Романовскому:

«В местных газетах объявлен ваш приказ о подчинении всех войск на территории России генералу Деникину и мобилизации всех офицеров[2]. Сейчас я был приглашен к гетману, который просил передать: сегодня командиры дружин и местных полков явились к нему и доложили о своем переходе в подчинение вам. Ввиду сложного и тревожного положения в Киеве осуществление этого может вызвать неурядицы. Необходимо выждать несколько дней до прихода сюда войск Согласия. Теперь здесь идут формирования дружин, и отлив офицеров может повредить делу. Мы находимся в области слухов, мало ориентированы».

---

[1] «Союз взаимопомощи интеллигентных воинов».

[2] В «России» была перепечатана выдержка из этого приказа из «Голоса Киева» (31 октября) в такой редакции: «Сего числа я вступил в командование всеми военными силами... Все офицеры, находящиеся на территории бывшей (?) России, объявляются мобилизованными». В том месте, где многоточие, по докладу «Азбуки», цензура выпустила фразу: «на Украине и в Крыму».

Генерал Романовский: «Приказа такого Главнокомандующий не издавал. Был приказ о мобилизации офицеров только на территории, занятой Добровольческой армией. Само собой разумеется, что войска на этой территории подчиняются Главнокомандующему. Таким образом, приказ, появившийся в киевских газетах, результат какого-то недоразумения».

Я до сих пор не знаю автора этого приказа.

Через два дня получена была телеграмма украинского министра иностранных дел Афанасьева по тому же поводу, в которой он просил «разъяснить подлинный смысл («моего») приказа с сохранением авторитета власти гетмана... во избежание разрушения дисциплины в украинской армии».

Положение мое было весьма затруднительным. Нарождающаяся киевская вооруженная сила решительно отказывалась идти под знаменем гетмана самостийной Украины. Для поддержания патриотического подъема офицерства и сохранения края от вторжения большевиков до ожидаемого прихода союзников я решил дать киевским формированиям флаг Добровольческой армии. Поэтому я ответил Афанасьеву: «Приказа в редакции, появившейся в киевских газетах, я не отдавал. Генералу Ломновскому — представителю ДА в Киеве — приказано объединить управление всеми русскими добровольческими отрядами Украины, причем ему вменяется в обязанность всемерно согласовывать свои действия с интересами края, направляя все силы на борьбу с большевиками и не вмешиваясь во внутренние дела края»[1].

«Приказ главнокомандующего, — сообщала «Азбука», — произвел потрясающее впечатление. Все моментально, как по щучьему велению, словно картина в кинематографе, перевернулось. Тысячи людей сразу осмелели. С других тысяч людей сразу отлетала украинская одурь, и они вновь почувствовали себя русскими людьми... Ко всему этому, за приказом вырисовывалась вся мощь поддержки союзников и весь колоссальный престиж их... Все домыслы

---

[1] Телеграмма 4 ноября 1918 года, № 446.

огромного большинства Малороссии устремились навстречу союзникам и Добровольческой армии».

Если в нарисованной картине краски и сгущены, то нельзя отрицать, что весь этот эпизод дал некоторую опору и уверенность русским национальным элементам в Киеве и вместе с тем послужил одною из причин дальнейших серьезных политических событий.

* * *

29 октября Германия приняла тяжкие условия перемирия, продиктованные победителями, признав свое полное поражение.

26 октября французский посланник в Яссах граф Сент-Олер высказал Коростовцу пожелание, чтобы гетман «чем-нибудь проявил перемену германофильской политики и согласие (свое) поддержать работу союзников по восстановлению порядка в России».

1 ноября киевские военные начальники заявили гетману, что войска их выходят из его подчинения, являясь поборниками общерусских интересов.

Эти события произвели окончательный переворот в гетманской политике, результатом которого была «Грамота ко всем украинским гражданам и казакам», опубликованная 2 ноября. В ней говорилось:

«...После пережитых Россией великих потрясений условия ее будущего бытия должны несомненно измениться. На иных началах, на началах федеративных, должно быть воссоздано прежнее величие и сила Всероссийской державы, и в этой федерации Украине надлежит занять одно из первых мест.

...На этих началах, которые (я верю) разделяют и союзники России — державы Согласия, — которым не могут не сочувствовать все без исключения остальные народы не только Европы, но и всего мира, должна быть построена будущая политика нашей Украины. Ей первой надлежит выступить в деле создания всероссийской федерации, конечной целью которой явится как восстановление великой России, так и обеспечение экономического и культурного преуспевания всего украинского народа на прочных основах национально-государственной самобытности.

...Вновь сформированному мною кабинету[1] я поручаю ближайшее выполнение этой великой, исторической задачи».

Об этих событиях гетман беседовал на другой день после опубликования «грамоты» с В. Маркозовым, явившимся за боевыми припасами для Добровольческой армии.

«В грамоте я ясно высказал то, что давно хотел (высказать), но не мог раньше, — говорил гетман. — Вы знаете, что *они* — «щирые» — хотели меня на днях арестовать, но я им сказал, что этого не стоит делать, так как беспорядки от этого еще больше усилятся; они и оставили эту мысль. Вообще, теперь очень тяжело. Я, собственно, не хотел еще перемены кабинета — хотел дождаться ответа от Великого князя Николая Николаевича, но ответ задержался. А обстоятельства требовали на что-то решиться сейчас. Я ему писал[2], что прошу и предлагаю принять верховное командование всеми войсками бывшей России и управление. И в его лице объединить всех нас, генералов, а то мы только ссоримся. Когда бы он сделался не только Верховным главнокомандующим, но и Правителем, тогда я с радостью немедленно передал бы ему всю власть. К получению ответа хотелось приурочить и новый кабинет»[3].

В том же разговоре гетман с горечью коснулся вопроса по поводу нежелания моего «с ним сообщаться»... Я решительно не мог, не могу и теперь стать на ту упрощенную точку зрения, которая разительную противоположность идеологии, стимулов и лозунгов движения претворяет в «ссоры генералов». Гетман не желал понять, что между идеологией «единой, великой и неделимой России» и той, которую до последних дней исповедовал гласно он, гетман: «Во всех взаимоотношениях, как с нашими ближайшими соседями, так

---

[1] Министерство Гербеля из лиц российской ориентации или воспринявших таковую (Кистяковский).

[2] Или послал сказать — Маркозов точно не помнил.

[3] Из письма В. Маркозова генералу Драгомирову от 18 ноября н. ст.

и со всеми другими мировыми государствами, мы стоим и будем стоять непоколебимо на почве самостоятельной и независимой Украинской державы»[1], — что между этими идеологиями лежит непроходимая пропасть, через которую не перекинуть мостика *слухами*, будто это лишь политическая игра, обман, средство, чтобы сквозь узкую щель украинского шовинизма пролезть легче в широкие ворота свободной российской государственности.

До конца сентября гетман не делал никаких шагов для сближения. Только с изменением положения центральных держав, 9 и 11 октября нового стиля, гетман при посредстве своего адъютанта графа Олсуфьева устроил встречу с представителем киевского Добровольческого центра полковником Неймирком, причем уверял последнего в своей русской ориентации, в необходимости личины самостийности как «единственной оппозиции большевизму» и в расположении своем к Добровольческой армии. Неймирк не получил никаких указаний от моего штаба и вел беседу от себя лично. В начале октября в Екатеринодар приехал Шидловский[2] и от имени гетмана предложил помощь оружием и снаряжением на условиях отказа моего от союзнической ориентации и признания «нейтралитета» в отношении Германии... Наконец, 21 октября, после свидания своего с гетманом на станции Скороходово, атаман Краснов писал генералу Лукомскому, что гетман «предполагает на этих днях обратиться к Добровольческой армии, Дону и Кубани, если возможно — к Тереку, Грузии и Крыму... выслать депутатов на общий съезд. Цель — выработка общего плана борьбы с большевиками и большевизмом в России».

Все эти попытки гетмана *самостоятельной и враждебной в отношении России* Украины я считал бесцельными. Но когда министр иностранных дел нового украинского правительства Афанасьев в телеграмме ко мне (3 ноября) заявил, что «украинские силы в согласии с Доном и параллельно с ДА направляются на борьбу с большевиками и *на восстановление единства России*», я ответил тотчас же: «Раз Украина стала на путь русской государственности, представляется необходимым войти в соглашение по вопросам единого фронта, единого командования для борьбы с большевиками и единого российского представительства на международном конгрессе»[1].

[1] Из речи, сказанной министрам 23 октября, то есть за неделю до «грамоты» о федерации с Россией.

[2] Бывший член Государственного совета, харьковский губернский староста.

В середине ноября от донского правительства получена была вторая телеграмма Афанасьева, повторяющая предложение гетмана о съезде в Киеве, причем целью съезда ставилось «установление общего плана борьбы с большевизмом... разрешение вопросов, касающихся... отношений к нейтральным странам, к державам Согласия, к Германии и бывшим ее союзникам и установление прочной государственной власти в России». Генерал Драгомиров послал ответ о нашем согласии участвовать в съезде, но с указанием: 1) что ввиду военной обстановки (к Киеву подступал Петлюра) как место съезда предпочтительнее Екатеринодар или Симферополь; 2) что ДА не имеет никаких оснований пересматривать свое отношение к союзникам; 3) что участие грузинского правительства, враждебного России и Добровольческой армии, недопустимо.

Эта телеграмма в Киеве не была еще, очевидно, получена, когда Афанасьев разослал третью — с указанием срока съезда 5 декабря.

На этом наши сношения пресеклись, так как одновременно радио принесло известие, что гетман отрекся от власти и белый Киев агонизирует.

* * *

Последние акты гетмана, знаменуя полный разрыв с УНС[2], имели весьма важные последствия.

2 ноября в Киеве по городу было расклеено воззвание, призывавшее «громадян до зброи и до порядку» и объявлявшее о свержении гетмана, который «останним зрадницким

[1] Телеграмма 4 ноября 1918 года, № 446.

[2] Впрочем, по сведениям Киевского Национального Центра, гетман не бросал попыток примирения с УНС до самого своего падения.

актом скасував самостийность Украиньскои Державы». От имени «организованной украиньскои демократии, вид всего активного народного громадянства, яке обрало нас» — было оповещено о переходе власти в руки «Директории самостийнои Украиньскои Народнои Республики» с «головою» Винниченко и членами Петлюрой, Швецом и Андреевским. В воззвании предлагалось гетману и его министрам уйти «негайно, без пролития крови», а офицерским организациям сдать оружие и выехать «куды хто охоча». В воззвании выражена была также уверенность, что «солдаты германського визволенного народу поставляться до боротьбы пригниченного украинського народу».

Директория переехала тайно из Киева в Белую Церковь, где находились галицийские сечевые части, собранные там для борьбы с Польшей. Петлюра, посаженный в свое время в тюрьму Кистяковским и выпущенный незадолго перед тем «национальным» правительством, принял звание «головного отамана»; на левобережной Украине «главнокомандующим» войсками директории стал Болбочан. В ночь на 5 ноября полк Болбочана арестовал в Харькове штаб Украинского корпуса, обезоружил офицерские дружины и при полном попустительстве немецких войск объявил там власть директории.

Силы восставших были невелики: два полка сечевых стрельцов, остатки дивизии серожупанников (бывших наших пленных) и гайдамацких кошей, некоторые изменившие части гетманских войск (бывшей дивизии Натиева), формируемые наскоро крестьянские банды — всего вначале не более четырех-пяти тысяч. Не ожидая накопления и сосредоточения своих сил, с имеющимися под рукой отрядами Болбочан из Харькова двинулся на Полтаву, которую и занял 14-го, а Петлюра из Белой Церкви через Фастов — к стольному Киеву.

Навстречу ему двинуты были из Киева несколько рот дружины Святополк-Мирского и сердюцкой дивизии, которые между станциями Мотовиловкой и Васильковом были разбиты и отошли к Жулянам, в 10 верстах от Киева. Здесь, получив подкрепление из состава других дружин, они заняли оборонительную позицию. Петлюровские войска,

продвинувшись к Боярке, также приостановились, очевидно ввиду недоразумений с германскими войсками: захват фастовского узла прекратил совершенно эвакуацию немецких эшелонов, и в тылу у петлюровцев на этой почве начались вооруженные столкновения с немцами.

Противники стояли друг против друга — оба с ничтожными силами и оба не уверенные в своем успехе.

Германское правительство явно покровительствовало директории, хотя и объявило официально о своем нейтралитете. «Мы сохраняем нейтральное положение, — говорил приказ немецкого главнокомандующего от 3 ноября, — по отношению к внутренним политическим событиям на Украине. Однако спокойствие и порядок в стране неизбежно должны быть нами поддерживаемы силою оружия, дабы не было препятствия к вывозу наших войск. Надлежит особенно твердо сохранять за собой обладание путями сообщения». В этом духе киевская главная квартира старалась повлиять на солдатские советы, чтобы побудить войска к оказанию сопротивления. 14 ноября ей удалось двинуть против петлюровцев из состава киевского гарнизона 3 батальона с артиллерией к Фастову. Немцы легко опрокинули передовые части петлюровцев у села Белгородки, но вслед за сим на другой день представители штаба и солдатского совета заключили с ними перемирие. По договору, подписанному 19 ноября, петлюровцы предоставляли беспрепятственно пользование железными дорогами немцам и, кроме того, обязались: «Войска директории, впредь до прибытия представителей Антанты на Украину и впредь до заявления об отказе от этого соглашения, прекращают всякие оперативные действия в местностях, еще не занятых ими ко времени вступления в силу настоящего договора, главным образом приостанавливают дальнейшее продвижение к Киеву».

Это постановление было обосновано отчасти и решительными требованиями Энно — вновь назначенного в Киев французского консула «с особыми полномочиями». Энно из Ясс прибыл в Одессу и оттуда, начиная с 7 ноября, обращался к киевскому германскому штабу и гетманскому

правительству с рядом телеграмм от имени Согласия[1]. В них сообщалось во всеобщее сведение: 1) «Державы Согласия признают существующее сейчас украинское правительство, возглавляемое гетманом»[2]; 2) «решение всех спорных политических и социальных вопросов, в особенности вопроса о самоопределении национальностей, будет детально рассмотрено после того, как военные силы держав Согласия и их политические представители прибудут в Киев»; 3) «всякое покушение на существующую власть будет строго подавлено»; 4) «немцы обязуются восстановить и поддерживать порядок в Киеве и во всем крае до прихода союзников»; 5) «державы Согласия ни в каком случае не допустят вступления войск Петлюры в Киев».

Между тем во всей Украине развивалось с необыкновенной быстротой движение, революционное в отношении гетманской власти, которую не хотел защищать никто, и бесформенное в своих политических контурах: УНС шел с молчаливого согласия Москвы и при дружественном нейтралитете германского командования за самостийность Украины — против гетмана; крестьянство поднималось за обещанную директорией «землю» — против помещиков и немцев; сельская беднота («незаможни») и городской пролетариат — против «буржуев» вообще, за советскую власть; деревня шла на город с целью поживы... Наряду с остатками гетманского «уряду» и органами, насаждавшимися петлюровскими атаманами, возникали поэтому повсеместно революционные комитеты и совдепы, а местами и новые формы самодовлеющих, ни от кого не зависимых анархических образований.

Винниченко объявлял декреты совершенно большевистского характера о социализации, национализации, изъятии буржуйских ценностей; эти призывы находили отзывчивую почву в крае, еще не прошедшем всего круга большевистского опыта, и претворялись в жизнь погромами, пожарами, разбоями, убийствами. По-прежнему, как и в начале года, в движении, поднятом на Украине, решительно не было *национального* момента. Директория разжигала социальный пожар в целях своего утверждения, бессильная потом локализовать его в целях своего существования. Полубольшевизм директории не удовлетворял никого и естественно катился по инерции в сторону большевизации советов. Люди, наблюдавшие жизнь Украины того времени, все наши осведомители — в один голос, задолго до переворота, предвещали правлению директории участь краткого и бесславного этапа по пути к большевизму, и по общему признанию этот этап, наконец осуществившись, носил наиболее анархический характер всех девяти «режимов», сменившихся на Украине.

Тревога немецкой главной квартиры оказалась не напрасной: повсюду поднималась волна ненависти против немцев, с которой директория совладать не могла; петлюровские и крестьянские банды нападали на немецкие эшелоны, грабили, оскорбляли и обезоруживали их. Местами немцы оказывали сопротивление, и тогда происходили вынужденные кровавые столкновения.

Петлюровские атаманы не разделяли германофильства директории. Григорьев, например, говорил с германскими властями таким языком: «Объявляю вам именем командуемых мною рабочих войск, а также именем народа, восставшего против буржуазии, что вы не демократы, а предатели России. Если в течение четырех дней вы не покинете Николаева и Долинской, то ни один из вас не увидит своей родины: при первом же движении вы будете уничтожены бесследно, как мухи»[1].

Стремясь стихийно домой и желая обеспечить себе свободный путь, немцы, по частной инициативе местных комитетов или сохранивших авторитет военных начальников, помогали и вооружали то одну, то другую сторону. Так,

[1] 7, 9, 14, 20 ноября.

[2] Сообщение это, в связи с § 2 имевшее по смыслу условное временное значение, в официальном гетманском органе «Видродженя» от 7 ноября было передано как окончательное признание Согласием «Украинской державы», которая войдет в федеративную связь с Россией.

[1] Телеграмма 18 декабря совету солдатских депутатов г. Николаева и начальнику 15-й ландверной дивизии.

в Харькове они допустили занятие города Болбочаном, а к концу ноября заставили его отряды очистить город и вооружили организацию Добровольческого центра; в Бердичеве они вооружали повстанцев; в Полтаве они не позволили гетманским частям прервать путь двигавшимся из Харькова повстанцам, но через несколько дней разоружили овладевшие уже городом петлюровские банды «незаможнего селянства», принявшие явно большевистский характер и угрожавшие их безопасности. Солдатские комитеты продавали оружие и петлюровцам, и большевикам, и гетманцам, и добровольцам. Солдаты зачастую отказывали в повиновении начальникам, бросали фронт и охрану железной дороги и уходили самовольно в ближайшие центры.

Немецких начальников многие обвиняли в маккиавелизме и предательстве, но обвинение это было нередко несправедливым: поведение немецких войск обусловливалось, кроме политики, развалом и стихийной тягой на родину.

Российское офицерство было сбито с толку, рассеяно, неорганизованно. Кое-где были отдельные, иногда доблестные, попытки сопротивления, лишенные, однако, общей идеи и растворившиеся бессильно в картине общего хаоса. Так, в Харькове, например, в течение одной недели произведено было три мобилизации: гетманская, петлюровская и добровольческая... В Полтаве перед приближением отрядов Болбочана состоялся многолюдный офицерский митинг, на котором громадное большинство участников на призыв гетманского военного начальства ответили, что «готовы сражаться исключительно с большевиками, и только в Полтаве, а против Болбочана не пойдут». Несомненно, наряду с «идеологией» во всех таких выступлениях немалую роль играло и «шкурничество».

Украинский хаос как нельзя лучше характеризуется положением злосчастного Екатеринослава, о котором сводка к середине ноября сообщала: «Город разделен на пять районов. В верхней части укрепились добровольческие дружины; в районе городской думы — еврейская самооборона; далее кольцом охватывают немцы; добровольцев, самооборону и немцев окружают петлюровцы, и наконец весь город — в кольце большевиков и махновцев».

С самого начала на всем движении Винниченко—Петлюры легла печать анархии, которая не оставляла его до окончательного крушения.

* * *

Петлюровско-немецкое соглашение не нарушалось до конца ноября, давая Киеву некоторую передышку и возможность собраться с силами.

Одновременно с обнародованием последнего акта гетман, порвав окончательно с украинскими национальными кругами, искал естественной опоры в русских организациях. На его попытки в этом отношении откликнулись «Протофис», «хлеборобы» и «монархический блок». «Совет государственной обороны» не хотел, по-видимому, связывать себя с режимом, уже обреченным, хотя устами Кривошеина доказывал, что «Скоропадскому можно все простить, даже оставить ему пожизненное гетманство, если он в дальнейшем будет служить верой и правдой единой России». На соединенном заседании бюро Московского («Всероссийского») и Киевского национальных центров, при участии представителей добровольческих организаций, 1 ноября под председательством профессора Новгородцева было решено единогласно, что какие-либо сношения с «изменником гетманом» недопустимы и аморальны. Еще непримиримее, как мы знаем, была позиция «Союза возрождения», не оставлявшего мысли о вооруженном перевороте, и стоящих левее его организаций.

И гетман сделал надлежащие выводы: последний месяц его правления прошел под исключительным и полным влиянием блока крайних правых, разделяемым до известной степени с переменившим ориентацию министром внутренних дел Игорем Кистяковским.

Под влиянием «монархического блока» 5 ноября была опубликована «грамота» гетмана:

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств общее командование всеми вооруженными силами, действующими на территории Украины, я вручаю генералу от кавалерии графу Келлеру на правах главнокомандующего армиями фронта, с предоставлением ему сверх того прав, определенных ст. 28

Положения о полевом управлении войск в военное время[1]. Всю территорию Украины объявляю театром военных действий, а потому все гражданские власти Украины подчиняются генералу графу Келлеру».

Этим актом устранялось неудобство непосредственного подчинения «украинскому гетману» российских дружин, и вместе с тем последние косвенно выходили из распоряжения добровольческого командования. Имя графа Келлера должно было привлечь новые контингенты монархического офицерства, а флаг Добровольческой армии, который был весьма неприятен и гетману и правому блоку, но сохранялся ими неукоснительно, должен был примирять с фактом засилья правых умеренную часть общественности и офицерства.

Но граф Келлер понял свое назначение как скрытую капитуляцию гетмана и передачу ему диктатуры — «всей полноты военной и гражданской власти на Украине»[2]. Сообразно с этим он образовал при себе «Совет обороны», по составу своему являвшийся бюро Монархического блока с Безаком во главе; начальником своей канцелярии назначил генерала Спиридовича.

Столь явный переход власти к «правым большевикам», как называла «Азбука» деятелей «Протофиса» и монархического блока, еще более возбудил против гетмана и украинского правительства прогрессивную и демократическую общественность.

В высокой степени достойный и храбрый генерал, граф Келлер как политический деятель был прямо опасен своими крайними убеждениями, вспыльчивостью и элементарной прямолинейностью. Уже на третий день по пришествии к власти он написал приказ — призыв о восстановлении монархии, от распространения которого его, однако, удержал «блок», считавший такое обращение к пылающей Украине преждевременным. Первые же шаги диктатора и «Совета обороны» привели в большое беспокойство украинское правительство. И 13 ноября к графу Келлеру по поручению правительства явились министры Афанасьев и Рейнбот и заявили ему, что он неправильно понимает существо своей власти: ему не может быть подчинена власть законодательная, какою до созыва Державного сейма является Совет министров; что граф Келлер в своих воззваниях говорит только об единой России, игнорируя вовсе украинскую державу, тогда как правительство «стремится к созданию Украинского федеративного государства и от этой своей программы для воссоздания целой и неделимой России отказаться не может»[1]. Граф Келлер предъявил ультимативное требование полноты власти и в тот же день получил гетманский приказ о своей отставке и о назначении его заместителем генерала князя Долгорукова. В своем прощальном приказе Келлер объяснял свой уход двумя причинами: «1) Могу приложить свои силы и положить свою голову только для создания великой, нераздельной, единой России, а не за отделение от России федеративного государства; 2) считаю, что без единой власти в настоящее время, когда восстание разгорается во всех губерниях, установить спокойствие в стране невозможно»[2].

[1] Статья эта предусматривает известное подчинение местных органов исполнительной власти главнокомандующему на театре войны.

[2] Телеграмма его мне от 5 ноября, № 1.

И хотя по существу ничего не изменилось, так как у кормила власти остался тот же блок, возглавленный князем Долгоруковым — председателем военной монархической партии и товарищем председателя «блока», — но политическая неразбериха усилилась еще более: граф Келлер ушел потому, что не хотел бороться «за отделение от России федеративного государства». А новое командование?..

* * *

Ввиду быстрого распространения анархии на Украине и изолированного положения Киева прямое сообщение с ним Екатеринодара было нерегулярно, а с 11 ноября прервалось вовсе; и мой штаб получал кружными путями только отрывочные и случайные осведомления о происходящих там событиях. Взаимоотношения моего представителя генерала Ломновского — номинального начальника добровольческих дружин — с гетманскими властями были весьма неопреде-

[1] Из приказа графа Келлера от 14 ноября.

[2] Там же.

ленными. Как я уже говорил, граф Келлер в качестве «главнокомандующего Северной псковской армией» 2 ноября признал свое подчинение добровольческому командованию. Став через три дня «главнокомандующим войсками Украины», он дал неопределенное объяснение Ломновскому: «По вопросу об установлении общего фронта и единого командования он держится своего прежнего взгляда. Однако Украина столь тесно связана с Доном и столь зависит от него, что единое командование возможно только включая и Дон». По плану, одобренному гетманом и Келлером, предполагалось приступить к формированию особой «Юго-Западной армии» без фактического участия Ломновского, для чего просили все же «флаг Добровольческой армии». Ломновский категорически отказал[1].

Тем не менее взаимоотношения его с Келлером не нарушались. Генерал Ломновский, имея от меня общее указание предоставить добровольческие отряды в оперативном отношении высшей украинской военной власти в интересах борьбы и спасения Малороссии от большевизма, исполнял эту директиву с большой выдержкой, тактом и иногда с самопожертвованием. Эта позиция Ломновского подвергалась суровому осуждению Киевского национального центра, который считал, что при сложившихся обстоятельствах человек, обладающий большей волей, дерзанием и авторитетом, мог бы не допустить экспериментов гетмана и взять у него падающую власть и все руководство обороной. На место Долгорукова и «монархического блока», по их мысли, должен был стать Ломновский и Киевский национальный центр. Центр явно преувеличивал свое значение и возможности, особенно приняв во внимание, что полное неприятие им гетмана ставило вопрос о власти в прямую зависимость от внутреннего переворота.

Новый главнокомандующий князь Долгоруков с первых же шагов проявил враждебное отношение к Добровольческому центру, стремясь устранить всякое вмешательство его в дело формирования вооруженной силы. Его усилия были направлены не по надлежащему адресу. Военный Киев действительно представлял собой крайне неприглядное зрелище: всевозможные штабы и бюро комплектования Южной, Северной, Астраханской армий, Особого корпуса, тайных и явных организаций политических партий пухли, разрастались, конкурировали и враждовали друг с другом, способствуя распылению сил и легальному дезертирству. Ненормальность этого положения была настолько очевидной, что в осуждении его объединились, казалось бы, совершенные антиподы: в первый раз во второй половине ноября явилась возможность устроить в Киеве ряд совещаний из представителей 1) Добровольческого центра; 2) Монархического блока[1]; 3) Совета государственной обороны[2]; 4) Национального центра[3] и 5) Союза возрождения России[4]. На этих заседаниях вопросу об упорядочении комплектования в одних руках предпослан был вопрос объединения командования всеми русскими вооруженными силами. Монархический блок и Совет государственной обороны высказались за главнокомандующего силами Украины, Национальный центр и Союз возрождения России — за главнокомандующего Добровольческой армией. Соглашение не состоялось.

Генерал Долгоруков решил идти напролом. В ночь на 23 ноября он вызвал к себе генерала Ломновского и заявил ему:

— В дружинах Святополк-Мирского и Рубанова бунт. Там чуть ли не открыто говорят, что меня надо арестовать. Долг службы вынуждает меня арестовать вас. Я человек решительный.

Дальнейший ход этого дела так излагается генералом Ломновским[5]:

«Этот разговор происходил по пути в назначенную мне комнату, где я был арестован с приставлением часового.

Спустя час ко мне в комнату вошел Пиленко, по-видимому крайне расстроенный. Он стал говорить о своих патриотических чувствах и просил меня быть вполне откровенным. Я заверил его, что на откровенность мою он может

[1] Доклад генерала Ломновского по прямому проводу 11 ноября.

[1] Безак, Скаржинский и другие.

[2] Шлиппе, Хрипунов и другие.

[3] Демидов, Ефимовский и другие.

[4] Одинец.

[5] Рапорт от 24 ноября, № 182.

вполне положиться, но сказать я ничего не могу, так как решительно ничего не понимаю.

Тогда Пиленко стал говорить, что причиною всего — двойственное подчинение дружин, и во имя общего дела необходимо найти выход из создавшегося положения. Я объяснил Пиленко, что суть дела совершенно не в двойственном подчинении, так как дружины в оперативном отношении всецело подчиняются местному командованию... а исключительно в личностях.

Пиленко стал опять говорить о крайне тягостном положении Киева, что во имя общего русского дела необходимо найти все же выход, раз связь с генералом Деникиным прервана. На это я возразил, что теперь, с моим арестом, выход сам собою найден и для меня вопрос не в двойственном подчинении дружин, а в недопустимом, неслыханном факте ареста представителя главнокомандующего русской Добровольческой армии».

Между тем в дом князя Долгорукова прибыли приглашенные им общественные деятели — граф Гейден, князь Голицын, Масленников и генерал Шиллинг. Возмущенные случившимся, они потребовали от Долгорукова немедленного освобождения генерала Ломновского. На вопрос зашедшего к нему Шиллинга, как он думает поступить дальше, Ломновский ответил, что покинет Киев вместе с чинами своего штаба. На это Шиллинг сказал, что князь Долгоруков не видит препятствий к выезду. Но через некоторое время в комнату Ломновского вошли все перечисленные выше лица...

«Граф Гейден, очень взволнованный, обратился ко мне от имени общественных деятелей, умоляя меня, ради спасения в Киеве общего русского дела, в которое вложена громадная работа, не становиться в непримиримую позицию и согласиться аннулировать происшедшее; что отъезд представительства Добровольческой армии из Киева может повести к ужасным последствиям — к тому, что русские офицеры уйдут с занимаемых ими позиций и Киев вновь будет отдан во власть Петлюры и украинцев. Я ответил, что общее русское дело мне столь же дорого, как и им. Я отдаю себе совершенно

ясный отчет, к каким чреватым последствиям может повести выезд из Киева представительства Добровольческой армии, но не знаю, отдает ли себе ясный отчет князь Долгоруков, к каким последствиям может повести факт ареста представителя главнокомандующего и отъезд представительства.

На это граф Гейден сказал, что князь Долгоруков глубоко сожалеет о случившемся; что он погорячился, сказав, что не видит препятствий к выезду, и считает это совершенно невозможным».

После продолжительных переговоров генерал Ломновский заявил общественным деятелям:

«Ввиду крайне неустойчивого положения в Киеве и возможности перенесения гражданской войны внутрь города; ввиду того, что вопрос о недопущении повстанцев в город ставится чуть ли не всецело в зависимость от полного подчинения дружин, — я решил подчинить их во всех отношениях местному командованию, с тем, чтобы я был своевременно осведомляем о всех мероприятиях, касающихся этих дружин».

Все эти нелепые трения на верхах правления и командования становились немедленно достоянием широкой публики и производили глубоко деморализующее впечатление среди защитников Киева.

— Какова же, в сущности, идея борьбы?

Консул Энно чуть не ежедневно присылал телеграммы, что союзные войска идут, они уже близко, не сегодня-завтра будут в Киеве. Тогда положение ясно: продержаться несколько дней, а там вопрос разрешится союзниками и несомненно в пользу единой России. Стоявшие в совершенно непримиримой оппозиции к гетману «национальные центры» под влиянием смертельной опасности, угрожавшей Киеву, изменили несколько свою позицию: Всероссийский центр соглашался, что «до прихода русских и союзных сил — самое выгодное сохранить ту власть, которая пока существует, ибо всякий переворот явился бы новым условием для усиления большевистских настроений»; Киевский центр 7 ноября обратился к русским людям с призывом защищать порядок против банд Петлюры...

Но тот же Энно говорил о признании существующей власти гетмана. Добровольческое командование, отдавая дружины в распоряжение гетманского командования, как будто присоединялось к этому решению...

— Следовательно, защищать власть гетмана и украинской державы?

К тому же в первой телеграмме главнокомандующего Добровольческой армии к министру Афанасьеву говорилось о «борьбе с большевиками» и «невмешательстве во внутренние дела края». И хотя Ломновский пояснил, что обстановка с тех пор изменилась, что директория — это предтеча большевизма, но его понимали плохо:

— Следовательно, защищать гетмана от Петлюры?

В более радикальных кругах ставили вопрос в другой плоскости:

— Там — «вся власть советам»; здесь — «вся власть Протофису». Что лучше?

Эти и многие другие вопросы вызывали смуту в умах и приводили в уныние офицерство и учащуюся молодежь — почти единственный контингент защитников Киева. Да и мудрено было им разобраться в украинской проблеме, когда в среде со значительно большим политическим кругозором (например, в самом ядре Союза возрождения России) возникали такие недоуменные вопросы: «Кому помогать? Социальной реакции, воплощаемой Скоропадским и защищаемой немцами, или демократическому движению украинцев, идущих с максимализмом не только социальным, но и национальным, и открывающих дорогу максимализму настоящему (советскому)?»[1] В результате Союз выпустил воззвание против гетмана, требуя создания «демократической объединенной власти на Украине» и предостерегая от оказания помощи гетману.

Среди защитников Киева эти вопросы для одних были действительно вопросами совести и долга, для других (вероятно, большинства) — благовидным прикрытием своему оппортунизму или малодушию.

[1] *Станкевич.* «Воспоминания».

И в киевских казармах-общежитиях, и на позициях у Жулян царило подавленное унылое настроение. Люди жили в области фантастики и нервирующих слухов. Это настроение усугублялось еще потрясающим неустройством в организации, снабжении, довольствии, особенно на позициях. Там люди приходили к сознанию своей полной заброшенности и беспомощности.

• • •

Вопрос решили немцы.

30 ноября в Казатине между германским командованием и петлюровским штабом был заключен второй договор, в силу которого немцы обязались не препятствовать вступлению в Киев войск «Украинской народной республики». Взамен этого им была обещана «взаимная дружественная работа», содействие их эвакуации, в частности 10 транспортных поездов по трем направлениям — через Пинск, Сарны и Казатин.

Удельный вес директории после многих месяцев сотрудничества был хорошо известен немцам. Но этот исход обещал облегчить трудное положение немецких оккупационных войск и вместе с тем создать большие затруднения державам Согласия.

Когда немецкие батальоны, прикрывавшие Киев, прошли сквозь расположение киевских дружин, все поняли, что наступил конец.

По инициативе Национального Центра общественные организации, считая дело проигранным, обратились к председателю правительства Гербелю с предложением «поднять открыто над защитниками Киева флаг Добровольческой армии», передать командование генералу Ломновскому и разработать тотчас же вопрос об отходе из Киева добровольческих дружин. Гербель ответил, что у него «все готово», что «директория пойдет, вероятно, на условие разрешить выезд всего правительства, всех желающих и добровольческих частей на Дон»...

— У меня все готово; не мешайте только довести дело до благополучного конца[1].

[1] Из доклада Московского Национального Центра от 3 декабря.

Течение событий не соответствовало официальному оптимизму.

1 декабря галицийские сечевики Коновальца сбили киевские дружины и в тот же день к вечеру вошли в город.

Гетман 1 декабря подписал акт отречения и скрылся в Германию.

Правительство рассеялось[1].

Князь Долгоруков сдал войска на капитуляцию без всяких условий и отбыл в Одессу.

Трагически пал на улицах Киева генерал граф Келлер, заколотый петлюровскими солдатами.

Дружинники рассеялись по городу, и значительная часть их (более тысячи) засела в здании педагогического музея под охраной германских караулов. Благодаря заступничеству киевских организаций, консулов, телеграммам Энно в директорию и моим для главнокомандующих союзными армиями, правительство Винниченко приняло меры к освобождению части интернированных и к выезду остальных в Германию.

Поезда, следовавшие на юг, увозили цвет российской эмиграции и политических партий в новый, третий по счету этап, предназначенный им судьбою, — в Одессу.

Вся Украина была объята анархией.

ГЛАВА XXII

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИКТАТУРА. ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ: СОСТАВ И ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ

На Юге России, на территории, освобождаемой Добровольческой армией, без какой-либо прокламации, самим ходом событий установилась *диктатура* в лице главнокомандующего.

Основною целью ее было свергнуть большевиков, восстановить основы государственности и социального мира,

[1] В Киеве остался председатель Гербель и министр юстиции Рейнбот, которых директория три месяца держала в тюрьме, предъявив им обвинение в «покушении на ниспровержение существующего строя».

чтобы создать тем необходимые условия для строительства земли соборной волею народа. Жизнь стихийным напором выбивала нас из этого русла, требуя немедленного разрешения таких коренных государственных вопросов, как национальный, аграрный и другие, окончательное разрешение которых я считал выходящим за пределы нашей компетенции. Худо ли, хорошо ли и что целесообразнее — это вопрос другой; но диктатуре *национальной*, к осуществлению которой стремились на Юге, свойственны иные задачи и иные методы, чем диктатуре *бонапартистской*.

«Непредрешение» и «уклонение» от декларирования принципов будущего государственного устройства, которые до сих пор вызывают столько споров, были не «теоретическими измышлениями», не «маской», а требованием жизни. Вопрос этот чрезвычайно прост, если подойти к нему без предвзятости: все три политические группировки противобольшевистского фронта — правые, либералы и умеренные социалисты — порознь были слишком слабы, чтобы нести бремя борьбы на своих плечах. «Непредрешение» давало им возможность сохранять плохой мир и идти одной дорогой, хотя и вперебой, подозрительно оглядываясь друг на друга, враждуя и тая в сердце — одни республику, другие монархию; одни — Учредительное собрание, другие — Земский собор, третьи — «законопреемственность».

Неужели спасение России не стоило того, чтобы на время отложить эти споры?

Что касается лично меня, то такая постановка вопроса нисколько не смущала мою совесть и была вполне искренна уже потому, что я решал твердо и говорил не раз: за формы правления я вести борьбу не буду.

Личный элемент в вопросе о диктатуре — тема для меня вообще слишком деликатная. Я коснусь только одной ее стороны.

В конце 1918 и в начале 1919 годов на роль диктатора и Верховного главнокомандующего выдвигался, как известно, определенными кругами, преимущественно правыми, Великий князь Николай Николаевич. Живя в Крыму, в Дюльбере, он оставался центром внимания этих кругов, из которых к нему обращались не раз, первона-

чально — с просьбой о возглавлении армий Украинской, Южной и Астраханской[1]. Все эти предложения Великий князь отвергал, справедливо видя в этом явную авантюру. Другие группы правых, в том числе «Государственное объединение», признавая в принципе верховное возглавление Великого князя весьма желательным, считали выступление его тогда на политическую арену несвоевременным и в местном масштабе несоответствующим. Его авторитет прибе-регался ими до того момента, когда все четыре фронта — Колчака, Деникина, Юденича и Миллера — приблизятся к Москве... Оттого подчинение мое адмиралу Колчаку в конце мая 1919 года, укреплявшее позицию всероссийского масштаба, занятую Верховным правителем, встречено было правыми кругами несочувственно. Что касается прочих политических групп, левее стоящих, там к возглавлению движения Великим князем относились отрицательно.

Я лично в непосредственных сношениях с великим князем не состоял. В Дюльбере его посетил официально генерал Лукомский и встретил там весьма радушный прием. Вообще Великий князь держал себя в отношении южной власти с величайшим тактом, стремясь не давать ни малейшего повода к каким-либо политическим осложнениям.

Весною 1919 года, когда обозначилась прямая угроза Крыму со стороны наступавших с севера большевиков, местопребывание там императорской семьи сделалось невозможным, о чем мною было сообщено в Крым. Незадолго до отступления наших войск к Акманаю все лица императорского дома на английском военном судне выехали за границу. Великий князь Николай Николаевич поселился в С. Маргарите в Италии. Вскоре после вторичного овладения нами Крыма до моего сведения дошло, что он томится на чужбине и сожалеет, что не может жить в России. По моему поручению генерал Лукомский 7 июля сообщил Великому князю, что в данное время для него представляется полная возможность безопасного пребывания на Южном берегу Крыма. В начале сентября был получен ответ, что Великий князь «отказывает себе в счастье вернуться на Родину, так как приезд его в Россию неминуемо повлечет за собой всевозможные толки о выступлении его как политического деятеля, чем еще больше осложнится общее положение дел». Впрочем, им не исключалась возможность жить в Крыму «частным лицом на общих основаниях по водворении полного порядка». Но въезд в Россию был обусловлен «совместным решением этого вопроса адмиралом Колчаком, генералом Деникиным и союзниками». Мы получили ответ этот в октябре, когда на Южном фронте назревала опасность, а на Восточном уже созрела, и вопрос о переезде затих.

[1] «Монархический блок», «Союз Наша Родина», гетман (накануне падения) и другие.

Прочие лица императорской фамилии[1], находившиеся на Юге, в политической жизни никакого участия не принимали. Великий князь Андрей Владимирович обращался ко мне в ноябре 1910 года, выражая желание «вступить в ряды войск, борющихся за освобождение России». Я вынужден был ответить, что «политическая обстановка в данное время препятствует осуществлению его патриотического желания». На службе состоял только герцог Лейхтенбергский (младший) в Черноморском флоте, в чине капитана Іьранга; был дружен со Слащевым, который хотел использовать его для своих особых целей, до военного переворота включительно. Но безуспешно.

* * *

Особое совещание функционировало первоначально применительно к утвержденному 18 августа генералом Алексеевым положению и проекту нашей «конституции», выработанной для установления взаимоотношений с казачьими войсками. Жизнь раздвигала эти узкие рамки, облекая Особое совещание всеми функциями власти исполнительной и законодательной. Только 2 февраля 1919 года было утверждено и опубликовано «Положение об Особом совещании при Главнокомандующем ВСЮР», в основу которого положено, в

[1] Вдовствующая императрица жила в Крыму до первой эвакуации его. Великие князья Борис и Андрей Владимировичи, вырученные полковником Шкуро из Кисловодска, и мать их — Великая княгиня Мария Павловна — жили в Анапе. Великая княгиня Ольга Александровна жила также на Кубани в одной из станиц.

известной степени, совмещение круга деятельности Совета министров и старого Государственного совета[1].

Ни этим положением, ни каким-либо другим государственным актом не определялось существо власти Главнокомандующего, и только косвенно неограниченность ее вытекала из сопоставления отдельных статей законоположений. Точно так же не предусматривался в законодательном порядке вопрос преемства власти — ни гласно, ни тайно. Только осенью 1919 года, под влиянием постоянных настойчивых сведений о готовящихся покушениях на мою жизнь, я счел себя обязанным указать своего преемника. Я составил «завещание-приказ» Вооруженным силам Юга о назначении главнокомандующим моего начальника штаба генерал-лейтенанта Романовского. Этим актом я готовил ему тяжкую долю. Но его я считал прямым продолжателем моего дела и верил, что армия (хотя в среде ее и было предвзятое, местами даже враждебное отношение к Романовскому) послушается последнего приказа своего главнокомандующего. А признание армии — всё. Приказ этот в запечатанном конверте лежал в моем несгораемом шкафу, и о существовании его знали, кроме меня, только два человека: сам И. П. Романовский и генерал-квартирмейстер Плющевский-Плющик. Когда я сказал им об этом обстоятельстве, Романовский не проронил ни слова, и только на лице его появилась скорбная улыбка. Словно подумал: «Кто знает, кому уходить первым».

[1] Важнейшие статьи «Положения»:

1. При главнокомандующем, для содействия в делах законодательных и административных, состоят Особое совещание и нижеследующие ведомства (перечень их ниже).

3. В области управления подчиненного начальники управлений, управляющие отделами законов и пропаганды пользуются правами министров, применительно к учреждениям министерств (свод Законов, т. I, ч. 2, изд. 1892 г.).

9. В области законодательства и Верховного управления Особое совещание является совещательным органом при главнокомандующем.

10. На обсуждение Особого совещания поступают: 1) все законодательные предположения, за исключением касающихся тех предметов, кои предусматриваются статьями 96 и 97 Основных законов; 2) все правительственные мероприятия общего государственного значения; 3) все предположения о замещении высших гражданских должностей центрального и местного управления, за исключением должностей начальников управлений...

Дела, подлежащие рассмотрению Особого совещания, вносятся в оное главнокомандующим, председателем Особого совещания, начальниками управлений...

На внесение в Особое совещание законодательных предположений начальники управлений... испрашивают предварительно разрешение главнокомандующего.

11. Постановления Особого совещания представляются председателем его на утверждение главнокомандующему.

В состав Особого совещания входили еще по должности: 1) начальник штаба главнокомандующего; 2) главный начальник снабжения; 3) главный начальник военных сообщений. Кроме того — без портфеля — несколько государственных и общественных деятелей.

Для разгрузки от маловажных дел было образовано малое присутствие, состоявшее из помощников начальников ведомств.

Я вполне уверен, что оба они сохранили тайну. Но некоторые изощренные умы проникали интуитивно за ее покровы. Так, когда в конце октября был отдан приказ о назначении на должность одного из двух «помощников главнокомандующего» генерала Романовского, неофициальная контрразведка отдела пропаганды, установившая тайное наблюдение за главнокомандующим[1], требовала от своего агента в Таганроге «разведать и быть все время au courant: как относятся к назначению генерала Романовского и как расценивается этот шаг в политическом отношения в кругах Ставки? Значит ли это, что генерал Романовский будет заместителем Главкома?»

Слух пошел, и борьба, проводимая против Романовского, усилилась.

* * *

Совмещение законодательных[2] и правительственных функций в лице Ообого совещания, напоминавшее до извест-

[1] Выяснилось впоследствии. Об этом позже.

[2] По существу Особое совещание было органом законосовещательным.

ной степени конструкцию Временного правительства, отвечая духу чистой диктатуры, имело и свои большие неудобства. Помимо естественного переплетения *закона* и *правительственного распоряжения* — переплетения, ослаблявшего силу и устойчивость закона, это совмещение заключало всю законодательную работу в четырех стенах Совещания, ослабляя связи ее с общественностью, заменяя трибуну «Освагом» и лишая Совещание должного авторитета. Зачастую необходимость мероприятия и причины, его вызвавшие, оставались неясными для массы, вызывая беспричинную подозрительность, искажая его смысл и цели. Даже меры, уже принятые и осуществляемые, ввиду технических затруднений не скоро становились известными в стране. Та политическая борьба, которая свойственна парламенту и которая велась среди политических организаций Юга, невольно врывалась сквозь стены Особого совещания вместе с прениями по законодательству, претворяясь там в борьбу внутреннюю и поселяя рознь. А эту рознь в преувеличенном и извращенном виде разносила стоустая молва, возбуждая глухое недовольство в обществе и в армии. Наконец, работа законодательная и административная — в общих и частных заседаниях Совещания, в бесчисленных комиссиях и в ведомственных управлениях — была непосильна для членов Совещания. Она утомляла их и терзала нервы, приковывала к месту нахождения правительства и отрывала от действительной жизни в крае, от непосредственной осведомленности в делах подчиненных органов.

Чтобы услышать «глас народа», приходилось не раз важнейшие законодательные предположения давать в печать раньше утверждения их. Насущная потребность связи со страной чувствовалась многими и вызывала в свое время различные предложения[1]. Я говорил уже о первой негласной попытке Родзянко, еще в мае 1918 года, воскресить 4-ю Государственную Думу с присоединением к ней трех предшествовавших составов. В ноябре того же года он выступил уже гласно с призывом «к русским людям» создать «Национальный совет» в составе всех четырех Дум, Всероссийского церковного собора и Совета республики при Временном правительстве как «носящих символ законно избранных государственных учреждений». В качестве Национального собрания предлагал свою организацию в конце октября 1918 года Совет государственного объединения... Было и вовсе странное для настроений Юга стремление «Юго-Восточного комитета членов Учредительного собрания» под главенством Шрейдера провести в качестве верховной власти и вместе с тем законодательного органа уфимский «Комуч» (конец октября 1918 года).

Все эти комбинации были совершенно искусственны или носили узко политический характер, не могли иметь почвы и авторитета в стране и не отражали бы ее мнения. Вместе с тем принятие какой-либо из них еще более затрудняло бы возможность нашего объединения с казачьими областями, на которое еще не была потеряна надежда.

Идея создания особого законосовещательного учреждения имела своих последователей и в Особом совещании. Так, Н. И. Астров в марте 1910 года сделал заявление об образовании Совета из представителей местных самоуправлений; управляющий отделом законов К. Н. Соколов в мае представил мне записку об учреждении такого же органа, но «из лиц по назначению главнокомандующего», причем Особому совещанию в обоих случаях оставлялись бы функции Совета министров.

---

[1] Любопытна историческая справка, данная профессором Новгородцевым: «В апреле 1612 года по прибытии в Ярославль князь Пожарский и всех чинов люди, с ним бывшие, отправили грамоты по городам, прося прислать ополченцев и средства для казны, а также «изо всяких чинов людей человека по два, по три» для «земского совета». В грамотах выражалась просьба, чтобы города высказали мнение, как бы в такое трудное время не остаться безгосударными, как стоять против врагов русской земли, как ссылаться без царя с иностранными государями и как устраивать впредь государственный порядок.

Согласно исследованиям профессора Платонова, такой «земский совет» или «земский собор» действительно состоялся в Ярославле, и земские люди принимали участие в делах государственных как по внешней, так и по внутренней политике».

Разделяя взгляд на необходимость представительного законосовещательного органа, я предполагал создать его из выборных представителей казачьих областей, горских округов и освобожденных от большевиков губерний; состав его предполагалось дополнить членами по назначению из числа людей науки и практики, включая широко и видных представителей таких демократических учреждений, как кооперативы, профессиональные союзы и т.д. Но до лета 1919 года казачьи области не шли на государственное объединение. Земское положение, могущее дать базу для выборов, все еще вырабатывалось, возбуждая бесконечные споры. Территория, подчиненная командованию, была невелика и могла бы дать представительный орган интеллектуально не выше губернского земского собрания... Когда же с июня наши пределы расширились до Днестра, Десны и Волги и, с другой стороны, когда «конференция Южнорусского союза»[1] выходила как будто на путь соглашения, в духе моих предположений был выработан комиссией проект «Высшего совета», созыв которого зависел только от срока окончания конференции. А она затягивалась безнадежно. Я хотел было назначить созыв, не дожидаясь соглашения с казаками; посоветовался с Особым совещанием, которое отнеслось к этому предположению отрицательно.

Конференция спорила о духе, о форме, о словах. Главным образом саботировали ее кубанские делегаты во главе с И. Макаренко — до тех пор, пока армии не покатились от Орла к Дону и далее к Кубани, когда весь вопрос потерял свое значение.

Что дал бы нам «Высший совет» в области устроения страны, неведомо. Считая и ныне образование его для того времени психологически и политически необходимым, я, однако, не уверен, что он не прибавил бы только лишнее звено в той цепи соборных опытов, которая началась «Демократическим совещанием» и «Советом республики»... Тем

---

[1] В составе представителей командования, Дона, Кубани и Терека. Об история попыток создания Южно-русского союза я писал ранее.

более что три главнейших течения общественной мысли, представленные на Юге Советом государственных объединений, Национальным центром и Союзом возрождения России[1], невзирая на усилия многих своих членов, не находили обыкновенно ни общего языка, ни общего пути[2].

Особое совещание никогда не пользовалось расположением русской общественности и навлекало на себя суровую критику и тогда, и теперь. При этом оно находилось всегда под двойным обстрелом по обвинению, с одной стороны, в «черносотенстве», с другой — в «кадетизме». Формулы одинаково сакраментальные и «вины» одинаково непростительные в глазах разных политических группировок. Преж-

---

[1] Общество «Государственного объединения России» возникло в Екатеринодаре в марте 1919 года. Председателем совета его был вначале Н. Н. Львов, потом Кривошеин. Общество явилось как бы областным отделом образовавшегося в Киеве «Всероссийского». Все члены «Всероссийского совета государственного объединения» во время своего пребывания в Екатеринодаре входили в состав местного Совета.

«Всероссийский Национальный Центр» из Москвы перенес свою деятельность в Киев, а в начале 1919 года — в Екатеринодар. Во главе его стоял М. М. Федоров.

«Союз возрождения России» переходил последовательно из Москвы в Киев, Одессу и Екатеринодар. После Одессы в первое время организация эта расстроилась, представляя лишь немногочисленное общество отдельных видных членов Союза — Мякотина, Титова, Руднева, Пешехонова и других.

[2] Для характеристики политических групп Национальный Центр и Совет государственных объединений прислали мне списки лиц, желательных для назначения в Высший совет. В список Национального Центра кроме деятелей, примыкавших к нему, были включены представители торгово-промышленных групп и Союза возрождения России. Вообще в списке преобладали: общественно — третий элемент, политически — кадеты и умеренные социалисты.

В списке Государственного объединения были исключительно государственные и общественные деятели правого направления. В *обоих* списках фигурировали имена Н. Н. Львова, П. Б. Струве и В. В. Шульгина.

де всего было бы справедливым разложить историческую ответственность Особого совещания. Давая в свое время определенные указания по кардинальным вопросам законодательства и управления и утверждая все законоположения, прежде всего разделяю эту ответственность в полной мере я. Во-вторых, невзирая на отсутствие парламентаризма, общественное начало было далеко не чуждо Особому совещанию: все важнейшие законоположения, прежде чем попасть на рассмотрение Совещания, вынашивались в недрах двух основных политических организаций и в группе кадетской партии, по существу, впрочем, растворившейся в Национальном Центре. Их мнения преломлялись в прениях Совещания, в котором участвовали и видные представители организаций. Только Союз возрождения не имел там своего голоса, хотя косвенно принимал известное участие в обсуждении дел путем редких, правда, собеседований со мной и личных отношений с руководителями Национального Центра. И если в общем направлении политики Юга — в той *средней линии*, равнодействующей политических течений, к которой стремился я и которую в конце концов с уклоном вправо проводило Особое совещание, — организованная общественность не повинна, то во многих важных мероприятиях и ответственных назначениях есть немалая доля ее участия. Теперь, после всяческих переоценок и превращений, соблюдается часто библейский обряд умовения рук и прошлое как-то забывается...

Личный состав Особого совещания[1] слагался по признакам деловым, а не политическим, поскольку это зависело от меня. По условиям своей жизни и военной службы, главным

образом на окраинах, я имел ранее очень мало соприкосновения с миром государственных, политических и общественных деятелей и поэтому испытывал большое затруднение в выборе людей на высшие посты управления. Вначале мною практиковалась такого рода проверка: когда предлагали кандидатуру «справа», я наводил справки «слева», и наоборот. Потом этот порядок оформился, и все предложения о замещении своего состава и высших постов были возложены мною на Особое совещание, председатель которого представлял мне результаты выбора. Иногда мнения разделялись, и мне предлагали двух кандидатов. Я останавливал свой выбор на том, который казался мне выше по своему удельному весу, а ближайшие отчеты политических организаций комментировали этот факт (одни с удовлетворением, другие с неудовольствием) как результат влияния одной из

---

[1] К июлю 1919 года состав Особого совещания был следующий:

1. Председатель — генерал А. М. Драгомиров (беспартийный, правый).

2. Начальник военного управления — генерал Лукомский (беспартийный, правый).

3. Начальник морского управления — вице-адмирал Герасимов (беспартийный, правый).

4. Начальник штаба — генерал Романовский (беспартийный, либерал).

5. Главный начальник снабжения — генерал Санников (беспартийный, правый).

6. Главный начальник военных сообщений — генерал Тихменев (правый, член Совета государственного объединения).

7. Исправляющий должность начальника управления иностранных дел — А. А. Нератов (правый, член Совета государственного объединения).

8. Начальник управления внутренних дел — Н. Н. Чебышев (правый, член Национального Центра, впоследствии перешел в Совет государственного объединения).

9. Начальник управления юстиции — В. Н. Челищев (либерал, член Национального Центра).

10. » » земледелия — В. Н. Колокольцов (правый).

11. » » финансов — М. В. Бернацкий (беспартийный, бывший радикальный демократ).

12. » » торговли и промышленности — В. А. Лебедев (беспартийный).

13. » » продовольствия — С. Н. Маслов (правый, октябрист).

14. » » путей сообщения — Э. П. Шуберский (беспартийный, член Национального Центра).

15. » » народного просвещения, исполняющий должность — И. И. Малинин (либерал, член Национального Центра).

16. » » исповедания (назначен позже) — князь Г. Н. Трубецкой (правый, член Совета государственного объединения).

групп и «перемены правительственного курса». Существовало, однако, и ограничение круга лиц, допускаемых в состав Совещания и на высшие должности, — оно относилось к крайним правым и ко всем социалистам. Я считал, что эти фланги могут быть в Совете, но не в правительстве. Этот взгляд разделяло и Особое совещание. Впрочем, некоторые члены Совещания предлагали мне включить в состав его без портфелей, для создания известного декорума, «безобидных социалистов». Я считал, что этот шаг не поможет делу, не прибавит популярности Совещанию в левых кругах, а в правых вызовет только озлобление. Решение это находилось в полном соответствии с позицей социалистов: центральные комитеты социал-демократов и социал-революционеров объявили Добровольческую армию силой враждебной, а эсеры готовили даже террористические акты против вождей белого движения. Что касается самой умеренной организации — Союза

17. Государственный контролер — В. А. Степанов (кадет, член Национального Центра).

18. Управляющий отделом законности и пропаганды — К. Н. Соколов (кадет, член Национального Центра).

19. Управляющий делами Особого совещания — О. В. Безобразов (беспартийный, правый).

20. Член Особого совещания без портфеля — Н. И. Астров (кадет, член Национального Центра).

21. » » » » » — М. М. Федоров (кадет, председатель Национального Центра).

22. » » » » » — И. П. Шипов (правый).

23. » » » » » — Д. И. Никифоров (правый).

24. » » » » » — Н. В. Савич (октябрист, член Совета государственного объединения).

К этому времени вышел из состава член Особого совещания В. В. Шульгин. Генерала Савинкова сменил позже генерал Картаци; Чебышева — В. П. Носович, Колокольцова — А. Д. Билимович, Лебедева — А. И. Фенин, Шуберского — В. П. Юрченко.

В работах Особого совещания принимал участие П. И. Новгородцев, по причинам личного свойства не включенный официально в его состав, бывавший в нем редко и работавший главным образом в Национальном Центре и кадетской группе.

возрождения, то и он оставался непримиримым в отношении военной диктатуры и в силу этого обстоятельства весною 1919 года признал невозможным вхождение своих членов даже в состав Национального Центра.

Особое совещание по своему общему облику делилось на три группы: 1) беспартийную, но определенно правую группу генералов[1]; 2) политических деятелей правого направления; 3) либеральную группу в составе четырех кадетов и примыкавших к ним Бернацкого, Челищева, Малинина, Носовича, отчасти и генерала Романовского[2]. Существовали различные оттенки в умонастроениях членов каждой из этих групп. При решении различных вопросов указанные рамки то раздвигались, то суживались, но общее течение политической жизни Особого совещания вылилось ярко в два русла — *правое и либеральное*. Если первое («большинство») представляло собой довольно однородное целое, связанное общностью мировоззрения и психологии, то во втором (меньшинстве), наоборот, даже небольшая кадетская группа не отличалась обычным до того времени единством. Довольно распространенная версия справа о «кадетском засилии» лишена основания. «У нас не было ни лидера[3], — говорит один из кадетов, — ни центрального комитета. Внутренняя спайка под давлением событий стала слабеть. Намечались различные течения, которые смущали и разойтись по которым мы не хотели. Партийная дисциплина при бывших условиях, конечно не могла существовать. У нас состоялось соглашение о том, что в Особом совещании мы не можем быть связаны мнением маленькой группы кадетов, собравшейся в Екатеринодаре. Отдельные члены партии в Особом совещании и других уч-

[1] Чтобы пояснить политический облик двух генералов, последовательно занимавших пост председателя Особого совещания — Драгомирова и Лукомского, можно указать, что до известной степени первый был близок по взглядам к В. В. Шульгину, а второй к А. В. Кривошеину.

[2] По условиям своей прямой должности в Особом совещании участвовал редко.

[3] Кадеты предлагали мне вызвать П. Н. Милюкова, но армейские настроения не допускали его участия в правительстве.

реждениях (например, в Донском круге) действовали на свой страх и риск, за счет своего понимания слагавшихся условий и собственной совести».

Как бы то ни было, в Особом совещании осуществилась та коалиция двух политических направлений, к созданию которой после октябрьских дней стремились многие, в том числе Милюков в киевский период его деятельности. Эта коалиция соответствовала как будто соотношению слагаемых элементов белого движения на Юге и, во всяком случае, представляла предельный уклон «влево», допускаемый настроением армии и близких ей кругов. Вне этой комбинации представлялись две возможности: *однородное правое* или *однородное либеральное* правительство. Первое было бы спокойно принято армией, но более недоброжелательно в стране, особенно в казачьих областях. Оно имело бы в своем распоряжении, вероятно, элементы волевые и признанное возглавление в лице Кривошеина. Но успех такого правительства и прочность его были весьма сомнительны, особенно принимая во внимание ту психологию и то игнорирование огромного социального сдвига, который проявляли *до крушения Юга* даже умеренно-правые круги. Создание правительства второго типа было просто неосуществимым — в силу настроения офицерства, того натиска из правых кругов, который подрывал бы его существование и которому мирный по своей природе русский либерализм противостоять не мог.

Я должен, однако, оговориться. Собственно офицерство политикой и классовой борьбой интересовалось мало. В основной массе своей в классовом отношении оно являлось элементом чисто служилым, типичным «интеллигентским пролетариатом». Но, связанное с прошлым русской истории крепкими военными традициями и представляя по природе своей элемент *охранительный*, оно легче поддавалось влиянию правых кругов и своего сохранившего авторитет, также по преимуществу правого, старшего командного состава. Немалую роль в этом сыграло и отношение к офицерству социалистических и либеральных кругов в наиболее трагические для офицеров дни 1917 года и особенно Корниловского выступления[1]. Эти влияния в известные моменты выводили из равновесия в общем аполитичное наше офицерство.

[1] Об этом я писал в предыдущей книге «Очерков».

Таковы предпосылки появления на свет «коалиции» и «средней линии» в политике Юга.

Политика эта потерпела крушение.

Помимо личных ошибок правительства и правителя, в этом печальном исходе ясно обозначилась одна из причин его: возможная для мирного строительства в условиях нормальной жизни страны, полезная без сомнения для организации противобольшевистского движения и расширения фронта его участников, *коалиция в качестве силы действенной, правящей оказалась трудно применимой в дни революции, в дни борьбы.*

Особое совещание, состоявшее из лиц, преданных Родине, но по-разному понимавших ее интересы, не могло работать с должным единодушием.

После крушения Вооруженных сил Юга один из правых членов Особого совещания поделился со мной своими мыслями о причинах неудачи, постигшей нашу политику, «своей критикой и самокритикой»:

«По составу Особое совещание делилось на два политических лагеря, в нем боролись два миросозерцания.

Эта борьба прежде всего влияла на подбор лиц, когда считались не только с технической подготовкой, но главным образом с политическим тяготением. Наружно для Вас все было прикрыто государственными лозунгами, большинство знало закулисную сторону. Обе стороны (совещания) не свободны от греха.

Политика, проводимая аппаратом, заключавшим элементы для внутреннего трения, могла быть только компромиссной. Каждая из составных частей Особого совещания при обсуждении любого законопроекта социального значения стремилась отстоять свое миросозерцание и, сознавая, что не в силах провести его целиком, пыталась убедить другую на известные уступки.

Наша политика была поэтому осторожна, но лишена творческого авантюризма, решительности и напора. Она казалась недостаточно демократичной одним и слишком

слабой против непомерных домогательств черни — другим. Она не удовлетворила ни одно из течений, боровшихся с оружием в руках.

Даже военная диктатура, для того чтобы быть сильной и устойчивой, нуждается в поддержке могущественного класса, притом активного, способного за себя постоять, бороться. Наша же средняя линия вызвала опасение одних классов, недоверие других и создала пустоту в смысле социальной опоры вокруг.

В результате диктатуре пролетариата и выпущенной из тюрьмы братии мы не смогли противопоставить диктатуры здорового и достаточно сильного класса, а масса была еще апатична, не подготовлена, чтобы активно с оружием в руках встать на защиту своих идеалов.

Правда, над всем доминировала идея диктатуры, которая теоретически должна давать общую линию поведения и направления. Но ясно, что Особое совещание могло эти указания усиливать или ослаблять при проведении в жизнь; мало того: оно могло влиять и влияло».

Действительно, «диктатура», проводя одни направляющие линии прямо и непреклонно, в других считалась с мнением Особого совещания, самоограничивая путем такой «внутренней» конституции свои неограниченные права. Постановления Совещания служили, во всяком случае в моих глазах, мерилом того, что можно было провести в жизнь без потрясений при тогдашних условиях и тогдашних исполнителях, причем необходимо заметить, что ни одно особое мнение либеральной группы не оставлялось без внимания. Впрочем, в постановлениях Особого совещания такие эпизоды официального протеста, заявляемого лишь частью группы, бывали не часто — обычно находился компромисс. Иногда либеральная группа доводила до моего сведения в частном порядке через начальника штаба[1] о спорных сторонах принятого уже Особым совещанием решения. Только несколько лет спустя я узнал о мотивах такой постановки вопроса, для меня совершенно неожиданных.

[1] Так как стены имели глаза и уши, то эти посещения становились достоянием молвы и в глазах известных кругов ставились в большую вину генералу Романовскому.

«Мы избегали навязываемого нам положения официальной оппозиции и, лояльно поддерживая диктатуру, не хотели разводить около нее внутреннюю распрю. Первоначально мы действительно практиковали прием подачи «особых мнений». Эти особые мнения оказались, однако, весьма опасными и возымели довольно неожиданные последствия. Часть их была поддержана главнокомандующим. В результате по всей правой линии вспыхнуло резкое раздражение. Положение оказалось опасным — не для нас, а для главнокомандующего. Разлетелись слухи о том, что главнокомандующий идет по указке кадетов, и в частности двух кадетов Особого совещания. До нас это злобное раздражение дошло в виде зловещих слухов о возможных покушениях на главнокомандующего... Мы решили прекратить систему особых мнений и прибегать к ним только в экстренных случаях, что и делалось».

Конструкция Особого совещания и соотношение в нем сил делали положение оппозиции весьма трудным.

«Развивать в нем большую работу, — пишет один из членов оппозиции, — в духе, не отвечающем правым устремлениям, было довольно праздным занятием... Были ли мы, однако, безучастны к этому явлению? Искали ли выход? Утверждаю, что выход искали, положением чрезвычайно тяготились...» Прежде всего «мы стремились внести некоторое равновесие в Особое совещание и усилить в нем гражданский элемент, усилить нашу группу в Совещании с целью выправления его, как говорилось, «правого крена». Помню, как после одного из заседаний, изведенный пререканиями по одному из очередных спорных вопросов и видя, что пререкания проистекают из исключающих друг друга политических жизнепониманий, я обратился к двум правым членам Совещания с заявлением: «Кончим же это бесцельное и вредное топтание на месте. Берите на себя ответственность, мы отойдем и не будем больше пререкаться. Нужно, чтобы дело двигалось. В застое его гибель. Нужно выбирать курс и действовать». Мои собеседники согла-

сились, что положение тягостно, но отвергли мысль о том, что мы должны разойтись. Становилось все яснее, что для правого большинства мы были нужны как некоторое прикрытие».

В конце концов автор письма пришел к решению: «Мы не можем повлиять на ход правой политики, которая все более укрепляется в Добровольческой армии. Это для меня ясно. Ставлю себе, однако, задачу хотя бы несколько смягчать неизбежные резкости в условиях военного окружения, военной диктатуры в пору гражданской войны. Знаю, что эта задача весьма неблагодарная. Но уходить из Добрармии не буду».

Коалиция была необходима, а элементы, ее составлявшие, были органически несродны. В этом был глубокий трагизм положения.

И, наконец, отметая первенство причин социального и политического характера в неудаче движения, третий весьма видный участник Особого совещания — правый, военный — говорит:

«Что касается того, какие течения преобладали в утвержденных главнокомандующим решениях Особого совещания — это вопрос спорный. Впрочем, это и несущественно. Дело не в правой или левой политике, а в том, что мы совершенно не справились с тылом».

Как бы то ни было, тяжелый воз правления шел в гору по ухабистой дороге и притом на тугих тормозах. Обе стороны винили в этом друг друга.

***

Программа правительства не объявлялась. Две речи, сказанные мною в Ставрополе и на открытии Кубанской рады, исчерпывали официальное изъявление нашей идеологии и политического курса; они служили темой для пропаганды, политических дискуссий и экспорта за границу[1].

---

[1] В телеграмме Сазонову от 2 января 1919 года я писал: «Мы боремся за самое бытие России, не преследуем никаких реакционных целей, не поддерживаем интересов какой-либо одной политической партии и не покровительствуем никакому отдельному сословию. Мы не предрешаем ни будущего государственного устройства, ни путей и способов, коими русский народ объявит свою волю».

В их неопределенности и «непредрешениях» различные секторы русской общественности — одни с тревогой и подозрительностью, другие с признанием и надеждой — видели маскировку, скрывающую истинные побуждения и намерения. Из кругов умеренно социалистических и либеральных, из Крыма, Киева, Одессы, от «русского политического совещания» из Парижа шли все более настойчивые предложения «раскрыть лицо Добровольческой армии». Между тем «непредрешения» являлись результатом столько же моего убеждения, сколько и прямой необходимости.

В самом деле: «борьба с большевизмом до конца», «великая, единая и неделимая», «автономии и самоуправления», «политические свободы» — вся эта ценная кладь могла быть погружена на государственный воз явно при общем или почти общем (кроме федералистов и самостийников) сочувствии. Казалось, что с одной этой кладью под трехцветным национальным флагом можно будет довезти этот воз до Москвы, а если там при разгрузке произошло бы столкновение разномыслящих элементов, даже кровавое, то оно было бы, во всяком случае, менее длительным и изнурительным для страны, чем большевистская неволя... Но идти дальше этого было уже труднее: в некоторых случаях пришлось бы вскрывать разъедавшее нас разномыслие.

Однажды осенью 1918 года по поводу толков о необходимости декларации оба моих ближайших помощника сказали мне, что работать под лозунгом Учредительного собрания они считают для себя невозможным. Это было убеждение, широко распространенное в военной среде и правых кругах, где понятия «учредилка» и «учредиловцы» встречали презрительное отношение. Но и в либеральных кругах в то время признание Учредительного собрания было далеко не безоговорочным. На кадетском съезде в Екатеринодаре мы слышали, например, из уст Милюкова такие слова: «Я против предрешения как форм, так и способов создания новой власти. Идея народовластия и свободного волеизъявления народов более чем поколеблена... Необходима крайняя осторожность по отношению к Учредительному собранию»...

Оставляя в стороне другие паллиативные решения, приходилось декларировать кому-либо «самозарождение» или

«законопреемственность», чтобы в минуту порвать слагавшееся с таким трудом, весьма непрочно сшитое единство военно-общественного фронта.

Это отношение к идее Учредительного собрания под влиянием разнообразных причин со временем начало вновь меняться — вероятно, не столько по убеждению, сколько по тактическим соображениям. Так, на заседании представителей Государственного объединения, Национального Центра, Союза возрождения и бюро «Советов объединения земств и городов Юга России»[1], представлявшем первую попытку объединения более широкого общественного фронта, возбужден был и этот вопрос. Протокол заседания говорит:

«Учредительное собрание как суверенный орган государственного строительства, возникший на основе народного волеизъявления, признано приемлемым в принципе, но *не по наименованию* членами всех представленных организаций. Члены Земско-городского объединения, Союза возрождения и Государственного объединения в лице Е. Н. Трубецкого[2] признают его категорически, оставляя и название. Член Государственного объединения Масленников считает неизбежным установление самого органа народного волеизъявления, не предрешая его названия. Член Национального Центра М. Федоров считает вопрос о наименовании несущественным, но предпочитает название «Народного собрания», настаивая при этом главным образом на установлении того момента выборов, который дал бы уверенность в разумном исходе голосования»[3].

[1] Бюро выделилось на Симферопольском съезде.

[2] Только его лично. В собрании присутствовали еще члены Совета Государственного объединения В. Бобринский. А. Хрипунов, Л. Масленников.

[3] Из протокола заседания 3 января 1919 года — Харьковское совещание партии Народной свободы в ноябре 1919 года высказалось за «доведение страны до Всероссийского *Представительного собрания*», против «попыток немедленного объявления постоянной формы государственного устройства» и против немедленного после свержения большевиков созыва Учредительного собрания.

Пока мужи совета, таким образом, искали путей, чтобы обойти не то острые углы взаимных отношений, не то друг друга, в армии эти трения находили также отклик, но гораздо более элементарный — одни проливали кровь, не мудрствуя лукаво, другие заявляли: «Мы за «учредилку» умирать не будем».

Поэтому я призывал армию бороться просто *за Россию.*

* * *

С большими еще трудностями проходил другой важный вопрос — *аграрный.* После долгих мук, споров, взаимных уступок Особое совещание подошло, наконец, к основным его положениям. В двадцатых числах марта 1919 года состоялись заседания под моим председательством, окончательно установившие руководящие основания. Это было еще очень немного, но, по крайней мере, дело сдвигалось с мертвой точки. Когда возник вопрос, в какой форме объявить о принятом решении во всеобщее сведение, один из членов Совещания высказал взгляд, что объявлять не следует вовсе; к нему присоединилась большая часть правых членов Совещания. Я выразил свое удивление и заявил, что принятые положения считаю обязательными, и они будут опубликованы в ближайший день. «Декларация» как результат этого обсуждения составлялась в Национальном Центре и принадлежит перу Н. И. Астрова. Я изменил ее редакцию, оставив сущность, и придал форму предписания на имя председателя Особого совещания[1].

«Государственная польза России властно требует возрождения и подъема сельского хозяйства.

Полное разрешение земельного вопроса для всей страны и составление общего для всей необъятной России земельного закона будет принадлежать законодательным учреждениям, через которые русский народ выразит свою волю.

Но жизнь не ждет. Необходимо избавить страну от голода и принять неотложные меры, которые должны быть осуществлены незамедлительно. Поэтому Особому совещанию надлежит теперь же приступить к разработке и состав-

[1] От 23 марта 1919 года, № 45.

лению положений и правил для местностей, находящихся под управлением главнокомандующего Вооруженными силами Юга России.

Считаю необходимым указать те начала, которые должны быть положены в основу этих правил и положений.

1. Обеспечение интересов трудящегося населения.

2. Создание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств за счет казенных и частновладельческих земель.

3. Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом в каждой отдельной местности должен быть определен размер земли, которая может быть сохранена в руках прежних владельцев, и установлен порядок перехода остальной частновладельческой земли к малоземельным. Переходы эти могут совершаться путем добровольных соглашений или путем принудительного отчуждения, но обязательно за плату. За новыми владельцами земля, не превышающая установленных размеров, укрепляется на правах незыблемой собственности.

4. Отчуждению не подлежат земли казачьи, надельные, леса, земли высокопроизводительных сельскохозяйственных предприятий, а также земли, не имеющие сельскохозяйственного назначения, но составляющие необходимую принадлежность горнозаводских и иных промышленных предприятий; в последних двух случаях — в установленных для каждой местности повышенных размерах.

5. Всемерное содействие земледельцам путем технических улучшений земли (мелиорация), агрономической помощи, кредита, средств производства, снабжения семенами, живым и мертвым инвентарем и прочим.

Не ожидая окончательной разработки земельного положения, надлежит принять теперь же меры к облегчению перехода земель к малоземельным и поднятию производительности сельскохозяйственного труда. При этом власть должна не допускать мести и классовой вражды, подчиняя частные интересы благу государства».

В день отдачи предписания генерал Драгомиров передал мне просьбу председателя Совета Государственного объединения Кривошеина повременить с выпуском его до

представления проекта Государственного объединения, так как «такой государственной важности акт требует особливого, подобающего случаю изложения». Ждать дольше я не хотел, и предписанию был дан ход. В полученном post factum проекте Кривошеина пункт, касавшийся непосредственно аграрного вопроса, был изложен в такой форме:

«6. Безотлагательная разработка мероприятий, имеющих главнейшей целью обеспечить интересы широких народных масс и быстрый рост производительных сил страны. В этих видах, между прочим:

а) в области аграрных задач — постановка земельного дела в началах децентрализации в соответствии с особыми хозяйственными условиями отдельных районов; всемерное содействие образованию и скорейшему развитию мелкой земельной собственности; отмена ограничений в праве распоряжения крестьянскими надельными землями; широкое поощрение добровольных соглашений о переходе земли в крестьянские руки; создание примирительных земельных комиссий и принудительное, за справедливый выкуп, отчуждение земли во всех случаях, когда государственный интерес этого требует».

Так или иначе, провозглашен был столь страшный для многих принцип *принудительного отчуждения*.

Первым последствием издания аграрной декларации было крупное столкновение между Государственным объединением и Национальным Центром. Я уехал в Чечню, а декларация не появлялась в печати целую неделю. Задержка, по-видимому, произошла потому, что в это время в совместном заседании обеих групп шел горячий спор о целесообразности и своевременности издания декларации. Совет Государственного объединения устами главным образом Кривошеина доказывал: «Неправильно усиливать вновь рознь в антибольшевистском лагере, где и без того элементы мщения играют большую и фатальную роль... Одни будут обвинять власть в демагогии, в стремлении их ущемить в угоду демократическим течениям, будут доказывать антигосударственность и экономическую нецелесооб-

разность меры, которую будут считать направленной против их классовых и личных интересов. А так как влияние этих элементов в армии и чиновничестве значительно, то последствием будет будирование против власти в лагере, на который она вынуждена опираться... С другой стороны, официальный документ, который не может обещать больше, чем уже дано большевистским декретом о земле, дает оружие для агитации и пропаганды с левой стороны — социал-революционеров и тайных агентов большевиков»... Представители Национального Центра возражали, что «с одними офицерами воевать больше нельзя, что нужно привлечь на свою сторону солдата или сделать его, по крайней мере, не враждебным... Необходимо немедленно парализовать агитацию, которую ведут большевики, будто новая власть идет восстанавливать старый режим, возвращать земли помещикам, мстить и наказывать... Наконец, что нужны доверие и поддержка европейских демократий».

Обе стороны не пришли к соглашению и расстались еще большими врагами.

Появление аграрной декларации усилило те настроения, которые были созданы подготовительной борьбой. Так, например, газета «Великая Россия», руководимая тогда Н.Н.Львовым, после бурного заседания редакционной коллегии, на котором обсуждалось отношение к декларации, в конце концов напечатала ее в рубрике текущих дел («В Особом совещании») без всяких сопроводительных комментариев. Сильно и убежденно высказался тогда М. В. Родзянко, остерегавший меня «от опасного шага издания земельного закона (моей) единоличной властью».

«Я отлично отдаю себе отчет, — писал он мне, — что земледельческий крестьянский класс в России должен быть наделен землей за счет крупного землевладения... Но нельзя признать права за случайно собранным Особым совещанием предвосхищать права неизбежного будущего Учредительного собрания, которое одно только вправе коснуться наиважнейшего права каждого гражданина — *права собственности*... Связанные с законопроектом сложные финансовые меры могут вызвать окончательное расстройство

в наших поколебленных финансах... Наконец, если законодательство, касающееся земельной реформы, пойдет по такому пути, то неизбежно окажется, что армия Ваша, адмирала Колчака, генерала Юденича, Северная и другие могут его разрешить на различных основаниях, и тогда в этом жгучем, наболевшем вопросе страна будет заведена в такой тупик, из которого ее не выведет никакое Учредительное собрание...»

Эти взгляды, не слишком, впрочем, противоречившие духу декларации, разделялись и Союзом возрождения, который также считал, что «окончательное разрешение аграрного вопроса может последовать лишь по воссоединении России и только властью Учредительного собрания» и что «ныне возможны только временные меры для урегулирования земельных отношений». Но при этом Союз считал необходимым «предоставить крестьянам пользование той землей, которая находится в их фактическом владении». Этот же взгляд правительством адмирала Колчака был проведен фактически в жизнь в Сибири, где, правда, земельные отношения не имели вовсе той остроты, как в Европейской России[1].

Нелишне привести и тот взгляд, который высказывало в те дни лицо, шедшее на смену власти. В конце марта генерал Врангель говорил: «Полагаю, что требования части общества, обращенные к армии, о провозглашении ее программы ошибочны. Армия по самой природе своей вне политики. Политической программы у армии не может быть. Мы должны завоевать порядок, при котором народ,

[1] «Все, в чьем пользовании земля сейчас находится, все, кто ее засеял и обработал, хотя бы не был ни собственником, ни арендатором, имеют право собрать урожай. Вместе с тем правительство принимает меры для обеспечения безземельных и малоземельных крестьян и на будущее время, воспользовавшись в первую очередь частновладельческой и казенной землей, уже перешедшей в фактическое обладание крестьян. В окончательном же виде вековой земельный вопрос будет решен Национальным собранием». Из декларации Российского правительства, изданной 8 апреля 1919 года.

освобожденный от гнета и произвола, свободно выскажет свою волю».

* * *

Несравненно легче проходил рабочий вопрос, не вызывая ни такой страстности, ни такого разномыслия, как аграрный. В тот же день, 23 марта, на имя председателя Особого совещания было мною послано предписание.

«Русская промышленность разрушена совершенно, чем подорвана государственная мощь России, разорены предприятия и лишены работы и хлеба миллионы рабочего люда.

Предлагаю Особому совещанию приступить немедленно к обсуждению мер для возможного восстановления промышленности и к разработке рабочего законодательства, приняв в основу его следующие положения.

1. Восстановление законных прав владельцев фабрично-заводских предприятий и вместе с тем обеспечение рабочему классу защиты его профессиональных интересов.

2. Установление государственного контроля за производством в интересах народного хозяйства.

3. Повышение всеми средствами производительности труда.

4. Установление 8-часового рабочего дня на фабрично-заводских предприятиях.

5. Примирение интересов работодателя и рабочего и беспристрастное решение возникающих между ними споров (примирительные камеры, промысловые суды).

6. Дальнейшее развитие страхования рабочих.

7 Организованное представительство рабочих в связи с нормальным развитием профессиональных обществ и союзов.

8. Надежная охрана здоровья трудящихся, охрана женского и детского труда, устройство санитарного надзора на фабриках и заводах и в мастерских; улучшение жилищных и иных условий жизни рабочего класса.

9. Всемерное содействие восстановлению предприятий и созданию новых в целях прекращения безработицы, а также принятие других мер для достижения той же цели (посреднические конторы по найму и прочее).

К обсуждению рабочего законопроекта надлежит привлечь представителей как от предпринимателей, так и от рабочих. Не ожидая окончательной разработки и осуществления рабочего законодательства, во всех случаях текущей жизни и административной практики по мере возможности применять эти основные положения, и в частности оказать государственное содействие к обеспечению рабочих и их семейств предметами первой необходимости за счет части заработка».

«Рабочая декларация» была принята обществом и печатью также без особой страстности. В екатеринодарский период борьбы торгово-промышленный класс не имел в кругах, близких к армии и Особому совещанию, таких сторонников своих интересов, как аграрии.

В результате обеих деклараций образованы были две комиссии: для разработки земельного вопроса — под председательством начальника управления земледелия Колокольцова, и для разрешения рабочего вопроса — под председательством М. М. Федорова.

* * *

Настойчивые пожелания о необходимости общей политической декларации правительства Юга для Западной Европы приходили от русского политического совещания из Парижа и от екатеринодарских иностранных представителей. В. Маклаков подсказывал и общие основные начала ее: «Временный характер военной власти, имеющей целью по восстановлении единства и порядка обеспечить свободное выражение народного суверенитета (?)... В земельном вопросе — правовое урегулирование совершающегося стихийного процесса... Утверждение самобытного устроения и развития народностей в пределах органически единой России в формах автономий или федерации» и т.д.

В начале апреля председатель Особого совещания генерал Драгомиров доложил мне, что генерал Бриггс настойчиво просит объявить декларацию, которая могла бы рас-

сеять предубеждение о реакционности южной власти, создавшееся в демократических кругах Европы, и дала бы возможность искренним друзьям Добровольческой армии оказывать ей более серьезную помощь. Генерал Бриггс предложил и проект декларации, которая могла бы, по его словам, удовлетворить английскую Рабочую партию[1]. По существу почти все положения этого проекта были приемлемы и в той или другой форме объявлялись командованием, но внесение в проект «Национального собрания» шло значительно дальше «непредрешения»... И то обстоятельство, что оно не возбудило протеста в правом секторе Особого совещания, означало уже большой сдвиг.

10 апреля была составлена в несколько измененной мною редакции и послана английскому, французскому и американскому представителям нота, подписанная мною и всеми членами Особого совещания[1].

Вряд ли эта декларация имела какое-либо влияние на изменение международного положения Юга. В отечественных же политических кругах она не удовлетворила никого. Органы важнейших противобольшевистских группировок высказались сдержанно, но явно не сочувственно. «Великая Россия» нашла, что обещаний дано слишком много, и «исполнение их принадлежит самой жизни русской — такой бурной, такой взбаламученной, что нет никакой возможности предвидеть, в каком реальном размере будет осуществлена эта декларация». «Утро Юга» находило, что сказано слишком мало и слишком неопределенно, особенно в части, касающейся Народного собрания, в рамки которого «может вместиться даже булыгинская дума»... А «Свободная

---

[1] Проект Декларации.

Наши враги утверждают, что мы реакционная сила, ведущая борьбу для восстановления старого режима.

Это неправда.

Мы, Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России и члены Особого при нем совещания, имея в виду опровержение возводимого на нас обвинения в реакционности, торжественно объявляем, что мы преследуем нижеследующие цели.

1. Уничтожение большевистской тирании и восстановление порядка.

2. Восстановление могущественной единой и неделимой России.

3. Созыв Национального собрания на основах всеобщего и тайного голосования.

4. Установление широкого местного самоуправления в областях, которые того пожелают.

5. Немедленные земельные реформы в соответствии с нуждами каждой местности.

6. Гарантии полной гражданской свободы и свободы вероисповедания.

7. Рабочее законодательство, обеспечивающее защиту трудящихся классов от эксплуатации их капиталом или государством.

(Текст в переводе с английского)

По-видимому, этот проект был известен заблаговременно французским и американским представителям. В английском тексте фраза «Народное собрание» имела начертание «National Assembly»; во французском — «Assemblée Nationale» — понятие, имевшее совершенно определенный смысл — Учредительного собрания (1789 и 1871).

[1] О последнем просил усилённо Бриггс.

«Прошу Вас довести до сведения Вашего правительства о том, какие цели преследует командование Вооруженных сил Юга России в вооруженной борьбе с советской властью и в государственном строительстве.

1. Уничтожение большевистской анархии и водворение в стране правового порядка.

2. Восстановление могущественной единой, неделимой России.

3. Созыв Народного собрания на основах всеобщего избирательного права.

4. Проведение децентрализации власти путем установления областной автономии и широкого местного самоуправления.

5. Гарантия полной гражданской свободы и свободы вероисповедания.

6. Немедленный приступ к земельной реформе для устранения земельной нужды трудящегося населения.

7. Немедленное проведение рабочего законодательства, обеспечивающего защиту трудящихся классов от эксплуатации их государством и капиталом».

речь» в изысканных, но туманных выражениях отдала преимущество «простым, но исполненным патриотического одушевления и не отравленным партийным буквоедством» словам, сказанным ранее[1], в сравнении с декларацией, «вызванной дружественной любознательностью союзников». И успокаивала умы взыскующие: «Не приспело еще время, не сложилась еще та обстановка, при которых можно пустить в обращение новые, отлитые пытливым проникновением в туманную даль отчетливые представления».

Можно было подумать, что и те и другие являются обладателями верного средства спасения страны, но таят его до времени под спудом, не желая открыть своей тайны непосвященным.

Создавался понемногу политический тупик, из которого могли вывести только победы армии.

ГЛАВА XXIII
ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ: ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ; РАБОЧЕЕ И АГРАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Вопрос о национальностях и связанный с ним вопрос о территориальном устройстве Российского государства разрешались в полном единомыслии мною и всеми членами Особого совещания: единство России, областная автономия и широкая децентрализация. Наши отношения к западным лимитрофам выражались только в декларативных заявлениях; с Украиной, Крымом, Закавказскими республиками и казачьими областями нас связывали многочисленные нити во всех областях жизни, борьбы и управления. О них я говорю в соответствующих главах. Эти взаимоотношения были очень трудны и ответственны, а среди управлений Особого совещания не было органа, который мог бы руководить ими: управление иностранных дел старалось всемерно устраниться от этого дела, полагая, что принятие в

[1] «Непредрешения» — речь моя на открытии Кубанской рады.

свое ведение сношений с новообразованиями послужит косвенным признанием их суверенитета; управление внутренних дел по всей своей структуре и психологии было не приспособлено к работе такого рода. В конце концов сношения с новообразованиями вел лично я совместно с председателем Особого совещания при посредстве его канцелярии и при содействии начальника штаба и начальника военного управления — в части, касающейся военных обстоятельств и военного представительства[1]. На еженедельных заседаниях Особого совещания под моим председательством я знакомил членов его с принятыми мерами и зачастую обращался за советом, не встречая никогда сколько-нибудь серьезных расхождений[2].

Областное автономное устройство предполагалось не только в отношении территорий, населенных инородцами, но и русских. В январе 1919 года по инициативе В.В. Шульгина возникла «комиссия по национальным делам»[3], бюджет которой был отнесен на счет ВСЮР. Целью своей комиссия поставила сбор и разработку материалов для защиты русских интересов на Мирной конференции и для выяснения отношений России к национальным движениям, а также исследование вопроса об автономном устройстве ее, в частности Юга. Работы комиссии отразились на административном разделении территории ВСЮР на области[4]. В плане предстоявшего устройства страны нам представлялась последовательная цепь самоуправлений от сельского схо-

[1] Любопытно, что в правительстве адмирала Колчака этот вопрос также вызывал сомнение: он был разрешен вначале возложением сношений с новообразованиями (в том числе с правительствами Юга, Севера и Юденичем) на министерство иностранных дел, а с осени 1919 года — на министерство внутренних дел.

[2] События на Кубани осенью 1919 года, связанные с казнью Калабухова, как увидим позже, протекали без участия Особого совещания.

[3] Председателем был избран В. В. Шульгин. В работе комиссии принимали участие профессор И. А. Линниченко, М. А. Ляпунов, А. Б. Билимович, П. И. Новгородцев и др.

[4] Харьковская, Киевская, Новороссийская и Северный Кавказ.

да до областных дум, снабженных в подготовительный период расширенными значительно правами губернских земских собраний и впоследствии получающих функции местного законодательства из рук будущего Народного собрания. Но линия фронта далеко еще не выражала пределов фактического распространения войны. Вся небольшая вначале территория Добровольческой армии являлась, по существу, театром военных действий. Это обстоятельство побуждало к принятию исключительных мер для *временного* усиления и централизации власти на местах. Временные положения «О гражданском управлении и о государственной страже», выработанные Особым совещанием по схемам Национального Центра и выпущенные в марте 1919 года, должны были считаться с этим обстоятельством и поневоле ограничивать общественную инициативу. Трем ступеням административной лестницы — главноначальствующему, губернатору и начальнику уезда — по принадлежности был предоставлен надзор за состоянием и деятельностью всех правительственных установлений[1] и мирных самоуправлений. Гражданская стража, имея полувоенную организацию, находилась в двойном подчинении: местным гражданским начальникам и, через командиров губернских бригад, «командующему государственной стражей» — помощнику начальника управления внутренних дел, на которого возлагалось высшее руководство деятельностью стражи по предупреждению и пресечению преступлений. Главноначальствующий кроме высшего надзора за управлением нескольких губерний или области имел в своем подчинении войска и должен был согласовать действия военных и гражданских властей. Ему предоставлялись исключительные права и принятие чрезвычайных мер в случаях, угрожающих государственному порядку.

После восстановления и утверждения порядка и полного успокоения в губерниях с начальствующих должны быть

[1] Для главноначальствующего и губернаторов — за исключением судебных мест и контроля; для начальников уездов — за исключением, кроме того, учебных заведений.

сложены все чрезвычайные полномочия и прекращалось действие исключительного положения.

Это устройство, удовлетворявшее правые и либеральные круги, вызвало жестокую критику в революционной демократии. Она находила в идее такого управления только «административное усмотрение, полицейскую опеку и произвол»; мы видели в нем необходимые условия, обеспечивающие интересы борьбы и армии. Она считала это реставрацией; мы — временной мерой, долженствующей расчистить путь для утверждения покоя и нормальных форм самоуправления.

В конце концов, центр тяжести вопроса был не столько в системе, сколько в людях...

Но жизнь перевернула вверх дном все наши умозаключения и не оправдала ожиданий: наше гражданское управление не внесло законности и порядка, возбудив большое разочарование у населения.

На высших ступенях гражданской иерархии в должности главноначальствующих находились генералы, командовавшие армиями в данных районах. Это положение имело свои достоинства и недостатки, тождественные с совместительством в дореволюционное время должностей генерал-губернатора и командующего войсками округа. При них были помощники по гражданской части и «советы» представителей ведомств. Имея функции только высшего надзора, деятельность главноначальствующего проходила на виду и была доступна в известной мере прямому воздействию центра. Но дальше, в области практического управления, дело обстояло хуже, получив лишь внешние признаки реставрации. Управляющий внутренними делами Чебышев ставил губернаторов почти исключительно из числа лиц, занимавших эти должности до революции, желая «использовать их административный опыт». Это были люди (некоторые, по крайней мере), быть может, вполне подготовленные, но по психологии и мировоззрению, навыкам, привычкам столь далекие, столь чуждые свершившемуся перевороту, что ни понять, ни подойти к нему они не могли. Для них все было в прошлом, и это прошлое они старались возродить и в формах, и в духе. За ними следом по-

тянулись низшие агенты прежней власти: одни — испуганные революцией, другие — озлобленные и мстящие. Они приходили в районы, для них незнакомые, пережившие уже не один режим, с населением, потерявшим уважение к закону и власти и недоверчивым, с жизнью, выбитой из колеи, насыщенной взаимными обидами и классовой враждой. Уезды кишели шайками «зеленых», всевозможных атаманов и остатками рассеявшихся красноармейцев, до крайности затруднявшими передвижение и общение губернских и уездных властей с деревней. Управление внутренних дел, как оказалось, централизовало в своих руках все формирования отрядов государственной стражи для особого подбора их и даже назначения низших полицейских агентов, отчего по многим неделям губернии оставались без полицейской охраны. Катившиеся по краю театра войны или ближайшему ее тылу войсковые части и своевольные начальники нарушали распоряжения гражданских властей. Жизнь гражданской администрации, как и всего служилого элемента Юга, была неприглядной из-за нищенского содержания и толкала на искушения. Наконец, изменчивость боевого счастья бросала целые территории из рук в руки, и у многих администраторов не было зачастую времени устроить свой район. Только Ставропольская и Черноморская губернии были в наших руках более года; в них правили часто сменявшиеся военные губернаторы, в назначении которых управление внутренних дел не было повинно; но и там дело обстояло так же плохо, если еще не хуже.

«Нет людей!». Эта жалоба не сходила с уст интеллигенции и со страниц печати. В. Шульгин с горечью писал о том явлении, что «в гражданском управлении выявилось русское убожество, перед которым цепенеет мысль и опускаются руки... Ряды старых работников страшно поредели, а новых нет как нет». С ним соглашалась вполне «Свободная Речь», но при этом добавляла: «Нет людей? Но там ли их ищут, где надо?.. Пока о местах и влияниях спорят люди, зараженные прошлым, будь то сановники или «самовлюбленные нарциссы общественности», ничего путного получиться не может... Главное внимание должно быть обращено на более молодые поколения... Надо хотеть и уметь искать»[1].

Нельзя сказать, чтобы мы не искали. Много раз я обращался к управлению внутренних дел с требованиями — изменить систему комплектования гражданской администрации, привлечь общественных деятелей — земских и городских, местных людей, пользующихся уважением и авторитетом. Однажды летом, после повторного резкого напоминания, ко мне пришел Пильц, временно замещавший Чебышева, и доложил: ввиду моего приказания он обратился письмом к лидерам либеральных организаций и к некоторым видным общественным деятелям с просьбой указать лиц, могущих заместить открывающиеся посты начальников губерний. Прошло 2—3 недели и... не отозвался никто. Это было тем более странно, что и Чебышев, и сменивший его в июле в должности начальника управления внутренних дел Носович — оба были назначены по рекомендации либеральной группы именно Национального Центра.

Положение создавалось довольно безотрадное.

Наши противники слева винили не только людей, но и систему. В противовес единоначалию выдвигалась децентрализация власти путем передачи ее местному самоуправлению или «полубуржуазным советам». Это расхищение власти имело уже место в опыте Временного правительства, когда самозародившиеся «общественные», «революционные» комитеты и «советы рабочих и солдатских депутатов» произвели полный хаос в управлении, порвав всякие связи мест с центром. Этот опыт был повторен отчасти и с таким же неуспехом самарским «Комучем». Наконец, его же ввела в широких размерах советская власть с первых дней своего существования и с первых же дней начала упорную борьбу против «самовластия мест», пока путем давления, подлогов, подтасовок не обратила выборное начало в фикцию, посадив на местах своих послушных и всесильных агентов.

Такой опыт в районах с колеблющимся настроением, где даже сама идея борьбы не пользовалась всеобщим признанием, представлялся невозможным.

[1] Август 1919 года.

Положение на местах и общее состояние нашего тыла становилось между тем катастрофическим.

* * *

В силу указанных раньше причин законы выходили из Особого совещания с большим опозданием.

Серию компромиссов между двумя крыльями Совещания открыло положение об «упрощенном управлении городским хозяйством» и таком же управлении для земства. Впредь до новых выборов деятельность земских собраний и городских дум, изживших себя и с 1 января потерявших юридическое право существования, не восстанавливалась, и все обязанности их возложены были на управы в составе ранее действовавших, избранных по закону Временного правительства. Но губернаторам предоставлено было право устранять из их состава тех лиц, которые будут признаны не соответствующими своему назначению. Так как последние управы были почти сплошь социалистического состава, часто даже с уклоном в сторону большевизма, то губернаторы довольно широко пользовались своею властью, переходя, вероятно, не раз пределы государственной необходимости.

Закон об общественном управлении городов, выработанный комиссией Астрова, сохранял демократические принципы, был принят общественным мнением благожелательно и только в среде левых социалистов вызвал обвинение в стремлении власти «урезать права органов самоуправления, стеснить свободу общественной деятельности».

Закон этот был утвержден мною в марте, опубликован только в мае, и вследствие задержек, чинимых управлением внутренних дел, первые выборы в городах происходили только в сентябре.

Земское положение постигла худшая участь. Никогда еще разница двух мировоззрений не была столь велика, как в этом вопросе. С самого начала рассмотрения вопроса в комиссиях Особого совещания между двумя крыльями его начались сильнейшие трения. «Мы тратили время и нервы, — говорит либеральный член Совещания,— на споры и отражение ожесточенных натисков справа в вопросе о том, каким может быть теперь земство. Исходя из положения «о культурном значении для деревни просвещенного помещичьего класса», они требовали построения земских учреждений с этим элементом в основе. На заявления наши, что этого класса уже нет, что он разбит в процессе революции, что земство в новой эпохе должно быть неминуемо демократическим, наши оппоненты доходили до крайней степени раздражения».

Волость являлась первоосновой государственного устройства новой России, предрешающей состав всех высших представительных органов страны, и тем социальным базисом, на который должна была опереться временная власть в период борьбы. Помещичий дворянский класс в силу неизбежных исторических причин уходил. На кого же опереться? Либеральное меньшинство требовало принятия законопроекта, близкого к созданному Временным правительством. Правое большинство остановилось на куриальной системе выборов[1]. «Одни намечали будущим правящим классом, — говорит один из правых членов Особого совещания, — хозяйственного мужика и откровенно исповедовали это. Другие не говорили откровенно о своем идеале, но прямая, тайная и всеобщая подача голосов ведет к господству пролетариата и «лиц либеральных профессий». Вопрос ставился ясно и грубо: *Колупаев* или *Тимошенко*?[2] И в зависимости от всей старой психологии, выработанной десятками лет предреволюционного времени, ответ был ясен для каждой из сторон».

Ввиду полного расхождения Особого совещания вопрос был сдан в согласительную комиссию под председательством Носовича и вышел из нее в виде компромиссного решения: куриальная система отвергалась, но вводился ценз уплаты минимальной ставки земских сборов. Опасаясь, что введением прямого подушного обложения земство может расширить выборное право до всеобщности, правые категорически отклонили компромисс. В середине августа я

---

[1] 1-я курия — платящие минимальную ставку земских сборов; 2-я — лица, владеющие двойным наделом 1861 года или уплачивающие соответствующую сумму сборов. Вторая курия облегчала возможность проведения в земство помещиков.

[2] Тимошенко — известный кубанский демагог, социалист-революционер, докатившийся до большевизма.

сделал попытку примирить непримиримое и назначил заседание под своим председательством, предоставив обеим сторонам пригласить на него сторонних лиц по их усмотрению. На этом заседании правое крыло было значительно усилено Кривошеиным, всецело поддерживавшим куриальную систему. «С проведением аграрной реформы Россия делает прыжок с пятого этажа на мостовую. Надо подостлать соломы, чтобы не разбилась». Кривошеин коснулся и общего направления нашей политики, считая ее «левый уклон» и непровозглашение в свое время «единственно спасительных лозунгов» чреватыми опасными последствиями. Я ответил более резко, чем полагалось для официального заседания, что весною 1918 года производилось сильное давление с целью провозглашения этих лозунгов, и если бы это было сделано тогда, то мы давно уже были бы побеждены, а я не имел бы возможности беседовать с Кривошеиным в Ростове о государственном устройстве России.

Соглашение не состоялось. Споры продолжались. Я разрешил их, к сожалению, слишком поздно, утвердив закон в духе постановления комиссии Носовича:

— Ни Колупаев, ни Тимошенко, а некто третий, чей облик не отразился еще ясно в зерцале бытия.

* * *

С апреля шли работы по составлению двух важнейших социальных законопроектов.

Комиссия М. М. Федорова к июлю разработала ряд либеральных законопроектов о профессиональных союзах, рабочих комитетах, об органах охраны труда, о 8-часовом рабочем дне, о примирительных камерах и страховании рабочих. В конце августа в Ростове было созвано совещание с участием представителей от промышленников и рабочих для рассмотрения этих законопроектов. Рабочая делегация тотчас после открытия заседания пожелала огласить резолюцию «Южного совета профессиональных союзов» — организации, всецело захваченной социал-демократами меньшевиками, отошедшими временно от чисто политической работы и перенесшими ее в область профессионального движения. Резолюция гласила:

«Лишь при режиме демократической республики, лишь при последовательном проведении принципа всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для рабочего класса и его организаций открывается возможность успешной борьбы как за ближайшие, так и за конечные цели рабочего движения и создаются условия действительной охраны интересов трудящихся и защиты государственной властью интересов большинства населения.

Исходя из этих положений, рабочая делегация считает совершенно безнадежной всякую попытку сколько-нибудь удовлетворительно разрешить сложные вопросы социального законодательства в обстановке беспрерывной гражданской войны и полного отсутствия законодательных учреждений, признанных свободной волей населения».

На этой фразе Федоров прервал докладчика, лишив его слова, после чего делегация рабочих покинула совещание. Состоявшийся через несколько дней съезд профессиональных организаций Северного Кавказа одобрил поведение делегатов — «товарищей, стойко стоявших на своем ответственном посту», — и призывал всех «товарищей теснее сплотиться вокруг своих классовых организаций и не идти ни на какие ухищрения реакции разбить единство рабочего класса путем подкупа части рабочих и фальсификации (?) их общественного мнения».

Было ясно участие Москвы в этих действиях и постановлениях. Оно подтвердилось впоследствии попавшей к нам инструкцией коммунистическим организациям Юга: «Необходимо принять меры, чтобы соглашение между правительством и рабочими не состоялось, учитывая всю важность последствий для правительства Деникина, если бы этот первый шаг увенчался успехом. Данный случай является благодарной почвой для демонстрирования классового антагонизма».

Пришлось комиссии продолжать свои работы об устройстве судьбы рабочих без их участия. Работы эти протекали в обстановке ведомственных трений. Причем, по словам Федорова, «обнаружилась тенденция членов комиссии... к пересмотру законопроектов по существу... и ко внесению

поправок, направленных к ограничению прав рабочих; и в этом отношении замечания представителей ведомств шли значительно дальше пожеланий промышленников».

В результате часть законопроектов была утверждена мною только в конце ноября, другая не была закончена до эвакуации Ростова. Рабочее законодательство постигла та же участь, что и многие другие наши начинания: они осуществились слишком поздно.

***

Комиссия Колокольцова приступила к разработке земельного вопроса, привлекая многочисленных сведущих людей и со стороны. В комиссии наметились сразу три течения: левое эсеровского типа с определенным стремлением к полной ликвидации помещичьего хозяйства; крайне правое, стремившееся выиграть время и отстоять интересы класса; наконец, среднее, искавшее путей для введения стихийного процесса в русло государственных интересов. По-видимому, ведомство Колокольцова принадлежало ко второму течению. Еще в процессе подготовительной работы мне приходилось обращать внимание на внесение проектов, в корне расходившихся с духом декларации. «Правые, — говорит один из участников комиссии, — были идеологами и страстными, убежденными защитниками восстановления помещиков на их землях. Люди писали на бумаге свои чаяния и мечты, не считаясь с тем, что можно было сделать в новых условиях и чего сделать было уже нельзя. Они представляли цифры и неопровержимые данные, касающиеся теории вопроса. Вот государственный интерес, — говорили они, — и нам нет никакого дела до того, что кто-то говорит о революции. Революция пройдет. Россия останется. Наше решение должно быть для России, а не для революции».

Колокольцовская комиссия закончила свою работу в начале июля. «Земельное положение», составленное ею, в общих чертах имело следующие основания: помещичья земля свыше известной нормы продается добровольно или отчуждается в собственность крестьян за выкуп; норма не подлежащих отчуждению частновладельческих земель, в зависимости от местности, — от 300 до 500 десятин; целый ряд изъятий в отношении культурных и заводских хозяйств еще

более уменьшал общую площадь переходящих к крестьянам земель; отчуждению не подлежали земли городов, земств, монастырей, церковные, духовных учреждений, ученых и просветительных обществ. По мере занятия отдельных местностей должны были немедленно вступать в распоряжение своими угодьями казна, банки, города, церкви, монастыри, перечисленные выше учреждения, а также, во многих случаях, частные собственники — как, например, землями, не использованными захватчиками или «находившимися в чужом пользовании в течение времени не большего, чем необходимо для одного озимого и одного ярового урожая».

Наконец, Положение предусматривало, что земельные органы *приступят к отчуждению только по истечении трех лет со дня восстановления гражданского мира во всей России!*

Проект этот был мною отвергнут. Колокольцов оставил пост. Проект был передан на рассмотрение новой комиссии под председательством начальника управления юстиции Челищева.

Замечательно, что даже это творение — акт отчаянной самообороны класса — вызвало смятение в правых организациях. На проект Колокольцова, ставший известным Совету Государственного объединения, последний отозвался немедленно письмом Кривошеина и постановлением от 14 июля: «Намечаемое законопроектом огульное принудительное перераспределение владений возбуждает серьезное опасение в том, что проведение его в жизнь породит тяжелые продовольственные последствия для государства и экономическое обессиление его». Совет успокаивал себя только тем, что в течение трехлетнего срока «непреложные законы экономического развития укажут правильные пути для будущего русского сельского хозяйства». И рекомендовал ограничиться возобновлением деятельности Крестьянского банка и созданием землеустроительной и землемерной организации, которые «внесут в деревню успокоение вернее и скорее, чем самые красноречивые обещания!». А Совет Всероссийского союза земельных собственников утверждал даже, что «по сведениям, идущим из деревни, народ сознает ныне глубокую мо-

ральную разницу между своим и чужим и относится к захвату как к действию преступному и не могущему быть терпимым при восстановлении законной власти».

Не видели или умышленно закрывали глаза?

Были, впрочем, и редкие исключения: в Харькове союз земельных собственников в августе принял резолюцию о необходимости скорейшего издания земельного закона в духе моей декларации, ввиду того, что дальнейшая проволочка может вызвать опять брожение среди крестьян.

Тем временем подходил сбор урожая, и необходимо было дать временные нормы для надлежащего его использования. Злополучный «третий сноп», введенный еще в период нашего походного законодательства на клочке Ставропольской губернии для урожая 1918 года, сохранился в неприкосновенности. В Особом совещании был составлен и мною утвержден ряд положений, имевших тройную цель: обеспечение сельскохозяйственного производства, сохранение принципа собственности и по возможности меньшее нарушение сложившихся в деревне взаимоотношений. Закон об урожае оставлял его за посеявшим и требовал уплаты аренды владельцу в размере $^1/_2$ урожая хлеба, $^1/_2$ трав и $^1/_6$ корнеплодов; закон о посевах на 1919—1920 годы вменял в обязанность лиц, «в действительном пользовании коих земля находится», пахать и сеять, обещая «обеспечить интересы засевщиков при сборе урожая»; закон об аренде предоставлял фактическим обладателям земли (захватчикам) продолжать пользование ею на 1920 год по договору или без договора, ограничивая известными пределами подесятинную арендную плату. Последующими законоположениями уменьшались нормы натурального арендного взноса ($^1/_5$—$^1/_{10}$) и облегчалась возможность дальнейшего пользования землей, подводя под «право захвата» некоторые юридические обоснования.

Правый член Особого совещания, одинаково уважаемый за прямоту и искренность обоими флангами, впоследствии говорил: «Из всех мер Особого совещания наиболее неудачной, наибольшей ошибкой были законы о хлебном налоге[1] и о «третьем снопе». Оба эти закона вышли из правого крыла Особого совещания и вполне на его совести». Это вмешательство власти в острые аграрные взаимоотношения не встретило тогда достаточно сильного отпора в несоциалистической общественности Юга. «Третий сноп» вызывал в буржуазной печати горячие споры о нормах, о деталях, но за редкими исключениями эти споры не колебали принципа. Не раз, когда я приносил в Особое совещание свои мучительные сомнения в правильности такого нашего курса, я слышал не только справа, но иногда и слева совершенно бесспорные *юридически* истины, что отношение российских законов к захватам гораздо суровее и что колебание принципа собственности грозит большими потрясениями... Наконец, «демократический» Дон и сугубо «демократическая» Кубань в своем законодательстве об использовании урожая 1918—1919 годов придерживались тех же принципов, что и «реакционное» Особое совещание[1].

А тем временем за войсками следовали владельцы имений, не раз насильно восстанавливавшие, иногда при поддержке воинских команд, свои имущественные права, сводя личные счеты и мстя. И мне приходилось грозить насильникам судом и напоминать властям их долг — предупреждать новые захваты прав, но не допускать самочинного разрешения вопроса о старых. В местностях, где уже наступило какое-то успокоение, некоторые землевладельцы возвращались в свои поместья и вносили вновь элементы брожения непомерным вздутием арендной платы.

Комиссия Челищева перерабатывала земельный проект при участии нового начальника управления земледелия профессора А. Билимовича, в значительной степени под его влиянием. Но со времени подчинения моего адмиралу Колчаку

[1] См. ниже.

[1] Приказ Донского атамана от 5 июня 1918 года и кубанского краевого правительства от 13 июня 1918 года. Согласно последнему, например, в случае, если запашка владельца, а семена посевщика, последний получал пол-урожая. Если то и другое владельца, то урожай целиком переходил к нему, а незаконный посевщик получал оплату своего труда. В июле 1919 года донским правительством издано постановление, в силу которого захватчик уплачивал владельцу земли «арендную плату, существовавшую осенью 1918 года».

сама возможность издания земельного закона стала спорной по существу.

Телеграммой от 28 августа, определявшей пределы моей власти, верховный правитель уведомил меня, что «общее руководство земельной политикой принадлежит российскому правительству». На этой почве между Особым совещанием и омским правительством завязалась переписка, в результате которой последовала на мое имя в особо секретном порядке телеграмма адмирала Колчака от 23 октября, № 1005.

«Телеграмма Нератова относительно предоставления Вам самостоятельности в земельном законодательстве заставляет меня с полной искренностью высказать возникающие у меня опасения. Я считаю недопустимой земельную политику, которая создаст у крестьянства представление помещичьего землевладения. Наоборот, для устранения наиболее сильного фактора русской революции — крестьянского малоземелья — и для создания надежной опоры порядка у малообеспеченных землею крестьян необходимы меры, укореняющие в народе доверие и благожелательность к новой власти. Поэтому я одобряю все меры, направленные к переходу земли в собственность крестьян участками в размерах определенных норм. Понимая сложность земельного вопроса и невозможность его разрешения до окончания гражданской войны, я считаю единственным выходом для настоящего момента по возможности охранять фактически создавшийся переход земли в руки крестьян, допуская исключения лишь при серьезной необходимости и в самых осторожных формах. Глубоко убежден, что только такая политика обеспечит необходимое сочувствие крестьян освободительной войне, предупреждая восстания, и *устранит возможность* разлагающей противоправительственной пропаганды в войсках и населении. Основные принципы принимаемых правительством мер одновременно Вам сообщаются. Конструкция изданных здесь постановлений по земельному вопросу не всегда удачна и допускает улучшения и даже изменения, но я глубоко убежден в необходимости твердого соблюдения их основных принципов.

Обстановка, где нет острого земельного вопроса, позволяет отнестись к нему с объективной спокойной стороны. Думаю, что ссылка на руководящие директивы, полученные от меня, могла бы оградить Вас от притязаний и советов заинтересованных кругов.

Сердечно желаю Вам дальнейших успехов — как военных, так и в не менее важных делах гражданского и политического устройства.

Адмирал Колчак».

С тех пор работа земельной комиссии получила чисто академическое значение. Земельное положение было выработано в начале ноября, и я приказал отдать его в печать, чтобы подвергнуть критике широких общественных кругов. Положение отличалось от колокольцовского лучшей юридической формулировкой, осторожностью и стиранием острых углов, но основные его мысли были те же. Вот некоторые из его основ: добровольные сделки в течение двух лет; принудительное отчуждение по истечении этого срока; оставление за частными владельцами усадеб, лесов, открытых недр и земли от 150 до 400 десятин — на основании твердых максимумов или особой прогрессии; отчужденные земли могли быть проданы исключительно лицам, занимающимся земледельческим трудом, преимущественно местным; максимальные нормы для покупающих землю были установлены от 9 до 45 (на севере) десятин.

Проект Билимовича—Челищева, при всех его спорных сторонах, представлял попытку проведения грандиозной социальной реформы и, если бы был осуществлен до войны и революции в порядке эволюционном, законным актом монарха, стал бы началом новой эры, без сомнения предотвратил бы революцию, обеспечил бы победу и мир и избавил бы страну от небывалого разорения. Но с тех пор маятник народных вожделений качнулся далеко в сторону, и новый закон не мог бы уже оказать никакого влияния на события и, во всяком случае, как орудие борьбы был совершенно непригоден.

Для характеристики общественных настроений могут послужить те отзывы по поводу проекта, которыми полна была печать. Правые органы видели в нем «огульное унич-

тожение помещичьего землевладения», и Н. Н. Чебышев, бывший член Особого совещания, писал в «Великой России»: «Отнять землю от хозяйственно образованного человека, любовно удесятерившего долгим трудом и затратами производительность земли, и отдать ее невежде, развращенному бездельем, сельскому хулигану — это тяжкая несправедливость, ничем не оправдываемый грех»... И грозил, что «в придачу к Махно мы получим Дубровских».

«Свободная речь» признавала «общую схему», спорила о деталях и решительно уклонялась от моральной ответственности: «Нам ясно, что силы будущей России — это мелкокрестьянская буржуазия... Мы понимаем, что эти силы должны служить главной основой власти... Но... можно ли спасти хоть что-нибудь и что именно — это может решить только власть... Если она признает, что во имя будущей России нужно санкционировать ликвидацию чуть не всего помещичьего землевладения — пусть будет так». Харьковский съезд партии кадетов также уклонился от конкретного определения своих взглядов на земельную реформу.

Умеренно социалистические органы видели в проекте «стремление сохранить помещичье землевладение, и притом не в виде исключения, а как общее правило». И стояли твердо *против* проведения аграрной реформы до Учредительного собрания.

Только группы, стоявшие еще левее, требовали немедленного и полного черного передела. Но они находились вне фронта противобольшевистской борьбы — в стане наших врагов или сохраняли дружественный нейтралитет к советской власти.

Достойно удивления, как мало внимания уделяла печать всех направлений, увлеченная этими теоретическими интеллигентскими спорами, настроениям подлинной жизни деревни, крестьянства, как мало она стремилась проникнуть в замкнутый круг мужицкой стихии. Только официальные осведомители с упорством верующих (или сильно хотящих) изо дня в день твердили:

— Мужик хочет «хозяина» и «синюю бумажку» — нотариальный акт на купленную землю...

Таким образом, вся обстановка, создавшаяся на Юге России в 1919 году, психология общественности, соотношение

сил и влияний решительно не способствовали проведению в жизнь в молниеносном революционном порядке *радикальной аграрной реформы*. Не было ни идеологов, ни исполнителей. Все, — что можно было (и, вероятно, должно) это соблюсти «непредрешение», отказаться вовсе от земельного законотворчества, приняв колчаковскую программу узаконения безвозмездного пользования захваченной землей впредь до решения Народного собрания, рискуя разрывом с правыми кругами и, следовательно, осложнениями в армии.

Только новороссийская катастрофа, нанеся оглушительный удар белому движению, открыла многим людям глаза на тот геологический сдвиг, который совершился в России. Только тогда стало складываться впечатление, будто «у многих землевладельцев зреет сознание необходимости жертвенного подвига». Возможно. У одних, быть может, искреннее, у других — продиктованное безнадежностью положения и поисками новых, хотя бы «демагогических», средств для продолжения борьбы.

Только после этого несчастья у многих разверзлись уста, и они свидетельствуют наперерыв, что «знали», «предвидели», «предостерегали» — они, ничего не предвидевшие, слепые и глухие...

ГЛАВА XXIV

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЮСТИЦИИ, ПРОСВЕЩЕНИЯ; ПРОПАГАНДА. ЦЕРКОВЬ

Один из наиболее серьезных вопросов, составлявший огромный тормоз всем начинаниям Юга, отражавшийся, без сомнения, на нравственном облике войск и на неудачах фронта, был вопрос финансовый.

Хаос в денежном обращении противобольшевистского Юга слагался исторически, от постоянных изменений его политической карты. По мере освобождения новых территорий мы получали и новые «наследства», все более усложнявшие вопрос. Кроме кредитных билетов, выпущенных

ростовской экспедицией, имели хождение деньги общегосударственные («царские» и «керенские»), советские («пятаковские»), украинские (карбованцы и гривны), крымские; разменные денежные знаки, выпущенные городскими самоуправлениями и в разных местах Кавказа советской властью; гарантированные чеки отделений Госбанка, облигации старых займов, краткосрочные обязательства госказначейства и т.д., и т.д., вплоть до векселей, учтенных финансовой комиссией состоявшей при полковнике Шкуро во время его партизанских действий в районе Минеральной группы.

Такое положение было явно нелепо и требовало тех мер, о которых говорили постоянно российская печать, финансовые совещания, съезды торгово-промышленников и др.: объединения системы денежного обращения на всей территории освобожденной России, унификации денежных знаков, воссоздания единого Государственного банка и единого эмиссионного права.

К этому мы стремились всемерно, но по условиям политическим (суверенности областей) достигнуть этого не могли.

Управление финансов принимало меры к упорядочению денежного обращения с известной осторожностью, так как они отражались сильно на интересах населения, вызывая всегда неудовольствие в массах. Деньги местного хождения заменялись постепенно. Но обмен советских денег оказался нерациональным и совершенно непосильным. Когда после занятия Харькова в целях облегчения положения неимущего люда был произведен первый раз частичный обмен «пятаковских» денег по 500 рублей на человека, это вызвало громаднейшие злоупотребления. Деньги возили целыми возами вслед за наступающей армией даже из районов ранее освобожденных. Управление финансов прекратило размен и аннулировало все советские денежные знаки, сделав исключение лишь для некоторых выпусков местного хождения на Кавказе: в отношении их определен был краткий срок и нормы обмена.

Наши денежные ресурсы долгое время находились в полной и тягостной зависимости от Дона, так как добиться справедливого распределения эмиссии ростовской экспедиции управление финансов не могло. Как распоряжалось

донское правительство выпускаемыми кредитными билетами, видно из следующей справки.

Всего выпущено с 1 января 1918 года по 15 октября 1919 года:

в миллионах рублей	9202
Из них выдано:	
Крыму	45
Тереку	80
Кубани	601
Главному командованию	3982[1]
Дону	4493

Только к осени 1919 года управление финансов приступило к выпуску своих денежных знаков, оборудовав экспедицию в Новороссийске, потом — к печатанию их в Киеве, Одессе и Симферополе[2]. Но, отчасти не желая колебать привычные для населения донские знаки, отчасти не справляясь с техническими затруднениями, финансовое ведомство выпускало свои знаки в размерах ограниченных и, во всяком случае, совершенно не удовлетворявших текущей потребности.

И «донские», и «добровольческие» деньги не имели за собой никакого покрытия, и хождение их основывалось исключительно на распоряжении властей, на инерции и доверии населения. Золотой запас России находился в то время: в руках адмирала Колчака — 652 миллиона рублей, у большевиков — 147 миллионов, в Париже у союзников — 320 миллионов. За границей нам был открыт адмиралом Колчаком небольшой кредит. Все усилия получить заем или кредит у союзников были безуспешны. Правительственные круги Согласия, связанные своей социалистической демократией, оказать нам серьезную экономическую помощь не могли. Насколько можно было понять из частных разговоров, иностранные правительства, быть может, и рискнули бы оказать нам

[1] На содержание всех армий, кроме Донской, и флота и на 12 губерний и областей, находившихся к осени в составе нашей территории.

[2] Всего выпущено правительством Юга и Донской экспедиции до марта 1920 года около 30 миллиардов рублей.

крупный кредит, но ценою таких тяжелых концессий, которые, на мой взгляд, сводились к распродаже России. Финансовые круги стран Согласия, независимые от политических партий, не приходили на помощь, не доверяя прочности положения Юга, и еще по одной причине, о которой один из наиболее крупных русских финансистов и банковских деятелей писал из Парижа[1]: «Представители русских финансов, промышленности и торговли не имеют не только общего плана работы, но даже желания принести минимальную жертву — свои узко личные интересы — для блага родины... При таком положении руководящие финансово-экономические круги Антанты предпочитали воздержаться от помощи, не имея уверенности, будет ли она оказана кому следует и как следует».

При всех этих условиях оздоровление денежного обращения могло быть достигнуто только мерами внутреннего характера.

Тем временем освобожденная территория росла с каждым днем, с чрезвычайной быстротой росли и расходы. Вооруженные силы поглощали огромные средства. Деньги нужны были и на содержание совершенно разоренных городов и земств, и на восстановление промышленности. Станок выбрасывал все больше бумажных знаков; в стране тем не менее ощущался денежный голод. Цены росли непомерно, а рубль все падал и падал.

В печати и специальной литературе, на совещаниях и съездах шли горячие споры по поводу необходимости денежной реформы. Существовали три главных течения в этой области: 1) восстановление сделок за золотую валюту с сохранением обесцененного бумажного рубля; 2) девальвация и 3) повышение внутренней стоимости рубля путем изъятия у населения излишних денег мерами налогового обложения. Начальник финансового управления М. В. Бернацкий придерживался этой третьей системы, считая в создавшихся условиях невозможной коренную реформу. Его поддерживали в этом направлении многие ученые-экономисты, в том числе академик Струве, профессор Мануйлов,

[1] Сентябрь 1919 года.

Ельяшевич и другие. Расхождение было только в вопросах о пределах эмиссии. На этой же точке зрения стояло дважды собираемое финансовое совещание и совещание торгово-промышленников (октябрь 1919 года), которое, «признавая в будущем неизбежность общей денежной реформы», предостерегало «от всяких преждевременных и частичных опытов в этом направлении».

И правление нажимало налоговый пресс. Комиссия Астрова создавала законы по принципам демократизма, облагая прямыми налогами имущие классы, прирост прибыли у предприятий, разницу старой и новой цен на недвижимость и т.д., — законы, популярные среди демократии, вызывавшие острые споры между двумя крыльями Особого совещания, но дававшие мало дохода казне по причине общего оскудения, малой законопослушности населения и расстройства налогового аппарата. В то же самое время Бернацкий проектировал косвенные налоги — весьма непопулярные, но сулившие казне существенные выгоды. Бюджет 1920 года исчислял доходные статьи в таких предположительных цифрах: от прямых налогов и пошлин — по миллиарду, от косвенных налогов — 18 миллиардов.

Тем не менее все время, и особенно с осени 1919 года, мы не выходили из крайне тяжелого финансового положения.

Трудно решить, какая система была бы лучше. Поправила ли бы дело неограниченная эмиссия или, наконец, вся совокупность военно-политической обстановки исключала возможность существования иной финансовой политики и более здорового рубля. Но результаты нашего трагического безденежья в политическом и военном отношении играли роль поистине роковую. Если еще в районах, пользовавшихся более продолжительное время миром, жизнь, вопреки всему, кое-как приспособлялась к таким условиям, то на территориях, вновь занимаемых армиями, она становилась невыносимой.

Вот что телеграфировал мне главноначальствующий Киевской области генерал Драгомиров через два месяца после занятия нашими войсками Киева:

«В Государственном банке ни копейки. Все военные заводы, предприятия сокращают производство. Самые неотложные работы по заготовке топлива для железных дорог прекращены из-за отсутствия денег и отказа рубщиков работать в кредит. Задолженность войск громадная. Не получая денег, продовольствия, войска переходят на незаконные реквизиции... Посланных мне 150 миллионов едва хватит на расплату со старой задолженностью... Если не получу до среды денег и не будет выслана новая порция в 100—150 миллионов, буду вынужден объявить контрибуцию, что будет лучше, чем тот ужас, который мы переживаем от безденежья. Киев, 27 октября».

Конечно, киевский эпизод был явлением исключительным, но безденежье нас давило всегда и во всем. Что касается собственно *обесценения* рубля, то, сравнивая положение у нас с судьбой денежного обращения центральных держав, пораженных войной и революцией, и в особенности советской России, приходишь к заключению, что состояние нашего рубля было еще не наихудшим. Если даже после катастрофического отхода армий за Дон, в январе 1920 года, Новороссийская биржа определяла курс франка в 100—150 рублей, а на внутреннем рынке фунт хлеба стоил там 20 рублей, то, следовательно, инфляция далеко не достигла своих конечных пределов.

* * *

Струве высказывал взгляд, что «никакая реформа денежного обращения, взятая сама по себе, к оздоровлению русского рубля не приведет»; что «лучшая денежная политика — это политика экономическая, восстановление нашей промышленности».

Эти две области были тесно связаны между собой и с общим политическим положением, взаимно влияя и сковывая друг друга, страдая общими недугами.

Лоскутность территории возродила порядки средневековья, отгородив таможенными заставами друг от друга все новообразования, и только Россия, в образе управляемых главным командованием земель, держала открытыми свои границы. Новообразования вводили строгий товарообмен, устанавливали запретительные меры, регистрационные и иные сборы, стремясь развить свою самостоятельную промышленность и торговлю, нарушив совершенно слагавшиеся многими годами торговые и экономические отношения и естественный товарообмен. На этой почве возросли в больших размерах спекуляция, дороговизна и взяточничество. Бывали случаи, что проходившие через Екатеринодар в Новороссийск грузы должна была сопровождать воинская команда, чтобы «протолкнуть» их через кубанские заставы.

В течение целого года мы стремились к экономическому объединению Юга России и к снятию областных рогаток, но безуспешно. Еще 14 декабря 1918 года между представителями Добровольческой армии, Дона и Кубани был заключен договор о таможенном союзе, оставленный новообразованиями без исполнения. 27 апреля 1919 года заключено было новое соглашение, с присоединением к нему Терека, о создании общего совета для регулирования внешней торговли, но и оно не было одобрено Радой и Кругом. Ввиду особенной непримиримости кубанского правительства, осенью 1919 года управление торговли и промышленности вело отдельные переговоры с донским правительством и также безуспешно.

Между тем из местностей, находившихся под управлением главного командования, свободно уходила произведенная в них продукция без всякого товарного эквивалента. Установление нами ввозных пошлин теряло смысл из-за донских и кубанских «отдушин» — Ейска и Таганрога. Наше регулирование вывоза не достигало цели, так как Дон вывозил за границу не только свои товары, но и те запрещенные для экспорта, которые он получал на территории Добровольческой армии. Дон экспортировал антрацит в Константинополь, когда Одесса оставалась без воды и света; Кубань заключала договор с враждебной нам Грузией о поставке ей хлеба, когда рядом страдала от голода Черноморская губерния.

Чтобы побудить казачьи правительства к скорейшему упразднению рогаток, осенью было отдано распоряжение установить и у нас таможенные границы и поставить кордон в Керченском проливе. Эта мера, подчиняя экспорт новообразований ведению распределительных органов

Особого совещания и воспроизводившая только практику новообразований в течение целого года, вызвала большое возбуждение в казачьих правительствах и получила тенденциозное название «блокады Дона и Кубани». Круг и правительство Дона, однако же, пошли на объединение; южнорусская конференция 17 ноября решила немедленно снять все рогатки. Но Законодательная рада и кубанское правительство после страстных дебатов, после ожесточенных нападок на Особое совещание, вовлекавших в наш спор станицы и кубанские войсковые части, заявили, что «запрещение вывоза и ввоза (ввоз не ограничивался вовсе) заграничных товаров они считают покушением на экономическую самостоятельность Кубанского края». И не считают возможным участвовать в органе, регулирующем внешнюю торговлю, впредь до отмены всех запрещений. Изнурительная экономическая борьба с Кубанью продолжалась, и внутренние рогатки ее были сняты фактически... только с отступлением армий за реку Кубань.

Политика управления торговли и промышленности, возглавленного Лебедевым, в области внутренней торговли являлась вначале продолжением политики российских правительств в период мировой войны, ограничивая свободу торговли предметами, необходимыми для снабжения армии, в интересах борьбы. Точно так же ведомство продовольствия оставляло в силе хлебную монополию и твердые цены на хлеб. В начале августа 1919 года все эти ограничения были отменены и восстановлена свободная торговля хлебом и всеми продовольственными припасами. Для обеспечения армии установлена была государственная хлебная повинность — по 5 пудов с десятины. Операция обставлена была весьма неудачно: установленные цены ко дню ссыпок оказались низкими, а очередной денежный кризис понудил управление финансов ограничить выплату наличными деньгами только одной четверти поставленного населением хлеба, остальную часть — квитанциями.

Эта мера встречена была деревней весьма враждебно и послужила предлогом для агитации против Добровольческой армии.

Восстановление свободы торговли в значительной мере тормозилось крайним расстройством транспорта. В июне на освобожденной территории было 4475 верст железнодорожных путей, в сентябре их стало 15 678 верст. Почти $^{1}/_{4}$ всей русской железнодорожной сети составляли дороги, разрушенные большевистским хозяйством и гражданской войной. Для поднятия транспорта нужно было время, и в тот срок, который давала стратегическая обстановка, ведомство путей сообщения справиться с этим не могло. Оттого, например, к августу на донских копях скопилось 90 миллионов пудов угля при наличии общего угольного голода в стране; в Батайском узле образовался затор во много сот цистерн, парализовавший большую добычу грозненской нефти, и т.д.

Экспортная политика ведомства торговли и промышленности покоилась на системе точного учета, регулирования и бронирования к частному экспорту целого ряда предметов сырья[1]. Эта политика имела целью удовлетворить прежде всего снабжение армии и насущную потребность страны, предупредить выкачивание из нее необходимых предметов внутреннего потребления и избежать спекулятивного вывоза. Но в осуществлении этих идей мы, вероятно, переходили пределы необходимости, задерживая в стране те запасы, которые наш транспорт передвинуть не мог. К тому же ведомство стремилось, не ограничиваясь ролью регулирующего начала, брать на себя скупку, извлечение и экспорт забронированного сырья для создания государственного валютного фонда. Кроме обвинений в крупных злоупотреблениях, ничего более эта система не принесла. Только в конце ноября, после замены главы ведомства Лебедева инженером Фениным, экспорт разрешенных к вывозу предметов был передан частной торговле, с отчислением известной части вырученной валюты в казну.

Ввиду больших нареканий на управление торговли и промышленности и видя, что с делом мы не справляемся, я пригласил на совещание в августе в Ростов видных деятелей промышленности и торговли — экономистов и кооператоров, проживавших на Юге. Я обратился к присутствующим с просьбой помочь правительству разрешить важный вопрос

[1] Хлеб, шерсть, руда, железо, сода, поташ и другие.

восстановления промышленной жизни страны. Но, к удивлению своему, я услышал, что собрание в основных чертах разделяет политику ведомства, а панацеей для поднятия промышленности и обеспечения страны считает льготы, казенные субсидии и широкий государственный кредит предприятиям[1]. Эти положения повторил съезд торгово-промышленников, собравшийся позднее в Ростове, выразив уверенность, что «управление финансов приложит все зависящие от него усилия, чтобы все свободные средства были направлены на финансирование промышленности и торговли».

Что касается кооперации, эта форма хозяйственной организации не была надлежаще использована ни для совета, ни для дела. Нужно, однако, заметить, что некоторое предубеждение, сложившееся в Особом совещании против кооперации, имело известное основание: кооперативы все более удалялись от прямого своего назначения — хозяйственного обслуживания населения; деятельность многих из них носила все более спекулятивный характер; и в то же время захваченные социалистическими партиями кооперативы, обладая крупными средствами, становились нередко сильными аппаратами их пропаганды. Что же касается украинских организаций, которые под именем «спилок», «споживчих товариств» и других группировались вокруг центральных органов — «Днипрсоюза» и «Украинбанка», — они являлись почти повсеместно очагами самостийной и петлюровской агитации.

Это засилие политики над экономикой отмечено было трезвыми голосами самих кооператоров на съезде в Харькове (в октябре) акционеров Московского народного банка. Но, во всяком случае, кооперативы в основу своей деятельности клали частную инициативу и труд в большей степени, нежели государственные кредиты.

Как бы то ни было, ни внутренний, ни заграничный рынки не дали сколько-нибудь достаточных средств для фронта, для борьбы, для создания надлежащего настроения в занимаемых областях.

Все наше финансово-экономическое положение, таким образом, было безотрадно — отчасти по вине людей, а еще более из-за стихийных условий жизни. Значило ли это, что успех борьбы безнадежен? Отнюдь: по ту сторону фронта было неизмеримо хуже и тягостнее.

[1] Голоса кооператоров я или не слышал, или не помню.

* * *

В условиях меньшего общественного внимания, хотя столь же трудных духовно и материально, протекала деятельность тех ведомств, которые или мало, или вовсе не вовлекались в политическую и социальную борьбу.

Управление юстиции во главе с Челищевым бережно собирало и восстановляло судебные учреждения. Личный состав их так же, как и в военном ведомстве, подвергался проверке в отношении его участия в деятельности большевистских органов — не столько в невольном сотрудничестве, сколько в приятии большевистской идеологии и практики. Обследование, проведенное без нарушения принципа несменяемости судей, не возбудило такого озлобления, как это было в военной среде, и дало в общем весьма благоприятные результаты в отношении нравственной физиономии служителей русского суда.

Благодаря более развитому чувству государственности в правительствах Дона и Терека явилась возможность осуществить на освобожденной территории единство высшей кассационной власти и надзора за правительственным аппаратом в лице «Донского» сената, преобразованного в «Правительствующий»; точно так же Новочеркасской судебной палате были подчинены Ставропольский, Владикавказский и вновь образованный Черноморский окружные суды. Только кубанское правительство и в этом вопросе соблюло самостийные начала, воспротивившись объединению, делая попытки создать все элементы суда в пределах области и, вследствие оппозиции этому чинов судебного ведомства, оставив край до самого своего падения бессудным.

Ведомство юстиции восстанавливало закон, внося только необходимые поправки в нормы процессуального и материального права, вызванные исключительной обстановкой. Не избегло оно все же вторжения политики в вопрос большой важности: «Об уголовной ответственности участников установления советской власти и лиц, содействовавших ее распространению и упрочению». В конце июля со-

стоялось постановление Особого совещания о введении указанного закона. Закон предусматривал смертную казнь для лиц, «виновных в подготовлении захвата государственной власти Советом народных комиссаров», — участников и пособников; прочих «виновных в содействии и благоприятствовании советской власти» закон карал в зависимости от меры вины в пределах от каторжных работ до штрафа в 300 рублей; лица, виновные в преступлении *«вследствие несчастно сложившихся обстоятельств, опасения возможного принуждения или иной достойной уважения причины»*, освобождались от ответственности вовсе.

Закон по духу выражал суровое осуждение коммунизму и коммунистам как разрушителям русского государства. В отношении их он был беспощаден. Что касается массы населения, так или иначе попадавшей в круговорот вольного или невольного сотрудничества с большевиками, закон давал возможность широкой и безболезненной ликвидации вопроса, ибо почти всю некоммунистическую часть населения, почти весь миллионный кадр «спецов» можно было подвести под третью категорию. И хотя практика судебно-следственных комиссий, руководствовавшихся ранее измененной 108-й статьей Уложения, и потом нормальных судебных учреждений была весьма гуманна (во всяком случае, гуманнее общественного настроения), сам факт выхода этого закона считается многими, в особенности теперь, большой политической ошибкой. Один из тогдашних законодателей, вспоминая прошлое, пришел к убеждению, что таким путем «был упрочен стан красных: люди, которые играли в поддавки и сочувствовали саботажу, начали вести игру серьезную, ибо в игре — они стали так думать — была их голова»... Несомненно, редакция закона неправильна и давала пищу для кривотолков; впечатление он должен был произвести неблагоприятное. Мне кажется только, что это настроение невольных сотрудников советской власти несколько сгущено: сомнительно, чтобы люди, привыкшие к юрисдикции «народных судов» и застенка «чрезвычайки», страшились очень нормального русского суда. Особенно если принять во внимание, что июльский закон был опубликован во всеобщее сведение только в конце октября, когда наше наступление кончилось, и он не мог уже получить широкого распространения.

Деятельность лиц судебного ведомства проходила в обстановке исключительно трудной, не давшей возможности оказать надлежащее влияние на изнанку жизни, на оздоровление тыла. Во всяком случае, в то время, когда мораль считалась предрассудком и преступление явлением заурядным; когда преступники стали почти неуловимы из-за разрушения органов розыскных и полицейских, из-за страха, сковывавшего уста свидетелей, из-за непроезжих дорог в силу бандитизма и повстанчества; когда вся страна стала территорией гражданской войны, с ее извращениями закона и права; в обстановке нищеты и лишений — деятельность судебного ведомства тем не менее стояла на должной высоте.

Ведомство народного просвещения под управлением Малинина и под руководством профессора Новгородцева, не ломая основ и уклада и не прокладывая новых путей, работало упорно над восстановлением русской школы и улучшением положения учителя. В то бурное время оно почти не привлекало к себе общественного внимания. Только однажды выступление управления по украинскому вопросу, о чем будет изложено позже, вызвало большие дебаты и приобрело большое политическое значение.

* * *

В стороне от других ведомств стояло одно — по существу бескровно-мирное, но призванное играть огромную роль как средство борьбы: *отдел пропаганды.*

В сентябре 1918 года генерал Алексеев учредил «Осведомительное отделение» при председателе Особого совещания, поставив во главе его Чахотина[1]. Задачи, поставленные отделению, заключались «в осведомлении командования о политическом положении, осведомлении населения о работах и задачах Добровольческой армии и пропаганде ее идей». Первоначально отделение состояло из двух бюро — печати и информационного. Сведения добывались весьма примитивно — «путем опроса лиц, учреждений и приезжих из разных мест, привлекаемых в бюро особыми плакатами». С первых

[1] Впоследствии стал сменовеховцем.

же шагов учреждение, разраставшееся неимоверно в своем составе, приняло несерьезный характер, обратившись вскоре в убежище для безработной интеллигенции и вместе с тем в новый орган контрразведки — только мелкой, чисто обывательского масштаба. Во «внутренней информации» можно было, например, прочесть о том, что «лицо, не пожелавшее назвать себя, сообщило фамилии следующих лиц, ведущих большевистскую агитацию в станице Смоленской (следует перечень)». В «информации внешней» встречались довольно любопытные сведения о ходе мирных переговоров (осенью 1918 года):

«Лансинг передал ответ Вильсона на ноту Германии... что для ведения переговоров необходимо: 1) гарантия превосходства союзных войск на фронте, 2) прекращение Германией своих действий на суше и на море, которые названы «бесчеловечными», и 3) сокращение до бессилия той власти, которая нарушила общий мир и управляет Германией».

Что же касается агитации, то устная была в то время до крайности элементарна, а графическая ограничивалась почти одним распространением листовок, которые не раз вызывали к себе вместо сочувственного отношения насмешливое.

К началу 1919 года чахотинское учреждение успело проявить свою несостоятельность в полной мере, и Особое совещание постановило учредить новый *отдел пропаганды*, отпустив на него весьма крупные средства, чтобы с первых же шагов поставить широко это важное дело. Главная задача, возлагавшаяся на отдел, состояла в распространении по всей территории России и за границей правдивых сведений как о большевизме, так и о борьбе, которая велась против него на Юге.

Пост управляющего отделом был предложен Н. Е. Парамонову — кадету, донскому деятелю, который соединял в себе опыт политической и издательской работы. После больших дебатов внутри Совещания и переписки с Донским атаманом центр деятельности пропаганды был перенесен в Ростов, как пункт, допускающий мощное техническое оборудование отдела.

С первых же шагов деятельности нового главы пропаганды начались его трения с Екатеринодаром, главным образом из-за его желания «повернуть руль влево».

«Мне левизна особенно необходима, — писал он, — и я очень огорчен, что у меня туго подвигается набор видных сотрудников, стоящих теоретически в рядах социалистических партий, но по своему настроению и по кредиту в широких демократических кругах могущих принести нам большую пользу. Окружение себя сотрудниками из кадетов и правого крыла будет коренной ошибкой. Привлечение видных более левых элементов — необходимое условие успеха».

Можно было говорить о необходимости «полевения» *политического курса*, но самодовлеющее «полевение» *пропаганды* внесло бы еще большее расхождение между словом и делом и запутало бы окончательно и без того необыкновенно сложные политические взаимоотношения, существовавшие на Юге.

После ряда трений, осложненных раздельным существованием отдела пропаганды и центра управления (Ростов и Екатеринодар), которое препятствовало личному общению и взаимному пониманию, Парамонов оставил свой пост. Управление его продолжалось всего месяц, причем большую часть времени Парамонов вынужден был уделять заседавшему тогда Донскому кругу, в составе которого он играл видную роль в качестве лидера оппозиции. И новый управляющий отделом К. Н. Соколов принял, по существу, наследие Чахотина.

Первые же впечатления Соколова от знакомства с «Осватом» были удручающие. Настолько, что возникал даже вопрос — не лучше ли разрушить вовсе старое здание и построить новое... Соколову даны были большие средства и полномочия для реорганизации учреждения.

Отдел пропаганды тем не менее не поднялся.

«Я не могу не признать, что и техника, и внутренняя ценность работы много выросли по сравнению с первыми опытами Чахотина; что деятельность нашей пропаганды, в особенности осведомительная, своими тщательно обоснованными обзорами оказывала помощь правительству; что в рядах ведомства было немало лиц с установившейся

высокой литературной репутацией и честным политическим стажем; что, наконец, не один десяток смелых сотрудников пропаганды пал на своем посту от руки большевиков. Но в конечном результате работа отдела пропаганды принесла больше вреда, чем помощи, прежде всего из-за самого факта всеобщего отрицательного отношения к нему и недоверия ко всему, что носило печать «Освага».

Я остановлюсь только на важнейших органических причинах неуспеха этого учреждения.

Прежде всего, проповедуя единство России, оно нашло жесточайших врагов в стане национального и областного сепаратизма и среди всех принципиальных противников правительства. Оно встречало противодействие и осуждение не только в аналогичных учреждениях новообразований, но и в наших крупных штабах и учреждениях, желавших эмансипироваться от отдела пропаганды и вести свою агитацию, свое осведомление. Та официальная идеология, с которой шли за армией органы пропаганды, вступала иногда в большое противоречие с заявлениями войсковых начальников, вызывая разброд в определениях целей борьбы и недоверие у населения. Практика некоторых войсковых частей, проходивших с карами и местью, не вязалась с проповедью порядка и мира. Эти объективные причины, не зависевшие от отдела пропаганды, далеко, однако, не исчерпывали вопрос.

Личный состав отдела часто не удовлетворял минимальным условиям технической подготовки и полезности работы. Необходимость быстрого развития сети учреждений пропаганды, недостаток людей, часто полная невозможность для руководителей дела ознакомиться с политическим и моральным багажом привлекаемых работников — все это приводило к тому, что на общем поле деятельности встречались элементы совершенно разнородные: почитаемый писатель, честный журналист, серьезный ученый и наряду с ними — продавец пера и мысли, будирующий против власти социалист-полубольшевик, крайний правый, неблагополучный по связям с Распутиным, наконец шарлатан — «йог» и «провидец», начинавший ткать новую паутину вокруг членов династии... Остов действующих лиц пропаганды обрастал неимоверным количеством вторых

персонажей из числа не находивших другого применения своему труду представителей интеллигенции и бюрократии, бронированных от военной службы молодых людей, дам и девиц, придававших сумбурный характер всему учреждению. Усилия мои расчистить его встречали упорное сопротивление: штатные должности упразднялись, но вырастали нештатные — «секретных сотрудников».

Общая линия правительственной политики если и выдерживалась внешне этим пестрым конгломератом работников пропаганды, то во всех интимных, трудно поддающихся оценке и контролю действиях и их отношениях не раз произвольно нарушалась и искажалась. Оттого действительность подносила такие, например, сюрпризы: в одном из важнейших узлов начальник агитационного отдела рекомендует своим подчиненным «проповедовать директорию», так как он «против диктатуры главнокомандующего»... Из другого по освобожденным только что крупным городам Малороссии командируется для агитации адвокат Зарудный[1], который, к удивлению слушателей, ведет пропаганду в пользу Керенского, возбуждавшего тогда общественное мнение Европы против белых армий и вождей, и почти в оправдание большевизма. С другой стороны, один из секретных отделов центрального ведомства пропаганды поддерживал тесную связь и субсидировал негласными суммами «Союз русских национальных общин»[2] — правую организацию, враждебную политике командования.

Это был не сплоченный общностью взглядов и идеологии орган, а «парламент мнений», недостаточно связанный внутренней дисциплиной и сознанием нравственной ответственности.

К «Освагу» в обществе привыкли относиться с легким пренебрежением еще со времен Чахотина. «Осваг» не любили и потому не хотели замечать и некоторых положительных сто-

[1] Бывший министр юстиции Временного правительства, ныне советский служащий.

[2] На средства союза издавался в сентябре 1919 года в Ростове еженедельный погромный листок «В Москву», закрытый вскоре донским правительством.

рон его деятельности; не прощали ему и промахов, всегда возможных в нервной обстановке гражданской войны, в особенности когда эти промахи носили комический оттенок. И то, чего не могли сделать справедливое возмущение или, наоборот, злоба и зависть, то довершила *насмешка* — это отточенное и ядовитое оружие общественного мнения.

Насмешка доконала «Осваг».

* * *

Я очертил вкратце правительственную деятельность, касаясь главным образом важнейших сторон ее, преимущественно тех, которые имели прямое и непосредственное влияние на течение и исход борьбы. В этой сжатой схеме поневоле опущены положительные стороны, существенные детали тяжелой большой и полезной работы правительства и подчиненных органов в обстановке исключительно тяжелой морально и полной физических лишений. Власть тогда была не целью, не удовлетворением, а подвигом.

И этот подвиг очень многие несли, по крайнему своему разумению, честно и бескорыстно.

* * *

Пронесшаяся над русской землей буря, задевшая все основы человеческой жизни, не прошла бесследно и для православной церкви. Церковная жизнь настоятельно требовала устроения. И перед властью стали некоторые осложнения в политическом (автокефалия украинской церкви) и бытовом отношении, выходившие далеко за пределы самой церковной жизни и неразрешимые без нарушения канонов. По инициативе протопресвитера Шавельского я обратился в начале марта к православным иерархам, прося их созвать совещание, с целью разрешить вопрос о высшем церковном управлении. После долгих трений и колебаний 20 мая в Ставрополе состоялся наконец Поместный собор из епископов, выборного духовенства и мирян, который учредил «Временное высшее церковное управление»[1], принявшее на себя высшую церковную власть на Юго-Востоке России «до установления правильных сношений со Святейшим Патриархом».

[1] Из 7 членов, под председательством архиепископа Донского — Митрофана.

Вместе с тем в Особом совещании учреждено было управление исповеданий, во главе которого стал князь Г. Трубецкой, и в сентябре опубликована была декларация о взаимоотношениях церкви и государства.

«В твердом убеждении, что возрождение России не может совершиться без благословения Божия и что в деле этом православной церкви принадлежит первенствующее положение, подобающее ей в полном соответствии с исконными заветами истории, признаю необходимым установить нижеследующее:

В согласии с новыми началами, на которых создается государственная жизнь России, и в соответствии с постановлениями Всероссийского поместного собора, православная церковь свободна и независима в делах своего внутреннего распорядка и самоуправления.

Впредь до выработки особых по сему предмету законоположений, учрежденному ныне временному управлению исповеданий надлежит иметь наблюдение за соответствием постановлений власти православной церкви в делах, соприкасающихся с областью государственных и гражданских правоотношений, с существующими общими государственными узаконениями. Через его посредство осуществляется поддержка, оказываемая государственной властью церкви в ее материальных и иных нуждах.

В своих отношениях к инославным и иноверным исповеданиям временное управление исповеданий должно руководствоваться началами свободы совести и веротерпимости, предоставляя каждому признанному в государстве исповеданию, в полном соответствии с общими государственными началами, свободу самоуправления в делах внутреннего, чисто религиозного характера, не соприкасающихся с областью государственных и гражданских правоотношений. В борьбе с общим врагом, разрушающим начала государственности, все эти исповедания призываются содействовать среди своих последователей общей задаче оздоровления и воссоединения России».

Собор обратился с бодрящим словом к народу, вождям и армии и с увещанием к красноармейцам.

Но и в этот вопрос не преминула вмешаться политика: крайние правые группы пытались придать этому начинанию специфический политический оттенок. После неудачи, постигшей Пуришкевича и Востокова, которых не допустили выступить на Соборе с весьма боевым «сыновним обращением», эти группы охладели к Собору и к Высшему церковному управлению, огульно заподозрив его в «кадетизме». Что касается левых партий, они отнеслись также с большой подозрительностью к «поповской мобилизации» и к «втягиванию духовенства в политическую жизнь». Обвинения эти были неосновательны. Духовенство вовлекалось иногда в политику, но не властью, а своим участием в политических организациях. Церковное управление не раз предупреждало проповедников «от скользких путей политической пропаганды», не разумея под этим, конечно, выступлений против гонителей веры и церкви — большевиков.

Присутствуя при открытии Собора, в своей речи я высказал и свой взгляд на задачи его и духовенства.

«В эти страшные дни одновременно с напором большевизма, разрушающим государственность и культуру, идет планомерная борьба извне и изнутри против Христовой церкви.

Храм осквернен. Рушатся устои веры. Расстроена жизнь церковная. Погасли светильники у пастырей, и во тьме бродит русская душа, опустошенная, оплеванная, охваченная смертельной тоской или тупым равнодушием.

Церковь в плену. Раньше у «приказных», теперь у большевиков.

И тихий голос ее тонет в дикой свистопляске вокруг еле живого тела нашей Родины.

Необходима борьба.

И я от души приветствую Поместный собор Юга России, поднимающий духовный меч против врагов Родины и церкви...

Работа большая и сложная.

Устроение церковного управления и православного прихода. Борьба с безверием, унынием и беспримерным нравственным падением, какого, кажется, еще не было в истории русского народа... Борьба с растлителями русской души — смелым пламенным словом, мудрым деянием и живым примером... Укрепление любви к Родине и к ее святыням у тех, кто в кровавых боях творит свой жертвенный подвиг».

К сожалению, невзирая на усилия многих достойных пастырей, церковная проповедь оказывала мало влияния на массы: сеятели были неискусны или нива чрезмерно густо заросла плевелами...

ГЛАВА XXV

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГА. ПАРИЖСКОЕ ВОЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. «РУССКИЙ ВОПРОС»

В конце октября в Екатеринодар прибыл бывший российский министр иностранных дел Сазонов и занял пост начальника управления иностранных дел в Особом совещании. Назначение его принято было общественным мнением сочувственно. Самостийные круги хотя и будировали несколько, но признавали авторитет Сазонова. Не протестовали и умеренно левые, а «Утро Юга» приветствовало даже назначение Сазонова — под тем, однако, условием, чтобы он опирался на «всероссийскую демократическую власть».

Вопрос замещения этой должности имел большое значение для Юга ввиду общего стремления к объединению российского представительства на предстоящей Мирной конференции. Мы жили иллюзиями, что голос наш будет там услышан...

Отражением взглядов южной российской общественности на характер и задачи этого представительства является «Памятная записка», поданная правительствам держав Согласия через екатеринодарских их представителей[1]. Главнейшие положения записки заключались в следующем:

[1] Записку подписали: Астров, Винавер, Милюков, Степанов и Шульгин.

«1. Советское правительство не только не имеет права представлять Россию... но само существование этой банды убийц и разбойников... не должно быть терпимо.

2. Россия просит союзников поспешно прийти ей на помощь... Мы надеемся, что в этой войне за гуманность и справедливость будут совместно действовать союзные и местные (русские) войска.

3. Эфемерные государственные образования... приобретшие мнимую независимость... не могут принимать участия в процессе освобождения и объединения России, пока они не откажутся от своих притязаний на отдельное существование. Они не должны претендовать на отдельное национальное представительство.

Необходимо осторожно относиться к притязаниям отложившихся областей, вроде Украины, Дона, Литвы, Прибалтийских губерний, Кавказских республик и даже Финляндии, независимость которой не была признана Временным правительством... Будучи представлены отдельно, они усилили бы только элементы разложения и слабости.

4. Настоящая Россия может быть представлена только единой делегацией, объединяющей все элементы, оставшиеся здоровыми среди разрушения.

Есть два центра объединения ее сил — на северо-востоке и юго-востоке России».

Преимущество записка отдавала второму — в силу близости к проливам, экономических условий Юга, существования там Добровольческой армии и притока «опытных и солидных государственных людей... которые начинают уже образовывать составные части будущего правительства, способного сложиться в будущем путем добровольного соединения с другими действующими центрами...»

5. Не ожидая конца этого слияния, «наши бывшие послы... могли бы представлять Россию и ее интересы... Несколько других, лучше осведомленных о недавних событиях, присоединятся к ним в качестве представителей тех центров объединения, о которых упомянуто выше».

Таким образом, в вопросах внешнего представительства сходился довольно широкий фронт правой и либеральной общественности, не было в этом отношении и серьезного расхождения с умеренно-левыми; наконец, и правительство Юга разделяло эти взгляды.

С целью разработки вопросов, связанных с предстоящей конференцией, в ноябре учрежден был при управлении иностранных дел «Совет по делам внешней политики» под председательством Сазонова. В Совете должны были принять участие А. А. Нератов, М. М. Винавер, П. И. Новгородцев, Г. Н. Трубецкой и Г. А. Казаков. Предложено было включить в состав его по одному представителю от Дона и Кубани, но обе «державы» уклонились, причем бывший в то время атаман генерал Краснов, отнесясь вообще отрицательно к предложению, требовал «паритета» для Дона и Кубани: «Если бы я мог согласиться на то, чтобы на шесть представителей Добровольческой армии явился один представитель Донского Войска, то донские казаки (?) с этим никогда не согласятся...»[1] Времени для споров не было, и я поручил представительство Юга в Париже единолично Сазонову. По сообщении этого решения новообразованиям к нему присоединились Крым и Дон, причем атаман настаивал лишь на включении в состав парижской делегации в качестве советников назначенных им лиц, что не встретило препятствий.

С Кубанью вышло сложнее. На основании постановления Рады правительство Быча накануне своего ухода в отставку избрало заграничную делегацию «для широкой информации и защиты интересов края». В состав ее вошли сам Быч, Савицкий, Намитоков — все члены «черноморской группы». Эта делегация пожелала взять на себя и представительство на Мирной конференции, независимо от правительства. В результате препирательств и компромисса была послана в Париж одна делегация — «правительственная», но в состав ее были включены Быч и его спутники и добавлены еще два члена: доктор Долгополов (от правительства) и Д. Филимонов (от атамана). И хотя в наказе, данном делегации, было указано, что она посылается «для содействия общему представителю го-

[1] Письмо к генералу Драгомирову от 30 ноября, № 060.

сударства Российского С. Д. Сазонову», но предварительные прения о наказе выяснили полную непримиримость Быча и его единомышленников с такою точкой зрения[1].

В середине декабря Сазонов уехал в Париж, снабженный наказом, выработанным в Особом совещании и утвержденным мною. Этот наказ касался исключительно внешнего положения русского государства и основной задачей признавал восстановление status quo ante bellum в отношении русских владений, за исключением земель, имеющих отойти к независимой Польше.

Внешне обстановка складывалась как будто благоприятно. В начале января 1919 года адмирал Колчак назначил Сазонова министром иностранных дел омского правительства, и таким образом в его лице объединено было представительство Юга и Востока. Но, приехав в Париж, Сазонов застал там уже существующее представительство, говорящее от имени России, не признанное в этом качестве союзниками и, в частности, французским правительством, но персонально находившееся с ним в некоторых сношениях. Это было так называемое «Русское политическое совещание в Париже», во главе с князем Львовым[2].

---

[1] В наказе были, между прочим, такие пункты:

«3. Если, однако, вопрос о государственном устройстве России будет поставлен на международной конференции, то делегация должна настаивать на установлении в государстве Российском федеративной республики свободных народов и земель, с признанием за Кубанским краем прав отдельного штата.

4. ...Если бы дело воссоздания России и борьбы с большевизмом было признано задачей, не допускающей международного вмешательства, то ввиду своеобразия культуры и социального уклада Кубанского края настаивать на установлении действительных международных гарантий против нападения и распространения на Кубанский край советской власти».

[2] В составе его к началу 1910 года были: Маклаков (посол во Франции), Гирс (посол в Италии), Бахметьев (посол в Америке), Извольский (бывший министр иностранных дел), Чайковский (председатель архангельского правительства), Савинков, Коновалов, Иванов (эсер), Титов («Союз возрождения»).

Приезд Сазонова был встречен весьма несочувственно: в парижских пробольшевистских газетах под влиянием русских левых кругов появились статьи по адресу «недобитого царского министра» и «нежеланного гостя». Клемансо уклонился от приема Сазонова; члены Политического совещания стали настойчиво убеждать его, что имя его одиозно для французской демократии, что изолированное выступление его невозможно, так как с ним никто из правящих кругов разговаривать не станет... И Сазонов уступил без борьбы, войдя рядовым членом в состав Политического совещания, о чем я узнал много позднее.

В первых числах января состоялся обмен телеграммами Сазонова и Маклакова с Омском, в результате которого адмирал Колчак писал мне: «Согласно этим телеграммам, я от себя и от имени правительства, образовавшегося на территории Сибири и Урала, уполномочил представительство России (на Мирной конференции) в составе князя Львова, Сазонова, Маклакова и Чайковского. Полагаю, что Вы не разойдетесь со мной в этом важном вопросе»[1]. Я не противоречил.

В состав Политического совещания должно было войти также по одному представителю Дона и Кубани. Но когда после долгих блужданий появилась наконец в Париже делегация Быча, на соединенном заседании донской и кубанской делегаций было решено не входить в состав Совещания по следующим мотивам: «Вступление в состав Совещания связало бы делегации в их выступлениях и переговорах с союзниками или с другими государственными образованиями; с другой стороны, не дало бы практически полезных результатов, ибо, по собранным сведениям, к Совещанию со стороны демократических сфер установилось отрицательное отношение, а в сферах правительственных к голосу Совещания совершенно не прислушиваются». Донцы вскоре вернулись на Дон, из состава кубанской делегации вышел, подав протест против ее решения, Долгополов, а Быч со своими тремя товарищами[2] остался надолго в Париже, примк-

---

[1] Письмо от 11 января 1919 года, полученное мною в марте или в начале апреля.

[2] Двое — Калабухов и Д. Филимонов — вернулись также осенью.

нув к наиболее непримиримым и враждебным России самостийным организациям. В первом же своем «меморандуме» державам Согласия делегация Быча заявила, что «наилучшей для себя помощью кубанцы считали бы прекращение гражданской войны, но это невозможно, ибо советская власть добровольно не откажется от притязаний на Кубанский край» и что «кубанцы ведут войну исключительно оборонительную». Делегация просила «всякой амуниции для своей армии», а «прежде всего, главнее всего — моральной поддержки в борьбе с большевизмом как слева, так и справа (черносотенством)».

Совещание имело совершенно неопределенные функции. Выделенные из состава его четыре члена (князь Львов, Маклаков, Сазонов и Чайковский) только и имели по существу право представительства сибирского и екатеринодарского правительств. Обращения к союзным державам и Мирной конференции подписывали иногда Сазонов и Чайковский от имени трех объединенных правительств, иногда все четыре лица — от имени Совещания. В непосредственном ведении его находились «Экономическое совещание» (Рафалович), бюро прессы (Саблин), канцелярия и посольство.

В подведомственные отношения и в финансовую зависимость от Политического совещания стали также учреждения генерала Щербачева, который взял на себя представительство, кроме армий Юга, еще и Восточной и Западной (Юденича). Кроме штаба, его организация состояла из отдела заготовок и снабжения (генерал Гермониус), отдела, ведавшего личным составом русских военнопленных и бывших во Франции русских бригад (адмирал Погуляев), и военно-исторического и статистического комитета (генерал Палицын). Содержание этих учреждений стоило Совещанию 125 тысяч франков ежемесячно, деятельность же по многим причинам была весьма ограничена. Для Юга, по крайней мере, мало ощутима. Главная задача, которую поставил себе генерал Щербачев, — формирование армий в Чехии и Сербии из контингентов русских военнопленных и местных добровольцев — из-за общих политических условий, психологического

состояния наших военнопленных и отсутствия средств[1] не имела никаких результатов.

Политическое совещание представляло далеко не однородное целое. Об общем характере его один из видных участников Совещания говорит:

«В той работе, которая совершается здесь в Париже русским центром, нужно различать две стороны: 1) отстаивание единства, целостности и суверенитета России, которые должны быть дороги всем русским, независимо от их политического направления, и 2) тенденцию при помощи сильных внешних покровителей, союзников, спасти русскую «демократию» и русскую «революцию». Так как союзники требуют от нас «демократизма», а некоторые русские элементы здесь и все инородцы только и делают, что доносят союзникам на «антидемократизм» русского национального движения, и в частности Парижского политического совещания, то мы все, каковы бы ни были наши политические убеждения, вынуждены считаться с этой атмосферой. Но для одних это внешняя неотвратимая обстановка, в которую в силу исторического несчастья вдвинуто дело восстановления России, для других — желанная поддержка их собственных «левых» аспираций, которые, как это они не могут не чувствовать, потерпели позорное фиаско».

Практически это столкновение взглядов давало такую картину работы (март 1919 года):

«Три четверти времени уходит на бесполезную грызню между собой, заподозривание друг друга в злых замыслах. Если это продлится еще некоторое время и выйдет наружу, то мы совершенно погубим себя. И мы это здесь понимаем, и в последнюю минуту самые, казалось бы, непримиримые останавливаются. Так, здесь назревал и чуть не разразился

[1] Генерал Щербачев совместно с экономическим совещанием Рафаловича исчислили и представили французскому министерству финансов смету в $69^1/_2$ миллионов франков в месяц на финансирование этих предприятий.

большой конфликт между Сазоновым и представителями общественного мнения, которые находили, что он слишком отстал и недостаточно считается с духом времени. Всем стало ясно, что если нечто подобное разразится, если ссора между русскими в момент Мирного конгресса выйдет наружу, то всякое уважение к нам пропадет, и, может быть, надолго».

Впрочем, решения, — говорит участник, — вырабатывались почти всегда «единодушные, то есть... компромиссные».

* * *

Париж и Западная Европа жили главным образом теми готовыми умозаключениями, которые им подсказывала русская эмиграция, и прежде всего ее политический центр — Париж. По словам князя Львова[1], общественное мнение союзных держав «оценивало наши правительства в такой постепенности по демократизму»:

«Первым стоит архангельское. Оно не возбуждает сомнений в реакционности, главным образом благодаря Чайковскому и потому, что оно не сильно и не так существенно.

Затем омское, которое после переворота Колчака вызвало бурю негодования, но когда выяснилась позиция Колчака, опирающегося на демократически-радикальные слои, все-таки с ним мирятся. Здесь нам в этом деле удалось рассеять сомнения.

Что же касается южного, то оно прямо считается реакционным. В доказательство приводится все что угодно: приглашение всех старого режима министров (?), наличие множества генералов, представительство Сазонова, отсутствие в составе правительства социал-демократов, отношение к Донскому кругу и Краснову, коего, как антитезу Добровольческой армии, выставляют как истинно-демократическое начало, и, наконец, само офицерство, которое кутит и поет «Боже, царя храни».

Союзники терялись в тех противоречивых до крайности мнениях, которые исходили от русской эмиграции. Среди той взаимной ненависти, непонимания, наветов и обличений друг друга в самых тяжелых, не только политических, но и уголовных преступлениях...

[1] Письмо его ко мне от 20 февраля 1919 года.

Париж стал сборищем политических деятелей всех рангов и направлений, в том числе людей особого типа — коммивояжеров от политики, обивавших все пороги со своими жалобами и проектами, со своим вздутым ослепленным самомнением, своим «я», доминировавшим над интересами борьбы и Родины[1].

Революционная демократия в огромном большинстве вложила меч в ножны и ополчилась против реакции, которая «идет на штыках колчаковских и деникинских армий»[2]. К ним присоединились всецело представители многочисленных лимитрофов — непримиримые и озлобленные. Весь этот лагерь вел сильнейшую борьбу «против Колчака и Деникина», имея особенный успех среди социалистов Запада. Если бы все же эта реакция могла быть донесена до Кремля, насколько свободнее вздохнул бы тогда русский народ!

В кругах, близких к Политическому совещанию, признавалась всецело идея «борьбы до конца». Но отношение их к борющимся силам было неодинаково. В нем обозначилось течение, ослаблявшее не раз позицию Юга и отозвавшееся, несомненно, на настроениях французов, косвенно на событиях в Одессе и Крыму: «за Колчака, против Деникина». К нему примкнули, по-видимому, и оба наших представителя — Сазонов и генерал Щербачев. Казалось в высшей степени странным это привнесение со стороны элемента борьбы и соперничества в отношения двух людей, отличавшихся глубокой искренностью, единомыслием и стремлением к единению.

Думаю, что немалую роль в этом вопросе сыграли два обстоятельства: с одной стороны, непризнание Екатеринодаром руководящей роли за Политическим совещанием, с другой — большие стратегические успехи восточных армий в начале 1919 года, в то время как армия Добровольческая, покончив с Северным Кавказом, только еще по-

[1] См. книжки Маргулиеса, Марголина, Кирдецова и других.

[2] Керенский, Минор, Зензинов, Аргунов и другие обратились даже с «манифестом» к демократическим правительствам Запада, приглашая их не оказывать поддержки адмиралу Колчаку и мне.

ворачивала с тяжелыми боями на север. Во всяком случае, летом, с выходом Вооруженных сил Юга России на московские пути, изменится и отношение Совещания, хотя общее направление политики южного правительства не претерпит изменения.

Вообще, во внешних и внутренних взаимоотношениях главную роль играл успех.

Опираясь на представительство таких реальных сил, как Восток и Юг России, Совещание получало известный вес в общественном мнении, но само оно к силам этим относилось с некоторым высокомерием, как к правительствам «провинциального масштаба». Считая себя органом всероссийского значения, Совещание заняло самодовлеющее положение и в отношении иностранцев, и в отношении представляемых им сил, стараясь руководить действиями последних. Не знаю, как отнеслось к этому омское правительство, но южное отнеслось отрицательно. Между прочим, в самый разгар нашей борьбы с кубанскими самостийниками, в начале апреля, князь Львов от имени Совещания прислал мне телеграмму с резким осуждением деятельности южного правительства:

«Совещание считает необходимым, учитывая критическое положение, создавшееся для дела спасения России, сообщить, что в союзных странах, как и вообще в Европе, демократические течения чрезвычайно усилились; не считаться с ними ни одно правительство не может... Те сведения, которые поступают с Юга от официальных представителей местных правительств, от общественных деятелей самой различной политической окраски, от агентов союзников о взаимоотношениях между местными правительствами и Добровольческой армией, усиливают позицию тех, кто защищает здесь большевиков, и ослабляют тех, кто может и хочет оказать нам помощь. Совещание бессильно чего-либо здесь добиться, если на местах не будут учитывать указанной обстановки... Всякий слух о раздорах военных властей с местными правительствами и выборными правительственными организациями, внесение политических соображений в военное дело, а тем более обнаружение реакционных симпатий, стремления к политической реставрации, отобранию земель от крестьян, хотя бы со стороны отдельных лиц, близких к Добровольческой армии, — все это убивает сочувствие и доверие к национальному движению... Недостаточно только избегать подобных ошибок; надо установить явно дружелюбные отношения к краевым правительствам, иметь в составе правительства популярные имена, восстановить и поддержать широкий политический фронт и сделать так, чтобы большевики были изолированы в своей борьбе со всей Россией».

О содержании этой телеграммы одновременно с нами была поставлена в известность Парижем и Кубанская законодательная рада, поместившая ее на страницах газет самостийного направления. Это обстоятельство заставило меня предать гласности и мой ответ.

Париж. Министру Сазонову.

«По поводу телеграммы № 669 Маклакова передайте князю Львову, что я интересуюсь политической обстановкой и отношениями к России, установившимися в Париже. Вместе с тем признаю совершенно бесполезным намерение руководить действиями екатеринодарского правительства со стороны лиц, оторванных от России, не знающих и не понимающих вовсе той обстановки, в которой совершается в ней трудное дело государственного строительства.

Деникин».

Эта переписка ухудшила значительно отношения русского Парижа к Екатеринодару, но, во всяком случае, привела их в полную ясность.

Мало-помалу стало выясняться, что правительство Юга, по существу, не имеет в Париже *никакого* представительства. Ни в смысле защиты наших интересов, ни в осведомлении Запада о деятельности и боевых успехах армий Юга, ни даже простого опровержения тех вздорных слухов и небылиц, которые распространялись нашими недругами.

С парижским политическим совещанием я не сносился. Официальные отношения между управлением иностранных дел Юга и Сазоновым хотя и продолжались, но существенного значения не имели. Реальная политика, касавша-

яся не только интересов Юга и борьбы его, но и некоторых вопросов общегосударственных, велась непосредственно в Екатеринодаре. И так как до осени 1919 года иностранные державы держали при командовании Юга исключительно военные миссии-то, естественно, многие вопросы проходили мимо нашей дипломатии, разрешаясь главным образом мною совместно с председателем Особого совещания и отчасти начальником военного управления. Общее направление внешней политики, с которым Особое совещание знакомилось еженедельно на заседаниях в моем присутствии, не вызывало никогда розни среди его членов.

•••

Наши ожидания не сбылись: русское представительство не было допущено на Мирную конференцию ни с решающим, ни с совещательным голосом. Политическое совещание и делегация («четверка») по собственной инициативе, иногда по приглашению столпов конференции, отзывались на животрепещущие вопросы, связанные с судьбами русской державы, декларациями, записками, иногда личными неофициальными беседами, но их выступления встречали внимания немногим больше, чем «манифесты» Керенского и «меморандумы» державных лимитрофов.

Было бы ошибочно и несправедливо, однако, отрицать значение этой «декларативной работы» русского парижского представительства. Среди разноязычной толпы могильщиков России, для которой они изобрели эпитет «бывшей», среди громкого гомона «наследников», деливших заживо ее ризы, нужен был голос национального сознания, голос предостерегающий, восстанавливающий исторические перспективы, напоминающий о попранных правах русского государства.

Это было важно психологически и не могло не оказать сдерживающего влияния на крутые уклоны руководителей Мирной конференции, на колеблющиеся общественные настроения Запада.

Об этих настроениях русский посол в Париже Маклаков писал на Юг:

«Пять лет войны и напряжения всех сил вызвали реакцию... Когда было заключено перемирие, все бросились отдыхать по-своему: люди состоятельные стали одеваться, раздеваться и танцевать, забыв о всяких ограничениях; рабочий люд стал требовать сокращения рабочего дня и повышения заработной платы... В некоторых странах в миниатюре повторяется то, что происходит в России — рабочий труд не окупает уже рабочей платы, и рабочие становятся пенсионерами государства... Вместе с тем политические претензии рабочего класса и вообще широких демократических масс, как принято у нас выражаться, очень возрастают. Везде правительства, представляющие правящие классы, чувствуют себя на вулкане; везде против них идут претензии тех, кто хотел бы занять их положение, смотрят с завистью и предубеждением на всякое социальное неравенство и преимущество и потому к нашему большевизму относятся с нескрываемой симпатией. «Конечно, — говорят они, — там много дикости и глупости, но общая идея нам нравится...»

Везде, где демократия начинает чувствовать свою силу, находятся и демагоги. И вот здешние демагоги, которые пока еще не победили, но приобретают сторонников с каждым днем, находят слишком благодарную почву и в медлительности мирных переговоров, и в безвыходном положении правящих классов перед финансовыми затруднениями, и в неумении их выйти из войны неповрежденными...

Не в этом настроении, не в этой атмосфере можно создать что-нибудь прочное и идти водворять порядок в России.

Заставить сейчас, после заключения перемирия, их (союзников) войска сражаться за Россию — это выше сил какого бы то ни было правительства. А главное, здесь сейчас начинается такая кампания — демагогическая, взывающая к желанию покоя и мира, изображающая всех антибольшевиков реакционерами и реставраторами, — что союзные правительства боятся дать сражение своим большевикам на непопулярном сейчас лозунге интервенции»[1].

В конечном результате, все более ясное понимание реальной опасности русского большевизма правящими клас-

[1] Март—апрель 1919 года.

сами и, с другой стороны, равнодушие или даже отчасти сочувствие в то время к нему масс на Западе привели к непонятной, извилистой и гибельной для нас политике держав Согласия в русском вопросе. Первым ее последствием был отказ от всех торжественных обещаний и деклараций, провозглашенных под влиянием военной психологии победителей: по инициативе Вильсона, с одобрения Ллойда Джорджа и при отрицательном отношении Клемансо состоялось постановление Мирной конференции, переданное нам по радио 12 января:

«Союзные представители подчеркивают невозможность заключения мира в Европе в случае продолжения борьбы в России. Поэтому союзники приглашают к 15 февраля сего года все организованные политические группы, находящиеся у власти или стремящиеся к ней в европейской России и в Сибири, не более трех представителей от каждой группы, на Принцевы острова в Мраморном море для предварительных переговоров, где будут присутствовать и представители союзников. Финляндия и Польша, как автономные единицы, в переговорах не участвуют. Союзники считают, однако, необходимым до переговоров заключение перемирия между приглашенными группами и прекращение всяких наступательных действий. Союзники уверяют в своих дружественных чувствах к России и русской революции».

Это был первый серьезный удар национальному русскому движению со стороны союзников.

За посылку своих представителей на Принцевы острова высказались только совет комиссаров, Эстония и... Одесса. Полагая, что термин «организованные группы, стремящиеся к власти» имеет прямое к ним отношение, одесские буржуазные и социалистические организации (Совет государственной обороны, Союз возрождения, Отдел Национального Центра[1], Земско-городское объединение и другие) после

[1] Главный комитет Национального Центра в Екатеринодаре отнесся с полным осуждением к предложению «Принкипо», о чем послал свое постановление союзному командованию.

обсуждения вопроса в ряде заседаний и после споров о числе мест избирали уже своих кандидатов.

Почти все остальные группы отнеслись к предложению резко отрицательно. В Екатеринодаре ему вначале просто не поверили. Так же было и в Омске, где адмирал Колчак, по словам Гинса, заявил иностранным представителям, что предложение «неясно по содержанию и искажено», а поэтому он как правитель «не будет вовсе на него отвечать», а в качестве главнокомандующего «отдает приказ войскам, что разговоры о перемирии с большевиками распространяются врагами России и что он готовится к наступлению». С осуждением отнеслась к проекту и большая часть английской и французской печати. Наконец, 1 февраля Сазонов и Чайковский от имени трех объединенных правительств обратились к Мирной конференции с меморандумом: «высоко ценя побуждения, внушившие союзникам их предложение», они вынуждены заявить, что «не может быть речи об обмене взглядами по сему поводу с участием большевиков, в которых совесть русского народа видит только предателей... Между ними и национальными русскими группировками невозможны никакие соглашения».

Под влиянием почти единодушного в этом вопросе общественного мнения проект «Принкипо» был быстро похоронен. Керзон в палате лордов проводил его надгробным словом: «Правительство не может объявить войну большевикам, так как это вызвало бы необходимость содержать большую оккупационную армию. Оставить же Россию мы также не можем — это была бы политика эгоистичная. Вот почему предложен на конференции принцип прекращения военных действий в России, но вовсе не признание большевистского правительства. Разговаривать с разбойниками — не значит признать разбой».

Идея интервенции отпала. Последние неудачные и немощные попытки ее в Одессе и в Крыму вызвали в русском обществе резкую перемену во взглядах на спасительность интервенции вообще, ксенофобию и — в известных кругах — возврат германофильских симпатий. Державы Согласия ограничились материальной помощью, но и в этой области не достигли единства: Америка отошла в сторону, Франция оказала помощь

преимущественно лимитрофам, Англия — и лимитрофам, и белым русским армиям. Если правительства в направлении помощи руководствовались исключительно субъективно понимаемыми интересами своих стран — спасением от распространения воинствующего большевизма, — то западные демократии исходили из более идиллических соображений: длинный ряд лет инородцы и российские либеральные и социалистические круги заносили на Запад свою психологию, свои обвинения «царского» режима и возбуждали симпатии к «угнетенным» им народам России; теперь пресса, пропаганда и личные воздействия представителей национальных образований еще более подогревали симпатии к «угнетенным».

«Глубокая пропасть, — писал Маклаков, — образовалась между воззрениями той части русских, которая, не ослабевая, продолжает национальную защиту России, и настроениями Запада — не только западных врагов, но и друзей России. Если бы кто-нибудь здесь стал говорить, что Россия будет унитарна, что... местная автономия отдельных национальных территорий... будет дана сверху единым Учредительным собранием и что пределы этой автономии могут им изменяться, то на него посмотрели бы как на реакционера и чудака».

Между тем именно так смотрели на взаимоотношения к новообразованиям и екатеринодарское и омское правительства. Парижское совещание пошло несколько дальше, и от его имени, за подписью «четырех», представлена была Мирной конференции декларация (май 1919 года), в которой державам предлагалось признать, что

«все вопросы, касающиеся территории Российского государства в его границах 1914 года, за исключением этнографической Польши, а также вопросы о будущем устройстве национальностей, живущих в этих пределах, не могут быть разрешены без согласия русского народа. Никакое окончательное решение не могло бы, в связи с этим, состояться по этому предмету до тех пор, пока русский народ не будет в состоянии выявить свободно свою волю и принять участие в урегулировании этих вопросов».

Что касается теоретических взглядов «новой России», декларация поясняла, что «она»

«не разумеет своего восстановления иначе, как на основе свободного сосуществования составляющих ее народов, на принципах автономии и демократии и даже в некоторых случаях на условиях взаимного соглашения между Россией и этими народностями, основанного на их *самостоятельности*».

И эта формула оказалась неприемлемой. Новообразования требовали немедленной и полной самостоятельности. Частные сношения отдельных членов Совещания и инородческих делегаций были решительно безрезультатны. Официальных не установилось вовсе, так как новообразования соглашались признавать Совещание только за представительство «Великороссии». Лишь однажды представители Литвы и Белоруссии (?) приняли помощь государствоведов Совещания при определении восточной границы Польши, оказанную им в целях ограждения российской территории от польского захвата.

Узнав об обмене мнений между адмиралом Колчаком и Верховным советом в дни, когда предполагалось признание, шесть «государств» — Эстония, Грузия, Латвия, Северный Кавказ, Белоруссия и Украина — тотчас же поспешили уведомить, что «всякие постановления органов русской государственной власти не должны иметь никакого отношения к ним». И кубанская делегация не преминула обратиться также с просьбой признать Кубань «независимым государством», допустить представителей ее к участию в работе Мирной конференции и принять «Кубанскую республику» в число членов Лиги наций.

Мирная конференция не взяла на себя разрешения русского вопроса. Она признала лишь «неотчуждаемую независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи», в смысле отказа Германии от всяких притязаний на них.

* * *

Из Парижа нам писали часто: помощь союзников недостаточна потому, что борьба Юга и Востока не популярна среди

европейских демократий; что для приобретения их симпатий необходимо сказать *два слова*: «Республика и Федерация».

Этих слов мы не сказали. Но если бы другая власть допустила такое вмешательство извне в русские дела и вышла из рамок непредрешения коренных вопросов государственного устройства России до народного — в той или другой форме — волеизъявления, что изменилось бы в истории прошлого? Сомкнули бы с нами свои ряды искренно и бескорыстно армии новообразований, отравленных сладким ядом мечты о полной своей независимости? Пошли бы полки генерала Уоккера на Царицын и стрелки генерала Анзельма на Киев? Наконец, воспряли ли бы духом российские армии, идя в бой за «Федеративную республику»?

Конечно, нет.

Не декларациям и формулам дано было повернуть колесо истории.

Balaton-Lelle
(Венгрия).
1924 г.

ГЛАВА XXVI

ЯССКОЕ СОВЕЩАНИЕ. ЗАХВАТ ОДЕССЫ ПЕТЛЮРОВЦАМИ. НАЧАЛО ФРАНЦУЗСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ПЕРЕХОД ВЛАСТИ В ОДЕССЕ К ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ КОМАНДОВАНИЮ. ПРАВЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ДИРЕКТОРИИ

Если зимою 1918—1919 годов события на Кавказе протекали при известном участии Англии, то западнее меридиана Керчи они находились в большой зависимости от французской политики.

Как известно, 5 декабря 1917 года Франция признала Украинскую республику (правление Центральной рады) de facto, и в Киеве появился французский «генеральный комиссар», генерал Табуи. Но с заключением Брест-Литовского мира и с немецкой оккупацией эта связь порвалась: миссия Табуи покинула Украину, и с марта 1918 года край этот официально считался «в поле зрения» французского посланника в Яссах, графа Сент-Олера. Там же был и центр французского осведомления по Юго-Западу России, причем начальник разведки, состоявший ранее при Табуи, офицер Энно, перенес свою деятельность из Киева в Кишинев. Этому лицу досталось играть видную роль в южнорусских событиях в период разгрома немцев; с его именем связано тесно много разбитых иллюзий и несбывшихся надежд.

Энно был знаком по Киеву с В. Шульгиным и воспринял его точку зрения в русском вопросе. В этом направлении он и действовал — с большой энергией и увлечением, превышая не раз свои полномочия, преломляя колеблющиеся и неясные настроения союзных правительств сквозь призму своих личных чувств и пожеланий.

6 октября Энно обратился с письмом к Шульгину, находившемуся в то время в Екатеринодаре. В этом письме он определял общее политическое положение и намерения союзников:

«Германия близка к концу.

Ее политике — расчленения России, ее желанию — сохранить силу Брест-Литовского мира, мира, при помощи которого разорванная на части Россия попала бы в экономическом отношении на бесчисленное число лет в немецкие руки, ее преступной тактике — поддержать в России террор большевиков, ею же созданный, — союзники хотят противопоставить политику воссоздания России. Союзники отказываются признать Брест-Литовский мир и по-прежнему продолжают считать Россию своей союзницей. В их программу входит освобождение провинций, захваченных немцами, и восстановление Великой России, совершенно необходимой для политического равновесия, ибо только она одна может создать гарантию против возможности новой войны в ближайшем будущем.

Пример сепаратных государств, выделившихся из прежней России и заключивших союз с Германией, только укрепляет Согласие в этих мыслях.

Экономические интересы, которые союзники имеют в России, заставляют их во всяком случае заняться ею.

Итак, в Россию прибудут армии, чтобы предложить ей мощную и дружественную помощь — материальную и экономическую.

Естественная программа Согласия сводится к нижеследующему: воссоздать *Единую и Неделимую Россию* и помочь восстановлению монархии, соответствующей желанию большинства русского народа.

Таковы вкратце предположения союзников относительно России. Такое изложение этих проектов базируется на официальных заявлениях политических деятелей держав Согласия».

Энно сообщал, что по его настояниям граф Сент-Олер приглашает Шульгина в Яссы, чтобы «без замедления выработать программу политических действий союзников в Малороссии, которые подготовили бы будущее их военное вмешательство». Вместе с тем Сент-Олер считал необходимым вступить в связь с влиятельными политическими деятелями Киева, «чтобы изучить все эти вопросы и обменяться мнениями». Энно прибавлял, что до прибытия Шульгина и без его советов он лично ничего предпринимать не будет.

Между тем события получили неожиданно быстрое развитие, и Энно решил действовать, не дожидаясь Шульгина. По его инициативе и с его участием состоялось 17 октября заседание под председательством русского посланника в Румынии Поклевского-Козелл, в составе наличных русских представителей — дипломатических, военных и Красного Креста. На этом заседании был избран комитет из шести лиц[1], которому поручено было немедленно пригласить в Яссы политических деятелей. По мысли Сент-Олера, как сообщил генерал Щербачев[2], предполагалось образовать в Яссах постоянное учреждение — «Русский национальный совет», при посредстве которого союзники могли бы узнавать

[1] 1) Поклевский-Козелл; 2) особоуполномоченный Красного Креста — полковник Ильин; 3) консул в Яссах Савинов; 4) генерал Новицкий; 5) назначенный французским вице-консулом в Киев Энно. Почетным членом комитета был избран генерал Щербачев.

[2] Письмо от 4 ноября 1918 года.

«все нужды, чаяния и запросы организованной и государственно настроенной русской общественности». По-видимому, этому учреждению предполагалось присвоить некоторые правительственные функции, так как генерал Щербачев оговаривал, что с открытием военных действий союзников и перенесением ставки союзного главнокомандующего на территорию России «этот национальный совет, конечно, сольется с Совещанием при Добровольческой Армии».

Выбор участников предположенного совещания был довольно случайный, так как членам комитета была предоставлена в этом отношении полная инициатива. Присутствовавшему на предварительном совещании генералу Кельчевскому, направлявшемуся к нам, поручено было просить главнокомандующего Добровольческой армией «командировать в Яссы политических деятелей по его усмотрению...». Кельчевский прибыл в Екатеринодар только в начале ноября, когда так называемое «Ясское совещание» состоялось уже фактически (1—10 ноября). В нем наряду с видным представителями русской общественности[1] приняли участие и посланники Англии, Франции и Северо-Американских Соединенных Штатов. Выехавший в Яссы Шульгин заболел в пути, по приезде туда слег в больницу и участия в Совещании не принял.

На первых же заседаниях обнаружилось полное расхождение русских представителей по вопросу о построении власти: буржуазная часть собрания стояла за диктатуру, социалисты — за директорию. В первой группе, кроме того, мнения разошлись и по вопросу о личности диктатора, на роль которого выдвигались великий князь Николай Николаевич и главнокомандующий Добровольческой армией. По совету английского военного агента Совещание согласилось оставить открытыми эти спорные вопросы и заня-

[1] От Совета государственного объединения — барон Меллер-Закомельский, Кривошеин, Милюков, Маргулиес и В. Гурко; от Национального Центра — Федоров и Чемберс; от Союза возрождения — Кровопусков, Титов, Бунаков-Фундаминский; персонально — Брайкевич, полковник Новиков, Савич, Пильц, Третьяков, Хомяков; по своей личной инициативе прибыли Шебеко, Демченко, Ф. Дитмар и В. Рябушинский.

лось исключительно обсуждением условий союзнической помощи. В меморандуме, подписанном всеми русскими членами Совещания и врученном 10 ноября иностранным послам, общий характер интервенции определялся вкратце следующими положениями:

«1. Единство России и, как следствие этого общего положения, — никаких независимых государств на ее территории, в границах до большевистского переворота. Никаких отдельных представительств в международных отношениях. Это единство России должно осуществляться без ущерба для свободы отдельных областей, образующих Россию.

2. Согласованные действия с союзниками для борьбы против большевиков.

3. Немедленная и мощная помощь Добровольческой армии генерала Деникина.

4. Немедленная замена немецких и австрийских гарнизонов вооруженными силами русских и союзников, в целях охраны порядка и образования прикрытия для формирования русской армии.

5. Действительная помощь, чтобы предпринять в кратчайший срок наступление на Москву и Петроград.

6. Единое командование, доверенное русскому военачальнику. Нужна немедленная помощь войсками и военным снаряжением.

Если союзники хотят видеть Россию сильной и крепкой, членом цивилизованных народов, если союзники не желают допустить вымирания населения севера и расхищения сокровищ юга, если союзники признают, что в течение первых трех лет войны Россия принимала широкое и славное участие в борьбе и тем самым содействовала победе союзников над общим врагом, если победоносная Антанта решила помочь России возродиться, — помощь должна быть оказана без замедления и в достаточном размере».

Еще до окончания работы Совещания в Киев был срочно командирован консул Энно, снабженный полномочиями от союзных послов и текстом «обращения» к населению Юга, составленным заранее членами Совещания; в этом обращении

пожелания, одушевлявшие Совещание, были выражены в форме торжественного обещания союзными правительствами своей немедленной помощи. Подобно тому как в Екатеринодаре — союзные генералы и офицеры, здесь, в Яссах, союзные дипломаты находились также под влиянием военной психологии, которая не могла освоиться *с таким* окончанием войны и с оставлением на произвол судьбы поверженной России. Оторванные от своих центров, они предпринимали некоторые серьезные дипломатические шаги на свой страх и риск в твердом убеждении, что эти шаги будут одобрены их правительствами и получат реальное осуществление.

Назревала большая и трагическая по своим результатам мистификация.

Положение Одесского района представлялось чрезвычайно сложным. В самой Одессе и близлежащих крупных пунктах — Херсоне, Николаеве и других — сосредоточено было около 50 тысяч германских войск — силы совершенно достаточные не только для того, чтобы прикрыть Новороссию, но и разгромить всю петлюровскую «армию». Но немцы сохраняли нейтралитет и оставались безучастными зрителями событий.

«Украинских» войск не было никаких. В Одессе находился штаб 3-го украинского корпуса и одни ничтожные кадры его. Командовал им генерал Стельницкий, который после отправленной им в Екатеринодар телеграммы о подчинении мне был смещен гетманом и заменен генералом Бискупским.

Единственной «силой» в Одессе был отряд добровольцев, около $1^1/_2$ тысячи, который признавал свое подчинение Екатеринодару и находился в ведении адмирала Ненюкова — начальника одесского центра Добровольческой армии. Наравне с киевскими добровольческими дружинами и на таких же основаниях этот отряд был подчинен мною в оперативном отношении местному командованию. Но организация отряда была не закончена, боеспособность его невелика, а защищать «гетманскую власть от Петлюры» — как в упрощенном виде воспринимались события — желания было очень мало. Еще меньше было доверия к генералу Бискупскому.

В Одесском порту высаживалась еще польская стрелковая бригада, сформированная мною в Екатеринодаре и теперь возвращаемая на родину. Но поляки никакого желания

вмешиваться во «внутренние русские дела» не имели, да и в том запутанном политическом положении, которое создалось в Одессе, разобраться им было трудно.

Наконец, на одесском рейде стоял французский линейный корабль и два-три миноносца — эмблема союзной мощи и вестники грядущей помощи.

Киев был отрезан, связи с ним почти не было, и гражданская власть в Одессе осуществлялась малоавторитетным и непопулярным гетманским градоначальником Мустафиным. Между тем город волею судьбы стал третьим этапом российского именитого беженства. Цвет интеллигенции и политических партий, конспирировавший ранее в Москве и потом бурно крутившийся в водовороте киевских событий, волной революции выбросило на одесский берег. Город коммерческой и спекулянтской горячки стал новым центром политического ажиотажа, борьбы союзов, «бюро», советов, организаций «правительств», делегаций... Одесса насыщена была до предела привнесенной ими политикой, в которой вместе с искренними и патриотическими стремлениями переплелись темные побуждения политических маклеров, авантюристов и людей с болезненной жаждой власти и влияния — какими угодно путями, какою угодно ценой.

Начались немедленно попытки образования государственной власти на Юго-Западе, взамен отмирающей гетманской. Приоритет в этом отношении взял на себя Совет государственного объединения во главе с бароном Меллер-Закомельским и Кривошеиным, предложившими себя для начала в качестве «Совещания по обороне» генералу Бискупскому. Не имея никаких корней и никакой опоры в общественных и народных кругах города, совещание это вместе с «командующим войсками» могло лишь констатировать изо дня в день свое бессилие.

Энно в Киев не попал, так как в начале ноября войска Петлюры захватили Фастов и подошли к Киеву, прервав его сообщение с Одессой. В качестве «особоуполномоченного французского правительства»[1] он рассылал из Одессы воззвания,

[1] Во французской транскрипции свое звание он определял в качестве «Consul de France — Kiew, chargé de mission».

обнадеживавшие население, и телеграммы, угрожавшие директории и немцам. Не найдя на месте иной власти, кроме призрачной уже гетманской, он поневоле призывал к поддержанию ее, что шло вразрез с ясскими постановлениями и вызывало недоумение и горечь среди защитников Киева и Одессы. Тем не менее, первое время его угрозы производили известное впечатление в стане Петлюры и в киевском германском штабе, и благодаря им, главным образом, Киев держался еще некоторое время. Но проходили дни и недели, а обещания и угрозы не подкреплялись реальной силой. Пропадали вера и страх. И события потекли стороною мимо добрых намерений и неограниченных возможностей.

В конце ноября части петлюровцев заняли Раздельную, отбросив небольшие команды добровольцев, которые одновременно подверглись нападению и со стороны занимавших станцию немцев. Петлюровцы двинулись дальше. «Атаман» Григорьев угрожал уже и Николаеву. Энно посылал в Яссы одну за другой телеграммы, остававшиеся без ответа, и с целью выиграть время до прибытия ожидаемого десанта, с согласия русских общественных деятелей 25 ноября вступил в переговоры с директорией. Это был второй шаг, продиктованный безнадежностью положения, но вместе с тем подрывавший национальную идею борьбы и извращавший смысл союзной помощи. Директория использовала широко самый факт переговоров, не стесняясь применять и провокацию. Так, через три дня после посещения украинскими представителями Энно (28 ноября), при возобновившихся в Казатине переговорах между директорией и немецким командованием, украинские представители заявили колебавшимся еще немцам: «Положение вещей не позволяет нам отложить операцию против Киева. Поэтому директория не находит возможным допустить отсрочку ответа, каковая могла бы произойти при посылке, согласно желанию немецких уполномоченных, их представителей к Антанте. *Украинское республиканское правительство самостоятельно ведет переговоры с уполномоченными представителями Антанты, и на этом основании оно может заявить, что немецкая армия не имеет повода препятствовать вступлению украинско-республиканских войск в Киев*». Договор между пет-

люровцами и немцами заключен был 30-го, и в тот же день в киевских вечерних газетах появилось сообщение, оправдывавшее увод немецких войск, прикрывавших Киев, тем обстоятельством, что державы Согласия «признали директорию и позволили ее войскам занять Одессу...». На другой день сечевики Коновальца заняли Киев.

В кругах, близких к Энно, составилось убеждение, что фактическим виновником провокации был некто Мулен, бывший подчиненный Энно, застрявший в Киеве, работавший там в пользу Петлюры и распространявший сведения о признании директории Согласием.

Из Одессы обращались за помощью и в Добровольческую армию. 25 ноября я получил телеграмму за подписью Энно, Шульгина и других с изложением критического положения Одессы, которую «необходимо сохранить как базу союзного десанта», и с просьбой перебросить туда трехтысячный отряд. Добровольческая армия, насчитывавшая тогда в своих рядах 37 тысяч бойцов, вела тяжелые бои под Ставрополем, вместе с тем необходима была помощь Дону и обеспечение ростовского направления, и задача серьезной обороны Одессы являлась поэтому для нас совершенно непосильной. Я мог только обратиться вновь к генералу Франше д'Эспре с просьбой ускорить прибытие десанта. Его все не было. Помимо неопределенности политического курса и технических затруднений, во французском штабе, очевидно, плохо уясняли себе масштаб происходящих в России событий. Так, 3 декабря Энно получил от генерала Бертело телеграмму, в которой вместо известия об ожидаемом десанте заключалось распоряжение: «Прошу вас передать главарям большевиков, а также Петлюре и Винниченко, что я их делаю лично ответственными за всякое враждебное выступление и всякое стремление нарушить спокойствие в стране»...

Одесса понемногу ликвидировала «сопротивление». «Совещание по обороне» заблаговременно отбыло в Крым; генерал Бискупский вошел в сношение с петлюровскими представителями о передаче им командования и города; адмирал Ненюков посадил добровольцев на пароход «Саратов», который вышел на рейд. Добровольцев обвиняли за это весьма жестоко. Вряд ли, однако, город с почти миллионным населением, в котором не оказалось ни инициативы, ни вождей, ни морального подъема, ни желания нести материальные жертвы для самозащиты, имел право обвинять эту горсть людей — плохо организованных и еще хуже снабженных.

Петлюровские отряды 28 ноября без боя вошли в Одессу. Часть Николаевского бульвара была оцеплена постами из состава польского отряда и французских экипажей, образовав «нейтральную зону», над которой был поднят французский флаг. Петлюровцы не пытались ее нарушить.

И длилось властвование их всего семь дней.

В нейтральной зоне нашли себе приют общественные деятели и официальные лица, не пожелавшие покинуть Одессу. В их числе были Энно и член Особого совещания Шульгин, вернувшийся по выздоровлении из Ясс, генерал Гришин-Алмазов[1], командированный мною в Яссы для ознакомления русского посла Поклевского-Козелл и иностранных представителей с положением дел на Востоке и возвращавшийся через Одессу; генерал Эрдели, командированный к союзному командованию, и адмирал Ненюков. На фоне общей растерянности Энно, Шульгин и Гришин-Алмазов не опускали рук и энергично искали выхода из положения, причем, по свидетельству Шульгина, душою их кружка и работы был Энно. Им принадлежала идея «французской зоны», по их же настоянию Ненюков согласился вручить командование добровольцами Гришину-Алмазову. Последний путем суровых мер остановил начавшуюся было панику, водворил в отряде дисциплину, и в ближайшие же дни добровольцы стали занимать внешнюю линию зоны, в которую понемногу начали пробиваться из города застрявшие там офицеры, броневики, даже артиллерийские части.

4 декабря подошли, наконец, первые транспорты французской десантной дивизии (156-й) во главе с бригадным генералом Бориусом.

На требование французского командования сдать город петлюровцы ответили отказом. Генерал Гришин-Алмазов, чтобы не предоставлять французам чести «взятия» Одессы и не давать тем предлога для ее оккупации, предложил Бориусу для

[1] Бывший военный министр сибирского правительства. По увольнении в отставку в конце октября приехал в Екатеринодар.

обеспечения высадки французских войск очистить Одессу от петлюровцев силами добровольческого отряда. Предложение было принято с большим удовлетворением, и 5 декабря, после десятичасового боя, город был занят добровольцами, потерявшими при этом до 150 человек. Петлюровские войска, до 4 тысяч, ушли из Одессы, но продолжали занимать ее ближайшие окрестности, окружая город полукольцом.

Гришин-Алмазов, по предложению генерала Бориуса, занял пост военного губернатора Одессы и стал править от имени Добровольческой армии, донеся немедленно мне и ожидая утверждения. В официальном письме на мое имя, составленном в несколько торжественном тоне, он «заверял честным словом», что «нигде и ни при каких обстоятельствах не будет проводить политики иной, кроме указанной в (моих) директивах», и что «никогда и ни при каких обстоятельствах не изменит» Добровольческой армии и мне...

Это неожиданное приращение территории хотя и соответствовало идее объединения южной России, но осложняло еще более тяжелое в то время положение Добровольческой армии, возлагая на нее нравственную ответственность за судьбу большого города, обложенного неприятелем, требующего снабжения и продовольствия, а главное — города с крайне напряженной политической атмосферой.

Но трехцветный флаг был уже поднят над Одессой, и это обстоятельство обязывало.

Я утвердил Гришина-Алмазова в должности военного губернатора Одессы и прилежащего района и приказал произвести там призыв офицеров и двух возрастных классов, «руководствуясь условиями местной обстановки».

* * *

И в состав директории, и в состав украинского правительства вошли только украинские социалисты[1]. Винниченко и председатель правительства Чеховский были выразителями крайнего — большевистского течения, в русле которого и протекала декретивная и законодательная деятельность власти, вызывавшая недоумение своей исключительной безграмотностью.

[1] Партии украинских эсеров, социал-демократы и социал-самостийники. Партия буржуазная социал-федералистов в начале не была допущена к власти.

Национализация земли по декрету, требовавшему немедленной ликвидации помещичьего землевладения, осложнялась дополнительным приказом директории, обещавшим по окончании войны наделы и денежное пособие лицам, принимающим активное участие в борьбе в рядах армии. Только после удовлетворения этой потребности остальная земля должна была перейти в общий национальный фонд. В этих видах «казакам» (солдатам) полковое начальство выдавало особые «посвидчення» на право пользования наделом. После опыта Центральной рады «национальный подъем» как возбудитель к борьбе был оставлен за полной непригодностью. «Земля» и «капиталы буржуев» были тем новым стимулом, которым народ привлекался в армию. Но деревня решала вопрос самостоятельно, без власти, а власть не решалась покончить с буржуазией. В своих демагогических декретах директория обрушивалась неизменно с угрозами на буржуазию, устранила ее от управления, широко практиковала аресты, систему заложников и конфискации, накладывала руку на сейфы, золото, драгоценности, вырабатывала нормы обложения контрибуцией, вводила даже суррогат «чрезвычайки» в виде «Верховной следственной комиссии» под началом отличавшегося своей жестокостью Ковенко. Приступили к разработке законов о принятии безработных на иждивение казны, о вселении рабочих в буржуазные квартиры, о национализации сахарных заводов и т.д., и т.д. Словом, Директория повторяла почти всю большевистскую программу, остановившись только перед прямым террором, который не декретировался свыше, но возникал стихийно в практике разнузданных войск и народных низов, направляясь по преимуществу против «панов и жидов». Еврейские погромы в краткий период директории были наиболее кровавы и жестоки.

Другое отличие от советского большевизма заключалось в социальной базе «украинского» движения. На конгрессе украинских социал-демократов Винниченко заявил, что если в советской России — диктатура рабочих, то на Украине должна быть установлена диктатура крестьянства, которое необходимо «пролетаризировать», превратить «из мел-

кобуржуазного в трудовое». Это-де вызывается не только соотношением сил, но и настроением галицийских сечевиков Коновальца — единственно надежного войска, которое не помирится с рабочей диктатурой.

Коновалец был действительно хозяином положения в Киеве, и засилье галичан в армии и правительстве создавало картину настоящей оккупации ими Украины. Галицийские сечевики были достаточно дисциплинированы и обучены. Слушались своих начальников, невзирая на крайне разношерстный их состав: там были, кроме русских галичан, румыны, венгры, немцы — разноязычный конгломерат бывшей австрийской армии. Дрались сечевики исправно и с презрением относились к разнузданным толпам «надднепрянцев». Но своим неистовым украинством, грубостью, реквизициями и грабежами они вызывали крайнее озлобление не только в великорусском, но и в малорусском населении, которое обзывало сечевиков «немцами».

Украинизация, начавшаяся с вывесок, в формах исключительно грубых и пошлых захватывала школу, церковь, печать и вызывала новую чистку служилого элемента во всех сохранившихся еще государственных учреждениях. Борьба с украинством была объявлена приказом Петлюры государственным преступлением, подлежащим ведению полевых судов, причем под понятие его подводилась всякая критика действий директории и поставленной ею власти. Приказ грозил ответственностью «по законам военного времени» и поручал наблюдение за исполнением его «всем чиновникам республики», вменяя им в обязанность «направлять виновных в ближайшие войсковые части или к коменданту». Точно так же «по законам военного времени» директория обещала карать «всякую агитацию и пропаганду лозунгов бывшего гетмана о федерации» (с Россией).

При всем этом члены директории именовали себя представителями демократии, а введенный ими государственный строй — демократической республикой. Национальный большевизм директории ни в городе, ни в деревне не нашел для себя почвы, но в значительной мере способствовал все более охватывавшему край большевизму советскому. Им окончательно проникли украинские эсеры и профессиональные союзы, центральное бюро которых принимало живейшее участие в образовании киевского совета рабочих депутатов; к нему склонялась и более умеренная до того времени партия украинских социал-демократов. И в то время, когда Петлюра вел борьбу, хотя и безрезультатную, с большевизмом в армии, Винниченко и Чеховский потворствовали большевистскому движению в крае, совершенно открыто направляемому киевским советом рабочих депутатов под лозунгом: «Долой кулацко-офицерскую диктатуру! Долой кулацкий конгресс! Да здравствует власть советов на Украине».

На этой почве в недрах директории и правительства начался раскол, разделивший украинских деятелей на два враждебных лагеря: один — во главе с фанатиком, по определению одних, и совершенно беспринципным человеком, по словам других — Винниченко, и другой умеренный, допускавший сотрудничество с буржуазией — Петлюры.

Обманутые в своих ожиданиях немедленных благ — земли по «посвідченням» и вольного грабежа, войска Директории разошлись по домам, унося с собою ружья и пулеметы, иногда увозя даже орудия. Частью они были разоружены командованием, частью перешли в полном составе к большевикам. Военный министр Греков поведал впоследствии Трудовому конгрессу[1] о тяжелом положении на фронтах: «Мы одеваем людей, даем им деньги, а воевать они не хотят, покидают фронт. Только сечевые стрельцы (галичане), как каменная стена, стоят на фронте, но этих сил мало, их хватит ненадолго...» «Генералиссимус» Петлюра добавил, что главнейшая причина такого состояния армии — «несоответствующий состав офицерства, которое только и думает о повышении и об увеличении жалованья. Часто покидают фронт не казаки, а такие офицеры...»

Трудно было ожидать иного от армии, где люди, проникнутые украинским национализмом, считались единицами, а прочие были просто вольными или невольными наемниками. Все эти не помнящие родства «Иваниви и Петриви» балакали с грехом пополам на мове, боялись своих «казаков» и ждали только подходящего случая, чтобы бросить свой курень и «Вильну Украину».

[1] См. ниже.

Между тем опасность грозила со всех сторон.

К середине декабря с севера и востока, с фронта Лунинец—Курск—Купянск началось наступление большевиков на Киев. На западе, в Галиции шли жестокие бои галицийской армии (до 40 тысяч) с поляками, которые левым своим крылом двигались в владимиро-волынском направлении. На юге и юго-востоке стояли войска французов, Добровольческой армии и Дона, которых петлюровский генеральный штаб считал также в числе противников Украины и намерения которых были для него не ясны... Против главного противника — большевиков — в Черниговский и Харьковский районы высланы были почти все наличные силы — около 14 тысяч галицийских сечевиков и 10—12 тысяч украинских гайдамаков. Прочие совершенно деморализованные украинские части неопределенной, никому не известной численности, подкрепленные 5—6 тысячами сечевиков, разбросанных малыми командами по 50—100 человек, составляли гарнизоны городов, железнодорожных узлов и прикрывали Волынь и юг.

В первые же дни правления директории были официально объявлены основные положения ее внешней политики: 1) дружественный нейтралитет в отношении германских войск; 2) дружба и согласие с советской Россией и 3) недопущение оккупации Украины союзниками. Вместе с тем во все страны Европы посланы были огромные миссии, в общем около 200 человек, для пропаганды идеи самостийной Украины, в поисках признания и помощи. За недостатком людей образованных среди правительственных партий, в состав этих миссий зачислялись в большом количестве социалисты-федералисты — представители буржуазии под более благозвучным именем «трудовой интеллигенции». Эти делегации, снабженные большими средствами и неукротимой фантазией, долгое время мистифицировали Европу в отношении стремительности «национального» движения, прочности правительства и силы «пятисоттысячной украинской армии».

Ни одно из принятых директорией положений не могло быть осуществлено. Ненависть к немцам была именно одним из стимулов, которые двигали восставший народ. Никакие правительственные распоряжения не могли повлиять на народные настроения. Германские эшелоны подвергались нападениям и ограблению, небольшие части избивались, связь корпусов с Киевом и Киева с Германией была прервана. Особенно тяжелым было положение германских войск отдаленного Харьковского района, для которого все пути были отрезаны. Ввиду этого представители советов солдатских депутатов и штаба 1-го немецкого корпуса были вынуждены войти в соглашение с советской властью об эвакуации через советскую Россию — ценною передачи большевикам оружия и артиллерии и прекращения охраны нейтральной зоны.

Пути к Киеву большевистской «Повстанческой украинской армии» были, таким образом, открыты.

Еще до начала восстания Винниченко вступил в соглашение с Советом комиссаров при посредстве киевской советской миссии Раковского на следующих основаниях: признание самостийности Украины, легализация коммунистической партии на Украине, но без права призыва к захвату власти, заключение союза против Согласия[1]. Со стороны Советов это был только политический ход, и с первых дней директории вся московская печать с нескрываемым презрением относилась к «мелкобуржуазному течению», которое должно уступить место «диктатуре рабочего класса и беднейшего крестьянства».

Винниченко, не видя принципиальных расхождений с советской властью, шел на какие угодно уступки, лишь бы сохранить самостийность Украины и власть директории. «Единственный союзник Украины, — говорил он открыто, — советская Россия. Необходимо создать свой большевизм; только в этом случае мы останемся у власти — в наши дела большевики вмешиваться не будут». Но Москва не хотела ни самостийности, ни директории. Поэтому, когда было обеспечено невмешательство немцев и выяснена полная инертность французских войск на юге, Совет комиссаров решил покончить с фикцией украинской власти. 14 декабря в городе Екатеринославе местным революционным комитетом было поднято восстание, увенчавшееся захватом города. Одновременно 1-я повстанческая дивизия двинулась на Чернигов и 2-я на Харьков. После краткого боя с отрядами Болбочана советские войска 21 декабря вступили в Харьков,

[1] Из речи Винниченко на Трудовом конгрессе 12 января 1919 года.

а вслед за ними туда прибыло и «рабоче-крестьянское правительство Украины» во главе с Пятаковым[1].

По поводу развернувшихся событий между двумя потентатами по прямому проводу Москва — Киев произошел откровенный разговор[2].

Директория: «Известно ли Советской республике, что войска ее переходят демаркационную линию и ведут наступление на трудовую Украинскую республику, и какие шаги думает предпринять Советская республика, чтобы устранить это?»

Раковский. «Здесь у аппарата находится народный комиссар Чичерин, и ему о таких фактах ничего не известно».

Директория: «На Харьковском фронте войска под начальством Коцюбинского и Пятакова переходят демаркационную линию и ведут наступление на Украинскую народную республику».

Раковский: «Войска под начальством Коцюбинского и Пятакова не являются войсками Советской республики. Это войска большевиков Украины. Советская республика во внутренние дела Украины не вмешивается. Помощь ее самая минимальная. Она может только отчасти обслуживать технически эти войска, не больше, но с другой стороны препятствовать этому наступлению не собирается».

Директория: «Мы заявили по этому поводу протест. Украинская политика народной директории такова, что она равняется по общему демократическому фронту и идет в ногу с трудовыми элементами Украины, для каковой цели созывается Трудовой конгресс».

Раковский: «Трудовой конгресс является ни больше, ни меньше, как комедией. Дано 9 дней для производства выборов и агитации по этим выборам. При отсутствии организации у трудовых элементов, при наличии осадного положения и аннулирования всех свобод (!) — этот конгресс будет не авторитетен и признанием Советской республики пользоваться не

[1] Пятаков возглавлял временно; председателем правительства был назначен Раковский.

[2] У аппарата были с одной стороны члены директории, с другой — Раковский, Чичерин, Мануильский.

будет. Со своей стороны нам известны факты, что украинская народная власть препятствует развитию большевистского движения на Украине. Факты таковы, что... (перечислен целый ряд пунктов, где возникло большевистское движение, которое было задушено). Если в дальнейшем такой уклон политики Украинской народной республики будет продолжаться, то Советская республика оставляет за собою свободу действий».

В результате в конце декабря состоялось объявление Украиной войны советской России — обстоятельство, не вызвавшее никаких изменений на фронте и знаменовавшее лишь внутренний кризис: победу военной партии Петлюры—Коновальца—Грекова над Винниченко—Чеховским, и вместе с тем окончательный поворот в сторону Согласия.

«Трудовой конгресс» открылся в составе около 350 делегатов, в том числе 50 галичан. «Крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции»[1]. Выборы протекали в условиях анархии, железнодорожной разрухи и административного произвола, при полном абсентеизме деревни и бойкоте рабочих организаций; состав—преимущественно социалистический, причем до 40% членов принадлежало к «селянским спилкам» — полуправительственным учреждениям, близким к украинским социалистам-революционерам.

На торжественном заседании 10 января единогласно был одобрен и оглашен акт о воссоединении Галиции с Украиной. На дальнейших заседаниях Директория и правительство в речах Чеховского, Петлюры, Винниченко и других нарисовали безнадежное положение «державы»: армии нет, власти нет, враги кругом, ни с Москвой, ни с Антантой к согласию не пришли. Директория и правительство считают конгресс источником верховной власти и готовы передать ее — кому он прикажет.

«Армия» Антонова-Овсеенко заняла уже большую часть Черниговской и Полтавской губерний, атаман Григорьев в

[1] Первоначально в качестве «трудовой интеллигенции» допускались только такие профессии, как фельдшеры, школьные учителя, конторщики и т.д. Затем директория распространила право участия на докторов, профессоров и т.д. Численность и значение этой группы на конгрессе были ничтожны.

Новороссии с числившимися в его подчинении 15 тысячами при 40 орудиях передался на сторону большевиков[1], передовые части 1-й повстанческой дивизии, наступавшей из Чернигова, заняли Козелец, а большевистские банды появились уже у Бровар, верстах в 20 от Киева. При такой обстановке революционная демократия обсуждала судьбы края, являя картину, гнетущую своим однообразием, повторяющуюся на всем протяжении революции. Основные мотивы всех речей: 1) вся власть советам; 2) мир с советской Россией (которая мириться не желает); 3) «победить большевиков можно легко, опираясь на всероссийскую и мировую демократию»; 4) национализация фабрик и заводов; 5) демократизация директории, правительства и конгресса... Кажется, только один Старух, представитель Галицийского блока, говорил трезвым голосом: «В этот момент следует думать только о защите страны. Священный долг конгресса — создать возможно скоро дисциплинированную армию. Украинцы Галиции поклялись бороться за землю и волю, но необходимо, чтобы крестьянство Украины также приняло участие в борьбе. Довольно разговоров. Надо действовать. Надо бороться против красного империализма, надвигающегося с севера...»

Но крестьяне не видели, очевидно, никакой разницы между Винниченко и Раковским, а «земля и воля» из Харькова предлагалась им в формах не менее обольстительных, чем из Киева. И они решительно не шли в армию директории.

Еще в одном вопросе конгресс высказал полное единодушие — в отказе от какой бы то ни было интервенции Согласия. Слухи о том, будто генерал Греков заключил в этом смысле договор с французским командованием[2], вызвали возбуждение на конгрессе, и Грекову пришлось опровергать эту «провокацию»: «Это неверно, — говорил он, — я не мог заключить договора, так как Согласие не признало директории, считая, что она находится в тайной связи с немецкими спартаковцами и русскими большевиками. Французское командование с большой охотой слушает меня, когда я заявляю, что мы решили собственными руками отвоевать свою свободу и что мы не нуждаемся в иностранных силах, но отказывает, когда я прошу военный материал, боясь, чтобы он не был употреблен против Согласия...»

[1] Фактически у него было едва ли более 4—5 тысяч.

[2] Большевики в своих прокламациях перечисляли и «15 пунктов» состоявшегося якобы договора — отголосок условий, поставленных фактически французами в порядке частных переговоров.

По тем речам, которые раздавались на конгрессе, можно было думать, что собрание свергнет директорию и возьмет власть в свои руки. Но этого не случилось. 14 января, в связи с безнадежным положением, нарисованным властью, слухами о приближении большевиков к Киеву и появлением на улицах города ушедших с позиций частей, произошла сильнейшая паника. Началась хаотическая эвакуация всех правительственных и военных учреждений. Разбегались министры и чиновники. Настроение стало окончательно подавленным, и официальная газета директории «Украинская Ставка» писала: «После того, что нам пришлось видеть вчера в украинских государственных и общественных учреждениях, нам стыдно смотреть людям в глаза. Там такая бездна страха, такая дикость перепуганного зверя, такое отсутствие образа человеческого, что от стыда можно с ума сойти...» Под влиянием такого настроения конгресс, приняв большинством голосов «селянских спилок» резолюцию о доверии к директории, неожиданно закрылся, и члены его спешно разъехались. Из своего состава Конгресс оставил в комиссии 41 члена «с законодательными и контрольными функциями» для опеки над Верховной властью и постановил образовать «трудовые рады из рабочих и крестьян» для контроля над местной властью (правительственными комиссарами).

Директория отдала Киев без боя и переехала в Винницу, отправив правительственные учреждения частью в Каменец-Подольск, частью в Галицию. А 23 января передовые части 1-й советской дивизии «повстанцев» входили в город с большой осторожностью и... недоумением, так как ни близко, ни далеко никаких серьезных сил у большевиков не было.

Все эти события послужили основанием для непримиримого отношения командования Добровольческой армии к директории — отношения, вызывавшего не раз суровое осуждение в центробежных кругах, особенно на Кубани.

ГЛАВА XXVII
ПЕРВЫЕ ШАГИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В ОДЕССЕ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМ РУССКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ближайшие две-три недели после занятия Одессы налаживалась еще только связь ее с Екатеринодаром, и генерал Гришин-Алмазов правил почти независимо от Особого совещания, находясь под влиянием Шульгина. Для гражданского управления он создал «правительственный аппарат» во главе с Пильцем (он же управляющий внутренними делами), в составе восьми отделов, в том числе юстиции, путей сообщения (одна железнодорожная станция), финансов и т.д. Под предлогом затруднительности сношений с Екатеринодаром, что было отчасти справедливо, одесская власть стремилась упрочить maximum своей самостоятельности, в то время как Екатеринодар проводил идею ведомственного подчинения органам Особого совещания. На этой почве начались недоразумения. Несогласованность планов продовольственного, топливного, товарообмена, морских перевозок и т.д. особенно тяжело отражалась на положении осажденного города, жившего исключительно подвозом. В этом деле в равной мере были виноваты одесский сепаратизм, екатеринодарский централизм и личные эгоистические устремления многих торгово-промышленников, пароходовладельцев и стоявшего за ними финансового мира. Но больше всего, конечно, — блокада петлюровцами города.

К случайно зародившейся власти отнеслись вообще с некоторым предубеждением, и не только в Одессе, но и в Екатеринодаре. Гришина-Алмазова не знал у нас никто. Смущали некоторые неудачные назначения его сотрудников; вызывали возражение самостоятельное распоряжение эмиссией одесской экспедиции и широкие ассигнования государственных средств; большие штаты и крупные по екатеринодарским масштабам оклады; назначение «месячного пособия» всем состоящим на государственной и общественной службе и рабочим — прием, не могущий быть примененным на всей территории Добровольческой армии и отзывавшийся демагогией; выдача крупных по тому времени сумм на агитационную работу Совета государственного объединения — организации недоброжелательной по отношению к Добровольческой армии, и т.д. К тому же одесские осведомители указывали постоянно на непопулярность, якобы, Гришина-Алмазова и связывали между прочим его деятельность, как оказалось потом — совершенно неосновательно, с работой Совета государственного объединения, вероятно, благодаря активному участию в этой организации и покровительству ей председателя одесского «правительства» Пильца.

Под влиянием всех этих обстоятельств я послал Гришину-Алмазову телеграмму, в которой, указав на ненормальность служебных взаимоотношений его и «правительственного аппарата, с Екатеринодаром, потребовал[1]:

«1. Ваш правительственный аппарат немедленно расформировать.

2. Для управления городом Одессой и прилегающим районом пользоваться нормальными органами одесского градоначальства.

3. Немедленно прекратить крупные ассигнования из казны без моей санкции.

4. Упразднить должности заведующих отделами и установить немедленное подчинение местных органов суда и управлений Особому совещанию по соответствующим отделам.

5. Считаю желательным для обсуждения принципиальных дел гражданского ведомства приглашать представителей Одесского городского и Херсонского земского самоуправлений[2]».

Я полагал возможным вернуть Одессу в положение градоначальства, с тем чтобы после расширения района учредить там, областное управление с более широким кругом компетенции и власти.

Моя телеграмма вызвала большое волнение в правящих и

---

[1] Телеграмма от 27 декабря, № 1425.

[2] Указанное в § 5 было сделано по ходатайству одесских демократических организаций, переданному мне по телеграфу посетившим Одессу генералом Лукомским.

политических кругах Одессы и целый ряд откликов. Энно, свидетельствуя о полной лояльности Гришина-Алмазова и его «правительства», просил об отмене распоряжения, которое «вызовет беспорядки в Одессе и парализует французское командование в его сношениях с гражданской и военной властью». Шульгин в телеграмме генералу Драгомирову счел принятые меры актом недоверия к нему лично как главному инициатору созданной схемы управления. Говорили по аппарату с генералом Драгомировым Гришин-Алмазов и Пильц. Все они указывали на крайне плохую связь с Екатеринодаром, необходимость поэтому большей самостоятельности местной власти и недопустимость чрезмерной централизации. Говорил также инженер Демченко[1] «от имени своих политических единомышленников — Совета государственного объединения, Национального центра (?) и финансово-промышленных организаций. Осуждая главным образом стремление Екатеринодара руководить экономическими и финансовыми вопросами, касающимися Одессы, он между прочим сообщал[2]:

«Этими днями вернулись из Бухареста князь Куракин и Маргулиес, которые вели там переговоры с графом Сент-Олером и генералом д'Анзельм. Последний в ближайшее время должен быть в Одессе. Французы заявили — считают необходимым, чтобы *при командующем всеми французскими войсками, штаб которого будет в Одессе, был или совет из представителей различных политических течений, или образовано специальное Южнорусское правительство для контактной работы*, где будет распространяться французское влияние. Ввиду этого после приезда их из Бухареста, в связи с теми приказаниями, которые они привезли от военного и дипломатического ведомства, последние дни у нас было соединенное совещание представителей умеренных и левых групп, т. е. Совета государственного объединения, Национального центра и Союза возрождения России, которые пришли

[1] Демченко пользовался плохой репутацией в отношении своей финансовой деятельности; играл большую роль за кулисами одесского «правительственного аппарата».

[2] Разговор с членом Особого совещания Шуберским 29 декабря.

к единогласному решению о необходимости создания немедленно правительства, которое охватит весь юг России, где раньше была власть гетмана; при этом правительство, которое есть в Добровольческой армии, должно считаться общероссийской властью. В этом новом правительстве министр иностранных дел и военный должны назначаться генералом Деникиным, а остальные министры намечаются соглашением между Советом государственного объединения и Национальным центром, с одной стороны, и Союзом возрождения и Земским городским союзом — с другой стороны».

Образование нового правительства считалось в Екатеринодаре нарушающим идею объединения русских областей. Поэтому генерал Драгомиров сообщил Гришину-Алмазову, что «никаких претензий у Особого совещания быть всероссийской властью никогда не было, нет и теперь». Что главнокомандующий, возглавив Вооруженные силы Юга России, считает необходимым на Юге единство военной и гражданской власти и не допускает образования в Одессе особого «правительства». Генерал Гришин-Алмазов в свою очередь заверил, что идея эта возникла без всякого его участия и даже без его ведома и что он лично не допустит никаких перемен.

Между тем Совет государственного объединения счел, очевидно, откровенность Демченко преждевременной. Телеграммой от 30 декабря председатель Совета барон Меллер-Закомельский удостоверял, что «сообщенные Демченко сведения касаются лишь предварительной теоретической разработки вопроса о временной организации власти на юго-западе, причем все соображения по этому поводу решено было представить генералу Деникину на одобрение через делегацию от Совета». Одним из главных оснований необходимости создания правительственной власти на месте являлась, по его словам, уверенность, что «*в условиях оккупации*, полной неожиданностей и препятствий, отсутствие на месте полномочного аппарата власти привело бы неминуемо к фактическому переходу ее в руки командного состава десантного отряда».

И в телеграмме Демченко, и в заверениях барона Меллера-Закомельского оказалось много неточностей. Четыре организации по вопросу построения власти не только не пришли «к

единогласному решению», но, как увидим ниже, расходились в нем коренным образом; идея создания новой власти «при командующем французскими войсками» принадлежала не французам, а исходила из недр Совета государственного объединения; вопрос вышел далеко за рамки «теоретической разработки», так как 14 декабря Советом государственного объединения были посланы в Бухарест М. Маргулиес и князь Куракин с целью воздействовать на французских представителей, и в частности на штаб генерала д'Анзельма, собиравшийся переехать в Одессу, и предложить им изложенную выше схему власти, с кандидатами в правительство из состава Совета государственного объединения. Маргулиес с князем Куракиным заявили французам «о желательности образования Юго-Западного правительства хотя бы сперва в форме *совета при французском командовании*». На этой форме они остановились как на «наиболее приемлемой для французов...»[1]. Эту идею поддерживали и послы Совета, командированные в Париж, Бухарест и Константинополь (Шебеко, князь Урусов и Молов). По крайней мере, такие взгляды высказывали они по возвращении в Одессу на общественных собраниях.

После всех переговоров и доклада генерала Лукомского, вернувшегося из Одессы, я послал военному губернатору в изменение телеграммы № 1425 новое распоряжение:

«1. Сохранить ныне действующее при Вас Совещание исключительно в качестве совещательного органа без правительственных функций, каковые принадлежат лишь Вам в пределах полномочий, коими Вы облечены.

2. Для неотложных расходов испросите необходимый Вам аванс, в пределах которого разрешаю производить финансовые операции на надобности, по которым своевременно не может быть получено разрешения финансового отдела Особого совещания.

3. Общее управление финансами, торговлей и промышленностью, транспортом сухопутным и морским, а также учреждениями суда должно регулироваться директивами соответствующих управляющих отделов Особого совещания, при мне находящегося, коим присвоены министерские права. В случаях неотложной необходимости принимайте чрезвычайные меры, донося немедленно мне. Все остальные указания телеграммы № 1425, не отмененные настоящей телеграммой, остаются в силе.

№ 1. Екатеринодар. 1 января».

[1] *Маргулиес*. «Год интервенции».

Эта «конституция» существовала до самого переворота, устроенного французами, видоизмененная несколько в конце января с назначением генерала Санникова «главнокомандующим и командующим войсками Юго-Западного края», с предоставлением ему больших полномочий. Его же усмотрению был предоставлен вопрос о существовании и деятельности «совещания» при военном губернаторе Одессы. Генерал Гришин-Алмазов был оставлен в своей должности.

Гражданское управление Одессы с большим трудом начало было налаживаться. По мере выяснения обстановки создавалось большее взаимное понимание, и централизм Екатеринодара принимал более умеренные формы. Многие главы ведомств (военного, морского, финансового, торгово-промышленного) побывали в Одессе, чтобы войти в личное общение с местной властью и устранить возникшие трения. Сотрудничество военного губернатора с городским головой Брайкевичем и председателем земского управления Бутенко — по свидетельству Брайкевича протекавшее в большом согласии — приближало власть к местной жизни и нуждам. Эти взаимоотношения выдержали благополучно и некоторое испытание: в начале января в Одессу была послана телеграмма о роспуске думы, срок которой истек 1 января, и о ведении городского хозяйства управой впредь до созыва новой думы по вырабатываемому в Особом совещании закону[1]. Это *общее* распоряжение, касавшееся всей территории добровольческой армии, проходило везде безболезненно, так как Добровольческая власть в освобождаемых от большевиков районах в области городско-

[1] Ясское совещание также отрицательно относилось к «думам Временного правительства», считая необходимым «ввести всеобщее избирательное право в разумные пределы» путем повышения цензов — возрастного и оседлости.

го и земского самоуправления находила пустое место и только *не восстанавливала* дум и собраний; в Одессе же дума *существовала*, и поэтому там роспуск вызвал некоторое волнение и борьбу. Я оставил в покое одесскую думу. И должен признать, что от насквозь социалистического состава ее и вообще от *местных* бытовых и классовых организаций Добровольческая власть не испытывала и десятой доли тех затруднений, как от некоторых *пришлых* элементов — русских и иноземных.

* * *

Кроме обвинений в централизации добровольческую власть упрекали в том, что она «не идет навстречу организованной общественности». Между тем в Одессе не оказалось ни сколько-нибудь объединенной общественности, ни «общественного мнения». В этом политическом Вавилоне, как в фокусе, отразился разброд российской интеллигенции — весьма показательный и по своему значению выходящий далеко за пределы местной жизни. Здесь слагались окончательно те взаимоотношения, которые легли в основу всей дальнейшей междоусобной политической борьбы, раздиравшей противобольшевистский фронт.

Совет государственного объединения вел наиболее интенсивную работу, сумев придать себе значительный вес в глазах представителей французского командования. Его послы побывали в Константинополе, Бухаресте, Париже, Екатеринодаре — всюду, где только слагались центры влияния на события Юга. Пополненный «кооптацией» вновь приехавших лиц, довольно однородный по своему социальному составу, Совет в политическом отношении представлял более пеструю картину: уходя своими корнями вглубь германофильских кругов, прогетманских организаций, Протофиса и «хлеборобных» союзов, он был связан вместе с тем персональным совместительством с Национальным Центром, а член бюро Совета, «политический маклер» Маргулиес протягивал тонкие, рвущиеся нити между Советом и демократическими организациями.

Совет не углублял и не раскрывал свою идеологию, а ставил исключительно вопрос о власти. Попытки его подчинить своему влиянию Екатеринодар не увенчались успехом. Одесса представляла более благодарную арену для подобных экспериментов, но бюро Совета в те дни, когда решался впервые

вопрос об одесской власти, укрылось в Крым, и события потекли мимо него: появился «узурпатор» Гришин-Алмазов и за ним политическое руководство Шульгинской группы. Поэтому с первых же недель, когда не только не было еще «мертвящей централизации Екатеринодара», но не установилась с ним даже надлежащая связь, Совет государственного объединения повел борьбу за власть. Не имея иной опоры, кроме французского командования, Совет готов был идти и на французскую оккупацию и на «иностранные легионы». Готов был признать диктатуру в лице генерала Деникина и генерала д'Анзельма, лишь бы за нею стояла его власть. Когда французы указали на необходимость соглашения с демократией, Совет готов был пойти и на трехчленную директорию. Вопрос о конструкции власти не имел, по-видимому, в глазах Совета принципиального значения; опасаясь полного разрыва с Добровольческой армией, Совет в то же время готов был отказаться и от схемы Маргулиеса, и от идеи директории, принимая в чистейшем виде институт генерал-губернаторства, вернее, наместничества. В записке, поданной мне через князя Щербатова в начале февраля, пожелания Совета были высказаны в форме достаточно элементарной: «Представителем и носителем власти в Одессе и в оккупированном (?) французскими войсками районе должно быть лицо, назначенное генералом Деникиным по предварительному соглашению с французским командованием...» Это лицо «должно быть облечено почти неограниченными правами», в том числе правом всех назначений и широкого расходования кредитов — главным образом... на агитацию и пропаганду, находящуюся в теснейшей связи с «организацией (Совета?), работающей за границей[1]»... «Необходимо организовать самую широкую и умело поставленную контрразведку...» Наконец, начальник края должен в своей деятельности «считаться с мнением руководящих общественных групп, дабы не увеличивать числа недовольных, способных нарушать созидательную

[1] Бюро Совета настойчиво и постоянно обращалось к Гришину-Алмазову, Санникову, Бернацкому за субсидиями на свою работу в Одессе и за границей, исчисляя потребность денежных средств десятками миллионов.

работу и обращением своим к французскому командованию затруднять и без того сложные взаимоотношения».

Если принять во внимание, что по мнению Совета и инспирированного им французского командования ни Гришин-Алмазов, ни Санников не удовлетворяли такому назначению, и обе стороны добивались всеми доступными путями назначения генерал-губернатором Одессы Пильца, то вся работа Совета государственного объединения теряет значительно в своем идейном обосновании[1].

Деятельность *Национального Центра* в Одессе протекала вяло. Те немногие члены главного комитета, которые находились в Одессе, являлись случайными представителями его, не снабженными ни должными полномочиями, ни информацией. 5 января, после приезда М. М. Федорова, приступили к некоторой организации: образовался «одесский отдел» Центра[2], поставивший своими ближайшими задачами «установить связь со всеми группами общественных деятелей в Одессе и партиями несоциалистического направления, а также направлять общественную работу руководителей Добровольческой армии, удерживая их от принятия мер, противных духу времени». Собрание установило характер своей будущей работы, в которой большое место отводилось «пропаганде за Добровольческую армию». Организация действительно горячо защищала интересы армии, поскольку оторванность от Екатеринодара не препятствовала ее добрым намерениям.

Но и после образования отдела, вследствие плохой связи с главным комитетом позиция его была недостаточно определенна и удельный вес поэтому не очень велик. Не раз представителям отдела приходилось выступать от своего только имени, уклоняться от принятия решений или расходиться с центром. В своем послании в Екатеринодар Национальному Центру отдел писал однажды: «Отсутствие руководящих указаний

[1] В Совете государственного объединения были различные люди и различные течения. Я касаюсь здесь того течения, которое возобладало и проводилось в жизнь бюро Совета.

[2] Под председательством Юренева, в составе Родичева, Шульгина, Волкова, Энгельгардта, Новгородцева и других.

относительно главнейших вопросов текущего момента крайне затрудняет положение представителей отдела в четырехглавом совещании, так как все другие входящие в него организации имеют свои вполне определенные проекты, и только Национальный центр не имеет ничего определенного и должен ограничиться критикой чужих предложений»[1].

Параллельно с одесским отделом Национального центра в Одессе возобновила свою деятельность и группа Шульгина — «внепартийный блок русских избирателей в Киеве», работавший последнее время в качестве «Киевского отдела Национального Центра»; группа пополнилась представителями других южных губерний и в конце января выступила под новым именем «*Южнорусского Национального Центра*», став в совершенно независимые отношения к Национальному Центру[2]. Это расслоение явилось далеко не случайным и знаменовало отпадение от Национального Центра его правого крыла, искусственно выросшего в 1918 году на почве совместной борьбы с украинством и германофильством. И хотя Шульгин писал, что «после сформирования южнорусского Национального Центра предполагается возобновить тесную связь с Всероссийским Национальным центром, — связь, которая последнее время как-то ослабела», но фактически взаимоотношения их никогда больше не налаживались.

В своих ориентировках и переписке Шульгин и его сотрудники постоянно осуждали централистскую политику Екатеринодара («необходимую как принцип, но вредную как систему текущего управления»), были недовольны Санниковым и добивались полноты власти для Гришина-Алмазова. Но эти внутренние трения не выносились наружу, и группа повсюду — в печати, в совещаниях, в сношениях с французами — поддерживала добровольческую власть и в частности главнокомандующего, «как носителя дорогой нам идеи и вождя единственной реальной русской силы...».

С такой же прямолинейностью Шульгинская группа вела борьбу с украинством, «в каком бы виде оно ни проявлялось».

[1] Информация от 19 января 1919 года.

[2] Состав бюро: председатель В. В. Шульгин, заместитель Савенко, члены — граф Д. Гейден, Ефимовский, Грушевский (Е. Г.).

Союз возрождения России в начале 1919 года переживал наиболее тяжелые дни внутренней распри. Сама основная идея его возникновения, политики и тактики — сотрудничество с несоциалистическими, буржуазными группами — подвергалась яростным нападкам со стороны социалистических партий. Не говоря уже об украинских социалистах, в глазах которых политика государственного единства была недопустимой, его бойкотировали и русские социалисты, настойчиво требуя разрыва с несоциалистическими организациями и с Добровольческой армией. Комитет социал-демократов в Киеве вынес постановление о недопустимости вступления в Союз членов партии. Также отрицательно отнеслось «Южное совещание» партии эсеров: «Деятельность Союза возрождения в значительной мере является дезорганизующей силой демократии и способствующей безответственным персональным выступлениям политических деятелей, особенно вредным в условиях нашего времени» — говорила резолюция, предложенная Центральным комитетом, и требовала отозвания из Союза всех членов партии эсеров[1]. Что касается Добровольческой армии, то «совещание» это постановило, что оно «не может призывать трудящиеся массы к поддержке Добровольческой армии в силу неприкрытых стремлений ее вождей к социальной и политической реставрации. Совещание требовало «безусловного подчинения армии демократической Южнорусской государственной власти...», без чего «партия эсеров может рассматривать армию только как силу, враждебную демократии».

Эти партийные узы тяжелым ярмом лежали на членах Союза возрождения, лишая Союз свободы действий и обрекая на бесплодность все усилия его умеренных и государственно мыслящих членов. Эти узы вносили в среду Союза неискренность и колебания. Союз утрачивал внепартийный характер своей организации. Мало-помалу от него откладывалось правое его крыло — кадеты[2], а постановление, принятое Союзом 16 марта и признававшее «невозможным участие членов его в организациях Национального центра» (в силу расхождения

---

[1] Одесса, февраль 1919 года. Резолюция собрала половинное число голосов.

[2] Вышли кадеты Степанов, Астров, Юренев и другие.

в вопросе о диктатуре), наносило существенный удар самой идее блока социалистических партий с буржуазными.

В конце ноября 1918 года на Юге России создалась еще одна организация — «*Совет земств и городов Юга России*», возникшая в результате Симферопольского съезда. Хотя состав съезда был малочисленный и совершенно случайный, по преимуществу социалистический; хотя органы самоуправления, возникшие в 1917 году под гнетом революционного угара и засилия солдатчины, имели сомнительные права на народное представительство, — съезд высоко расценивал свое предназначение: «В деле создания... временной демократической государственной власти Юга России, — говорилось в его резолюции, — при отсутствии в данный момент верховных органов народовластия и общегосударственного аппарата управления, земские и городские самоуправления, как избранные всем народом на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права и единственно уцелевшие органы правомерной государственной власти на местах — имеют право и обязаны являться выразителями воли избравшего их населения».

Вдохновителями и руководителями этого съезда были все те же лидеры Союза возрождения, и поэтому программы их были почти тождественны, деятельность однородна, превращая Совет в филиал Союза возрождения.

Съезд поручил избранному им Совету принятие всех необходимых мер к созданию временной государственной власти и восстановлению демократических органов самоуправления. В основание его резолюций были поставлены следующие основные положения: 1) необходимость ликвидации советской власти и борьба с «нарастающими в стране реакционными силами»; 2) единство России — в широких границах, исключающих восстановление «централистского государственного строя и бесповоротное признание за каждой национальностью права на полное отделение от России; 3) проведение начал народовластия; 4) образование южнорусского центрального правительства «путем сговора политических и общественных групп на государственном совещании», в котором были бы равномерно представлены оба крыла российской общественности (ценз. и неценз.) — в форме директории; 5) помощь со-

юзников, не превращающаяся, однако, в «опасное вмешательство в наше внутреннее российское дело»[1]; 6) признание Уфимской директории «мощным фактором в деле возрождения России» и слияние с нею впоследствии Юга «путем дружественного соглашения»; 7) снятие с очереди «ввиду разногласий» вопроса о роли и значении *первого* Учредительного собрания; 8) признание за Добровольческой армией государственных заслуг и ответственной роли — «служить на Юге России ядром для воссоздания российской народной армии» и отрицание как государственной власти — компетенции Особого совещания.

Только в одном вопросе существовало расхождение между обеими организациями: Союз возрождения относился совершенно отрицательно к украинской директории и самостийности, считая, что «в движении этом преобладают не национально-украинские, а социально-большевистские тенденции», и предостерегал французское командование от сближения с директорией. Совет земств и городов считал необходимым «вступить в сношения с политическими и общественными группами на Украине в целях демократического разрешения создавшегося положения» и уполномочил бюро Совета вести переговоры с директорией[2].

В письме своем ко мне бюро Совета земств и городов[3] указывало, что «Съезд поставил себе целью способствовать объединению вне зависимости от партий и классов всех элементов русской общественности, готовых примкнуть к общей борьбе за воссоединение единой, независимой и демократической России». Это была теория. На практике Совет, как и Союз возрождения, разделяли партийные перегородки и опутывали партийные догматы. Партийные комитеты зорко следили за поведением своих сочленов в

---

[1] Резолюция, однако, в дальнейшем призывала союзников поддержать демократию в противовес «ничтожного меньшинства», борющегося против народовластия.

[2] Постановление пленума Совета.

[3] Состав бюро: эсеры — Руднев, Гоц, Макеев; социал-демократы — Я. Рубинштейн, Коробков; национал-социалисты Елпатьевский, Бернштам; кадеты Брайкевич, Кондратьев.

земско-городском объединении, и то же «Южное совещание партии эсеров», хотя и допускало бытие этой организации, но обвиняло ее в «оторванности от широких масс демократии» и требовало от своей фракции «вести работу в тесной связи с деятельностью партийных организаций».

Совет земств и городов прожил 4 месяца и вместе с падением Одессы закончил фактически свою деятельность.

Так или иначе генералы Санников и Гришин-Алмазов оказались единовременно под воздействием и опекой пяти расходящихся во взглядах политических организаций.

* * *

Идея «сговора общественных сил», столь популярная на всем протяжении смутного времени и столь безнадежная в своем осуществлении, нашла отражение и в деятельности одесских политических кругов. С конца декабря и до начала марта состоялся ряд совместных заседаний «четырех организаций»[1] для решения вопроса о создании временной российской власти и для определения основной ее программы. Весь ход переговоров и в особенности интимные подробности, которые стали известны, свидетельствуют, что этим актом стороны отдавали только лишь дань времени, сохраняя предубеждение и неискренность в отношении друг друга, сомневаясь в возможности сговора и как будто выискивая благовидный предлог для того, чтобы разойтись вновь и надолго. Материалом для обсуждения вопроса о построении власти послужил проект Союза возрождения, заключавшийся вкратце в следующем:

1. Образуется государственное совещание, составленное из представителей краевых правительств и представительных органов, «четырех» межпартийных организаций, профессиональных союзов, кооперативов, торгово-промышленных организаций и политических партий.

2. Государственное совещание избирает директорию из *трех* лиц, в число которых входит главнокомандующий Добровольческой армией.

3. Директория как носительница верховной власти назначает деловое правительство.

---

[1] Совет государственного объединения, Национальный Центр, Союз возрождения, Совет земств и городов.

4. Государственное совещание, избрав директорию и опубликовав основные положения программы правительства, распускается.

5. Директория при первой возможности передает власть Учредительному собранию, перед которым только несет ответственность и которое определит форму государственного устройства и основные законы.

На этих положениях сосредоточилось все обостренное внимание совещания, так как декларации по аграрному, рабочему и другим вопросам приняты были только к сведению, не подвергаясь обсуждению.

Первоначально Совет государственного объединения не возражал принципиально против этой схемы, принятой также Советом земств и городов; а отдел Национального Центра, не имея указаний от своего главного комитета, ограничивался введением в нее поправок, в том числе требованием, чтобы в Государственном совещании была представлена Добровольческая армия и чтобы была точно отмежевана та область управления, в которой главнокомандующему предоставляется дискреционная власть. Но по мере выяснения в порядке осведомления социальных и политических расхождений договаривавшихся сторон вопрос о верховной власти приобретал все более острый характер и становился явно основным стержнем борьбы и раздора. На совместном заседании Совета государственного объединения и Национального Центра 11 февраля решено было добиваться предоставления «члену директории главнокомандующему» единоличной власти над армией, в том числе права всех назначений командного состава. Это требование встретило решительный отпор со стороны двух остальных организаций. Когда же на очередном заседании 25 февраля было оглашено полученное из Екатеринодара постановление главного комитета Национального Центра, отвергающее директорию и настаивающее на необходимости «единоличной военной власти, обладающей чрезвычайными полномочиями», это заявление вызвало решительный и окончательный разрыв.

О нем все организации поведали печати.

«Военная диктатура, — говорилось в декларации бюро Совета земств и городов, — может опереться в стране лишь на немногозначительные группы из среды имущих классов, интересы которых она обязалась бы охранять. Народные массы справедливо усмотрели в диктатуре шаг к реставрации дореволюционного строя; с навязанной им новой властью никогда не примирятся и умеренно демократические круги. Несмотря на внешнюю полноту власти, единоличная диктатура, изолированная независимой общественностью, бессильна будет справиться со сложными задачами по организации нормального правопорядка, более чем когда-либо требующими величайшей самодеятельности общества и народа. Бюро возражает против позиции, занятой Национальным Центром, и Советом государственного объединения в земельном вопросе. Эти организации стремятся включить в программу деятельности временной южнорусской власти восстановление и охрану прав земельной собственности, причем Совет государственного объединения настаивает на вознаграждении землевладельцев за понесенные за время революции убытки. Усматривая в этом насильственное восстановление дореволюционных земельных отношений, бюро земств и городов считает, что это будет новым поводом для взрыва новой гражданской войны в деревне, обострения классовой ненависти и укрепления большевизма. Власть, которая руководствовалась бы исключительно интересами землевладельческого класса, была бы, по мнению бюро, губительной и антигосударственной».

Констатируя в свою очередь неудачу переговоров, Союз возрождения приписывал причины ее «большевистским настроениям масс, реставрационным замыслам и вожделениям в среде земельных собственников и других имущих классов, центробежным стремлениям некоторых из южных краевых правительств ... и, наконец, явному нежеланию военных кругов, в частности главного командования Добровольческой армии, войти в соглашение с организованными общественными силами». И, угрожая решительно противодействовать этим тенденциям, рисовал план своих будущих действий:

а) усилить свою агитационную деятельность и организационную работу, стремясь привлечь к делу возрождения

России наибольшее количество демократических сил, с тем, чтобы, опираясь на эти силы, взять на себя активную роль в деле воссоздания русской государственности;

б) вступить в сношения с краевыми правительствами и национальными партиями и организациями, признающими необходимость воссоединения России, стремясь привлечь их к совместной и согласованной с союзом работе по возрождению России;

в) усилить информирование общественных и правительственных кругов Западной Европы и Америки о русских отношениях в целях привлечения их симпатии и активной с их стороны помощи делу русской демократии в ее борьбе за народовластие и свободу;

г) оказывать при наличии достаточно благоприятных политических условий свою поддержку новым русским военным формированиям, образуемым на демократических основаниях, как для того, чтобы увеличить количество сил, борющихся с большевиками, так и для того, чтобы обеспечить будущей общегосударственной власти на юге России кадры для создания родной армии».

Фактически в екатеринодарский и ростовский периоды Союз возрождения представлял собой довольно изолированную группу, оторванную и от социалистических партий, и от буржуазной общественности, стоявшую вне рамок действенной борьбы, играя роль лояльной оппозиции диктатуре.

Национальный центр протестовал против упрощенного толкования Советом земств и городов причин разрыва:

«По мнению некоторых групп, входивших в означенное совещание, расхождение их с Национальным Центром произошло по вопросам земельному и об образовании временной власти. Группы эти бросают Национальному Центру упрек в том, что он стремится к закреплению помещичьего землевладения, что он противодействует демократическому строю России и высказывается против него. По этому поводу представители Национального Центра видят себя вынужденными заявить, что мнение это не соответствует действительному положению вещей. Программные изложения Национального Центра по земельному, рабочему, а равно и общеполитическим вопросам свидетельствуют, что Национальный Центр не мыслит будущей России иначе, как обновленною в духе широких демократических преобразований с уничтожением сословных различий, с глубоко идущими социальными реформами, с широкой децентрализацией управления. Национальный Центр стоит за обеспечение землею сельского населения. Восстановление же частных прав земельных собственников является вопросом права и суда, в области которых никакая временная власть не правомочна вторгаться. Задачей временной власти в этой области должно лишь служить предупреждение новых взрывов гражданской войны и классовой мести, установление на местах законных органов, которые бы беспристрастно разбирали возникающие споры из-за земли, не предрешая вопроса о правах на землю и оставляя этот вопрос всецело на суждение будущего Учредительного собрания. Национальный Центр считает, что расхождения по этому вопросу с другими группами уже потому не могли иметь существенного значения, что вопрос этот не был обсужден до конца. Существенным для Национального Центра является расхождение по вопросу об образовании временной власти. Национальный Центр считает, что в условиях борьбы с большевизмом необходима только сильная военная власть и правильная дисциплина для всех классов. В этом отношении Национальный Центр ссылается на опыт Уфимской директории. Военному командованию должны быть предоставлены чрезвычайные полномочия временного характера. Ничуть не возражая против демократических принципов в устройстве власти, Национальный Центр не может участвовать в создании коллегиальной власти, которая не может привести к спасению России».

Точно так же протестовал и Совет государственного объединения:

«Представители бюро Совета государственного объединения России настаивали на предоставлении главнокомандующему неограниченного права решать вопросы о назначении высшего командного состава армии и об объявлении отдельных местностей на военном положении, против чего категорически высказались социалистические группы.

При наличии непримиримого разногласия по означенному вопросу о создании власти отпала возможность дальнейшего соглашения. Поэтому участвовавшие в совещании группы ограничились изложением основных своих предположений по вопросам экономическим и социальным. Заявления эти, в том числе и заявления по аграрному вопросу, были без всякого обсужденияз анесены в протокол заседания.

Вышеприведенные данные находят себе полное подтверждение в протоколах совещаний четырех общественных организаций. Эти данные свидетельствуют: 1) что прекращение совещаний общественных организаций было вызвано разногласием по вопросу об определении объема прав главнокомандующего русскими вооруженными силами и 2) что по аграрному вопросу между договаривающимися организациями не обнаружилось непримиримых разногласий, которые не могли бы быть устранены при дальнейшем совместном обсуждении этого вопроса, какового, однако, не последовало».

Наконец в полном согласии с Национальным Центром высказалась и группа Шульгина[1]:

«Повторение опытов политики Керенского и Уфимской директории не принесет спасения измученной стране. Поэтому, признавая постановление о необходимости образовать для южной России директорию из трех лиц глубоко ошибочным и могущим иметь самые гибельные последствия для нашей страны, Южнорусский Национальный Центр призывает все патриотические элементы населения, отбросив все классовые соображения и помня только о государственной пользе, всемерно и безоговорочно поддерживать власть главнокомандующего Добровольческой армией».

Я был ориентирован достаточно подробно о ходе работ совещания «четырех организаций», и негласно — о предположенном демократией составе директории. Кроме главнокомандующего, который должен был войти в нее ex officio, назывались имена кадета Н. И. Астрова и эсера И. И. Бунакова-Фундаминского.

---

[1] «Южнорусский Национальный Центр», не участвовавший в переговорах.

Я отношусь с большим уважением к Н. И. Астрову; не знаю вовсе г-на Фундаминского, но судя по тому доверию, которым он пользовалсяюционной демократии, вероятно, что он был человеком достойным. Не буду входить также в сравнительную оценку преимуществ той или иной системы власти (директория, консулат, диктатура). Но меня поражала та схоластическая привязанность к формулам, та оторванность от действительной жизни, которую проявляла в этом вопросе демократия. Мне казалось, что для всех, кто наблюдал серьезно жизнь Екатеринодара, устремления казачьих правительств, настроения армии и близких ей кругов, должно быть совершенно ясным, что осуществление этой идеи безнадежно. Южную директорию постигла бы та же участь, что и Уфимскую. Только дни ее жизни были бы значительно короче и конец плачевнее. Во всяком случае, в силу господствовавших настроений главнокомандующий не имел бы возможности не только поддержать престиж, но даже и оградить самую жизнь члена директории, *еврея* Фундаминского.

ГЛАВА XXVIII

УКРАИНСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В ОДЕССЕ. ПОЛИТИКА ФРАНЦУЗОВ В ОТНОШЕНИИ УКРАИНСКОЙ ДИРЕКТОРИИ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЮГА

Помимо перечисленных пяти организаций, в Одессе существовали органы всех политических партий — от блока крайних правых во главе с Пеликаном и Родзевичем до тайных большевистских ячеек, обладавших большими средствами и ведших разлагающую пропаганду в городе, среди французских матросов и солдат. Легальные российские партии в качестве таковых на авансцену одесских событий непосредственно не выступали, оказывая влияние и давление главным образом при посредстве «пяти организаций». Точно так же мало заметна была в городе с огромным еврейским населением явная политическая работа еврейских партий. Одесские осведомители указывали только на тайную совместную деятельность некоторых немецких банков и крупных еврейских

финансистов, поддерживавших украинское движение. Эта работа, видными участниками которой называли между прочими Марголина и Вольфзона, находилась в трагическом несоответствии с природой движения, с волной еврейских погромов, поднятой разлагавшимися войсками директории и прокатившейся по Украине и Новороссии в феврале—марте 1919 года. Эта же работа создала в добровольческих кругах довольно распространенное и слишком упрощенное объяснение направления французской политики на Юге — «еврейским золотом» и «еврейским засильем». Олицетворялось оно всемогущим тогда начальником штаба генерала д'Анзельма евреем Фрейденбергом[1] и его советчиками — Марголиным, Маргулиесом и другими видными представителями русского еврейства.

Наибольшую деятельность проявляли украинские группы. Делясь на несколько толков и течений, они обладали общими чертами — большой долей авантюризма и большой решимостью жертвовать интересами и Украины, и России.

В одно и то же время в Москве вел переговоры с советом комиссаров украинский посол Мазуренко, а в Одессе вступала в сношение с французским командованием целая плеяда украинских деятелей: военный министр генерал Греков, министр внутренних дел Мациевич, его товарищи Марголин и австриец Галип; представитель отколовшегося на ноябрьском съезде левого крыла хлеборобов Шемет и другие лица. Все они для подкрепления своей агитации пользовались большими средствами[2]. Не признаваемые добровольческой властью и явно враждебные ей, они тем не менее пользовались, благодаря французам, полным иммунитетом в Одессе.

Эти официальные представители директории далеко, впрочем, не отличались единством. Военная группа (Петлюра, Греков, отчасти Галип), находившаяся в оппозиции к партии Винниченко, в поисках расположения французов готова была идти на внутренний переворот — очищение директории от Винниченко и большевистских элементов и сближение ее с буржуазией, с сохранением, однако, самостийности Украины. По мере развала армии и правительства из этой комбинации вышел генерал Греков и стал вести свою особую линию, «жертвуя» уже и Петлюрой и являясь претендентом на роль главы директории или диктатора. В то же время его агенты стремились привлечь одесское офицерство и в особенности генеральный штаб на украинскую службу широкими денежными посулами и обещаниями «федерации и даже монархии». Они говорили также о возможности соединения армий под общим руководством добровольческого командования.

[1] В транскрипции Марголина и Маргулиеса — «Фредамбер».

[2] Помимо большого запаса денежных знаков, перешедших от гетманского правительства к директории, Германия продолжала изготовлять бумажные деньги и снабжать ими директорию в значительных размерах.

Украинская работа велась и в другом направлении.

Бывшие гетманские деятели — генералы Бискупский, Присовский, Долгоруков и другие, оставшиеся не у дел, сохранившие старые связи с немцами и завязывавшие новые — с французами, были враждебны к Добровольческой армии и в свою очередь сильно смущали офицерство. Бискупский, возглавлявший эту группу, стремился к образованию «краевого правительства с объединением национальностей» и к созданию особой украинской армии; в то же время он старался заинтересовать французов своим проектом разрешения аграрного вопроса в России: иностранный консорциум, скупающий у помещиков землю и перепродающий ее после парцелляции крестьянам с большим дивидендом... Трудно было определить, где в этом проекте проходят грани между фантастикой и потерей национального чувства.

Эта группа в силу финансовых, по-видимому, обстоятельств объединилась с другой, также крайне правой, представителями которой были: харьковский помещик, председатель отделения союза русского народа, Котов-Коношенко, претендовавший на гетманский «стол», и киевский помещик, бывший чиновник канцелярии генерал-губернатора Григоренко. Они играли роль представителей «Всеукраинской народной громады» и «Всеукраинского союза хлеборобов-собственников» — групп, отколовшихся от Всеукраинского союза хлеборобов на ноябрьском съезде. Это звание придавало им известный декорум «народных избранников» в глазах не разбиравшихся в русских делах французов.

От имени обеих организаций Котов-Коношенко подал докладную записку французскому командованию и генералу Санникову с изложением чаяний широкого фронта русско-украинской реакции и ее несложной программы: 1) верховная власть в Малороссии принадлежит «гетману, воеводе или Верховной краевой раде»; 2) при ней — «Верховный Совет из представителей Добровольческой армии, народной громады и хлеборобов-собственников»; 3) «краевая армия», созданная путем мобилизации «имущих классов при участии хлеборобческих громадянских организаций», с офицерским составом преимущественно «из местных офицеров-хлеборобов»; 4) лозунг — «неприкосновенность собственности на землю». Аграрный вопрос считался уже разрешенным «ввиду накопления капиталов в деревне, позволяющих крестьянам скупать землю», для чего требуется лишь «законное разрешение свободной купли-продажи земли».

Эти организации делали также попытки формирований, призывая в свои ряды офицерство и прельщая его крупными окладами, превосходившими значительно добровольческие.

Естественно, что у генерала Санникова ни Котов-Коношенко, ни его проект не встретили никакого сочувствия. Но французское командование в поисках «подлинно демократических» течений вело оживленные переговоры с ним и с Григоренко и в их кругах искало людей для нового правительства; в частности, Григоренко состоял неизменным кандидатом во всех французских комбинациях новой власти.

И хотя Бискупский, Котов и Григоренко являлись сторонниками и претендентами на возглавление государственной власти трех различных систем — краевого правительства, гетманства и директории, но это решение, по-видимому, не считалось существенным и не препятствовало нисколько их единению. По существу идеология всех этих лиц была одна и та же, как один и тот же денежный источник питал их деятельность.

Большое участие в этой группе принимали руководители киевского монархического блока; полной поддержкой пользовалась она со стороны «Протофиса», группы «Всероссийского союза земельных собственников» и нового крайне правого блока Полекана — Родзевича — Гижицкого. Григоренко установил тесный контакт с бюро Совета государственного объединения и в то же время вел переговоры с группой генерала Грекова, протягивая нити к украинской директории... По игре судьбы сложная интрига ковала длинную цепь, противоположными концами своими захватывавшую Петлюру и... Пеликана.

Наконец, была еще одна строго конспиративная польско-украинская группа, внушавшая французам мысль об освобождении Украины при содействии Польши и о включении ее на автономных началах в состав Польского государства...

Если ко всему этому добавить, что одна и та же контрразведка обслуживала и немцев, и Украинскую народную громаду[1], и что по свидетельству Маргулиеса другая контрразведка («источник сведений») работала одновременно на французов, на Гришина-Алмазова и за особую плату «раньше их» делилась своими сведениями с бюро Совета государственного объединения[2], то получится довольно яркая картина того переплета борьбы, интриг, влияний, той политической свистопляски, которая мутила Одессу.

Картина была бы неполной, если бы я не коснулся другой области — социально-экономических отношений. В этой области по концентрации спекулянтских элементов и плутократии, по темпераменту и размаху Одесса превзошла, вероятно, тыловые центры всех фронтов. «С одной стороны безмерная нужда масс, — писала одесская газета, — с другой столь же безмерная расточительность... Буржуазия наша в чаду своих бумажных барышей и столь же полноценных развлечений как будто ничего не видит, не ударяет пальцем о палец, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить бедственное положение народных низов. Ее пир во время чумы продолжается с непрекращающимся блеском и треском. А роковое кольцо вокруг нее между тем все суживается и суживается...»

«Одесский омут». Так охарактеризовала печать бурно кипящий третий этап российской «контрреволюции».

---

[1] Почти каждая политическая организация того времени имела свой контрразведочный или осведомительный орган.

[2] На приобретение их бюро расходовало суммы из субсидии, полученной от военного губернатора через Пильца.

Положение французского командования в Одессе при создавшейся обстановке было поистине трудным. Множество людей совершенно противоположных взглядов ежедневно осаждали французский штаб; делегации, депутации, представлявшие непременно «народные массы», «демократию» или по меньшей мере «широкие слои общественности», внушали французам свои проекты спасения России, Украины или французского влияния, поражавшие своими противоречиями и приводившие французов в полнейшую растерянность. Различные авантюристы, проходимцы находили окольные пути через некоторых персонажей многолюдного французского штаба и совместно с ними создавали вокруг него нездоровую политическую и спекулянтскую атмосферу.

В первый месяц французской интервенции, пока старшим начальником был бригадный генерал Бориус — строевой офицер, не имевший вкуса ни к политике, ни к властвованию, фактическим руководителем французской политики на Юге оставался Энно. Поэтому в первых донесениях Гришина-Алмазова звучали уверенные ноты: «С французским командованием установились наилучшие отношения. Фактически распорядителем являюсь я».

Вскоре оптимизм исчез. Хотя генерал Бориус действительно не вмешивался в гражданское управление и проявлял вполне доброжелательное отношение к добровольческой власти, но тем не менее положение Одессы становилось невыносимым. Власть военного губернатора распространялась только на город, но уже предместья его и ближайшие деревни занимались петлюровскими отрядами; в их руках был даже городской водопровод. Отрезанная от источников своего питания, Одесса осталась без продовольствия и фуража. Цены росли неимоверно, и это давало пищу для недовольства масс и добровольческой властью, и французским командованием, престиж которого, высокий вначале, все более падал. Наконец, ничтожные размеры «зоны» не допускали сколько-нибудь серьезного развертывания наших сил, которые к январю насчитывали всего 1 600 штыков, 56 сабель при 10 орудиях.

Французский гарнизон Одессы состоял всего из бригады пехоты с артиллерией и техническими частями и конного полка. При полной инертности и ничтожестве противника и эти силы были вполне достаточны для расширения зоны, тем более что в Николаеве разновременно сосредоточилось до 25 тысяч германских войск, которых петлюровцы довели до отчаяния, отрезав им все пути, и на которых возможно было возложить, хотя бы временно, обеспечение Херсоно-Николаевского района.

Гришин-Алмазов, поддержанный мною перед главным французским командованием, настойчиво добивался продвижения французов первоначально хотя бы с целью захвата ближайших деревень, затем до линии Тирасполь—Раздельная—Березовка — Николаев—Херсон. Ограниченный этой линией район представлял прекрасную военно-хозяйственную базу; обеспечивая оборону города, открывая железнодорожную связь с Румынией, где осталось многочисленное русское имущество бывшего Румынского фронта, он отдавал бы в наши руки площадь, богатую хлебом и фуражом, особенно Николаевский и Херсонский уезды, являвшиеся ближайшим рынком Одессы.

Но генерал Бориус получил приказание занять *только Одессу* и решительно отказался продвигаться далее. Французское правительство не имело, по-видимому, никакого плана и колебалось. Командование боялось рисковать незначительными силами, не торопилось их увеличивать и явно стремилось к разрешению взятых на себя обязательств одним «моральным авторитетом» без пролития французской крови. Поэтому вместо военных действий продолжались нудные и безрезультатные переговоры с директорией. Энно, разделявший взгляды на этот вопрос русского командования и поддерживавший идею единства России, тем не менее при создавшейся обстановке считал необходимым использовать военные силы Директории, питая искренние, но совершенно нереальные надежды на возможность «кооперации» их с добровольцами.

Потеряв надежду на продвижение французов, Гришин-Алмазов предложил французскому командованию расширить зону своими силами, но получил категорический отказ.

Так прошел месяц. Одесса задыхалась в тесном кольце блокады, Директория понемногу распадалась, войска ее разлагались, силы одесских добровольцев не возрастали, а советские армии все ближе подвигались к Киеву.

* * *

В начале января в Одессу прибыл штаб французской дивизии во главе с генералом д'Анзельмом и начальником штаба полковником Фрейденбергом, а вслед затем высадились и новые части десанта. В последующих событиях личность генерала д'Анзельма стушевалась совершенно, так как всю политическую работу вел его начальник штаба. Энно был отстранен от дел и вскоре уехал в Париж, «перед тем как покинуть одесский котел», послав свои «искренние пожелания успеха Добровольческой армии». Взаимоотношения резко изменились. Фрейденберг, заранее предубежденный против Добровольческой армии, принял систему полного игнорирования власти и дискредитирования ее представителей. Вместе с тем он начал поиски такой комбинации, которая наиболее благоприятствовала бы французской оккупации. Эта деятельность Фрейденберга полна противоречий и видимых несообразностей в связи с целой гаммой влияний, интриг и давлений, которым он подвергался. Но наиболее явственные и серьезные из этих влияний исходили от трех звеньев противоестественной политической цепи: 1) Петлюра — Греков, 2) Греков — Котов — Григоренко, 3) Григоренко — Меллер-Закомельский — Маргулиес. Политически это означало директорию, хлеборобческую «Громаду» и Совет государственного объединения; в области устремлений — самостийность, русскую фальсификацию украинской директории и особое южное правительство. Все комбинации признавали верховное правление французов, и все отрицательно относились к Добровольческой армии.

Иногда эти влияния оказывались раздельно, иногда составляли mixtum compositum — наиболее уродливую форму, заводившую французское командование в тупик.

— Pas une goutte de sang français[1].

Этот стимул «интервенции» требовал каких-то посторонних сил для борьбы с большевиками и заставил французов обратить свои взоры на Украину. Но такая политика была явным продолжением германской, приводила не к воссозданию, а к расчленению России и не могла не смущать французов, заставляя их искать оправдания своим действиям в отвлеченных сомнительных формулах. Так, генерал д'Анзельм говорил Шульгину: «Мы должны поддерживать все элементы порядка, а до партийных различий их — до того, кто стоит за монархию, кто против монархии, кто за единую Россию, кто против единой России, нам дела нет...»[1] Эту формулу исправил и детализировал Фрейденберг: «Франция непоколебимо верна принципу единой России. Но сейчас дело идет не о решении тех или иных политических вопросов, а исключительно о том, чтобы использовать для борьбы с большевиками все антибольшевистские силы, в том числе и силы украинцев». По его представлению, украинская и русская армии под руководством французов должны были идти совместно против Москвы. В этой комбинации, сочетавшей центробежные и центростремительные силы, украинский большевизм и буржуазно-демократическую «контрреволюцию», совершенно невыясненной оставалась, однако, *активность* роли связующего звена.

Оставляя в стороне идеологию, являлся вопрос — на какие реально украинские силы могло рассчитывать французское командование? То осведомление, которое давали многочисленные послы директории, наводнившие европейские центры и Одессу, страдало чрезвычайными, часто анекдотическими преувеличениями. Но французская разведка, представленная в Киеве Серкалем[2], давала правдивую и безнадежную картину украинского движения как не имеющего «моральной базы ни в народе, ни в интеллигенции», а «созданного известными политическими группами вопреки логике и реальному положению вещей», характеристику директории и правительства, которые «в течение полутора месяцев ввергли Украину в совершенную анархию и упразднили последние признаки права, безопасности и здравого смысла»; оценку армии, в которой «только галицийские части являются элементом более или менее серьезным, а прочие войска не только не представляют

[1] «Ни капли французской крови» (франц.). — *Прим. ред.*

[1] Беседа 9 февраля 1919 года.

[2] Молва считала Серкаля, совместно с Муленом, виновником франко-петлюровского «флирта». Судя по донесениям Серкаля французскому правительству, с которыми я ознакомился, близость его к украинским правителям была скорее ловкостью разведчика, чем сотрудничеством с ними.

боевой силы, но являются весьма опасными своим большевистским настроением»; наконец, определение украинской политики, руководители которой, оставаясь враждебными к союзникам и особенно к французам, ввиду безвыходного положения «открыто спекулируют на их авторитете и на благополучно якобы протекающих с ними переговорах».

Эти сведения не оказали никакого влияния на французскую политику.

Тотчас по приезде генерала д'Анзельма (24 января) в Одессу был вызван генерал Греков, который в результате переговоров обязался снять блокаду города и восстановить прямое сообщение Киев—Одесса. В течение января и начала февраля, по мере высадки греческих дивизий, союзные войска продвинулись на линию Тирасполь (румыны)—Бирзула—Вознесенск (исключ.)—Николаев—Херсон. Позади этой линии долго еще оставались петлюровские части, не подчинявшиеся своему командованию, пока постепенно они не разбежались.

Переговоры с директорией продолжались. Главным камнем преткновения служило требование французов об уходе Винниченко, что, по словам члена директории Макаренко, угрожало «разрывом ее с социал-демократической партией, которая ни на какую замену другим лицом не согласится». Но большевики перешли вновь в наступление от Киева, и украинские войска покатились назад в паническом бегстве, распыляясь и теряя последние признаки организации, обозначая свой путь грабежами и кровавыми погромами.

Военные неудачи ускорили назревавший еще в Киеве внутренний переворот: Винниченко и Андриевский ушли из состава директории; ушел и председатель правительства Чеховский; образовалось новое правительство во главе с профессором Остапенко, пополненное значительно социал-федералистами. И в первых числах февраля за подписью Петлюры, Швеца, Макаренко и Остапенко французскому командованию была направлена нота следующего приблизительно содержания:

«Директория, признавая сделанные ею ошибки, просит французское командование о помощи в борьбе против большевиков. Директория отдает себя под покровительство Франции и просит представителей Франции взять на себя руководство управлением Украины в областях военной, дипломатической, политической, финансовой, экономической и судебной в течение всего времени, пока будет продолжаться война с большевиками; и, наконец, директория надеется, что Франция и другие державы Согласия проявят великодушие, когда после окончания борьбы с большевиками возникнут вопросы о территориях и нациях».

Во французском штабе приняли это обращение за полную капитуляцию.

Между тем вокруг д'Анзельма — Фрейденберга усилилось значительно влияние руководителей Украинской Громады в ущерб представителям Директории. Под этим влиянием и были составлены основы соглашения, имевшие целью сочетать идею Фрейденберга о триипостасной власти, стремления хлеборобческих групп и Совета государственного объединения: «1) Южная Россия разделяется на две части. Одна — губернии Киевская, Волынская, Подольская и впоследствии Черниговская, Полтавская и часть Харьковской — будет управляться Украинской директорией; другая будет называться Южнорусским краем под управлением русской власти; предполагается директория при участии представителя Добровольческой армии; 2) Оккупация всего района французскими войсками; 3) Власть Директории только гражданская; 4) Создается единый фронт против большевиков с французским генералом во главе; 5) Образуются смешанные международные оккупационные отряды франко-украинские и франко-русские; 6) Директории проводят аграрную реформу по программе кадетской партии (выкуп больших имений при иммунитете мелких и средних хозяйств); 7) Французы берут в свои руки управление финансами и железными дорогами».

Таким образом, назревала военная оккупация Францией Юга России со всеми вытекающими из нее последствиями. Насколько близка была к осуществлению эта идея, видно из того, что 8 февраля предполагалось подписание сторонами договора, и начальник французского пресс-бюро подготовлял уже к нему представителей одесской печати: «Соглашение является чисто военным, — говорил

он. — Вопросы об единстве России и о признании Украинского государства в этом соглашении почти вовсе не затронуты... Решение французского командования использовать все силы, в том числе и украинцев, для борьбы с большевизмом непреклонно, и все препятствия и противодействия этой политике *будут сметены*».

Можно сказать с уверенностью, что главным препятствием к окончательному соглашению послужил вопрос личного состава Украинской директории, вокруг которого разгорались страсти, закрутился одесский «омут»... На протяжении двух-трех недель под давлением разносторонних влияний Фрейденберг трижды менял решение. Первоначально переговоры основывались на базе сохранения директории (кроме Винниченко и Андриевского) и пополнения ее «хлеборобами», в том числе Григоренко. Против этого плана восстали хлеборобская организация и Совет государственного объединения, не допускавшие участия Петлюры. На сцену вышел тогда блок грековской группы и Украинской Громады с *новой*, семичленной директорией, в состав которой должны были войти генерал Греков, Котов-Коношенко и Григоренко. Но возникшие крупные разногласия расстроили и этот план: блок распался, Громада раскололась, и Фрейденберг вернулся к прежнему своему плану — сохранить существующую директорию, изъяв лишь из ее состава Петлюру и пополнив «хлеборобами»[1]. В таком виде были предложены окончательные условия Директории.

Фрейденберг, введенный в заблуждение окружавшими его честолюбцами, был очень удивлен, когда его проект не удовлетворил никого и прежде всего те самые круги, на которые он рассчитывал. Многолюдные собрания хлеборобов, состоявшиеся 15 и 19 февраля, вновь и категорически высказались против всякого сближения с украинцами; они выражали неудовольствие добровольческим правлением[2] и

---

[1] Швец, Макаренко и «хлеборобы» — Григоренко, Мицко и Сидоренко.

[2] Большое значение имела обработка собраний. Так, когда председательствовал граф Гейден, собрание обыкновенно было благоприятно настроено к Добровольческой армии; когда же председательствовал Андро или Григоренко, настроения становились противоположными.

соглашались на создание «самостоятельной» местной власти «под покровительством французского командования» и «самостоятельной» вооруженной силы «под руководством французов». Не иначе, однако, как в согласии с командованием Добровольческой армии... Совет государственного объединения раскололся на группы — от сторонников прямолинейной национальной политики Добровольческой армии до приемлющих Петлюру включительно (аграрии и крайние правые). Представитель последних профессор Левашов так мотивировал взгляды своей группы: «Ради спасения родины я готов примириться с желто-голубым флагом, ибо предпочитаю видеть спасенный край под желто-голубым, чем кладбище под трехцветным флагом...»

В результате бюро приняло решение в духе «хлеборобов».

Ярко выступал против поддержки самостийной Украины и оккупационных тенденций Шульгин в личных беседах с французскими генералами, в постановлениях Южнорусского Национального Центра и в газете «Россия». Французское командование закрыло «Россию» на 8 дней, и это распоряжение вызвало возмущение не только в кругах, единомышленных Шульгину, но и в стане политических противников его: «Союз возрождения» обратился к французскому командованию с резким протестом по этому поводу. Французский штаб вступил в примирительные переговоры с Шульгиным, но последний отказался возобновить издание газеты, заявив, что сделает это лишь тогда, когда «его совесть позволит считать французов такими же искренними нашими друзьями, какими мы считали их год тому назад, закрывая «Киевлянин» (с момента немецкой оккупации Украины).

В то же время с благословения Фрейденберга в Одессе начала выходить ярко самостийная и враждебная Добровольческой армии газета «Нові Шляхи».

На резко отрицательной точке зрения в отношении поддержки украинского движения стояли: одесское отделение Национального Центра и Союз возрождения. Последний, впрочем, в этом фазисе борьбы принимал мало участия и, по-видимому, не был надлежаще ориентирован в закулисной игре правого блока, так как, по свидетельству Мякотина, развернувшиеся затем события были для бюро Союза полной неожиданностью.

Наконец и директория решительно отказалась пойти на явное самоупразднение и удалить Петлюру. Она соглашалась только пополнить свой состав лицами не правее социал-федералистов и обязательно стоящими на точке зрения *самостийности* Украины.

Весь этот сумбурный период, вся сложная и подчас недостойная игра в области франко-украино-русских переговоров на фоне грозной военно-стратегической обстановки приобретала какое-то трагикомическое содержание.

Свадьба на погосте.

Ибо к середине февраля украинская армия рассыпалась окончательно, директория и правительство спешно эвакуировались частью в Проскуров и Каменец-Подольск, частью в Галицию, галичане враждебно относились к Директории, а в единственном еще до известной степени сохранившемся галицийском сечевом корпусе началось брожение против командира — Коновальца и ряд мятежных выступлений на почве отказа сражаться за не желающую защищать себя «Надднепрянскую Украину».

Под влиянием всех этих обстоятельств в середине февраля д'Анзельм — Фрейденберг, не разрывая с директорией окончательно, приостановили переговоры[1] и, оставив открытым вопрос о директории и Украине, вернулись к мысли о создании «самостоятельного», но подчиненного французам правительства для Новороссии. 15 февраля Фрейденберг вызвал Маргулиеса и на основании имевших место ранее переговоров с Советом государственного объединения предложил этой организации образование правительства. Началось обсуждение его состава. Разрыв с Добровольческой армией казался, однако, и тем и другим слишком рискованным. Поэтому и французское командование, и Совет государственного объединения с тех пор особенно настойчиво и всеми доступными путями стремились воздействовать в желательном им направлении на Екатеринодар, встретив с моей стороны решительный и резкий отпор.

[1] По словам Марголина, в середине марта французские представители заявили украинской миссии, что «переговоры о соглашении по телеграфному распоряжению из Парижа прерываются».

Идея франко-украинского альянса не была, впрочем, оставлена Парижем окончательно. Даже в конце марта, т. е. *после эвакуации Одессы и захвата большевиками почти всей Украины*, Быч[1], со слов Ф. Буйона, председателя французской парламентской комиссии по иностранным делам, сообщал на Кубань: «По имеющимся у Буйона сведениям... в настоящее время Петлюра сильнее, чем когда бы то ни было, и ему будет оказана всяческая помощь». И поэтому Быч внушал Раде, что «помощи надо ждать от Украины».

Расширение зоны ничуть не изменило положения. Французское командование отказало в разрешении ввести в ней добровольческую администрацию, оставив ее под управлением Директории. Вместе с тем в связи с предполагавшейся оккупацией Фрейденберг озаботился составлением кандидатских списков на административные должности до волостных старшин включительно для всей зоны[2].

Тем временем во внешней зоне, в городах и селах шло соревнование петлюровских властей и большевистских комитетов. В Николаеве существовало даже одновременно пять властей: городская демократическая дума, совет рабочих депутатов, комиссар директории, совет солдатских депутатов германского гарнизона и французский комендант. Нечего и говорить, что такая политика не благоприятствовала ни обороне Одесского района, ни хозяйственному использованию зоны. Она, кроме того, подрывала престиж Добровольческой армии, проявляясь иногда в формах грубо-оскорбительных. Так, при занятии Херсона местное французское командование обратилось к жителям с воззванием, в котором наряду с объявлением, что «державы Согласия берут Херсон под свое высокое покровительство», имелся и такой пункт (6-й): «На территории Херсона не будет допущено никаких формирований Добровольческой армии; в равной мере в г. Херсон не будет допущена никакая часть Добровольческой армии».

Точно такое же отношение французское командование проявило в вопросе снабжения Добровольческой армии.

[1] Был во главе кубанской миссии, находился тогда в Париже.

[2] Эту работу выполнил по поручению бюро Совета государственного объединения член крайне правой граф Стенбок-Фермор.

После демобилизации Румынского фронта в Одесском районе остались склады с огромным количеством военного снабжения и боевых запасов, в особенности в Тирасполе, Николаеве и близ Очакова на острове Березани. На просьбу Добровольческого штаба использовать это столь необходимое нам и бесспорно русское достояние французское командование отказало, ответив, что склады эти, «как не находящиеся в зоне Добровольческой армии, принадлежат директории». При внезапной эвакуации почти все это многомиллионное имущество было оставлено большевикам. Французы наложили также свою руку на черноморский тоннаж, обострив взаимоотношения и путая планы перевозок.

Французское командование, связанное переговорами с директорией, категорически воспрепятствовало нашей мобилизации в Одесском районе под предлогом «непопулярности Добровольческой армии» и могущих возникнуть на этой почве беспорядков. Между тем к генералу Санникову не раз являлись депутации крестьян, обещавшие поставить большие контингенты именно по мобилизации, так как идти добровольцами они не решались, опасаясь мести большевиков. Тем более обидными были неоднократные заявления чинов французского штаба в оправдание своих неудач: «Русские ничего не хотят делать сами для своего спасения, а хотят, чтобы мы за них проливали кровь». Не только из рядов французских солдат, но и из уст будущего маршала Франции бросалось нам суровое обвинение:

— К тому же русские изменили нам на фронте...

Одновременно по инициативе Андро[1] и Маргулиеса и при участии первого из них французы решили приступить к «более популярным» формированиям франко-русских отрядов, встретив в этом начинании сопротивление русских властей.

Под влиянием всех этих обстоятельств создались тягостные трения между русским и французским командованием, умеряемые только ожиданием приезда главнокомандующего генерала Бертело, который должен был разрешить все спорные принципиальные вопросы.

[1] Бывший уездный предводитель дворянства по назначению (Волынская губерния); при гетмане — волынский губернский староста. Человек ловкий, авантюристического типа, правый, аграрий, работавший совместно с бюро Совета государственного объединения

Бертело приехал в Одессу 30 января. В своих беседах с Санниковым, Шульгиным, митрополитом Платоном и другими он высказывал свой взгляд по русскому вопросу: 1) Единая Россия; 2) желание действовать в полном согласии с генералом Деникиным; 3) непризнание Украины; 4) Украина — австро-германское изобретение, а петлюровское движение — сродни большевистскому. Санникову он развивал свою мысль детальнее: вести переговоры с Украиной заставляет слабость сил; к концу апреля подойдет корпус волонтеров, тогда и покончим с самостийностью. Но судя по перехваченной телеграмме, адресованной директории, Бертело в духе прямо противоположном обнадеживал и директорию: «Генерал д'Анзельм все время подчеркивал, — так доносили послы директории Мациевич и Бачинский, — что французы не имеют намерения вмешиваться во внутренние дела Украины. В этом он полностью следует инструкции генерала Бертело. Обещал полную помощь Украине...»

В остальных вопросах Бертело всецело проявлял тенденцию к захвату всей власти военной и гражданской. Между прочим, когда Санников, протестуя против «франко-русских отрядов», сказал, что «об этом *желании* генерала Бертело он передаст главнокомандующему», то получил ответ:

— Ce n'est pas mon *desir*, mais mon *ordre*[1].

В результате, однако, Бертело выразил желание встретиться со мной в Констанце «через две недели», командировал в Екатеринодар Андро и двух чинов штаба д'Анзельма для доклада мне и проведения принятых французами решений и обещал до нашего свидания не предпринимать никаких серьезных изменений в Одесской зоне.

Обещание не было исполнено.

2 февраля появился приказ Бертело о назначении его заместителем на Юге России генерала д'Анзельма, на которого возлагалось руководство «всеми вопросами военной политики и администрации». Указывалось, что «в делах

[1] «Я не прошу, я приказываю» (франц.). — *Прим. ред.*

политического и административного характера» генерал Санников будет подчинен генералу д'Анзельму, который, однако, «не имеет права вмешиваться в подробности предпринимаемых мер, но должен согласовать их с вопросами военного характера». Точно так же Санников всецело подчиняется французскому командованию в отношении «применения русских войск».

По этому поводу я телеграфировал генералу Санникову[1]:

«1. Во всех отношениях: военном, политическом, гражданском Вы подчинены мне и только от меня можете получать приказания.

2. Предлагаю Вам всемерно координировать свои действия с французским командованием.

3. Ввиду численного преобладания союзнических войск русские части Одесского района только в оперативном отношении подчиняются французскому командованию.

4. Детально взаимоотношения наши будут установлены при свидании моем с генералом Бертело».

Через два дня Санников телеграфировал мне о новом распоряжении французов:

«Сегодня генерал д'Анзельм по приказанию Бертело предъявил мне в категорической форме требование формирования бригад «Микст» на следующих основаниях.

1. Офицеры избираются мною преимущественно из числа местных уроженцев.

2. Солдаты по вольному найму от 200—300 рублей в месяц, все продовольствие наше.

3. Форма одежды французского образца, без погон.

4. В каждый полк будет назначено небольшое количество французских офицеров и унтеров-инструкторов.

5. Эти части в командном отношении Добрармии подчинены не будут».

Я ответил:

«Категорически воспрещаю Вам делать эксперименты с русскими войсками по чужой указке. Передайте, что я, главнокомандующий, не допускаю ничьего вмешательства в вопросы формирования Русской армии. Если бы кто-либо позволил себе сделать это, объявите, что исполнившие незаконное распоряжение будут мною преданы суду».

Вместе с тем по всем этим вопросам, кроме телеграфного протеста, я обратился с письмом к генералу Бертело[1], указывая на те «непоправимые и грозные последствия, которые повлекут за собой мероприятия, намеченные французским командованием»:

«Решение важнейших вопросов русской жизни представителями иностранной державы помимо меня и без участия назначенных мною представителей влечет за собою разрушение идеи единого командования и единства власти.

Идея формирования бригад («Микст») из русских людей с иностранными офицерами и подчиненных исключительно французскому командованию не может быть популярна, так как она идет вразрез с идеей воссоздания Русской армии, во имя чего борется лучшее офицерство.

Отказ в Юго-Западном крае от принудительной мобилизации разрушит совершенно созданную с таким трудом Добровольческую армию, перешедшую к принципу обязательной воинской повинности. Из областей, в коих формируются части путем призыва, лица, пожелавшие уклониться от службы, начнут уходить в места, где от этого принципа отказались. Разовьется дезертирство, и начнется развал частей.

Гражданская власть должна быть в руках лица, назначенного мною, которое даст все гарантии нормальной жизни союзным войскам и будет координировать свои действия с союзным командованием.

Нарушение этих основных принципов ставит на очередь тяжкий и волнующий русское общество вопрос — с чем пришли к нам союзники? На помощь ли истекающей кровью России или с целью оккупации, со всеми проистекающими из нее тягчайшими для нас последствиями?».

В это время войска большевистского Южного фронта развивали успешно наступление, угрожая Таврии и Донецкому району, вызвав катастрофу на Дону. Командуя лично армиями, я, к сожалению, не имел возможности оставить Ставку и возложил поэтому на генерала Драгомирова поез-

[1] 8 февраля, № 219.

[1] 17 февраля, № 62379.

дку в Констанцу и переговоры с генералом Бертело. Последний уклонился, однако, от встречи с Драгомировым под предлогом, что «ожидает изо дня в день вызова в Париж для доклада о положении русских дел и принятия там определенного решения».

Тем не менее наша позиция оказала известное влияние на французское командование в Одессе. В течение месяца оно не приступало к выполнению намеченных планов, и только нетерпимость его к Добровольческой армии возрастала с каждым днем, создавая тягостную атмосферу взаимного раздражения. Фрейденберг в это время вел постоянные переговоры с бюро Совета государственного объединения об образовании власти. Большие колебания вызывали вопросы — быть ли «правительству» или «совету при командовании», и рвать ли с Добровольческой армией? В то же время в Екатеринодар прибывали гонцы, приходили письма, убеждавшие меня подчиниться требованиям французов. Показателем тогдашних одесских настроений даже в кругах, сочувствовавших Добровольческой армии, может служить письмо князя Е. Трубецкого к одному из членов Особого совещания:

«Положение не только критическое, но и страшное. Если генерал Деникин не уступит требованиям французского командования, то произойдет форменный разрыв между французами и Добровольческой армией, ибо положение создалось нетерпимое, и требование французов, чтобы в зоне, ими занятой, гражданская власть, назначенная генералом Деникиным, подчинялась им, вполне резонно. Никакая армия не может *в сфере военных действий* ставить себя в зависимость от власти, ей не подчиненной.

А при несогласии я предвижу те же роковые последствия, как и барон Меллер-Закомельский. Это может кончиться полным отделением Украины. В самом деле, представьте себе, какое вследствие этого наступит положение. И Национальный Центр и Совет государственного объединения должны будут прекратить свою деятельность здесь, если (за отказом Деникина назначить генерал-губернатора по соглашению с Бертело) власть будет захвачена французами. Что же будет тогда? *Единственными* сотрудниками французов по управлению

краем окажутся левые и самостийники, которые будут подбивать их на расчленение России *во имя принципов Вильсона*».

Благоприятное отношение к факту французской оккупации создалось и в управлении внутренних дел (Особое совещание). Начальник управления Чебышев под влиянием кругов Совета государственного объединения разработал и представил мне «схему» управления для Одессы, с фактической властью французского командующего, фиктивной — русского, с «заведующим гражданской частью», подчиненным обоим вместе, с «начальниками отделов» (министрами), подведомственными Особому совещанию и подчиненными «заведующему гражданской частью»: наряду с «советом управляющих» отводилось большое место «политическому совещанию» из представителей политических организаций, приглашаемых... французским командующим, и т.д.

Все эти многоэтажные постройки одесских и екатеринодарских архитекторов поражали своей надуманностью и полным игнорированием военно-стратегической обстановки — все более и более грозной.

* * *

Если французское правительство отнеслось с большой небрежностью к выбору лиц, представлявших его первое время на Юге России, если в действиях этих лиц мы видели признаки поразительного понимания русской действительности, то исследование той обстановки, в которой протекала их деятельность, послужит для них перед судом истории смягчающим вину обстоятельством.

Гораздо тяжелее, однако, было положение русской власти в лице генерала Санникова и Гришина-Алмазова, усугублявшееся еще тем, что, кроме неустанного и тягостного воздействия политических и общественных групп, они испытывали на каждом шагу своеволие и гнет, подчас оскорбительное отношение французского командования. Было бы неправильным отрицать ошибки и самой русской власти. В одном из политических обзоров того времени о них говорится:

«Напряженная атмосфера требовала и особых методов управления. Широкая децентрализация местной власти, высокая активность ее во всех областях управления могли бы

в этих трудных условиях, вдали от руководящего центра и при отсутствии надежной связи с ним спасти положение. Но то и другое в значительной мере отсутствовало, особенно в период до назначения главноначальствующего. Но и в дальнейшем, даже при достаточном объеме власти главноначальствующего, картина почти не изменилась, и оба недостатка давали себя знать в каждом мало-мальски серьезном случае.

...Представители Добровольческой армии в Одессе не могли справиться с тяжелым положением... Они не проявили достаточного мужества и дипломатической изворотливости, чтобы выйти из создавшегося положения. Ко всему происходящему в Одессе они относились слишком формально, держались далеко от французского командования, очень легко раздражались его распоряжениями и не всегда умели скрывать свои чувства. Одним словом, необходимо с полной откровенностью признать, что они не нашлись в столь трудных обстоятельствах и вызывали неудовольствие даже со стороны кругов, ставивших своей задачей всемерную поддержку Добровольческой армии, ибо своими действиями зачастую выбивали у них из-под ног почву для ее защиты».

В части, касающейся взаимоотношений с французами, эта оценка вовсе несправедлива. Начальствующие лица Одессы проявили и добрую волю и уступчивость до таких пределов, за которыми следовал бы явный ущерб не только достоинству, но и целесообразности.

Но «одесский омут» погубил и их, и идею французской интервенции, и самую Одессу.

ГЛАВА XXIX
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОДЕССКОЙ ЗОНЫ. ФРАНЦУЗСКАЯ ОККУПАЦИЯ. ПАДЕНИЕ ОДЕССЫ

В Одесский район все прибывали союзные войска, и к середине марта там было сосредоточено полторы французских дивизии, две греческих и польская бригада. Добровольческая бригада[1], невзирая на противодействие французов, к тому времени достигла состава 5 000 человек, по преимуществу офицеров. Это было очень мало, принимая во внимание наличие большого числа офицерства в южных городах и массы буржуазной молодежи призывного возраста. Добровольно поступали неохотно, потому что мало было патриотического подъема, был страх у одних и надежда у других, что дело обойдется и без их содействия. К тому же — кто хотел бороться, тот давно уже поступил в одну из действующих русских армий. Если в первый эпический период добровольчества в донских и кубанских степях старые полковники с молодым энтузиазмом становились с винтовкой в ряды, то теперь немногих прельщала роль рядового в немобилизованных частях, при отсутствии ближайших перспектив, при скудном окладе и бедном снабжении. Гетманские генералы считали зазорным подвергать рассмотрению комиссии свое прохождение службы[2] и в большинстве заняли враждебное положение в отношении Добровольческой армии, возбуждая против нее офицерство.

Тем не менее добровольческая бригада в руках одного из первых добровольцев, генерала Тимановского, человека исключительной храбрости, хотя и не организованная еще, представляла собой серьезную и надежную силу.

Вполне благоприятны были отзывы о греческих войсках, политически и морально вполне устойчивых, не утомленных войной, гордых своей ролью «защитников России» и желавших бороться с большевиками. Хотя и были боевые недочеты в греческих частях, но являлись они скорее результатом непонимания обстановки и плохого управления, находившегося в руках французов.

---

[1] Главным образом из кадров 4-й стрелковой и 15-й пехотной дивизии, расположенных до войны в Одессе и приобретших за время кампании исключительно высокую боевую репутацию. Сформировано было два полка пехоты, полк конницы, артиллерийская бригада, понтонный дивизион, броневые и авиационные части.

[2] Факт пребывания на гетманской службе сам по себе не вменялся в вину; расследовалась лишь политическая роль старших начальников и отношение их к национальной идее.

Менее благоприятно было состояние французских войск. В самом начале возникновения идеи интервенции, осенью 1919 года, генерал Франше д'Эспре в телеграмме, адресованной Клемансо, выражал сомнение в удаче похода «в обширную и холодную Россию»... «Мои солдаты, — писал он, — не возражающие против пребывания на востоке и охотно наступающие на Венгрию, предвкушая триумфальное вторжение в Германию, вряд ли согласятся участвовать в военных операциях, имеющих целью оккупацию России и Украины». Мир, демобилизация, родные очаги, от которых многие были оторваны несколько лет, и перспективы новой, малопонятной и, по-видимому, надолго затягивающейся войны вызывали среди французских «poilus» сильнейшую реакцию. Воевать они больше не хотели. Большевистская агитация — в самой Одессе издавалась подпольная газета «Одесский коммунист» на русском и французском языках при участии французских солдат и матросов — поддерживала это настроение. Дурным предзнаменованием служили эпизоды в Тирасполе и деревне Беляевке (начало одесского водопровода), где произошло выступление местных большевиков. Французские части не проявили ни устойчивости, ни желания драться, и восстание было подавлено при участии подошедших добровольцев. Неуверенность в своих войсках наложила совершенно пассивный отпечаток на стратегию французского командования, которое сосредоточивало все свои силы к Одессе... ближе к транспортам, выставив на дальних подступах лишь ничтожные заслоны.

Это положение не представляло опасности, пока перед фронтом были «нейтральные» петлюровские и местные большевистские банды. Хотя и тогда уже был случай, что под напором небольшой партии местных большевиков со стороны Вознесенска французский авангард бросил позицию... В середине февраля изменивший Петлюре атаман Григорьев повел наступление неорганизованными бандами силою в 1 700 человек с 3 орудиями на Херсон, занятый одним батальоном греков и ротой французов с 2 орудиями. Несколько дней длился бой, главной тяжестью своей легший на греков; под прикрытием прибывших на поддержку двух батальонов и огня судовых орудий союзный отряд, понесший большие потери, был посажен на транспорты и увезен в Одессу. Вслед за Херсоном,

уже без всякого давления противника, союзники с большой поспешностью бросили и Николаев, уведя бывший там отряд на судах также в Одессу, обнажив тем северо-восточные подступы к ней и остров Березань с его огромными артиллерийскими складами. Только выдвижение добровольческих частей к Очакову сохранило эти склады временно в наших руках. По требованию большевиков в Николаеве была оставлена неповрежденной мощная радиостанция, а тамошний французский представитель, свидетельствуя о высокой лояльности французов, заявил: «Наш уход вызван не нашей слабостью, а исключительно желанием не противодействовать воле населения».

Через несколько дней (в марте) союзники понесли новое поражение в Вознесенском направлении, у станции Березовки. Атакованные большевиками, они начали беспорядочное отступление, оставив 6 орудий, 5 танков, бросая раненых, обозы и амуницию... Выдвинутый из резерва греческий батальон остановил часть отступавших в переходе от Березовки, другие уходили дальше до самой Одессы. Эти события произвели тяжелое впечатление, подорвав всякую веру в желание или возможность союзного командования серьезно бороться против большевиков. Тем более, что на этом фронте наступали только один, а к концу два полка 2-й повстанческой дивизии и плохо организованные партизаны атамана Григорьева, бывшие петлюровцы. Вместе с тем и в глазах большевиков окончательно померк ореол боевой репутации союзников; действия советских войск становились все смелее, тон большевистской прессы, воззваний и приказов все наглее, находя отклик среди большевиков Одессы. Упало совершенно настроение французского офицерства, поставленного перед фактом падения дисциплины в солдатской массе и лишенной логического смысла стратегии. «Все союзные офицеры ругаются, — писал один из них. — По их мнению момент упущен, зубы надо было показать сразу, а не играть в бирюльки. Или не надо было вовсе приходить, или надо было сразу занять Юг крепко». А д'Анзельм — Фрейденберг в оправдание поражений доносили в Париж, что большевизм — движение народное, и большевистские войска по своим боевым качествам напоминают французские времен великой революции. На почве самоуверенности победителей в мировой войне, непонятной стратегии и неравномерного рас-

пределения боевой работы вскоре возникли и неприязненные отношения между французами и греками.

Под влиянием неудач французский штаб решил было оттянуть войска для непосредственного прикрытия Одессы и только благодаря настойчивым представлениям Гришина-Алмазова согласился удерживать фронт на линии Тирасполь (румыны) — Буялык (греки и небольшие части французов) — Очаков (русские добровольцы).

Кольцо вокруг Одессы вновь сжалось, повергая в уныние и безнадежность население злополучного города.

Казалось бы, такое положение обязывало французское командование к известной скромности и требовало необычайной осторожности, чтобы каким-либо внутренним потрясением не вызвать катастрофы...

* * *

В конце февраля штаб д'Анзельма получил исходившее от Пишона распоряжение — воздержаться временно от формирований русско-французских бригад на территории Добровольческой армии[1]. Поэтому и в связи с распространившимися по городу тревожными слухами о разрыве с нами, Фрейденберг 28 февраля дал газетам довольно странное официальное разъяснение: «Слухи преувеличены... Добровольцы продолжают действовать в полном контакте с союзниками... Ввиду того, что генерал Деникин издал приказ, в силу которого всякий офицер, вступивший в (смешанные) бригады, будет предан суду, французское командование, не желая, чтобы какое-либо новое формирование под его руководством влекло за собой гибель русских офицеров, признало необходимым отсрочить осуществление намеченного проекта».

Между тем в этот день, 28-го, вследствие распоряжения, полученного от Бертело, разрыв был предрешен окончательно[2].

---

[1] По-видимому, результат моей телеграммы Сазонову.

[2] К этому же времени вернулись из Бухареста и Константинополя послы Совета государственного объединения — князь Урусов, Шебеко и Молов, которые на различных собраниях проводили взгляды генерала Франше д'Эспре и Бертело на необходимость образования в Одессе особого правительства, независимого от Добровольческой армии и подчиненного французам.

На совещании, в котором приняли участие генерал д'Анзельм, полковник Фрейденберг и председатель бюро Совета государственного объединения барон Меллер-Закомельский, принято было решение объявить в Одесском районе осадное положение с переходом всей полноты власти к французскому командованию. Тут же намечен был и состав нового правительства под именем «Совета»: Андро (председатель и внутренние дела), Григоренко (земледелие, торговля и промышленность), Маргулиес (финансы), генерал Шварц (военное). Собравшийся в тот же день «пленум» Совета государственного объединения (40 человек) одобрил действия своего председателя и вхождение в «правительство» Маргулиеса.

Генерал Санников последние дни отсутствовал. «Третью неделю не получая никаких сведений из Екатеринодара»[1], он прибыл в Севастополь, чтобы оттуда переговорить с генералом Драгомировым по прямому проводу. По возвращении он был приглашен вместе с Гришиным-Алмазовым к генералу д'Анзельму, где им сообщено было состоявшееся решение. Их категорический протест не оказал никакого действия.

1 марта из трех приказов генерала д'Анзельма население Одессы узнало о свершившемся перевороте, для «сохранения престижа Добровольческой армии» облеченном в несколько туманные формы:

13 марта 1919 года.

«1. Принимая на себя командование всей зоною, занятою союзными войсками, генерал д'Анзельм призывает всех к поддержанию порядка и к добросовестному исполнению гражданской и военной службы.

---

[1] Жалобы на отсутствие связи ввиду перерывов участка линии Одесса—Севастополь были постоянными; мои руководящие указания запаздывали, иногда не доходили вовсе; французская радиостанция не раз отказывала в приеме наших телеграмм; приходилось досылать их из Севастополя на посыльном судне. Вообще служба связи была такова, что только чьим-то злым умыслом, а не одними техническими несовершенствами можно было объяснить ее состояние.

Меры, необходимые для обеспечения города продовольствием, приняты.

2. Принимая во внимание затруднения в сношениях с установленными властями, принимая во внимание необходимость немедленно объединить все силы для защиты области, генерал, командующий союзными силами, объявляет осадное положение в зоне, занятой союзниками, начиная с 1 часа 15 марта.

Предлагается всем гражданским и военным частям неукоснительно исполнять, на основании законов военного времени, приказы генерала, командующего союзными силами.

3. Генерал, командующий союзными войсками, назначает своим помощником по гражданской части г. Андрольда (транскрипция перевода) Андро де Ланжерона, который вступит в исполнение своих обязанностей с 14 марта сего года в 12 часов дня.

Согласно предложению помощника по гражданской части, в случае необходимости будут назначены различные технические представители для исполнения различных обязанностей.

Генерал Бориус продолжает находиться во главе местного гарнизона.

Генерал Гришин-Алмазов продолжает командовать Добровольческой армией».

Сообщая мне о происшедшем, генерал д'Анзельм уверял, что это «лишь временная мера, вызванная грозным положением».

Получив первые неполные сведения о перевороте, я приказал генералу Санникову передать «самый решительный протест от моего имени» и вслед за сим по выяснении положения отправил ему телеграмму, с копией д'Анзельму и Бертело, следующего содержания:

«Передайте генералу д'Анзельму на его телеграмму от 17 марта следующее: я совершенно не допускаю установления никакой гражданской власти, кроме назначенной мною. Поэтому приказываю:

1. Ни в какие сношения с Андро не вступать, никаких распоряжений его не выполнять ни Вам, ни гражданским властям. Какое бы то ни было участие в управлении краем Андро как лица, не заслуживающего доверия, не допускаю.

2. Вам, сохраняя полную гражданскую власть, надлежит всемерно согласовать свои действия с французским командованием в интересах соблюдения порядка и обеспечения союзных армий.

3. В интересах борьбы с большевиками Вы как командующий войсками исполняете оперативные указания французского командования, но помимо Вас ни одно распоряжение не может быть отдано русским войскам.

4. В случае полного перерыва связи предоставляю Вам принятие чрезвычайных мер от моего имени с соблюдением достоинства России, интересов Добровольческой армии и края.

5. По поводу действий генерала д'Анзельма делается сношение с французским правительством», 18 марта № 389.

Между тем одесская общественность с редким единодушием, совершенно неожиданным для генерала д'Анзельма, проявила свое удивление и возмущение фактом французской оккупации. Даже круги, настроенные отрицательно к Добровольческой армии, в эти дни изменили свое отношение к ней, видя в происшедшем удар, нанесенный и русскому национальному достоинству, и русской организованной вооруженной силе. Прежде всего обратились к д'Анзельму с «меморандумом» официальные представители русской власти[1]. Соглашаясь с тем, что ввиду осадного положения вся власть должна принадлежать старшему военному начальнику, в данном случае генералу д'Анзельму, который мог бы осуществлять ее через русского главноначальствующего, они протестовали против «узурпации» и «разрушения русского аппарата управления». Протестовал областной отдел Национального Центра. «Южнорусский Национальный Центр», высказывая свое негодование против французского командования в телеграмме, адресованной мне, полагал все же, что «все эти несправедли-

[1] Подписали: Митрополит Платон, генералы Санников и Гришин-Алмазов, члены Особого совещания Бернацкий, Лебедев, Шульгин.

вости, очевидно, продиктованные невежеством, надо терпеть, подавив раздражение. Разорвать с французами Добровольческая армия не может...» «Демократический фронт» в лице представителей Городской думы, Земско-городского общества Союза возрождения кадетов, национал-социалистов, эсеров и социал-демократов меньшевиков[1] заявил д'Анзельму:

«Если французское командование вместо добровольческого управления Одессой создаст правительственный орган под своей эгидой, это вызовет острое недовольство одесского населения. В теперешнем споре между штабом французских войск и Добровольческим командованием Одесская дума и наиболее влиятельные демократические и социалистические организации солидаризируются с Добровольческой армией против всяких попыток со стороны французского штаба устанавливать какую бы то ни было «Южнорусскую власть», имеющую характер колониального режима и нарушающую суверенитет России».

Союз возрождения, полагая, что никакого «правительства» в Одессе не нужно, но считаясь с фактом осадного положения, потребовал «для охраны интересов русского населения» образования совещания из представителей Добровольческой армии, думы и уездного земства. Наконец, в самом Совете государственного объединения произошел резкий, давно назревавший кризис. Под влиянием, главным образом, профессорской группы на многолюдном заседании 7 марта было высказано осуждение деятельности бюро и принято постановление, в котором, между прочим, говорилось: «Признавая, что в настоящее время на Юге России Добровольческая армия является единственной правомочной носительницей государственного единства, Совет считает крайне опасным и вредным для русского дела возникновение помимо ее согласия и участия каких-либо новых государственных властей и образований».

---

[1] Делегация в составе Титова, Фундаминского, Рубинштейна и Брайкевича 1 марта. «На чужой стороне». Статья Брайкевича.

С таким же единодушным осуждением общество отнеслось к «правительству» Андро. Часть приглашенных в него лиц наотрез отказалась; генерал Шварц, невзирая на настойчивые уговоры барона Меллер-Закомельского, Андро и Маргулиеса, колебался; Маргулиес, первоначально согласившись и приняв даже участие в составлении письменных актов переворота, засим отказался от вхождения в правительство под таким предлогом: «Я — инициатор особой южнорусской власти, я — инициатор комитета при французском командовании, я же служил для сношений с французами; если я буду назначен министром, вся моя предыдущая деятельность потеряет принципиальный характер и будет иметь вид личной интриги...» Дело сделано, пожинать плоды его и расплачиваться — это можно было предоставить другим... И Маргулиес спешно, 2 марта уехал в Париж, попросив на всякий случай «у секретаря... копию протокола того заседания бюро Совета государственного объединения, где единогласно, вопреки (его) отказу, было решено требовать (его) вступления в правительство при французском командовании»[1].

Из всех организованных групп новое «правительство» поддерживал только крайний сектор «Союза хлеборобов», и по уполномочию его хлебороб, граф Стенбок-Фермор с особой делегацией объезжал влиятельных деятелей Одессы, склоняя их оказать поддержку Андро или, по крайней мере, не препятствовать ему и французам «спасать Россию».

Найти, однако, сотрудников в свой кабинет Андро не удалось.

Под дружным натиском общественного мнения французское командование совершенно растерялось. В ближайшие дни в печати появился ряд официальных «разъяснений», имевших целью представить события 1 марта в ином свете. Генерал д'Анзельм заявил в печати:

«Объявляя осадное положение, французское командование действовало исключительно в целях координации общих усилий для защиты области и обеспечения населения

---

[1] *Маргулиес.* «Год интервенции».

продовольствием. При этом отнюдь не имелось ввиду изменять наладившийся административный аппарат, установленный властью Добровольческой армии. Если назначение моим помощником по гражданской части г. Андро было сделано, не дождавшись одобрения генерала Деникина, то это объясняется исключительно создавшимися обстоятельствами, мешающими быстроте сношений с Екатеринодаром...

...В соответствии с французской практикой осадного положения при мне будет образован особый совет под названием «Комитета обороны и продовольствия». В состав этого комитета войдут нынешние представители ведомств или же лица, специально на то уполномоченные русской властью — Добровольческим командованием, а также специалисты по отдельным отраслям, по моему особому приглашению. Повторяю, что Комитет обороны и продовольствия отнюдь не будет призван заменить нынешние власти, установленные генералом Деникиным, а будет являться исключительно вспомогательно-техническим аппаратом во время осадного положения, преследуя при этом основную цель — защиту Одессы и улучшение продовольствия ее населения. Первоначальная мысль о коллегии технических советчиков при моем помощнике по гражданской части ныне оставлена.

...Отмежевываться от Добровольческой армии отнюдь не входит в намерения французского командования. Напротив того — мы все время стремимся к тесному с нею сотрудничеству для наилучшего обеспечения нашей общей цели — защиты порядка и безопасности граждан».

Генерал Шварц, до того времени колебавшийся, «по настоятельным просьбам, — как он пишет, — всех политических, военных и промышленных организаций в Одессе», согласился «вступить в формируемую новую власть»[1].

И 6 марта генерал д'Анзельм отдал приказ (№ 42) о составе «Комитета обороны и продовольствия», состоящего под его председательством: 1) адмирал, командующий союзными силами, 2) военный помощник, генерал Шварц, 3) командующий русскими войсками, генерал Гришин-Алмазов[1], 4) гражданский помощник Андро, 5) финансовый советник Молотков (отказался), 6) советник в отделе труда и продовольствия Рутенберг[2], 7) советник в отделе навигации адмирал Хоменко, 8) городской голова и 9) губернатор — по делам города и губернии. Последующим приказом (7 марта, № 43[3]) было разъяснено, что управление Добровольческими частями и полиция находятся в ведении генерала Гришина-Алмазова, а губернатор и администрация подчиняются Андро.

Неделя 1—8 марта прошла под знаком необычайного политического ажиотажа, полной неопределенности положения и двоевластия. Ожидался приезд генералов Франше д'Эспре и Бертело, которые должны были разрешить на месте окончательно судьбу одесской власти. Их приезду предшествовала полученная французским штабом телеграмма, подписанная Бертело:

«Париж решил:

1. Сосредоточить средства (des moyens) для защиты Одессы.

2. Продовольствие города будет обеспечено на миллион жителей[4].

3. Генерал Франше д'Эспре принимает командование союзными войсками на Юге России»[5].

Генерал Франше д'Эспре приехал 7 марта, очевидно, с заранее принятым решением. В беседе с чинами французского штаба не скрывал своего презрения к русским; был сух и почти груб с добровольческими властями; не принял

---

[1] В показаниях генерала Шварца есть ссылки на делегации от таких организаций, как Национальный Центр (Челноков и др.), Союз возрождения (Бунаков-Фундаминский, Пешехонов), Городская дума (Брайкевич), частью уже категорически опровергнутые в печати.

[1] Генерал Санников по возвращении из Севастополя не вступал в командование.

[2] Известный социал-революционер, убийца Гапона.

[3] Приказы № 42 и 43, по-видимому, в печать не были даны.

[4] В дальнейшем последовало разъяснение в печати: «Население будет снабжаться продуктами первой необходимости из складов... в Салониках и Константинополе. Хлеб, консервы всяких видов, мясо могут быть доставлены в первую очередь».

[5] С этого дня генерал Бертело оставался командующим войсками только на Балканах.

представителей национальных центров; беседовал с Андро («вождь хлеборобов») и бароном Меллер-Закомельским, выразившим от имени Совета государственного объединения «счастье приветствовать прибытие славного вождя», приезд которого «воскресил надежду всех русских патриотов»; отнесся более внимательно, чем к другим, к делегации Союза возрождения, которой заявил:

«Целью пребывания французских войск на территории России является всемерное оказание помощи русскому народу в его стремлении к созданию в стране должного порядка. При этом, однако, союзники совершенно не имеют в виду вмешательство в русские дела. Они отнюдь не намерены создавать здесь колониальный режим. Все их старания будут направлены на то, чтобы помочь создать здесь такие условия порядка, при которых возможен будет созыв Учредительного собрания на основе всеобщего избирательного права».

И в тот же день отдал распоряжение генералу д'Анзельму, вылившееся в приказ последнего от 8 марта:

«По приказанию генерала Франше д'Эспре и в силу осадного положения:

1. Генерал Шварц назначен генерал-губернатором Одессы и командующим русскими войсками в союзной зоне.

2. Генерал Тимановский принимает командование русской Добровольческой армией в Одесском районе.

3. Милиция в прямом подчинении генерал-губернатора Одессы.

4. Вступление в должность должно быть произведено сегодня 21 марта нового стиля до 20 часов (8 часов вечера).

Генерал д'Анзельм, командующий
союзными силами на Юге России.
Начальник штаба Фрейденберг».

Одновременно был объявлен упомянутый выше приказ (№ 42) о «Комитете обороны и продовольствия», с изъятием статьи, относящейся к Гришину-Алмазову, и другой приказ, громоздивший новую надстройку в франко-русском здании власти: «Чрезвычайный совещательный орган», под

председательством генерала д'Анзельма и в составе Шварца, Брайкевича и Бутенко...[1]

Генералы Санников и Гришин-Алмазов были высланы из Одессы с ненужной грубостью: в экземпляре приказа, присланном Гришину-Алмазову, была приписка: «Завтра 9 (22) марта генерал Санников выезжает в Екатеринодар. Его сопровождает генерал Гришин-Алмазов».

В тот же день 8 марта генерал Франше д'Эспре послал мне письмо:

«Я застал в Одессе положение весьма серьезное, вследствие недоразумений, царящих между различными властями, в то время как неприятель стоит у ворот города.

Такое положение продолжаться не может. Ввиду этого, а также согласно правилам, генерал д'Анзельм объявил осадное положение.

Ввиду отдаленности и невозможности для нас встретиться или быстро снестись мною приняты следующие меры:

1. Генерал Шварц, которого знает и ценит вся Европа, принимает командование над всеми русскими войсками и будет исполнять обязанности генерал-губернатора.

Он Вам периодически будет представлять рапорты и отчеты, но будет принимать на месте те решения, которых требует серьезность положения.

2. Генерал Тимановский сохраняет командование бригадой Добровольческой армии.

3. Генералы Санников и Гришин-Алмазов предоставляются в Ваше распоряжение.

Таковые меры согласованы с желаниями союзных правительств, *в том числе и русского правительства.*

Я думаю, что эти мероприятия позволят нам восстановить положение здесь и работать совместно на воссоздание России, чего мы все желаем.

В ожидании удовольствия встречи с Вами я прошу Вас верить в искренность моих пожеланий успеха Вашей армии».

---

[1] Совещание фактически не собиралось.

В этом письме, которое больно задевало чувство национального достоинства и казалось предтечей более грозных событий, вызывало большое недоумение упоминание о «русском правительстве». Позднее недоумение разъяснилось: перед отъездом генерала Санникова Франше д'Эспре сообщил ему, что «в Париже образовалось русское правительство с князем Львовым во главе. Это правительство признано Францией и адмиралом Колчаком. По соглашению между этим правительством и французским — Франции предоставлено взять в оккупационное управление южную Россию»[1].

Откуда черпал французский главнокомандующий эти сведения и кто вообще был источником мистификации — мне неизвестно.

Приняв во внимание советы управляющего отделом иностранных дел о необходимости величайшей выдержки в создавшемся тяжелом положении, я порвал составленный мною в резком тоне протест и послал генералу Франше д'Эспре 14 марта телеграмму более чем сдержанную: «...Устранение назначенных мною властей, — писал я, — повергло меня в полное недоумение... Полагаю, что в этом деле кроется недоразумение, которое может вызвать серьезные последствия... Поэтому считаю желательным скорейшее наше свидание...» Ввиду тяжелого положения на фронте я предлагал назначить встречу в одном из портов, «если возможно, не далее Севастополя»... Получил весьма учтивый ответ, что генерал «был бы счастлив встретиться со мною в Севастополе, но обстоятельства не позволяют ему в настоящее время покинуть главную квартиру...»

9 марта генерал Шварц «донес» мне о вступлении своем в должность и в тот же день осведомил одесскую печать, что он «готов подчиниться указаниям генерала Деникина и работать в полном дружном контакте, но оторванность от

[1] Командующий крымской Добровольческой армией генерал Боровский доносил мне также о разговоре с ним в Севастополе генерала Франше, который говорил ему: «Нет никакой Добровольческой армии или Сибирской, а есть одна русская армия, как решило образовавшееся в Париже русское правительство в составе Сазонова, Львова, Маклакова и генерала Щербачева». Телеграмма от 12 марта, № 744.

Екатеринодара и наличие высшего французского командования поставят его в необходимость вполне самостоятельно решать все военные вопросы».

Ответа от меня Шварц не получил.

Общее мнение всех одесских кругов — близких и ставших на стороне Добровольческой армии — было не доводить дела до окончательного разрыва с французами и покориться force majeure, во избежание катастрофы. Под влиянием этих настроений генералы Санников и Гришин-Алмазов, уезжая, отдали распоряжение — всем начальствующим лицам исполнять приказ французского главнокомандующего. Гражданские управления подчинились безболезненно генералу Шварцу.

Особую тревогу вызывала во мне судьба Добровольческой бригады генерала Тимановского. Еще 10 февраля на случай непредвиденных политических осложнений даны были указания Тимановскому и приказано обеспечить его денежным авансом, чего, к сожалению, одесский штаб не сделал. Ко времени переворота французское командование во избежание каких-либо волнений двинуло бригаду на фронт.

По получении сведений о перевороте начальнику штаба Добровольческих войск в Одессе генералу Мельгунову[1] было приказано «оставаться на месте, занимая выжидательное положение... В оперативном отношении подчиняться французскому командованию, оберегая Добровольческие части». Вместе с тем Особому совещанию и ставке указано было сноситься «не с самозванцами», а с лицами, назначенными ранее мною. Эти указания вследствие перерыва телеграфной связи, теперь уже окончательного, запоздали, но в таком же духе генералам Мельгунову и Тимановскому отдано было приказание, подписанное Санниковым и Гришиным-Алмазовым в день их отъезда. Тимановскому пришлось употребить большие усилия, чтобы уберечь от развала бригаду, попавшую отныне в круговорот еще больших интриг, конкуренции и антагонизма.

Бригада прикрывала Одессу с северо-востока, занимая Очаков и подчиняясь непосредственно французскому командованию. 16 марта Тимановский получил приказание

[1] Вскоре был отстранен Шварцем от штаба под видом «повышения».

очистить Очаков, отойдя на ближайшие подступы к Одессе. Это отступление, без всякого давления противника и вопреки представлениям штаба генерала Мельгунова, служило тревожным предзнаменованием...

• • •

Усилия определенных русских кругов и французского командования увенчались успехом ценою глубокого падения русского престижа. Вся власть перешла в руки французов, которые обещали городу скорое прибытие «восьми линейных дивизий и французского добровольческого корпуса», снятие блокады и хлеб, а новой армии, формируемой Шварцем, — богатое снабжение. Я не буду останавливаться на краткой, всего трехнедельной деятельности новой власти. По свидетельству Брайкевича: «Новое правительство не укрепило положения Одессы. Напротив, день ото дня настроение разных социальных слоев населения резко менялось к худшему. Приблизительно на десятый день жизни правительства ухудшение настроений в рабочих кругах достигло такой степени, что прежнее правление профессиональных союзов, состоявшее почти исключительно из меньшевиков и находившееся в добрых отношениях с городским самоуправлением, было ниспровергнуто. При перевыборах попали исключительно большевики. На демократическом фронте был этим сделан чреватый важными последствиями прорыв»[1].

В военном отношении не вводилось никаких новшеств: французы и Шварц отказались и от «смешанных бригад», и от «украинских формирований»; объявили мобилизацию, которой в течение трех месяцев безнадежно добивалось командование Добровольческой армии. Огромнейший «штаб формирований», набранный главным образом из гетманского генерального штаба, приступил к организации кадров будущей Южнорусской армии. Откликнулось, по подсчетам Шварца, до 1 000 офицеров... преимущественно в старших чинах. Вероятно, среди этих лиц «последнего призыва» было немало элемента не вполне надежного, так как штаб Шварца требовал от Тимановского до 200 офицеров, взамен за обещанные солдатские пополнения.

[1] «На чужой стороне», V.

Окончилось все неожиданно и трагично.

20 марта генерал д'Анзельм, вызвав Шварца, объявил ему, что «им получен приказ Антанты об эвакуации Одессы совместно со всеми союзными войсками».

На подготовку эвакуации дано было 48 часов. Неофициально из французского штаба распространилась по городу версия о связи этого распоряжения с падением, якобы, кабинета Клемансо и приходом к власти социалистов.

Известие об эвакуации произвело в городе неописуемую панику. Если вообще положение на фронте, где против четырех сильных дивизий наступало не свыше 6—8 тысяч[1] ничтожных в боевом и моральном отношении банд, не давало никаких поводов к эвакуации, то 2-дневный срок ее являлся совершенно необъяснимым и невыполнимым. Это была уже не эвакуация, а бегство, обрекавшее десятки тысяч людей и вызывавшее невольно в их сознании мысль о предательстве.

Все расчеты тоннажа были фиктивными. Французы захватили большинство судов для своих надобностей, и поэтому спастись могли главным образом лица, связанные со штабом Шварца и правительством, а также богатая буржуазия. Судовые команды бастовали. Началась вакханалия грабежа и взяточничества. Брошены были огромные военные запасы — союзников и русские, оставлены все ценности в учреждениях государственого банка и казначейств, кроме иностранной валюты.

Среди разнородных чувств и восприятий, волновавших в эти дни население Одессы, было одно общее и яркое — это ненависть к французам. Оно охватывало одинаково и тех счастливцев, которых уносили суда, и тех, что длинными вереницами, пешком, на пролетках и подводах тянулись к румынской границе; оно прорывалось наружу среди несчастных людей, запрудивших со своим скарбом одесские пристани и не нашедших места на судах, и в толпе, венчавшей одесские обрывы, провожавшей гиканьем и свистом уезжавших.

О бригаде генерала Тимановского забыли...

Пособие в виде шестимесячного содержания, назначенное Шварцем всем военным и гражданским чинам, добровольцам не выдали. Семьи их остались без всяких средств, на произ-

[1] В Одессу вступило не более 2 тысяч большевиков.

вол судьбы в Одессе. В бригаде также не было никаких сумм. Получив 21-го известие д'Анзельма об эвакуации, Тимановский приехал в Одессу, чтобы добиться обещанного Шварцем отпуска средств, но было уже поздно: генерал д'Анзельм по соглашению с большевистским советом рабочих депутатов в ночь на 22-е передал ему город, и с утра «самооборона» стала обезоруживать и расстреливать чинов Добровольческой армии и захватывать государственные учреждения.

Д'Анзельм все же, как доносил Тимановский, «обещал честным словом выдать 10—20 миллионов иностранной валютой на содержание добровольцев» вечером 23-го. Но когда, пробившись с боем по улицам Одессы на двух броневиках, во французский штаб явились посланные Тимановским офицеры, генерал д'Анзельм в деньгах отказал, ответив запиской: «...Деньги не могут быть выданы немедленно; для этого необходима казначейская операция, которая потребует 2—3 дней... Бригада должна немедленно, минуя Одессу, двинуться на Овидиополь, где получит приказание о посадке». Впоследствии генерал д'Анзельм отрицал и свое обещание, и тот смысл, который придавал записке Тимановский. «Я не имел никакого основания выплачивать содержание русским добровольцам... Генерал Шварц к этому времени уже покинул Одессу, государственный банк был закрыт... Я ответил генералу Тимановскому, что один только генерал Деникин (!) мог бы выплатить содержание добровольцам... но обещал узнать, не могло ли бы казначейство (большевистское?) выдать аванс...»[1].

Бригада уходила к Днестру, в Бессарабию.

Шесть тысяч человек начинали свою одиссею, длившуюся месяц[2] в обстановке необычайных физических лишений и морального унижения со стороны французов и румын. Когда жители Бессарабии, узнав о плачевном состоянии отряда, начали подвозить к его расположению продукты, румынские власти разгоняли их. И Тимановский, после семидневного мотания в устьях Днестра, вызванного сбивчивыми распоряжениями французского командования, сообщал д'Анзельму:

---

[1] Рапорт генерала д'Анзельма генералу Франше д'Эспре. 16 апреля, № 22.

[2] Первые части начали прибывать в Новороссийск 21 апреля.

«Если сегодня не будет доставлено продовольствие, то я уже завтра не могу отвечать за действия своих частей». Под влиянием этой угрозы французы обеспечили, наконец, отряд *половиной* французского солдатского пайка.

При посадке на суда в районе станции Бугаз французы велели оставить орудия, лошадей и всю материальную часть, собранную с таким трудом и любовью, и озлобленные до последней степени добровольцы привели ее в негодность и распустили по полю лошадей, которые могли еще двигаться, «чтобы не достались румынам». В Тульче по приказанию генерала Бертело румынской пограничной страже при участии французских частей поручено было разоружить бригаду на время пребывания ее в Румынии, но этот приказ был встречен добровольцами угрозой открыть пулеметный огонь.

«Исполняя все Ваши приказания по приказу генерала Деникина, — писал Тимановский д'Анзельму, — я никогда не мог предполагать тех незаслуженных оскорблений и унижений, которые выпали на меня и на подчиненные мне части. Неужели только за то, что Добровольческая армия одна осталась верной союзникам, когда фронт развалился...»

Французское командование не сочло нужным даже предупредить меня о готовящейся эвакуации Одессы. Я узнал об этом тяжелом событии только 26 марта.

ГЛАВА XXX

КРЫМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ В КРЫМУ. РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ СИМФЕРОПОЛЕМ И ЕКАТЕРИНОДАРОМ. ФРАНЦУЗСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ. ПАДЕНИЕ КРЫМА

В половине октября 1918 года в Екатеринодар приехал Н. Н. Богданов и от имени Таврической земской управы сообщил мне о предстоящем перевороте в Крыму: устранении Сулькевича и образовании власти из недр земского и городского самоуправлений, под председательством С. С. Крыма. Просил о назначении к тому времени ответственного лица

для организации в Крыму вооруженной силы именем Добровольческой армии и о посылке туда десантного отряда. Получил согласие.

В конце октября прислал мне письмо С. С. Крым, в котором сообщал об образовании «по поручению общественных организаций... Крымского краевого министерства». Просил вновь о добровольческом десанте и об осведомлении союзников о положении Крыма. «Министерство, впрочем, пребывало еще только в потенции: мы не у власти, так как генерала Сулькевича поддерживают немцы и часть татар»[1].

Только к 4 ноября немецкий генерал Кош удалил поставленное им правительство Сулькевича и передал власть «Совету министров Крымского краевого правительства»[2]. Одновременно новое правительство вошло в соглашение с начальником центра Добровольческой армии в Крыму, генералом Боде, выступившим теперь открыто, и немецким командованием относительно порядка замены эвакуируемых немецких гарнизонов; «по соображениям политического характера» оно указывало на желательность высадки хотя бы незначительной части Добровольческой армии в Ялте и занятия Бахчисарая, «изолируя Севастополь».

В письмах С. С. Крыма устанавливались тождество «стремлений к возрождению Единой, Великой России, которую мы все призываем и которую все с нетерпением ждем», и необходимость при содействии армии борьбы со «скрытой и временно подавленной присутствием германских войск организацией анархических элементов Крыма...».

Я ответил письмом от 7 ноября:

«В данное время Добровольческая армия ведет кровопролитное сражение в районе Ставрополя и не может выделить для Крыма серьезных сил.

---

[1] Письмо от 29 октября.

[2] Министр-председатель С. С. Крым (кадет); юстиции — Набоков (кадет); внешних сношений — Винавер (кадет); внутренних дел — Богданов (кадет); народного просвещения — Никонов (эсер); труда и контроля — Бобровский (национал-социалист); снабжения и путей сообщения — Стевен (беспартийный); финансов — Барт (беспартийный).

Но помочь от души желаем. Поэтому я сделал распоряжение:

1. Немедленно выслать небольшой отряд с орудием в Ялту.

2. Другим отрядом занять Керчь.

3. В командование вооруженными силами вступить генерал-майору Корвин-Круковскому, которому даны следующие инструкции: русская государственность, русская армия, подчинение мне. Всемерное содействие Крымскому правительству в борьбе с большевиками. Полное невмешательство во внутренние дела Крыма и в борьбу вокруг власти.

4. Посланные части являются лишь кадрами, которые будут пополняться мобилизацией офицеров и солдат на территории Крыма. Дело это поручено «начальнику Крымского центра», генералу барону де Боде. В его распоряжение командируются соответствующие помощники по делу формирования и снабжения.

От души желаю Крыму мирной жизни, столь необходимой для творческой созидательной работы».

По просьбе Винавера «ввиду сильной агитации, враждебной Добровольческой армии, обвиняемой в реакционности, антисемитизме и антидемократизме», было передано официальное заявление, что армия прибывает «с исключительной целью поддержания порядка, не вмешиваясь во внутренние дела... не преследует реакционных целей... не предрешает будущей формы правления... относится с величайшим негодованием к попыткам восстановить одну национальность, один класс против другого...». Передавая это заявление в особом «обращении к населению», крымское правительство добавляло от себя, что 1) если обстоятельства местной жизни потребуют употребления силы, то таковое последует только с согласия краевого правительства и 2) что мобилизация, «имеющая всероссийское значение», будет произведена Добровольческой армией совершенно самостоятельно, лишь с ведома и при содействии краевого правительства.

Наконец, вопрос материального обеспечения армии был обусловлен ассигнованием крымским правительством $1^1/_2$ миллиона рублей «на первый месяц», и, как выяснилось

позже, снабжение должно было лечь почти всецело на добровольческую казну при некоторой только финансовой поддержке местного правительства.

Приведенной перепиской и заявлениями устанавливался характер наших будущих взаимоотношений — к сожалению, недостаточно определенно, давая впоследствии поводы для взаимных трений.

В морально-политическом отношении это был еще один шаг в сторону государственного объединения. Но в чисто стратегическом, кроме прикрытия военных портов и морских баз, занятие Крыма давало к тому моменту мало выгод: Крым требовал войск, снабжения и хлеба; отягчая тем положение главного фронта Добровольческой армии.

В середине ноября в Керчь и Ялту были переброшены первые незначительные части, усиленные в конце до 4—6 тысяч[1]. Эти войска, с присоединением к ним местных формирований и добровольческих отрядов, отступивших с Украины, должны были развернуться в двухдивизионный Крымский корпус. Во главе войск Крыма поставлен был вначале генерал Боде, на которого кроме организации корпуса была возложена задача прикрытия Крыма постепенным выдвижением заслона на линию нижний Днепр—Александровск—Бердянск. Восточнее этот заслон выходил в соприкосновение с выдвинутой туда дивизией генерала Май-Маевского, прикрывавшей Донецкий бассейн.

На севере области в это время начинался пожар: сменившая гетманщину петлюровщина, с ее неизменными спутниками — атаманщиной и бандитизмом, в свою очередь расчищала путь надвигающимся армиям Южного советского фронта.

Правительство г-на Соломона Крыма, пробывшее у власти ровно 5 месяцев, являет собою законченный опыт демократического правления, хотя и в миниатюрном территориально масштабе, — правления, обладавшего суверенностью, полным государственным аппаратом и подобающими ему званиями. В части правительства поначалу существовала преувеличенная оценка своего значения, «как прототипа будущей Всероссийской власти». И министр внешних сношений Винавер в переговорах с екатеринодарскими кадетами поддерживал серьезно идеи самостоятельности Крыма, *преимущественной* важности крымского вопроса и недопустимости в этих видах «укрепления Особого совещания»[1]. Из тех же, вероятно, соображений в начале декабря Винавер возбудил неожиданно считавшийся уже благополучно разрешенным вопрос об единоличном представительстве Сазонова в Париже и потребовал замены его делегацией с участием крымского представителя.

[1] Пехотный полк, конный полк, пластунский батальон, кадры двух конных полков, артиллерии и технических войск.

Правительство образовалось в результате сговора «всех политических партий и групп, представленных в земском собрании». В своей резолюции собрание (4—5 октября 1918 года) обязало новую власть: 1) содействовать объединению распавшейся России; 2) искать сближения с возникшими на ней тожественными государственными организациями; 3) восстановить гражданские свободы и распущенные городские и земские самоуправления и в дальнейшем руководствоваться демократическими началами; 4) немедленно назначить новые выборы на основании законов Временного Правительства, но с увеличением возрастного ценза до 21 года и ценза оседлости до 1 года (земского) и $1^1/_2$ года (городского); 5) если в течение двух месяцев не будет создана единая всероссийская власть, созвать Краевой сейм по четырехчленной формуле и по пропорциональной системе.

Достойно внимания, что фракции социалистов-революционеров и социал-демократов, приняв единогласно эту резолюцию, заявили, что воздерживаются от голосования ее в части, касающейся изменения избирательного закона, «по принципиальным соображениям», но, «считаясь с исключительным моментом... принимают активное участие в создании власти, оставляя за собою право борьбы за восстановление избирательного закона во всей его полноте».

Через месяц на новом съезде[2] правительство Крыма, давая отчет о своей деятельности, в числе своих заслуг указывало

[1] Телеграфная лента, 4 декабря 1918 года.

[2] «Съезд губернских гласных Крымского уезда, председателей уездного управления и городских голов». 27 ноября.

на отмену постановлений 1) о предании полевому суду виновных в умышленном повреждении полей и лугов и 2) об отмене права министра внутренних дел предавать военно-окружному суду лиц, совершивших преступления против личности и собственности с 25 октября 1917 года по 25 октября 1918 года. Мотивами такого правительственного благодушия, по признанию самих министров[1], были: 1) то обстоятельство, что вначале «Крыму не угрожала еще никакая *внешняя* опасность», и потому самая «возможность порабощения большевиками никому не представлялась реально», 2) «внутренние условия организации правительства, тесно связанного с демократическими слоями общества», и 3) убеждение самого правительства, что необходимо проводить «грань между активными большевиками и неосуществимой попыткой искоренить путем мер устрашения большевистское настроение масс». Председатель правительства Крым утверждал, что «очагом большевизма в Крыму был пришлый матросский элемент, которого сейчас нет (?), а поддаваться чувству мести правительство считало невозможным»[2].

С этой идеологией и с такими методами Крымское правительство выступило на борьбу с большевизмом.

Подобное же направление получил вопрос о формировании вооруженной силы. На том же съезде 27 ноября фракция социалистов-революционеров, отражая мнение всей революционной демократии, внесла резолюцию, чтобы «правительство и впредь со всей решительностью отстаивало полное невмешательство внешних сил, в том числе и Добровольческой армии, во внутренние дела Крыма», и «чтобы организуемая армия носила характер *территориальный*, была предназначена *лишь* для охраны спокойствия в Крыму и содержалась на принципе обязательности для всего населения». Под влиянием социалистических фракций правительство дало объяснение, что «до созыва Крымского сейма абсолютно не предвидится мобилизации».

---

[1] Из журнала заседания Совета министров.

[2] Разговор по Юзу с Н. И. Астровым.

А выборы в Сейм постановлено было произвести в марте 1919 года, т. е. через 4 месяца после вступления во власть правительства Крыма. Большевизм между тем, ничем не сдерживаемый, ширился и наглел.

Еще со времени немецкой оккупации Крым стал убежищем большевистских деятелей, бывших комиссаров, перешедших на полулегальное положение и никем не беспокоимых. На улицах разгуливали свободно люди, которых молва называла убийцами и палачами первых трагических дней большевистского господства в Крыму. Коммунистические организации выпускали листовки и прокламации, появлявшиеся в изобилии даже на улицах Симферополя; комячейки профессиональных союзов держали в напряженном состоянии рабочую массу, по существу инертную и умеренную, но легко поддававшуюся провокации на почве безработицы, дороговизны и голода. Бывали часто случаи забастовок, вооруженного нападения на транспорты, следующие в добровольческие части, взрывы барж с боевыми припасами, нападения и убийства офицеров и т.д. Социалистическая печать, постановления демократических учреждений обращались к населению с призывом воздержаться от поступления в Добровольческую армию. Уезды кишели шайками разбойников.

В середине ноября начальник формировавшейся Крымской дивизии генерал Корвин-Круковский распубликовал приказ о вступлении в трехдневный срок в ряды Добровольческой армии всех офицеров, под угрозой полевого суда за неисполнение. Этот приказ, отданный без ведома начальника Добровольческого центра и Крымского правительства, вызвал большое волнение в последнем, усмотревшем в приказе нарушение своей державности и введение юрисдикции, не допускаемой на территории Крыма. Через несколько дней последовало разъяснение, в силу которого призыв был объявлен необязательным. Войсковые части вернулись вновь к укомплектованию добровольцами.

Этот эпизод подорвал в сильной степени авторитет Добровольческой армии — демонстрацией ее слабости.

Крымская печать откликнулась резкими нападками на армию. Социал-демократическая пробольшевистская газета «Прибой» особенно сильно травила и армию, и правитель-

ство. «Бюро татарского парламента» заявило протест против призыва офицеров-мусульман и сообщало, что приступает само к формированию особых «мусульманских частей»[1].

В Крыму не было ни сознания назревавшей опасности, ни желания активной борьбы. И не было той силы, которая могла бы побороть общественное равнодушие. Вопреки всем теоретическим предпосылкам, правительство, поставленное *демократическим* собранием, не находило опоры в крае; низы его не знали и не чувствовали; татарская общественность находилась к нему в постоянной и резкой оппозиции; революционная демократия мирилась с ним ровно постольку, поскольку его существование гарантировало от пришествия добровольческой власти, и давила на его волю, ставя его между собою и Екатеринодаром, как между молотом и наковальней. О буржуазии и говорить не приходится, если принять во внимание, что даже екатеринодарские кадеты горячо обвиняли министерство Крыма в «коллекционировании» на его территории большевиков.

По тону социалистических газет и резолюций партийных, профессиональных организаций и демократических самоуправлений видно было идущее crescendo «полевение», как говорили сводки; оно нашло смелое и гласное выражение в городе-крепости, занятом сильным иностранным гарнизоном, — в «оплоте» Крыма. 16 февраля конференция правлений профессиональных союзов, собравшаяся в Севастополе, вынесла резолюцию:

«Конференция правлений профессиональных союзов, обсудив всесторонне вопрос о власти, находит, что при создавшемся теперь положении, как внутри области, так и на крымском фронте, на пролетариат и беднейшее крестьянство Крыма ложится революционный долг прийти на помощь героической Красной армии и общими силами низвергнуть ненавистное краевое правительство. Исходя из этого, конференция постановляет немедленно объявить всеобщую политическую забастовку с требованиями:

---

[1] На съезде 26 января татары высказали полное сочувствие идеям Добровольческой армии, не проявив его, впрочем, никакой поддержкой объявленного призыва.

1) удаление Добровольческой армии;
2) отстранение краевого правительства;
3) восстановление в Крыму советской власти;
4) освобождение всех политических».

Положение добровольческих войск в Крыму при таких настроениях в моральном отношении было чрезвычайно тягостным. Оно не способствовало ни притоку добровольцев, ни подъему в рядах тех, что дрались на полях Таврии, на Перекопе и Чонгаре. Скудость средств и неорганизованность снабжения еще более отягчали положение.

К сожалению, в крымских войсках также было далеко не благополучно. На верхах шел разлад. Сменивший генерала Боде генерал Боровский, имевший неоценимые боевые заслуги в двух кубанских походах, выдающийся полевой генерал, не сумел справиться с трудным военно-политическим положением. Жизнь его и штаба не могла поддержать авторитет командования, вызывала ропот, однажды даже нечто вроде бунта, вспыхнувшего в офицерском полку в Симферополе. Поводом к нему послужили авантюризм и хлестаковщина ставшего известным впоследствии капитана Орлова и его сподвижников, но причины лежали несомненно гораздо глубже — в общих неустроениях быта и службы. Вообще дисциплина, служебная и боевая работа новых офицерских частей оставляли желать многого. Развернутые до нормальных размеров, с солдатским укомплектованием, эти части несомненно дали бы хороший боевой материал. Но в настоящем своем виде они требовали не просто исполнения служебного долга, а нечто большее — подвига, лишений, тяжкого, для многих непосильного труда. А того энтузиазма, который в исключительной обстановке Первого похода создал и закалил «старые» офицерские полки, уже не было.

Некоторые из переброшенных в Крым добровольческих частей не отличались должной выдержкой и тактом и своим демонстративным проявлением не к месту и не ко времени монархических и противодемократических тенденций давали пищу для нападок. Эти тенденции были присущи особливо гвардейскому офицерству, но и питались они в свою очередь отношением населения к армии. Таким же направлением отличался находившийся в Ялте отряд для охраны

лиц Императорской фамилии, который одним своим назначением вызывал уже ропот социалистической демократии.

Немало темных элементов попадало и в войсковые части, иногда просто самозванцы прикрывались трехцветным добровольческим шевроном. В северной Таврии они угнетали население незаконными реквизициями, подчас грабежами, в крымских городах производили незаконные обыски, «выемки», налеты, набрасывая густую тень на облик всего добровольчества.

Безнаказанность большевистских главарей, большевистской пропаганды и агитации вызывала скрытые меры противодействия: частью по инициативе местных начальников, частью самочинно стали возникать негласные контрразведки. Временами печать сообщала и о кровавых самосудах (Ялта, Севастополь и др.), которые все приписывались также добровольцам и вызывали волнение среди демократии, резолюции протеста, забастовки и т.д. Часто это было большевистской провокацией, иногда действительно делом рук офицерства. Но виновники, несмотря на принимавшиеся меры, обыкновенно не обнаруживались или оставались безнаказанными, вероятно, в силу той психологии, которая стала присущей и старшим и младшим чинам и которая ярко сквозит в описании тогдашней жизни Севастополя одним из военных начальников:

«Офицерская среда уже не могла сдерживаться от самочинных арестов и даже убийств.

Проезжими офицерами был застрелен в районе вокзала какой-то человек, распространявший большевистские прокламации, которого французский комендант не ликвидировал. Через несколько дней после этого случая несколько добровольцев-офицеров арестовали самочинно бывшего матроса шофера Лензука, убившего в январе 1918 года генерала Чебазского и его сына и некоторых других офицеров, и при конвоировании арестованного в комиссариат застрелили его. Оба случая попали в газеты с призывом «под суд». Вслед за тем комендант крепости получил телеграфное предписание о предании военно-полевому суду означенных офицеров. Распоряжение это вызвало целую бурю ропота. Офицерство говорило: «Когда матросы расстреливали офицеров,

никто из начальства пальцем не шевелил для их спасения; когда пришли немцы и была возможность вылавливать и казнить убийц, этого никто не делал, и бывшие матросы и убийцы открыто и смело разгуливали по улицам Севастополя. И когда, наконец, несчастное настрадавшееся офицерство начало вылавливать подобный вредный элемент, то начальство моментально позаботилось о предании суду того же офицерства».

Шли дни за днями, с севера надвигались уже регулярные советские дивизии, а дело развертывания крымских частей («Крымско-Азовской Добровольческой армии»)[1] не двигалось. Это было тем более досадным, что в трех северных уездах Таврии[2], где политические настроения, в силу постоянного и близкого общения с повстанческими бандами, были значительно напряженнее, мобилизация проходила все же сравнительно благополучно, а в Донецком районе (небольшая юго-восточная часть Екатеринославской губернии) — в этой некогда цитадели южного большевизма — объявленный тотчас по вступлении туда 3-й дивизии первый призыв двух возрастных классов дал свыше 7 тысяч человек.

Я настойчиво с первых же дней требовал проведения мобилизации в Крыму и одновременно введения военного положения со всеми возникающими из сего последствиями для того, чтобы иметь реальную возможность проведения набора. Моя телеграмма о «промедлении и пассивности» правительства вызвала обиду и ссылку на «неподготовленность населения, не совсем дружелюбное отношение к Добровольческой армии, которое правительству приходится преодолевать, и главным образом непонимание населением мысли о принудительном призыве в Добровольческую армию»[3].

Винавер упускал из виду, что «энтузиазма» в народе не было нигде — ни в «Красной», ни в «Белой» России, и что

---

[1] Так наименованы были с 10 января войска Крыма, Таврии и Донецкого бассейна (Май-Маевский), подчиненные генералу Боровскому.

[2] Мелитопольский, Днепровский, Бердянский. В них была гетманская администрация, смененная потом военным управлением Добровольческого командования.

[3] Винавер. Телеграфный разговор со Степановым.

правительство, рассчитывавшее только на «энтузиазм», шло по пути, уже пройденному ранее в масштабе всероссийском.

Возникшие спорные вопросы потребовали личных переговоров, которые в середине декабря состоялись в Симферополе[1], потом в Екатеринодаре[2]. В результате мы пришли к ряду соглашений. Гражданская власть в трех северных уездах передана была крымскому правительству с сохранением там военного положения. Правительство подтверждало полную готовность идти навстречу интересам армии, уравнять репрессии военно-судебных органов Крыма и армии, принять решительные меры против печати в отношении травли и огульного осуждения офицерства, а также против пропаганды идей большевизма и т.д. От применения полевой юстиции в отношении некоторых преступлений гражданских лиц и от введения военного положения впредь до переезда Ставки правительство уклонилось.

Перенос Ставки в Севастополь был решен под влиянием слагавшейся в декабре военно-политической обстановки и с целью избавить Ставку и кубанское правительство от нервирующей друг друга близости. Крымское правительство в этом случае добровольно слагало с себя верховную власть. Но ввиду преждевременных слухов об уходе правительства по обоюдному соглашению последовало официальное разъяснение, что «отношения командования армии и крымского правительства остаются на прежних основаниях», в будущем же «определятся взаимным соглашением и условиями, которые будут созданы фактом перехода штаба».

По этому поводу совершенно неожиданно я получил через французскую миссию уведомление генерала Франше д'Эспре: «...Нахожу, что генерал Деникин должен быть при Добровольческой армии, а не в Севастополе, где стоят французские войска, которыми он не командует». Я ответил, что в отношении армий Юга пользуюсь всей полнотой власти и избираю место стоянки, руководствуясь мотивами политическими, стратегическими и расположением подчиненных мне войск. Одновременно через Сазонова обращено было внимание французского правительства «на недопустимость ни по существу, ни по тону подобного обращения французского генерала».

[1] Поездка генералов Лукомского, Н. И. Астрова, В. А. Степанова.

[2] Приезд С. С. Крыма.

Впоследствии, исключительно под влиянием изменившегося положения фронта, от мысли этой пришлось отказаться.

При таких условиях объявлена была сначала мобилизация офицеров до 40-летнего возраста, потом к 30 января призыв одного возрастного класса (родившихся в 1897 году).

Призыв не прошел.

Обескураженное такой неудачей, крымское правительство отказалось от борьбы и спешно отменило объявленный уже призыв двух следующих возрастов. Авторитету правительства, командования и самой идее борьбы с большевизмом этой демонстрацией нашего бессилия нанесен был непоправимый и окончательный удар.

Под влиянием ряда фактов из области попустительства большевикам и вмешательства в дело обороны я послал 16 марта Крымскому правительству предложение ультимативного характера — «отказаться от того гибельного пути, на который оно вышло, объявить военное положение и предоставить вытекающую из него власть командующему армией»... В противном случае я угрожал приказом генералу Боровскому «приступить к эвакуации добровольческих войск из Крыма».

В телеграмме моей было много чувства горечи и раздражения, но реальных результатов она принести не могла. Из последовавших постановлений правительства и беседы С. С. Крыма с генералом Боровским следовало, что правительство «готово всегда отменить свои постановления», готово «каждую минуту выйти в отставку — для пользы дела приняв на себя инициативу перед населением». Правительство утверждало, что оно «сделало все ему доступное, чтобы материально и нравственно поддержать Добровольческую армию, и с самых первых дней своего существования связывало свою судьбу с армией...». Отрицая возводимые на него обвинения, правительство, на этот раз не без основания, добавляло, что едва ли можно было ожидать такой меры, как отозвание армии из Крыма, ибо армия защищает не Крымский край, а общее российское дело[1].

[1] По телеграфной передаче Набокова 23 марта 1919 года.

В свою очередь генерал Боровский не имел никакого желания брать на себя бремя загубленной уже власти. Он доносил, что теперь уже поздно: введение военного положения, когда все силы выдвинуты на линию фронта, будет «покушением с негодными средствами». В качестве паллиатива под председательством Боровского был образован «комитет обороны» в составе председателя правительства, министров военного и внутренних дел и некоторых других лиц.

«Комитет обороны» — по длительному печальному опыту гражданской войны являлся всегда предтечей катастрофы.

* * *

Крымские части, вместо того чтобы развертываться и формироваться под прикрытием союзных войск, были выдвинуты на линию Каховка (на Днепре) — Феодоровка (впереди Мелитополя) и далее к востоку, входя в связь по железнодорожной линии от Бердянска с войсками генерала Май-Маевского. Имея перед собою многочисленные, до 10—12 тысяч, но плохо организованные повстанческие банды, наши части в течение $1^1/_2$ месяца успешно боролись с ними.

В середине января армии Украинского советского фронта сосредоточились левым своим крылом в районе Александровск—Синельниково—Гришино, и можно было ожидать активных действий их и в крымском направлении. Для противодействия этому приходилось вывести все добровольческие части Крыма[1] на фронт в северную Таврию, и на основании категорических заявлений генерала Бертело о предстоящей помощи нам я просил его для обеспечения порядка в тылу занять хоть маленьким союзным гарнизоном ряд крымских городов. Генерал Бертело вновь обещал, но при этом потребовал три больших русских парохода, которые и были даны для «перевозки войск»[2].

Союзные войска, однако, не появлялись.

В начале декабря сошел на берег десант английской морской пехоты — батальон с пулеметами; через две-три недели он ушел, и в конце декабря в Севастополе высадился французский отряд — полк с двумя батареями, под начальством

[1] Не более 5 тысяч.

[2] Обмен телеграммами от 19 января и 4 февраля.

полковника Рюэ. Назначение отряда было совершенно непонятно. На фронт он идти не собирался. Рюэ держал себя начальником в Севастополе, резко в отношении коменданта и чинов Добровольческой армии, покровительственно в отношении членов правительства, которому давал неизменно обещания о грядущей помощи, поддерживая его иллюзии. Рюэ не принимал никаких мер в отношении севастопольских большевиков и вместе с тем не допускал «вмешательства в политическую борьбу» коменданта и добровольческих частей. Когда генерал Боровский под давлением бурных митингов и приостановки всех работ на Добровольческую армию ввел своею властью в крепостном районе военное положение, Рюэ, поддержанный Винавером, категорически запротестовал: он не может согласиться на «выступление добровольцев против демократии»; ничего не имеет против предоставления чрезвычайных полномочий министру внутренних дел, но силу даст только для подавления вооруженного выступления.

«Рабочий народ» требовал советской власти... Рюэ издавал обращение к населению, что он никакой большевистской власти не признает... На «Мирабо», французском броненосце, потерпевшем аварию и чинившемся в доке, делегация «мирных демонстрантов-рабочих» в то же время получала заверения от «товарищей французов», заинтересованных в нормальном течении работы, что они «никогда не подымут руки против голодающего рабочего»... Рюэ опровергал в газетах смысл данных делегации заявлений, и т.д., и т.д.

Севастополь — наша база — представлял собой котел, ежеминутно готовый взорваться. В результате одного из грандиозных митингов, на котором вынесена была вновь резолюция о ниспровержении правительства и армии, военные власти произвели несколько арестов, но городское самоуправление потребовало от Рюэ освобождения арестованных, и последний настоял на исполнении его требований. «После этого случая, — пишет начальник штаба крепости, — и вплоть до эвакуации Севастополя, если и производились аресты (даже убийства), то только самочинные...»

Между тем в конце февраля войска Украинского советского фронта, усиленные из резервов до 20—25 тысяч, перешли в наступление на фронте Юзовка—Волноваха—Бер-

дянск—Мелитополь, одновременно угрожая нашему левому флангу со стороны Херсона. В первых двух направлениях большевики потерпели неудачу. Но захватив Мелитополь и выйдя к Бердянску, они разъединили войска Крымско-Азовской армии, которая отошла частью на Мариуполь, частью на перешейки. 13 марта наши части, обойденные десантом от Геническа, оставили и Сальский перешеек (восточный).

Крым был отрезан от питавших его хлебом и углем районов.

Ввиду общего тяжелого положения на фронте вооруженных сил Юга помочь было нечем... Я хотел перебросить в Крым часть бригады Тимановского из Одессы, но генерал д'Анзельм, бросив к этому времени Николаев и Херсон и отводя союзные войска к Одессе, все же отказал мне в этом. В начале марта в Севастополе высадился полк греков, и после длительного воздействия на французское командование *две греческих роты* были двинуты на перешейки, где доблестно дрались.

Это было все, чем выразилась помощь союзников в Крыму.

12 марта прибыл в Севастополь генерал Франше д'Эспре. Прием им военно-морских начальников и членов правительства отличался грубостью. Он говорил раздраженно о «постыдном поведении русских офицеров, особенно за границей», о русской интеллигенции и буржуазии, которая «прячется за спины армии союзников (!)». Предупреждал, что «русские не должны думать, что союзники будут воевать за них, а должны сами идти на фронт...». Испытав до дна смирение своих невольных слушателей, генерал приказал все формирующиеся в Севастополе добровольческие части немедленно вывести на фронт, сменил Рюэ, назначил «командующим союзными войсками в Крыму» полковника Труссона и обещал, что если фронт продержится две недели, то им будет дана помощь.

Мы, русские, сами знали хорошо свои вины, но что — какое соучастие, какое самопожертвование — что давало право *им* быть нашими судьями?

Ожидание обещанной вновь помощи стало единственным стимулом всех упований крымского правительства. И даже уже после одесской эвакуации, обеспокоенное «усилением недружелюбного и подозрительного отношения к союзникам», правительство констатировало «максимум энергии Труссона» и «значительно большую активность со стороны союзников в деле обороны Крыма», убеждало Ставку проникнуться самой и внушить местному командованию «необходимость наибольшей степени доброжелательности по отношению к союзникам»[1]. А в то же время командующий французской эскадрой адмирал Амет говорил нашему представителю: «Все обещания активной поддержки Добровольческой армии были даны лицами, недостаточно для этого уполномоченными и давно не бывшими во Франции, а потому незнакомыми с ее состоянием в настоящее время... Вследствие распространенного там мнения, что «война окончена», у меня нет уверенности в возможности заставить наши части драться».

На перешейках шли бои вяло, без подъема, без воодушевления, с опасливой оглядкой на тыл. Вместо отправления в приемники (запасные батальоны) или переброски на другие фронты мобилизованные северной Таврии вливались на месте в боевые части. Не изжив большевизма, вынужденные драться против своих же односельчан, мобилизованных «атаманами» или большевиками, или участвовать в усмирении своих же сел, они дезертировали в большом числе.

Переправившись также у Алешек и Каховки, большевики силами до 15 тысяч продолжали наступление и овладели Перекопом. Успешные вначале контратаки наши не изменили положения. Части крымского фронта под натиском противника, по приказанию Ставки, начали отступление в направлении на Керчь, и 27 марта красные заняли узловую станцию Джанкой. Началась эвакуация Симферополя. Крым охватила паника, и человеческие волны в поисках спасения покатились к портам. Все свободные суда, находившиеся в распоряжении главного командования, были посланы к берегам Крыма для спасения беженцев.

Красные войска наступали в двух направлениях. Главные силы их преследовали отступавшие части крымских добровольцев, которые к середине апреля достигли Акманая. Здесь, в наиболее узком и обороноспособном месте Керченского по-

---

[1] Телеграфная беседа Набокова с Астровым 23 марта.

луострова, наши войска были остановлены и дали отпор противнику.

Другой небольшой отряд советских войск наступал от Джанкоя на Севастополь, не встречая сопротивления.

* * *

Между 30 марта и 2 апреля в Севастополе высадилось до 4 тысяч алжирских стрелков и сенегальцев, что вместе с прежним гарнизоном составило до 7 тысяч штыков при 8 орудиях. На рейде стояла союзная эскадра с мощной судовой артиллерией. Высшее командование в этом районе всеми французскими силами принадлежало французскому адмиралу Амету, на суше командовал полковник Труссон, который 28 марта объявил осадное положение и принял на себя всю власть в Севастополе.

Между тем местный большевистский революционный комитет с утра 29-го расклеивал уже по городу свои приказы и прокламации, требуя прекращения работ по эвакуации и воспрепятствования выходу в море кораблей. По инициативе того же комитета группа матросов подготовила взрыв огромного транспорта «Рион», наполненного несчастными беженцами, преимущественно женщинами и детьми. От взрыва бомбы пострадало более 100 человек (21 убит). К счастью, остальные заложенные бомбы были вовремя обнаружены и потоплены. Главные виновники взрыва скрылись, пособники... «при попытке бегства с корабля были убиты».

Суровая формула жуткого времени...

Все последовавшие действия французского командования клонились по существу к выручке чинившегося «Мирабо». Хаотическая эвакуация напоминала одесскую и произведена была в весьма ограниченных размерах, так как все лучшие пароходы были расписаны под французские и греческие войска и грузы. 2 апреля адмирал Амет распорядился о немедленном оставлении Севастополя всеми чинами Добровольческой армии и прекратил в этот день фактически эвакуацию русских людей и нашего военного имущества. По распоряжению Амета адмирал Саблин должен был уйти с судами, которые он успел вывести, не позже вечера 3 апреля[1]. В угоду севастопольскому «революционному комитету» французские власти наложили арест на продовольственные грузы Добровольческой армии, арестовали весь состав крымского правительства и под угрозами потребовали сдачи им краевой казны и возвращения севастопольскому — уже большевистскому — казначейству пособий, розданных по распоряжению правительства и коменданта несчастному служилому люду. Военное и морское имущество, неисправные суда, авиабазы и т.д. были брошены или подверглись разрушению — были союзниками «обезврежены, чтобы ими не воспользовались большевики»...

[1] Донесение адмирала Саблина от 4 апреля.

Французское командование принимало решительные меры, чтобы отмежеваться от всякого общения с российской «контрреволюцией» и тем облегчить предстоящие переговоры с большевиками.

В эти дни нашего национального несчастья ответственными представителями Франции, казалось, было сделано все, чтобы переполнить до краев чашу русской скорби и унижения. Вот, например, финальный эпизод, характерный для всей эвакуации... 3 апреля ушел последний русский пароход «Георгий», и на внешнем рейде стояли еще иностранные пароходы, приютившие беженцев. На одном из них — французском пароходе «Дюге-Труян» — находился начальник штаба крепости генерала Рерберг и чины штаба (с семействами), до последнего момента исполнявшие свои обязанности. 7 апреля получено было приказание с французского флагманского судна — всем русским офицерам покинуть французский корабль. «Приходилось, — пишет Рерберг, — попадать в руки большевиков или кидаться в море...» Выручил английский адмирал, принявший офицеров с семьями на свой транспорт.

2 апреля началось наступление большевиков на Корабельную слободку и Инкерманский водопровод, не занятый союзниками, который большевики и захватили к ночи, оставив город без воды. На следующий день встретились советские и французские парламентеры, и начались переговоры. Но большевики были требовательны, и два дня поэтому гремели орудия союзного флота, производя впечатление довольно внушительное на ничтожный численно большевистский отряд, подступивший к городу. 5-го все стихло: французы

заключили с большевиками перемирие, не нарушавшееся до 15 апреля, когда закончилась эвакуация французских и греческих войск. Печать сообщала о каких-то беспорядках среди французских матросов и солдат, о шествиях в городе с красными флагами, в которых будто и французы принимали участие, об усмирении манифестантов огнем, открытым цветными войсками и греками...

Корабли с беженцами шли в Константинополь, в Пирей, к берегам Черноморской губернии. Крымские правительственные учреждения высадились в Новороссийске и Туапсе, возбудив вопрос об «иммунитете» в качестве представителей «союзной державы». Полагая, что роль крымского правительства уже закончена, я дал указание черноморскому губернатору считать чинов правительства и прибывающих учреждений его — частными лицами; Керченский уезд поступил в управление Особого совещания.

Там, на Акманайских позициях, устроенные и переформированные в дивизию части бывшей Крымско-Азовской армии, поддержанные с Черного и Азовского морей огнем орудий русского и союзного флотов, главным образом английских, в течение двух месяцев отстаивали упорно последний клочок Таврического полуострова, послуживший нам в начале июля исходным плацдармом для нового победного наступления.

И в этой тяжелой боевой работе мы не были оставлены попечением французского командования. 5 апреля, следовательно, уже после «Одессы» и «Севастополя», генерал Боровский получил чрезвычайно резкое и оскорбительное письмо от французского капитана 2-го ранга Бенета, назначенного «командующим отрядом судов для обороны Керченского полуострова». Бенет, на основании инструкции командующего флотом, между прочим писал:

«...Я должен быть поставлен в известность представителем генерала Деникина об отданном последним приказании о передвижениях Добровольческой армии. Эти передвижения могут быть допущены только по письменному распоряжению, подписанному представителем генерала Деникина и мною. В противном случае я буду противодействовать силой... Было бы также желательно сообщить генералу Деникину, что союзники — хозяева моря и что на нем не должно делаться ничего без их на то согласия...»

Генерал Романовский сообщил французской миссии, что ввиду «явно вызывающего характера этого сообщения» главнокомандующий ВСЮР находит необходимым, чтобы капитан Бенет был немедленно отозван, так как исполнение им своих угроз может вынудить начальников добровольческих войск к действию артиллерией против французских судов.

Капитан Бенет, по уведомлению генерала Франше д'Эспре, был отчислен от должности[1]. В сущности, он только слишком прямолинейно выполнил полученный приказ и выразил, хотя и в лапидарной форме, именно те взгляды и те отношения к нам, которые сложились прочно на верхах французского командования на Юге России.

ГЛАВА XXXI

ПРОТОКОЛ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. ИДЕЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ. ПРИЧИНЫ ЕЕ НЕУДАЧИ

Чем объяснить роковую для нас политику Франции в 1919 году и образ действий ее представителей на Юге России? На это могут дать исчерпывающий ответ архивы французских министерств. Но и в нашем распоряжении есть некоторые материалы, приоткрывающие завесу над этим больным вопросом.

До самого последнего момента французское правительство поддерживало и в своих генералах и в русских идею о вооруженной помощи.

Вернувшись из Одессы 10 марта после свидания с Франше д'Эспре, генерал Бертело передавал русскому посланнику в Бухаресте Поклевскому-Козелл о «твердом решении францу-

[1] Телеграмма генерала Боровского от 5 апреля. Нота генерала Романовского от 16 апреля № 05320, нота полковника Корбейля от 27 апреля, № 1755.

зов сохранить Одесский район». Бертело говорил о развертывании польской дивизии севернее Черновиц и 7 румынских по Днестру; о высадке в ближайшие дни в Одессе 9 батальонов французских волонтеров и следующих за ними 18 батальонах цветных войск; об изыскании тоннажа для снабжения Одессы, более 30 тысяч тонн в месяц... «Но все-таки, — писал Поклевский-Козелл, — я не заметил в нем (Бертело) уверенности в том, что Одесса будет удержана»[1].

4 апреля нового стиля, т. е. *через день после объявления эвакуации Одессы*, в Париже, на Quai d'Orsay состоялась англо-французская конференция, на которой был выработан сообща порядок осуществления французской интервенции. Статьи «протокола», составленного в результате обмена мнениями французским министерством иностранных дел и помеченного датой 11 апреля нового стиля, заключались в следующем:

«1. Высшее французское командование не будет чинить никаких препятствий к набору русских контингентов генералом Деникиным и офицерами, его представляющими, под условием, чтобы принимаемые к таковому набору меры не имели бы результатом возникновение беспорядков в зоне, где французское командование ответственно за сохранение порядка.

2. Непосредственное командование над русскими частями, формируемыми на местах, примут русские офицеры, предпочтительно из армии генерала Деникина или из других организаций, в случае, если эти части, горя желанием сражаться против большевиков, не захотели бы служить в армии генерала Деникина.

Разумеется, эти части будут чисто русские, за исключением союзного или французского кадра, но они смогут получать помощь союзными инструкторами или техническими советчиками.

3. Русские войска, находящиеся во французской зоне и признавшие авторитет генерала Деникина, могут, по соглашению генерала Деникина с высшим французским командованием, быть использованы либо первым на его театре военных действий, либо быть окончательно предоставлены в распоряжение второго.

Русские войска, отказывающиеся от подчинения генералу Деникину, остаются в распоряжении высшего французского командования.

4. Генерал Деникин и высшее французское командование условятся, чтобы русское имущество, сложенное в зоне французских действий, было либо использовано при формировании русских войск этой зоны, либо предоставлено в распоряжение генерала Деникина.

Последний не будет препятствовать посылке во французскую зону припасов излишнего продовольствия (провиант и топливо), которые могли бы иметься в его собственной зоне.

5. Генерал Деникин и высшее французское командование будут взаимно держать друг друга в полном курсе своих операций и нужд посредством миссий для связи. Они будут по мере возможности оказывать друг другу взаимную поддержку.

6. Русские торговые суда, не находящиеся в пользовании союзников, могут быть употреблены для русских военных перевозок и для продовольствия русских войск. Высшее французское командование не будет чинить никаких препятствий к применению для этой цели под русским национальным флагом русских судов, находящихся в Черном море, под условием, чтобы они обслуживались русским экипажем, подчиняющимся генералу Деникину. В пределах возможного эти суда, если придется, будут способствовать возвращению на родину русских солдат, находящихся вне русской территории.

Русские суда, правильно зафрахтованные дружественными правительствами, останутся в распоряжении этих правительств, кроме как в случае невозобновления таковыми контрактов по истечении их срока.

Русским военным судам, которые вооружены русским экипажем, подчиняющимся генералу Деникину, разрешается плавать под русским флагом».

Интересно, что текст этого протокола без предварительного сношения со мною и в форме императивной был прислан мне только через полтора месяца, после всех траги-

[1] Письмо Поклевского-Козелл на имя Сазонова от 12 марта 1919 года, № 29.

ческих событий Одессы и Крыма, завершившихся исходом французов, и после того, как на всех фронтах ВСЮР обозначился большой успех, предвестник скорого освобождения Новороссии и Крыма[1].

От моего имени отвечено было французской миссии[2]:

«Я очень благодарен за присылку мне протокола от 4 апреля, но несколько недоумеваю, как можно провести его в жизнь, приняв во внимание:

1) что на территории Вооруженных сил Юга России я осуществляю *Верховное командование* армиями, а на территории, занятой Добровольческой армией, — и *Верховное управление*;

2) что в операциях русских армий не предположено участие французских войск».

Еще через месяц аналогичное уведомление пришло из британской миссии, с просьбой сообщить — не имеет ли генерал Деникин что-либо прибавить к ранее данному французам ответу. По этому поводу было сообщено[3]:

«Территория Крыма к данному времени освобождена исключительно частями ВСЮР и будет подчиняться в порядке Верховного управления Верховному правителю России, временно же главнокомандующему вооруженными силами на Юге России, генералу Деникину.

Далее, главнокомандующий, будучи крайне благодарен за всякую материальную помощь со стороны союзников, считает, что зоны французского и английского влияния

---

[1] Нота начальника французской миссии полковника Корбейля от 14 мая, № 1926. В ней было между прочим указано, что упомянутый протокол «является дополнением франко-английского договора от 23 декабря (нового стиля) 1917 года о зонах действий (les zónes d'action) — французской и английской — договор, который остается в силе и в данное время».

Напомню границу «зон»: Константинополь—Керчь—Ростов—р. Дон; к востоку — английская, к западу — французская.

[2] Нота 20 мая, № 714, генерала Драгомирова.

[3] Нота генерала Лукомского.

должны иметь значение лишь в смысле оказания *именно материальной помощи*, но право распоряжения русскими войсками как в той, так и в другой зоне в полной мере остается за главнокомандующим, генералом Деникиным».

Вся эта переписка свидетельствует, что руководители французской политики, невзирая на противодействие своей демократии, не оставляли все же идеи вмешательства в русские дела, притом в формах наиболее активных — *интервенции и оккупации*. Причины неосуществления этих попыток нужно искать, следовательно, в другой области.

Каково же было *официальное* объяснение событий?

Обращая мое «благосклонное внимание» на «недопустимое отношение к Франции, создавшееся в местностях Юга России», генерал Франше д'Эспре писал после катастрофы Одессы и Крыма:

«...Весьма прискорбно, что русское общественное мнение может верить тому, что оставление Одессы французским командованием было произведено им намеренно, хотя в его распоряжении имелось достаточно военных средств, которыми оно намеренно не воспользовалось. Вы так же хорошо, как я, знаете истинные причины эвакуации Одессы — те же, между прочим, что заставляют нас в настоящее время покинуть Севастополь. Эвакуация обоих этих городов произошла исключительно вследствие невозможности обеспечить их продовольствование, ввиду чего там готова была разразиться революция. С военной точки зрения мы никакого поражения не потерпели, и если бы не опасение обречь население этих двух городов на голод, мы бы остались на наших позициях прикрытия».

Объяснение оставления Одессы и Севастополя невозможностью продовольствовать эти города в устах стратега звучало слишком неубедительно. Ведь стремление удержать *только одни эти города*, даже без ближайших подступов к ним, и в военном и в политическом отношениях было бы бессмыслицей. Ведь возможность обороны и продовольствия достигалась легко выдвижением вперед и занятием широких плацдармов. Источник той горечи и тех обвинений, кото-

рые неслись отовсюду по адресу союзников, был значительно глубже. Французов обвиняли за брошенные широко и щедро обещания и обманутые надежды, за оставление на произвол судьбы Новороссии и Крыма, за все отношение их и к русскому противобольшевистскому движению, и к русской армии, за ничем не оправдываемую и невыполнимую 48-часовую «эвакуацию».

Французский генерал не сделал того естественного вывода, который вытекал из его признания: при отсутствии возможностей и средств стоило ли вести опасную политическую игру?..

В той версии, которую передавал нам английский главнокомандующий генерал Мильн, посетивший Екатеринодар 11 апреля, заключался намек и на другую, более важную причину эвакуации:

«Вопрос об эвакуации Одессы был решен в Париже в Совете Десяти, на основании донесений генерала д'Анзельма и полковника Фрейденберга о катастрофическом положении продовольствия в Одессе и *прекрасном состоянии большевистских войск.* Англичане энергично протестовали против предложения немедленно эвакуировать Одессу, но французы настояли на своем, и приказ Совета Десяти о немедленной эвакуации был послан из Парижа, минуя Константинополь, непосредственно в Одессу».

Переоценка большевистских сил явилась несомненно результатом той психологической реакции, которую испытывала французская армия-победительница. Чрезвычайно ценным в этом отношении является свидетельство полковника генерального штаба Энкеля[1], близко соприкасавшегося со ставкой генерала Франше д'Эспре и установившего как с ним, так и с его штабом дружественные отношения. Вот как описывает он настроения штаба «главнокомандующего армиями на Востоке» накануне падения Одессы:

«Генерала Франше я здесь не застал... Главнокомандующий выехал в Одессу и Севастополь для личного ознакомления на

[1] Во время войны полковник Энкель состоял русским военным агентом в Сербии при сербском короле и Салоникской армии. Ныне занимает высший пост в Финляндии.

местах с положением дел и вернулся сюда лишь 11-го. В ожидании его я повидал начальника штаба, начальников оперативного и разведывательного отделений и с каждым из них имел длинные беседы на интересующие нас темы. Наконец, с приездом главнокомандующего я дважды — 12-го и 13-го — подолгу беседовал с ним и, кроме того, имел весьма откровенные разговоры с сопровождавшими его в поездке офицерами генерального штаба, а равно с начальником здешней английской миссии генералом Бриджесом, представитель которого также ездил с генералом Франше. Французский майор генерального штаба, сопровождавший генерала Франше, начал изложение мне своих впечатлений словами: «Во-первых, я воочию убедился, что Украина — вздор. Буду поэтому называть эту часть России ее настоящим именем — Малороссией. Во-вторых, нам ясно, что между вами и нами не было до сих пор понимания друг друга, а следовательно и сердечности. Мы — доктор — не понимали вас — нашего пациента, а вы, заболев и позвав к себе доктора — нас, отнеслись к нему с подозрением в намерении воспользоваться вашей немощью для того, чтобы ограбить вас. Много ошибок было наделано нашими представителями на местах, но верьте мне, что причиной этих ошибок неизменно была трудность для названных представителей, подверженных сильным местным влияниям, разобраться в чрезвычайно сложных вопросах момента».

Как видите, такое начало, отражающее в себе взгляды главнокомандующего, является уже крупным шагом вперед, но переоценивать его отнюдь не следует... Помощь останется строго пассивной, а при известных условиях может и вовсе прекратиться. Для пояснения сказанного я коснусь ниже тех весьма существенных изменений в образе мышления союзников, которые народились за мое отсутствие и которые красной нитью прошли через разговоры их со мной за эти дни.

Во-первых, французы, до сих пор одни стоявшие на точке зрения необходимости активного вмешательства в борьбу с большевиками в России, ныне, по-видимому, вовсе отказались от такой точки зрения. Убедившись в невозможности осуществить ее вследствие крайнего несочувствия ей общественного мнения и усталости армии, они помирились с возможностью потерять свои миллиарды в России. Во-вторых,

последние события на Юге России, в частности результат непосредственного соприкосновения с большевистскими войсками, произвели на французов сильное впечатление и вовлекли их в обобщения, едва ли оправдываемые теми немногими случайными явлениями и фактами, которые их поразили. Красные в боях под Николаевом и Херсоном якобы проявили качества, присущие лишь первоклассным войскам. Двинутые против них танки не произвели никакого впечатления и, несмотря на огромные потери противника, были им в большей части захвачены.

Красные в занимаемых ими пунктах водворяют и поддерживают строжайший порядок. Французов особенно поразил тщательно, по их словам, проверенный ими факт, что в Киеве, после царившей там анархии, полный порядок был восстановлен в 24 часа. Советские генералы собирают на своем пути офицеров и предлагают им вступить в «Русскую армию, сражающуюся за восстановление единой, великой России», и якобы имеют в этом направлении существенный успех.

Эти и другие сведения порождают в умах союзников вопросы и сомнения, парализующие уже и теперь их энергию в русском вопросе. Рассуждают они так: «На той стороне много видных генералов и офицеров, которые не могут быть большевиками, а между тем они работают вовсю по созданию сильного военного организма и по расширению границ Совдепии. Большевизм правеет, вместо первоначальных интернациональных его лозунгов устами красных генералов провозглашаются национальные. Не перерождается ли первоначальное анархистско-коммунистическое движение в русское национальное, не повторяется ли история французской революции, т. е. не является ли организуемая ныне генералами с этой целью Красная армия решающим фактором в свержении Ленина и Троцкого и в создании твердой национальной власти?..»

Подобные вопросы занимают умы союзников, которые, как мне было сказано одним из наиболее авторитетных моих собеседников, не желали бы скомпрометировать себя перед национальным чувством будущей России[1].

[1] Выдержка из письма от 15 марта из Константинополя.

Я не знаю, насколько была искренней вера французов в преображение «анархо-коммунистического движения в национальное», вера в «красных генералов» и в непобедимость банд Григорьева, к которым само советское командование относилось с нескрываемым пренебрежением. Но если даже эта вера была искренней, то вытекала она психологически не столько из оценки силы противника, сколько из сознания моральной неустойчивости своих собственных войск.

«Poilu» чрезмерно устал. Он не хотел уже более драться. Повергать его в гущу российского хаоса представлялось до крайности опасным...

* * *

Страницы русско-французского альянса перевернулись, и книга захлопнулась вдруг, неожиданно, оставив надолго тяжелое чувство горечи, обиды и возмущения. Как реакция против всего случившегося, пронеслась по Югу волна возобновившихся германофильских симпатий. Не имея реальной почвы и не достигнув каких-либо конкретных результатов, она претворилась вскоре в одну из тем будирования и агитации против командования Юга.

Отношение к французам в обществе, печати, в армии становилось до крайности нервным и подчас вызывающим, угрожая дипломатическими осложнениями. Не скрою, что и мне лично нелегко было побороть в себе чувство горечи во имя соображений государственных. Последние взяли верх. И когда через некоторое время ко мне пришел полковник Корбейль, начальник французской миссии, подавленный всем случившимся, не желая никого оправдывать, делясь только тем тяжелым моральным состоянием, в котором оказались чины французской миссии в Екатеринодаре, я сказал ему совершенно искренно:

— Что же делать. Что было, того не вернешь. Давайте общими усилиями восстанавливать те связи, которые так фатально нарушены теми или иными *людьми*, но которые диктуются насущными интересами обоих *народов*.

Содержание

ГЛАВА I. Крушение Германии и его ближайшие последствия для России ... 3
ГЛАВА II. Внутреннее и военно-политическое положение советской России к концу 1918 года ... 12
ГЛАВА III. Эвакуация австро-германских войск. Изменение политической карты России и организация противобольшевистских сил на Западе. Финляндия, Северо-Западная область, Эстония. «Северный корпус». Генерал Юденич ... 25
ГЛАВА IV. Латвия. Группа генерала фон дер Гольца. Литва. Польша Идея объединенного Северо-Западного фронта ... 42
ГЛАВА V. Появление союзников на Юге России и их первые шаги. Планы интервенции ... 58
ГЛАВА VI. Кубань: правительство Быча и Чрезвычайная рада ... 72
ГЛАВА VII. Кубань: атаман Филимонов, правительство Сушкова и Законодательная рада ... 91
ГЛАВА VIII. Дон: события на Донском фронте в конце 1918 и в начале 1919 года. Борьба за единство военного командования на Юге ... 109
ГЛАВА IX. Дон: трагедия Донского фронта. Объединение Вооруженных сил Юга России. Уход атамана Краснова ... 127
ГЛАВА X. Добровольческая армия и флот. Силы, организация и снабжение ... 145
ГЛАВА XI. Моральный облик армии. «Черные страницы» ... 163
ГЛАВА XII. Борьба на Северном Кавказе летом и осенью 1918 года ... 174
ГЛАВА XIII. Северокавказская операция Добровольческой армии ... 190
ГЛАВА XIV. Терек в 1919 году ... 204
ГЛАВА XV. Терско-Дагестанский край в 1919 году. Междоусобная борьба. Меджилис и англичане ... 217
ГЛАВА XVI. Наша и английская политика в Закавказье. Батумское генерал-губернаторство. Юго-Западная республика ... 246
ГЛАВА XVII. Грузия ... 268
ГЛАВА XVIII. Азербайджан ... 296
ГЛАВА XIX. Армения. Результаты английской политики ... 312
ГЛАВА XX. Украина: изменение политики с падением Германии. Борьба партий. Вооруженные силы ... 326
ГЛАВА XXI. Украина: последние дни гетманства ... 346
ГЛАВА XXII. Национальная диктатура. Особое совещание: состав и общее направление политики ... 366
ГЛАВА XXIII. Особое совещание: гражданское управление и самоуправление; рабочее и аграрное законодательство ... 396
ГЛАВА XXIV. Особое совещание: деятельность финансово-экономическая, юстиции, просвещения; пропаганда. Церковь ... 413
ГЛАВА XXV. Внешняя политика правительства Юга. Парижское военное и политическое представительство. «Русский вопрос» ... 433
ГЛАВА XXVI. Ясское совещание. Захват Одессы петлюровцами. Начало французской интервенци и переход власти в Одессе к Добровольческому командованию. Правление Украинской директории ... 450
ГЛАВА XXVII. Первые шаги Добровольческой власти в Одессе. Деятельность там русских политических организаций ... 470
ГЛАВА XXVIII. Украинские течения в Одессе. Политика французов в отношении Украинской директории и Вооруженных сил Юга ... 489
ГЛАВА XXIX. Военное положение Одесской зоны Французская оккупация. Падение Одессы ... 510
ГЛАВА XXX. Крымское правительство. Добровольческая армия в Крыму. Разногласия между Симферополем и Екатеринодаром. Французская интервенция в Севастополе. Падение Крыма ... 529
ГЛАВА XXXI. Протокол англо-французской конференции. Идея французской интервенции на Юге России. Причины ее неудачи ... 549

АНТОН ИВАНОВИЧ

ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

Вооруженные силы юга России

Заключительный период борьбы

Январь 1919 – март 1920

Воспоминания
мемуары

МИНСК
ХАРВЕСТ
2002

УДК 94.7
ББК 63.3(2)
Д 33

Серия основана в 2000 году

Деникин А. И.
Д 33 Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Заключительный период борьбы. Январь 1919 — март 1920.— Мн.: Харвест, 2002.— 464 с. (Воспоминания. Мемуары).
ISBN 985-13-1149-9.

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872—1947), занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения.

В данной книге автор рассказывает о событиях, происходящих в России в 1919 — начале 1920 года: военные действия на юге России, национальный вопрос, отношения с Англией, Францией, Америкой, Балканскими странами; борьба за власть между генералами Вооруженных сил юга России. Повествование заканчивается описанием отъезда генерала Деникина из России.

Для широкого круга читателей.

УДК 947
ББК 63.3(2)

Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.05.02. Формат 84×108¹/₃₂. Печать высокая с ФПФ. Бумага офсетная. Усл. печ. л 24,36. Тираж 7000 экз. Заказ 3180.

ISBN 985-13-1149-9

ГЛАВА I

ОПЕРАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЮГА В КАМЕННОУГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ, НА ДОНЦЕ И МАНЫЧЕ С ЯНВАРЯ ПО 8 МАЯ 1919 ГОДА

Надежды на осуществление плана кампании при поддержке союзных армий давно уже были подорваны, если не совсем потеряны. Приходилось рассчитывать только на русские силы. В предвидении близкого освобождения Северного Кавказа вставал вопрос о дальнейшем направлении Кавказской Добровольческой армии.

В январе была намечена переброска армии на царицынское направление с одновременным наступлением против Астрахани для захвата стратегически важного пункта Царицына и нижнего плеса Волги и для установления связи с армиями адмирала Колчака. Это движение в тесной связи с наступлением в харьковском и воронежском направлениях должно было вылиться впоследствии в общее наступление к центру России.

В этом смысле штабу Кавказской армии предложено было разработать план операции. Но к тому времени, когда явилась возможность начать переброску сил, то есть к началу февраля, обстановка на Северном фронте коренным образом изменилась. Первоначальная линия фронта, подходившая к Курску и Воронежу и обусловливавшая возможность выполнения этого плана, с падением гетманской и петлюровской Украины откатилась уже к Азовскому морю. Донская армия, доходившая до Лиски, Поворино и Камышина, упавшая духом и совершенно расстроенная, находилась в полном отступлении к Северному Донцу и к Салу. Чувство усталости и безнадежности охватило не только казаков, но и часть дон-

ской интеллигенции. Советские войска наступали почти безостановочно, направляясь на Новочеркасск. Круг, атаман, правительство указывали на смертельную опасность, угрожавшую Дону, и просили помощи.

На крайнем левом фланге Донской армии, прикрывая ростовское направление, стоял отряд генерала Май-Маевского[1] — малочисленный, но состоявший из старых испытанных добровольческих полков (последовательно там собрались Корниловский, Марковский, Дроздовский, Самурский, 1-й и 2-й конные полки с их артиллерией, и к маю подошел Алексеевский[2]). К началу января отряд этот, заняв главными силами район Юзовки, выдвинулся в харьковском направлении до Бахмута и Константиновки, в бердянском — до Пологи. На этой линии, перехватив все пути, идущие с севера и запада к Донецкому каменноугольному бассейну, Май-Маевский, то наступая, то отходя, непрестанно маневрируя, с необыкновенным упорством выдерживал напор значительно превосходящих сил: левого крыла Украинского и правого — Южного большевистских фронтов.

На это направление сосредоточено было особое внимание Москвы: там бился пульс хозяйственной жизни страны. И Бронштейн-Троцкий в своих приказах-воззваниях неустанно призывал «пролетариат... вперед — на борьбу за советский уголь»: «В первую голову нам нужен уголь. Фабрикам, заводам, железным дорогам, пароходам, домашним очагам *смертельно* нужен уголь... В Донецком бассейне зарыт великий клад, от которого зависит благополучие, процветание и счастье всей страны. Этот клад необходимо добыть с оружием в руках... Донецкий фронт является сейчас, без всякого сомнения, важнейшим фронтом для всех советских республик. Говоря это, я не забываю о Петроградском фронте, но вполне сознательно считаю, что потеря Петрограда не была бы для нас так тяжка, как длительная потеря Донецкого бассейна. Поскольку советская республика является сейчас крепостью мировой революции, постольку можно сказать, что ключ этой крепости находится сейчас в Донецком бассейне. Вот почему все внимание сосредоточивается сейчас на этом участке обширнейшего фронта советской республики».

[1] Вначале самостоятельный, потом входил в состав Крымско-Азовской армии, а с марта — Кавказской Добровольческой.

[2] Бывший Партизанский полк и другие части.

Нечего и говорить о том, какое значение имел этот вопрос и для нас — для областей Юга и для всего черноморского транспорта.

Передо мною встала дилемма: приводить ли немедля в исполнение первоначальный план движения главных сил Царицын и, следовательно, бросить на произвол судьбы Дон и отдать большевикам каменноугольный бассейн... Или, не оставляя царицынского направления, сохранить Донецкий бассейн — этот огромной важности плацдарм будущего нашего наступления; сохранить от окончательного падения и разложения Донское войско. Без малейших колебаний я принял второе решение, и с начала февраля на север потянулись эшелоны Добровольческой армии — в голове Кавказская дивизия генерала Шкуро, за ней 1-я Кубанская дивизия корпуса генерала Покровского, 1-я Терская дивизия и другие части.

Появление помощи оказало решительное влияние на поднятие духа Войска Донского. Имевшая в декабре на фронте свыше 50 тысяч бойцов, Донская армия отошла за Донец с 15-ю тысячами. Противник нажимал все сильнее в сторону Новочеркасска и в феврале в нескольких местах между Доном и Юго-Восточной железной дорогой прорвался уже через Донец. Во второй половине февраля, однако, донские дивизии переходили в короткие контратаки и с большими потерями отбросили противника за реку. Моральное состояние донских войск стало крепнуть. Разлитие Донца вскоре сделало этот фронт пассивным и отступление прекратилось.

Большевистские дивизии начали постепенное передвижение к западу. В районе Луганска вырос новый сильный кулак красных войск, а южнее возобновились жестокие, кровопролитные, но безрезультатные атаки на корпус Май-Маевского на фронте Дебальцево—Гришино. Имея разновременно 3—6 тысяч против 10—30 тысяч большевиков, Добровольческий корпус нанес им ряд поражений, и к концу февраля наши сводки отметили впервые на донском фронте признаки не-

которого разложения красных: «Части начали митинговать, иногда отказываясь от наступления, а некоторые из них расформировываются...»

Только на крайнем правом фланге, на царицынском направлении, донские войска, в значительной мере потерявшие боеспособность, под напором конницы Думенко медленно, но почти безостановочно отходили к Манычу.

* * *

К началу марта стратегическое положение на Северном фронте Вооруженных сил Юга было таково:

1. *На царицынском направлении* донские войска генерала Мамонтова, номинально 5—6 тысяч, придержались несколько между реками Салом и Манычем, опираясь левым флангом в Дон против станицы Константиновской, и правым — в Манычские озера.

За Манычем сосредоточивалась группа *генерала Кутепова*, частью в районе Великокняжеской, частью южнее у Дивного—Приютного. Численность ее была 9—11 тысяч, но, кроме 2-го Кубанского корпуса генерала Улагая, прочие части ее находились в стадии формирования и боевой эквивалент их был невысок (Горская дивизия, кадры формировавшейся на Дону бывшей Астраханской армии, затем Саратовского корпуса и так далее).

2. *Прикрываясь Донцом*, располагались главные силы *Донской армии генерала Сидорина* — около 12—13 тысяч, имея на левом фланге в луганском направлении активную группу генерала Коновалова.

В районе Александро-Грушевского, севернее Новочеркасска, сосредоточивались дивизии генерала Покровского и Шкуро, перебрасываемые также на луганское направление.

3. От станции Колпаково на Волноваху и Мариуполь шел фронт *Кавказской Добровольческой армии*[1], насчитывавшей всего с подошедшими дивизиями 12 тысяч бойцов. Ввиду наличия одной только железнодорожной магистрали, связывавшей Кавказ с Донецким районом, сосредоточение войск шло крайне медленно.

[1] Из-за болезни генерала Врангеля временно командовал генерал Юзефович.

Таким образом, на всем 750-верстном Северном фронте ВСЮР стояло 42—45 тысяч штыков и сабель[1]. В группировке по различным участкам фронта численное соотношение не играло существенной роли ввиду крайне разнообразной боевой ценности войск. В этом отношении Кавказская Добровольческая армия, прикрывавшая Донецкий бассейн, и конные донские дивизии, действовавшие на луганском направлении, представляли тогда наиболее прочную и внушительную силу.

С севера на юг наступали советские армии Южного (подполковник Гиттис) и Украинского (Антонов-Овсеенко) фронтов. Ввиду неудавшейся операции по захвату Новочеркасска прямым наступлением с северо-востока 8-й и 9-й армиями советское командование изменило план и приступило к перегруппировке.

1. *Вдоль железнодорожной линии Царицын—Тихорецкая* наступала, пока еще только конными частями, 23-тысячная 10-я армия полковника Егорова, в состав которой вошла и степная группа, около 10 тысяч, действовавшая восточнее по большому Ставропольскому шляху.

2. *По Дону* от Чира до устья Донца и по Донцу до впадения Луганчика на широком фронте раскинулась *9-я армия полковника Всеволодова* силою в 28 тысяч (после перегруппировки).

3. Западнее, сдвинувшись с воронежского направления, 8-я армия *штабс-капитана Тухачевского*, около 27 тысяч, производила вкруговую переброску войск на правый берег Донца, в район *Луганска*.

4. Южнее до Юзовки был фронт 13-й армии *Кожевникова* из украинских формирований, усиленной к тому времени до 20—25 тысяч, с главными силами в направлении Никитовки.

5. В районе Юзовки находился стык Южного и Украинского большевистских фронтов, причем на левом фланге последнего развернулась 2-я Украинская армия[2]. Эта группа, усиленная до 20—25 тысяч, располагалась главными силами *против*

[1] Считая и части, прикрывавшие тогда перешейки в Крыму. Остальные силы находились частью в пути, частью на Северном Кавказе и на побережье Черного моря.

[2] Позднее 14-я, включавшая «украинские» дивизии, повстанческие отряды Махно, Опанасюка и другие.

Юзовки—Волновахи; далее по линии Бердянск—Мелитополь—Перекоп (исключительно) стояла особая Крымская группа.

Таким образом, против Северного фронта Вооруженных сил Юга большевики располагали силами в 130—150 тысяч, расположенными в двух главных группах: на царицынском направлении — 10-я армия и на линии Луганск—Волноваха — 8-я, 13-я и большая часть 2-й Украинской армии. Как следовало из полученных нами позднее в половине апреля сведений из Москвы, советским войскам поставлена была задача *уничтожить группу, прикрывающую Донецкий бассейн*, для чего, удерживая в центре линию Донца и Дона, нанести главный удар тремя армиями в юго-восточном направлении на Ростов—Новочеркасск[1], одновременно угрожая нашему тылу ударом по Великокняжеской.

2 марта мною отдана была армиям директива, впоследствии несколько видоизмененная в деталях, но в общем ставившая войскам следующие основные задачи: 1) продолжать переброску войск с Кавказа в донецкий район; 2) активно обороняясь на Западном фронте Донецкого бассейна, а также по Донцу и Дону, правым флангом Кавказской Добровольческой армии и левым флангом Донской нанести удар главной массе противника, направляя его на фронт Дебальцево—Луганск; 3) группе генерала Кутепова, по сосредоточении, совместно с правым флангом Донской армии наступать в царицынском направлении, имея ближайшей целью отбросить большевиков за реку Сал.

• • •

С конца февраля началось жестокое сражение. На всем пространстве между Азовским морем и Донцом перешли в решительное наступление советские армии, в 3—4 раза превосходившие нас численно. В районе между верхним Миусом и Донцом[2] шли встречные бои 8-й армии и частью 13-й с нашей ударной группой. Корпуса генералов Коновалова (донской), Покровского (кубанцы и донцы) и Шкуро (кубанцы и терцы), непрестанно маневрируя, наносили один за другим удары советским армиям. В бесчисленных конных атаках они

---

[1] 8-я армия направлена была правым берегом Донца.

[2] Примерно между Луганском и станцией Колпаково.

несли тяжелые потери, но наносили противнику еще большие, расстраивая его морально, наводя панику в ближайшем тылу и парализуя наступление неприятельских армий. С большим порывом действовал генерал Коновалов и, преследуя разбитые части большевиков, дважды врывался в Луганск...

На Западном фронте в совершенно исключительной обстановке корпус генерала Май-Маевского[1] вел «железнодорожную войну», применяя особые методы тактики ввиду подавляющего превосходства сил противника. Пользуясь густою сетью железных дорог Донецкого бассейна, он занимал небольшими отрядами важнейшие пункты по линии фронта и держал в тылу на узловых станциях бронепоезда и в вагонах подвижные резервы, которые бросались в угрожаемом направлении, с тем чтобы на другой день, иногда в тот же, переброситься в противоположный конец фронта. У противника создавалось впечатление нашей силы на всех направлениях, но это были одни и те же люди, бессменно, изо дня в день дерущиеся то там, то здесь, отдыхающие в пути, в вагоне, потерявшие представление о времени суток, истомленные физически, но полные мужества. Недели, месяцы по всему фронту гремели выстрелы, станции переходили из рук в руки, лилась кровь, добровольческие части таяли, но продолжали бороться.

Волна советских войск, захлестнувшая уже Северную Таврию, заливавшая Донецкий бассейн, спадала опять — разбитая и распыленная.

В середине марта после переброски новых крупных советских сил наступление на этом фронте возобновилось с особенной силой в направлении Дебальцева, Гришина и Мариуполя. Фронт Кавказской Добровольческой армии был потеснен. Мы оставили Юзово, Долю, Волноваху, Мариуполь. Ввиду этого коннице генерала Шкуро, взявшей 17-го Дебальцево, была дана задача ударить по тылам Западного фронта. В течение двух недель — с 17 марта по 2 апреля — он прошел от Горлова до Азовского моря, наводя страх на большевиков, разогнав, порубив и взяв в плен несколько тысяч че-

---

[1] На крайнем левом фланге его в районе Мариуполя был сводный отряд генерала Виноградова из Сводно-гвардейского полка и частей бывшей на Дону расформированной Южной армии.

ловек, бронепоезда и другую военную добычу[1]. Между Волновахой и Мариуполем генерал Шкуро разгромил, между прочим, «дивизию» Махно, полки которого, как сообщалось в донесении, «обратились в паническое бегство, бросая оружие, шубы, шинели и даже сапоги...». По мере движения конницы и одновременно с нею переходили в наступление войска генералов Май-Маевского и Виноградова, вновь занимая утерянную временно линию.

8 апреля товарищ Сокольников, член революционного Военного совета Южного фронта, телеграфировал в Москву:

«Замедление операций на Южном фронте объясняется разложением N-ской армии (вероятно, 13-й?), а также полной небоеспособностью частей Махно. Противник получил отсрочку, которую великолепно использовал... Вместо разбитой Донской армии перед нами стоит новая армия с более свежими силами, чем наши... Наше положение еще нельзя считать поколебленным, но за последние два месяца соотношение сил изменилось в пользу противника».

Советская статистика в феврале, марте и апреле давала официальные цифры дезертиров с Южного фронта соответственно 15, 21, 23 %.

О «превосходстве» нашем в силах упоминалось постоянно в речах и воззваниях Троцкого: «Наши армии встретились на своем пути с очень многочисленными и свежими (!) деникинскими войсками... На многих участках фронта они превосходят нас численно вдвое, втрое...»

Силы Кавказской Добровольческой армии вместе с донцами ударной группы не превосходили в ту пору 15—16 тысяч, и успехи наших войск должны быть отнесены исключительно за счет их доблести.

В то время как на Западном фронте мы разбивали напор трех ударных армий, 9-я советская армия на линии Донца не оставалась пассивной. Неоднократно части ее переправлялись в разных местах на южный берег, но попытки их отражались донцами. В конце марта большевики предприняли здесь операцию крупными силами, перейдя реку одновременно у Каменской и Усть-Белокалитвенской (на железнодорожном направлении Воронеж—Ростов и Лихая—Царицын), отбросили донские части и начали распространяться в глубь района. Но снятый с луганского направления конный корпус полковника Калинина[1] разбил и сбросил в реку большевиков у Каменской и, повернув к Калитве совместно с корпусом генерала Семилетова, с таким же успехом повторил удар и здесь. Повторенные в первой половине апреля попытки 9-й армии переправиться в низовьях Донца окончились также полной неудачей и на этом фронте наступило затишье.

[1] В этом и позднейших сражениях надлежит отметить боевое сотрудничество с генералом Шкуро и оперативное руководство корпусом его доблестного начальника штаба генерала Шифнер-Маркевича.

Одновременно с переправой у Каменской на луганском направлении противник, воспользовавшись ослаблением там наших сил, продвинулся вперед, но переброшенные туда вновь корпуса Калинина и Шкуро, совместно с другими левофланговыми частями Донской армии, в 20-х числах апреля с большим уроном отбросили противника за реку Белую.

Донское войско явно выздоравливало от того повального маразма, который охватил его в январе, вновь приобретало веру в себя, в свои силы, в возможность дальнейшей борьбы. Продолжались еще явления боевой неустойчивости и развала, требовавшие даже воздействия вооруженной силой, но масса очнулась. Донское командование использовало умело прочные части для маневра и деятельно вело реорганизацию армии, упраздняя не отвечавшее силам давление на «фронты», «армии», сводя в нормальные части многочисленные отряды — наследие партизанства, ополчения и развала.

Очнулись и казаки Верхне-Донского округа, некогда «воткнувшие штыки в землю», подчинившиеся советской власти и погубившие фронт. Восстание там вспыхнуло неожиданно для большевиков и приняло широкие размеры. Мы узнали о нем в начале марта, но лишь позднее, в апреле, когда донцам удалось установить воздушную связь с восставшими, обнаружились потрясающие картины большевистского властвования на Дону. Со всех сторон неслись вопли, рассказы о массовых зло-

[1] Был переброшен с царицынского направления.

действах, об осквернении церквей, о поджогах и грабежах, об изнасиловании женщин и детей... «Душа казака не вынесла такого испытания», — писал окружной совет восставших. Они просили передать своим одностаничникам на Донце, что «их матери, жены, дети, еще оставшиеся в живых, с изможденными лицами, оборванные и голодные, просят помощи».

Летчиков встречали колокольным звоном и забрасывали цветами. Вести с донецкого фронта подняли еще более настроение восставших, а вести оттуда заставили призадуматься малодушных на фронте.

По большевистской терминологии, это было «кулацкое восстание», хотя даже Бронштейн в своих воззваниях не счел возможным отрицать, что «казаки терпели несправедливости от отдельных проходивших воинских частей и отдельных представителей власти». Советское командование для усмирения восстания снарядило «экспедиционный корпус» из состава 9-й армии, но он успеха не имел. Бронштейн писал пламенные воззвания, посылал «прекрасные подкрепления, лучших работников-организаторов» и требовал «нанести быстрый, суровый, сокрушающий удар». Но шли недели за неделями, экспедиционные войска терпели неизменно неудачи[1], район восстания ширился, и к апрелю у восставших насчитывалось до 30 тысяч бойцов и 6 орудий. У них не хватало оружия и патронов, но зато было мужество отчаяния.

Восстание в тылу ставило советское командование в весьма рискованное положение.

В конце концов, к середине апреля, то есть *через полтора месяца после начала наступления советских армий*, войска Кавказской Добровольческой и Донской армий стояли на той же линии, сохранив Донецкий каменноугольный бассейн и донской плацдарм.

* * *

Менее благополучно складывалось положение на манычском фронте. В середине марта большевики, отбросив наши части от Великокняжеской к Манычу, вследствие разлива реки держали себя пассивно. И лишь на крайнем южном фланге в

---

[1] Один из советских полков (Сердобский) перешел на сторону восставших.

ставропольском направлении продолжали непрерывные атаки, неизменно отражаемые кубанцами генерала Улагая. Но в конце месяца 10-я советская армия перешла вновь в наступление и отбросила наши части за реку на всем нижнем течении Маныча. Один из донских корпусов, совершенно разложившийся, ушел за Дон, отдав большевикам неиспорченным мост и станицу Богаевскую — в одном переходе от Новочеркасска. Сводные части великокняжеской группы генерала Кутепова также не проявили достаточной стойкости, и с 12—14 апреля противник стал переправляться на левый берег Маныча, угрожая Владикавказской железной дороге, тылу и сообщениям Кавказской Добровольческой и Донской армий.

На очереди стояла серьезная задача парировать этот удар...

* * *

Кавказской Добровольческой армией командовал временно начальник штаба генерал Юзефович. Генерал Врангель поправлялся после сыпного тифа — сначала в Кисловодске, потом на Черноморском побережье. Юзефович сообщал, что под влиянием перенесенной тяжелой болезни в душе командующего происходит реакция: он говорил, что «Бог карает (его) за честолюбие, которое руководило до тех пор его жизнью», и что после выздоровления он покинет службу и обратится к мирной работе «для своей семьи, для детей...» Считая, что это настроение лишь временное, и оценивая боевые качества генерала Врангеля, я послал ему тотчас же письмо, в котором отметил его заслуги и выразил уверенность, что он останется во главе Кавказской Добровольческой армии. Получил в ответ: «...До глубины души тронут тем сердечным отношением с Вашей стороны, которое неизменно чувствовал во все время моей болезни. От всего сердца благодарю Вас и прошу верить, что, если Богу угодно будет вернуть мне здоровье и силы, то буду счастлив под Вашим начальством вновь отдать их на служение дорогой Родине и Армии».

Получая доклады от своего штаба, генерал Врангель был в курсе боевых операций. И он, и Юзефович резко расходились во взглядах со Ставкой в отношении плана текущей операции. С февраля сначала Юзефович, потом Врангель многократно и настойчиво добивались изменения этого плана; вокруг вопроса создавалось нервное настроение, далеко вы-

ходившее из области чистой стратегии и из специально-технической заинтересованности... Выбор направления на север или на Царицын неожиданно для меня превращался в лозунг — внешний по крайней мере — более сложных, тогда еще не вполне выявившихся настроений...

Генерал Врангель считал «главнейшим и единственным» направление на Царицын, дающее возможность установить связь с армией адмирала Колчака. С этой целью он предлагал «пожертвовать каменноугольным районом, в котором нам все равно не удержаться...», оттянуть наши части на линию реки Миус—станция Гундоровская с целью прикрытия железной дороги Новочеркасск—Царицын и, воспользовавшись «сокращением (?) фронта на 135 верст», оставить на правом берегу Дона только Донскую армию, а Кавказскую Добровольческую перебросить на царицынское направление, по которому и наступать, прикрываясь Доном.

Последствия такого решения представлялись мне и начальнику моего штаба с непререкаемой ясностью.

Донская армия тогда только и поддерживалась морально присутствием и соседством добровольцев. Уход их возлагал на донцов задачу совершенно непосильную: прикрытие нового 120-верстного фронта, причем освобождавшиеся 13-я, 14-я и часть 8-й советской армии получали возможность нанести удар во фланг и тыл Донской. Нечего и говорить, что донцы *ни одного дня* не удержались бы на правом берегу. «Если бы Кавказская Добровольческая армия, — писал с полным основанием генерал Романовский Юзефовичу, — ушла и обнажила левый фланг донцов, не будучи вынуждена к тому силой противника, я убежден, что не только не стали бы донцы защищать никакого плацдарма, но все, что есть у них, развалилось бы совершенно, и мы имели бы за Доном массу беженцев и незначительные донские партизанские отряды[1]. Конечно (при этом), на главнокомандующего со стороны донцов, возможно, и кубанцев, легло бы обвинение в предательстве».

Таким образом, план этот приводил к потере не только каменноугольного бассейна, но и правобережной части Донс-

[1] При отступлении от своих северных границ к Донцу Донская армия с 45 тысяч уменьшилась до на 15 тысяч.

кой области с Ростовом и Новочеркасском, к деморализации Донской армии и к подрыву духа восставших казаков Верхне-Донского округа. Главная масса войск Южного советского фронта[1] получила бы возможность на плечах донцов форсировать Дон и обрушиться на тыл и сообщения Кавказской Добровольческой армии (Новороссийск—Торговая) или, прикрываясь, в свою очередь, Доном, перекинуться к Волге. Дальнейшее успешное развитие операции к северу от Царицына армии, линия сообщения которой длиною в 756 верст проходила бы большей своей частью параллельно фронту и под угрозой противника, — представлялось совершенно неправдоподобным, подвергая армию опасности быть сброшенной фланговым ударом в Волгу. К тому же путь к Царицыну шел, по словам самого генерала Врангеля, через «безлюдную и местами безводную степь», исключавшую возможность местного пополнения и питания.

Мой план был иной.

В полном единомыслии с командованием Донской армии я хотел удержать в наших руках Донецкий бассейн и северную часть Донской области по соображениям моральным[2], стратегическим[3] и экономическим (уголь). Я считал возможным атаковать или, по крайней мере, сковать действия четырех большевистских армий севернее Дона и одновременно разбить 10-ю армию на царицынском направлении. А наше *победное* наступление, отвлекая большие силы и средства советов, тем самым облегчало бы в значительной степени положение прочих белых фронтов.

Возможно ли это было? В ближайшее время жизнь ответила утвердительно, ответила разгромом не только 10-й, но и 8-й, 9-й, 13-й и 14-й советских армий.

* * *

Угроза со стороны 10-й армии становилась весьма серьезной, и штаб мой спешно стал перебрасывать на манычское направление подкрепления. Предстояло немедленно объединить командование всем манычским фронтом для

[1] 8-я, 9-я, 13-я и 14-я армии.

[2] Поддержание духа Донского войска и восставших казаков.

[3] Плацдарм для наступления кратчайшими путями к Москве.

предстоящей операции, и я решил поручить это дело генералу Врангелю; в случае же, если состояние его здоровья не позволит, принять непосредственное командование на Маныче на себя. Генерал Врангель находился в то время уже в Екатеринодаре. Поздно вечером 14 апреля к нему зашли генерал Романовский и генерал-квартирмейстер штаба *Плющевский-Плющик* переговорить по этому поводу.

— Я могу согласиться не иначе, — ответил Врангель в очень резком тоне, — как при условии переброски на царицынское направление всего моего штаба со всеми органами снабжения.

Романовский возразил, что сейчас ввиду тяжелого положения донецкого района убирать оттуда штаб армии немыслимо; речь может идти лишь о выделении маленького полевого штаба... И что раз вопрос ставится так, главнокомандующему остается выехать в Тихорецкую и принять руководство операцией в свои руки.

Генерал Врангель отбыл на другой день в Ростов, в штаб Кавказской Добровольческой армии. Я 18-го переехал в Тихорецкую для непосредственного командования на царицынском направлении.

• • •

18—20-го закончилось сосредоточение войск *Манычского фронта* в трех группах: генерал Покровский[1] — в районе Батайска, генерал Кутепов[2] — западнее Торговой, генерал Улагай[3] — к югу от Дивного в ставропольском направлении. Главную массу группы составляли кубанские казаки.

Противник к этому времени вышел уже на линию железной дороги Батайск—Торговая, и передовые части его подходили на переход к Ростову.

18 апреля я отдал директиву войскам манычского фронта «разбить противника и отбросить его за Маныч и Сал», причем генералу Улагаю — развивать успех в направлении Ставрополь-Царицынского тракта, перехватив железную дорогу.

---

[1] 1-я Кубанская, 2-я Терская дивизии, части Донской армии.

[2] Усиленный Кубанской дивизией генерала Шатилова и Кубанской бригадой генерала Говорущенко.

[3] 2-й конный корпус.

21 апреля началось наше наступление и к 25-му 10-я советская армия на всем течении Маныча была отброшена за реку. В центре дивизия генерала Шатилова дважды переходила через Маныч, доходя передовыми частями до станции Ельмут, в тылу Великокняжеской, по пути своему разбив несколько полков противника, взяв несколько тысяч пленных и орудия; генерал Улагай перешел Маныч и разбил большевиков у Кормового и Приютного.

Так как форсирование Маныча в низовьях не увенчалось успехом, я оставил для прикрытия его отряд генерала Патрикеева[1] и донцов, а все остальные конные дивизии левого крыла и центра 1 мая перевел к устью реки Егорлык. Конная масса из $5^1/_2$ дивизии должна была нанести решительный удар по Великокняжеской с юго-востока.

Между тем напор противника на корпус Май-Маевского в донецком районе становился все отчаяннее. И 25-го начальник штаба корпуса доносил штабу армии: «Положение на фронте такое, что командир корпуса накануне решения об общем отходе корпуса. Командир корпуса считает, что сохранение остатков корпуса возможно лишь в том случае, если корпус своевременно будет выведен из боя. Время наступило. Нельзя требовать от людей невозможного. Ввиду этого командир корпуса просит директивы от армии, в каком направлении начать отход... Быть может, марковцы восстановят положение, а самурцы снова и снова займут свое расположение... Быть может, корниловцы опять, в сотый раз, отобьют все атаки... Быть может, противник не будет делать того, что подсказывает ему обстановка, здравый смысл и соответствие сил, и начнет митинговать и забастует... Но все это такие элементы, которые командир корпуса, конечно, использует, но на которых он не считает возможным строить свои планы...»

Генерал Врангель ответил выражением уверенности в доблести войск и их начальника и в случае полной невозможности удержать фронт указал отходить, «прикрывая Иловайскую, в таганрогском направлении». Одновременно, ввиду

---

[1] Командовавший здесь генерал Кутепов вступил в командование корпусом Май-Маевского, предназначенного командовать армией.

грозного положения, он просил меня приехать в Ростов и вновь возбудил вопрос об отводе Кавказской Добровольческой армии.

Чувствовался некоторый душевный надрыв, который необходимо было побороть во что бы то ни стало.

Я остался при своем первоначальном решении: сохранение фронта — вопрос необычайной важности; директивы об отступлении не будет; оно может явиться только результатом абсолютной невозможности держаться дольше; в определении этого момента всецело полагаюсь на твердость командира корпуса.

Между тем, ввиду настойчиво выраженных пожеланий генерала Врангеля о переводе его на царицынский фронт, вопрос этот был предрешен мною окончательно. После завершения Великокняжеской операции войска царицынского фронта должны были составить новую армию под начальством генерала Врангеля, а во главе Кавказской Добровольческой армии, получившей наименование Добровольческой, я решил поставить генерала Май-Маевского, вынесшего на своих плечах всю тяжесть шестимесячной обороны Донецкого бассейна. 30 апреля барон Врангель вновь обратился к начальнику штаба генералу Романовскому об ускорении его переезда на царицынское направление, чтобы попасть к началу операции, тем более, как говорил он, «настроение в городе (Ростове) вполне спокойное, и момент для (его) отъезда наиболее благоприятный». Генерал Романовский, полагая, что «фронт в угольном районе более важный, а здесь (на царицынском направлении) операция протекает нормально», обусловливал время переезда окончанием формирования штаба и, главным образом, оперативной части для генерала Май-Маевского.

1 мая штаб Кавказской Добровольческой армии уславливался со штабом 1-го корпуса относительно линии предстоящего отхода. В тот же день генерал Врангель запросил разрешение прибыть ко мне в Торговую для личного доклада. Цель приезда его 2 мая была несколько непонятна, так как обо всем уже мы переговорили раньше и никаких серьезных новых обстоятельств не появилось. Генерал Врангель повторил опять, что пределы сопротивления перейдены и необходимо отступить. Неожиданным для меня после екатеринодарского эпизода явилось то обстоятельство, что генерал Врангель сразу и охотно принял мое предложение стать во главе конной группы, собранной мною против Великокняжеской. С тремя офицерами Генштаба он выехал к Бараниковской (на Маныче) и вступил в командование группой.

С 1 по 5 мая там шли обстоятельные приготовления к переправе.

Между тем на нашем правом крыле генерал Улагай, выполняя данную ему задачу наступать Царицынским шляхом с выходом части сил в тыл Великокняжеской с целью перерезать железную дорогу Великокняжеская—Царицын, прошел севернее Маныча более чем на 100 верст, достигнув села Торгового (на реке Сал). В боях у Приютного, Ремонтного, Граббевской он разгромил до основания всю Степную группу 10-й армии, взяв в плен шесть полков 32-й стрелковой дивизии, штабы, обозы, свыше 30 орудий. Встревоженный выходом генерала Улагая на сообщения своей армии, «товарищ» Егоров направил от Великокняжеской наперерез ему шесть полков лучшей советской конницы Думенко. В полдень 4 мая возле Граббевской произошла встреча, причем после ожесточенного боя Улагай разбил конницу Думенко, которая бросилась бежать в беспорядке на запад, преследуемая кубанцами. Один из отрядов Улагая вышел к железной дороге у станции Гашун и разрушил там путь.

Этот успех предрешил исход Великокняжеской операции.

На другой день с рассветом переправилась через Маныч конная группа генерала Врангеля. В трехдневном бою под Великокняжеской, где противник оказывал нам весьма упорное сопротивление, генерал Врангель нанес поражение центральной группе противника и взял Великокняжескую.

10-я советская армия, потеряв за время Манычской операции (22 апреля — 8 мая) одними пленными более 15 тысяч человек, 55 орудий, расстроенная и деморализованная, поспешно отступала на Царицын, преследуемая всеми войсками манычского фронта, получившими название *Кавказской армии*. Командующим этой армией был назначен генерал Врангель.

Войска бывшей Кавказской Добровольческой армии наименованы были *Добровольческой армией.* Во главе ее стал генерал Май-Маевский[1].

От генерала Май-Маевского с тех пор тревожных сведений не поступало. 4 мая противник на всем донецком фронте перешел вновь в общее наступление, которое было отражено с большим для него уроном, и Добровольческая армия, перейдя в контрнаступление, в течение нескольких дней овладела вновь всем юзовским районом и Мариуполем, захватывая тысячи пленных, бронепоезда и орудия.

* * *

В начале мая на всем фронте от Донца[2] до Азовского моря в стане большевиков наступил моральный перелом. Огромные потери, понесенные в боях и в большей еще степени от дезертирства, ослабили большевистские армии. Они разбились о сопротивление добровольцев и казаков, и в рядах их все более, все глубже нарастало паническое настроение. Появление впервые на этом фронте английских танков произвело на большевиков большое впечатление и еще более увеличило их нервность.

В тылу у большевиков было не лучше. 24 апреля поднял восстание против советов атаман Григорьев и, находя живой отклик в населении, вскоре занял Елисаветград, Знаменку, Александрию, подходил к Екатеринославу. Для борьбы с ним направлены были резервы советского Южного фронта. Нарастало столкновение между советской властью и Махно, отражавшееся на положении приазовского фронта... Украина кишела повстанческими отрядами во главе с многочисленными атаманами, не признававшими никакой власти, гулявшими по тылам, расстраивавшими сообщения, осаждавшими не раз и сам Киев. Московские «Известия» констатировали вообще во всей прифронтовой полосе целый ряд «контрреволюционных вспышек», в которых принимали вооруженное участие «не только кулаки и черносотенцы, но и некоторые группы обманутых (!) середняков и бедняков». Причины этого явления официоз видел в бесчинствах советских войск, в тяжести поборов и разверсток и в «самодурстве опьяненных властью помпадуров...»

Большевистские армии явно и быстро разлагались.

Начало мая было резким поворотным моментом в судьбах Вооруженных сил Юга. Фронт большевистский дрогнул, и все наши армии — от Каспийского моря до Донца и от Донца до Черного моря — были двинуты в решительное наступление.

---

[1] Временно, чтобы дать возможность новому корпусному командиру ознакомиться с особенностями тактики в каменноугольном районе, генерал Май-Маевский оставался при корпусе, а армией командовал генерал Юзефович.

[2] Левый фланг Донской армии.

ГЛАВА II

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЕКАТЕРИНОДАРА С ОМСКОМ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1919 ГОДА. ПОЛОЖЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

Тотчас по свержении Директории Омское правительство послало в Екатеринодар телеграмму:

«Омская директория распущена силой государственного переворота. Трое ее членов, принадлежащих к партии социалистов-революционеров, арестованы; два других — из партии кадетов — получили отставку. Но весьма вероятно их сотрудничество с адмиралом Колчаком, который взял на себя верховную власть. Он разделяет, как и все мы, необходимость объединения с важным государственным образованием генерала Деникина. Омское правительство с нетерпением ожидает Вашего решения, равно как и предложений, заключающих в себе основания, на которых объединение может осуществиться. Все это требует исключительной спешности, в особенности потому, что союзные правительства имеют убеждение и уверенность в предстоящем восстановлении неделимой России».

Я отнесся с большим удовлетворением и полным признанием к факту замены Директории единоличной властью адмирала Колчака. Но случайная и редкая связь с Сибирью вообще и лаконичность сообщений не давали возможности

составить себе сколько-нибудь определенное понятие о происшедших там событиях.

Прошло некоторое время, и из текущей переписки и из газет я к изумлению своему узнал о... подчиненных отношениях Екатеринодара к Омску. Оказалось, что начальник управления иностранных дел Сазонов в мое отсутствие из Екатеринодара ответил Омску телеграммой за своей подписью:

«Благоволите передать адмиралу Колчаку в Омск. Признаем верховную власть, взятую на себя Вашим Превосходительством, в уверенности, что Вы солидарны с основными началами политической и военной программы Добровольческой армии...»

Далее следовал перечень этих начал... На мой недоуменный вопрос ведомство разъяснило, что термин «reconnaissons pouvoir supreme» в дипломатическом обиходе означает не подчинение, а признание новой власти в пределах ее компетенции, вроде, например, признания Англией Финляндии.

Но не искушенное в дипломатических тонкостях общество и печать Сибири и само омское правительство восприняло это заявление, как формулу подчинения. Произошло недоразумение, которое скоро, впрочем, — не знаю какими путями — разъяснилось и сгладилось[1].

Адмирал Колчак лично не ставил вопрос о наших взаимоотношениях в эту плоскость. Мало того, во всех сношениях со мной, как будет видно из приведенной ниже переписки, он избегал определений всероссийского масштаба, присущих его титулу, подчеркивая локальное значение своей государственной и военной власти.

Вслед за телеграммой омского правительства пришла телеграмма генерала Лебедева[2]:

[1] Гинс приводит без даты ответ адмирала Колчака мне на сазоновскую телеграмму: «Признание Вами верховной власти, выросшей на Востоке России, знаменует собой великий шаг к национальному объединению... Ваше сообщение укрепляет во мне веру в скорое возрождение единой России...» Такой телеграммы я в делах не нашел.

[2] 3 декабря, № 1149.

«...Адмирал Колчак объявил, что будет работать с Вами рука об руку. Считайте себя единственным начальником для дел Юга и Запада России[1]. Я исполняю временно обязанности начальника штаба главнокомандующего. Прошу Вас обращаться ко мне за справками. Сообщите мне Ваши указания...»

В начале января через английский штаб в Константинополе я получил телеграмму адмирала Колчака от 19 декабря[2]:

«Сформирована власть, во главе которой стою я. Кроме того, я состою главнокомандующим войсками Сибири, казачьих областей Уральской и Оренбургской и всей территории Урала.

Я слышал, что Вы боретесь на Юге за Единую Россию. Я желал бы сноситься с Вами по делам военным и государственным, так как считаю необходимым согласовать наши действия. С этой целью нам необходимо установить связь по суше. Искренно верю в наше общее... (не расшифровано). На нашу дружбу (единение) не могут повлиять никакие обстоятельства. Желаю соединиться и встретиться с Вами как можно скорее. Бог Вам в помощь».

После первых известий о вступлении во власть адмирала Колчака я послал официально горячий привет ему и «всем русским патриотам Сибири»[3]. Вслед за сим 15 января я послал адмиралу личное письмо:

«Рад был услышать, что Вы объединили в твердых руках своих власть на Востоке. От всей души желаю Вам успеха в Вашей государственной работе...

Нисколько не сомневаюсь, что, когда волею Божьей соединятся наши территории, полное государственное объединение их и всех русских армий завершится легко и просто, на основе истинной пользы русской державы и отметая всякие личные интересы.

[1] «Unique chef pour affaires Ouest et Sud Russie».

[2] Телеграмма на английском языке оказалась искаженной. Восстановлена по смыслу.

[3] Письмо 7 декабря.

Что касается отношений к союзникам, я неизменно провожу идею невмешательства их в наши внутренние дела, в военное и гражданское управление. Помощь — самая широкая, но отнюдь не оккупация...»

Почти в то же самое время, когда писалось это письмо в Екатеринодаре, адмирал Колчак отправлял мне из Омска новое свое послание, которое я привожу почти полностью, выключив лишь перечень командного состава Сибири:

«Около 8 дней мною была отправлена на Ваше имя телеграмма через представителя Великобританского правительства. За эти дни я получил несколько телеграмм от Сазонова и Маклакова из Парижа, касающихся вопроса о представительстве России на Мирной конференции, и я от себя и от имени правительства, образовавшегося на территории Сибири и Урала, уполномочил, согласно этим телеграммам, представительство России в составе: князя Львова, Сазонова, Маклакова и Чайковского. Я полагаю, что Вы не разойдетесь со мною в этом важнейшем вопросе.

Я известил Вас... о положении вещей на сибирской территории... Здравый государственный смысл сибирского правительства признал невозможным существование социалистической партийной директории и остановился на военной диктатуре и единоличной военной власти как единственной форме правления в настоящее время. Я принял функции Верховного правителя и Верховного главнокомандующего, не имея никаких определенных решений о будущей форме государственного устройства России, считая совершенно невозможным говорить в период тяжкой гражданской войны о будущем ранее ликвидации большевизма. Уничтожить большевизм и создать обстановку в государстве, при которой возможно было бы приступить к решению этого вопроса — вот единственная цель, которая сейчас является реальной. Я получил от Маклакова положения о Добровольческой армии, которые совершенно разделяю.

Насколько могу судить, Вы, Антон Иванович, на Юге России приняли на себя приблизительно те же функции, что и я. И теперь на нас ложится тяжкая ответственность за будущность Родины нашей. Необходима тесная и согласованная работа наша, имеющая одни и те же цели и одни и те же мотивы. Необходимо полное согласование наших действий и соблюдение принципа единства Верховной власти и неотделимого теперь от нее Верховного командования. Я считаю долгом сказать Вам откровенно мнение, что проведение этого принципа есть вопрос будущности нашей Родины. Решение этого вопроса зависит теперь от нас, но необходима связь с Вами и возможность практического установления единства власти. Я считаю, что этот вопрос должен быть решен в зависимости от политического значения Сибирской правительственной власти и той, которую Вы возглавляете, принимая в основание стратегическое положение армий, подчиненных мне и Вам, территорию и общее политическое ее состояние. Как только установится прочная связь между армиями моей и Вашей, необходима наша личная встреча для решения вопроса о единой власти и командовании и о соединении правительственных органов в одно целое и, во всяком случае, о согласовании их деятельности. Я не сомневаюсь в том, что Вы вместе со мной решите эти вопросы независимо от личностей, руководствуясь одним благом Родины нашей и государственными соображениями о ее выгодах и интересах...

После пермского разгрома 3-й большевистской армии большевики предприняли общее наступление по всему фронту и создали очень тяжелое положение в районе Уфы и Оренбурга. Все это осложняется поведением чешских войск, потерявших желание драться, с которыми возникает много затруднений. Союзники в лице англичан и французов относятся благожелательно, но помощь их пока ограничена, и мы получили до сих пор только ружья и патроны. Мы испытываем большие затруднения в зимнем обмундировании армии, что еще более осложняется исключительно суровой зимой, экономическим разорением Сибири и т. д.

Нет области государственного управления, где не встречались бы препятствия и трудности, иногда кажущиеся непреодолимыми. Крайне тяжело положение Дальнего Востока, фактически оккупированного японцами, ведущими враждебную политику хищнических захватов. Поддерживаемые японцами так называемые атаманы Семенов, Калмыков, Гамов со сво-

ими бандами образуют враждебную мне группу и до сих пор вопросы с ними не улажены, так как японцы открыто вмешались и воспрепятствовали мне вооруженной силой привести в повиновение Семенова. Последний является просто-напросто агентом японской политики, и деятельность его граничит с предательством. Но я надеюсь справиться с этими препятствиями. Что касается американцев, то пока они ограничиваются только обещаниями помощи, но реального от них мы ничего не получаем. Повторяю, что единственно, на кого можно рассчитывать, — это только на англичан и отчасти на французов. Большевизм еще далеко не изжит в Сибири, и вспышки его приходится постоянно подавлять. В 20 числах декабря была попытка большевистского восстания даже в Омске, но ее удалось подавить в несколько часов. Партия социалистов-революционеров открыто стала на сторону большевиков и пыталась даже установить связь с советской властью. Мною разогнана и уничтожена открытая деятельность членов бывшего Учредительного собрания, но подпольная работа и связь с большевиками этих изменников продолжается.

Вот в общих чертах обстановка, в которой приходится работать»[1].

Получив это письмо в середине апреля, я тотчас же ответил.

«В предыдущем письме своем, которое Вы теперь несомненно получили, я высказывал свой взгляд на необходимость — после нашего реального соединения — установления единой власти, слив Восток и Юг. Мысль эта была выражена почти тожественно тому, как это сделано в последнем Вашем письме. Очень рад. Даст Бог — встретимся в Саратове и решим вопрос во благо Родине...

Те обстоятельства, о которых Вам доложит генерал Гришин-Алмазов, указывают на необходимость нам рассчитывать только на свои русские силы. Союзники близки к повторению знакомых нам чудес русской жизни...

Роль «Политического совещания» в Париже и его политика для меня не вполне ясны. И поэтому никакого признания

[1] От 28 декабря 1918 года.

этого совещания с моей стороны не было. Официальные сношения ведутся исключительно с Сазоновым, который считается представителем Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России. С ним Маклаков и Гирс. Участие Львова и Чайковского приемлемо.

Французское командование на Юге России оправдывало свой ложный шаг (Одесса) одобрением «русского правительства в Париже». Отнюдь не признаю и считаю полным недоразумением. Полагаю, что француз не понял роли совещания.

В данное время получаем широкую помощь снабжением от англичан и широкое противодействие со стороны французов[1]. Но все это менее важно, чем наше соединение, которого жду с величайшим нетерпением...»

Это письмо постигла неожиданная участь...

В конце апреля генерал Гришин-Алмазов ехал в Омск, направляясь Каспийским морем через Петровск—Гурьев и далее сухим путем по Сибири. Он вез большую корреспонденцию, в том числе всевозможные обзоры, сводки и приведенное выше письмо. Не пожелав дождаться нормального рейса, он нанял частный катер и с бывшими при нем офицерами и командой вышел из Петровска на форт Александровск в сопровождении английского военного судна. 5 мая в виду Александровска английское судно ушло на север, а катер в четырех верстах от форта неожиданно подвергся нападению большевистских миноносцев... Выхода не было никакого... Генерал Гришин-Алмазов, уйдя в каюту, выстрелом из револьвера смертельно ранил себя и умер под смех и надругательства большевистских матросов. Его примеру последовали четыре офицера; один бросился в море; остальных большевики увезли в Астрахань и судьба их неизвестна[2].

Так трагически окончил свою молодую и бурную жизнь человек далеко не заурядный, не оцененный в Сибири, недо-

[1] Письмо написано было под свежим впечатлением от эвакуации французов из Одессы и Крыма.

[2] Со слов механика катера — единственного человека, которому удалось потом уйти от большевиков.

оцененный на Юге и имевший много данных для того, чтобы играть видную роль в рядах белого движения.

Письмо мое в числе прочих документов попало в руки большевиков, было отослано в Москву, появилось в советской печати[1] и послужило причиной двух крупных событий.

Фраза моя о предстоящей встрече с адмиралом Колчаком в Саратове, как увидим ниже, легла в основу плана операций большевистского Южного фронта осенью 1919 года (август и сентябрь) и вызвала сосредоточение в саратовском направлении главной ударной группы красных.

Неодобрительный отзыв о французской политике, дошедший до сведения Клемансо, вызвал в нем сильнейший гнев, который он не мог скрыть в разговоре своем с генералом Драгомировым (июнь), и неожиданное обвинение нас... в германофильстве. В представлении французских государственных людей не укладывалось тогда понятие просто о *русской* политике — она мыслилась только в свете прогерманских или профранцузских аспираций.

Эпизод этот без сомнения оказал известное влияние на отношения французского правительства к вооруженными силам Юга.

* * *

Взаимоотношения наши с Омском определились вполне. Разграничены были путем взаимного соглашения и районы влияния или власти Омска и Екатеринодара, причем в сферу последнего вошла территория на запад от Волги, астраханский район и Закаспий. В двух официальных сообщениях — для печати и в телеграмме Сазонову — для союзников определено было с исчерпывающей ясностью: подчиненных отношений нет, но существует полное единомыслие между Югом и Востоком, и предрешено слияние их после фактического соединения территорий.

Установились сношения с Сибирью, но с величайшей трудностью. Телеграммы между Омском и Екатеринодаром шли через... Париж; военные сводки сибирского фронта мы получали... от англичан через Лондон; посылки курьеров, установленные с января, были редки, стоили страшно дорого и морским путем через Владивосток требовали времени не менее трех месяцев. Огромные вороха весьма содержательных отчетов, рисовавших жизнь Востока, вследствие быстро мчавшихся событий, ко времени получения их нами теряли ценность новизны, обращаясь в исторический материал. И краткие, обыкновенно извращенные в передаче телеграммы, рисовавшие огромные колебания Восточного фронта, были для нас всегда неожиданны и непонятны.

[1] Копии письма я не нашел. Цитирую выдержки из него по московской «Правде».

Помимо официального осведомления, оптимистического с обеих сторон, с той же оказией шел поток общественной и частной корреспонденции, которая, судя по тому, что получалось нами и что было опубликовано в захваченной большевиками переписке, рисовала, главным образом, изнанку жизни Востока и Юга. Она была удручающей сама по себе, эта изнанка, носила во многом поразительно сходственные черты и густо окрашивалась еще более черными тонами на почве уязвленных самолюбий непризнанных «талантов». Отъезжали и прибывали военные и общественные деятели, не нашедшие применения своим силам, и переносили из края в край фронду, обличения и подчас личный пессимизм. Прибыл, между прочим, к нам и эмиссар забайкальского атамана генерала Семенова с обвинительным актом против адмирала Колчака. Я велел выслать его, а генералу Семенову телеграфировал, что «всякое противодействие объединению является изменой Родине и не может быть ничем оправдано»[1].

Постоянного представительства Востока и Юга ни в Екатеринодаре, ни в Омске не было. На Кавказе после падения Уфимской директории долго еще ее уполномоченные стремились играть политическую роль — теперь уже под флагом неопределенного «Всероссийского правительства». Так, генерал Бичерахов в Баку строил филиал «Уфы» под именем «Каспийско-Кавказского» правительства; лейтенант Булашевич пожелал принять командование над Каспийской флотилией; профессор Е. Головин в Тифлисе[2] вступал в официальные

[1] 23 апреля № 05766.

[2] Полный титул его: «Чрезвычайный уполномоченный Верховного Всероссийского правительства по делам Кавказа».

сношения с Закавказскими республиками и добивался своего признания Екатеринодаром.

В начале апреля от штаба адмирала Колчака прибыл «для связи» подполковник Егоров с несколькими офицерами, снабженный большим и разнообразным материалом. Он осветил подробно положение на Востоке и привез письмо начальника штаба Верховного правителя, генерала Лебедева, в котором были такие строки: «Адмирал Колчак исповедует те же идеи, что и в Добровольческой армии. Мы считаем, что в России есть в настоящее время два центра — Вы и адмирал Колчак. Эти два центра при соединении и дадут общую для России единую власть. И я докладываю, что трений никаких не будет»[1].

• • •

Стратегическое положение Сибирского фронта ко времени вступления в Верховное командование адмирала Колчака было весьма тяжелым. Под ударами пяти советских армий полковника Каменева продолжалось отступление Сибирского фронта от Волги к Уралу. Пали Уральск и Оренбург; потеряв связь и с противником и со своими, стремительно уходили расстроенные части Оренбургской армии; отрезано было от общего фронта злосчастное Уральское казачье войско и, опрокинув заслон, прикрывавший Ташкентское направление, большевики стремились открыть себе столь долгожданную дорогу в Туркестан. Только на севере в Сибирской армии дела шли удачно: перейдя в контрнаступление в конце декабря, она нанесла сильный урон советской 3-й армии и вернула Пермь[2].

В феврале наступили жестокие морозы, и боевые действия замерли. Стороны, истомленные пройденным огромным расстоянием, приостановились на линии, которую в грубом приближении можно провести через Пермь—Уфу—Оренбург—Уральск. Силы сторон численно немногим разнились: 110 тысяч у большевиков и 120—130 тысяч в армиях адмирала Колчака.

[1] От 23 января (нового стиля) 1919 года.

[2] Бронштейн высказывал недоумение по поводу неудач советской 3-й армии в приказе от 23 апреля нового стиля: «В армии числилось до недавнего времени 12 тысяч коммунистов! Это величайшее недоразумение».

Войска Сибирского фронта, тянувшегося на расстоянии более тысячи верст, стояли в четырех направлениях: в Вятском — Сибирская армия генерала Гайды; в Уфимском — Западная армия генерала Ханжина; в Стерлитамакском — Оренбургская армия генерала Дутова и в Уральском — Уральская армия генерала Савельева (позже Толстова).

Наиболее сильной и во всех отношениях наилучше снабженной была Сибирская армия, предназначавшаяся для главного удара, намеченного планом операции по направлению на Вятку—Котлас, выводившему на соединение с войсками Архангельского фронта.

Проведение этого плана, которому многие приписывают все последующие военные неудачи и даже крушение белого Восточного фронта, вызывало борьбу между штабом Гайды[1] и ставкой Верховного главнокомандующего.

Один из министров омского правительства в записке, не появлявшейся в печати, говорит по этому поводу:

«Прежде всего, никакого направления окончательно избрано не было, ибо военная катастрофа началась ранее, нежели мы действительно упрочились на Волге. Было, правда, обсуждение того, куда направить главный удар, и до некоторой степени были приняты подготовительные меры, обозначившие большую склонность нашего командования к избранию Северного пути. Причин, вызвавших эту склонность, было несколько:

1) замечалось большее сочувствие национальному делу со стороны населения северных губерний — Пермской, Казанской, Ярославской, нежели южных — Уфимской и Саратовской;

[1] Темная и роковая фигура на фоне белого движения. Чешский прапорщик, потом командир бригады; содействовал устранению эсеров «Комуча» и наводнил потом сибирскую армию эсерской противоправительственной пропагандой; перешел на русскую службу после ухода с фронта чешских частей; достиг чина генерал-лейтенанта и должности главнокомандующего фронтом; проявлял полное своеволие и терроризировал Ставку; удален со службы с лишением чина. Финал: поднял совместно с социалистами-революционерами во Владивостоке восстание против Верховного правителя, потерпел неудачу, сдался и отбыл благополучно в Чехию.

2) были соображения о возможности быстро установить новый путь подвоза снабжения из-за границы по ручной системе через Котлас и Двину;

3) в этом же смысле высказывались иностранные военные авторитеты, в частности англичане... Нокс, имея вероятно инструкции из Лондона, настойчиво указывал на непосредственные и легче достижимые выгоды соединения с Архангельском и в то же время обнаруживал скептицизм в отношении возможности осуществить в короткий срок соединение с Деникиным. В английской политике в этот момент уже сквозило желание подготовить эвакуацию английских войск из Архангельска, для чего выход сибирских армий на север был весьма желателен;

4) наконец — честолюбие Гайды».

Заинтересованность англичан в этом вопросе не подлежит никакому сомнению. В очередном донесении за 20—30 июня нового стиля[1], отправленном английской миссией в Омске генеральному штабу в Лондон, есть такие строки:

«К величайшему несчастью, Гайда принужден был подать в отставку...

По мнению британской миссии, это вызвано не только политическими, но и военными обстоятельствами...

Миссия боится, что эта смена отвлечет внимание русской главной квартиры от севера на юг, особенно с тех пор, как Деникин подчинился Колчаку».

Верховный главнокомандующий под давлением англичан, державших в своих руках все снабжение, питая тогда еще неограниченное доверие к личности и талантам Гайды, согласился с преимуществом предложенного им северного направления.

Пока вопрос шел еще только о стратегическом развертывании сил.

Операция началась раньше времени и в масштабе совершенно неожиданном. В конце февраля Западная армия, выполняя частную задачу овладения линией р. Белой и в частности Уфой, нанесла 5-й советской армии поражение настолько сильное, что последняя обратилась в паническое бегство. И на плечах уходящих, в неудержимом порыве проходя временами по 70 верст в сутки, Западная армия устремилась к Волге.

[1] Было это уже после потери Перми и Уфы.

Это был второй важный момент в истории войны Восточного фронта, который впоследствии вызвал обвинение в том, что командование допустило войска зарваться: нужно было, говорят, остановить их на линии р. Ик, дать отдохнуть, устроиться и продолжать операцию весною, когда подойдут подкрепления и стают снега... Кто знает, насколько окрепла бы тогда 5-я советская армия... Кто безошибочно учтет положение, когда при слегка только колеблющемся балансе числа и техники решающее значение имел дух войск, поднимавшийся и опускавшийся всегда неожиданно и с широкой амплитудой колебания. Во всяком случае в то время психология и военных, и гражданских кругов Сибири была вполне определенной. «Никто из генералов, политиков, иностранных представителей, — говорил мне впоследствии один из министров омского правительства, — не противился дальнейшему наступлению. Потом ругали Лебедева...»

Западная армия 28 февраля овладела Уфой, а через месяц, пройдя 600 с лишним верст, захватывая огромные трофеи, войска ее подошли на 100 верст к Симбирску, на 60 верст к Самаре, угрожая отрезать 4-ю советскую армию, действовавшую в Ташкентском направлении. Левее армия Дутова подошла на переход к Оренбургу, а на севере часть Сибирской армии, отбросив 2-ю советскую, прошла вниз по Каме до устья Вятки, оказавшись в 80 верстах от Казани.

К середине апреля кривая успехов сибирских армий достигла наивысшей точки. Дальше она покатилась вниз. Под Оренбургом потерпел большую неудачу один из южных корпусов; сосредоточенная западнее, в районе Бузулука ударная группа большевиков перешла в наступление во фланг и 21 апреля взяла Бугуруслан. И Западная, и Южная (Оренбург) армии покатились назад. Покатились так же быстро, как шли вперед, в силу тысячи и одной причин, вытекавших из самой природы смутного времени, гражданской войны и психологии народной армии — причинам, среди которых стратегическая была хотя и важной, но только одной из производных.

10 мая Южная армия, а 20-го Западная ушли за р. Белую, оставив Уфу. Ввиду расстройства сибирских войск на этом направлении советское командование начало переброску сил отчасти на север, а главным образом на фронт вооруженных сил Юга.

Тем временем в Пермском районе продолжала оставаться 50-тысячная армия Гайды. Все усилия Ставки свернуть главные силы ее на юг — вначале для развития успеха Западной армии, потом для выручки ее — не увенчались успехом, встречая противодействие и прямое неповиновение со стороны Гайды. Гайда, пользуясь иммунитетом «народного героя» и исключительным покровительством союзников, дошел до того, что прислал однажды телеграмму Совету министров, обвиняя верховное командование в неспособности, ставку в предательстве и требуя передачи ему главного командования... Он добился временного объединения в своих руках Западной и Сибирской армий.

После потери Уфы Гайда перешел в наступление в направлении Вятки и взял Глазов. На этом все и кончилось. Под давлением общей обстановки началось поспешное отступление и Сибирской армии, быстро деморализовавшейся,

К началу июня большевистские войска подходили к Перми, Кунгуру, р. Уфе и, переправившись через р. Белую, стали теснить Западную армию в направлении Челябинска.

В то время мы на Юге не знали многих внутренних причин таких грандиозных колебаний фронта — от Урала к Волге, от Волги к Уралу — и недоумевали. Воспринимая с радостным волнением известия об успехах сибирских армий, мы скорбели об их неудачах, но считали их только эпизодом в истории борьбы, подобно тем, какие бывали и у нас. Верили, что колесо боевого счастья повернется опять в нашу сторону.

* * *

14 мая Клемансо обратился к адмиралу Колчаку от имени «союзных и примыкающих к ним держав» с официальным заявлением, что державы, имея целью установление в России мира и убедившись в бесплодности переговоров с советской властью, готовы оказать материальную поддержку адмиралу Колчаку и «тем, кто примыкает к нему», для создания всероссийской власти, но при условиях: 1) созыва Учредительного собрания «как только адмирал Колчак достигнет Москвы»; если

же порядок к тому времени не восстановится — созыва Учредительного собрания 1917 года; 2) восстановления земских и городских самоуправлений; 3) отказа от «прежней земельной политики» и установления «свобод»; 4) признания независимости Финляндии и Польши; 5) урегулирования взаимоотношений с новообразованиями при посредстве Лиги Наций, а до тех пор признания — их автономности; 6) признания за мирной конференцией права распорядиться судьбою Бессарабии.

Адмирал Колчак 22 мая послал ответ: Учредительному собранию «законно избранному» будут принадлежать суверенные права, но не Собранию 1917 года, «избранному при режиме большевистских насилий, большинство членов которого находится в рядах большевиков». Признается независимость Польши, но определение границы ее с Россией, равно как окончательное решение финляндского вопроса и судьбы Бессарабии, принадлежат Учредительному собранию. По отношению к национальным группам Эстонии, Латвии, Литвы, Кавказским и Закаспийским признавалась принципиально автономия их, размеры которой должны быть определены для каждой народности отдельно; допускалось содействие Лиги Наций в целях достижения соглашения с ними.

Что касается остальных вопросов, то, подчеркивая их чисто внутреннее значение, адмирал заверял все же державы в либеральном направлении деятельности своего правительства и в том, что «не может быть возврата к режиму, существовавшему в России до февраля 1917 года».

Сообщая мне по телеграфу содержание своей ноты, адмирал Колчак выражал пожелание обеспечения «единства государственных заявлений».

ГЛАВА III

ПРИЗНАНИЕ ЮГОМ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ АДМИРАЛА КОЛЧАКА

27 мая по поручению Парижского совещания в Екатеринодар приехали генерал Щербачев, Аджемов и Вырубов, как писал князь Львов, для того чтобы «облегчить (мне) трудную задачу ориентировки в сложной мировой политической жиз-

ни». Конкретно вопрос был поставлен о необходимости немедленного подчинения моего адмиралу Колчаку. Со мной беседовали отдельно генерал Щербачев и потом Аджемов с Вырубовым. К удивлению своему, я не чувствовал в их речах никакого пафоса, скорее некоторое смущение — то ли в силу пошатнувшегося положения Восточного фронта наряду с развивающимися успехами армий Юга, то ли потому, что принятая на себя миссия казалась им исключительно трудной и щекотливой. Генерал Щербачев был вообще краток и, передав сущность вопроса, сослался на предстоящее более детальное выяснение его своими спутниками.

Мотивы, которые они приводили в пользу подчинения, сводились в общем к следующему: 1) мощь сибирских армий и огромная, освобожденная ими от большевиков территория, подчиненная адмиралу Колчаку; 2) впечатление, произведенное на правительства и общественное мнение Европы быстрым выходом сибирских войск к Волге; 3) ожидающееся официальное признание союзными правительствами адмирала Колчака при условии объединения в его лице всей Верховной власти; 4) наконец, признание Всероссийской власти сделает невозможным признание власти советской и облегчит нам борьбу с сепаратными течениями.

О признании адмирала Колчака союзниками, в случае подчинения ему Юга, Аджемов и Вырубов заявили в форме категорической, генерал Щербачев — с большей осторожностью: «Союзные представители делали намеки...»

Единственным «документом», причем несколько условным, было обращение Клемансо. Казалось странным, что екатеринодарские представители союзников никогда не поднимали этого вопроса в разговорах со мною.

Я предложил парижским представителям ознакомить с их поручением Особое совещание, а последнему обсудить его и дать мне свое заключение.

Весть о предложении прибывшей из Парижа миссии быстро распространилась и вызвала большое возбуждение в политических кругах. Общественные настроения нашли, несомненно, отражения в памятном для участников заседании «Особого совещания» в день 28 мая.

К. Н. Соколов в своих воспоминаниях[1] пишет:

«После ухода Вырубова и Аджемова Особое совещание приступило к прениям. Разногласия по существу не было, и все сошлись на том, что надо оставить наши отношения к адмиралу Колчаку в прежнем виде до фактического соединения фронтов. Была принята во внимание и возможность лишения нас помощи союзниками, и наши специалисты успокоили нас заявлением, что мы снабжены всем необходимым на продолжительный срок. Я не могу припомнить все доводы, которые приводились против принятия присланных из Парижа советов. Но я помню хорошо ход моих мыслей, кажется, отвечавших настроению большинства. Я доказывал, что при гадательности признания союзниками адмирала Колчака мы, немедленно подчинившись Омску, рискуем напрасно принести немалые жертвы. В отказе от притязания главного командования на государственный суверенитет крылись, как мне казалось, опасности и юридического и политического порядка. Юридически ослаблялась бы наша позиция по отношению к казачьим «образованиям». Политически мы обязывались бы внезапно и под влиянием извне автоматически принять политическую программу омского правительства, то есть отказаться от собственного нашего южнорусского политического опыта. К изумлению многих, и лидеры Национального Центра как будто уже не защищали тезиса о немедленном подчинении. Астров и Федоров ограничивались тем, что очень решительно подчеркивали огромную морально-политическую важность скорейшего создания единой национальной власти. Впервые, и по такому принципиальному вопросу, Особое совещание было, таким образом, совершенно единодушно... Мы разошлись глубоко взволнованные, условившись собраться на другой день для окончательного принятия нашего постановления».

Другой член Особого совещания Н. И. Астров приводит точку зрения Национального Центра и мотивы, побудившие его изменить первоначальное мнение о необходимости немедленного признания.

---

[1] «Правление генерала Деникина».

«Настроение большинства было совершенно определенно против признания Колчака. Нужно было найти формулу, наиболее приемлемую для совещания, единство мнений которого в этом вопросе представлялось желательным.

Содержание моей заключительной речи сводилось к следующему.

...Поставлен вопрос о воссоздании России. Вопрос поставлен не приезжими из Парижа. Они только осложнили его и внесли трудности в его разрешение, ибо отказ от положительного ответа будет истолкован как отказ от признания, как начало борьбы из-за власти. Если не борются вожди, то в их штабах начинается состязание и соревнование[1]. Нужно вернуть вопрос к его нормальной постановке, освободив от вредных осложнений. Поставленный перед нами сейчас вопрос распадается на две части, смешивать которые не следует: нужно ли немедленное образование национального правительства России — один вопрос, и нужно ли для этого немедленное признание Колчака — другой. Основной вопрос об образовании национального правительства, казалось бы, не требует доказательств — он ясен сам собой и подлежит разрешению в положительном смысле. Сложнее вопрос о признании Колчака этой национальной властью. Ходом событий вопрос этот предрешен и медлить с его окончательным решением нельзя, ибо Европа может признать Колчака без участия в этом признании генерала Деникина и тем отбросить в тень Екатеринодар. С другой стороны, может исчезнуть благоприятный момент для признания России субъектом прав, и внимание Европы может снова повернуться к большевикам. Но без переговоров с Колчаком вопрос все-таки решить трудно. Для переговоров, конечно, нельзя ждать соединения армий и личного свидания вождей. Необходимо срочно связаться с Омском через Париж для выяснения условий признания и, по выяснении их, принять окончательное решение...»

Наконец, третий член Особого совещания, правый, писал мне впоследствии об этом заседании:

[1] По-видимому, слово «штаб» надо понимать фигурально, ибо в настоящем штабе главнокомандующего ничего подобного не было.

«Вопрос этот внес большую сумятицу в умы. Отрицательные стороны признания были очевидны большинству, однако имелись серьезные возражения против того, чтобы оставить все по-старому. Два члена Особого совещания, признавая пользу объединения всего Белого движения в одном лице, относились, однако, отрицательно к тому, чтобы таковым был признан Колчак. Близкие к правым кругам, монархически и легитимистски настроенные, эти члены указывали, что признание Колчака вызовет в этих кругах противодействие, недоверие, будет учтено, как переходная мера бонапартизма... Казалось, что если пора возглавить движение, то это надо сделать иначе, другим лицом. Должен сказать, что в легитимистских кругах в этом отношении никогда не было колебания и всегда при всех обстоятельствах тяготение было к одному и тому же имени. Все остальные мыслились как главные сотрудники, предтечи, предшественники. Но эти чаяния были скорее в области внутреннего чувства, а не в виде результата зрелой мысли».

Предложенная Н. И. Астровым формула постановления, принятая единогласно «Особым совещанием» и являвшаяся по существу уклонением от решения вопроса, имела следующую редакцию:

«Признавая настоятельно необходимым образование в России единого национального правительства, «Особое совещание» полагает, что жизненные интересы Российской державы властно требуют, чтобы такое правительство было образовано путем непосредственного соглашения между генералом Деникиным и адмиралом Колчаком на началах, изложенных в официальном сообщении от 10 апреля текущего года»[1].

Мне остается еще добавить, что как с прениями в этих заседаниях Особого совещания, так и с проектом резолюции я ознакомился только при составлении «Очерков».

* * *

Тем временем и я — в одиночестве — обдумывал создавшееся положение. Принципиально вопрос о подчинении

[1] Политическая декларация правительства Юга.

решен был мною давно, о чем было известно многим. Я предполагал при близком, казалось, соединении без торга, без сговоров и «условий» объявить армиям о подчинении «отныне Верховной власти Верховного правителя», как об естественном следствии установления с ним связи. Принятие этого решения облегчало то обстоятельство, что, не встречавшись ни разу в жизни с адмиралом Колчаком, я тем не менее составил себе о нем определенное представление, как о человеке умном, смелом и благородном.

Вопрос поэтому вызывала лишь своевременность такого акта.

Но соединение территорий затягивалось... Перспектива признания союзниками всероссийской власти адмирала Колчака представлялась фактором чрезвычайно важным, укреплявшим международное положение новой России... Она требовала оказания адмиралу политической и нравственной поддержки... Факт единения русских противобольшевистских сил не мог не вызвать подъема в армиях и в обществе и лишал почвы наших недругов, сеявших рознь... Наконец, с меня спадало лишнее бремя, облегчая значительно нравственную возможность требовать от других исполнения долга и повиновения.

Вывод был ясен.

Я сказал о своем решении 30 мая И. П. Романовскому. Не ответив ни слова, он крепко пожал мою руку. Мы условились, что пока это останется между нами, а завтра я отдам приказ, который должен быть немедленно и широко распространен. В течение дня составить его, однако, не удалось.

Вечером состоялись проводы уезжавшего в Англию генерала Бриггса, отличавшиеся исключительной сердечностью. Узнав, что экстренный поезд его уходит в Новороссийск не на другой день, как предполагалось, а в ту же ночь, и желая использовать оказию в Константинополь, я тут же на клочке бумаги написал приказ, который и огласил в собрании, после чего приказ был тотчас размножен.

«ПРИКАЗ
Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России
№ 145

30 мая 1919 года.
г. Екатеринодар.

Безмерными подвигами Добровольческих армий, кубанских, донских и терских казаков и горских народов освобожден Юг России и русские армии неудержимо движутся вперед к сердцу России.

С замиранием сердца весь русский народ следит за успехами русских армий с верой, надеждой и любовью. Но наряду с боевыми успехами в глубоком тылу зреет предательство на почве личных честолюбий, не останавливающихся перед расчленением Великой, Единой России.

Спасение нашей Родины заключается в единой Верховной власти и нераздельном с нею едином Верховном командовании.

Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье, я подчиняюсь адмиралу Колчаку как Верховному Правителю Русского Государства и Верховному Главнокомандующему русских армий.

Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение России.

Генерал-лейтенант Деникин».

Взрыв патриотического подъема, который охватил собрание, служил первым показателем сочувствия этому шагу.

• • •

Верховный правитель в ответ на мой приказ прислал телеграмму:

«С чувством глубокого волнения приветствую Ваше патриотическое решение, продиктованное Вам истинной государственной мудростью. Вы в пору государственного распада и морального разложения великого народа один из первых в ряду славных выступили под стягом Единой России. Ныне

Вашим решением Вы подаете пример солдата и гражданина, превыше всего ставящего благо Родины и будущее ее исторических судеб. В великом подвиге служения Вашего России да поможет Вам Бог.

Верховный правитель адмирал Колчак».

Никогда еще общественное настроение не было так единодушно, как в оценке этого события. Никогда в период борьбы проявление общественного удовлетворения не носило таких трогательных и в большинстве искренних форм. Я получил множество телеграмм, писем, адресов со всех концов белой России и из стран расселения зарубежной эмиграции — от отдельных лиц, обществ, групп, правителей и военных начальников. Все эти обращения свидетельствовали, как сильно жаждало русское общество объединения расколотой Родины и... как высоко котируется на бирже мирской суеты *власть*, отказ от которой или самоограничение вменяются человеку в подвиг.

Я остановлюсь на некоторых откликах, вызванных актом соединения, оставляя элемент личный лишь в тех случаях, когда это существенно необходимо для освещения событий.

Российский посол В. Маклаков в письме из Парижа делился со мною своими впечатлениями.

«Не то важно или, вернее, не только то важно, что Вы устранили ту смуту в умах наших союзников, которую усердно на этой почве подготовляли и раздували всевозможные наши враги. Важнее было то впечатление, которое этот «beau geste» (Прекрасный поступок» (франц.). — *Прим. ред.*) произвел в смысле «откровения». Вы не подозреваете, какая упорная и тонкая агитация велась лично против Вас; над этим старались и левые партии, и германофилы, и германцы. А мотив всегда один и тот же: реакционер. И когда Вы с такой простотой разрубили узел и в момент Ваших успехов признали Колчака, в этом увидели и оценили наглядное и простое доказательство, что Вы слуга России, а не просто реставратор-честолюбец».

Южные политические организации откликнулись целым рядом заседаний и постановлений, посвященных вопросу признания.

До признания, днем 30 мая, после доклада Аджемова Совет государственного объединения России вынес постановление: «Считать, что интересам и достоинству России не отвечает стремление добиваться в срочном порядке признания единой всероссийской власти в лице главы одной из вооруженных сил, ведущих борьбу за Россию». Мотивы официальные: «предъявление союзниками адмиралу Колчаку условий, являющихся посягательством на независимость России...»; неофициальные — те, которые приведены были выше в словах правого члена Особого совещания. 3 июня состоялось вновь заседание, в котором Совет, считаясь со свершившимся фактом, постановил обратиться ко мне с приветствием, «с восторгом встречая зарю светлого русского будущего» и полагая, что «приказ этот является краеугольным камнем вновь зарождающейся Единой и Великой России».

С горячим и искренним сочувствием отнесся к событию Национальный Центр, видевший в нем «выход России из ее разрозненности и слабости — к сплоченности и мощи...». Союз возрождения находил, что таким путем устранен главный камень преткновения в отношениях его к командованию, так как с признанием адмирала Колчака, обязавшегося созвать Учредительное собрание, не страшна «недоговоренность» политической программы Юга. Мякотин при этих условиях допускал «самую строгую диктатуру в некоторые моменты жизни страны», а Титов писал мне: «Мне лично и через своих сотрудников по союзу городов пришлось услышать, как восторженно был встречен приказ среди низов Добровольческой армии — среди рядового офицерства, студенчества, среди всех тех, которые видят в Добровольческой армии ядро новой, прозревшей России, символ бескорыстного служения возрождающейся Родине...»

Такие взгляды высказывали союзы городов, земств и многие, многие другие.

5 июня состоялось торжественное объединенное заседание трех политических организаций, впервые после разрыва в Одессе засвидетельствовавших «общее согласие взглядов и полное единодушие в высокой оценке акта 30 мая».

Только социалисты, стоявшие левее Союза возрождения, молчали или утешали себя надеждою на «возможность ост-

рых конфликтов» между силами Юга и Востока, «которые в один прекрасный день внесут в историю новую дату, обратную 30 мая...» Но голос их был слаб и робок.

* * *

Невзирая на огромное моральное значение объединения Востока и Юга, реальные политические последствия его не оправдали наших надежд. Прежде всего, признания Всероссийской власти Верховного правителя державами Согласия не состоялось. В первых числах июня Версальская конференция сообщила в Омск свое решение:

«Союзные и дружественные державы счастливы, что общий тон ответа адмирала Колчака и его основные положения находятся в соответствии с их предположениями. Ответ содержит удовлетворяющие их заверения о свободе, мире и самоуправлении русского народа и его соседей. Поэтому они готовы предоставить адмиралу и присоединившимся к нему помощь, упомянутую в предыдущем сообщении...»

Это заявление возвращало нас к прежнему положению, оставляя открытым «русский вопрос» во всем его объеме, и не исключало возможности и дальнейших попыток держав прийти к соглашению с советами. Не изменилась политика держав Согласия и не усилилась их реальная помощь.

Чем объяснить остановку Версальской конференции на полпути? Начальник русского отделения в английском министерстве иностранных дел Грегори говорил русскому поверенному в делах Саблину[1]:

«По моему мнению, признание адмирала Колчака настоятельно необходимо; но премьер-министр (Ллойд Джордж) не окончательно еще уверен в падении большевиков и не уверен в намерениях русских национальных вождей установить в России демократический режим...»

Официальное лицемерие государственных деятелей, готовых признать советский, каннибальский, какой угодно режим, лишь бы это соответствовало интересам их стран... Конечно, все дело было в наглядном проявлении нашей силы. Но успех наш зависел во многом от широкой помощи союзников, а помощь их ставилась в зависимость от нашего успеха. Получался заколдованный круг.

[1] Телеграмма Саблина от 3 октября 1919 года № 706.

Большинство западных и южных новообразований в своих заявлениях конференции резко отмежевались от «русской государственной власти». В прежнем неопределенном положении остались и взаимоотношения наши с южным казачеством.

6 июня я собрал у себя атаманов и председателей правительств казачьих войск. Очертил им военно-политическую обстановку и обстоятельства, сопровождавшие признание. Убеждал, что при той розни, при тех центробежных стремлениях, которые существуют на Юге, возможны, быть может, военные успехи, но совершенно невозможно возрождение России. Призывал их идти вместе, признать Верховного правителя, чтобы «дать ему большую возможность во всеоружии силы и власти перед друзьями и недругами России защищать ее кровные интересы». Атаманы ответили ссылкой на «вековую несправедливость в отношении казаков» и на «систематическое отстранение казачества, составляющего оплот вооруженных сил Юга, от государственного строительства».

Еще один заколдованный круг: я недоумевал, как осуществить это сотрудничество, как влить новую струю «казачьего демократизма» в старые мехи «российской бюрократии», когда с октября 1918 года делались бесплодные попытки организации Южной власти путем сговора, когда Кубань отказывалась вовсе от ведения переговоров, и все три войска как раз в эти дни приступали к организации «Юго-Восточного союза» без участия в нем правительства Вооруженных сил Юга — «для закрепления прав, приобретенных казачьими войсками в области государственного строительства России...» (телеграмма Харламова Кубанской раде с постановлением Донского круга), когда враг был у ворот.

Выяснилось в результате, что казачьи войска согласны признать военное возглавление адмирала Колчака, верховную же гражданскую власть оставляют за своими представительными учреждениями.

Словом, российский Екатеринодар отметил акт 30 мая торжественным молебствием с провозглашением многолетия «Державе Российской и благоверному Верховному правителю ее». А Екатеринодар казачий — торжественными обедами во дворце Кубанского атамана при участии четырех атаманов и четырех премьеров, речами и символами, демонстрировавшими казачьи заслуги (несомненные), казачье единение (сомнительное) и казачью суверенность.

* * *

7 июня отправлена была за границу миссия во главе с генералом Драгомировым в составе Астрова, Нератова и Соколова. Ввиду невозможности прямой телеграфной связи с Омском на миссию возложено было, по прибытии в Париж, войти в сношение с Верховным правителем, представить ему доклад о положении дел на Юге России и испросить у него необходимые указания и полномочия. Попутно делегация должна была в Париже и Лондоне разрешить ряд не терпящих отлагательства вопросов экономического характера, ознакомиться с положением «русского вопроса», а также осведомить союзные правительства и западноевропейское общественное мнение о положении Юга.

Соколовым был составлен конспект доклада Верховному правителю, в котором в конце предрешался объем моих полномочий. Раз подчинившись, я не считал возможным ставить какие-либо условия, и поэтому в доклад внесено было лишь одно пожелание — о предоставлении Южной власти права внешних сношений по вопросам, касающимся исключительно Юга России, и в согласии с общими директивами Верховного правителя.

Ответ был получен только в конце августа. Верховный правитель излагал общие основания о пределах власти главнокомандующего на Юге России: «Самостоятельное руководство иностранной политикой в пределах вопросов, касающихся территорий Юга... Общее же руководство в области внешней политики, а равно в вопросах денежного обращения, валютной и земельной политики принадлежит Российскому правительству». Главнокомандующему предоставлена была в области управления полнота власти, в области законодательства — «право издания постановлений, имеющих силу закона, и право помилования». Допускалось образование «межобластного совета» из представителей отдельных областей и губерний нормального типа.

На практике применение этих норм вызвало некоторые разногласия между ведомствами, как, например, по вопросу о распоряжении черноморским транспортом, иностранной валютой, бывшей на учете Особого совещания в Константинополе, и так далее. Но все эти вопросы получали в конце концов благополучное разрешение. Омск предоставлял нам достаточную свободу в деле управления, и только однажды по вопросу проведения земельной реформы Верховный правитель, опасаясь расхождения, высказался о невозможности допустить в этом деле местное законодательство.

13 августа состоялся указ о назначении начальника Управления иностранных дел Нератова товарищем российского Министерства иностранных дел, чем достигалась известная согласованность в направлении внешней политики. Расхождений в ней, в сущности, не было. Я разделял общие основания, изложенные в декларации Верховного правителя по отношению к новообразованиям; в частности в «польском вопросе» и Омск и Екатеринодар приняли предложенную Сазоновым формулу: этнографический принцип при определении восточных границ Польши и отнесение окончательного решения до Учредительного собрания.

В октябре между нами состоялся обмен мнениями по вопросу большой важности — об общем направлении нашей внешней политики. 18-го[1] адмирал Колчак телеграфировал мне:

«По полученным мною сведениям, положение фронтов генералов Юденича и Миллера чрезвычайно тяжелое. Положение Восточного фронта осложнилось очень серьезно вследствие предположения союзников снять с охраны линии Омск—Владивосток чешские и польские войска. Положение армий Гольца в Курляндии при неопределенности, пойдет ли он против большевиков или с ними, внушает мне большие опасения за окончательный результат Ваших успехов, имея в

---

[1] Нового стиля.

виду двойную игру, проведенную германцами в марте 1918 года на Украине. Наши отношения к Германии определяются отсутствием всяких сношений и формально продолжением войны; практически же военных действий нет, Брест-Литовский мир аннулирован Версальским постановлением; ныне Германия выступает активно и вмешивается в наши внутренние дела. Представляется необходимым разрешить это ненормальное положение, и надо принять решение о взаимоотношениях с Германией, явно игнорировать которую долее невозможно. Донесите мне посему Ваше заключение в связи с внутренним положением. № 1326».

В этом обращении между строк чувствовалось нечто более важное, чем урегулирование внешних форм взаимоотношений. Вопрос шел, очевидно, о *перемене ориентации*. Впоследствии наше предположение подтвердилось. В Сибири, как и на Юге, под влиянием политики союзников, наряду с враждебным к ним чувством, нарастала тогда волна германофильства. Она, по словам Гинса, находила отражение в печати и живой отклик «среди высших чинов армии». Общественные настроения достигли, по-видимому, большого напряжения, так как вопросу этому было посвящено специальное заседание Совета министров. Совет высказал, однако, отрицательное отношение к перемене курса. Как раз в эти дни и была послана приведенная выше телеграмма. По чьей инициативе — не знаю. Но пришла она не обычным путем через Министерство иностранных дел, а из Ставки военным шифром.

Я составил ответ, который был прочтен мною на заседании Особого совещания и не встретил возражений.

«Доношу: как бы тяжело ни складывались обстоятельства, их необходимо побороть. Политическая обстановка нисколько не изменилась. Немцы по-прежнему ведут борьбу против русской государственности: явно — в Прибалтике, Малороссии, на Кавказе; тайно — среди русских партий, применяя старые бесчестные приемы. Версальский мир не закончил борьбу, а лишь приостановил ее и углубил непримиримые противоречия между двумя политическими группировками.

В будущем намечаются впервые широкие возможности всеславянского объединения. Союзники оказывают нам реальную помощь, диктуемую, правда, их собственными интересами, но не расходящимися с идеей воссоздания русской государственности. В то же время немцы продолжают политику растления и разъединения, поддерживая русский большевизм и наши центробежные силы. Отсутствие всяких сношений с ними является не слабостью, а силою, придавая устойчивость, прямоту и искренность русской политике в глазах тех, с которыми нам суждено идти по одному пути. № 014158».

По поводу этой телеграммы Гинс говорил: «Адмирал был очень доволен: Совет министров и Деникин помогли ему сбросить тяжелый камень сомнения, который кто-то старательно вдвигал в его изболевшуюся душу».

И мы шли старым путем, приносившим нам не раз глубочайшие разочарования, потому что иного не было, потому что в сонме и победителей и побежденных национальная Россия оказалась чужой и одинокой.

* * *

В сентябре 1919 года получено было письмо Верховного правителя, в котором он, препровождая свой указ от 11 июня, писал мне:

«...Для обеспечения создавшегося ныне единства Русской армии, ведущей борьбу против большевиков... по моему предложению Совет министров издал закон о создании должности заместителя Верховного главнокомандующего, после чего я указом назначил Вас моим заместителем.

Таким образом, я считаю, что преемственность Верховного командования будет обеспечена. Я решил этот вопрос только в отношении армии, ввиду его спешности; что же касается до преемственности власти Верховного правителя, то я оставляю это положение открытым ввиду большой политической сложности его».

Лояльность омского правительства и сердечная, искренность адмирала Колчака создали простые и легкие взаимоотношения. Так было до декабря, когда от Верховного правителя получена была последняя телеграмма (от 19 ноября):

«Обстановка требует предоставления генералу Деникину всей полноты власти на занятой им территории; я прошу передать генералу Деникину полную уверенность мою, что я никогда не разойдусь с ним в основаниях нашей общей работы по возрождению России».

Эти слова таили в себе гораздо более серьезный смысл, чем тот, который давало их начертание. Но судьба могла ведь изменить свой трагический ход, и я не огласил этого сообщения.

Между тем на Востоке начиналась уже великая драма сибирских армий и приходила к концу личная драма их вождя.

ГЛАВА IV

НАСТУПЛЕНИЕ ВСЮР ВЕСНОЮ 1919 ГОДА: ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНА И КРЫМА, ВЗЯТИЕ ХАРЬКОВА, ПОЛТАВЫ, ЕКАТЕРИНОСЛАВА И ЦАРИЦЫНА. «МОСКОВСКАЯ ДИРЕКТИВА». ВНУТРЕННИЕ НАСТРОЕНИЯ

С мая 1919 года развилось широкое наступление армий Юга. Войска *Северного Кавказа* выделили отряд для движения на Астрахань. *Кавказской армии* поставлена была задача взять Царицын, *Донской* — разбить донецкую группу противника и, наступая на линию Поворино—Лиски, очистить север области от большевиков, войти в связь с восставшими и отрезать Царицын от Поворина. *Добровольческой армии* — отбрасывая 14-ю советскую армию к низовьям Днепра, разбить 13-ю и часть 8-й армии на путях к Харькову. *3-й корпус* с Акманайских позиций был двинут в наступление для освобождения Крыма, в то время как особый отряд Добровольческой армии, направленный к перешейкам, должен был отрезать большевикам выход из Крымского полуострова.

На Северном фронте к середине мая установилось более благоприятное для нас соотношение сил: против $50^1/_2$ тысяч войск Вооруженных сил Юга сражалось уже только 95—105 тысяч красных войск Гиттиса.

* * *

Добровольческая армия, наступая безостановочно, к 22 мая заняла Славянск, отбросив части 8-й и 13-й советских армий, расстроенные и растаявшие, за Северный Донец. На сопротивление 13-й армии не было уже никаких надежд и советское командование с лихорадочным напряжением формировало новые центры обороны в Харькове и Екатеринославе. Туда стягивались подкрепления, отборные матросские коммунистические части и красные курсанты. Бронштейн со свойственной ему экспансивностью «пред лицом пролетариата Харькова» свидетельствовал о «жестокой опасности», призывал рабочий класс к поголовному вооружению и клялся, что «Харькова мы ни в коем случае не сдадим».

Одновременно в районе Синельникова сосредоточивалась ударная группа из сборных частей бывшей 2-й Украинской армии и войск, подвезенных из Крыма и Екатеринослава, составившая 14-ю армию, во главе которой был поставлен Ворошилов — человек без военного образования, но жестокий и решительный. Советское командование поставило себе задачей вывести из-под наших ударов 8-ю и 9-ю армии, движением во фланг от Синельникова на Славянск—Юзово 14-й армии остановить наше наступление на Харьков и затем одновременным ударом 14-й армии и харьковской группы[1] вернуть Донецкий бассейн.

План этот потерпел полную неудачу.

14-я армия еще не успела сосредоточиться, как между 23—25 мая Кавказская дивизия корпуса Шкуро разбила Махно под Гуляй-Полем[2] и, двинувшись затем на север к Екатеринославу, в ряде боев разгромила и погнала к Днепру Ворошилова. В то же время южнее группа генерала Виноградова успешно продвигалась к Бердянску и Мелитополю, а 3-й армейский корпус, начавший наступление с Акманайских позиций 5 июня, гнал большевиков из Крыма.

---

[1] Вновь сформированный отряд Беленковича и остатки 13-й армии.

[2] 27 июня Махно оставил службу у советов и с небольшим отрядом ушел на Днепр к Александровску.

Прикрыв, таким образом, западное направление, генерал Май-Маевский двигал безостановочно 1-й армейский корпус генерала Кутепова и Терскую дивизию генерала Топоркова на Харьков. Опрокидывая противника и не давая ему опомниться, войска эти прошли за месяц 300 с лишним верст. Терцы Топоркова 1 июня захватили Купянск; к 11-му, обойдя Харьков с севера и северо-запада, отрезали сообщения харьковской группы большевиков на Ворожбу и Брянск и уничтожили несколько эшелонов подходивших подкреплений... Правая колонна генерала Кутепова 10 июня внезапным налетом захватила Белгород, отрезав сообщения Харькова с Курском. А 11-го, после пятидневных боев на подступах к Харькову, левая колонна его ворвалась в город и после ожесточенного уличного боя заняла его.

16 июня закончилось очищение Крыма, а к концу месяца мы овладели и всем нижним течением Днепра до Екатеринослава, который был захвачен уже 16 числа *по собственной инициативе* генералом Шкуро.

Разгром противника на этом фронте был полный, трофеи наши неисчислимы. В приказе «председателя Реввоенсовета республики» рисовалась картина «позорного разложения 13-й армии», которая в равной степени могла быть отнесена к 8-й, 9-й и 14-й: «Армия находится в состоянии полного упадка. Боеспособность частей пала до последней степени. Случаи бессмысленной паники наблюдаются на каждом шагу. Шкурничество процветает...»[1]

Остатки разбитых неприятельских армий отошли: 13-й и группы Беленковича — на Полтаву, 14-й и крымской группы — за Днепр.

* * *

В середине мая началось наступление и *Донской армии*. Первая группа Мамонтова, форсировав Дон выше устья Донца, в четверо суток прошла 200 верст, преследуя противника, очищая правый берег Дона и поднимая станицы. 25 мая он был уже на Чире, а 6 июня, прорвав железнодорожный путь Поворино—Царицын, двинулся дальше — частью вверх по Медведице, частью в тыл Царицыну. Другая группа, переправившись у Калитвы, направилась по Хопру на Поворино. Третья, форсировав Донец по обе стороны Юго-Восточной железной дороги, преследовала отступавшую 8-ю армию красных на Воронеж, в то время как отдельный конный отряд генерала Секретева двинулся на северо-восток прямым путем в район восставших казаков Верхне-Донского округа.

Результатом этого искусного и полного порыва наступления Донской армии было поражение 9-й и части 8-й советской армии, соединение с восставшими и очищение всей Донской области.

[1] От 6 (19) июня №113.

В июне донцы вышли из пределов области на линию Балашов—Поворино—Лиски—Новый Оскол и на ней в течение июня—июля вели бои, с переменным успехом, особенно упорные в воронежском и балашовском направлениях.

На Дону царил высокий подъем. 16 июня войско торжественно праздновало в Новочеркасске освобождение своей земли от нашествия красных. А Донская армия, насчитывавшая к середине мая 15 тысяч бойцов, росла непрестанно, дойдя к концу июня до 40 тысяч.

* * *

Тотчас же вслед за взятием Великокняжеской *Кавказская армия* генерала Врангеля начала преследование противника, отступавшего на Царицын. Путь шел по малонаселенной степи, прорезывался рядом болотистых речек, представлявших хорошие оборонительные рубежи. 10-я советская армия, прикрываясь сохранившими боеспособность конными полками Думенко, отходила, разрушая единственную железнодорожную линию, питавшую армию, и в двух местах взорвала мосты, на несколько недель задержав тем сквозное сообщение. Поход проходил в обстановке чрезвычайно трудной и полной лишений.

11 мая Кавказская армия настигла противника на Сале и, форсировав реку, опрокинула его. Неприятельской конницей, спасая положение, руководил сам командир 10-й советской армии полковник Егоров и был ранен. Его заменил Клюев. Так, шаг за шагом, ведя упорные бои на каждом рубеже, неся большие потери и двигаясь неизменно вперед, в бою 20 мая армия овладела последней серьезной преградой перед Царицыном — позицией на реке Есауловский Аксай.

В дальнейшем могло быть два решения: дождаться починки мостов, возобновления железнодорожного движения и подвоза бронепоездов, танков, самолетов или, использовав элемент быстроты и внезапности, гнать безостановочно противника, чтобы на плечах его ворваться в Царицын.

Генерал Врангель принял второе решение, и в начале июня войска Кавказской армии атаковали царицынские укрепленные позиции.

Между тем советское командование спешно подвозило к Царицыну пополнения и новые части из Астрахани и с Восточного фронта — до девяти отдельных полков. Проволока, многочисленная артиллерия и богатые запасы снарядов делали царицынские позиции труднодолимыми. И двухдневные кровопролитные атаки доблестной Кавказской армии разбились о вражескую позицию. Части понесли опять большие потери, противник перешел в контрнаступление, но моральное состояние его было подорвано давно, и наша армия, отойдя на несколько верст, закрепилась на линии реки Червленой, где и оставалась в течение ближайших полутора недель.

За это время возобновилось железнодорожное движение, подошла на поддержку 7-я пехотная дивизия, переброшенная из состава Добровольческой армии, подоспели технические средства. 16 июня генерал Врангель вновь атаковал Царицын. Танки, броневики, бронепоезда прорвали неприятельское расположение, за ними хлынули в прорыв пехота и кавалерия, и первая позиция была взята. Но большевики, подогреваемые пулеметами коммунистических частей, дрались еще упорно на второй — возле города, и только на следующий день войска группы генерала Улагая ворвались в Царицын с юга, в то время как корпуса Покровского и Шатилова обошли город с запада.

10-я советская армия была разбита вновь и отходила вверх по Волге, преследуемая кубанцами.

На пути своем армия генерала Врангеля взяла много пленных, орудий и большие военные материалы поволжской базы, которую большевики решили защищать до последней крайности и, будучи уверены в успехе, вовремя не эвакуировали. Стоил этот успех крови немалой. В одном командном составе убитых и раненых было пять начальников дивизий, два командира бригад и одиннадцать командиров полков — свидетельство высокой доблести войск, в особенности кубанцев.

* * *

Только отряд из состава *войск Северного Кавказа* силою до 5 тысяч, направленный генералом Эрдели на Астрахань двумя колоннами — от Святого Креста степью и от Кизляра берегом моря, — не имел успеха. Ненадежность кавказских формирований, пустынность театра и трудность питания, восстания в тылу (в Чечне и Дагестане) все это повлияло на течение операции. Наконец, до конца июня англичане тормозили передачу нам Каспийской флотилии, и наши ничтожные тогда морские силы не в состоянии были обеспечить береговую линию от сильного красного Волжско-Каспийского флота.

В середине июня колонны подходили на 50 верст к Астрахани, но были оттеснены. Наступление на этом фронте не получило развития и после взятия Царицына. Моральное состояние многих частей было неудовлетворительным, и операция понемногу замирала.

С конца июня англичане сдали нам все суда Каспийской флотилии — около 10—12 вооруженных пароходов и десяток быстроходных катеров. Под командой капитана 1-го ранга Сергеева флотилия, с большим трудом укомплектованная, преодолевая ведомственные трения, столкновения с сухопутным начальством и свои внутренние, весьма существенные настроения, выполняла свою главную задачу: запереть большевистский флот в устье Волги, не допустить подвоз к Астрахани и обеспечить свободное плавание наших судов по водам Каспия[1].

* * *

К концу июня армии Юга России, преследуя разбитого противника, вышли на фронт Царицын—Балашов—Белгород—Екатеринослав—Херсон (исключительно), упираясь прочно своими флангами в Волгу и Днепр.

20 июня в Царицыне я отдал армиям директиву:

«...Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю:

---

[1] Связь через Петровск с Гурьевом, Красноводском, Баку.

1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов—Ртищево—Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее — на Нижний Новгород, Владимир, Москву.

Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией и для очищения нижнего плеса Волги.

2. Генералу Сидорину правым крылом, до выхода войск генерала Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин—Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях: а) Воронеж, Козлов, Рязань и б) Новый Оскол, Елец, Кашира.

3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с Запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав—Брянск.

4. Генералу Добровольскому выйти на Днепр от Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие Херсона и Николаева.

....

6. Черноморскому флоту содействовать выполнению боевых задач... и блокировать порт Одессу».

Директива 20 июня, получившая в военных кругах наименование «Московской», потом в дни наших неудач осуждалась за чрезмерный оптимизм. Да, не закрывая глаза на предстоявшие еще большие трудности, я был тогда оптимистом. И это чувство владело всем Югом — населением и армиями. Это чувство нашло отклик там, на севере, за линией фронта, среди масс, придавленных еще большевистским ярмом и с нетерпением, с радостью ждавших избавления. «Кассандры» примолкли тогда. Оптимизм покоился на реальной почве: никогда еще до тех пор советская власть не была в более тяжелом положении и не испытывала большей тревоги.

Директива в стратегическом отношении предусматривала нанесение главного удара в кратчайших к центру направлениях — курском и воронежском, прикрываясь с запада движением по Днепру и к Десне. В психологическом — она ставила ребром перед известной частью колебавшегося казачества вопрос о выходе за пределы казачьих областей. В

сознании бойцов она должна была будить стремление к конечной — далекой, заветной цели. «Москва» была, конечно, символом. Все мечтали «идти на Москву», и всем давалась эта надежда.

Конец июня и первая половина июля были ознаменованы новыми успехами. На западе Добровольческая армия, отбросив 13-ю советскую армию и группу Беленковича, взяла Полтаву; в низовьях Днепра 3-й армейский корпус, при содействии Черноморского флота и английского крейсера «Карадог», занял Кинбурнскую косу и Очаков, укрепившись в низовьях Днепра; на востоке — Кавказская армия, совместно с правым флангом Донской, разбила вновь перешедшую в наступление 10-ю советскую армию и 15 июля овладела Камышином. Передовые части подходили на 80 верст к Саратову...

* * *

Военные операции протекали не без серьезных внутренних трений. Малочисленность наших сил и наша вопиющая бедность в технике и снабжении создавали положение вечного недохвата их на всех наших фронтах, во всех армиях. Выведение частей в резерв главнокомандующего наталкивалось поэтому на огромные трудности. Каждый командующий придавал преимущественное значение своему фронту. Каждая стратегическая переброска вызывала коллизию интересов, обиды и проволочки. Когда с Северного Кавказа мы двигали на царицынский фронт прочные кубанские части, генерал Эрдели доносил, что это «вызовет восстание горских народов и полный распад всего Терского войска...» Генерал Врангель требовал подкреплений из состава Добровольческой армии, «которая, по его словам, почти не встречая сопротивления, идет к Москве», а генерал Май-Маевский не без основания утверждал, что в таком случае ему придется бросить Екатеринослав или обнажить фланговое полтавское направление... Когда первые отряды танков, с трудом вырванные у Добровольческой армии, направлялись в Кавказскую, донское командование утверждало, что оборона большевиками Царицына «основывалась, главным образом, на огне артиллерии, но отнюдь не на оборонительных сооружениях», и добивалось всемерно поворота танков к себе, на миллеровское направление... Во время операции на Волге генерал Вран-

гель тянул 1-й Донской корпус к Камышину, генерал Сидорин — к Балашову, и оба доносили, что без этого корпуса выполнить своих задач не могут... И так далее, и так далее.

Но если сношения с Харьковом, Новочеркасском и Пятигорском имели характер обмена оперативными взглядами и не выходили из пределов дисциплины и подчиненности, иначе обстояло дело с Царицыном. Не проходило дня, чтобы от генерала Врангеля Ставка или я не получали телеграмм нервных, требовательных, резких, временами оскорбительных, имевших целью доказать превосходство его стратегических и тактических планов, намеренное невнимание к его армии и вину нашу в задержках и неудачах его операций. Особенное нерасположение, почти чувство ненависти, он питал к генералу Романовскому и не скрывал этого.

Эта систематическая внутренняя борьба создавала тягостную атмосферу и антагонизм. Настроение передавалось штабам, через них — в армию и общество. В борьбу вовлекалось и английское представительство, как я узнал впоследствии. Интрига получала лишнюю благодарную тему, а политическая оппозиция — признанное орудие.

Эти взаимоотношения между начальником и подчиненным, невозможные, конечно, в армиях нормального происхождения и состава, находили благодатную почву из-за утери преемства Верховной власти и военной традиции и имели прямое отражение на периферии.

Ввиду важного не только военного, но и политического значения, которое приобрели впоследствии наши взаимоотношения, я вынужден остановиться на них несколько подробнее.

В ряде телеграмм за май—август и в обширном письме-памфлете от 28 июля барон Врангель давал яркую апологию своей деятельности и выдвигал тяжелые обвинения главному командованию. Эта переписка вызывала недоумение своей слишком явной подтасовкой фактов, легко опровержимой. Только позднее стало ясным, что письмо предназначено было не столько для меня, сколько для распространения.

* * *

На Царицынский фронт переброшены были лучшие кубанские части с Северного Кавказа и из Добровольческой

армии. Это ослабило последнюю до такой степени, что дальнейшее удержание ею каменноугольного района генерал Врангель — тогдашний командующий этой армией — считал невозможным. Наступление на Царицын совершалось в обстановке действительно тяжелой — по опустошаемой большевиками местности, при наличии одной линии полуразрушенной железной дороги. Штаб главнокомандующего, Управления военное и военных сообщений напрягали все усилия, чтобы предоставить армии имевшиеся в их распоряжении скудные средства, и на упрек начальника штаба по поводу сыпавшихся градом несправедливых обвинений генерала Врангеля последний отвечал: «Относительно моих просьб о помощи в отношении моего тыла и в мыслях не имел упрекнуть Вас... Хотел лишь всемерно подчеркнуть, насколько настоящая операция зависит от помощи сверху...»[1] А со следующего дня нападки продолжались.

Барон Врангель требовал от Добровольческой армии пехоты, которая не могла быть выведена без срыва операции, усиления техническими средствами, которые не были готовы или не могли быть подвезены до починки разрушенных железнодорожных мостов. Мосты восстанавливались путейским ведомством с большой энергией под наблюдением штаба Кавказской армии, и срок готовности наибольшего из них[2] генерал Врангель исчислял не ранее 3 июня[3]. И хотя время и план операции предоставлены были всецело его усмотрению, 20 мая, когда наступление на Есауловском Аксае начало захлебываться, он телеграфировал: «Доколе не получу всего, что требуется, не двинусь вперед ни на один шаг, несмотря на все приказания...» 22-го, донося об успехе на Аксае, прибавлял: «Неиспользование полностью успеха считаю преступлением... Конница может делать чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может». Очевидно, неиспользование успехов Добровольческой и Донской армий в направлениях на Харьков, Полтаву, Воронеж преступлением не считалось. А в конце мая, рискнув все же атаковать Царицынскую позицию до подвоза

[1] Лента разговора 14 мая 1919 года.

[2] Через реку Сал.

[3] Лента разговора 14 мая 1919 года.

технических средств, сообщал: «Мои предсказания, к сожалению, сбылись: остатки армии разбились о подавляющую численность противника...»

В начале июня починены были мосты и немедленно вслед за сим подвезены к армии бронепоезда, танки, новые авиационные средства. Переброшена туда же из Ростова, в ущерб главному направлению, единственная дивизия Добровольческой армии, не втянутая в бой. Это была 7-я дивизия, бывшая бригада Тимановского, в конце апреля прибывшая из Румынии[1] без обоза и артиллерии и в течение мая с огромным напряжением и поспешностью восстанавливавшая свою организацию... Эти эпизоды были изложены в первом письме в таком виде: «Только тогда, после кровавого урока, армия получила помощь, и... Царицын пал...»

Ко времени взятия Царицына блестящие успехи на курском и киевском направлениях и общая обстановка на театре войны определили вполне наглядно ошибочность идеи генерала Врангеля — движения главными силами на Царицын. Теперь в его глазах волжское направление утратило первостепенное значение, и 18 июня барон Врангель и его начальник штаба генерал Юзефович подали мне записки с предложением образовать конную массу в кратчайших направлениях на Москву — воронежском и курском под его, генерала Врангеля, начальством. Для этой цели из Кавказской армии предлагалось взять $3^1/_2$ конные дивизии. Считая, что такое ослабление Кавказской армии угрожает потерей Царицына и выходом большевистских сил вторично в тыл Ростову и нашим сообщениям, я отклонил это предложение. Действительно, как увидим ниже, советское командование в июле сосредоточило в волжском направлении 50-тысячную группу, которая и обрушилась вслед за сим на Кавказскую армию и правый фланг Донской.

В Добровольческую армию возвращена была 7-я дивизия, и в целях организационных приказано было передать туда же 2-ю Терскую пластунскую бригаду[2], Осетинский конный

[1] После французской эвакуации Одессы.

[2] Тогда небоеспособную, по донесениям генерала Врангеля, сведенную в батальон — 200 штыков.

полк (60 шашек) и батальон[1], взамен чего, с согласия барона Врангеля, ему посланы были пять горских и инородческих полков. И вот, умалчивая о своем желании перебросить с царицынского на добровольческий фронт $3^1/_2$ лучшие дивизии, одновременно, впрочем, со своим уходом, перечисляя взятые части и не называя приданных, барон Врангель бросает в первом письме такую фразу: «В то время как Добровольческая армия, почти не встречая сопротивления в своем победном шествии к сердцу России[2], беспрерывно увеличивается потоком добровольно становящихся в ее ряды опомнившихся русских людей... Кавказская армия, истекая кровью в неравной борьбе и умирая от истощения, посылает на добровольческий фронт последние свои силы...»

В то время Добровольческая армия занимала фронт около 600 верст, а Кавказская — 40 верст.

Генерал Врангель обвинял Ставку в приостановке предложенной им Астраханской операции, могшей обеспечить ему водный транспорт[3]. Но не упоминал, что перед тем доносил мне[4]: «Начало Астраханской операции намечал лишь по выполнении (Камышинской) и по выходе на более короткий фронт Балашов—Волга».

Барон Врангель жаловался, что после взятия Царицына я отменил обещанный его переутомленным войскам отдых и приказал преследовать противника, но скрыл, что, «учитывая создавшуюся обстановку, (он сам) еще до получения (моего) приказания отдал распоряжение продолжать наступление»[5]. Кавказской армии не отпускались якобы и кредиты и «в то время, как там у Харькова, Екатеринослава и Полтавы войска одеты, обуты и сыты, в безводных Калмыцких степях их братья сражаются для счастья одной родины оборванные, босые, простоволосые и голодные...»

[1] Не был сформирован вовсе.

[2] В ближайшие дни ДА был нанесен сильный удар группой Селивачева, проникшей глубоко к нам в тыл к Купянску.

[3] Ввиду угрозы с севера крупных сил большевиков.

[4] Телеграмма от 8 июля № 01382.

[5] Телеграмма от 25 июня № 01068.

В каждом слове письма и телеграмм были желчь и яд, рассчитанные на чувства военной массы, и без того нервной, ревнивой к боевым соседям и плохо разбирающейся в обстановке. Как можно было изменить группировку сил, когда это определялось ясно относительной важностью направлений и событиями на театре войны?.. Кто мог переменить природные условия Задонья и Поволжья и условия комплектования в них армии «русскими» людьми?.. Какими средствами возможно было заставить Кубань слать в армию пополнения или принимать в свои полки «русских» (не казачьих) офицеров?..

На мой запрос по поводу жалоб генерала Врангеля на материальные недочеты начальник Военного управления генерал Лукомский, лицо близкое и дружественно расположенное к барону Врангелю, донес мне, что Кавказская армия требует довольствие на весьма большое число людей — в июле на 80 тысяч и в августе на 110 тысяч. Что «кредиты всегда переводились своевременно и жалоб от Кавказской армии на недостаточность кредитов не было»[1]. Что, наконец, царицынский район вовсе не так уже беден, ибо сам барон Врангель телеграфировал ему (почти в одно время с написанием мне письма. Телеграмма без даты[2]: «Район широко должен быть использован в продовольственном отношении. Данные силы и средства Кавказской армии недостаточны, чтобы в полной мере использовать богатства района. Необходимо спешно сформировать интендантский округ и приемную комиссию, которые взяли бы на себя эксплуатацию района и заготовки для всех армий...»

* * *

И, перечислив все несчастья Кавказской армии, барон Врангель назвал их виновников:

«До назначения меня командующим Кавказской армией я командовал теми войсками, которые ныне составляют армию Добровольческую, числящую в своих рядах бессмертных корниловцев, марковцев и дроздовцев... Борьба этих славных частей в каменноугольном районе — блестящая страница настоящей великой войны... Безмерными подвигами своими они

[1] Телеграмма от 8 августа № 5128/ОБ.
[2] Ранее 5 августа № 1447.

стяжали себе заслуженную славу... Но вместе со славой они приобрели любовь Вождя, связанного с ними первым, «Ледяным», походом. Эта любовь перенеслась и на армию, носящую название Добровольческой, — название, близкое Вашему сердцу, название, с которым связаны Ваши первые шаги на великом крестном пути... Заботы Ваши и Ваших ближайших помощников отданы полностью родным Вам частям, которым принадлежат Ваши сердца. Для других ничего не осталось...»

Было больно за тех, чью работу и страдания в каменноугольном районе недавно еще, командуя ими, барон Врангель считал «сверхчеловеческими», тех, которым «отданы были все заботы» и о которых начальник штаба генерал Юзефович писал тогда[1]:

«С правого берега (Дона) надо убрать ядро Добровольческой армии — корниловцев, марковцев, дроздовцев и другие части, составляющие душу нашего бытия. Надо их пополнить, сохранить этих великих страстотерпцев — босых, раздетых, вшивых, нищих, великих духом, на своих плечах потом и кровью закладывающих будущее нашей родины... Сохранить для будущего. Всему бывает предел... И эти бессмертные могут стать смертными».

Этим-то людям волею судьбы и в силу стратегической обстановки ни одного дня отдыха не было дано.

Впрочем, «быть может, я ошибаюсь, — писал барон Врангель. — Быть может, причина несчастья моей армии кроется в том, что я, а не другой, стою во главе ее... Благополучие части, к сожалению, сплошь и рядом зависит от того, насколько командир ее пользуется любовью старшего начальника...»

Все это писал барон Врангель «с открытым сердцем» и в то же время с содержанием памфлета знакомил старших военных начальников. Я не считал возможным выносить на улицу эту прискорбную тяжбу подчиненного с начальником и ответил письмом «в собственные руки», приведя ряд фактов в опровержение заведомых наветов. В отношении последнего тяжелого обвинения в лицеприятии я мог бы сказать многое: я выдвинул барона Врангеля на высшую ступень

[1] Письмо ко мне от 30 марта № 04471.

военной иерархии; я уговорил его в минуты потери душевного равновесия остаться на посту командующего[1]; я предоставил ему, по его желанию, царицынский фронт, который он считал наиболее победным; наконец, я терпел без меры, без конца пререкания, создававшие вокруг Ставки смутную и тяжелую атмосферу и подрывавшие в корне дисциплину. В этом я вижу свою большую вину перед армиями и историей.

На последний вопрос я ответил кратко: «Никто не вправе бросать мне обвинение в лицеприятии. Никакой любви ни мне не нужно, ни я не обязан питать. Есть долг, которым я руководствовался и руководствуюсь. Интрига и сплетня давно уже плетутся вокруг меня, но я им значения не придаю и лишь скорблю, когда они до меня доходят».

• • •

Барон Врангель писал, что, «как человек (мне) искренно преданный», он «высказал все, что наболело на душе, почитая бесчестным затаить камень за пазухой...» Но высказал он не все — камень таился и весьма увесистый. Непригодный совершенно в дни блестящих успехов армий Юга и при жизни адмирала Колчака, этот камень позже был брошен в водоворот разгулявшихся страстей, в трагический момент существования армии.

В широко распространявшемся генералом Врангелем втором, февральском, памфлете имелись, между прочим, такие строки:

«Моя армия освободила Северный Кавказ.

На совещании в Минеральных Водах 6 января 1919 года я предложил Вам перебросить ее на царицынское направление, дабы подать помощь адмиралу Колчаку, победоносно подходившему к Волге[2].

---

[1] Март 1919 года.

[2] Армии адмирала Колчака в начале января находились в тяжком положении; на юге потеряли Уральск и Оренбург; Западная армия удерживалась в Уральских проходах восточнее Уфы и была от Волги в 660 верстах; Сибирская — в 600 верстах. Наступление началось в *конце февраля*, и к Волге армии подходили к *середине апреля*.

Мое предложение было отвергнуто, и армия стала перебрасываться в Донецкий бассейн, где до мая вела борьбу под начальством генерала Юзефовича, заменившего меня во время болезни.

Предоставленный самому себе, адмирал Колчак был раздавлен и начал отход на Восток. Тщетно Кавказская армия пыталась подать помощь его войскам. Истомленная походом по безводной степи, обескровленная и слабо пополненная, она к тому же ослаблялась выделением все новых и новых частей для переброски их на фронт Добровольческой армии, войска которой, почти не встречая сопротивления, шли к Москве.

В середине июля мне, наконец, удалось связаться с уральцами[1] и с целью закрепления этой связи я отдал приказ 2-й Кубанской дивизии генерала Говорущенко переброситься в район Камышина на левый берег Волги[2]».

Далее в письме приводятся две телеграммы, которыми обменялись генералы Романовский и Врангель в середине июля. Переоценивая значение победы под Камышином, генерал Врангель 15-го решил перебросить на левый берег один из Кубанских корпусов[3]. Ввиду сосредоточения новых крупных сил противника в саратовском направлении[4], и опасаясь за свой правый фланг, генерал Сидорин запросил начальника

---

[1] С Уральским войском штаб главнокомандующего находился в постоянных сношениях с начала 1919 года. Начиная со 2 февраля, сначала через Баку, потом через Петровск на Гурьев мы посылали Уральскому войску деньги, орудия, ружья, патроны, броневики, обмундирование, — словом, все, что было возможно.

[2] Мелочь, но и здесь неправда: приказ о переброске Говорущенко отдан 15 июля, то есть за четыре дня до первой встречи наших разъездов с уральскими в районе озера Эльтон, которая произошла 19-го (донесение генерала Врангеля № 4057).

[3] Конная дивизия и пластунская бригада генерала Говорущенко силою в 3 тысячи. Отряд генерала Мамонтова для связи с уральцами был переброшен ранее по взятии нами Царицына, на основании моей директивы от 20 июня.

[4] Как увидим ниже, сюда советским командованием сосредоточивались тогда силы для главного удара.

моего штаба, чем вызвано такое «перенесение центра тяжести операции за Волгу». Начальник штаба обратился с этим вопросом к генералу Врангелю, указав на опасность ослабления его сил на главном направлении. Получил ответ 16 июля: «Переброска частей генерала Говорущенко... имела целью скорейшее соединение с войсками Верховного правителя... Отход уральцев на восток и намеченная передача донцам 1-го Донского корпуса, задержание Добровольческой армией пластунской бригады и приказание направить туда же терцев в корне меняют положение. При этих условиях не только перебросить что-либо на левый берег не могу, но и от всякой активности в северном направлении вынужден отказаться».

Положение за сутки (15—16) не только «в корне», но никак не изменилось. Армии известно было, что Донской корпус придается ей только на время Камышинской операции, приказание об отправке терцев получено было генералом Врангелем (и не исполнено) еще 20 июня, а эшелоны кубанских пластунов двинулись в Кавказскую армию в тот же день, 1 августа, когда выступили эшелоны терцев в Добровольческую.

Если к этому прибавить, что 20 июня генерал Врангель сам предлагал бросить направление вдоль Волги, оставив на нем лишь заслон, и увести на харьковское $3^1/_2$ дивизии, что в первом памфлете он, наоборот, жаловался на ослабление его сил переброской на левый берег Волги дивизии Мамонтова (директива моя от 20 июня за № 08878 гласила: «Теперь же направить отряды *для связи с Уральской армией* и для очищения нижнего плеса Волги»), что центр сибирских армий, *начав отступление в половине апреля*, к тому времени был уже на марше к Челябинску, что ближайшие части давно уже изолированной Уральской армии, имевшей к тому же задачу наступать не к Волге, а на север[1], отстояли от нас на 300 с лишним верст, весь эпизод приобретает колорит совершенно своеобразный.

Опасения моего и донского штабов оказались не напрасными: через неделю началось новое наступление крупных сил противника правым берегом Волги, потребовавшее участия там и 1-го Донского корпуса и Говорущенко и заставившее все же Кавказскую армию бросить Камышин и отойти к самому Царицыну...

[1] В связи с общим положением Восточного фронта Уральская армия имела задачу «взять г. Уральск, а затем действовать на Бузулук или Самару». Директива от 16 июня.

Но кто станет разбираться в таких стратегических деталях!.. И вопрос о «соединении с войсками Верховного правителя» стал именно тем камнем, который готовился задолго и был брошен открыто в февральском письме...

После признания мною власти адмирала Колчака все командующие армиями и отрядами от себя и от имени войск свидетельствовали о высоком нравственном удовлетворении свершившимся объединением. Кроме одного... Через две недели я получил письмо от барона Врангеля: по его словам, он молчал, считая исполнение приказа прямым своим долгом, как подчиненного. Но, прочитав в газетах обращения других командующих, спешит отозваться, чтобы я не подумал, что он иначе, чем они, относится к свершившемуся...

А впоследствии написал:

«Боевое счастье улыбалось Вам, росла слава, и с ней вместе стали расти в сердце Вашем честолюбивые мечты... Совпавший с целым рядом наших побед Ваш приказ о подчинении Вас адмиралу Колчаку доказывал, казалось, противное. Будущая история покажет, поскольку этот Ваш шаг был доброволен... Вы пишете, что подчиняетесь адмиралу Колчаку, «отдавая свою жизнь служению горячо любимой Родине» и «ставя превыше всего ее счастье...» Не жизнь приносите Вы в жертву Родине, а только власть, и неужели подчинение другому лицу для блага Родины есть жертва для честного сына ее... Эту жертву не в силах был уже принести возвестивший ее, упоенный новыми успехами честолюбец.

Войска адмирала Колчака, предательски оставленные нами, были разбиты...»[1]

Верховный правитель был тогда уже мертв и не мог сказать свое слово. По иронии судьбы и с ним при жизни произошел такой же эпизод.

[1] Письмо-памфлет (февраль 1920 года), широко распространявшееся на Юге России и за границей.

Осенью 1919 года я получил объемистый пакет из Нью-Йорка от Завойко[1], который, будучи в Омске, вел какую-то интригу против правительства и адмирала Колчака и был выслан за границу. В пакете оказались литографированные экземпляры «обличительного» письма Завойко, адресованного адмиралу Колчаку, и два памфлета. В общем конверте на мое имя заключалось еще несколько писем, в том числе адресованные барону Врангелю, Кривошеину и другим лицам. Я передал всю корреспонденцию комиссии, которая, вскрыв один из этих пакетов и убедившись, что там та же агитационная литература, все остальные сожгла. В одном из памфлетов Завойко, между прочим, говорилось:

«Чрезвычайно характерны все документы, связанные с эпохой продвижения сибирских войск вперед.

Во-первых, составление и проведение в жизнь явно преступного стратегического плана. Удар на Глазов, Вятку, как ближайшее направление на Москву, и оставление без внимания южного направления, единственного обеспечивающего успех и связывающего с силами генерала Деникина.

Во-вторых, не прикрываемое ничем в официальных документах открытое признание опасности занятия Москвы силами генерала Деникина ранее, чем войсками Сибирской армии. То есть, иначе говоря, стремление во что бы то ни стало к народному пирогу, к спасению России, исключительно во имя свое личное.

В-третьих, все отдельные приказы и распоряжения по армиям, выходившие из омской ставки и имевшие единственной целью уничтожение популярности отдельных вождей, созданной ими на фронте».

Памфлеты разносили по свету поистине страшное обвинение: как Колчак и Деникин предавали друг друга и Россию...

[1] Лицо, приобретшее печальную известность в корниловском выступлении.

ГЛАВА V

НАСТУПЛЕНИЕ ВСЮР ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1919 ГОДА. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ БОЛЬШЕВИКОВ НА ХАРЬКОВ И ЦАРИЦЫН. ВЗЯТИЕ НАМИ ВОРОНЕЖА, ОРЛА, КИЕВА, ОДЕССЫ

Стратегия внешней войны имеет свои законы — вечные, неизменные, одинаково присущие эпохам Цезаря, Ганнибала, Наполеона и минувшей мировой войне. Но условия войны гражданской, не опрокидывая самоценность незыблемых законов стратегии, нарушают их относительное значение, причем иногда в такой степени, что в глазах поверхностного наблюдателя двоится мысль: не то ложен закон, не то свершается тяжкое его нарушение...

Стратегия не допускает разброски сил и требует соразмерной им величины фронта. Мы же расходились на сотни верст — временами преднамеренно, временами вынужденно. Так, отданная 20 июня основная директива, ограничивавшая наше распространение берегами Днепра и Десны, через месяц была расширена. Генерал Шкуро взял Екатеринослав, что не было предусмотрено; мы были слишком слабы, чтобы надежно оборонять екатеринославский район, и могли выполнить эту задачу только наступлением, только удачной атакой и преследованием, которое завлекло наши части на 200 с лишним верст к Знаменке. Можно было или бросить весь занятый район на расправу большевикам или, наоборот, попытаться покончить со слабыми правобережными частями 12-й и 14-й армий большевиков и, таким образом захватив все нижнее течение Днепра, надежно обеспечить фланг Добровольческой армии, идущей на Киев и Курск.

И 30 июля в развитие основной директивы было приказано генералу Май-Маевскому удерживать Знаменку, а генералу Шиллингу (3-й армейский корпус) при содействии Черноморского флота «овладеть в кратчайший срок Херсоном и Николаевом и выйти на линию Вознесенск—Раздельная, овладев Одессой».

Мы занимали огромные пространства, потому что, только следуя на плечах противника, не давая ему опомниться, ус-

троиться, мы имели шансы сломить сопротивление превосходящих нас численно его сил. Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали ее хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армии. В подъеме, вызванном победами, в маневре и в инерции поступательного движения была наша сила. Истощенный многими мобилизациями Северный Кавказ уже не мог питать надлежаще армию, и только новые районы, новый прилив живой силы могли спасти ее организм от увядания.

Мы расширяли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а крепче. Добровольческая армия[1] к 5 мая в Донецком бассейне числила в своих рядах 9600 бойцов. Невзирая на потери, понесенные в боях и от болезней, к 20 июня (Харьков) боевой состав армии был 26 тысяч, к 20 июля (Екатеринослав—Полтава) — 40 тысяч. Донская армия, сведенная к 5 мая до 15 тысяч, к 20 июня насчитывала 28 тысяч, к 20 июля — 45 тысяч. Для наступления в киевском направлении в конце июля от Добровольческой армии отделилась группа всего в 6 тысяч. В начале июня с Акманайских позиций начал наступление 3-й армейский корпус силою около 4 тысяч, который, пополняясь по пути, прошел весь Крым, вышел на Херсон и Одессу и составил группу войск Новороссийской области под начальством генерала Шиллинга, к 20 сентября увеличившуюся до 15 тысяч.

Состав Вооруженных сил Юга с мая по октябрь возрастал последовательно от 64 до 150 тысяч[2]. Таков был результат нашего широкого наступления. Только при таком условии мы имели возможность продолжать борьбу. Иначе мы были бы задушены огромным превосходством сил противника, обладавшего неисчерпаемыми человеческими ресурсами. Наконец, движение к Киеву приводило нас к соединению с противобольшевистской польской армией, что значительно сокращало фронт и должно было освободить

[1] Бывшая Кавказская Добровольческая армия.

[2] Из этого состава около 20 тысяч оставались на Черноморском побережье (против Грузии) и в Терско-Дагестанской области (против горцев, Азербайджана и Астрахани).

большую часть войск Киевской области и Новороссии для переброски их на гомельское и брянское направления.

Теория говорит о закреплении рубежей, практика гражданской войны с ее огромными расстояниями и фронтами, с ее исключительным преобладанием психологии не только в армиях, но и в населении пораженных войной областей свидетельствует о непреодолимой трудности и зачастую полной негодности метода позиционной войны. Разлив Донца задержал наступление 8-й и 9-й советских армий в феврале, Царицынская укрепленная позиция остановила движение генерала Мамонтова и первый налет генерала Врангеля. Но, снабженный некоторой техникой, генерал Врангель в два дня покончил с «Красным Верденом». Добровольческая армия без труда справилась с «крепостными зонами» Харькова и Екатеринослава. Шкуро и Бредов форсировали широкий Днепр. Разбухшая Кубань не остановила русские армии, отступавшие к Черному морю, а идеальный, исключительный по конфигурации и природным свойствам, «неприступный» оборонительный рубеж крымских перешейков оказался паутиной в трагические дни осени 1920 года...

Освобождение нами огромных областей должно было вызвать народный подъем, восстание всех элементов, враждебных советской власти, не только усиление рядов, но и моральное укрепление белых армий. Вопрос заключался лишь в том, изжит ли в достаточной степени народными массами большевизм и сильна ли воля к его преодолению. Пойдет ли народ с нами или по-прежнему останется инертным и пассивным между двумя набегающими волнами, между двумя смертельно враждебными станами.

В силу целого ряда сложных причин, и стихийных и от нас зависевших, жизнь дала ответ сначала нерешительный, потом отрицательный.

* * *

Советское командование после весенних поражений напрягало чрезвычайные усилия, чтобы восстановить свой Южный фронт. Реорганизовались бывшие Украинские армии на началах регулярных. Смещен был целый ряд неудачных начальников: главнокомандующего вооруженными силами советской России Вацетиса сменил полковник Каменев —

бывший командующий Восточным фронтом; Гиттиса сменил генерал Егорьев. Революционные трибуналы, заградительные и карательные отряды применяли жестокий террор для внедрения в войска дисциплины; тысячи новых агитаторов наводнили фронт. Новые мобилизации 18—45-летних возрастов усилили приток пополнений. Наконец, на Южный фронт было переброшено $6^{1}/_{2}$ дивизий с Восточного и 3 дивизии с Западного фронтов. Этими мерами в середине июля советскому командованию удалось довести состав своих южных армий до 180 тысяч при 700 орудиях[1]. И 16 июля Бронштейн писал в приказе: «Вся страна заботится теперь об Южном фронте. Нужно, чтобы командиры, комиссары, а вслед за ними красноармейцы поняли, что уже сейчас на Южном фронте мы сильнее Деникина. Воинские эшелоны и маршрутные поезда снабжения непрерывным потоком идут на юг. Теперь все это... нужно вдохновить идеей решительного наступления...»

План этого наступления, по словам Бронштейна, заключался в том, «чтобы нанести контрудар противнику в двух важнейших направлениях: 1) с фронта Балашов—Камышин на нижний Дон и 2) с Курско-Воронежского участка на Харьков. Первое направление было признано решающим». На этих направлениях были сосредоточены ударные группы: на первом — Шорина из 10-й и 9-й армий, силою в 50 тысяч, на втором — генерала Селивачева — из 8-й, 13-й и левобережной части 14-й армии, силою до 40 тысяч. Общее наступление было назначено на 1—3 августа.

• • •

1 августа 10-я армия Клюева[2] с многочисленной конницей Буденного на западном крыле, поддержанная Волжской флотилией в составе до 20 вооруженных судов, обрушилась на Кавказскую армию. Ведя непрерывные тяжкие бои, под напором сильнейшего противника в течение трех недель армия вынуждена была отходить на юг, отдав Камышин, и к 23-му дошла до самого Царицына. В этот день началось решительное сражение, в котором, атакуя с севера и с нижней Волги от Черного Яра, противник прорвал уже было укрепленную позицию и доходил до орудийного завода. Но введением в бой последних резервов и атаками кубанской конницы генерал Врангель нанес противнику жестокий удар, отбросив его в обоих направлениях. Атаки Клюева, повторенные в последующие дни, становились все слабее и постепенно замерли.

[1] По советским данным, на линии Сосница—Киев—Одесса расположена была 12-я армия красных силою в 23 тысячи, входившая в состав Западного фронта.

[2] Полковник Егоров был назначен командующим 14-й армией.

Эти тяжелые и славные бои — одна из лучших страниц боевой деятельности Кавказской армии, ее командующего, генералов Улагая, Топоркова, Писарева, трижды раненного генерала Бабиева, получившего *четырнадцатую* рану генерала Павличенко и многих других.

Одновременно перейдя в наступление от Балашова против правого крыла Донской армии, противник оттеснил донцов за линию Хопра и Дона. Большевики переправились уже во многих местах на западный берег, но контрударом своим, в особенности удачным в группе Коновалова, донцы отбрасывают их за Хопер, наносят большой урон и вновь выходят на левый берег реки. Однако в связи с неудачами на лискинском направлении правая группа Донской армии под угрозой обхода обоих флангов в середине сентября вынуждена отступить за Дон на всем течении его от Павловска до устья Хопра. Оттеснив донцов, камышинская группа Клюева, усиленная еще за счет Восточного фронта, в конце сентября вновь атаковала Царицын и после 9-дневного боя контратакой войск генерала Врангеля была опрокинута и в беспорядке отошла верст на 70 на север. В свою очередь донцы перешли в наступление и в первой половине октября отбросили балашовскую группу большевиков за Хопер, выйдя вновь к железнодорожной линии Поворино—Царицын.

В начале октября после двухмесячного сражения правое крыло Вооруженных сил Юга удержало Царицын и линию Хопра; ударная группа Шорина, ослабленная огромными потерями, перешла к пассивному образу действий и, соответственно новому плану советского командования, начала передвижение части сил к западу.

• • •

Ударная большевистская группа генерала Селивачева 3 августа должна была нанести удар по Харькову комбинирован-

ным наступлением частей 14-й и 13-й армий с северо-запада на Готню и главными силами[1] — с северо-востока на Купянск. Но за эти три дня до начала операции большевиков генерал Кутепов перешел в наступление 1-м армейским корпусом в северо-западном направлении, разрезал 13-ю и 14-ю армии, разбил их и отбросил первую к Курску, вторую — за Ворожбу. Оставив в этих направлениях заслоны, корпус сосредоточился частью сил к Белгороду. Между тем воронежская группа большевиков, смяв левый фланг донцов, ударила в стык между Добровольческой и Донской армиями и, наступая затем почти без сопротивления, заняла Волчанск, Купянск и Валуйки, углубившись к 14 августа в тыл нашего расположения на 100 верст и подойдя передовыми частями своими верст на 40 к Харькову. Создавалась весьма серьезная угроза тылу армии.

Генерал Май-Маевский, перегруппировав войска, ответил ударом добровольцев со стороны Белгорода и корпуса Шкуро с юго-запада. В течение второй половины августа под нашими ударами, оставляя пленных и орудия, воронежская группа Селивачева уходила на северо-восток. Окончательное ее окружение не состоялось только из-за пассивности левого крыла (3-го корпуса) Донской армии. К концу августа Добровольческая армия, вернув прежнюю линию, наступала неудержимо к Воронежу, Курску, к Десне... Донской армии указано было, перейдя к обороне на всем своем фронте, обратить исключительное внимание на левый фланг, повернуть к Воронежу и бывший в набеге конный корпус генерала Мамонтова, чтобы совместными действиями с Добровольческой армией разбить расстроенную уже 8-ю советскую армию и овладеть Лисками и Воронежем. Это сосредоточение вне Донской области, необходимое стратегически и вызывавшее ослабление чисто донского фронта, с перспективой оставления части территории на поток и разграбление большевикам, вызывало всегда большие психологические трудности. Левый фланг донцов был слаб, доставляя не раз затруднения правому флангу Добровольческой армии.

В конце июля генерал Сидорин собрал между Таловой и Новохоперском конную группу около 7—8 тысяч сабель генерала Мамонтова, которой дана была задача, прорвав фронт противника, «овладеть железнодорожным узлом Козловом для расстройства управления и тыла Южного большевистского фронта». Позднее, ввиду пассивности левого крыла армии, направление было изменено на Воронеж, чтобы выходом на северо-запад, в тыл лискинской группе противника, содействовать ее поражению.

[1] Частями 13-й и 8-й армий.

Мамонтов под предлогом дождей, вызвавших распутицу, приказания не исполнил и, пройдя с боем через фронт, пошел на север, совершая набег в глубокий тыл противника — набег, доставивший ему громкую славу, звание народного героя и... служебный иммунитет.

5 августа он взял Тамбов, затем, последовательно занимая Козлов, Лебедин, Елец, Грязи, Касторную, 29-го очутился в Воронеже. По всему пути генерал Мамонтов уничтожал склады и громадные запасы противника, разрушал железнодорожные мосты, распустил несколько десятков тысяч мобилизованных, вывел целую бригаду крестьян-добровольцев, нарушил связь, снабжение и вызвал среди большевиков сильнейшую панику.

Но, обремененный огромным количеством благоприобретенного имущества[1], корпус не мог уже развить энергичную боевую деятельность. Вместо движения на Лиски и потом по тылам 8-й и 9-й советских армий, куда требовали его боевая обстановка и директива, Мамонтов пошел на запад, переправился через Дон и, следуя по линии наименьшего сопротивления, правым берегом его вышел 6 сентября к Короткову на соединение с корпусом генерала Шкуро, наступавшим с юга на Воронеж. Открылись свободные пути и потянулись в донские станицы многоверстные обозы, а с ними вместе и тысячи бойцов. Из 7 тысяч сабель в корпусе осталось едва 2 тысячи. После ряда неудавшихся попыток ослабленный корпус только 23-го после взятия генералом Шкуро Воронежа двинулся в ближний тыл Лисок и тем содействовал левому крылу донцов в овладении этим важным железнодорожным узлом.

Это было единственное следствие набега, отразившееся *непосредственно* на положении фронта.

[1] Апологеты генерала Мамонтова исчисляли обоз корпуса протяжением 60 верст.

Генерал Мамонтов поехал на отдых в Новочеркасск и Ростов, где встречен был восторженными овациями. Ряды корпуса поредели окончательно.

Будем справедливы: Мамонтов сделал большое дело, и недаром набег его вызвал целую большевистскую приказную литературу, отмеченную неприкрытым страхом и истерическими выпадами. Сам Бронштейн, находившийся тогда в районе набега и с необычайной поспешностью отбывший в Москву, писал по дороге: «Белогвардейская конница прорвалась в тыл нашим войскам и несет с собою расстройство, испуг и опустошение пределов Тамбовской губернии...» Взывал тоном растопчинских афиш: «На облаву, рабочие, крестьяне... Ату белых! Смерть живорезам!..» И в конце концов смилостивился над «казаками, обманутыми Мамонтовым», приглашая их сдаться: «Вы в стальном кольце. Вас ждет бесславная гибель. Но в последнюю минуту рабоче-крестьянское правительство готово протянуть вам руку примирения...»

Но Мамонтов мог сделать несравненно больше: использовав исключительно благоприятную обстановку нахождения в тылу большевиков конной массы и сохранив от развала свой корпус, искать не добычи, а разгрома живой силы противника, что, несомненно, вызвало бы новый крупный перелом в ходе операции.

Наступление Добровольческой армии между тем шло с огромным порывом. Оно прикрывалось надежно с запада движением группы генерала Юзефовича на Киев и 3-го (отдельного) корпуса генерала Шиллинга на Одессу. Наступление это не было приостановлено и в те трудные дни начала августа, когда создалась большая и непосредственная угроза Харькову.

5-й кавалерийский корпус захватил Конотоп и Бахмут, прервав прямую связь Киева с Москвой, в то время как 2-й армейский корпус, двигаясь обоими берегами Днепра и опрокидывая 14-ю армию противника, шел к Киеву и Белой Церкви. И 17 августа войска генерала Бредова форсировали Днепр и вошли в Киев одновременно... с галичанами Петлюры, наступавшими с юга.

Так же успешно продвигались войска генерала Шиллинга. Овладев в начале августа при деятельной помощи возрождавшегося Черноморского флота Херсоном и Николаевом,

корпус продолжал движение на Вознесенск и Раздельную. 12-я советская армия, стоявшая на фронте Киев—Одесса—Херсон, была отвлечена к востоку, в Одессе царила паника. В ночь на 10-е наша эскадра капитана 1-го ранга Остелецкого совместно с судами английского флота появилась внезапно у Сухого Лимана и высадила десант[1], который, соединившись с восставшими одесскими офицерскими организациями, при могучей поддержке судовой артиллерии захватил город, прервав эвакуацию его[2].

В дальнейшем войска Киевской области и Новороссии наступлением с севера, востока и юга постепенно занимали территорию между Днепром и Черным морем. Остатки правобережной группы 14-й советской армии ушли за Днепр, части 12-й армии пробились к Фастову.

В то время, когда происходили эти события, главное ядро Добровольческой армии генерала Май-Маевского, нанося тяжелые удары советским армиям, двигалось на Москву. 7 сентября 1-й армейский корпус генерала Кутепова, разбив наголову двенадцать советских полков, взял Курск... 17-го генерал Шкуро, переправившись неожиданно через Дон, захватил Воронеж... 30-го войска 1-го корпуса овладели Орлом и продолжали движение к Туле... В начале октября 5-й кавалерийский корпус генерала Юзефовича взял Новгород-Северск...

На всем фронте войска Добровольческой армии захватывали десятки тысяч пленных и огромные трофеи.

Удар, нанесенный советским командованием правой группой Южного фронта, завершился ее поражением.

* * *

Чрезвычайно интересным является освещение, данное этому периоду кампании Бронштейном, приоткрывающее завесу над советской стратегией. Ниже я привожу документ

---

[1] 340 человек формировавшегося еще Сводно-драгунского полка.

[2] Интересно донесение «Азбуки» из советской Одессы: «22 июля в Одессе получены от советского агента, работающего в штабе генерала Деникина, сведения о том, что 11 июля в Новороссийске будет посажен десант из 30 транспортов. Десант сопровождают английский дредноут и несколько крейсеров и миноносцев...».

из «секретного архива», относящийся к сентябрю 1919 года и опубликованный в 1924 году[1]. Бронштейн писал:

«Априорно выработанный план операций на Южном фронте оказался безусловно ложным. Неудачи на Южном фронте объясняются, в первую голову, ложностью основного плана.

1. В основе плана лежало отождествление деникинской белогвардейской опасности с донским и кубанским казачеством. Это отождествление имело больший или меньший смысл, пока центром Деникина был Екатеринодар, а пределом его успехов — восточная граница Донецкого бассейна. Чем дальше, тем больше отождествление становилось неверным. Задачи Деникина наступательные, задачи донского и кубанского казачеств — оборонительные в пределах их областей. С продвижением Деникина в донецкий район и на Украину элементарные соображения подсказывали необходимость отрезать его выдвинувшиеся на запад силы от их первоначальной базы — казачества. Удар на Харьков—Таганрог или Харьков—Бердянск представлял собою наиболее короткое направление по территории, населенной не казачеством, а рабочими и крестьянами, и обещал наибольший успех с наименьшей затратой сил.

2. Казачество в значительной своей части оставалось бы враждебным нам, и ликвидация специально казаческой контрреволюции на Дону и Кубани оставалась бы самостоятельной задачей. При всей своей трудности — это местная задача, и мы могли бы и имели бы полную возможность разрешить ее во вторую очередь.

Дон как база истощен. Большое число казаков погибло в непрерывных боях. Что касается Кубани, то она в оппозиции к Деникину. Нашим прямым наступлением на Кубань мы сближаем кубанцев с деникинцами. Удар на Харьков—Таганрог, который отрезал бы деникинские украинские войска от Кубани, дал бы временную опору кубанским самостийникам, создал бы временное замирение Кубани в ожидании развязки нашей борьбы с деникинцами на Донце и на Украине.

[1] *Троцкий Л.* «Как вооружалась революция».

3. Прямое наступление по линии наибольшего сопротивления оказалось, как и было предсказано, целиком на руку Деникину. Казачество Вешенской, Мигулинской, Казанской станиц поголовно мобилизовалось, поклялось не сдаваться. Таким образом, самим направлением нашего движения мы доставили Деникину значительное количество бойцов.

4. Для поверки оперативного плана нелишне посмотреть на его результаты. Южный фронт получил такие силы, какие никогда не имел ни один из фронтов: к моменту наступления на Южном фронте имелось не менее 180 тысяч штыков и сабель, соответственное количество орудий и пулеметов. В результате полуторамесячных боев мы имеем жалкое топтание на месте в восточной половине Южного фронта и тяжкое отступление, гибель частей, расстройство организации в западной половине. Другими словами, наше положение на Южном фронте сейчас хуже, чем было в тот момент, когда командование приступало к выполнению своего априорного плана. Было бы ребячеством закрывать на это глаза.

5. Попытки свалить ответственность на состояние армий Южного фронта, организацию аппарата и прочее являются в корне несостоятельными. Армии Южного ни в каком отношении не хуже армий Восточного фронта. 8-я армия вполне равняется 5-й. Более слабая 13-я армия, во всяком случае, не ниже 4-й. 9-я армия стоит примерно на том же уровне, что и 3-я. В значительной мере эти армии строились одними и теми же работниками, и для всякого, кто наблюдал эти армии в периоды их удач, как и неудач, чрезвычайной фальшью звучат речи о каких-то организационных и боевых различиях Южного и Восточного фронтов.

6. Верно лишь то, что Деникин несравненно более серьезный враг, чем Колчак. Дивизии, перебрасывавшиеся с Восточного фронта на Южный, отнюдь не оказывались выше дивизий Южного фронта. Это относится целиком к командному составу. Наоборот, в первый период дивизии Восточного фронта оказываются по общему правилу слабее, пока не приобретают сноровки в новых условиях против нового врага.

7. Но если враг на юге сильнее, то и мы были несравненно сильнее, чем были когда-либо на каком-либо из фронтов. Поэтому причины неудачи необходимо искать целиком в опе-

ративном плане. Мы пошли по линии наибольшего сопротивления, то есть части средней устойчивости направили по местности, населенной сплошь казачеством, которое не наступает, а обороняет свои станицы и очаги. Атмосфера «народной донской» войны оказывает расслабляющее влияние на наши части. В этих условиях деникинские танки, умелое маневрирование и прочее оказываются в его руках колоссальным преимуществом.

8. В той области, где меньшие силы с нашей стороны могли дать несравненно большие результаты — на Донце и на Украине, мы предоставили Деникину полную свободу действий и, таким образом, дали ему возможность приобрести колоссальный резервуар новых формирований.

9. Все разговоры о том, что Деникин на Украине ничего не формирует, являются пустяками. Если на Украине мало политически воспитанных пролетариев, что затрудняло наши формирования, то на Украине очень много офицеров, помещичьих, буржуазных сынков и озверелого кулачья. Таким образом, в то время как мы напирали грудью на Дон, увеличивая казачий барьер перед собой, Деникин почти без помех занимается на всей территории новыми, особенно кавалерийскими, формированиями.

10. Ошибочность плана сейчас настолько очевидна, что возникает вопрос: как вообще этот план мог возникнуть?

Возникновение его имеет историческое объяснение. Когда Колчак угрожал Волге, главная опасность состояла в соединении Деникина с Колчаком. В письме к Колчаку Деникин назначал свидание в Саратове. Отсюда задача, выдвинутая его старым командованием, — создать на царицынско-саратовском плесе крепкий кулак[1].

Восточный фронт считал невозможным в этот период передавать свои части. Тогдашнее командование обвиняло Восточный фронт в задержке. Последнее напирало на то, что проволочка не будет слишком долгой и опасной, ибо части будут поданы непосредственно на левый приволжский фланг Южного фронта.

[1] Напомним, что, когда принят был этот план, сибирские армии отошли уже за линию Уральского хребта.

Отголоски этих старых планов плюс второстепенные соображения об экономии времени на переброску частей с Восточного фронта привели к созданию особой группы Шорина. Все остальные соображения[1] были притянуты за волосы уже постфактум, когда несообразность априорного плана стала обнаруживаться все резче.

11. Теперь, чтобы скрасить действительные результаты, выдвинута новая гипотеза: если бы главные силы не были сосредоточены на царицынско-новочеркасском направлении, то Деникин был бы в Саратове, и Сызранский мост был бы взорван. Все эти воображаемые страхи должны служить нам компенсацией за реальную опасность, угрожающую Орлу и Туле после потери нами Курска. При этом игнорируется, что донскому казачеству было бы так же трудно наступать на Саратов, как нам сейчас на Новочеркасск».

• • •

В начале октября Вооруженные силы Юга России занимали фронт параллельно нижнему плесу Волги до Царицына и далее по линии (примерно) Воронеж—Орел—Чернигов—Киев—Одесса. Этот фронт прикрывал освобожденный от советской власти район, заключавший 16—18 губерний и областей, пространством в 810 тысяч квадратных верст с населением в 42 миллиона.

Положение советской России в глазах Совета народных комиссаров представлялось критическим. Советские правители, не исключая Ленина, не только в своем замкнутом кругу, но и в открытых, многолюдных собраниях не могли скрыть чисто животного страха перед приближением южных армий... «Экономическая жизнь», орган Высшего совета народного хозяйства, осенью 1919 года писала: «Как это ни тяжело, но в настоящее время необходимо отказаться от дальнейшего продвижения в Сибири, а все силы и средства мобилизовать для того, *чтобы защитить само существование* советской республики от деникинской армии...»

[1] О решающем ударе по донской, кубанской базе и прочим.

ГЛАВА VI

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ НАСЛЕДИЕ В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ. ПОВСТАНЧЕСТВО И МАХНОВЩИНА

Армии Юга, двигаясь вперед, шаг за шагом освобождали огромные территории России, встречая повсюду более или менее однообразные следы разрушения.

Первою на московском пути была освобождена *Харьковская область.* «Особая комиссия», обследовав всесторонне тяжесть и последствия шестимесячного большевистского владычества в ней, нарисовала нам картину поистине тяжелого наследия.

Жестокое гонение на церковь, глумление над служителями ее; разрушение многих храмов, с кощунственным поруганием святынь, с обращением дома молитвы в увеселительное заведение... Покровский монастырь был обращен в больницу для сифилитиков-красноармейцев. Такие сцены, как в Спасовом скиту, были обычными развлечениями чиновной красноармейщины: «Забравшись в храм под предводительством Дыбенки, красноармейцы вместе с приехавшими с ними любовницами ходили по храму в шапках, курили, ругали скверно-матерно Иисуса Христа и Матерь Божию, похитили антиминс, занавес от Царских врат, разорвав его на части, церковные одежды, подризники, платки для утирания губ причащающихся, опрокинули Престол, пронзили штыком икону Спасителя. После ухода бесчинствовавшего отряда в одном из притворов храма были обнаружены экскременты»[1].

В Лубнах перед своим уходом большевики расстреляли поголовно монахов Спасо-Мгарского монастыря... В одной Харьковской губернии было замучено 70 священнослужителей во главе с настоятелем...

Вся жизнь церковная взята была под сугубый надзор безверной или иноверной власти. «Крестить, венчать и погребать без предварительного разрешения товарищей Когана и Ругтайзера, заведующих соответственными отделами Харьковского исполкома, было нельзя...» Интересно, что религиозные преследования относились только к православным: ни инославные храмы, ни еврейские синагоги в то время нисколько не пострадали...

[1] «Особая комиссия». Харьков. С. 15.

Большевики испакостили школу: ввели в состав администрации коллегию преподавателей, учеников и служителей, возглавленную невежественными и самовластными мальчишками-комиссарами; наполнили ее атмосферой сыска, доноса, провокации; разделили науки на «буржуазные» и «пролетарские»; упразднили первые и, не успев завести вторых, 11 июня декретом «Сквуза»[1] закрыли все высшие учебные заведения Харькова...

Большевистская власть упразднила законы и суд. Одни судебные деятели были казнены, другие уведены в качестве заложников (67 лиц). Достойно внимания, что из числа уцелевших чинов харьковской магистратуры и прокуратуры ни один, невзирая на угрозы и преследования, не поступил в советские судебные учреждения... На месте старых установлений заведены были «трибуналы» и «народные суды», подчиненные всецело губернскому исполнительному комитету. Глубоко невежественные судьи этих учреждений не были связаны «никакими ограничениями в отношении способов открытия истины и меры наказания, руководствуясь... интересами социалистической революции и социалистическим правосознанием...»[2]. Практика этих судов, как свидетельствовали оставленные ими дела, была полным издевательством над правом и человеческой совестью или пошлым анекдотом.

Большевики упразднили городское самоуправление и передали дело в руки «Отгорхоза»[3]. Из-за неопытности, хищничества, невероятного развития штатов (в больницах, напри-

[1] «Советская комиссия высших учебных заведений» под председательством Майера.

[2] Из временного положения от 14 февраля 1919 года, изданного Совнаркомом Украины.

[3] «Отдел городского хозяйства при Совете рабочих и солдатских депутатов». Состав его в Харькове: 1) трамвайный вагоновожатый, 2) московский рабочий, 3) харьковский рабочий и 4) бухгалтерский писарь.

мер, наблюдалось нередко превышение числа служащих над числом больных), тунеядства и введения 6-часового рабочего дня, городское хозяйство было разрушено и разграблено, а дефицит в Харькове доведен до 13 миллионов.

Земское дело перешло к исполкомам и совнархозам — комиссиям, составленным преимущественно из городских рабочих-коммунистов. В результате:

«Земские больницы, школы были исковерканы, почтовые станции уничтожены, заводские конюшни опустошены, земские племенные рассадники скотоводства расхищены, склады и прокатные пункты земледельческих орудий разграблены, телефонная сеть разрушена... мертвый инвентарь имений роздан был «комбедами» по рукам, запасные части растеряны и многие машины оказались непригодными... Если лошади и скот не расхищались, то они гибли из-за реквизиции фуража, а реквизировался он членами продовольственных комитетов и совнархозов, военной властью и чрезвычайкой... Хозяйничанием большевиков уничтожены почти окончательно четыре государственных конных завода»[1].

Комиссия пришла к заключению:

«Пять месяцев власти большевиков и земскому делу, и сельскому хозяйству Харьковской губернии обошлись в сотни миллионов рублей и отодвинули культуру на десятки лет назад».

Все стороны финансово-экономической жизни были потрясены до основания. В этой области политика большевиков на Украине, усвоив многие черты немецкой[2], проявила явную тенденцию наводнить край бесценными бумажными знаками, выкачав из него все ценности — товары, продукты, сырье. По поводу разрушения торгового аппарата орган 1-го Всеукраинского съезда профессиональных союзов, собравшегося 25 марта в Харькове, говорил:

---

[1] Лимаревский, Ново-Александровский, Стрелецкий и Беркульский.

[2] Во время оккупации.

«Нищий и разрушающийся город пытается в процессе потребления накопленных благ «перераспределять» их и тешится, стараясь облечь это хищническое потребление в форму национализации и социализации. Производство... разваливается. Крестьянство за «керенки» ничего не дает, и в стремлении наладить товарообмен с деревней и выжать из производства побольше изделий предприниматель-государство стало на путь утонченной эксплуатации рабочей силы»[1].

Такой же хищнический характер носила и продовольственная политика. Декретом от 10 декабря 1918 года было разрешено всем организациям и жителям северных губерний закупать на Украине продукты «по среднерыночным ценам». На деревню обрушился поток мешочников, 17 заготовительных организаций Великороссии, кроме того Губпродком и три «Чека». Конкуренция, злоупотребления, насилия, отсутствие какого-либо плана привели к неимоверному вздорожанию цен[2], исчезновению продуктов с рынка и голоду в этой российской житнице. Харьковская губерния вместо предположенного по разверстке количества хлеба 6850 тысяч дала всего 129 тысяч пудов. Подобные же результаты получились по всей Украине.

Советская власть приняла меры чрезвычайные: на деревню за хлебом двинуты были воинские продовольственные отряды[3] и начали добывать его с боем; одновременно, декретом от 24 апреля, в южные губернии приказано было переселить наиболее нуждающееся рабоче-крестьянское население севера. Наконец, ввиду полной неудачи всех мероприятий и назревшей катастрофы, совет комиссаров объявил продовольственную диктатуру незадолго до прихода в район добровольцев. В результате — в деревне перманентные бои, требовавшие иногда подкреплений карательных отрядов от войск, и в городе голод. Буржуазия была предоставлена са-

---

[1] «Голос», статья Бару.

[2] Колебание цены полного пайка в Харькове: в декабре к приходу большевиков — 7 руб. 75 коп.; в июне — 109 руб. 25 коп.; после прихода добровольцев понижается и к августу составляет 33 руб. 50 коп.

[3] В Харьковскую губернию — 49.

мой себе, а наиболее привилегированная часть населения — пролетариат Донецкого бассейна — горько жаловался Наркомпроду: «Большинство рабочих рудников и заводов голодает и лишь в некоторых местах пользуется полуфунтовым хлебным пайком... Надвигающаяся черная туча не только захлестнет рабочую корпорацию, но и угасит революционный дух рабочих».

Такое положение установилось повсеместно. Коммунистические верхи гальванизировали еще политические идеи борьбы, но в их призывах все чаще и настойчивее звучали мотивы иного порядка — экономические, более понятные, более соответствовавшие массовой психологии: голодный север шел войной на сытый юг, и юг отстаивал цепко, с огромным напряжением, свое благополучие.

Заводы и фабрики обратились вообще в кладбища — без кредита, без сырья и с огромной задолженностью; вдобавок перед приходом добровольцев они были частью эвакуированы, частью разграблены. Большинство заводов стояло, а рабочие их получали солидную заработную плату от совнархоза, за которую, однако... нельзя было достать хлеба. Добыча угля Донецкого бассейна, составлявшая в 1916 году 148 миллионов пудов (в месяц), после первого захвата большевиками[1] понизилась до 27 миллионов и, поднявшись вновь за время немецкой оккупации Украины до 48 миллионов, нисходила к концу второго захвата[2] до 16—17 миллионов пудов (после занятия района добровольцами добыча к октябрю давала 42 миллиона). Южные и Северодонецкие дороги, по сравнению с 1916 годом, за пять месяцев большевистского управления дали на 91,33% процента уменьшение количества перевозок, на 108,4% процента увеличение расхода угля и общий дефицит 110 миллионов рублей.

Повсюду нищета и разорение.

Наконец, эти могилы мертвых и живых — каторжная тюрьма, чрезвычайка и концентрационный лагерь, где в невыносимых мучениях гибли тысячи жертв, где люди-звери Саенко, Бондаренко, Иванович и многие другие били, пытали, убивали и так называемых «врагов народа», и сам неподдельный, безвинный «народ»!

[1] Январь—май 1919.

[2] Декабрь 1918 — июнь 1919.

«Сегодня расстрелял восемьдесят пять человек. Как жить приятно и легко!..» Такими внутренними эмоциями своими делился с очередной партией обреченных жертв знаменитый садист Саенко. По ремеслу столяр, потом последовательно городовой, военный дезертир, милиционер и, наконец, почетный палач советского застенка.

Ему вторил другой палач — беглый каторжник Иванович: «Бывало, раньше совесть во мне заговорит, да теперь прошло: научил товарищ стакан крови человеческой выпить: выпил — сердце каменным стало».

В руки подобных людей была отдана судьба населения большого культурного университетского города.

• • •

Я остановился на положении при большевиках харьковского района, важнейшего театра наших военных действий, на котором развертывались операции Добровольческой армии. Но, за малыми различиями в ту или другую сторону, в таком же положении находились Киевщина и Новороссия. Менее других пострадал Крым, где вторичный захват власти большевиками длился всего два месяца (апрель—май). И страшнее всего, убийственнее всего было состояние царицынского района, где большевистский переворот совершился задолго до «октября» — еще в конце марта 1917 года, где коммунистическая власть правила без перерыва в течение двух с лишним лет, а сам город, представляя ближайший тыл постоянно угрожаемого фронта, навлекал на себя чрезвычайные репрессии. «В конце концов, — говорится в описании Особой комиссии, — все население, кроме власть имущих и их присных, обратилось в какие-то ходячие трупы. Не только на лицах жителей не было улыбки, но и во всем существе их отражались забитость, запуганность и полная растерянность. Два с лишним года владычествовали большевики в Царицыне и уничтожили в нем все — семью, промышленность, торговлю, культуру, саму жизнь. Когда 17 июня 1919 года город наконец был освобожден от этого ига, он казался совершенно мертвым и пустынным и только через несколько дней начал, как муравейник, оживать».

На четвертый день после занятия Царицына я посетил город, в котором не только от людей, но, казалось, от стен домов, от камней мостовой, от глади реки веяло еще жутким мертвящим дыханием пронесшегося смерча...

* * *

Система большевистского управления отчасти оживила повстанческое движение на Юге, уходившее истоками своими к временам гетманщины и австро-немецкой оккупации; отчасти создавала новые очаги восстаний, захватывавших огромные районы по преимуществу правобережной Украины, Новороссии, Екатеринославщины и Таврии. В одной только полосе — между Днепром и Горынью, западнее Киева, — насчитывалось 22 «атамана» во главе сильных повстанческих банд. Они то работали самостоятельно, то объединялись в крупные отряды под начальством более популярных «атаманов» и «батек». Особенной известностью пользовались *Зеленый*, действовавший в западной части Полтавской губернии и в окрестностях Киева, *Григорьев* — в низовьях Днепра и *Махно* — в Таврии и Екатеринославской губернии.

Чрезвычайно сложна массовая психология, питавшая повстанческое движение; разнообразны его внешние формы и искусственно навязываемые ему политические лозунги. Я остановлюсь на тех элементах движения, которые представляются мне неоспоримыми.

Прежде всего в основании его лежали, несомненно, историческая быль и легенда, оживленные революцией и определившие территориальное распространение повстанчества. Сообразно с этим прошлым и территорией характер его, сохраняя общий колорит, различен в деталях. Так, на севере Украины более спокойное и хозяйственное крестьянство вносило в повстанчество более организованные формы и положительные цели — самообороны и правопорядка; на юге свирепствовали без плана и определенной цели гайдаматчина и «вольное казачество» — буйное, бесшабашное и распутное. На востоке располагалась вотчина батьки Махно — в районе, где начавшийся в XVIII веке прилив великороссов-переселенцев из наиболее беспокойного элемента создал богатейшие поселения, только по внешности малорусские. Атавизм, типичные черты русского безыдейного

анархизма, соседство и близкое общение с крупными промышленными центрами, простор полей, сытость и вместе с тем тяга к ненавидимому городу и к его привлекательным соблазнам наложили здесь особый колорит на повстанческое движение. Ограбление городов, например, было одним из серьезнейших двигателей махновского воинства[1].

Толчком к повстанческому движению послужил, несомненно, аграрный вопрос. Деревня поднялась «за землю» против «пана», против немца, как защищающего «пана» и отбирающего хлеб. Объектами жестокой расправы повстанцев были поэтому помещики, «державная варта» и австро-германцы, когда с последними можно было справиться. Но с уходом оккупационных войск и по мере ликвидации помещичьего землепользования и удовлетворения земельной жажды этот стимул потерял свою остроту на западе и мало выдвинул в махновском районе.

Антиеврейское настроение в повстанчестве было всеобщим, стихийным, имело корни в прошлом и подогревалось видным представительством евреев в составе советской власти. Большинство «атаманов», отвечая этому настроению, призывали открыто к еврейским погромам; Григорьев звал на борьбу «с политическими спекулянтами... из московской обжорки и той земли, где распяли Христа»; Махно как говорит его апологет Аршинов[2], наоборот, преследовал погромщиков и даже в 1919 году, очевидно под влиянием наехавших членов анархической группы «Набат», в числе которых было немало евреев подписал воззвание против национальной травли и в защиту «бедных мучеников-евреев», противополагая их «еврейским банкирам». В искренности самого Махно, в качестве защитника евреев, позволительно усомниться; что же касается махновцев, то и настроение, и практика их ничем не отличались от чувств и дел правобережной гайдаматчины.

И волна еврейских погромов заливала всю Украину.

Таким же всеобщим, стихийным настроением была ненависть к большевикам. После краткого выжидательного пери-

---

[1] В 1905 году в этом районе было серьезное восстание. Крестьянский вооруженный отряд во главе с *Дейнегой* вел даже бой с войсками.

[2] *Аршинов П.* «История Махновского движения». Берлин, 1923.

ода, даже после содействия, которое оказывали немногие, впрочем, повстанческие отряды в начале 1919 года вторжению на Украину большевиков, украинское крестьянство стало в ярко враждебное отношение к советской власти. К власти, приносившей им бесправие и экономическое порабощение; к строю, глубоко нарушавшему их собственнические инстинкты, теперь еще более углубленные; к *пришельцам*, подошедшим к концу дележа «материальных завоеваний революции» и потребовавшим себе крупную долю... Расправы с большевистскими властями носили характер необыкновенно жестокий.

Шесть режимов, сменившихся до того на Украине, и явная слабость всех их вызвали вообще в народе обострение тех пассивно-анархических тенденций, которые были в нем заложены извечно. Вызвали неуважение к власти вообще, независимо от ее содержания. Безвластие и безнаказанность таили в себе чрезвычайно соблазнительные и выгодные перспективы по крайней мере на ближайшее время, а власть, притом всякая, ставила известные стеснения и требовала неукоснительно хлеба и рекрутов. Борьба против *власти* как таковой становится со временем главным стимулом махновского движения, заслоняя собой все прочие побуждения социально-экономического характера.

Наконец, весьма важным стимулом повстанческого движения был *грабеж*. Повстанцы грабили города и села, буржуев и трудовой народ, друг друга и соседей. И в то время, когда вооруженные банды громили Овруч, Фастов, Проскуров и другие места, можно было видеть сотни подвод, запружавших улицы злополучного города, с *мирными* крестьянами, женщинами и детьми, собирающими добычу.

Между «атаманами» не раз безмолвно или полюбовно устанавливались зоны их действий, и не только для операций против большевиков, но и для сбора добычи... 14 июля 1919 года Махно, заманив Григорьева на повстанческий съезд, собственноручно убил его. Официальная версия партийных анархистов называет это убийство казнью «врага народа», устроившего еврейский погром в Елисаветграде и для борьбы с большевиками не пренебрегавшего никакими союзниками, даже якобы Добровольческой армией... Гораздо правильнее, однако, другая версия — о двух пауках в одной банке, о борьбе

двух «атаманов» за власть и влияние на тесном пространстве нижнего Днепра[1], куда загнали их судьба и наступление Вооруженных сил Юга.

Как бы то ни было, всеобщий популярный лозунг повстанцев, пронесшийся от Припяти до Азовского моря, звучал грозно и определенно: *«Смерть панам, жидам и коммунистам!»*

Махновцы к этому перечню прибавляли еще и «попов», а понятие «пан» распространяли на всех «белогвардейцев», в особенности на офицеров.

И когда последние попадались в руки махновцам, их постигала неминуемо лютая смерть.

* * *

Гораздо в меньшей, почти незаметной, степени отражались в повстанчестве элементы политический и национальный (самостийный), которые привносили в дело верхи.

Повстанчество действительно привело директорию в Киев, но тотчас же сбросило ее, когда Петлюра попытался положить предел бесчинствам банд. Весною и летом 1919 года при большевистском режиме прежние связи директории с некоторыми из отрядов возобновились вновь, но едва ли не исключительно ради снабжения их деньгами, оружием и патронами, которые щедро отпускал петлюровский штаб. Интересы совпадали, и совместная борьба продолжалась, но борьба «против большевиков», а не «за Петлюру». Григорьев (бывший офицер) с херсонскими повстанцами в январе 1919 года изменил Петлюре и перешел к большевикам, а в апреле изменил большевикам. И в своем «универсале», понося и гетманщину, и петлюровщину, и «московскую обжорку», призывал украинский народ «взять власть в свои руки». «Пусть не будет диктатуры ни лица, ни партии. Да здравствует диктатура трудящегося народа!» При этом объявлял мобилизацию и разъяснял туманную форму этой «народной» диктатуры: «Приказ мой прошу исполнить, все остальное сделаю сам...»

(Махно — крестьянин села Гуляй-Поле Александровского уезда Екатеринославской губернии. Последовательно — подпасок, батрак, рабочий-литейщик. В 1908 году, на 19-м году от роду, за убийство урядника приговорен был к повешению,

[1] Между Екатеринославом—Елисаветградом—Александровском.

замененному бессрочной каторгой. 9 лет провел в Бутырской каторжной тюрьме. В 1917 году выпущен как «политический», возвратился в свое село и начал формировать повстанческий отряд. Он отметал самостийность и искал «братской живой связи с революционной Украиной и революционной Россией»; дважды он поступал на службу к советской власти для совместной борьбы против Вооруженных сил Юга и дважды, по миновании в нем надобности, был разгромлен большевиками.

Наша киевская тайная организация по собственной инициативе связалась со штабом Зеленого[1] в Триполье. Прибывших туда офицеров не допустили к самому атаману; они беседовали только с двумя лицами его политического окружения, назвавшимися: один — бывшим редактором украинской газеты «Народная воля», а другой — бывшим офицером лейб-гвардии Измайловского полка Грудинским. Оба они заявили, что стоят на точке зрения независимости Украины. Ее должен отделять от Великороссии «кордон», так как «теперь среди белого дня происходит грабеж украинского хлеба». «Мы признаем советы, — говорили они, — но наши советы особые... Должна быть Украинская советская республика». При этом редактор и измайловец уверяли, что Зеленый ни в каких отношениях с Петлюрой не состоит.

Повсюду в районе Зеленого расклеены были плакаты упрощенного политического содержания: «Хай живе Вильна Украина! Геть всероссийских узурпаторив! Геть Раковского и жидив комиссарив!»[2]

Все эти политические союзы, самостийные лозунги и схемы государственного устройства исходили или лично от «атаманов» и «батек», или от их политического окружения», вербовавшегося, главным образом, из украинских социалистов и тонкого слоя украинской полуинтеллигенции — сельских учителей, кооператоров и других, почти сплошь приверженцев директории. В народе же и повстанчестве ни самостийничество, ни шовинизм сколько-нибудь серьезно не проявлялись. Если понятие «москаль» становилось одиозным, то вовсе не по признаку национальному, родовому, а по отождествлению его с теми пришлыми людьми — комиссарами, членами военно-революционных комитетов, чрезвычаек и карательных отрядов, — с теми «кровопийцами и паразитами народными», которые сделали жизнь вконец непереносимой. К ним и только к ним оставалось неизменным чувство смертельной вражды.

[1] О Зеленом имеются только сведения, что он окончил в Триполье двухклассное училище.

[2] За правильность правописания не ручаюсь.

Если на западе сохранилась все же известная видимость петлюровского влияния, то на востоке его не было никогда. Вообще все стремления как националистических, так и партийных организаций овладеть повстанческим движением и использовать его в своих интересах не увенчались успехом. Оно оставалось до конца *низовым, народным.* Национализм его — от Сагайдачного, анархизм — от Стеньки Разина. К нему *пристраивались* украинские социалисты, но никогда *не вели* его.

Партия русских анархистов вначале не решилась отождествлять себя с махновщиной, заявив, что махновщина «не была определенной анархической организацией, будучи шире ее и являясь массовым социальным движением украинских тружеников». Тем не менее анархисты приложили к движению свой штамп и ныне облекают его легендой. Весною 1919 года в гуляй-польский район прибыли представители анархических организаций, и в том числе «конфедерации «Набат»». Анархисты взяли в свои руки «культурно-просветительный отдел армии», стали издавать газеты «Набат», «Путь к свободе» и подводить «платформу» и идеологию под махновское движение: «Отрицание принципа государственности и всякой власти, объединение трудящихся всего мира и всех национальностей, полное самоуправление трудящихся у себя на местах, введение вольных трудовых советов крестьянских и рабочих организаций...» «Просветительная» деятельность апостолов анархизма и практика повстанцев шли, однако, расходящимися путями. «Безвластные формы управления» не получили никакого развития «по обстоятельствам военного времени». Напротив, жизнь ответила погромами, «добровольной» мобили-

зацией и самообложением по типу, принятому в современной Венгрии[1], и «добровольной» дисциплиной со смертной казнью за неповиновение... Один из участников борьбы с махновцами, шедший долгое время по их следам, свидетельствует, что положение там мобилизованных, составлявших половину сил Махно, было весьма тяжелым: «Им не верили, их пороли плетьми и за малейшее желание уклониться от службы расстреливали; в случае же неудачного боя бросали на произвол судьбы».

Легенда облекает и личность Махно — отважного и очень популярного разбойника и талантливого партизана — в одежды «идейного анархиста», хотя, по признанию его же биографа и апологета, «каторга была собственно единственной школой, где Махно почерпнул исторические и политические знания, послужившие ему огромным подспорьем в его политической деятельности...»[2] Но русский анархизм, давший всемирно известных теоретиков Кропоткина и Бакунина, в практической деятельности партии на всем протяжении Русской смуты представляет один сплошной трагический фарс[3]. И было бы, конечно, непредусмотрительным не присвоить себе единственного серьезного движения и не канонизировать в свои вожди Махно — столь яркую фигуру безвременья, хотя и с разбойничьим обличьем... Тем более, что колесо истории может повернуться... На это обстоятельство рассчитывает также и польское правительство, проявившее в отношении Махно, интернированного в 1922—1924 годах в Польше[4], несвойственное полякам благодушие. Махно считается, по-видимому, полезным сотрудником для будущего.

[1] В Венгрии «не желающих» поступить на военную службу среди лиц определенного возрастного ценза не может быть, так как с ними расправились бы жестоко.

[2] *Аршинов П.* «История Махновского движения». Берлин, 1923.

[3] Между прочим, из-за матроса Железнякова, разогнавшего Учредительное собрание и впоследствии убитого в бою с добровольцами, идет большой спор между анархистами и коммунистами, оспаривающими друг у друга честь числить его в своих рядах.

[4] Известный процесс Махно по обвинению в военном заговоре с большевиками против Польши.

* * *

Действия повстанческих отрядов вносили подчас весьма серьезные осложнения в стратегию всех борющихся сторон, ослабляя попеременно то одну, то другую, внося хаос в тылу и отвлекая войска с фронта. Объективно повстанчество являлось фактором положительным для нас на территории, занятой врагом, и тотчас же становилось ярко отрицательным, когда территория попадала в наши руки. Поэтому с повстанчеством вели борьбу все три режима — петлюровский, советский и добровольческий. Даже факты добровольного перехода к нам некоторых повстанческих банд являлись только тяжелой обузой, дискредитируя власть и армию. «Наибольшее зло, — писал мне генерал Драгомиров[1], — это атаманы, перешедшие на нашу сторону, вроде Струка. Это типичный разбойник, которому суждена, несомненно, виселица. Принимать их к нам и сохранять их отряды — это только порочить наше дело. При первой возможности его отряд буду расформировывать». Вместе с тем генерал Драгомиров считал необходимым поставить борьбу с бандитизмом на первый план, ибо «ни о каком гражданском правопорядке невозможно говорить, пока мы не сумеем обеспечить самое элементарное спокойствие и безопасность личную и имущественную...»

Атаманство приносило с собой элементы дезорганизации и разложения; махновщина, кроме того, была наиболее антагонистична идее белого движения. Эта точка зрения впоследствии, в крымский период, претерпела в глазах нового командования некоторые изменения. В июне 1920 года по поручению генерала Врангеля в стан Махно явился посланец, привезший письмо из штаба.

«Атаману Повстанческих войск Махно.

Русская армия идет исключительно против коммунистов с целью помочь народу избавиться от коммуны и комиссаров и закрепить за трудовым крестьянством земли государственные, помещичьи и другие частновладельческие. Последнее уже проводится в жизнь.

[1] Главноначальствующий Киевской областью. Сентябрь 1919 года.

Русские солдаты и офицеры борются за народ и его благополучие. Каждый, кто идет за народ, должен идти рука об руку с нами. Поэтому теперь усильте работу по борьбе с коммунистами, нападая на их тыл, разрушая транспорт и всемерно содействуя нам в окончательном разгроме войск Троцкого. Главное командование будет посильно помогать Вам вооружением, снаряжением, а также специалистами. Пришлите своего доверенного в штаб со сведениями, что Вам особенно необходимо, и для согласования боевых действий.

Начальник штаба главнокомандующего Вооруженными силами, Генерального штаба генерал-лейтенант Шатилов, генерал-квартирмейстер Генерального штаба генерал-майор Коновалов.

18 июня 1920 года.
г. Мелитополь».

На заседании повстанческого командного состава по инициативе Махно было решено: «Какой бы делегат ни был прислан от Врангеля и вообще справа, он должен быть казнен, и никаких ответов не может быть дано»[1].

Посланца тут же публично казнили.

* * *

Я приведу общую оценку наследия, полученного нами от большевиков, исходящую из враждебного белому движению меньшевистского лагеря[2].

«Добровольческая армия шла, предшествуемая и поддерживаемая крестьянскими волнениями. В стране происходили глубокие сдвиги... Широкие слои населения оказались захваченными национально-реакционными настроениями. В эти дни национального психоза, взрыва утробной ненависти к революции, диких расправ на улицах над коммунистами и коммунистами — те, кто был против Добровольческой армии, представляли собой узкую и вынужденно молчаливую общественную среду, одиноко

[1] *Аршинов П.* «История Махновского движения». Берлин, 1923.

[2] *Кучин-Оранский Г.* «Добровольческая зубатовщина». Киев, 1924.

затерявшуюся среди поднявшихся волн враждебных настроений.

Обнаружилось и еще одно явление. Крыло реакционных настроений коснулось и рабочей массы. Как могло это случиться? Это глубоко интересный и важный политический и социально-психологический вопрос. Ответ на него лежит в том историческом материале, который характеризует советскую фазу 1919 года. В ней корни позднейших настроений... На разбитой, разворошенной украинской почве большевистский терроризм в этот период вырос в анархическое, антиобщественное явление. Специальные условия места и времени создавали какую-то гипертрофию «военного коммунизма». Деклассированные элементы получали все большую свободу своего формирования и господства. Делались тысячи нелепостей и преступлений. Кровь лилась потоками бесцельно, как никогда. Положение рабочих организаций становилось все более стесненным. Изоляция власти от пролетариата шла подстегнуто быстрыми шагами. Быстро сгорали иллюзии и настроения после «петлюровской весны».

Сильное распространение разочарования, настроений недовольства и часто озлобления на почве указанных общих свойств политики предыдущего периода (советского) и продовольственного кризиса замечалось в пролетариате все более ярко...»

На русском «погосте» еще не смолкли «плач и рыдания» у свежих могил, у гекатомб, воздвигнутых кровавой работой Лациса, Петерса, Кедрова, Саенко и других, в проклятой памяти чрезвычайках, «подвалах», «оврагах», «кораблях смерти» Царицына, Харькова, Полтавы, Киева... Различны были способы мучений и истребления русских людей, но неизменной оставалась система террора, проповедуемая открыто с торжествующей наглостью. На Кавказе чекисты рубили людей тупыми шашками над вырытой приговоренными к смерти могилою; в Царицыне удушали в темном, смрадном трюме баржи, где обычно до 800 человек по несколько месяцев жили, спали, ели и тут же... испражнялись... В Харькове специализировались в

скальпировании и снимании «перчаток». Повсюду избивали до полусмерти, иногда хоронили заживо. Сколько жертв унес большевистский террор, мы не узнаем никогда[1]. Безумная большевистская власть не щадила ни «алой», ни «черной» крови. Земля оделась в траур, и приход армии-освободительницы отзывался как радостный *благовест* в измученных душах.

Иногда, впрочем, в этот радостный перелив врывались тревожные звуки *набата*.. Так было в Екатеринославе, Воронеже, Кременчуге, Конотопе, Фастове и в других местах, где набегающая волна казачьих и добровольческих войск оставляла и грязную муть в образе насилий, грабежей и еврейских погромов.

Никаких, решительно никаких оправданий этому явлению не может быть. И не для умаления вины и масштаба содеянных преступлений, но для уразумения тогдашних настроений и взаимоотношений я приведу слова человека, окунувшегося в самую гущу воспоминаний, свидетельств и синодиков страшного времени:

«Нельзя пролить более человеческой крови, чем это сделали большевики; нельзя себе представить более циничной формы, чем та, в которую облечен большевистский террор. Эта система, нашедшая своих идеологов, эта система планомерного проведения в жизнь насилия, это такой открытый апофеоз убийства как орудия власти, до которого не доходила еще никогда ни одна власть в мире. Это не эксцессы, которым можно найти в психологии гражданской войны то или иное объяснение.

«Белый» террор — явление иного порядка. Это, прежде всего, эксцессы на почве разнузданности власти и мести. Где и когда в актах правительственной политики и даже в публицистике этого лагеря вы найдете теоретическое обоснование террора как системы власти? Где и когда звучали голоса с призывом к систематическим, официальным убийствам? Где

[1] «Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков» исчисляла число жертв террора за 1918—1919 годы в 1700 тысяч человек.

и когда это было в правительстве генерала Деникина, адмирала Колчака или барона Врангеля?..

Нет, слабость власти, эксцессы, даже классовая месть и... апофеоз террора — явления разных порядков» (Мельгунов С. П. Красный террор в России).

Несомненно, подобное сравнение находило тогда отклик в широких народных массах, которые не могли не чувствовать глубокой разницы между двумя режимами — красным и белым, невзирая на все извращения и «черные страницы» белого движения.

Большевистское наследие открывало одновременно и огромные положительные возможности, и огромные трудности. Первые — в общем чувстве ненависти к свергнутой коммунистической власти и в сочувствии к избавителям; вторые — в страшном расстройстве всех сторон народно-государственной жизни.

Я лично из своих поездок по освобожденным районам вскоре после их занятия, в особенности из посещений Харькова и Одессы — в их неофициальной, не регламентированной расписаниями части — вынес много отрадных впечатлений. Крепло убеждение, что белое движение не встречает идейного противодействия в народе и что успех его несомненен, если только *сочувствие* страны претворится в *активную помощь* и если «черные страницы» не затемнят белую идею.

И еще одно *«если»*, едва ли не важнейшее...

Однажды в собрании ростовских граждан[1], заканчивая обзор общей политики правительства, я говорил:

«*Революция* безнадежно провалилась. Теперь возможны только два явления: *эволюция* или *контрреволюция*.

Я иду путем эволюции, памятуя, что новые крайние утопические опыты вызвали бы в стране новые потрясения и неминуемое пришествие самой черной реакции.

Эта эволюция ведет к объединению и спасению страны, к уничтожению старой бытовой неправды, к созданию таких

[1] Из речи на банкете 31 июля.

условий, при которых были бы обеспечены жизнь, свобода и труд граждан; ведет, наконец, к возможности в нормальной спокойной обстановке созвать Всероссийское Учредительное собрание.

Страшно тяжел этот путь. Словно плуг по дикой, поросшей чертополохом целине, национальная идея проводит глубокие борозды по русскому полю, где все разрушено, все загажено, где со всех сторон встают как будто непреодолимые препятствия.

Но будет вспахано поле, *если...*

Я скажу словами любимого писателя. Давно читал. Передам, быть может, не дословно, но верно.

«Бывают минуты, когда наша пошехонская старина приводит меня в изумление. Но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болеть по ней, я положительно не запомню. Бедная эта страна, ее любить надо».

Вот в этой-то чистой любви нашей к Родине — залог ее спасения и величия».

ГЛАВА VII

ПРИНЦИПЫ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ ВРЕМЕННОГО УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЮГА. ВОПРОС О НОВООБРАЗОВАНИЯХ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: УКРАИНСКИЙ, ТАТАРСКИЙ, ГОРСКИЙ И ЕВРЕЙСКИЙ

В основу временного устройства территории Вооруженных сил Юга положено было *сохранение единства Российской державы* при условии предоставления автономии отдельным народностям и самобытным образованиям (казачество), а также широкой децентрализации всего государственного управления.

Этот принцип в части, касающейся новообразований, отвечая глубокому убеждению правивших кругов Юга и разделяемый тогда широкой русской общественностью, создал нам немало серьезнейших затруднений, пагубно отразившихся на ходе борьбы; затруднений, чисто политических

в отношении западных лимитрофов[1] и практических — в сношениях с закавказскими новообразованиями и казачьими областями. С последними, впрочем, за исключением Кубани, трения возникали не столько по вопросу об единстве, сколько о порядке его осуществления и о пределах самоуправления.

Мы были ригористичны не только в духе, но и в формах определения государственной связи, считая, что юридические элементы федерации — сговор и двустороннее октроирование — нарушат самую идею национального единства России и создадут для будущей общерусской власти немалые затруднения и опаснейшие прецеденты. Но при этом мы упускали из виду три важных обстоятельства: что отрыв окраин с течением времени становился все резче, углубляясь «давностью», государственной практикой и международными отношениями; что форма «федерации» не предрешала еще внутреннего содержания ее, которое могло стать вполне разумным и справедливым, не нарушая государственных интересов России; что, наконец, временные российские правительства Юга и Востока, лишенные преемственности власти и исторической традиции, не могли рассчитывать на скорое, безболезненное и всеобщее признание.

В отношении казачества этот формальный ригоризм действительно затруднял и затягивал соглашение. Но в отношении западных и закавказских лимитрофов он не имел практического значения: они, как мы видели, не мирились с иной формой своего бытия, как только суверенной, независимой.

С тех пор, под влиянием неудач, постигших противобольшевистское движение, в русском общественном мнении произошел известный сдвиг: даже в тех зарубежных кругах, для которых понятие «автономии» было некогда одиозным, послышались щедрые посулы, «признания» и благословение

[1] Непосредственные сношения выражались лишь в ликвидации самозарождавшихся консульств лимитрофов, до Белорусского включительно, занимавшихся, главным образом, освобождением русских молодых людей от воинской повинности путем выдачи подложных паспортов. Этим небезвыгодным делом занималось, между прочим, и персидское консульство.

нашим окраинам на раздельное существование их от метрополии. Свидетельствует ли это явление о потере национального самосознания? Думаю, что нет. Этот новый курс — скорее ложь во спасение, так называемая «мудрая» политика, «искусная» тактика, гипноз и в конечном счете бронзовые векселя, как плата за участие окраин в освобождении России. Ибо можно спорить о формах сожительства, о той или другой степени государственной самостоятельности наших окраин, но считать возможным окончательное отторжение их от России[1] — это значит не отдавать себе отчета в закономерном ходе исторических событий. И вряд ли на этот счет могут особенно заблуждаться государственные мужи новообразований и их западные покровители. Государственная связь России с ее окраинами предрешена историей, экономикой, рынками, направлением железнодорожных магистралей, обороноспособностью рубежей, психологией русского общества, всей совокупностью культурно-хозяйственного развития *обеих* сторон и *обоюдными* интересами. Связь будет восстановлена: скоро или нескоро, добровольно путем сговора или насильственно — таможенной, экономической войной или наступлением армий. И это сделает всякая Россия — «красная», «розовая», «белая» или «черная», не желающая задохнуться в пределах тех искусственных рубежей, в которые ее заключили мировая война и смута.

Практика советской власти как будто противоречит этому положению, допуская существование независимых прибалтийских образований. Но это только кажущееся противоречие. На протяжении 1918—1925 годов было немало таких моментов, когда советская власть могла легко, без особого труда покончить с западными лимитрофами. Она сделала это по отношению к Грузии, Азербайджану и Армении, которые стояли поперек пути к источникам нефти и к распространению коммунистического влияния в Средней Азии. И наоборот, советы пошли на тяжелые жертвы, не оправдываемые нисколько политическими и стратегическими условиями, чтобы заключить мир с прибалтийскими образованиями; прорвать политическую, моральную и экономическую блокаду, в которой держали советскую Россию западные государства и держат ее до сих пор, невзирая на «признания»; прорубить «окно в Европу», создав на нейтральной почве своего рода свободную факторию для комиссионных или прямых торговых сделок, для облегчения сношений с внешним миром, для спекуляции, пропаганды и заговоров. По мере вступления советов в непосредственные отношения с западными державами, эта комиссионная роль прибалтийской фактории теряет свое значение, и отношение к лимитрофам Москвы резко меняется. Придет пора, когда «клочки бумаги» будут порваны и брошены в мусор и мир рухнет.

[1] Я не говорю о Польше и о Финляндии.

И прибалтийским лимитрофам надлежало бы заблаговременно решить дилемму, что лучше: стать ли составной самоуправляющейся частью новой свободной Российской державы или, пройдя через кровь, грязь и разрушение, влиться в общий котел советского централизма, прикрытого внешне маской «союза советских республик...»

Ибо третьего решения не дано.

* * *

В основу децентрализации управления положено было деление занимаемой территории на *области*. Этот вопрос получил теоретическую разработку в трудах «Подготовительной по национальным делам комиссии»[1] и обсуждался в заседаниях Особого совещания. Я не буду останавливаться на деталях и вариантах не осуществившегося положения и коснусь только тех сторон его, которые характеризуют общеполитические тенденции южной власти.

Автономное управление предположено было строить не только по признакам национальным, но и по соображениям иного порядка: по удобству расчленения, разъединенного существования и самоуправления земель, по географическому их положению, экономическим различиям, исконному тяготению к определенным центрам и т. д. Из общей схемы областного устройства не могли быть исключены, по моему убеждению, центральные великорусские губернии, так как раздельное существование сделало бы их

[1] Работы профессоров А. Билимовича, Погодина, П. М. Богаевского, Д. Н. Вергуна и др.

маломощными в культурном и экономическом отношении перед лицом могучих хозяйственно-административных объединений южной России. Поэтому при дальнейшем развитии военных операций намечалось создание крупных областей — Московской и Приволжской.

Первый национальный вопрос, который стал на очередь, был *украинский*. У правительства, поддержанного тогдашним общественным мнением и научными силами, составился твердый и неизменный взгляд на *национальное, религиозное и культурное единство русского народа в лице трех ветвей его — великорусской, малорусской и белорусской*. Эти ветви отличаются местными особенностями, но творили купно свою историю, представляющую, по выражению профессора Ключевского, «широкий общерусский поток событий, образующийся из слияния крупных и мелких местных ручьев». Конечно, эти особенности имели полное право на внимание к себе со стороны власти.

В Крыму мы столкнулись с менее серьезным вопросом — татарским. Там с приходом добровольцев воскресли враждебные русской национальной идее татарский парламент (курултай) и правительство (директория), в период немецкой оккупации стремившиеся к «восстановлению в Крыму татарского владычества». Они не отказались от своих «державных» прав. Но правительство Юга не признавало преобладающего значения татарского народа на территории всероссийской здравницы Крыма, тем более, что татары составляли только 20—25% всего населения полуострова. Курултай и директория были упразднены административным распоряжением и континентальные уезды Крыма включены на общем основании в состав Таврической губернии. Татарам предоставлена была культурно-религиозная автономия, причем мусульманский съезд должен был определить и создать органы, ведающие этими отраслями народной жизни[1].

Территории бывшей гетманской Украины и Крыма не были сохранены в своих границах. Исходя из соображений общегосударственных, из необходимости той же децентрализации — их постановлено было разделить на 3 области[1]: *Киевскую, Харьковскую и Новороссийскую.*

[1] Мы сделали ошибку, восстановив временно, до съезда, прежнее непопулярное «духовное управление» с муфтием во главе.

На Северном Кавказе мы встретились с многосторонним национализмом горских племен, осложненным деятельностью горского меджилиса, панисламистским и панюркистским течениями. Об этих явлениях и борьбе с ними я говорю в соответствующих главах. Здесь я напомню только, что в политике Меджилиса, где авантюризм играл большую роль, чем национализм, внешнее объединение несродных, зачастую даже враждебных друг другу элементов кавказской мозаики, являлось не самоцелью, а чьим-либо «орудием»; притом орудием, направленным всегда против России. Правительство Юга, ведя борьбу за целостность государства, вынуждено было препятствовать такому политическому объединению, отнюдь, однако, не стремясь к подавлению национальной жизни горцев и не отрицая возможности объединенного представительства их при высшей краевой власти[2]. Поэтому, сообразно с величиной территории и культурным уровнем населения, горским племенам предоставлено было достаточно широкое самоуправление в их этнографических границах, с выборной администрацией и с полным невмешательством власти в вопросы религии, шариата и народного образования, кроме... ассигнования с этой целью пособий от казны. Горские округа в порядке высшего управления включены были в состав Северокавказской (Терско-Дагестанской) области совместно с землею Терского войска ввиду крайней

[1] Предположенный состав областей:

1. Киевской: губернии Киевская, Волынская, Подольская, кроме Балтского уезда, большая часть Полтавской и Черниговской губернии.

2. Харьковской (горнопромышленной): Харьковская губерния, малорусские части Курской и Воронежской губерний, часть Полтавской губернии, Екатеринославская, Криворожский район Херсонской губернии и три северных уезда Таврической.

3. Новороссийской: Херсонская губерния, кроме Кривого Рога, Крымский полуостров, Балтский уезд Подольской губернии и по возвращении Бессарабия, имеющая свое собственное расширенное самоуправление.

[2] Выборные помощник главноначальствующего и совет при нем.

чересполосицы и необходимости примирения интересов казаков и горцев.

Наконец, за казачьими областями признавалось принципиальное право автономии, причем, однако, автономный Терек по мотивам, изложенным выше, должен был войти в состав Северокавказской области, а астраханское войско, не имевшее сплошной территории, в порядке высшего управления входило в состав Астраханского края, совместно с иногородними и калмыками. Казачьи войска должны были перейти на автономное положение тотчас после заключения договора, а прочие области — по мере снятия в них военного положения. При этом в центрах областей предположено было собрать «областные думы» как высшие органы местного самоуправления.

* * *

Стратегические условия, разграничительные линии между армиями, случайное и, конечно, не соответствовавшее административным границам изменение линии фронта — все это требовало известных временных отступлений от принятых схем. И к осени 1919 года, к моменту наибольшего распространения территории ВСЮР, административное устройство ее было следующим:

1. *Северокавказская область*: Дагестан, Осетия, Ингушетия, Кабарда, Чечня, Ставропольская губерния, южная часть Астраханской и, условно, Терская область.

2. *Кубань* — самостоятельная область.

3. *Черноморская губерния* — на правах области, с особым главноначальствующим.

4. *Дон* — самостоятельная область.

5. Командующему Донской армией на правах главноначальствующего подчинена была южная часть *Воронежской губернии*.

6. Командующему Кавказской армией на таком же основании — часть *Саратовской губернии*.

7. *Харьковская область* (главноначальствовал командующий Добровольческой армией)[1]: Харьковская, Екатеринославская губернии, части Курской и Орловской губерний.

8. *Киевская область*: части Киевской, Волынской, Черниговской и Полтавской губерний.

9. *Новороссийская область*: Херсонская, Таврическая губернии и часть Подольской.

Везде на территории, непосредственно подчиненной главному командованию, кипела война — с большевиками, «зелеными» или повстанцами, и потому переход от полувоенного к нормальному гражданскому управлению все затягивался.

* * *

В августе, перед освобождением Киева, было опубликовано «Обращение Главнокомандующего к населению Малороссии». Составлено оно было в управлении народного просвещения, при близком участии профессора Новгородцева.

«Доблестью и кровью армий одна за другой освобождаются русские области от ига безумцев и предателей, давших обманутому народу рабство вместо счастья и свободы.

К древнему Киеву, «матери городов русских», приближаются полки в неудержимом стремлении вернуть русскому народу утраченное им единство — то единство, без которого великий русский народ, обессиленный и раздробленный, теряя молодые поколения в братоубийственных междоусобиях, не в силах был бы отстоять свою независимость; то единство, без которого немыслима полная и правильная хозяйственная жизнь, когда Север и Юг, Восток и Запад обширной державы в свободном обмене несут друг другу все, чем богат каждый край, каждая область; то единство, без которого не создалась бы мощная русская речь, в равной доле сотканная вековыми усилиями Киева, Москвы и Петрограда.

Желая обессилить русское государство, прежде чем объявить ему войну, немцы задолго до 1914 года стремились разрушить выкованное в тяжелой борьбе единство русского племени.

[1] Командующие армиями пользовались правами главноначальствующих в своих зонах. По мере продвижения к северу и выхода их войск из пределов данной области они должны были передавать власть особо назначаемым постоянным главноначальствующим.

С этой целью ими поддерживалось и раздувалось на юге России движение, поставившее себе целью отделение от России ее девяти южных губерний, под именем «Украинской державы». Стремление отторгнуть от России малорусскую ветвь русского народа не оставлено и поныне. Былые ставленники немцев — Петлюра и его соратники, положившие начало расчленению России, продолжают и теперь совершать свое злое дело создания самостоятельной «Украинской державы» и борьбы против возрождения Единой России.

Однако же от изменнического движения, направленного к разделу России, необходимо совершенно отличать деятельность, внушенную любовью к родному краю, к его особенностям, к его местной старине и его местному народному языку.

Ввиду сего, в основу устроения областей Юга России и будет положено начало самоуправления и децентрализации при непременном уважении к жизненным особенностям местного быта.

Оставляя государственным языком на всем пространстве России язык русский, считаю совершенно недопустимым и запрещаю преследование малорусского народного языка. Каждый может говорить в местных учреждениях, земских, присутственных местах и суде по-малорусски. Частные школы, содержимые на частные средства, могут вести преподавание на каком угодно языке. В казенных школах, если найдутся желающие учащиеся, могут быть учреждаемы уроки малорусского народного языка в его классических образцах. В первые годы обучения в начальной школе может быть допущено употребление малорусского языка для облегчения учащимся усвоения первых начатков знания. Равным образом не будет никаких ограничений в отношении малорусского языка в печати...»

Акт этот был встречен общественным мнением различно. Российские политические группы отнеслись к нему в общем благоприятно, а умеренные социалисты, группировавшиеся вокруг Союза возрождения, считали лишь необходимым предоставить еще земским и городским самоуправлениям на Украине право открывать среднюю школу с преподаванием на малорусском языке, а в высшей школе

допускать чтение лекций на этом языке в случае желания лекторов и слушателей.

Особой непримиримостью в украинском вопросе отличался киевский «Блок русских избирателей» В. В. Шульгина. Оттуда, по словам генерала Драгомирова, раздавались требования «совершенно игнорировать какие бы то ни было особенности малорусского края». Там «не переносят самого слова «украинцы» и, чтобы его вырвать с корнем, требуют самой решительной борьбы, до насильственного перекрашивания магазинных вывесок включительно». «Шульгин, — писал генерал Драгомиров, — сам еще терпим и умерен, но Савенко — это какой-то фанатик идеи...»[1]

Совершенно противоположных взглядов придерживалось Киевское «Национальное объединение»[2], которое, признавая наличие *особого* украинского народа, считало необходимым дать ему всецело украинские школы, не исключая и высшей. Один из последователей этого взгляда сенатор Чубинский[3] говорил: «Воззвание генерала Деникина... больно ударило не только по самостийникам, но и по всем тем, кто, стоя на почве государственного единства России и автономии Украины, высоко ценя русский язык, как выразителя русской культуры, желал широких прав и для своего языка, который он горячо любил по завету Шевченко «не цуратся своего...»

Практика несколько изменяла основные положения декларации — как в силу наличия в составе местной администрации лиц, видевших проявление сепаратизма и в бытовых особенностях, так и потому, что для немногочисленных украинизированных к тому времени учебных заведений отказ в казенном содержании был равносилен их упразднению.

[1] Савенко был назначен на должность начальника киевского отдела пропаганды по настоянию Шульгина и председателя Особого совещания. В ноябре оставил свой пост.

[2] Блок кадетов, «Единства», в частности отделов Национального Центра и Союза возрождения; преобладал последний с Одинцом во главе.

[3] Бывший гетманский министр, впоследствии обер-прокурор правления Сената в Новочеркасске.

Между тем украинизированная школа находилась почти исключительно в руках сепаратистов. Школьные «спилки» и «просвиты», в особенности при наличии в них пришлого элемента — галичан, подобно «спилкам» кооперативным, служили зачастую очагами самостийности и петлюровской пропаганды. Украинская школа была к сожалению более орудием политики, чем культуры, и потому содержание ее на государственные средства представлялось нерациональным.

В этих сепаратистских кругах не были совершенно удовлетворены актом о школе и языке. Так, Полтавская школьная рада постановила продолжать преподавание на украинском языке, полагая, что «приказ противоречит автономии, дезорганизует школьное дело, деморализует учителей и учеников и противоречит основным принципам педагогии»; впрочем, под давлением самого населения, на собрании 20 сентября она отменила свое решение... В Киеве «правление работников школы» выразило свой протест; но общее собрание киевских учителей через несколько дней, в противовес мнению незначительной части сепаратистов, вынесло резолюцию о служении «тем идеалам, которые несет Добровольческая армия», и о «строительстве свободной, обновленной России, в которой найдется место всем населяющим ее народностям...»[1]

Более спокойно отнесся к акту Харьков, где вообще были очень слабы самостийные тенденции, и более экспансивно Екатеринославщина, где проявлялось сильное тяготение к директории.

Нечего и говорить, что в стане украинских социалистов и петлюровских тайных организаций акт был использован для самой отчаянной агитации против южной власти. При этом украинская социал-демократическая партия, говоря об «угнетении Украины», не различала никаких «российских режимов»: «Одним загальним табуном суне на наси наш край, попереминно то руська демократия часив Керенського, то азиятсько-московский большевизм, то реакция и черна сотня в особи добровольцив...» Партия требовала не заключать «ниякои згоди» и призывала народ «до боротьбы с пивничним ворогом — москалем».

[1] Заседание 6 сентября 1919 года.

Существовало, впрочем, и иное мнение, которое высказывала газета «Рада» пером видного украинского публициста С. Ефремова: «Нарешти украинська школа, украинська освита буде развиватися не на помочах державних субсидий и державних милостей, а на непокитному грунти — на национальной свидомости... Ми тильки виграемо».

* * *

Вопрос о том, уместно ли на земле святого Владимира ставить русских людей в положение «национальных меньшинств» и русский язык — в разряд иностранных, во мне не вызывал и не вызывает сомнений. Другой вопрос — о размерах культурного самоопределения. В дни мира и спокойствия он может получить более широкое развитие. Но с большой осторожностью приходилось относиться к нему в дни тяжелой и страстной борьбы, когда «культура» сплелась нераздельно с «политикой», когда поборники украинской культуры в огромном большинстве случаев совмещали и отождествляли ее с принципами украинской независимости.

Практически же вопрос этот не имел вовсе такого значения, какое ему придано было впоследствии при учете причин неудачи белого движения на Юге: никакие, самые широчайшие посулы в области культуры не могли привлечь к нашему делу сердца украинских сепаратистов; федералисты были немощны и почти безгласны.

А народ?

Народ чрезвычайно мало интересовался своей исторической родословной. Ему были одинаково неведомы и чужды теории и изыскания и Ключевского, и М. Грушевского.

* * *

Другой чрезвычайно серьезный национальный вопрос, с которым нам пришлось столкнуться, главным образом, при вступлении на территорию Украины, — был *вопрос еврейский.* До того случаи возбуждения его, требовавшие правительственного вмешательства, были редки и единичны. Я помню первый эпизод такого рода. Черноморский военный губернатор донес об усиленной скупке евреями земли на побережье в спекулятивных целях. Я положил резолюцию — «воспретить»; в ведомственном исполнении эта резолюция вылилась в официальное распоряжение нотариусам через

Екатеринодарскую судебную палату «воспретить евреям приобретение земли в собственность и в аренду на всем пространстве Черноморской губернии». Это распоряжение привлекло внимание печати, вызвало волнение среди еврейства и усиленную агитацию против командования. Вскоре последовало разъяснение, что борьбу против злостной спекуляции надлежит вести «независимо от того, лицами какой национальности таковая спекуляция производится...»

Другой эпизод касался личного состава отдела пропаганды. Из правых общественных кругов и из армии шли непрерывные и яростные атаки на Осваг, переполненный якобы евреями; начальство отдела отстаивало некоторых «второстепенных» или «незаменимых» работников и реабилитировало «в еврействе» других. Я лично считал нецелесообразным и при создавшихся условиях острой борьбы вредным участие евреев в органе правительственной пропаганды и ставил начальнику отдела соответственное требование. Тем не менее положение дел до самого конца оставалось неизменным: одни считали Осваг «жидовствующим», другие «погромным». Вероятно, некоторое основание эти определения находили действительно в работе отдельных сотрудников ведомства, никогда не отличавшегося единством политического направления.

Третий эпизод, более серьезный, имел место в армии. Со времен Керенского в рядах армии находилось несколько десятков офицеров-евреев; часть их попала и в Добровольческую армию, а несколько человек совершили с ней Первый поход. При последующих мобилизациях эти офицеры явились в полки, но офицерское общество отказалось их принять; устранены были также из частей те офицеры-евреи, которые состояли в них раньше. По жалобе одного из них — первопоходника, дважды раненного в боях, — я потребовал от командующего Добровольческой армией генерала Май-Маевского принять решительные меры против самочинных действий частей. Но меры эти разбились о пассивное сопротивление офицерской среды. Чтобы не подвергать закон заведомому попранию и людей безвинных нравственным страданиям, я вынужден был отдать приказ об оставлении офицеров-евреев в запасе.

Так же плохо стоял вопрос с евреями-солдатами. Первые мобилизации малороссийских губерний принесли контингенты евреев-новобранцев и призывных в запасные батальоны. Из тех батальонов, где евреи скопились в более значительном числе, начали поступать донесения о резкой вражде к ним со стороны прочих солдат и даже о нарушении на этой почве дисциплины. Евреи подвергались постоянному глумлению; с ними не хотели жить в одном помещении и есть из одного котла. Начальство запасных батальонов принимало меры противодействия этому явлению и, не преуспев в этом, вынуждено было обыкновенно изолировать евреев в отдельные роты. Вместе с тем оно входило с представлениями о прекращении призыва евреев, как элемента в боевом отношении малоудовлетворительного, а в бытовом — представляющего большую обузу. Но если в отношении офицеров освобождение их от службы было только *правоограничением*, то подобная общая мера была бы уже *правонарушением*. Отбывание воинской повинности, будучи немалой тяготой, вместе с тем юридически являлось *правом* граждан. Лишение этого права целой национальности прежде всего поражало бы морально ее самосознание, являлось бы официальным ее осуждением и давало бы лишний серьезный повод для юдофобских настроений.

Жизнь сама вносила известные коррективы: частью от дезертирства, частью, вероятно, от умышленно строгих требований при приеме, еврейские контингенты не были многочисленны и, выйдя из запасных батальонов, рассасывались по частям. Назревавшее бытовое явление становилось эпизодическим, теряя значительно свою остроту и болезненность. О гонениях на отдельных солдат-евреев в частях мне слышать не приходилось.

Но худшее было впереди.

Волна антисемитского настроения охватила Юг задолго до вступления армий в «черту оседлости». Оно проявлялось ярко, страстно, убежденно — в верхах и низах, в интеллигенции, в народе и в армии; у петлюровцев, повстанцев, махновцев, красноармейцев, зеленых и белых. Если на одном фланге политического фронта антисемитизм проявлялся открыто и в формулах лапидарных, то на противоположном,

где еврейское равноправие считалось всегда одним из боевых программных пунктов, а защита еврейства — традицией, чувство антипатии к ним и осуждения не раз также прорывалось наружу. Его не могли скрыть и некоторые из левых деятелей, даже тогда, когда в разговоре со мной возмущенно и искренно осуждали насилия над евреями.

Войска Вооруженных сил Юга не избегли общего недуга и запятнали себя еврейскими погромами на путях своих от Харькова и Екатеринослава до Киева и Каменец-Подольска.

Внутренние язвы загноились в атмосфере ненавистничества.

Погромы несли бедствие еврейскому населению, они же поражали дух самих войск, извращая их психику, разрушая дисциплину, внося развал. Это могли не видеть только слепые. И только ослеплением можно объяснить тот довольно распространенный среди еврейства взгляд, что «погромы, как часть военного быта, органически связаны с военной и социально-политической программой Добровольческой армии»[1]. Могу уверить этих лиц, что, если бы при тогдашних настроениях придать «программный» характер борьбе с еврейством, мало того — если бы только войска имели малейшее основание полагать, что высшая власть одобрительно относится к погромам, то судьба еврейства южной России была бы *несравненно трагичнее*...

* * *

Чем же объяснить это тяжелое явление, для которого прежние определения — историческая традиция, «зоологический национализм», темнота масс и предрассудки — уже не могут исчерпать его содержания?

Звериные инстинкты, поднятые войной и революцией, углубленная жажда к запретным прежде и доступным теперь

[1] *Штиф.* «Погромы на Украине». Отождествление Добровольческой армии с Вооруженными силами Юга, куда входили и казаки, и горцы, имеет иногда свои неудобства. Книжка Штифа изображает дело крайне тенденциозно. Между прочим, он смешивает Добровольческую армию с «Южной» — организацией герцога Лейхтенбергского, Акацатова, Семенова, приписывая нам юдофобские декларации Южной армии.

благам жизни, всеобщая распущенность, развал, утрата нравственного критерия и обесценение человеческой крови и жизни — вот одна серия причин погромов вообще. Где уж там требовать от бурнокипящей массы особого милосердия и человеколюбия к «чужим», когда на протяжении нескольких лет с исключительной жестокостью и садизмом дробятся черепа «своим» и разбойным образом «перераспределяются» накопленные ими ценности.

Но есть много причин и другого порядка, которые еврейская пресса замалчивает или опровергает, вместо изыскания путей к их устранению.

К числу наиболее серьезных из этих причин надлежит отнести факт переполнения еврейским элементом всех органов советской власти в пропорции, совершенно несоразмерной их процентному отношению к прочему населению[1]. «Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков» натолкнулась на такое явление: «при допросах свидетелей в их показаниях постоянно проскальзывало стремление подчеркнуть особливое участие в рядах руководящей власти евреев». Не считая возможным «исследовать вопрос, так как массы такому исследованию могли бы придать совершенно превратное значение и тем усилить и без того напряженное состояние национальной вражды», комиссия все же не могла замолчать явного, бьющего в глаза засилья евреев во всех областях советского управления. В особенности, где шло гонение на церковь, там без пояснений становилось понятным, что «планомерное направление гонения (находилось) в руках некрещеных, иноплеменных большевиков, увлеченных своей ненавистью к православию до того, что они даже не приняли мер к сокрытию своего руководящего в этом гонении участия».

Это расследование, различные сводки, показания и, прежде всего, большой объективный материал в виде подлинных приказов, отчетов, статей советских чиновников-евреев обличали в них, наряду с невежеством, большую на-

[1] По исследованию С. С. Маслова участие евреев в правительственных органах определяется цифрами 33—40%. «Россия после четырех лет революции».

глость и презрение к подведомственному им населению. Вопрос этот, вероятно, слишком наболел в свое время, потому что в харьковских «Известиях» появилось объяснение его в статье главного сотрудника газеты Равича:

«Русский человек, в кавычках, имеет воспаленное зрение. Он ненавидит евреев, и каждый еврей вырастает в его глазах в мозолящую его глаза величину. Я не хочу скрыть от читателей, что в советских учреждениях кое-где замечается, что евреи-служащие по отношению к остальным составляют больший процент, чем это составляет их процентное отношение к населению. Но нужно помнить, что в царское время оставались большие кадры свежей, работоспособной, деловой еврейской интеллигенции, силы и способности которых нигде не применялись. Русский интеллигент при самодержавии превратился в тупого чиновника, еврей в поисках заработка пускался на разные пути, которые выработали в нем, наряду с прекраснейшей приспособленностью, и многие отрицательные стороны. Вот почему с приходом революции евреи влились в советские учреждения, заняли там места. Еврейская интеллигенция после революции увидела перед собой возможность приложить свои знания и способности и хлынула в советские учреждения. Тут и только тут лежит коренная причина некоторого несоответствия количественного соотношения сил евреев и русских в городах бывшей черты оседлости на Украине».

Далеко не одна Украина находилась в таком положении. В Крыму также как местное, так и приезжее еврейство играло виднейшую роль во всей жизни и управлении краем, заполняя комитеты коммунистической партии, комиссарские посты, «чрезвычайки», печать и органы пропаганды и агитации. Так, в Евпатории военно-революционным комитетом завладели на $^3/_4$ евреи, во главе... с сыновьями местных богачей и спекулянтов. В Ялтинском уезде во главе революционного комитета стоял еврей Сосновский, причем подавляющее большинство комиссаров (из пятнадцати — двенадцать) и заведующих отделами были также евреи. В Севастополе евреи занимали места: представителя центрального правительства (Осеровская), председателя революционного комитета (Городецкий), комиссаров — народного хозяйства, юстиции, народного просвещения, коменданта местной «чрезвычайки» (контрольный пункт № 3) и т. д. Такая же картина наблюдалась в Симферополе, Керчи, Феодосии и других городах.

Террор во время первого захвата большевиками Крыма отличался исключительной жестокостью, и в народном сознании это обстоятельство связывалось с фактом еврейского засилья.

Все наше осведомление, откуда бы оно ни исходило, рисовало резко враждебное отношение к нам еврейства на всей территории Вооруженных сил Юга России. В какой мере это отношение создавалось *a priori* и в какой оно являлось *следствием* насилий, чинимых над евреями войсками, это вопрос трудноразрешимый. Но факт вражды не вызывает сомнений. Это обстоятельство обнаруживалось особенно ярко при переходе, из-за переменчивости боевого успеха, еврейских местечек из рук в руки: не раз неумеренное ликование евреев по поводу возвращения большевистской власти служило поводом к тяжелым и безобразным расправам появлявшихся вновь белых войск[1].

Осведомление давало факты и, вероятно, измышления, добросовестное изложение и тенденциозное, но было оно всегда мрачно-однообразным. Иногда поступали документы, могшие вызвать огромную сенсацию, если бы они не возбуждали мысли... о мистификации. В числе таких документов был, например, «Доклад тов. Раппопорта на соединенном заседании центральных комитетов партии Бунда, Поалей-Цион и сионистов». В нем мастерски и очень правдоподобно нарисован был широкий и подробно разработанный план «экономического вседержавия евреев» на Украине, путем захвата и трестификации промышленности и крупной торговли, синдицирования мелкой торговли и кооперативов[2], захва-

---

[1] С. С. Маслов пишет: «Это действительно факт, что в городах Южной России, по многу раз переходивших из рук в руки, появление советской власти наибольшую радость и наибольшее показное сочувствие вызывало в еврейских кварталах, нередко только в них одних».

[2] По сообщению генерала Драгомирова, главноначальствующего Киевской области, эта отрасль местами действительно захвачена была на $^3/_4$ евреями.

та транспортирования кладей. «Доклад» изобиловал подробностями из области предполагавшегося и уже осуществленного, именами, названиями банков и учреждений; он рисовал возмутительные способы и приемы достижения владычества, путем подогревания национальной и социальной борьбы и использования «предательства и жадности самих христиан», которые «пойдут, как бараны, на зарез за тем, кто даст им корм...»

«Доклад» этот был погребен в тайниках архива и не увидел света.

Из армии шли постоянные жалобы на враждебное отношение к ней еврейского населения; на то, что в случаях вынужденного отхода наших войск из населенных пунктов, постоянно наблюдается выступление еврейской молодежи, нападения на отдельных чинов и обозы; что нередко против нас действуют отряды, сплошь состоящие из евреев... Несомненно, что наряду с действительными фактами имела место не раз и симуляция — в оправдание содеянных насилий; что выстрелы в тыл иной раз носили происхождение «христианское», а то и вовсе мифическое. Но взаимная ненависть туманила головы, всякое враждебное выступление со стороны евреев было *объективно* возможно, и все обвинения их — правдивые и ложные — воспринимались массой с непреложной верой.

Мною, генералами Драгомировым, Май-Маевским, Бродовым и другими было написано много приказов осуждающих погромы и требующих решительных мер против них. Эти меры локализировали еврейские погромы, но не устранили их окончательно. Как трудно было бороться с общим настроением, свидетельствуют письма ко мне генерала Драгомирова[1].

«...Озлобление войск против евреев доходит до степени какой-то бешеной злобы, с которой сейчас ничего поделать нельзя...

В первые дни моего пребывания в Киеве, в Слободке солдаты убили трех евреев ночью, среди полного покоя в предместье. Я выехал в Слободку к роте лейб-гвардии Егерского полка, которая там стояла, и к моему удивлению узнал, что этот разбой учинили фельдфебель, взводные и младшие унтер-офицеры — всего в числе 7 человек.

Я приказал предать их полевому суду. Вечером того же дня мне был доставлен приговор, присуждающий к каторжным работам, хотя за это дело наказание одно — смертная казнь. Я усилил наказание и определил расстрел. Это обстоятельство вызвало невероятное возбуждение во всех русских кругах — и в интеллигентных, и в народе. Пошли разговоры, что, если приговор будет приведен в исполнение, то от Слободки не останется камня на камне. Посыпались десятки ходатайств о помиловании. Даже митрополит Антоний лично приехал за них просить. Я наотрез отказался смягчить приговор. Тогда поздно ночью, за несколько часов до расстрела мне дали новое свидетельское показание, не фигурировавшее на суде, в котором оказались новые данные, в сущности нисколько не ослаблявшие основного преступления, но тем не менее такие, которые могли дать некоторое снисхождение. Тогда пришлось приговор отменить и предать дело на вторичное рассмотрение корпусного суда.

Состояние умов было таково, что несомненно казнь этих семи солдат закончилась бы местью или в Слободке, или в другом каком-либо месте.

В этом главная трудность борьбы. Смертной казни в этих случаях применять нельзя, а каторга никого не пугает, так как все уверены, что в Москве будет «амнистия».

Однако генерал Драгомиров не остановился перед суровыми мирами.

«...Отдельные шайки бандитов начали шарить по еврейским кварталам и вымогать деньги. Несколько мерзавцев, пойманных на месте преступления, были *оправданы* военно-полевым судом... Я вытребовал к себе составы судов и разругал их так, как, кажется, еще никого никогда не ругал... Суд стал выносить смертные приговоры, которые все и были приведены в исполнение...

[1] От 29 сентября и 20 октября 1919 года.

Когда большевики вошли в Киев[1], то экспансивность евреев взяла верх, и они устроили такое ликование, которое сразу показало, на чьей стороне их симпатии. Этого им народ не может простить, и его настроение нельзя охарактеризовать иначе, как бешеной злобой против всего еврейского...»

26 июня ко мне в Таганрог явилась депутация в составе председателей еврейских общин[2]. Они нарисовали трагическую картину жизни еврейства и просили «властным словом» остановить погромы. Я ответил:

— Я не имею никаких оснований относиться с особенной симпатией к еврейскому народу. Но из побуждений христианской морали и государственной целесообразности я делаю все, что могу, чтобы предотвратить насилия над еврейским населением.

Делегаты просили «особым торжественным актом» объявить осуждение еврейским погромам[3]. Они не могли понять, что слова здесь бессильны, что всякий лишний шум вокруг этого вопроса только утяжелял положение евреев, вызывая раздражение в массе и обычные обвинения «продался жидам». Не могли понять, что борьба в аспекте *защиты еврейства* была тогда безнадежна, и могла быть ведена целесообразно лишь под знаком *общей* морали и *общей* воинской дисциплины: осуждать и карать сурово *всякий* разбой, *всякое* насилие над людьми — православными, магометанами, евреями — безразлично.

Еврейские представители просили еще вернуть евреев-офицеров в полки. Я описал им бывшие на этой почве инциденты и указал на тяжкие последствия для этих офицеров в случае принудительного зачисления их в части. Один из представителей взволнованно и горячо заявил:

— Пусть! Пусть они подвергнутся моральным мукам, даже смерти! Мы идем на это, мы жертвуем своими детьми!..

Но власть не могла стать на эту точку зрения: за самосудами — чтобы не капитулировать явно перед произволом — должны были последовать репрессии, а за репрессиями — прилив новой волны ненависти.

[1] Киев в конце сентября был захвачен большевиками, владевшими им 2—3 дня.

[2] Екатеринославской — Брук, Харьковской — Виленский, Ростовской — Гольденберг и Таганрогской — Евинзон. В их записи нашей беседы, судя по выдержкам, приведенным Штифом, — большие искажения.

[3] Прибывший из Парижа осенью 1919 года российский посол Маклаков привез также требование парижского еврейства о «торжественной декларации» и о включении в состав правительства «хотя бы одного еврея...».

• • •

Как бы то ни было, ни один из режимов на Юге, приносимых колеблющейся линией фронта, не мог побороть антисемитское настроение. Когда через еврейские районы перекатывалась волна Красной армии, грабившей, громившей и насиловавшей, и водворялась советская власть, она действительно принимала меры особливого покровительства еврейскому населению. Но это обстоятельство, давая временное облегчение, далеко не разрешало вопроса и таило в себе источник новых бед для еврейского народа. Оно создавало приверженность евреев к советской власти и связанность судеб. Оно утверждало в русском народе представление о сродстве и общности еврейства и большевизма и, не рассеивая создавшейся ненависти к евреям, загоняло чувство это вглубь, в потенции, с громадным внутренним давлением, могущим прорвать некрепкие покровы и разлиться безбрежным ужасом.

После падения противобольшевистских фронтов и приостановки гражданской войны, после нескольких лет «мирного строительства» — что дала советская политика в области разрешения еврейского вопроса? Об этом свидетельствуют слова непредубежденного исследователя С. С. Маслова, написанные в 1922 году, но с каждым днем находящие все новые подтверждения:

«Юдофобство — одна из самых резких черт на лице современной России. Может быть, она даже самая резкая. Юдофобство везде — на севере, на юге, на востоке, на западе. От него не гарантирует ни уровень умственного развития, ни партийная принадлежность, ни племя, ни возраст...

Я не знаю, гарантирует ли от него даже высота общего морального облика современного русского человека.

Погромом пахнет в воздухе. Напряженная ненависть к евреям не может не окончиться им в переходный период между падением советской власти и укреплением власти-преемницы...»

Как в этой заключительной характеристике положения, так и в определении причин и поводов антисемитизма повторены, с большей, быть может, остротой, все те же знакомые нам черты жизни и взаимоотношений на Юге России в годы вооруженной борьбы.

Поэтому чрезвычайно важным является своевременное разрешение вопроса: соответствует ли интересам еврейства возможно длительное существование советской власти, или было бы целесообразнее для него прибавить и свою полновесную гирю к тому тяжкому грузу, который неудержимо тянет эту власть ко дну.

И тем, быть может, пробить брешь в глухой стене старинной ненависти...

ГЛАВА VIII

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1919 ГОДА: СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Вторая половина 1919 года, в связи с широким распространением территории Вооруженных сил Юга, отмечена была развитием политической жизни русской общественности и попутно политического ажиотажа. Левая и либеральная общественность сохраняла по преимуществу свои старые партии и организации; правая, разбитая и расколотая в процессе революции, теперь лихорадочно организовывалась в новые партии, общества, союзы. Летом 1919 года на пространстве от Харькова до Владикавказа их насчитывалось более двадцати...

По-прежнему на авансцене политической жизни, в той или другой степени стараясь влиять на направление правительственной деятельности, стояли три организации: Совет государственного объединения, Национальный Центр и Союз возрождения. Неоднократно отдельные члены этих организаций делали попытки «создания единого политического фронта». При этом, вследствие резкого антагонизма между крайними звеньями этой цепи, во взаимное общение они не вступали, а роль посредника играло обычно среднее звено — Национальный Центр. После неудачного одесского опыта, в конце мая вновь явилась некоторая надежда на возможность объединения: на соединенном заседании руководителей Государственного объединения и Национального Центра выяснилось, что обе стороны, «расходясь в программах, вполне солидарны в отношении желательного направления политики на *ближайшее время*». В основу предстоявшего соглашения должны были войти следующие положения: 1) воссоздание единой России; 2) борьба с большевиками до конца; 3) безусловная поддержка Добровольческой армии и ее главнокомандующего; 4) признание права частной собственности; 5) свобода национальностей и религий. Так как по этим вопросам некоторое единомыслие было достигнуто в свою очередь между Национальным Центром и Союзом возрождения, то, казалось, все препятствия отпали.

Была и торжественная демонстрация единения на совместном заседании трех организаций 5 июня, по поводу признания мною верховной власти адмирала Колчака. Речами всех ораторов совершенно определенно устанавливался факт соглашения, причем в своем слове представитель Союза возрождения профессор И. П. Алексинский придавал событию этому исключительно серьезное значение: «Сейчас торжественное объявление акта 30 мая... а также слух об *объединении всех политических партий* проникает *туда* — в затемненные умы, в завешенные большевиками уши, и, быть может, рассеются клевета и обман, и наконец русские люди увидят русские армии, идущие для осуществления прав народа».

О состоявшемся единении политические деятели уведомили официально русский Париж и Омск.

Это был праздник. На другой день настали вновь политические будни. Никакого объединения не вышло. Чтобы сохранить идею или видимость общего фронта, по мысли профессора Новгородцева, продолжались все же сепаратные (в двух комбинациях) переговоры по отдельным вопросам. Так Государственное объединение и Национальный центр опубликовали приветствие церковному собору, постановление против русофобской политики Грузии, против создания «Юго-восточного союза» в его первой стадии (казачьего) — «обособляемого от остальной России» и в будущем «грозящего стать источником разъединения и трудно учитываемых бедствий...» К этой последней точке зрения присоединился всецело и Союз возрождения — не в декларации, впрочем, а в ряде статей своего председателя Мякотина[1].

Характерно при этом, что левая общественность, признавая в принципе необходимость объединения, даже во внешних признаках стремилась всемерно отгородить себя справа, считая такое общение «подрывающим ее престиж». Так, в 20-х числах июня, когда в кадетской «Свободной Речи» появилось сообщение о ведущихся между тремя организациями переговорах об едином фронте, в «Утре Юга» тотчас же напечатано было Союзом возрождения заявление, что Союзу по этому поводу ничего (!) неизвестно...

Национальный центр продолжал между тем сепаратные переговоры справа и слева. Слева они встречали часто открытую нетерпимость, справа — неискренность. Потому что ни для кого не было тайной, что наряду с переговорами между Национальным Центром и Государственным объединением шла не прекращаясь скрытая борьба за проведение своих идей и своих людей в правительство. В частности, правые круги упорно и настойчиво проводили в состав правительства Кривошеина. Сам Кривошеин три четыре раза заходил ко мне беседовать по текущим вопросам и при этом, вероятно по тактическим мотивам, высказывал всегда большое удовлетворение и главным командованием, и его политикой. Эти посещения прояснили мне наглядно ту степень влияния, которым пользовался он в правом секторе Особого совещания: не раз

[1] «Утро Юга».

на официальных ведомственных докладах мне приходилось выслушивать точное воспроизведение не только идеи, формулировки, но даже тех политических beaux mots[1], которые я слышал уже ранее в моем кабинете из уст Кривошеина.

В числе вопросов, подвергавшихся совместному обсуждению, капитальнейшее место занимал аграрный. Можно сказать, что это был главный стержень, вокруг которого мертвой петлей сплелись личные и партийные счеты, взаимная ненависть и интриги. Союз возрождения, стоявший на точке зрения национализации земли в будущем и полного сохранения сложившихся в революции аграрных отношений в настоящем, был непримирим и не шел на компромиссы. Мякотин прямо говорил, что «блокироваться с кадетами (Национальный Центр) можно лишь там, где они не блокируются с правыми»[2]. Переговоры Национального Центра и Государственного объединения в этой области носили характер дипломатической игры. Центр, в корне расходившийся с идеологией начальника управления земледелия Колокольцева, предлагал Объединению обратиться совместно к Главнокомандующему об удалении Колокольцева, ввиду «крайней медленности действий его и оставления без разрешения важнейших вопросов землеустройства...» Объединение, руководившее деятельностью Колокольцева, признавало такое обращение «совершенно недопустимым», как «противоречащее идее диктатуры...» В дальнейшем, при всем сглаживании острых углов, обозначились расхождения непримиримые, с единственной весьма колеблющейся в восприятии ее точкой соприкосновения — признанием частной собственности.

Насколько самодовлеющее значение в политической идеологии Объединения имел земельный вопрос, характерным примером может служить одно из совместных заседаний обеих организаций в Пятигорске[3]. Отдел Государственного объединения, отстаивая устами весьма видных своих сочленов недопустимость в интересах государства

[1] Буквально: «красивых слов» (франц.). — *Прим. ред.*

[2] Заседание 22 сентября 1919 года.

[3] 18 сентября 1919 года.

принудительного отчуждения земли, допускал всевозможные уступки в интересах рабочих, вплоть до признания фабричных комитетов, рабочего контроля и участия рабочих в прибылях. По этому поводу представители Национального Центра приглашали своих собеседников «быть последовательными и не приносить интересов государственной промышленности в жертву рабочим из-за желания сохранить частновладельческие земли...»

Так или иначе, в начале июля вышел известный проект «Земельного положения» Колокольцева, отвергнутый мною и повлекший его отставку.

Это событие, в особенности после ряда явно неудачных назначений лиц, близких к Государственному объединению, принято было общественностью как поражение Объединения. Действительно, деятельность организации значительно померкла. Кривошеин устранился от непосредственного руководства Советом и уехал в Кисловодск, уделяя более внимания коммерческой деятельности; его заместил бывший начальник управления внутренних дел Н. Н. Чебышев. И Чебышев, и впоследствии вернувшийся в Ростов Кривошеин переменили тактику Объединения: борьба с Национальным Центром приняла более явный и интенсивный характер; попытки сближения влево были оставлены; Объединение стало привлекать в свою орбиту умеренно правые организации (Всероссийский Национальный союз, «Единая Русь», Союз русских национальных общин и др.) и вместе с тем выдвигать на авансцену Союз земельных собственников, содействуя всячески организации его на местах и выработке его экономического базиса и политической идеологии. На этом фундаменте, по мысли Кривошеина и при участии Струве и Н. Н. Львова, предположено было создание широкого правого объединения — Русской национальной партии. Но в более правых кругах позиция Государственного объединения считалась слишком умеренной и недостаточно монархической, авторитет его руководителей недостаточным, а в то же время желание играть первостепенную роль основателей всевозможных «инициативных групп» было чрезмерно велико. Идея умеренно-правого блока также не осуществилась.

Непосредственного осведомления от руководящих органов политических групп я не имел. Тем более любопытно было знакомиться летом 1919 года с очередными секретными сводками, определявшими шедшую оттуда оценку текущего момента. «Почти все руководство политической жизнью, — говорили в кругах Государственного объединения, — перешло окончательно к Национальному Центру... В правых кругах в связи с уходом Чебышева[1] и назначением Носовича говорят, что все назначения на высшие административные посты перешли в руки М. М. Федорова...» Впрочем, в другой сводке, почему-то не попавшей в свое время ко мне, говорилось о кружке бывшей крупной бюрократии, образовавшемся в недрах управления внутренних дел «во главе с Говоровым и Головиным», политически недалеком от Русского собрания[2] и якобы похвалявшемся: «Пусть себе генерал Деникин ведет здесь какую хочет политику, но на местах проводить ее в жизнь будем мы — начальники губерний...»

Все три организации сознавали ясно неустройство гражданской власти на местах и весьма тревожное положение там. Все три посвятили этому вопросу не одно заседание и причины его усматривали: одна — в отсутствии у администрации *твердой политики* (Государственное объединение), другая — в *людях* (Национальный Центр), третья — в *системе* генерал-губернаторств вместо общественных самоуправлений.

Я искал людей, но... не находил.

* * *

Кадеты, по существу, влились в Национальный Центр, оставив за своими партийными органами общее направление, идеологию и предоставив практическую работу Центру. Так как кадетские взгляды находили отражение в деятельности либерального сектора Особого совещания, то нелишне будет остановиться на отношении этой партии к вопросу о власти.

Ростовская конференция кадетов (29—30 июня) постановила «в отношении общенациональной платформы считать руководящими начала, провозглашенные в декларациях адмирала Колчака и генерала Деникина». Она призывала к под-

---

[1] С должности начальника управления внутренних дел.

[2] Бывший Союз русского народа. См. ниже.

держанию власти и признавала необходимость диктатуры, которая должна быть «не возглавлением революции, а преодолением ее... обузданием и революционной, и реакционной стихии». Осуждая «старый централизм», съезд предлагал, однако, установить строгие нормы «против всяких уклонений в сторону федералистских и сепаратистских течений...»

Наконец, что наиболее характерно, партия, учитывая соотношение сил, отнюдь не стремилась к приобретению «руководящего значения в управлении», наоборот — страшилась такого положения вещей. Ибо в этом случае, — говорилось в резолюции — «произошло бы враждебное отхождение других влиятельных общественных сил от... власти и от правительства и противодействие с их стороны. И дело окончилось бы крушением не только кадетов, но и подрывом власти и ускорением темпа и размаха реакции...» Поэтому-то партийные органы приглашались «к согласованным действиям с правыми и левыми организациями».

Национальный Центр всемерно и добросовестно поддерживал власть, проявляя терпимое отношение даже к тем мероприятиям правительства, которые расходились с политическими воззрениями Центра и являлись результатом поражения или компромисса его сочленов, состоявших в Особом совещании. Его противники справа не были так лояльны. И не раз либеральная мера, прошедшая с трудом сквозь коалиционное чистилище, разбивалась в прах о дружное сопротивление исполнителей, по преимуществу принадлежавших к правым кругам.

У Государственного объединения отношение к власти внешне было вполне лояльным. Совет государственного объединения по важнейшим вопросам, по которым точка зрения его сходилась с правительственной, высказывался гласно в торжественных декларациях; в случаях расхождения стремился воздействовать через своих сочленов в Особом совещании, при этом весьма напористо. Только один раз Кривошеин от имели Совета обратился непосредственно с письменным протестом по поводу первого проекта земельного закона (колокольцевского), в «радикализме» которого Совет усмотрел потрясение основ. Но в результате борьбы, веденной в недрах Особого совещания, Совет государственного объединения, стремившийся сосредоточить в своих руках исключительное влияние на власть и не преуспевший в этом, состоял зачастую в лояльной к ней оппозиции.

Печатного органа своего Совет не имел. Но идеологию его отражала в большой степени газета «Россия» («Великая Россия»), руководители которой (Н. Н. Львов, П. Б. Струве, полковник А. фон Лампе) состояли деятельными участниками объединения. Интересно, что основатель газеты В. В. Шульгин не был единомышленным со своим органом в одном из важнейших вопросов — аграрном. «Россия» стояла неизменно на страже помещичьего землевладения, в то время как В. В. Шульгин писал однажды из Одессы о своих «еретических мыслях»: «Я думаю, что без решения аграрного вопроса ничего не будет. Наш мужик при всем своем варварстве здоров душой и телом, невероятно настойчив в своих основных требованиях. Наши помещики дряблы и телом и духом, и здоровый эгоизм собственника, столь сильный у англичанина и француза, в значительной степени ими утрачен. У меня появилось внутреннее убеждение, что бороться в этом отношении бесполезно. Но если землю все равно надо отдать, то возникает вопрос: правильно ли мы идем, откладывая этот вопрос до воссоздания России? Ведь главное препятствие этого воссоздания и есть эта проклятая земля»[1].

Точно так же не было официального органа у Национального Центра и кадетской партии. «Свободная Речь», основанная «при содействии местного кадетского комитета» и редактировавшаяся К. Н. Соколовым, с течением времени стала отражать взгляды скорее самой правой группы кадетов и чаще всего личные взгляды самого редактора. Расхождение его с сочленами по партии достигло большого обострения и привело в конце концов к требованию последних «заявить о том, что «Свободная Речь» не является органом кадетской группы». Такое заявление появилось действительно в мягкой форме, вскользь в одной из передовиц: «Нисколько не претендуя на роль партийного официоза, мы тем не менее...» и т. д.

Не было на Юге и правительственного официоза, так как газеты, выпускаемые «Освагом», были бесцветны и неавто-

---

[1] Письмо от 12 декабря 1918 года.

ритетны. Я вообще был против существования казенной прессы, считая предпочтительным оказание поддержки свободным органам, стоящим на национальной платформе, и не связывая их правительственной опекой. Но большого серьезного органа, действительно руководящего общественным мнением, Юг не создал. Мечтали о нем многие. Так, Н. Н. Львов обращался к председателю Особого совещания генералу Драгомирову, прося «одобрения и моральной поддержки» для создания «большого органа печати, группирующего вокруг себя крупные силы... беспартийного, не связанного ни с какими классовыми интересами, выразителя национальной мысли». Кадры работников для нового начинания он видел в редакции «России» и считал, что «успех, которым она пользуется, дает надежду справиться и с этой более трудной задачей...» В конце мая телеграммой, подписанной Н. И. Астровым, М. М. Федоровым и В. В. Шульгиным, из Парижа был вызван П. Б. Струве, которому Шульгин писал: «Здесь с Вашим приездом связывают открытие большой газеты, которая всех бы нас объединила и ставила бы вехи, ибо вехи сейчас страшно необходимы...»

Если все подобные начинания не увенчались успехом, то виною этому были не столько финансовые и технические затруднения, в общем преодолимые, сколько психология общества и духовных руководителей его, которые не могли освободиться от классовых и партийных пут, не могли — одни ставить вехи, другие следовать только в створе национального возрождения России.

Я не могу назвать противоправительственной и деятельность Союза возрождения в ее общем направлении. По мере роста сил и территории Юга, отношение к нам становилось более внимательным и менее непримиримым. В моей апрельской декларации не были произнесены слова «Учредительное собрание»[1]. Это обстоятельство, по признанию лидеров Союза, служило главным камнем преткновения в наших взаимоотношениях. Но с момента подчинения моего адмиралу Колчаку, обязавшемуся созвать Учредительное собрание, это препятствие было устранено, и на заседании

[1] Я говорил о «Народном собрании».

1 июня Союз постановил «оказывать широкую моральную и реальную поддержку адмиралу Колчаку и генералу Деникину...» Не знаю, как было на Востоке, но я на Юге никакой реальной помощи от Союза не видел. Признав необходимость поддержки борьбы и молчаливо примирившись с фактом существования военной диктатуры, Союз не шел далее огульной критики деятельности правительства, и «Утро Юга» — газета, ставшая официозом Союза, — помещала периодически резкие статьи против армии и власти.

Только к осени 1919 года изменился тон нового официоза организации «Паруса», изменилась как будто общая тактика Союза. Конференция партии народных социалистов[1], вдохновлявшей Союз возрождения, устами Мякотина признавала необходимым участие партии в организуемой власти, «не считаясь с некоторыми отрицательными качествами ее...» «Нельзя, — говорил он, — ограничиваться одной только оппозицией. Партия должна стать на линию сотрудничества, подвергая благожелательной критике и действия власти». Сообразно с этими взглядами, партии народных социалистов и Союзу возрождения вменялось в обязанность участие в выборах в городские и земские самоуправления и в будущий законодательный орган Юга России — не только по избранию, но и по назначению. Но тут же конференция ослабляла принятое решение, ограничивая это участие санкцией центрального комитета партии. Тут же, в самый разгар нашей борьбы с центробежными силами, партия, до того боровшаяся против самостийности Агеевых и Бычей, для «выпрямления правительственной политики» призывала своих сочленов к поддержке краевых образований, как «противовеса централизации и, может быть, реакции...»

* * *

Только указанные три организации имели то или иное *непосредственное* отношение к государственной работе.

Что могли они дать южной власти?

Тая в идеологии и в практике своей ряд непримиримых антагонизмов, они к тому же захватывали лишь тонкий слой русской интеллигенции, не проникая корнями своими в тол-

[1] Заседание 22 сентября. В Союз входила и группа «Единство».

щу народную. Их относительный вес и значение основывались не на поддержке масс, а лишь на участии лиц, составивших себе имя (у многих заслуженное) на поприще государственной, политической или общественной деятельности.

Поэтому-то эти организации могли дать и давали только *совет*, а не *опору*. Найти опору ни я, ни они не сумели.

ГЛАВА IX

КРАЙНИЕ И УМЕРЕННО-ПРАВЫЕ МОНАРХИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ НА ЮГЕ

Разгромленные в первый период революции правые организации — новые и занесенные рядом эвакуаций из Москвы, Киева, Одессы — широко раскинулись на территории Вооруженных сил Юга.

Крайние правые партии группировались, главным образом, вокруг Русского собрания в Ростове[1], имея в своих рядах профессоров Озерова, Замысловского, Образцова, Лутковского, Всеволожского, генерала Комиссарова и др. В период атаманства генерала Краснова Русское собрание действовало открыто, обладало большими средствами и поддержкой со стороны власти; при генерале Богаевском оно работало конспиративно и добывало средства доходами от азартной игры в клубах. Идеология его известна, отношение к нашей правительственной политике было сугубо отрицательным, а сфера действий — преимущественно военная (офицерская) среда. В стороне, но в тесной связи с собранием стояла строго конспиративная организация, пока недостаточно освещенная — Анонимный центр. Ячейки его были якобы во всех войсковых частях, и в числе прямых или духовных закулисных руководителей называли некоторых старших генералов.

К тому же лагерю принадлежало основанное известным священником Востоковым «Братство Животворящего Креста». Официальный его устав гласил о духовно-нравственном воспитании народа, христианской взаимопомощи и защите святой православной веры. Фактически цели его были чисто политическими — борьба с «жидомасонством» и восстановление абсолютной монархии. Высший церковный совет относился совершенно отрицательно к Братству и его не утвердил. Тем не менее Востоков имел известное влияние на народ и собирал прозелитов своими проповедями — элементарно-демагогическими, но отвечающими настроению момента. Негласно он издавал листовки и брошюры и совместно с генералом Нечволодовым пытался организовать в армии подпольные боевые дружины «Орден Св. Креста» — затея, не имевшая, впрочем, никакого успеха.

[1] Всероссийский монархический центр, Военно-монархический союз, осколки Союза русского народа, Национально-либеральная партия и др.

Большая часть этих организаций имела ярко германофильскую окраску; непосредственно или через «салон графини Игнатьевой», перенесенный в Новороссийск, они сообщались с однородными зарубежными группами и исподволь сеяли вражду к союзникам и идиллические, ирреальные надежды на помощь Германии. Одни из деятелей этого рода руководствовались корыстными побуждениями, будучи оплачиваемы Берлином, другие работали bona fide[1].

Работа крайних правых организаций, преимущественно подпольная, находила пути в народ и в армию не только через их ячейки, но и через... правительственные учреждения. Любопытна в этом отношении переписка двух столпов Русского собрания.

«Весьма рад Вашей бодрости и успеху Ваших работ... Максим Денисович Г. (?) тоже хорошо устроился — состоит в Осваге... Есть мои знакомые, которые состоят (там) на должности и получают по условию 3—4 тысячи в месяц, да еще свободно речами и лекциями зарабатывают 2—3 тысячи; а я сижу без должности... и потому не имею бумажки, которая гласит: такой-то состоит агентом, пользуется проездом по железной дороге, имеет право произносить речи во всех местностях и т. д. Вот достаньте-ка мне такую бумажку... Конечно, лучше, если бы меня приняли куда-нибудь в штат на должность и жалованье... Порекомендуйте меня своим высокопоставленным знакомым...

[1] По доброй вере, чистосердечно (*лат.*). — *Прим. ред.*

Мечта моя в том, чтобы нам, то есть Вам, мне и М. Д-чу сблизиться. С подобными бумагами мы бы кое-чего понатворили»[1].

Вероятно, усилия их не были бесплодны, потому что в августе информационная часть «Освага» отмечала:

«Что касается монархических партий и групп, близко стоящих к «Русскому собранию» (таких насчитывается 19), то главное их внимание обращено на армию, где сосредоточена вся активная, агитационная работа. Главным их орудием является отдел военной пропаганды. Они сумели посадить (туда) многих своих единомышленников, через которых распространяют свою литературу. Правда, делается это весьма осторожно и без ведома лиц, стоящих во главе отдела, через низших служащих».

Крайние правые партии не захватывали организационно, численно широких кругов населения и армии. Офицерство участвовало в них преимущественно тыловое. Я знаю очень многих добровольцев, которые не слыхали никогда и названий этих организаций. О существовании некоторых из них я сам узнал только теперь, при изучении материалов. Точно так же они не имели своей легальной прессы, так как периодически открывавшиеся газетки их быстро кончали свое существование от безденежья или в силу постановлений казачьих правительств. Но их подпольная агитация оказывала несомненное влияние, в особенности среди неуравновешенной и мало разбиравшейся в политическом отношении части офицерства. Эти организации делали попытки к объединению (Правый блок, Монархический блок), но расходились опять. У них был, однако, общий всем лозунг — «самодержавие, православие и народность». Из предосторожности он не осложнялся необычайно трудными вопросами *положительного* государственного и социального строительства, а сводился к простейшему и доступному массе, оголенному от внешних туманных покровов императиву:

— Бей жидов, спасай Россию!

[1] Из письма В. А. Образцова к Лутковскому (бывший редактор «Двуглавого Орла»), 14 июня 1919 года.

Что касается отношения этого сектора к власти, оно было вполне отрицательным, но, первое время по крайней мере, выжидательным. Российская реакция в *период успехов Вооруженных сил Юга* только готовилась, организовывалась, агитировала, собирала силы; она избегала потрясений и откладывала счеты «до Москвы». Она ставила себя в положение резкой политической оппозиции и для создания «единого, могучего фронта монархистов» считала единственно приемлемым, чтобы «политическая линия Верховного командования Юга России отрешилась от соприкосновения с кадетами и социалистическими элементами и заняла положение в центре между группою В. В. Шульгина и группами, стоящими правее ее»[1].

Почвенность, «корни» и народная опора считались там элементами второстепенными. Многие разделяли тогда взгляд, правильно или нет приписывавшийся Пуришкевичу:

«К моменту окончательной победы над большевиками народная масса, усталая от пережитых потрясений, жаждущая порядка и возвращения к мирному труду, окончательно утратит свою роль главной движущей силы революции; масса отойдет от политики. Но революция еще будет продолжаться. И взамен демоса на арене борющихся сил окажутся политические группы, кружки и партии, из которых каждая будет говорить от имени народа. Вот этим-то моментом и нужно воспользоваться для выхода на политическую арену...»

Взгляд, не лишенный проницательности.

* * *

Умеренные правые круги не отличались такой активностью, как их соседи справа.

Южнорусский национальный центр В. В. Шульгина после Одессы и до занятия Киева почти не проявлял деятельности, невзирая на личный вес и значение своего главы. Основною целью своею центр ставил борьбу с украинством «в каком бы виде оно ни проявлялось». Лично Шульгин играл серьезную

[1] Доклад одного из лидеров крайних правых А. Н. Варламова на имя генерала Лукомского. Сентябрь 1919 года.

роль и в Особом совещании в дни кратковременного участия в нем, и в качестве руководителя влиятельной газеты «Великая Россия», и особенно ввиду близких отношений к А. М. Драгомирову — сначала председателю Особого совещания, потом главноначальствующего Киевской областью.

Так же тихо шла работа «Всероссийского национального союза» Балашова — организации тождественной и конкурирующей с Южнорусским национальным центром.

Большой шум создавал вокруг себя Пуришкевич, перессорившийся со всеми правыми лидерами и насаждавший повсюду отделы своей «Народно-государственной» партии, имевшей главный источник комплектования среди обитателей курортов. Я был немало удивлен, найдя в делах ходатайство управления министерства внутренних дел о солидной субсидии Пуришкевичу, по-видимому удовлетворенное отделом пропаганды.

Умеренные партии[1] принимали конституционную монархию, о чем говорили параграфы их программ или заставляла догадываться формула «непредрешения государственного строя». Но монархию разных толков. Так, Балашов признавал двухпалатную систему, но «без всеобщего избирательного права; Пуришкевич допускал конституцию и все «свободы», причем, однако, в его программе все социалистические партии объявлялись «антигосударственными», народному просвещению придавался характер «церковно-государственный», и даже кинематограф объявлялся государственной регалией.

Все эти партии стояли на почве всемерной поддержки Добровольческой армии и в известной — большей или меньшей — оппозиции к власти. Вначале правая оппозиция ограничивалась критикой, потом противополагала и мне

[1] Можно назвать еще Национально-либеральную партию (Флоренский, Замысловский), отколовшуюся от Русского собрания, но не порвавшую с ним связь; Русскую национальную демократическую партию (Азанчевский, приехавший из Москвы и возбуждавший у властей сомнение); общество «За Россию», покрывшее отделениями Ставропольскую губернию и отчасти Терскую область при содействии Освага; «Единую Русь» (Альшевский и светлейший князь Голицын) и т. д.

и моей деятельности определенное лицо и определенный политический курс.

Партийной прессы в этом секторе, за исключением органов Шульгина[1] не было. В Ростове выходила еще газета Б. Суворина «Вечернее время» — правая, беспартийная, отличавшаяся неожиданным подчас подходом к вопросам государственного строительства. Но относилась она с трогательной любовью к армии, пламенно защищая ее от всех ее врагов, и читалась офицерством весьма охотно.

Среди умеренных правых партий также делались неоднократные попытки к взаимному объединению, к созданию Русского национального блока. Главным инициатором являлась наиболее деятельная и, пожалуй, наиболее распространенная организация — Союз русских национальных общин. Во главе ее стояли некие И. А. Корвацкий[2] («старейшина») и Н. Г. Панченко[3] (заведующий пропагандой Союза). Занесенный из Малороссии, Союз обосновался в Ростове и к осени 1919 года имел 10 общин в важнейших городах Юга и несколько ячеек. Его идея, по словам руководителя, заключалась в том, чтобы «связать русский национализм с радикальной прогрессивностью». Его пути намечены были через *приходы*, союзы землевладельцев, сельских учителей[4] и «национальную», свободную от «инородческого» капитала и участия кооперацию.

Главное — *церковные приходы.* Возникшая еще в 1905 году мысль, что приход должен выйти из ограниченного круга религиозных интересов на арену политической борьбы, вновь возбудила живейший интерес в самых разнообразных кругах. Оживилась церковь. Но в то время как несколько талантливых проповедников с амвона и с кафедры собраний стали сеять духовно-нравственные начала и будить в народе национальное чувство, другие, не менее вдохновенные пастыри сеяли чистейшую демагогию и полити-

[1] «Великая Россия» — в Екатеринодаре—Ростове и «Киевлянин» — в Киеве.

[2] Председатель Мелитопольского русского национального клуба, журналист.

[3] Член Ставропольско-Терского союза сельского хозяйства.

[4] Единения с этой средой союз не достиг.

ческую нетерпимость. Поэтому-то Высшее церковное управление, и в особенности архиепископ Донской Митрофаний, отнеслись с большой осторожностью к этому вопросу, учитывая возможность появления новых Илиодоров... В конце концов, однако, Высшее церковное управление должно было уступить общественным настроениям и допустить «публичные выступления отдельных священнослужителей на общественно-политические темы, но, во всяком случае, вне храма, под их личной ответственностью».

В *приходе* правая общественность видела новую базу для восстановления народной и государственной жизни, и потому в Союзе русских национальных общин, предвосхитившем эту идею, сошлись неожиданно элементы политически разнородные: Н. Н. Львов и профессор Н. Н. Алексеев (члены центрального совета) связывали его с Советом государственного объединения; В. М. Скворцов[1] (член центрального совета) своим единомыслием и соучастием тесно переплетал его с «Братством Животворящего Креста»; присяжный поверенный Измайлов[2], наиболее активный член ростовской общины, мрачно-правый, протягивал от Союза крепкие нити к Русскому собранию и погромному листку «В Москву». Наконец, через генерала Батюшина — товарища председателя Совета и секретного сотрудника Освага — Союз искал покровительства и средств в Военном управлении и в отделе пропаганды Особого совещания.

Приход оказался на распутье и мог стать не самодовлеющей силой, а орудием самой неожиданной политической комбинации.

Съезд представителей умеренных партий[3] 14 июля в Ессентуках не привел к объединению их: под тем благовидным предлогом, что устав Национальных общин еще не разработан, вопрос о создании блока был отложен. Но те диспуты, которые происходили на закрытых заседаниях,

---

[1] Бывший редактор «Колокола».

[2] Юрисконсульт фирмы Второва.

[3] Были представители, кроме Союза русских национальных общин, — Всероссийского национального союза, Южнорусского национального центра и старообрядческих общин.

история прохождения в дальнейшем «прогрессивных» статей программы и интимные заявления руководителей Союза обличали в нем две, по крайней мере, ипостаси и резкую разницу между нутром и видимостью.

Так, устав, переработанный впоследствии при участии людей несколько иного политического стажа и направления — Н. Н. Львова и профессора Н. Н. Алексеева — гласил[1]: «Форма правления в России не предрешается... но... должна соответствовать национальному правосознанию, русского народа...» Эта формула покрывала единогласно принятый комиссией съезда лозунг — борьбы за восстановление монархии во что бы то ни стало и, вместе с тем, полное разногласие в определении типа ее: от конституционной до «просвещенного абсолютизма». Устав говорил о необходимости «нравственного влияния Церкви Христовой на все стороны государственной жизни», слегка ретушируя неприкрытую клерикальную сущность государственной власти, проводимой на съезде: «полная и действительная связь Церкви с государством, нравственное влияние на дела правительственной власти, законодательство, вопросы политики и прочие». Союз русских национальных общин, громя печатно и устно «классовый национализм, не могущий по природе своей пойти на широкие экономические отрешения», вступил в полное соглашение и сотрудничество с Всероссийским союзом земельных собственников[2], выяснив «отсутствие расхождения в целях и задачах»; но «в видах тактических» воздержался от оглашения факта состоявшегося соглашения...[3]

Кроме притягательной силы такого серьезного фактора, каким являлся церковный приход, известный успех Союза русских национальных общин зависел, как оказалось, в большой степени от крупных субсидий, исходивших от Отдела пропаганды и составлявших главный источник его существования. Это обстоятельство обнаружилось в начале декабря с интересными деталями. Еще в мае отдел пропаганды официаль-

---

[1] На почве «полевения» устава из состава центрального совета вышел Скворцов.

[2] Соединенное заседание 25 октября 1919 года.

[3] Доклад товарища председателя от 30 октября 1919 года.

но «признал русские национальные общины, как образования желательные, для совместных работ и сотрудничества». Не без его давления состоялось, хотя и с трениями, вхождение в Союз другого общества, покровительствуемого Освагом, — «За Россию», действовавшего преимущественно в деревнях Ставропольской губернии и считавшегося «более либеральным».

В конце июля начальник «бюро секретной информации» Освага[1] Пацановский, пользовавшийся неограниченным доверием начальника отдела, писал одному из руководителей Союза — Панченко[2]:

«Так как я придаю большое значение... проведению в жизнь лозунгов, выдвинутых общинами, то заинтересован предоставлением Вам и денег и людей... Для придания общинам *фирмы* есть несколько людей с крупными политическими именами, которые принципиально согласятся принять руководство общинами... Две крупные газеты готовы начать кампанию за проведение в жизнь идей прихода и борьбу со Всероссийским национальным Центром»[3].

Соглашение, очевидно, состоялось, потекли деньги и работа Союза оживилась. В конце октября «заместитель старейшины центрального совета» генерал Батюшин представил уже в отдел пропаганды обширный доклад с планом покрытия всей южной России, Сибири и даже Европы (эмиграция) «русскими национальными общинами», «взяв за образец организации всемирный еврейский кагал». Просил у отдела пропаганды и Военного управления миллионы, обещал «проводить здоровые национальные идеи и декларации главнокомандующего» и одновременно возложить на заграничные общины работу осведомления, разведки и контрразведки[4].

---

[1] То есть контрразведки Освага.

[2] 26 июля 1919 года. Ростов.

[3] Напомню, что глава отдела пропаганды К. Н. Соколов состоял членом Национального Центра.

[4] Интересно, что деятельность Пацановского и контрразведки Освага привлекала большое внимание крайних правых, придававших ей своеобразное толкование. Одна из таких групп, во главе с Варламовым, в докладе на имя генерала Лукомского сообщала: «Контрразведка Освага, в силу наблюдаемых в этом учреждении стремлений, не совпадающих с существенными интересами строительства России, может явиться опасным орудием партийной борьбы со стороны кадетов и примыкающих к ним социалистических элементов...»

В очень скромном виде этот план начал осуществляться действительно, когда в начале декабря, ознакомившись с этим делом и отнесясь с недоверием к фактическим руководителям национальных общин, я приказал прекратить денежные отпуски Союзу.

* * *

Влево от народных социалистов и группы «Единство» располагались старые российские партии социалистов-революционеров и социал-демократов — ослабленные, расколовшиеся, понесшие большой моральный и численный урон от революционной стихии и внутренних противоречий.

9-й совет партии социалистов-революционеров, собравшийся в Москве в середине июня, высказал свое отношение к противобольшевистскому движению прямо и решительно:

«Учитывая соотношение наличных сил, IX Совет партии эсеров одобряет и утверждает принятое всеми правомочными партийными органами решение прекратить в данный момент вооруженную борьбу против большевистской власти и заменить ее обычной политической борьбой, перенеся центр своей борьбы на территорию Колчака, Деникина и др., подрывая их дело изнутри и борясь в передовых рядах восставшего против политической и социальной реставрации народа всеми теми методами, которые партия применяла против самодержавия».

После этого постановления глубокие противоречия, раздиравшие партию с самого начала революции, привели к окончательному расколу ее. Отголоском этой смуты на Юге было появление двух воззваний: 1) группы социалистов-революционеров государственников — «ширковцев»[1], порвавшей всякую связь с партийными учреждениями, принявши-

---

[1] Представитель ее профессор Ширков — член Союза возрождения.

ми постановления 9-го совета, и остававшейся на прежней позиции вооруженной борьбы с большевиками; 2) Черноморско-Кубанской группы Белоусова, члена Кубанской рады, всецело присоединившейся к постановлению совета и требовавшей, «ввиду позорящего партию» поведения ширковцев, решительного исключения их из партии.

В среде левых социалистов-революционеров, в свою очередь произошел крупный раскол на почве «национальной»[1], причем украинские социалисты-революционеры сепаратисты и их орган «Борьба» начали кампанию против «эмигрантов», т. е. российских социалистов-революционеров.

Кубань, благодаря участию социалистов-революционеров в правительстве и в особенности в большом числе в Законодательной раде, стала центром социал-революционной работы в ближайшем районе; кубанская казна стала главным источником питания этой работы. Отголоски ее сказались скоро не только на Кубани, где она под покровом казачьей власти велась открыто, но и повсюду: на Черноморском побережье — в руководстве «зелеными»; в Ставропольской губернии, не изжившей большевизма за краткостью времени подчинения советам, — в крестьянских волнениях; повсюду на территории ВСЮР — в проникновении эсеров в кооперативы, в крестьянские союзы, даже в правые организации для подпольной работы разрушения; наконец, в блокировании в этих целях со всеми элементами недовольства и брожения, до большевистских включительно. Тем более что старый народовольческий лозунг — «народовластие» — с легкой руки украинских эсеров был подменен «трудовластием», родственным кровно «диктатуре пролетариата».

Я не склонен придавать преувеличенное значение ни партии эсеров в то время, ни степени успешности их работы, кроме разве кубанских. Излагаю только ее сущность.

Что касается старого оружия партии — террора, — о нем одно из постановлений екатеринодарского отдела ее гласило:

«Прежняя тактика единоличных террористических актов всегда приносила существенную пользу и сдерживала

[1] На Всеукраинском съезде в Киеве весною 1919 года.

власть в ее произволе; а посему и теперь партия эсеров, не предпринимая ничего конкретного, согласна быть карающим мечом в руках пролетариата».

Меч этот правыми эсерами не вынимался из ножен. Что касается левых эсеров, попытки с этой стороны, как увидим ниже, были, но безуспешные.

Другая партия — социал-демократов меньшевиков — перенесла свою работу исключительно в сферу профессионального, отчасти кооперативного движения, и не без известного успеха. Харьков стал центром, откуда распространял свое влияние комитет партии социал-демократов и его дубликат «Югпроф» по периферии на Кавказ, Крым и западную Малороссию.

Сильнейшее разочарование и озлобление против большевистской власти за предшествовавший период ее управления вызвало значительное поправение рабочей массы, охлаждение к вопросам чисто политическим, а местами, как, например, в районах Одессы и Киева — враждебное отношение к своим партийным и классовым организациям. Даже бюллетени Югпрофа констатировали тот факт, что «рабочий смертельно устал, весь революционный дух вышиблен из него голодом, разрухой, гражданской войной. Рабочий идет к правительству и просит обратить внимание на его бедственное положение»[1]. Это обстоятельство требовало известного приспособления и отразилось несомненно на тактике социал-демократов. Ставя себе конечной целью «мировую революцию и интернационал», а ближайшей задачей «политическую организацию рабочего класса и удержание завоеваний революции»[2], социал-демократы не вступали на путь сотрудничества с властью. Они демонстративно уклонились от участия в комиссии по рабочему законодательству и выступали резко в партийной печати и на рабочих собраниях против командования; но за немногими исключениями не выходили на путь прямого действия. Они только «будили революционную энергию в мас-

[1] «Доклад № 9».

[2] «Бюллетень № 2».

сах». К этому призывал и Харьковский партийный орган социал-демократов «Мысль»[1]: «Учредительное собрание при самом неограниченном избирательном праве, но в обстановке тишины и спокойствия, легко превратилось бы в послушное орудие реакции при отсутствии революционной энергии в массах; представители народа были бы бессильны перед правительством...»

Вообще «Мысль» (Харьков) и «Прибой» (Севастополь) приняли тон настолько вызывающий и направление настолько деморализующее, что властям пришлось закрыть их.

Надо заметить, что отношение профессиональных органов, вернее руководивших ими социал-демократов и к «реакционной» добровольческой, и к «демократической» казачьей власти было одинаковым. Северокавказский съезд представителей профессиональных союзов говорил о «наглом игнорировании даже кубанской властью союзов» и уверял, что «современное положение рабочего класса на Кубани мало чем отличается от прочих мест Юга России и не может быть дальше терпимо»[2].

В общем, у меня составилось такое впечатление, что партия социал-демократов в лице ее представителей на Юге России, учтя настроение рабочих и разницу между советским и добровольческим режимом, стремилась не к поражению белых сил, но к такому их ослаблению, чтобы ко времени падения большевиков они представляли собой ничтожный фактор. Меньшивики явились средостением между властью и рабочей средой, справедливое удовлетворение социально-экономических интересов которой не встречало непреодолимых затруднений. Подобно тому, как правые воздвигли другую стену — высокую, отделявшую власть от крестьянства... Во всяком случае, исполнительный комитет наиболее враждебно относившегося к нам екатеринодарского отдела партии социал-демократов меньшевиков в одной из своих резолюций предостерегал будущую Раду: разрыв ее с «правительством

[1] Состав сотрудников бывшей Горьковской «Новой Жизни» — Сан, Базаров, Кричевский и др.

[2] «Заявление» ведомству внутренних дел кубанского правительства. Сентябрь 1919 года.

Деникина ни в коем случае недопустим, так как это может привести пролетариат Юга к очень тяжелым испытаниям...»

Между социал-демократами меньшевиками и властью шла перманентная борьба «с переменным успехом», причем представители власти государственной на местах, быть может, и переходили иногда пределы необходимости, вызывая излишнее раздражение. В частности, киевская администрация с целью порвать средостение поддержала движение, созданное инженером Кирстой против меньшевистских профессиональных организаций — движение, имевшее успех весьма относительный.

Рабочая стихия тем не менее не выходила из берегов. Восстаний ее на Юге не было. Забастовки — это сильное орудие в руках рабочего класса — если и организовывались рабочими верхами с политической целью, то разрешались обыкновенно путем экономических уступок предпринимателей, не отражаясь существенно на ведении вооруженной борьбы.

Что касается украинских социал-демократов, они, как и социалисты-революционеры, заняли совершенно непримиримую позицию к власти Юга и «вековым насильникам-москалям... безразлично — зовутся ли они социалистами, большевиками, кадетами или черной сотней...» Они проповедовали «Украинську Незалежну Народню Республику»[1].

В то время как социалистические партии исподволь подрывали бытие Вооруженных сил Юга изнутри, их заграничные представители, вожди революционной демократии употребляли все усилия, чтобы восстановить против белого движения и «тирании генералов» правительства и общественное мнение союзных держав. В конце мая в заграничной печати появился «манифест», подписанный Керенским, Авксентьевым, Минором, Аргуновым, Зензиновым и др., потом бесчисленные интервью, статьи и сообщения, проводившие систематически и настойчиво идею:

— Ни Ленин, ни Колчак.

[1] Из воззвания Екатеринославского губернского комитета партии украинских социал-демократов.

При этом в средствах не стеснялись. Подверженные попрежнему гипнозу слов, они требовали «гарантий демократизма», без чего ни один патрон не должен быть посылаем белым армиям... В частности, моя, например, реакционность определялась Керенским словами: «Деникина не могут переварить далее самые ярые русские консерваторы...»[1].

• • •

В этом кратком обзоре общественных и политических течений я хотел *только* обрисовать составные элементы не народной, конечно, но политической базы, на которую предстояло опереться власти Юга.

Законы внутреннего притяжения и отталкивания создали, или при известных обстоятельствах могли создать, пять комбинаций:

1) *Правый блок*; 2) *Правый центр* — умеренно-правые партии вокруг Совета государственных объединений; 3) *Центр* — умеренно-правые, либералы, умеренные социалисты; 4) *Левый центр* — либералы и умеренные социалисты; 5) *Левый блок* — социалистический.

Государственнополезной и значительно облегчающей борьбу с большевиками была бы только *третья* комбинация, то есть объединение умеренно-правых, либералов и умеренных социалистов — комбинация, не нашедшая, однако, почвы в тогдашних умонастроениях русской общественности Юга, имевших возможность проявляться явно и открыто при свете дня. Между тем на севере, в тисках советской власти, под угрозой кровавого застенка, необходимость такого объединения получила, в конце концов, осуществление. 1 марта 1919 года в Москве состоялось соглашение, о котором Н. Н. Щепкин писал на Юг:

«Военные круги держатся различных политических убеждений и жалуются на то, что им неизвестно, за что они должны рисковать жизнью (в Москве многих расстреливали). Военные категорически заявили о необходимости соглашения справа-налево, на одной временной платформе. Это повелительное заявление совпало с назревшим сознанием о необходимости такого соглашения во всех политических кругах, борющихся с большевизмом и советской диктатурой. Такое соглашение состоялось между Союзом возрождения, Национальным Центром и Советом общественных деятелей, а через него направо с организациями монархистов-конституционалистов. Текст соглашения:

Признали необходимым в настоящее время установить правильное и тесное взаимодействие. При всех программных различиях, все здоровые патриотические элементы должны стремиться к объединению на ближайших тактических задачах. Между ними могут быть разногласия по вопросу о той власти, которая эти задачи осуществит. Какова бы она ни была, если она обладает необходимой мощью и непреклонной решимостью освободить Россию от большевистского засилья и восстановить ее государственное единство, она должна быть признана. В то же время она должна будет восстановить в России начала порядка, права и свободы, дать возможность ее экономическому, культурному подъему на основах широкой личной инициативы и восстановления права собственности. Она должна осуществить и государственно-необходимые аграрные и прочие социальные реформы. Лишь таким путем, в атмосфере восстановленного порядка, мира и свободы станет возможным созыв Национального собрания на демократических основах, которое решит вопрос о партийных убеждениях по вопросам грядущего социального и политического бытия России и будет в то же время всемерно стремиться сохранить единение для осуществления одинаковых, для всех нас бесспорных ближайших задач, от которых зависит спасение или гибель нашей Родины».

Деятельность московских организаций отражалась мало на событиях Юга и вскоре приостановилась: в июле организация Национального Центра была раскрыта, и 66 участников ее, преимущественно из состава партии кадетов, казнены. В том числе Н. Н. Щепкин (председатель Центра), А. А. Волков, братья А. И. и В. И. Астровы и другие.

Южная общественность почтила горячим молитвенным возношением память людей «непобедимых в своей готов-

---

[1] Интервью в «Манчестер Гардиен».

ности принять муки за Родину», память «очистительной жертвы за грехи русской интеллигенции...»

Но на их путь — путь единения — не вышла.

Можно думать, что и московские деятели, если бы им довелось перейти от подготовительной, конспиративной работы к открытому государственному строительству, окончили бы тем же. Слишком антагонистична была психология двух течений русской общественности и слишком резко противоположны были их идеалы и стремления.

Такими же остались и поныне.

ГЛАВА X

ВНЕШНИЕ СНОШЕНИЯ ЮГА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1919 ГОДА: ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ

Внешняя политика правительства Юга во вторую половину 1919 года не претерпела серьезных изменений.

После Одессы и Крыма по Югу пронеслась волна германофильства, как следствие горького разочарования в союзниках, и особенно французах. Вероятно, Париж имел преувеличенное представление об этих настроениях, потому что они вызвали явное беспокойство в правящих сферах Франции и целый ряд предостережений со стороны русских политических деятелей Парижа. Так, Маклаков, выражая крайнее опасение перед возможностью восстановления политического влияния Германии на Россию, предостерегал, что оно «будет и глубже, и вреднее, и бесповоротнее...»

«Понимая все, что накипело в душе, — писал он, — в окончательном выводе все-таки можно с уверенностью сказать следующее: Франция ни в какой мере не заинтересована в ослаблении России. Наоборот: сильная Россия ей необходима, так как без нее она в Европе будет изолирована. У нас нет ни малейшей противоположности интересов с Францией, а ее денежные претензии к нам сами по себе требуют и сильной, и богатой, и единой России... Никто из великих держав меньше Франции не требует за свою дружбу и союз...»

Опасения были неосновательны. Вероятно, и убежденные германофилы не могли бы указать, какую реальную

помощь была в состоянии оказать русскому делу в то время Германия — поверженная, оккупированная, зависимая от победителей — без их санкции.

Главное командование не предполагало изменять политический курс. Так же относилось к этому вопросу и Особое совещание, на заседании 28 ноября 1919 года единогласно подтвердившее необходимость придерживаться союзной ориентации.

Выбора не было.

Причины столь неудачной до той поры политики Франции Маклаков объяснял известным легкомыслием, незнанием России, пристрастием к демократизму, боязнью своих демократических партий, боязнью реставрации в России ее германофильства и т. д.

«Конечно, был некоторый флирт с украинцами, продолжается он с поляками и финляндцами; но не забудьте, что все это основано отчасти на незнании, отчасти на традиционных воспоминаниях и симпатиях, основанных в значительной степени на позиции русских передовых кругов, которые в своей ненависти к старому режиму преувеличивали страдания и Польши, и Финляндии; а еще больше на том, что в момент крушения России, когда можно было опасаться, будто Россия есть действительно расслабленный колосс, от которого скоро ничего не останется, Франции приходилось цепляться за остатки ее прежней мощи. Но как только появляется вера в то, что будет сильная Россия, все симпатии Франции, самые искренние, идут опять к ней».

В таком же роде писал граф Коковцев, ссылаясь на свою осведомленность благодаря обширным связям в политическом мире Франции:

«В настоящее время[1] французы переживают новый поворотный этап... Их страшит будущая беззащитность перед призраком возможного возрождения Германии. Они преувеличивают до крайности эту способность возрождения,

[1] Письмо от 17 сентября 1919 года.

быть может, искренне даже не верят в нее, но для них и для всех сторонних наблюдателей здесь ясны два положения:

1. Глубокое внутреннее расстройство Франции, упадок настроения большинства народных масс к продолжению вооруженной борьбы, организованность рабочего класса, не желающего возвращаться к упорному труду, и неизбежность отсюда искать сближения с другими народами.

2. Крайняя ненадежность помощи Америки в будущем, неустойчивость ее внешней политики, стремление ее вовсе отойти от европейских осложнений, вернуть себе недавнюю замкнутость в сфере собственных интересов и невозможность поэтому рассчитывать на нее в минуту действительной опасности.

Отсюда больше, чем от серьезной веры в близкую германскую опасность, с каждым днем крепнет страх перед изолированностью Франции и необходимость подготовить в будущем восстановление союза с Россией, вернуть к себе наши симпатии и сделать все возможное, чтобы не допустить Россию или броситься в объятия Германии, или же считать единственным своим другом Англию и подпасть целиком под ее политическое и экономическое влияние.

Здесь начинает даже пробиваться болезненная мысль, как бы не зародилась в один прекрасный день страшная перспектива взаимного сближения Германии, России, Японии и Италии на почве нынешнего хаоса изо дня в день осложняющихся отношений недавних союзников».

В связи с отправлением из Парижа на Юг России миссии генерала Манжена граф Коковцев «по всем доходящим до него сведениям» заключал, что она «имеет истинной целью попытаться (заставить) забыть прошлое и положить начало лучшему будущему, усматривая в Вас и Ваших силах ту ближайшую и реальную власть, которая способна возродить Россию из хаоса и разорения».

Во время поездки нашей делегации в Париж[1] генерал Драгомиров после посещения Клемансо в письме ко мне излагал свои впечатления:

[1] Июнь—июль 1919 года.

«Все понимают необходимость союза с нами. Панически боятся реванша Германии и чтобы мы не соединились с Германией против Европы. Клемансо был со мною очень предупредителен. Сначала резко пытался нападать на нас, что мы «враги Франции»; ссылался на какое-то письмо Ваше к Колчаку, в котором Вы будто бы весьма резко критиковали политику Франции. Пытался обвинять в том же и меня. Я дал ему на это... резкий отпор, что «врагами Франции» никогда не были, но, несомненно, весьма отрицательно относились к французским генералам, создавшим одесскую катастрофу. Клемансо в конце концов несколько раз объявил, что будет оказывать нам всяческую помощь, но, конечно, не людьми. От «людей» я поспешил отказаться, а настаивал на скорейшей *моральной* поддержке, путем немедленного формального признания правительства Колчака и принятия наших представителей в сонм официальных послов других держав. На это я ответа не получил. Разговор кончился почти дружески повторением обещания помочь всем, чем можно. Из письма Нератова Вы узнаете, что такую же помощь обещает и Пишон».

Я убежден, что и эти, и другие мои осведомители совершенно правильно освещали настроения в правившей Франции. Казалось несомненным, что положительные отношения ее к противобольшевистской России имели под собою твердый базис: 1) угрозу русского большевизма, 2) опасность русско-немецкого сближения, направленного против Франции, и 3) преимущественную заинтересованность ее в признании и уплате российского государственного долга.

И тем не менее французская политика не сделала своего «выбора», оставшись на распутье: Франция делила свое внимание между Вооруженными силами Юга, Украиной, Финляндией и Польшей, оказывая более серьезную поддержку одной лишь Польше, и только для спасения ее вступила впоследствии в более тесные сношения с командованием Юга в финальный, крымский период борьбы. Это обстоятельство придавало всей политике Франции в «русском вопросе» характер нерешительности, неустойчивости, беспочвенного гадания и отсутствия той доли риска, которая законна и неизбежна во всяком *большом* политическом предприятии.

В итоге мы не получили от нее реальной помощи: ни твердой дипломатической поддержкой, особенно важной в отношении Польши, ни кредитом, ни снабжением.

После неудачного представительства капитана Фуке во главе французской военной миссии стал полковник Корбейль — человек серьезный и уравновешенный, с которым установились вполне дружелюбные отношения. Но он был представителем только главного командования на Востоке, имел весьма ограниченные полномочия и служил, главным образом, передаточной инстанцией в наших сношениях с Константинополем и Парижем. Мы связывали большие надежды с приездом осенью 1919 года миссии генерала Манжена, командированного уже правительством, обладавшего «широкими полномочиями», как гласила верительная грамота[1], обязанного «облегчить сношения между Добровольческой армией и французским командованием для вящей пользы противобольшевистской борьбе и укреплению связей, соединяющих издавна Францию с Россией».

Надежды не оправдались. В таганрогской миссии не было никакой русской политики, потому что ее не было и в Париже. Все попытки сдвинуть вопрос с мертвой точки не увенчались успехом, и миссия сохранила свой прежний характер, главным образом, осведомительного и отчасти консульского органа. Мы вели длительную переписку и разговоры по поводу захвата французами черноморского транспорта[2] и возвращения интернированных судов русского военного флота; по поводу претензий французских предпринимателей Кривого Рога и Донецкого бассейна; франкофобских выходок некоторых южных органов печати и т. д., и т. д. Разговоры нудные и раздражающие. Была попытка со стороны французского командования и к осуществлению пресловутой англо-французской конвенции о «зонах действий...» В августе 1919 года я получил уведомление, что на основании этой конвенции «контроль над пассажирами, следующими во все (русские) порты на запад от входа в Азовское море, будет производиться французскими властями». Для этой цели французы решили послать свои паспортные бюро сначала в крымские порты, потом в Одессу. Начальнику французской миссии было сообщено о недопустимости вмешательства в наши внутренние дела и о том, что «контроль над лицами, прибывающими в район ВСЮР, осуществляется российскими дипломатическими и военными представителями за границей, без разрешения которых никто в пределы Юга России не может быть допущен»[1]. В конце концов штаб генерала Франше д'Эспере свел вопрос к «недоразумению», и французские контрольные пункты из чинов, «аккредитованных при русских властях», были допущены на побережье, но лишь для контроля лиц, *выезжающих* из России в Константинополь, то есть в фактическую зону союзной оккупации.

[1] От 15 сентября 1919 года.

[2] Из одной Одессы во время эвакуации ушли под французским флагом 22 парохода, которые потом с великим трудом и проволочкой из-за сопротивления французов и корыстолюбия некоторых судовладельцев были частично возвращены для обслуживания ВСЮР.

Мы ли были недостаточно логичны, французы ли слишком инертны, но экономические отношения с Францией также не налаживались. Только в декабре французское правительство аккредитовало при Особом совещании своего представителя — директора русского отдела «L'Office commercial» господина Cottavoz для установления этих «огромной важности отношений». Как раз ко времени, когда началось уже отступление армий Юга...

Англичане, доставляя нам снабжение, никогда не возбуждали вопроса об уплате или компенсациях[2]. Французы не пожелали предоставить нам огромные запасы, свои и американские, оставшиеся после войны и составлявшие стеснительный хлам, не окупавший расходов на его хранение и подлежавший спешной ликвидации. Французская миссия с августа вела переговоры о «компенсациях экономического характера» взамен за снабжение военным имуществом и после присылки одного-двух транспортов с ничтожным количеством запасов

[1] Нота от 2 августа 1919 года.

[2] Французская миссия утверждала, что половина расходов по снабжению, доставляемому англичанами, ложится на Францию; английская отрицала это обстоятельство.

(в ноябре прибыло еще четыре транспорта). Маклаков телеграфировал из Парижа, что французское правительство «вынуждено остановить отправку боевых припасов, что было бы особенно опасным для Юденича», если мы «не примем обязательство поставить на соответствующую сумму пшеницу»[1].

Это была уже не помощь, а просто товарообмен и торговля. Такое соглашение, помимо наших финансовых затруднений, осложнялось значительно тем еще обстоятельством, что, в корне разрушая принцип морального обязательства союзной помощи в борьбе с общим врагом, могло вызвать, как о том предупреждал и Маклаков, соответственные требования и со стороны Англии. Казне Вооруженных сил Юга такая тягота была бы не под силу.

И тем не менее я был искренен, когда в октябре на приеме французской миссии во главе с генералом Манженом говорил:

«В жизни народов бывают моменты падения и возрождения, моменты сдвига с исторического пути и переоценки взаимоотношений. Но неумолимый закон бытия не допускает уклонения от поставленных им вех. В таком положении находятся русско-французские отношения, созданные не людьми, а взаимными жизненными интересами народов. Эти отношения не могут измениться без глубоких потрясений. Нам суждено идти по одной дороге, и все препятствия на ней должны быть устранены».

* * *

Отправляя в мае 1919 года на Юг нового главу британской миссии генерала Хольмана, военный министр Черчилль писал мне:

«Я надеюсь, что Вы отнесетесь к нему с полным доверием... В согласии с политикой правительства Его Величества, мы сделали все возможное, чтобы помочь Вам во всех отношениях. Мое министерство окажет Вам всякую поддержку, какая в нашей власти, путем доставки военного снаряжения и специалистов-экспертов. Но Вы, без сомнения, поймете, что наши ресурсы, истощенные Великой войной, не безграничны... тем более что они должны служить для выполнения наших обязательств не только в Южной, но и в Северной России и Сибири, а в сущности на пространстве всего земного шара».

[1] Депеши от 21 и 22 сентября, № 2503 и 2504.

Вскоре в состав миссии был включен морской представитель капитан Фримантль, а в конце года и дипломатический; последним был назначен состоявший ранее начальником штаба военной миссии полковник Киз (Keys). Характерно, что, перейдя в ведомство иностранных дел Керзона, полковник Киз сразу изменил той прямой, открытой и доброжелательной политике, которая отличала всегда английскую военную миссию.

И английская политика в «русском вопросе» за вторую половину 1919 года не стала прямолинейнее — обстоятельство тем более важное, что Ллойд Джордж пользовался весьма большим влиянием и в Верховном совете, заседавшем в Версале.

Несомненно, колебания английской политики находились в большой зависимости от успехов или неудач на белых фронтах, укрепляя попеременно то друзей наших, то недругов среди общественных и парламентских кругов Англии. Весьма чутким барометром для этих настроений служил глава ее правительства, имевший всегда большое тяготение к сближению с большевиками. Осенью 1919 года, когда обнаружились крупные неудачи на Восточном фронте, Ллойд Джордж стал подготавливать общественное мнение к крутому повороту политического курса «Я не могу решиться, — говорил он, — предложить Англии взвалить на свои плечи такую страшную тяжесть, какой является водворение порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света, в стране, где проникавшие внутрь ее чужеземные армии всегда испытывали страшные неудачи... Я не жалею об оказанной нами помощи России, но мы не можем тратить огромные средства на участие в бесконечной гражданской войне... Большевизм не может быть побежден оружием, и нам нужно прибегнуть к другим способам, чтобы восстановить мир и изменить систему управления в несчастной России...»

Подымая вновь свой неудавшийся проект конференции на Принцевых островах, он высказывал надежду, что «с наступлением зимы все существующие в России правительства

несколько одумаются, и тогда великие державы будут иметь возможность предложить вновь свое посредничество, дабы в России установились, наконец, порядок и спокойствие...» Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более вопросом спорным, что они «борются за Единую Россию...» «Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании... Один из наших великих людей, лорд Биконсфильд, видел в огромной, могучей и великой России, катящейся подобно глетчеру по направлению к Персии, Афганистану и Индии, самую грозную опасность для Великобританской империи...»[1]

Впечатление от этих заявлений на Юге России — на фронте и в тылу — было весьма тяжелым. В них увидели окончательный отказ от борьбы и от помощи противобольшевистским силам в самый трудный для нас момент. Российская общественность, печать, политические организации отозвались на лондонские речи статьями и постановлениями, полными горькой обиды и резкого осуждения. Необходимо отметить, что и в Англии точка зрения Ллойда Джорджа также далеко не встретила единодушного признания. В горячих речах сторонников России, в повременной печати мы находили тогда не раз отголоски наших собственных чувств и мыслей.

«Сейчас для нас важно решить, — писала «Times», — бросим ли мы дружественный народ на произвол судьбы после всего того, что им сделано для нас, или же будем помогать ему всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении... Совершенно верно, что военное вмешательство ныне немыслимо. Но верно также и то, что мы можем путем оказания полной материальной и нравственной помощи нашим русским друзьям содействовать их конечному торжеству».

Существовало, наконец, еще одно течение, представленное Асквитом, довольно безразлично трактовавшее политическую и моральную сторону обязательств по отношению к России и допускавшее на практике только одно из двух противоположных решений: «Либо оказывать России помощь в полной мере, либо предоставить ее собственным силам».

[1] Из отчетов о заседаниях английского парламента 8 и 17 ноября (нового стиля).

Пока такими извилистыми линиями начертывались судьбы «русского вопроса» в мировых центрах, на Юге непосредственные взаимоотношения складывались вполне благоприятно. В августе—сентябре английские войска покинули Азербайджан и Грузию, чем устранено было много острых поводов для столкновений. Оккупационный отряд занимал еще Батум, судьба области оставалась неопределенной, и генерал-губернатор ее Кук Колис продолжал без изменения ту политику, которая была так характерна для английской оккупации в Закавказье... Английское общество «Левант» захватывало закавказский марганец, и шли какие-то разговоры о проведении транскавказской железнодорожной линии от Батума через Карс и Персию... Но и миссия, и английское военное министерство вносили умеряющее начало в деятельность Кук Колиса.

Англичане передали нам Каспийскую флотилию. Генерал Гринли, военный представитель в Румынии, по поручению Черчилля поддерживал там весьма настойчиво наши интересы. Генерал Бриггс с ведома военного министерства и при некотором противодействии дипломатического ведомства, направившись в Варшаву, так же как и член парламента Мак-Киндер, склонял всемерно польское правительство к совместным с нами наступательным действиям. И т. д., и т. д.

Военное снабжение продолжало поступать, правда, в размерах, недостаточных для нормального обеспечения наших армий, но все же это был главный жизненный источник их питания.

Глава британской миссии генерал Хольман и его многочисленный штаб не отделяли совершенно русских интересов от английских. В одном интервью генерал Хольман заявил: «Находясь здесь, я считаю себя прежде всего офицером штаба генерала Деникина, в котором должен так же работать на пользу России, как работал во время войны в штабе генерала Раулинсона во Франции». И это не было только фразой. Он работал с большой энергией, увлечением и пользой для нашего дела. В узких пределах, не вызывавших пристально-

го внимания и тревоги парламента и в особенности лейбористской партии, английское командование допускало участие англичан и в боевых действиях. Так, Черноморская британская эскадра оказывала нашим войскам серьезную поддержку в операциях на побережье Азовского и Черного морей; английские авиационные отряды вели самоотверженно разведку и бои в рядах наших армий, и сам Хольман лично участвовал в воздушных атаках...

Две морали, две политики, две «руки» — дающая и отъемлющая. И двойной след, оставленный в памяти русских людей: горечь при мысли о пропавших, неповторимых возможностях и благодарность сердечная тем, кто искренне нам помогал.

ГЛАВА XI
ПОЛЬША

Третье место по значение в судьбах противобольшевистского движения по справедливости принадлежит Польше.

Рядом международных трактатов, заключенных в середине 1919 года, установлена была основная западная граница Польши, подлежавшая впоследствии частичному видоизменению путем договоров, плебисцита и санкций разграничительных комиссий. Что касается *восточной* границы, то с весны 1919 года союзная комиссия изучала этот вопрос, привлекая в частном порядке и сведущих лиц, политически не ответственных, рекомендованных русским Парижским совещанием. Но решение этого вопроса *без России* представляло непреодолимые трудности. И Верховный Совет все откладывал свое решение, выжидая ход событий и в частности исход гражданской войны в России.

В общем, отношение Англии к созданию «Великой Польши» за счет России было явно отрицательным, и лорд Керзон предостерегал польское правительство «удержать свои притязания в разумных пределах, не стремясь поглотить народности, не имеющие с Польшей племенного родства, могущие быть лишь источником слабости и распада...» Отношение Франции было колеблющимся: продолжалось

гадание — поставить ли решительную карту на Великую Польшу или Великую Россию...

Осенью 1919 года Верховный Совет по настоянию Польши определил, наконец[1], временную восточную границу Польши, проведя ее примерно по рубежам прежней «конгрессовой» Полыни, без северной части Сувалкской губернии, отходившей к Литве, и с присоединением части Гродненской губернии (Белостокский уезд), но без Гродно и Брест-Литовска. В этих пределах Польше предоставлено было ввести нормальное государственное управление, тогда как дальнейшее ее расширение на восток ставилось в зависимость от согласия Российского Учредительного собрания. По словам Сазонова[2], союзные державы считали, что линия эта «соответствует заявлению Временного правительства 17 марта 1917 года об *этнографической* основе размежевания». Что же касается включения в состав Польши Холмщины, это объяснялось «вековой принадлежностью ее к Польше и фактом оппозиции в Государственной Думе против правительственного проекта ее выделения в 1911 году...»

Земли, лежавшие восточнее вне указанной линии, составили три военных округа — Виленский, Брестский и Волынский, во главе которых стал «гражданский комиссар», подчиненный польскому главному командованию.

Акт Верховного Совета вызвал большое волнение среди польского общества, ни одна из политических группировок которого не мирилась с такой границей. В польской печати по поводу ее началась жестокая полемика, перенесенная и в Сейм; в этой полемике определилось два главных течения касательно литовско-белорусских земель. Социалисты («левица») настаивали на воссоздании «Великой Литвы»[3], включающей этнографическую территорию литовцев и белорусов и связанной с Польшей унией. К этой точки зрения примыкали и крупные аграрии литовских и западнорусских губерний. Такая комбинация, по словам польского историка[4], создала бы

[1] Постановление от 19 ноября 1919 года.

[2] Телеграмма от 19 сентября 1919 года.

[3] Люблинская уния 1569 года.

[4] *Stan. Kutzeba.* «Polska odrodzona».

буфер между Польшей и Россией, отвечала бы «идее самоопределения народов» (?), а польский элемент в этих землях, «преобладая в культурном отношении, занял бы господствующее положение, способствуя со временем слиянию «Великой Литвы» с Польшей...» Эти откровенные мечты о полонизации чужеродных элементов встречали, однако, непреоборимые препятствия: острую враждебность литовцев к полякам и полную инертность белорусов к вопросу своего «самоопределения». «Странное зрелище, — говорит Kutzeba, — представляли поляки — поборники белорусской государственности — среди народа, в котором трудно было... разбудить национальное сознание и найти элементы, могущие создать ядро для кристаллизации этой государственности...»

Второе течение, которое нашло последователей среди «правицы» и, главным образом, «народовой демократии», преследовало инкорпорацию всех литовских и русских земель, «где имеется абсолютное или *условное* преобладание польского элемента, вообще — где население по преимуществу католической религии (униаты?) и польской культуры, невзирая на национальность...» Наглядная карта широко раздвигала пределы предполагаемого польского вторжения в русские земли, захватывая большую часть Белоруссии, часть Волыни и Подолии. Этот план строился в расчете на «доброе согласие» с Россией ввиду угрожающего положения Польши на западе. При этом о возвращении нам Холмщины поляки всех толков не могли слышать без гнева.

Первый план, под видом «самоопределения» народов проводивший чистейший захват, поддерживался начальником государства — Пилсудским. Второй — совершенно произвольно сочетавший на пользу «польскости» элементы национальный, вероисповедный и культурный, — поддерживался большинством польского Сейма.

Такое одностороннее предрешение Польшей огромной важности вопроса имело против себя политику держав Согласия, русских противобольшевистских правительств и Литвы и вооруженное противодействие Красной армии. Потенциально оно углубляло и обостряло национальное сознание русского народа, которого не могли в нем вытравить тяжкие годы коммунистического владычества.

Правица желала считаться с Россией «завтрашней» и требовала от правительства «сотрудничества с Колчаком и Деникиным». Левица требовала мира с большевиками.

Парижское русское совещание и правительства Омска и Екатеринодара были совершенно единодушны в основах своей польской политики: сохранение временной границы, намеченной Верховным Советом, этнографическое начало, как база окончательного разграничения, и санкция Всероссийского Учредительного собрания.

* * *

Предпринимая наступление в направлении Киева, я имел в виду огромное значение соединения Добровольческой армии с польскими силами, наступающими к линии Днепра. Это соединение выключало бы автоматически весь Западный фронт и освобождало бы значительную часть сил Киевской и Новороссийской областей для действий в северном направлении. Наступление польских войск к Днепру отвлекло бы серьезные силы большевиков и обеспечило бы надежно с запада наши армии, идущие на Москву. Наконец, соединение с поляками открывало нам железнодорожные пути в Западную Европу — к центрам политического влияния и могущества, к источникам материального питания армии.

Относясь лично с полным сочувствием к возрождению польского государства, я не считал неизбежные трудности русско-польских отношений непреодолимыми. И, во всяком случае, был твердо уверен, что ближайшие пути наши связаны неразрывно, так как судьба и Польши и России находится в явной и роковой зависимости от долгоденствия советской власти.

Военное управление послало в Варшаву представителем ВСЮР полковника Долинского, но от него долго не было никаких известий. Вообще события и настроения тогдашней Польши нам были малознакомы. Мой штаб настаивал поэтому на скорейшем установлении связи, воздействуя в этом направлении на союзных представителей и графа Бема де Косбана, с начала 1919 года состоявшего при главном командовании представителем «Польского национального комитета». Отношение с нашей стороны и военной и гражданской власти к местным полякам было в высокой

степени доброжелательным, касалось ли дело защиты интересов польских граждан, реэвакуации их, мобилизации призывных классов для польских войск, формирования и обеспечения польской бригады полковника Зелинского[1]. Не по расчету, а по сердцу. И я уверен, что поляки, оставившее в 1918—1919 годах территорию Юга, унесли с собою неплохие воспоминания о приютившем их крае.

В начале 1919 года польский генеральный штаб телеграфировал Энно, что для свидания со мной едет миссия Остаповича; но она не появлялась. Только в сентябре прибыли, наконец, военная и экономическая миссии, возглавленные: первая — бывшим генералом русской службы Карницким, вторая — бывшим польским министром торговли и промышленности Иваницким.

Прием польской миссии 13 сентября в Таганроге носил характер торжественный и сердечный. На банкете, данном в честь миссии, я обратился к присутствовавшим с кратким словом:

«После долгих лет взаимного непонимания и междоусобной распри, после тяжелых потрясений мировой войны и общей разрухи, два братских славянских народа выходят на мировую арену в новых взаимоотношениях, основанных на тождестве государственных интересов и на общности внешних противодействующих сил.

Я от души желаю, чтобы пути наши более не расходились.

Поднимаю бокал за возрождение Польши и за наш будущий кровный союз».

Никогда еще не приходилось мне позже сожалеть до такой степени о сказанных словах.

Карницкий не принял «вызова». Его краткое ответное слово было так беспредметно и сухо, что на другой день он счел нужным в официальный текст для печати ввести несколько учтивых фраз, чтобы не вызвать смущения в русской общественности. А «начальник штаба миссии» майор

[1] Бригада со всей материальной частью отправлена была в конце 1918 года морем через Одессу на соединение с польской армией.

Пшездецкий[1] недоуменно спрашивал своего русского соседа по столу о «причинах» банкета и русского радушия: «Судя по речам, здесь чествуют *союзников*. Но поляки еще *не союзники* и, быть может, они попали сюда по ошибке...»

Через несколько дней майор Пшездецкий вернулся к этому вопросу в разговоре с полковником Нолькеном[2]. Он выразил «сожаление», что многие русские неверно поняли, будто между Югом России и Польшей заключен союз. И, желая «рассеять создавшееся недоразумение», просил довести об этом до сведения «высших чинов». «Нам незачем сговариваться из-за боязни большевиков, — говорил он. — Большевиков мы не боимся. Более сильной армии, чем у нас теперь, ни у кого уже нет. Мы можем двигаться вперед вполне самостоятельно. Назад мы не пойдем. Мы дошли до (своей) границы, теперь подходим к пределам русской земли и можем помочь вам. Но мы желаем знать заранее, что нам заплатят за нашу кровь, которую нам придется пролить за вас. Если у вас нет органа, желающего с нами говорить по тем вопросам, которые нас так волнуют, под тем предлогом, что он не авторитетен для решения вопросов о территории, то нам здесь нечего делать».

Об этом откровенном разговоре своего помощника был осведомлен официально генерал Карницкий, который в тот же день явился ко мне крайне угнетенный, принес извинение и спросил, удовлетворит ли меня немедленное откомандирование Пшездецкого в Варшаву.

— Я понимаю, — говорил он, — что для нас соглашение с Россией — вопрос жизни и смерти. И начальник государства (Пилсудский), и председатель правительства (Падеревский), напутствуя меня, требовали во что бы то ни стало добиться соглашения. Иначе наше положение между Германией и Россией грозит чрезвычайными потрясениями.

Позднейшие события показали, что не Карницкий, а именно Пшездецкий был выразителем истинных настроений польской власти.

[1] Бывший офицер австрийской службы.

[2] Наш штаб-офицер, заведовавший связью с иностранными миссиями.

Встревоженный прекращением военных действий на польско-большевистском Волынском фронте, я спросил Карницкого о причинах этого факта и получил заверение, что по чисто военным соображениям было заключено трехнедельное перемирие, срок которого уже кончается, и боевые действия, «вероятно», уже возобновились...

Начались переговоры. По сведениям из французской миссии, Карницкому даны были инструкции настаивать перед командованием Юга на границах «Великой Польши», обнимающих Курляндию с Балтийским побережьем, Литву, Белоруссию и Волынь... Полковник Корбейль предостерегал Карницкого от предъявления столь неумеренных требований. В разговорах со мною, впрочем, Карницкий не был так категоричен и интересовался более моими взглядами на судьбу «земель польского расселения», которые на специальной карте непропорционально густо закрашены были черными точками, проникавшими далеко на восток — к Киеву и Одессе. Я указывал на несвоевременность окончательного разрешения вопроса и настаивал на сохранении «временной границы», до разрешения судеб приграничных земель совместно польской и будущей общерусской властью. Вместе с тем я указывал Карницкому на крайнюю необходимость в обоюдных интересах немедленного наступления восточной польской армии до линии верхнего Днепра. При этом разграничительная линия между польской и русской армиями определилась бы на основании стратегических соображений, а в зоне польского наступления, восточнее «временной границы» водворялась бы русская администрация, подведомственная, однако, на время операций польскому командованию на общем основании «Положения о полевом управлении войск»[1].

Проходили месяцы, ответа из Варшавы не было; Войска Киевской области находились в угрожаемом положении, дивизия за дивизией советских войск перебрасывались с польского на наш фронт, а поляки не двигались с места. В беседе с журналистами Иваницкий объяснял это обстоятельство отвлечением сил «ввиду угрозы корпуса фон дер Гольца

[1] Эти соображения изложены были и в меморандуме, данном генералу Бриггсу перед его поездкой в Варшаву к Пилсудскому.

и осложнений с немцами в Силезии...» Генерал Карницкий, после четырехмесячного воздействия на него моего, ставки, английской и французской миссий, счел возможным сообщить газетам: «Целью наступления польской армии поставлена линия Двинск—Витебск—Орша—Могилев—Мозырь—Каменец-Подольск. *Дальше* идут исконные русские земли, проникать за которые поляки не считают себя вправе. Что касается отношений к Добровольческой армии... то помощь в виде энергичной борьбы с русским большевизмом с удовольствием будет дана правительством, *но за ней до сих пор к Польше не обращались*»[1].

Наконец, уезжая в Польшу, при прощании со мной представитель польского правительства по поводу рокового бездействия польских войск на Волынском театре оправдывался тем обстоятельством, что в Варшаве считают, будто я не признаю даже независимости Польши и, кроме того, не имею надлежащих полномочий, вследствие чего там ждут результатов сношений с Верховным правителем адмиралом Колчаком[2]. Он обещал немедленно по приезде в Варшаву «разъяснить досадное недоразумение».

Из самой Польши стали приходить вести еще более тревожные. Полковник Долинский, под предлогом формальных недочетов в его грамоте, не был даже признан в качестве нашего представителя и претерпел немало унижений. Русские люди, занесенные судьбою на польскую территорию, подвергались всевозможным стеснениям и были только терпимы. Полонизация русских земель на восточных «кресах» была в полном разгаре. Польская пресса, довольно равнодушная к Вооруженным силам Юга вначале, по мере продвижения их к Киеву почти поголовно начала отчаянную травлю России и Добровольческой армии.

«Gazeta Polska», приоткрывая, по-видимому, карты генерального штаба, писала:

[1] Беседа с Карницким, напечатанная в № 449 «Вечернего времени».

[2] Польской миссии было известно о предоставлении мне Верховным правителем права сношений с Польшей и другими державами, с территориями которых соприкасались ВСЮР.

«Если генерал Деникин, не обращая внимания на поставленную ему Антантой (?) цель (Москву), все же начнет продвигаться (к Киеву), имея в виду соединиться с польскими войсками, как с союзниками в борьбе с большевизмом, то он ошибается: польские войска вынуждены были бы указать ему, что не туда лежит его путь...»

В польских газетах появилась «Декларация польского демократического союза», содержание которой вкратце передавала «Варшавская речь»:

«Декларация содержит четыре мотивированных пункта, из которых первый гласит, что польская политика на Востоке должна стремиться к оттеснению России за Днепр; второй пункт отмечает возможность налаживания добрососедских отношений с Россией в ее естественных этнографических границах; третий пункт указывает на необходимость налаживания дружественных отношений с Украиной для взаимного обеспечения перед захватной политикой России; четвертый пункт требует дать возможность Украине прийти к соглашению с государствами Антанты и тем самым парализовать русское влияние на Украине».

Словом, все наше осведомление сходилось в определении того принципа, которым руководствовались в русском вопросе польское правительство и руководящие круги общества: *«Нужно, чтобы большевики били Деникина, а Деникин бил большевиков»*.

* * *

26 ноября я послал письмо начальнику Польского государства Пилсудскому:

«Встретив некогда с чувством полного удовлетворения поворот русской политики в сторону признания национальных прав польского народа, я верил, что этот поворот знаменует собою забвение прошлых исторических ошибок и союз двух родственных народов.

Но я ошибся.

В эти тяжкие для России дни Вы — поляки — повторяете наши ошибки едва ли не в большей степени:

Я разумею стремление к занятию русских земель, не оправдываемое стратегической обстановкой; вводимое в них управление, отрицающее русскую государственность и имеющее характер полонизации; наконец, тяжелое положение Русской Православной Церкви как в Польше, так и в оккупированных ею русских землях.

Для меня совершенно ясно, что именно *теперь* создаются те основы, на которых будут построены на долгие годы международные отношения. И нынешние ошибки наши будут оплачены в будущем обильной кровью и народным обнищанием на радость врагам славянства.

Мне нет надобности доказывать Вам, что непонятная для русского общества политика польского правительства может дать весьма серьезную опору германофильскому течению, которое ранее у нас не имело почвы.

Я нисколько не сомневаюсь, что, если бы когда-либо такое течение возобладало, оно имело бы роковое значение для Польской республики.

Этого допустить нельзя.

Между тем восточная польская армия, успешно наступавшая против большевиков и петлюровцев, в дни наиболее тяжкие для русских войск, вот уже около трех месяцев прекратила наступление, дав возможность большевикам перебросить на мой фронт до 43 тысяч штыков и сабель. Большевики так уверены в пассивности польского фронта, что на Киевском и Черниговском направлениях они совершенно спокойно наступают тылом к нему.

Правда, вот уже более двух месяцев польская военная миссия выясняет наши взаимоотношения... Но за это время обстановка на нашем фронте становится все более и более тяжелой. При таких условиях, казалось бы, не время спорить о компенсациях. Тем более, что в сознании честных русских людей счастье Родины не может быть приобретаемо ценою ее расчленения.

Станем на реальную почву: падение Вооруженных сил Юга России или даже значительное их ослабление поставят Польшу лицом к лицу с такою силою, которая, никем более не отвлекаемая, угрожает самому бытию Польши и гибелью ее культуры. Всякие заверения большевиков в противном — обман.

Русские армии Юга вынесут новое испытание. Конечная победа наша несомненна. Вопрос лишь в том, как долго будет длиться анархия, какою ценою, какою кровью будет куплено освобождение.

Но тогда, встав на ноги, Россия вспомнит, кто был ей другом.

От души желаю, чтобы при этом не порадовались немцы.

Уважающий Вас А. Деникин».

Непосредственно с Пилсудским и его правительством имели беседу по русскому вопросу генерал Бриггс и уполномоченный английского правительства, член парламента Мак-Киндер. Бриггс вынес впечатление, что главной причиной неудачи его миссии было предрешение польского правительства заключить союз с Румынией, направленный против России[1]. Генерал Пилсудский объяснял отсутствие взаимодействия с русскими противобольшевистскими силами тем обстоятельством, что ему «к сожалению, не с кем разговаривать», так как «и Колчак, и Деникин — реакционеры и империалисты...»

Более подробные данные о своей миссии в Варшаву привез нам в конце 1919 года Мак-Киндер.

«С Германией Польша не может быть дружественной и поэтому должна быть в дружбе с Россией. Пилсудский заявил, что *весною может начать наступление на Москву*[2]. *Зимою он двигаться вперед не может*; его войска уже на Березине и сзади 100 верст опустошенной страны, что сильно затрудняет снабжение армии. Пилсудский сказал, что с большевиками он не хочет заключать мира; но что он встретил затруднение в соглашении с генералом Деникиным, который всегда ссылается или на Колчака, или на будущее Учредительное собрание. Он рад, что Англия хочет видеть Польшу в дружбе с Россией. Что касается пограничной линии, проведенной на конференции, то Пилсудский считает, что к западу от нее — неотъемлемая польская территория, а земли к востоку должны войти в то или иное государство на основании плебисцита».

[1] Трактат подписан только 18 февраля 1921 года и предусматривает взаимное обязательство по обороне восточных границ и солидарность в отношении русской политики.

[2] Содействие поляков допускалось нами только до линии верхнего Днепра, примерно от Орши до устья Припяти.

Тогда же Пилсудский выразил согласие на устройство свидания между ним и мною.

Это было в январе, когда пал Киев, начиналась агония Новороссии, Добровольческая и Донская армии отступили за Дон.

Обещание помощи *весною* звучало злой иронией...

Было ли оно по крайней мере искренним? Об этом свидетельствуют факты, ставшие известными впоследствии, — факты, даже на мрачном фоне мировой войны и безграничного национального эгоизма представляющие явление далеко не заурядное.

К осени 1919 года польская армия в победном своем наступлении против ослабленных сил большевиков достигла линии Двинск (исключал)—Бобруйск—Каменец-Подольск. К тому же времени с востока и юга приближались к Киеву и Каменец-Подольску русские армии Юга, опрокидывая советские и петлюровские войска. В создавшейся сложной военно-политической обстановка Польше предстояло сделать выбор между сторонами.

И выбор был сделан.

17 августа войска генерала Бредова заняли Киев, а через день между польским командованием и петлюровским было заключено перемирие. Одновременно начаты были переговоры о «союзе», о военной и материальной помощи Украине ценою «уступки» Польше Петлюрою (!) Восточной Галиции и большей части Волыни[1]. Этот «союз», осуществившийся позднее имел, по словам польского историка, конечной целью отделение Польши от России буфером в виде вассального (udzielnego) государства «Украины — страны плодородной, богатой углем и заграждающей России столь важные для нее пути к Черному морю»[2].

Около того же времени Совет народных комиссаров, видя в комбинированном наступлении польских войск и

[1] Уезды Ковельский, Владимир-Волынский, Луцкий, Дубненский, Ровенский, части Острожского и Кременецкого.

[2] *Kutzeba*. «Polska odrodzona».

ВСЮР свою конечную гибель, командировал к Пилсудскому его друга и соучастника по прежней революционной работе, члена Цика Мархлевского. Последний убедил Пилсудского в общности интересов большевиков и поляков перед лицом «опасности», представляемой Добровольческой армией, и добился приостановки польского наступления, чтобы иметь возможность покончить с нею.

Между польским и советским главным командованием было заключено тайное *соглашение*[1], в силу которого большевики обязывались приостановить военные действия на северном фронте (Двинск—Полоцк), а поляки — не предпринимать наступления для содействия мне на фронте Киев—Чернигов. Между новыми «союзниками» установлена была демаркационная линия, и хотя локальные столкновения продолжались, но велись они исключительно лишь в целях симуляции, чтобы бездействие сторон не казалось слишком подозрительным: факт соглашения приходилось скрывать и от Таганрога, куда послана была миссия для фиктивных переговоров, и от союзников, которые снабжали Польшу деньгами и военными материалами вовсе не в качестве пособницы большевизма и большевиков.

Представляется маловероятным, чтобы польская общественность, по крайней мере «правица», не обратила внимание на странное молчание польских пушек в Киевском направлении... Но открыто об этом вопросе тогда не говорили, и польская пресса явно замалчивала его.

С тех пор большевики с поразительной для непосвященных беспечностью обнажили свой западный фронт, перебросив войска на Юг. С тех пор в польских официальных сводках изо дня в день появлялась обычная фраза, простая по начертанию, но полная глубокого трагизма для белых армий. Фраза, набросившая темный покров на нечто свершившееся — позорное и непоправимое:

«Front Wolynski: Spokyj»[2].

[1] Советские органы сообщали, что 24 сентября на польский фронт выехала «делегация Российского Красного Креста» для переговоров по специальным вопросам. Во главе ее стоял Мархлевский.

[2] «Фронт Волынский: Спокойно» (польск.). — *Прим. ред.*

Только с половины декабря, после падения Киева, северная польская армия генерала Шептицкого начала вновь наступление на Двинск, Режицу и Бобруйск, а армия Волынского фронта генерала Листовского стала занимать Староконстантинов, Проскуров и другие пункты, покидаемые отступавшими к Одессе добровольческими войсками генерала Шиллинга.

С русской национальной точки зрения поступок начальника Польского государства генерала Пилсудского не может не вызвать глубочайшего возмущения. Но, может быть, мы не правы: может быть, современная практика права войны, создавшая теорию денег, «которые не пахнут», договоров — «клочков бумаги», народов — «буферов», отдаваемых на поток, с такою же легкостью воспримет и «военную стратагему», свободную от покровов морали... И оценит ее лишь с точки зрения вреда или пользы для польского народа...

Пусть так.

Но на этот последний вопрос история дала уже свой ответ: через полгода большевистские рати, внося разорение и ужас, подходили к стенам Варшавы и Львова, поставив на край гибели возрождавшуюся польскую государственность.

Завершила ли этим бедствием историческая Немезида суд свой над деяниями вождей неповинного народа, или это лишь гром перед грозою?

ГЛАВА XII

БАЛКАНСКИЕ СТРАНЫ. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ ДЕРЖАВ СОГЛАСИЯ НА РУССКИЙ ВОПРОС. МИРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Сношения правительства Юга с другими державами носили эпизодический характер и отражались значительно в меньшей степени на судьбах белого движения. Их я коснусь лишь вкратце[1].

[1] При главном командовании Юга были аккредитованы представители следующих стран: Англии, Бельгии, Болгарии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Сербии, Северо-Американских Соединенных Штатов, Франции и Японии.

С балканскими странами мы имели частые непосредственные сношения. Наибольшей сердечностью к нам отличалась Сербия, и в особенности регент королевич Александр. В начале 1919 года путем личных переговоров Сазонова и генерала Щербачева установлена была возможность формирования из сербов Добровольческого корпуса в 30—40 тысяч, которое королевич с величайшей готовностью брал на себя, чтобы отдать затем этот корпус в подчинение командованию Юга. Но выполнение этого предприятия наталкивалось на огромное истощение сербского народа войной и экономическую немощность государства. Поэтому осуществление зависело всецело от союзных держав, так как все вооружение, снабжение и довольствие такого корпуса должно было лечь на них. Длительные переговоры по этому поводу с союзниками не увенчались успехом. Еще более отрицательно, можно сказать враждебно, отнеслись союзники к предложению болгарского правительства, сделанному мне через военного представителя, генерала Сарафова, — оказать нам немедленную помощь формированием и посылкою значительного контингента добровольцев. Союзники видели в этом лишь желание Болгарии обойти предписанную ей трактатом норму вооруженных сил и создать лишний корпус для собственных нужд.

Не имея возможности осуществить в более широком масштабе свое желание «содействовать нам в доблестном и упорном деле воссоздания, при помощи Божьей, единой России», сербский королевич поручил своему представителю приступить к формированию из югославян, живущих на территории Вооруженных сил Юга, воинских частей, чтобы хоть таким путем оказать посильную помощь нам. В своем письме ко мне, дышавшем теплым чувством к России и армии, королевич Александр говорил: «...С напряженным вниманием слежу за движением Ваших геройских войск и от души желаю Вам успеха в Вашем патриотическом и историческом труде, имеющем неизмеримое значение для всех славян...»[1].

Только много позднее я узнал, что мой ответ, вероятно, вследствие обстоятельств, вызванных начавшимися тогда эвакуациями, не был доставлен королевичу. Пусть эти строки послужат объяснением моего невольного греха перед горячим другом России.

[1] От 21 ноября 1919 года.

• • •

Совершенно иначе обстояло дело с Румынией. На ее территории оставались громадные склады бывшего нашего Румынского фронта. Еще осенью 1918 года посланники держав Согласия в Бухаресте особым постановлением признали Россию *единственной собственницей* этого имущества, причем Румыния считалась ими лишь *хранительницей* его, а союзные державы *кредиторами*. Вслед за сим под давлением французов и англичан румыны допустили частичный вывоз имущества в Новороссийск, сопровождая его, однако, огромными трудностями и в конце концов прекратили отпуск вовсе. Одновременно румыны обильно снабжали русским оружием и боевыми запасами, оставшимися в Буковине, армию Петлюры, который от имени «Украинской державы» отказался от Бессарабии.

Вопрос этот был важнейшим основанием, на котором строились взаимоотношения. Румынское правительство и печать расценивали все события, союзы, военные организации исключительно под углом отношений их к бессарабскому вопросу. И когда начальник штаба английской миссии полковник Киз, посетив Бухарест, склонял Братиано к перемене отношений к ВСЮР, последний заявил: «С тех пор как союзники не могли нам дать никакой гарантии в отношении Бессарабии и поддерживают ту часть России, которую я считаю империалистической и претендующей на Бессарабию, я был вынужден против своего желания вести политику, противоречащую союзной»[1].

Впрочем, Братиано прибавил: «Мы готовы оказать всяческое содействие армиям генерала Деникина, но только при условии, чтобы он подписал акт об отречении от Бессарабии».

Когда английский представитель выразил удивление, какое юридическое значение может иметь подпись генерала Деникина под актом, касающимся всей Российской державы, Братиано улыбнулся:

— Не беспокойтесь, мы сумеем им воспользоваться.

[1] Август 1919 года.

В то время мирная конференция не решилась еще на расчленение России, и всякий новый вексель мог быть с пользою учтен ростовщиками на всемирной политической бирже.

Этого векселя я не подписал.

Ввиду всех этих обстоятельств отношения наши не наладились. Они были осторожны и сдержанны с обеих сторон. Румынская правительственная цензура не пропускала до поры даже газетных статей, взывавших к общественному мнению по поводу «опасности, грозящей Бессарабии от восстановления единой России». Только когда наши войска заняли Одессу и двинулись на север, вдоль Днестра, общественное настроение в Румынии прорвалось в прессе злобными статьями, направленными против России, русских и Добровольческой армии. Под влиянием одесской шумихи, поднятой «комитетом спасения Бессарабии», румынская агентура в Одессе сообщала в Бухарест, что «на Юге России ведется усиленная пропаганда войны с Румынией за обладание Бессарабией» и что «в армии генерала Деникина в глубоком секрете разрабатывается план атаки румынско-днестровского фронта...» Такая политика была бы чистейшим безумием. Румыны, однако, придавали значение подобным слухам.

Граница была ими закрыта. Их миноноски появились у Одессы, а сильный отряд, вслед за отступавшими большевиками, занял Тирасполь. Я предписал войскам соблюдать чрезвычайную осторожность, чтобы избежать столкновения, а румынское командование в Тирасполе велел «поблагодарить за желание оказать нам помощь» и просить их оставить город и не переходить на левый берег Днестра. В свою очередь румынскому правительству дано было заверение, что наши войска не перейдут Днестр.

Румыны оставили Тирасполь.

Следующая встреча была уже при иных — тяжелых обстоятельствах общего отступления, когда русские отряды, беженцы, женщины и дети, искавшие спасения в пределах Румынии, были отброшены... пулеметным огнем.

• • •

С правительством Северо-Американских Соединенных Штатов отношения были полуофициальные. Представители их не обладали надлежащими полномочиями, избегали каких-либо политических обязательств, явно уклоняясь от участия в разрешении русского вопроса. Они имели поручение «изучить положение южной России для нужд Мирной конференции». Только однажды Америка сочла нужным вмешаться в наши дела. По инициативе «Верховного комиссара Закавказья» полковника Гаскеля, всячески поддерживавшего перед Версальской конференцией «права» горцев, американская секция конференции запросила однажды представителя в Екатеринодаре по поводу вступления Добровольческой армии в пределы Дагестана, что «является насильственным нарушением договора с Северокавказской республикой от 23 апреля» (?)[1]. Миссии было отвечено, что «никакой Северо-Кавказской республики не существует и никаких договоров с ней поэтому не заключалось. Дагестан не завоевывался, а признал русскую государственность добровольно».

Северо-Американские Соединенные Штаты находились в сфере непосредственных сношений с Омским правительством. Наши осведомители — официальные и частные — в один голос говорили о симпатиях к белому движению, существующих и в народе, и в правящих кругах, и вместе с тем о поразительной неосведомленности американцев во всем, касающемся России. Ввиду этого в конце 1919 года от нас послана была миссия в Северную Америку, основной задачей которой было «взаимное осведомление и сближение, а также выяснение вопроса о помощи Добровольческой армии и в деле восстановления хозяйственной жизни страны...» Но последовавшая вскоре катастрофа на Юге помешала выполнению этой задачи.

С ведома Верховного правителя мы получали в небольших размерах военное снабжение, заготовленное в Америке по заказам прежнего российского правительства, частью же приобретали его прямой покупкой. И единственная помощь, которую нам оказывали американцы — правительство и общество, — помощь весьма щедрая, заключалась в доставке нам медицинских и санитарных запасов.

---

[1] Из ноты капитана Берри. 25.06.1919 года.

* * *

К концу 1919 года успех склонялся явно на сторону большевиков, и сообразно с этим отношение к нам держав Согласия приняло иное, более определенное, но вместе с тем и более неблагоприятное направление.

В начале декабря Ллойд Джордж в палате общин докладывал о результатах состоявшейся незадолго перед тем межсоюзной конференции.

«Союзниками достигнуто полное соглашение в вопросе о политике невмешательства в дела России.

Принято решение послать России материальную помощь, оцениваемую в 15 миллионов фунтов стерлингов, помимо этого сделать ничего больше нельзя. Франция не предполагает в дальнейшем брать на себя какую-либо ответственность в этом направлении. Этой же точки зрения придерживается и Италия.

Что же касается мирных переговоров, то в настоящее время в России нет правительства, объединяющего всю страну. Если большевики желают говорить от лица России, пусть они созовут Учредительное собрание, свободно избранное крестьянами и рабочими. Тогда явится власть, с которой можно будет заключить мир»[1].

Это был первый этап по пути окончательной ликвидации своих обязательств и обещаний. За ним вскоре последовал второй — в самый тяжелый момент, переживаемый тогда Вооруженными силами Юга: по настоятельному требованию Ллойда Джорджа, Верховный Совет[2] снял блокаду с советской России. Официальная нота о «возобновлении экономических сношений с Россией» гласила:

«Для облегчения тяжелого положения населения внутри России, куда совершенно прекращен доступ иностранных товаров, Верховный Совет, ознакомившись с отчетами специальных комиссий, рассматривающих вопросы установления торговых сношений с русским народом, постановил разрешить, на основе взаимности, обмен товарами между русским народом, с одной стороны, и союзными и нейтральными странами — с другой.

С этой целью Верховный Совет постановил предоставить возможность русским кооперативным организациям, находящимся в непосредственной связи с крестьянским населением всей России, организовать ввоз в Россию одежды, медикаментов, сельскохозяйственных орудий и других предметов первой необходимости, в которых нуждается русский народ, в обмен на вывоз из России хлеба, льна, леса и другого сырья, имеющегося в изобилии в России. Это постановление не вносит никаких изменений в политику союзников по отношению к советской России».

Это был новый тяжелый для нас удар, предрешавший выход союзных держав на путь признания советов, облегчавший последним борьбу, вызвавший ликование в Москве, возмущение и тревогу в Ростове.

И в то же время Маклаков сообщал из Парижа:

«Со слов Черчилля, я могу Вас заверить — о чем он обещал Вам лично телеграфировать, — что они продолжают и будут продолжать посылать Вам вооружение. Они просят не смущаться тем, что блокада с России снимается. Это вообще очень сложный вопрос. Неожиданное решение принято по настоянию Ллойда Джорджа. Ни с кем из нас они предварительно не посоветовались; сами кооперативы, без предуведомления, были приглашены в Высший Совет и вышли оттуда с решением в их пользу. Главное дело в том, что масса русских и иностранцев этому сочувствуют, многие русские считают преступлением возражать против этого. То, с чем можно было мириться, когда ожидалось скорое освобождение России от большевиков, с их точки зрения становится преступлением, когда эта надежда исчезла. Многие иностранцы, с другой стороны, убеждены, что восстановление экономических отношений и вообще отношений с иностранцами, поведет к видоизменению большевизма. Словом, эта мера одна из тех, помешать которой в данном положении

[1] Конспект речи 5 декабря, по сообщениям английских газет.

[2] Конец декабря 1919 года. Заседание при участии Клемансо, Ллойда Джорджа и Нитти.

дела было бы абсолютно невозможно. Черчилль мне сказал, что он ясно учитывает гибельные моральные последствия этого, падение духа у Вас, мысль о том, что Вас совершенно оставляют, и что с этим надо бороться, так как это неверно. Но удержать блокаду сейчас не смог бы никто. Единственно, что, может быть, будет возможно — это использовать кооперативы в наших интересах, или, по крайней мере, помешать им служить большевизму более открыто и явно, чем они это намерены делать. Не скрою, что предположения Ллойда Джорджа шли гораздо дальше и вели к неприкрытому признанию большевизма. Этому пока удалось помешать».

Параллельно с этим в политических кругах Англии назревало новое течение, едва ли не наиболее грозное для судеб России: опасность большевизма, надвигающаяся на Европу и Азию, слабость противобольшевистских сил, невозможность для союзников противопоставить большевикам живую силу, невозможность для Германии выполнить условия мирного договора, не восстановив своей мощи. Отсюда как вывод — необходимость «допустить Германию и Японию покончить с большевизмом, предоставив им за это *серьезные экономические выгоды в России*[1].

Эти предположения находили давно уже весьма сочувственный отклик на берегах Шпрее, далекий, однако, от оптимистических чаяний англичан. Весьма показательно в этом отношении появление в 1918 году популярной книги немецкого профессора В. Дайа, проповедовавшего «новый тройственный союз XX века» — Германии, России и Японии.

Мир и дружба с Россией... «Развитие до высшего предела эксплуатации европейской России и Сибири... немецким капиталом, промышленностью и организаторским талантом», в возмещение понесенного Германией в мировой войне ущерба. *Какой* именно России — это неважно.

«Для нас совершенно безразлично — иметь ли дело с Россией большевистской, кадетской или царской. Будет ли с

[1] Это настроение в Англии наблюдал, между прочим, и писал о нем на Юг П. Н. Милюков.

нами вести переговоры Ленин или Кривошеин, условия нашего соглашения останутся все те же. Ибо они настолько вызываются насущными требованиями нашего развития, что никакие обстоятельства не заставят нас изменить их.

Не ради любви к России должна Германия овладеть дорогой, ведущей в глубины Азии, но ради осуществления предстоящей ей континентальной политики. Первый раз в истории морской политики Англии, приобретшей господство на земном шаре благодаря вековой концентрации всех своих сил в стремлении, направленном к одной цели, будет противопоставлена сильная и определенная сухопутная политика. Если затем мы расширим эту сферу влияния и, благодаря интимным и продолжительным сношениям, свяжем со своими интересами интересы всей Азии, то в будущей войне мы сможем обратиться к Индии и изгнать англичан из пределов Азиатского материка».

* * *

В самое тяжелое лихолетье, переживаемое Российской державой, когда как будто все силы небесные и земные ополчились против нее, на арену мировой политики выступает вновь и с новой силой могущественная союзница, обещающая и впредь стоять на страже государственного бытия ослабленной смутой России — *мировая конкуренция*.

ГЛАВА XIII

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЮГА С КАЗАЧЬИМИ ВОЙСКАМИ: ДОНСКИМ, ТЕРСКИМ, АСТРАХАНСКИМ

Взаимоотношения южной власти с казачьими областями до конца сохраняли те характерные особенности, которые мною неоднократно отмечались уже в «Очерках».

Эти отношения не были одинаковыми. Самый состав правивших и влиятельных в политическом отношении кругов казачества предопределял их до известной степени: либералы на Дону, либералы и консерваторы на Тереке, социалисты на Кубани; автономисты на Дону, автономисты и централисты на Тереке и самостийники на Кубани.

Поэтому-то после ухода генерала Краснова трения с Доном потеряли прежнюю свою остроту; так же удовлетворительны, хотя и достаточно неопределенны, были, в конце концов, отношения с Тереком; только кубанское правительство и Рада находились в постоянной оппозиции, вернее непрекращающейся борьбе с командованием и правительством Юга. Можно было бы думать, что слишком тесное сожительство в екатеринодарский период и переплет власти являлись главным источником такого отношения... Но еще более сложный переплет существовал на Тереке, и, с другой стороны, перенесение всех наших штабных и правительственных учреждений на территорию Дона не ухудшило отношений с последним и не улучшило их с Кубанью. Наоборот, освободившись от непосредственного воздействия командования, кубанские правители бросились очертя голову в роковую игру, в которой ставка была поставлена на «Вольную Кубань», а верный проигрыш ложился на «Белый Юг».

Могло ли быть иначе!

Эти отношения не были и постоянными... Периоды острой опасности, нависавшей временами над Доном и Тереком, территории которых почти все время были театром войны[1] или находились в прифронтовой полосе, побуждали эти области к большей сговорчивости и укрепляли в них чувства благоразумия и осторожности.

Кубань же вся с 29 октября 1918 года была освобождена от большевиков и представляла глубокий тыл, не испытывавший непосредственно в течение более года ни ужасов войны, ни гнетущего страха за свое существование. Стратеги из Законодательной и Краевой рад переоценивали безопасность края и прочность положения Вооруженных сил Юга на линии Царицын—Курск—Киев, когда вели к окончательному разрыву с командованием.

Эти отношения, наконец, создавались и поддерживались, главным образом, верхами. Рядовое казачество оставалось более или менее безучастным к политической борьбе двух властей, и только к концу 1919 года кубанским верхам удалось вывести свое казачество из равновесия. Маятник кубанских настроений сильно качнулся тогда влево и, не пристав к борту черноморских самостийников, остановился вовсе в роковом бессилии.

[1] На Кавказе — постоянные восстания горцев.

Все эти обстоятельства приводят к убеждению, что не только или, вернее, не столько непреодолимые антагонизмы между диктатурой и народовластием, между централизмом и казачьей вольностью препятствовали органическому объединению действенных сил Юга, сколько люди и страсти.

* * *

Донской Круг, избравший атаманом генерала Богаевского, заседал очень долго — целых четыре месяца[1]. По-видимому, на длительность сессии влияло то обстоятельство, что северные округа были заняты большевиками и депутатам этих районов некуда было деваться. Обязавшись в дни борьбы с Красновым перед Кругом, правящая партия вынуждена была мириться с его все усиливавшимся давлением: непрестанное вмешательство в дела управления, постоянные комиссии, бравшие на себя не только ревизию и контроль, но и руководство отдельными действиями донских министерств, парализовывали зачастую их деятельность. Это обстоятельство становилось тем более тягостным, что состав Круга был довольно случайным и интеллектуально малопригодным для разрешения государственных вопросов, вытекавших из суверенного бытия Дона. Председателю Круга Харламову, опытному парламентарию, не раз стоило больших усилий, чтобы удержать Круг от превращения в заурядный митинг. На сером фоне Круга боролись и сводили счеты правые («красновцы», кадеты) и левые, представленные соответственно своими лидерами — Яновым, Харламовым и Агеевым. Специальные казачьи интересы густо окрашивали политическую идеологию всех групп. Кадеты были у руля, прочие группы в оппозиции. Непримиримые во всех других отношениях, оба фланга донской общественности сходились, однако, во враждебном отношении к главному командованию и правительству Юга, прибегая по отношению к нам к приемам чисто демагогическим. Весною, впрочем, когда судьба Дона зависела от помощи Добровольческой армии, их

[1] Февраль—июнь.

голоса притихли вовсе. Но летом — в апогее успехов донского фронта — они сильно мутили Круг, причем Агеев вел кампанию против Особого совещания и в печати, в формах необыкновенно резких. На этой же почве в угоду Кругу скользил иногда осторожно и командующий Донской армией генерал Сидорин, объясняя, например, недочеты снабжения тем обстоятельством, что «ввиду реакционных выступлений Особого совещания корабли с английским вооружением и снаряжением задерживаются в Константинополе...» Конечно, ничего подобного не было. Такие выступления командующего армией случались, впрочем, редко и благодаря сдерживающему влиянию Харламова и умиротворяющему — атамана Богаевского Круг не выходил из рамок лояльной оппозиции.

Приверженность к «демократическим лозунгам» составляла слабость казачьих политиков, покрывая иногда далеко не демократическую сущность, создавая легенды и неправильные противоположения иному режиму — «реакции» и диктатуре. Не в осуждение донских деятелей, без сомнения немало потрудившихся для устроения родного края, но для восстановления исторического критерия я коснусь некоторых отрицательных сторон жизни Дона, присущих в той или другой степени и другим демократическим режимам.

По инициативе генерала Сидорина Донской круг решил «выявить свое демократическое лицо» и «сказать России... с чем и зачем мы идем». Эта мысль осуществлена была оглашением декларации от 1 июня 1919 года.

Декларация, не предрешая государственного устройства России — «единой, свободной, демократической страны», — ставила, однако, непременным условием его «государственную автономию... с правом заключения областных политических, экономических и национальных союзов...» Вручая судьбу России Учредительному собранию, созванному по четырехчленной формуле, Дон у себя лишал права участия в управлении большую часть неказачьего населения... «Неотложной задачей строительства» России декларация ставила восстановление органов земского и городского управления, а в самой области почти за два года ее самостоятельного существования не было введено самоуправление, и такой, например, крупный центр, как Ростов, по существу столица

Юга, испытывал перманентный кризис назначенного городского правления, хозяйственную разруху и гнет часто сменявшихся «генерал-губернаторов», среди которых были персонажи анекдотического и криминального типа...

Декларация требовала для России «политических свобод» и либерального рабочего законодательства[1], а практика донской власти применяла неутверждение уставов социалистических партий[2], вынужденных уйти в подполье, и борьбу как с ними, так и с профессиональным движением, имея рабочую массу всегда в числе своих недругов.

Декларация считала «недопустимым решение земельного вопроса за пределами Войска в форме возвращения дореволюционных земельных отношений...» А донской аграрный закон, проведя отчуждение частновладельческих земель — и казачьих и «русских» — в земельный фонд Войска и оставляя за последним право собственности, обязался помочь малоземелью коренных крестьян (23 процента населения) и ничего не обещал другой четверти населения (24 процента) — «пришлому»[3] крестьянству, на долю которого приходилось лишь 1,3 десятины надельной и купленной земли в среднем на хозяйство... Отчуждение или взимание солидной арендной платы стало реальным фактом с осени 1919 года, а наделение являлось вопросом более или менее отдаленного будущего, вызывая недоверие и возбуждение... Круг в октябрьской сессии торопился изъять из частного владения и недра, но в пользу Войска, не оговаривая несомненных общегосударственных прерогатив в этом вопросе...

Декларация «не допускала мысли о мести в отношении к широким массам, хотя бы и брошенным в братоубийственную бойню», а практика донских полков, наступавших на север, изобиловала эпизодами грабежа, насилия и раздевания пленных, в то же время на донской территории, в районах преимущественного расселения иногородних — Ростовском,

---

[1] Тезисы его те же, что в декларации правительства Юга.

[2] Центром деятельности социал-демократов был Харьков, а социалистов-революционеров — Екатеринодар.

[3] Поселенцы, осевшие на Дону после освобождения крестьян (с 1861 года.).

Таганрогском и Донецком округах — крестьянские села стонали под бременем самоуправства, реквизиций, незаконных повинностей, поборов, чинимых местной администрацией. 18 августа 1919 года задонские волости торжественно праздновали годовщину освобождения от большевиков, и закулисные руководители придали этим празднествам демонстративный характер прославления новой власти и крестьянско-казачьего единения. Тем удивительнее было слышать от делегации этих волостей, прибывшей ко мне в Таганрог, дышавшие страхом и волнением жалобы на горькое их житье.

Как вообще могло относиться казачество к иногородним, которых оно отождествляло с большевиками, можно судить по тому, что делалось в его среде. В конце марта в одном из закрытых заседаний Круга рассматривался вопрос о массовом явлении насилий, творимых в задонских станицах отступившими казаками верхних округов: «иногда идет отряд всадников 300, бывают там и офицеры, тянут часто за собой пушку... обстреляют сначала станицу, потом начинают насилия над женщинами и девушками и грабеж...» По поводу предложения применить репрессивные меры из среды фронтовиков раздался предостерегающий голос: «...Вы хотите создать карательные отряды?.. Смотрите, как бы у нас не было в тылу войны... Часто денег не было за отсутствием аванса, ну и вынуждены были тащить».

Суровое время и жестокие нравы.

Как бы то ни было, факт непреложный: реакционный режим атамана Краснова в расчете на казачью силу игнорировал положение иногородних и в ответ вызвал враждебное с их стороны отношение; либеральный режим атамана Богаевского и демократические декларации правительства и Круга не привлекли неказачий «народ» ни к добровольному «боевому сотрудничеству», ни даже к дружественному расположению казакам.

Наконец, казачье народоправство далеко не гарантировало от спекуляции, казнокрадства и взяточничества. И не то было самым скверным, что по поводу одной из «панам», раскрытой в отделе продовольствия и интендантства, председатель ревизионной комиссии Мельников поведал Кругу: «И брали, и берут...» ...А удивляло отношение общества к этой разъедавшей государственный строй язве. «За все время нашей работы, — жаловался Мельников, — несмотря на все мои печатные призывы, никто не пришел нам (комиссии) на помощь...»[1]

Свидетельствуют ли все эти отрицательные стороны о непригодности демократического режима вообще или отсутствии доброй воли в донских правителях? Отнюдь. Но они поддерживают достаточно ясно ряд бесспорных в моих глазах положений: самым демократическим декларациям грош цена, самые благие намерения остаются праздными, когда встречают сильное сопротивление среды; самые демократические формы правления не гарантируют от попрания свободы и права в те дни, когда эти ценности временно погасли в сознании народном, в те дни, когда право восстанавливается насилием, а насилие претворяется в право.

История казачьего народоправства являет самобытную черту, особенность «казачьего демократизма» — замкнутость его в сословных рамках и территориальных границах. Демократизм — более как источник прав, нежели обязанностей. И когда донской демагог Агеев требовал отнятия «помещичьих шарабанов», поломанных уже к тому времени революцией, Круг бурно рукоплескал. Но когда тот же Агеев предлагал распространить земельные права на «граждан Всевеликого войска Донского», Круг так же бурно протестовал[2].

• • •

Взаимоотношения Дона с правительством Юга с большим трудом и трениями, но все же мало-помалу приводили к известному объединению. Мы добились восстановления деятельности Правительствующего Сената на территории Дона и Вооруженных сил Юга, объединения денежной единицы, управления железной дорогой и санитарной части. Круг согласился на учреждение центрального банка — мероприя-

---

[1] Доклад Кругу в заседании 25 октября 1919 года.

[2] Заседание 30 мая 1919 года. Агеев разъяснял, что при редактировании этой статьи под термином «граждане» комиссия разумела «тех тружеников (агрономов, учителей, врачей и прочих) — не казаков и не коренных крестьян, — которые всю свою жизнь прослужили Дону и под старость хотели бы приобрести участок земли для ведения на нем хозяйства».

тие, которое, впрочем, не было доведено до конца и, главное, не привело к справедливому распределению эмиссии, пределы которой находились в зависимости «от взаимного соглашения государственных образований...» К концу 1919 года уничтожены были «пограничные рогатки»... Донская власть не нарушала сепаратными выступлениями единства в направлении внешней политики, и т. д., и т. д.

Только в военном отношении все оставалось по-старому: Донская армия представляла собой нечто вроде «иностранной союзной». Главнокомандующему она подчинялась только в оперативном отношении; на ее организацию, службу, быт не распространялось мое влияние. Я не ведал также назначением лиц старшего командного состава, которое находилось всецело в руках донской власти.

Такое положение было глубоко ненормальным. Я не могу сказать, чтобы до новороссийской катастрофы донское командование проявляло прямое неповиновение. Но оно оказывало иногда пассивное сопротивление, проводя свои стратегические комбинации и относя к force majeure («Чрезвычайные обстоятельства» (франц.). — *Прим. ред.*) уклонения от общей задачи. Так, в июне я не мог никак заставить донское командование налечь на Камышин, а в октябре — на воронежское направление, и никогда я не мог быть уверенным, что предельное напряжение сил, средств и внимания обращено в том именно направлении, которое предуказано общей директивой; переброски донских частей в мой резерв и на другие фронты встречали большие затруднения[1]; ослушание частных начальников, как, например, генерала Мамонтова, повлекшее чрезвычайно серьезные последствия, оставалось безнаказанным.

Все это, наряду с понятным тяготением донских войск к преимущественной защите своих пепелищ, вносило в стратегию чуждые ей элементы, нарушавшие планомерный ход операций. «О, ужас! — говорил лидер донской оппозиции

[1] Бывали и такие случаи: на запрос штаба главнокомандующего, какая дивизия поставлена, согласно приказу, в его резерв, генерал Сидорин ответил: «7-я бригада, временно находящаяся в бою...» (29 июня 1919 года).

Агеев. — За Днепр посылаются войсковые части в то время, когда донцы напрягают до крайности свои силы в борьбе с большевиками, когда почти два округа заняты их бандами...»

С такой психологией, весьма распространенной, стратегия находилась в постоянной и острой коллизии.

Тем не менее Дон, как временное государственное образование, и Донская армия, невзирая на тягчайшие осложнения, проистекавшие от раздельного существования власти и командования, представляли весьма важный и объективно положительный фактор в истории борьбы Юга. Коэффициент духа — элемент переменный и трудно поддающийся исчислению. Но данные, характеризующие тяготу, поднятую войском в борьбе с большевиками, весьма красноречивы: в момент наивысшего напряжения, в октябре 1919 года Войско Донское выставило на фронт 48 тысяч бойцов, что составляло 32 процента всех Вооруженных сил Юга. И донской атаман генерал Богаевский однажды после очередного столкновения «добровольческого централизма» с «донским сепаратизмом» не без основания писал мне: «...Если бы Дон изменил матери-России, я швырнул бы атаманский пернач в лицо своему преемнику, который повел бы мою Родину на самоубийство, а сам ушел бы к Вам хоть рядовым в свой Партизанский полк. Не верьте сплетням и будьте справедливы к Дону: падая и поднимаясь, борясь с огромными силами противника, он несет тяжкую службу Родине, и без него едва ли возможны были бы блестящие успехи доблестных добровольцев...»[1]

* * *

Главные черты из жизни Терека и наших взаимоотношений... не подверглись существенному изменению до конца. На Тереке более, чем в других казачьих землях, чувствовалась неразрывная и не ослабленная лихолетием связь с общерусской государственностью — в психологии казачества, в речах на Круге и в правительственной деятельности. Терская власть почитала своей первой и важнейшей задачей интересы борьбы, полагая, что «только решительная победа над большевизмом и возрождение России создадут воз-

[1] Письмо от 2 октября 1919 года.

можность восстановления мощи и родного войска, обескровленного и ослабленного гражданской борьбой»[1].

Поэтому и в политике, и в области социальных и экономических отношений оно избегало радикальных мероприятий. Даже такой животрепещущий вопрос, как аграрный, в конце 1919 года находился только еще в стадии «изучения земельного фонда... и выяснения площади частновладельческой и другой земли, могущей быть предоставленной окрестному населению для использования угодий и распределения этой земли...»

Терская власть, ввиду непрекращающейся борьбы с чеченцами и ингушами, озабочена была численным увеличением казачества и привлечением в свою орбиту соседей-союзников. Так, в Терское войско включен был кара-ногайский народ; после продолжительных переговоров при участии представителей главноначальствующего Терский круг третьего созыва выразил принципиальное согласие на присоединение к Войску «на равных правах» осетин и кабардинцев. Окончательные переговоры, не законченные из-за разразившейся вскоре катастрофы, встречали, однако, большие затруднения ввиду требования осетин упразднить Войсковой круг и ввести взамен его «Краевую думу». Терцы не могли решиться на такое, по их мнению, обезличение Войска.

Подобные требования предъявляли и иногородние. Съезд их, собравшийся в конце октября 1919 года и состоявший преимущественно из крестьянских представителей, признал конституцию края, отнесся благожелательно к власти, потребовал уравнения в правах, главным образом, земельных, чтобы создать «одну общую семью терских граждан», требовал своего пропорционального участия как в Круге, так и в органах центрального и местного управлений. Съезд выразил готовность разделить с казаками все тяготы военной службы, но при этом высказал пожелание о создании особой терской «территориальной армии»...

Более осторожно, чем к предложению горцев, отнеслось казачество к пожеланиям своих российских сограждан: поощряя вхождение иногородних в казачье сословие, терцы с большим предубеждением относились к «паритету».

[1] Из программы правительства. Ноябрь 1919 года.

Города, наоборот, стремились всеми средствами эмансипироваться от казачьей власти, признавая компетенцию правительства Юга.

В результате двоевластия трения между Таганрогом и Пятигорском продолжались, в особенности по спорным вопросам управления Минераловодской группой и грозненским районом. Но никогда эти трения не переходили границ. Атаман был всегда лоялен и никогда не принимал участия в выступлениях против власти Юга.

Терские дивизии и пластунские бригады входили в состав армий Юга и беспрекословно исполняли боевые задачи. Политические недоразумения кончались обыкновенно компромиссом. Этих отношений не могли испортить и кубанские сепаратисты, воздействовавшие всеми способами (в том числе посылкой специальной делегации Рады) на терское правительство и Круг, чтобы склонить Терек к разрыву с главным командованием. И даже к концу, когда нависали уже грозовые тучи и Верховный казачий круг, кипя страстями, выбирал новые пути казачества, терская фракция его сохраняла лояльные отношения к правительству Юга, исходя прежде всего из побуждений реальных. «Путь сепаратизма с самостоятельным управлением для Терека не пригоден, — говорил председатель терского правительства Абрамов, — ввиду существующих там различных течений. Общую идею должно объединять неказачье лицо...» А депутат Баев прибавил: «...Казачьи территории со всех сторон окружены землями Добровольческой армии[1]. И если вы не пойдете с ней, то мы, терцы, не пойдем на Дон, потому что у нас разыграются события, которые заставят нас у вас же просить помощи...»

Исторический ход событий волей или неволей связал железной цепью государственные образования Юга, и ослабление, а тем более разрыв одного из звеньев ее могли вызвать потрясение и гибель.

* * *

Астраханское казачье войско, фигурируя в официальной жизни Юга в лице атамана и правительства, представляло до

[1] Напоминаю, что в то время нередко даже в официальных документах термин «Добровольческая армия» включал понятия о вооруженной силе и об южной власти.

известной степени фикцию, так как в состав территории ВСЮР входило разновременно лишь несколько казачьих станиц и часть калмыцкой степи.

1 июня 1917 года в силу закона Временного правительства Астраханский край получил новое устройство, будучи подразделен на четыре самостоятельные административные единицы — Астраханская губерния, Астраханское войско, область калмыков и область киргизов Букеевской орды[1]. В том же году состоялось вхождение астраханских калмыков в состав Астраханского казачьего войска на условиях раздельного управления — двумя Кругами, двумя правительствами, объединенными казачьим атаманом с калмыцким помощником. Большевистский переворот нарушил нормальное развитие новых учреждений и внес в жизнь края исключительное даже для большевистской практики разрушение и жестокость: советский террор в Астрахани и в калмыцких степях — одна из наиболее кровавых страниц русского лихолетья.

Атаман генерал Бирюков был посажен в тюрьму, где и умер. Другие деятели, в том числе помощник атамана ротмистр (именовавшийся полковником) князь Тундутов, председатель казачьего Круга Ляхов, председатель калмыцкого Круга и правительства «полковник» Криштофович[2] нашли приют на Дону; несколько тысяч калмыков с семьями и скарбом потянулись также на освобожденную от большевиков территорию.

Князь Тундутов — определенный авантюрист, хотя и обладавший весьма посредственным умственным развитием, — объявил себя, как известно, астраханским атаманом и стал формировать армию, не без успеха мистифицируя Берлин и Новочеркасск. С падением атамана Краснова и упразднением Астраханского корпуса, части которого пошли на пополнение Вооруженных сил Юга[3], Тундутов временно остался не у дел. В кубанской станице осели самодовлеющие астраханские власти, ведя между собой большие раздоры; с одной стороны — на почве разногласия между казаками и калмыками, с другой — от столкновения в калмыцкой среде представителей двух начал: «феодального»[1] и «демократического»[2]. Особым постановлением соединенных «правительств» князь Тундутов был лишен атаманского звания и, получив 20 тысяч рублей «отступного», вначале примирился с фактом своего низложения. Но вскоре передумал и объявил о расторжении договора между астраханским казачеством и калмыками и об образовании из последних особого войска «Волжского», назвавшись его атаманом. Тундутов пробрался затем в Баку, спекулируя калмыцким народом в сношениях с азербайджанским правительством и даже с агентами Кемаль-паши, добывая везде деньги и предаваясь широкому разгулу. В сентябре он вернулся в калмыцкие степи и стал поднимать калмыков против вновь избранного «правительствами» атамана Ляхова. Чтобы положить конец всем этим выступлениям, волновавшим степь и вызывавшим дезертирство из калмыцких полков, в октябре 1919 года я приказал выслать Тундутова и двух его сподвижников из пределов Северного Кавказа[3].

Ляхов и члены его правительства привлечены были к разработке положения об управлении Астраханским краем и к организации управления освобожденными калмыцкими округами.

[1] Приблизительный состав населения: 1 миллион русских, 35 тысяч астраханских казаков, 225 тысяч калмыков и 400 тысяч киргизов.

[2] Гражданское лицо, возведенное Тундутовым в ранг полковника.

[3] В том числе Астраханская конная дивизия, преимущественно из калмыков.

ГЛАВА XIV
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЮГА С КУБАНЬЮ

Взаимоотношения, сложившиеся между властью Юга и Кубанью, вернее — правившей ею группой, я считаю одной из наиболее серьезных «внешних» причин неудачи движения.

Ближайшими поводами для междоусобной борьбы, поднятой кубанской «революционной демократией», совмещав-

[1] Князь Тундутов и Довукин-Очиров.

[2] Баянов и Тюмень.

[3] После падения Юга Тундутов в качестве «светского и духовного главы калмыцкого народа» мистифицировал Константинополь и Будапешт, окончив свою карьеру переходом в советскую Россию.

шей «казачий» социализм с самостийностью, служили вопросы о полной эмансипации Кубани от правительства Юга, о создании собственной армии, о пресловутой «экономической блокаде», вызванной кубанскими рогатками, и некоторые другие, тесно связанные с интересами противобольшевистской борьбы. В область внутренних отношений и местного законодательства мы по-прежнему не вмешивались вовсе.

Внешне эта борьба преподносилась общественному мнению как противоположение «казачьего демократизма» «монархической реакции»; на самом деле она представляла поход кубанской самостийности против национальной России вообще. При этом кубанские самостийники вкладывали в свои отношения к нам столько нетерпимости и злобы, что чувства эти исключали объективную возможность соглашения и совершенно заслоняли собою стимулы борьбы с *другим* врагом — советской властью. Можно сказать, что со времени полного освобождения Кубанского края самостийные круги, преобладавшие в составе Законодательной рады и третьего правительства (Курганского), все свои силы, всю свою энергию и кипучую деятельность направили исключительно в сторону «внутреннего врага», каким в глазах их была Добровольческая армия.

14 июня в Ростове произошло прискорбное событие, вызвавшее еще большее обострение в наших отношениях: в этот день был убит председатель Краевой рады Рябовол. Следствие донских властей не обнаружило лиц, совершивших убийство. Так как покойный являлся одним из наиболее непримиримых противников власти Юга, то в смерти его Кубанская рада обвинила добровольцев. Событие это послужило поводом для больших политических демонстраций, организованных кубанским правительством и Радой. В изложении официозов, в воззваниях и речах преступление приписывалось «врагам народа, слугам реакции, монархистам», на которых обрушился гнев кубанских республиканцев. Некоторые речи и статьи расшифровывали, впрочем, эти «общие понятия», указывая прямо на Особое совещание, как на «силу, стремящуюся отдать демократию в рабство»; на Осваг, «длинными реакционными щупальцами охвативший Кубань»; на Добровольческую армию, «поющую Боже, Царя храни». Про армию кубанский официоз позволил себе сказать: «...И только в демократических кругах с истинным негодованием относятся к свершившемуся факту и ждут возможных последствий. Говорят о возможности ухода кубанцев с фронта. Говорят и сами пугаются... Так как все отлично сознают, что на фронте — там, далеко — кубанцы, терцы, донцы, а *добровольцы ютятся в штабах, театрах и интендантствах...*»

Даже представитель Грузии, с которой, по существу, мы находились в состоянии войны, счел возможным в Екатеринодаре — Ставке главнокомандующего воюющей стороны — с кафедры Рады грозить «неведомому» противнику: «Грузия хочет видеть рядом с собой доблестную соседку — Кубань... Она не может разговаривать с теми, кто идет завоевывать и подчинять, а не освобождать... Я уверен, что когда на Кубани настанет момент опасности для демократии и свободы, то демократия Грузии не платонически, а кровью своей докажет стремление защищать общность демократических интересов...»

Грузия в качестве защитницы Кубани!

Это официальное лицемерие встречено было бурными аплодисментами собрания, ослепленного навеянным чувством в ущерб логике и действительности.

В числе прочих мер Законодательная рада постановила[1]: 1) закрыть все газеты, поносившие Раду и покойного Рябовола, а редакторов их выслать из пределов края[2]; 2) закрыть все отделения Освага на кубанской территории, а агентов его выслать[3]; 3) екатеринодарский гарнизон передать в надежные руки и составить его из «верных частей»; 4) все гарнизоны в крае должны состоять исключительно из кубанских и горских частей[4]; 5) разработать мероприятия против лиц, ведущих борьбу с кубанскими краевыми установлениями...

---

[1] Заседания 14 и 19 июня.

[2] Насколько помню, были высланы только Лутковский (бывший редактор «Двуглавого орла») и Востоков (издатель листовок).

[3] Распоряжение правительства по этому поводу было отменено атаманом, причем вместо официальных репрессий начался неофициальный бойкот, по существу парализовавший деятельность учреждения.

[4] Добровольческие части по условиям дислокации, конечно, остались на Кубани: запасные, формирующие части, войсковые школы и т. д.

Эти последние мероприятия были особенно сложны ввиду отрицательного отношения к местной власти не только Добровольческой армии, но и всей русской общественности, всей российской печати, кубанской «линейной» группы и большинства иногородних. Последние были настроены оппозиционно, преимущественно в области социальных и экономических взаимоотношений; в станицах — в особенности там, где неискренние демократические лозунги центра претворялись в «казачью диктатуру» и самосуд, где все натуральные повинности отбывались исключительно иногородним населением, причем принудительно и бесплатно. Только городской пролетариат, ведя борьбу с кубанской властью, в ее распре с командованием выражал обыкновенно свое сочувствие кубанцам. Но приемами довольно безобидными: резкими постановлениями профессиональных союзов, красными бантами, украшавшими их делегатов, и т. п.

Начавшаяся на Кубани задолго до июня кампания против южной власти приняла размеры угрожающие. Она не ограничилась отстаиванием областных интересов; в программу кубанской «революционной демократии» в соответствии с практикой российских социалистов входила «энергичная борьба со стремлением слуг царского режима, помещиков и капиталистов установить диктаторскую власть в освобожденных от большевиков местностях России, ибо эта власть есть первый твердый и верный шаг к установлению самодержавно-полицейского строя»[1].

Нахождение аппарата власти (отдел внутренних дел) и краевых органов пропаганды («Коп»), поглощавших ежемесячно 4 миллиона рублей, в руках самостийной группы давало ей реальную силу и широкие возможности. Способы борьбы были разнообразны: скрытая работа по свержению атамана и явная — по удалению лиц высшего управления, приверженных к Добровольческой армии; специальный подбор администрации, административное давление, перлюстрация корреспонденции; подкупы — деньгами, спиртом, назначениями, производством в первый офицерский чин и т. д., и т. д.

[1] «Программа и тактика кубанской объединенной группы федералистов-республиканцев».

Так же разнообразна была пропаганда. Каждое заседание Рады являлось поношением южной власти и возбуждением против нее казаков. Официальная печать распространяла эти речи и проводила эти идеи прямыми выпадами и тенденциозным подбором материала, зачастую грубо вымышленного.

«Коп» разносил агитационную литературу в тысячах экземпляров по станицам, а в витрине этого учреждения, в Екатеринодаре, изо дня в день вывешивались кубанские газеты с подчеркнутыми местами, особенно оскорбительными для Добровольческой армии, экземпляры «Известий» и «Красноармейца», описывавшие, например, с большим злорадством развал армии адмирала Колчака или в самых радужных красках торжества «пролетарского праздника 1 мая» в советской России...

Лидеры самостийников — Омельченко, Гатогоу, Воропинов, Макаренко, Белоусов и многие другие — по поручению Рады разъезжали по Кубани и на станичных сборах выясняли наши взаимоотношения в духе демагогии, затрагивавшей наиболее чувствительные места народной психики. Нет шпагата, дорога мануфактура — виновата «блокада Кубани...». Дорог хлеб — потому что весь урожай 1919 года будет отдан главным командованием Англии (?) в уплату за снабжение... Кубанцы босы и голы (!), тогда как добровольцы, даже пленные большевики, ходят в отличном английском обмундировании (!)... Особое совещание — это «тот коршун, который ждет лишь того времени, когда можно будет выклевать глаза Кубанскому краю и отнять у него землю и волю...» (Макаренко). На фронте не хватает сил, ибо кубанцев заставляют проливать кровь в борьбе с «дружественными кубанцам горцами Дагестана и Чечни, с родственными им украинцами Петлюры...» Иные агитаторы в своем толковании событий шли гораздо дальше, требуя от правительства снять с фронта кубанские части и поставить их сильными гарнизонами по Кубани, чтобы «заставить силою не желающих исполнять распоряжения кубанской власти»... (Воропинов). Или побуждали кубанских казаков оставить ряды Добровольческой армии, которая «является виновницей гражданской войны». Ибо, не преследуй она «целей насаждения монархизма, давно можно было бы

окончить войну и примириться с большевиками, устроив в России народную республику...» (Омельченко).

Под таким воздействием изо дня в день на сытой и покойной Кубани среди казачества началось смущение. Часть станиц оставалась, впрочем, равнодушной к тому зрелищу, которое народный юмор определял фразой «паны дерутся». Другие под влиянием агитации выносили постановления — хвалебные по адресу печальников народных из Законодательной рады и враждебные по отношению к Добровольческой армии; третьи, наконец, требовали удаления из состава Рады и правительства «Воропиновых и Макаренок», которые «ведут к пережитому уже нами и напоминают прямо о действиях этих лиц в первой Законодательной раде перед большевизмом...» Одновременно многие станицы присылали постановления об избрании меня почетным казаком... Съезд уполномоченных Лабинского отдела (конец июня) признал деятельность Законодательной рады вполне отвечающей чаяниям народным и послал приветствие Раде и... главнокомандующему.

Шел полный разброд в казачьих настроениях. Движение, вызванное кубанскими демагогами, оказалось бессильным поднять казачью массу к активным действиям. Но значение его тем не менее было велико и гибельно: всякий подъем в казачестве мало-помалу угасал и притом безвозвратно, цели борьбы затемнялись совершенно, понятие о долге заслонялось чувством самосохранения, находившим простое и доступное оправдание в речах и призывах «народных избранников», с фронта началось повальное дезертирство, не преследуемое кубанской властью. Дезертиры свободно проживали в станицах, увеличивали собою кадры «зеленых» или, наконец, находили покойный приют в екатеринодарских запасных частях — настоящей опричнине, которую путем соответственной обработки Рада готовила для своей защиты и к вооруженной борьбе против главного командования.

В то же время через головы полков, стоявших на грузинском фронте или дравшихся с войсками Петлюры, кубанская власть заключала договоры и союзы с Грузией[1] и с Украиной; посылала делегации на Дон и на Терек, чтобы найти там поддержку в борьбе с главным командованием.

[1] Три экономических договора на поставку хлеба.

На русскую общественность произвело большое впечатление одно темное событие: председатель Кубанского военно-окружного суда Лукин, «первопоходник» и приверженец Добровольческой армии, приезжал в Ростов с докладом по вопросу о росте украинско-сепаратистского движения на Кубани и о прибытии в Екатеринодар тайной петлюровской делегации. Через день по возвращении, 1 октября, Лукин был убит лицами, не обнаруженными кубанскими следственными органами...

* * *

Были ли все нападки самостийных кругов на политику и власти Юга голословными и необоснованными? К сожалению, не всегда. Наши неустроения не раз для этого давали им основания, скорее, впрочем, в масштабе общегосударственном, чем краевом. Основания, которые к тому же в азарте политической борьбы и в преломлении сквозь призму социалистическо-самостийной идеологии приобретали подчас преувеличенную и извращенную окраску. Давали ли мы поводы к обострению отношений? Помимо принципиального расхождения, наше не слишком почтительное отношение к людям, попавшим на роли народных избранников, законодателей и министров, вызывало обиды и уязвленное самолюбие. Атаман Филимонов этому обстоятельству приписывал даже исключительное значение в развитии кубанской фронды. «Протестантство Быча, Савицкого и других, — писал он мне 2 декабря 1919 года, — выросло не столько на почве политической и партийной борьбы (какой там Савицкий партийный человек!), сколько под влиянием постоянно уязвляемого самолюбия во время Первого кубанского похода определенно презрительным отношением к ним чинов Добровольческой армии... Я был постоянным свидетелем бешенства их по поводу недостаточно внимательного отношения к «избранникам народа» с Вашей стороны и со стороны штаба армии... Чувство мести, главным образом, толкнуло Быча и его сподвижников на преступную работу за границей».

Российская печать, органы «линейцев», иногда литература Освага отвечали, правда, в порядке необходимой самообо-

роны, на нападки самостийников тоном столь же резким и страстным. Поношению подвергались и люди, и идеи. Я не ошибусь, вероятно, если среди многочисленных южных газет того времени назову лишь одну — «Утро Юга» Мякотина, которая в общей бурной газетной кампании, в критике кубанской власти сохраняла поучительный, но сдержанный тон.

Изверившись в возможности соглашения, я предлагал председателю Особого совещания условиться, по крайней мере, с атаманом и кубанским правительством о прекращении взаимной газетной травли... Атаман и сам признавал, что «направление деятельности краевого отдела пропаганды с самого начала возникновения своего... вызывает недовольство (его) и отдельных членов правительства...» Принимал известные меры, временно умерявшие злобность официальной печати, но ненадолго. Власть атамана была весьма ограничена — отчасти конституцией, отчасти тем обстоятельством, что группы «линейцев», к которым принадлежал и сам генерал Филимонов, проявлявший лояльность и умеренность, не были достаточно сплочены, организованы и сильны, чтобы составить должный противовес самостийникам. Отчасти, наконец, по личным свойствам самого атамана-человека, по характеру весьма мирного. Поэтому в течение более года своего атаманства генерал Филимонов балансировал с большим трудом между молотом и наковальней — между Радой и главным командованием. То сдерживал порывы демагогов, умиротворял настроения, сглаживал углы. То иногда, как, например, в вопросе о создании Кубанской армии, был солидарен с самостийными кругами и весьма настойчив и это было тем более непонятным, что с лета 1919 года кубанские лидеры в своих бурных речах, уже не стесняясь ставили целью создания Кубанской армии борьбу с главным командованием.

Положение становилось чрезвычайно тягостным. Ни одна из наших попыток установления государственной связи не увенчалась успехом. Нам *не было предъявлено к тому же ни одного контрпроекта со стороны кубанских правителей*, если не считать неприкрытого пожелания — полного невмешательства главного командования в дела Кубани. Последнее было бы, может, и спасительным, но, к

сожалению, невыполнимым: Кубань волею судьбы являлась нашим тылом, источником комплектования и питания Кавказской армии и связующим путем как с Северным Кавказом, так и с единственной нашей базой — Новороссийском. Кубанские части в октябре составляли все еще 12% Вооруженных сил Юга.

Нас сковывали цепи, которые рвать было невозможно.

В конечном результате к осени 1919 года положение было таково: на царицынском фронте стояла страшно поредевшая Кавказская (кубанская по составу) армия, сохранявшая еще бодрость духа и дисциплину благодаря, главным образом, влиянию лояльного и национально настроенного кубанского генералитета и офицерства. Но с тыла, с Кубани, к армию не поступали уже более на пополнение ни казаки, ни лошади.

На мой взгляд, совершенно безразлично: верить ли искренности того лозунга, который в 1919 году проповедовала кубанская революционная демократия: «Единая Кубань в единой федеративной Российской республике»[1]; лозунга, обусловившего якобы внутреннюю распрю между «кубанским народоправством» и «реакцией» в образе Особого совещания... Верить ли признанию, сделанному теми же лицами в 1921 году[2], что целью их была *всегда* «государственная независимость Кубани» и, следовательно, борьба велась между кубанской самостийностью и национальной Россией... В обоих случаях борьба кубанских правителей на два фронта — против большевиков и Добровольческой армии — являлась заведомо непосильной и потому безумной.

Она губила *и их, и нас.*

И не без основания Бронштейн-Троцкий еще в сентябре 1919 года избрал путь, параллельный с кубанскими правителями. Он считал невыгодным «трогать Кубань», наступая от Царицына на Тихорецкую. Бронштейн предпочитал харьковское направление, чтобы «отрезать деникинские войска от Кубани, что дало бы *временную опору* кубанским

[1] «Программа и тактика кубанской объединенной группы федералистов-республиканцев».

[2] Конференция в Праге.

самостийникам и *временное замирение* Кубани в ожидании развязки нашей борьбы с деникинцами на Донце и на Украине».

И хотя отрезать добровольцев от казаков большевикам не удалось, но работой самостийников «замирение» все-таки было достигнуто.

ГЛАВА XV
«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ СОЮЗ» И ЮЖНОРУССКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В предыдущих книгах я очертил первые попытки южного казачества к объединению.

По словам Харламова, это было «стихийное стремление... коренящееся в психологических особенностях казачества как отдельной бытовой группы русского народа... Оно есть не только эпизод прошлого, но имеет и будущее...» Этой стихийности я не наблюдал: все попытки организации «казачьего государства» являлись плодом интеллигентского творчества, отнюдь не народного.

Первый опыт создания «Юго-восточного союза» в 1917 году прошел под знаком полного игнорирования мятущимся казачеством и своей областной выборной власти, и «союзной». Второй — проект «Доно-Кавказского союза» — был совершенно искусственной, чисто политической комбинацией, которую проводил генерал Краснов в угоду германцам, видевшим в этой комбинации оплот против зарождавшегося Восточного фронта и одновременно против Добровольческой армии.

Весною 1919 года Круги и Рада разновременно выразили пожелание о воссоздании союза. Но формы его и цели, в особенности сокровенные, были различны.

Инициативу созыва конференции взяло на себя кубанское правительство, пригласив на нее к 5 мая и закавказские новообразования, и горские округа, подчиненные главному командованию. Расценивая подобный съезд как демонстрацию центробежных по преимуществу сил, я отнесся к нему резко отрицательно. О последовавших по этому поводу переговорах между казачьими деятелями сделан был доклад Донскому кругу[1] председателем его Харламовым, посетившим незадолго перед тем во главе делегации Кубань и Терек. Выяснилось, между прочим, тождество мнений донских и терских правителей с Особым совещанием в вопросе о неприемлемости состава конференции. «В сущности, — говорил Харламов, — ни Филимонов, ни Сушков[2], да и вообще кубанское правительство, не верят в эту конференцию, но обязаны исполнить постановление Рады, проведенное «черноморцами».

Время тогда было тяжелое, 10-я большевистская армия с царицынского фронта подступала уже к Батайску, в тыл Ростова и северной группе наших войск... Поэтому Харламов советовал Кругу «направить все внимание на борьбу... было бы совершенно неудобно в данный момент идти резко против взгляда главного командования». Так же отнеслись к этому терцы, и вопрос заглох.

Но через полтора месяца, когда фронт большевистский дрогнул, когда наши армии перешли в широкое наступление и освобождение всей территории Дона стало вопросом ближайших дней, Донской круг, прерывая свои работы 1 июня, вновь подтвердил, что считает «неотложной задачей... заключение... «Юго-восточного союза», в первую очередь с Тереком и Кубанью, для укрепления экономической мощи края и утверждения кровью добытых автономных прав, при дружном боевом сотрудничестве с главным командованием Юга России в деле осуществления общих задач по воссозданию единой, великой Родины — России...»

20 мая председателем Круга разослано было приглашение в Ростов представителям Кругов (Рады) и правительств трех казачьих войск на конференцию, которая и собралась там 11 июня.

Российская общественность и печать отнеслись к этому факту с единодушным и резким осуждением. Отражением тех взглядов, которые сложились тогда, может служить конспект «протеста», выработанный на соединенном заседа-

---

[1] Закрытое заседание Круга 19 апреля 1919 года.

[2] Председатель кубанского правительства.

нии[1] правлений Национального Центра и Совета государственного объединения России, гласивший:

«а) Исторические заслуги казачества в деле собирания мощи России весьма велики.

б) В настоящей гражданской войне и борьбе с большевизмом казачество занимает первое место, как в деле защиты своего края, так и в восстановлении единства и былой мощи России.

в) Эти великие заслуги казачества, а также особенности его быта и исторически сложившихся сословных преимуществ дают ему право на самостоятельное устройство своей внутренней жизни и отводят ему почетное место при разрешении вопросов об окончательном устройстве Русского государства.

г) Идея организации «Юго-восточного союза» как государственного объединения, которое должно быть противопоставлено охваченной большевизмом России, имела в свое время известное значение.

д) Ныне, когда восстанавливается единство России, причем представителем ее является в Сибири Верховный правитель России Колчак, а на Юге — Добровольческая армия, сплотившая все антибольшевистские силы и ныне победоносно двигающаяся к Москве, возобновление вопроса о создании «Южно-русского союза» не только не оправдывается современной обстановкой, но и политически вредно, так как препятствует воссозданию единой государственности.

е) Стремиться ныне к созданию новых государственных образований — значит бессознательно содействовать намерениям Германии и ставить себе целью расчленение России».

К этому протесту предложено было присоединиться и Союзу возрождения. Последний, избегая общения с государственным объединением, отказался, но в повременной печати появился ряд статей Мякотина, обстоятельно доказывавших, что «называть демократическими формы и порядки управления, существующие сейчас в казачьих областях, значит пользоваться весьма неточной терминологией...» и что «объединение казачьих областей в один союз едва ли может дать прочный оплот правам и интересам демократии[1]. А вместе с тем, раз такой союз возникнет, он неизбежно будет помехой для общегосударственной власти и, если даже признает ее, неминуемо явится ее конкурентом и будет затруднять ее действия». Мякотин призывал поэтому казачество к объединению «с властью адмирала Колчака».

[1] 20 июня 1919 года.

Что касается более левых группировок, то, будучи принципиальными противниками «сословных организаций», они тем не менее, не желая оказывать хотя бы косвенной моральной поддержки Южной власти, хранили молчание.

Возмущение российских кругов было направлено не по надлежащему адресу. Взгляд на предполагаемый союз исключительно как на противовес общегосударственной власти проводили ярко и настойчиво одни лишь самостийные кубанские группы. И только под флагом казачьего объединения возможно было привлечение официального представительства Кубани к переговорам о создании общей власти. Дон и Терек в лице своих ответственных представителей и примыкавшие к ним астраханские делегаты держались иных взглядов. На конференции кадетов 20 июня Харламов заявил:

«Пункт 7-й резолюции, говорящий об отношении партии к краевым правительствам, отвечает моему credo; своим острием он направлен против кубанских самостийников. Они начинают сдавать свои неприступные позиции и положение улучшается. На конференции в Ростове мы определенно заявили, что федерализм неприменим к России. Это книжная, надуманная схема, и процесс объединения идет мимо нее. Поэтому надо ясно учесть: идти с ним или против него. Я знаю, что кубанский атаман и большинство краевого правительства со мною, они не федералисты.

Деникин нашему взгляду вполне сочувствует. С Терека получены известия от Баскакова, что все идет успешно. Переговоры между государственными образованиями и командованием не должны пугать: это не договор и не сговор,

[1] Вопрос об иногородних.

а только форма, обстановка для безусловного подчинения. Мы хотим лишь областной автономии, которая, обслуживая нас, принесет пользу и общему делу».

Эти взгляды, которым не чужды были также генералы Богаевский и Сидорин, нашли отражение и на конференции, хотя далеко не в такой решительной форме, как у Харламова. Кубанская делегация, возглавленная Рябоволом, оказалась поэтому в положении меньшинства, заранее обреченного на изоляцию. И если верить сведениям, появившимся после крушения Юга и ставящим убийство Рябовола в вину одной из вольных контрразведок, то акт этот, кроме своей моральной неприглядности, был вместе с тем нецелесообразен политически, создав чрезвычайные затруднения для главного командования.

Кубанская делегация, отправившаяся на похороны Рябовола в Екатеринодар, не возвращалась. Конференция, прождав напрасно три дня, приступила опять к своим занятиям, приняв 20 июня постановление: «Признать безотлагательную необходимость организации временной общегосударственной власти на Юге России на основе представительства от государственных образований Юга России и главного командования ВСЮР».

Кубанские представители Шахим-Гирей (председатель) и И. Макаренко по прямому проводу из Екатеринодара настойчиво, но безуспешно убеждали конференцию в том, что «переговоры с генералом Деникиным преждевременны». И 21 июня делегация конференции в составе Харламова, Баскакова[1] и Каклюгина[2] во время проезда моего через Ростов познакомила меня с ходом работ и принятыми постановлениями. При этом установлено было полное единомыслие наше относительно идеи построения общерусской власти: Верховный правитель (адмирал Колчак) и его полномочный представитель на Юге (главнокомандующий), палата областных и губернских представителей, общее правительство, автономия казачьих войск.

[1] Делегат Терека, бывший профессор военной академии.

[2] Управляющий отделом внутренних дел на Дону.

Это неожиданное для многих и в том числе для кубанцев превращение *конференции о казачьем союзе в конференцию об организации южно-русской власти* представлялось тогда огромным шагом вперед в области устроения Юга и консолидации сил его в борьбе с большевиками. По существу же 21 июня 1919 года после восьми месяцев бесплодных исканий, многовластия и тяжелого внутреннего разлада мы вернули вопрос об южной власти к тому исходному положению, в каком он находился 16 октября 1918 года, когда я и Особое совещание предложили казакам проект конституции, отвергнутый Кубанью.

Кубанская делегация выразила «чувства крайнего сожаления, что Кубань была поставлена перед совершившимся фактом». Но после горячих прений и настойчивых убеждений прибывшей в Екатеринодар донской делегации кубанцы решили принять участие в дальнейших работах конференции при непременном, однако, условии, чтобы «продолжение переговоров с генералом Деникиным состоялось лишь после того, как представители Дона, Кубани и Терека примут необходимые решения по основным вопросам».

Эта вторая подготовительная стадия работ конференции, собиравшейся в Екатеринодаре, Ессентуках и Новороссийске и прерывавшейся продолжительными поездками делегатов для доклада своим представительным учреждениям, длилась два с половиной месяца. Трижды главы делегаций являлись ко мне в Таганрог для обмена мнениями и решения спорных вопросов. В середине июля состоялись два совместных с моими представителями заседания конференции для выяснения основных положений будущей конституции, не приведшие к полному соглашению. После этого до начала сентября продолжались работы казачьей конференции и ее комиссий по выработке положений о Высшем совете, правительстве и казачьей автономии. И по окончании этих работ со 2 сентября конференция вступила в третью стадию своей деятельности — окончательного конструирования государственной власти совместно с представителями главного командования.

Совершенно исключительное положение занимала во всех этих переговорах кубанская делегация, парализовав-

шая деятельность конференции всеми мерами, начиная с постоянных перерывов, побуждавших делегатов остальных войск продолжать занятия без кубанцев. Обстоятельство тем более серьезное, что решения принимались не персональным голосованием, а по государственным образованиям. Неумеренность отстаиваемых кубанцами положений, явно ведущая к разрыву, вызывала не раз возмущение среди донцов и терцев. Саботаж принимал оттенок анекдотический, когда, например, И. Макаренко с упорством раскольничьего начетчика по целым часам доказывал, что в редакции «Положения» — «правителем Юга России *является* главнокомандующий...» — слово «является» необходимо заменить словом «почитается», ибо первое «противоречит конституции Кубани...» На почве всех этих недоразумений произошел раскол и внутри самой кубанской делегации. И когда все же к началу августа выразилось явно настроение конференции к полному соглашению с главным командованием, Законодательная рада на бурных заседаниях своих (1—5 августа) поставила прямо вопрос об отозвании своих делегатов с конференции...

Голоса умеренной части собрания, в том числе атамана, обрисовавшего возможность полной изолированности Кубани в политическом и экономическом отношениях, на этот раз перевесили. Рада 25-ю голосами при воздержавшихся черкесах[1] и большей части «черноморцев» санкционировала дальнейшее участие делегатов в конференции, мотивируя это решение тем, что все равно «результаты работ ее подлежат утверждению органов законодательной власти». Ввиду такого постановления председатель и члены делегации — Шахим-Гирей, И. Макаренко и Белый — сложили свои полномочия. Рада согласилась на освобождение Шахим-Гирея и не приняла отказа других. И. Макаренко стал председателем, а вместо Шахим-Гирея был назначен другой черкес — Гатогоу, демагог еще больший и такой же враг соглашения.

[1] Черкесский народ всегда был лоялен; но малоинтеллигентные представители его голосовали покорно по указанию Шахим-Гирея и Гатогоу.

О политических течениях, наблюдавшихся в то время в Раде, один из членов кубанской делегации, Скобцов, говорил: «Их два: одно то, которое желает вывести Кубань на широкую российскую дорогу, то есть на путь, предложенный Харламовым — участие в строительстве южно-русской власти; второе — топтание на месте со взглядами, обращенными на юго-запад, то есть на Украину, где ожидается устройство Кубанско-украинского союза. Эти группы выжидают событий, в зависимости от которых пойдут или по пути строительства России, или за Украиной...»

Разрыв был пока предотвращен. Но все обстоятельства, сопровождавшие заседание Рады, давали почву для глубочайших сомнений в возможности при сложившихся на Кубани настроениях благополучного исхода конференции...

* * *

Но и помимо кубанской обструкции было немало серьезных мотивов расхождения.

Обе стороны — и мы, и казачество, недостаточно считаясь с требованиями момента, проявляли чрезвычайную осторожность и *осмотрительность* в отношении будущего. Мы стремились к тому, чтобы создать нормальные взаимоотношения казачества не только по отношению к временной власти ВСЮР, но и к *России*, не растрачивая государственных прав и не создавая опасных прецедентов для будущей общерусской власти. Казачество, наоборот, стремилось закрепить за собой maximum прав и «вольностей» именно в целях создания исторического прецедента, находя период безвременья наиболее подходящим для этой цели. В этом же стремлении кубанские делегаты требовали настоятельно предварительного заключения *казачьего* союза, чтобы во всеоружии силы предъявлять свои требования другой стороне. Притом непременно «с запросом». Эта черточка казачьей психологии весьма своеобразно проявлялась на Донском кругу, где слышались речи: «Надо настаивать на федерации, тогда получим автономию; не то, говоря об автономии, получим... генерал-губернатора...»

«Торг» шел четыре месяца.

Государствоведы Особого совещания стояли твердо на том положении, что «русское государство, как единое целое, вос-

становлено с момента признания в нем единой Верховной власти в лице адмирала Колчака», и определяли поэтому порядок вхождения казачьих земель в общегосударственный строй *односторонним актом власти Верховного правителя*, осуществляемой через Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России... Казачество держалось иной точки зрения, требуя учредительного съезда и союзного договора, октроируемого законодательными учреждениями всех договаривающихся сторон. Казачью точку зрения весьма ярко выразил донской атаман генерал Богаевский в своей приветственной речи членам конференции: «Дон сам откажется от части своих временных суверенных прав в пользу будущей государственной власти, но его достоинство и заслуги в упорной борьбе с большевизмом не позволят ему принять как подарок признание его внутренней автономии. Волею судеб она есть и будет».

Принцип октроирования свыше в предстоящем образовании власти имел между тем далеко не одно лишь принципиальное значение. Ибо на первых же порах на конференции встал остро вопрос о *признании* адмирала Колчака, к которому донцы отнеслись неопределенно, терцы и особенно кубанцы — вполне отрицательно. Официальными мотивами такого отношения были: тяжелое положение к тому времени Восточного фронта, «недостаточная солидность базы, на которую опирается адмирал», форма правления его, «далекая от народоправства», «отсутствие гарантий сохранения демократических установлений на Юге» и так далее.

Пойти на такой шаг — игнорирования признанной мною Верховной власти — я очевидно не мог.

Мы проводили идею полной концентрации власти в виде диктатуры, признавая такую форму правления единственно возможной в небывало тяжелых условиях гражданской войны... Казачество, допуская единоличную власть главнокомандующего, добивалось «гарантий», превращавших «единство» в федерацию, диктатуру — в чистейший парламентаризм. Оно требовало права образования союзов государственно-правового значения и автономных армий; учреждения законодательной палаты вместо законосовещательной; назначения председателя правительства по соглашению со «съездом»; права палаты выражать недоверие правительству; искусственно создаваемого численного преобладания в Совете казачьих представителей и так далее.

Помимо принципиального отрицания нами юридической зависимости правителя от предварительного органа в период борьбы, такой порядок после признания Верховной власти адмирала Колчака не мог бы быть осуществлен иначе, как путем переворота. И я поставил перед конференцией вопрос о *законосовещательных функциях палаты* в ультимативной форме. Точно так же после опыта одной автономной армии создавать таких три значило бы идти не к объединению, а к расчленению, и ставило бы еще в более тяжелое положение главное командование. Поэтому нашим представителям дано было указание: «Автономные армии не допускаются. Единая армия и единое законодательство (военное), считающееся с особыми условиями исторически сложившегося казачьего быта».

Интересно, что восточное казачество (сибирское), пережив период «атаманства»[1], также не оставляло притязаний на особую роль в государственном управлении. Казачья конференция требовала: 1) учредить министерство по казачьим делам с министром, избираемым казачьим Кругом (конференцией); 2) этот министр должен управлять ведомством при участии Круга; 3) ни один закон, касающийся казачества, не может быть проведен без рассмотрения Круга; 4) казачьими войсками должны командовать *выборные* походные атаманы...

«Прочитав этот проект в целом, — говорил омский министр Гинс, — можно было впасть в отчаяние безнадежности, до такой степени ясны были в нем личные стремления и политиканство...»

Возвращаюсь к Южной конференции.

С не меньшими трениями проходили у нас вопросы о казачьей автономии, в особенности в области экономических отношений. Представители командования блюли интересы государственные, казачьи представители стремились возможно к более широкому обеспечению своих «вольностей» и своих богатств. Обе стороны вносили в переговоры ригоризм и большую страстность.

---

[1] Самовластие целого ряда крупных и мелких «атаманов».

В такой сложной работе, оторванной от реальной жизни и не считавшейся с темпом быстротекущих событий — огромных и страшных, — прошло целых *шесть месяцев*. Принципиальные вопросы, обеспечивающие полноту единоличной власти, удалось отстоять; в остальных обе стороны пошли на уступки. И в конце декабря Дон и Терек пришли к полному соглашению с командованием о конструкции Южной государственной власти. Кубань же вновь воздержалась, а по станицам «Коп» рассылал многозначительные разъяснения: «Так что же казачество?.. Отвергнет ли оно мысль о диктатуре? Станет ли оно на защиту трудового народа, над которым уже вьются арканы, закидываемые помещиками, движущимися вместе с Особым совещанием при Добрармии?

Или его опять, как встарь, новоиспеченные цари и их лакеи обманут и опять обратят в опричников, в палачей свободы и народа?

Или, быть может, казакам, ушедшим далеко в глубь России, просто не дадут увидеть родной край, как не дали увидеть ближайшую судьбу родного народа и родного края Н. С. Рябоволу?»[1]

Принципиальное соглашение с Доном и Тереком было достигнуто как раз накануне общей эвакуации Ростова и Новочеркасска, перевернувшей вверх дном все предположения и в корне изменившей взаимоотношения наши с казачеством.

ГЛАВА XVI
КУБАНСКОЕ ДЕЙСТВО

К октябрю положение на Кубани окончательно запуталось.

Парижская кубанская делегация при молчаливом соучастии правительства и Законодательной рады объявила об отторжении Кубанской области от России... Кубанские пограничные рогатки до крайности затрудняли торговый оборот и продовольственный вопрос Юга, в частности душили голодом Черноморскую губернию. Саботаж кубанцами конференции ставил под сомнение возможность лояльного разрешения вопроса о создании общей власти... Правительственная агитация побуждала казаков к прямым действиям против главного командования...

После чрезвычайных усилий кубанского военного начальства пошли, наконец, пополнения на фронт. Полки, сведенные в сентябре до ничтожного состава в 70—80 шашек, увеличились до 250—300. Но положение от этого не улучшилось. «На фронте оставалась лучшая часть казаков, в станицах засели (ушедшие в тыл) шкурники и грабители, — писал командующий Кавказской армией...[1] — Ныне... (они), в виде пополнений, вновь вернулись в части и вернулись развращенные теми, в чьих задачах разложить и ослабить армию. Усилия самостийников за последнее время направлялись на наиболее стойкие отделы — «линейцев», и пополнения из этих отделов наиболее развращены...»

Атаману Филимонову хорошо была известна закулисная деятельность самостийников. По его определению, игра их была рассчитана сначала на Петлюру, а потом на неудачи Добровольческой армии и армии Колчака... Когда в мае сибирские войска стали подвигаться к Волге, наши самостийники приготовились сложить оружие... И вновь зашевелились лишь после неудачи за Волгой и в связи со слухами о движении рабочих за границей... В последние месяцы, чувствуя, что зарвались, они решились на последнюю попытку захватить власть на Кубани[2]. Для начала было выражено Законодательной радой недоверие походному атаману генералу Науменко по вопросу об отдельной Кубанской армии и Науменко вынужден был выйти в отставку (в середине сентября). Предположено было в ближайшее время свергнуть и Филимонова. На пост кубанского атамана намечался Л. Быч, председателем правительства — Воропинов, в состав кабинета — полковники Гончаров, Роговец и так далее —

---

[1] Брошюра «Казаки». Подзаголовок: «Издание отдела пропаганды Кубанского краевого правительства». Вызванное требованием командования распоряжение атамана об изъятии ее из обращения фактически выполнено не было.

[1] Письмо на имя генерала Покровского.

[2] Из письма генерала Филимонова ко мне от 2 декабря 1919 года.

весь крайний сектор кубанских самостийников. Но генерал Филимонов продолжал относиться к положению с большим оптимизмом на том основании, что «значение на Кубани самостийников преувеличивается» и что «течение (это) никогда не имело корней в массах кубанского населения, а фабриковалось в Екатеринодаре в небольших и малозначащих партийных и радянских кругах». «Я всегда знал, — писал он, — что дело их давно осуждено на уничтожение». Поэтому атаман отвергал советы многих лиц выступить активно против самостийной группы.

Не отрицая отсутствия почвенности в самостийном течении, я не мог, однако, не считаться с тем, что эти «малозначащие» круги, не встречая должного отпора, в течение двух лет разлагали казачество, парализовали власть атамана и фактически правили и радами, и Кубанью. И никаких объективных данных к переменам такого положения не было.

Объехав ряд станиц, генерал Филимонов имел возможность убедиться лично, что настроение в них крайне нервное: «с одной стороны, муссируются слухи, вызывающие враждебное отношение к Добровольческой армии, с другой — говорят о предстоящих чрезвычайных выступлениях самостийных групп». Генерал Филимонов решил поэтому обратиться к «голосу кубанского казачества», созвав на 15 октября чрезвычайную Краевую раду.

Обе стороны — и «черноморцы» и «линейцы» — стали деятельно готовиться к решительной борьбе.

По горькому опыту предыдущей сессии Рады я не возлагал на нее никаких решительных надежд. Наоборот — мог ожидать лишь новых потрясений. Особенно в отношении армии. И потому решил принять чрезвычайные меры.

В начале октября в Таганрог прибыл генерал Врангель. Очертив ему политическую обстановку, я указал на необходимость покончить с тем злокачественным нарывом, который мутит кубанскую жизнь. По словам Врангеля, он на основании армейских неустроений пришел к тому же убеждению и ехал ко мне с тем же предложением.

Выполнение этой задачи я возложил на него как на командующего Кавказской армией. Генерал Врангель должен был переговорить со старшими кубанскими начальниками

и представителями «линейской» группы и сосредоточить в район Екатеринодара ко времени открытия Краевой Рады надежные войска, чтобы затем действовать в зависимости от обстоятельств. Во избежание каких-либо ненужных эксцессов, не оправдываемых государственными интересами, я командировал в помощь генералу Врангелю в качестве советника по части политической начальника отдела законов и пропаганды К. Н. Соколова. Они приступили к действиям.

«Группой членов Рады, — как докладывал засим генерал Врангель, — составлен был проект изменения кубанской конституции, который предположено было внести на утверждение Краевой рады». Сущность этого проекта, обсуждавшегося затем бароном Врангелем совместно с профессором Соколовым, заключалась в том, чтобы, не посягая на автономию края, придать выборному атаману действительную власть, сохранив ответственность его перед Краевой радой. В общем схема управления представлялась в следующем виде:

1. Высшая власть в крае — Краевая рада.

2. Исполнительная (отчасти и законодательная) власть — атаман и назначенное им правительство.

3. Законодательная рада упраздняется.

4. Краевая рада созывается и распускается атаманом ежегодно. На время созыва Рады вся власть принадлежит ей.

5. Необходимость создания отдельной Кубанской армии отвергается.

Вместе с тем принимавшие участие в составлении новой конституции кубанские деятели предъявили главному командованию ряд пожеланий, одобренных бароном Врангелем, главным образом, экономического и военнослужебного порядка. Среди них было, между прочим, одно бесспорное — урегулирование долгов нашего интендантства кубанским органам продовольствия. Другое — об установлении права Войска на получение определенной части захваченной Кавказской армией военной добычи — я отклонил, считая, что оно осложнит до чрезвычайности положение вопроса, вызовет обиды и соревнование и выльется в конце концов в организованный грабеж. Точно так

же я отклонил требование привлечения иногородних на службу в кубанские части ввиду тех тяжелых отношений, которые существовали между двумя группами населения Кубани.

После ознакомления с настроением своих частей генерал Врангель несколько поколебался, не имея уверенности «в стойкости их в случае разрешения внутренних вопросов оружием» и опасаясь «бури на Дону»[1]. Поэтому он указывал находившемуся в Екатеринодаре генералу Покровскому, на которого возложено было им непосредственное выполнение задачи, «принять все меры к недопущению... вооруженного выступления, арестов и так далее... Предъявляя известные требования, можно опереться на армию, но использовав это оружие лишь как дамоклов меч, отнюдь не нанося им удары». Барон Врангель надеялся на «благоразумие одной части Рады и на достаточность военной угрозы для другой». «По сведениям моим, — писал он, — призрак военного переворота уже пугает кубанских Мирабо...»

Эти надежды не оправдались. Около 50 членов Рады — «линейцев» — не прибыло вовсе, что еще более нарушило соотношение сил, и с первого же дня Рада, подчинившись вполне влиянию самостийной группы, приняла ярко враждебную нам позицию. Идеи борьбы с большевиками и устроения края отошли на задний план; весь пафос радян сосредоточился на борьбе с властью Юга.

После носившего демонстративный характер чествования памяти Рябовола в Раде оглашено было письмо донского демагога Агеева, прославлявшее казачество и необычайно резкое в отношении «классовой диктатуры», «политики помещичьего шарабана и карет с графскими и баронскими гербами». Это письмо, чтение которого сопровождалось бурными аплодисментами, в десятках тысяч экземпляров было распространено затем по Кубани. Естественным послесловием к нему была речь престарелого депутата Щербины, говорившего: «Прочь же с дороги темные силы! Кубанцы идут по битому пути демократизма и своих исторических заветов!..»

---

[1] Из письма к генералу Покровскому от 21 октября.

На третий день сессии, 26 октября, Рада, вопреки мотивированным протестам атамана и «линейской» группы и не допустив обсуждения кандидатур, избрала «заместителем» председателя Рады[1] И. Макаренко[2], лидера самостийников, человека чрезвычайно озлобленного против южной власти и страдавшего анекдотическим самомнением. За несколько дней перед тем он с кафедры Законодательной рады бросил тяжкое оскорбление кубанским войскам: «Кубань не родила до сих пор ни одного порядочного генерала!» И, агитируя в кубанских станицах, сообщал им «радостную весть»: «Идет батько Махно и несет свободу...»

Избрание это являлось только вызовом, так как И. Макаренко был абсолютно нетерпим в глазах меньшинства — «линейцев», да и в своих же кругах считался человеком «бестактным и политически ограниченным».

Атмосфера в Раде сгущалась все более. Неизменный вопрос об отдельной Кубанской армии всколыхнул вновь страсти и вызвал разъяснения атамана, что им сделано в этом отношении все возможное, но законное желание его и Рады встретило непреодолимые затруднения со стороны главнокомандующего, не сдержавшего данных Кубани обещаний...

«Объективные» доклады Шахим-Гирея об общей политике Особого совещания, Иваниса — о «блокаде Кубани», Тимошенко — об «истинных виновниках голодания Кавказской армии», которыми он считал наши ведомства продовольствия и снабжения, накаливали атмосферу до крайних пределов.

* * *

С весны 1919 года Терско-Дагестанский край пылал в огне восстаний. В Чечне и Дагестане, то затихая, то вновь разгораясь, шла кровавая изнурительная борьба между Вооруженными силами Юга и горцами этих округов, поддержанными большевиками, Азербайджаном и Грузией и руководимыми созванным «Горским правительством» (меджилисом). Борьба, ослаблявшая противобольшевис-

---

[1] «Бессменным председателем» постановлено было считать покойного Рябовола.

[2] Совместившего незаконно должности председателя Рады и государственного контролера.

тский фронт и угрожавшая подчас самому бытию терского казачества.

И терский атаман 14 октября писал мне: «...Чаша народного терпения переполнена... В то время как казачья и добровольческая русская кровь льется за освобождение Родины, мобилизованные, снабженные русским оружием чеченцы и ингуши массами дезертируют и, пользуясь отсутствием на местах мужского населения, занимаются грабежами, разбоями, убийствами и поднимают открытые восстания...»

Чтобы лишить эту борьбу характера узкой племенной розни (исторические счеты терцев с горцами), терский атаман настаивал всегда на оставлении на горском фронте добровольческих и кубанских частей.

Вот в это-то время широко распространился в печати «Договор дружбы между правительствами Кубани и Республикой Союза горцев Кавказа»[1]. В нем между прочим заключались следующие статьи:

«1. «Правительство Кубани и правительство Республики горских народов Кавказа настоящим торжественным актом взаимно признают государственный суверенитет и полную политическую независимость Кубани и Союза горских народов Кавказа.

....

3. Договаривающиеся стороны обязуются не предпринимать ни самостоятельно, ни в форме соучастия с кем бы то ни было никаких мер, клонящих к уничтожению или умалению суверенных прав Кубани и Республики Союза горских народов Кавказа.

4. Войсковые части одной из договаривающихся сторон могут переходить на территорию другой стороны не иначе как по просьбе или с согласия правительства этой стороны. Войска одной стороны, находящиеся на территории другой, поступают в подчинение этой последней».

[1] Появился впервые в грузинской газете, что вызвало большое озлобление Законодательной рады против грузинского правительства.

Договор этот предусматривал, следовательно, отторжение от Терско-Дагестанского края горских областей, гибель Каспийской русской военной флотилии, которая была бы отрезана от армии, и передачу кубанских частей Северного Кавказа на сторону и даже в подчинение меджилису.

Такая постановка вопроса выходила далеко за пределы областных интересов, если не фактически, то морально нанося удар общегосударственному делу и армии и внося смуту в ряды кубанцев, защищавших русское дело на Северном Кавказе. Это была последняя капля, переполнившая чашу долготерпения.

Я запросил кубанского атамана, действительно ли существует такой договор, и получил ответ, что атаману и правительству ничего не известно по этому поводу, но «по объяснению Султан-Шахим-Гирея договор был заключен и подписан Калабуховым и другими как проект, подлежащий утверждению Законодательной радой, на случай, если бы Антанта признала власть большевиков»[1].

Это искусственное и наивное оправдание, намечавшее к тому же оставление Кубанью Добровольческой армии и Терека в самую трудную минуту международных осложнений, не могло иметь никакого значения. И 25 октября я отдал приказ[2]:

«В июле текущего года между правительством Кубани и меджилисом горских народов заключен договор, в основу которого положена измена России и передача кубанских казачьих войск Северного Кавказа в распоряжение меджилиса, чем обрекается на гибель Терское войско. Договор подписан Бычом, Савицким, Калабуховым и Намитоковым, с одной стороны, и Чермоевым, Гайдаровым, Хадзагаровым и Бамматом, с другой. Приказываю при появлении этих лиц на территории Вооруженных сил Юга России немедленно предать их военно-полевому суду за измену».

В то время в пределах Вооруженных сил Юга находился один только Калабухов.

[1] Сам Калабухов разъяснял в печати, что этот договор заключен «по праву, данному делегации Чрезвычайной радой».

[2] Приказ-телеграмма № 016729.

27 октября на вечернем заседании Рады атаман огласил мой приказ, который, по словам отчетов, «произвел огромное впечатление». Правительство особым постановлением довело до сведения атамана и Рады, что делегация «превысила свои полномочия». Вместе с тем за подписью генерала Филимонова и Курганского (председателя правительства) послана была мне телеграмма, в которой между прочим говорилось:

«...Если названные лица действительно подписали от имени краевого правительства договор с меджилисом горских народов, о чем краевому правительству по сие время официально неизвестно, то вопрос о превышении названными лицами данных им полномочий подлежит суждению краевого правительства, а существо договора — суждению Кубанской Краевой рады, на рассмотрение которой в данный момент и вносится. Во всяком случае, упомянутые лица являются дипломатическими представителями Кубани и как таковые пользуются неприкосновенностью, почему, в случае совершения ими незакономерных действий, могут подлежать суду только кубанской краевой власти, их делегировавшей».

Невзирая на настояния атамана рассмотреть немедленно по существу этот вопрос во избежание роковых последствий, Краевая рада только 1 ноября имела суждение о нем и постановила: «*Не касаясь существа вопроса о договоре*, протестовать самым решительным и энергичным образом против означенного приказа генерала Деникина и требовать срочной его отмены...» Сам атаман настойчиво просил Раду «сегодня же послать делегатов и убедить донцов и терцев вместе с нами настаивать перед генералом Деникиным на отмене приказа».

Рада отказалась осудить парижскую делегацию, и тем был окончательно предопределен дальнейший ход событий.

Продолжались заседания, отмеченные крайней напряженностью, бурными выступлениями и... нескрываемой тревогой. Атаман между тем «вместе с той частью Рады, которая (его) поддерживала, выработали особый план борьбы»: «Мы решили предоставить представителям оппозиции высказаться до логического конца и тем самым открыть свои карты...» «Я находил, — писал мне атаман впоследствии, — предпочтительным предоставление уродливому явлению естественно рассосаться или быть осужденным самим населением, для чего нужно... только время...»

Будто все это происходило в дни глубокого мира и покойной, безмятежной, тихо текущей жизни...

* * *

По мере развивавшихся событий барон Врангель терял надежду на мирный исход конфликта. 27 октября он писал генералу Лукомскому[1]: «К сожалению, избрание председателем Рады И. Макаренко заставляет признать, что обнаглевшие самостийники окончательно закусили удила... Я сделаю все, но ход событий заставляет предвидеть возможность такого порядка вещей, когда отказ от военного вмешательства будет признанием слабости, а это, по моему убеждению, равносильно гибели...»

30-го он телеграфировал атаману, что оскорбительные выражения, допущенные председателем Рады по адресу старших начальников, и присутствие в ней лиц, объявленных изменниками, лишают его возможности воспользоваться приглашением посетить Раду.

Генерал Врангель остановился в Кисловодске, связавшись прямым проводом с Екатеринодаром, где находился генерал Покровский и прибывшая с царицынского фронта кубанская бригада. По представлению барона Врангеля, я включил в тыловой район Кавказской армии всю Кубанскую область, после чего он назначил «командующим войсками тыла» генерала Покровского. Это обстоятельство вызвало новую бурю в Раде, но вместе с тем еще большую растерянность и тревогу, так как Покровский пользовался репутацией человека весьма решительного и жестокого. Вероятно, и сам барон Врангель, передоверив выполнение задачи Покровскому, опасался несколько его решительности, потому что 29 октября по аппарату говорил генералу Науменко: «Ежели вы полагаете присутствие генерала Покровского в Екатеринодаре нежелательным, то я могу снестись с Таганрогом и просить об его вызове или вызвать его сюда».

[1] Все доклады по этому делу барон направлял на имя председателя Особого совещания генерала Лукомского.

Рада волновалась, атаман призывал к осторожности, И. Макаренко требовал отменить немедленно все приказы военных начальников, изгнать генерала Покровского из пределов Кубани и обратиться к населению с призывом «Отечество в опасности», подняв казаков на защиту Кубанского края...

29—30 октября генерал Врангель через профессора Соколова докладывал мне политическую обстановку в Екатеринодаре, оценивая шансы на успех выступления в 50 процентов. Сообразно этому он предлагал на мое усмотрение одну из следующих комбинаций, не имевших между собой никакой внутренней связи и отражавших лишь личные побуждения командующего армией: 1) уехать ему в армию, предоставив Покровскому свободу действий; 2) уехать, потребовав от Покровского «невмешательства во внутренние дела Кубани»; 3) произвести под его, генерала Врангеля, руководством выступление и 4) предоставить генералу Покровскому принять меры по его усмотрению и затем выступить самому генералу Врангелю в Раде...

Генерал Покровский иначе расценивал обстановку, что видно из телеграфного доклада генерала Науменко барону Врангелю: «Вчера (1 ноября) говорил с Покровским. У него все организовано, и он безусловно уверен».

Я не видел причин, чтобы менять исполнителей или останавливаться на полдороге, вполне разделяя первоначальное мнение генерала Врангеля, что в такой момент «отказ от военного вмешательства будет признаком слабости, что равносильно гибели». И потому 31 октября я послал барону телеграмму:

«Приказываю Вам немедленно привести в исполнение приказание мое № 016729 и принять по Вашему усмотрению все меры к прекращению преступной агитации в Екатеринодаре, входящем в Ваш армейский район. № 014598.

В тот же день барон Врангель послал нарочным соответственное приказание генералу Покровскому, которое должно было быть вручено последнему «по подаче войсковым атаманом в отставку, что ему одновременно с сим дан совет сделать». Атаман совета не принял...

5 ноября генерал Покровский предъявил Раде ультимативное требование о выдаче Калабухова и о «прекращении травли Добровольческой армии...»

Атаман убеждал Раду подчиниться этим требованиям. На этой почве произошло бурное столкновение между ним и Макаренко, который потребовал свержения атамана и передачи власти президиуму Рады. Последовавшим голосованием, однако, выражено было доверие атаману, после чего Макаренко заявил, что «ввиду такого непонятного поведения Рады он вынужден сложить с себя полномочия», и исчез. Утром 6-го генерал Покровский повторил свое требование, прибавив к нему выдачу двенадцати главарей самостийной группы, указав предельным сроком исполнения полдень, к какому времени назначен был «парад» екатеринодарского гарнизона[1].

Рада подчинилась всем предъявленным требованиям. Указанные Покровским лица добровольно явились в атаманский дворец, где и были арестованы. Калабухов был предан военно-полевому суду и по приговору его повешен в ночь на 7 ноября. На другой день барон Врангель выступил в Раде, встретившей его шумными овациями...

Рада выслушала долгую речь генерала Врангеля *стоя* и впоследствии не могла простить и себе, и ему этого унижения...

Депутация Рады поздней ночью принята была мною в Ростове на вокзале. Она ходатайствовала о судьбе арестованных и свидетельствовала о готовности кубанцев вести борьбу до конца в полном единении с Добровольческой армией...

Не удовлетворение, а глубокую скорбь вызвали во мне их «покаянные» речи. Вынужденный в силу государственной необходимости на применение суровых мер, я знал, что удар по кубанским демагогам косвенно отзовется на самосознании кубанского казачества, имевшего большие заслуги и неповинного в политической игре; казачества, с кото-

[1] Кубанская бригада, военное училище и конвойные сотни. Дрейер, а за ним Скопцов говорят о «сформированном главным командованием офицерском отряде полковника Карташова». Это неверно. Дав определенную задачу, я не вмешивался в исполнение.

рым нас связывали лучшие страницы боевой страды, к которому я относился с глубочайшей симпатией...

Но иного выхода не было.

Одиннадцать арестованных членов Рады я приказал выслать за границу. Скрывшийся И. Макаренко после нескольких недель скитаний по хуторам и плавням, получив от Ставки через третьих лиц гарантию безопасности, вернулся в Екатеринодар. Он явился к начальнику нашего Военного управления и поведал о том, что много пережил, передумал за это время и решил совершенно отойти от политической деятельности. Обещание свое выполнил.

Поднять против командования донцов и терцев кубанским послам не удалось. 7 ноября я посетил заседание Донского круга и в большой, почти трехчасовой речи развернул перед ним картину тяжелого и грозного военно-политического положения противобольшевистских фронтов; основы и мотивы нашей внешней политики; историю взаимоотношений с казачеством и распри с Кубанью. Круг слушал с глубоким вниманием и отзывчивостью. Создавшееся на Круге настроение побудило кубанских послов покинуть в тот же день Новочеркасск, не дожидаясь ответа Круга. Ответ последовал лишь 11-го, составлен был в примирительных тонах и заканчивался пожеланием, чтобы «происшедшие на Кубани печальные события не отразились на работе Рады, которая *в целом* должна быть выше всяких подозрений». Агеев — заместитель председателя Круга — под влиянием этих настроений сложил свои полномочия и отбыл для лечения в Грузию...

На Тереке кубанские послы встретили еще менее сочувствия, и председатель терского правительства в заседании Круга 19 ноября при общем одобрении говорил о «злокачественном нарыве», который, «к сожалению, был вскрыт другой силой, а не самими кубанцами».

В большинстве российских организаций и печати действия южной власти в кубанском вопросе встретили полное сочувствие.

* * *

В ближайшие дни Рада вынесла ряд резолюций — об единении с Добровольческой армией, о скорейшем создании южно-русской власти, о лишении полномочий парижской

делегации. Поручила финансово-экономической комиссии пересмотреть экономическую политику края, в частности вопрос о таможенных рогатках[1].

Вместе с тем Рада изменила основные положения кубанской конституции:

1. Законодательная рада упраздняется, и функции ее переходят к Краевой раде.
2. Для избрания атамана учреждается особая Атаманская Рада (временно эти функции несет Краевая рада).
3. Правительство ответственно перед Краевой радой.
4. Войсковому атаману в случае несогласия с вотумом недоверия правительству принадлежит право роспуска Краевой рады. Рада нового состава должна быть собрана не позднее двух месяцев. Повторенный ею вотум недоверия правительству влечет за собой его отставку.
5. Положение об управлении Кубанским краем не может быть изменено правительством в порядке 57-й статьи.

10 ноября сложил свои полномочия Кубанский атаман генерал Филимонов, невзирая на настойчивые просьбы Рады. Он объяснил свой отказ тем обстоятельством, что с изменением конституции атаманские права расширяются до пределов, превышающих определенные Радой при его выборах; что, как показали все предшествующие события, он не объединяет все слои населения края...

В письме своем ко мне он приводил другие мотивы:

«В событиях последних дней на Кубани для меня лично самым тяжелым оказалось переданное мне через третьих лиц Ваше мнение о неприемлемости моего пребывания на посту Кубанского атамана... Являясь убежденным и последовательным сторонником идеи воссоздания России, я ни одной минуты не мыслил возможности работать без Вашего сочувствия и доброжелательства. Поэтому, как только я узнал, что этих

---

[1] Комиссия эта, подсчитав кубанские провенансы, нашла, что «открытие границ невыгодно даже с Доном», и в середине декабря постановила «признать невозможным безоговорочное установление свободной торговли... и необходимым сохранение вмешательства краевой власти в хозяйственно-экономические отношения населения».

условий в настоящее время нет, я немедленно, несмотря на единодушное доверие Рады, сложил с себя полномочия...»

Главное действующее лицо екатеринодарских событий генерал Покровский предъявил свои права на атаманскую булаву...

Барон Врангель называл имена двух кандидатов — Науменко и Покровского. Я считал дальнейшее вмешательство в компетенцию Рады ненужным и ответил, что, «не зная обстановки на Кубани, воздерживаюсь от участия в этом деле...»

Покровский был настойчив. 11 ноября по аппарату между ним и генералом Врангелем происходил разговор.

Генерал Покровский: Отставка Александра Петровича[1] воспринята в окончательной форме. До восьми часов были заседания в отделах, обсуждались кандидатуры, выдвинуты Науменко, Улагай, Филимонов, Успенский. Меня боятся... Полагаю, что нужно применить форс-мажор.

Генерал Врангель: ...У Улагая шансов никаких нет, да, кроме того, он на это дело не пойдет. Филимонов здесь совсем неприемлем, и главнокомандующий разрешил мне определенно об этом сказать. Все решится между Вами и Науменко. В это дело теперь нам вмешиваться не следует.

Рада избрала атаманом генерала Н. М. Успенского, большого доброжелателя Добровольческой армии, и своим председателем Скобцова. Формирование кабинета поручено было Сушкову, стоявшему ранее уже во главе правительства в начале 1919 года.

Новый атаман после своего избрания заявил Раде:

«Я считаю долгом заявить, что я, как гражданин и кубанский казак, глубоко оскорблен и потрясен событиями последних дней. Надеюсь на вашу мощную поддержку. Опираясь на вас, я сделаю так, что события, имевшие место в прошедшем, не будут иметь места в будущем. Я сделаю так, чтобы никакие посторонние силы не мешали строить нашу жизнь, как нам угодно».

---

[1] Генерал Филимонов.

Хотя в этом заявлении слышалось осуждение, но это была скорее дань чувству обиды, затаенному Радой. «Посторонние силы» не посягали более на «свободу народа», а политика атамана направлена была на борьбу с большевиками и на объединение с командованием.

Власть, таким образом, перешла к «линейской» группе. И хотя «Коп» и другие правительственные органы продолжали еще по инерции свою деятельность, восстанавливавшую казаков против власти Юга, хотя оставшиеся самостийники... перенесли в подполье свою «политическую работу», и в частности агитацию в пользу дезертирства и зеленоармейства, но кубанское казачество отнеслось к происшедшим событиям спокойно. И можно было думать, что укрепление новой власти остановит тот процесс разложения, который в течение более года точил организм Кубани, поражая день за днем, шаг за шагом ее армию.

Но судьба судила иначе.

Через месяц Н. М. Успенский, обходивший часто лазареты, заразился сыпным тифом и вскоре умер во цвете лет и сил. В конце декабря собралась вновь Краевая рада для выбора атамана. Обстоятельства в это время были для нас несравненно хуже: Вооруженные силы Юга потерпели неудачу и, оставив Украину и север Донской области, ушли за Дон. Падало обаяние силы и вместе с ним авторитет южной власти.

Это сразу почувствовалось в Раде. Она отменила все изменения кубанской конституции и постановления свои в ноябрьские дни и вернула к власти самостийников. Атаманом был избран генерал Букретов — лицо еврейского происхождения, чуждое Кубанскому войску, не имевшее перед ним никаких заслуг и состоявшее перед тем под следствием по обвинению в злоупотреблениях в продовольственном деле. Был он избран исключительно по признаку враждебности к главному командованию... Председателем своим Рада избрала Тимошенко, председателем правительства стал Иванис. Оба самостийники и демагоги.

«Кубанское действо» признается многими причиной последовавшего затем развала кубанских корпусов, отразившегося фатально на положении общего фронта...

Я представляю себе взаимную связь явлений иначе.

Вследствие причин весьма разнообразных на Кубани создавалась почва, гибельная для дела противобольшевистской борьбы и весьма благоприятная для того «замирения», о котором говорил Троцкий-Бронштейн.

В ноябре я сделал попытку остановить течение этого процесса. Попытка не увенчалась успехом. Потому ли, что меры были слишком суровы или операция запоздала? Вернее второе. Ибо «Рада Ивана Макаренки», несомненно, довела бы ход разложения кубанских войск до его естественного конца — только более быстрым темпом и с большим внешним эффектом.

ГЛАВА XVII
ВОСТОЧНЫЙ, СЕВЕРНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ ФРОНТЫ В КОНЦЕ 1919 И В НАЧАЛЕ 1920 ГОДОВ

К осени 1919 года положение на противобольшевистских фронтах было таково.

На *Восточном фронте* армии адмирала Колчака с конца апреля находились в полном отступлении. 26 мая оставлена была Уфа, и сибирские армии, задержавшись на линии Уральского хребта, до конца июня вели на ней борьбу за горные проходы.

К этому времени в рядах их находилось до 103 тысяч бойцов; силы большевиков были приблизительно такие же.

3 июля пал Екатеринбург, и Сибирская армия, во главе которой вместо чеха Гайды стал генерал Дитерихс, совершенно расстроенная не столько боями, сколько пропагандой эсеров, уведена была в глубокий тыл. Попытки Западной армии (генерала Сахарова) удержаться на высоте Челябинска — железнодорожного узла, от которого отходила единственная линия, связывавшая с сибирской магистралью Южную армию, отступавшую от Оренбурга, — окончились неудачей. Южная армия, с взятием большевиками Челябинска (12 июля), была отрезана, и с огромным трудом кружным путем, после двухмесячного похода, остатки ее пробились к Петропавловску (западнее Омска).

Остальные армии[1] были остановлены между реками Тоболом и Ишимом.

Отсюда в середине августа Восточный фронт, приведя в некоторый порядок свои войска, перешел в контрнаступление, вначале удачное: большевики были отброшены за Тобол. Сентябрь был временем нового подъема и расцвета надежд на перелом боевого счастья. Но к началу октября фронт вновь и неудержимо покатился на восток.

22 октября в Омске состоялся ряд совещаний для разрешения вопроса: защищать или бросить Омск? Главнокомандующий генерал Дитерихс, принимая во внимание состояние войск и считая сопротивление на линии Иртыша безнадежным, высказался за дальнейший отход, который к тому же на севере фактически уже начался. Командующий 3-й армией генерал Сахаров настаивал на необходимости удерживать во что бы то ни стало этот рубеж и политический центр Сибири. В результате Дитерихс ушел и Сахаров был назначен главнокомандующим. Новый главнокомандующий силою обстоятельств вынужден был начать свою деятельность дальнейшим отходом.

1 ноября большевики заняли Омск. Остатки сибирских армий свершали свой беспримерный в истории поход в Забайкалье[2] по бесконечным, тяжелым сибирским дорогам, частью тайгою без всякой дороги, в жесточайшие морозы, по территории, объятой восстаниями, змеившейся изменой и предательством.

Причины крушения Восточного фронта глубоки и многообразны, и многие из них с трагическим однообразием повторяются в истории всех противобольшевистских фронтов. О них скажут участники и историки. Я приведу лишь несколько эпизодов, рисующих глубину развала всего государственного организма Сибири, определившего безнадежность вооруженной борьбы на Востоке и выход из

---

[1] После переформирования: 1-я (генерала Пепеляева), 2-я (генерала Лохвицкого), 3-я (генерала Сахарова). Главнокомандующим фронтом был назначен генерал Дитерихс. 3-я армия шла вдоль магистрали, прочие — севернее.

[2] От Кургана до Верхнеудинска около 3000 верст.

состава действенных противобольшевистских сил столь крупного фактора, каким являлся Восточный фронт.

От Томска до Великого океана с ноября вся сибирская магистраль была во власти чешских эшелонов. В своем стремлении на Восток, спасая животы свои и награбленное добро, захватывая все поездные составы, они парализовали все движение, отрезав сибирские армии от базы, снабжения и пополнений, обрекая на страдания и гибель раненых и больных воинов и поднявшиеся волны беженцев. Чехи увозили с собою огромное количество золота, меди, серебра, машин, хлопка и т. д., и т. д. И чтобы дать моральное оправдание этому беспримерному преступлению, политические руководители чешского воинства Б. Павлу и д-р Гирса обратились к представителям союзных держав с меморандумом, широко распространяя его по Сибири: они уходят потому, что дальнейшее пребывание их на территории Сибири невозможно. «Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско (их) вынуждено (было бы) сохранять то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось...»

Так говорили они, вносившие величайший произвол, не знавшие сами ни закона, ни милосердия...

По Сибири пронеслась волна крестьянских восстаний, вызванных, вероятно, в равной мере как преступлениями местной власти, так и воздействием рассосавшихся по краю красногвардейцев и их советской и эсеровской пропагандой. Восстания эти чередовались с жестокими усмирениями карательных отрядов. Восставшие не имели ни ясных лозунгов, ни определенных целей. Писали иногда на знамени своем такие кабалистические изречения, как «за царя и советскую власть», но были одинаково враждебны к существовавшей власти. Тяжелое положение армий побудило к активным действиям организации эсеров — этих роковых предтечей большевизма, прочно обосновавшихся в Сибири, по собственному признанию употребивших все усилия для свержения сибирской власти и теперь поднявших вооруженные восстания во Владивостоке, Иркутске, Красноярске и других пунктах. Во имя прекращения гражданской войны и примирения с большевиками.

Армия быстро разлагалась, начиная с верхов. И в то время, когда члены нового кабинета Пепеляева[1] одни разъехались по неотложным делам, другие вели переговоры с иркутскими эсерами о полной капитуляции и передаче им власти, глава кабинета совместно со своим братом, генералом, командовавшим 1-й армией, учинили военный мятеж, арестовав и свергнув главнокомандующего генерала Сахарова[2]. Командир корпуса той же армии генерал Зиневич поднял мятеж в Красноярске, требуя свержения Верховного главнокомандующего и передачи власти «народным избранникам». Оба мятежника — и Пепеляев и Зиневич — не в силах были удержать в пределах эсеровских аспираций поднятую ими солдатскую массу, которая в несколько дней приняла вполне большевистский облик. Пепеляев бежал и скрылся, Зиневич был арестован солдатами и заключен в тюрьму.

К началу января 1920 года советские армии наступали от Ачинска. Между Ачинском и Красноярском сосредоточились остатки сибирских армий под общей командой генерала Каппеля. У Красноярска им преграждал путь восставший корпус Зиневича. Далее, у Нижне-Удинска, находились поезда Верховного правителя, отрезанные и от армий, и от Иркутска, затерявшиеся среди сплошной ленты враждебных чехословацких эшелонов. В Иркутске — новом местопребывании правительства адмирала Колчака — революционная демократия с преобладанием эсеров, под именем «Политического центра»[3] объявила себя источником всесибирской суверенной власти. При полном содействии чехов и французского «главнокомандующего» генерала Жанена и непротивлении представителей других союзных держав (кроме японцев) Центр вел торг со своими пособниками и единомышленниками — чехословацкими властями — о выдаче Верховного правителя и русского золота. В Забайкалье стояли еще отряды атамана Семенова, факти-

[1] Сменил Вологодского.

[2] Конец ноября.

[3] Областной комитет эсеров, при участии бюро земств, профессиональных союзов и социал-демократов меньшевиков.

чески независимого и враждебного адмиралу Колчаку, — отряды, хотя и боеспособные, но парализованные противодействием союзников.

На Юге оперативные сводки Восточного фронта получали крайне нерегулярно и с большим опозданием, непосредственно из Омской ставки и от английской миссии. Первые определяли положение хотя и весьма серьезным, но далеко не безнадежным. Английские же сводки уже с июля считали успех дальнейших военных действий на Востоке совершенно сомнительным. Настолько, что в начале сентября английское правительство пришло к решению: «Хотя политика Его Величества не изменилась, но является необходимость прекратить поддержку адмирала Колчака, собрав всю энергию на помощь Вооруженным силам Юга России...» Это решение, впрочем, в отношении Востока имело лишь психологическое значение, так как с осени сообщение Владивостока с Омском почти прервалось, а в отношении Юга ни в какую реальную форму оно не вылилось.

Так же безнадежно смотрел на положение Востока русский Париж. Военный представитель Верховного главнокомандующего генерал Щербачев 26 ноября писал мне, что, учитывая изменение взгляда союзников на значение Сибири и Юга, надо учитывать возможность наступления момента, когда в интересах дела может потребоваться перенесение Верховной власти на Юг...»

22 декабря в г. Нижнеудинске Верховный правитель адмирал Колчак, признав положение власти безвыходным, издал следующий указ:

«Ввиду предрешения мною вопроса о передаче *верховной всероссийской власти* главнокомандующему вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанту *Деникину*, впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей Российской восточной окраине оплота государственности, в началах неразрывного единства со всей Россией:

1. Предоставляю главнокомандующему вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа генерал-лейтенанту атаману *Семенову* всю полноту военной и гражданской власти на всей территории *Российской* восточной окраины, объединенной Российской Верховной властью.

2. Поручаю генерал-лейтенанту атаману *Семенову* образовать органы государственного управления в пределах распространения его полноты власти.

Верховный правитель адмирал Колчак.
Председатель Совета Министров В. Пепеляев».

* * *

Северный фронт, в силу отдаленности своей, дикости природы Приморья и трудности сообщения с ним, невзирая на усиление прибывшими из Англии в мае 1919 года войсками, являлся всегда театром второстепенным. Он не вызывал ни особенных надежд в других противобольшевистских станах, ни особенных опасений со стороны Москвы[1]. Участие англичан придавало известную солидность его политической базе, но сам факт направления сил их в такую даль и глушь свидетельствовал скорее об *экономической* заинтересованности англичан[2], нежели о серьезности их *военного* предприятия. Ведь при желании Англии принять активное участие в войне против советской России к ее услугам были отличные и близкие базы, как, например, Ревель, находящийся в нескольких днях морского пути от английских берегов и в 350 верстах от Петрограда.

Во главе соединенных сил севера стоял английский генерал Аронсайд, русскими командовал — с большими ограничениями — генерал Марушевский, военным министром был генерал Миллер, входивший в состав либерального правительства Зубова[3]. В конце апреля это правительство признало верховную власть адмирала Колчака, вследствие крайней трудности сообщений проявлявшуюся фактически весьма мало.

Оказывая сильнейшее давление на адмирала Колчака в отношении выбора им северного операционного направ-

[1] За исключением самых первых месяцев (осень 1918 года), когда советское правительство чрезвычайно беспокоилось.

[2] Английские «стоки» в Архангельске и русские северные леса.

[3] Заместитель Чайковского.

ления (на Котлас), англичане ту же идею проводили на Северном фронте. По крайней мере в ноте от 21 июня генерал Хольман передавал мне сообщение имперского генерального штаба: «Несмотря на отступление на Сибирском фронте, генеральный штаб надеется, что... окажется возможность добиться соединения армии адмирала Колчака с Архангельской армией, ввиду чего генералу Аронсайду предписано британским кабинетом начать наступление». Ни по общему стратегическому положению, ни по условиям данного направления такая операция иметь успеха не могла. И согласно с общей переменой курса английской политики, уже в июле 1919 года был решен окончательно вопрос об эвакуации английского экспедиционного корпуса. Во главе фронта стал тогда генерал Миллер, отвергнувший предложение Аронсайда эвакуировать и русские войска. К концу сентября закончилась эвакуация англичан.

Еще до ухода английских войск, и с небольшой их помощью, русские войска Северного фронта перешли в наступление в общем направлении на Вологду и одержали успехи в долине Онеги и на линии Северной железной дороги, в районе станции Плесецкой. Конец 1919-го и начало 1920 года прошли в боевых действиях, хотя и успешных зачастую для войск Северного фронта, но имевших лишь местное, локальное значение: линия фронта испытывала небольшие колебания, а 6-я советская армия, силами 10—15 тысяч противостоявшая войскам генерала Миллера, держалась пассивно и не отвлекала от главных театров на свой сколько-нибудь серьезных подкреплений.

Положение Северного фронта становилось между тем и в силу внешней обстановки, и по внутренним причинам все тяжелее. Уход англичан не мог не отразиться подавляюще на духе войск; большевистская пропаганда, внутренние неурядицы и ряд военных мятежей подтачивали силы армии; усилившаяся борьба неизменных пособников большевизма — социалистических партий и организаций — подрывала авторитет власти.

И когда в феврале, покончив с Западным и Восточным фронтами и отбросив Южный за Дон, советское главное командование двинуло в наступление 6-ю армию, подкрепленную подвезенной с запада бригадой пехоты, успех его был быстрым и решительным.

4 февраля началось наступление большевиков, а 18-го покинули Архангельск последние корабли, носившие Андреевский флаг.

В середине июня 1919 года *Северо-западная* армия к моменту наибольшего своего выдвижения занимала линию от Финского залива до района Пскова, отстоявшую на севере в 90—100 верстах от Петрограда, в центре подходившую на 30 верст от Луги и продвинувшуюся на Юге на 20 верст вперед от Пскова. В своих рядах армия насчитывала до 13 тысяч бойцов.

На флангах Северо-западного фронта — у моря и в Псковском направлении — располагалось по одной дивизии эстонцев, боевая деятельность которых ограничивалась обороной подступов к этнографической Эстонии.

Против этих сил стояла 7-я советская армия, силою разновременно от 15 до 23 тысяч, и южнее ее 15-я, имея правое крыло против Пскова и фронт против эстонских и латышских войск.

С июля сначала в Ревеле, потом в Нарве обосновался со своим штабом генерал Юденич, носивший звание «главнокомандующего фронтом», имевший за собою признание адмирала Колчака и союзников. В его подчинении находилась всего одна армия, которой с мая командовал самостоятельно генерал Родзянко. Это нагромождение властей и совмещение функций было одной из серьезных причин крупных столкновений на верхах: генерал Родзянко находился в постоянной оппозиции к главнокомандующему, в то время как другой видный начальник, кондотьер русской смуты «батько» Булак-Булахович[1], совместно с Н. Н. Ивановым[2], при содействии эстонских властей строили козни против обоих, готовя переворот в свою пользу.

Армия, владевшая весьма малой «русской» территорией, по-прежнему испытывала страшнейшую нужду во всем. Почти единственным источником ее снабжения были тро-

[1] Позже был арестован генералом Родзянко, но бежал к эстонцам.

[2] Петроградский присяжный поверенный.

феи, захватываемые у большевиков, а питания — организация Хувера. В то же время английские транспорты снабжали обильно армию Эстонской республики. Только в августе англичане начали подвозить снабжение и русской армии.

Между тем в течение лета 7-я советская армия, перейдя в наступление, заставила Северо-западный фронт сильно податься назад: на севере был брошен Ямбург, и войска отошли за р. Лугу; на юге, оставив Псков, они ушли к Псковскому озеру. В обладании Северо-западной армии находился уже только маленький клочок Петроградской губернии, ограниченный с фронта линией большевистских войск, с тыла — Наровой, озерами и... густо заплетенной рядами колючей проволоки границей Эстонской республики.

Последнее обстоятельство имело тем более грозное значение, что взаимоотношения с Эстонией носили характер полнейшей неопределенности. Все усилия русских деятелей привлечь эстонские войска к широким активным операциям против большевиков успеха не имели. Известные общественные круги и английские представители в Прибалтике приписывали это обстоятельство, главным образом, нетерпимости Омска и Екатеринодара в вопросе о лимитрофах и требовали от генерала Юденича и состоявшего при нем Политического совещания полного и безоговорочного признания независимости Эстонии.

28 июля помощник английского военного представителя в Прибалтике генерал Марч собрал к себе в Ревеле членов Политического совещания и особо приглашенных им лиц и в формах необыкновенно грубых, ссылаясь на катастрофическое положение фронта, предложил им в течение 40 минут «образовать в своем составе правительство Северо-западной области» — по распределению, им составленному. Чрезвычайно характерно, что главную роль в создании этого «правительства» играл Маргулиес — тот самый, который весною 1919 года совместно с полковником Фрейденбергом устраивал переворот в Одессе в пользу французской оккупации и создал там «правительство» Андро—Маргулиес—Шварц[1].

[1] Маргулиес, пробыв два дня в составе одесского правительства, спешно отбыл в Париж, после чего перебрался в Ревель.

Северо-западное правительство обязывалось немедленно особым актом признать полную независимость Эстонии[1]. В случае несогласия приглашенных, генерал Марч от имени всех союзников угрожал прекратить немедленно всякую помощь и снабжение Северо-западной армии.

После отказа некоторых из намеченных лиц и частичного изменения списка созданное таким необычным способом «демократическое» правительство Лианозова объявило на другой день о своем существовании эстонскому правительству и союзным миссиям особым «заявлением», которое «первым актом в интересах нашей родины» признавало «абсолютную независимость Эстонии».

Все это случилось в отсутствие генерала Юденича, бывшего на фронте и поставленного неожиданно перед совершившимся переворотом: его единоличная власть перешла к «правительству», в котором он должен был занять пост военного министра, оставаясь в то же время главнокомандующим. О противодействии генерала Юденича Марч не особенно беспокоился, предполагая в этом случае сместить его с поста и заменить генералом Родзянко или Булак-Булаховичем, протежируемым английской миссией.

Старшие начальники армии отнеслись к перевороту крайне отрицательно, но примирились с ним, рассчитывая со временем изменить положение. Между армией и правительством стала сразу стена непонимания и отчужденности. И правительство без территории, без власти, вначале и без денег[2] — не признаваемое, а только терпимое армией —

[1] Лично и Родзянко, и Юденич выражали готовность признать Эстонию, но такая персональная форма признания не удовлетворяла эстонское правительство.

[2] Финансовые ресурсы Северо-Западного правительства заключались впоследствии в выпуске собственных денежных знаков, в небольших суммах, вырученных за продажу вывезенного за границу сырья, и в предоставленном Верховным правителем генералу Юденичу кредите — в размере 900 тысяч фунтов стерлингов.

В особом объявлении Северо-Западного правительства указывалось, что денежные знаки его «обеспечены всем достоянием го-

обратилось, главным образом, к декларативной деятельности, не влияя на ход событий.

Правовое положение новой власти представлялось весьма оригинальным: 1) суверенное правительство, в состав которого входил генерал Юденич, и 2) главнокомандующий генерал Юденич, подчинявшийся адмиралу Колчаку не только как Верховному главнокомандующему, но и Верховному правителю.

Адмирал Колчак продолжал сноситься с генералом Юденичем, игнорируя правительство.

Самое важное, без чего Марч считал невозможным продолжение борьбы и для чего он снабдил русские вооруженные силы Запада правительством — «военная кооперация с эстонцами» — так и осталось в области пожеланий.

Заготовленный Марчем проект договора взамен за признание предусматривал «оказание эстонским правительством немедленной поддержки русской Северо-западной области вооруженной силой, чтобы освободить Петроградскую, Псковскую и Новгородскую губернии от большевистского ига...» Эстонцы приняли «с удовлетворением» признание своей независимости, но от обязательств совместного наступления уклонились, не подписав договора. Английские представители, проявлявшие колониальные приемы в отношении русских организаций, не пожелали принять существенных мер в воздействии против эстонского правительства, находившегося также в сильнейшей материальной зависимости от англичан.

Между тем через неделю после образования северо-западного правительства (18 августа) Чичерин обратился к Эстонии по радио с предложением начать мирные переговоры для определения границ и разрешения других вопросов, связанных с признанием Эстонской республики. Эстонское правительство ответило согласием, заверив Чичерина, что «военные действия вызваны были исключительно вторжением большевиков и перенесены на русскую

сударства Российского» и будут оплачиваться впоследствии петроградской конторой Государственного банка по расчету 40 рублей за фунт стерлингов.

территорию не с аннексионными целями, но единственно ради самозащиты».

Советское правительство обратилось вслед за сим с предложением мира к другим прибалтийским лимитрофам, и на конференции их, состоявшейся 1 сентября в Ревеле, выяснилось отношение к предложению: сдержанное со стороны Финляндии, отрицательное Литвы и весьма неопределенное Эстонии и Латвии.

Такие обстоятельства предшествовали осеннему наступлению Северо-западной армии. Английские запасы хотя и прибыли, но снабжение ими и организация армии были далеко не закончены. Содействие эстонцев не было обеспечено, отряды Бермонта и Вырголича, формировавшиеся в Латвии и Литве, отказывали в подчинении генералу Юденичу. Марч между тем требовал немедленного перехода в наступление, обещая содействие английского флота для занятия Красной Горки и Кронштадта. Эстонское правительство уверяло, что если до зимы не состоится наступление, то правительство не в силах будет воспрепятствовать народным настроениям, требующим мира с большевиками. Бездеятельность в течение зимы привела бы к разложению войск и к истощению запасов. Общая обстановка казалась также благоприятной, так как Южные армии подходили уже к Орлу.

Эти и другие, чисто внутренние причины побудили северо-западное командование предпринять операцию на Петроград. Силы армии к сентябрю определялись в 17 тысяч; силы 7-й советской армии — в 24 тысячи, при возможности подхода к ней значительных подкреплений. План операции заключался в том, чтобы, нанеся удар противнику в Лужском и Псковском направлениях и обеспечив себя с этой стороны, главными силами ударить быстро на Петроград, одновременно прервав сообщение его с Москвой.

15 сентября началось наступление южной группы, увенчавшееся полным успехом: разгромом двух советских дивизий, продвижением к Пскову, взятием Луги. Не менее успешно пошло наступление главных сил, которые 3 октября заняли Гатчину и подошли затем к Пулкову, Лигову и Крас-

ному Селу. Петроград переживал дни величайшего волнения, которое охватило население (по различным, часто противоположным побуждениям) и Красную армию и отражалось ярко в речах и призывах Зиновьева и Троцкого. Мировая пресса с лихорадочным вниманием следила за исходом операции, предрешая события и видя в них близкое разрешение российской трагедии.

Но 10—12 октября наступил резкий перелом. Почему? Участники называют много причин: несоразмерность сил и средств, отказ от борьбы английского флота, пассивность эстонцев, рознь на верхах командования[1], отсутствие надлежащего управления, стремление начальников вместо исполнения диспозиции самостоятельно первыми ворваться в Петроград, стратегические ошибки, в особенности неисполнение одним из начальников директивы о перекрытии Николаевской железной дороги, дурное управление занятой территорией и т. д., и т. д.

Большевики с большой энергией сосредоточивали средства обороны, подвезли сильную группу Харламова в район Колпино и стянули к Пскову части 15-й армии, ослабив совершенно свой фронт против бездействовавших эстонцев (южной группы) и латышей. Под концентрическим ударом этих групп с северо-востока и юга, Северо-западная армия покатилась назад и к 1 ноября очутилась вновь у Наровы.

В дальнейшем ее ждало позорное разоружение, концентрационные лагеря, физические лишения и моральные издевательства на территории Эстонской республики, которая 21 декабря 1919 года заключила перемирие и вслед за сим весьма выгодный *для текущего момента* мир с большевиками.

Этому событию предшествовали непосредственно два официальных заявления союзных нам держав: Франции (Бертело) — о том, что Верховный Совет примет меры в отношении Эстонии, если она пойдет на мир с советской

[1] Во время операции генерал Юденич удалил от командования армией генерала Родзянко, назначив его своим помощником, и сам стал во главе армии.

Россией, и Англии (Ллойда Джорджа), что держава эта не препятствует заключению мира...[1]

* * *

По иронии судьбы, в момент наивысших успехов Северо-западной армии под Петроградом, 8 октября, другие войска, под начальством именовавшего себя полковником Бермонта, повели атаку на... Ригу, что отозвалось весьма печально на Петроградской операции.

Мы знаем, что в Курляндии в начале 1919 года, с ведома союзников, сформирован был германский корпус генерала графа фон дер Гольца, который освободил от большевиков большую часть Латвии и 22 мая взял Ригу[2]. Дальнейшее движение его на север для занятия всей Латвии было приостановлено. Политика союзников, на почве опасения германского влияния в Прибалтике, вновь круто изменилась. Под давлением английского представителя генерала Гофа, угрозы английского флота и наступления эстонских и латвийских войск, одержавших успехи над немцами под Венденом, фон дер Гольц вынужден был отступить в район Митавы.

В Риге восстановлено было социалистическое, антантофильское правительство Ульманиса; прежнее — правое, германофильское правительство Недра — ушло вместе с германскими войсками, продолжая сотрудничество с ними в качестве «латышского комитета».

Великая борьба между европейскими державами продолжалась, и в орбиту ее в качестве бессильных пешек вовлекались русские и балтийские элементы.

Еще во время благосклонного отношения союзников к германской оккупации, при содействии возникшего в Берлине «Русского комитета Северо-западного края»[3], из рус-

[1] Первым посредником между Эстонией и советами был англичанин профессор Гуд.

[2] В состав его входил и балтийский ландвер.

[3] Позднее именовался «Русским политическим совещанием в Берлине». Организация, параллельная «Политическому совещанию» в Гельсингфорсе и конкурировавшая с ним и с Парижским совещанием. Инициатива и средства — из германских правых кругов. Состав — крайне правые русские и остзейские элементы.

ских военнопленных, находившихся в Германии, образованы были немецким командованием в Митаве и Шавлях отряды Бермонта[1] и Выrголича[2]. Войска эти именовались первоначально «1-м имени графа Келлера корпусом». К осени состав этих отрядов колебался в пределах 6—10 тысяч.

В июле—августе, когда вновь обострились отношения, союзники потребовали немедленного ухода германских войск из Прибалтики. Немецкое командование отдало соответственный приказ и приступило к частичной эвакуации, под всякими предлогами задерживая ее. Между тем немецкие солдаты, обманутые правительством Ульманиса, обещавшим им земельные наделы (декабрь 1918 года) за освобождение Латвии, подняли бунт. Многие части категорически отказались покинуть Курляндию. В течение сентября—октября державы Согласия громили Берлин суровыми нотами, угрожая новой блокадой, прекращением кредита и подвоза. Носке оправдывался своим бессилием заставить повиноваться «мятежные войска», отозвал фон дер Гольца и слал войскам приказы — серьезно или для виду только, — угрожающие всякими карами. «Мятежники» не повиновались. В результате германское правительство «отреклось» от своих войск и они, так же как и балтийский ландвер[3], в качестве добровольческих частей вошли в состав Западной Добровольческой армии, прекрасно снабженной и насчитывавшей после этого до 30—35 тысяч. Главнокомандующим этой армией стал Бермонт, вдохновителями же и фактическими руководителями Бермонта, армии и событий были германцы, представленные при штабе армии майором Бишофом.

[1] По прохождению службы Бермонт был: капельмейстером Приморского драгунского полка, прапорщиком одного их забайкальских казачьих полков, корнетом Петербургского уланского полка и после отставки, во время мировой войны, — личным адъютантом командира корпуса генерала Мищенко. Принимал участие в формировании так называемой Южной армии. Именовал себя до сентября 1919 года Бермонтом, в сентябре — Аваловым-Бермонтом, в октябре — князем Аваловым-Бермонтом.

[2] До чина поручика служил во Владимирском уланском полку, затем недолго в пограничной страже, потом в жандармском корпусе (охранное отделение).

[3] Ландвер по требованию Антанты находился на латышском противобольшевистском фронте, где и оставался во время происходивших в Курляндии событий.

Насколько пестр был состав армии, настолько же разнообразна была ее идеология. Германские верхи шли за сохранение своего влияния в Прибалтике и на защиту баронских латифундий, за сохранение российского рынка и укрепление будущих связей с противобольшевистской Россией, если советская Россия, с которой также устанавливались дружественные отношения, окажется поверженной. Германские солдаты шли за обещанную им прежде Ульманисом, потом Бермонтом землю. Балтийское дворянство дышало местью к латышам и беспокоилось за участь своих поместий. Авантюристы ловили момент, открывавший неограниченные и неповторимые возможности. Просто русские люди шли в Западную армию, как и в другие белые армии, зачастую не отдавая себе ясного отчета, куда и какими путями ведут их.

В начале сентября Берлинское совещание придало армии Западное русское правительство, во главе с графом Паленом. Первоначальная территория его была определена в воззвании Бермонта от 20 сентября, в котором он заявил: «По уходе (!) немецких войск я, как представитель русской государственной власти, 21 августа принял на себя управление и защиту Латвийской области...» Дальнейшая территория должна была определиться обстоятельствами. Предприятие принимало более широкие размеры, не имея ни малейших шансов даже на временный успех, ввиду той зависимости от держав Согласия, которая сковывала поверженную Германию.

Параллельно с Западным правительством, другая группа правых в Берлине организовывала «Российское правительство» Бискупского-Дурново, также взыскующее германские средства и также вступавшее в «договорные отношения» с Германией. Успех Бермонта, впрочем, скоро отодвинул Бискупского на задний план.

Все настойчивые требования союзных представителей и генерала Юденича о выводе Бермонтом русских войск на

фронт, встречали отпор со стороны последнего[1]. И генерал Юденич через голову Бермонта слал воззвания «корпусу графа Келлера», приглашая идти на Петроград. Немцам не улыбалась перспектива отделения русских отрядов, лишавшая их всякого предлога для оккупации Курляндии. Идти же самим на фронт, носивший явно антантофильский характер, оторвавшись от своей страны и источников снабжения и имея в тылу ярко враждебную им Латвию, казалось очевидно слишком опасным и политически нецелесообразным.

Изолированное положение бермонтовской армии среди национальных противобольшевистских сил вызывало недоверие к ней извне и порождало сомнения в рядах русских ее участников. Бермонт, под предлогом неприемлемости политики Юденича, допускающей «расчленение России», и сочувствуя идеям ее «единства и неделимости», снесся с Верховным правителем и послал в Таганрог делегацию генерала Давыдова с ходатайством о подчинении Западной армии главному командованию Юга.

Я не принял делегацию и приказал выслать делегатов из пределов территории Юга[2].

Верховный правитель ответил приказом «безусловно и во всех отношениях подчиниться генералу Юденичу...» «В противном случае, — телеграфировал адмирал Колчак, — Вы (Бермонт) не можете считаться русским подданным и офицером русской армии».

Тем не менее Бермонт по своим соображениям, как увидим ниже, подчеркивал не существовавшую связь свою с

[1] На военном совете в Риге 26 августа, под давлением генерала Марча, военные представители Эстонии, Латвии, Литвы, Северо-западной армии подписали протокол, которым распределялась линия фронта между армиями. Бермонту надлежало выдвинуться через Двинск на Великие Луки. (Из статьи Бережанского.)

[2] В качестве добровольного ходатая за Бермонта прибыл в Екатеринодар и генерал Д. Гурко. Принят не был. Указывал штабу на большую опасность со стороны «деклассированного элемента, по существу ландскнехтов», каким являются германские солдаты Бермонта, в случае если они, не признанные нами, предложат свои услуги большевикам.

Югом, вводя в заблуждение общественное мнение Запада и создавая нам политические затруднения: в английской прессе начали раздаваться настойчивые голоса, требовавшие прекращения снабжения Колчака и Деникина, находящихся якобы в сговоре с германскими правящими кругами.

8 октября Бермонт неожиданным ударом на латышей, прикрывавших Ригу, разбил их и отбросил за Двину. Это выступление вызвало большое волнение в кругах союзных представителей, в Эстонии и Польше. Эстонские и латышские части с большевистского фронта начали стягиваться к Риге, обнажая Псковское направление (Юденича), для борьбы против Бермонта. Генерал Юденич, поставленный в большое затруднение и подозреваемый также союзниками и лимитрофами в тайном соучастии с Бермонтом, телеграфировал: «Категорически объявляю, что никогда не имел и не имею никакого отношения к генералу Бискупскому и германофильским организациям в Берлине. Объявляю Бермонта изменником и посылаю против него в помощь латышам часть артиллерии».

В своем резком ответе но этому поводу генералу Юденичу Бермонт объяснял свое выступление необходимостью создать обеспеченный тыл, а нежелание подчиниться — тем обстоятельством, что генерал Юденич не является у себя «хозяином положения» и его армия «подвергается невыносимому для русской чести обращению (со стороны союзников и эстонцев)». Одновременно Бермонт телеграфировал мне о своих успехах и выражал надежду «в близком будущем атаковать большевиков с запада и этим облегчить победоносное наступление (южных) армий...» В пространных нотах он предлагал мир Латвии, признавал «полный суверенитет литовского народа» и, считая, по-видимому, поляков союзниками армий Юга, заверял польское правительство в том, что «руководствуясь стремлениями и директивами (!) генерала Деникина», он — Бермонт — «стремится рука об руку с польскими войсками вступить в бой против общего противника — большевиков».

Взять Ригу Бермонту не удалось. Предложение мира Латвия отвергла. В течение полутора месяцев продолжалась

бомбардировка Риги и бесплодные попытки Бермонта форсировать Двину. Между тем союзники от угроз перешли к фактической блокаде Германии. Эстонские и латышские войска начали наступление и при помощи мощного огня английского флота, столь пассивного в отношении большевиков, нанесли Бермонту ряд поражений.

21 ноября пала Митава, и русские войска Западной армии частью рассеялись, частью эвакуировались совместно с немецкими отрядами в Германию.

Так Германия и Согласие, Гоф—Марч и фон дер Гольц—Бишоф сводили между собою исторические счеты, играя русскими головами и губя русское дело.

* * *

На юго-восток от латышей, в двинском направлении маленькая *литовская армия*, ввиду угрозы с тыла, со стороны отряда Выrголича (Шавли) и отступавших из-под Митавы русско-германских войск, проявляла на противобольшевистском фронте полную пассивность.

Далее на восток от Двинска до Полоцка и от Полоцка до Каменец-Подольска шел фронт *польской армии*, на котором, в силу заключенного осенью тайного соглашения с большевиками, военные действия фактически приостановились.

* * *

Я привел этот схематический очерк событий на противобольшевистских фронтах для уяснения той внешней военно-политической обстановки, среди которой протекал финальный период борьбы Вооруженных сил Юга.

Решительное наступление Северо-западной армии началось 15 сентября, достигло наивысшего успеха 8 октября, закончилось 1 ноября сдачей Ямбурга и 21 декабря разоружением и интернированием армии.

Восточный фронт, приостановивший в середине августа свое стихийное отступление, к началу октября покатился окончательно к Великому океану.

Северный фронт, ослабленный, лишившийся главной своей опоры — английских войск, закончивших эвакуацию 20 сентября, — с тех пор переживал медленную агонию, завершившуюся исходом 18 февраля 1920 года.

На фоне этих событий, лишенных, на первый взгляд, единства и внутренней связи и полных глубокого трагизма, начертаны и судьбы Вооруженных сил Юга. С весны 1919 года восходящая кривая боевых успехов Юга достигает к 1 октября наивысшей своей точки (Орел), с тем чтобы в ближайшие дни упасть вниз... и, проведя армии Юга через горнило тягчайших испытаний в последующей пятимесячной упорной, кровавой борьбе, привести их в марте 1920 года к берегам Черного моря.

ГЛАВА XVIII

ОПЕРАЦИИ ВСЮР В ОКТЯБРЕ—НОЯБРЕ 1919 ГОДА

В начале октября советские армии *Южного и Юго-восточного* фронтов, приведенные в порядок и пополнившиеся, располагались[1]:

Южный фронт:

12-я армия, до 25 тысяч — по обе стороны Днепра от Мозыря, огибая Житомир, и по Десне на Чернигов до Сосницы[2].

14-я армия, 28 тысяч — от Сосницы до Кром (вблизи Орла).

13-я армия, 18 тысяч — от Кром до реки Дона (у Задонска, близ Воронежа).

8-я армия, 18 тысяч — между Задонском и Бобровом.

Конный корпус Буденного — в резерве, восточнее Воронежа.

Итого: 89 тысяч на фронте Житомир—Киев—Орел—Воронеж.

Юго-Восточный фронт:

9-я армия, 20 тысяч — от Боброва до устья Медведицы.

---

[1] Численность Красной армии взята из советских источников.

[2] Часть фронта ее (около 5 тысяч) направлена была на запад, против поляков. Сосница — на железнодорожной линии Гомель—Бахмач.

10-я армия, 15 тысяч — от устья Медведицы, севернее Царицына до Волги.

11-я армия, 15 тысяч — в районе Астрахани, имея операционные направления вверх по Волге против Царицына, на юг и на восток по Каспийскому морю против Северного Кавказа и Гурьева (уральцев).

Итого: 50 тысяч на фронте Воронеж—Астрахань.

Всего, следовательно, против ВСЮР большевики выставили 140 тысяч, имея две сильные ударные группы: 1) западнее Орла[1] и 2) против Воронежа. Так как в октябре и ноябре большевики подвезли еще пять пехотных и одну кавалерийскую дивизию, то силы их возросли до 160 тысяч. По большевистским источникам, лучшими войсками считались 14-я армия и группа Буденного; хуже 3-я, 11-я и 13-я, а 12-я «являла признаки расстройства и разложения».

Вооруженные силы Юга располагались:

Войска Киевской области (генерал Драгомиров), 9 тысяч — впереди Киева и по Десне у Чернигова (включительно).

Добровольческая армия (генерал Май-Маевский), $20^1/_2$ тысяч — от Чернигова к Орлу и до Дона (у Задонска).

Донская армия (генерал Сидорин), 50 тысяч — от Задонска до устья Иловли.

Кавказская армия (генерал барон Врангель), $14^1/_2$ тысяч — в районе Царицына, имея часть сил против Астрахани, на обоих берегах Волги.

Отряд из состава войск *Северного Кавказа* (генерал Драценко), 3—5 тысяч — против Астрахани с юга и юго-запада.

Всего на противобольшевистском фронте Киев—Орел—Воронеж—Царицын—Астрахань мы имели 98 тысяч против 140—160 тысяч большевиков[2]. Боевая ценность наших частей была далеко не одинакова, и поэтому *численный* эквивалент не выражает идеи развертывания[3].

---

[1] В брянском направлении.

[2] В расчет не входят войска Новороссии, боровшиеся против Петлюры.

[3] Группировка противников к началу октября:

	У нас	У большевиков
На фронте войск Киевской области	9 тысяч	15 тысяч
На фронте Добровольческой армии	20 тысяч	46 тысяч (первоначально)
На фронте Донской армии	50 тысяч	49 тысяч
На фронте Кавказской армии	14,5 тысяч	20 тысяч

Что касается резервов, то не только они, но, как увидим ниже, и часть сил действующих армий к тому времени была отвлечена на «внутренние фронты» для усмирения восстаний, поднятых Махно и другими «атаманами» и заливших большие пространства Украины и Новороссии. В частности, Добровольческая армия была ослаблена выделением сил и на внутренний, и на киевский фронт, под Чернигов. Часть сил Киевской области вела борьбу с петлюровцами и повстанцами.

После неудачи августовского наступления советское командование изменило план операции. «В середине октября (нового стиля), — пишет Бронштейн[1], — была закончена подготовка для решительного контрудара. Образованы были две группы: одна — из резерва главкома и части 14-й армии к северо-западу от Орла для действия на Курско-Орловскую железную дорогу, вторая — к востоку от Воронежа, из конного корпуса Буденного, который должен был разбить противника под Воронежем и ударить в тыл орловской группе противника в направлении на Касторную».

Таким образом, в предстоящем новом общем наступлении главный удар с двух сторон был нанесен против Добровольческой армии, выдвинувшейся к Орлу. Стратегически этот удар преследовал идею разобщения Донской армии от Добровольческой и разгрома последней, политически — разъединение добровольчества и казачества.

Группировка сил противника не была для нас тайной. Но ввиду отсутствия у нас резервов парировать намеченные уда-

---

[1] *Троцкий Л.* «Как вооружалась революция».

ры можно было лишь соответствующей перегруппировкой войск. Удар с линии Орел—Севск, выводивший противника на фронт Корниловской и Дроздовской дивизий, не внушал мне опасений. Угроза же со стороны Воронежа левому флангу Донской армии была более серьезна. Поэтому я, не приостанавливая наступления Добровольческой армии на линию Брянск—Орел—Елец, 17 сентября вновь предписал Донской армии ограничиться в центре и на правом фланге обороной, чтобы сосредоточить надлежащие силы на своем левом фланге, против Лиски и Воронежа[1]. В состав Донской армии передана была конница генерала Шкуро, находившаяся в воронежском районе.

Выполнение этих планов сторонами приводило к встречным боям, развернувшимся в генеральное сражение на пространстве между Десной, Доном и Азовским морем, сражение, которому суждено было решить участь всей кампании.

* * *

Конная группа Буденного, усиленная пехотной дивизией 8-й армии (12—15 тысяч), отбросив донцов к югу, повела наступление на Воронеж. После девятидневных боев с переменным успехом конница генерала Шкуро[2] вынуждена была оставить Воронеж и отойти на правый берег Дона. Переправившись через Дон, в свою очередь, Буденный с боями вышел к Нижнедевицку, угрожая Касторной и тылу 1-го (добровольческого) корпуса.

Между тем с 1 октября началось наступление западной ударной группы большевиков.

На 500-верстном фронте от Бахмача до Задонска шли тяжелые бои Добровольческой армии против втрое превосходившего ее силами противника (20 тысяч против 50—60 тысяч)[3].

---

[1] В дальнейшем Донская армия должна была развивать удар в сторону Балашова.

[2] 4-й Донской корпус и 3-й конный корпус, ослабленный выделением Терской дивизии против Махно. Командующий 4-м Донским корпусом генерал Мамонтов был в отпуске, почему во главе группы стал генерал Шкуро.

[3] Кроме 13-й и 14-й армий, части 8-й армии и группа Буденного.

Ослабив свое правое крыло и сосредоточив главные силы в брянском направлении, генерал Май-Маевский успел нанести ударной группе 14-й советской армии ряд поражений под Севском и Дмитровском[1], в то время как войска его на орловском[2] и тульском[3] направлениях успешно отбивали наступление 13-й советской армии. Но общая обстановка у Воронежа заставила армию оставить Орел и Ливны. Встречая сопротивление лишь тонкой линии Марковской дивизии, 13-я советская армия продолжала наступление, и несколько полков ее в 20-х числах прорвались к Фатежу и Щиграм, угрожая Курску. В то же время группа Буденного с 24 октября атаковала Касторную, встречая сильный отпор занимавшего ее Марковского полка и конницы Шкуро.

В результате 30-дневных кровавых боев, непрестанно маневрируя, одерживая не раз частные успехи[4] и неся большие потери, войска Добровольческой армии отошли на линию Конотоп—Глухов—Дмитриев—Касторная.

На донском фронте в течение октября происходили встречные бои с переменным успехом. Нанеся частное поражение левому флангу 8-й советской армии у Боброва и Таловой и частям 9-й советской армии на берегу Хопра, Донская армия в дальнейшем отошла правым флангом за Дон и центром за Хопер, удерживаясь за этими реками и на линии Лиски—Урюпино.

На западе Киевской области войска генерала Драгомирова, против ожидания весьма мало пополнившие свой состав, с трудом выполняли свою задачу — очищение правого берега Днепра и левого Десны. Во второй половине сентября усиленные частями Добровольческой армии киевские войска имели крупные успехи на Десне и овладели Черниговом. Но в то же время правый фланг 12-й советской армии, освобожденный от угрозы со стороны поляков вследствие заключенного ими перемирия, неожиданно пе-

---

[1] Дроздовцы, самурцы и конница 5-го кавалерийского корпуса.

[2] Корниловцы.

[3] Марковцы.

[4] Главным образом 1-й (Добровольческий) корпус генерала Кутепова.

решел в наступление от Житомира и, не встретив надлежащего отпора, овладел Киевом.

Трое суток на улицах города происходили бои, после чего противник был отброшен обратно за реку Ирпень. Между тем левобережные части киевских войск после ряда боев очистили от большевиков весь левый берег Десны и разбили противника, наступавшего на Чернигов. Но к концу октября новое наступление по всему фронту 12-й советской армии заставило нас отдать Чернигов и Макошинскую переправу[1], а 5 ноября большевики заняли Бахмач, что составило уже прямую угрозу левому флангу Добровольческой армии.

* * *

Еще хуже складывалась обстановка в тылу. После весеннего разгрома, понесенного Махно, он бежал с небольшим конным отрядом в район Александровска. Там вокруг него собрались спасшиеся за Днепром его мелкие отряды, присоединилась часть повстанцев Григорьева и красноармейцев разбитой советской крымской группы.

Теснимый с востока нашими частями, Махно продвигался в глубь Малороссии; в августе, задержавшись в районе Елисаветграда—Вознесенска, он был снова разбит правым крылом генерала Шиллинга и к началу сентября, продолжая уходить к западу, подошел к Умани, где попал в полное окружение: с севера и запада — петлюровцы, с юга и востока — части генерала Слащева.

Махно вступил в переговоры с петлюровским штабом, и обе стороны заключили соглашение: взаимный нейтралитет, передача раненых махновцев на попечение Петлюры и снабжение Махно боевыми припасами. Доверия к петлюровцам у Махно, однако, не было никакого, к тому же повстанцев тянуло неудержимо к родным местам... И Махно решился на смелый шаг: 12 сентября он неожиданно поднял свои банды и, разбив и отбросив два полка генерала Слащева, двинулся на восток, обратно к Днепру. Движение это совершалось на сменных подводах и лошадях с быстротой необыкновенной: 13-го — Умань, 22-го — Днепр, где, сбив слабые наши части, наскоро брошенные для прикрытия переправ, Махно перешел через Кичкасский мост и 24-го появился в Гуляй-Поле, пройдя за 11 дней около 600 верст.

[1] На пути Гомель—Бахмач.

В ближайшие две недели восстание распространилось на обширной территории между нижним Днепром и Азовским морем. Сколько сил было в распоряжении Махно, не знал никто, даже он сам. Их определяли и в 10, и в 40 тысяч. Отдельные банды создавались и распылялись, вступали в организационную связь со штабом Махно и действовали самостоятельно. Но в результате в начале октября в руках повстанцев оказались Мелитополь, Бердянск, где они взорвали артиллерийские склады, и Мариуполь — в 100 верстах от Ставки (Таганрога). Повстанцы подходили к Синельниково и угрожали Волновахе — нашей артиллерийской базе... Случайные части — местные гарнизоны, запасные батальоны, отряды Государственной стражи, выставленные первоначально против Махно, — легко разбивались крупными его бандами.

Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Для подавления восстания пришлось, невзирая на серьезное положение фронта, снимать с него части и использовать все резервы. В районе Волновахи сосредоточены были Терская и Чеченская дивизии и бригада донцов. Общее командование над этими силами[1] поручено было генералу Ревишину, который 13 октября перешел в наступление на всем фронте. Наши войска в течение месяца наносили один удар за другим махновским бандам, которые несли огромные потери и вновь пополнялись, распылялись и воскресали, но все же катились неизменно к Днепру. Здесь у Никопольской и Кичкасской переправ, куда стекались волны повстанцев в надежде прорваться на правый берег, они тысячами находили смерть...

К 10 ноября весь левый берег нижнего Днепра был очищен от повстанцев.

Но в то время, когда наши войска начинали еще наступление, Махно с большой бандой, перейдя Днепр, бросился к Екатеринославу и взял его... С 14 по 25 октября злополуч-

[1] Кроме указанных частей, входили 3 полка, 3 запасных батальона и другие мелкие части.

ный город трижды переходил из рук в руки, оставшись в конце концов за Махно.

Между тем успех на фронте войск Новороссии дал мне возможность выделить из их состава корпус генерала Слащева[1], который к 6 октября начал наступление против Екатеринослава с юга и запада от Знаменки и Николаева. Совместными действиями право- и левобережных войск Екатеринослав был взят 25 ноября, и контратаки Махно, врывавшегося еще трижды в город, неизменно отбивались.

Переправы через нижний Днепр были закрыты и тыл центральной группы наших армий, таким образом, до известной степени обеспечен. Но затяжные бои с Махно в Екатеринославской губернии продолжались еще до середины декабря, то есть до начала общего отступления нашего за Дон и в Крым.

Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт в наиболее трудное для него время.

* * *

Как бы ни были серьезны события, разыгравшиеся на левом фланге и в тылу центральной группы армий, не они определяли грозность общего стратегического положения. С начала октября стало ясно, что центр тяжести всей операции перенесен на воронежское и харьковское направления... Только разбив ударную группу 8-й армии и корпус Буденного, мы приобретали вновь инициативу действий, возможность маневра и широкого наступления. Для этого необходимо было собрать сильный кулак, что по условиям обстановки можно было сделать лишь за счет Донской и Кавказской армий.

Попытки образования конной ударной группы на воронежском направлении, отражая сложные воздействия стратегии, политики, психологии и личных взаимоотношений, служат весьма образным показателем тех условий, в которых протекала деятельность Ставки.

Начиная с 1919 года все мои директивы[2] требовали от Донской армии растяжения фронта и сосредоточения

[1] Войска его после ликвидации Махно предназначались для усиления Добровольческой армии.

[2] 19 августа, 17 сентября, 14 ноября, 29 ноября.

сильной группы к левому флангу на воронежском направлении. Это стремление разбивалось о пассивное сопротивление донского командования, и донской фронт представлял линию, наиболее сильную в центре — на Хопре, где сосредоточена была половина всей донской конницы[1], и слабую — в лискинском районе[2], почти исключительно из пехотного состава[3]. Это развертывание отвечало стремлению удержать и прикрыть возможно большую часть Донской области, но в корне расходилось с планом операции. По-видимому, на стратегию донца Сидорина и российского профессора Кельчевского производила сильнейший нажим психология донской казачьей массы, тяготевшей к родным хатам...

В ударную группу Дон выделил полуразвалившийся после тамбовского набега 4-й корпус генерала Мамонтова, насчитывавший к 5 октября $3^1/_2$ тысячи сабель[4]. После настойчивых требований Ставки к середине ноября донское командование включило в ударную группу пластунскую бригаду (пехотную) — 1500 штыков, кавалерийскую не казачью дивизию — 700 сабель и направило в 4-й корпус пополнения. Не донские направления общего театра войны представлялись чем-то самодовлеющим. Генерал Сидорин считал и такое ослабление чисто донского фронта чрезмерным, выражая опасение, что «при дальнейшем нажиме противника армия не будет в состоянии удержаться на берегу Дона».

Не менее сложно обстояло дело на фронте Кавказской армии. Нанеся в начале октября под Царицыном сильный удар и северной и южной группам противника, генерал

[1] 2-й корпус, 17 тысяч, из них 9700 конницы.

[2] 3-й корпус, 14 тысяч, из них 2200 конницы.

[3] Донскую пехоту начальник штаба армии генерал Кельчевский характеризовал так: «Пешие части совершенно не приспособлены к пешему бою и так же легко сдают, как и красноармейская милиция». За немногими исключениями это определение было верно.

[4] Но и эти силы были ослаблены отвлечением части их на поддержку лискинской группы, так что в группе генерала Шкуро под Касторной оставалось одно время только 1800 сабель 4-го Донского корпуса.

Врангель доносил, что достигнут этот успех «ценою полного обескровливания армии и последним напряжением моральных сил тех начальников, которые еще не выбыли из строя». Но обстановка складывалась грозно и требовала нового чрезвычайного напряжения и новых жертв от всех армий. И начальник штаба генерал Романовский 16 октября запросил генерала Врангеля, какие силы он может выделить в ударную группу в центр... «или же Кавказская армия могла бы немедленно начать активную операцию, дабы общим движением сократить фронт Донской армии и дать ей возможность вести операцию на северо-запад». Генерал Врангель ответил, что развитие операции Кавказской армии на север невыполнимо «при отсутствии железных дорог и необеспеченности водной коммуникации». Что касается переброски, то «при малочисленности конных дивизий переброска одной-двух... не изменит общей обстановки, и не разбитый, хотя бы и приостановленный противник, оттеснив донцов за Дон, будет иметь возможность обрушиться на ослабленную выделением частей Кавказскую армию...» Барон Врангель предлагал «крупное решение»: взять из состава Кавказской армии четыре дивизии (при этом условии он не предполагал оставаться во главе ее) и, сведя остающиеся силы в отдельный корпус, поручить его генералу Покровскому.

Картина состояния Кавказской армии, нарисованная генералом Врангелем, была угнетающей, а потеря Царицына в то время, когда центр армии находился еще впереди Харькова, чреватой тяжелыми последствиями. Поэтому я счел возможным взять из Кавказской армии только 2-й Кубанский корпус[1].

И когда через некоторое время генерал Врангель принял Добровольческую армию и из Кавказской взята была еще одна дивизия, заместитель его генерал Покровский телеграфировал барону: «С переброской трех четвертей всей

[1] Одна бригада Кавказской армии находилась в то время в Екатеринодаре ввиду событий в Раде. Кубанские дивизии имели состав 500—800 сабель, и только одна 3-я имела 1350 сабель. Она входила ранее в состав 2-го корпуса, но была заменена 4-й дивизией.

конницы армии и отнятием боевых пополнений, направляемых с Кубани только вам... обессиливание Кавказской армии перешло уже все пределы...»

Между тем в начале ноября ударная группа Буденного, отбросив конницу Шкуро, взяла Касторную, выйдя в тыл нашей пехоте. Под ударами 13-й, 14-й советских армий и группы Буденного Добровольческая армия, неся большие потери, особенно на своем правом фланге, с упорством отстаивая каждый рубеж, медленно отходила на юг.

К середине ноября мы потеряли Курск, и фронт Добровольческой армии проходил через Сумы—Лебедянь—Белгород—Новый Оскол, дойдя приблизительно до параллели донского фронта (Лиски). В ближайшем тылу ее, в губерниях Харьковской, Полтавской, разрастались восстания; банды повстанцев все более наглели, и для усмирения их требовалось выделение все новых и новых сил. Донская армия была прикована к своему фронту и не могла развить широкого наступления: левый фланг ее был отброшен от Лисок, центр и правый удерживались еще на Хопре и Доне.

Конная группа Шкуро, потом Мамонтова[1], действовавшая в стыке между Добровольческой армией и Донской, не могла противостоять большевистской ударной группе — по малочисленности своей, разрозненным действиям и внутренним недугам: кубанцы жаловались на развал и утечку в донском корпусе, донцы говорили то же о кубанцах...

Ко второй половине ноября в район Волчанск—Валуйки путем большого напряжения сосредоточены были подкрепления, которые вместе с основным ядром мамонтовской группы составили отряд силою в 7 тысяч сабель, 3 тысячи штыков и 58 орудий, снабженный танками, бронепоездами и авиационными средствами[2].

На него возлагались большие надежды...

[1] Шкуро уехал в отпуск по болезни.

[2] Состав частей приведен по боевому расписанию от 5 ноября, так как последующие не сохранились. В состав конного отряда входили: 4-й Донской корпус, 3-й конный корпус (без одной бригады), 2-й Кубанский корпус, Сводная кавалерийская дивизия и 2-я пластунская бригада.

Вместе с тем последние подкрепления с Северного Кавказа и с сочинского фронта двинуты были на север.

В начале ноября, будучи в Ставке, генерал Врангель предложил образовать из собиравшейся группы отдельную конную армию с ним во главе, перебросив для управления ею штаб Кавказской армии. Незначительность сил группы не оправдывала необходимости расстройства существовавших соединений и создания нового штаба для царицынского направления; отсутствие третьей меридиальной железной дороги не давало возможности вклинить новую армию между Добровольческой и Донской. Принимая во внимание обнаружившиеся недочеты генерала Май-Маевского и желая использовать кавалерийские способности генерала Врангеля, я решил упростить вопрос, назначив его командующим Добровольческой армией, со включением в нее конной группы Мамонтова.

Май-Маевский был уволен. До поступления его в Добровольческую армию я знал его очень мало. После Харькова до меня доходили слухи о странном поведении Май-Маевского, и мне два-три раза приходилось делать ему серьезные внушения. Но теперь только, после его отставки, открылось для меня многое: со всех сторон, от гражданского сыска, от случайных свидетелей посыпались доклады, рассказы о том, как этот храбрейший солдат и несчастный человек, страдавший недугом запоя, боровшийся, но не поборовший его, ронял престиж власти и выпускал из рук вожжи управления. Рассказы, которые повергли меня в глубокое смущение и скорбь.

Когда я впоследствии обратился с упреком к одному из ближайших помощников Май-Маевского, почему он, видя, что происходит, не поставил меня в известность об этом во имя дела и связывавшего нас боевого содружества, он ответил:

— Вы могли бы подумать, что я подкапываюсь под командующего, чтобы самому сесть на его место.

Май-Маевский прожил в нищете и забвении еще несколько месяцев и умер от разрыва сердца в тот момент, когда последние корабли с остатками Белой армии покидали Севастопольский рейд.

Личность Май-Маевского перейдет в историю с суровым осуждением... Не отрицаю и не оправдываю... Но считаю долгом засвидетельствовать, что в активе его имеется тем не менее блестящая страница сражений в каменноугольном районе, что он довел армию до Киева, Орла и Воронежа, что сам по себе факт отступления Добровольческой армии от Орла до Харькова при тогдашнем соотношении сил и общей обстановке не может быть поставлен в вину ни армии, ни командующему. Бог ему судья!

ГЛАВА XIX

СОБЫТИЯ В ЗАКАСПИИ И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЮГА С ГРУЗИЕЙ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ К НАЧАЛУ 1920 ГОДА

Военно-политическое положение и операции на *второстепенных театрах*, не имея решающего значения в исходе противобольшевистской борьбы, оказывали на него тем не менее весьма существенное влияние.

* * *

С выходом на побережье Каспийского моря мы установили более тесные сношения с *Закаспийским краем*, вошедшим с ведома Верховного правителя в орбиту влияния власти Юга. Большое государственное значение этого края в российском масштабе для нас, в условиях междоусобной гражданской войны и малого наличия наших сил, не могло быть использовано. С отходом Оренбургской армии (Восточного фронта) в глубь Сибири для советских войск и советской промышленности[1] открывался свободный путь в Туркестан. Развитие сколько-нибудь широких операций в Средней Азии было для нас непосильно, и поэтому закаспийским войскам приходилось выполнять более скромную задачу: сохранять занятую часть Закаспия и богатые еще его запасы сырья, поддерживать противобольшевистское движение среди туземных народов[2]

[1] Хлопок, шерсть, кожи и т. д.

[2] Хива, Бухара, туркмены, текинцы, иомуды и др.

и препятствовать наступлению большевиков к Красноводску, занятие которого открывало бы им новый важный транзитный путь (Средне-Азиатская железная дорога—Каспий—Волга) и укрепляло бы их положение на Каспийском море. Последнее было опасно в особенности ввиду близости Баку и враждебного нам Азербайджана.

К лету 1918 года весь Туркестанский округ при содействии военнопленных мадьяр и немцев, в большом числе поселенных в крае, был захвачен большевиками. На почве неистовств советских властителей в двадцатых числах июня по линии Средне-Азиатской железной дороги вспыхнуло восстание: железнодорожные рабочие, небольшое число фронтовиков и офицеров и 2—3 тысячи туркмен, образовав военные отряды, изгнали большевиков из Красноводска, Кизил-Арвата и Ашхабада. Нестройное и плохо вооруженное ополчение это, под начальством полковника Ураз-Сердара (туркмена), встречая лишь незначительное сопротивление со стороны местных большевиков, дошло до самого Чарджуя[1]. Для управления освобожденной территорией образовался исполнительный комитет в составе представителей рабочих организаций и местной интеллигенции, преимущественно социалистов-революционеров, под председательством машиниста Фунтикова[2]. Намерения комитета не были особенно дерзновенны: официально он ставил своею целью «восстановление чистых принципов советской власти и очищение ее от негодных элементов».

Под давлением усилившегося большевистского отряда, наступавшего со стороны Ташкента, подъем угас, ополчение покатилось назад, растаяло и остановилось невдалеке от Ашхабада. В составе его было уже только несколько десятков русских и совершенно необученные и недисциплинированные туркменские банды.

«Фронт» рушился, и потому исполнительный комитет обратился за помощью в Мешхед, где находился небольшой английский отряд генерала Маллесона. О масштабах военных действий того времени на Средне-Азиатской железной дороге можно судить по тому факту, что посланное Маллесоном небольшое количество оружия и 20 сипаев дали перевес ашхабадскому ополчению, которое отбросило большевиков и укрепилось у Каахки, верстах в 120 впереди Ашхабада.

[1] Граница Закаспийской области на Аму-Дарье.

[2] Расстрелян большевиками в 1926 году.

Между генералом Маллесоном и представителем исполнительного комитета Доховым 19 августа 1918 года был заключен договор от имени «британского и закаспийского правительств». Комитет обязался «восстановить спокойствие и порядок в крае и оказать сопротивление турко-немецким планам военных захватов и политического господства в Закаспии и Туркестане». Маллесон обязался предоставить комитету помощь финансовую, оружием, боевыми припасами и войсками. В числе других пунктов договор заключал обязательство комитета предоставить англичанам в пользование порт Красноводск и суда Каспийского моря, воспретить вывоз хлопка, с целью «воспрепятствовать переходу его в руки неприятеля» и «в случае надобности» разрушить железную дорогу.

Политика Маллесона находилась в полном соответствии с общей закавказской политикой англичан и обусловливалась необходимостью прикрытия Баку (нефть) и Северной Персии (протекторат) и воспрепятствования связи советских войск с враждебным Англии и открывшим военные действия Афганистаном (Мерв, Кушка, Герат). Скорее по традиции, нежели исходя из реальной обстановки, деятельность англичан в Закаспии носила характер умаления там русского и утверждения английского влияния.

Закаспийские власти попали в полную зависимость от англичан. Генерал Маллесон третировал комитет и распоряжался назначением его личного состава[1]. Он поддерживал комитет, когда существованию последнего грозило очередное большевистское выступление, и одновременно поощрял самостийные устремления начальников туркменских и иомудских банд. Финансовая помощь англичан ограничилась предоставлением ссуды в 500 тысяч индийских рупий, в обмен

[1] В январе 1919 года под давлением англичан исполнительный комитет (40 человек) был заменен «Комитетом общественного спасения» из 6 лиц — трех русских, двух туркмен и агента английской контрразведки еврея Дружкина.

на которые, по крайне невыгодному для закаспийского правительства расчету, последним было выдано 12 миллионов рублей ашхабадскими бонами. Англичане отпустили закаспийцам несколько тысяч ружей, несколько миллионов патронов и небольшое количество снаряжения. Но сам факт участия английских войск оказал весьма большое и положительное влияние на ход событий: в первых числах октября при участии англичан большевикам нанесено было поражение у станции Душак и в дальнейшем, преследуя противника уже самостоятельно, ашхабадское ополчение продвинулось до линии Мерв—Кушка, заняв оба этих пункта. Английские войска стали у Мерва (около 2 тысяч) и небольшими гарнизонами в Ашхабаде и Красноводске.

Фронт держался исключительно англичанами — не столько боями, сколько обаянием английского могущества. Ополчение вновь начало таять. Местный русский элемент был и слишком малочислен, и малопригоден для организации серьезной вооруженной силы. Объявленная мобилизация дала... 17 человек. Туркмены были ненадежны и фронт понемногу разваливался. Между тем в половине ноября Маллесон заявил комитету, что английские войска в военных действиях дальше Мерва участвовать не будут. Это заявление стало известным на фронте и еще более понизило настроение.

Так дело шло до начала апреля 1919 года, когда генерал Маллесон и последние эшелоны британских войск покинули фронт: часть их перешла обратно в Мошхед, другая двинулась в Красноводск, откуда англичане продолжали осуществлять «морской контроль» и вести сепаратные сношения с туземными главарями.

Верховная власть Закаспия, совмещая законодательные и исполнительные функции, претерпев ряд и организационных и личных перемен, к весне представлена была «Комитетом общественного спасения»[1], официальным лозунгом которого стали уже «Великая, Единая, Неделимая Россия и полновластное Учредительное собрание». В качестве технического аппарата управления на территории в два уезда существовало восемь «министерств». Деятельность этого правительства, по докладу лица, обследовавшего положение в Закаспии[1], сводилась, главным образом, к удовлетворению потребностей сегодняшнего дня, путем выпуска бон и вывоза и распродажи без всякой системы и учета богатых еще местных запасов, не исключая и продовольственных, «ничего за это не получая, кроме бакинских бон».

[1] В апреле, после переизбрания на съезде представителей городского самоуправления, профессиональных союзов и сельских общин в состав комитета вошли Зимин (директор реального училища), Крутень (генерал), Акимов (учитель, офицер военного времени) и 2 туркмена — полковники Ураз-Сердар и Хаджи-Мурат.

Еще осенью 1918 года исполнительный комитет командировал в Добровольческую армию генерала Савицкого[2] «для доклада о нуждах Закаспийской области и выяснения возможности их удовлетворения». Генерал Савицкий и прибывший ранее его в Екатеринодар Е. П. Джунковский[3], расширив, по-видимому, свои полномочия, вошли с представлением о необходимости установления государственной связи Закаспия с властью Юга. В результате генерал Савицкий получил назначение командующим войсками Закаспия, но от объявления его главою гражданской власти я воздержался, вручив ему лишь соответствующее предписание, которое предстояло использовать с большой осмотрительностью и лишь в случае вполне благоприятной обстановки[4]. Предосторожность оказалась не лишней... Посетивший по моему поручению Ашхабад в марте генерал Эрдели привез ходатайство Комитета общественного спасения о подчинении мне закаспийских войск «со всеми вытекающими из этого последствиями...» Но опубликование этого факта, ввиду возможности «внутренних осложнений», откладывалось до «достаточного укрепления власти (комитета), финансовой и, если возможно, военной поддержки» со стороны главного командования Юга. Эрдели вынес впечатление, что

[1] Доклад начальника государственного контроля.

[2] Бывший командир 2-го туркменского корпуса.

[3] Называл себя представителем исполнительного комитета и туркестанского союза по борьбе с большевиками.

[4] На должность своего помощника по гражданской части генерал Савицкий предназначал Джунковского.

объявление о включении Закаспия в состав территории Юга, ввиду позиции Азербайджана, Грузии и английского командования в Закавказье, может повести к полной изолированности области в финансовом, торговом и военном отношениях.

Генерал Савицкий в качестве командующего войсками прибыл в Ашхабад в мае с переброшенным туда небольшим отрядом и несколькими миллионами денег. Был встречен весьма торжественно; но ни по личным своим данным, ни по условиям обстановки не внес никакого изменения в положение дел.

После ухода с фронта англичан, 21 мая у Мерва большевики разбили закаспийское ополчение, причем находившиеся в его рядах сводные части бывшего бичераховского отряда сдались в плен, а туркмены разбежались по домам, захватив оружие. 19 июня в бою у Каахки ополчение снова потерпело серьезное поражение, результатом которого была потеря большого подвижного состава, артиллерии и боевых припасов, сдача Ашхабада и дальнейшее отступление к Красноводску. В отряде оставалось не более 800 бойцов, преимущественно офицеров, с одной батареей. Мервский оазис — житница Закаспия — был утерян.

Эвакуации произведено не было и весь богатый запас хлопка и хлопкового масла, скопившийся в Мервском районе, достался большевикам. Под влиянием всех этих обстоятельств Комитет спасения сложил с себя власть и передал ее 27 июня «Совету министров». Так как к концу июля каспийский отряд подходил уже к Кизил-Арвату и территория, прикрываемая им, ограничивалась одним Красноводским уездом, такое громоздкое построение управления стало излишним. Поэтому 23 июля власть была передана военному командованию, которому было предписано постепенно сократить администрацию до уездного масштаба. Общее руководство управлением и военными операциями было возложено на главноначальствующего Терско-Дагестанского края.

Власть Юга получила в наследие разоренный, пустынный уезд, пустую казну и клубок сложных взаимоотношений вконец перессорившихся местных деятелей. Словом —

новые обязанности и нравственную ответственность, при отсутствии достаточных сил и средств не только для расширения операции в Закаспии, но и для прочной обороны важного в стратегическом отношении порта Красноводска. Численность войск там, несколько пополненных за счет Северного Кавказа и снабженных техникой, не превосходила $2^1/_2$—3 тысяч; за немногими исключениями состав их был не вполне удовлетворителен. Задачей им поставлено было прикрытие и удержание Красноводска. Сначала под начальством генерала Лазарева, временно замещавшего смененного Савицкого, потом, с конца ноября, под начальством генерала Казановича Закаспийский отряд медленно отходил к морю. С оставлением Кизил-Арвата район, населенный туркменами, перешел в советскую зону, что повлекло за собою поголовное оставление ими рядов отряда и даже переход на сторону большевиков. Это обстоятельство ухудшило положение, и Закаспийский отряд к 19 января 1920 года отошел на ближайшие к Красноводску позиции.

24 января большевики атаковали Красноводск, и наши войска под огнем неприятельской артиллерии, неся большие потери (ранен был и командующий войсками генерал Казанович) и утратив дисциплину, при самых тяжелых условиях начали эвакуацию морем в Петровск.

Оставление Красноводска явилось тяжелым событием для русского противобольшевистского населения края и его защитников, но на стратегическое положение Вооруженных сил Юга уже особенно повлиять не могло.

* * *

Северный Кавказ по-прежнему представлял собой кипящий котел. На юге Ставропольской губернии и в районе Кизляра бродили партии «камышан» (зеленых) и большевистские банды. На Тереке шли кровавые пограничные споры с чеченцами и ингушами, и временами подымали голову местные городские большевики, осмелевшие после вывода терских гарнизонов на фронт. В Осетии и Кабарде нападения керманистов, балкарцев и просто разбойничьих шаек оставались явлением обычным, бытовым. В июне подняла восстание Ингушетия; оно было подавлено в течение недели. Но усмирение лишь загнало «болезнь» внутрь.

Комиссия, объезжавшая край с целью исследования его хозяйственно-экономического положения, как на одну из причин волнений указывала бедственное положение нагорной Ингушетии, потерявшей пастбища и пахотные земли, которые снимались раньше в аренду у терских казаков, и отрезанной враждебными станицами от рынка Владикавказа. Спор старый, кровавый, который нельзя было разрешить скоро и безболезненно.

Но если в указанных районах внутренняя борьба носила характер локальный и велась «местными средствами», иначе обстояло дело в Чечне и Дагестане. Области эти становились новыми театрами войны, отвлекая на себя крупные по нашему масштабу силы. Это было тем более опасно, что Чеченско-Дагестанский театр находился в клещах под возможными ударами: с севера, от Астрахани — большевиков, с юга — сохранявшего вооруженный нейтралитет Азербайджана.

Во второй половине июня в нагорном Дагестане вспыхнуло восстание, поднятое Али-Хаджи. В течение месяца шли бои. Войска петровского отряда взяли штурмом непокорные аулы, и 11 июля в Темир-Хан-Шуру прибыла делегация Али-Хаджи с просьбой о мире и с заявлением, что вождь их «введен был в заблуждение». Некоторое время он действительно оставался лояльным, но затем, под влиянием бакинских субсидий, начал враждебные действия опять, разделяя влияние с другим вождем — турецким эмиссаром Киазим-беем.

В середине августа более серьезное восстание поднято было в горной Чечне шейхом Узун-Хаджи. Он поднимал народ, разжигая национально-религиозную вражду, в то время как его сообщники — Шерипов и выходец из Грузии Гикало — вели большевистскую пропаганду, направляемую из Астрахани. Силы Узун-Хаджи вскоре возросли до $1^1/_2$ тысяч при 4 орудиях, а первые успехи, одержанные над мелкими нашими отрядами, окрылили надеждами и усилили авторитет шейха. Основной состав шаек Узун-Хаджи вербовался из бездомного и преступного местного элемента, беглецов из Ингушетии, Дагестана, красноармейцев из остатков разбитых некогда 11-й и 12-й советских армий. Дальнейшее увеличение сил достигалось при помощи насильственной мобилизации, временами доводившей численность повстанцев до 4—5 тысяч. Методы, применявшиеся для поднятия аулов, были суровы и элементарны: Узун-Хаджи убивал отступников, брал их добро и жег их сакли. Такой участи подвергались иногда целые непокорные аулы. В темном крае, где личные влияния враждебных обыкновенно друг другу шейхов, имамов и мулл подменяли подлинно народные движения, авторитет Узун-Хаджи был неодинаков: в плоскостной Чечне к нему отнеслись враждебно, в нагорной одни видели в нем святого, действующего по воле Аллаха, другие смотрели на предприятие шейха, как на возможность хорошо пограбить.

Началась настоящая война, в которой на нашей стороне было вооруженное ополчение почти всей плоскостной Чечни, поднятое председателем чеченского национального совета Ибрагимом Чуликовым.

В течение августа Узун-Хаджи, укрепившись в Ведено и действуя с большой энергией, одержал ряд серьезных успехов и спустился с гор, угрожая Грозному. Эти успехи отозвались и в Дагестане, который к началу сентября снова почти весь был объят восстанием. Вооруженные шайки держали под постоянной угрозой Темир-Хан-Шуру (административный центр области), Петровск (базу нашего Каспийского флота) и весь тыл нашей астраханской группы. Повстанцы овладели Дербентом, из-за которого три недели шли бои — не раз на улицах города, подвергавшегося к тому же обстрелу с моря судовой артиллерией.

* * *

Борьба на Северном Кавказе была явно бессмысленна и губительна для обеих сторон, и является поэтому вопрос, какие же условия питали ее.

Почва для народного неудовольствия была подготовлена многообразными причинами: тяжелое экономическое положение, темнота масс, бытовые навыки, острая вражда между горцами и терцами, несправедливость и поборы местной туземной администрации, в Дагестане — насилия, чинимые войсками и чинами флота, и т. д., и т. д.

Перманентное волнение, в свою очередь, не давало возможности перейти к мирным методам сожительства и ус-

транить опасное и тяжелое вмешательство регулярных войск в жизнь Чечни и Дагестана, как это было достигнуто в лояльных к нам Осетии и Кабарде.

Но никогда это движение на почве внутренних неурядиц не могло бы разрастись в настоящую войну без внешних побудительных факторов, при отсутствии которых мы, в худшем случае, имели бы с Чечней и Дагестаном «худой мир», хотя бы такой, как с Ингушетией.

После крушения «горского правительства» и «парламента» (май 1919 года) бежавшие из Дагестана горские главари нашли приют в Азербайджане и Грузии. Там они образовали три «полномочных» горских представительства: Джабагиева и Ахмед хан Матушева — в Баку, Ахмеда Цаликова — в Тифлисе. Осенью 1919 года к ним присоединился еще Совет обороны Северного Кавказа в селе Леваши, председатель которого Али-Хаджи в своем воззвании хулил бывший парламент и правительство, которые «не выполнили своих обязанностей перед народом и позорно оставили страну без защиты».

Более шумно, чем другие, проявлял свою деятельность тифлисский комитет Цаликова, именовавший себя «меджилисом горской республики», вступавший в «дипломатические» сношения с закавказскими новообразованиями, с Турцией и иностранными представителями, которых комитет засыпал нотами протеста против «тирании Добровольческой армии». Этим же целям служила издававшаяся им газета «Вольный Горец».

Влияние меджилиса замечалось исключительно в Чечне и Дагестане. Ингушетия охотно приобретала через меджилис оружие и боевые припасы, но от выполнения активных поручений его уклонялась. Осетия, Кабарда и другие округа, числившиеся в составе «Горской республики», ни ее, ни меджилиса не признавали.

Горские организации получали средства с трех сторон — от Турции, Азербайджана и Грузии, являясь одновременно орудием политики трех различных направлений. Неясны отношения их к четвертой стороне — советской власти, но личность главарей — Цаликова (чеченец), Джабагиева (ингуш) и др., — насаждавших в свое время (конец 1918 года)

советскую власть в горских округах, не исключает и этой возможности.

Положение «меджилисов» было поистине трудным. Эрзерум (правительство Кемаль-паши), при помощи посещавшего часто Баку и оказывавшая сильное влияние на азербайджанское правительство Нури-паши, проводил идею панисламизма и пантюркизма. Азербайджан, поддерживая первую идею, не с таким уж пылом относился ко второй, предпочитая союз вассальной зависимости и открыто ставя ближайшей своей целью «присоединение родственного Дагестана».

Грузия питала большой страх перед планами Нури-паши, грозившими в ближайшем будущем окружить и залить ее волною мусульманского фанатизма. Поэтому она наиболее прямолинейно поддерживала идею образования *«независимой* горской республики», стремясь создать из нее буфер против *России.* Наконец, советская власть разжигала ненависть против «добровольцев», не оглашая своих и без того ясных политических целей.

В этом последнем чувстве сошлись все потентаты. Содействие их восстанию было широко, почти открыто и заключалось в пропаганде, деньгах, оружии и в подкупе влиятельных людей. Азербайджан посылал своих и турецких офицеров в качестве инструкторов и командного состава преимущественно в Дагестан. Грузия отправляла партизанские отряды из пленных красноармейцев, грузинский «легион», десятки офицеров-инструкторов под общим начальством генерала Кереселидзе, главным образом, в Чечню[1]. Меджилис назначил Кереселидзе «верховным главнокомандующим войсками горской республики». Али-Хаджи и Узун-Хаджи были признаны закавказскими правительствами в качестве полномочных начальников Чечни и Дагестана.

И Грузия и Азербайджан обратились к иностранным миссиям, прося их поддержать «национальное движение народов горской республики». По этому поводу Гегечкори

[1] Было установлено в отрядах повстанцев наличие и германских офицеров и унтер-офицеров. Мне не ясно — было ли это результатом германо-турецкого альянса и берлинской политики или мы имели дело просто с ландскнехтами.

писал лицемерно: «...Правительство Грузии с тревогою следит за этими событиями и не может оставаться к ним безучастным, так как разрастающаяся по соседству анархия явится угрозой государственному порядку и общественному спокойствию Грузинской республики»[1].

На нашей стороне оказалась всецело английская военная миссия генерала Хольмана. Командированный ею в Дагестан полковник Роулинсон обратился к горским народам с призывом подчиниться власти Вооруженных сил Юга. Он говорил, что «восстание горцев не есть национальное движение» и что «противодействие генералу Деникину будет рассматриваться как акт недоброжелательства к союзникам». Это его воззвание произвело большое впечатление на Кавказе, но ненадолго: вскоре было опубликовано в газетах письмо верховного комиссара Англии в Закавказье Уордропа на имя министра иностранных дел Грузии Гегечкори, в котором указывалось, что мысли Роулинсона совершенно не выражают воззрений британского правительства. Гегечкори на съезде народной гвардии заявил прямо: «Не в интересах Англии включать Закавказье в пределы России».

Две руки...

Я не буду останавливаться на ходе военных операций, имевших характер «малой войны» — затяжной, изнурительной и неизбежно жестокой. В конечном результате в течение октября главные банды повстанцев были разгромлены, предводители их перессорились между собой и движение явно пошло на убыль, претворившись в хроническое состояние брожения, проявлявшегося неорганизованными и несерьезными выступлениями. Тем не менее военно-политическая обстановка на Кавказе имела своими ближайшими последствиями срыв нашей операции против Астрахани и удержание на Северном Кавказе от 10 до 15 тысяч бойцов.

Под влиянием противоположных идей, брошенных в гущу темных племен — национализма, большевизма, панисламизма и пантюркизма, — поднятое ими движение потеряло определенные формы и всякий подъем. Только на верхах установилось прочное тяготение, притом довольно

[1] Нота от 2 октября.

неожиданное: глава наиболее широкого и опасного движения Узун-Хаджи обратился к кумыкам с воззванием, в котором, именуя себя «членом комиссии Всероссийского центрального исполнительного комитета», говорил:

«Находя, что для блага мусульман всего мира необходимо работать совместно с советской Россией, Имам Узун-Хаджи, совместно с представителями советской России, имел совещание и пришли к соглашению, что Узун-Хаджи будет исполнять временно обязанности Верховного правителя Северного Кавказа и всех мусульманских вооруженных сил, и остатки 11-й и 12-й Красных армий временно подчиняются Имаму Узун-Хаджи. На этих основаниях Узун-Хаджи уже давно принялся за работу, и уже победа, можно считать, на его стороне, ибо всюду мусульмане поднялись на своих вековых угнетателей — монархистов Кавказа».

Советское золото оказалось полновеснее...

* * *

Все усилия моего представителя в Закавказье генерала Баратова сдвинуть вопрос о примирении с мертвой точки не увенчались успехом. По-прежнему грузинская и азербайджанская печать, не исключая официальной, с исключительной злобой и сквернословием обрушивалась на «Добровольческую армию»[1]; безвозбранно и открыто велась пропаганда борьбы с «деникинской опасностью», и видные большевики, бежавшие с Северного Кавказа, пользовались гостеприимством и свободой действий в Тифлисе.

31 августа, проезжая по улице столицы в автомобиле, генерал Баратов подвергся нападению злоумышленников. Взрывом двух бомб он был тяжело ранен в ногу, которую пришлось ампутировать[2]. Достойно внимания, что глава этой шайки — видный большевик Эльбакидзе — состоял в Азербайджанской контрразведке, сплошь заполненной

[1] Как я уже говорил раньше, этот термин обнимал обыкновенно правление, командование армии, вообще Южное движение.

[2] При этом покушении был легко ранен и грузинский генерал Одишелидзе.

большевиками, организовавшими также неудавшееся покушение (с адской машиной) и на миссию нашу в Баку.

В сентябре 1919 года я счел себя вынужденным вновь напомнить английской миссии ее обязательство, предложив «обеспечить мой тыл без кровопролития, проведя мирным путем все необходимые для меня меры». В противном случае я оставлял за собой свободу действий[1].

Англичане не помогли.

Вследствие непрекращавшегося враждебного отношения Грузии и Азербайджана, в ноябре я отозвал официально миссию генерала Баратова из Тифлиса и нашего военного представителя из Баку[2]. Вместе с тем мною приняты были решительные меры к действительному осуществлению закрытия наших южных границ и экономической блокады — меры, особенно чувствительные для Грузии, которую в том году постиг неурожай.

Обстановка складывалась вообще неблагоприятно для обоих новообразований. Направление, которое стало принимать восстание горцев, и пронесшаяся по Грузии волна большевистских выступлений, заставили грузинских правителей призадуматься. Полный разгром азербайджанской армии, нанесенный ей в начале ноября армянскими партизанами в Зангезуре, показал все ничтожество ее в боевом отношении и в то же время тщетность надежд на активное заступничество Турции.[3]

Все эти обстоятельства, вместе с неудачей чеченско-дагестанского восстания, побудили и Грузию и Азербайджан изменить свою агрессивную политику, прежде всего в отношении Армении. Грузия заключила с Арменией два договора — об обязательном арбитраже и о беспошлинном транзите грузов. Зангезурский округ был отдан фактически в руки армян. Также изменилось несколько отношение к ВСЮР. Грузинское правительство отозвало из Чечни генерала Кереселидзе и своих офицеров; появилось официальное распоряжение Уссубекова[1] о прекращении дальнейшего отправления боевых припасов в Дагестан; наконец, к иностранным представителям поступила «нота» от меджилиса с жалобой на Грузию и Азербайджан за их «безучастие к восстанию горцев...»

[1] Нота от 15 сентября.

[2] Полковник Палицын состоял официально представителем при английской миссии в Баку. Неофициально чины миссии в Тифлисе оставались.

[3] Азербайджан выручило только вмешательство англичан.

Мы плохо верили этим оказательствам миролюбия, усматривая в них только инсценировку.

В начале ноября вновь получено было сообщение из Тифлиса о предстоящей посылке в Таганрог грузинской миссии «для установления дружественных отношений». Предварительно прибыл в Ростов частным образом князь Туманов «зондировать почву». Со слов Туманова, грузины уверяли впоследствии англичан, что ему предъявлены были «четыре предварительных условия» для приема делегации. По-видимому, вышло недоразумение, так как к тому времени я ставил лишь одно условие — очистить Сочинский округ, отведя грузинские войска за р. Бзыбь.

В течение двух месяцев миссия не появлялась, и когда в начале января выяснилось недоразумение и для прибытия делегации не ставилось никаких условий, мы получили из Тифлиса доклад: «Теперь, ввиду некоторой перемены политического положения, в связи с успехами большевиков и признанием закавказских правительств, вопрос о посылке (грузинами) делегации задерживается».

Около того же времени (декабрь) и Азербайджан впервые от начала своего существования сделал некоторые шаги к сближению со своим северным врагом: три члена нового кабинета Уссубекова во главе с Ханом Хойским вступили в переговоры с председателем Русского национального совета в Баку М. Ф. Подшибякиным о возможности соглашения с Вооруженными силами Юга на почве «предоставления Добровольческому флоту бакинских доков, восстановления почтово-телеграфного сообщения, установления товарообмена и *активного военного сотрудничества в борьбе с большевиками на стороне Добровольческой армии*».

[1] Азербайджанский премьер.

Неизвестно, какой оборот приняли бы эти запоздалые шаги, если бы к тому времени не последовало значительное ухудшение на фронте: армии наши в конце декабря отступили за Дон, и это обстоятельство, повергнув закавказские образования в большую тревогу, изменило вновь их политику.

С начала января возобновились усиленные переговоры бакинской и тифлисской радиостанций с Астраханью и Москвой. Что говорил Тифлис, нам не было тогда известно. Только впоследствии в книге Авалова[1] я прочел, что на предложение совместных действий против Добровольческой армии «Гегечкори ответил ссылкой на невозможность для Грузии принять участие в гражданской войне, раздирающей Россию». Бакинские же разговоры не были для нас тайной. Синтез их изложен в перехваченном 29 января радио нового министра иностранных дел Хана Хойского на имя Чичерина. «Хан Хойский, — доносил ставке штаб командующего Терско-Дагестанской области, — опровергает упреки, сделанные Чичериным Азербайджану в терпимости по отношению к Добровольческой армии, причем определенно заявляет, что *правительство Азербайджана всегда, всеми доступными ему средствами оказывало горцам поддержку и добивалось удаления сил Добровольческой армии с их территории.* Министр выражает сожаление, что ни в одной телеграмме Чичерина нет признания независимости Азербайджана. Указывая на признание независимости Польши, Финляндии и Эстонии, Хан Хойский заявляет, что переговоры могут происходить лишь на основании безусловного признания независимости Азербайджана».

Советское правительство, не предрешая этой политической дилеммы, настаивало на своем плане, предложенном еще осенью: захват советскими армиями Царицына, Петровска, Красноводска, Дербента и по овладении, таким образом, Каспийским морем, удар в тыл Вооруженным силам Юга совместно с армиями Грузии и Азербайджана... Азербайджанское правительство соглашалось на союз, товарообмен и помощь советской России живой силой, но при

[1] «Независимость Грузии».

условии, что территория Азербайджана «останется запретной, как для военных сил Добровольческой армии, так и советской России»[1].

Ни Грузия, ни Азербайджан последнего шага, однако, не сделали.

В конце января грузинское правительство, как увидим ниже, посодействовало все же «зеленой армии» Вороновича в ее операции против главной нашей базы Новороссийска; по всей вероятности — с целью умилостивить ту грозную силу, что надвигалась с севера и угрожала смести бытие Закавказских республик.

Ибо рушилась уже та единственная мощная преграда, которая обусловливала их непродолжительное самостоятельное существование, спасая от затопления красной волной.

ГЛАВА XX

СОБЫТИЯ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ (ЗЕЛЕНЫЕ). ФРОНТ НОВОРОССИИ И РАЗГРОМ ПЕТЛЮРЫ

Следующий из второстепенных военных театров — Черноморский.

Грузины оставались на Механдыри, не проявляя активности. Между нашими линиями установилось неопределенное положение «ни мира, ни войны», прерываемое временами частными пограничными столкновениями, вызванными взаимным недоверием и подозрительностью.

На Черноморском побережье с лета 1919 и до весны 1920 года нам приходилось держать отряд силою разновременно от $2^1/_2$ до $6^1/_2$ тысяч. Назначением его было обеспечение Черноморского побережья и нашей главной базы Новороссийска не только от вторжения грузин, но и от «*зеленых*», с течением времени ставших бедствием для края и серьезной угрозой нашему тылу. Они состояли неизмен-

[1] Условия, выработанные Катабековым, председателем партии Иттихат.

но под особливым покровительством Грузии, предоставлявшей приют, помощь и свободу действий возглавлявшим их организациям.

Руководители и апологеты этого движения в Черноморье стараются его идеализировать и приписывают возникновение его всецело «недемократичности», грехам и беззакониям Добровольческой армии. Взгляд и узкий, и несправедливый. К великому сожалению, окружная администрация Черноморской губернии оказалась в некоторых местах корыстной и преступной; войска злоупотребляли не раз реквизициями; контрразведка вносила своими действиями элемент произвола; карательные экспедиции были суровы. Все это правда. Но, с другой стороны, в Черноморье более чем где-либо, по бытовым и историческим условиям власть встречала противодействие населения во всех законных и естественных требованиях. Кары и репрессии вызывались тяжелой необходимостью — тем обстоятельством, что население знало хорошо свои права, но решительно уклонялось от всяких тягот и повинностей государственных.

Родоначальником зеленых был элемент уголовный и беглые красноармейцы, скрывавшиеся от красных и от белых, боясь кары. С осени 1918 года они населяли районы бывших боев — наиболее пересеченные, удобные для укрытия, засад и нападений. Безбрежные плавни Тамани, густые лесные заросли Черноморского побережья и предгорий южной Кубани, камыши Свято-Крестовского района (Ставропольской губернии) определяли расселение зеленых географически.

Знаменательно, что главными районами действий зеленых были как раз те, которые наименее испытали гнет советского режима. Трижды происходившие смены власти на Тамани и четырежды в Черноморье, широкая пропаганда кубанских самостийников и явное попустительство их дезертирству расширяли контингент вольных и случайных участников зеленого движения.

Наконец, Черноморская губерния по преимуществу служила издавна этапом или пристанищем для разного бездомного, вольного, бродячего люда, находившегося в постоянной коллизии с законом, властью и обществом.

Добывали зеленые оружие и патроны из числа припрятанного на местах ушедшими с фронта солдатами, путем нападения на мелкие воинские команды и регулярным порядком — от грузинских властей. Ходили они малыми группами или большими организованными партиями, жили грабежом и встречали отпор, не раз вооруженный, со стороны местного населения. Мало-помалу, однако, воровской промысел становился все труднее и опаснее, а приток недовольного местного люда устанавливал связи с населением. И чисто бунтарское движение, не меняя своей внутренней сущности (уклонения от голодной трудовой жизни или — от суда и наказания и прежде всего, больше всего от воинской повинности), принимало внешний облик борьбы за «попранные права народа», за «свободу». Свободу оставаться безучастным в происходящей междоусобной борьбе. Это уклонение оказалось невозможным.

Насколько далеко было от идеальных побуждений в своих стремлениях и целях зеленое движение, настолько же определенна была его практика, в общем мало отличавшаяся от практики махновщины, атаманщины и просто бандитизма. Зеленые устраивали крушения поездов, грабили пассажиров, брали заложников; производили набеги на мирные деревни и поселки, угоняя скот, захватывая добро, производя насильственные мобилизации и убивая сопротивляющихся. «Свобода» получала однобокое толкование. И ударяя одним концом по власти, другим зеленые больно били по населению, в особенности в Черноморье, которое жило подвозом, и без того до крайности затрудненным кубанскими рогатками, а теперь, в силу отсутствия элементарных условий безопасности, паралича сообщений и товарного оборота, было терроризировано и обречено на голод.

Нужно отметить, что чисто местные зеленые крестьянские отряды Черноморья были значительно человечнее, чем пришлые и чем их собратья на Украине и Тамани.

Движение это на Юге политическими группировками, старавшимися привить ему, хотя бы внешне свою идеологию, было использовано в двух направлениях.

Кубанские зеленые[1] попали всецело под влияние и руководство «Екатеринодарского комитета российской коммунистической партии» и влились в общее большевистское русло. Это влияние с осени 1919 года разделялось между большевиками и самостийными деятелями Кубанской рады[2], вначале предполагавшими использовать зеленую армию для утверждения самостийности Кубани, потом мало-помалу склонившимися к приятию большевизма и мечтавшими заслужить расположение советской власти.

Черноморские зеленые попали в руки социалистической демократии, в лице «Социалистического блока Сочинской думы», «Черноморского крестьянского комитета», позднее «Комитета освобождения Черноморья». За этими учреждениями стояла реальная помощь Грузии и тайное влияние советской России. Оттого возглавление зеленых здесь, невзирая на преобладание эсеров, лишено было определенной политической физиономии, объединяясь лишь во враждебном чувстве к Добровольческой армии. В организации нашли место большевик Цвангер, известный «сенатор» Соколов (пребывавший в Тифлисе), члены «Комуча» эсеры Филипповский и Сорокин (имевшие уже за собою печальный опыт на Волге), грузин Джанашия, (новоявленный народный печальник), ротмистр гвардии Воронович и другие представители русского социализма, грузинского шовинизма, московского большевизма и вненационального авантюризма. Поэтому «Комитет освобождения», устанавливая задним числом идеологию зеленых, страдал некоторым косоглазием. Комитет «обращал свои взоры в сторону демократической Грузии», с которой его соединяла «общая опасность и общая верность революции» и «в творчестве демократической государственности» которой он видел «прообраз грядущей свободной жизни». И в то же время Комитет поглядывал в сторону Москвы, с которой Черноморье «объединено

[1] Организация именовалась «Штаб Кубанско-Черноморской зеленой советской армии».

[2] Некоторые члены Рады занимались гласно сбором денег и продуктов для зеленоармейцев. Наиболее активное участие принимали Шеховцев, Пилюк, Крикун, братья Рябоволы и др.

стремлением к одной и той же конечной цели — социализму, а в данный момент еще и общей борьбой против общего врага — Добровольческой армии». Они не хотят власти коммунистов, но... «мы с замиранием сердца следим за разыгрывающейся гигантской борьбой между советской армией и реакционными полчищами Деникина и радуемся каждому успеху советских войск. И с нетерпением ожидаем мы того великого исторического момента, когда под нашими ударами рухнет реакция, и на всем пространстве России восторжествует власть трудового народа»[1].

Что обещали они — эти «черноморские крестьяне» Филипповский, Воронович, Сорокин и другие — крестьянам Черноморья? Изгнание добровольцев и «образование Черноморской демократической республики» впредь до вхождения ее в свободный союз народов «Российской федеративной республики...» В качестве союзников для осуществления этой цели они указывали на английское командование, которое должно было «нейтрализовать Сочинский округ»; на Грузию и Кубань; на «всю трудовую демократию России, Европы и Америки»; наконец, на Совет народных комиссаров, которому предлагалось самоупраздниться и «образовать коалиционное социалистическое правительство...»

При мощном содействии всех этих факторов в благословенном природой Черноморье должно было возникнуть свободное государство, не знающее войны, мобилизаций, повинностей и налогов.

Романтика или нечто гораздо худшее?

Небезынтересно, что местные легальные социалистические организации Черноморья в Новороссийске временно устранились от политической борьбы и направили свою работу исключительно в сторону улучшения экономической жизни края.

* * *

Первая мобилизация послужила главным толчком к восстанию зеленых. В апреле 1919 года, одновременно с наступлением грузин, наш фронт был атакован и зелеными, группи-

[1] Из «обращений» комитета к грузинскому народу и к Совету народных комиссаров. Декабрь 1919 года.

ровавшимися главными силами в районе села Пластунского. Восстание было вскоре подавлено. Но повсеместные неорганизованные нападения зеленых не прекращались и в конце июля заставили нас принять более серьезные меры: вооруженные силы были увеличены за счет третьеочередных кубанских частей, общее командование войсками Черноморья и соседних кубанских отделов было объединено в руках генерала Добророльского и начались правильные операции по окружению и очистке районов восстания. Эти операции увенчались успехом, и движение к октябрю пошло совсем на убыль, тем более что наступившие холода сильно разредили ряды зеленых, расходившихся по домам. Вместе с тем начала налаживаться несколько хозяйственная жизнь края.

Такой оборот дела не входил в расчет революционной демократии. Усердием черноморского «Крестьянского комитета» 5 ноября в Гаграх в районе оккупации грузин и под их покровительством был собран «Делегатский съезд черноморского крестьянства», на котором был избран «Комитет освобождения» во главе с Самариным-Филипповским и «главный штаб» во главе с Вороновичем, которому поручено было организовать «крестьянское ополчение». Комитет решил, что «единственный способ освободить Черноморье от тирании — это вооруженная борьба с Деникиным»[1]. Предстояло лишь выбрать наиболее благоприятный момент для открытия военных действий и «изгнать добровольцев». Дальнейший ход событий Комитету и, в частности, Вороновичу, представлялся в таком виде: «У нас будет тогда обширная территория (?), все население которой твердо решило бороться со всякими попытками насильственного подчинения края какой бы то ни было чуждой ему власти. А естественные, труднодоступные границы Черноморья позволят нам с незначительными силами обороняться от наступления врагов. Большевики не решатся на такую борьбу, ибо у них в тылу останется Кубань, где к тому времени неизбежно вспыхнут антибольшевистские восстания казаков»[2].

И снова невольно напрашивается вопрос: романтика или нечто гораздо худшее?

[1] «Зеленая книга» Вороновича.

[2] *Воронович.* «Архив русской революции». Т. VII.

Между тем к началу декабря, ввиду тяжелого положения на нашем фронте, все силы, которые только можно было снять со второстепенных театров, были переброшены на север. Туда же была направлена 2-я дивизия, стоявшая издавна на Побережье. Ее заменил сводный полк 52-й пехотной дивизии, сформированный на Северном Кавказе, состоявший почти исключительно из пленных красноармейцев и имевший уже в своем прошлом (летом 1919 года) мятеж с убийством офицеров и переходом к большевикам[1]. Предполагалось, что на *пассивном грузинском* фронте эти части, приведенные в порядок, устоят.

* * *

15 января Ставкой получено было донесение, что на Сочинском фронте грузины перешли в наступление. В течение целой недели продолжали поступать неизменно донесения о боях с *грузинами* и о беспорядочном отступлении наших войск. Я приказал прервать всякие сношения с Грузией, выселить официальных представителей ее с территории Вооруженных сил Юга; Черноморскому флоту идти к берегам Грузии и открыть военные действия. Очередной угольный кризис задержал выполнение приказа, а тем временем грузинское правительство доказало непреложно, что *грузинская армия* стоит на месте и никаких военных действий не открывала.

«Недоразумение» явилось следствием растерянности местных ближайших военных начальников, но имело весьма серьезные основания. Наступали в действительности зеленые Вороновича, но накопились они в нейтральной полосе местами под прикрытием грузинских аванпостов, и с фронта шел батальон грузинской народной гвардии, от которого официально отреклось грузинское командование[2]. И хотя соучастие и помощь грузинского правительства были несомненны, внешне все обстояло лояльно, и я, ввиду общего критического положения, вынужден был признать объяснения грузин удовлетворительными и возобновить с ними прерванные переговоры.

[1] Ширванский полк на Каспийском побережье. С тех пор сводки Северокавказского штаба отмечали не раз «доблестное поведение» полка.

[2] Нами были захвачены пленные грузины из этого батальона.

15 января ротмистр Воронович, собрав в нейтральной полосе около 600 зеленых, ударил с ними на нашу позицию в районе Адлера. Одновременно в тылу ее в нескольких местах шайки зеленых захватили переправы и преградили береговую дорогу. Сводные части 52-й дивизии не оказали почти никакого сопротивления: меньшая часть бежала, большая выкинула белый флаг и передалась на сторону зеленых. В трагическое положение попало офицерство и верная долгу артиллерия, брошенная своей пехотой и пробивавшаяся самостоятельно на север. Так катилась смешанная волна мятежников, дезертиров и зеленых на север по побережью и 11 февраля докатилась до Туапсе, где собравшиеся там остатки 52 пехотной дивизии, кубанские пластуны и Черноморский полк местного формирования подняли мятеж, ознаменованный насилиями, грабежом населения и убийством многих офицеров. Большинство этих частей перешло к зеленым[1].

Принимая во внимание эти привходящие обстоятельства, видно, что военные заслуги «зеленой армии» и, в частности, сравнение себя с маршалом Неем, высказанное ротмистром Вороновичем, грешат некоторым преувеличением[2].

Между тем черноморские крестьяне, столь сознательно разделявшие идеи Комитета освобождения и столь самостоятельно решившие бороться до конца «за свободу», *поголовно* разошлись по домам, так как они «очень устали от беспрерывных боев и походов» и кроме того... близилось время полевых работ. На фронте осталась только армия дезертиров из состава наших войск. Числом до 3—4 тысяч, имея много пушек, оружия и боевых припасов, попавших в их руки, банды эти подступили к Геленджику, остановленные там подошедшими частями 2-й дивизии.

---

[1] Сопротивление оказывали почти исключительно офицерские отряды и артиллерия.

[2] Из статьи Вороновича в «Архиве русской революции»: «...Я думаю, что во всей военной истории еще не было такого случая, чтобы командующий армией стоял часовым на передовом посту, лично прикрывая свою армию. Впрочем, я вспомнил: маршал Ней представлял собой однажды «арьергард великой армии...»

Новороссийск переживал дни большой тревоги, почти паники... Донесения о положении на новом фронте отличались большой неопределенностью и преувеличениями, нервируя Ставку. Английское дипломатическое представительство (генерал Киз), совершенно не разбиравшееся в наших внутренних делах, продолжало переговоры с Комитетом и Вороновичем о «примирении», дискредитируя только своим вмешательством главное командование[1]. А банды, избрав «реввоенсовет», во главе с прибывшими представителями 9-й советской армии товарищами Соркиным и Цимбалистом свергли власть Вороновича и Комитета, объявив себя «Черноморской красной советской армией». Эта армия, как оказалось в дальнейшем, не имела большого желания наступать на Новороссийск по узкому береговому пространству под огнем судовой артиллерии, предпочитая движение на север от Туапсе в пределы мятущейся Кубани.

Между советским командованием и Комитетом освобождения, уверовавшим якобы в эволюцию большевизма, состоялось соглашение, в силу которого «реввоенсовету» предоставлено было «командование фронтом и власть в прифронтовой полосе», а за Комитетом остался Сочинский округ.

Революционная демократия, добросовестно выполнив свою задачу в пользу большевиков, затем, за ненадобностью, была сметена набежавшей красной волной: большинство членов Комитета освобождения и других деятелей зеленого движения были арестованы большевиками, многие из них расстреляны; Воронович бежал в Гагры под крыло грузин и оттуда вскоре посыпались вновь воззвания ко «всей трудовой демократии России, Европы и Америки», рисовавшие подлинно страшные картины большевистского владычества в Черноморье.

* * *

Вполне удачно протекала операция на Петлюровском фронте.

В начале мая 1919 года вся Украина находилась в руках советской власти, и правительство Петлюры перешло на

---

[1] Киз на английском миноносце привозил Вороновича в Новороссийск с целью устроить свидание его с представителями главного командования; в этом ему было категорически отказано.

территорию Галиции вместе с бывшим у него корпусом галичан и «надднепрянскими» войсками. К тому же времени (8 мая), воспользовавшись трудным положением галицийских войск, поставленных теперь между двумя противниками в тесном районе между Львовом и р. Збручем, поляки на всем галицком фронте перешли в общее наступление. Дважды галицийское командование уславливалось с поляками о приостановке военных действий, и дважды условие было нарушено. Польское наступление, встречая вначале сильное сопротивление, обратилось вскоре в преследование расстроенного совершенно противника, не имевшего тыла. 4 июля польская армия, очистив от украинских войск всю Галицию, достигла Збруча, то есть той своей восточной границы, которая предначертана была Версальским Верховным советом.

Дальнейшая борьба с галицко-украинскими войсками, во главе которых стал Петлюра, не входила в польские расчеты. Не тревожимый более с запада, воспользовавшись крайним ослаблением 12-й советской армии, раскинувшейся, ввиду наступления войск Юга, до Херсона, Петлюра вступил в Подольскую губернии, медленно продвигаясь в направлении на Жмеринку и Бердичев. С поляками украинское командование вошло вновь в переговоры: 5 августа Петлюра «отказался» в пользу Польши от «Покутья»[1], оккупированного до того румынами, а 19 августа, то есть на третий день после занятия нами Киева, между Петлюрой и Пилсудским было заключено перемирие сроком на один месяц.

Между поляками и украинцами установлена была демаркационная линия по Збручу и далее на Волочиск—Мозырь.

Как известно, военные действия между поляками и украинцами более не возобновлялись; Петлюра. вступив затем в тесные договорные отношения с Польшей, «отдал» ей Галицию, Прикарпатскую Русь, Холмщину, большую часть Волыни и часть Подолии, играя с тех пор трагикомическую роль «союзника», послушного орудия польской политики.

В связи с движением от Полтавы к Киеву и от Одессы к Бирзуле наших войск, разгромивших на своем пути 12-ю и 14-ю советские армии, украинцы свободно продвинулись вперед до линии Киев—Умань—Бирзула, на которой 17—20 августа произошла встреча их с Добровольческими войсками. 17 августа одновременно вступили в Киев войска генерала Бредова и одного из галицких корпусов. 18-го между Бредовым и «командующим киевской группой галицких войск» состоялось соглашение, в силу которого галичане «во избежание братского кровопролития» были отведены на переход к югу от Киева, где должны были ожидать результатов переговоров между главным командованием обеих армий. При этом в одном из пунктов письменного договора галицийский командующий заявлял, что «Галицийская армия действует независимо от войск Петлюры под собственным галицийским командованием, без всякой политической программы, с одной лишь целью борьбы с большевизмом».

[1] Часть Прикарпатской Руси севернее Буковины, район Коломыи.

29 августа и в Одесском направлении, на станции Затишье[1] также произошла встреча с петлюровцами, причем делегация последних предложила войскам Добровольческой армии, «оказавшимся по причине общей борьбы с большевиками на территории Украинской народной республики», отойти к Одессе за Раздельную, где и установить демаркационную линию. Начальник нашего отряда уклонился от ответа за неимением инструкций. Но через день петлюровцы напали врасплох на станцию Затишье, захватив и обезоружив находившиеся там два наших эскадрона.

Между тем 31 августа на пост Волынский[2] прибыла делегация уже от украинского главного командования[3], во главе с генералом Омельяновичем-Павленко, имея поручение установить демаркационную линию и соглашение относительно совместных военных действий против большевиков[4]. Киевское командование, ознакомив делегацию с «лозунгами Добровольческой армии», уклонилось от прямых ответов, обещая запросить Ставку. Вследствие неисправности связи

[1] В 120 верстах севернее Одессы.

[2] Станция возле Киева.

[3] Документы подписаны были: «за Верховного главнокомандующего генерала Юнакив» (бывший русский генерал Юнаков).

[4] Павленко откровенно заявил, что к соглашению побуждают украинцев представители держав Согласия.

я получил доклад об этом эпизоде только 7 сентября, одновременно... с текстом прокламаций, разбрасываемых петлюровскими аэропланами, летавшими над Киевом:

«...После красной сотни черная сотня завладела Киевом. Надо освободить Киев от грязных рук чужеземцев и передать его в чистые украинские руки»[1].

«...Приближается момент решительной борьбы с помещиками и офицерами...[2]

• • •

Украинские эмиссары, разбросанные по свету, вели весьма деятельную пропетлюровскую агитацию. Неумеренность в определении своих сил и значения («армия — почти 500 тысяч», «народ — ждет не дождется прихода своей петлюровской власти») и чрезвычайный оппортунизм (какие угодно территориальные компенсации, протектораты, концессии) — все это производило известное впечатление на правительства Согласия, выражаясь наглядно в настойчивых предложениях их, обращенных ко мне. Так, Черчилль 10 августа телеграфировал, что «при настоящей критической конъюнктуре было бы благоразумно идти, насколько возможно, навстречу украинским сепаратистским тенденциям». Французское правительство, невзирая на официальный разрыв сношений с петлюровским правительством, происшедший незадолго до падения Одессы, не переставало вести с ним переговоры, держа при штабе Петлюры негласную военную миссию[3]. Клемансо поручил военному агенту в Румынии генералу Петену «устроить сотрудничество Деникина и Петлюры». Наконец, представитель американской миссии в Варшаве генерал Джудвин, прибывший

[1] Подписали генералы Юнакив и Курманович.

[2] Подписал министр-председатель и внутренних дел — Мазепа.

[3] На запрос по этому поводу таганрогской английской миссии французский военный агент в Румынии уведомил, что «на Украине нет французских офицеров, аккредитованных при Петлюре». Есть только «контрразведывательный пункт в Каменец-Подольске» и «офицер генерального штаба для собирания сведений». Замечено также присутствие на Украине «французских торговцев в военной форме».

Нота английской миссии от 21 сентября, № 2111.

6 сентября в Киев, настойчиво убеждал заключить с Петлюрой перемирие по типу существовавшего между ним и Польшей.

В сношениях своих с представителями держав Согласия украинское командование определяло «временную линию для разграничения действий против большевиков между армией украинской и генерала Деникина»: Днепр от устья до Кременчуга и далее Кременчуг—Ромны—Конотоп—Новгород-Северск[1].

В какой же форме мыслилось взаимодействие украинцев с Вооруженными силами Юга?

Хотя официозная пресса директории и приказная литература украинского штаба в отношении Добровольческой армии проявляла всегда крайнюю нетерпимость, однако попытки соглашения делались и раньше. 2 июля украинский эмиссар полковник Стрижевский посетил в Бухаресте нашего военного представителя генерала Геруа и сделал ему предложение, сводившееся к следующему:

1. Во внешней политике украинское правительство «готово действовать с кем угодно, хотя бы с китайцами». Допускает союз и федерацию также «с кем угодно».

2. Отказ от самостийности немыслим: «подобное признание явилось бы для нас (украинцев) самоотрицанием».

3. «Отлагая разрешение всех острых вопросов о будущем устройстве Русского государства и положении Украины...» петлюровское правительство согласно «создать единый боевой фронт... под командованием генерала Деникина...»

4. Общая перспектива: добровольцы идут под флагом Единой, Неделимой России, петлюровцы — под «прапором» независимости Украины, а после победы над большевиками борьба между обоими «союзниками» возобновляется»[2].

Интересно, что в те же дни Стрижевский обратился к румынскому правительству с «меморандумом»[3], в котором он

[1] Нота «Дипломатической миссии Украинской республики в Румынии» представителям держав Согласия. От 7 сентября нового стиля, № 117.

[2] Доклад генерала Геруа от 3 июля, № 526.

[3] От 23 июня, № 37.

противополагал Россию — «страну дикости и деспотизма, вся история которой построена на насилии и порабощении» — украинскому народу, с его «нежной романтической культурой и развитием эстетики...» Указывал на одинаковую опасность для Румынии и со стороны большевиков, «угрожающих залить ее своим потоком», и со стороны антибольшевиков, «желающих ей такого же разрушения и ослабления, имеющих в виду отторжение от Румынии некоторых частей (Бессарабии) для Единой, Неделимой России». Ввиду этого Украина предлагала Румынии «подать другу другу руки», пойти в отношении Румынии на все территориальные «уступки и даже жертвы» и защитить ее от большевиков и антибольшевиков. Взамен за это Румыния должна была помочь Украине оружием и снаряжением (бывшим российским!) и обеспечить тыл украинских войск (от Вооруженных сил Юга?).

Оппортунизм украинской директории переходил границы не только национального самосознания, но и целесообразности. Мы видели, что эта директория искала «дружбы и союза» с большевиками (декабрь 1918 года) и союза с нами (июль 1919 года). Всемерно добиваясь признания и помощи держав Согласия, она поддерживала тесную связь с германским правительством, которое в меру своих ограниченных возможностей помогало Украине деньгами, воздухоплавательными аппаратами, военными специалистами и формированием в Германии украинских частей из военнопленных[1].

В то же время директория входила в соглашение с Польшей — врагом Германии и галичан — ценою земель «украинских» и галицких и оставления в руках польских помещиков всех их латифундий на Украине; с Румынией — ценою земель российских; с Махно — в силу общей враждебности против белых армий. Наконец, Петлюра сумел снискать расположение и папского престола, открывая ему широкие перспективы насаждения католичества в полузависимой от Польши «украинской державе».

Этот оппортунизм не привел ни к чему. Можно сказать, что с начала 1919 года директория и Петлюра потеряли всякий престиж и значение самодовлеющего национального

[1] Маршал Фош в апреле 1919 года запретил эти формирования.

фактора, став игрушкой в международной политике, в водовороте противоположных течений и взаимно исключающих друг друга интересов. Ценность такого «союзника» в отношении политическом была более чем проблематична.

Но, быть может, в военном отношении украинская армия представляла собой крупный фактор?

Прежде всего, в структуре украинской кочевой государственности было две верховные власти — директория Петлюры и галицийский «диктатор» Петрашевич, два правительства и две армии — украинская[1] и галицийская[2], объединенные под общим начальством «генералиссимуса» Петлюры. Численность этих армий была внушительна — 35—40 тысяч, из которых большая часть (около 20 тысяч) были галичане. Боевая годность армий была неодинакова. Украинская представляла собой разлагающиеся банды, митинговавшие и не желавшие драться вообще. Галицийская сохраняла дисциплину и боеспособность, но с потерей своей территории и ясного стимула борьбы — освобождения своей родины от поляков — пала духом. Она сохраняла ненависть к полякам и не имела желания драться с русскими — безразлично: красными или белыми.

Если между украинским и галицийским правительством всегда существовали натянутые отношения, то теперь, после перехода в Малороссию и заключения Петлюрой договора с Польшей, между ними легла глубокая трещина, вот-вот готовая вызвать полный разрыв. Такие же отношения были между командованиями. Еще ранее, в середине июня, на почве взаимных захватов запасов доходило до того, что петлюровское военное министерство решило отказаться от снабжения галицийской армии, поставить на границе стражу и ничего не выпускать в Галичину.

Обе армии испытывали страшнейшую нужду в одежде, амуниции и, в особенности, в оружии и боевых припасах.

* * *

Таковы были предпосылки для установления отношения к движению Петлюры. Ко времени соприкосновения наших

[1] Главнокомандующий — атаман Тютюник.

[2] Главнокомандующий — генерал Тарнавский.

фронтов большая часть Малороссии и Новороссии были освобождены и заняты добровольческими армиями. Какие же перспективы открывал нам союз с Петлюрой? Он повлек бы за собой передачу судеб края и нашего тыла в руки правительства, глубоко и органически нам враждебного, ввергнувшего уже однажды (зимой 1918—1919 годов) всю Украину в анархию; в руки армии, показавшей свою полную небоеспособсость в борьбе с большевиками.

Не было сомнения, что никаких других задач, кроме овладения Украиной, петлюровское правительство не преследовало и что при первом удобном случае, а тем более при известных посулах со стороны советской власти, украинские штыки будут повернуты против нас. Если только сама армия не разбилась бы раньше времени, как это имело место в начале года, на ряд крупных повстанческих банд, парализуя окончательно наш тыл. Предоставить огромные материальные и людские ресурсы правобережной Малороссии Петлюре (и Махно?), вооружать и снабжать его армию руками союзников представлялось по меньшей мере нелепым. Наконец, идти вместе с Петлюрой, стремящимся к отторжению от России Украины и Новороссии, значило бы порвать с идеей единой, неделимой России — идеей, глубоко проникшей в сознание вождей и армии, и тем вселить в рядах ее опаснейшее смущение.

Трехцветное национальное знамя отталкивало одних и привлекало других. Но только под его сенью можно было собрать и двинуть на Москву те силы, которые служили оплотом русских белых армий.

И потому в согласии с командованием добровольческим, киевским и новороссийским я решил вопрос отрицательно. Представители Согласия заблаговременно, еще 3 августа, были уведомлены о невозможности какого бы то ни было взаимодействия нашего с Петлюрой.

В конце концов английское и французское командования восприняли эту точку зрения, и когда в начале сентября обнаружилось движение петлюровцев, угрожавшее Одессе, адмирал Сеймур и генерал Франше д'Эспре отдали приказание союзным флотам принять участие в отражении его. Добровольческим войскам я дал указание: «...Самостийной Украины не признаю. Петлюровцы могут быть или нейтральны, тогда они должны немедленно сдать оружие и разойтись по домам; или же примкнуть к нам, признав наши лозунги, один из которых — широкая автономия окраин. Если петлюровцы не выполнят этих условий, то их надлежит считать таким же противником, как и большевиков»[1].

Вместе с тем указывалось на необходимость «дружелюбного отношения к галичанам, с целью извлечь их из подчинения Петлюре. Если же это достигнуто не будет, то считать и их враждебной стороной»[2].

Переговоры не привели ни к чему, и в начале сентября начались военные действия.

За время с августа по ноябрь на петлюровском фронте из состава войск Новороссии, включая и 5-ю дивизию Добровольческой армии, участвовало 8—10 тысяч бойцов, преимущественно местного укомплектования, из которых часть, временами довольно значительная, отвлекалась для борьбы с Махно и другими повстанцами. На генерала Шиллинга возложена была задача — прочно заняв Николаев, Херсон и Одессу, наступать на фронт Казатин—Жмеринка—Могилев-Подольский.

В дальнейшем большую часть войск Новороссии предполагалось перебросить на фронт Добровольческой армии.

Наступая в трех направлениях — с востока на Каватин, с юго-востока и юга на Вапнярку — войска генерала Шиллинга нанесли петлюровцам ряд поражений под Уманью, Гайсиным и Бирзулой. 9 октября совместными действиями колонн генерала Слащева и Розеншильд-Паулина взята была Вапнярка и захвачено много трофеев. Петлюра, перебросив на южное направление шесть галицийских бригад, повел контрнаступление вдоль Южного Буга. В результате двухнедельных боев сопротивление петлюровцев было сломлено, и армии их в конце октября вынуждены были отступать на всем фронте, неся огромные потери.

На совещании 21 октября в Жмеринке украинских и галицийских старших начальников и представителей общественных и профсоюзных организаций было выяснено, что крестьянство не даст ни мобилизованных, ни хлеба; армии

[1] 10 августа, № 11671.

[2] 8 августа, 9 сентября и др.

разложились, боевые припасы истощились... Ставился вопрос о невозможности самостоятельного продолжения борьбы и необходимости примкнуть к одной из сторон — к добровольцам, большевикам или полякам[1].

Между тем обстановка на южном Днепре заставила меня перебросить туда против Махно почти половину сил Новороссии — сводный корпус генерала Слащева. Тем не менее оставшиеся части продолжали преследование петлюровцев. 29 октября колонна генерала Розеншильда-Паулина взяла Жмеринку, и в дальнейшем обе колонны (Розеншильда-Паулина и Осовского), разбив остатки петлюровских войск, в начале ноября вышли на фронт Волочиск—Бердичев—Казатин.

Галицийская армия в полном составе перешла на нашу сторону. В силу заключенного 3 ноября договора эта армия, сохраняя свою организацию и внутренний распорядок, «поступила в полное распоряжение главнокомандующего Вооруженными силами Юга», причем она не могла быть направлена против петлюровской армии. Разрешение вопроса о политических взаимоотношениях откладывалось, но за «диктатором Галиции» (Петрашевичем) сохранялось право руководства и контроля внутренней жизни армии.

Галицийская армия была отведена в тыл[2]. Она сохранила до конца дисциплину и полную лояльность. Но потрясенная морально, изможденная физически, страшно нуждающаяся, имевшая до 10 тысяч больных сыпным тифом, в тот краткий срок, который предоставлен был развертывавшимися событиями, армия не могла вернуть своей боеспособности.

Украинская армия частью взята была в плен, частью разбрелась. Ничтожная часть ее, штаб и правительство Петлюры бежали за линию польского фронта[3].

---

[1] По показаниям офицеров петлюровского штаба, бежавших к нам. За присоединение к Добровольческой армии высказалось якобы 37 голосов, к полякам — 22 голоса, к большевикам — 7.

[2] По спискам, едоков числилось 50 тысяч. Одна бригада должна была прикрывать сосредоточение армии, заняв Бердичев.

[3] В апреле 1920 года поляки, совместно со вновь организованной армией Петлюры, предприняли наступление на Киев (советский), окончившееся их поражением.

Выйдя на линию Волочиск—Казатин, войска Новороссии вступили в непосредственное соприкосновение: с фланга — с польской армией по линии Збруч, с фронта — с 12-й советской армией. Положение этой последней, сжатой с трех сторон, становилось критическим, и открытие военных действий поляками давало объективную возможность изменить в корне всю стратегическую обстановку Киевского района, освободив войска его для удара в восточном направлении, что, в свою очередь, могло бы вызвать перелом в положении главного фронта.

Этого, как известно, не случилось.

ГЛАВА XXI

ОТСТУПЛЕНИЕ АРМИЙ ЮГА НА ОДЕССУ И КРЫМ, ЗА ДОН И САЛ

К концу ноября обстановка на противобольшевистском театре Вооруженных сил Юга была такова.

На западе, в Киевской области, войска наши удерживались на Ирпени и у Фастова; левое крыло 12-й советской армии, прервав связь между киевскими войсками и Добровольческой армией, подвигалось с боями по левому берегу Днепра к самому Киеву, одновременно угрожая Черкассам и Кременчугу.

В центре, отдав Полтаву и Харьков, Добровольческая армия вела бои на линии от Днепра на Константиноград—Змиёв—Купянск; далее шел фронт Донской армии, отброшенный от Павловска и от Хопра к Богучарам и за Дон, главным образом, конным корпусам Думенко, вышедшим в разрез между 1-м и 2-м Донскими корпусами. Между Добровольческой и Донской армиями образовался глубокий клин к Старобельску, в который прорывалась конница Буденного[1].

На востоке в начале ноября 10-я советская армия перешла вновь в наступление на Царицын, но была отброшена Кавказской армией с большими потерями. В середине но-

---

[1] К концу периода, усиленная конницей и пехотой, эта советская группа образовала 1-ю Конную армию Буденного.

ября, ввиду начавшегося ледохода, наши заволжские части были переведены на правый берег, и вся армия стянута к Царицынской укрепленной позиции. С тех пор многострадальный город подвергался почти ежедневно артиллерийскому обстрелу с левого берега, а части 10-й и 11-й советских армий вели на него демонстративное наступление с севера и юга, успешно отбиваемое Кавказской армией.

Общая идея дальнейшей операции ВСЮР заключалась в том, чтобы обеспечить фланги (Киев, Царицын), прикрываясь Днепром и Доном, и, перейдя на всем фронте к обороне, правым крылом Добровольческой и левым Донской армий нанести удар группе красных, прорывавшихся в направлении Воронеж—Ростов[1].

Новое назначение генерала Врангеля внесло много осложнений и атмосферу внутреннего разлада, особенно тягостную в обстановке потрясений, переживаемых тогда армиями и мной.

Прежде всего последовал рапорт с изложением «пренебрежения (нами) основных принципов военного искусства» в прошлом и преимущества стратегических предположений генерала Врангеля. И этот рапорт был также сообщен им старшим начальникам... Новый командующий нарисовал удручающую картину наследия, полученного им от генерала Май-Маевского: систему «самоснабжения», обратившую «войну в средство наживы, а довольствие местными средствами — в грабеж и спекуляцию...» Развращенные этой системой и «примером некоторых из старших начальников» войска... Громадные «тылы», запрудившие все пути... Хаотическая эвакуация, осложненная нахлынувшей волной беженцев... И как вывод: «Армии, как боевой силы, нет!»

Велики и многообразны были прегрешения Добровольческой армии, но отнюдь, конечно, не больше, чем у киевской, новороссийской, Донской и той, которой командовал барон Врангель, — Кавказской. Но так как про вины других никто из их начальников не говорил так громко, в общественном сознании могла получиться известная психологическая аберрация... Мне не хотелось бы сравнивать степень греховности... К сожалению, все армии грешили и всем есть в чем покаяться.

[1] Директива от 29 ноября и 6 декабря.

Но глубоко ошибочен был вывод. Армия, которая под ударами почти втрое превосходившего ее силами противника в течение двух месяцев на расстоянии 400 верст — от Орла до Харькова, — потеряв в кровавых боях до 50% своего состава, могла еще противостоять напору противника, маневрировать, отражать атаки, сама с успехом атаковать — такая армия не умерла.

Сквозь внешнюю неприглядную обстановку, под наносным слоем пыли и грязи жив был тот дух неумирающий, который горел в ней во времена Первого и Второго походов, который выводил горсть храбрецов из сплошного большевистского кольца, бросал их, почти безоружных, на бронированные поезда и давал им победу в столкновении с противником, во много раз сильнейшим...

Ближайшие недели борьбы за Доном и вся последующая история армии показали, что дух этот не угасал.

С первых же дней обнаружились и новые стратегические расхождения. Генерал Врангель считал, что обстановка на правом фланге понудит его оторваться от Донской армии и отходить в Крым. Ссылаясь на неизбежность в этом случае порыва связи со Ставкой[1], он просил о назначении общего начальника над армиями Киевщины, Новороссии и Добровольческой. Я ответил генералу Врангелю, что не допускаю и мысли об отходе в Крым. И если удержаться нельзя будет, отступать можно только на Ростов в связи с Донской армией, каких бы жертв это ни стоило[2]. По этому поводу дважды еще запрашивал Ставку по телеграфу начальник штаба Добровольческой армии генерал Шатилов. В то же время общая линия фронта, группировка войск и направление подкреплений не давали уверенности в твердом стремлении командующего

[1] Почему — было неясно, так как с Крымом сообщались через Новороссийск.

[2] Советское командование было уверено, что, потерпев поражение, Добровольческая армия вынуждена будет отойти на запад. Исходя из этого, советским войскам дана была директива о преследовании в этом направлении. Только 20 декабря директива была изменена.

обеспечить ростовское направление. Это обстоятельство возбудило тревогу во мне и в особенности в донском командовании и заставило принять особые меры к предотвращению большого несчастья: уход Добровольческой армии в Крым вызвал бы неминуемое и немедленное падение донского и всего казачьего фронта, что обрекало бы на страшные бедствия, быть может, на гибель десятки тысяч больных, раненых воинов[1] и семейств военнослужащих, в особенности добровольческих, рассеянных по территории Дона и Северного Кавказа. Никакие стратегические соображения не могли бы оправдать в глазах казачества этого шага, и казаки отнеслись бы к нему, как к предательству с нашей стороны.

* * *

Надежды на нашу конную группу не оправдались.

Перед отъездом в армию в Таганроге генерал Врангель заявил мне, что он не потерпит присутствия в ней генералов Шкуро и Мамонтова, как главных виновников расстройства конных корпусов. Генерал Шкуро находился тогда на Кубани в отпуске по болезни. Что касается Мамонтова, я предостерегал его от резких мер по отношению к лицу, пользующемуся, как бы то ни было, на Дону большой популярностью.

По прибытии в армию генерал Врангель назначил начальником конной группы достойнейшего и доблестного кубанского генерала Улагая. И хотя отряд этот был временный и назначение начальника его, всецело зависевшее от командующего армией, не могло считаться местничеством, оно вызвало крупный инцидент. Мамонтов обиделся и телеграфировал по всем инстанциям: «...Учитывая боевой состав конной группы, я нахожу не соответствующим достоинству Донской армии и обидным для себя заменение, как командующего конной группой, без видимых причин лицом, не принадлежащим к составу Донской армии и младшим меня по службе. На основании изложенного считаю далее невозможным оставаться на должности командира 4-го Донского корпуса». Копии этой телеграммы Мамонтов разослал всем своим полкам, а на другой день, самовольно покидая

[1] К 1 декабря 1919 года в военно-лечебных заведениях ВСЮР состояло 42 733 больных и раненых.

корпус, не без злорадства сообщал, как полки под давлением противника панически бежали.

Этот неслыханный поступок не встретил, однако, осуждения на Дону. Я отдал приказ об отрешении Мамонтова от командования и встретил неожиданную оппозицию со стороны Донского атамана и генерала Сидорина. Они указывали, что, помимо крайне неблагоприятного впечатления, произведенного удалением Мамонтова на Донскую армию, 4-й корпус весь разбегается, и собрать его может только один Мамонтов. Действительно, когда корпус был передан обратно в Донскую армию, Мамонтов вступил вновь в командование им, собрал значительное число сабель, и впоследствии за Доном корпус этот нанес несколько сильных ударов коннице Буденного.

Успехи эти не могли изменить общего положения и не компенсировали тяжкого урона, нанесенного дисциплине...

Не лучше было и в других частях конной группы. Внутренние недуги и боевые неудачи угасили дух и внесли разложение. И генерал Улагай 11 декабря доносил о полной небоеспособности своего отряда: «...Донские части, хотя и большого состава, но совсем не желают и не могут выдерживать самого легкого нажима противника... Кубанских и терских частей совершенно нет... Артиллерии почти нет, пулеметов тоже»[1].

Дезертирство кубанцев приняло массовый характер. Вместо того чтобы попытаться собрать части где-нибудь в армейском тылу, генерал Врангель отдал самовольно приказ об отводе «кадров» кубанских дивизий на Кубань для формирования, и эта мера вызвала новые тяжелые осложнения. Уклонявшиеся от боя казаки и дезертиры, которых раньше все-таки смущали совесть и некоторый страх, перешли на легальное положение. Их оказалось много, очень много: за Дон домой потекли довольно внушительного состава полки, на хороших конях, вызывая недоумение и озлобление в донцах, в подходящих подкреплениях и соблазн в кубанских дивизиях, еще остававшихся на фронте.

Дома они окончательно разложились.

Помимо всех прочих условий, большое влияние на неуспех конной группы имело то обстоятельство, что донс-

[1] Потеряны были в боях.

кая конница за все время отступательной операции, охотно атакуя неприятельскую пехоту, решительно избегала вступать в бой с конницей. По свидетельству полковника Добрынина[1], «донское командование пыталось понудить (ее) к активности, но ничего сделать не могло, так как она не исполняла приказов об атаке конницы противника».

С распадом конной группы положение Добровольческой армии становилось еще более тяжелым, и ей в дальнейшем приходилось совершать труднейший фланговый марш под ударами справа всей советской 1-й Конной армии.

• • •

После ряда резких выступлений по моему адресу я был удивлен, получив 11 декабря от барона Врангеля частное письмо следующего содержания:

«В настоящую грозную минуту, когда боевое счастье изменило нам и обрушившаяся на нас волна красной нечисти готовится, быть может, поглотить тот корабль, который Вы, как кормчий, вели сквозь бури и непогоды, я, как один из тех, кто шел за Вами почти с начала на этом корабле, нравственно считаю себя обязанным сказать Вам, что сердцем и мыслями горячо чувствую, насколько сильно должны Вы переживать настоящее испытание судьбы.

Если Вам может быть хоть малым утешением сознание, что те, кто пошел за Вами, с Вами вместе переживают и радости и горести, то прошу Вас верить, что сердцем и мыслями я ныне с Вами и рад всеми силами Вам помочь».

Я поверил этим словам, был тронут ими и ответил, что душевный порыв этот нашел во мне самый искренний отклик.

Между тем к 11 декабря под непрекращавшимся напором противника фронт центральных армий между Доном и Днепром отодвинулся еще далее на юг, до линии станица Вешенская—Славяносербск—Изюм. Центр Добровольческой армии удерживался на среднем Донце, тогда как левый фланг, испытывавший меньшее давление, оставался у Константинограда. В тот же день командующий Добровольческой армией признал дальнейшее сопротивление в Донецком бассейне невозможным и вошел с рапортом об отводе центральной группы за Дон и Сал, оставив за нами лишь плацдарм по линии Новочеркасск—Таганрог. Вместе с тем генерал Врангель считал необходимым «подготовить все, дабы в случае неудачи... сохранить кадры армии и часть технических средств, для чего ныне же войти в соглашение с союзниками о перевозке, в случае надобности, армии в иностранные пределы...»

[1] Начальник оперативного отделения штаба Донской армии.

От командования Добровольческой армией барон Врангель отказывался, предлагая свернуть ее, ввиду малочисленности, в корпус. Прибывший в Таганрог по поручению барона генерал Науменко изложил его пожелание: предоставить ему, генералу Врангелю, формирование на Кубани трех конных корпусов, которые с придачей Терского корпуса, части донской и добровольческой конницы составили бы в будущем конную армию под его начальством[1].

Под влиянием частного письма генерала Врангеля, о котором я перед этим упоминал, желая верить в его лояльность, я согласился с этим предложением, тем более что оно давало мне возможность без возбуждения обид и страстей вручить судьбу добровольцев тому, кто верил в них, хотел и мог вести их дальше. Хотя и дорогой ценой: временно уходило из официального обихода наименование «Добровольческая армия», сохранявшееся по традиции и тогда, когда «армия» в боевом составе своем насчитывала не более $1^1/_2$ тысячи бойцов[2].

Я почувствовал это особенно тягостно при ближайшей встрече в Таганроге с генералом Врангелем, который говорил:

— Добровольческая армия дискредитировала себя грабежами и насилиями. Здесь все потеряно. Идти второй раз по тем же путям и под добровольческим флагом нельзя. Нужен какой-то другой флаг.

И, не дожидаясь моего вопроса, он спешно прибавил:

— Только не монархический...

О каком флаге он говорил, так и осталось тогда невыясненным.

[1] О миссии генерала Науменко генерал Врангель предупредил Ставку 13 декабря телеграммой № 010586.

[2] 31 марта 1918 года.

Мы условились, что после оттяжки фронта армия будет свернута и генерал Врангель уедет на Кубань. Командующим Добровольческим корпусом, получившим позже наименование «Отдельного Добровольческого корпуса», был назначен старший доброволец генерал Кутепов, который со своими славными войсками вынес главную тяжесть отступления.

Итак, 10-го числа барон Врангель писал мне о своей лояльности, а на другой день произошел эпизод, рассказанный впоследствии генералом Сидориным...

11 декабря на станции Ясиноватой в штабе Добровольческой армии состоялось свидание генералов Врангеля и Сидорина[1], на котором барон, жестоко критикуя стратегию и политику Ставки, поднял вопрос о свержении главнокомандующего. Для решения этого и других сопряженных с ним вопросов генерал Врангель предполагал в один из ближайших дней созвать совещание трех командующих армиями (Врангель, Сидорин, Покровский) в Ростове. Действительно, это было сделано им в ближайшие дни телеграммой, в копии препровожденной в Ставку. Барон Врангель объяснял потом этот шаг «необходимостью выяснить целый ряд вопросов: мобилизация населения и коней в Таганрогском округе, разворачивание некоторых кубанских частей и т. д.»[2].

Оставляя в стороне вопрос о внутренних побуждениях, которыми руководствовался барон Врангель, самый факт созыва командующих армиями без разрешения главнокомандующего являлся беспримерным нарушением военных традиций и военной дисциплины.

Я указал командующим на недопустимость такого образа действий и воспретил съезд.

• • •

К середине декабря стратегическое положение Вооруженных сил Юга было таково:

К 3 декабря войска Киевской области под напором 12-й советской армии оставили левый берег Днепра и Киев. Ввиду общности с того времени задач войск киевских и новороссийских командование ими было объединено в руках генерала Шиллинга. Общая обстановка заставила меня отказаться от наступательных действий на этом театре и возложить на генерала Шиллинга лишь прикрытие Новороссии и Крыма, с тем чтобы главные силы направить спешно в район Екатеринослава для быстрой ликвидации банд Махно, по-прежнему сковывавших корпус Слащева, и для дальнейших действий во фланг и тыл противника, наступающего против Добровольческой армии[1].

[1] Сидорин выехал в Ясиноватую с моего разрешения по вопросу о направлении отхода Добровольческой армии.

[2] Ни один из этих вопросов не мог бы пройти без санкции Ставки.

Во исполнение этой директивы войска Шиллинга, ведя постоянные бои с повстанческими бандами и 12-й советской армией, нанеся последней сильный удар у Черкасс, отошли постепенно на линию Вапнярка—Бобринская (против Черкасс) и далее по Днепру, осадив лишь несколько у Кременчуга.

У Царицына установилось известное равновесие: и Кавказская и советские армии делали попытки частных наступлений, не имевшие серьезных результатов.

Добровольческая и Донская армии, продолжая отступление, отошли на линию Екатеринослав—Дебальцево—Каменская и далее в направлении к устью Хопра. Дон на всем участке между Хопром и Иловлей был перейден большевиками, выходившими в тыл центральной группе, а последняя продвинулась уже к Ростову на 200 и к Новочеркасску на 140 верст. Терялась всякая связь между Донской и Кавказской армиями.

Эти обстоятельства заставили меня принять более сосредоточенное расположение, оттянув войска с царицынского фронта. Директива от 15 декабря ставила войскам задачи: Кавказской армии отойти за линию реки Сал для прикрытия ставропольского и тихорецкого направлений; Донской и Добровольческой — стать между реками Миусом и Северным Донцом[2], прикрывая Ростов и Новочеркасск; войскам генерала Шиллинга при выполнении прежней задачи главное внимание указывалось обратить на прикрытие Крыма и Северной Таврии.

[1] Директива от 5 декабря.

[2] Линия: Цимлянская—Усть-Белокалитвенная—Каменская—Ровеньки—Матвеев Курган—лиман Миусский.

Задержка армий была необходима тем более, что не была еще закончена переброска к Ростову подкреплений и не эвакуированы армейские тылы, Таганрог, Ростов, Новочеркасск.

В ближайший плацдарм Ростова и Новочеркасска под начальством генерала Топоркова сосредоточивался мой резерв[1]. На этой позиции в случае надобности я предполагал дать решительный отпор противнику.

Указанная выше линия не была удержана. Инерция отступательного движения, в силу многообразных причин, преимущественно морального характера, влекла войска к естественному рубежу, каким являлся Дон. И к 23—24 декабря, вначале с боями, потом оторвавшись от противника, Добровольческая и Донская армии отошли на Ростово-Новочеркасский плацдарм.

Сосредоточив центральную группу на фронте не более 80 верст, я считал и необходимым и возможным даже для ослабленных наших войск дать здесь сражение. Тем более что к тому времени обозначились явно переутомление и расстройство неприятельских армий.

20 декабря ввиду объединения фронта генералу Сидорину подчинен был в оперативном отношении и Добровольческий корпус генерала Кутепова[2]. Генерал Сидорин развернул войска, прикрыв Ростов добровольцами, Новочеркасск донцами и в центре на уступе поставив конные корпуса Топоркова и Мамонтова.

К 25-му противник подтянул главные силы к нашему расположению. Бои продолжались два дня, являя переменчивую картину доблести и смятения, твердого выполнения долга и неповиновения, и окончились неудачей. В тот же день, 25-го, Донской корпус, прикрывавший Новочеркасск, под давлением конницы Думенко сдал город и отхлынул к Дону...

В центре конница генералов Мамонтова и Топоркова атаковала и разбила $1^1/_2$ неприятельских дивизии, взяв пленных и орудия, но после этого, не использовав успеха, Мамонтов отвел корпус в исходное положение... 26-го конница Буденного почти уничтожила Терскую пластунскую бригаду, поставленную в центре добровольцев, и опрокинула конницу Топоркова, а в то же время Мамонтов, невзирая на повторное приказание атаковать противника, посланное ему непосредственно мною через штаб Корниловской дивизии, бросил фронт и спешно уходил через Аксай на левый берег Дона, «опасаясь оттепели и порчи переправ...»

[1] $1^1/_2$ конных дивизии, пластунская бригада и две офицерские школы.

[2] Генерал Врангель выехал спешно на Кубань.

На остальном фронте Добровольческого корпуса весь день шел жестокий бой, причем все атаки противника неизменно отбивались; отбита была и ворвавшаяся в прорыв позиций терцев неприятельская конница. Левое крыло наше (дроздовцы и конница Барбовича) переходило в наступление, отбросив большевиков и преследуя их на 7 верст. Но со стороны Новочеркасска выходили уже в тыл колонны неприятеля. И когда дроздовцы и корниловцы, отступая по приказу, проходили через Ростов и Нахичевань, города эти были уже в руках противника; после тяжелого, упорного боя эти дивизии пробились на левый берег Дона...

27-го на левом берегу находилась уже вся армия. Ставка была переведена на станцию Тихорецкую. Наступила оттепель, переправа по льду становилась ненадежной. Советские армии сделали несколько попыток на плечах отступающих форсировать Дон, но были отражены с большим уроном.

К этому времени на востоке Кавказская армия совершала свой отход от Царицына под давлением неотступно следовавшей за ней 10-й советской армии, и к 4 января 1920 года сосредоточилась за Салом.

На западе генерал Шиллинг во исполнение своей задачи двинул корпус генерала Слащева из Екатеринослава вниз по Днепру для непосредственного прикрытия Северной Таврии; корпус генерала Промтова и бывшие киевские войска под начальством генерала Бредова Шиллинг развернул на линии Бирзула—Долинская—Никополь (исключительно), тогда как Слащев, перебросив свои тылы в Крым, стал между Днепром и Азовским морем на высоте Мелитополя. В этих районах в течение второй половины декабря войска генерала Шиллинга вели бои против частей 12-й, 13-й и 14-й советских армий, Махно и повстанческих банд, наводнявших Новороссию.

• • •

Кончился 1919 год.

Год, отмеченный для нас блестящими победами и величайшими испытаниями... Кончился цикл стратегических операций, поднявших линию нашего фронта до Орла и опустивших ее к Дону... Подвиг, самоотвержение, кровь павших и живых, военная слава частей — все светлые стороны вооруженной борьбы поблекнут отныне под мертвящей печатью неудачи.

• • •

Трехмесячное отступление, крайняя усталость, поредение армий, развал тыла, картины хаотических эвакуаций произвели ошеломляющее впечатление на общественность, отозвались болезненно на состоянии духа ее и армии и создали благоприятную почву для пессимистических настроений и панических слухов. Появились люди, которые «все предвидели» и «все предсказывали»... Люди экспансивные и неуравновешенные, с невыдержавшими нервами, которые впадали в глубочайшую безнадежность, считали, что сопротивление сломлено и борьба проиграна. И это падение воли к борьбе — иногда в прямой открытой форме, иногда под маской гуманитарных соображений или стратегических предосторожностей — тонким ядом проникало в диспуты представительных и политических организаций, в доклады некоторых военных начальников.

Я употреблял все усилия, чтобы побороть инерцию отступательного движения, видя в затяжке операций одно из действенных средств подорвать силы противника. Поход в несколько сот верст и непрестанные кровавые бои не могли не ослабить его и морально и физически, не могли не расстроить его сообщений. И я и генерал Романовский считали, что и в каменноугольном районе и на Донском плацдарме мы могли бы удержать противника, что, невзирая на неравенство сил, взаимоотношение их ценности таково, что достаточно было одного сильного удара, одного крупного успеха, чтобы перевернуть вверх дном всю стратегическую ситуацию и поменяться ролями с противником, подобно тому, как это было в мае в каменноугольном бассейне...

Люди, потерявшие равновесие, осуждали Ставку за такой «оптимизм». Между тем он покоился не только на интуитивном чувстве, но и на реальных данных. То, что открылось впоследствии, превзошло значительно наши тогдашние «оптимистические» предположения. Советские источники приоткрывают нам картину того тяжелого, почти катастрофического положения, в котором победители докатились до Дона. Страшнейшая эпидемия тифа, большие потери и дезертирство выкосили их ряды... У нас был хаос в тылу, но у них *вовсе не было никакого тыла*. «Железные дороги, — говорит советский официоз, — совершенно разрушенные противником (нами), стали. Между Красной армией и центром образовалась пропасть в 400 верст, через которую ни подвезти пополнения, ни произвести эвакуацию, ни организовать санитарную помощь было невозможно...»[1] Красные войска, предоставленные самим себе, жили исключительно местными средствами — реквизициями и повальным грабежом. Советская приказная литература постоянно отмечала эту эпидемию насилий и грабежей. И если верхи для сохранения лица приписывали эти «печальные факты» влиянию «темных элементов, примазавшихся к армии, уголовных преступников и переодетых офицеров деникинской армии»[2], то низы были откровеннее. «Что мы сделали?.. Нас встречали как освободителей, с хлебом-солью, но мы в пьяном виде делали насилие и грабеж, что на почве сего у нас в тылу за наши деланные разные незаконные проделки восставали против нас...» (из воззвания коммунистической ячейки 4-й кавалерийской дивизии армии Буденного).

Если у нас в тылу бушевали повстанчество и бандитизм, то и линия наступающего советского фронта не смела повстанцев, а только перекинулась через них, и они работали теперь в тылу советских армий. Тот же Махно, который ранее приковывал к себе $1^1/_2$ наших корпуса, в конце декабря перейдя в гуляй-польский район, вклинился между частями 14-й советской армии, наступавшей на Крым. Советское командование предписало Махно перейти с его армией на польский фронт. Ввиду отказа Махно, он и его армия Всеукраинским ревкомом

---

[1] Журнал «Военная наука и революция». Кн. 1, 1921.

[2] Приказ № 3 по 1-й Конной армии, подписанный Буденным и Ворошиловым.

объявлены были вне закона. С середины января 1920 года началась поэтому упорная и жестокая борьба Махно с советскими войсками, длившаяся до октября[1].

Эти обстоятельства содействовали обороне Крыма Слащевым.

Пехота противника была деморализована и «выдохлась» совершенно, и только конница Буденного и Думенко, состоявшая, главным образом, из донских и кубанским казаков, рвавшихся в родные места, не потеряла боеспособности и активности.

К началу января 1920 года Вооруженные силы Юга насчитывали в своих рядах 81 тысячу штыков и сабель при 522 орудиях[2]. Из них на главном театре — по Дону и Салу — было сосредоточено 54 тысячи[3] и 289 орудий.

Настроение этой массы было неодинаково. В Добровольческом корпусе, невзирая на все пережитое, сохранились

---

[1] К этому времени враждующие стороны заключили снова мир для совместных действий против войск генерала Врангеля. Тотчас после падения Крыма большевики разгромили Махно.

[2] Боевой состав ВСЮР по данным на 5 января 1920 года:

Наименование	**Штыков**	**Сабель**	**Орудий**
Донского войска	18 622	19 140	151
Добровольческие части (на Дону, в Новороссии, Крыму, в Кавказской армии, на Северном Кавказе и на побережье)	25 297	5 505	312
Кубанского войска	5 849	2 468	36
Терского войска	1 185	1 930	7
Горские части	490	552	8
Астраханские войска		468	5
	51 443	30 063	519
Всего		82 025	

[3] Донская армия — 37 тысяч, Добровольческий корпус — 19 тысяч, Кавказская армия — 7 тысяч.

дисциплина и боеспособность, активность и готовность продолжать борьбу. Численно слабые[1], они были сильны духом. Я видел войска под Батайском и Азовом и беседовал с офицерами. Этот вечер в полутемном здании в Азове оставил во мне неизгладимое впечатление, напомнив живо другой такой же вечер и беседу — 18 октября 1918 года в станице Рождественской в дни тяжелого кризиса под Ставрополем. Так же, как и тогда, я не увидел ни уныния, ни разочарования. Так же, как тогда, измотанные, истомленные, оглушенные событиями, люди «жадно ловили всякий намек на улучшение общего положения и интересовались только тем, что облегчало нам дальнейшую борьбу».

В Донской армии последние два месяца было неблагополучно. Не только рядовым казачеством, но и частью командного состава был потерян дух. «В середине декабря, — говорит полковник Добрынин, — это определилось настолько ясно, что поступил (в штаб армии) ряд самых отчаянных донесений вплоть до советов о капитуляции, от чего, видимо, не отказывалась и часть тыловых дельцов Новочеркасска»[2]. Генерал Сидорин, касаясь этого периода, говорил впоследствии[3]: «Был момент, когда командный состав подорвал свою душу, а это равносильно тому, что и подорвать армию...» Но периоды упадка в жизни Дона повторялись трижды, и казачество поднималось вновь. Так и теперь: отход за Дон и некоторая передышка вдвое увеличили силы Донской армии[4], успокоили несколько нервы, вернули самообладание. А первые успехи вернули и уверенность, и активность. Казачьи верхи — генералы Богаевский, Сидорин, Кельчевский,

---

[1] Особенно пострадали 2-я пехотная и Марковская дивизии; последняя в предыдущих боях потеряла артиллерию и обозы. В тылу имелось еще 10 тысяч пополнений.

[2] *Добрынин В.* «Борьба с большевизмом на юге России». Прага, 1921. Часть Круга во главе с Агеевым еще в Новочеркасске вела тайные беседы о сдаче большевикам.

[3] На совещании в Тихорецкой.

[4] Подтянулись, потеряв родные станицы, отставшие, а также мобилизованные, часть дезертиров, наученные уже раз, в начале года, большевистским обещанием «мира».

председатель Круга Харламов — были тверды в своем решении продолжать борьбу.

Гораздо хуже обстояло дело на Кубани. С возвращением к власти в конце декабря самостийной группы процесс разложения области и кубанских войск пошел более быстрым темпом. И без того на фронте находилось ничтожное количество кубанских казаков — все остальные «формировались» или дезертировали. Но и оставшиеся выказывали признаки большого душевного разлада, вот-вот готового вылиться в полный развал.

Перед нашей задонской группой находился противник, ослабленный выделением 13-й и 14-й армий, которые ушли к западу против Украины и Крыма, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я и 1-я Конная армии располагались от Ростова до Астрахани. Войска эти образовали новый Кавказский фронт. Численность войск на главном театре составляла 50—55 тысяч, то есть столько же, сколько имели мы[1]. Командующий 8-й советской армией Ворошилов, стоявший на ростовском фронте, в докладе своем начальству так оценивал положение[2]: «Вследствие трудности похода, гигантской эпидемии тифа и потерь в боях части 8-й и соседних армий в численном составе дошли до минимума. К тому же старые бойцы заменены местными мобилизованными и пленными; пополнений нет... Противник, вопреки ложным донесениям увлекающихся товарищей, сохранил все кадры и артиллерию... Наше продвижение вперед без значительного пополнения и реорганизации может окончиться плачевно, так как в случае отхода будем иметь в тылу непроходимые разлившиеся реки. Необходима радикальная переоценка всего положения на фронте, дабы избежать чрезвычайно тяжелых сюрпризов в близком будущем...»

Принимая во внимание известные тогда данные, я считал, что, если поднимется кубанское казачество, успех наш будет скорый и окончательный. Если же нет, то положение

---

[1] Не включая, с одной стороны, 11-й советской армии, которая из Астрахани вела наступление на Кизляр и Святой Крест, с другой — войск Северного Кавказа.

[2] Советский журнал «Военная наука и революция». 1921 год.

наше станет весьма трудным, но далеко не безнадежным. Условия материального порядка для обеих сторон были более или менее одинаковы.

Победа довлела *духу*.

И войскам приказано было готовиться к наступлению.

ГЛАВА XXII

«МЫ» И «ОНИ». ТЫЛ. ТРАДИЦИИ БЕЗЗАКОНИЯ

Борьба Вооруженных сил Юга окончилась поражением. Это обстоятельство наложило свой мрачный колорит на восприятия и переживания, на мысли и память людей. И тех, что томились под властью большевиков и, пережив краткое время просвета, вернулись вновь во тьму советского застенка. И тех, что вместе с последним клочком родной земли потеряли все — Родину, семью, добро, весь смысл своего существования... Эти углубленные личными переживаниями картины прошлого — в рассказах, отчетах, мемуарах — вытесняют часто и те положительные стороны, которые были в истории Белого Юга.

«Народ встречал их с радостью, на коленях, а провожал с проклятиями...» Так формулируют часто приговор над белым прошлым.

С проклятиями!.. Не потому ли, что мы — побежденные — уходили, оставляя народ лицом к лицу с советской властью? Ведь следовавшие за нами большевики не вносили умиротворения. Их правление было жестоким, их совдепы, чека и прочие институты не были гуманнее, справедливее «буржуазно-помещичьих губернаторов»; суды большевистские были беззаконны и бессмысленны. Народу при большевиках не становилось ни легче, ни сытнее. Наконец, Красная армия приносила гораздо более разорения, чем Белая...

Невзирая на все отрицательные стороны белого режима, разница его с отходившим советским была слишком наглядна и разительна. Прежде всего, упразднялась *система* террора и жизнь освобождалась от тяготевших над ней нестерпимого гнета, ужаса, неуверенности в завтрашнем дне, взаимной

подозрительности. На смену тюремным оковам, душивших мысль, совесть, всякое индивидуальное проявление личного и общественного, расходившееся со взглядами коммунистической партии, появлялась кипящая жизнь обществ, союзов, политических партий, профессиональных организаций[1].

Неизмеримо поднялась добыча в каменноугольном бассейне, и хотя очередной транспортный кризис парализовал в известной степени ее успехи, повлекши за собой одно время и топливный кризис, но «кладбище фабрик и заводов» оживало с каждым днем. Свобода торговли и общественная самодеятельность в хозяйственной области вызвали к жизни множество кооперативных товариществ, частью самостоятельных, частью объединенных в крупные союзы[2]. Городские и земские самоуправления жили почти исключительно на правительственные ассигнования; к осени начался переход от полуназначенных городских управлений к выборным, за немногими исключениями давший преобладание национально-демократическим элементам; в значительной степени устранялась правительственная опека над городским хозяйством.

Деревня испытывала общие тяготы и бедствия, сопряженные с гражданской войной. Обиды от проходящих войск, злоупотребления местных властей и «возвращающиеся помещичьи шарабаны» — факты бесспорные. Но тягость их все же ограничивалась и умерялась: во-первых, естественным путем — трудностью, зачастую невозможностью проникновения в деревню «шарабанов» вне фронтовой полосы и вне окрестностей крупных городов, с одной стороны, и обильным урожаем, посланным судьбою в 1919 году, с другой; во-вторых, правительственными мероприятиями: запрещением самоуправного восстановления собственности, возмещением за незаконные реквизиции, ссудами, предоставленными сельским обществом на обсеменение и сбор хлеба, освобождением или

---

[1] Меры ограничения принимались лишь в отношении железнодорожных союзов, так как вся страна представляла театр войны, а пути сообщения — одно из важнейших средств ее.

[2] Случайная справка: Харьковский окружной суд за вторую половину октября зарегистрировал 32 новых кооперативных общества.

отсрочкой по отбыванию воинской повинности хозяйственным одиночкам, нормированием и снижением арендной платы за землю и вообще рядом законодательных актов, подводивших некоторое юридическое обоснование под факт земельного захвата. Повсеместно переход к нам новых территорий вызывал в них резкое понижение стоимости хлеба и предметов первой необходимости.

Наконец, белый режим приносил свободу церкви, печати, внесословный суд и нормальную школу.

Все эти явления заглушались бездной наших неустроений и потонули в общей пучине того всеобъемлющего, всесокрушающего и всенивелирующего события, имя которому *поражение*. Когда пройдут сроки, отзвучат громы и переболеет сердце, бесстрастное перо историка остановится и на положительных сторонах государственного строительства Юга.

Распространяться об этом я не буду.

* * *

Вопрос об отношениях, создавшихся ко мне *лично*, принадлежит к области чисто субъективных восприятий и может быть освещен только извне. Скажу лишь, что успех или неудача прежде всего влияли на эти отношения и что напор шел и справа и слева.

Я остановлюсь лишь несколько на крайних проявлениях общественного ко мне внимания в виде готовившихся на мою жизнь покушений...

О них органы сыска и контрразведки докладывали часто. Где там была правда, где заблуждение или вымысел, определить трудно. У меня лично не было никогда ощущения нависшей опасности. До лета 1919 года не было решительно никакой охраны, кроме почетного караула у дома, и я пользовался полной свободой передвижения. Затем под давлением общественных деятелей, вопреки моему запрещению, штаб установил секретную охрану, достаточно примитивную и только тяготившую меня. Простой прием — отъезд на автомобиле, а их было мало и не хватало для охранной службы — избавлял, впрочем, от этой тягостной опеки.

Розыскные органы сообщали о целом ряде готовившихся покушений со стороны большевиков, а с ноября 1919 года — и со стороны кубанских самостийников. Одна партия «тер-

рористов», направлявшаяся из Харькова в Таганрог, была обнаружена донской контрразведкой, и пятеро участников «боевого отряда» по приговору донского полевого суда были казнены. Но спустя некоторое время контрразведка Ставки получила сведения, что весь этот заговор явился якобы чистой провокацией, и казнены были невинные... По этому весьма темному делу велось следствие, но результаты его до моего отъезда из России не были мне доложены.

Были сведения о командировке на Юг социалиста-революционера Блюмкина, убийцы Мирбаха, с поручением от большевиков...

На процессе правых социалистов-революционеров в Москве в 1922 году выяснились некоторые, лично меня касающиеся детали. Некто Семенов, оказавшийся провокатором, предложил ЦК партии «убрать обоих», то есть Колчака и Деникина, но получил отказ: «Колчак разогнал Учредительное собрание, расстрелял многих наших товарищей. Но Деникин еще Учредительного собрания не разгонял, его позиция не выявилась. Пока мы при нем имеем легальную возможность работать»[1].

Осенью 1919 года какой-то анонимный доброжелатель сообщал мне из Киева о боевой организации левых социалистов-революционеров, имевших задачей убить меня. Эти показания впоследствии совпали вполне с рассказом Каховской[2], находившейся в составе боевой дружины, которая действительно после убийства в Киеве Эйхгорна перебралась в Ростов, где довольно долго подготовляла покушение на меня. Не придавая тогда никакого значения письму, я его порвал, не передав в штаб. На это дело потрачено было социалистами-революционерами много времени и денег. Для реабилитации себя в неудаче не очень самоотверженные террористы ссылались на ряд встреченных ими совершенно непреодолимых трудностей, не раз анекдотического характера. Зачастую эсэровская разведка, говорит Каховская, давала «сильно преувеличенные сведения»: «Деникин бывает в Ростове раз в неделю на заседании Верховного совета (очевидно, Особого совещания). Каждый раз место заседаний меняется. С вокзала он едет загримированным, в закрытом автомобиле, причем всегда в ряду других, таких же автомобилей...»

[1] Член ЦК Тимофеев, устыдившись, по-видимому, на суде такой терпимости, оспаривал это показание: была *очередь*, а не прямой отказ.

[2] Сборник «Пути революции».

По свидетельству той же Каховской, неудача постигла и боевые группы, посланные в Одессу и Харьков. При этом последняя, «растеряв по дороге взрывчатые вещества и оружие... бессильно смотрела в нескольких шагах на принимавшего парад Деникина».

Летом 1919 года появились сведения о готовящемся покушении со стороны крайних правых; в числе участников называли генерала Комиссарова, вероятно и тогда уже состоявшего одновременно на службе и у большевиков. Некоторое время с этой стороны было тихо, и лишь в начале 1920 года в связи с усилившейся против меня кампанией в Севастополе «освящался нож», который должен был «устранить» меня. Желающего им воспользоваться, вероятно, не нашлось. Мне лично все эти рассказы казались следствием излишней впечатлительности осведомителей или бравадой заговорщиков, тем более что мои прогулки по улицам Екатеринодара, Новороссийска и Феодосии облегчали до крайности возможность убийства.

Оппозиция находила отклик и в недрах правительственных учреждений. В начале декабря 1919 года поступил доклад лица, занимавшего видное положение в Осваге, о том, что якобы готовится убийство начальника штаба генерала Романовского и что центром организации является «бюро секретной информации» Освага. Гражданской частью Государственной стражи произведено было по этому делу расследование, обыск в «бюро» и аресты. Улик по данному обвинению не нашлось. Но попутно развернулась картина интриги, питавшейся из казенного сундука, слежки за главнокомандующим, субсидирования оппозиционной правой организации и таинственной связи «бюро» с анонимными группами, стремившимися к перевороту. Расследование затрагивало и высокопоставленных лиц.

Считая неуместным возбуждение подобного политического дела в дни переживаемых нами тогда потрясений (декабрь), я ограничился удалением со службы нескольких чинов Освага и расследование велел прекратить.

Лучший следователь — история, если только ее будут занимать эти мелочи нашей жизни.

• • •

Развал так называемого «тыла» — понятие, обнимающее в сущности народ, общество, все невоюющее население — становился поистине грозным. Слишком узко и элементарно было бы приписывать «грехам системы» все те явления, которые, вытекая из исконных черт нации, из войны, революции, безначалия, большевизма, составляли непроницаемую преграду, о которую не раз разбивалась «система».

Классовый эгоизм процветал пышно повсюду, не склонный не только к жертвам, но и к уступкам. Он одинаково владел и хозяином и работником, и крестьянином и помещиком, и пролетарием и буржуем. Все требовали от власти защиты *своих* прав и интересов, но очень немногие склонны были оказать ей реальную помощь. Особенно странной была эта черта в отношениях большинства буржуазии к той власти, которая восстанавливала буржуазный строй и собственность. Материальная помощь армии и правительству со стороны имущих классов выражалась цифрами ничтожными — в полном смысле слова. И в то же время претензии этих классов были весьма велики...

Долго ждали мы прибытия видного сановника — одного из немногих, вынесших с пожарища старой бюрократии репутацию передового человека. Предположено было привлечь его в Особое совещание. Прибыв в Екатеринодар, он при первом своем посещении представил мне петицию крупной буржуазии о предоставлении ей широкого государственного кредита под обеспечение захваченными советской властью капиталами, фабриками и латифундиями. Это значило принять на государственное содержание класс крупной буржуазии, в то время как нищая казна наша не могла обеспечить инвалидов, вдов, семьи воинов и чиновников...

Чувство долга в отношении отправления государственных повинностей проявлялось очень слабо. В частности, дезертирство приняло широкое, повальное распространение. Если много было «зеленых» в плавнях Кубани, в лесах Черноморья, то не меньше «зеленых» — в пиджаках и френчах — наполняло улицы, собрания, кабаки городов и даже правительственные учреждения. Борьба с ними не имела никакого успеха. Я приказал одно время принять исключительные меры в пункте квартирования Ставки (Екатеринодар) и давать мне на конфирмацию все приговоры полевых судов, учреждаемых при главной квартире, о дезертирах. Прошло два-три месяца; регулярно поступали смертные приговоры, вынесенные каким-нибудь заброшенным в Екатеринодар ярославским, тамбовским крестьянам, которым неизменно я смягчал наказание; но несмотря на грозные приказы о равенстве классов в несении государственных тягот, несмотря на смену комендантов, ни одно лицо интеллигентно-буржуазной среды под суд не попадало. Изворотливость, беспринципность вплоть до таких приемов, как принятие персидского подданства, кумовство, легкое покровительственное отношение общественности к уклоняющимся, служили им надежным щитом.

Не только в «народе», но и в «обществе» находили легкий сбыт расхищаемые запасы обмундирования новороссийской базы и армейских складов...

Спекуляция достигла размеров необычайных, захватывая в свой порочный круг людей самых разнообразных слоев, партий и профессий: кооператора, социал-демократа, офицера, даму общества, художника и лидера политической организации. Несомненно, что не в людях, а в общих явлениях народной жизни и хозяйства коренились причины бедствия — дороговизны и неразрывно связанной с ней спекуляции. Их вызвало общее расстройство денежного обращения и товарообмена, сильное падение труда и производительности и множество других материальных и моральных факторов, привнесенных войной и революцией. Торгово-промышленный класс видел средство «вырвать торговлю из рук спекулятивных элементов» в «широкой поддержке государственным кредитом, оказываемой крупным и солидным торговым организациям...» Но и этот способ возбуждал в нас известное сомнение, принимая во внимание ту суровую самокритику, которую вынесли сами представители класса: «...совещание[1] считает своим долгом указать на угрожающее падение нравственного уровня во

[1] Из резолюции торгово-промышленного совещания в Ростове. Октябрь 1919 года.

всех профессиях, соприкасающихся с промышленностью и торговлей. Падение это охватило ныне все круги этих профессий и выражается в непомерном росте спекуляции, в общем упадке деловой морали, в страшном падении производительности труда...»

Обыватель не углублял причин постигшего его бедствия. Он видел их только в спекуляции и в спекулянтах, против которых нарастало сильнейшее и справедливое возбуждение. Под влиянием этих общественных настроений я предложил Управлению юстиции выработать законоположение о суровых карах за злостную спекуляцию. В. Н. Челищев затруднялся выполнить это поручение, считая, что само понятие «спекуляция» имеет столь неясные, расплывчатые формы, что чрезвычайно трудно регламентировать его юридически, что в результате могут получиться произвол и злоупотребления. Я провел все-таки через военно-судебное ведомство, в порядке верховного управления, «временный закон об уголовной ответственности за спекуляцию», каравший виновных смертной казнью и конфискацией имущества. Бесполезно: попадалась лишь мелкая сошка, на которую не стоило опускать карающий меч правосудия.

Лишь оздоровление народного хозяйства могло очистить его от паразитов. Но для этого, кроме всех прочих условий, нужно было время.

Казнокрадство, хищения, взяточничество стали явлениями обычными; целые корпорации страдали этим недугом. Ничтожность содержания и задержка в его получении были одной из причин этих явлений. Так, железнодорожный транспорт стал буквально оброчной статьей персонала. Проехать и отправить груз нормальным путем зачастую стало невозможным. В злоупотреблении проездными «литерами» принимали участие весьма широкие круги населения. В нем, например, изобличены были в свое время и состав редакции столь демократической «Родной земли» Шрейдера, и одна большая благотворительная организация, которая распродавала купцам предоставленные для ее нужд «литеры» по договору, обусловливавшему ее участие в 25 процентах чистой прибыли... Донское правительство, отчаявшись в получении хлеба с Кубани, поручило закупку его крупному дельцу Молдавскому.

Хлеб действительно стал поступать массами, хотя и обошелся донской казне чрезвычайно дорого. При этом вся Кубань и все железные дороги края были покрыты контрагентами Молдавского, которые по таксе и по чину совершенно открыто платили попудную дань всей администрации от станичного писаря и смазчика до... пределов не знаю. В Кубанской раде поднят был даже вопрос о том, что «Молдавский развратил всю администрацию». Мне кажется, однако, что сетования Рады были не совсем основательны: лиходатели и лихоимцы только дополняли друг друга на общем фоне безвременья.

Традиция беззакония пронизывала народную жизнь, вызывая появление множества авантюристов, самозванцев — крупных и мелких. Для характеристики приведу несколько незначительных, но характерных эпизодов, задевавших непосредственно меня...

В одесской контрразведке подвизался в темных делах какой-то чин, именовавшийся моим «родственником» и приобретший служебный иммунитет... Такую же роль играла на черноморских курортах какая-то дама, назвавшаяся моей сестрой... Во время переезда по Азовскому морю одна неизвестная мне особа, предполагая скоро разрешение от бремени, принудила капитана большого пассажирского парохода изменить маршрут, назвавшись моей племянницей...

Однажды в Управление земледелия обратился полковник (фамилии его не помню) с запиской от «группы», в составе которой была названа моя фамилия, генерала Лукомского и других известных и неизвестных лиц, числом около пятидесяти, в том числе и автора записки. «Группа» указывала на необходимость колонизации Черноморья и наделения участками казенных дач лиц, оказавших услуги отечеству, в первую очередь членов «группы». Управление в спешном порядке занялось этим делом и готовило соответствующее представление в Особое совещание.

Когда я узнал об этом эпизоде, я приказал разыскать полковника и посадить его под арест. Произведенное расследование обнаружило, что он не вполне нормален. Но служебный оппортунизм Управления земледелия!..

Все эти факты не вытекали из «системы». Это была давняя и прочная традиция.

В городах шел разврат, разгул, пьянство и кутежи, в которые очертя голову бросалось и офицерство, приезжавшее с фронта.

«Жизни — грош цена. Хоть день, да мой!..»

Шел пир во время чумы, возбуждая злобу или отвращение в сторонних зрителях, придавленных нуждой, в тех праведниках, которые кормились голодным пайком, ютились в тесноте и холоде реквизированной комнаты, ходили в истрепанном платье, занимая иногда очень высокие должности общественной или государственной службы и неся ее с величайшим бескорыстием. Таких было немало, но не они, к сожалению, давали общий тон жизни Юга.

Великие потрясения не проходят без поражения морального облика народа. Русская Смута, наряду с примерами высокого самопожертвования, всколыхнула еще в большей степени всю грязную накипь, все низменные стороны, таившиеся в глубинах человеческой души. Между тем только самодеятельность народных и общественных сил могла доставить перевес в борьбе.

И вот, учитывая слагаемые сил и средств боровшихся сторон, приходишь к заключению, что в отношении подъема и активности народных настроений Белое движение имело немногим больше шансов, чем большевизм.

ГЛАВА XXIII

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ: ВОПРОС О ПЕРЕМЕНЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА. НАКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Осенью 1919 года с особенной остротой встал вопрос о дальнейшем существовании Особого совещания.

После признания мною Верховной власти адмирала Колчака вместе с приветственным адресом Особого совещания председатель его генерал Драгомиров вручил мне свое письмо, в котором высказался о своей государственной деятельности. «На Юге, — писал он, — задача... устранить все трения к объединению разрозненных частей России... приобретает чрезвычайное государственное

значение, ввиду ярких сепаратистских течений, борьба с которыми до сих пор не привела к успеху... По свойствам моего темперамента и характера... у меня совершенно отсутствует умение сглаживать и смягчать отношения. Каждый компромисс, без которого никакая политика невозможна, достается мне путем большого насилия над моей натурой и проводится в жизнь без того чистосердечия и искренности, которые в этих случаях столь необходимы... Род занятий всей моей жизни создал из меня генерала, но не политика. Переделать себя я не в состоянии... Я считаю себя неразрывно связанным и с той великой задачей, которую Вы исполняете, и лично с Вами... Но глубоко убежден, что по своей специальности я могу дать Вам большую помощь, чем на посту, ныне мною занимаемом».

Я не предполагал производить перемен до реорганизации всей структуры правительства и, отдав должное прямоте этого заявления, попросил Абрама Михайловича оставаться на посту. В ближайшие дни он уехал во главе миссии за границу, и когда в конце августа вернулся, то обстановка изменилась: с одной стороны, казалось близким государственное объединение с казачьими областями и роль полуответственного перед Высшим советом (право запросов) главы правительства была бы для генерала Драгомирова еще более не по сердцу; с другой — открылся пост командующего войсками и главноначальствующего в Киевской области, с которой у генерала Драгомирова были давнишние связи, служебные и общественные. Пост этот требовал немедленного замещения. Я указал Абраму Михайловичу на предстоявшую возможность, и он после краткого размышления принял назначение в Киев.

Временным председателем Особого совещания стал другой мой помощник — генерал Лукомский, исполнявший эту должность летом во время отсутствия генерала Драгомирова. Заместителем председателя был назначен В. Н. Челищев.

В этот переходный период круги, близкие к «Совету государственного объединения России», и правый сектор Особого совещания выдвигали усиленно положение, что главою нового правительства должно быть непременно лицо гражданское... Подразумевался А. В. Кривошеин.

Тяжкие внутренние настроения наши служили неоднократно предметом для обмена мнениями в заседаниях Особого совещания. В середине октября по частному поводу «махновщины» я предложил членам совещания подготовить фактический материал для суждения о причинах, питавших повстанческое движение. Сбор и обработка этого материала поручены были Н. И. Астрову, который в одно из ближайших заседаний совещания сделал доклад, охвативший общую картину наших бедствий, грехов правительственной системы, гражданского управления и армии.

Картина получилась глубоко безотрадная. «Черные страницы армии», произвол и беззакония гражданской администрации — тема большая и обширная. Но доклад не заключал в себе положительных, конкретных предложений, могущих уврачевать язвы и обосновать новый политический курс. Эта работа была произведена Н. И. Астровым дополнительно и вылилась в составление записки — «Тезисов по вопросу о политическом курсе», подвергнутой затем автором, по предложению председателя Особого совещания, обсуждению совместно с членами совещания Савичем и Соколовым.

Записка Астрова состояла из неравноценных частей. В одной перечислялись цели, лозунги борьбы, всецело повторявшие наши неоднократные декларации и заявления. В другой указывалось на необходимость пресечения ряда преступлений беспощадными карами. Эти положения также составляли тему десятков моих приказов, а смертная казнь являлась обычной мерой наказания военно-полевого и уголовного кодекса. Было, например, совершенно бесспорным, что «власть должна понудить тыл принять участие в предоставлении армии всего, что нужно для продолжения борьбы», а в армии «принять героические меры к ее оздоровлению, прекращению грабежей и поднятию дисциплины»; что власть «решительно отвергает месть, насилие, самоуправство и произвол над мирным населением...»

Наконец, третья часть записки касалась предстоящего изменения курса и смены личного состава центрального органа. Первый вопрос — на кого опираться — был разрешен в такой форме:

«В целях привлечения к делу строительства государства разных слоев населения, кровно заинтересованных в установлении порядка, власть должна действиями, не расходящимися с ее декларациями и обещаниями, дать населению ясное представление о том, какие цели ставит себе она и какие требования предъявляет к населению. Вместе с тем власть должна неукоснительно принимать решительные меры в области социальных реформ на демократических основаниях. Эти реформы, среди которых на первом месте должна стоять аграрная, должны установить связь власти с разными слоями населения и по преимуществу с крестьянством, связанным с землей, со всеми элементами, занятыми производительным трудом в области промышленности и торговли, со служилым элементом, с городским населением, с его мещанством и мелким ремесленничеством. Опора на одну какую-либо часть населения и отбрасывание всего остального населения было бы непоправимой ошибкой, которую и использовали бы враги новой власти».

Эта формула не обнаруживала степени дерзания ни в аграрном, ни в прочих социальных вопросах, сильно напоминая наши всегдашние призывы к сотрудничеству «всех государственно мыслящих слоев населения», а некоторая неясность редакции этого пункта дала даже повод председателю Особого совещания генералу Лукомскому сопроводить ее замечанием: «То есть выбросить буржуев!..»

Наконец, вопрос о составе высшего органа власти.

«Преобразование центрального органа управления и образование органа власти из лиц, связанных единством понимания политических задач и стремлением объединить свою волю с волей носителя высшей национальной власти и способных освободиться от умертвляющей энергию рутины.

Центральный орган должен привести местные органы в полное соответствие с планами и намерениями центральной власти, для чего должны быть пересмотрены все назначения на высшие административные посты, а новые кандидаты на эти должности должны быть проводимы через Особое совещание (Высший орган)».

Какая же политическая или общественная группа могла принять на свои плечи бремя власти?

Особое совещание в целом отнеслось скептически к «перемене курса», и записка Астрова долгое время не ставилась на обсуждение. Поэтому я вызвал членов комиссии для доклада в Таганрог 2 декабря. На этом докладе[1] все приведенные выше вопросы не только не разъяснились, но были затуманены еще более; каждый из трех членов комиссии придерживался особого мнения. Н. И. Астров, считая, что декларации главного командования в достаточной степени соответствуют требованиям жизни, говорил о необходимости претворить слово в дело, устранить расхождение обещаний с практикой; словом, принять «ясный политический курс», не поясняя, однако, кому надлежит приводить его в исполнение... Н. В. Савич говорил о том, что наша политика не удовлетворяет ни одно из течений, борющихся с оружием в руках, и о необходимости опереться на «класс, способный постоять за себя», опять-таки не определяя, какой именно. Только К. Н. Соколов высказался вполне определенно: «Власть должна опереться на консервативные круги при условии признания ими факта земельной революции»[2]. Это предложение теряло свою ценность, принимая во внимание настроения правых кругов, в глазах которых *тогда* даже «третий сноп» считался «уступкой домогательствам черни...»

Пришлось дешифровать беседу...

Итак, коалиции конец. Предстоит выбор: либерализм, консерватизм или «левая политика правыми руками» — та политика, которая была испытана впоследствии в Крыму другими лицами без особого успеха.

Мои убеждения не были тайной и всецело соответствовали либеральному направлению. Но осуществление их встречало непреодолимые трудности. Если в конце июня,

---

[1] Присутствовали Астров, Савич, Соколов и генерал Романовский.

[2] В воспоминаниях К. Н. Соколова упоминается, что он вообще стремился к радикальному разрешению аграрного вопроса. В заседаниях Особого совещания, по крайней мере в моем присутствии, этот взгляд не проявлялся им сколько-нибудь решительно.

в разгар блестящих успехов армий и общего высокого подъема, либеральная общественность страшилась взять руль правления в предвидении «враждебного отхождения других влиятельных общественных сил и противодействия с их стороны», то теперь позиция ее была несравненно сложнее и тяжелее: армии уходили к Дону, теряя одну область за другой, замутилась вся жизнь страны, по которой катились уже людские волны эвакуаций — предвестниц катастрофы.

Полоса неудач вызвала сильный напор общественного мнения на власть. Искусно проводимая политическая игра с особенным упорством перекладывала следствия безвременья, вины правителя и правительства на левый сектор Особого совещания, на «засилье в нем левых, кадетов». И хотя такая постановка вопроса была слишком элементарна, несправедлива и отдавала демагогией, но она находила отклик в армии и близких ей кругах, где систематически создавалось озлобление против «кадетов», и в частности против либеральных членов Особого совещания, которых называли «злыми гениями» и «главными виновниками» постигших нас бедствий. В такой обстановке либеральная общественность сочла для себя бремя власти непосильным и, предлагая известный политический курс, в то же время не давала своих людей, которые могли бы проводить его в жизнь. Очевидно, и не могла дать, так как, по признанию видных ее деятелей, помимо внутренних расхождений, в этом лагере было очень мало людей, которые «революционному разложению и распаду могли бы противопоставить понятную всем организующую силу». Это последнее обстоятельство встало передо мной особенно ярко, когда я задал вопрос, при создавшихся условиях чисто академический:

— Кого же все-таки либеральная группа могла бы предложить в главы правительства?

После некоторого раздумья мне было названо имя В. Н. Челищева. Я высоко ценю и уважаю Виктора Николаевича и лично, и как государственного деятеля, но такое предназначение человека, глубоко мирного по природе своей, в дни жестокой борьбы и внутренних потрясений меня удивило.

Вероятно, серьезные сомнения были и у Н. И. Астрова, потому что он не поддерживал свое предложение, заявив, что «если нельзя по каким-нибудь соображениям назначить штатское лицо председателем правительства», то эту должность мог бы занять генерал Романовский... Иван Павлович самым решительным образом отклонил это предложение. Его имя было бы не прикрытием, а яркою мишенью. Не подлежит сомнению, что подобная комбинация привела бы только к тому, что константинопольский выстрел прозвучал бы на несколько месяцев раньше.

Настаивать на образовании либерального правительства было, таким образом, нецелесообразно. Но и другая комбинация — переход власти всецело в руки правых элементов — не говоря уже об идеологических обоснованиях, представлялась немыслимой: этот уклон, и без того преобладавший в деятельности правительства и подчиненных ему органов, был осужден всем ходом событий. Фронт катился на юг, «российская» территория сокращалась до минимума, и стратегическая обстановка, кроме всего прочего, создавала и большую зависимость нашу от казачьих сил, казачьих настроений. Резкий поворот руля вправо *там* прозвучал бы как вызов.

Беседа моя с членами Особого совещания, нося характер теоретического обмена мнениями, не привела ни к каким конкретным результатам; по выражению одного из участников, «идеи не были персонифицированы». И хотя в формах весьма туманных, но вопрос как будто сводился к выбору: Челищев, Кривошеин или... Соколов.

Между прочим, со времени предложения кандидатуры Челищева правые круги стали проводить мысль, что главою правительства в переживаемое тяжелое время может быть только лицо военное.

Стратегическая обстановка требовала настоятельно принятия мер предосторожности. 6 декабря председатель Особого совещания был уведомлен Ставкой о необходимости начать эвакуацию центральных управлений за Дон. Это известие произвело большое впечатление на членов Особого совещания, не вполне ясно воспринимавших грозность военного положения. Они считали свою эвакуацию

преждевременным «бегством» — обидным и зазорным для правительства. В конечном результате с запозданием началась эвакуация в Черноморскую губернию и Крым правительственных учреждений, личный состав которых было приказано сократить наполовину и больше. Вследствие враждебности кубанского правительства на Кубани оказалось возможным разместить только одно Военное управление... Ввиду отсутствия крупных центров в тылу и предстоявшей поэтому разбросанности расквартирования, главы ведомств должны были обосноваться в Новороссийске лишь с небольшими ячейками своих управлений. До последнего дня они оставались в Ростове. Это решение, продиктованное чувством патриотизма, которому я не воспротивился, повлияло, однако, на планомерность общей эвакуации.

В связи с предстоявшим раздельным пребыванием Ставки и правительства, по инициативе последнего мною отдан был приказ о расширении прав начальников управлений и председателя Особого совещания, которому в известных случаях предоставлялось право утверждать постановления совещания за Главнокомандующего. В связи с этим приказом Особому совещанию дан был мною «наказ», определявший тот «политический курс», который ставился главным командованием. В нем не было ничего нового. Наказ представлял собой скорее более подробную сводку моих словесных и письменных заявлений и указаний, моральная ответственность за которые лежит на мне.

«В связи с приказом моим сего года за № 175 приказываю Особому совещанию принять в основание своей деятельности следующие положения:

1. Единая, Великая, Неделимая Россия. Защита веры. Установление порядка. Восстановление производительных сил страны и народного хозяйства. Поднятие производительности труда.

2. Борьба с большевизмом до конца.

3. Военная диктатура. Всякое давление политических партий отметать, всякое противодействие власти — и справа и слева — карать.

Вопрос о форме правления — дело будущего. Русский народ создаст Верховную власть без давления и без навязывания.

Единение с народом.

Скорейшее соединение с казачеством путем создания Южнорусской власти, отнюдь не растрачивая при этом прав общегосударственной власти.

Привлечение к русской государственности Закавказья.

4. Внешняя политика — только национальная русская.

Невзирая на возникающие иногда колебания в русском вопросе у союзников — идти с ними. Ибо другая комбинация морально недопустима и реально неосуществима.

Славянское единение.

За помощь — ни пяди русской земли.

5. Все силы, средства — для армии, борьбы и победы.

Всемерное обеспечение семейств бойцов.

Органам снабжения выйти, наконец, на путь самостоятельной деятельности, использовав все еще богатые средства страны и не рассчитывая исключительно на помощь извне.

Усилить собственное производство.

Извлечь из состоятельного населения обмундирование и снабжение войск.

Давать армии достаточное количество денежных знаков, преимущественно перед всеми. Одновременно карать беспощадно за «бесплатные реквизиции» и хищение «военной добычи».

6. Внутренняя политика.

Проявление заботливости о всем населении без различия.

Продолжать разработку аграрного и рабочего закона в духе моей декларации; также и закона о земстве.

Общественным организациям, направленным к развитию народного хозяйства и улучшению экономических условий (кооперативы, профессиональные союзы и прочее), — содействовать.

Противогосударственную деятельность некоторых из них пресекать, не останавливаясь перед крайними мерами.

Прессе сопутствующей — помогать, несогласную — терпеть, разрушающую — уничтожать.

Никаких классовых привилегий, никакой преимущественной поддержки — административной, финансовой или моральной.

Суровыми мерами за бунт, руководство анархическими течениями, спекуляцию, грабеж, взяточничество, дезертирство и прочие смертные грехи — не пугать только, а осуществлять их при посредстве активного вмешательства Управления юстиции, Главного военного прокурора, Управления внутренних дел и контроля. Смертная казнь — наиболее соответственное наказание.

Ускорить и упростить порядок реабилитации не вполне благополучных по большевизму, петлюровщине и т. д. Если была только ошибка, а к делу годны — снисхождение.

Назначение на службу — исключительно по признакам деловым, отметая изуверов и справа и слева.

Местный служилый элемент за уклонение от политики центральной власти, за насилия, самоуправство, сведение счетов с населением, равно как и за бездеятельность — не только отрешать, но и карать.

Привлекать местное население к самообороне.

7. Оздоровить фронт и войсковой тыл работой особо назначенных генералов с большими полномочиями, составом полевого суда и применением крайних репрессий.

Сильно почистить контрразведку и уголовный сыск, влив в них судебный (беженский) элемент.

8. Поднятие рубля, транспорта и производства преимущественно для государственной обороны.

Налоговый пресс, главным образом, для состоятельных, а также для не несущих воинской повинности.

Товарообмен — исключительно за боевое снаряжение и предметы, необходимые для страны.

9. Временная милитаризация водного транспорта с целью полного использования его для войны, не разрушая, однако, торгово-промышленного аппарата.

10. Облегчить положение служилого элемента и семейств чинов, находящихся на фронте, частичным переводом на натуральное довольствие (усилиями Управления продовольствия и Ведомства военных снабжений). Содержание не должно быть меньше прожиточного минимума.

11. Пропаганде служить исключительно прямому назначению — популяризации идей, проводимых властью, разоблачению сущности большевизма, поднятию народного самосознания и воли для борьбы с анархией.

г. Таганрог.
14 декабря 1919 года».

ГЛАВА XXIV
УПРАЗДНЕНИЕ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ. КРИЗИС РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

В кругах ростовской общественности, в политических организациях шли непрерывно совещания, царило возбуждение, углубляемое нервирующей обстановкой отступления и эвакуации.

16 декабря начальник Управления торговли и промышленности Фенин привез мне записку, являвшуюся по существу плодом мысли либеральной общественности, а по форме — обращением ко мне левого сектора Особого совещания.

«В тяжелую пору новых испытаний, ставших на пути воссоздания нашей Родины, в минуты, особенно трудные для Вас, взявшего на себя все великое бремя ответственности, позвольте нам, до конца остающимся преданными Вам и великому делу, которому Вы служите, мнение которых Вы неоднократно выслушивали, по долгу чести и совести сказать Вам, как мы смотрим на сложившееся положение и какой выход мы предполагаем из тяжелых обстоятельств переживаемого времени.

Мы не станем перечислять ошибки и упущения, допущенные военными и гражданскими органами, призванными Вами служить делу борьбы за воссоздание государства и установление элементарного порядка. Ошибки эти многообразны. Главнейшие из них, по нашему мнению: допущение развития дурных нравов в армии и безнаказанность высших попустителей, а также отсутствие организованного, сильного аппарата центральной власти, объединенного в своем составе единым пониманием задач, стоящих перед властью, единством методов действий, и полная изолированность от жизни и населения того органа, который являет собою весьма несовершенный суррогат власти.

Эти недостатки и ошибки были бы сглажены и исправлены успехом и достигнутой целью. Но неудача как возмездие требует коренных и глубоких изменений в тех органах и устройствах, с которыми связаны эти ошибки. Общее смущение и тревога на фронте и в тылу требуют немедленных решительных и ярких действий.

Опыт всех стран свидетельствует, что в наиболее критические для государства минуты высшая власть, несущая перед страной всю тяжесть ответственности, распускает правительство и на его место призывает новых людей, более отвечающих новым задачам, ставшим перед страной.

Эти изменения в составе правительства достигаются не только привлечением новых лиц в его состав, но и освобождением этого состава от прежних руководителей и участников; а в нужных случаях — путем изменений в самой конструкции центрального органа власти.

Мысль о необходимости преобразования Особого совещания, состоящего при Вас, возникла давно, и едва ли кто стал бы теперь защищать его конструкцию и его состав.

Только не в меру затянувшаяся работа Южнорусской конференции задержала преобразование Особого совещания и остановила давно назревшую реформу. До осуществления этой реформы — в смысле создания Высшего совета и Совета начальников управлений — в виде переходной меры было бы совершенно необходимо распустить Особое совещание и на его месте образовать правительство в составе семи лиц с привлечением в него трех представителей от казачьих войск.

Это правительство — Совет при главнокомандующем — должно быть объединено общим пониманием поставленных ему задач и способно к энергичным и решительным действиям.

Оно должно дать Вам объявляемую армии и населению торжественную клятву в строгом исполнении принятых на себя обязательств.

Этот орган, представляя собой походное управление, должен быть возглавлен лицом, наиболее понимающим Ваши идеи и близким Вам по духу и воззрениям.

Семь лиц, входящих в состав правительства, должны сосредоточить в своих руках портфели министров: военного, финансов, внутренних дел, торговли и промышленности, юстиции, путей сообщения и снабжения. Если бы портфель министра внутренних дел можно было вручить председателю Совета, то состав членов можно было бы сократить до шести.

Министру снабжения должны быть подчинены все нынешние несовершенные органы снабжения армии, а бессильные органы продовольствия должны быть вовсе упразднены. Другие ведомства, ныне сокращенные, должны находиться под управлением начальников, действующих по указаниям Совета при Главнокомандующем. Иностранная политика, как и ныне, остается в руках главнокомандующего, исполнение предуказаний которого осуществляется через особое управление, состоящее наравне с другими управлениями, руководители которых не входят в состав Совета. Государственный контроль получает указания непосредственно от Главнокомандующего.

Подготовительная работа по законодательству временно, до образования Высшего совета, могла бы производиться в Совещании по законодательным предположениям, члены коего назначаются Главнокомандующим.

Роспуск Особого совещания и образование Совета при Главнокомандующем должны быть произведены особым актом, в котором могло бы быть указано, что преобразование Особого совещания вызвано тяжелыми условиями борьбы и необходимостью сосредоточить власть в руках лиц, все внимание которых должно быть сосредоточено на управлении, на действиях, столь необходимых в данное время.

В этом обращении к армии и населению могли бы быть указаны те начала, которые Вы преподали Особому совещанию сегодня, 15 декабря, к руководству, и особенно подчеркнуто, что новому правительству ставятся основные и главнейшие задачи сосредоточить всю энергию на помощи и содействии армии, на ее снабжении, снаряжении, на

заботах об ее раненых и больных, на обеспечении семейств борющихся; что помощь армии нужна быстрая и полная для скорейшего доведения до конца борьбы с большевиками за воссоздание России, за поруганную православную веру, за освобождение национального сознания русского народа от поработившего его ига большевизма и за скорейшее восстановление гражданского мира на началах права и справедливости; что новая власть устранит в своих действиях допущенные раньше ошибки и, беспощадно карая нарушителей гражданского мира, грабителей и насильников, возьмет под свою защиту все население, желающее прекращения смуты и междоусобия; что новой власти вменяется в обязанность привлечь население к установлению порядка и поднятию производительности труда.

Создавая новое правительство в минуты опасности и тревоги, Вы снова поднимете бодрость в армии и у населения, снова окрылите надежды, ибо вместо непопулярного Особого совещания около Вас будет новый орган, которому будут поставлены новые ясные задачи.

Тогда можно будет начать решительную борьбу с пороками, разлагающими армию и тыл. Тогда можно будет противопоставить новую организованную власть развивающимся опасным течениям в армии и тылу. Тогда можно будет привлечь соседние государственные образования к борьбе за воссоздание Российского государства. Пусть этот орган возьмет на себя часть ноши, которую Вы несете, и примет на себя удары, направленные со стороны тех, кто ставит себе иные, чем Вы, цели и задачи.

Громоздкое и неспособное действовать Особое совещание исполнило свое назначение и пережило себя. Ни Вам, ни делу оно больше не может быть полезно.

Вместо того чтобы отсылать его от себя и тем самым лишать его всякого политического и делового значения, вместо того чтобы ставить его в положение укрывающегося и спасающего себя в наиболее суровые минуты и обрекать его на вынужденное бездействие и утрату последнего престижа в глазах армии и населения, лучше распустите его.

Твердо и горячо веруя в историческую правду движения, возглавляемого Вами, и в его конечный успех, мы всеми

силами души желаем Вам мудрости и величия духа в Вашем великом и трудном подвиге».

Подписали: Н. Астров, М. Бернацкий, В. Степанов, В. Челищев, В. Юрченко, М. Федоров.

В тот же день получен был мною доклад председателя Особого совещания генерала Лукомского, затрагивающий «главнейшие вопросы, по которым необходимо знать (мое) мнение». Генерал Лукомский писал:

«1. Наиболее животрепещущий вопрос для данного момента — это наша неудача на фронте.

При неудаче *всегда масса* (и на фронте и в тылу) ищет виновников. Конечно, этим дела не исправишь, да и занятие, которое, хотя нервирует массу и создает известное настроение и в армии и в тылу, довольно болезненное, ибо дела не исправит.

Но если для массы это занятие бесполезное, надо помнить, что известное настроение и впечатление от этой же массы передается и тем, от коих очень многое может зависеть.

Одни обвиняют Ставку, другие Особое совещание. Те, кои обвиняют Особое совещание, в свою очередь разделяются на два лагеря: одни ругают за слишком правое направление, другие — за слишком левое.

Лично я думаю, что виновны обе стороны: и Ставка и Особое совещание.

Ставка, правильней штаб, виновен тем, что не организована была военная сила в тылу, что допущено было чрезмерное продвижение войск вперед без соответствующего устройства тыла (и в военном и в гражданском отношении) и что, по-видимому, штаб не знал состояния войск.

Особое совещание (главным образом, Управление внутренних дел) виновно тем, что не справилось с устройством тыла[1].

[1] Нужно пояснить, что организация тыла в военном отношении лежала не только на Ставке, но и на Военном управлении (военном министерстве), во главе которого стоял автор этой записки. Точно так же деятельность Управления внутренних дел была связана неразрывно с деятельностью председателя Особого совещания.

Это я отмечаю не с целью искать виновных, а для того чтобы предостеречь от опасности искать причину неудачи в области политики.

А эта опасность есть.

И. П. Романовский на этих днях сказал мне примерно следующее: «Мы с вами несколько расходимся в наших политических воззрениях, и я не могу умолчать, что, по моему глубокому убеждению, мы сорвались на том, что в Малороссии фактически проводили слишком правую «гетманскую» политику».

Н. И. Астров, представляя свою записку об изменении политического курса, также считал, что одна из причин неудачи — это неправильная политика.

Я лично считаю, что здесь не в политике дело, а в том, что мы не умели устроить тыл, не умели и не могли обуздать грабежи и насилия, чинившиеся и войсками, и государственной стражей, и органами контрразведки.

Если же мы теперь начнем менять политический курс, то попадем в еще более тяжкое положение.

2. Реорганизация Особого совещания.

Сговориться с казаками теперь будет трудно. Вчера мне Харламов сказал: «Не скрою от вас, что настроение среди членов конференции несколько изменилось, и некоторые говорят так: когда Добрармия занимала Орел, то с нами не церемонились и говорили очень твердым языком; теперь пора и нам заговорить другим языком».

Но если б даже разговоры с казаками шли гладко, вряд ли теперь своевременно создавать всю ту постройку, которая намечалась.

Н. И. Астров настойчиво доказывает (а Федоров к нему присоединяется), что Особое совещание отжило свой век, что теперь надо создать небольшое деловое правительство (из пяти-шести начальников главнейших управлений) и через него Вашему Превосходительству управлять всеми «министерствами». При таком небольшом «волевом» (как выражается Н. И. Астров) правительстве должен быть законосовещательный орган.

Этот вопрос члены Особого совещания просили поставить на обсуждение в присутствии Вашего Превосходительства.

Сегодня был у меня П. Б. Струве. Говорит, что *все* (и правые, и средние, и левые) ругают «Особое совещание; что, по его мнению, надо положить руль направо и, отметая всякое соглашательство, твердо проводить военную диктатуру.

Должен сказать, что с эвакуацией начальников управлений в Новороссийск, а управлений в Крым дело осложняется чрезвычайно.

Ясно, что Особое совещание действительно надо реорганизовать, но как — это сказать трудно».

Эти два документа поставили вновь и весьма остро вопрос об Особом совещании. Было ясно, что дальнейшее существование его становится невозможным психологически. Кроме того, и в техническом отношении общая обстановка требовала действительно большей концентрации власти, сокращения и упрощения ее органов.

Приказом моим от 16 декабря была проведена реорганизация управления, вылившаяся в такие формы:

1. Особое совещание упразднено.

2. Упразднены Отдел законов и Управление продовольствия. Самостоятельный Отдел пропаганды подчинен начальнику Управления внутренних дел и должности начальника военных сообщений и начальника путей сообщений соединены в одну; точно так же соединены в одно морское и военное ведомства.

3. Учреждена новая должность главного начальника снабжений, к которому перешли функции военного снабжения, санитарной части и общего продовольствия.

4. Образовано правительство из глав следующих ведомств (военно-морского, внутренних дел, финансов, сообщений, снабжений, торговли и промышленности, юстиции)[1].

5. Начальник Управления иностранных дел и Главный контролер подчинялись непосредственно Главнокомандующему; начальники Управлений земледелия и землеустройства, народного просвещения и исповеданий, также не входя в состав правительства, по вопросам, превышавшим

[1] Председатель мог быть и без портфеля.

их права, должны были входить с представлением к последнему.

6. При правительстве учреждалось «Совещание по законодательным предположениям».

Несравненно труднее обстоял вопрос о политическом курсе и составе правительства... Я ответил на него оставлением в силе данного мною «наказа» и оставлением в должности генерала Лукомского, стоявшего во главе правительства в течение нескольких месяцев — деятеля правого, но официально не носившего партийного штампа. При указанных выше условиях менять главу правительства не имело смысла.

Этот мой шаг произвел в свое время большое впечатление на общественные круги и вызвал всевозможные толки и догадки относительно внутренних, «скрытых» побуждений, вызвавших его.

Ближайшие дни показали, что и либеральная группа Особого совещания не вполне правильно восприняла свершившееся.

Отступление продолжалось, штаб Добровольческой армии перешел уже в Таганрог, и Ставка перенесена была временно в Ростов. Председатель правительства генерал Лукомский на первом же докладе сообщил мне, что либеральная группа Особого совещания обратилась к нему с просьбой ввести в состав правительства... А. В. Кривошеина и инженера Чаева[1]. Не сказав ни слова, я утвердил их назначения. Эта капитуляция побудила меня при ближайшей встрече с моими бывшими сотрудниками по Особому совещанию (либералами) бросить им фразу, выражавшую удивление и укор... В ответ один из них писал в то время генералу Романовскому:

«В нашей записке был дан план концентрации власти с привлечением в нее казачьих элементов. При этом имелось в виду, что опыт коалиции, вызвавший провал основной земельной реформы и всего местного гражданского строительства, осужден. Мы ожидали смены почти всего действу-

[1] Первого на должность главного начальника снабжений и второго — начальником Управления сообщений.

ющего состава, начиная с главы правительства. Но назначением генерала Лукомского предрешался вопрос о дальнейшем направлении внутренней политики. Этим устанавливалось ее правое направление с сохранением военной бюрократизации гражданского управления. Подчиняясь этому решению, мы должны были направить все внимание на создание сильной, а следовательно, *однородной* и технически наилучше оборудованной власти. Отсюда вытекала необходимость именно в рядах правых искать наиболее сильные, наиболее активные элементы. Мы прежде всего обратились к Савичу, но, когда он категорически отказался, остановились на Кривошеине и Чаеве. В тяжелых условиях переживаемого момента мы не считали себя вправе считаться с политическими и иными недочетами этих людей, на которые мы своевременно указывали и главнокомандующему, и считали себя, по долгу совести, обязанными указать на них, как на наиболее сильных и пригодных для однородного и способного к действию *правого* кабинета».

Впрочем, Н. И. Астров несколько иначе определял отношение либеральной группы:

«Мы не хотели усмотреть в этом принятие нового, правого курса. Но это было и не то, что мы предполагали, ибо образовывалось новое правительство — не определенного политического курса, связанное с Вами единством понимания политических задач, а чисто *техническое* для наилучшего разрешения невероятно сложных технических задач, выдвинутых временем и обстановкой.

Политический момент отступил на задний план, стушевался перед техническими трудностями задач.

Потому и право выбора техников отовсюду».

Главы остальных ведомств остались на своих местах, а не получившие портфелей члены бывшего Особого совещания, кроме Соколова, вошли в состав Совещания по законодательным предположениям. В таком виде новое правительство (по существу старое), перейдя в Новороссийск, некоторое время еще продолжало свою деятельность, в силу

сложившейся обстановки сводившуюся исключительно к ведению текущих дел.

Наступал период ликвидации и эвакуации.

Все эти перипетии, связанные с «реорганизацией» правительства, представляют, может быть, интерес для истории русской общественности. Но, как показало ближайшее будущее, то или иное решение никакого влияния на ход событий уже оказать не могло.

Я не знаю, нужно ли говорить о тех побуждениях, которые руководили мною в дни перестроения власти... Мне казалось, что и тогда они были достаточно ясны.

В сущности, все в правительстве должно было оставаться по-старому до создания новых форм управления, слагавшихся в процессе работы Южнорусской конференции.

Последние приказы мои означали: невозможность опереться на либералов, нежелание передать власть всецело в руки правых, политический тупик и личную драму правителя.

В более широком обобщении они свидетельствовали об одном, давно назревшем и теперь особенно ярко обнаружившемся явлении: *о кризисе русского либерализма.*

* * *

Особое совещание и с ним целый период жизни противобольшевистского Юга отошли в прошлое. Судить нас будет история. Я хотел бы отметить одно только явление, общее для всех поднявшихся против безумного советского режима частей Российского государства — общее для Севера, Востока, Юга и Запада, для казачьих областей, закавказских новообразований и западных лимитрофов...

Первые же шаги насаждения государственного строя на обломках прежнего, поросших большевизмом, различаясь внешними формами, большей или меньшей радикальностью и демократизмом содержания, худшей или лучшей организацией, имели везде одну, проникавшую существо их черту: они направляли народную жизнь в старое русло. Одни — в нетронутое, затянутое тиной, другие — в расчищенное, углубленное, но все же прежнее. Но и те и другие — в расчете на то, что над страной пронеслась только буря, опрокинувшая, изломавшая реальные ценности, накопленные веками, трудом и разумом поколений, а не наступил глу-

бокий процесс, переродивший духовную природу и психологию нации.

Свидетельствовало ли это явление только о той цепкой связи и зависимости от прошлого, которое довлело над страной и строителями, быть может, иногда помимо сознания и воли их?.. Исходило ли оно из бессилия и неумения деятелей революции прорыть, не выжидая, новое русло, в которое могла бы хлынуть и успокоиться очищенная в крови и страданиях волна народной жизни? Наконец, было ли оно признаком жизненности основных вех, по которым шло последовательно, веками, русское строительство?..

Ответ даст будущее.

ГЛАВА XXV
ПОХОД НА ВЛАСТЬ

Начало 1920 года, наряду с тягчайшими трудностями стратегическими, осложнено было наступательным походом на власть.

Шел он с двух сторон.

Генерал Врангель, получив назначение формировать казачью конную армию, прибыл в Екатеринодар, где имел ряд совещаний с кубанскими деятелями. На этих совещаниях были выработаны общие основания формирования трех кубанских корпусов, во главе которых должны были стать генералы Топорков, Науменко и... Шкуро.

Предназначение генерала Шкуро представилось мне довольно неожиданным.

После освобождения Шкуро от командования корпусом, в силу неприемлемости его для генерала Врангеля, Шкуро, по личной его просьбе, предоставлено было Ставкой объехать кубанские станицы и поднять *сполох*. Популярность его среди кубанцев сохранялась, а отрицательные стороны его деятельности в глазах казачества не были одиозны.

13 декабря барон Врангель послал телеграмму кубанскому атаману с копией в Ставку: до сведения его дошло, будто Шкуро начинает формировать нештатные добровольческие части на Кубани. Барон просил задержать эти формирования до прибытия в Екатеринодар с его планом организации командируемого туда генерала Науменко.

Генералу Шкуро было предоставлено поднимать казачество, а не вести формирования[1], и потому моим штабом отправлена была на его имя соответственная телеграмма. Местопребывание Шкуро не было точно известно, и служба связи отнеслась с исключительным вниманием к пожеланию генерала Врангеля, разослав телеграмму эту в целый ряд попутных станиц. Всюду, где появлялся генерал Шкуро, ему вручали телеграмму, содержание которой, довольно резкое, становилось известным и подрывало его престиж. Он протелеграфировал в Ставку о своей обиде, бросил «уговаривание» и вернулся в Екатеринодар. Дальнейшие эпизоды так излагаются генералом Шкуро:

«Мой поезд остановился напротив поезда генерала Врангеля. Прошло несколько минут, как адъютант мне доложил, что меня желает видеть генерал Шатилов. Я приказал просить. С генералом Шатиловым я был давно знаком, но за время гражданской войны нам как-то не приходилось встречаться. После взаимных приветствий генерал Шатилов заговорил о моих отношениях с генералом Врангелем. Сказал, что все недоразумения, которые произошли между нами, вызваны исключительно тем, что генерал Врангель был неправильно информирован о моей работе и деятельности, что теперь, ввиду тяжелого положения на фронте и общей опасности, нам всем надо объединиться для спасения общего дела, а затем просил, чтобы я зашел к генералу Врангелю. Не задумываясь, я ответил полным согласием и выразил готовность явиться к генералу Врангелю немедленно.

Спустя немного времени я пошел к генералу Врангелю. Будучи приглашен в салон, я там застал генералов Науменко и Шатилова. Генерал Врангель очень любезно принял меня, наговорил массу любезностей и просил помочь ему в той тяжелой работе, которую он на себя принял. Вскоре зашел только что прибывший с фронта генерал Улагай, но он был совер-

[1] Военное управление в Ростове без ведома Ставки назначило в помощь ему офицера Генерального штаба.

шенно болен и сейчас же ушел. В тот же день он свалился от тифа и долго проболел. Когда ушел и генерал Науменко, то генерал Врангель начал расспрашивать о настроениях казачества на местах, о степени популярности генерала Деникина среди казачества и офицерства и вскользь несколько раз бросил мысль, что главное командование совершенно не понимает обстановки и всех нас ведет к гибели и что против этого надо бороться и искать какой-либо выход. Так как время было близко к Рождеству, то, помню, генерал Врангель сказал, что он хочет ехать на два-три дня в Кисловодск немножко отдохнуть, а также чтобы повидаться с терским атаманом и генералом Эрдели. Собираясь также выехать в Кисловодск, где была моя семья, я предложил генералу Врангелю и генералу Шатилову с супругами встретить у меня сочельник. Генералы очень любезно согласились.

Мы соединили наши поезда и 23 декабря все вместе выехали. По дороге я долго беседовал с генералом Врангелем, который настойчиво доказывал мне, что вся общественность и армия в лице ее старших представителей совершенно изверились в генерале Деникине, считая его командование пагубным для дела, а присутствие генерала Романовского на посту начальника штаба даже преступным; что необходимо заставить во что бы то ни стало генерала Деникина сдать командование другому лицу и что с этим вполне согласны, и что он уже переговорил об этом лично с донским и кубанским атаманами, с председателями их правительств, а также с командующим Донской армией генералом Сидориным и его начальником штаба генералом Кельчевским, с кубанскими генералами Покровским, Улагаем и Науменко, с видными членами Кубанской рады и Донского круга, со многими чинами Ставки и представителями общественности, и что все вполне разделяют его, Врангеля, точку зрения, и что теперь остановка только за мной и за терским атаманом, а тогда, в случае нашего согласия, мы должны предъявить генералу Деникину ультимативное требование уйти, а в случае нужды не останавливаться ни перед чем.

Я ответил, что пока не могу дать своего согласия, что это слишком рискованный шаг, который может вызвать крушение всего фронта.

Затем я ушел, условившись вечером в сочельник встретиться у меня на даче в Кисловодске. 24 декабря утром, подъезжая к Пятигорску, я приказал отцепить свой вагон, а сам тотчас же проехал к терскому атаману генералу Вдовенко. Генерал Врангель также до вечера оставался в Пятигорске. Рассказав ему (генералу Вдовенко) все подробно, я спросил, как он думает поступить. На это атаман ответил: «Думаю, что это все не так, тут чувствуется какая-то провокация. Во всяком случае, полагаю, что подобная генеральская революция преступна и нас всех погубит. Этого допускать нельзя, и я сейчас же экстренным поездом отправлю председателя Круга Губарева к Донскому атаману и к Главнокомандующему. К вечеру мы все будем знать точно всю обстановку. Ты же никоим образом не соглашайся на ту роль, которая тебе подготавливается, а если придется действовать энергично, я тебе помогу». Немедленно после этого я поехал в Кисловодск.

Генерал Врангель оставался еще несколько часов в Пятигорске. Вечером часам к 8 приехал в Кисловодск генерал Врангель, которого я встретил на вокзале с почетным караулом, а оттуда поехали ко мне генералы Врангель и Шатилов с супругами. За обедом обменялись все очень любезными тостами, но никаких серьезных разговоров не поднимали. Вскоре пришел генерал Эрдели. Тотчас же генерал Врангель и генерал Эрдели уединились в соседнюю комнату и о чем-то долго и горячо говорили. Затем все ушли, а утром совершенно неожиданно генерал Врангель потребовал паровоз и выехал. Мы условились, что по приезде в Екатеринодар через два дня мы снова обо всем переговорим».

Посещение бароном Врангелем терского атамана генерала Вдовенко описано в записке последнего следующим образом:

«24 декабря 1919 года вместе с генералом Шатиловым приехал ко мне генерал Врангель.

Беседа происходила в присутствии П. Д. Губарева, который случайно был у меня. Предложения генерала Врангеля заключались в том, что у донцов и кубанцев возникла мысль

о коренной реорганизации власти на Юге России. Власть эта мыслилась как власть общеказачья, и, по мнению генерала Врангеля, обстановка требовала создания такой власти, а между тем генерал Деникин на создание такой власти не соглашается. Себе генерал Врангель отводил место командующего казачьими войсками: Донской и Кубанской армиями и Терским корпусом. На вопрос, как же мыслилось дальнейшее существование Добровольческой армии, генерал Врангель подтвердил, что хотя генерал Деникин и грозит увести Добровольческую армию, но этого не будет, и армия безусловно останется, ибо недовольна генералом Деникиным. По словам генерала Врангеля выходило, что на признание его, Врангеля, своим вождем кубанцы уже согласились, согласие у донцов обеспечено и остановка только за терцами. Надо сказать, что генерал Врангель очень волновался, поэтому почти после каждой фразы обращался к генералу Шатилову: «Не правда ли, Павлуша?» Я высказал сомнение, чтобы эту идею, идею смены революционным путем командования на Юге России, в такой тяжелый для армии момент разделяли бы войсковые атаманы и командующий Донской армией. Все это только послужит к усилению развала и поможет большевикам. «Терек на это не пойдет», — сказал я и этим беседа кончилась.

Почувствовав интригу, я в тот же день командировал П. Д. Губарева к Донскому атаману и командующему Донской армией, чтобы он установил истину и доложил бы обо всем Главнокомандующему, а затем заехал бы и на Кубань. Для официального Дона это была новость. На Кубань Петр Дементьевич не заехал, а потому я и не знал, как думала официальная Кубань, но для меня стало ясно, что и на Кубани эта идея не имела успеха».

В те же дни бывший помощник генерала Врангеля по должности главноначальствующего Харьковской области и будущий его министр внутренних дел Тверской собирал в Кисловодске видных общественных деятелей и осведомлялся: может ли генерал Врангель в случае переворота рассчитывать на поддержку общественных и финансовых кругов. Ответ он получил отрицательный.

Между тем, как оказалось, с возглавлением казачьей группы бароном Врангелем вышло недоразумение и на Кубани. Заместитель атамана Сушков и председатель Кубанской рады Скобцов отнеслись к такому предположению совершенно отрицательно, заявив, что «если это случится, то казаки не пойдут в полки, так как генерал Врангель потерял свой престиж на Кубани». Они просили генерала Науменко «принять меры, чтобы барон сам отказался от этой мысли». Науменко поручение исполнил.

Скобцов по этому поводу пишет:

«Генерал Врангель просил о свидании, которое и было назначено на первый или второй день Рождества. Мы были вдвоем с Сушковым. Генерал Врангель прибыл совместно с генералом Шатиловым...

Предупрежденный генералом Науменко, генерал Врангель... предупредил нас своим заявлением, что он решил отказаться от поручения Главнокомандующего и срочно выезжает в Новороссийск.

В ответ на его предложение воспользоваться услугами его штаба при формировании частей мы указали, что это уже дело специалистов военных, которых мы назначаем из природных кубанцев».

Поезд Ставки перешел 27 декабря в Тихорецкую, и в ближайший день туда прибыли генерал Врангель и председатель Терского круга П. Д. Губарев; последний с поручением от атамана Вдовенко и генерала Эрдели выслушать его доклад ранее генерала Врангеля. Губарев сообщил мне почти дословно то, что изложено выше в позднейшей записке генерала Вдовенко, причем финал разговора описывал более образно: «Выслушав генерала Врангеля, Герасим Андреевич (Вдовенко) ударил по столу кулаком и сказал: «Ну, этому не бывать». После чего разговор сразу пресекся».

Через несколько минут после ухода Губарева в мой вагон вошел барон Врангель, и первыми его словами были:

— Ваше превосходительство, Науменко и Шкуро — предатели. Они уверили меня, что я сохранил популярность на Кубани, а теперь говорят, что имя мое среди казачества оди-

озно и что мне нельзя стать во главе казачьей конной армии...

Генерал Врангель считал поэтому дальнейшее свое участие в формировании ее невозможным. Свои взгляды на роль казачества и на продолжение борьбы он изложил в представленной мне тогда же записке, носившей дату 25 декабря.

«В связи с последними нашими неудачами на фронте и приближением врага к пределам казачьих земель среди казачества ярко обозначилось, с одной стороны, недоверие к высшему командованию, с другой — стремление к обособленности. Вновь выдвинуты предположения о создании общеказачьей власти, опирающейся на казачьи армии. За главным командованием проектом признается право лишь общего руководства военными операциями, во всех же вопросах как внутренней, так и внешней политики общеказачья власть должна быть вполне самостоятельной. Собирающаяся 2 января в Екатеринодаре казачья дума должна окончательно разрешить этот вопрос, пока рассмотренный лишь особой комиссией из представителей Дона, Кубани и Терека. Работа комиссии уже закончена и соглашение по всем подробностям достигнуто. Каково будет решение думы, покажет будущее. Терек в связи с горским вопросом, надо думать, займет положение, обособленное от прочих войск. Отношение Дона мне неизвестно, но есть основание думать, что он будет единодушен с Кубанью. Последняя же, учитывая свое настоящее значение, как последнего резерва Вооруженных сил Юга, при условии, что все донские и терские силы на фронте, а кубанские части полностью в тылу, стала на непримиримую точку зрения. Желая использовать в партийных и личных интересах создавшееся выгодное для себя положение, объединились все партии и *большая часть старших начальников, руководимых мелким честолюбием.*

Большевистски настроенные и малодушные поговаривают о возможности для новой власти достигнуть соглашения с врагом, прочие мечтают стать у кормила правления. Есть основания думать, что англичане сочувствуют созданию общеказачьей власти, видя в этом возможность разрешения грузинского и азербайджанского вопросов, в которых мы до сего времени занимали непримиримую позицию.

На почве вопроса о новой власти агитация в тылу наших вооруженных сил чрезвычайно усилилась.

Необходимо опередить события и учесть создавшееся положение, дабы принять незамедлительно определенное решение.

Со своей стороны, зная хорошо настроение казаков, считаю, что в настоящее время продолжение борьбы для нас возможно лишь опираясь на коренные русские силы. Рассчитывать на продолжение казаками борьбы и участие их в продвижении вторично в глубь России нельзя. Бороться под знаменем «Великая, Единая, Неделимая Россия» они больше не будут, и единственное знамя, которое, может быть, еще соберет их вокруг себя, — это борьба за «права и вольности казачества»; и эта борьба ограничится в лучшем случае очищением от врага казачьих земель.

При этих условиях главный очаг борьбы должен быть перенесен на запад, где следует сосредоточить все наши главные силы.

По сведениям, полученным мною от генерала английской службы Киза, есть полные основания думать, что соглашение с поляками может быть достигнуто. Польская армия в настоящее время представляет собою вторую по численности в Европе (большевики, поляки, англичане). Есть основания рассчитывать на помощь живой силой других славянских народов (болгар, сербов).

Имея на флангах русские армии (Северо-западную и Новороссийскую) и в центре поляков, противобольшевистские силы займут фронт от Балтийского до Черного моря, имея прочный тыл и обеспеченное снабжение.

В связи с изложенным казалось бы необходимым принять меры для удержания юга Новороссии, перенесения главной базы из Новороссийска в Одессу, постепенной переброски на Запад регулярных частей с выделением ныне же части офицеров для укомплектования Северо-западной армии[1], где в них огромный недостаток.

Генерал-лейтенант барон Врангель».

---

[1] Северо-западная армия в это время была разоружена и интернирована на эстонской территории.

С тех пор правая оппозиция, главою которой считался барон Врангель, стала вести агитацию за разрыв с казачеством, за перенесение борьбы в Новороссию и возглавление там войск и власти генералом Врангелем. Это течение, находившее отклик среди тылового офицерства и проникавшее в армию, ослабляло импульс готовившегося решительного наступления.

ГЛАВА XXVI
ВЕРХОВНЫЙ КРУГ ДОНА, КУБАНИ И ТЕРЕКА. СОВЕЩАНИЕ В ТИХОРЕЦКОЙ

Поход на власть шел и с другой стороны.

Наши военные неудачи, вызвав падение авторитета южной власти, вместе с тем похоронили и результаты Южнорусской конференции. Казачество сочло возможным самостоятельно и односторонне разрешить вопрос о построении общей власти. 5 января в Екатеринодаре собрался казачий Верховный круг[1], который приступил «к установлению независимого союзного государства», объявив себя «верховной властью по делам общим для Дона, Кубани и Терека». С первых же заседаний обнаружилась истинная физиономия этого парламента, едва ли не наиболее слабого из всех соборных опытов русского безвременья. Перечитывая теперь отчеты о заседаниях Верховного Круга, я укрепился еще более в его оценке: отсутствие национальной идеи, убогая мысль, потеря чувства реальности, оторванность от народных масс, личные или партийные интересы — во главе угла. И беспомощность немногих государственных людей, стремившихся безнадежно повернуть Круг на путь благоразумия, иной раз — просто пристойности. Самонадеянность сменялась подавленностью, жестокая и очень часто несправедливая критика, при забвении собственных прегрешений, заменяла всецело положительную работу.

[1] По 50 членов соответствующих войсковых Кругов и Рады, под председательством председателя Кубанской рады Тимошенко.

Сразу обнаружились три главных течения в Круге.

Часть донцов и почти все терцы призывали к продолжению борьбы в единении с главным командованием. Особенно твердо настаивали на этом Донской атаман Богаевский и генерал Сидорин, рисуя перспективы полной военной катастрофы в случае ухода добровольцев.

Большая часть кубанцев, оба крайних фланга донцов (Агеев, Гнилорыбов, Янов) и несколько человек терцев (левый фланг) требовали полного разрыва с нами.

Чем же мыслили они восстановить равновесие сил перед лицом надвинувшихся уже на Кубань большевистских армий? Союзом с полумифическим в то время Петлюрой, помощью «живой силой» со стороны вступавших уже на путь переговоров с советами Грузии[1] и Азербайджана, наконец, «организацией масс», то есть поддержкой кубанских «зеленых» — отрядов Пилюка, Крикуна, братьев Рябоволов и других, с которыми поддерживали тесную связь многие члены Верховного круга и которые мало-помалу из дезертиров превратились просто в бандитов.

Кубанский атаман Букретов вступил в переговоры с английскими и французскими представителями, и председатель Рады Тимошенко обнадежил ее, что Кубанская армия будет обеспечена английским снабжением. Тотчас же генерал Хольман послал атаману и опубликовал в газетах письмо, в котором было заявлено, что ни один мундир, ни один патрон не будет выдан никому без разрешения Главнокомандующего... Тем не менее кубанские самостийники не теряли надежд и продолжали вести сильнейшую агитацию на фронте и в тылу. Кавказская армия разлагалась и разбегалась окончательно, пополнения отказывались идти на фронт, и славные некогда кубанские корпуса превратились в штабы без войск, а последние — в тучи дезертиров, осевших по станицам.

Наконец, третье течение — наиболее опасное. Оно захватывало левые фланги донцов и кубанцев, представители

[1] Серьезно дебатировался вопрос о финансировании предложения некого князя Магалова, обещавшего выставить 20-тысячный корпус грузинских добровольцев (народная гвардия).

которых не осмеливались пока выявлять его открыто с кафедры, но на тайных сходках и заседаниях — ранее в Новочеркасске, теперь в Екатеринодаре — склонялись к прекращению борьбы. Встревоженные этим обстоятельством терцы потребовали, чтобы Верховный круг высказался по поводу слухов о возможности мирных переговоров с большевиками, но председатель Тимошенко отклонил обсуждение этого опасного вопроса. Косвенно исчерпывающий как будто ответ давало «Введение» к «Положению о Круге», определявшее саму цель его «организацией решительной борьбы против большевиков и очищение от них наших территорий...» Но слухи ползли отовсюду, находя радостный отклик в самостийной прессе («Кубанская воля» и другие); назывались уже имена и факты...

Внутри Круга шла борьба между войсками, внутри войск — между партиями. Донцы и терцы с возмущением и яростью нападали на кубанцев за их потворство оставлению фронта кубанскими частями, за равнодушие и черствость в отношении донского беженства. В Донском кругу углублялся раскол, осложнившийся кампанией, поведенной против атамана генерала Богаевского и председателя Круга Харламова, который вначале был даже забаллотирован в члены Верховного круга[1].

Вражда между «черноморцами» и «линейцами» грозила перейти в полный разрыв, ставя вновь на очередь вопрос о выделении из Кубанского войска «линейских» (русских) округов и о присоединении их к Тереку... Только терцы — атаман, правительство и фракция Круга — почти в полном составе представляли единый фронт.

На Круге все громче слышались голоса, требующие ограничения борьбы «защитой родных краев», а при обсуждении вопроса о форме присяги подвергалось поношению само имя России... Даже лояльные казаки говорили открыто на Круге: «Главнокомандующий не учитывает момент... Москву нужно держать в сердце, но говорить теперь можно только об освобождении казаков от большевиков...» Не понимали, что эти упрощенные лозунги убивают всякий импульс к борьбе в добровольцах. «Что же мы? — отвечали из их рядов. — Пушечное мясо для защиты ненавистных самостийников?..»

[1] 29 января была переизбрана донская фракция Верховного круга, причем новый состав имел большинство «харламовцев» и «парамоновцев».

А на фоне общего бедствия и клокочущих страстей появлялись политические маклеры — чересчур дальнозоркие или чрезмерно близорукие, ссылаясь на исторические заслуги казачества и указывая панацею от всех взаимных столкновений и обид. «Нужно исправить северные границы Дона за счет Воронежской губернии и присоединить к нему Царицын (проект Доно-Волжского канала), разделить Ставропольскую губернию между Тереком и Кубанью и отдать последней Черноморскую губернию (порты Новороссийск и Туапсе)... Стоит только Главнокомандующему *поклониться* этими землями казачеству, и все будет хорошо...»

Верховный круг с первого же дня своего существования разлагался, дискредитируя идею народоправства. Не только «верховной», но никакой властью фактически он не обладал. Круг не мог указать путей, способных привлечь, и не обладал энтузиазмом, могущим увлечь казачество на борьбу. Но *Верховный Круг имел достаточно еще сил и влияния, чтобы склонить чашу весов колеблющегося настроения уставшего, запутавшегося казачества к разрыву с Добровольческой армией и... к миру с большевиками.* И с Кругом нужно было считаться.

Идея самостоятельного казачьего государства и самостоятельной казачьей армии под влиянием кубанских самостийников поначалу стала брать верх на Круге.

Еще до открытия Верховного круга по поводу екатеринодарских настроений я телеграфировал генералу Богаевскому для передачи Кубанской раде и Донскому кругу, отмечая два важных случая последнего времени: отход Добровольческой армии с огромными потерями на Ростов для спасения казачьего фронта и... уход с фронта в самые тяжкие дни кубанских частей. «Невзирая на все случившееся, — писал я, — настоящее стратегическое положение, при условии принятия участия в борьбе кубанских казаков, обещает полную победу над большевиками... Но кубанские и

донские демагоги, лишенные политического смысла, в ослеплении своем разжигают низкие страсти, возбуждают казачество против добровольчества и командования и тем рушат последние своды, поддерживающие еще фронт... Предвижу только два положения: с добровольцами или... с большевиками»[1].

Через несколько дней в отчете Круга появилась фраза, сказанная будто бы на заседании его генералом Богаевским: «Если Круг предложит генералу Деникину уйти, он уйдет» и так далее. Я телеграфировал Богаевскому: «Ни в малейшей степени не считаюсь в этом отношении с желанием Круга. Веду борьбу *за Россию* на данном театре до тех пор, пока это возможно. А если идея общерусской государственности будет здесь попрана, вместе с Добровольческой армией перенесу борьбу на другой фронт...»[2]

Разрыв грозил катастрофой обеим сторонам. Стратеги Верховного круга могли заблуждаться, но Ставка и военачальники понимали прекрасно, что увод добровольцев повлечет за собой немедленное падение всего фронта, быть может, сдачу большевикам со всеми ее тягчайшими последствиями. С другой стороны, если Добровольческий корпус, хотя и с потерями, мог бы пробиться к Новороссийску даже сквозь большевистские полки и могущую стать враждебной ему казачью стихию, то на территории Кубани и Северного Кавказа оставались еще тысячи офицерских семейств, военные училища, гарнизоны, больные, раненые, чиновничество и вообще многочисленные элементы — российские, кубанские, донские и терские, связанные крепко с добровольчеством. Бросить их в пучине страстей, которые поднялись бы с уходом добровольцев, было немыслимо.

Вопрос для меня был ясен.

Никакие жертвы в области ограничения гражданской власти не велики, если благодаря им могло быть достигнуто оздоровление казачества и разгром большевиков.

С другой стороны, *основы соглашения совершенно безразличны, если будет утеряна казачья территория, и в последнем случае важно лишь то, что ведет по возможности безболезненному исходу.*

[1] 31 декабря, № 017582.

[2] 10 января 1920 года, № 00248.

Эти мотивы легли в основу всех дальнейших моих отношений с Верховным кругом и казачеством, приведших к ряду компромиссов, которые вызывали во многих российских кругах осуждение.

Я брал на свою голову, с полным сознанием своего долга, весь одиум «соглашательства» — ради победы или хоты бы ради спасения тех, кто был связан с добровольчеством.

Имя генерала Лукомского было одиозно в казачьих кругах, и председателем правительства был назначен генерал Богаевский[1], в состав правительства я согласился ввести должности министров по делам трех казачьих войск.

Так как кубанцы не хотели идти в ряды Кавказской армии, то во исполнение их вожделений создана была Кубанская армия, во главе которой поставлен был популярный на Кубани генерал Шкуро[2].

Этими актами начался ряд уступок казачеству...

• • •

Верховный круг шумел, хотя слухи об уходе добровольцев вызывали страх и уныние. Для вящего воздействия на Круг по инициативе военных начальников я собрал 12 января в Тихорецкой, где находилась Ставка, совещание из атаманов, правителей и командующих. На этом совещании, оставляя в стороне вопрос о личностях, оставляя всякие обвинения и ошибки, я поставил твердо и определенно основное положение: *единство России и единство армии*.

«Без этого ни я, ни тысячи людей, единомыслящих со мной, не можем идти с теми, кто эти идеи отвергает. Ответ необходим немедленный, ибо дальше в этой нездоровой политической атмосфере бороться не имеет смысла...»

[1] Фактически до окончательного преобразования власти не вступал в исполнение обязанностей. Назначение встречено было в казачьих кругах неблагожелательно.

[2] Первый кандидат, генерал Улагай, был болен сыпным тифом. Ввиду лояльности генерала Шкуро к главному командованию он подвергся бойкоту кубанских политиков, теперь припомнивших ему те грехи, которые ранее не ставились ему в вину.

Демонстрация полного единения всех военных начальников была внушительна и не оставляла сомнений во всеобщем негодующем чувстве по отношению к политиканствующему Екатеринодару. Прежде всего все сходились в оценке стратегического положения, не только допускающего возможность продолжения борьбы, но и обещающего успех. Генералы Сидорин и Кутепов свидетельствовали — и тогда это было истиной — о боеспособности Донской армии и Добровольческого корпуса, о сохранении в их рядах духа и желания драться. Кубанские начальники (генералы Покровский, Шкуро), не отрицая развала своих войск, относились, однако, с большим оптимизмом — и это оказалось ошибкой — к возможности поднять кубанское казачество. И даже председатель Кубанской рады Тимошенко заявил, что Рада разослала своих членов для агитации в станицах и уверена, что «все кубанские части как один пойдут на фронт...» При этом, однако, кубанский атаман Букретов нашел лицемерное объяснение «той смуте, которая якобы (!) совершается в Екатеринодаре — этом сердце казачества»: весь вопрос был, оказывается, в малодушии российских людей. «Паника, буквальное бегство на Новороссийск... Вместо тыловых позиций на *границах* Кубани устраиваются позиции у Новороссийска... Впечатление такое, что Кубань защищать не хотят...»

Такие взгляды кубанский атаман (офицер Генерального штаба) проводил, по всей вероятности, и в среде казачества... В этом вопросе он не нашел поддержки даже со стороны Тимошенко, который заявил, что казаки понимают, что нельзя ограничиться защитой географических пределов.

Не менее единодушно высказано было осуждение Верховному кругу и возобладавшим на нем течениям. Привожу несколько выдержек из отчета об этом совещании.

Донской атаман генерал Богаевский: «Все, что происходит в Екатеринодаре, приводит меня к убеждению, что многие люди вовсе не понимают обстановки: всюду господствуют личные интересы и все ставят на карту ради них. К моему глубокому сожалению, и у донцов случайно есть господа, думающие и говорящие о мире с большевиками, но и они записывают свои семьи на отходящие за границу пароходы. Создается совершенно ненужный союз. Предатели затевают нечестную кампанию и ставят крест на нашем существовании. Дезертиры громят тех, кто им мешает, и, громя их, губят армию и все дело борьбы. Офицеры сознают, что им несдобровать, и, если будет разрыв, все уйдут; они понимают, что их первыми выдадут большевикам. Я первый откажусь от поста атамана.

Что было сегодня в Екатеринодаре? Два часа бессмысленных речей людей, ничего не понимающих в военном деле. Там собрались, чтобы воткнуть нож в спину... Если добровольцы уйдут, все рухнет. Это бредни о сборе двухсоттысячной армии на Дону против большевиков — бессмысленные бредни ничего не понимающих людей. Армия, собранная для заключения мира, воевать не будет. Если откажемся от общей власти, от общего командования, будет лишь совдеп, и все погибнет».

Председатель Донского круга Харламов: «Я вижу, что вопрос о возможности продолжения борьбы ставится под сомнение. Открыто о мире не говорят, о нем упоминается лишь в частных беседах. Но зараза эта распространяется и охватывает слабых людей. Конечно, в той обстановке, в которой протекает политическая жизнь, благодаря созданию Верховного круга и той атмосферы, которая вокруг него складывается, зараза идет и шире и глубже.

Изменение лозунга борьбы и замена идеи борьбы борьбой за собственный очаг, за собственную шкуру означает конец этой борьбы. Кубань счастливее Дона и Терека. Дон вдался клином в совдепию, Терек — вооруженный стан. Кубань богата и цветет и за нашей спиной может чувствовать себя спокойно; она может попытаться проводить в жизнь слепливание России по кусочкам. Мы это пережили и в августе, и в сентябре; потребовался особый указ Круга... Мы решили, что не географические границы области считать пределом борьбы, а стратегические требования. И когда донцы поняли большевизм, у них уже не было разговора о границах борьбы. То настроение, о котором говорил командующий армией, разделяется всеми, сделавшими отход; все свидетельствуют о готовности бороться и дальше. Не только нет разговоров о мире, не говорят даже о безнадежности

борьбы. И у меня нет сомнений, что Донской круг, который на этих днях соберется, не останется на прежней позиции, но станет на точку зрения государственности. Самостоятельное казачье государство для нас немыслимо.

Единая Россия может создаваться единой общерусской властью и единой вооруженной силой. Это непреложно. Демократическими лозунгами казачество никого не обманет, никого не удивит и ничего не завоюет.

Я считаю своим долгом отметить, что единственная речь, произнесенная на Верховном круге, напоминавшая о государственной идее и говорившая об общегосударственной власти, единственная речь — говорю это с болью в сердце — вышла из уст осетина Баева, представителя Терского войска...»

Председатель Терского круга Губарев: «Тяжелая обстановка и атмосфера на Круге. Этого отрицать никто не будет. Там слово «Россия» произнесено быть не может. Вопрос о борьбе с большевиками проходит очень тяжело и был принят с большим трудом, и то после того как был поднят вторично. Мы, терцы, до сих пор не можем заглянуть в душу и разгадать, что происходит, что делается там, чего хотят они. Мы считаем, что идея не должна умирать ни сегодня, ни завтра, ни после... Дальнейшее такое положение немыслимо. Мы чувствуем, что многие из вас спасутся, наши же лучшие люди погибнут».

Председатель Терского правительства Абрамов: «Без общей государственной власти и согласия с главным командованием ни бороться, ни жить Терское войско не может. Другого выхода Терское войско не видит. Если в мое и Губарева отсутствие прошла наша резолюция, то вы видите, каково настроение терцев. Лучше погибнуть с честью за Единство России...»

Терский атаман генерал Вдовенко: «Течение у терцев всегда одно. Золотыми буквами у нас написано: «Единая и Великая Россия». У терцев нет и мысли разрывать с Добровольческой армией. Не будет ее, не станет и борьбы».

В стороне от общего настроения собравшихся стояли только кубанские представители — атаман Букретов и председатель Рады Тимошенко, представлявший на совещании одновременно и Верховный круг.

«Это не смута, а движение народа, — говорил Букретов, — которому нужно пойти навстречу и удовлетворить массу. Надо, быть может, посчитаться с личностями[1]. Нужны уступки, чтобы идти скорее в наступление».

Тимошенко, видимо, волновавшийся из-за града обвинений, сыпавшихся на Круг, а косвенно и по его адресу, ответил весьма сдержанно. Он протестовал против опорочения Круга, представляющего «все лучшее, что могли дать Дон, Кубань и Терек». Заявил от имени Круга: «Мы повинуемся главнокомандующему, когда говорят о стратегии...» Но, видя центр тяжести гражданской войны в политической жизни, он требовал участия в ней Круга: «Мы, из народа, в состоянии не хуже военных авторитетов усвоить те идеи, которыми живет народ». Призывая «понять и оценить причины настоящего настроения масс», убеждал нас, что «утомление нельзя рассматривать как измену и предательство». Тимошенко признавал необходимость борьбы, невозможность разрыва с Добровольческой армией и даже единство России, лишь бы не произносилась сакраментальная для казачества фраза о походе на Москву...

Сущность всего высказанного на совещании сводилась к следующим выводам:

1. Продолжение борьбы возможно, необходимо и обещает успех.
2. Необходимо немедленно выдвижение на фронт кубанских частей для прикрытия обнаженных ими направлений и для наступления.
3. Донская и Кубанская армии имеют право на существование, но составляют с прочими единую русскую армию, управляемую единой властью, которая использует казачьи и добровольческие корпуса на тех фронтах и в тех армиях, где этого потребует стратегическая обстановка.

---

[1] Эта фраза была истолкована, как выпад против меня. Председатель донского правительства Мельников, резюмируя слышанное, говорил: «Сегодня большинство всех против одного ответило, что казачество за генералом Деникиным идет». Я остановил оратора, предложив не касаться личностей и не выходить из области идей.

4. Разрыв с Добровольческой армией знаменовал бы немедленное падение фронта и конец борьбы.

5. Добровольческая армия, добровольческие части, входящие в состав казачьих армий, и русское офицерство местной власти не подчинятся.

6. Горские народы Северного Кавказа Верховного круга не признают.

7. Без идеи единства России и единства армии продолжение борьбы немыслимо. То тягостное неопределенное положение, в котором ныне живет армия, долее выносить нельзя. Необходимо немедленное разрешение вопроса о власти, ибо русское добровольчество и офицерство готово сложить свои головы за Россию, но за благополучие одного лишь казачества умирать не будет. Это положение было высказано твердо не одними добровольческими начальниками, но и командующими Донской и Кубанской армиями.

ГЛАВА XXVII
ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО КРУГА 16 ЯНВАРЯ 1920 ГОДА

После совещания Тимошенко обратился ко мне с предложением прибыть на Круг, уверяя, что личное общение разрешит скорее и легче все недоразумения. Я ответил, что это будет зависеть от того, как отнесется Круг к вынесенным сегодня постановлениям.

После вторичного настойчивого приглашения я решил посетить Верховный круг.

16 утром мой поезд прибыл в Екатеринодар. Тотчас начались посещения целого ряда лиц, имевших целью побудить меня к уступкам и предотвратить возможный разрыв. Явились английский и французский представители, принеся навеянный Кругом, но все же далекий от его пожеланий проект государственного устройства Юга. Их речи были неуверенны, понимание положения сбивчивое, но цели несомненно искренние. Пришел и Тимошенко, который в качестве аргумента в пользу уступок и соглашения с казачеством привел «достоверноя сведения» о... брожении в добровольческих кругах. Уступки казачеству как средство успокоить добровольцев — это было несколько неожиданно...

В полдень я приехал на заседание Круга и сказал речь, с полным текстом которой были ознакомлены предварительно командующие генералы — Сидорин и Кутепов.

«1. В дни наших неудач все ищут причины, поколебавшие фронт. Правые видят их в недостаточно твердом проведении своей программы; левые — в реакционности правительства; одни — в самостийных устремлениях; другие — в нетерпимости к новым «государственным образованиям»; третьи — в главном командовании. И все — в грабежах и бесчинствах войск, даже те, кто толкал их на это, заменяя недостаток патриотизма жаждой наживы.

2. Теперь, когда все горит в огне политических страстей, трудно найти истину. Я отметаю поэтому всякие личности, всякие ошибки, всякую социальную и политическую нетерпимость... Умудренные печальным опытом прошлого, мы должны напрячь все свои силы, чтобы искупить свои большие и малые, вольные и невольные вины перед Родиной, в безысходных страданиях ждущей избавления.

3. Что же случилось на фронте?

Если в харьково-воронежском районе мы имели против себя огромные силы большевиков, стянутые со всех сторон и под напором которых сдвинулся наш фронт, то уже под Ростовом и Новочеркасском мы сами имели превосходство над противником и в технике, и в силе. Но, к стыду нашему, дух был подорван: и отступлением, и наживой, и безудержной пропагандой, подрывавшей авторитет командования и затемнявшей цели борьбы. И вот в начале декабря южнее Купянска рассыпалась сильная конная группа, которая должна была решить участь всей операции... Когда шли горячие бои под Ростовом, я видел у Батайска бесконечные вереницы веселых, здоровых всадников на хороших лошадях с огромными обозами... И еще больше болело сердце за тысячи погибших добровольцев, которые, имея возможность безболезненно уйти в Крым, жесточайшими боями пробивались к Дону, чтобы вместе

с донцами грудью прикрыть Кубань и Кавказ. Болело сердце за тысячи казачьих жизней, павших безрадостно, не дождавшись победы.

4. Но это прошлое.

Фронт поправился и стал прочно. На донском фронте даже численный перевес противника невелик... Конница казачья и добровольческая разбила недавно Буденного и потрепала Думенко. Вчера донцы вновь разбили Думенко, который бросил большую часть своей артиллерии. Добровольцы в двухдневном бою отбили многократные атаки и отбросили большие силы противника. Терцы отбросили большевиков далеко за Кизляр. Крым и Новороссия прикрыты. Возможны, конечно, еще неудачи, но даже дальнейший отход не страшен при данной силе и настроении главного нашего фронта и при непременном условии немедленного выхода на фронт кубанских частей для наступления и для прикрытия некоторых направлений, совершенно обнаженных и угрожаемых.

В самом деле, не кажется ли вам странным, что в час самой грозной опасности из всего Кубанского казачьего войска на боевом фронте дерется всего лишь $8^1/_2$ тысяч бойцов?

К сожалению, преступная пропаганда продолжает свое злое дело, и нежелание некоторых полков идти на фронт, большая утечка из других частей, медленное формирование — это лишь отзвуки нездоровой жизни Екатеринодара.

Если так пойдет дальше, то на успех рассчитывать трудно.

5. Какую же силу представляет собой ныне большевизм? Я не стану излагать своего мнения и ограничусь оценкой, данной Троцким на заседании революционного военного совета Южного фронта.

«Отсутствие продовольствия, расстройство транспорта, голод, холод, глухое и открытое недовольство нами масс — все это грозит последствиями, которые до конца напряженная власть не в состоянии будет ликвидировать. Наш противник также совершенно выдохся, и весь вопрос в том, кто из нас в состоянии будет выдержать эту зиму. Мы не в состоянии воевать, они тоже, поэтому во что бы то ни стало надо наступать».

Неужели вы не понимаете, что, невзирая на все видимые блестящие успехи большевиков, это крик отчаяния зарвавшегося игрока, и от нас требуется лишь последнее сильное напряжение, чтобы покончить с ним?

И если мы не напряжем всех сил своих, чтобы свергнуть большевиков, то окажемся такою слякотью, которая недостойна тех вольностей, о которых так много, горячо и красиво говорят во всех представительных учреждениях. Ибо рабам подобает ярмо, а не свобода.

6. Что же делает тыл для воодушевления борцов? Екатеринодар устранил Россию, создал казачье государство, формирует самостоятельную армию и готовится принять всю полноту власти военной и гражданской на юго-востоке. Одно только не приняли во внимание, что Добровольческая армия и Главнокомандующий служат России, а не Верховному кругу.

Тем не менее екатеринодарские речи сделали свое дело. На фронте явилась неуверенность в возможности продолжать при таких условиях борьбу. Весь командный состав, работая тяжко над фронтом внешним, принужден оглядываться на внутренний. Мысли казачества отвлекаются от борьбы. Сначала шепотком, потом все громче бросаются в армию новые лозунги, разрушающие всю идею борьбы, за которую тысячи людей бестрепетно сложили свои головы. Наконец, неумелыми руками разрушают военную организацию, ставя стратегию в полную невозможность исполнения своих планов. К таким больным вопросам относится и требование самостоятельных армий.

7. Вся наша борьба шла под флагом единства России и единства армии. Корнилов, Алексеев, Каледин, Марков и прочие великие и малые русские люди умирали за эту идею. Только эта идея могла спаять небольшой отряд Первого Кубанского похода. Только она могла создать армию, двинуть с большим трудом кубанцев на север, соединить бурлящие народы Северного Кавказа.

И только забвение этой идеи могло привести здесь к такому факту, как исключение самого имени России из официального акта (эпизод при обсуждении текста присяги членами Верховного круга).

Единство России... Только этим единством — колеблемым, оспариваемым, быть может, призрачным — мне удалось заставить уважать достоинство русского имени, получить огромную помощь и оградить от посягательств извне. Оградить от той судьбы, которая уготована всем мелким, враждующим, спорящим и поглощаемым иноземцами окраинам.

Эту политику считают нетерпимостью. Но разве может жить великая наша страна без Балтийского и Черного морей? Разве может она допустить переход во враждебный стан своих окраин, за которые пролито столько русской крови и особенно казачьей, вложено столько русского труда и народного достояния?

На просьбу союзников определить отношение к окраинам я дал ответ, дальше которого идти невозможно.

Ввиду того, что позиция, занятая конференцией по отношению к Азербайджану и Грузии, дала последним повод думать, что речь идет о *признании независимости этих новообразований*, я заявил протест. Но сегодня получил официальное разъяснение, что державы признали *самостоятельность фактических правительств*, а не самих окраин[1].

Это не нетерпимость, а соблюдение высших интересов русской державы, и этим не исключается вовсе возможность установления добрососедских отношений на тех именно основаниях, которые приведены в моем заявлении.

8. Вернемся, однако, к фронту.

12 декабря на собрании всех старших начальников выяснилась яркая картина положения и настроений фронта...»

Прочтя затем приведенные выше положения, принятые совещанием в Тихорецкой, я продолжал.

«...9. И если Верховный круг все же найдет возможным принять рискованное решение — откажется от организации общерусской власти, создаст казачье государство, отдельную армию и поставит ей задачу только самозащиты, то ни мне, ни Добровольческой армии здесь не место. Надо искать других путей для освобождения России.

Я постараюсь нарисовать вам картину ближайшего будущего, основанную на ярких, образных докладах всех казачьих и добровольческих старших военачальников.

Я с Добровольческой армией уйду. Русские офицеры и добровольцы, заполняющие почти все технические части казачьих войск, уйдут с нами. Уйдет и значительное число казачьих начальников и того казачества, которое не в силах пойти под большевиков или не ждет от них пощады. Помните, что нет той силы, которая могла бы воспрепятствовать движению этой армии людей, связанных единой целью, общей опасностью, озлобленных крушением своих надежд...

В тот же день рухнет весь фронт. Большевики заполнят Задонье и Кубань и выместят на них свои злоключения. Не забудут ни чрезвычайных судов, ни порки, ни выселения... Пощады не будет. Для Европы они ведь недавно торжественно отменили смертную казнь, а сами заливают кровью Ростов, Новочеркасск и донские станицы. А через два-три месяца казаки, ограбленные дочиста, униженные, не досчитывая многих умученных, восстанут вновь и начнут борьбу, поминая проклятием тех, кто их сбил с толку.

Не скрою от вас и того, что, если мне придется уходить, я сделаю это с глубокой скорбью в душе, со жгучей болью за разрушенные надежды и за тяжкую долю того честного казачества, с которым так долго делил и радость и горе.

10. Зачем же нужно разрушать жизнь, какие непримиримые противоречия возникли между казачеством и главным командованием, почему рождавшееся в таких долгих муках положение конференции об общегосударственной власти оказалось неприемлемым, зачем нужно расчленять Юг России на призрачные «государства», лишенные силы и голоса в международной политике?

Я веду борьбу за Россию, а не за власть. Но, к моему сожалению, борьба за Россию немыслима без полноты власти Главнокомандующего. Эта власть, конечно, не может быть ни капризом, ни произволом.

[1] 29 января представитель мой в Тифлисе заявил о признании главным командованием фактического существования правительств Грузии и Азербайджана.

В основе ее я мыслю следующие положения:

1. Единая, великая, неделимая Россия.

2. Донская и Кубанская армии составляют нераздельную часть единой русской армии, управляемой одними законами и единой властью.

3. Борьба с большевиками до конца.

4. Автономия окраин и широкая автономия казачьих войск, оправдываемая историческими заслугами. Широкое самоуправление губерний и областей.

5. Правительство, ведающее общегосударственными делами, из лиц честных, деловых и не принадлежащих к крайним воззрениям. Полное обеспечение в нем интересов казачьих войск вхождением казачьих представителей.

6. Представительное учреждение законосовещательного характера.

7. Земля — крестьянам и трудовому казачеству.

8. Широкое обеспечение профессиональных интересов рабочих.

9. Всероссийское Учредительное собрание, устанавливающее форму правления в стране.

Наконец, тем, кто хочет непременно читать в душах, я могу облегчить труд и совершенно искренно высказать свой взгляд на самое больное место нашего политического символа веры.

Счастье Родины я ставлю на первом плане. Я работаю над освобождением России. Форма правления для меня вопрос второстепенный. И если когда-либо будет борьба за форму правления, я в ней участвовать не буду. Но, нисколько не насилуя совесть, я считаю одинаково возможным честно служить России при монархии и при республике, лишь бы знать уверенно, что народ русский желает той или другой власти. И поверьте, все ваши предрешения праздны. Народ сам скажет, чего он хочет. И скажет с такою силою и с таким единодушием, что всем нам — большим и малым законодателям — придется только преклониться перед его державной волей.

Вот те мысли, которые я с полной откровенностью счел необходимым изложить вам. Если возможно идти дальше рука об руку с казачеством, пойду с радостью и с глубокой

верой в конечный успех. Если же нельзя, разойдемся, и пусть Бог и Россия рассудят нас».

Отвечал мне председатель Круга Тимошенко.

«Триста лет создавалась мощь и величие России костьми, потом и кровью русского народа. Триста лет во имя величия России погибал русский народ.

И хорошо жилось в это время на Руси не многим, и, во всяком случае, не русскому народу.

Разразилась русская революция, и народ сбросил ярмо и рабство. Но целый ряд волнующих обстоятельств повел к тому, что русскому народу не пришлось устроить свою жизнь так, как ему хотелось и подобало. На смену одних насильников явились другие, которые дали народу новых сатрапов-комиссаров, «чрезвычайки» и прочее.

И вот на далеких окраинах государства великие русские патриоты восстали против этих новых насильников. Два года длится упорная ожесточенная борьба во имя обесчещенной Родины, борьба, в которой рука об руку сражаются казаки и добровольцы.

Мы уже далеко были продвинуты в этой нашей борьбе и были около Москвы.

И что же?

Наши войска, предводительствуемые блестящей плеядой полководцев, окружающих Главнокомандующего, вахмистры Буденный и Думенко отбросили к исходному положению.

Не будем прислушиваться к тому, что говорят правые, что говорят левые, но давайте учтем причины этого нашего поражения.

Великую идею освобождения Родины, этот драгоценный сосуд, можно пронести в Москву только с народом и только через народ. Мы ценим талант Главнокомандующего и его соратников, но в гражданской войне, кроме таланта стратегического и учета обстановки военной, нужно учесть и сторону политическую.

Гражданская война — это не племенная борьба, это борьба за формы правления. И поэтому воссоздать Россию мы

можем лишь такой политикой, такими лозунгами, которые близки и понятны народу.

Мы приветствуем заявление Главнокомандующего о том, что земля должна принадлежать трудовому народу и казачеству, но мы думаем, что этот лозунг должен быть написан на нашем знамени еще в самом начале борьбы.

Мы приветствуем лозунг, провозглашенный сегодня Главнокомандующим об Учредительном собрании, но мы думаем, что этот лозунг нужно было провозгласить еще в самом начале борьбы, при выходе из Екатеринодара.

Диктатурой Россию не победить.

Главнокомандующий подчеркнул здесь, что кубанские части слишком малочисленны сейчас на фронте, что кубанцы в этот исторический момент оказались позади.

Я должен сказать, что Кубань одна из первых создала ядро, с которым Добровольческая армия пошла на север. Мне тяжело об этом говорить, но я должен сказать: всего два месяца назад на Кубани произведена была тяжелая операция изъятия ее политических вождей. Кубань много принесла жертв и много еще их принесет, но Кубань не мыслит себе диктатуры, не мыслит такого положения, когда народ безмолвствует.

И с диктатурой, то есть с властью насилия, Кубань не помирится.

Весь мир объят сейчас движением народным, и наши русские события — лишь волна этой общей стихии. И расценивать нынешние народные движения по-старому как смуту, клеймить их предательством и изменой, как прежде, — это крупная тяжелая ошибка. Мы пойдем сражаться, но не как рабы, а как свободные граждане, которые не подчиняются никакой диктатуре, как бы велик диктатор ни был.

Верховный круг, объявив себя Верховной властью на Дону, Кубани и Тереке, не мыслит себя совершенно отдельным от России государством. Идея единой России Верховному кругу близка, но борьбу за ее воссоздание Круг мыслит себе иначе. И если между Верховным кругом и главным командованием возникли разногласия, они могут быть устранены. Это только разногласия относительно построения власти и организации аппарата управления.

Соглашение возможно и необходимо в общих интересах, а для этого нужно не подходить с заранее предрешенным определением друг к другу. Мы никогда не говорили, что во всех неудачах на фронте виноват Главнокомандующий, но и не нужно говорить, что мы, здесь собравшиеся, смутьяны и изменники.

Это неверно.

Изболевшись душой, мучаясь вопросом, как устроить нашу жизнь дальше, здесь собрались люди, которые корнями вросли в народную душу. Это уполномоченные представители Дона, Кубани и Терека, и кому, как не им, решать судьбу пославших их.

Верховный круг понимает и знает, что уход Главнокомандующего и добровольческих частей — это гибель для казачества, но вряд ли этот разрыв спасет и добровольцев. Нас смущает другое. Мы смущены тем, что наши разногласия погубят идею великой России и осуществятся мечты Троцкого о единой, великой и неделимой совдепии.

Вот та угроза, которая повисла в этот исторический час над нами. И во имя интересов единой свободной России договоримся, господа, о том, как, куда и какими путями мы дальше пойдем.

И Верховный круг будет стремиться не рвать, а договариваться с главным командованием».

Наша политика заслуживала во многом осуждения, но меньше всего прав на это имели единомышленники Тимошенко.

Начертанная им характеристика настроений и взглядов оппозиции, в особенности кубанской, была неискренней и совершенно не соответствовала действительности. Их цели, взгляды, приемы, тактика уходили далеко от побуждений народного блага, от признания национальной идеи и даже просто от желания договориться.

И все хорошие слова в устах Тимошенко звучали фальшиво, являясь только полемическим примером, рассчитанным на доверчивых слушателей и плохо разбиравшихся в наших делах иностранцев.

Его единомышленники не хотели сражаться ни в роли «рабов», ни в роли «свободных граждан».

Вершители дел на Круге — группа донских и кубанских самостийников — в роли идеологов единой, великой России... Творцы идеи «самостоятельной ветви славянского племени» и «борьбы за *свою* независимость» — в качестве сберегателей полномочных прав Всероссийского Учредительного собрания... Законодатели, обездолившие своих иногородних, — во образе печальников за русский трудовой народ... Самый пафос борьбы с большевиками вызывал тогда уже большие сомнения в его искренности. Впоследствии сомнения эти нашли подтверждение: те самые лица, которые вели Верховный круг — Тимошенко, Агеев, Гнилорыбов, — сбросив личину, пошли к большевикам, к тем самым, которых они называли виновниками «бесчестья Родины»...

* * *

С 16 января между казачьим Верховным Кругом и главным командованием начались вновь переговоры о создании на Юге общей государственной власти.

ГЛАВА XXVIII

МИССИЯ МАК-КИНДЕРА. ДОГОВОР С ВЕРХОВНЫМ КРУГОМ. ЮЖНОРУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. НАСТРОЕНИЕ ТЫЛА: НОВОРОССИЙСК (ЭВАКУАЦИЯ) И КУБАНЬ

В своей речи на Верховном круге я упомянул о данном союзникам разъяснении по вопросу об отношении Южной власти к окраинам. История этого эпизода такова. В конце декабря по поручению английского правительства прибыл на Юг после посещения Варшавы видный член парламента Мак-Киндер, имея поручение выяснить положение Юга и способы оказания ему политической и моральной помощи. 31 декабря я получил из Новороссийска телеграмму от председателя правительства генерала Лукомского:

«В заседании правительства 31 декабря под моим председательством при участии Астрова, Бернацкого, Билимовича, Герасимова, Кривошеина, Нератова, Носовича, Савича, Степанова, князя Трубецкого, Фенина, Челищева, Юрченко и Федорова был заслушан доклад Нератова о предложениях Мак-Киндера. Во внимание к военному положению, в связи с событиями в казачьих областях, создающими опасность потери оставшейся территории, единогласно признано принять полностью предложение Мак-Киндера, в том числе признание Вами и правительством самостоятельности существующих окраинных правительств и установление будущих отношений путем договора общерусского правительства с окраинными правительствами с допущением сотрудничества союзников. Гарантию в этом отношении со стороны союзников совещание нашло нежелательным, как чрезмерно закрепляющую их самостоятельное положение. Термин «автономия», как крайне неопределенный и могущий вызвать длительные переговоры о ее пределах, признано желательным избежать.

Относительно Польши и Румынии совещание полагало возможным согласиться полностью на предложение Мак-Киндера[1], при условии содействия со стороны Польши живой силой с немедленным частичным переходом в наступление для отвлечения большевистских сил и дальнейшим развитием операций возможно в кратчайший срок и в полном масштабе.

Вместе с тем совещание нашло необходимым потребовать от союзников:

1) решительной и незамедлительной охраны флотом Черноморской губернии, Крыма и Одессы;

2) содействия к помощи живой силой со стороны Болгарии и Сербии;

3) обеспечения тоннажа для перевозки указанных в пункте втором войск;

4) продолжения снабжения Вооруженных сил на Юге России.

Крайне желательно заинтересовать Англию в экономических предприятиях Черноморской губернии и Крыма путем предоставления концессий, что в значительной мере

---

[1] Оно заключалось в признании границы, установленной на Версальской конференции, к западу от которой территория должна принадлежать бесспорно Польше, а к востоку должна войти в то или иное государство на основании плебисцита.

свяжет ее интересы с нашими и даст нам валюту. Завтра, 1-го, имеет быть у Мак-Киндера совещание по вопросам финансовым, торгово-промышленным и транспорта при моем участии».

Постановление это я утвердил, внеся следующие изменения: 1. В пункте о признании «самостоятельного существования фактических окраинных правительств» я добавил определение: «Ведущих борьбу с большевиками». 2. В пункте об отношениях к Польше ограничился заявлением: «Вопрос восточной границы Польши будет решен договором общерусского и польского правительства на этнографических основах». Что касается вопроса об экономическом содействии, я дал особо указание правительству: «Невзирая на тяжелое положение, нельзя допускать ничего, имеющего характер мирной оккупации и исключительного управления нашей торговлей и транспортом. По вопросу о концессиях не согласен, так как заинтересованность варягов и без того велика»[1].

Мак-Киндер, удовлетворившись в общем моим ответом, остался неудовлетворенным постановкой польского вопроса. Он просил пересмотреть его ввиду «будущей политической комбинации». Уезжая на короткое время в Англию, он предполагал по возвращении устроить свидание мое с генералом Пилсудским. Просил также разработать к тому времени основы соглашения с Румынией, советуя нам согласиться на плебисцит в Бессарабии, который при существующих там настроениях массы был бы, по его мнению, безусловно, благоприятным для России... Мак-Киндер не вернулся на Юг.

События прошли мимо этого запоздалого, хотя и несомненно доброжелательного вмешательства английского правительства. Двухсторонний договор остался мертвой буквой и интересен лишь как показатель английской точки зрения и той эволюции, которая под влиянием событий произошла в политических взглядах государственных людей Юга. Бывший государствовед Особого совещания К. Н. Соколов,

[1] Телеграфные сношения 31 декабря и 3 января генерала Лукомского №№ 0772, 15 и 70; мои — №№ 17592 и 021847.

не принимавший уже участия в правительстве, укоризненно подчеркивает этот «уклон» его, полагая, что «принятие идеи соглашения между Россией и окраинными образованиями было в несомненном противоречии с незыблемым до тех пор у нас догматом целокупной русской государственности и противоречило принципу полновластия Всероссийского Учредительного собрания...»

Мне казалось, что «догмат» отнюдь не поколеблен. Не говоря уже о том, что юридический смысл признания «самостоятельного существования фактических правительств» вовсе не равносилен признанию de jure окраинных «государств» и что *соглашение* вовсе не устраняло окончательной санкции Всероссийского Учредительного собрания, мне лично представлялось, что *сговор* между метрополией и окраинами может идти только о пределах, хотя бы широчайших, прав их на те или другие области управления, но не на раздельное существование. Этот путь нисколько не стоял в противоречии с идеей целокупности государства, и им я шел, по существу, и в наказе генералу Баратову о закавказских новообразованиях, и в работах Южнорусской конференции с казаками. Я считал, что мы освобождаемся только от ненужного и вредного ригоризма. Ибо гипноз слов довлел часто над людьми и деяниями, форма мертвила дух, а жизнь... шла мимо.

* * *

Существенно выразился уклон моей политики в переговорах с Верховным кругом, проведенных 16-го мною лично с лидерами Круга и атаманами, а после этого — в совещании представителей главного командования[1] и Круга. Эти переговоры после многих споров завершились к концу января принятием обеими сторонами положения:

«1. Южнорусская власть устанавливается на основах соглашения между главным командованием Вооруженными силами на Юге России и Верховным кругом Дона, Кубани и Терека, впредь до созыва Всероссийского Учредительного собрания.

[1] Челищев, Савич, при неофициальном участии профессора Новгородцева.

2. Первым главой Южнорусской власти, по соглашению Верховного круга Дона, Кубани и Терека, с одной стороны, и главного командования Вооруженными силами на Юге России, с другой стороны, признается генерал-лейтенант Деникин.

3. Закон о преемстве власти главы государства вырабатывается Законодательной палатой на общем основании.

4. Законодательная власть на Юге России осуществляется Законодательной палатой.

Примечание. Проведение выборного закона в спешном порядке, а равно текущее законодательство возлагается на Законодательную комиссию, созываемую по соглашению с главным командованием из представителей казачьих войск и местностей, находящихся под управлением Главнокомандующего.

5. Функции исполнительной власти, кроме возглавляющего Южнорусскую власть, отправляет Совет министров, ответственный перед Законодательной палатой, кроме министров военно-морского и путей сообщения.

Примечание. Военное снабжение сосредоточивается в Военном министерстве. Министр продовольствия исполняет требования военного ведомства по снабжению армии.

6. Председатель Совета министров назначается лицом, возглавляющим южнорусскую власть, а члены Совета министров утверждаются им же по представлению председателя Совета министров.

7. Лицу, возглавляющему южнорусскую власть, принадлежит право роспуска Законодательной палаты и право относительного «вето». Причем к вторичному рассмотрению отклоненного закона палата может приступить не ранее чем через четыре месяца после его отклонения, и закон восприемлет силу лишь по принятии его большинством двух третей состава палаты».

Совещание выработало еще положения о Законодательной комиссии и о разграничении общегосударственной и местной власти. Верховный круг, не приступая к обсуждению проектов, передал их в комиссию, и света они не увидели.

Ответственное министерство, Законодательная палата и условное вето знаменовали *переход от диктатуры к конституционным формам правления*... Я не допустил ограничения полноты военной власти Главнокомандующего и сохранил подчинение ему только важнейших органов ведения войны. Это было по времени самое главное. Кроме того, Круг принужден был отказаться от своего ультимативного требования о предоставлении ему законодательных функций до созыва палаты. Это было невозможно ввиду отсутствия государственного смысла в деяниях Круга и совершенно неприемлемо в глазах российских людей.

Обе стороны пришли к соглашению под давлением обстановки, без особой радости и без больших надежд...

Стремясь к осуществлению народного представительства, я считал теперь, как и ранее, что в дни борьбы и потрясений и при том поразительном расслоении, которое являл собою организм противобольшевистской России, только военная диктатура при некоторых благоприятных условиях могла с надеждой на успех бороться против диктатуры коммунистической партии; что рассредоточение и ослабление Верховной власти внесет огромные трудности в дело борьбы и строительства в будущем. Но стоило ли страшиться этого будущего, когда гибло настоящее и нужно было пытаться спасти его?..

Спасти, хотя бы и дорогою ценой...

Донская и кубанская оппозиции Верховного круга подходили к вопросу с другой стороны: «Мы вынуждены силою обстоятельств... отступить с болью в сердце и душе от чистоты демократических принципов... и принять положения, далекие даже от скромных наших пожеланий...»

Было условлено, что Главнокомандующий и Круг особым согласованным актом объявят о состоявшемся соглашении. Проект воззвания Круга, составленный Агеевым, не был принят Кругом и тем не менее появился в печати под заголовком «Обращение Верховного круга Дона, Кубани и Терека к населению». В этом «Обращении» Агеев и его единомышленники, превознося себя безмерно и обвиняя во всем случившемся Особое совещание, возглашали: «...Теперь благодаря влиянию Верховного круга устранены от власти бе-

зответственные чиновники-честолюбцы... Мы, народные избранники, (установили) власть, у которой будут стоять только истинные защитники народа... Отныне народные чаяния и надежды будут немедленно осуществляться во всей полноте...» Бывшие члены Особого совещания выступили с кратким заявлением относительно «документа... содержащего явную и намеренную ложь, заслуживающую презрения со стороны всех, кто в основу своей деятельности не полагает дешевой демагогии...»

Подобные приемы, усвоенные лидерами Круга, обещали мало хорошего...

В конце января я освободил от председательских обязанностей генерала Богаевского. После совещания с лидерами трех фракций Круга, предложившими на пост председателя Совета министров Н. М. Мельникова[1] (донцы и терцы) и Тимошенко (кубанцы), я предложил первому из них составить кабинет. Дело это встретило большие трудности как по наличию большого числа влиятельных членов Круга, стремившихся стать министрами, так в особенности ввиду непременного желания кубанской фракции получить пять портфелей и в том числе портфель министра иностранных дел для Тимошенко.

Не веря в прочность и длительность соглашения, я был озабочен, главным образом, тем, чтобы сохранить в руках людей лояльных и не опасных в смысле приятия большевизма главнейшие средства вооруженной борьбы — внешние сношения, Военно-морское управление, финансы и пути сообщения. Намеченный Мельниковым состав совета не встретил с моей стороны возражений, за исключением кандидатуры Агеева, присутствие которого в правительстве как лица, склонявшегося к большевизму, и беззастенчивого демагога я считал опасным. Но Мельников уверил меня, что желание Агеева стать министром настолько велико, что, получив пост, он совершенно преобразится, а в то же время назначение это обезоружит донскую оппозицию. Что касается приглашения лидеров кубанской самостийной группы — этот вопрос был нами разрешен отрицательно. Это

[1] Председатель донского правительства.

обстоятельство вызвало среди кубанских самостийников большое раздражение и сразу восстановило их против нового правительства.

В начале февраля главнейшие посты были замещены[1], и Совет министров представил мне в спешном порядке декларацию-воззвание «Ко всем гражданам». Я был немало удивлен вступлением в декларацию, в котором существо происшедшей перемены изложено было такими словами: «Во имя спасения Родины и возрождения ее на основах народовластия, по соглашению Главнокомандующего ВСЮР с демократическим представительством Дона, Кубани и Терека *образована новая власть — «Южнорусское правительство» из следующих лиц...»* Шел список министров...

Такое определение, совершенно расходясь с принятой нами «конституцией» и устанавливая нечто вроде директории в составе несменяемых членов ее, явилось, по-видимому, результатом отсутствия в составе правительства государствоведов. После исправления вступления декларация, повторявшая многие хорошие слова и благие намерения предыдущих правительств[2], была оглашена Н. М. Мельниковым на Верховном круге и опубликована в печати.

Появление нового правительства не внесло никакой перемены в течение событий.

Верховный круг отнесся к нему с явным недоброжелательством и даже с некоторым высокомерием. Кубанское

[1] Председатель Совета министров — Н. М. Мельников; министры: военно-морской — генерал-лейтенант А. К. Кельчевский, иностранных дел — генерал от кавалерии Н. Н. Баратов, внутренних дел — В. Ф. Зеелер, юстиции — В. М. Краснов, земледелия — П. М. Агеев, финансов — М. В. Бернацкий, путей сообщения — Л. В. Зверев, торговли и промышленности — Ф. С. Леонтович, народного просвещения — Ф. С. Сушков, здравоохранения — Н. С. Долгополов, пропаганды — Н. В. Чайковский.

[2] В аграрном вопросе декларация обещала «всю землю, чья бы она ни была, превышающую определенную законную норму (какую?), распределить между нуждающимися в земле». В области внешних сношений особая забота уделялась упрочнению дружественных отношений с Польшей, Азербайджаном, Грузией и Арменией.

правительство Иваниса особым постановлением отказалось признавать его компетенцию на территории Кубани. «Признание или непризнание этого правительства Кубанью зависит от существующих законодательных учреждений (Законодательной рады). К опубликованному списку министров кубанское правительство не может отнестись иначе как к Особому совещанию...»

Кубанская фракция добивалась вновь временного возложения на Круг законодательных функций с целью, нисколько не скрываемой — «свалить кабинет Мельникова». Российские круги, как либеральные, так и консервативные, отнеслись с подозрительной враждебностью к Южнорусскому правительству по мотивам: одни — «казачьего засилья», другие — «левизны», третьи — персонального его состава. Социалисты-революционеры при участии Тимошенко и Аргунова обсуждали возможность переворота, а социал-демократы вынесли резолюцию с принципиальным порицанием «Южнорусского правительства» и требовали соглашения с большевиками[1]. Только одна политическая партия в лице «группы центрального комитета кадетов» постановила «во имя сохранения единства» поддержать Южнорусское правительство, которое «представляется в настоящий момент единственным центром национального объединения...»

Так было на верхах.

В народе и в армии появление нового правительства не было воспринято никак; немало рядовых обывателей только много времени спустя, в эмиграции, узнали об его существовании.

Северный Кавказ был вскоре отрезан; Кубань — главный театр войны — жила своей жизнью, своей властью или, вернее, безвластием; последние клочки Ставропольской, Черноморской губерний и Крым по инерции более тяготели к Новороссийску, где сосредоточились органы

[1] По моему требованию кубанский атаман закрыл официоз «Кубанская воля», в которой помещены были эти резолюции, причем кубанский министр внутренних дел Белашев лично зашел в редакцию и занес распоряжение о закрытии «Кубанской воли» и одновременно разрешение на открытие газеты «Воля».

старого государственного аппарата, чем к Екатеринодару, где пребывали новые главы ведомств.

При таких условиях говорить о *деятельности* министерства Мельникова затруднительно и судить ее было бы несправедливо. Положительной стороной этого правительства, состоявшего из лиц, в большинстве своем воодушевленных самыми добрыми намерениями, было уже то, что оно не мешало вооруженной борьбе армий Юга.

* * *

В силу предоставленной мне еще 19 ноября 1919 года Верховным правителем полноты прав в области переговоров с Верховным кругом и реорганизации власти я не был стеснен в своих решениях.

В то время, когда происходили эти события на Юге, в Иркутске свершался кровавый эпилог. Оставленный своими, преданный главнокомандующим союзными войсками в Сибири французским генералом Жаненом, плененный ненавидевшими его чехословаками, Верховный правитель был отвезен ими в Иркутск и отдан в руки эсеровского Политического центра.

Революционная демократия торжествовала. Объявив адмирала Колчака «врагом народа», его заключили в тюрьму и подвергли допросу по обвинению в «предательстве им Родины». Еще не закончилась судебная процедура, когда, ввиду угрозы подходившей к Иркутску армии генерала Войцеховского[1], по распоряжению «правительства» 25 января адмирал Колчак был расстрелян.

Революционная демократия, совершив это преступление — акт политической мести, — передала власть большевикам, уйдя снова в подполье.

Глубокую скорбь вызвала во мне весть о гибели адмирала Колчака. История оценит подвиг большого патриота и несчастного правителя, взявшего на свои плечи безмерно тяжелое бремя власти в годину тяжких испытаний. Она произнесет и свой приговор над теми людьми, которые, не сделав ничего для спасения страны, мнили себя вправе быть его судьями и палачами.

[1] Сменил доблестного генерала Каппеля, умершего от обморожения.

Я узнал о смерти Верховного правителя еще в Тихорецкой. Событие это поставило передо мной весьма тяжелый вопрос о преемстве «всероссийской власти».

Акты Верховного правителя от 11 июня 1919 года предусматривали, что «в случае болезни или смерти Верховного главнокомандующего заместитель его (генерал Деникин) незамедлительно вступает в исполнение обязанностей Верховного главнокомандующего». Актом от 2 декабря 1919 года предрешалась и «передача Верховной всероссийской власти генералу Деникину».

В глазах некоторых деятелей эти акты обязывали меня к принятию соответственного наименования и функций ради сохранения идеи национального единства. Я считал эту точку зрения совершенно неприемлемой: военно-политическое положение, в котором в январе-феврале находились правитель, власть, армия и территория Юга, требовало величайшей осторожности. Претензии на «всероссийский» масштаб являлись бы в то время совершенно неуместными, власть — фикцией, а связанность судеб белого движения с Югом накануне катастрофы — политически весьма опасной. Во избежание кривотолков я оставлял вопрос открытым, ссылаясь на отсутствие официальных сведений о событиях на Востоке. Кривотолки появились, но в направлении, совершенно неожиданном: ввиду того что не были назначены официальные панихиды, пошли разговоры о моем «неуважении к памяти» погибшего Верховного правителя...

Этот эпизод имел неожиданное продолжение несколько месяцев спустя — летом 1920 года. Будучи уже в Англии, я получил письмо от А. И. Гучкова, в котором последний просил довершить патриотический подвиг и особенным торжественным актом облечь барона Врангеля, правившего тогда в Крыму, преемственной *всероссийской* властью. От такого акта, считая его юридически ничтожным и государственно вредным, я воздержался...

Телеграммой на мое имя от 18 января[1] генерал Семенов, облеченный адмиралом Колчаком полнотой власти

---

[1] Телеграмму эту (№ 13), посланную через министра иностранных дел Сазонова, я получил в декабре 1920 года в Брюсселе.

в Сибири временно, «впредь до получения (от меня) указаний», доносил, что он принял предоставленную ему власть и просил «авторитетного подтверждения ее» ввиду начавшегося на восточной окраине распада: генерал Хорват объявил себя суверенным в отношении русского населения на территории полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги; в Приморской области воцарилось земство; в Амурской — большевизм и т. д.

Белый Восток распался и агонизировал.

* * *

Если и раньше наш тыл представлял собой в широком масштабе настоящий вертеп, то в начале 1920 года перед нависшей и ожидаемой катастрофой извращение всех сторон жизни, всех сторон общественной морали достигло размеров исключительных. И в такой же степени возросло и усугубилось бедственное положение жертв войны и смуты, беспомощных щепок срубленного дерева — семейств служилого люда, давно уже колесивших по родной земле в качестве беженцев. Теперь новым шквалом их загнало в негостеприимные, почти враждебные кубанские станицы, в забитые сверх всякой меры каменные ящики домов и подвалов холодного Новороссийска... Города, пронизываемого насквозь острым ледяным дыханием норд-оста и... смерти, косившей людей без счету, особенно от сыпного тифа...

Иллюзорный договор с Мак-Киндером имел, к счастью, некоторые положительные последствия: от имени английского правительства Мак-Киндер дал мне гарантию, что семьи служилого элемента будут эвакуированы за границу. Эта гарантия была выполнена честно англичанами при содействии других союзников. Своими средствами мы справиться не могли бы. И хотя с Принкипо, Салониками, Кипром и другими этапами российского беженства связано много тяжелых воспоминаний, но нельзя не признать, что эта помощь, хотя бы и недостаточная, спасла многие тысячи людей: одних — от жизни париев советского режима, других — от большевистской расправы. Эвакуация направлена была и в славянские балканские страны, главным образом в Сербию, заслуги которой в деле помощи русским беженцам особенно велики и незабываемы.

Страшная загруженность тыла и тревога бойцов за свои семьи требовали немедленной эвакуации, безотносительно к возможному исходу борьбы на фронтах. И в середине января она началась фактически, причем общая директива моя[1] определяла последовательность эвакуации по районам: 1) Одесса, 2) Севастополь, 3) Новороссийск. И последовательность подлежавших эвакуации элементов: 1) больные и раненые воины, 2) семьи военнослужащих[2], 3) семьи гражданских служащих, 4) прочие — если будет время и место[3], 5) начальники — последними.

Нет сомнения, что протекция и взяточничество вносили свои коррективы в установленную очередь эвакуации. Но и сами те, которым принадлежало преимущественное право на выезд — семьи служилых людей, — не раз осложняли вопрос до чрезвычайности: тысячи людей, связанных кровно с последним клочком родной земли и с остающимися мужьями, сыновьями, братьями, страшась неизвестного будущего на чужбине, колебались и отсрочивали свою очередь, жадно ловя малейшие проблески на нашем фронте. Пароходы вначале задерживались в порту или уходили без полного комплекта пассажиров. Англичане грозили прекращением эвакуации и на некоторое время в конце января приостановили ее действительно, впрочем, больше изза страха перед занесенным беженцами сыпным тифом. Я торопил эвакуацию, угрожая в приказе колеблющимся прекращением дальнейших забот правительства об их участи.

Только перед концом к пристаням хлынули волны беженцев, нарушая весь план эвакуации и ослабив новороссийский порт тоннажем в самые критические дни.

Число эвакуированных с Юга России в чужие страны *зарегистрированных* беженцев определялось в 40 тысяч.

[1] Телеграмма генералу Лукомскому от 22 января, № 00604.

[2] По распоряжению генерала Романовского семьи офицеров штаба подлежали эвакуации в последнюю очередь — после семей фронтовиков. Телеграмма его Лукомскому от 2 января, №017646.

[3] Был разрешен свободный выезд за границу на собственный счет всем женщинам и детям, а также мужчинам непризывного возраста.

Число прочих, имущих, не пользовавшихся пособием от правительства и союзников, превышало эту цифру.

Со второй половины февраля эвакуационное настроение охватило широко буржуазные круги. Одни уехали не в очередь, другие оставались еще для ликвидации дел и предприятий или в силу духовной прострации. Только немногие из общественных и политических деятелей самоотверженно подталкивали еще государственный корабль, загрязший в тине, вызывая скептические насмешки за свой оптимизм и свою неумелость со стороны тех, которые запаслись уже паспортом и билетом на пароход.

Беженская волна увлекла и офицерство, преимущественно тыловое — привилегированное, под предлогом «спасения семьи» или «разочарования в белом движении...» Эпидемия «заболеваний», дававших право на выезд, поражала неожиданно целые учреждения, начиная с главы, как это случилось, например, с санитарным отделом. Это внесло хаос в дело медицинской и санитарной помощи, особенно важной и нужной в эти последние тяжкие недели... Черноморский военный губернатор генерал Макеев объявлял в газетах о розыске лица, занимавшего видный административный пост и скрывшегося, не сдав должности, ответственного дела и отчетности.

Начиналось самое худшее — паника; обнаружились страсти, назревали многочисленные человеческие драмы, сливавшиеся и терявшиеся в одной общей великой драме Белого Юга...

* * *

Народ стоял в стороне. Наиболее активная часть его по мотивам, далеко не идеальным, увлечена была в движение черноморских «зеленых», ставропольских «камышан», в кубанское «организаторство» и в горские повстанческие отряды. Все эти движения, враждебные нам, подтачивали наши силы. Остальная масса, сбитая с толку привносимыми в ее жизнь враждебными одна другой идеологиями, переживала новое бедствие в замкнутой области своих элементарных нужд и интересов. С тревогой, но пассивно выжидала она событий, не интересуясь уже более ни политической распрей, ни формами государ-

ственного строя, ни откровениями правительств, Рад и Кругов...

Наиболее существенное значение для нас имело, конечно, настроение на Кубани. Выход правящих кругов ее на путь компромиссов был неискренен. И к тому же, хотя призрак раскрывающейся пропасти пугал воображение кубанской фронды, разве можно было в короткий срок вырвать те плевелы, которые выросли в душах кубанского казачества? Выросли из семян недоверия, злобы и розни, сеявшихся день за днем в течение полутора лет...

Отряды кубанских «зеленых» то расходились, то вновь собирались, нападая на наш тыл, в особенности на сообщения с Новороссийском. Руководители их — Пилюк и Савицкий[1] — «имели соглашение с ответственными представителями советской власти о признании ею независимости (!) казачьих земель, как условия заключения мира»[2].

Слепые или бессовестные вожаки сбитых с толку казаков!

Кубанское правительство находилось в постоянном колебании, теряя влияние на ход событий и не будучи в состоянии руководить поднятым им движением.

В двух станицах у самого Екатеринодара (верстах в 15 от города) вспыхнуло восстание, поднятое Пилюком, и атаман Букретов с юнкерами подавил его суровыми мерами — поркой и виселицей. Это обстоятельство возбудило против Букретова кубанское правительство и самостийную группу; возник даже вопрос о смене атамана. Букретов в целях реабилитации стал подчеркивать решительнее свою оппозиционность к главному командованию, а под рукой передавал, что «перевешает при первой возможности всех фельдшеров», как стал он называть теперь своих министров. И не пристав в конце концов ни к одной стороне, атаман, щедро расточая кубанскую казну, приступил к формированию офицерской организации и к подготовке легкого обоза на случай... ухода в горы.

Букретов — ставленник самостийников — вернулся из объезда станиц совершенно подавленный: вместо традици-

[1] Товарищ председателя Кубанской рады.

[2] Из записок донского полковника Добрынина.

онных атаманских почестей он встретил там невнимание и грубость. Пьяный станичный атаман, треплющий презрительно по плечу войскового атамана, — такие картины напоминали канувший как будто в вечность 1917 год...

Командующий Кубанской армией генерал Шкуро, которого недавно в станицах носили на руках, пытался поднять настроение, и ему из рядов гудящего как улей станичного сбора бросили:

— Ладно, а помните Екатеринослав?..

Быть может, даже те, что в свое время попользовались там «добычей»...

Шкуро был вскоре сменен генералом Улагаем — доблестным воином, чуждым политики и безупречным человеком, но и его никто не слушал.

Среди донцов нарастало сильнейшее возбуждение против кубанцев, и на бурном заседании Верховного круга 10 февраля донская фракция поставила кубанцам ультимативный вопрос: «Если кубанцы не намерены воевать с большевиками, то пусть они это прямо скажут донцам, которые в этом случае оставляют за собой свободу действий». Некоторые ораторы поясняли даже последнюю фразу, угрожая жестокой расправой кубанским станицам... После многочасового фракционного заседания кубанцы, указав на аналогию «нынешнего заболевания Кубани» с «прошлогодним непротивлением Дона», выразили согласие бороться «добросовестно» с кубанской болезнью и даже допустить посылку карательных отрядов для принуждения станичников к выходу на фронт[1].

Вслед за тем члены кубанской фракции Круга разъехались на отдельские Рады для агитации... Одни — поднимать казачество в армию, другие — в повстанческие отряды. «Верховный круг теперь утратил в наших глазах все свое значение, — говорил лидер «черноморцев» Белый. — Мы едем на места продолжать работу Крикуна, Пилюка и Рябоволов... Мы приложим все усилия, чтобы поднять массы и, твердо опираясь на силу, предъявить свои требования».

[1] Донская гвардейская дивизия навела порядок в нескольких станицах, но это делу не помогло.

Но «массы» уже не слушали ни тех ни других. Или, может быть, слушали и тех и других, бросая и Кубанскую армию, и повстанческие организации.

Невзирая на такое равнодушие казачества, кубанские политики проявляли исключительную деятельность, меньше всего направленную к добросовестному выполнению соглашения. В феврале—марте весь Екатеринодар был насыщен атмосферой заговоров — фантастических и даже наивных по замыслу. Так, Букретов в союзе с «черноморцами» обсуждал проект замены Южной власти директорией из трех атаманов... «Черноморцы», считая ненадежными всех кубанских генералов, пытались поставить во главе военного переворота генерала Сидорина или Кельчевского, возглавив одним из них казачьи армии... Наконец, разочаровавшись в донских генералах, в Букретове и в Верховном круге, «черноморцы» задумали созвать Краевую раду, удалить Букретова, избрать атаманом Быча, Иваниса или Макаренко, подавить, если нужно, сопротивление «чужеземцев» (Добровольческая армия, донцы и терцы) и объявить на Кубани единственной Верховной властью власть кубанского атамана.

Воля «народа» во всех этих комбинациях не играла никакой роли.

Кубанское казачество в процессе длительной распри между своими верхами растеряло все идеологические обоснования борьбы. Усталость, разочарование и возобладавшее чувство самосохранения вызвали духовную апатию; сытость и богатство устраняли и материальные импульсы для действия, подвига, самоотвержения. В большинстве своем они не шли ни за Россию, ни за Кубань, ни против большевиков, ни против нас. Наиболее охотно они внимали тем речам, которые, как прием наркотического средства, успокаивали и усыпляли тревожные думы: «Большевики теперь уже совсем не те, что были. Они оставят нам казачий уклад и не тронут нашего добра».

Итак, фронт был предоставлен самому себе. Между ним и тылом встала стена непонимания и отчуждения. Английские патроны и кубанский хлеб текли еще из материальных баз, но моральные базы были уже разрушены...

ГЛАВА XXIX

ОПЕРАЦИИ ЮЖНЫХ АРМИЙ В НАЧАЛЕ 1920 ГОДА: ОТ РОСТОВА ДО ЕКАТЕРИНОДАРА. РОЗНЬ МЕЖДУ ДОБРОВОЛЬЦАМИ И ДОНЦАМИ

В таких внешних условиях протекали военные действия на Доно-Манычском фронте.

В начале января фронт главной группы Вооруженных сил Юга шел по Дону до станицы Верхне-Курмояровской и оттуда, пересекая железнодорожную линию Царицын—Тихорецкая, по Салу уходил в калмыцкие степи. На ростовском направлении стоял Добровольческий корпус генерала Кутепова, за Салом сосредоточивалась отступавшая Кавказская армия генерала Покровского, а в центре располагалась Донская армия генерала Сидорина.

Против нас по Дону, от устья до Донца, развернулась 8-я советская армия Ворошилова, далее на восток — 9-я Степина, а от Царицына вдоль железной дороги наступала 10-я армия Клюева. 1-я Конная армия Буденного располагалась в резерве между Ростовом и Новороссийском.

Численность войск была приблизительно одинакова у обоих противников, колеблясь между 40—50 тысячами у нас и 50—60 тысячами у большевиков.

Далее на восток, между трактом Царицын—Ставрополь и Каспийским морем, фронт имел прерывистый характер. Кроме нескольких локальных очагов зеленоармейского восстания, в этом районе обозначилось наступление частей 11-й советской армии в трех направлениях — на Дивное, Святой Крест и Кизляр, сдерживаемое северокавказскими войсками генерала Эрдели.

После нескольких дней затишья советские войска ростовского фронта перешли в наступление, нанося главный удар со стороны Нахичевани в разрез между Донской армией и добровольческим корпусом. Очевидно, по соображениям стратегическим и политическим преследовалась еще все та же идея «разъединения», которая положена была в основу всей зимней кампании большевиков.

5 января началось наступление 8-й и 1-й Конной советских армий, и в этот день большевики, овладев Ольгинской, атаковали Батайск. Но на другой день конница генерала Топоркова[1] нанесла сильное поражение дивизиям Буденного под Батайском, после чего совместным ударом с 3-м и 4-м Донскими корпусами неприятельские войска были отброшены за Дон, понеся большие потери. В то же время в низовьях Дона добровольцы[2], отбив все атаки большевиков, преследовали их к нахичеванской переправе и переходили за Дон — к станице Елизаветинской.

На правом крыле обстановка складывалась хуже. Под давлением 9-й и 10-й советских армий 1-й и 2-й Донские корпуса и Кавказская армия, оказывая слабое сопротивление, отходили к западу и к 13 января, перейдя Маныч, развернулись по левому берегу его.

К этому времени советское командование произвело перегруппировку, сосредоточив конную массу Буденного и Думенко, усиленных несколькими пехотными дивизиями, на нижнем Маныче, между станицами Богаевской и Платовской. С 14 января на всем Северном фронте возобновилось наступление большевиков, и в то же время конница их, перейдя через Маныч, отбросила донцов, захватила часть их пехоты и артиллерии и угрожала выходом в тыл нашей северной группе. Но сосредоточенные генералом Сидориным в северо-восточном направлении 6 конных дивизий в боях, происшедших 16—20 января на Маныче, разбили ударную группу большевиков, взяли много пленных и почти всю артиллерию советской 1-й Конной армии. 4-й Донской корпус генерала Павлова[3], сыгравший в этом славном деле главную роль, захватил 40 орудий... Противник в панике бежал за Дон и Маныч, и если бы донская конница не приостановила преследования, мог бы произойти перелом во всей операции...

[1] Кубанская и Терская дивизии и Добровольческая бригада генерала Барбовича, сведенная из 5-го кавалерийского корпуса.

[2] Корниловцы, дроздовцы, юнкера.

[3] Сменил генерала Мамонтова, который заболел сыпным тифом и вскоре умер в Екатеринодаре.

Так же неудачно окончилось для большевиков наступление на ростовском фронте, где части Добровольческого корпуса отразили вновь все атаки противника, нанеся ему немалый урон, атакуя и беря пленных и орудия. Держалась еще на среднем Маныче Кавказская армия — слабая числом и духом, и только правое крыло ее отходило довольно поспешно, подвергая опасности Ставрополь — тем большей, что часть Ставропольской губернии была охвачена уже восстанием.

* * *

Успехи на главном направлении окрылили наши войска надеждами. Казалось, далеко еще не все потеряно, когда «разбитая армия» в состоянии наносить такие удары лучшим войскам большевистского Кавказского фронта... 26 января я отдал директиву о переходе в общее наступление северной группы армий с нанесением главного удара в новочеркасском направлении и захватом с двух сторон Ростово-Новочеркасского плацдарма. Наступление должно было начаться в ближайшие дни, и к этому времени ожидался выход на усиление Кубанской армии (бывшей Кавказской) пополнений и новых дивизий[1].

В эти предположения вторглись два обстоятельства.

Первое — 30 января получено было сведение, что 1-я Конная советская армия перебрасывается вверх по Манычу на тихорецкое направление; второе — неустойчивость Кубанской армии: центр ее был прорван, и неприятельская конница 10-й армии пошла вверх по реке Большому Егорлыку в тыл Торговой, угрожая сообщениям с Тихорецкой.

Советское командование, изверившись в возможности опрокинуть наш фронт с северо-востока, изменило план операции, перенеся главный удар по линии наименьшего сопротивления от Великокняжеской на Тихорецкую силами 10-й и 1-й Конной армий.

Приходилось разрубать узел, завязавшийся между Великокняжеской и Торговой, — разбить там главные силы противника. Генерал Сидорин выделил наиболее сильную и стойкую конную группу генерала Павлова (10—12 тысяч), которому была дана задача, следуя вверх по Манычу, совместно с 1-м корпусом ударить во фланг и тыл коннице Буден-

[1] К 26 января подошел к армии 2-й кубанский корпус.

ного. 3 февраля генерал Павлов, опрокинув на нижнем Маныче корпус Думенко и отбросив его за реку, двинулся дальше на Торговую, оставленную уже кубанцами.

Этот форсированный марш был одной из важнейших причин, погубивших конную группу. Стояли жестокие морозы и метели; донские степи по левому берегу Маныча, которым решил идти Павлов, были безлюдны; редкие хутора и зимовники не могли дать крова и обогреть такую массу людей. Страшно изнуренная, потерявшая без боя почти половину своего состава замерзшими, обмороженными, больными и отставшими, угнетенная морально, конница Павлова к 5 февраля подошла в район Торговой. Попытка захватить этот пункт не удалась, и генерал Павлов отвел свой отряд в район станицы Егорлыкской—села Лежанки.

6 февраля главные силы Буденного сосредоточились в селе Лопанке. Противники стояли друг против друга, разделенные расстоянием в 12 верст, — оба не доверяя своим силам, оба в колебании, опасаясь испытывать судьбу завязкой решительного боя...

Все эти дни по Дону и нижнему Манычу на всем фронте противник вел энергичное наступление, успешно отражаемое донцами и добровольцами.

Между тем для отвлечения сил и внимания противника началось наступление наших войск на Северном фронте.

7 февраля Добровольческий корпус, нанеся поражение 8-й советской армии, стремительной атакой овладел городами Ростовом и Нахичеванью. Успех, вызвавший большое впечатление и взрыв преувеличенных надежд в Екатеринодаре и Новороссийске[1]... Так же удачно было наступление 3-го Донского корпуса генерала Гусельщикова, который на путях к Новочеркасску захватил станицу Аксайскую, прервав железнодорожное сообщение между Ростовом и Новочеркасском и взяв также богатые трофеи[2]. Еще восточнее,

[1] Добровольцы в этих боях захватили 22 орудия, 163 пулемета, 6 бронепоездов, 4 тысячи пленных и проч.

[2] В руки корпуса попали: 15 орудий, 20 пулеметов, 2 тысячи пленных, два начальника дивизий, штаб 13-й дивизии, полевой штаб 8-й армии и проч.

в низовьях Маныча, дралась успешно против конницы Жлобы и Думенко конная группа генерала Старикова, доходившая до станицы Богаевской.

Это были последние светлые проблески на фоне батальной картины.

Движение на север не могло получить развития, потому что неприятель выходил уже в глубокий наш тыл — к Тихорецкой.

Советская 1-я Конная армия и части 10-й, выставив заслон против генерала Павлова, наступали безостановочно вдоль железнодорожной линии Царицын—Тихорецкая. Кубанская армия распылялась, и подвиги отдельных лиц и частей ее тонули бесследно и безнадежно в общем потоке разлагающейся, расходящейся, иногда предающей массы. К 10 февраля разрозненные остатки Кубанской армии сосредоточились в трех группах: 1) в районе Тихорецкой — 600 бойцов; 2) в районе Кавказской — 700; 3) небольшой отряд генерала Бабиева прикрывал еще подступы к Ставрополю.

Конная группа генерала Павлова, усиленная корпусом с севера, 12 февраля атаковала конницу Буденного у Горькой балки и после тяжелого боя, потеряв большую часть своей артиллерии, отошла на север.

К 16 февраля Добровольческий корпус, оставив по приказу Ростов и отойдя за Дон, отбивал еще с необычайным упорством атаки 8-й советской армии. Но ослабленный соседний Донской корпус отходил уже к Кагальницкой; осадил поэтому и правый фланг добровольцев у Ольгинской, понеся тяжелые потери. В то же время наступавшие с северо-востока советские войска вели бой в полупереходе от Тихорецкой и на улицах Кавказской, а от Святого Креста подвигались уже к Владикавказской железной дороге, поддержанные восстаниями местных большевиков во всем минераловодском районе.

• • •

17 февраля генерал Сидорин отвел войска Северного фронта за реку Кагальник, но части не остановились на этой линии и под давлением противника отошли дальше.

Дух был потерян вновь.

Наша конная масса, временами раза в два превосходящая противника (на главном тихорецком направлении),

висела на фланге его и до некоторой степени стесняла его продвижение. Но пораженная тяжким душевным недугом, лишенная воли, дерзания, не верящая в свои силы, она избегала уже серьезного боя и слилась в конце концов с общей человеческой волной во образе вооруженных отрядов, безоружных толп и огромных таборов беженцев, стихийно стремившихся на запад.

Куда?

Стратегия давала ответ определенный: армии должны задерживаться на естественных водных рубежах — сначала на Дону, потом на Кубани. Если не поднимется дух казачий и не удержатся армии, тогда дальнейший отход по мятущемуся Кубанскому краю войск, не желающих драться, имеющих впереди Кавказский хребет и враждебное Закавказье, вел к гибели. Необходимо было оторваться от врага, поставить между ним и собою непреодолимую преграду и «отсидеться» в более или менее обеспеченном районе. Первое время, по крайней мере, пока не сойдут маразм и уныние с людей, потрясенных роковыми событиями.

Таким пристанищем был последний клочок русской земли, остающийся в наших руках, — Крым.

О таком предположении на случай неудачи знали добровольцы, и такая перспектива не только не пугала их, но, наоборот, казалась естественным и желательным выходом. Об этом знало и донское командование, но страшилось ставить определенно этот вопрос перед казачьей массой. Пойдут ли? И не вызовут ли отрыв от родной почвы и потеря надежды на скорое возвращение к своим пепелищам полного упадка настроения и немедленного катастрофического падения фронта?..

И десятки тысяч вооруженных людей шли вслепую, шли покорно куда их вели, не отказывая в повиновении в обычном распорядке службы. Отказывались только идти в бой.

А вперемежку с войсками шел народ — бездомный, бесприютный, огромными толпами, пешком, верхом и на повозках, с детьми, худобой и спасенным скарбом. Шел неведомо куда и зачем, обреченный на разор и тяжкие скитания...

С середины февраля армии наши отступали в общих направлениях железнодорожных линий от Кущевки (Добровольческий корпус), Тихорецкой (Донская армия), Кавказской и Ставрополя (Кубанская армия) на Новороссийск, Екатеринодар, Туапсе. Непролазные от грязи кубанские дороги надежнее, чем оружие, сдерживали инерцию наступательного движения большевиков.

К 27 февраля Северный фронт отошел на линию реки Бейсуг; Тихорецкая и Кавказская были уже оставлены нами[1], и связь с Северным Кавказом утрачена. С целью выиграть время для организации переправ через Кубань и эвакуации правого берега в этот день я указывал еще раз войскам: удерживая линию Бейсуга и прикрывая екатеринодарское и туапсинское направления, перейти в наступление правым крылом Донской армии. Собранные в районе Кореновской и руководимые лично генералом Сидориным донские корпуса все же не пошли... И к 3 марта Добровольческий корпус, Донская армия и часть Кубанской сосредоточились на ближайших подступах к Екатеринодару, в двух переходах от города[2]. В этот день я телеграфировал командующим: «Политическая и стратегическая обстановка требуют выигрыша времени и отстаивания поэтому занимаемых рубежей. В случае вынужденного отхода за Кубань линия рек Кубань—Лаба, в крайности Белая, является последним оплотом, за которым легко, возможно и необходимо оказать упорнейшее сопротивление, могущее совершенно изменить в нашу пользу ход операции»[3].

Смута в умах донцов не ограничилась рядовым казачеством. Она охватила и офицерский состав — подавленный, недоверчиво и опасливо относившийся к массе и давно уже потерявший власть над нею. Судьба день за днем наносила тяжкие удары; причины обрушившихся бедствий, как это бывает всегда, искали не в общих явлениях, не в общих ошибках, а в людях. Донские командиры, собрав совет, низвергли командующего конной группой генерала Павлова — не казака — и поставили на его место донца — генерала Сек-

---

[1] 10 февраля Ставка из Тихорецкой переведена в Екатеринодар.

[2] Штаб Донской армии перешел в Екатеринодар, Ставка — в Новороссийск.

[3] Телеграмма № 001588.

ретева. От этого положение не улучшилось, но самый факт самоуправства являлся грозным симптомом развала на верхах военной иерархии... Генерал Сидорин вынужден был признать этот самоуправный акт, потому что и у него не было уже в то время ни сил, ни власти, и он попал в полную зависимость от подчиненных ему генералов.

В Добровольческом корпусе положение было иное, хотя отдельные эпизоды неустойчивости, дезертирства мобилизованных и сдачи их большевикам имели место в рядах корпуса в последние недели, но основное ядро его являло большую сплоченность и силу. Части находились в руках своих командиров и дрались доблестно. Затерянные среди враждебной им стихии, добровольцы в поддержании дисциплины, быть может, более суровой, чем прежде, видели единственную возможность благополучного выхода из создавшегося положения.

В то же время, как отголосок екатеринодарского политиканства и развала казачьего фронта, нарастало стихийно чувство отчужденности и розни между добровольцами и казачеством. Бывая часто в эти дни в штабах генералов Сидорина и Кутепова, я чувствовал, как между ними с каждым днем вырастает все выше глухая стена недоверия и подозрительности.

Когда предположено было ввести добровольцев в резерв Главнокомандующего, это обстоятельство вызвало величайшее волнение в донском штабе, считавшем, что Добровольческий корпус оставляет фронт и уходит на Новороссийск... Под влиянием донских начальников генерал Сидорин предложил план: бросить Кубань, тылы, сообщения и базу и двинуться на север. Это была бы чистейшая авантюра, превращение планомерной борьбы в партизанщину, обреченную на неминуемую и скорую гибель. План этот я категорически отклонил. Но переговоры между донскими начальниками и генералом Сидориным о самостоятельном движении на север, по-видимому, продолжались, так как в одну из затянувшихся поездок генерала Сидорина на фронт, когда порвалась связь с ним, начальник донского штаба генерал Кельчевский выражал свое опасение: «Как бы генералы не увлекли командующего на север...»

Когда сведения о плане, предложенном донским командованием, дошли до добровольческого штаба, они вызвали там целую бурю: в намерении донцов идти на север добровольцы усматривали желание их пробиться на Дон и распылиться там, предоставив добровольцев их собственной участи, если... не что-либо худшее...

В ночь на 2 марта правый фланг Донской армии после неудачного боя под Кореновской откатился к Пластуновской (30 верст от Екатеринодара), эшелонируясь между ней и Екатеринодаром. Добровольческий корпус сдерживал противника в районе Тимашевской — в 90 верстах от переправы через Кубань (станица Троицкая), имея уже в своем тылу неприятельскую конницу. Это обстоятельство в связи с общей неустойчивостью фронта и полной неудачей на тихорецком направлении побудило генерала Кутепова отдать приказ об отводе корпуса на переход назад. Генерал Сидорин отменил это распоряжение, приказав Добровольческому корпусу 2 марта перейти в контратаку и восстановить свое положение у Тимашевской... В этом распоряжении добровольческий штаб увидел перспективу окружения и гибели[1]. Столкновение грозило принять крайне острые формы, и в целях умиротворения я счел необходимым изъять корпус генерала Кутепова из оперативного подчинения командующему Донской армией подчинив его непосредственно мне.

* * *

Отступление продолжалось. Всякие расчеты, планы, комбинации разбивались о стихию. Стратегия давно уже перестала играть роль самодовлеющего двигателя операций. Психология массы довлела всецело над людьми и событиями.

4 марта я отдал директиву об отводе войск за Кубань и Лабу и об уничтожении всех переправ. Фактически переправа кубанских и донских частей началась еще 3-го и закончилась 4-го. 5-го перешел на левый берег Кубани и Добровольческий корпус после упорных боев с сильной советской конницей, пополненной восставшими кубанца-

[1] В этот день правый фланг донцов в беспорядке отошел к станице Динской в переходе от Екатеринодара.

ми. Донесения отмечали доблесть славных добровольцев и рисовали такие эпические картины, что, казалось, оживало наше прошлое... Движение, например, в арьергарде полковника Туркула с Дроздовским полком сквозь конные массы противника, стремившегося окружить и раздавить его... При этом Туркул, «неоднократно сворачивая полк в каре, с музыкой переходя в контратаки, отбивал противника, нанося ему большие потери».

Представители союзных держав, обеспокоенные стратегическим положением Юга, просили меня высказаться откровенно относительно предстоящих перспектив. Мне нечего было скрывать:

— Оборонительный рубеж — река Кубань. Поднимется казачество — наступление на север. Нет — эвакуация в Крым.

Вопрос об эвакуации за границу в случае преждевременного падения Крыма представлялся чрезвычайно деликатным: поставленный прямо перед союзникам и, он мог бы повлиять на готовность их продолжать материальное снабжение армии; брошенный в массу — он мог бы подорвать импульс к продолжению борьбы. Но доверительные беседы с принимавшим горячее участие в судьбах Юга генералом Хольманом и с другими представителями союзников приводили меня к убеждению, что и в этом крайнем случае мы не остались бы без помощи[1].

ГЛАВА XXX

ВРАЖДА МЕЖДУ «ЕКАТЕРИНОДАРОМ» И «НОВОРОССИЙСКОМ». ПОЛОЖЕНИЕ НОВОРОССИИ. ЭВАКУАЦИЯ ОДЕССЫ

Положение Главнокомандующего в то время было необыкновенно трудным. Рушился фронт, разлагался тыл, нарастали симптомы надвигающейся катастрофы.

Глубокие трещины, легшие между главным командованием и казачьими верхами, не были засыпаны. Накануне оставления Екатеринодара Верховный круг при незначи-

[1] Первый раз вопрос этот был поднят официально 29 февраля.

тельном числе членов терской фракции, разъехавшейся по домам, принял резолюцию:

«Верховный круг Дона, Кубани и Терека, обсудив текущий политический момент в связи с событиями на фронте и принимая во внимание, что борьба с большевизмом велась силами в социально-политическом отношении слишком разнородными и объединение их носило вынужденный характер, что последняя попытка высшего представительного органа краев Дона, Кубани и Терека Верховного круга сгладить обнаруженные дефекты объединения не дала желанных результатов, а также констатируя тяжелую военную обстановку, сложившуюся на фронте, постановил:

1. Считать соглашение с генералом Деникиным в деле организации Южнорусской власти не состоявшимся.

2. Освободить атаманов и правительства от всех обязательств, связанных с указанным соглашением.

3. Изъять немедленно войска Дона, Кубани и Терека из подчинения генералу Деникину в оперативном отношении.

4. Немедленно приступить совместно с атаманами и правительствами к организации обороны наших краев — Дона, Кубани и Терека и прилегающих к ним областей.

5. Немедленно приступить к организации союзной власти».

Постановлению предшествовало заявление председателя Круга Тимошенко, что «на состоявшемся совещании высших военных начальников в присутствии генералов Кельчевского, Болховитинова и других» признано было невозможным дальнейшее подчинение казачьих войск Главнокомандующему, тем более что Ставка исчезла и никакой связи с ней нет. Совещание, по словам Тимошенко, просило «во избежание нарушения дисциплины» о соответствующем постановлении Круга.

Этот бесполезный и бесцельный жест имел одно только положительное значение: он освобождал меня юридически от всех обязательств и последствий, вытекавших из недолгого и безрадостного соглашения.

В тот же день Круг рассыпался.

Расставание двух содружественных фракций не было очень теплым. На одном из последних заседаний произошел такой диалог.

Кубанец Горбушин: «Пришельцы с генералом Деникиным вынули и опустошили душу казака. Мы должны идти на фронт и зажечь огонь в его душе...»

Донец Янов: «У вас и не было души. Вы — лицемеры. Посмотрите на наших беженцев, помогли ли вы им? Здесь, на близкой им, казалось бы, Кубани они вместо хлеба получили камень. В жестокие морозы они скитались по кубанским степям и не находили приюта и ночлега в кубанских станицах. Души кубанцам мы не вдохнем и не зажжем их, но погибнем сами... Уйдем за Кубань!..»

Кубанская фракция пошла в направлении на Сочи («зеленые») и Грузию — к своим всегдашним союзникам, которые жестоко обманут все их надежды... Донская фракция и часть терской, перейдя Кубань и убедившись в несочувствии донского командования принятому Кругом решению, а также в том, что никакого совещания старших начальников не было, что связь со Ставкой существует и порт Новороссийск все еще находится в руках Ставки, выразили раскаяние, аннулируя принятое постановление, и эвакуировались в Крым.

* * *

Ширилась трещина, образовавшаяся и с другой стороны...

Ход событий вызвал новую дифференциацию политических кругов и новое, отчетливое их расслоение.

Екатеринодар вобрал в себя весь цвет южноказачьего областничества и часть российских социалистических групп. Это содружество было, впрочем, как всегда, неполным и не вполне искренним, и в умеренной организации — Союзе возрождения — вызвало даже раскол: часть его — с Мякотиным — ополчилась против «казачьего лжедемократизма», другая — с Аргуновым и редакцией «Юга России» — поддерживала домогательства Верховного круга, убеждая «демократию Дона, Кубани и Терека» («хотя еще далеко не совершенную», как поясняла газета) в споре своем с главным командованием не бояться разрыва с союзниками. Ибо «если за Ставкой стоит генерал Хольман, то за казачьей демократией — вся союзная демократия».

В Новороссийске сосредоточилась российская консервативная и либеральная общественность. Городу этому, представлявшему собой разоренный, разворошенный муравейник, суждено было стать новым, четвертым по счету, этапом российского беженства. Туда стекались со всех сторон обломки правительственных учреждений, органов печати, политических партий и организаций. Прорицатели, обличители, претенденты... Стекались люди, оглушенные разразившимся несчастьем, уставшие морально и физически, растерявшие надежды, изверившиеся. Одни — ожесточенные и бессильно изливающие свою злобу и свой беспросветный пессимизм, другие — ищущие «виновников» повсюду, кроме своей совести и своего «прихода». Наконец, третьи — пытающиеся добросовестно разобраться в причинах катастрофы и ищущие новых путей для спасения дела.

Катастрофа не примирила и не стерла противоречий, разделявших южную общественность, нашедшую приют в Новороссийске. Но она объединила ее в двух направлениях: в горячем осуждении прошлого, хотя и по мотивам прямо противоположным, и во вражде к Екатеринодару. Новороссийск и Екатеринодар кипели страстями. Они были не просто антиподами, но двумя непримиримыми враждебными станами, готовыми, казалось, вот-вот пойти войною друг на друга.

Ставка стояла одиноко, на перепутье, среди враждующих между собою сил, напрягая большие усилия к поднятию фронта и только в крупной победе видя возможность благоприятного разрешения всех политических проблем.

Екатеринодар и Новороссийск самим ходом событий в обстановке многосторонней борьбы приобретали для главного командования совершенно различное значение. Нужно было поднять казачий фронт — и мне приходилось входить в соглашение с Екатеринодаром... Нужно было удержать Новороссийск и эвакуировать злополучное российское беженство, чуждое и ненавистное Екатеринодару, — и я вынужден был мириться с новороссийской оппозицией.

Еще в первой стадии сношений с Екатеринодаром назначенный мною главноначальствующим Черноморской губер-

нией генерал Лукомский писал мне[1]: «...Настроение среди офицеров от младших до старших все более и более ухудшается. Нелепые слухи о полном соглашении с требованиями самостийных казачьих кругов возбуждают офицеров. Спрашивают, за что же они должны проливать кровь? Усиливается дезертирство, ибо в казачество не верят и считают, что соглашение приведет к гибели... При нынешней обстановке оставление на этом фронте добровольческих частей может привести к полному разложению...» Про себя лично генерал Лукомский говорил: «Хотя я и не верю в прочность соглашения и в твердость казачества, но этот путь неизбежен и необходим. Но здесь вопрос о пределах соглашения... Вы согласились на *законодательный* орган — я считаю, что это гибельно для дела...»

Другие бывшие мои сотрудники не были так ригористичны, но и их «оторванность и неведение поставили в положение недоумевающих».

«Я наблюдаю здесь, — писал Н. И. Астров генералу Романовскому, — две различные психологии — штатскую и военную. Последняя, насколько я понимаю ее, действительно проявляет черты оппозиции, а среди офицерства заметны враждебность и недоброжелательство. Что же касается психологии штатских, в том числе и лиц, входивших в состав бывшего Особого совещания, то она проникнута горячим желанием поддержать Главнокомандующего или, по крайней мере, не помешать ему... Мы знаем, что положение было в полной мере трагично и, чтобы удержать первенство русского государственного начала и защищать его силою оружия, пришлось пойти на громадные уступки... Но казачье засилье не может не смущать... Смущает и то, что с коренным изменением самой природы отношений конституционного правителя к *управлению* весь аппарат власти уходит в чужие и чуждые руки...»

Астров от лица либеральной группы свидетельствовал: «Мы будем по-прежнему с Главнокомандующим и по-прежнему будем служить тому же делу, только несколько в иных взаимных отношениях».

---

[1] Письмо от 22 января.

Я не сомневался в лояльности и сочувствии этих кругов, но тем не менее в этот наиболее тяжкий период государственной деятельности я чувствовал себя одиноким как никогда. И в этой тяжкой работе и переживаниях только чуткое и самоотверженное участие моего друга — Ивана Павловича Романовского — сглаживало несколько остроту этого одиночества...

В Тихорецкой все было просто и тихо. Органов или представителей гражданского управления при Ставке не было. В часы, свободные от занятий и объездов, несколько лиц, чуждых совершенно политической борьбе, составляли обычное мое общество. Генерал Шапрон, бросивший госпиталь не долечившись и вернувшийся в Ставку[1]; полковник Колтышев — докладчик по оперативной части, всецело живший интересами фронта[2]; адъютант и дежурный конвойный офицер. Временами — беседы с генерал-квартирмейстером, вначале с экспансивным Плющевским-Плющиком[3], потом — со сменившим его уравновешенным и спокойным Махровым.

В их обществе я отдыхал от «политики», врывающейся извне бурно и сокрушительно в жизнь и работу Ставки.

* * *

В это же время правая оппозиция перешла к активным действиям для проведения к власти генерала барона Врангеля.

Ввиду невозможности стать во главе казачьей армии генерал Врангель уехал в Новороссийск, взяв на себя руководство укреплением новороссийского района. С того времени в органах печати, в беседах с общественными деятелями стали появляться жалобы Врангеля по поводу тягостного для него «вынужденного бездействия». «Барон говорил, —

---

[1] Генерал для поручений. Раньше был адъютантом генерала Алексеева, потом моим. Летом 1919 года принял Дроздовский конный полк, во главе которого храбро и удачливо дрался в черниговском направлении, где и был тяжело ранен. Разделил со мной изгнание.

[2] Штаб-офицер для поручений. После моего ухода вернулся в Дроздовскую дивизию на должность рядового; потом доблестно водил в бой полковые команды и дважды был тяжело ранен.

[3] В 1926 году служил простым рабочим на заводе в Париже, где и умер от разрыва сердца.

писал мне один из его собеседников, — что в положении классного пассажира сидит в вагоне, занимается не интересующей его эвакуацией[1], вместо того чтобы воевать. Он готов был бы даже стать командиром полка, если бы это не было опасной демагогией». Барон развивал в прессе и в беседах ту идею дальнейшей борьбы, которую излагал в приведенной выше записке от 25 декабря: «Я придаю чрезвычайное значение Новороссии. Там должен создаться объединенный славянский фронт, который вследствие нашего соглашения с братьями-славянами, в частности с поляками, будет настолько силен, что от его удара рухнет вся совдепская постройка». В связи с этим от генерала Лукомского получался целый ряд телеграмм — частью по его личной инициативе, частью по просьбе генералу Врангеля — о назначении последнего в Одессу на смену генерала Шиллингу или, по крайней мере, для формирования там конницы и подготовки операций в том районе[2].

Представления генерала Лукомского были не только настойчивы, но и обличали повышенную нервность. Так, в телеграмме от 10 января он между прочим сообщал:

«В последние дни в Новороссийске появились какие-то прохвосты, которые по кофейням и ресторанам распространяют слухи, что Врангель из-за личных к главному командованию отношений бросил армию в самый критический момент, и стараются возбудить публику против него. Эти господа ведут вредную и гибельную для дела игру, так как надо знать, что Врангель среди кадровых офицеров пользуется большой популярностью. Если кого-либо из таких господ поймают, немедленно расстреляю...»

Представлялось странным, что «нелепые слухи» по поводу Главнокомандующего, приведенные тут же рядом, в той же

[1] Эвакуация Новороссийска возложена была на барона Врангеля по его же просьбе генералом Лукомским.

[2] До падения Одессы генерал Лукомский считал наилучшим решением вопроса, «ввиду несоответствия Слащева», перемещение генерала Шиллинга в Крым и назначение в Одессу генерала Врангеля.

телеграмме, и «возбуждавшие» против него «офицеры от младших до самых старших», оставались без осуждения. И мне пришлось указать главноначальствующему, что «бороться нужно со всеми этими явлениями, но законными мерами...»

Что касается влияния самого барона Врангеля на новороссийские настроения, то этот вопрос смогут лучше осветить лица, соприкасавшиеся с ним тогда непосредственно. Взгляд же его на тогдашнюю политику Ставки был вполне определенный. «Цепляясь за ускользавшую из рук Ваших власть, — писал он в своем известном письме ко мне, — Вы успели уже стать на пагубный путь компромиссов и, уступая самостийникам, решили непреклонно бороться с Вашими ближайшими помощниками, затеявшими, как Вам казалось, государственный переворот».

В связи с недоразумениями персональными между Ставкой и Новороссийском обнаружилось и серьезное расхождение в вопросах военного дела. Я требовал направления строевого офицерства, буквально наводнявшего Новороссийск, на фронт, на пополнение таявших частей Добровольческого корпуса, тогда как новороссийское начальство стремилось к удержанию их для формирования на месте офицерских отрядов. Добровольческий корпус жаловался на препятствия, чинимые даже отпускным и выздоровевшим добровольцам, желающим возвратиться в свои части... В результате масса офицерства, слабого духом, устремляла свои взоры на уходящие пароходы или создавала самочинные организации вроде «отряда крестоносцев», прикрывавшего религиозно-национальной идеей уклонение от фронта.

Непонятна для меня была позиция либеральной группы.

Бывшее Особое совещание после ряда частных собеседований командировало ко мне в Тихорецкую 9 января Н. И. Астрова, Н. В. Савича и В. Н. Челищева. Главные вопросы, которые интересовали совещание, заключались в следующем[1]: 1) необходимость образования собственного правительства вне зависимости от казачества, перенесение центра действий на собственную территорию (Крым, Новороссия); 2) вопрос о независимых действиях в общерусском

[1] По записке Н. И. Астрова.

масштабе при участии сербов, болгар и Польши; 3) вопрос о судьбе Новороссийска, наводненного беженцами и «обращенного в ловушку»...

Второй вопрос, казалось, не должен был вызывать недоумения среди лиц, осведомленных в международных сношениях Юга: полуторагодовая практика их показала, что Сербия и Болгария желают помочь, но не могут; что Польша может помочь, но не желает. Что касается прочих двух вопросов, то они находились в явном противоречии друг с другом: трудно было увести добровольцев, не вызвав тем немедленное падение фронта, и вместе с тем спасти из «ловушки» всероссийское беженство...

Н. И. Астров от имени бывших членов Особого совещания выдвинул при этом посещении вопрос о генерале Врангеле, его вынужденном бездействии и о назначении его в Новороссию. Степанов, уехавший в Одессу, убеждал генерала Шиллинга просить о назначении помощником себе барона Врангеля.

Я видел давно, что вопрос идет не о «привлечении к делу», а *о смене.*

Власть была для меня тяжелым крестом, и избавиться от нее было бы громадным облегчением. Но бросить в такую трудную минуту дело и добровольцев я не мог, тем более что я не считал государственно полезным передачу власти в те руки, которые за ней протягивались.

Мне казалось, что сущность затеянной кампании понятна моим собеседникам так же, как и мне, и не желал разъяснять им этого вопроса. Происходило обоюдное недоразумение. Ибо через несколько дней, 28 января, Астров писал мне:

«Перемена вождя в такое время более чем когда-либо была бы преступлением, авантюрой, легкомыслием, безумием... И Вы еще ближе и дороже стали нам после ниспосланного на Россию, на Вас, на всех нас нового испытания...

Я уносил в себе (однако) неудовлетворительное чувство, которое мог бы выразить такими словами: когда так трагически тяжело Деникину, почему он не использует этого человека, давши ему определенную задачу? почему главнокомандующий дразнит своих недоброжелателей, которых так много, оставляя на виду у всех в бездействии человека, около которого сплелось так много слухов, интриг и ожиданий?..»

Слухи об отношении барона Врангеля к Главнокомандующему получили, очевидно, широкое распространение, так как еще 31 декабря 1919 года барон доносил мне по поводу разговора своего с английским представителем:

«Мак-Киндер сообщил мне, что им получена депеша его правительства, требующая объяснений по поводу полученных в Варшаве сведений о якобы произведенном мною перевороте, причем будто бы я возглавил Вооруженные силы Юга России. Господин Мак-Киндер высказал предположение, что основанием для этого слуха могли послужить те будто бы неприязненные отношения, которые установились между Вашим превосходительством и мною, ставшие широким достоянием; он просил меня с полной откровенностью, если признаю возможным, высказаться по этому вопросу.

Я ответил, что мне известно о распространении подобных слухов и в пределах Вооруженных сил Юга, что цель их, по-видимому, — желание подорвать доверие к начальникам в армии и внести разложение в ее ряды и что поэтому в распространении их надо подозревать неприятельскую разведку. Вместе с тем я сказал, что, пойдя за Вами в начале борьбы за освобождение Родины, я, как честный человек и как солдат, не могу допустить мысли о каком бы то ни было выступлении против начальника, в подчинение которого я добровольно стал».

И привлечение барона Врангеля к новой деятельности, и оставление его не у дел одинаково вызывали крупные осложнения. Вместе с тем боевая деятельность Шиллинга, сумевшего с ничтожными силами дойти до Волочиска и Казатина, не давала поводов к его удалению. К тому же представлялось неясным, что делать генералу Врангелю (в глазах которого «Добровольческой армии, как боевой силы, не существовало») с войсками Новороссии, и в организаци-

онном и в боевом отношении более слабыми, чем части Добровольческой армии... Но ввиду возбужденного генералом Шиллингом ходатайства я назначил барона Врангеля помощником его по военной части.

Вскоре, однако, Одесса пала, Новороссия была очищена нами, и генерал Шиллинг со штабом и гражданским управлением переехал в Крым. Нагромождение на маленькой территории многочисленной власти являлось совершенно излишним, поэтому 28 января назначение Врангеля было отменено. Барон Врангель и его спутник генерал Шатилов подали рапорты об увольнении их в отставку «по болезни». Рапорты эти были мною обычным порядком переданы в штаб для исполнения. Оба генерала отбыли в Крым на покой[1].

* * *

В середине декабря войска Новороссии, ослабленные выделением корпуса генерала Слащева для прикрытия Крыма, располагались по линии Бирзула—Долинская—Никополь. Огромные пространства правобережного Днепра и Новороссии были залиты повстанческим движением. От Умани до Екатеринослава и от Черкасс до Долинской ходили петлюровские и атаманские банды; железнодорожная линия Долинская—Кривой Рог—Александровск находилась в руках Махно; от Черкасс и Кременчуга наступали части 12-й и 13-й советских армий. Эти обстоятельства в связи с переходом корпуса Слащева на левый берег Днепра создавали угрозу полного разрыва между правобережной Украиной и Таврией.

Имея задачей прикрытие Новороссии и, *главным образом*, Крыма, генерал Шиллинг базировал свои правобережные войска в направлении на Таврию (переправы у Херсона и Каховки). Это решение, соответствовавшее стратегической обстановке, отводившее второстепенное значение удержанию Одессы и вызвавшее начало частичной эвакуации ее, весьма встревожило союзных представителей. Генералы Манжен и Хольман, не без влияния неответственных русских

[1] 4 февраля генерал Лукомский доносил, что разрешил генералу Врангелю проехать в Крым «впредь до (моего) разрешения по его рапорту».

советников, настоятельно убеждали Ставку удерживать во что бы то ни стало одесский район, указывая, что потеря его создаст в Лондоне и Париже представление о конце борьбы и может вызвать прекращение снабжения армий Юга... Генерал Хольман обещал оказать Одессе всяческое материальное содействие. Заинтересованность англичан была настолько велика, что Мак-Киндер настойчиво советовал вести широкие формирования в Новороссии из немцев-колонистов — обстоятельство, к которому до тех пор англичане относились с большой нетерпимостью.

Под таким воздействием, хотя надежд на удержание Одессы было не много, 18 декабря генералу Шиллингу предписано было удерживать и Крым, и одесский район. Но при этом союзникам заявлено было, что «для обеспечения операции и морального спокойствия войск и, главное, на случай неудачи необходимо: 1) обеспечение эвакуации Одессы союзным флотом и союзным транспортом; 2) право вывоза семейств и лиц, оставление которых грозило им опасностью; 3) право прохода в Румынию войск, подвижных составов и технических средств»[1].

3 января 1920 года генерал Лукомский телеграфировал из Новороссийска: «По заявлению англичан, они обеспечат эвакуацию раненых и больных, а также семейств офицеров; что же касается гражданского населения, то таковое необходимо будет отправить сухим путем в Румынию...»[2]. Переговоры с Румынией — непосредственные и через союзное командование на Востоке — были длительны и менее благоприятны. Штаб французского главнокомандующего в Константинополе сообщил нашему представителю генералу Агапееву[3]: 1) относительно пропуска галицких войск румыны запросили польское правительство; 2) в случае перехода границы добровольческими частями румынами предположено разоружать и интернировать их; 3) беженцев согласны пропустить при условии, что французы обес-

[1] Телеграмма моя начальникам английской и французской миссий от 22 декабря № 017344.

[2] Телеграмма № 84/109.

[3] Телеграмма его от 22 января, № 139.

печат им продовольствие, помещение и охрану; на первое и второе условие французское командование согласно.

Точно так же глава английской миссии в Одессе 18 января сообщил лично генералу Шиллингу, что он «с большой достоверностью может гарантировать проход наших войск в Бессарабию»[1].

Сношения по данному вопросу с союзниками и румынами продолжались весь январь.

Задача, данная генералу Шиллингу, оказалась непосильной для его войск[2] ни по их численности, ни, главным образом, по моральному состоянию их. Неудачи на главном — Кубанском — театре и неуверенность в возможности морской эвакуации вносили еще большее смущение в их ряды.

Усилия одесского штаба пополнить войска не увенчались успехом. Многочисленное одесское офицерство не спешило на фронт. Новая мобилизация не прошла: «по получении обмундирования и вооружения большая часть разбегалась, унося с собою все полученное»; почти поголовно дезертировали немцы-колонисты; угольный кризис затруднял до крайности войсковые перевозки.

При таких условиях тыла протекали операции.

В начале января генерал Шиллинг, оставив на жмеринском направлении небольшую часть галичан, стал стягивать группу генерала Бредова в район Ольвиополь—Вознесенск, чтобы отсюда нанести фланговый удар противнику, наступавшему правым берегом Днепра от Кривого Рога к Николаеву. Но наступлением с этой стороны советских войск ранее окончания нашего сосредоточения корпус генерала Промтова, действовавший в низовьях Днепра, был опрокинут и стал уходить поспешно к Бугу. 18 января корпус этот, почти не оказывая сопротивления, оставил Николаев и Херсон. Дальнейшее наступление большевиков с этих направлений на запад выводило их в глубокий тыл наших войск, отрезая их от сообщений и базы.

[1] Доклад генерала Шиллинга от 11 февраля 1920 года, № 0231593.

[2] Большая часть войск Новороссии перешла в Крым. В непосредственном распоряжении Шиллинга были войска Киевской области и небольшая часть боеспособных галичан.

С этого дня фронт неудержимо покатился к Одессе.

Между тем положение Одессы становилось катастрофическим. Все обращения Ставки и одесского штаба к союзникам о помощи транспортами не привели ни к чему. Британский штаб в Константинополе на предупреждения генерала Шиллинга и одесской английской миссии телеграфировал: «Британские власти охотно помогут по мере своих сил, но сомневаются в возможности падения Одессы. Это совершенно невероятный случай...»[1]. Наше морское командование в Севастополе, которому приказано было послать все свободные суда в Одессу, как оказалось впоследствии, саботировало и одесскую и новороссийскую эвакуацию, под разными предлогами задерживая суда... на случай эвакуации Крыма. Угольный кризис не давал уверенности в возможности использования всех средств одесского порта. Небывалые морозы сковали льдом широкую полосу моря, еще более затрудняя эвакуацию.

А фронт все катился к морю...

23 января генерал Шиллинг отдал директиву, в силу которой войскам под общим начальством генерала Бредова надлежало, минуя Одессу, отходить на Бессарабию (переправы у Маяков и Тирасполя). Отряд генерала Стесселя в составе офицерских организаций и государственной стражи должен был прикрывать непосредственно эвакуацию Одессы; английское морское командование дало гарантию, что части эти будут вывезены в последний момент на их военных судах под прикрытием судовой артиллерии.

Началась вновь тяжелая драма Одессы, в третий раз испытывавшей бедствие эвакуации.

25 января в город ворвались большевики, и отступавшие к карантинному молу отряды подверглись пулеметному огню. Английский флот был пассивен. Только часть людей, собравшихся на молу, попала на английские суда, другая, перейдя в наступление, прорвалась через город, направляясь к Днестру, третья погибла.

На пристанях происходили душераздирающие сцены.

[1] Письмо начальника одесской английской миссии генералу Шиллингу от 8 января, № 41.

Вывезены были морем свыше 3 тысяч раненых и больных, технические части, немало семей офицеров и гражданских служащих, штаб и управление области. Много еще людей, имевших моральное право на эвакуацию, не нашли места на судах. Разлучались семьи, гибло последнее добро их и нарастало чувство жестокого, иногда слепого озлобления.

Только 25-го на выручку застрявших в Одессе судов прибыли из Севастополя вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» и миноносец «Жаркий».

Войска генерала Бредова, подойдя к Днестру, были встречены румынскими пулеметами. Такая же участь постигла беженцев — женщин и детей. Бредов свернул на север, вдоль Днестра и, отбивая удары большевиков, пробился на соединение с поляками.

В селе Солодковцах[1] между делегатами главного польского командования и генералом Бредовым заключен был договор, в силу которого войска его и находящиеся при них семейства принимались на территорию, занятую польскими войсками, до возвращения их «на территорию, занятую армией генерала Деникина». Оружие, военное имущество и обозы польское командование «принимало на сохранение», впредь до оставления частями генерала Бредова польских пределов.

Там их ждали разоружение, концентрационные лагери с колючей проволокой, скорбные дни и национальное унижение.

ГЛАВА XXXI

СОБЫТИЯ В КРЫМУ. ОРЛОВЩИНА. ФЛОТ. ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ВЛАСТЬ. ПИСЬМО БАРОНА ВРАНГЕЛЯ. ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛА КУТЕПОВА

К концу декабря корпус генерала Слащева отошел за перешейки, где в течение ближайших месяцев с большим успехом отражал наступление большевиков, охраняя Крым — последнее убежище белых армий Юга.

[1] Между Каменец-Подольском и Проскуровом.

Приняв участие в нашей борьбе еще со времен Второго Кубанского похода, генерал Слащев выдвинулся впервые в качестве начальника дивизии, пройдя с удачными боями от Акманайской позиции (Крым) до нижнего Днепра и от Днепра до Вапнярки. Вероятно, по натуре своей он был лучше, чем его сделали безвременье, успех и грубая лесть крымских животолюбцев. Это был еще совсем молодой генерал, человек позы, неглубокий, с большим честолюбием и густым налетом авантюризма. Но вместе с тем он обладал несомненными военными способностями, порывом, инициативой и решимостью. И корпус повиновался ему и дрался хорошо.

В крымских перешейках было очень мало жилья, мороз стоял жестокий (до 22 градусов), наши части, так же как и советские, были малоспособны к позиционной войне. Поэтому Слащев отвел свой корпус за перешейки, занимая их только сторожевым охранением, и, сосредоточив крупные резервы, оборонял Крым, атакуя промерзшего, не имевшего возможности развернуть свои силы, дебуширующего из перешейков противника. В целом ряде боев[1], разбивая советские части и преследуя их, Слащев трижды захватывал Перекоп и Чонгар, неизменно возвращаясь в исходное положение. Начавшиеся в феврале военные действия между большевиками и махновцами, вклинившимися в 14-ю советскую армию, еще более укрепили положение крымского фронта.

В результате все усилия советских войск проникнуть в Крым успеха не имели.

Эта тактика, соответствовавшая духу и психологии армий гражданской войны, вызывала возмущение и большие опасения правоверных военных и даже в политических кругах Крыма и Новороссийска. Чувства эти нашли отражение и в беседе со мной делегации бывшего Особого совещания, о которой я говорил в прошлой главе. Вместе с тем генерал Лукомский, опасаясь за Перекоп, неоднократно телеграфировал мне о необходимости замены Слащева «лицом, которое могло бы пользоваться доверием как войск, так и населения».

Цену Слащеву я знал. Но он твердо отстаивал перешейки, увольнение его могло вызвать осложнения в его корпу-

[1] Особенно 12, 17, 23 января и 11, 26, 29 февраля.

се и было слишком опасным. Такого же мнения придерживался, очевидно, и барон Врангель после вступления своего на пост главнокомандующего. По крайней мере, в первый же день он телеграфировал Слащеву: «...Для выполнения возложенной на меня задачи мне необходимо, чтобы фронт был непоколебим. Он — в Ваших руках, и я спокоен».

* * *

31 января в Севастополь прибыл генерал Шиллинг, вокруг имени которого накопилось много злобы и клеветы. Общественное мнение до крайности преувеличивало его вольные и невольные ошибки, возлагая на его голову всю ответственность за злосчастную одесскую эвакуацию. Одни делали это по неведению, другие — как морское начальство Севастополя — сознательно, для самооправдания.

Через день после Шиллинга в Севастополь прибыл генерал Врангель.

Эти два эпизода взбаламутили окончательно жизнь Крыма, и без того насыщенную всеобщим недовольством, интригой и страхом. Еще ранее в Симферополе произошло событие, свидетельствовавшее ярко о том развале, который охватил армейский тыл, флот, администрацию, одним словом всю жизнь Крыма: выступление капитана Орлова.

В конце декабря по поручению Слащева в Симферополь прибыл его приближенный, герцог С. Лейхтенбергский, для «заведования корпусным тылом и формированиями». Герцог вошел в сношения с капитаном Орловым и бывшим немецким лейтенантом Гомейером, которые и приступили к формированию добровольческих частей; первый — из элементов русских, второй — из немцев-колонистов и татар.

Слащев и штаб его весьма благоволили к отряду, формировавшемуся Орловым, и обильно снабжали его деньгами и снаряжением; через две-три недели отряд имел состав свыше 300 человек. Как оказалось впоследствии, в Симферополе совершенно открыто говорили о предстоящем захвате власти Орловым — настолько открыто, что подпольная большевистская организация («ревком») сочла возможным вступить с ним в связь и принять участие в деле[1].

[1] *Шафир Я.* «Орловщина». Советское издание.

Отряд Орлова не имел никакой политической физиономии и состоял в большей части из людей, поступивших в него случайно, или из легальных дезертиров, предпочитавших тыловые формирования боевому фронту. Окружали Орлова и руководили им лица темные и беспринципные, а сам Орлов — храбрый офицер, но страдавший неврастенией и болезненным самомнением, был, по-видимому, довольно элементарен. Так, свою политическую принадлежность в разговоре с представителями «ревкома» он определял так: «Правее левых эсеров и немного левее правых эсеров».

Все выступление от начала до конца имело характер неумной авантюры, только эта авантюра... разыгрывалась на вулкане.

20 января генерал Слащев потребовал выхода отряда Орлова на фронт. Орлов при поддержке герцога С. Лейхтенбергского уклонился от исполнения приказа под предлогом неготовности отряда. Требование было повторено в категорической форме, герцог уехал объясняться в штаб Слащева, а Орлов в ночь на 22 января произвел выступление, арестовав таврического губернатора Татищева, случайно находившихся в городе начальника штаба войск Новороссийской области генерала Чернавина, коменданта Севастопольской крепости Субботина и других лиц. В тот же день им отдан был приказ № 1 следующего содержания:

«Исполняя долг перед нашей измученной Родиной и приказы комкора генерала Слащева о восстановлении порядка в тылу, я признал необходимым произвести аресты лиц командного состава гарнизона города Симферополя, систематически разлагавших тыл. Создавая армию порядка, приглашаю всех к честной объединенной работе на общую пользу. Вступая в исполнение обязанностей начальника гарнизона города Симферополя, предупреждаю всех, что всякое насилие над личностью, имуществом граждан, продажа спиртных напитков и факты очевидной спекуляции будут караться мною по законам военного времени.

Начальник гарнизона г. Симферополя, командир 1-го полка добровольцев капитан Орлов».

Приходившим к нему «делегациям» Орлов заявлял, что «молодое офицерство решило взять все в свои руки», но разъяснить это неопределенное сообщение не мог. Одновременно по городу были расклеены воззвания его к «товарищам рабочим»: одни большевистского содержания, другие «правее левого и левее правого — эсеровского». Однако исполнить требование большевистского «ревкома» о выпуске «политических арестованных» Орлов отказался.

Находившиеся в Симферополе запасные части и отряд Гомейера объявили «нейтралитет»; городская дума вступила в переговоры с Орловым; Слащев выслал против него из Джанкоя и из Севастополя войсковые части. Не решаясь вступить с ними в бой, Орлов на третий день, выпустив арестованных им лиц, с частью своего распылившегося отряда (человек 80—90) ограбил губернское казначейство на 10 миллионов рублей и бежал в горы.

• • •

Выступление Орлова нашло отклик в Севастополе, где «назревал арест морскими офицерами Ненюкова и Бубнова, против которых (создалось) большое возбуждение на почве безвластия и отсутствия должного управления»[1].

В Черноморском флоте давно уже было неблагополучно. Нигде в армии не существовало такого разлада, нигде безвременье не оставило таких глубоких следов, как в морской среде. Оставляя в стороне причины этого явления и особенности малознакомого мне быта, я коснусь только тех неустроений, которые имели место на верхах и непосредственно относились к компетенции Главнокомандующего.

Я не знал никого из морских чинов, и поэтому каждое высшее назначение по морскому ведомству ставило меня в чрезвычайное затруднение. Аттестации были отрицательны, и выбора не было. Укажу на такой факт: начальник Морского управления адмирал Герасимов на один из видных морских постов представил мне трех кандидатов, аттестуя их следующим образом: первый — за время революции опустился, впал в прострацию; второй — демагог, ищет дешевой популярности среди молодежи; третий — с началом

[1] Из донесения генерала Лукомского от 4 февраля 1920 года.

войны попросился на берег «по слабости сердца». Каждому новому назначению предшествовала и сопутствовала интрига, в которую вовлекалась офицерская среда.

Общее настроение передавалось и на периферию — в Каспийскую флотилию, где, хоть и в меньшем масштабе, происходили свои бури и волнения.

Флотские дела не кончались Морским управлением. Тайные осведомители вовлекали в них и Омск, вызвав однажды вмешательство самого Верховного правителя; от него получена была телеграмма о недопустимости пребывания на командной должности адмирала Саблина, который в то время состоял главным командиром портов Черного моря. Саблина, совершенно эмансипировавшегося к тому времени от центра и не выполнявшего приказаний Морского управления, адмирал Герасимов заменил Ненюковым, которого сам же впоследствии аттестовал: «законопослушный, очень инертный и донельзя ленивый...»

Большое несходство во взглядах существовало между Морским управлением и севастопольским начальством. Первое ставило себе посильной задачей «всемерную помощь операциям и борьбе армий», второе раздвигало ее вне зависимости от реальных условий до «воссоздания российского флота», причем воссоздание начиналось не с судов, а с огромнейших штабов и тыла. В одном только Севастопольском порту морской тыл отвлекал сотни офицерских чинов. Служба связи была прямо грандиозна по своему масштабу.

Расхождение существовало и в основных взглядах на идею служения нашему делу. Весьма характерная переписка имела место в самом начале воссоединения флота с армией Юга. Суд чести Новороссийского порта запрашивал суд чести Черноморского флота — не подлежат ли привлечению к ответственности офицеры из Севастополя, не поступающие на службу в Добровольческую армию... Председатель второго суда ответил, что офицеры могли бы принять участие, но поставил ряд условий экономического характера, в том числе определенные нормы содержания. На этой почве между двумя учреждениями возникло столкновение, дошедшее до меня и вызвавшее с моей стороны весьма резкую резолюцию. Адмирал Герасимов счи-

тает, что «это было одной из причин интриги против главнокомандующего после эвакуации Новороссийска».

Борьба со всеми этими явлениями встречала пассивное сопротивление и глухой ропот.

Осенью 1919 года заменившему Саблина адмиралу Ненюкову дано было звание командующего флотом; его начальником штаба стал адмирал Бубнов, подчинивший своему влиянию Ненюкова.

Последние события, преломляясь в нездоровой атмосфере флота, еще больше запутали его жизнь. Бубнов организовал в Севастополе морской кружок. «Сначала задачей его было поставлено разрешение тактических и организационных вопросов флота, но вскоре кружок перешел исключительно на политику и критику начальственных распоряжений». Этот кружок, действовавший с ведома Ненюкова, принял видное участие в последующих событиях.

• • •

Со времени падения Одессы и появления в Севастополе генерала Врангеля начинается борьба за возглавление им военной и гражданской власти в Крыму. В течение ближайшей недели между Севастополем—Джанкоем—Тихорецкой шла нервная переписка и переговоры, а в самом Крыму царило необычайное возбуждение. Я приведу хронологический перечень событий этого периода, основываясь исключительно на документах.

Тотчас по приезде в Севастополь генерал Шиллинг имел свидание с адмиралами Ненюковым и Бубновым, которые заявили ему, что он дискредитирован одесской эвакуацией, что в тылу развал и единственное спасение Крыма в немедленной передаче Шиллингом всей власти барону Врангелю, приезд которого ожидается в ближайшие дни. «Об этом не нужно испрашивать разрешения Главнокомандующего, — говорили они, — так как барон Врангель будет самостоятельным в Крыму»[1].

1 февраля к генералу Шиллингу с тем же предложением явились пять офицеров (преимущественно морских), назвавшихся делегацией от «группы офицеров»[2].

[1] Из записки генерала Шиллинга.

[2] По инициативе кружка Бубнова.

И тем и другим генерал Шиллинг, придавленный «всеми интригами и происками», ответил, что за власть не держится, охотно ее передает и предоставляет этот вопрос на усмотрение главнокомандующего, которому обо всем донес.

Между 1 и 5 февраля произошла новая беседа генерала Шиллинга с адмиралами, встреча с генералом Лукомским[1] и двукратное свидание с бароном Врангелем. По словам Шиллинга, в первый раз барон «соглашался принять командование, но не с разрешения Главнокомандующего, дабы быть независимым». Во второй раз генерал Врангель «соглашался принять (от Шиллинга) должность по приказу главнокомандующего»[2].

Генерал Слащев, до которого доходили тревожные слухи, заявил Шиллингу, что будет выполнять приказания только Главнокомандующего и Шиллинга. Об этом посланный Слащевым в Севастополь, для того чтобы «выяснить непосредственно у Врангеля, в чем дело», полковник Петровский доложил последнему и генералу Лукомскому.

На телеграмму Шиллинга о сделанном ему предложении я ответил категорическим отказом заменить Шиллинга Врангелем и подчинил флот в оперативном отношении Шиллингу.

5 февраля генерал Лукомский в беседе с Шиллингом настоятельно советовал ему передать власть Врангелю, но непременно с согласия Главнокомандующего[3].

В тот же день состоялась беседа генерала Лукомского с бароном Врангелем, который, по словам Лукомского, заявил, что «никогда не пойдет на такой шаг, как смещение Шиллинга» и «для спасения положения в Крыму готов принять должность главноначальствующего, если пожелает Главнокомандующий (то же письмо Лукомского)».

6 февраля генерал Шиллинг уехал в Джанкой.

Капитан Орлов, спустившись с гор и пользуясь отсутствием в этом районе войск, последовательно занял Алушту и Ялту. Оказавшийся в Ялте генерал Покровский, моби-

[1] Генерал Лукомский приехал в Севастополь по случаю смерти своей матери.

[2] Из записки генерала Шиллинга.

[3] Записка генерала Шиллинга и письмо Лукомского от 6 марта 1921 года.

лизовав и вооружив жителей Ялты, пытался защищать город, но его импровизированный отряд, не оказав сопротивления, разбежался. Генералы Покровский и Боровский были арестованы Орловым, но затем при содействии англичан отпущены. В Алуште и Ялте Орлов ограбил казначейства.

Генерал Шиллинг послал против него войсковые части и военное судно («Колхиду») с десантом.

Генерала Лукомского посетил генерал Шатилов и заявил, что «вследствие ухудшающегося положения в Крыму барон Врангель согласен принять временное назначение для установления порядка на Крымском побережье при условии невмешательства Шиллинга... если генерал Лукомский именем главнокомандующего ему это прикажет»[1]. Генерал Лукомский от такой постановки вопроса отказался, но послал соответственную телеграмму Шиллингу.

7 февраля (11 часов) Шиллинг на основании телеграммы генерала Лукомского, подчинив Врангелю Севастопольскую крепость, флот и все тыловые отряды, возложил на него «мерами, какие он признает целесообразными, успокоить офицерство, солдат и население и прекратить бунтарство капитана Орлова»[2].

В этот же день в Севастополе получено было по телеграфу сведение, не дошедшее до Шиллинга, о назначении мною командующим флотом вместо Ненюкова[3] бывшего начальника Морского управления адмирала Герасимова. Это обстоятельство имело последствием появление у генерала Лукомского «двух адмиралов» и председателя суда чести, заявивших ему, что «с именем Герасимова связывается хозяйственная разруха флота» и что назначение его «вызовет брожение, возможны печальные недоразумения». Лукомский настаивал на назначении Саблина[4].

Экипаж и десант «Колхиды» отказались действовать против Орлова и вернулись в Севастополь, привезя с собой его

[1] Из письма генерала Лукомского.

[2] Телеграмма № 0231483.

[3] О полной непригодности Ненюкова свидетельствовал и генерал Лукомский.

[4] Телеграмма, входящий № 194.

воззвания. Морское начальство не приняло никаких мер против мятежников и не сочло нужным уведомить об этом факте генерала Шиллинга.

В одном из своих воззваний капитан Орлов писал: «По дошедшим до нас сведениям, наш молодой вождь генерал Врангель прибыл в Крым. Это тот, с кем мы будем и должны говорить. Это тот, кому мы все верим...»

Лукомский в этот день в двух телеграммах на мое имя описывал тревожное положение Крыма: в связи с событиями в Ялте и полученными оттуда воззваниями началось глухое брожение среди офицерства... Все, что будет формировать в тылу и направлять против Орлова, будут переходить на его сторону... Если произойдет столкновение, то это поведет к развалу тыла и фронта... «Только немедленное назначение Врангеля вместо Шиллинга спасет положение... Завтра, быть может, будет поздно...»

«Государственные и общественные деятели», проживающие в плененной Ялте, отправили мне телеграмму в Тихорецкую о том, что «события неминуемо поведут к гибели дело обороны Крыма, если во главе власти в Крыму не будет безотлагательно поставлен барон Врангель»[1].

Между тем Врангель от «временного назначения», предложенного ему Шиллингом, отказался. «Всякое новое разделение власти в Крыму при существующем уже здесь многовластии, — телеграфировал он Шиллингу, — усложнит положение и увеличит развал тыла».

Вечером генерал Лукомский вновь убеждал Шиллинга по аппарату[2] безотлагательно просить Главнокомандующего о замене его, Шиллинга, Врангелем или, «в случае невозможности, переговорить с главкомом... передать всю полноту власти (барону Врангелю) с донесением главкому».

[1] Телеграмма получена была мною через день или два. Подписали ее: Ненарокомов, Решетовский, Неверов, Глинка, Иванов, Н. Савич, граф Апраксин, князь Гагарин, В. Келлер, Тесленко, Дерюжинский и другие. Эти лица, входившие в «Совещание общественных деятелей Ялты», еще дважды потом обращались — ко мне и Шиллингу — с тем же ходатайством.

[2] Генерал Шиллинг находился в Джанкое.

В ночь на 8-е (23 часа 30 минут) Шиллинг, передавая мне сущность предложений генерала Лукомского, со своей стороны добавлял, что ввиду «разрухи тыла и разыгравшихся страстей среди офицерства, до крупных чинов включительно», он также полагает, что передача им власти «будет более отвечать всей совокупности обстановки».

8 февраля (1 час 15 минут) я ответил: «Совершенно не допускаю участия генерала Врангеля. Уверен, что вы положите предел разрухе. № 630».

Ввиду такого результата переговоров генерал Шиллинг в 3 часа 30 минут, передавая текст своего доклада и моей резолюции генералу Лукомскому, сообщал, что считает поэтому необходимым: 1) принять решительные меры против Орлова, 2) отрешить тотчас же от должности Ненюкова и Бубнова, 3) просить генерала Лукомского предложить барону Врангелю покинуть немедленно пределы Крыма. От последнего поручения генерал Лукомский отказался, согласившись все же передать генералу Врангелю, что «дальнейшее пребывание его в Крыму Шиллинг находит нежелательным, ибо это может помешать ему».

В 7 часов того же дня генерал Врангель отправил в Ялту Орлову телеграмму, «горячо призывая (его) во имя блага Родины подчиниться требованиям начальников»[1].

В этот день вышли приказ, подписанный мною еще 6-го, об исключении со службы Ненюкова и Бубнова и приказы об увольнении в отставку генералов Лукомского, Врангеля и Шатилова на основании ходатайств, возбужденных ими 24 и 28 января.

8 февраля я отдал приказ о ликвидации крымской смуты.

«Приказываю:

1. Всем, принявшим участие в выступлении Орлова, освободить ими арестованных и немедленно явиться в штаб 3-го корпуса для направления на фронт, где они в бою с врагами докажут свое желание помочь армии и загладят свою вину.

[1] Копия этой телеграммы была послана мне генералом Лукомским 10 февраля.

2. Назначить сенаторскую ревизию для всестороннего исследования управления, командования, быта и причин, вызвавших в Крыму смуту, и для установления виновников ее.

3. Предать всех, вызвавших своими действиями смуту и руководивших ею, военно-окружному суду, невзирая на чин и положение»[1].

Между тем Орлов, запутавшийся окончательно, предпринимал уже в Ставке при посредничестве известного эсера Баткина некоторые шаги с целью подготовить себе путь отступления... 10 февраля он подчинился приказу и вышел с отрядом на фронт. Слащев, вопреки приказанию Шиллинга расформировать отряд, распределив его по частям корпуса, сохранил его в виде отдельной части, проявляя и к ней, и к Орлову исключительное внимание. Содружество их продолжалось недолго: 3 марта Орлов самовольно снял отряд с фронта и повел его в Симферополь. Посланные вслед Слащевым части огнем рассеяли отряд. Орлов с несколькими человеками бежал в горы — на этот раз окончательно.

Крымские события порождали множество самых нелепых слухов, волнуя общественность, и отражались неблагоприятно на фронте. Непонимание происходящего было настолько велико, что первое время орловское выступление было взято под покровительство кубанской самостийной печатью и «Утром Юга», которые видели в нем «движение чисто политическое — восстание революционного офицерства против правых генералов...» Потом они были весьма смущены.

Я не соглашался сменить Шиллинга[2] не только потому, чтобы не дать удовлетворения офицерской фронде, но и по другой причине. Кавказский фронт катился к морю, назревала эвакуация. Управление и штаб генерала Шиллин-

[1] Барон Врангель отнес к себе пункт 3-й приказа.

[2] Сенаторская ревизия генерала Макаренко закончила свои действия в управление генерала Врангеля. Результаты ее не были опубликованы и мне неизвестны. В день прибытия моего в Феодосию генерал Макаренко сделал мне краткий личный доклад о первой части своей работы — одесской эвакуации. По его словам, ничего предосудительного в действиях генерала Шиллинга обнаружено не было.

га сами собой упразднялись с переездом в Крым Главнокомандующего...

Во всяком случае, как показало ближайшее время, положение в Крыму не было так безнадежно, как оно представлялось участникам описанных выше событий. Крым был сохранен, хотя и не улеглось поднятое там волнение.

* * *

Брожение во флоте продолжалось.

Генерал Шиллинг, сместив Ненюкова, назначил временно командующим флотом прибывшего из Константинополя адмирала Саблина. Когда в Севастополь прибыл новый командующий адмирал Герасимов, Саблин отказался сдать ему должность. Прошло несколько дней, пока сношениями с Феодосией, где пребывал Шиллинг, и со Ставкой не ликвидировано было это новое выступление. Саблин перешел на пароход «Великий князь Александр Михайлович», где имел местопребывание и барон Врангель. Бубнов уехал в Константинополь, но его кружок продолжал работать, не стесняясь даже посвящать адмирала Герасимова в свои предположения о перевороте. Под влиянием этих обстоятельств Герасимов счел себя вынужденным посоветовать генералу Врангелю «на время уехать, так как около его имени творятся здесь в Севастополе легенды и идет пропаганда против главного командования». Барон ответил ему, что «подумает об его словах»[1].

В 20 числах февраля генерал Хольман имел разговор со мною.

— Ваше превосходительство, вы предполагаете дать какое-нибудь назначение генералу Врангелю или нет?

— Нет.

— В таком случае, может быть, лучше будет посоветовать ему уехать?

— Да, это было бы лучше.

В результате этого разговора Хольман написал письмо барону Врангелю в тоне исключительно доброжелательном.

«...Я глубоко уверен, что Ваш разрыв с генералом Деникиным явился следствием того, что Вы, как это часто бывает с искренними патриотами во время смуты, недостаточно поняли друг друга.

При таких отношениях служить вместе бывает слишком тяжело.

Мне причинило глубокую боль просить Вас оставить Крым, так как, искренне веря в Ваши лучшие намерения и преданность Родине, я все же счел правильным и полезным для настоящего положения просить Вас сделать это».

[1] Из записки адмирала Герасимова.

Генерал Врангель изложил этот эпизод так: английский адмирал Сеймур, находившийся в Севастополе, от имени генерала Хольмана передал ему мое «требование оставить пределы России».

Врангель выехал в Константинополь, предварительно отправив мне с нарочным обличительное письмо. Все существенное из него мною приведено было дословно в соответствующих главах. Остается дополнить лишь немногое.

Про меня генерал Врангель говорил:

«Вы видели, как таяло Ваше обаяние и власть выскальзывала из Ваших рук. Цепляясь за нее, в полнейшем ослеплении, Вы стали искать кругом крамолу и мятеж...

Отравленный ядом честолюбия, вкусивший власти, окруженный бесчестными льстецами, Вы уже думали не о спасении Отечества, а лишь о сохранении власти...»

Про себя барон говорил:

«Русское общество стало прозревать... Все громче и громче... назывались имена начальников, имя которых среди всеобщего падения нравов оставалось незапятнанным... Армия и общество... во мне увидели человека, способного дать то, чего жаждали все...»

Наконец, про армию:

«Армия, воспитанная на произволе, грабежах и пьянстве, ведомая начальниками, примером своим развращающими войска, — такая армия не могла создать Россию...»

Вероятно, такое широкое обобщение впоследствии сочтено было не отвечающим политическому моменту. Ибо со вступлением генерала Врангеля на пост Главнокомандующего все старшие начальники остались на своих местах[1], были награждены чинами, орденами и титулами. А через год в Константинополе в официальном опровержении приписанных ему корреспондентом «Последних новостей» слов барон заявил: «Я никогда не говорил и не мог говорить, что белое движение требует каких-то оправданий, что «наследие Деникина — разрозненные банды». Я два года провел в армии генерала Деникина, сам к этим «бандам» принадлежал, во главе этих «банд» оставался в Крыму и им обязан всем, что нами сделано...»

Сначала с парохода «Великий князь Александр Михайлович» в Севастополе, потом из посольского дома в Константинополе, где остановился генерал Врангель, копии памфлета распространялись сотнями и тысячами экземпляров — по Крыму, в армии, за границей. Распространялись усердно и всякими способами.

В Константинополе, например, «генералы Врангель и Шатилов, — пишет одесский журналист С. Штерн, — зная, что я еду в Париж и связан с тамошними литературными и политическими кругами, детально изложили мне историю взаимоотношений Врангеля и Деникина. Запись беседы с генералом Шатиловым у меня сохранилась, но воспроизводить ее нет смысла, так как сообщенное генералом Шатиловым совпадает с сущностью опубликованного впоследствии письма Врангеля к Деникину»[2].

И после моего отъезда из России письмо это печаталось и рассылалось в войсковые части. В дело агитации вовлечена была и церковь. Один из наиболее активных деятелей предполагавшегося переворота епископ Вениамин, ставший после моего ухода протопресвитером военного и морского духовенства, рассылал в полки проповедников, которые порочили имя ушедшего Главнокомандующего.

Письмо это появлялось и в иностранной прессе.

---

[1] Впоследствии были осуждены и уволены генералы Сидорин и Кельчевский по политическому делу.

[2] Штерн С. «В огне гражданской войны». Париж, 1922.

Я ответил генералу Врангелю кратко[1]:

«Милостивый государь, Петр Николаевич!

Ваше письмо пришло как раз вовремя — в наиболее тяжкий момент, когда мне приходится напрягать все духовные силы, чтобы предотвратить падение фронта. Вы должны быть вполне удовлетворены...

Если у меня и было маленькое сомнение в Вашей роли в борьбе за власть, то письмо Ваше рассеяло его окончательно. В нем нет ни слова правды. Вы это знаете. В нем приведены чудовищные обвинения, в которые Вы сами не верите. Приведены, очевидно, для той же цели, для которой множились и распространялись предыдущие рапорты-памфлеты.

Для подрыва власти и развала Вы делаете все что можете.

Когда-то, во время тяжкой болезни, постигшей Вас, Вы говорили Юзефовичу, что Бог карает Вас за непомерное честолюбие...

Пусть Он и теперь простит Вас за сделанное Вами русскому делу зло.

А. Деникин».

Были и другие претенденты на власть.

В начале марта генерал Слащев совместно с герцогом С. Лейхтенбергским и помощником Шиллинга Брянским замыслили устранить Шиллинга. Цель — вступление во власть в Крыму Слащева; поводы — обвинение, предъявленное Брянским, который «настаивал на том, чтобы произвести обыск (у генерала Шиллинга) и гарантировал обнаружение незаконных денег и вещей[2]. В последнюю минуту, однако, Брянский смутился и вышел из игры. В своем рапорте и письме на имя Шиллинга от 9 и 10 марта он объяснял свой поступок тем, что «любил (Шиллинга) как отца», но, будучи посвящен в намерения Слащева и герцога Лейхтенбергского убить Шиллинга в случае отказа его подать в отставку[3],

---

[1] Предаю гласности впервые.

[2] Телеграмма Слащева от 8 марта, № 10023.

[3] Разговор, происходивший якобы 6 марта в Джанкое между Слащевым, Лейхтенбергским и Брянским.

он, Брянский, «борясь с этим планом, предлагал всякие средства, включая арест (Шиллинга) и обыск в (его) доме»[1].

Как предполагал использовать власть Слащев — неизвестно; сам же он пишет по этому поводу: «...Я первый ему (генералу Врангелю в Константинополь) через графа Гендрикова сообщил: ехать дальше вам нельзя, возвращайтесь; но по политическим соображениям соедините наши имена, а Шатилову дайте название — ну, хоть своего помощника...»

В начале марта бывшие тогда не у дел генералы Покровский и Боровский посетили генерала Кутепова и, «решившись посвятить его в свои предположения», осведомлялись, как отнесся бы Добровольческий корпус к перевороту в пользу генерала Покровского? Генерал Кутепов ответил, что ни он, ни корпус Покровскому не подчинятся.

В каких-то сложных политических комбинациях было замешано и английское *дипломатическое* представительство в лице генерала Киза... Мне известен его проект реорганизации власти Юга с предоставлением Главнокомандующему только военного командования. Предложение это предполагалось им поставить в ультимативной форме. По-видимому, в известной степени с такими планами находились волновавшие Новороссийск слухи о предположенной англичанами оккупации. «Из английских кругов, — телеграфировал мне 10 января Лукомский, — зондировали почву у Шликевича, председателя Земского союза, не пойдет ли он в председатели Русского совета по управлению Черноморской губернией в случае назначения сюда генерал-губернатора англичанами».

Военное английское представительство отнеслось, однако, совершенно отрицательно к такого рода вмешательству в русские дела.

Позднее, когда назревала уже эвакуация Новороссийска, генерал Киз интересовался возможностью переворота и с этой целью осведомлялся у генерала Кутепова об отношении к этому вопросу Добровольческого корпуса.

---

[1] Над Брянским назначено было следствие, законченное при генерале Врангеле. Результаты его не были опубликованы.

• • •

Обстановка, в которой мне приходилось работать последние месяцы, была, таким образом, необычайно сложна и тягостна.

Главной своей опорой я считал добровольцев.

С ними я начал борьбу и шел вместе по бранному пути, деля невзгоды, печали и радости первых походов. С ними кровно и неразрывно связывал я судьбу всего движения и свое дальнейшее участие в нем. Я верил, что тяжкие испытания, ниспосланные нам судьбою, потрясут мысль и совесть людей, послужат духовному обновлению армии, очищению Белой идеи от насевшей на нее грязи.

Я верил в добровольцев и с ними мог идти дальше по тернистой дороге к цели заветной, далекой, но не безнадежной...

23 февраля я получил телеграмму от командира Добровольческого корпуса генерала Кутепова.

«События последних дней на фронте с достаточной ясностью указывают, что на длительность сопротивления казачьих частей рассчитывать нельзя. Но если в настоящее время борьбу временно придется прекратить, то необходимо сохранить кадры Добровольческого корпуса до того времени, когда Родине снова понадобятся надежные люди. Изложенная обстановка повелительно требует принятия немедленных и решительных мер для сохранения и спасения офицерских кадров Добровольческого корпуса и добровольцев. Для того чтобы в случае неудачи спасти корпус и всех бойцов за идею Добровольческой армии, пожелавших пойти с ним, от окончательного истребления и распыления, необходимо немедленное принятие следующих мер, с полной гарантией того, что меры эти будут неуклонно проведены в жизнь в кратчайшее время. Меры эти следующие:

1. Немедленно приступить к самому интенсивному вывозу раненых и действительно больных офицеров и добровольцев за границу.

2. Немедленный вывоз желающих семейств офицеров и добровольцев, служивших в Добровольческой армии, в определенный срок за границу, с тем чтобы с подходом Добровольческого корпуса к Новороссийску возможно полнее разгрузить его от беженцев.

3. Сейчас же и, во всяком случае, не позже того времени, когда Добровольческий корпус отойдет в район станции Крымской, подготовить три или четыре транспорта, сосредоточенных в Новороссийске, конвоируемых наличными четырьмя миноносцами и подводными лодками, которые должны прикрыть посадку всего Добровольческого корпуса и офицеров других армий, пожелавших присоединиться к нему. Вместимость транспортов не менее десяти тысяч человек с возможно большим запасом продовольствия и огнеприпасов.

4. Немедленная постановка в строй всех офицеров, хотя бы и категористов, которые должны быть влиты в полки Добровольческого корпуса и принять участие в обороне подступов к Новороссийску. Все офицеры, зачисленные в эти полки и не ставшие в строй, хотя бы и категористы, не подлежат эвакуации, за исключением совершенно больных и раненых, причем право на эвакуацию должно быть определено комиссией из представителей от частей Добровольческого корпуса.

5. Все учреждения Ставки и правительственные учреждения должны быть посажены на транспорты одновременно с последней грузящейся на транспорт частью Добровольческого корпуса и отнюдь не ранее.

6. Теперь же должна быть передана в исключительное ведение Добровольческого корпуса железная дорога Тимашевская—Новороссийск с узловой станцией Крымская включительно. Никто другой на этой линии распоряжаться не должен.

7. С подходом корпуса в район станции Крымская вся власть в тылу и на фронте, порядок посадки, все плавучие средства и весь флот должны быть объединены в руках командира корпуса, от которого исключительно должен зависеть порядок посадки на транспорты и которому должны быть предоставлены диктаторские полномочия в отношении всех лиц и всякого рода военного, казенного и частного имущества и всех средств, находящихся в районе Крымская—Новороссийск.

8. Дальнейшее направление посаженного на транспорты Добровольческого корпуса должно будет определиться политической обстановкой, создавшейся к тому времени. В случае падения Крыма или отказа от борьбы на его территории Добровольческий корпус в том или ином виде высаживается в одном из портов или мест, предоставленных союзниками, о

чем теперь же необходимо войти с ними в соглашение, выработав соответствующие и наивыгоднейшие условия интернирования или же поступления корпуса на службу целой частью.

9. Докладывая о вышеизложенном Вашему превосходительству, я в полном сознании своей ответственности за жизнь и судьбу чинов вверенного мне корпуса и в полном согласии со строевыми начальниками, опирающимися на голос всего офицерства, прошу срочного ответа для внесения в войска успокоения и для принятия тех мер, которые обеспечат сохранение от распада оставшихся борцов за Родину.

10. Все изложенное выше отнюдь не указывает на упадок духа в корпусе, и если удалось бы задержаться на одной из оборонительных линий, то определенность принятого Вами на случай неудачи решения внесет в войска необходимое успокоение и придаст им еще большую стойкость.

Кутепов».

Вот и конец.

Те настроения, которые сделали психологически возможным такое обращение добровольцев к своему Главнокомандующему, предопределили ход событий: в этот день я решил бесповоротно оставить свой пост. Я не мог этого сделать тотчас же, чтобы не вызвать осложнений на фронте, и без того переживавшем критические дни. Предполагал уйти, испив до дна горькую чашу новороссийской эвакуации, устроив армию в Крыму и закрепив крымский фронт.

Командиру корпуса я ответил:

«Генералу Кутепову.

Вполне понимая Вашу тревогу и беспокойство за участь офицеров и добровольцев, прошу помнить, что мне судьба их не менее дорога, чем Вам, и что, охотно принимая советы своих соратников, я требую при этом соблюдения правильных взаимоотношений подчиненного с начальником. В основание текущей операции я принимаю возможную активность правого крыла Донской армии. Если придется отойти за Кубань, то в случае сохранения боеспособности казачьими частями будем удерживать фронт по Кубани, что легко, возможно и весьма важно. Если же казачий фронт рассып-

лется, Добровольческий корпус пойдет на Новороссийск. Во всех случаях нужен выигрыш времени. Отвечаю по пунктам:

1. Вывоз раненых и больных идет в зависимости от средств наших и даваемых союзниками. Ускоряю, сколько возможно.

2. Семейства вывозятся, задержка только от их нежелания и колебаний.

3. Транспорты подготовляются.

4. Как Вам известно, таково назначение Марковской дивизии.

5. Правительственные учреждения и Ставка поедут тогда, когда я сочту это нужным. Ставку никто не имеет оснований упрекать в этом отношении. Добровольцы должны бы верить, что Главнокомандующий уйдет последним, если не погибнет ранее.

6. Железная дорога Тимашевская—Новороссийск Вам передана быть не может, так как она обслуживает и Донскую армию. Это возможно лишь при тех исключительных условиях, о которых говорил во вступлении.

7. Вся власть принадлежит Главнокомандующему, который даст такие права командиру Добровольческого корпуса, которые сочтет нужными».

День 28 февраля был одним из наиболее тяжких в моей жизни.

Генерал Кутепов, прибыв в один из ближайших дней в Ставку, выражал сожаление о своем шаге и объяснял его крайне нервной атмосферой, царившей в корпусе на почве недоверия к правительству и казачеству. «Только искреннее желание помочь Вам расчистить тыл руководило мною при посылке телеграммы», — говорил он.

Эта беседа уже не могла повлиять на мое решение.

ГЛАВА XXXII
ЭВАКУАЦИЯ НОВОРОССИЙСКА

Ко времени отхода фронта за Кубань вопрос о дальнейших перспективах армии приобретал чрезвычайно серьезное значение. В соответствии с моим решением — в случае неудачи на линии реки Кубань отводить войска в Крым — принят был ряд мер: усиленно снабжалась новая главная база в Феодосии; с января началась организация продовольственных баз на Черноморском побережье, в том числе плавучих для портов, к которым могли бы отходить войска; спешно заканчивалась разгрузка Новороссийска от беженского элемента, больных и раненых путем эвакуации их за границу.

По условиям тоннажа и морального состояния войск одновременная планомерная эвакуация их при посредстве Новороссийского порта была немыслима: не было надежд на возможность погрузки всех людей, не говоря уже об артиллерии, обозе, лошадях и запасах, которые предстояло бросить. Поэтому для сохранения боеспособности войск, их организации и материальной части я наметил и другой путь — через Тамань.

Еще в директиве от 4 марта при отходе за реку Кубань на Добровольческий корпус возложено было, помимо обороны низовьев ее, прикрытие частью сил Таманского полуострова у Темрюка. Рекогносцировка пути между Анапой и станцией Таманской дала вполне благоприятные результаты; полуостров, замкнутый водными преградами, представлял большие удобства для обороны; весь путь туда находился под прикрытием судовой артиллерии, ширина Керченского пролива очень незначительна, а транспортная флотилия Керченского порта достаточно мощна и могла быть легко усилена. Я приказал стягивать спешно транспортные средства в Керчь. Вместе с тем велено было подготовить верховых лошадей для оперативной части Ставки, с которой я предполагал перейти в Анапу и следовать затем с войсками береговой дорогой на Тамань.

5 марта я посвятил в свои предположения прибывшего в Ставку генерала Сидорина, который отнесся к ним с сомнением. По его докладу, донские части утратили боеспособность и послушание и вряд ли согласятся идти в Крым. Но в Георгие-Афибской, где расположился донской штаб, состоялся ряд совещаний, и донская фракция Верховного круга, как я уже упоминал, признала недействительным постановление о разрыве с Главнокомандующим, а совещание донских командиров в конце концов присоединилось к решению вести войска на Тамань.

Хотя переход на Тамань предполагался лишь в будущем, а директива Ставки требовала пока удержания линии реки Кубань, 4-й Донской корпус, стоявший за рекой выше Екатеринодара, тотчас же спешно снялся и стал уходить на запад.

7 марта я отдал последнюю свою директиву на Кавказском театре: Кубанской армии, бросившей уже рубеж реки Белой, удерживаться на реке Курге; Донской армии и Добровольческому корпусу оборонять линию реки Кубани от устья Курги до Ахтанизовского лимана; Добровольческому корпусу теперь же частью сил, обойдя кружным путем, занять Таманский полуостров и прикрыть от красных северную дорогу от Темрюка[1].

Ни одна из армий директивы не выполнила.

Кубанские войска, совершенно дезорганизованные, находились в полном отступлении, пробиваясь горными дорогами на Туапсе. С ними терялась связь не только оперативная, но и политическая: Кубанская рада и атаман на основании последнего постановления Верховного круга, помимо старших военных начальников, которые оставались лояльными в отношении к Главнокомандующему, побуждали войска к разрыву со Ставкой. Большевики ничтожными силами легко форсировали Кубань и, почти не встречая сопротивления, вышли на левый берег ее у Екатеринодара, разрезав фронт Донской армии. Оторвавшийся от нее к востоку корпус генерала Старикова пошел на соединение с кубанцами. Два других донских корпуса, почти не задерживаясь, нестройными толпами двинулись по направлению Новороссийска. Многие казаки бросали оружие или целыми полками переходили к «зеленым»; все перепуталось, смешалось, потеряна была всякая связь штабов с войсками, и поезд командующего Донской армией, бессильного уже управлять войсками, ежедневно подвергаясь опасности захвата в плен, медленно пробивался на запад через море людей, коней и повозок. То недоверие и то враждебное чувство, которое в силу предшествовавших событий легло между добровольцами и казаками, теперь вспыхнуло с особенной силой. Двигающаяся казачья лавина, грозящая затопить весь тыл Добровольческого корпуса и отрезать его

[1] При отступлении за Кубань корпус не прикрыл ее.

от Новороссийска, вызывала в его рядах большое волнение. Иногда оно прорывалось в формах весьма резких. Помню, как начальник штаба Добровольческого корпуса генерал Достовалов во время одного из совещаний в поезде Ставки заявил:

— Единственные войска, желающие и способные продолжать борьбу, — это Добровольческий корпус. Поэтому ему необходимо предоставить все потребные транспортные средства, не считаясь ни с чьими претензиями и не останавливаясь в случае надобности перед применением оружия.

Я резко остановил говорившего.

Движение на Тамань с перспективой новых боев на тесном пространстве полуострова совместно с колеблющейся казачьей массой смущало добровольцев. Новороссийский порт влек к себе неудержимо, и побороть это стремление оказалось невозможным. Корпус ослабил сильно свой левый фланг, обратив главное внимание на Крымскую—Тоннельную, в направлении железнодорожной линии на Новороссийск.

10 марта «зеленые» подняли восстание в Анапе и Гостогаевской станице и захватили эти пункты. Действия нашей конницы против «зеленых» были нерешительны и безрезультатны. В тот же день большевики, отбросив слабую часть, прикрывавшую Варениковскую переправу, перешли через Кубань. Днем конные части их появились у Гостогаевской, а с вечера от переправы в направлении на Анапу двигались уже колонны неприятельской пехоты. Повторенное 11 марта наступление конницы генералов Барбовича, Чеснокова и Дьякова на Гостогаевскую и Анапу было еще менее энергично и успеха не имело.

Пути на Тамань были отрезаны...

И 11 марта Добровольческий корпус, два донских и присоединившаяся к ним кубанская дивизия без директивы, под легким напором противника сосредоточились в районе станции Крымской, направляясь всей своей сплошной массой на Новороссийск.

Катастрофа становилась неизбежной и неотвратимой.

* * *

Новороссийск тех дней, в значительной мере уже разгруженный от беженского элемента, представлял собой военный лагерь и тыловой вертеп. Улицы его буквально запружены были молодыми и здоровыми воинами-дезертирами. Они

бесчинствовали, устраивали митинги, напоминавшие первые месяцы революции, с таким же элементарным пониманием событий, с такой же демагогией и истерией. Только состав митингующих был иной: вместо «товарищей солдат» были офицеры. Прикрываясь высокими побуждениями, они приступили к организации «военных обществ», скрытой целью которых был захват в случае надобности судов... И в то же время официальный «эвакуационный бюллетень» с удовлетворением констатировал: «Привлеченные к погрузке артиллерийских грузов офицеры с правом потом по погрузке самим ехать на пароходах проявляют полное напряжение и вместо установленной погрузочной нормы 100 пудов грузят в двойном и более размерах, сознавая важность своей работы...»

Первое время ввиду отсутствия в Новороссийске надежного гарнизона было трудно. Я вызвал в город добровольческие офицерские части и отдал приказ о закрытии всех возникших на почве развала военных «обществ», об установлении полевых судов для руководителей их и дезертиров и о регистрации военнообязанных. «Те, кто избегнут учета, пусть помнят, что в случае эвакуации Новороссийска будут отброшены на произвол судьбы...» Эти меры в связи с ограниченным числом судов на новороссийском рейде разрядили несколько атмосферу.

А в городе царил тиф, людей косила смерть. 10-го я проводил в могилу начальника Марковской дивизии, храбрейшего офицера полковника Блейша.

Второй «старый» марковец уходил за последние недели... Недавно в Батайске среди вереницы отступающих обозов я встретил затертую в их массе повозку, везшую гроб с телом умершего от сыпного тифа генерала Тимановского. Железный Степаныч, сподвижник и друг генерала Маркова, человек необыкновенного, холодного мужества, столько раз водивший полки к победе, презиравший смерть и сраженный ею так не вовремя...

Или вовремя?

Убогая повозка с дорогою кладью, покрытая рваным брезентом, — точно безмолвный и бесстрастный символ.

• • •

Оглушенная поражением и плохо разбиравшаяся в сложных причинах его офицерская среда волновалась и гром-

ко называла *виновника*. Он был уже назван давно — человек долга и безупречной моральной честности, на которого армейские и некоторые общественные круги — одни по неведению, другие по тактическим соображениям — свалили главную тяжесть *общих прегрешений*.

Начальник штаба Главнокомандующего генерал И. П. Романовский.

В начале марта ко мне пришел протопресвитер отец Георгий Шавельский и убеждал меня освободить Ивана Павловича от должности, уверяя, что в силу создавшихся настроений в офицерстве возможно убийство его. Об этом эпизоде отец Георгий писал мне впоследствии:

«Чтобы Иван Павлович не заподозрил меня в какой-нибудь интриге против него, я, прежде чем беседовать с Вами, побывал у него и скрепя сердце нарисовал ему полную картину поднявшейся против него злобы.

Иван Павлович слушал спокойно, как будто бесстрастно, и только спросил меня: «Скажите, в чем меня обвиняют?»

«Для клеветы нет границ, — ответил я, — во всем. Говорят, например, что Вы на днях отправили за границу целый пароход табаку, и дальше в этом и другом роде».

Иван Павлович опустил голову на руки и замолк.

Действительно, чего только не валили на его бедную голову: его считали хищником, когда я знаю, что в Екатеринодаре и Таганроге для изыскания жизненных средств он должен был продавать свои старые, вывезенные из Петрограда вещи; его объявили «жидо-масоном», когда он всегда был вернейшим сыном православной церкви; его обвиняли в себялюбии и высокомерии, когда он ради пользы дела старался совсем затушевать свое я, и т. д.

Я умолял теперь Ивана Павловича уйти на время от дел, пока отрезвеют умы и смолкнет злоба.

Он ответил мне, что это его самое большое желание...

Вы знаете, как одиозно было тогда в армии имя Ивана Павловича; может быть, слышите, что память его не перестает поноситься и доселе. Необходимо рассеять гнусную клевету и соединенную с нею ненависть, преследовавшие этого чистого человека при его жизни, не оставившие его и

после смерти. Я готов был бы как его духовник, которому он верил и которому он открывал свою душу, свидетельствовать перед миром, что душа эта была детски чиста, что он укреплялся в подвиге, который он нес, верою в Бога; что он самоотверженно любил Родину, служил ей только из горячей, беспредельной любви к ней; что, не ища своего, забывал о себе; что он живо чувствовал людское горе и страдание и всегда устремлялся навстречу ему».

Тяжко мне было говорить с Иваном Павловичем об этих вопросах. Решили с ним, что потерпеть уж осталось недолго: после переезда в Крым он оставит свой пост.

Несколько раз генерал Хольман обращался ко мне и к генерал-квартирмейстеру Махрову с убедительной просьбой переместить поезд или уговорить генерала Романовского перейти на английский корабль, так как «его решили убить добровольцы...» Это намерение, по-видимому, близко было к осуществлению: 12 марта явилось в мой поезд лицо, близкое к Корниловской дивизии, и заявило, что группа корниловцев собирается сегодня убить генерала Романовского; пришел и генерал Хольман. В присутствии Ивана Павловича он взволнованно просил меня вновь «приказать» начальнику штаба перейти на английский корабль.

— Этого я не сделаю, — сказал Иван Павлович. — Если же дело обстоит так, прошу ваше превосходительство освободить меня от должности. Я возьму ружье и пойду добровольцем в Корниловский полк; пускай делают со мной что хотят.

Я просил его перейти хотя бы в мой вагон. Он отказался.

Слепые, жестокие люди, за что?

* * *

Отношения англичан по-прежнему были двойственны. В то время как дипломатическая миссия генерала Киза изобретала новые формы управления для Юга, начальник военной миссии генерал Хольман вкладывал все свои силы и душу в дело помощи нам. Он лично принимал участие с английскими техническими частями в боях на донецком фронте; со всей энергией добивался усиления и упорядочения материальной помощи; содействовал организации феодосийской базы — непосредственно и влияя на французов. Генерал Хольман силой британского авторитета поддерживал южную власть в распре ее с казачеством и делал попытки влиять на поднятие казачьего настроения. Он отождествлял наши интересы со своими, горячо принимал к сердцу наши беды и работал, не теряя надежд и энергии до последнего дня, представляя резкий контраст со многими русскими деятелями, потерявшими уже сердце.

Трогательное внимание проявлял он и в личных отношениях ко мне и начальнику штаба. Атмосфера «заговоров» и «покушений», охватившая в последние дни Новороссийск, не давала Хольману покоя. С нами говорить об этом было бесполезно, но не проходило дня, чтобы он не являлся к генерал-квартирмейстеру с упреками и советами по этому поводу. Совместно с ним он принял тайно некоторые меры предосторожности, а явно демонстрировал внимание к Главнокомандующему, представив мне на смотр английский десант и судовые экипажи.

Впрочем, я и до сегодняшнего дня думаю, что в отношении меня лично все эти предосторожности были излишни.

Юг постигло великое бедствие. Положение казалось безнадежным и конец близок. Сообразно с этим менялась и политика Лондона. Генерал Хольман оставался еще в должности, но неофициально называли уже имя его преемника — генерала Перси... Лондон решил ускорить «ликвидацию». Очевидно, такое поручение было морально неприемлемо для генерала Хольмана, так как в один из ближайших перед эвакуацией дней ко мне явился не он, а генерал Бридж со следующим предложением английского правительства: так как, по мнению последнего, положение катастрофично и эвакуация в Крым неосуществима, то англичане предлагают мне свое посредничество для заключения *перемирия с большевиками*...

Я ответил: никогда.

Этот эпизод имел свое продолжение несколько месяцев спустя. В августе 1920 года в газете «Таймс» опубликована была нота лорда Керзона к Чичерину от 1 апреля. В ней после соображений о бесцельности дальнейшей борьбы, которая «является серьезной угрозой спокойствию и процветанию России», Керзон заявлял:

«Я употребил все свое влияние на генерала Деникина, чтобы уговорить его бросить борьбу, обещав ему, что, если он поступит так, я употреблю все усилия, чтобы заключить мир между его силами и вашими, обеспечив неприкосновенность всех его соратников, а также населения Крыма. Генерал Деникин в конце концов последовал этому совету и покинул Россию, передав командование генералу Врангелю».

Неизвестно, чему было больше удивляться: той лжи, которую допустил лорд Керзон, или той легкости, с которой министерство иностранных дел Англии перешло от реальной помощи белому Югу к моральной поддержке большевиков путем официального осуждения белого движения.

В той же «Таймс» я напечатал тотчас опровержение:

«1. Никакого влияния лорд Керзон оказать на меня не мог, так как я с ним ни в каких отношениях не находился.

2. Предложение (британского военного представителя о перемирии) я категорически отвергнул и, хотя с потерей материальной части, перевел армию в Крым, где тотчас же приступил к продолжению борьбы.

3. Нота английского правительства о начале мирных переговоров с большевиками была, как известно, вручена уже не мне, а моему преемнику по командованию Вооруженными силами Юга России генералу Врангелю, отрицательный ответ которого был в свое время опубликован в печати.

4. Мой уход с поста Главнокомандующего был вызван сложными причинами, но никакой связи с политикой лорда Керзона не имел.

Как раньше, так и теперь я считаю неизбежной и необходимой вооруженную борьбу с большевиками до полного их поражения. Иначе не только Россия, но и вся Европа обратится в развалины».

Для характеристики генерала Хольмана могу добавить: он просил меня разъяснить дополнительно в «Таймс», что «британский военный представитель», предлагавший перемирие с большевиками, был не генерал Хольман.

Я охотно исполнил желание человека, который, «познав истинную природу большевизма», готов был, как доносил он Черчиллю, «скорее стать в ряды армий Юга рядовым добровольцем, чем вступить в сношения с большевиками...»

• • •

Армии катились от Кубани к Новороссийску слишком быстро, а на рейде стояло слишком мало судов...

Пароходы, занятые эвакуацией беженцев и раненых, подолгу простаивали в иностранных портах по карантинным правилам и сильно запаздывали. Ставка и комиссия генерала Вязьмитинова, непосредственно ведавшая эвакуацией, напрягали все усилия к сбору судов, встречая в этом большие препятствия. И Константинополь, и Севастополь проявляли необычайную медлительность под предлогом недостатка угля, неисправности механизмов и других непреодолимых обстоятельств.

Узнав о прибытии главнокомандующего на Востоке генерала Мильна и английской эскадры адмирала Сеймура в Новороссийск, я 11 марта заехал в поезд генерала Хольмана, где встретил и обоих английских начальников. Очертив им общую обстановку и указав возможность катастрофического падения обороны Новороссийска, я просил о содействии эвакуации английским флотом. Встретил сочувствие и готовность. Адмирал Сеймур заявил, что по техническим условиям он может принять на борты своих кораблей не более 5—6 тысяч человек. Тогда генерал Хольман сказал по-русски и перевел свою фразу по-английски:

— Будьте спокойны. Адмирал добрый и великодушный человек. Он сумеет справиться с техническими трудностями и возьмет много больше.

— Сделаю все что возможно, — ответил Сеймур.

Адмирал своим сердечным отношением к участи белого воинства оправдывал вполне данную ему Хольманом характеристику. Его обещанию можно было верить, и эта помощь значительно облегчала наше тяжелое положение.

Суда между тем прибывали. Появилась надежда, что в ближайшие 4—8 дней нам удастся поднять все войска, желающие продолжать борьбу на территории Крыма. Комиссия Вязьмитинова назначила первые четыре транспорта

частям Добровольческого корпуса, один пароход для кубанцев, остальные предназначались для Донской армии.

12 марта утром ко мне прибыл генерал Сидорин. Он был подавлен и смотрел на положение своей армии совершенно безнадежно. Все развалилось, все текли куда глаза глядят, никто бороться больше не хотел; в Крым, очевидно, не пойдут. Донской командующий был озабочен, главным образом участью, донских офицеров, затерявшихся в волнующейся казачьей массе. Им грозила смертельная опасность в случае сдачи большевикам. Число их Сидорин определял в 5 тысяч. Я уверил его, что все офицеры, которые смогут добраться до Новороссийска, будут посажены на суда.

Но по мере того как подкатывала к Новороссийску волна донцов, положение выяснялось все более и притом в неожиданном для Сидорина смысле: колебания понемногу рассеялись, и все донское воинство бросилось к судам. Для чего — вряд ли они тогда отдавали себе ясный отчет. Под напором обращенных к нему со всех сторон требований генерал Сидорин изменил своей тактике, и в свою очередь, обратился к Ставке с требованием судов для всех частей в размерах, явно невыполнимых, как невыполнима вообще планомерная эвакуация войск, не желающих драться, ведомых начальниками, переставшими повиноваться.

Между тем Новороссийск, переполненный свыше всякой меры, ставший буквально непроезжим, залитый человеческими волнами, гудел как разоренный улей. Шла борьба за «место на пароходе» — борьба за спасение... Много человеческих драм разыгралось на стогнах города в эти страшные дни. Много звериного чувства вылилось наружу перед лицом нависшей опасности, когда обнаженные страсти заглушали совесть и человек человеку становился лютым ворогом.

13 марта явился ко мне генерал Кутепов, назначенный начальником обороны Новороссийска, и доложил, что моральное состояние войск, их крайне нервное настроение не дают возможности оставаться долее в городе, что ночью необходимо его оставить...

Суда продолжали прибывать, но их все еще было недостаточно, чтобы поднять всех.

Генерал Сидорин вновь обратился с резким требованием транспортов. Я предложил ему три решения:

1. Занять сохранившимися донскими войсками ближайшие подступы к Новороссийску, чтобы выиграть дня два, в которые, несомненно, прибудут недостающие транспорты.

Сидорин не хотел или не мог этого сделать. Точно так же он отказался выставить на позиции хотя бы сохранившую боеспособность учебную бригаду.

2. Повести лично свои части береговой дорогой на Геленджик—Туапсе[1], куда могли свернуть подходившие пароходы и направиться новые после разгрузки их в крымских портах.

Сидорин не пожелал этого сделать.

3. Наконец, можно было отдаться на волю судьбы в расчете на те транспорты, которые прибудут в этот день и в ночь на 14-е, а также на обещанную адмиралом Сеймуром помощь английских судов.

Генерал Сидорин остановился на этом решении, а подчиненным ему начальникам, потом прессе поведал об учиненном главным командованием «предательстве Донского войска».

Эта версия, сопровождаемая вымышленными подробностями, была очень удобна, перекладывая весь одиум, все личные грехи и последствия развала казачьей армии на чужую голову.

Вечером 13-го штаб Главнокомандующего, штабы Донской армии и Донского атамана посажены были на пароход «Цесаревич Георгий». После этого я с генералом Романовским и несколькими чинами штаба перешли на русский миноносец «Капитан Сакен».

Посадка войск продолжалась всю ночь. Часть добровольцев и несколько полков донцов, не попавших на суда, пошли береговой дорогой на Геленджик.

* * *

Прошла бессонная ночь. Начало светать. Жуткая картина. Я взошел на мостик миноносца, стоявшего у пристани. Бухта опустела. На внешнем рейде стояло несколько английских судов, еще дальше виднелись неясные уже силуэты транспортов, уносящих русское воинство к последнему клочку родной земли, в неизвестное будущее...

---

[1] Путь преграждало около 4 тысяч дезертиров.

В бухте мирно стояли два французских миноносца, по-видимому, не знавшие обстановки. Мы подошли к ним. В рупор была передана моя просьба:

— Новороссийск эвакуирован. Главнокомандующий просит вас взять на борт сколько возможно из числа остающихся на берегу людей.

Миноносцы быстро снялись и ушли на внешний рейд...[1]

В бухте — один только «Капитан Сакен».

На берегу у пристаней толпился народ. Люди сидели на своих пожитках, разбивали банки с консервами, разогревали их, грелись сами у разведенных тут же костров. Это бросившие оружие — те, которые не искали уже выхода. У большинства спокойное, тупое равнодушие — от всего пережитого, от утомления, от духовной прострации. Временами слышались из толпы крики отдельных людей, просивших взять их на борт. Кто они, как их выручить из сжимающей их толпы?.. Какой-то офицер с северного мола громко звал на помощь, потом бросился в воду и поплыл к миноносцу. Спустили шлюпку и благополучно подняли его. Вдруг замечаем — на пристани выстроилась подчеркнуто стройно какая-то воинская часть. Глаза людей с надеждой и мольбой устремлены на наш миноносец. Приказываю подойти к берегу. Хлынула толпа...

— Миноносец берет только вооруженные команды...

Погрузили сколько возможно было людей и вышли из бухты. По дороге, недалеко от берега, в открытом море покачивалась на свежей волне огромная баржа, выведенная и оставленная там каким-то пароходом. Сплошь, до давки, до умопомрачения забитая людьми. Взяли ее на буксир и подвели к английскому броненосцу.

Адмирал Сеймур выполнил свое обещание: английские суда взяли значительно больше, чем было обещано.

Очертания Новороссийска выделялись еще резко и отчетливо. Что творилось там?.. Какой-то миноносец повернул вдруг обратно и полным ходом полетел к пристаням. Бухнули орудия, затрещали пулеметы: миноносец вступил

[1] Позднее они приняли участие в спасении людей, шедших береговой дорогой южнее Новороссийска.

в бой с передовыми частями большевиков, занявшими уже город. Это был «Пылкий», на котором генерал Кутепов, получив сведение, что не погружен еще 3-й Дроздовский полк, прикрывавший посадку, пошел на выручку.

Потом все стихло. Контуры города, берега и гор обволакивались туманом, уходя вдаль... в прошлое.

Такое тяжелое, такое мучительное.

ГЛАВА XXXIII

СУДЬБА ВОЙСК, ОСТАВШИХСЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, И КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ. УПРАЗДНЕНИЕ «ЮЖНОРУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА». ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В КРЫМУ. ОСТАВЛЕНИЕ МНОЮ ПОСТА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСЮР

Грозные недавно Вооруженные силы Юга распались. Части, двинувшиеся берегом моря на Геленджик, при первом же столкновении с отрядом дезертиров, занимавших Кабардинскую, не выдержали, замитинговали и рассеялись. Небольшая часть их была подобрана судами, остальные ушли в горы или перешли к большевикам.

Части Кубанской армии и 4-го Донского корпуса, вышедшие горами к берегу Черного моря, расположились между Туапсе и Сочи, лишенные продовольствия и фуража, в обстановке чрезвычайно тяжелой. Надежды кубанцев на «зеленых» и на помощь грузин не оправдались. Кубанская рада, правительство и атаман Букретов, добивавшийся командования войсками[1], требовали полного разрыва с «Крымом» и склонялись к заключению мира с большевиками; военные начальники категорически противились этому. Эта распря и полная дезорганизация верхов вносили еще большую смуту в казачью массу, окончательно запутавшуюся в поисках выхода и путей к спасению.

[1] Командование было объединено в руках командира Кубанского корпуса генерала Писарева, которому подчинялся и 4-й Донской корпус.

Сведения о разложении, колебаниях и столкновениях в частях, собравшихся на Черноморском побережье, приходили в Феодосию и вызывали мучительные сомнения: как быть с ними дальше? Эти сомнения волновали Ставку и разделялись казачьими кругами. Ставка указывала перевозить только вооруженных и желающих драться. Донские правители смотрели более пессимистично: на бурном заседании их в Феодосии решено было воздержаться пока вовсе от перевозки донцов в Крым. Мотивами этого решения были, с одной стороны, развал частей, с другой — опасение за прочность Крыма («ловушка»). Такое неопределенное положение доно-кубанских корпусов на побережье длилось после моего ухода еще около месяца, завершившись трагически: кубанский атаман Букретов через генерала Морозова заключил договор с советским командованием о сдаче армии большевикам и сам скрылся в Грузию. Большая часть войск сдалась действительно, меньшая успела переправиться в Крым[1].

В начале марта начался исход с Северного Кавказа. Войска и беженцы потянулись на Владикавказ, откуда в 10-х числах марта по Военно-Грузинской дороге перешли в Грузию. Обезоруженные грузинами войска и беженцы[2] были интернированы потом в Потийском лагере.

Еще восточнее берегом Каспийского моря отходил на Петровск астраханский отряд генерала Драценко. Отряд этот сел 16 марта в Петровске на суда и вместе с Каспийской флотилией пошел в Баку. Генерал Драценко и командующий флотилией адмирал Сергеев заключили условие с азербайджанским правительством, в силу которого ценою передачи Азербайджану оружия и материальной части войскам разрешен был проход в Поти. Военная флотилия, не поднимая азербайджанского флага и сохраняя свое внутреннее управление, принимала на себя береговую оборону. Но когда суда начали входить в гавань, обнаружился обман: азербайджанское правительство заявило, что лицо, подписавшее договор, не имело на то полномочий, и потребовало безусловной сдачи. На этой почве во

[1] По данным Ставки генерала Врангеля, из 27 тысяч перевезено было около 12 тысяч.

[2] Войск около 7 тысяч, беженцев 3—5 тысяч.

флоте началось волнение; адмирал Сергеев, отправившийся в Батум, чтобы оттуда войти в связь со Ставкой, был объявлен офицерами низложенным, и суда под командой капитана 2-го ранга Бушена ушли в Энзели с целью отдаться там под покровительство англичан. Английское командование, не желая столкновения с большевиками, предложило командам судов считаться интернированными и распорядилось снять части орудий и машин. И когда большевики вслед за тем сделали внезапную высадку, сильный английский отряд, занимавший Энзели, обратился в поспешное отступление; к англичанам вынуждены были присоединиться и наши флотские команды. Один из участников этого отступления, русский офицер писал впоследствии о чувстве некоторого морального удовлетворения, которое испытывали «мы — жалкие и беспомощные среди англичан» при виде того, как «перед кучкой большевиков, высадившихся и перерезавших дорогу в Решт, войска сильной, могущественной британской армии драпали вместе с нами...»

Рухнуло государственное образование Юга и осколки его, разбросанные далеко, катились от Каспия до Черного моря, увлекая людские волны. Рухнул оплот, прикрывавший с севера эфемерные «государства», неустанно подтачивавшие силы Юга, и разительно ясно обнаружилась вся немощность и нежизнеспособность их... В несколько дней пала «Черноморская республика» «зеленых», не более недели просуществовал Союз горских народов, вскоре сметен был и Азербайджан. Наступал черед Грузинской республики, бытие которой, по соображениям общей политики, допускалось советской властью еще некоторое время.

* * *

На маленьком Крымском полуострове сосредоточилось все, что осталось от Вооруженных сил Юга.

Армия, ставшая под непосредственное мое командование, сведена была в три корпуса (Крымский, Добровольческий, Донской), Сводную кавалерийскую дивизию и Сводную кубанскую бригаду. Все остальные части, команды, штабы и учреждения, собравшиеся в Крым со всей бывшей территории Юга, подлежали расформированию, причем весь боеспособный личный состав их пошел на укомплектование действующих войск. Крымский корпус силою около 5 тысяч по-прежнему

прикрывал перешейки. Керченский район обеспечивался от высадки со стороны Тамани сводным отрядом в $1^1/_2$ тысячи[1]. Все прочие части расположены были в резерве, на отдыхе: Добровольческий корпус в районе Севастополя — Симферополя, донцы — в окрестностях Евпатории.

Ставку я расположил временно в тихой Феодосии, вдали от кипящего страстями Севастополя.

Ближайшая задача, возложенная на армию, заключалась в обороне Крыма.

Армия насчитывала в своих рядах 35—40 тысяч бойцов, имела на вооружении 100 орудий и до 500 пулеметов, но была потрясена морально, и войска, прибывшие из Новороссийска, лишены были материальной части, лошадей, обозов и артиллерии. Добровольцы пришли поголовно вооруженными, привезли с собой все пулеметы и даже несколько орудий; донцы прибыли безоружными.

С первого же дня началась спешная работа по реорганизации, укомплектованию и снабжению частей. Некоторый отдых успокаивал возбужденные до крайности нервы.

До тех пор в течение полутора лет части были разбросаны по фронту на огромные расстояния, почти не выходя из боя. Теперь сосредоточенное расположение крупных войсковых соединений открывало возможность непосредственного и близкого воздействия старших начальников на войска.

Противник занимал северные выходы из крымских перешейков по линии Геническ—Чонгарский мост—Сиваш-Перекоп. Силы его были невелики (5—6 тысяч), а присутствие в тылу отрядов Махно и других повстанческих банд сдерживало его наступательный порыв. Со стороны Таманского полуострова большевики никакой активности не проявляли.

Движение главных сил Юга к берегам Черного моря советским командованием расценивалось как последний акт борьбы. Сведения о состоянии наших войск, о мятежах, поднимаемых войсками и начальниками, весьма преувеличенные, укрепляли большевиков в убеждении, что белую армию, припертую к морю, ждет неминуемая и конечная гибель.

---

[1] Сводная Кубанская бригада, Сводная Алексеевская бригада, Корниловская юнкерская школа.

Поэтому операция переброски значительных сил в Крым, готовность и возможность продолжать там борьбу явились для советского командования полнейшей неожиданностью.

На Крым не было обращено достаточно внимания, и за эту оплошность советская власть поплатилась впоследствии дорогой ценой.

* * *

Необходимо было упорядочить и реорганизовать гражданское управление, слишком громоздкое для Крыма.

«Южнорусское правительство» Мельникова, прибыв в Севастополь, попало сразу в атмосферу глубокой и органической враждебности, парализовавшей всякую его деятельность. Правительство — по своему генезису, как созданное в результате соглашения с Верховным кругом, — уже по этой причине было одиозно и вызывало большое раздражение, готовое вылиться в дикие формы.

Поэтому для предотвращения нежелательных эксцессов я решил упразднить правительство еще до своего ухода. 16 марта я отдал приказ об упразднении Совета министров. Взамен его поручалось М. В. Бернацкому организовать «сокращенное численно, деловое учреждение, ведающее делами общегосударственными и руководством местных органов». Приказ подтверждал, что «общее направление внешней и внутренней политики останется незыблемым на началах, провозглашенных мной 16 января в Екатеринодаре».

На членов правительства этот неожиданный для них приказ произвел весьма тягостное впечатление... Форму не оправдываю, но сущность реорганизации диктовалась явной необходимостью и личной безопасностью министров.

В тот же день, 16-го, члены правительства на предоставленном им пароходе выехали из Севастополя и перед отъездом в Константинополь заехали в Феодосию проститься со мной. После краткого слова Н. М. Мельникова ко мне обратился Н. В. Чайковский:

— Позвольте Вас, генерал, спросить: что Вас побудило совершить государственный переворот?

Меня удивила такая постановка вопроса — после разрыва с Верховным кругом и, главное, после того катастрофического «переворота», который разразился над всем белым Югом...

— Какой там переворот! Я вас назначил и я вас освободил от обязанностей — вот и все.

После этого Ф. С. Сушков указал на «ошибочность моего шага»: за несколько дней своего пребывания в Крыму правительство, по его словам, заслужило признание не только общественных кругов, но и военной среды. Так что все предвещало возможность плодотворной работы его...

— К сожалению, у меня совершенно противоположные сведения. Вы, по-видимому, не знаете, что творится кругом. Во всяком случае, через несколько дней все случившееся станет вам ясным...

Покидал свой пост генерал Хольман — неизменный доброжелатель армии. В своем прощальном слове он говорил: «...С глубочайшим сожалением я уезжаю из России. Я надеялся оставаться с вами до конца борьбы, но получил приказание ехать в Лондон для доклада своему правительству о положении... Не думайте, что я покидаю друга в беде. Я надеюсь, что смогу принести вам большую пользу в Англии... Я уезжаю с чувством глубочайшего уважения и сердечной дружбы к вашему Главнокомандующему и с усилившимся решением остаться верным той кучке храбрых и честных людей, которые вели тяжелую борьбу за свою Родину в продолжение двух лет...»

При новой политике Лондона генерал Хольман был бы действительно не на месте.

Расставался я и со своим верным другом И. П. Романовским. Освобождая его от должности начальника штаба, я писал в приказе:

«Беспристрастная история оценит беззаветный труд этого храбрейшего воина, рыцаря долга и чести и беспредельно любящего Родину солдата и гражданина.

История заклеймит презрением тех, кто по своекорыстным побуждениям ткал паутину гнусной клеветы вокруг честного и чистого имени его.

Дай Бог Вам сил, дорогой Иван Павлович, чтобы при более здоровой обстановке продолжать тяжкий труд государственного строительства».

На место генерала Романовского начальником штаба я назначил состоявшего в должности генерал-квартирмейстера генерала Махрова.

Хольман, предполагавший выехать в ближайший день в Константинополь, предложил Ивану Павловичу ехать с ним вместе.

Рвались нити, связывавшие с прошлым, становилось пусто вокруг...

* * *

Поздно вечером 19-го в Феодосию приехал генерал Кутепов по важному делу. Он доложил:

«Когда я прибыл в Севастополь, то на пристани офицер, присланный от генерала Слащева, доложил мне, что за мной прислан вагон с паровозом и что генерал Слащев просит меня прибыть к нему немедленно. В этом вагоне около 8 часов вечера я прибыл в Джанкой, где на платформе меня встретил генерал Слащев и просил пройти к нему в вагон. После легкого ужина я по просьбе Слащева прошел к нему в купе, и там он мне очень длинно стал рассказывать о том недовольстве в войсках его корпуса Главнокомандующим и о том, что такое настроение царит среди всего населения, в частности среди заявивших ему об этом армян и татар, в духовенстве, а также во флоте и якобы среди чинов моего корпуса, и что 23 марта предположено собрать совещание из представителей духовенства, армии, флота и населения для обсуждения создавшегося положения и что, вероятно, это совещание решит обратиться к генералу Деникину с просьбой о сдаче им командования. Затем он прибавил, что ввиду моего прибытия теперь на территорию Крыма он полагает необходимым и мое участие в этом совещании.

На это я ему ответил, что относительно настроения моего корпуса он ошибается. Участвовать в каком-либо совещании без разрешения Главнокомандующего я не буду и, придавая огромное значение всему тому, что он мне сказал, считаю необходимым обо всем этом немедленно доложить генералу Деникину. После этих моих слов я встал и ушел.

Выйдя на платформу, я сел в поезд и приказал везти себя в Феодосию».

То, что я услышал, меня не удивило.

Генерал Слащев вел эту работу не первый день и не в одном направлении, а сразу в четырех. Он посылал гонцов к барону Врангелю, убеждая его «соединить наши имена» (то есть Врангеля и Слащева), и при посредстве герцога С. Лейхтенбергского входил в связь по этому вопросу с офицерскими флотскими кругами. В сношениях своих, главным образом, с правой общественностью он старался направить ее выбор в свою личную пользу. Вместе с тем через генерала Боровского он входил в связь с генералами Сидориным, Покровским, Юзефовичем и условливался с ними о дне и месте совещания для устранения Главнокомандующего. В чью пользу — умалчивалось, так как первые двое были антагонистами Врангеля и не имели также желания подчиняться Слащеву. Наконец, одновременно Слащев чуть ли не ежедневно телеграфировал в Ставку с просьбой разрешить ему прибыть ко мне для доклада и высказывал «глубокое огорчение», что его не пускают к «своему главнокомандующему...»

Генерал Сидорин усиленно проводил взгляд о «предательстве Дона» и телеграфировал донскому атаману, что этот взгляд разделяют «все старшие начальники и все казаки». Он решил «вывести Донскую армию из пределов Крыма и того подчинения, в котором она сейчас находится», и требовал немедленного прибытия атамана и правительства в Евпаторию «для принятия окончательного решения...»[1]

Я знал уже и о той роли, которую играл в поднявшейся смуте епископ Вениамин, возглавивший оппозицию крайних правых, но до каких пределов доходило его рвение, мне стало известным только несколько лет спустя... На другой день после прибытия Южнорусского правительства в Севастополь преосвященный явился к председателю его. Об этом посещении Н. М. Мельников рассказывает:

«Епископ Вениамин сразу начал говорить о том, что «во имя спасения России» надо заставить генерала Деникина сложить власть и передать ее генералу Врангелю, ибо только он, по мнению епископа и его друзей, может спасти в данных условиях Родину. Епископ добавил, что у них, в сущности, все уже готово к тому, чтобы осуществить намеченную перемену, и что он считает своим долгом обратиться по этому делу ко мне лишь для того, чтобы по возможности не вносить лишнего соблазна в массу и подвести легальные подпорки под «их» предприятие, ибо, если Южнорусское правительство санкционирует задуманную перемену, все пройдет гладко, «законно»...

Епископ Вениамин добавил, что, согласится Южнорусское правительство или не согласится, — дело все равно сделано будет...

Это приглашение принять участие в перевороте, сделанное притом епископом, было так неожиданно для меня, тогда еще впервые видевшего заговорщика в рясе, и так меня возмутило, что я, поднявшись, прекратил дальнейшие излияния епископа».

Епископ Вениамин посетил затем министра внутренних дел В. Ф. Зеелера, которому также в течение полутора часов внушал мысль о необходимости переворота.

«Все равно с властью Деникина покончено. Его сгубил тот курс политики, который отвратен русскому народу. Последний давно уже жаждет «хозяина земли русской» и мешать этому теперь уже вполне созревшему порыву не следует. Нужно всячески этому содействовать — это будет и Богу угодное дело. Все готово: готовы к этому и генерал Врангель, и вся та партия патриотически настроенных действительных сынов своей Родины, которая находится в связи с генералом Врангелем. Причем генерал Врангель — тот Божией милостию диктатор, из рук которого и получит власть и царство помазанник...

Епископ был так увлечен поддержкой разговора, что перестал сохранять сдержанность и простую осторожность и дошел до того, что готов был тут же ждать от правительства решений немедленных»[1].

Сидорин, Слащев, Вениамин... Все это, в сущности, меня уже мало интересовало.

[1] Телеграмма Сидорина генералу Богаевскому от 18 марта.

[1] Из записки В. Ф. Зеелера.

Я спросил генерала Кутепова о настроении добровольческих частей.

Он ответил, что одна дивизия вполне прочная, в другой настроение удовлетворительное, в двух — неблагополучно. Критикуя наши неудачи, войска, главным образом, обвиняют в них генерала Романовского. Кутепов высказал свое мнение, что необходимо принять спешные меры против собирающегося совещания и лучше всего вызвать ко мне старших начальников, с тем чтобы они сами доложили мне о настроении войск.

Я взглянул на дело иначе: настало время выполнить мое решение. Довольно.

В ту же ночь совместно с начальником штаба генералом Махровым я составил секретную телеграмму — приказание о сборе начальников на 21 марта в Севастополь на Военный совет под председательством генерала Драгомирова «для избрания преемника Главнокомандующему Вооруженными силами Юга России». В число участников я включил и находившихся не у дел, известных мне претендентов на власть и наиболее активных представителей оппозиции. В состав совета должны были войти: командиры Добровольческого (Кутепов) и Крымского (Слащев) корпусов и их начальники дивизий. Из числа командиров бригад и полков — половина (от Крымского корпуса в силу боевой обстановки норма может быть меньше). Должны прибыть также: коменданты крепостей, командующий флотом, его начальник штаба, начальники морских управлений, четыре старших строевых начальника флота. От Донского корпуса — генералы Сидорин, Кельчевский и шесть лиц в составе генералов и командиров полков. От штаба Главнокомандующего — начальник штаба, дежурный генерал, начальник Военного управления и персонально генералы: Врангель, Богаевский, Улагай, Шиллинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков.

К председателю Военного совета я обратился с письмом[1]:

«Многоуважаемый Абрам Михайлович!

Три года российской смуты я вел борьбу, отдавая ей все свои силы и неся власть, как тяжкий крест, ниспосланный судьбою.

[1] 20 марта, № 145/м.

Бог не благословил успехом войск, мною предводимых. И хотя вера в жизнеспособность армии и в ее историческое призвание мною не потеряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана. И я не в силах более вести ее.

Предлагаю Военному совету избрать достойного, которому я передам преемственно власть и командование.

Уважающий Вас А. Деникин».

Следующие два, три дня прошли в беседах с преданными мне людьми, приходившими с целью предотвратить мой уход. Они терзали мне душу, но изменить моего решения не могли.

* * *

Военный совет собрался, и утром 22-го я получил телеграмму генерала Драгомирова.

«Военный совет признал невозможным решать вопрос о преемнике главкома, считая это прецедентом выборного начальства, и постановил просить Вас единолично указать такового. При обсуждении Добровольческий корпус и кубанцы заявили, что только Вас желают иметь своим начальником и от указания преемника отказываются. Донцы отказались давать какие-либо указания о преемнике, считая свое представительство слишком малочисленным, не соответствующим боевому составу, который они определяют в 4 дивизии. Генерал Слащев отказался высказать мнение за весь свой корпус, от которого могли прибыть только три представителя, и вечером просил разрешения отбыть на позиции, что ему и было разрешено. Только представители флота указали преемником генерала Врангеля. Несмотря на мои совершенно категорические заявления, что Ваш уход решен бесповоротно, вся сухопутная армия ходатайствует о сохранении Вами главного командования, ибо только на Вас полагаются и без Вас опасаются за распад армии. Все желали бы Вашего немедленного прибытия сюда для личного председательствования в совете, но меньшего состава. В воскресенье в полдень назначил продолжение заседания, к каковому прошу Вашего ответа для доклада Военсовету.

Драгомиров».

Я считал невозможным изменить свое решение и ставить судьбы Юга в зависимость от временных, меняющихся, как мне казалось, настроений. Генералу Драгомирову я ответил:

«Разбитый нравственно, я ни одного дня не могу оставаться у власти. Считаю уклонение от подачи мне совета генералами Сидориным и Слащевым недопустимым. Число собравшихся безразлично. Требую от Военного совета исполнения своего долга. Иначе Крым и армия будут ввергнуты в анархию.

Повторяю, что число представителей совершенно безразлично. Но если донцы считают нужным, допустите число членов сообразно их организации».

В тот же день получена мною в ответ телеграмма генерала Драгомирова:

«Высшие начальники до командиров корпусов включительно единогласно остановились на кандидатуре генерала Врангеля. Во избежание трений в общем собрании означенные начальники просят Вас прислать ко времени открытия общего собрания, к 18 часам, Ваш приказ о назначении без ссылки на избрание Военным советом».

Я приказал справиться, был ли генерал Врангель на этом заседании и известно ли ему об этом постановлении, и, получив утвердительный ответ, отдал свой последний приказ Вооруженным силам Юга:

«1. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России.

2. Всем, шедшим честно со мною в тяжкой борьбе, — низкий поклон.

Господи, дай победу армии и спаси Россию.

Генерал Деникин».

ГЛАВА XXXIV

ВОЕННЫЙ СОВЕТ. МОЙ ОТЪЕЗД. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ДРАМА

О том, что происходило на Военном совете, я узнал лишь много времени спустя. Я думаю, что *тогда* и генерал Кутепов, и я не вполне верно оценивали добровольческие настроения.

Приведу описание этих событий, составленное одним из участников и нашедшее подтверждение со стороны других членов совета[1].

«В день совета было назначено в 2 часа дня собрание старших начальников дивизии на квартире у генерала Витковского, на которое должен был приехать в 3 часа генерал Кутепов. На совещании у генерала Витковского было единогласно решено просить генерала Деникина остаться у власти, так как все мы не могли мыслить об ином Главнокомандующем. Заявление генерала Кутепова о том, что генерал Деникин твердо решил оставить свой пост, не изменило общего единодушного решения. У всех нас было впечатление, что генерал Деникин пришел к своему решению вследствие какого-то разногласия, интриг и выраженного ему недоверия. Всем нам непонятно было, почему генерал Кутепов не поддерживал нас в нашем решении, но, наоборот, настаивал на том, что наше решение ничего не изменит, так как он знает о твердом решении генерала Деникина. Нам было совершенно непонятно поведение генерала Кутепова, а потому большинство ушло с заседания неприязненно настроенными против него[2].

Генерал Кутепов, уезжая с заседания у генерала Витковского, приказал собраться во дворце на назначенный вече-

---

[1] Из записки генерала Ползикова.

[2] Примечание генерала Кутепова: «Полагал необходимым подготовить к решению этого тяжелого вопроса, поэтому считал нужным предупредить старших начальников. Слухи и сплетни, к сожалению, и тогда создавали настроение начальников».

ром того дня Военный совет на $1^1/_2$ часа раньше, с тем чтобы устроить перед началом Военного совета предварительное совещание старших начальников Добровольческого корпуса.

Кстати скажу, что так как в воздухе было тревожно, то решено было принять некоторые меры, которые выразились в следующем: от наших полков и артиллерийской бригады были назначены усиленные патрули, в особенности на улицах, примыкавших ко дворцу. На местах квартирования были назначены дежурные части, которые должны были бодрствовать в полной готовности и имели связных-быстроходов во дворце. У главного входа дворца стояли команды пулеметчиков. Такие же команды были скрытно размещены внутри соседних дворов. Во дворе дворца скрытно размещалась офицерская рота.

На предварительном совещании под председательством генерала Кутепова все начальники единодушно высказали мысль о недопустимости оставления генералом Деникиным своего поста, настаивали на выражении ему полного доверия и на принятии всех мер, чтобы упросить его не оставлять своего поста. Решено было оказать соответствующее влияние на остальных участников Военного совета, с тем чтобы Военный совет просил бы и даже умолял генерала Деникина не покидать свой пост.

Генерал Кутепов сидел грустный, как бы подавленный, и неоднократно заявлял о твердом решении генерала Деникина. Привыкнув видеть в генерале Кутепове начальника энергичного, настойчивого и решительного, мы не понимали его пассивности. Невольно вспомнились слухи о его неладах с генералом Деникиным и о «подкапывании». Это было совершенно неправдоподобно, но тем не менее не было объяснений молчаливому, пассивному, а потому непонятному поведению генерала Кутепова. Никто из нас не понял тогда, как ему было тяжело. Мы не могли понять, что ему действительно было известно твердое и непреклонное решение генерала Деникина; мы не понимали, что генерал Кутепов, всегда честный и прямой, знал, что не может дать нам надежду, и, переживая гораздо острее и глубже все то, что мы переживали, не мог сказать нам ничего иного, как о твердом решении генерала Деникина оставить свой пост[1].

Было решено на случай непреклонности генерала Деникина выразить ему полное доверие и просить его самого назначить себе заместителя, признание которого, естественно, будет для всех обязательным.

Открывая заседание, генерал Драгомиров прочитал приказ Главнокомандующего о назначении Военного совета. Затем была произведена поверка присутствующих на заседании и установление их права на участие в нем.

Сейчас же по окончании поверки генерал Слащев заявил о том, что его корпус находится на фронте, а потому он не мог командировать на заседание всех старших начальников, имеющих право принять участие в нем. Генерал Драгомиров объявил, что это предусмотрено и оговорено в приказе Главнокомандующего. Генерал Слащев продолжал настаивать на том, что его корпус не имеет на заседании достаточного числа представителей для выявления желаний и решения корпуса, что это является несправедливостью по отношению к доблестному корпусу, дольше всех отстаивающему последний клок белой русской земли, и проч. Генерал Драгомиров снова заявил, что он не имеет права изменить приказ Главнокомандующего, что для всех частей было назначено справедливое представительство, что число присутствующих от определенного воинского соединения не имеет существенного значения, раз представительство от него все-таки есть, а в частности, касаясь 2-го корпуса, ясно, что его голос в достаточной мере будет сильным в лице командира корпуса и присутствующих от корпуса представителей. Генерал Слащев снова с большим волнением старался доказать невыгодное и обойденное положение его корпуса, в то время как 1-й корпус имеет на заседании обильное наличие своих представителей. Генерал Кутепов заявил, что он согласен сократить чис-

[1] «Я отлично сознавал, что генерала Деникина заменить никто не может, поэтому считал, что дело наше проиграно. Все это болезненно переносил; упрекал себя за посылку генералу Деникину телеграммы в Новороссийск, так как полагал, что она, может быть, имела значение при решении генерала Деникина». — *Прим. генерала Кутепова.*

ло представителей от своего корпуса, если наличие их вызывает такой протест о нарушении справедливости. Генерал Драгомиров снова заявил, что он не видит нарушения справедливости по отношению к какому-нибудь из воинских соединений, изменить приказ Главнокомандующего он не смеет и дальнейшее обсуждение вопроса о представительстве на заседании Военного совета прекращает.

Вслед за тем генерал Драгомиров объявил, что во исполнение приказа Главнокомандующего необходимо избрать ему заместителя. Генерал Слащев первым просил слова и весьма пространно говорил о необходимости установить порядок. Кроме генерала Слащева говорили, как мне помнится, генерал Махров и Вязьмитинов, заявляя о том, что им хорошо известно о непреклонном решении генерала Деникина уйти от власти. Генерал Слащев говорил несколько раз. Он говорил о недопустимости выборов «нового Главнокомандующего», ссылаясь на уподобление Красной армии, после того как старшие покажут пример «избрания». Горячо, прямолинейно, искренно, честно и хорошо говорил генерал Топорков. Со стороны Добровольческого корпуса до сих пор никто не говорил.

Генерал Драгомиров приказал раздать бумагу и карандаши для закрытого намечения заместителя главнокомандующему. Тогда слово попросил капитан 1-го ранга[1]. Начав свое выступление словами «Пути Господни неисповедимы», он произнес патетическую речь о необходимости исполнить приказ Главнокомандующего и назвать имя его заместителя, каковым является, по убеждению чинов Черноморского флота, генерал Врангель. Имя генерала Врангеля было названо официально на заседании совета, но в частных беседах оно уже называлось.

В это время шло частное обсуждение около генерала Витковского, который после распоряжения генерала Драгомирова раздать бумагу просил через генерала Кутепова слова[2] и энергично и настойчиво заявил о том, что он и

[1] Начальник штаба Черноморского флота Рябинин, впоследствии перешедший к большевикам.

[2] «Первым выступил я, а после генерал Витковский». — *Прим. генерала Кутепова.*

чины Дроздовской дивизии находят невозможным для себя принять участие в выборах и категорически от этого отказываются. После слов генерала Витковского сейчас же присоединились к его заявлению начальники Корниловской, Марковской и Алексеевской дивизий и других частей Добровольческого корпуса. Представители от дивизий поддерживали своих начальников тем, что при их заявлении все вставали. Генерал Драгомиров в строгой форме обратил внимание на недопустимость такого заявления, так как оно составляет неисполнение приказа Главнокомандующего. Генерал Витковский возразил, что приказы Главнокомандующего мы всегда исполняли и исполним и теперь, что мы ему вполне доверяем, и если Главнокомандующий решил сложить с себя власть, то мы подчиняемся его решению и его назначению себе заместителя. Но предварительно необходимо выразить Главнокомандующему доверие и просить его остаться у власти и немедленно довести до его сведения о таковом постановлении Военного совета. После этих слов кто-то из чинов Добровольческого корпуса крикнул: «В честь его высокопревосходительства Главнокомандующего генерала Деникина — ура». Дружное и громкое «ура» долго оглашало здание дворца. После того как оно кончилось и все сели на свои места, генерал Драгомиров снова пытался доказать необходимость выполнить приказ Главнокомандующего, который Военным советом не может быть изменен. Тогда генерал Витковский и другие чины Добровольческого корпуса доказывали о необходимости доложить по прямому проводу генералу Деникину о настроении Военного совета, о выражении ему доверия и просьбы остаться у власти. Генерал Драгомиров на все эти доводы возражал и не соглашался с ними.

Все изрядно устали, а потому к нашей просьбе сделать небольшой перерыв охотно присоединились многие другие, и, к нашему удовольствию, генерал Драгомиров на это согласился, объявив перерыв. Сейчас же мы (Добровольческий корпус) заняли одну из уединенных, находящихся внизу комнат и решили послать от себя срочную телеграмму генералу Деникину, в которой выразить ему полное доверие и признательность и просить остаться у власти. В заня-

тую нами комнату пришли некоторые начальники, не принадлежавшие к Добровольческому корпусу, но вполне разделявшие наши взгляды. Не помню, кто составлял телеграмму, в общем она была составлена коллективно[1].

Телеграмма сейчас же была отправлена на городской телеграф с одним из наших связных с приказанием добиться немедленной ее отправки генералу Деникину. Телеграмма была принята, но своевременно отправлена не была, ибо, как выяснилось позже, провод со Ставкой был занят, и было распоряжение генерала Драгомирова никаких телеграмм без его разрешения не передавать.

По возобновлении заседания Военного совета генерал Драгомиров изъявил согласие послать телеграмму генералу Деникину и просил составить текст ее. На просьбу, обращенную к генералу Драгомирову, переговорить с генералом Деникиным немедленно по прямому проводу, с тем чтобы после этого закончить заседание Военного совета, генерал Драгомиров категорически отказался.

На другой день заседание долго не начиналось, и мы в недоумении и с разными предположениями ходили по коридорам, заходили и в большой зал заседаний, но постоянно видели двери в комнату старших начальников плотно закрытыми; вход в эту комнату без разрешения генерала Драгомирова не допускался. Неоднократно пытались узнать, когда начнется заседание совета и вообще состоится ли оно. Ответы получались самые расплывчатые и неуверенные. Вызвать генерала Кутепова из комнаты старших начальников не удавалось. Генерала Витковского в эту комнату не пропускали. Сведений об ответе генерала Деникина на посланную ему накануне телеграмму никаких не было. Слагалось впечатление, что Военный совет состоялся из высших начальников, а остальных игнорировали. Полная неизвестность и неопределенность создавшегося положения и отсутствие хотя каких-либо объяснений сильно нервировали и вызывали недовольство генералом Драгомировым, упорство которого на предыдущем заседании породило против него много врагов. Поэтому через некоторое время настроение из нервного превратилось определенно во враждебное против комнаты старших начальников. Но скоро оно было рассеяно неожиданным приходом группы новых офицеров, сопровождавших нескольких английских офицеров. Дневное заседание не было открыто, и ответ генерала Деникина не был объявлен нам. Нам объявили, что прибыла делегация от англичан, что сделанные ими предложения настолько необычайны и важны, что совершенно затемняют остроту переживаемых событий, а потому высшие начальники займутся обсуждением английских предложений, а заседание совета назначено на 8 часов вечера этого же дня.

[1] Текст телеграммы: «Собравшись для участия на Военном совете, дивизии Добровольческого корпуса единодушно решили просить Ваше превосходительство остаться во главе армии, причем дивизии верили и всегда будут Вам верить и не мыслят другого Главнокомандующего, кроме Вас. Оставление Вами своих верных войск грозит несомненной гибелью нашего общего дела и поведет к полному распаду армии».

Также прошел слух, что приехал в Севастополь генерал Врангель, который будет присутствовать на вечернем заседании Военного совета.

Когда мы прибыли на это заседание и в ожидании его открытия блуждали по коридорам и комнатам дворца, то через некоторое время заметили присутствие генерала Врангеля, который нервно ходил по коридору около большого зала. Двери в комнату старших начальников по-прежнему были закрыты, и в ней шло заседание. Несколько раз туда приглашали генерала Врангеля, и через короткое время он выходил оттуда еще более взволнованный».

Как оказалось, генерал Врангель привез с собою в Севастополь английский ультиматум, адресованный мне, но врученный ему 20 марта в Константинополе. В своей ноте великобританское правительство предлагало «оставить неравную борьбу» и при его посредстве вступить в переговоры с советским правительством. В случае отклонения этого предложения Англия «снимала с себя ответственность» и угрожала прекратить какую бы то ни было дальнейшую помощь. По непонятным причинам об этом ультиматуме не было сообщено мне в Феодосию, и я узнал о нем только за границей.

О происходившем в заседании «малого совета» — старших начальников, до корпусных командиров включительно — генерал Богаевский пишет:

«У всех было подавленное настроение духа. Почти никто не знал ни точной обстановки, ни истинных причин ухода генерала Деникина. Неестественной казалась и сама причина нашего сбора, невозможная до сих пор в регулярной армии.

Кроме того, не было никого, кто мог бы в то время стать преемником генерала Деникина без возражений с чьей бы то ни было стороны. Никаких имен не называли.

На другой день генерал Драгомиров собрал снова совещание и прочитал ответную телеграмму генерала Деникина, приказывавшего все-таки выборы произвести.

Несмотря на приказ, многие протестовали против этого, и нужна была вся твердость и настойчивость генерала Драгомирова, чтобы совещание не приняло форму митинга и прошло спокойно...[1]

После долгих споров решено было составить два совещания: одно из старших начальников и другое из всех остальных. Первое должно было наметить преемника, второе поддержать или отвергнуть выборное лицо.

Я был в числе старших начальников. Мы заседали в большом угловом кабинете, остальные — в зале.

Наше совещание затянулось. Все еще спорили и не могли остановиться на чьем-либо имени.

Из зала, где томились уже несколько часов уставшие и голодные начальники войсковых частей, являлись не раз посланные с запросом, что мы решили?

Нужно было как-нибудь кончать, откладывать на другой день было уже невозможно: этим неминуемо сразу подорвался бы авторитет будущего Главнокомандующего.

Тогда я выступил с речью, в которой, очертив создавшуюся обстановку и необходимость во что бы то ни стало скорее кончить вопрос, назвал генерала Врангеля как нового Главнокомандующего.

Возражений не последовало, и, как мне показалось тогда, не из симпатий к нему, а просто потому, что нужно же избрать кого-нибудь и кончить тяжкий вопрос. В то время едва ли кто думал о продолжении борьбы с красными вне Крыма: нужно было отсидеться, привести себя в порядок и уходить за границу, если не удастся удержать Крым. Считали, что Врангель с этим справится.

Пригласили его в наш кабинет (он только что приехал из Константинополя), и здесь председатель сделал ему нечто вроде экзамена: «Како веруеши?» Его ответы в резком, решительном тоне, сводившиеся в общем к тому, что он не мыслит о продолжении серьезной борьбы и будет считать своим долгом, если станет во главе армии, «с честью вывести ее из тяжелого положения», удовлетворили не всех в совещании.

Генерала Врангеля попросили временно удалиться, чем он, видимо, остался очень недоволен, и снова начали обсуждать его кандидатуру.

Наконец решено было остановиться на нем.

Снова вызвали его, и генерал Драгомиров объявил ему о нашем решении.

Генерал Врангель принял это внешне спокойно, однако у многих из нас — да, вероятно, и у него — все же были сомнения, утвердит ли генерал Деникин наш выбор. Мы не знали подробностей, но всем было известно, что между ними были дурные отношения, и вина в них падала не на генерала Деникина...

Согласившись на наш выбор, генерал Врангель удивил всех нас своим решительным требованием — дать ему подписку в том, что условием принятия им поста Главнокомандующего не будет переход в наступление против большевиков, а только вывод армии с честью из создавшегося тяжелого положения.

На вопрос наш, зачем эта подписка, генерал Врангель ответил, что он хочет, чтобы все — и прежде всего его родной сын — не упрекнули его в будущем в том, что он не исполнил своего долга.

Все это было не совсем для нас понятно — такая предусмотрительность, но ввиду настойчивого требования гене-

[1] *Богаевского*: «Генерал Слащев решительно заявил, что он против всяких выборов и сейчас же уезжает на фронт, где он нужен; здесь же ему делать нечего».

рала Врангеля (чуть ли не под угрозой отказа от выбора) подписка была дана[1].

После этого была послана телеграмма генералу Деникину».

Заседание «малого совета» закончилось.

«Наконец, было объявлено нам приглашение занять свои места в зале заседания. Когда все были на своих местах, двери комнаты старших начальников отворились, и из нее вышли генерал Драгомиров, генерал Врангель и другие.

Генерал Драгомиров прочел текст телеграммы, посланной им накануне генералу Деникину. Многие из нас обратили внимание, что содержание телеграммы было не совсем такое, как читали нам накануне в окончательной форме. Затем генерал Драгомиров прочел ответный приказ на нее генерала Деникина с назначением своим заместителем генерала Врангеля. По прочтении этого приказа генерал Драгомиров провозгласил «ура» в честь Главнокомандующего генерала Врангеля»[2].

---

[1] Текст этого акта: «На заседании старших начальников, выбранных из состава Военного совета, собранного по приказанию Главнокомандующего в Севастополе 22 марта 1920 года для избрания заместителя генералу Деникину, председателем Совета генералом от кавалерии Драгомировым было оглашено ультимативное сообщение британского правительства генералу Деникину с указанием на необходимость прекращения неравной безнадежной борьбы, с тем чтобы правительство Великобритании обратилось к советскому правительству об амнистии населению Крыма, в частности войскам Юга России, причем в случае отклонения генералом Деникиным этого предложения британское правительство категорически отказывается впредь от всякой поддержки и какой бы то ни было помощи.

При этих условиях совещание выразило желание просить Главнокомандующего о назначении его заместителем генерала Врангеля, с тем чтобы он, приняв на себя главное командование, добился неприкосновенности всем лицам, боровшимся против большевиков, и создал наиболее благоприятные условия для личного состава Вооруженных сил Юга России, именно для тех, кто не найдет для себя возможным принять обеспечение безопасности от советского правительства». (С содержанием этого акта я ознакомился только за границей.)

[2] Из записки генерала Ползикова.

* * *

Вечер 22 марта.

Тягостное прощание с ближайшими моими сотрудниками в Ставке и офицерами конвоя. Потом сошел вниз — в помещение охранной офицерской роты, состоявшей из старых добровольцев, в большинстве израненных в боях; со многими из них меня связывала память о страдных днях первых походов. Они взволнованы, слышатся глухие рыдания... Глубокое волнение охватило и меня; тяжелый ком, подступивший к горлу, мешал говорить. Спрашивают:

— Почему?

— Теперь трудно говорить об этом. Когда-нибудь узнаете и поймете...

Поехали с генералом Романовским в английскую миссию, откуда вместе с Хольманом на пристань. Почетные караулы и представители иностранных миссий. Краткое прощание. Перешли на английский миноносец. Офицеры, сопровождавшие нас, в том числе бывшие адъютанты генерала Романовского, пошли на другом миноносце — французском, который пришел в Константинополь на 6 часов позже нас.

Роковая случайность...

Когда мы вышли в море, была уже ночь. Только яркие огни, усеявшие густо тьму, обозначали еще берег покидаемой русской земли. Тускнеют и гаснут.

Россия, Родина моя...

....

В Константинополе на пристани нас встретили военный агент наш генерал Агапеев и английский офицер. Англичанин что-то с тревожным видом докладывает Хольману. Последний говорит мне:

— Ваше превосходительство, пойдем прямо на английский корабль...

Англичане подозревали. Знали ли наши?

Я обратился к Агапееву:

— Вас не стеснит наше пребывание в посольстве... в отношении помещения?

— Нисколько.

— А в... политическом отношении?

— Нет, помилуйте...

Простились с Хольманом и поехали в русский посольский дом, обращенный частично в беженское общежитие. Там моя семья.

Появился дипломатический представитель.

Выхожу к нему в коридор. Он извиняется, что по тесноте не может нам предоставить помещения. Я оборвал разговор: нам не нужно его гостеприимство...

Вернувшись в комнату, хотел переговорить с Иваном Павловичем о том, чтобы сейчас же оставить этот негостеприимный кров. Но генерала Романовского не было. Адъютанты не приехали еще, и он сам прошел через анфиладу посольских зал в вестибюль распорядиться относительно автомобиля.

Раскрылась дверь, и в ней появился бледный как смерть полковник Энгельгардт:

— Ваше превосходительство, генерал Романовский убит.

Этот удар доконал меня. Сознание помутнело, и силы оставили меня — первый раз в жизни.

....

Моральных убийц Романовского я знаю хорошо. Физический убийца, носивший форму русского офицера, скрылся. Не знаю, жив ли он, или правду говорит молва, будто для сокрытия следов преступления его утопили в Босфоре.

Генерал Хольман, потрясенный событием, не могший простить себе, что не уберег Романовского, не настояв на нашем переезде прямо на английский корабль, ввел в посольство английский отряд, чтобы охранить бывшего русского Главнокомандующего...

Судьбе угодно было провести и через это испытание.

Тогда, впрочем, меня ничто уже не могло волновать. Душа омертвела.

....

Маленькая комната, почти каморка. В ней — гроб с дорогим прахом. Лицо скорбное и спокойное. «Вечная память!..»

....

В этот вечер я с семьей и детьми генерала Корнилова перешел на английское госпитальное судно, а на другой день на дредноуте «Мальборо» мы уходили от постылых берегов Босфора, унося в душе неизбывную скорбь.

Содержание

ГЛАВА I. Операции Вооруженных сил Юга в каменноугольном бассейне, на Донце и Маныче с января по 8 мая 1919 года 3

ГЛАВА II. Взаимоотношения Екатеринодара с Омском в первой половине 1919 года. Положение Восточного фронта 21

ГЛАВА III. Признание Югом Верховной власти адмирала Колчака 35

ГЛАВА IV. Наступление ВСЮР весною 1919 года: освобождение Дона и Крыма, взятие Харькова, Полтавы, Екатеринослава и Царицына. «Московская директива». Внутренние настроения 50

ГЛАВА V. Наступление ВСЮР летом и осенью 1919 года. Контрнаступление большевиков на Харьков и Царицын. Взятие нами Воронежа, Орла, Киева, Одессы 69

ГЛАВА VI. Большевистское наследие в освобожденных районах. Повстанчество и махновщина 82

ГЛАВА VII. Принципы, положенные в основу временного устройства территории Юга. Вопрос о новообразованиях. Административное деление. Национальные вопросы: украинский, татарский, горский и еврейский 100

ГЛАВА VIII. Деятельность политических организаций во второй половине 1919 года: Совет государственного

объединения, Национальный Центр,
Союз возрождения России ... 122
ГЛАВА IX. Крайние и умеренно-правые монархические организации. Социалистические партии на Юге ... 132
ГЛАВА X. Внешние сношения Юга во второй половине 1919 года: Франция и Англия ... 148
ГЛАВА XI. Польша ... 158
ГЛАВА XII. Балканские страны. Северная Америка. Изменение взглядов держав Согласия на русский вопрос. Мировая конкуренция ... 171
ГЛАВА XIII. Взаимоотношения Юга с казачьими войсками: Донским, Терским, Астраханским ... 179
ГЛАВА XIV. Взаимоотношения Юга с Кубанью ... 191
ГЛАВА XV. «Юго-Восточный союз» и Южнорусская конференция ... 200
ГЛАВА XVI. Кубанское действо ... 210
ГЛАВА XVII. Восточный, Северный и Западный фронты в конце 1919 и в начале 1920 годов ... 226
ГЛАВА XVIII. Операции ВСЮР в октябре—ноябре 1919 года ... 245
ГЛАВА XIX. События в Закаспии и на Северном Кавказе. Взаимоотношения Юга с Грузией и Азербайджаном к началу 1920 года ... 257
ГЛАВА XX. События на Черноморском побережье (зеленые). Фронт Новороссии и разгром Петлюры ... 273
ГЛАВА XXI. Отступление армий Юга на Одессу и Крым, за Дон и Сал ... 291
ГЛАВА XXII. «Мы» и «они». Тыл. Традиции беззакония ... 307
ГЛАВА XXIII. Особое совещание: вопрос о перемене политического курса. Наказ правительству ... 316

ГЛАВА XXIV. Упразднение Особого совещания. Кризис русского либерализма ... 326
ГЛАВА XXV. Поход на власть ... 336
ГЛАВА XXVI. Верховный круг Дона, Кубани и Терека. Совещание в Тихорецкой ... 344
ГЛАВА XXVII. Заседание Верховного круга 16 января 1920 года ... 354
ГЛАВА XXVIII. Миссия Мак-Киндера. Договор с Верховным кругом. Южнорусское правительство. Настроение тыла: Новороссийск (эвакуация) и Кубань ... 364
ГЛАВА XXIX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами ... 381
ГЛАВА XXX. Вражда между «Екатеринодаром» и «Новороссийском». Положение Новороссии. Эвакуация Одессы ... 390
ГЛАВА XXXI. События в Крыму. Орловщина. Флот. Претенденты на власть. Письмо барона Врангеля. Телеграмма генерала Кутепова ... 404
ГЛАВА XXXII. Эвакуация Новороссийска ... 424
ГЛАВА XXXIII. Судьба войск, оставшихся на Северном Кавказе, и Каспийской флотилии. Упразднение «Южнорусского правительства». Последние дни в Крыму. Оставление мною поста главнокомандующего ВСЮР ... 437
ГЛАВА XXXIV. Военный совет. Мой отъезд. Константинопольская драма ... 449